



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

Slav 4336.2.1



Harvard College Library

FROM THE BEQUEST OF

FRANCIS B. HAYES

(Class of 1839.)

This fund is \$10,000 and its income is to be used
"For the purchase of books for the Library."
Mr. Hayes died in 1884.

July 7, 1897





Бѣлинскій передъ смертью.—Съ картины А. Наумова.

СОЧИНЕНІЯ

В. Г. БѢЛИНСКАГО

ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ТОМАХЪ

Съ портретомъ и факсимиле автора, гравюрой съ картины Наумова и статьей
Н. К. Михайловскаго

Дешевое изданіе Ф. Павленкова
выпускаемое съ разрѣшенія наследниковъ Бѣлинскаго.

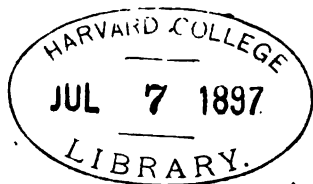
ТОМЪ ТРЕТІЙ
1842—1844

Цѣна каждаго тома 1 руб. 25 коп.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

—
1896

Slav 4336.2.1



Hayes fund.

ОГЛАВЛЕНИЕ ТРЕТЬЯГО ТОМА.

I. КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

	Стр.
Сочиненія Евгенія Баратынскаго. Сумерки. Москва. 1842. Стихотворенія. Двѣ части. Москва. 1835	1
Сочиненія Державина. Четыре части. Спб. 1843.	31
Сочиненія Зененды Р.-вой. Спб. 1843. Четыре части.	97
Русская литература въ 1842 году	129
Русская литература въ 1843 году	167
Парижскія тайны. Романъ Эжена Сю. Перевалъ В. Строевъ. Спб. 1844. Два тома, восемь частей.	227
Сочиненія князя В. Ѳ. Одоевскаго. Спб. 1844. Три части	247
Сочиненія Александра Пушкина. Санктпетербургъ. Одиннадцать томовъ. 1838—1841г.	275

II. БИБЛИОГРАФІЯ.

Жизнь и похождения Петра Степанова сына Столбикова, помѣщика въ трехъ намѣстничествахъ. Рукопись XVIII вѣка. Спб. 1841.	705
Эвелина де Вальероль. Романъ въ четырехъ томахъ. Соч. Н. Кукольника. Спб. 1841—1842	—
Парижъ въ 1838 и 1839 годахъ. Соч. Владиміра Строева. Двѣ части. Спб. 1841—1842	708
Альфъ и Альдона. Историческій романъ въ четырехъ томахъ. Соч. Н. Кукольника. Спб. 1842.	713
Тысяча и Одна ночь, арабскія сказки. Спб. 1839 и 1842. Части 6, 7, 8, 9, 10	716
Опытъ библіографическаго обзорѣнія, или очеркъ послѣдняго полугодія русской литературы, съ октября 1841 по апрѣль 1842 г. Вранта. Спб. 1842.	—
Нѣсколько словъ о періодическихъ изданіяхъ русскихъ. Спб.	—
Робинзонъ Крузо. Романъ для дѣтей. Сочиненіе Кампе. Спб. 1842.	719
Похожденія Чичикова, или Мертвыя Души. 1. Поэма Н. Гоголя. Москва 1842.	720
Русская бесѣда. Собраніе сочиненій русскихъ литераторовъ. Въ пользу А. Ф. Смирдина. Томъ III. Спб. 1842.	735
Нѣсколько словъ о поэмѣ Гоголя: «Похожденія Чичикова или Мертвыя Души». Москва. 1842	740
Руководство къ изученію русской словесно-	

Отр.

сти, содержащее въ себѣ основныя начала изящныхъ искусствъ, теорію краснорѣчія, поэтику и краткую исторію литературы, составленное профессоромъ Императорскаго Царскосельскаго Лицея и Императорскаго Училища Правовѣдѣнія, Петромъ Георгіевскимъ. Въ четырехъ частяхъ. Изданіе второе, исправленное. Спб. 1842.	747
Сочиненія Платона. Переведенныя съ греческаго и объясненныя профессоромъ Санктпетербургской Духовной Академіи Карповымъ. Часть II-я Спб. 1842	750
Наши, списанные съ натуры русскими. Выпускъ двѣнадцатый. «Няня» Соч. *** вой. Спб. 1842.	754
Драматическія сочиненія и переводы Н. А. Полевого. Спб. 1842. Двѣ части	755
Стихотворенія Владиміра Бенедиктова. Первая книга. Второе изданіе. Спб. 1842.	761
Супружеская истина, въ нравственномъ и физическомъ отношеніяхъ. В. Лебедева. Спб. 1842.	764
Сочиненія Николая Гоголя. Четыре тома. Спб. 1842.	766
Божественная Комедія. Данте Алигieri. «Адъ». Съ очерками Флакмана и итальянскимъ текстомъ. Переводъ съ итальянскаго Ѳ. Фанъ-Дима. Спб.	771
Драматическія сочиненія и переводы Н. А. Полевого. Часть третья. «Гамлетъ». — «Уголино». Спб. 1843	—
Аристократка, былъ недавнихъ временъ, рассказанная Л. Брантомъ. Спб. 1843.	777
Сельское Чтеніе. Книжка, составленная изъ трудовъ: А. Ѳ. Вельмана, Н. С. Волкова, С. С. Гадурина, В. И. Даля, И. И. Иванова, М. Н. Загоскина, И. И. Побѣдина, К. Ѳ. Энгельке, княземъ В. Ѳ. Одоевскимъ и А. П. Заболоцкимъ. Спб. 1843.	782
Драматическія сочиненія и переводы Н. А. Полевого. Часть четвертая. Спб. 1843.	785
Параша. Разсказъ въ стихахъ. Т. Л. Спб. 1843.	786
Казакъ. Повѣсть Александра Кузмича. Спб. 1843. Двѣ части.	798
Повѣсти Ивана Гудощника. Собранныя Николаемъ Полевымъ. Въ двухъ частяхъ. Спб. 1843.	800
Исторія Государства Россійскаго, сочиненіе Н. М. Карамзина. Изданіе И. Эйнерлинга. Книга III. (Томы IX, X, XI и XII.) Спб. 1843	803
Стихотворенія Милѣева. Москва. 1843	805
Повѣсти А. Вельмана. Спб. 1843.	809

III. ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.

Литературный разговоръ, подслушанный въ книжной лавкѣ.	Стр. 813
Объясненіе на объясненіе по поводу поэмы Гоголя «Мертвыя души».	828
Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ. (Некрологъ.)	850
Библиографическія и журнальныя извѣстія .	853
Литературныя и журнальныя замѣтки. . .	858

IV. ТЕАТРЪ.

Русскій театръ въ Петербургѣ. Женитьба.	
Оригинальная комедія въ двухъ дѣйстви-	

яхъ, сочиненіе Н. В. Гоголя (автора «Ревизора»).	Стр. 881
Братья купцы, или игра счастья. Драма въ пяти дѣйствіяхъ, въ стихахъ, переведенная съ нѣмецкаго П. Г. Ободовскимъ . .	883
Рубенсъ въ Мадридѣ. Историческая драма въ четырехъ дѣйствіяхъ, въ стихахъ, передѣланная съ нѣмецкаго. (Отрывокъ) . .	—
Ломоносовъ, или жизнь и поэзія. Драматическая повѣсть въ пяти дѣйствіяхъ, въ прозѣ и стихахъ, соч. Н. А. Полевого.	885
Игроки. Оригинальная комедія въ одномъ дѣйствіи. Соч. Гоголя.	891
Полчаса за кулисами. Комедія въ одномъ дѣйствіи. Соч. Н. А. Полевого.	893

Сочиненія Евгенія Баратынскаго.

Сумерки. Москва. 1842. Стихотворенія. Двѣ части. Москва. 1835.

Пытливый духъ изслѣдованій и анализа, по преимуществу характеризующій новѣйшую эпоху человѣчества, проникъ въ таинственныя нѣдра земли и по ея слоямъ начертать исторію постепеннаго формированія нашей планеты. Естествознаніе еще прежде, чрезъ классификацію родовъ и видовъ явленій трехъ царствъ природы, опредѣлило моментальное развитіе духа жизни, отъ низшей его формы—грубого минерала, до высшей—человѣка, существа разумно-сознательнаго. Все это богатство фактовъ, добытыхъ опытнымъ знаніемъ, послужило къ оправданію апріорныхъ воззрѣній на жизнь мірового духа и очевидно доказало, что жизнь есть развитіе, а развитіе есть переходъ изъ низшей формы въ высшую, и слѣдовательно что не развивается, т. е. не измѣняется въ формѣ, пребывая въ однообразной неподвижности, то не живетъ, то лишено плодотворнаго зерна органическаго развитія, рождаясь и погибая чрезъ случайность и по законамъ случайности. Такое же зрѣлище представляютъ и историческія общества, ибо и они—или существуютъ по тому же вѣчному закону развитія, т. е. переходенія изъ низшихъ формъ жизни въ высшія, или вовсе не существуютъ, потому что одно фактическое, одно эмпирическое существованіе, какъ лишенное разумной необходимости, слѣдственно случайное, равняется совершенному несуществованію: кто докажетъ теперь человѣку непросвѣщенному и необразованному, что Греція и Римъ существуютъ?—а между тѣмъ для человѣчества они и теперь существуютъ несомнѣнно; кто не докажетъ всѣмъ и каждому, что Китай подлинно существуетъ?—а между тѣмъ Китай все-таки существуетъ для человѣчества меньше, чѣмъ китайскій чай...

Внимательное изслѣдованіе открываетъ, что и жизнь обществъ такъ же, какъ и жизнь

Соч. Бѣлинскаго. Т. III.

планеты, на которой они обитаютъ, складывается изъ множества слоевъ, изъ которыхъ каждый въ свою очередь, подобно разноцвѣтнымъ волнующимся лентамъ, отличается множествомъ слоистыхъ пластовъ. Пласты эти—поколѣнія, изъ которыхъ каждое, удерживая въ себѣ многое отъ предшествовавшаго поколѣнія, тѣмъ не менѣе и отличается отъ него собственнымъ колоритомъ, собственнымъ характеромъ, собственной формой и собственной физиономіей. Каждое послѣдующее поколѣніе относится къ предшествовавшему, какъ корень къ зерну, стебель къ корню, стволъ къ стеблю, вѣтвь къ стволу, листъ къ вѣтви, цвѣтъ къ листу, плодъ къ цвѣту. Но это сравненіе только относительно, только внѣшнимъ образомъ вѣрно и не обнимаетъ сущности предмета; дерево совершаетъ вѣчно-однообразный кругъ развитія: выхода изъ зерна, оно зерномъ вновь становится, чѣмъ и оканчивается вся органическая его дѣятельность. По новѣйшимъ открытіямъ, жизненная сила и прототипъ cadaго растенія заключаются не только въ зернѣ, но и во всякомъ листѣ его: отпадая и разносясь вѣтромъ, листья вновь являются деревьями, и черезъ нихъ нагія степи покрываются лѣсами. Но отъ листа дуба и родится дубъ, совершенно во всемъ подобный тому, отъ котораго произошелъ, и тѣмъ дубамъ, которые самъ произведетъ въ свою очередь. Стало быть, здѣсь только повтореніе одного и того же типа во множествѣ одинаковыхъ его проявленій; здѣсь, стало-быть, то или другое дерево—явленія совершенно случайныя, а важна только идея рода дерева, который, возникши разъ, вѣчно повторяетъ себя черезъ однообразный процессъ органическаго развитія. Не таково общество: никто не помнитъ его историческаго начала, теряющагося въ туманной дали бессознательнаго младенчества; никто не скажетъ, гдѣ конецъ его раз-

витія, ни того, что будетъ съ нимъ завтра, суда по вчера. И между тѣмъ, хотя его завтра и всегда заключено въ его вчера, однако завтра никогда не походить на вчера, если только общество живетъ исторической, а не одной эмпирической жизнью.

Цѣлый циклъ жизни отжила наша Русь, и возрожденная, преображенная Петромъ Великимъ, начала новый циклъ жизни. Первый продолжался болѣе восьми вѣковъ; отъ начала второго едва прошло одно столѣтіе: но, Боже мой, какая неизмѣримая разница въ значеніи и объемѣ жизни, выраженныхъ этими восемью вѣками и этимъ однимъ вѣкомъ! Иногда въ жизни одного человѣка бываетъ день такого полнаго блаженства и такого глубокаго смысла, что передъ этимъ днемъ всѣ остальные годы жизни его, какъ бы они многочисленны ни были, кажутся только мгновеніемъ какого-то темнаго, смутнаго и тяжелаго сна. То же самое бываетъ и съ народами; то же самое было и съ Русью. Здѣсь мы опять должны сдѣлать оговорку, чтобъ добрые люди, любящіе толковать навыворотъ чужія мысли, не вздумали буквально понять нашего сравненія: единичный человѣкъ (индивидуумъ) и народъ—не одно и то же, какъ и счастливый день въ жизни человѣка и великая эпоха въ исторіи народа—не одно и то же. Подвигъ Петра Великаго не ограничился днями его царствованія, но совершался и послѣ его смерти, совершается теперь, и будетъ безконечно совершаться въ грядущихъ временахъ, и все въ болѣе громадныхъ размѣрахъ, все въ болѣе блестящемъ и болѣе славѣ... И до Петра Великаго текло время, и поколѣнія смѣнялись поколѣніями; но эта смѣна состояла только въ томъ, что старики умирали, а дѣти заступали ихъ мѣсто на аренѣ жизни, а не въ живой послѣдовательности живыхъ идей. Поколѣніе смѣнялось поколѣніемъ, а идеи оставались все тѣ же, и послѣдующее поколѣніе такъ же походило на предшествующее, какъ одинъ листокъ походить на тысячи другихъ листьевъ одного и того же дерева. Правнукъ вѣнчался въ нарядномъ кафтанѣ прадѣда, а внучка—въ той же тѣлогрѣйкѣ, въ которой вѣнчалась ея бабушка, и все тѣ же тутъ свахи, тѣ же дружки, тѣ же пиры и проч... Ходъ времени измѣнялся круговращеніемъ планеты, ея вѣчной весной, за которой всегда слѣдовали лѣто, осень и зима, да еще лицами и именами, а не идеями,—случайными фактами, а не стройнымъ развитіемъ. Война или потрясала на время вышнее благоденствіе государства, или укрѣпляла и расширяла его извнѣ, а внутри все оставалось неизмѣннымъ... Явился исполинъ-преобразователь, привилъ къ плодородной и дѣвственной почвѣ русской натуры зерно европейской жизни,—

и съ небольшими въ столѣтіе Русь пережила нѣсколько столѣтій. Развитіе Руси и доселѣ носить на себѣ отпечатокъ могучаго характера ея преобразованія: она растетъ не по днямъ, а по часамъ, какъ ея сказочные богатѣя. Изъ многихъ сторонъ возьмемъ ближайшую къ предмету нашей статьи—литературу по отношенію къ обществу: давно ли завелась она у насъ, а уже сколько слоевъ осѣлось на днѣ ея недавняго прошедшаго, сколько поколѣній рѣзко обозначилось въ сферѣ ея движенія! И теперь еще на Руси есть цѣлая публика, хотя и небольшая, которая отъ всей души убѣждена, что Ломоносовъ «нашихъ странъ Малербъ и Пиндару подобенъ», что Херасковъ—«нашъ Гомеръ, воспѣвшій древни брани, Россіи торжество, паденіе Казани», что Сумароковъ въ притчахъ побѣдилъ Лафонтена, а въ трагедіяхъ далеко оставилъ за собой Корнея, и Расина, и Вольтера, и что съ этими тремя поэтами кончился цвѣтущій вѣкъ российской словесности. Поклонники Державина уже холодище къ нимъ, хотя все еще высоко ставятъ ихъ въ своемъ понятіи: извѣстно, что Державинъ съ горестію признавался, «сколько трудно соединить плавность Хераскова съ силой стиховъ Петрова». Вообще до Карамзина особенно трудно прослѣдить измѣненіе литературныхъ понятій въ поколѣніяхъ; но съ Карамзинымъ начинается совершенно новая литература и совершенно новое общество: къ стукотнѣ громкихъ одъ до того прислушались, что ужъ больше писали и хвалили ихъ (и то по преданію), чѣмъ читали; плакали надъ «Бѣдной Лизой», твердили нѣжные стихи ея творца «Пой во мракѣ тихой рощи, нѣжный, кроткій соловей», «Кто могъ любить такъ страстно» и пр.; зачитывали до доскутковъ книжки умно, ловко и талантливо составляемаго имъ «Вѣстника Европы»; въ умныхъ, прекрасно, по своему времени, обработанныхъ стихахъ Дмитріева думали видѣть бездну поэзіи... Литературное поколѣніе до Карамзина было торжественное: парадъ и иллюминація были неисчерпаемымъ источникомъ его вдохновеній, его громкихъ одъ. Остроумный Дмитріевъ мѣтко и ловко характеризовалъ это поколѣніе въ своей прекрасной сатирѣ «Чужой Толкъ». Слѣдовавшее затѣмъ поколѣніе было чувствительное: оно охало, проливалось токи слезы и воздыхало въ стихахъ и въ прозѣ. Любовь замѣнила славу, миртовые вѣнки вытѣснили лавровые, горлицы своимъ томнымъ воркованіемъ заглушали громкій клектъ орловъ. Права на любовь состояли въ нѣжности, въ одной нѣжности. Счастливы любовники восклицали своей Хлоѣ: «Мы желали—и свершилось!» Несчастны, отъ разлуки, или отъ измѣны,

блотно и умленно говорилъ милой или жестокой:

Дѣв горлиникъ укажутъ
Тебѣ мой хладный прахъ,
Воркуя томно, скажутъ:
«Онъ умеръ во слезахъ!»

Нравственность при всемъ этомъ не забывалась и шла своимъ путемъ. Для доказательства этого стоитъ только упомянуть о столбратно-знаменитой пѣснѣ: «Всѣхъ цвѣточковъ болѣе», которая оканчивается слѣдующей сентенціей:

Хлоя, какъ ужасенъ
Эготъ намъ урокъ!
Сколь, увы, опасенъ
Для красы пороки!

Въ этомъ чувствительномъ періодѣ русской литературы есть конечно своя смѣшная сторона, и надъ ней довольно посмѣялись послѣдовавшіе за тѣмъ періоды, воспроизводя его въ «Эрастахъ Чертополоховыхъ» и тому подобныхъ болѣе или менѣе остроумныхъ, болѣе или менѣе плоскихъ сатирахъ, какъ онъ самъ, въ «Чужомъ толкѣ», зло подтрунивалъ надъ предшествовавшимъ ему торжественнымъ періодомъ. Это круговая порука: въ томъ и состоитъ жизненность развитія, что послѣдующему поколѣнію есть что отрицать въ предшествовавшемъ. Но это отрицаніе было бы пустымъ, мертвымъ и безплоднымъ актомъ, еслибъ оно состояло только въ уничтоженіи стараго. Послѣдующее поколѣніе, всегда бросающъ въ противоположную крайность, однимъ уже этимъ показываетъ и заслугу предшествовавшаго поколѣнія, и свою отъ него зависимость, и свою съ нимъ кровную связь: ибо жизненная подвижность развитія состоитъ въ крайностяхъ, и только крайность вызываетъ противоположную себѣ крайность. Результатомъ сшибки двухъ крайностей бываетъ истина, однакожъ эта истина никогда не бываетъ удѣломъ ни одного изъ поколѣній, выразившихъ собой ту или другую крайность, но всегда бываетъ удѣломъ третьяго поколѣнія, которое, часто даже смѣясь надъ предшествовавшими ему торжественными и чувствительными поколѣніями, безсознательно пользуется плодомъ ихъ развитія, истинной стороной выраженной ими крайности; а иногда, думая продолжать ихъ дѣло, творить новое, свое собственное, которое само по себѣ опять можетъ быть крайностью, но которое тѣмъ выше и превосходнѣе кажется, чѣмъ больше воспользовалось истинной стороной труда предшествовавшихъ поколѣній. Такъ Жуковскій—этотъ литературный Колумбъ Руси, открывшій ей Америку романтизма въ поэзіи, повидимому дѣйствовалъ какъ продолжатель дѣла Карамзина, какъ его сподвижникъ, тогда какъ въ самомъ-то дѣлѣ онъ создалъ свой періодъ литера-

туры, который ничего не имѣлъ общаго съ Карамзинскимъ. Правда, въ своихъ прозаическихъ переводахъ, въ своихъ оригинальныхъ прозаическихъ статьяхъ и большей части своихъ оригинальныхъ стихотвореній Жуковскій былъ не больше, какъ даровитый ученикъ Карамзина, шагнувшій дальше своего учителя; но истинная, великая и бессмертная заслуга Жуковского русской литературѣ состоитъ въ его стихотворныхъ переводахъ изъ нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ и въ подражаніяхъ нѣмецкимъ и англійскимъ поэтамъ. Жуковскій внесъ романтическій элементъ въ русскую поэзію: вотъ его великое дѣло, его великій подвигъ, который такъ несправедливо нашими аристархами былъ приписываемъ Пушкину. Но Жуковскій, насколько не зависимый отъ предшествовавшихъ ему поэтовъ въ своемъ самобытномъ дѣлѣ введенія романтизма въ русскую поэзію, не могъ не зависѣть отъ нихъ въ другихъ отношеніяхъ: на него не могла не дѣйствовать крѣпость и полѣтливость поэзіи Державина, и ему не могла не помочь реформа въ языкѣ, совершенная Карамзиннымъ. Карамзинъ вывелъ юный русскій языкъ на самую ровную дорогу изъ дебрей, тундръ и избитыхъ проселочныхъ дорогъ славянства, схоластизма и педантизма; онъ возвратилъ ему свободу, естественность, сблизилъ его съ обществомъ. Но связь Карамзина и его школы (въ которой послѣ него первое почетное мѣсто долженъ занимать Дмитріевъ) съ Жуковскимъ заключается не въ одномъ языкѣ: пробудивъ и воспитавъ въ молодомъ и потому еще грубомъ обществѣ чувствительность, какъ ощущеніе (sensation), Карамзинъ черезъ это самое приготовилъ это общество къ чувству (sentiment), которое пробудилъ и воспиталъ въ немъ Жуковскій. Какъ ни безконечно-неизмѣримо пространство, отдѣляющее «Бѣдную Лизу», «Островъ Борнгольмъ» Карамзина, его же и Дмитріева нѣжные и чувствительные пѣсни и романы отъ «Эоловой Арфы», «Кассандры», «Ахилла», «Не узнавай, куда я путь склонилъ», «Орлеанской дѣвы» Жуковского; но общество не поняло бы послѣднихъ, еслибъ не перешло черезъ первыя. И этотъ переходъ былъ тѣмъ естественнѣе, что у самого Жуковского были пѣсы, посредствующія для такого перехода, какъ-то «Людмила», «Свѣтлана», «Двѣнадцать спящихъ дѣвъ», «Пустынникъ», «Алина и Альсимъ» и т. п. Новый элементъ, внесенный Жуковскимъ въ русскую литературу, былъ такъ глубоко знаменателенъ, что не могъ ни быть скоро понятъ, ни произвести скорыхъ результатовъ на литературу, и потому Жуковского величали балладникомъ, пѣвцомъ могилъ и привидѣній,—а подража-

тели его наводняли и книги, и журналы чувовищными кладбищными балладами,—въ чемъ и заключается смѣшное этого періода русской литературы. Впрочемъ Жуковский такъ же виноватъ въ смѣшномъ этого періода, какъ Шекспиръ въ уродливыхъ и нелѣпыхъ нѣмецкихъ трагедіяхъ Грильпарцера, Раупаха, Шенка и подобныхъ имъ. Кромѣ того надо замѣтить, что смыслъ поэзіи Жуковского обозначился для общества позднѣе, уже при Пушкинѣ, а до тѣхъ поръ, особенно при началѣ поприща Жуковского, литература русская представляла собой смѣшеніе разныхъ элементовъ, новое и старое, дружно дѣйствовавшее: Капнистъ допѣвалъ свои длинныя элегическія разсужденія въ стихахъ; Озеровъ сдѣлалъ изъ французской трагедіи все, что можно было сдѣлать изъ нея для Россіи, и въ лицѣ его французскій псевдо-классицизмъ совершилъ на Руси полный свой циклъ, такъ что Озеровъ былъ у насъ послѣднимъ даровитымъ его представителемъ; Крыловъ продолжалъ созданіе народной басни; Пушкинъ (Василій) считался однимъ изъ знаменитѣйшихъ поэтовъ; Батюшковъ, какъ талантъ сильный и самобытный, былъ неподражаемымъ творцомъ своей особенной поэзіи на Руси; князь Вяземскій былъ творцомъ особенной, такъ называемой свѣтской поэзіи и по справедливости почитался лучшимъ критикомъ своего времени, блестящимъ, живымъ и несвязаннымъ классической схоластикой, которая такъ много повредила критическому вліянію Мерзлякова на общество. Съ появленіемъ Пушкина все измѣнилось, и новое поколѣніе рѣзче, чѣмъ когда-либо, отдѣлилось отъ стараго. Между прочими элементами началъ проникать въ русскую литературу элементъ историческій и сатирическій, въ которомъ выразилось стремленіе общества къ самосознанію. Пользуясь этимъ направленіемъ времени, нѣкоторые ловкіе литературщики съ успѣхомъ пустили въ ходъ разныя правоописательныя, нравственно-сатирическія и исправительно-историческія романы и повѣсти, которые будто-бы изображали Русь, но въ которыхъ русскаго было одни собственные имена разныхъ Совѣсдраловъ и резонѣровъ. Но тутъ были и достойныя уваженія исключенія, изъ которыхъ самое яркое—романы и повѣсти талантливаго, но не развившагося Нарѣжнаго. Въ Гоголѣ это направленіе нашло себѣ вполне достойнаго и могучаго представителя.

Но мы здѣсь пишемъ не исторію русской литературы, а только слегка обозначаемъ моментальную послѣдовательность общественнаго развитія, которое въ каждомъ поколѣніи имѣло своего представителя. Еще и теперь есть люди, которые съ восторгомъ

повторяютъ монологи изъ «Димитрія Самозванца» и «Хорева» и даже печатаютъ восторженные книжки о поэтическомъ гениѣ Сумарокова: эти люди—утлые остатки нѣкогда юнаго, живого и многочисленнаго поколѣнія; въ ихъ хрипломъ старческомъ голосѣ, въ ихъ запоздалыхъ восторгахъ слышится голосъ невозвратно прошедшаго для насъ времени. Другіе вздыхаютъ о «Титовомъ Милосердіи», «Рославлѣ» и «Сбитеньщикѣ» Княжнина, говоря про себя: «что теперь пишутъ—и читать нечего!» Третья со слезами на глазахъ, но уже не споря, говорятъ равнодушному новому поколѣнію о томъ, что послѣ «Эдипа», «Димитрія Донскаго», «Поликсены» и «Фингала» не зачѣмъ и ѣздить въ театръ. Есть люди, для которыхъ русская поэзія умерла съ Ломоносовымъ и Державиннымъ, и которые хотя не оспариваютъ заслугъ Жуковского, однако и не охотно говорятъ о нихъ. Есть люди, которые не иначе могутъ восхищаться Жуковскимъ, какъ отрицая всякое поэтическое достоинство въ Пушкинѣ. Но сколько теперь такихъ, которые, юношами встрѣтивъ первыя опыты таланта Пушкина, остановились на Пушкинѣ, не въ силахъ ни на шагъ двинуться впередъ и откровенно признаются, что не видятъ ничего особеннаго и необыкновеннаго въ Гоголѣ. Другіе же, которыхъ первыя созданія Гоголя застали еще въ порѣ юности, въ порѣ живой и быстрой восприимчивости впечатлѣній и способности умственного движенія,—высоко цѣнятъ и Пушкина, и Гоголя; но даже и не подозреваютъ существеннаго значенія Лермонтова. Это впрочемъ не значитъ, чтобы они не признавали въ Лермонтовѣ таланта: нѣтъ, кто отъ поэзіи Пушкина перешелъ черезъ поэзію Гоголя, тотъ уже по неволѣ видитъ дальше и глубже людей, оставившихся на Пушкинѣ, и не можетъ не восхищаться опытами Лермонтова; но восхищаться поэтомъ и понимать его—это не всегда одно и то же... И всѣ эти поклонники разныхъ мнѣній живутъ въ одно и то же время, раздѣляясь на пестрыя группы представителей и прошедшихъ уже, и проходящихъ, и существующихъ еще поколѣній... И ихъ существованіе есть признакъ жизни и развитія общества, въ которое царственный Преобразователь-Зиждитель вдохнулъ душу живу, да живетъ вѣчно!... И чѣмъ больше количество, чѣмъ пестрѣе разнообразіе представителей прошедшихъ вкусовъ и мнѣній,—тѣмъ ярче и поразительнѣе выказывается жизненность общественнаго развитія. Отсталые могутъ возбуждать сожалѣніе и состраданіе, какъ люди заживо умершіе, какъ драхлый старецъ, окруженный однѣми могилами милыхъ ему существъ, живущій одними воспоминаніями

о невозвратно прошедшей порѣ счастья, чуждый и холодный для всѣхъ надеждъ и ободвленій, которыми кипятъ не-родныя ему новыя поколѣнія; но едва ли справедливо было бы презирать этихъ отсталыхъ, а тѣмъ болѣе обвинять ихъ. Благо тому, кто, «отличенный Зевеса любовію», неугасимо носить въ сердцѣ своемъ Прометеевъ огонь юности, всегда живо сочувствуя свободной идее и никогда не покоряясь оцѣняющему времени или мертвящему факту, — благо ему: ибо эта божественная способность нравственной подвижности есть столько же рѣдкій, сколько и драгоценный даръ неба, и не многимъ избраннымъ ниспосылается онъ! Прочувствовать великаго поэта, вполне выразившаго собой моментъ общественнаго развитія, — это значитъ пережить цѣлую жизнь, принять въ себя цѣлый, отдѣльный и самобытный міръ мысли, слѣдовательно дать своему нравственному существованію особенную настроенность, отлить духъ свой въ особую форму. И потому только слишкомъ глубокая и сильная натура способна бываетъ принимать въ себя все, ничѣмъ не переполняясь, и носить въ груди своей цѣлые міры, всегда жаждая новыхъ. По большей части людямъ трудно отрываться отъ того, что разъ наполнило ихъ, разъ овладѣло ими, и они враждебно, какъ на ересь, смотрятъ на то, что наполняетъ и владѣетъ уже чуждыми имъ поколѣніями. Всякая литература не безъ живыхъ примѣровъ въ этомъ родѣ. Такъ иной пожилой критикъ, сидевшій поборникъ высшихъ взглядовъ и новыхъ идей, а теперь отсталый обскурантъ, такъ же точно и тѣми же словами нападаетъ на новаго великаго поэта и его почитателей, какъ нѣкогда нападали люди стараго поколѣнія на прежняго великаго поэта и его почитателей... Онъ и не подозреваетъ, что онъ повторяетъ жалкую роль тѣхъ самыхъ людей, которыхъ нѣкогда можетъ быть онъ первый заклеилъ именемъ «отсталыхъ», что онъ теперь бросаетъ въ молодое поколѣніе той же грязью, которой нѣкогда пхыряли въ него классическіе парики, и что, подобно имъ, онъ только себя мараетъ этой грязью... Такое зрѣлище можетъ возбуждать лишь болѣзненное состраданіе — больше ничего.

На такія мысли навела насъ маленькая книжка Баратынскаго, названная имъ «Сумерками». Все, сказанное нами, — нисколько не отступление отъ предмета статьи, не вступленіе съ яицъ Леды: нѣтъ, эти мысли возбудила въ насъ поэтическая дѣятельность Баратынскаго, и подъ вліяніемъ этихъ мыслей хотимъ мы рассмотреть ее критически. Кто скоро ѣдетъ, тому кажется, что онъ стоитъ, а все мимо его мчится: вотъ

почему Россія и не замѣтена въ собственный ходъ, между тѣмъ какъ она не только не стоитъ на одномъ мѣстѣ, но, напротивъ, движется впередъ съ неимоверной быстротой. Эта быстрота движенія выразилась и въ литературѣ. Голова кружится, когда подумаешь о разстояніи, которое раздѣляетъ предпрошлое десятилѣтіе (1820—1830) отъ прошлаго (1830—1840); а прошлое десятилѣтіе — отъ этихъ двухъ протекшихъ лѣтъ настоящаго! Подлинно скажешь:

Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ!

Давно ли было наводненіе альманаховъ, которое затопило было всѣ бібліотеки; давно ли издавался «Телеграфъ», котораго мнѣнія были такъ новы и глубоки, и который такъ справедливо величался своимъ чрезвычайнымъ расходомъ, опираясь на 1200 постоянныхъ подписчиковъ? Давно ли литература наша гордилась такимъ множествомъ (увы! забытыхъ теперь) знаменитостей, которые были потому велики, что одна написала плохую романтическую трагедію и дюжину водяныхъ жемчугъ; другая издала альманахъ, третья затѣяла листокъ, четвертая напечатала отрывокъ изъ неоконченной поэмы, пятая тиснула въ пріятельскомъ журналѣ нѣсколько невинныхъ и довольно пріятныхъ рассказовъ?... Давно ли Марлинскій былъ гениемъ? Давно ли повѣсти не только Полевого, но и Погодина считались необходимымъ украшеніемъ и альманаха, и журнала? Давно ли на «Ивана Выжигина» смотрѣли чуть-чуть не какъ на гениальное сочиненіе? Давно они наводять на грустную думу о неостоянствѣ этого тревожнаго міра...

Нѣтъ, еще одинъ вопросъ! Давно ли Баратынскій, вмѣстѣ съ Языковымъ, составлялъ блестящій триумвиратъ, главой котораго былъ Пушкинъ? А между тѣмъ, какъ уже давно одинокою стоитъ колоссальная тѣнь Пушкина и мимо своихъ современниковъ и сподвижниковъ подаетъ руку поэту новаго поколѣнія, котораго талантъ засталъ и оцѣнилъ Пушкинъ еще при жизни своей!.. Давно ли каждое новое стихотвореніе Баратынскаго, явившееся въ альманахѣ, возбуждало вниманіе публики, толки и споры рецензентовъ?.. А теперь тихо, скромно появляется книжка съ послѣдними стихотвореніями того же поэта — и о ней уже не говорятъ и не спорятъ, о ней едва упомянули въ какихъ-нибудь двухъ журналахъ, въ отчетѣ о выходѣ разныхъ книгъ, стихотворныхъ и прозаическихъ... Да не подумаютъ, что мы этимъ хотимъ сказать, что дарованіе Баратынскаго не значительно, что оно пользовалось незаслуженной славой: нѣтъ, мы далеки отъ подобнаго мнѣнія; мы высоко уважаемъ яркій, замѣчательный та-

лантъ поэта уже чуждаго намъ поколѣнія, и потому именно, что уважаемъ его, хотимъ въ обзорѣни его поэтической дѣятельности показать, почему его произведенія, будучи и теперь изящными, какъ и всегда были, уже не имѣютъ теперь той цѣны, какую имѣли прежде.

Такія явленія имѣютъ всегда двѣ причины: одна заключается въ степени таланта поэта, другая—въ духѣ эпохи, въ которую дѣйствовалъ поэтъ. Никто не можетъ стать выше средствъ, данныхъ ему природою; но историческій и общественный духъ эпохи или возбуждаетъ природныя средства дѣйствителя до высшей степени свойственной имъ энергій, или ослабляетъ и парализируетъ ихъ, заставляя поэта сдѣлать меньше, чѣмъ бы онъ могъ. Отношенія поэта къ его эпохѣ бываютъ двояки: или онъ не находитъ въ ея сферѣ жизненнаго содержанія для своего таланта; или, не слѣдя за современнымъ духомъ, онъ не можетъ воспользоваться тѣмъ жизненнымъ содержаніемъ, какое могла бы представить его таланту эпоха. Въ каждомъ изъ этихъ случаевъ результатъ одинъ—безвременный упадокъ таланта и безвременная утрата справедливо стяжанной славы. Открытіе причинъ такого печальнаго конца блестящимъ образомъ начатаго поприща не принесетъ пользы поэту, о которомъ идетъ дѣло; но уроки прошедшаго полезны для настоящаго и будущаго,—и одна изъ обязанностей основательной критики—обращать вниманіе на такіе уроки.

Было время, когда русская критика состояла изъ замѣтокъ объ отдѣльных стихахъ. «Какой гармоническій стихъ! какъ удачно воспользовался поэтъ звукоподражаніемъ: въ этомъ стихѣ слышенъ рокотъ грома и завываніе вѣтра! Но слѣдующій затѣмъ стихъ оскорбляетъ слухъ какофоніей, и притомъ послѣ отрицательной частицы не поставленъ вѣдательный падежъ, вмѣсто родительнаго. А вотъ въ этомъ стихѣ и ударенія неправильны, и усѣченія многочисленны; конечно піитическія вольности дозволяются стихотворцамъ, но онѣ должны имѣть свои границы. Какъ удачно вотъ въ этомъ стихѣ выражена нѣжность пастушки, и сколько простодушія и невинности въ ея отвѣтѣ!» Такъ или почти такъ критиковали поетовъ наши аристархи добраго стараго времени. Съ двадцатыхъ годовъ текущаго столѣтія стали критиковать иначе. Вмѣсто филологическихъ, грамматическихъ и просодическихъ замѣтокъ, вмѣсто похвалъ или порицаній отдѣльно взятымъ стихамъ, стали дѣлать эстетическія замѣчанія на отдѣльныхъ мѣстахъ поэтическаго произведенія: такой-то характеръ выдержанъ, а такой-то не выдержанъ, такое-то мѣсто поразительно

своимъ драматизмомъ или своимъ лиризмомъ, а такое-то слабо, и т. п. Эта критика была большимъ шагомъ впередъ; но теперь и она неудовлетворительна. Теперь требуютъ отъ критики, чтобы, не увлекаясь частностями, она оцѣнила цѣлое художественнаго произведенія, раскрывъ его идею и показавъ, въ какомъ отношеніи находится эта идея къ своему выраженію, и въ какой степени изящество формы оправдываетъ вѣрность идеи, а вѣрность идеи способствуетъ изяществу формы. Если же дѣло идетъ о цѣлой поэтической дѣятельности поэта, то отъ современной критики требуютъ не восклицаній вродѣ слѣдующихъ: «сколько души и чувства въ этой элегій г. Н., сколько силы и глубокости въ этой его одѣ, какими поразительными положеніями изобилуетъ его поэма, какъ вѣрно выдержаны характеры въ его драмѣ!» Нѣтъ, отъ современной критики требуютъ, чтобы она раскрыла и показала духъ поэта въ его твореніяхъ, прослѣдила въ нихъ преобладающую идею, господствующую думу всей его жизни, всего его бытія, обнаружила и сдѣлала яснымъ его внутреннее созерпаніе, его паеосъ.

Если мы скажемъ, что преобладающій характеръ поэзіи Баратынскаго есть элегическій, то скажемъ истину, но этимъ еще ничего не объяснимъ, ибо характеръ чьей бы то ни было поэзіи еще не составляетъ ея сущности, какъ фізіономія не составляетъ сущности человѣка, хотя и намекаетъ на нее. Чтобы объяснить то и другое, должно раскрыть идею и въ ней найти причину и разгадку характера и фізіономіи. Что такое элегическій тонъ въ чьей бы то ни было поэзіи?—грустное чувство, которымъ проникнуты созданія поэта. Но чувство само по себѣ еще не составляетъ поэзіи: надо, чтобы чувство было рождено идей и выражало идею. Безсмысленныя чувства—удѣлъ животныхъ; они унижаютъ человѣка. Къ чести Баратынскаго должно сказать, что элегическій тонъ его поэзіи происходитъ отъ думы, отъ взгляда на жизнь, и что этимъ самымъ онъ отличается отъ многихъ поетовъ, вышедшихъ на литературное поприще вмѣстѣ съ Пушкинымъ. Разсмотримъ же идею, которая проникаетъ собой созданія Баратынскаго и составляетъ паеосъ его поэзіи. Возьмемъ для этого одно изъ лучшихъ, хотя и позднѣйшихъ его произведеній—«Послѣдній Поэтъ». Въ этой пьесѣ поэтъ высказался весь, со всей тайной своей поэзіи, со всѣми ея достоинствами и недостатками. Разберемъ же ее всю отъ слова до слова.

Вѣкъ шествуетъ путемъ своимъ желѣзнымъ,
Въ сердцахъ корысть, и общая мечта
Часть отъ часу насущнымъ и полезнымъ
Отчетливѣй, безстыднѣй занята.

И лица не измѣнило
Съ дня, въ который Аполлонъ
Поднялъ вѣчное свѣтило
Въ первый разъ на небосклонъ.

Эти стихи такъ хороши, такъ хороши, что напоминаютъ собою строфы, переведенныя Жуковскимъ изъ стихотвореній Шиллера, посвященныхъ древнему міру.

Оно шумитъ передъ скалой Левкада.
На ней пѣвецъ, мятежной думы полнъ,
Стоитъ... въ очахъ блеснула вдругъ отрада:
Сія скала... тѣнь Сафо!.. голосъ воли!..
Гдѣ погребла любовница Фаона
Отверженной любви несчастный жаръ,
Тамъ погребетъ питомецъ Аполлона
Свои мечты, свой *безполезный* даръ!

Именно—безполезный даръ!..

И по прежнему блистаетъ
Хладной роскошю свѣтъ:
Серебрить и позлащаетъ
Свой безжизненный скелетъ;
Но въ смущеніе приводитъ
Человѣка гласъ морской,
И отъ шумныхъ водъ отходитъ
Онъ съ тоскующей душой!

Опять повторяемъ: какіе дивные стихи! Что, еслибы они выражали собою истинное содержаніе! О тогда это стихотвореніе казалось бы произведеніемъ огромнаго таланта! А теперь, чтобы насладиться этими гармоническими, полными души и чувства, стихами, надо сдѣлать усиліе: надо заставить себя стать на точку зрѣнія поэта, согласиться съ нимъ на минуту, что онъ правъ въ своихъ воззрѣніяхъ на поэзію и науку; а это теперь рѣшительно невозможно. И оттого впечатлѣніе ослабѣваетъ, удивительное стихотвореніе кажется обыкновеннымъ.

Бѣдный вѣкъ нашъ—сколько на него напало, какимъ чудовищемъ считаютъ его! И все это за желѣзныя дороги, за пароходы—эти великія побѣды его, уже не надъ матеріей только, но надъ пространствомъ и временемъ! Правда, духъ меркантильности уже черезчуръ овладѣлъ имъ; правда, онъ уже слишкомъ низко поклоняется золоту тельцу; но это отнюдь не значитъ, чтобъ человѣчество дряхлѣло и чтобъ нашъ вѣкъ выржалъ собою начало этого дряхлѣнія: нѣтъ, это значитъ только, что человѣчество въ XIX вѣкѣ вступило въ переходный моментъ своего развитія, а всякое переходное время есть время дряхлѣнія, разложенія и гніенія. И пусть за этимъ дряхлѣніемъ послѣдуетъ смерть—что нужно! Человѣчество совѣмъ не то, что человѣкъ: умирая, человѣкъ уже не существуетъ болѣе на землѣ; но человѣчество, какъ идеальная личность, составляющаяся изъ миллионовъ реальныхъ личностей, которыя если и убываютъ, зато и прибываютъ,—человѣчество старымъ и дряхлымъ

умираетъ на землѣ для того, чтобъ на землѣ же воскреснуть юнымъ и крѣпкимъ. Уже не разъ оно было и младенцемъ, и юношей, мужемъ и старцемъ, умирало и воскресало, подобно фениксу, изъ собственнаго пепла. Развѣ послѣдніе дни древне-языческаго міра, дни отъ царствованія Августа почти до царствованія Августула, не были днями разложенія, гніенія и смерти, и развѣ за ними не послѣдовало воскресенія и новаго младенчества человѣчества? Развѣ послѣдовавшіи потомъ девять столѣтій не были эпохой пылкой юности человѣчества, а съ пятнадцатаго вѣка не вступило оно въ свой возрастъ мужества? Восемнадцатый вѣкъ былъ вѣкомъ его старости... А сколько было частныхъ смертей, означившихъ собою эпоху перелома и возрожденія? И развѣ не было эпохами смерти—крестовые походы, когда вся Европа въ ужасѣ ожидала страшнаго суда, и всѣ народы ея двинулись въ Азію, чтобы въ своей колыбели найти и свой гробъ; или тридцатилѣтняя война, когда выжженная, обгорѣлая Германія походила на разграбленный стантъ?... Итакъ, думать, что человѣчество когда-нибудь умретъ, и что нашъ вѣкъ есть его предсмертный вѣкъ,—значитъ не понимать, что такое человѣчество, значитъ не имѣть высокой вѣры въ его высокое значеніе... Если нашъ вѣкъ и индустриаленъ по преимуществу, это нехорошо для нашего вѣка, а не для человѣчества: для человѣчества же это очень хорошо, потому что черезъ это будущая общественность его упрочиваетъ свою побѣду надъ своими древними врагами—матеріей, пространствомъ и временемъ. При этомъ не худо не забывать, что нашъ индустриальный вѣкъ гордо называетъ своими сынами Гёте, Бетховена, Байрона, Вальтеръ-Скотта, Купера, Беранже и многихъ другихъ художниковъ. Неужели же это—все послѣдніе поэты?.. Много же ихъ!.. Мы еще понимаемъ трусливыя опасенія за будущую участь человѣчества тѣхъ недостаточно вѣрующихъ людей, которые думаютъ предвидѣть его гибель въ индустриальности, меркантильности и поклоненіи тельцу золоту; но мы никакъ не понимаемъ отчаянія тѣхъ людей, которые думаютъ видѣть гибель человѣчества въ наукѣ. Вѣдь человѣческое знаніе состоитъ не изъ одной математики и технологии, вѣдь оно прилагается не къ одинымъ желѣзнымъ дорогамъ и машинамъ... Напротивъ, это только одна сторона знанія, это еще только низшее знаніе,—высшее объемлетъ собою міръ нравственный, заключаетъ въ области своего вѣдѣнія все, чѣмъ высоко и свято бытіе человѣческое, все, что составляетъ достоинство и величіе имени человѣческаго, всѣ тѣ великіе вопросы, которые присущи самой натурѣ человѣка, съ которыми онъ рождается и кото-

рые носить въ груди своей... Кромѣ математики и технологии, есть еще философія и исторія, одна какъ наука развитія въ мышленіи современныхъ и безплотныхъ идей; другая—какъ наука осуществленія въ фактахъ, въ дѣйствительности, развитія этихъ современныхъ идей, таинственныхъ и первосущныхъ матерей всего сущаго, всего рождающагося и умирающаго и, несмотря на то, вѣчно живущаго!..

Намъ можетъ быть скажутъ, что стихотвореніе не есть философская система, и что особенно по одному стихотворенію нельзя заключать о мыслительномъ возрѣніи поэта на міръ. На первое мы дадимъ отвѣтъ ниже; вмѣсто же отвѣта на второе перейдемъ къ другимъ стихотвореніямъ Баратынскаго: они отвѣтятъ за насъ.

*Пока человекъ естества не пыталъ
Горилкомъ, вѣсами и мѣрой;
Но отъски вѣщаньямъ природы внималъ,
Ловилъ ея знаменья въ отрой;
Покуда природу любилъ онъ, она
Любовью ему отвѣчала,
О немъ дружеской заботы полна,
Языкъ для него обрѣтала.
Почуя бѣду надъ его головой,
Вранъ каркалъ ему въ опасенье,
И замысла, въ пору смирясь предъ судьбой,
Воздерживалъ онъ дерзновение.
На путь ему выбѣжавъ изъ лѣсу, волкъ,
Брутаясь и подъявля щетину,
Побѣду пророчилъ, и смѣло свой полкъ
Бросалъ онъ на вражью дружину.
Чета голубиная, вѣя надъ нимъ,
Блаженство любви прорицала:
Въ пустынь безлюдной онъ не былъ однимъ,
Не чуждая жизнь въ ней дышала.
Но чувство презрѣвъ, онъ доверилъ уму;
Вдался въ суету изысканій...
И сердце природы закрылось ему,
И нѣтъ на землѣ прорицаній!*

Коротко и ясно: все наука виновата! Безъ нея мы жили бы не хуже прокезовъ... Но хорошо ли, но счастливо ли живутъ прокезы, безъ науки и знаній, безъ довѣренности къ уму, безъ науки изысканій, съ уваженіемъ къ чувству, съ томагоукомъ въ рукѣ и въ вѣчной рѣзкѣ съ подобными себѣ? Нѣтъ ли и у нихъ, у этихъ счастливыхъ, этихъ блаженныхъ прокезовъ, своей «суеты испытаній», нѣтъ ли у нихъ своихъ понятій о чести, о правѣ собственности, своихъ мученій честолюбія, славолюбія? И всегда ли вранъ успѣваетъ предупредить ихъ отъ бѣды, всегда ли волкъ пророчить имъ побѣду? Точно ли они — невинныя дѣти матери-природы?... Увы, нѣтъ, а тысячу разъ нѣтъ!.. Только животныя безсмысленныя, руководимыя однимъ инстинктомъ, живутъ въ природѣ и природой. Дикарь-человѣкъ татуируетъ свое тѣло, пронзаетъ свои ноздри и уши (въ послѣднемъ недалеко ушелъ отъ него и просвѣщенный европеецъ, по крайней мѣрѣ въ лицѣ своего прекраснаго пола,—

знакъ, что еще много ему работы для освобожденія себя отъ первобытнаго варварства), пронзаетъ свои ноздри и уши, чтобы украшать ихъ блестящими привѣсками: варварство и грубость—безъ сомнѣнія; но уже этимъ самымъ варварствомъ онъ стоитъ выше животнаго. Животное рождается готовымъ; чего не вырастетъ на немъ, того не придѣлаетъ оно себѣ искусственно; оно не можетъ сдѣлаться ни лучше, ни хуже того, какимъ создала его природа. Человѣкъ бываетъ животнымъ только до появленія въ немъ первыхъ признаковъ сознанія; съ этой поры онъ отдѣляется отъ природы и, вооруженный искусствомъ, борется съ ней всю жизнь свою. Это мы видимъ на дикаряхъ: они—тѣ же люди, что и просвѣщенные европейцы, и существенное ихъ различіе отъ послѣднихъ заключается только въ томъ, что ихъ искусственность неразумна: озарите ихъ свѣтомъ разума, и они свое татуированіе замѣнятъ одеждой, т. е. ложную искусственность замѣнятъ истинной. Но въ самыхъ дикостяхъ и нецѣлостяхъ этихъ несчастныхъ дѣтей природы видно уже порываніе выйти изъ оковъ природы, порываніе отъ инстинкта къ разуму. Въ XVIII вѣкѣ величайшіе умы были наклонны видѣть въ дикаряхъ образецъ неиспорченной человѣческой природы; тогда эта мысль, вызванная крайностью гниващаго въ ложной искусственности европейскаго общества, была и нова, и блестяща. Въ XIX вѣкѣ эта мысль и стара, и пошла.

Все мысль, да мысль! художникъ бѣдный слова!

О жрець ея! тебѣ забвенья нѣтъ;
Все тутъ, да тутъ, и человекъ, и свѣтъ,
И смерть, и жизнь, и правда безъ покрова.
Рѣзецъ, органъ, кисть! счастливъ, кто влекомъ
Къ нимъ чувственнымъ, за грань ихъ не ступая!

Есть хмѣль ему на праздникъ земномъ!
Но предъ тобою, какъ предъ нами мечомъ,
Мысль, острый лучъ! блѣднѣетъ жизнь земная!

И это понятіе объ отношеніи мысли къ искусству совершенно гармонируетъ съ понятіями Баратынскаго объ отношеніи ума къ чувству, науки—къ жизни. Что такое искусство безъ мысли? — То же самое, что человѣкъ безъ души,—трупъ.. И почему разумъ и чувство—начала враждебныя другъ другу? Если они враждебны, то одно изъ нихъ — лишнее бремя для человѣка. Но мы видимъ и знаемъ, что глупцы бываютъ лишены чувства, а безчувственные люди не отличаются умомъ. Мы видимъ и знаемъ, что преимущественное развитіе чувства насчетъ ума дѣлаетъ человѣка, самымъ счастливымъ образомъ одареннаго отъ природы, или фанатикомъ-звѣремъ, или старой бабой, суевѣрной и слабоумной; такъ же, какъ одинъ умъ безъ чувства дѣлаетъ человѣка или безнравствен-

нымъ существомъ, эгоистомъ или сухимъ діалектикомъ, безжизненнымъ педантомъ, который во всемъ видитъ однѣ логическія формальности и ни въ чемъ не видитъ души и содержанія. Очевидно, что разумъ и чувство—двѣ силы, равно нуждающіяся другъ въ другѣ, мертвыя и ничтожныя одна безъ другой. Чувство и разумъ—это земля и солнце: земля въ своихъ таинственныхъ нѣдрахъ скрываетъ растительную силу и всѣ зародыши плодовъ своихъ; солнце возбуждаетъ ея растительную силу — и радостно рвутся на свѣтъ его изъ темной орковой страны зеленѣющіе стебли ея порожденій... Такъ въ груди человѣка—въ этомъ подземномъ царствѣ темныхъ предчувствій и нѣмыхъ ощущеній, скрываются, словно въ землѣ, корни всѣхъ нашихъ живыхъ стремленій и страстныхъ помысловъ; но только свѣтъ разума можетъ и развивать, и крѣпить, и просвѣтлять эти ощущенія и чувства до мысли,—безъ него они остаются или животнымъ инстинктомъ, или дикими страстями, черными демонами, устрояющими гибель человѣка... Чувство въ свою очередь есть дѣйствительность разума, какъ тѣло есть реальность души: безъ чувства идеи холодны, свѣтять, а не грѣютъ, лишены жизненности и энергіи, неспособны перейти въ дѣло. Итакъ, полнота и совершенство человѣческой натуры заключаются въ органическомъ единствѣ разума и чувства. Горе дому, который раздѣляется самъ на себя; горе человѣку, въ которомъ чувство возстанетъ на разумъ или разумъ возстанетъ на чувство! И однакожь это горе неизбежное, необходимое, и мертвъ, ничтоженъ тотъ человѣкъ, который не испыталъ его! Чувство по натурѣ своей стремится къ положенію, любить останавливаться на положительныхъ результатахъ; разумъ контролируетъ положенія чувства и, если не найдетъ ихъ основательными, отрицаетъ ихъ. Отсюда происходитъ мука сомнѣнія. Но безъ этого сомнѣнія человѣкъ, остановившись разъ на извѣстномъ положеніи, и закоснѣлъ бы въ немъ, не двигаясь впередъ, слѣдовательно не развиваясь,—не дѣлался бы изъ младенца отрокомъ, изъ отрока—юношей, изъ юноши—мужемъ, изъ мужа—старцемъ, но до смерти своей оставался бы младенцемъ. Духъ сомнѣнія гонитъ человѣка отъ одного опредѣленія къ другому,—и благо тому, кто сомнѣвался въ извѣстныхъ истинахъ, не сомнѣваясь въ существованіи истины, ибо истины переходящи, но истина вѣчна!

Помнится намъ, Баратынскій гдѣ-то сказалъ что-то вродѣ слѣдующей мысли: положеніе поэта трудно потому, что въ одно и то же время онъ находится подъ противоположнымъ вліяніемъ огненной творческой фантазіи и обливающего холодомъ разсудка.

Мысль, не скажемъ несправедливая, но не точная: обливающий холодомъ разсудокъ дѣйствительно входитъ въ процессъ творчества, но когда? — въ то время, когда еще поэтъ вынашиваетъ въ себѣ концепирующееся свое твореніе, слѣдовательно прежде нежели приступить къ его изложенію, ибо поэтъ излагаетъ уже готовое произведеніе. Разумѣется, здѣсь должно предполагать высшіе таланты, потому что только низшіе сочиняютъ съ перомъ въ рукѣ, еще не зная сами, что сочиняютъ они; или затрудняются въ выраженіи собственныхъ идей. Истинный поэтъ тѣмъ и великъ, что свободно даетъ образъ каждой глубоко прочувствованной имъ идеѣ, выражаетъ словомъ постижимое для одного ума и невыразимое для каждого, кто не поэтъ.

Этотъ несчастный раздоръ мысли съ чувствомъ, истины—съ вѣрованіемъ составляетъ основу поэзіи Баратынскаго, и почти всѣ лучшія его стихотворенія прочищены имъ. Въ одномъ изъ нихъ ему предстаетъ въ горькую минуту истина и общается успокоить путемъ холоднаго безстрастія. Она говоритъ поэту.

Пускай со мной ты сердца жаръ погубишь,
Пускай, узнавъ людей,
Ты можешь быть, испуганный, разлюбилъ
И ближнихъ, и друзей.
Я бытія всѣ прелести разрушу,
Но умъ наставлю твой,
Я оболю суровымъ холодомъ душу,
Но дамъ душѣ покой.

Поэтъ въ трепетѣ отказывается отъ страшнаго дара «неземной гостни»; но въ заключеніи проситъ его у ней такъ:

.....Когда мое свѣтило
Во звѣздной вышинѣ
Начнетъ блѣднѣть, а все, что сердцу мило,
Забить придется мнѣ,
Явись тогда! открой мнѣ очи,
Мой разумъ просвѣти,
Чтобъ, жизнь презрѣвъ, я могъ въ обитель
ночи

Безропотно сойти.

Такъ, въ другомъ стихотвореніи поэтъ окриляетъ надеждами оболъченной безумную юность, но, обращаясь къ «знающимъ», говоритъ:

Но вы, судьбину испытавшіе,
Тщету надеждъ, печали власть,
Вы знанье бытія пріявшіе
Себѣ на тягостную часть!
Гоните прочь ихъ рой прельстительный;
Такъ! доживайте жизнь въ тиши,
И берегите хладъ спасительный
Своей бездѣйственной души.
Своимъ безчувствіемъ блаженные,
Какъ трупы мертвыхъ изъ гробовъ,
Волхвы, словами пробужденные,
Встаютъ со скрежетомъ зубовъ;
Такъ вы, согрѣвъ въ душѣ желанія,
Безумно вдавнись въ ихъ обманъ,
Проснетесь только для страданія
Для боли новой прежнихъ ранъ.

Большое, отличающееся превосходными стихами, стихотвореніе «Послѣдняя Смерть» есть апофеоза всей поэзіи Баратынскаго. Въ немъ вполне выразилось его міросозерцаніе. Поэтъ представляетъ въ яркой картинѣ кипящій жизнью міръ; потомъ, въ другой картинѣ—увяданіе міра, а въ третьей—

Прошли вѣка, и тутъ момъ очамъ
Открылася ужасная картина:
Ходила смерть по сушѣ, по водамъ,
Свершалася живущая судьбина.
Гдѣ люди, гдѣ? скрывались въ гробахъ!
Какъ древніе столпы на рубежахъ,
Послѣднія семейства истлѣвали;
Въ развалинахъ стояли города,
По пажитямъ загловнувшимъ блуждали
Безъ пастырей безумныя стада;
Съ людьми для нихъ исчезло пропитанье.
Мнѣ слышалось ихъ голодное блѣянье.
И тишина глубокая во стѣдъ
Торжественно повсюду воцарилась,
И въ дикую порфиру древнихъ лѣтъ
Державная природа облачилась.
Величественъ и грустенъ былъ *позоръ* (?)
Пустынныхъ водъ, лѣсовъ, долинъ и горъ.
По прежнему животворя природу,
На небосклонъ свѣтло дни взошло;
Но на землѣ ничто его восходу
Произнести привѣта не могло:
Одинъ туманъ надъ ней, снѣга, вился
И жертвою чистительной дымился.

Великолѣпная фантазія, но не болѣе, какъ фантазія! И главный ея недостатокъ заключается въ томъ, что она вездѣ является чернымъ демономъ поэта. Жизнь какъ добыча смерти, разумъ какъ врагъ чувства, истина какъ губитель счастья,—вотъ откуда протекаетъ элегическій тонъ поэзіи Баратынскаго, и вотъ въ чемъ ея величайшій недостатокъ. Зданіе, построенное на пескѣ, не долговѣчно; поэзія, выразившая собой ложное состояніе переходнаго поколѣнія, и умираетъ съ тѣмъ поколѣніемъ, ибо для слѣдующихъ не представляетъ никакого сильнаго интереса въ своемъ содержаніи. Мало того: сдѣлавшись органомъ ложнаго направленія, она лишается той силы, которую могъ бы сообщить ей талантъ поэта. Конечно этотъ раздоръ мысли съ чувствомъ явился у поэта не случайно,—онъ заключался въ его впохѣ. Кто не знаетъ и не помнитъ Пушкинскаго «Демона»? Пушкинъ, какъ первый великій поэтъ русскій, котораго поэзія выходила изъ жизни, первый и встрѣтился съ демономъ. «Печальны были наши встрѣчи!» восклицаетъ онъ о своемъ демонѣ.

Его улыбка, чудный взглядъ,
Его лживыя рѣчи
Вливали въ душу хладный ядъ.
Неностимой клеветой
Онъ провидѣнье искушалъ;
Онъ звалъ прекрасное мечтою;
Онъ вдохновенье презиралъ;
Не вѣрилъ онъ любви, свободѣ,
На жизнь насмѣшливо глядѣлъ—
И ничего во всей природѣ
Благословить онъ не хотѣлъ.

Въ самомъ дѣлѣ это страшный демонъ, особенно для перваго знакомства! Впрочемъ онъ опасенъ не тѣмъ, что онъ на самомъ дѣлѣ, а тѣмъ, чѣмъ онъ можетъ показаться человѣку. Люди имѣютъ слабость смѣшивать свою личность съ истиной: усомнившись въ своихъ истинахъ, они часто перестаютъ вѣрить существованію истины на землѣ. Вотъ тутъ-то демонъ и бываетъ опасенъ, тутъ-то онъ и губитъ людей. Отъ него можетъ спасти человѣка только глубокая и сильная, живая вѣра. Пусть онъ во всемъ разочаровался, пусть все, что любилъ и уважалъ онъ, оказалось недостойнымъ любви и уваженія, пусть все, чему горячо вѣрилъ онъ, оказалось призракомъ, а все, что думалъ знать онъ, какъ непреложную истину, оказалось ложью,—но да обвиняетъ онъ въ этомъ свою ограниченность или свое несчастіе, а не тщету любви, уваженія, вѣры, знанія! Пусть самое отчаяніе его въ тщетѣ истины будетъ для него живымъ свидѣтельствомъ его жажды истины, а его жажда—живымъ свидѣтельствомъ существованія истины: ибо чего нѣтъ, о томъ несродно страдать человѣческой натурѣ. Пусть прошло для него время познанія истины, и онъ откажется навсегда узрѣть ея обѣтованную землю, но пусть же не смѣшиваетъ онъ себя съ истиной и не думаетъ, что если она не для него, то уже и ни для кого. Но какъ же, скажутъ, вѣрить, если вся дѣйствительность есть отрицаніе всякой вѣры?... Дѣйствительность?—Но что такое дѣйствительность, если не осуществленіе вѣчныхъ законовъ разума? Всякая другая дѣйствительность—временное затменіе свѣта разума, болѣзненный витальный процессъ,—а развѣ можетъ быть вѣчное затменіе солнца, развѣ солнце не является послѣ затменія въ большемъ блескѣ и болѣе сильной лучезарности; развѣ страданіе, претерпѣваемое младенцемъ при прорѣзываніи зубовъ, бываетъ продолжительно и не составляетъ необходимаго временнаго зла для продолжительнаго добра? Скажутъ: младенцы часто умираютъ отъ процессовъ физическаго развитія. Правда, умираютъ младенцы, которые подчинены необходимо болѣзненнымъ процессамъ органическаго развитія и которые смертны, но не человѣчество, которое подчинено болѣзненнымъ процессамъ историческаго развитія и которое безсмертно. Надо уметь отличать разумную дѣйствительность, которая одна дѣйствительна, отъ неразумной дѣйствительности, которая призрачна и преходяща. Вѣра въ идею спасаетъ, вѣра въ факты губитъ. Есть люди, которые отрицаютъ добродѣтель и достоинство женщины, потому что случай сводилъ ихъ все съ пустыми и легкими женщинами, потому что они не знали ни одной женщины

высшей натуры. И это безвѣріе, какъ проклятіе, служить достойнымъ наказаніемъ безвѣрію, ибо въ душѣ благодатной долженъ заключаться идеалъ женщины,—въ дѣйствительности же должно искать не идеала, а только осуществленіе идеала; найти или не найти его, это дѣло случая. То же можно сказать и о людяхъ, которыхъ разложеніе и гніеніе элементовъ старой общественности, продажность, нравственный развратъ и оскудѣніе жизни и доблести въ современномъ—заставляютъ отчаиваться за будущую участь человечества... Здѣсь очевидно демонъ губить ихъ на фактъ, за которымъ они не видятъ идеи, не понимая, что умираетъ и гніетъ только отжившее, чтобы уступить мѣсто новому и живому. Еслибъ вмѣсто того, чтобы испугаться демона, они испытали его,—онъ указалъ бы имъ на послѣднее время умиравшей древности, которая въ амфитеатрахъ своихъ тѣшилась кровавымъ зрѣлищемъ, какъ звѣри терзаютъ христіанъ, и которая въ сѣбѣ потѣ своей не подозрѣвала, что этой побѣдой надъ мучениками она сама была побѣждена со своими ополчившимися богами... Тогда они поняли бы, что смерть старой истины еще не означаетъ смерти истины вообще... Демонъ по своей демонической натурѣ золь и насмѣшливъ. Онъ презираетъ безсиліе и веселится, терзая его; но онъ уважаетъ силу и сторицей воздастъ ей за временное зло, которымъ ее терзаетъ. Онъ служить и людямъ, и человечеству, какъ вѣчно движущая сила духа человѣческаго и историческаго. То страшный и мрачный, то веселый и злой, онъ, какъ Протей, неистощимъ въ формахъ своего проявленія, какъ Антей, неистощимъ въ своихъ средствахъ. Онъ внушалъ Сократу откровенія его нравственной философіи и помогалъ ему дурачить софистовъ ихъ же обоюдо-острымъ орудіемъ. Онъ внушалъ Аристофану его комедіи; онъ нашептывалъ риторы Лукіану его «Диалоги Боговъ»; онъ помогъ Колумбу открыть Америку; онъ изобрѣлъ порохъ и книгопечатанье; онъ продиктовалъ Ульриху Гуттену его злую сатиру «*Epistola obscurorum divorum*»; Бомарше—его «Фигаро», и много философскихъ сказокъ и сатирическихъ поэмъ продиктовалъ онъ Вольтеру; онъ уничтожилъ ошейники вассаловъ и рыцарскіе разбои феодальныхъ бароновъ, священную инквизицію и благочестивое ауто-да-фе. Гѣте схватилъ его только за хвостъ въ своемъ Мефистофель, а въ лицо только слегка взглянулъ ему. Зато колоссальный Байронъ, не трепеща, смотрѣлъ ему въ очи и гордо мѣрилъ съ нимъ силой духа и, какъ равный равному, подалъ ему руку на вѣчну дружбу. Изъ русскихъ поетовъ первый познакомился съ нимъ Пушкинъ, и тагостно

было ему его знакомство, и печальны были его встрѣчи съ нимъ... Онъ не палъ отъ него, но и не узналъ, не понялъ его... И не удивительно: ничто не дѣлается вдругъ. За то другой русскій поэтъ, явившійся уже по смерти Пушкина, не испугался этого страшнаго гостя; онъ знакомъ былъ съ нимъ еще съ дѣтства, и его фантазія съ любовью дѣлала этотъ «могучій образъ»; для него:

Какъ царь нѣмой и гордый, онъ сіялъ
Такой волшебной-сладкой красотою,
Что было страшно...

Онъ былъ избраннымъ героемъ пламеннаго бреда его юности, и ему посвятилъ онъ цѣлую поэмъ, гдѣ за всѣ утраченныя блага жизни этотъ страшный герой сулитъ открыть «пучину гордаго познания...»

Человѣкъ страшится только того, чего не знаетъ; знаніемъ побѣждается всякій страхъ. Для Пушкина демонъ такъ и остался темной, страшной стороною бытія, и такимъ является онъ въ его созданіяхъ. Поэтъ любилъ обходить его, сколько было возможно, и потому онъ не высказался весь и унесъ съ собою въ могилу много нетронутыхъ струнъ души своей; но, какъ натура сильная и великая, онъ умѣлъ, сколько можно было, вознаградить этотъ недостатокъ, тогда какъ другіе поэты, вышедшіе съ нимъ вмѣстѣ на поэтическую арену, пали жертвой неузнаннаго и неразгаданнаго ими духа, и для нихъ навсегда мысль осталась врагомъ чувства, истина—ничомъ счастья, а мечта и ребяческіе сны поэзіи—высшимъ блаженствомъ жизни...

Изъ всѣхъ поетовъ, появившихся вмѣстѣ съ Пушкинымъ, первое мѣсто безспорно принадлежитъ Баратынскому. Несмотря на его вражду къ мысли, онъ по натурѣ своей призванъ быть поетомъ мысли. Такое противорѣчіе очень понятно: кто не мыслитель по натурѣ, тотъ о мысли и не хлопочетъ; борется съ мыслью тотъ, кто не можетъ овладѣть ею, стремясь къ ней всѣми силами души своей. Эта невыдержанная борьба съ мыслью много повредила таланту Баратынскаго: она не допустила его написать ни одного изъ тѣхъ твореній, которые признаются капитальными произведеніями литературы, и если не навѣчно, то надолго переживаютъ своихъ творцовъ.

Взглянемъ теперь на нѣкоторые стихотворенія Баратынскаго со стороны мысли. Въ посланіи къ Г-чу поэтъ говоритъ:

Врагъ суетныхъ утѣхъ и врагъ утѣхъ позорныхъ,
Не уважаешь ты бездѣлокъ стихотворныхъ,
Не угодитъ тебѣ сладчайшій изъ пѣвцовъ
Развратной прелестью изнѣженныхъ стиховъ:
Возвышенную цѣль поэтъ избралъ обязанъ.

Затѣмъ онъ объясняетъ Г-чу, почему не можетъ принять его вызова—

Оставить мирный слогъ
И, ѣдкой жолчію напитывая строки,
Сатирою возстать на глупость и пороки.

И чѣмъ же?—Тѣмъ, что сатирой можно на-
жить себѣ враговъ, а благодарность обще-
ства—плохая благодарность, ибо онъ, поэтъ,
не вѣритъ благодарности. Вотъ заключеніе
этого стихотворенія:

Нѣтъ, нѣтъ! разумный мужъ идетъ путемъ
И снисходительный къ дурачествамъ люд-
скимъ,
Не выставляетъ ихъ, но сноситъ благопрасно,
Онъ не пытается, увѣренный забавно
Во всемогущество болтанья своего,
Имъ въ людяхъ измѣнить людское естество;
Итъ настъ, я думаю, не скажетъ ни единый
Осинокъ: дубомъ будь, или дубу: будь осиною;
Межъ тѣмъ—какъ странны мы!—межъ тѣмъ
любой изъ настъ
Переименить свѣтъ задумывалъ не разъ.

Подобныя мысли, безъ сомнѣнія, очень бла-
горазумны и даже благоправны, но едва ли
онѣ поэтически-великодушны и рыцарски-вы-
соки... Благоразуміе не всегда разумность:
часто бываетъ оно то равнодушіемъ и апа-
тійей, то эгоизмомъ. Но вотъ еще нѣсколько
стиховъ изъ этого же стихотворенія:

Полезенъ обществу сатирикъ безпристрастный,
Душа любовью къ согражданамъ своимъ,
На ихъ дурачества онъ жауется имъ:
То укоризнами возставъ на злодѣянье,
Его приводитъ онъ въ благое содроганье,
То ѣдкой силою забавнаго слова
Смиряетъ попыхи надменнаго глупца;
Отъ правды опекунъ и вѣстникъ правды воинъ.

Сличивъ эти стихи съ приведенными выше,
легко понять, почему такое стихотвореніе,
даже еслибы оно было написано и хорошими
стихами, не можетъ теперь читаться...

«На смерть Гёте» есть одно изъ лучшихъ
между мелкими стихотвореніями Баратын-
скаго. Стихи въ немъ удивительны; но сти-
хотвореніе, несмотря на то, не выдержано и
потому не производитъ того впечатлѣнія, ка-
кого бы можно было ожидать отъ такихъ чу-
десныхъ стиховъ. Причина этого очевидна:
неопредѣленность идеи, невѣрность въ со-
держаніи. Поэтъ слишкомъ много и слиш-
комъ бездоказательно приписалъ Гёте, го-
воря, что

...ничто не оставлено имъ
Подъ солнцемъ живыхъ безъ привѣта;
На все отозвался онъ сердцемъ своимъ,
Что просить у сердца отвѣта:
Крылатою мыслью онъ міръ облетѣлъ,
Въ одномъ безпредѣльномъ напелъ онъ пре-
дѣлъ.

Прекрасно сказано, но не справедливо!
Не было, нѣтъ и не будетъ никогда генія,
который бы одинъ все постигъ или все сдѣ-
лалъ. Такъ и для Гёте существовала дѣлая

сторона жизни, которая, по его нѣмецкой
натурѣ, осталась для него terra incognita.
Эту сторону выразилъ Шиллеръ. Оба эти
поэта знали цѣну одинъ другому, и каждый
изъ нихъ умѣлъ другому воздавать должное.
Обидно видѣть, какъ люди, не понимая дѣла,
все отдаютъ Гёте, все отнимая у Шиллера...
Если ужъ надо сравнивать другъ съ другомъ
этихъ поэтовъ, то, право, еще нерѣшенное
дѣло—кто изъ нихъ долѣе будетъ владыче-
ствовать въ царствѣ будущаго;—и многіе не
безъ основанія догадываются уже, что Гёте,
поэтъ прошедшаго, въ настоящемъ умеръ
развѣнчаннымъ царемъ... Въмѣсто безотчет-
наго гимна Гёте—поэту слѣдовало бы охарак-
теризовать его, и онъ сдѣлалъ это только
въ четвертомъ куплетѣ, въ которомъ довольно
удачно схваченъ пантенистическій характеръ
жизни и поэзіи Гёте:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ:
Ручья разумѣлъ лепетанье,
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,
И чувствовалъ травъ прозябанье,
Была ему вѣдная книга ясна,
И съ нимъ говорила морская волна.

Слѣдующіе затѣмъ заключительные куплеты
слабы выраженіемъ, темны и неопредѣленны
мыслью, а потому и разрушаютъ эффектъ
всего стихотворенія. Все, что говорится въ
пятомъ куплетѣ, такъ же можетъ быть при-
мѣнено ко всякому великому поэту, какъ и
къ Гёте; а что говорится въ шестомъ, то ни
къ кому не можетъ быть примѣнено, за те-
мнотой и сбивчивостью мысли.

Теперь обратимся къ поэмамъ Баратын-
скаго. Въ нихъ много отдѣльныхъ поэтиче-
скихъ красотъ; но въ цѣломъ ни одна не
выдержитъ основательной критики.

Русскій молодой офицеръ, на постоѣ въ
Финляндіи, обольщаетъ дочь своего хозяина,
чухончку Эду — добродушное, любящее,
кроткое, но ничѣмъ особеннымъ не отличное
отъ природы созданіе. Покинутая своимъ
обольстителемъ, Эда умираетъ съ тоски. Вотъ
содержаніе «Эды»,—поэмы, написанной пре-
красными стихами, исполненной души и чув-
ства. И этихъ немногихъ строкъ, которыя
сказали мы объ этой повѣсти, уже достаточно,
чтобы показать ея безотносительную неваж-
ность въ сферѣ искусства. Такого рода поэмы,
подобно драмамъ, требуютъ для своего со-
держанія трагической коллизіи,—а что тра-
гическаго (т. е. поэтически-трагическаго) въ
томъ, что шалунъ обольстилъ дѣвушку и бро-
силъ ее? Ни характеръ такого человѣка, ни
его положеніе не могутъ возбудить къ нему
участія въ читателѣ. Почти такое же содер-
жаніе напимѣръ въ повѣсти Лермонтова
«Бѣла»; но какая разница! Печоринъ—чело-
вѣкъ, пожираемый страшными силами своего
духа, осужденнаго на внутреннюю и вѣнш-

нию бездѣйственность; красота черкешенки его поражаетъ, а трудность овладѣть ею раздражаетъ энергію его характера и усиливаетъ очарованіе ожидающаго его счастья; холодность Балы еще болѣе подстрекаетъ его страсть вмѣсто того, чтобъ ослабить ее. Но когда онъ упился первыми восторгами этой оригинальной любви къ простой и дикой дочери природы, онъ почувствовалъ, что для продолжительнаго чувства мало одной оригинальности, для счастья въ любви мало одной любви, — и его начинаетъ терзать мысль о гибели милаго, хотя и дикаго, женственнаго существа, которое, въ своей естественной простотѣ, не умѣло ни требовать, ни дать въ любви ничего, кромѣ любви. Трагическая смерть Балы вмѣсто того, чтобъ облегчить положеніе Печорина, страшно потрясаетъ его, съ новой силой возбуждая въ немъ вспышку прежняго пламени, — и отъ его дикаго хохота содрогается сердце не у одного Максима Максимыча, и становится понятно, почему онъ послѣ смерти Балы долго былъ нездоровъ, весь исхудалъ и не любилъ, чтобъ при немъ говорили о ней... Это не волокита, не водеvilный донъ-Жуанъ; вы не вините его, но страдаете съ нимъ и за него, говоря мысленно: «о горе намъ, рожденнымъ въ свѣтъ!». Для нѣкоторыхъ характеровъ не чувствовать, быть вѣ какой бы то ни было духовной дѣятельности — хуже, чѣмъ не жить; а жить, это больше чѣмъ страдать, — и вотъ является трагическая коллизія, какъ мысль неотразимой судьбы, достойная и поэмы, и драмы великаго поэта...

Гораздо глубже, по характеру героини, другая поэма Баратынскаго — «Балъ»:

Презрѣнья къ мнѣнію полна,
Надъ добродѣтелію женской
Не насмѣхается ль она,
Какъ надъ ужимкой деревенской?
Кого въ свой домъ она манитъ:
Не записныхъ ли волокитъ,
Не новичковъ ли миловидныхъ?
Не утомленъ ли слухъ людей
Молвой побѣдъ ея бестыдныхъ
И соблазнительныхъ связей?
Но какъ влекла къ себѣ всецѣлно
Ея живая красота!
Чѣмъ непорочныя уста
Такъ улыбались умильно?
Какая бы Людмила ей,
Смирясь, лучей благочестивыхъ
Своихъ лазоревыхъ очей
И свѣжести ланитъ стыдливыхъ
Не отдала бы сей же часъ
За яркій глянecъ черныхъ глазъ,
Облитыхъ влагой сладострастной,
За пламя жаркое ланитъ?
Какая фея самовластной
Не уступила бѣ изъ харитъ?

Какъ въ близкихъ сердцу разговорахъ
Была плѣнительна она!
Какъ угождительна нѣжна!
Какая ласковость во взорахъ

У ней сіяла! Но порой
Ревнивымъ гнѣвомъ пламени,
Какъ зла въ словахъ, страшна собой,
Являлась новая Медея!
Какіе слезы нѣз очей
Потомъ катилися у ней!
Терзая душу, проливали
Въ нее томленіе слезы тѣ:
Кто бѣ не отеръ ихъ у печали,
Кто бѣ не оставилъ красотѣ?

Страшнѣе прелестницы опасной,
Не подходи: обвѣдена
Волшебнымъ очеркомъ она;
Кругомъ ея заразы страстной
Исполненъ воздухъ! Жалокъ тотъ,
Кто въ сладкій чадъ его вступаетъ:
Ладью пловца водоворотъ
Такъ на погибель увлекаетъ!
Бѣги ее: вѣтъ сердца въ ней!
Страшнѣе вкрадчивыхъ рѣчей,
Одурѣвающей приманки;
Влюбленныхъ взглядовъ не лови,
Въ ней жаръ упившейся вакханки,
Горячки жаръ — не жаръ любви.

И этотъ демоническій характеръ въ женскомъ образѣ, эта страшная жрица страстей наконецъ должна расплатиться за всѣ грѣхи свои:

Посланникъ рока ей предсталъ,
Смущенный взоръ очаровалъ,
Поработилъ воображеніе,
Сліялъ всѣ мысли въ мысль одну
И пролилъ страстное мученіе
Въ глухую сердца глубину.

Въ этомъ «посланникѣ рока» должно предполагать могучую натуру, сильный характеръ, — и въ самомъ дѣлѣ портретъ его, слегка, но рѣзко очерченный поэтомъ, возбуждаетъ въ читателѣ большой интересъ:

Красой извѣщенной Арсеній
Не привлекалъ къ себѣ очей:
Слѣды мучительныхъ страстей,
Слѣды печальныхъ размышленій
Носилъ онъ на члѣвѣ: въ очахъ
Безпечность мрачная дышала,
И не улыбка на устахъ —
Усмѣшка праздная блуждала.
Онъ не задолго посѣщалъ
Края чужіе; тамъ искалъ,
Какъ слышно было, развлеченья,
И снова родину уарѣлъ;
Но, видно, сердцу испѣленья
Дать не возмозъ чужой предѣлъ.
Предсталъ онъ въ домъ моей Лансы,
И остраковъ задорный полкъ,
Не знаю какъ, предъ нимъ умокъ —
Главой поникли Адонисы.
Онъ въ разговорѣ поражалъ
Людей и свѣта знаньемъ рѣдкимъ,
Глубоко въ сердце проникалъ
Лукавой шуткой, словомъ ѣдкимъ,
Судилъ разборчиво плѣвца,
Зналъ цѣну кисти и рѣвца,
И сколько ни былъ хладно сжатымъ
Привычный складъ его рѣчей,
Казался чувствами богатымъ
Онъ въ глубинѣ души своей.

Нашла коса на камень: узелъ трагедіи
заяззался. Любопытно, чѣмъ развяжетъ его

поэтъ, и какъ оправдаетъ онъ, въ дѣйствіи, портретъ своего героя. Увы! все это можно рассказать въ короткихъ словахъ: Арсеній любилъ подругу своего дѣтства и приревновалъ ее къ своему пріятелю; на упреки его Ольга отвѣчала дѣтскимъ смѣхомъ, и онъ, какъ обиженный ребенокъ, не понимая ея сердца, покинулъ ее съ презрѣніемъ... Воля ваша, а портретъ невѣренъ!.. Что же потомъ? — Потомъ Нина получила отъ него письмо:

Что жъ медлить (къ ней писалъ Арсеній,
Открыться должно... небо! въ чемъ?
Едва владѣю я перомъ,
Ищу напрасно выраженій.
О, Нина! Ольгу встрѣтилъ я;
Она понинѣ дышитъ мною,
И ревность прежняя моя
Была не травой и сжижиною.
Удѣлъ рѣшонъ. По старинѣ
Я вѣренъ Ольгѣ, вѣрной мнѣ.
Прости! твое воспоминанье
Я сохранию до позднихъ дней:
Въ немъ повесу я наказанье
Ошибокъ юности моей.

Несмотря на трагическую смерть Нины, которая отравилась ядомъ, такая развязка такой завязки похожа на водевилъ, вмѣсто пятого акта придѣланный къ четыремъ актамъ трагедіи... Поэтъ очевидно не смогъ овладѣть своимъ предметомъ... А сколько поэзіи въ его поэмѣ, какими чудными стихами наполнена она, сколько въ ней превосходныхъ частности!..

«Цыганка», самая большая поэма Баратынскаго, была издана имъ въ 1831 году подъ названіемъ: «Наложница», съ предисловіемъ, весьма умно и дѣльно написаннымъ. «Цыганка» исполнена удивительныхъ красотъ поэзіи, — но опять-таки въ частностяхъ; въ цѣломъ же не выдержана. Отравительное зелье, данное старой цыганкой бѣдной Сарѣ, ничѣмъ не объясняется и очень похоже на *deus ex machina* для трагической развязки во что бы то ни стало. Черезъ это ослабляется эффектъ цѣлаго поэмы, которая кромѣ хорошихъ стиховъ и прекраснаго разсказа отличается еще и выдержанностью характеровъ. Очевидно, что причиной недостатка въ цѣломъ всѣхъ поэмъ Баратынскаго есть отсутствіе опредѣленно выработавшаго взгляда на жизнь, отсутствіе мысли крѣпкой и жизненной.

Кромѣ этихъ трехъ поэмъ, у Баратынскаго есть и еще три: «Телема и Макаръ», «Переселеніе Душъ» и «Пиръ». Первыхъ двухъ — признаемся откровенно — мы совершенно не понимаемъ, ни со стороны содержанія, ни со стороны поэтической отдѣлки. «Пиръ» собственно не поэма, а такъ — шутка въ началѣ и элегія въ концѣ. Поэтъ, какъ будто принявшись воспѣвать пиръ, замѣтилъ, что уже прошла пора и для пировъ, и для воспѣванія

пировъ... У времени есть своя логика, противъ которой никому не устоять...

Въ «Пирахъ» Баратынскаго много прекрасныхъ стиховъ. Какъ хороши напримѣръ эти:

Любви слѣпой, любви безумной
Тоску въ душѣ моей тая,
Насилу, милые друзья,
Дѣлать восторгъ бесѣды шумной
Тогда осмѣливался я.
Что потакать мечтѣ унылой,
Кричали вы, смѣлые пей!
Развеселись, товарищъ милый,
Для насъ живи, забудь о пей!
Вдохнуть, разсѣянно послушный,
Я пилъ съ улыбкой равнодушной,
Светила «рачная мечта»,
Толпой скрывались печали,
И задрожавшія «ста
«Блѣ съ ней!» неясно лепетали...

Говоря о поэзіи Баратынскаго, мы были чужды всякихъ предубѣжденій въ отношеніи къ поэту, котораго глубоко уважаемъ. Не скрывая своего мнѣнія и открыто, безъ уклончивости, высказывая его тамъ, гдѣ оно было не въ пользу поэта, мы и не старались въ пользу нашего мнѣнія скрывать его достоинства и выписывали только такіе отрывки изъ его стихотвореній, которые могли дать высокое понятіе о его талантѣ. Стихъ Баратынскаго не только благозвученъ, но часто крѣпокъ и силенъ. Однакожъ, говоря о художественной сторонѣ поэзіи Баратынскаго, нельзя не замѣтить, что онъ часто грѣшитъ противъ точности выраженія, а иногда впадаетъ въ шероховатость и прозаичность выраженія.

Кромѣ стихотвореній, на которыя мы уже ссылались, въ сборникѣ Баратынскаго особенно достойны памяти и вниманія еще слѣдующія: «Финляндія»; «Завыла буря»; «Я возвращуся къ вамъ, поля моихъ отцовъ»; «Лета»; «Паденіе листьевъ»; «Глупцы не чужды вдохновенія»; «Когда печалью вдохновенный»; «Тебя изъ Тьмы не изведу я»; «Идилликъ новый на искусъ»; «Эливійскія поля»; «Когда взойдетъ денница золотая»; «Когда исчезнетъ омраченье»; «Напрасно мы, Дельвигъ, мечтаемъ найти»; «Не бойся ѣдкихъ осужденій»; «Разувѣреніе»; «Старикъ»; «Притворной нѣжности не требуй отъ меня»; «Болящій духъ врачуетъ цѣлоушныя»; «Черепъ»; «О, мысль, тебѣ удѣлъ цвѣтка»; «Наяда»; «Мудрецу»; «На что вы, дни!»; «Осень», и проч.

Нельзя вѣрнѣе и безпристрастнѣе охарактеризовать безотносительное достоинство поэзіи Баратынскаго, какъ онъ сдѣлалъ это самъ въ слѣдующемъ прекрасномъ стихотвореніи:

Не ослѣпленъ я музою моею,
Красавицей ее не назовутъ,
И юноши, узрѣвъ ее, за нею

Влюбленную толпой не побѣгутъ.
Приманивать изысканнымъ уборомъ,
Игрою глазъ, блестящимъ разговоромъ
Ни склонности у ней, ни дара нѣтъ,
Но пораженъ бываетъ мелькомъ свѣтъ
Ея лица необщимъ выраженіемъ,
Ея рѣчей спокойной простотой,
И онъ, скорѣй чѣмъ ѣдимъ осужденіемъ,
Ее почтитъ небрежной похвалою.

Не беремъ на себя тяжелой обязанности опредѣлять поэтическое достоинство Баратынского относительно къ другимъ поэтамъ и въ отношеніи историческомъ, т. е. въ отношеніи къ выраженной имъ эпохѣ, къ настоящему и будущему положенію и значенію его въ русской литературѣ. Скажемъ только—и то, чтобъ чѣмъ-нибудь закончить нашу статью, а не для какого-нибудь поучительнаго вывода,—скажемъ, что всѣ поэты, по нашему мнѣнію, раздѣляются на два разряда. Одни называются великими, и ихъ отличительную черту составляетъ развитіе: по хронологическому порядку ихъ созданій можно прослѣдить діалектически развивающуюся живую идею, лежащую въ основаніи ихъ творчества и составляющую его паюсъ. Неподвижность, т. е. пребываніе въ однихъ и

тѣхъ же интересахъ, воспѣваніе одного и того же, однимъ и тѣмъ же голосомъ, есть признакъ таланта обыкновеннаго и бѣднаго. Безсмертіе — удѣлъ движущихся поэтовъ. Если и прошли навсегда интересы ихъ времени, — ихъ поэзія непреходяща, именно потому, что представляетъ собой памятникъ эпохи: такъ вѣчна исторія, написанная великимъ историкомъ, хоть она и содержитъ въ себѣ давно прошедшіе дѣла и интересы. Другіе поэты болѣе или менѣе могутъ приближаться къ первымъ, особенно, если они выражали своими созданіями то, что было въ ихъ эпохѣ существенно-историческаго, а не одни ея недостатки. Для такихъ поэтовъ всего невыгоднѣе являться въ переходныя эпохи развитія обществъ; но истинная гибель ихъ таланта заключается въ ложномъ убѣжденіи, что для поэта довольно чувства... Это особенно вредно для поэтовъ нашего времени: теперь всѣ поэты, даже великіе, должны быть вмѣстѣ и мыслителями, иначе не поможетъ и талантъ... Наука живая, современная наука, сдѣлалась теперь пѣстуномъ искусства, и безъ нея—невозможенъ вдохновеніе, безсиліе талантъ!..

СОЧИНЕНІЯ Державина.

Четыре части. Спб. 1843.

1.

Съ іюля 3-го текущаго года начнется второе столѣтіе отъ дня рожденія Державина... Итакъ, цѣлый вѣкъ раздѣляетъ молодая поколѣнія нашего времени отъ цѣвца Екатерины... Но отъ смерти Державина едва прошло четверть вѣка, и, несмотря на то, кажется, цѣлые вѣка легли между нимъ и нами... Читая его стихотворенія, теперь уже почти ничего не понимаешь въ нихъ безъ историческихъ право-описательныхъ комментариевъ на вѣкъ, котораго онъ былъ органомъ... Языкъ, образъ мыслей, чувства, интересы—все, все чуждо нашему времени... Но не умеръ Державинъ, такъ же, какъ не умеръ вѣкъ, имъ прославленный; вѣкъ Екатерины приготовилъ вѣкъ Александра, приготовившій нашъ вѣкъ, — между Державинимъ и поэтами нашего времени существуетъ та же кровно-родственная историческая связь, которая существуетъ и между этими тремя эпохами русской исторіи...

Искусство, какъ одна изъ абсолютныхъ

сферъ сознанія, имѣетъ свои законы, въ его собственной сущности заключенные, и ни въ себя не признаетъ никакихъ законовъ. Кто уже по натурѣ своей или по духовной своей неразвитости не въ состояніи постигать законовъ искусства въ его идеѣ, — тотъ не въ состояніи ни цѣнить искусства въ фактѣ, ни наслаждаться имъ. До постиженія идеи мы доходимъ искусственнымъ путемъ отвлеченія: слѣдовательно идея сама по себѣ есть только одна сторона предмета, искусственно отдѣляемая нами отъ живой всецѣлости предмета для того, чтобъ намъ можно было отрѣшиться отъ непосредственнаго, эмпирическаго способа понимать этотъ предметъ. И потому нѣтъ идей, которыя и оставались бы идеями; но всякая идея осуществляется, какъ фактъ, какъ предметъ или какъ дѣйствіе. Осуществленіе идеи въ фактѣ имѣетъ свои непреложные законы, изъ которыхъ главнѣйшій—послѣдовательность и постепенность. Ничто не является вдругъ, ничто не рождается готовымъ; но все, имѣющее идею своимъ исходнымъ пунктомъ, раз-

вивается по моментамъ, движется діалектически, изъ низшей ступени переходя на высшую. Этотъ непреложный законъ мы видимъ и въ природѣ, и въ человѣкѣ, и въ человечествѣ. Природа явилась не вдругъ готовая, но имѣла свои дни или свои моменты творенія. Царство ископаемое представляло въ ней царству прозябаемому, прозябаемое — животному. Каждая былинка проходить черезъ нѣсколько фазисовъ развитія, — и стебель, листь, цвѣтъ, зерно суть не что иное, какъ непреложно-послѣдовательные моменты въ жизни растенія. Человѣкъ проходить черезъ физическіе моменты младенчества, отрочества, юношества, возмужалости и старости, которымъ соответствуютъ нравственные моменты, выражающіеся въ глубинѣ, объемѣ и характерѣ его сознанія. Тотъ же законъ существуетъ и для обществъ, и для человечества. Тотъ же законъ существуетъ и для искусства. У искусства есть свой вѣчный, неизмѣнный идеалъ совершенства, составляющій предметъ эстетики, какъ науки изящнаго; но искусство не вдругъ, а постепенно достигаетъ своего идеала, — и исторія искусства есть картина моментовъ его развитія. Такъ на примѣръ, Индія — страна, гдѣ впервые пробудилось въ людяхъ стремленіе къ сознанію абсолютной истины, и въ которой это сознаніе остановилось на своемъ первомъ моментѣ и, какъ бы окаменѣвшее, дошло до насъ черезъ рядъ тысячелѣтій почти въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ первоначально возникло, подобно вершинамъ Гималаевъ, которые и теперь почти тѣ же, какими узрѣлъ ихъ міръ въ первые дни своего созданія. Подобно религіи и философіи, искусство въ Индіи представляется на первой ступени своего проявленія, въ первомъ моментѣ своего существованія: оно носитъ тамъ характеръ чисто-символическій, ибо его образы условно, а не непосредственно выражаютъ идею. Таково должно быть, и инымъ не можетъ быть искусство въ своемъ началѣ. Чтобъ образы выражали идею не условно, а непосредственно, для этого необходимо идеѣ быть полной и ясной для художника; но какъ идеи первобытныхъ и младенчествующихъ обществъ состоятъ изъ темныхъ предощущеній и неопредѣленныхъ, смутныхъ предчувствій, то и выраженіе идеи у нихъ естественно должно состоятъ изъ однихъ намековъ, иносказаній и затѣйливыхъ символовъ. Въ Египтѣ искусство сдѣлало уже большой шагъ, приблизившись нѣсколько къ простотѣ и природѣ, по крайней мѣрѣ египетскія изваянія представляютъ уже не однихъ сфинксовъ, но и людей, хотя эти люди еще массивны, грубы, неподвижны. Въ Греціи искусство уже отрѣшилось отъ символизма, и его образы облеклись

въ простоту и истину, которыя составляютъ высочайшій идеалъ красоты.

Искусство никогда не развивается независимо-одиноко: напротивъ, его развитіе всегда бываетъ связано съ другими сферами сознанія. Въ эпоху младенчества и юношества народовъ искусство всегда болѣе или менѣе — выраженіе религіозныхъ идей, а въ эпоху возмужалости — философскихъ понятій. Индійскій пантеизмъ есть обожествленіе природы, и потому даже въ поэзіи индустанской играютъ такую важную роль растенія, змѣи, птицы, коровы, слоны и прочія животныя, а изваянія боговъ представляютъ дикую и уродливую смѣсь членовъ человеческого тѣла съ членами животныхъ. Индійское искусство не могло возвыситься до изображенія красоты человеческой, ибо въ пантеистической религіи индусовъ богъ есть природа, а человѣкъ — только ея служитель, жрецъ и жертва. Египетская міеологія занимаетъ уже середину между индійской и греческой: среди животно-чудовищныхъ образовъ ея боговъ уже замѣтны и человѣческіе лики, послужившіе типомъ для изваяній греческихъ; между Озирисомъ и Аполлономъ есть средство, а имѣетъ Осеба, который сражаетъ Пифона, занявъ греками у египтянъ. Однакожъ это бореніе между животнымъ и человѣкомъ разрѣшилось только въ сфинкса — чудовище съ женоподобной головой и грудью, съ туловищемъ звѣря. Сфинксъ египетскій мудрѣе человѣка: онъ загадываетъ человѣку хитрыя загадки и пожираетъ его за неумѣнье разгадать ихъ. Но грекъ Эдипъ разгадалъ мысль и напелъ слово; звѣрь бросился въ море и утонулъ: человѣкъ вступилъ въ свои права, — и боги Греціи не что иное, какъ образы идеальнаго человѣка, обожествленіе человѣка. Звѣри вошли въ искусство, какъ выраженіе силъ природы, повинующихся человѣку: кони возятъ колесницу Аполлона, Церберъ стережетъ входъ въ царство Ада, отвратительныя гарпін служатъ бичомъ злодѣйства; Зевсъ принимаетъ образы вола и лебедя для скрытія отъ Геры такихъ похищеній, источникомъ которыхъ были чисто естественныя поположенія. Образъ человѣческій просвѣтленъ и возвышенъ: его назначеніе въ греческомъ искусствѣ — выражать высшую идеальную красоту. Въ греческомъ искусствѣ символика и аллегорія кончились; искусство стало искусствомъ. Объясненія этого должно искать въ греческой религіи и глубокомъ, вполне развившемся и опредѣлившемся смыслѣ ея мірообъемлющихъ міеовъ.

Кромѣ всего этого, на развитіе и характеръ искусства много имѣютъ вліянія еще разныя совершенно случайныя обстоятельства, особенно же природа и мѣстность стра-

ны, климатъ и проч. Огромность архитектурныхъ зданій, колоссальность статуй индійскихъ—явно отраженіе гигантской природы страны Гималаевъ, слоновъ и удавовъ. Нагота греческихъ изваяній находится въ большей или меньшей связи съ благословеннымъ климатомъ Эллады. Гармоническая природа этой страны, чуждая всякой чудовищной громадности, всякихъ чудовищныхъ крайностей, не могла не имѣть вліянія на чувство соразмѣрности и соотвѣстственности, словомъ,—гармоніи, которое было какъ бы врожденно грекамъ. Бѣдная и величаво-дикая природа Скандинавіи была для нормановъ откровеніемъ ихъ мрачной религіи и сурово-величавой повѣи Политическія обстоятельства также имѣютъ вліяніе на развитіе и характеръ искусства: римляне заняли у грековъ классическую гармонію и благородную простоту архитектуры, но прибавили къ ней отъ себя огромность и громадность размѣровъ, какъ бы выразившихъ колоссальность ихъ государства и ихъ политическаго величія.

Изъ этого видно, какъ жестоко ошибаются тѣ умозрительные судьи изящнаго, которые хотятъ видѣть въ искусствѣ совершенно отдѣльный міръ, существующій независимо отъ другихъ сферъ сознанія и отъ исторіи. Основываясь на томъ, что предметъ искусства не временное и относительное, а вѣчное и безусловное, они думаютъ, что искусство унижаетъ себя, если подчиняется какому бы то ни было историческимъ и временнымъ вліяніямъ. Но это значитъ смотрѣть на «вѣчное» и «безусловное», какъ на отвлеченныя понятія, чуждыя всякаго содержанія, какъ на логическія построенія, лишенныя всякой жизненности: ибо «вѣчное» выражается во времени, «безусловное» ограничивается формой проявленія, «безконечное» дѣлается доступнымъ созерцанію въ конечномъ. Если эстетика возьметъ за основаніе однѣ идеи и ихъ диалектическое развитіе, оставивъ въ сторонѣ вѣрованія и исторію,—то по ней выйдетъ можетъ быть, что произведенія греческаго искусства прекрасны, а индійскаго и египетскаго не имѣютъ ничего общаго съ творчествомъ и суть порожденія невѣжества и дикости; готическая архитектура—воплощенное безвкусіе; французская литература хороша, а нѣмецкая—вздоръ, или наоборотъ, смотря по тому, отъ какого начала отправится эстетика. Задача истинной эстетики состоитъ не въ томъ, чтобъ рѣшить, чѣмъ должно быть искусство, а въ томъ, что такое искусство. Другими словами: эстетика не должна разсуждать объ искусствѣ, какъ о чемъ-то предполагаемомъ, какъ о какомъ-то идеалѣ, который можетъ осуществиться только по ея теоріи: нѣтъ, она должна разсматривать искусство, какъ предметъ, который

существовалъ давно прежде нея, и существованію котораго она сама обязана своимъ существованіемъ.

Другіе знатоки и любители искусства начинаютъ съ противоположной крайности, думая, что изящное не имѣетъ никакихъ непреложныхъ законовъ, и что стоитъ только изучить исторію и нравы какого угодно народа, чтобъ понять его искусство. Узнавъ изъ біографіи какого-нибудь художника, что онъ былъ несчастенъ, они думаютъ, что нашли ключъ къ тайнѣ его грустныхъ созданій. «Видите ли,—говорятъ они,—онъ былъ несчастенъ въ жизни, и оттого меланхолія составляетъ отличительный характеръ его произведеній». Коротко и ясно! Этакъ легко можно объяснить и мрачный характеръ поэзіи Байрона: критика будетъ и не долга, и удовлетворительна. Но что Байронъ былъ несчастенъ въ жизни—это уже старая новость: вопросъ въ томъ, отчего этотъ одаренный дивными силами духъ былъ обреченъ несчастью? Эмпирическіе критики и тутъ не задумаются: раздражительный характеръ, иппохондрія, скажутъ одни изъ нихъ,—и расстройство пищеваренія, прибавятъ пожалуй другіе, добродушно не догадываясь въ низменной простотѣ своихъ гастрическихъ воззрѣній, что такіа малая причины не могутъ имѣть своимъ результатомъ такіа великія явленія, какъ поэзія Байрона. Всякому извѣстно, что иной меланхоликъ отъ природы бываетъ при благоприятныхъ обстоятельствахъ счастливъ, и что самый веселый человѣкъ дѣлается иппохондрикомъ отъ несчастья, что раздражительность нервовъ служить не только къ живѣйшему ощущенію горестей, но и къ живѣйшему ощущенію радости. Всякому также извѣстно, что великіе комики по большей части бываютъ людьми раздражительными и наклонными къ иппохондріи, и что весьма рѣдко появляется улыбка на устахъ тѣхъ, которые заставляютъ другихъ хохотать до слезъ... Ни одинъ поэтъ не можетъ быть великъ отъ самого себя и черезъ самого себя, ни черезъ свои собственные страданія, ни черезъ свое собственное блаженство; всякій великій поэтъ потому великъ, что корни его страданія и блаженства глубоко вросли въ почву общественности и исторіи, что онъ слѣдовательно есть органъ и представитель общества, времени, человѣчества. Только маленькіе поэты и счастливы, и несчастны отъ себя и черезъ себя; но зато только они сами и слушаютъ свои птичьи пѣсни, которыхъ не хотятъ знать ни общество, ни человѣчество. Чтобъ разгадать загадку мрачной поэзіи такого необъятно-колоссальнаго поэта, какъ Байронъ, должно сперва разгадать тайну эпохи, имъ выраженной, а для этого должно

факаломъ философіи освѣтитъ историческій лабиринтъ событій, по которому шло человечество къ своему великому назначенію—быть олицетвореніемъ вѣчнаго разума, и должно опредѣлить философски градусъ широты и долготы того мѣста пути, на которомъ засталъ поэтъ человечество въ его историческомъ движеніи. Безъ того всѣ ссылки на событія, весь анализъ нравовъ и отношеній общества къ поэту и поэта къ обществу и къ самому себѣ—ровно ничего не объясняютъ.

Но прежде чѣмъ опредѣлить историческое значеніе поэта, должно опредѣлить его чисто-художественное значеніе: безъ этого никто не пойметъ, почему критика или эстетика признаетъ одного поэта поэтомъ, другого нѣтъ, и почему въ одномъ она видитъ великаго, а въ другомъ обыкновеннаго поэта. Вотъ здѣсь эстетика имѣетъ право основываться на одномъ философскомъ началѣ искусства, не относясь ни къ исторіи, ни къ другимъ сферамъ сознанія. Здѣсь получаетъ свой великій смыслъ искусство, какъ искусство, какъ такая сфера дѣятельности, которая сама себѣ цѣль и вѣдь себя цѣли не имѣетъ. Естественно, прежде чѣмъ опредѣлить, къ здѣчеству какого народа, какой эпохи, какого стиля принадлежать зданія такого-то архитектора, и великій ли онъ архитекторъ, должно показать, есть ли въ его зданіяхъ творчество, полетъ фантазіи, словомъ—поэзія, или эти зданія—только груды камней, сложенные по правиламъ архитектуры трудолюбивымъ ремесленникомъ, тщательно изучившимъ техническую сторону искусства, или пожалуй и опытнымъ академикомъ... А этотъ вопросъ можетъ быть рѣшенъ только на основаніи философіи изящнаго—эстетики. Но здѣсь и оканчивается работа эстетики, какъ эстетики собственно, и отсюда вступаетъ въ свои права исторія и философія исторіи. Это не значить, чтобы эстетика въ какомъ бы то ни было случаѣ отказывалась отъ правъ, неотъемлемо принадлежащихъ ей въ дѣлѣ искусства: это значить только, что эстетика, окончивъ разсмотрѣніе художественной стороны искусства, обращается къ другой сторонѣ, столько же присущей искусству, какъ и сторона художественная—къ сторонѣ его содержанія, и, нисколько не отказываясь отъ своихъ законныхъ и неотъемлемыхъ правъ, вступаетъ въ союзъ съ другой родственной ей сферой—сферой исторіи. Всѣ сферы высшаго сознанія такъ родственны и тѣсно связаны между собой, что только чрезъ искусственное дѣйствіе разума можно раздѣлять ихъ; показать же точныя ихъ границы такъ же трудно, какъ и показать, гдѣ въ человѣкѣ оканчивается тѣло и начинается душа, гдѣ конецъ чувства и начало ума, и т. д.

А между тѣмъ, какъ въ понятіи о природѣ человѣка существуютъ преданные отвлеченіямъ идеалисты, которые за душой не замѣчаютъ организма, и матеріалисты, которые за массой тѣла не могутъ провидѣть душу,—такъ и въ понятіи объ искусствѣ существуютъ свои идеалисты (умозрители) и свои матеріалисты (эмпирики). Мы показали, въ чемъ состоитъ ученіе тѣхъ и другихъ; прибавимъ къ этому, что эмпирики, не признающіе эстетики и превращающіе ее въ сухой, неживленной мыслью каталогъ изящныхъ произведеній съ практическими и случайными комментаріями, — лишаютъ искусство его высокаго значенія! Не признавая содержаніемъ искусства той жемчужной, въ свободной необходимости діалектически развивающейся идеи, которая составляетъ содержаніе и исторіи, и философіи, эмпирики низводятъ творческія произведенія на степень предметовъ, имѣющихъ цѣлью пріятно развлекать скуку и занимать праздное бездѣйствіе, — а это значитъ ставить ихъ въ одинъ разрядъ съ изящною—сдѣланной мебелью и тѣми красивыми бездѣлками, которыми мода и прихоть украшаютъ въ комнатахъ каминныя столы и этажерки. Идеалисты доходятъ до той же крайности, только противоположнымъ путемъ. По ихъ ученію, жизнь должна идти своей дорогой, а искусство—своей, не соприкасаясь другъ съ другомъ, не завися другъ отъ друга и не имѣя никакого вліянія другъ на друга. Бувальио-вѣрные своему основному положенію, что искусство само себѣ цѣль, они доходятъ наконецъ до того, что лишаютъ искусство не только цѣли, но и всякаго смысла. Сначала они доводятъ искусство до аскетизма, а наконецъ и до индифферентизма, — что весьма естественно: Индія ясно доказываетъ, что отшельничество и равнодушіе гораздо ближе другъ къ другу, нежели какъ кажется съ перваго взгляда.

Отвлекающій идеализмъ во всемъ ведетъ къ произвольности въ воззрѣніяхъ и построеніяхъ, потому что факты отвергаемой имъ дѣйствительности не мѣшаютъ ему принимать свои карточные домики за настоящіе рыцарскіе замки. Кто смотритъ на искусство исключительно съ эстетической точки, не принимая въ соображеніе ни его исторіи, ни исторіи развитія человечества, —тому весьма легко открыть тождество между «Иліадою» Гомера и «Мертвыми Душами» Гоголя. Заблужденіе глубокое, но понятное! Оно можетъ происходить не отъ ограниченности умственной, а только отъ односторонняго взгляда на предметъ. Принявъ за непреложную истину какое-нибудь на досугъ придуманное положеніе и отвергнувъ историческую сторону предмета, можно надѣлать десятки и сотни Гомеровъ и Шекспировъ: идеализмъ знаетъ,

что законы творчества всегда и вездѣ одинаковы, что они въ Россіи тѣ же, что были въ Греціи—ерго почему жъ и въ Россіи не быть Гомеру и Софоклу?.. Отсюда проистекаетъ всевозможная ложь и неправда въ сужденіяхъ о достоинствѣ поэтовъ: какъ легко превознести одного, такъ легко и унижить другого, и въ обоихъ случаяхъ—замѣтите—на основаніи мысли и ея строгаго діалектическаго развитія...

Очевидно, что какъ эмпиризмъ, такъ и идеализмъ (отвлеченный) суть односторонности, равно чуждыя истинѣ: истина же состоитъ въ свободномъ примиреніи обѣихъ этихъ крайностей. Но кромѣ того что такое примиреніе не такъ-то легко для всякаго — и сама истина, еслибы кто и нашелъ ее, принимается съ большимъ трудомъ, и то весьма немногими. Это потому именно, что живая истина состоитъ въ единствѣ противоположностей. Чѣмъ одностороннѣе мнѣніе, тѣмъ доступнѣе оно для большинства, которое любить, чтобы хорошее непремѣнно было хорошимъ, а дурное—дурнымъ, и которое слышать не хочетъ, чтобы одинъ и тотъ же предметъ выѣщаль въ себѣ и хорошее, и дурное. Вотъ почему толпа, узнавъ, что за какою-нибудь великимъ человѣкомъ водились слабости, свойственныя малымъ людямъ, всегда готова сбросить великаго съ его пьедестала и ославить его негодяемъ и безнравственнымъ человѣкомъ. Толпа не понимаетъ, что все живое тѣмъ и отличается отъ мертваго, что въ самой сущности своей заключаетъ начало противорѣчія. Толпа не понимаетъ, что одинъ и тотъ же человѣкъ можетъ отличаться и великими добродѣтелями, и великими пороками, что одно хорошее начало въ немъ могло быть развито, а другое задавлено и заглушено въ самомъ зародышѣ своемъ; что одно дурное начало въ немъ могло быть подавлено еще въ зернѣ, а другое развито; что причины этого должно отыскивать и въ духѣ времени, когда явился великій человѣкъ, и въ общественности, среди которой возросъ и воспитался онъ, и что на основаніи этихъ причинъ иные пороки его можно извинить, а иные даже и поставить ему въ заслугу такъ же точно, какъ иныя добродѣтели его возвысить, а съ иныхъ сбавить цѣну. Еслибы въ наше время какой-нибудь воинъ сталъ мстить за падшаго въ честномъ бою друга или брата своего, зарывшая на его могилѣ плѣнныхъ враговъ,—это было бы отвратительнымъ, возмущающимъ душу звѣрствомъ; а въ Ахиллѣ, умиляющемъ тѣнь Патрокла убійствомъ обезоруженныхъ враговъ, это мщеніе—доблесть, ибо оно выходило изъ нравовъ и религіозныхъ понятій общества его времени. Не понимая этого, толпа признаетъ наукой одну математику, которая дѣйствитель-

но никогда себѣ не противорѣчитъ, а исторію и философію считаетъ вздоромъ, ибо, по ея мнѣнію, онъ на каждомъ шагѣ противорѣчатъ себѣ... Между тѣмъ въ глазахъ той же толпы мертвецъ, лежащій въ гробу, уже не такъ важенъ, какъ живой человѣкъ, хотя первый ни въ чемъ не противорѣчитъ самому себѣ, а другой на каждомъ шагѣ противорѣчитъ... Такова ужъ видно натура толпы!..

У насъ можно смѣло говорить о всякомъ писателѣ, о которомъ мнѣніе еще не успѣло установиться въ толпѣ; но бѣда говорить о писателѣ старинномъ, о которомъ въ любомъ учебникѣ можно найти однѣ и тѣ же напыщенныя фразы и общія мѣста... Въ такомъ случаѣ безопаснѣе всего сказать рѣзкую односторонность: если одни осердятся, зато другіе согласятся, и обѣ стороны по крайней мѣрѣ поймутъ, въ чемъ дѣло. Такъ точно у насъ ужъ лѣтъ шестьдесятъ повторяются однѣ и тѣ же фразы о Державинѣ, что выше его не было и не будетъ поэта въ подлунномъ мірѣ, что онъ пѣвецъ свѣра и потомокъ Багрима... Съ этимъ всѣ согласны, тѣмъ болѣе, что до этого никому нѣтъ дѣла, ибо Державина давно ужъ никто не читаетъ, и всѣ знаютъ его только по журнальнымъ фразамъ да школьнымъ воспоминаніямъ. Но люди такъ устроены, что если они привыкли о какомъ-нибудь предметѣ думать такъ, то хотя бы они уже и совсѣмъ не заботились о немъ, однакожь непремѣнно осердятся на вастъ, если вы осмѣлитесь думать объ этомъ предметѣ иначе. Когда въ «Отечественныхъ Запискахъ» въ первый разъ было сказано, что Державинъ для нашего времени уже не можетъ быть тѣмъ, чѣмъ онъ былъ для своего, и что хотя онъ былъ одаренъ и великими поэтическими силами, однако не создалъ ничего такого, что прошло бы чрезъ вѣка въ нетлѣнной красотѣ,—тогда на «Отечественныя Записки» не шутя разсердились даже такіе люди, которые не прочли въ жизнь свою ни одного стиха Державинскаго, и въ слѣдъ за другими съ важностью стали повторять: «Какъ же можно такъ дерзко отзываться о такомъ великомъ поэтѣ?—вѣдь пѣвецъ свѣра, потомокъ Багрима»... И причину этого неудовольствія легко понять: еслибы «Отечественныя Записки» совершенно отняли у Державина всякое достоинство, поставили бы этого богатыря поэзіи русской на ряду съ Тредьяковскимъ, тогда имъ меньше было бы хлопотъ; потому что еслибы одни еще сильнѣе ожесточились противъ нихъ, зато нашлось бы много другихъ, которые ухватились бы за ихъ мнѣніе съ радостью лѣнивыхъ и немыслящихъ любителей новыхъ идей. Но въ мнѣніи «Отечественныхъ Записокъ» было противорѣчіе: у Державина не отнималось его величіе, а о поэзіи его говори-

лось только какъ объ историческомъ фактѣ: не понятно, а потому и досадно!.. Правда, потомъ, какъ привыкли къ новому мнѣнію, то стали повторять его и печатно, хотя и не поняли...

Дѣйствительно, ни объ одномъ поэтѣ не можетъ существовать столь противоположныхъ мнѣній, какъ о Державинѣ. Если разсматривать его съ эмпирически-исторической точки, то каждый стихъ его окажется чудомъ совершенства, а самъ онъ явится однимъ изъ величайшихъ поэтовъ древняго и новаго міра. Если же взглянуть на него съ чисто-эстетической точки, то можно поставить его чуть-чуть не наравнѣ съ Сумароковымъ. Но то и другое заключеніе равно будутъ ложны и нехѣпы: для того-то мы и почли за нужное предварительно сказать нѣсколько словъ о недостаточности и ложности эмпирической и (отвлеченно) идеальной точки зрѣнія на искусство.

Какъ обще-человѣческое искусство, такъ и искусство cadaго народа, отдѣльно взятаго, имѣетъ свою исторію, которая есть не что иное, какъ картина развитія искусства отъ его первоначальнаго исходнаго пункта до послѣдняго заключительнаго звена. Постепенность и послѣдовательность — законъ всякаго развитія. Еслибы кто-нибудь напечаталъ въ газетахъ, что посаженное имъ въ землю зерно изъ яблока возшло не стебелькомъ, а прямо яблокомъ, — всѣ стали бы надъ этимъ смѣяться, какъ надъ нелѣпостью, хотя бы это и было напечатано. Но когда писали и печатали, что лѣтъ черезъ тридцать послѣ первой оды Ломоносова («На взятіе Хотина») явился на Руси поэтъ, одинъ совмѣстившій въ себѣ и Пиндара, и Горация, и Анакреона, и превзошедшій всѣхъ ихъ, порознь и вмѣстѣ взятыхъ, — надъ этимъ и теперь еще не смѣются, какъ надъ нелѣпостью...

Мы сказали выше, что ни одно стихотвореніе Державина не выдержитъ самой снисходительной эстетической критики. Дѣйствительно, ничего не можетъ быть слабѣе художественной стороны стихотвореній Державина. Содержаніе ихъ по большей части составляютъ нравственные сентенціи, расположенныя и распространенныя риторически, въ формѣ разсужденія или диссертации. Отъ этого многія оды его непомѣрно длинны, непомѣрно прозаичны и... непомѣрно скучны. Истина составляетъ такъ же содержаніе поэзіи, какъ и философіи, и со стороны содержанія поэтическое произведеніе — то же самое, что и философскій трактатъ; въ этомъ отношеніи нѣтъ никакой разницы между поэзіей и мышленіемъ. И однакоже поэзія и мышленіе далеко не одно и то же: они рѣзко отдѣляются другъ отъ друга своей формой, которая и составляетъ существенное свойство

каждаго. Философія или (выразимъ это понятіе болѣе общимъ терминомъ) мышленіе дѣйствуетъ прямо черезъ разумъ и на разумъ; и если мыслитель или ораторъ, проникаясь эфирнымъ пламенемъ изслѣдуемой имъ истины, иногда возвышается до пафоса, прибѣгаетъ къ посредству фантазіи и говоритъ огненнымъ языкомъ чувства и радужными образами фантазіи, — у него и въ такомъ случаѣ чувство и фантазія являются второстепенными элементами, — первое, какъ результатъ глубокаго проникновенія въ истину, раскрытую путемъ анализа, а вторая — какъ вспомогательное средство сдѣлать истину ощутительной и видимой. Въ мышленіи разумъ лицомъ къ лицу становится къ мысли, не нуждаясь въ посредствѣ чувства и фантазіи, но только допуская ихъ по собственной волѣ, какъ слѣдствіе мгновенно охватившаго душу мыслителя увлеченія, надъ которымъ разумъ не перестаетъ однакоже царить и котораго обаятельной силы онъ уже не боится, какъ произведенія собственной своей діалектики. И подобное увлеченіе бываетъ не опасно только тѣмъ мыслителямъ, которые окрѣпли и закалились гимнастикой строгой логической мысли, облаженной отъ всѣхъ покрововъ непосредственнаго представленія, и которые уже не могутъ покоряться авторитету ощущеній, чувствъ и готовыхъ идей, но всегда повѣряютъ ихъ діалектикой разума. Въ поэзіи, напротивъ, фантазія является главной дѣйствующей силой, черезъ которую исключительно совершается процессъ творчества. Поэзія разсуждаетъ и мыслитъ — это правда, ибо ея содержаніе есть такъ же истина, какъ и содержаніе мышленія; но поэзія разсуждаетъ и мыслитъ образами и картинами, а не силлогизмами и дилеммами. Всякое чувство и всякая мысль должны быть выражены образно, чтобы быть поэтическими. Нѣкоторые аристархи, сами писавшіе нѣкогда стишонки, которые въ свое время считались недурными, думали уронить Пушкина, говоря, что его поэзія чисто земная, ибо «оземляетъ» безплотную чистоту идей: такой взглядъ на поэзію обнаруживаетъ въ этихъ аристархахъ рѣшительное отсутствіе эстетическаго чувства, натуру грубо-прозаическую и чуждую всякаго предощущенія поэзіи. Нападать на поэзію за то, что она оземляетъ идеи, — все равно, что нападать на математику за то, что она все исчисляетъ и измѣряетъ. Въ томъ-то и состоитъ сущность поэзіи, что она безплотной идеей даетъ живой, чувственный и прекрасный образъ. Въ этомъ случаѣ идея есть только морская пѣна, а поэтическій образъ — богиня любви и красоты, родившаяся изъ морской пѣны. Кто не одаренъ творческой фантазіей, способной превращать идеи въ

образы, мыслить, разсуждать и чувствовать образами, тому не помогут сдѣлаться поэтомъ ни умъ, ни чувство, ни сила убѣжденій и вѣрованій, ни богатство разумно-историческаго и современнаго содержанія. И еслибы не такъ, то всего легче было бы сдѣлаться поэтомъ: стоило бы только узнать правила версификаціи, да благословясь, и начать писать диссертации размѣренными строчками, заостренными риемой.

Одно изъ главнѣйшихъ условій всякаго художественнаго произведенія есть гармоническая соотвѣтственность идеи съ формой и формы съ идеей, и органическая цѣлостность его созданій. Поэтому всякое художественное произведеніе прежде всего должно отличаться строгимъ единствомъ лежащаго въ его основаніи чувства или мысли, а слѣдовательно и формы. Мысль въ пьесѣ можетъ быть схвачена или въ одномъ своемъ моментѣ, или развита во всѣхъ ея моментахъ, но она должна быть одна, и ея развитіе должно относиться къ ней самой, какъ относится въ музыкальномъ произведеніи варіанція къ мотиву. Если мысль пьесы переходитъ въ другую, хотя бы и имѣющую къ ней отношеніе мысль, — тогда нарушается единство художественнаго произведенія, а слѣдовательно единство и сила впечатлѣнія, производимаго имъ на читателя. Прочтя такое произведеніе, чувствуешь себя только обезпокоеннымъ, но неудовлетвореннымъ; утомленіе и досада заступаютъ мѣсто наслажденія.

Если мысль поэтического произведенія истинна въ самой себѣ, ясна и опредѣленна для поэта, если произведеніе вѣрно концептировано и достаточно выношено въ душѣ поэта, — то въ немъ не можетъ быть ни уродливыхъ частностей, ни слабыхъ мѣстъ, ни темныхъ и непонятныхъ выраженій, ни недостатка во внѣшней отдѣлкѣ. Произведеніе въ такомъ случаѣ органически цѣлостно: въ немъ нѣтъ ничего ни излишняго, ни недостающаго; оно округлено: его начало вводитъ читателя въ его смыслъ, послѣднее слово замыкаетъ собой все его содержаніе, такъ что читатель вполнѣ удовлетворенъ и не можетъ спросить: «что же дальше?»

Стихотворенія Державина не выполняютъ ни одного изъ этихъ условій. Во-первыхъ, всѣ они болѣе или менѣе отличаются характеромъ риторическимъ, и по крайней мѣрѣ большая часть ихъ походитъ на диссертации въ стихахъ. Мы не можемъ подкрѣпить выписками этого мнѣнія, ибо въ такомъ случаѣ намъ пришлось бы перепечатать почти всего Державина. Книга у всѣхъ передъ глазами, и каждый самъ можетъ повѣрить справедливость нашей мысли. Впрочемъ при разборѣ нѣкоторыхъ стихотвореній мы будемъ имѣть случай мимоходомъ указывать на эту черту

недостатка поэзіи Державина; пока ограничимся только указаніемъ на нѣкоторыя, особенно замѣчательныя въ этомъ отношеніи пьесы, каковы напримѣръ: «Безсмертіе души» (192 стиха), «Величество Божіе» (132 ст.), «Христосъ» (320 ст.), «Слѣпой Случай» (200 ст.), «Успокоенное Невѣріе» (108 ст.), «Истина» (144 ст.), «Гимнъ Богу» (96 ст.), «Тоска Души» (104 ст.), «Добродѣтель» (120 ст.), «Слава» (112 ст.), «Цѣленіе Саула» (450 ст.), «Гимнъ Солнцу» (100 ст.), «Облако» (80 ст.), «Громъ» (90 ст.), «На умѣренность» (110 ст.), и пр. Такихъ пьесъ у Державина гораздо больше можно назвать. Читать ихъ тяжело. Это все равно, что читать арифметику, написанную стихами: читатель согласенъ съ нею, что дважды два—четыре, но онъ тѣмъ не менѣе въ отчаяніи, что такія простыя, почтенныя и съ малолѣтства всякому извѣстныя истины не изложены обыкновенной прозой, безъ поэтическихъ затѣй. Такъ и въ поименованныхъ нами стихотвореніяхъ Державина всѣ мысли столько же справедливы, сколько и стары и общи: ихъ можно найти у любого плохого стихотворца того времени. А это уже признакъ отсутствія поэзіи: у истиннаго поэта и старая мысль является новой, ибо истинный поэтъ даетъ чувствовать живую сущность мысли, которую толпа безсмысленно повторяетъ, какъ мертвую букву. По величинѣ своей, поименованныя нами оды Державина рѣшительно не имѣютъ ничего общаго съ лирической поэзіей. Лирика есть выраженіе преимущественно чувства, и въ этомъ отношеніи она приближается къ музыкѣ, которая исключительно изъ всѣхъ искусствъ дѣйствуетъ прямо и непосредственно на чувство. Одна пьеса не можетъ быть выраженіемъ двухъ различныхъ чувствъ, а чувство проходитъ по душѣ мгновенно, какъ тотъ трепетъ восторга, отъ котораго священный холодъ пробѣгаетъ по тѣлу и «встревоженной ратью» поднимаетъ волосы на головѣ человека... И если такое чувство неослабно будетъ владѣть читателемъ во все время, необходимое для прочтенія даже восьмидесяти, не только четырехъ-сотъ-пятидесяти стиховъ, — человѣческая натура читателя не выдержитъ этого, и результатомъ восторженнаго чтенія должна быть болѣзнь, утомленіе... Поэма, драма и особенно романъ—другое дѣло: тамъ умъ часто даетъ отдыхать чувству; тамъ комическія сцены и, по сущности выражаемыхъ предметовъ, прозаическія мѣста возбуждаютъ въ читателѣ разнообразныя опущенія. Но держаться въ продолженіе добраго получаса или болѣе въ одномъ чувствѣ, въ одинаковой настроенности души — это неестественно, и потому невозможно. Державинъ въ поиме-

нованныхъ нами пьсахъ, кажется, всего меньше рассчитывалъ на чувство: стихотворенія эти холодны и прозаичны, какъ школьная диссертация, стихи въ нихъ дурны до послѣдней степени, и рѣдко, очень рѣдко кой-гдѣ проблескиваютъ искорки одушевленія, сейчасъ и погасая въ водѣ риторики. Кажется, главной его заботой было высказать о предметѣ все, что только могъ онъ придумать о немъ. Порядка въ его мысляхъ нѣтъ никакого, и потому его длинныя и резонерствующія оды не имѣютъ достоинства даже хорошо расположеннаго и округленнаго школьнаго разсужденія.

Конечно не всѣ оды Державина таковы, какъ тѣ, на которыя мы сейчасъ указали, но главный характеръ указанныхъ нами — длиннота, резонерство, риторика, безъ-образность — болѣе или менѣе преобладаютъ рѣшительно во всѣхъ одахъ. Гармонической ответственности идеи съ формой, пластичности образовъ — въ нихъ нечего и искать. Читая иную оду Державина, иногда вы вдругъ увлекаетесь возвышенностью мысли, энергіей чувства, размахистымъ полетомъ фантазіи, — и вдругъ неловкій стихъ, натынутый оборотъ, странное выраженіе, а иногда и риторика охлаждають вашъ восторгъ, — и вы испытываете это нѣсколько разъ при чтеніи одной и той же оды, и по окончаніи ея чувствуете себя утомленнымъ и встревоженнымъ, но не удовлетвореннымъ и услѣженнымъ. Такъ на примѣръ, «Водопадъ» принадлежитъ къ числу блистательнѣйшихъ созданій Державина, — а между тѣмъ въ немъ-то и увидите вы полное оправданіе нашей мысли объ общихъ недостаткахъ его поэзіи. Уже самая огромность этой оды показываетъ, что въ ея концепціи участвовала не одна фантазія, но и холодный разсудокъ. Поводомъ къ этой одѣ была вѣсть о кончинѣ Потемкина, поразившая поэта скорбнымъ чувствомъ и представившая его духовному оку въ новомъ свѣтѣ колоссальный образъ величайшаго изъ современныхъ ему героевъ. Это скорбное чувство, это возвышенное созерцаніе и должно было бы составлять содержаніе оды. Но поэтъ пришелъ сюда же и Румянцева, который, сидя подъ наклоненнымъ кедромъ, мечтаетъ о славѣ и времени, потомъ засыпаетъ и видитъ во снѣ свои подвиги; потомъ просыпается отъ грома сокрушенной ели и падшаго холма и видитъ передъ собой Россію въ образѣ воинственной жены, которая взываетъ къ нему «проснись!»; при видѣ ея онъ

Вдохнулъ, и испустя слезъ дождь,
Възвѣсть: «Знать умеръ нѣкій вождь!»

и началъ разсуждать объ обяванностяхъ истиннаго вожды, о томъ, что лучше быть «меньше извѣстнымъ, но болѣе полезнымъ» и т. п.

Весь этотъ эпизодъ занимаетъ тридцать одну строфу, т. е. сто восемьдесятъ шесть стиховъ!!... Конечно въ этомъ эпизодѣ, невыдержанномъ въ цѣломъ, есть прекрасныя мѣста; но онъ не идетъ къ дѣлу, безъ нужды плодитъ оду и охлаждаетъ восторгъ читателя, — такъ что прочесть «Водопадъ» съ одного раза, да еще вслухъ — трудъ изнурительный и для ума, и для груди... Всѣ эти 186 стиховъ можно выкинуть, и ода ничего не проиграетъ, напротивъ, много выиграетъ: въ ней будетъ меньше риторики и больше поэзіи... Первые семь строфъ, заключающія въ себѣ картину водопада посреди дикой и мрачной природы въ осеннюю ночь, прекрасно настраиваютъ душу читателя къ возвышенно-скорбному чувству, которымъ должна поразить его мысль о внезапномъ паденіи колосса, — и послѣ седьмой строфы:

Ретивый конь осанку горду
Храня, порой къ тебѣ идетъ;
Крутую гриву, жарку морду
Поднявъ, хрипитъ, упины прядетъ,
И подстрекаетъ быть, бодрится,
Отважно въ хлѣбъ твою стремится...

можно прямо перейти къ тридцать девятой:

Но кто идетъ тамъ по холмамъ,
Глядась, какъ мѣсяцъ, въ воды черны;
Чья тѣнь сплѣзнетъ по облакамъ
Въ воздушныя жилища, горны:
На темномъ взорѣ и челѣ
Сидитъ глубоко дума въ мглѣ!

А тридцать одну строфу, между седьмой и тридцать девятой, можно не читать: тогда впечатлѣніе отъ «Водопада» будетъ гораздо сильнѣе; тогда останется для чтенія сорокъ шесть строфъ, или двѣсти семдесятъ шесть стиховъ... И тутъ сколько еще воды риторической! Какъ часто изнемогающее отъ возвышеннаго наслажденія чувство внезапно охлаждаетъ? Но чтобы мнѣніе наше не показалось произвольнымъ, подкрѣпимъ его выписками.

Какой чудесный духъ крылами
Отъ Сѣвера парить на Югъ?
Внутрь медленъ течъ его стезями:
Обозрѣваетъ царство вдругъ,
Шумитъ и какъ звѣзда блистаетъ,
И искры въ слѣдъ свой разсыпаетъ.

Этотъ духъ — тѣнь Потемкина; но что же это за прозаическое описаніе, ничего не выражающее! И неужели духъ Потемкина непременно долженъ обгонять вѣтеръ, обозрѣвать царства вдругъ, шумѣть, блистать, подобно звѣздѣ, и сыпать искрами по своему слѣду? Риторика!

Чей грусть, какъ на распутьи мгла,
Лежитъ на темномъ лонѣ ночи?
Простое рубище чресла,
Двѣ ленты покрываютъ очи,
Прижаты къ холодной груди персты,
Уста безмолвствуютъ отверсты!

Чей одръ—земля; кровь—воздухъ снѣ;,
Чертоги—веругъ пустынныхъ вѣды?
*Не ты ли, счастья, славы сынъ,
Великолѣпный князь Тавриды?*

Не ты ли съ высотъ честей
Недавно палъ среди степей?

Не ты ль наперсникомъ близъ трона
У сѣверной Минервы былъ;
Во храмѣ музъ, другъ Аполлона,
На полѣ Марса вождемъ слыгъ;
*Рыцарь думъ въ войнѣ и мирѣ,
Мощи—хоть и не въ порфирѣ?*

Не ты ль, который звѣситъ смѣль
Мощь росса, духъ Екатерины,
И, опершись на нихъ, хотѣлъ
Вознести свой громъ на тѣ стремнины,
На конѣ древній Римъ стоялъ
И всей вселенной колебалъ?

Не ты ль, который орды сильны
Сосѣдей хищныхъ истребилъ,
Пространны области пустыни
Во грады, въ нивы обратилъ,
Покрывъ Понть Черный кораблями,
Потрясъ среду земли громами?

Не ты ль, который зналъ избрать
Достойный подвигъ русской силѣ,
Стихи самца погрѣ
Въ Очаковѣ и въ Имангѣ,
И твердой дерзостью такой
Быть дивомъ храбрости самой?

*Се ты, отважнѣйшій изъ смертныхъ
Парящій замыслами умъ!*

*Не шелъ ты средѣ путей извѣстныхъ,
Но проложилъ изъ самъ,—и шумъ
Оставилъ по себѣ въ потомки,
Се ты, о чудный вождь Потемкинъ!*

Се ты, которому врата
Торжественныя созидали;
Искусство, разумъ, красота—
Недавно лавръ и миръ сплетали;
Забавы, роскошь вокругъ цвѣли
И счастье съ славой слѣдомъ шли!

Вотъ это поэзія, не риторика! Правда, и въ этихъ стихахъ не безъ недостатковъ; но они извиняются духомъ времени. Во времена Державина нельзя было сказать: «достойный подвигъ русской силы»: это было бы низко и не согласно съ пареніемъ оды; непременно нужно было сказать: «достойный подвигъ русской силы»: слова «россій» и «россъ» казались тогда не только необыкновенно звучными, но и отиѣнно умными... Выраженія: «наперсникъ у сѣверной Минервы, другъ Аполлона во храмѣ музъ, вождь на полѣ Марса» для насъ слишкомъ прозаичны, но по понятіямъ того времени въ нихъ-то и заключалась вся сущность поэзія. За этими прекрасными повѣстическими строками опять слѣдуетъ риторика, и притомъ довольно нескладная:

Се ты, небеснаго плодъ дара
Кому едва я посвятилъ;
Въ созвучность громкаго Пиндара
Мою настроить лиру мнилъ;
Воспѣлъ побѣду Иманга,
Воспѣлъ... Но смерть тебя скосила!

Увы! и хоромъ сладкихъ звуковъ
Моихъ въ стенанье превратился;
Свалилась лира съ слабыхъ рукъ,
И я тамъ въ слезы погрузился,

*Гдѣ бездна разноцвѣтныхъ звѣздъ
Чертогъ являли райскихъ мѣстъ.*

За этой риторикой опять слѣдуетъ поэзія:

Увы! и громы онѣмѣли,
Ревущіе тебя вокругъ;
Полки твои осиротѣли,
Наполняли рыданьемъ слухъ;
И все, что близъ тебя блистало,
Уныло и печально стало.

Потухъ лавровый твой вѣнокъ,
Гранена булава упала,
Мечъ въ полножии войти чуть могъ,—
*Екатерина возрыдала!
Полетѣла потрясая за ней
Незванной смертію твоей!*

Теперь опять голая риторика:

Оливки свѣжи и зелены
Принесъ и бросилъ Миръ изъ рукъ;
Родства и дружбы вопли, стоны,
И музъ ахейскихъ жалкій звукъ
Вокругъ Перикла раздается:
Маромъ по Меченатъ рвется.

Который почестей въ лучахъ,
Какъ вѣкій царь, какъ бы на тронѣ,
На сребророзовыхъ коняхъ,
На златозарномъ фазетонѣ,
Во сонмѣ всадниковъ блисталъ,
И въ смертный, черный одръ упалъ!

За риторикой опять слѣдуютъ проблески поэзія:

Гдѣ слава? гдѣ великолѣпье?
Гдѣ ты, о сильный человѣкъ?
Маеусила долгодѣтье
Лишь было бѣ сонъ, лишь тѣнь нашъ вѣкъ;
Вся наша жизнь не что иное,
Какъ лишь мечтаніе пустое,
Иль нѣтъ! тяжелый вѣкій шаръ,
На вѣжномъ волосѣ висащій,
Въ который бурь, громовъ ударъ
И молніи небесъ ярящи
Отвсюду безпрестанно бьютъ,
И, ахъ! веены легки рвутъ.

А вотъ и чистая поэзія:

Единый часъ, одно мгновеніе
Удобны царства поразить.
Одно стихіевъ дуновение
Гигантовъ въ прахъ преобразить;
Ихъ идутъ мѣста—и не знаютъ:
Въ пыли героевъ попираютъ!
Героевъ? Нѣтъ! но ихъ дѣла
Изъ мрака и вѣковъ блистаютъ:
Нетлѣнна память, похвала
И изъ развалинъ вылетаютъ;
Какъ холмы, гробы ихъ цвѣтутъ:
Напишется Потемкинъ трудъ.

Теперь опять риторика:

Театръ его былъ край Эвксина,
Сердца обаянны—храмъ;
Рука съ вѣнкомъ—Екатерина;
Гремяща слава—фиміамъ;
Жизнь—жертвенникъ торжествъ и крови,
Гробница—ужаса, любви.

Слѣдующія за тѣмъ пять строфъ, изображающія страхъ турокъ при мысли объ Имангѣ и радость «россиянъ» при взглядѣ на рус-

скій флотъ въ Черномъ морѣ, — преисполнены риторики и въ мысли, и въ исполненіи. Остальные девять строфъ исполнены поэзіи, особливо эти двѣ:

По утру солнечнымъ лучемъ
Какъ монументъ златой важжется,
Лежать объаты серны сномъ,
И паръ вокругъ холмовъ вѣется.
Пришедши, старецъ надпись зрѣть:
«Здѣсь трупъ Потемкина сокрытъ!»
Алцибиадовъ прахъ! И смѣть
Червь ползаетъ вкругъ его главы?
Взять шлемъ Ахилловъ не робѣть,
Нашедши въ полѣ, Ойрсъ? Увы!
И плоть, и трудъ колъ истлѣваетъ:
Что жъ нашу славу составляетъ?..

Мы разобрали одно изъ лучшихъ стихотвореній Державина, и это даетъ намъ право не дѣлать дальнѣйшихъ разборовъ такого рода, ибо они загроздили бы статью выписками. И такъ, повторяемъ, что невыдержанность въ цѣломъ и частностяхъ, преобладаніе дидактики, сбивающейся на резонерство, отсутствіе художественности въ отдѣлкѣ, смѣсь риторики съ поэзіей, проблески гениальности съ непостижимыми странностями—вотъ характеръ всѣхъ произведеній Державина.

Какая же, спросятъ насъ, причина этого: та ли, что Державинъ не поэтъ; та ли, что его талантъ былъ незначителенъ, или что у него вовсе не было таланта? Ни то, ни другое, ни третье... Отвѣтъ на этотъ вопросъ уже сдѣланъ нами въ началѣ статьи: что было тамъ высказано нами въ общихъ чертахъ, какъ теорія, то приложимъ мы теперь къ вопросу о поэзіи Державина, какъ къ факту. Державинъ былъ человекъ, одаренный великими творческими силами,—и онъ сдѣлалъ все, что можно было ему сдѣлать въ то время. Не его вина, что онъ явился въ то, а не въ наше время; не его вина, что поэзія не падаетъ готовая прямо съ неба, а вырастаетъ на землѣ, переходя черезъ всѣ степени развитія, какъ все растущее.

Поэзія въ каждой странѣ имѣетъ свою исторію; поэтому неудивительно, что и въ Россіи она имѣла свою исторію. Отецъ русской поэзіи, патриархъ русскихъ поэтовъ былъ не столько поэтъ, сколько ученый: мы говоримъ о Ломоносовѣ. Поэзія русская не была туземнымъ свѣтомъ, свободно и самобытно развившимся изъ почвы національнаго духа; но, подобно нашей европейской цивилизаціи и нашему европейскому просвѣщенію, она была прививнымъ или—еще вѣрнѣе сказать—пересаженнымъ растеніемъ. И вотъ здѣсь-то заключается живая связь Петра Великаго съ Ломоносовымъ, какъ причины съ слѣдствіемъ. Наши критики обыкновенно упускаютъ изъ виду это обстоятельство: они обвиняютъ русскую литературу въ подражательности, въ отсутствіи оригинальности, и

въ то же время признаютъ Пушкина, Грибоедова и другихъ новѣйшихъ писателей оригинальными поэтами, не понимая того, что еслибъ наша поэзія до Пушкина не была подражательной, то и поэзія отъ Пушкина не могла бы быть оригинальной и народной... Да, подражательность первыхъ нашихъ поэтовъ искупила оригинальность послѣдующихъ. И это обстоятельство даетъ особенный характеръ нашей поэзіи и ея историческому развитію. Исторія нашей поэзіи до Пушкина вся заключается—въ усиліи изъ риторики сдѣлаться поэзіей, изъ книжной и школьной стать естественной, изъ подражательной—оригинальной. Ломоносовъ сообщилъ русской поэзіи характеръ чисто-риторическій, чисто-школьный и книжный. — и велико дѣло его, святъ его подвигъ! Намъ нужна была поэзія, во что бы то ни стало, — и Ломоносовъ далъ намъ именно такую поэзія, кромѣ которой ни ему, ни другому кому, хотя и великому гению, дать было невозможно. О Ломоносовѣ вообще утвердилось мнѣніе, что онъ былъ ученый и нисколько не поэтъ: этого мнѣнія нельзя опровергнуть, но едва ли можно и доказать его справедливость. Положимъ, что Ломоносовъ былъ столь же поэтическая натура, какъ и самъ Пушкинъ; но вотъ вопросъ: какъ и въ чемъ бы высказалась его поэтическая натура? Откуда бы подчерпнулъ онъ сознательную идею о существованіи поэзіи и о своемъ поэтическомъ призваніи?—Изъ общества? Но тогдашнее общество не имѣло никакого понятія о поэзіи и еще менѣе потребности въ ней, и если оно смотрѣло на стихи Ломоносова не какъ на пустое балагурство, а на него самого не какъ на шута, такъ причиной этому былъ не талантъ Ломоносова, а покровительство Шувалова, вниманіе императрицы... Слѣдовательно, для сознательной идеи поэзіи Ломоносову былъ одинъ путь — книга, ученіе, наука, знакомство съ Европой. Такъ оно и было. Теперь вопросъ: могъ ли Ломоносовъ не подчиниться вліянію своихъ нѣмецкихъ учителей, и образцы тогдашней нѣмецкой поэзіи могли ли дать поэтической дѣятельности Ломоносова другое направленіе, нежели то, которое они дали ей? Скажутъ: истинный гений не покоряется чуждому вліянію и руководствуется только собственнымъ творческимъ духомъ. Да, это правда, но только тогда, когда уже выработаны матеріалы, изъ которыхъ гений можетъ творить; иначе въ историческомъ процессѣ не бываетъ. И вотъ почему иногда пришествіе одного гения приурочивается столькими другими, изъ которыхъ иные можетъ-быть потому только кажутся меньше его, что явились прежде его, что исторія осудила ихъ на низшія предварительныя работы. Петръ Великій, въ одно и

то же время работавшій и умомъ, и топоромъ, представляет собой въ этомъ отношеніи дивное исключеніе изъ общаго правила. И такъ, что же оставалось дѣлать Ломоносову? Прежде всего ему надо было подумать о теоріи, тогда какъ въ поэзіи другихъ народовъ практика родила теорію, фактъ возбудилъ потребность сознанія. И вотъ Ломоносовъ думаетъ о томъ, что такое поэзія, какъ она должна быть, и, разумѣется, смотритъ на этотъ предметъ, какъ смотрѣли на него нѣмцы того времени. Потомъ ему нужно было подумать о языкѣ, о версификаціи, ибо до него не было на Руси ни грамматики, ни одного стиха, написаннаго не силлабическимъ размѣромъ, чуждымъ духу и несвойственнымъ гибкости и богатству русскаго языка. (Тредьяковскаго тутъ нечего брать въ расчетъ.) Что же было ему пѣть? Любовь?—но для выраженія той любви, которая знакома была современному ему обществу, достаточно было и народныхъ свадебныхъ пѣсенъ, а о другой оно и не заботилось. Нѣтъ, Ломоносовъ пѣлъ то, что было ближе къ дѣлу, что заключалось въ самой дѣйствительности. Солнце русской жизни надолго закатилось со смертію Петра Великаго и освѣтило ее вновь только съ восшествіемъ на престолъ Екатерины Великой; послѣ ужасовъ Бироновской тираніи царствованіе Елисаветы по справедливости казалось эпохой столь же счастливой, сколько и славной,—и Ломоносовъ пѣлъ «блаженство дней своихъ», пѣлъ «любезныя ему науки въ дражайшемъ отечествѣ». Больше нечего было бы пѣть въ то время и самому Шекспиру. Говорятъ, стихи его облачаютъ оратора, а не поэта; да иначе и быть не могло даже и въ такомъ случаѣ, еслибы Ломоносовъ былъ столько же поэтической натуры, какъ и Пушкинъ. Но вотъ еще вопросъ: почему стихи Ломоносова такъ необыкновенно хороши по своему времени? Почему изъ его современниковъ никто не писалъ такихъ хорошихъ стиховъ? Почему стихи Сумарокова, болѣе, чѣмъ Ломоносовъ, преданнаго поэзіи и явившагося послѣ него, такъ далеко хуже Ломоносовскихъ стиховъ? Отчего стихи Державина сдѣлали послѣ стиховъ Ломоносова такой малый шагъ впередъ, и то въ самыхъ лучшихъ его стихотвореніяхъ, тогда какъ въ большей части не лучшихъ они хуже, чѣмъ стихи Ломоносова въ одѣ «Къ Іову», въ «Утреннемъ» и «Вечернемъ» размышленіи о величествѣ Божіемъ», которыя отличаются чистотой языка, облачающей въ творцѣ ихъ человѣка ученаго? Конечно «Мокрый Амуръ» Ломоносова далеко не пойдетъ въ сравненіе съ анакреонтическими стихотвореніями Державина, но по своему времени это удивительное стихотвореніе. Итакъ, вопросъ о поэтическомъ при-

званіи и талантѣ Ломоносова пока все еще только—вопросъ, и едвали есть возможность рѣшить его положительно или отрицательно.

Обратимся къ Державину. Никто самъ собой ничего не дѣлаетъ ни великаго, ни малаго, но, оглядѣвшись вокругъ себя, всякій начинаетъ или продолжать, или отрицать сдѣланное прежде его: это законъ историческаго развитія. Чувствуя-наклонность къ поэзіи, имя которой было уже печатно выговорено въ Россіи, и о которой носились уже темные слухи въ небольшомъ грамотномъ кругѣ людей общества того времени,—Державинъ естественно не могъ не остановить своего вниманія на Ломоносовѣ и не подчиниться его вліянію. И Державина за это такъ же можно упрекать, какъ младенца за то, что онъ лепечетъ языкомъ отца своего, звуки котораго впервые огласили его слухъ, а не языкомъ, котораго онъ звуковъ не могъ слышать. Державинъ добродушно удивлялся гению Хераскова, высокому паренію Петрова; но его чутью дѣлаетъ большую честь, что онъ рѣшился подражать только одному Ломоносову. Еще большую честь дѣлаетъ Державину то, что съ 1779 года онъ пошелъ собственнымъ своимъ путемъ. Не думайте однакожъ, чтобъ онъ на это рѣшился по сознанію недостатковъ поэзіи Ломоносова или по убѣжденію, что подражаніе ни къ чему не ведетъ, а надо всякому быть самимъ собой: нѣтъ! для такого сознанія и такого убѣжденія еще не настало время, и Державину не откуда было взять ихъ. Вотъ что говоритъ онъ самъ о произведеніяхъ первой своей эпохи до 1779 года: «Всѣхъ сихъ произведеній своихъ авторъ самъ не одобрялъ, потому что хотѣлъ подражать Ломоносову, но чувствовалъ, что талантъ его не былъ внушаемъ одинаковымъ гениемъ: онъ хотѣлъ парить, но не могъ постоянно выдерживать красивымъ наборомъ словъ, свойственнаго единственно русскому Пиндару велелѣпія и пышности; а для того въ 1779 году избралъ онъ совершенный особый путь, будучи предводимымъ наставленіями Баттѣ и совѣтами друзей своихъ: Николая Александровича Львова, Василья Васильевича Капниста и Ивана Ивановича Хемницера». Не думайте также, чтобы «совершенно особый путь» означалъ полную независимость отъ Ломоносова и совершенную самобытность: такой быстрый переходъ въ то время былъ бы скачкомъ, а въ исторіи нѣтъ скачковъ. Державинъ дѣйствительно пошелъ своимъ особымъ путемъ, но не выходя изъ-подъ вліянія Ломоносовской поэзіи; въ поэзіи Державина явились впервые яркія вспышки истинной поэзіи, мѣстами даже проблески художественности, какая-то ему одному свойственная оригинальность во взглядѣ на предметы и въ манерѣ выражать-

ся, черты народности, столь неожиданныя и тѣмъ болѣе поразительныя въ то время,—и вмѣстѣ съ тѣмъ поэзія Державина удержала дидактическій и риторическій характеръ въ своей общности, который былъ сообщенъ ей поэзіей Ломоносова. Въ этомъ виденъ естественный историческій ходъ.

Кстати о дидактикѣ. Она была явленіемъ необходимѣйшимъ и необходимымъ. Занятіе поэзіей должно было чѣмъ-нибудь быть оправдано въ глазахъ общества. Теперь всякій бумагомаратель, назвавшись поэтомъ, найдетъ кружокъ, который будетъ смотрѣть на него съ нѣкоторымъ уваженіемъ за то, что онъ—не простой человѣкъ, а «поэтъ». Но это мистическое уваженіе къ слову «поэтъ» не вдругъ же явилось въ русскомъ обществѣ: оно развилось въ немъ временемъ и конечно составляетъ его прогрессъ въ сравненіи съ предшествовавшими эпохами. Во время Ломоносова слова «поэзія» и «поэтъ» или, по тогдашнему, «пѣтъ» звучали довольно дико и были къ тому же нѣсколько опошлены характерами первыхъ двухъ русскихъ «пѣтцовъ»—Тредьяковского и Сумарокова. Если на поэтовъ общество обратило вниманіе, то не иначе, какъ вслѣдствіе покровительства, которое оказывалось имъ высшей властью. «Даютъ чины, подарки за стихи,—стало-быть, стихи что-нибудь да значать же»: такъ думало само съ собой тогдашнее общество. Но надобно же было ему представить пользу отъ поэзіи, чтобъ оно не считало поэзію за одно съ шутовствомъ. Да что общество!—сами поэты того времени не умѣли объяснить себѣ свою страсть къ поэзіи иначе, какъ ея высокимъ призваніемъ—быть полезной для нравовъ общества. И если хотите, они были правы: поэзія дѣйствительно есть провозвѣстница великихъ истинъ, въ историческомъ движеніи человѣчества развивающихся; но прежде всего она—поэзія, свободное творчество, самостоятельная сфера сознанія, которой нельзя и не должно смѣшивать съ философіей, хотя у нихъ обѣихъ одно и то же содержаніе. Но наши первые поэты стараго времени поняли поэзію, какъ пріятное правоученіе,—и Мерзляковъ, теоретикъ этой поэзіи, такъ выразилъ ея сущность и цѣль въ стихахъ, заимствованныхъ имъ у Тасса:

Такъ врачъ болящаго младенца ко устамъ
Несетъ флажъ, сладкими улитанъ по краямъ:
Счастливецъ обольщенъ, пьетъ горькое цѣлене,
Обманъ ему далъ жизнь, обманъ ему спасенье!

Выражаясь прозой, это значитъ, что поэзія есть позолота на горькой пилюлѣ правоученія... Мнѣніе ограниченное и жалкое, но подъ его эгидой начинается всякая поэзія, возникающая не непосредственно изъ народной жизни, а явившаяся какъ нововведеніе, какъ какое-то общественное учрежденіе... И зато

спасибо ему: оно, это мнѣніе, поддержало у насъ и дало укрѣпиться зародышу поэзіи Ломоносова и Державина. Послѣ этого понятію дидактическое и риторическое направленіе поэзіи Ломоносова и Державина. Было бы крайне несправедливо ставить имъ въ вину это. Въ дѣйствіяхъ великихъ людей бываетъ два рода недостатковъ и ошибокъ: одни происходятъ отъ ихъ личнаго произвола, ихъ личной ограниченности; другіе—изъ духа и потребностей самаго времени. За недостатки и ошибки перваго рода можно и должно обвинять великихъ дѣйствователей; недостатки же и ошибки втораго рода можно и должно называть ихъ собственными именами, т. е.—недостатками и ошибками, но ставить ихъ въ вину великимъ дѣйствителямъ не можно и не должно.

Итакъ, очевидно, что Державинъ не могъ быть, а потому и не былъ поэтомъ-художникомъ; его поэзія—лепетъ младенческій, исполненный жизни и прелести, но не рѣчь разумная мужа. И откуда же взялъ бы онъ художественность образовъ, пластическую отдѣлку формы, если въ его время о такихъ хитростяхъ не было понятія, а слѣдовательно не было въ нихъ и потребности? И потомъ можно ли винить его за риторику и дидактику, входящую, какъ элементъ, во всѣ, даже лучшія его созданія, а въ посредственныхъ и слабыхъ играющихъ первую роль?

Конечно за это никто и не обвинять его: но съ другой стороны есть ли какой-нибудь смыслъ обвинять, какъ въ преступленіи, какъ въ дерзкомъ неуваженіи къ священнымъ предметамъ людей, которые называютъ вещи собственными ихъ именами и не хотятъ видѣть въ нихъ больше того, что есть въ нихъ на самомъ дѣлѣ? Можно насчитать болѣе полусотни стихотвореній Державина, въ которыхъ нѣтъ и искры поэзіи, а въ которыхъ злоупотребленіе «піитической вольности» съ языкомъ доведено до крайней степени: неужели грѣхъ и преступленіе сказать объ этомъ прямо! неужели критика должна состоять изъ однихъ лицемѣрныхъ фразъ и натянутого восторга, выражаемаго общими мѣстами дрянныхъ учебниковъ по части словесности? Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ,—тѣмъ болѣе нѣтъ, что подобная искренность нисколько не можетъ повредить славіи Державина, ни затмить его великаго таланта, ни унижить его великихъ заслугъ! Неудачныя стихотворенія могутъ быть у всякаго великаго поэта, и если у Державина ихъ больше, чѣмъ у другихъ,—это вина времени (если только время можетъ быть въ чемъ-нибудь виновато), а не поэта. Жуковский—тоже поэтъ необыкновенный; онъ явился уже послѣ Державина, когда самый языкъ сдѣлалъ большіе успѣхи черезъ Карамзина и Дмитріева;

Жуковский самъ подвинулъ языкъ впередъ и много сдѣлалъ для стиха и для поэзіи; но и у Жуковского есть длинныя посланія, которыхъ достоинство заключается совсѣмъ не въ поэзіи, а развѣ въ звучности стиха и краснорѣчьи, и которыя въ сущности немногимъ важнѣе риторическихъ и дидактическихъ разсужденій въ стихахъ Державина, добродушно называемымъ имъ одами. И въ этихъ длинныхъ посланіяхъ Жуковского виденъ историческій ходъ развитія нашей поэзіи: у Пушкина уже нѣтъ подобныхъ произведеній, но потому именно и нѣтъ, что они уже были у Жуковского, и что уже пришло время кончиться имъ.

И такъ, некого обвинять и нечего жалѣть, что Державинъ не былъ повтомъ-художникомъ; лучше подивиться тѣмъ свѣтозарнымъ проблемкамъ поэзіи и художественности, которыми такъ часто и такъ ярко вспыхиваетъ дидактическая, по преобладающему элементу своему, поэзія этого могучаго таланта. Натура Державина по преимуществу поэтическая и художественная, но время и обстоятельства положили неопределимыя преграды ея развитію, и потому въ созданіяхъ Державина нѣтъ поэзіи, какъ искусства, — есть только элементы и проблески истинной поэзіи. Это уже не чисто-подражательная поэзія, какъ у Ломоносова: въ ней уже слышатся и чуются звуки и картины русской природы, но перемѣшанныя съ какой-то искаженной, на французскій манеръ, греческой миеологіей. Возьмемъ для примѣра прекрасную оду «Осень во время осады Очакова»: какая странная картина чисто-русской природы съ Богъ-вѣдаетъ какой природой, — очаровательной поэзіи съ непонятной риторикой:

Спустилъ сѣдой Эолъ Борей
Съ цѣпей чугунныхъ изъ пещеръ;
Ужасны крылья расширяя,
Махнулъ по свѣту богатырь;
Погналъ стадами воздухъ синій,
Сгустилъ туманы въ облака,
Давнулъ — и облака расѣлись,
Спустился дождь и восшумѣлъ.

Къ чему тутъ Эолъ, къ чему Борей, пещеры и чугунныя цѣпи? Не спрашивайте. Къ чему нужны были пудра, мушки и фижмы? Во время оно безъ нихъ нельзя было показаться въ люди... И какъ нейдетъ русское слово «богатырь» къ этому нѣмцу «Борею»?.. Можно ли гонять стадами синій воздухъ? И что за картина: Борей, сгустивъ туманы въ облака давнулъ ихъ; облака расѣлись, и оттого спустился дождь и восшумѣлъ?.. Вѣдь это — слова, слова, слова!.. Но далѣе:

Уже румяна осень носятъ
Снопъ златые на гумно.

Какіе прекрасные два стиха! По нимъ вы думаете, что мы въ Россіи...

И роскошъ винограду просить
Рукою жадной на вино;

Тоже прекрасные стихи; но куда они переносятъ васъ — Богъ вѣсть!

Уже стада толпятся птицы,
Ковмъ сребрится по степямъ;
Шумящи красножелтыя листья
Разстлались всюду по тропамъ.
Въ опушкѣ зайца быстроногій,
Какъ волнистъ посѣдѣвъ, лежатъ;
Ловцеи раздаютъ роги,
И выжлятъ лай и гулъ гремѣть;
Запаслися крестьянныя хлѣбомъ,
Вѣтъ добры щи и пиво пьютъ;
Обогащенный добрымъ небомъ...

Тутъ вы ожидаете, что онъ благословляетъ въ простотѣ сердца имя Божье за дары его: ничуть не бывало: онъ —

Блаженство дней своихъ поетъ!

Не на лирѣ ли?..

Борей на осень хмурить брови,
И Зимѣ съ Сѣвера зоветь:
Идетъ сѣдая чародѣйка,
Косматымъ машетъ рукавомъ,
И снѣгъ, и мразь, и иней сыплеть,
И воды претворяетъ въ лѣды;
Отъ хладнаго ея дыханья
Природы взоръ опѣивѣтъ.
На мѣсто радугъ испещренныхъ
Виситъ на небѣ мгла вокругъ,
А на коврахъ полей зеленыхъ
Лежитъ разсыпанъ бѣлый пухъ:
Пустыни сѣютъ и долы,
Голодные волки воютъ въ нихъ;
Древа стоятъ и холмы голы,
И не пасется стадъ при нихъ.
Ушелъ олень на тундры мшисты
И въ логовище легъ медвѣдь.

И вслѣдъ за этими чудными стихами —

По селамъ нимфы голосисты
Престали въ хороводахъ пѣть,
Небесный Марсъ оставилъ громы,
И легъ въ туманы отдохнуть ..

Какой «небесный Марсъ» и въ какіе «туманы» легъ онъ на отдыхъ? Что за «нимфы голосисты» — ужъ не крестьянки ли?.. Но называть нашихъ крестьянокъ нимфами все равно, что называть Меланіей Маланью...

Что въ Державинѣ былъ глубоко-художественный элементъ, это всего лучше доказываютъ его такъ называемыя «анакреонтическія» стихотворенія. И между ними нѣтъ ни одного, вполне выдержаннаго; но какое созерцаніе, какіе стихи! Вотъ на примѣръ «Побѣда красоты»:

Какъ храмъ Аренагъ Паладѣ,
Нептуна презрѣ, посвятилъ,
Притекъ къ аениской левъ оградѣ,
И ревомъ городу грозилъ.
Она копья непобѣдима
Ко ополченью не взяла,

Противу льва неукротима
 Съ Олимпа Гебу призвала.
 Пошла,—и подь оливой стала,
 Блистая легкою броней:
 Младую нимфу обнимала,
 Сидящую въ тѣни вѣтвей.
 Левъ шелъ,—и подь его стопою
 Приморскій влажный берегъ дрожалъ,
 Но встрѣтись вдругъ со красотою,
 Какъ солнцемъ пораженный, сталъ.
 Вадыхалъ и палъ къ ногамъ левъ сильный,
 Прелестну руку лобызалъ
 И чувства вротилъ, умильны,
 Въ сверкающихъ очахъ являлъ.
 Стыдлива дѣва улыбалась,
 На молодого льва смотря,
 Кудравой гривой забавлялась
 Сего звѣринаго царя.
 Минерва мудрая познала
 Его родящуюся страсть,
 Цѣлительной цѣлью привязала
 И отдала любви во власть.
 Не разъ потомъ уже случалось,
 Что умъ смирялъ и ярость лвовъ,
 Красою мужество сражалось,
 А побѣждала все любовь.

Изъ этого стихотворенія видно въ Державинѣ живое сочувствіе къ древнему міру, какъ свидѣтельство глубоко-художественнаго момента въ натурѣ поэта. Но пьеса «Рожденіе Красоты» еще болѣе обнаруживаетъ это артистическое сочувствіе поэта къ художественному міру древней Греціи, хотя эта пьеса и еще менѣе выдержана, чѣмъ первая. Доказательствомъ же того, какими превосходными стихами могъ писать Державинъ, служатъ его стихотвореніе «Русскія Дѣвушки»:

Зрѣлъ ли ты, пѣвецъ тисскій,
 Какъ въ лугу, весной, бычка
 Плещутъ дѣвушки *россійски*
 Подъ свирѣлью пастушка?
 Какъ, склонясь *главами*, ходять,
 Башмачками въ ладъ стучать,
 Тихо *руки*, *взоръ поводятъ*,
 И плечами говорятъ?
 Какъ ихъ лентами алатыми
 Чела бѣлыя блестятъ,
 Подъ жемчугами драгими
 Груды нѣжныя дышатъ?
 Какъ сквозъ жили голубыя
 Летятъ розовая кровь,
 На ланитахъ огневныя
 Ямки врѣзала любовь!
 Какъ ихъ брови соболины,
 Полный искръ соколій взглядъ,
 Ихъ усмѣшка—души лвыны
 И сердца орловъ разятъ?
 Коль бы видѣлъ дѣвъ сихъ красивыхъ,
 Ты-бъ гречанокъ позыбѣлъ,
 И на крыльяхъ сладострастныхъ
 Твой Эротъ прикованъ былъ.

Оставимъ въ сторонѣ достолюбезную наивность мысли—заставить Анакреона удивляться *россійскимъ* дѣвушкамъ, пляшущимъ весной на лугу «бычка», и отдать имъ первенство передъ богинями и нимфами древней Эллады; оставимъ также въ сторонѣ книжное и не идущее къ дѣлу слово «гла-

вами», ошибку противъ языка, который велитъ поводить руками и взорами и не позволяеть «поводить руки и взоры»; оставимъ все это въ сторонѣ, какъ погрѣшности, неизбѣжныя по духу времени, и спросимъ: можно ли согласиться, что стихи этой пьесы, какъ стихи—прекрасны? Стало быть, Державинъ могъ всегда писать прекрасными стихами?—Конечно могъ, ибо онъ по натурѣ своей былъ великій поэтъ.—Отчего же онъ такъ рѣдко писалъ хорошими стихами?—Оттого, что въ его время не было ни понятія о необходимости прекрасныхъ стиховъ, ни потребности въ нихъ; оттого, что въ его время о поэзіи всего менѣе думали, какъ о красотѣ, не подозревая, что поэзія и красота—одно и то же. Поэтому Державинъ всего менѣе заботился о стихѣ, а такъ какъ онъ началъ писать очень поздно, то и не могъ овладѣть ни языкомъ, ни стихомъ, обладаніе которыми и величайшимъ поэтамъ достается не безъ тяжкаго труда. Оттого же Державину такъ трудно было поправлять свои пьесы, и всѣ его поправки были болѣе частью неудачны. Что касается до не точности въ выраженіи, — отъ того времени и требовать невозможно точности, а страшное насилуваніе языка, т. е. произвольныя усѣченія, ударенія, часто искаженіе слова, должно приписать тому, что Державинъ въ молодости не имѣлъ возможности приобрести по части языка ни познаній, ни навыка.

Сколько бы ни разобрали мы пьесъ Державина,—все пришли бы къ одному и тому же результату: великъ былъ естественный талантъ Державина, а поэтось-художникомъ онъ все-таки не былъ; и цѣлый кругъ его поэтической дѣятельности представляетъ собой только порываніе къ поэзіи и достиженію ея лишь мгновенными вспышками и неожиданными проблесками. Даже лучшія, самыя поэтическія его произведенія, какъ напримѣръ «Фелица», могутъ намъ нравиться не иначе, какъ только подъ условіемъ изученія, какъ факты историческаго развитія русской поэзіи. Читая ихъ, мы должны отрывать отъ своего времени и своихъ понятій и силой размышленія, такъ сказать, заставить себя видѣть поэзію и талантъ въ томъ, что въ современномъ намъ писателѣ назвали бы мы прозой и бездарностью. Однимъ словомъ, стихотворенія Державина, разсматриваемыя съ эстетической точки, суть не что иное, какъ блестящая страница изъ исторіи русской поэзіи,—некрасивая куколка, изъ которой должна была выпорхнуть на очарованіе глазъ и умиленіе сердца роскошно-прекрасная бабочка... Повторяемъ: талантъ Державина великъ, но онъ не могъ сдѣлать болѣе того, что позволили ему его отношенія къ историческому положенію обще-

ства въ Россіи. Державинъ великъ и въ томъ, что онъ сдѣлалъ: зачѣмъ же приписывать ему больше того, что могъ онъ сдѣлать? Державинъ великій поэтъ русскій, — и этого довольно, нѣтъ никакой нужды величать его Пиндаромъ, Анакреономъ и Гораціемъ, съ которыми у него нѣтъ ничего общаго. Пиндаръ, Анакреонъ и Горацій дѣйствовали на почвѣ всемірно-исторической жизни и были по превосходству художниками, какъ органы художественнаго древняго міра, особенно Пиндаръ и Анакреонъ — пѣвцы народа эллинскаго, народа-художника...

Во второй статьѣ мы рассмотримъ стихотворенія Державина съ исторической точки, безъ которой всякое сужденіе о такомъ поэтѣ было бы односторонне и неполно.

II.

Такъ какъ искусство со стороны своего содержанія есть выраженіе исторической жизни народа, то эта жизнь и имѣетъ на него великое вліяніе, находясь къ нему въ такомъ же отношеніи, какъ масло къ огню, который оно поддерживаетъ въ лампѣ, или, еще болѣе, какъ почва къ растеніямъ, которымъ она даетъ питаніе. Сухая и каменистая почва неблагоприятна для растительности; бѣдная содержаніемъ историческая жизнь неблагоприятна для искусства. Содержаніе исторической жизни составляютъ идеи, а не одни факты. Всѣ великіе народы, въ исторіи которыхъ міродержавный промыслъ осуществилъ судьбы человѣчества, жили и живутъ идеей, и умираютъ, какъ скоро ихъ историческая идея изжита ими вполне. Но такіе народы умираютъ только эмпирически: идеально же ихъ существованіе безсмертно. Доказательство этому — древній міръ. Доселѣ вновь прорытая улица Помпеи, вновь открытый домъ въ ней, съ его утварью и мельчайшими признаками быта жителей, — для насъ, гражданъ новаго міра, составляютъ важное событіе, возбуждая вниманіе всѣхъ образованныхъ людей во всѣхъ пяти частяхъ свѣта. А какое было бы торжество для образованныхъ міра, еслибы нашли утраченные части твореній Геродота, Эсхила, Софокла, Эврипида, Плутарха, Тита Ливія, Тацита и другихъ?... Многіе негодуютъ на то, что наши дѣти прежде именъ отечественныхъ героевъ узнаютъ имена Солоновъ, Ликуровъ, Эмистокловъ, Аристидовъ, Перикловъ, Алкивиадовъ, Александровъ и Цезарей: негодованіе несправедливое и неосновательное! — въ деспотизмъ такого умственного, идеальнаго владычества древняго міра нѣтъ ничего оскорбительнаго и возмущающаго: это власть законная, почестъ заслуженная! Идея древне-эллинской жизни была такъ глубока и много-

сторонна, что нѣтъ никакой возможности даже намекнуть на нее въ нѣсколькихъ словахъ, — особенно, если говоришь о ней мимоходомъ, какъ говоримъ мы теперь. Другое дѣло — идея исторической жизни римлянъ: она сколько глубока, столько же и односторонняя и по тому самому даетъ возможность сколько-нибудь удовлетворительнаго на нее намека. Пульсъ исторической жизни Рима, ея сокровенный тайникъ, ея животворная идея, ея альфа и омега, ея первое и послѣднее слово, — это право (jus). Что было одной изъ многихъ сторонъ исторической жизни Греціи, — то было единой, исключительной и полной жизнью Рима — и зато Римъ вполне развился, разработалъ и изжилъ этотъ основной элементъ своей жизни. Скажутъ: римляне велики еще и какъ народъ воинственный, какъ всемірные завоеватели. Такъ! но и кромѣ римлянъ много было народовъ-завоевателей, а одни только римляне, умѣя завоевывать, умѣли и упрочивать свои завоеванія. Чѣмъ же упрочивали они ихъ? — Своимъ правомъ, своей гражданственностью. Побѣжденные народы принимали ихъ законы, обычаи и нравы, даже самый языкъ ихъ, по тому непреложному вѣчному закону историческаго развитія, по которому тьма уступаетъ мѣсто свѣту, невѣжество — разуму. Право было источникомъ всѣхъ событій, всѣхъ волненій и переворотовъ въ исторической жизни римлянъ, и вся исторія ихъ — развитіе идеи права въ хронологической послѣдовательности фактовъ; оно, это право, было вѣчнымъ двигателемъ и рычагомъ государственной и общественной жизни римлянъ; изъ него и для него длилась эта упорная борьба патриціевъ и плебеевъ, за него волновался народъ и умирали Гракхи; приобщенія къ нему добывались побѣжденные города и народы. Процессъ гражданской борьбы и вѣтшней войны почти всегда имѣлъ въ Римѣ своимъ результатомъ — успѣхъ права. Скажутъ: несмотря на то, что въ основѣ исторической жизни римлянъ лежала идея, ихъ искусство было подражательное, не оригинальное? Такъ, но причина этого заключалась можетъ-быть въ односторонности и исключительности ихъ идеи, равно какъ и въ томъ, что римляне были по преимуществу народъ практическій, чуждый всякой созерцательности. Поэзія явилась у нихъ, какъ наслѣдіе умершей Греціи, на закатѣ ихъ собственной жизни, когда уже дряхлое общество не могло быть питательной почвой для цвѣтовъ поэзіи. Оттого латинская поэзія и носитъ на себѣ отпечатокъ не только подражательности, но и старческой дряхлости: отпущенникъ Мецената, Горацій, добровольно остался рабомъ и холопомъ своего милостивца, и создалъ меценатскую поэзію, воспѣвая миръ и тишину Рима,

купленные цѣной упадка доблести и добродѣтели. Впрочемъ и кромѣ Virgilia, этого поддѣльнаго Гомера римскаго, римляне имѣли своего истиннаго и оригинальнаго Гомера въ лицѣ Тита Ливія, котораго исторія есть національная поэма, и по содержанію, и по духу, и по самой риторической формѣ своей. Но высшей поэзіей римлянъ была и навсегда осталась поэзія ихъ дѣлъ, поэзія ихъ права: первая и теперь возвышаетъ и укрѣпляетъ всякую благородную душу въ святомъ чувствѣ патристическаго героизма, а Юстиниановъ кодексъ — зрѣлый плодъ исторической жизни римлянъ — освободилъ Европу отъ оковъ феодальнаго права. Сначала принятый ею какъ фактъ, онъ потомъ вошелъ въ ея жизнь и въ свою очередь принялъ въ себя христіанскіе элементы и теперь продолжаетъ развитіе своего безсмертнаго существованія: въ немъ-то и чрезъ него-то доселѣ живетъ древній Римъ въ новомъ мірѣ.

Изъ народовъ новаго человѣчества испанцы первые выступили на поприще всемірно-исторической жизни. Нація экзальтированная и фантастическая, Испанія должна была на время слиться съ чуждымъ ей по происхожденію, но родственнымъ ей (по пылкости чувства и воображенія) племенемъ аравитанъ и сдѣлалась представительницей рыцарственности среднихъ вѣковъ, съ ея восторженными понятіями о чести, о достоинствѣ привилегированной крови, о любви, о храбрости, о великодушіи, съ ея фантастической и суевѣрной религіозностью. Отсюда это множество рыцарскихъ романовъ и еще большее множество романсовъ на испанскомъ языкѣ; отсюда же объясняется и появленіе Сервантесова «Донъ-Кихота»: ибо всякая крайность тамъ же, гдѣ возникла, и вызываетъ противъ себя реакцію.

Италія была второй страной новой Европы, гдѣ загорѣлся свѣтъ просвѣщенія. Италію можно называть, не боясь слишкомъ ошибиться, христіанской реставраціей изящнаго міра древняго. И потому, какъ Испанія представляла собой чудесное зрѣлище фантастическаго сліянія аравійскаго духа съ европейскимъ христіанствомъ, такъ Италія представляла не менѣе чудное зрѣлище фантастическаго сліянія древняго съ европейскимъ христіанствомъ, котораго «вѣчный городъ» былъ главой и представителемъ. Возникшая на классической почвѣ, среди развалинъ и памятниковъ древняго искусства, тевтонская Италія возродилась въ чувствѣ красоты и изящества. Отъ этого идея искусства сдѣлалась источникомъ жизни итальянца, и каждый итальянецъ сталъ или художникомъ, или дилетантомъ. Итальянское искусство осталось вѣрно своему классическому небу, своей классической природѣ, и въ новыхъ

формахъ отразило древнюю жизнь, съ ея изящной нѣгой, съ ея обаятельными формами. Самое богословіе католицизма какъ-то чудно слилось съ преданіями классической древности: Virgilій чуть-чуть не считался святымъ, и въ «Божественной Комедіи» онъ провожаетъ великаго творца ея по мрачнымъ областямъ ада и чистилища. Чувственный и соблазнительный пѣвецъ рыцарскихъ и любовныхъ похощеній, Arioste, больше Тасса былъ итальянскимъ Гомеромъ. У самаго Тасса героемъ поэмы скорѣе можно назвать Армиду, чѣмъ Годфреда: обольстительный образъ первой есть болѣе искреннее и задушевное, а слѣдовательно и живое созданіе поэта, чѣмъ суровый образъ второго. Критики новѣйшаго времени изъяснили большія сомнѣнія насчетъ «идеальности» мадоннъ, созданныхъ кистью великихъ художниковъ Италіи; сверхъ того они видятъ въ этихъ мадоннахъ болѣе данъ понятіямъ времени, чѣмъ свободное творчество, которому были посвящены другія творенія болѣе искреннія и задушевные, и потому болѣе близкія къ типу обаятельной и совершенно земной красоты.

Въ наше время три націи являются по преимуществу представителями человѣчества — Германія, Франція и Англія. Въ идеализмъ заключается источникъ раціональной жизни Германіи. Міръ идей составляетъ сферу, которой, такъ сказать, дышитъ нѣмецъ. Цѣль жизни нѣмца — знаніе, и знаніе его заключено въ идеѣ; постичь идею предмета для него — значитъ овладѣть предметомъ. И потому только въ знаніи и соприкасается нѣмецъ съ міромъ и жизнью. Отсюда его нравственный аскетизмъ: появивъ идею предмета, онъ равнодушенъ къ тому, что этотъ предметъ не сообразенъ съ своимъ идеаломъ. Отсюда и аскетическій характеръ поэзіи нѣмцевъ: мірообъемлющая по идеямъ, воплощеннымъ въ ней, она призываетъ къ миру съ дѣйствительностью, какова бы ни была эта дѣйствительность; она настраиваетъ чловѣка къ одинокой созерцательной жизни внутри самаго себя, дѣлаетъ его властелиномъ въ сферѣ мысли и машиной въ сферѣ дѣйствительности. И оттого-то нѣмецкая поэзія такъ любитъ избирать своимъ исключительнымъ предметомъ или внутренніе процессы въ духѣ чловѣка, или мистику сердца чловѣческаго. А отсюда объясняются великіе успѣхи нѣмцевъ въ лирической поэзіи и музыкѣ и ихъ неуспѣхи въ другихъ родахъ поэзіи. Но уже аскетическая поэзія нѣмцевъ истощила все свое содержаніе и совершила полный кругъ свой: теперь жаждетъ она иныхъ элементовъ, иныхъ мотивовъ. Какъ бы то ни было, но внутренній міръ души чловѣка — великій міръ, и нѣмцы оказали чловѣчеству

великую услугу ученой и поэтической разработкой этого мира. Конечно великое достоинство аскетической поэзии нѣмцевъ составляетъ и великій недостатокъ ея, какъ всего односторонняго и исключительнаго; но все же сфера этой поэзии — сфера всемірно-историческая, и въ ней не могли не явиться великіе, міровые поэты.

Совсѣмъ иной характеръ имѣютъ жизненная идея и пафосъ французской націи: это вѣчно-тревожное стремленіе къ идеалу и уравниенію съ нимъ дѣйствительности. Искусство во Франціи всегда было выраженіемъ основной стихіи ея національной жизни: въ вѣкъ отрицанія, въ XVIII вѣкѣ, оно было исполнено ироніи и сарказма; теперь оно одно исполнено страданіями настоящаго и надеждами на будущее. Всегда было оно глубоко-национальнымъ, даже во времена псевдо-классицизма, натянутого подражанія древнимъ, — и Корнель, Расинъ, Мольеръ — столько же національные поэты Франціи, сколько Вольтеръ, Руссо, а теперь Беранжѣ и Жоржъ Зандъ.

Англія составляетъ прямую противоположность и Германіи, и Франціи. Сколько Германія идеальна, столько Англія практически положительна; какъ велики успѣхи нѣмцевъ въ философіи, такъ ничтожны попытки англичанъ въ абсолютной наукѣ; у англичанъ источникомъ всѣхъ ихъ историческихъ событій бываетъ польза общества. Человѣкъ въ этомъ обществѣ ничего не значитъ самъ по себѣ, но получаетъ большее или меньшее значеніе отъ того, что онъ имѣетъ или чѣмъ онъ владѣетъ. Покореніе силъ природы на службу обществу, побѣда надъ матеріей, пространствомъ и временемъ, развитіе промышленности, какъ основной общественной стихіи, какъ краеугольнаго камня зданія общества, — вотъ въ чемъ сила и величіе Англіи и ея заслуги передъ человѣчествомъ. Во многомъ похожая на древній Римъ, практическая Англія довершаетъ свое сходство съ нимъ и огромными завоеваніями, причина которыхъ — корыстные расчеты, а результатъ — распространеніе цивилизаціи по всему міру. Но въ отношеніи къ искусству Англія ничего общаго съ древнимъ Римомъ не имѣетъ: тевтонское племя, двумя слоями — саксонскимъ и нормандскимъ — легшее на почвѣ ея историческаго формировація, и христіанство, какъ глубоко вошедшій въ жизнь ея элементъ, заронили въ національный духъ англичанъ плодотворныя сѣмена поэзіи. Но и въ поэзіи Англія рѣзко отличается отъ Германіи и отъ Франціи. Какъ въ странѣ по превосходству общественной и практической, въ Англіи особенно развились драма и романъ, недоступные для нѣмцевъ; отъ французской же поэзіи англійская отличается

и своей художественностью, и своимъ равнодушіемъ къ вѣрно-изображаемой ею дѣйствительности, безъ скорби о неразумности и безъ радости о разумности этой дѣйствительности, безъ порыванія подвигнуть ее возвыситься до идеала. Но какъ Англія есть страна всевозможныхъ противорѣчій нравственныхъ, то и невозможно подвести явленій ея поэзіи подъ какую-либо опредѣленную точку зрѣнія: такъ напримѣръ, объ руку съ ея равнодушіемъ къ добру и злу дѣйствительности идетъ самый глубокій юморъ, а въ Байронѣ Англія имѣла поэта, который по пафосу своей поэзіи всего родственнѣе Франціи и всего враждебнѣе своему отечеству. Правда, Вольтеръ и Руссо имѣли сильное вліяніе на Байрона; но правда и то, что юморъ, мрачная глубина и колоссальная сила духа Байрона явно обличаютъ въ немъ сына Британіи. Вообще Байронъ такъ-же есть намекъ на будущее Англіи, какъ Шиллеръ — намекъ на будущее Германіи: оба эти поэта были рѣзкими противорѣчіями національному духу своихъ странъ, и въ то же время каждый изъ нихъ могъ явиться только въ своей странѣ. Но съ Шиллеромъ скоро помирилась ея Германія, которую сначала такъ дико озадачивало его явленіе; Байронъ же и умеръ въ непримиримой враждѣ съ своей родиной, и великая нація въ свою очередь двинулась въ срѣтеніе только гробу его...

Если въ этомъ очеркѣ національностей, ягравшихъ или играющихъ первыя роли на позорищѣ всемірной исторіи, и въ очеркѣ отношенія исторической идеи жизни народовъ къ поэзіи мы не выразили опредѣлительно нашей мысли (чего невозможно было сдѣлать, говоря мимоходомъ о такомъ предметѣ, котораго стало бы на огромное отдѣльное сочиненіе), то по крайней мѣрѣ сдѣлали на него опредѣлительный, сколько могли, намекъ. Прибавимъ къ сказанному, что основная идея національно-исторической жизни народа существуетъ всегда, какъ сумма понятій и правилъ общества; она даетъ себя чувствовать даже въ самыхъ повидимому мелочныхъ обычаяхъ и нравахъ общества. Такъ напримѣръ, страсть французовъ къ баламъ, театрамъ и всякаго рода публичнымъ увеселеніямъ, ихъ природная вѣжливость и любезность, охота и умѣнье вести легкій и бѣглый свѣтскій разговоръ, ихъ искусство популяризировать всякое знаніе, дѣлать доступнымъ черезъ ясное изложеніе всякій предметъ, самое непостоянство ихъ модъ въ одеждѣ и житейскихъ удобствахъ, — все вытекаетъ изъ основной идеи ихъ національно-исторической жизни. Англичане суровы, важны и недоступны въ обществѣ, они легче сходятся другъ съ другомъ въ парламентѣ, въ трибуналѣ, на биржѣ, чѣмъ въ салонѣ, и

въ послѣднемъ они этикетны: ихъ пиры и обѣды выражаютъ не свѣтскую, а политически-гражданскую общительность; они преданы семейной жизни, гдѣ глава семейства является маленькимъ деспотомъ и гдѣ основные принципы отзываются маленькимъ варварствомъ феодальныхъ временъ; въ свѣтской же жизни англичане этикетны и скучны съ достоинствомъ. Въ общественныхъ нравахъ ихъ царствуютъ чопорность, pruderie, а самая ограниченная, самая малая стѣснительная моральность. Что-то жесткое и грубое есть въ ихъ нравахъ, какъ необходимый результатъ вѣчнаго торгашества и вѣчной борьбы промышленнаго духа съ внѣшними препятствіями. Энергія національнаго духа англичанъ, которой они обязаны своимъ государственнымъ величіемъ, своей всемірной торговлей и своими всемірными завоеваніями и поселеніями, трагически выразилась въ политическихъ и религіозныхъ переворотахъ. Отсюда эта мрачность и суровое величіе ихъ поэзіи; отсюда же происходяхъ и ихъ великіе успѣхи въ драматической поэзіи: сама исторія Англіи есть рядъ трагедій, и Шекспиру легко могла войти въ голову мысль писать трагическія хроники Англіи: матеріалы были у него подъ рукою,—стоило только оживить ихъ духомъ поэзіи. Нѣмецъ не рожденъ ни для свѣтской, ни для политически-гражданской общительности: что для француза салонъ, маскарадъ, театръ, гулянье, бульваръ, что для англичанина парламентъ и биржа,—то для нѣмца университетъ, ученый съѣздъ, ученый комитетъ. Отсюда это удивительное множество университетовъ, существующихъ цѣлые вѣка; отсюда эта особенность университетскихъ нравовъ и обычаевъ, эта противоположность буршества съ филистерствомъ. До тридцати лѣтъ нѣмецъ бываетъ буршемъ, и какъ скоро часовая стрѣлка станетъ на послѣдней минутѣ его тридцати лѣтъ, онъ тотчасъ же дѣлается филистеромъ. Многие изъ нѣмцевъ даже рождаются филистерами, и ни одной минуты въ своей жизни не бываютъ буршами, тогда какъ буршами они никогда не рождаются, а только прикидываются ими на время—ужь никакъ не долѣе тридцати лѣтъ. Нѣмецъ уживается, гдѣ угодно; ему вездѣ хорошо, вездѣ отечество, и при всемъ этомъ онъ вездѣ вѣренъ себѣ, вездѣ тотъ же угловатый и странный нѣмецъ. Это явленіе въ самой живой связи съ основной идеей національно-исторической жизни нѣмцевъ: они въ знаніи признаютъ то, чего еще нѣтъ, но что должно быть по разуму, и отвергаютъ то, что есть въ дѣйствительности, но чего бы не должно быть по разуму, а живутъ въ ладу и въ мирѣ со всякой дѣйствительностью; для нѣмца знать

Соч. Вѣлиискаго. Т. III.

и жить двѣ совершенно различныя вещи. Нѣмецъ болѣе семьянинъ, чѣмъ кто-нибудь, и ничего не можетъ быть возвышеннѣе и сладостнѣе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и пошлѣе его семейнаго счастья: таково свойство всякой односторонности и исключительности!... Сахаръ—хорошая вещь, но попробуйте сдѣлать обѣдъ изъ одного сахара или на одномъ сахарѣ—будетъ и приторно, и нездорово. Ни на одномъ языкѣ нѣтъ столь высокихъ пѣсенъ любви, какъ на нѣмецкомъ, и на немъ же больше, чѣмъ на другихъ, написано приторныхъ до пошлости сердечныхъ изліаній. И это относится не къ однимъ мелкимъ талантамъ, не къ одной бездарности: что можетъ быть приторнѣе и пошлѣе «Стеллы», «Брата и Сестры», «Германа и Доротеи»?—а Гёте былъ великій гений!

Такимъ образомъ основная идея національно-историческаго значенія народа, какъ воздухъ—основной элементъ всякаго существованія, проникаетъ насъвозъ и внутреннюю, и внѣшнюю жизнь народа, давая себя чувствовать, и какъ сумма нравственныхъ убѣжденій и принциповъ общества, и какъ образъ и форма жизни, то-есть какъ нравы и обычаи народа. Великій поэтический талантъ, являющійся среди такого народа, такъ сказать, съ молокомъ своей матери всасываетъ въ себя готовое уже содержаніе для своей будущей поэзіи, для своихъ будущихъ твореній,—и свободно, безъ всякихъ усилій и натяжекъ, выражаетъ въ нихъ и достоинство, и недостатки основной идеи національно-исторической жизни своего народа.

Смотря на Державина, какъ на русскаго Пиндара, Горація и Анакреона вмѣстѣ, должно прежде рѣшить вопросъ: были ли въ его время историческіе и общественные элементы, которые могли бы дать готовые матеріалы для его таланта, готовое содержаніе для его поэзіи? Вотъ въ чемъ вопросъ, а совсѣмъ не въ томъ, что Державинъ былъ потомокъ Багрима, сѣверный бардъ, и что въ его поэзіи щедрой рукой разсыпаны алмазы, сапфиры, изумруды и ахонты...

Какую идею предназначено выражать Россіи—опредѣлить это тѣмъ труднѣе и даже невозможно, что европейская исторія Россіи началась только съ Петра Великаго, и что поэтому Россія есть страна будущаго. Россія въ лицѣ образованныхъ людей своего общества носитъ въ душѣ своей непобѣдимое предчувствіе великости своего назначенія, великости своего будущаго. И не увлекаясь ни дѣтскими фантазіями, ни ложнымъ патріотизмомъ, можно сказать смѣло, что есть факты, превращающіе это предчувствіе въ убѣжденіе. Всѣ великіе народы

имѣли своихъ великихъ представителей или въ историческихъ, или въ миѣическихъ лицахъ. Много имѣла первыхъ древняя Греція, но ни одинъ изъ нихъ не выразилъ собой такъ полно національнаго духа, какъ миѣическое лицо божественнаго Ахилла, воспѣтаго паремъ греческихъ поэтовъ — Гомеромъ. Мы, русскіе, имѣли своего Ахилла, который есть неопровержимо историческое лицо, ибо отъ дня его смерти протекло только 118 лѣтъ, но который есть миѣическое лицо со стороны необъятной великости духа, колоссальности дѣла и невѣроятности чудесъ, имъ произведенныхъ. Петръ былъ полнымъ выраженіемъ русскаго духа, и еслибы между его натурой и натурой русскаго народа не было кровнаго родства — его преобразование, какъ индивидуальное дѣло сильнаго средствами и волей чловека, не имѣли бы успѣха. Но Русь неуклонно идетъ по пути, указанному ей творцомъ ея. Петръ выразилъ собой великую идею самоотрицанія случайнаго и произвольнаго въ пользу необходимаго, грубыхъ формъ ложно развившейся народности въ пользу разумнаго содержанія національной жизни. Этой высокой способностью самоотрицанія обладаютъ только великіе люди и великіе народы, и ея-то русское племя возвысилось надъ всѣми славянскими племенами; въ ней-то и заключается источникъ его настоящаго могущества и будущаго величія. До Петра русская исторія вся заключалась въ одномъ стремленіи къ сочлененію разъединенныхъ частей страны и сосредоточенію ея вокругъ Москвы. Въ этомъ случаѣ помогло и татарское иго, и грозное царствованіе Іоанна. Цементомъ, соединившимъ разрозненные части Руси, было преобладаніе московскаго великокняжескаго престола надъ удѣлами, а потомъ уничтоженіе ихъ, и единство патріархальнаго обычая, замѣнявшаго право. Но эпоха самозванцевъ показала, какъ еще недовольно твердъ и достаточенъ былъ этотъ цементъ. Въ царствованіе Алексѣя Михайловича обнаружилась живая необходимость реформы и сближенія Руси съ Европой. Было сдѣлано много попытокъ въ этомъ родѣ; но для такого великаго дѣла нуженъ былъ и великій творческій геній, который и не замедлил явиться въ лицѣ Петра. Со смертью его надолго закатилось солнце русской жизни, и до царствованія Екатерины II-й едва поддерживались установленныя Петромъ формы, безъ дальнѣйшаго развитія, движенія впередъ. Великая продолжила дѣло Великаго, и Русь быстро двинулась по пути преуспѣянія. Екатерина II заботилась не о поддержаніи уже устарѣвшихъ формъ эпохи Петра, а о ихъ развитіи. Это была великая эпоха въ исторіи

Руси, хотя въ то же время эта эпоха почти столько же домашнее дѣло въ отношеніи къ Руси, сколько и эпоха Петра: обѣ онѣ были залогомъ будущаго всемірно-историческаго содержанія. Но для поэзіи просто, безъ дальнѣйшихъ европейскіхъ претензій, эпоха Екатерины II была благопріятна: впродолженіе ея могъ явиться по крайней мѣрѣ зародышъ поэзіи, — и онъ явился.

Скажутъ: Россія еще до Екатерины Великой держала твердый голосъ на сеймѣ европейскомъ, и ея политическое значеніе тяжело лежало на вѣсахъ европейской политики. Это совершенная правда, которой мы и не думаемъ оспаривать; но мы говоримъ не о политическомъ всемірно-историческомъ значеніи, а о нравственномъ всемірно-историческомъ значеніи, которое проявляется въ наукѣ, въ искусствѣ, въ современно исторической идеѣ самаго политическаго стремленія. Намъ опять скажутъ, что въ царствованіе Екатерины II Россія была уже образованной страной, и что духъ XVIII вѣка въ ней такъ же отражался, какъ и въ Пруссіи при Фридрихѣ II; что Россія не только читала въ подлинникъ тогдашнихъ знаменитыхъ писателей Франціи, но что эти знаменитые писатели даже переводились на русскій языкъ. Это справедливо, только съ этимъ нельзя согласиться безусловно. Въ царствованіе Екатерины II просвѣщеніе и образованность были дѣйствительно европейскія и болѣе или менѣе въ духѣ XVIII вѣка; но они сосредоточивались при дворѣ, не выходя за его предѣлы. Тогда только одинъ классъ общества былъ причастенъ европейскому просвѣщенію и образованности: это высшее дворянство, имѣвшее доступъ ко двору, или, лучше сказать, вельможество, не имѣвшее въ этомъ отношеніи ничего общаго съ другими классами общества. Но одинъ, и притомъ самый меньшій по числу, классъ общества еще не составляетъ цѣлаго общества, особенно, если онъ своимъ высокимъ положеніемъ разъединенъ съ другими классами. Въ царствованіе Александра Благословеннаго и среднее дворянство, значительное по числу, явилось просвѣщеннѣйшимъ и образованнѣйшимъ сословіемъ сравнительно съ другими. Поэтому очень понятно, что въ то время всѣ замѣчательнѣйшіе писатели наши принадлежали исключительно этому сословию. Въ настоящее благополучное царствованіе просвѣщеніе и образованность замѣтно распространились не только между среднимъ сословіемъ (разумѣя подъ этимъ словомъ такъ называемыхъ «разночинцевъ»), но и между низшими классами: по крайней мѣрѣ теперь не рѣдкость образованные и даже просвѣщенные люди изъ купческаго и мѣщанскаго сословія, изъ которыхъ нѣкоторые даже пользуются болѣе или

менѣ почетной извѣстностью въ литературѣ. И потому никакъ нельзя сказать, чтобы теперь не было въ Россіи общества и даже общественнаго мнѣнія. Но въ царствование Екатерины ничего этого и быть не могло, по закону исторической послѣдовательности. Тогда дѣйствительно переводили по-русски философскія сказки Вольтера и «Новую Эпоху» Руссо, но ихъ читали, какъ читали «Несчастнаго Никанора, Русскаго Дворянина», «Приключенія Мирамонда» Эмина, «Письмовникъ» Курганова и тому подобныя книги, добродушно не подозрѣвая никакой разницы между тѣми европейскими твореніями и этими самодѣльными произведеніями домашней страпни. И XVIII вѣкъ отразился только на одномъ вельможествѣ, какъ мы выше замѣтили. Но какъ Державинъ за свой талантъ вошелъ въ знатъ, то и на немъ не могъ не отразиться болѣе или менѣ XVIII вѣкъ. Можно сказать, что въ твореніяхъ Державина ярко отпечатѣлся русскій XVIII вѣкъ. Но прежде, нежели разсмотримъ мы, какъ и до какой степени отпечатѣлся этотъ вѣкъ на Руси Екатерининской эпохи, и какъ тотъ же вѣкъ отразился на поэзіи Державина, скажемъ, что всѣ сочиненія Державина, вѣстѣ взятыя, далеко не выражаютъ въ такой полнотѣ и такъ рельефно русскаго XVIII вѣка, какъ выражень онъ въ превосходномъ стихотвореніи Пушкина «Къ Вельможѣ». Этотъ портретъ вельможи стараго времени — дивная реставрація руины въ первобытный видъ зданія. Это могъ сдѣлать только Пушкинъ. Кромѣ его художнической способности переноситься воюду и во все по волю фантазій своей, ему помогла и отдаленность его отъ того времени, представлявшагося ему въ перспективѣ. Прошедшее всегда и видѣе, и понятіе настоящаго. Отъ Державина, какъ современника, нельзя и требовать такой мастерской картины русскаго XVIII вѣка, который много разнился отъ европейскаго XVIII вѣка. Эта разность вѣрно схвачена Пушкинымъ въ стрелкахъ —

.... И скромно ты внималъ
За чашей медленной аею или денсту,
Какъ любопытный скифъ аеинскому софисту.

Но Державинъ не могъ стать наравнѣ и съ этимъ скиномъ: онъ относится къ этому скифу, какъ тотъ скифъ къ аеинскому софисту. Лашенный всякаго образованія, не зная французскаго языка, Державинъ не былъ слишкомъ причастенъ ни нравственной портѣ, ни истинному прогрессу того времени, и въ сущности нисколько не понималъ его. Хвала добро того времени, онъ не прозрѣвалъ связи его со зломъ, и, нападая на зло, не проводилъ связи его съ добромъ.

Съ двухъ сторонъ отразился русскій

XVIII вѣкъ въ поэзіи Державина: это со стороны наслажденія и пировъ и со стороны трагическаго ужаса при мысли о смерти, которая махнетъ косою — и

Гдѣ пиршества раздавались клики,
Надгробныя тамъ воютъ лики.

Державинъ любилъ воспѣвать «умѣренность»; но его умѣренность похожа на гораціанскую, къ которой всегда примѣшивалось фалернское... Бросимъ взглядъ на его прекрасную оду «Приглашеніе къ Обѣду».

Шекснинска стерлядь золотая,
Кайманъ и борщъ уже стоятъ;
Въ графинахъ вина, пуншъ, блистаетъ,
То льдомъ, то искрами манятъ;
Съ курильницъ благовоныя льются,
Плоды среди корзинъ смѣются,
Не смѣютъ слуги и дохнуть,
Тебя стола вокругъ ожидая;
Хозяйка статная, молодая,
Готова руку протянуть.
Приди, мой благодѣтель давній,
Творецъ чрезъ двадцать лѣтъ добра!
Приди — и домъ хоть ненарядный,
Безъ рѣзбы, алата и серебра,
Мой посѣта: его богатство —
Приятный только вкусъ, опрятство,
И твердый мой, нелѣстивый нравъ.
Приди отъ дѣлъ попрохладиться,
Поѣсть, попить, повеселиться,
Безъ вредныхъ зравію приправъ!

Какъ все дышитъ въ этомъ стихотвореніи духомъ того времени — и пиръ для милостивца, и умѣренный столъ, безъ вредныхъ здравію приправъ, но съ золотой шекснинской стерлядью, съ винами, которыя «то льдомъ, то искрами манятъ», съ благовоныями, которыя льются съ курильницъ, съ плодами, которыя смѣются въ корзинкахъ, и особенно — съ слугами, которые не смѣютъ и дохнуть! Конечно понятіе объ «умѣренности» есть относительное понятіе, — и въ этомъ смыслѣ самъ Лукуллъ былъ умѣренный человѣкъ. Нѣтъ, люди нашего времени искреннѣе: они любятъ и поѣсть, и попить, и за столомъ любить поболтать не объ умѣренности, а о роскоши. Впрочемъ эта «умѣренность» и для Державина существовала больше, какъ «пятическое украшеніе для оды». Но вотъ, словно мимолетное облако печали, пробѣгаетъ въ веселой одѣ мысль о смерти:

И знаю я, что вѣкъ нашъ — тѣнь;
Что, лишь младенчество проводимъ,
Уже ко старости приходимъ,
И смерть къ намъ смотритъ чрезъ заборъ.

Это мысль искренняя; но поэтъ въ ней же и находитъ способъ къ утѣшенію:

Увы! то какъ не умудриться,
Хоть разъ цвѣтами не увѣстись
И не оставить мрачный взоръ?

Затѣмъ опять грустное чувство:
Слыхалъ, слыхалъ я тайну эту,
Что иногда грустить и даръ:

Ни ночь, ни день покоя нѣту,
Хотя имъ вся покойна тварь,
Хотя онъ громкой славой внатѣнъ.
Но ахъ! и тронъ всегда ль пріятель
Тому, кто вѣкъ свой въ хлопотахъ?
Тутъ врить обманъ, тамъ врить уладокъ:
*Какъ бѣдный часовой тотъ жалокъ,
Который вечно на часахъ!*

Но не бойтесь: грустное чувство не овладѣетъ ходомъ оды, не окончитъ ея алегическимъ аккордомъ, — что такъ любить наше время; поэтъ опять находитъ поводъ къ радости въ томъ, что на минуту повергло его въ унылое раздумье:

И такъ, доколѣ еще ненастье
Не помрачаетъ красныхъ дней
И приглубливаетъ счастье,
И гладитъ насъ рукой своей;
Доколѣ не пришли морозы,
Въ саду благоухаютъ розы,—
Мы послѣдимъ ихъ обонять.
Такъ будемъ жизнью наслаждаться,
И тѣмъ, чѣмъ можемъ, утѣшаться,—
По платью ноги протягать.

Заключеніе оды совершенно неожиданно, и въ немъ видна характеристическая черта того времени, непрѣнно требовавшего, чтобы сочиненіе оканчивалось моралью. Поэтъ нашего времени кончилъ бы эту пьесу стихомъ «по платью ноги протягать»; но Державинъ прибавляетъ:

А если ты, или кто другіе
Изъ званныхъ милыхъ мнѣ гостей,
Чертоги предпочтя златые
И яства сахарны царей,
Ко мнѣ не срядитесь откушать,
Извольте вы мой толкъ прослушать:
Блаженство не въ лучахъ порфиры,
Не въ вкусѣ яствъ, не въ нѣгѣ слуха,
Но въ здравьи и въ спокойствіи духа.
Умѣренность есть лучший пиръ.

Ту же мысль находимъ мы во многихъ стихотвореніяхъ Державина; но съ особенной рѣзкостью высказалась она въ одѣ «Къ Первому Сосѣду», одномъ изъ лучшихъ произведеній Державина.

Кого роскошными пирами,
На влажныхъ несклыхъ островахъ,
Между тѣнистыми древами,
На муравѣ и на цвѣтахъ,
Въ шатрахъ персидскихъ, златошвейныхъ,
Изъ глины китайскихъ драгоцѣнныхъ,
Изъ вѣнскихъ чистыхъ хрусталей,
Кого столь славно угощаешь,
И для кого ты расточаешь
Сокровища казны твоей?
Гремитъ музыка, слышны хоры,
Вкругъ лакомыхъ твоихъ столовъ.
Сластей и ананасовъ горы,
И множество другихъ плодовъ
Прельщаютъ чувство и питаютъ;
Млады дѣвы угощаютъ,
Подносятъ вина чередой—
И азіатико съ шампанскимъ,
И пиво русское съ британскимъ
И мовель съ вельтерской водой.
Въ вертепѣ мраморномъ, прохладномъ,
Въ которомъ льется водоскатъ,

На ложѣ розъ благоуханномъ,
Средь нѣги, лѣни и отрадъ,
Любовью распаленный страстной,
Съ молодой, веселой, прекрасной
И съ нѣжной нимфой ты сидишь;
Она поетъ,—ты страстно таешь,
То съ ней въ веселіи утопаешь,
То, утомленъ весельемъ, спишь.

Сколько въ этихъ стихахъ одушевленія и восторга, свидѣтельствующихъ о личномъ взглядѣ поэта на пиршественную жизнь такого рода! Въ этомъ виденъ духъ русскаго XVIII вѣка, когда великолѣпіе, роскошь, пиры, казалось, составляли цѣль и разгадку жизни. Со всѣми своими благоразумными толками объ «умѣренности», Державинъ невольно, можетъ-быть часто безсознательно, вдохновляется восторгомъ при изображеніи картинъ такой жизни,—и въ этихъ картинахъ гораздо больше искренности и задушевности, чѣмъ въ его философскихъ и нравственныхъ одахъ. Видно, что въ первыхъ говорить душа и сердце; а во вторыхъ—резоверствующій холодный разсудокъ. И это очень естественно: поэтъ только тогда и искрененъ, а слѣдовательно только тогда и вдохновененъ, когда выражаетъ непосредственно присущія душѣ его убѣжденія, корень которыхъ растетъ въ почвѣ исторической общественности его времени. Но, какъ мы замѣтили прежде,—пиршественная жизнь была только одной стороной того времени; на другой его сторонѣ вы всегда увидите грустное чувство отъ мысли, что нельзя же вѣкъ пировать, что перевернуть колеса фортуны или безпощадная смерть положить же рано или поздно конецъ этой прекрасной жизни. И потому остальная половина этой прекрасной оды растворена грустными чувствомъ, которое однакоже не только не вредитъ внутреннему единству оды, но въ себѣ именно и заключаетъ его причину, ибо оно, это грустное чувство, является необходимымъ слѣдствіемъ того весело-восторженнаго праздничнаго чувства, которое высказалось въ первой половинѣ оды.

Ты спишь—и сонъ тебѣ мечтаетъ,
Что въ вѣкъ благополученъ ты;
Что само небо рассыпаетъ
Блаженства вкругъ тебя цвѣты;
Что парка дней твоихъ не коситъ;
Что откупъ вновь тебѣ приноситъ
Сибирски горы серебра,
И дождь златой къ тебѣ лѣтся.
Блаженъ, кто поутру проснется
Такъ счастливымъ, какъ былъ вчера!
*Блаженъ, кто можетъ веселиться
Безперерывно въ жизни сей!*
Но рѣдкому плывцу случится
Безбѣдно плавать средь морей:
Тамъ бурно дышать непогоды,
Горамъ подобно гонять воды
И съ пѣною песокъ мутить.
Петрополь сосны обѣляли,
Но вихремъ пораженны пали:

Теперь корнями вверх лежать.
Непостоянство—доля смертных;
Въ премѣнахъ вкуса—счастье ихъ;
Средя утѣхъ своихъ несмѣтныхъ
Желаемъ мы утѣхъ иныхъ.
Придутъ, придутъ часы тѣ скучны,
Когда твои ланиты тучны
Престанутъ граціи трепать;
И можетъ-быть съ тобой въ разлуку
Твоя ужъ Пенелопеа въ скуку
Коверъ не будетъ распускать;
Не будетъ можетъ-быть лелѣять
Судьба ужъ болѣе тебя,
И вѣтръ благопріятный вѣять
Въ твой парусъ; —береги себя!

Въ заключительныхъ стихахъ оды Державинъ особенно вѣренъ духу своего времени:

Доволь текутъ часы златые
И не приспѣли скорби злыя, —
Пей, пѣшь и веселись, сосѣдь!
На сѣтѣ жить намъ время срочно;
Веселье то лишь непорочно,
Раскаянья за конемъ нѣтъ.

Чувство наслажденія жизнью принимало иногда у Державина характеръ необыкновенно пріятный и граціозный, — какъ въ этомъ прелестномъ стихотвореніи — «Гости», дышащемъ кромѣ того боярскимъ бытомъ того времени:

Сядь, милый гость, здѣсь на пуховомъ
Диванѣ мягкомъ отдохни;
Въ семь тонкомъ пологѣ перловомъ,
И въ зеркалахъ вокругъ усни;
Вадреми послѣ стола немножко;
Пріятно часикъ похрапѣть;
Златой кузнечикъ, сѣра мошка
Сюда не могутъ залетѣть.
Случится, что изъ снова прелестныхъ
Приснится здѣсь тебѣ какой:
Хоть кладъ изъ облаковъ небесныхъ
Златой посыплется рѣкой,
Хоть дѣвушки мои домашни
Рукой тебѣ махнутъ, — я радъ:
Любовныя пріятны шашни,
И поцѣлуй въ сей жизни кладъ.

И такъ, вотъ созерцаніе, составляющее основной элементъ поэзіи Державина; вотъ гдѣ и вотъ въ чемъ отразился на русскомъ обществѣ XVIII вѣка; и вотъ гдѣ является Державинъ выразителемъ русскаго XVIII вѣка. И ни въ одномъ изъ его стихотвореній этотъ мотивъ не высказался съ такой полнотой идеи, такой торжественностью тона, такую полѣтистостью и яркостью фантазіи и такимъ громозвучіемъ слова, какъ въ его превосходной одѣ «На смерть князя Мещерскаго», которая вмѣстѣ съ «Водопадомъ» и «Фелицей» составляетъ ореолъ поэтическаго гения Державина, — лучшее изъ всего, написаннаго имъ. Несмотря на нѣкоторую напряженность, на нѣсколько риторическій тонъ, составлявшіе необходимое условіе и неизбежный недостатокъ поэзіи того времени, — сколько величія, силы чувства, и сколько искренности и задушевности въ этой чудной

одѣ! Да и какъ не быть искренности и задушевности, если эта ода — исповѣдь времени, вопль эпохи, символъ ея понятій и убѣжденій! Какъ колоссаленъ у нашего поэта страшный образъ этой безпощадной смерти, отъ роковыхъ когтей которой не убѣгаетъ никакая тварь! Сколько отчаянія въ этой характеристикѣ вооруженнаго косою скелета: и монархъ, и узникъ — снѣдь червей; злость стихій пожираетъ самыя гробницы; даже славу зябеть стереть время; словно быстрые воды льются въ море — льются дни и годы въ вѣчность; царства глотаетъ алчная смерть; мы стоимъ на краю бездны, въ которую должны стремглавъ низринуться; съ жизнью получаемъ и смерть свою — родимся для того, чтобы умереть; все разить смерть безъ жалости:

И звѣзды ея сокрушатся,
И солнца ея потухнутъ,
И всѣмъ мірамъ она грозитъ!

Отъ этого страшнаго міросозерцанія потрясенный отчаяніемъ духъ поэта обращается уже собственно къ человѣку, о жалкой участи котораго онъ слегка намекнулъ:

Не мнить лишь смертный умирать
И быть себя онъ вѣчнымъ чаеъ, —
Приходить смерть къ нему, какъ тать,
И жизнь внезапно похищаетъ.
Увы! гдѣ меньше страха намъ,
Тамъ можетъ смерть постичь скорѣе;
Ея и громы не быстрѣе
Слетаютъ къ горнымъ вышнямъ.

Что же навело поэта на созерцаніе этой страшной картины жалкой участи всего сущаго и человѣка въ особенности? — Смерть знакомаго ему лица. Кто же было это лицо? Потемкинъ, Суворовъ, Безбородко, Бецкій или другой кто изъ историческихъ дѣйствителей того времени? — Нѣтъ: то былъ —

Сынъ роскоши, прохлады и нѣтъ!

О, XVIII вѣкъ, о, русскій XVIII вѣкъ!..

Сынъ роскоши, прохлады и нѣтъ,
Куда, Мещерскій, ты сокрылся?
Оставилъ ты сей жизни брегъ,
Къ брегамъ ты мертвыхъ удалился:
Здѣсь персть твоя, а духа нѣтъ.
Гдѣ жъ онъ? — Опъ тамъ. — Гдѣ тамъ? — Не знаемъ.
Мы только плачемъ и взываемъ:
«О горе намъ, рожденнымъ въ свѣтъ!»

Вникните въ смыслъ этой строфы — и вы согласитесь, что это вопль подавленной ужасомъ души, крикъ нестерпимаго отчаянія... А между тѣмъ исходнымъ пунктомъ этого страшнаго созерцанія жалкой участи человѣка — не иное что, какъ смерть богача. Можно подумать, что бѣднякъ, умершій съ голоду среди оборванной семьи, въ предсмертной агоніи просящій хлѣба, не возбудилъ бы въ насъ такихъ горестныхъ чувствъ,

такихъ безотраднѣхъ воплей. Что дѣлать! у всякаго времени своя болѣзнь и свой недостатокъ. Время наше лучше прошлаго, а не мы лучше отцовъ нашихъ; если мотивы нашихъ страданій выше и благороднѣе, если ропотъ отчаянія вырывается изъ стѣсненной, сдвленной груди нашей не при видѣ богача, умершаго отъ индигестіи, а при видѣ непризнаннаго таланта, страждущаго достоинства, сраженнаго благороднаго стремленія, несбывшихся порывовъ къ великому и прекрасному.

*Утѣхи, радость и любовь
Гдѣ купно съ здравіемъ блистали,
У всѣхъ тамъ цѣпенѣтъ кровь
И духъ мятется отъ печали:
Гдѣ столъ былъ яствъ — тамъ гробъ стоитъ,
Гдѣ пиршество раздавались клики —
Надгробные тамъ воютъ лики,
И блѣдна смерть на всѣхъ глядитъ...*

Здѣсь опять непосредственнымъ источникомъ отчаянія — противоположность между утѣхами, радостью, любовью и здравіемъ и между зрѣлищемъ смерти, между столомъ съ яствами и столомъ съ гробомъ, между кликами пиршества и воємъ надгробныхъ ликовъ... Дѣти пиروвали за столомъ — грянулъ громъ и обратилъ въ прахъ часть собесѣдниковъ: остальные въ ужасѣ и отчаяніи... И какъ не быть имъ въ ужасѣ, когда ихъ поразила ужасная мысль: къ чему же и пиры, если и ими нельзя спастись отъ смерти, — а безъ пировъ къ чему же и жизнь?.. Да, наше время лучше времени отцовъ нашихъ... Если хотите, и мы жадно любимъ пиры, и многіе изъ насъ только и дѣлаютъ, что пируютъ; но счастливы ли они пирами своими? Увы, пиры никогда не прерывались и съ усердіемъ продолжаютъ и въ наше время, — это правда; но отчего же это уныніе, это чувство тяжести и утомленія отъ жизни, эти изнуренныя блѣдныя лица, омраченныя тоской и заботой, этотъ —

..... Увядшій жизни цвѣтъ
Безъ малаго въ восемнадцать лѣтъ?..

Нѣтъ, намъ жалки эти веселенькіе старички, упрекающіе насъ, что мы не умѣемъ веселиться такъ, какъ веселились въ старые, давніе годы...

И предковъ скучны намъ роскошныя забавы, Ихъ добросовѣстный, ребяческій развратъ...

Говоря о невѣрности и скоротечности жизни человѣка, поэтъ обращается къ себѣ самому, — и его слова полны вдохновенной грусти:

*Какъ сонъ, какъ сладкая мечта,
Исчезла и моя ужъ младость;
Не сильно пѣжить красота,
Не столько восхищаетъ радость,
Не столько легкомысленъ умъ,
Не столько я благополученъ;
Желаніемъ честей размученъ,
Зоветь, я слышу, славы шумъ.*

Итакъ, вотъ новое обобщеніе на вечерней зарѣ дней поэта; но, увы! его разочарованное чувство уже ничему не довѣряетъ, — а онъ восклицаетъ въ порывѣ грустнаго негодованія:

*Но такъ и мужество пройдетъ,
И вмѣстѣ къ славѣ съ нимъ стремленіе;
Богатствъ стяжаніе минетъ
И въ сердцѣ всѣхъ страстей волненіе
Прейдетъ, преидетъ въ чреду свою.
Походите счастья прочь возможны!
Вы всѣ премѣнчивы и ложны:
Я въ дверяхъ вѣчности стою!*

Казалось бы, что здѣсь и конецъ одѣ; но поэзія того времени страхъ какъ любила выводы и заключенія, словно послѣ порядковой хриі, гдѣ въ концѣ повторялось другими словами уже сказанное въ предложеніи и приступѣ. Итакъ, какой же выводъ сдѣлалъ поэтъ изъ всей своей оды? — посмотримъ:

*Сей день иль завтра умереть,
Перфильевъ, должно намъ конечно:
Почто жъ терзаться и скорбѣть,
Что смертный другъ твой жилъ не вѣчно?
Жизнь есть небесъ мгновенный даръ:
Устрой ее себѣ къ покою,
И съ чистою твоей душою
Благословляя судьбы ударъ.*

Видите ли: поэтъ вѣрнѣе духу своего времени и самому себѣ: оно конечно тяжело, а все-таки не худо подуматъ о томъ, чтобы жизнь-то устроить себѣ къ покою... Не таковы поэты нашего времени, не таковы и страданія ихъ; вотъ какъ живописалъ картину отчаянія одинъ изъ нихъ:

*То было тьма безъ темноты;
То было бедадна пустоты,
Безъ протяженія и границъ;
То были образы безъ лицъ;
То страшный міръ какой-то былъ,
Безъ неба, свѣта и свѣтилъ,
Безъ времени, безъ дней и лѣтъ,
Безъ Промысла, безъ благи и бѣдъ,
Ни жизнь, ни смерть — какъ сонъ гробовъ
Какъ океанъ безъ береговъ,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный, темный и нѣмой.*

Прочитавъ такіе стихи, право, потеряешь охоту устраивать жизнь себѣ къ покою...

Мысль о скоротечности и преходящности всего сущаго тяготила Державина. Она высказывается во многихъ его стихотвореніяхъ, и ее же силились выразить хладѣющіе персты умирающаго поэта въ этихъ послѣднихъ стихахъ его:

*Рѣка временъ въ своемъ стремленіи
Уноситъ всѣ дѣла людей,
И тонитъ въ пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Черезъ звуки лиры и трубы,
То вѣчности жерломъ пожрется —
И общей не уйдетъ судьбы!*

Мысль эта также принадлежала XVIII вѣку, когда не понимали, что проходить и мнѣя-

ются личности, а духъ человѣческой живетъ вѣчно. Идея о прогрессѣ еще только возникла, когда немногіе только умы понимали, что въ потокѣ времени тонуть формы, а не идея, переходятъ и мѣняются личности человѣческія. И въ этой мысли о скоротечности и преходящности всего земного, такъ томившей Державина, такъ неразлучно жившей съ его душой, мы видимъ отраженіе на русское общество XVIII вѣка. Но здѣсь и конецъ этому отраженію: Державинъ совершенно чуждъ всего прочаго, чѣмъ отличается этотъ чудный вѣкъ. Впрочемъ XVIII вѣкъ выразился на Руси еще въ другомъ писателѣ, не разсмотрѣвъ котораго нельзя судить о степени и характерѣ вліянія XVIII вѣка на русское общество: мы говоримъ о Фонвизинѣ. Конечно и на немъ вѣкъ отразился довольно поверхностно и ограниченно; но въ другомъ характерѣ и другой стороной, чѣмъ на Державинѣ.

Чѣмъ разнообразнѣ произведенія поэта, тѣмъ болѣе критика должна заботиться объ опредѣленіи ихъ достоинства относительно однихъ къ другимъ. Въ этомъ случаѣ критика должна принимать въ соображеніе, какія изъ произведеній поэта особенно нравились его современникамъ, какія особенно уважались ими; равнымъ образомъ, какими изъ своихъ произведеній особенно дорожилъ самъ поэтъ или на какихъ онъ особенно основывалъ заслуги свои передъ искусствомъ. Но критика должна принимать къ свѣдѣнію подобныя обстоятельства и основывать на нихъ свое сужденіе тогда только, когда они не противорѣчатъ высшему критериуму достоинства всякихъ поэтическихъ произведеній, то-есть—искренности ихъ и задушевности. Случается иногда, что поэтъ по духу своего времени особенно дорожитъ самыми холодными и сухими своими произведеніями, въ которыхъ участвовали одинъ разсудокъ и нисколько не участвовали чувство и фантазія. То же случается и въ отношеніи къ современникамъ поэта. Въ эту ошибку обыкновенно вводятъ ихъ содержаніе или предметъ произведенія. Они не думаютъ о томъ, что предметъ стихотворенія можетъ быть важенъ, великъ, даже священнъ, а само стихотвореніе тѣмъ не менѣе можетъ быть очень плохо. Такъ напримѣръ, никто не станетъ спорить, что въ содержаніе «Александриды» Свѣчина не было неизмѣримо выше содержанія «Руслана и Людмилы» или «Графа Нулина» Пушкина; но никто также не станетъ спорить, что «Русланъ и Людмила» и «Графъ Нулинъ»—прекрасныя поэтическія произведенія, а «Александрода»—образецъ бездарности и ничтожности. Въ первомъ томѣ «Русской Вѣсты» напечатана большая ода Державина «Слѣпой Случай», мысль которой—несомнѣн-

ность личнаго безсмертія,—и тогда же нѣкоторые изъ господъ сочинителей какого-то плохого періодическаго изданія раскричались объ этой новонайденной одѣ, словно о новооткрытой Колумбомъ Америкѣ. Они увидѣли въ этой одѣ величайшее созданіе величайшаго поэта, не замѣтивъ, какъ люди безъ эстетическаго чувства, что дѣльная и высокая мысль этой оды высказана до крайности плохими стихами, и что по своей поэтической отдѣлкѣ и самому расположенію мыслей вся эта ода очень похожа на школьное риторическое упражненіе, холодное, сухое и общими мѣстами наполненное. Таковы почти всѣ Державинскія переложенія псалмовъ: мало сказать, что они ниже своего предмета—можно сказать, что они рѣшительно недостойны своего высокаго предмета,—и кто знакомъ съ прозаическимъ переложеніемъ псалмовъ, какъ на древне-церковномъ, такъ и на русскомъ языкѣ, тотъ въ переложеніяхъ Державина не узнаетъ высокихъ, боговдохновенныхъ гимновъ порфироснаго цѣвца Божія. Исключеніе остается только за переложеніемъ 81-го псалма «Властителямъ и Судіямъ», въ которомъ талантъ Державина умѣлъ приблизиться къ высотѣ подлинника:

Возсталъ всевышній Богъ, да судитъ
Земныхъ боговъ во сонмѣ ихъ.
«Доколы—рекы—доволю вамъ будетъ
Щадить неправедныхъ и алыхъ.
Вашъ долгъ есть: охранять законы,
На лица сильныхъ не взирать;
Безъ помощи, безъ обороны
Сиротъ и вдовъ не оставлять.
Вашъ долгъ: спасти отъ бѣдъ невинныхъ,
Несчастливымъ подать покровъ;
Отъ сильныхъ защищать бессиленныхъ,
Исторгнуть бѣдныхъ изъ оковъ».
Не внемлютъ!—видятъ и не знаютъ!
Покрѣты мглою очеса!
Злодѣйству землю потрясаютъ,
Неправда выbleтъ небеса.

Переложеніе псалмовъ и подражаніе имъ въ собраніяхъ сочиненій Державина обыкновенно помѣщаются вмѣстѣ съ его одами духовнаго и нравственнаго содержанія и вмѣстѣ съ ними образуютъ какъ бы особенный отдѣлъ Державинской поэзіи. Весь этотъ отдѣлъ, обыкновенно высоко цѣнимый критиками добраго стараго времени, отличается одними и тѣми же качествами: длиннотой, вялостью, водяностью и плохими стихами. Рѣдко, рѣдко вспыхиваютъ въ одахъ этого отдѣла искорки поэзіи. Одна изъ этихъ одъ очень и очень замѣчательна по поэтическимъ мѣстамъ и даже по высокости мыслей; но неопредѣленность идеи цѣлаго повредила и поэтическому достоинству цѣлаго. Мы говоримъ объ одѣ «Безсмертіе Души». Явно, что поэтъ смѣшалъ въ ней два совершенно различныя понятія—безсмертіе идеи, не умирающей въ преходящихъ фактахъ, и личное без-

смертіе челоуѣка или безсмертіе души. Оттого въ одной одѣ очутились двѣ оды, несвязанныя внутреннимъ единствомъ, перебитыя и переиѣшанныя одна съ другой. И что же? Тѣ строфы этой оды, въ которыхъ проблескиваетъ первая идея, столько исполнены поэзіи и мысли, сколько строфы, выражающія вторую мысль, прозаичны и поверхностны. Говоря о прекрасныхъ мѣстахъ оды «Безсмертіе Души», нельзя не указать на 8, 17, 18 и 19 строфы.

Зато нѣкоторыя изъ одъ духовнаго и нравственнаго содержанія поражаютъ невообразимыми странностями. Кто бы напри-
мѣръ подумалъ, что вотъ эти стихи—Державина, а не Тредьяковскаго:

Какъ птица въ мглѣ унывна,
Оставлена на вѣхъ (на кровлѣ),
Иль схоженна, пустыня
Сядища на гнѣздѣ.
Въ нощи, въ лѣсу, въ трущобѣ,
Лію стеваньемъ гулъ.

А между тѣмъ это дѣйствительно стихи Державина изъ оды «Сѣтованье», начинающейся стихами:

Услышь, Творецъ, моленье
И вопль моей души!

Но огромная поэма, а не ода «Цѣленіе Саула» представляетъ собой примѣръ особенной нестройности. Она состоитъ болѣе, чѣмъ изъ 400 стиховъ, которые всѣ вродѣ слѣдующихъ:

Внимаетъ пѣснь монархъ: но сила звуковъ,
словъ
Такъ отъ него скользятъ, какъ лучъ отъ хол-
ма ледяна;
Снѣдается грусть его, мысль черная, печальная,
Пѣвецъ то вретъ—и ваявъ другихъ строй го-
лосовъ,
Поетъ ужъ хоромъ всѣмъ, но сонно, полу-
тонно,
Смятенію тартара, душъ смятенной сходно.

И кто бы могъ думать, чтобъ за такими стихами слѣдовали вотъ какіе:

На пустыхъ высотахъ, на выбяхъ Божій духъ
Искони до вѣковъ въ тихой тѣмѣ возносятся,
Какъ орелъ надъ яйцомъ, подъ зародышемъ
вверху
Тварей всѣхъ теплотой, такъ крылами гнѣз-
дился.
Огонь, земля и вода, и весь воздухъ въ борьбѣ
Межъ собой, внутрь и внѣ, безпрестанно
сражались,
И лишь жизнь тѣмъ они всѣмъ являли въ себѣ,
Что тамъ стукъ, а тамъ трескъ, а тамъ блескъ
прорывались;
Громъ на громъ въ вышинѣ, гулъ на гулъ въ
глубинѣ,
Какъ катясь, какъ вратясь, даль и близъ оглу-
шали;
Бездны безднѣ, хляби хлябѣ, колебавъ въ ти-
шинѣ
Безъ устройствъ естество, ужасъ, мракъ пред-
ставляли.

Впрочемъ эти стихи прекрасныя и сильныя, несмотря на свою грубую отдѣлку, суть единственный оазисъ въ пещаной пустынѣ этой поэмы.

Ода «Богъ» считалась лучшей не только изъ одъ духовнаго и нравственнаго содержанія, но и вообще лучшей изъ всѣхъ одъ Державина. Самъ поэтъ былъ такого же мнѣнія. Какимъ мистическимъ уваженіемъ пользовалась встарину эта ода, можетъ служить доказательствомъ нѣтълая сказка, которую каждый изъ насъ слышалъ въ дѣтствѣ, будто ода «Богъ» переведена даже на китайскій языкъ и, вышитая шелками на шитѣ, поставлена надъ кроватью богдыхана. И дѣйствительно, это одна изъ замѣчательнѣйшихъ одъ Державина, хотя у него есть много одъ и высшаго сравнительно съ ней достоинства.

Изъ одъ Державина нравственно — философскаго содержанія особенно замѣчательны сатирическія оды — «Вельможа» и «На счастье». При разсматриваніи первой должно забыть эстетическія требованія нашего времени и смотрѣть на нее, какъ на произведеніе своего времени: тогда эта ода будетъ прекраснымъ произведеніемъ, несмотря на ея риторическіе приемы. Первые восемь строфъ просто превосходны, особенно вотъ эти:

Кумиръ, поставленный въ позоръ,
Несмысленную червь пѣвнѣетъ;
Но коль художниковъ въ немъ взоръ
Прямыхъ красотъ не ощущаетъ:
Се образъ ложныя молвы,
Се глыба грязи позлащенной!
И вы безъ благодати душевной
Не всѣ ль, вельможи, таковы?
Не перлы перскіе на васъ
И не бразильскія звѣзды—ясны:
Для возлюбившихъ правду глазъ
Лишь добродѣтели прекрасны,—
Онѣ суть смертныхъ похвала.
Калигула, твой конь въ сенатѣ
Не могъ сіять, сіяя въ златѣ:
Сіяютъ добрыя дѣла!

Оселъ всегда останется осломъ,
Хотя осыпъ его звѣздами;
Гдѣ должно дѣйствовать умомъ,
Онъ только хлопаетъ ушами.
О, тщетно счастья рука,
Противъ естественнаго чина,
Безумца радить въ господина,
Или въ шумиху дурака.

Какіхъ ни вымысли пружинъ,
Чтобъ мужу бую умудриться,
Не можно вѣкъ носить личинъ,
И истина должна открыться.
Когда не свергъ въ бояхъ, въ судахъ,
Въ совѣтахъ царскихъ сопостатовъ:
Всякъ думаетъ, что я Чупатовъ
Въ марокескихъ лентахъ и звѣздахъ.

Остава скипетръ, тронъ, чертогъ,
Бывъ странникомъ въ пыли и въ потѣ,
Великій Петръ, какъ нѣкій Богъ,
Блисталъ величествомъ въ работѣ:
Почтень и въ рубищѣ герой!
Екатерина въ низкой долѣ,

И не на царскомъ бы престолѣ
Была великою женой.

И впрямь, коль самолюбя лести
Не обуяла бъ умъ надменный:
Что наше благородство, честь,
Коль не изящности душевны?
Я князь—коль мой сіяетъ духъ;
Владѣлецъ—коль страстями владѣю;
Бояринъ—коль за всѣхъ болѣю,
Царю, закону, церкви другъ.

Да, такіе стихи никогда не забудутся! Кромѣ замѣчательной силы мысли и выраженія, они обращаютъ на себя вниманіе еще и какъ отголосокъ разумной и нравственной стороны прошедшаго вѣка. Остальная и большая часть оды отличается риторическими распространеніями и добродушнымъ морализмомъ, которой объ истинахъ вродѣ дважды два—четыре говорить, какъ о важныхъ открытіяхъ. Впрочемъ 10, 11 и 12-я строфы, изображающія вельможескую жизнь людей XVIII вѣка, отличаются значительнымъ поэтическимъ достоинствомъ. Въ одѣ «На Счастіе» виденъ русскій умъ, русскій юморъ, слышится русская рѣчь. Кромѣ разныхъ современныхъ политическихъ намековъ, въ ней много рѣзкихъ и удачныхъ юмористическихъ выходовъ, свидѣтельствующихъ какое-то добродушіе, какъ напримѣръ это обращеніе къ счастью:

Катаешь кубаремъ весь миръ:
Какъ рѣзвости твоей примѣравъ,
Полна земля вся кавалеровъ,
И цѣлый свѣтъ сталъ бригадиръ.

Тонко хваля Екатерину, поэтъ говорить:

Изволитъ царствовать правдиво,
Не жжетъ, не рубитъ безъ суда;
А равнѣ кое-какъ вельможи,
И такъ и сякъ, нахмури рожи,
Тувятъ инова иногда.

Сатирически описывая свое прежнее счастье, когда, бывало, все удавалось ему, и въ милости бояръ, и въ любви, и въ игрѣ, и въ поэзіи, поэтъ очень забавно и вмѣстѣ колко жалуется на безвременье преклонныхъ лѣтъ своихъ:

А нынѣ пятьдесятъ мнѣ било;
Полетъ свой счастье премѣнило;
Безъ латъ я горе-богатырь;
Прекрасный полъ меня лишь бѣситъ,
Амуръ безъ перьевъ нетопыръ,
Едва вспорхнеть и носъ повѣситъ.
Сокрылся и въ игрѣ мой кладъ:
Не страстны мной, какъ прежде, музы:
Бояре повадуди цузы,
И я у всѣхъ сталъ виновать.

Умоляя счастье снова осыпать его своими дарами, поэтъ остроумно подшучиваетъ надъ Горациемъ, общаясь писать школярнымъ слогомъ:

«Бѣатусъ—братъ мой?» на волахъ
Собою самъ поля орющій,
Или стада свои пасущій?
Я буду восклицать въ пирѣхъ.

Къ числу такихъ же одъ принадлежить и «Мой Истуканъ». Въ ней особенно замѣчательны нѣкоторыя черты характера поэта и его образа мыслей. Таковы два превосходнѣйшіе стиха:

Злодѣйства малаго мнѣ мало,
Большого дѣлать не хочу.

Замѣчательна и слѣдующая строфа: поэтъ говорить, что ни за какія дѣла не стоилъ бы онъ кумира—

Не стоилъ бы: всѣ знаки чести
Дозволены самимъ себѣ,
Плоды тщеславія и лести,
Монархъ! постыдны и тебѣ.
Желаешь хвалъ, благодаренья
Лишь низкая себѣ душа,
Живущая нѣтъ награжденья:
По смерти слава гороша,
Заслуги въ гробѣ созрѣваютъ,
Герои въ тѣнностяхъ слянутъ!

Доселѣ говорили мы о Державинѣ, какъ о русскомъ поэтѣ, въ извѣстной степени и въ извѣстномъ характерѣ отразившемъ на себѣ XVIII вѣкъ въ той степени, въ какой отразило его на себѣ тогдашнее русское общество. Теперь намъ слѣдуетъ показать Державина, какъ пѣвца Екатерины, какъ представителя цѣлой эпохи въ исторіи Россіи. Царствованіе Екатерины Великой, послѣ царствованія Петра Великаго, было второй великой эпохой въ русской исторіи. Доселѣ для него еще не наставало потомства. Мы, люди настоящей эпохи, такъ близки къ временамъ Екатерины, что не можемъ судить о нихъ безпристрастно и вѣрно. Эта близость лишаетъ насъ возможности видѣть ясно и опредѣленно то, что обнаруживается только въ одной исторической перспективѣ, на достаточномъ отдаленіи. И потому мы съ одной стороны слишкомъ увлекаемся громомъ побѣдъ, блескомъ завоеваній, многосложностью преобразованій, множествомъ людей замѣчательныхъ и не видимъ изъ-за всего этого внутреннего быта того времени. Съ другой стороны, справедливо гордясь нашимъ общественнымъ и гражданскимъ счастьемъ, мы можемъ быть слишкомъ строго судимъ лести, низкопоклонство, патронажество, милостивцевъ и отцовъ-благодѣтелей, составлявшихъ характеристику быта того времени. Мы не можемъ живо представить себѣ тогдашняго историческаго положенія Россіи, того рѣзкаго контраста между тираніей Бирона и труднымъ, по безплодной, хотя и блистательной войнѣ съ Пруссіей, временемъ,—и между царствованіемъ Екатерины—этой эпохой блестящихъ и великихъ дѣлъ, мудрыхъ преобразованій, разумнаго и гуманнаго законодательства, котораго основой было: «лучше простить десять виновныхъ, чѣмъ наказывать одного невиннаго»,—возникъ

шаго просвѣщенія и возникавшей литературы, какъ плодov нравственнаго простора, смѣнившаго удушающую тѣсноту, какъ творенія мудрости и благодати, воцарившейся на тронѣ. Близкіе къ тѣмъ временамъ, мы такъ далеки отъ нихъ усовершенствованіями всякаго рода, такъ горды и такъ счастливы великими успѣхами двухъ послѣднихъ царствованій, что не можемъ смотрѣть на наше прошедшее, не сравнивая его съ настоящимъ,—а это сравненіе, разумѣется, выгодно для настоящаго. И потому намъ теперь должно не столько судить объ эпохѣ Екатерины Великой, сколько изучать ее, чтобъ пріобрѣсти данныя для сужденія о ней. Къ числу такихъ данныхъ, безъ сомнѣнія, принадлежатъ свидѣтельства современниковъ,—а всѣмъ извѣстно, какъ великъ былъ ихъ энтузіазмъ къ своему времени и творцу его—Екатеринѣ. Здѣсь мы говоримъ о царствованіи Екатерины только въ отношеніи къ поэзіи. Поэзія Державина—самое живое и самое вѣрное свидѣтельство того, до какой степени эта эпоха была благоприятна поэзіи и до какой степени могла она дать поэзіи разумное содержаніе. Въ этомъ отношеніи должно обращать вниманіе не на похвалы Екатеринѣ пѣвца ея, которые, какъ похвалы современника, не могутъ имѣть той неподрываемой достовѣрности и искренности, какъ голосъ потомства; но здѣсь должно обращать вниманіе на ту свѣжесть, ту теплоту искреннаго и задушевнаго чувства, которыми проникнуты гимны Державина Екатеринѣ, на тотъ смѣлый и благородный тонъ, которымъ они отличаются. Итакъ, намъ остается только выбрать тѣ строфы изъ разныхъ одъ его, которыя представляютъ особенно характеристическія черты громко и торжественно воспѣтаго имъ царствованія.

Ода «Фелица»—одно изъ лучшихъ созданий Державина. Въ ней полнота чувства счастливо сочеталась съ оригинальностью формы, въ которой виденъ русскій умъ и слышится русская рѣчь. Несмотря на значительную величину, эта ода проникнута внутреннимъ единствомъ мысли, отъ начала до конца выдержана въ тонѣ.

Олицетворяя въ себѣ современное общество, поэтъ тонко хвалитъ Фелицу, сравнивая себя съ нею и сатирически изображая свои пороки. Исповѣдь его заключается стихами:

Таковъ, Фелица, я развратенъ!
Но на меня весь свѣтъ похожъ.

Не оставляя шуточного тона, необходимаго ему для того, чтобъ похвалы Фелицѣ не были рѣзки, поэтъ забываетъ себя и такъ рисуетъ для потомства образъ Фелицы:

Едина ты лишь не обидишь,
Не оскорбляешь никого:

Дурачества сквозь пальцы видишь,
Лишь зла не терпишь одного;
Проступки снисхожденіемъ правишь;
Какъ волкъ овецъ, людей не давишь;—
Ты знаешь прямо дѣву ихъ:
Царей они подвластны волѣ,
Но Богу правосудіу боля,
Живущему въ законахъ ихъ.

Неслышанное также дѣло,
Достойное тебя одной,
Что будто ты народу смѣло
О всемъ, и вѣявъ, и подъ рукой,
И звать, и мыслить позволяешь,
И о себѣ не запрещаешь
И быть, и небыть говорить;
Что будто самими крокодиламъ,
Твоихъ всѣхъ милостей вонламя,
Всегда склоняешься простить.

Стремясь слезъ пріятныхъ рѣки
Изъ глубины души моей.
О сколь счастливы человеки
Тамъ должны быть судьбой своей,
Гдѣ ангелъ кроткій, ангелъ мирный,
Сокрытый въ свѣтлости порфирной,
Съ небесъ ниспослать скиптръ носить!
Тамъ можно пошептать въ бесѣдахъ
И, казни не боясь, въ объѣмахъ
За здравіе царей не пить.

Тамъ съ именемъ Фелицы можно
Въ строкѣ описку доскоблить,
Или портретъ неосторожно
Ея на землю уронить;
Тамъ свадьбы шутовскихъ не парать,
Въ ледовыхъ баняхъ ихъ не жарать,
Не цолкаютъ въ усы вельможъ;
Князья наждаками не клохчутъ,
Любимцы вѣявъ имъ не хохочутъ,
И сажеръ не мараютъ рожъ.

Ты вѣдаешь, Фелица, нравы
И человековъ, и царей:
Когда ты просвѣщаешь нравы,
Ты не дурачишь такъ людей;
Въ твой отъ дѣлъ отдохновенія
Ты пишешь въ сказкахъ поученья,
И Хлору въ азбукѣ твердишь:
«Не дѣлай ничего худого—
И самого сатира злого
Лжецомъ преврѣннымъ сотворишь».

Заключительная строфа оды дышитъ глубокимъ благоговѣйнымъ чувствомъ.

Прошу великаго пророка,
Да праха ногъ твоихъ коснусь,
Да словъ твоихъ сладчайшаго тока
И лицеу твоему наслажусь!
Небесныя прошу я силы,
Да ихъ простря сафирны крылы,
Невидимо тебѣ хранять
Отъ всѣхъ болѣзней, волъ и скупъ,
Да дѣлъ твоихъ въ потомствѣ звуки,
Какъ въ небѣ звѣзды, возблестятъ.

Оду эту Державинъ писалъ не думая, чтобъ она могла быть напечатана; всѣмъ извѣстно, что она случайно дошла до свѣдѣнія государыни. И такъ, есть и внѣшнія доказательства искренности этихъ полныхъ души стиховъ:

Хвалы мои тебѣ прижита,
Не мни, чтобъ шалки нѣзъ бешмета
За нихъ я отъ тебя жгала.
Почувствовать добра пріятство—
Такое есть души богатство,
Какого Крезъ не собиралъ.

Ода «Изображеніе Фелицы» растянута и тогда какъ въ первыхъ онъ и надуть, и натянуть, и безцвѣтенъ. «Видѣніе Мурзы» начинается превосходной картиной ночи, которую созерцалъ поэтъ въ комнатѣ своего дома; поэтическая ночь настроила его къ пѣснопѣи, и онъ воспѣлъ тихое блаженство своей жизни:

Припомни, что Она вѣщала
Безчисленными Ея ордамъ:
«Я счастья вашего искала
И въ васъ его нашла я вамъ:
Ставь сами вы себя послушны,
Живите, славьтесь въ мой вѣкъ,
И будьте столь благополучны,
Какъ можно можетъ человѣкъ».

«Я вамъ дамъ свободу мыслить
И разумѣть себя, цѣнить,
Не въ рабствѣ, а въ подданствѣ числится,
И въ ноги мнѣ челою не бить;
Дамъ вамъ право безъ препоны
Мнѣ ваши нужды представлять,
Читать и знать мои законы,
И въ нихъ ошибки замѣчать».

«Дамъ вамъ право собираться,
И въ думѣхъ золото копить,
Ко мнѣ послами отправляться
И не всегда меня хвалить;
Дамъ вамъ право безпристрастно
Въ судьи другъ друга выбирать,
Самимъ дѣла свои всевластно
И начинать, и окончать».

«Не воспремчу я стихотворцамъ
Писать и чепуху, и лесть,
Халдеямъ, новымъ чудотворцамъ
Мазать съ духами, пить и ѣсть;
Но я во всемъ, что лишь не злобно,
Потщуся равнодушной быть;
Великодушно и спокойно
Мои благодарныя лить».

Рекла бы! «Почто писать уставы,
Коль ихъ въ диванахъ не творять?»
Развратныя вельможей нравы
Народа цѣлаго развращать».

«Вашъ долгъ монарху, Богу, царству
Служить и клятвой не играть;
Неправдѣ, злобѣ, мадѣ, коварству
Пути повсюду пресѣкать;
Пристрастный судъ разбой алѣе;
Судьи—враги, гдѣ спитъ законъ;
Предъ вами гражданинъ шел
Протянута безъ оборонъ».

Представь, чтобъ всѣ царевна средства
Въ пособіе себя брала
Предупреждать народа бѣдства
И сохранять его отъ зла;
Чтобъ отворила всѣмъ дороги
Черезъ почту письма къ ней писать;
Велѣла бы въ свои чертоги
Для объясненія допускать».

«Видѣніе Мурзы» принадлежать къ лучшимъ одамъ Державина. Какъ всѣ оды къ Фелицѣ, она написана въ шуточномъ тонѣ; и этотъ шуточный тонъ есть истинно высокий лирический тонъ—сочетаніе, свойственное только Державинской поэзіи и составляющее ея оригинальность. Какъ жаль, что Державинъ не зналъ или не могъ знать, въ чемъ особенно онъ силенъ и что составляло его истинное призваніе. Онъ самъ свои риторически-высокопарныя оды предпочиталъ этимъ шуточнымъ, въ которыхъ онъ былъ такъ оригиналенъ, такъ народенъ и такъ возвышенъ,—

Что карлой онъ и великаномъ,
И дивомъ свѣта не рожденъ,
И что не созданъ истуканомъ
И оныхъ чтить не принужденъ.

Далѣе заключается превосходный, поэтически и ловко выраженный намекъ на подарокъ, такъ неожиданно полученный имъ отъ монархини за оду «Фелица»:

Блаженъ и тотъ, кому царевны
Какой бы ни было орды,
Изъ теремовъ своихъ янтарныхъ
И сребророзовыхъ свѣтиль,
Какъ-будто изъ улусовъ дальнихъ,
Украдкой отъ придворныхъ лицъ,
За рассказы, за разсказы,
За вирши, или за что-нибудь,
Исподтишка другіе дары
И въ досканцахъ червонцы плютъ.

Явленіе гнѣвной Фелицы, во всѣхъ атрибутахъ ея царственного величія, прерываетъ мечты поэта. Фелица укоряетъ его за лесть; она говоритъ ему:

Когда
Поэзіи не сумасбродство,
Но вышній даръ боговъ: тогда
Сей даръ боговъ, кромѣ лишь къ чести
И къ поученію ихъ путей
Быть долженъ обращенъ,—не къ лесть
И тлѣнной похвалѣ людей.
Владыки свѣта люди тѣ же,
Въ нихъ страсти, хоть на нихъ вѣнды;
Лѣсть лесть имъ вредить не рѣже:
А гдѣ поэты не льстецы?

Отвѣтъ поэта на укоры исчезнущаго видѣнія Фелицы дышитъ искренностью чувства, жаромъ поэзіи и заключаетъ въ себѣ и автобиографическія черты, и черты того времени:

Возможно ль, кроткая царевна!
И ты къ мурзѣ чтобъ своему
Была сурова столь и гнѣвна,
И стрѣлы къ сердцу моему
И ты, и ты чтобы бросала,
И пламени души моей
Къ себѣ и ты не одобряла?
Довольно безъ тебя людей,
Довольно безъ тебя поэту,
За каждую мысль, за каждый стихъ,
Отвѣтствовать лихому свѣту,
И отъ сатиръ щититься злыхъ!
Довольно золотыхъ кумировъ,
Безъ чувствъ мои что пѣсни чли;
Довольно кадіевъ, факировъ,
Которы въ зависти сочили
Тебѣ ихъ неприличной лестью;
Довольно нажилъ я враговъ!
Иной отнесъ себя къ безцвѣтѣю,
Что не дерутъ его усы;
Иному показалось больно,
Что онъ нарядкой не сидитъ;
Иному очень своевольно

Съ тобой мурзъ твой говоритъ;
 Ипой вмѣнялъ мнѣ въ преступленье,
 Что я посланницей съ небесъ
 Тебя быть мыслилъ въ восхищеніи
 И лихъ въ восторгъ токи слезъ;
 И словомъ: тотъ хотѣлъ арбуза,
 А тотъ—соленыхъ огурцовъ;
 Но пусть имъ здѣсь докажетъ муза,
 Что я не изъ числа льстецовъ;
 Что сердца моего товаровъ
 За деньги я не продаю,
 И что не изъ чужихъ амбаровъ
 Тебѣ наряды я крою;
 Но вѣнценосна добродѣтель!
 Не лести я пѣлъ и не мечты,
 А то, чему весь міръ свидѣтель:
 Твои дѣла суть красоты.
 Я пѣлъ, пою и пѣть изъ буду,
 И въ шуткахъ правду возыщу;
 Татарски пѣсни изъ подъ слуду,
 Какъ лучъ, потомству сообщу;
 Какъ солнце, какъ луно поставлю
 Твой образъ будущимъ откамъ.
 Превознесу тебя, прославлю;
 Тобой безсмертенъ буду самъ.

Пророческое чувство поэта не обмануло его: поэзія Державина въ тѣхъ немногихъ чертахъ, которыя мы представили здѣсь нашимъ читателямъ, есть прекрасный памятникъ славнаго царствованія Екатерины II и одно изъ главныхъ правъ пѣвца на поэтическое безсмертіе.

Другое значеніе имѣютъ теперь для насъ торжественныя оды Державина. Въ нихъ онъ является болѣе официальнымъ, чѣмъ истинно вдохновеннымъ поэтомъ. Въ этомъ отношеніи онъ рѣзко отдѣляется отъ одъ, посвященныхъ Фелицѣ. И не мудрено: послѣднія имѣли корень свой въ дѣйствительности, а первыя были плодомъ похвального обычая согласовать лирный звукъ съ громомъ пушекъ и блескомъ плешекъ и шкаликовъ. При томъ же легче было чувствовать и понимать мудрость и благость монархини, чѣмъ проводить значеніе войнъ и побѣдъ ея, объясняющихся причинами чисто политическими. Политическіе вопросы тогда только могутъ служить содержаніемъ поэзіи, когда онѣ вмѣстѣ и вопросы историческіе и нравственные. Такова была великая война 1812 года, когда обѣ изъ тяжущихся сторонъ—и колоссальное могущество Наполеона, и національное существованіе Россіи—сошлись рѣшить вопросъ: быть или не быть? Побѣды надъ турками, какъ бы ни блистательны были онѣ, могутъ дать прекрасное содержаніе для реляцій, но не для одъ. Сверхъ того торжественныя оды Державина еще и потому утратили теперь свою цѣну, что самыя событія, породившія ихъ, намъ уже не могутъ казаться такими, какими видѣли ихъ современники. Типомъ всѣхъ торжественныхъ одъ Державина можетъ служить ода «На взятіе Варшавы». Она такъ всѣмъ извѣстна, что мы не почтаемъ за нужное дѣлать изъ нея выписки.

Ее можно раздѣлить на три части: первая изъ нихъ есть экстастическое изліяніе чувства удивленія къ Суворову и Екатеринѣ II. Дѣйствительно, вступленіе оды восторженно; но этотъ восторгъ весь заключается не въ мысляхъ, а въ вослицаніяхъ, и въ немъ есть что-то напряженное. Мѣсто, начинающееся стихомъ «Черная туча, мрачныя крыла», долго считалось въ нашихъ риторикахъ и пѣтикахъ образцомъ гиперболы, какъ выраженія высочайшаго восторга: теперь эта гипербола можетъ служить образцомъ натянутого восторга, стихотворнаго крика—не больше. Поэтъ чувствовалъ самъ пустоту всѣхъ этихъ громкихъ фразъ, и потому хотѣлъ во второй части своей оды занять умъ читателя какимъ-нибудь содержаніемъ. Что же онъ сдѣлалъ для этого?—онъ показываетъ сонмъ русскихъ царей и вождей, сидящихъ въ «небесномъ вертоградѣ» на златныхъ холмахъ, въ прохладахъ благоуханныхъ рощъ, въ прозрачныхъ и радужныхъ шатрахъ»; передъ ними поетъ нашъ звучный Пиндаръ, Ломоносовъ, и его хвала пронзаетъ ихъ грудь, какъ молнія; въ ихъ «пунцовыхъ» устахъ «блистаетъ златъ медъ», а на щекахъ играютъ зари; возлегши на «мягкихъ зыблющихъ(ся)» перловыхъ облакахъ, они внимаютъ тихострунный хоръ небесныхъ арфъ и поющихъ дѣвъ (что однакожъ не мѣшаетъ имъ внимать и лирѣ нашего звучнаго Пиндара, Ломоносова): что это за языческая валгалла для христіанскихъ царей и вождей? Для этого подлуннаго міра стихи Ломоносова конечно имѣютъ свое назначеніе; но безпрестанно слушать ихъ и на томъ свѣтѣ—воля ваша, скучно. Далѣе поэтъ заставляетъ Петра Великаго проговорить рѣчь къ Пожарскому и потомъ скрыться въ «снѣгъ». Все это—голая риторика, свидѣтельствующая о затруднительномъ положеніи поэта, задававшего себѣ воспѣть предметъ, котораго идеи онъ не прочувствовалъ въ себѣ. Третья часть оды кончилась даже смѣшно плохими четверостишьями съ припѣвомъ къ каждому:

Славься симъ, Екатерина,
 О великая жена!

Въ первой части оды поэтъ называетъ своего героя, т. е. Суворова, «Александромъ по бранямъ»; сравненіе крайне неудачное! Можно называть Наполеона Цезаремъ, ибо въ жизни и положеніяхъ обоихъ этихъ лицъ было много общаго; но что же общаго между дѣйствительно великимъ полководцемъ русской монархини, превосходнымъ исполнителемъ ея политическихъ предначертаній, и между монархомъ-завоевателемъ, героемъ древняго міра, связавшимъ Востокъ съ Европой?.. Вообще Державинъ не умѣлъ хвалить Суворова: онъ восхищается только его непобѣ-

димостью, забывая, что этимъ были славны и Тамерланы, и Атиллы, и что въ Суворовѣ было что-нибудь замѣчательное и кромѣ этого. Хвала Суворова, Державинъ долженъ былъ бы настроить лиру на тотъ чисто-русскій ладъ, которымъ воспѣвалъ онъ Фелицу; но онъ хотѣлъ видѣть своего героя въ риторической апофеозѣ, и потому въ его одахъ Суворовъ не возбуждаетъ къ себѣ никакого сочувствія.

У Пушкина есть два стихотворенія, порожденные почти такимъ же событіемъ, какъ и ода Державина, о которой мы говоримъ. Даже по тону оба эти стихотворенія Пушкина напоминаютъ торжественную музу Державина; но какая же разница въ содержаніи! Пушкинъ поднимаетъ историческіе вопросы, говоря, что это—

..... споръ славянъ между собою,
Домашній, старый споръ, ужъ вѣвѣнный
судьбою.

Пушкинъ не изрекаетъ оскорбительныхъ приговоровъ падшему врагу, но благородно, какъ представитель великой націи, восклицаетъ:

Въ бореньи падшій невредимъ;
Враговъ мы въ прахѣ не топтали;

Они народиной Немезиды
Не узрять гнѣвнаго лица,
И не услышать пѣснь обиды
Отъ лиры русскаго пѣвца.

Оды «На взятіе Измаила» и «Переходъ Альпійскихъ горъ» по объему своему—цѣлыя поэмы, герой которыхъ—Суворовъ. О нихъ можно сказать то же, что и обо всѣхъ торжественныхъ одахъ Державина: онѣ исполнены вдохновенія, но риторическаго, и ихъ можно сравнить съ похвальными словами Ломоносова—много грома, много блеска, но мало души. И потому въ чтеніи онѣ утомительны и даже скучны. Что корень ихъ былъ не въ жизни, не въ дѣйствительности, а въ пиитикѣ и риторикѣ того времени, могутъ служить доказательствомъ эти стихи изъ оды «На взятіе Измаила»:

Злодѣйство что ни вымышляло,
Поверглось, россы, все на васт!
Зрю ядры, камни, варъ и бревны.

Какъ! неужели защищать отчаянно крѣпость всѣми въ войнѣ употребляемыми средствами отъ осаждающихъ ее враговъ, отчаянно биться съ ними и честно умирать за свою вѣру и своего государя есть злодѣйство?.. О, нѣтъ! Державинъ этого не думалъ, но это требовалось высокимъ пареніемъ оды, по пиитикѣ того времени. Впрочемъ эта ода не безъ замѣчательныхъ частности, какъ на примѣръ следующая строфа:

Чего не можетъ родъ сей славный,
Любя царей своихъ, свершить?

Умѣйте лишь, главы вѣнчанны,
Его безцѣнну кровь падить;
Умѣйте дать ему вы льготу,
Къ дѣламъ великимъ духъ, охоту,
И правотой сердца пѣвноть.
Вы можете его рукою
Всегда, войной и не войною,
Весь міръ себя заставить чтить.
Война, какъ сѣверно сіянье,
Лишь удивляетъ чернь одну:
Какъ свѣтлой радуги блистанье,
Всякъ мудрый любить тишину.

Державинъ былъ пѣвцомъ всѣхъ замѣчательныхъ людей, которыми такъ богатъ былъ вѣкъ Екатерины; всѣхъ чаще и охотнѣе онъ пѣлъ Суворова—это былъ его любимый герой; но лучше всѣхъ воспѣлъ онъ Потемкина. И не мудрено: этотъ «кипящій замыслами умъ, не ходившій по пробитымъ дорогамъ, но пролагавшій ихъ самъ», былъ дивнымъ, поэтическимъ явленіемъ. Это не былъ любитель счастья, какъ привыкли величать его: счастье любить больше глушцовъ и дюжинныхъ людей, нежели геніевъ,—а Потемкинъ былъ геній, заставившій преклоняться передъ собой счастье. Это была натура одного типа съ Наполеоновской: Потемкинъ могъ жить только въ замыслахъ и замыслами, и отсюда его апатія въ бездѣйствіи. Видѣть невозможность дѣйствовать—приговоръ къ смерти для такихъ людей. Каждый изъ нихъ хотѣлъ бы покорить всю землю и палъ бы отъ своего успѣха, еслибы не нашелъ средства сдѣлать высадку на луну и взять ее приступомъ. Являясь во времена отживающаго историческаго міра и не предчувствуя новаго, они дѣлаютъ себя центромъ всей вселенной и падаютъ жертвами своего грандіознаго эгоизма. Такъ палъ и Наполеонъ. Нашъ русскій «сынъ судьбы» не могъ быть понять своимъ временемъ; но въ самыхъ его странностяхъ было что-то таинственно-высокое, и всѣ смотрѣли на него со страхомъ и любопытствомъ. Поэтическая натура Державина глубже другихъ прозрѣла въ тайны этого великаго духа, хотя вполне и не разгадала его—и «Водопадъ» остался навсегда свидѣтельствомъ этого поэтическаго полусознанія и одной изъ лучшихъ одъ Державина.—Державинъ былъ пѣвцомъ царствующаго дома въ Россіи, и нельзя съ удивленіемъ не остановиться на его пророческихъ одахъ на рожденіе царственныхъ младенцевъ, впоследствии Александра Благословеннаго и нынѣ благополучно царствующаго императора Николая. Кому не извѣстна прекрасная ода «На рожденіе на сѣверѣ порфиророднаго отрока»; въ ней есть два стиха, невольно останавливающие на себѣ вниманіе изумленнаго читателя:

Будь страстей своихъ владѣтель,
Будь на тронѣ человекъ!

Другая пророческая ода Державина—«На крещеніе великаго князя Николая Павловича»; въ ней поражаютъ стихи:

Дитя равняется съ царями!
Родителямъ по крови,
По сану—исполнѣ;
По благости, любви
Посвѣта властелинъ!
Онъ будетъ, будетъ славенъ,
Душой Екатерины равенъ.

Державинъ пѣлъ воцареніе Александра и многія событія его царствованія, особенно событія 1812—1814 годовъ. Въ послѣднихъ слышны уже слабѣющіе звуки нѣкогда громкой лиры; но въ одахъ, которыми онъ привѣтствовалъ новое благотворное свѣтило Руси, мѣстами проблескиваютъ искры поэзіи. Таково напримѣръ начало оды «На восшествіе на престолъ императора Александра 1-го»:

Вѣкъ новый! Царь молодой, прекрасный
Пришелъ днесь къ намъ весны стезей!
Мои предвѣстья велегласны
Уже сбылись, сбылись судьбой.

Въ одѣ «Царевичу Хлору» старикъ Державинъ настроилъ свою музу на прежній ладъ, которымъ хвалилъ Екатерину, и воспѣлъ Александра. Въ поэтическомъ отношеніи эта ода далеко не то, что «Фелица», и кажется подражаніемъ ей; но по мыслямъ, по содержанію это—одна изъ замѣчательнѣйшихъ одъ Державина. Ее стоило бы выписать здѣсь всю, до послѣдняго стиха. Она лучше всякихъ разсужденій показываетъ, въ какой связи находится поэзія съ положеніемъ общества. Но это была пѣснь лебедя: знаменитый и прославленный въ царствованіе Александра богѣе, чѣмъ въ царствованіе Екатерины, Державинъ былъ человѣкомъ, отжившимъ свой вѣкъ. Явленіе Крылова, Карамзина, Дмитріева, потомъ Озерова и наконецъ Жуковского и Батюшкова показало, что въ обществѣ уже созрѣли новые элементы для поэзіи, и что, по мѣрѣ полноты этихъ элементовъ, явились и пѣвцы разнообразныя, а не поющіе, какъ прежде, всѣ на одинъ голосъ. Это былъ успѣхъ времени, и не вина Державина, что онъ принадлежалъ къ другому вѣку и остался ему вѣренъ въ чуждомъ для него новомъ времени: онъ сдѣлалъ все, что могъ въ то время сдѣлать человѣкъ съ такимъ огромнымъ дарованіемъ. Не будь Екатерины, не было бы и Державина: цвѣты его поэзіи распустились отъ луча ея просвѣщеннаго вниманія. Этому вниманію онъ былъ обязанъ и своей славой: общество не нуждалось въ стихахъ Державина и не понимало ихъ, а имя его знало, дивясь, что за стихи даютъ и золотыя табакерки, и чины, и мѣста, дѣлаютъ вельможей бѣднаго и незнатнаго дворянина. Но таковъ

ходъ идѣи: она идетъ къ своей цѣли даже и такими путями, которые, казалось бы, скорѣе отвели ее отъ цѣли, чѣмъ привели къ ней: простое любопытство многихъ незамѣтно познакомилось со стихами и пристрастило къ нимъ. И когда чрезъ размноженіе училищъ и гимназій, чрезъ основаніе новыхъ университетовъ въ царствованіе Александра распространилось просвѣщеніе, тогда Державина стали читать, и узнали его, какъ поэта, а не только какъ знатнаго чело-вѣка.

Во многихъ стихотвореніяхъ Державина личный характеръ его, какъ человѣка, является съ весьма хорошей стороны. Несмотря на то, что его вѣкъ былъ вѣкъ милостивцевъ, и что лесть и угодничество считались добродѣтелями, онъ льстилъ больше какъ риторъ, чѣмъ какъ поэтъ. Когда Суворовъ, въ отставку, передъ походомъ въ Италію, проживалъ въ деревнѣ безъ дѣла, Державинъ не боялся хвалить его печатно. Ода «На возвращеніе графа Зубова изъ Персіи» принадлежитъ къ такимъ же смѣлымъ его поступкамъ. «Водопадъ», написанный послѣ смерти Потемкина, есть, безъ сомнѣнія, столько же благородный, сколько и поэтический подвигъ. Судя по могуществу Потемкина, можно было бы предположить, что большая часть стихотвореній Державина посвящена его прославленію; но Державинъ при жизни Потемкина очень мало писалъ въ честь его. Онъ упоминаетъ о немъ въ одѣ «Осень во время осады Очакова»; его воспѣлъ онъ подъ именемъ Рѣшмысла прилично и скромно; есть еще ода подъ названіемъ «Побѣдителю»: въ ней Потемкинъ превознесенъ превыше звѣздъ довольно плохими стихами. Но вотъ и все: а это слишкомъ немного, даже слишкомъ мало для такого могущества, какое представляетъ собой Потемкинъ! Сверхъ того въ отношеніи къ лести нельзя строго судить Державина: онъ жилъ въ такія торжественныя и хвалебныя времена, когда пѣть и льстить—значило одно и то же, и когда никакая сила характера не могла спасти человѣка отъ необходимости уклоняться лестью отъ бѣды. Должно сказать правду: за многія дѣла и самый сатирикъ не можетъ не чтить Державина. Къ числу такихъ дѣлъ принадлежитъ его ода «Памятникъ Герою», написанная въ честь Рѣпинну, который находился въ то время подъ опалой у Потемкина и который впоследствии очень дурно заплатилъ за нее поэту. По службѣ, въ дѣлѣ правосудія, Державинъ прослылъ даже «безпокойнымъ» человѣкомъ,—эпитетъ, который, какъ извѣстно, дается только такимъ людямъ, которые безъ ужаса и негодованія не могутъ видѣть подлостей и несправедливостей, именемъ правосудія и за-

кона совершаемыхъ ябедниками и крючкотворцами...

Чтобъ вѣрно характеризовать и опредѣлить значеніе Державина, какъ поэта, должно обратить вниманіе на его собственный взглядъ на поэзію и поэта. Въ артистической душѣ Державина пребывало глубокое предчувствіе великости искусства и достоинства художника. Это доказывается многими истинно-вдохновенными мѣстами въ его произведеніяхъ и даже превосходными отдѣльными стихотвореніями. Мы непремѣнно должны указать на нихъ, какъ на факты для сужденія о Державинѣ, какъ поэтѣ. Въ одѣ «Любителю художествъ», неудачной и даже странной въ цѣломъ, вниманіе мыслящаго читателя не можетъ не остановиться на слѣдующихъ стихахъ:

Боги взоръ свой отвращаютъ
Отъ нелюбимаго музъ;
Фурія ему влагаютъ
Въ сердце чорство грубый вкусъ,
Жажду алата и серебра.
Врагъ онъ общаго добра!
Ни слеза вдовицъ не тронетъ,
Ни сиротъ несчастныхъ стонъ:
Пусть въ крови вселенна тонетъ,
Быль бы счастливъ только онъ;
Больше бъ собралъ серебра.
Врагъ онъ общаго добра!
Напротивъ того, выражаютъ
Боги на любимаго музъ;
Сердце нѣжное влагаютъ
И изящный нѣжный вкусъ:
Всѣмъ душа его щедра.
Другъ онъ общаго добра!

Еслибъ эти стихи прозаичностью и шероховатостью выраженія не поражали нашего вкуса, избалованнаго изяществомъ новѣйшей поэзіи, ихъ можно было бы принять за переводъ изъ какой-нибудь пьесы Шиллера въ древнемъ вкусѣ. Сознаніе высокаго своего призванія Державинъ выразилъ особенно въ трехъ пьесахъ. Странная и невыдержанная въ цѣломъ пьеса «Лебедь» есть какъ-бы прелюдія къ превосходному стихотворенію «Памятникъ»:

Необычайнымъ я пареньемъ
Отъ тлѣна міра отдѣлюсь,
Съ душой безсмертною и пѣньемъ,
Какъ лебедь въ воздухъ поднимусь.
Въ двоякомъ образѣ нетлѣнный,
Не задержусь въ вратахъ мытарствъ;
Надъ завистью превознесенный,
Оставлю подъ собой блескъ царствъ.
Да, такъ! хоть родомъ я не славенъ;
Но будучи любимецъ музъ,
Другимъ невозможномъ я не равенъ
И самой смертью предпочтусь.
Не заключить меня гробница,
Средь звѣздъ не превращусь я въ прахъ,
Но, будто нѣкая пѣвица,
Съ небесъ раздамся въ голосахъ.

Затѣмъ поэтъ воображаетъ, что его станъ обтягиваетъ пернатая кожа, на груди является пухъ, а спина становится крылата,

и что онъ лоснится лебяжьей бѣлизной; въ видѣ лебедя парить онъ надъ Россіей, и всѣ племена, населяющія ее, указываютъ на него и говорятъ:

«Вотъ тотъ летитъ, что, строя лиру,
Языкомъ сердца говорилъ.
И, проповѣдая миръ міру,
Себя всѣхъ счастьемъ веселилъ!»

Мысль изысканная и неловко выраженная; но послѣдній куплетъ очень замѣчателенъ:

Прочь съ пышнымъ, славнымъ погребеньемъ,
Друзья мои! Хоръ музъ не пой!
Супруга! облекись терпѣньемъ!
Надъ минимъ мертвецомъ не вой!

«Памятникъ» такъ хорошо извѣстенъ всѣмъ, что нѣтъ нужды выписывать его. Хотя мысль этого превосходнаго стихотворенія взята Державинимъ у Горация, но онъ умѣлъ выразить въ такой оригинальной, одному ему свойственной формѣ, такъ хорошо примѣнить ее къ себѣ, что честь этой мысли такъ же принадлежитъ ему, какъ и Горацию. Пушкинъ по-своему воспользовался, по примѣру Державина, примѣненіемъ къ себѣ этой мысли въ собственной оригинальной формѣ. Въ стихотвореніи того и другого поэта рѣзко обозначился характеръ двухъ эпохъ, которымъ принадлежать они: Державинъ говоритъ о безсмертіи въ общихъ чертахъ, о безсмертіи книжномъ; Пушкинъ говоритъ о своемъ памятникѣ: «Къ нему не заростетъ народная тропа», и этимъ стихомъ олицетворяетъ ту живую славу для поэта, которой возможность настала только съ его времени.

Не менѣе «Памятника» замѣчательно стихотворное посвященіе Державина Екатеринѣ II собранія своихъ сочиненій: оно дышитъ и благоговѣйной любовью поэта къ великой монархинѣ, и пророческимъ сознаніемъ своего поэтическаго достоинства:

Что смѣлая рука поэзіи писала,
Какъ Бога истинну Фелицу во плоти
И добродѣтели твои изображала,
Державъ къ твоему престолу принести,
Не по достоинству изящнаго слога,
Но по усердію къ тебѣ души моей.
Какъ жертву чистую, возженную для Бога,
Прими съ небесною улыбкою твоей.
Прими и освяти своимъ благоволеньемъ,
И музъ будь моей подиорой и щитомъ,
Какъ мнѣ была и есть ты отъ клеветъ спасеньемъ.
Да веселясь она и съ бодрственнымъ челомъ,
Пройдетъ сквозь тьму временъ и станетъ средь
потомковъ,

Суда ихъ не страшась, твои хвалы вѣщать;
И алчный червь когда, межъ гробовыхъ обломковъ,

Оставшій будетъ прахъ костей моихъ глотать:
Забудется во мнѣ послѣдній родъ Багрима,
Мой вросшій въ землю домъ никто не посѣтитъ;
Но лира колы моя въ пыли гдѣ будетъ зрина
И древнихъ струнъ ея гдѣ голосъ прозвенитъ,
Подъ именемъ твоимъ громя она пребудетъ;
Ты славою — твоимъ я эхомъ буду жить.
Героевъ и пѣвцовъ вселенна не забудетъ:
Въ молитвѣ буду я, но буду говорить.

И однакожь въ стихотвореніяхъ того же Державина есть мѣста, доказывающія, что онъ очень невысоко цѣнилъ поэзію и свое поэтическое призваніе. Такъ, въ одѣ «Фелица» онъ говорилъ:

Поэзія тебѣ любезна,
Пріятна, сладостна, полезна:
Какъ лѣтнемъ вкусный лимонадъ.

Въ одѣ «Мой Истуканъ» онъ говоритъ:

... Мой бездѣлки
Безумно столько уважать,

и если считаетъ себя достойнымъ мраморнаго бюста, то развѣ за то, что воспѣвалъ «Фелицу», а не за то, какъ воспѣвалъ ее, слѣдовательно за предметъ, а не за талантъ пѣснопѣній. Такихъ мѣстъ много можно найти въ его стихотвореніяхъ. Сверхъ того извѣстно всѣмъ, — да и есть стихотвореніе, подтверждающее этотъ фактъ («Храповицкому») — что Державинъ свое чиновническое поприще считалъ выше, т. е. дѣльнѣе своего поэтического поприща.

Но чтѣ все это доказываетъ? то ли, что Державинъ былъ измѣнчивъ въ своихъ мнѣніяхъ, или что онъ только въ стихахъ, а не на дѣлѣ высоко думалъ о стихотворствѣ? Ни то, ни другое! Въ этомъ видна нерѣшительность, неопредѣленность идеи поэзіи въ то время. Державинъ дѣйствительно въ разные времена думалъ о ней розно: то приходилъ въ восторгъ отъ своего призванія, гордясь имъ въ свѣтломъ и вдохновенномъ созданіи, то погружался въ уныніе при мысли о немъ, стыдился его, какъ пустой забавы. Въ первомъ случаѣ скрывалась его глубоко-поэтическая натура, во второмъ — высказывалось въ немъ общество нашего времени. Теперь всякій посредственный писака съ гордостью говоритъ о себѣ, что онъ — литераторъ или поэтъ, и находитъ добродушныхъ людей, которые, даже и подсмѣиваясь надъ нимъ, все-таки увиваются подлѣ него, чтобъ при случаѣ похвастать своимъ знакомствомъ или пріязнью съ литераторомъ и поэтомъ. Истинный талантъ теперь вездѣ и всегда смѣло можетъ назвать себя по имени; а гений въ области поэзіи теперь — сила и власть въ сферѣ общественнаго мнѣнія. Но это сдѣлалось не вдругъ, а постепенно. Державинъ не имѣлъ враговъ своему таланту: ему не могли простить не таланта, котораго не понимали, а полученныхъ имъ знаковъ почестей. Среди невѣждъ и умному человѣку легко можетъ придти въ голову мысль: ужъ не онъ ли глупъ, и не эти ли люди умны, ибо какъ же могутъ ошибаться всѣ, и быть правъ одинъ?.

Вотъ откуда происходили противорѣчія Державина въ его понятіяхъ о поэзіи. Это

можетъ служить ключомъ и ко множеству другихъ его противорѣчій. На иную прекрасную оду его можно насчитать нѣсколько плохихъ, какъ будто написанныхъ въ опроверженіе первой. Причина этого та, что не было общества, не было общественнаго мнѣнія, — были только умныя личности, изрѣдка сталкивавшіяся другъ съ другомъ на необъятномъ пространствѣ. Всякая истинная поэзія есть идеальное зеркало дѣйствительности, а разумная сторона дѣйствительности того времени выражалась только въ нѣкоторыхъ людяхъ, близкихъ къ монархіи; но нѣсколько людей не составляютъ общества. Мы видѣли, что въ поэзіи Державина отразился XVIII вѣкъ, односторонне и слабо отразившійся на высшемъ кругѣ русскаго общества, — кругѣ, съ которымъ все остальное не имѣло ничего общаго, ни чѣмъ не было связано, а этого было слишкомъ мало, чтобъ дать такое содержаніе поэзіи, которое упрочило бы за ней безсмертіе, сообщивъ ей неумирающій отъ переменъ нравовъ и отношеній интересъ. Мы видѣли, что Державинъ понималъ великую монархію и вѣрно изобразилъ ее въ нѣсколькихъ чертахъ; но онъ выразилъ свое понятіе о ней, а не понятіе цѣлаго общества, которое не умѣло понимать тѣхъ благъ, которыми пользовалось, — и потому мы дивимся образу Екатерины только въ немногихъ стихотвореніяхъ Державина, и именно только въ тѣхъ, гдѣ изображалъ онъ ее подъ именемъ Фелицы. Ода его «Фелица» превосходна и въ цѣломъ, и въ частностяхъ; такъ же прекрасно «Видѣніе Мурзы»; но въ «Изображеніи Фелицы» прекрасны только нѣкоторыя строфы. Торжественныя оды его потеряли весь свой интересъ для нашего времени. Такъ называемыя анакреонтическія оды Державина свидѣтельствуютъ о его артистической натурѣ; но ни содержаніе ихъ, всегда одностороннее и не глубокое, ни ихъ форма, всегда невыдержанная въ цѣломъ и плывающая только частностями, тоже не могутъ быть предметомъ эстетическаго наслажденія въ наше время. Драматическія опыты его не стоятъ и упоминovenія.

Мы уже доказали въ первой статьѣ, что въ эстетическомъ отношеніи поэзія Державина представляетъ собой богатый зародышъ искусства, но еще не есть искусство. Это блестящая страница изъ исторіи русской поэзіи, но еще не самая поэзія. Читая даже лучшія оды Державина, мы должны дѣлать надъ собой усиліе, чтобъ стать на точку зрѣнія его времени относительно поэзіи, и должны научиться видѣть прекрасное во многомъ, чтѣ въ то время казалось безусловно прекраснымъ. Итакъ, Державинъ и въ эстетическомъ отношеніи есть поэтъ историческій,

котораго должно изучать въ школахъ, котораго стыдно не знать образованному русскому, но который уже не можетъ быть и для общества тѣмъ же, чѣмъ можетъ и долженъ быть для людей, посвящающихъ себя основательному изученію родного слова, отечественной поэзіи. Ломоносовъ былъ предтечей Державина, а Державинъ—отецъ русскихъ поетовъ. Если Пушкинъ имѣлъ сильное вліяніе на современныхъ ему и явившихся послѣ него поетовъ, то Державинъ имѣлъ сильное вліяніе на Пушкина. Поэзія не родится вдругъ, но, какъ все живое, развивается исторически: Державинъ былъ первымъ живымъ глаголомъ юной поэзіи русской. Съ этой точки зрѣнія должно опредѣлять его достоинства и его недостатки,—и съ этой точки зрѣнія его недостатки явятся такъ же необходимыми, какъ и его достоинства. Называть Державина русскимъ Пиндаромъ, Анакреономъ и Горациемъ могли только во время дѣтства нашей критики. Пиндара, Анакреона и Горация читаетъ весь

просвѣщенный міръ на ихъ родныхъ языкахъ и въ безчисленномъ множествѣ переложеній: въ Державинѣ ничего не найдетъ ни французъ, ни англичанинъ, ни нѣмецъ. Богатырь поэзіи по своему природному таланту, Державинъ, со стороны содержанія и формы своей поэзіи, замѣчательнъ и важнъ для насъ, его соотечественниковъ: мы видимъ въ немъ блестящую зарю нашей поэзіи, а поэзія его — «это (какъ справедливо сказано въ предисловіи къ изданнымъ нынѣ его сочиненіямъ) сама Россія Екатеринина въѣлка — съ чувствомъ исполнискаго своего могущества, съ своими торжествами и замыслами на Востокъ, съ нововведеніями европейскими и съ остатками старыхъ предрассудковъ и повѣрій—это Россія пышная, роскошная, великолѣпная, убранныя въ азіатскіе жемчуги и камни, и еще полудикая, полуварварская, полуграмотная, — такова поэзія Державина во всѣхъ ея красотахъ и недостаткахъ».

СОЧИНЕНІЯ ЗЕНЕИДЫ Р—ВОЙ.

Спб. 1843. Четыре части.

Въ Россіи женщины мало пишутъ. Впрочемъ этому нечего удивляться: въ Россіи и мужчины почти совсѣмъ не пишутъ. Смотри съ этой точки зрѣнія, вы увидите, что у насъ женщины пишутъ именно не больше и не меньше того, сколько могутъ онѣ писать. Званіе писательницы пока еще контрабанда не у однихъ насъ. Лживый взглядъ на женщину осуждаетъ ее на молчаніе. Этотъ взглядъ, запрещающій женщинѣ выходить изъ заколдованнаго круга простыхъ свѣтскихъ отношеній, не есть принадлежность собственно русскаго общества: онъ равно принадлежитъ и просвѣщенному западу Европы. Правда, тамъ, какъ и у насъ, женщина давно уже приобрѣла право говорить печатно,—но какъ и о чемъ говорить? вотъ вопросъ, подробное рѣшеніе котораго завело бы далеко-далеко... въ самую Азію. Никакая пишущая женщина въ Европѣ не избѣгнетъ пошлыхъ намековъ и названія синаго чулка, каковъ бы ни былъ ея талантъ, равно всѣми признанный. Никто тамъ не оспариваетъ у женщины права высказаться печатно и возможности быть одаренной даже великимъ творческимъ талантомъ; никого не оскорбляетъ и не соблазняетъ зрѣлище пишущей женщины; но въ то же время едва ли кто

упуститъ случай, говоря о пишущей женщинѣ, посмѣяться надъ ограниченностью женскаго ума, болѣе будто-бы приноровленнаго для кухни, дѣтской, шитья и вязанья, чѣмъ для мысли и творчества. Это уже такая привычка у мужчинъ: если они давно перестали бить женщинъ, то еще не отстали отъ привычки грозить имъ кулакомъ или дразнить языкомъ въ ознаменованіе права своей силы. Привычка—вторая натура, и потому отстать отъ нея трудно. Для женщины-писательницы это первое, и притомъ еще самое меньшее зло. Хуже всего, что она осуждена общественнымъ мнѣніемъ на самыя невинныя литературныя занятія, именно — вѣчно повторять старыя обветшалыя истины, которыми не вѣрятъ даже и дѣти, но которыя тѣмъ не менѣе считаются почтенными. Нельзя употребить большаго насилія надъ женщиной, нельзя оказать ей большаго презрѣнія? Конечно ей не воспрещается закономъ быть оригинальной и глубокой въ своихъ мысляхъ, могущественной и великой въ творествѣ,—по крайней мѣрѣ на столько, на сколько не воспрещается это закономъ мужчинамъ; но если законъ оставить женщину въ покоѣ, тогда противъ нея дѣйствуетъ общественное мнѣніе. Тысячеглавое чудовище объявляетъ ее

безнравственной и безпутной, грязнить ея благороднѣйшія чувства, чистѣйшіе помыслы и стремленія, возвышеннѣйшія мысли,—грязнить ихъ грязью своихъ комментаріевъ; объявляетъ ее безобразной кометою, чудовищнымъ явленіемъ, самовольно вырвавшимся изъ сферы своего пола, изъ круга своихъ обязанностей, чтобъ употѣ свои разнузданныя страсти и наслаждаться шумной и позорной извѣстностью. Не правда ли, что это возмутительно несправедливо?.. А вотъ вамъ и смѣшное: то же самое общество не читаетъ женщинъ, пишущихъ въ духѣ его же собственной морали, и обходитъ ихъ самымъ презрительнымъ невниманіемъ, потому что оно само не вѣритъ своей морали и смѣется надъ ней. Впрочемъ оно противорѣчитъ такимъ образомъ самому себѣ не въ отношеніи къ одѣмъ только женщинамъ. Возьмемъ напримѣръ современное французское общество. Представители его—набитые золотомъ мѣшки, пріобрѣтатели, люди, поклоняющіеся золотому тельцу. Кого читаетъ это общество! — писателей въ духѣ чуждой ему морали. Это общество недавно восхищалось двумя романами Эжена Сю «*Mathilde*» и «*Mystères de Paris*», а эти романы не что иное, какъ страшный доносъ на это общество. Это же общество не хочетъ уже читать какого-нибудь мосье *de* Бальзака, до сихъ поръ вѣрнаго моральному принципу выскочившаго въ люди богатаго мѣщанства, оно смѣется надъ нимъ, презираетъ его, и вмѣсто его читаетъ Жоржъ Занда, въ которомъ имѣло бы право видѣть своего обвинителя, изобличителя и нравственную кару. Послѣ этого извольте угождать обществу и сообразоваться съ его моралью! Всѣ явленія дѣйствительности внутри себя самихъ заключаютъ свою необходимость: вотъ отчего люди толкуютъ свое, а дѣйствительность идетъ своей дорогой, не спрашиваясь у людей, но заставляя людей спрашиваться у нея. Привычка мало-по-малу дѣлаетъ людей равнодушными къ явленію, которое вначалѣ поразило ихъ, и со временемъ они начинаютъ не только считать это явленіе естественнымъ, но даже и приносить ему дань удивленія и восторженныхъ похвалъ. Таково теперь во Франціи положеніе Жоржъ Занда, какъ писательницы; но не таково было ея положеніе назадъ тому нѣсколько лѣтъ. И что же? — явился другая писательница съ такимъ же гениемъ,—и на нее сперва польется обильный дождь клеветъ, браней, оскорбленій, лжи,—и все это во имя будто бы оскорбленной ею морали, и при всемъ этомъ будутъ раскупать ея сочиненія и твердить ихъ назусть; а потомъ клеветы, лжи и брани умолкнутъ, смѣнившись на восторгъ и удивленіе... А въ то же время сколько женщинъ-

писательницъ въ духѣ общественной морали, пишущихъ свои сочиненія пошлыми сентенціями, пройдутъ незамѣченныя, неудобостойныя ничега вниманія!..

Сказанное нами не можетъ имѣть примѣненія къ русской литературѣ. У насъ литература имѣетъ совсѣмъ другое значеніе, чѣмъ въ старой Европѣ. Тамъ она—выраженіе мысли, служащей источникомъ жизни для общества въ каждую эпоху его историческаго развитія. У насъ литература—пріятное и полезное, невинное и благородное препровожденіе времени и для писателя, и для читателя. Исключенія изъ этого правила такъ рѣдки, что не стоитъ упоминать о нихъ. Наши писатели (и то далеко не всѣ) только одной ступенью выше обыкновенныхъ изобрѣтателей и пріобрѣтателей; наши читатели (и то далеко не всѣ) только одной ступенью выше людей, которые въ преферансѣ и сплетняхъ видятъ самое естественное препровожденіе времени. Оттого у насъ всѣ писатели, и хорошіе, и худые, равно читаются и почитаются, равно имѣютъ ограниченный кругъ нравственнаго вліянія и равно скоро забываются. Исключеніе остается только за писателями, которые ужъ слишкомъ по плечу обществу и слишкомъ хорошо угодили его вкусу, удовлетворили его потребностямъ: таковы напримѣръ Марлинскій и Бенедиктовъ, которыхъ и теперь еще очень любятъ даже въ столицахъ, а въ провинціи знаютъ назусть. Поэтому женщина у насъ смѣло можетъ пускаться въ писательство: если она не всегда можетъ надѣяться стать слишкомъ высоко, зато никогда не должна бояться затеряться въ заднихъ рядахъ писакъ. Это тѣмъ вѣрнѣе, что женщины, которыя когда-либо пускались на Руси въ авторство, всегда обладали извѣстной степенью образованности, знаніемъ хоть французскаго языка; при этомъ имъ не мало служить и врожденный женской натурѣ тактъ приличія и здраваго смысла; тогда какъ несравненно большая часть пишущихъ въ Россіи мужчинъ попала въ писатели нечаянно и безъ всякаго приговора, а потому и не знаютъ даже первыхъ основаній грамматики своего родного языка, да и принадлежать еще къ такому кругу понятій, изъ котораго совсѣмъ не слѣдовало бы показываться въ печати. Въ доказательство справедливости нашихъ словъ указываемъ на длинную вереницу сочинителей вродѣ Милычева, Славина, Кузьмина, Зотова, Воскресенскаго, Классена, Сигова, Антипы Огородника, Тимовеева, Зражевской, Бурачка, Мартынова, Кропоткина, Скосырева, Жданова, Шелехова, Куражскаго, Ильина и многихъ другихъ, которыхъ перечестъ не достанетъ ни терпѣнія, ни времени, ни мѣста въ статьѣ. Скажутъ: бездар-

ные люди всегда заваливали литературу мусором своих сочинений. Правда, и прежде — в доброе классическое время нашей литературы, бездарных писакъ такъ же, какъ и теперь, было больше, чѣмъ даровитыхъ писателей; но тогда не было между пишущимъ народомъ людей безграмотныхъ; тогда всѣ старались писать въ тонѣ порядочнаго общества и не воспылали въ стихахъ «россійскаго сиводая» и «кабаковъ» (какъ это недавно сдѣлалъ Милькѣевъ), и не восхищались тѣмъ, что Ломоносовъ былъ подверженъ несчастной страсти невоздержанія, отъ которой и погибъ рано. Въ прежнія времена пришли бы въ ужасъ отъ такого романтизма. Но въ наше время такъ называемый романтизмъ освободилъ писакъ отъ здраваго смысла, вкуса, грамматики, логики, порядочнаго тона, даже опрятности и чистоплотности, и всѣ эти господа-сочинители стали выѣзжать въ своихъ романтически-народныхъ произведеніяхъ на разбитыхъ носсахъ, фонаряхъ подъ глазами, зипунахъ, лаптяхъ, мужицкихъ рѣчахъ и поговоркахъ, кабакахъ и харчевняхъ. И все это ими представляется и описывается безъ всякаго юмора, безъ всякой сатирической цѣли, но съ добродушнымъ и добросовѣстнымъ восторгомъ и удивленіемъ къ своимъ неопратнымъ вымысламъ; ссылаемся опять на того же Милькѣева, который, вдохновившись сивухой, воспѣлъ ее въ двенадцати, безъ всякой ироніи, важнымъ, торжественнымъ и патетическимъ тономъ.

Къ чести русскихъ женщинъ-писательницъ надобно сказать, что между ними примѣры подобнаго романтизма или безграмотности составляютъ исключенія изъ общаго правила, — исключенія, которыя остаются за немногими тѣми, которыя, соблазнившись нѣкоторыми журналами, пустились «гуторить» въ нихъ народной (т. е. огороднической) рѣчью... Всѣ другія, обладая большимъ или меньшимъ талантомъ, все-таки отличаются большей или меньшей грамотностью, уваженіемъ къ приличію и отвращеніемъ къ площадной и харчевенной народности. Между тѣмъ въ ихъ послѣдовательномъ явленіи одна за другой есть нѣчто вродѣ прогресса, — и Анна Бунина, и Зенеида Р—ва представляютъ двѣ совершенныя противоположности не по одному таланту, но и по направленію и духу ихъ произведеній. Здѣсь мы считаемъ кстати сдѣлать короткое обзоріе литературной дѣятельности русскихъ женщинъ. Въ каталогѣ Смирдина мы встрѣчаемъ имена слѣдующихъ женщинъ, занимавшихся переводами съ иностранныхъ языковъ на русскій: Марья Сущкова (перевела «Инки» Мармонта, въ 1778 году), Марья Орлова (1788), Катерина и Анна Волковскія (1792), Корсакова (1792), Нилова (1793), Бас-

какова (1796), Марья Базилевичева (1799), Марья Иваненко (1800), Лихарева (1801), Настасья Плещеева (1808), Марья Фрейтахъ (1810), Катерина де-ла-Маръ (1815), Татищева (1818), Беклемишева (1819), Бровина (1820), Вишлинская, А. и Катерина Воейковы, Анна и Пелагея Вельяшевы-Волынцовы, Вѣра и Надежда Кусовниковы, Настасья Гагина, Катерина Меньшикова, А. Мухина. Изъ этого списка видно, что наши дамы рано приняли участіе въ отечественной литературѣ. Въ 1789 году были изданы «Лучшіе Часы Жизни Моей» Марьи Поспѣловой; а въ 1801 г. ея же «Черты Природы и Истины, или Оттѣнки Мыслей и Чувствъ моихъ». Еще ранѣе, именно въ 1774 г. (стало быть, шестьдесятъ девять лѣтъ назадъ тому), Катерина Урусова издала свою эпическую поэмю въ пяти пѣсняхъ «Поліонъ, или Просвѣтившійся Нелюдимъ». Александра Хвостова издала въ 1796 году «Каминъ и Ручеекъ». Москвины издали свои стихотворенія подъ заглавіемъ «Аонія» въ 1802 г. Дѣвида Волкова издала, въ 1807 г. свои стихотворенія. Наумова издала свои стихотворенія въ 1819 году подъ именемъ «Уединенной Музы Закамскихъ Береговъ». Любовь Кричевская обнаружила особенную плодовитость въ сравненіи съ исчисленными нами писательницами: она издала «Мои Свободныя Минуты, или Собраніе Сочиненій въ Стихахъ и Прозѣ, Любови Кричевской» (Харьковъ, 1818); драму въ трехъ дѣйствіяхъ «Нѣтъ Добра безъ Награды» (Харьковъ, 1826); «Двѣ Повѣсти» (Москва, 1827) и «Историческіе Анекдоты и Избранныя Изреченія Извѣстныхъ Людей» (Харьковъ, 1827). Хотя сочиненіе Анны Волковой «Утренняя Бесѣда Стѣпного Старца съ своей Дочерью» издано въ 1824 году, но, по наивному заглавію и вѣроятно по такому же содержанію, оно можетъ быть смѣло отнесено къ произведеніямъ семисотъ-семидесятихъ годовъ. Впрочемъ это произведеніе той же самой Волковой, которая въ 1807 году издала свои стихотворенія, и въ 1826 еще писала стихи. Титова издала въ 1810 году драму въ пяти дѣйствіяхъ «Густавъ Ваза, или Торжествующая невинность»; Катерина Пучкова — «Первые Опыты въ Прозѣ» (Москва, 1812); а въ 1817 году Марья Волотникова издала «Деревенскую Лиру, или Часы Уединенія». Но что всѣ эти писательницы передъ знаменитой въ свое время Анной Буниной? Она писала въ журналахъ и потому отдѣльно издавала труды свои, писала и переводила въ стихахъ и прозѣ, занималась не только поэзіей, но и теоріей поэзіи. Въ 1808 году она издала трудъ свой подъ названіемъ «Правила Поэзіи, сокращенный переводъ аббата Батѣ, съ присовокупленіемъ

російскаго стопосложенія»; въ 1810 году издала она «О Счастіи, дидактическое стихотвореніе»; въ 1811 г. издала она свои «Сельскіе Вечера»; въ 1809—1812—«Неопытную музу Анны Буниной» въ двухъ частяхъ; въ 1819—1821 вышло «Собраніе Стихотвореній Анны Буниной» въ трехъ частяхъ. Знаменитѣйшее произведеніе Буниной была нравственная поэма ея «Фаетонъ». Она, кажется, перевела также и «Науку о Стихотворствѣ» Буало и вообще не уступала графу Дмитрію Ивановичу Хвостову ни въ талантѣ, ни въ трудолюбіи, ни въ выборѣ предметовъ для своихъ пѣснопѣній. Собраніе стихотвореній Анны Буниной было издано Россійской Академіей. Но и Буниной не оканчивается еще блистательный списокъ старинныхъ нашихъ писательницъ. Есть еще одна, не менѣе знаменитая, хотя и менѣе извѣстная. Знаете ли вы дѣвицу Марью Извѣкову? читалъ ли вы романы дѣвицы Марьи Извѣковой?... Если нѣтъ, то бѣгите въ книжную лавку, попросите книгопродавца порыться въ его погребахъ и кладовыхъ—этихъ книжныхъ кладбищахъ—и отыскать вамъ романы дѣвицы Марьи Извѣковой, если ихъ еще не съѣли мыши, и прочтите ихъ какъ можно скорѣе. Чтобъ помочь вамъ въ вашихъ поискахъ, мы поименуемъ ея романы. Ихъ немного, всего три, да зато куда хороши! «Эмилія, или Печальныя Слѣдствія Безразсудной Любви» (4 ч. 1806), «Милена, или Рѣдкій Примѣръ Великодушія» (1809), «Торжествующая Добродѣтель надъ Коварствомъ и Злобой» (3 ч. 1809). Каковы одни заглавія—такъ и дышать чистѣйшей нравственностью! А содержаніе—еще лучше, еще нравственнѣе, хотя, надо признаться, и невообразимо скучно. Его составляютъ происшествія, въ которыхъ дѣйствуютъ лица безъ образа; герои же, а особенно героини отличаются необыкновенной говорливостью. Такъ напримѣръ, вы уже знаете черезъ самого автора, что тогда-то и тогда-то было съ героиней: нѣтъ, она сама начнетъ вамъ пересказывать, и гораздо длиннѣе, чѣмъ авторъ уже разсказалъ вамъ, хотя и самъ авторъ не любитъ выражаться коротко. Романы Извѣковой, кромѣ чистѣйшей нравственности, насквозь проникнуты еще и вѣжнѣйшей чувствительностью, и вѣроятно многихъ слезъ стоили они прекраснымъ читательницамъ того времени, теперешнимъ почтеннымъ нашимъ тетушкамъ и бабушкамъ. И благодарное потомство забыло дѣвицу Марью Извѣкову, забыло совсѣмъ!... Что жъ послѣ этого прочно подъ луной? Гдѣ Греція, гдѣ Римъ? спрашивалъ Байронъ въ своемъ «Чайльдъ Гарольдѣ»; гдѣ романы дѣвицы Марьи Извѣковой? часто спрашиваю я самого себя съ глубокой тоской и печально смотрю на со-

временныя произведенія русской литературы... Увы! вездѣ мрачное царство смерти, вездѣ ея ужасное владычество, вездѣ—даже и въ книжномъ мірѣ! Эта мысль съ особенной силой поражаетъ насъ, которые столько пережили, еще не успѣвъ состариться, которые съ такой надеждой, такой гордостью встрѣтили столько великихъ произведеній, теперь уже умершихъ для свѣта. Гдѣ теперь всѣ эти «киргизскіе» и другіе «пѣльники»? гдѣ все это множество романтическихъ повѣй, длинной вереницей потянувшихся за «Кавказскимъ Пѣльникомъ» Пушкина и «Черномъ» Козлова? Увы! не только эти скороспѣлыя произведенія недопеченаго романтизма, тогда такъ восхищавшія насъ, не только они не могутъ теперь останавливать нашего вниманія, но мы не нашли бы въ себѣ достаточной отваги, чтобы перечестъ и «Чернеца»; и даже «Руслана и Людмилу» и «Кавказскаго Пѣльника» мы теперь перелистываемъ съ улыбкой. Гдѣ теперь нравоописательные и нравственно-сатирическіе романы Булгарина, гдѣ его пресловутый «Иванъ Выжигинъ», котораго такъ сильно бранили назадъ тому лѣтъ четырнадцать?—Гдѣ «Черная Женщина» Греча и «Фантастическія Путешествія» барона Брамбеуса? Все тамъ же, гдѣ и «Корсаръ» Олина, и «Князь Курбскій» Бориса Ф(Ѳ)едорова, и романы дѣвицы Марьи Извѣковой!.. Давно ли «Московский Телеграфъ» казался чудомъ учености, глубокой философіи и здравой критики; давно ли казалось, что въ своемъ ходѣ онъ опережалъ самое время? Давно ли «Юрій Милославскій» считался великимъ національнымъ романомъ? А гдѣ слава нашихъ романтическихъ поэтовъ? И кто не считался назадъ тому около двадцати лѣтъ, кто не считался тогда великимъ романтическимъ поэтомъ? Даже Шевыревъ и самъ считалъ себя, и другими многими считался поэтомъ—и все это за довольно плохіе стишочки. Давно ли этотъ великій мужъ руссійской словесности хлопоталъ о введеніи въ русское стихосложеніе скрипучихъ октавъ? И какъ напрасно теперь силится онъ, помня старину, блеснуть то плохимъ стихотвореніемъ, то неслышанно оригинальной критической статьей? И какъ напрасно вмѣстѣ съ нимъ, помня доброе старое время, Языковъ и Хомяковъ стараются спастись отъ волнъ Леты, хватаясь за обломки утлаго въ славянской журналистикѣ челнока—«Москвитянина»... А колоссальная слава Марлинскаго и Бенедиктова—гдѣ же теперь она, если не тамъ, гдѣ слава романовъ дѣвицы Марьи Извѣковой? Съ появленія Пушкина гораздо болѣе стало являться на Руси женщинъ-писательницъ; но извѣстныхъ именъ между ними стало меньше. Это оттого, что имена людей, дѣй-

ствовавшихъ въ началѣ зарождающейся литературы, пользуются извѣстностью даже и безъ отношенія къ ихъ таланту. Когда же литература уже сколько-нибудь установится, тогда, чтобъ получить въ ней почетное имя, нужно имѣть замѣчательный талантъ. И такъ, мы помнимъ въ Пушкинскій періодъ русской литературы только четыре женскія имени: княгиня З. А. Волконской, которой Пушкинъ посвятилъ своихъ «Цыганъ», Лисицкой, Готовцевой и Тепловоу. Къ стихотвореніяхъ трехъ послѣднихъ проглядываетъ чувство, особливо въ стихотвореніяхъ Тепловоу: это уже большая разница отъ произведеній прежнихъ стихотворицъ: то были плоды невинныхъ досуговъ, поэтическое вязаніе чулокъ, приемоторное шитье, а здѣсь уже проблескивала поэзія. Правда, помнута нами стихотворицы мало писали, и только стихотворенія одной Тепловоу собраны въ отдѣльную книжку-малютку; но можетъ ли быть плодотворна поэзія, основанная не на мысли, а на одномъ непосредственномъ чувствѣ?.. Чувства никакъ нельзя отнять у стихотвореній Тепловоу, и это чувство высказывалось у ней въ болѣе или менѣе поэтическихъ стихахъ. Напомнимъ здѣсь нашимъ читателямъ хоть одно стихотвореніе Тепловоу; возьмемъ на удачу такъ называющееся «Къ сестрѣ».

Когда наступитъ часъ желанный
Разлуки съ жизнью туманной,
И отъ земныхъ тяжелыхъ узъ
Я равнодушно отложусь:
Миръ вѣчной жизни, тихій, ясный,
Тогда почиетъ на челѣ;
Но пережить тебя ужасно,
Покинуть тяжко на землѣ!
Тогда въ душѣ, для улаженія
Минутой смертнаго томленія,
Я положу завѣтъ святой...
И жди меня въ часы полночи,
Когда людей смежась очи,
И мѣсяцъ встанетъ надъ рѣкой,
Приду на краткое свиданье,
Скажу, что я узнала тамъ,
И замогильныя желанья,
И тайну неба передамъ.

Оставя въ сторонѣ ребяческую мысль этого стихотворенія, кто однакоже не согласится, что оно вылилось изъ души и полно чувства?

Теперь скажемъ по нѣскольку словъ о женщинахъ-писательницахъ, явившихся въ послѣднее время. Елисавета Кульманъ оставила послѣ себя претолстую книгу, свидѣтельствующую о ея необыкновенно возвышенной душѣ, страстной къ изящному и умѣвшей черезъ строгое и основательное изученіе обрѣсти въ эллинской поэзіи осуществленный идеалъ этого изящнаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ свидѣтельствующую и о томъ, что любовь къ поэзіи и способность пони-

мать ее и наслаждаться ею не всегда одно и то же съ талантомъ поэзіи. — Павлова (урожденная Янишь) обладаетъ необыкновеннымъ даромъ переводить стихами съ одного языка на другой; съ равнымъ успѣхомъ переводить она съ англійскаго, нѣмецкаго и французскаго языковъ на русскій, и съ русскаго языка на нѣмецкій и французскій. Жаль только, что этому превосходному таланту Павловоу переводить не соответствуетъ ея талантъ выбирать пьесы для перевода. Такъ напр., съ англійскаго она перевела на русскій нѣсколько шотландскихъ и англійскихъ народныхъ балладъ, которыя, несмотря на превосходный переводъ, не могутъ имѣть на русскомъ никакого значенія, именно потому, что онѣ — народные. На нѣмецкій языкъ вмѣстѣ съ нѣкоторыми пьесами Пушкина перевела она нѣкоторыя пьесы Языкова и Хомякова, и тѣмъ самымъ, несмотря на превосходный переводъ, отбила охоту у нѣмцевъ интересоваться русской поэзіей. И въ то же время Павлова съ такимъ удивительнымъ искусствомъ передала на французскій языкъ, стихами, «Полководца» Пушкина и «Орлеанскую Дѣву» Шиллера. Однимъ словомъ, еслибъ способность выбора соответствовала ея таланту, Павлова своими превосходными переводами усвоила бы себѣ прочную славу не въ одной только русской литературѣ. — Графиня Е. П. Растопчина, выступившая на литературное поприще съ 1835 года, въ первыхъ опытахъ своей поэтической дѣятельности обнаружила много чувства и одушевленія при отсутствіи впрочемъ какой бы то ни было могучей мысли, которая проникла бы собой всѣ ея произведенія. То, что въ стихотвореніяхъ графини Растопчиной можетъ инымъ показаться мыслью, есть не что иное, какъ отвлеченныя понятія, одѣтыя въ болѣе или менѣе удачный стихъ. Это особенно замѣтно въ ея послѣднихъ стихотвореніяхъ (начиная съ 1837 года по нынѣшнее время), въ которыхъ нельзя узнать прежняго стиха даровитой стихотворицы, и въ которыхъ всѣ мысли и чувства кружатся, словно подъ музыку Штрауса, и скачутъ, словно подъ музыку моднаго галопа, или около я автора, или въ заколдованномъ кругу свѣтской жизни, не выходя въ сферу общечеловѣческихъ интересовъ, которые только одни могутъ быть живымъ источникомъ истинной поэзіи. — Въ 1839—1840 годахъ были изданы въ прозаическомъ русскомъ переводѣ стихотворенія графини Сары Толстой, писанныя ею на нѣмецкомъ, англійскомъ и французскомъ языкахъ. Эти стихотворенія понятны только въ цѣломъ и въ связи съ жизнью юной стихотворицы, похищенной смертью на восемнадцатомъ году ея жизни. Всѣ эти стихотворенія проникнуты однимъ

чувствомъ, одной думой, и то чувство — меланхолическая дума — мысль о близкомъ концѣ, о тихомъ покоѣ могилы, украшенной веселыми цвѣтами. У Сары Толстой это монотонное чувство и эта однообразная дума высказались поэтически. Стихотворенія Сары Толстой нельзя читать какъ только произведенія поэзіи; вмѣстѣ съ тѣмъ они и поэтическая біографія одной изъ самыхъ странныхъ, самыхъ оригинальныхъ, самыхъ поэтическихъ и по натурѣ, и по судьбѣ, и по таланту, и по духу личностей. Это прекрасное явленіе промелькнуло безъ слѣда и памяти. Да и кому нужно у насъ замѣчать такіе явленія, не состоящіе ни въ какомъ классѣ?... Можетъ-быть въ этомъ случаѣ заслуженная извѣстность Сары Толстой много потеряла отъ того, что ея стихотворенія изданы не для публики, а для тѣснаго круга ея родныхъ и знакомыхъ, и притомъ въ довольно плохомъ переводѣ и съ дурно написаннымъ предисловіемъ. — Къ замѣчательнымъ явленіямъ послѣдняго времени русской литературы принадлежатъ повѣсти Жуковой. Въ нихъ много чувства, и онѣ отличаются прекраснымъ разсказомъ: вотъ ихъ неотъемлемыя достоинства. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ чужды ироніи, жизнь въ нихъ представляется не въ ея собственномъ цвѣтѣ, а раскрашенная розовой краской поддѣльной идеализаціи, и оттого характеры дѣйствующихъ лицъ иногда невыдержаны, а иногда и вовсе ложны, и замѣчается отсутствіе цѣлаго, при прекрасныхъ частностяхъ. Однимъ словомъ, даровитая Жукова принадлежитъ къ тому разряду писателей, которые изображаютъ жизнь не такой, какова она есть, слѣдовательно не въ ея истинѣ и дѣйствительности, а такой, какой имъ хотѣлось бы ее видѣть. Но при всемъ этомъ въ повѣстяхъ Жуковой уже видно какъ бы невольное стремленіе, вслѣдствіе духа времени, искать сюжетовъ въ дѣйствительной современной жизни и заботиться объ естественномъ изображеніи подробностей быта и ежедневной жизни героевъ, сообразно съ ихъ положеніемъ въ обществѣ и степенью ихъ образованности. Вообще главное достоинство повѣстей Жуковой — теплота чувства, и главный ихъ недостатокъ — отсутствіе такта дѣйствительности.

Нельзя сказать, чтобъ въ повѣстяхъ Зенеиды Р—вой русская повѣсть достигла, талантомъ женщины, своего полнаго развитія, чтобъ она стала выраженіемъ созрѣвшей мысли и вѣрной картиной современнаго общества; но въ то же время нельзя не сказать, что ни одной изъ русскихъ писательницъ не обладала такой силой мысли, такимъ тактомъ дѣйствительности, такимъ замѣчательнымъ талантомъ, какъ Зенеида Р—ва. Созданная ею повѣсть, какъ ея талантъ

и жизнь, остановились на полудорогѣ и не дошли до своего полнаго и конечнаго развитія. Мы не хотимъ и упоминать о полнотѣ чувства, которымъ проникнуты повѣсти Зенеиды Р—вой: это должно само собой подразумеваться, когда дѣло идетъ о сильномъ талантѣ: какого же порядочнаго математика хвалить за способность комбинировать и соображать? И потому мы прямо приступимъ къ тому, что составляетъ существенное достоинство повѣстей Зенеиды Р—вой — къ ихъ мысли.

Въ истинно-поэтическихъ произведеніяхъ мысль не является отвлеченнымъ понятіемъ, выраженнымъ догматически, но составляетъ ихъ душу, разлитая въ нихъ, какъ свѣтъ въ хрусталь. Мысль въ поэтическихъ созданіяхъ — это ихъ паеосъ, или патосъ. Что такое паеосъ? — Страстное проникновеніе и увлеченіе какой-нибудь идеей. Отсюда происходитъ и слово «патетическій». Что называется «патетическимъ» въ драмѣ? — Энергія раздраженнаго чувства, которое бурными волнами огненной рѣчи изливается изъ устъ дѣйствующаго лица. Въ такихъ монологахъ всегда видно трепетное, страстное проникновеніе дѣйствующаго лица той идеей, которая составляетъ собой невидимую пружину всей его дѣятельности, всей энергіи его воли, готовой на все для достиженія своей цѣли. Вотъ этотъ-то паеосъ и составляетъ собой базисъ и фонъ твореній всякаго замѣчательнаго поэта. Что же составляетъ паеосъ повѣстей Зенеиды Р—вой? — Безъ сомнѣнія, любовь, ибо всѣ ея повѣсти основаны исключительно на одномъ этомъ чувствѣ. Но любовь есть понятіе слишкомъ общее, которое у всякаго истиннаго таланта должно принимать болѣе или менѣе индивидуальный отбѣнокъ или представляться подъ особенной точкой зрѣнія. Поэтому мало сказать, что любовь составляетъ паеосъ повѣстей Зенеиды Р—вой, надо прибавить — любовь женщины. Всѣ повѣсти этой даровитой писательницы проникнуты однимъ страстнымъ чувствомъ, одной живой идеей, однимъ могучимъ созерцаніемъ, не дающимъ покоя автору и тревожно его наполняющимъ, — созерцаніемъ, которое можно выразить такими словами: какъ умѣютъ любить женщины и какъ не умѣютъ любить мужчины. И такъ, основная мысль, источникъ вдохновенія и заветное слово поэзіи Зенеиды Р—вой есть апологія женщины и протестъ противъ мужчины. Обвинимъ ли мы ее въ пристрастіи, или признаемъ ея мысль справедливой?... Мы думаемъ, что справедливость ея слишкомъ очевидна, и что намъ лучше попытаться объяснить причину такого явленія, чѣмъ доказывать его дѣйствительность.

Окинемъ бѣглымъ взглядомъ содержаніе

всѣхъ повѣстей Зенеиды Р—вой. Первая—«Идеаль». Прекрасная, исполненная ума, души и сердца женщина, закабаленная волей родныхъ въ позорное рабство продажнаго брака, обращаетъ всю силу страстнаго стремленія своей любящей природы на восхитившаго ее своими созданіями поэта, и потому, самымъ ужаснымъ для себя образомъ, узнать, что этотъ поэтъ, ея идеаль, безсовѣстно игралъ ею, завлекая ее мнимой своей взаимностью. Это открытіе стоило ей злой горячки и потомъ полного разочарованія въ возможности какого бы то ни было счастья на землѣ; а поэту, идеалу, это ровно ничего не стоило—онъ остается здоровъ и счастливъ вполне... Вотъ каковы мужчины въ любви! А женщины?—Посмотрите, какъ описываетъ авторъ, своимъ цѣлительнымъ и энергическимъ языкомъ, состояніе бѣдной, разочарованной героини ея повѣсти:

«Я видѣла молодую птичку въ веснѣ ея жизни: она въ первый разъ выпорхнула изъ теплаго гнѣзда; ей представились небо, красное солнце и міръ Божій; какъ радостно забилося ея сердце, какъ затрепетали крылья? Заранѣе она обвиняетъ ими пространство; заранѣе готовится жить и съ первымъ стремленіемъ попадаетъ въ руки ловчаго, который не оковываетъ ея цѣпами, не запираетъ въ клітку, нѣтъ, онъ выкалываетъ ей глаза, подрѣзываетъ крылья, и бѣдная живетъ въ томъ же мірѣ, гдѣ были ея обѣщанія свобода и столько радостей; ее грѣетъ то же солнце, она дышитъ тѣмъ же воздухомъ, но рвется, тоскуетъ и, прикованная къ холодной землѣ, можетъ только твердить: *не для меня, не для меня!* Еслибъ заперли ее въ желѣзную клітку, она бы исколевала ее и пробилась на волю, или, металась, израненная острыми жѣлѣза, безъ сожалѣнія рассталась бы съ остальной половиной жизни, когда лучшая половина у нея отнята. Но она не въ кліткѣ; не крылія стѣны окружаютъ ее; она свободна, и между тѣмъ вѣчная мгла, вѣчное бездѣйствіе—вотъ удѣлъ моей птички! Вотъ удѣлъ Ольги.»

Героиня повѣсти «Утбалла» всѣмъ жертвуетъ—даже жизнью, рѣшаясь на страшную смерть отъ руки дикихъ изверговъ,—чтобъ доставить милому минуту упоенія любовью. И Утбалла, эта очаровательная калмычка,—гибнетъ жертвой своей великодушной рѣшимости; а ея возлюбленный, тотъ, кому принесла она въ жертву молодую жизнь свою?—Черезъ нѣсколько лѣтъ его видѣли въ Петербургѣ, въ чинѣ полковника, гуляющаго по Англійской набережной подъ руку съ прелестной женщиной... Кто она, эта женщина—родственница или подруга жизни? «Которому извѣстнѣ вѣрить?... (говоритъ авторъ) кажется, второе достовѣрнѣе!»...

Въ повѣсти «Медальонъ» представлены двѣ великодушныя, любящія женщины противъ одного негодая, изверга-мужчины. Одна изъ нихъ—жертва обольщенія коварнаго свѣтскаго челоуѣка, ослѣпла отъ слезъ, узнавъ его вѣроломство; другая, сестра ея, завле-

каетъ его тонкимъ кокетствомъ, влюбляетъ въ себя, и когда онъ готовъ на все, даже жениться на ней, отказываясь отъ выгодной партіи, она читаетъ ему, при многочисленномъ обществѣ, будто бы сочиненную ей повѣсть, а въ самомъ дѣлѣ—разсказъ о его преступномъ поступкѣ съ ея сестрой; открываетъ медальонъ и показываетъ ему портретъ его жертвы, своей слѣпой сестры... Модный извергъ вполне почувствовалъ ядовитую горечь женскаго мщенія...

Въ повѣсти «Судъ Свѣта» представленъ мужчина, способный къ любви на жизнь и на смерть, но все-таки не умѣющій любить: недостатокъ довѣренности и дикая, звѣрская ревность къ любимой женщинѣ увлекаютъ его къ безумному убійству и губятъ навсегда предметъ его любви. А эта женщина умѣла любить—и зато погибла жертвой того, кого любила...

«Теофанія Аббаджіо»—рѣшительно лучшая изъ всѣхъ повѣстей Зенеиды Р—вой—есть самая злая сатира на мужчинъ, самая неумолимая улыбка имъ въ ихъ тупости и близорукости въ дѣлѣ любви. Александръ Долинъ, герой повѣсти, челоуѣкъ съ глубокимъ чувствомъ, съ благородной душой, съ характеромъ не только возвышеннымъ, но и сосредоточеннымъ, непоколебимо твердымъ,—и несмотря на все это, въ вопросѣ о любви онъ такъ же ничтоженъ, такъ же пошлъ, какъ и всѣ вообще мужчины.—И зато въ какомъ колоссальномъ величіи является передъ нимъ Теофанія, которую онъ въ мужской слѣпотѣ своей считалъ за натуру холодную и неспособную къ любви, и которую онъ промѣнялъ на свѣтскую кокетку, правда, не лишенную страсти, но пустую и мелочную... Какъ жалокъ и смѣшонъ этотъ Долинъ, сконфузившійся отъ вопроса своего знакомаго о висѣвшемъ у него на фракѣ орденѣ и догадавшійся изъ разсказа знакомаго, какой глубокой страстью горѣла къ нему Теофанія... И какъ возвышенна эта Теофанія въ ея молчаливомъ и гордомъ страданіи, въ ея свободномъ примиреніи съ мыслью о бесплодно погибшей жизни и о разрушенныхъ навѣки лучшихъ надеждахъ ея!...

Въ «Любинькѣ» опять мужчина, не умѣющій понять любимой имъ женщины, слѣпой и ограниченный въ дѣлѣ любви, несмотря на всѣ свои достоинства въ другихъ отношеніяхъ, несмотря на то, что онъ—челоуѣкъ благородный, душа восторженная и любящая... И опять женщина подавляетъ мужчину своимъ великодушіемъ, своей безграничной преданностью и свѣтлымъ самопожертвованіемъ въ дѣлѣ любви...

И вотъ мы насчитали уже шесть повѣстей, проникнутыхъ все одной и той же мыслью. Есть, правда, у Зенеиды Р—вой двѣ

повѣсти, въ которыхъ мужчины показаны даже очень и очень порядочными людьми. Въ «Джеллалединѣ» дѣло представлено даже совсѣмъ наоборотъ. Пламенный, мечтательный, благородный татарскій князь дѣлается жертвой своей безумной страсти къ пустой, легкой женщинѣ. Сочинительница говоритъ отъ себя въ концѣ, что она встрѣтила героиню своей повѣсти ужо бабушкой и старой сплетницей, лицемерной моралисткой. Но не довѣряйте въ этомъ случаѣ искренности сочинительницы: подлѣ пустой женщины она въ своей картинѣ искусно помѣстила интересную фигуру молодой татарки Эмины, которая... но мы лучше напомнимъ о ней читателямъ словами самого автора. Описавши погребеніе ошибкой убитаго Джелладединомъ Бѣлоградова, сочинительница продолжаетъ:

«Неподалеку оттуда, у заморья, гдѣ между горами камнями растутъ можжевельникъ и колючій тернъ, валялось другое тѣло, не удостоенное даже погребенья... Ужасны были черты покойника, въ которыхъ самая смерть не могла восстановить спокойствія; на посинѣломъ лицѣ, въ полуоткрытыхъ глазахъ еще отражались страсти и горе; одежда его была взорвана, грудь обнажена и облита кровью, въ широкой ранѣ торчало еще лезвіе кинжала, пальцы замерли и окостенѣли, крѣпко сжимая рукоять...»

Напрасно Эмина молила татаръ и русскихъ предать тѣло несчастнаго землѣ: магометане видѣли въ немъ вѣроотступника и справедливое мщеніе пророка; христіане отвергали, какъ преступника и самоубійцу... Сердце, истерзанное живою людьми, осуждено было и по смерти на истерзаніе хищнымъ птицамъ. Одна вѣрная подруга не покинула его; безъ слезъ, безъ стона она сидѣла у трупа на камнѣ, сметала сухіе листья, падавшіе ему на голову, и порой отгоняла ворона, который съ крикомъ опускался къ своей добычѣ. Не скоро одинъ старый казакъ, тронувшись положеніемъ молодой дѣвушки, вырылъ на томъ же мѣстѣ могилу и съ молитвой опустилъ въ нее похитившее тѣло. Дѣвушку отвели въ деревню, она убѣжала; ее заперли, она избилась, порывалась на волю. Татары рѣшили, что ея овладѣлъ шайтанъ, который загрызъ ихъ князя, и выпустили ее изъ деревни. Безумная поселилась у заморья; ни осеннія бури, ни зимнія метели не могли прогнать ея; днемъ и ночью она стерегла могилу; иногда кордонные казаки, проѣзжая мимо, бросали ей хлѣбъ и спѣшили удалиться... долго бѣлое покрывало вѣяло у заморья и пугало суевѣрныхъ, наконецъ и оно исчезло. Дѣвушку нашли лежащей ницъ на могилѣ, пальцы ея врылись въ землю, даже ротъ былъ полонъ землей: видно, бѣдняжка въ припадкѣ безумія хотѣла отнять у могилы ея достояніе — своего незабвеннаго, вѣчно милаго друга...»

И этотъ Джелладединъ при жизни своей никогда не догадывался и не подозревалъ, что Эмина любить его со всѣмъ пыломъ восточной страсти, хотя это и не мудрено было бы замѣтить ему, — и вмѣсто Эмины привязался всей силой глубокаго, энергическаго чувства къ пустой, легкомысленной дѣвчонкѣ... Знаете ли что? — намъ кажется, что

мы, назвавъ эту повѣсть исключеніемъ изъ общаго направленія всѣхъ повѣстей Зенеиды Р—вой, должны взять назадъ наше слово. Нѣтъ, это еще болѣе злая сатира на мужчинъ, чѣмъ всѣ прочія повѣсти...

Вотъ другое дѣло повѣсть — «Номерованная Ложа»; ея искренности можно повѣрить, хотя въ ней мужчина представленъ очень и очень порядочнымъ человѣкомъ въ его отношеніяхъ къ любимой имъ женщинѣ. Но зато эта повѣсть, съ такой счастливой развязкой, ужъ черезчуръ сладенька, а потому и недостойна имени своего автора. Счастливая развязка, какъ всякая ложь, часто портитъ повѣсть...

Содержаніе семи повѣстей, такъ, какъ оно изложено нами, достаточно знакомить читателя съ пафосомъ поэзіи Зенеиды Р—вой. Теперь мы укажемъ на мѣста, въ которыхъ прямо и сознательно выговаривается задушевная мысль сочинительницы. Вотъ что говоритъ она въ концѣ повѣсти «Джелладединъ»:

«Отрадная мысль, что наши заботы, тревоги пролетаютъ какъ гулъ въ безграничности пустыни, вадимая лишь нѣсколько песчинокъ, пробуждая только слабый отголосокъ эха, и оставляютъ по себѣ едва замѣтное потрясеніе въ воздухѣ, которое, разбѣгаясь въ невидимыхъ кругахъ, все слабѣе, чѣмъ далѣе отъ точки удаленія, исчезаетъ подобно самому звуку въ пространствѣ.»

Но грустно думать, что въ этой бѣдной связкѣ дней, называемыхъ жизнью, такъ мало мгновеній, достойныхъ названія жизни! Грустно видѣть, какъ часто души чистыя, возвышенныя, прекрасныя сродняются съ душами слабыми, мелочными, созданными только для матеріальнаго прозябанія въ болотахъ земныхъ. Опутанная нерасторгаемыми узами своихъ собственныхъ чувствъ, сильная не можетъ покинуть своей ничтожной подруги, она порывается съ ней къ поднебесью, хочетъ унести ее въ свою родину, отогрѣть ее лучами любви своей, облитъ ее своимъ блаженствомъ... Напрасно! душа слабая не окрылится, не взлетитъ изъ холодныхъ долинъ въ страны заоблачныя, порой, на мигъ восторженная любовью прекрасной подруги своей, она стремится взоромъ къ небесамъ, но ее пугаютъ и блескъ солнца, и стрѣлы молніи; она страшится доли сына Дедалова и, притягивая къ себѣ свою невинную добычу, медленно губитъ ее или безжалостно разрываетъ узы, связывавшія ее съ нею, не помышляя о томъ, что узы тѣ срослись съ жизнью ея подруги, составлены изъ фибровъ сердца ея, и что, расторгая ихъ насильственной рукой, она убиваетъ ея существованіе... Вотъ почти обыкновенная доля душъ, которыхъ люди называютъ возвышенными, прекрасными, и которымъ Провидѣніе, давая всѣ способности, всю силу постигать, чувствовать и цѣнить счастье жизни, отказываетъ только.. въ самомъ счастьи!..»

И роль чистыхъ, возвышенныхъ и прекрасныхъ душъ, по мнѣнію сочинительницы, выпала преимущественно на долю женщинъ, тогда какъ роль души слабой досталась исключительно мужчинамъ. Хотите ли доказа-

тельства, что такъ именно думала даровитая Зененда Р—ва?—Вотъ ея собственныя слова:

«Любовались ли вы иногда облаками въ часъ вечерній, когда они стелются на небосклонѣ, развиваются безпредѣльной цѣпью, и сквозь сумракъ обманываютъ взоръ наблюдателя, рисуясь то синими горами, то лѣсомъ, воздушнымъ дворцомъ феей? И вотъ они сжимаются, тѣсняются и образуютъ одну грозную, черную тучу. Издалека неслется глухой рокотъ; онъ выпрывается изъ груди ея, будто стонъ людского предчувствія, и вдругъ огненная струя прорываеетъ мглу, извивается змѣей, гаснетъ, прыгнувъ пожаръ и воду на поробѣвшую землю. Безпрерывные удары грома потрясаютъ воздухъ, окрестность вторитъ его перекатамъ, дождь льетъ ручьями, вихрь ломаетъ деревья, люди съ трепетомъ думаютъ, что насталъ послѣдній день міра. Но проходитъ часъ,—гроза уюмкла, черная туча разсыпалась и не осталось никакихъ слѣдовъ мятежа стихій: небо опять чисто и ясно, и земля какъ испуганное дитя улыбаеется сквозь слезы, которыя еще дрожали на ея лицѣ. Еще часъ, и все возвратится къ прежнему спокойствію. Поэты до сихъ поръ доискиваются тайнаго нравственнаго смысла этого великаго представленія природы; а я такъ думаю, что это просто—пародія печали и отчаянія мужчинъ.

«Но есть облако другого рода: оно медленно скопится изъ паровъ сухой, бесплодной почвы, ни одинъ живой источникъ, ни одно озеро не посылаетъ ему должной доли, и, незамѣтное какъ тѣнь, оно скитается по поднебесью, не имѣя силъ ни жить, ни умереть. Съ зарей вы видите его на востокѣ: оно ожидаетъ появленія солнца и, жаждетъ, молитъ свѣтило, чтобы первые лучи истребили его, чтобы огонь полудня растопилъ несчастную горсть паровъ. Солнце всходитъ и гордо совершаетъ свой путь, не замѣчая блѣднаго облака. Въ часъ вечера, когда шаръ безъ лучей опускается въ морскую пучину, вы видите то же самое облако на западѣ; оно просится въ бездну, жаждетъ утонуть въ ея холодныхъ объятіяхъ. Солнце снова отталкиваетъ его, бросаетъ въ лагунное ложе, а облако, попрежнему печальное, одинокое, идетъ скитаться въ пустынь поднебесной. Это облако—печаль и отчаяніе женщинъ.

«Тоска женщины не пугаетъ людей бурными порывами: ея никто не видитъ и не замѣчаетъ; она западаетъ глубоко въ сердце и точитъ его, какъ червь точитъ корень водяной лиліи. Если веселые мелькнутъ случайно на лицѣ страдалицы, ея улыбкой полюбуется равнодушный прохожій, какъ бѣлоснѣжными листьями цвѣтка, плавающего на поверхности воды, не думая даже о томъ, что въ корень блѣдной лиліи всосался болотный червь, что въ груди ея губительный ведугъ, что ядъ струится по всѣмъ жиламъ, и что этотъ червь умретъ только подъ гнетомъ камня могильнаго.»

Мы совершенно согласны съ авторомъ насчетъ превосходства женщинъ надъ мужчинами въ дѣлѣ любви; мы принимаемъ это превосходство за фактъ, не подлежащій никакому сомнѣнію, и только постараемся, какъ сумѣемъ, объяснить причину такого явленія.

Начнемъ съ того, что женщина болѣе, чѣмъ мужчина, создана для любви самой природой. Женщина—представительница земного, производительнаго и хранительнаго начала, тогда какъ мужчина—представитель начала умст-

веннаго, отвлеченнаго, олимпійскаго. Отсюда происходитъ великая разница въ семейственномъ значеніи женщины и мужчины. Женщина—мать по призванію, по душѣ и по крови. Мать есть понятіе живое, дѣйствительное, фактически-существующее; тогда какъ отецъ есть понятіе болѣе или менѣе условное, болѣе или менѣе относительное. Мать любитъ свое дитя сердцемъ, кровью, нервами, любитъ его всѣмъ существомъ своимъ: ея любовь прежде всего физическая, естественная, слѣдовательно любовь по преимуществу, любовь какъ любовь. Она носитъ свое дитя у себя подъ сердцемъ, девять мѣсяцевъ питаетъ и раститъ его своей кровью, чувствуетъ въ себѣ первыя жизненныя его движенія; оно, это дитя,—плоть отъ плоти ея и кость отъ костей ея; она рождаетъ его на свѣтъ въ мукахъ и страданіяхъ, и вмѣсто того, чтобы возненавидѣть именно за нихъ-то, за эти муки и страданія, еще болѣе любить его. Это маленькое, слабое, крикливое, неопрятное и деспотическое существо съ перваго дня своего появленія на свѣтъ дѣлается предметомъ нѣжныхъ попеченій и неусыпныхъ заботъ своей матери: она любитъ его безобразіемъ, какъ красотой; его красная, морщиноватая кожа только манитъ ея поцѣлуи; въ его бессмысленной улыбкѣ она видитъ чуть не разумную рѣчь и готова начать съ нимъ говорить; ей не противно наблюдать за чистотой этого маленькаго животного; ей не тяжело не спать ночи, бодрствуя надъ его ложемъ. И она—бѣдная мать—будетъ любить его всегда, и прекраснаго и безобразнаго, и умнаго и глупаго, и добраго и злого, и добродѣтельнаго и порочнаго, и славнаго и неизвѣстнаго... Она равно рыдаетъ и надъ громомъ своего дитяти—младенца, и надъ громомъ своего сына-старика или своей дочери-старухи. Ангель-хранитель младенчества дѣтей своихъ, она другъ ихъ юности, возмужалости и старости. Нѣтъ жертвы, которой бы не принесла она для дѣтей; ихъ счастье—ея счастье; ихъ несчастье—ея несчастье. Нѣтъ ничего святѣе и безкорыстѣе любви матери; всякая привязанность, всякая любовь, всякая страсть или слаба, или своекорыстна въ сравненіи съ ней! Любовница, жена любитъ васъ для себя самой, ваша мать любитъ васъ для васъ самихъ. Ея высочайшее счастье видѣть васъ подлѣ себя, и она посылаетъ васъ туда, гдѣ, по ея мнѣнію, вамъ веселѣе; для вашей пользы, вашего счастья она готова рѣшиться на всегдашнюю разлуку съ вами. Конечно такихъ матерей не много на бѣломъ свѣтѣ; но вѣдь и женщинъ тоже мало въ этомъ мірѣ, а много въ немъ самокъ... Совсѣмъ иначе любить отецъ своихъ дѣтей. Во-первыхъ, онъ любитъ ихъ тогда, когда и мать ихъ любима имъ; во-вторыхъ, онъ на-

чинаетъ ихъ любить только съ тѣхъ поръ, какъ они начнутъ становиться и милы и забавны. Ихъ крика и доуки онъ не любитъ. Источникъ любви отца къ дѣтямъ всегда или эгоизмъ, или рефлексія, и никогда—природа. «Они мои дѣти—они на меня похожи—они продолжать моемя—я прижилъ ихъ отъ моея милой—они обнаруживаютъ большія способности—они много общаются въ будущемъ», — думаетъ про себя дражайшій родитель, — и онъ въ восторгѣ отъ мысли, что онъ любитъ своихъ дѣтей, что онъ не только нѣжный супругъ, но и примѣрный отецъ! Правда, и отецъ можетъ страстно любить дѣтей своихъ, когда его съ ними соединитъ нравственное, духовное родство; но такъ же точно можетъ онъ любить и приемыша, даже еще больше, чѣмъ собственныхъ дѣтей.

Что мать есть понятіе дѣйствительное, а отецъ—понятіе отвлеченное (говоря философскимъ языкомъ), этому можетъ служить доказательствомъ и то, что мать не можетъ не знать, что именно она сама, а не кто-нибудь другая, мать этого ребенка: ибо она девять мѣсяцевъ носила его подъ сердцемъ и въ болѣзняхъ дѣтороженія произвела его на свѣтъ... Отцы считаютъ себя отцами дѣтей своихъ, опираясь только на свидѣтельство женъ своихъ, не всегда непреложно-истинномъ... Для всякаго человѣка—большое несчастье не знать своей матери; для многихъ большое счастье—не знать своихъ отцовъ...

Всѣ люди равно рождаются для любви, и безъ любви ни для кого изъ людей нѣтъ ни истиннаго счастья, ни истинной жизни; но любовь женщины есть болѣе любовь, чѣмъ любовь мужчины; въ любви женщины больше кровнаго, а потому и болѣе страстнаго, — тогда какъ въ любви мужчины больше мыслительнаго, если можно такъ выразиться. Давно уже было замѣчено, что женщина мыслить сердцемъ, а мужчина и любить головой. Эту разницу въ характерѣ любви того и другого пола показали мы въ разницѣ любви матери и любви отца. Та же самая разница найдется и во всякой другой любви. Замѣчено, что мужчины въ любви болѣе эгоисты, чѣмъ женщины. Если женщина эгоистка, она уже совсѣмъ не живетъ сердцемъ, не ищетъ любви и не требуетъ ея; ея вся жизнь въ расчетѣ. Если же сердце женщины жаждетъ любви, — оно предается мужчине со всѣмъ самоабвеніемъ, со всѣмъ безразсудствомъ слѣпнаго великодушія. Мужчина безъ любви не любитъ жить и готовъ на всѣ жертвы и на всякое безразсудство, пока не достигъ своей цѣли. Удовлетворивши своей страсти, онъ вспоминаетъ о своей будущности, о своихъ обязанностяхъ, о святыхъ интересахъ своей души, и пр., и чѣмъ болѣе дѣлается эгоистомъ, тѣмъ болѣе видитъ въ себѣ героя. Оттого жен-

щины-кокетки, женщины, умѣющія владѣть собой и сдающіяся не иначе, какъ долго мучивъ влюбленнаго въ нихъ мужчину, и даже въ связи съ нимъ умѣющія мучить его, вѣрнѣе и дольше владѣютъ его сердцемъ. Мужчины не дорожатъ легкими побѣдами, хотя бы причина ихъ легкости заключалась въ прямотѣ и безхитростности преданнаго женскаго сердца. Женщины постоянно въ любви, и мужчины почти всегда первые охладѣваютъ къ старой связи и жаждутъ предаться новой. Эта способность внезапно охладѣвать и вдругъ чувствовать страшную пустоту и безответность въ сердцѣ, которое недавно еще было такъ полно и такъ дружно отвѣчало біенію другого сердца, — эта несчастная способность бываетъ для благородныхъ мужскихъ натур источникомъ не только невыносимыхъ страданій, но и совершеннаго отчаянія. Женщины всегда готовы любить, — мужчина можетъ любить только при извѣстной настроенности своего духа; женщинѣ никогда и ничто не мѣшаетъ любить; — у мужчины есть много интересовъ, могущественно борющихся съ любовью и часто побѣждающихъ ее. Женщина всегда готова для замужества, независимо отъ ея лѣтъ и опыта; — мужчина только въ извѣстныхъ лѣтахъ и при извѣстномъ развитіи черезъ жизнь и опытъ приобретаетъ нравственную возможность жениться; ему надо дорасти и развиться до нея; иначе онъ несчастнѣйшій человѣкъ черезъ нѣсколько же дней послѣ своей свадьбы. Женщина, вдругъ охладѣвшая къ своему мужу и увлеченная роковой страстью къ другому, — есть исключеніе изъ общаго правила; мужчина съ поэтически-живой натурой, всю жизнь свою привязанный къ одной женщинѣ, — есть тоже очень рѣдкое исключеніе. Все это совершенная правда; но, основываясь на всемъ этомъ, еще не слѣдуетъ изрекать ни безусловнаго благословенія на женщинъ, ни безусловнаго проклятія на мужчинъ: ибо все имѣетъ свои причины, слѣдственно свое разумное оправданіе.

Мы охотно соглашаемся въ томъ, что сама природа создала женщину преимущественно для любви; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобъ женщина только на одно то и родилась, чтобъ любить: напротивъ, изъ этого слѣдуетъ, что женщина подъ преимущественнымъ преобладаніемъ характера любви и чувства создана дѣйствовать въ тѣхъ же самыхъ сферахъ и на тѣхъ же самыхъ поприщахъ, гдѣ дѣйствуетъ мужчина подъ преимущественнымъ преобладаніемъ ума и сознанія. А между тѣмъ общественный порядокъ обрекъ женщину на исключительное служеніе любви и преградилъ ей пути во всѣ другія сферы человѣческаго существованія. Гаремы только фактически принадлежать Востоку: въ идеѣ, они—принадлежность и

просвѣщенной Европы, и всего міра. Извѣстно фвіологически, что каждое наше чувство съ особенной силой развивается насчетъ другихъ чувствъ: потерявшіе слухъ лучше начинаютъ видѣть, ослѣпшіе—лучше слышать, тоньше осязать. Удивительно ли, что вся сила духовной натуры женщины выражается въ любви, когда у женщины не отнято только одно право любить, а всѣ другія человѣческія права рѣшительно отняты? Удивительно ли вмѣстѣ съ тѣмъ, что тогда въ женщинахъ становится недостаткомъ именно то, что должно бы составлять ихъ высочайшее достоинство? Исключительная преданность любви дѣлаетъ ихъ односторонними и требовательными: онѣ кромѣ любви не хотятъ признать ничего на свѣтѣ и требуютъ, чтобы мужчина для любви забылъ всѣ другіе интересы—и общественные вопросы, и общественную дѣятельность, и науку, и искусство, и все на свѣтѣ. Это разрушаетъ равенство: ибо тогда мужчина не совсѣмъ безъ основанія начинаетъ видѣть въ женщинѣ низшее себя существо. Не совсѣмъ безъ основанія, сказали мы: ибо дѣйствительно, какой сдѣлало ее воспитаніе и разныя общественныя отношенія, она—низшее въ сравненіи съ нимъ существо, хотя въ возможности, какой создала ее природа, она столько же не ниже его, сколько и не выше. Это неравенство рождаетъ разныя отношенія одной стороны къ другой. Въ мужчинѣ является родъ презрѣнія и къ женщинѣ, и къ чувству любви, а вслѣдствіе этого охлажденіе, которое дѣлаетъ невыносимой неразрывность связывающихъ ихъ узъ. Въ женщинѣ, напротивъ, самая опасность потерять сердце любимого ей челоѣка только усиливаетъ ея любовь и дѣлаетъ ее навязчивѣе и требовательнѣе. Сверхъ того продолжительность или неизмѣняемость чувства можетъ быть дорога и почетна только какъ призракъ того, что обѣ стороны нашли другъ въ другѣ полное осуществленіе тайныхъ потребностей своего сердца; иначе это—или простая привычка (дѣло тоже очень хорошее, если результатъ бываетъ счастье), или донъ-кихотская добродѣтель, способная удивлять и восхищать только сухихъ и мертвыхъ моралистовъ-резоверовъ, да еще романтическихъ поэтовъ-мечтателей. Если внезапныя охлажденія чувства къ однимъ предметамъ и столь же внезапныя возгаранія чувства къ другимъ предметамъ, если они бываютъ дѣйствительно, значить возможность ихъ заключена въ природѣ сердца челоѣческаго, и тогда они—не преступленіе и даже не несчастье. Кто способенъ понять это, тому всегда легче перенести подобный разрывъ, и тотъ всегда послѣ него сохранитъ свое нравственное здоровье и свою способность вновь быть счастливымъ любовью.

Изъ мужчинъ нѣкоторые это понимаютъ, и очень многіе чувствуютъ это безсознательно; что же касается до женщинъ, изъ нихъ могутъ понимать это развѣ только одаренныя гениальной натурой. Женщина съ колыбели воспитывается въ убѣжденіи, что она всю жизнь должна принадлежать одному, принадлежать въ качествѣ вещи. И потому нѣкоторые изъ нихъ иногда обрекаютъ себя послѣ смерти мужа вѣчному вдовству—родъ индійскаго самосожженія на кострѣ умершаго мужа!.. Благодаря романтизму среднихъ вѣковъ, право, мы въ дѣлѣ женщинъ ушли не дальше индійцевъ и турокъ!.. Итакъ, способность привязываться всѣми силами души къ одному предмету зависить въ женщинахъ не отъ одной только природной способности къ любви, но отъ нравственнаго рабства, въ которомъ держитъ ихъ общественное мнѣніе, и которому онѣ сами покоряются съ такой добровольной готовностью, съ такимъ даже фанатизмомъ. Получая воспитаніе хуже, чѣмъ жалкое и ничтожное, хуже, чѣмъ превратное и неестественное, скованныя по рукамъ и по ногамъ желѣзнымъ деспотизмомъ варварскихъ обычаевъ и приличій, жертвы чуждой безусловной власти всю жизнь свою, до замужества—рабы родителей, послѣ замужества—вещи мужей, считая за стыдъ и за грѣхъ предаться вопліи какому-нибудь нравственному интересу, на примѣръ искусству, наукѣ,—онѣ, эти бѣдныя женщины, всѣ запрещенныя имъ кораномъ общественнаго мнѣнія блага жизни хотятъ во что бы ни стало найти въ одной любви,—и, разумѣется, почти всегда горько и страшно разочаровываются въ своей надеждѣ. Измѣнила мужчинѣ надежда на что-нибудь,—сколько у него выходовъ изъ горя, сколько дорогъ на поприщѣ жизни, которыя могутъ вести его къ той или другой цѣли! Измѣнила женщинѣ любовь,—ей ничего уже не остается въ жизни, и она должна пасть, погибнуть подъ бременемъ постигшаго ее бѣдствія или умереть душой для остальнаго времени своей жизни, сколько бы ни продолжалась эта жизнь. Не гсворите ей объ утѣшеніи, не маните ее надеждой, не указывайте ей на очарованіе искусствъ, на усладу науки, на блаженство высокаго подвига гражданскаго: ничего этого не существуетъ для нея! Возвратите ей любовь любимого ею, пусть вновь сидитъ онъ подлѣ нея, да глядитъ въ упоеніи страсти въ ея сіяющія блаженствомъ очи! Бѣдная, для нея въ этомъ столько счастья, тогда какъ только Маниловъ-мужчина способенъ найти въ этомъ все свое счастье...

Итакъ, даровитая Зенеида Р—ва, сознавши существованіе факта, была чужда сознанія причинъ этого факта. Но къ чести ей надо сказать, что она глубоко понимала унижен-

ное положеніе женщины въ обществѣ и глубоко скорбѣла о немъ; но она не видѣла связи между этимъ униженнымъ положеніемъ женщины и ея способностью находить въ любви весь смыслъ жизни. Мысль объ этомъ состояніи униженія, въ которомъ находится женщина, составляетъ вторую живую стихію повѣстей Зенеиды Р—вой. И потому нельзя сказать, чтобъ весь пафосъ ея поэзіи заключался только въ мысли: какъ умѣютъ любить женщины, и какъ не умѣютъ мужчины любить; нѣтъ, онъ заключается еще и въ глубокой скорби объ общественномъ униженіи женщины и въ энергическомъ протестѣ противъ этого униженія. Повѣсть «Судъ Свѣта» написана преимущественно подъ вліяніемъ этой идеи, которая однакожъ органически связывается съ идеей о высокой способности женщины къ безграничной любви. Повѣсть «Напрасный Даръ» исключительно посвящена выраженію идеи объ общественномъ невольничествѣ царицы общества, невольничествѣ столь великомъ и безвыходномъ, что для женщины величайшее несчастье имѣть призваніе къ чему-нибудь возвышенно-человѣческому, кромѣ любви. Въ повѣсти «Идеалъ» эта мысль высказана прямо устами героини въ разговорѣ ея съ своей подругой:

«Но какой злой геній такъ исказилъ предназначеніе женщины? Теперь она родится для того, чтобы нравиться, прельщать, увеселять досуги мужчинъ, радиться, плясать, владычествовать въ обществѣ, а на дѣлѣ быть бумажнымъ царькомъ, которому падаѣтъ кланяться въ присутствіи зрителей, и котораго онъ бросаетъ въ темный уголъ наединѣ. Намъ воздвигаютъ въ обществахъ троны; наше самолюбіе украшаетъ ихъ, и мы не замѣчаемъ, что эти мишурные престолы—о трехъ ножкахъ, что намъ стоитъ немного потерять равновѣсіе, чтобъ упасть и быть растоптанной ногами ничего не разбирающей толпы. Право, иногда кажется, будто міръ Божій созданъ для однихъ мужчинъ: имъ открыты вселенная со всѣми таинствами; для нихъ и слава, и искусства, и познанія; для нихъ свобода и всѣ радости жизни. Женщину отъ колыбели сковываютъ цѣпями приличій, опутываютъ ужаснымъ «что скажетъ свѣтъ?»—и если ея надежды на семейное счастье не сбываются, что остается ей вѣтъ себя? Ея бѣдное ограниченное воспитаніе не позволяетъ ей даже посвятить себя важнымъ занятіямъ, и она поневолѣ должна броситься въ омутъ свѣта или до могилы влечь безцѣльное существованіе!..

— Или избрать мечту и привязаться къ ней всей силой души, влюбиться заочно, посылать по почтѣ зефирровъ вздохи и изъясненія своему идеалу за двѣ тысячи верстъ и пытаться этой платонической любовью. Не такъ-ли?...

Первое страшно потому, что слишкомъ серьезно, а второе странно потому, что слишкомъ смѣшно и пошло—не правда-ли?.. А между тѣмъ все сказанное сочинительницей—такая очевидная, такая ужасная истина... Но вотъ еще нѣсколько строкъ изъ исповѣди женщины въ повѣсти «Судъ Свѣта»:

«При безпрестанномъ движеніи войскъ я всюду слѣдовала за мужемъ; вездѣ всегда была одинакова, не измѣнила ни мнѣній, ни поступковъ моихъ. Люди съ умомъ вездѣ дарили меня вниманіемъ! глупцы слетали противъ меня нелѣпыми выдумки. Но есть третій сортъ людей, наиболѣе опасный для всего, что выходитъ изъ круга обычнаго. Часто люди эти обладаютъ умомъ и многими достоинствами, но умъ ихъ ни довольно силенъ, чтобы укротить владычествующее надъ ними самолюбіе, ни довольно слабъ, чтобъ, ослѣпившись дерзкой самоувѣренностью, ставить себя выше прозаго видимаго творенія. Они чувствуютъ свои недостатки, и всякое превосходство ближняго принимаютъ за личное оскорбленіе; они не могутъ простить другому и тѣни совершенства. О, эти люди страшнѣе зачумленныхъ. Надъ пошлымъ злоязычіемъ дурака смѣются; но ихъ осторожнымъ наветамъ, ихъ обдуманной правдоподобной клеветѣ не могутъ не вѣрить. Эти-то вольноопредѣляющіеся кандидаты въ геніи и составляютъ верховное судилище: они-то наиболѣе ожесточались противъ меня, и отъ нихъ разсѣвались ядовитѣйшія вѣсти.

Люди—дѣти, вѣчно озабоченныя, вѣчно суетящіяся. Торопясь за неуловимымъ «завтра», имѣютъ-ли они досугъ разбирать и разлагать сущность вещи, поражающей ихъ взоры?.. Мимолетомъ они бросаютъ бѣглый взглядъ на ея наружный видъ и только объ этой наружности уносятъ съ собой воспоминаніе. Не ихъ вина, что взоръ часто падаетъ на предметъ не съ настоящей точки зрѣнія: они какъ видѣли, такъ разсудили и осудили. Они правы!

Горе женщинѣ, которую обстоятельства или собственная неопытная воля возносятъ на пьедесталъ, стоящій на распутии бѣгущихъ за суетностью народовъ! Горе, если на ней остановится вниманіе людей, если къ ней они обратятъ свое легкомысліе, ее изберутъ цѣлымъ взоромъ и сужденіемъ! И горе, стократъ горе ей, если, обольщенная своимъ опаснымъ возвышеніемъ, она взглянетъ презрительно на толпу, волнуемую у ногъ ея, не раздѣлитъ съ ней игры и прихотей, и не преклонитъ головы предъ ея кумирами!

Я поняла наконецъ эту великую истину, и отъ всей души примирилась съ моими гонителями.»

Этихъ указаній и выписокъ слишкомъ достаточно для того, чтобы читатели наши увидѣли, какъ неизмѣримо выше всѣхъ предшествовавшихъ ей писательницъ, и въ стихахъ и въ прозѣ, стоитъ Зенеида Р—ва. Ея повѣсти не наполнены сладкими чувствованіями и розовыми мечтаньями; нѣтъ, онѣ проникнуты одной могучей мыслью, которая преслѣдовала ее всю жизнь и не давала ей покоя. Какъ авторъ, какъ поэтъ, Зенеида Р—ва имѣла бы право примѣнить къ себѣ эти стихи Лермонтова:

Я зналъ одной лишь думы власть,
Одну—но пламенную страсть:
Она, какъ червь, во мнѣ жила,
Игрызла душу и сожгла.

Я эту страсть во тьмѣ ночной
Вскормилъ слезами и тоской,
Ее предъ небомъ и землей
Я нынѣ громко признаю
И о прощеньи не молю.

Безсмысленныя чувства и розовенькія чувствованья начинаютъ уже надобѣдать въ

нашей литературѣ. Право на общее вниманіе теперь могутъ имѣть только писатели, возвысившіеся до мысли. Зенеида Р—ва принадлежитъ къ тѣсному кругу такихъ писателей и есть единственная у насъ писательница въ этомъ родѣ.

Теперь о степени таланта и художественномъ достоинствѣ повѣстей Зенеиды Р—вой. Одинъ журналъ, хвала слогу Зенеиды Р—вой и давая подѣ рукой знать, что этимъ слогомъ она была обязана сколько своей понятливости, столько и замѣчаніямъ, намекамъ и совѣтамъ его (журнала),—вотъ что между прочимъ говоритъ о Зенеидѣ Р—вой, объявляя себя посмертнымъ ея другомъ: «Ея «Утбала», «Джаллалединъ» и «Медальонъ» бесспорно—одни изъ лучшихъ повѣстей, какія были въ то время написаны въ Европѣ: онѣ общали русской словесности талантъ истинно-писательскій (!), равный по оригинальности таланту Жоржа Занда (sic!), но еще болѣе пріятный и несравненно болѣе прочный (вотъ какъ!)». Для знающихъ этотъ журналъ нѣтъ ничего удивительнаго въ этомъ восклицаніи: это тотъ самый журналъ, который шутитъ и потѣшаетъ наукой, искусствомъ, критикой и правдой, и который нѣкогда, упавъ на колѣни, закричалъ: «Великій Гёте! великій Кукольникъ!» Мнѣніе этого журнала о Зенеидѣ Р—вой—явно шутка. Это доказывается и тѣмъ, что онъ сѣтуетъ, зачѣмъ изданы сочиненія Зенеиды Р—вой, не считая ихъ заслуживающими особеннаго изданія; это же доказывается и языкомъ, которымъ написана рецензія о повѣстяхъ Зенеиды Р—вой. Послушайте: «Эти забытыя (!) вещи перебьютъ дорогу многому изъ того, что другіе могутъ вновь выдумать. Что вы теперь помните изъ сочиненій Зенеиды Р—вой? Возьмите книгу и прочитайте вторично, посмотрите, какъ это ново, какъ свѣжо, какъ благоухаетъ теплою весной сердца, какъ всегда будетъ свѣжо, ново и благоуханно, потому что эти страницы, полныя тоски, страданія, огненныхъ, но неопредѣленныхъ желаній, вырвались изъ блестящихъ далекихъ облаковъ (?) юной мечты, упали на землю съ дождемъ безотчетныхъ слезъ (!), съ громовыми ударами молодого сердца (!!), созданнаго для благородныхъ страстей, стремившихся къ высокому, къ прекрасному, къ отвлеченному, къ тому, чего не существуетъ на землѣ—блаженству ангеловъ,—къ счастью, которое постигаютъ одни только женщины, которымъ онѣ вѣчно стараются овладѣть и которое вѣчно отъ нихъ ускользаетъ». Прочтя этотъ наборъ словъ, кто не скажетъ, что мнѣніе упомянутаго журнала о сочиненіяхъ Зенеиды Р—вой—просто шутка или мистификація?

Нѣтъ, мы не скажемъ, чтобъ Зенеида Р—ва

была по таланту выше Жоржъ Занда или равнялась съ нимъ; мы даже думаемъ, что между этими двумя талантами—неизмѣримое пространство... Это только со стороны таланта, а между тѣмъ вѣдь талантъ не составляетъ еще всего въ писателѣ: кромѣ таланта, должно еще быть направленіе таланта, содержаніе его твореній. Такая поэзія, какъ поэзія Жоржъ Занда, приготовлена огромнымъ общественнымъ развитіемъ, перешедшимъ черезъ многія измѣненія и процессы историческіе; наши же писатели, даже и повыше Зенеиды Р—вой, подобно ей, повторяютъ въ своихъ твореніяхъ отблески и отзвуки чуждыхъ намъ цивилизацій и общественностей.

Что у Зенеиды Р—вой былъ талантъ, и притомъ замѣчательный, выходящій изъ ряда обыкновенныхъ дарованій—въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія, но что ея талантъ не былъ развитъ, что онъ вѣчно колебался въ какой-то нерѣшительности—это также правда. Вотъ почему ея повѣсти имѣютъ большой недостатокъ со стороны художественности. Характеры дѣйствующихъ лицъ не довольно рѣзко очерчены и часто похожи другъ на друга, разнясь только положеніемъ, въ какомъ описываетъ ихъ сочинительница. Подробности быта и колоритъ мѣстности не довольно поражаютъ своей вѣрностью и яркостью. Но главный и существенный недостатокъ сочиненій Зенеиды Р—вой это—отсутствіе ироніи и юмора и присутствіе какого-то провинціального идеализма à la Марлинскій. Для доказательства справедливости нашего мнѣнія возьмемъ для примѣра повѣсть «Идеалъ». Полковница Гольцбергъ влюбляется заочно въ новаго поэта, начитавшись его произведеній; «но тщетно Ольга стремить къ нему душу и мысли свои; онъ высокъ, далекъ и не замѣчаетъ ея въ толпѣ своихъ поклонницъ». Случилось ей по несчастію быть въ Петербургѣ въ театрѣ при представленіи новой драмы ея «идеала». Когда вызвали автора (у насъ, вы знаете, вызываютъ громко и долго), щеки Ольги загорѣлись багровымъ цвѣтомъ пылающей крови, и въ ту минуту можно было принять ее за жрицу дельфійскую, ожидающую съ упованіемъ и тоской появленія духа». Но поэтъ не вышелъ. Мужъ зоветъ Ольгу домой, а она въ забытьѣ не двигается съ мѣста изъ своей ложи. Вдругъ въ сосѣднюю ложу входитъ человѣкъ, котораго привѣтствуютъ, какъ автора игранный пьесы, поздравляютъ съ успѣхомъ и называютъ Анатолиемъ. Ольга вскрикиваетъ: «Анатолій», хватается за спинку кресла, чтобъ не упасть, плачетъ и не опускаетъ глазъ своего «идеала»; а сочинительница слогомъ повѣстей Марлинскаго оправдываетъ свою героиню въ ея смѣшной

выходѣ. Вообще эта Ольга любитъ выражаться въ обществѣ восторженнымъ языкомъ, который, будучи неумѣстенъ, всегда бываетъ смѣшонъ. На балѣ спросили ее, любить ли она стихотворенія Анатолия Т—го; она отвѣчала: «Люблю ли я? Укажите мнѣ женщину, которая не находила бы въ его небесныхъ твореніяхъ отголоска собственныхъ чувствъ? которая не бредитъ имъ, не обожаешь его?» Подруга ея юности спрашиваетъ у нея: неужели холодъ годовъ и опыта не остудилъ ея ребяческой страсти къ незнакомому человѣку? Ольга отвѣчаетъ ей словно по книгѣ: «Къ незнакомому человѣку? Вѣра! что это значить? И ты можешь говорить, что онъ незнакомъ мнѣ? Мнѣ незнакомъ Анатолий? Мой идеалъ? Мой поэтъ, котораго пѣсни пробудили мое дѣтское воображеніе, одушевили его жизнью, образовали мою душу? Кто же услаждал мое одиночество, кто утѣшалъ меня въ горѣ, кто удваивалъ мои радости, какъ не онъ, не Анатолий? И ты говоришь, что я люблю незнакомога мнѣ человѣка! Нѣтъ, я сроднилась съ каждой его мыслью; я знаю всѣ изгибы его благороднаго сердца; я его обожаю; я пожертвую послѣдней радостью жизни моей, небогатой утѣхами, послѣдней каплей крови, я отдамъ душу свою для продолженія его жизни... Да, да; я люблю его, но я люблю не земной любовью, я люблю не человѣка...» Такая любовь именно ребяческая и смѣшная любовь, а такой способъ выраженія очень сбивается на риторикъ. Да и вообще все это очень неестественно и неправдоподобно. Восторженная Ольга встрѣчается съ своимъ «идеаломъ» въ одномъ знакомомъ домѣ; разъ онъ ни съ того, ни съ сего начинаетъ ей объясняться въ любви, говоря ей «ты»; страницахъ на трехъ тянется самый фразистый разговоръ. Удивительно, какъ Ольга не захотѣла, слушая всю эту натянутую галиматью; она даже повѣрила ей и увлеклась ею. Поэтъ скрылся на нѣсколько дней отъ Ольги, распустивъ слухъ о своей тяжелой болѣзни. Бѣдная женщина рѣшается уйти съ бала, чтобъ навѣстить тайкомъ умирающаго поэта... Его не было дома,—и Ольга прочла на его столѣ письмо къ пріятелю, въ которомъ онъ смѣется надъ Ольгой и ея любовью и съ цинической откровенностью говоритъ о своихъ намѣреніяхъ. Ольга бросилась вонъ... Но вы сами можете прочесть повѣсть, если еще не читали ея, и увидѣть, какъ ребячески-идеально и дѣтски неправдоподобно ея содержаніе. Прибавимъ только, что когда эта повѣсть была напечатана въ одномъ журналѣ, сдѣна возвращенія домой поэта была исполнена самыхъ грязныхъ, циническихъ подробностей, а поэтъ былъ представленъ пьянымъ: это была

дружеская услуга досужаго журналиста, охотника поправлять чужія сочиненія. Въ изданіи «Сочиненій Зенеиды Р—вой», печатавшемся въ подлинной рукописи покойной сочинительницы, эти позорныя для памяти женщины прибавки, разумѣется, исключены.

Развязка повѣсти «Медальонъ» довольно изысканно основана на литературныхъ вечерахъ и чтеніяхъ посѣтителей кавказскихъ минеральныхъ водъ,—черта, совершенно чуждая русскому обществу! Развязка повѣсти «Судъ Свѣта» чрезвычайно изысканно и натянуто основана на сходствѣ лицъ и на *qui pro quo*, вслѣдствіе котораго неистовый обожатель героини повѣсти брата ея принялъ за ея любовника. Притомъ же героиня этой повѣсти ужъ чересчуръ ребячески и приторно идеальна, какъ это можно видѣть изъ этихъ словъ ея. «Знаете ли что, еслибъ въ ту пору какой-нибудь случай, возвративъ мнѣ свободу, позволилъ намъ открыть чувства наши предъ глазами всего свѣта, я отвергла бы соединеніе съ вами изъ опасенія гласности любви моей, изъ одной боязни, чтобъ двусмысленная рѣчь людей, завистливый взоръ ихъ не осквернили ея чистоты, чтобъ ихъ нескромныя улыбки, даже случайная неосторожность не оскорбили ея непорочности?» И естественно ли, чтобъ изъ устъ такой женщины вышли эти громовыя слова, свойственныя только душѣ великой и крѣпкой: «Судъ свѣта теперь таготѣетъ на насъ обоихъ: меня, слабую женщину, онъ сокрушилъ, какъ ломкую тросточку; васъ, о! васъ, сильнаго мужчину, созданнаго бороться со свѣтомъ, съ рокомъ и со страстями людей, онъ не только оправдаетъ, но даже возвеличитъ, потому что члены этого страшнаго трибунала все люди малодушныя. Съ позорной плахи, на которую онъ положилъ голову мою, когда уже роковое желѣзо смерти занесено надъ моей невинной шеей, я еще вызываю къ вамъ послѣдними словами устъ моихъ: Не бойтесь его!... онъ рабъ сильнаго и губить только слабыхъ»... Такія строки могутъ вырываться только изъ-подъ пера писателей съ великой душой и великимъ талантомъ...

Героиня «Номерованной Ложи» не хочетъ выйти за мужъ за человѣка, доказавшаго ей свою безграничную любовь и преданность,—не хочетъ за него выйти, потому что еще живъ ея мужъ, который, ограбивъ ее, развелся съ нею... Она—видите—боится увидѣть въ себѣ клятвopеступницу, и выходитъ замужъ за своего обожателя тогда только, какъ прежній мужъ былъ убитъ гдѣ-то на время... Вотъ ужъ подлинно романтизмъ, который и въ средніе вѣка удивилъ бы всѣхъ своей нелѣпостью!... Но провинція онъ правится и теперь — разумѣется, въ повѣстяхъ...

«Джелалединъ» и по завязкѣ, и по колориту крѣпко отзывается марлинизмомъ...

«Любимыя» при первомъ появленіи своемъ въ печати возбудила, какъ говорится, фреръ въ публикѣ. Неудивительно: повѣсть эта, по содержанію и по характерамъ, самое павсіонское произведеніе. Одинъ только характеръ въ ней мастерски отдѣланъ: это характеръ злой мачихи, Антонины Михайловны. Смѣшны всѣхъ характеры Евгенія Задольскаго и Валеріана Стрѣльнева, особенно послѣдняго, ибо онъ преуморительно идеаленъ и преидеально смѣшонъ со своей Оттиліей, своими страданіями и своимъ ужасомъ при мысли о незаслуженномъ проклятіи обманутаго отца, слабаго, полоумнаго старика. Характеръ Любимыя хорошъ отвлеченно, но не живымъ поэтическимъ образомъ. Завязка повѣсти основана на недоразумѣніи, которое могло бы разрѣшиться личнымъ свиданіемъ сына съ отцомъ, а развязка основана на Deus ex machina. Вообще повѣсть и длинна, и скучна. Сама сочинительница чувствовала это. Обѣщавъ ее въ нашъ журналъ, она прислала вмѣсто ея первую часть «Напраснаго Дара», объясняя въ письмѣ къ намъ причину этого такимъ образомъ: «можетъ быть вамъ покажется страннымъ, что, обѣщавъ прислать готовую повѣсть, я посылаю половину другой, еще не совсѣмъ оконченной. Чтѣ дѣлать! Та повѣсть, о которой я говорила, точно лежитъ у меня и ожидаетъ только послѣдней поправки, чтобъ явиться свѣту; но у меня, какъ дѣти у капризныхъ матерей, есть повѣсти любимыя и не любимыя. Та повѣсть длинна, я долго работала надъ ней, она надоѣла мнѣ—лучше положить, забудется, тогда я опять примусь, окончательно исправлю ее и отпущу на волю». Намъ впрочемъ весьма нравится одно мѣсто въ «Любимыя»; оно не длинно, и мы можемъ его здѣсь выписать: «Онъ понялъ, что въ жизни человека сущность, такъ унижаемая поэтами, одна существенна, слѣдственно одна можетъ быть источникомъ всего прекраснаго, возвышеннаго, какъ и всего дурнаго; онъ понялъ, что эта существенность есть корень нашего бытія, корень нерѣдко грязный, всегда некрасивый, но дающій соки и силу лучшимъ цвѣтамъ міра—мыслямъ и чувствамъ человека; и что отъ насъ зависитъ облагородить происхожденіе растенія, стараясь, чтобы цвѣты его не были пустоцвѣтомъ, чтобъ, пройдя пору цвѣтенія, они не разлетѣлись напрасно по вѣтру, а дозрѣли бы въ плодъ пользы и добра». Глубокая мысль!

Повѣсти: «Судъ Божій» и «Воспомяніе Желѣзноводска» ниже всякой критики и не стоятъ упоминанія. Это самая смѣльная марлиница.

Лучшая повѣсть Зенеиды Р—вой это безъ

сомнѣнія «Теофанія Аббѣаджіо». Содержаніе ея глубоко, завязка, развязка и рассказъ благородно просты, при необыкновенномъ искусствѣ, съ какимъ они ведены. Характеры очеркнуты превосходно, особенно характеръ героини. Слогъ повѣсти—образцовый. Можно указать на одинъ только недостатокъ: зачѣмъ Долиныя рассказываетъ свою исторію подъ вымышленнымъ именемъ своего небовалаго друга, и кому же рассказываетъ?—Ольгѣ, которая знаетъ, о комъ идетъ рѣчь, и Теофаніи, которая ничего не знаетъ. Это замашка старинныхъ романовъ, эффектъ довольно истертый. За исключеніемъ этого, вся повѣсть—одинъ изъ перловъ русской литературы.

Несмотря на нѣкоторую изысканность и неправдоподобность въ завязкѣ, «Утбала» кажется намъ лучшей повѣстью послѣ «Теофанія Аббѣаджіо»: въ ея рассказѣ много увлекающей силы.

Первая половина «Напраснаго Дара» нѣсколько изысканна по содержанію. Дѣвушка, мучимая призваніемъ къ поэзіи,—мысль довольно отвлеченная, корень которой не дѣйствительность, а рефлексія поэта. И не въ такомъ быту, какъ тотъ, въ которомъ помѣстила сочинительница свою вдохновенную Анюту, неизбежная гибель благородныхъ существъ происходитъ у насъ не столько отъ поэтического ихъ призванія, а отъ противоположности ихъ человѣческихъ (гуманныхъ) натуръ съ окружающими ихъ животными натурами. Эта мысль проще, зато вѣрнѣе и болѣе годится въ основу повѣстей, сюжетъ которыхъ берется изъ міра русской жизни. Вообще вся первая часть «Напраснаго Дара» такъ и дышитъ какимъ-то бурнымъ, порывистымъ, но невыдержаннымъ вдохновеніемъ, и потому она шевелитъ, будитъ душу читателя, но не удовлетворяетъ ея. Въ ней есть что-то, но чего-то и недостаетъ. Вторая часть была удовлетворительнѣе, но она не кончена и прервалась на самомъ интересномъ мѣстѣ. Мысль ея проще. Вотъ чтѣ писала о ней къ намъ сочинительница: «Первая и вторая части этой повѣсти соединяются только одной идеей; межъ ихъ лицами и происшествіями нѣтъ ничего общаго, это двѣ отдѣльныя фантазіи на одинъ тонъ. Въ первой я говорила о силѣ умственной, во второй выражу силу чувствъ». Значитъ: во второй части подъ напраснымъ даромъ разумѣлось бы не призваніе къ какому-нибудь искусству, а просто сильная способность чувствовать. Это было бы лучше.

Чтѣ сказали мы о первой части «Напраснаго Дара», то болѣе или менѣе можетъ относиться вообще къ повѣстямъ Зенеиды Р—вой. Почти во всякой изъ нихъ чувствуете страшную внутреннюю силу, и потомъ не видите

положительныхъ результатовъ этой силы. Почти каждая изъ нихъ есть могучій взмахъ, но за которымъ не слѣдуетъ столько же могучаго удара. Читая повѣсти Зенеиды Р-вой, вы чувствуете, что любопытство ваше раздражено, вниманіе напряжено, вы вѣ себя, и съ замирающимъ сердцемъ ждете—вотъ явится оно, желанное слово, вотъ разгадается загадка, и вся путаница судьбы разрѣшится въ ясную и опредѣленную идею, а тревога души вашей—въ чувство полного удовлетворенія, — и вы остаетесь недовольнымъ и неудовлетвореннымъ. Отчего это?

Намъ кажется, что это объясняется жизнью даровитой писательницы нашей. Жена военнаго человѣка, она слѣдовала за нимъ изъ губерніи въ губернію, изъ уѣзда въ уѣздъ, и случилось ей кочевать даже въ степяхъ Новороссіи. Отдаленіе отъ столичной жизни есть большое несчастье и для души, и для таланта: они или увядаютъ въ апатіи, или въ бездѣйствіи, или принимаютъ провинціальное направленіе, которое комизмъ полагаетъ въ плоской шутливости, а высокое — въ дѣтскомъ отвлеченномъ идеализмѣ. Какъ бы ни сильна была натура человѣка и какъ бы ни великъ былъ талантъ его, но невозможно же ему долго бороться съ подавляющими впечатлѣніями окружающаго его міра, и волей или неволей, болѣе или менѣе, ранѣе или позже, но долженъ же онъ принять на себя ихъ отпечатокъ. Зенеида Р-ва знала итальянскій, нѣмецкій, англійскій и французскій языки, хорошо была знакома съ великими поэтами, писавшими на этихъ языкахъ: это видно даже и изъ эпиграфовъ, которыми испещрила она главы своихъ повѣстей. И вмѣстѣ съ ними вы находите эпиграфы Кукольника и Бенедиктова. Въ провинціи—извѣстное дѣло — идеаломъ нувеллистовъ добродушно считаютъ Марлинскаго, идеаломъ лириковъ — Бенедиктова, идеаломъ драматурговъ — Кукольника, а идеаломъ юмористовъ — барона Брамбеуса... Мы знаемъ изъ достовѣрнаго источника, что лучшими повѣстями на русскомъ языкѣ Зенеида Р-ва считала «Амалатъ Бека» Марлинскаго и «Блаженство Безумія» Полевого. Нельзя не сознаться съ горестью, что на ея повѣстяхъ замѣтенъ отпечатокъ вліянія повѣстей Марлинскаго и Полевого.

Но золотая рука блещетъ и въ землянистой массѣ. Яркій и сильный талантъ Зенеиды Р-вой не могутъ затмить недостатки въ ея произведеніяхъ. Талантъ ея принадлежитъ ей самой; недостатки — обстоятельствамъ жизни. Не являлось еще на Руси женщины столь даровитой, не только чувствующей, но и мыслящей. Русская литература по праву можетъ гордиться ея именемъ и ея произведеніями.

Зенеида Р-ва, по натурѣ своей, чувство-

вала сильную потребность высказываться на бумагѣ; но она была чужда печатнаго самолюбія, и только внѣшняя необходимость заставляла ее печататься. «Безъ этой необходимости (писала она къ одному изъ своихъ знакомыхъ) ничто не принудило бы меня броситься въ этотъ омутъ и взять на себя несносное званіе женщины-писательницы». Опытность, пріобрѣтенная ею въ прежнихъ литературныхъ ея сношеніяхъ, особенно дѣлала для нея отвратительнымъ омутъ печатной извѣстности: это мы знаемъ изъ ея собственныхъ писемъ. Но и не одно это дѣлало для нея несноснымъ званіе женщины-писательницы. Въ началѣ нашей статьи мы говорили, какъ еще тернистъ путь женщины-писательницы въ Европѣ. У насъ онъ не гладокъ по своему, ссылаемся на свидѣтельство самой Зенеиды Р-вой:

«Въ обществѣ такъ любятъ танцоровъ съ блестящими эполетами, что ихъ не подвергаютъ строгому разбору; помѣщичи и горожане принимаютъ ихъ съ благоволеніемъ, помѣщичи и горожане приглашаютъ ихъ на обѣды и вечера, въ угожденіе своимъ повелительницамъ. Но жены военныхъ,—о, это другое дѣло! Судьи женскаго рода осматриваютъ своихъ вновъ прибавшихъ соперницъ не всегда доброжелательнымъ окомъ, строго разбираютъ ихъ наряды, черты лицъ, характеровъ. Это двѣ чуждыя между собой націи, двѣ разнородныя стихіи, — не легко и не скоро соединяются онѣ въ одно дружное цѣлое.

Что же, если по несчастью одна изъ этихъ налетныхъ госпожъ отличается чѣмъ-нибудь отъ прочихъ, — красотой, талантами, богатствомъ. — Если злодѣйка-молва, опережая ее, приноситъ вѣсть о ней на новыя квартиры и еще до пріѣзда ея возбуждаетъ любопытство, подстрекаетъ соперничество, являетъ самолюбіе, задеваетъ оскому зависти, — и эта тощая, желтолицая фура враніе точить зубокъ на незнакомую, но уже ненавистную жертву? — «Но что можетъ такъ сильно расшевелить страсти женщинъ? Какое превосходство, какое отличіе?» скажутъ мои добрые читательницы! — Ахъ, Боже мой! повторю: маленькое отступленіе или выступленіе изъ общаго круга обыкновенностей; рельефъ на гладкой стѣнѣ общества. Вообразите себѣ поручицу чудной, поражающей красоты, капитаншу — уроженку Сѣверной Америки, переброшенную слушаемъ съ береговъ Миссисипи на берега Оки, вмѣстѣ съ миллиономъ приданого, — или хоть съ приложеніемъ какого угодно чина, писательницу, т. е. женщину, написавшую когда-нибудь нѣ досужій часъ двѣ, три повѣсти, которыя попались впослѣдствіи подъ типографскій станокъ.

«Что! Капитанша или поручица писательница! Да это вздоръ! этого нѣтъ и быть не можетъ!» — возразятъ мнѣ многіе и многіе, — правда, писала Жанлисъ, такъ она была придворная, графиня, писала Стаэль, — такъ отецъ ея былъ министромъ. — обѣ получили высокое образованіе, но кап...! Однакожь предположимъ, хоть для шутки, что въ толпѣ вновъ прибывшихъ офицеровъ является рука объ руку съ однимъ изъ нихъ женщина-писательница. — Всѣ заранѣе знаютъ объ ея прібытіи, собираютъ о ней слухи, рассказываютъ вѣсти бывалыя и небывалыя, — наконецъ она прібыла, она здѣсь...

Ахъ! какъ бы ее увидѣть! она вѣрно носить

на челѣ отпечатокъ гения; вѣрно, только и говорить о поэзіи да о литературѣ, высказываетъ мнѣнія свои вродѣ импровизаціи, употребляетъ технические термѣны, носить съ собой карандашъ и бумагу для записыванія счастливо-мелькнувшихъ идей!..

Бѣдная писательница ѣдетъ, въ невинности души своей, обѣдать, не подозревая, что ее пригласили на показъ, какъ пляшущую обезьяну, какъ змѣя въ флорелевомъ одѣяніи; что взоры женщинъ, всегда зоркіе въ анализировкѣ качествъ сестеръ своихъ, вооружились для встрѣчи съ ней сотней умственныхъ лорнетовъ, чтобы разобратъ ее по волоску отъ чепчика до башмака; что отъ нея ждутъ вдохновенія и книжныхъ рѣчей, поражающихъ мыслей, каедральнаго голоса, чего-то особеннаго въ поступи, въ поклонахъ и даже латинскихъ фразъ въ смѣси съ еврейскимъ языкомъ, — потому что женщина-писательница, по общепринятому мнѣнію, не можетъ не быть ученой и педанткой, а почему такъ? не могу доложить!..

Боже мой, вѣдь какъ подумаешь, какъ многие всю жизнь свою сочиняютъ и безпошлинно расхвываютъ по свѣту небылицы, — и никому не вѣдуется выдавать имъ патентовъ на ученость, оттого только, что они сочиняютъ словесно! За что жъ, чуть бѣдная писательница наброситъ одну изъ вышепереченныхъ небылицъ на бумагу, всѣ единогласно производятъ ее въ ученые и педанты!.. Скажите, отчего и за что такое непростенное таланто-почитаніе?

И потомъ, она ни съ кѣмъ не можетъ сойтись. Одни воображаютъ, что она тотчасъ схватитъ ихъ слѣпокъ и такъ-таки живьемъ переставитъ въ журналъ. Другіе вѣчно мерещатся на устахъ ея сатанинская улыбка, въ глазахъ сатирическая наблюдательность, предательское шпіонство, — даже и тамъ, гдѣ, право, всякое шпіонство было бы коврикомъ, черпающимъ изъ воздуха воду; все въ ней будто не такъ, какъ въ другихъ женщинахъ... да не знаю что, а истинно что-то не такъ!

Посудите же по этому блѣдному очерку тысячной доли того, что достается бѣдной писательницѣ, каково бродить ей по свѣту, быть вездѣ незваной гостьей, вѣчно ознакамливаться.

Едва узнаютъ ее въ одномъ мыстѣ, едва привыкнуть видѣть въ ней *женщину* безъ жесткаго прилагательнаго: писательница, едва приглубятъ добрые люди, — какъ вдругъ походъ, перемѣна квартиръ — начинай снова знакомства съ азбуки.

Къ этому яркому очерку неудобствъ, сопряженныхъ на Руси съ званіемъ женщины-писательницы, даровитая Зенеида Р—ва могла бы прибавить что-нибудь вродѣ фізіологическаго очерка посмертныхъ друзей и журнальных буфоновъ, пляшущихъ и кричающихся на могилахъ литературной знаменитости. Вѣдь бываетъ и это на бѣломъ свѣтѣ, оттого что шутамъ законъ не писанъ. Но могила безмолвна и безотвѣтна...

Миръ праху твоему, благородное сердце, безвременно разорванное силой собственныхъ ощущеній! Миръ праху твоему, необыкновенная женщина, жертва богатыхъ даровъ своей возвышенной натуры. Благодаримъ тебя за краткую жизнь твою: не даромъ и не вступивъ цвѣла она пышнымъ, благоуханнымъ цвѣтомъ глубокихъ чувствъ и высокихъ мыслей... Въ этомъ цвѣтѣ — твоя душа, и не будетъ ей смерти, и будетъ жива она для всякаго, кто захочетъ насладиться ея ароматомъ...

Есть писатели, которые живутъ отдѣльной жизнью отъ своихъ твореній; есть писатели, личность которыхъ тѣсно связана съ ихъ произведеніями. Читая первыхъ, услаждаешь божественнымъ искусствомъ, не думая о художникѣ; читая вторыхъ, услаждаешься созерцаніемъ прекрасной человѣческой личности, думаешь о ней, любишь ее и желаешь знать ее самое и подробности ея жизни. Къ этому второму разряду писателей принадлежала наша даровитая Зенеида Р—ва.

Русская литература въ 1842 году.

Было время, когда журналы въ Европѣ по преимуществу назывались «зрителями»; теперь имя «обозрѣній» (revues) осталось за ними исключительно и значить то же самое, что у насъ, на Руси, слово «журналъ», а журналами называются тамъ газеты. Въ этихъ названіяхъ столько же основательности и толку, сколько у насъ неосновательности и безтолковости. Большая часть журналовъ у насъ выходитъ одинъ разъ въ мѣсяцъ, тогда какъ иностранное слово «журналъ» совершенно равнозначительно русскому «дневникъ» или «ежедневникъ». Слово «газета», оставшееся у насъ преимуще-

ственно за тѣми періодическими изданіями, которыя за-границею называются «журналами», не выражаетъ никакого смысла, почему почти и оставлено въ Европѣ. Еще болѣе основательности и глубокаго смысла видно въ замѣненіи слова «зритель» словомъ «обозрѣніе»; эта перемѣна какъ нельзя лучше характеризуетъ собой двѣ эпохи: одну, когда люди только созерцали и смотрѣли на жизнь, какъ на занимательный спектакль, и другую, когда люди уже не довольствуются только тѣмъ, что смотреть глазами, а хотятъ вмѣстѣ съ тѣмъ смотрѣть и умомъ. Предшествовавшая эпоха была созерцатель-

ная; настоящая эпоха—сознательная. Откуда-то и происходит эта живая, беспокойная, тревожная потребность, едва кончивъ дѣло, обозрѣть его поскорѣе, едва пройдя нѣсколько шаговъ, оглянуться назадъ и отдать себѣ отчетъ въ пройденномъ пространствѣ. Это доказываетъ, что теперь факты—ничто, и одно знаніе фактовъ также ничто, но что все дѣло въ разумнѣи значенія фактовъ. Мы этимъ отнюдь не хотимъ сказать, чтобъ фактическое знаніе было не нужно, бесполезно: мы хотимъ сказать только, что знаніе фактовъ безъ разумнѣи ихъ еще не есть знаніе въ истинномъ и высшемъ значеніи этого слова. Безъ знанія фактовъ невозможно и разумнѣи ихъ, потому что когда нѣтъ фактовъ, какъ данныхъ, какъ предметовъ знанія, тогда нечего и уразумѣвать; слѣдовательно и фактическое знаніе необходимо; только безъ философскаго знанія оно будетъ такимъ же призракомъ, какъ и философское знаніе безъ фактическаго подготовленія и основанія. И дѣйствительно, въ прежнюю, созерцательную эпоху только смотрѣли на то, что дѣлалось на бѣломъ свѣтѣ, и, посмотрѣвъ, записывали, что видѣли; теперь смотря еще пристальнѣе, еще внимательнѣе, но, смотря, вникають и судятъ, и тогда только почитаютъ себя что-нибудь увидѣвшими, когда откроютъ смыслъ и значеніе увидѣннаго, переведутъ фактъ на идею.

У насъ общественная жизнь преимущественно выражается въ литературѣ. Поэтому ничего нѣтъ мудренѣе, если всѣ наши журналы по преимуществу — журналы литературные, наполняемые или произведеніями литературы, или толками о литературѣ. Наука у насъ еще слишкомъ нѣжное и слабое растеніе, которому еще некогда было даже пустить корни, не только развернуться пышнымъ и благоуханнымъ цвѣтомъ. Это впрочемъ не значитъ, чтобъ у насъ не было науки: это значитъ только, что наука на Руси до сихъ поръ еще что-то вродѣ элевзинскихъ таинствъ,—исключительное достояніе небольшого избраннаго класса людей, а не цѣлаго общества, какъ въ западной Европѣ. Многіе еще, изъ посвящающихъ себя исключительно наукѣ, у насъ учатся не для знанія, а для аттестатовъ, открывающихъ путь къ разнымъ преимуществамъ по службѣ. Засѣданія ученыхъ обществъ въ глазахъ нашей публики—роль спектакля, на который должно смотрѣть съ приличной важностью, не зѣвая. Самъ Араго не привлекъ бы своими чтеніями и отчетами разнообразной и полной просвѣщеннаго интереса толпы. Вотъ почему мы говоримъ, что наука на Руси пока еще—нѣжное и слабое растеніе, неуспѣвшее еще пустить корни въ новую, неразработанную для него почву и поддержи-

ваемое только благородными, великодушными усиліями просвѣщеннаго правительства. Зато литературныя публичныя чтенія, затѣянныя сколько-нибудь извѣстнымъ въ литературѣ лицомъ, у насъ могутъ привлекать разнородную толпу, которая готова стекаться на нихъ всегда съ большимъ или меньшимъ интересомъ, и не только (такъ или сякъ) будетъ понимать ихъ, но еще и принимать ихъ съ этимъ восторгомъ или съ этимъ неудовольствіемъ, которые всегда означаютъ живое участіе къ дѣлу литературы. Ужъ нечего и говорить о томъ, что всѣ сколько-нибудь замѣчательныя литературныя произведенія находятъ себѣ у насъ покупателей и читателей; нѣкоторые журналы поддерживаются значительнымъ числомъ подписчиковъ, журнальныя мнѣнія раздѣляютъ публику на литературныя котеріи. Последнее обстоятельство особенно важно. Безъ литературнаго мнѣнія, сколько-нибудь оригинальнаго и самобытнаго, высказываемаго съ большимъ или меньшимъ умомъ и талантомъ, теперь и у насъ журналъ уже не можетъ имѣть успѣха. Критика въ отношеніи къ успѣху и вліянію журнала начинаетъ становиться едва-ли не важнѣе самихъ повѣстей. Правда, подъ «критикой» у насъ еще не всѣ разумѣютъ разсмотрѣніе произведеній искусства на основаніи науки изящнаго; напротивъ, большая часть публики добродушно почитаетъ критикой всякую болтовню о литературныхъ предметахъ, всякую рецензію на пустую книжонку,—и потому у насъ стоитъ только назвать себя критикомъ, чтобъ прослыть критикомъ. Такъ, иной правоописательный сочинитель, въ жизнь свою ненаписавшій ни одной критической статьи, никогда и неслыхавшій, что есть на свѣтѣ наука изящнаго, философія искусства, совершенно чуждый какого-нибудь взгляда на поэзію, какого-нибудь убѣжденія, тѣмъ не менѣе гордо величаетъ себя «критикомъ» потому только, что давно уже марааетъ статейки въ плохой газетѣ, гдѣ бранить съ плеча всякій талантъ, всякій успѣхъ, заслоняющій его, или, помирившись съ подобнымъ себѣ витяземъ, потомъ бранить его, а послѣ опять мирится съ нимъ—до новой размолвки и новой мировой сдѣлки, и постоянно хвалить только себя и свои книжныя издѣлія. Но все это нисколько не противорѣчитъ высказанному нами мнѣнію о важной роли, которую играетъ критика въ нашихъ журналахъ, какъ выраженіе литературныхъ понятій, убѣжденій и мнѣній; притомъ же наша критика состоитъ не изъ однихъ такихъ жалкихъ явленій, но по справедливости можетъ гордиться и утѣшительными исключеніями. Итакъ, этотъ успѣхъ журналистики, душа которой—критика, служить самымъ яснымъ и неопровер-

живымъ доказательствомъ, что литература наконецъ укоренилась на почвѣ русской национальности, вошла въ жизнь общества, сдѣлалась его обычаемъ и живой потребностью и уже перестала быть вѣшнимъ нововведеніемъ, модой или книжнымъ педантизмомъ. Поэтому ничего нѣтъ удивительнаго, что у нашего общества литература стоитъ на первомъ планѣ, и что у насъ съ важностью разсуждаютъ и съ горячностью спорятъ о томъ, о чемъ за-границей говорятъ хладнокровно, какъ объ интересѣ важномъ, но уже второстепенномъ и отнюдь не исключительномъ.

Послѣ всего этого должно казаться страннымъ, что въ современныхъ русскихъ журналахъ, за исключеніемъ «Отечественныхъ Записокъ», нѣтъ ни историческихъ, ни годовыхъ и никакихъ обзорныхъ русской литературы. И это тѣмъ страннѣе, что съ небольшимъ за десять лѣтъ назадъ обзоры такого рода были въ большомъ ходу: ими наполнялись журналы, безъ нихъ не могли обходиться альманахи. Потомъ вдругъ какъ и не бывало литературныхъ обзоровъ! Кроме равнодушія къ дѣлу литературы, этому не можетъ быть другой причины: по словамъ мудрой русской пословицы — что у кого болитъ, тотъ о томъ и говоритъ. Скажутъ: вольно же ребячиться и толковать о пустякахъ! Хорошо; но если литература для кого-нибудь — пустяки, такъ пусть же тотъ и не издаетъ литературныхъ журналовъ, чтобъ не противорѣчить самому себѣ и не обнаружить, протавъ своей воли, какихъ-нибудь совсѣмъ не литературныхъ цѣлей, а на примѣръ торговыхъ и т. п. Кто на литературу смотритъ какъ на что-то важное, въ глазахъ того обзорная литература не могутъ не имѣть большой важности. Литературныя обзоры — это живая лѣтопись мнѣній различныхъ эпохъ; а какъ Россія во многихъ отношеніяхъ развивается непомѣрно быстро, то у насъ что годъ, то и эпоха, слѣдовательно и лѣтописи нашей литературы не могутъ не быть разнообразны, живы и интересны. Любопытно наблюдать за процессомъ мнѣнія объ одномъ и томъ же предметѣ въ разное время, у разныхъ поколѣній; любопытно видѣть, какъ думали на примѣръ о Ломоносовѣ или Державинѣ въ ихъ время, и какъ думаютъ о нихъ теперь. Любопытно видѣть итоги каждого года и по нимъ слѣдить за каждымъ успѣхомъ литературы, за каждымъ ея шагомъ впередъ. И потому мы думаемъ, что публика не можетъ не одобрить принятаго нами намѣренія — начинать каждую первую книжку новаго года «Отечественныхъ Записокъ» взглядомъ на прошлогоднюю литературу, — намѣреніе, которое уже сряду третій годъ постоянно вы-

полняется нами не въ примѣръ прочимъ журналамъ.

Литературныя обзоры первый началъ Марлинскій. Его статьи въ этомъ родѣ имѣли чрезвычайный успѣхъ въ публикѣ. На нихъ смотрѣли какъ на что-то необыкновенное, гениальное. Теперь они не болѣе, какъ интересный фактъ для исторіи русской литературы. Теперь уже никого не изумятъ фразы, что Ломоносовъ озарилъ своимъ явленіемъ Русь подобно сѣверному сіянію, что стихи Пушкина — жемчугъ, разсыпанный по бархату, и т. п. Но въ свое время обзоры Марлинскаго были дѣйствительно необыкновеннымъ явленіемъ, которое не могло не показаться великимъ. Критика до Марлинскаго была книжной и педантической, безъ истинной учености, безъ всякаго отношенія къ современному состоянію науки объ изящномъ. Истинному глубокомыслию и истинной учености прощается и тяжеловатость, и педантизмъ, если они какъ-нибудь приросли къ ней; но педантизмъ и школьничество, невыкупаемые мыслью и основательностью, — самая отвратительная вещь въ мірѣ. Наша ученая критика того времени не справлялась съ ходомъ времени и повторяла избитыя общія мѣста о старыхъ писателяхъ, упорно не признавая въ Пушкинѣ ни таланта, ни заслуги. Марлинскій заговорилъ о литературѣ языкомъ свѣтскаго человѣка, умнаго, образованнаго и талантливаго, заговорилъ языкомъ новымъ, небывалымъ, острымъ, блестящимъ. Ради этихъ новыхъ тогда достоинствъ, никто не замѣтилъ жидкости содержанія въ его часто до изысканности оригинальныхъ и блестящихъ фразахъ, неопредѣленности въ его характеристикахъ. Удержавъ, по старой памяти, кое-что изъ мнѣній прежняго времени, Марлинскій все это выражалъ однакожъ новымъ образомъ, отчего и старыя мысли приняли у него видъ новыхъ; увлекаясь очень понятнымъ пристрастіемъ къ современному, онъ иное хвалилъ не по достоинству, но зато умѣлъ восхищаться всѣмъ истинно-прекраснымъ и тяжело поражалъ своимъ фейерверчнымъ остроуміемъ посредственность и бездарность. Одно уже то, что онъ былъ страшнымъ врагомъ ложнаго классицизма и сильнымъ союзникомъ плохо понимаемаго и новаго тогда, такъ называемаго, романтизма, — одно уже это облекало въ мистическое величіе его достоинство какъ критика. Послѣ Марлинскаго неутомимымъ «обо зрѣвателемъ» былъ весьма извѣстный въ свое время, но теперь совершенно забытый Орестъ Сомовъ. Въ его статьяхъ не было никакого литературнаго мнѣнія, никакого основанія, никакого блеска, и онъ скоро всѣмъ надоели и обратились въ предметъ насмѣшекъ со стороны

всѣхъ журналовъ. Потомъ замѣчательнѣйшей статьей въ этомъ родѣ было «Обозрѣніе русской словесности 1829 года» И. Кирѣвскаго, напечатанное въ «Денницѣ» Максимовича. Въ статьѣ Кирѣвскаго чувствуется присутствіе мысли; по крайней мѣрѣ есть нѣсколько отдѣльныхъ мыслей, вѣрныхъ и оригинальныхъ; но приложение ихъ отзывается неопредѣленностью и не идетъ къ дѣлу. Кирѣвскій не только безусловно и безотчетно превознесъ, а не оцѣнилъ, — ибо оцѣнка есть сужденіе, а не гимнъ хвалебный, — исторію Карамзина, но и разныя маленькія знаменитости того времени. Такъ напр., онъ накиннулъ «душегрѣйку новѣйшаго унынія» на греческую музу Дельвига, между тѣмъ какъ въ подражаніяхъ Дельвига древнимъ еще менѣе античнаго, пластическаго и антологическаго, чѣмъ русскаго въ его русскихъ пѣсняхъ. Даже въ стихотвореніяхъ Шенье-рева Кирѣвскій нашелъ только одинъ недостатокъ — не отсутствіе поэзіи, которой въ нихъ совершенно нѣтъ, не дикую вычурность абстрактныхъ идей и напряженнаго выраженія, а — «излишество мысли»!... Это обозрѣніе возбудило противъ себя сильную враждебность въ журналахъ, сколько по своимъ парадоксамъ, столько и по нѣкоторымъ истинамъ, горькимъ и рѣзко высказаннымъ, которыя не всѣмъ могли понравиться. — Вообще главный отличительный характеръ всѣхъ прежнихъ литературныхъ обозрѣній состоитъ въ томъ, что они обольщались мнимыми литературными сокровищами. Отрывокъ изъ неоконченной поэмы считался важнымъ приобритеніемъ для литературы; плаксивая элегія, напечатанная въ альманахѣ, возбуждала толки и споры; всякая повѣстка считалась дивомъ. Теперь смѣшно и вспомнить, какъ всѣ были заинтересованы коротенькими отрывочками изъ повѣсти Байскаго «Гайдамаки», — повѣсти, дѣйствительно не дурной по разсказу, но тянувшейся нѣсколько лѣтъ и оставшейся безъ конца и связи. Даже романъ Б. Ф. (Ф.) едорова «Андрей Курбскій» возбуждалъ ожиданіе и толки. Числительное богатство принималось за качественное, и этому богатству конца не видѣли. Книгъ было немногимъ больше телерешнаго, но зато почти каждая книга считалась важнымъ явленіемъ въ литературѣ; крохотные отрывочки въ крохотныхъ альманахахъ, каждое стихотвореніице, даже эпиграмма, — все это поименовывалось въ «обозрѣніяхъ» и причислялось къ общей суммѣ литературнаго богатства. Иначе и быть не могло. Всякая важная новость, смѣняющая собой надолгую старину, принимается за одно съ достоинствомъ и совершенствомъ. Такъ называемый романтизмъ былъ тогда еще новостью, и потому почти всякое «романтическое»

произведеніе почиталось «превосходнымъ» произведеніемъ. Восхищеніе отнимало способность думать и судить.

Въ чемъ же долженъ состоять характеръ литературныхъ обозрѣній нашего времени? И даже есть-ли теперь что-нибудь, что обозрѣвать? Вѣдь теперь и книгъ меньше, и журналовъ меньше, стало быть, и литература вообще бѣднѣе!

Такъ можетъ казаться, но не такъ это на дѣлѣ. Мы сейчасъ сказали, что богатство прежняго періода нашей литературы было больше числительное, нежели качественное, больше воображаемое, нежели существенное. Истинное ея богатство состояло въ произведеніяхъ Пушкина, да въ «Горѣ отъ Ума» Грибоѣдова; кое-что изъ остальнаго имѣло свое относительное достоинство, а большая часть — ровно никакого, между тѣмъ какъ все это принималось тогда почти съ такимъ же энтузіазмомъ, какъ и новыя произведенія Пушкина. Кто не считался тогда поэтомъ, кто не былъ знаменитъ? — Теперь едва ли повѣрять, если сказать, что съ небольшимъ лѣтъ за десять имена Олина, Карльгофа, Сомова, Писарева, Аладина, Раича, Погорѣльскаго, Яковлева, (автора «Удивительнаго Человѣка»), Илличевскаго, Ротчева, Глаголева и многихъ, многихъ другихъ считались чуть не знаменитостями литературными... Что касается до журналовъ, — ихъ было больше, потому что ихъ легче было издавать. Страсть печататься доставляла издателямъ или за самую умѣренную цѣну, или — и это большей частью, — совершенно безденежно переводныя и оригинальныя статьи, которыми они и наполняли тощенькія и маленькія книжки своихъ журналовъ. «Телеграфъ» столько же по величинѣ своихъ книжекъ и по вѣшнему изяществу изданія, сколько и по внутреннему достоинству справедливо считался первымъ и лучшимъ журналомъ въ Россіи; а между тѣмъ каждый томъ «Телеграфа», заключавшій въ себѣ четыре книжки за два мѣсяца, едва ли не въ половину меньше былъ каждой книжки «Отечественныхъ Записокъ», выходящей одинъ разъ въ мѣсяцъ. Если разница во вѣшнемъ изяществѣ изданія «Телеграфа» не слишкомъ велика съ нынѣшними журналами, то взгляните на картинки модъ «Телеграфа» и сравните ихъ съ нынѣшними. Конечно все это не составляетъ сущности журнала, но мы и говоримъ не о сущности, а о трудности, съ которой, по причинѣ усилившихся требованій со стороны публики, теперь сопряжено изданіе журнала сравнительно съ прежними временами. Что же касается до сущности, то и тутъ какая огромная разница! Тогда «Телеграфъ» щеголялъ повѣстями Марлинскаго, которыя считались созданіями ве-

личайшаго генія и приводили въ восторгъ и изумленіе почти всю читающую публику. Повѣсти Полевого почитались тоже такими произведеніями, которыя могли бы служить украшеніемъ любому европейскому журналу,—и вѣрно многіе, подобно намъ, не могутъ теперь вспомнить безъ улыбки живѣйшаго удовольствія, какой сильный интересъ возбудили въ публикѣ «Живописецъ», «Блаженство Безумія» и «Эмма»: воспоминанія дѣтства такъ отрадны и сладостны, что мы не безъ сердечнаго трепета вспоминаемъ иногда романы Радклифъ, Дюкре-дю-Менили и Августа Лафонтена и, смѣясь надъ ними, все-таки любимъ ихъ, какъ добрыхъ друзей нашего мечтательнаго дѣтства, какъ ослѣпшую отъ старости собачку, съ которой мы играли, когда она была еще щенкомъ!.. И что говорить о повѣстяхъ Полевого: —повѣсти Погодина многимъ нравились въ свое время; трудно повѣрить, а это было точно такъ: «Черная Немочь» надѣлала шуму... И вотъ оно—то богатство, какимъ горда была наша литература предшествовавшаго періода, который можно, не рискуя ошибиться, назвать «романтическимъ»!

Добрый и невинный романтизмъ! какъ боялись тебя классическіе парики, какимъ буйнымъ и неистовымъ почитали они тебя, сколько зла пророчили они отъ тебя,—тебя, бывшаго въ ихъ глазахъ страшнѣе чумы, опаснѣе огня! А ты, добрый и невинный романтизмъ, ты былъ просто—рѣзвое, шаловливое дитя, проказливый школьникъ, который смѣтилъ, что его «классическій» учитель ужасно глупъ, да и давай надъ нимъ потѣшаться, сдергивая колапакъ съ его дремлющей лысой головы, и нацѣпляя бумажки на заднія пуговицы его старомоднаго кафтана... И что же такое сдѣлалъ, если разсмотрѣть хорошенько, ты, такъ гордившійся и величавшійся своими заслугами!—Черезъ Летуруэра, поправленнаго съ грѣхомъ пополамъ Гизо, ты бое-какъ познакомился съ Шекспиромъ, да и началъ, съ голосу парижскихъ романтиковъ, кричать о сердецвѣдѣніи, о глубинѣ идей, о силѣ страстей, о вѣрномъ изображеніи дѣйствительности; а вѣдь—признайся (дѣло прошлое!): тебѣ въ Шекспирѣ полюбились только побранки мужиковъ и солдатъ, разнообразіе и множество персонажей, да несоблюденіе, дѣйствительно нелѣпаго, драматическаго тріединства?.. Написалъ ли ты хоть одну драму вродѣ Шекспировыхъ драмъ? Перевелъ ли ты одну изъ нихъ такъ, чтобы можно было видѣть, что ты понялъ Шекспира? Правда, переведены у насъ двѣ драмы Шекспира достойнымъ его образомъ, да не тобой, мой верхоглядый романтизмъ: ты только изуродовалъ «Гамлета» да «Виндзорскихъ Проказницъ»,

позволивъ себѣ передѣлывать ихъ по своему идеалу... Такъ или сякъ познакомился ты и съ Шиллеромъ, но что понялъ ты въ немъ!—ты понялъ, и то по своему, по дѣтски, «дѣву неземную», да «любовь идеальную», а вѣчнаго глагола разума, а божественной любви къ человѣчеству—ты и не предчувствовалъ въ Шиллерѣ; ты и не подозрѣвалъ въ немъ провозвѣстника двухъ великихъ словъ великаго будущаго—разума и человѣчества... И вотъ ты съ радости, что не понялъ Шиллера, давай писать благозвучными Расиновскими стихами Шиллеровскую драму, гдѣ донскіе казаки мечтаютъ «о Шиллерѣ, о славѣ, о любви»... Также сводилъ тебя съ ума и «Гецъ фонъ-Берлихингенъ» Гёте—и ты пренебрежно перевелъ его романтическимъ языкомъ русскихъ мужиковъ... Много ты слышался и о «Фаустѣ» Гёте, наболталъ о немъ съ три короба и наконецъ (не дрогнула же у тебя рука на такое беззаконное дѣло!)—и его перевелъ... Частью по французскимъ переводамъ, частью по дряннымъ русскимъ переложеніямъ, ты познакомился съ Вальтеръ-Скоттомъ, и тебѣ, самонадѣянному юношѣ-самоучкѣ, показалось, что ты разгадалъ тайну таланта великаго шотландца, и что тебѣ ничего не стоитъ самому сдѣлаться такимъ же «романтикомъ».—И вотъ ты началъ тайкомъ перелистывать исторію Карамзина, браня ее въ слухъ (какъ «классическое» произведеніе), и, бывало, возьмешь изъ нея на-прокатъ какое-нибудь событіе, да лица два-три, завяжешь имъ глаза, да ипустишь ихъ играть въ жмурки съ картонными марionетками собственнаго твоего изобрѣтенія... И сколько повѣстей надѣлалъ ты изъ степенной русской исторіи, заставивъ чинныхъ русскихъ бояръ мстить по-черкески, клясться не иначе, какъ смертию и адомъ, и кричать на каждой страницѣ: га!... Злодѣй, ты уцѣпился за новѣйшую исторію, которую изучилъ изъ «Московскихъ Вѣдомостей»; ты не пощадилъ и Наполеона, не убоился оскорбить его развѣнчанной тѣни, и смѣло заставилъ его играть престранную роль въ твоихъ площадныхъ сказкахъ, сводить и знакомить его съ разными романтическими чудаками, незаконными дѣтьми твоей фантазіи... На горе себѣ, какъ-то познакомился ты съ гениальнымъ сумасбродомъ, съ нѣмцемъ Гофманомъ, забредилъ «фантастическимъ», переболталъ его съ «идеальнымъ», подбавивъ въ эту амальгаму сантиментальной водицы изъ памятныхъ тебѣ по дѣтству романовъ Августа Лафонтена,—и потянулись у тебя длинной вереницей безобразныя повѣсти и романы: съ блаженствующими отъ сумасшествія, съ лунатиками, сомнамбулами, магнетизѣрами, идеальными кухарками, мѣщанскими поэтами, мечтате-

лями, приличными Аббадоннами, сахарной любовью, мышиным героизмомъ, и тому подобнымъ разнымъ вздоромъ... Но всѣхъ болѣе виновать ты передъ пѣвцомъ «Гяура» и «Манфреда»: лишь только слышалъ ты о немъ, какъ и началъ проклинать жизнь, ненавидѣть человечество, любоваться адомъ и вяло воспѣвать

... Поблещи жизни цвѣтъ
Безъ малаго въ восемнадцать лѣтъ...

Ты провозгласилъ Байрона пѣвцомъ отчаянія и эгоизма, блуждающей кометой, озарившей міръ кровавымъ заревомъ... Добрякъ! говорю тебѣ—ты не понялъ его, этого Байрона, ты не понялъ ни его идеала, ни его пафоса, ни его гения, ни его кровавыхъ слезъ, ни его безотраднoго и гордаго на самомъ себѣ опершагося отчаянія, ни его души, столько же нѣжной, кроткой и любящей, сколько могучей, непреклонной и великой! Байронъ—это былъ Прометей нашего вѣка, прикованный къ скалѣ, терзаемый коршуномъ: могучій гений, на свое горе, заглянулъ впередъ,—и не разсмотрѣвъ, за мерцающей далью, обѣтованной землѣ будущаго, онъ проклялъ настоящее и объявилъ ему вражду непримиримую и вѣчную; нося въ груди своей страданія милліоновъ, онъ любилъ человечество, но презиралъ и ненавидѣлъ людей, между которыми видѣлъ себя одинокимъ и отверженнымъ съ своей гордой борьбой, съ своей безсмертной скорбью... Не кометой, блуждающей и безобразной, былъ онъ, а новымъ духомъ, поборавшимъ за человечество, въ огнепернатомъ шлемѣ на головѣ, съ пламеннымъ мечомъ въ рукѣ, съ эгидой будущей побѣды, близкаго торжества... А ты, добрый и невинный романтизмъ русскій, создалъ себѣ, въ своемъ ребячествѣ, какой-то призракъ Байрона, столько же похожій на Байрона, сколько тѣнь, отбрасываемая на солнцѣ человѣкомъ, похожа на человѣка. Да и гдѣ, изъ чего было тебѣ создать истинный идеалъ Байрона?—Гдѣ ваялъ бы ты глубокаго сочувствія ко всему человѣческому, глухихъ рыданій, никому невидимыхъ, но тѣмъ болѣе сокрушительныхъ,—ты, добрый юноша, съ глазами унылыми, но отъ модной тоски,—съ щеками нѣсколько блѣдными, но отъ ночныхъ пировъ и дикихъ хоровъ московскихъ египтянокъ, въ прессторѣчїи называемыхъ цыганками,—съ характеромъ раздражительнымъ и нѣсколько нелюдинымъ, но отъ разстроенаго пищеваренія, вслѣдствіе неразсчитаннаго усердія къ Вакху и Кому,—съ душой праздною и скучною, но отъ излишней любви къ «сладостной лѣни»?... Не только ты, добрый и невинный романтизмъ, не только ты не понималъ новаго воителя: его не понималъ и тотъ

великій русскій поэтъ, котораго такъ несправедливо называлъ ты своимъ отцомъ и котораго еще несправедливѣе называлъ ты то сѣвернымъ, то русскимъ Байрономъ...

Итакъ, гдѣ же твои заслуги, о нашъ безвременно скончавшійся романтизмъ? Ужъ не разгульные ли пѣсни, писанныя бойкимъ четырехстопнымъ ямбомъ, «торопливымъ скороходомъ», въ которыхъ все такъ исполнено невинности и романтизма—и похмѣлье, и звонъ разбиваемаго стекла, и разгульный вѣнокъ, и пламенныхъ восторговъ кипятковъ?... Ужъ не подражанія ли древнимъ, въ которыхъ греческаго—одни гексаметры, да и то русскіе, одни длинные составные эпитеты, клонящіе ко сну? Ужъ не...

Но довольно. Всѣхъ проказъ нашего романтизма не перескажешь. Какъ всѣ эпохи переходныя, когда старое безусловно отрицается во имя новаго, которое непонятно.—романтизмъ нашъ былъ пустъ и безплоденъ; отъ этого изъ него и не вышло ничего, кромѣ великолѣпнаго вздора программъ и подписокъ на ненаписанныя и неоконченныя сочиненія... И не у насъ однихъ романтизмъ былъ такъ безплоденъ, но и у французовъ, у которыхъ онъ также былъ переходнымъ моментомъ и не чѣмъ-нибудь положительнымъ, а только реакціей псевдо-классицизму. Въ самомъ дѣлѣ, что прочнаго, великаго, вѣковаго и безсмертнаго произвели эти мнимо-гениальные представители юной Франціи? Люди они были дѣйствительно съ блестящими дарованіями, въ ихъ произведеніяхъ много блесковъ ума, живости, увлеченія; но эти легкія и скороспѣлыя произведенія были литературные подсиѣжники, пророчившіе весну, а не пышныя, благоуханныя розы роскошнаго мая. Минута родила ихъ—съ минутой и исчезли они, и кто теперь взглянетъ на эти увядшіе, высохшіе и выдохшіеся цвѣты, кто питается ими, кромѣ тѣхъ, кому сама природа назначила въ пищу—сѣно?... Что такое теперь колоссальный гений—Викторъ Гюго?—Человѣкъ, у котораго когда-то былъ блестящій талантъ,—человѣкъ, который написалъ нѣсколько прекрасныхъ лирическихъ стихотвореній вмѣстѣ съ множествомъ посредственныхъ и плохихъ, и котораго лирическая поэзія, взятая какъ нѣчто цѣлое, какъ отдѣльный міръ творчества, чужда всякаго характера, всякаго значенія, всякаго общаго пафоса. Что такое его прославленная «Notre Dame de Paris»? Тяжелый плодъ напряженной фантазіи, tout de force блестящаго дарованія, которое раздувалось и пыжилось до гения; пестрая и лишняя всякаго единства картина ложныхъ положеній, ложныхъ страстей и ложныхъ чувствъ; океанъ изящной риторики, дикихъ мыслей, натянутыхъ фразъ, словомъ,—всего, что способно приводить въ бѣшеный вос-

торгъ только пылкихъ мальчиговъ... Что такое его драмы?—Жалкія усилія безпокойнаго самолюбія, уродливыя клеветы на природу человѣка... А этотъ «скромный» Дюма, этотъ полу-негръ, полу-французъ, который такъ гордъ бышенствомъ и свирѣпостью своихъ ощущеній, который, по собственному признанью, бралъ у Шекспира свое, какъ скоро находилъ его, и который съ добродушной наглостью и невиннымъ безстыдствомъ говорить о самомъ себѣ, какъ о великомъ гениі; —этотъ Жаненъ, авторъ сатанинскихъ романовъ и паясническихъ фелетоновъ; этотъ господинъ *de*-Бальзакъ, Гомеръ Сенъ-Жерменскаго предмѣстья, знакомаго ему только съ улицы; этотъ чопорный де-Виньи, съ его вѣчнымъ идеаломъ страждущаго поэта, съ его вѣчной враждой къ успѣхамъ времени и постоянной вѣрностью вѣку маркизовъ и абатовъ; этотъ мрачный Эженъ Сю, этотъ неистовый Жакобъ Библюфилъ, съ шутовской макаброской иллаской его фантазіи, прикованной къ мусору историческихъ древностей; этотъ сладко-мечтательный Ламартинъ... что такое теперь всѣ они? Они такъ шумѣли, такъ силились выдать себя за титановъ, осаждающихъ Зевеса на его неприступномъ Олимпѣ! Всѣ думали, что они повернутъ землю на ея оси; а вышло, что они—просто маленькіе-великіе люди, добрые ребята, которые очень довольны жизнью, когда у нихъ есть деньги, и которые еще до гроба пережили и свою славу, и свои творенія и, не доживъ до старости, дожили до равнодушія и презрѣнія той толпы, которая нѣкогда видѣла въ нихъ своихъ идеаловъ... А кто пережилъ свои творенія и свою славу, тотъ — не великій писатель: велико только то, что переходитъ въ потомство... Величественный дубъ растетъ медленно, но живетъ долго; осина быстро бѣжать въ вышину, но не бываетъ огромнымъ деревомъ, и не вѣками, а годами измѣряется ея краткое существованіе. Въ то время какъ французскіе романтики, эти маленькіе великіе люди, уже пользовались всемірной извѣстностью, на судъ современнаго общества предстала женщина съ великимъ, истиннымъ дарованіемъ; ея не поняли и за это оклеветали. Но она шла своимъ путемъ, и рядъ созданій, одно другого глубже, ознаменовалъ ея побѣдоносное шествіе, — и ея слава началась только съ того времени, какъ слава маленькіхъ-великихъ людей уже кончилась. Причина этой разности очевидна: тамъ начало внѣшнее, снѣговое; тутъ—подземное, родниковое, внутреннее... Такъ называемый романтизмъ хлопоталъ изъ формъ, не понимая сущности дѣла,—и для формы онъ дѣйствительно много сдѣлалъ: онъ развязалъ руки таланту, спеленатому ложными правилами преданія. И нашъ романтизмъ

принесъ такую же пользу нашей литературѣ: онъ расчистилъ ея арену, заваленную соромъ и дразгомъ псевдо-классическихъ предразсудковъ; онъ далеко разметалъ ихъ деревянные барьеры, уничтожалъ ихъ австралійскіе табу, и тѣмъ подготовилъ возможность самобытной литературы. Теперь едва ли повѣрятъ тому, что стихи Пушкина классическимъ колпакамъ казались вычурными, бессмысленными, искажающими русскій языкъ, нарушающими заветныя правила грамматики; а это было дѣйствительно такъ, и между тѣмъ колпакамъ вѣрили многіе; но когда расходились на просторѣ «романтики», то всѣ догадались, что стихи Пушкина благороднѣе, изящнѣе, простѣе, національнѣе, вѣрнѣе духу языка. Очевидно, что въ этомъ случаѣ романтики играли роль шакаловъ, наводящихъ льва на его добычу. Равнымъ образомъ теперь едва ли повѣрятъ, если мы скажемъ, что созданія Пушкина считались нѣкогда дикими, уродливыми, безвкусными, неистовыми; но произведенія романтиковъ скоро показали всѣмъ, какъ созданія Пушкина чужды всего дикаго, неистоваго, какимъ глубокимъ и тонкимъ эстетическимъ вкусомъ запечатлѣны они. Очевидно, что въ этомъ случаѣ самое злоупотребленіе романтической свободы послужило къ утверженію истинной свободы творчества. Кто воспитанъ на Корнелѣ и Расинѣ, тому помѣшаетъ понять Шекспира одна уже новостъ формы его драмъ; кто привыкъ къ формамъ, нерѣдко дикимъ, чудовищнымъ и нелѣпымъ «романтиковъ», кто восхищался съ молодости драмами Гюго, Дюма, Вернера, Грильпарцера и т. п., — тому легко будетъ понять потомъ Шекспира; ибо того уже никакая форма не поразитъ изумленіемъ, отнимающимъ способность вникнуть въ сущность поэтического созданія.

И что бы, вы думали, убилъ нашъ добрый и невинный романтизмъ, что заставило этого юношу скоростижно скончаться во цвѣтѣ лѣтъ?—Проза! Да, проза, проза и проза. Общество, которое только и читаетъ, что стихи, для котораго каждое стихотвореніе есть важный фактъ, великое событіе, — такое общество еще молодо до ребячества, оно еще только забавляется, а не мыслитъ. Переходъ къ прозѣ для него—большой шагъ впередъ. Мы подъ «стихами» разумѣемъ здѣсь не одиѣ размѣренныя, заостренныя рѣимой строчки: стихи бываютъ и въ прозѣ такъ же, какъ и проза бываетъ въ стихахъ. Такъ напр., «Русланъ и Людмила», «Кавказскій Пѣвникъ», «Бахчисарайскій Фонтанъ» Пушкина — настоящіе стихи; «Онѣгинъ», «Цыганы», «Полтава», «Борисъ Годуновъ» — уже переходъ къ прозѣ, а такія поэмы, какъ «Сальери и Моцартъ», «Скупой Рыцарь», «Русалка», «Галубъ», «Каменный Гость» —

уже чистая, безпримѣсная проза, гдѣ уже совѣмъ нѣтъ стиховъ, хоть эти поэмы писаны и стихами. Напротивъ, повѣсти и романы Полевого: «Симеонъ Кирдяпа», «Живописецъ», «Блаженство Безумія», «Эмма», «Дурочка», «Аббадонна» и пр.—чистѣйшіе стихи безъ всякой примѣсы прозы, хоть и писаны и прозой, и хотя въ нихъ нѣтъ ни одного стиха, развѣ только въ эпиграфахъ... Мы, право, не шутимъ, и вы сами согласитесь, если не захотите прозу принимать какъ что-то противоположное стихамъ, а стихи — какъ что-то противоположное прозѣ. Стихи и проза — тутъ вся разница только въ формѣ, а не въ сущности, которую составляютъ не стихи и не проза, а поэзія. Вотъ другое дѣло, если прозу противопоставлять поэзіи, а поэзію — прозѣ; но мы здѣсь имѣемъ въ виду и не эту противоположность: мы подѣ «прозой» разумѣемъ богатство внутреннего поэтического содержанія, мужественную зрѣлость и крѣпость мысли, сосредоточенную въ самой себѣ силу чувства, вѣрный тактъ дѣйствительности; а подѣ «стихами» разумѣемъ неземную дѣву, идеальную любовь, дѣтское порываніе къ высокому и прекрасному, въ которыхъ нѣтъ никакого содержанія, прекраснаго, но чуждыя мысли чувства, глубокія, но лишенные чувства и богатые словами мысли, и т. п. Но какъ же въ такомъ случаѣ первыя поэмы Пушкина попали въ одну категорію съ повѣстями и романами Полевого? О, сохрани Богъ! Стихи въ стихахъ могутъ имѣть свои достоинства, какъ-то: богатство фантазіи, жаръ чувства, художественность формы, и т. п., но стихи въ прозѣ, по крайней мѣрѣ теперь, рѣшительно нигде не годятся: они подходятъ то на младенца въ англійской облѣзѣ, то на старца съ нарумяненными щеками, то на юношу добраго, чувствительнаго, живого, пламеннаго, мечтательнаго, но тѣмъ не менѣе пустого, — нѣчто вродѣ того, что называется «ни рыба, ни мясо»...

Но наша мысль можетъ показаться многимъ не совѣмъ ясной, и потому прибавимъ еще нѣсколько словъ. Всякая идея проявляется въ двухъ крайностяхъ и серединѣ. Поэтому есть люди, которые какъ будто совершенно лишены души и сердца, въ которыхъ нѣтъ никакого порыва къ міру идеальному — это крайность; другіе, напротивъ, какъ-будто состоятъ только изъ души и сердца и какъ-будто рождаются гражданами идеальнаго міра — это другая крайность; между ними занимаютъ мѣсто люди ни то, ни сѣ, люди недоноски, люди, которые по-немножку понимаютъ все истинное, никогда не проникая въ глубь его, люди, у которыхъ есть чувство, но похожее на нервическую раздражительность, есть умъ, но похожій на мечта-

тельность, есть порывы къ высшему міру, но у которыхъ этотъ «высшій міръ» вѣдѣ дѣйствительности, что-то вродѣ мечты, выражаемой словами: «куда-то, гдѣ-то, тамъ» и т. п. — это середина. Несносны люди перваго разряда; эти послѣдніе еще несноснѣе. У нихъ все слова, столько же громкія и отборныя, сколько и неопредѣленные, но дѣла никогда не бываетъ; они исключительно преданы чувству, отъ ума ихъ вѣетъ холодомъ, отъ дѣйствительности — разочарованіемъ; мечта составляетъ блаженство ихъ жизни; мысли они не любятъ и не понимаютъ. Подобные люди бываютъ такими или по натурѣ (и это самыя несносныя существа въ мірѣ), или вслѣдствіе неразвитости, ложнаго развитія и т. п. Тѣ и другіе вѣчно исполнены глубокихъ чувствъ и мыслей, для выраженія которыхъ, по ихъ словамъ, бѣденъ языкъ человѣческій. Но это клевета на языкъ человѣческій: что прочувствуетъ и пойметъ человѣкъ, то онъ выразитъ; словъ недостаетъ у людей только тогда, когда они выражаютъ то, чего сами не понимаютъ хорошенько. Человѣкъ ясно выражается, когда имъ владѣетъ мысль, но еще яснѣе, когда онъ владѣетъ мыслью. Если напр. какой-нибудь критикъ, длинно и широко разглагольствуя о Державинѣ, наполнить свою статью одними возгласами о величіи этого поэта, не опредѣлив ни содержанія, ни характера его поэзіи, а произведенія его будетъ уподоблять алмазамъ, рубинамъ, сапфирамъ, изумрудамъ и другимъ предметамъ ископаемаго царства (вмѣсто того, чтобъ раскрыть содержаніе этихъ произведеній и показать отношеніе содержанія къ формѣ), и потомъ все это сдобритъ фразами: «сѣверный бардъ, потомокъ Багряна» и т. п., такъ что читатель, прочтя длинную критику, не въ состояніи будетъ передать изъ нея другому ни одной мысли, — это значить, что нашъ критикъ ровно ничего не понялъ въ Державинѣ или свои ощущенія, возбужденныя въ немъ поэзіей Державина, принялъ за мысли, да и давай жаловаться на бѣдность языка человѣческаго... Есть и поэты, похожіе на такихъ критиковъ: вотъ у нихъ-то и въ прозѣ выходятъ все стихи, хотя безъ мѣры и безъ рѣимъ... Говорятъ они — люблю слушать; замолчать — никакъ не сообразишь, что они хотѣли сказать, и поневолѣ принимаешь ихъ прозу за стихи... Теперь самое неблагоприятное время для такихъ поэтовъ, ибо теперь никто не признаетъ великимъ полководцемъ того, кто не одержалъ ни одной побѣды, ни великимъ писателемъ — того, кто, за бѣдностью человѣческаго языка, не сказалъ того, что силится сказать. Такие люди теперь напоминаютъ собой знаменитаго Ивана Александровича Хлестакова, который сказалъ о себѣ, въ письмѣ

къ другу своему Тряпичкину, что онъ «хотѣлъ бы заняться чѣмъ-нибудь высокимъ, но свѣтская чернь не понимаетъ его». Другими словами, такіе люди—настоящіе «романтики», хотя бы они и выдавали себя за людей съ высшими взглядами...

Итакъ, романтизмъ нашъ убитъ прозой. Съ 1829 года всѣ писатели наши бросились въ прозу. Самъ Пушкинъ обратился къ ней. Альманахи, какъ игрушки, всѣмъ надоели и вышли изъ моды. Цѣна на стихи вдругъ упала. Вскорѣ явился новый поэтъ, сильное вліяніе котораго на литературу не замедлило обнаружиться. Вслѣдствіе этого вліянія ужасно понизилась цѣна на русскіе историческіе и особенно нравственно-сатирическіе романы; прежнія повѣсти, особенно—идеальныя,—тѣ, которыхъ проза такъ похожа на стихи, совсѣмъ вышли изъ моды; противъ Марлинскаго началась сильная оппозиція; всѣ романисты и нувеллисты пустились въ юморъ, начали брать содержаніе для своихъ повѣстей изъ дѣйствительной жизни, рисовать чудаковъ и оригиналовъ; герои добродѣтели были отпущены на отдыхъ. 1835 и 1836 года были эпохой для русской литературы: въ первомъ вышли въ свѣтъ «Миргородъ» и «Арабески», во второмъ появились и въ печати, и на сценѣ «Ревизоръ»... Въ то же время напечатаны стихотворенія Бенедиктова, надѣлавшія столько шума въ Петербургѣ и возбуждшія такой восторгъ въ одномъ московскомъ критикѣ, что онъ поставилъ Бенедиктова выше Жуковскаго и Пушкина... Стихотворенія Бенедиктова были важнымъ фактомъ въ исторіи русской литературы: они повершили вопросъ о стихахъ, и съ того времени стихи (въ томъ смыслѣ, въ какомъ мы принимаемъ это слово) совершенно окончили на Руси свое земное поприще... Являлись и другіе, находили себѣ даже поклонниковъ, но на минуту,—отъ нихъ скоро отступали самые друзья ихъ: то были послѣднія вспышки угасающей лампы... По смерти Пушкина начали печататься въ «Современникѣ» оставшіяся послѣ него въ рукописи послѣднія произведенія его; но то была уже чистая проза въ стихахъ и ужасный ударъ стихамъ. Явился Лермонтовъ съ стихами и съ прозой,—и въ его стихахъ и прозѣ была чистая проза! Прощайте, стихи! Будетъ ребячиться нашей литературѣ, довольно пошалила—пора и дѣломъ заняться...

И дѣйствительно, послѣдній періодъ русской литературы, періодъ прозаическій, рѣзко отличается отъ романтическаго какой-то мужественной зрѣлости. Если хотите, онъ не богатъ числомъ произведеній, но зато все, что явилось въ немъ посредственнаго и обыкновеннаго, все это или не пользовалось никакимъ успѣхомъ, или имѣло только успѣхъ

мгновенный; а все то немногое, что вышло изъ ряда обыкновеннаго, ознаменовано печатью зрѣлой и мужественной силы,—осталось навсегда, и въ своемъ торжественномъ, побѣдоносномъ ходѣ, постепенно приобретаая вліяніе, прорѣзывало на почвѣ литературы и общества глубокіе слѣды. Сближеніе съ жизнью, съ дѣйствительностью есть прямая причина мужественной зрѣлости послѣдняго періода нашей литературы. Слово «идеаль» только теперь получило свое истинное значеніе. Прежде подъ этимъ словомъ разумѣли что-то вроде: не любо не слушай, лгать не мѣшай,—какое-то соединеніе въ одномъ предметѣ всевозможныхъ добродѣтелей или всевозможныхъ пороковъ. Если герой романа, такъ ужъ и собой-то красавецъ, и на гитарѣ играетъ чудесно, и поетъ отлично, и стихи сочиняетъ, и дерется на всякомъ оружіи, и силу имѣетъ необыкновенную:

Когда жъ о честности высокой говорить,
Какимъ-то демономъ внушаемъ —
Глаза въ кровь, лицо горитъ,
Самъ плачетъ, а мы всѣ рыдаемъ!

Если же злодѣй, то и не подходите близко: съѣсть, непременно съѣсть васъ живого, извергъ такой, какого не увидишь и на сценѣ Александринскаго театра, въ драмахъ нашихъ доморощенныхъ трагиковъ. Теперь подъ «идеаломъ» разумѣютъ не преувеличеніе, не ложь, не ребяческую фантазію, а фактъ дѣйствительности, такой, какъ она есть; но фактъ, не списанный съ дѣйствительности, а проведенный черезъ фантазію поэта, озаренный свѣтомъ общаго (а не исключительнаго, частнаго и случайнаго) значенія, «возведенный въ перлъ созданія», и потому болѣе похожій на самого себя, болѣе вѣрный самому себѣ, нежели самая рабская копія съ дѣйствительности вѣрна своему оригиналу. Такъ на портретѣ, сдѣланномъ великимъ живописцемъ, человекъ болѣе похожъ на самого себя, чѣмъ даже на свое отраженіе въ дагерротипѣ, ибо великій живописецъ рѣзкими чертами вывелъ наружу все, что таится внутри того человека и что можетъ быть составляетъ тайну для самого этого человека. Теперь дѣйствительность относится къ искусству и литературѣ, какъ почва къ растеніямъ, которыя она возвращаетъ на своемъ лонѣ.

Все сказанное нами для людей мыслящихъ не можетъ показаться отступленіемъ отъ предмета статьи, потому что все это не отступленіе, а характеристика и исторія послѣдняго періода русской литературы, въ отношеніи къ которому 1842 годъ былъ блистательнѣйшимъ пополненіемъ. Мы уже выше сказали, что обозрѣвать не значитъ пересчитывать по пальцамъ все, что вышло въ продолженіе извѣстнаго времени, но указать

на замѣчательныя произведенія и опредѣлить ихъ значеніе и цѣну,—а этого мы не могли сдѣлать, не опредѣливъ предварительно характера и значенія всей литературы послѣдняго времени. При обзорѣи поименномъ не на многое придется намъ указывать и не о многомъ говорить. Причина этого—немногочисленность замѣчательныхъ явленій въ литературѣ прошлаго года, также принадлежащая къ особымъ чертамъ всей русской литературы послѣдняго ея періода. Но эта бѣдность не должна насъ опечаливать: это благородная бѣдность, которая лучше мнимаго богатства прежняго времени. Появленіе въ одномъ году «Миргорода» и «Арабесокъ», въ другомъ «Ревизора» стоитъ огромнаго количества даже хорошихъ, но обыкновенныхъ произведеній за многіе годы. Такимъ образомъ 1840 годъ былъ ознаменованъ выходомъ «Героя Нашего Времени» и перваго собранія стихотвореній Лермонтова; 1841—изданіемъ трехъ томовъ посмертныхъ сочиненій Пушкина; 1842—выходомъ «Мертвыхъ Душъ», одного изъ тѣхъ капитальныхъ произведеній, которыя составляютъ эпохи въ литературѣхъ.

Много было писано во всѣхъ журналахъ о «Мертвыхъ Душахъ»; много говорили и мы о нихъ. Повторять сказанное и нами, и другими нѣтъ никакой надобности. Впрочемъ изъ этого еще нисколько не слѣдуетъ, чтобъ о «Мертвыхъ Душахъ» было сказано все, какъ нами, такъ и другими: мы собственно и не говорили еще о нихъ, а только спорили съ другими по поводу ихъ, и намъ еще предстоитъ впереди изложеніе окончательнаго, критически высказаннаго мнѣнія объ этомъ произведеніи; что касается до другихъ, они не перестали и долго еще не перестанутъ говорить о «Мертвыхъ Душахъ», всѣми силами стараясь увѣрить себя, что имъ нечего бояться этого произведенія... Итакъ, скажемъ здѣсь лишь нѣсколько словъ для уясненія—не произведенія Гоголя, а вопроса, возникшаго о немъ и въ публикѣ, и въ литературѣ.

Какъ мнѣніе публики, такъ и мнѣніе журналовъ о «Мертвыхъ Душахъ» раздѣлились на три стороны: одни видятъ въ этомъ твореніи произведеніе, котораго хуже еще не писывалось ни на одномъ языкѣ человѣческомъ; другіе, наоборотъ, думаютъ, что только Гомеръ да Шекспиръ являются въ своихъ произведеніяхъ столь великими, какимъ явился Гоголь въ «Мертвыхъ Душахъ»; третьи думаютъ, что это произведеніе—дѣйствительно великое явленіе въ русской литературѣ, хотя и не идущее по своему содержанію ни въ какое сравненіе съ вѣковыми всемірно-историческими твореніями древнихъ и новыхъ литературъ западной Европы. Кто эти—одни, другіе и третьи—публика знаетъ, и по-

тому мы не имѣемъ нужды никого называть по имени. Всѣ три мнѣнія равно заслуживаютъ большаго вниманія и равно должны подвергаться разсмотрѣнію, ибо каждое изъ нихъ явилось не случайно, а по необходимымъ причинамъ. Какъ въ числѣ наступленыхъ хвалителей «Мертвыхъ Душъ» есть люди, и не подозревающие въ простотѣ своего дѣтскаго энтузіазма истиннаго значенія, слѣдовательно и истиннаго величія этого произведенія, такъ и въ числѣ ожесточенныхъ хулителей «Мертвыхъ Душъ» есть люди, которые очень и очень хорошо смекаютъ всю огромность поэтическаго достоинства этого творенія. Но отсюда-то и выходитъ ихъ ожесточеніе. Нѣкоторые сами когда-то тянулись въ храмъ поэтическаго безсмертія; за новостью и дѣтствомъ нашей литературы, они имѣли свою долю успѣха, даже могли радоваться и хвалиться, что имѣютъ поклонниковъ,—и вдругъ являється неожиданно, непредвидѣнно совершенно новая сфера творчества, особенный характеръ искусства, вслѣдствіе чего идеальныя и чувствительныя произведенія нашихъ поэтовъ вдругъ оказываются ребяческой болтовней, дѣтскими невинными фантазіями... Согласитесь, что такое паденіе безъ натиска критики, безъ недоброжелательства журналовъ—очень и очень горько... Другіе подвизались на сатирическомъ поприщѣ, если не со славою, то не безъ выгодъ иного рода; сатиру они считали своей монополіей, смѣхъ—исключительно имъ принадлежащимъ орудіемъ,—и вдругъ остроты ихъ не смѣшны, картины ни на что не похожи, у ихъ сатиры какъ будто выпадали зубы, охрипъ голосъ, ихъ уже не читаютъ, на нихъ не сердятся, они уже стали употребляться вѣстью какого-то аршина для измѣренія бездарности... Чѣмъ тутъ дѣлать? перечинить перья, начать писать на новый ладъ?—но вѣдь для этого нуженъ талантъ, а его не купишь, какъ пучокъ перьевъ... Какъ хотите, а осталось одно: не признавать талантомъ виновника этого крутого поворота въ ходѣ литературы и во вкусѣ публики, увѣрять публику, что все написанное имъ—вздоръ, нелѣпость, пошлость... Но это не помогаетъ: время уже рѣшило страшный вопросъ—новый талантъ торжествуетъ, молча, не отвѣчая на брани, не благодаря за хвалы, даже какъ будто вовсе отстраняясь отъ литературной сферы; надо переимѣнить тактику: является новое твореніе таланта, далеко оставившее за собой всѣ прежнія его произведенія,—давай жалѣть о погибшемъ талантѣ, который такъ много общалъ, такъ хорошо писалъ нѣкогда (именно тогда, когда эти господа утверждали, что онъ писалъ все вздоры и нелѣпости); его, видите, захвалили пріятеля, а ихъ у него такъ много, что иныхъ

онъ и въ лицо не знаетъ, съ иными же едва знакомъ... На что бы такое напасть въ новомъ твореніи таланта?—На сальности, на дурной тонъ; это поправится тѣмъ людямъ, которые, никогда и во снѣ не выдавъ большого свѣта, только о немъ и хлопочутъ, какъ будто бы считая себя принадлежащими къ нему... Не мѣшаетъ замѣтить, что эти витязи большого свѣта чрезвычайно довольны были тономъ и островами враговъ новаго таланта: живя въ неизмѣримой дали отъ большого свѣта, они считали этихъ сатирическихъ сочинителей людьми большого свѣта... Второй пунктъ—грамматика: къ ней прибѣгли при этомъ важномъ случаѣ даже тѣ, которые отвергали ея существованіе... Третій пунктъ:—незнаніе русскаго языка; за этотъ аргументъ ухватились даже тѣ, которые пишутъ: «морь (вм. морей), мозговъ человѣческихъ, мечтъ» и т. п. Нападки на незнаніе грамматики и искаженіе языка — характеристическая черта исторіи русской литературы: славянофилы утверждали, что Карамзинъ не зналъ духа и правилъ русскаго языка и ужасно искажалъ его въ своихъ сочиненіяхъ; классики въ томъ же самомъ обвиняли Пушкина; теперь очередь за Гоголемъ... Вспомнили мы еще довольно забавную черту въ этомъ родѣ: Гречъ и Булгаринъ доказывали нѣкогда печатно, что Полевой не знаетъ грамматики, а Калайдовичъ напечаталъ въ «Московскомъ Вѣстникѣ» статью объ «Исторіи Русскаго Народа» въ отношеніи къ грамматикѣ и языку, и на каждой страницѣ этого превосходнаго, но къ сожалѣнію по-сю пору неоконченнаго творенія нашелъ по крайней мѣрѣ по десяти грубыхъ ошибокъ противъ грамматики и языка... Господа! не пора ли бросить эту старую замашку? У какого писателя нѣтъ ошибокъ противъ грамматики, да только чьей?—вотъ вопросъ! Карамзинъ самъ былъ грамматикъ, передъ которой всѣ ваши грамматики ничего не значатъ; Пушкинъ тоже стоитъ любой изъ вашихъ грамматикъ...

Твореніе, которое возбудило столько толковъ и споровъ, раздѣлило на котеріи и литераторовъ, и публику, приобрѣло себѣ и жаркихъ поклонниковъ, и ожесточенныхъ враговъ, на долгое время сдѣлалось предметомъ сужденій и споровъ общества; твореніе, которое прочтено и перечтено не только тѣми людьми, которые читаютъ всякую новую книгу или всякое новое произведеніе, сколько-нибудь возбуждавшее общее вниманіе, но и такими лицами, у которыхъ нѣтъ ни времени, ни охоты читать стишки и сказочки, гдѣ несчастные любовники соединяются законными узами брака, по претерпѣніи разныхъ бѣдствій, и въ довольствѣ, почетѣ и счастіи проводятъ остальное время жизни;—твореніе, которое въ числѣ почти 3.000

экземпляровъ все разошлось въ какіе-нибудь полгода,—такое твореніе не можетъ не быть неизмѣримо выше всего, что въ состояніи представить современная литература, не можетъ не произвести важнаго вліянія на литературу.

Полное собраніе стихотвореній покойнаго Лермонтова вышло въ послѣдней половинѣ декабря прошлаго года и должно быть причислено къ литературнымъ явленіямъ новаго года.

Сборниками стихотвореній прошлый годъ очень небогатъ. Самымъ лучшимъ и пріятнѣйшимъ явленіемъ въ этомъ родѣ, безъ всякаго сомнѣнія, была книжка «Стихотвореній Аполлона Майкова». Этотъ молодой поэтъ одаренъ отъ природы живымъ сочувствіемъ къ эллинской музѣ; онъ овладѣлъ всей полнотою, всей свѣжестю и роскошью антологическаго стиха, — такъ что антологическія стихотворенія Майкова не только не уступаютъ въ достоинствѣ антологическимъ стихотвореніямъ Пушкина, но еще едва ли и не превосходятъ ихъ. Это большое приобрѣтеніе для русскаго поэзіи, важный фактъ въ исторіи ея развитія. Но жаль было бы, еслибъ только на этомъ остановился Майковъ. Антологическія стихотворенія, какъ бы ни были хороши,—не болѣе, какъ пробный камень артистическаго элемента въ поэтѣ. Ихъ можно сравнить съ ножкой Психеи, рукой Венеры, головой Фавна, превосходно высѣченными изъ мрамора. Конечно превосходно сдѣланная ножка, ручка, грудь или головка, каждая изъ этихъ деталей можетъ служить доказательствомъ необыкновенныхъ скульптурныхъ дарованій, чувства пластики, изученія древняго искусства; но еще не составляетъ скульптуры, какъ искусства, и превосходно сдѣлать ножку, ручку, грудь или головку далеко не то, что создать цѣлую статую. Сверхъ того исключительная преданность древнему міру (и притомъ далеко неполнѣя понятую), безъ всякаго живого, кровнаго сочувствія къ современному міру, не можетъ сдѣлать великимъ или особенно замѣчательнымъ поэта нашего времени. Къ этому еще должно присовокупить, что одно за одно, теряя прелесть новости, теряетъ и свою цѣну. Итакъ, мы желали бы, чтобъ Майковъ или предался основательному и обширному изученію древности и передавалъ на русскій языкъ своимъ дивнымъ стихомъ вѣчныя, неумирающія созданія эллинскаго искусства, или обрѣлъ въ тайникѣ духа своего тѣ сердечныя, задушевные вдохновенія, на которыя радостно и пріятливо отзывается поэту современность. Покоряясь требованіямъ справедливости, мы не можемъ не повторять здѣсь уже сказаннаго нами въ статьѣ о стихотвореніяхъ Майкова, что почти всѣ его анто-

гическія стихотворенія пока не общають въ будущемъ ничего особеннаго. Намъ было бы очень пріятно ошибиться въ этомъ приговорѣ,—и мы первые вспомнили бы съ радостью о своей ошибкѣ, еслибъ Майковъ подарилъ русскую публику такими стихотвореніями, которыя обнаруживали бы въ немъ столь же примѣчательнаго и столь же много общающаго въ будущемъ современнаго поэта, сколько и антологическаго. Антологическая муза Майкова не ослабѣла ни въ силѣ, ни въ дѣятельности, и послѣ выхода книжки его стихотвореній публика прочла въ «Отечественныхъ Запискахъ» и «Библіотекѣ для Чтенія» нѣсколько предлестнѣйшихъ его стихотвореній въ любимомъ его антологическомъ родѣ, но они уже не возбудили въ ней прежняго восторга. А между тѣмъ—повторяемъ—они такъ-же прекрасны, какъ и прежнія, въ доказательство чего достаточно привести изъ нихъ слѣдующее—«Барельефъ»:

Вотъ безжизненный отрубокъ
Серебра: стопи его
И вмѣстительный мнѣ кубокъ
Слей искусно изъ него!
Ни Кипридинныхъ голубокъ,
Ни медвѣдицъ, ни плеядъ,
Не лѣпи по стѣнкамъ длиннымъ.
Нарисуй въ саду пустыннымъ,
Между розъ, толпы менадъ,
Выжимающихъ созыбный
Налитой и пожелтѣлый
Съ пышной ятвы виноградъ;
Вкругъ сидятъ умно и чинно
Дѣти передъ бочкой винной,
Фавны съ хмѣлемъ на челѣ,
Вакхъ подъ тигровою кожей,
И Силепъ румянорожий
На споткнувшемся ослѣ.

Зато вотъ еще одно изъ послѣднихъ стихотвореній Майкова, доказывающихъ, что чуть только выйдетъ онъ изъ сферы антологическаго созерцанія, какъ изъ его стихотворенія тотчасъ же ничего не выйдетъ:

Море бурно, небо въ тучахъ.
Онъ примчался на конѣ
Прямо къ брызгамъ водъ выпучихъ.
«Старый! чолнъ скорѣе мнѣ!»
И старикъ *затылокъ чешетъ*...
— «Полно, будетъ, господня!
Полно, *баринъ* (?), *бѣса тышишь* (?),
Нашихъ съ моря не одинъ (?)—
«Пусть ихъ гибнуть! Подъ водою
Рыбъ рыбы и гроба!
Знай, я Цезарь: а со мною
Мнѣ послушна и судьба!»

Странная фантазія—свести Цезаря съ русскимъ мужикомъ и заставить его объясняться до такой степени посредственными стихами...

«Сумерки», маленькая книжка Баратынскаго, заключающая въ себѣ едва ли не послѣднія стихотворенія этого поэта, тоже принадлежитъ къ немногимъ примѣчательнѣйшимъ явленіямъ по части поэзіи въ прош-

ломъ году. По поводу ея мы обозрѣли всю поэтическую дѣятельность Баратынскаго. Теперь же прибавимъ только, что едва ли это и дѣйствительно не послѣднія стихотворенія знаменитаго поэта; вотъ пьеса изъ «Сумерокъ», доказывающая это:

На что вы, дни? юдошный міръ явленъ
Свои не помѣнить!
Всѣ вѣдомы и только повторенья
Грядущее сулятъ.
Не даромъ ты металась и кипѣла,
Развитіемъ спѣша,
Свой подвигъ ты свершила прежде тѣла,
Вѣсмертная душа!
И тѣсный кругъ подлунныхъ впечатлѣній
Соменушая давно,
Подъ вѣяньемъ возвратныхъ сновидѣній
Ты дремлешь; а оно
Безмысленно глядитъ, какъ утро встанетъ,
Безъ нужды почъ смѣня;
Какъ въ мракъ холодный вечеръ канетъ,
Вънецъ пустого дня!

Страшно чувство, которымъ внушено это выстраданное стихотвореніе! не общаетъ оно новыхъ и живыхъ вдохновеній, и лучше совсѣмъ не писать поэту, чѣмъ писать такіа напримѣръ стихотворенія:

Сначала мысль воплощена
Въ поэму сжатаго поэта,
Какъ дѣва юная *темна*
Для невнимательнаго свѣта;
Потомъ, осмѣлившись, она
Уже увертлива, рѣчиста,
Со всѣхъ сторонъ своихъ видна,
Какъ искушенная жена,
Въ свободной прозѣ романиста;
Болтунья старая, за тѣмъ
Она, подымая крикъ нахальный,
Шлодитъ въ полемикѣ журнальной
Давно ужъ вѣдомое всѣмъ.

Что это такое? Неужели стихи, поэзія, мысль?..

Вышедшая въ прошломъ же году маленькая книжечка стихотвореній Полежаева, подъ названіемъ «Часы Выздоровленія», подала намъ поводъ въ отдѣльной критической статьѣ обозрѣть всю поэтическую дѣятельность этого замѣчательнаго поэта. Первая часть стихотвореній Бенедиктова, изданная въ 1835 г., достигла второго изданія въ прошломъ 1842 году. Наше мнѣніе объ этомъ поэтѣ извѣстно публикѣ.

Вообще прошлый годъ былъ не богатъ стихами, а будущій—это можно сказать смѣло—будетъ еще блѣднѣе... Лермонтова уже нѣтъ, а другого Лермонтова не предвидится... хоть совсѣмъ не пиши стиховъ... И ахъ въ самомъ дѣлѣ пишутъ или по крайней мѣрѣ печатаютъ теперь меньше. Столичные поэты сдѣлались какъ-то умѣреннѣе—оттого ли, что одни уже выпысались, а другіе догадались, что стихи должны быть слишкомъ и слишкомъ хороши, чтобъ ихъ стали теперь читать, не только хвалить... Зато господа провинціальныя поэты годъ отъ го-

да становятся неутомимѣ. Публика ничего не знаетъ о ихъ пламенномъ усердіи къ дѣлу истребленія писчей бумаги; но журналисты—увы!—слишкомъ знаютъ это и дорого платятъ за это знаніе—платятъ деньгами за доставленіе къ нимъ на домъ этихъ страшныхъ пакетовъ, платятъ временемъ, скукой и досадою, прочитывая эти груды рюмованнаго вадору...

Теперь обратимся къ прозѣ по части изящной словесности. Загоскинъ каждый годъ даритъ публику новымъ романомъ; не знаемъ, какимъ новымъ романомъ обрадуетъ онъ ее въ 1843 году, а въ 1842 году онъ утѣшилъ ее «Кузьмой Петровичемъ Мирошевымъ». Собственно это не романъ, а повѣсть, до того мѣстами растянутая, что изъ нея вытянулся романъ въ четырехъ частяхъ, т. е. въ четырехъ маленькихъ книжкахъ, красиво и разгонисто напечатанныхъ. Въ «Мирошевѣ» тѣ же достоинства и тѣ же недостатки, какими отличались всѣ прежніе романы Загоскина, т. е. съ одной стороны истинно русское радушіе и хлѣбосоольство, съ какимъ почтенный авторъ угощаетъ читателя издѣліями своей фантазіи, добродушное восхищеніе созданными имъ характерами слугъ, дядекъ и мамокъ, добродушная увѣренность, что добродѣтельные люди въ его романѣ—точно добродѣтельны, а злодѣи—не шутя злодѣи; мѣстами веселенькія сцены въ забавномъ родѣ, вездѣ искреннее увлеченіе въ пользу старины и ея немножко дикихъ для нынѣшняго времени понятій, гладкій, пловучій слогъ; съ другой стороны—бѣдность содержанія, отсутствіе идеи, повтореніе того, что читатель знаетъ уже по прежнимъ романамъ автора. «Альфъ и Альдона» Кукольника обнаружили было большія претензіи на титуло историческо-поэтическаго романа, но историческая часть въ этомъ романѣ похожа на сказочную, а поэтическая—на самую скучную и вялую прозу. Одна изъ четырехъ частей «Альфы и Альдоны» больше всѣхъ четырехъ частей «Мирошева»; но «Мирошевъ» былъ прочитанъ до конца всѣми, кто только рѣшался его читать, а «Альфъ и Альдона» испугалъ читателей на половинѣ же первой части и остался недочитаннымъ. Но неутомимый Кукольникъ этимъ не удовольствовался и тиснулъ въ «Библиотекѣ для Чтенія» новый романъ свой «Дурочка Луиза». Этотъ романъ—близнецъ съ «Эвелиной деВальероль»: тамъ пружиной всѣхъ дѣйствій служатъ цыганъ Гойко, здѣсь—жадь Бенке; тамъ множество лицъ, такъ похожихъ одно на другое, что и отличить нельзя—и здѣсь тоже! разница въ томъ, что тамъ скучно, а здѣсь скучнѣе, тамъ еще на что-нибудь похоже, а здѣсь ни на что не похоже. Геронія романа, дурочка Луиза, еще довольно

похожа на дурочку—умной ее дѣйствительно никто не назоветъ, но курфирстъ Фридрихъ-Вильгельмъ изображенъ какимъ-то сентиментальнымъ повѣреннымъ въ любовныхъ тайнахъ своихъ приближенныхъ, всеобщимъ сватомъ и отцомъ-пасаженнымъ, и только мимоходомъ силится авторъ выказать его героемъ и великимъ государемъ. Вообще сентиментальность, приторная, сладенькая, составляетъ главный характеръ этой безсвязной, пустой по содержанію, натянутой въ изображеніи характеровъ сказки. Теперь того только и ждемъ, что «Дурочка Луиза» появится отдѣльной книжкой въ двухъ частяхъ; но мы рады, что заблаговременно отдѣлались отъ нея.—Какими романами еще ознаменовался 1842 годъ?—«Два Призрака», «Сердце Женщины», «Человѣкъ съ высшимъ взглядомъ», «Любовь Музыканта»; вновь изданные романы Калашникова: «Дочь Купца Жолобова» и «Камчадалка», «Московская Сказка о Чудѣ Поганомъ», «Козель Бунтовщикъ», «Грошовый Мертвецъ», «Гуакъ, рыцарская повѣсть», и пр., и пр. Все это едва ли принадлежитъ къ какой-нибудь литературѣ, и еще менѣе къ той, которой характеръ опредѣляли мы въ началѣ статьи... Что дѣлать? У каждаго дома бываетъ два двора—передній и задній; у каждой литературы двѣ стороны—лицевая и лызанка...

На повѣсти 1842 годъ былъ счастливѣе, чѣмъ на романы. Въ «Москвитинѣ» было напечатано начало новой повѣсти Гоголя «Римъ», равно изумляющее и своими достоинствами, и своими недостатками. Въ «Современникѣ» была помѣщена уже извѣстная, но передѣланная вновь повѣсть Гоголя «Портретъ», отличающаяся нѣкоторыми превосходно концепированными и отдѣланными подробностями, и неудачная въ цѣломъ.—Графъ Соллогубъ напечаталъ въ прошломъ году только одну повѣсть «Медвѣдь», которая заставляетъ искренно сожалѣть, что ея даровитый авторъ такъ мало пишетъ. «Медвѣдь» не есть что-нибудь необыкновенное и можетъ быть далеко уступить въ достоинствѣ «Аптекарьшѣ», повѣсти того же автора; но въ «Медвѣдѣ» образованное и умное эстетическое чувство не можетъ не признать тѣхъ характеристикъ чертъ, которыми мы въ началѣ этой статьи опредѣлили послѣдній періодъ русской литературы. Отличительный характеръ повѣстей графа Соллогуба состоитъ въ чувствѣ достовѣрности, которое охватываетъ всего читателя, къ какому бы кругу общества ни принадлежалъ онъ, если только у него есть хоть немного ума и эстетическаго чувства: читая повѣсть графа Соллогуба, каждый глубоко чувствуетъ, что изображаемые въ ней характеры и событія возможны и дѣйствительны, что они—вѣрная картина

дѣйствительности, какъ она есть, а не мечты о жизни, какъ она не бываетъ и быть не можетъ. Графъ Соллогубъ часто касается въ своихъ повѣстяхъ большого свѣта, но хотъ онъ и самъ принадлежитъ къ этому свѣту, однакожъ повѣсти его тѣмъ не менѣе — не хвалебные гимны, не апофеозы, а безпристрастно вѣрные изображенія и картины большого свѣта. Здѣсь кстати замѣтить, что страсть къ большому свѣту — что-то врождѣ болѣзни въ русскомъ обществѣ: всѣ наши сочинители такъ и рвутся изображать въ своихъ романахъ и повѣстяхъ большой свѣтъ. И, надо сказать, имъ усилія не остаются тщетными; въ повѣстяхъ графа Соллогуба только немногіе узнаютъ большой свѣтъ, а большая часть публики видитъ его въ романахъ и повѣстяхъ именно тѣхъ сочинителей, для которыхъ большой свѣтъ — истинная terra incognita, истинная Атлантида до открытія Америки Колумбомъ, и которые рисуютъ большой свѣтъ по своему идеалу, добродушно вѣруя въ сходство аляповатаго списка съ невиданнымъ оригиналомъ. Такъ, недавно въ одномъ журналѣ романъ «Два Призрака» торжественно объявленъ произведеніемъ челоуѣка, принадлежащаго къ большому свѣту и знающаго его. Всѣ толкуютъ о свѣтскости, — и пьеса Гоголя падаетъ на Александринскомъ театрѣ, а «Комедія о войнѣ Оеодосьи Сидоровны съ Китайцами» и «Русская Боярыня XVII столѣтія» возбуждаютъ фуроръ въ записныхъ посѣтителяхъ того же театра, — и все по причинѣ «свѣтскости». А между тѣмъ дѣло кажется такъ очевиднымъ: стоило бы только сравнить напр. повѣсти графа Соллогуба съ романами и повѣстями нашихъ «свѣтскихъ» сочинителей, чтобъ окончательно рѣшить вопросъ о дѣлѣ, къ которому такъ многіе и такъ напрасно считаютъ себя прикосновенными.

Простота и вѣрное чувство дѣйствительности составляютъ неотъемлемую принадлежность повѣстей графа Соллогуба. Въ этомъ отношеніи теперь, послѣ Гоголя, онъ — первый писатель въ современной русской литературѣ. Слабая же сторона его произведеній заключается въ отсутствіи личнаго (извините — субъективнаго) элемента, который бы все проникалъ и отгнѣялъ собой, чтобъ вѣрные изображенія дѣйствительности, кромѣ своей вѣрности, имѣли еще и достоинство идеальнаго содержанія. Графъ Соллогубъ, напротивъ, ограничивается одной вѣрностью дѣйствительности, оставаясь равнодушнымъ къ своимъ изображеніямъ, каковы бы они ни были, и какъ-будто находя, что такими они и должны быть. Это много вредить успѣху его произведеній, лишая ихъ сердечности и задушевности, какъ признаковъ горячихъ убѣжденій, глубокихъ вѣрованій.

Болѣе субъективности, но менѣе такта дѣйствительности, менѣе зрѣлости и крѣпости таланта, чѣмъ въ повѣстяхъ графа Соллогуба, видно въ повѣстяхъ Панаева. Вообще Панаевъ гораздо болѣе общается въ будущемъ, нежели сколько исполняетъ въ настоящемъ. Что-то нерушительное, колеблющееся и неустановившееся замѣтно и въ его созерцаніи, какъ идеальной сторонѣ его повѣстей, и въ ихъ практическомъ выполненіи; каждая новая повѣсть его далеко оставляетъ за собою всѣ прежнія: очевидное доказательство таланта замѣчательнаго, но еще не опредѣлишагося. Въ прошломъ году онъ напечаталъ только одну повѣсть «Актеонъ» въ «Отечественныхъ Запискахъ», которая возбуждала живѣйшее вниманіе и интересъ со стороны публики и далеко оставила за собой всѣ прежнія его повѣсти, такъ же, какъ и «Барыня», написанная имъ незадолго передъ «Актеономъ», далеко оставила за собой всѣ другія, прежде ея написанныя. Вѣроятно чувство своей неопредѣленности препятствуетъ Панаеву писать столько, сколько отъ его таланта вправѣ ожидать публики: въ такомъ случаѣ самый недостатокъ въ дѣятельности заслуживаетъ уваженія, какъ залогъ будущей многоплодной дѣятельности.

Три новыя повѣсти напечатаны въ прошломъ году даровитой и безвременно угасшей Ганъ (Зенендой Р-вой): «Напрасный Даръ» и «Любонька» въ «Отечественныхъ Запискахъ» и «Ложа въ Одесской Оперѣ» — въ «Дагеротипѣ». «Любонька» принята публикой съ восторгомъ, въ которомъ не должно мѣшать ей оставаться; «Напрасный Даръ», сверкающій искрами высокаго таланта, хотя и невыдержанный въ цѣломъ, восхитилъ только немногихъ: такова участь всѣхъ произведеній, въ которыхъ при блескахъ яркаго вдохновенія есть что-то недоговоренное, какъ бы неравное самому себѣ. Въ такомъ случаѣ чѣмъ сильнѣе и выше взмахъ, тѣмъ недоступнѣе для всѣхъ и каждого внутреннее значеніе произведенія: толпа видитъ одни внѣшніе недостатки... «Ложа въ Одесской Оперѣ» принадлежитъ къ самымъ слабымъ произведеніямъ Ганъ. Впрочемъ по выходѣ полнаго собранія ея сочиненій мы скоро будемъ имѣть случай подробно изложить наше мнѣніе объ этой необыкновенно даровитой писательницѣ.

Кукольникъ напечаталъ въ прошломъ году нѣсколько повѣстей, изъ которыхъ двѣ заслуживаютъ почетнаго упоминованія: «Благодѣтельный Андроникъ или романтическіе характеры стараго времени» (въ «Библиотекѣ для Чтенія») и «Позументы» (во II томѣ «Сказки за Сказкой»). Содержаніе обѣихъ этихъ повѣстей взято талантливымъ авторомъ изъ эпохи Петра Великаго. Мы

уже не разнѣли случай говорить о неподражаемомъ мастерствѣ, съ какимъ Кукольникъ изображаетъ въ своихъ повѣстяхъ нравы этого интереснѣйшаго момента русской исторіи и, вѣрные нашему правилу—*sui generis*, не разъ отдавали должную справедливость достоинству повѣстей Кукольника въ этомъ посчастливившемся ему родѣ. Еслибъ Кукольникъ издалъ отдѣльно эти повѣсти, разсѣянные въ журналахъ и альманахахъ,—они имѣли бы большой и притомъ заслуженный успѣхъ въ публикѣ. Не понимаемъ, что за охота ему, вмѣсто того, что такъ сродно его таланту, тратить время и бумагу на романы и повѣсти, въ которыхъ онъ изображаетъ страны, имъ невиданныя, и эпохи, знакомыя имъ только по изученію и какому-то отвлеченному представленію?...—Ужъ если писать романъ, не лучше ли писать его изъ временъ столь живо и ясно присутствующихъ въ созерцаніи автора.—Г. А. Н. (авторъ «Звѣзды» и «Цвѣтка») напечаталъ въ прошломъ году только одну повѣсть—«Живая картина» (въ «Отечественныхъ Запискахъ»), впрочемъ уступающую въ достоинствѣ прежнимъ его повѣстямъ.—Вальтманъ помѣстилъ въ «Библіотекѣ для Чтенія» весьма занимательный и живо написанный разсказъ «Каррьера», которому впрочемъ, какъ типическому очерку, приличіе было бы явиться въ «Нашихъ».—Казакъ Луганскій напечаталъ въ прошломъ году только одну повѣсть «Савелій Грабъ или Двойникъ» (во II томѣ «Сказки за Сказкой»); въ Библіографической Хроникѣ этой книжки читатели найдутъ нашъ отзывъ объ этой повѣсти.—Къ замѣчательнѣйшимъ повѣстямъ прошлаго года принадлежитъ повѣсть графа Растопчина «Охъ, Французы!» (въ «Отечественныхъ Запискахъ»). Въ этой повѣсти совсѣмъ нѣтъ никакихъ французовъ, но зато она сама есть вѣрное зеркало нравовъ старины и дышитъ умомъ и юморомъ того времени, котораго знаменитый авторъ былъ изъ самыхъ примѣчательнѣйшихъ представителей.—Юмористическія статьи, печатавшіяся въ «Нашихъ», всѣ болѣе или менѣе замѣчательны по ихъ стремленію—быть выраженіемъ дѣйствительности, а не пустыхъ фантазій.

Вотъ и полный бюджетъ всего, что было самаго замѣчательнаго по части повѣстей въ прошломъ году. Немного, очень немного, но, какъ сказалъ поэтъ:

Быть такъ—спасибо и за то!

Изъ сборниковъ самымъ примѣчательнѣйшимъ былъ «Утренняя Заря», альманахъ Владиславлева. «Утренняя Заря» на нынѣшній 1843 годъ по содержанію гораздо выше всѣхъ предшествовавшихъ годовъ. Еслибъ въ

этомъ альманахѣ была только одна статья покойнаго генерала М. Ѳ. Орлова «Капитуляція Парижа», а все остальное не превышало посредственности, — и тогда бы онъ былъ замѣчательнымъ явленіемъ; но въ «Утренней зарѣ», кромѣ превосходной во всѣхъ отношеніяхъ статьи М. Ѳ. Орлова, есть еще повѣсть графа Соллогуба, о которой мы говорили выше, большое стихотвореніе Лермонтова и два очень интересные разсказа Кукольника и Гребенки.—Третій томъ «Русской Бесѣды», вышедшій въ прошломъ году, не оправдалъ ожиданій публики: онъ состоялъ изъ разнаго хлама нѣкоторыхъ старыхъ и уже выписавшихся сочинителей, которые были рады куда-нибудь сбросить жалкіе плоды своихъ старыхъ досуговъ, и разнѣхъ новыхъ сочинителей, которые рады были, что наконецъ нашли пріютъ своимъ литературнымъ уродцамъ и недоноскамъ.—«Альманахъ въ память 200-лѣтняго юбилея Александровскаго университета» былъ изданъ по случаю и содержитъ въ себѣ нѣсколько интересныхъ статей, относящихся къ странѣ и событію, которое было причиной его появленія.

Роскошныя изданія болѣе и болѣе входятъ въ обычай въ нашей литературѣ. Успѣхъ «Нашихъ» возбудилъ и въ другихъ охоту издавать нѣчто въ томъ же родѣ, подъ названіемъ «Картинокъ Русскихъ Нравовъ», которыя, какъ красивенькія игрушки, имѣютъ свое достоинство, но какъ книги—никакого, ибо это сборъ или стараго, давно извѣстнаго, или новыя пустяки, на скорую руку намазаннныя для такого казуса. Успѣхъ изданной Семеновко-Крамаревскимъ «Исторіи Наполеона» съ политипажами картинъ Ораса Верне породилъ компиляцію Ламбина съ чудовищными политипажами работы плохихъ рисовальщиковъ, и «Исторію Суворова» Полевого — нѣчто вродѣ обыкновенной компиляціи съ посредственными по изобрѣтенію и довольно недурными по выполненію политипажами; и еще другую исторію Суворова, которая грозитъ скоро появиться... «Театральный Альбомъ»—истинно великолѣпное изданіе, имѣетъ свое значеніе и идетъ своимъ путемъ. Доселѣ вышло его два выпуска. «Константинополь и Турки» тоже принадлежитъ къ хорошимъ и полезнымъ изданіямъ съ картинками. «Картины Русской Живописи» представляютъ собой изданіе, заслуживающее вниманія и участія публики. Къ такого же рода изданіямъ должно отнести и «Архитектурныя Фантазіи» Шрейдера. Великолѣпное изданіе «Робинзона Крузо» Даніеля Дефо, съ рисунками Граввиля, въ переводѣ съ англійскаго Корсакова, принадлежитъ къ числу дѣйствительно роскошныхъ и полезныхъ книгъ.

Шумно затѣянный какими-то молодыми людьми переводъ всѣхъ сочиненій Гёте остановился на второмъ выпускѣ. Едва ли кто пожалѣетъ о прекращеніи этой дѣтской затѣи. Напротивъ, переводъ «Шекспира», предпринятый Кетчеромъ, хотя не быстро, но тѣмъ не менѣе прочно подвигается впередъ. Прошлый годъ оставилъ его на десятомъ выпускѣ. Драматическія хроника Шекспира уже кончены, и скоро появятся «Комедія Ошибокъ» и «Макбетъ». — Изъ отдѣльно вышедшихъ книгъ по части изящной словесности почти не о чемъ и упомянуть, кромѣ того, о чемъ мы уже говорили, приступая къ этому обзорѣ. Можно только вспомнить развѣ о второй части «Парижа въ 1836 и 1839 годахъ» В. Строева; впрочемъ эта вторая часть вышла вмѣстѣ съ первой, напечатанной въ 1841 году. — Неужели говорить о «Комарахъ», «о Снопахъ», «о Дагеротипахъ» и тому подобныхъ плеведахъ на полѣ русской литературы?... Если еще можно о чемъ упомянуть здѣсь кстати, такъ развѣ о «Драматическихъ Сочиненіяхъ и Переводахъ» Полевого, — и то для того только, чтобъ замѣтить, что наша драматическая литература составляетъ какую-то особую сферу внѣ русской литературы. Геній ея — Кукольникъ; ея первоклассные таланты — Полевой и Ободовскій; за ними идетъ уже мелочь....

Изъ отдѣльно вышедшихъ книгъ серьезнаго содержанія нельзя не упомянуть о слѣдующихъ: «Кесари» Шампаньи (Неронъ); «Римскіе Папы, ихъ церковь и государство въ XVI и XVII столѣтіяхъ» (послѣдняя изъ этихъ книгъ столь же дурно переведена, сколько первая хорошо); «Политическая и Военная Жизнь Наполеона» (часть 6 и послѣдняя); «Юридическія Записки» Рѣдкина (томъ II); «Всеобщая Географія» Вланка (томъ I, — переводъ небреженъ, изданіе неопрятно); «Сочиненія Платона» (томъ II); «Филологическія Наблюденія протоіерея Г. Павскаго надъ составомъ русскаго языка» (три части); «Замѣчанія объ Осадѣ Троицкой Лавры»; «Записки Данилова» (любопытнѣйшая картина нравовъ русскаго общества за сто лѣтъ передъ этимъ); «Записки Нашокина», изд. Языковымъ, съ примѣчаніями издателя; «Священная Исторія» (автора «путешествія ко Святымъ Мѣстамъ»); «Историческое Описаніе Одеждъ и Вооруженія Россійскихъ Войскъ» съ превосходно налитографированными рисунками — одно изъ тѣхъ монументальныхъ изданій, какія могутъ предприниматься, особенно у насъ, только развѣ правительствомъ. Текстъ этого превосходнаго творенія — трудъ Висковатого. Вышли вторымъ изданіемъ «Сказанія Князя Курбскаго». Пятое изданіе (компактное, въ 4 томахъ).

«Исторія Государства Россійскаго», предпринятое Эйнерлингомъ, было бы истиннымъ подвигомъ со стороны издателя, еслибъ дешевизна изданія соответствовала красотѣ, изяществу, удобству и полнотѣ.

Теперь слова два о журналахъ. Кромѣ исчисленныхъ выше сочиненій по части изящной словесности, въ «Отечественныхъ Запискахъ» были помѣщены еще слѣдующія: «Бѣснующіеся. Орлахская Крестьянка», князя Одоевскаго, помѣщающаго статьи свои подъ псевдонимомъ Безгласнаго; «Сеня», повѣсть Гребенки; «Ямщикъ, или Шалость Гусарскаго Офицера», драматическая картина въ одномъ дѣйствіи, графа Соллогуба. Изъ переводныхъ статей по части изящной словесности — романъ Диккенса «Бэрнеби Роджъ»; романъ Жоржъ Занда «Орасъ», повѣсть ея же «Мельхіоръ»; повѣсти и романы: Эли Берте «Соколы»; Фредерика Сулье «Маргарита»; Огюста Арну «Колесо Фортуны»; Артюра Дюдэ «Красная Звѣзда», и испанская драма, переведенная съ подлинника: «Никто, кромѣ Короля». По части наукъ и искусствъ публикой вѣроятно были замѣнены статьи: «Гёте» Липперта; «Коперникъ» Д. М. Перевопикова; «Система Желѣзныхъ Дорогъ въ Германіи» Фридриха Листа; «Изъ Записокъ Оренбургскаго Старожилы»; рассказъ и повѣствованіе, касающіеся Афганистана В. И. Даля; «Осада Силестрии въ 1828 году» и «Дунайская Экспедиція 1829 года» П. Н. Глѣбова; «Выставка Саввктпетербургской Академіи Художествъ въ 1842 году» В. П. Б — на; «Лѣченіе Болѣзней Искусствомъ и Натурой (-и — о-), и пр. По части домоводства, сельскаго хозяйства и промышленности вообще: статьи Пензенскаго Земледѣльца, статья Русскаго Помѣщика (XI книжка). «Замѣчанія на статью Хомякова: «О Сельскихъ Условіяхъ»; «О Пьянствѣ въ Россіи» Н. Б. Герсевича, и пр. Такъ какъ критическія статьи всегда бывають выраженіемъ мнѣнія самой редакціи, то мы можемъ назвать въ отдѣлѣ критики нашего журнала интересными статьями только статьи Герсевича и Мордвинова о Сибири, Галахова о грамматикахъ Перевлѣскаго, какъ доставленные въ редакцію отъ постороннихъ сотрудниковъ; а нѣкоторые изъ прочихъ почитаемъ себя вправѣ именовать, предоставляя самой публикѣ судить о ихъ достоинствахъ или недостаткахъ: «Русская Литература въ 1841 году», «Стихотворенія Аполлона Майкова», «Руководство къ «Всеобщей Исторіи Фридриха Лоренца», «Стихотворенія Полежаева», «Кесари Ф. де-Шампаньи», «Рѣчь о Критикѣ, профессора А. В. Никитенко» (три статьи), «Объясненіе на Объясненіе по поводу поэмы Гоголя «Мертвыя Души», «Стихотворенія Баратын-

скаго», и пр. Равнымъ образомъ мы имѣемъ право, не нарушая скромности, сказать, что Библиографическая Хроника въ «Отечественныхъ Запискахъ» всегда была живой современной хѣтописью русской литературы; въ ней не пропущено ни одной книги, изданной въ Россіи на русскомъ и иностранныхъ языкахъ, и потому полнотой она превосходить всѣ подобныя отдѣлы въ другихъ журналахъ. Въ отдѣлѣ «Иностранной Литературы» редакция всегда старалась представлять своимъ читателямъ по возможности полную картину современныхъ литературъ Франціи, Англіи и Германіи. Въ «Смѣси» читатели наши находили подробный отчетъ о русской драматической литературѣ и много интересныхъ оригинальныхъ статей, изъ которыхъ достаточно указать на рядъ статей подъ рубрикой «Поездка въ Китай», которыя будутъ продолжаться и въ нынѣшнемъ году.

Судить о духѣ и направленіи «Отечественныхъ Записокъ», характерѣ критики, сравнительно съ критикой другихъ журналовъ,—предоставляемъ публикѣ.

«Библиотека для Чтенія» дебютировала въ своей первой книжкѣ за прошлый годъ второй частью повѣсти барона Брамбеуса «Идеальная Красавица, или Дѣва Чудная», которой первая часть была напечатана въ послѣдней книжкѣ «Библиотеки для Чтенія» за 1841 годъ. При первой части было замѣчено, что повѣсть выйдетъ въ 1843 году вполнѣ и отдѣльно. Не знаемъ, съ нетерпѣніемъ ли ждетъ публика выхода окончанія «Дѣвы Чудной» или, подобно намъ, вовсе не ждетъ ея; но знаемъ, что повѣсть скучна и незанимательна, и что въ ней нѣтъ никакой повѣсти, есть только длинныя разглагольствованія о томъ, о семъ, а больше ни о чемъ. Кромѣ «Дѣвы Чудной» въ «Библиотеку для Чтенія» прошлаго года были напечатаны и еще двѣ повѣсти, тоже, кажется, барона Брамбеуса: «Паденіе Ширванскаго Царства» и «Лукій, или первая повѣсть». Первая очень потѣшна, а вторая—довольно неудачное искаженіе извѣстной сказки Апулея «Золотой Осель», переведенной по-русски Ермиломъ Костровымъ еще въ 1780 году подъ титуломъ: «Лудія Апулея платонической секты Философа превращеніе, или Золотой Осель. Перевелъ съ латинскаго Императорскаго Московскаго Университета бакалавръ Ермилъ Костровъ». Въ Москвѣ въ Университетской типографіи у Н. Новикова, 1780 года». Кромѣ этихъ повѣстей, «Дурочки Луизы», «Благодѣтельнаго Андроника» Кукольника и «Карьеры Вельтмана, въ «Библиотеку для Чтенія» прошлаго года находятся еще: «Три Жениха», итальянская повѣсть Каменскаго, «Закубанскій Харамазде», отрывокъ изъ ро-

Соч. Бѣлинскаго. Т. III.

мана псевдонима «Хамаръ-Дабанова», не лишенный нѣкотораго интереса, и «Мамзель Бабетъ и ея Альбомъ» С. Побѣдоносцева, тоже отрывокъ изъ большого сочиненія, но представляющій собой нѣчто цѣлое — родъ юмористическаго очерка, игриво написаннаго, которому настоящее мѣсто было бы въ «Нашихъ», ибо это совсѣмъ не повѣсть. Изъ отдѣла «Иностранной Словесности» въ «Библиотеку для Чтенія» замѣчательна драма Бернара фонъ-Бескова «Густавъ Адольфъ», переведенная съ шведскаго В. Дерикеромъ. Это одно изъ прекраснѣйшихъ, возвышеннѣйшихъ и благороднѣйшихъ созданій скандинавской музы, въ которомъ просто, но вѣрно и рельефно воспроизведенъ историческій образъ рыцарственнаго короля Швеціи—утѣшенія и чести человѣчества, славы и гордости XVII вѣка. Жалѣемъ, что время и мѣсто не позволяютъ намъ распространиться объ этомъ произведеніи. Чтoby познакомиться нѣсколько съ его духомъ и пафосомъ, выпишемъ нѣсколько строкъ. Оксеншерна отговариваетъ Густава-Адольфа отъ союза съ Франціей и вообще отъ вмѣшательства въ дѣла Германіи. «Теперь (говоритъ Оксеншерна) вся Германія пылаетъ, какъ Гекла, и выбрасываетъ раскаленные камни въ сосѣднія страны. Но большая часть этихъ изверженій все-таки падаетъ назадъ въ горящее жерло. Вулкана не погасишь; онъ самъ долженъ выгорѣть. Этого требуетъ природа». Густавъ-Адольфъ отвѣчаетъ своему министру и другу: «Но спасти изъ лавы, что возможно, велить человѣколюбіе. Землетрясеніе—біеніе сердца земли. Времена тоже страдаютъ этой болѣзнію. Цѣлыя поколѣнія гибнутъ для спасенія другихъ поколѣній. И когда въ эту бурю ударитъ священный набатъ, каждый, въ комъ есть благородное мужество, спѣшитъ въ бой за правое дѣло. Мы пойдемъ, будемъ биться, и если падемъ, то новая рать съ новыми знаменами пойдетъ по нашимъ трупамъ. Пусть человѣкъ умираетъ, но человѣчеству должно жить! Пусть сердце разрывается, но цѣль должна быть достигнута!» Превосходно изображено въ этой драмѣ мрачное лицо свирѣлаго и невѣжественнаго фанатика и великаго полководца—Тилли. Вообще публика должна быть вдвойнѣ благодарна Дерикеру—и за прекрасный переводъ, и за прекрасный выборъ такого освѣжающаго душу произведенія. — Изъ статей ученаго отдѣла въ «Библиотеку для Чтенія» не на что указать въ особенности. Статья «Жизнь Шиллера» была бы чрезвычайно интересна, ибо заимствована изъ прекрасно составленной книги Гофмейстера, обнимающей жизнь великаго германскаго поэта до самыхъ мелочныхъ и тѣмъ еще болѣе интересныхъ подробностей, но чего

можно ожидать и требовать отъ статьи въ два печатные листа, въ которую скомкано содержаніе огромныхъ четырехъ томовъ? Самое лучшее въ этой статьѣ—ея заглавіе, а сама статья—фальшивая тревога. Въ отдѣлѣ «Наукъ и Художествъ» помѣщена также статья Сѣнковского: «Сокъ достопримѣчательнаго. Записки Ресми-Ахмедъ Эфендія, турецкаго министра иностранныхъ дѣлъ, о сущности, началѣ и важнѣйшихъ событіяхъ войны, происходившей между Высокой Портой и Россіей отъ 1182 по 1190 годъ гиджры (1768—1776)». Мнѣніе объ этой статьѣ раздѣлено на двѣ крайности: одни думаютъ, что это—повѣсть, и притомъ фантастическая, во вкусѣ барона Брамбеуса; другіе убѣждены, что это—переводъ историческаго сочиненія съ турецкаго подлинника. Не зная турецкаго языка, мы не можемъ рѣшить вопроса и держимся середины, т. е. думаемъ, что это дѣйствительно переводъ съ историческаго сочиненія, но украшенный въ приличныхъ мѣстахъ Брамбеусовскимъ юморомъ, выдумками и шутками для красоты слогу. Статья «Александрійская Школа» интересна фактически, но лишена истиннаго взгляда на этотъ величайшій фактъ въ исторіи древняго міра. «Александрійская Школа»—это послѣдній плодъ философіи древняго міра, и ея исторія—исторія философіи древняго міра, а «Библіотека для Чтенія», какъ извѣстно всѣмъ, не любитъ, не знаетъ и не понимаетъ никакой философіи—ни древней, ни новой.—Прочія ученныя статьи въ «Библіотекѣ для Чтенія», каковы: «Лапласъ», «Вольтъ», «Тихонъ Браге», «Іоаннъ Кеплеръ» и т. п., которыми этотъ журналъ съ особеннымъ усердіемъ угощаетъ своихъ читателей, должны были бы давно уже выйти изъ моды, какъ бесполезныя и скучныя. Смѣшно и думать, чтобъ можно было слѣдить по журнальнымъ статьямъ за ходомъ такихъ наукъ, какъ математика, астрономія, физика, химія, физиологія, естествознаніе, особенно разсматриваемыя исключительно съ эмпирической точки зрѣнія. Чтобъ сдѣлать такую статью доступной для публики, читающей исключительно литературные журналы, надо устроить ее до такой степени, что въ ней не останется никакого ученаго содержанія; а изложить ее для ученыхъ—значитъ сдѣлать ее недоступной для публики: въ обоихъ случаяхъ выйдетъ много шума изъ пустяковъ. Для всякаго интересна біографія такого человѣка, какъ наприимѣръ Галилей; но въ ней великій ученый преимущественно долженъ быть изображенъ съ его нравственной стороны, какъ человѣкъ, какъ мученикъ знанія, дышавшій религіознымъ благоговѣніемъ къ святости истины, которая составляетъ предметъ науки. Такая біографія будетъ имѣть интересъ об-

щій, будетъ всѣмъ доступна и полезна. Біографія же, имѣющая предметомъ показать и оцѣнить ученныя заслуги великаго человѣка, можетъ имѣть мѣсто только въ спеціально-ученыхъ изданіяхъ, гдѣ нѣтъ нужды разжигать и ополчивать ихъ строго-ученаго содержанія. А вотъ такія статьи, гдѣ Сократъ представляется надувалою, по настоящему не должны бы имѣть мѣста ни въ какомъ журналѣ... О критикѣ «Библіотеки для Чтенія» нечего говорить: всѣмъ извѣстно, что это критика сухая, состоящая большей частью изъ выписокъ и притомъ занимающаяся книгами, которыя не могутъ возбуждать общаго интереса. Литературная Лѣтопись въ «Библіотекѣ» совсѣмъ было заснула, еслибъ ее не разбудили «Мертвыя Души»: тогда она проснулась, начала вопить, кричать; но въ «Отечественныхъ Запискахъ» въ отвѣтъ на эти крики была пропѣта такая пѣсенка, отъ которой Лѣтопись повидимому снова погрузилась въ летаргическій сонъ. «Смѣсь» въ «Библіотекѣ» попрежнему состояла изъ разныхъ переводныхъ статей, большей частью касающихся до разныхъ предметовъ физики, химіи, медицины и естествознанія.

Въ «Современникѣ» попрежнему помѣщались стихотворенія Баратынскаго, Языкова, кн. Вяземскаго, графини Растопчиной, Матлева, Айбулата и проч., и интересные рассказы и повѣсти Основьяненка, барона Корфа и другихъ; ученныя статьи Нейѣдомскаго, Петерсона, критика и бібліографія отличались попрежнему сжатой краткостью слога. Самыми замѣчательными статьями въ «Современникѣ» прошлаго года были «Хроника Русскаго въ Парижѣ», «Нибелунги», критика, «Мертвыя Души» и «Портретъ», повѣсть Гоголя

Въ «Москвитинѣ» бездна стиховъ: это оттого, что въ Москвѣ вообще много пишется стиховъ; а гдѣ пишутъ много стиховъ, тамъ почти совсѣмъ не пишутъ прозы или отдають ее въ петербургскіе журналы,—и потому въ «Москвитинѣ» почти совсѣмъ нѣтъ прозы. «Римъ» Гоголя попалъ въ этотъ журналъ не изъ Москвы, а изъ Рима. Кромѣ этой повѣсти въ «Москвитинѣ» есть еще: отрывокъ изъ «Мирошева», прибывшій въ Петербургъ вмѣстѣ съ цѣлымъ и отдѣльно вышедшимъ «Мирошевымъ»; «Сердечная Оксана», переводъ малороссійской повѣсти Основьяненка; «Мѣсяцъ въ Римѣ», изъ дорожныхъ записокъ Погодина, которыя всѣмъ доставили столько разнообразнаго удовольствія красотой слога, энергической краткостью выраженія и небывалой еще въ подлунномъ мірѣ оригинальностью мыслей; «Колпачизна и Степи», рассказъ Эдуарда Тартье, переведенный съ польскаго; «Черная Маска», повѣсть барона Розена; «Неаполь» (еще изъ

записокъ Погодина); «Вологда» (еще-таки изъ записокъ Погодина); «Одна изъ женщинъ XIX вѣка», повѣсть Б...; «Женщина, Поэтъ и Авторъ», отрывокъ изъ романа А. Зражевской. Это должно быть пріеинтересный романъ: въ немъ изображено высшее общество — дѣйствуютъ все князья и княжны, графы и графини; имена героевъ самыя романическія — Лировы, Альмскіе, Сенирскіе, Минвановы, Дибстровскіе, Пермскіе и т. п. Тутъ изображена «поэтка», выражающаяся языкомъ сочинительницы, которая пишетъ и читаетъ вслухъ впрочемъ довольно плохіе стихи. Жалѣемъ, что по недостатку мѣста не можемъ сдѣлать выписокъ изъ этого отрывка; зато, когда выйдетъ романъ, мы вдоволь насытимся этимъ удовольствіемъ. По отрывку видно, что такіе романы, послѣ дѣвицы Марьи Извѣковой, на Руси еще не было. Мы сказали, что прозы въ «Москвитянинѣ» мало, а сами выписали столько заглавій статей: это не покажется противорѣчіемъ для тѣхъ, кто читалъ эту коротенькую «прозу». Изъ ученыхъ статей въ «Москвитянинѣ» замѣчательна статья профессора Лунина: «Взглядъ на историографію древнѣйшихъ народовъ Востока». Критика «Москвитянина» составляетъ душу этого журнала и замѣчательна въ той же мѣрѣ, какъ и онъ самъ. Притомъ только критика да стихи и представляютъ собой литературную сторону «Москвитянина»; все остальное въ немъ какая-то пестрая смѣсь неважныхъ историческихъ матеріаловъ съ газетными извѣстіями. Изумительнѣе всѣхъ возможныхъ матеріаловъ — «Письма Пушкина къ Погодину» (№ 10 «Москвитянина»); мы думаемъ, прахъ Пушкина пошелъ великъ въ могилѣ отъ напечатанія въ журналѣ этихъ писемъ, писанныхъ совсѣмъ не для печати. Въ нихъ Пушкинъ увѣряетъ Погодина, что его «Марѳа Посадница» — великое Шекспировское произведеніе; это вѣрно иронія, которая непонята авторскимъ самолюбіемъ... «Москвитянинъ» взялъ на себя рѣшеніе важной задачи о самобытности русскаго развитія, мимо Запада, и вѣроятно рѣшить ее удовлетворительно и положительно въ нынѣшнемъ году, а въ прошломъ замѣтно только отрицательное рѣшеніе. Подождемъ. Богъ не безъ милости, а «Москвитянинъ» не безъ средствъ и не безъ охоты рѣшить всѣ интересные для себя вопросы.

О «Сынѣ Отечества» и «Русскомъ Вѣстникѣ» мы можемъ сказать только, что первый изъ этихъ журналовъ запоздалъ въ прошломъ году четырьмя книжками; а «Рус-

скій Вѣстникъ», запоздавшій въ 1841 году двумя книжками, въ прошломъ запоздалъ шестью, выдавъ въ одной книжкѣ 5 и 6 номера и помѣстивъ въ нихъ «Мать-Испанку», драму Полевого...

«Репертуаръ», по свидѣтельству собственныхъ опекуновъ своихъ, былъ такъ плохъ въ прошломъ году, что совершенно охладилъ къ себѣ публику. См. № 256 «Сѣверной Пчелы».

Кстати о «Сѣверной Пчелѣ»: она все та же, какой была и всегда, и потому, не желая повторять сказаннаго о ней въ прошлогоднемъ обзорѣ русской литературы, мы ни слова о ней не скажемъ. Лучше вмѣсто того пожелаемъ, чтобы преобразовываемый съ начала нынѣшняго года «Русскій Инвалидъ» былъ во всѣхъ отношеніяхъ настоящей официальной, политической и учено-литературной газетой, чего мы имѣемъ полное право надѣяться.

«Литературная Газета» была вѣрна своему назначенію. Представляя публикѣ повѣсти и рассказы, она исправно извѣщала ее обо всѣхъ литературныхъ и театральныхъ новостяхъ и разсуждала съ дамами о модахъ.

Новый дѣтскій журналъ «Звѣздочка», издаваемый Ишимовой, оправдалъ ожиданія публики и рекомендаціи другихъ журналовъ. Вѣрный своему назначенію, онъ представлялъ своимъ маленькимъ читателямъ сколько пріятное и разнообразное, столько и полезное чтеніе. Слогъ статей его не оставляетъ желать ничего лучшаго.

Можетъ быть многіе увидятъ противорѣчіе въ нашемъ воззрѣніи на русскую литературу въ послѣднее время съ отчетомъ о ея бюджетѣ за прошлый годъ, бѣдности котораго мы сами не скрываемъ. Для такихъ читателей замѣтимъ, что мы въ своемъ воззрѣніи руководствовались не числомъ, а качествомъ произведеній. Сущность и духъ литературы выражаются не во всѣхъ ея произведеніяхъ, а только въ избранныхъ. Пусть число этихъ «избранныхъ» будетъ невелико, но какъ они лучшія, то они и представители литературы. Когда литература умираетъ на своей засохшей почвѣ, тогда не можетъ явиться ни одного превосходнаго творенія, а прошлый годъ подарилъ насъ «Мертвыми Душами»... Притомъ же, если теперь и много представляется явленій посредственныхъ и плохихъ, то развѣ нельзя назвать успѣхомъ литературы и общественнаго вкуса то обстоятельство, что такія произведенія тотчасъ же оцѣниваются какъ слѣдуетъ и не пользуются никакимъ успѣхомъ?..

Русская литература въ 1843 году.

Литература наша находится теперь въ состояніи кризиса: это не подвержено никакому сомнію. По многимъ признакамъ замѣтно, что она наконецъ твердо рѣшилась или принять дѣльное направленіе и не даромъ называться «литературой», или—какъ говорить у Гоголя Иванъ Александровичъ Хлестаковъ—«смертью окончить жизнь свою». Последнее обстоятельство, прискорбное для всѣхъ, было бы очень герестно и для насъ, еслибъ мы не утѣшали себя мудрой и благородной поговоркой: «все или ничего!». Въ смиренномъ сознаніи дѣйствительной нищеты гораздо больше честности, благородства, ума и мужественнаго великодушія, чѣмъ въ дѣтскомъ тщеславіи и ребяческихъ восторгахъ отъ мнимаго, воображаемаго богатства. Изъ всѣхъ дурныхъ привычекъ, обличающихъ недостатокъ прочнаго образованія и излишество добродушнаго невѣжества, самая дурная—называть вещи не настоящими ихъ именами. Но слава Богу, наша литература теперь рѣшительно отстаетъ отъ этой дурной привычки, и если изъ кое-какихъ литературныхъ захолустій раздаются еще довольно часто самохвальные возгласы, публика знаетъ уже, что это не голосъ истины и любви, а вопли или литературнаго торгашества, которое жаждетъ прибытковъ на счетъ добродушныхъ читателей, или самолюбивой и задорной бездарности, которая въ лѣнности и апатіи, въ своемъ бездѣйствіи и своихъ мелочныхъ произведеніяхъ думаетъ видѣть неопровержимыя доказательства неисчерпаемаго богатства русской литературы. Да, публика уже знаетъ, что это торгашество и эта бездарность, по большей части соединяющіяся вмѣстѣ, спекулируютъ на ея любовь къ родному, къ русскому—и свои пошлыя произведенія называютъ «народными», сколько въ надеждѣ привлечь этимъ вниманіе простодушной толпы, столько и въ надеждѣ зажать ротъ неумолимой критикѣ, которая, признавая патріотизмъ святымъ и высокимъ чувствомъ, по этому самому съ большимъ ожесточеніемъ преслѣдуетъ лже-патріотизмъ, соединенный съ бездарностью. Публика знаетъ, что ей уже нечего искать въ романахъ и повѣстяхъ изъ русской исторіи или преданій старины, ибо она знаетъ, что русская исторія и русская старина сами по себѣ, а таланты нашихъ сочинителей и взглядъ ихъ на

вещи—сами по себѣ, и что русскій бытъ, историческій и частный, состоятъ не въ однихъ только русскихъ именахъ дѣйствующихъ лицъ, но въ особенностяхъ русской жизни, развившейся подъ неотразимымъ вліяніемъ мѣстности и исторіи,—такъ же, какъ патріотизмъ состоитъ не въ пышныхъ возгласахъ и общихъ мѣстахъ, но въ горячемъ чувствѣ любви къ родинѣ, которое умѣетъ высказаться безъ восклицаній и обнаруживается не въ одномъ восторгѣ отъ хорошаго, но и въ болѣзненной враждебности къ дурному, неизбѣжно бывающему во всякой землѣ, слѣдовательно во всякомъ отечествѣ. Больше же всего и яснѣе всего публика сознаетъ, что ей нечего читать, не смотря на возстаніе и воздвиженіе разныхъ непризнанныхъ оживителей и воскрешателей русской литературы и не смотря на громкіе возгласы ихъ хвалителей. Это истина неоспоримая. Книгопродавцы то и дѣло выпускаютъ въ свѣтъ объявленія о новыхъ книгахъ, которыя они издали и которыя они намѣрены издать,—объявленія, печатаемые на листахъ чудовищной величины, гигантскимъ и мелкимъ шрифтомъ, безъ политипажей и съ политипажамъ и съ великоколѣпными похвалами этимъ книгамъ, написанными книгопродавческимъ слоугомъ; возвышаемыя книги дѣйствительно выходятъ въ свѣтъ и продаются по объявленнымъ цѣнамъ, а читателямъ отъ этого не легче, потому что читать все-таки нечего! Библіографы и рецензенты въ отчаяніи: имъ совсѣмъ нѣтъ работы, нечего разбирать, не надъ чѣмъ потрунить, да нечего и похвалить; въ беллетристическихъ книгахъ картинки хороши или сносны, а текстъ плосокъ до того, что не за что зацѣпиться; потомъ большая часть книгъ все учебники, изрѣдка хорошіе, но чаще невинные и въ добрѣ, и злѣ. Отдѣлъ бібліографіи въ журналахъ со дня на день теряетъ свою занимательность въ глазахъ публики, которая всегда читала рецензію съ большей жадностью, большимъ вниманіемъ и большимъ удовольствіемъ, чѣмъ самую книгу, на которую написана рецензія. Журналы также въ отчаяніи; имъ остается разбирать только другъ друга: занятіе невинное и забавное, которое впрочемъ едва ли можетъ занять публику больше преферанса и домашнихъ сплетней!

Куда же дѣвались наши книги? гдѣ же

наша литература? «Да ихъ поглотили толстые журналы!» кричатъ со всѣхъ сторонъ. «Какихъ книгъ, какой литературы хотите вы, если любая книжка толстаго журнала въ состояніи поглотить въ себѣ литературный бюджетъ цѣлаго года?» А, вотъ въ чемъ зло: толстые журналы виноваты! Но сколько же у насъ издается толстыхъ журналовъ?— Два: «Отечественныя Записки» и «Библиотека для Чтенія». Попробуемъ провѣрить фактически справедливость этого умозрительнаго обвиненія.

«Отечественныя Записки» состоятъ изъ восьми отдѣловъ, изъ которыхъ цѣлые пять совершенно невинны въ поглощеніи русскихъ книгъ: мы говоримъ объ отдѣлахъ Современной Хроники Россіи, Критики, Библиографической хроники, Иностранной Литературы и Смѣси, въ которые никоимъ образомъ не могутъ войти статьи въ книгу величинной или статьи, которыя могли бы быть изданы отдѣльно и не были рождены срочной и дневной потребностью журнала. Въ отдѣлы: Наукъ и Художествъ и Домоводства, Сельскаго Хозяйства и Промышленности вообще иногда входятъ статьи до того огромныя, что могли бы составить порядочной величины книгу: таковы были въ отдѣлѣ Наукъ и Художествъ «Отечественныхъ Записокъ» 1841 года статьи: «Альбигойцы и крестовые противъ нихъ походы», «Греція въ нынѣшнемъ своемъ состояніи» (1841), «Гёте» (1842), «Средняя Азія по повѣстьямъ источниковъ Гумбольдта» (1843) и др., и въ отдѣлѣ Домоводства, Сельскаго Хозяйства и Промышленности вообще «Отечественныхъ Записокъ» 1842 года огромная статья Сабурова «Записки Пензенскаго Земледѣльца о теоріи и практикѣ сельскаго хозяйства». Каждая изъ этихъ статей есть большая книга; но, во-первыхъ, такихъ большихъ статей немного бываетъ въ журналахъ, а во-вторыхъ, онѣ своимъ появленіемъ въ печати обязаны только журналу. Упомянутыя статьи въ отдѣлѣ «Наукъ» — переводныя или сокращенныя изъ нѣсколькихъ книгъ, изданныхъ на иностранныхъ языкахъ: «Отечественныя Записки» никому не помѣшали бы перевести или составить ихъ и издать въ свѣтъ, тѣмъ болѣе что нѣкоторыя изъ этихъ сочиненій изданы были въ подлинникѣ нѣсколько лѣтъ назадъ, — и однакожь никто и не подумалъ приняться за нихъ. А почему?— Да потому, что въ журналѣ ихъ прочли всѣ читающіе журналь, а явившись они отдѣльной книгой, то переводчикъ или составитель остался бы познанагражденнымъ, издатель въ убыткѣ, и прекрасное сочиненіе было бы прочтано много-много нѣсколькими десятками людей; для большинства же публики они

остались бы вовсе неизвѣстными. И мало ли на французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ хорошихъ историческихъ сочиненій, которыя соединяютъ въ себѣ ученость содержанія съ популярностью изложенія? Кто же мѣшаетъ ихъ кому-нибудь переводить и издавать? Неужели толстые журналы? Вѣдь они, кажется, не пользуются правомъ монополіи касательно переводовъ иностранныхъ сочиненій? Притомъ же всѣ наши журналы безъ исключенія грѣхъ обвинить въ скорости и поспѣшности, съ которой они представляли бы въ переводахъ своимъ читателямъ новыя учено-популярныя иностранныя сочиненія, и которая препятствовала бы кому-нибудь переводить и издавать ихъ отдѣльно. Что же касается до статьи Сабурова, то и ей ничто не мѣшало явиться отдѣльной книгой, кромѣ развѣ естественнаго для книги желанія быть прочитанной не ограниченнымъ числомъ присажныхъ любителей книгъ такого содержанія, а цѣлой публикой... Теперь остается одинъ отдѣлъ, на который въ особенности должно падать обвиненіе въ поглощеніи книгъ и литературы: это отдѣлъ Словесности, гдѣ помѣщаются стихотворенія, повѣсти и другія беллетристическія статьи. Но, во-первыхъ, стихотвореній въ нынѣшнихъ журналахъ, и толстыхъ, и тонкихъ, печатается немного, потому что посредственныхъ никто не хочетъ читать, хорошія же рѣдки, а превосходныхъ послѣ Лермонтова уже никто не пишетъ; во-вторыхъ, въ отдѣлѣ словесности помѣщаются не одни русскіе повѣсти и романы, но и переводные, и самые большіе всегда бывають переводные; въ-третьихъ, ни тѣмъ, ни другимъ никто не мѣшалъ бы являться отдѣльными книгами, еслибъ они сами этого захотѣли, ибо, повторяемъ, толстые журналы не пользуются правомъ монополіи для печатанія оригинальныхъ и переводныхъ романовъ и повѣстей.

Все сказанное объ «Отечественныхъ Запискахъ» можно приложить и къ «Библиотецѣ для Чтенія»: слишкомъ большія статьи и въ ней помѣщаются изрѣдка, въ отдѣлахъ Наукъ и Художествъ и Промышленности и Сельскаго Хозяйства, — чаще въ отдѣлѣ Русской Словесности и очень часто въ отдѣлѣ Словесности Иностранной, гдѣ передѣляются на русскій языкъ иностранныя повѣсти и романы.

Многочисленны же должны быть русскія книги и богата же должна быть русская литература, если онѣ цѣликомъ поглощаются тремя отдѣлами двухъ журналовъ, — тремя отдѣлами, состоящими на половину изъ переводныхъ статей!..

Однако-жь, скажутъ намъ, до существованія толстыхъ журналовъ книгъ выходило гораздо больше!..

Это справедливо; но причина этого не въ толстыхъ и не въ тонкихъ журналахъ. Для книгъ ученаго содержанія у насъ нѣтъ еще публики, и наши ученые, еслибъ они много писали и много издавали, дѣлали бы это для собственнаго удовольствія и сами были бы и читателями, и покупателями собственныхъ своихъ книгъ. Это фактъ, противъ очевидной дѣйствительности котораго не устоятъ никакіе фразы и возгласы, какъ бы ни были они великолѣпны. Ученая литература наша всегда была до того бѣдна, что странно было бы и называть ее литературой, какъ странно называть библіотекой шкафъ съ нѣсколькими десятками разрозненныхъ книгъ. Но прежде ученыхъ книгъ выходило еще меньше, чѣмъ теперь. И все лучшее по этой части является теперь только или черезъ прямое посредство правительства, или подъ его покровительствомъ, особенно книги спеціальнаго содержанія, какъ-то: историческіе акты, сочиненія по части статистики, по части инженерной, горной и т. п. Сочиненія медицинскія болѣе независимы, и потому врачебная литература, въ сравненіи съ другими, болѣе богата, ибо въ значительномъ (по числу своему) сословіи врачей все же есть люди, болѣе или менѣе слѣдящіе за ходомъ науки, которая по крайней мѣрѣ даетъ имъ хлѣбъ. Учебныя книги у насъ можно издавать только при условіи, чтобъ онѣ были приняты въ руководство въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Въ послѣднее время учебная литература обогатилась многими хорошими книгами, изъ которыхъ первое мѣсто по достоинству занимаютъ руководства, изданныя для военно-учебныхъ заведеній. Итакъ, при всей бѣдности ученой и учебной литературы настоящее время все-таки имѣетъ большое преимущество предъ прежнимъ, когда исторіи Кайданова, географіи Зябловскаго, грамматикѣ Греча и риторикѣ Толмачева и Кошанскаго считались отличными учебниками. Что касается до собственно беллетристической литературы или, какъ ее называютъ иначе, — изящной словесности, въ прежнее время, т. е. отъ двадцатыхъ до сороковыхъ годовъ, она казалась столь же богатой и процвѣтающей, сколь теперь кажется бѣдной и увядающей. Но если она казалась богатой, изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ она и была богата въ самомъ дѣлѣ. Въ двадцатыхъ годахъ публика была въ восторгѣ отъ избытка литературныхъ сокровищъ. Но въ чемъ состояли эти сокровища? Въ крошечныхъ альманахахъ, наполненныхъ крошечными отрывками изъ крошечныхъ поэмъ, крошечныхъ драмъ, крошечныхъ повѣстей, которыми большей частью никогда не суждено было явиться вполнѣ, т. е. съ началомъ и концомъ. Вспомните, сколько, бывало, шума

и радости производило появленіе «Сѣверныхъ Цвѣтовъ»? А что было въ нихъ? Двѣ-три новыя пьесы Пушкина или Жуковскаго, которыя конечно были бы всегда драгоценными перлами во всякаго рода изданіяхъ; но вмѣстѣ съ ними съ восторгомъ, равно дѣтскимъ, читались, перечитывались, учились наизусть и переписывались въ тетрадки стихотворенія и другихъ поэтовъ, изъ которыхъ одни были точно съ замѣчательными талантами, а другіе вовсе безъ таланта, владѣя гладкимъ стихомъ и модной манерой выражать бывшія тогда въ модѣ чувства унынія, грусти, лѣни, разочарованія и тому подобное. Сверхъ того въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» были литературныя обзоренія Сомова, аллегорія Ѳ. Глинки, даже статьи Владиміра Измайлова. Въ наше время такіе альманахи ужъ невозможны: и самыя стихотворенія Пушкина или Лермонтова не заставили бы никого заплатить десять рублей за маленькую книжечку, въ которой, за исключеніемъ трехъ-четырехъ превосходныхъ стихотвореній, все остальное — или посредственность, или просто вздоръ. Мы не говоримъ о другихъ альманахахъ, потянувшихся длинной вереницей за «Сѣверными Цвѣтами», какъ-то: «Ураніи», «Сѣверной Лирѣ», «Невскомъ Альманахѣ», «Сириусѣ», «Царскомъ Селѣ» и многомъ множествѣ другихъ. Что же выходило тогда кромѣ альманаховъ? — Поэмки въ стихахъ, которыхъ теперь и названій нельзя вспомнить, равно какъ и именъ ихъ сочинителей; разныя драматическія произведенія, теперь забытыя вмѣстѣ съ именами ихъ производителей, да еще безобразныя и чудовищныя переводы поэмъ и романовъ Вальтеръ-Скотта вмѣстѣ съ глупыми романами виконта Дарленкура... Въ такомъ положеніи была наша литература отъ начала такъ называемаго романтизма до 1829 года. Лучшія и многочисленнѣйшія статьи въ тогдашнихъ журналахъ, преимущественно въ «Московскомъ Телеграфѣ», были переводныя, а оригинальныя большей частью состояли изъ отрывковъ. Стихи преобладали тогда надъ прозой и наводили журналы и альманахи; въ то же время стихи издавались и отдѣльными книжками, то подъ именемъ «поэмъ», то подъ именемъ «собраній сочиненій» такого-то. И, не смотря на то, изъ замѣчательныхъ поэтовъ никто не былъ изданъ въ то время. «Горѣ отъ Ума» ходило въ рукописи по всѣмъ краямъ обширнаго русскаго царства. Стихотвореній Пушкина была издана только небольшая книжка въ 1826 году. Настоящее изданіе собранія сочиненій Пушкина началось уже съ 1829 года. Сочиненія наиболѣе уважавшихся поэтовъ того времени, какъ-то: Варагянскаго, Веневитинова, Языкова, Подолинскаго, Козлова, Давыдова, Дельвига, Полежаева,

были изданы уже въ тридцатыхъ годахъ *). Итакъ, гдѣ же это богатство книжной производительности двадцатыхъ годовъ, которое уличило бы наше время въ литературной бѣдности? Это богатство было мнимое, призрачное; оно заключалось въ новизнѣ, которая добродушно принималась въ то время за гениальность, въ отрывкахъ, которые считались за цѣлыя великія творенія на честное слово сочинителей, — въ потоки стиховъ, которые, благодаря гладкости, сладостной лѣнии и унылому раздумью, принимались за поэзію. И это множество стиховъ являлось не оттого, чтобы поэты того времени писали много, но оттого, что слишкомъ много поэтовъ писало въ то время. Десять тысячъ стихотворцевъ, написавъ каждый по десятку стихотвореній, подарятъ свѣтъ такой громадой стиховъ, въ сравненіи съ которой полное собраніе сочиненій такихъ плодовитыхъ поэтовъ, какъ Байронъ, Гёте, Шиллеръ, будетъ небольшая книжечка. Нашихъ поэтовъ грѣхъ обвинять въ плодовитости: это грѣхъ, въ которомъ они рѣшительно невинны. Самъ Пушкинъ, дѣятѣльнѣйшій и плодовитѣйшій изъ всѣхъ русскихъ поэтовъ, писалъ слишкомъ мало и слишкомъ лѣниво въ сравненіи съ великими европейскими поэтами. Но это конечно была не его вина: наша дѣйствительность не слишкомъ богата поэтическими элементами и немного можетъ дать содержанія для вдохновенія поэта, — такъ же, какъ нашъ плоскій материкъ, заслоненный сѣрымъ и сырымъ небомъ, не много можетъ дать видовъ для пейзажнаго живописца. Пушкинъ впрочемъ взялъ все, что могъ взять. Но что сдѣлали другіе поэты, выйдя съ нимъ выпешіе на литературное поприще? Одинъ изъ нихъ представилъ публикѣ собраніе многолѣтнихъ поэтическихъ трудовъ въ двухъ томикахъ, другіе — въ одномъ миниатюрномъ томикѣ. Зато всѣ они были изданы очень красиво и съ большими пробѣлами. Скажутъ: «но вѣдь достоинство поэта измѣряется качествомъ, а не количествомъ написаннаго имъ». Иногда и чаще всего — тѣмъ и другимъ, отвечаемъ мы. Источникъ поэтической дѣятельности есть творческая натура, — и чѣмъ болѣе одаренъ поэтъ творческой силой, тѣмъ естественнѣе онъ дѣятельнѣе, подобно пароходу, который тѣмъ быстрѣ летитъ, чѣмъ огромнѣе его машина и чѣмъ жарче она топится. Немощность и разнообразіе всякой поэзіи зависать отъ объема ея содержанія, и чѣмъ глубже, шире, универсальнѣе идеи, одушевляющія поэта и составляющія паеосъ его жизни, тѣмъ естественнѣе разнообразіе и многочисленіе его произведенія: тучная,

богатая растительными силами почва не истощается одной богатой жатвой, а сухая и песчаная не даетъ и одной порядочной жатвы. Если поэтъ мало писалъ — значитъ, ему было не о чемъ болѣе писать, потому что вдохновлявшей его идеи по ея поверхности и мелкости едва стало на два, на три десятка болѣе или менѣе однообразныхъ, хотя въ то же время болѣе или менѣе и прекрасныхъ песенокъ. Вотъ почему, когда иной знаменитый поэтъ нашъ соберется наконецъ издать собраніе своихъ стихотвореній, всѣмъ извѣстныхъ прежде изъ журналовъ и альманаховъ, то очень должно остерегаться читать тѣ его стихотворенія, которыя послѣ изданія этого сборника будутъ онъ изрѣдка печатать въ журналахъ. Причина очевидна: наши поэты болѣею частью издають собранія своихъ поэтическихъ трудовъ, какъ памятники, дорогіе ихъ сердцу, лучшихъ дней ихъ жизни, когда они любили и мечтали. Но когда человѣкъ перестаетъ мечтать, истративъ на мечты лучшую половину своей жизни, въ которую слѣдовало бы мыслить, и когда волей или неволей сходитъ и мирится онъ съ пошлой дѣйствительностью, за незнаніемъ разумной дѣйствительности, открывающейся только мысли и сознанію, а не чувствамъ и мечтамъ, — тогда талантъ оставляетъ его, и въ такомъ случаѣ всего лучше потропиться ему издать свои сочиненія. Жаль только, что эти счастливыя дѣти своего времени въ сборникѣ часто являются гостями, опоздавшими на пиръ и пришедшими въ старомодныхъ костюмахъ: они бывають непріятно поражены холоднымъ пріемомъ даже со стороны тѣхъ самыхъ людей, которые пять-шесть лѣтъ назадъ были отъ нихъ въ восторгѣ...

Но обратимся къ двадцатымъ годамъ русской литературы. Въ это ультра-романтическое и ультра-стихотворное время проза была въ самомъ жалкомъ состояніи. Пушкинъ почти ничего не писалъ прозой. Нѣсколько статей Веневитинова принадлежатъ къ прозѣ теоретической, а не поэтической, а въ этомъ родѣ прозы было кое-что болѣе или менѣе замѣчательное. Кромѣ мыслящихъ статей Веневитинова, въ сферѣ поэтической прозы отличались тогда трескуція эффектами и фразой повѣсти Марлинскаго и приводили добродушную публику въ неописанный восторгъ. Чтобы нѣсколькими словами охарактеризовать бѣдность изыскавъ прозы того времени, стоитъ только замѣтить, что даже и повѣсти одного московскаго ученаго, совершенно лишенные фантазіи, нищія талантомъ, богатныя чорствой сухостью чувства и грубымъ цинизмомъ понятій и выраженій, многимъ и очень многимъ нравились, хотя тогда же многіе смѣялись надъ этими жалкими порожденіями незаконныхъ притязаній на талантъ

*) За исключеніемъ только первой части сочиненій Веневитинова, изданной въ 1829 году.

и поэзію. Послѣ этого удивительно ли, что для большинства того времени дивомъ-давленнымъ казались повѣсти Полевого, чужды всякаго творчества, но не чужды нѣкоторой изобрѣтательности, бѣдные чувствомъ, но богатые чувствительностью, лишенные идеи, но достаточно напигованные высшими взглядами,—повѣсти, представлявшія вмѣсто характеровъ образы безъ лицъ, т. е. неопредѣленные полумысли автора,—повѣсти, не щеголявшія слогомъ, но ловко владѣвшія фразой и не безъ основанія претендовавшія на нѣкоторое достоинство разсказа, обличавшее въ авторѣ литературное образованіе и навыкъ,—повѣсти, невинныя въ какомъ бы то ни было тактѣ дѣйствительности и способности хотя приблизительно понимать дѣйствительность, но очень и очень виновныя въ мечтательности и натянутахъ, приторномъ абстрактномъ идеализмѣ, который презираетъ землю и матерію, пытается воздухомъ и высокопарными фразами и стремится все «туда» (dahin!)—въ эту чудную страну праздношатающагося воображенія, въ эту вѣчную Атлантиду себялюбивыхъ мечтателей?.. Удивительно ли, что и люди, не принадлежавшіе къ большинству, считали эти повѣсти за весьма пріятное явленіе въ русской литературѣ? Вѣдь тогда еще не было ни «Пиковой Дамы», ни «Капитанской Дочки» Пушкина, ни повѣстей Гоголя, ни «Героя нашего времени» Лермонтова...

Впрочемъ Погодинъ и Полевой слишкомъ много писали повѣстей только съ 1829 года. Этотъ годъ былъ довольно замѣтнымъ поворотомъ отъ стиховъ къ прозѣ, и нельзя не согласиться, что, считая отъ этого времени до 1836 года, литература наша была болѣе оживлена и болѣе богата книгами, чѣмъ прежде и послѣ того. Въ этотъ промежутокъ времени появились «Вечера на Хуторѣ близъ Диканьки», «Арабески», «Миргородъ» и «Ревизоръ» Гоголя, и самъ Пушкинъ началъ обращаться къ прозѣ, напечатать лучшія свои повѣсти — «Пиковую Даму» и «Капитанскую Дочку». Этого уже слишкомъ довольно, чтобъ не только считать это время богатымъ и обильнымъ литературными произведеніями, но и видѣть въ немъ новую, прекрасную эпоху русской литературы. Числительное богатство книгъ и обиліе литературныхъ новинокъ было еще значительнѣе. Въ 1829 году Ѳ. Булгаринъ издалъ своего «Выжигина», а въ слѣдующемъ году—«Дмитрія Самозванца». Первый изъ этихъ романовъ имѣлъ большой успѣхъ; онъ въ короткое время былъ весь раскупленъ и особенно понравился низшимъ слоямъ читающей публики, которые, повѣривъ на слово сочинителю, не затруднились увидѣть въ его безличныхъ изображеніяхъ вѣрную картину со-

временной русской дѣйствительности. Очевидно, что въ это невинное заблужденіе ввели ихъ русскія имена дѣйствующихъ лицъ въ «Выжигинѣ», названія русскихъ городовъ и областей, а главное—запутанныя и неестественныя похожденія продуманнаго героя романа. Добряки не замѣтили, что все это—старыя погудки на новый ладъ, какъ говорить пословица, т. е. Дюкре-дю-Менилевскія романтическія пружины съ Сумароковскими нападками на лихоимство и мошенничество. При этомъ не должно забывать, что первыя попытки въ новомъ родѣ всегда принимаются хорошо. Публикѣ того времени показался новостью романъ съ русскими именами. Она забыла, что какой-то А. Измайлловъ въ этомъ отношеніи предупредилъ Ѳ. Булгарина цѣлыми тридцатью годами, ибо въ его романѣ «Евгеній, или пагубныя слѣдствія дурного воспитанія и общества», изданномъ въ 1799 году, дѣйствіе происходитъ въ Россіи, и герой романа называется Евгеніемъ—имя столь же русское, сколько и иностранное. Фамилія Евгенія—Негодяевъ, фамиліи прочихъ дѣйствующихъ лицъ романа: Лице-мѣрка, Вѣтровъ, Тысячниковъ, Бездѣльниковъ, Простаковъ, коллежскій ассесоръ Назарій Антоновичъ Миловзоровъ, Воробъ, Подьянковъ, Развратинъ и пр. Вѣроятно эти остроумно придуманныя А. Измайловымъ русскія фамиліи и подали Ѳ. Булгарину счастливую мысль назвать героевъ своего романа Вороватыными, Ножовыми и пр. Это обстоятельство также доставило «Выжигину» значительный успѣхъ. Впрочемъ «Выжигинъ», изобрѣтательностью, манерой, яркимъ изображеніемъ характеровъ, движеніемъ сердца человѣческаго и нравственно-сатирическимъ направленіемъ живо напоминавшій собой «Евгенія» А. Измайлова, далеко превзошелъ его въ правильности языка, хотя и уступилъ ему въ живости разсказа. Публика того времени по свойственной ей забывчивости не догадалась также, что Ѳ. Булгаринъ предупрежденъ былъ, какъ романистъ, писателемъ новымъ и даровитымъ, и что въ 1824 году вышелъ «Бурсакъ», а въ 1825—«Два Ивана, или страсть къ тяжбамъ» Нарѣжнаго. Эти два замѣчательныя произведенія были первыми русскими романами. Они явились въ такое время, когда еще публика не была въ состояніи оцѣнить ихъ, и лучшіе юмористическіе очерки характеровъ и сценъ простонароднаго быта назвала сальностями, а немножко таланта увидѣла въ романической развязкѣ «Бурсака». Все это было съ руки Ѳ. Булгарину и помогло ему прослыть первымъ романистомъ на Руси. Однакожь его «Дмитрій Самозванецъ» оборвался: его убилъ успѣхъ «Юрія Милославскаго», вышедшаго въ свѣтъ нѣсколькими недѣлями

прежде «Самозванца», который безъ этого прискорбнаго для него обстоятельства безъ сомнѣнія получилъ бы еще большій успѣхъ, чѣмъ «Выжигинъ». Последующіе романы Ѳ. Булгарина уже имѣли самый посредственный успѣхъ, и то благодаря только овладѣвшей публикой страсти къ романамъ, которая тогда смѣнила ея страсть къ стихамъ. «Петръ Ивановичъ Выжигинъ» имѣлъ несчастье столкнуться съ «Рославлевымъ»; несмотря на слабость второго романа Загоскина, онъ былъ все-таки неизмѣримо выше «Петра Ивановича Выжигина», хотя въ этомъ романѣ выведенъ и самъ Наполеонъ, къ несчастью обрисованный столь неудачно, что его такъ же трудно отличить отъ Петра Ивановича Выжигина, какъ и Петра Ивановича Выжигина отъ Наполеона. Четвертый романъ Ѳ. Булгарина «Мазепа» упалъ рѣшительно, несмотря на искusstную и усердную поддержку со стороны «Библиотеки для Чтенія»; публика уже не хотѣла читать повторенія того, что уже надѣло ей въ прежнихъ романахъ Ѳ. Булгарина. Еще менѣе замѣтила и оцѣнила она неподражаемый юморъ этого нравственно-сатирическаго сочинителя, разлитый въ его «Запискахъ Титулярнаго Совѣтника Чухина»; это было полнымъ паденіемъ — *chûte complète*! Мода на романы такъ была сильна, т. е. романы такъ хорошо расходились въ то время, что даже сочинитель множества грамматикъ, прочитавшій, по словамъ «Библиотеки для Чтенія», въ корректурѣ всю русскую литературу, Н. Гречъ—издалъ довольно длинную и сообразно съ тѣмъ довольно скучную повѣсть—«Повѣдка въ Германію» и потомъ длинный романъ, начиненный разными чудесами на манеръ Анны Радклеифъ—«Черная Женщина». Сильный въ то время на поприщѣ журналистики баронъ Брамбеусъ сдѣлалъ искусной и усердной рецензіей, наполненной разсужденіями о магнетизмѣ, дать ходъ первому изданію «Черной Женщины», ставилъ ее выше романовъ Вальтеръ-Скотта и считалъ за счастье, по собственнымъ словамъ его, бѣжать за колесницей триумфатора, т. е. Греча. Такова была тогда романоманія, что все сходило съ рукъ благополучно, и всякая сказка давала болѣе или менѣе вѣрный барышъ! Но второе изданіе «Черной Женщины», поступившее въ составъ вышедшихъ въ 1838 году въ пяти частяхъ «Сочиненій Николая Греча», потонуло въ Леть вмѣстѣ со всѣми пятью частями этихъ сочиненій.

Послѣ романовъ Ѳ. Булгарина намъ тотчасъ же слѣдовало бы говорить о судьбѣ романовъ Загоскина, которые начинали являться послѣ «Выжигина» и убили на похватъ всѣ романы Ѳ. Булгарина; но послѣ имени Ѳ. Булгарина какъ-то невольно ло-

жится подъ перо имя Н. Греча, да и романы обоихъ этихъ сочинителей похожи другъ на друга, какъ дѣти одного отца, отличааясь мертвой правильностью и грамматической чистотой языка при отсутствіи всякихъ другихъ качествъ. «Юрій Милославскій» былъ въ свое время, безъ всякаго сомнѣнія, приятнымъ и замѣчательнымъ литературнымъ явленіемъ. Его дѣйствующія лица не только носятъ русскія имена, но и говорятъ русской рѣчью и даже чувствуютъ и мыслятъ по-русски, что было въ то время совершенно новымъ явленіемъ въ русской литературѣ. Присовокупите къ этому добродушное увлеченіе автора, мѣстами очень похожее если не на вдохновеніе, то на одушевленіе, разсказъ плавный, не натянутый, языкъ не всегда правильный, какъ у Ѳ. Булгарина и Н. Греча, но всегда живой,—и вы поймете причину чрезвычайнаго успѣха этого романа. «Загоскинъ радушно, отъ души, со всѣмъ хлѣбосольствомъ старыхъ временъ угостилъ русскую публику своимъ «Юріемъ Милославскимъ». Но этимъ все и оканчивается. Историческаго въ этомъ романѣ нѣтъ ничего: всѣ лица его списаны съ простолюдиновъ нашего времени. Характеры, завязка и развязка романа—все обнаруживаетъ въ авторѣ русскаго драматическаго писателя, навѣяшаго поддѣльную сценическую дѣйствительность почитать за зеркало настоящей русской жизни. Въ 1612 годъ онъ перенесъ отдѣльныя сцены 1812 года, подмѣченныя имъ въ деревняхъ,—и былъ убѣжденъ, что остался вѣренъ исторіи. Въ «Рославлѣ» онъ принялся болѣе за свое дѣло—за изображеніе того, что видѣлъ самъ на Руси въ 1812 году. И еслибъ онъ остался вѣренъ своему таланту и призванію—рисовать отдѣльныя сцены и картины простонароднаго и помѣщичьяго деревенскаго быта,—его второй романъ былъ бы не безъ достоинствъ. Но авторъ почелъ нужнымъ основать все на мелодраматической завязкѣ, а главное возымѣлъ немножко смѣлую претензію—изобразить, словно въ поэмѣ, великій 1812 годъ со всѣмъ его историческимъ значеніемъ и характеромъ,—и какимъ же образомъ? черезъ мелодраматическую любовишку, черезъ портреты безцвѣтнаго героя, Рославлева, избитаго въ комедіяхъ лица добраго малаго Зарѣцкаго, черезъ нѣсколько добродушныхъ оригиналовъ вродѣ Буркина и Иволгина и посредствомъ нѣсколькихъ стѣльных и вымышленныхъ сценъ бородинской битвы, въ которыхъ разговариваютъ между собой пріятели, забавные герои романа... Очевидно, что автора ввелъ въ заблужденіе непонятый имъ Вальтеръ-Скоттъ и непонятое значеніе историческаго романа. Какъ бы то ни было, но чѣмъ большаго

ожидала нетерпѣливая публика отъ «Рославлева», тѣмъ меньше дождалась она. Послѣдующіе романы Загоскина были уже одинъ слабѣе другого. Въ нихъ онъ ударился въ какую-то странную, псевдо-патріотическую пропаганду и политику и началъ съ особенной любовью живописать разбитые носы и свороченныя скулы извѣстнаго рода героевъ, въ которыхъ онъ думаетъ видѣть достойныхъ представителей чисто русскихъ нравовъ, и съ особеннымъ пафосомъ прославлять любовь къ соевымъ огурцамъ и кислой капустѣ.

За Загоскинымъ вышелъ на литературное поприще въ качествѣ романиста Лажечниковъ. Онъ дебютировалъ историческимъ романомъ «Послѣдній Новикъ», дѣйствіе котораго происходитъ то въ Лифляндіи, то въ Россіи, и дѣйствующія лица котораго — нѣмцы и русскіе. Это обстоятельство дѣлаетъ романъ какъ бы на двѣ стороны, изъ которыхъ первая какъ-то лучше обрисована и занимательнѣе представлена авторомъ, чѣмъ послѣдняя. Какъ первый опытъ въ этомъ родѣ, романъ Лажечникова слишкомъ полонъ и многорѣчивъ во вредъ художнической соразмѣрности и пропорциональности; но, несмотря на этотъ недостатокъ, онъ необыкновенно живъ, какъ всякій плодъ слишкомъ горячей и запальчивой дѣятельности. Второй романъ Лажечникова — «Ледяной Домъ» уже не столько сложенъ и юношески горячъ, какъ «Послѣдній Новикъ», зато болѣе строенъ и простъ, безъ ущерба занимательности; а нѣкоторыя главы, какъ напримѣръ «Соперники» и «Родины Козы», могутъ считаться украшеніемъ не только «Ледяного Дома», но и замѣчательными произведеніями русской литературы. Въ «Басурманѣ» очень удачно сдѣланъ очеркъ характера Іоанна III и вообще хороши тѣ сцены, гдѣ авторъ выводитъ это грозное и великое лицо русской исторіи. Во всемъ остальномъ нельзя сказать, чтобъ авторъ очень удачно воспользовался прекрасно-придуманной основой своего романа — представить противоположность европейскаго элемента жизни авіатскому и нарисовать потрясающую сердце картину гибели человѣчески развившагося и образованнаго существа, сдѣлавшагося жертвой дикихъ нравовъ, среди которыхъ забросила его судьба. Вообще, скажемъ откровенно, романамъ Лажечникова особенно вредятъ два обстоятельства. Во-первыхъ, авторъ не довольно отрѣшился отъ стараго литературнаго направленія — видѣть поэзію въ дѣйствительности и украшать природу по произволу задуманнымъ идеаламъ. Оттого въ его русскихъ романахъ есть что-то не совсѣмъ русское, что-то похожее на европейскій бытъ въ русскихъ костюмахъ. Такова

напримѣръ любовь Волинскаго къ Маріо-рицѣ, невѣрная исторически и невозможная поэтически, по ея несообразности съ климатомъ, мѣстностью и нравами. Она какъ будто изъ Италіи или Испаніи пріѣхала въ Петербургъ, чтобъ доставить автору нѣсколько эффектныхъ сценъ. Что же касается до украшенія природы, — оно не есть исключительная принадлежность псевдо-классицизма; перемѣнились слова, а сущность дѣла осталась та же для многихъ нынѣшнихъ повто-въ, — и псевдо-романтикъ Викторъ Гюго еще съ большимъ усердіемъ по своему украшаетъ природу въ романахъ и драмахъ, чѣмъ украшали ее псевдо-классики Корнель, Расинъ и Вольтеръ. Второй недостатокъ романовъ Лажечникова, имѣющій тѣсную связь съ первымъ, — это неровный, какъ будто неправильный и тяжелый языкъ. Многие по этому случаю упрекали Лажечникова въ неумѣніи писать порусски и незнаніи русскаго языка: — обвиненіе смѣшное и нехлѣбное, достойное грамматистовъ-рутинеровъ! Нѣтъ, не отъ незнанія языка, не отъ неспособности владѣть имъ, Лажечниковъ пишетъ неровнымъ слогомъ; даже не оттого, что будто бы онъ не занимается его отдѣлкой, а развѣ оттого, что онъ слишкомъ занимается отдѣлкой, и еще отъ ложной манеры, которую многие наши писатели волею или неволею, сознательно или безсознательно, больше или меньше заняли у Марлинскаго, и которая заставила ихъ пещись болѣе объ эффектной красотѣ, чѣмъ о благородной простотѣ, строгой точности и ясной опредѣленности выраженія. Во всякомъ случаѣ русскій романъ, начатый Загоскинымъ, въ произведеніяхъ Лажечникова сдѣлалъ большій шагъ впередъ, — и если романы Загоскина проще, наивнѣе и легче романовъ Лажечникова, зато романы послѣдняго далеко выше по мысли и вообще гораздо удовлетворительнѣе для образованнаго класса читателей. Нельзя не пожалѣть, что Лажечниковъ не избѣгнулъ общей участи многихъ русскихъ писателей — замолчать послѣ двухъ или трехъ опытовъ и лишить публику надежды дожидаться отъ него чего-нибудь такого, что напомнило бы его первые опыты, столь много обѣщавшіе...

Если рѣчь зашла о прозаикахъ-романистахъ этой эпохи, то было бы несправедливо умолчать о Вельманѣ. Онъ дебютировалъ забытымъ теперь «Странникомъ» — калейдоскопической и отрывочной смѣсью въ стихахъ и прозѣ, нелишенной однакожъ оригинальности и казавшейся тогда занимательной и острой. Потомъ онъ издалъ какую-то поэмку въ стихахъ. Первымъ и, по обыкновенію большей части русскихъ писателей, лучшимъ его романомъ былъ «Кошечей Без-

смертный» — странная, но поэтическая фантазмагорія. Надо сказать правду, у Вельтмана несравненно больше фантазіи, чѣмъ у романистовъ, о которыхъ мы говорили выше, и потому онъ гораздо больше поэтъ, чѣмъ они. Но его фантазіи стаеъ только на поэтическія мѣста; съ цѣлымъ же произведеніемъ она никогда не въ состояніи управиться. Оригинальность фантазіи Вельтмана часто сбивается на странность и вычурность въ вымыслахъ. Прочитавъ его романъ, помнишь прекрасныя, исполненныя поэзіи мѣста, но цѣлое тотчасъ изглаживается изъ памяти. Къ романическимъ и поэтическимъ вымысламъ Вельтманъ примѣшиваетъ какой-то археологическій мистицизмъ и вноситъ свою страсть къ этимологическимъ объясненіямъ историческихъ и даже доисторическихъ вопросовъ. Все это очень безобразитъ его романы. Туманность и неопредѣленность въ вымыслахъ и характерахъ также принадлежать къ недостаткамъ романовъ Вельтмана. Каждый новый его романъ былъ повтореніемъ недостатковъ перваго съ ослабленіемъ красоты его. Все это сдѣлало то, что Вельтманъ пользуется гораздо меньшей извѣстностью и меньшимъ авторитетомъ, нежели какихъ бы заслуживало его замѣчательное дарованіе.

Почти въ то же время явились на сцену и другіе романисты, имѣвшіе большій или меньшій успѣхъ, какъ напримѣръ Ушаковъ, котораго «Киргизъ-Кайсакъ» не лишень былъ кое-какихъ относительныхъ достоинствъ. Романъ скрывшаго свое имя автора — «Семейство Холмскихъ» имѣлъ замѣчательный успѣхъ; въ немъ попадаются довольно живыя картины русскаго быта въ юмористическомъ родѣ; но онъ утомителенъ избытками пружинами вымысла и избыткомъ сантиментальности, соединенной съ резонерствомъ. Марлинскій гарцовалъ въ журналахъ своими трескучими повѣстями до 1836 года; особо и вполнѣ онѣ были изданы въ 1838—1839 годахъ. Изъ новыхъ нувеллистовъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ явился даровитый казакъ Луганскій съ своими оригинальными розказнями на русско-молодецкій ладъ, которые онъ потомъ мало-по-малу началъ оставлять для лучшаго тона и содержанія. Какъ сказки, такъ и повѣсти Луганскаго были плодомъ сколько замѣчательнаго дарованія, столько же и прилежной наблюдательности, изощренной многосторонней житейской опытностью автора, человѣка бывалаго и коротко ознакомившагося съ бытомъ Россіи почти на всѣхъ концахъ ея. Погдинъ и Полевой, съ особеннымъ усердіемъ принявшіеся за повѣсти съ 1829 года, издали въ тридцатыхъ годахъ собранія этихъ повѣстей. Въ началѣ же тридцатыхъ годовъ неожиданно вышла первая часть дотолѣ не-

кому неизвѣстныхъ стихотвореній Бенедиктова, котораго талантъ въ стихахъ то же, что талантъ Марлинскаго въ прозѣ; время уже доказало справедливость приговора, какимъ встрѣчены были критикой первые опыты Бенедиктова. Но не всѣ критики были такъ строги къ этому блестящему стихотворцу; одинъ московскій критикъ и словесникъ, притомъ же самъ пѣвца, объявилъ, что до Бенедиктова поэзія наша (представителями которой, разумѣется, были Державинъ, Крыловъ, Жуковский, Батюшковъ, Пушкинъ, Грибоедовъ) была чужда мысли, и что только въ изящныхъ произведеніяхъ Бенедиктова русская поэзія въ первый разъ явилась вооруженная мыслью... — Еще прежде Бенедиктова вышелъ на литературное поприще Кукольникъ съ лирическими стихотвореніями, драмами въ стихахъ, а потомъ съ повѣстями, романами, журнальными статьями и пр. Въ его литературной и поэтической дѣятельности замѣтиѣ всего — успіе обыкновеннаго таланта подняться на высоты, доступныя только гению, и потому если нельзя отрицать въ немъ таланта, то нельзя и опредѣлить степени характера и заслугъ этого таланта. Мы можетъ-быть забыли и еще кое-какія произведенія, имѣвшія въ то время большій или меньшій успѣхъ и умножившія собой число интересовавшихъ публику книгъ; но не обо всѣхъ же говорить! Лучше скажемъ, что князь Одоевскій, почти ничего отдѣльно не издававшій доселѣ подъ своимъ именемъ, съ 1824 года постоянно печаталъ въ временныхъ изданіяхъ повѣсти и рассказы особеннаго рода, въ которыхъ нравственныя идеи облекались то въ поэтическіе образы, то въ живое слово, исполненное пафоса краснорѣчія... Но о нихъ мы скоро будемъ имѣть случай говорить подробнѣе.

Съ 1839 года въ русскую литературу совершился замѣтный переломъ. Книжная торговля упала, книгъ стало выходить гораздо менѣе, и литература начала казаться бѣднѣе прежняго. Пушкинъ умеръ, и два года печатались въ «Современникѣ» его посмертныя произведенія. Это были послѣднія и самыя высокія, самыя зрѣлыя созданія вполнѣ развитаго и возмужавшаго художника. Въ первомъ томѣ «Ста Русскихъ Литераторовъ» были напечатаны его «Каменный Гость» и отрывокъ изъ романа. Все остальное, дотолѣ неизвѣстное публикѣ, появилось только въ 1841 году въ трехъ послѣднихъ томахъ полнаго собранія его сочиненій. Долго тянулось для публики изданіе новыхъ, неизвѣстныхъ ей сочиненій Пушкина, — и этимъ утомилось не вниманіе, а ожиданіе публики!... Съ 1837 года начали появляться въ журналахъ стихотворенія Лермонтова, въ первый разъ изданныя особо въ 1840 году, равно какъ и

его «Герой нашего времени». Съ 1837 же года начали появляться повѣсти графа Соллогуба, Панаева и другихъ болѣе или менѣе замѣчательныхъ молодыхъ писателей. Въ числѣ молодыхъ съ 1838 года явился одинъ старшій: это покойный Основьяненко, между безчисленными повѣстями котораго, написанными въ продолженіе какихъ-нибудь четырехъ лѣтъ, особенно замѣчательнѣе «Панъ Халаявскій» — сатирическая картина старинныхъ нравовъ Малороссіи; во всѣхъ другихъ повѣстяхъ и романахъ своихъ онъ повторялъ или сантиментальность своей «Маруси», или юморъ «Пана Халаявскаго» и въ послѣднее время значительно выписался. Еще съ 1827 года все новое въ русской литературѣ начало прятаться въ журналахъ, и особыми книгами болѣею частью стали появляться только или альманахи, или сборники уже извѣстныхъ публикѣ изъ журналовъ сочиненій, или наконецъ новыя изданія старыхъ сочиненій. Новое, видъ журналовъ и альманаховъ, показывалось рѣже и рѣже, а послѣ смерти Лермонтова, послѣдовавшей въ 1841 году, что печаталось и въ журналахъ состояло изъ оставшихся стихотвореній этого поэта, столь рано умершаго для русской литературы, которую его великій талантъ одинъ былъ бы въ состояніи сдѣлать интересной не для однихъ насъ, русскихъ. Бѣдность и нищета болѣе и болѣе начали вторгаться даже въ журналы — эти теперь почти единственные представители «богатства» русской литературы. Бѣденъ былъ хорошими повѣстями 1842 годъ, но прошлый 1843 оказался еще бѣднѣе. Объ отдѣльно выходившихъ книгахъ теперь много нельзя разговаривать. Въ 1842 году вышли «Мертвыя Души» Гоголя, — твореніе столь глубокое по содержанию и великое по творческой концепціи и художественному совершенству формы, что оно одно пополнило бы собой отсутствіе книгъ за десять лѣтъ и явилось бы одинокимъ среди изобилія въ хорошихъ литературныхъ произведеніяхъ. Впрочемъ 1842 годъ все-таки былъ богаче прошлаго отдѣльно вышедшими книгами, равно какъ и замѣчательными повѣстями, помѣщенными въ журналахъ и альманахахъ.

Выведенный нами изъ этого обзора результатъ повидимому противорѣчитъ началу статьи. Мы хотѣли доказать, что литература настоящаго времени только по наружности бѣднѣе литературы прежнихъ временъ, а въ сущности выше ея, — и между тѣмъ фактами доказали совсѣмъ противное. Но мы начали съ того, что литературная бѣдность нашего времени по своимъ причинамъ почтенна, и въ этомъ смыслѣ составляетъ приобрѣтеніе, а не утрату... Объяснимся. Какъ отъ литературы двадцатыхъ годовъ прочныя и дѣйствительныя приобрѣтенія

остались только въ сочиненіяхъ Пушкина *) и въ «Горѣ отъ Ума» Грибоедова, все же прочее имѣетъ болѣе или менѣе относительное, такъ сказать, историческое значеніе, точно такъ и отъ литературы тридцатыхъ годовъ у насъ есть прочныя и дѣйствительныя приобрѣтенія только въ сочиненіяхъ Гоголя и Лермонтова, а все остальное или уже получило свое относительное историческое значеніе, или за недостаткомъ времени еще не выдержало пробы, могущей опредѣлить его безусловную цѣнность. И если отъ 1823 года до начала четвертаго десятилѣтія вышло много (сравнительно съ прежнимъ и послѣдующимъ временемъ) романовъ, драмъ и другихъ произведеній изящной словесности, то не должно забывать, что это была пора опытовъ и попытокъ, — пора, въ которую все новое не могло не удаваться. Вѣдь и «Выжигины» съ «Самозванцемъ» по мнимои ихъ новизнѣ сначала имѣли успѣхъ, да еще какой! — неужели же и ихъ должно считать сокровищами русской литературы теперь, когда читавшіе ихъ уже совсѣмъ забыли, а нечитавшіе вовсе не имѣютъ никакого желанія прочитать? Нападки на пьянство, воровство и лихоимство, какъ на пороки губительныя для вѣшняго и внутренняго благосостоянія людей, — неужели эти нападки, состоявшія въ истертыхъ моральныхъ сентенціяхъ, и теперь должно принимать за идеи; а бездушныя риторическія олицетворенія пороковъ и добродѣтелей, выдаваемые за характеры, дѣйствительно должно принимать за живыя лица, вмѣсто того чтобъ видѣть въ нихъ куклы, раскрашенныя грубой мазилакой и безобразно вырѣзанныя ножницами изъ оберточной бумаги?... Конечно первые романы Загоскина всегда будутъ удостоиваемы почетнаго упоминанія отъ историка русской литературы, и никто не станетъ отрицать ихъ относительнаго достоинства для времени, въ которое они явились, и даже ихъ болѣе или менѣе полезнаго вліянія на современную намъ русскую литературу; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобъ мы ихъ читали и перечитывали, какъ творенія всегда новыя, или чтобъ мы въ «Юріи Милославскомъ» и теперь видѣли вѣрную картину русскихъ 1612 г., а въ «Рославлевѣ» — русскихъ 1812 года. Подобныя мысли и двѣнадцать лѣтъ тому назадъ едва ли кому входили въ голову: а теперь всякій видитъ въ этихъ романахъ не болѣе, какъ литературныя (а отнюдь не художественныя) очерки не русскихъ 1612 и

*) Мы не упоминаемъ имени Жуковскаго потому, что дѣятельность этого поэта не относится исключительно къ двадцатымъ годамъ; она началась раньше этого времени около семнадцати лѣтъ и къ славѣ и чести русской литературы не кончилась до сихъ поръ.

1812 годовъ, а русскаго простонародья во всѣ годы, какіе вамъ угодно... Многое бываетъ хорошо для своего времени, и иное живетъ вѣкъ, иное десять лѣтъ, иное годъ, а иное одинъ день... Всѣ эти «Повѣдки въ Германію», «Черныя Женщины», «Киргизъ-Кайсаки», «Коты Бурмосѣйки», «Семейства Холмскихъ» и тому подобныя произведенія не могли не нравиться въ свое время; но время это прошло, уже не воротится для нихъ, и теперь, еслибы кто сталъ ими угощать публику, выхваляя ихъ достоинства, публика могла бы отвѣтить: «хороши были покойники—вѣчная имъ память, не будемъ тревожить ихъ праха»...

Отчего же, спросятъ, теперь не является такихъ же болѣе или менѣе удовлетворительныхъ для нашего времени сочиненій, какія выходили тогда въ такомъ значительномъ числѣ? — Въ этомъ вопросѣ — вся сущность дѣла. Мы сказали выше, что то время было временемъ опытовъ и попытокъ въ разныхъ родахъ. Теперь это время миновалось: все уже испытано, и чтобъ проложить въ искусствѣ новую дорогу, нуженъ гений или по крайней мѣрѣ великій талантъ, а гении и великіе таланты не рождаются десятками и дюжинами. Вы хотите отличиться на примѣръ на поприщѣ лирической поэзіи — за что вамъ принимать: за оды? — ихъ вѣкъ давно пропелъ; за элегіи? — хорошо; но вы должны сказать въ нихъ что-нибудь новое. О грусти, разочарованіи, идеалахъ, невзможныхъ дѣлахъ, лунѣ, сладостной лѣни, разгульныхъ пирахъ, шипучемъ винѣ, отчаяніи, ненависти къ людямъ, погибшей юности, измѣнѣ, книжкахъ, ядахъ — обо всемъ этомъ уже было сказано и пересказано тысячу разъ и въ изданныхъ созданіяхъ Пушкина, и толпой его подражателей. Теперь уже васъ не станутъ читать, если вы захотите удивлять размахистостью бойкой фразы, яркой звонкостью стиха, восторженными двенадцатями въ честь голубоокихъ молодыхъ дѣвъ и шумныхъ пировъ удалой юности, потому что въ этомъ васъ предупредилъ Языковъ — и предупредилъ, какъ человѣкъ съ талантомъ, который шелъ своей дорогой, какава бы ни была она, и умѣлъ быть оригинальнымъ, какова бы ни была эта оригинальность. Языковъ уже самымъ этимъ временнымъ успѣхомъ своей поэзіи навсегда уничтожилъ невозможность такой поэзіи: — въ этомъ-то и состоитъ его неотъемлемая заслуга русской литературѣ и неотъемлемое право на мѣсто въ исторіи русской литературы. Еслибъ неизбежно было читать кого-нибудь изъ васъ, такъ ужъ конечно его, а не васъ: оригиналы всегда предпочтутся копіямъ. Хотите ли вы блеснуть выписными чувствами, выраженными ослѣпительно-вычурными фразами и натянуто-смѣлой мета-

форой, — васъ и тутъ предупредилъ Бенедиктовъ, и тоже предупредилъ, какъ человѣкъ съ дарованіемъ, который самъ проложилъ себѣ дорогу, какова бы она ни была, и былъ оригиналенъ, что бъ ни говорили объ его оригинальности. Бенедиктовъ тѣмъ и оказалъ важную услугу русской литературѣ, что самымъ успѣхомъ своей поэзіи сдѣлалъ навсегда смѣшной такую поэзію. Для этого тоже нуженъ талантъ! Гений или великій талантъ уничтожаетъ для другихъ возможность прославиться на его счетъ посредствомъ подражанія, а такіе маленькіе, хотя и яркіе и самобытные таланты, призванные показать примѣръ уклоненія искусства отъ настоящей его цѣли, спасаютъ въ будущемъ искусство отъ этихъ уклоненій именно возможностью для другихъ подражать имъ въ ихъ ложномъ направленіи. Это заслуга отрицательная, но и для нея нужно имѣть талантъ, нужно, чтобъ въ основѣ такого ложнаго вдохновенія была своя истинная струя поэзіи, подобно золотымъ крупинкамъ въ массѣ рѣчного песка. Теперь уже невозможны такіе поэты, какъ Языковъ и Бенедиктовъ, или, лучше сказать, невозможенъ сколько нибудь значительный успѣхъ со стороны такихъ поэтовъ. Недавно въ Москвѣ нѣкто Милькѣевъ, о близкомъ пришествіи котораго въ литературный міръ заранѣе трубили пріятельскіе журналы, какъ о чудѣ-чудномъ и дивѣ-дивномъ, издалъ книжку стихотвореній, которыя по формѣ показывали въ немъ ученика Языкова и Бенедиктова, а по содержанью — ученика Хомякова; не чувствуя въ себѣ довольно силы, чтобъ хоть сравниться съ своими образцами, не только превзойти ихъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ желая во что бы то ни стало показаться оригинальнымъ, онъ не придумалъ ничего лучшаго, какъ превзойти свой образецъ въ направленіи своей поэзіи и, взявъ за основаніе неопредѣленно и темно понятую мысль о народности, довести ее до послѣдней нечѣпости. Для этого онъ началъ воспѣвать восторженными стихами русскую сивуху и доказывать, что Ломоносовъ оттого только и сдѣлался преобразователемъ русскаго слова, что имѣлъ несчастную страсть невоздержности, которую московскій поэтъ поставилъ ему въ великую заслугу... Видите ли, какъ трудно теперь сдѣлаться поэтомъ на чужой счетъ, безъ таланта, безъ образованія, безъ идеи, безъ призванія!... Пушкинъ при жизни своей не былъ понятъ: при началѣ его поприща имъ поверхностно восхищались и думали походить на него, усвоивъ себѣ не тайну, не жизнь, а только легкость его стиха, — при концѣ его поприща легкомысленно къ нему охладѣли, считали себя выше его потому только, что не были въ состояніи понять его, указывая на его ошиб-

ки и промахи, дѣйствительно важные, и не умѣя измѣрить высоты, дѣйствительно недосягаемой, на которую сталъ его возмужавшій творческій геній. Но посмертныя его сочиненія, которыми онъ при жизни своей не торопился угощать русскую публику, столь хорошо знакомую ему по долговременному опыту, многимъ невольно открыли глаза на истинное значеніе Пушкина. Кратковременная, но изумительная своей огромностью дѣятельность Лермонтова на поэтическомъ поприщѣ окончательно лишила насъ надежды видѣть частыя появленія новыхъ замѣчательныхъ поэтовъ и новыхъ замѣчательныхъ произведеній поэзіи: послѣ Пушкина и Лермонтова трудно быть не только замѣчательнымъ, но и какимъ-нибудь поэтомъ! Мечъ и шлемъ Ахилла изъ всѣхъ греческихъ героев могли оспаривать только Аяксъ и Одиссей. И теперь въ журналахъ изрѣдка появляются стихотворенія, выходящія за черту посредственности; но когда въ томъ же номерѣ журнала находишь стихотвореніе Лермонтова, то не хочется и читать другихъ. Въ 1842 году вышли стихотворенія Майкова; и тѣ изъ нихъ, которыя имъ написаны въ антологическомъ родѣ, обнаруживаютъ талантъ необыкновенный: ихъ читали, ими восхищались, ихъ хвалили, за авторомъ бесспорно осталось титло замѣчательно даровитаго человека, но уже не было преувеличенныхъ похвалъ и толковъ о геніальности; поэтъ занялъ свое мѣсто, очень почетное, но которое однакожъ не показало его всѣмъ на особенной высотѣ, ибо всѣ поняли, что прекрасные опыты въ антологическомъ родѣ еще не разгадка послѣдняго слова современности и не удовлетвореніе всѣхъ ея потребностей. Къ тому же всѣ не антологическіе опыты Майкова почти ничтожны и не общаются въ будущемъ особеннаго развитія и особенныхъ успѣховъ со стороны поэта. А между тѣмъ было время, когда люди съ несравненно меньшимъ талантомъ, чѣмъ талантъ Майкова, считались едва не геніями, и стихотворенія ихъ были всѣмъ извѣстны. Непріатели «Отечественныхъ Записокъ» не разъ ясно и намеками старались внушить публикѣ мысль—будто-бы мы для успѣха нашего журнала производимъ въ геніи поэтовъ, помѣщающихъ свои произведенія въ нашемъ журналѣ. Здѣсь мы считаемъ кстати не словами, а фактами доказать несправедливость подобнаго обвиненія.

Наиболѣе превозносимые нами поэты изъ новыхъ—Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Лермонтовъ и Гоголь. Изъ нихъ только одинъ Лермонтовъ былъ постояннымъ вкладчикомъ «Отечественныхъ Записокъ»; Пушкинъ и Грибоѣдовъ ничего не могли печатать въ журналѣ, начавшемся послѣ ихъ смерти, а Гоголь хотя и живъ и

пишетъ, но доселѣ не помѣстилъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» ни одной строки своей. Мы хвалимъ *gratis*, и наша любовь, наше уваженіе къ великимъ умершимъ всегда были и будутъ жарче и благоговѣннѣе, чѣмъ къ малымъ живымъ, хотя для нашего журнала послѣдніе могли бы быть полезнѣе первыхъ... Мы цѣнимъ въ поэтѣ талантъ и геній независимо отъ его сотрудничества или несотрудничества въ нашемъ журналѣ. Мы были бы въ восторгѣ, еслибъ явился новый Лермонтовъ, и безъ умолка хвалили бы его, еслибъ онъ печаталъ свои стихи хотя бы даже въ «Маякѣ». Но—увы!—несмотря на весь пылъ нашихъ желаній привѣтствовать на Руси появленіе новаго великаго таланта, мы ни въ чужихъ, ни въ нашемъ журналѣ не видимъ не только новаго Лермонтова, но и что-нибудь похожее на него!..

Итакъ, о стихахъ нечего говорить. Настоящее время неплодотворно и неудобно для нихъ, ибо требуетъ отъ стиховъ или очень многого, или ничего.

До сихъ поръ говоря о стихахъ, мы разумѣли преимущественно лирическую поэзію. Обратимся къ тому роду поэзіи, который является въ стихахъ и въ прозѣ. Назадъ тому лѣтъ десять нѣкто Зилловъ издалъ книжку басенъ и послѣ въ одномъ стихотвореніи горько жаловался, что-де теперь читаютъ все неистовые романы, а басенъ не читаютъ. Изъ этого видно, что Зилловъ только въ половину постигъ дѣло; правда, для басни давно уже и безвозвратно прошло время, но Зиллову слѣдовало бы обратить вниманіе и на то, что его басни были плохи, и что ему не слѣдовало бы съ такими баснями являться послѣ Хемницера, Дмитріева и Крылова. Сказка вродѣ «Модной Жены» и «Причудницы» Дмитріева и «Странствователя и Домосѣда» Батюшкова тоже давно отжила свой вѣкъ; но сказка вродѣ «Графа Нулина» Пушкина и «Казначейши» Лермонтова можетъ здравствовать и теперь—

Да за нее не всякъ умѣетъ взяться!..

Она въ особенности требуетъ юмора, а юморъ есть столько же умъ, сколько и талантъ. Однимъ словомъ, такая сказка и теперь—претрудная вещь. Романъ вродѣ «Онгина», поэмы вродѣ поэмъ Пушкина и Лермонтова могутъ быть и теперь; но ихъ всѣ какъ-то боятся, и мы знаемъ только одинъ счастливый опытъ въ этомъ родѣ, явившійся въ послѣднее время, именно маленькую поэмку «Парашу», вышедшую въ прошломъ году. Этотъ родъ поэзіи гораздо труднѣе лирической, ибо требуетъ не ощущеній и чувствъ мимолетныхъ, которыя могутъ быть и у многихъ, но и дара поэзіи, и образованнаго, умнаго взгляда на жизнь—что бываетъ

очень не у многих. Писать же поэмы, как писали их напримѣръ Козловъ, Подолинскій и прочіе, и теперь бы могли многіе; даже лѣтъ пять назадъ за нихъ принялся было поэтъ не безъ дарованія—Бернетъ; но попытка оказалась неудачной: новое время, новыя и требованія, болѣе трудныя для исполненія, чѣмъ прежнія. Опять вина не поетовъ, а времени,—и ясно, что теперь нашу литературу обѣднило время съ его неудобно-исполнимыми требованіями, а не недостатокъ въ охотникахъ писать и въ такихъ талантахъ, какихъ довольно было во время оно... Драматическая поэзія допускаетъ равно и стихи, и прозу, даже то и другое вмѣстѣ. Въ числительномъ отношеніи это у насъ самая богатая отрасль литературы. Еще въ 1786—1794 гг. былъ изданъ «Россійскій Оеатръ» въ сорока-трехъ частяхъ: судите же, какое богатство! Трагедіи писали у насъ и Тредьяковский, и Ломоносовъ, и Сумароковъ, и Херасковъ, и Княжнинъ, и Озеровъ, и Крюковский и многіе, многіе; а писавшихъ комедій нѣтъ возможности перечестъ на-скоро. И однакожь порядочныхъ трагедій въ псевдо-классическомъ французскомъ родѣ только четыре—Озерова; трагедію вродѣ шекспировскихъ драматическихъ хроникъ мы имѣемъ только одну—«Бориса Годунова» Пушкина, и въ его драматическихъ сценахъ—нѣсколько опытовъ трагедіи собственно («Пиръ во время Чумы», «Моцартъ и Сальери», «Скупой Рыцарь», «Русалка», «Каменный Гость»). Больше не на что указать. Чтѣ касается до комедій, въ которой съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ упражнялось множество писателей, какъ-то: Сумароковъ, Херасковъ, Княжнинъ, Капнинъ, Крыловъ, князь Шаховской, Загоскинъ, Хмѣльницкій, Писаревъ и проч., и проч.,—несмотря на огромное богатство нашей литературы въ произведеніяхъ этого рода, все-таки рѣшительно не на что указать, кромѣ «Бригадира» и «Недоросля» Фонвизина, «Горя отъ ума» Грибоедова, «Ревизора» и «Женитьбы» Гоголя и его же «Сценъ» («Игроки», «Тяжба», «Лакейская» и проч.). Итакъ, чтобъ написать теперь трагедію, которая была бы не хуже «Бориса Годунова» и другихъ драматическихъ опытовъ Пушкина,—надо имѣть талантъ Пушкина. Нѣкоторые писатели дѣйствительно отважно рѣшились допытываться своего счастья на этомъ тревожномъ морѣ. Хомяковъ написалъ драмы «Ермакъ» и «Дмитрій Самозванецъ», изъ которыхъ первая даже была поставлена на сцену. Но всѣ скоро признали въ казакахъ Хомякова не казаковъ XVI столѣтія, а скорѣе нѣмецкихъ студентовъ добраго стараго времени; вмѣсто характеровъ увидѣли олицетвореніе извѣстныхъ лирическихъ ощущеній и чувствованій и вообще нѣчто вродѣ

пародіи надраматическійлиризмъ Шиллера,—пародіи, написанной впрочемъ бойкими, гладкими и даже иногда живыми стихами. Въ «Самозванцѣ» уже не только одни лирическія ощущенія и чувствованія, но и кое-какія доморощенные идеи о русской исторіи и русской народности; стихи такъ-же хороши, какъ и въ «Ермакѣ», мѣстами довольно удачная поддѣлка подъ русскую рѣчь, и при этомъ совершенное отсутствіе всякаго драматизма; характеры—сочиненные по рецепту; герой драмы—идеальный студентъ на нѣмецкую стать; тонъ дѣтскій, взгляды невысокіе, недостатокъ такта дѣйствительности—совершенный... Потомъ выступилъ на драматическое поприще Кукольникъ съ своими драмами изъ жизни итальянскихъ художниковъ. Отвлеченная идеальность, мѣстами хорошія лирическія выходы, изрѣдка недурныя драматическія положенія; но въ общности невѣрность концепціи, монотонность вымысла и формы, недостатокъ истиннаго драматизма и вслѣдствіе того непобѣдимая скука при чтеніи—вотъ характеристика этихъ драмъ Кукольника. Но у него есть еще и другой родъ драмъ—это русско-историческія, какъ напримѣръ: «Рука Всевышняго отечество спасла», «Скопинъ-Шуйскій» и «Князь Холмскій». Въ этихъ нѣтъ ничего общаго съ «Борисомъ Годуновымъ», который до того проникнутъ вездѣ истинно шекспировскою вѣрностью исторической дѣйствительности, что самые недостатки его,—какъ-то: отсутствіе драматическаго движенія, преобладаніе эпическаго элемента и вслѣдствіе этого какое-то холодное, хотя и величавое спокойствіе, разлитое во всеи—пьесѣ,—происходятъ оттого, что она слишкомъ безукоризненно вѣрна исторической дѣйствительности русской жизни. Въ драмахъ Кукольника нѣтъ и признаковъ этой дѣйствительности: все ложно, на ходуляхъ; лучшія мѣста—просто сценическіе эффекты, и сквозь русскіе охабни, кафтаны и сарафаны пробивается что-то не русское, какъ въ русско-историческихъ повѣстяхъ Марлинскаго, какъ въ русскихъ пѣсняхъ Дельвига. Доказательствомъ справедливости нашихъ словъ можетъ служить и то, что этотъ родъ драмы ловко былъ усвоенъ Ободовскимъ, Полевымъ, В. Зотовымъ и другими сочинителями этого разряда. Но у Кукольника есть еще особый родъ драмы—это передѣланные въ драматическую форму анекдоты изъ жизни Петра Великаго (напримѣръ «Иванъ Рябовъ, рыбакъ архангелогородскій»); въ нихъ много хорошаго, хоть и нѣтъ драмы, ибо изъ анекдота никакъ нельзя сдѣлать драму. Полевой не упустилъ изъ вида отличиться и въ драмѣ, какъ отличился уже въ лирической поэзіи, въ романѣ, въ повѣсти, въ критикѣ, въ исторіи, въ журналистикѣ, въ политической эко-

номин, въ эстетики, въ филологіи, въ философіи, въ лингвистикѣ и проч., и проч. Особенный характеръ трагедій (или «драматическихъ представленій»), комедій, водевилей, анекдотическихъ драмъ Полевого—всеобъемлемость, универсальность; въ нихъ все найдете: немножко Шекспира, немножко Мольера, немножко Вальтеръ-Скотта, немножко Дюкре-дю-Меня и Августа Лафонтена. Дюма гдѣ-то сказалъ, что онъ не похищаетъ чужого въ своихъ сочиненіяхъ, но, подобно Шекспиру и Мольеру, беретъ свое, гдѣ только увидитъ его; эти слова можно приложить къ Полевому: ему все годится, все подручно—и исторія, и повѣсть, и романъ, и анекдотъ, Шекспиръ и Коцебу, Шиллеръ и Кукольникъ: онъ все беретъ и у всѣхъ учится; его драмы рождаются и умираютъ десятками, подобно лѣтнимъ эфемеридамъ. Нашъ Вольтеръ и Гёте—онъ все; онъ единъ—цѣлая литература, цѣлая наука. Извольте же угоняться за нимъ! примитесь за драму: онъ возьмъ или возьмётъ всевозможные сюжеты, какіе бы вы ни придумали, воспользуется всякими новыми драматическими эффектами—все вмѣститъ онъ въ свою драму, во всемъ предупредитъ васъ. Нѣтъ, лучше и не беритесь за драму: кромѣ Полевого, вамъ загораживаютъ дорогу Хомяковъ и Кукольникъ. Вамъ поневолѣ придется выдумать свою драму, новую, небывалую, а это невозможно, потому что уже всѣ источники изобрѣтенія истощены, всѣ роды перепробованы, всѣ дороги избиты. Нуженъ геній, нуженъ великій талантъ, чтобъ показать міру творческое произведеніе, простое и прекрасное, взятое изъ всѣмъ извѣстной дѣйствительности, но вѣющее новымъ духомъ, новой жизнью. Еслибъ вы даже вздумали сочинить произведеніе вродѣ «Разбойниковъ» Шиллера, васъ и тутъ предупредилъ еще въ 1800 году Нарѣжный своимъ «Дмитріемъ Самозванцемъ». Не пишите и романтической трагедіи съ дико-завывающими фразами, бѣдными смыслами, но богатыми неистовствомъ, съ сюжетомъ, заимствованнымъ изъ поэмы Байрона: васъ уже предупредилъ Оляня своимъ «Корсаромъ». Да, теперь потому ничего не пишутъ, что уже все написано; потому и трудно прославиться, что нужно для этого не новизну выкинутой штуки, а много, много таланта, если не генія!..

Комедія еще болѣе приводитъ въ отчаяніе, нежели драма. Въ драмѣ посредственность можетъ похитить что-нибудь у Шекспира, Вальтеръ-Скотта, Мольера, подняться на дыбы, ослабить толпу дикими и грубыми эффектами, пѣніемъ, пляской, родственными обнищаніями и т. п.; но въ комедіи совсѣмъ не то. Искусство смѣшить труднѣе искусства трогать. Неразвитаго человѣка можно растро-

гать поддѣльной чувствительностью, крикомъ вмѣсто чувства, эффектомъ вмѣсто потрясающей сцены; но чтобъ заставить разсмѣяться, даже грубымъ смѣхомъ, нужны природная веселость и своего рода юморъ. Скажутъ: толпу можно смѣшить въ сценическихъ пьесахъ переодѣваніями, оплеухами, толчками, потасовкой, неприличными и грубыми двусмысленностями, плоскими шутками и тому подобными комическими эффектами. Такъ и дѣлаетъ большая часть доморощенныхъ нашихъ драматурговъ, сочинителей и передѣльвателей комедій и водевилей: верхняя публика громко хохочетъ, нижняя аплодируетъ; но это обманъ сцены: ловкую игру актера принимаютъ за достоинство пьесы, которая по своему позабавитъ одинъ вечеръ толпу, на другой вечеръ уже не нравится самой этой толпѣ, а въ чтеніи никуда не годится съ перваго раза. Если на минуту она была пріобрѣтеніемъ сцены, то ни на одну минуту не составляла пріобрѣтенія для литературы. Такія пьесы десятками рождаются сегодня и десятками умираютъ завтра. Водевилистовъ и комиковъ нашихъ въ недѣлю не перечесть по пальцамъ, ихъ произведеніямъ нѣтъ числа, а драматической литературы нѣтъ у насъ! Ни одинъ петербургскій чиновникъ, получающій до 1000 рублей жалованья и поработавшій въ какой-нибудь газетѣ по части объявленій о сигарочныхъ и объ овощныхъ лавочкахъ, не затруднится написать комедію, изображающую высшій свѣтъ, котораго онъ, бѣднякъ, и во снѣ не видалъ и о тонѣ котораго онъ судитъ по манерамъ своего начальника отдѣленія. Комедія требуетъ глубокаго, остраго взгляда въ основы общественной морали, и притомъ надо, чтобъ наблюдающій ихъ юмористически своимъ разумніемъ стоялъ выше ихъ. Наши же доморощенные драматурги,—по большей части люди среднихъ кружковъ, въ которыхъ съ успѣхомъ отличаются своей любезностью и остроуміемъ,—стараются въ своихъ комедіяхъ и водевиляхъ быть «критиканами» (критиканъ—тривиальное слово, равнозначительное зубоскалу) и возбуждать смѣхъ или пошлыми каламбурами, или плоскими остротами надъ модными костюмами, бородами и прическами à la gusse, надъ простотой провинціала, пріѣхавшаго въ Петербургъ, словомъ,—надъ всякой странной вышностью. Не таковъ истинный комизмъ и истинный юморъ. Для него вышность смѣшна не сама по себѣ, но какъ выраженіе внутреннего міра души человѣка, отраженіе его понятій и чувствъ. Мы могли бы привести изъ комедій Гоголя тысячу примѣровъ истиннаго комизма, но ограничимся двумя: вспомните сцену, гдѣ городничій распекаетъ купцовъ за ихъ доносъ ревизору: «Жало-

ваться? а кто тебѣ помогъ сплутовать, когда ты строишь мостъ и написалъ дерева на двадцать тысячъ, тогда какъ его и на сто рублей не было? Я помогъ тебѣ, козлиная борода! Ты позабылъ это. Я, показавши это на тебя, могъ бы тебя также спровадить въ Сибирь... Что скажешь, а?»... Вотъ это комизмъ, отъ котораго какъ-то тяжело смѣяться! Человѣкъ безъ стыда, безъ совѣсти ставитъ себя въ заслугу, что онъ помогъ другому сплутовать, и, словно оскорбленная добродѣтель, съ благороднымъ негодованіемъ упрекаетъ другого въ неблагодарности, какъ въ черномъ и низкомъ дѣлѣ. Это онъ говорить при женѣ и дочери, и это же онъ скажетъ бы при сынѣ, еслибъ у него былъ сынъ. Фамусовъ въ «Горѣ отъ Ума» говоритъ Смызубу:

Нѣтъ! я передъ родней, гдѣ встрѣтится, ползкомъ,

Сыщу ее на днѣ морскомъ!

При мнѣ служащіе чужіе очень рѣдки:
Все больше сестрины, свояченицы дѣтки.

Однѣ Могаляги мнѣ не своей,

И то затѣмъ, что дѣловой.

Какъ станешь представлять къ крестнику
нѣ въ мѣстечку,

Ну какъ не порадытъ родному человѣчку?

Черта глубоко комическая! Въ Петербургѣ, слава Богу, эта черта не слишкомъ бросается въ глаза, но въ провинціальной глуши принципъ родства такъ силенъ, что тамъ скорѣе рѣшатся десять лѣтъ сряду не играть въ преферансъ, чѣмъ показать холодность къ родственнику въ семьдесятъ-седьмомъ колѣнѣ. Будь онъ плутъ отъявленный и человѣкъ съ самой дурной репутаціей, но если онъ вамъ родственникъ, онъ, отъ роду не выдавъ васъ, не только лѣзетъ съ своими губами къ вашему лицу, но и селится въ вашемъ домѣ съ семьей, съ дворней и заставляетъ васъ втайнѣ проклинать судьбу, которая дала вамъ возможность имѣть собственный домъ. И онъ правъ: не останавливаться же ему въ трактирѣ, прѣхавъ изъ своего помѣстья въ губернскій городъ, когда у него есть родственники; вѣдь они же обидѣлись бы такимъ грубымъ съ его стороны поступкомъ!.. И что же? здѣсь еще не конецъ смѣшному: они действительно обидѣлись бы, еслибъ онъ остановился не у нихъ, и они же проклинали бы тайнѣ и его, и себя, а наружно дѣлали бы сладкія мины сквозь слезы, еслибъ онъ у нихъ остановился... Вотъ онъ, неисчерпаемый источникъ истиннаго комизма! Онъ вкругъ насъ и даже въ самихъ насъ. Благодаря ему, мы смѣшны въ собственныхъ глазахъ. Но чуть только начнемъ мы писать комедію, выходитъ книга, въ которой много словъ, много пошлостей, много вздора, и нѣтъ нисколько истины, дѣйствительности. Интрига всегда завязана на пріянной любви,

Соч. Бѣлинскаго. Т. III.

увѣнчивающейся законнымъ бракомъ, но преодоленіи разныхъ препятствій. Любовь у насъ во всемъ—и въ стихахъ, и въ романахъ, и въ повѣстяхъ, и въ трагедіяхъ, и въ комедіяхъ, и въ водевиляхъ. Подумаешь, что на Руси люди только и дѣлаютъ, что влюбляются, да, по преодоленіи разныхъ препятствій, женятся,—и, замѣтите, всегда безкорыстно, безъ расчетовъ на приданое, на связи, на выгодное мѣсто, всегда на дѣвѣ идеальной, дочери бѣдныхъ, но благородныхъ родителей. Гоголь сказалъ правду: «Теперь сильнѣе завязываетъ драму стремленіе достать выгодное мѣсто, блеснуть и затмить, во что бы то ни стало, другого, отмстить за пренебреженіе, за насмѣшку. Не болѣе ли имѣютъ теперь электричества денежныхъ капиталъ, выгодная женитьба, чѣмъ любовь?». Но нашимъ комикамъ этого и въ голову не входило. Пошлый любовникъ съ пріянными фразами; пошлая барышня, вѣчно вродѣ сентиментальной *servante endimanchée*; разлучникъ негодяй и дядя-резонеръ—неизмѣнные лица ихъ комедій. Всѣ говорятъ, словно по книгѣ читаютъ; не услышишь живого слова, и нѣтъ признака того, что бываетъ въ дѣйствительности. Оно и лучше: нѣтъ не узнаешь себя и не осердится. Волки сыты и овцы цѣлы. Зато если среди кучи этихъ вздорныхъ произведеній появится водевильчикъ со смысломъ и хоть съ легонькимъ намекомъ на то, что въ самомъ дѣлѣ бываетъ, хоть съ искрой истины и вѣрности дѣйствительности,—Боже мой! сколько шума, какой триумфъ! Слово появилось въковое произведение!.. Такое событіе совершилось недавно,—и въ одной газетѣ авторъ хорошенькаго водевильчика приглашался передѣлать драматическія сочиненія Гоголя, чтобы сдѣлать ихъ сносными!.. Мы совѣтовали бы сочинителямъ оставить Гоголя въ покоѣ и прискать себѣ какого-нибудь водевилиста, который бы исправилъ и сдѣлалъ сколько-нибудь сносными ихъ собственныя, изъ чужихъ локутьевъ сшитыя, «драматическія представленія».

И вотъ, мы перебрали всѣ роды поэзіи, чтобы показать, что теперь ни въ одномъ нѣтъ возможности съ успѣхомъ дѣйствовать не только бездарности, посредственности, но и людямъ не безъ таланта. Бѣдность современной литературы происходитъ оттого, что все перепробовано, и новизной уже нельзя блеснуть какъ талантомъ. Это бѣдность честная, благородная, которая въ тысячу разъ лучше мнимаго богатства. Это успѣхъ, а не паденіе, огромный шагъ впередъ, а не назадъ. Теперь уже запертъ путь къ извѣстности и знаменитости всякому, у кого нѣтъ большого таланта. Вслѣдствіе этого безталантность, посредственность и мел-

кія дарованія, которыхъ еще больше на бѣломъ свѣтѣ, чѣмъ людей совершенно бездарныхъ, принялись за свое дѣло, на которое назначены они природой и судьбой: они составляютъ историческія компіляціи и статьи о нравахъ для политипажныхъ изданій. Когда картинки плохи, текстъ читается столько внимательно, сколько это нужно для объясненія картинокъ; когда картинки хороши (такъ напримѣръ картинки Тимма), текстъ вовсе не читается; но сочинители отъ этого ничего не теряютъ: ихъ книги покупаются для картинокъ, и читатели не въ претензіи за вздорную галиматью текста. И читатели правы: простительнѣе восхищаться хорошими картинками, чѣмъ пустыми книгами...

Время дѣтскихъ восторговъ прошло, и настаетъ время мысли. Публика сдѣлалась требовательнѣе. Правда, она сама не отдала себѣ отчета въ томъ, чего требуетъ, но уже не удовлетворяется всѣмъ, чѣмъ не попотчуетъ ее досужая дѣятельность писака. Время сознанія еще не настало, но уже близко начало этого сознанія. Пышные возгласы и великолѣпныя фразы ужъ всѣмъ кажутся пошлыми, и ими ужъ никого нельзя заинтересовать. Никто не станетъ сомнѣваться въ существованіи русской литературы; но всякій имѣетъ право требовать настоящаго взгляда на ея объемъ и степень ея важности, и всякій имѣетъ право смѣяться при пышныхъ сравненіяхъ ее съ иностранными литературами. Что у насъ есть литература, для этого достаточно знать, что у насъ есть Пушкинъ, и что мы, кромѣ Пушкина, съ гордостью можемъ указать еще на нѣсколько именъ. Наша литература имѣетъ и свою исторію, потому что всѣ замѣчательныя ея явленія исторически послѣдовательны и одни факты объясняются другими, предшествовавшими. Все это такъ; но вмѣстѣ съ этимъ мы не должны забывать, что наша литература вначалѣ была пересаженымъ цвѣткомъ, жизненность котораго долго поддерживалась искусственно, за стеклами теплицы. Очень и очень недавно начала она пускать корни въ русскую почву. И такъ еще доселѣ тѣсна эта почва! Гдѣ та сплоченная масса, изъ жизни которой, какъ цвѣтокъ изъ почки, возникла бы наша поэзія и обратно дѣйствовала бы одинаково на всю эту массу? Какое отношеніе имѣетъ наша современная поэзія съ поэзіей народной? Онѣ не только не родня одна другой—даже незнакомы другъ съ другомъ. Прочтите пьесу Пушкина не только мужику, но хотъ иному и купцу первой гильдіи: что онъ о ней скажетъ?... Гдѣ наша публика, которая силой своего мнѣнія уронила бы безстыдно-торговый журналъ или по крайней мѣрѣ ограничила бы его дерзость и наглость? Она на многое сердится, многимъ недовольна, но

чѣмъ именно, этого она сама не знаетъ, потому что она—не сплошная масса, а собраніе людей различныхъ состояній, круговъ, требованій, понятій, привычекъ, собраніе людей, не связанныхъ между собою единствомъ мнѣнія. Выходятъ «Мертвыя Души»: большинство публики ими недовольно, охотно соглашается съ журнальной бранью враговъ автора—и въ то-же время читаетъ, перечитываетъ и въ короткое время раскупаетъ двойное изданіе (2,400 экземпляровъ) «Мертвыхъ Душъ». Это фактъ, и очень многозначительный! Для удовлетворенія своей жажды къ чтенію (а жажды къ чтенію въ ней нельзя отрицать), она ищетъ все новаго, большей частью забывая старое. Попробуйте сказать слово, что въ Ломоносовѣ, Державинѣ, Карамзинѣ есть не только достоинства, но и недостатки, и что, писатели прошлой эпохи, они для насъ уже далеко не то, чѣмъ были для отцовъ и дѣдовъ,—и тотчасъ же многіе закричатъ, что у васъ нѣтъ уваженія къ заслуженнымъ авторитетамъ, что вы нагло толчете въ грязь великія имена и т. п. И въ публикѣ сейчасъ же раздадутся голоса: «да, въ самомъ дѣлѣ! какъ это можно, на что это похоже!» И, вы думаете, это говорятъ люди, изучившіе Ломоносова, Державина, Карамзина? Нисколько; они даже и не читали этихъ писателей, но они привыкли по наслышкѣ уважать эти имена. Оттого-то ленивъ и легко ихъ увѣрять, въ чемъ угодно, и заставлять смотрѣть на дѣльную критику, которая силится показать истинное значеніе писателя, какъ на злонамѣренную брань.

Та же незрѣлость и шаткость и въ нашей литературѣ. У насъ есть поборники европеизма, есть славянофилы и др.; ихъ называютъ литературными партіями. Смѣшное названіе! Всякія партіи имѣютъ свои корни въ обществѣ и бываютъ отголосками или выраженіями различій и противорѣчій общественнаго мнѣнія. Наши же партіи состояются изъ литературныхъ кружковъ, изъ которыхъ въ каждомъ случайно набралось человекъ десятокъ, сошедшихся на вечеръ за чаемъ въ нѣкоторыхъ невинныхъ литературныхъ мнѣніяхъ и вкусахъ. И эти-то кружки называютъ себя «партіями». Въ добрый часъ! Чѣмъ бы дитя ни тѣшилось, лишь бы не плакало! Литераторство у насъ—дѣло между другими важнѣйшими дѣлами, отдыхъ отъ служебныхъ занятій, а чаще всего оно имѣетъ простое значеніе лишнихъ полутора или двухъ тысячъ рублей въ годъ въ добавокъ къ жалованью. Много ли у насъ литераторовъ, которые посвятили себя одной литературѣ по призванію, по страсти къ ней? У насъ уже понимаютъ, что занятіе литературой между прочимъ—дѣло очень почтенное, особенно, если оно прибыльно...

При такомъ направленіи публики странно было бы требовать литературы въ настоящемъ смыслѣ этого слова. Съ другой стороны и литература наша только въ немногихъ своихъ исключеніяхъ выше этой публики; но, взятая вообще, совершенно по плечу ей. Наши литераторы большей частью не артисты, а диллетанты, которые между дѣломъ и бездѣльемъ почитываютъ и пописываютъ. Они убѣждены, что можно прежде всего дѣлать что-нибудь, хоть спекуляціи, а потомъ, въ свободное отъ главныхъ занятій время, почему и не написать чего-нибудь—вѣдь оно же и выгодно между прочимъ. Они убѣждены, что если кто написалъ въ жизнь свою три порядочныхъ романа, то уже великій писатель; а кто настроилъ десятокъ фельетоновъ—тотъ уже знаменитый литераторъ. Два-три стихотворенія даютъ у насъ право на извѣстность; водевиль отворяетъ ворота въ храмъ славы. Оттого, при всей бѣдности нашей литературы, у насъ литераторовъ бездна. Особенно богатъ ими Петербургъ. Загнѣйте новый журналъ, новую газету или, какъ теперь это болѣе въ ходу, воскресите старый журналъ или газету,—вы ни за миллионы не найдете издателя, который далъ бы новому изданію направленіе, жизнь и ходъ; зато сотрудниковъ и особенно переводчиковъ не оберетесь. Даже не нужно искать и звать ихъ—сами придутъ. Сто или двѣсти лезъ ихъ принесутъ вамъ на первый случай по сотнѣ стихотвореній, въ которыхъ нѣтъ ни поэзіи, ни смысла; пятьдесятъ принесутъ общацій—къ такому-то числу представить по повѣсти и, при сей вѣрной оказіи, спросить васъ, по-чемъ вы платите съ листа; десять принесутъ вамъ въ самомъ дѣлѣ по повѣсти, исполненной канцелярскаго юмора и чиновнической ироніи или высокаго трагическаго пафоса à la Марлинскій,—что однако не снабдитъ васъ матеріаломъ для вашего журнала. Что касается до критики и библіографіи,—въ Петербургѣ столько критиковъ и библіографовъ, что при ихъ помощи вамъ легко было бы издавать сто толстыхъ и тысячу тонкихъ журналовъ. И не мудрено: вѣдь въ Петербургѣ родился тотъ знаменитый Иванъ Александровичъ Хлестакъ, который сочинилъ и «Сумбеку», и «Фенелю», и «Юрія Милославскаго», издавалъ «Библіотеку для Чтенія» и всѣ журналы, издававшіеся въ Петербургѣ... Критика у насъ считается самымъ легкимъ ремесломъ; за нее берутся всѣ съ особенной охотой, и рѣдко кому входитъ въ голову, что для критики нужно имѣть талантъ, вкусъ, познанія, начитанность, нужно умѣть владѣть языкомъ. Большая часть, напротивъ, думаетъ, что для этого нужно только знать, что всѣ наши—гены и таланты, а всѣ не наши—люди не

безъ таланта, если они намъ не мѣшаютъ, и люди бездарные, если мѣшаютъ. Теорія, какъ видите, самая простая, и чтобъ понять ее сразу, не нужно учиться, трудиться, думать, развиваться, имѣть мнѣніе, взглядъ, убѣжденіе. И потому нѣтъ ничего обыкновеннѣе, какъ услышать жалобы вродѣ слѣдующихъ: «Скажите, пожалуйста, за что онъ (имя рекъ) разобралъ мой романъ, мою повѣсть, драму, водевиль, журналъ или книгу? Что я ему сдѣлалъ? Вѣдь мы съ нимъ пишемъ въ разныхъ родахъ, или въ разныхъ журналахъ, и помѣщать другъ другу не можемъ?» Почти никому въ голову не приходитъ, что можно безъ всякихъ личныхъ отношеній къ человѣку, и даже зная его съ хорошей стороны, уважая его характеръ и сердце, не любить его взгляда на тотъ или другой предметъ и энергически противодѣйствовать этому взгляду, такъ же, какъ можно, любя и уважая человека, не уважать его сочиненій, какъ оскорбляющихъ вкусъ и умъ. Значитъ, понимаютъ энергію антипатіи за соперничество по деньгамъ, по самолюбію, по извѣстности и другимъ мелкимъ страстишкамъ и пристрастишкамъ; но не понимаютъ энергіи антипатіи къ тому, что кажется ошибочнымъ мнѣніемъ, ложнымъ убѣжденіемъ, умышленнымъ или неумышленнымъ заблужденіемъ, безвкусіемъ, бездарностью. Кто-нибудь издалъ плохой романъ, въ которомъ удачно польстятъ грубому вкусу большинства и чрезъ-то пріобрѣлъ большой успѣхъ,—а вы написали критику, въ которой показали въ истинномъ свѣтѣ незаконное чадъ площадной фантазіи: вы—завистникъ, ибо вамъ никто не повѣритъ, чтобъ можно было разсердиться на книгу, которая до васъ не касается; но всѣ повѣрятъ, что можно взбѣситься на чужой успѣхъ... И такіе-то «нравы» существуютъ между классомъ такъ называемыхъ литераторовъ!.. Оттого наши критики не занимаются старыми писателями, отъ которыхъ имъ уже ни пользы, ни потери быть не можетъ. Сегодня умеръ писатель, хотя бы великій, и завтра уже нечего толковать о немъ, исключая развѣ случая, если его сочиненія издаются, и расходъ ихъ можетъ повредить расходу сочиненій критика или его пріятелей. Безъ этого случая критики наши говорятъ только о современныхъ явленіяхъ, какъ бы они ни были ничтожны, особенно если эти сочиненія—ихъ собственныя. Зато какъ тяжка у насъ роль критика, проникнутаго убѣжденіемъ и не отдѣляющаго вопросовъ объ искусствѣ и литературѣ отъ вопросовъ о своей собственной жизни, обо всемъ, что составляетъ сущность и цѣль его нравственнаго существованія!.. И тѣмъ хуже ему, если онъ столько уважаетъ истину и столько смиряется передъ ней, что всегда готовъ отказаться отъ мнѣнія, которое защи-

палъ съ жаромъ и съ энергіей, но которое, въ процессъ своего непрерывно движущагося сознанія, онъ уже не можетъ болѣе признавать за справедливою!.. Не смотритъ на то, что перемѣна мнѣнія не только не доставила и не могла доставить ему никакой пользы, но еще и поставила его, или могла поставить, въ несправедливое положеніе къ людямъ, которые довѣряли его авторитету,—не говоря уже о томъ, что отрѣчься отъ своего мнѣнія,—значить признаться въ ошибкѣ, а это не совсемъ лестно для человѣческаго самолюбія, которое всегда наклонно поддерживать, что дважды два—пять, а не четыре, лишь бы только казаться непогрѣшительнымъ. А имѣть свой взглядъ, свое убѣжденіе, судить на какихъ—нибудь основаніяхъ, а не по голосу толпы—да это значить ни больше, ни меньше, какъ прослыть человѣкомъ безпокойнымъ и безнравственнымъ. Вздумайте писать не отрывочныя фразы, но большія и дѣльныя статьи, которыя бы стоили вамъ много труда и размышленія, напримѣръ о Державинѣ, Жуковскомъ, Батюшковѣ, Пушкинѣ, Лермонтовѣ,—и на васъ польется проливной дождь брани. Нужды нѣтъ, что вы говорите съ доказательствами, съ доводами; пусть въ вашихъ статьяхъ видны будутъ любовь и уваженіе къ разбираемымъ вами писателямъ,—сейчасъ найдутся люди, которые закричатъ въ одинъ голосъ: «ложь, пристрастіе, неуваженіе къ великимъ именамъ, дерзкое презрѣніе къ признаннымъ всѣми авторитетамъ!» И тщетно стали бы вы говорить въ отвѣтъ на эти брани, что вы отнюдь не признаете себя непогрѣшительнымъ и очень хорошо знаете, что можете ошибаться, подобно всѣмъ людямъ, но желаете, чтобъ вамъ доказали вашу ошибку и показали, въ чемъ именно и почему именно вы ошибаетесь: ваше желаніе, ваше справедливое требованіе никогда не будутъ выполнены, потому что противники ваши находятъ свои причины видѣть ваши мнѣнія ложными и пристрастными, но не находятъ въ себѣ ни силъ, ни умѣнья, слѣдовательно и ни охоты доказать справедливость своего обвиненія противъ васъ. А что же дѣлаетъ въ это время публика? Большая часть ея всегда охотѣе присоединяется къ этимъ крикунамъ, ибо если и большая часть нашихъ литераторовъ, заправляющихъ мнѣніемъ публики, подъ «критикой» разумѣютъ брань, а слово «критиковать» объясняютъ словомъ «ругать», то какъ же иначе стали бы понимать критику большинство, толпа? У насъ ужъ такъ изстари ведется: если кого хвалить, такъ ужъ все надо находить безусловно хорошимъ, и позволяется слегка замѣтить что—нибудь, развѣ только о несправности изданія, опечатки и т. п.; а если кого бранить, такъ ужъ бей съ плеча!

Поэтому критики съ самостоятельнымъ взглядомъ у насъ всегда играли очень несправедливую роль. Для доказательства этого предлагаю здѣсь на выдержку нѣсколько строкъ Мералькова, выписанныхъ нами изъ «Вѣстника Европы» 1813 года (часть XLVII, стр. 224—227):

«Можетъ быть нѣкоторые скажутъ, что у насъ литература еще не весьма богата и не можетъ удовлетворить всѣмъ требованіямъ общества; что критика еще не найдетъ обильнаго для себя поля, и что ей заниматься рано. Но правда ли, что мы такъ бѣдны? Для чего обижать самихъ себя! Мы уже имѣемъ превосходныхъ писателей почти во всѣхъ родахъ словесности. Одинъ Державинъ представляетъ огромнѣйшій, разнообразный садъ для ума и вкуса разборчиваго! Кому несправедливо внимать величественной лирѣ Ломоносова? Кто откажется слѣдовать за Богдановичемъ въ очаровательные чертоги Амура? или, оживясь патриотизмомъ, стремиться на крылахъ пламенныхъ за важнымъ Херасковымъ подъ твердыни казанскія, къ грознымъ пожарамъ Чесмы! Но на что, возражать, касаться сихъ почтенныхъ именъ? Они уже освѣщены общими мнѣніемъ! — Странное благоговѣніе къ мужамъ великимъ—думать, что мы дѣлаемъ имъ честь, когда не смѣемъ заглянуть въ ихъ сочиненія, не смѣемъ сказать объ нихъ ни слова! Такого рода уваженіе похоже на набожность китаецъ, благоговѣющихъ передъ старыми своими книжками, которыя, будучи неприступны для ума просвѣщеннаго, остаются корыстью мышей и времени! И у насъ есть китаицы въ семъ смыслѣ! Для чего жъ и для кого трудились эти великіе писатели? Хотѣли-ль они быть полезными будущему поколѣнію? Если хотѣли, то дали право разбирать свои сочиненія! И кого жъ другого почтить разборомъ, какъ не ихъ? Только твердые камни полируются; слабыя и легкія не стоятъ и не выносятся полировкой.

«Странное мнѣніе имѣемъ мы о критикѣ! Дать не смотритъ только на подаренныя ему куланы, но ихъ раскладываетъ, даетъ имъ мѣста, разговариваетъ съ ними; хорошій бібліотекарь не кладетъ книгъ въ кучу, но даетъ имъ порядокъ, знаетъ каждой цѣну и достоинство; садовникъ такъ-же поступаетъ съ своими любимыми цвѣтами и деревьями; онъ пользуется отъ трудовъ своихъ. Почему же мы, имѣя такіа сокровища на языкѣхъ российскомъ, хотимъ знать ихъ только по имени или, что еще хуже, повторять объ нихъ чужія мысли, часто невѣрныя? Для чего самому не имѣть своего мнѣнія, самому не наслаждаться? Мы доказуемъ, что мнѣнія мои ложны—отступаюсь; но я человѣкъ — и имѣю право мыслить. Но у насъ мало писателей! Итакъ, хотите ли, чтобъ ихъ число умножалось? Будьте къ нимъ внимательнѣе или тоже развѣчайте ихъ; отъ этого они умножаются и скорѣе достигаютъ совершенства. Умножаются, почему? Вниманіе публики возбуждаетъ соревнованіе. Увидѣвъ, что истинное достоинство отличено, слабость обнаружена, увидѣвъ, сколь почтено выйти изъ обыкновеннаго круга людей, всякій захочетъ испытать силы на столь блистательномъ поприщѣ. Докажите важность искусства,—атлеты не замедлятъ явиться. Я сказалъ: скорѣе достигаютъ совершенства; писатель не достигнетъ его, если публика не въ силахъ или не хочетъ судить о немъ, ибо въ рукахъ публики—его награды, она раздражаетъ его честолюбіе и возбуждаетъ къ великимъ успѣхамъ. Равнодушіе наше—убійство словесности. Публика и писатель другъ друга

награждают: писатель даетъ ей пищу, она его образуетъ; одинъ доставляетъ ей удовольствіе, другая вѣнчаетъ его славой! Свидѣтели той другой истины — всѣ просвѣщенные государства Европы. Ни въ какое время не было у нихъ столько хорошихъ писателей, какъ при царствованіи критики.

Итакъ, на что жаловался умный литераторъ и что сдѣлалъ онъ растолковать назадъ тому ровно тридцать лѣтъ, на это же можно жаловаться и это же должно объяснять — теперь! Вотъ какъ быстро и шибко подвигается впередъ наше литературное образованіе!... Сказано, что Державинъ великъ: такъ зачѣмъ намъ знать, какъ, чѣмъ и почему онъ великъ; а если онъ великъ, какіе же у него могутъ быть недостатки? Чтобъ узнать, почему онъ великъ и какіе въ немъ есть недостатки, надо его читать, изучать, думать о немъ, а чтобъ знать, что онъ великъ и никакихъ недостатковъ не имѣетъ, для этого не нужно прочесть ни одной его оды, что вѣдь гораздо легче! Такъ думать, хотя и не такъ говорить. И напрасно бы вы стали доказывать, что хотя Гомеръ и Шекспиръ и несравненно выше Державина, однакожъ и они, оставаясь попрежнему великими гениями, все-таки для насъ не то, чѣмъ были въ свое время, ибо жизнь неистощима въ проявленіяхъ творческой силы, и всякое время должно имѣть свою поэзію, соответствующую требованіямъ этого времени. Васъ не будутъ слушать, ибо требуютъ словъ, а не идей, дѣтскихъ споровъ за имена, а не объясненія значеній этихъ именъ. «Какъ! — кричатъ вамъ: — пересчитывая знаменитыхъ вашихъ писателей, вы имя Жуковского поставили послѣ имени Батюшкова; — конечно Батюшковъ былъ человѣкъ съ талантомъ, но все же нельзя его равнять съ Жуковскимъ!» Или: «вы Пушкина поставили на одну доску съ Баратынскимъ!» При этихъ крикахъ остается только заткнуть уши; вы видите, что васъ не поняли, вашимъ словамъ придали дѣтское значеніе, о которомъ вы и не думали, — а вамъ невольно становится стыдно собственныхъ своихъ словъ, вы лучше хотите, чтобъ вамъ приписывали какія угодно нелѣпости, нежели оправдываться и объясняться. Вы напримѣръ сказали, что есть два рода великихъ поэтовъ: одни, съ печатью олимпийскаго происхожденія на челѣ, изображаютъ міръ, какъ онъ есть, принимая его дѣйствительное состояніе во всякій данный моментъ за непреложно-разумное; и таковъ былъ величайшій представитель этого рода поэтовъ — Шекспиръ, и къ такому разряду поэтовъ принадлежитъ нашъ Пушкинъ; другіе, невольные уже совершившимся цикломъ жизни, носить въ душѣ своей предчувствіе ея будущаго идеала: таковъ былъ величайшій

представитель этого рода поэтовъ — Байронъ, и къ такому разряду принадлежитъ нашъ Лермонтовъ. Вы сказали это для того, чтобъ обозначить характеръ и духъ поэзіи Пушкина и поэзіи Лермонтова, понимая всю неизмѣримость разстоянія, раздѣляющаго великаго мирового поэта Шекспира отъ великаго русскаго поэта Пушкина, и громаднаго Байрона отъ безвременно погибшаго юноши, а вамъ кричатъ: «О-го! вотъ какъ! Пушкинъ наравнѣ съ Шекспиромъ, Пушкинъ — Шекспиръ, а Лермонтовъ — Байронъ!...» Что тутъ говорить! Все важное такъ легко сдѣлать смѣшнымъ въ глазахъ толпы, которая не вникаетъ въ дѣло и увлекается плоской шуткой... Вотъ еще примѣръ дѣтскости понятій въ русской литературѣ о критикѣ: сколько литераторовъ, сколько критиковъ писало, пишеть и вѣроятно еще долго будетъ писать, что дѣло критика — гладить по головкѣ всякаго писаку въ надеждѣ, что авось-либо выйдетъ изъ него гений или талантъ, что строгая критика можетъ убить возникающій талантъ, а о талантѣ-де нельзя судить по первому произведенію. Напрасно станете вы возражать на это, что истиннаго призванія не убьетъ никакая критика — ни строгая, ни снисходительная, ни пристрастная, ни ложная; что не убиваются ею, особенно теперь, даже посредственность и бездарность, и что не стоитъ жалѣть о талантѣ, струсившемъ по самолюбію перваго суроваго приговора критики, ибо дороги таланты, а не талантики...

Но не будемъ вдаваться въ крайности. Смѣшно было прошлое добродушное самохвалство русской литературы, которая такъ смѣло мѣрилась силами съ любой европейской литературой и на французскую даже смотрѣла съ презрѣніемъ, живя и дыша въ то же время займами у нея; также смѣшно можетъ быть и отчаяніе за русскую литературу. Будемъ смотрѣть на то, что есть, смѣло, неприкрашивая дѣйствительности мечтами и призраками, но будемъ смотрѣть на нее безъ ненависти и страха. У насъ есть немного, — это правда, но есть же; не будемъ преувеличивать тогс, что имѣемъ, но не будемъ и отказываться отъ того, что есть у насъ. Наша литература началась съ 1739 года (отъ появленія первой оды Ломоносова), и для какихъ-нибудь ста четырехъ лѣтъ мы имѣемъ даже много, если не будемъ считатьъ, словно съ ровнями, съ европейскими литературами, которыя развились вѣками. Но важнѣе всего то, что наша юная, возникающая литература, какъ мы замѣтили выше, имѣетъ уже свою исторію, ибо всѣ явленія тѣсно сопряжены съ развитіемъ общественнаго образованія на Руси; и всѣмъ приходится въ болѣе или менѣе живомъ, ор-

ганически послѣдовательномъ соотношеніи между собой.

Бѣдность русской литературы въ настоящее время — также необходимое слѣдствіе историческаго развитія и хода ея вообще. Мы уже говорили объ этомъ; но намъ еще остается сказать кое-что. Мы съ особенной подробностью развили ту мысль, что всѣ роды попытокъ и опытовъ ужъ истощены, а потому обыкновенно таланты лишены возможности въ чемъ-нибудь успѣвать; но мы только мимоходомъ замѣтили, что въ то же время даны образцы истиннаго творчества, которымъ подражать нельзя и которые если не мѣшаютъ съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ дѣйствовать талантамъ, то уже не подражательнымъ, а самобытнымъ, и которые убили совершенно возможность успѣха для обыкновенныхъ дарованій, доселѣ игравшихъ такую важную роль. Объ этомъ стоитъ поговорить подробнѣе и обстоятельнѣе.

Въ нѣкоторыхъ русскихъ журналахъ публика встрѣчаетъ постоянныя выходки и нападки на Гоголя, уже давно начавшіяся. Въ нихъ обыкновенно смѣются надъ малороссійскимъ жартомъ, надъ украинскимъ юморомъ и т. п. Недавно въ одномъ изъ такихъ журналовъ по поводу разбора какой-то книги въ юмористическомъ тонѣ сказано:

«Надо сказать по совѣсти: велика сила подражательности въ нашей литературѣ. Мы долго не шутили; насъ считали въ Европѣ за народъ серьезный и нѣсколько угрюмый; говорили даже, будто мы всегда поемъ, но никогда не смѣемся; все это могла быть правда въ прежнее время: но дѣло въ томъ, что у насъ не было только образчиковъ порядочной шутки, настоящаго степного *жартованія*. Съ тѣхъ поръ какъ малороссійская фарса посѣтила нашу важную и чинную литературу подъ именемъ юмору, остроуміе и веселость вдругъ у насъ развазались. Вотъ что значитъ — не испытать дѣло лично! Нѣкогда остроуміе казалось намъ мудреной вещью! Мы съ такимъ почтеніемъ снимали шляпу передъ всякимъ остроуміемъ! Попробовавъ сами этого чуднаго искусства, мы удивились его легкости... *Se n'est que ça?*... спросилъ каждый изъ насъ у своего сѣбѣ съ наумленіемъ. — И шутливость вспыхнула изъ насъ volcanoмъ. Теперь мы шутимъ, *жартуемъ*, *фарсимъ*, какъ чумаки въ степи.»

Авторъ этихъ строкъ хотѣлъ сказать одно, а вышло у него совсѣмъ другое. Онъ хотѣлъ пошутить, посмѣяться, уколоть кое-кого, не называя его по имени, — и указалъ на фактъ современной русской литературы, — фактъ, который трудно сдѣлать смѣшнымъ и не такому остроумному перу, какимъ владѣетъ авторъ выписанныхъ нами строкъ. Фактъ этотъ состоитъ въ томъ, что со времени выхода въ свѣтъ «Миргорода» и «Ревизора» русская литература приняла совершенно новое направленіе. Можно ска-

зать безъ преувеличенія, что Гоголь сдѣлалъ въ русской романической прозѣ такой же переворотъ, какъ Пушкинъ въ поэзіи. Тутъ дѣло идетъ не о стилистикѣ, и мы первые признаемъ охотно справедливость многихъ нападокъ литературныхъ противниковъ Гоголя на его языкъ, часто небрежный и неправильный. Нѣтъ, здѣсь дѣло идетъ о двухъ болѣе важныхъ вопросахъ: о слогѣ и созданіи. Къ достоинствамъ языка принадлежатъ только правильность, чистота, плавность, чего достигается даже самая пошлая бездарность путемъ рутинны и труда. Но слогъ это — самъ талантъ, сама мысль. Слогъ — это рельефность, осязаемость мысли, въ слогѣ весь человѣкъ; слогъ всегда оригиналенъ, какъ личность, какъ характеръ. Поэтому у всякаго великаго писателя свой слогъ; слога нельзя раздѣлить на три рода — высокій, средній и низкій: слогъ дѣлится на столько родовъ, сколько есть на свѣтѣ великихъ или по крайней мѣрѣ сильно даровитыхъ писателей. По почерку узнаютъ руку человѣка и на почеркѣ основываютъ достовѣрность собственноручной подписи человѣка; по слогу узнаютъ великаго писателя, какъ по кисти — картину великаго живописца. Тайна слога заключается въ умѣннѣ до того ярко и выпукло излагать мысли, что онѣ кажутся какъ-будто нарисованными, изваянными изъ мрамора. Если у писателя нѣтъ никакого слога, онъ можетъ писать самымъ превосходнымъ языкомъ, и все-таки неопредѣленность и — ея необходимое слѣдствіе — многословіе будутъ придавать его сочиненію характеръ болтовни, которая утомляетъ при чтеніи и тотчасъ забывается по прочтеніи. Если у писателя есть слогъ, его зпитетъ рѣзко опредѣлительнѣе, всякое слово стоитъ на своемъ мѣстѣ, и въ немногихъ словахъ схватывается мысль, по объему своему требующая многихъ словъ. Дайте обыкновенному переводчику перевести сочиненіе иностраннаго писателя, имѣющаго слогъ: вы увидите, что онъ своимъ переводомъ расплодитъ подлинникъ, не передавъ ни его силы, ни опредѣленности. Гоголь вполне владѣетъ слогомъ. Онъ не пишетъ, а рисуетъ; его фраза, какъ живая картина, мечется въ глаза читателю, поражая его своей яркой вѣрностью природѣ и дѣйствительности. Самъ Пушкинъ въ своихъ повѣстяхъ далеко уступаетъ Гоголю въ слогѣ, имѣя свой слогъ и будучи сверхъ того превосходнѣйшимъ стилистомъ, т. е. владѣя въ совершенствѣ языкомъ. Это происходитъ оттого, что Пушкинъ въ своихъ повѣстяхъ далеко не то, что въ стихотворныхъ произведеніяхъ или въ «Исторіи Пугачевского Бунта», написанной по Тацитовски. Лучшая повѣсть Пушкина, «Капитанская Дочка», далеко не сравнится

ни съ одной изъ лучшихъ повѣстей Гоголя, даже въ его «Вечерахъ на Хуторѣ». Въ «Капитанской Дочкѣ» мало творчества и нѣтъ художественно-очерченныхъ характеровъ, вмѣсто которыхъ есть мастерскіе очерки и сцены. А между тѣмъ повѣсти Пушкина стоятъ еще гораздо выше всѣхъ повѣстей предшествовавшихъ Гоголю писателей, нежели сколько повѣсти Гоголя стоятъ выше повѣстей Пушкина. Пушкинъ имѣлъ сильное вліяніе на Гоголя—не какъ образецъ, которому бы Гоголь могъ подражать, а какъ художникъ, сильно двинувшій впередъ искусство не только для себя, но и для другихъ художниковъ открывшій въ сферѣ искусства новые пути. Главное вліяніе Пушкина на Гоголя заключалось въ той народности, которая, по словамъ самого Гоголя, «состоитъ не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духѣ народа». Статья Гоголя «Нѣсколько словъ о Пушкинѣ» лучше всякихъ разсужденій показываетъ, въ чемъ состояло вліяніе на него Пушкина. Приученная къ тону и манерѣ повѣстей Марлинскаго, русская публика не знала, что и подумать о «Вечерахъ» Гоголя. Это былъ совершенно новый міръ творчества, котораго никто не подозревалъ и возможности. Не знали, что думать о немъ, не знали, слишкомъ ли это что-то хорошее, или слишкомъ дурное. Повѣсти въ «Арабескахъ»: «Невскій Проспектъ» и «Записки Сумасшедшаго», потомъ «Миргородъ» и наконецъ «Ревизоръ» вполне обрисовали характеръ Гоголевой поэзіи, и публика, равно какъ и литераторы, раздѣлились на двѣ стороны, изъ которыхъ одна, преусердно читая Гоголя, увѣрилась, что имѣть въ немъ русскаго Поль-де-Кока, котораго можно читать, но подъ рукою, не вѣдъ признаваясь въ этомъ; другая увидѣла въ немъ новаго великаго поэта, открывшаго новый, неизвѣстный доселѣ міръ творчества. Число послѣднихъ было несравненно меньше числа первыхъ, но зато послѣдніе въ этомъ случаѣ представляли собой публику, а первые—толпу. Наша толпа отличается невѣроятной чопорностью, достойной мѣщанскихъ нравовъ: она всего больше хлопочетъ о хорошемъ тонѣ высшаго общества и видитъ дурной тонъ именно въ тѣхъ произведеніяхъ, которые читаются въ салонахъ высшаго общества. Между тѣмъ реформа въ романической прозѣ не замедлила совершиться, и всѣ новые писатели романовъ и повѣстей, даровитые и бездарные, какъ-то невольнo подчинились вліянію Гоголя. Романисты и нувеллисты старой школы стали въ самое затруднительное и самое забавное положеніе: браня Гоголя и говоря съ презрѣніемъ объ его произведеніяхъ, они невольнo впадали въ его тонъ и неловко

подражали его манерѣ. Слава Марлинскаго сокрушилась въ нѣсколько лѣтъ, и всѣ другіе романисты, авторы повѣстей, драмъ, комедій, даже водевилей изъ русской жизни внезапно обнаружили столько неподозрѣваемой въ нихъ дотогѣ бездарности, что съ горя перестали писать; а публика (даже большинство публики) стала читать и обращаться вниманіе только на молодыхъ талантливыхъ писателей, которыхъ дарованіе образовалось подъ вліяніемъ поэзіи Гоголя. Но такихъ молодыхъ писателей у насъ немного, да и они пишутъ очень мало. И вотъ еще одна изъ главныхъ причинъ бѣдности современной русской литературы! Если кто больше всего и больше всѣхъ виноватъ въ ней, такъ это безъ сомнѣнія Гоголь. Безъ него у насъ много было бы великихъ писателей, и они писали бы и теперь съ прежнимъ успѣхомъ; безъ него Марлинскій и теперь считался бы живописцемъ, великихъ страстей и трагическихъ коллизій жизни; безъ него публика русская и теперь восхиталась бы «Дѣвой Чудной» барона Брамбеуса, видя въ ней пучину остроумія, бездну юмору, образецъ изящнаго слогу, сливки занимательности и пр., и пр.

Гоголь убилъ два ложныя направленія въ русской литературѣ: натянутый, на ходуляхъ стоящій идеализмъ, махающій мечомъ картоннымъ, подобно разсудившему актеру, и потомъ—сатирическій дидактизмъ. Марлинскій пускалъ въ ходъ эти ложныя характеры, исполненные не силы страстей, а кривляній поддѣльнаго байронизма; всѣ принялись рисовать то Карловъ Мооровъ въ черкесской буркѣ, то Лировъ и Чайльдъ-Гарольдовъ въ канцелярскомъ вицъ-мундирѣ. Можно было подумать, что Россія отличается отъ Италіи и Испаніи только языкомъ, а отнюдь не цивилизаціей, не нравами, не характеромъ. Никому въ голову не приходило, что ни въ Италіи, ни въ Испаніи люди не кривляются, не говорятъ изысканными фразами и не безпрестанно рѣжутъ другъ друга ножами и кинжалами, сопровождая эту рѣзку высокопарными монологами. Презрѣніе къ простымъ чадамъ земли дошло до послѣдней степени. У кого не было колоссальнаго характера, кто мирно служилъ въ департаментѣ или ловко сводилъ концы съ концами за секретарскимъ столомъ въ земскомъ или уѣздномъ судѣ, говорилъ просто, не читалъ стиховъ и поэзію предпочиталъ существенности, тотъ уже не годился въ героя романа или повѣсти и неизбѣжно дѣлался добычей сатиры и правоучительной цѣлы. И, Боже мой! какъ страшно бичевала эта сатира всѣхъ простыхъ, положительныхъ людей за то, что они не герои, не колоссальные характеры, а ничтожные пигмеи человѣче-

ства. Она такъ безобразно отдѣлывала ихъ своей мочальной кистью, своими грязными красками, что они нисколько не походили на людей и было до того уродливы, что, глядя на нихъ, уже никто не рѣшался брать взятку, ни предаваться пьянству, плутовству и пр. Прошло это время—и общество, которое такъ хорошо уживалось съ такой литературой, теперь часто ссорится съ ней, говоря: какъ можно писать то-то, выставить это-то, выдумывать такое-то,—и многие изъ этого общества чуть не со слезами на глазахъ клянутся, что ничего не бываетъ напимѣрь подобнаго тому, что выставлено въ «Ревизорѣ», что все это ложь, выдумка, злая «критика», что это обидно, безнравственно и проч. И всѣ, довольные и недовольные «Ревизоромъ», знаютъ чуть не наизусть эту комедію Гоголя... Такое противорѣчіе стоитъ того, чтобъ обратить на него вниманіе.

Прежде сатира смѣло разгуливала между народомъ среди бѣлаго дня и даже не заботилась объ киклогнито, но прямо и открыто называлась своимъ собственнымъ именемъ, т. е. сатирой,—и никто не сердился на нее, никто даже не замѣчалъ ея гримасъ и кривляній. Отчего это? Оттого, что никто не узнавалъ себя въ ней; оттого, что она нападала на пороки общіе, которыхъ всякій имѣетъ полное право не принять на свой счетъ; оттого, что она была книгой, печатной бумагой, невиннымъ школьнымъ упражненіемъ по классу реторики... И давно ли нраво-описательные, нравственно-сатирическіе романы, юмористическія статьи и статейки являлись стаями, какъ вороны на крышахъ домовъ, каркая на проходящихъ во все воронье горло?—и на нихъ никто не сердился, даже какъ сердятся лѣтомъ на докучныхъ мухъ. Сочинитель гордо называлъ себя сатирикомъ, гонителемъ людскихъ пороковъ,—и гонимые люди безъ боязни подходили къ своему гонителю, дряхлому, беззубому бульдогу, гладили его по толстой и лоснящейся шеѣ и охотно кормили его избыткомъ своей трапезы. Отчего это?—Оттого, что пороки, которые гналъ сатирикъ, были совсѣмъ не пороки, а развѣ отвлеченныя идеи о порокахъ, реторическія тропы и фигуры. Это были своего рода бараны и мельницы, съ которыми храбро и отважно сражался сатирическій Донъ-Кихотъ,—такъ же, какъ добродѣтель, за которую онъ ратовалъ, была для него воображаемой Дульцинеей, а для другихъ—толстой, безобразной коровницей. Теперь нѣтъ сатиры, и только развѣ какой-нибудь старый сочинитель рѣшится величаться вышедшимъ изъ моды именемъ «сатирика»; теперь пишутся романы и повѣсти безъ всякихъ сатирическихъ намѣреній и цѣлей,—

а между тѣмъ всѣ на нихъ сердятся. Отчего-жь это?—Оттого, что теперь и великіе, и малые таланты, и посредственность, и бездарность—всѣ стремятся изображать дѣйствительныхъ, не воображаемыхъ людей; не такъ какъ дѣйствительные люди обитаютъ на землѣ и въ обществѣ, а не на воздухѣ, не въ облакахъ, гдѣ живутъ одни призраки, то естественно писатели нашего времени вмѣстѣ съ людьми изображаютъ и общество. Общество также—нѣчто дѣйствительное, а не воображаемое, и потому его сущность составляютъ не одни костюмы и прически, но и нравы, обычаи, понятія, отношенія и т. д. Человѣкъ, живущій въ обществѣ, зависитъ отъ него и въ образѣ мыслей, и въ образѣ своего дѣйствованія. Писатели нашего времени не могутъ не понимать этой простой, очевидной истины, и потому, изображая человѣка, они стараются вникать въ причины, отчего онъ таковъ или не таковъ и т. д. Вслѣдствіе этого естественно они изображаютъ не частные достоинства или недостатки, свойственные тому или другому лицу, отдѣльно взятому, но явленія общія. Большинство же публики именно тамъ-то и видитъ личности, гдѣ ихъ нѣтъ и быть не можетъ. Прежніе такъ называемые сатирики именно списывали съ извѣстныхъ имъ лицъ—и казались въ глазахъ всѣхъ неподлежащими упреку въ личностяхъ. И это очень понятно: сами оригиналы не узнавали себя въ снятыхъ съ нихъ копіяхъ, потому что сатирики не могли печатно касаться обстоятельствъ того или другого лица и ограничивались общими чертами пороковъ, слабостей и странностей, которыя, будучи отвлечены отъ живой личности, превращались въ образы безъ лицъ. Притомъ же эти сатирики смотрѣли на пороки и слабости людей, какъ на что-то принадлежащее тому или другому индивидуальному лицу, какъ на что-то произвольное, что это лицо могло имѣть и не имѣть по своей волѣ и что приобрести или отъ чего избавиться оно легко могло по прочтеніи убѣдительной сатиры, гдѣ ясно, по пальцамъ, доказаны выгода и сладость добродѣтели и опасныя, пагубныя слѣдствія порока. Вотъ почему эти добрые сатирики брали человѣка, не обращая вниманія на его воспитаніе, на его отношенія къ обществу, и тормошили на досугъ это созданное ихъ воображеніемъ чудело. Въ основаніе своего сатирическаго донъ-кихотства они положили общественную нравственность, добродушно не подозревая того, что ихъ сатиры, опирающіяся на общественную нравственность, ужасно противорѣчили этой нравственности. Такъ напимѣрь, въ числѣ первыхъ добродѣтелей они полагали безусловное повиновеніе родительской власти и въ то же время толковали

юношеству, что брак по расчету — дѣло безнравственное, что низкопоклонство, лезть изъ выгоды, взяточничество и казнокрадство — тоже дѣла безнравственные. Очень хорошо; но что иному юношѣ дѣлать, если онъ съ малолѣтства, почти съ материнскимъ молокомъ, всосалъ въ себя мистическое благоговѣніе къ доходнымъ должностямъ, теплымъ мѣстамъ, къ значительности въ обществѣ, къ богатству, къ хорошей партіи, блестящей карьерѣ; если его младенческий слухъ былъ оглушенъ не словами любви, чести, самоотверженія, истины, а словами: «взялъ, получилъ, приобрѣлъ, надулъ» и т. п.? Положимъ, что такъ ому юношѣ природа не отказала въ человѣческихъ чувствахъ и стремленіяхъ; положимъ, что въ немъ пробудилась любовь къ достойной, но бѣдной, простого званія дѣвушкѣ, любовь, запрещающая ему соединиться съ противной ему богатой дурой, на которой по расчетамъ приказываютъ ему жениться; положимъ, что въ юношѣ пробудилось человѣческое достоинство, запрещающее ему кланяться богатому плуту или чиновному негодяю; положимъ, что въ немъ пробудилась совѣсть, запрещающая употребить во зло вѣренныя ему вышней властью вѣсы правосудія и расхищать вѣренныя его безкорыстію общественныя суммы: что ему тутъ дѣлать? Сатирикъ не затруднится отъ такого вопроса и, не задумавшись, отвѣтитъ: «жениться на предметѣ любви своей, служить честно и вѣрно отечеству»... Прекрасно; но гдѣ же повиновеніе родительской власти, гдѣ уваженіе къ родительскому благословенію, на вѣка нерушиму, гдѣ страхъ тяжкаго отцовскаго проклятія!.. И потомъ, гдѣ уваженіе къ общественному мнѣнію, къ общественной нравственности? Вѣдь общество не спрашиваетъ васъ, по любви или не по любви женились вы, а спрашиваетъ, сколько вы взяли за женой, и приличная ли она вамъ партія; общество не спрашиваетъ васъ, какимъ образомъ сдѣлались вы богачемъ, когда ему извѣстно, что вашъ батюшка не оставилъ вамъ ни копѣйки, а за супругой вы взяли ни Богъ знаетъ что или вовсе ничего не взяли: общество знаетъ только, что вы богатъ, и потому считаетъ васъ очень хорошимъ — «благодѣтельнымъ» человѣкомъ... Послушайся нашъ юноша сатирика, что бы вышло? — Отецъ его броситъ бы, жалующая на неповиновеніе и презрѣніе къ его власти; потомъ онъ пройдетъ бы съ женой и дѣтьми черезъ всѣ мытарства, черезъ всѣ униженія голодной, неопрятной, оборванной бѣдности; видѣлъ бы къ себѣ презрѣніе общества, а за свою правоту, за свое безкорыстіе былъ бы заклеименъ отъ всѣхъ страшными названіями безпокойнаго, опаснаго и «неблагодѣтельнаго» человѣка, вольнодумца и проч., и проч. И неужели вы, «бла-

годѣтельные» сатирики, бросите въ него камень осужденія, если, истощая и обезсиливъ въ тяжелой и безплодной борьбѣ, онъ дойдетъ до страшнаго убѣжденія, что его бѣдность, его несчастія — необходимыя слѣдствія отцовскаго гнѣва, заслуженная кара за презрѣніе общественнаго мнѣнія и общественной нравственности?.. Но къ счастью или къ несчастью — не знаемъ, право, — такіе случаи весьма рѣдки, какъ исключенія изъ общаго правила. По большей части бываетъ такъ: юноша не долго колеблется между любовью и выгодной женитьбой, между «завиральными идеями» о безкорыстіи и правотѣ и уваженіемъ общества: онъ женится, на комъ прикажутъ дражайшіе родители, живетъ съ женой, какъ всѣ, т. е. прилично содержитъ ее, воспитываетъ дѣтей своихъ, какъ всѣ, т. е. прилично кормитъ и одѣваетъ ихъ, учитъ по французски и танцовать, а послѣ этого перваго и важнѣйшаго періода воспитанія отдаетъ въ учебное заведеніе, потомъ выгодно устраиваетъ въ службу, выгодно женитъ (или выдаетъ замужъ) и, умирая, отказываетъ имъ «благодѣтельное» на службѣ мнѣніе. И что же? Въ началѣ его поприща всѣ превозносятъ его, какъ почтительнаго сына, въ концѣ поприща — какъ нѣжнаго супруга, примѣрнаго отца, «благодѣтельнаго» чиновника, и заключаютъ такъ: «вотъ что значитъ уваженіе къ общественной нравственности! вотъ что значитъ родительское благословеніе, навѣки нерушимое!» Итакъ, нашъ «благодѣтельный» сатирикъ, бичъ пороковъ, самымъ нелѣпымъ образомъ противорѣчилъ самому себѣ: поставивъ выше всѣхъ добродѣтелей повиновеніе не Богу, не истинѣ, а эгоистическимъ расчетамъ, онъ въ то же время училъ юношу слѣдовать свободному выбору сердца, какъ знаменію благословенія Божія, и запрещалъ ему торговать священнѣйшими склонностями своей души; поставивъ выше всякой награды любовь и уваженіе общества, онъ въ то же время училъ юношу оскорблять основныя правила этого самаго общества... Впрочемъ онъ это дѣлалъ, самъ не зная, что дѣлаетъ, и потому его сатиры не производили никакихъ слѣдствій. Бывало, выйдетъ сатирический романъ съ похождениями какого-нибудь пройдохи, вродѣ извѣстныхъ похожденій Совѣстскаго Бѣлаго Носа, — романъ, въ которомъ уже самыя имена дѣйствующихъ лицъ — Ухорѣзовы, Надуваловы, Шлюхины, Правосудовы, Безпристрастовы, Безкорыстыны, Миловидины, Правдолюбобы и т. д. — обнаруживали нравственную мысль сочинителя, — и что же? — самый отъявленный взяточникъ, самый безчестный казнокрадъ, самый отчаянный шулеръ читалъ этотъ романъ съ удовольствіемъ и вездѣ расхваливалъ его вслухъ,

говоря: «какой славный слогъ! во всемъ чистѣйшая нравственность; добродѣтель торжествуетъ, пороки наказаны—чего же больше? чудесный романъ!»

Теперь это блаженное время прошло безвозвратно вмѣстѣ съ дѣтствомъ нашей литературы. Теперь выходить изъ моды и герои добродѣтели, и чудовища злодѣйства, ибо ни тѣ, ни другіе не составляютъ массы общества. Вмѣсто ихъ дѣйствуютъ люди обыкновенные, какихъ больше всего на свѣтѣ—ни злые, ни добрые, ни умные, ни глупые, по большей части положительно необразованные, положительно невѣжды, но отнюдь не дураки. Ихъ смѣшное заключается въ противорѣчіи ихъ словъ съ дѣлами, въ лицемерномъ и превратномъ смыслѣ, въ какомъ они говорятъ о добродѣтели, о безкорыстїи, о благонамѣренности. А они говорятъ всѣ, какъ одинъ: слѣдовательно этотъ «одинъ» или эти «всѣ» есть общество,—неужели же, скажутъ намъ, наше общество стоитъ на такой низкой ступени, что ничего не можетъ дать писателю кромѣ смѣшного и комическаго? Неужели наше общество ужъ до такой степени хуже и ничтожнѣе общества всѣхъ другихъ государствъ Европы?—На этотъ вопросъ мы можемъ отвѣчать и искренно, и удовлетворительно. Кто знакомъ съ современными европейскими литературами, тотъ не можетъ не знать, что ихъ направленіе, взятое вообще, а не частно, еще болѣе юмористическое, чѣмъ направленіе нашей литературы. Прочтите напримѣръ «Оливера Твиста» и «Бэрнеби Роджа» Диккенса, перваго теперь романиста Англіи, и вы убѣдитесь, что въ просвѣщенной Англіи, гордящейся тысячелѣтней цивилизаціей, такъ же много чудаковъ, оригиналовъ, невѣждъ, глупцовъ, плутовъ, мошенниковъ, воровъ, какъ и вездѣ, да еще, въ придачу, много такихъ злодѣевъ и изверговъ, которые въ другихъ странахъ попадаются только какъ рѣдкія исключенія. Прочтите «Les Mystères de Paris» Эжена Сю, —и вы порадуетесь тому, что живете въ Петербургѣ, а не въ Парижѣ, и что если въ тѣсной толпѣ рискуете иногда лишиться платка, часовъ, кошелька, зато никогда не трепещете за свою жизнь... Но, скажутъ намъ, въ «Бэрнеби Роджѣ» и въ «Парижскихъ Тайнахъ» есть нѣсколько и такихъ лицъ, на которыхъ отдыхаетъ душа читателя, утомленная зрѣлищемъ злодѣйствъ.—Правда; но зато нельзя не согласиться, что добродѣтельные лица въ романѣ Диккенса безцвѣтны и скучны; таковы: идеальная Эмма, ея возлюбленный Эдвардъ Честеръ, Гердаль и мать Бэрнеби; а въ «Парижскихъ Тайнахъ» — невѣроятны. Изъ добродѣтельныхъ лицъ романа Диккенса всѣхъ лучше милая, граціозная и кокетливая Долли, забавный оригиналъ ея отецъ, мистеръ

Уарденъ, и ея возлюбленный Джой; вы въ нихъ видите и слабости, и странности, но еще болѣе любите ихъ за эти слабости и странности, черезъ которые и узнаете въ нихъ живыя человѣческія лица, дѣйствительные характеры, а не картонныя куклы съ надписями на лбу: «гонимая добродѣтель, несчастная любовь, идеальная дѣва», и т. п. Въ «Парижскихъ Тайнахъ» также лучшія лица — не самыя добродѣтельныя, какъ идеальный и небывалый Родольфъ, а тѣ, въ которыхъ добрыя природныя начала борются съ искусственными, т. е. прivityми обстоятельствами и враждебнымъ вліяніемъ общественнаго устройства, какъ напримѣръ Шуринеръ, Марсіаль, —и, право, гриветка Рюгелетта правдоподобнѣе Гуалёзы... Люди—вездѣ люди; ни одинъ народъ не хуже другого; вездѣ есть злоупотребленія, пороки, странности, противорѣчія словъ съ дѣлами и дѣлъ съ словами, нравственныхъ понятій съ истинной нравственностью. Вся разница въ формахъ и отношеніяхъ. У насъ проситель иногда заходитъ съ задняго крыльца къ своему судѣ съ секретными доказательствами правоты своего дѣла; въ Англіи и Франціи кандидаты на разныя выборныя должности низкими интригами и подкупамъ располагаютъ избирателей въ свою пользу. И тутъ, и тамъ—богатая жатва для наблюдательнаго живописца общества. Злѣсь опять могутъ намъ сказать, что нечего и хлопотать попусту, не изъ чего и раздражать того и другого, третьяго и четвертаго, если люди всегда были людьми и всегда будутъ ими. Да, люди всегда будутъ людьми—прежніе не лучше и не хуже нынѣшнихъ, нынѣшніе не лучше и не хуже прежнихъ, но общество улучшается и на его улучшеніи основанъ законъ развитія цѣлаго человѣчества. Было время, когда даже истинно добрые, благородные и умные люди были убѣждены въ существованіи чернокнижія и съ ревностью, одушевляемые желаніемъ общаго блага, жили чернокнижниковъ; теперь и злые, и глупые, и невѣжественные люди уже не вѣрятъ чернокнижью и чужды желанія жечь живыхъ людей даже и за дѣйствительныя преступленія. Чтѣ это значитъ?—То, что люди и теперь остались тѣми же, какими были, а общество улучшилось. Во всѣ вѣка бывали мудрые и благіе законодатели, но только въ XVIII вѣкѣ могли огласить міръ изреченія съ трона божественныя слова: «Лучше простить десять виновныхъ, нежели наказывать одного невиннаго». Чтѣ это значитъ, если не то, что люди все тѣ же, а общество улучшается?... Современники благословляли въ Россіи вѣкъ Екатерины Великой; мы, ихъ потомки, подтвердили правдивость этого благословенія, но вмѣстѣ съ тѣмъ мы имѣемъ

свои причины быть гордыми и счастливыми, что живемъ въ настоящее, а не въ другое какое-нибудь время... Что это значить, если опять не то же, что люди и теперь тѣ же, а общество ушло далеко впередъ?... Вотъ здѣсь-то и обнаруживается вся благотѣльность роли, какая назначена книгопечатанью самимъ Провидѣніемъ. Что прежде шло и развивалось съ трудомъ и медленно, то теперь идетъ и развивается легко и быстро. А это тогда только и возможно, когда литература будетъ не забавой празднаго бездѣлья, а сознаніемъ общества, когда она будетъ заниматся не стихами, да сказочками, гдѣ любилась и женились, а будетъ вѣрнымъ зеркаломъ общества, и не только вѣрнымъ отголоскомъ общественнаго мнѣнія, но и его ревизоромъ и контролеромъ.

Общество не то, что частный человѣкъ: человека можно оскорбить, можно оклеветать,—общество выше оскорбленій и клеветы. Если вы не вѣрно изобразили его, если вы придали ему пороки и недостатки, которые въ немъ нѣтъ,—вамъ же хуже: васъ нестанутъ читать, и ваши сочиненія возбуждать смѣхъ, какъ неудачныя карикатуры. Указать же на истинный недостатокъ общества—значить оказать ему услугу, значить избавить его отъ недостатка. А можно ли за это сердиться? Кто ядовитѣе, язвительнѣе Гогарта изображалъ англійское общество въ лицѣ всѣхъ его сословій?—и однакожъ Англія не осудила Гогарта за *libel-nation*, но гордо именуетъ его однимъ изъ любимѣйшихъ и достойнѣйшихъ сыновъ своихъ. Да и есть ли какая-нибудь возможность оскорбить сословіе, выставивъ съ смѣшной или даже предосудительной стороны одного изъ его членовъ? Всякое сословіе состоитъ изъ большого количества людей, а во всякомъ, даже небольшомъ количествѣ людей найдутся всякаго рода недостойные и низкіе характеры,—не говоря уже о томъ, что не можетъ быть сословія, которое бы не имѣло вмѣстѣ съ добрыми сторонами и своихъ дурныхъ сторонъ; честь сословія состоятъ не въ томъ, чтобъ не имѣть дурныхъ сторонъ (ибо это рѣшительно невозможное дѣло), а въ томъ, чтобъ умѣть открывать глаза на свои дурныя стороны и отрѣшиться отъ нихъ. Кто усомнится въ томъ, чтобъ рыцарство среднихъ вѣковъ не было цвѣтомъ государствъ, красой общества своего времени, его благороднѣйшимъ сословіемъ, что оно не совершило блистательнѣйшихъ подвиговъ, не обезсмертило себя великими дѣлами? И между тѣмъ кому не извѣстно, что это же самое рыцарство, вслѣдствіе духа тѣхъ грубыхъ и варварскихъ временъ, грабило на большихъ дорогахъ купеческіе обозы, разбойнически рѣзало мирнаго путешественника, звѣрски злоупотребляло свою феодальную

власть надъ вассалами и рабами? И, несмотря на то, потомки этого рыцарства—цвѣтъ аристократіи современной Англіи—нисколько не думаютъ ни стыдиться, ни скрывать этого; они съ восторгомъ читаютъ романы Вальтеръ-Скотта и гордятся ими, вмѣсто того чтобъ ненавидѣть ихъ, какъ пятно на чести своихъ предковъ, слѣдственно и на ихъ собственной чести. Это доказываетъ сколько сознаніе національнаго величія, столько и зрѣлость развитія общественности въ Англіи.

Ни чему другому, какъ робкому несознанію собственнаго національнаго величія и незрѣлости нашей общественности, можно приписать эту раздражительность, которая во всемъ видитъ неуваженіе то къ тому, то къ другому сословію. Какъ скоро выведенъ въ повѣсти чиновникъ, на шею котораго прилежно повязанъ галстукъ, а на рукахъ блестятъ засаленныя желтыя перчатки, какъ свѣдѣтельство его тщетныхъ претензій на щегольство хорошаго тона, тотчасъ всѣ чиновники обижаются, говоря: «вотъ какъ насъ отдѣлываютъ; служи послѣ этого!». Они какъ-будто и не хотятъ знать, что можно быть неуслужимымъ, неловкимъ въ обществѣ и въ то же время можно быть умнымъ, благороднымъ человѣкомъ и хорошимъ чиновникомъ,—не хотятъ знать, что если одинъ чиновникъ дурно и неопытно одѣвается, имѣя претензіи на свѣтскость, изъ этого еще нисколько не слѣдуетъ, чтобъ всѣ чиновники походили на него. Если воинъ окажетъ на сраженіи чудеса храбрости и получить георгиевскій крестъ, вѣдь его товарищи, не участвовавшіе въ дѣлѣ, или не отличавшіеся въ немъ, не почитаютъ себя вправѣ жаловаться, что имъ не дали этого креста: какое же будутъ имѣть право оскорбляться всѣ военные, если объ одномъ изъ нихъ (и то вымышленномъ лицѣ) напечатаютъ въ сказкѣ, что ему случилось струсить на сраженіи, какъ напримѣръ князю Блесткину, выведенному въ романѣ Загоскина «Рославлевъ, или русскіе въ 1812 году»? И если Загоскинъ, самъ участвовавшій въ великой отечественной войнѣ, вывелъ между многими храбрыми лицами своего романа одного труса.—можетъ ли такая, впрочемъ всегда и вездѣ возможная, черта служить пятномъ для арміи, которая сражалась подъ Бородинымъ и въ числѣ предводителей своихъ имѣла Барклая-де-Толли, Кутузова, Багратиона, Ермолова, Милорадовича, Раевского и многихъ другихъ, извѣстныхъ и славныхъ въ мірѣ?... Было время, когда наши писатели только и дѣлали, что нападали на русское общество высшаго и средняго круга за его страсть къ французскому языку. Это былъ дѣйствительно недостатокъ со стороны нашего общества; но могли ли оскорбить его

нападки, и притомъ еще не совсѣмъ несправедливые, писателей, когда оно знало, что тѣ же самые офицеры гвардіи, которые порусски объяснялись только по официальнымъ дѣламъ службы, геройски жертвовали своей жизнью въ битвахъ противъ тѣхъ же самыхъ французовъ, языкъ которыхъ она больше любила и лучше знала, чѣмъ свой родной?...

Сатира—ложный родъ. Она можетъ смѣшнить, если умна и ловка, но смѣшнить, какъ остроумная карикатура, набросанная на бумагу карандашемъ даровитаго рисовальщика. Романъ и повѣсть выше сатиры. Ихъ цѣль—изображать вѣрно, а не карикатурно, не преувеличенно. Произведенія искусства, они должны не смѣшать, не поучать, а развивать истину творчески вѣрнымъ изображеніемъ дѣйствительности. Не ихъ дѣло разсуждать на примѣрѣ объ отеческой власти и сыновнемъ повиновеніи: ихъ дѣло—представить или норму истинныхъ семейственныхъ отношеній, основанныхъ на любви, на общемъ стремленіи ко всему справедливому, доброму, прекрасному, на взаимномъ уваженіи къ своему человѣческому достоинству, къ своимъ человѣческимъ правамъ; или изобразить уклоненіе отъ этой нормы—произволъ отечественной власти, для корыстныхъ разсчетовъ истребляющей въ дѣтяхъ любовь къ истинѣ и добру, и необходимое слѣдствіе этого—нравственное искаженіе дѣтей, ихъ неуваженіе, неблагодарность къ родителямъ. Если ваша картина будетъ вѣрна—ее поймутъ безъ вашихъ разсужденій. Вы были только художникомъ и хлопотали изъ того, чтобъ нарисовать возникшую въ вашей фантазіи картину, какъ осуществленіе возможности, скрывавшейся въ самой дѣйствительности; и кто не посмотритъ на эту картину, всякій, пораженный ея истинностью, и лучше почувствуетъ и сознаетъ самъ все то, что вы стали бы толковать и чего бы никто не захотѣлъ отъ васъ слушать... Только берите содержаніе для вашихъ картинъ въ окружающей васъ дѣйствительности и не украшайте, не перестраивайте ея, а изображайте такой, какова она есть на самомъ дѣлѣ, да смотрите на нее глазами живой современности, а не сквозь закопѣлыя очки морали, которая была истинна во время оно, а теперь превратилась въ общія мѣста, многими повторяемые, но уже никого не убѣждающія... Идеалы скрываются въ дѣйствительности; они—не произвольная игра фантазіи, не выдумки, не мечты; и въ то же время идеалы—не списокъ съ дѣйствительности, а угаданная умомъ и воспроизведенная фантазіей возможность того или другого явленія. Фантазія есть только одна изъ главнѣйшихъ способностей, условливающихъ по-

эта: но она одна не составляетъ поэта; ему нуженъ еще глубокий умъ, отерывающій идею въ фактъ, общее значеніе въ частномъ явленіи. Поэты, которые опираются на одну фантазію, всегда ипшутъ содержанія своихъ произведеній за тридцать земель въ тридцатомъ царствѣ или въ отдаленной древности; поэты, вмѣстѣ съ творческой фантазіей обладающіе и глубокимъ умомъ, находятъ свои идеалы вокругъ себя. И люди дивятся, какъ можно съ такими малыми средствами сдѣлать такъ много, изъ такихъ простыхъ матеріаловъ построить такое прекрасное зданіе...

Этой творческой фантазіей и этимъ глубокимъ умомъ обладаетъ въ замѣчательной степени Гоголь. Подъ его перомъ старое становится новымъ, обыкновенное—изящнымъ и поэтическимъ. Поэтъ національный, болѣе нежели кто-нибудь изъ нашихъ поэтовъ, всѣми читаемый, всѣмъ извѣстный, Гоголь все-таки не высоко стоитъ въ сознаніи нашей публики. Это противорѣчіе очень естественно и очень понятно. Комизмъ, юморъ, иронія—не всѣмъ доступны, и все, что возбуждаетъ смѣхъ, обыкновенно считается у большинства ниже того, что возбуждаетъ восторгъ возвышенный. Всякому легче понять идею, прямо и положительно выговариваемую, нежели идею, которая заключаетъ въ себѣ смыслъ противоположный тому, который выражаютъ слова ея. Комедія—двѣтъ цивилизаціи, плодъ развившейся общечеловѣческой. Чтобы понимать комическое, надо стоять на высокой степени образованности. Аристофанъ былъ послѣднимъ великимъ поэтомъ древней Греціи. Толпѣ доступенъ только внѣшній комизмъ: она не понимаетъ, что есть точки, гдѣ комическое сходится съ трагическимъ и возбуждаетъ уже не легкій и радостный, а болѣзненный и горькій смѣхъ. Умирая, Августъ, повелитель полу-міра, говорилъ своимъ приближеннымъ: «Комедія кончилась; кажется, я хорошо сыгралъ свою роль—рукоплещите же, друзья мои!». Въ этихъ словахъ глубокий смыслъ: въ нихъ высказалась иронія уже не частной, а исторической жизни... И толпа никогда не пойметъ такой ироніи. Такимъ образомъ поэтъ, который возбуждаетъ въ читателѣ созерцаніе высокаго и прекраснаго и тоску по идеалу изображеніемъ низкаго и пошлаго жизни, въ глазахъ толпы никогда не можетъ казаться жрецомъ того же самаго изящнаго, которому служатъ и поэты, изображавшіе великое жизни. Ей всегда будетъ видѣться жартъ въ его глубокомъ юморѣ, и смотря на вѣрно воспроизведенныя явленія пошлой ежедневности, она не видитъ изъ-за нихъ незримо-присутствующіе тутъ же свѣтлые образцы. И еще много времени пройдетъ, и много поко-

лѣній выступить на поприще жизни прежде, чѣмъ Гоголь будетъ понять и оцѣненъ по достоинству большинствомъ.

«Сочиненія Николая Гоголя» въ четырехъ томахъ означены 1842 годомъ, но вышли они въ февралѣ прошлаго года, а потому и должны принадлежать къ литературнымъ явленіямъ 1843 года. Имѣя въ виду въ скоромъ времени, въ особой статьѣ, въ отдѣлѣ Критики разсмотрѣть подробно всѣ сочиненія Гоголя,—мы не будемъ теперь распространяться на счетъ этихъ четырехъ томовъ. Это повлекло бы насъ слишкомъ далеко и заставило бы выйти изъ предѣловъ журнальной статьи, ибо объ одномъ «Театральномъ Развѣздѣ» послѣ перваго представленія комедіи можно написать цѣлую статью. Въ этихъ четырехъ томахъ между старымъ много и новаго, а нѣкоторыя пьесы или поправлены и дополнены, или вовсе переделаны авторомъ.

Изъ книгъ, вышедшихъ въ прошломъ году, замѣчательнѣйшія суть не болѣе, какъ изданія разныхъ сочиненій, уже бывшихъ извѣстными публикѣ изъ журналовъ и альманаховъ. Да и того такъ немного, что безъ труда можно перечестъ.

«На Сонѣ Грядущій»—вторая часть сборника сочиненій графа Соллогуба. Въ ней помѣщены уже извѣстныя публикѣ пьесы: «Приключеніе на Желѣзной дорогѣ», «Аптекарьша», «Ямщикъ, или шалость молодого гусарскаго офицера» (драматическая картина), «Левъ», «Медвѣдь» и новая пьеса: «Неоконченныя повѣсти».—«Аптекарьша» и «Медвѣдь» принадлежать къ числу лучшихъ произведеній даровитаго автора; читателямъ уже извѣстно это мнѣніе объ этихъ двухъ повѣстяхъ графа Соллогуба. «Приключеніе на Желѣзной дорогѣ»—легонькій по содержанию рассказъ, исполненный впрочемъ простоты и истины и изложенный съ обыкновеннымъ искусствомъ автора «Аптекарьши». — «Ямщикъ» не чуждъ прекрасныхъ подробностей и вѣрно схваченныхъ чертъ русскаго быта, но въ цѣломъ это—довольно слабое произведение. Герой (генералъ Свѣринъ) этой драматической картины—лицо до крайности сантиментальное и неправдоподобное; монологи его—реторика. Въ представленіи быта крестьянскаго много промаховъ противъ истины дѣйствительности, зато превосходно лицо Саввы Саввича, равно какъ и его неотлучнаго Ларьки: оба они въ высшей степени вѣрны. «Левъ»—мастерской типическій очеркъ одного изъ самыхъ характеристическихъ явленій свѣтской жизни. «Неоконченныя повѣсти» общають намъ цѣлый рядъ прекрасныхъ рассказовъ, если только авторъ захочетъ въ самомъ дѣлѣ воспользоваться этой счастливою мыслью. Первая повѣсть,

которой начинается рядъ «Неоконченныхъ повѣстей», исполнена сильнаго интереса и потрясаетъ душу читателя благородной простотой изложенія глубоко прочувствованнаго авторомъ содержанія. А содержаніе это такъ же просто, какъ и его изложеніе: это одна изъ тысячи исторій, которыя такъ часто совершаются въ глазахъ всѣхъ при свѣтѣ дневномъ и которыя все-таки немногими замѣчаются...

О сочиненіяхъ Зинаиды Р—вой была въ «Отечественныхъ Запискахъ» особая статья, въ которой подробно изложено наше мнѣніе о повѣстяхъ этой даровитой писательницы, столь рано похищенной смертью у русскаго литературѣ. Въ четырехъ частяхъ «Сочиненій Зинаиды Р—вой» только одна новая, нигдѣ прежде ненапечатанная повѣсть: это—вторая часть «Напраснаго Дара», неоконченная по причинѣ внезапной смерти автора...

Небольшая книжка «Повѣстей А. Вельмана», вышедшая въ прошломъ году, содержитъ въ себѣ пять рассказовъ, изъ которыхъ четыре были уже давно напечатаны въ разныхъ журналахъ. При бѣдности современной русскаго литературѣ эта книжка была пріятнымъ явленіемъ.

Въ прошломъ же году вышли второй и третій томы «Сказки за Сказкой». Въ нихъ были между прочимъ помѣщены весьма интересные повѣсти и рассказы Кукольника: «Позументы», «Монтекки и Капулетти, или Чернышевскій міръ» и «Часовой»; особенно хороша повѣсть «Позументы». Въ этомъ же безсрочномъ изданіи напечатана богатая хорошими частностями повѣсть казака Луганскаго: «Савелій Грабъ, или Двойникъ».

Въ прошломъ же году вышли два тома «Повѣстей и Рассказовъ» Кукольника. Въ первомъ изъ нихъ помѣщено шесть уже извѣстныхъ публикѣ рассказовъ изъ временъ Петра Великаго: «Лихончиха», «Новый Годъ», «Благодѣтельный Андроникъ», «Капустинъ», «Сказаніе о синемъ и зеленомъ сукиѣ», «Прокуроръ». Всѣ эти повѣсти и рассказы исполнены большого интереса и обнаруживаютъ въ авторѣ много поэтической сноровки и историческаго такта. Но повѣсти и рассказы второго тома, за исключеніемъ «Психенъ», богатой прекрасными частностями, не заслуживаютъ никакого вниманія и могутъ быть употребляемы только развѣ какъ лѣкарство отъ бессонницы и въ этомъ случаѣ съ большою пользою.

Въ началѣ прошлаго года вышли «Сочиненія Державина» въ четырехъ частяхъ,—изданіе во всѣхъ отношеніяхъ болѣе неудовлетворительное, чѣмъ удовлетворительное, какъ мы и имѣли уже случай доказать въ свое время.

Изъ новыхъ произведеній, появившихся въ прошломъ году, можно указать только на небольшую поэмѣ «Параша», которая по необыкновенно умному содержанію и прекраснымъ поэтическимъ стихамъ была бы замѣчательнымъ явленіемъ и не въ такое бѣдное для литературы время, какъ наше.

«Сельское Чтеніе», издаваемое княземъ Одоевскимъ и Заблоцкимъ и дважды изданное въ прошломъ году, по своей цѣли и назначенію должно относиться больше къ числу полезныхъ, чѣмъ беллетристическихъ книгъ. Необыкновенный успѣхъ этой прекрасно составленной книжки породилъ множество неудачныхъ подражаній.

По части оригинальныхъ беллетристическихъ произведеній, вышедшихъ въ прошломъ году, больше не о чемъ говорить: вѣдь не начать же разсуждать о такихъ твореніяхъ, каковы: «Были и Небылицы» Ивана Балакирева, многочисленныя творенія автора «Мужа подъ Башмакомъ»; «Дочь Разбойника, или любовникъ въ бочкѣ» Ѳ. Кузмичева; «Клятва при гробѣ Матери, или Мститель за убійство», драма Голошанова; «Старичокъ - Весельчакъ, разсказывающій давнія московскія были» (Москва, изданіе четвертое); «Разгулье купескихъ сынковъ въ Марьиной рошѣ, или проваливай! наши гуляютъ!». Истинно сатирическая повѣсть 1835 года съ цыганскими пѣснями (Москва, изданіе пятое); «Козель Бунтовщикъ или Машина свадьба» Базилевича (Москва, изданіе третье); «Стенька Разинъ, атаманъ разбойниковъ», «Казакъ» Кузмичева; «Князь Курбскій» Ф(Ѳ)едорова, и разныя сочиненія Скосырева, Куражковскаго, Калачилина, Классена, Мильгѣва, Графчикова, Колотенко и пр.

Изъ переводныхъ книгъ беллетристическаго содержанія, вышедшихъ въ прошломъ году, замѣчательны: «Мысли Паскаля», переводъ Бутовскаго; тринадцатый выпускъ, издаваемый Кетчеромъ, Шекспира, заключающій въ себѣ комедію «Укрощеніе Строптивой»; первый и второй выпуски издаваемаго Тимовскимъ «Испанскаго Театра», заключающіе въ себѣ комедіи «Жизнь есть Сонъ» и «Саламейскій Алькальдъ»; прозаическій переводъ Фанъ-Дима «Божественной комедіи» Данте, превосходно изданный, съ рисунками Флаксмана, и стихотворный переводъ Шиллерова «Вильгельма Телля» Ѳ. Миллера.

Изъ оригинальныхъ сочиненій учебно-беллетристическаго содержанія въ прошломъ году замѣчательны: «Проголки Русскаго въ Помпеи» Левшина; «Описаніе Турецкой войны въ царствованіе Императора Александра, съ 1806 до 1812 года», новое твореніе знаменитаго нашего военнаго историка, гене-

раль-лейтенанта Михайловскаго-Данилевскаго; «Странствованіе по Сушѣ и Морямъ» (двѣ книжки), интересные и живые разсказы, самымъ пріятнымъ образомъ знакомящіе читателя съ разными странами, народами и племенами земного шара; «Описаніе Бухарскаго Ханства», Н. Ханыкова; третій томъ компактнаго изданія «Исторія Государства Россійскаго» Карамзина; пятнадцатый (и послѣдній) томъ второго изданія Голикова «Дѣяній Петра Великаго»; второе изданіе «Руководства къ познанію средней исторіи, для среднихъ учебныхъ заведеній» Смаградова; «Исторія Малороссіи» Маркевича и «Исторія Петра Великаго» Полевого.

Спеціально-ученая литература все болѣе и болѣе представляетъ самые утѣшительные результаты, для чего достаточно указать только на «Акты Археографической Комиссіи» и на изданіе «Остромирова Евангелія»; но какъ предметъ нашей статьи—преимущественно книги по части изящной словесности или беллетристики, имѣющія интересъ не для нѣкоторыхъ только ученыхъ, но общій—для всѣхъ образованныхъ людей, то мы не будемъ распространяться о спеціально-ученыхъ явленіяхъ прошлогодней литературы.

Намъ остается теперь сдѣлать перечень всего замѣчательнаго по части изящной литературы, оригинальной и переводной, что явилось въ продолженіе 1843 года въ журналахъ, ненасытимую жадность которыхъ обвиняютъ въ поглощеніи всей русской литературы. Посмотримъ, сколько сочиненій успѣло съѣсть это чудовище, т. е. наша журналистика. Но, увы! мы боимся, чтобы этотъ лавиноподобный литературнаго міра не превратился въ одну изъ тѣхъ тощихъ коровъ, которыхъ видѣлъ во снѣ Фараонъ, и которыя не потолстѣли, съѣвъ тучныхъ коровъ!... Наши сочиненія не такъ жирны и не такъ многочисленны, чтобы отъ нихъ могли слишкомъ жирѣть наши журналы,—и еслибъ мы не рѣшились въ этой статьѣ говорить объ общемъ значеніи современнаго состоянія литературы, а приступили бы прямо къ обзоръ литературныхъ явленій прошлаго года, показавшихся отдѣльно и помѣщенныхъ въ журналахъ, наша статья поневолѣ вышла бы очень коротка.

Начнемъ съ стихотвореній. Прошлый 1843 годъ вѣроятно послѣдній богатый въ этомъ отношеніи годъ; въ продолженіе его напечатано (въ «Отечественныхъ Запискахъ») нѣсколько посмертныхъ стихотвореній Лермонтова. Изъ нихъ: «Незабудка», «Избави Богъ», «Смерть», «Когда весной разбитый ледъ», «Ребенка милаго рожденіе», «Они любили другъ друга», «Къ портрету стараго гусара», «Посвященіе, приписан-

ное въ концѣ поэмы «Демонъ», равно какъ и отрывочно напечатанная поэма «Измаиль-Бей» принадлежать къ самой ранней эпохѣ поэтической дѣятельности Лермонтова и замѣчательны не столько въ эстетическомъ, сколько въ психологическомъ отношеніи, какъ факты духовной личности поэта. Въ эстетическомъ отношеніи эти пьесы поражаютъ то энергическимъ стихомъ, то могучимъ чувствованіемъ, то яркой мыслью; но въ цѣломъ онѣ довольно слабы и отзываются юношеской незрѣлостью. Пьесы «Романсъ къ***», «Не плачь, не плачь, мое дитя», «Изъ-подъ таинственной, холодной полумаски», «Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю», «Сонъ», ровно интересны какъ въ эстетическомъ, такъ и въ психологическомъ отношеніи, принадлежать, безъ всякаго сомнѣнія, къ эпохѣ полного развитія могучаго таланта незабвеннаго поэта, а пьесы: «Утѣсь», «Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой», «Морская Царевна», «Тамара» и «Выхожу одинъ я на дорогу» принадлежать къ лучшимъ созданіямъ Лермонтова. Всѣ эти пьесы составляютъ четвертую часть изданныхъ въ 1842 году «Стихотвореній М. Лермонтова», которая скоро должна выйти въ свѣтъ. Въ «Современникѣ» была помѣщена корсиканская повѣсть «Матео Фальконе», передѣланная Жуковскимъ изъ Шамиссо стихами, съ присовокупленіемъ интереснаго письма автора къ издателю «Современника»; письмо это заключаетъ въ себѣ изложеніе теперешняго взгляда знаменитаго поэта на поэзію.— Стихотворенія нынче мало читаются, но журналы, по уваженію къ преданію, почитаютъ за необходимое сдѣлывать стихотворными продуктами, которыхъ поэтому появляется еще довольно много. Изъ нихъ можно указать въ особенности на довольно многочисленные стихотворенія Фета, между которыми встрѣчаются истинно-поэтическія, и на стихотворенія Т. Л. (автора «Параши»), всегда отличающіяся оригинальностью мысли. Попадаются въ журналахъ стихотворенія и другихъ поэтовъ, болѣе или менѣе исполненныя поэтическаго чувства, но они уже не имѣютъ прежней цѣны, и становится очевиднымъ, что ихъ творцы или должны, сообразуясь съ духомъ времени, перестроить свои лиры и запѣть на другой ладъ, или уже не рассчитывать на вниманіе и симпатію читателей.

Оригинальными повѣстями прошлагодніе журналы значительно бѣднѣе журналовъ третьяго года. Мы разумѣемъ сдѣсь качественную, а не количественную бѣдность. Въ каждой книжкѣ cadaго журнала (за исключеніемъ «Москвитянина») непременно есть русская повѣсть, но какъ а—это другое дѣло. Вотъ перечень лучшихъ оригинальныхъ повѣстей въ прошлогднихъ жур-

налахъ: «Тля» Панаева; «Чайковский» Гребенки; «Изъ Записокъ Неизвѣстнаго», юмористическій очеркъ Сергія Нейтральнаго (въ «Отечественныхъ Запискахъ»); «Вакхъ Сидоровъ Чайкинъ» В. Луганскаго; «Райна, королева Болгарская» Вельтмана (въ «Библіотекѣ для Чтенія»); «Жизнь Человѣка, или прогулка по Невскому проспекту» Луганскаго; «Хмѣль, сонъ и явь» его же (въ «Москвитянинѣ»); «Черный Тараканъ» (фантастическій романъ изъ жизни одного чиновника) В. Зотова (въ «Репертуарѣ и Пантеонѣ»). Сверхъ того въ «Отечественныхъ Запискахъ» были помѣщены повѣсти: «Ярмарка» Закревской; «1812 годъ въ провинціи», рассказы Г. О. Основьяненко; «Ничего, Хроника Петербургскаго Жителя» барона О. Буллера; «Двѣ сестры» Жуковой; «Дженна и Бока», чеченская повѣсть Л. Ф. Екельна; «Необыкновенный Завтракъ» Н. А. Некрасова;—въ «Библіотекѣ для Чтенія»: «Хозяйка» О. Фанъ-Дима; «Историческая Красавица» Н. В. Кукольника; «Гримаса моего Доктора» И. И. Лажечникова; «Волгинъ» В.; «Хижина подъ Скалами» Корсакова; «Идеальная Красавица» барона Брамбеуса.

«Тля» Панаева отличается свойственной этому писателю сатирической мѣткостью. Собственно это не повѣсть, а очеркъ, отличающійся вѣрностью дѣйствительности. Жаль, что этотъ очеркъ имѣетъ слишкомъ мѣстное значеніе и внѣ Петербурга теряетъ много своего интереса. «Чайковский» Гребенки исполненъ превосходныхъ частности, обнаруживающихся въ авторѣ несомнѣнное дарованіе. Характеръ полковника, отца героини повѣсти, многія черты историческаго малороссійскаго быта поражаютъ своей поэтической вѣрностью. Но цѣлое этой повѣсти не выдержитъ строгой критики. Особенно вредитъ ей мелодраматизмъ. Мстительная цыганка колдунья, злодѣй Герцикъ, кстати укусившая его змѣя—все это мелодраматическіе эффекты. Тѣмъ не менѣе повѣсть Гребенки была одной изъ лучшихъ повѣстей прошлаго года. «Изъ Записокъ Неизвѣстнаго»—очеркъ, исполненный легкаго юмора и пріятный въ чтеніи. «Вакхъ Сидоровъ Чайкинъ»—одна изъ лучшихъ повѣстей казака Луганскаго, исполненная интереса и вѣрно схваченныхъ чертъ русскаго быта. Замѣчательна по ловкому и пріятному разсказу его же «Жизнь Человѣка»; но «Хмѣль, Сонъ и Явь» имѣетъ достоинство психологическаго портрета русскаго человѣка, мастерски схваченнаго съ натуры. Эта повѣсть имѣла бы большой интересъ и была бы очень полезна и для читателей низшаго разряда: почему ее пріятно было бы увидѣть перепечатанной въ «Сельскомъ Чтеніи». «Райна, королева Болгарская»—не повѣсть, а фантазмагорія, подобно

всѣмъ произведеніямъ Вельтмана. Дѣйствующія лица говорятъ въ ней двумя манерами: то языкомъ совершенно понятнымъ для насъ, но отличающимся колоритомъ древне-болгарскимъ, то языкомъ романовъ нашего времени. Одинъ изъ главныхъ героевъ фантазмагоріи — русскій князь Святославъ, котораго Вельтманъ рисуе намъ такъ обстоятельно, какъ будто бы самъ жилъ въ его время и все видѣлъ своими глазами. Удивительнѣе всего въ этой повѣсти, что мѣстами она не лишена интереса... «Черный Тараканъ» — рассказъ не безъ юмора и не безъ занимательности. Намъ нужды нѣтъ знать, тотъ ли это Зотовъ написалъ ее, который пишетъ такіа ужасныя драмы, стихотворенія, «Театраловъ», «Побрякушки» и пр., или совсѣмъ другой Зотовъ: мы знаемъ только, что его «Черный Тараканъ» — очень недурная вещь.

Изъ драматическихъ произведеній, напечатанныхъ въ журналахъ вмѣсто повѣстей, замѣчательнѣе, какъ мастерской эскизъ, но не больше, драматическій очеркъ Т. Л. (автора «Параши») «Неосторожность». Въ «Библиотекѣ для Чтенія» были помѣщены: «Монументъ», историческій анекдотъ въ трехъ картинахъ, въ прозѣ, Кукольника (несмотря на натынутость паюса, вещь не безъ достоинства); «Ломоносовъ, или Жизнь и Пoesія Полевого», «Проекты» его же; «Братья», драма въ пяти дѣйствіяхъ Каменскаго.

Вотъ и всѣ наши беллетристическія сокровища за прошлый годъ! Нисколько неудивительно, что отъ этой пищи наши журналы не стали здоровѣе... Говоря о переводныхъ пьесахъ, мы будемъ упоминать только о болѣе замѣчательныхъ, а о посредственныхъ или обыкновенныхъ умолчимъ вовсе. Въ «Отечественныхъ Запискахъ» были помѣщены: «Андре», романъ Жоржъ Занда, одно изъ лучшихъ произведеній этого автора, даже по сознанію самихъ враговъ его. «Эмѣ Вера», романъ какого-то француза, очень ловко прикидывающагося Вальтеръ-Скоттомъ, доказываетъ ту истину, что когда гений проложитъ новую дорогу въ искусствѣ, то и обыкновенныя таланты могутъ ходить по ней съ успѣхомъ. Впрочемъ у автора «Эмѣ Вера» много дарованія; романъ его исполненъ интереса; многіе характеры, и особенно пастора-фанатика Барбантана, братьевъ Рено и Гаспара, матери ихъ, г-жи Монморъ, обрисованы мастерски; многія сцены исполнены необыкновеннаго драматизма. «Солидный Человѣкъ», романъ Шарля Бернара, отличается обыкновенными достоинствами всѣхъ сочиненій этого даровитаго писателя. Это мастерская картина современнаго французскаго общества. Не по изложенію, а по содержанію, заслуживаетъ упоминенія «Жена Золотыхъ Дѣлъ Мастера», повѣсть Шарля Ребо; писатель съ

большимъ талантомъ могъ бы чудеснымъ образомъ воспользоваться подобнымъ сюжетомъ. — Въ «Библиотекѣ для Чтенія» лучшія переводныя повѣсти — «Лавка Древностей», романъ Диккенса. «Лавка Древностей» слабѣе другихъ романовъ Диккенса: въ ней онъ повторяетъ самого себя, и лица этого романа, равно какъ и его пружины, уже не поражаютъ новостью. «Умницы» — передѣлка изъ романа мистрисъ Троллопъ, интересна какъ картина, хотя уже не новая, но всегда вѣрная, нравовъ современнаго англійскаго общества. «Послѣдній изъ Бароновъ», романъ Бовльера, довольно занимателенъ, какъ историческая картина положенія ученаго въ варварскіе средніе вѣка. — Въ «Современникѣ» продолженіе всего прошлаго года тянулася начатый еще въ 1842 году романъ шведской писательницы Фредерикки Бремеръ «Семейство, или домашнія радости и огорченія». Онъ вышелъ теперь весь отдѣльно, и потому мы изложили наше мнѣніе о немъ въ Библиографической Хроникѣ этой же книжки «Отечественныхъ Записокъ». — Въ «Репертуарѣ» были помѣщены вполнѣ «Парижскія Тайны» Эжена Сю. Романъ этотъ надѣлалъ много шума во всей Европѣ и у насъ также и, несмотря на всѣ его недостатки, принадлежитъ къ замѣчательнымъ явленіямъ современной литературы. Онъ порожденъ романами Диккенса и, далеко уступая имъ въ достоинствѣ, возбудилъ такой энтузіазмъ, котораго не производилъ ни одинъ романъ даровитаго англійскаго романиста: таково умѣнье французскихъ писателей дѣйствовать всегда на массу! Такъ какъ съ «Парижскими Тайнами» только теперь ознакомились многіе изъ русскихъ читателей, и такъ какъ толки о нихъ еще не прекратились ни въ публикѣ, ни въ журналахъ, — то можетъ быть мы еще и поговоримъ объ этомъ романѣ подробнѣе въ отдѣлѣ Критики. Въ «Репертуарѣ» же переведенъ рассказъ Жоржъ Занда «Муни Робанъ», весьма замѣчательный не по сюжету, а по мысли и ея изложенію. Въ «Отечественныхъ Запискахъ» и «Репертуарѣ» помѣщено по открытку изъ Гётева «Вильгельма Мейстера». Отрывокъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» представляетъ нѣчто цѣлое, какъ то показываетъ его названіе: «Маріанна». О достоинствѣ перевода нечего говорить: довольно сказать, что онъ принадлежитъ Струговщикову. Въ «Библиотекѣ для Чтенія» помѣщенъ переводъ съ испанскаго, сдѣланнй Тимковскимъ, прелестной комедіи Лопеса де-Веги: «Собака на Снѣгѣ». Въ «Репертуарѣ и Пантеонѣ» помѣщенъ переводъ прозой драмы Шекспира «Троиль и Крессидя».

Изъ замѣчательныхъ статей учено-беллетристическихъ въ прошлогоднихъ журналахъ

сѣдующія: въ «Отечественныхъ Запискахъ»: «Дневникъ камеръ-юнкера Берхгольца» — живая картина русскихъ нравовъ временъ Петра Великаго, писанная очевидцемъ; «Гёте и графиня Штольбергъ» (эта же статья помѣщена и въ «Репертуарѣ»); «Философія Анатоміи», превосходно составленная Галаховымъ статья, представляющая современный взглядъ на одно изъ величайшихъ человѣческихъ знаній; «Пуло-Пенангъ, Сингапуръ и Манила» (изъ записокъ русскаго морского офицера во время путешествія вокругъ свѣта въ 1840 году) А. И. Бутакова; «Нижній-Новгородъ и нижегородцы въ смутное время» П. И. Мельникова; «Рубины и итальянская музыка» — ва; «Дворъ королей англійскихъ»; «Книгопечатаніе»; «Іосифъ II, императоръ германскій»; три статьи А. И. Ис—ра — «Диллетантизмъ въ Наукѣ», его же — «Буддизмъ въ Наукѣ» и его же статья «По поводу одной драмы». Къ числу учено-беллетристическихъ же статей можно отнести и напечатанную въ отдѣлѣ Сельскаго хозяйства «Отечественныхъ Записокъ» — «Табачная промышленность въ Россіи» А. В., потому что авторъ умѣлъ придать этой статьѣ общій интересъ и изложить ее съ замѣчательной степенью литературнаго изящества. — Въ отдѣлѣ Наукъ и Художествъ «Библіотеки для Чтенія» особенно замѣчательны статьи: «Плѣнь англичанъ въ Афганистанѣ», «Записки о Сѣверной Америкѣ» Диккенса и «Томасъ Бекетъ». — «Современникъ» тоже не имѣетъ недостатка въ ученыхъ статьяхъ, особенно касающихся до Скандинавіи; но лучшая ученая статья «Современника», равно какъ и одна изъ лучшихъ учено-беллетристическихъ статей во всей прошлогодней журналистикѣ это — Историческіе Очерки М. С. Куторги: «Людвигъ XIV». Въ «Москвитинѣ»: «О законахъ благоустройства и благочинія, или чтѣ такое полиція?», «Смерть Карла XII», статья, очень хорошо составленная Головачевымъ изъ исторіи Карла XII, казанной Лундبلادомъ и Больмеромъ.

По части критики въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года были сѣдующія статьи: «Русская литература въ 1842 году», «О сочиненіяхъ Державина», «О «Мертвыхъ Душахъ» Гоголя» (Голосъ изъ провинціи), «Объ Исторіи Малороссіи» Маркевича; чепире статьи: «О Жуковскомъ, Батюшковѣ и Пушкинѣ» и «О сочиненіяхъ Зинаиды Р—вой». Сверхъ того въ «Отечественныхъ Запискахъ» постоянно помѣщались подробные отчеты о французской, англійской и нѣмецкой литературахъ. Въ «Москвитинѣ» замѣчательна критическая статья «О Путевыхъ Письмахъ изъ Германіи, Франціи и Италіи» Греча.

Теперь намъ слѣдовало бы говорить о духѣ
Соч. Вѣлиискаго. Т. III.

и направленіи русскихъ журналовъ за прошлый годъ; но мы уже говорили объ этомъ не разъ; а какъ это дѣло остается все въ томъ же видѣ, то лучше ужъ больше не говорить. Наше дѣло было указывать на духъ, направленіе и замѣчательные поступки того или другого журнала. Мы исполняли это въ продолженіе пяти лѣтъ и исполняли усердно, можетъ быть усерднѣе, нежели сколько нужно было. Теперь нѣтъ надобности въ этомъ: журналовъ новыхъ нѣтъ, а въ старыхъ — все по старому и говорить о нихъ — значило бы повторять сказанное нѣсколько разъ. Всякое повтореніе скучно, а тѣмъ болѣе повтореніе истинъ, сдѣлавшихся теперь, благодаря «Отечественнымъ Запискамъ», убѣжденіемъ большей части образованныхъ читателей. Пусть всякій идетъ своей дорогой. Наша публика разнообразна до безконечности, и каждый изъ составляющихъ ее словъ найдетъ, чтѣ ему нужно. Пусть всѣ читаютъ, кому чтѣ нравится, лишь бы читали. Скажемъ нѣсколько словъ въ общихъ чертахъ. Въ «Библіотекѣ для Чтенія» лучшимъ отдѣломъ попрежнему была Смѣсь, а самыми бѣдными, сухими и тощимъ — отдѣлы Критики и Литературной Лѣтописи. Въ Смѣси «Отечественныхъ Записокъ», между переводными, много было и оригинальныхъ, болѣе или менѣе замѣчательныхъ статей, каковы: «Поездка въ Китай» Дэ-мина (двѣ статьи); «Два письма изъ Пекина» В. Горскаго; «Замѣчанія и анекдоты о южно-американскомъ лѣвѣ» А. Бутакова; «Сцены изъ жизни бурятъ» А. Мордвинова; «Поездка на Алтай» Мейера; «Итальянская опера въ Петербургѣ» (Рубини, Вярдо-Гарсія, Тамбурины, Ассандри, Пазини и Тадани); «Отвѣтъ Шенюреву на разборъ его русской Хрестоматіи Галахова»; «Москвитининъ» о Коперникѣ» и «Записки Вѣдрина»; прекрасный рассказъ Н. Ковалевскаго: «Переселеніе Ивана Ивановича изъ Гадячскаго уѣзда въ Миргородскій»; юмористическій очеркъ: «Балъ у писарей или дежурство въ новый годъ». Изъ переводныхъ особенно интересны: «Семейная жизнь въ Соединенныхъ Штатахъ»; «Шутки, или сожиганіе вдовъ въ Индіи»; «Патеръ Метью» и проч. — «Современникъ» съ прошлаго года выходитъ ежемѣсячно, чтѣ еще болѣе должно было придать ему интереса. — Къ числу прошлогоднихъ литературныхъ новостей принадлежитъ возстановленіе «Репертуара и Пантеона»: это изданіе въ прошломъ году значительно поправилось, такъ что представляетъ теперь собой очень занимательный и пестрый сборникъ разныхъ статей по части театра, повѣстей, біографическихъ очерковъ жизни художниковъ и проч. Если печатаемые имъ драматическія произведенія, даваемые на русской сценѣ,

по большей части плохи,—это не его вина: онъ общался быть между прочимъ и зеркаломъ русской сцены, а по русской пословицѣ: «нечего на зеркало пенять, если лицо криво». Зато въ немъ есть хорошія переводныя пьесы и пьески, которыя не были даны на русской сценѣ, и цѣлкомъ помѣщены «Парижскія Тайны» Эжена Сю.

Изъ этого обозрѣнія читатели могутъ видѣть фактическое доказательство, что толстота нашихъ журналовъ отнюдь не причина крайняго убожества современной русской литературы. Да и что за дѣло, какъ появилось хорошее литературное произведеніе—отдѣльной книгой или въ журналѣ? Дѣло въ томъ, чтобы какъ можно больше появлялось такихъ произведеній. Что касается до журналовъ—несмотря на ихъ толстоту, наша журналистика бѣдна, и надо желать, чтобы журналовъ было больше. Даже въ томъ, что они поглощаютъ въ себя все лучшее и замѣчательнѣйшее, появляющееся въ литературѣ, есть явная польза: благодаря этому обстоятельству, всякое литературное хорошее произведеніе прочитывается не десятками, не сотнями, а цѣлыми тысячами читателей. Конечно такое произведеніе, какъ «Мертвыя

Души» Гоголя, не имѣетъ нужды въ посредствѣ журналовъ для пріобрѣтенія себѣ многочисленныхъ читателей; но вѣдь то—«Мертвыя Души», одно изъ такихъ произведеній, которыя составляютъ исключенія изъ общаго правила и бываютъ рѣзкимъ явленіемъ во всякой литературѣ. Обыкновенно у насъ замѣчательный успѣхъ всякой книги состоитъ въ расходѣ пяти или много семи сотъ экземпляровъ; будучи же помѣщены въ журналахъ (разумѣется, не во всѣхъ, а въ какихъ-нибудь двухъ, не больше), они находятъ себѣ тысячи читателей. Итакъ, вмѣсто пустыхъ и неосновательныхъ нападокъ на журналы, лучше пожелать увеличенія ихъ числа и большаго ихъ распространенія въ публикѣ. Слѣдующіе стихи, написанные кн. Вяземскимъ назадь тому лѣтъ пятнадцать и теперь еще новые истиной своего содержанія, очень идутъ къ вопросу, о которомъ мы говоримъ,—почему мы и заключаемъ ими нашу статью:

Дай Богъ намъ богѣ журналовъ:
Плодять читателей они.
Гдѣ есть повѣтріе на чтенье,
Въ чести тамъ грамота, перо;
Гдѣ грамота—тамъ просвѣщеніе;
Гдѣ просвѣщеніе—тамъ добро.

ПАРИЖСКІЯ ТАЙНЫ.

Романъ Эжена Сю. Перевелъ В. Строевъ. Спб. 1844. Два тома, восемь частей.

Исторія европейскихъ литературъ особенно въ послѣднее время представляетъ много примѣровъ блистательнаго успѣха, какимъ удивлялись нѣкоторые писатели или нѣкоторые сочиненія. Кому не памятно то время, когда на примѣръ вся Англія на расхватъ разбирала поэмы Байрона и романы Вальтеръ-Скотта, такъ что изданіе новаго творенія каждаго изъ этихъ писателей расходилось въ нѣсколько дней, въ числѣ не одной тысячи экземпляровъ. Подобный успѣхъ очень понятенъ: кромѣ того что Байронъ и Вальтеръ-Скоттъ были великіе поэты, они продолжили еще совершенно новые пути въ искусствѣ, создали новые роды его, дали ему новое содержаніе: каждый изъ нихъ былъ Колумбъ въ сферѣ искусства, и изумленная Европа на всѣхъ парусахъ мчалась въ новооткрытые ими матернки міра творчества, богатые и чудные не менѣе Америки. Итакъ, въ этомъ не было ничего удивительнаго. Не удивительно также и то, что подобнымъ успѣхомъ, хотя и мгновеннымъ, пользовались таланты обыкновенные: у толпы должны быть

свой геніи, какъ у человѣчества есть свои. Такъ, во Франціи въ послѣднее время рестаuration выступила, подъ знаменемъ романтизма, на сцену литературы цѣлая фаланга писателей средней величины, въ которыхъ толпа увидѣла своихъ геніевъ. Ихъ читала и имъ удивлялась вся Франція, а за нею, какъ водится, и вся Европа. Романъ Гюго «Notre Dame de Paris» имѣлъ успѣхъ, какимъ бы должны пользоваться только величайшія произведенія величайшихъ геніевъ, приходящихъ въ міръ съ живымъ глаголомъ обновленія и возрожденія. Но вотъ едва прошло какихъ-нибудь четырнадцать лѣтъ—и на этотъ романъ уже всѣ смотрятъ, какъ на tout de force таланта замѣчательнаго, но чисто внѣшняго и эффектнаго, какъ на плодъ фантазіи сильной и пламенной, но не дружной съ творческимъ разумомъ, какъ на произведеніе ярко блестящее, но натянутое, все составленное изъ преувеличеній, все наполненное не картинами дѣйствительности, но картинами исключеній, уродливое безъ величія, огромное безъ стройности и гармоніи,

болѣзненное и нелѣпое. Многіе теперь о немъ даже совсѣмъ никакъ не думаютъ, и никто не хлопочетъ извлечь его изъ Леты, на глубокое дно которой покоится оно своимъ сладкимъ и непробуднымъ. И такая участь постигла лучшее созданіе Виктора Гюго, *si-devant* мирового гения; стало-быть, о судьбѣ всѣхъ другихъ и особенно послѣднихъ его произведеній нечего и говорить. Вся слава этого писателя, недавно столь громадная и всемірная, теперь легко можетъ уміститься въ орѣховой скорлупѣ. — Давно ли повѣсти Бальзака, эти картины салоннаго быта, съ ихъ тридцатилѣтними женщинами, были причиной общаго восторга, предметомъ всѣхъ разговоровъ? давно ли ими шеголяли наши русскіе журналы? Три раза весь читающій міръ жадно читалъ или, лучше сказать, пожиралъ исторію «Однаго изъ Тринадцати», думая видѣть въ ней «Иліаду» новѣйшей общественности. А теперь у кого станеть отваги и терпѣнія, чтобъ вновь перечитать эти три длинныя сказки? Мы не хотимъ этимъ сказать, чтобъ теперь ничего хорошаго нельзя было найти въ сочиненіяхъ Бальзака или чтобъ это былъ человекъ бездарный: напротивъ, и теперь въ его повѣстяхъ можно найти много красоты, но временныхъ и относительныхъ; у него былъ талантъ, и даже замѣчательный, но талантъ для извѣстнаго времени. Время это прошло, и талантъ забыть, — и теперь той же самой толпѣ, которая отъ него съ ума сходила, ни мало нѣтъ нужды, не только существуетъ ли онъ нынче, но и былъ ли когда-нибудь.

При всемъ томъ, едва ли какая-нибудь эпоха какой-нибудь литературы представляеть примѣръ успѣха сколько-нибудь подобнаго тому, какимъ увѣнчались въ наши дни пресловутыя «*Les Mystères de Paris*». Мы не будемъ говорить о томъ, что этотъ романъ или, лучше сказать, эта европейская Шехеразада, являвшаяся елочками въ фельетонѣ ежедневной газеты, занимала публику Парижа, слѣдовательно и публику всего міра, гдѣ получаютъ французскія газеты (а гдѣ же онъ не получаютъ?), — ни того, что по выходѣ этого романа отдѣльнымъ изданіемъ онъ въ короткое время былъ расхвачанъ, прочитанъ, перечитанъ, зачитанъ, разstreпанъ и затертъ на всѣхъ концахъ земли, гдѣ только говорятъ на французскомъ языкѣ (а гдѣ не говорятъ на немъ?), переведенъ на всѣ европейскіе языки, возбудилъ множество толковъ, еще болѣе нелитературныхъ, нежели сколько литературныхъ, и породилъ великое желаніе подражать ему, — ни того, что въ Парижѣ готовится новое великолѣпное изданіе его съ картинками работы лучшихъ рисовальщиковъ. Все это въ наше время еще не мѣрка истиннаго, дѣйствительнаго успѣха.

Въ наше время объемъ гения, таланта, учености, красоты, добродѣтели, а слѣдовательно и успѣха, который въ нашъ вѣкъ считается выше гения, таланта, учености, красоты и добродѣтели, — этотъ объемъ легко измѣряется одной мѣрой, которая условливаетъ собой и заключаетъ въ себя всѣ другія: это — деньги. Въ наше время тотъ не гений, не знаніе, не красота и не добродѣтель, кто не нажилъ и не разбогатѣлъ. Въ прежнія добродушныя и невѣжественныя времена гений оканчивалъ свое великое поприще или на кострѣ, или въ богадельнѣ, если не въ домѣ умалишенныхъ; ученость умирала голодной смертью; добродѣтель имѣла одну участь съ гениемъ, а красота считалась опаснымъ даромъ природы. Теперь не то: теперь всѣ эти качества иногда трудно начинаютъ свое поприще, зато хорошо оканчиваютъ его: сухія, тоненькія, блѣдныя съ молодости, они въ лѣта опытной возмужалости, толстыя, жирныя, краснощекія, гордо и безопасно покоятся на мѣшкахъ съ золотомъ. Сначала они бывають и мизантропами, и байронистами, а потомъ дѣлаются мѣщанами, довольными собой и міромъ. Жюль Жаненъ началъ свое поприще «Мертвымъ Осломъ» и Гильотинированной Женщиной», а оканчиваетъ его продажными фельетонами въ «*Journal des Debats*», въ которомъ основалъ себѣ доходную лавку похвалъ и браней, продающихся съ молотка. Эженъ Сю въ началѣ своего поприща смотрѣлъ на жизнь и человѣчество сквозь очки чернаго цвѣта и старался выказываться принадлежащимъ къ сатанинской школѣ литературы: тогда онъ былъ не богатъ. Теперь онъ принялся за мораль, потому что разбогатѣлъ... Кромѣ большой суммы, полученной за «Парижскія Тайны», новый журналистъ, желающій поднять свой журналъ, предлагаетъ автору «Парижскихъ Тайнъ» сто тысячъ франковъ за его новый романъ, который еще не написанъ... Вотъ это успѣхъ! И кто хочетъ превзойти Эжена Сю въ гениальности, тотъ долженъ написать романъ, за который журналистъ далъ бы двѣсти тысячъ франковъ: тогда всякій, даже неумѣющій читать, но умѣющій считать, пойметъ, что новый романистъ ровно вдвое гениальнѣе Эжена Сю... Эстетическая критика, какъ видите, очень простая: всякій русскій подрядчикъ съ бородкой и счетами въ рукахъ можетъ быть величайшимъ критикомъ нашего времени...

Кажется, вопросъ о «Парижскихъ Тайнахъ» рѣшился бы этимъ и коротко, и удовлетворительно; но, вѣрные нашимъ убѣжденіямъ, которыя для всѣхъ, обладающихъ значительнымъ капиталомъ нравственности, людей могутъ почестся предубѣжденіями, — мы хотимъ взглянуть на «Парижскія Тайны»

съ другой точки и помѣрять ихъ другимъ аршиномъ, кромѣ ихъ успѣха, т. е. кромѣ заплаченныхъ за нихъ денегъ. Это мы считаемъ даже нашей обязанностью, потому что «Парижскія Тайны» имѣли большой успѣхъ и въ Россіи, какъ и вездѣ. Благодаря хорошему, хотя и неполному переводу Строева, съ этимъ романомъ теперь познакомится и та часть русской публики, которая не можетъ читать иностранныя произведенія въ оригиналѣ. О «Парижскихъ Тайнахъ» говорить и толковать у насъ и въ провинціи, а нѣкоторые столичные журналы отпускаютъ прегромкія фразы о гениальности Эжена Сю и безсмертіи его «Парижскихъ Тайнъ», оставляя впрочемъ для своей публики непроницаемой тайной причины такой гениальности и такого безсмертія. Въ свое время мы уже сказали наше мнѣніе и въ отдѣлѣ «Иностранной Словесности» представили мнѣніе одного изъ лучшихъ современныхъ критиковъ во Франціи о «Парижскихъ Тайнахъ». Этого было бы и довольно; но могли ли мы тогда думать, чтобъ «Парижскія Тайны» до такой степени могли заинтересовать русскую публику? Говорить же о предметахъ общаго интереса—дѣло журнала. Итакъ, будемъ еще говорить о «Парижскихъ Тайнахъ».

Основная мысль этого романа истинна и благородна. Авторъ хотѣлъ представить развратному, эгоистическому, обоготворившему златого тельца обществу зрѣлище страданій несчастныхъ, осужденныхъ на невѣжество и нищету, а невѣжествомъ и нищетой—на порокъ и преступленія. Не знаемъ, заставила ли эта картина, которую авторъ нарисовалъ, какъ умѣлъ, заставила ли она содрогнуться это общество среди его торговыхъ и промышленныхъ оргій: но знаемъ, что она раздражила это общество,—и оно обвинило автора въ безнравственности! Въ наше время слова «нравственность» и «безнравственность» сдѣлались очень гибкими и ихъ теперь легко прилагать по произволу, къ чему вамъ угодно. Посмотрите напримѣръ на этого господина, который съ такимъ достоинствомъ носитъ свое толстое чрево, поглотившее въ себя столько слезъ и крови беззащитной невинности,—этого господина, на лицѣ котораго выражается такое довольство самимъ собой, что вы не можете не убѣдиться съ перваго взгляда въ полнотѣ его глубокихъ еундуковъ, схоронившихъ въ себѣ и безвозмездный трудъ бѣдняка, и законное наследіе сироты. Охъ, этотъ господинъ съ головой ослѣ на туловищѣ быка, чаще всего и съ особеннымъ удовольствіемъ говоритъ о нравственности и съ особенной строгостью судитъ молодежь за ея безнравственность, состоящую въ неуваженіи къ заслуженнымъ (т. е. разбогатѣвшимъ) людямъ, и за ея волю-

нодумство, заключающееся въ томъ, что она не хочетъ вѣрить словамъ, неподтвержденнымъ дѣлами. Такихъ примѣровъ можно найти тысячи, и ни мало не удивительно, что въ наше время являются люди, которые Сократа называютъ надувалой, мошенникомъ и опаснымъ для нравственности юношества безумцемъ. Къ особенной чертѣ характера нашего времени принадлежитъ то, что за всякую правду, за всякое благородное движеніе, за всякій честный поступокъ, непосредственно и фактически объясняющій значеніе нравственности и неумышленно обличающій развратныхъ моралистовъ, вась сейчасъ назовутъ безнравственнымъ.

Этимъ ужаснымъ словомъ встрѣченъ былъ въ Парижѣ и романъ Эжена Сю: значитъ, авторъ достигъ своей цѣли,—письмо его дошло по адресу... «Парижскія Тайны» даже подали поводъ къ административнымъ преніямъ въ Палатѣ Депутатовъ: таковъ былъ успѣхъ этого романа...

Чтобъ для большинства русской публики сдѣлать понятіе чрезвычайный успѣхъ «Парижскихъ Тайнъ», надо объяснить мѣстныя историческія причины такого успѣха. Причины эти принадлежатъ теперь исторіи; о нихъ перестала говорить политика: слѣдовательно онѣ сдѣлались уже предметомъ исторической критики. Королевскими повелѣніями въ 1830 году была измѣнена французская хартія; рабочій классъ въ Парижѣ былъ искусно приведенъ въ волненіе партіей средняго сословія (bourgeoisie). Между народомъ и королевскими войсками завязалась борьба. Въ слѣпкомъ и безумномъ самоотверженіи народъ не щадилъ себя, сражаясь за нарушеніе правъ, которыя нисколько не дѣлали его счастливѣе и слѣдовательно такъ же мало касались его, какъ и вопросъ о здоровьѣ китайскаго богдыхана. Сражаясь отдѣльными массами изъ-за баррикадъ, безъ общаго плана, безъ знамени, безъ предводителей, едва зная противъ кого и совсѣмъ не зная за кого и за что, народъ тщетно посылалъ къ представителямъ націи, недавно засѣдавшимъ въ абонированной камерѣ: этимъ представителямъ было не до того; они чуть не прятались по погребамъ, блѣдные, трепещущіе. Когда дѣло было кончено ревностью народа, представители выползли изъ своихъ норъ а по трупамъ ловко дошли до власти, оттерли отъ нея всѣхъ честныхъ людей и, загребая жаръ чужими руками, прелогополучно стали грѣться около него, разсуждая о нравственности. А народъ, который въ безумной ревности лилъ кровь за слово, за каждый пустой звукъ, котораго значенія самъ не понималъ, что же выигралъ себѣ этотъ народъ?—Увы! тотчасъ же послѣ июльскихъ происшествій этотъ бѣдный народъ съ ужасомъ уви-

дѣлѣ, что его положеніе не только не улучшилось, но значительно ухудшилось противъ прежняго. А между тѣмъ вся эта историческая комедія была разыграна во имя народа и для блага народа! Аристократія пала окончательно; мѣщанство твердой ногой стало на ея мѣсто, наследовавъ ея преимущества, но не наследовавъ ея образованности, изящныхъ формъ ея жизни, ея кровнаго презрѣнія, высокоумнаго великодушія и тщеславной щедрости къ народу. Французскій пролетарій передъ закономъ равенъ съ самымъ богатымъ собственникомъ (propriétaire) и капиталистомъ, тотъ и другой судится одинакимъ судомъ и по винѣ наказываемъ одинакимъ наказаніемъ; но бѣда въ томъ, что отъ этого равенства пролетарію ни чуть не легче. Вѣчный работникъ собственника и капиталиста, пролетарій весь въ его рукахъ, весь его рабъ, ибо тотъ даетъ ему работу и произвольно назначаетъ за нее плату. Этой платы бѣдному рабочему не всегда становится на дневную пищу и на лохмотья для него самого и для его семейства; а богатый собственникъ съ этой платы беретъ 99 процентовъ на сто... Хорошо равенство! И будто легче умирать зимой въ холодномъ подвалѣ или на холодномъ чердакѣ съ женой, съ дѣтьми, дрожащими отъ стужи, не ѣвшими уже три дня, будто легче такъ умирать съ хартіей, за которую пролито столько крови, нежели безъ хартіи, но и безъ жертвъ, которыхъ она требуетъ?.. Собственникъ, какъ всякій выскочка, смотритъ на работника въ блузѣ и деревянныхъ башмакахъ, какъ плантаторъ на негра. Правда, онъ не можетъ его насильно заставить на себя работать; но онъ можетъ не дать ему работы и заставить его умереть съ голода. Мѣщане-собственники—люди прозаически положительные. Ихъ любимое правило: «всякій у себя и для себя». Они хотятъ быть правы по закону гражданскому и не хотятъ слышать о законахъ челоуѣчества и нравственности. Они честно платятъ работнику или же назначенную плату, и если этой платы недостаточно для спасенія его съ семействомъ отъ голодной смерти, и онъ съ отчаянія сдѣлается воромъ или убійцей,—ихъ совѣсть спокойна: вѣдь они по закону правы! Аристократія такъ не разсуждаетъ: она великодушна даже по тщеславію, по принятому обычаю. По тому же самому она всегда любила умъ, талантъ, науку и искусство и гордилась тѣмъ, что покровительствовала имъ. Мѣщанство современной Франціи подражаетъ аристократіи только въ роскоши и тщеславіи, которыя у него проявляются грубо и пошло, какъ у Мольерова мѣщанина во дворянствѣ (bourgeois-gentilhomme). И вотъ за кого народъ жертвовалъ своей жизнью! По французской хартіи

избирателемъ и кандидатомъ можетъ быть только собственникъ, который съ своей недвижимости платитъ подати не менѣе четырехъ сотъ франковъ въ годъ. Слѣдовательно, вся власть, все вліяніе на государство сосредоточены въ рукахъ владѣльцевъ, которые ни единой каплей крови не пожертвовали за хартію, а народъ остался совершенно отчужденъ отъ правъ хартіи, за которую страдалъ. У насъ, въ Россіи, гдѣ выраженіе «умереть съ голода» употребляется какъ гипербола, потому что въ Россіи не только трудолюбивому бѣдняку, но и отъявленному лѣнтяю-нищему вѣтъ рѣшительно никакой возможности умереть съ голода,—у насъ, въ Россіи, не всѣ повѣрять безъ труда, что въ Англіи и во Франціи голодная смерть для бѣдныхъ—самое возможное и нисколько не необыкновенное дѣло. Нѣсколько недѣль, два-три мѣсяца болѣзни или недостатка въ работѣ, и бѣдный пролетарій долженъ умереть съ семействомъ, если не прибѣгнетъ къ преступленію, которое должно повести его на гильотину. Вотъ почему мы и распространились объ этомъ предметѣ, такъ тѣсно связанномъ съ содержаніемъ «Парижскихъ Тайнъ». Бѣдствія народа въ Парижѣ выше всякой мѣры превосходятъ самыя смѣлыя выдумки фантазіи.

Но искры добра еще не погасли во Франціи—онѣ только подъ пепломъ и ждутъ благоприятнаго вѣтра, который превратитъ ихъ въ яркое и чистое пламя. Народъ—дитя; но это дитя растетъ и общается сдѣлаться мужемъ, полнымъ силы и разума. Горе научило его уму-разуму и показало ему конституціонную мишуру въ ея истинномъ видѣ. Онъ уже не вѣритъ говорунамъ и фабрикантамъ законовъ и не станетъ больше проливать своей крови за слова, которыхъ значеніе для него темно, и за людей, которые любятъ его только тогда, когда имъ нужно загрести жаръ чужими руками, чтобъ воспользоваться некупленнымъ тепломъ. Въ народѣ уже быстро развивается образованіе, и онъ уже имѣетъ своихъ поэтовъ, которые указываютъ ему его будущее, дѣля его страданія и не отдѣляясь отъ него ни одеждой, ни образомъ жизни. Онъ еще слабъ, но онъ одинъ хранитъ въ себѣ огонь національной жизни и свѣжій энтузіазмъ убійденія, погасшій въ слояхъ «образованнаго» общества. Но и теперь еще у него есть истинные друзья: это люди, которые слили съ его судьбой свои обѣты и надежды, которые добровольно отреклись отъ всякаго участія на рынкѣ власти и денегъ. Многіе изъ нихъ, пользуясь европейской извѣстностью, какъ люди ученые и литераторы, имѣя всѣ средства стоять на первомъ планѣ конституціоннаго рынка, живутъ и трудятся въ добро-

вольной и честной бѣдности. Ихъ добросовѣстный и энергическій голосъ страшень продавцамъ, покупателямъ и аукціонерамъ администраціи,—и этотъ голосъ, возвышаясь за бѣдный, обманутый народъ, раздастся въ ушахъ административныхъ антрепренеровъ, какъ звукъ трубы судной. Стоны народа, передаваемые этимъ голосомъ во всеуслышаніе, будятъ общественное мнѣніе и потому тревожатъ спекулянтовъ власти. Съ этими честными голосами раздаются другіе, болѣе многочисленные, которые въ заступничествѣ за народъ видятъ вѣрную спекуляцію на власть, надежное средство къ низверженію министерства и занятію его мѣста. Такимъ образомъ народъ сдѣлался во Франціи вопросомъ общественнымъ, политическимъ и административнымъ. Понятно, что въ такое время не можетъ не имѣть успѣха литературное произведеніе, героемъ котораго является народъ. И надо удивляться, какъ духъ спекуляціи, обладающій французской литературой, не догадался ранѣе схватиться за этотъ неисчерпаемый источникъ вѣрнаго дохода!...

Эженъ Сю былъ этимъ счастливецемъ, которому первому вошло въ голову сдѣлать выгодную литературную спекуляцію на имя народа. Эженъ Сю не принадлежитъ къ числу тѣхъ немногихъ литераторовъ французскихъ, которые, махнувъ рукой на мерзость запустѣнья общественной нравственности, добровольно отказались отъ настоящаго и обрели себя безкорыстному служенію будущаго, котораго вѣроятно имъ не дождался, но котораго приближенію они же содѣйствовали. Нѣтъ, Эженъ Сю—человѣкъ положительный, вполне сочувствующій матеріальному духу современной Франціи. Правда, нѣкогда онъ хотѣлъ играть роль Байрона и кривлялся въ сатанинскихъ романахъ, вроде «Атаръ-Гюля», «Хатино», «Крао»; но это оттого, что тогда книгопродавцы и журналисты еще не бѣгали за нимъ съ мѣшками золота въ рукахъ. Сверхъ того мода на подѣльный байронизмъ уже прошла, да и лѣта Эжена Сю давно уже должны были сдѣлать его благоразумнымъ и заставить сойти съ ходуль. Онъ всегда былъ добрымъ малымъ и только прикидывался демономъ средней руки, а теперь онъ—добрый малый вполне, безъ всякихъ претензій, почтенный мѣщанинъ въ полномъ смыслѣ слова, филистеръ конституціонно-мѣщанской гражданственности и, еслибъ могъ попасть въ депутаты, былъ бы именно такимъ депутатомъ, какихъ нужно теперь хартіи. Изображая французскій народъ въ своемъ романѣ, Эженъ Сю смотритъ на него какъ истинный мѣщанинъ (*bourgeois*), смотритъ на него очень просто—какъ на голодную, оборванную чернь, невѣже-

ствомъ и нищетой осужденную на преступленія. Онъ не знаетъ ни истинныхъ пороковъ, ни истинныхъ добродѣтелей народа, не подозреваетъ, что у него есть будущее, котораго уже нѣтъ у торжествующей и преобладающей партіи, потому что въ народѣ есть вѣра, есть энтузіазмъ, есть сила нравственности. Эженъ Сю сочувствуетъ бѣдствіямъ народа: зачѣмъ отнимать у него благородную способность состраданія,—тѣмъ болѣе, что она общалась ему такіе вѣрные барыши? Но какъ сочувствуетъ—это другой вопросъ. Онъ желалъ бы, чтобы народъ не бѣдствовалъ и, переставъ быть голодной, оборванной и частью поневолѣ преступной чернью, сдѣлался сытой, опрятной и прилично себя ведущей чернью, а мѣщане, теперешніе фабриканты законовъ во Франціи, оставались бы попрежнему господами Франціи, образованнѣйшимъ сословіемъ спекулянтовъ. Эженъ Сю показываетъ въ своемъ романѣ, какъ иногда сами законы французскіе бессознательно покровительствуютъ разврату и преступленію. И, надо сказать, онъ показываетъ это очень ловко и убѣдительно; но онъ не подозреваетъ того, что зло скрывается не въ какихъ-нибудь отдѣльных законахъ, а въ цѣлой системѣ французскаго законодательства, во всемъ устройствѣ общества. Чтобы показать, какъ Эженъ Сю обнаруживаетъ невольное покровительство нѣкоторыхъ французскихъ законовъ и самаго судебного порядка пороку и преступленію, выпишемъ изъ романа разсказъ Анны:

«Мой мужъ былъ добрый ремесленникъ, потому разстроился... бросилъ меня съ дѣтьми, продавъ все, что у насъ было. Я работала, добрые люди помогали мнѣ; я поправлялась, какъ вдругъ явился мужъ мой съ какой-то женщиной и отнялъ у меня послѣднее... Надобно было разводиться по закону, а французскій законъ слишкомъ дорогъ для бѣдныхъ людей!... Вотъ что случилось: назадь тому три дня я сидѣла съ дѣтьми и работала... входитъ мужъ. По лицу его я увидѣла, что онъ пьянъ... «Я пришелъ за Катериной», говорилъ онъ. Я тотчасъ обняла дочь и отвѣчала ему: «Куда поведешь ее?»—«Не твое дѣло; она—моя дочь и должна идти за мной.»—Вся кровь бросилась мнѣ въ голову; я знаю, что та женщина, которая приходила къ намъ съ моимъ мужемъ, давно подбиваетъ его на черное дѣло...»

«Не отдавай дочері!» кричала я Дюпору:—я знаю, что вы хотите съ ней сдѣлать!»—«Не упрямься, или убью тебя», отвѣчалъ онъ; губы его поблѣвѣли отъ гнѣва. Катерина съ плачемъ бросилась ко мнѣ на шею и кричала: «Я хочу остаться у маменьки!»... Дюпоръ взбѣсился, вырвалъ у меня дочь, ударилъ меня ногой въ грудь, я упала... О! онъ вѣрно не поступилъ бы такъ дурно со мной, еслибъ былъ не пьянъ...»

«Онъ билъ меня ногами... ругалъ меня... Дѣти бросились на колѣни просить за меня... Тутъ онъ, какъ бѣшеный, сказалъ дочері: «Ступай за мной, или я непременно убью мать!» Кровь текла у меня горломъ... я не могла двинуться, по все еще кричала Катеринѣ: Не уходи; лучше пусть

убьетъ меня.»—«Замолчишь ли ты?» вскричалъ Дюпоръ и ударилъ меня такъ, что я упала безъ памяти...

«Когда я пришла въ себя, мальчпек мои плакали.»

— А дочь ваша?

— Онъ увелъ ее,—отвѣчала несчастная мать, рыдая.—Онъ прибилъ и увелъ ее!

— И вы не пожаловались комиссару?

— Я объ этомъ и не подумала въ первую минуту; я только могла плакать о Катеринѣ... Скоро все тѣло мое разболѣлось... я не могла ходить. Тутъ я вспомнила, что говорила брату: мужъ такъ прибилъ меня, что мнѣ придется идти въ больницу, и тогда, что будетъ съ моими дѣтьми?... Вотъ я въ больницѣ: что жъ будетъ съ моими дѣтьми?..

— Такъ во Франціи нѣтъ правосудія для бѣдныхъ людей?

— Оно слишкомъ дорого!.. Сосѣди мои послали за комиссаромъ. Онъ пришелъ съ писмоводителемъ... Мнѣ не хотѣлось жаловаться на мужа, но мысль о дочери принудила меня... Я сказала только, что во время ссоры за дочь онъ толкнулъ меня... Это ничего, но я хочу, чтобы мнѣ возвратили дочь... чтобы не развратили ее.

— Что же отвѣчалъ вамъ писмоводитель?

— Что мужъ мой имѣетъ право увести дочь, потому что онъ не разведенъ со мной; что жаль будетъ, если моя дочь испортится отъ дурныхъ совѣтовъ, но это одни предположенія, а нельзя основать жалобы на однихъ предположеніяхъ. «Требуите развода, сказалъ писмоводитель: побой, нанесенные вамъ мужемъ, его поведеніе съ дурной женщиной, все это послужитъ въ вашу пользу и вамъ отдадутъ дочь... а иначе онъ имѣетъ право оставить ее у себя.»—Требовать развода! а у меня нѣтъ денегъ, да еще я должна кормить дѣтей...—«Что жъ мнѣ дѣлать? отвѣчалъ писмоводитель: такъ надобно...» И потому, что такъ надобно, дочь моя мѣсяца черезъ три будетъ таскаться по улицамъ... (Часть 8-я, стр. 52—44.)

Этого отрывка достаточно, чтобы дать понятіе объ идеѣ «Парижскихъ Тайнъ» даже и не читавшимъ этого романа, и потому больше выписывать не нужно. Авторъ водить читателя по тавернамъ и кабакамъ, гдѣ собираются убійцы, воры, мошенники, распутныя женщины;—по тюрьмамъ, гдѣ подозрѣваемые въ преступленіи посажены въ одну комнату съ уличенными во множествѣ преступленій, съ бѣжавшими не одинъ разъ съ галеръ;—въ больницы, гдѣ для пользы науки бѣдная женщина должна рассказывать своему доктору, при множествѣ его учениковъ, симптомы своей болѣзни, а послѣ этого, если въ ней есть женскій стыдъ, чувствовать усиленіе болѣзни;—въ дома умалишенныхъ, которые, по описанію автора, представляютъ глазамъ филантропа болѣе утѣшительное зрѣлище, чѣмъ всѣ другія общественныя заведенія;—по чердакамъ и по подваламъ, гдѣ скрываются бѣдныя семейства, круглый годъ блѣдныя отъ голода и изнуренія, а зимой дрожащія отъ стужи, потому что они не знаютъ, что такое дрова. Въ этихъ чердакахъ и подвалахъ,—жилищахъ нищеты и отчаянія, часто живутъ высокія добродѣтели, но еще чаще

гнѣзятся развратъ и преступленіе. Но что говорить о тѣхъ несчастныхъ, которые сами себя называютъ «дѣтьми мостовой» и съ малолѣтства служатъ предметомъ спекуляціи для подобныхъ имъ нищихъ! Развратъ и преступленіе, такъ сказать, ждутъ ихъ на порогахъ жизни, чтобы схватить въ свои когти и повлечь по всѣмъ мытарствамъ побой, голода, обидъ, презрѣнія, угнетенія, наказаній, тюремъ, галеръ, воспитывая въ нихъ закоренѣлыхъ злодѣевъ. Все это составляетъ содержаніе романа Эжена Сю. Мысль его—какъ изъ этого достаточно видно—благородная и прекрасная; взглянемъ на исполненіе.

Съ этой стороны «Парижскія Тайны» являются самымъ жалкимъ и бездарнымъ произведеніемъ. Завязка романа основана на лжи и призракѣ, какими погнушалась бы въ наше время даже сколько-нибудь порядочная мелодрама. И эта ложь, эта призрачность въ особенности бросаются въ глаза даже самому невзыскательному читателю въ героѣ и героинѣ романа, т. е. въ его свѣтлости принцѣ Родольфѣ Герольштейнскомъ и ея свѣтлости, единородной дочери его, Пѣвунѣ, воспитанницѣ Сычихи и нахлебницѣ Яги-Бабы. Оставивъ свои наслѣдственные владѣнія, въ которыхъ, видно, по ихъ микроскопической мелкости, его свѣтлости нечего было дѣлать, Родольфъ живетъ въ Парижѣ, занимаясь такимъ дѣломъ, которое можетъ придти въ голову развѣ только какому-нибудь подрядчику повѣстей въ фельетонѣ журнала, но которое, слава Богу, въ нашъ прозаическій вѣкъ не придетъ въ голову никому, тѣмъ менѣе принцу. Переодѣтый въ блузу работника, Родольфъ шатается по кабакамъ и тавернамъ Ситѣ и дерется тамъ на кулачки съ убійцами, ворами и мошенниками, защищая, какъ истинный донъ-Кихотъ, слабыхъ и невинныхъ, наказывая пороки и награждая добродѣтели. По словамъ автора, Родольфъ «отличался красотой, но не мужественной: его блѣдность, его полузакрытые черные глаза, лѣнивая походка, разсѣянный взглядъ, ироническая улыбка показывали человека, отжившаго вѣкъ (хотя ему было не болѣе тридцати лѣтъ); казалось, онъ былъ разслабленъ аристократической невоздержностью (хотя онъ легко одолевалъ страшныхъ бойцовъ и силачей)». Мы бы никакъ не догадались о причинѣ побѣдоносности его свѣтлости, еслибы наперсникъ его, Мурфъ, въ разговорѣ съ нимъ же не подсказалъ намъ о немъ слѣдующихъ біографическихъ подробностей: «Креббъ научилъ васъ боксировать, Лакуръ передалъ вамъ искусство бороться и драться на палкахъ, знаменитый Бертранъ превратилъ васъ въ удивительнаго бойца на шпагахъ; вы убиваете ласточку на лету изъ пистолета; у васъ стальные мускулы». Видите

ли, все, что нужно для искателя приключеній, для донъ-Кихота XIX вѣка, для наполненія невозможными и небывалыми приключеніями пошлаго романа вродѣ Шехеразеды! Играя въ приключенія и въ опасности, Родольфъ играетъ и въ добродѣтели, и въ высокія чувства, — и во всѣхъ родахъ этихъ игръ онъ ужасный эффектеръ. Освободивъ Пѣвунью изъ-подъ опеки Яги-Бабы, онъ не сказываетъ ей этого, везетъ ее за городъ будто для прогулки, привозитъ на свою собственную мызу, и только тамъ Пѣвунья узнаетъ, что она уже не зависитъ больше отъ Яги-Бабы и что для нея есть честное и прекрасное убѣжище, даже добродѣтельная мать, въ особѣ г-жи Жоржъ. Все это дѣлается сюрпризомъ и съ эффектами; все это могло имѣть преподанія слѣдствія для бѣдной protégée, которой злая судьба велѣла быть предметомъ эффектнаго покровительства. Такъ и случилось: Пѣвунью увезли злодѣи, и если Сычиха не испортила ея прекраснаго лица купоросной кислотой, такъ это потому, что для эффекта романа автору нужно было и въ гробъ положить свою героиню прекрасной. Для этого онъ придумалъ чудесное средство: злодѣю Мастаку послать страшный сонъ, пробудившій въ немъ раскаяніе, которое и побудило его помѣшать Сычихѣ изуродовать Пѣвунью, хотя этого, по слѣпотѣ своей, онъ совсѣмъ не былъ въ состояніи сдѣлать. Между тѣмъ Пѣвунью помѣстили въ тюрьму, потомъ выпустили, утопили въ рѣкѣ, спасли, вылечили, — и Родольфъ ничего этого не знаетъ, за множествомъ дѣлъ. Все это ужасно глупо и пошло, но все еще далеко не конецъ глупостямъ и пошлостямъ романа. Родольфу нужно завладѣть Мастакомъ, но онъ самъ запутывается въ своихъ сѣтяхъ и долженъ погибнуть. Однакожъ не бойтесь: романъ только начинается, а Родольфу предстоитъ еще надѣлать много разныхъ эффектовъ. И вотъ онъ ухитряется написать въ карманѣ нѣсколько строкъ и ловко выбросить бумажку за окно кареты, а вѣрный Мурфъ ловко ее подхватываетъ. Все это не помѣшало однакожъ Родольфу полетѣть въ погребъ. Тамъ онъ долженъ былъ захлебнуться смрадной водой, на его груди уже спасаются крысы, онъ уже задыхается, падаетъ безъ чувствъ; но не трепещите, читатели, вѣдь это еще только первая часть романа — впереди цѣлыя семь частей, да еще съ эпилогомъ; а куда онѣ годятся, если Родольфъ не будетъ въ нихъ эффектировать? И вотъ почему Рѣзакъ такъ счастливо, т. е. такъ натянуто, спасаетъ его. Такимъ же чудомъ Мурфъ получаетъ не смертельную рану отъ руки Мастака, который во всякомъ другомъ случаѣ не умѣлъ поработать иначе, какъ на смерть. Судь надъ Мастакомъ и ослѣпленіе его возбу-

дили негодованіе въ нѣкоторыхъ гуманныхъ французскихъ критикахъ. И въ самомъ дѣлѣ, это было бы возмущающей душой картиной, еслибы не было смѣшной мелодрамой, пошлымъ театральнымъ эффектомъ. Посмотрите, какъ затѣйливы судъ и эта казнь! Что ни черта — то мелодраматическій фарсъ. Монологъ Родольфа къ Мастаку — пародія на любой монологъ Шиллерова Карла Моора. Кстати о черномъ докторѣ Давидѣ: какъ и въ его исторіи выказывается донкихотство Родольфа! Плантаторъ такъ гнусно-безчеловѣчно поступилъ съ негромъ Давидомъ и креолкой Сесили, что всякій честный человѣкъ не могъ не почестъ себя вправѣ спасти ихъ, имѣя къ тому средства. Но Родольфъ эффектеръ; онъ не любитъ дѣлать добро просто: онъ задалъ себѣ вопросъ, имѣетъ ли онъ право самоуправно лишать господина слуги? И вслѣдствіе этого онъ разсчелъ, сколько стоило плантатору воспитаніе Давида, что стоитъ рабъ-негръ и раба-креолка, и сонному, пьяному плантатору въ полночь отдастъ двойную противъ разсчета сумму. Скажите, Бога ради: если вы найдете возможность изъ берлоги разбойника вырвать попавшагося къ нему въ плѣнъ несчастнаго, — неужели вы будете разсчитывать, что стоило этому разбойнику содержаніе его плѣнника, и заплатите вдвое болѣе противъ разсчета?.. Какъ эта черта отзывается мѣщанствомъ и капитализмомъ, которые законность и справедливость допускаютъ только въ денежныхъ дѣлахъ? И отчего же совѣстливый и чуждающійся самоуправства Родольфъ не усомнился почестъ себя вправѣ лишить зрѣнія конечно великаго злодѣя, но для кары котораго были правительство, законы, эшафотъ? — Онъ хотѣлъ его лишить возможности дѣлать зло — и далъ ему возможность еще надѣлать ему зла; онъ хотѣлъ дать ему возможность раскаяться — и въ чемъ же мы видимъ это раскаяніе? неужели въ убійствѣ Сычихи, убійствѣ, учиненномъ въ изступленіи ярости, которое однако-же не помѣшало Мастаку на нѣсколькихъ страницахъ читать Сычихѣ — исполненные риторической шумихи монологи, забывъ, что Сычихѣ совсѣмъ не до нихъ, а для Хромушки они, какъ и слѣдовало, были ужасно смѣшны?..

Такимъ же точно выказывается Родольфъ въ своихъ отношеніяхъ къ маркизѣ Дорвилъ. Маркизъ женился на ней обманомъ, утаивъ отъ нея, что онъ страдаетъ падучей болѣзью. Съ гори она влюбилась въ Родольфа, но, какъ женщина безъ ума и такта, позволила играть собой графинѣ Сарѣ, которая возбудила въ ней недоувѣрчивость къ Родольфу и любовь къ Шарлю Роберу, набитому дураку. Маркиза рѣшается даже на тайныя свиданія съ этимъ глупцомъ, и только одна нерѣшитель-

ность спасаетъ ее отъ слѣдствій этихъ свѣданій. При послѣднемъ ее чуть было не поймавъ мужъ; но всезнающій и вездѣ поспѣвающій Родольфъ спасъ ее. Въ эту-то женщину влюбленъ Родольфъ. Онъ предлагалъ ей для разсѣянія дѣлать добро, и она начинаетъ играть въ добро. Все это приторно до послѣдней степени.

Но до сихъ поръ Родольфъ только эффектеръ и фразеръ; мы увидимъ, что онъ просто глупъ. Онъ вѣнчается съ умирающей Сарой, чтобъ имѣть право объявить Пѣвунью своей законной дочерью. А для чего это? И что за принцесса, что за владѣтельница княжна, окруженная штатсъ-дамами и фрейлинами,—Пѣвунья, воспитанница Сычихи, дѣвушка шестнадцати лѣтъ, всю жизнь проведенная съ ворами и мошенниками, растлѣнная и оскверненная всей грязью порока, хотя и невольнаго и безсознательнаго, но тѣмъ не менѣе порока? Къ лицу ли ей, возможна ли для нея роль владѣтельной княжны? Не лучше ли, не естественнѣе ли было бы, еслибъ Родольфъ оставилъ ее на рукахъ г-жи Жоржъ, или ужъ если ее убивало присутствіе людей, знавшихъ о прежней ея жизни, найти ей уголокъ въ Германіи и видѣться съ ней инкогнито, какъ съ своей дочерью?

Теперь, что за лицо эта Пѣвунья? Сначала, въ трактирѣ съ Родольфомъ и Рѣзакъ, она довольно естественна и даже интересна; но когда она вдругъ освобождается отъ грязи, въ которой болѣе десяти лѣтъ топтали ее ногами убійцы, воры и мошенники, и вдругъ ни съ того, ни съ сего дѣлается «дѣвой идеальной» и «неземной», она перестаетъ быть естественной и дѣлается пошлой, скучной. Мы не споримъ противъ того, что сердце ея было чисто по своей натурѣ; что она способна была къ раскаянію и страданію при мысли о прежней жизни; но все это должно было проявиться въ ней естественно, безъ идеальничанья; на ея жизни навсегда должны были остаться слѣды грязи, которой не смыли бы воды цѣлаго океана. А ей, видите ли, довольно было рукомыльника водицы, чтобъ сдѣлаться чище голубки, невиннѣе младенца. Какая пошлая натяжка! И потому нелѣпѣ, пошлѣе, приториѣ, натянутѣе и скучнѣе эпилога къ роману, гдѣ дѣйствіе перенесено въ Герольштейнъ, ничего нельзя вообразить. Въ сравненіи съ этимъ эпилогомъ, даже «Семейство», чувствительный романъ Фридриха Бремеръ, кажется тѣмъ-то сноснымъ!

Между тѣмъ на этихъ двухъ неестественныхъ и невозможныхъ во всѣхъ отношеніяхъ лицахъ основано все зданіе романа. Почему вмѣсто нихъ авторъ не придумалъ лицъ интересныхъ, но возможныхъ, прошлыхъ и занимательныхъ, но простыхъ? Потому, что

для этого нуженъ былъ талантъ, и притомъ большой талантъ, ибо истинно-изящное просто и естественно. А у добраго Эжена Сю дарованія можетъ хватить на какую-нибудь повѣсть вродѣ «Полковника Сюрвилъ»—не больше; взявшись за что-нибудь большее, онъ по необходимости долженъ стать на ходули и впасть въ мелодраму.

Мы не видимъ достаточной причины, почему бы Пѣвунья непременно должна была оказаться дочерью нѣмецкаго князя. По крайней мѣрѣ изъ этого ничего не вышло, кромѣ сантиментальнаго вздора и пошлыхъ эффектовъ. Явно, что авторъ въ этой завязкѣ считывалъ на чувствительныхъ читателей, которые любятъ въ романахъ необыкновенныя столкновенія, особенно родственныя, годныя только для наполненія пустоты романа, чуждаго всякой концепціи, всякаго творчества.

Г-жа Жермень и сантиментальный, безличный и безобразный сынъ ея—лица, совершенно лишнія въ романѣ. Между тѣмъ изъ желанія Родольфа отыскать Жермена вытекаютъ въ романѣ всѣ до пошлости чудесныя происхожденія его.

Мастакъ, Сычиха, Полидори, Сесили—лица неестественныя и невыдержанныя. Что они такое по мысли автора? Чудовища ли природы, или жертвы воспитанія и другихъ неотразимыхъ причинъ? Но въ первомъ случаѣ не слѣдовало бы автору быть столь щедрымъ на такія рѣдкія произведенія природы; а во второмъ—показать намъ причины ихъ искаженія и найти въ ихъ душахъ хотя какіе-нибудь слѣды человѣчности, какъ онъ показалъ ихъ въ Рѣзакѣ. Что эти лица мелодраматическія, спиты на живую нитку, довольно привести для доказательства одну черту. Полидори, котораго Родольфъ принуждаетъ быть палачемъ Феррана, говоритъ ему: «Князь наказываетъ преступленіе преступленіемъ, сообщника—сообщникомъ... Я не долженъ покидать тебя, по его приказанію; я возлѣ тебя, какъ тынъ... Я заслужилъ эшафотъ, какъ ты...» и проч. Подумаете, это говоритъ обратившійся на путь заблудшій человекъ?—ничуть не бывало: это говоритъ нераскаянный извергъ, отравитель, убійца, воръ, все, что угодно... И это поэзія, творчество! Нѣтъ, это просто—шехеразада! Лучше всѣхъ этихъ изверговъ очерченъ Жакъ Ферранъ. Самая мысль—изобразить гнуснаго злодѣя, пользующагося въ обществѣ репутаціей нравственнаго человѣка, достойна вниманія; но авторъ не выдержалъ ея, переключилъ, принесъ ее въ жертву великому господину Родольфу—и вышла мелодрама! Безумная любовь Феррана къ Сесили кажется ужасной натяжкой и не возбуждаетъ въ читателѣ ни довѣрія, ни интереса. Полидори,

умирающій отъ ядовитаго кинжала Сесили, и Родольфъ, спасающійся отъ той же смерти,—эффектъ. Лучше всѣхъ другихъ злодѣевъ изображены—вдова Марсіаль (не вездѣ впрочемъ выдержанная), дочь ея Тиква (очень хорошо очерченная) и Скелетъ. Графиня Макъ-Грегоръ обрисована довольно удачно, хотя и переутрирована; но братецъ ея Томъ очень похожъ на болвана, съ которымъ играютъ въ вистъ, когда не достаётъ четвертаго. Онъ потому только вертится въ романѣ, что безъ него Сарѣ нельзя таскаться по кабакамъ и харчевнямъ...

Что же, спросятъ насъ, неужели въ «Парижскихъ Тайнахъ» нѣтъ ничего хорошаго, и есть только одно дурное? Нѣтъ, въ цѣломъ этотъ романъ—верхъ нечѣстности, но частности въ немъ недурны. Таковы характеры—Рѣзака (впрочемъ невыдержанный), Марсіаля и особенно Волчихи, Пикъ-Венегра, Риголетты, доктора Грифона, г. и г-жи Пипле. Не дурны нѣкоторые эпизоды, какъ-то: рассказъ въ тюрьмѣ Пикъ-Венегра, страданія баронессы Фермонъ и ея дочери, картина страданія семейства Морель, исторія Луизы, сцены на островѣ Грабителя. Но все это не болѣе какъ не дурно, и во всемъ этомъ виденъ не даровитый живописецъ-творецъ, а ловкій ученикъ академи, набившій руку, присмотрѣвшійся къ картинамъ мастеровъ и кое-какъ умѣющій съ плеча чертить фигуры, инныя такъ себѣ—не дурныя, а инныя очень плохія, и никогда не умѣющій написать ничего полнаго и стройнаго. Многое, чтò въ русскомъ писателѣ показалось бы талантомъ, во французскомъ—не болѣе, какъ образованность, навыкъ, привычка. Языкъ французскій до того выработанъ, что рѣдкій французъ не умѣетъ прекрасно владѣть имъ: стихія общественной жизни до того разнообразны и опредѣленны, что есть откуда брать готовые матеріалы для сочиненій—умѣй лишь копировать хорошо; литература французская до того богата, что всякому легко блистать чужимъ умомъ и чужимъ талантомъ при небольшомъ количествѣ своихъ собственныхъ.

Но въ цѣломъ, повторяемъ, романъ Жена Сю—верхъ нечѣстности. Большая часть характеровъ, и притомъ самыхъ главныхъ,—безобразно нелѣпа, событія завязываются насильно, а развязываются посредствомъ *deus ex machina*. Мы уже говорили о томъ и другомъ; прибавимъ еще нѣсколько чертъ касательно послѣдняго. Многочисленные дѣйствующие лица поставлены въ насильственные отношенія другъ къ другу. Такъ напримѣръ, Полидори развращаетъ Родольфа въ его юности, помогаетъ Сарѣ Макъ-Грегоръ,—и онъ же помогаетъ потомъ г-жѣ Роланъ отравить графиню Дорбиньи, мать маркизы Дорвиль; сверхъ того онъ—сообщникъ Жака Фер-

рана во всѣхъ его злодѣйствахъ и участвовалъ въ гибели семейства Фермонъ: видите-ли, какой гордіевъ узелъ разныхъ хитро-сплетеній! Но всезнающій, вездѣ успѣвающій великій Родольфъ не хуже Александра Македонскаго справляется съ этимъ узломъ. Случайная покупка комода на толкучемъ рынкѣ и попавшее въ немъ письмо наводятъ Родольфа на слѣды баронессы Фермонъ; а квартира въ домѣ «Красной Руки» даетъ ему возможность напасть на слѣды Полидори, котораго онъ узнаетъ въ ложномъ Брадамантѣ, и во-время послать Мурфа въ Нормандію для спасенія глупаго графа Дорбиньи отъ яда. Въ самомъ дѣлѣ, опоздай маркиза Дорвиль съ Мурфомъ хоть минутой,—графъ Дорбинья былъ бы отравленъ. Такимъ же точно образомъ Родольфъ успѣлъ заблаговременно узнать о злодѣйскихъ умыслахъ Скелета и другихъ преступниковъ на жизнь Жермена; кстатѣ воротился тутъ Рѣзака, о которомъ Родольфъ думалъ, что онъ уже въ Африкѣ, и очень успѣшно и еще болѣе эффектно защитилъ Жермена. Смерть самого Рѣзаки восполнѣдовала также очень эффектно: во-первыхъ, онъ умеръ за своего благодѣтеля, и во-вторыхъ, умеръ отъ ножа, которымъ самъ убивалъ другихъ. Отчего-же Мастакъ не погибъ отъ ножа и даже нашелъ себѣ вѣрное пристанище въ домѣ умалишенныхъ? За разскажаніе?—Но вѣдь Рѣзака тоже раскаялся и еще искреннѣе, не говоря уже о томъ, что онъ никогда не былъ такимъ извергомъ, какъ Мастакъ? Отчего же Сычиха погибла отъ рукъ, а не отъ кинжала, которымъ она въ этотъ же день смертельно ранила графиню Сару Макъ-Грегоръ? А знаете-ли, зачѣмъ она ее ранила?—Затѣмъ, чтобы дать Родольфу возможность жениться на маркизѣ Дорвиль. За тѣмъ же застрѣлился и маркизъ Дорвиль... Какъ все это пошло!

Нѣкоторые смотрятъ на «Парижскія Тайны», какъ на дидактическій романъ, и доказываютъ ими возможность и законность дидактическаго рода повѣи. «Парижскія Тайны» дѣйствительно—романъ дидактическій, но онъ-то именно и доказываетъ невозможность и незаконность дидактическаго рода повѣи. Однакожъ, скажутъ намъ—этотъ романъ достигъ своей цѣли. Правда, онъ заставилъ общество потолковать нѣсколько времени о народѣ—до новой новости; можетъ быть даже, что вслѣдствіе его французскіе законодатели поторопятся подумать о какихъ-нибудь способахъ къ улучшенію участи несчастныхъ бѣдняковъ,—и въ такомъ случаѣ романъ полезенъ; но тѣмъ не менѣе онъ все-таки не романъ, а сказка, и притомъ довольно нелѣпая. Еслибъ кто-нибудь, узнавъ о тайномъ убійствѣ, написалъ повѣсть, которая навела бы полицію на слѣды преступленія,—посту-

покъ былъ бы прекрасенъ, а повѣсть была бы плоха, и всѣ помнили бы случай, а повѣсть тотчасъ же забыли бы. Такая же участь ожидаетъ и «Парижскія Тайны». Теперь пишутся уже «Лондонскія Тайны», — и кто знаетъ, можетъ быть годъ-другой всѣ литературы и всѣ театры завалятся тайнами и нетайнами разныхъ городовъ, благодаря торговому стремленію разныхъ мелкотравчатыхъ писаекъ! Но въ такомъ случаѣ нелѣпость пожреть сама себя и погибнуть отъ своего собственного излишества, а о «Парижскихъ Тайнахъ» черезъ годъ ничего не будетъ слышно, словно кануть онѣ въ воду. Такова судьба всѣхъ дидактическихъ произведеній! Жоржъ Зандъ не сдѣлала романа изъ исторіи Фаншетты: она описала въ своемъ журналѣ дѣло, какъ оно было, но результаты этой небольшой статьи будутъ посущественнѣе результатовъ всевозможныхъ «Парижскихъ Тайнъ»...

Нелзя не удивляться бездарности Эжена Сю, когда читаешь его «Парижскія Тайны»: въ нихъ такъ и виденъ выписавшійся сочинитель, какіе есть и у насъ на святой Руси. Мы сказали, что завязка и ходъ его романа — верхъ нелѣпости: и что же? — мысль этой завязки и вообще весь характеръ его романа не ему принадлежатъ. «Парижскія Тайны» — нехловкое и неудачное подражаніе романамъ Диккенса. Этотъ даровитый англійскій писатель довольно извѣстенъ у насъ, въ Россіи; всѣ читали его «Николая Никльби», «Оливера Твиста», «Барнеби Роджа» и «Лавку Древностей»: стало-быть, всякій можетъ самъ повѣрить справедливость нашего замѣчанія. Большая часть романовъ Диккенса основана на семейной тайнѣ: брошенное на произволъ судьбы дитя богатой и знатной фамиліи преслѣдуется родственниками, желающими незаконно воспользоваться его наслѣдствомъ. Завязка старая и избитая въ англійскихъ романахъ, но въ Англіи, землѣ аристократизма и маіоратства, такая завязка имѣетъ свое значеніе, ибо вытекаетъ изъ самаго устройства англійскаго общества, слѣдовательно имѣетъ своей почвой дѣйствительность. Притомъ же Диккенсъ умѣетъ пользоваться этой истасканной завязкой, какъ человекъ съ огромнымъ поэтическимъ талантомъ. Во Франціи теперь подобная завязка не имѣетъ никакого смысла, и потому бѣдный Эженъ Сю принужденъ былъ въ благородные отцы ангажировать нѣмецкаго владѣтельнаго князька. Мы уже видѣли, какъ умно и правдоподобно умѣлъ онъ развить эту пошлую завязку. Злодѣи, воры и мошенники, равно какъ и сцены нищеты въ романахъ Эжена Сю — тоже плохія копія съ мастерскихъ, дышавшихъ страшной истинной дѣйствительности и художественной жизнью картинъ Диккенса. Но особенно злодѣи Эжена Сю смѣшны

и жалки въ сравненіи съ злодѣями Диккенса.

Отчего же ни одинъ изъ романовъ сильна-даровитаго Диккенса не имѣлъ и сотой доли того успѣха, какимъ воспользовался романъ почти бездарнаго Эжена Сю? На это есть двѣ причины, изъ которыхъ одна дѣлаетъ честь Диккенсу, а другая — Эжену Сю. Во-первыхъ, толпа любитъ больше такіа произведенія, которыя ей по-плечу, и хотя Диккенсъ не принадлежитъ къ числу великихъ поэтовъ, однако его талантъ все-таки выше разумѣнія и вкуса толпы. Во-вторыхъ, Диккенсъ — англичанинъ, а Эженъ Сю — французъ. Какъ истинный англичанинъ, Диккенсъ исполненъ сухого фарисейскаго морализма націи, привыкшей подчинять справедливость политикѣ, а нравственность — общественнымъ выгодамъ. Какъ истинный художникъ, Диккенсъ вѣрно изображаетъ злодѣевъ и изверговъ жертвами дурного общественного устройства; но какъ истинный англичанинъ, онъ никогда въ этомъ не сознается даже самому себѣ.

Какъ французъ, Эженъ Сю не чуждъ симпатіи къ падшимъ и слабымъ. Гуманность и человеколюбіе — одна изъ самыхъ рѣзкихъ чертъ національнаго характера французовъ. Это отразилось съ большей или меньшей силой и истинной въ «Парижскихъ Тайнахъ». Если Сю нарисовалъ нѣсколько отвратительныхъ и неправдоподобныхъ чудищъ, каковы Мастакъ, Сычиха и Полидори, — это для мелодраматическаго успѣха, столь несомнѣннаго въ расчетахъ на толпу; но въ другихъ злодѣяхъ авторъ старался показать неизбѣжныхъ жертвъ недостатковъ французскаго общественного устройства. Дѣти, брошенные на мостовую, попавшіяся во власть грубыхъ и жестокихъ промышленниковъ, не могутъ не говорить безъ восторга о славномъ житіи ихъ въ тюрьмѣ!.. Чего же хотите вы отъ нихъ? И какое имѣете вы право считать себя лучше ихъ и строго судить ихъ? Развѣ вы увѣрены, что при подобномъ образѣ жизни въ лѣта дѣтства вы остались бы людьми честными и нравственными? Преступника казнили за убійство — и его семейству, не участвовавшему въ преступленіи, нѣтъ прохода на улицѣ отъ оскорбительныхъ восклицаній и упрековъ; ему нѣтъ работы, нѣтъ средствъ къ существованію: ему остается или умереть голодной смертью, или приняться за воровство, а потомъ — за убійство... Вотъ вопросы, которые расшевелили Эженъ Сю въ своихъ «Парижскихъ Тайнахъ», и этимъ-то вопросамъ обязанъ его романъ своимъ необыкновеннымъ успѣхомъ.

Но все-таки тутъ не меньшую роль играетъ и та причина, о которой мы говорили выше. Назначеніе генія — проводить новую, свѣжую струю въ потокъ жизни человечества и на-

родовъ. Но брошенная гениемъ идея принялась бы слишкомъ медленно, еслибы не подхватывали ее на лету таланты и дарования, роль и назначеніе которыхъ—быть посредниками между гениями и толпой. Даже искажая и дѣлая пошлой мысль гения, они тѣмъ самымъ приближаютъ ее къ понятію толпы. Напиши Эженъ Сю свой романъ безъ мелодраматическихъ прикрасъ, просто, естественно, съ строгой вѣрностью дѣйствительности,—его оцѣнили бы только тѣ, для кото-

рыхъ заключенная въ немъ идея отнюдь не новость, и его не прочли бы именно тѣ, для которыхъ эта идея совершенно новость. Разумѣется, Эженъ Сю не могъ бы лучше написать, еслибы и хотѣлъ, но потому-то и успѣлъ онъ, что талантъ его по плечу десяткамъ и сотнямъ тысячъ читателей, и потому эти десятки и сотни тысячъ читателей теперь думаютъ о томъ, о чемъ прежде не думали, и знаютъ то, чего прежде не знали.

Сочиненія князя В. Ѳ. Одоевскаго.

Спб. 1844. Три части.

Князь Одоевскій принадлежитъ къ числу наиболѣе уважаемыхъ изъ современныхъ русскихъ писателей,—и между тѣмъ ничего не можетъ быть неопредѣленнѣе извѣстности, которой онъ пользуется. Скажемъ болѣе: имя его гораздо извѣстнѣе, нежели его сочиненія. Это нѣсколько странное явленіе имѣетъ двѣ причины: одну чисто-внѣшнюю, случайную, другую—внутреннюю и необходимую. Князь Одоевскій выступилъ на литературное поприще въ 1824 году, въ эпоху совершеннаго переворота въ русской литературѣ, когда новыя понятія вооружились противъ старыхъ, новыя славны и знаменитости начали противопоставляться авторитетамъ, которые до того времени считались непогрѣзительными образцами и далѣе которыхъ идти въ мысли или въ формѣ строжайше запрещалось литературнымъ кодексомъ, получившимъ имя классическаго, и по давности времени пользовавшагося значеніемъ корана. Эта борьба стараго и новаго извѣстна подъ именемъ борьбы романтизма съ классицизмомъ. Если сказать по правдѣ, тутъ не было ни классицизма, ни романтизма, а была только борьба умственного движенія съ умственнымъ застоємъ; но борьба, какая бы она ни была, рѣдко носитъ имя того дѣла, за которое она возникла, и это имя, равно какъ и значеніе этого дѣла почти всегда узнаются уже тогда, какъ борьба кончится. Всѣ думали, что споръ былъ за то, которые писатели должны быть образцами—древніе-ли греческіе и латинскіе, и ихъ рабскіе подражатели—французскіе классики XVII и XVIII столѣтій, или новыя—Шекспиръ, Байронъ, Вальтеръ-Скоттъ, Шиллеръ и Гёте; а между тѣмъ въ сущности-то спорили о томъ, имѣетъ ли право на титулъ поэта, и еще притомъ великаго, такой поэтъ, какъ

Пушкинъ, который не употребляетъ «питтескихъ вольностей»,—вмѣсто шершаваго, тяжелаго, скрипучаго и прозаическаго стиха употребляетъ стихъ гладкій, легкій, гармоническій,—вмѣсто одъ пишетъ элегіи; вмѣсто надутаго и натянутаго слога держится слога естественнаго и благородно-простого,—поэмами называетъ маленькія повѣсти, гдѣ дѣйствуютъ люди, вмѣсто того, чтобы разумѣть подъ ними холодныя описанія на одинъ и тотъ же ходульный тонъ знаменитыхъ событій, гдѣ дѣйствуютъ герои съ ихъ наперсниками и вѣстниками;—словомъ, поэтъ, который тайны души и сердца человѣка дерзнулъ предпочесть плоскочнымъ иллюминаціямъ. Вслѣдствіе движенія, даннаго преимущественно явленіемъ Пушкина, молодые люди, выходившіе тогда на литературное поприще, усердно гонялись за новизной, считали ее за романтизмъ. Стихи ихъ были гладки и легки, фраза блистала новыми оборотами, мысли и чувства отличались какой-то свѣжестью, потому что не были повтореніемъ и перебивкой уже всѣмъ знакомыхъ и пере-знакомыхъ мыслей и чувствъ. Въ прозѣ видно было то же самое стремленіе—найти новыя источники мыслей и новыя формы для нихъ. Разумѣется, источникомъ всего этого «новаго» служили для нихъ иностранныя литературы; но для большинства нашей читающей публики того времени все это дѣйствительно было слишкомъ ново, а потому и казалось ярко-оригинальнымъ и смѣло-самобытнымъ. И вотъ почему въ тѣ блаженные времена слава доставалась такъ легко, такъ дешево, а извѣстность была просто ни-почемъ. Разумѣется, подобная новизна не могла не состарѣться скоро, и вслѣдствіе этого многие люди, о которыхъ думали, что они подавали

блестящія надежды, оказались совершенно безнадежными; другіе, которые пользовались большою извѣстностью, вдругъ пришли въ забвеніе. Но какъ движеніе, произведенное такъ называемымъ «романтизмомъ», развязало руки и ноги нашей литературѣ, то оно все продолжалось и продолжалось: новое сегодня становилось завтра если еще не старымъ, то уже и не новымъ; на мѣсто одной забытой знаменитости являлось нѣсколько новыхъ; въ литературу безпрестанно входили новые элементы, содержаніе ея расширялось, формы разнообразились, характеръ становился самобытнѣе. И теперь уже немногіе помнятъ эти споры и эту борьбу; писателей дѣлятъ по эпохамъ, въ которыя они дѣйствовали, и по таланту, который они выказывали; но уже нѣтъ болѣе ни классиковъ, ни романтиковъ; ни содержаніе, ни форма уже не приводятъ въ изумленіе своей оригинальностью, но чѣмъ онѣ оригинальнѣе, тѣмъ больше возбуждаютъ вниманіе. Лучшія стихотворенія Майкова, одного изъ особенно замѣчательныхъ поэтовъ нашего времени, принадлежать къ антологическому роду, — и потому онъ гораздо больше, нежели всѣ наши поэты старой школы, имѣетъ право называться классическимъ поэтомъ; и однакожь его такъ же никто не называетъ классикомъ, какъ и романтикомъ. Въ поэзіи Пушкина есть элементы и романтическіе, и классическіе, и элементы восточной поэзіи, и въ то же время въ ней такъ много принадлежащаго собственно нашей эпохѣ, нашему времени; какъ же теперь называть его романтикомъ? Онъ просто поэтъ, и притомъ поэтъ великій! Теперь каждый талантъ, и великій, и малый, хочетъ быть не классикомъ, не романтикомъ, а поэтомъ, слѣдовательно хочетъ равно брать дажь со всего человѣческаго — и благо ему, если онъ, не чуждаясь ни древняго, ни стараго, ни новаго, во всемъ этомъ умѣетъ быть современнымъ!.. Эту многосторонность, эту свободу наша литература приобрѣла все-таки черезъ борьбу мнимаго романтизма съ мнимымъ классицизмомъ!

Между множествомъ эфемерныхъ явленій, вызванныхъ тогда новизной и обязанныхъ ей своей минутной извѣстностью, были яркіе таланты, которые считали за необходимость не останавливаться на первомъ успѣхѣ, но идти за временемъ. Конечно не всѣ изъ нихъ шли до конца, но иные остановились на полудорогѣ, и едва-ли хотя одинъ дошелъ до конца пути своего, то-есть сдѣлалъ все, чего могли отъ него ожидать, и что въ силахъ былъ бы онъ выполнить.. Вообще доходить до конца какъ-то не въ судьбѣ русскихъ писателей, особенно съ нѣкотораго времени. И если Державинъ, Дми-

тріевъ и Крыловъ дожили до сѣдинъ, обремененныхъ лаврами, зато сколько путей, различнымъ образомъ прерванныхъ! Ломоносовъ умеръ пятидесяти лѣтъ съ полнымъ сознаніемъ, что онъ могъ бы еще много сдѣлать и что онъ гораздо меньше сдѣлалъ, нежели сколько надѣялся. Великій человекъ винилъ себя и въ своей преждевременной смерти, и въ томъ, что онъ, по его сознанію, сдѣлалъ такъ мало; но его жизнь и дѣятельность зависѣли не отъ него, а отъ той дѣятельности, въ которой такъ одиноко былъ онъ вызванъ судьбой дѣйствовать. Фонвизинъ написалъ свое послѣднее и лучшее произведеніе на тридцать-седьмомъ году отъ рожденія, и послѣ того провелъ цѣлыя десяти лѣтъ разбитый параличомъ и въ состояніи совершенной недѣятельности. Карамзинъ сошелъ въ могилу хотя уже и въ лѣтахъ, но еще въ порѣ силъ своихъ и далеко не кончивъ своего великаго труда. Озеровъ написалъ всего пять трагедій и умеръ на сорокъ-шестомъ году вслѣдствіе долговременной болѣзни, съ которой было сопряжено расстройство умственныхъ силъ. Батюшковъ погибъ для литературы и общества во цвѣтъ лѣтъ и силъ своихъ, подавъ такіе блестящія, такіе богатые надежды... Нужно ли говорить о томъ, какъ прервалась поэтическая дѣятельность трехъ великихъ славъ нашей литературы — Грибоедова, Пушкина и Лермонтова?.. А сколько менѣе огромныхъ и столь же безвременныхъ потери! Веневитиновъ умеръ почти при самомъ началѣ своего столь много общавшаго литературнаго поприща. Полежаевъ палъ жертвой избытка собственныхъ силъ, дурно уравновѣшанныхъ природой и еще хуже направленныхъ воспитаніемъ и жизнью... Всѣ эти утраты какъ-то невольно приходятъ въ голову теперь, по случаю внезапной вѣсти о смерти Баратынскаго, — поэта съ такимъ замѣчательнымъ талантомъ, одного изъ товарищей и сподвижниковъ Пушкина. И сколько въ послѣднее десятилѣтіе было подобныхъ утратъ!.. только и слышишь, что о паденіи прежнихъ бойцовъ, сраженныхъ то смертью, то — что еще хуже — жизнью... Ужасно умереть прежде времени, но еще ужаснѣе пережить свою дѣятельность, и только изрѣдка новыми, но уже слабыми произведеніями напоминать о прекрасной порѣ своей прежней дѣятельности. Эта нравственная смерть производитъ въ нашей литературѣ еще больше опустошеній, чѣмъ физическая. Причина ея столь же понятна, сколько и горестна, и лучше скорбѣть о ней, нежели высокоумно разсуждать о томъ, какимъ бы образомъ могъ ея избѣгнуть тотъ или другой авторъ, или гордо осуждать его за то, что онъ не могъ ея избѣгнуть. Увы! выходя на поприще жизни, мы всѣ

смѣло и гордо смотримъ въ ея неизвѣданную даль, и для насъ паденіе есть преступленіе; но, перешедши сами лучшую часть своей жизни, мы, при видѣ всякаго падшаго бойца, съ грустью обращаемся на самихъ себя... Кто палъ, почему не сказать о немъ, что уже нѣтъ его? Но дѣло критики говорить не о томъ только, что могъ бы сдѣлать авторъ и чего онъ не сдѣлалъ, но и о томъ, что сдѣлалъ онъ и чѣмъ благодатна была для общества жизнь его...

Итакъ, князь Одоевскій вышелъ на литературное поприще въ 1824 году. Онъ былъ изъ числа тѣхъ счастливо-одаренныхъ натуръ, которыя начинаютъ дѣйствовать сознательно въ духѣ своего истиннаго призванія и въ кругѣ своихъ собственныхъ силъ. Мы помнимъ первую повѣсть его «Элладій, картину изъ свѣтской жизни», напечатанную въ въ одномъ изъ тогдашнихъ журналовъ-альманаховъ («Мнемозинѣ»). Эта повѣсть теперь всякому показалась бы слабой, дѣтской и по содержанію, и по формѣ; но тогда она обратила на себя общее вниманіе и пріятно всѣхъ удивила. Повѣсть дѣйствительно слаба; но успѣхъ ея былъ тѣмъ не менѣе вполне заслуженный. Это была первая повѣсть изъ русской дѣйствительности, первая попытка изобразить общество не идеальное и нигдѣ несуществующее, но такое, какимъ авторъ видѣлъ его въ дѣйствительности. Со стороны искусства и вообще манеры разсказывать она была произведеніемъ оригинальнымъ и дотогѣ невиданнымъ; было что-то свѣжее въ мысли, во взглядѣ автора на предметы и въ чувствахъ, которые старался онъ ею возбудить въ общество. Къ тому же времени, въ которое былъ напечатанъ «Элладій» князя Одоевскаго, относятся его «аполлоны» — родъ поэтическихъ аллегорій, въ которыхъ ясно и опредѣлительно высказалось направленіе таланта ихъ автора. Такъ какъ теперь уже немногіе помнятъ ихъ, а многіе и совсѣмъ не знаютъ, я такъ какъ, несмотря на это, мы приписываемъ имъ значительную литературно-историческую важность и видимъ прямое указаніе на призваніе князя Одоевскаго, какъ писателя, то и считаемъ за нужное познакомить съ ними нашихъ читателей. Для этого приводимъ здѣсь аполлогъ:

Старикъ, или Островъ Панханъ.

Какъ памятно мнѣ время перехода изъ юности въ возрастъ зрѣлый, время сего перехода, когда человѣкъ внезапно, пораженный опытною, рѣшается оставить ту простосердечную довѣрчивость которая составляетъ блаженство младенца, рѣшается и — еще жалѣетъ о ней, любить ее!

Прежде еще сего перехода я помню — одна мечта, какъ игрушка, занимала меня; съ величайшимъ благоговѣніемъ взиралъ я на старость. Божественнымъ казался мнѣ сей возрастъ, въ которомъ, мнилъ я, укропятся буйныя, по-

стыдныя страсти, умолкаютъ мелкія, суетныя желанія, — ничтожными становятся препоны, задерживающія человѣка на пути къ высокой мечтѣ его — совершенствованію! На покрытомъ морщинами челѣ старца я читалъ сладкое чувство: усталого путника, близкаго къ желанной цѣли и уже готового въ прахъ сбросить и запыленную одежду, и обувь, къ которой, несмотря на тягость, привыкли плечи его; каждый старецъ казался мнѣ счастливцемъ, покорившимъ силу брѣня — силой духа; и до того даже доходила моя слѣпота въ семъ случаѣ, что тотъ пріобрѣталъ право на мое нелицемѣрное почтеніе, кто былъ меня хотя нѣсколькими годами старше. Еслибъ тогда старшій мнѣ говорилъ: я — мудрейшій изъ смертныхъ, я бы и не повѣрилъ ему — но не смѣлъ бы противорѣчить: онъ олимпіе меня, говорилъ бы я самому себѣ!

Теперь же — вы знаете меня, друзья! — суетная наружность не ослѣпляетъ глазъ моихъ! Грозный взоръ вѣлможы, потрясавшій всю нервную систему твари, имъ созданной, — производитъ во мнѣ лишь улыбку, столь нерѣдко бывающую на устахъ моихъ: я привыкъ, деревостной рукой срывая личину съ спѣсивой знатности, — находить отсутствіе всѣхъ достоинствъ, а подъ мисурой пышныхъ словъ — вялое слабоуміе. Но чувство благоговѣнія къ старости до сихъ поръ еще сохранилось въ душѣ моей, только съ той разницей, что прежде всякій старецъ казался мнѣ существомъ совершеннымъ, теперь же и въ старцахъ я умѣю открывать недостатки. Но таковыя открытія всегда были тягостны моему сердцу: они, разочаровывая меня, возмущали душу мою; въ семъ только случаѣ я не могъ смѣяться. Нѣсколько же дней тому назадъ произошла со мною большая перемена и въ семъ отношеніи, и вотъ какимъ образомъ.

Прижавшись въ углу въ моемъ кабинетѣ, съ Діодоромъ Сипилійскимъ въ одной рукѣ и съ греческимъ словаремъ въ другой, я путешествовалъ по Аравіи, по двѣтущему острову Панханъ, наслаждался видомъ колесницы Урановой и стоящаго на оной храма.

Воды, омывавшія сей храмъ, названныя *водами солнца*, мѣли, какъ говорятъ, даръ чудный: испившій отъ нихъ молодѣлъ постепенно и, дошедши до возраста юноши, содѣлывался бессмертнымъ; но горе тому, который хотѣлъ въ одно мгновеніе сдѣлаться юнымъ! Желаніе его исполнялось, — но безразсудный продолжалъ молодѣть безпрестанно и умиралъ, пришедши въ состояніе однодневнаго младенца. — На свѣтѣ моей нагорѣло, глаза утруднились отъ долгаго чтенія, голова отяжелѣла отъ греческихъ аористовъ, сумракъ, усталость, баснословное сказаніе, мною читанное, — все это вмѣстѣ погрузило меня въ то сладостное состояніе, которое навѣстно всякому, знакомому съ умственными напряженіями, — въ то состояніе, когда мы еще не можемъ отдать себѣ отчета въ новыхъ впечатлѣніяхъ, нами полученныхъ, когда родившіяся отъ нихъ бѣглыя, разнородныя мысли роятся въ головѣ нашей и мѣшаются съ чуждыми, часто безобразными привразами.

Въ такомъ состояніи былъ я: не знаю, спалъ ли или нѣтъ, — но слушайте, друзья мои, что нарисовало предо мною причудливое воображеніе:

Взору моему представился храмъ Гемнееи, ослѣненный пальмовыми деревьями, — мнѣ слышался журчаніе *водъ солнца*, тихій зефиръ, вѣнчующій надъ ними водами, касался лица моего. Берега сихъ водъ были покрыты толпами людей обоего пола, всѣхъ народовъ и состояній, но ни одного старца не было видно въ сихъ толпахъ: вездѣ были *дѣти*.

Приближаясь, всматриваюсь; — и какое удивление меня поразило, когда я увидѣлъ, что всѣ тѣ, которые мнѣ казались издали младенцами, — были ими только по тѣлесной немощи и по своимъ занятіямъ; лицо измѣняло имъ: почти у всѣхъ оно было изрыто морщинами; впалые, сгузвившіяся глаза, беззубый ротъ, трясущіяся когти и другія принадлежности глубокой старости спорили съ младенческимъ ростомъ и ребяческимъ выраженіемъ. Нельзя описать, какое сильное отвращеніе производилъ видъ сихъ *стариковъ-младенцевъ*! Я содрогнулся, хотѣлъ бѣжать, но невидимая рука остановила меня и невидимый голосъ говорилъ мнѣ: «Наблюдай. Здѣсь видишь ты свѣтъ и людей, живущихъ въ немъ, въ истинномъ ихъ видѣ. Тотъ свѣтъ, въ которомъ ты обитаешь, есть мечтательный, всѣ дѣйствія, здѣсь происходящія, кажутся тамъ совсѣмъ иными».

Я послушался и, сѣрѣя сердце, продолжалъ продираться сквозь толпу младенцевъ. О! сколько тутъ знакомыхъ моихъ я увидѣлъ, и какъ странны были ихъ занятія. Многие изъ младенцевъ подходили другъ къ другу; одинъ изъ нихъ съ величайшей важностью вынималъ мишурный мячикъ и кидалъ къ своему товарищу, товарищъ съ такой же важностью отвѣчалъ ему тѣмъ же мячикомъ; перекинувши еще нѣсколько разъ такимъ образомъ, младенцы, не теряя своей важности, расходились!

«Что это за игра такая?» спросилъ я. — «Она называется, отвѣчалъ мнѣ невидимый голосъ: *сѣтскими рзговорами*. Эта игра весьма скучна, какъ ты видишь, но любимая игра у младенцевъ. Есть многие изъ нихъ, которые до самой смерти безпрестанно занимаются ею и ничѣмъ болѣе».

Къ дереву, волею котораго я стоялъ, была приложена тоненькая жердочка; многие изъ младенцевъ старались взобраться по ней на дерево; чего ни дѣлали они для достиженія своей цѣли! и низко сгибали спину, и позыли, и то хватался за младенцевъ, окружавшихъ дерево, то отталкивали ихъ; странно было то только, что, когда кто поднимался нѣсколько выше другого по жердочкѣ, то младенцы старались того назадъ отдергивать и между тѣмъ рукоплескали и кланялись ему; уважавшаго же гнали и били немилосердно. Я замѣтилъ, что предметъ, привлекавшій болѣе всего младенцевъ къ этому дереву, были прекрасные плоды, на немъ висѣвшіе. Младенцы съ жизью не замѣчали, что эти плоды были прекрасны только издали, но въ самомъ дѣлѣ были гнилы. «И это—игра, сказалъ мнѣ голосъ; она называется *почестями безъ заслуги*».

Весьма жалко мнѣ было смотрѣть на нѣкоторыхъ *юношей*, которыхъ *старикимладенцы* приводили къ дереву и, показывая имъ плоды, на немъ росшіе, съ важностью говорили, что эти плоды чрезвычайно вкусны и должны быть цѣлью жизни человѣческой, — что единственное средство для достиженія оной есть искусное перекидываніе мишурнаго мячика. Тщетно злополучные *юноши* обращали взоры къ чему-то вышнему, непонятному для *стариковъ-младенцевъ*; упрямые старики, не давая имъ отдыха, заставляли перекидывать мячикъ.

«Не жалѣй! сказалъ мнѣ голосъ: это также игра, называемая *сѣтскими воспитаніемъ*. *Старикимладенцы*, правда, соблазняютъ многихъ *юношей*, но не останавливаютъ истинно презирающихъ эту ничтожную игру. Посмотри сюда, и ты увидишь подтвержденіе словъ моихъ».

Я обратился и увидѣлъ... О! какъ мнѣ выразить словами то, что увидѣлъ я? — Небеснымъ огнемъ пламенѣли ихъ очи, ихъ не туманило ничтожное земное; душевная дѣятельность пы-

лала во всѣхъ чертахъ, во всѣхъ движеніяхъ; она презирала шумный, суетной кривь младенцевъ, — ихъ взоры быстро стремились къ *возвышенному*.

«Кто сіи невѣдомые?» воскликнулъ я отъ избытка сердца,

«Это *бессмертные*!»—отвѣчалъ голосъ.—Старикимладенцы не замѣчаютъ, что сіиъ бессмертными юношамъ они обязаны почти существованіемъ, что сіиъ юноши, стремясь къ вызвышенной цѣли своей, *мимолетомъ*, съ отеческой нѣжностью разливаютъ на нихъ дары свои; неблагодарные не понимаютъ ни дѣйствія, ни цѣли бессмертныхъ; одни смѣются надъ ними, другіе презираютъ, иные не обращаютъ вниманія, большая часть даже не знаетъ о существованіи сихъ юношей. Но вращаются вѣки, быстрые круговороты времени поглощаютъ въ безднѣ забвенія ничтожную толпу *стариковъ-младенцевъ*, и живутъ *бессмертные*—живутъ, и нѣтъ предѣла ихъ возвышенной жизни».

Кружокъ стариковъ-младенцевъ привлекъ мое вниманіе. Всѣ, составлявшіе оный, сидѣли наморщивъ брови и съ важностью тщательно складывали песчинку къ песчинкѣ; имъ хотѣлось такимъ образомъ соорудить зданіе, подобно храму Геміеен. «У васъ нѣтъ *основанія*,—сказалъ, улыбаясь, одинъ изъ бессмертныхъ юношей;—у васъ нѣтъ даже *связи*, которая бы могла соединить ваши песчинки».

Младенцы презрительно посмотрѣли на юношу—и стѣснво указали ему на десять кое-какъ сложенныхъ песчинокъ, какъ бы говоря: вотъ гдѣ истинная мудрость!

«Тщетно!—сказалъ мнѣ голосъ:—отъ этой игры ихъ не отучишь; она называется *опытными знаніями*».

Волею сего кружка нѣсколько стариковъ-младенцевъ, еще болѣе угрюмыхъ, размѣривали землю для построенія того же зданія; но никакъ у нихъ дѣло не ладилось: только что безпрестанно ссорились и бранились!—и не мудрено! у всѣхъ были разномѣрные аршинны.

«Мѣряйте однимъ и тѣмъ же аршиномъ!» сказалъ бессмертный юноша.—«Мой лучше! Мой лучше!» закричали они всѣ вмѣстѣ.

«Эти старики-младенцы думаютъ,—сказалъ голосъ,—что они нѣсколькими степенями выше младенцевъ, складывающихъ песчинки; но въ самомъ дѣлѣ также *съ игрушками играютъ*, лишь съ той разницей, что эта игра имѣетъ другое названіе: она называется *обфримиуженными теориями*».

Волею меня нѣсколько стариковъ-младенцевъ играли въ игру весьма странную; одинъ изъ нихъ завязывалъ себѣ глаза, приходилъ въ мѣсто, совершенно ему незнакомое, и приказывалъ нѣкоторымъ юношамъ идти по дорогѣ, которую онъ, не видя, имъ указывалъ. Бѣдные юноши спотыкались безпрестанно, слѣдуя въ точности руководству его; но упрямый старикъ увѣрялъ, что юноши спотыкаются отъ несовершеннаго исполненія его наставленій, и ежеминутно твердилъ о своей *опытности*.

«Эта игра въ большемъ употребленіи у *стариковъ-младенцевъ*,—сказалъ мнѣ голосъ;—она истинное торжество для ихъ слабоумія—и называется: *искусствомъ поддывать сѣтскимъ*».

Удаленный отъ всѣхъ подъ тѣнью миртоваго еусточка, сидѣлъ одинъ изъ *стариковъ-младенцевъ*; онъ поддывалъ каждаго проходящаго и съ глупой радостью показывалъ свою работу, но никто не обращалъ на нее вниманія: по этому и по розовому платочку я тотчасъ узналъ моего друга Ахалкина; подхожу—и что же? Онъ вырѣзывалъ солдатиковъ изъ листочковъ розъ и

мнилъ такой арміей въ прахъ развить своего грознаго Аристарха! Повѣялъ легкій вѣтерокъ,—исчезли труды Ахалкина; только на лицѣ его осталось нѣтъ не замѣченное выраженіе, которое, не знаю, какъ назвать,—улыбкой или плачемъ, лишь знаю, что оно было отвратительно!

Какъ исчислить мнѣ всѣ суетныя занятія *стариковъ-младенцевъ*, какъ исчислить неисчислимое? Они пускали мыльные пузыри и увѣряли, что для сего потребны величайшія усилія и умъ высокій; другіе вили въ кудри сѣдые волосы и восхищались своей безобразной красотой; третьи проявляли въ бездѣйствіи, но у всѣхъ на языкѣ вертелась *опытность*.

Не знаю, долго ли продолжалось мое видѣніе, но когда оно исчезло, я сдѣлался гораздо спокойнѣе.

Теперь, слышу ли я старика, порицающаго ученость, потому что самъ не пьетъ ея, порицающаго всякую новизну за то, что она новизна;—вижу ли старика, который хочетъ обмануть время не приобрѣтеніемъ познаній, но подкрашенными волосами,—ихъ невѣжество и слабоуміе не возмущаютъ меня болѣе; я вспоминаю о моемъ видѣніи и спокойно говорю себѣ: «это *старикъ-младенецъ*».

Увы! я уже вижу поднимающуюся грозно-снѣжную толпу *стариковъ-младенцевъ*; они обвиняютъ меня даже за то, что мнѣ могло предстать такое видѣніе. Но вы, юные друзья мои, скажите мнѣ: не тогда ли только долгая жизнь можетъ содѣлать человека *опытнымъ*, когда каждый день оной есть новый рядъ умствованій?—Гдѣ же *опытность стариковъ-младенцевъ*, которой они столько хвалятся, когда бездѣйственность или ничтожныя занятія потушили въ ихъ головахъ и послѣднюю искру размышленія?

Звезды посылаютъ намъ смѣхъ, говорили древніе. Мое видѣніе—не должно возбудить непочтеніе къ старости, но, напротивъ, еще болѣе произвестъ благоговѣнія къ *старцамъ* въ истинномъ, высокомъ значеніи сего слова.

Друзья! улыбку *старикамъ-младенцамъ* и на колѣна предъ *вѣчно-юными старцами*!

Нѣтъ спора, что все это молодо, незрѣло и можетъ быть слишкомъ наивно, но нельзя отрицать, чтобъ въ этомъ не было одушевленія, жизни и мысли, хотя и выраженной въ формѣ, которая уже по самой сущности своей прозвучна, какъ сбивающаяся на аллегорію. Нечего и доказывать, что теперь такой родъ сочиненій былъ бы страненъ и не могъ бы имѣть успѣха; но вѣдь это было писано двадцать лѣтъ назадъ,—а что является въ свое время, вдохновенное самобытной мыслью и запечатлѣнное талантомъ, то если не всегда сохраняетъ свою первоначальную свѣжесть и спадаетъ съ цѣны отъ времени, зато всегда имѣетъ въ глазахъ мыслящаго человека свою относительную, свою историческую важность. Эти апологи замѣчательны ужъ тѣмъ, что они не походили ни на что, бывшее до нихъ въ русской литературѣ; они не пользовались популярностью, потому что могли нравиться не всѣмъ. Старички острова Панхай называли ихъ безнравственными; большинство публики, не находя въ нихъ ничего для

фантазій и не любя лица, предлагаемой преимущественно для ума мыслящаго, пропустило ихъ безъ особеннаго вниманія; но зато юношество, одушевленное стремленіемъ къ идеальному, въ хорошемъ значеніи этого слова, какъ противоположности пошлой прозѣ жизни,—это юношество читало ихъ съ жадностью, и благодатны были плоды этого чтенія. Мы знаемъ это по собственному опыту, и кто умѣетъ судить о достоинствѣ вещей не по настоящему времени, а по ихъ историческому смыслу, кто помнитъ состояніе нашей литературы въ ту эпоху, когда лучшими журналами въ Россіи были «Вѣстникъ Европы» и «Сынъ Отечества», и еще не было «Московского Телеграфа», когда читающая публика была несравненно малочисленнѣе нынѣшней,—тѣ согласятся съ нами.

Но князь Одоевскій не остановился на этихъ юношескихъ опытахъ; онъ скоро понималъ, что этотъ избранный или, лучше сказать, созданный имъ родъ литературы прозачтенъ и однообразенъ. Онъ такъ мало даетъ цѣны этимъ первоначальнымъ опытамъ своимъ, что не захотѣлъ даже помѣстить ихъ въ собраніи своихъ сочиненій... Послѣдующіе его опыты, разбросанные преимущественно по альманахамъ, уже обнаружили въ немъ писателя, столько же возмужавшаго, сколько и даровитаго. Не измѣняя своему истинному призванію, попрежнему оставаясь по преимуществу дидактическимъ, онъ въ то же время умѣлъ возвыситься до того поэтического краснорѣчія, которое составляетъ собой звено, связывающее оба эти искусства—краснорѣчіе и поэзію, и которое составляетъ истинную сущность таланта Жанъ-Поля Рихтера. Для доказательства ссылаемся на три лучшія произведенія князя Одоевскаго—«Бригадиръ», «Балъ» и «Насмѣшка Мертвеца». Это уже не апологи, не аллегоріи: это живыя мысли созрѣвшаго ума, переданныя въ живыхъ поэтическихъ образахъ. Несмотря на дидактическую цѣль этихъ произведеній, въ нихъ все горитъ и блещетъ яркими цвѣтами фантазій, въ нихъ слышится одушевленный языкъ живого, страстнаго убѣжденія, они проникнуты пафосомъ истины, они—не холодныя поученія, не резонерскія нападки на пороки людей, не риторическія похвалы добродѣтели: они—пламенные филиппики, исполненные то грознаго пророческаго негодованія противъ ничтожности и мелочности положительной жизни, валяющейся въ грязи эгоистическихъ расчетовъ, то молніеносныхъ образовъ надзвѣздной страны идеала, гдѣ живутъ высокія чувства, свѣтлыя мысли, благородныя стремленія, доблестные помыслы. Ихъ цѣль—пробудить въ спящей душѣ отвращеніе къ мер-

твой дѣйствительности, къ пошлой прозѣ жизни и святую тоску по той высокой дѣйствительности, идеалъ которой заключается въ смѣломъ, исполненномъ жизни сознаниіи человѣческаго достоинства. Но кромѣ того важное преимущество ихъ шесть составляетъ ихъ близкое, живое соотношеніе къ обществу. Съ этой стороны онѣ — не выдумки, не игрушки праздної фантазіи, не риторическія олицетворенія отвлеченныхъ мыслей, общихъ добродѣтелей и пороковъ, но уроки высокой мудрости, тѣмъ болѣе плодотворные, что ихъ корни скрываются глубоко въ почвѣ русской дѣйствительности. Прочтите «Бригадира»: это исторія многихъ тысячъ нашихъ бригадировъ, — исторія къ несчастью всегда одинаковая. Безпокойный и страстный юморъ составляетъ также одно изъ неотъемлемыхъ достоинствъ этихъ пьесъ и придаетъ имъ характеръ положительности, безъ котораго онѣ казались бы слишкомъ фантастическими, а потому и недостаточно дѣльными. Но какъ фантастическое лежитъ въ этихъ пьесахъ на существенномъ основаніи, то оно придаетъ имъ только еще болѣе сильный и увлекательный характеръ, поражая мысль черезъ посредство фантастическихъ образовъ, сверкающихъ яркими и причудливыми красками поэзіи. Для доказательства этого достаточно указать на то мѣсто изъ «Бала», гдѣ сѣдой капельмейстеръ хвалится своимъ умѣньемъ оживлять балъ искуснымъ подборомъ музыкальных пьесъ... Еще богаче и внутреннимъ содержаніемъ, и стремительнымъ паеосомъ, и фантастически-поэтическими образами пьеса — «Насмѣшка Мертвеца». По нашему мнѣнію, это едва ли не лучшее произведеніе князя Одоевскаго и въ то же время одно изъ замѣчательнѣйшихъ произведеній русской литературы, тѣмъ болѣе, что оно въ ней единственное въ своемъ родѣ. Мысль автора... но пусть эта мысль скажется сама, во всей предели и во всей силѣ ея поэтического выраженія. Красавица, ѣдущая на балъ съ своимъ мужемъ, встрѣтила на дорогѣ гробъ и смутилась при взглядѣ на мертвого молодого человѣка, лежавшаго въ гробу.

«Красавица нѣкогда видала этого человѣка. Видала! она знала его, знала всѣ изгибы души его, понимала каждое трепетаніе его сердца, каждое недоговоренное слово, каждую неважнѣную черту на лицѣ его; она знала, понимала все это, но на ту пору одно изъ тѣхъ людскихъ мнѣній, которыя люди называютъ вѣчнымъ, необходимыхъ основаніемъ семейственнаго счастья, и которому приносятъ въ жертву и гений, и добродѣтель, и состраданіе, и здравый смыслъ, все это на нѣсколько мѣсяцевъ, — одно изъ такихъ мнѣній поставило неопределенную преграду между красавицей и молодымъ человѣкомъ. И красавица покорилась. Покорилась не чувству! — нѣтъ, она затоптала святую искру, которая было затеплилась въ душѣ ея, и, падши, поклонилась тому демону, который раздаетъ

Соч. Бѣлинскаго. Т. III.

счастье и славу міра, и демонъ похвалилъ ея повиненіе, далъ ей «хорошую» партію и назвалъ ея разсчитливостью добродѣтелью, ея подобострастіе — благоразуміемъ, ея оптическій обманъ — влеченіемъ сердца; и красавица едва не гордилась его похвалой.

Но въ любви юноши соединялось все святое и прекрасное человѣка, ея роскошнымъ огнемъ жила жизнь его, какъ блестящій благоухающій алозъ подъ опалюю солнца, юношѣ были родными тѣ минуты, когда надъ мыслью проходила дыханіе бурно, — тѣ минуты, въ которыя живутъ вѣка, когда ангелы присутствуютъ таинству души человѣческой, и таинственные зародыши будущихъ поколѣній со страхомъ внимаютъ рѣшенію судьбы своей.

Да! много будущаго было въ этой мысли, въ этомъ чувствѣ. Но имъ ли оковать дѣльное сердце свѣтской красавицы, непрерывно охлаждаемое расчѣтами приличій? Имъ ли плѣнить умъ, безпрестанно сводимый съ толку тѣми суждѣніями общаго мнѣнія, которые постигли искусство судить о другихъ по себѣ, о чувствѣ по расчѣту, о мысли по тому, что имъ случилось видѣть на свѣтѣ, о поэзіи по чистой прибыли, о вѣрѣ по политикѣ, о будущемъ по прошедшему?

И все это презрѣнно: и безкорыстная любовь юноши, и силы, которыя она оживляла... Красавица назвала страсть юноши порывомъ воображенія, его мучительное терзаніе — переходящей болѣзью ума, мольбу его взоромъ — модной поэтической причудой. Все было презрѣнно, все было забыто. Красавица провела его чрезъ всѣ мытарства оскорбленной любви, оскорбленной надежды, оскорбленной самолюбія...

Что я рассказалъ долгими рѣчами, то въ одно мгновеніе пролетѣло чрезъ сердце красавицы при видѣ мертваго: ужасной показалась ей смерть юноши, — не смерть тѣла, нѣтъ! черты искаженнаго лица рассказывали страшную повесть о другой смерти. Кто знаетъ, что сталося съ юношей, когда, сжатая холодомъ страданія, порвались струны на гармоническомъ орудіи души его; когда изнемогъ онъ, замученный недоговоренной жизнью, когда истощилась душа на тщетное бorenіе и, униженная, но неубѣжденная, съ хохотомъ отвергла даже сомнѣніе — послѣднюю святую искру души умирающей. Можетъ быть она вызвала изъ ада всѣ изобрѣтенія разврата; можетъ-быть постигла сладость коварства, нѣгу мщенія, выгоды явно безстыдной подлости; можетъ-быть сильный юноша, распаливши сердце свое молитвой, проклялъ все доброе въ жизни! Можетъ-быть вся та дѣятельность, которая была предназначена на святой подвигъ жизни, углубилась въ науку порока, исчерпала ея мудрость съ той же силой, съ которой она нѣкогда исчерпала бы науку добра; можетъ-быть та дѣятельность, которая должна была помирить раскаяніе съ смиреніемъ вѣры, слѣла горькое, удушающее раскаяніе съ самой минутой преступленія...

Картина бала и смятенія, произведеннаго страхомъ потопа, исполнены вдохновенія бурнаго и порывистаго, негодованія пророчески энергическаго. Здѣсь краснорѣчіе возвышается до поэзіи, а поэзія становится трибуной. Чтобы выписать все лучшее изъ этой пьесы, надобно было бы списать ее всю. Но мы думаемъ, что и этой выписки уже слишкомъ достаточно, чтобы показать и высокій талантъ автора, и высокое его призваніе.

Было время, когда поэзію раздѣляли на

эпическую, лирическую, драматическую и еще дидактическую. Но не столько ложность раздѣленія, сколько пошлость образцовъ дидактической поэзіи изгнала изъ употребленія самое слово «дидактическій», какъ синонимъ скуки, водянистости и прозаизма; но это несправедливо. Хотя сатира напр. и принадлежитъ къ лирической поэзіи, какъ выраженіе субъективнаго чувства, однако сатира не есть произведеніе собственно поэзіи, какъ пѣсня, элегія, ода, потому что въ ней всегда видна слишкомъ опредѣленная цѣль, и въ нее входитъ слишкомъ большой посторонній элементъ. Въ сатирѣ поэтъ является обличителемъ, адвокатомъ, проповѣдникомъ, а поэзія въ сатирѣ является больше какъ средство, нежели какъ самобытное искусство. Сатира одно изъ тѣхъ произведеній, въ которыхъ поэзія становится краснорѣчіемъ, краснорѣчіе — поэзіей. Знаменитые въ прошломъ вѣкѣ «Сады» Делиля не принадлежатъ къ дидактической поэзіи, потому что они чужды какой бы то ни было поэзіи; но сатиры Ювенала, имбы Барбье, пьеса Пушкина «Поэтъ и чернь», пьесы Лермонтова «Печально я гляжу на наше поколѣнье» и «Поэтъ» суть произведенія столько же дидактическія, сколько и поэтическія. Дидактическая поэзія въ томъ смыслѣ, какъ мы ее понимаемъ, есть то громадное анаемое поученіе, то страстная рѣчь защитника добра; это родъ поэзіи наиболѣе социальный и гражданскій. Отсюда понятно, что у римлянъ явился величайшій сатирикъ въ мірѣ. Изъ этого однакожь не слѣдуетъ, чтобы поэзія должна была по прежнему раздѣляться на эпическую, лирическую, драматическую и дидактическую: дидактической поэзіи нѣтъ, но есть дидактизмъ, который, какъ преобладающій элементъ, можетъ входить во всѣ три рода поэзіи, преимущественно же въ лирическую. Безъ пафоса невозможна никакая поэзія, и дидактизмъ, чтобъ не убивать поэзіи, долженъ быть всегда преисполненъ страстнаго одушевленія. Въ древности были пѣвцы, обрекавшіе себя на возбужденіе въ гражданахъ чувствъ доблести и любви къ отечеству во время войнъ, и до насъ дошло нѣсколько одъ Тиртея, котораго анти-поэтическіе, не любившіе изящныхъ искусствъ спартанцы выпросили у афинянъ, чтобъ онъ воспламенялъ своими пѣснями духъ храбрости въ ихъ воинствѣ во время кровавой борьбы ихъ съ мессенцами. Почему же не быть поэтамъ, которые служили бы обществу, пробуждая и поддерживая въ его членахъ стремленіе къ сознанию, къ жизни умомъ и сердцемъ, единой сообразной съ человѣческимъ достоинствомъ жизни? И неужели эти гражданскіе Тиртеи ниже Тиртеевъ войны? Храбрость составляетъ одно изъ достоинствъ человѣка, особенно важ-

ное во время войны, но человѣчность всегда и вездѣ, въ войнѣ и мирѣ есть высшая добродѣтель, высшее достоинство человѣка, потому что безъ нея человѣкъ есть только животное, тѣмъ болѣе отвратительное, что вопреки здравому смыслу, будучи внутри животнымъ, снаружи имѣетъ форму человѣка...

Мы выше сказали, что въ русской литературѣ нѣтъ произведеній, которыя бы по своему духу и формѣ могли относиться къ одному разряду съ тѣми пьесами князя Одоевскаго, о которыхъ говорено выше. Ихъ прототипа надо искать въ сочиненіяхъ Жанъ-Поля Рихтера, который, не будучи поэтомъ въ смыслѣ творчества, тѣмъ не менѣе обладалъ замѣчательно сильной фантазіей и нерѣдко умѣлъ ею счастливо пользоваться для выраженія философскихъ и преимущественно нравственныхъ идей. Поэтому мы смотримъ на Жанъ-Поля Рихтера, какъ на дидактическаго поэта. Талантъ этого рода имѣетъ еще то отличіе отъ таланта чисто поэтическаго, чисто творческаго, что онъ тѣсно связанъ съ одушевленіемъ одареннаго имъ лица къ нравственнымъ идеямъ. И потому мы нерѣдко видимъ, что люди, обладающіе чисто поэтическимъ талантомъ, сохраняютъ его долго, независимо отъ ихъ отношеній къ жизни; но когда писатель, котораго направленіе преимущественно дидактическое, или привыкаетъ наконецъ къ холоду жизни, прежде возбуждающему въ немъ громовое негодованіе, или допускаетъ сомнѣнію ослабить въ себѣ энергію убѣжденія, — тогда его талантъ исчезаетъ вмѣстѣ съ упадкомъ его нравственной силы. Это потому, что такой талантъ есть своего рода добродѣтель.

Намъ не безъ основанія могутъ замѣтить, что такіа произведенія, какъ «Бригадиръ», «Балъ» и Насмѣшка Мертвеца», могутъ читаться не всегда, и притомъ не во всякомъ расположеніи духа, и что для умовъ зрѣлыхъ и закаленныхъ въ борьбѣ съ жизнью подобный дидактизмъ не вполне поучителенъ. Не споримъ противъ этого. Но какъ различны потребности возрастовъ и состояній, такъ различны и средства къ ихъ удовлетворенію. Есть люди, которые съ восторгомъ будутъ читать трагедію Шиллера, и въ которыхъ «Ревизоръ» или «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ» могутъ возбудить скорѣе болѣзненно-непріятное чувство, нежели удовольствіе и восторгъ; и есть люди, которымъ гениальная комедія изъ современной жизни громче говорить о значеніи и смыслѣ великаго и прекраснаго на землѣ, нежели иная восторженная, исполненная кипѣніемъ юнаго чувства трагедія. Не будемъ разсуждать, которая изъ этихъ сторонъ

права, которая неправа; мы даже думаемъ, что объ онѣ равно правы, ибо каждая изъ нихъ требуетъ того, что ей нужно, и объ достигаютъ одной и той же цѣли, идя по разнымъ путямъ. Какъ бы то ни было, но чтеніе такихъ произведеній, какъ «Бригадиръ», «Баль» и «Насмѣшка Мертвеца», производитъ на молодую душу, свѣжую, неподвергшуюся нечистому прикосновенію житейской суеты, дѣйствіе электрическаго удара, потрясающаго всю нервную систему. И подобный нравственный ударъ оставляетъ въ иной, исполненной благороднаго стремленія душѣ самыя благодатныя слѣдствія. Мы знаемъ это по собственному примѣру: мы помнимъ то время, когда избранная молодежь съ восторгомъ читала эти пьесы и говорила о нихъ съ тѣмъ важнымъ видомъ, съ какимъ обыкновенно неофиты говорятъ о таинствахъ своего ученія. И вотъ одна изъ причинъ, почему имя князя Одоевскаго, какъ писателя, болѣе извѣстно и знакомо всѣмъ, нежели его сочиненія: его сочиненія таковы, что могутъ или сильно нравиться, или совсѣмъ не могутъ нравиться, потому что годятся не для всѣхъ; а между тѣмъ мнѣніе тѣхъ, которыхъ они могутъ сильно интересовать, слишкомъ важно и дѣйствительно даже для тѣхъ, которые сами не могутъ находить въ нихъ для себя особеннаго интереса. Къ этому надо присовокупить еще и то обстоятельство, что сочиненія князя Одоевскаго долго были разбросаны во множествѣ разныхъ альманаховъ и журналовъ, и что ихъ многіе печатали и хвалили, и бранили, но никто не почелъ за нужное отдать публикѣ отчетъ, почему онѣ ихъ хвалятъ или бранятъ. Впрочемъ и не легко было бы дать такой отчетъ, потому что для этого критикъ принужденъ былъ бы прежде всего завалять свой столъ альманахами и журналами разныхъ годовъ. Вообще нельзя не упрекнуть князя Одоевскаго, что онъ не собиралъ и не издавалъ своихъ сочиненій по мѣрѣ ихъ накопленія. Это было бы для него весьма важно; ему легче было бы судить о потребностяхъ времени по приему публикой каждой книжки своихъ сочиненій и знать заранее, можетъ ли имѣть успѣхъ измѣненіе ихъ въ направленіи.

Послѣ всего, сказаннаго нами по поводу пьесъ — «Бригадиръ», «Баль» и «Насмѣшка Мертвеца», было бы бесполезно распространяться о достоинствахъ такого рода произведеній, о высокомъ талантѣ ихъ автора, равно какъ и о неоспоримой важности его направленія и призванія. Но навсегда ли или по крайней мѣрѣ надолго ли авторъ остался ему вѣренъ?—вотъ вопросъ. Кромѣ этихъ трехъ пьесъ, помѣщенныхъ въ первой части, въ слѣдующихъ частяхъ мы находимъ еще

нѣсколько въ такомъ же родѣ, каковы «Городъ безъ имени», «Новый Годъ», «Черная Перчатка», «Живой Мертвецъ» и отрывки изъ «Пестрыхъ Сказокъ»; но въ этихъ уже, за исключеніемъ первой, преобладаетъ юморъ, и онѣ, не теряя своего дидактическаго характера, начинаютъ наклоняться къ повѣсти. Изъ нихъ лучше другихъ кажется намъ «Новый годъ». — «Живой Мертвецъ» написанъ какъ-будто въ pendant къ «Бригадиру»: въ немъ та же мысль, съ одной стороны выраженная болѣе дѣйствительнымъ, нежели поэтическимъ образомъ, можетъ быть болѣе уловимая для большинства, но съ другой стороны лишенная торжественности лирическаго одушевленія, которое составляетъ лучшее достоинство «Бригадира». — Что же касается до пьесы «Городъ безъ имени», она написана совершенно въ духѣ лучшихъ произведеній въ этомъ родѣ князя Одоевскаго; но основная мысль ея нѣсколько односторонняя. Авторъ нападаетъ на исключительное индустріальное и утилитарное направленіе общества, думая видѣть въ немъ причину будто бы близкаго ихъ паденія. Автору можно возразить, что могутъ быть общества, основанныя на преобладаніи идеи утилитарности, но что общества, основанныя на исключительной идеѣ практической пользы, совершенно невозможны. Сколько можно замѣтить, авторъ намекаетъ на Сѣверо-Американскіе Штаты; но что можно сказать положительнаго объ обществѣ, которое такъ юно, что еще не доспѣло до эпохи уравниванія своихъ силъ и полной общественной организаціи? И кто можетъ сказать утвердительно, что въ этомъ странномъ, зарождающемся обществѣ не кроются элементы болѣе дѣйствительные и благородные, чѣмъ исключительное стремленіе къ положительной пользѣ? Вообще мысль о возможности смерти для обществъ вслѣдствіе ложнаго направленія слишкомъ пугаетъ автора. Въ пьесѣ «Послѣднее Самоубійство» онъ рѣшился даже нарисовать картину смерти всего человѣчества, которому уже ничего не осталось ни знать, ни дѣлать, потому что все уже узнано и сдѣлано...

Пьесы: «Opere del Cavaliere Giambatista Piranesi», «Послѣдній Квартетъ Бетховена», «Импровизаторъ» и «Себастьянъ Вахъ», образуютъ собой особенную серію дидактическихъ произведеній, и всѣ онѣ возбудили при своемъ появленіи большое вниманіе. Въ нихъ развивается какая-нибудь или психологическая мысль, или взглядъ на искусство и художника. Первая изъ нихъ, «Opere del Cavaliere Giambatista Piranesi», есть — кто бы могъ подумать? — апофеоза сумасшествія!.. Ибо что другое, какъ не желаніе

апофеозировать сумасшествіе, могло заставить автора взять на себя трудъ представить архитектора, который помѣшался на мысли строить зданія изъ горъ, переставлять горы съ мѣста на мѣсто и дѣлать тому подобное?.. Такое состояніе, по нашему мнѣнію, отнюдь не показываетъ геніальности, но, напротивъ, свидѣтельствуетъ о слабой нервной натурѣ, которая не выдерживаетъ тяжести разумной дѣйствительности,—и Пиранези таковъ, какимъ представляетъ его князь Одоевскій, достоинъ жалости, какъ всякій сумасшедшій, но не вниманія, какъ всякій замѣчательный человѣкъ. Геній творитъ великое, но возможно: о громадномъ, но невозможномъ можетъ мечтать только разстроенная и болѣзненная фантазія.—Въ «Импровизаторѣ» прекрасно развита мысль о бесплодности и вредѣ знанія, приобретеннаго безъ труда и усилій, какъ источникъ самаго пошлаго и тѣмъ не менѣе мучительнаго скептицизма, результатомъ котораго всегда бываетъ искреннее примиреніе съ пошлостью вѣтшей жизни. «Себастьянъ Бахъ»—родъ біографіи-повѣсти, въ которой жизнь художника представлена въ связи съ развитіемъ и значеніемъ его таланта. Это скорѣе біографія таланта, чѣмъ біографія человѣка. Она вводитъ читателя въ святилище генія Баха и критически знакомитъ его съ нимъ. Жизнь Себастьяна Баха изложена княземъ Одоевскимъ въ духѣ нѣмецкаго воззрѣнія на искусство и нѣмецкаго музыкальнаго вѣрованія, которое на итальянскую музыку смотритъ какъ на расколъ, которое, вмѣстѣ съ этимъ геніальнымъ и простодушнымъ стариннымъ мастеромъ, боится лучшаго въ мірѣ музыкальнаго инструмента—человѣческаго голоса, какъ слишкомъ исполненнаго страсти, профанирующей искусство въ той заоблачной и по тому самому нѣсколько холодной сферѣ, въ которой эксцентрическіе нѣмцы хотятъ видѣть царство истиннаго искусства. Однако это нисколько не мѣшаетъ поэтической біографіи Себастьяна Баха быть до того мастерски изложенной, до того живой и увлекательной, что ее нельзя читать безъ интереса даже людямъ, которые недалеки въ знаніи музыки. Это значитъ, что въ ней авторъ коснулся тѣхъ общихъ сторонъ, которыя и въ музыкантѣ прежде всего показываютъ художника, а потомъ уже музыканта.

«Imbroglia», «Сильфида», «Саламандра», «Южный Берегъ Финляндіи въ началѣ XVIII столѣтія», «Княжна Мими» и «Княжна Зизи»—все эти пьесы образуютъ собой рядъ повѣстей собственно. Лучшая между ними и одно изъ лучшихъ произведеній князя Одоевскаго есть «Княжна Мими». Несмотря на ея нисколько не лирическій характеръ, она вѣрна тому направленію таланта автора,

которое мы столько уважаемъ и которое мы видимъ въ его пьесахъ «Бригадиръ», «Балъ» и «Насмѣшка Мертвеца». Это мастерски написанная картина изъ свѣтскаго быта. Содержаніе ея очень просто: гибель прекрасной женщины, которую ожидало счастье вдвоемъ и которая вполне была достойна этого счастья,—гибель этой женщины отъ сплетни, сочиненной старой дѣвой. Вѣрный своему направленію, авторъ выводитъ наружу внутренній пафосъ повѣсти въ этихъ немногихъ, но пророчески обличительныхъ словахъ: «Есть поступки, которые преслѣдуются обществомъ: погибаютъ виновные, погибаютъ невинные. Есть люди, которые полными руками сѣютъ бѣдствіе, въ душахъ высокихъ и нѣжныхъ возбуждаютъ отвращеніе къ челоуѣчеству, словомъ, торжественно подпаливаютъ основанія общества,—и общество согрѣваетъ ихъ въ груди своей, какъ бессмысленное солнце, которое равнодушно всходитъ и надъ крѣпами битвы, и надъ молитвой мудраго». Но героиня повѣсти, княжна Мими, не принесена авторомъ въ жертву моральности: онъ раскрываетъ передъ читателями тѣ неотразимыя причины, вслѣдствіе которыхъ она должна была сдѣлаться злой сплетницей; онъ показываетъ, что гораздо прежде, нежели она начала подпаливать основы общества, это общество сгубило въ ней все хорошее и развило все дурное. Она была старая дѣва и знала, что такое «тихий шопотъ, непримѣтная улыбка, явныя или воображаемыя насмѣшки, падающія на бѣдную дѣвушку, которая не имѣла довольно искусства, или имѣла слишкомъ много благородства, чтобы продать себя въ замужество по расчетамъ». Превосходный рассказъ, простота и естественность завязки и развязки, выдержанность характеровъ, знаніе свѣта—дѣлаютъ «Княжну Мими» одной изъ лучшихъ русскихъ повѣстей.

Повѣсть «Княжна Зизи» уступаетъ въ достоинствѣ повѣсти «Княжна Мими»,—что однакожъ не мѣшаетъ и ей быть интересной и занимательной. Основная идея—положеніе въ обществѣ женщины, которая по своему сердцу, по душѣ, составляетъ исключеніе изъ общества и дорого платитъ за свое незнаніе людей и жизни, которымъ слишкомъ довѣрялась, потому что судила о нихъ по самой себѣ.

«Сильфида» принадлежитъ къ тѣмъ произведеніямъ князя Одоевскаго, въ которыхъ онъ рѣшительно началъ уклоняться отъ своего прежняго направленія въ пользу какого-то страннаго фантазма. Отсюда происходитъ то, что съ этихъ поръ каждое изъ его произведеній имѣетъ двѣ стороны—сторону достоинствъ и сторону недостатковъ. Пока авторъ держится дѣйствительности, его талантъ увле-

катель по прежнему и проблемскими поэзи, и необыкновенно умными мыслями; но какъ скоро онъ впадаетъ въ фантастическое, изумленный читатель поневоля задаетъ себѣ вопросъ: шутить съ нимъ авторъ, или говорить серьезно? Герой повѣсти «Сильфида» очень занимаетъ насъ, пока мы видимъ его въ простыхъ человѣческихъ отношеніяхъ къ людямъ и жизни; но наше участіе къ нему, несмотря на искусство и высокій талантъ автора, тотчасъ погасаетъ, какъ скоро онъ началъ отыскивать какую-то Сильфиду на днѣмски съ водой и бирюзовымъ перстнемъ. Авторъ (сколько можемъ мы понять при нашемъ совершенномъ невѣжествѣ въ дѣлахъ волшебства, видѣній и галлюцинацій) хотѣлъ въ героѣ «Сильфиды» изобразить идеаль одного изъ тѣхъ высокихъ безумцевъ, которыхъ внутреннему созерцанію (будто-бы) доступны сокровенныя и превыспреннія тайны жизни. Но, увы! уваженіе къ безумцамъ давно уже, впритомъ безвозвратно, прошло въ просвѣщенной Европѣ, и вдохновенныхъ сьантоновъ уважаютъ теперь только въ непро-свѣщенной Турціи!.. Точно то же можно сказать и о двухъ большихъ повѣстяхъ, которыя впрочемъ не особыя повѣсти, а двѣ части одной и той же повѣсти—«Саламандра» и «Южный Берегъ Финляндіи въ началѣ XVIII столѣтія». Тутъ есть прекрасныя картины русскаго быта финновъ, прекрасная финская легенда о борьбѣ Петра Великаго съ Карломъ XII-мъ; есть картины русскаго быта при Петрѣ Великомъ и вскорѣ послѣ него; есть удачныя очерки характеровъ; сама эта полудикая Эльса, въ противоположность съ образованной Марьей Егоровной, такъ интересна... Но Саламандра, ея роль въ повѣсти, разныя магнетическія и другія чудеса, исканіе философскаго камня и обрѣтеніе его,—все это было для насъ непонятно; а чего мы не понимаемъ, тѣмъ не можемъ и восхищаться... Притомъ же мы имѣемъ глубокое и твердое убѣжденіе, что такіа пружины для возбужденія интереса въ читателейъ уже давно устарѣли и ни на кого не могутъ дѣйствовать. Теперь вниманіе толпы можетъ покорять только сознательно-разумное, только разумно-дѣйствительно, а волшебство и видѣнія людей съ разстроенными нервами принадлежать къ вѣдѣнію медицины, а не искусства. И что было плодомъ этого новаго направленія князя Одоевскаго?—«Необойденный Домъ», въ которомъ едва ли что-нибудь поймутъ какъ образованные люди, не для которыхъ писана эта странно-фантастическая повѣсть, такъ и простолюдины, для которыхъ она писана, и которые вѣроятно никогда не узнаютъ и о ея существованіи!..

Но это направленіе явилось въ сочине-

ніяхъ князя Одоевскаго не въ последнее только время. Еще въ 1833 году издалъ онъ свои «Пестрыя Сказки», въ которыхъ было нѣсколько прекрасныхъ юмористическихъ очерковъ, какъ напримѣръ: «Исторія о пѣтухѣ, кошкѣ и лагушкѣ», «Сказка о томъ, по какому случаю коллежскому совѣтнику Отношенью не удалось въ свѣтлое воскресенье поздравить своихъ начальниковъ съ праздникомъ», «Сказка о мертвомъ тѣлѣ, неизвѣстно кому принадлежащемъ». Но между этими очерками была пьеса «Игоша», въ которой все понятно, отъ перваго до послѣдняго слова, и которая повтому вполне заслуживаетъ названіе фантастической. Мы имѣемъ причины думать, что на это фантастическое направленіе нашего даровитаго писателя имѣлъ большое вліяніе Гофманъ. Но фантазмъ Гофмана составлялъ его натуру, и Гофманъ въ самыхъ нелѣпыхъ дурачествахъ своей фантазіи умѣлъ быть вѣрнымъ идеѣ. Поэтому весьма опасно подражать ему: можно занять и даже преувеличить его недостатки, не заимствовавъ его достоинствъ. Сверхъ того фантазмъ составляетъ самую слабую сторону въ сочиненіяхъ Гофмана; истинную и высокую сторону его таланта составляетъ глубокая любовь къ искусству и разумное постиженіе его законовъ, вѣдкій юморъ и всегда живая мысль.

Можетъ быть это же вліяніе Гофмана заставило князя Одоевскаго дать странную форму первой части его сочиненій, которую онъ отличилъ отъ другихъ страннымъ названіемъ «Русскихъ Ночей». Подобно знаменитымъ «Серапионовымъ Братьямъ», онъ заставилъ нѣсколько молодыхъ людей бесѣдовать по ночамъ о жизни, наукѣ, искусствѣ и тому подобныхъ предметахъ. Вслѣдствіе этого лучшія пьесы его—«Бригадиръ», «Валь», «Насмѣшка Мертвеца», «Импровизаторъ» и «Себастьянъ Бахъ», написанныя имъ гораздо прежде, нежели можетъ быть родилась у него мысль о «Русскихъ Ночахъ», явились въ какой-то неестественной и насильственной связи между собой; они читаются Фаустомъ (предсѣдателемъ «Русскихъ Ночей») изъ какой-то рукописи по поводу разговоровъ его съ друзьями о разныхъ предметахъ. Разумѣется, эти разговоры пригнаны авторомъ къ разговорамъ, а потому рассказы не совсѣмъ вяжутся съ разговорами. Но это еще не все: разговоры ослабляютъ впечатлѣніе рассказовъ. Правда, эти разговоры или бесѣды имѣютъ большую занимательность, исполнены мыслей; но почему же не сдѣлать автору изъ нихъ особой статьи? Онъ отчасти и сдѣлалъ это въ «Эпилогѣ», который имѣетъ большое достоинство, но безъ всякаго отношенія къ рассказамъ, и къ которому мы еще обратимся. Вторая часть названа «Домашними Разго-

ворами», хотя это названіе можетъ относиться только развѣ къ повѣсти «Княжна Мими», а ко всѣмъ другимъ рассказамъ и повѣстямъ, вошедшимъ въ эту часть, нисколько нейдетъ. Не понимаемъ, къ чему все это, если не къ тому, чтобъ давать противъ себя оружіе своимъ литературнымъ недоброжелателямъ, которыхъ у князя Одоевскаго, какъ у всякаго сильнаго даровитаго писателя, очень много, и которые рады будутъ обратить все свое вниманіе на эти мелочи, чтобъ не обратить никакого вниманія на существенныя стороны его сочиненій!

Въ «Эпилогѣ», какъ въ выводѣ изъ предшествовавшихъ разговоровъ, развивается мысль о нравственномъ гніеніи Запада въ настоящее время. Въ лицѣ Фауста, который играетъ главную роль во всѣхъ этихъ разговорахъ и въ «Эпилогѣ» особенно, — авторъ хотѣлъ изобразить человѣка нашего времени, впавшаго въ отчаяніе сомнѣнія, и уже не въ знаніи, а въ производствѣ чувства ищущаго разрѣшенія на свои вопросы. Слѣдовательно это — своего рода повѣсть, въ которой авторъ представляетъ извѣстный характеръ, не отвѣчая за его дѣйствія или за его мнѣнія. Другими словами: этотъ «Эпилогъ» есть вопросъ, который авторъ предлагаетъ обществу, не принимая на себя обязанности рѣшить его. Мы очень рады, что въ лицѣ этого выдуманнаго Фауста мы можемъ отвѣтить на важный вопросъ всѣмъ дѣйствительнымъ Фаустиамъ такого рода. Фаустъ князя Одоевскаго — надо отдать ему полную справедливость — говоритъ о дѣлѣ съ знаніемъ дѣла, говорить не общими мѣстами, а со всей оригинальностью самобытнаго взгляда, со всѣмъ одушевленіемъ искреннаго, горячаго убѣжденія. И между тѣмъ въ его словахъ столько же парадоксовъ, сколько истинъ, а въ общемъ выводѣ онъ совершенно сходенъ съ такъ называемыми «славянофилами». Пока онъ говоритъ объ ужасахъ царствующаго въ Европѣ пауперизма (бѣдности), о страшномъ положеніи рабочаго класса, умирающаго съ голоду въ кровожадныхъ, разбойничьихъ когтяхъ фабрикантовъ и разнаго рода подрядчиковъ и собственниковъ; о всеобщемъ скептицизмѣ и равнодушіи къ дѣлу истины и убѣжденія, — когда говоритъ онъ обо всемъ этомъ, нельзя не соглашаться съ его доказательствами, потому что они опираются и на логику, и на фактахъ. Да, ужасно въ нравственномъ отношеніи состояніе современной Европы! Скажемъ болѣе: оно уже никому не новость, особенно для самой Европы, и тамъ объ этомъ и говорятъ, и пишутъ еще съ гораздо большимъ знаніемъ дѣла и большимъ убѣжденіемъ, нежели въ состояніи дѣлать это кто-либо у насъ. Но какое же заключеніе должно

сдѣлать изъ этого взгляда на состояніе Европы? — Неужели согласиться съ Фаустомъ, что Европа того и гляди прикажетъ долго жить, а мы, славяне, напечемъ блиновъ на весь міръ, да и давай поминки творить покойниці?... Подобная мысль, еслибъ о ея существованіи узнала Европа, никого не ужаснула бы тамъ... Нельзя такъ легко дѣлать заключенія о такихъ тяжелыхъ вещахъ, какова смерть — не только народа (морить народы намъ ужъ ни-почемъ), но цѣлой, и притомъ лучшей, образованнѣйшей части свѣта. Европа больна, — это правда; но не бойтесь, чтобъ она умерла: ея болѣзнь отъ избытка здоровья, отъ избытка жизненныхъ силъ; это болѣзнь временная, это кризисъ внутренней, подземной борьбы стараго съ новымъ; — это усиліе отрѣшиться отъ общественныхъ основаній среднихъ вѣковъ и замѣнить ихъ основаніями, на разумѣ и натурѣ человѣка основанными. Европѣ не въ первый разъ быть больной: она была больна во время крестовыхъ походовъ и ждала тогда конца міра; она была больна передъ реформацией и во время реформации, — а вѣдь не умерла же къ удовольствію господъ-душеприказчиковъ ея! Идя своей дорогой развитія, мы, русскіе, имѣемъ слабость всѣявленія западной исторіи мѣрять на свой собственный аршинъ: мудрено ли послѣ этого, что Европа представляется намъ то домомъ умамишенныхъ, то безнадежной больной? мы кричимъ: «Западъ, Востокъ! Тевтонское племя! Славянское племя!» — и забываемъ, что подъ этими словами должно разумѣть человечество... Мы предвидимъ наше великое будущее, но хотимъ непременно имѣть его насчетъ смерти Европы: какой, по истинѣ, братскій взглядъ на вещи! Не лучше ли, не человѣчнѣе ли, не гуманнѣе ли рассуждать такъ: насъ ожидаетъ безконечное развитіе, великіе успѣхи въ будущемъ, но и развитіе Европы и ея успѣхи пойдутъ своимъ чередомъ? Неужели для счастья одного брата непременно нужна гибель другого? Какая не философская, не цивилизованная и не христіанская мысль!..

Говоря о хаотическомъ состояніи науки и искусства Европы, Фаустъ, въ книгѣ князя Одоевскаго, много говоритъ справедливаго и дѣльнаго; но взглядъ его вообще тѣмъ не менѣе одностороненъ, парадоксаленъ. Все, что говоритъ онъ о преобладаніи опытныхъ наблюденій и мелочнаго анализа въ естественныхъ наукахъ, — все это отчасти справедливо; тѣмъ не менѣе нельзя согласиться съ нимъ, чтобъ это происходило отъ нравственнаго гніенія, отъ погасающей жизни: скорѣе можно думать, что для естественныхъ наукъ не настало еще время общихъ философскихъ основаній именно по недостатку

фактовъ, которые могутъ быть добыты только опытными наблюденіями, и что этотъ-то современный эмпиризмъ и долженъ со временемъ приготовить философское развитіе естественныхъ наукъ. Тотъ же смыслъ имѣть и эта дробность знаній, вслѣдствіе которой одинъ, занимаясь математикой, считаетъ себя вправѣ не имѣть понятія объ исторіи, а другой, занимаясь политической экономіей, полагаетъ своей обязанностью быть невѣждой въ теоріи искусства. Но что въ этомъ должно видѣть только переходное, слѣдовательно временное состояніе, переломъ, а не коснѣніе, какъ предвѣстникъ близкой смерти. — это доказываютъ слова самого Фауста, что всѣ чувствуютъ и сознаютъ недостатокъ общихъ началъ въ наукахъ и необходимость знанія, какъ чего-то цѣлаго, какъ науки о жизни, о бытіи, о сущемъ, въ обширномъ значеніи этого слова, а не какъ науки то объ этомъ предметѣ, то о томъ. Смерть обществъ всегда предшествуется пошлымъ самодовольствомъ, всеобщей удовлетворенностью мелочами, полнымъ примиреніемъ съ тѣмъ, что есть и какъ есть. Въ умирающихъ обществахъ нѣтъ криковъ и воплей на недостаточность настоящаго, нѣтъ новыхъ идей, новыхъ ученій, нѣтъ страдальцевъ за истину, нѣтъ борьбы, — все тихо подъ зеленой плѣсенью гнущаго божата. То ли мы видимъ въ Европѣ? Фаустъ видитъ тамъ совершенную гибель искусства, говоритъ о Россіи, о Белини — и не говоритъ о Мейерберѣ. И давно ли были тамъ Моцартъ и Бетховенъ? И неужели Европа каждый годъ обязана представлять по новому генію во всѣхъ городахъ, — иначе она умерла? Четыре такіе мыслителя, какъ Кантъ, Фихте, Шеллингъ и Гегель, непосредственно явившіеся одинъ за другимъ: неужели этого мало? И если теперь даже философія Гегеля относится въ Германіи къ ученіямъ, уже совершившимъ свой кругъ, — теперь, когда самъ великій Шеллингъ, имѣвшій несчастье пережить свой разумъ, не успѣлъ никого обморочить своими таинственными тетрадами, которыми столько лѣтъ общалъ развѣшивать альфу и омегу мудрости: неужели все это не показываетъ, какой великій шагъ сдѣлало въ Германіи мышленіе?.. Но Фаустъ принадлежитъ по своей натурѣ къ тѣмъ замѣчательно эластическимъ, широкимъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ робкимъ умамъ, которые вѣчно обманываются оттого, что слишкомъ боятся обмануться. Для такихъ умовъ быстрое паденіе доктринъ и системъ есть доказательство ихъ ничтожности. Они вѣрятъ только въ истину абстрактную, которая бы вдругъ родилась совсѣмъ готовая, какъ Паллада изъ головы Зевса, и всѣ бы тотчасъ единодушно признали ее и поклонились ей. По недостатку историческаго

такта, эти умы не могутъ понять, что истина развивается исторически, что она сѣется, поливается потомъ и потомъ жнется, молотится и вѣется, и что много шелухи должно отвѣять, чтобъ добраться до зеренъ. Кантъ и Фихте должны были увидѣть въ Шеллингѣ свой конецъ, но не потому, чтобы онъ доказалъ бесплодность ихъ труда, а потому, что все сдѣланное ими послужило основаніемъ для его труда, или вошло въ его трудъ какъ плодотворный элементъ. Такъ и все идетъ въ исторіи подобнымъ же образомъ: одно событіе рождаетъ другое, одинъ великій человѣкъ служитъ ступенью для другого; люди тутъ могутъ терять, и какому-нибудь Шеллингу конечно не легко сознаться, что не только его, нѣкогда великаго вождя времени, но даже и того, кто первый заслонилъ себя собой и кто давно уже спитъ сномъ вѣчности, даже и того далеко обогнали имъ же вызванныя на трудъ и дѣло новыя поколѣнія!.. Удивительно ли, что Фаустъ не видитъ прогресса въ наукахъ, утверждая, что древніе знали больше нашего въ тайнахъ природы, что алхимики среднихъ вѣковъ владѣли чуть ли не тайной философскаго камня, который могъ и золото дѣлать, и людямъ безсмертіе физическое давать? Удивительно ли, что Фаустъ въ исторіи видитъ только хаосъ фактовъ, которые, будто бы, теперь всякій толкуетъ по своему? — Для кого настоящее не есть выше прошедшаго, а будущее выше настоящаго, тому во всемъ будетъ казаться застой, гнѣніе и смерть. Умы вроде Фауста — истинные мученики науки: чѣмъ больше они знаютъ, тѣмъ меньше они владѣютъ знаніемъ. Знаніе дѣлаетъ ихъ маятниками, и они лучше весь вѣкъ будутъ качаться, нежели на чемъ нибудь остановиться, боясь остановиться на неистинѣ. Это люди, жаждущіе истины, съ благородной ревностью стремящіеся къ ней, и въ то же время скептики по неволѣ. Но ужъ проходитъ время скептицизма, и теперь всякое простое, честное убѣжденіе, даже ограниченное и одностороннее, цѣнится больше, чѣмъ самое многостороннее сомнѣніе, которое не смѣетъ стать ни убѣжденіемъ, ни отрицаніемъ и по неволѣ становится безцвѣтной и болѣзненной мнительностью.

Но Фаустъ не останавливается на сомнѣніи и идетъ къ убѣжденію. Посмотримъ на его убѣжденіе. Онъ ищетъ шестой части свѣта и народа, хранящаго въ себѣ тайну спасенія міра... находитъ его — и тутъ же спрашиваетъ себя: «не мечта ли это самолюбія?» — Неужели это убѣжденіе!..

Фаустъ между прочимъ доказываетъ, что мы угадали исторію прежде исторіи, посредствомъ поэтическаго магизма, безъ предварительной разработки матеріаловъ, — и указы-

ваетъ на исторію Карамзина!.. Неужели же Фаусту неизвѣстно, что теперь всѣ бросили мысль писать исторію и принялись за разработку историческихъ матеріаловъ, ибо убѣдились, что исторія прежде исторіи можетъ быть только попыткой, пожалуй, и прекрасной, но изъ которой выходитъ не исторія, а историческая поэма?.. Великое дѣло видить Фаустъ въ томъ, что наша поэзія началась сатирой—судомъ народа надъ самимъ собой... А ларчикъ просто открывался! Такъ какъ наша поэзія была заимствование, нововведение, то наши поэты и пустились подражать, кто кому вздумалъ, и какой-нибудь Сумароковъ былъ и трагикъ, и комикъ, и лирикъ, и баснописецъ, писалъ и оды на иллюминаціи и сатиры на подъячихъ. Пушкинъ (говорить Фаустъ) разгадалъ характеръ русскаго лѣтописца въ «Борисѣ Годуновѣ»; разгадалъ ли, полно! Не заставилъ ли онъ его по Гердеру, но только русскимъ складомъ, дѣлать апофеозу исторіи, т. е. говорить вещи, которыя не могли придти въ голову ни одному лѣтописцу, ни европейскому, ни русскому? Покажите намъ хоть одну лѣтопись, которая бы оправдывала возможность такого взгляда на значеніе историка со стороны простодушнаго лѣтописца XIV вѣка?—Но Хомяковъ, по мнѣнію Фауста, глубоко проникнулъ въ характеръ еще труднѣйшій, въ характеръ русской женщины-матери (въ «Димитріи Самозванцѣ»), а Лажечниковъ воспроизвелъ характеръ и еще труднѣйшій—древней русской дѣвушки (въ «Басурманѣ»).... Что сказать на это? Мы ничего не скажемъ...

И между тѣмъ, повторяемъ, въ «Эпилогѣ» столько ума; многіе даже изъ парадоксовъ его такъ остроумны и оригинальны, написанъ онъ такъ живо и увлекательно, что отъ него нельзя оторваться, не дочитавъ его до конца.

Отъ «Эпилога» перейдемъ къ «Сказкѣ о томъ, какъ опасно дѣвушкамъ ходить толпой по Невскому проспекту» и «Той же сказкѣ, только наизворотъ». Она была напечатана еще въ 1833 году, въ «Пестрыхъ Сказкахъ», и ея содержаніе извѣстно многимъ. Героиня ея—«славянская дѣва», которая, какъ всѣ славянскія дѣвы, была бы чудомъ красоты, ума и чувства, еслибъ заморскій басурманъ, при помощи безмозгой французской головы, чуткаго нѣмецкаго носа съ ослиными ушами и туго-набитаго англійскаго живота, не вырѣзалъ изъ нея души и сердца и не превратилъ ее въ куклу. Эта сказочка навела насъ на мысль объ удивительной смѣливости русскаго человѣка всегда выйти правымъ изъ бѣды и сложить вину если не на сосѣда, то на чорта, а если не на чорта, то на какого-нибудь мусье... Дѣвушка шла

по Невскому проспекту съ десятию своими подругами, въ сопровожденіи трехъ маманекъ, которыя умѣли считать только до десяти, какъ ворона умѣетъ считать только до четырехъ. Нѣтъ спора, что подобныя дамы были въ состояніи дать превосходное воспитаніе своимъ дочерямъ, еслибъ не подвернулся проклятый басурманъ... Г. Кивакель тоже, должно быть, воспитанъ былъ басурманами, а оттого и получилъ способность жить только трубкой и лошадьми...

И между тѣмъ, какое изложеніе, сколько таланта потрачено на эту сказку!..

Но мы рекомендуемъ читателямъ вмѣсто этой сказки прочесть домашнюю драму—«Хоршее жалованье, приличная квартира, столъ, освѣщеніе и отопленіе», чтобъ насладиться произведеніемъ столь же прекраснымъ по мысли, сколько и по выполненію. Это одно изъ лучшихъ произведеній князя Одоевскаго.

Особенно замѣчательна также послѣдняя статья въ третьей части: «О враждѣ къ просвѣщенію, замѣчаемой въ новѣйшей литературѣ». Она была написана еще въ 1836 году и напечатана въ «Современникѣ» Пушкина. Въ ней авторъ наладаетъ на вредную расчетливость нѣкоторыхъ литераторовъ, которые льстятъ невѣжеству толпы, браня просвѣщеніе... Увы! съ 1836 г. много воды утекло, и мы жалѣемъ, что князь Одоевскій не передѣлалъ своей прекрасной статьи, чтобъ воспользоваться огромнымъ множествомъ новыхъ фактовъ о гоненіи, воздвигнутомъ противъ просвѣщенія и литературы тѣми же самыми людьми, которые называются то учеными, то литераторами. Остроумному и энергичному перу князя Одоевскаго много дали бы матеріаловъ одни такъ называемые «славянолюбъ» и «квасные патріоты», которые во всякой живой, современной человѣческой мысли видятъ вторженіе лукаваго гнѣющаго Запада.

Статья «О враждѣ къ просвѣщенію» важна еще и какъ объясненіе нѣкоторыхъ критикъ на сочиненіе князя Одоевскаго. Въ самомъ дѣлѣ, какъ иному критику можно находить что-нибудь хорошее въ сочиненіяхъ этого автора, если онъ имѣлъ неудовольствіе вычитать въ нихъ строки о томъ, какъ пишутся у насъ историческіе романы и трагедіи,—о томъ, какъ смѣются у насъ надъ умомъ человѣческимъ, называя его надувальной и тому подобнымъ!

Не хотите ли знать, какъ пишутся у насъ историческіе романы и трагедіи?

«Тогда догадались и наши такъ и зываемые сочинители: попробовали—трудно; нѣкъ нецѣ вѣлись за умъ, раскрыли «Исторію» Карамзина, вырѣвали изъ нея нѣсколько страницъ, склеили вмѣстѣ, и къ неописанной радости сдѣлали три открытія: 1) что такое произведеніе читателей съ

небольшимъ усиленіемъ могутъ принять за романъ или за трагедію, 2) что съ русскаго переводить гораздо удобнѣе, нежели съ иностраннаго, и 3) что, слѣдственно, сочинять совсѣмъ не такъ трудно, какъ прежде полагали. Въ самомъ дѣлѣ, смотришь—русскія имена, а та же французская мелодрама. И многіе, многіе пустились въ драмы и особенно въ романы; а критика—этотъ поворотъ русской литературы, оставила для сихъ произведеній особныя правила; за недостаткомъ историческихъ свѣдѣтельствъ, рѣшила, что настоящие русскіе нравы сохранялись между нынѣшними извозчиками, и вслѣдствіе того осудила какого-либо потомка Ярославичей читать изображеніе характера своего знаменитаго предка, въ точности списанное съ его кучера; вслѣдствіе тѣхъ же правилъ, кто употреблялъ русскія имена, того критика называла національнымъ трагикомъ, кто безсовѣстнѣе выискивалъ изъ Карамзина, того называла національнымъ романистомъ, и гг. А. Б. Вхвастались передъ читателями, а читатели радовались, что въ романѣ нѣтъ ни одного слова, которое бы не было взято изъ исторіи; многіе находили это средство очень полезнымъ для распространенія историческихъ познаній.

Не хотите ли знать, какъ у насъ обращаются съ наукой?

«Отличительнымъ характеромъ нашихъ сатириковъ сдѣлалось попадать рѣдко и мѣтить всегда мимо. Два, три человѣка занимаются у насъ агрономіей; благочысливціе люди дѣлаютъ немовѣрные усилія, чтобы распространить прямое знаніе о сей наукѣ, которое одно можетъ отвратить грозящее нашимъ нивамъ безплодіе; два, три человѣка собираются толковать о философскихъ системахъ, по слуху извѣстныхъ нашимъ литераторамъ; такъ называемые ученые (т. е. между литераторами) съ грѣхомъ пополамъ печатаются вокругъ словарей и энциклопедій; а наши правописатели толкуютъ о вредѣ, происходящемъ отъ излишней учености, о вредѣ машинъ, пишутъ романы и повѣсти, комедіи, въ которыхъ выводятся на сцену какіе-то господа Верхоглядовы, не только не существующіе, но невозможные въ Россіи; выводятся философы, агрономы, нововводители, какъ будто бы существованіе этихъ лицъ было характерной чертой въ нашемъ обществѣ! Названія наукъ, неизвѣстныхъ нашимъ сатирикамъ, служатъ для нихъ обильнымъ источникомъ для шутокъ, словно для школьниковъ, досаждающихъ на ученость своего строгаго учителя; лучшіе умы нашего и прошедшаго времени: Шампольонъ, Шеллингъ, Гегель, Гаммеръ, особенно Гаммеръ, снискавшіе признательность всего просвѣщеннаго міра, обращены въ предметы лакейскихъ насмѣшекъ; «лакейскихъ» говоримъ, ибо цинизмъ ихъ таковъ, что можетъ быть порожденъ лишь грубымъ, неблагодарнымъ невѣжествомъ. Отъ этого созданія въ которыхъ изъ нашихъ романистовъ доходятъ до совершенной нечѣстности».

Но вотъ черта, еще болѣе характеристическая, и которую особенно слѣдуетъ принять къ свѣдѣнію:

«Любопытнѣе всего знать: что дѣлали читатели?... А читатели-мѣ что за дѣло? Были бы книги. Случалось ли вамъ спрашивать у дѣвушки, недавно вышедшей изъ пансіона: какую вы читаете книжку? «Французскую», отвѣчаетъ она; въ этомъ отвѣтѣ разгадка неимовернаго успѣха многихъ книгъ скупныхъ, нечѣстныхъ, на-

питанныхъ площаднымъ духомъ. Да, читатели хотѣли читать, и потому читаютъ все: «случная приправа къ обѣду,—говорили спартанцы — годись». А нечего сказать, бѣдныхъ читателей подучаютъ довольно горькимъ зельемъ; во впрочемъ романисты и комики умѣютъ подсластить его, и это злое зелье многимъ приходится по вкусу. Вотъ какимъ образомъ это происходитъ. Вообразите себѣ деревенскаго помѣщика, живущаго въ стѣнной глуши; онъ живетъ весело: по утру онъ ѣдитъ съ собаками, вечеромъ раскладываетъ грань-пашансъ и въ промежуткахъ проматываетъ свой доходъ въ карты; зато у него въ деревнѣ нѣтъ никакихъ новостей, ни англійскихъ плуговъ, ни экстирпаторовъ, ни школъ, ни картофеля; онъ всего этого терпѣть не можетъ. Помѣщикъ не въ духѣ, да и не мудрено: земля у него что-то испортилась; онъ твердо держится тѣхъ же правилъ въ земледѣліи, которыхъ держались и дѣдъ, и отецъ его,—и земля и въ половину того не приноситъ, что прежде... чудное дѣло! Да еще къ болѣе досадѣ, у сосѣда, у котораго земля тридцать лѣтъ тому назадъ была гораздо хуже, земля исправилась и приноситъ втрое болѣе дохода; а ужъ надъ этимъ ли сосѣдомъ не смѣялся нашъ добрый помѣщикъ, и надъ его плугами, и надъ его экстирпаторами, и надъ молотильней, и надъ вѣялкой! Вотъ къ помѣщику прѣзжаетъ его племянникъ изъ университета, видитъ горькое хозяйство своего дядюшки и совѣтуетъ... какъ бы вы думали?... совѣтуетъ подражать сосѣду, толкуетъ дядюшкѣ объ агрономіи, о лѣсоводствѣ, о чугунныхъ дорогахъ, о пособіяхъ, которыя правительство щедрой рукой предлагаетъ всякому промышленному и ученому человѣку. Дядюшкѣ это не по сердцу; съ гора онъ открываетъ книгу, которую рекомендовалъ ему пріятель изъ земскаго суда, съ которымъ онъ въ близкихъ связяхъ по разнымъ процессамъ. Дядюшка читаетъ—и что же? о восторгѣ! о восхищеніи! Сочинитель, который напечаталъ книгу, и потому слѣдственно долженъ быть человѣкъ умный, ученый и благомыслящій, говоритъ читателю или по крайней мѣрѣ читатель такъ понимаетъ его: «Повѣрьте мнѣ, всѣ ученые — дураки, всѣ науки — сущій вадоръ, знаменитый Гаммеръ—невѣжда, Шампольонъ — враль, Гомфріи Девинъ—вольнодумецъ; вы, милостивый государь, настоящій мудрецъ, живите по прежнему, раскладывайте грань-пашансъ, не думайте обо всѣхъ этихъ плугахъ, машинахъ, отъ которыхъ только разоряются работники и отъ которыхъ происходитъ только зло; на что вамъ агрономія? она хороша тамъ, гдѣ мало земли; на что вамъ минералогія, зоологія? вы знаете лучшую науку—правдологію...» И помѣщикъ смѣется; онъ понимаетъ остроту, онъ очень доволенъ; дочитываетъ прекрасную книгу до конца. Когда заговоритъ племянникъ объ агрономіи, онъ обличаетъ его заблужденія печатными строками, рекомендуетъ утѣшительное произведеніе своимъ собратіямъ, и у удивленнаго издателя являются неожиданные читатели, а между тѣмъ въ понятіяхъ добрыхъ помѣщиковъ все смѣшивается, вольнодумство съ благими дѣйствіями просвѣщенія, молотильня съ затѣями безвоковныхъ головъ, во всякомъ улучшеніи они видятъ лишь вредное нововведеніе, въ удовлетвореніи своему эгоизму и лѣни—истинную истину, настоящій духъ они находятъ лишь въ мнѣніи своихъ крестьянъ о томъ, что не должно сѣять картофеля, и что надлежитъ непременно оставлять третье поле подъ паромъ».

Нельзя не согласиться, что такого рода правда колетъ глаза, и что не у всякаго

критика станет духа хвалить автора, столь откровеннаго насчетъ нѣкоторыхъ слабостей нѣкоторыхъ изъ его ближнихъ. Не причисляя себя къ числу этихъ нѣкоторыхъ, мы не имѣли никакой причины скрывать нашего истиннаго мнѣнія о достоинствѣ сочиненій князя Одоевскаго. Такихъ писателей у насъ немного. Въ самыхъ парадоксахъ князя Одоевскаго больше ума и оригинальности, чѣмъ въ истинахъ у многихъ изъ нашихъ критическихъ акробатовъ, которые, критикуя его сочиненія, обрадовались случаю притвориться, будто они не знаютъ, о комъ пишутъ, и видятъ въ немъ одного изъ сочинителей ихъ собственнаго разряда. Нѣкоторые изъ произведеній князя Одоевскаго можно находить мѣнѣ другихъ удачными, но ни въ одномъ изъ нихъ нельзя не признать замѣчательнаго таланта, самобытнаго

взгляда на вещи, оригинальнаго слога. Что же касается до его лучшихъ произведеній,—они обнаруживаютъ въ немъ не только писателя съ большимъ талантомъ, но и человека съ глубокимъ, страстнымъ стремленіемъ къ истинѣ, съ горячимъ и задумчивымъ убѣжденіемъ,—человѣка, котораго волнуютъ вопросы времени и котораго вся жизнь принадлежитъ мысли. Неуваженіе къ таланту есть признакъ невѣжества; а неуваженіе къ живой и страстной мысли человека показываетъ, что въ отношеніи къ мысли неуважающій «свободенъ отъ постоа». Можно не все находить хорошимъ въ талантѣ, но нельзя не признать таланта; можно не во всемъ соглашаться съ мыслящимъ человекомъ, но нельзя безъ уваженія къ нему даже не соглашаться съ нимъ.

Сочиненія Александра Пушкина.

Санктпетербургъ. Одиннадцать томовъ 1838—1841 г. *).

I.

Обозрѣніе русской литературы отъ Державина до Пушкина.

Давно уже обѣщали мы полный разборъ сочиненій Пушкина: предлагаемая статья есть начало выполненія нашего обѣщанія, замедлившагося по причинамъ, изложеніе которыхъ не будетъ здѣсь излишнимъ. Всѣмъ извѣстно, что восемь томовъ сочиненій Пушкина изданы послѣ смерти его весьма небрежно во всѣхъ отношеніяхъ—и типографскомъ (плохая бумага, некрасивый прифѣтъ, опечатки, а кое-гдѣ искаженный смыслъ стиховъ), и редакціонномъ (пѣссы расположены не въ хронологическомъ порядкѣ по времени ихъ появленія изъ-подъ пера автора, а по родамъ, изобрѣтеннымъ Богъ знаетъ чьимъ досужествомъ). Но что всего хуже въ этомъ изданіи — это его неполнота: пропущены пѣссы, помѣщенные самимъ авторомъ въ четырехъ-томномъ собраніи его сочиненій, не говоря уже о пѣсахъ, напечатанныхъ въ «Современникѣ» и при жизни, и послѣ смерти Пушкина. Послѣдніе три тома сдѣланы компаніей издателей-книгопродавцевъ, которые что могли сдѣлать, какъ издатели, которые что могли сдѣлать, т. е. издали эти три тома

красиво и опрятно, но такъ же неполно, какъ были изданы (не ими впрочемъ) первые восемь томовъ. Справедливый ропотъ публики, которая, заплатя за одиннадцать томовъ сочиненій Пушкина шестьдесятъ пять рублей асс. (сумму, довольно значительную и для книги, хорошо и полно изданной), все-таки не имѣла въ рукахъ полнаго собранія сочиненій Пушкина,—этотъ ропотъ, соединенный съ столь же дурнымъ расходомъ трехъ послѣднихъ, какъ и восьми первыхъ томовъ, и справедливое негодованіе нѣкоторыхъ журналистовъ на такое оскорбленіе тѣни великаго поэта: все это побудило издателей трехъ остальныхъ томовъ сочиненій Пушкина обѣщать отдѣльное дополненіе къ нимъ, въ которомъ публика могла бы найти рѣшительно все, что написано Пушкинымъ и что не вошло въ одиннадцать томовъ полнаго собранія его сочиненій. А пропущено такъ много, что изъ дополненія вышель бы цѣлый томъ, — и тогда полное собраніе сочиненій Пушкина состояло бы пока изъ двѣнадцати томовъ. Говоримъ—пока, ибо въ рукописи остаются еще матеріалы къ исторіи Петра Великаго, предпринятой Пушкинымъ. Говорятъ, что этихъ матеріаловъ стало бы на добрый томъ, и только одному Бо-

*) Четыре первыя статьи этого разбора были напечатаны въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1843 года; статьи 5, 6, 7 и 8 — 1844 года, статьи 9 и 10 — въ 1845, а статья 11 — въ 1846 году.

гу извѣстно, когда русская публика дождет-ся этого тома... Итакъ, пока хорошо было бы дожидаться хоть дополненія-то, обѣщаннаго издателями трехъ послѣднихъ томовъ. О немъ много толковали, и мы даже видѣли опыты притотворенія къ этому дѣлу, которое интересовало насъ еще и какъ удобный предлогъ къ началу обѣщанной нами статьи о Пушкинѣ. Но время шло, а вожделѣнное дополненіе не являлось, и мы, право, не знаемъ, явится ли оно когда-нибудь; если же явится, то не потребуетъ ли еще другого дополненія?.. Это рѣшило насъ, не дожидаясь исполненія чужихъ обѣщаній, приняться наконецъ за исполненіе своихъ собственныхъ.

Но кромѣ того была и еще другая, болѣе важная, такъ сказать болѣе внутренняя, причина нашей медленности. Година безвременной смерти Пушкина съ теченіемъ дней отодвигается отъ настоящаго все далѣе и далѣе, нечувствительно привыкають смотрѣть на поэтическое поприще Пушкина не какъ на прерванное, но какъ на оконченное вполнѣ. Много творческихъ тайнъ унесъ съ собой въ раннюю могилу этотъ могучій поэтический духъ;—но не тайну своего нравственнаго развитія, которое достигло своей апогеи, и потому общало только рядъ великихъ въ художественномъ отношеніи созданій, но уже не общало новой литературной эпохи, которая всегда ознаменовывается не только новыми твореніями, но и новымъ духомъ. Исключительные поклонники Пушкина, съ нимъ вмѣстѣ вышедшіе на поприще жизни и подъ его вліяніемъ образовавшіеся эстетически, уже рѣзко отдѣляются отъ новаго поколѣнія своей закоснѣлостью и своей тупостью въ дѣлѣ разумнаго смѣнлившихъ Пушкина корифеевъ русской литературы. Съ другой стороны новое поколѣніе, развившееся на почвѣ новой общественности, образовавшееся подъ вліяніемъ впечатлѣній отъ поэзіи Гоголя и Лермонтова, высоко цѣня Пушкина, въ то же время судить о немъ безпристрастно и спокойно. Это значить, что общество движется, идетъ впередъ черезъ свой вѣчный процессъ обновленія поколѣній, и что для Пушкина настаетъ уже потомство. На Руси все растетъ не по годамъ, а по часамъ, и пять лѣтъ для нея—почти вѣкъ. Но новое мнѣніе о такомъ великомъ явленіи, какъ Пушкинъ, не могло образоваться вдругъ и явиться совсѣмъ готовое; но, какъ все живое, оно должно было развиться изъ самой жизни общества: каждый новый день, каждый новый фактъ въ жизни и въ литературѣ должны были измѣнять и образъ воззрѣнія на Пушкина.

По мѣрѣ того, какъ рождались въ обществѣ новыя потребности, какъ измѣнялся его

характеръ и овладѣвали умомъ его новыя думы, а сердце волновали новыя печали и новыя надежды, порожденныя совокупностью всѣхъ фактовъ его движущейся жизни,—всѣ стали чувствовать, что Пушкинъ, не утрачивая въ настоящемъ и будущемъ своего значенія какъ поэтъ великій, тѣмъ не менѣе былъ и поэтомъ своего времени, своей эпохи, и что это время уже прошло, эта эпоха смѣнилась другой, у которой уже другія стремленія, думы и потребности. Вслѣдствіе этого Пушкинъ является передъ глазами наступающаго для него потомства уже въ двойственномъ видѣ: это уже не поэтъ, безусловно великій и для настоящаго, и для будущаго, какимъ онъ былъ для прошедшаго, но поэтъ, въ которомъ есть достоинства безусловныя и достоинства временныя, который имѣетъ значеніе артистическое и значеніе историческое, словомъ,—поэтъ, только одной стороной принадлежащій настоящему и будущему, которая болѣе или менѣе удовлетворяется и будутъ удовлетворяться имъ, а другой, большей и значительнѣйшей стороной вполнѣ удовлетворившій своему настоящему, которое онъ вполнѣ выразилъ и которое для насъ—уже прошедшее. Правда, Пушкинъ принадлежалъ къ числу тѣхъ творческихъ гениевъ, тѣхъ великихъ историческихъ натуръ, которыя, работая для настоящаго, пріуготовляютъ будущее, и по тому самому уже не могутъ принадлежать только одному прошедшему; но въ томъ-то и состоитъ задача здравой критики, что она должна опредѣлить значеніе поэта и для его настоящаго, и для будущаго, его историческое и его безусловное художественное значеніе. Задача эта не можетъ быть рѣшена однажды навсегда на основаніи чистаго разума: нѣтъ, рѣшеніе ея должно быть результатомъ историческаго движенія общества. Чѣмъ выше явленіе, тѣмъ оно жизненнѣе, а чѣмъ жизненнѣе явленіе, тѣмъ болѣе зависить его сознаніе отъ движенія и развитія самой жизни. Лучшее, что можно сказать въ похвалу Пушкину и въ доказательство его величія,—то, что, при самомъ появленіи его на поэтическую арену, онъ встрѣченъ былъ и безусловными похвалами необдуманнаго энтузіазма, и ожесточенной бранью людей, которые въ рожденіи его поэтической славы увидѣли смерть старыхъ литературныхъ понятій, а вмѣстѣ съ ними и свою нравственную смерть,—что запальчивые крики похвалъ и порицаній не умолкали ни на минуту ни въ продолженіе всей его жизни, ни послѣ самой его жизни, и что каждое новое произведеніе его было яблокомъ раздора и для публики, и для привилегированныхъ судей литературныхъ. Теперь утихаютъ эти крики: знакъ, что для Пушкина настало по-

томство, ибо запальчивость при мнѣніи существуетъ только для предметовъ столь близкихъ глазамъ современниковъ, что они не въ состояніи видѣть ихъ ясно и вполне по причинѣ самой этой близости. Судъ современниковъ бываетъ пристрастенъ; однако-жь въ его пристрастіи всегда бываетъ своя законная и основательная причинность, объясненіе которой есть тоже задача истинной критики.

Ни одно произведеніе Пушкина—ни даже самъ «Онѣгинъ»—не произвело столько шума и криковъ, какъ «Русланъ и Людмила»; одни видѣли въ немъ величайшее созданіе творческаго гения, другіе—нарушеніе всѣхъ правилъ поэтики, оскорбленіе здраваго эстетическаго вкуса. То и другое мнѣніе теперь могло бы показаться равно нехлѣбнымъ, если не подвергнуть ихъ историческому разсмотрѣнію, которое покажетъ, что въ нихъ обоихъ былъ смыслъ и оба они до извѣстной степени были справедливы и основательны. Для насъ теперь «Русланъ и Людмила»—не больше какъ сказка, лишенная колорита мѣстности, времени, народности, а потому и неправдоподобная; не смотря на прекрасные стихи, которыми она написана, и проблески поэзіи, которыми она поражаетъ мѣстами, она холодна, по признанію самого поэта и въ наше время не у всякаго даже юноши станеть охоты и терпѣнія прочесть ее всю, отъ начала до конца. Противъ этого едва-ли кто станеть теперь спорить. Но въ то время, когда явилась эта поэма въ свѣтъ, она дѣйствительно должна была показаться необыкновенно великимъ созданіемъ искусства. Вспомните, что до нея пользовались еще безотчетнымъ уваженіемъ и «Душенька» Богдановича, и «Двѣнадцать Спящихъ Дѣвъ» Жуковскаго: какимъ же удивленіемъ должна была поразить читателей того времени сказочная поэма Пушкина, въ которой все было такъ ново, такъ оригинально, такъ обольстительно—и стихъ, которому подобнаго дотошъ ничего не бывало, стихъ легкій, и складъ рѣчи, и смѣлость кисти, и яркость красокъ, и граціозныя шалости юной фантазіи, и игривое остроуміе, самая вольность не цѣломудренныхъ, но тѣмъ не менѣе поэтическихъ картинъ!... По всему этому «Русланъ и Людмила»—такая поэма, явленіе которой сдѣлало эпоху въ исторіи русской литературы. Еслибы какой-нибудь даровитый поэтъ написалъ въ наше время такую же сказку и такими же прекрасными стихами, въ авторѣ этой сказки никто не увидѣлъ бы великаго таланта въ будущемъ, и сказки никто бы читать не сталъ; но «Русланъ и Людмила», какъ сказка, во-время написанная, и теперь можетъ служить доказательствомъ того, что не ошиблись пред-

шественники наши, увидѣвъ въ ней живое пророчество появленія великаго поэта на Руси. У всякаго времени свои требованія, и теперь даже обыкновенному таланту, не только гению, нельзя дебютировать чѣмъ-нибудь вроде «Руслана и Людмилы» Пушкина, «Оберона» Виланда, или—пожалуй, и «Orlando Furioso» Аріоста; но всѣ эти поэмы, шуточныя, волшебныя, рыцарскія и сказочныя, явились въ свое время и подъ этимъ условіемъ прекрасны и достойны вниманія и даже удивленія. Итакъ, юноши двадцатыхъ годовъ (изъ которыхъ многими теперь уже далеко за сорокъ) были правы въ энтузіазмѣ, съ которымъ они встрѣтили «Руслана и Людмилу».

Съ другой стороны, имѣла причину и враждебность, съ которой литературные старовѣры встрѣтили поэму Пушкина: въ ней не было ничего такого, что привыкли они почитать поэзіей; эта поэма была въ ихъ глазахъ буйнымъ отрицаніемъ ихъ литературнаго корана. Такъ называемая война классицизма (мертвой подражательности утвержденнымъ формамъ) съ романтизмомъ (стремленіемъ къ свободѣ и оригинальности формъ) была у насъ отголоскомъ такой же войны въ Европѣ, и первая поэма Пушкина послужила поводомъ къ началу этой войны, пережитой Пушкинымъ. Слѣдовавшія затѣмъ поэмы и лирическія стихотворенія Пушкина были для него рядомъ поэтическихъ триумфовъ. Энтузіасты провозгласили его свѣрнымъ Байрономъ, представителемъ современнаго человѣчества. Причиной этого неудачнаго сравненія было не одно то, что Байрона мало знали и еще меньше понимали, но и то, что Пушкинъ былъ на Руси полнымъ выразителемъ своей эпохи. Однакожь какъ скоро начало устанавливаться въ немъ броженіе кипучей молодости, а субъективное стремленіе начало исчезать въ чисто-художественномъ направленіи, — къ нему стали охлаждать, толпа ожесточенныхъ противниковъ стала возрастать въ числѣ, даже самые поклонники или начали примыкать къ толпѣ порицателей, или переходить къ нейтральной сторонѣ. Наиболѣе зрѣлыя, глубокія и прекраснѣйшія созданія Пушкина были приняты публикой холодно, а критиками оскорбительно. Нѣкоторые изъ этихъ критиковъ очень удачно воспользовались общимъ расположеніемъ въ отношеніи къ Пушкину, чтобъ отомстить ему или за его къ нимъ презрѣніе, или за его славу, которая имъ почему-то не давала покоя, или наконецъ за тяжелые уроки, которые онъ проповѣдывалъ имъ иногда въ легкихъ стихахъ летучихъ эпиграммъ.

Съ другой стороны, люди, искренно и страстно любившіе искусство, въ холодности

публики къ лучшимъ созданіямъ Пушкина видѣли только одно невѣжество толпы, увлекающейся юношескими и незрѣлыми произведеніями, но неумѣющей цѣнить обдуманнѣхъ твореній строгаго искусства. Смотри на искусство съ точки зрѣнія исключительной и односторонней, его жаркіе поборники не хотѣли понять, что если симпатіи и антипатіи большинства бываютъ часто безосновательны, зато рѣдко бываютъ безсмысленны и безосновательны, а, напротивъ, часто заключаютъ въ себѣ глубокій смыслъ. Странно же въ самомъ дѣлѣ было думать, чтобы то самое общество, которое такъ дружно, такъ радостно, словно потрясенное электрическимъ ударомъ, въ первый еще разъ въ жизни своей откликнулось на голосъ пѣвца и нарекло его своимъ любимымъ, своимъ народнымъ поэтомъ,—странно было думать, чтобы то же самое общество вдругъ охолодѣло къ своему поэту за то только, что онъ совершилъ и возмужалъ въ своемъ гениі, сдѣлался выше и глубже въ своей творческой дѣятельности! А между тѣмъ это охлажденіе—фактъ, достовѣрность котораго можно доказать свидѣтельствомъ самого поэта въ его запискахъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ «Отечнина», въ стихотвореніи «Поэтъ» слышится горькая жалоба оскорбленной народной славы. Изъ этого нельзя было не заключать, что если публика была не со всѣмъ права въ своей холодности къ поэту, то и поэтъ все же не былъ жертвой ея прихоти и, по винѣ или безъ вины съ своей стороны, но не случайно же, а по какой-нибудь причинѣ, испыталъ на себѣ ея охлажденіе. Но отвѣта на эту загадку еще не было; отвѣтъ скрывался во времени, и только время могло дать его. Безвременная смерть Пушкина еще больше запутала вопросъ: какъ и должно было ожидать, она снова и съ большей силой обратила къ падшему поэту сочувствіе и любовь общества. Восторженные поклонники искусства тѣмъ болѣе были поражены смертью поэта и тѣмъ болѣе скорбѣли о ней, что вскорѣ затѣмъ появившіяся въ «Современникѣ» посмертныя сочиненія Пушкина изумили ихъ своимъ художественнымъ совершенствомъ, своей творческой глубиной. Образъ Пушкина, украшенный страдальческой кончиной, предсталъ предъ ними во всемъ блескѣ поэтической апофеозы: это былъ для нихъ не только великій русскій поэтъ своего времени, но и великій поэтъ всѣхъ народовъ и всѣхъ вѣковъ, гениі европейскій, слава всемірная... Но не успѣло еще войти въ свои берега возмущенное утратой поэта чувство общества, какъ подняла свое жужжаніе и шипѣніе на страдальческую тѣнь великаго гонимая посредственность, мучимая болью

отъ глубокихъ царапинъ, еще незажившихъ слѣдовъ львиныхъ когтей... Она начала и прямо, и косвенно толковать о поэтическихъ заслугахъ Пушкина, стараясь унижить ихъ; не впадѣ и кстати начала сравнивать Пушкина и съ Мининымъ, и съ Пожарскимъ, и съ Суворовымъ, вмѣсто того чтобы сравнивать его съ поэтами своей родины... Подобныя нелѣпости не заслуживали бы ничего, кромѣ презрѣнія, какъ выраженіе безсильной злобы; но веселое скаканіе водовозныхъ существъ на могилѣ павшаго въ бою льва возмущаетъ душу, какъ зрѣлище неприличное и отвратительное, а наглое безстыдство низости имѣетъ свойство выводить изъ терпѣнія достоинство, сильное одной истиной... Мудрено ли, что и такое ничтожное само по себѣ обстоятельство, раздражая людей, способныхъ понять и оцѣнить Пушкина какъ должно, только болѣе и болѣе увлекало ихъ въ благородномъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и безотчетномъ удивленіи къ великому поэту?...

Между тѣмъ время шло впередъ, а съ нимъ шла впередъ и жизнь, порождая изъ себя новыя явленія, дающія сознанию новыя факты и подвигающія его на пути развитія. Общество русское съ невольнымъ удивленіемъ, полнымъ ожиданія и надежды чего-то великаго, обратило взоры на новаго поэта, смѣло и гордо открывшаго ему новыя стороны жизни и искусства. Равенъ ли по силѣ таланта, или еще выше Пушкина былъ Лермонтовъ—не въ томъ вопросъ: несомнѣнно только, что даже и не будучи выше Пушкина, Лермонтовъ призванъ былъ выразить собой и удовлетворить своей поэзіей несравненно высшее по своимъ требованіямъ и своему характеру время, чѣмъ то, котораго выраженіемъ была поэзія Пушкина. И менѣе чѣмъ въ какія нибудь пять лѣтъ, протекшія отъ смерти Пушкина, русское общество успѣло и радостно встрѣтить пышный восходъ, и горестно проводить безвременный закатъ новаго солнца своей поэзіи!.. Другой поэтъ, вышедшій на литературное поприще при жизни Пушкина и привѣтствованный имъ, какъ великая надежда будущаго, послѣ долгаго и скорбнаго безмолвія, подарилъ наконецъ публику такимъ твореніемъ, которое должно составить эпоху и въ лѣтописяхъ литературы, и въ лѣтописяхъ развитія общественнаго сознанія... Все это было безмолвной, фактической философіей самой жизни и самаго времени для рѣшенія вопроса о Пушкинѣ. Толки о Пушкинѣ наконецъ прекратились, но не потому, чтобы вопросъ о немъ переставалъ интересовать публику, а потому, что публика не хочетъ уже слышать повторенія старыхъ, одностороннихъ мнѣній, требуя мнѣнія новаго и независимаго отъ предубѣжденій въ пользу или невыгоду поэта. Повторяемъ: мнѣніе

это могло выработаться только временемъ и изъ времени, и—чуждые ложнаго стыда,— не побоямся сказать, что одной изъ главныхъ причинъ, почему не могли мы ранѣе выполнить своего общаго нашимъ читателямъ касательно разбора сочиненій Пушкина, было сознаніе неясности и неопредѣленности собственнаго нашего понятія о значеніи этого поэта. Знаемъ, что такое признаніе пробудитъ остроуміе нашихъ доброжелателей: въ добрый часъ— пусть себѣ острятся! Мы не завидуемъ готовымъ натурамъ, которыя все узнаютъ за одинъ присѣвъ и, узнавши разъ, одинаково думаютъ о предметѣ всю жизнь свою, хвалясь неизмѣнчивостью своихъ мнѣній и неспособностью ошибаться. Да, не завидуемъ, ибо глубоко убѣждены, что только тотъ не ошибался въ истинѣ, кто не искалъ истины, и только тотъ не измѣнялъ своихъ убѣжденій, въ комъ нѣтъ потребности и жажды убѣжденія; исторія, философія и искусство—не то, что математика съ ея вѣчными неподвижными истинами: движеніе математики, какъ науки, состоитъ не въ движеніи ея истинъ, а въ открытіи новыхъ и кратчайшихъ путей къ достиженію неизмѣнныхъ результатовъ. Въ царствѣ математики нѣтъ случайности и произвола, зато нѣтъ и жизни; но исторія, философія и искусство живутъ какъ природа, какъ духъ человѣческій, выражаемые имъ, живутъ, вѣчно измѣняясь и обновляясь; ихъ единство скрыто въ многообразіи и разнообразіи, необходимость—въ свободѣ, разумность—въ случайности. Кто хочетъ уловлять своимъ сознаніемъ законы ихъ развитія, тотъ самъ, подобно имъ, долженъ развиваться и доходить до результатовъ истины не въ легкомъ наслажденіи апатическаго спокойствія, а въ болѣзненныхъ и мукахъ рожденія: зерно истины въ благодатной душѣ то же, что младенецъ въ утробѣ матери, — предметъ пламенной любви и трудныхъ попеченій, источникъ блаженства и скорбей...

Кромѣ того насъ останавливали еще предѣлы замышляемой нами статьи. Наблюдая за ходомъ отечественной литературы, мы, естественно, часто должны были въ прошедшемъ отыскивать причины настоящаго и прозрѣвать въ историческую связь явленій. Чѣмъ болѣе думали мы о Пушкинѣ, тѣмъ глубже прозрѣвали въ живую связь его съ прошедшимъ и настоящимъ русской литературы и убѣждались, что писать о Пушкинѣ—значитъ писать о цѣлой русской литературѣ, ибо какъ прежніе писатели русскіе объясняютъ Пушкина, такъ Пушкинъ объясняетъ послѣдовавшихъ за нимъ писателей. Эта мысль сколько истинна, столько и утѣшительна: она показываетъ, что, несмотря на бѣдность нашей литературы, въ ней есть

жизненное движеніе и органическое развитіе, слѣдственно у нея есть исторія. Мы далеки отъ самолюбивой мысли удовлетворительно развитъ это воззрѣніе на русскую литературу и желаемъ только одного—хоть намекнуть на это воззрѣніе и проложить другимъ дорогу тамъ, гдѣ еще не протоптано и тропинки. Пусть другіе сдѣлаютъ это лучше насъ: мы первые порадуемся ихъ успѣху, а сами для себя будемъ довольны и тѣмъ, если намъ намекомъ на это воззрѣніе удастся положить конецъ старымъ толкамъ о русской литературѣ и произвольнымъ личнымъ сужденіямъ о русскихъ писателяхъ...

Вотъ для чего, приступая къ критическому разсмотрѣнію сочиненій Пушкина, мы почли за необходимое сперва обозрѣть ходъ и развитіе русской поэзіи (ибо предметъ нашихъ статей будетъ не литература въ обширномъ смыслѣ, а только поэзія русская) съ самаго ея начала. Выходъ новаго изданія сочиненій Державина доставилъ намъ удобный случай взглянуть съ нашей точки зрѣнія на его творенія, и нашу статью о Державинѣ мы считаемъ началомъ статьи о Пушкинѣ, почему и намѣрены связать обѣ эти статьи обзоромъ историческаго развитія русской поэзіи отъ Державина до Пушкина, черезъ что статья наша о Державинѣ будетъ еще пополнена и уяснена общей идеей, которая должна быть основой всего ряда этихъ статей, образующихъ собой критическую исторію «изящной литературы» русской. Вслѣдъ за статьями о Пушкинѣ, мы немедленно приступимъ къ разбору (тоже давно нами обѣщанному) сочиненій Гоголя и Лермонтова. И хотя въ нашемъ журналѣ не разъ и не мало было говорено объ этихъ писателяхъ,—однако же общаемихъ статей нисколько не будутъ повтореніемъ сказаннаго.

Русская литература есть не туземное, а пересадное растеніе. Это обстоятельство даетъ особенный характеръ ей самой и ея исторіи; не понять этого обстоятельства или не обратить на него всего вниманія—значитъ не понять ни русской литературы, ни исторіи. Мы начали ея характеристику сравненіемъ—и продолжимъ сравненіемъ же. Одно растеніе, будучи перенесено въ новый климатъ и пересаженъ въ новую почву, сохраняютъ свой прежній видъ и свои прежнія качества; другія измѣняются въ томъ и другомъ по вліянію на нихъ новаго климата и новой почвы. Русская литература можетъ быть сравниваема съ растеніями втораго рода. Ея исторія, особенно до Пушкина (отчасти еще и до сихъ поръ), состоитъ въ постоянномъ стремленіи — отрѣшиться отъ результатовъ искусственной пересадки, взять корни въ новой почвѣ и укрѣпиться ея питательными

соками. Идея поэзіи была выписана въ Россію по почтѣ изъ Европы и явилась у насъ какъ заморское нововведеніе. Ее понимали, какъ искусство слагать вирши на разные торжественные случаи. Тредьяковскій былъ привилегированнымъ придворнымъ пѣтой и «воспѣвалъ» даже балы и маскарады придворные, словно какъ государственныя событія. Ломоносовъ, первый русскій поэтъ, тоже понималъ поэзію, какъ «воспѣваніе» торжественныхъ случаевъ, и первая ода его (и въ то же время первое русское стихотвореніе, написанное правильнымъ размѣромъ) была пѣснью на взятіе русскими войсками Хотина. Это было въ 1738 г.; стало быть, теперь этому сто четыре года. Впрочемъ «пѣснопѣвческій» и «воспѣвательный» взглядъ на поэзію созданъ не нашими первыми поэтами: такъ смотрѣли тогда на поэзію во всей просвѣщенной Европѣ. Всеобщей извѣстностью тогда пользовались только древнія литературы, изъ которыхъ греческая была или по наслышкѣ извѣстна, или искаженно и превратно понимаема, а латинская, лучше знаемая и болѣе доступная и любимая, считалась идеаломъ всякой изящной литературы. Изъ новѣйшихъ литературъ пользовались всеобщей извѣстностью только французская и итальянская, особенно первая, ибо она наиболѣе находилась подъ вліяніемъ латинской, по крайней мѣрѣ во внѣшнихъ формахъ. Нѣмецкой изящной литературы тогда еще не существовало; испанская и англійская не были извѣстны за предѣлами своихъ земель.

Итакъ, изъ новѣйшихъ литературъ французская царила надъ всѣми другими, гордо презирая англійскую и испанскую, какъ выраженіе крайняго безвкусія, почитая Данта уродливымъ поэтомъ и восхваляясь по-своему Петраркой и Тассомъ. Вліяніе древнихъ литературъ на французскую (а слѣдственно и на всѣ другія въ Европѣ того времени) состояло въ условныхъ понятіяхъ о высшей формѣ поэтическихъ произведеній и уподобленіяхъ кстати и не кстати изъ языческой мѣлологіи. У древнихъ стихи не читались, а говорились речитативомъ съ аккомпанѣментомъ музыкальнаго инструмента — лиры; оттого у древнихъ «пѣть» — значило въ переносномъ значеніи «сочинять стихи». Въ новомъ мірѣ стихи не пѣлись, а читались, и лиры совсѣмъ не существовало; но приличіе требовало, чтобъ въ стихахъ не обходилось безъ «пою» и «лиры». Мѣлологія была выраженіемъ жизни древнихъ, и ихъ боги были не аллегоріями, не символами, не риторическими фигурами, а живыми понятіями въ живыхъ образахъ. Въ новомъ мірѣ царила религія Христа и, стало быть, боговъ не было; но, несмотря на то, нельзя было напи-

сать никакого стихотворенія, гдѣ бы не стрѣляли изъ лука Амуры и Купидоны, не были Борей, Нептунъ не воздымалъ моря, Зефиры не дышали прѣхладой и т. д. А почему? — Потому что такъ было у грековъ и римлянъ! По возрѣнію грековъ, трагедія могла быть только аполлоэозой государственной жизни, а оттого у нихъ дѣйствовали въ ней только представители стихій государственности: цари, герои, военачальники, правители, жрецы (а по связи ихъ жизни съ религіей и боги); народъ же могъ присутствовать на сценѣ только въ видѣ хора, выражавшаго лирическими изліяніями свое участіе не въ происходящемъ передъ его глазами событіи, но свое участіе къ происходившему передъ его глазами событію. Единство основной идеи считалось у грековъ столько необходимымъ условіемъ для трагедіи, какъ и для всякаго другого произведенія поэзіи; единство же мѣста и времени отнюдь не считалось необходимостью, но часто соблюдалось какъ по простотѣ и немногосложности дѣйствія, такъ и по обширности сцены. Драматурги новѣйшаго міра поняли это по своему. Набожно хранили они въ трагедіи правило тріединства; допускали въ нее только царей и героевъ съ ихъ наперсниками, а изъ простого народа позволяли появляться на сценѣ однимъ «вѣстникамъ». Вотъ что значитъ принять фактъ за идею! Созданія греческой поэзіи, вышедшія изъ жизни грековъ и выразившія ее собой, показались для новыхъ поэтовъ нормой и первообразомъ для поэзіи народовъ другой религіи, другого образованія, другого времени! Это особенно видно изъ понятія псевдоклассиковъ объ эпосѣ: греческій эпосъ «Иліаду» и рабскій сколокъ съ нея — «Энеиду» приняли они за эпосъ всеобщій и думали, что до скончанія міра всѣ эпическія поэмы должны писаться по ихъ образцу, безъ малѣйшаго отступленія, даже начинаться не иначе какъ «муза, воспой», или «пою». Поэтому истинная «Иліада» среднихъ вѣковъ — «Божественная Комедія» Данта, выразившая собой всю глубину духовной жизни своего времени въ свойственныхъ этой жизни и этому времени формахъ, казалась имъ не эпической поэмой, а уродливымъ произведеніемъ. Да и какъ могло быть иначе? — она начиналась не съ глагола «пою» и называлась — о, ужасъ! — комедіей!.. Эпическая поэзія, по понятію псевдоклассиковъ, должна была «воспѣвать» какое-нибудь великое событіе въ жизни человѣчества или въ жизни народа, — и въ какую бы эпоху, у какого народа ни произошло это событіе, оно должно быть наряжено въ баграницу или тогу, лишиться мѣстнаго колорита, приводиться въ движеніе сверхъестественными силами, выражаться напыщенно и без-

цвѣтно, — чего необходимо требуетъ всякая поддѣлка подѣ чужую форму и тѣмъ болѣе подѣ чужую жизнь. Вотъ происхожденіе риторической поэзіи. Основаніе ея — отложене отъ жизни, отпаденіе отъ дѣйствительности; характеръ — ложь и общія мѣста. Такая-то поэзія была перенесена на Русь.

Ломоносовъ былъ первымъ основателемъ русской поэзіи и первымъ поетомъ Руси. Для насъ теперь непонятна такая поэзія: она не оживляетъ нашего воображенія, не шевелитъ сердца, а только производитъ въ насъ скуку и зѣвоту. Но если сравнивать Ломоносова съ Сумароковымъ и Херасковымъ — стихотворцами, вышедшими на поприще послѣ него, — то нельзя не признать въ Ломоносовѣ значительнаго дарованія, которое пробивается даже въ ложныхъ формахъ риторической поэзіи того времени. Только одинъ Державинъ былъ несравненно больше поэтъ, чѣмъ Ломоносовъ: до Державина же Ломоносову не было никакихъ соперниковъ, и хотя Сумароковъ и Херасковъ цѣнились современниками не ниже его, но имъ до него —

Какъ до звѣзды небесной далеко!

Сравнительно съ ними, языкъ его чистъ и благороденъ, слогъ точенъ и силенъ, стихъ исполненъ блеска и паренія. Если же не всякій могъ такъ писать, какъ Ломоносовъ, значить — нужно имѣть талантъ, чтобъ писать такъ, какъ писалъ онъ. Поэзія Корнея и Расина для насъ — ложная, риторическая поэзія, и намъ отъ нея спится такъ же сладко, какъ и отъ поэзіи Сумарокова; но, чтобъ и теперь писать такъ, какъ писали въ свое время Корней и Расинъ, надо имѣть большой талантъ; писать же такъ, какъ писалъ Сумароковъ, не нужно было никакого таланта и въ его время, а нужна была только охота и страсть къ писанію. Въ одахъ Ломоносова: «Къ Іову», «Утреннее» и «Вечернее размышленіе о величествѣ Божіемъ», кромѣ замѣчательнаго искусства версификаціи, видны еще одушевленіе и чувство, чего незамѣтно ни въ одномъ стихотвореніи Сумарокова или Хераскова. Поэзія Ломоносова — хвалебная и торжественная по преимуществу. Сумароковъ писалъ по крайней мѣрѣ комедіи, эклоги, сатиры, кромѣ трагедій и одъ; Ломоносовъ писалъ только оды, и кромѣ нихъ написалъ двѣ трагедіи, да неоконченную поему «Петриаду». Таковъ былъ духъ времени; такъ понимали тогда поэзію въ Европѣ, и разстояніе между «Петриадой» Ломоносова и «Генриадой» Вольтера, право, не велико. Въ «Петриадѣ» Ломоносовъ описываетъ дворецъ Нептуна на днѣ Бѣлаго моря: нашъ поэтъ не подумалъ о томъ, что отведъ слиш-

комъ холодную квартиру обитателю Средиземнаго моря и греческаго архипелага. Петръ Великій и — Нептунъ, морской богъ древнихъ грековъ, какое сближеніе! Понятно, почему не кончилъ Ломоносовъ своей дикой, напыщенной поемы: у него было отъ природы столько здраваго смысла и ума, что онъ не могъ кончить подобнаго tout de force воображенія, поднятаго на дыбы. Трагедіи Ломоносова похожи на его «Петриаду». Сумароковъ писалъ во всѣхъ родахъ, чтобъ сравниться съ господиномъ Вольтеромъ, и во всѣхъ равно былъ безталантенъ. Но о поэзіи тогда думали иначе, нежели думаютъ теперь, и, при страсти къ писанію и раздражительномъ самолюбіи, трудно было не сдѣлаться великимъ гениемъ. Современники были безъ ума отъ Сумарокова. Вотъ что говоритъ о немъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ и умнѣйшихъ людей Екатерининскихъ временъ, Новиковъ, въ своемъ «Опытѣ историческаго словаря о русскіихъ писателяхъ»:

«Различныхъ родовъ стихотворными и прозаическими сочиненіями приобрѣлъ онъ себѣ великую и вѣчную славу не только отъ россиянъ, но и отъ чужестранныхъ академій и славнѣйшихъ европейскихъ писателей. И хотя первый изъ россиянъ онъ началъ писать трагедіи по всѣмъ правиламъ театральнаго искусства, но столько успѣлъ въ оныхъ, что заслужилъ названіе сѣвернаго Расина. Его эклоги равняются знающимъ людьми съ Виргиліевыми и поднесены еще остались неподражаемы; а притчи его почитаются сокровищемъ русскаго Парнаса; и въ семь родѣ стихотвореній далеко превосходить онъ Федра и де-ла-Фонтена, славнѣйшихъ въ семь родѣ. Впрочемъ всѣ его сочиненія любителями русскаго стихотворства весьма много почитаются.» (Стр. 207 — 208.)

Такія похвалы Сумарокову теперь конечно очень смѣшны, но онѣ имѣютъ свой смыслъ и свое основаніе, доказывая, какъ важны, полезны и дороги для успѣховъ литературы тѣ смѣлыя и неутомимые труженики, которые въ простотѣ сердца принимаютъ свою страсть къ бумагомаранію за великій талантъ. При всей своей бездарности, Сумароковъ много способствовалъ къ распространенію на Руси охоты къ чтенію и къ театру. Современники дорожатъ такими людьми, добродушно удивляясь имъ, какъ гениямъ. Вотъ что говоритъ тотъ же Новиковъ о Василіи Кирилловичѣ Тредьяковскомъ:

«Сей мужъ былъ великаго разума, многого ученія, обширнаго знанія и безпримѣрнаго трудолюбія; весьма знающъ въ латинскомъ, греческомъ, французскомъ, итальянскомъ и въ своемъ природномъ языкѣ; также въ философіи, богословіи, краснорѣчій и въ другихъ наукахъ. Полезными своими трудами приобрѣлъ себѣ вѣчную славу, и первый въ Россіи сочинилъ правила новаго русскаго стихосложенія, много сочинилъ книгъ, а перевелъ и того больше,

да и столь много, что кажется невозможнымъ, чтобъ одного человѣка достало къ тому столько силъ; ибо одну древнюю Ролленеву исторію перевелъ онъ два раза... Притомъ, не обинуясь, къ его чести сказать можно, что онъ первый открылъ въ Россіи путь къ словеснымъ наукамъ, а паче къ стихотворству: причемъ былъ первый профессоръ, первый стихотворецъ и первый, положившій толико труда и прилежанія въ переводъ на російскій языкъ преподанныхъ книгъ» (ст. 118—119).

Мы не безъ намѣренія дѣлаемъ эти выписки; свидѣтельство современниковъ, какъ всегда пристрастное, не можетъ служить доказательствомъ истины и послѣднимъ отвѣтомъ на вопросъ; но оно всегда должно приниматься въ соображеніе при сужденіи о писателяхъ, ибо въ немъ всегда есть своя часть истины, часто невозможная для потомства. Поэтому мы не разъ еще прибѣгнемъ къ подобнымъ выпискамъ въ продолженіе нашей статьи, чтобъ показать ими, какъ смотрѣли на того или другого писателя его современники, изъ чего нѣкоторымъ образомъ можно судить о степени его важности и въ исторіи литературы.

Громкой славой пользовались у знатоковъ и любителей литературы того времени четверо писателей изъ школы Ломоносова—Поповскій, Херасковъ, Петровъ и Костровъ. Поповскій обязанъ своей громкой извѣстностью въ то время лестнымъ отзывамъ Ломоносова о переведенномъ имъ стихами «Опытъ о Человѣкѣ» Попа. Вотъ что говорятъ о Поповскомъ Новиковъ:

«Опытъ о человѣкѣ славнаго въ ученomъ свѣтѣ Попа перевелъ онъ съ французскаго языка на російскій съ такимъ искусствомъ, что, по мнѣнію знающихъ людей, гораздо ближе подошелъ къ подлиннику и не зная англійскаго языка, что доказываетъ какъ его ученость, такъ и проницаніе въ мысли авторскія. Содержаніе сей книги столь важно, что и прозой исправно перевести ее трудно, но онъ перевелъ съ французскаго, перевелъ въ стихи и перевелъ съ совершеннымъ искусствомъ, какъ философъ и стихотворецъ; напечатана сія книга въ Москвѣ 1757 года. Онъ переложилъ съ латинскаго языка въ латинскіе стихи Горациеву эпистолу о стихотворствѣ и нѣсколько наъ его одъ; также перевелъ прозой книгу о воспитаніи дѣтей, состоящую въ двухъ частяхъ, славнаго Лока: *сей переводъ, по мнѣнію знающихъ людей, едва не не превосходитъ ли и подлинникъ*. Онъ сочинилъ нѣсколько рѣчей, читанныхъ въ публичныхъ собраніяхъ, и также писалъ торжественныя оды. Вообще стихотворство его чисто и плавно, а изображенія просты, ясны, пріятны и превосходны» (стр. 168—169).

Поповскій умеръ 30 лѣтъ и сжегъ свой переводъ Тита Ливія (котораго перевелъ больше половины) и переводъ многихъ одъ Анакреона, будучи недоволенъ своими переводами и боясь, что послѣ его смерти они не были напечатаны. Стихи Поповскаго, по своему времени, дѣйствительно хороши, а недовольство его несовершенствомъ трудовъ

Соч. Бѣлинскаго. Т. III.

своихъ еще болѣе обнаруживаетъ въ немъ человѣка съ дарованіемъ. Замѣчательно, что многія мѣста переведеннаго имъ «Опыта» были не пропущены тогдашней цензурой.

Херасковъ написалъ цѣлыхъ двѣнадцать томовъ. Онъ былъ и эпикъ, и лирикъ, и трагикъ, писалъ даже «слезныя драмы» и комедіи, и во всемъ этомъ обнаружилъ большую страсть къ литературѣ, большое добродушіе, большое трудолюбіе и—большую безталантность. Но современники думали о немъ иначе и смотрѣли на него съ какимъ-то робкимъ благоговѣніемъ, какого не возбуждали въ нихъ ни Ломоносовъ, ни Державинъ. Причиной этого было то, что Херасковъ подарилъ Россію двумя эпическими или героическими поэмами—«Россіадою» и «Владиміромъ». Эпическая поэма считалась тогда высшимъ родомъ поэзіи, и не имѣть хоть одной поэмы народу—значило тогда не имѣть поэзіи. Какова же должна быть гордость отцовъ нашихъ, которые знали, что у итальянцевъ была одна только поэма—«Освобожденный Іерусалимъ», у англичанъ тоже одна—«Потерянный Рай», у французовъ одна, и то недавно написанная—«Генріада», у нѣмцевъ одна, почти въ одно время съ поэмами Хераскова написанная,—«Мессіада», даже у самихъ римлянъ только одна поэма, а у насъ, русскихъ, такъ же какъ и грековъ, цѣлыя двѣ! Каковы эти поэмы,—объ этомъ не разсуждали, тѣмъ болѣе, что никому въ голову не приходила мысль о возможности усомниться въ ихъ высокомъ достоинствѣ. Самъ Державинъ смотрѣлъ на Хераскова съ благоговѣніемъ и разъ, безъ умысла, написалъ мадригалъ въ стихотвореніи «Ключъ», который оканчивается слѣдующими стихами:

Творца безсмертной «Россіады»,
Священный Гребеневскій ключъ,
Поцѣлуй водой ты стихотворства.

Дмитріевъ такъ выразилъ свое удивленіе къ Хераскову въ этой надписи къ его портрету:

Пушкay отъ зависти сердца зябловъ ноютъ;
Хераскову они вреда не принесутъ:
Владиміръ, Іоаннъ шитою его покроютъ
И въ храмъ безсмертья проведутъ.

Мы увидимъ ниже, какъ долго еще продолжалось мистическое уваженіе къ творцу «Россіады» и «Владиміра», несмотря на сильныя возстанія противъ его авторитета нѣкоторыхъ дерзкихъ умовъ: оно совершенно окончилось только при появленіи Пушкина. Причина этого мистическаго уваженія къ Хераскову заключается въ риторическомъ направленіи, глубоко охватившемъ нашу литературу. Кромѣ этихъ двухъ стихотворныхъ поэмъ, Херасковъ написалъ еще три поэмы въ прозѣ: «Кадмъ и Гармонія», «Полидоръ,

сынъ Кадма и Гармоніи» и «Нума Помпиль, или Прочивѣтающій Римъ». «Похожденія Телемака» Фенелона, «Гонзалъвъ Кордуанскій» и «Нума Помпиль» Флоріана были образцами прозаическихъ поэмъ Хераскова. Замѣчательно предисловіе автора къ первой изъ нихъ: «Мнѣ совѣтовали переложить сіе сочиненіе стихами, дабы видъ эпической поэмы оно пріало. Надѣюсь, могутъ читатели повѣрить мнѣ, что я въ состояніи былъ издать сіе сочиненіе стихами; но я не поэму писалъ, а хотѣлъ сочинить простую токмо повѣсть, которая для стихословія не есть удобна. Кому извѣстны пѣтическія правила, тотъ при чтеніи сей книги почувствуетъ, для чего не стихами она написана». Далѣе Херасковъ возражаетъ противъ мнѣнія Тредьяковскаго, утверждавшаго, что поэмы должны писаться безъ римъ, и что «Телемакъ» именно потому не ниже «Иліады», «Одиссеи» и «Энеиды» и выше всѣхъ другихъ поэмъ, что писанъ безъ римъ. Дѣтское простодушіе этихъ мнѣній и споровъ лучше всего показываетъ, какъ далеки были словесники того времени отъ истиннаго понятія о поэзии, и до какой степени видѣли они въ ней одну риторику. Въ «Полидорѣ» особенно замѣчательно внезапное обращеніе Хераскова къ русскимъ писателямъ. Имена ихъ означены только заглавными буквами—характерическая черта того времени, чрезвычайно скрупулезнаго въ дѣлѣ печати. Но мы выпишемъ ихъ имена вполнѣ, кромѣ тѣхъ, которыя трудно угадать:

«Такова есть сила пѣнословія, что боги сами восхищаются привлекаемымъ музъ пѣніемъ, музъ небесныхъ, пиршества ихъ на холмистомъ Олимпѣ сопровождающихъ; и кто не восхитится стройностью лиръ пріятныхъ? чье сердце не тронется сладостнымъ гласомъ музами вдохновенныхъ пѣнотвъ—сердце суровое и нечувствительное, единый наружный токмо слухъ имѣющее, или пріятности стихотворства ощущать не способное. Можетъ ли чувствительная душа, можетъ ли въ восторгъ не прійти, внимая громкому и важному ~~пѣнію~~ наперсника музъ, парящаго Ломоносова? Можетъ ли кто не плѣниться нѣжными и пріятными твореніями С?*) Я ~~пою~~ въ моемъ отечествѣ, и пѣнотвъ российскихъ исчисляю; мнѣ они путь къ горѣ парнасской проложили; свѣтомъ ихъ озаряемый, ~~воспѣвалъ~~ я российскихъ древнихъ царей и героевъ; ~~воспѣвалъ~~ Кадма не стопосложнымъ, но простымъ слогомъ; нынѣ повѣствую Полидора, не внимая сужденію недоброжелателей российскаго слова, ни укоризнамъ завистливыхъ чужеземцевъ, въ униженіи другихъ славу свою поставляющихъ. Но пусть они гипокренскаго источника прежде меня достигнутъ, тогда, уступивъ имъ лавры, спокойно за ними послѣдую; слабыя и недостойныя творенія забвенны будутъ. А вы, мои предшественники, вы, мои достославные современники, въ памяти нашихъ потомковъ впечатлѣнны и славимы вѣчно будете,—и ты, бардъ временъ нашихъ, превосходный пѣвецъ и тщательный списатель

красотъ натуры!*) И ты, Державинъ, во вѣки не умрешь по твоему вдохновенному свыше изреченію. Но не давай прохладяться священному пламени, въ духѣ твоёмъ музамъ воспламеннымъ: музъ не любятъ, кто, ими призываемъ будучи, рѣдко съ ними бесѣдуетъ. Тебѣ, любимецъ музъ, русский путешественникъ Карамзинъ; тебѣ, чувствительный Нелединскій; тебѣ, пріятный пѣвецъ Дмитріевъ; тебѣ, Богдановичъ, творецъ «Душеньки», и тебѣ, Петровъ, писатель одъ громкихъ, важностью пренеполненныхъ, то же я вѣщаю. А вы, юные музъ питомцы, вы, российский пѣнописцы любители! шествуйте ко храму ихъ медленно, осторожно и рачительно; онъ воздвигнутъ на горѣ высокой; стези къ нему пробираютъ сквозь скалы крутыя, извитыя, перепутанныя. Достигнувъ парнасскія вершины, излиянный потъ вашъ, реченіе, тщательность ваша, осыпавшими гору древесами прохладены будутъ; чело ваше приосвѣтится вѣнцемъ неувдаемымъ. Но помните, что лживость, самолюбіе и тщеславіе музамъ неприличны суть; они дѣвы и любятъ непорочность нравовъ, любятъ нѣжное сердце, сердце чувствующее, душу мыслящую. Неимѣющіе правилъ добродѣтели главнымъ своимъ видомъ, вольнодумцы, горделивые стопослагатели, блага общаго нарушители друзьями ихъ нарѣчься не могутъ. Буди цѣломудръ и кротокъ, кто безсмертныя пѣсни составляетъ! Таковы строги суть уставы горы парнасской, на коей воссѣдаютъ безсмертныя пѣнны, вѣнны и прочіе други ѳивовы». («Гв. Херасковъ. Т. XI, стр. 1—3.)

Бѣдный Херасковъ! думалъ ли онъ, пиша эти строки, что, всю жизнь свою строго исполняя нравственные правила своей эстетики, онъ тѣмъ не менѣе самъ будетъ забытъ неблагоприятнымъ потомствомъ?

Странно однако, что отзывъ Новикова о Херасковѣ сдѣланъ въ довольно умѣренныхъ выраженіяхъ: «Вообще сочиненія его весьма много похваляются, а особливо трагедія «Бориславъ»; оды, пѣсни, обѣ поэмы, всѣ его сатирическія сочиненія и «Нума Помпиль» приносятъ ему великую честь и похвалу. Стихотворство его чисто и пріятно, слогъ текущъ и твердъ, изображенія сильны и свободны; его оды наполнены стихотворческаго огня, сатирическія сочиненія остроты и пріятныхъ замысловъ, а «Нума Помпиль»—философическихъ разсужденій; и онъ по справедливости почитается въ числѣ лучшихъ нашихъ стихотворцевъ и заслуживаетъ великую похвалу» (стр. 237).

Петровъ считался громкимъ лирикомъ и остроумнымъ сатирикомъ. Трудно вообразить себѣ что-нибудь жестче, грубѣе и напыщеннѣе дебелой лиры этого семинарскаго пѣвца. Въ одѣ его «На побѣду российскаго флота надъ турецкимъ» много той напыщенной высокопарности, которая почиталась въ то время

*) Здѣсь вѣроятно идетъ дѣло о Бобровѣ, авторѣ описательной поэмы «Херсонида, или дѣтній день на полуостровѣ Херсонидѣ» и разныхъ лирическихъ стихотвореній. Бобровъ замѣчательно тѣмъ, что былъ знакомъ съ англійской литературой и подражалъ ей писателямъ Поповской школы.

*) Должно быть, дѣло идетъ о Евстафій Станевичѣ, весьма плохомъ пѣтѣ того времени.

лирическим восторгомъ и пѣстическимъ пареніемъ. И потому эта ода особенно восхитала современниковъ. И дѣйствительно, она лучше всего прочаго, написаннаго Петровымъ, потому что все прочее изъ рукъ вошло плохо. Грубость вкуса и площадность выражений составляютъ характеръ даже нѣжныхъ его стихотвореній, въ которыхъ онъ воспѣвалъ живую жену и умершаго сына своего. Но такова сила преданія: Каченовскій еще въ 1813 году, когда Петрова давно уже не было на свѣтѣ, восхвалялъ его въ своемъ «Вѣстникѣ Европы»! Странно, что въ «Опытѣ историческаго Словаря о русскихъ писателяхъ» Новиковъ холодно и даже насмѣшливо, а потому и весьма справедливо, отзывался о Петровѣ: «Вообще о сочиненіяхъ его сказать можно, что онъ напрягается идти по слѣдамъ русскаго лирика; и хотя нѣкоторые и называютъ уже его вторымъ Ломоносовымъ, но для сего сравненія надлежитъ сжидать важна какого-нибудь сочиненія, и послѣ того заключительно сказать, будетъ ли онъ второй Ломоносовъ, или останется только Петровымъ и будетъ имѣть честь слыть подражателемъ Ломоносова» (стр. 163). Этотъ отзывъ взбѣсилъ Петрова, и онъ отвѣтилъ сатирой на «Словарь», которая можетъ служить образцомъ его сатирическаго остроумія:

..... Я шлюсь на Словаря,
Въ немъ имя твое найдешь безъ фонаря!
Смотришь, тамо я какъ солнышко блистаю!
На самой маковкѣ Парнаса прелитаю!
То правда, косна желѣзъ тамъ сдѣлана орломъ,
Кукушка лебедемъ, ворона соколомъ;
Тамъ монастырскіе занежы лежебоки
Пожалованы всѣ въ искусники глубокі;
Коль вѣрить Словари, то сколько есть дворовъ,
Столь много на Руси великихъ авторовъ;
Тамъ подлой на ряду съ писцомъ стоитъ
алырщикъ,

Съ баклагой сбѣтенщикъ, и водоливъ съ бадѣй;
А все то авторы, все мужи имениты,
Да были до сихъ поръ оплошностью забыты:
Теперь свѣтъ умному обязанъ молодцу,
Что полну ихъ именъ составилъ памятку;
Въ дни древніи, въ старину жилъ былъ де царь
Ватуто,
Онъ былъ, да жилъ, да былъ, и сказка-то вся
туто.

Такой-то въ эдакомъ писателѣ жилъ году;
Ни строчки на своемъ не надалъ онъ роду;
При всемъ томъ слогу имѣлъ, повѣрьте, молодечкой;

Зналъ греческій языкъ, китайской и турецкой.
Тотъ умныхъ сколько-то наткалъ проновѣдей:
Да ихъ въ печати нѣтъ. О! былъ онъ грамотѣй;
Въ семь годъ цвѣлъ Гома, а въ эдакомъ Ерема;
Какая же по немъ осталася поэма?
Слогъ пылокъ у сего и разумъ такъ летучъ,
Какъ молнія въ эярь сверкающа изъ тучъ.
Сей первый надалъ въ свѣтъ шутивую пѣсу,
По точнымъ правиламъ и хохота повѣсу.
Сей надписъ начерталъ, а этотъ патерникъ;
Въ томъ разума былъ пудъ, а въ этомъ чептерникъ.

Тотъ истину хранилъ, читилъ сердцемъ добродѣтель,
Друзьямъ былъ вѣрный другъ и бѣднымъ благодѣтель;
Въ великомъ тѣлѣ духъ великой же имѣлъ,
И видя смерть въ глазахъ, былъ мужественъ и смѣлъ.

Словарникъ знаетъ все, въ комъ умъ глубока,
Въ комъ мелокъ,
Кто съ нимъ ватажился, былъ другъ ему и братъ,
Во святцахъ тотъ его не меньше какъ Сократъ.

Костровъ прославилъ себя переводомъ шести пѣсней «Иліады» шести-стопнымъ ямбомъ. Переводъ жестокъ и дебелъ, Гомера въ немъ нѣтъ и признаковъ; но онъ такъ хорошо соотвѣтствовалъ тогдашнимъ понятіямъ о поэзи и Гомерѣ, что современники не могли не признавать въ Костровѣ огромнаго таланта.

Изъ старой до-Державинской школы пользовался большою извѣстностью подражатель Сумарокова — Майковъ. Онъ написалъ двѣ трагедіи, сочинялъ оды, посланія, басни, въ особенности прославился двумя такъ называемыми «комическими» поэмами: «Елисей, или раздраженный Вакхъ» и «Игрокъ Ломбера». Гречъ, составитель послужныхъ и литературныхъ списковъ русскихъ литераторовъ, находить въ поэмахъ Майкова «необыкновенный пѣстическій даръ»; но мы, кромѣ площадныхъ красотъ и веселости дурного тона, ничего въ нихъ не могли найти.

Съ Державина начинается новый періодъ русскаго поэзіи, и какъ Ломоносовъ былъ первымъ ея именемъ, такъ Державинъ былъ вторымъ. Въ лицѣ Державина поэзія русская сдѣлала великій шагъ впередъ. Мы сказали, что въ нѣкоторыхъ стихотворныхъ пѣсахъ Ломоносова, кромѣ замѣчательнаго по тому времени совершенства версификаціи, есть еще и одушевленіе, и чувство; но здѣсь должны прибавить, что характеръ этого одушевленія и этого чувства обнаруживаетъ въ Ломоносовѣ скорѣе оратора, чѣмъ поэта, и что элементовъ художественныхъ рѣшительно незамѣтно ни въ одномъ его стихотвореніи. Державинъ, напротивъ, чисто художническая натура, поэтъ по призванію; произведенія его преисполнены элементовъ поэзіи какъ искусства, и если, несмотря на то, общій и преобладающій характеръ его поэзіи — риторическій, въ этомъ виновать не онъ, а его время. Въ Ломоносовѣ боролись два призванія — поэта и ученаго, и послѣднее было сильнѣе перваго; Державинъ былъ только поэтъ, и больше ничего. Въ стихотвореніяхъ его уже нечего удивляться одушевленію и чувству, — это не первое и не лучшее ихъ достоинство: они запечатлѣны уже высшимъ признакомъ искусства — проблесками художе-

ственности. Муза Державина сочувствовала музѣ эллинской, царица всѣхъ музъ, и въ его анакреонтическихъ одахъ промелькиваютъ пластическіе и граціозные образы древней антологической поэзіи; а Державинъ между тѣмъ не только не зналъ древнихъ языковъ, но и вообще лишенъ былъ всякаго образованія. Потомъ въ его стихотвореніяхъ нерѣдко встрѣчаются образы и картины чисто русской природы, выраженные со всей оригинальностью русскаго ума и рѣчи. И если все это только промелькиваетъ и проблескиваетъ, какъ элементы и частности, а не является цѣлымъ и оконченнымъ, какъ созданія выдержанныя и полныя, такъ что Державина должно читать всего, чтобы изъ разсѣянныхъ мѣстъ въ четырехъ томахъ его сочиненій составить понятіе о характерѣ его поэзіи, а ни на одно стихотвореніе нельзя указать, какъ на художественное произведеніе,—причина этому, повторяемъ, не въ недостаткѣ или слабости таланта этого богатыря нашей поэзіи, а въ историческомъ положеніи и литературы, и общества того времени. Посѣянное Екатериной II возросло уже послѣ нея, а при ней вся жизнь русскаго общества была сосредоточена въ высшемъ сословіи, тогда какъ всѣ прочіи были погружены во мракъ невѣжества и необразованности. Слѣдовательно, общественная жизнь (какъ совокупность извѣстныхъ правилъ и убѣжденій, составляющихъ душу всякаго общества человеческого) не могла дать творчеству Державина обильныхъ матеріаловъ. Хотя онъ и воспользовался всѣмъ, что только могло оно ему дать, однако этого было достаточно только для того, чтобы поэзія его, по объему ея содержанія, была глубже и разнообразнѣе поэзіи Ломоносова (поэта временъ Елисаветы), но не для того, чтобы онъ могъ сдѣлаться поэтомъ не одного своего времени. Сверхъ того, такъ какъ всякое развитіе совершается постепенно и послѣдующее всегда испытываетъ на себѣ неизбѣжное вліяніе предшествовавшаго, то Державинъ не могъ, вопреки своей поэтической натурѣ, смотрѣть на поэзію иначе, какъ съ точки зрѣнія Ломоносова, и не могъ не видѣть выше себя не только этого учителя русскаго литературы и поэзіи, но даже Хераскова и Петрова. Однимъ словомъ: поэзія Державина была первымъ шагомъ къ переходу вообще русскаго поэзіи отъ риторики къ жизни, но не больше.

Мы здѣсь только повторяемъ, для связи настоящей статьи, résumé нашего воззрѣнія на Державина: кто хочетъ доказательствъ, тѣхъ отсылаемъ къ нашей статьѣ о Державинѣ.

Важное мѣсто долженъ занимать въ исторіи русскаго литературы еще другой писатель екатерининскаго вѣка; мы говоримъ о Фон-

визинѣ. Но здѣсь мы должны на минуту воротиться къ началу русскаго литературы. Кромѣ того обстоятельства, что русская литература была въ своемъ началѣ нововведеніемъ и пересадкой,—начало ея было ознаменовано еще другимъ обстоятельствомъ, которое тѣмъ важнѣе, что оно вышло изъ историческаго положенія русскаго общества и имѣло сильное и благотворное вліяніе на все дальнѣйшее развитіе нашей литературы до этого времени, и доселѣ составляетъ одну изъ самыхъ характеристическихъ и оригинальныхъ чертъ ея. Мы разумѣемъ здѣсь ея сатирическое направленіе. Первый по времени поэтъ русскій, писавшій варварскимъ языкомъ и силлабическимъ стихосложеніемъ, Кантемиръ, былъ сатирикъ. Если взять въ соображеніе хаотическое состояніе, въ которомъ находилось тогда русское общество, эту борьбу умирающей старины съ возникающимъ новымъ, то нельзя не признать въ поэзіи Кантемира явленія жизненнаго и органическаго, и ничего нѣтъ естественнѣе, какъ явленіе сатирика въ такомъ обществѣ.

Съ легкой руки Кантемира сатира вѣдрилась, такъ сказать, въ нравы русскаго общества и имѣла благотворное вліяніе на нравы русскаго общества. Сумароковъ велъ ожесточенную войну противъ «крапивнаго зелья» — лихоимцевъ; Фонвизинъ казнилъ въ своихъ комедіяхъ дикое невѣжество стараго поколѣнія и грубый лоскъ поверхностнаго и вышнѣяго европейскаго полуобразованія новыхъ поколѣній. Сынъ XVIII вѣка, умный и образованный, Фонвизинъ умѣлъ смѣяться вмѣстѣ и весело, и ядовито. Его «Посланіе къ Шумилову» переживаетъ всѣ толстыя поэмы того времени. Его письма къ великому изъ-за границы, по своему содержанію, несравненно дѣльнѣе и важнѣе «Писемъ Русскаго Путешественника»: читая ихъ, вы чувствуете уже начало французской революціи въ этой страшной картинѣ французскаго общества, такъ мастерски нарисованной нашимъ путешественникомъ, хотя, рисуя ее, онъ, какъ и сами французы, далеко былъ отъ всякаго предчувствія возможности или близости страшнаго переворота. Его исповѣдь и юмористическія статейки, его вопросы Екатерины II,—все это исполнено для насъ величайшаго интереса, какъ живая лѣтопись прошедшаго. Языкъ его, хотя еще не Карамзинскій, однако уже близокъ къ Карамзинскому. Но, по предмету нашей статьи, для насъ всего важнѣе двѣ комедіи Фонвизина — «Недоросль» и «Бригадиръ». Обѣ онѣ не могутъ называться комедіями въ художественномъ смыслѣ этого слова: это скорѣе плодъ усилія сатиры стать комедіей, но этимъ-то и важны онѣ: мы видимъ въ нихъ живой моментъ развитія разъ занесен-

ной на Русь идеи поэзии, видимъ ея постепенное стремленіе къ выраженію жизни, дѣйствительности. Въ этомъ отношеніи самые недостатки комедій Фонвизина дорога для насъ, какъ факты тогдашней общественности. Въ ихъ резонѣрахъ и добродѣтельныхъ людяхъ слышится для насъ голосъ умныхъ и благонамѣренныхъ людей того времени, — ихъ понятія и образъ мыслей, созданные и направленные съ высоты престола.

Хемницеръ, Богдановичъ и Капнистъ тоже принадлежатъ уже ко второму періоду русской литературы: ихъ языкъ чище, и книжный риторическій педантизмъ замѣтенъ у нихъ менѣе, чѣмъ у писателей ломоносовской школы. Хемницеръ важнѣе остальныхъ двухъ въ исторіи русской литературы: онъ былъ первымъ баснописцемъ русскимъ (ибо притчи Сумарокова едва-ли заслуживаютъ упоминовенія), и между его баснями есть нѣсколько истинно прекрасныхъ и по языку, и по стику, и по наивному остроумію. Богдановичъ произвелъ фуроръ своей «Душенькой»: современники были отъ нея безъ ума. Для этого достаточно привести, какъ свидѣтельство восторга современниковъ, три слѣдующія надгробія Дмитріева творцу «Душеньки»:

I.

Привѣсьте къ урнѣ сей, о градѣ! вѣнецъ:
Здѣсь Богдановичъ спитъ, любимый нашъ
пѣвецъ.

II.

Въ спокойствіи, въ мечтахъ его текли всѣ лѣта,
Но онъ внимаемъ былъ владычицей полсѣта,
И въ памяти его Россія сохранитъ.
Сынъ Феба! возгордись: здѣсь музъ любимецъ
спитъ.

III.

На руку преклонясь вечернею порою,
Амуръ невидимо здѣсь часто слезы льетъ.
И мыслить, отягченъ тоскою:
Кто «Душеньку» теперь такъ мило воспоетъ?

Ко второму изданію сочиненій Богдановича, вышедшему уже въ 1818 году, приложено множество эпиграфій и элегій, написанныхъ во время оно по случаю смерти пѣвца «Душеньки» (а онъ умеръ въ 1802 году). Между ними особенно замѣчательны три; первая принадлежитъ издателю Платону Бекетову, человѣку умному и не безызвѣстному въ литературѣ, вотъ она:

Зефиръ ему перо пѣзъ крылъ своихъ давалъ,
Амуръ водилъ рукой: онъ «Душеньку» писалъ.

Вторая написана близкимъ родственникомъ автора «Душеньки», Иваномъ Богдановичемъ:

Не нужно надписями могилу ту пестрить,
Гдѣ «Душенька» одна все можетъ замѣнить.

Третья принадлежитъ анониму и написана по-французски:

Quoique bien tu sois l'auteur,
De ce poëme enchanteur,
Tu seras un téméraire,
Si tu mets au bas ton nom,
Bogdanovitch pour bien faire
Il faut signer Apollon.

Кстати: въ предисловіи ко второму изданію сочиненій Богдановича издатель говорить, что перваго изданія (1809—1810) не успѣло разойтись и 200 экземпляровъ, какъ въ Москву вступилъ непріятель; сочиненія Богдановича, разумѣется, подверглись общей участи всѣхъ книгъ въ это смутное время, и потому въ послѣдствіи удѣлившіе экземпляры перваго изданія сочиненій Богдановича, вмѣсто двѣнадцати рублей, продавались въ книжныхъ лавкахъ по шестидесяти рублей!.. Восторженное удивленіе къ Богдановичу продолжалось долго. Самъ Пушкинъ съ любовью и увлеченіемъ не разъ дѣлалъ къ нему обращенія въ стихахъ своихъ. А между тѣмъ для насъ теперь поэма эта лишена всякаго признака поэтической прелести. Стихи ея, необыкновенно гладкіе и легкіе для своего времени, теперь и тяжелы, и неблагозвучны; наивность разсказа и нѣжность чувствъ приторны, а содержаніе ребячески ничтожно. И ни въ содержаніи, ни въ формѣ «Душеньки» Богдановича нѣтъ и тѣни поэтического міоза и пластической красоты аллинской. Что-жъ было причиной восторга современниковъ? — Не что другое, какъ необычайная для того времени легкость стиха, состоявшаго изъ не однообразнаго количества стопъ, отсутствіе тяжелого и напыщенно-восторженнаго тона, начинавшаго надоедать, и при этомъ соблазнительная вольность содержанія картинъ, законно допущенная шутивымъ родомъ стихотворенія и льстившая фантазіи и чувству читателей.

Капнистъ писалъ оды, между которыми ясныя отличались элегическимъ тономъ. Стихъ его отличался необыкновенной легкостью и гладкостью для своего времени. Въ элегическихъ одахъ его слышатся душа и сердце. Но этимъ и оканчиваются всѣ достоинства его поэзіи. Онъ часто злоупотреблялъ своей грустью и слезами, ибо грустилъ и плакалъ въ одной и той же одѣ на нѣсколькихъ страницахъ. Капнистъ знаменитъ еще, какъ авторъ комедіи «Ябеда». Это произведеніе незначительно въ поэтическомъ отношеніи, но принадлежитъ къ исторически важнымъ явленіямъ русской литературы, какъ смѣлое и рѣшительное нападеніе сатиры на крючкотворство, ябеду и лихоимство, такъ страшно терзавшія общество прежняго времени.

Теперь мы приблизились къ одной изъ интереснѣйшихъ эпохъ русской литературы. Посвянное и насажденное Екатериной II

начало возрастать и приносить плоды. По мѣрѣ того, какъ цивилизація и просвѣщеніе стали утверждаться на Руси, начала распространяться и литературная образованность. Вслѣдствіе этого появленіе преобразовательныхъ талантовъ, имѣвшихъ вліяніе на ходъ и направленіе литературы, стало чаще и обыкновеннѣе, чѣмъ прежде, а новые элементы стали скорѣе входить въ литературу. Въ то время, какъ Державинъ былъ уже въ апогее своей поэтической славы, оставаясь на одномъ и томъ же мѣстѣ, не двигаясь ни назадъ, ни впередъ; въ то время, какъ были еще живы Херасковъ, Петровъ, Костровъ, Богдановичъ, Княжнинъ и Фонвизинъ; въ то время, когда еще Крыловъ былъ юношей по 21-му году, Жуковскому было только шесть лѣтъ отъ роду, Батюшкову только два года, а Пушкина еще не было на свѣтѣ, — въ то время одинъ молодой человѣкъ 24 лѣтъ отправился за-границу. Это было въ 1789 году, а молодой человѣкъ этотъ былъ Карамзинъ. По возвращеніи изъ за-границы онъ издавалъ въ 1792 и 1793 годахъ «Московский Журналъ», въ которомъ помѣщали свои сочиненія Державинъ и Херасковъ. Въ 1794 году онъ издалъ въ двухъ частяхъ альманахъ «Аглая» и альманахъ «Моя Бездѣлка» (въ двухъ частяхъ); въ 1797—1799 годахъ онъ напечаталъ три тома «Аеннадъ», а въ 1802 и 1803 годахъ издавалъ основанный имъ журналъ «Вѣстникъ Европы», который въ 1808 году издавалъ—Жуковский. Въ 1804 г., въ первый разъ была представлена въ Петербургѣ трагедія Озерова—«Эдипъ въ Аѣидахъ»; а въ 1805, 1807 и 1809 годахъ были въ первый разъ представлены его трагедіи—«Фингалъ», «Дмитрій Донской» и «Поликсена». Съ 1793 по 1807 годъ начали появляться комедіи и другіе драматическіе опыты Крылова, а около 1810 года появились его басни *). Съ 1815 года начали появляться въ журналахъ стихотворенія Жуковского и Батюшкова.

Карамзинъ имѣлъ огромное вліяніе на русскую литературу. Онъ преобразовалъ русскій языкъ, совлекши его съ ходуль латинской конструкции и тяжелой славянщины и приблизивъ къ живой, естественной, разговорной русской рѣчи. Своимъ журналомъ, своими статьями о разныхъ предметахъ и повѣстями онъ распространялъ въ русскомъ обществѣ познанія, образованность, вкусъ и охоту къ чтенію. При немъ и вслѣдствіе его вліянія тяжелый педантизмъ и школярство смѣнялись сантиментальностью и свѣтской легкостью, въ которыхъ много было страннаго, но которыя были важнымъ шагомъ впередъ для ли-

тературы и общества. Повѣсти его должны въ поэтическомъ отношеніи, но важны по тому обстоятельству, что наклонили вкусъ публики къ роману, какъ изображенію чувствъ, страстей и событій частной и внутренней жизни людей. Карамзинъ писалъ и стихи. Въ нихъ нѣтъ поэзіи, и они были просто мыслями и чувствованіями умнаго человѣка, выраженными въ стихотворной формѣ; но они простотой своего содержанія, естественностью и правильностью языка, легкостью (по тому времени) версификаціи, новыми и болѣе свободными формами расположенія были тоже шагомъ впередъ для русской поэзіи.

Но для нея гораздо болѣе сдѣлалъ другъ и сподвижникъ Карамзина—Дмитріевъ, который былъ старше его только пятью годами. Дмитріевъ не былъ поэтомъ въ смыслѣ лирика; но его басни и сказки были превосходными и истинно-поэтическими произведеніями для того времени. Пѣсни Дмитріева нѣжны до приторности,—но таковы были тогда всеобщій вкусъ. Оды Дмитріева сильно отзываются риторикой; но, несмотря на то, онѣ были большимъ успѣхомъ со стороны русской поэзіи. Громозвучность и пареніе, составлявшія тогда необходимое условіе оды, въ нихъ довольно умѣренны, а выраженіе просто, не говоря уже о правильности языка и тщательной отдѣлкѣ стиха. Формы одъ Дмитріева оригинальны, какъ напримѣръ въ «Ермакѣ», гдѣ поэтъ рѣшился вывести двухъ сибирскихъ шамановъ, изъ которыхъ старшій рассказываетъ молодому, при шумѣ волнъ Иртыша, о гибели своей отчизны. Стихи этой пьесы для нашего времени и грубы, и шероховаты, и непотѣчны, но для своего времени они были превосходны и отъ нихъ вѣяло духомъ новизны. Чтѣ же касается до манеры и тона пьесы,—это было рѣшительное нововведеніе, и Дмитріевъ потому только не былъ прозванъ романтикомъ, что тогда не существовало еще этого слова. Вообще въ стихотвореніяхъ Дмитріева, по ихъ формѣ и направленію, русская поэзія сдѣлала значительный шагъ къ сближенію съ простотой и естественностью, словомъ—съ жизнью и дѣйствительностью: ибо въ нѣжно вздыхательной сантиментальности все же болѣе жизни и натуры, чѣмъ въ книжномъ педантизмѣ. Рѣчи, которыя поэтъ влагаетъ въ уста шамановъ, исполнены декламаціей и стараются блистать высокимъ слогомъ—это правда; но мысль въ жалобахъ и разсказахъ шамана на берегу Иртыша выказать подвигъ Ермака—это уже не риторическая, а поэтическая мысль. Тутъ еще нѣтъ поэзіи, но есть уже стремленіе къ ней, и видно желаніе проложить для поэзіи новые пути.

Въ это время въ русской литературѣ замѣтно уже пробужденіе духа критицизма.

*) Въ каталогѣ Смирдина не означено перваго изданія басенъ Крылова, а второе вышло въ 1815—1816 годахъ.

Нѣкоторые старые авторитеты начали уже покачиваться. Въ 1802 году Карамзинъ написалъ статью «Пантеонъ Россійскихъ Авторъ». Въ ней ни слова не сказано о живыхъ писателяхъ—о Державинѣ и Херасковѣ, ибо это считалось тогда неприличнымъ; также ни слова не сказано о Петровѣ, хотя уже со дня смерти его прошло болѣе трехъ лѣтъ; можно догадываться, что Карамзинъ не хотѣлъ возстановлять противъ себя почитателей этого поэта, къ которымъ принадлежали всѣ грамотные люди, и въ то же время не хотѣлъ хвалить его противъ своего убѣжденія. Эта литературная уклончивость была въ характерѣ Карамзина. Въ «Пантеонѣ» было въ первый еще разъ высказано справедливое сужденіе о Тредьяковскомъ. Вотъ что говоритъ о немъ Карамзинъ:

«Еслибы охота и прилежность могли замѣнить дарованіе, кого бы не превзошелъ Тредьяковский въ стихотворствѣ и краснорѣчій? Но упрямый Аполлонъ вѣчно скрывается за облакомъ для самованпцевъ-поэтовъ и сыплетъ лучи свои единственно на тѣхъ, которые родились съ его печатю. Не только дарованіе, но и самый вкусъ не приобретается; и самый вкусъ есть дарованіе. Учене образуетъ, но не производитъ автора. Тредьяковский учился во Франціи у славнаго Роллена; зналъ древніе и новыя языки; читалъ всѣхъ лучшихъ авторовъ и написалъ множество томовъ въ доказательство, что онъ... не имѣлъ способности писать.»

Сужденіе Карамзина о Сумароковѣ мягче и уклончивѣе, нежели о Тредьяковскомъ; но тѣмъ не менѣе оно было страшнымъ приговоромъ колоссальной славы этого пигмея.

«Сумароковъ еще сильнѣе Ломоносова дѣйствовалъ на публику, избравъ для себя сферу обширнѣйшую. Подобно Вольтеру, онъ хотѣлъ блистать во многихъ родахъ, и современники называли его нашимъ Расиномъ, Мольеромъ, Лафонтеномъ, Буало. *Потомство не такъ думаетъ; но, зная трудность первыхъ опытовъ и невозможность достигнуть вдругъ совершенства, оно съ удовольствіемъ находить многія красоты въ твореніяхъ Сумарокова и не хочетъ быть строгимъ критикомъ его недостатковъ. Уже вымѣли въ курткахъ передъ кумиромъ; но не тронемъ мраморнаго подножія; оставимъ въ цѣлости и надписи: Великій Сумароковъ!... Соорудимъ новыя статуи, если надобно; не будемъ разрушать тѣхъ, которыя воздвигнуты благородной ревностью отцовъ нашихъ!»*

Замѣчательно, что Карамзинъ ставилъ въ недостатокъ трагедій Сумарокова то, что «онъ старался болѣе описывать чувства, нежели представлять характеры въ ихъ эстетической и нравственной истинѣ», и что, «называя героевъ своихъ именами древнихъ русскихъ князей, не думалъ соотнобразять свойства, дѣла и языкъ ихъ съ характеромъ времени». Нельзя не увидѣть въ такихъ замѣчаніяхъ сужденія необыкновенно умнаго человека и великаго шага впередъ со стороны литературы и общества. Правда, Ка-

рамзинъ находить многіе стихи въ трагедіяхъ Сумарокова «нѣжными и милыми», а иные даже «сильными и разительными»; но не забудемъ, что всякое сознаніе развивается постепенно, а не родится вдругъ, что Карамзинъ и такъ уже видѣлъ неизмѣримое дальше литераторовъ старой школы, и сверхъ того онъ можетъ-быть боялся, что ему всѣмъ не повѣрятъ, если онъ скажетъ истину вполне или не смягчитъ ея незначительными въ сущности уступками.

Остроумная и ѣдкая сатира Дмитриева «Чужой Толкъ» также служитъ свидѣтельствомъ возникшаго духа классицизма. Она устремлена противъ громогласнаго «одошнѣнія», которое начинало уже досаждало слуху. Поэтъ заставляетъ въ своей сатирѣ говорить одного старика съ такой «любезной простотой дѣдовскихъ временъ»:

Что за диковинка? лѣтъ двадцать ужъ прошло,
Какъ мы, напрягли умъ, наморщивши чело,
Со всеусердіемъ все оды пишемъ, пишемъ,
А ни себѣ, ни нынѣ похвалъ нигдѣ не слышимъ!
Ужели выдалъ Фебъ свой именной указъ,
Чтобъ не дерзвалъ никто надѣяться изъ насъ
Быть Флакку, Рамлеру и ихъ собратьи равнымъ,
И столько-жъ, какъ они, во пѣснопѣвны славнымъ?

Какъ думаешь!... Вчера случилось мнѣ слычать
И ихъ, и вашу пѣсны: въ ихъ... нечего читать!
Листочекъ, много три, а любо какъ читаешь—
Не знаю, какъ-то самъ какъ будто бы летаешь!
Судя по краткости, увѣренъ, что они
Писали ихъ рѣвывая, а не четыре дни;
То какъ бы намъ не быть еще и ихъ счастливей,

Когда мы во сто разъ прилежнѣй, терпѣливѣй?
Вѣдь нашъ начнетъ писать, то всѣ забавы прочь!

Надъ паромъ стиховъ просиживаетъ ночь,
Потѣетъ, думаетъ, чертитъ и жметъ бумагу;
А иногда беретъ такую онъ отвагу,
Что цѣлый годъ сидитъ надъ одою одной!
И подлинно, ужъ весь приложитъ разумъ свой!
Ужъ прямо самая торжественная ода!
Я не могу сказать, какого это рода,
Но очень полная—иная въ дѣвяти строфъ!
Судите-жъ, сколько тутъ хорошихъ есть стиховъ!

Къ тому-жъ, и въ правилахъ: сперва прочтешь вступленіе,
Тутъ предложеніе, а тамъ и заключеніе—
Точь-вточь, какъ говорятъ ученые по церквамъ!
Со всѣмъ тѣмъ нѣтъ читать охоты—вижу самъ.
Возьму ли, напримѣръ, я оды на побѣды,
Какъ покорили Крымъ, какъ въ морѣ гибли шведы!

Всѣ тутъ подробности сраженія нахожу,
Гдѣ было, какъ, когда, короче я скажу:
Въ стихахъ реляція! прекрасно!... а звѣваю!
Я, бросивши ее, другую раскрываю.
На правдникъ, или на что подобное тому:
Тутъ найдешь то, чего-бъ нехитрому уму
Не выдумать и въѣкъ: *зари багряны персты,
И райскій крикъ, и Фебъ, и небеса открыты!*
Такъ громко, высоко!... а нѣтъ, не веселитъ
И сердца, такъ сказать, ни чуть не шевелитъ.

Одинъ изъ собесѣдниковъ берется объяснить старику причину такого грустнаго явленія.

Эта причина, увы! и теперь еще не совсѣмъ состарѣлась, и теперь еще не совсѣмъ анахронизмъ! Слушайте:

Я самъ языкъ боговъ, поэзію люблю
И нашей, какъ и вы, утѣшенъ также мало;
Однако-жъ здѣсь въ Москвѣ толкался я не мало
Межъ нашихъ Пиндаровъ, и всѣхъ ихъ замѣ-
чалъ:

Большая часть изъ нихъ — лейбъ-гвардія ка-
правъ,
Ассессоръ, офицеръ, какой-нибудь подъячій,
Иль изъ кунстъ-камеры антикъ въ пыли хо-
дичій,
Уродовъ стражъ—народъ все нужный, долж-
ностной...

А вотъ и объясненіе причины дѣятельности нашихъ повтовъ:

Къ тому-жъ у древнихъ цѣль была, у насъ
другая:

Горацій, напримѣръ, восторгомъ грудь питая,
Чего желалъ? О, онъ—онъ братъ не свысока:
Въ вѣкахъ безсмертія, а въ Римѣ лишь вѣнка
Изъ лавровъ, иль изъ миртъ, чтобъ Делія ска-
зала:

«Онъ славенъ, — чрезъ него и я безсмертна
стала!»

А нашихъ многихъ цѣль: иль дружество съ
князькомъ,
Который отъ роду не читывалъ другаго,
Кромѣ придворнаго подчасъ мѣсяцеслова,
Иль похвала своихъ пріятелей, а имъ
Печатный каждый листъ быть кажется свя-
тымъ.

Приписывая неуспѣхи нашихъ повтовъ убѣ-
жденію, что, если у кого есть природный даръ,
тотъ имѣетъ право ничему не учиться и быть
невѣждой,—злой аристархъ презабавно опи-
сываетъ, какъ писались встарину громкія
оды:

И вотъ какъ писывалъ поэтъ природный оду:
Лишь пушекъ громъ подастъ пріятну вѣсть
народу,

Что Римскій Алкидъ толяковъ разгромилъ,
Иль Ферзенъ ихъ вождя, Костюшку, полонилъ—
Онъ тотчасъ за перо и разомъ вывелъ: *ода!*
Потомъ въ одинъ присѣсть: *такого дня и юда!*
«Тутъ какъ?... Пою!... Иль нѣтъ, уже это ста-
рина.

«Не лучше-ль: *даждь мнѣ, Фебъ!*... Иль такъ:
не ты одна

«Подпала подъ плиту, о чалмоносна *Порта?*

«Но что же мнѣ прибрать къ ней въ рѣму,
кромѣ чорта?

«Нѣтъ, нѣтъ, не хорошо: я лучше поброжу,
«И воздухомъ себя открытымъ освѣжу».

Поползъ, и на пути такъ въ мысляхъ рассу-
ждаетъ:

«Начало никогда пѣвцовъ не устрашаетъ;

«Что хочешь, то мели! Вотъ штука, какъ хва-
литъ

«Героя-то придетъ! Не знаю, съ кѣмъ сравнить?
«Съ Румянцевымъ его, иль съ Грейгомъ, иль
съ Орловымъ?

«Какъ жаль, что древнихъ я не читывалъ! а
съ новымъ—

«Не ловко что-то все!—Да просто напишу:

«*Ликуй, герой! ликуй! герой ты! возглашу.*

«Израдно! тутъ же что? Тутъ надобенъ вос-
торгъ.

«Скажу: *кто зазвусь мнѣ вѣчности расторгъ?*

«Я вижу молній блестя! Я слышу съ юрны свѣта
«И то, и то...А тамъ? извѣстно, многи *лѣта!*
«Брависсимо! и планъ, и мысли, все ужъ есть!
«Да здравствуетъ поэтъ! Осталось присѣсть! —
«Да только написать, да и печатать смѣло!»
Бѣжить на свой чердакъ, чертить, и въ шляпѣ
дѣло:

И оду ужъ его тисненію предають,
И въ одѣ ужъ его намъ ваксу продають.
Вотъ такъ пиндарилъ онъ, и всѣ ему подобны,
Едва ли вывѣски надписывать способны!

Право, не дурно было бы, еслибъ какой-ни-
будь даровитый поэтъ нашего времени напи-
салъ современный «Чужой Толкъ» и объ-
яснилъ, какъ пишутся теперь романы, по-
вѣсти и «патріотическія драмы»...

Дмитріевъ заставляетъ въ своей сатирѣ
говорить плохого стихотворца—

Пою!... иль нѣтъ, ужъ это старина!

А между тѣмъ это «пою», вмѣстѣ съ «ли-
рою» такъ часто попадаетъ и въ стихахъ
самого Дмитріева, и въ стихахъ Карамзина.
Это перешло отъ писателей предшествовав-
шихъ двухъ школъ—Ломоносовской и Дер-
жавинской, которые подъ «литературой» раз-
умѣли и «пѣснопѣіе»: кто бы, что бы ни
писалъ — въ стихахъ или въ прозѣ, — онъ
пѣлъ, а не писалъ. Державинъ въ стихотво-
реніи своемъ «Прогулка въ Царскомъ Селѣ»
дѣлаетъ такое обращеніе къ Карамзину:

И ты, сиди при розѣ,
Такъ, дней весеннихъ сынъ,
Пою, Карамзинъ!—и въ прозѣ
Гласъ слышенъ соловья.

Въ стихотвореніяхъ Дмитріева и Карамзина
русская поэзія сдѣлала значительный шагъ
впередъ и со стороны направленія, и со сто-
роны формы; но изъ-подъ риторическаго влія-
нія далеко еще не освободилась. Фебы, лиры,
гласы, усѣченія, піитическія вольности и
болѣе или менѣе прозаическая фактура толь-
ко ослабились въ ней, но не исчезли; они
удержались въ ней по преданію, которое
дошло даже и до Пушкина, какъ увидимъ это
послѣ. Но важно то, что если поэзія и удер-
жала риторическій характеръ, зато какъ
она, такъ и вообще беллетристика русская
приобрѣли новый характеръ вслѣдствіе на-
правленія, даннаго имъ Карамзинымъ и Дми-
тріевымъ: мы говоримъ о сантименталь-
ности. Не Карамзинъ съ Дмитріевымъ изоб-
рѣли ее; они только привили ее къ русской
литературѣ. Она преобладала въ литературѣ
и въ нравахъ всей Европы XVII и XVIII
вѣка. Насчетъ сантиментальности много
можно сказать смѣшного и забавнаго; но мы
хотимъ судить о ней, а не потѣшаться ею.
Она—важное явленіе въ отношеніи къ исто-
рическому развитію человѣчества, котораго
процессъ всегда совершается переходами изъ
крайности въ крайность. Феодальная дикость

и грубость нравовъ Европы среднихъ вѣковъ совершенно исчезли только при Людовикѣ XIV,—представителѣ новаго, противоположнаго эпохѣ рыцарства, времени; но, исчезнувъ, эта феодальная дикость естественно уступила мѣсто извѣженности чувствъ. Мужчины и женщины исчезли: ихъ замѣнили пастухи и пастушки; поэты вздыхали, охали и ахали; красавицы стонали, какъ горлинки; madame Дезульеръ воспѣвала барашковъ и голубковъ, наивно завидуя ихъ праву любить открыто, не стыдясь добрыхъ людей. Это вздыхательное и чувствительное направление существовало въ Европѣ до тѣхъ самыхъ поръ, какъ страшныя бури и грозныя волненія политическія, разразившіяся надъ ней въ концѣ прошлаго вѣка, не измѣнили ея характера и нравовъ. Россія не знала возродившейся Европы до славной для себя эпохи 1814 года, и результаты этого новаго знакомства обнаружались въ ея литературѣ только со времени появленія Пушкина и начала войны романтизма съ классицизмомъ. До того же времени наши поэты и литераторы продолжали поклоняться старымъ авторитетамъ: Мерзляковъ критиковалъ съ голоса Лагарпа и переводилъ идилліи madame Дезульеръ; Озеровъ подражалъ Расину; въ Крыловѣ видѣли подражателя Лафонтена; Батюшковъ низкопоклонничалъ передъ какимъ-нибудь Парни, котораго далеко превосходилъ талантомъ; Жуковский вполнѣ пошелъ особымъ путемъ, вполнѣ покорялся влиянію Карамзинской школы. Итакъ, русская литература познакомилась и сошлась съ европейской сентиментальностью почти въ ту минуту, какъ Европа навсегда разсталась съ своей сентиментальностью. Эта встрѣча была необходима и полезна для русской литературы и нравовъ ея общества. Въ Европѣ сентиментальность смѣнила феодальную грубость нравовъ; у насъ она должна была смѣнить остатки грубыхъ нравовъ до-Петровской эпохи. Это понятно тамъ, гдѣ не только просвѣщеніе и литература, но и общительность, и любовь были нововведеніемъ. Сентиментальность, какъ раздражительность грубыхъ нервовъ, разслабленныхъ и утонченныхъ образованіемъ, выразила собой моментъ ощущенія (sensation) въ русской литературѣ, которая до того времени носила на себѣ характеръ книжности. Смѣшны теперь намъ эти романическія имена: Нина, Каллиста, Леонія, Эмилія, Лилетта, Леонъ, Милонъ, Модестъ, Эрастъ но въ свое время они имѣли глубокий смыслъ: въ нихъ выразилась человѣческая склонность къ романической мечтательности, къ жизни сердцемъ. Въ лицѣ Карамзина русское общество обрадовалось, въ первый разъ узнавъ, что у него, этого общества, есть душа и сердце, способныя къ

нѣжнымъ движеніямъ. Это называлось тогда «наслаждаться чувствительностью». Кто могъ плакать въ умиленіи отъ пѣсни Дмитріева «Стонетъ сизый голубочекъ», тотъ конечно понималъ поэзію лучше того, кто видѣлъ ее только въ торжественныхъ одахъ на разныя иллюминаціи. Поэзія предшествовавшей школы пугала женщинъ, а стихи Дмитріева, Карамзина и Нелединскаго-Мелецкаго женщины знали наизусть, ими воспитывались цѣлыя поколѣнія. Карамзина читали всѣ грамотные люди, претендовавшіе на образованность; многихъ изъ нихъ только Карамзинъ и могъ заставить приняться за чтеніе книгъ и полюбить это занятіе, какъ пріятное и полезное.

Въ одинъ годъ съ Карамзинымъ (1765) родился Макаровъ,—человѣкъ, которому суждено было играть въ русской литературѣ роль созвѣздія Карамзина, хотя они и не были знакомы другъ съ другомъ. Въ 1803 году Макаровъ издавалъ журналъ «Московский Меркурій», статьи котораго отличались такимъ же направленіемъ и такимъ же языкомъ, какъ и статьи Карамзина. Макаровъ былъ одаренъ вкусомъ, талантами, путешествовалъ по Европѣ и вообще принадлежалъ къ умнѣйшимъ и образованнѣйшимъ людямъ своего времени. Сравните его разборъ сочиненій Дмитріева и разборъ Карамзина «Душеньки» Богдановича: оба эти разбора писаны какъ будто однимъ и тѣмъ же человѣкомъ. Макаровъ защищалъ Карамзина противъ извѣстнаго въ то время фанатическаго пуризма русскаго языка. Выступилъ Макаровъ на поприще литературы въ 1795 году съ прекраснымъ переводомъ впрочемъ посредственнаго романа «Графъ де Сентъ-Меранъ, или Новыя Заблужденія Ума и Сердца». Онъ же перевелъ двѣ первыя части «Антеноровыхъ Путешествій по Греціи и Азіи» Лантье, изданныя имъ въ 1802 г. Къ сожалѣнію, этотъ примѣчательный человѣкъ не долго жилъ: онъ умеръ въ 1804 году.

Капнистъ, по влиянію на него Карамзина, долженъ быть причтенъ къ числу писателей Карамзинской школы, въ которой замѣчательны также: Подшиваловъ и Бенитскій, хорошіе прозаики; Нелединскій-Мелецкій, прославившійся нѣжными пѣснями, въ которыхъ много непритворной чувствительности; Долгорукій, издававшій свои стихотворенія подъ сентиментальнымъ титуломъ «Бытіе Моего Сердца», поэтъ чувствительный и сатирический, нерѣдко отличавшійся неподдѣльнымъ русскимъ юморомъ; Милоновъ, замѣчательный сатирикъ; Воейковъ, стихотворецъ, переводчикъ эклогъ Виргилія, описательныхъ поэмъ Деліля, обезсмертившій себя однимъ извѣстнымъ въ рукописи стихотвореніемъ, потомъ журналистъ, прославившійся

полемикой; Кокошкинъ и Хмѣльницкій, переводчики и подражатели Мольера; Василій Пушкинъ, стихотворецъ, и Владиміръ Измайловъ, прозаикъ.

Озеровъ и Крыловъ являются, особенно послѣдній, самостоятельными дѣятелями въ Карамзинскомъ періодѣ нашей литературы, хотя и принадлежать къ школѣ преобразователя русскаго языка. Послѣ Сумарокова на поприщѣ драматической литературы со славою подвизался Княжнинъ. У него не было самостоятельнаго таланта, но какъ онъ былъ человѣкъ умный, образованный, знавшій иностранные языки и хорошо владѣвшій русскимъ, — то и пользовался съ успѣхомъ богатой трапезой французскаго театра, лѣня свои трагедіи и комедіи изъ отрывковъ французскихъ драматурговъ, которые переводилъ почти слово въ слово. Сочиненія этого трудолюбиваго писателя представляютъ собой значительный успѣхъ русской драматической поэзіи со стороны вкуса и языка: онъ далеко оставилъ за собой предшественника своего Сумарокова. Но еще дальше его самого оставилъ за собой Озеровъ. Это былъ талантъ положительный, и появленіе его было эпохой въ русской литературѣ, которая имѣла въ немъ своего Расина. Неспособный рисовать страсти и характеры, онъ увлекалъ живымъ изображеніемъ чувствъ. Трагедія его — сколокъ съ французской, и потому не удивительно, что теперь онъ забытъ театромъ совершенно, и его не играютъ и не читаютъ; но въ исторіи русской литературы онъ никогда не будетъ забытъ. Языкъ русскій въ трагедіяхъ Озерова сдѣлалъ большой шагъ впередъ. Въ одно время съ Озеровымъ явился Крюковский, котораго трагедія «Пожарскій» имѣла необыкновенный успѣхъ, но не по литературному достоинству, а по похвальнымъ чувствамъ патріотизма, которыя не могли не пробудить сочувствія въ эпоху борьбы Россіи съ Наполеономъ.

Крыловъ писалъ комедіи весьма замѣчательныя по устроюмю; но слава его, какъ баснописца, не могла не затмить его славы, какъ комика. Крыловъ далеко оставилъ за собой и Хемницера, и Дмитріева и достигъ въ баснѣ возможнаго совершенства. Басни Крылова — сокровищница русскаго практическаго смысла, русскаго остроумія и юмора, русскаго разговорнаго языка; онѣ отличаются и простодушіемъ, и народностью. Крыловъ вполне народный писатель и теперь уже воспитатель не менѣе тридцати поколѣній. Басня, какъ родъ поэзіи, — довольно ложный родъ: ея явленіе возможно только у народа, находящагося еще въ младенчествѣ, и потому ея родина — Востокъ. У грековъ она во-время явилась съ Эзопомъ. Французы, хотѣвшіе въ литературѣ во всемъ подражать

древнимъ, рѣшили, что у нихъ должна быть басня, потому что она была у грековъ; а мы, русскіе, во всемъ подражавшіе французамъ, рѣшили, что и у насъ должна быть басня, потому что у французовъ есть басня. Впрочемъ у насъ басня явилась съ Хемницеромъ болѣе кстаи и болѣе во-время, чѣмъ у французовъ явилась она съ Лафонтеномъ. Этотъ ложный родъ удивительно привился къ французской литературѣ и получилъ тамъ особенную народную форму; баснѣ посчастливилось и у насъ: во Франціи она имѣла Лафонтена, у насъ — Крылова, а за это ей можно простить ея ложность, какъ рода поэзіи. Знатокъ говорятъ, что архитектура во вкусѣ рококо — ложная архитектура; положимъ такъ, но Растрелли тѣмъ не менѣе великій художникъ. Чѣмъ бы ни была басня, но Лафонтенъ и Крыловъ по справедливости составляютъ славу и гордость своихъ отечественныхъ литературъ.

Мы выше сказали, что съ 1805 года начали появляться въ журналахъ стихотворенія Жуковскаго и Батюшкова. Каждый изъ этихъ поэтовъ составлялъ собой школу въ русской литературѣ и вносилъ въ нее новые элементы жизни; но явленіе обоихъ мало было чувствуемо въ продолженіе Карамзинскаго періода; настоящая пора ихъ дѣятельности началась послѣ знаменитаго 1814 года: тогда и вліяніе ихъ стало ощутительнѣе.

II.

Карамзинъ и его заслуги. — Карамзинскій періодъ русской литературы: Дмитріевъ, Крыловъ, Озеровъ, Жуковский и Батюшковъ. — Значеніе романтизма и его историческое развитіе.

Карамзинымъ началась новая эпоха русской литературы. Преобразование языка отнюдь не составляетъ исключительнаго характера этой эпохи, какъ думаютъ многіе. Какъ бы ни была велика реформа, произведенная кѣмъ-нибудь или сама собой происшедшая въ языкѣ, — она никогда не можетъ быть фактомъ особенной важности. Языкъ, взятый самъ по себѣ, есть только посредствующій матеріалъ, и его движеніе можетъ быть только формальное. Но всегда важно движеніе языка вслѣдствіе движенія мысли: и вотъ гдѣ важность реформы, произведенной Карамзинымъ, и вотъ почему Карамзину принадлежитъ честь основанія новой эпохи русской литературы. Карамзинъ ввелъ русскую литературу въ сферу новыхъ идей, — и преобразование языка было уже необходимымъ слѣдствіемъ этого дѣла. Загляните въ журналы, въ романы, въ трагедіи и вообще стихотворенія эпохи, предшествовавшей Ка-

рамзину: вы увидите въ нихъ какую-то сто-
ячесть мысли, книжность, педантизмъ и ри-
торку, отсутствіе всякой живой связи съ
жизнью. Карамзинъ первый на Руси замѣ-
нилъ мертвый языкъ книги живымъ язы-
комъ общества. До Карамзина у насъ на
Руси думали, что книги пишутся и печата-
ются для однихъ «ученыхъ», и что неуче-
ному почти такъ же не пристало брать въ
руки книгу, какъ профессору танцевать. От-
того содержаніе книгъ, по тогдашнему мнѣ-
нію, должно было быть какъ можно болѣе
важнымъ и дѣльнымъ, т. е. какъ можно бо-
лѣ тяжелымъ и скучнымъ, сухимъ и мер-
твымъ. Болѣе всѣхъ подходилъ тогда къ иде-
алу великаго поэта—Херасковъ, потому что
былъ тяжелъ и скученъ до невыносимости.
Онъ воспѣлъ въ двухъ огромныхъ поэмахъ
два важныя событія изъ русской исторіи, и
воспѣлъ ихъ, не справляясь съ исторіей, не
стараясь быть ей вѣрнымъ. Историкъ рус-
ской онъ даже и не зналъ фактически. Рос-
сія освободилась отъ татарскаго ига не ка-
кимъ-нибудь рѣшительнымъ ударомъ, кото-
рый бы нанесенъ былъ татарамъ соединен-
ными силами всей Руси, мгновенно и мощно
возставшей противъ общаго врага. Кули-
ковская битва осталась безъ рѣшительныхъ
послѣдствій: по крайней мѣрѣ она не помѣ-
шала татарамъ выжечь Москву; въ царство-
ваніе же Іоанна III не было никакой вели-
кой военной битвы съ татарами, хотя и
была битва, такъ сказать, дипломатическая.
Татарское иго распалось само собой вслѣд-
ствіе внутренняго разслабленія царства Ва-
тты. И потому русская исторія никого не
можетъ назвать освободителемъ земли Рус-
ской отъ ига татарскаго. Іоаннъ Грозный
взявъ Казани и Астрахани только добилъ
остатки издыхающаго монгольскаго чудови-
ща. Но Хераскову нуженъ былъ герой для
его поэмы, потому что безъ героя не бы-
ваетъ поэмы. И онъ нашелъ его въ Іоаннѣ
Грозномъ, простодушно смѣшавъ его съ Іо-
анномъ III, въ царствованіе котораго была
торжественно признана независимость Руси
отъ татаръ. «Ученые» того времени были
безъ ума отъ поэмы Хераскова; они знали
ее чуть не наизусть,—а теперь всякій счелъ
бы за подвигъ, еслибы ему удалось осилить
чтеніемъ отъ начала до конца это тяжелое,
стопудовое произведеніе. Не удовольство-
вавшись поэмой, Херасковъ не хотѣлъ ли-
шить своихъ читателей и романа; онъ напи-
салъ романъ «Кадмъ и Гармонія» и «Поли-
доръ, сынъ Кадма и Гармоніи». Но, Боже
мой, что-жъ это былъ за романъ. Аллегориче-
ское олицетвореніе гонимой и подъ ко-
нецъ торжествующей добродѣтели, образы
безъ лицъ, событія безъ пространства и вре-
мени! Но потому-то это и былъ романъ въ

духѣ своего времени,—романъ, который могли
читать и «ученые», не унижая своего до-
стоинства,—и потому же романы эти на-
званы были «поэмами». Карамзинъ первый
на Руси началъ писать повѣсти, которыя
заинтересовали общество и казались пу-
стыми и ничтожными для педантовъ,—по-
вѣсти, въ которыхъ дѣйствовали люди, изо-
бражалась жизнь сердца и страстей посреди
обыкновеннаго повседневнаго быта. Конечно
въ такихъ повѣстяхъ, какъ «Бѣдная
Лиза», «Наталья, боярская дочь», «Островъ
Борнгольмъ», «Рыцарь нашего времени»,
«Чувствительный и Великодушный» и проч.,
никто не будетъ теперь искать творческаго
воспроизведенія дѣйствительности, никто не
будетъ читать ихъ какъ художественныя
произведенія ради эстетическаго наслажде-
нія, никто не будетъ ими восхищаться; но
вмѣстѣ съ тѣмъ никто изъ мыслящихъ лю-
дей не скажетъ, чтобъ въ повѣстяхъ Ка-
рамзина не было своего неотъемлемого ин-
тереса и для нашего времени—интереса
историческаго. Чужды творчества, они все-
таки не чужды таланта, ума, одушевленія,
чувства—и въ нихъ, какъ въ зеркалѣ, вѣрно
отражается жизнь сердца, какъ ее по-
нимали, какъ она существовала для людей
того времени. Что же касается до художе-
ственности,—требовать ея отъ повѣстей Ка-
рамзина было бы несправедливо и странно,
сколько потому, что Карамзинъ не былъ
поэтомъ и не обнаруживалъ особенныхъ при-
тязаній на талантъ поэтическій, столько и
потому, что въ его время даже въ Европѣ
не существовало романа и повѣсти какъ ху-
дожественнаго произведенія. XVIII вѣкъ со-
здалъ себѣ свой романъ, въ которомъ выра-
зилъ себя въ особенной, только одному ему
свойственной, формѣ: философскія повѣсти
Вольтера и юмористическіе рассказы Свифта
и Стерна—вотъ истинный романъ XVIII вѣка.
«Новая Элоиза» Руссо выразила собой другую
сторону этого вѣка отрицанія и сомнѣнія—
сторону сердца, и потому она казалась больше
пророчествомъ будущаго, чѣмъ выраженіемъ
настоящаго,—и многіе изъ людей того време-
ни (въ томъ числѣ Карамзинъ) видѣли въ «Но-
вой Элоизѣ» только одну сантиментальность,
которой одной восхищались. Въ остроумныхъ
романахъ француза Пиго-Лебрёна и нѣмца
Крамера вѣтъ преобладающій духъ XVIII
вѣка. Но въ особенномъ ходу и въ особен-
номъ уваженіи у толпы были въ прошломъ
вѣкѣ романы Радклейфъ, Дюкре-дю-Мениля,
мадамъ Жанли, мадамъ Коттэнъ, и т. п.
Надо признаться, что по таланту Карамзинъ
не былъ ниже этихъ людей, и если не даль-
ше, то и не ближе ихъ видѣлъ. Переводомъ
повѣстей Мармонтеля и нѣкоторыхъ повѣстей
Жанли Карамзинъ оказалъ русскому об-

пеществу столь же важную услугу, какъ и своими собственными повѣстями. Это значило ни больше, ни меньше, какъ познакомить русское общество съ чувствами, образомъ мыслей, а слѣдовательно и съ образомъ выраженія образованнѣйшаго общества въ мірѣ. Новыя идеи естественно требовали и новаго языка. Карамзина обвиняли въ галлицизмахъ выраженій, не видя того, что, если это была вина съ его стороны, то прежде всего его должно было обвинять въ галлицизмахъ мыслей, — но въ этомъ былъ виноватъ не онъ, а та всемірно-историческая роль, которая назначена міродержавнымъ промысломъ французскому народу, и которая даетъ ему такое нравственное вліяніе на всѣ другіе народы цивилизованнаго міра. Скорѣе должно поставить въ великую заслугу Карамзину его галломанство: черезъ него ожила наша литература. Еслибы Карамзинъ былъ только преобразователемъ языка (не будучи прежде всего нововодителемъ идей), онъ ограничился бы только отрицаніемъ устарѣлыхъ словъ и выраженій, бѣльшей чистотой и отдѣлкой въ формѣ, но складъ рѣчи, словомъ, — слогъ его остался бы Ломоносовскимъ, и онъ не былъ бы создателемъ современнаго новаго языка. Въ этомъ отношеніи языкъ Фонвизина рѣзко отдѣляется отъ языка Ломоносовскаго и близко подходитъ къ языку Карамзинскому; но тѣмъ не менѣе Фонвизинъ относится къ писателямъ Ломоносовскаго періода русской литературы и нисколько не можетъ считаться преобразователемъ русскаго языка. Вотъ почему мы думаемъ, что тотъ не понимаетъ Карамзина и не умѣетъ достойно оцѣнить его подвига, кто думаетъ въ немъ видѣть только преобразователя и обновителя русскаго языка. Это значить унижать Карамзина, а не хвалить его. Карамзинъ создалъ на Руси образованный литературный языкъ, и создалъ потому, что Карамзинъ былъ первый на Руси образованный литераторъ, а первымъ образованнымъ литераторомъ сдѣлался онъ потому, что научился у французовъ мыслить и чувствовать, какъ слѣдуетъ образованному человѣку. «Письма Русскаго Путешественника», въ которыхъ онъ такъ живо и увлекательно разсказалъ о своемъ знакомствѣ съ Европой, легко и пріятно познакомили съ этой Европой русское общество. Въ этомъ отношеніи «Письма Русскаго Путешественника» — произведеніе великое, несмотря на всю поверхностность и всю мелкость ихъ содержанія: ибо великое не всегда только то, что само по себѣ дѣйствительно велико; но иногда и то, что достигаетъ великой цѣли, какимъ бы то ни было путемъ и средствомъ. Можно сказать съ увѣренностью, что именно своей легкости и поверхностности обязаны

«Письма Русскаго Путешественника» своимъ великимъ вліяніемъ на современную имъ публику: эта публика не была еще готова для интересовъ болѣе важныхъ и болѣе глубокихъ. Въ своемъ «Московскомъ Журналѣ», а потомъ въ «Вѣстникѣ Европы» Карамзинъ первый далъ русской публикѣ истинно журнальное чтеніе, гдѣ все соотвѣтствовало одно другому: выборъ пьесъ — ихъ слогу, оригинальныя пьесы — переводнымъ, современность и разнообразіе интересовъ — умѣнію передать ихъ занимательно и живо, и гдѣ были не только образцы легкаго свѣтскаго чтенія, но и образцы литературной критики, и образцы умѣнья слѣдить за современными политическими событіями и передавать ихъ увлекательно. Вездѣ и во всемъ Карамзинъ является не только преобразователемъ, но и начинателемъ, творцомъ. Сама «Исторія Государства Россійскаго» — этотъ важнѣйшій трудъ его, есть не что иное, какъ начало, первый основной камень зданія историческаго изученія, историческихъ трудовъ въ Россіи. «Исторія Государства Россійскаго» не есть исторія Россіи: это скорѣе исторія Московскаго государства, ошибочно принятаго историкомъ за какой-то высшій идеалъ всякаго государства. Слогъ ея не историческій: это скорѣе слогъ поэмы, писанной мѣрной прозой, — поэмы, типъ которой принадлежитъ XVIII вѣку. Тѣмъ не менѣе безъ Карамзина русскіе не знали бы исторіи своего отечества, ибо не имѣли бы возможности смотрѣть на нее критически. Какъ первый опытъ, написанный дароватымъ литераторомъ, «Исторія Государства Россійскаго» — твореніе великое, котораго достоинство и важность никогда не уничтожатся: вытѣсненная исторической и философской критикой изъ рода твореній, удовлетворяющихъ потребностямъ современнаго общества, «Исторія» Карамзина навсегда останется великимъ памятникомъ въ исторіи русской литературы вообще и въ исторіи литературы русской исторіи.

Есть два рода дѣятелей на всякомъ поприщѣ: одни своими дѣлами творятъ новую эпоху, дѣйствуютъ на будущее; другіе дѣйствуютъ въ настоящемъ и для настоящаго. Первые бываютъ не признаны, не поняты, не оцѣнены и часто даже гонимы и ненавидимы своими современниками; ихъ апофеозъ создается въ будущемъ, когда уже самыя кости ихъ истлѣютъ въ могилѣ; вторые — всегда любимцы и властелины своего времени, но, уваженные, превознесенные и счастливые при жизни своей, они получаютъ уже совсѣмъ не то значеніе послѣ ихъ смерти, а иногда переживаютъ свою славу. Безъ сомнѣнія, первые выше вторыхъ, ибо это натуры великія и гениальныя, тогда какъ вто-

рые—только сильно и ярко даровитыя натуры. Первые, если они дѣйствуютъ на литературномъ поприщѣ, завѣщаютъ потомству творенія вѣчныя, неумирающія; вторые—пишутъ для своихъ современниковъ, и ихъ произведенія для будущихъ поколѣній получаютъ уже не безусловное, но только историческое значеніе, какъ памятники извѣстной эпохи. Къ числу дѣателей второго разряда принадлежитъ Карамзинъ... Это мнѣніе выговаривается не въ первый разъ, и не нами первыми оно выговорено; но оно возбуждало противъ себя живое противодѣйствіе; нельзя даже сказать, чтобы и теперь еще не было людей, которымъ оно крѣпко не по душѣ. Этихъ людей можно раздѣлить на два разряда. Къ первому принадлежатъ еще оставшіеся доселѣ въ живыхъ современники Карамзина, видѣвшіе или разсвѣтъ его славы, или помнящіе апогею его славы. Застигнутые потокомъ новаго, они естественно остались вѣрны тѣмъ первымъ, живымъ впечатлѣніямъ своего лучшаго возраста жизни, которыя обыкновенно рѣшаютъ участь человѣка, разъ навсегда заключая его въ извѣстную нравственную форму. Эти люди, живущіе памятью сердца, не могутъ выйти изъ убѣжденія, что Карамзинъ былъ великій гений, и что его творенія вѣчны и равно свѣжи для настоящаго и будущаго, какъ они были для прошедшаго. Это заблужденіе, — но такое заблужденіе, которому нельзя отказать не только въ уваженіи, но и въ участіи, ибо оно выходитъ изъ памяти сердца, всегда святой и почтенной. Вполнѣ цѣня и уважая великій подвигъ Карамзина, мы тѣмъ не менѣе хотимъ видѣть дѣло въ его настоящемъ свѣтѣ и его истинныхъ границахъ, не умаляя и не преувеличивая; и потому не можемъ читать этихъ стиховъ съ восторгомъ людей, проникнутыхъ сердечнымъ вѣрованіемъ въ непреходящую истинность ихъ мысли:

Лежитъ вѣнецъ на мраморѣ могилы;
Ей молится Россія вѣрный сынъ;
И будитъ въ немъ для дѣлъ прекрасныхъ силы
Святое имя: Карамзинъ *).

Но въ то же время мы далеки и отъ всякаго непріязненнаго чувства, которое производится противоположностью убѣжденій и которое естественно могло — бѣ быть вызвано въ насъ этими стихами: мы не только понимаемъ, но и уважаемъ источникъ этого восторга, не совсѣмъ согласнаго съ дѣйствительностью факта. Поэтъ выше говоритъ о «лучшемъ времени своей жизни»:

О! въ эти дни, какъ райское видѣнье,
Былъ съ нами онъ, теперь ужъ не земной,
Онъ для меня живое провидѣнье,
Онъ съ юности товарищъ твой.

О! какъ при немъ все сердце разгоралось!
Какъ онъ для насъ всю землю украшалъ!
Въ младенческой душѣ его, казалось,
Небесный ангелъ обиталъ!

Эти стихи напоминаютъ намъ другіе, болѣе трогающіе насъ:

Сыны другого поколѣнья,
Мы въ новомъ—прошлогодній цвѣтъ;
Живыхъ намъ чужды впечатлѣнья,
А нашимъ въ нихъ сочувствій нѣтъ.
Они, что любимъ, разлюбили,
Страстямъ ихъ насъ не волновать!
Ихъ тамъ не было, гдѣ мы были,
Гдѣ будутъ—намъ ужъ не бывать!
Нашъ міръ—имъ храмъ опустошенный,
Имъ баснословье—наша быль,
И то, что пепелъ намъ священный,
Для нихъ одна тѣлая пыль.
Такъ мы развалинамъ подобны,
И на распутіи живыхъ
Стоимъ, какъ памятникъ надгробный
Среди обитателей людскихъ.

Грустное положеніе! но таковъ законъ историческаго хода времени. Рано или поздно онъ постигаетъ въ свою очередь каждое поколѣніе!

Увы! на жизненныхъ браздахъ
Мгновенной жатвой, поколѣнья,
По тайной волѣ провидѣнья,
Восходятъ, врѣются и падаютъ;
Другія имъ во слѣдъ идутъ...
Такъ наше вѣтренное племя
Растетъ, волнуется, кипитъ
И къ гробу праотцевъ тѣснитъ.
Придетъ, придетъ и наше время,
И наши внуки въ добрый часъ
Изъ міра вытѣснятъ и насъ.

Въ этомъ болѣе, нежели въ чемъ-нибудь другомъ, открывается трагическая сторона жизни и ея иронія. Прежде физической старости и физической смерти постигаетъ человѣка нравственная старость и смерть. Исключеніе изъ этого правила остается слишкомъ за немнѣгими... И благо тѣмъ, которые умѣютъ и въ зиму дней своихъ сохранить благодатный пламень сердца, живое сочувствіе ко всему великому и прекрасному бытію, — которые, съ умиленіемъ вспоминая о лучшемъ своемъ времени, не считаютъ себя среди кипучей, движущейся жизни современной дѣйствительности какими-то заклятыми тѣнями прошедшаго, но чувствуютъ себя въ живой, родственной связи съ настоящимъ и благословеніями привѣтствуютъ свѣтлую зарю будущаго... Благо имъ, этимъ вѣчно юнымъ старцамъ! не только свѣжее утро и знойный полдень блестятъ для нихъ на небѣ: Господь высылаетъ имъ и успокоительный вечеръ, да отдохнуть они въ его кроткомъ величіи...

Какъ бы то ни было, но свѣтлое торжество побѣды новаго надъ старымъ да не омрачится никогда жесткимъ словомъ или горькимъ чувствомъ враждебности противъ

*) «Стихотворенія Жуковскаго». Т. VI, стр. 80.

падшихъ. Побѣжденнымъ — состраданіе, за какую бы причину ни была проиграна ими битва! Падшій въ борьбѣ противъ духа времени заслуживаетъ больше сожалѣнія, нежели проигравшій всякую другую битву. Признавшій надъ собой побѣдителемъ духъ времени заслуживаетъ больше, чѣмъ сожалѣнія, заслуживаетъ уваженіе и участіе, — и мы должны не только оставить его въ покоѣ оплакивать предшедшихъ героевъ его времени и не возмущать насмѣшливой улыбкой его священной скорби, но и благоговѣнно остановиться передъ нею...

Другое дѣло тѣ слѣпые поклонники старыхъ авторитетовъ, которые видятъ одинъ фактъ, не понимая его идеи, стоятъ за имя, не зная, какое значеніе привязать къ нему, и для которыхъ дороги только старыя имена, какъ для нумизматовъ дороги только истертыя монеты. Это люди буквы, школяры и педанты. Вотъ они-то и составляютъ тотъ второй разрядъ безусловныхъ поклонниковъ старыхъ авторитетовъ. Для нихъ и Шекспиръ — титанъ творческой силы, и Ломоносовъ — также титанъ творческой силы; а почему? — Потому что оба эти имени — имена уже старыя, къ которымъ они, педанты и старовѣры литературные, давно уже прислушались и привыкли. По той же самой причинѣ для нихъ возмутительно видѣть имена Карамзина и Лермонтова, поставленные рядомъ: справясь съ литературной табелью о рангахъ, они видятъ большую разницу — не въ характерѣ дѣятельности, не въ родѣ таланта Карамзина и Лермонтова, а въ лѣтахъ и титлахъ этихъ писателей, и говорятъ о послѣднемъ: «куда ему — молодъ больно!». Равнымъ образомъ они убѣждены, въ простотѣ ума и сердца, что творенія Карамзина не только по формѣ, но и по содержанію ихъ, могутъ для нашего времени имѣть такой же интересъ, какой имѣли они для своего времени. Разумѣется, эти педанты и буквоеды не стоятъ ни возраженій, ни споровъ, и можно оставлять безъ отвѣта ихъ задорные крики. Что бы ни говорили они, для всѣхъ мыслящихъ людей ясно, какъ день Божій, что творенія Карамзина могутъ теперь составлять только болѣе или менѣе любопытный предметъ изученія въ исторіи русскаго языка, русской литературы, русской общественности, но уже нисколько не имѣютъ для настоящаго времени того интереса, который заставляетъ читать и перечитывать великихъ и самобытныхъ писателей. Въ сочиненіяхъ Карамзина все чуждо нашему времени — и чувства, и мысли, и слогъ, и самый языкъ. Во всемъ этомъ ничего нѣтъ нашего, и все это навсегда умерло для насъ.

Дѣятельность Карамзина была по преимуществу дѣятельность литератора, а не поэта,

не ученаго. Онъ создалъ русскую публику, которой до него не было: — подѣ «публикой» мы разумѣемъ извѣстный кругъ читателей. До Карамзина нечего было читать по-русски, потому что все не многое, написанное до него, несмотря на свои хорошія стороны, было ужасно тяжело и торжественно, и годилось для однихъ «ученыхъ», а не для общества. Карамзинъ умѣлъ заохотить русскую публику къ чтенію русскихъ книгъ. Какъ мы замѣтили выше, въ этомъ помогъ ему не новый, созданный имъ языкъ, а французское направленіе, которому подчинился Карамзинъ, и котораго необходимымъ слѣдствіемъ былъ его легкій и пріятный языкъ. Въ первой статьѣ мы уже упоминали о Дмитріевѣ, какъ о сподвижникѣ Карамзина. Дѣйствительно, Дмитріевъ для стихотворнаго языка сдѣлалъ почти то же, что Карамзинъ для прозаическаго, и сдѣлалъ это такимъ же точно образомъ, какъ Карамзинъ: поэзія Дмитріева, по ея духу и характеру, а слѣдовательно и по формѣ, есть чисто французская поэзія XVIII вѣка. Съ Карамзинымъ кончился Ломоносовскій періодъ русской литературы, періодъ тяжелаго и высокопарнаго книжнаго направленія, и весь періодъ отъ Карамзина до Пушкина слѣдуетъ называть Карамзинскимъ.

Но этотъ періодъ имѣетъ свои подраздѣленія, ибо въ продолженіе его литература обогащалась новыми элементами и двигалась впередъ. Къ этому періоду принадлежатъ Крыловъ, который одинъ могъ бы быть представителемъ цѣлаго періода литературы. Онъ создалъ національную русскую басню и тѣмъ первый внесъ въ литературу русскую элементъ народности. Но какъ въ баснѣ великій русскій баснописецъ имѣлъ образцомъ великаго французскаго баснописца, — какъ въ ней онъ былъ какъ бы продолжателемъ дѣла, начатаго Жювеномъ и продолженаго Дмитріевымъ, и какъ сверхъ того родъ его поэзіи не былъ такимъ родомъ, черезъ который можно-бы было стать во главѣ литературной эпохи, — то Крыловъ по справедливости можетъ считаться однимъ изъ блистательнѣйшихъ дѣятелей Карамзинскаго періода, въ то же время оставаясь самобытнымъ творцомъ новаго элемента русской поэзіи — народности. Другое дѣло — Озеровъ: несмотря на дарованіе ярко замѣчательное, онъ былъ результатомъ направленія, даннаго русской литературѣ Карамзинымъ. Въ трагедіяхъ Озерова преобладающій элементъ — сентиментальность. По формѣ же онъ — сколокъ съ французской трагедіи. Нѣтъ нужды распространяться здѣсь о Капнистѣ, Василенѣ Пушкинѣ, Владимірѣ Измайловѣ, Крюковскомъ, Милоновѣ и другихъ людяхъ съ большимъ или меньшимъ талантомъ, игравшихъ

большую или меньшую роль въ Карамзинскій періодъ: всѣ они были созданы духомъ Карамзина и выразили направленіе, данное имъ русской литературѣ. Въ своемъ мѣстѣ мы упомянемъ о болѣе самостоятельныхъ и болѣе замѣчательныхъ писателяхъ этой эпохи, каковы: Гнѣдичъ, Мерзляковъ и князь Вяземскій. Теперь же спѣшимъ перейти къ двумъ знаменитостямъ не только этого періода, но и вообще русской литературы—Жуковскому и Батюшкову.

Нашу литературу вообще нельзя обвинить въ стоячести и коснѣлости. Въ ней всегда было движеніе впередъ, даже въ Ломоносовскій періодъ. Если Херасковъ и Петровъ не только не подвинулись передъ Ломоносовымъ, но еще и отстали отъ него, хотя явились и послѣ, за то какая же чудовищная разница между Ломоносовымъ и Державинымъ, между притчами Сумарокова и баснями Хемницера, между комедіями Сумарокова и комедіями Фонвизина, между прозой не только Сумарокова, но и самого Ломоносова, даже какая значительная разница между драматургомъ Сумароковымъ и драматургомъ Княжниннымъ! Карамзинскій періодъ ознаменовался несравненно сильнѣйшимъ движеніемъ впередъ. Мы уже упомянули о Крыловѣ, какъ о поэтѣ Карамзинской эпохи, внесшемъ въ русскую поэзію совершенно новый для нея элементъ—народность, которая только проблескивала и промелькивала временами въ сочиненіяхъ Державина, но въ поэзіи Крылова явилась главнымъ и преобладающимъ элементомъ. Такого великаго и самобытнаго таланта, каковъ талантъ Крылова, было бы достаточно для того, чтобъ ему самому быть главой и представителемъ цѣлаго періода литературы; но (какъ мы уже замѣтили выше) ограниченность рода поэзіи, избраннаго Крыловымъ, не могла допустить его до подобной роли. Басни Крылова давно уже пережили творенія Карамзина; онѣ будутъ читаться до тѣхъ поръ, пока русское слово не перестанетъ быть живой рѣчью живого народа; но, несмотря на то, въ исторіи русской литературы Крыловъ всегда будетъ занимать свое мѣсто между замѣчательнѣйшими дѣятелями того періода русской литературы, главой и представителемъ котораго былъ Карамзинъ. Въ нѣкоторомъ отношеніи такова же была въ исторіи русской литературы и роль Жуковского. Таланта Жуковского также стало бы, чтобъ явиться главой и представителемъ цѣлаго періода молодой, рождающейся литературы. Жуковский внесъ новый, живой, можетъ-быть еще болѣе важный элементъ въ русскую поэзію, чѣмъ элементъ, внесенный Крыловымъ; Жуковский продолжилъ себѣ собственный путь, въ которомъ не было ему предшественниковъ; муза Жуковского воз-

расла, воспиталась на почвѣ, въ то время никому изъ русскихъ невѣдомой и недоступной,—и, несмотря на то, было бы дѣломъ чистаго произвола отмѣтить именемъ Жуковского какой-нибудь изъ періодовъ русской литературы, и не видѣть въ немъ опять-таки одного изъ знаменитѣйшихъ или даже и самаго знаменитѣйшаго дѣятеля въ томъ періодѣ русской литературы, главой и представителемъ котораго былъ Карамзинъ. Вънѣцъ поэзіи Жуковского составляютъ его переводы и заимствованія изъ нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ: въ этомъ онъ самобытенъ, какъ единственный глава и представитель своей собственной школы; въ этомъ выразился моментъ самаго сильнаго и плодотворнаго движенія впередъ русской литературы Карамзинскаго періода. Но у Жуковского есть и оригинальныя произведенія, особенно патріотическія пьесы и посланія; сверхъ того онъ былъ знаменитъ еще какъ отличный писатель и переводчикъ въ прозѣ. И вотъ съ этой-то стороны онъ является писателемъ, совершенно подчиненнымъ вліянію Карамзина, во многихъ отношеніяхъ даже ученикомъ его. Конечно, по языку, оригинальныя стихотворенія Жуковского (въ особенности патріотическія пьесы и посланія) гораздо выше стихотвореній Карамзина и Дмитріева; но ихъ духъ, направленіе, характеръ, содержаніе—все это нисколько не отступаетъ отъ идеала поэзіи XVIII вѣка,—идеала поэзіи, который такъ присущъ и родственъ былъ Карамзинскому взгляду на поэзію вообще. Что же касается до Жуковского, — онъ является въ ней совершенно ученикомъ Карамзина, и если въ отношеніи къ стилистикѣ ученикъ подвинулся дальше учителя, то взглядъ на предметы, складъ ума, характеръ слога и языка—все это чисто Карамзинское. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, стоитъ только прочесть критическіе разборы Жуковского сатиры Кантемира и басенъ Крылова, статьи его: «Марьяна Роща», «Три Сестры», «Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ», «Писатель въ обществѣ» и проч. Выборъ переводныхъ статей въ прозѣ у Жуковского тоже отличается совершенно Карамзинскимъ духомъ, несмотря на то, что многія статьи переведены съ нѣмецкаго. Намъ можетъ-быть возразить, что «Рафаэлева Мадонна» есть тоже оригинальная статья въ прозѣ Жуковского, но что въ ней уже нѣтъ ничего Карамзинскаго. Правда; но просимъ не забывать, что эта статья написана Жуковскимъ въ 1820 году,—въ то время, когда вліяніе Карамзина на русскую литературу уже ослабло съ одной стороны, усилившись съ другой: тогда Карамзинъ былъ уже историкомъ Россіи, а собственно литературныя его произведенія уже забывались. Вообще въ это время Жуковский сталъ дѣй-

ствовать какъ-то самостоятельны, освободившись отъ вліянія Карамзина. Надобно еще замѣтить, что въ это время вліяніе на литературу и слава Жуковского достигли своего высшаго развитія, тогда какъ до этого времени Жуковский былъ какъ-будто въ тѣни. Ему удивлялись, его хвалили; но онъ все-таки писалъ для «немногихъ». И какъ тогда понимали его! Его называли «балладистомъ», въ немъ видѣли пѣвца могилъ и привидѣній... Ему подражали, но въ чемъ?—въ формѣ, а не въ духѣ,—и рядъ бессмысленныхъ и нелѣпыхъ балладъ былъ плодомъ этого подражанія. Ему удивлялись, какъ русскому Тиртею, какъ пѣвцу народной славы,—и «Пѣвцы во Станѣ» и «На Кремлѣ» доказали, какъ не мудро подражать подобной народности... Но передъ двадцатыми годами и въ двадцатыхъ годахъ текущаго столѣтія Жуковский получилъ именно то значеніе, какое онъ всегда имѣлъ. Тогдашняя молодежь, развившаяся подъ вліяніемъ великихъ событій 1814 года, съ жадностью бросилась на нѣмецкую литературу, съ которой Жуковский давно уже породнилъ русскій умъ и русскую музу. Всѣ заговорили о романтизмѣ, о новой теоріи поэзіи; всѣ возстали противъ владычества псевдо-классической французской поэзіи. Въ поэзіи русской явились луна и туманы, уныніе и грусть, смерть и гробъ. Но въ это время уже кончился Карамзинскій періодъ русской литературы, и черезъ десять лѣтъ сама «Исторія» Карамзина сдѣлалась предметомъ неумѣренныхъ и не всегда справедливыхъ нападокъ. Лучезарная звѣзда поэтической славы Жуковского вспыхнула и загорѣлась ярко уже въ новомъ періодѣ русской литературы: тогда уже явился Пушкинъ, и для Жуковского, еще во всей порѣ его дѣятельности, уже наставало потомство... Періода, означеннаго именемъ Жуковского, не было въ русской литературѣ... И однакожь необъятно велико значеніе этого поэта для русской поэзіи и литературы! Имя его давно славно и почтенно; похвалы ему никогда не умолкали. Но, къ сожалѣнію, эти похвалы уже лѣтъ тридцать пять поются какъ-то на одинъ голосъ и состоятъ изъ однихъ и тѣхъ же словъ, изъ однихъ и тѣхъ же выраженій. А вѣдь дѣло критики совсѣмъ не въ томъ, чтобы провозгласить писателя великимъ талантомъ или гениемъ: это скорѣе дѣло общественнаго мнѣнія, чѣмъ критики. Дѣло критики—привести въ сознаніе, путемъ анализа, общественное мнѣніе и показать значеніе, смыслъ таланта или гения, опредѣлить тотъ жизненный элементъ, который составляетъ исключительное свойство его произведеній и которымъ онъ обогатилъ родную литературу и жизнь своего общества. Въ «Отечественныхъ Запискахъ»

впервые было сказано, что заслуга Жуковского состоитъ въ томъ, что онъ ввелъ въ русскую поэзію романтизмъ, и что истиннымъ романтикомъ русскимъ былъ совсѣмъ не Пушкинъ (какъ объ этомъ кричали лѣтъ двадцать), а Жуковский. Слово истины не падаетъ даромъ, и наше мнѣніе подхватили нѣкоторые «именные» (въ противоположность «безыменнымъ») критики,—тѣ самые, которые право критики основываютъ не на талантѣ и чувствѣ изящнаго, а по китайски—на экзаменахъ и числѣ и цвѣтѣ мандаринскихъ шариковъ. Но сказать даже и отъ себя (не только повторить чужое мнѣніе), что Жуковский ввелъ романтизмъ въ русскую поэзію, еще не значитъ все сказать: должно развить и доказать это положеніе. И мы теперь очень рады, что, назначивъ статьѣ о Пушкинѣ столь широкія рамы, можемъ представить во введеніи къ ней картину историческаго развитія всей литературы русской, а вмѣстѣ съ тѣмъ и привести въ исполненіе давнишнее желаніе наше—вполнѣ развить и высказать нашъ взглядъ на поэта, которому мы такъ много обязаны въ дѣлѣ собственнаго нашего развитія, съ мыслью о которомъ сливается для насъ столько прекрасныхъ и живыхъ воспоминаній,—поэзія котораго давно срослась съ нашимъ сердцемъ, и къ которому теперь мы въ то же время чужды всякихъ восторженныхъ предубѣжденій... Мы надѣемся, что для публики подобная статья не можетъ не быть интересна, ибо ей дорогъ предметъ ея,—а отъ кого же услышать она о немъ живое, современное слово? Неужели отъ задорливыхъ педантовъ, которые кричатъ только объ именности и безыменности, какъ о правѣ критиковать, и всякое чужое мнѣніе считаютъ или дерзкимъ, или продажнымъ, потому только, что хоть оно и не ихъ мнѣніе, однакожь находить себѣ сочувствіе и отзывъ въ ущербъ ихъ педантическимъ возгласамъ, всегда подпisanнымъ ихъ собственнымъ именемъ?... Дождайтесь отъ нихъ!...

Батюшковъ также пользуется на Руси большимъ и заслуженнымъ вниманіемъ и также ждетъ себѣ критической оцѣнки. Имя его связано съ именемъ Жуковского: они дѣйствовали дружно въ лучшіе годы своей жизни; ихъ разлучила жлзнь, но имена ихъ всегда какъ то вмѣстѣ ложатся подъ перо критика и историка русской литературы. Батюшковъ имѣетъ важное значеніе въ русской литературѣ—конечно не такое, какъ Жуковский, но тѣмъ не менѣе самобытное. Онъ явился на поприще нѣсколько позже Жуковского и занимаетъ мѣсто въ литературѣ тотчасъ послѣ него. Поэтому весьма удобно опредѣлить его значеніе (не те-

раясь въ подробностяхъ) въ одной статьѣ съ Жуковскимъ, — что и стараемся мы сдѣлать теперь.

Жуковский ввелъ въ русскую поэзію романтизмъ. Что же такое романтизмъ вообще и романтизмъ Жуковского въ особенности? Вотъ вопросъ, отъ рѣшенія котораго зависитъ опредѣленіе значенія, какое имѣетъ Жуковский въ русской литературѣ... У насъ много говорили, толковали и спорили о романтизмѣ. «Московский Телеграфъ» былъ журналомъ, какъ бы издававшимся для романтизма, — а журналъ этотъ существовалъ съ 1825 по 1834 годъ. Но если толки о романтизмѣ кончились на Руси съ «Московскимъ Телеграфомъ», то начались они гораздо раньше, именно въ исходѣ второго десятилѣтія текущаго столѣтія. Но отъ всего этого вопросъ не уяснился, и романтизмъ попрежнему остался таинственнымъ и загадочнымъ предметомъ. Его поняли, какъ противоположность французскому псевдо-классицизму. Отсюда естественно вышла ошибка: какъ подъ классицизмомъ разумѣли известную условную форму искусства, такъ подъ романтизмомъ стали разумѣть нарушение правилъ этой условной формы. И потому кто соблюдалъ въ трагедіи знаменитыя три единства, героями ея дѣлалъ только царей и ихъ наперсниковъ, заставляя ихъ говорить напыщенно и важно, — тотъ считался классикомъ; кто же въ своей драмѣ переносилъ дѣйствіе изъ одного мѣста въ другое, на нѣсколькихъ страницахъ сосредоточивалъ событіе, совершившееся въ промежутокъ не одного десятка лѣтъ, число актовъ своей драмы не хотѣлъ ограничивать звѣтной суммой пяти, а дѣйствующими лицами въ ней позволялъ быть людямъ всякаго званія, — тотъ считался ультра-романтикомъ. Взглядъ «Телеграфа» на романтизмъ былъ именно таковъ. Лучшимъ доказательствомъ этого служатъ теперешнія драматическія издѣлія бывшаго издателя «Московского Телеграфа»: подобно классическимъ трагедіямъ добраго стараго времени, драмы Полевого такъ же точно сколки и рабскія копія, только съ другихъ образцовъ, и въ нихъ не видно даже таланта подражательности, а видна одна способность передразниванія и смѣлаго заимствованія, — между тѣмъ какъ именно передразниванье и заимствованіе ставилъ Полевой въ непростительный грѣхъ псевдо-классическимъ поэтамъ. Очевидно, что онъ классицизмъ и романтизмъ полагалъ во внѣшней формѣ. Пушкина поэмы, мелкія стихотворенія, самая фактура стиха, — все было ново и нисколько не походило на образцы существовавшей до него русской поэзіи: и за это то именно Полевой вмѣстѣ съ другими провозгласилъ Пушкина роман-

тикомъ, нисколько не подозрѣвая романтика въ Жуковскомъ.

Дѣйствительно, у романтической поэзіи необходимо должна быть своя форма, не похожая на форму классической, но это потому, что всякая оригинальная идея имѣетъ свою, ей присущую, оригинальную форму, всякій самобытный духъ является въ свойственной ему самобытной личности. Однакожъ какъ форма есть твореніе явившагося въ ней духа, то, отправляясь отъ формы, никогда нельзя постичь заключеннаго въ ней духа; наоборотъ, только отправляясь отъ духа, можно постичь и самый духъ, и выразившую его форму. Поэтому сущность романтизма заключается въ его идеѣ, а не въ произвольныхъ случайностяхъ внѣшней формы.

Романтизмъ — принадлежность не одного только искусства, не одной только поэзіи: его источникъ въ томъ, въ чемъ источникъ и искусства, и поэзіи — въ жизни. Жизнь тамъ, гдѣ — человѣкъ, а гдѣ — человѣкъ, тамъ и романтизмъ. Въ тѣснѣйшемъ и существѣннѣйшемъ своемъ значеніи романтизмъ есть не что иное, какъ внутренній міръ души человѣка, сокровенная жизнь его сердца. Въ груди и сердцѣ человѣка заключается таинственный источникъ романтизма: чувство, любовь есть проявленіе или дѣйствіе романтизма, и потому почти всякій человѣкъ — романтикъ. Исключеніе остается только или за эгоистами, которые кромѣ себя никого любить не могутъ, или за людьми, въ которыхъ священное зерно симпатіи и антипатіи задавлено и заглушено или нравственной неразвитостью, или матеріальными нуждами бѣдной и грубой жизни. Вотъ самое первое, естественное понятіе о романтизмѣ.

Законы сердца, какъ и законы разума, всегда одни и тѣ же, и потому человѣкъ по натурѣ своей, всегда былъ, есть и будетъ одинъ и тотъ же. Но какъ разумъ, такъ и сердце живутъ, а жить — значитъ развиваться, двигаться впередъ: поэтому человѣкъ не можетъ одинаково чувствовать и мыслить всю жизнь свою; по его образъ чувствованія и мышленія измѣняется сообразно возрастамъ его жизни: юноша иначе понимаетъ предметы и иначе чувствуетъ, нежели отрокъ; возможный человѣкъ много разнится въ этомъ отношеніи отъ юноши, старецъ отъ мужа, хотя всѣ они чувствуютъ однимъ и тѣмъ же сердцемъ, мыслятъ однимъ и тѣмъ же разумомъ. Это различіе въ характерѣ чувства и мысли вытекаетъ изъ природы человѣка и существуетъ для cadaго: оно связано съ его неизбѣжнымъ свойствомъ роста, мужать и старѣться физически. Но человѣкъ имѣетъ не одно только значеніе существа индивидуальнаго и личнаго. Кромѣ того онъ еще

членъ общества, гражданинъ своей земли, принадлежитъ къ великому семейству человѣческаго рода. Поэтому онъ — сынъ времени и воспитанникъ исторіи: его образъ чувствованія и мышленія видоизмѣняется сообразно съ общественностью и національностью, къ которымъ онъ принадлежитъ, съ историческимъ состояніемъ его отечества и всего человѣческаго рода. Итакъ, чтобы вѣрнѣе опредѣлить значеніе романтизма, мы должны указать на его историческое развитіе. Романтизмъ не принадлежитъ исключительно одной только сферѣ любви: любовь есть только одно изъ существенныхъ проявленій романтизма. Сфера его, какъ мы сказали, — вся внутренняя, задушевная жизнь человѣка, та таинственная почва души и сердца, откуда поднимаются всѣ неопредѣленные стремленія къ лучшему и возвышенному, стараясь находить себѣ удовлетвореніе въ идеалахъ, творимыхъ фантазіей. Здѣсь для примѣра укажемъ только на то, какъ проявлялась любовь — по преимуществу романтическое чувство — въ историческомъ движеніи человѣчества.

Востокъ — колыбель человѣчества и царство природы. Человѣкъ на Востокѣ — сынъ природы: младенцемъ лежитъ онъ на груди ея и старцемъ умираетъ на ея же груди. Востокъ и теперь остался вѣренъ основному закону своей жизни — естественности, близкой къ животности. Любовь на Востокѣ навсегда осталась въ первомъ моментѣ своего проявленія: тамъ она всегда выражала и теперь выражаетъ не болѣе, какъ чувственное, на природѣ основанное, стремленіе одного пола къ другому. Само собой разумѣется, что первый и основной смыслъ любви заключается въ заботливости природы о поддержаніи и размноженіи рода человѣческаго. Но еслибъ въ любви людей все ограничивалось только этимъ расчетомъ природы, — люди не были бы выше животныхъ. Слѣдственно, это чувственное стремленіе въ любви человѣка одного пола къ человѣку другого пола есть только одинъ изъ элементовъ чувства любви, его первый моментъ, за которымъ въ развитіи слѣдуютъ высшіе, болѣе духовные и нравственные моменты. Востоку суждено было остановиться на первомъ моментѣ любви и въ немъ найти полное осуществленіе этого чувства. Отсюда вытекаетъ семейственность, какъ главный и основной элементъ жизни восточныхъ народовъ. Имѣть потомство — первая забота и высочайшее блаженство восточнаго жителя; не имѣть дѣтей — это для него знаменіе небснаго проклятія, нравственного отверженія. По закону іудейскому, бесплодныя женщины были побиваемы камнями, какъ преступницы. Отцы тамъ женили сыновей своихъ еще отроками; братъ

долженъ былъ жениться на вдовѣ своего брата, чтобы «возстановить сѣмя своему брату». Отсюда же выходитъ и восточная полигамія (многоженство) Гаремы существовали на Востокѣ всегда, и ихъ нельзя считать исключительно принадлежащими исламу. Обитатель Востока смотритъ на женщину, какъ на жену или какъ на рабыню, но не какъ на женщину, потому что отъ женщины мужчины всегда добивается взаимности, какъ необходимаго условія счастливой любви, — отъ жены или рабы онъ требуетъ только покорности. Для него — это вещь, очень искусно прирочовленная самой природой для его наслажденія: кто же станетъ церемониться съ вещью? Миенъ — самое вѣрное свидѣтельство романтической жизни народовъ. Въ миеняхъ Востока мы не находимъ еще ни идеала красоты, ни идеала женщины. Всѣ миенъ по преимуществу выражаютъ одно неутолимое вожделѣніе, — одно чувство: сладострастіе, — одну идею: вѣчную производительность природы.

Гораздо выше романтизмъ греческій. Въ Греціи любовь является уже въ высшемъ моментѣ своего развитія: тамъ она — чувственное стремленіе, просвѣтленное и одухотворенное идеей красоты. Тамъ уже въ самомъ началѣ миенческаго сознанія за явленіемъ Эроса (любви, какъ общей сущности міровой жизни) тотчасъ слѣдуетъ рожденіе Афродиты — красоты женской. Афродита собственно была не богиней любви, но богиней красоты. Когда родилась она изъ волнъ морскихъ и вышла на берегъ, къ ней сейчасъ присоединились любовь и желаніе. Этотъ граціозный миенъ достаточно объясняетъ собой сущность и характеръ эллинскаго понятія объ отношеніяхъ обоихъ половъ. Грекъ обожалъ въ женщинѣ красоту, а красота уже порождала любовь и желаніе; слѣдовательно, любовь и желаніе были уже результатомъ красоты. Отсюда понятно, какъ у такого нравственно-эстетическаго народа, какъ греки, могла существовать любовь между мужчинами, освященная миномъ Ганимеда, — могла существовать не какъ крайній развратъ чувственности (единственное условіе, подъ которымъ она могла бы являться въ наше время), а какъ выраженіе жизни сердца. Примѣры такой любви были очень нерѣдки у грековъ. Вотъ одинъ изъ самыхъ поразительныхъ. Павзаній говоритъ, что онъ нашелъ въ одномъ мѣстѣ статую юноши, названную антаросъ (взаимную любовь), и рассказываетъ услышанную имъ отъ жителей того мѣста легенду о происхожденіи этой статуи. Одинъ юноша, тронутый необыкновенной красотой другого, почувствовалъ къ нему непреодолимо страстное стремленіе. Встрѣтивъ въ отвѣтъ на свое чувство совер-

шенную холодность и напрасно истощивъ мольбы и стоны къ ея побѣжденію, онъ бросился въ море и погибъ въ немъ. Тогда прекрасный юноша, вдругъ проникнутый и пораженный силой возбужденной имъ страсти, почувствовалъ къ погибшему такое сожалѣніе и такую любовь, что и самъ добровольно погибъ въ волнахъ того же моря. Въ честь обоихъ погибшихъ и была воздвигнута статуя—антэрозъ.

У грековъ была не одна Венера, но три: Уранія (небесная), Пандемосъ (обыкновенная) и Апострофія (предохраняющая или отвращающая). Значеніе первой и второй понятно безъ объясненій; значеніе третьей было—предохранять и отвращать людей отъ гибельныхъ злоупотребленій чувственности. Изъ этого видно, что нравственное чувство всегда лежало въ самой основѣ національнаго эллинскаго духа. Однакожъ это нисколько не противорѣчитъ тому, что преобладающій элементъ ихъ любви было неукротимое, страстное стремленіе, требовавшее или удовлетворенія, или гибели. Поэтому они смотрѣли на Эрота, какъ на бога страшнаго и жестокаго, для котораго было какъ бы забавой губить людей. Множество трагическихъ легендъ любви у грековъ вполне оправдываетъ такой взглядъ на Эрота—это маленькое крылатое божество съ коварной улыбкой на младенческомъ лицѣ, съ гибельнымъ лукомъ въ рукѣ и страшнымъ колчаномъ за плечами. Кому неизвѣстно преданіе о любви Сафо къ Фаону и о скакѣ Левкадской? А сколько легендъ о страстной любви между братьями и сестрами, — любви, которая оканчивалась или смертью безъ удовлетворенія, или казнью раздраженныхъ боговъ въ случаѣ преступнаго удовлетворенія! Овидій передалъ помѣстивъ ужасную легенду о такой любви дочери къ отцу. Старая няня несчастной ввела ее въ темнотѣ на ложе отца, упоеннаго виномъ и неподозрѣвавшаго истину, — и сперва Эвмениды, а потомъ превращеніе было наказаніемъ боговъ, постигшимъ несчастную. Но сколько граціи и гуманности въ греческой любви, когда она увѣнчивалась законной взаимностью! Недаромъ въ прелестномъ мифѣ Эрота и Психеи греки выразили политическую мысль брачнаго сочетанія любви съ душой! Павзаній рассказываетъ о статуѣ стыдливости трогательную, исполненную души и граціи романтическую легенду. Статуя эта изображала дѣвушку, которой преклоненная голова была накрыта покрываломъ. Вотъ смыслъ этой статуи: когда Одиссей, женившись на Пенелопѣ, рѣшился возвратиться изъ Лакедемона въ Итаку, Икаръ, престарѣлый царь, тестъ его, не вынося мысли о разлукѣ съ дочерью, со слезами умолялъ его остаться. Улиссъ уже го-

товъ былъ взойти на корабль, — старецъ палъ къ его ногамъ. Тогда Улиссъ сказалъ ему, чтобы онъ спросилъ свою дочь, кого она выберетъ между ними—отца или мужа; Пенелопа, не говоря ни слова, покрывалась покрываломъ, — и старецъ изъ этого безмолвнаго и граціозно-женственнаго отвѣта понялъ, что мужъ для нея дороже отца, хотя страхъ и нежеланіе оскорбить чувство родительской любви и сковали уста ея... Это романтизмъ! Въ ученіи вдохновеннаго философа, божественнаго Платона, греческое созерцаніе любви возвышается до небснаго просвѣтленія, такъ что ничего не оставляетъ въ побѣду надъ собой среднимъ вѣкамъ, этой ультра-романтической эпохѣ...

«Наслажденіе красотой (говоритъ этотъ величайшій романтикъ не только древней Греціи, но и всего міра) въ этомъ мірѣ возможно въ чловѣкѣ только по воспоминанію той единой, истинной и совершенной красоты, которую душа припоминаетъ себѣ въ первоначальной ея родинѣ. Вотъ почему арѣллице прекраснаго на землѣ, какъ воспоминаніе о красотѣ горней, способствуетъ тому, чтобы окрылять душу къ небесному и возвращать ее къ божественному источнику всякой красоты... Красота была свѣтлаго вида въ то время, когда мы счастливымъ хоромъ слѣдовали за Діемъ, въ блаженномъ видѣніи и созерцаніи, другіе же—за другими богами; мы зрѣли и совершали блаженнѣйшее изъ всѣхъ таинствъ; приобщались ему всецѣлѣе, непричастные бѣдствіямъ, которыя въ позднее время насъ постигли; погружались въ видѣніа совершенныя, простыя, не страшныя, но радостныя, и созерцали ихъ въ свѣтѣ чистомъ. сами будучи чисты и незапятнаны тѣмъ, что мы, нынѣ влача съ собой, называемъ тѣломъ, мы, заключенные въ него какъ въ раковину... Красота одна получила здѣсь этотъ жребій быть пресвѣтлой и достойной любви. Не исполнѣ посвященный, развратный стремится къ самой красотѣ, не взирая на то, что носить ея имя; онъ не благодаритъ передъ ней, а подобно четвероногому ищетъ одного чувственнаго наслажденія, хочетъ слить прекрасное съ своимъ тѣломъ... Напротивъ того, вновь посвященный, увидѣвъ богамъ подобное лицо, изображающее красоту, сначала трепещетъ; его объемлетъ страхъ; потомъ, созерцая прекрасное, какъ бога, онъ обожаетъ и, еслибы не боялся, что назовутъ его безумнымъ, онъ принесъ бы жертву предмету любимому...»

Нельзя не согласиться, что никогда романтизмъ не являлся въ такомъ лучезарномъ и чистомъ свѣтѣ своей духовной сущности, какъ въ этихъ словахъ величайшаго изъ мудрецовъ классической древности...

Но все это показываетъ только глубину эллинскаго духа, часто въ созерцаніяхъ своихъ опережавшаго самого себя, и не только не противорѣчитъ, но еще подтверждаетъ истину, что паеосъ къ красотѣ составляетъ высшую сторону жизни грековъ. А богиня красоты,—какъ мы уже замѣтили выше,—сопровождалась у нихъ любовью и желаніемъ... Чувство красоты, какъ только красоты, а не красоты и души вѣстѣ, не

есть еще высшее проявление романтизма. Женщина существовала для грека въ той только мѣрѣ, въ какой была она прекрасна, и ея назначеніе было удовлетворять чувству изящнаго сладострастія. Самая стыдливость ея служила къ усиленію страстного упоенія мужчины. Елена «Иліады» — представительница греческой женщины: и боги, и смертные иногда называютъ ее безстыдной и презрѣнной, но ей покровительствуетъ сама Киприда и собственной рукой возводитъ ее на ложе Александра-богovidнаго, позорно бѣжавшаго съ поля битвы; за нее сражаются и цари, и народы, гибнетъ Троя, пылаетъ Иліонъ — священная обитель царственного старца Пріама... Въ пьесахъ, такъ превосходно переведенныхъ Батюшковымъ изъ греческой антологіи, можно видѣть характеръ отношеній любящихся, какъ на примѣръ въ этой эпиграммѣ:

Свершилось: Никагоръ и пламенный Эротъ
За чашей вакховой Аглаю побѣдили...
О радости! адъсь они сей поясъ разрѣшили,
Стыдливости дѣвической оплотъ.
Вы видите: кругомъ разсыяны небрежно
Одежды пышныя надменной красоты,
Покровы легкіе изъ дымки бѣлоснѣжной,
И обувь стройная, и свѣжіе цвѣты:
Здѣсь всѣ развалины роскошнаго убора,
Свидѣтели любви и счастья Никагора!

Въ этой пьескѣ схвачена вся сущность романтизма по греческому воззрѣнію: это — изящное, проникнутое граціей наслажденіе. Здѣсь женщина — только красота, и больше ничего; здѣсь любовь — минута поэтического, страстного упоенія, и больше ничего. Страсть насытилась — и сердце летитъ къ новымъ предметамъ красоты. Грекъ обожалъ красоту, и всякая прекрасная женщина имѣла право на его обожаніе. Грекъ былъ вѣренъ красотѣ и женщинѣ, но не этой красотѣ или этой женщинѣ. Когда женщина лишалась блеска своей красоты, она теряла вмѣстѣ съ нимъ и сердце любившаго ее. И если грекъ цѣнилъ ее и въ осень дней ея, то все же оставаясь вѣрнымъ своему воззрѣнію на любовь, какъ на изящное наслажденіе:

Тебѣ-ль оплакивать утрату юныхъ дней?

Ты въ красотѣ не измѣнилась,

И для любви моей

Отъ времени еще прелестнѣе явилась.

Твой другъ не дорожитъ неопытной красотой,
Незрѣлой въ таинствахъ любовнаго искусства:
Безъ жизни взоръ ея стыдливый и нѣмой,
И робкій подбѣл безъ чувства.

Но ты владычица любви,

Ты страсть вдохнешь и въ мертвый камень;
И въ осень дней твоихъ не погасаетъ пламень,
Текущій съ жизнію въ крови...

Сколько страсти и задушевной граціи въ этой эпиграммѣ!

Въ Лансѣ нравится улыбка на устахъ,
Ея плѣнительны для сердца разговоры;
Но мнѣ милѣй ея потупленные взоры

И слезы горести внезапной на очахъ.
Я въ сумерки вчера, одушевленный страстью,
У ногъ ея любви всѣ клятвы повторялъ,
И съ подбѣлемъ къ сладострастію
На ложе роскоши тихонько увлекалъ...

Я таилъ, и Ланса мѣла...

Но вдругъ уныла, поблѣдѣла,

И слезы градомъ изъ очей!

Смущенный, я прижалъ ее къ груди моей;

«Что сдѣлалось, скажи, что сдѣлалось съ тобою?»

— Спокойна, ничего, безсмертными клянусь!

Я мыслию была встревожена одною:

Вы всѣ обманчивы, и я... тебя страшусь.

Романтическая лира Эллады умѣла воспѣвать не одно только счастье любви, какъ страстное и изящное наслажденіе, и не одну муку нераздѣленной страсти: она умѣла плакать еще и надъ урокой милаго праха, и элегія, — этотъ ультра-романтический родъ поэзіи, — была создана ею же, свѣтлой музой Эллады. Когда отъ страстно любящаго сердца смерть отнимала предметъ любви прежде, чѣмъ жизнь отнимала любовь, — грекъ умѣлъ любить скорбной памятію сердца:

Въ обители ничтожества унылой,

О, незабвенная! прими потоки слезъ,

И вопль отчаянья надъ холодной могилой,

И горсть, какъ ты, минутныхъ розъ.

Ахъ, тщетно все! изъ вѣчной сѣни

Ничѣмъ не призовемъ твоей прискорбной тѣни:

Добычу не отдастъ завистливый Аидъ.

Здѣсь онѣмѣніе; все холодно молчитъ;

Надгробный факелъ мой лишь мраки освѣщаетъ...

Что, что вы сдѣлали, властители небесъ?

Скажите, что краса такъ рано погибаетъ?

Но ты, о мать-земля! съ сей данью горькихъ слезъ,

Прими почившую, поблѣкшій цвѣтъ весенній,
Прими и успокой въ гостепріимной сѣни!

Но примѣры романтизма греческаго не въ одной только сферѣ любви. «Иліада» усѣяна ими. Вспомните Ахиллеса,

Въ сердцѣ питаваго скорбь о красно-опоясанной дѣвѣ,

Силой Атрида отъятой.

Когда уводятъ отъ него Бризиду, страшный силой и могуществомъ герой —

Бросилъ друзей Ахиллесъ и, далеко отъ всѣхъ одинокій,

Сѣлъ у пучины сѣдой и, взирая на Понтъ темноводный,

Руки въ слезахъ простиралъ, умоляя любезную мать...

Эта сила, эта мощь, которая скорбитъ и плачетъ о нанесенной сердцу ранѣ, вмѣсто того чтобъ страшно мстить за нее, — что же это такое, если не романтизмъ? А тѣмъ несчастливца Патрокла, явившагося Ахиллу во снѣ?

Только Пелидъ на берегу неумолчно-шумящаго моря
Тяжко стелавшій лежалъ, окруженный толпой мирмидонянъ,

Ницъ на полянѣ, гдѣ волны лишь шумныя
 билися въ берегъ,
 Тамъ надъ Пелидомъ сонъ, сердечныхъ тре-
 вогъ укротитель,
 Сладкій разлился: герой истомилъ благород-
 ные члены,
 Гектора быстро гоня подъ высокой стѣной
 Иліона.
 Тамъ Ахиллѣсу явилась душа несчастливца
 Патрокла,
 Призракъ, величіемъ съ нимъ и очами пре-
 красными сходный;
 Та-жъ и одежда, и голосъ тотъ самый, сердцу
 такому...

Тѣмъ Патрокла умоляетъ Ахилла о погребеніи и о томъ еще, когда придетъ часъ Ахилла, то чтобъ кости ихъ покоились въ одной урнѣ... Ахиллъ отвѣчаетъ возлюбленной тѣни радостной готовностью совершить ея «завѣты крѣпкіе» и молить ее приблизиться къ нему для дружнаго объятія...

Рекъ, и жадныя руки любимца обнять рас-
 простеръ онъ;
 Тщетно: *душа Мектида, какъ облако дыма,*
сквозь землю
съ воетъ ушла. И вскочилъ Ахиллъ, поражен-
 ный видѣньемъ,
 И руками всплеснулъ, и печальный такъ го-
 ворилъ онъ:
 «Боги! такъ подлинно есть и въ аидовомъ до-
 мѣ подземномъ
 «Духъ человѣка и образъ, но онъ совершенно
 безплотный!
 «Цѣлую ночь, я видѣлъ, душа несчастливца
 Патрокла
 «Все надо мною стояла, стенающій, плачущій
 призракъ;
 «Все мнѣ завѣты твердила, ему совершенно
 подобясь!»

Это ли не романтизмъ?

А старецъ Пріамъ, лобызающій руки убій-
 цы дѣтей своихъ и умоляющій его о выкупѣ
 Гекторова тѣла?

Старецъ, никѣмъ непримѣченный, входитъ въ
 покой и, Пелиду
 Въ ноги упавъ, обнимаетъ колѣна и руки цѣ-
 луетъ,
 Страшныя руки, дѣтей у него погубившія
 многихъ...

«Вспомни отца своего, Ахиллѣсъ, бессмерт-
 нымъ подобный,
 «Старца такого жъ, какъ я на порогѣ старо-
 сти скорбной!
 «Можетъ быть въ самый сей мигъ, и его
 окруживши, сосѣди
 «Ратью тѣснятъ, и некому старца отъ горя
 позавать...
 «Но по крайней онъ мѣрѣ, что живъ ты и,
 зная и слыша,
 «Сердце тобой веселитъ и вседневно льстится
 надеждой
 «Милого сына узрѣть, возвратившагося въ
 домъ изъ-подъ Трои,
 «Я же, несчастнѣйшій смертный, сыновъ воз-
 растилъ браноносныхъ
 «Въ Троѣ святой, и изъ нихъ ни единого мнѣ
 не осталось!
 «Я пятьдесятъ ихъ имѣлъ при нашествіи рати
 ахейской:

«Ихъ девятнадцать братьевъ отъ матери было
 единой;
 «Прочихъ родили другія любезныя жены въ
 чертогахъ:
 «Многимъ Арей истребитель сломилъ имъ не-
 счастливымъ колѣна,
 «Сынъ остался одинъ, защищать онъ и градъ
 нашъ, и гражданъ;
 «Ты умертвилъ и его, за отчину сражавша-
 гося храбро
 «Гектора! Я для него прихожу къ кораблямъ
 миридонскимъ;
 «Выкупить тѣло его, приношу драгоценный я
 выкупъ.
 «Храбрый, почти ты боговъ, надъ моимъ зло-
 получіемъ сжался,
 «Вспомнивъ Пелея родителя! я еще болѣе жа-
 локъ!
 «Я испытую, чего на землѣ не испытывалъ
 смертный:
 «*Мужа, убійцу дѣтей моихъ, руки къ устамъ*
прижимаю!»

Такъ говоря, возбудилъ объ отцѣ въ немъ пе-
 чальныя думы;
 За руку старца онъ взявъ, отъ себя отло-
 нилъ его тихо.
 Оба они вспоминая: Пріамъ знаменитаго сына,
 Горестно плакалъ у ногъ Ахиллесовыхъ въ
 прахѣ простертый;
 Царь Ахиллѣсъ, то отца вспоминая, то друга
 Патрокла,
 Плакалъ—и горестный стонъ ихъ кругомъ раз-
 давался по дому.

Заключимъ наши указанія на романтизмъ
 греческій прекрасной эпиграммой, переве-
 денной Батюшковымъ же изъ греческой ан-
 тологіи; она называется—«Яворъ къ Про-
 хожему»:

Смотрите, виноградъ кругомъ меня какъ
 вѣтса!
 Какъ любить мой полуниставшій пенъ!
 Я нѣкогда ему давалъ отраду тѣнь;
 Завялъ: но виноградъ со мной не разстается.
 Зевеса умоли,
 Прохожій, если ты для дружества способенъ,
 Чтобъ другъ твой моему былъ нѣкогда подо-
 бенъ
 И пепелъ твой любилъ, оставшись на землѣ.

Въ основѣ всякаго романтизма непременно
 лежитъ мистицизмъ, болѣе или менѣе
 мрачный. Это объясняется тѣмъ, что пре-
 обладающій элементъ романтизма есть вѣч-
 ное и неопредѣленное стремленіе, не уничто-
 жаемое никакимъ удовлетвореніемъ. Исто-
 никъ романтизма,—какъ мы уже замѣтили
 выше,—есть таинственная внутренность
 груди, мистическая сущность бьющагося
 кровью сердца. Поэтому у грековъ всѣ бо-
 жества любви и ненависти, симпатіи и анти-
 патіи были божества подземныя, титани-
 ческія, дѣти Урана (неба) и Геи (земли), а
 Уранъ и Гея были дѣти Хаоса. Титаны долго
 оспаривали могущество боговъ олимпійскихъ,
 и хотя громами Зевеса они были низринуты
 въ тартаръ, но одинъ изъ нихъ—Прометей,
 предсказавъ паденіе самого Зевеса. Этотъ
 мифъ о вѣчной борьбѣ титаническихъ силъ
 съ небесными глубоко знаменателенъ: ибо

онъ означаетъ борьбу естественныхъ, сердечныхъ стремленій человѣка съ его разумнымъ сознаніемъ, и хотя это разумное сознаніе наконецъ восторжествовало въ образѣ олимпійскихъ боговъ надъ титаническими силами естественныхъ и сердечныхъ стремленій,—но оно не могло уничтожить ихъ, ибо титаны были безсмертны подобно олимпійцамъ;—Зевесъ только могъ заключить ихъ въ подземное царство вѣчной ночи, оказавъ цѣпями, но и оттуда они успѣли же наконецъ потрясти его могущество. Глубоко знаменательная мысль лежитъ въ основѣ Софокловой «Антигоны». Героиня этой трагедіи падаетъ жертвой любви своей къ брату, враждебно столкнувшейся съ закономъ гражданскимъ: ибо она хотѣла погребсти съ честью тѣло своего брата, въ которомъ представитель государства видѣлъ врага отечества и общественного спокойствія. Эта страшная борьба романтическаго элемента съ элементами религіозными, государственными и мыслительными,—борьба, въ которой заключается главный источникъ страданій бѣднаго человечества, кончится тогда только, когда свободно примирятся божества титаническія съ божествами олимпійскими. Тогда наступитъ новый золотой вѣкъ, который столько же будетъ выше перваго, сколько состояніе разумнаго сознанія выше состоянія естественной, животной непосредственности. Самый мистическій, слѣдственно самый романтическій поэтъ Греціи былъ Гезіодъ—одинъ изъ первоначальныхъ поэтовъ Элады; и потомъ самый романтическій поэтъ Греціи былъ трагикъ Эврипидъ—одинъ изъ послѣднихъ ея поэтовъ.

Впрочемъ романтизмъ не былъ преобладающимъ элементомъ въ жизни грековъ: онъ даже подчинялся у нихъ другому, болѣе преобладающему элементу—общественной и гражданской жизни. Поэтому романтизмъ греческій всегда ограничивался и уравнивался другими сторонами эллинскаго духа и не могъ доходить до крайностей нелѣпаго. Изъ мифовъ Тантала и Сизифа видно, какъ чуждо было духу греческому остановиться на идеѣ неопредѣленнаго стремленія. Танталъ мучится въ подземномъ мірѣ безконечно ненасытимой жадью; Сизифъ долженъ безпрестанно падающій тяжкій камень поднимать снова; эти наказанія, такъ же какъ и самыя титаническія силы, имѣютъ въ себѣ что-то безмѣрное, тяжело-безконечное: въ нихъ выражается ненасытимость внутренне-личнаго естественнаго вождѣнія, которое въ своемъ непрерывномъ повтореніи не достигаетъ до спокойствія удовлетворенія: ибо божественный смыслъ грековъ понималъ пребываніе въ неопредѣленномъ стремленіи не какъ высочайшее божество,

въ смыслѣ новѣйшей романтики, но какъ проклятіе, и заключилъ его въ тартаръ.

Не такимъ является романтизмъ въ средніе вѣка. Хотя романтизмъ есть общее дуу человеческому явленіе, во всѣ времена и для всѣхъ народовъ присущее, но онъ считается какой-то исключительной принадлежностью среднихъ вѣковъ и даже носить на себѣ имя народовъ романскаго происхожденія, игравшихъ главную роль въ эту великую и мрачную эпоху человечества. И это произошло не отъ ошибки, не отъ заблужденія: средніе вѣка—дѣйствительно романтическіе по превосходству. Въ Греціи, какъ мы видѣли, романтизмъ былъ силой мрачной, всегда движущейся, вѣчно борющейся съ богами Олимпа и вѣчно держащей ихъ въ страхѣ; но эта сила всегда была побѣждаема высшей силой олимпійскихъ божествъ: въ средніе вѣка, напротивъ, романтизмъ составлялъ базисъ, базисъ, самобытную силу, которая, не будучи ничѣмъ ограничиваема, дошла до послѣднихъ крайностей противорѣчія и бессмыслицы. Этимъ страннымъ міромъ среднихъ вѣковъ управлялъ не разумъ, а сердце и фантазія. Казалось, что міръ снова сдѣлался добычей разнузданныхъ элементарныхъ силъ природы: сорвавшись съ цѣпей титаны снова ринулись изъ тартара и овладѣли землей и небомъ,—и надъ всѣмъ этимъ снова распростерлось мрачное царство хаоса... Всего удивительнѣе, что это движеніе совершалось въ противорѣчіи съ своимъ сознаніемъ. Олимпійскія силы у грековъ выражали общее и безусловное, а титаническія были представителями индивидуальнаго, личнаго начала. Въ средніе вѣка всѣ начала назывались чувствами, противоположными имъ именами. Движеніе ихъ было чисто сердечное и страстное, а совершалось оно не во имя сердца и страсти, а во имя духа; движеніе это развилось до послѣдней крайности значеніе человеческой личности, совершилось же оно не во имя личности, а во имя самой общей, безусловной и отвлеченной идеи, для выраженія которой не доставало словъ—ихъ замѣняли символы и условныя формы. Въ этомъ странномъ мірѣ безуміе было высшей мудростью, а мудрость—буйствомъ; смерть была жизнью, а жизнь—смертью, и міръ распался на два міра—на презираемое здѣсь и неопредѣленное тамъ. Все жило и дышало чувствомъ безъ дѣйствительности, порываніемъ безъ достиженія, стремленіемъ безъ удовлетворенія, надеждой безъ совершенія, желаніемъ безъ выполненія, страстной, безпокойной дѣятельностью безъ цѣли и результата. Хотѣли чувствовать для того только, чтобъ стремиться, желать—чтобъ желать, а дѣйствовать—чтобъ не быть въ по-

коѣ. На тѣло смотрѣли не какъ на проявленіе и орудіе духа, а какъ на вериги и темницу духа, не раздѣляли мнѣнія древнихъ, что только въ здоровомъ тѣлѣ можетъ обитать и здоровая душа, но, напротивъ, были убѣждены, что только изможденное и устарѣвшее до времени тѣло могло быть одарено ясновидѣніемъ истины... Чудовищныя противорѣчія во всемъ! Дикій фанатизмъ шелъ объ руку съ святотатствомъ; злодѣйство и преступленіе смѣнялись покаяніемъ, крайность котораго, казалось, превосходила силы духа человѣческаго; набожность и кошунство дружно жили въ одной и той же душѣ. Понятіе о чести сдѣлалось краеугольнымъ камнемъ общественнаго зданія; но честь полагали въ формѣ, а не въ сущности: рыцарь, неявившійся на вызовъ смерти, вадѣлъ честь свою погибшей; но, выходя на большія дороги грабить купеческіе обозы, онъ не боялся увидѣть опозореннымъ гербъ свой... Любовь къ женщинѣ была воздухомъ, которымъ люди дышали въ то время. Женщина была царицей этого романтическаго міра. За одинъ взглядъ ея, за одно ея слово—умереть казалось слишкомъ ничтожной жертвой, побѣдить одному тысячи—слишкомъ легкимъ дѣломъ. Проѣхать десятки верстъ, на дорогѣ помять бока и поломать свои кости въ поединкѣ, въ проливной дождь и бурю простоять подъ окномъ «обожаемой дѣвы», чтобы только увидѣть въ окнѣ промелькнувшую тѣнь ея—казалось высочайшимъ блаженствомъ. Доказать, что «дама его сердца» прекраснѣе и добродѣтельнѣе всѣхъ женщинъ въ мірѣ, доказать это людямъ, которые никогда не видали ея дамы, и доказать имъ это силой руки, гибкостью тѣла, мезвиѣмъ меча и остріемъ пика—казалось для рыцаря священнымъ дѣломъ. Онъ смотрѣлъ на свою даму, какъ на существо безплотное; чувственное стремленіе къ ней онъ почелъ бы профанаціей, грѣхомъ, она была для него идеаломъ, и мысль о ней давала ему и храбрость, и силу. Онъ призываетъ ея имя въ битвахъ, онъ умираетъ съ ея именемъ на устахъ. Онъ былъ ей вѣренъ всю жизнь,—и еслибъ для этой вѣрности у него не хватало любви въ сердцѣ, онъ легко замѣнилъ бы ее аффектаціей. И это страстно-духовное, это трепетно-благоговѣнное обожаніе избранной «дамы сердца» нисколько не мѣшало жениться на другой или быть въ самой грѣховной связи съ десятками другихъ женщинъ,—не мѣшало самому грубому, циническому разврату. То идеаль, а то дѣйствительность: зачѣмъ же имъ было мѣшать другъ другу?.. Надо отдать въ одномъ справедливость среднимъ вѣкамъ: они обожали красоту, какъ и греки; но въ свое понятіе о красотѣ внесли духовный элементъ. Греки

понимали красоту только какъ красоту строго правильную, съ изящными формами, оживленными граціей; красота среднихъ вѣковъ была красотой не одной формы, но и какъ чувственное выраженіе нравственныхъ качествъ, болѣе духовная, чѣмъ тѣлесная,—красота, для художественнаго возсозданія которой скульптура была уже слишкомъ бѣднымъ искусствомъ, и которую могла воспроизводить только живопись. Для грековъ красота существовала въ дѣломъ, и потому ихъ статуи были нагія или полунагія; красота среднихъ вѣковъ вся была сосредоточена въ выраженіи лица и глазъ. Нельзя не согласиться, что понятіе среднихъ вѣковъ о красотѣ—болѣе романтическое и болѣе глубокое, чѣмъ понятіе древнихъ. Но средніе вѣка и тутъ не умѣли не исказить дѣла крайностью и преувеличеніемъ: они слишкомъ любили туманную неопредѣленность выраженія въ лицѣ женщины, и въ ихъ картинахъ она является какъ-будто совсѣмъ безъ формъ, совсѣмъ безъ тѣла, какъ-будто тѣнью, призракомъ какимъ-то. Въ понятіи о блаженствѣ любви средніе вѣка были диаметрально противоположны грекамъ. Вступить въ любовную связь съ дамой сердца—значило бы тогда осквернить свои святѣйшія и задушевнѣйшія вѣрованія; вступить съ ней въ бракъ—унизить ее до простой женщины, увидѣть въ ней существо земное и тѣлесное... Да соединеніе съ любимой женщиной и не казалось тогда какой-то необходимостью. Любили для того, чтобы любить, и мистика сердечныхъ движеній отъ мысли любить и быть любимымъ была самымъ полнымъ удовлетвореніемъ любви и наградой за любовь. Еслибъ конюхъ влюбился въ дочь гордаго барона,—его ожидало бы неземное счастье, небесное блаженство; онъ даже не хотѣлъ бы и знать, любить ли его: для него достаточно было сознанія, что онъ любитъ. Вотъ уже подлинно счастье, котораго не могла лишиться судьба, сокровище, котораго никто не могъ похитить!... И хорошо дѣлали тѣ, которые ограничивались платоническимъ обожаніемъ молча, съ фантазіями про себя: бракъ всегда бывалъ гробомъ любви и счастья. Бѣдная дѣвушка, сдѣлавшись женой, промѣнивала свою корону и свой скипетръ на оковы, изъ царицы становилась рабой и въ своемъ мужѣ, дотогѣ преданнѣйшемъ рабѣ ея прихотей, находила деспотическаго властелина и грознаго судью. Безусловная покорность его грубой и дикой волѣ дѣлалась ея долгомъ, безропотное рабство—ея добродѣтелью, а терпѣніе—единственной опорой въ жизни. Пьяный и бѣшенный, онъ мстилъ ей за дурное расположеніе своего духа, онъ могъ бить ее, равно какъ и свою собаку, въ сердцахъ на дурную погоду, мѣшавшую ему охотиться.

При малѣйшемъ подозрѣніи въ невѣрности онъ могъ ее зарѣзать, удавить, сжечь, зарыть живую въ землю, и—увы!—такія исторіи не были въ средніе вѣка слишкомъ рѣдкими или исключительными событіями! И вотъ она—царица общества и повелительница храбрыхъ и сильныхъ! И вотъ онъ—чудовищный и негнѣный романтизмъ среднихъ вѣковъ, столь повѣстическій, какъ стремленіе, и столь отвратительный, какъ осуществленіе на дѣлѣ! Но довольно о немъ. Съ нимъ всѣ болѣе или менѣе знакомы, ибо о немъ даже и по-русски писано много. Но мы еще возвратимся къ нему, говоря о поэзіи Жуковского.

Романтизмъ среднихъ вѣковъ не умиралъ и не исчезалъ: напротивъ, онъ царитъ еще надъ современнымъ намъ обществомъ, но уже измѣнившійся и выродившійся; а будущее готовить ему еще большее измѣненіе. Что же убило его въ томъ видѣ, въ какомъ существовалъ онъ въ средніе вѣка?—Свѣтъ просвѣщенія, разогнавшій въ Европѣ мракъ невѣжества,—успѣхи цивилизаціи, открытіе Америки, изобрѣтеніе книгопечатанія и пороха, римское право и вообще изученіе классической древности. Странное дѣло! Въ Греціи романтизмъ разрушилъ свѣтлый міръ олимпійскихъ боговъ: ибо что же были ученія и таинства элевзинскія, какъ не романтизмъ глубокомысленный и мистическій? Туманныя, неопредѣленныя предчувствія высшей духовной сущности, пробудившіяся въ душѣ грековъ,—находились въ явной противоположности съ рѣзко опредѣленными, яснымъ, но въ то же время и внѣшнимъ міромъ олимпійскихъ боговъ. А такъ какъ сами боги эти лишь по отцу исходили отъ духа, по матери же, исключая Аполлона и Артемиды,—рождены были изъ нѣдръ земли, божества довременно-титаническаго, то и духъ эллиновъ, не удовлетворяясь олимпійцами, обратился къ подземнымъ титаническимъ силамъ, которыя такъ симпатически гармонировали съ міромъ его задушевной жизни, съ его сердцемъ. Нѣкогда поправное могущество древнихъ титаническихъ боговъ возстало теперь преображенное, пріявшее въ себя всю жизнь души, неудовлетворявшейся видимымъ. Это была та же древняя элементарная природа, но уже пришедшая въ гармонію, проникнутая высшей духовностью, не гибельная и пожирающая, но дружественная человѣку, сосредоточенная въ кроткихъ мистическихъ образахъ Цереры и Вакха, которые въ элевзинскихъ мистеріяхъ являлись уже божествами подземнаго міра, таинственными и всеобъемлющими. Подъ вліяніемъ элевзинскихъ таинствъ развилась поэзія Эсхила, столь враждебная Зевсу, и поэзія Эврипида,—развилась вся философія Греціи,

и въ особенности философія величайшаго изъ романтиковъ—Платона. Слѣдовательно, въ Греціи романтизмъ, какъ выраженіе подвѣнныхъ титаническихъ силъ, игралъ роль демона, подкопавшаго царство Зевеса. Въ новомъ же мірѣ романтизмъ сталъ представителемъ царства титаническаго, мрачнаго царства страданій и скорби, ничѣмъ неутолнимымъ порывомъ сердца; а разрушителемъ этого романтизма, демономъ сомнѣнія и отрицанія явилось царство Зевеса, т. е. царство свѣтлаго и свободнаго разума. Та же исторія, только совершенно наоборотъ! Всѣмъ извѣстно, какіе страшные удары нанесены были среднимъ вѣкамъ демономъ ироніи! Какое страшное въ этомъ отношеніи произведеніе «Донъ-Кихотъ» Сервантеса! Реформатское движеніе было явнымъ убійствомъ среднихъ вѣковъ. XVIII вѣкъ дорѣзалъ его радикально. Этотъ умѣйшій и величайшій изъ всѣхъ вѣковъ былъ особенно страшенъ для среднихъ вѣковъ...

Вслѣдствіе страшныхъ потрясеній и ударовъ, нанесенныхъ романтизму XVIII-мъ вѣкомъ, романтизмъ явился въ наше время совершенно перерожденнымъ и преображеннымъ. Романтизмъ нашего времени есть сынъ романтизма среднихъ вѣковъ, но онъ же очень сродни и романтизму греческому. Говоря точнѣе, нашъ романтизмъ есть органическая полнота и всецѣлость романтизма всѣхъ вѣковъ и всѣхъ фазисовъ развитія человѣческаго рода: въ нашемъ романтизмѣ, какъ луча солнца въ фокусѣ зажигательнаго стекла, сосредоточились всѣ моменты романтизма, развившагося въ исторіи человѣчества, и образовали совершенно новое цѣлое. Общество все еще держится принципами стараго, средне-вѣкового романтизма, обратившагося уже въ пустыя формы за отсутствіемъ умершаго содержанія; но люди, имѣющіе право называться «солъю земли», уже сіяются осуществитъ идеалъ новаго романтизма. Наше время есть эпоха гармоническаго уравновѣшенія всѣхъ сторонъ человѣческаго духа. Стороны духа человѣческаго неисчислимы въ ихъ разнообразіи; но главныхъ сторонъ только двѣ: сторона внутренняя, задушевная, сторона сердца, словомъ, романтика,—и сторона сознающаго себя разума, сторона общаго, разумнаго подъ этимъ словомъ сочетаніе интересовъ, выходящихъ изъ сферы индивидуальности и личности. Въ гармоніи, т. е. во взаимномъ сопряженіи одной съ другой этихъ двухъ сторонъ духа, заключается счастье современнаго человѣка. Романтизмъ есть вѣчная потребность духовной природы человѣка; ибо сердце составляетъ основу, коренную почву его существованія, а безъ любви и ненависти, безъ симпатіи и антипатіи человѣкъ есть призракъ. Любовь—

поэзія и солнце жизни. Но горе тому, кто въ наше время зданіе счастья своего задумаетъ построить на одной только любви и въ жизни сердца вознамерится найти полное удовлетвореніе всѣмъ своимъ стремленіямъ! Въ наше время это значило бы отказаться отъ своего человѣческаго достоинства, изъ мужчины сдѣлаться—самцомъ! Міръ дѣйствительный имѣетъ равныя, если еще не большія права на человѣка, и въ этомъ мірѣ человѣкъ является прежде всего сыномъ своей страны, гражданиномъ своего отечества, горячо принимающимъ къ сердцу его интересы и ревностно поборующимъ, по мѣрѣ силъ своихъ, его преуспѣванію на пути нравственнаго развитія. Любовь къ человѣчеству, понимаемому въ его историческомъ значеніи, должна быть живоносной мыслью, которая просвѣтляла бы собой любовь его къ родинѣ. Историческое созерцаніе должно лежать въ основѣ этой любви и служить указателемъ для дѣятельности, осуществляющей эту любовь. Знаніе, искусство, гражданская дѣятельность—все это составляетъ для современнаго человѣка ту сторону жизни, которая должна быть только въ живой органической связи съ стороною романтики, или внутренняго душевнаго міра человѣка,—но не замѣняться ею. Если человѣкъ захочетъ жить только сердцемъ, во имя одной любви, и въ женщинѣ найти цѣль и весь смыслъ жизни,—онъ непремѣнно дойдетъ до результата самаго противоположнаго любви, т. е. до самаго холоднаго эгоизма, который живетъ только для себя и все относитъ къ себѣ. Если, напротивъ, человѣкъ, преврътивъ жизнью сердца, захотѣлъ бы весь отдаться интересамъ общимъ,—онъ или не избѣжалъ бы тайной тоски и чувства внутренней неполноты и пустоты, или если не почувствовалъ бы ихъ, то внесъ бы въ міръ высокой дѣятельности сухое и холодное сердце, при которомъ не бываетъ у человѣка ни высокихъ помысловъ, ни плодотворной дѣятельности. Итакъ, эгоизмъ и ограниченность, или неполнота—въ обѣихъ этихъ крайностяхъ; очевидно, что только изъ гармоническаго ихъ сопряженія одной другой выходитъ возможность полнаго удовлетворенія, а слѣдственно и возможность собственнаго и присущаго душѣ человѣка счастья, основаннаго не на песчаномъ берегу случайности, а на прочномъ фундаментѣ сознанія. Въ этомъ отношеніи мы гораздо ближе къ жизни древнихъ, чѣмъ къ жизни среднихъ вѣковъ, и гораздо выше тѣхъ и другихъ. Ибо въ нашемъ идеалѣ общество не угнетаетъ человѣка насчетъ естественныхъ стремленій его сердца, а сердце не отрываетъ его отъ живой общественной дѣятельности. Это не значитъ, чтобъ общество позволяло теперь человѣку

между прочимъ и любиться, но это значитъ, что уже нѣтъ или по крайней мѣрѣ болѣе не должно быть борьбы между сердечными стремленіями и общественнымъ устройствомъ, примиренными разумно и свободно. И въ наше время жизнь и дѣятельность въ сферѣ общаго есть необходимость не для одного мужчины, но точно такъ же и для женщины: ибо наше время сознало уже, что и женщина такъ же точно человѣкъ, какъ и мужчина, и сознало это не въ одной теоріи (какъ это же сознавали и средніе вѣка), но и въ дѣйствительности. Если же мужчинѣ позорно быть самцомъ на томъ основаніи, что онъ человѣкъ, а не животное, то и женщинѣ позорно быть самкой на томъ основаніи, что она—человѣкъ, а не животное. Ограничить же кругъ ея дѣятельности скромностью и невинностью въ состояніи дѣвическомъ, спальней и кухней въ состояніи замужества (какъ это было въ средніе вѣка)—не значитъ ли это лишить ее правъ человѣка, а изъ женщины сдѣлать самкой? Но, скажутъ намъ: женщина—мать, а назначеніе матери свято и высоко, она—воспитательница дѣтей своихъ. Прекрасно! Но вѣдь воспитывать не значитъ только выкармливать и вынянчивать (первое можетъ сдѣлать корова или коза, а второе нянька), но и дать направленіе сердцу и уму,—а для этого развѣ не нужно со стороны матери характера, науки, развитія, доступности ко всѣмъ человѣческими интересамъ?... Нѣтъ, міръ знанія, искусства, словомъ, міръ общаго долженъ быть столько же открытъ женщинѣ, какъ и мужчинѣ, на томъ основаніи, что и она, какъ и онъ, прежде всего—человѣкъ, а потомъ уже любовница, жена, мать, хозяйка, и проч. Вслѣдствіе этого отношенія обоеихъ половъ къ любви и одного къ другому въ любви дѣлаются совсѣмъ другими, нежели какими они были прежде. Женщина, которая умѣетъ только любить мужа и дѣтей своихъ, а больше ни о чемъ не имѣетъ понятія и больше ни къ чему не стремится,—такъ же точно смѣшна, жалка и недостойна любви мужчины, какъ смѣшны, жалокъ и недостойны любви женщины мужчина, который только на то и способенъ, чтобъ любиться, да любить жену и дѣтей своихъ. Такъ какъ истинно человѣческая любовь теперь можетъ быть основана только на взаимномъ уваженіи другъ въ другѣ человѣческаго достоинства, а не на одномъ капризѣ чувства и не на одной прихоти сердца,—то и любовь нашего времени имѣетъ уже совсѣмъ другой характеръ, нежели какой имѣла она прежде. Взаимное уваженіе другъ въ другѣ человѣческаго достоинства производитъ равенство, а равенство—свободу въ отношеніяхъ. Мужчина перестаетъ быть властели-

номъ, а женщина—рабой, и съ обѣихъ сторонъ устанавливаются одинаковыя права и одинаковыя обязанности; послѣднія, будучи нарушены съ одной стороны, тотчасъ же не признаются болѣе и другой. Вѣрность перестаетъ быть долгомъ, ибо означаетъ только постоянное присутствіе любви въ сердцѣ: нѣтъ болѣе чувства — и вѣрность теряетъ свой смыслъ; чувство продолжается — вѣрность опять не имѣетъ смысла: ибо что за заслуга быть вѣрнымъ своему счастью!

Мы сказали выше, что романтизмъ нашего времени есть органическое единство всѣхъ моментовъ романтизма, развивавшагося въ исторіи человечества. Приступая къ развитію этой мысли, замѣтимъ прежде, что теперь для всякаго возраста и для всякой ступени сознанія должна быть своя любовь, т. е. одинъ изъ моментовъ развитія романтизма въ исторіи. Смѣшно было бы требовать, чтобъ сердце въ восемнадцать лѣтъ любило, какъ оно можетъ любить въ тридцать и сорокъ, или наоборотъ. Есть въ жизни человѣка пора восточнаго романтизма; есть пора греческаго романтизма; есть пора романтизма среднихъ вѣковъ. И во всякую пору человѣка сердце его само знаетъ, какъ надо любить ему и какой любви должно оно отозваться. И съ каждымъ возрастомъ, съ каждой ступеню сознанія въ человѣкѣ измѣняется его сердце. Измѣненіе это совершается съ болью и страданіемъ. Сердце вдругъ охлаждаетъ къ тому, что такъ горячо любило прежде, и это охлажденіе повергаетъ его во всѣ муки пустоты, которой ничѣмъ ему наполнить,—раскаянія, которое всетаки не обратитъ его къ оставленному предмету, — стремленія, котораго оно уже боится, и которому оно уже не вѣритъ. И не одинъ разъ повторяется въ жизни человѣка эта романтическая исторія, прежде чѣмъ достигнетъ онъ до нравственной возможности найти своему успокоенному сердцу надежную пристань въ этомъ вѣчно волнующемся морѣ неопредѣленныхъ внутреннихъ стремленій. И тяжело дается человѣку эта нравственная возможность: дается она ему цѣной разрушенныхъ надеждъ, несбывшихся мечтаній, побитыхъ фантазій, цѣной уничтоженія всего этого романтизма среднихъ вѣковъ, который истиненъ только, какъ стремленіе, и всегда ложенъ, какъ осуществленіе! И не каждый достигаетъ этой нравственной возможности; но большая часть падаетъ жертвой стремленія къ ней, падаетъ съ разбитымъ на всю жизнь сердцемъ, нося въ себѣ, какъ проклятіе, память о другомъ разбитомъ навсегда сердцѣ, о другомъ навѣки погубленномъ существованіи... И здѣсь-то заключается неисчерпаемый источникъ трагическихъ положеній, печальныхъ романтиче-

скихъ исторій, которыми такъ богата современная дѣйствительность, наша грустная эпоха, которой не достаетъ еще силъ ни оторваться совершенно отъ романтизма среднихъ вѣковъ, ни возвратиться вновь и исполнѣ въ обманчивыя обаятія этого обаятельнаго призрака... Но иные спасаются отъ общей участи времени, находя въ самомъ же этомъ времени не всѣми видимыя и не всѣмъ доступныя средства къ спасенію. Это спасеніе возможно не иначе, какъ только черезъ совершенное отрицаніе неопредѣленнаго романтизма среднихъ вѣковъ; однакожъ это не есть отрицаніе отъ всякаго идеализма и погруженіе въ прозу и грязь жизни, какъ понимаетъ ее толпа, но просвѣтлѣніе идей самыхъ простыхъ житейскихъ отношеній, очеловѣченіе естественныхъ стремленій. Для человѣка нашего времени не можетъ не существовать прелесть изящныхъ формъ въ женщинѣ, ни обаятельная сила эстетическаго наслажденія. И, несмотря на то, это будетъ не одна чувственность, не одна страсть, но вмѣстѣ съ тѣмъ и глубокое цѣломудренное чувство, привязанность нравственная, связь духовная, любовь души къ душѣ. Это будетъ растеніе, котораго прекрасный и роскошный цвѣтъ проливается въ воздухъ ароматъ, а корень кроется во влажной и мрачной почвѣ земли. Восточная любовь основана на различіи половъ: основаніе это истинно, и недостатокъ восточной любви заключается не въ томъ, что она начинается чувственностью, но въ томъ, что она также и оканчивается чувственностью. Мужчинѣ можно влюбиться только въ женщину, женщинѣ—только въ мужчину: слѣдовательно половое различіе есть корень всякой любви, первый моментъ этого чувства. Грекъ обожалъ въ женщинѣ красоту, какъ только красоту, придавая ей въ вѣчныя сопутницы грацію. Основа такого воззрѣнія на женщину истинна и въ наше время, и надо имѣть дубовую натуру и заскорузлое чувство, чтобъ смотрѣть на красоту, не плѣняясь и не трогаясь ею; но одной красоты въ женщинѣ мало для романтизма нашего времени. Романтизмъ среднихъ вѣковъ пошелъ далѣе древнихъ въ понятіи о красотѣ: онъ отказался отъ обожанія красоты, какъ только красоты, и хотѣлъ видѣть въ ней душевное выраженіе. Но это выраженіе понять онъ до того неопредѣленно и туманно, что древняя пластическая красота относилась къ идеалу его красоты, какъ прекрасная дѣйствительность къ прекрасной мечтѣ. Понятіе нашего времени о красотѣ выше созерцанія древняго и созерцанія среднихъ вѣковъ: оно не удовлетворяется красотой, которая только что красота и больше ничего, какъ эти прекрасныя, но холодныя мраморныя статуи греческія съ безцвѣтными

глазами; но оно также далеко и от безплотнаго идеала средних вѣковъ. Оно хочетъ видѣть въ красотѣ одно изъ условій, возвышающихъ достоинство женщины, и вмѣстѣ съ тѣмъ ищетъ въ лицѣ женщины опредѣленнаго выраженія, опредѣленнаго характера, опредѣленной идеи, отблеска опредѣленной стороны духа. Въ наше время умный человѣкъ, уже вышедшій изъ пеленъ фантазіи, не станетъ искать себѣ въ женщинѣ идеала всѣхъ совершенствъ, — не станетъ потому, во-первыхъ, что не можетъ видѣть въ самомъ себѣ идеала всѣхъ совершенствъ, и не захочетъ запросить больше, нежели сколько самъ въ состояніи дать, а во-вторыхъ, потому, что не можетъ, какъ умный человѣкъ, вѣрить возможности осуществленнаго идеала всѣхъ совершенствъ, ибо онъ — опять-таки какъ умный, а не фантазирующій человѣкъ, — знаетъ, что всякая личность есть ограниченіе «всего» и исключеніе «многаго», какими бы достоинствами она ни обладала, и что самыя эти достоинства необходимо предполагаютъ недостатки. Найти одну или, пожалуй, нѣсколько нравственныхъ сторонъ, и умѣть ихъ понять и оцѣнить — вотъ идеалъ разумной (а не фантастической) любви нашего времени. Красота возвышаетъ нравственные достоинства; но безъ нихъ красота въ наше время существуетъ только для глазъ, а не для сердца и души. Въ чемъ же должны заключаться нравственные качества женщины нашего времени? — Въ страстной натурѣ и возвышенно-простомъ умѣ. Страстная натура состоитъ въ живой симпатіи ко всему, что составляетъ нравственное существованіе человѣка; возвышенно-простой умъ состоитъ въ простомъ пониманіи даже высокихъ предметовъ, въ тактѣ дѣятельности, въ смѣлости не бояться истины, ненабѣленной и ненарушенной фантазіей. Въ чемъ состоитъ блаженство любви по понятію нашего времени? — Въ наше время о полномъ безусловномъ счастіи въ любви могутъ мечтать только или отроки, или духовно-малолѣтнія натуры. Это, во-первыхъ, потому, что міръ романтизма не можетъ вполне удовлетворить порядочнаго человѣка, а во-вторыхъ, потому, что наше время какъ-то вообще не удобно для всякаго счастья, а тѣмъ менѣе для полнаго. Возможное счастье любви въ наше время зависитъ отъ способности дорожить одареннымъ благородной душой существомъ, которое, при сердечной симпатіи къ вамъ, столько же можетъ понимать васъ такъ, какъ вы есть (ни лучше, ни хуже), сколько и вы можете понимать его, и понимать въ томъ, что составляетъ принадлежность нравственнаго существованія человѣка. Видѣть и уважать въ женщинѣ человѣка — не только необходимое, но и главное условіе

возможности любви для порядочнаго человѣка нашего времени. Наша любовь проще, естественнѣе, но и духовнѣе, нравственнѣе любви всѣхъ предшествовавшихъ эпохъ въ развитіи человечества. Мы не преклонимъ колѣнъ передъ женщиной за то только, что она прекрасна собой, какъ это дѣлали греки; но мы и не бросимъ ея, какъ наскучившую намъ игрушку, лишь только чувство наше насытилось обладаніемъ. Это не значитъ, чтобъ наше сердце не могло иногда охладѣвать безъ причины; но для насъ нѣтъ большаго несчастія, какъ, взявъ на себя нравственную отвѣтственность въ счастіи женщины, растерзать ее сердце, хотя бы и невольно. Мы ни съ кѣмъ не станемъ драться, чтобъ заставить кого-нибудь признать любимую нами женщину за чудо красоты и доброты, какъ это дѣлали рыцари; но мы уважаемъ ея дѣйствительныя права и, не дѣлая ея своей царицей, не захотимъ видѣть въ ней не только свою рабу, но и низшее (почему-то) насъ существо... Мы не увидимъ въ ней, какъ средніе вѣка, какого-то безплотнаго существа высшей природы, но вполне признаемъ ее человекомъ... Мать нашихъ дѣтей, она не унизится, но возвысится въ глазахъ нашихъ, какъ существо, свято выполнившее свое святое назначеніе, и наше понятіе о ея нравственной чистотѣ и непорочности не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ грязно-чувственнымъ понятіемъ, какое придавалъ этому предмету экзальтированный романтизмъ среднихъ вѣковъ: для насъ нравственная чистота и невинность женщины — въ ея сердцѣ, полнотѣ любви, въ ея душѣ, полной возвышенныхъ мыслей... Идеалъ нашего времени — не дѣва идеальная и неземная, гордая своей невинностью, какъ скупецъ своими сокровищами, отъ которыхъ ни ему, ни другимъ не лучше жить на свѣтѣ; нѣтъ, идеалъ нашего времени — женщина, живущая не въ мірѣ мечтаній, а въ дѣйствительности осуществляющая жизнь своего сердца, — не такая женщина, которая чувствуетъ одно, а дѣлаетъ другое. Въ наше время любовь есть идеальность и духовность чувственнаго стремленія, которое только ею и можетъ быть законно, нравственно и чисто; безъ нея же оно и въ самомъ бракѣ есть униженіе человѣческаго достоинства, грѣховный позоръ и растлѣніе женщины...

Много нужно было времени, битвъ, борецій, переворотовъ и страданій, чтобъ явилась человечеству заря новаго романтизма и настала для него эпоха освобожденія отъ романтизма среднихъ вѣковъ. Давно уже условія жизни и основы общества были другія, непохожія на тѣ, которыми крѣпки были средніе вѣка, но романтизмъ среднихъ вѣковъ все еще держалъ Европу въ своихъ

душныхъ оковахъ, и—Боже мой!—какъ еще для многихъ гибельныя клещи этого искаженного и выродившагося призрака!... XVIII вѣкъ нанесъ ему ударъ страшный и рѣшительный; но дѣло тѣмъ не кончилось: какъ лампа вспыхиваетъ ярче передъ тѣмъ, когда ей надо угаснуть, такъ сильнѣе въ началѣ нынѣшняго вѣка возсталъ было изъ своего гроба этотъ покойникъ. Всякое сильное историческое движеніе необходимо порождаетъ реакцію своей крайности; вотъ причина внезапнаго проявленія романтизма среднихъ вѣковъ въ литературѣ XIX вѣка. Онъ воскресъ въ странѣ, которой умственную жизнь составляетъ теорія, созерцаніе, мистицизмъ и фантазерство, и которой дѣйствительную жизнь составляетъ пошлость бюргерства, гофратства и филистерства,—въ Германіи. Въ концѣ XVIII вѣка тамъ явился великій поэтъ, одной стороною своего необъятнаго генія принадлежавшій человечеству, а другою—нѣмецкой національности. Мы говоримъ о Шиллерѣ, поэзія котораго поражаетъ своей двойственностью при первомъ взглядѣ. Пафосъ ея составляетъ чувство любви къ человечеству, основанное на разумѣ и сознаніи; въ этомъ отношеніи Шиллера можно назвать поэтомъ гуманности. Въ поэзіи Шиллера сердце его вѣчно исходитъ самой живою, пламенной и благородной кровью любви къ человѣку и человечеству, ненависти къ фанатизму религіозному и національному, къ предрассудкамъ, къ косякамъ и бичамъ, которые раздѣляютъ людей и заставляютъ ихъ забывать, что они—братья другъ другу. Провозвѣстникъ высокихъ идей, жрецъ свободы духа, на разумной любви основанной, поборникъ чистаго разума, пламенный и восторженный поклонникъ просвѣщенной, изящной и гуманной древности,—Шиллеръ въ то же время—романтикъ въ смыслѣ среднихъ вѣковъ! Странное противорѣчіе! А между тѣмъ это противорѣчіе не подлежитъ никакому сомнѣнію. Мы думаемъ, что первой стороною своей поэзіи Шиллеръ принадлежитъ человечеству, а второй онъ заплатилъ невольную дань своей національности. Шиллеръ высокъ въ своемъ созерцаніи любви; но это любовь мечтательная, фантастическая: она боится земли, чтобъ не замараться въ ея грязи, и держится подъ небомъ, именно въ той полосѣ атмосферы, гдѣ воздухъ рѣдокъ и неспособенъ для дыханія, а лучи солнца свѣтить не грѣя... Женщина Шиллера—это не живое существо съ горячей кровью и прекраснымъ тѣломъ, а блѣдный призракъ; это не страсть, а аффектація. Женщина Шиллера любить больше головою, чѣмъ сердцемъ, и она у него на пьедесталѣ и подъ стекляннымъ колпакомъ, чтобъ не пахнула на нее вѣтеръ и не коснулся ея

прахъ земли. Въ балладахъ своихъ Шиллеръ воскресилъ весь піетизмъ среднихъ вѣковъ со всей безотчетностью его содержанія, со всѣмъ простодушіемъ его невѣжества. Послѣ Шиллера образовалась въ Германіи цѣлая партія романтическая, представителями которой были братья Шлегели, Тикъ и Новалисъ. Это все были натуры болѣе или менѣе даровитыя, но безъ всякой искры генія, и они ухватились со всѣмъ жаромъ прозелитовъ за слабую сторону Шиллера, думая найти въ ней все и хлопоча, сколько хватило ей силъ, о возобновленіи въ новомъ мірѣ формъ жизни среднихъ вѣковъ. Самъ Гёте—человѣкъ высшаго закала, поэтъ мысли и здраваго разсудка, въ легендѣ среднихъ вѣковъ высказалъ страданія современнаго человѣка («Фаустъ»); а въ своемъ «Вертерѣ» явился онъ романтикомъ тоже въ духѣ среднихъ вѣковъ. Многія баллады его (какъ наприм. «Лѣсной царь», «Рыбакъ» и проч.) дышатъ романтизмомъ того времени.—Это движеніе, возникшее въ Германіи, сообщилось всей Европѣ. Въ Англіи явился поэтъ всего менѣе романтической и всего болѣе распространившій страсть къ феодальнымъ временамъ. Вальтеръ-Скоттъ—самый положительный умъ; герои его романовъ всѣ влюблены, но какъ—этого онъ не раскрываетъ; его дѣло влюбить и женить, а до мистики и страсти, до его развитія и характера онъ никогда не касается. А между тѣмъ онъ почти безвыходный жилецъ среднихъ вѣковъ: онъ съ такой страстью и такой словоохотливостью описываетъ и кольчугу, и гербъ, и рыцарскую залу, и замокъ, и монастырь той эпохи... Былъ въ Англіи другой, еще болѣе великій поэтъ и романтикъ по преимуществу; но тотъ надѣлалъ много вреда и нисколько не принесъ пользы среднимъ вѣкамъ. Образъ Прометея во всемъ колоссальномъ величіи, въ какомъ передала его намъ фантазія грековъ, явился вновь въ типическомъ образѣ Байрона; но онъ былъ провозвѣстникомъ новаго романтизма, а старому нанесъ страшный ударъ. Во Франціи тоже явилась романтическая школа въ духѣ среднихъ вѣковъ; она состояла не изъ однихъ поэтовъ, но и мыслителей, и силилась воскресить не только романтизмъ, но и католицизмъ,—что было съ ея стороны очень поспѣдовательно. Представителями романтической поэзіи во Франціи были въ особенности два поэта—Гюго и Ламаргинь. Оба они истощили воскресшій романтизмъ среднихъ вѣковъ, и оба пали, засыпанные мусоромъ безобразнаго зданія, которое тѣтно усиливались выстроить наперекоръ современной дѣятельности. Имъ недоставало цемента, такъ крѣпко связавшаго колоссальныя готическіе соборы среднихъ вѣковъ. Вообще несто-

ственная попытка воскресить романтизмъ среднихъ вѣковъ давно уже сдѣлалась анахронизмомъ во всей Европѣ. Это была какая-то странная вспышка, на которой опали себѣ крылья замѣчательные таланты, и которая много повредила своимъ гонимымъ.

Но у насъ этотъ романтизмъ, искусственно воскрешенный на минуту въ Европѣ, имѣлъ совсѣмъ другое значеніе. Россія реформой Петра Великаго до того примкнулась къ жизни Европы, что не могла не ощущать на себѣ вліянія происходившихъ тамъ умственныхъ движеній. У Россіи не было своихъ среднихъ вѣковъ, и въ литературѣ ея не могло быть самобытнаго романтизма, — а безъ романтизма поэзія то же, что тѣло безъ души. Въ анакреонтическихъ стихотвореніяхъ Державина проблескивалъ романтизмъ греческій, но не болѣе какъ только проблескивалъ. Впрочемъ еслибы въ то время явился на Руси поэтъ, вполне проникнутый греческимъ созерцаніемъ и вполне владѣвшій пластицизмомъ греческой формы, — то и въ такомъ случаѣ русская литература выразила бы собой только одинъ моментъ романтизма, за которымъ оставалось бы ожидать другого. Карамзинъ, какъ мы уже не разъ замѣчали, внесъ въ русскую литературу элементъ сентиментальности, которая — не что иное, какъ пробужденіе ощущенія (sensation), первый моментъ пробуждающейся духовной жизни. Въ сентиментальности Карамзина ощущеніе является какой-то отчасти болѣзненной раздражительностью нервовъ. Отсюда это обиліе слезъ и истинныхъ, и ложныхъ. Какъ бы то ни было, эти слезы были великимъ шагомъ впередъ для общества; ибо кто можетъ плакать не только о чужихъ страданіяхъ, но и вообще о страданіяхъ вымысленныхъ, тотъ конечно больше человекъ, нежели тотъ, кто плачетъ тогда только, когда его больно бьютъ. И однакожъ ощущеніе есть только приготовленіе къ духовной жизни, только возможность романтизма, но еще не духовная жизнь, не романтизмъ: то и другое обнаруживается какъ чувство (sentiment), имѣющее въ основѣ своей мысль. Одухотворить нашу литературу могъ только романтизмъ среднихъ вѣковъ, болѣе близкій и болѣе доступный обществу, нежели греческій романтизмъ, требующій для своего уразумѣнія особеннаго посвященія путемъ науки. Въ Жуковскомъ русская литература нашла своего посвященія въ таинства романтизма среднихъ вѣковъ. Назначеніе сентиментальности, введенной Карамзинымъ въ русскую литературу, было — расшевелить общество и приготовить его къ жизни сердца и чувства. Поэтому явленіе Жуковского вскорѣ послѣ Карамзина очень понятно и вполне согласно съ зако-

нами постепеннаго развитія литературы, а черезъ нее — общества. Равнымъ образомъ понятенъ путь, которымъ Жуковский привелъ къ намъ романтизмъ. Это былъ путь подражанія и заимствованія — единственный возможный путь для литературы, не имѣвшей и не могшей имѣть корни въ общественной почвѣ и исторіи своей страны. Надобно было случиться такъ, чтобъ поэтическая натура Жуковского носила въ себѣ сильную родственную симпатію къ музѣ Шиллера и въ особенности къ ея романтической сторонѣ. Жуковский познакомился съ своимъ любимымъ поэтомъ при его жизни, когда слава его была на своей высшей точкѣ, — и вышелъ на поприще русской литературы почти непосредственно за смертью Шиллера. Хотя Жуковский всегда дѣйствовалъ какъ необыкновенно даровитый переводчикъ, но на него не должно смотрѣть только какъ на превосходнаго переводчика. Онъ переводилъ особенно хорошо то, что гармонировало съ внутренней настроенностью его духа, и въ этомъ отношеніи бралъ свое вездѣ, гдѣ только находилъ его — у Шиллера по преимуществу, но вмѣстѣ съ тѣмъ и у Гёте, у Матиссона, Уланда, Гебеля, Вальтеръ-Скотта, Томаса Мура, Грея и другихъ нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ. Многое онъ даже не столько переводилъ, сколько передѣлывалъ; иное заимствовалъ мѣстами и вставлялъ въ свои оригинальныя пьесы. Однимъ словомъ, Жуковский былъ переводчикомъ на русскій языкъ не Шиллера или другихъ какихъ-нибудь поэтовъ Германіи и Англіи: нѣтъ, Жуковский былъ переводчикомъ на русскій языкъ романтизма среднихъ вѣковъ, воскрешеннаго въ началѣ XIX вѣка нѣмецкими и англійскими поэтами, преимущественно же Шиллеромъ. Вотъ значеніе Жуковского и его заслуга въ русской литературѣ.

Жуковский началъ свое поэтическое поприще балладами. Этотъ родъ поэзіи имѣлъ начатъ, создавъ и утвержденъ на Руси: современники юности Жуковского смотрѣли на него преимущественно какъ на автора балладъ, и въ одномъ своемъ посланіи Батюшковъ называлъ его «балладникомъ». Подъ балладой тогда разумѣли краткій рассказъ о любви, большей частью несчастной; могилу, крестъ, привидѣніе, ночь, луну, а иногда домовыхъ и вѣдьмъ считали принадлежностью этого рода поэзіи, — болѣе же ничего не подозревали. Но въ балладѣ Жуковского заключался болѣе глубокий смыслъ, нежели могли тогда думать. Баллада и романсъ — народная пѣсня среднихъ вѣковъ, прямое и наивное выраженіе романтизма феодальныхъ временъ, произведенія по-преимуществу романтическія. Первой балладой, обратившей

на Жуковского общее вниманіе, была «Людмила», передѣланная имъ изъ Бюргеровой «Леноры», которую онъ впоследствии перевелъ. «Ленора» доставила въ Германіи громкое имя своему творцу. Золотое то время, когда подобными вещами можно снискивать себѣ славу! Такое время миновалось даже для Россіи. Но «Людмила» Жуковского явилась кстати: она имѣла успѣхъ вродѣ того, какимъ воспользовались «Душенька» Богдановича и «Вѣдная Лиза» Карамзина. Для русской публики все было ново въ этой балладѣ. Стихи, которыми она писана, для нашего времени уже не кажутся особенно поэтическими; въ ней даже есть просто плохіе стихи, какихъ рѣшительно нѣтъ въ другихъ балладахъ Жуковского; но и «Людмила» въ то время могла быть написана только Жуковскимъ, — и стихи этой баллады не могли не удивить всѣхъ своей легкостью, звучностью, а главное — своимъ складомъ, совершенно небывалымъ, новымъ и оригинальнымъ. Содержаніе баллады — самое романтическое, во вкусѣ среднихъ вѣковъ: дѣвушка, узнавъ, что милый ея палъ на полѣ битвы, ропщетъ на судьбу, и за то ее постигаетъ страшное наказаніе: милый пріѣзжаетъ за нею на конѣ и увозитъ ее — въ могилу, и хоръ тѣней воетъ надъ нею эту моральную сентенцію:

Смертныхъ ропотъ безразсуденъ;
Царь всевышній правосуденъ;
Твой услышалъ стоишь Творецъ:
Часть твой билъ, насталъ конецъ.

Было время (и оно давно-давно уже прошло для насъ), когда эта баллада доставляла намъ какое-то сладостно страшное удовольствіе, и, чѣмъ больше ужасала насъ, тѣмъ съ большей страстью мы читали ее. Дѣти нынѣшняго времени стали умнѣе, — и мы не думаемъ, чтобъ теперь даже и между ними могли найтись почитатели «Людмилы». А между тѣмъ, повторяемъ, она самое романтическое произведеніе въ духѣ среднихъ вѣковъ. И еслибы мы не помнили, какъ она коротка казалась намъ во время оно, не смотря на свои двѣсти пятьдесятъ два стиха, — то не могли бы теперь довольно надивиться тому, какъ достало у поэта терпѣнія и силы написать столь длинную балладу въ такомъ родѣ... Но у всякаго времени свои вкусы и привязанности. Мы теперь не станемъ восхищаться «Вѣдной Лизой», однакожь эта повѣсть въ свое время исторгла много слезъ изъ прекрасныхъ глазъ, прославила Лизинъ Прудъ и испестрила кору растущихъ надъ нимъ березъ чувствительными надписями. Старожилы говорятъ, что вся читающая Москва ходила гулять на Лизинъ Прудъ, что тамъ были и мѣста свиданія любовниковъ, и мѣста дуэлей. И много было

писано потомъ повѣстей въ такомъ родѣ; но ихъ тотчасъ же забывали по прочтеніи, а до насъ не дошли даже и названія ихъ, — знакъ, что только талантъ умѣетъ угадывать общую потребность и тайную думу времени. Всѣ произведенія, которыми таланты угадывали и удовлетворяли потребности времени, должны сохраняться въ исторіи: это курганы, указывающіе на путь народовъ и на мѣста ихъ раздыховъ.. Къ такимъ произведеніямъ принадлежитъ «Людмила» Жуковского. Сверхъ того романтизмъ этой баллады состоитъ не въ одномъ нелѣпомъ содержаніи ея, на изобрѣтеніе котораго стало бы самаго дюжиннаго таланта, но въ фантастическомъ колоритѣ красокъ, которыми оживлена мѣстами эта дѣтски-простодушная легенда, и которыя свидѣлствуютъ о талантѣ автора. Такіе стихи, какъ напримѣръ слѣдующіе, были для своего времени откровеніемъ тайны романтизма:

Слышу шорохъ тихихъ тѣней:
Въ часъ полуночныхъ видѣній,
Въ дымъ облака, толпой,
Прахъ остави гробовой
Съ позднимъ мѣсяца восходомъ,
Легкимъ, свѣтлымъ хорОВОДОМъ,
Въ цѣнь воздушную свились —
Вотъ за ними понеслись;
Вотъ поютъ воздушныя лики:
Будто въ листьяхъ павилики
Вьется легкій вѣтерокъ;
Будто плещетъ ручеекъ.

Или вотъ эта фантастическая картина ночной природы:

Вотъ и мѣсяцъ величавый
Всталъ надъ тихою дубравой:
То изъ облака блеснетъ,
То за облако зайдетъ;
Съ горъ простерты длинны тѣни;
И лѣсовъ дремучихъ сѣни,
И зеркало зыбкихъ водъ,
И небесъ далекий сводъ
Въ ~~сѣтлый~~ сумракъ облечены...
Спать пригорки отдаленны,
Боръ заснулъ, долина спитъ...
Чу!.. полночный часъ звучитъ.
Потряслись дубовъ вершины;
Вотъ повѣялъ отъ долины
Перелетный вѣтерокъ...
Скачетъ по полю вѣдокъ...

Такіе стихи вполнѣ оправдываютъ восторгъ и удивленіе, которыми была нѣкогда встрѣчена «Людмила» Жуковского: тогдашнее общество безсознательно почувствовало въ этой балладѣ новый духъ творчества, новый міръ поэзіи — и общество не ошиблось.

«Свѣтлана», оригинальная баллада Жуковского, была признана за его chef-d'oeuvre, такъ что критики и словесники того времени (она была напечатана въ 1813 году, стало быть, тридцать лѣтъ назадъ тому) титуловали Жуковского «пѣвцомъ Свѣтланы». Въ этой балладѣ Жуковскій хотѣлъ быть народ-

нымъ; но о его притязаніяхъ на народность мы скажемъ послѣ. Содержаніе «Свѣтланы» извѣстно всѣмъ и каждому: оно самое романтическое, и вообще лучшая критика, какая когда-либо написана была о «Свѣтланѣ», заключается въ посвятительномъ куплетѣ баллады:

Въ ней большія чудеса,
Очень мало складу.

«Алина и Альсимъ», кажется, принадлежитъ къ числу оригинальныхъ балладъ Жуковского. Она отличается какимъ-то простодушіемъ въ тонѣ, несвойственнымъ нашему времени и вызывающимъ на уста не совсѣмъ добрую улыбку; но ея содержаніе, несмотря на романтизмъ, исполнено смысла и должно было имѣть самое разумное вліяніе на свое время. Вѣроятно такіе стихи, какъ слѣдующіе, не одними прекрасными устами повторялись набожно:

Что пользы въ платьѣ дорогомъ
Себя радить?
Богатство на землѣ прямое
Одно: любить.

Картина свиданія Алины съ Альсимомъ, представшимъ передъ ней подъ видомъ продавца золотыхъ вещей, нарисована кистью грустной и меланхолической; нѣкоторые стихи провикнуты самымъ обаятельнымъ романтизмомъ, какъ напримѣръ эти:

Блистая красота младая
Въ его чертахъ;
Но блѣденъ; борода густая;
Печаль въ глазахъ.
Мила для взоровъ живость цвѣта,
Знакъ юныхъ дней:
Но блѣдный цвѣтъ, тоски примѣта,
Еще милѣй.

Развязка баллады — дѣтская мелодрама: книжаль, убійство невинныхъ и терзаніе совѣсти убійцы. Мы думаемъ, что такимъ окончаніемъ испорчена баллада, имѣвшая для своего времени великое достоинство.

Не знаемъ, что подало поводъ Жуковскому написать «Двѣнадцать Спящихъ Дѣвъ»; но мысль «Вадима», составляющаго вторую часть этой огромной баллады, заимствована имъ изъ романа Шписа «Старикъ вездѣ и нигдѣ». Мѣсто дѣйствія этой баллады въ Кіевѣ и Новѣгородѣ; но мѣстныхъ и народныхъ красокъ—никакихъ. Это нисколько не русская, но чисто романтическая баллада въ духѣ среднихъ вѣковъ. Мы еще возвратимся къ ней.

Говорятъ, что «Эолова Арфа» — оригинальное произведеніе Жуковского: не знаемъ; но по крайней мѣрѣ достоверно то, что она — прекрасное и поэтическое произведеніе, гдѣ сосредоточенъ весь смыслъ, вся благоухающая прелесть романтики Жуковского. Эта

любовь, несчастная по неравенству состояній, младенчески невинная, мечтательная и грустная, это свиданіе подъ дубомъ, полное тихаго блаженства и трепетнаго предчувствія близкаго горя, и арфа, повѣшенная «залогомъ прекрасныхъ минувшихъ дней», и явленіе милой тѣни одинокой красавицы, сопровождаемое таинственными звуками и возвѣщающее утрату всего милого на землѣ: все это такъ и дышетъ музыкой сѣвернаго романтизма, неопредѣленнаго, туманнаго, унылаго, возникшаго на гранитной почвѣ Скандинавіи и туманныхъ берегахъ Альбіона... Надо живо помнить первыя дѣта своей юности, когда сердце уже полно тревоги, но страсти еще не охватили его своимъ порывистымъ пламенемъ, — надо живо помнить эти дни сладкой тоски, мечтательнаго раздумья и тревожнаго порыванія въ какой-то таинственный міръ, которому сердце вѣрить, но котораго уста не могутъ назвать, — надо живо помнить это время своей жизни, чтобъ понять, какое глубокое впечатлѣніе должны производить на юную душу эти прекрасные стихи послѣдняго куплета баллады:

И нѣтъ уже Минваны...
Когда отъ потоковъ, холмовъ и полей
Восходятъ туманы,
И сѣтитъ, какъ въ дымъ, луна безъ лучей—
Двѣ видятся тѣни:
Сліявшись, летятъ
Къ знакомой имъ сѣни...
И дубъ шевелится, и струны звучатъ.

Минвана — не гордая красавица юга, съ роскошными формами тѣла, огненными глазами, пвѣтущая здоровьемъ, пышущая страстью; нѣтъ, это блѣдная красота сѣвера, тихая и кроткая, похожая на какое-то милое, воздушное видѣніе; красота, трогаящая своей болѣзненностью, очаровывающая своей томностью, идеалъ романтической красоты и въ особенности идеалъ красоты Жуковского... Со стороны художественной въ этой балладѣ есть одинъ важный недостатокъ: если нельзя сказать, чтобы она была растянута, то и нельзя сказать, чтобы она была сжата столько, сколько бы это нужно было для полного и сильнаго впечатлѣнія.

«Рыцарь Тогенбургъ» — прекрасный и вѣрный переводъ одной изъ лучшихъ балладъ Шиллера. Рыцарь любитъ дѣвушку, которая не понимаетъ чувства любви; тревоги военной жизни и жаркія схватки съ мусульманами не охладили въ рыцарѣ его несчастной страсти; возвратившись на родину, онъ узнаетъ, что она — монахиня; тогда онъ скрывается въ убогой кельѣ по сосѣдству монастыря, какъ гробъ схоронившаго въ себѣ всѣ надежды его на блаженство жизни, —

И душѣ его унылой
Счастье тамъ одно:

Дождаться, чтобъ у мной
Стукнуло окно.
Чтобъ прекрасная явилась,
Чтобъ отъ вышины
Въ тихій дождь лицомъ салониалась,
Ангелъ тишины.

Въ одно прекрасное утро злополучный рыцарь умеръ, смотря на окно... Подлинно—«рыцарь печальнаго образа»!... Какъ жаль, что Шиллеръ воскресилъ его не совсѣмъ въ пору да во-время! Сердца холодныя и разочарованныя, души жестокия и прозаическія, мы жалѣемъ объ этомъ рыцарѣ, но не какъ о человѣкѣ, постигнутомъ рокомъ и несущемъ на себѣ тяжкое бремя дѣйствительнаго несчастья, а какъ о сумасшедшемъ... По истинѣ бѣднѣжка для насъ немного смѣшной и жалкой... Что дѣлать? въ этомъ отношеніи мы совершенно классики и нисколько не романтики. Во-первыхъ, мы не вѣримъ, чтобъ все назначеніе мужчины заключалось только въ любви, и чтобъ всѣ силы души его должны были ссредоточиться въ одномъ этомъ чувствѣ; во вторыхъ, мы мало уважаемъ вѣрность до гроба и считаемъ ее натяжкой воли, аффектаціей, а не свободно горящимъ огнемъ чувства; въ третьихъ, мы не вѣримъ возможности любви нераздѣльной,—и если можемъ допустить ее, то не иначе, какъ болѣзнь или помѣшательство. Любовь вспыхиваетъ отъ сближенія, взаимность раздражаетъ и поддерживаетъ ея энергію; невниманіе и холодность вызываютъ чувство оскорбленнаго самолюбія, униженнаго достоинства—и уничтожаютъ возможность любви. Есть люди и въ наше время, которые готовы увѣрить себя въ какомъ угодно чувствѣ, и которые никогда не будутъ имѣть благородной смѣлости сознаться передъ самими собой, что ихъ чувство у нихъ не въ сердцѣ, не въ крови, а въ головѣ и фантазія. Они думаютъ, что измѣнить разъ овладѣвшему ими чувству постыдно, и цѣлую жизнь натягиваются силой воли держать себя въ этомъ чувствѣ. *A force de forger...*—и ихъ вымышленное чувство въ самомъ дѣлѣ даетъ имъ призракъ радости и тоски, какъ будто бы и дѣйствительное чувство. Бѣднѣжки рисуются передъ самими собою и не нарадуются своей глубокой и сильной натурѣ, которая если полюбитъ разъ, то ужъ навсегда, и скорѣе умереть, чѣмъ измѣнить своему чувству. Они не знаютъ, что въ этой добродѣтели давно уже побѣдилъ ихъ знаменитый витязь донъ-Кихотъ, который до могилы остался вѣренъ своей прекрасной Дульциней, котораго одна мысль объ этой очаровательной дамѣ его сердца укрѣпляла на великіе подвиги, на битвы съ мельницами и баранами, дѣлая его и несчастнымъ, и блаженнымъ... А что такое донъ-Кихотъ?—

Человѣкъ вообще умный, благородный, съ живой и дѣятельной натурой, но который вообразилъ, что ничего не стоитъ въ XVI вѣкѣ сдѣлаться рыцаремъ XII вѣка—стоитъ только захотѣть...

Мы выше замѣтили, что романтизмъ не есть достояніе и принадлежность одной какой-нибудь страны или эпохи: онъ—вѣчная сторона натуры и духа человѣческаго; онъ не умеръ послѣ среднихъ вѣковъ, а только преобразился. Итакъ, нашъ новѣйшій романтизмъ не думаетъ отрицать любви, какъ естественнаго стремленія сердца, но только требуетъ, чтобъ это стремленіе не было подземной, темной, адской силой, увлекающей человѣка, какъ пасть гремучей змѣи, въ бездну гибели. Не отнимая у чувства свободы, нашъ романтизмъ требуетъ, чтобъ и чувство въ свою очередь не отнимало у человѣка свободы, а свобода есть разумность. Гдѣ же разумность въ болѣзненномъ чувствѣ, приковавшемъ одного человѣка къ другому, когда этотъ другой свободенъ? Въ такомъ случаѣ Богъ съ ней—съ любовью! Широка жизнь, и много дорогъ на ея безконечномъ пространствѣ, и любую изъ нихъ можетъ выбрать себѣ свободная дѣятельность мужчины. Грустно видѣть человѣка, который потерялъ все, что любилъ, и котораго сердце этой потерей навсегда сокрушено и разбито; но никто не осудитъ такого человѣка: его скорбь имѣетъ имя, она дѣйствительна—онъ оплакиваетъ то, что звалъ своимъ, чѣмъ былъ счастливъ. Но сдѣлаться жертвой призрака, мечты, прихоти больного воображенія, каприза неразумнаго сердца, ссредоточить всѣ свои желанія на женщинѣ, которая о насъ не думаетъ, посвятить всю жизнь свою на то, чтобъ украдкой изрѣдка смотрѣть на нее въ почтительномъ разстояніи,—какая унижительная, какая презрѣнная роль! Въ одной сказкѣ сумасброднаго романтика Гофмана человѣкъ влюбляется въ автомата и гибнетъ жертвой этой любви: не похожъ ли на него рыцарь Тогенбургъ?... Въ средніе вѣка понимали любовь какъ какое-нибудь необходимое, роковое предназначеніе. Романтизмъ нашей эпохи понимаетъ дѣло проще, безъ всякаго мистицизма. Онъ не думаетъ, чтобъ для мужчины существовала только одна женщина въ мірѣ, а для женщины—только одинъ мужчина въ мірѣ. Выборъ предмета любви основанъ на капризѣ сердца; любовь зависитъ отъ сближенія, а сближеніе—отъ случайности. Не удалось здѣсь—удается тамъ; не сошлись съ одной, сойдется съ другой. Это опять не значитъ, чтобъ можно было полюбить или не полюбить по волѣ своей: это значитъ только то, что если каждый можетъ любить только извѣстный идеалъ, но никогда никакой идеалъ не является

въ мірѣ въ одномъ экземплярѣ, но существуетъ въ большемъ или меньшемъ числѣ видоизмѣненій и оттѣнковъ. Нашъ романтизмъ хлопочетъ не о томъ,—однажды или дважды должно и можно любить въ жизни, но о томъ, чтобъ не разбить другого, предавшагося вамъ сердца и не быть причиной несчастья его жизни. Вы любили только разъ въ жизни и были до гроба вѣрны одной только привязанности: прекрасно! Но не дѣлайте изъ этого общаго для всѣхъ правила! Одинъ такъ, другой иначе, тотъ—одинъ разъ въ жизни, а этотъ—десять разъ; оба равно правы, лишь бы только на совѣсти котораго нибудь изъ нихъ не легло ничье несчастье. Нѣтъ преступленія любить нѣсколько разъ въ жизни, и нѣтъ заслуги любить только одинъ разъ; упрекать себя за первое и хвастаться вторымъ—равно нелѣпо...

Когда двѣ эпохи такъ противоположно расходятся во взглядѣ на одни и тѣ же предметы, то поэзія старой эпохи теряетъ свою силу для новой. Если какая нибудь эпоха выразила собой одинъ изъ моментовъ всемірно-историческаго развитія, то ея поэзія всегда имѣетъ свою историческую важность: не только ея собственная поэзія, а не поддѣльная подъ нее. И потому готическіе соборы среднихъ вѣковъ и въ наше время сильно дѣйствуютъ на душу, а баллады Шиллера, несмотря на всю повѣстическую прелесть ихъ, ни для кого не занимательны. Скажемъ болѣе: чѣмъ выше по своему художественному достоинству такіа баллады, какъ «Рыцарь Тогенбургъ», тѣмъ большее сожалѣніе возбуждаютъ онѣ въ читателѣ нашего времени, что столько пушечныхъ зарядовъ потрачено по воробьямъ... Разаумѣется, это можно ставить въ упрекъ Шиллеру, но отнюдь не Жуковскому: ибо первый въ приведенныхъ нами стихотвореніяхъ старался воскресить давно умершіе интересы, когда современная жизнь кипѣла великими вопросами, и историческій духъ, какъ подземный кротъ, подрывалъ старыя основы новой дѣйствительности; а второй усваивалъ юной, едва рождавшейся литературѣ плодотворные для нея элементы, и юное, едва возрождавшееся общество знакомилъ съ новыми, необходимыми ему интересами. Итакъ, чтобъ еще полнѣе и опредѣленнѣе высказать сущность и характеръ романтизма среднихъ вѣковъ, а вмѣстѣ съ нимъ и романтики Жуковскаго,—бросимъ бѣглый взглядъ на содержаніе еще нѣкоторыхъ балладъ его.

Одинъ добрый пустынный разъ завелъ къ себѣ въ лѣсную келью заблудившагося путника,—потомъ узналъ въ немъ свою любимую, послѣ чего, сорвавъ съ себя накладную бороду, Эдвинъ поклялся жить и умереть вмѣстѣ съ Мальвиной. Это вѣроятно

Соч. Бѣлинскаго. Т. III.

случилось такъ давно, что теперь трудно и повѣрить, чтобъ когда-нибудь могло случиться.—Эдвинъ любилъ Эльвину, но богатый отецъ его запретилъ ему видѣться съ бѣдной дѣвушкой. Что тутъ дѣлать? Не читавшіе этой баллады могутъ подумать, что Эдвинъ былъ школьникъ, котораго отецъ могъ высѣчь за непослушаніе. Ничего не бывало! Онъ былъ малый на возрастѣ, уже знакомый съ страстями:

Увы, Эдвинъ! Въ какой борьбѣ въ немъ страсти!
И ни одной нѣтъ силы побѣдить...

Какъ не признать отцовской власти?

Но какъ же не любить?

Такъ вотъ что затрудняло и заставляло его страдать! Его отецъ былъ отецъ по понятіямъ среднихъ вѣковъ, т. е. человекъ, который за бѣдный даръ жизни считалъ себя вправе лишать сына счастья по произволу своей прихоти, другими словами—считалъ сына своимъ рабомъ, своей вещью... Въ наше время отецъ имѣетъ совсѣмъ другое значеніе: его связываетъ съ дѣтьми не столько кровь, сколько духъ; онъ считаетъ своей заслугой не то, что далъ дѣтямъ своимъ физическое существованіе, но то, что онъ далъ имъ черезъ воспитаніе, основанное на любви, нравственную жизнь. Еслибъ отецъ нашего времени сталъ отнимать у сына счастье его жизни на основаніи собственныхъ корыстныхъ расчетовъ,—всѣ бы увидѣли, что отецъ любитъ себя, а не сына, и тѣмъ самымъ уничтожаетъ свои права надъ нимъ: ибо если нѣтъ любви, связывающей отца съ дѣтьми, то у дѣтей нѣтъ и отца. Но въ средніе вѣка думали объ этомъ иначе, и отецъ считалъ своимъ священнымъ правомъ быть деспотомъ, а сынъ—своей священной обязанностью быть вещью дражайшаго родителя. Такъ думалъ нашъ Эдвинъ, а потому и слегъ съ горя въ постель, рѣшившись смертью окончить жизнь свою; но прежде ему хотѣлось взглянуть на Эльвину, которая, принявъ его послѣдній вздохъ, тоже не захотѣла больше жить и едва успѣла добѣжать до своей матери, какъ и умерла. Вотъ какъ любили прежде и какъ тогда опасно было «дражайшимъ родителямъ» разлучать вѣрныя сердца! Но вмѣстѣ съ тѣмъ должно замѣтить, что въ то время, когда появились на русскомъ языкѣ обѣ эти баллады, онѣ были важны для воспитанія въ обществѣ человѣческихъ чувствъ и не могли не дѣйствовать на нравственное образованіе новыхъ поколѣній.—Варвизъ, похититель короны и убійца своего царственнаго воспитанника, законнаго наследника престола, наказанъ наводненіемъ; спасаясь въ челнокѣ, онъ принужденъ протянуть руку утопающему младенцу—призраку погубленнаго имъ царевича, который и увлекаетъ его

въ волны. Стихи этой баллады чудесные, описанія картинныя, цѣль нравственная—все хорошо, только ни мало не правдоподобно...—Рыцарь Адельстанъ купилъ у сатаны счастье любви общаніемъ расплатиться съ нимъ за это своимъ первенцомъ; но лишь подаль онъ ему младенца, какъ и очутился самъ въ его когтяхъ, а младенецъ спасся какимъ-то чудомъ. Стихи этой баллады звучные, живописные; содержаніе поучительно, но не для людей грамотныхъ и сколько-нибудь образованныхъ, а именно для того класса людей, который по безграмотности совсѣмъ не читаетъ балладъ...—Славный боецъ былъ Гаральдъ; но не въ добрый часъ захотѣлось ему напиться воды изъ ручья—выпилъ и окаменѣлъ: это была злая шутка со стороны фей, которыя обольстили и увлекли спутниковъ Гаральда... Какъ хорошо, что въ наше прозаическое время феи перевелись, и мы можемъ пить воду, не боясь окаменѣть!... Слуга, убивъ своего паладина, надѣлъ на себя его доспѣхи и, по причинѣ ихъ тяжести, утонулъ въ рѣкѣ, куда сбросилъ его конь убитаго рыцаря: достойное наказаніе убійцѣ!—Одинъ жестокой епископъ сжегъ въ сараѣ, какъ мышей, бѣдный народъ, просившій у него хлѣба въ голодный годъ, и за то былъ наказанъ мышами же, которыя съѣли живьемъ самого его... Чудные вѣка были эти времена феодализма! Всякая добродѣтель въ нихъ немедленно награждалась, и всякій порокъ немедленно наказывался. Пострадать невинно тогда не было никакой возможности: въ чемъ бы ни обвиняли васъ—хотя бы въ отцеубійствѣ,—но если вы были убѣждены въ своей невинности, вамъ стоило только опустить руку въ кипятокъ и быть увѣреннымъ, что рука ваша не обожжется, а этимъ чудомъ и другихъ убѣдить въ чистотѣ вашей совѣсти... Должно быть, теперь свойство горячей воды много измѣнилось: проклятая равно сварить и виновную, и невинную руку. Вотъ и извольте жить въ такія времена, да читать баллады, въ чудесахъ которыхъ разувѣряетъ васъ эта положительная дѣйствительность! Хуже всего то обстоятельство, что въ наше прозаическое время чтеніе чудесныхъ балладъ не доставляетъ никакого удовольствія, но наводитъ апатію и скуку... Вотъ примѣръ, какъ хороша «Баллада, въ которой описывается, какъ одна старушка ѣхала на черномъ конѣ вдвоемъ, и кто сидѣлъ впереди». Жуковский превосходно перевелъ ее съ англійскаго (кажется, изъ Соути); но вѣдь дочтѣе ее до конца, право, нѣтъ силъ. Старушка эта была—страшная колдунья, сколько можно судить по ея собственной исповѣди:

«Здѣсь вмѣсто дня была мнѣ ночи мгла;
Я кровь младенцевъ проливала,

Власы невѣсть въ огнѣ волшебномъ жгла,
И кости мертвыхъ похищала.»

Боясь дьявола, который долженъ по уговору придти за ея тѣломъ (ужъ не знаемъ, зачѣмъ понадобилось лукавому тѣло старухи, когда душа ея была и безъ того въ его когтяхъ), старуха проситъ сына своего, чернеца, отстоять молитвами ея кости отъ покушеній нечистаго. Однакожъ тотъ взялъ свое, на черномъ конѣ похитивъ старую колдунью. И подѣломъ ей; но вотъ бѣда: мы рѣшительно не вѣримъ ни колдунамъ, ни колдуньямъ, и если ни за что въ свѣтѣ не позволимъ имъ проливать кровь нашихъ младенцевъ, то охотно позволимъ имъ жечь въ волшебномъ и какомъ угодно огнѣ остриженные волосы нашихъ невѣсть (если имъ вздумается обрѣзать свои волосы) и похищать кости нашихъ мертвыхъ. Впрочемъ колдуны нашего времени, колдуны классическіе, гораздо умнѣе колдуновъ романтическихъ: если кровь младенцевъ, волосы (или, пожалуй, даже и власы) невѣсть и кости мертвыхъ не даютъ имъ денегъ, они не станутъ и гнаться за ними. Что же касается до костей мертвыхъ собственно, то для ихъ спокойствія въ матери-сырой-землѣ гораздо опаснѣе всякихъ колдуновъ студенты медицинскихъ факультетовъ и вообще люди, занимающиеся врачебной наукой: ни одинъ изъ этихъ господъ не усомнится спрятать въ свой карманъ выглянувшій изъ земли черепъ, въ полной увѣренности (которой, по совѣсти и здравому разсудку, нельзя не оправдать и не одобрить), что покойный владѣлецъ черепа не будетъ въ претензіи на такое поруганіе, и что для него рѣшительно все равно—гнить ли въ землѣ, или въ ученомъ кабинетѣ способствовать успѣхамъ благотѣльнаго для человѣчества знанія. Итакъ, чтобъ восхититься балладой, въ которой описывается путешествіе старухи-колдуньи въ адъ съ чортомъ и на чортѣ, надо имѣть способность съ поднявшимися на головѣ волосами и выпученными отъ ужаса глазами слушать всѣ глупыя бредни черни о колдунахъ и чертахъ,—а способность эта можетъ быть только плодомъ самаго грубаго невѣжества, отъ котораго теперь освобождается мало-по-малу даже и чернь. Такія баллады могли бы пугать развѣ только нѣжные и впечатлительные (impressionable) воображеніе дѣтей: но кто же захочетъ нравственно губить дѣтей на всю жизнь, давая имъ въ руки такого рода баллады?... Это было бы далеко превзойти въ преступленіи старую колдунью, которая

...Кровь младенцевъ проливала,
Власы невѣсть въ огнѣ волшебномъ жгла,
И кости мертвыхъ похищала.

И однакожъ Жуковский такъ былъ вѣренъ своему романтическому направленію въ духѣ

среднихъ вѣковъ, что баллады самаго страннаго содержанія переведены имъ уже послѣ 1820 года. Къ числу такихъ балладъ принадлежитъ и баллада о старухѣ коздунѣ, вѣхавшей въ адъ съ дьяволомъ на чортѣ. Переведенная имъ «Ленора» напечатана была въ 1831 году. — Какъ на образецъ неумѣреннаго и несвоевременнаго романтизма укажемъ на балладу «Изолина». Пѣвецъ Алонзо возвратился изъ Палестины и началъ пѣть подъ окнами своей Изолины; но узнавъ, что она умерла, онъ самъ сію же минуту умираетъ, а Изолина воскресаетъ отъ его пѣсни: вотъ и все! — Еще болѣе характеризуетъ романтизмъ среднихъ вѣковъ баллада «Доника», которой содержаніе состоитъ въ томъ, что въ прекрасную невѣсту рыцаря ни съ того, ни съ сего вдругъ вселился бѣсъ и оставилъ ее при алтарѣ, куда пришла она вѣнчаться, но оставилъ ее вмѣстѣ съ ея жизнью... Вотъ онъ, романтизмъ среднихъ вѣковъ, мрачное царство подземныхъ демонскихъ силъ, отъ которыхъ нѣтъ защиты самой невинности и добродѣтели! Греческій романтизмъ никогда не доходилъ до такихъ нелѣпостей, унижающихъ человѣческое достоинство. — Баллады: «Братоубійца», «Королева Урака и пять Мучениковъ» и «Покаяніе» суть не что иное, какъ католическія легенды среднихъ вѣковъ. Последняя — лучшая изъ нихъ и по стихамъ, и по содержанію. «Замокъ Смальгольмъ», прекрасная баллада Вальтеръ-Скотта, прекрасными стихами переведенная Жуковскимъ, поэтически характеризуетъ мрачную и исполненную злодѣйствъ и преступленій жизнь феодаловъ временъ. По языку это одно изъ удивительнѣйшихъ произведеній Жуковского.

Въ собственно-лирическихъ произведеніяхъ, переведенныхъ и передѣланныхъ Жуковскимъ съ нѣмецкаго языка, открывается еще болѣе, чѣмъ въ балладахъ, сущность и характеръ его романтизма. Что такое этотъ романтизмъ? Это — желаніе, стремленіе, порывъ, чувство, вздохъ, стонъ; жалоба на несвершенныя надежды, которымъ не было имени, грусть по утраченномъ счастья, которое, Богъ знаетъ, въ чемъ состояло; это — міръ, чуждый всякой дѣйствительности, населенный тѣнями и призраками, конечно очаровательными и милыми, но тѣмъ не менѣе неуволними; это — уныло, медленно текущее, никогда не оканчивающееся настоящее, которое оплакиваетъ прошедшее и не видитъ передъ собой будущаго; наконецъ это — любовь, которая пытается грустью и которая безъ грусти не имѣла бы чѣмъ поддержать свое существованіе. Поищемъ въ стихахъ Жуковского оправданія нашего неопредѣленнаго и туманнаго опредѣленія его поэзіи. Подробный разборъ cadaго

стихотворенія далеко бы завлекъ насъ, и потому мы выберемъ одно изъ самыхъ характеристическихъ, а потомъ, въ параллель ему, сдѣлаемъ указанія на основную мысль другихъ, болѣе или менѣе замѣчательныхъ его стихотвореній: черезъ это мы укажемъ на основной мотивъ всѣхъ мелодій его поэзіи, ибо всѣ стихотворенія Жуковского не что иное, какъ разныя варіаціи на одинъ и тотъ же мотивъ. Ко всѣмъ имъ идутъ какъ эпиграфъ два послѣдніе стиха, которыми оканчивается пьеса «Тоска по Миломъ»:

Любовь, ты погибла; ты, радость, умчалась;
Ода о минувшемъ тоска мнѣ осталась.

«Тайнственный Посѣтитель» есть одно изъ самыхъ характеристическихъ стихотвореній Жуковского. Прочтемъ его.

Кто ты, приракъ, гость прекрасный?
Къ намъ откуда прилеталъ?
Безотвѣтно и безгласно,
Для чего отъ насъ пропалъ?
Гдѣ ты? Гдѣ твое селенье?
Что съ тобой? Куда исчезъ?
И зачѣмъ твое явленье
Въ поднебесную съ небесъ?

Не Надежда-ль ты младая,
Приходящая порой
Изъ невѣдомаго края
Подъ волшебной чарою?
Какъ она, неумолимо
Радость мнѣ на часъ
Показалъ ты, съ нею мимо
Пролетѣлъ и бросилъ насъ.

Не Любовь ли намъ собору
Тайно ты изобразилъ?
Дни любви, когда одною
Мірѣ одной прекраснѣ былъ?
Ахъ! тогда сквозъ покрывало
Неземнымъ казался онъ...
Снять покровъ; любви не стало;
Жизнь пуста, и счастье — сонъ.

Не волшебница ли Дума
Здѣсь въ тебѣ явилась намъ?
Удаленная отъ шума
И мечтательно къ устамъ
Приложивши перстъ, приходитъ
Къ намъ, какъ ты, она порой,
И въ минувшее уводитъ
Насъ безмолвно за собой.

Иль въ тебѣ сама святая
Здѣсь Поэзія была...
Къ намъ, какъ ты, она изъ рая
Два покроя при несла;
Для небесъ лавуно ясный,
Чистый, бѣлый для земли;
Съ ней все близкое прекрасно,
Все знакомо, что вдали.

Иль Предчувствіе сходило
Къ намъ во образѣ твоёмъ
И понятно говорило
О небесномъ, о святомъ?
Часто въ жизни то бывало:
Кто-то свѣтлый подлетитъ
И подыметъ покрывало,
И въ далекое манитъ.

Поняли-ль вы, кто такой этотъ «тайнственный посѣтитель»? Самъ поэтъ не знаетъ, кто онъ, и думаетъ видѣть въ немъ то Надежду,

то Любовь, то Думу, то Поэзію, то Предчувствіе... Но эта-то неопредѣленность, эта-то туманность и составляет главную прелесть, равно какъ и главный недостатокъ поэзіи Жуковскаго. Попробуемъ объяснить ее.

Есть въ человѣкѣ чувство безконечнаго; оно составляет основу его духа, и стремленіе къ нему есть пружина всякой духовной дѣятельности. Безъ стремленія къ безконечному нѣтъ жизни, нѣтъ развитія, нѣтъ прогресса. Сущность развитія состоитъ въ стремленіи и достиженіи. Но когда человѣкъ чего-нибудь достигаетъ, онъ не останавливается на этомъ, не удовлетворяется этимъ вполне; напротивъ, торжество достиженія бываетъ въ его душѣ непродолжительно и скоро побѣждается новымъ стремленіемъ. Отсюда чувство внутреннего недовольства, неудовлетворенія ничѣмъ въ жизни; отсюда тайная тоска. Можно сказать, что человѣкъ бываетъ счастливѣе, пока онъ борется съ препятствіями къ достиженію, нежели когда онъ наслаждается побѣдой борьбы, правдикомъ достиженія. Иначе и быть не можетъ. Чѣмъ глубже натура человѣка, тѣмъ сильнѣе въ немъ стремленіе, и тѣмъ менѣе способенъ онъ къ удовлетворенію

И неестественнымъ стремленьемъ
Весь міръ въ мою тѣснился грудь;
Картиной, звукомъ, выраженіемъ —
Во все я жизнь хотѣлъ вдохнуть.
И въ вѣжномъ сѣмени сокрытый,
Сколь пышнымъ мнѣ казался свѣтъ...
Но, ахъ, сколь мало въ немъ развито!
И малое — сколь бѣдный цвѣтъ!

говорить Шиллеръ. Таково свойство безконечнаго: духъ человѣка въ состояніи охватить его только въ моментальномъ, конечномъ его проявленіи, въ условіяхъ временной послѣдовательности, и потому, достигая чего-нибудь, онъ тотчасъ же видитъ, что не достигнулъ всего. Тогда онъ отрицаетъ достигнутое имъ и въ то, какъ не выражающее безконечнаго, и думаетъ достигнуть его въ другомъ. Въ этомъ состоитъ сущность жизни, какъ непрерывнаго развитія, непрерывнаго движенія впередъ. И когда это стремленіе осуществляется въ сферѣ практическаго міра, когда оно есть вѣчное дѣланіе, непрерывное творчество, тогда стремленіе это есть дѣйствительная сила человѣка, тогда для него есть цѣль, и если достиженіе не удовлетворяетъ такого человѣка, тѣмъ не менѣе оно для него — прогрессъ, и новое стремленіе его выше предшествовавшаго, новая цѣль выше достигнутой. Но есть натуры аскетическія, чуждыя историческаго смысла дѣятельности, чуждыя практическаго міра дѣятельности, живущія въ отвлеченной идее: такіа натуры стремленіе къ безконечному принимаютъ за одно съ безконечнымъ и хотятъ во что бы

то ни стало найти свое удовлетвореніе въ одномъ стремленіи. Въ этомъ есть своя сторона истины, и такіе люди конечно несравненно выше людей самыхъ практическихъ и дѣятельныхъ, незнакомыхъ съ стремленіемъ, а удовлетворяющихся самыми простыми и положительными цѣлями житейскими. Но тѣмъ не менѣе они — люди односторонніе, ибо пружину дѣйствія принимаютъ за само дѣйствіе и за цѣль дѣйствія: это такая же ошибка, какъ еслибъ кто, желая узнать, который часъ, вмѣсто того чтобъ посмотрѣть на циферблатъ, открылъ внутренность часовъ и началъ смотрѣть на спиральную цѣпочку.

Итакъ, содержаніе поэзіи Жуковскаго, ея пафосъ составляет стремленіе къ безконечному, принимаемое за само безконечное, движущую силу — за цѣль движенія. Совершенно чуждая исторической почвы, лишенная всякаго практическаго элемента, эта поэзія вѣчно стремится, никогда не достигая, вѣчно спрашиваетъ самое себя, никогда не давая отвѣта:

Иль опять отъ вышины
Вѣсть знакомая несется?
Или снова раздается
Милый голосъ старины?
Или тамъ, куда летитъ
Птичка, странникъ поднебесный,
Все еще сей неизвѣстный
Край желанной сокрытъ?..
Кто-жъ къ невѣдомымъ брегамъ
Путь невѣдомый укажетъ?
Ахъ! найдется, кто мнѣ скажетъ
Очарованное Тамъ?

Озарился, долъ туманный;
Разступился, мракъ густой;
Гдѣ найду исходъ желанный?
Гдѣ воскресну я душой?
Испещренные цвѣтами,
Красны холмы вижу тамъ...
Ахъ, зачѣмъ я не съ крылами!
Полетѣлъ бы я къ холмамъ.

Вотъ два отрывка изъ двухъ разныхъ стихотвореній: не варіаціи ли это на мотивъ «Таинственнаго Посѣтителя»?... И въ доказательство этого можно бы привести по отрывку почти изъ каждаго стихотворенія Жуковскаго...

Есть въ жизни человѣка время, когда онъ бываетъ полонъ безотчетнаго стремленія, безотчетной тревоги. И если такой человѣкъ можетъ потомъ сдѣлаться способнымъ къ стремленію дѣйствительному, имѣющему цѣль и результатъ, онъ этимъ будетъ обязанъ тому, что у него было время безотчетнаго стремленія. Такая пора безотчетнаго стремленія и бессознательныхъ порывовъ была и у человѣчества: въ этомъ-то и состоитъ сущность романтизма среднихъ вѣковъ. Если въ романтизмъ современной Европы нѣтъ мрака и много свѣта, такъ это потому, что Европа пережила романтизмъ среднихъ вѣковъ. И

если мы въ поэзіи Пушкина найдемъ больше глубокаго, разумаго и опредѣленнаго содержанія, больше зрѣлости и мужественности мысли, чѣмъ въ поэзіи Жуковскаго,—это потому, что Пушкинъ имѣлъ своимъ предшественникомъ Жуковскаго. Жуковскій своей поэзіей пополнилъ въ русской жизни недостатокъ историческихъ среднихъ вѣковъ, и, благодаря ему, для русскаго общества стала не только доступна, но и родственна и романтическая поэзія среднихъ вѣковъ, и романтическая поэзія начала XIX вѣка. А это съ его стороны великій подвигъ, которому награда—не простое упоминованіе въ исторіи отечественной литературы, но вѣчное славное имя изъ рода въ родъ...

Всякій предметъ имѣетъ двѣ стороны, и находить въ немъ не одно хорошее—совсѣмъ не значитъ осуждать его. Романтизмъ среднихъ вѣковъ, разумѣется, не годится для нашего времени: теперь онъ не истина, а ложь; но въ свое время онъ былъ истиной. Былъ и въ исторіи русской литературы и русскаго общества моментъ, когда для нихъ романтизмъ среднихъ вѣковъ былъ необходимымъ элементомъ жизни, живымъ сѣменемъ, которымъ должна была оплодотвориться почва русской поэзіи. Великъ подвигъ того, кто удовлетворилъ этой потребности; но тѣмъ не менѣе мы не должны оставаться при одномъ безотчетномъ удивленіи къ этому подвигу,—должны сознать его въ настоящемъ его значеніи, увидѣть всѣ его стороны. Мало того, чтобъ сказать, что Жуковскій ввелъ романтизмъ въ русскую поэзію, надо показать этотъ романтизмъ въ его настоящемъ видѣ.

Любовь играетъ главную роль въ поэзіи Жуковскаго. Какой же характеръ этой любви? въ чемъ ея сущность?—Сколько мы понимаемъ, это не любовь, а скорѣе потребность, жажда любви, стремленіе къ любви, и потому любовь въ поэзіи Жуковскаго—какое-то неопредѣленное чувство. Это—

Уныніа прелесть, волненіе надежды,
И радость, и трепетъ при встрѣчѣ очей,
Ласкающій голосъ—души восхищеніе,
Могущество тихихъ, таинственныхъ словъ,
Присутствія радость, томленіе разлуки.

Скажутъ: все это несомнѣнные примѣты, общіе признаки любви. Согласны; но потому-то и видимъ мы въ этомъ неопредѣленность, что это слишкомъ общія примѣты. Любовь—обще-человѣческое чувство; но въ каждомъ человѣкѣ оно принимаетъ свой оригинальный оттѣнокъ, свою индивидуальную особенность,—въ произведеніяхъ поэта тѣмъ болѣе. Мы слышимъ въ поэзіи Жуковскаго стоны растерзаннаго сердца, видимъ слезы по несбывшимся сладостнымъ надеждамъ,—и сочувствуемъ этому горю безъ утѣшенія, этой

скорби безъ выхода, этому страданію безъ исцѣленія; но не видимъ живого голоса, столь дорогаго сердцу поэта: для насъ, это—видѣніе, призракъ... Въ слѣдующихъ стихахъ мы встрѣчаемъ идеаль и предмета любви, и самой любви,—идеаль, созданный нашимъ поэтомъ:

Въ тотъ часъ, какъ тишиною
Земля облечена,
Въ молчаніи вселенной
Одна обвороженной
Душѣ она слышна;
Къ устамъ твоимъ она
Касается дыханьемъ;
Ты слышишь съ содроганьемъ
Знакомый звукъ рѣчей,
Задумчивыхъ очей
Встрѣчаешь взоръ пріятный,
И запахъ ароматный
Плѣнительныхъ кудрей
Во грудь твою лѣтся.
И мыслишь: ангелъ вѣется
Невнимый надъ тобой.
При ней—задумчивъ, сладкой
Исполненный тоской,
Ты робокъ, лишь украдкой
Стремишь къ ней томный взоръ.
Въ немъ сердце вылетаетъ;
Несмѣлъ твой разговоръ;
Твой умъ не обрѣтаетъ
Ни мыслей, ни рѣчей;
Задумчивость, молчанье—
И страсти мечтанье—
Языкъ души твоей;
Забиты всѣ желанья...

Все это очень вѣрно, но только до известной степени. Есть пора въ жизни человѣка, когда только въ этомъ заключены самыя страстныя желанія его сердца, самыя пламенные сны его фантазіи; но эта пора скоро проходитъ, и сердце человѣка загорается новыми желаніями. Юноша не можетъ любить, какъ любить отрокъ на переходѣ въ юношество, его мечты дѣйствительныя, и стыдливое молчаніе и несмѣльный разговоръ не долго въ состояніи удовлетворять его. Кромѣ того сама любовь, какъ все живое, растетъ, движется, желанія влекутъ и стремятъ за собой другія желанія, и это продолжается до тѣхъ поръ, пока любовь не приметъ опредѣленнаго характера, и любящіеся не придутъ въ опредѣленные отношенія другъ къ другу. Вообразимъ себѣ чету любящихся, которые всю жизнь свою только и дѣлаютъ, что стыдливо потупляютъ свои взоры, какъ скоро встрѣтятся, и вѣдутъ другъ съ другомъ несмѣльный разговоръ; вѣдь это была бы довольно странная картина, хотя и обаятельная въ своемъ началѣ... Жуковскій въ этомъ отношеніи ужъ слишкомъ романтикъ въ смыслѣ среднихъ вѣковъ: ему довольно только носить чувство въ своемъ сердцѣ, и онъ бережетъ и лелѣетъ его такимъ, какимъ зашло оно въ его сердце; онъ испугался бы его измѣняемости и увидѣлъ бы въ ней непостоянство... Мы

уже разъ замѣтили въ «Отечественныхъ Запискахъ», что есть натуры, которыхъ вся жизнь—выраженіе какого-нибудь возраста человѣческаго, и что Крыловъ въ своихъ басняхъ—вѣчно юный младенецъ, а Жуковский въ своихъ романтическихъ произведеніяхъ—никогда не старѣющійся юноша...

Мы сдѣлали бы большой недосмотръ, еслибъ, говоря о поэзіи Жуковского, не обратили вниманія на скорбь и страданіе, какъ на одинъ изъ главнѣйшихъ элементовъ всякой романтической поэзіи, и поэзіи Жуковского въ особенности. Посмотрите, какія мечты и образы вѣчно занимаютъ ее! Тамъ «дѣва въ черной власяницѣ» молится на кладбищѣ передъ образомъ Богоматери и непременно отходить въ другой міръ; тутъ... но мы лучше выпишемъ вполнѣ одну изъ самыхъ характеристическихъ пьесъ въ этомъ родѣ:

Дорогой шла дѣвица;
Съ ней другъ ея молодой:
Болѣзненны ихъ лица,
Наполненъ взоръ тоской.
Другъ друга лобызаютъ
И въ очи, и въ уста—
И снова расцвѣтаютъ
Въ нихъ жизнь и красота.
Минутное веселье!
Двухъ колоколовъ звонъ:
Она проснулась въ келью;
Въ *тирэмъ* проснулся онъ.

Такое направленіе поэзіи Жуковского очень естественно и понятно: такъ какъ она чужда всякаго историческаго созерцанія, всякаго чувства прогресса, всякаго идеала высокой будущности человечества,—то міръ подлунный для нея есть міръ скорбей безъ исцѣленія, борьбы безъ надежды и страданія безъ выхода. Поэтому въ поэзіи Жуковского вопли сердечныхъ мукъ являются не раздражающими душу диссонансами, но тихой сердечной музыкой, и его поэзія любитъ и голубить свое страданіе, какъ свою жизнь и свое вдохновеніе. Жуковского можно назвать пѣвцомъ сердечныхъ утратъ,—и кто не знаетъ его превосходной элегіи на «Кончину Королевы Виртембергской»—этого высокаго католическаго реквиэма, этого скорбнаго гимна житейскаго страданія и таинства утратъ?... Это въ высшей степени романтическое произведеніе въ духѣ среднихъ вѣковъ. Оно всегда прекрасно; но если вы хотите насладиться имъ вполнѣ и глубоко—прочтите его, когда сердце ваше постигнетъ скорбная утрата... О, тогда въ Жуковскомъ найдете вы себѣ друга, который раздѣлитъ съ вами ваше страданіе и дастъ ему языкъ и слово...

Всѣ сочиненія Жуковского можно раздѣлить на три разряда: къ первому относятся мелкія романтическія пьесы и оригинальныя, которыхъ немного, и не столько переведен-

ныя, сколько усвоенныя его музой; потомъ собственно переводы и наконецъ оригинальныя произведенія, которыя не могутъ быть названы романтическими.

Къ послѣднимъ принадлежатъ посланія и разныя патріотическія пьесы, писанныя на извѣстные случаи. Это самая слабая сторона поэзіи Жуковского; въ ней онъ невѣренъ своему призванію, и потому холодеетъ и исполненъ риторики. Прочтите его «Пѣснь Барда надъ гробомъ Славянъ-Побѣдителей», «На смерть Графа Каменскаго», «Пѣвца во Ставѣ Русскихъ Воиновъ», «Пѣвца въ Кремлѣ» и проч.—и вы не узнаете Жуковского. Несмотря на звучный и крѣпкій стихъ, вы почувствуете себя утомленными и скучающими, читая эти пьесы; вы удивитесь, какъ мало въ нихъ жизни, чувства, движенія, свободы. Причина этому, разумѣется, не отсутствіе въ сердцѣ поэта святой любви къ родинѣ. Но кто же могъ бы отрицать это чувство на примѣрѣ въ Крыловѣ? А между тѣмъ Крыловъ не написалъ ни одной оды, ни одного патріотическаго стихотворенія въ лирическомъ родѣ. Онъ получилъ отъ природы талантъ для басни: въ такомъ случаѣ онъ хорошо сдѣлалъ, что не писалъ одъ и трагедій. Жуковский по натурѣ своей—романтикъ, и ничто такъ не виѣ его таланта и призванія, какъ стихотворенія общественныя, на исторической почвѣ основанныя. «Пѣвцу во Ставѣ Русскихъ Воиновъ» Жуковский обязанъ своею славой: только черезъ эту пьесу узнала вся Россія своего великаго поэта; и это произведеніе было весьма полезно въ свое время. Но что же доказываетъ это?—только, что тогда понимали поэзію иначе, нежели какъ понимаютъ ее теперь (а понимали ее тогда, какъ риторикѣ въ стихахъ). Въ «Пѣвцѣ во Ставѣ Русскихъ Воиновъ» нѣтъ даже чувства современной дѣйствительности: въ этой пьесѣ вы не услышите ни одного выстрѣла изъ пушки или изъ ружья, въ ней нѣтъ и признаковъ порохового дыма,—въ ней летаютъ и свистятъ не пули, а стрѣлы, генералы являются воинами не въ киверахъ или фуражкахъ, а въ шлемахъ, не въ мундирахъ и шинеляхъ, а въ броняхъ, не со шпагами въ рукахъ, а съ мечами и копьями; къ довершенію этой пародіи на древность, всѣ они—съ щитами... Все это признакъ риторикѣ; ибо поэзія проста: она не чуждается обыкновенныхъ предметовъ дѣйствительности, не боится сдѣлаться отъ нихъ прозой, но поэтизируетъ самыя прозаическія вещи. И неужели жерла пушекъ, изрыгающія огонь и смерть тысячамъ; неужели дула ружей, посылающія издалека вѣрную смерть; неужели трехгранный штыкъ, стальной стѣной низлагающій сомкнутые ряды,—неужели

все это имѣть въ себѣ менѣе поэзіи, чѣмъ кольчуги, щиты, стрѣлы и копья древности?... Напротивъ, послѣдніе—дѣтскія игрушки въ сравненіи съ первыми, блѣдная проза въ сравненіи съ страшной и грандіозной поэзіей. И потомъ, къ чему эти славяне и эти барды славянскіе? Съ Наполеономъ дрались совсѣмъ не славяне, а русскіе! Скажутъ: но развѣ русскіе не славянскаго племени народъ?—Положимъ, что и такъ; но развѣ всѣ народы западной Европы не тевтонскаго племени: а кто скажетъ, что русскіе дрались подъ Бородинымъ съ тевтонами, на томъ основаніи, что Галлія нѣкогда была завоевана франками, а франки были народъ тевтонскаго племени? И потомъ, какіе барды были у славянъ? Да сверхъ того бардъ Жуковскаго очень похожъ на скандинавскаго скальда. Вообще ничего не чужда до такой степени поэзія Жуковскаго, какъ русскихъ національных элементовъ. Можетъ быть это недостатокъ, но въ то же время и достоинство: еслибъ національность составляла основную стихію поэзіи Жуковскаго,—онъ не могъ бы быть романтикомъ, и русская поэзія не была бы оплодотворена романтическими элементами. Поэтому всѣ усилія Жуковскаго быть народнымъ поэтомъ возбуждаютъ грустное чувство, какъ зрѣлище великаго таланта, который, вопреки своему призванію, стремится идти по чуждому ему пути.

Лучшія мѣста въ нѣкоторыхъ патріотическихъ пѣсняхъ Жуковскаго—тѣ, въ которыхъ онъ является вѣрнымъ своему романтическому элементу. Таково напримѣръ въ «Пѣвцѣ во Станѣ Русскихъ Воиновъ»:

Люби сей полный кубокъ въ даръ!
Среди борьбы кровавой,
Друзья, святой питайте жаръ:
Любовь одно со славой.
Кому здѣсь жребій удѣленъ
Знать тайну страсти милой,
Кто сердцу сердцемъ обреченъ,
Тотъ смѣло, съ бодрой силой
На все великое летитъ;
Нѣтъ страха, нѣтъ преграды;
Чего, чего не совершитъ
Для сладостной награды?
Ахъ, мысль о той, кто все для насъ,
Намъ спутникъ неизмѣнный:
Вездѣ знакомый слышимъ гласъ;
Зримъ образъ незабвенный;
Она на бранныхъ знаменахъ,
Она въ пылу сраженья;
И въ шумѣ стана, и въ мечтахъ
Веселыхъ сновидѣнь.
Отвѣдай врагъ исторгнуть щитъ,
Рукою данный милой;
Святой объѣтъ на немъ горитъ:
Твоя и за могилой!
О, сладость тайныя мечты!
Тамъ, тамъ за синей далью,
Твой ангелъ, дѣва красоты,
Одна съ своей печалью
Груститъ, о другѣ слезы льетъ;
Душа ея въ молитвѣ,

Бонится вѣсти, вѣсти ждетъ:
«Увы! не палъ ли въ битвѣ?»
И мыслить: «Скоро ль, дружній гласъ,
Твой мнѣ слушать звуки?
Лети, лети свиданья часъ,
Смѣнить тоску разлуки».
Друзья! блаженнѣйшая часть
Любезнымъ быть спасеньемъ,
Когда жъ предѣлъ нашъ въ битвѣ пасть—
Погибнемъ съ наслажденьемъ;
Святое имя призовемъ
Въ минуту смертной муки;
Кѣмъ мы дышали въ мирѣ семъ,
Съ той нѣтъ и тамъ разлуки:
Туда душа перенесетъ
Любовь и образъ милой...
О други, смерть не все возьметъ;
Есть жизнь и за могилой.

Слѣдующее мѣсто есть не что иное, какъ profession de foi рыцарства среднихъ вѣковъ, какъ-будто выраженное огненнымъ словомъ Шиллера:

А мы?.. Довѣренность Творцу!
Чтобъ ни было, невзрывъ
Ведетъ насъ къ лучшему концу
Стезей непостижимой.
Ему, друзья, отважно въ слѣдъ!
Прочь низкое! прочь злоба!
Духъ бодрый на дорогѣ бѣдъ,
До самой двери гроба;
Въ высокой долѣ—простота,
Нежадность въ наслажденьи,
Въ союзѣ съ ровнымъ—правота,
Въ могуществѣ—смиренье;
Обѣтамъ—вѣрность; чести—честь;
Покорность—правой власти;
Для дружбы все, что въ мирѣ есть;
Любви—весь пламень страсти,
Утѣха—скорби; просьбѣ—дань;
Погибели—спасенье;
Могущему пороку—брань,
Бесильному—презрѣнье;
Неправдѣ—грозный правды гласъ;
Заслугѣ—воздаенье;
Спокойствіе—въ послѣдній часъ;
При гробѣ—упованье.

Послания — странный родъ, бывшій въ болѣе употребленіи у русской поэзіи до Пушкина. Они всегда были длинны и скучны, и почти всегда писались шестистопными ямбами: вотъ главная характеристическая черта ихъ. Послания Жуковскаго отличаются отъ другихъ хорошими стихами и не чужды прекрасныхъ мѣстъ въ романтическомъ духѣ. Таковы наприм. слѣдующіе стихи изъ посланія къ Филалету:

Скажу ль? мнѣ ужасовъ могила не являетъ;
И сердце съ горестнымъ желаньемъ ожидаетъ,
Чтобъ Промысла рука обратно то взяла,
Чѣмъ я безрадостно въ семь мирѣ бременился,
Ту жизнь, въ которой я столь мало наслаждался,
Которую давно надежда не златитъ.
Къ младенчеству ль душа прискорбная летитъ,
Считаю ль радости минувшаго—какъ мало!
Нѣтъ! счастье къ бытію меня не приучало;
Мой юношескій цвѣтъ безъ запаха отцвѣлъ.
Едва въ душѣ моей для дружбы я созрѣлъ—
И что же! предо мной увядшаго могила;
Душа, не воспылавъ, свой пламень угасила;
Любовь... но я въ любви нашелъ одну мечту,
Безумца тяжкій сонъ, тоску безъ раздѣленья
И невозвратное надеждъ уничтоженіе.

Эти прекрасные стихи двойнѣ замѣчательны: они исполнены глубокаго чувства; въ нихъ слышится вопль души,—и они доказываютъ фактически, что не Пушкинъ, а Жуковский первый на Руси выговорилъ эгегическимъ языкомъ жалобы человѣка на жизнь. Иначе и быть не могло. Жуковский былъ первымъ поэтомъ на Руси, котораго поэзія вышла изъ жизни. Какая разница въ этомъ отношеніи между Державинимъ и Жуковскимъ! Поэзія Державина столь же безсердечна, сколько сердечна поэзія Жуковского. Оттого торжественность и высокопарность сдѣлались преобладающимъ характеромъ поэзіи Державина, тогда какъ скорбь и страданія составляютъ душу поэзіи Жуковского. До Жуковского на Руси никто и не подозрѣвалъ, чтобъ жизнь человѣка могла быть въ тѣсной связи съ его поэзіей, и чтобъ произведенія поэта могли быть выстъ и лучшей его біографіей. Тогда люди жили весело, потому что жили внѣшней жизнью и въ себя не заглядывали глубоко.

Пой, пляши, кружись. Параша!
Руки въ боки подпирай!

восклицалъ Державинъ.

Прочь отъ насъ, Катонъ, Сенека,
Прочь, угрюмый Эпиктетъ!
Безъ утѣхъ для человѣка
Пусть, несомненъ былъ бы свѣтъ!

восклицалъ Дмитріевъ. Эти пѣвцы и тогда умѣли плакать, но не умѣли скорбѣть. Жуковский, какъ поэтъ по преимуществу романтической, былъ на Руси первымъ пѣвцомъ скорби. Его поэзія была куплена имъ цѣной тяжкихъ утратъ и горькихъ страданій; онъ нашелъ ее не въ иллюминаціяхъ, не въ газетныхъ реляціяхъ, а на днѣ своего растерзаннаго сердца, во глубинѣ своей груди, истомленной тайными муками...

Въ посланіи къ Тургеневу мы встрѣчаемъ столь же поразительное мѣсто, какъ и то, которое сейчасъ выписали изъ посланія къ Филалету:

... И мы въ сей край незримый
Летимъ душой за милыми во слѣдѣ;
Но къ намъ отъ нихъ желанной вѣсти нѣтъ;
Лишь тайное живетъ въ насъ ожиданье...
Когда жъ, когда?.. Другъ милый, упованье!
Гробами ихъ рубежъ означенъ тотъ,
На коемъ насъ свободы гоній ждетъ
Съ спокойствіемъ, безчувствіемъ, забвеньемъ.
Пришедъ туда, о другъ, съ какимъ презрѣньемъ
Мы бросимъ взоръ на жизнь, на тусный свѣтъ,
Гдѣ милому одинъ минушей цвѣтъ,
Гдѣ доброту слѣдовъ ко счастью нѣтъ,
Гдѣ мнѣ надъ совѣстью властитель,
Гдѣ все, мой другъ, иль жертва, иль губитель!..
Дай руку, братъ! какъ звать, куда нашъ путь
Насъ приведетъ и скоро ль онъ свершится,
И что еще во мглѣ судьбы тантся. —
Но дружба намъ звѣздой отрады будъ;
О прочемъ адъсѣ останемся безпечны;
Намъ счастья нѣтъ: зато и мы не вѣчны.

Въ посланіяхъ Жуковского, вообще длинныхъ и прозаическихъ, встрѣчаются, кромѣ прекрасныхъ романтическихъ мѣстъ, и высокія мысли безъ всякаго отношенія къ романтизму. Такъ напр., въ посланіи (121—139 стр. 2-го тома) встрѣчаемъ слѣдующіе стихи:

Такъ! и на бѣдствіи земныя положишь
Онъ свѣтлозарную печать благотворенья!
Ниспосылаемый имъ ангелъ разрушенія
Взрываетъ, какъ бразды, земныя племена,
Въ нихъ жизнь свѣжая бросаетъ сѣмена,
И, обновленные, пышнѣ расцвѣтаютъ!
Какъ бури въ вѣной поля, бѣды ихъ возрождаютъ!

Въ слѣдующемъ за тѣмъ посланіи встрѣчаемъ эти высокіе пророческіе стихи, въ которыхъ слышится голосъ умиленной Россіи:

Тебѣ его младенческія лѣта!
Отъ ихъ пеленъ ко входу съ бури свѣта
Пускай тебѣ во слѣдъ онъ перейдетъ
Съ душой, на все прекрасное готовой;
Наставленный: достойнымъ счастья быть,
Великое съ величіемъ сносить,
Не трепетать, встрѣчая рокъ суровый,
И быть въ дѣлахъ временъ своихъ красой.
Лѣта пройдутъ, подвижникъ молодой,
Отенивши младенчества забавы,
Онъ полетитъ въ путь опыта и славы...
Да встрѣтитъ онъ обильный чествомъ вѣтъ!
Да славнаго участника славный будетъ!
Да на чредѣ высокой не забудетъ
Святѣйшаго изъ званій: *человекъ*!
Жить для вѣковъ въ величій народномъ,
Для блага *всѣхъ*—свое позабывать,
Лишь въ голосъ отечества свободномъ
Съ смиреніемъ дѣла свои читать:
Вотъ правила царей великихъ внуку.
Съ тобой ему начать сію науку.

Изъ оригинальныхъ стихотвореній Жуковского особенно замѣчательны «Теонъ и Эскинъ» и баллада «Узникъ», если только они — его оригинальныя стихотворенія (въ Смирдинскомъ изданіи «Сочиненій Жуковского» только при немногихъ переводныхъ пьесахъ означены имена авторовъ). Это самыя романтическія произведенія, какія только выходили изъ подъ пера Жуковского. Эскинъ долго бродилъ по свѣту за счастьемъ — оно убѣгло его.

И роскошь, и слава, и Вакхъ, и Эротъ —
Лишь сердце они нивурили;
Цвѣтъ жизни былъ сорванъ; увяла душа:
Въ ней скуку смѣнила надежда.

Возвращаясь на родину, Эскинъ видитъ —

Все тѣ жъ берега, и поля, и холмы,
И то же прекрасное небо;
Но гдѣ жъ оварившая нѣкогда ихъ
Волшебнымъ сіяньемъ Надежда?

И приходитъ онъ къ другу своему Теону; тотъ сидѣлъ въ раздумьѣ на порогѣ своей хижины, въ виду гроба изъ бѣлаго мрамора; друзья обнялись; лицо Эскина скорбно и мрачно, взоръ Теона скорбень, но ясенъ. Эскинъ говоритъ объ обманывающей сердце

мечтѣ, о счастьи, и спрашиваетъ друга—не та же ли участь постигла и его?

Теонъ указалъ, вѣдывая, на гробъ...

«Эсхинъ, вотъ безмолвный свидѣтель,
Что боги для счастья послали намъ жизнь,—
Но съ нею печаль неразлучна.

О нѣтъ, не роищу на Зевесовъ законъ;
И жизнь, и вселенна прекрасны,
Не въ радостяхъ быстрыхъ, не въ сложныхъ
Я видѣлъ земное блаженство. мечтахъ

Что можешь разрушить въ минуту судьба,
Эсхинъ, то на свѣтѣ не наше;

Но сердца нетлѣнныя блага: любовь
И сладость возвышенныхъ мыслей —

Вотъ счастье; о другъ мой, оно не мечта.

Эсхинъ, я любилъ и былъ счастливъ;

Любовью моя освѣтилась душа,

И жизнь въ красотѣ мнѣ предстала.

При блескѣ возвышенныхъ мыслей я зрѣлъ

Яснѣ великость творенья:

Я вѣрилъ, что путь мой лежитъ по землѣ

Къ прекрасной возвышенной цѣли.

Увы! я любилъ... и ея уже нѣтъ!

Но счастье, вдвоемъ столь живое,

На вѣки ль исчезло? И прежніе дни

Вотще ли столь были прелестны?

О, нѣтъ: никогда не погибнетъ ихъ слѣдъ;

Для сердца прошедшее вѣчно;

Страданье въ разлукѣ есть та же любовь;

Надъ сердцемъ утрата безсилна.

И скорбь о прошедшемъ не есть ли, Эсхинъ,

Обѣтъ неизмѣнной надежды?

Что гдѣ-то, въ знакомой, но тайной странѣ,

Погибшее намъ возвратится?

Кто разъ полюбилъ, тотъ на свѣтѣ, мой другъ,

Уже одинокимъ не будетъ...

Ахъ, свѣтъ, гдѣ она предо мною цѣла —

Онъ тотъ же: все ея онъ полонъ.

По той же дорогѣ стремлюсь одинъ,

И къ той же возвышенной цѣли,

Къ которой такъ бодро стремился вдвоемъ, —

Сихъ узъ не разрушить могла.

Сей мыслью высокою украшена жизнь;

Я вѣромъ смотрю благодарнымъ

На землю, гдѣ столько разсыпано благъ,

На полное славы творенье.

Спокойно смотрю я съ земли рубежа

На стороны лучшія жизни;

Сей сладкой надеждою мнѣ озаренъ,

Какъ небо сіяетъ авроры.

Съ сей сладкой надеждою я выше судьбы,

И жизнь мнѣ земная священна;

При мысли великой, что я человекъ,

Всегда возвышаюсь душою.

А этотъ безмолвный, таинственный гробъ...

О, другъ мой, онъ вѣрный свидѣтель,

Что лучшее въ жизни еще впереди,

Что *явно* желанное будетъ;

Сей гробъ, затворенная къ счастию дверь

Отворится... жду и надѣюсь!

За нимъ ожидаетъ спутникъ меня,

На мигъ мнѣ явившійся въ жизни.

О другъ мой, искавъ измѣняющихъ благъ,

Искавъ наслажденій мпунныхъ,

Ты вѣрна блага утратилъ свои —

Ты жизнь презирать научился.

Съ симъ гибельнымъ чувствомъ ужасенъ и свѣтъ;

Дай руку: близъ вѣрнаго друга,

Съ природой и жизнью опять примирись;

О, вѣръ мнѣ, прекрасна вселенна!

Все небо намъ дало, мой другъ, съ бытіемъ,

Все въ жизни къ великому средство:

И горесть, и радость—все къ цѣли одной:

Хвала Жизнодавцу-Зевесу.

На это стихотвореніе можно смотрѣть, какъ на программу всей поэзіи Жуковского, какъ на положеніе основныхъ принциповъ ея содержанія. Всѣ блага жизни невѣрны: стало-быть, благо внутри насъ; здѣсь все проходить и измѣняется намъ: стало-быть, неизмѣнное впереди насъ. Прекрасно! Но неужели же изъ этого слѣдуетъ, чтобъ мы здѣсь сидѣли сложа руки, ничего не дѣлая, питааясь высокими мыслями и благородными чувствованіями?... Эта односторонность, нравственный аскетизмъ, крайность и заблужденіе ультра-романтизма... Какимъ образомъ человекъ можетъ идти «къ прекрасной, возвышенной цѣли», стоя на одномъ мѣстѣ и бесѣдуя съ самимъ собой о лучшей жизни на порогѣ своей хижины, въ виду мраморнаго гроба?... И неужели эта «прекрасная, возвышенная цѣль» есть только лучшее счастье человека, а личное счастье человека только въ любви къ женщинѣ?... О, если такъ, то по закону совпаденія крайностей эта любовь есть величайшій эгоизмъ!... Смерть — дѣло слѣпое случая—похитила у насъ ту, которой обязаны были мы нашимъ земнымъ счастьемъ: не будемъ приходить въ отчаяніе—да и для чего? вѣдь это только временная разлука, вѣдь скоро мы опять женимся на ней—тамъ; садимъ же на порогѣ нашей хижины, сложимъ руки и, не сводя глазъ съ ея гроба, будемъ восхищаться «полнымъ славы твореніемъ, красотой вселенной и будемъ утѣшать себя мыслью, что все дано намъ небомъ съ бытіемъ, и все въ жизни—средство къ великому, и что горе и радость—все къ одной цѣли!» Нѣтъ, и еще разъ—нѣтъ! Только въ половину истинна такая аскетическая философія! Законно и праведно требованіе человека на личное счастье; разумно и естественно его стремленіе къ личному счастью; но въ одномъ ли сердцѣ долженъ заключаться весь міръ его счастья? Вотъ вопросъ, на который не даетъ намъ рѣшенія поэзія Жуковского. Еслибъ вся цѣль нашей жизни состояла только въ нашемъ личномъ счастьи, а наше личное счастье заключалось бы только въ одной любви: тогда жизнь была бы дѣйствительно мрачной пустыней, заваленной гробами и разбитыми сердцами, была бы адомъ, передъ страшной существенностью котораго поблѣднѣли бы повитическіе образы земного ада, начертанные гениемъ суроваго Данте... Но—хвала вѣчному Разуму, хвала попечительному Промыслу! есть для человека и еще великій міръ жизни, кромѣ внутренняго міра сердца,—міръ историческаго созерцанія и общественной дѣятельности,—тотъ великій міръ, гдѣ мысль становится дѣломъ, а высокое чувствованіе—подвигомъ, и гдѣ два противоположные берега жизни—здѣсь и тамъ—сливаются въ одно реальное небо

исторического прогресса, исторического безсмертія... Это міръ непрерывной работы, нескончаемаго дѣланія и становленія, міръ вѣчной борьбы будущаго съ прошедшимъ, — и надъ этимъ міромъ носится Духъ Божій, оглашающій хаосъ и мракъ своимъ творческимъ и мощнымъ глаголомъ: «да будетъ!», и вызывающій имъ свѣтлое торжество настоящаго—радостные дни новаго тысячелѣтнаго царства Божія на землѣ... И благо тому, кто не празднымъ зрителемъ смотрѣлъ на этотъ океанъ шумно несущейся жизни, кто видѣлъ въ немъ не одни обломки кораблей, яростно вздымающіяся волны, да мрачную, лишь молніями освѣщенную ночь, кто слышалъ въ немъ не одни вопли отчаянія и крики гибели, но кто не терялъ при этомъ изъ вида и путеводной звѣзды, указывающей на цѣль борьбы и стремленія, кто не былъ глухъ къ голосу свыше: «борись и погибай, если надо: блаженство впереди тебя, и если не ты—братья твои насладятся имъ и восхвалятъ вѣчнаго Бога силъ и правды!». Благо тому, кто, не довольствуясь настоящей дѣйствительностью, носилъ въ душѣ своей идеалъ лучшаго существованія, жилъ и дышалъ одной мыслью — споспѣшествовать, по мѣрѣ данныхъ ему природою средствъ, осуществленію на землѣ идеала,—рано поутру выходилъ на общую работу и съ мечомъ, и съ словомъ, и съ заступомъ, и съ метлой, смотря по тому, что было ему по силамъ, и кто являлся къ своимъ братьямъ не на одни пиры веселія, но и на плачъ и сѣтованія.... Благо тому, кто, падая въ борьбѣ за свѣтлое дѣло совершенствованія, съ упованіемъ страстнаго блаженства погружался въ успокоительное лоно силы, вызывавшей его на дѣло жизни, и восклицалъ въ священномъ восторгѣ: «все Тебѣ и для Тебя, а моя высшая награда—да святится имя Твое и да придетъ царствіе Твое!...»

Обаятельна жизнь сердца; но безъ практической дѣятельности, источникъ которой заключался бы въ паосѣ къ идеѣ, самый богато-надѣленный дарами природы человекъ рискуетъ скоро изжить всю жизнь и остаться при одной пустотѣ мечтательныхъ ожиданій и дѣйствительнаго отвращенія къ чувству бытія. Романтизмъ, безъ живой связи и живого отношенія къ другимъ сторонамъ жизни, есть величайшая односторонность!

«Узникъ»—одно изъ самыхъ благоуханныхъ романтическихъ произведеній Жуковского. Заключенный въ тюрьмѣ юноша слышитъ за стѣнной стѣной такой же, какъ онъ самъ, узники:

«И такъ всѣ блага замѣнить

Могилой;

И бросить свѣтъ, когда въ немъ жить

Такъ мило!

Ахъ, дайте въ свѣтъ подышать;

Еще мнѣ рано умирать.

Лишь мигъ весеннимъ бытіемъ

Жила я;

Лишь мигъ на праздниѣхъ земномъ

Была я;

Душа готовилась любить...

И все покинуть, все забыть!»

Юноша сжился душой съ узницей, которой онъ никогда не видалъ. Въ ней вся жизнь его, и онъ не проситъ самой воли. И что нужны, что онъ никогда не видалъ. ея, что она для него—не богѣ, какъ мечта? Сердце человека умѣетъ обманывать и себя, и разсудокъ, особенно если съ нимъ вступить въ союзъ фантазія. Нашъ узникъ не хочетъ и знать, что-бъ заговорило сердце его тогда, когда глаза его увидѣли бы таинственную узницу.

«Не ты ль—онъ мнитъ—давно была

Любима?

И не тебя ль душа звала,

Томила

Желанья смутнаго тоской,

Волненьемъ жизни молодой?

Тебя въ пророчествѣнномъ снѣ

Видалъ я;

Тобою въ пламенной веснѣ

Дышалъ я;

Ты мнѣ цвѣла въ живыхъ цвѣтахъ;

Твой образъ вѣялъ въ облакахъ.»

Молодая узница умерла въ своей тюрьмѣ; узникъ былъ освобожденъ;—

Но хладно принялъ онъ привѣтъ

Свободы:

Прекраснаго ужъ въ мірѣ нѣтъ:

Дни, годы

Напрасно будутъ проходить...

Погибшаго не возвратить.

И тихо въ сумракѣ ночей

Онъ бродитъ,

И съ неба темнаго очей

Не сводитъ:

Звѣзда знакомая тамъ есть;

Она къ нему приноситъ вѣсть...

О миломъ вѣсть и въ мірѣ иной

Призванье...

И дѣлитъ съ тайной онъ звѣздой

Страданье;

Ея краса оживлена;

Ему въ ней свѣтится онъ.

Онъ таялъ, гаснулъ и угасъ...

И миновало,

Что вдругъ въ передпослѣдній часъ

Явилось

Все то, чего душа ждала —

И жизнь въ улыбѣхъ отошла...

«Сказка о царѣ Берендѣѣ, о сынѣ его Иванѣ-царевичѣ, о хитростяхъ Кощея-Бессмертнаго и о премудростяхъ Марьи-царевны, Кощеевой дочери» и «Сказка о спящей Царевнѣ» были весьма неудачными попытками Жуковского на русскую народность. О нихъ никакимъ образомъ нельзя сказать:

Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ.

Вообще быть народнымъ — значило бы для Жуковского отказаться отъ романтизма, — а это для него было бы все равно, что отказаться отъ своей натуры, отъ своего духа, словомъ, — отъ самого себя. Въ «Громобой» Жуковский тоже хотѣлъ быть народнымъ, но, наперекоръ его волѣ, эта русская сказка у него обратилась какъ-то въ нѣмецкую — что-то вродѣ католической легенды среднихъ вѣковъ. Лучшія мѣста въ ней — романтическія, какъ напр. это:

Увы! пора любви придетъ:
Вамъ сердце тайну скажетъ,
Для васъ украситъ Божій свѣтъ,
Вамъ милого покажетъ;
И взоръ наполнится тоской,
И тихимъ грудь желаньемъ,
И, распаленны душой,
Влекомы ожиданьемъ,
Для васъ войдетъ красивѣе день,
И будетъ лугъ душистѣй,
И сладостнѣй дубравы тѣнь,
И птичка голосистѣй.

«Вадимъ» весь преисполненъ самымъ неопредѣленнымъ романтизмомъ. Этотъ «Новгородскій рыцарь» ѣдетъ, самъ не зная куда, руководимый таинственнымъ звонкомъ... Онъ долженъ стремиться къ небесной красотѣ, не обольщаясь земной. И вотъ для обольщенія его предстала ему земная красота въ образѣ кievской княжны...

Лазурны очи опушта,
Въ объятіяхъ Вадима,
Она, какъ тихое дитя,
Лежала недвижна;
И чтѣ съ невинною душой
Сбылось — не постигала;
Лишь сердце билось, и порой,
Вся вспыхнувъ, трепетала;
Лишь пламень гаснущій сіялъ
Сквозь тѣнь рѣсницъ склоненныхъ,
И вздохъ невольный вылеталъ
Изъ устъ воспламененныхъ.
А вѣтвя?... Чтѣ съ его душой?...
Увы! сихъ вворовъ сладость,
Сихъ чистыхъ, подъ его рукой
Горящихъ персей младость,
И мягкій шокъ мудрей густыхъ,
По раменамъ разлитыхъ,
И свѣжій блескъ ланитъ младыхъ,
И устъ полуоткрытыхъ
Палачій жаръ, и тихій гласъ,
И милое смятенье,
И ночи таинственный часъ,
И вокругъ уединенье —
Все чувство разжигало въ немъ...
О власть очарованья!
Уже исполнены огнемъ
Кипящаго лобавья,
На дѣвственныхъ ея устахъ
Его уста горѣли,
И жарче розы на щекахъ
Дрожащей дѣвы рдѣли;
И все... но вдругъ смутился онъ,
И въ радостномъ волненіи
Затрепеталъ... знакомый звонъ
Раздался въ отдаленіи;
И долго жалобно звенѣлъ
Онъ въ безднѣ поднебесной;

И кто-то, чудилось, летѣлъ
Незримый, но извѣстный;
И взоръ, исполненный тоской,
Мелькалъ сквозъ покрывало;
И подъ воздушной пеленой
Печальное вздыхало...
Но вдругъ сильнѣй потрясся лѣсъ,
И небо зашумѣло...
Вадимъ взглянулъ — призракъ исчезъ;
А въ вышинѣ... звенѣло,
И вслѣдъ за милою мечтой
Душа его стремится...

Колокольчикъ, какъ видите, зазвенѣлъ очень кстати... Вадимъ отказался отъ кievской княжны, а вмѣстѣ съ ней и отъ кievской короны, освободилъ двѣнадцать спящихъ дѣвъ и на одной изъ нихъ женился. Но чтѣ было потомъ и кто эти дѣвы и чтѣ съ ними стало — все это осталось для насъ такой же тайной, какъ и для самого поэта... Право, намъ кажется, что напрасно отказался Вадимъ отъ кievской княжны. Это напоминаетъ намъ фантастическую сказку Гофмана — «Золотой Горшокъ»: тамъ студентъ Ансельмъ, цѣной многихъ лишеній и сумасбродствъ, добивается до неизрѣченного блаженства обнять вмѣсто женщины — змѣю, которая, какъ локвая, увертливая змѣя, и ускользаетъ изъ его рукъ... Вадимъ, кажется, обнялъ еще меньше, чѣмъ змѣю, обнявъ — мечту, призракъ. Но зато онъ былъ вѣренъ до гроба своей мечтѣ... И то не малое утѣшеніе!...

Содержаніе «Ундины» взято Жуковскимъ изъ сказки Ламота Фуке; но въ стихахъ Жуковского обыкновенная сказка явилась прекраснымъ поэтическимъ созданіемъ. «Ундина» — одно изъ самыхъ романтическихъ его произведеній. Основная мысль ея — олицетвореніе стихійной силы природы. Ундина — дочь воды, внучка стараго Потока. Нельзя довольно надивиться, какъ искусно нашъ поэтъ умѣетъ слить фантастическій міръ съ дѣйствительнымъ міромъ, и сколько запозвѣдныхъ тайнъ сердца умѣлъ онъ разоблачить и высказать въ такомъ сказочномъ произведеніи. По красотамъ поэтическимъ «Ундина» есть такое созданіе, которое требовало бы подробнаго разбора, и потому мы ограничимся указаніемъ на одно изъ самыхъ романтическихъ мѣстъ этой поэмы:

Какъ намъ, добрый читатель, сказать: къ сожалѣнію, нѣтъ къ счастью, что наше
Горе земное не надолго! Здѣсь разумѣю я горе
Сердца глубокое, нашу всю жизнь губящее
горе,
Горе, которое съ милымъ потеряннымъ благомъ сливается
Насъ во-едино, которымъ утрата для насъ не
утрата,
Смерть — вдвоемъ бытіе, а жизнь — порывъ не-
престанный
Къ той чертѣ, за которую милое наше изъ
міра
Прежде насъ перешло. Есть, правда, много
избравшихъ

Душѣ на свѣтѣ, въ которыхъ святая печаль,
 какъ свѣча предъ иконою,
 Ярко горитъ, пока догоритъ; но она и для
 нихъ ужъ
 Все не та подъ-конецъ, какою была при началѣ,
 Полная, чистая; много иного, чужого
 Между утратою нашей и нами уже протѣ-
 снлось;
Вотъ наконецъ и всю измѣнимость достигла въ
 самой
 Нашей печали мы видимъ... итакъ, скажу къ
 сожалѣнью,
 Наше горе земное не надолго...

Эта поэма принадлежитъ къ позднѣйшимъ произведеніямъ Жуковского, а оттого ея романтизмъ какъ-то сговорчивѣе и дѣлаетъ болѣе уступокъ разсудку и дѣйствительности...

Не будемъ распространяться о достоинствѣ перевода «Орлеанской Дѣвы» Шиллера: это достоинство давно и всѣми единодушно признано. Жуковский своимъ превосходнымъ переводомъ усвоилъ русской литературѣ это прекрасное произведеніе. И никто кромѣ Жуковского не могъ бы такъ передать этого по преимуществу романтическаго созданія Шиллера, и никакой другой драмы Шиллера Жуковский не былъ бы въ состояніи такъ превосходно передать на русскій языкъ, какъ превосходно передалъ онъ «Орлеанскую Дѣву».—Въ особенную заслугу Жуковскому здравый эстетическій вкусъ долженъ поставить переводъ балладъ Шиллера: «Рыцарь Тогенбургъ», «Ивиковы Журавли», «Кассандра», «Графъ Габсбургскій», «Поликратовъ Перстень», «Кубокъ», и пьесы Шиллера же—«Горная дорога»; все это переведено превосходно.—Но если что составляетъ истинный ореолъ Жуковского, какъ переводчика,—это его переводъ слѣдующихъ трехъ пьесъ Шиллера: «Торжество Побѣдителей», «Жалоба Цереры» и «Элевзинскій Праздникъ». Еслибъ кромѣ этихъ пьесъ Жуковский ничего не перевелъ, ничего не написалъ,—и тогда имя его не было бы забыто въ исторіи русской литературы.

«Торжество Побѣдителей» есть одно изъ величайшихъ и благороднѣйшихъ созданій Шиллера. Въ немъ гений этого поэта является съ лучшей своей стороны. Великая душа Шиллера горячо сочувствовала всему великому и возвышенному, и это сочувствіе ея было воспитано и развито на исторической почвѣ. Глубоко проникъ этотъ великій духъ въ тайну жизни древней Эллады, и много высокихъ вдохновеній пробудила въ немъ эта дивная страна. Онъ такъ краснорѣчиво оплакалъ паденіе ея боговъ, онъ съ такой страстью говорилъ объ ея искусствѣ, ея гражданской доблести, ея мудрости. И нигдѣ съ такой полнотой и такой силой не выразилъ онъ, не воспроизвелъ поэтическаго образа Эллады, какъ въ «Торжествѣ Побѣдителей». Эта пьеса есть апофеозъ всей жи-

зни, всего духа Греціи: эта пьеса—вѣстѣ и поэтическая тризна и побѣдная пѣснь въ честь отечества, боговъ и героев. Она написана въ греческомъ духѣ, облита свѣтомъ мірообъемлющаго созерцанія греческаго. Шиллеръ говоритъ не отъ себя: онъ воскресилъ Элладу и заставилъ ее говорить отъ самой себя и за самое себя. Величіе и важность греческой трагедіи слиты въ этой пьесѣ Шиллера съ возвышенной и кроткой скорбью греческой элегии. Въ ней видится и свѣтлый Олимпъ съ его блаженными обитателями, и подземное царство Аида, и земля съ ея добромъ и зломъ, съ ея величіемъ и ничтожностью,—и царящая надъ всѣми ими мрачная Судьба, верховная владычица боговъ и смертныхъ... Нельзя шире и вѣрнѣе воспроизвести нравственной физіономіи народа, уже не существующаго столько тысячелѣтій!

Побѣдоносные греки готовятся отплыть отъ враждебныхъ береговъ Трои въ свое отечество и собрались къ острогрудымъ кораблямъ праздновать тризну въ честь минувшаго. Калхасъ приносить жертву богамъ.

Судъ оконченъ; споръ рѣшился,
 Прекратилась борьба,
 Все исполнила судьба—
 Градъ великій сокрушился.

Каждый изъ героевъ, участвовавшихъ въ великомъ событіи паденія «священнаго Приамова града», высказывается какимъ-нибудь сужденіемъ, примѣненнымъ къ обстоятельству. Хитроумный Одиссей замѣчаетъ, что не всякій насладится миромъ, возвратившись въ свой домъ, и, пощаженный богомъ войны, часто падаетъ жертвой вѣроломства жены. Менелай говоритъ о неизбежномъ судѣ всевидящаго Крониды, карающаго преступленія. Особенно замѣчательны слова Аякса Оленда:

Пусть веселый взоръ счастливыхъ
 (Онъ леевъ сынъ сказалъ)
 Зритъ въ богахъ боговъ правдивыхъ;
 Судъ ихъ часто слѣлъ бывалъ:
 Сколькихъ добрыхъ жизнь поблекла!
 Сколькихъ низкихъ рокъ шадитъ..
 Нѣтъ великаго Патрокла;
 Живъ презрительный Терситъ.

Но эта горестная и мрачная мысль сейчасъ же, по свойству всеобщаго и многосторонняго духа греческаго, разрѣшается въ веселое и свѣтлое созерцаніе:

Смертный, вѣчный Дій Фортуны
 Своенравной предалъ насъ;
 Уловляй же быстрый часъ,
 Не тревожа сердца втунѣ.

Вообще эти четверостишія, слѣдующія за каждымъ куплетомъ, напоминаютъ собой хоръ изъ греческой трагедіи. Олендъ продолжаетъ:

Лучшихъ бой похитилъ ярый!
 Вѣчно памятенъ намъ будъ,

Ты, мой братъ, ты, подъ удары
Подставлявшій твердо грудь,
Ты, который насъ пожаромъ
Осажденных защитилъ...
Но коварнѣйшему даромъ
Щитъ и мечъ Ахилловъ былъ.
Миръ тебѣ во мглѣ Эрева.
Жизнь твою не прахъ пожажъ:
Ты своею силой палъ,
Жертва гибельнаго гнѣва.

Воспоминаніе объ Ахиллѣ дышетъ всею
полнотою греческаго созерцанія героизма:

О Ахилл! о мой родитель!
(Возгласилъ Неоптолемъ)
Быстрый міра поспѣтель,
Жребій лучший взялъ ты въ немъ.
*Жить съ любви племя даламъ
Было первое земли;
Будемъ славы именами
И сокрытыя въ пылу!*
Слава дней твоихъ негнѣнна:
Въ пѣсняхъ будетъ цвѣсть она.
*Жизнь жмущихъ нестерна,
Жизнь отжившихъ неизмѣнна!*

Великодушная похвала Гектору, вложенная
Шиллеромъ въ уста Діомеда, есть истинный
образецъ высокаго (du sublime) въ чувство-
ваніи и выраженіи:

Смерть велитъ умолкнуть злобѣ;
(Діомедъ провозгласилъ)
Слава Гектору во гробѣ!
Онъ краса Пергама былъ.
Онъ за край, гдѣ жили дѣды,
Веледушно пролилъ кровь.
*Побѣдишимъ—честь победы!
Отрапяшему—любовь!*
Кто, на судъ являсь кровавый,
Славно палъ за отчій домъ,
Тотъ, почтенный и врагомъ,
Будетъ жить въ преданьяхъ славы!

Но что можетъ сравниться съ этой трогательной, этой умиляющей душу картиной
«убѣеннаго жизнью» Нестора, съ словами
кроткаго утѣшенія подающаго кубокъ стра-
ждущей Гекубѣ! Здѣсь въ рѣзкой характери-
стической чертѣ схвачена вся гуманность
греческаго народа:

Несторъ, жизнью убѣенный,
Напѣдилъ вина фіалъ
И Гекубѣ сокрушенной
Дружелюбно выпить далъ.
Пей страданій утolenье,
Добрый вакховъ даръ вино:
И веселость, и забвеніе
Проливаетъ въ насъ оно.
Пей, страдалица! печали
Утоляются виномъ:
Боги жалостны въ немъ
Подкрѣпленье сердцу дали.
Вспомни мать Ниобею:
Что извѣдала она!
Сколь ужасная надъ нею
Казнь была совершена!
Но и съ нею, безотрадной,
Добрый Вакхъ не даромъ былъ;
Онъ струею виноградной
Въ мигъ тоску въ ней усыпилъ.
Если грудь виномъ согрѣта

И въ устахъ вино кипитъ, —
Скорби наши быстро мчитъ
Ихъ смывающая Лета!

Эта высокая ораторія заключается мрачнымъ
финаломъ: пророчество Кассандры наме-
каетъ на переѣзчивость участи всего подлун-
наго и на горе, ожидающее самихъ побѣди-
телей Трои:

И вперилъ взоръ Кассандра,
Внявъ шепнувшимъ ей богамъ,
На пустынный берегъ Скамандра,
На дымящійся Пергамъ.
*Все великое земное
Разлетается какъ дымъ:
Нынѣ жребій выпалъ Трои.
Завтра выпадетъ другимъ.*

Но съ греческимъ міросозерцаніемъ несооб-
разно оканчивать высокую пѣснь раздража-
ющимъ душу диссонансомъ: богатая и полная
жизнь сыновъ Эллады въ самой себѣ, даже
въ собственныхъ диссонансахъ, находила
выходъ въ гармонию и примиреніе съ жизнью,
—и потому пьеса Шиллера достойно заклю-
чается утѣшительнымъ обращеніемъ отъ
смерти къ жизни, словно музыкальнымъ
аккордомъ:

Смертный, сплѣ, насъ гнетущей,
Покоряйся и терпи!
*Спящій въ гробѣ, мирно спи!
Жизнью пользуйся, живущій!*

Такой былъ греческій романтизмъ: на гро-
бахъ и могилахъ загоралась для него вѣч-
ная заря жизни; несчастія и гибель инди-
видуальнаго не скрывала отъ его глубокаго
и широкаго взгляда торжественнаго хода и
блаженствующей полноты общаго; на весе-
лыхъ пиршествахъ ставилъ онъ урны съ
пепломъ почившихъ, статуи смерти и, глядя
на нихъ, восклицалъ:

Спящій въ гробѣ, мирно спи!
Жизнью пользуйся, живущій!

Смерть для грека являлась не мрачнымъ,
отвратительнымъ остономъ, но прекраснымъ,
тихимъ, успокоительнымъ гнѣмъ сна, крот-
ко и любовно смежавшимъ на вѣки уто-
мленные страданіемъ и блаженствомъ жизни
очи...

Переводъ Жуковского «Торжества Побѣ-
дителей» есть образецъ превосходныхъ пе-
реводовъ,—такъ что если при тщательномъ
сравненіи иныхъ мѣста окажутся не вполне
вѣрно или не вполне сильно переданными,—
зато еще болѣе найдется мѣстъ, которыя въ
переводѣ сильнѣе и лучше выражены. Такъ
напримѣръ, у Шиллера сказано просто: «И
въ дикое празднество радующихся примѣ-
шивали онѣ (плѣнные жены и дѣвы троян-
скія) плачевное пѣніе, оплакивая собствен-
ныя страданія и паденіе царства». У Жу-
ковского это выражено такъ:

И съ побѣдной пѣснью дикой
Ихъ сливался тихій стонъ
*По тебѣ, селятой великой,
Невозвратимый Иліонъ.*

«Жалоба Цереры» — тоже одно изъ величайшихъ созданий Шиллера — передана по-русски Жуковскимъ съ такимъ же изумительнымъ совершенствомъ, какъ и «Торжество Побѣдителей». Въ этой пьесѣ Шиллеръ воспроизвелъ романтическій образъ элевзинской Цереры — нѣжной и скорбящей матери, оплакивающей утрату дочери своей, Прозерпины, похищенной мрачнымъ владыкой подземнаго царства, суровымъ Аидомъ:

Сколь завидна мнѣ, печальной,
Участь смертныхъ матерей!
Легкій пламень погребальной
Возвращаетъ имъ дѣтей;
А для насъ, боговъ негнѣнныхъ,
Что услугою утратъ?
Насъ, безрадостно блаженныхъ,
Парки строгія шадятъ...
Парки, парки, постыдитесь
Съ неба въ адъ меня послать;
*Проще богини не шадите:
Вы обрадуете мать.*

Въ поэтическомъ образѣ брошеннаго въ землю зерна, котораго корень ищетъ ночной тьмы и питается стиксовой струей, а листъ выходитъ въ область неба и живетъ лучами Аполлона, — въ этомъ дивно поэтическомъ образѣ Шиллеръ выразилъ глубокую идею связи романтическаго міра сердца и чувства съ міромъ сознанія и разума, и сдѣлалъ самый поэтический намекъ на скорбь и утѣшеніе божественной матери: этотъ корень, ищущій ночной тьмы и питающійся стиксовой водой, и тотъ листъ, радостно рвущійся на свѣтъ и поднимающійся къ небу, —

Ими таинственно слита
Область тьмы съ страной дня,
И приходятъ отъ Коцита
Милой вѣстью отъ меня;
И ко мнѣ въ живомъ дыханьѣ
Молодыхъ цвѣтовъ весны
Подымается признание,
Гласъ родной пѣтъ глубины;
Онъ разлуку улаживаетъ,
Онъ душѣ моей твердитъ,
Что любовь не умираетъ
И въ отшедшихъ за Коцитъ.

Сколько скорбной и умиленной любви въ этомъ обращеніи романтической богини къ любимымъ чадамъ ея материнскаго сердца — къ цвѣтамъ:

О, привѣтствую васъ, чада
Расцвѣтающихъ полей!
Вы тоска моей улады,
Образъ дочери моей!
Васъ налью благоуханьемъ,
Напою живой росой
И съ авориннымъ сіяньемъ
Поравняю красотой;
Пусть весной природы младость,

Пусть осенній мракъ полей
И мою вѣщаетъ радость,
И печаль души моей!

Въ «Элевзинскомъ Праздникѣ» Шиллера есть опять поэтическая апофеоза Цереры; но здѣсь эта богиня представлена уже съ другой ея стороны. Въ «Жалобѣ Цереры» эта богиня является представительницей греческаго романтизма; въ «Элевзинскомъ Праздникѣ» она является божествомъ благотворно дѣятельнымъ — очеловѣчиваетъ и одухотворяетъ подобныхъ троглодитамъ людей, научая ихъ земледѣлію, соединяетъ ихъ въ общества, даетъ имъ боговъ и храмы, низводитъ къ нимъ ремесла и искусства и посылаетъ между ними сѣмена гражданственности. Эта превосходная поэма Шиллера превосходно переведена Жуковскимъ.

Вѣроятно увлеченный Шиллеровскимъ созерцаніемъ великаго міра греческой жизни, Жуковский и самъ написалъ пьесу въ этомъ же родѣ — «Ахиллъ». Въ ней есть прекрасныя мѣста; но вообще въ греческое созерцаніе Жуковский внесъ слишкомъ много своего, — а тонъ ея выраженія сдѣлался оттого гораздо болѣе унылымъ и расплывающимся, нежели сколько слѣдовало бы для пьесы, которой содержаніе взято изъ греческой жизни и которая написана въ греческомъ духѣ. Равнымъ образомъ къ недостаткамъ этой пьесы принадлежитъ еще и то, что она больше растянута, чѣмъ сжата, а потому утомляетъ въ чтеніи. Но, несмотря на то, въ ней есть красоты, иногда напоминающія пьесы Шиллера въ этомъ родѣ, и вообще «Ахиллъ» Жуковского — одно изъ замѣчательныхъ его произведеній.

Какъ романтикъ по натурѣ, Шиллеръ созерцалъ греческую жизнь съ ея романтической стороны, и вотъ причина, почему многие недальновидные критики не хотѣли въ его произведеніяхъ греческаго содержанія видѣть вѣрное воспроизведеніе духа Эллады; но это уже была вина ихъ, недальновидныхъ критиковъ, а не вина Шиллера. Вольно же было имъ и не подозревать, что въ Греціи былъ свой романтизмъ! Жуковский — тоже, какъ романтикъ по натурѣ, былъ въ состояніи превосходно передать пьесы Шиллера греко-романтическаго содержанія. По этой же причинѣ его переводы такихъ пьесъ Гёте болѣе неудачны, чѣмъ удачны; ссылаемся на «Мою Богиню» (т. VI, стр. 65). Это понятно: Гёте смотрѣлъ на Грецію совсѣмъ съ другой стороны, нежели Шиллеръ; послѣдній болѣе видѣлъ ея внутреннюю, романтическую сторону; Гёте видѣлъ болѣе ея опредѣленную, свѣтлую олимпійскую сторону. Оба великіе поэта смотрѣли вѣрно на Грецію, каждый вида разные, но ея же собственные стороны. Когда же Гёте сходилъ

съ Шиллеромъ въ созерцаніи греческой жизни (какъ напримѣръ въ «Прометѣѣ» и «Коринеской Девѣстѣ»),—онъ отыскивалъ въ немъ и выражалъ болѣе философскую его сторону. И въ этомъ отношеніи Гёте былъ вѣренъ своему духу. Романтическое направленіе Жуковского совершенно внѣ сферы Гётева созерцанія, и потому Жуковский мало переводилъ изъ Гёте, и все переведенное или заимствованное изъ него перемѣнялъ по своему, за исключеніемъ только чисто-романтическихъ въ духѣ среднихъ вѣковъ пьесъ Гёте, каковы напримѣръ баллады: «Лѣсной Царь» и «Рыбакъ». И если талантъ Жуковского, какъ переводчика, совершенно внѣ сферы поэзій Гёте,—отсюда нисколько еще не слѣдуетъ, чтобъ причиной этого была высота генія Гёте. Жуковский переводилъ же превосходно Шиллера, а геній Шиллера ничѣмъ не ниже генія Гёте. Вообще мысль считать Шиллера ниже Гёте—и нелѣпа, и устарѣла. Жуковский—необыкновенный переводчикъ, и потому именно способенъ вѣрно и глубоко воспроизводить только такихъ поэтовъ и такіа произведенія, съ которыми натура его связана родственной симпатіей.

«Идеалы» Шиллера переведены не совсемъ удачно. Переводъ этотъ относится къ первой порѣ поэтической дѣятельности Жуковского. Ужъ одно то, что, переводя эту пьесу, онъ перемѣнилъ названіе ея «Идеалы» на «Мечты»—одно ужъ это показываетъ, какъ не глубоко вникъ онъ въ мысль ея. Многіе стихи въ этой пьесѣ просто нехороши; многія выраженія лишены точности и опредѣленности. Вотъ для доказательства цѣлый куплетъ:

И неестественнымъ стремленьемъ
Весь міръ въ мою тѣснился грудь;
Картины, звукомъ, *выраженьемъ*,
Во все я жизнь хотѣлъ вдохнуть,
И въ *тѣхъ* *темнотѣхъ* *стѣнѣхъ* *сокрытой*,
Сколь *пыльныхъ* *мнѣ* *казался* *свѣтъ*...
Но, *ахъ*, *сколь* *мало* *въ* *немъ* *развито!*
И *малое*—*сколь* *бѣдный* *цвѣтъ!*

Какъ-то чувствуется само собой, что вмѣсто «выраженьемъ» надо было поставить «словомъ»; послѣдніе четыре стиха такъ неловки, что едва-едва можно догадываться о мысли Шиллера.

Другимъ образомъ, но также не удачно переведена пьеса Байрона, начинающаяся въ переводѣ стихомъ: «Отнимаетъ наши радости». Жуковский далъ ей совсемъ другой смыслъ и другой колоритъ, такъ что Байроновскаго въ ней ничего не осталось, а замѣненнаго переводчикомъ, послѣ даже прозаическаго, но вѣрнаго перевода, нельзя читать съ удовольствіемъ. Вотъ самый близкій прозаическій переводъ пьесы Байрона:

«Нѣтъ радостей, какія можетъ дать намъ міръ, въ замѣну тѣхъ, которыя онъ отнимаетъ у насъ

въ то время, когда ужъ жаръ первыхъ мыслей остынетъ въ печальномъ увяданіи чувствъ. Не одна только свѣжесть ланитъ вянеть скоро, — нѣтъ, свѣжій румянецъ сердца исчезаетъ прежде самой юности.

И эти немногія души, которымъ удастся уцѣлѣть послѣ ихъ разрушеннаго счастья, наплываютъ на мели преступленій или уносятся въ океанъ буйныхъ страстей. Ихъ путеводный компасъ наломанъ, или стрѣлка его напрасно указываетъ на берегъ, къ которому ихъ разбитая ладья никогда не причалитъ.

Тогда-то сходить на душу тотъ мертвенный холодъ, подобный самой смерти; сердце не можетъ сочувствовать страданіямъ другихъ, не смѣетъ думать о своихъ собственныхъ страданіяхъ; ручей слезъ покрывается тяжелой ледяной корою; а если и блестятъ еще очи, то это блескъ льда.

Хотя остроуміе порой ярко сверкаетъ еще въ устахъ, и смѣхъ развлекаетъ сердце въ часы полуночи, которые не даютъ уже прежней надежды на успокоеніе, но все это какъ листы плывущаго, обвивающіеся вокругъ развалившейся башни: зеленые и дико свѣжіе сверху, сѣрые и землистые снизу.

О, еслибъ могъ я чувствовать, какъ чувствовалъ прежде, быть тѣмъ, чѣмъ былъ... или плакать объ исчезнувшемъ, какъ бывало плакалъ... Какъ бы ни былъ мутенъ и нечистъ ручей, наденный печально въ пустынь, онъ кажется сладостнымъ и отраднымъ: такъ отрадны были бы мнѣ мои слезы среди опустошенной степи моей жизни.»

Сличите хоть второй куплетъ нашего буквального прозаическаго перевода съ стихотворнымъ переводомъ Жуковского:

Наше счастье разбитое
Видимъ мы игрушкой волнъ;
И въ далекій мракъ сердитое
Море мчитъ нашъ бѣдный чолнъ.
Стрѣлки нѣтъ путеводительной,
Иль вотще ея магнитъ
Въ бурю къ пристани спасительной
Чолнъ безпарусный манитъ.

То ли это?... Въ послѣднихъ двухъ куплетахъ еще болѣе искажена мысль Байрона.

По странное дѣло!—нашъ русскій пѣвецъ тихой скорби и унылаго страданія обрѣлъ въ душѣ своей крѣпкое и могучее слово для выраженія страшныхъ подземныхъ мукъ отчаянія, начертанныхъ молніеносной кистью титаническаго поэта Англіи! «Шильонскій Узникъ» Байрона переданъ Жуковскимъ на русскій языкъ стихами, отзвучивающимися въ сердцѣ какъ ударъ топора, отдѣляющій отъ туловища невинно-осужденную голову. Здѣсь въ первый разъ крѣпость и мощь русскаго языка явилась въ колоссальномъ видѣ и до Лермонтова болѣе не являлась. Каждый стихъ въ переводѣ «Шильонскаго Узника» дышетъ страшной энергіей, и надо совершенно потеряться, чтобъ выписать лучшее

изъ этого перевода, гдѣ каждая страница есть равно лучшая. Но мы напомнимъ здѣсь нашимъ читателямъ только эту ужасную картину душевнаго ада, въ сравненіи съ которымъ адъ самого Данте кажется какимъ-то раемъ:

Но что потомъ случилось со мной,
Не помню... свѣтъ казался тьмой,
Тьма свѣтомъ; воздухъ исчезалъ;
Въ оцѣпенѣніи стоялъ,
Безъ памяти, безъ бытія,
Межъ камней холодныхъ камнемъ я;
И видѣлось, какъ въ тяжкомъ снѣ,
Все блѣднымъ, темнымъ, тусклымъ мнѣ;
Все въ смутную слилось тѣнь;
То не было ни ночь, ни день,
Ни тяжкій свѣтъ тюрьмы моей,
Столь ненавистный для очей:
То было тьма безъ темноты;
То было бездна пустоты,
Безъ протяженія и границъ,
То были образы безъ лицъ,
То странный міръ какой-то былъ,
Безъ неба, свѣта и свѣтилъ,
Безъ времени, безъ дней и лѣтъ,
Безъ промысла, безъ благъ и бѣдъ,
Ни жизнь, ни смерть, какъ сонъ гробовъ,
Какъ океанъ безъ береговъ,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный, темный и пѣмой.

Много было расточено похвалъ переводу отрывка изъ поэмы Томаса Мура «Дивъ и Пери»; но переводъ этотъ далеко ниже похвалъ: онъ тяжелъ, прозаиченъ, и только мѣстами проблескиваетъ въ немъ поэзія. Впрочемъ можетъ быть причиной этого и самъ оригиналъ, какъ не совсѣмъ естественная поддѣлка подъ восточный романтизмъ. Несравненно выше, по достоинству перевода, почти никѣмъ незамѣченная поэма «Судъ въ Подземельѣ».

«Овсяный Кисель», «Красный Карбункулъ», «Деревенскій Сторожъ въ Полночь», «Сраженіе съ Змѣемъ», «Неожиданное Свиданіе», «Путешественникъ и Поселянка» (изъ Гёте), «Нормандскій Обычай», «Тѣнность», «Война мышей съ Лягушками», «Цейксъ и Гальціона» и отрывки изъ «Энеиды» и «Иліады» принадлежать къ числу замѣчательныхъ переводовъ Жуковского. Въ отрывкахъ изъ «Иліады» стихъ легче, чѣмъ стихъ Гяфдица; но въ послѣднемъ, по нашему мнѣнію, болѣе жизни, болѣе греческаго духа и колорита. Впрочемъ Жуковский эти отрывки изъ «Иліады» перевелъ съ латинскаго.

Сдѣлаемъ перечень всѣмъ пьесамъ Жуковского и переводнымъ, и подражательнымъ, и оригинальнымъ, которыя мы считаемъ или лучшими, или самыми характеристическими его произведеніями. Изъ балладъ: «Рыцарь Тогенбургъ», «Ивиковы Журавли», «Лѣсной Царь», «Кассандра», «Три Пѣсни», «Графъ Габсбургскій», «Узникъ», «Эолова Арфа», «Ахиллъ», «Поликратовъ Перстень», «Старый Рыцарь», «Роландъ Оруженосецъ»,

«Плаваніе Карла Великаго», «Кубокъ», «Замокъ Смальгольмъ», «Перчатка», «Покаяніе», «Отрывки изъ испанскихъ романсовъ о Сидѣ». Изъ мелкихъ лирическихъ пьесъ: «Тоска по миломъ», «Цвѣтокъ», «Пѣснь Араба надъ могилой коня», «Пловецъ», «Счастливы тотъ, кому забавы», «О, милый другъ, теперь съ тобою радость», «Минувшихъ дней очарованье», «Жалоба», «Вѣрность до гроба», «Голосъ съ того свѣта», «Ночь», «Утѣшеніе въ слезахъ», «Къ мѣсяцу», «Пѣсня Бѣдняка», «Весеннее Чувство», «Утѣшеніе», «Таинственный Посѣтитель», «Мотылекъ и Цвѣты», «Къ мимопролетѣвшему знакомому генію», «Желаніе», «Младенецъ», «Сонъ», «Счастье во снѣ», «Къ востоку, все къ востоку», «Розы расцвѣтаютъ», «Замокъ на берегу моря», «Горная дорога», «Пѣвецъ», «Жизнь», «Узникъ къ мотылку, влетѣвшему въ его темницу», «Элизіумъ», «Путешественникъ», «Славянка», «Вечеръ», «На кончину Королевы Виртембергской», «Сельское Кладбище», «Море», «Праматерь Внука», «Къ Филону», «Два Пѣсни», «Привидѣніе», «Мечта», «Побѣдитель», «Три путника», «Видѣніе», «Теонъ и Эскинъ», «Счастье», «Ночной Смотръ», «Утренняя Звѣзда», «Лѣтній Вечеръ».

Многія изъ этихъ пьесъ уже не могутъ имѣть такого интереса, какой имѣли прежде, и не могутъ читаться съ такимъ восторгомъ и упоеніемъ, съ какими читались прежде; но причина этого заключается совсѣмъ не въ талантѣ Жуковского, а въ содержаніи и духѣ этихъ пьесъ. У всякаго времени есть своя задушевная дума, то радостная, то тяжелая; есть свои потребности и свои интересы, а потому и своя поэзія. Неувядаемость поэзіи каждой эпохи зависитъ отъ идеальной значительности этой эпохи, отъ глубины и общности идеи, выраженной ея исторической жизнью. Долѣе всѣхъ живутъ такіа произведенія искусства, которыя во всей полнотѣ и во всей силѣ передаютъ то, что было самаго истиннаго, самаго существеннаго и самаго характеристическаго въ эпохѣ. Все же, что не выполняетъ этихъ условій или выполняетъ ихъ неудовлетворительно, — все такое теряетъ свой интересъ въ другую эпоху и мало-по-малу на вѣки ссыывается волнами шумно несущейся жизни. И многого, слишкомъ немногое выносятся наверхъ волнами этого глубокаго и безбрежнаго океана, и какъ много тонетъ въ его бездонной глубинѣ!...

Многія пьесы Жуковского, совершенно отжившія для нашего времени, все-таки имѣютъ свой историческій интересъ, и безъ нихъ полное изданіе сочиненій Жуковского не имѣло бы общаго характера поэзіи Жуковского. Таковы: «Людмила», «Алина и

Альсимъ», «Двѣнадцать Спящихъ Дѣвъ», «Пѣвецъ во Стѣнѣ Русскихъ Воиновъ», и проч.—Послания Жуковского заключаютъ въ себѣ мѣстами и отрывками характеристическія черты времени, въ которое они писаны; сверхъ того въ нихъ, какъ замѣтили мы выше, встрѣчаются поэтическіе проблески и замѣчательныя мысли. Особенно слабыми пьесами (иными по формѣ, иными по содержанію, иными по тому и другому) считаемъ мы слѣдующія: «Пѣснь барда надъ гробомъ Славянъ-побѣдителей», «Пѣвецъ въ Кремлѣ», «Пиршество Александра, или сила гармоніи» (изъ Драйдена); «Гимнъ» (подражаніе Томсену), «Библия», «Сонъ Могольца», «Эпимесидъ», «Орелъ и Голубка», «Добрая мать», «Сиротка», «Подробный Отчетъ о Лунѣ» (какое-то странное гешшѣ всего говореннаго поэтотъ о лунѣ въ разныхъ стихотвореніяхъ его), «Алонзо», «Доника», «Ленора», «Королева Урака», «Валлада, въ которой описывается, какъ одна старушка ѣхала на черномъ конѣ вдвоемъ, и кто сидѣлъ впереди», «Двѣ были и еще одна», «Фридолинъ» (прекрасный переводъ странной по содержанію пьесы Шиллера), «Сказка о Царѣ Берендѣѣ и Сказка о Спящей царевнѣ». Что касается до «Аббаддонъ»—это мастерской, превосходный переводъ изъ самой натянутой, какая только была въ свѣтѣ, и совершенно забытой теперь поэмы.

Мы бы опустили одну изъ самыхъ характеристическихъ чертъ поэзіи Жуковского, еслибъ не упомянули о дивномъ искусствѣ этого поэта живописать картины природы и впадать въ нихъ романтическую жизнь. Утро ли, полдень ли, вечеръ ли, ночь ли, вѣдро ли, буря ли, или пейзажъ,—все это дышетъ въ яркихъ картинахъ Жуковского какой-то таинственной, исполненной чудныхъ силъ жизнью... Примѣры лучше всего объяснять нашу мысль касательно этого предмета:

Стоялъ среди цвѣтущія равнины
Старинный Ирлингфордъ,
И пышныя съ высотъ его картины
Повсюду видѣлъ взоръ.
Авонъ, шума подъ древними стѣнами,
Ихъ пѣвой орошалъ
И низкій брегъ съ лѣсистыми холмами
Въ струяхъ его дрожалъ.
Тамъ пламенѣлъ береговъ на тихомъ склонѣ
Закатъ сѣвонъ рѣдкій лѣсъ;
И трепеталъ во дремлющемъ Авонѣ
Съ звѣздами сводъ небесъ.
Вдали, вблизи разсыпанныя села
Дымилась по утрамъ,
Отъ рѣвнхъ стадъ долина вся шумѣла
И вторилъ лѣсъ рогамъ.
Спѣшилъ съ пути прохожіи совратася
На Ирлингфордъ взглянуть,
И, красотой его плѣнясь,
Онъ забывалъ свой путь.
(«Варвикъ».)

Соч. Бѣлинскаго. Т. III.

Владыка Морвенны,
Жилъ въ дѣдовскомъ замкѣ могучій Ордакъ.

Надъ озеромъ стѣны
Зубчатая замокъ съ холма возвышалъ.
Прибрежны дубравы
Склонились къ водамъ,
И стался кудравый
Кустарникъ по впадинамъ окрестнымъ холмамъ.

Спокойствіе снѣней
Дубравныхъ тамъ часто лай псовъ нарушалъ;

Рогатыхъ оленей
И вепрей и ланей могучій Ордакъ
Съ отважными псами
Гонялъ по холмамъ;
И доли съ холмами
Шумъ отъчали зовущимъ рогамъ.

На темные своды
Багрянымъ щитомъ покатила луна;
И озера воды
Струистымъ сіяньемъ покрыла она;
Отъ замка, отъ снѣней
Дубравъ по берегамъ
Огромные тѣней
Легли великаны по гладкимъ водамъ.

Прсхладно дышетъ
Тамъ вѣтеръ вечерній и въ листьяхъ шумъ,
И вѣтки колышетъ, мѣть,
И арфу лобзаешь... но арфа молчитъ.
Творенія радость,
Настала весна—
И въ свѣжую младость,
Красу и веселье земля убрала.
И яркимъ сіяньемъ
Холмы осыпалъ вечеряющій день;
На землю съ молчаньемъ
Сходила ночная росистая тѣнь;
Ужъ синіе своды
Всплывали въ звѣздахъ;
Сравнились воды,
И вѣтеръ улегся на спящихъ листьяхъ.
(«Эолова Арфа».)

И вотъ... насталъ послѣдній день;
Ужъ солнце за горой;
И стелется вечерняя тѣнь
Прозрачной пеленою;
Ужъ сумракъ... смерклось... вотъ луна
Блеснула изъ-за тучи;
Легла на горы тишина,
Утихъ и лѣсъ дремучій;
Рѣка сравнилась въ берегахъ;
Зажглись свѣтила ночи;
И сонъ глубокий на поляхъ;
И близокъ часъ полночи...

И все въ ужасной тишинѣ;
Окрестность какъ могила;
Вотъ... каркнулъ воронъ на стѣнѣ;
Вотъ... стала псовъ завыва;
И вдругъ... протяжно полночь бьетъ:
Нашли на небо тучи;
Рѣка надулалась; боръ реветъ;
И мчитъ прахъ летучій...
Напрасно вѣетъ вѣтерокъ
Съ душистыхъ долинъ;
И свѣтъ луны сребритъ потокъ
Сквозь темныя липъ вершины;
И ласточка вари восходъ
Встрѣчаетъ щебетаньемъ:
И роца въ тѣнь свою зоветъ
Листочковъ трепетаньемъ;

И шумъ бѣгущихъ съ поля стадъ
 Съ пастушьими рогами
 Вечерній мракъ животворять,
 Теряясь за холмами...

Увы! ужъ и послѣдній день
 Край неба олащаетъ;
 Сквозь темную дубраву сѣнь
 Блестанье проникаетъ;
 Все тихо, весело, свѣтло;
 Все нѣгой сладкой дышетъ;
 Рѣка прозрачна, какъ стекло;
 Едва, едва колышетъ
 Листами легкій вѣтерокъ;
 Въ поляхъ благоуханье;
 Къ дѣткѣ прилпнулъ мотылекъ
 И пьетъ его дыханье...
 («Громобой».)

И воцарилась всюду тишина;
 Все спитъ... лишь нрѣдка въ далекой мглѣ
 промчится
 Невнятный гласъ... или колыхнется волна...
 Иль сонный листъ зашевелится.
 Я на берегу одинъ... окрестность вся молчитъ...
 Какъ привидѣнїе, въ туманѣ предо мною
 Семьѣ младыхъ берегъ недвижимо стоитъ
 Надъ усипленною водою.
 Вхожу съ волненїемъ подъ ихъ священный
 кровь;
 Мой слухъ въ сей тишинѣ привѣтный голосъ
 слышитъ:

*Какъ бы зоркое тамъ вѣетъ межъ листовъ,
 Какъ бы невидимое дышетъ;
 Какъ бы сокрытая подъ юныхъ древъ корой,
 Съ сей очарованной мѣшалась тишиною,
 Душа несприма подвѣсляетъ юлосъ свой
 Съ моею бесѣдовать душою.*
 И нѣкто урнѣ сей безмолвный присѣднѣтъ;
 И, мнится, на меня впередъ онъ тожны очи;
 Безъ образа лицо, и зракъ туманный слѣтъ
 Съ туманнымъ мракомъ полуночи.
 Смотрю... и, мнится, все, что было жертвой лѣтъ,
 Опять въ видѣнїи прекрасномъ воскресаетъ;
 И все, что жизнь сулитъ, и все, чего въ ней
 нѣтъ,
 Съ надеждой къ сердцу прилетаетъ...
 («Славянка».)

Такихъ примѣровъ мы могли бы выписать и еще больше, но думаемъ, что и этихъ слишкомъ достаточно, чтобъ показать, что изображаемая Жуковскимъ природа—романтическая природа, дышащая таинственной жизнью души и сердца, исполненная высшаго смысла и значенія.

Стихъ Жуковского неизмѣримо выше стиха всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ: онъ исполненъ мелодїи и вмѣстѣ съ тѣмъ какой-то сжатой крѣпости и энергїи. Такого стиха требовали содержаніе и духъ поэзіи Жуковского. И, несмотря на то, еще многого не доставало этому стиху: онъ еще далеко не совсѣмъ свободенъ, не совсѣмъ глубокъ. Содержаніе поэзіи Жуковского было такъ одно-сторонне, что стихъ его не могъ отразить въ себѣ всѣ свойства и все богатство русскаго языка. Батюшковъ тоже не мало сдѣлалъ для русскаго стиха; но, несмотря на соединенныя заслуги этихъ двухъ поэтовъ,

созданіе вполне поэтического и вполне художественнаго стиха принадлежало Пушкину. Кромѣ односторонности содержанія поэзіи Жуковского, не должно еще забывать, что поэтическая дѣятельность его двойственна: въ одной онъ является, какъ романтикъ, самобытенъ и оригиналенъ; въ другой—подъ вліяніемъ предшествовавшихъ ему поэтовъ и особенно подъ вліяніемъ идей Карамзина. Правда, онъ и въ патристическія стихотворенія, и въ посланія внесъ что-то свое, ему собственно, какъ романтику, принадлежавшее; но стихъ въ этихъ пьесахъ все-таки отзывается болѣе или менѣе фактурой старыхъ мастеровъ нашей поэзіи. Попадаютъ въ стихотвореніяхъ Жуковского стихи тяжелые и темные, какъ напримѣръ эти:

Ихъ одобренье намъ награда,
 А порицаніе—ограда
 Отъ убивающихъ дагъ
 Надменной мысли совершенства.

Иногда разстановка словъ напоминаетъ Ломоносова, какъ напримѣръ:

А ты, дарующій и тронъ, и власть царямъ,
 Ты, на совѣтѣ ихъ сидящій благодатью,
 Ознаменуй Твоей дла мои печатю.

Есть наконецъ стихи (правда, ихъ поискать да поискать), въ которыхъ вѣетъ духъ Хераскова, какъ напримѣръ:

Бѣгутъ во прахъ и громъ, и шлемъ, и щитъ,
 Впередъ, съ тылу, съ боковъ и рядомъ(?) страхъ бѣ-
 жить.

Жуковскій не могъ не имѣть сильнаго вліянія на Пушкина; но, въ свою очередь, и Пушкинъ имѣлъ сильное вліяніе на Жуковского: всѣ стихотворенія, написанныя имъ уже по истеченіи втораго десятилѣтія текущаго вѣка, отличаются несравненно лучшимъ языкомъ и стихомъ. Къ общимъ недостаткамъ поэзіи Жуковского принадлежитъ часто невыдержанность въ цѣломъ: рѣдкая пьеса его не теряетъ многого изъ своего достоинства отсутствіемъ сжатости и всего лишняго. Превосходная элегія «На Смерть Королевы Виртембергской» можетъ служить образцомъ этого недостатка: въ ней есть лишніе куплеты, замедляющіе безъ нужды развитіе главной мысли и своей растянutoй прозаичностью ослабляющіе впечатлѣніе цѣлаго.

Неизмѣримъ подвигъ Жуковского и велико значеніе его въ русской литературѣ! Его романтическая муза была для дикой степи русской поэзіи элевзинской богиней Церерой: она дала русской поэзіи душу и сердце, познакомила ее съ таинствомъ страданія, утраты, мистическихъ открытій и полнаго тревоги стремленія «въ оный таинственный свѣтъ», которому нѣтъ имени, нѣтъ мѣста, но въ которомъ юная душа чувствуетъ свою

родную, заветную сторону. Есть пора въ жизни человѣка, когда грудь его полна тревоги и волнуется тоскливымъ порываніемъ безъ цѣли, когда горячія желанія съ быстротой смѣняются одно другое, и сердце, желая многого, не хочетъ ничего; когда опредѣленность убиваетъ мечту, удовлетвореніе подстѣкаетъ крылья желанію, когда человѣкъ любитъ весь міръ, стремится ко всему и не въ состояніи остановиться ни на чемъ; когда сердце человѣка порывисто бьется любовью къ идеалу и гордымъ презрѣніемъ къ дѣйствительности, и юная душа, расправляя мощныя крылья, радостно взвизываетъ къ свѣтлому небу, желая забыть о существованіи земного праха. Въ эту пору жизни человѣка любовь робка и стыдлива, жаждетъ одного только сочувствія и удовлетворяется долгимъ взглядомъ, таинствомъ присутствія милаго существа, и за тихое пожатіе руки не пожелаетъ полного обладанія. Правда, въ этой порѣ много односторонности, много ложнаго, больше фантазіи, чѣмъ сердца, и за ней непремѣнно должна слѣдовать пора горячаго и тяжелаго разочарованія, для того, чтобы человѣкъ пришелъ въ состояніе понять истину, какъ она есть, простую и прекрасную собственной красотой, а не радужнымъ нарядомъ фантазіи; чтобы онъ могъ понять, что вѣчно и безконечное является въ проходящемъ и конечномъ, что идея въ фактахъ, душа въ тѣлѣ... Но эта пора юношескаго энтузіазма есть необходимый моментъ въ нравственномъ развитіи человѣка, — и кто не мечталъ, не порывался въ юности къ неопредѣленному идеалу фантастическаго совершенства, истины, блага и красоты, тотъ никогда не будетъ въ состояніи понимать поэзію — не одну только создаваемую поэтами поэзію, но и поэзію жизни; вѣчно будетъ онъ влачиться низкой душой по грязи грубыхъ потребностей тѣла и сухого, холоднаго эгоизма. Пора безотчетнаго романтизма въ духѣ среднихъ вѣковъ есть необходимый моментъ не только въ развитіи человѣка, но и въ развитіи cadaго народа и цѣлаго человечества. Средніе вѣка были этимъ великимъ моментомъ развитія народовъ западной Европы, а слѣдовательно всего человечества, и этотъ моментъ всемірно-историческаго развитія выразился въ искусствѣ среднихъ вѣковъ. Мы, русскіе, позже другихъ вышедшіе на поприще нравственно-духовнаго развитія, не имѣли своихъ среднихъ вѣковъ: Жуковский далъ намъ ихъ въ своей поэзіи, которая воспитала столько поколѣній и всегда будетъ такъ краснорѣчиво говорить душѣ и сердцу человѣка въ извѣстную эпоху его жизни. Жуковский — это поэтъ стремленія, душевнаго порыва къ неопредѣленному идеалу. Произведенія Жуковскаго не могутъ восхи-

щать всѣхъ и cadaго во всякій возрастъ: они внятно говорятъ душѣ и сердцу въ извѣстный возрастъ жизни или въ извѣстномъ расположеніи духа: вотъ настоящее значеніе поэзіи Жуковскаго, которое она всегда будетъ имѣть. Но Жуковский кромѣ того имѣетъ великое историческое значеніе для русской поэзіи вообще: одухотворивъ русскую поэзію романтическими элементами, онъ сдѣлалъ ее доступной для общества, далъ ей возможность развитія. и безъ Жуковскаго мы не имѣли бы Пушкина. Сверхъ того есть еще другая великая заслуга русскому обществу со стороны Жуковскаго: благодаря ему, нѣмецкая поэзія — намъ родная, и мы умѣемъ понимать ее безъ того усилія, которое условливается чуждой національностью. Еще въ дѣтствѣ мы черезъ Жуковскаго приучаемся понимать и любить Шиллера, какъ бы своего національнаго поэта, горящаго намъ русскими звуками, русской рѣчью.

III.

Обзоръ поэтической дѣятельности Батюшкова; характеръ его поэзіи. — Гнѣдичъ; его переводы и оригинальныя сочиненія. — Мераляковъ. — Князь Вяземскій. — Журналы конца карамзинскаго періода.

Батюшковъ далеко не имѣетъ такого значенія въ русской литературѣ, какъ Жуковский. Послѣдній дѣйствовалъ на нравственную сторону общества посредствомъ искусства; искусство было для него какъ бы средствомъ къ воспитанію общества. Заслуга Жуковскаго собственно передъ искусствомъ состояла въ томъ, что онъ далъ возможность содержанія для русской поэзіи. Батюшковъ не имѣлъ почти никакого вліянія на общество, пользуясь великимъ уваженіемъ только со стороны записныхъ словесниковъ своего времени, и хотя заслуги его передъ русской поэзіей велики, однакожъ онъ оказалъ ихъ совсѣмъ иначе, чѣмъ Жуковский. Онъ успѣлъ написать только небольшую книжку стихотвореній, и въ этой небольшой книжкѣ не всѣ стихотворенія хороши и даже хорошія далеко не всѣ равнаго достоинства. Онъ не могъ имѣть особенно сильнаго вліянія на современное ему общество и современную ему русскую литературу и поэзію: вліяніе его не обнаружилось на поэзію Пушкина, которая приняла въ себя или, лучше сказать, поглотила въ себя всѣ элементы, составлявшіе жизнь твореній предшествовавшихъ поэтовъ. Державинъ, Жуковский и Батюшковъ имѣли особенно сильное вліяніе на Пушкина: они были его учителями въ поэзіи, какъ это видно изъ его лицейскихъ стихотвореній. Все, что было существеннаго и жизненнаго въ поэзіи

Державина, Жуковского и Батюшкова,—все это присутствовало поэзии Пушкина, переработанное ею самобытным элементом. Пушкин был прямым наследником поэтического богатства этих трех мастеров русской поэзии,—наследником, который собственной деятельностью до того увеличил полученные им капиталы, что масса приобретённого им самим подавила собой полученную и пушенную им в оборот сумму. Как умели и могли, мы старались показать и открыть существенное и жизненное в поэзии Державина и Жуковского; теперь остается нам сделать это в отношении к поэзии Батюшкова.

Направление поэзии Батюшкова совсем противоположно направлению поэзии Жуковского. Если неопределенность и туманность составляют отличительный характер романтизма в духе средних веков,—то Батюшков столько же классик, сколько Жуковский романтик: ибо определенность и ясность—первые и главные свойства его поэзии. И если поэзия его при этих свойствах обладала хотя бы столь же богатым содержанием, как поэзия Жуковского,—Батюшков, как поэт, был бы гораздо выше Жуковского. Нельзя сказать, чтобы поэзия его была лишена всякого содержания, не говоря уже о том, что она имела свой совершенно самобытный характер; но Батюшков как-будто не сознавал своего призвания и не старался быть ему верным, тогда как Жуковский, руководимый непосредственным влечением своего духа, был верен своему романтизму и вполне исчерпал его в своих произведениях. Светлый и определенный мир изящной, эстетической древности—вот что было призванием Батюшкова. В нем первом из русских поэтов художественный элемент явился преобладающим элементом. В стихах его много пластики, много скульптурности, если можно так выразиться. Стих его часто не только слышим уху, но видим глазу: хочется опутать извивы и складки его мраморной драпировки. Жуковский только через Шиллера познакомился с древней Элладой. Шиллер, как мы заметили в предшествовавшей статье, смотрел на Грецию преимущественно с романтической стороны ее,—и русская поэзия не знала еще Греции с ее чисто художественной стороны, не знала Греции, как всемирной мастерской, через которую должна пройти всякая поэзия в мир, чтобы научиться быть изящной поэзией. В анакреонтических стихотворениях Державина проблескивают черты художественного ризца древности, но только проблескивают, сейчас же теряясь в грубой и неуклюжей обработке д'блага, и эти проблески

античности тем больше делают чести Державину, что он по своему образованию и по времени, в которое жил, не мог иметь никакого понятия о характере древнего искусства, и если приближался к нему в проблесках, то не иначе, как благодаря только своей поэтической натуре. Это показывает между прочим, чем бы мог быть этот поэт и что бы мог он сделать, если бы явился на Руси в другое, более благоприятное для поэзии время. Но Батюшков сближался с духом изящного искусства греческого сколько по своей натуре, столько и по большому или меньшему знакомству с ним через образование. Он был первый из русских поэтов, побывавший в этой мировой студии мирового искусства; его первого поразили эти изящные головы, эти соразмерные торсы—произведения волшебного ризца, исполненного благородной простоты и спокойной пластической красоты. Батюшков, кажется, знал латинский язык и, кажется, не знал греческого; неизвестно, с какого языка перевел он двенадцать пьес из греческой антологии: этого не объяснено в коротеньком предисловии к изданию его сочинений, сделанном Смирдиным; но приложенные к статье «О Греческой Антологии» французские переводы этих же самых пьес позволяют думать, что Батюшков перевел их с французского. Это последнее обстоятельство разительно показывает, до какой степени натура и дух этого поэта были родственны эллинской музе. Для тех, кто понимает значение искусства, как искусства, и кто понимает, что искусство, не будучи прежде всего искусством, не может иметь никакого действия на людей, каково бы ни было его содержание,—для тех должно быть понятно, почему мы приписываем такую высокую цену переводам Батюшкова двенадцати маленьких пьесок из греческой антологии. В предшествовавшей статье мы выписали большую часть антологических его пьес; здесь приведем для примера одну самую короткую:

Сокроем навсегда от зависти людей
Восторги пылкие и страсти упоенья;
Как сладок поцелуй в безмолвии ночей,
Как сладко тайное любви наслаждение!

Такого стиха, как в этой пьеске, не было до Пушкина, ни у одного поэта, кроме Батюшкова; мало того: можно сказать решительно, что до Пушкина ни один поэт, кроме Батюшкова, не в состоянии был показать возможности такого русского стиха. После этого Пушкину стоило не слишком большого шага вперед начать писать такими антологическими стихами, как вот эти:

Я вѣрю: я люблю; для сердца нужно вѣрить.
Нѣтъ, милая моя не можетъ лицемѣрить;
Все непритворно въ ней: желаній томный жаръ,
Стыдливость робкая, харпъ безцѣнный даръ,
Нарядовъ и рѣчей пріятная небрежность
И ласковыхъ именъ младенческая вѣжность.

Вообще надо замѣтить, что антологическія стихотворенія Батюшкова уступаютъ антологическимъ пьесамъ Пушкина только развѣ въ чистотѣ языка, чуждаго произвольныхъ усѣченій и всякой неровности и шероховатости, столь извинительныхъ и необходимыхъ въ то время, когда явился Батюшковъ. Совершенство антологического стиха Пушкина — совершенство, которымъ онъ много обязанъ Батюшкову — отразилось вообще на стихѣ его. Приводимъ здѣсь снова два послѣдніе стиха выписанной нами антологической пьесы:

Какъ сладокъ поцѣлуй въ безмолвіи ночей,
Какъ сладко тайное любви наслажденье!

Вспомните стихотвореніе Пушкина: «Зима. Что дѣлать намъ въ деревнѣ? Я встрѣчаю». Стихотвореніе это нисколько не антологическое, но посмотрите, какъ послѣдніе стихи его напоминаютъ своей фактурой антологическую пьесу Батюшкова:

И дѣва въ сумерки выходитъ на крыльцо:
Открыта шея, грудь, и вьюга ей въ лицо!
Но бури съвера не вредны русской розѣ.
Какъ жарко поцѣлуй пылаетъ на морозѣ!
Какъ дѣва русская свѣжа въ пыли снѣговъ!

Благодаря Пушкину, тайна антологического стиха сдѣлалась доступна даже обыкновеннымъ талантамъ; такъ напримѣръ, многія антологическія стихотворенія Майкова не уступаютъ въ достоинствѣ антологическимъ стихотвореніямъ Пушкина, между тѣмъ какъ Майковъ не обнаружилъ никакого дарованія ни въ какомъ родѣ поэзіи, кромѣ антологическаго. Послѣ Майкова встрѣчаются превосходныя стихотворенія въ антологическомъ родѣ у Фета. Майковъ нашелъ себѣ подражателя въ Крешевѣ, антологическія стихотворенія котораго не совсѣмъ чужды поэтического достоинства, — и явились такіа стихотворенія въ началѣ второго десятилѣтія настоящаго вѣка, они составили бы собой эпоху въ русской литературѣ; а теперь ихъ никто не хочетъ и замѣчать, — что не совсѣмъ неосновательно и несправедливо. Какого же удивленія заслуживаетъ Батюшковъ, который первый на Руси создалъ антологическій стихъ, только развѣ по языку, и то весьма не многимъ, уступающій антологическому стиху Пушкина? И не вправдѣ ли мы думать, что Батюшкову обязанъ Пушкинъ своимъ антологическимъ, а вслѣдствіе этого и вообще своимъ стихомъ? Жуковскій не могъ не имѣть большого вліянія на Пушкина;

кому не извѣстно его обращеніе къ нему, какъ къ своему учителю, въ «Русланъ и Людмила»?

Поэзіи чудесный геній,
Пѣвецъ таинственныхъ видѣній,
Любви, мечтаній и чертей,
Могиль и рая вѣрный житель,
И музы вѣтренной носъ
Наперсникъ, пѣтухъ и хранитель!

Дальнѣйшіе стихи этого отрывка, несмотря на ихъ шуточный тонъ, показываютъ, какъ сильно дѣйствовали на дѣтское воображеніе Пушкина даже и «Двѣнадцать Спящихъ Дѣвъ». Но вліяніе Жуковского на Пушкина было больше нравственное, чѣмъ артистическое, и трудно было бы найти и указать въ сочиненіяхъ Пушкина слѣды этого вліянія, исключая развѣ лицейскія его стихотворенія. Пушкинъ рано и скоро пережилъ содержаніе поэзіи Жуковского, и его ясный, опредѣленный умъ, его артистическая натура гораздо болѣе гармонировали съ умомъ и натурой Батюшкова, чѣмъ Жуковского. Поэтому вліяніе Батюшкова на Пушкина виднѣе, чѣмъ вліяніе Жуковского. Это вліяніе особенно замѣтно въ стихѣ, столь артистическомъ и художественномъ: не имѣя Батюшкова своимъ предшественникомъ, Пушкинъ едва ли бы могъ выработать себѣ такой стихъ.

Батюшкову по натурѣ его было очень сродно созерцаніе благъ жизни въ греческомъ духѣ. Въ любви онъ совсѣмъ не романтикъ. Изящное сладострастіе — вотъ паеосъ его поэзіи. Правда, въ любви его, кромѣ страсти и граціи, много вѣжности, а иногда много грусти и страданія; но преобладающій элементъ ея всегда — страстное вождѣлѣніе, увѣнчиваемое всей нѣгой, всѣмъ обаяніемъ исполненнаго поэзіи и граціи наслажденія. Есть у него пьеса, которую можно назвать апоэозой чувственной страсти, доходящей въ неукротимомъ стремленіи вождѣлѣнія до бѣшеннаго и въ то же время въ высшей степени поэтическаго и граціознаго безумія. Этимъ страстнымъ вдохновеніемъ обязанъ нашъ поэтъ самой древности, и содержаніе взято имъ изъ ея мифологической жизни: оно въ яркихъ краскахъ рисуетъ веселое празднество и обаятельно-буйныхъ, очаровательно-безстыдныхъ жрицъ Вакха:

Всѣ на праздникъ Эригоны
Жрицы Вакховы теки;
Вѣтры съ шумомъ разнесли
Громкій вой ихъ, плескъ и стоны.
Въ чащѣ дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней — она бѣжала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвѣвали,
Перевитые плющемъ,
Нагло ризы поднимали
И свивали ихъ клубкомъ.

Стройный станъ, кругомъ обвитый
 Хмѣля желтаго вѣнцомъ,
 И пылающіе ланиты
 Розы яркимъ багрецомъ,
 И уста, въ которыхъ таетъ
 Пурпуровый виноградъ —
 Все въ неистовой прельщаетъ,
 Въ сердце лѣтъ огонь и адъ!
 Я за ней... она бѣжала
 Легче серны молодой; —
 Я настигъ: она упала!
 И тимпанъ подъ головой!
 Жрицы Вакховы промчались
 Съ громкимъ воплемъ мимо насъ;
 И по роцѣ раздавались
 «Эвое!» и нѣги гласъ.

Такіе стихи и въ наше время превосходны; при первомъ же своемъ появленіи они должны были поразить общее вниманіе, какъ предвѣстіе скорого переворота въ русской поэзіи. Это еще не Пушкинскіе стихи, но послѣ нихъ уже надо было ожидать не другихъ какихъ-нибудь, а Пушкинскихъ... Такъ все готово было къ явленію Пушкина, — и конечно Батюшковъ много и много способствовалъ тому, что Пушкинъ явился такимъ, какимъ явился дѣйствительно. Одной этой заслуги со стороны Батюшкова достаточно, чтобъ имя его произносилось въ исторіи русской литературы съ любовью и уваженіемъ.

Судя по родственности натуры Батюшкова съ древней музой и по его превосходному поэтическому таланту, можно было бы подумать, что онъ обогатилъ нашу литературу множествомъ художественныхъ произведеній, написанныхъ въ древнемъ духѣ, и множествомъ мастерскихъ переводовъ съ греческаго и латинскаго: — ничуть не бывало! Кромѣ двѣнадцати пьесъ изъ греческой антологіи, Батюшковъ ничего не перевелъ изъ греческихъ поэтовъ, а съ латинскаго перевелъ только три элегіи изъ Тибулла — и то вольнымъ переводомъ. Переводъ Батюшкова мѣстами слабъ, вялъ, растянута и прозаиченъ, такъ что тяжело прочесть цѣлую элегію вдругъ; но мѣстами этотъ же переводъ такъ хорошъ, что заставляетъ сожалѣть, зачѣмъ Батюшковъ не перевелъ всего Тибулла, этого латинскаго романтика. Какое бы ни былъ переводъ этотъ въ цѣломъ, но мѣста, подобныя слѣдующимъ, выкупили бы его недостатки:

Единственный мой богъ и сердца властелинъ,
 Я былъ твоимъ жрецомъ, Киприды милый сынъ!
 До гроба я носилъ твои оковы пѣжны,
 И ты, Амуръ, меня въ жилища безмятежны,
 Въ Элизій привелъ таинственной стезей,
 Туда, гдѣ вѣчный май межъ рощей и полей;
 Гдѣ расцвѣтаетъ нardъ киннамона лавы
 И воздухъ напоенъ благоуханьемъ розъ;
 Тамъ слышно пѣнье птицъ и шумъ бѣгущихъ
 водъ;
 Тамъ дѣвы юныя, сплетая въ хороводъ,
 Мелькаютъ межъ деревьевъ, какъ легки привидѣнья;

И тотъ, кого постигъ, въ минуту упоенья,
 Въ объятіяхъ любви неумолимый рокъ,
 Тотъ носить на челѣ изъ свѣжихъ миртъ вѣнокъ.

Но ты мнѣ вѣрная, другъ милый и безцѣнный,
 И въ мирной хижинѣ, отъ взоровъ сокровенной,
 Съ наперсницей любви, съ подругою твоей,
 На мигъ не покидай домашнихъ алтарей.
 При шумѣ зимнихъ вьюгъ, подъ снѣгомъ без-
 опасной,

Подруга въ темну ночь зажжетъ свѣтильникъ
 ясной

И, тихо вретено кружа въ рукѣ своей,
 Расскажетъ повѣсти и были старыхъ дней.
 А ты, склоня слухъ на сладкіе небыллицы,
 Забудешься, мой другъ; и томныя зеницы
 Закроетъ тихій сонъ, и праслица изъ рукъ
 Падетъ... и у дверей предстанетъ твой супругъ,
 Какъ небожъ посланный внезапно добрый ге-
 ній.

Бѣги навстрѣчу мнѣ, бѣги изъ мирной сѣни,
 Въ прелестной наготѣ явись моимъ очамъ,
 Власы разсыпаны небрежно по плечамъ,
 Вся грудь лилейная и ноги обнажены...
 Когда жъ Аврора намъ, когда сей день бла-
 женный

На розовыхъ коняхъ, въ блистаніи принесетъ
 И Делію Тибулла въ восторгъ обойметъ?

Элегія, изъ которой сдѣлали мы эти выписки, не означена никакой цифрой. Она вся переведена превосходно, и если въ ней много незаконныхъ усѣченій и есть хотя одинъ такой стихъ, какъ:

Богами свержены во области бездонны, —

то не должно забывать, что все это принадлежитъ болѣе къ недостаткамъ языка, чѣмъ къ недостаткамъ поэзіи; а во время Батюшкова никто не думалъ видѣть въ этомъ какіе бы то ни было недостатки. Если переводъ III-ей элегіи Тибулла и уступить въ достоинствѣ переводу первой, тѣмъ не менѣе онъ читается съ наслажденіемъ; но XI элегія переведена Батюшковымъ болѣе неудачно, чѣмъ удачно: немногіе хорошіе стихи затоплены въ ней потокомъ вялой и растянutoй прозы въ стихахъ.

Кромѣ двѣнадцати пьесъ изъ греческой антологіи и трехъ элегій изъ Тибулла, памятникомъ сочувствія и уваженія Батюшкова къ древней поэзіи остается только переведенная имъ изъ Мильвуа поэма «Гезіодъ и Омръ», соперники». Не имѣя подъ руками французскаго подлинника, мы не можемъ сравнить съ нимъ русскаго перевода; но не много нужно проникательности, чтобъ понять, что подъ перомъ Батюшкова эта поэма явилась болѣе греческой, чѣмъ въ оригиналѣ. Вообще эта поэма не безъ достоинствъ, хотя въ то же время и не отличается слишкомъ большими достоинствами, какъ бы этого можно было ожидать отъ ея сюжета.

Что мѣшало Батюшкову обогатить русскую литературу превосходными произведе-

ніями въ духѣ древней поэзіи и превосходными переводами, мы скажемъ объ этомъ ниже.

Страстная, артистическая натура Батюшкова стремилась родственно не къ одной Элладѣ: ей, какъ южному растенію, еще привольнѣе было подъ благодатнымъ небомъ роскошной Авзоніи. Отечество Петрарки и Тассо было отечествомъ музы русскаго поэта. Петрарка, Аріостъ и Тассо, особливо послѣдній, были любимѣйшими поэтами Батюшкова. Смерти Тассо посвятилъ онъ прекрасную элегію, которую можно принять за апофеозу жизни и смерти пѣвца «Іерусалима»; стихотвореніе «Къ Тассу» — родъ посланія, довольно большого, хотя и довольно слабого, также свидѣлствуетъ о любви и благоговѣніи нашего поэта къ пѣвцу Годфреда; сверхъ того Батюшковъ перевелъ, впрочемъ довольно неудачно, небольшой отрывокъ изъ «Освобожденнаго Іерусалима». Изъ Петрарки онъ перевелъ только одно стихотвореніе — «На смерть Лауры», да написалъ подражаніе его IX канцонѣ — «Вечеръ». Всѣмъ тремъ поэтамъ Італіи онъ посвятилъ по одной прозаической статьѣ, гдѣ излилъ свой восторгъ къ нимъ, какъ критикъ. Особенно замѣчательно, что онъ какъ-будто гордится, словно заслугой, открытіемъ, которое удалось ему сдѣлать при многократномъ чтеніи Тассо: онъ нашелъ многія мѣста и цѣлыя стихи Петрарки въ «Освобожденномъ Іерусалимѣ», что, по его мнѣнію, доказываетъ любовь и уваженіе Тассо къ Петраркѣ. И при всемъ томъ Батюшковъ такъ же слишкомъ мало оправдалъ на дѣлѣ свою любовь къ итальянской поэзіи, какъ и къ древней. Почему это — увидимъ ниже.

Страстность составляетъ душу поэзіи Батюшкова, а страстное упоеніе любви — ея пафосъ. Онъ и переводилъ Парни, и подражалъ ему; но въ томъ и другомъ случаѣ оставался самимъ собой. Слѣдующее подражаніе Парни — «Ложный Стыдъ», даетъ полное и вѣрное понятіе о пафосѣ его поэзіи:

Помнишь ли, мой другъ безцѣнный,
Какъ съ Амурами, тишкомъ,
Мракомъ ночи окруженный,
Я къ тебѣ прокрался въ домъ?
Помнишь ли, о другъ мой вѣрный!
Какъ дрожащая рука
Отъ побѣды неизбежной
Защищалась, — но слегка?
Слышенъ шумъ — ты испугалась;
Свѣтъ блеснулъ и въ мигъ погасъ;
Ты къ груди моей прижалась,
Чуть дыша... блаженный часъ!
Ты пугалась; я смѣлся.
«Намъ ли вѣдать, Хлоя, страхъ?
«Гименей за все ружался,
«И Амуры на часахъ.
«Все въ безмолвіи глубокомъ,
«Все почило сладкимъ сномъ!

«Дремлетъ Аргусъ томнымъ окомъ
«Подъ морфеевымъ крыломъ!»
Рано утреннія розы
Запылали въ небесахъ...
Но любви безцѣнны слезы,
Но улыбка на устахъ;
Томно первой волнованье
Подъ прозрачнымъ полотномъ,
Молча новое свиданье
Общали вечеркомъ.
Еслибъ Зевсова десница
Мнѣ вручила ночь и день:
Поздно бъ юная денница
Прогнала черну тѣнь!
Поздно бъ солнце выходило
На восточное крыльцо;
Чуть блеснуло бъ, и сокрыло
За гѣсъ рдѣное лицо;
Долго бъ тѣни пролежали
Влажной ночи на поляхъ;
Долго бъ смертные вкушали
Сладострастіе въ мечтахъ
Дружбѣ дамъ я часъ единый,
Вакху часъ и сну другой:
Остальною жъ половиной
Подѣлюсь, мой другъ, съ тобой!

Въ прелестномъ посланіи къ Ж*** и В*** «Мои Пенаты» съ такой же яркостью высказывается преобладающая страсть поэзіи Батюшкова. Окончательные стихи этой прелестной пьесы представляютъ изящный эпикуреизмъ Батюшкова во всей его поэтической обаятельности:

Пока бѣжить за нами
Богъ времени сѣдой
И губить лугъ съ цвѣтами
Безжалостной косой,
Мой другъ, скорѣй за счастьемъ
Въ путь жизни полетимъ,
Ущемся сладострастьемъ
И смерть опередимъ;
Сорвемъ цвѣты украдкой
Подъ левіемъ косы,
И лѣвью жизни краткой
Продлимъ, продлимъ часы!
Когда же Парки тощи
Нить жизни допрудятъ,
И насъ въ обитель ноши
Ко прагѣдамъ свесутъ —
Товарищи любезны!
Не сѣгуйте о насъ!
Къ чему рыданья слезны,
Наемныхъ ликовъ гласъ?
Къ чему сіи куренья,
И колокола вой,
И томны псалмопѣнья
Надъ хладною доской?
Къ чему?... но вы толпами
При мѣсячныхъ лучахъ
Соберитесь, и цвѣтами
Усыйте мирный прахъ;
Иль бросьте на гробницы
Боговъ домашнихъ ликъ,
Двѣ чаши, двѣ цѣвиницы,
Съ листьями павлиньи;
И путникъ угадаетъ
Безъ надписей златыхъ,
Что прахъ тутъ почиваетъ
Счастливецъ молодыхъ!

Нельзя согласиться, что въ этомъ эпикуреизмѣ много человѣчнаго, гуманнаго, хотя

можетъ-быть въ то же время много и одно-сторонняго. Какъ бы то ни было, но здравый эстетическій вкусъ всегда поставитъ въ большое достоинство поэзіи Батюшкова ея опредѣленность. Вамъ можетъ не понравится ея содержаніе, такъ же, какъ другого можетъ оно восхищать: но оба вы по крайней мѣрѣ будете знать—одинъ, что онъ не любить, другой—что онъ любитъ. И ужъ конечно такой поэтъ, какъ Батюшковъ—больше поэтъ, чѣмъ напримѣръ Ламартинъ съ его медитаціями и гармоніями, сотканными изъ вздоховъ, оховъ, облаковъ, тумановъ, паровъ, тѣней и призраковъ... Чувство, одушевляющее Батюшкова, всегда органически жизненно, и потому оно не распространяется въ словахъ, не кружится на одной ногѣ вокругъ самого себя, не движется, растетъ само изъ себя, подобно растенію, которое, проглянувъ изъ земли стебелькомъ, является пышнымъ цвѣткомъ, дающимъ плодъ. Можетъ-быть немного найдется у Батюшкова стихотвореній, которые могли бы подтвердить нашу мысль; но мы не достигли бы до нашей цѣли—познакомить читателей съ Батюшковымъ, еслибъ не указали на это прелестное его стихотвореніе—«Источникъ»:

Буря умолила, и въ ясной лазури
Солнце явилось на западѣ намъ:
Мутный источникъ, слѣдъ яростной бури,
Съ ревомъ и съ шумомъ бѣжитъ по полямъ!
Зафна! приближься: для дѣвы невинной
Пальмы подъ тѣнью здѣсь роза цвѣтетъ;
Падая съ камня источникъ пустынный
Съ ревомъ и пѣной сквозъ дебри течетъ!
Дебри ты, Зафна, собой озарила!
Сладко съ тобою въ пустынныхъ краяхъ,
Пѣсни любви ты мнѣ повторила—
Вѣтеръ унесъ ихъ на тихихъ крылахъ!
Голосъ твой, Зафна, какъ утра дыханье,
Сладостно шепчетъ, несясь по цвѣтамъ:
Тише, источникъ, прерви волнованье,
Съ ревомъ и съ пѣной стремясь по полямъ!
Голосъ твой, Зафна, въ душѣ отозвался:
Вижу улыбку и радость въ очахъ!
Дѣва любви! я къ тебѣ прикасался,
Съ мѣдомъ пить розы на влажныхъ устахъ!
Зафна краснѣешь?... О другъ мой невинный,
Тихо прижмись устами къ устамъ!
Будь же ты скромнѣе, источникъ пустынный,
Съ ревомъ и съ шумомъ стремясь по полямъ!
Чувствую персей твоихъ волнованье,
Сердца бѣненіе и слезы въ очахъ,
Сладостно дѣвы стыдливой роутанье!
Зафна! о Зафна, смотри, тамъ въ водахъ
Быстро несется цвѣтокъ розмаринный;
Воды умчались,—цвѣточка ужъ нѣтъ!
Время быстрѣе, чѣмъ токъ сей пустынный,
Съ ревомъ который сквозъ дебри течетъ.
Время погубить и прелесть, и младость!..
Ты улыбулась, о дѣва любви!
Чувствуешь въ сердцѣ томленіе и сладость,
Сильны восторги и пламень въ крови!..
Зафна, о Зафна!—тамъ голубъ невинный
Съ страстной подругой завидуютъ намъ..
Вздохи любви—источникъ пустынный
Съ ревомъ и шумомъ умчитъ по полямъ!

Нужно ли объяснять, что лежащее въ основѣ этого стихотворенія чувство, въ началѣ тихое и какъ бы случайное, въ каждой новой строфѣ все идетъ crescendo, разрѣшаясь гармоническимъ аккордомъ вздоховъ любви, унесенныхъ пустыннымъ источникомъ... И сколько жизни, сколько граціи въ этомъ чувствѣ!...

Но не однѣ радости любви и наслажденія страсти умѣлъ воспѣвать Батюшковъ: какъ поэтъ новаго времени, онъ не могъ въ свою очередь не заплатить дань романтизму. И какъ хорошъ романтизмъ Батюшкова: въ немъ столько опредѣленности и ясности! Элегія его—это ясный вечеръ, а не темная ночь,—вечеръ, въ прозрачныхъ сумеркахъ котораго всѣ предметы только принимаютъ на себя какой-то грустный оттѣнокъ, а не теряютъ своей формы и не превращаются въ призраки... Сколько души и сердца въ стихотвореніи «Послѣдняя Весна», и какіе стихи!

Въ поляхъ блистаетъ май веселый!
Ручей свободно зажурчалъ
И яркій голосъ филомелы
Угрюмый боръ очаровалъ:
Все новой жизни пьетъ дыханье!
Пѣвецъ любви, лишь ты умылъ!
Ты смерти вѣрной предвѣщанье
Въ печальномъ сердцѣ заключилъ;
Ты бродишь слабыми стопами
Въ послѣдній разъ среди полей,
Прощаясь съ ними и съ лѣсами
Пустынной родины твоей.
«Простите, рожи и долины,
«Родныя рѣки и поля!
«Весна пришла, и часъ кончины
«Неотразимой вижу я.
«Такъ Эпидавра прорицанье
«Вѣщаю мнѣ: въ послѣдній разъ
«Услышшишь горлинь воркованье
«И галціоны тихій гласъ;
«Завелеютъ гибки лозы,
«Поля одѣнутся въ цвѣты,
«Тамъ первыя увидишь розы
«И съ ними вдругъ увянешь ты.
«Ужъ близокъ часъ... цвѣточки милы,
«Къ чему такъ рано увядать?
«Закройте памятники унылый,
«Гдѣ прахъ мой будетъ истлѣвать;
«Закройте путь къ нему собою
«Отъ взоровъ дружбы навсегда.
«Но если Делія съ тоскою
«Къ нему приблизится: тогда
«Исполните благоуханьемъ
«Вокругъ пустынный небосклонъ
«И томнымъ листьевъ трепетаньемъ
«Мой сладко очаруйте сонъ!»
Въ поляхъ цвѣты не увядали,
И галціоны въ тихій часъ
Степанья рожи повторяли.
А бѣдный юноша... погасъ!
И дружба слез не уронила
На прахъ любимца своего;
И Делія не посѣтила
Пустынный памятникъ его:
Лишь пастырь въ тихій часъ денницы,
Какъ въ поле стадо выгонялъ,
Унылой пѣснью возмущалъ
Молчанье мертвое гробницы.

Грація—неотступный спутникъ музы Батюшкова, что бы она ни пѣла—буйную ли радость вакханаліи, страстное ли упоение въ любви, или грустное раздумье о прошедшемъ, скорбь сердца, оторваннаго отъ милыхъ ему предметовъ. Что можетъ быть граціознѣе этихъ двухъ маленькихъ элегій.

О память сердца! ты сильнѣй
Разсудка памяти печальной,
И часто сладостью своей
Меня въ странѣ пѣляешь дальней.
Я помню голосъ милыхъ словъ,
Я помню очи голубыя,
Я помню локоны азіатые
Небрежно вьющихся вѣсовъ.
Моей пастушки несравненной
Я помню весь нарядъ простой
И образъ милой, незабвенной
Повсюду странствуетъ со мной.
Хранитель гений мой—любовью
Въ утѣху данъ разлукѣ онъ:
Засну ль—привикнетъ къ изголовью
И усладитъ печальный сонъ.

Зефиръ послѣдній свѣялъ сонъ
Съ рѣсницъ, окованныхъ мечтами;
Но я—не къ счастью пробужденъ
Зефира тихими крылами.
Ни сладость розовыхъ лучей
Предтечи утреннаго Феба,
Ни кроткій блескъ лазури неба,
Ни запахъ, вѣющій съ полей,
Ни быстрый летъ коня ретива
По скату бархатныхъ луговъ,
И гончихъ лай, и звонъ роговъ
Вокругъ пустыннаго залива;
Ни что души не веселитъ,
Души встревоженной мечтами,
И гордый умъ не побѣдитъ
Любви холодными словами.

Замѣчательно, что у Батюшкова есть прекрасная небольшая элегія, которая не что иное, какъ очень близкій и очень удачный переводъ одной строфы изъ четвертой пѣсни Байронова «Чайльдъ-Гарольда». Вотъ по возможности близкая передача въ прозѣ этой строфы (CLXXVIII): «Есть удовольствіе въ непреходимыхъ лѣсахъ, есть прелесть на пустынномъ берегу, есть общество вдали отъ докучныхъ, въ сосѣдствѣ глубокаго моря, и ропотъ волнъ его есть своя мелодія. Я тѣмъ не менѣе люблю человека, но я тѣмъ болѣе люблю природу вслѣдствіе этихъ свиданій съ ней, на которыя я спѣшу, забывая все, чѣмъ бы я могъ быть или чѣмъ былъ прежде, для того, чтобы сливаться со вселенной и чувствовать то, что я никогда не въ состояніи выразить, но о чемъ одна-кожъ не могу и молчать».—Вотъ переводъ Батюшкова:

Есть наслажденіе и въ дикости лѣсовъ,
Есть радость на приморскомъ брегѣ,
И есть гармонія въ семь говоръ вѣловъ,
Дробящихся въ пустынномъ бѣгѣ.
Я близкаго люблю,—но ты природа-мать,
Для сердца ты всего дороже!

Съ тобой, владычица, привыкъ я забывать
И то, чѣмъ былъ, какъ былъ молоде,
И то, чѣмъ нынѣ сталъ подъ холодомъ годовъ,
Тобой въ чувствахъ оживаю:
Ихъ выразить душа не знаетъ стройныхъ словъ,
И какъ молчать объ нихъ не знаю.

Козловъ перевелъ и слѣдующія пять строфъ и выдалъ это за собственное произведение: по крайней мѣрѣ въ третьемъ изданіи его сочиненій не означено, откуда взято первое стихотвореніе во второй части «Къ Морю», посвященное Пушкину. Къ довершенію всего переводъ такъ водячатъ, что въ немъ нѣтъ никакихъ признаковъ Байрона. Сравните три послѣдніе стиха перваго куплета съ переводомъ Батюшкова:

Природу я душою обнимаю,
Она милѣй; постичь стремлюся я
Все то, чему нѣтъ словъ, но что тайтъ нельзя.

то-ли это?...

Безпечный поэтъ-мечтатель, философъ-эпикурецъ, жрецъ любви, нѣги и наслажденія, Батюшковъ не только умѣлъ задушеваться и грустить, но зналъ и диссонансы сомнѣнія, и муки отчаянія. Не находя удовольствія въ наслажденіяхъ жизни и нося въ душѣ страшную пустоту, онъ восклицалъ въ тоскѣ своего разочарованія:

Минутны странники, мы ходимъ по гробамъ,
Всѣ дни утратами считаемъ;
На крыльяхъ радости летимъ къ своимъ
Друзьямъ,
И что жъ?—ихъ урны обнимаемъ!

Такъ все здѣсь суетно въ обители суеты!
Пріянь и дружество непрочно!
Но гдѣ, скажи, мой другъ, прямой сіяетъ свѣтъ?
Что вѣчно чисто, непорочно?
Напрасно вопрошалъ я опытность вѣковъ
И Кліи мрачныя скрижали;
Напрасно вопрошалъ всѣхъ міра мудрецовъ,—
Они безмолвны пребывали.
Какъ въ воздухѣ перо кружится здѣсь и тамъ,
Какъ въ вихрѣ тонкій прахъ летаетъ,
Какъ судно безъ руля стремится по волнамъ
И вѣчно пристани не знаетъ:
Такъ умъ мой посреди волненій погибалъ.
Всѣ жизни прелести затмилисъ:
Мой гений въ горести свѣтлѣнникъ погашалъ
И музы свѣтлыя сокрылись.

Бросая общій взглядъ на поэтическую дѣятельность Батюшкова, мы видимъ, что его талантъ былъ гораздо выше того, что сдѣлано имъ, и что во всѣхъ его произведеніяхъ есть какая-то недоконченность, неровность, незрѣлость. Съ превосходнѣйшими стихами мѣшаются у него иногда стихи старинной фактуры, лучшія пьесы не всегда выдержаны и не всегда чужды прозаическимъ и растянутымъ мѣстамъ. Въ его поэтическомъ призваніи Греція борется съ Италіей, югъ съ сѣверомъ, ясная радость съ унылой душой, легкомысленная жажда наслажденія

вдруг смѣняется мрачнымъ, тяжелымъ сомнѣніемъ, и тирская багряница эпикурейца робко прячется подъ власницу суроваго аскета. Отсюда происходитъ, что поэзія Батюшкова лишена общаго характера, и если можно указать на ея пагубность, то нельзя не согласиться, что этотъ пагубность лишена всякой увѣренности въ самомъ себѣ и часто походить на контрабанду, съ опасеніемъ и боязнью провозимую черезъ таможенную пѣтизму и морали. Батюшковъ былъ учителемъ Пушкина въ поэзіи, онъ имѣлъ на него такое сильное вліяніе, онъ передалъ ему почти готовый стихъ,—а между тѣмъ что представляютъ намъ творения самого этого Батюшкова? Кто теперь читаетъ ихъ, кто восхищается ими? Въ нихъ все принадлежитъ своему времени и почти ничего нѣтъ для нашего. Артистъ, художникъ по призванію, по натурѣ и по таланту, Батюшковъ неудовлетворителенъ для насъ и съ эстетической точки зрѣнія. Откуда же эти противорѣчія? Гдѣ причина ихъ?— Не трудно дать отвѣтъ на этотъ вопросъ.

Творенія Жуковскаго—это цѣлый періодъ нашей литературы, цѣлый періодъ нравственнаго развитія нашего общества. Ихъ можно находить односторонними, но въ этой-то односторонности и заключается необходимость, оправданіе и достоинство ихъ. Съ произведеніями музы Жуковскаго связано нравственное развитіе каждаго изъ насъ въ извѣстную эпоху нашей жизни, и потому мы любимъ эти произведенія, даже и будучи отдѣлены отъ нихъ неизмѣримымъ пространствомъ новыхъ потребностей и стремленій: такъ возмужалый человѣкъ любитъ волненія и надежды своей юности, надъ которыми самъ же уже смѣется. Жуковскій весь отдался своему направленію, своему призванію. Онъ—романтикъ во всемъ, что есть лучшаго въ его поэзіи, и не романтикъ только въ неудачныхъ своихъ опытахъ, число которыхъ впрочемъ уступаетъ числу лучшихъ, т. е. романтическихъ его произведеній. Батюшковъ написалъ по нѣскольку пьесъ на нѣсколько мотивовъ—и вотъ все. Мы въ этой статьѣ выписали почти все лучшее изъ произведеній Батюшкова: такъ немного у него лучшаго! Направленіе и духъ поэзіи его гораздо опредѣленнѣе и дѣйствительнѣе направленія духа поэзіи Жуковскаго: а между тѣмъ кто изъ русскихъ не знаетъ Жуковскаго и многіе ли изъ нихъ знаютъ Батюшкова не по одному только имени?

Главная причина всѣхъ этихъ противорѣчій заключается, разумѣется, въ самомъ талантѣ Батюшкова. Это былъ талантъ замѣчательный, но болѣе яркій, чѣмъ глубокій, болѣе гибкій, чѣмъ самостоятельный, болѣе граціозный, чѣмъ энергическій. Батюшкову

немногого не доставало, чтобъ онъ могъ переступить за черту, раздѣляющую большой талантъ отъ гениальности. И вотъ почему онъ всегда находился подъ вліяніемъ своего времени. А его время было странное время,— время, въ которое новое являлось, не смѣняя стараго, и старое и новое дружно жили другъ подлѣ друга, не мѣшая одно другому. Старое не сердилось на новое, потому что новое низко кланялось старому и на вѣру, по преданію, благоговѣло передъ его богами. Посмотрите, какъ безсознательно восхищался Батюшковъ представителями русскаго Парнаса:

Пускай веселы тѣни
Любимыхъ мнѣ пѣвцовъ,
Оставя тайны сѣни
Стигійскихъ береговъ
Изъ области эфирны,
Воздушною толпой
Слетать на голосъ лирный
Бесѣдовать со мной!..
И мертвые съ живыми
Вступили въ хоръ одинъ!..
Что вижу? ты предъ нами
Парнаскій исполнивъ,
Пѣвецъ героевъ, славы,
Вслѣдъ вихремъ и громамъ,
Нашъ лебедь величавый,
Плывешь по небесамъ.
Въ толпѣ и музъ и грацій
То съ лирой, то съ трубой,
Нашъ Пиндаръ, нашъ Гораций
Сливаетъ голосъ свой.
Онъ громокъ, быстръ и силенъ,
Какъ Суна средъ степей,
И нѣженъ, тихъ, умиленъ,
Какъ вѣшній соловей.
Фантазіи небесной
Давно любимы сны (?),
То повѣстью прелестной
Пѣвнеть Карамзинъ,
То мудраго Платона
Описываетъ намъ,
И ужинъ Агатона,
И наслажденъ храмъ;
То древню Русь и нравы
Владимира временъ,
И въ колыбели славы
Рожденіе славянъ.
За ними *силѣ прекрасной*
Воспитанникъ Харитъ,
На цытрѣ сладкогласной
О «Душенькѣ» бренчить;
Мелецкаго съ собою
Улыбкою зоветъ
И съ нимъ, рука съ рукою,
Гимнъ радости поетъ...
Съ эротами играя,
Философъ и пѣтъ,
Влилъ Федра и Пилпая
Тамъ Дмитріевъ сидятъ:
Бесѣдуя съ звѣрами,
Какъ счастливый дитя,
Парнаскими цвѣтами
Скрылъ истину пути.
За нимъ въ часы свободы
Поютъ среди цвѣтовъ
Два баловня природы,
Хемницеръ и Крыловъ.
Наставники-пѣнты,
О фобовы жрецы!

Вамъ, вамъ плетутъ Хариты
Бессмертныя вѣнцы!
Я вами здѣсь вкушаю
Восторги піеридъ,
И въ радости взываю:
О музы! я пѣть!

Что такое эти стихи, если не крикъ безотчетнаго восторга? Для Батюшкова всѣ писатели, которыми привыкъ онъ восхищаться съ дѣтства, равно велики и бессмертны. Державинъ у него—«нашъ Пиндаръ, нашъ Гораций», какъ будто бы для него мало чести быть только нашимъ Пиндаромъ или только нашимъ Горациемъ. Если Батюшковъ тутъ же не назвалъ Державина еще и нашимъ Анакреономъ,—это вѣроятно потому, что Анакреонъ, какъ длинное имя, не пришлось въ мѣру стиха. Батюшковъ съ Горациемъ былъ знакомъ не по слуху и не видѣлъ, что между Горациемъ—поэтомъ умирнаго, развратнаго языческаго общества, и между Державинимъ,—поэтомъ, для котораго еще не было никакого общества, нѣтъ рѣшительно ничего общаго! Если Батюшковъ и не зналъ по-гречески,—онъ могъ имѣть понятие о Пиндарѣ по латинскимъ и нѣмецкимъ переводамъ; но это, видно, не помогло ему понять, что еще менѣе какого бы то ни было сходства между Державинимъ и Пиндаромъ, котораго вдохновенная, возвышенная поэзія была голосомъ цѣлаго народа—и какого еще народа!... Если Батюшковъ не упомянулъ въ этихъ стихахъ о Херасковѣ и Сумароковѣ, это вѣроятно потому, что первому изъ нихъ были уже нанесены страшные удары Мерзляковымъ и Строевымъ (П. М.), а второй мало-по-малу какъ-то самъ истерся въ общественномъ мнѣніи. Впрочемъ это не мѣшаетъ Батюшкову титуловать Хераскова громкимъ именемъ пѣвца «Россіады» и приписывать ему какую-то «славу писателя». Разсуждая о такъ называемой «легкой поэзіи», Батюшковъ такъ разсказываетъ ея исторію на Руси:

«Такъ называемый эротическій и вообще легкій родъ поэзіи воспріалъ у насъ начало со временъ Ломоносова и Сумарокова. Опыты ихъ предшественниковъ были маловажны: языкъ и общество еще не были образованы. Мы не будемъ исчислять всѣхъ видовъ, раздѣленій и измѣненій легкой поэзіи, которая менѣе или болѣе принадлежитъ къ важнымъ родамъ: но замѣтимъ, что на попріщъ изящныхъ искусствъ, подобно какъ и въ нравственномъ мірѣ, ничто прекрасное и доброе не теряется, приносятъ со временемъ пользу и дѣйствуютъ непосредственно на весь составъ языка. Стихотворная поѣсть Богдановича, первый и прелестный цвѣтокъ легкой поэзіи на языкѣ нашемъ, ознаменованный истиннымъ и великимъ (!) талантомъ; остроумныя, неподражаемыя сказки Дмитріева, въ которыхъ поэзія въ первый разъ украсила разговоръ лучшаго общества; посланія и другія произведенія сего стихотворца, въ которыхъ философія (?) оживилась неувыдаемыми цвѣта-

ми выраженія; басни его, въ которыхъ онъ боролся съ Лафонтеномъ и часто побѣждалъ его; басни Хемницера и оригинальныя басни Крылова, которыхъ остроумные, счастливыя стихи сдѣлались пословицами, ибо въ нихъ виденъ и тонкій умъ наблюдателя свѣта, и рѣдкій талантъ; стихотворенія Карамзина, исполненные чувства, образецъ ясности и стройности мыслей; Горацианскія оды Капниста; вдохновенныя страстью пѣсни Нелединскаго; прекрасныя подражанія древнимъ Мерзлякова; баллады Жуковского, славящія воображеніемъ, часто своеправнымъ (?), но всегда пламеннымъ, всегда сильнымъ; стихотворенія Востокова, въ которыхъ видно отличное дарованіе поэта, налитаннаго чтеніемъ древнихъ и германскихъ писателей; наконецъ стихотворенія Муравьева, гдѣ изображается, какъ въ зеркалѣ, прекрасная душа его; посланія князя Долгорукова, исполненные юности; нѣкоторыя посланія Воейкова, Пушкина и другихъ новѣйшихъ стихотворцевъ, писанныя сложомъ чистымъ и всегда благороднымъ: всѣ сии блестящія произведенія дарованія и остроумія менѣе или болѣе приближались къ желанному совершенству, и всѣ—нѣтъ сомнѣнія—принесли пользу языку стихотворному, образовали его, очистили, утвердили.»

Такъ! скажемъ мы отъ себя, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія: сочиненія всѣхъ этихъ поэтовъ принесли свою пользу въ дѣлѣ образованія стихотворнаго языка; но нѣтъ и въ томъ сомнѣнія, что между ихъ стихомъ и стихомъ Жуковского и Батюшкова легло цѣлое море разстоянія, и что «Душенька» Богдановича, сказки Дмитріева, горацианскія оды Капниста, подражанія древнимъ Мерзлякова, стихотворенія Востокова, Муравьева, Долгорукова, Воейкова и Пушкина (Василія) только до появленія Жуковского и Батюшкова могли считаться образцами легкой поэзіи и образцами стихотворнаго языка. Батюшковъ ни однимъ словомъ не даетъ чувствовать, что прославляемые имъ сочиненія любимыхъ имъ писателей принадлежатъ извѣстному времени и носятъ на себѣ, какъ необходимый отпечатокъ, его недостатки. И потому, что за взглядъ на относительную важность каждаго изъ нихъ: Дмитріевъ у него выше Крылова, народнаго русскаго баснописца, котораго многіе стихи обратились въ пословицы, какъ и многіе стихи изъ «Горя отъ ума», тогда какъ басни Дмитріева, не смотря на ихъ неотъемлемое достоинство, теперь совершенно забыты. И немудрено: въ нихъ Дмитріевъ является не болѣе какъ счастливымъ подражателемъ и переводчикомъ Лафонтена; но онъ чуждъ всякой оригинальности, самобытности и народности. Стихотворенія Карамзина, которыя гораздо ниже стихотвореній Дмитріева и которыя послѣ стихотвореній Жуковского тотчасъ же сдѣлались невозможными для чтенія, Батюшковъ находитъ «исполненными чувства и образцами ясности и стройности мыслей». Кто теперь знаетъ стихотворенія Муравьева?—Батюшковъ въ восторгѣ отъ нихъ. Ломоносовъ для него былъ

однимъ изъ величайшихъ поэтовъ міра. Опыты въ легкой поэзіи предшественниковъ Ломоносова и Сумарокова были мало-важны, по словамъ Батюшкова: стало быть, опыты Ломоносова и Сумарокова были уже не мало-важны. Но что же легкаго написалъ Ломоносовъ и что же порядочнаго сочинилъ Сумароковъ?... И такъ смотрѣлъ на русскую литературу человѣкъ, знакомый съ французской, нѣмецкой, итальянской, английской (?) и латинской литературами, въ подлинникъ читавшій Руссо, Шенье, Шиллера, Петрарку, Тасса, Аріоста, Байрона (?), Тибулла и Овидія!... Но всего поразительнѣе въ этомъ отношеніи «Письмо» Батюшкова «къ И. М. М. А. о сочиненіяхъ г. Муравьева». Дѣло идетъ о сочиненіяхъ Михаила Никитича Муравьева, бывшаго товарища министра народнаго просвѣщенія, попечителя Московскаго университета; онъ родился въ 1757, а умеръ въ 1827 году, и оставилъ послѣ себя память благороднаго человѣка и страстнаго любителя словесности. Какъ писатель, М. Н. Муравьевъ принадлежалъ къ Ломоносовской школѣ. Слогъ и языкъ его не Карамзинскій, хотя и казался для своего времени образцовымъ. Въ сочиненіяхъ его дѣйствительно видно много любви къ просвѣщенію, душа добрая и честная, характеръ благородный; но особенно литературнаго или эстетическаго достоинства они не имѣютъ. Когда вышли въ свѣтъ сочиненія Муравьева, изданныя послѣ смерти его подъ титуломъ: «Опыты исторіи словесности и правоученія»,—Батюшковъ написалъ письмо, о которомъ мы упомянули выше. Въ этомъ письмѣ онъ горько упрекаетъ тогдашнихъ журналистовъ за ихъ молчаніе о такой превосходной книгѣ, каковы сочиненія Муравьева. Въ числѣ этихъ сочиненій, состоящихъ изъ отдѣльных статей, есть нѣсколько такъ называемыхъ «разговоровъ въ царствѣ мертвыхъ», въ которыхъ авторъ пренаивно сводитъ Ромула съ Кіемъ, Карла Великаго—съ Владиміромъ, Горація—съ Кантемиромъ и заставляетъ ихъ спорить, а къ концу спора соглашается, что Россія не уступаетъ въ силѣ и просвѣщеніи ни одному народу въ мірѣ... Батюшковъ въ восторгѣ отъ этихъ мертвыхъ разговоровъ: онъ отдаетъ имъ преимущество даже передъ разговорами Фонтенеля. «Французскій писатель (говоритъ онъ) гонялся единственно за остроуміемъ: дѣйствующія лица въ его разговорахъ разрѣшаютъ какую-нибудь истину блестящими словами; они, кажется намъ, любятъ сами тѣмъ, что сказали. Подъ перомъ Фонтенеля нерѣдко древніе герои преображаются въ придворныхъ Людовикова времени и напоминаютъ намъ живо учтивыхъ пастуховъ того же автора, которымъ не достаётъ парика, манжетъ и

красныхъ каблучковъ, чтобъ шаркать въ королевской передней, какъ замѣчаетъ Вольтеръ—не помню въ которомъ мѣстѣ. Здѣсь совершенно тому противное: всякое лицо говорить приличнымъ ему языкомъ, и авторъ знакомитъ насъ, какъ будто невольно, съ Рюрикомъ, съ Карломъ Великимъ, съ Кантемиромъ, съ Гораціемъ и проч.»—Но, увѣ!—именно этого-то и нѣтъ въ разговорахъ Муравьева. Историческіе собесѣдники Фонтенеля похожи по крайней мѣрѣ хоть на придворныхъ Людовика XIV, а герои Муравьева рѣшительно ни на кого не похожи, даже просто на людей. Вообще Батюшковъ прославляетъ Муравьева какъ-то риторически: иначе: чѣмъ объяснить эту схоластическую фразу «онъ любилъ отечество и славу его, какъ Цицеронъ любилъ Римъ». Есть еще у Муравьева рядъ стиховъ нравственнаго содержания, названныхъ у него общимъ именемъ «Обитатель Предмѣстія». Языкъ этихъ статей довольно чистъ и ближе подходитъ къ Карамзинскому, чѣмъ къ Ломоносовскому; содержаніе много говоритъ въ пользу автора, какъ человѣка съ самыми добрыми расположеніями души и сердца; но и все тутъ: ни идей, ни воззрѣній, ни картинъ, ни слога. Батюшковъ говоритъ: «Сіи разговоры (мертвыхъ) и Письма Обитателя Предмѣстія могутъ замѣнить въ рукахъ наставниковъ лучшія произведенія иностранныхъ писателей». Вотъ какъ!... Вообще давно уже замѣчено, что у насъ на святой Руси не умѣютъ въ мѣру ни похвалить, ни похулить: если превозносить начать, такъ уже выше лѣса стоячаго, а если бранить, такъ уже прямо втопчутъ въ грязь... «Другіе отрывки (продолжаетъ Батюшковъ) принадлежать къ высшему роду словесности. Между ними повѣсть «Оскольдъ», въ которой авторъ изображаетъ походъ сѣверныхъ народовъ на Царьградъ, блистаетъ красотою». Какими же?—Красотами самой натянутой и надутой риторики. Къ числу такихъ повѣстей-поэмъ принадлежатъ: «Кадмъ и Гармонія», «Полидоръ, сынъ Кадма и Гармоніи» Хераскова, «Марѳа Посадница» Карамзина. Самъ Батюшковъ написалъ пренелѣпную вещь въ такомъ же духѣ: она называется «Предславъ и Добрыня, старинная повѣсть». Въ заключеніе статьи своей о сочиненіяхъ Муравьева Батюшковъ выпи-сываетъ эти стихи разбираемаго имъ автора:

Ты (муза) утро дней моихъ прилежно посѣ-
щала,
Почто-жъ печальная распространилась мгла,
И ясный полдень мой покрыла черной тѣнью!
Иль лавровъ по слѣдамъ твоимъ не соберу
И въ пѣсняхъ не пройду къ другому поко-
лѣнью,

Или я весь умру?

«Нѣтъ (воскликаетъ Батюшковъ), мы надѣмся, что сердце человѣческое бессмертно.

далеко ниже обнаруженного имъ таланта, далеко не выполняютъ возбужденныхъ имъ же самимъ ожиданій и требованій. Неопредѣленность, нерѣшительность, неоконченность и невыдержанность борются въ его поэзіи съ опредѣленностью, рѣшительностью и выдержанностью. Прочтите его превосходную элегію «На развалинахъ Замка въ Швеція»: какъ все въ ней выдержано, полно, окончено! Какой роскошный и вмѣстѣ съ тѣмъ упругій, крѣпкій стихъ!

Тамъ воинъ нѣкогда, Одея храбрый вѣнчекъ,
Въ бояхъ приморскихъ посѣдѣлый,
Готовилъ сына въ брань, и стрѣлъ пернатыхъ
Броню завѣтну, мечъ тяжелый [путь,
Онъ юношѣ вручалъ израненой рукой,
И громко восклицалъ, поднимая дрожащи длани:
«Тебѣ онъ обреченъ, о богъ, властитель брани,
Всегда и всюду твой!

«А ты, мой сынъ, клянись мечомъ твоихъ
И Геллы клятвой кровавой, [отцовъ,
На западныхъ струяхъ быть ужасомъ враговъ,
Иль пасть, какъ предки пали, съ славой!»
И пылкій юноша мечъ пращадовъ лобзалъ
И къ персямъ прижималъ родительскія длани,
И въ радости, какъ конь, при звукѣ новой
Кипѣлъ и трепеталъ! [брани,

Война, война врагамъ отеческой земли!
Суда на утро восшумѣли,
Запѣяли моря, и быстры корабли
На крыльяхъ бури полетѣли!
Въ долинахъ Нейстринъ раздался браней громъ,
Туманный Альбіонъ изъ края въ край пылаетъ,
И Гелла день и ночь въ Ваггалу провожаетъ
Погибшихъ блѣдный сонмъ.

Ахъ, юноша! спѣши къ отеческимъ брегамъ,
Назадъ лети съ добычей бранной;
Ужъ вѣсть кроткій вѣтръ во слѣдъ твоимъ
Герой, побѣдою избранный. [судамъ,
Ужъ скалды пиршества готовятъ на холмахъ,
Ужъ дубы въ пламени, въ сосудахъ медь
сверкаетъ,
И вѣстникъ радости отдамъ провозглашаетъ
Побѣды на моряхъ.

Здѣсь, въ мирной пристани, съ денницей во-
Тебя невѣста ожидаетъ, [лотой
Къ тебѣ, о юноша, слезами и мольбой,
Боговъ на милость преклоняетъ...
Но вотъ, въ туманѣ тамъ, какъ стая лебедей,
Блѣбютъ корабли, несомые волнами;
О вѣй, попутный вѣтръ! вѣй тихими устами
Въ вѣтрила кораблей!

Суда у береговъ, на нихъ уже герой
Съ добычей женъ иноплемennыхъ;
Къ нему спѣшитъ отецъ съ невѣстою молодой *)
И лики скалдовъ вдохновенныхъ.
Красавица стоитъ безмолвствуя въ слезахъ,
Едва на жениха взглянуть укрдкой смѣетъ,
Потупя ясный взоръ, краснѣетъ и блѣднѣетъ,
Какъ мѣсяцъ въ небесахъ.

*) Поэтъ нашего времени вмѣсто «съ невѣстою молодой» сказалъ бы: «съ невѣстою молодой», — и оно, разумеется, было бы лучше; но во время Батюшкова болѣею полагали красоту въ славянскихъ словъ, считая его особенно приличнымъ для такъ называемаго «высокаго слога».

Не такова другая элегія Батюшкова—
«Тѣнь Друга»; начало ея превосходно:

Я берегъ покидалъ туманный Альбіона;
Казалось, онъ въ волнахъ свинцовыхъ утонулъ,
За кораблемъ вылася галліона,
И тихій гласъ ея пловцовъ увеселялъ.
Вечерній вѣтръ, валовъ плесканье,
Однообразный шумъ и трепетъ парусовъ,
И кормчаго на палубѣ зыванье
Во стражѣ, дремлющей подъ говоромъ ва-
ловъ,—

Все сладкую задумчивость питало.
Какъ очарованный, у мачты я стоялъ,
И сквозь туманъ и ночи покрывало
Свѣтила сѣвера любовнаго искалъ.

Повторимъ уже сказанное нами разъ: послѣ такихъ стиховъ нашей поэзіи надобно было или остановиться на одномъ мѣстѣ, или, развиваясь далѣе, выражаться въ Пушкинскихъ стихахъ; такъ естественъ переходъ отъ стиха Батюшкова къ стиху Пушкина. Но окончаніе элегіи «Тѣнь Друга» не соответствуетъ началу: отъ стиха—

И вдругъ... то былъ ли сонъ? предсталъ товарищъ мнѣ,

начинается громкая декламація, гдѣ не замѣтно ни одного истиннаго, свѣжаго чувства и ничто не потрясаетъ сердца внезапно охлажденнаго и постепенно утомляемаго читателя, особенно, если онъ читаетъ эту элегію вслухъ.

Этимъ же недостаткомъ невыдержанности отличается и знаменитая его элегія «Умирающій Тассъ». Начало ея отъ стиха: «Какое торжество готовить древній Римъ?» до стиха: «Тебѣ сей даръ... пѣвецъ Ерусалима!» — превосходно; слѣдующіе затѣмъ двѣнадцать стиховъ тоже прекрасны; но отъ стиха: «Друзья, о! дайте мнѣ взглянуть на пышный Римъ» начинаются риторика и декламація, хотя мѣстами и съ проблесками глубокаго чувства и истинной поэзіи. Чудесны эти стихи:

И ты, о вѣчный Тибръ, поитель всѣхъ племенъ,
Засѣянный *) костями гражданъ вселенной,
Вась, вась привѣтствуетъ изъ сихъ унылыхъ
мѣстъ

Безвременной кончинѣ обреченный!
Свершилось! Я стою надъ бездной роковой
И не вступаю при плескахъ въ Капитолій;
И лавры славные надъ дряхлой головой
Не усадятъ пѣвца свирѣпой доли.

Но что такое, если не пустое разглагольство, не надутая риторика и не трескучая декламація—вотъ эти стихи?

Увы! съ тѣхъ поръ добыча алой судьбины,
Всѣ горести узналъ, всю бѣдность бытія,
Фортуною изрытыя пучины

*) Эпитетъ «засѣянный костями» не точенъ въ отношеніи къ Тибру: это можно было сказать только о холмахъ, на которыхъ построенъ Римъ, или о землѣ Италіи вообще.

Разверзлись подо мной, и громъ не умолкалъ!
Изъ веси въ весъ, изъ странъ (?) въ страну
гонимый,
Я тщетно на землѣ пристанища искалъ:
Повсюду перстъ ея неотразимый!
Повсюду молніи карающихъ (?) пѣвца!

Такая же риторическая шумиха и отъ стиха: «Друзья, но что мою стѣсняетъ страшно грудь?» до стиха: «Рукою музъ и славы соплетенный». Слѣдующіе затѣмъ шестнадцать стиховъ очень не дурны, а отъ стиха: «Смотрите! онъ сказалъ рыдающимъ друзьямъ» до стиха: «Средь ангеловъ Елеонора встрѣтитъ» опять звучная и пустая декламация. Заключение превосходно, подобно началу:

И съ именемъ любви божественной погасъ;
Друзья надъ нимъ въ безмолвіи рыдали,
День тихо догоралъ... и колокола гласъ
Разнесъ кругомъ по стогнамъ вѣсть печали.
«Погибъ Торевато нашъ!» воскликнулъ съ плачемъ Римъ,
«Погибъ пѣвецъ, достойный лучшей доли!»
На утро факеловъ узрѣли мрачный дымъ
И трауромъ покрылся Капитолій.

Въ отношеніи къ выдержанности, какая разница между «Умирающимъ Тассомъ» Батюшкова и «Андреемъ Шенье» Пушкина, хотя обѣ эти элегіи въ одномъ родѣ!

Послѣ Жуковского Батюшковъ первый заговорилъ о разочарованіи, о несбывшихся надеждахъ, о печальномъ опытѣ, о потухающемъ пламеникѣ своего таланта...

Я чувствую,—мой даръ въ поэзіи погасъ,
И муза пламеникъ небесный потухла;
Печальна опытность открыла
Пустыню новую для глазъ;
Туда влечетъ меня оскотѣлый геній,
Въ поля безплодныхъ, въ непроходимыя сѣни.
Гдѣ счастья нѣтъ слѣдовъ,
Ни тайныхъ радостей неясныхъ сновъ,
Любимцамъ фебовымъ отъ юности извѣстныхъ,
Ни дружбы, ни любви, ни пѣсней музъ прелестныхъ,
Которыя всегда душевну скорбь мою,
Какъ лотосъ, силою волшебной врачевали.
Нѣтъ, нѣтъ! себя не узнаю
Подъ новымъ бременемъ печали.

Что Жуковский сдѣлалъ для содержанія русской поэзіи, то Батюшковъ сдѣлалъ для ея формы: первый вдохнулъ въ нее душу живу, второй далъ ей красоту идеальной формы. Жуковский сдѣлалъ несравненно больше для своей сферы, чѣмъ Батюшковъ для своей,—это правда, но не должно забывать, что Жуковский, раньше Батюшкова начавъ дѣйствовать, и теперь еще не сошелъ съ поприща поэтической дѣятельности, а Батюшковъ умолкъ навсегда съ 1819 года, тридцати-двухъ лѣтъ отъ роду... Заслуги Жуковского и теперь передъ глазами всѣхъ и каждого; имя его громко и славно и для новѣйшихъ поколѣній, о Батюшковѣ болѣе инстинктивно знаетъ теперь по слышкѣ и по воспоминанію; но если немногія прекрасныя стихо-

творенія его уже не читаются и не перечитываются теперь, то имени учителя Пушкина въ поэзіи достаточно для его славы; а если въ двухъ томахъ его сочиненій еще нѣтъ его безсмертія,—оно тѣмъ не менѣе сіяетъ въ исторіи русской поэзіи...

Замѣчательнѣйшими стихотвореніями Батюшкова считаемъ мы слѣдующія: «Умирающій Тассъ», «На развалинахъ замка въ Швеціи», три «Элегіи изъ Тибулла», «Воспоминанія» (отрывокъ), «Выздоровленіе», «Мой Геній», «Тѣнь друга», «Веселый Часъ», «Пробужденіе», «Таврида», «Послѣдняя Вена», «Къ Г—чу», «Источникъ», «Есть наслажденіе и въ дикости лѣсовъ», «О, пока безцѣнна младость», «Гезіодъ и Омиръ—соперники», «Къ Другу», «Мечта», «Бесѣда Музъ», «Карамзину», «Мои Пенаты», «Отвѣтъ Г—чу», «Къ П—ну», «Посланіе И. М. М. А.», «Къ Н. Н.», «Пѣснь Гаральда Смѣлаго», «Вакханка», «Ложный страхъ», «Радость» (подражаніе Касті), «Къ Н.», «Подражаніе Аріосту», «Изъ Антологіи» двѣнадцать пьесъ изъ греческой антологіи. Мы означили здѣсь всѣ пьесы, по чему-либо и сколько-нибудь замѣчательныя и характеризующія поэзію Батюшкова, но не упомянули о двухъ, которыя въ свое время произвели, какъ говорится, фуроръ,—это: «Плѣнный» (Въ мѣстахъ, гдѣ Рона протекаетъ) и «Разлука» (Гусаръ, на саблю опираясь). Обѣ онѣ теперь какъ-то странно опошлелись, особенно послѣдняя—безъ улыбки нельзя читать ихъ. И между тѣмъ обѣ онѣ написаны хорошими стихами, какъ бы для того, чтобъ служить доказательствомъ, что не можетъ быть прекрасна форма, которой содержаніе подшло, не могутъ долго нравиться стихи, которыхъ чувства ложны и приторны. Прекрасными стихами также написана моральная пьеса «Счастливецъ» (подражаніе Касті); но мораль сгубила въ ней поэзію. Сверхъ того въ ней есть куплетъ, который разсмѣшилъ даже современниковъ этой пьесы, столь снисходительныхъ въ дѣлѣ поэзіи:

Сердце наше владѣтъ мрачной;
Такъ покоенъ сверху видъ;
Но пустить ко дну... ужасно!
Крокодилъ на немъ лежитъ!

Какъ прозаикъ, Батюшковъ занимаетъ въ русской литературѣ одно мѣсто съ Жуковскимъ. Это превосходнѣйшій стилистъ. Лучшія его прозаическія статьи, по нашему мнѣнію, слѣдующія: «О характерѣ Ломоносова», «Вечеръ у Кантемира», «Нѣчто о Поэтѣ и Поэзіи», «Прогулка въ Академію Художествъ», «Путешествіе въ Замокъ Сирей». Также очень интересны всѣ его статьи, названныя во второмъ изданіи общимъ именемъ «Писемъ» и «Отрывковъ»: онѣ знакомятъ съ личностью Батюшкова, какъ чело-

вѣка. Статья «Двѣ Аллегоріи» характеризуетъ время, въ которое она написана: авторъ начинаетъ ее признаніемъ, что всѣ аллегоріи вообще холодны, но что его аллегоріи говорятъ разсудку, а потому и хороши. Онъ забылъ, что всѣ аллегоріи потому-то и нелѣпы и холодны, что говорятъ одному разсудку, претендуя говорить сердцу и фантазіи... «Отрывокъ изъ писемъ русскаго офицера с Финляндіи» показываетъ, что фантазія Батюшкова была поражена двумя крайностями — югомъ и сѣверомъ, свѣтлой, роскошной Италіей и мрачной, однообразной Скандинавіей. Эта статья написана какъ-будто бы въ соотвѣтствіе съ элегіей «На развалинахъ Замка въ Швеціи». Языкъ и слогъ этой статьи слышны за образцовые, и вообще она считалась лучшимъ произведеніемъ Батюшкова въ прозѣ. А между тѣмъ она есть не что иное, какъ переводъ изъ «*Harmonies de la Nature*» Ласпеда; отрывокъ, переведенный Батюшковымъ, можно найти въ любой французской хрестоматіи, подъ названіемъ: *Les forêts et les habitants des régions glaciales*. Сказанное Ласпедомъ о Сѣверной Америкѣ Батюшковъ храбро приложилъ къ Финляндіи — и дѣло съ концомъ. Удивляться этому нечего: въ тѣ блаженные времена подобныя заимствованія считались завоеваніями; ихъ не стыдились, но ими хвалились... Въ статьяхъ своихъ: «Прогулка въ Академію Художествъ» и «Двѣ Аллегоріи» Батюшковъ является страстнымъ любителемъ искусства, человѣкомъ, одареннымъ истинно артистической душой.

Имя Батюшкова невольно напоминаетъ намъ другое любезное русскимъ музамъ имя, имя друга его — Гнѣдича, талантъ и заслуги котораго столько же важны и знамениты, сколько — увѣ! — и не оцѣнены доселѣ. Не беремся за трудъ, можетъ быть превосходящій наши силы; но посвятимъ нѣсколько словъ памяти человѣка даровитаго и незабвеннаго. Съ именемъ Гнѣдича соединяется мысль объ одномъ изъ тѣхъ великихъ подвиговъ, которые составляютъ вѣчное пріобрѣтеніе и вѣчную славу литературѣ. Переводъ «Иліады» Гомера на русскій языкъ есть заслуга, для которой нѣтъ достойной награды. Знаемъ, что наши похвалы покажутся многимъ преувеличенными; но «многіе» много ли понимаютъ и умѣютъ ли вникать, углубляться и изучать? Невѣжество и легкомысліе поспѣшны на приговоры, и для нихъ все то мало и ничтожно, чего не разумѣютъ они. А чтобы быть въ состояніи оцѣнить подвигъ Гнѣдича, потребно много и много разумѣнія. Чтобы быть въ состояніи оцѣнить переводъ «Иліады», прежде всего надо быть въ состояніи понять «Иліаду», какъ художественное произведеніе, — а это

не такъ-то легко. Теперь уже и Шекспиръ требуетъ комментаріевъ, какъ поэтъ чуждой намъ эпохи и чуждыхъ намъ нравовъ, — тѣмъ болѣе Гомеръ, отдѣленный отъ насъ тремя тысячами лѣтъ. Міръ древности, міръ греческій недоступенъ намъ непосредственно, безъ изученія. «Иліада» есть картина не только греческой, но и религіозной Греціи; а у насъ, на русскомъ языкѣ, нѣтъ не только порядочной, но и сколько-нибудь сносной греческой міеологіи, безъ которой чтеніе «Иліады» непонятно. Сверхъ того нѣкоторые ученые люди, знающіе много фактовъ, но чуждые идеѣ и лишенные эстетическаго чувства, за какое-то удовольствіе считаютъ распространять нелѣпыя понятія о поемахъ божественнаго Омира, переводя ихъ съ подлинника слогомъ русской сказки объ Емелѣ-Дурачкѣ. Съ подлинника — говорятъ они гордо! Дѣйствительно, для разумѣнія «Иліады» знаніе греческаго языка — великое дѣло; но оно не дастъ человѣку ни ума, ни эстетическаго чувства, если въ нихъ откажется ему природа. Тредьяковскій зналъ много языковъ, но отъ того не былъ ни умѣе, ни разборчивѣе въ дѣлѣ изящнаго; а Шекспиръ, не зная по-гречески, написалъ поэмѣ «Венера и Адонисъ». Такого рода ученые, увѣряющіе, что греки раскрашивали статуи боговъ (что дѣйствительно дѣлали древніе — только не греки, а жители Помпеи, не задолго передъ Р. Х., когда вкусъ къ изящному былъ во всеобщемъ упадкѣ), — такого рода ученые, знающіе по-гречески и по-латыни, напоминаютъ собой переведенную съ нѣмецкаго Жуковскимъ сказку: «Кабудъ Путешественникъ» («Переводы въ прозѣ В. Жуковскаго» ч. III, стр. 92). Вотъ эти и подобные имъ господа изволятъ увѣрять, что Гнѣдичъ перевелъ «Иліаду» напыщенно, надутю, изысканно, тяжелымъ языкомъ, смѣсью русскаго съ славянщиною. А другіе и рады такимъ сужденіямъ; не смѣя напасть на тысячелѣтнее имя Гомера, они восторгались «Иліадой» вслухъ, зѣвая отъ нея про себя: и вотъ имъ даютъ возможность свалить свое невѣжество, свою ограниченность и свое безвкусіе на дурной будто-бы переводъ. Нѣтъ, что ни говори эти господа, а русскіе владѣютъ едва ли не лучшимъ въ мірѣ переводомъ «Иліады». Этотъ переводъ, рано или поздно, сдѣлается книгой классической и настольной и станетъ краеугольнымъ камнемъ эстетическаго воспитанія. Не понимая древняго искусства, нельзя глубоко и вполне понимать вообще искусство. Переводъ Гнѣдича имѣетъ свои недостатки: стихъ его не всегда легокъ, не всегда исполненъ гармоніи, выраженіе не всегда кратко и сильно; но всѣ эти недостатки вполне выкупаются вѣяніемъ живого эллинскаго духа,

разлитого въ гекзаметрахъ Гнѣдича. Слѣдующее двустипіе Пушкина на переводъ «Иліады» — не пустой комплиментъ, но глубоко-поэтическая и глубоко-истинная передача производимаго этимъ переводомъ впечатлѣнія:

Слышу умоленувшій звукъ божественной элин-
ской рѣчи,
Старца великаго тѣнь чую смущенной душой.

Глубоко-артистическая натура Пушкина умѣла сочувствовать древнему міру и понимать его: это доказывается многими его произведеніями на древній ладъ; стало-быть, авторитетъ Пушкина, въ дѣлѣ суда надъ переводомъ Гнѣдича, не можетъ не имѣть вѣса и значенія, — и Пушкинъ высоко цѣнилъ переводъ Гнѣдича. Вотъ еще стихотвореніе Пушкина, свидѣтельствующее о его уваженіи къ труду и имени переводчика «Иліады»:

Съ Гомеромъ долго ты бесѣдовалъ одинъ;
Тебя мы долго ожидали;
И свѣтелъ ты сошелъ съ таинственныхъ вер-
шинъ,
И вынесъ намъ свои скрижали.
И что-жь? ты насъ обрѣлъ въ пустынь подъ
шатромъ,

Въ безумствѣ суетнаго пира,
Поющихъ буйну лѣснь и скачущихъ кругомъ
Отъ насъ созданнаго кумира.
Смutilись мы, твоихъ чуждаеся лучей.
Въ порывѣ гнѣва и печали,
Ты проклялъ насъ, бессмысленныхъ дѣтей,
Разбилъ листы своей скрижали.
Нѣтъ! ты не проклялъ насъ. Ты любишь съ
высоты

Скрываться въ тѣнь долины малой;
Ты любишь громъ небесъ, и также внемлешь ты
Журчанью пчелъ надъ розой алой.

Нѣтъ, не настало еще время для славы Гнѣдича; оцѣнка подвига его еще впереди: ее приведетъ распространяющееся просвѣщеніе, плодъ основательнаго ученія...

Гнѣдичъ какъ-бы считалъ себя призваннымъ на переводъ Гомера; мы увѣрены, что только время не позволило ему перевести и «Одиссею». Гомеръ былъ его любимѣйшимъ пѣвцомъ, и Гнѣдичъ силился создать апоэозу своему герою въ поэмѣ «Рожденіе Гомера». Поэма эта написана въ древнемъ духѣ, очень хорошими стихами, но длинна и растянута: совсѣмъ не кстати приплетены къ ней судьбы Гомера въ новомъ мірѣ. — Переводъ идилліи Теоокрита «Сиракузянки, или праздникъ Адониса», съ присовокупленіемъ къ нему въ видѣ предисловія разсужденіемъ объ идилліи, есть двойная заслуга Гнѣдича; переводъ превосходенъ, а разсужденіе глубокомысленно и истинно. Но кто оцѣнитъ этотъ подвигъ, кто пойметъ глубокий смыслъ и художественное достоинство идилліи Теоокрита, не имѣя понятія о значеніи, какое имѣлъ для древнихъ Адонисъ, и Соч. Бѣлинскаго. Т. III.

о праздникахъ въ честь его?... «Рыбаки», оригинальная идиллія Гнѣдича, есть мастерское произведеніе, но оно лишено истины въ основаніи: изъ подъ рубища петербургскихъ рыбаковъ виднѣются складки греческаго хитона, и русскими словами, русской рѣчью прикрыты понятія и созерцанія чисто-древнія... При всемъ этомъ въ «Рыбакахъ» Гнѣдича столько поэзіи, жизни, прелести, такая роскошь красокъ, такая наивность выраженія! Замѣчательно, что эта идиллія написана въ 1821 году, а въ 1820 году были уже изданы идилліи Панаева! Не знаемъ, въ которомъ году переведена Гнѣдичемъ идиллія Теоокрита и написано предисловіе къ ней: если въ одно время съ появленіемъ идиллій Панаева, то поневолѣ подивимся противорѣчіямъ, изъ которыхъ состоитъ русская литература...

Кромѣ «Рыбаковъ», у Гнѣдича мало оригинальныхъ произведеній; нѣкоторыя изъ нихъ не безъ достоинствъ, но нѣтъ превосходныхъ, и всѣ они доказываютъ, что онъ владѣлъ несравненно большими силами быть переводчикомъ, чѣмъ оригинальнымъ поэтомъ. Замѣчательно, что стихъ Гнѣдича часто бывалъ хорошъ не по времени. Слѣдующее стихотвореніе «Къ К. Н. Батюшкову», написанное въ 1807 г., вдвойнѣ интересно: и какъ образецъ стиха Гнѣдича, и какъ фактъ его отношеній къ Батюшкову:

Когда придеши въ мою ты хату,
Гдѣ бѣдность въ простотѣ живетъ?
Когда поклонишься пенатъ,
Который дни мои блюдетъ?
Приди, раздѣлимъ свѣдѣ убогу,
Сердца виномъ воспламенимъ,
И вмѣстѣ—пѣснопѣня богу
Часы досуга посвятимъ,
А вечеръ, скучный долгого,
Въ веселыхъ сократимъ мечтахъ;
Надъ всей подлунной стороною
Мечты промчимся на крылахъ.
Туда, туда, въ тотъ край счастливый,
Въ тѣ земли солнца полетимъ,
Гдѣ Рима прахъ краснорѣчивый
Иль градъ святой Ерусалимъ.
Увримъ среди дикой Палестины
За божій гробъ святую рать,
Гдѣ пѣвѣтъ Европы, паладины;
Летѣли въ битвахъ умирать.
Пѣвецъ ихъ Тассъ, тебѣ любезный,
Съ кѣмъ твой давно сроднился духъ,
Сладкорѣчивый, гордый, нѣжный,
Нашъ очаруетъ взоръ и слухъ.
Иль мой пѣвецъ—паръ пѣснопѣный,
Не умирающій Омръ,
Среди безчисленныхъ видѣній
Откроетъ намъ весь древній міръ.
О, пѣснь волшебная Омра
Насъ въ мигъ перенесетъ, пѣвцовъ,
Въ край героическаго міра
И поэтическихъ боговъ.
Зевеса, мечущаго грома,
И всѣхъ бессмертныхъ вкругъ отца,
Пиръ ихъ свѣтлы, и домы
Увидимъ въ пѣсняхъ мы слѣща.
Иль посѣтимъ Морвенъ Фингаловъ,

Ту Сельму, домъ его отцовъ,
 Гдѣ на пиряхъ сто арфъ звучало,
 И пламенѣло сто дубовъ;
 Но гдѣ давно лишь вѣтеръ ночи
 Съ пустынной шепчется травой,
 И только звѣздъ безсмертныхъ очи
 Тамъ свѣтять съ блѣдною луной.
 Тамъ Оссанъ теперь мечтаетъ
 О битвахъ, о дѣлахъ былыхъ;
 И лирой—тѣни вызываетъ
 Могучихъ праотцовъ своихъ.
 И вотъ Тренморъ, отецъ героевъ,
 Чертогъ воздушный растворивъ,
 Летитъ на тучахъ, съ сонмомъ воевъ,
 Къ пѣвцу и взоръ, и слухъ склонивъ.
 За нимъ тѣнь легкая Мельвины,
 Съ алатою арфой въ рукахъ,
 Обнявшись съ тѣнью Манни,
 Плывутъ на легкихъ облакахъ.
 Но, вдругъ, возможно ли словами
 Пересказать, или описать,
 О чемъ случается съ друзьями
 Подъ часъ веселый помечтать?
 Счастливы, счастливы еще несчастный,
 Съ которыми хоть мечта живетъ;
 Въ дняхъ сумрачныхъ, день сердцу ясный
 Онъ хоть въ мечтаніяхъ найдетъ.
 Жизньъ наша есть мечтанье тѣни;
 Нѣтъ сухихъ благъ въ земныхъ странахъ.
 Приди-жъ, подъ еровомъ дружной сѣни
 Повеселиться хоть въ мечтахъ.

Въ то время такіе стихи были довольно рѣдки, хотя Жуковский и Батюшковъ писали несравненно лучшими. «На Гробѣ Матери» (1805), «Скоротечность Юности» (1806), «Дружба» замѣчательны, какъ и приведенная выше пьеса Гнѣдича. Знаменито въ свое время было стихотвореніе его «Перуанецъ къ Испанцу» (1805); теперь, когда отъ поэзіи требуется прежде всего вѣрность дѣйствительности и естественности, теперь оно отзывается риторикой и декламаціей на манеръ блѣдной Мельпомены XVIII вѣка; но нѣкоторые стихи въ немъ замѣчательны энергіей чувства и выраженія, не смотря на прозаичность.

Гнѣдичъ перевелъ изъ Байрона (1824) еврейскую мелодію, переведенную впослѣдствіи Лермонтовымъ («Душа моя мрачна, какъ мой вѣнецъ»); переводъ Гнѣдича слабъ: видно, что онъ не понималъ подлинника. Гнѣдичъ принадлежитъ по своему образованію къ старому до-Пушкинскому поколѣнію нашихъ писателей. Оттого всѣ оригинальныя пьесы его длинны и растянуты, а многія прозаичны до послѣдней степени, какъ на примѣръ «Къ И. А. Крылову». Оттого же онъ переводъ прозой Дюсисовскаго «Леара» или передѣлалъ Шекспировскаго «Лира» — не помнимъ хорошенько; оттого же онъ перевелъ стихами Вольтерова «Танкреда». Но переводъ его «Простонародныхъ пѣсенъ нынѣшнихъ грековъ», изданный въ 1825 году, есть еще прекрасная заслуга русской литературѣ. Жаль, что нѣтъ полного изданія сочиненій Гнѣдича.

Сдѣланное имъ самимъ въ 1834 году очень не полно: въ немъ нѣтъ «Леара», нѣтъ «Иліады», нѣтъ введенія къ «Простонароднымъ пѣснямъ нынѣшнихъ грековъ» и сравненія ихъ съ русскими пѣснями; нѣтъ статьи его о древнемъ стихосложеніи, напечатанной въ «Вѣстникѣ Европы»; нѣтъ переведенныхъ шестистопнымъ ямбомъ 7, 8, 9, 10 и 11-й пѣсенъ «Иліады»; нѣтъ «Разсужденія о причинахъ, замедляющихъ просвѣщеніе въ Россіи». Такой писатель, какъ Гнѣдичъ, стоялъ бы изданія полного собранія литературныхъ трудовъ его.

Къ знаменитѣйшимъ дѣятелямъ литературы Карамзинскаго періода принадлежитъ Мерзляковъ. Онъ извѣстенъ, какъ поэтъ (оды), какъ переводчикъ (переводы изъ древнихъ стихами), какъ пѣсенникъ (русскія пѣсни) и какъ теоретикъ словесности и критикъ. Оды его—образецъ надутости, прозаичности выраженія, длинноты и скуки. Переводы его изъ древнихъ заслуживаютъ вниманія. Мерзляковъ не перевелъ ничего большого вполне, но изъ большихъ произведеній только отрывки, какъ-то изъ «Иліады», «Одиссеи», изъ трагиковъ—Эсхила, Софокла и Еврипида. Всѣ эти опыты конечно не безполезны; но они не даютъ понятія о своихъ оригиналахъ. Мерзляковъ не владелъ стихомъ: языкъ его жестокъ и прозаиченъ. Сверхъ того на древнихъ онъ смотрѣлъ сквозь очки французскихъ критиковъ и теоретиковъ, отъ Буало до Лагарпа, и потому видѣлъ ихъ не въ настоящемъ ихъ свѣтѣ, хотя и читалъ ихъ въ подлинникѣ. Къ первой части изданныхъ имъ въ 1825 году, въ двухъ частяхъ, «Подражаній и переводовъ изъ греческихъ и латинскихъ стихотворцевъ» приложено разсужденіе «О началѣ и духѣ древней трагедіи и о характерахъ трехъ греческихъ трагиковъ»; изъ этого разсужденія очень ясно видно, какъ мало понимаетъ Мерзляковъ начало и духъ древней трагедіи и характеръ трехъ греческихъ трагиковъ...

О, жертвы общаго отчизны заключенія,
 Въ дни славы вѣрныя и вѣрны въ дни плѣ-
 ненія,

Подруги юныя, не отрекитесь вы!
 Еще подпорой быть сей рабственной главы,
 Которая досель гордилася вѣнцами:
 Царицы болѣе нѣтъ;—невольница предъ вами!
 Но я, какъ прежде, вамъ и нынѣ мать и другъ!...
 И бѣдствія мои, и старости недугъ—
 Единый жребій нашъ: вотъ право для зло-
 счастливыхъ

На помощь и любовь душъ злобѣ непричаст-
 ныхъ!

Прострите руки мнѣ, приподнимите... Ахъ!
 Нѣтъ силъ, болѣзнь и хладъ во всѣхъ моихъ
 востаяхъ!—

Вѣщайте, что совѣтъ вождей опредѣляетъ:
 Куда насъ грозный судъ судьбыны посылаетъ?
 Куда еще влечить срамъ, скорбь свою и гнѣвъ?
 Иль островъ сей для насъ могилой обреченъ?

Кто бы—думали вы—говорить такими дебелыми, жесткими и безтолковыми стихами? — Гекуба, въ трагедіи Эврипида!... Хорошій же былъ поэтъ этотъ Эврипидъ, если онъ по-гречески такъ же выражался, какъ заставляетъ его выражаться по-русски переводчики!... Впрочемъ нѣкоторые переводы изъ древнихъ Мерзлякова не безъ достоинства. Онъ перевелъ вполне «Освобожденный Іерусалимъ» Тасса, и перевелъ его привилегированнымъ встарину размахомъ для эпическихъ поэмъ—шестистопнымъ ямбомъ. Переводъ этотъ тяжелъ и дубоватъ, безъ всякихъ достоинствъ. Причина этому опять двойная: Мерзляковъ не владелъ стихомъ и на эпическія поэмы смотрѣлъ съ Херасковской точки зрѣнія, какъ на что-то натянуто-высокое, надутно-великолѣпное и дубовато-тяжелое. Насмѣшники увѣряютъ, будто въ его переводъ «Освобожденнаго Іерусалима» есть стихи:

Вскипѣлъ Бульонъ, течетъ во храмъ.

Не ручаемся за достовѣрность такого указанія: мы не имѣли силы одолѣть чтеніемъ весь переводъ...

Въ русскихъ пѣсняхъ Мерзлякова больше чувствительности, чѣмъ чувства. Лучшія изъ нихъ написаны имъ уже послѣ двадцатыхъ годовъ текущаго столѣтія. Вообще онъ не безъ достоинствъ и выше пѣсенъ Дельвига, хотя и далеко ниже пѣсенъ Кольцова.

Какъ эстетикъ и критикъ, Мерзляковъ заслуживаетъ особенное вниманіе и уваженіе. Ученикъ Буало, Баттѣ и Лагарпа, онъ слѣдовалъ теоріи, которая теперь уже внѣ спора и даже насмѣшекъ; но онъ слѣдовалъ ей и проповѣдывалъ ее, какъ умный и краснорѣчивый человѣкъ. Ложны были его основанія, но онъ былъ имъ вездѣ вѣренъ и развивалъ ихъ послѣдовательно и живо. Словомъ, въ этомъ отношеніи на Мерзлякова можно смотрѣть, какъ на умнаго представителя литературныхъ понятій цѣлой эпохи. Въ ошибкахъ его виновато его время; достоинства его принадлежатъ ему самому. Вотъ почему его теоретическія и критическія статьи и теперь пріятно читать, хоть и насколько не соглашаешься съ ними. Въ 1812 году Мерзляковъ читалъ публично въ Москвѣ теорію изящнаго, въ домѣ князя Б. В. Голицына. Чтенія эти были напечатаны въ «Вѣстникѣ Европы» 1813 года. Не знаемъ, были ли возобновлены когда эти чтенія, но въ издававшемся имъ въ 1815 году журналѣ «Амфіонъ» напечатано только чтеніе, въ которомъ онъ опредѣляетъ изящное, понимая его такъ: «При надлежащей стройности, правильности и точности подражанія, занимательность предмета, основанная на отношеніи его къ намъ самимъ».

Первыми нашими критиками были Карамзинъ и Макаровъ. Особенно славился въ свое время—разборъ Карамзина «Душеньки» Богдановича, а Макарова—сочиненій Дмитріева. Критика эта состояла въ восхищеніи отдѣльными мѣстами и въ порицаніи отдѣльных же мѣстъ, и то больше въ стилистическомъ отношеніи. Обыкновенно восхищались удачнымъ стихомъ, удачнымъ звукоподражаніемъ и порицали какофонію или грамматическія неправильности. Не такъова уже критика Мерзлякова. Ложная въ основаніяхъ, она уже толкуетъ объ идеѣ, о цѣломъ, о характерахъ; она строга, сколько можетъ быть строгой. Для критики Мерзлякова писатели русскіе уже не всѣ равно велики, но одинъ выше, другой ниже, и всѣ не безъ недостатковъ. Она благоговѣетъ передъ Сумароковымъ и тѣмъ съ меньшей суровостью выставляетъ его недостатки. Она видитъ въ Херасковѣ знаменитаго поэта и отъ нея плохо пришлось его «Россіядѣ». Огромный разборъ «Россіяды», написанный Мерзляковымъ, возбудилъ общій ропотъ, хотя этотъ разборъ написанъ не только съ уваженіемъ, но и съ любовью къ Хераскову. Критика Мерзлякова была смѣла не по времени и притомъ нерѣшительна, а потому однихъ оскорбила, другихъ ужаснула, третьихъ не удовлетворила и немногими поправилась. Во всякомъ случаѣ эта критика принадлежитъ къ любопытнѣйшимъ фактамъ исторіи русской литературы. Она напечатана въ цѣлыхъ семи книжкахъ «Амфіона».

Но еще любопытнѣйшій фактъ исторіи русской литературы представляетъ собой журналъ, издававшійся въ 1815 году молодымъ человѣкомъ, студентомъ Московскаго университета — Павломъ Строевымъ. Журналъ этотъ назывался «Современный Наблюдатель Россійской Словесности» и заключалъ въ себѣ статьи преимущественно критическаго содержанія. Изъ такихъ статей самой умной, живой, юношески смѣлой и благородной, самой интересной была «О «Россіядѣ», поэмѣ Хераскова, (Письмо къ дѣвицѣ Д.). Не можемъ не выписать здѣсь начала перваго письма:

«Что скажете теперь, поборники славы Хераскова,—пишите вы, милостивая государыня,—Мерзляковъ покажетъ истинныя достоинства его поэмы». Эти слова сильны въ устахъ вашихъ. Хотя я не ищу славы быть поборникомъ Хераскова, однако-жъ мнѣніе мое объ его поэмѣ, мнѣ кажется, не совсѣмъ несправедливо. Охотно бы желалъ согласиться съ вами; но нѣкоторыя обстоятельства увѣряютъ меня въ противномъ. Я говорю не съ тѣми изъ вашего пола, кои, выслушавъ лекцію какого-нибудь профессора, все похваляютъ, все превозносятъ. Вы, милостивая государыня, сами занимаетесь словесностью; вы читали древнихъ и новыхъ писателей; имѣете острый вкусъ и рѣдкія познанія. Какія пріятныя воспоминанія производитъ во мнѣ тѣ зиніе

вечера, когда мы предъ пылающимъ каминомъ разсуждали о русскихъ сочиненіяхъ. Споры наши бывали иногда жарки, я съ вами не соглашался, представлялъ доказательства, и вы, съ нѣжной улыбкой, называли меня Катонѣмъ въ словесности. Кто подумаетъ, чтобы дѣвушка въ цвѣтущихъ лѣтахъ своего возраста и въ наше время занималась словесностью; чтобы дѣвушка, говорю я, знала языкъ Гомеровъ и Виргиліевъ. Я вижу румянецъ стыдливости на щекахъ вашихъ, но похвалы мои не лестны; онѣ невольно вырываются изъ устъ моихъ. Въ какой восторгъ приведенъ я былъ вашимъ желаніемъ возобновить наши сужденія, но—увы!—они останутся только на бумагѣ; ничто не можетъ замѣнить вашего присутствія. Разговоры въ письмахъ будутъ сухи: сладостное краснорѣчіе дѣвушки, пріятная улыбка лучше всякихъ логическихъ доказательствъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что Мераляковъ предпринялъ полезный трудъ, разобравъ «Россіаду»; жаль только, что она не можетъ стоять на ряду съ произведеніями, обезсмертившими имена своихъ сочинителей. Я думаю, даже немногіе имѣли терпѣніе прочитать ее. Отчего же ее такъ хвалятъ? Оттого, что вкусъ публики у насъ еще не установился. Демонъ прославляетъ *Новую Отерну*—десять человекъ, не читавшихъ даже сей комедіи, съ нимъ соглашаются; Кляйтъ называетъ его сочиненіемъ глупымъ—и сотни готовы повторить его ругательства. Безспорно Сумароковъ былъ единственнымъ стихотворцемъ своего времени; но кто станетъ нынѣ восхищаться его сочиненіями? Между тѣмъ Сумарокова считаютъ стихотворцемъ образцовымъ, достойнымъ нашего подражанія. Загорѣнныя мнѣнія опровергать трудно; это то же, что силиться вырвать огромный дубъ, въ продолженіи цѣлыхъ вѣковъ пускавшій въ нѣдра земли свои корни. Конечно сіи мнѣнія ослабѣютъ и совершенно лишатся своего достоинства, но это требуетъ времени. Между тѣмъ истинныя дарованія остаются иногда въ неувѣренности. Тысячи рукоплещаютъ при представленіи *Недоросля*; но многіе ли понимаютъ истинныя достоинства сей комедіи? Многіе-ли знаютъ, что она достойна стоять на ряду съ *Мизантропомъ* и *Тартюфомъ*? Не стыдно ли даже намъ, что мы не имѣемъ полнаго собранія сочиненій Фонвизина, сего безсмертнаго писателя, коимъ по всей справедливости мы можемъ гордиться. То, что я сказалъ о Сумароковѣ, можно отнести къ Хераскову и къ нѣкоторымъ другимъ стихотворцамъ. Они приобрѣли похвалы отъ своихъ современниковъ, коимъ вкусъ былъ еще не образованъ. Сіи похвалы безпрестанно повторялись, и стихотворцы приобрѣли великую славу.

Павелъ Строевъ доказалъ ясно и неопровержимо, что «Россіада» и по содержанію, и по формѣ—сущій вздоръ; что историческое событіе въ ней искажено, характеры перевертаны, чудесное нелѣпо, поэтическая краски сухи и холодны, выраженіе дико. Въ заключеніе онъ находитъ во всей «Россіадѣ» только десять сряду хорошихъ стиховъ.

Какимъ превратностямъ подверженъ адъшій свѣтъ!

Въ немъ блага твердаго, въ немъ вѣрной славы нѣтъ:

Великіе моря, лѣса и грады скрылись,
И царства многія въ пустыни претворились;
Гремѣлъ побѣдами, владѣлъ вселенной Римъ.
Но слава римская исчезла яко дымъ,

И небо никому блаженства не вручало,
Котораго-бъ лучей ничто не помрачало.
Не можетъ счастья не меркнуть красота;
И въ солнцѣ, и въ лунѣ есть темныя мѣста.

И это дѣйствительно лучшіе и единственно хорошіе стихи во всей «Россіадѣ». Какой страшный урокъ былъ преподанъ этимъ юношей разнымъ ученымъ колпакамъ!...

При именахъ Жуковского и Батюшкова нельзя не вспомнить имени князя Вяземскаго. Онъ дѣйствовалъ какъ поэтъ и какъ критикъ, и въ обоихъ случаяхъ дѣятельность его всегда вызывалась какимъ-нибудь обстоятельствомъ. Всѣ стихотворенія его—то, что французы называютъ *pièces de circonstance*. Общій характеръ ихъ—свѣтскій, салонный; но между ними нѣкоторые показываютъ въ поэтѣ живого свидѣтеля вечера жизни Державина, воспитанника Карамзина, друга Жуковского и Батюшкова. Какъ авторъ двухъ статей критическаго содержанія—«О характерѣ Державина» и «О жизни и сочиненіяхъ Озерова», князь Вяземскій болѣе замѣчательнѣе, нежели какъ поэтъ. Въ этихъ статьяхъ онъ является критикомъ въ духѣ своего времени, но безъ всякаго педантизма, судить свободно, не какъ ученый, а какъ простой человекъ съ умомъ, вкусомъ и образованіемъ, и излагаетъ свои мысли съ увлекательнымъ жаромъ и краснорѣчіемъ, изысканнымъ языкомъ. Съ появленія Пушкина для князя Вяземскаго настала новая эпоха дѣятельности: стихотворенія его, не измѣнившись въ духѣ, измѣнились къ лучшему въ формѣ; а прозаическія статьи его (какъ на примѣръ, разговоръ классика съ романтикомъ, вмѣсто предисловія къ «Бахчисарайскому Фонтану») много способствовали къ освобожденію русской литературы отъ предразсудковъ французскаго псевдо-классицизма.

Съ 1813 года начали проникать въ русскіе журналы темныя слухи о какомъ-то романтизмѣ. Въ «Духѣ Журналовъ» даже переведена была грозная статья противъ Августа Шлегеля, въ защиту классическаго французскаго театра. Вмѣстѣ съ романтизмомъ, стали вкрадываться въ наши журналы слухи о какомъ-то великомъ англійскомъ поэтѣ Байронѣ, или Байронѣ. Въ «Вѣстникѣ Европы» 1813 года было напечатано маленькое стихотвореніице Пушкина «На смерть Кутузова». Въ «Россійскомъ Музеумѣ, или Журналѣ Европейскихъ Новостей» на 1815 годъ, издававшемся В. Измайловымъ, то и дѣло печатались лицейскія стихотворенія Пушкина. Но въ ученикѣ и подражателѣ Державина, Жуковского и Батюшкова никто еще не предугадывалъ будущаго великаго поэта Россіи... Въ 1820 году появилась въ свѣтъ первая поэма Пуш-

кина «Русланъ и Людмила», а въ журналѣ «Сынъ Отечества» съ этого времени стали появляться мелкія его стихотворенія... Тогда-то возгорѣлась ожесточенная война на перяхъ между классицизмомъ и романтизмомъ и начался крутой переворотъ въ литературныхъ понятіяхъ и воззрѣніяхъ... Карамзинскій періодъ русской литературы кончился...

IV.

Имѣлъ онъ пѣсенъ дивный даръ
И голосъ шуму водъ подобный.

Великія рѣки составляютъ изъ множества другихъ, которыя, какъ обычную дань, несутъ имъ обиліе водъ своихъ. И кто можетъ разложить химически воду напри- мѣръ Волги, чтобъ узнать въ ней воды Оки или Камы? Принявъ въ себя столько рѣкъ, и большихъ, и малыхъ, Волга пышно катитъ свои собственные волны, и всѣ, зная о ея безчисленныхъ похищеніяхъ, не могутъ указать ни на одно изъ нихъ, плывя по ея широкому раздолью. Муза Пушкина была вскормлена и воспитана твореніями предшествовавшихъ поэтовъ. Скажемъ болѣе: она приняла ихъ въ себя, какъ свое законное достояніе, и возвратила ихъ міру въ новомъ, преобразованномъ видѣ. Можно сказать и доказать, что безъ Державина, Жуковского и Батюшкова не было бы и Пушкина, что онъ— ихъ ученикъ; но нельзя сказать, и еще менѣе доказать, чтобъ онъ что-нибудь заимствовалъ отъ своихъ учителей и образцовъ, или чтобъ гдѣ нибудь и въ чемъ-нибудь онъ не былъ неизмѣримо выше ихъ. Поэзія Державина была преждевременной, а потому и неудавшейся попыткой на народную поэзію. Могучій гений Державина явился слишкомъ не во-время и не могъ найти въ народной жизни своего отечества какіе-нибудь элементы, какое-нибудь содержаніе для поэзіи. Общество его времени хорошо понимало поэзію патронажства, лести и угодничества; но о всякой другой поэзіи не имѣло рѣшительно никакого понятія, и слѣдовательно не имѣло въ ней никакой потребности, никакой нужды. Слава Державина была основана не на общественномъ мнѣніи, котораго тогда не было ни признака, ни тѣни, особенно въ дѣлѣ литературы: нѣтъ, слава Державина была основана на просвѣщенномъ вниманіи немногихъ къ его таланту. И если во всей Россіи того времени было человѣкъ десять или двадцать, болѣе или менѣе умѣвшихъ цѣнить этотъ высокій талантъ, то остальные, человѣкъ сто или двѣсти, изъ которыхъ состояла тогдашняя читающая публика, кричали о немъ съ голоса первыхъ, сами хорошенько не понимая

собственного крика. Гдѣ-жъ тутъ было явиться истинной поэзіи и великому поэту? Правда, природа производитъ таланты, не спрашиваясь времени и не справляясь, нужны они или нѣтъ; но вѣдь великіе поэты творятся не одной природой: они творятся и обществомъ, т. е. историческимъ положеніемъ общества. Думать, что поета составляетъ одинъ талантъ—значить грубо ошибаться. Разумѣется, прежде всего поетомъ дѣлаетъ человѣка талантъ; но къ этому также необходимы еще и характеръ, и образованіе, и направленіе, которые зависятъ отъ общества, среди котораго является поэтъ. Чтобъ поэтически воспроизводить дѣйствительность, мало одного природнаго таланта,—нужно еще, чтобъ подъ рукой поэта была поэтическая дѣйствительность. Хорошо было грекамъ творить ихъ изысканія, исполненныя идеальной красоты статуи; когда греческіе художники и на площадяхъ, и на улицахъ, и на рынкахъ безпрестанно встрѣчали то мужчинъ съ головой Зевеса, съ станомъ Аполлона, то женщинъ съ выраженіемъ величаво-строгой красоты Паллады, съ роскошными формами Афродиты или обаятельной прелестью Харитъ. Только итальянскими живописцамъ среднихъ вѣковъ былъ доступенъ идеалъ Мадонны, ибо типъ ея они видѣли безпрестанно въ прекрасныхъ женщинахъ своего богатаго красотой отечества. Странное дѣло! Всѣ понимаютъ, что нельзя сдѣлаться великимъ живописцемъ, имѣя какой бы то ни было великій талантъ, если въ годы изученія искусства нѣтъ хорошихъ натурщиковъ; всѣ понимаютъ, что великій живописецъ, творя идеальную красоту, все-таки нуждается во время своей работы въ образцѣ дѣйствительности; а никто не хочетъ понять, что точно также и для великихъ поэтовъ образомъ ихъ идеальныхъ созданій служить тоже окружающая ихъ дѣйствительность. Природа творитъ великихъ полководцевъ, когда ей угодно, а не только на случай войны; но безъ войны и великій полководецъ проживетъ весь свой вѣкъ, даже и не подозревая, что онъ—великій полководецъ: только во времена сильныхъ движеній общественныхъ люди, одаренные отъ природы большими военными способностями, дѣлаются великими полководцами. Чопорный, натянутый Расинъ въ древней Греціи былъ бы страстнымъ и глубокомысленнымъ Эврипидомъ; а во Франціи въ царствованіе Людовика XIV и самъ страстный, глубокомысленный Эврипидъ былъ бы чопорнымъ и натянутымъ Расиномъ. Таково вліяніе исторіи и общества на талантъ! У насъ этого не хотятъ и знать. Кричатъ о Державинѣ, что онъ—гений; стиховъ его давно уже совсѣмъ не читаютъ, а считаютъ чуть не безбожниками тѣхъ, кто осмѣливается гово-

рить, что теперь поэзія Державина—слишкомъ непитательная и невкусная пища для эстетическаго вкуса. Повторяемъ не разъ уже сказанное и, смѣемъ надѣяться, доказанное нами, что при всей огромности таланта, который мы и не думаемъ стряпать, и предъ которымъ мы умѣемъ благоговѣть больше, нежели всѣ крикуны и лицемѣры, вопіющіе противъ насъ,—Державинъ не принадлежитъ къ тѣмъ вѣчно-юнымъ геніямъ, которыхъ созданія никогда не старѣются, всегда новы и интересны. Поэзія Державина была блестящей и интересной попыткой, для успѣха которой не были готовы ни русское общество, ни русскій языкъ, ни образованіе самого поэта. Это поэзія, носящая на себѣ всѣ родовые признаки своего времени, а потому для насъ, русскихъ, имѣющая свой историческій интересъ; но какъ время этой поэзіи, такъ сама эта поэзія чужды всякаго дѣйствительнаго и опредѣленнаго идеальнаго содержанія, которое дается только сильно развитой народной жизнью. Лучшее, что есть въ поэзіи Державина,—это намеки на поэзію, часто недостигающіе цѣли по ихъ неопредѣленности и темнотѣ; проблески поэзіи, часто погасающіе въ водяной массѣ риторики; словомъ,—это несвязный дѣтскій поэтический лепетъ, но еще не поэзія. Въ поэзіи Державина есть и полѣтистая возвышенность, и могучая крѣпость и яркость великолѣпныхъ картинъ, и несмотря на ея подражательность, есть что-то отзывающееся стихіями сѣверной природы; но все это является въ ней не въ стройныхъ созданіяхъ, вѣрныхъ и выдержанныхъ по концепціи и отличающихся художественной полнотой и оконченностью, но отрывочно, мѣстами, проблесками. Словомъ, это еще не поэзія, а только стремленіе къ поэзіи.

Задумчивая и мечтательная поэзія Жуковскаго совершенно чужда главнаго недостатка поэзіи Державина: она исполнена содержанія, но вытѣсѣнъ съ тѣмъ лишена разнообразія и многосторонности. Ни одному поэту такъ много не обязана русская поэзія въ ея историческомъ развитіи, какъ Жуковскому, и между тѣмъ въ созданіяхъ Жуковскаго поэзія является не столько искусствомъ, сколько служительницей и провозвѣстницей тайнъ внутренней жизни. Жуковский—романтикъ въ духѣ среднихъ вѣковъ, а не художникъ. По своей натурѣ онъ чуждъ этой способности, совершенно поэтической и артистической, свободно переноситься во всѣ сферы жизни и воспроизводить ея явленія въ ихъ разнообразіи и свойственной каждому изъ нихъ особенности. Ему чуждо это свойство Протея принимать всѣ виды и формы и оставаться въ то же время самимъ собою,—это свойство, въ которомъ заключается сущ-

ность поэзіи, какъ искусства. Поэзія Жуковскаго была стоголоскомъ его жизни, вздохомъ по утраченнымъ радостямъ, разрушеннымъ надеждамъ, поэтической тризной надъ умершимъ для очарованія сердцемъ. Поэзія души и сердца, она чужда всѣхъ другихъ интересовъ и рѣдко выходитъ изъ-за магическаго круга неопредѣленныхъ стремленій и туманныхъ мечтаній. Это ея величайшій недостатокъ, но это-же и ея величайшее достоинство. Она была необходима не для самой себя, а какъ средство къ развитію русскіи поэзіи, она явилась не какъ готовая уже поэзія, подобно Палладѣ, родившейся во всеоружіи, а какъ моментъ возникшей русской поэзіи. Она обогатила русскую поэзію содержаніемъ, котораго ей не доставало; указала ей на богатые и неистощимые источники европейской поэзіи, которой явленія умѣла съ непостижимымъ искусствомъ усваивать русскому языку. Сверхъ того Жуковский далеко подвинулъ впередъ и русскій языкъ, придавъ ему много гибкости и поэтическаго выраженія.

Въ поэзіи Батюшкова преобладаетъ элементъ чисто художественный. Это видно и въ фактурѣ его стиха, и вообще въ пластическомъ характерѣ формъ его произведеній; это же видно и въ артистическомъ, полномъ страсти стремленіи его къ наслажденію, къ вѣчному пиру жизни; это же видно и въ разнообразіи предметовъ его поэтическихъ пѣсенъ. Это преимущества поэзіи Батюшкова передъ поэзіей Жуковскаго; но поэзія Жуковскаго несравненно богаче поэзіи Батюшкова содержаніемъ. Поэзія Батюшкова скользитъ по жизни, едва зацѣпляясь за нее; содержаніе ея весьма скудно и бѣдно. Самая художественность стиха его не достигла полнаго своего развитія: Батюшковъ любилъ произвольныя усѣченія прилагательныхъ; между превосходнѣйшими стихами у него встрѣчаются негладкіе и даже непоэтические; сверхъ того, вѣрный преданіямъ русской поэзіи и примѣру отца ея—Ломоносова, Батюшковъ очень и очень не чуждъ риторики.

Вотъ въ короткихъ словахъ все, что было сказано нами въ предшествовавшихъ трехъ статьяхъ. Приступая наконецъ къ критическому обзорѣню поэтической дѣятельности Пушкина, мы почли за нужное повторить сказанное нами въ прежнихъ статьяхъ, чтобы яснѣе показать читателямъ историческую связь Пушкина съ предшествовавшими ему поэтами.

Мы видѣли, что эти поэты, оказавшіе такія великія услуги рождающейся русской поэзіи, только способствовали ея рожденію, но не родили ея, болѣе были предтечами поэта, чѣмъ поэтами. Безъ сравненія съ Пушкинымъ, каждый изъ нихъ—поэтъ; но если

сравнивать ихъ съ нимъ, нельзя не согласиться, что между ними и Пушкиннымъ такое же отношеніе, какъ между большими рѣками и еще несравненно большей, которая составляетъ изъ ихъ соединенныхъ водъ, поглощаемыхъ ею.

Пушкинъ явился именно въ то время, когда только что сдѣлалось возможнымъ явленіе на Руси поэзіи, какъ искусства. Двѣнадцатый годъ былъ великой эпохой въ жизни Россіи. По своимъ слѣдствіямъ, онъ былъ величайшимъ событіемъ въ исторіи Россіи послѣ царствованія Петра Великаго. Напряженная борьба на смерть съ Наполеономъ пробудила дремавшія силы Россіи и заставила ее увидѣть въ себѣ силы и средства, которыхъ она дотолѣ сама въ себѣ не подозрѣвала. Чувство общей опасности сблизило между собой сословія, пробудило духъ общности и положило начало гласности и публичности, столь чуждыхъ прежней патріархальности, впервые столь жестоко поколебленной. Чтобы видѣть, какое огромное вліяніе имѣли на Россію великія событія 1812—1814 годовъ, достаточно прислушаться къ толкамъ старожилонъ, которые съ горестью говорятъ, что съ двѣнадцатаго года и климатъ въ Россіи измѣнился къ худшему, и все стало дороже: обираки не понимаютъ, что дороговизна эта была необходимымъ слѣдствіемъ увеличивавшихся нуждъ образованной жизни, слѣдовательно признакомъ сильно движущейся впередъ цивилизаціи. Въ это время, вслѣдствіе ею же вызванныхъ событий, Франція, столько времени боровшаяся со всей Европой и ознакомившаяся въ этой борьбѣ со своими сосѣдями, уже начала отрезаться отъ своихъ литературныхъ предрассудковъ. Она увидѣла, что у сосѣдей ея есть не только умъ и талантъ, но и богатая литература; она поняла, что Корнель и Расинъ еще не исключительные представители творческаго вѣщества, а Шекспиръ, Гёте и Шиллеръ — совсѣмъ не представители замѣчательныхъ дарованій, искаженныхъ дурнымъ вкусомъ и незнаніемъ истинныхъ правилъ искусства; она догадалась даже, что ни классическая «*Agis Poëtica*» Горация, ни подражательная ей «*L'Art Poétique*» Буало, ни теорія Баттё, ни критика Лагарпа уже не могутъ быть эстетическимъ Кораномъ, и что въ туманныхъ умозрѣніяхъ нѣмцевъ вообще и романтическихъ созерцаніяхъ Шлегелей въ частности есть много истиннаго и вѣрнаго касательно искусства. Словомъ, романтизмъ вторгся и во Францію, тѣсня и изгоняя ея псевдо-классическій китаизмъ, основанный на гордой мысли, что только однимъ французамъ Богъ далъ и умъ, и вкусъ, отказавъ въ этихъ дарахъ всѣмъ другимъ націямъ. Франція жадно прислушивалась къ мрачнымъ и гро-

мовымъ звукамъ лиры Байрона, предчувствуя въ нихъ свое собственное возрожденіе къ новой жизни, и повѣстическіе рассказы Вальтеръ-Скотта о среднихъ вѣкахъ появились уже на французскомъ языкѣ почти въ то же время, какъ появлялись въ Лондонѣ на англійскомъ. Паденіе военнаго терроризма Наполеона развязало Франціи руки не только въ политическомъ отношеніи, но и въ отношеніи къ наукѣ и литературѣ: ненавидимые и гонимые имъ «идеологи» свободно и ревностно принялись за свое дѣло; литература и поэзія ожили. Это имѣло прямое и сильное вліяніе на нашу литературу. Когда увѣнчанная славой Россія начала отдыхать отъ своихъ побѣдъ и торжествъ и процвѣтать миромъ въ «гордомъ и полномъ довѣріи покоѣ», наши обветшалые и заплесневѣлые журналы того времени и патріархъ ихъ, «Вѣстникъ Европы», начали терять свое вліяніе и перестали со своими запаздывающими идеями быть оракулами читающей публики. Явилась новая публика съ новыми потребностями, — публика, которая изъ самыхъ источниковъ иностранныхъ, а не изъ заплесневѣлыхъ русскихъ журналовъ, начала черпать понятія и сужденія о литературѣ и искусствахъ и которая начала слѣдить за успѣхами ума человѣческаго, наблюдая ихъ собственными глазами, а не черезъ тусклые очки устарѣвшихъ педантовъ. Около двадцатыхъ годовъ въ «Сынѣ Отечества» начались споры за романтизмъ; вскорѣ послѣ того появились альманахи, какъ приближище новыхъ литературныхъ потребностей и новаго литературнаго вкуса, которые съ 1825 года нашли своего представителя и выразителя въ «Московскомъ Телеграфѣ». Впрочемъ да не подумаютъ читатели, чтобы въ этомъ поверхностномъ квазі-романтизмѣ мы видѣли какую-то великую истину, дѣйствительность которой и теперь не подвержена сомнѣнію. Нѣтъ, такъ называемый романтизмъ двадцатыхъ годовъ, этотъ недоучившійся юноша съ немного-растрепанными волосами и чувствами, теперь смѣшонъ со своими старыми претензіями; его «вышіе взгляды» теперь сдѣлались косыми, близорукими, а сбивчивыя и неопредѣленные теоріи превратились въ пустыя фразы и обветшалыя слова. Но всякому свое! Справедливость требуетъ согласиться, что въ свое время этотъ псевдоромантизмъ принесъ великую пользу литературѣ, освободивъ ее отъ болотной стоячести и заплесневѣлости и указавъ ей столько широкихъ и свободныхъ путей. Доказательствомъ этого можетъ служить, что лучшіе повѣстические труды Жуковскаго совершены имъ или около, или послѣ двадцатыхъ годовъ, какъ-то: переводъ «Торжества Побѣдителей», «Жалобы Цереры», «Элевзинскаго Празд-

ника», «Орлеанской Дѣвы», «Ундины» и проч. Даже самый стихъ Жуковского сдѣлалъ съ того времени большой шагъ впередъ. Батюшковъ умеръ для русской литературы въ самое время этого періода, и потому новое литературное направленіе не имѣло на него вліянія. Тѣмъ не менѣе можно предполагать съ достовѣрностью, что безъ этого несчастнаго случая въ жизни Батюшкова его ожидала бы эпоха обильнѣйшей и высшей дѣятельности, нежели та, какую онъ успѣлъ обнаружить, и что только тогда узнали бы русскіе, какой великій талантъ имѣли они въ немъ. При всей художественности, при всей пластичности стиха Батюшкова, ему все еще чего-то не достаетъ: видно, что этотъ шагъ суждено было сдѣлать человѣку новому и свѣжему, незатвердѣвшему въ литературныхъ преданіяхъ. Этимъ человѣкомъ былъ Пушкинъ...

Приступая къ критическому обзорѣ твореній Пушкина, мы будемъ строго держаться хронологическаго порядка, въ какомъ являлись они. Пушкинъ отъ всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ отличается именно тѣмъ, что по его произведеніямъ можно слѣдить за постепеннымъ развитіемъ его не только какъ поэта, но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ человѣка и характера. Стихотворенія, написанныя имъ въ одномъ году, уже рѣзко отличаются и по содержанію, и по формѣ отъ стихотвореній, написанныхъ въ слѣдующемъ, и потому его сочиненій никакъ нельзя издавать по родамъ, какъ издаются сочиненія Державина, Жуковского и Батюшкова, особенно перваго и послѣдняго. Это обстоятельство чрезвычайно важно: оно говоритъ сколько о великости творческаго гения Пушкина, столько и объ органической жизненности его поэзіи, — органической жизненности, которой источникъ заключался уже не въ одномъ безотчетномъ стремленіи къ поэзіи, но въ томъ, что почвой поэзіи Пушкина была живая дѣятельность и всегда плодотворная идея. Между тѣмъ въ безобразномъ посмертномъ изданіи сочиненій Пушкина 1838 года (восемь томовъ) стихотворенія расположены по родамъ, раздѣленіе которыхъ основывалось на произволѣ лица, которому была поручена редакция. Вотъ почему въ нашей статьѣ, несмотря на то, что въ заглавіи ея выставлено изданіе 1838 года, мы будемъ руководствоваться изданіями при жизни самого поэта изданіями 1826, 1829, 1832 и 1835 годовъ. Но прежде всего мы остановимся на его «лицейскихъ» стихотвореніяхъ, помѣщенныхъ въ IX-мъ томѣ, 1841 года. Нѣкоторые господа сильно нападали на издателей трехъ послѣднихъ томовъ сочиненій Пушкина за помѣщеніе его «лицейскихъ» стихотвореній, говоря, что это сдѣлано для наполненія кни-

жекъ хоть какимъ-нибудь матеріаломъ за недостаткомъ хорошаго, и что печатать произведенія поэта, которыхъ онъ самъ не считалъ достойными печати, — значитъ оскорблять его память. Ничто не можетъ быть несправедливѣе такой мысли. Мы очень уважаемъ дарованія и таланты такихъ поэтовъ, какъ Веневитиновъ, Полежаевъ, Баратынский, Козловъ, Давыдовъ и другіе, но все-таки думаемъ, что изъ уваженія къ нимъ же не слѣдуетъ печатать ихъ слабыя произведенія, тѣмъ болѣе, что они никому и ни въ какомъ отношеніи не могутъ быть интересны, а между тѣмъ могутъ повредить извѣстности этихъ авторовъ. Но когда дѣло идетъ о такихъ поэтахъ и писателяхъ, какъ Ломоносовъ, Державинъ, Фонвизинъ, Карамзинъ, Крыловъ, Жуковский, Батюшковъ, Грибоѣдовъ и въ особенности Пушкинъ и Лермонтовъ, — то каждая строка, написанная ихъ рукой, принадлежитъ потомству и должна быть сохранена для него, ибо она напоминаетъ собой или черту ихъ времени, или фактъ объ ихъ образѣ мыслей и характерѣ.

«Лицейскія» стихотворенія Пушкина, кромѣ того, что показываютъ, при сравненіи съ послѣдующими его стихотвореніями, какъ скоро выросъ и возмужалъ его поэтический гений, — особенно важны еще и въ томъ отношеніи, что въ нихъ видна историческая связь Пушкина съ предшествовавшими ему поэтами; изъ нихъ видно, что онъ былъ сперва счастливымъ ученикомъ Жуковского и Батюшкова, прежде тѣмъ явился самостоятельнымъ мастеромъ. Впервые, — сколько помнимъ мы, — появилось стихотвореніе Пушкина («Отечество въ слезахъ — познало вѣсть ужасну!») въ «Вѣстникѣ Европы» 1813 г. Онъ написалъ его, когда ему не было и четырнадцати лѣтъ отъ роду, при полученіи извѣстія о смерти Кутузова. Часто стали появляться въ печати стихотворенія Пушкина въ 1815 г. въ «Россійскомъ Музеумѣ», — журналѣ, издававшемся Владиміромъ Измайловымъ. Всѣ они являлись тамъ съ подписью только начальныхъ буквъ имени и фамиліи Пушкина, и всѣ они, по подлиннымъ рукописямъ покойнаго поэта, помѣщены въ IX-мъ томѣ его сочиненій между «лицейскими» стихотвореніями. Потомъ стихотворенія Пушкина стали появляться въ «Сынѣ Отечества», и большая часть ихъ вошла уже въ сдѣланныя имъ самими изданія его сочиненій.

«Лицейскія» стихотворенія не богаты поэзіей, но часто удивляютъ красотой и изяществомъ стиха. Фактура этого стиха совсѣмъ не Пушкинская: она принадлежитъ Жуковскому и Батюшкову. Далеко уступая этимъ поэтамъ въ поэзіи, Пушкинъ, — едва шестнадцатилѣтній юноша, — иногда не только не уступалъ имъ въ стихѣ, но еще едва

ли не смѣлѣ и не бойчѣ владѣть имъ. Изъ нихъ только три пьесы ужь слишкомъ плохи, а именно: «Бова» (отрывокъ изъ поэмы), «Красавицѣ, которая нюхала табакъ» и «Безвѣріе». Первая пьеса написана Пушкинымъ явно въ подражаніе «Ильѣ Муромцу» Карамзина, которому она впрочемъ нисколько не уступаетъ въ достоинствѣ стиха и вымысла. Подобно «Ильѣ Муромцу» Карамзина, «Бова» не конченъ, вѣроятно по одной и той же причинѣ: мысль обѣихъ этихъ пьесъ такъ дѣтски ложна и поддѣльна, что изъ нея ничего не могло выйти цѣлаго, и оба поэта сами соскучились ею, не доведя ея до конца. По самому началу «Бовы» видно, что «Илья Муромецъ» Карамзина, слишкомъ восхищавшій юный вкусъ Пушкина, разманилъ его затѣять эту поэму:

Часто, часто я бесѣдовалъ
Съ болтуномъ страны эллинскія,
И не смѣлъ осиплымъ голосомъ
Съ Шопеномъ и съ Рифматовымъ
Воспѣвать героевъ сѣвера.
Несравненнаго Виргилія
Я читалъ и перечитывалъ,
Не стараясь подражать ему
Въ нѣжныхъ чувствахъ и гармоніи.
Разбиралъ я нѣмца Клопштока
И не могъ понять премудраго;
Не хотѣлъ я воспѣвать, какъ онъ—
Я хочу, чтобъ меня поняли
Всѣ отъ мала до великаго.
За Мильтономъ и Камозаномъ
Опасался я безъ крылъ парить,
Но вчера, въ архивахъ роясь,
Отыскалъ я книжку славную,
Золотую, незабвенную,
Прочиталъ—и въ восхищеніи
Про Бову пою царевича.

Не правда ли, что это очень напоминаетъ знакомое и презнакомое всѣмъ начало «Ильи Муромца»?— Пьеса «Красавицѣ, которая нюхала табакъ» отличается сатирическимъ и сентиментальнымъ характеромъ, столь свойственнымъ нашей старинной поэзіи. Она написана до того плохими стихами, что намъ, привыкшимъ подъ Пушкинскимъ стихомъ разумѣть высшее изящество стиха, странно думать, что эти стихи писаны Пушкинымъ, хотя бы и тринадцатилѣтнимъ. «Безвѣріе»—дидактическая пьеса, которая сотнями писали въ блаженное старое время,—риторическое распространеніе какой-нибудь темы плохими стихами.

Въ дѣтскихъ и юношескихъ опытахъ Пушкина замѣтно вліяніе даже Капниста и Василія Пушкина. Больше всего видно на нихъ вліяніе Жуковского и особенно Батюшкова; но вліяніе Державина почти совсѣмъ незамѣтно. Это не значитъ, чтобъ въ натурѣ Пушкина, какъ художника, не было ничего родственнаго съ поэтической натурой Державина, или чтобъ Пушкинъ не любилъ Державина и не восхищался его произведеніями.

Напротивъ, Пушкинъ благоговѣлъ передъ Державинымъ. Въ запискахъ своихъ онъ съ такой любовью рассказываетъ, какъ на лицейскомъ публичномъ экзаменѣ читалъ онъ, въ двухъ шагахъ отъ Державина, свои «Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ» и восхищалъ ими маститаго поэта. Это было въ 1815 году; Пушкину было тогда шестнадцать лѣтъ. Этотъ случай Пушкинъ всегда считалъ великимъ событіемъ въ своей жизни. Онъ упоминаетъ о немъ въ одномъ изъ своихъ «лицейскихъ» стихотвореній—«Къ Жуковскому»; тутъ же съ юношескимъ восторгомъ упоминаетъ и объ одобреніи Карамзина, Дмитріева и того поэта, къ которому обращено было это посланіе,—одобреніе, которымъ они привѣтствовали его дѣтскіе опыты. Въ другое, позднѣйшее время, въ эпоху мужественной зрѣлости своего гевія, Пушкинъ, говоря о своей музѣ, сдѣлалъ поэтический намекъ на лучшее воспоминаніе своей юности:

И свѣтъ ее съ улыбкой встрѣтилъ;
Уснѣхъ насъ первый окрылилъ;
Старикъ Державинъ насъ замѣтилъ
И, въ гробъ сходя, благословилъ.

Но при всемъ этомъ громогласный одовоспѣвательный характеръ Державинской поэзіи былъ столько не въ натурѣ и не въ духѣ Пушкина, что на его «лицейскихъ» стихотвореніяхъ нѣтъ почти никакихъ слѣдовъ ея вліянія. Только одна кантата «Леда», изъ всѣхъ «лицейскихъ» стихотвореній, отзывается языкомъ Державина, но вмѣстѣ и Батюшкова; а самый родъ пьесы (кантата) напоминаетъ одного Державина. Этимъ почти и оканчивается все сближеніе. Но если сравнить въ «Онѣгинѣ» и другихъ позднѣйшихъ произведеніяхъ Пушкина картины русской природы—именно осени и зимы, то нельзя не увидѣть, что онѣ носятъ на себѣ отпечатокъ какой-то родственности съ Державинскими картинами въ томъ же родѣ. Этого нельзя доказать сравнительными выписками изъ того и другого поэта; но это очевидно для людей, которые способны проникать далѣе буквы и отыскивать аналогію въ духѣ поэтическихъ произведеній. Проблескивающее по временамъ и мѣстами элементы Державинской поэзіи суть живопись сѣвернорусской природы; народность, сатира и художественность,—все это составляетъ полноту и богатство поэзіи Пушкина, и все это достигло въ ней своего совершеннаго развитія и опредѣленія. Державинская поэзія въ сравненіи съ Пушкинскою—это заря предразсвѣтная, когда бываетъ ни ночь, ни день, ни полночь, ни утро, но едва начинается борьба тьмы съ свѣтомъ: брежжеть невѣрный полумракъ, обманчивый полусвѣтъ, вдали на небѣ какъ-будто блѣдетъ полоса свѣта и въ то же время догораютъ готовые погаснуть ноч-

ныя звѣзды, а всѣ предметы являются въ неестественной величинѣ и ложномъ видѣ. Пушкинская поэзія въ сравненіи съ Державинской—это роскошный, полный сіянія и блеска полдень лѣтняго дня: всѣ предметы земли озарены свѣтомъ неба и являются въ своемъ собственномъ, опредѣленномъ, ясномъ видѣ, и самая даль только дѣлаетъ ихъ болѣе поэтическими и прекрасными, а не ложными и безобразными... Словомъ, поэзія Державина есть безвременно явившаяся, а потому и неудачная поэзія Пушкинская, а поэзія Пушкинская есть во-время явившаяся и вполне достигшая своей опредѣленности, роскошно и благоуханно развившаяся поэзія Державинская...

Пьесы «Къ Наташѣ», «Разсудокъ и Любовь», «Къ Машѣ», «Слеза», «Погребъ», «Истина», «Застольная Пѣсня», «Делія», «Стансы» (изъ Волтера), «Къ Деліи», «Къ ней», «Мѣсяцъ», «Я Лилу слушалъ у клавира», «Къ Жуковскому», «Пирующіе Друзья», «Къ Дельвигу», «Фіаль Анакреона», «Къ Дельвигу», «Фавнъ и Пастушка», «Къ Живописцу», «Сновидѣніе», «Романсъ»,— всѣ эти пьесы по изобрѣтенію, по формѣ и по именамъ Лилы, Нины, Маши, Наташи и т. п., напоминаютъ собой предшествовавшую Жуковскому и Батюшкову эпоху русской литературы, или по крайней мѣрѣ ту школу поэзіи русской, которая не испытывала на себѣ влияния этихъ двухъ поэтовъ. Такъ, напримѣръ, пьеса «Къ Живописцу» написана какъ-будто Державинымъ, предлагающимъ живописцу написать портретъ его Милены или Пльиры; а пьесы: «Слеза», «Погребъ», «Истина» написаны какъ-будто на мотивъ извѣстной прелестной пѣсенки Дениса Давыдова «Мудрость», которая начинается куплетомъ:

Мы недавно отъ печали,
Лиза, я да Купидонъ,
По бокалу осушали,
Да просили мудрость вонъ.

Чтобъ дать понятіе о духѣ этой школы, представителями которой были Капнистъ, Нелединскій-Мелепкій, В. Пушкинъ, Давыдовъ, мы выпишемъ коротенькое стихотвореніе Пушкина «Сновидѣніе»:

Недавно обольщенъ прелестнымъ сновидѣніемъ,
Въ вѣнцѣ сіяющемъ парамъ я вѣлъ себя;
Мечталось, я любилъ тебя—
И сердце билось наслажденьемъ.
Я страсть свою у ногъ въ восторгахъ изъяснялъ.
Мечты! ахъ! отчего вы счастья не продлили?
Но боги не всего теперь меня лишили:
И только царство потерялъ.

Въ посланіи «Къ Жуковскому» Пушкинъ разсуждаетъ въ довольно прозаическихъ стихахъ о литературныхъ вопросахъ, особенно занимавшихъ дядю его, Василія Пушкина,

и ту эпоху, которой В. Пушкинъ былъ однимъ изъ представителей. В. Пушкинъ въ прозаическихъ, но иногда очень острыхъ сатирахъ нападалъ на плохихъ стихотворцевъ и славянофиловъ—враговъ Карамзина—того времени. Въ посланіи своемъ «Къ Жуковскому» молодой Пушкинъ, подъ влияніемъ дяди своего, также нападаетъ на риемачей и славянофиловъ и судить о русской литературѣ.

Риемачей называетъ онъ «варягами»:

Далеко дикихъ лѣсъ несетъ рѣвкій вой;
Варяжскіе стихи визжитъ варяговъ строй.

Тѣ слогомъ Никона печатаютъ поэмы,
Одни славянскихъ одъ громады громадять,
Другіе въ бѣшеныхъ трагедіяхъ хрипять;
Тотъ, вѣрный своему мятежному союзу,
На сцену возведъ звѣвавшую музу,
Бессмертныхъ геніевъ сорвать съ Парнаса

мнитъ:

Рука содрогнулась, ударъ его скользнулъ.
Вотще бросается съ завистливымъ кинжаломъ:
Куплетомъ раненъ онъ, низверженъ въ прахъ

журналомъ.

При свистахъ критики къ собратьямъ онъ бѣжитъ,

И маковый вѣнецъ Оеспису ими свить.
Всѣ, руку наложивъ на томъ Телемахиды,
Клянутся отомстить сотрудишковъ обиды,
Волнуясь, встаютъ неистовой толпой.
Вѣда, кто въ свѣтъ рожденъ съ чувствительной

душой.

Кто тайно могъ плѣнить красавицъ нѣжной лирой,
Кто смѣло просвисталъ шутивою сатирой,
Кто выражается правдивымъ языкомъ,
И русской глупости не хочетъ быть челомъ:
Онъ врагъ отечества, онъ сѣтель разврата,
И рѣчи сыплются дождемъ на супостата.

Читая эти стихи, невольно переносясь въ то блаженное время нашей литературы, о которомъ теперь, за исключеніемъ пожилыхъ и записныхъ литераторовъ, немногіе имѣютъ понятіе. Въ этомъ посланіи слогъ, фактура стиха, понятія, взглядъ на вещи— все принадлежитъ времени, которое предшествовало Жуковскому и Батюшкову и проглядѣло ихъ явленіе. Но тутъ есть нѣчто и самостоятельное, принадлежащее Пушкину, какъ представителю уже новаго поколѣнія: это жестокая нападка на Тредьяковскаго и въ особенности на Сумарокова:

Ты-ль это, слабое дитя чужихъ уроковъ,
Завистливый гордецъ, холодный Сумароковъ,
Безъ силъ, безъ огня, съ посредственнымъ умомъ,
Предразсужденіямъ обаянный вѣнцомъ
И съ Пинда сброшенный и проклятый Распномъ?
Ему-ли, варлику, тягаться съ исполиномъ?
Ему-ль оспаривать тотъ лавровый вѣнецъ,
Въ которомъ возблисталъ бессмертный нашъ пѣвецъ,

Веселье россиянъ, полуночное диво?
Нѣтъ! въ тихой Летѣ онъ потонетъ молчаливо!
Ужъ на челѣ его забвенія печать.
Предбудущимъ вѣкамъ что могъ онъ передать?

Страшилась грація цинической свирѣли,
И персты грубыя на лирѣ костевѣли.

Замѣчательнѣе еще въ этомъ посланіи юношескій жаръ и рьяность, съ какими Пушкинъ призываетъ талантливыхъ пѣвцовъ на брань съ писаками. Онъ указываетъ имъ на Феба, сражающаго Пиеона, и требуетъ мщенія за погибшаго жертвой зависти Озерова:

Людская съ небесъ и жизнь, и вѣчный свѣтъ,
Стрѣлою гибели десница Аполлона
Сражаетъ наконецъ ужаснаго Пиеона;
Смотрите! пораженъ враждебными стрѣлами,
Съ потухшимъ факеломъ, съ недвижными

крылами,
Къ вамъ Озерова духъ взываетъ, други, мести!
Вамъ оскорбленный вкусъ, вамъ знанья дали вѣсть.

Летите на враговъ—и Фебъ, и музы съ вами!
Развите варваровъ кровавыми стілами,
Невѣжество, смирясь, потупитъ хладный взоръ;
Слѣпный риторъ безграмотный соборъ...

Въ заключеніи молодой поэтъ рѣшается, не боясь гоненій и зависти невѣждъ и приемачей, «ученую руку давъ», смѣло идти прямой дорогой... Это значило возвѣстить о себѣ довольно громко: послѣдствія показали, что этотъ юноша имѣлъ полное на то право...

Въ пьесахъ: «Наслажденіе», «Къ принцу Оранскому», «Сраженный рыцарь», «Воспоминаніе въ Царскомъ Селѣ» и «Наполеонъ на Эльбѣ» замѣтно вліяніе Жуковскаго; въ нихъ преобладаетъ элегическій тонъ въ духѣ музы Жуковскаго: стихъ очень близокъ къ стиху Жуковскаго, въ самомъ взглядѣ на предметъ видна зависимость ученика отъ учителя.

«Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ» написаны звучными и сильными стихами, хотя вся пьеса эта не болѣе, какъ декламация и риторика. Такими же стихами написана и пьеса «Наполеонъ на Эльбѣ», содержаніе которой теперь кажется забавно дѣтскимъ. Пушкинъ заставляетъ Наполеона «свирѣпо прошептать» разныя ругательства на самого себя, превозносить своихъ враговъ, а о себѣ самомъ отзываться какъ объ ужасномъ *mauvais sujet*. Между прочимъ Наполеонъ у него «свирѣпо прошептываетъ:

«Полночи царь молодой! ты двинулъ ополченія,
И гибель вслѣдъ пошла кровавымъ знаменамъ,
Отозвалось могучаго паденье—
И миръ землѣ, и радость небесамъ,
А мнѣ—позоръ и поношеніе!»

Чему удивляться, что шестнадцатилѣтній мальчикъ такъ смотрѣлъ на Наполеона въ то время, какъ на него такъ же точно смотрѣли и престарѣлые и возмужавшіе поэты! Гораздо удивительнѣе, что этотъ мальчикъ черезъ пять лѣтъ послѣ того сказалъ о Наполеонѣ:

Надъ урной, гдѣ твой прахъ лежитъ,
Народовъ ненависть почла

И лучъ безсмертія горитъ!

Да будетъ омраченъ поворотъ
Тотъ малодушный, кто въ сей день
Безумнымъ возмутитъ укоромъ
Его развѣчанную тѣнь!
Хвала! онъ русскому народу
Высокій жребій указалъ,
И міру вѣчную свободу
Изъ мрака смысла завѣщалъ!

Эти стихи и особенно этотъ взглядъ на Наполеона, какъ освѣжительная гроза, раздался въ 1821 году надъ полемъ русской литературы, заросшимъ сорными травами общихъ мѣстъ, и многіе поэты, престарѣлые и возмужалые, прислушивались къ нему съ удивленіемъ, поднимая встревоженные головы вверхъ, словно гуси на громъ...

Но между «лицейскими» стихотвореніями гораздо болѣе ознаменованныхъ сильнымъ вліяніемъ Батюшкова. Таковы пьесы: «Къ Натальѣ», «Къ Молодой Актрисѣ», «Князю А. М. Горчакову», «Осгаръ», «Эвлега», «Воспоминаніе» (Пушину), «Сонъ» (отрывокъ), «Къ Молодой Вдовѣ», «Мое Завѣщанье Друзьямъ», «Наѣздникъ», «Къ Г...у», «Мечтатель», «Къ П...у», «Къ В...ву», «Городокъ». Даже въ пьесахъ, написанныхъ подъ вліяніемъ другихъ поэтовъ, замѣтно въ то же время и вліяніе Батюшкова: такъ гармонировала артистическая натура молодого Пушкина съ артистической натурой Батюшкова! Художникъ инстинктивно узналъ художника и избралъ его преимущественнымъ образцомъ своимъ. Это показываетъ, до какой степени силенъ былъ въ Пушкинѣ художническій инстинктъ. Какъ ни много любилъ онъ поэзію Жуковскаго, какъ ни сильно увлекался обаятельностью ея романтическаго содержанія, столь могущественной надъ юной душой, но онъ нисколько не колебался въ выборѣ образца между Жуковскимъ и Батюшковымъ, и тотчасъ же безсознательно подчинился исключительно вліянію послѣдняго. Вліяніе Батюшкова обнаруживается въ «лицейскихъ» стихотвореніяхъ Пушкина не только въ фактурѣ стиха, но и въ складѣ выраженія, и особенно во взглядѣ на жизнь и ея наслажденія. Во всѣхъ ихъ видна нѣга и упоеніе чувствъ, столь свойственные музѣ Батюшкова; и въ нихъ проглядываетъ мѣстами унылость и веселая шутиливость Батюшкова. Пушкинъ занялъ у него даже любимыя имена, и въ особенности Хлою и Делію, и манеру пересыпать свои стихотворенія миеологическими именами Купидона, Амура, Марса, Аполлона и проч., и любимыя его выраженія «цитерская сторона, дѣвственная лилея» и тому подобныя. Вспомните стихотворенія Батюшкова, заимствованныя имъ изъ Парни, и потомъ посланіе «Къ П—ну», и сравните съ нимъ пьесы Пушкина «Къ Натальѣ» и

«Къ Молодой Вдовѣ», вы увидите въ нихъ Пушкина ученикомъ Батюшкова. По отдѣлкѣ и стиху первое стихотвореніе слишкомъ отзывается дѣтской незрѣлостью; но слѣдующее и по стихамъ напоминаетъ Батюшкова. Пьесы: «Осгаръ» и «Эвлега» навѣяны скандинавскими стихотвореніями Батюшкова. Въ то время пользовалось большой извѣстностью дѣйствительно прекрасное посланіе Батюшкова къ Жуковскому—«Мои Пенаты». Оно родило множество подражаній. Пушкинъ написалъ въ родѣ и духѣ этого стихотворенія довольно большую пьесу «Городокъ». Подобно Батюшкову, Пушкинъ въ этомъ стихотвореніи говоритъ о своихъ любимыхъ писателяхъ, которые заняли мѣсто на полкахъ его избранной библіотеки. Только онъ говоритъ не объ однихъ русскихъ писателяхъ, но и объ иностранныхъ. Несмотря на явную подражательность Батюшкову, которой запечатлѣна эта пьеса, въ ней есть нѣчто и свое, Пушкинское: это не стихъ, который довольно плохъ, но шаловливая вольность, чуждая того, что французы называютъ *pruderie*, и столь свойственная Пушкину. Онъ нисколько не думаетъ скрывать отъ свѣта того, что всѣ дѣлаютъ съ наслажденіемъ на единѣ, но о чемъ всѣ при другихъ говорятъ тономъ строгой морали; онъ называетъ всѣхъ своихъ любимыхъ писателей.. Юношеская заносчивость, безпрестанно придирающаяся сатирой къ бездарнымъ писакамъ и особенно главѣ ихъ, извѣстному Свистову, также характеризуютъ Пушкина.

Въ нѣкоторыхъ изъ «лицейскихъ» стихотвореній сквозитъ подражательность проглядываетъ уже чисто Пушкинскій элементъ поэзіи. Такими пьесами считаемъ мы слѣдующія: «Окно», «Элегія» (числомъ восемь), «Горацій», «Усы», «Желаніе», «Заздравный Кубокъ», «Къ товарищамъ передъ выпускомъ». Онѣ не всѣ равнаго достоинства, но нѣкоторыя по тогдашнему времени просто прекрасны. А тогдашнее время было очень невзыскательно и неразборчиво. Оно издало (1815—1817) двѣнадцать томовъ «Образцовыхъ русскихъ сочиненій и переводовъ въ стихахъ и прозѣ» и потомъ (1822—1824) ихъ же переиздало съ исправленіями, дополненіями и умноженіемъ и наконецъ, не удовольствуясь этимъ, напечатало (1821—1822) «Собраніе новыхъ русскихъ сочиненій и переводовъ въ стихахъ и прозѣ, вышедшихъ въ свѣтъ отъ 1816 по 1821 годъ», и «Собраніе новыхъ русскихъ сочиненій и переводовъ въ стихахъ и прозѣ, вышедшихъ въ свѣтъ съ 1822 по 1825 годъ». Большая часть этихъ «образцовыхъ» сочиненій весьма легко могли бы почтестъ образчиками бездарности и безвкусіи. «Вос-

помянанія въ Царскомъ Селѣ» Пушкина были дѣйствительно одной изъ лучшихъ пьесъ этого сборника, а Пушкинъ никогда не помѣщалъ этой пьесы въ собраніи своихъ сочиненій, какъ-будто не признавая ее своей, хотя она и напоминала ему одну изъ лучшихъ минутъ его юности! И потому стихотворенія Пушкина, о которыхъ мы начали говорить, имѣли бы полное право, особенно тогда, смѣло идти за образцовыя и не въ такомъ сборникѣ; — только черезъ мѣру строгій художническій вкусъ Пушкина могъ исключить изъ собранія его сочиненій такую пьесу, какъ напримѣръ «Горацій». Переводъ изъ Горація или оригинальное произведение Пушкина въ гораціанскомъ духѣ, — что бы ни была она, только никто изъ старыхъ, ни изъ новыхъ русскихъ переводчиковъ и подражателей Горація не говорилъ такимъ гораціанскимъ языкомъ и складомъ и такъ вѣрно не передавалъ индивидуальнаго характера гораціанской поэзіи, какъ Пушкинъ въ этой пьесѣ, къ тому же и написанной прекрасными стихами. Можно ли не слышать въ нихъ живого Горація?—

Кто изъ боговъ мнѣ возвратилъ
Того, съ кѣмъ первые походы
И браней ужасъ я дѣлилъ,
Когда за признакомъ свободы
Насъ Брутъ отчаянный водилъ;
Съ кѣмъ я тревоги боевыя
Въ шатрѣ за чашей забывалъ,
И кудри плющемъ увитыя
Сирійскимъ мирромъ умащаль?
Ты помнишь часъ ужасный битвы,
Когда я, трепетный кивритъ,
Вѣжалъ, нечестно брося щитъ,
Творя обѣты и молитвы?
Какъ я боялся, какъ бѣжалъ!
Но Эрмія самъ пезавной тучей
Меня покрылъ и въ даль умчалъ
И спасъ отъ смерти неминуей.
А ты, любимецъ первый мой,
Ты снова въ битвахъ очутился...
И нынѣ въ Римъ ты возвратился,
Въ мой домикъ темный и простой.
Садись подъ тѣнь моихъ пенатовъ!
Давайте чаши! не жалѣй
Ни винъ моихъ, ни ароматовъ!
Готовы чаши; мальчижскі! лей;
Теперь нестати воздержанье:
Какъ дикій скизъ, хочу я пить
И, съ другомъ празднуга свиданье,
Въ винѣ разсудокъ утопить.

Въ этомъ стихотвореніи видна художническая способность Пушкина свободно переноситься во всѣ сферы жизни, во всѣ вѣка и страны, — виденъ тотъ Пушкинъ, который при концѣ своего поприща нѣсколькими терцинами въ духѣ Дантовой «Божественной комедіи» познакомилъ русскихъ съ Дантомъ больше, чѣмъ могли бы это сдѣлать всевозможные переводчики, — какъ можно познакомиться съ Дантомъ, только читая его въ подлинникѣ... Въ слѣдующей маленькой элегіи уже виденъ

будущій Пушкинъ—не ученикъ, не подражатель, а самостоятельный поэтъ:

Медлительно влекутся дни мои,
И каждый мигъ въ увядшемъ сердцѣ множить
Всѣ горести несчастливой любви
И тяжкое безуміе тревожить.
Но я молчу; не слышенъ ропотъ мой.
Я слезы лью... мнѣ слезы утѣшенье.
Моя душа, облитая тоской,
Въ нихъ горькое находить наслажденье.
О, жизни сонъ! лети, не жаль тебя!
Исчезни въ тьмѣ, пустое привидѣнье!
Мнѣ дорого любви моей мученье,
Пускай умру, но пусть люблю!

Въ пьесѣ «Къ товарищамъ передъ выпускомъ» вѣетъ духъ, уже совершенно чуждый прежней поэзіи. И стихъ, и понятіе, и способъ выраженія—все ново въ ней, все имѣетъ корнемъ своимъ простой и вѣрный взглядъ на дѣйствительность, а не мечты и фантазіи, облеченныя въ прекрасныя фразы. Поэтъ, готовый съ товарищами своими выйти на большую дорогу жизни, мечтаетъ не о томъ, что всѣ они достигнуть и богатства, и славы, и почестей, и счастья, а предвидитъ то, что всего чаще и всего естественнѣе бываетъ съ людьми:

Разлука ждетъ насъ у порогу;
Зоветъ насъ свѣта дальній шумъ,
И каждый смотритъ на дорогу
Въ волненьи юныхъ пылкихъ думъ.
Иной подъ киверъ спрятать умъ,
Уже въ воинственномъ нарядѣ.
Гусарской саблею махнутъ:
Въ крещенской утренней прохладѣ
Красиво мерцаютъ на парадѣ,
А грѣсья влетѣ въ караулъ.
Другой, рожденный бытъ вельможей,
Не честь, а почести любя,
У плута знатнаго въ прихожей
Покорнымъ плутомъ зрѣть себя.

Несмотря на всю незрѣлость и дѣтскій характеръ первыхъ опытовъ Пушкина, изъ нихъ видно, что онъ глубоко и сильно сознавалъ свое призваніе, какъ поэта, и смотрѣлъ на него, какъ на жречество. Его восхищала мысль объ этомъ призваніи, и онъ говорить въ посланіи къ Дельвигу:

Мой другъ! и я пѣвецъ! и мой смиренный путь
Въ цвѣтахъ украсила богиня пѣснопѣнья,
И мнѣ въ младую боги грудь
Вліяли пламень вдохновенья!

Жажда славы сильно волновала эту молодую и пылкую душу, и заря поэтической безсмертія казалась ей лучшей цѣлью бытія:

Ахъ, вѣдаетъ мой добрый геній,
Что предпочелъ бы я скорѣй
Бессмертію души моей
Бессмертіе своихъ твореній.

Такихъ и подобныхъ этимъ стиховъ, доказывающихъ, сколь много занимало Пушкина его поэтическое призваніе, очень много въ его «лицейскихъ» стихотвореніяхъ. Между ними замѣчательно стихотвореніе «Къ моей Чернильницѣ»:

Подруга думы праздной,
Чернильница моя!
Мой вѣкъ однообразный
Тобой украсилъ я.
Какъ часто, другъ, веселя
Съ тобою забывалъ,
Условный часъ пожимая
И праздничный бокалъ!
Подъ сѣнью хаты скромной,
Въ часы печали томной,
Была ты предо мной
Съ лампадой и мечтой.
Въ минуты вдохновенья
Къ тебѣ я прибѣгалъ
И музу призывалъ
На перъ воображенья.
Сокровища мои
На днѣ твоемъ таятся...
Тебя я посвятилъ
Занятіямъ досуга
И съ лѣтныя примирилъ:
Она твоя подруга!
Съ тобой успѣхъ узналъ
Отшельникъ неизвѣстный...
Завѣтный твой кристаллъ
Хранить огонь небесный;
И подъ-вечеръ, когда
Перо по книжкѣ бродитъ,
Безъ всякаго труда
Оно въ тебѣ находитъ
Концы моихъ стиховъ
И строгость выраженья,
То звуковъ или словъ
Нежданное стеченье,
То подкѣйки шутокъ соль,
То странность рими новой,
Неслышанной дотолъ.

Вотъ уже какъ рано проснулся въ Пушкинѣ артистическій элементъ: еще отрокомъ, безъ всякаго труда находя въ чернильницѣ концы своихъ стиховъ, думалъ онъ о вѣрности выраженія и задумывался надъ неожиданнымъ стеченіемъ звуковъ или словъ и странною дотолъ неслышанной новой римы! Къ какимъ же чертамъ принадлежать вольность и смѣлость въ понятіяхъ и словахъ. Въ одномъ посланіи онъ говоритъ:

Устрой гостямъ пирושку;
На столѣикъ воцаной
Поставь пивную кружку
И кубокъ пуншевой.

За исключеніемъ Державина, поэтической натурѣ котораго никакой предметъ не казался низкимъ, изъ поэтовъ прежняго времени никто не рѣшился бы говорить въ стихахъ о пивной кружкѣ, и самый пуншевый кубокъ каждому изъ нихъ показался бы прозаическимъ: въ стихахъ тогда говорилось не о кружкахъ, а о фіалахъ, не о пивѣ, а объ амброзій и другихъ благородныхъ, но не существующихъ на бѣломъ свѣтѣ напиткахъ. Затѣмъ писать какую-то новгородскую повѣсть «Вадимъ», Пушкинъ, въ отрывкѣ изъ нея, употребилъ стихъ: «Но тынъ обросъ крапивою дикой». Слово тынъ, взятое прямо изъ міра славянской и новгородской жизни, поражаетъ сколько своей смѣлостью, столько и поэтическимъ инстинктомъ поэта. Изъ преж-

нихъ поѣтовъ, едва ли бы кто не испугался пошлости и прозаичности этого слова. Мы нарочно приводимъ эти повидимому мелкія черты изъ «лицейскихъ» стихотвореній Пушкина, чтобъ ими указать на будущаго преобразователя русской поэзіи и будущаго національнаго поэта. Теперь странно видѣть какую-то смѣлость въ употребленіи слова тынъ; но мы говоримъ не о теперешнемъ, а о прошломъ времени: чтѣ легко теперь, то было трудно прежде. Теперь всякій рѣмачъ смѣло употребляетъ въ стихахъ всякое русское слово, но тогда слова, какъ и слогъ, раздѣлялись на высокія и низкія, и фальшивый вкусъ строго запрещалъ употребленіе послѣднихъ. Нуженъ былъ талантъ могучій и смѣлый, чтобъ уничтожить эти австралійскіе табу въ русской литературѣ. Теперь смѣшно читать нападки тогдашнихъ аристарховъ на Пушкина, — такъ они мелки, ничтожны и жалки; но аристархи упрямо считали себя хранителями чистоты русскаго языка и здраваго вкуса, а Пушкина — искажителемъ русскаго языка и вводителемъ всяческаго литературнаго и повѣстическаго безвкусіа...

Изъ тѣхъ «лицейскихъ» стихотвореній Пушкина, которыя мы назвали лучшими и наиболѣе самостоятельными его произведеніями, нѣкоторыя вполнѣдствіи онъ измѣнилъ и передѣлалъ, и внесъ въ собраніе своихъ сочиненій. Такова напримѣръ пьеса «Друзьямъ».

Къ чему, веселые друзья,
Мое тревожитъ васъ молчанье?
Запѣвъ послѣднее прощанье,
Ужъ муза смокнула моя.
Напрасно лпру взялъ я въ руки
Бряцать веселья на пиряхъ,
И на ослабленныхъ струнахъ
Искалъ потерянные звуки.
Богами вамъ еще даны
Златые дни, златые ночи,
И на любовь устремлены
Огнемъ исполненные очи!
Играйте, пойте, о друзья!
Утратьте вечеръ скоротечный,
И вашей радости безпечной
Сквозь слезы улыбнуся я.

Вполнѣдствіи Пушкинъ такъ передѣлалъ эту пьесу:

Богами вамъ еще даны
Златые дни, златые ночи,
И томныхъ дѣвъ устремлены
На васъ внимательныя очи.
Играйте, пойте, о друзья!
Утратьте вечеръ скоротечный,
И вашей радости безпечной
Сквозь слезы улыбнуся я.

Черезъ уничтоженіе первыхъ восьми стиховъ и перемѣну одиннадцатаго и двѣнадцатаго изъ безобразнаго куска мрамора вышла прелестная статуэтка... Мы не знаемъ, были ли переправлены Пушкинымъ другія изъ «лицейскихъ» его стихотвореній, или

они съ перваго раза удачно написались, — только значительное число ихъ вошло въ собраніе его сочиненій, изданныхъ въ 1826 и 1829 году. Такъ какъ собраніе 1826 года, вышедшее маленькой книжкой, потомъ все вошло въ слѣдующее четырехъ-томное изданіе (1829—1835), составивъ первую его часть, — то мы и будемъ ссылаться въ нашемъ разборѣ только на это послѣднее изданіе, тѣмъ болѣе, что оно выходило въ свѣтъ подъ редакціей самого Пушкина.

Итакъ, въ первый томъ и отчасти во второй «Сочиненій Александра Пушкина» (1829) много вошло его «лицейскихъ» стихотвореній 1815—1817 годовъ, и потомъ такихъ его стихотвореній, которыя писаны имъ вскорѣ по выходѣ изъ лицея и которыя вмѣстѣ съ «лицейскими», вошедшими въ первый томъ изданія, можно охарактеризовать именемъ переходныхъ. Въ нихъ виденъ уже Пушкинъ, но еще болѣе или менѣе вѣрный литературнымъ преданіямъ, еще ученикъ предшествовавшихъ ему мастеровъ, хотя часто и побѣждающій своихъ учителей; поэтъ даровитый, но еще несамостоятельный и — если можно такъ выразиться — общающій Пушкина, но еще не Пушкинъ. Въ этихъ переходныхъ стихотвореніяхъ выдающаяся историческая связь Пушкина съ предшествовавшей ему литературой, и они перемѣшаны съ пьесами, въ которыхъ виденъ уже зрѣлый талантъ и въ которыхъ Пушкинъ является истиннымъ художникомъ, творцомъ новой поэзіи на Руси.

Такими переходными пьесами считаемъ мы слѣдующія: «Къ Лицинію», «Гробъ Анакреона», «Пробужденіе», «Друзьямъ», «Пѣвецъ», «Амуръ и Гименей», Ш***ву», «Торжество Вакха», «Разлука», П***ну», «Дельвигу», «Выздоровленіе», «Прелестница», «Жуковскому», Увы, запѣвъ она блистаетъ», «Русалка», «Стансы Т—му», «В—му», «Кривцову», «Черная шаль», «Дочери Карагеоргія», «Война», «Я пережилъ мои мечтанья», «Гробъ юноши», «Къ Овидію», «Пѣснь о Вѣщемъ Олегѣ», «Друзьямъ», «Гречанкѣ», «Сводъ неба мракомъ обложился», «Телѣга жизни», «Прозерпина», «Вакхическая пѣсня», «Козлову», «Ты и вы» и нѣсколько эпиграммъ, которыми оканчивается вторая часть и которыми Пушкинъ заплатилъ невольную дань тому времени, когда онъ вышелъ на повѣстическое поприще. Эпиграммы, мадригалы, надписи къ портретамъ были тогда въ большомъ ходу и составляли особенный родъ поэзіи, которому въ пѣтикахъ посвящалась особая глава. Только Державинъ и Жуковский не писали эпиграммъ; но Батюшковъ былъ до нихъ большой охотникъ, и вѣроятно его то примѣръ особенно увлекъ Пушкина.

Замѣчательно, что во второй части собранія стихотвореній Пушкина уже меньше переходныхъ пьесъ, а въ третьей ихъ совсѣмъ нѣтъ: въ ней содержатся только пьесы, проникнутыя насквозь самобытнымъ духомъ Пушкина и отличающіяся всѣмъ совершенствомъ художественной формы его созрѣваго и возмужавшаго генія. Въ первой части всего больше переходныхъ пьесъ; но въ ней же между переходными пьесами есть довольно и такихъ, которыя по содержанію и по формѣ обличаютъ уже оригинальность и самостоятельность, составляющія характеръ Пушкинской поэзіи. Чтобы легче было нашимъ читателямъ, что мы разумѣемъ подъ «переходными» стихотвореніями Пушкина, мы поименуемъ и противоположныя имъ чисто Пушкинскія пьесы, находящіяся въ первой части; они начинаются не прежде, какъ съ 1819 года, въ такомъ порядкѣ: «Мечтателю», «Уединеніе» (которое впрочемъ только по содержанію, а не по формѣ, можно отнести къ числу чисто Пушкинскихъ пьесъ), «Домовому», «N. N.», «Недоконченная картина», «Возрожденіе», «Погасло дневное свѣтило», и въ особенности начинающаяся съ 1820: «Виноградъ», «О дѣва-роза, я въ оковахъ», «Доридѣ», «Рѣдѣтъ облаковъ летучая гряда», «Нереида», «Дорида», «Ч***ву», «Мой другъ, забыты мной слѣды минувшихъ лѣтъ», «Умолкну скоро я», «Муза», «Дюнея», «Дѣва», «Примѣты», «Земля и Море», «Красавица передъ зеркаломъ», «Алексѣеву», «Ч***ву», «Люблю вашъ сумракъ неизвѣстный», «Простишь ли мнѣ ревнивыя мечты», «Ненастный день потухъ», «Ты вянешь и молчишь», «Къ Морю», «Коварность», «Ночной Зефиръ» и «Подражаніе корану». Обо всѣхъ этихъ пьесахъ наша рѣчь впереди; скажемъ сперва нѣсколько словъ только о «переходныхъ».

Въ переходныхъ пьесахъ Пушкинъ больше всего является счастливымъ ученикомъ прежнихъ мастеровъ, особенно Батюшкова, — ученикомъ, побѣдившимъ своихъ учителей. Стихъ его уже лучше, чѣмъ у нихъ, и пьесы въ цѣломъ отличаются большей выдержанностью. Собственно Пушкинскій элементъ въ нихъ составляетъ элегическая грусть, преобладающая въ нихъ. Съ перваго раза замѣтно, что грусть болѣе къ лицу музѣ Пушкина, болѣе родственна ей, чѣмъ веселая и шаловливая шутиливость. Часто иная пьеса начинается у него игриво и весело, а заключается унылымъ чувствомъ, которое, какъ финальный аккордъ въ музыкальномъ сочиненіи, одинъ остается на душѣ, изглаживая въ ней всѣ предшествовавшія впечатлѣнія. Маленькое стихотвореніе «Друзьямъ» можетъ служить образцомъ такихъ пьесъ и доказательствомъ справедливости нашей мысли.

Поэтъ говоритъ о шумномъ днѣ разлуки, о буйномъ пирѣ Вакха, о кликахъ безумной юности, при громѣ чашъ и звукѣ лиръ, и о той широкой чашѣ, которая, удовлетворяя скисшую жажду, вмѣщала въ свои широкіе края цѣлую бутылку, — и вдругъ эта веселая, шаловливая картина неожиданно заключается такой элегической чертой:

Я пилъ и думою сердечной
Во дни минувшіе леталъ,
И горе жизни скоротечной,
И сны любви воспоминалъ.

Но грусть Пушкина не есть сладенькое чувствованіе нежной, но слабой души; это всегда грусть души мощной и крѣпкой, и тѣмъ обаятельнѣе дѣйствуетъ она на читателя, тѣмъ глубже и сильнѣе отзывается въ самыхъ сокровенныхъ тайникахъ его сердца, и тѣмъ гармоничнѣе потрясаетъ его струны. Пушкинъ никогда не расплывается въ грустномъ чувствѣ; оно всегда звенитъ у него, но не заглушая гармоніи другихъ звуковъ души и не допуская его до монотонности. Иногда, задумавшись, онъ какъ будто вдругъ встряхиваетъ головой, какъ левъ гривой, чтобъ отогнать отъ себя облакъ унынія, и мощное чувство бодрости, не изглаживая совершенно грусти, даетъ ей какой-то особенный освѣжительный и укрѣпляющій душу характеръ. Такъ и въ приведенной нами сейчасъ пьесѣ внезапное чувство мгновенной грусти тотчасъ же смѣнилось у него бодрымъ и широкимъ размахомъ проснѣвшейся души:

Меня смѣшила ихъ измѣна:
И скорбь исчезла предо мной,
Какъ исчезаетъ въ чашахъ пѣна
Похъ зашипѣвшею струей.

Изъ переходныхъ пьесъ Пушкина лучшія тѣ, въ которыхъ болѣе или менѣе проглядываетъ чувство грусти, такъ что пьесы, вовсе лишенныя его, отзываются какой-то прозаичностью, а при немъ и незначительныя пьесы получаютъ значеніе. Такъ напримѣръ, пьеска «Я пережилъ мои желанія», какъ ни слаба она, невольно останавливаетъ на себѣ вниманіе читателя своимъ послѣднимъ куплетомъ:

Такъ позднимъ хладомъ пораженный,
Какъ бури слышенъ зимній свистъ,
Одинъ на вѣткѣ обнаженной
Трепещетъ запоздалый листъ.

Сколько этой поэтической грусти, этого поэтического раздумья въ прелестномъ стихотвореніи «Гробъ Юноши»!

А онъ увялъ во цвѣтѣхъ лѣтъ!
И безъ него друзья пируютъ,
Другихъ ужъ полюбить успѣвъ,
Ужъ рѣдко, рѣдко именуютъ
Его въ бесѣдѣ юныхъ дѣвъ.
Изъ милыхъ женъ, его любившихъ.
Одна, быть можетъ, слезы льетъ

И память радостей почившихъ
Привычною думою зоветъ...
Къ чему?...

Все окончаніе этой прекрасной пьесы, заключающее въ себѣ картину гроба юноши, дышетъ такой свѣтлой, ясной и отрадной грустью, какую знала и дала знать міру только повѣтическая душа Пушкина... Пьеса «Къ Овидію» въ цѣломъ сбивается нѣсколько на старинный дидактическій тонъ посланій, но въ немъ много прекраснаго, и особенно начиная съ стиха: «Суровый славянинъ, я слезъ не проливалъ», до стиха: «Неслися издали, какъ томный стонъ разлуки»; и лучшую сторону этого стихотворенія составляетъ его элегическій тонъ.

Изъ переходныхъ стихотвореній Пушкина слабѣйшими можно считать: «Русалку», «Черную Шаль», «Сводъ неба мракомъ обложился». «Русалка» прекрасна по идее, но поэтъ не совладалъ съ этой идеей, — и кто хочетъ понять, до какой степени прекрасна и исполнена поэзіи эта идея, тотъ долженъ видѣть превосходное произведеніе нашего даровитаго живописца Моллера. Въ этой картинѣ художникъ воспользовался заимствованной имъ у поэта идеей несравненно лучше, чѣмъ самъ поэтъ. «Русалка» Пушкина отзывается юношескою незрѣлостью; «Русалка» Моллера есть богатое и роскошное созданіе зрѣлаго таланта. — «Черная Шаль» при своемъ появленіи возбудила фуроръ въ русской читающей публикѣ, но, подобно «Гусару» Батюшкова, теперь какъ-то опошлалась и чрезвычайно нравится любителямъ «пѣсенниковъ». Теперь очень не рѣдкость услышать, какъ поэтъ эту пьесу какой-нибудь разгульный престолюдинъ вмѣстѣ съ пѣсней О. Глинки: «Вотъ мчится тройка удалая», или: «Ты не повѣришь, какъ ты мила»... «Сводъ неба мракомъ обложился» есть не что иное, какъ отрывокъ изъ новгородской поэмы «Вадимъ», которую затѣвалъ было Пушкинъ въ своей юности и которой суждено было остаться неоконченной. Одинъ отрывокъ помѣщенъ между «лицейскими» стихотвореніями, въ IX томѣ, подъ названіемъ «Сонъ», и Пушкинъ не хотѣлъ его печатать. Стихъ отрывка «Сводъ неба мракомъ обложился» хорошъ, но прозаиченъ. Герои, выставленные Пушкинымъ въ этомъ отрывкѣ, — славяне; одинъ — старикъ, другой — прекрасный юноша съ кручиной въ глазахъ —

На немъ одежда славянина
И на бедрѣ славянской мечъ,
Славянь вотъ очи голубыя,
Вотъ ихъ и волосы златые,
Волнами падшіе до плечъ.

Старикъ — человѣкъ бывалый:

Видалъ онъ дальнія страны.
По сушѣ, по морю носился,

Во дни былые, въ дни войны
На западѣ, на югѣ бился,
Дѣла добычу и труды
Съ суровымъ племенемъ Олена.
И передъ нимъ враговъ ряды
Бѣжали, какъ морская пѣна,
Въ часъ буря, къ чернымъ берегамъ.
Внималъ онъ радостнымъ хваламъ
И арфамъ скальдовъ наступленныхъ
И очи дѣвъ иноплемennыхъ
Красою чуждой привлекалъ.

Очевидно, что это не тѣ славяне, которые втихомолку отъ исторіи и украдкой отъ человечества жили да поживали себѣ въ степяхъ, болотахъ и дебряхъ нынѣшней Россіи; но славяне Карамзинскіе, которыхъ существованіе и образъ жизни не подвержены ни малѣйшему сомнѣнію только въ «Исторіи Государства Россійскаго». Изъ такихъ славянъ нельзя было сдѣлать поэмы, потому что для поэмы нужно дѣйствительное содержаніе, и ея героями могутъ быть только дѣйствительные люди, а не ученые фантазіи и не историческія гипотезы... Кто видалъ славянскіе мечи? Дреколя и теперь можно видѣть... Кто видалъ славянскую боевую одежду временъ баснословнаго Вадима или баснословнаго Гостомысла?... Лапти и сермяги можно и теперь видѣть...

«Пѣснь о Вѣснѣ Олегѣ» — совсѣмъ другое дѣло: поэтъ умѣлъ набросить какую-то поэтическую туманность на эту болѣе лирическую, чѣмъ эпическую пьесу, — туманность, которая очень гармонируетъ съ исторической отдаленностью представленнаго въ ней героя и событія и съ неопредѣленностью глухого преданія о нихъ. Оттого пьеса эта исполнена поэтической прелести, которую особенно возвышаетъ разлитый въ ней элегическій тонъ и какой-то чисто русскій складъ изложенія. Пушкинъ умѣлъ сдѣлать интереснымъ даже коня Олега, — и читатель раздѣляетъ съ Олегомъ желаніе взглянуть на кости его боевого товарища:

Вотъ ѣдетъ могучій Олегъ со двора,
Съ нимъ Игорь и старые гости,
И видать: на холмѣ, у берега Днѣпра,
Лежатъ благородныя кости;
Изъ моты дожди, засыпаетъ ихъ пыль,
И теперь волнуетъ надъ ними ковыль...

Вся пьеса эта удивительно выдержана въ тонѣ и въ содержаніи: послѣдній куплетъ удачно замыкаетъ собой повѣстическій смыслъ цѣлаго и оставляетъ на душѣ читателя полное впечатлѣніе:

Ковни круговые запѣнась шипятъ
На тризнѣ плачевной Олега:
Князь Игорь и Ольга на холмѣ сидятъ;
Дружина пируетъ у берега;
Бойцы поминуютъ минувшіе дни
И битвы, гдѣ вмѣстѣ рубились они.

Нельзя того же сказать о всѣхъ переходныхъ пьесахъ Пушкина въ отношеніи къ

выдержанности и цѣлостности; во многихъ изъ нихъ не чувствуешь, чтобъ онѣ были кончены на мѣстѣ или чтобъ въ нихъ не было сказано лишняго, или чтобъ въ нихъ было сказано, что бы можно и должно было сказать. Этого недостатка совершенно чужды пьесы чисто Пушкинскія, и совершеннымъ отсутствіемъ въ нихъ этого недостатка Пушкинъ рѣзко отдѣляется отъ всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ.

Исчисляя пьесы Пушкина въ первой части, мы не упомянули объ одной изъ замѣчательнѣйшихъ—«Наполеонъ». Это стихотвореніе двойственно: въ нѣкоторыхъ куплетахъ его видишь Пушкина самобытнаго, а въ нѣкоторыхъ чувствуешь что-то переходное. Такія мысли, высказанныя такими стихами, какъ эти, могли принадлежать только великому поэту:

Надъ урной, гдѣ твой прахъ лежитъ,
Народовъ ненависть почилъ,
И лучъ безсмертія горитъ.

Искушены его стиханья
И ало воинственныхъ чудесъ
Тоскою душевною изгнанья
Подъ сѣнью чуждою небесъ!
И знойный островъ заточенья
Полночный парусъ посѣтитъ,
И путникъ слово примиренья
На ономъ камнѣ начертитъ,
Гдѣ, устремивъ на волны очи,
Изгнанникъ помнилъ звукъ мечей,
И льдистый ужасъ полуночи,
И небо Франціи своей;
Гдѣ иногда въ своей пустынѣ,
Забывъ войну, потомство, тронъ,
Одинъ, одинъ о миломъ сынѣ
Въ изгнанья горькомъ думалъ онъ.
Да будетъ омраченъ позоромъ
Тотъ малодушный, кто въ сей день
Безумнымъ возмутитъ укоромъ
Его развѣчивую тѣнь!
Хвала!.. онъ русскому народу
Высокій жребій указалъ,
И міру вѣчную свободу
Изъ мрака смысли завѣщалъ.

Но все остальное въ этой пьесѣ какъ-то рѣзко отзывается тономъ декламации и нѣсколько напряженной восторженностью, подъ которой скрывается болѣе раздраженія, чѣмъ вдохновенія. Впрочемъ и тутъ много оригинальнаго, что было до Пушкина неслышано и невидано въ русской поэзіи, какъ напримеръ выраженія: «осужденный властитель, могучій баловень побѣдъ, изгнанникъ вселенной, для котораго настаетъ потомство, обезславленная земля, своенравная воля, блистательный позоръ» и тому подобныя.

Отчасти то же можно сказать и о другомъ превосходномъ произведеніи Пушкина—«Андрей Шенье», которое помѣщено во второй части и было написано уже въ 1825 году. Пять куплетовъ, которыми начинается эта элегія, сильно отзываются декламацией, которая совсѣмъ не въ натурѣ Пушкинскаго Соч. Вѣлиискаго. Т. III.

духа и которая показываетъ, какъ долго удерживалось на немъ вліяніе воспитавшей его старой школы русской поэзіи. Конечъ этой пьесы тоже нѣсколько натянута; но середина, отъ стиха: «Не узрю васъ, дни славы, дни блаженства» до стиха: «Ты, слава, звукъ пустой»—исполнены всей очаровательности Пушкинской поэзіи.

Есть еще стихотвореніе, котораго мы съ умысломъ не поименовали, чтобы поговорить о немъ особенно: это—«Демонъ», пьеса, которая при своемъ появленіи поразила всѣхъ изумленіемъ по глубокости высказанной въ ней мысли и по совершенству художнической формы. Сказать ли?... Эта пьеса теперь пережила свою славу, и время изрело надъ ней свой судъ. Есть что-то простоудушно юношеское въ ея выраженіи, и теперь нельзя безъ улыбки читать этихъ, нѣкогда столь дивныхъ, стиховъ:

Въ тѣ дни, когда мнѣ были новы
Всѣ впечатлѣнья бытія—
И взоры дѣвъ, и шумъ дубровы,
И ночью пѣнье соловья—
Когда возвышенныя чувства,
Свобода, слава и любовь,
И вдохновенныя искусства
Такъ сильно волновали кровь,

и проч. Самъ этотъ демонъ, который прекрасное звалъ мечтой, презиралъ вдохновеніе, не вѣрилъ любви и свободѣ, насмѣшливо смотрѣлъ на жизнь,—самъ онъ теперь давно уже поступилъ въ разрядъ демоновъ средней руки,—и теперь совсѣмъ не нужно быть демономъ, чтобъ отъ души смѣяться надъ той любовью, той свободой, надъ которыми онъ смѣялся. Словомъ, этотъ страшный тогда демонъ теперь страшенъ развѣ только для слишкомъ юнаго чувства и неопытнаго ума: сердца возмужалыя и умы опытные теперь уже не страшатся и другого демона, пострашнѣе Пушкинскаго. Но о «демонѣ» мы еще будемъ говорить.

Предлагаемая статья есть не что иное, какъ только введеніе въ статьи собственно о Пушкинѣ. Мы имѣли въ виду показать историческую связь Пушкинской поэзіи съ поэзіей предшествовавшихъ ему мастеровъ; старались охарактеризовать Пушкина, какъ только еще ученика въ поэзіи. Предоставляемъ судить нашимъ читателямъ, до какой степени успѣли мы въ этомъ. Главный трудъ нашъ еще впереди. Многіе можетъ-быть недовольны, что эти статьи долго тянутся и безпрестанно прерываются статьями посторонними. Такой упрекъ былъ бы не совсѣмъ основателенъ. Задуманный и начатый нами рядъ статей нисколько не принадлежитъ къ разряду обыкновенныхъ и случайныхъ журнальных критикъ: это скорѣе обширная критическая исторія русской поэзіи, а такой трудъ не мо-

жесть быть совершенъ наскоро и какъ нибудь, но требуетъ изученія, обдуманности и труда, и времени. Въ лучшихъ иностранныхъ журналахъ иногда рядъ статей объ одномъ предметѣ тянется не одинъ годъ, и публика нисколько не въ претензіи за эту медленность. Оцѣнить критически такого поэта, какъ Пушкинъ,—трудъ не маловажный, тѣмъ болѣе, что о немъ мало сказано, хотя и много писано. Обыкновенно восхищались отдѣльными мѣстами и частностями, или нападали на частные недостатки,—и потому охарактеризовать особность поэзіи Пушкина, опредѣлить его значеніе, какъ поэта русскаго, показать его вліяніе на современниковъ и потомство, его историческую связь съ предшествовавшими и послѣдовавшими ему поэтами—значить предпринять трудъ совершенно новый. Какъ мы выполнимъ его—не наше дѣло судить о томъ; по крайней мѣрѣ мы хотимъ дѣлать, что можемъ и что обязаны, взявшись за изданіе журнала. Несовершенство труда извинительно; но нѣтъ оправданій для лѣнности и равнодушія къ благороднымъ, важнымъ интересамъ и вопросамъ,—равнодушія, происходящаго или отъ невѣжества, или отъ корыстнаго расчета, или отъ того и другого вмѣстѣ...

V.

Въ гармоніи сонерникъ мой
Вилъ шумъ лѣсовъ, иль вихорь буйной,
Иль иволги напѣвъ живой,
Иль ночью моря гулъ глухой,
Иль шепотъ рѣчки тихоструйной.

Взглядъ на русскую критику.—Понятіе о современной критикѣ.—Изслѣдованіе паеоса поэта, какъ первая задача критики.—Паеосъ поэзіи Пушкина вообще.—Разборъ лирическихъ произведеній Пушкина.

Прежде, нежели приступимъ къ рассмотрѣнію тѣхъ сочиненій Пушкина, которыя запечатлѣны его самобытнымъ творчествомъ, прочитаемъ нужнымъ изложить наше воззрѣніе на критику вообще. Доселѣ въ русской литературѣ существовало два способа критиковать. Первый состоялъ въ разборѣ частныхъ достоинствъ и недостатковъ сочиненія, изъ котораго обыкновенно выписывали лучшія или худшія мѣста, восхищались ими или осуждали ихъ, а на цѣлое сочиненіе, на его духъ и идею не обращали никакого вниманія. Съ этимъ способомъ критики русскую литературу познакомили Карамзинъ и Макаровъ; первый—своимъ разборомъ сочиненій Богдановича, второй—сочиненій Дмитріева. Такой способъ критики очевидно поверхностенъ и мелоченъ, даже ложенъ, ибо если критикъ смотритъ на частности поэтическаго произведенія безъ отношенія ихъ къ цѣлому, то

необходимо долженъ находить дурнымъ хорошее и хорошимъ дурное, смотря по произволу своего личнаго вкуса. Подобная критика могла существовать только въ эпоху стилистики, когда на сочиненія смотрѣли исключительно со стороны языка и слога, и восхищались удачною фразой, удачнымъ стихомъ, ловкимъ звукоподражаніемъ и т. п. Теперь такая критика была бы очень легка, ибо для того, чтобы отличить хорошіе стихи отъ слабыхъ или обыкновенныхъ, теперь не нужно слишкомъ много вкуса, а довольно навыка и литературной смѣтливости. Но, какъ все въ мірѣ начинается съ начала, то и такая критика для своего времени была необходима и хороша, и въ то время не всякій могъ съ успѣхомъ за нее браться, а успѣвали въ ней только люди съ умомъ, талантомъ и знаніемъ дѣла. Съ Мералякова начинается новый періодъ русской критики: онъ уже хлопоталъ не объ отдѣльныхъ стихахъ и мѣстахъ, но рассматривалъ завязку и изложеніе цѣлаго сочиненія, говорилъ о духѣ писателя, заключающемся въ общности его твореній. Это было значительнымъ шагомъ впередъ для русской критики, тѣмъ болѣе, что Мераляковъ критиковалъ съ жаромъ, основательностью и замѣчательнымъ краснорѣчіемъ. Но не смотря на то, его критика была безплодна, потому что была несвоевременна: онъ критиковалъ на основаніяхъ Баттѣ, Блера, Лагарпа, Эшенбурга,—основаніяхъ, которыя, не болѣе какъ черезъ пять лѣтъ, и въ самой Россіи сдѣлались анахронизмомъ. Съ двадцатыхъ годовъ критика русская начала предъявлять претензіи на философію и высшіе взгляды. Она уже перестала восхищаться удачными звукоподражаніями, красивымъ стилемъ или ловкимъ выраженіемъ, но заговорила о народности, о требованіяхъ вѣка, о романтизмѣ, о творчествѣ и тому подобныхъ, дотогѣ неслыханныхъ новостяхъ. И это было также важнымъ шагомъ впередъ для русской критики, ибо если она еще и сама темно и сбивчиво понимала свои требованія, повторяемые ею съ чужого голоса, тѣмъ не менѣе она произвела ими живую реакцію псевдо-классическому направленію литературы. Сверхъ того она прорвала плотину авторитета, которая держала литературу въ апатической неподвижности и идеи замѣняла именами. Такъ напримѣръ при всемъ умѣ, дарованіяхъ, учености и образованности, которыми обладалъ Мераляковъ, онъ отъ души считалъ Хераскова, Сумарокова и Петрова великими поэтами. Романтическая критика первая осмѣлилась сказать правду объ этихъ писателяхъ и столкнуть съ пьедестала ихъ глиняные кумиры, которые сейчасъ же и развалились отъ этого толчка; вѣдь глина—не мѣдъ и не мраморъ! Конечно какъ псевдо-класси-

ческая критика Мерзлякова въ своей старческой неподвижности не умѣла видѣть такой же разницы между истиннымъ поэтомъ Державинымъ и риторомъ-поэтомъ Ломоносовымъ, между огромнымъ поэтомъ Державинымъ и прозаическими стихотворцами Сумароковымъ, Петровымъ и Херасковымъ, между самобытнымъ и даровитымъ Фонвизиннымъ и между холоднымъ заимствователемъ чужеземныхъ вдохновеній—Княженинымъ, между народнымъ и гениальнымъ баснописцемъ Крыловымъ и даровитымъ переводчикомъ и подражателемъ Лафонтена Дмитриевымъ,—такъ же точно и мнимо-романтическая критика не замѣчала, въ запальчивости своего юношескаго одушевленія, неизмѣримой разницы между Пушкинымъ и вышедшими по слѣдамъ его блестящими и даже вовсе не блестящими талантами и талантиками, и, подобно первой, въ короткое время надѣлала, вмѣсто огромныхъ глиняныхъ кумировъ, множество фарфоровыхъ и фаянсовыхъ статуэтокъ. Но, не смотря на то, она дала просторъ уму и фантазіи, освободивъ ихъ отъ Прокрустова ложа авторитета и стѣснительныхъ условленныхъ правилъ. Жизненность романтической критики болѣе всего доказывается тѣмъ, что она продолжалась менѣе десяти лѣтъ и родила изъ себя другую, болѣе строгую, хотя и не болѣе твердую и определенную критику. Передъ тридцатыми годами и особенно съ тридцатыхъ годовъ русская критика заговорила другимъ тономъ и другимъ языкомъ. Ея притязанія на философскія воззрѣнія сдѣлались настойчивѣе; она начала цитовать, кстати и некстати, не только Жанъ-Поля Рихтера, Шиллера, Канта и Шеллинга, но даже и Платона, заговорила объ эстетическихъ теоріяхъ и грозно возстала на Пушкина и его школу. Даже собственно-романтическая критика, та самая, которая нѣсколько лѣтъ сряду провозглашала Пушкина «сѣвернымъ Байрономъ» (какъ-будто бы англійскій Байронъ родился на югѣ, а не на сѣверѣ Европы) и «представителемъ современнаго человечества», даже и она отложила отъ Пушкина и объявила его чуждымъ «высшихъ взглядовъ и отставшимъ отъ вѣка»... Несмотря на смѣшную сторону этого факта, въ немъ нельзя не признать большого шага впередъ и нельзя не одобрить этой строгости и требовательности. Смѣшная же сторона состоитъ въ неопредѣленности и шаткости требованій, которыя эта критика предъявляла съ такой суровостью и профессорской важностью. Тогда ожидали отъ поэта не того, для чего былъ онъ призванъ своей природой и требованіями времени, а подтвержденія и оправданія теоріи, которую составилъ себѣ господинъ-критикъ,—и если творенія поэта не улегались плотно на Прокрустовомъ ложѣ

теоріи критика, критикъ или вытягивалъ ихъ за ноги, или обрубалъ имъ ноги (даже и голову—смотря по обстоятельствамъ), или наконецъ объявлялъ, что поэтъ ничтоженъ, малъ, чуждъ высшихъ взглядовъ и отсталъ отъ вѣка. Такъ одинъ «ученый» критикъ тридцатыхъ годовъ, сравнивая Пушкина съ Байрономъ, нашелъ, что герои поэмъ Пушкина относятся къ героямъ поэмъ Байрона, какъ мелкіе бѣсенята къ сатанѣ, и что, ergo, Пушкинъ никуда не годится. Этому ученому критику и въ голову не входило, что Пушкинъ такъ же точно не былъ обязанъ быть Байрономъ, какъ Байронъ—Гомеромъ, и что Пушкина должно разсматривать, какъ Пушкина, а не какъ Байрона. Обманутому внѣшнимъ сходствомъ формы поэмъ Байрона, этому ученому критику еще менѣе входило въ голову, что между Пушкинымъ и Байрономъ не было ничего общаго въ направленіи и духѣ таланта, и что слѣдовательно тутъ неумѣстно было какое бы то ни было сравненіе. Другой критикъ, не ученый, но зато съ высшими взглядами, объявилъ Пушкину опалу за то, что тотъ отсталъ отъ вѣка, т. е. отъ туманно-неопредѣленныхъ теорій критика. Наконецъ явился вскорѣ послѣ того третій критикъ, изъ ученыхъ, который о какомъ бы русскомъ поэтѣ ни заговорилъ, безпрестанно обращался къ итальянскимъ поэтамъ, съ которыми у русскихъ поэтовъ ничего общаго не было и быть не могло. Такимъ образомъ, если псевдо-классическая критика была ложна оттого, что основывалась только на старыхъ авторитетахъ, ничего не зная о явленіи и существованіи новыхъ, а мнимо-романтическая критика была слаба оттого, что, за неимѣніемъ времени, слишкомъ поверхностно, больше по наслышкѣ, чѣмъ изученіемъ, познакомилась съ новыми авторитетами,—то критика тридцатыхъ годовъ была неосновательна отъ избытка эклектическаго знакомства со множествомъ теорій и образцовъ.

Гдѣ же безопасный проходъ между Сциалой безсистемности и Харибдой теорій? Судите поэта безъ всякихъ теорій,—ваша критика будетъ отзываться произволомъ личнаго вкуса, личнаго мнѣнія, которое важно для однихъ васъ, а для другихъ—не законъ; судите поэта по какой-нибудь теоріи,—вы разовьете, и можетъ быть очень хорошо, свою теорію, можетъ-быть очень хорошую, но не покажете намъ разбираемаго вами поэта въ его истинномъ свѣтѣ. Какой же путь должна избрать критика нашего времени?

Гѣте гдѣ-то сказалъ: «Какого читателя желаю я?—такого, который бы меня, себя и цѣлый міръ забылъ и жилъ бы только въ книгѣ моей». Нѣкоторые нѣмецкіе аристархи оперлись на это выраженіе великаго поэта, какъ на основной краеугольный камень эсте-

тической критики. И однакожь односторонность Гётевой мысли очевидна. Подобное требованіе очень выгодно для всякаго поэта, не только великаго, но и маленькаго: принявъ его на вѣру и безусловно, критика только и дѣлала бы, что кланялась въ поясъ то тому, то другому поэту, ибо, такъ какъ все имѣетъ свою причину и основаніе—даже эгоизмъ, дурное направленіе, самое невѣжество поэта, то, если критикъ будетъ смотрѣть на произведеніе поэта безъ всякаго отношенія къ его личности, забывъ о самомъ себѣ и о цѣломъ мірѣ,—естественно, что творенія этого поэта—будь они только ознаменованы большей или меньшей степенью таланта—явятся непогрѣшительными и достойными безусловной похвалы. При нѣмецкой апатической терпимости ко всему, что бываетъ и дѣлается на офломѣ свѣтѣ, при нѣмецкой безличной универсальности, которая, признавая все, сама не можетъ сдѣлаться ни чѣмъ,—мысль, выраженная Гёте, поставяетъ искусство цѣлью самому себѣ и черезъ это самое освобождаетъ его отъ всякаго соотношенія съ жизнью, которая всегда выше искусства, потому что искусство есть только одно изъ безчисленныхъ проявленій жизни. Дѣйствительно, нѣмецкая критика, при разсматриваніи произведеній искусства, всегда опирается на само искусство и на духъ художника, и потому исключительно вращается въ тѣсной сферѣ эстетики, выходя изъ нея только для того, чтобъ обращаться изрѣдка къ характеристикѣ личности поэта, а на исторію, общество, словомъ, на жизнь не обращаетъ никакого вниманія. И оттого, жизнь давно уже оставила тѣхъ нѣмецкихъ поэтовъ, которые своими произведеніями угождаютъ такой критикѣ! Но съ другой стороны мысль Гёте имѣетъ глубокий смыслъ, если ее принимать не безусловно, но какъ первый, необходимый актъ въ процессѣ критики. Чтобъ разбирать критически писателя, прежде всего должно изучить его. Если вы съ кѣмъ-нибудь горячо спорите о важномъ предметѣ, для васъ ничего не можетъ быть больнѣе, какъ если противникъ вашъ, не давая себѣ труда вслушиваться въ ваши слова и взвѣшивать ваши доводы, будетъ придавать имъ другое значеніе и слѣдовательно отвѣчать вамъ не на ваши, а на свои собственные мысли, справедливости которыхъ и не думали вы поддерживать. Если вы хотите, чтобъ съ вами спорили и понимали васъ, какъ должно, то и сами должны быть добросовѣстно внимательны къ своему противнику и принимать его слова и доказательства именно въ томъ значеніи, въ какомъ онъ обращаетъ ихъ къ вамъ. Но еще добросовѣстнѣе и строже должно прилагаться это правило къ критикѣ: разбираемый вами поэтъ, какъ лицо судимое,

часто безотвѣтное, не можетъ въ минуту вашего кривотолкованія остановить васъ и доказать вамъ, что вы не такъ его поняли. Сверхъ того все имѣетъ свою причину и свое основаніе, а человекъ, по самолюбію или по пристрастію къ извѣстнымъ увлечшимъ его идеямъ, любить всему давать свои причины и основанія, которыя потому именны и покажутся ему истинными, что они—его, а не чьи нибудь. Этой слабости подвержены не одни только ограниченные люди и невѣжды, но и умы сильные, широкіе, особенно если они нетерпѣливы и не хладнокровно пытливы. Иногда человеку мѣшаетъ видѣть вещи въ настоящемъ ихъ свѣтѣ даже то, что составляетъ его истинное достоинство. Что на примѣръ выше и почтеннѣе въ человекѣ, какъ не способность глубокаго убѣжденія?—А между тѣмъ она то и заставляеть человека враждебно смотрѣть на всякую мысль, противорѣчащую его убѣжденію,—и часто онъ тѣмъ упрямѣе отвергаетъ ея истинность, чѣмъ одностороннѣе его убѣжденіе, которое такъ тѣсно слилось со всѣмъ его существомъ, что онъ не въ состояніи отдѣлать его отъ себя. И однакожь всякое изслѣдованіе непременно требуетъ такого хладнокровія и безпристрастія, которыя возможны человеку только при условіи полнаго отрицанія своей личности на время изслѣдованія. Поэтому, чтобъ произнести сужденіе о какомъ-нибудь поэтѣ, тѣмъ болѣе о великомъ, должно сперва изучить его, а для этого должно войти въ міръ его творчества не иначе, какъ забывъ его, себя и все на свѣтѣ. Въ этотъ міръ не должно вносить никакихъ требованій, никакихъ заранѣе приготовленныхъ понятій и вопросовъ, никакихъ страстей, а тѣмъ менѣе—пристрастій, никакихъ убѣжденій, а тѣмъ менѣе—предубѣжденій. Надо совершенно отказаться отъ роли судьи и актера, и ограничиться только ролью посторонняго любопытнаго свидѣтеля и зрителя. Такъ точно, если вы въѣзжаете въ чужую землю съ цѣлью изучить ея нравы и обычаи, вы должны забыть на время, что вы гражданинъ своей земли, и сдѣлаться совершеннымъ космополитомъ. Иначе обычаи этой чуждой вамъ страны будете вы оцѣнять на курсъ обычаевъ вашего отечества и естественно найдете въ ней хорошимъ только то, что сходно съ обычаями вашего отечества, а все противоположное или не похожее на нихъ безусловно признаете дурнымъ. Всѣ народы потому только и образуютъ своей жизнью одинъ общій аккордъ всемірно-исторической жизни человечества, что каждый изъ нихъ представляетъ собой особенный звукъ въ этомъ аккордѣ, ибо изъ совершенно одинаковыхъ звуковъ не можетъ выйти аккордъ. Какъ самое худшее, такъ и самое

лучшее въ каждомъ народѣ есть то, что принадлежитъ только одному ему и что противоположно худшему и лучшему или по крайней мѣрѣ несходно съ худшимъ и лучшимъ всякаго другого народа. Общее выше частнаго, безусловное выше индивидуальнаго, разумъ выше личности, — это истина несомнѣнная, противъ которой нечего сказать; но въдѣ общее выражается въ частномъ, безусловное — въ индивидуальномъ, а разумъ — въ личности, и безъ частнаго индивидуальнаго и личнаго общее безусловное и разумное есть только идеальная возможность, а не живая дѣйствительность. Творческая дѣятельность поэта представляетъ собой также особый, цѣльный, замкнутый въ самомъ себѣ міръ, который держится на своихъ законахъ, имѣетъ свои причины и свои основы, требующія, чтобы ихъ прежде всего приняли за то, что онѣ суть насамомъ дѣлѣ, а потомъ уже судили о нихъ. Всѣ произведенія поэта, какъ бы ни были разнообразны и по содержанію, и по формѣ, имѣютъ общую всѣмъ имъ фізіономію, запечатлѣны только имъ свойственной особностью, ибо всѣ они истекали изъ одной личности, изъ единаго и нераздѣльнаго я. Такимъ образомъ, приступая къ изученію поэта, прежде всего должно уловить въ многообразіи и разнообразіи его произведеній тайну его личности, т. е. тѣ особенности его духа, которыя принадлежатъ только ему одному. Это впрочемъ значить не то, чтобы эти особенности были чѣмъ-то частнымъ, исключительнымъ, чуждымъ для остальныхъ людей: это значить, что все общее человѣчеству никогда не является въ одномъ человѣкѣ, но каждый человѣкъ, въ большей или меньшей мѣрѣ, родится для того, чтобы своей личностью осуществить одну изъ безконечно разнообразныхъ сторонъ необъемлемаго, какъ міръ и вѣчность, духа человѣческаго. Въ этой миссіи вѣчной инкарнаціи заключается все достоинство, вся важность личности: ибо она есть осуществленіе, реализація, дѣйствительность духа. Личность одна не можетъ всего объять, и потому, будучи этимъ, она уже не есть то или это; представляя собой нѣчто, она уже есть исключеніе изъ всего. Личности безчисленны и разнообразны, какъ стороны духа человѣческаго; каждая существуетъ потому, что необходима, слѣдовательно каждая имѣетъ законное право на существованіе. Поэтому ничего нѣтъ несправедливѣе, какъ мѣрять чью-либо личность аршиномъ другой личности, которая всегда или противоположна, или чѣмъ-нибудь разнится отъ нея. Есть въ мірѣ люди хладнокровные, люди пылкіе и опрометчивые; есть люди хладнокровные и осторожные: пылкій скажетъ ложь, если скажетъ, что хладнокровные люди изнищали въ мірѣ и что лучше было бы, еслибъ ихъ не

было; точно такъ же ложно будетъ подобное сужденіе и хладнокровнаго о пылкомъ.

Итакъ, источникъ творческой дѣятельности поэта есть его духъ, выражающійся въ его личности, и перваго объясненія духа и характера его произведеній должно искать въ его личности. А это возможно только при строгомъ соблюденіи требованія, которое дѣлаетъ Гёте отъ своего читателя. Всякая личность есть истина, въ большемъ или меньшемъ объемѣ, а истина требуетъ изслѣдованія спокойнаго и безпристрастнаго, требуетъ, чтобы къ ея изслѣдованію приступали съ уваженіемъ къ ней, по крайней мѣрѣ безъ принятаго заранѣе рѣшенія найти ее ложью. Но, скажутъ, если всякая личность есть истина, то и всякій поэтъ, какъ бы ни былъ ничтоженъ, долженъ быть изучаемъ по мысли Гёте? Ничуть не бывало! Во-первыхъ, не всякій, кто пишетъ стихи, выражаетъ свою личность: выражаетъ ее тотъ, кто родился поетомъ; во-вторыхъ, не всякая личность, но только замѣчательная, стоитъ изученія; въ третьихъ, не всякій человѣкъ есть личность, но многіе люди, по своей безличности, походятъ на плохо оттиснутую гравюру, въ которой, какъ ни бейся, не отличишь дерева отъ копы сѣна, лошади отъ дома, а деревяннаго чурбана отъ человѣка. Природа ли производитъ, или воспитаніе и жизнь дѣлаютъ ихъ такими, — это не касается до предмета нашей статьи и далеко отвлекло бы насъ, еслибъ мы вздумали объ этомъ разсуждать; намъ довольно только сказать, что есть на свѣтѣ безличныя личности, что ихъ, къ несчастію, гораздо больше, чѣмъ личныхъ, и что чѣмъ личность поэта глубже и сильнѣе, тѣмъ онъ болѣе поэтъ. Приступить съ такими важными спорами къ суду надъ маленькимъ поетомъ — все равно, что описать жизнь какого-нибудь столоначальника въ земскомъ судѣ слогомъ Плутарха, автора біографій Александра Македонскаго, Цезаря и другихъ великихъ людей древности, или, сѣвъ въ лодку, чтобы покататься по болоту, поставить передъ собой компасъ и разложить морскую карту. Но тѣмъ болѣе должно остерегаться приступать безъ особеннаго вниманія къ изученію великаго поэта, въ твореніяхъ котораго отражается великая личность. Если вы изучили ее съ строгимъ безпристрастіемъ и поняли вѣрно, вы уже не носитесь по волѣ вѣтра въ воздушныхъ пространствахъ своей прихотливой фантазіи, но стоите твердой ногой на прочной почвѣ; вы уже не требуете отъ поэта того, чего бы хотѣлось вамъ, но оцѣняете то, что онъ самъ вамъ далъ, вы не смѣшиваете съ нимъ себя или другія личности, но видите его самого такимъ, какимъ онъ есть, не навязываете ему своихъ убѣжденій или предубѣжденій, но

взвѣшиваете его идеи, его понятія. Вы сроднились съ нимъ, потому что изучили его; вы полюбили его, потому что поняли. Вы знаете, почему онъ шелъ этимъ путемъ, а не другимъ; вы не объявите его ничтожнымъ, потому что въ немъ нѣтъ ничего общаго съ Байрономъ или другимъ любимымъ вами поэтомъ; вы не скажете о немъ, что онъ отсталъ отъ вѣка, потому что не читаетъ вашего журнала и не вѣритъ вашимъ заветнымъ, но и сбивчивымъ, туманнымъ и неопредѣленнымъ предчувствіямъ, которыя вы смѣло выдаете за идеи и высшіе взгляды. Нѣтъ, вы будете судить о немъ на основаніи его личности, будете отъ него требовать только того, что могъ бы онъ сдѣлать на основаніи уже сдѣланнаго имъ. Когда вы кончите его изученіе, проникните въ сокровенный духъ его поэзіи, уловите тайну его личности,—тогда правило Гёте, что читатель поэта долженъ забыть читаемаго имъ поэта, самого себя и весь міръ, вы имѣете право откинуть прочь, какъ уже лишнее и ненужное. Ваша личность снова вступаетъ въ свои права, и вы изъ ученика дѣлаетесь судьей. Вы требуете отъ поэта, чтобы онъ былъ вѣренъ не вамъ предписанному ему направленію, но своему собственному, чтобы онъ не противорѣчилъ себѣ самому, своей собственной натурѣ, не уклонялся отъ своего призванія (ибо вы поняли его призваніе изъ его же собственныхъ твореній, а не навязали ему его отъ себя), словомъ, вы требуете отъ него той внутренней послѣдовательности, которая составляетъ необходимое условіе всякой разумной дѣятельности. И если вы находите, что онъ сдѣлалъ меньше, чѣмъ бы могъ сдѣлать, меньше, нежели сколько самъ далъ право требовать отъ него, что онъ измѣнялъ стремленію собственного духа, вы смѣло изречете ему свой приговоръ, и это однакожъ не помѣшаетъ вамъ отдать ему полную справедливость въ томъ, что составляетъ его неотъемлемую заслугу. Вы отличите въ его твореніяхъ недостатки произвольные отъ недостатковъ, которые тѣсно соединены съ достоинствами его поэзіи и составляютъ ихъ оборотную сторону. При этомъ вы строго вникните въ обстоятельства, которыя, независимо отъ его воли, не могли не имѣть большаго или меньшаго вліянія на его дѣятельность и больше всего на духъ времени, въ которое онъ явился, на нравственное состояніе, въ которомъ онъ засталъ общество, и покажете, шелъ ли онъ наравнѣ съ своимъ временемъ, былъ ли его хорегомъ, или только старался подпѣвать подъ его пѣсни. Обстоятельства его частной жизни только тогда войдутъ въ ваше разсмотрѣніе, когда они будутъ въ живой связи съ его твореніями. Есть поэты, которыхъ жизнь тѣсно свя-

зана съ ихъ поэзіей, и есть поэты, которыхъ важна только нравственная жизнь. Этого различія, вытекающаго изъ свойства личности, не должно терять изъ вида. Гёте также нельзя мѣрять на мѣрку Байрона, какъ и Байрона нельзя мѣрять на мѣрку Гёте: это были натуры диаметрально противоположныя одна другой, и кто бы осудилъ Гёте, что онъ жилъ и писалъ не въ такомъ духѣ, какъ Байронъ, или наоборотъ, тотъ сказалъ бы величайшую нелѣпость. Это все равно, что отъ могучаго слона требовать быстроты и ловкости тигра, или наоборотъ; и слонъ, и тигръ, каждый по своему хорошъ и необходимъ въ цѣпи природы. Натуры Гёте и Шиллера были диаметрально противоположныя одна отъ другой, и однакожъ самая эта противоположность была причиной и основой взаимной дружбы и взаимнаго уваженія обоихъ великихъ поэтовъ: каждый изъ нихъ поклонялся въ другомъ тому, чего не находилъ въ себѣ. Задача критики состоитъ совсѣмъ не въ томъ, чтобы рѣшить, почему Гёте жилъ и писалъ не такъ, какъ жилъ и писалъ Шиллеръ; но въ томъ, почему Гёте жилъ и писалъ, какъ Гёте, а не какъ кто-нибудь другой...

Но какимъ же образомъ уловить тайну личности поэта въ его твореніяхъ? Что должно дѣлать для этого при изученіи произведеній его?

Изучить поэта—значитъ не только ознакомиться, черезъ усиленное и повторяемое чтеніе, съ его произведеніями, но и переживать, пережить ихъ. Всякій истинный поэтъ, на какой бы ступени художественнаго достоинства ни стоялъ, а тѣмъ болѣе всякій великій поэтъ никогда и ничего не выдумываетъ, но облакаетъ въ живыя формы обще-человѣческое. И потому въ созданіяхъ поэта люди, восхищающіеся ими, всегда находятъ что-то давно знакомое имъ, что-то свое собственное, что они сами чувствовали или только смутно и неопредѣленно предощущали, или о чемъ мыслили, но чему не могли дать яснаго образа, чему не могли найти слова, и что слѣдовательно поэтъ умѣлъ только выразить. Чѣмъ выше поэтъ, т. е. чѣмъ общечеловѣчественнѣе содержаніе его поэзіи, тѣмъ проще его созданія, такъ что читатель удивляется, какъ ему самому не вошло въ голову создать что-нибудь подобное: вѣдь это такъ просто и легко! Сочиненія, въ которыхъ люди ничего не узнаютъ своего и въ которыхъ все принадлежитъ поэту, не заслуживаютъ никакого вниманія, какъ пустяки. На этой-то общности, по которой созданіе поэта столько же принадлежитъ всему человѣчеству, сколько и ему самому,—на этой-то общности и основывается возможность всѣмъ и каждому, въ комъ есть человѣческое (т. е. духовное, разумное), переживать произве-

денія художника, изучая ихъ. Пережить творенія поэта—значить переносить, перечувствовать въ душѣ своей все богатство, всю глубину ихъ содержанія, переболѣть ихъ болями, перестрадать ихъ скорбями, переблаженствовать ихъ радостью, ихъ торжествомъ, ихъ надеждами. Нельзя понять поэта, не будучи нѣкоторое время подъ его исключительнымъ вліяніемъ, не полюбивъ смотрѣть его глазами, слышать его слухомъ, говорить его языкомъ. Нельзя изучить Байрона, не бывъ нѣкоторое время байронистомъ въ душѣ, Гёте—гёттистомъ, Шиллера—шиллеристомъ, и т. д. Конечно такое добровольное подчиненіе чуждому вліянію есть еще только экстатическое увлеченіе поетомъ, а не спокойное, строгое и истинное его пониманіе, — и до этого пониманія можно дойти только черезъ переходъ изъ восторженнаго увлеченія къ хладнокровно спокойному созерцанію, но это увлеченіе поетомъ есть первый и необходимый моментъ въ процессѣ его изученія. И потому нельзя въ одно время изучить болѣе одного поэта, нельзя на это время не считать его выше всѣхъ другихъ поетовъ, нельзя не утратить своей способности понимать произведенія другихъ поетовъ и восхищаться ими. Когда одна великая мысль до такой степени обойметъ и наполнитъ собой человѣка, что сдѣлается костью отъ костей его, плотью отъ плоти его,—въ душѣ человѣка уже нѣтъ мѣста для другой мысли!

Обще-человѣческое безгранично только въ своей идеѣ; но, осуществляясь, оно принимаетъ извѣстный характеръ, извѣстный колоритъ, такъ сказать. Оттого, хотя всѣ великіе поэты выражали въ своихъ созданіяхъ обще-человѣческое, однакожъ творенія каждаго изъ нихъ отличаются своимъ собственнымъ характеромъ. Великъ Шекспиръ и великъ Байронъ; но рѣзкая черта отличаетъ творенія одного отъ твореній другого. Чѣмъ выше поэтъ, тѣмъ оригинальнѣе міръ его творчества,—и не только великіе, даже просто замѣчательные поэты тѣмъ и отличаются отъ обыкновенныхъ, что ихъ поэтическая дѣятельность ознаменована печатью самобытнаго и оригинальнаго характера. Въ этой характерной особенности заключается тайна ихъ личности и тайна ихъ поэзіи. Уловить и опредѣлять сущность этой особенности—значитъ найти ключъ къ тайнѣ личности и поэзіи поэта. Въ чемъ же должно искать этого ключа?

Каждое поэтическое произведеніе есть плодъ могучей мысли, овладѣвшей поетомъ. Еслибъ мы допустили, что эта мысль есть только результатъ дѣятельности его разсудка, мы убили бы этимъ не только искусство, но и самую возможность искусства. Въ самомъ дѣлѣ, что мудренаго было бы сдѣлаться по-

этомъ, и кто бы не въ состояніи былъ сдѣлаться поетомъ по нуждѣ, по выгодѣ или по прихоти, еслибъ для этого стоило только придумать какую-нибудь мысль, да и втиснуть ее въ придуманную же форму? Нѣтъ, не такъ это дѣлается поэтами по натурѣ и призванію! У того, кто не поэтъ по натурѣ, пусть придуманная мысль будетъ глубока, истинна, даже свята,—произведеніе все-таки выйдетъ мелочное, ложное, фальшивое, уродливое, мертвое,—и никого не убѣдитъ оно, а скорѣе разочаруетъ каждаго въ выраженной имъ мысли, не смотря на всю ея правдивость! Но между тѣмъ такъ-то именно и понимаетъ толпа искусство, этого-то именно и требуетъ она отъ поетовъ! Придумайте ей на досугѣ мысль получше, да потомъ и обдѣлайте ее въ какой-нибудь вымыселъ, словно брильянтъ въ золото! Вотъ и дѣло съ концомъ! Нѣтъ, не такія мысли и не такъ овладѣваютъ поетомъ и бывають живыми зародышами живыхъ созданій. Искусство не допускаетъ къ себѣ отвлеченныхъ философскихъ, а тѣмъ менѣе разсудочныхъ идей: оно допускаетъ только идеи поэтическія, а поэтическая идея—это не силлогизмъ, не догматъ, не правило, это—живая страсть, это—паяосъ. Что такое паяосъ?—Творчество—не забава, и художественное произведеніе—не плодъ досуга или прихоти; оно стоитъ художнику труда: онъ самъ не знаетъ, какъ западаетъ въ его душу зародышъ новаго произведенія; онъ носитъ и вынашиваетъ въ себѣ зерно поэтической мысли, какъ носить и вынашиваетъ младенца въ утробѣ своей; процессъ творчества имѣетъ аналогію съ процессомъ дѣторожденія и не чуждъ мукъ, разумѣется, духовныхъ, этого физическаго акта. И потому, если поэтъ рѣшится на трудъ и подвигъ творчества, значить, что его къ этому движетъ, стремится какая-то могучая сила, какая-то непобѣдимая страсть. Эта сила, эта страсть—паяосъ. Въ паяосѣ поэтъ является влюбленнымъ въ идею, какъ въ прекрасное, живое существо, страстно проникнутымъ ей,—и онъ созерцаетъ ее не разумомъ, не разсудкомъ, не чувствомъ и не какой-либо одной способностью своей души, но всей полнотой и цѣлостью своего нравственнаго бытія,—потому идея является въ его произведеніи не отвлеченной мыслью, не мертвой формой, а живымъ созданіемъ, въ которомъ живая красота формы свидѣтельствуетъ о пребываніи въ ней божественной идеи, и въ которой нѣтъ черты, свидѣтельствующей о спивкѣ или спайкѣ,—нѣтъ границы между идеей и формой, но та и другая является цѣлымъ и единымъ органическимъ созданіемъ. Идеи истекають изъ разума; но живое творить и рождаетъ не разумъ, а любовь. Отсюда ясно видна разница между идеей отвлече-

ченной и поэтической: первая — плод ума, вторая — плод любви, какъ страсти. Но отчего же, скажутъ, называть это паеосомъ, а не страстью?—Оттого, что слово «страсть» заключаетъ въ себѣ понятіе болѣе чувственное, тогда какъ слово «паеосъ» заключаетъ въ себѣ понятіе болѣе нравственное. Въ страсти много индивидуальнаго, личнаго, своекорыстнаго, темнаго; въ ней можетъ быть даже низкое и подлое, потому что можно питать страсть не только къ женщинѣ, но и къ женщинамъ, не только къ славѣ, но и къ почестямъ, можно питать страсть къ деньгамъ, къ вину, къ гастрономіи. Въ страсти много чисто чувственного, кроваваго, нервическаго, тѣлеснаго, земнаго. Подъ «паеосомъ» разумѣется тоже страсть, и притомъ соединенная съ волненіемъ крови, съ потрясеніемъ всей нервной системы, какъ и всякая другая страсть; но паеосъ всегда есть страсть, возжигаемая въ душѣ человека идеей и всегда стремящаяся къ идеѣ, слѣдовательно страсть чисто духовная, нравственная, небесная. Паеосъ простое умственное постиженіе идеи превращаетъ въ любовь къ идеѣ, полную энергіи и страстнаго стремленія. Въ философіи идея является безплотной; черезъ паеосъ она превращается въ тѣло, въ дѣйствительный фактъ, въ живое созданіе. Отъ слова паеосъ или патосъ (pathos) происходитъ слово патетическій, наиболѣе употребляемое въ отношеніи къ драматической поэзіи, какъ къ наиболѣе исполненной паеоса по своей сущности. Но мы лучше объяснимъ значеніе паеоса указаніемъ на него въ великихъ произведеніяхъ искусства.

Паеосъ Шекспировской драмы «Ромео и Джульета» составляетъ идея любви,—и потому пламенными волнами, сверкающими яркимъ свѣтомъ звѣздъ, льются изъ устъ любовниковъ восторженные патетическія рѣчи... Это паеосъ любви, потому что въ лирическихъ монологахъ Ромео и Джульеты видно не одно только любованіе другъ другомъ, но и торжественное, гордое, исполненное упоенія, признаніе любви, какъ божественнаго чувства. Въ тѣхъ монологахъ Ромео и Джульеты, когда ихъ любви начало угрожать несчастье, бурнымъ потокомъ изливается энергія раздраженнаго чувства, вдругъ встрѣтившее препятствіе своему вольному и широкому разливу.—Паеосъ «Гамлета» составляетъ борьба негодованія на порокъ и преступленіе съ безсиліемъ вступить съ ними въ открытый и отчаянный бой, какъ того требуетъ сознаніе долга. Гамлетъ въ покойномъ королѣ страстно любитъ отца и высоко уважалъ великаго человека;—этотъ король вѣроломно, измѣннически убить — и кѣмъ же?—шуткомъ и пьяницей, человекомъ бездушнымъ и подлымъ, который укралъ у сво-

его роднаго брата и корону, и жизнь, и честь его жены, Гамлетовой матери, которая, по ничтожеству своего характера, дѣлать съ убійцей своего царя и брата, а ея мужа, неправедно добытую власть и оскверненное прелюбодѣяніемъ ложе!.. Сколько причинъ для Гамлета мстить неумолимо, страшно за поруганное право, за грѣхъ царевубійства и братубійства, за порокъ матери, за украденную подъ полой корону, за добродѣтель, за величіе, за себя самого!.. Онъ знаетъ, что ему должно дѣлать, на что его вызвала судьба,—и онъ робѣетъ предстоящаго подвига, блѣднѣетъ страшнаго вызова, колеблется и только говорить, вмѣсто того чтобъ дѣлать, въ своей позорной нерѣшительности. Но если слаба его воля, то душа его столько же велика, сколько и чиста. Онъ это сознаетъ,—и съ какой горечью, съ какой страстью высказывается его презрѣніе къ самому себѣ въ этихъ большихъ монологахъ, которые тотчасъ, какъ онъ остается одинъ и сдерживаемое доселѣ чувство получаетъ свободу, вырываются изъ него, словно огромная рѣка, скинувшая съ себя вѣшній ледъ и затопляющая окрестныя поля... Въ этихъ патетическихъ монологахъ высказывается весь паеосъ этой трагедіи, выступаетъ наружу та внутренняя эксцентрическая сила, которая заставила поэта взяться за перо, чтобъ сложить съ души своей тяготившее ее бремя... Такихъ примѣровъ можно было бы привести много, но для объясненія нашей мысли довольно и этихъ двухъ.

Итакъ, каждое поэтическое произведеніе должно быть плодомъ паеоса, должно быть проникнуто имъ. Безъ паеоса нельзя понять, что заставило поэта взяться за перо и дало ему силу и возможность начать и кончить иногда довольно большое сочиненіе. Поэтому выраженія: «въ этомъ произведеніи есть идея, а въ этомъ нѣтъ идеи», не совсѣмъ точны и опредѣленны. Вмѣсто этого должно говорить: «въ чемъ состоитъ паеосъ этого произведенія?» или «въ этомъ произведеніи есть паеосъ, а въ этомъ нѣтъ». Это будетъ гораздо опредѣленнѣе и точнѣе: потому что многіе ошибочно принимаютъ за идею то, что можетъ быть идеей вездѣ, кромѣ произведенія, гдѣ ее думаютъ видѣть, и гдѣ она въ самомъ-то дѣлѣ является просто резонерствомъ, коекакъ прикрытымъ сшивными лохмотьями бѣдной формы, изъ подъ которой такъ и сквозитъ его нагота. Паеосъ—другое дѣло. Надо быть совершенно лишеннымъ всякаго эстетическаго такта, чтобъ увидѣть паеосъ въ произведеніи холодномъ, мертвомъ, въ которомъ идея съ формой слиты какъ масло съ водой или сшиты на живую нитку бѣлыми стежками.

Какъ ни многочисленны, какъ ни разно-

образны созданія великаго поэта, но каждое изъ нихъ живетъ своею жизнью, а потому и имѣетъ свой паеосъ. Тѣмъ не менѣе весь міръ творчества поэта, вся полнота его поэтической дѣятельности тоже имѣетъ свой единый паеосъ, къ которому паеосъ каждого отдѣльнаго произведенія относится какъ часть къ цѣлому, какъ оттѣнокъ, видоизмѣненіе главной идеи, какъ одна изъ ея безчисленныхъ сторонъ. И это относится не къ однимъ одностороннимъ поэтамъ, каковъ былъ напр. Байронъ, но также и къ такимъ, которыхъ произведенія удивляютъ своею многосторонностью и многообразіемъ направленій, каковъ напр. Шекспиръ. И это очень естественно: всякая личность единична; у ней можетъ быть много интересовъ и направленій, но всегда подъ преобладающимъ вліяніемъ одного главнаго; а такъ какъ личность есть живой и непосредственный источникъ творческой дѣятельности, то и всѣ произведенія поэта должны быть запечатлѣны единымъ духомъ, проникнуты единымъ паеосомъ. И вотъ этотъ-то паеосъ, разлитый въ полнотѣ творческой дѣятельности поэта, есть ключъ къ его личности и къ его поэзіи. Первымъ дѣломъ, первой задачей критика должна быть разгадка, въ чемъ состоитъ паеосъ произведеній поэта, котораго взялся онъ быть изъяснителемъ и оцѣнщикомъ. Безъ этого онъ можетъ раскрыть нѣкоторыя частныя красоты или частныя недостатки въ произведеніяхъ поэта, наговорить много хорошаго и ргоросъ къ нимъ; но значеніе поэта и сущность его поэзіи останутся для него такъ же тайной, какъ и для читателей, которые думали бы найти въ его критикѣ разрѣшеніе этой тайны. Сверхъ того онъ рискуетъ быть или пристрастнымъ хвалителемъ, или, что одно и то же, пристрастнымъ порицателемъ поэта, приписать ему достоинства и недостатки, которыхъ въ немъ нѣтъ, или не замѣтить тѣхъ, которые въ немъ есть. Но главное — онъ всегда ошибется въ общемъ выводѣ своихъ изслѣдованій о поэтѣ. Именно такимъ образомъ грѣшила противъ поэтовъ русская критика тридцатыхъ годовъ. Такъ наприм., одинъ критикъ того времени поставилъ въ величайшую вину поэзіи Жуковскаго то, что она совершенно лишена народности. Еслибъ онъ понималъ, что паеосъ поэзіи Жуковскаго есть романтизмъ—плодъ жизни западной Европы въ средніе вѣка и слѣдовательно элементъ, котораго совершенно чужда русская народность,—онъ не сталъ бы нападать на знаменитаго поэта за то, что составляетъ его величайшую заслугу.

Говоря о такомъ многостороннемъ и разнообразномъ поэтѣ, какъ Пушкинъ, нельзя не обращать вниманія на частности, нельзя не указывать въ особенности на то или другое

даже изъ мелкихъ его стихотвореній, и тѣмъ менѣе можно не говорить отдѣльно о каждой изъ большихъ его пьесъ; нельзя также не дѣлать изъ него большихъ или меньшихъ выписокъ; но, ограничившись только этимъ, критикъ не далеко бы ушелъ. Прежде всего нуженъ взглядъ общій не на отдѣльныя пьесы, а на всю поэзію Пушкина, какъ на особый и цѣлый міръ творчества. Этотъ общій взглядъ будетъ, въ лабиринтѣ разнообразныхъ и многочисленныхъ твореній поэта, аriadниной нитью и для критика, и для его читателей; при помощи этого взгляда сдѣлаются понятными и всѣ частности, и не будетъ нужды обращать вниманія на каждую изъ нихъ, а только на главнѣйшія. Разумѣется, этотъ общій взглядъ долженъ быть основанъ на вѣрномъ уразумѣніи паеоса поэта. Но какъ объяснить и опредѣлить паеосъ—предварительно ли это сдѣлать, такъ чтобы указаніями на отдѣльныя пьесы только подтверждать свою мысль, или начать аналитически и изъ разбора частныхъ дойти до опредѣленія паеоса? Мы думаемъ, что первое лучше, ибо творенія Пушкина такъ извѣстны всѣмъ и каждому, что можно говорить объ общемъ значеніи его поэзіи, не боясь не быть понятнымъ. Притомъ же наше дѣло—раскрыть передъ читателями не процессъ нашего изученія Пушкина, а оправдать результатъ этого изученія.

Много и многими было писано о Пушкинѣ. Всѣ его сочиненія не составляютъ и сотой доли порожденныхъ ими печатныхъ толковъ. Одни споры классиковъ съ романтиками за «Руслана и Людмилу» составили бы порядочную книгу, еслибы ихъ извлечь изъ тогдашнихъ журналовъ и издать вмѣстѣ. Но это было бы интересно только какъ историческій фактъ литературной образованности и литературныхъ нравовъ того времени,—фактъ, узнавъ который, нельзя не воскликнуть:

Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ

И таковы всѣ толки нашихъ аристарховъ о Пушкинѣ, и хвалебные, и порицательные; изъ нихъ ничего не извлечешь, ничѣмъ не воспользуешься. Исключеніе остается только за статьей Гоголя «О Пушкинѣ» въ «Арабескахъ», изданныхъ въ 1835 году. Объ этой замѣчательной статьѣ мы еще не разъ вспоминемъ въ продолженіе нашего разбора.

Пушкинъ былъ призванъ быть первымъ поетомъ-художникомъ Руси, дать ей поэзію, какъ искусство, какъ художество, а не только какъ прекрасный языкъ чувства. Само собою разумѣется, что одинъ онъ этого сдѣлать не могъ. Въ первыхъ нашихъ статьяхъ мы наложки весь ходъ изысканій словесности на Руси, показали начало и развитіе ея поэзіи, уча-

стіе, какое принимали въ этомъ предшествовавшіе Пушкину поэты, равно какъ и ихъ заслуги. Повторимъ здѣсь уже сказанное нами сравненіе, что всѣ эти поэты относятся къ Пушкину, какъ малыя и великія рѣки—къ морю, которое наполняется ихъ водами. Поэзія Пушкина была этимъ моремъ. По смыслу нашего сравненія, море больше и важнѣе рѣкъ; но безъ нихъ оно не могло бы образоваться. Такое сравненіе не можетъ быть оскорбительно для поэтовъ, предшествовавшихъ Пушкину, особенно если мы напомнимъ при этомъ, что поэтическая дѣятельность Жуковского явилась на высшей степени своего развитія и принесла самые сочные, зрѣлые и прекрасные плоды свои уже при Пушкинѣ, а Батюшковъ погасъ для литературы въ цвѣтѣ лѣтъ и силы. Чтобы изложить нашу мысль сколько возможно яснѣе и доказательнѣе, мы посвятили особую статью на разборъ не только ученическихъ стихотвореній ребенка-Пушкина, но и стихотвореній юноши-Пушкина, носящихъ на себѣ слѣды вліянія предшествовавшей школы. Эти послѣднія стихотворенія несравненно ниже тѣхъ, въ которыхъ онъ явился самостоятельнымъ творцомъ, но въ то же время они и далеко выше образцовъ, подъ вліяніемъ которыхъ были написаны. Тогда же мы замѣтили, что въ первой части «Стихотвореній Александра Пушкина» (1829) пьесы, писанныя подъ вліяніемъ прежней школы, больше, чѣмъ во второй, а въ третьей ихъ уже нѣтъ вовсе, но что и въ первой части почти на половину находится самостоятельныхъ стихотвореній Пушкина. Эта первая часть заключается въ себѣ стихотворенія, писанныя отъ 1815 до 1824 года; они расположены по годамъ, и потому можно видѣть, какъ съ каждымъ годомъ Пушкинъ являлся менѣе ученикомъ и подражателемъ, хотя и превосходшимъ своихъ учителей и образцовъ, и болѣе самостоятельнымъ поэтомъ. Вторая часть заключается въ себѣ пьесы, писанныя отъ 1825 до 1829 года, и только въ отдѣлѣ стихотвореній 1825 года замѣтно еще нѣкоторое вліяніе старой школы, а въ пьесахъ слѣдующихъ за тѣмъ годовъ оно уже исчезло совершенно. Читая стихотворенія Пушкина, отзывающіяся вліяніемъ прежней школы, чувствуешь и видишь, что была на Руси поэзія прежде Пушкина; но, читая по выбору только самостоятельныя его стихотворенія, не то что не вѣришь, а совершенно забываешь, что была на Руси поэзія и до Пушкина: такъ оригиналенъ, новъ и свѣжъ міръ его поэзіи! Тутъ нельзя даже сказать: то же, да не то! напротивъ, тутъ невольно воскликнешь: не то, совершенно не то! Стихъ Державина, часто столь неуклюжій и прозаическій, нерѣдко бываетъ въ поэтическомъ отношеніи могучъ, ярокъ, но въ отношеніи къ просодіи, грамматикѣ, синтаксису

и особенно къ акустическимъ требованіямъ языка онъ ниже стиха не только Дмитріева, но и Карамзина; стихъ Дмитріева и даже Озерова во всѣхъ этихъ отношеніяхъ неизмѣримо ниже стиха Жуковского и Батюшкова,—и было время, когда нельзя было не вѣрить, что подъ перомъ этихъ двухъ поэтовъ стихъ русскій дошелъ до крайней и послѣдней степени совершенства,—и между тѣмъ этотъ стихъ относится къ стиху Пушкина такъ же точно, какъ стихъ Дмитріева и Озерова относился къ стиху Жуковского и Батюшкова... Правда, впоследствии, т. е. при Пушкинѣ, стихъ Жуковского много усовершенствовался и въ переводѣ «Шиллеровскаго Узника», а также отчасти и въ переводѣ «Суда въ Подземельи» походилъ на крѣпкую дамасскую сталь, и у самого Пушкина нечего противопоставить этому стиху; но эту стальную крѣпость, эту необыкновенную сжатость и тяжело-упругую энергію ему сообщалъ тонъ поэмы Байрона и характеръ ея содержанія,—и Пушкинъ, еслибы онъ написалъ поему въ такомъ тонѣ и духѣ, конечно умѣлъ бы придать этому стиху еще новыя качества, сохранивъ главныя свойства стиха Жуковского,—чему можетъ служить доказательствомъ его поэма «Мѣдный Всадникъ». Обращаясь къ общей характеристикѣ стиха Жуковского и Пушкина, мы снова повторяемъ, что только при отсутствіи эстетическаго чутья и такта можно не видѣть между ними огромной разницы... Мы не безъ умысла такъ много распространяемся о стихѣ: ибо подъ стихомъ разумѣемъ первоначальную, непосредственную форму поэтической мысли,—форму, которая одна прежде и больше всего другого свидѣтельствуетъ о дѣйствительности и силѣ таланта поэта. Это стихъ, который дается талантомъ и вдохновеніемъ, а трудомъ только совершенствуется;—стихъ, который, какъ тѣло человѣка, есть откровеніе, осуществленіе души—идеи;—стихъ, которому нельзя выучиться, нельзя подражать, подъ который всякая поддѣлка, какъ бы ни была она ловка и искусна, всегда будетъ мертва, относясь къ нему, какъ искусно-сдѣланная восковая статуя или автоматъ относится къ живому человѣку. И потому стихъ Пушкина, въ самостоятельныхъ его пьесахъ вдругъ какъ бы сдѣлавшій крутой поворотъ или рѣзкій разрывъ въ исторіи русской поэзіи, нарушившій преданіе, явившій собой что-то небывавшее, непохожее ни на что прежнее,—этотъ стихъ былъ представителемъ новой, дотошъ небывалой поэзіи. И что же это за стихи! Античная пластика и строгая простота сочетались въ немъ съ обаятельной игрой романтической приемы; все акустическое богатство, вся сила русскаго языка явилась въ немъ въ удивительной полнотѣ; онъ нѣженъ, сладостенъ, мягокъ, какъ

ропотъ волны, тягучъ и густъ, какъ смола, ярокъ, какъ молнія, прозраченъ и чистъ, какъ кристаллъ, душистъ и благовоненъ, какъ весна, крѣпокъ и могучъ, какъ ударъ меча въ рукѣ богатыря. Въ немъ и обольстительная, невыразимая прелесть и грація, въ немъ ослѣпительный блескъ и кроткая влажность, въ немъ все богатство мелодіи и гармоніи языка и приема; въ немъ вся нѣга, все упоение творческой мечты, поэтического выражения. Если бы мы хотѣли охарактеризовать стихъ Пушкина однимъ словомъ, мы сказали бы, что это по превосходству поэтический, художественный, артистическій стихъ, — и этимъ разгадали бы тайну пафоса всей поэзии Пушкина...

Читая Гомера, вы видите возможную полноту художественнаго совершенства; но она не поглощаетъ всего вашего вниманія; не ей исключительно удивляетесь вы: васъ болѣе всего поражаетъ и занимаетъ разлитое въ поэзіи Гомера древне-эллинское міросозерцаніе и самый этотъ древне-эллинскій міръ. Вы на Олимпѣ среди боговъ, вы въ битвахъ среди героевъ; вы очарованы этой благородной простотой, этой вязанной патриархальностью героическаго вѣка народа, нѣкогда представлявшаго въ лицѣ своемъ цѣлое человѣчество; но поэтъ остается у васъ какъ бы въ сторонѣ, и его художество вамъ кажется чѣмъ-то уже необходимо принадлежащимъ къ поэміи, и потому вамъ какъ будто не приходится въ голову остановиться на немъ и подивиться ему. Въ Шекспирѣ васъ тоже останавливаетъ прежде всего не художникъ, а глубокий сердцевѣдецъ, міросообъемлющій созерцатель; художество же въ немъ какъ будто признается вами безъ всякихъ словъ и объясненій. Такъ, разсуждая о великомъ математикѣ, указываютъ на его заслуги наукѣ, не говоря объ удивительной силѣ его способности соображать и комбинировать до безконечности предметы. Въ поэзіи Байрона прежде всего обойметъ вашу душу ужасомъ удивленія колоссальная личность поэта, титаническая смѣлость и гордость его чувствъ и мыслей. Въ поэзіи Гёте передъ вами выступаетъ поэтически-созерцательный мыслитель, могучій царь и властелинъ внутренняго міра души человѣка. Въ поэзіи Шиллера вы преклонитесь съ любовью и благоговѣніемъ передъ трибуномъ человѣчества, провозвѣстникомъ гуманности, страстнымъ поклонникомъ всего высокаго и нравственно-прекраснаго. Въ Пушкинѣ, напротивъ, прежде всего увидите художника, вооруженнаго всеми чарами поэзии, призваннаго для искусства, какъ для искусства, исполненнаго любви, интереса ко всему эстетически-прекрасному, любящаго все и потому терпимаго ко всему. Отсюда всѣ достоинства, всѣ недостатки его поэзии, —

и если вы будете разсматривать его съ этой точки, то съ удвоенной полнотой насладитесь его достоинствами и оправдаете его недостатки, какъ необходимое слѣдствіе, какъ оборотную сторону его же достоинствъ...

Призваніе Пушкина объясняется исторіей нашей литературы. Русская поэзія — пересадокъ, а не туземный плодъ. Всякая поэзія должна быть выраженіемъ жизни въ обширномъ значеніи этого слова, обнимающаго собой весь міръ физическій и нравственный. До этого ее можетъ довести только мысль. Но, чтобы быть выраженіемъ жизни, поэзія прежде всего должна быть поэзіей. Для искусства нѣтъ никакого выигрыша отъ произведенія, о которомъ можно сказать: умно, истинно, глубоко, но прозаично. Такое произведение похоже на женщину съ великой душой, но съ безобразнымъ лицомъ: ей можно удивляться, но полюбить ее нельзя; а между тѣмъ немножко любви сдѣлало бы счастливей, чѣмъ много удивленія, не только ее, но и мужчину, въ которомъ она возбудила это удивленіе. Произведенія непозитическія безплодны во всѣхъ отношеніяхъ; между тѣмъ какъ произведенія на половину прозаическія бываютъ полезны для общества и для частныхъ людей; но они дѣйствуютъ и въ этомъ отношеніи только на половину. Гдѣ помнѣть начало поэзии, гдѣ поэзія явилась не какъ плодъ національной жизни, а какъ плодъ цивилизаціи, тамъ для полнаго развитія поэзии нужно прежде всего выработать поэтическую форму; ибо, повторяемъ, поэзія прежде всего должна быть поэзіей, а потомъ уже выражать собой то и другое. Вотъ причина явленія Пушкина такимъ, какимъ онъ былъ, и вотъ почему онъ ничѣмъ другимъ быть не могъ. До него у насъ не было даже предчувствія того, что такое искусство, художество, которое составляетъ собой одну изъ абсолютныхъ сторонъ духа человѣческаго. До него поэзія была только краснорѣчивымъ изложеніемъ прекрасныхъ чувствъ и высокихъ мыслей, которыя не составляли ея души, но къ которымъ она относилась какъ удобное средство для доброй цѣли, какъ бѣлила и румяна для блѣднаго лица старушки-истины. Это мертвое понятіе о пользѣ поэтической формы для выраженія моральныхъ и другихъ идей породило такъ называемую дидактическую поэзію и было выражено Мерзляковымъ въ слѣдующихъ стихахъ, кажется, переведенныхъ имъ изъ Тассо: Такъ врачъ болящаго младенца ко устамъ Несетъ фіалъ, сладкими упитанъ по краямъ: Счастливецъ, обольщенъ, пьетъ горькое цѣленье, Обманъ ему далъ жизнь, обманъ ему спасенье!

Наша русская поэзія до Пушкина была именно позолоченной пиллудой, подслащеннымъ лѣкарствомъ. И потому въ ней истинная, вдохновенная и творческая поэзія только

проблескивала временами въ частностяхъ, и эти проблески тонули въ массѣ риторической воды. Много было сдѣлано для языка, для стиха, кое-что было сдѣлано и для поэзіи; но поэзіи, какъ поэзіи, то есть такой поэзіи, которая, выражая то или другое, развивая такое или иное міросозерцаніе, прежде всего была бы поэзіей,—такой поэзіи еще не было! Пушкинъ былъ призванъ быть живымъ откровеніемъ ея тайны на Руси. И такъ какъ его назначеніе было завоевать, усвоить навсегда русской землѣ поэзію какъ искусство, такъ, чтобъ русская поэзія имѣла потомъ возможность быть выраженіемъ всякаго направленія, всякаго созерцанія, не боясь перестать быть поэзіей и перейти въ риёмованную прозу,—то естественно, что Пушкинъ долженъ былъ явиться исключительно художникомъ.

Еще разъ: до Пушкина были у насъ поэты, но не было ни одного поэта-художника; Пушкинъ былъ первымъ русскимъ поэтомъ-художникомъ. Поэтому даже самыя первыя незрѣлыя юношескія его произведенія, каковы: «Русланъ и Людмила», «Братья-Разбойники», «Кавказскій Пльнникъ» и «Бахчисарайскій Фонтанъ», отмѣтили своимъ появленіемъ новую эпоху въ исторіи русской поэзіи. Всѣ, не только образованные, даже многіе просто грамотные люди, увидѣли въ нихъ не просто новыя поэтическія произведенія, но совершенно новую поэзію, которой они не знали на русскомъ языкѣ не только образца, но на которую они не видали никогда даже намека. И эти поэмы читались всей грамотной Россіей; онѣ ходили въ тетрадкахъ, переписывались дѣвчушками, охотницами до стишковъ, учениками на школьныхъ скамейкахъ, украдкой отъ учителя, сидѣльцами за прилавками магазиновъ и лавокъ. И это дѣлалось не только въ столицахъ, но даже и въ уѣздныхъ захолустьяхъ. Тогда-то поняли, что различіе стиховъ отъ прозы заключается не въ риёмъ и размѣръ только, но что и стихи въ свою очередь могутъ быть и поэтическіе, и прозаическіе. Это значило уразумѣть поэзію уже не какъ что-то вѣдшее, но въ ея внутренней сущности. Явился теперь на Руси поэтъ, который былъ бы неизмѣримо выше Пушкина,—его появленіе уже не могло бы надѣлать столько шума, возбудить такой общій, такой страшный энтузіазмъ, потому что послѣ Пушкина поэзія—уже не невиданная, не неслыханная вещь. И по тому же самому теперь уже слишкомъ слабый успѣхъ могъ получить поэтъ, который, не уступая Пушкину въ талантѣ, даже превосходя его въ этомъ отношеніи, былъ бы, подобно ему, преимущественно художникомъ.

Если въ поименованныхъ нами первыхъ

поэмахъ Пушкина видно такъ много этого художества, которымъ такъ рѣзко отдѣлились онѣ отъ произведеній прежнихъ школъ, то еще болѣе художества въ самобытныхъ лирическихъ пьесахъ Пушкина. Поэмы, о которыхъ мы говорили, уже много потеряли для насъ своей прежней прелести; мы уже пережили и слѣдовательно обогнали ихъ; но мелкія пьесы Пушкина, ознаменованныя самобытностью его творчества, и теперь такъ же обаятельно прекрасны, какъ и были во время появленія ихъ въ свѣтъ. Это понятно: поэма требуетъ той зрѣлости таланта, которую даетъ опытъ жизни,—и этой зрѣлости нѣтъ нисколько въ «Русланѣ и Людмилѣ», «Братьяхъ-Разбойникахъ» и «Кавказскомъ Пльнникѣ», а въ «Бахчисарайскомъ Фонтанѣ» замѣтенъ только успѣхъ въ искусствѣ; но юность—самое лучшее время для лирической поэзіи. Поэма требуетъ знанія жизни и людей, требуетъ созданія характеровъ, слѣдовательно своего рода драматизировки; лирическая поэзія требуетъ богатства ощущеній,—а когда же грудь человѣка наиболѣе богата ощущеніями, какъ не въ лѣта юности?

Тайна Пушкинскаго стиха была заключена не въ искусствѣ «сливать послушныя слова въ стройные размѣры и замывать ихъ звонкой риёмой», но въ тайнѣ поэзіи. Душѣ Пушкина присуща была прежде всего та поэзія, которая не въ книгахъ, а въ природѣ, въ жизни,—присущно художество, печать котораго лежитъ на «полномъ твореніи славы». Разумъ—это духъ жизни, душа ея; поэзія—это улыбка жизни, ея свѣтлый взглядъ, играющій всѣми переживаниями быстро смѣняющихся ощущеній. Бываютъ женщины, одаренныя отъ природы рѣдкой красотой, но которыхъ строго правильныя черты лица поражаютъ какой-то сухостью, а движенія лишены граціи; такія женщины могутъ быть по своему ослѣпительно блестящими и возбуждать удивленіе, но ихъ появленіе не заставитъ ничье сердце забиться отъ невидимаго волненія, ихъ красота не родитъ любви, а красота, не сопутствуемая харитой любви, лишена жизни, лишена поэзіи. Такъ точно и природа и жизнь возбуждали бы только холодное удивленіе, еслибъ онѣ не были насквозь проникнуты поэзіей; не любовью—небеснымъ огнемъ жизни, а холодной сыростью могилы вѣдало бы отъ нихъ. Пусть свѣтила небесныя образуютъ собой стройныя міры; не тѣмъ только возвышаютъ они душу созерцающаго ихъ человѣка, но поэзіей своего таинственнаго мерпанія; но дивной красотой живой игры своихъ блѣдно-огнистыхъ лучей; въ ихъ стройномъ ходѣ Пинеагоръ видѣлъ не одну математику въ фактѣ, но и слышалъ гармонію міровъ... Еслибъ солнце только грѣло и свѣтило, оно было бы не бо-

лѣе, какъ огромный фонарь, огромная печка; но оно проливаетъ на землю яркій, весело дрожащій, радостно играющій лучъ,—и земля встрѣчаетъ этотъ лучъ улыбкой, а въ этой улыбкѣ—невыразимое очарованіе, неумовимая поэзія... Природа полна не однихъ органическихъ силъ,—она полна и поэзіи, которая наиболѣе свидѣлствуетъ о ея жизни: въ ея вѣчномъ движеніи, въ колыханіи ея лѣсовъ, въ трепетѣ серебристаго листа, на которомъ любовно играетъ лучъ солнца, въ ропотѣ ручья, въ нѣи вѣтра, волнующаго золотистую жатву, разлитъ для человѣка таинственный блескъ и слышатся ему живые голоса, то грустные и одинокіе, какъ звуки золотой арфы, то веселые, радостные, какъ пѣсни взвивающагося подъ небо жаворонка... Человѣкъ еще болѣе исполненъ поэзіи. Отчего вамъ такъ хочется расцѣловать этого ребенка, шумно играющаго на лугу; отчего такъ пѣвняють васъ и его блестящіе чистой радостью глаза, его дышащая блаженствомъ улыбка, живость и рѣзвость его движеній?—Что общаго между вами, измученнымъ жизнью, опытомъ и житейскими заботами,—вами, чело-вѣкомъ пожилымъ и мудрымъ, и между имъ, ничего не понимающимъ, почти безсознательнымъ существомъ? Зачѣмъ же, торопливо бѣжа по важному дѣлу съ озабоченнымъ видомъ, вы вдругъ остановились на лугу, забывъ ваши важныя дѣла, и съ улыбкой умиленія смотрите на это дитя, и чело ваше разгладилось и прояснѣло, забота на мигъ слетѣла съ него, и улыбка счастья на мгновеніе освѣтила ваше угрюмое лицо, какъ лучъ солнца, проникнувшій съвозъ щель въ мрачное подземелье и трепетно заигравшій на сырмѣ его полу?... Оттого, что видъ этого дитяти пахнулъ на васъ поэзіей жизни... Вотъ прекрасная молодая женщина: въ чертахъ лица ея вы не находите никакого опредѣленнаго выраженія—это не олицетвореніе чувства, души, доброты, любви, самоотверженія, возвышенности мысли и стремленій, словомъ, ничто не говоритъ вамъ въ этомъ лицѣ ни о какомъ рѣзко выпечатавшемся нравственномъ качествѣ: оно только прекрасно, мило, одушевлено жизнью—и больше ничего; вы не влюблены въ эту женщину и чужды желанію быть любимымъ ей; вы спокойно любуетесь прелестью ея движеній, граціей ея манеръ,—и въ то же время въ ея присутствіи сердце ваше бьется какъ-то живѣе, а кроткая гармонія счастья мгновенно разливается въ душѣ вашей... Отчего это, если не оттого, что красота сама по себѣ есть качество и заслуга, и притомъ еще великая? Прекрасна и любезна истина и добродѣтель, но и красота также прекрасна и любезна, и одно другого стоитъ; одно другого замѣнить не можетъ, но то и другое въ

одинаковой степени составляетъ потребность нашего духа. Вотъ почему древніе греки въ своемъ поэтическомъ политеизмѣ обоже-ствовали не только истину, знаніе, могущество, мудрость, доблесть, справедливость, цѣломудріе, но и красоту, сопровождаемую харитами любви и желанія... По ихъ религіозному созерцанію, исполненному поэзіи и жизни, богиня красоты обладала таинственнымъ поясомъ,—

..... всѣ обаянія въ немъ заключались:
Въ немъ и любовь, и желанія, въ немъ и зна-
комства, и просьбы,
Лестивыя рѣчи, не разъ уловявшія умъ ираз-
умныхъ.

Чтобъ выразить всю силу неотразимаго вліянія на душу и сердце человѣка поэзіи Гомера, греки говорили, что онъ похитилъ поясъ Афродиты...

Пушкинъ первый изъ русскихъ поэтовъ овладѣлъ поясомъ Киприды. Не только стихъ, но каждое ощущеніе, каждое чувство, каждая мысль, каждая картина исполнены у него невыразимой поэзіи. Онъ созерцалъ природу и дѣйствительность подъ особеннымъ угломъ зрѣнія, и этотъ уголъ былъ исключительно поэтической. Муза Пушкина это—дѣвушка-аристократка, въ которой обольстительная красота и граціозность непосредственности сочетались съ изяществомъ тона и благородной простотой, и въ которой прекрасныя внутреннія качества развиты и еще болѣе возвышены виртуозностью формы, до того усвоенной ею, что эта форма сдѣлалась ей второй природой.

Самобытныя мелкія стихотворенія Пушкина не восходятъ датѣ 1819 года, и съ каждымъ слѣдующимъ годомъ увеличиваются въ числѣ. Изъ нихъ прежде всего обратимъ вниманіе на тѣ маленькія пьесы, которыя и по содержанію и по формѣ отличаются характеромъ античности, и которыя съ перваго раза должны были показать въ Пушкинѣ художника по превосходству. Простота и обаяніе ихъ красоты выше всякаго выраженія: это музыка въ стихахъ и скульптура въ поэзіи. Пластическая рельефность выраженія, строгій классическій рисунокъ мысли, полнота и оконченность цѣлаго, нѣжность и мягкость отдѣлки въ этихъ пьесахъ обнаруживаютъ въ Пушкинѣ счастливаго ученика мастеровъ древняго искусства. А между тѣмъ онъ не зналъ по-гречески, и вообще многосторонній, глубокой художнической истинности замѣнялъ ему изученіе древности, въ школѣ которой воспитываются всѣ европейскіе поэты. Этой поэтической натурѣ ничего не стоило быть гражданиномъ всего міра и въ каждой сферѣ жизни быть какъ у себя дома; жизнь и природа, гдѣ бы ни встрѣтилъ онъ

ихъ, свободно и охотно ложились на полотиѣ подъ его кистью.

До Пушкина было довольно переводовъ изъ греческихъ поэтовъ, равно какъ и подражаній греческимъ поэтамъ; не говоря уже о попыткѣ Кострова перевести «Иліаду» и о многочисленныхъ переводахъ и подражаніяхъ Мерзлякова, много было переведено изъ Анакреона Львовымъ, но, не смотря на все это, за исключеніемъ отрывковъ изъ переводимой Гнѣдичемъ «Иліады», на русскомъ языкѣ не было ни одной строки, ни одного стиха, который бы можно было принять за намекъ на древнюю поэзію. Такъ продолжалось до Батюшкова, муза котораго была въ родствѣ съ музой эллинской и который превосходно перевелъ нѣсколько пьесъ изъ антологіи. Пушкинъ почти ничего не переводилъ изъ греческой антологіи, но писалъ въ ея духѣ такъ, что его оригинальные пьесы можно принять за образцовые переводы съ греческаго. Это большой шагъ впередъ передъ Батюшковымъ, не говоря уже о томъ, что на сторонѣ Пушкина большое преимущество и въ достоинствѣ стиха. Посмотрите, какъ эллински или какъ артистически (это одно и то же) рассказалъ Пушкинъ о своемъ художественномъ призваніи, почувствованномъ имъ еще въ лѣта отрочества; эта пьеса называется «Муза»:

Въ младенчествѣ моею она меня любила
И семистольную цѣвницу мнѣ вручила;
Она внимала мнѣ съ улыбкой, и слегка
По звонкимъ скважинамъ пустого тростника
Уже наигрывала я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И пѣсни мирныя фригійскихъ пастуховъ.
Съ утра до вечера въ нѣмой тѣни дубовъ
Прилежно я внималъ урокамъ дѣвы тайной;
И, радуя меня наградою случайной,
Откинувъ локоны отъ милаго чела,
Сама изъ рукавъ моихъ свирѣль она брала:
Тростникъ былъ оживленъ божественнымъ ды-
дыханьемъ
И сердце наполняла святымъ очарованьемъ.

Да, несмотря на счастливые опыты Батюшкова въ антологическомъ родѣ, такихъ стиховъ еще не бывало на Руси до Пушкина! Нельзя не дивиться въ особенности тому, что онъ умѣлъ сдѣлать изъ шестистопнаго ямба — этого несчастнаго стиха, доведеннаго до пошлости русскими эпиками и трагиками добраго стараго времени. За него уже было отчаялись какъ за стихъ неуклюжій и монотонный, а Пушкинъ воспользовался имъ, словно дорогимъ паросскимъ мраморомъ для чудныхъ изваяній, видимыхъ слухомъ... Прислушайтесь къ этимъ звукамъ, — и вамъ покажется, что вы видите передъ собой превосходную античную статую:

Среди зеленыхъ волнъ, лобзающихъ Тавриду,
На утренней зарѣ я видѣлъ Нерекду.
Скрытый межъ деревьевъ, едва я смѣлъ дохнуть;

Надъясной влагою полубогиня грудь
Младую, бѣлую какъ лебедь, воздымала
И влагу изъ власовъ струею выжимала.

Акустическое богатство, мелодія и гармонія русскаго языка въ первый разъ явились во всемъ блескѣ въ стихахъ Пушкина. Мы не знаемъ ничего, что могло бы въ этомъ отношеніи сравниться съ этой пьеской:

Я вѣрю, — я любимъ; для сердца нужно вѣрить.
Нѣтъ, милая моя не можетъ лицемерить;
Все непритворно въ ней: желаній томный жаръ,
Стыдливости робкая, харити безцѣнный даръ,
Нарядовъ и рѣчей пріятная небрежность
И ласковыя имъ младенческая нежность.

Правда, послѣдній стихъ есть не болѣе, какъ вѣрный переводъ стиха Андре Шенье — «*Et des pomscartessants la mollesse enfantine*»; но если гдѣ имѣетъ глубокий смыслъ выраженіе: «онъ беретъ свое, гдѣ ни увидитъ его», то конечно въ отношеніи къ этому стиху, который Пушкинъ умѣлъ сдѣлать своимъ.

Тѣмъ же античнымъ духомъ вѣетъ и въ антологическихъ пьесахъ Пушкина, писанныхъ гекзаметромъ. Между ними особенно превосходны пьесы «Трудъ» и «Чистый лоснится полъ; чаши блистаютъ» (первая оригинальная, вторая изъ Ксенофана Колофонскаго). Мы ограничимся выпиской, тоже превосходной, но только маленькой пьесы, принадлежащей впрочемъ къ самому позднему времени поэтической дѣятельности Пушкина:

Юношу, горько рыдая, ревнивая дѣва бранила;
Къ ней на плечо преклоненъ; юноша вдругъ
задремалъ.
Дѣва тотчасъ умолкла, сонъ его легкій легла,
И улыбалась ему, тихія слезы дѣла.

Пушкинъ никогда не оставлялъ совершенно этого рода стихотвореній; но въ первую пору своей поэтической дѣятельности особенно много писалъ ихъ. Это понятно: созерцаніе любви и наслажденій жизни въ духѣ древнихъ особенно соотвѣтствуетъ эпохѣ юности каждаго человѣка. Вотъ перечень всѣхъ антологическихъ стихотвореній Пушкина: «Виноградъ», «О дѣва-роза, я въ оковахъ», «Доридѣ», «Рѣдѣть облаковъ летучая гряда», «Нереида», «Дорида», «Муза», «Діонея», «Дѣва», «Примѣты», «Красавица передъ зеркаломъ», «Ночь», «Сафо», «Кобылица молодая», «Царско-сельская статуя», «Отрокъ», «Риема», «Трудъ», «Чистый лоснится полъ», «Славная флейта», «Θεονъ», «Юношу горько рыдая», «LVIII ода Анакреона», «Богъ веселый винограда», «Юноша, скромно пируй», «Мальчику» (изъ Каталла), «Узнаемъ коней ретивыхъ» (изъ Анакреона), «Леила». Послѣднія семь, послѣ превосходной пьесы «Юношу горько рыдая», не отличаются особеннымъ поэтическимъ достоинствомъ; но слѣдующія двѣ просто не-

удачны: «Кто на снѣгахъ возрастилъ Оеокритовы нѣжныя розы» и «На переводъ «Иліады».

Перечтите пьесы: «Домовому», «Недоконченная картина», «Возрожденіе», «Умолкну скоро я», «Земля и Море», «Алексѣеву», «Ч***ву», «Зачѣмъ безвременную скуку», «Люблю вашъ сумракъ неизвѣстный», и еще болѣе пьесы: «Простишь ли мнѣ ревнивыя мечты», «Ненастный день потухъ», «Ты вѣнешь и молчишь», «Къ морю», — взглядитесь и вслушайтесь въ этотъ стихъ, въ этотъ оборотъ мысли, въ эту игру чувства: во всемъ найдете чистую поэзію, безукоризненное искусство, полное художество, безъ малѣйшей примѣси прозы, какъ старое крѣпкое вино безъ малѣйшей примѣси воды. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ вы можете придаться къ мысли, недостаточно глубокой, къ взгляду на вещи, слишкомъ юному или слишкомъ отрывающемуся эпохой; но со стороны поэзіи выраженія и поэзіи созерцанія вамъ нечего будетъ осудить. Сравните и эти пьесы съ произведеніями предшествовавшихъ Пушкину школъ русской поэзіи: между ними не будетъ никакой связи; вы увидите совершенный перерывъ, если не возьмете въ соображеніе тѣхъ пьесъ Пушкина, которыя мы означили именемъ переходныхъ и о которыхъ говорили подробно въ предшествовавшей статьѣ. Это не значить, чтобъ въ произведеніяхъ прежнихъ школъ не было ничего примѣчательнаго, или чтобъ они были вовсе лишены поэзіи: напротивъ, въ нихъ много примѣчательнаго, и они исполнены поэзіи, но есть безконечная разница въ характерѣ ихъ поэзіи и характерѣ поэзіи Пушкина. Произведенія прежнихъ школъ въ отношеніи къ произведеніямъ Пушкина — то же, что народная пѣсня, исполненная души и чувства, народнымъ напѣвомъ пропѣтая простолюдиномъ, въ отношеніи къ лирической пѣснѣ поэта-художника, положенной на музыку великимъ композиторомъ и пропѣтой великимъ мѣвцомъ.

Сравнимъ для доказательства пѣсѣ замѣчательнѣйшаго изъ прежнихъ поэтовъ, «Пѣсня», съ пѣсней Пушкина «Несчастный день потухъ»:

О, милый другъ, теперь съ тобою радость!
А я одинъ — и мой печаленъ путь;
Живи, вкушай невинной жизни сладость;
Въ душѣ не измѣнись; достойна счастья будь...
Но не отринь, въ толпѣ плѣннемыхъ тобою,
Ты друга прежняго, увидшаго душою;
Веселье ихъ дѣли — ему отрадой будь;
Его, мой другъ, не позабудь.
О, милый другъ, намъ рокъ велѣлъ разлуку;
Дни, мѣсяцы и годы пролетать,

Вотще къ тебѣ простру отъ сердца руку, —
Ни голосъ твой, ни взоръ меня не усладятъ;
Но я вдали съ тобою душа моя согласна,
Любовь ни времени, ни мѣсту не подвластна;
Всегда, вездѣ ты мой хранитель ангелъ будь,
Меня, мой другъ, не позабудь.

О, милый другъ, пусть будетъ прахъ холодный
То сердце, гдѣ любовь къ тебѣ жила:
Есть лучшій міръ; тамъ мы любить свободны;
Туда душа моя ужъ все перенесла;
Туда всечастное стремитъ меня желанье;
Тамъ свидимся опять: тамъ наше воздаянье;
Сей вѣрой сладкою полна въ разлуку будь —
Меня, мой другъ, не позабудь.

Чувство, составляющее пафосъ этого стихотворенія, лишено простоты и естественности, а слѣдовательно и истины; оно можетъ быть напущено на человѣка мечтательностью и поддерживаемо долгое время упрямствомъ фантазіи; но и напущенное чувство, по странному противорѣчію человѣческой природы, такъ же можетъ быть источникомъ блаженства и страданія, какъ и чувство истинное. Подъ этимъ условіемъ мы охотно допускаемъ, что приведенное нами стихотвореніе, несмотря на его сантиментальность и отсутствие всякой страстности, есть голосъ души, языкъ сердца, краснорѣчіе чувства; но оно — не поэзія. Его форма болѣе краснорѣчива, чѣмъ поэтична; въ его выраженіи, болѣзненно грустномъ и расплывающемся, есть что-то прозаическое, темное, лишенное мягкости и нѣжности художественной отдѣлки. А между тѣмъ это одно изъ лучшихъ произведеній старой школы русской поэзіи и въ свое время производило фуроръ. Теперь сравните его съ пѣсней Пушкина, въ которой выражена та же мысль разлуки съ любимымъ предметомъ:

Ненастный день потухъ; ненастной ночи мгла
По небу стелется одеждою свинцовой;
Какъ привидѣніе, за рощей сосновой
Луна туманная взошла...
Все мрачную тоску на душу мнѣ наводитъ!
Далеко тамъ луна въ снѣгахъ восходитъ;
Тамъ воздухъ напоенъ вечерней теплотой;
Тамъ море движется роскошной пеленой
Подъ голубыми небесами...
Вотъ время: по горѣ теперь идетъ она
Къ брегамъ, потопленнымъ шумящими волнами;
Тамъ, подъ заветными скалами,
Теперь она сидитъ печальна и одна...
Одна... никто предъ ней не плачетъ, не тоскуетъ;
Никто ея колѣня въ забвеньи не цѣлуетъ;
Одна... ничѣмъ устамъ она не предастъ
Ни плечъ, ни влажныхъ устъ, ни персей бѣлоснѣжныхъ.

Никто ея любви небесной не достижитъ.
Не правда-ль, ты одна... ты плачешь... я спокоемъ.

Но если.

Здѣсь не то: въ пафосѣ стихотворенія столько жизни, страсти, истины!.. Луна, восходящая надъ сосновой рощей, напоминаетъ поэту другую луну, которая въ это томительное для его души время восходитъ далеко, тамъ, гдѣ природа такъ роскошно прекрасна, — и поэтъ предается невольно мечтѣ о ней, которая въ эту пору одна идетъ къ берегу моря и садится подъ его

скалами... Не ревность, а страсть, трепещущая за свое блаженство, заставляет его успокаивать себя мыслью, что она—одна, и что ему должно быть спокойным... И сколько жизни, какой энергический порывъ страсти высказывается въ словѣ: «но если», отрывисто заключающемъ пьесу! Все это такъ просто, такъ естественно, во всемъ этомъ столько глубокой страсти, столько истины чувства... А форма? Какая легкость, какая прозрачность! На каждомъ стихѣ, даже отдѣльно взятомъ, такъ и виденъ слѣдъ художническаго рѣзца, оживлявшаго мраморъ!—Какая безконечная разница!...

Чтобъ еще болѣе показать эту разницу (а это мы считаемъ особенно важнымъ и необходимымъ по смыслу статьи нашей), сдѣлаемъ еще сравненіе. Вотъ два куплета изъ лучшихъ въ большой и прекрасной пьесѣ Жуковского, принадлежащей уже къ позднему времени его поэтической дѣятельности:

О наша жизнь, гдѣ вѣрны лишь утраты,
Гдѣ милому мгновенье лишь дано,
Гдѣ скорбь безъ крылъ, а радости крылаты,
И гдѣ на вѣкъ минувшее одно...
По что-жъ мы вѣдѣсь мечтами такъ богаты,
Когда мечтамъ не сбыться суждено?
Внимая гласъ надежды, намъ поумей,
Не слышимъ мы шаговъ бѣды градущей.

Здѣсь радости—не наше обладанье,
Пролетные плѣнители земли.
Лишь по пути заносить къ намъ преданье
О благахъ, намъ обѣщанныхъ вдали;
Земли житецъ безвыходный страданье;
Ему на часть судьбы насъ обрекли;
Блаженство намъ по слуху лишь знакомецъ;
Земная жизнь—страданія питомецъ.

Это уже не «напущенное» чувство; нѣтъ, это вопль страшно потрясенной души, это голосъ растерзаннаго, истекающаго кровью сердца, это чувство истинное и глубокое; но, несмотря на то, это опять-таки болѣе краснорѣчіе, чѣмъ поэзія. Стихъ тянется какъ то тяжело и однообразно, во всей формѣ этого стихотворенія есть что-то темное и несвободное, и, несмотря на видимую простоту, въ немъ слишкомъ замѣтно преобладаніе метафоры. Разумѣется, мы говоримъ сравнительно, а не безусловно. Кто не знаетъ пьесы Пушкина «19 октября»? Послѣ обращеній къ каждому изъ отсутствующихъ друзей своихъ, поэтъ говоритъ:

Пируйте же, пока еще мы тутъ!
Увы! нашъ кругъ часъ отъ часу рѣдѣетъ:
Кто въ гробѣ спитъ, кто дальній сиротѣтъ;
Судьба глядитъ, мы вянемъ; дни бѣгутъ;
Невидимо склоняясь и хладѣя,
Мы близимся къ началу своему...
Кому-жъ изъ насъ подѣ старость день лица
Торжествовать прійдется одному—
Несчастный другъ! среди новыхъ поколѣній
Докучный гость и лишній и чужой,

Онъ вспомнить насъ и дни соединеній,
Закрывъ глаза дрожащею рукой...

Какая глубокая и вмѣстѣ съ тѣмъ свѣтлая скорбь! каждая мысль сама по себѣ такъ исполнена поэзіи, независимо отъ формы, вполне художественной, легкой и прозрачной, простой и чуждой всякихъ метафоръ! Этотъ пережившій всѣхъ друзей своихъ другъ, докучный, лишній и чужой гость среди новыхъ поколѣній, дрожащей рукой закрывающій глаза при воспоминаніи о своихъ друзьяхъ,—это не просто поэтическіе стихи, это поэтическая картина! Но не въ духѣ Пушкина остановиться на скорбномъ чувствѣ: словно торжественнымъ музыкальнымъ аккордомъ оканчивается пьеса этими полными бодрого чувства стихами:

Пускай же онъ съ отрадой хоть печальной
Тогда сей день за чашей проведетъ,
Какъ нынѣ я, затворникъ вашъ опальной,
Его провелъ безъ горя и заботъ.

Пушкинъ не даетъ судьбѣ побѣды надъ собой, онъ вырываетъ у ней хоть часть отнятой у него отрады. Какъ истинный художникъ, онъ владѣлъ этимъ инстинктомъ истины, этимъ тактомъ дѣйствительности, который на «здѣсь» указывалъ ему какъ на источникъ и горя, и утѣшенія, и заставлялъ его искать цѣленье въ той же существенности, гдѣ постигла его болѣзнь. И, право, въ этой силѣ, опирающейся на внутреннее богатствіе своей натуры, болѣе вѣры въ Промыслъ и оправданія путей его, чѣмъ во всѣхъ заоблачныхъ порываніяхъ мечтательнаго романтизма.

Намъ скажутъ можетъ-быть, что мы сравнили между собою только по нѣскольку куплетовъ, вырванныхъ изъ большихъ пьесъ, а не цѣлыя пьесы. Выписка вполне такихъ огромныхъ пьесъ была бы неумѣстна въ журнальной статьѣ; притомъ же пьесы эти должны быть слишкомъ извѣстны каждому образованному читателю. Кто хочетъ, пусть самъ сравнитъ ихъ въ цѣломъ: онъ тогда увидитъ еще яснѣе, что и въ цѣломъ огромное преимущество на сторонѣ пьесы Пушкина, потому что, несмотря на ея значительную величину, она вездѣ ровна, вездѣ выдержана и какъ будто въ одну минуту, легко и свободно, излилась изъ взволнованной души поэта,—между тѣмъ какъ поэма Жуковского очень неровна, потому что не чужда мѣстъ растянутыхъ, холодныхъ и вялыхъ, почему ее трудно прочесть заразъ. Первая пьеса это—арія, пропѣтая пѣвцомъ, который вполне владѣетъ своимъ голосомъ, не даетъ пропасть ни одной ноткѣ, не ослабѣетъ ни на одно мгновенье отъ начала до конца аріи.. Вторая пьеса это—арія, пропѣтая мѣстами превосходно, а мѣстами холодно и даже фальшиво. Мы нарочно остановились на этомъ

обстоятельствъ, потому что особенная принадлежность поэзіи Пушкина и одно изъ главнѣйшихъ преимуществъ его передъ поэтами прежнихъ школъ—полнота, окончанность, выдержанность и стройность созданий. Поэзія чувства, поэзія естественная не отличается этимъ качествомъ: въ ней всегда видно усиліе высказать чувство, и оттого стройность и соразмѣрность исчезаютъ въ плодovitости. Въ поэзіи художественной—соразмѣрность, стройность, полнота и ровность бывають уже естественнымъ слѣдствіемъ творческой концепціи, художественной мысли, лежащей въ основаніи поэтическаго произведенія. У Пушкина никогда не бываетъ ничего лишняго, ничего недостающаго, но все въ мѣру, все на своемъ мѣстѣ, конецъ гармонируетъ съ началомъ,—и, прочтавъ его пѣсню, чувствуешь, что отъ нея нечего убавить и къ ней нечего прибавить. И въ этомъ, какъ и во всемъ другомъ, Пушкинъ является по преимуществу художникомъ.

Какъ истинный художникъ, Пушкинъ не нуждался въ выборѣ поэтическихъ предметовъ для своихъ произведеній, но для него всѣ предметы были равно исполнены поэзіи. Его «Онѣгинъ» напрямѣръ есть поэма современной, дѣйствительной жизни не только со всей ея поэзіей, но и со всей ея прозой, несмотря на то, что она писана стихами. Тутъ и благодатная весна, и жаркое лѣто, и гнилая дождливая осень и морозная зима; тутъ и столица, и деревня, и жизнь столичнаго денди и жизнь мирныхъ помѣщиковъ, ведущихъ между собою незанимательный разговоръ

О сѣнокосѣ, о винѣ,
О псарѣ, о своей роднѣ;

тутъ и мечтательный поэтъ Ленскій, и тривиальный забіяка и сплетникъ Зарѣцкій; то передъ вами прекрасное лицо любящей женщины, то сонная рожа трактирнаго слуги, отворяющаго, съ метлой въ рукѣ, дверь кофейной,—и всѣ они, каждый по своему, прекрасны и исполнены поэзіи Пушкину не нужно было ѣздить въ Италію за картинами прекрасной природы: прекрасная природа была у него подъ рукой здѣсь, на Руси, на ея плоскихъ и однообразныхъ степяхъ, подъ ея вѣчно-сѣрымъ небомъ, въ ея печальныхъ деревняхъ и ея богатыхъ и бѣдныхъ городахъ. Чтò для прежнихъ поэтовъ было низко, то для Пушкина было благородно; чтò для нихъ была проза, то для него была поэзія. Осень для него лучше весны или лѣта, и, читая эти стихи, вы не можете не согласиться съ нимъ по крайней мѣрѣ на то время, пока не увидите его же картины весны или лѣта:

Дни поздней осени бранятъ обыкновенно,
Но мнѣ она мила, читатель дорогой:
Соч. Бѣлинскаго. Т. III.

Красою тихою, блистающей смиренно,
Какъ нелюбимое дитя въ семьѣ родной,
Къ себѣ меня влечетъ. Сказать вамъ откровенно:
Изъ годовыхъ временъ я радъ лишь ей одной;
Въ ней много добраго, любовникъ не тщеславный,

Умѣлъ я отыскать мечтою своенравной.
Какъ это объяснить? Мнѣ нравится она,
Какъ вѣроятно вамъ чашоточная дѣва
Порой нравится. На смерть осуждена,
Бѣднѣжка клонится безъ ропота, безъ гнѣва;
Улыбка на устахъ увянувшихъ видна;
Могильной пропасти она не слышитъ зѣва,
Играетъ на лицѣ еще багровый цвѣтъ,
Она жива еще сегодня—завтра нѣтъ.
Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мнѣ твоя прощальная краса.
Люблю я пышное природы увяданье,
Въ багрецѣ и въ золотѣ одѣтые лѣса,
Въ ихъ сѣняхъ вѣтра шумъ и свѣжее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И рѣдкій солнца лучъ, и первые морозы,
И отдаленныя сѣдой зимы угрозы.

Русская зима лучше русскаго лѣта—этои «карикатуры южныхъ зимъ»: она похожа на самое себя, тогда какъ наше лѣто столько же похоже на лѣто, сколько декоративныя деревья въ театрѣ похожи на настоящія деревья въ лѣсу. Пушкинъ первый понялъ это и первый выразилъ. Его зима облита блескомъ роскошной поэзіи:

Морозъ и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, другъ прелестный.
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты нѣгой взоры,
На встрѣчу сѣверной Авроры,
Звѣздой сѣвера явись!
Вечоръ, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутномъ небѣ мгла носилась;
Луна, какъ блѣдное пятно,
Сквозь тучи мрачныя желѣла,
И ты печальная сидѣла—
А нынче... погляди въ окно:
Подъ голубыми небесами
Великолѣпными коврами,
Блестя на солнцѣ, снѣгъ лежитъ;
Прозрачный лѣсъ одинъ чернѣетъ,
И ель сквозъ иней залетѣтъ,
И рѣчка подо льдомъ блеститъ.
Вся комната аvaraнымъ блескомъ
Озарена. Веселымъ трескомъ
Трещитъ затопленная печь.
Приятно думать о лежанкѣ.
Но знаешь: не велѣтъ ли въ санки
Кобылку бурую запрячь?
Скользя по утреннему снѣгу,
Другъ милый, предадимся бѣгу
Нетерпѣливаго коня,
И наѣдимъ поля пустыя,
Лѣса, недавно столь густые,
И берегъ милый для меня.

Поэзія Пушкина удивительно вѣрна русской дѣйствительности, изображаетъ ли она русскую природу, или русскіе характеры: на этомъ основаніи общій голосъ нарекъ его русскимъ національнымъ, народнымъ поэтомъ... Намъ кажется это только на полуvinу вѣрнымъ. Народный поэтъ—тотъ, котораго весь народъ знаетъ, какъ на-

примѣръ знаетъ Франція своего Беранже; національный поэтъ — тотъ, котораго знаютъ всё сколько-нибудь образованные классы, какъ на примѣръ нѣмцы знаютъ Гёте и Шиллера. Нашъ народъ не знаетъ ни одного своего поэта; онъ поетъ себѣ доселѣ «Не бѣлы то снѣжки», не подозревая даже того, что поетъ стихи, а не прозу... Слѣдовательно съ этой стороны смѣшно было и говорить объ эпитетѣ «народный» въ примѣненіи къ Пушкину, или къ какому бы то ни было поэту русскому. Слово «национальный» еще обшириѣе въ своемъ значеніи, чѣмъ «народный». Подъ «народомъ» всегда разумѣютъ массу народонаселенія, самый низшій и основной слой государства. Подъ «націей» разумѣютъ весь народъ, всё сословіе, отъ низшаго до высшаго, составляющія государственное тѣло. Национальный поэтъ выражаетъ въ своихъ твореніяхъ и основную, безразличную, неуловимую для опредѣленія субстанціальную стихію, которой представителемъ бываетъ масса народа, и опредѣленное значеніе этой субстанціальной стихіи, развившейся въ жизни образованнѣйшихъ сословій націи. Национальный поэтъ — великое дѣло! Обращаясь къ Пушкину, мы скажемъ, по поводу вопроса о его національности, что онъ не могъ не отразить въ себѣ географически и физиологически народной жизни, ибо былъ не только русскій, но притомъ русскій, надѣленный отъ природы гениальными силами; однакожь въ томъ, что называютъ народностью или національностью его поэзіи, мы больше видимъ его необыкновенно великій художническій тактъ. Онъ въ высшей степени обладалъ этимъ тактомъ дѣйствительности, который составляетъ одну изъ главныхъ сторонъ художника. Прочтите его чудную драматическую поему «Русалка»: она вся насквозь проникнута истинностью русской жизни; прочтите его тоже чудную драматическую поему «Каменный Гость»: она и по природѣ страны, и по нравамъ своихъ героевъ такъ и дышетъ воздухомъ Испаніи; прочтите его «Египетскія ночи»: вы будете перенесены въ самое сердце жизни издыхающаго древняго міра... Такихъ примѣровъ удивительной способности Пушкина быть какъ у себя дома во многихъ и самыхъ противоположныхъ сферахъ жизни мы могли бы привести много, но довольно и этихъ трехъ. И что же это доказываетъ, если не его художническую многосторонность? Если онъ съ такой истинной рисовалъ природу и нравы даже никогда невиданныхъ имъ странъ, какъ же бы его изображенія предметовъ русскихъ не отличались вѣрностью природѣ? Чтобы изслѣдовать основательнѣе этотъ вопросъ, мы считаемъ нужнымъ сдѣлать довольно боль-

шую выписку изъ статьи Гоголя «Нѣсколько словъ о Пушкинѣ»:

«При имени Пушкина тотчасъ освѣтаетъ мысль о русскомъ національномъ поэтѣ. Въ самомъ дѣлѣ, никто изъ поэтовъ нашихъ не выше его и не можетъ болѣе назваться національнымъ; это право рѣшительно принадлежитъ ему. Въ немъ, какъ будто въ лексиконѣ, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Онъ болѣе всѣхъ, онъ далѣе раздвинулъ ему границы и болѣе показалъ все его пространство. Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное и можетъ быть единственное явленіе русскаго духа: это русскій человѣкъ въ его развитіи, въ какомъ онъ можетъ быть явится чрезъ двѣсти лѣтъ. Въ немъ русская природа, русская душа, русскій языкъ, русскій характеръ отразились въ такой же чистотѣ, въ такой очищенной красотѣ, въ какой отражается ландшафтъ на выпуклой поверхности оптического стекла.

«Самая его жизнь, — совершенно русская. Тотъ же разгулъ и раздолье, къ которому иногда позабывшись стремится русскій и которое всегда правится свѣжей русской молодежи, отразились на его первобытныхъ годахъ вступленія въ свѣтъ. — Судьба какъ нарочно забросила его туда, гдѣ границы Россіи отличаются рѣзкой, величавой характерностью; гдѣ гладкая неизмѣримость Россіи перерывается подъ-облачными горами и обвѣвается югомъ. Исполнинскій, покрытый вѣчными снѣгомъ, Кавказъ среди знойныхъ долинъ поразилъ его; онъ, можно сказать, вызвалъ силу души его и разорвалъ послѣдніи цѣпи, которыя еще тяготѣли на свободныхъ мысляхъ. Его плѣнила вольная поэтическая жизнь деревенскихъ горцевъ, ихъ схватки, ихъ быстрые, неотразимые набѣги; и съ этихъ морей вѣсть его приобрѣла тотъ широкій размахъ, ту быстроту и смѣлость, которая такъ дивила и поражала только что начинавшую читать Россію. Рисуетъ ли онъ боевую схватку чеченца съ казакомъ — слогъ его молнія; онъ такъ же блещетъ, какъ сверкающія сабли, и летитъ быстрѣ самой битвы. Онъ одинокъ только цвѣтъ Кавказа; онъ влюбленъ въ него всей душой и чувствами; онъ проникнутъ и напитанъ его чудными окрестностями, южными небомъ, долинами прекрасной Грузіи и великолѣпными крымскими почвами и садами. Можетъ быть оттого и въ своихъ твореніяхъ онъ жарче и пламеннѣе тамъ, гдѣ душа его коснулась юга. На нихъ онъ невольно означилъ всю силу свою, и оттого произведенія его, напитанныя Кавказомъ, волей черкесской жизни и ночами Крыма, имѣли чудную магическую силу: имъ пугались даже тѣ, которые не имѣли столько вкуса и развитія душевныхъ способностей, чтобы быть въ силахъ понимать его. Смѣлое болѣе всего доступно, сильнѣе и просторнѣе раздвигаетъ душу, а особенно юности, которая вся еще жаждетъ одного необыкновеннаго. Ни одинъ поэтъ въ Россіи не имѣлъ такой завидной участи, какъ Пушкинъ. Ничья слава не распространялась такъ быстро. Всѣ кстатѣ и не кстатѣ считали обязанностью проговорить, а иногда исковеркать, какіе-нибудь ярко сверкающіе отрывки его поэмъ. Его имя уже имѣло въ себѣ что-то электрическое, и стоило только кому-нибудь изъ досужихъ маретелей выставить его на своемъ твореніи, уже оно расходилось повсюду.

«Онъ при самомъ началѣ своемъ уже былъ националенъ, потому что истинная національность состоитъ не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духѣ народа. Поэтъ даже можетъ быть и тогда националенъ, когда описываетъ совершенно сторонній міръ, но глядя на него гла-

замы своей національной стихіи, глазами всего народа, когда чувствует и говорит такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствуютъ и говорятъ они сами. Если должно сказать о тѣхъ достоинствахъ, которыя составляютъ принадлежность Пушкина, отличающую его отъ другихъ поэтовъ, то они заключаются въ чрезвычайной быстротѣ описанія и въ необыкновенномъ искусствѣ немногими чертами означить весь предметъ. Его эпитеты такъ отчетливы и смѣлы, что иногда одинъ замѣняетъ цѣлое описаніе; кисть его летаетъ. Его небольшая пьеса всегда стоитъ цѣлой поэмы. Врядъ ли о комъ изъ поэтовъ можно сказать, чтобы у него въ коротенькой пьесѣ вмѣщалось столько величія, простоты и силы, сколько у Пушкина.

«Но послѣднія его поэмы, писанныя имъ въ то время, когда Кавказъ скрылся отъ него со всѣмъ своимъ грознымъ величіемъ и державно возносящейся изъ-за облакъ вершиной, и онъ погрузился въ сердце Россіи, въ ея обыкновенныя равнины, предался глубже наслѣдованію жизни и правотѣ своихъ соотечественниковъ и захотѣлъ быть вполне національнымъ поэтомъ, — его поэмы уже не всѣхъ поразили той яркостью и ослѣпительной смѣлостью, какими дышетъ у него все, гдѣ ни являются Эльбрусъ, горы, Крымъ и Грузія.

«Явленіе это, кажется, не такъ трудно разрѣшить: будучи пораженъ смѣлостью его кисти и волшебствомъ картинъ, всѣ читатели его, образованные и необразованные, требовали наперевѣрь, чтобы отечественныя и историческія происшествія являлись предметомъ его поэзіи, позабывая, что нельзя тѣми же красками, которыми рисуются горы Кавказа и его вольные обитатели, изобразить болѣе спокойный и гораздо менѣе исполненный страстей бытъ русскій. Масса публики, представляющая въ лицѣ своемъ націю, очень странна въ своихъ желаніяхъ; она кричитъ: «изобрази насъ такъ, какъ мы есть, въ совершенной истинѣ; представь дѣла нашихъ предковъ въ такомъ видѣ, какъ они были». Но попробуй поэтъ, послушный ея велѣнію, изобразить все въ совершенной истинѣ и такъ, какъ было, она тотчасъ заговоритъ: «это вало, это слабо, это не хорошо, ни мало не это похоже на то, что было. Масса народа похожа въ этомъ случаѣ на женщину, приказывающую художнику нарисовать съ себя портретъ совершенно похожій, но горе ему, если онъ не умѣлъ скрыть всѣхъ ея недостатковъ. Русская исторія только со времени послѣдняго ея направленія при императорахъ приобретаетъ яркую живость; до того характеръ народа большей частью былъ безцвѣтенъ; разнообразіе страстей ему мало было известно. Поэтъ не виноватъ; но и въ народѣ тоже весьма извѣстнѣе чувство придать болѣе разнѣмъ дѣламъ своихъ предковъ. Поэту оставалось два средства: или натянуть, сколько можно выше, свой слогъ, дать силу безсилному, говорить съ жаромъ о томъ, что само въ себѣ не сохраняетъ сильнаго жара, тогда толпа почитателей, толпа народа на его сторонѣ, а вмѣстѣ съ нимъ и деньги; или быть вѣрну одной истинѣ, быть высокимъ тамъ, гдѣ высокъ предметъ, быть рѣзкимъ и смѣлымъ, гдѣ истинно рѣзкое и смѣлое, быть спокойнымъ и тихимъ, гдѣ не кипитъ происшествіе. Но въ этомъ случаѣ прощай, толпа! ея не будетъ у него, развѣ когда самый предметъ, изображаемый имъ, уже такъ великъ и рѣзокъ, что не можетъ не произвести всеобщаго энтузіазма. Перваго средства не избралъ поэтъ, потому что хотѣлъ остаться поэтомъ и потому что у всякаго, кто только чувствуетъ въ себѣ искру святаго прива- нія, есть тонкая разборчивость, не позволяющая

ему выказывать свой талантъ такимъ средствомъ. Никто не станетъ спорить, что дикій горецъ въ своемъ воинственномъ костюмѣ, вольный какъ воля, самъ себѣ и судья, и господинъ, гораздо ярче какого-нибудь засѣдателя, и, несмотря на то, что онъ зарѣзалъ своего врага, притаился въ ущельи, или выжегъ цѣлую деревню, однако-же онъ болѣе поражаетъ, сильнѣе возбуждаетъ въ насъ участіе, нежели нашъ судья въ истертомъ фракѣ, запачканномъ табакомъ, который невиннымъ образомъ, посредствомъ справокъ и выправокъ, пустилъ по міру множество всякаго рода крѣпостныхъ и свободныхъ душъ. — Но тотъ и другой — они оба явленія, принадлежащія къ нашему міру: они оба должны имѣть право на наше вниманіе, хотя по естественной причинѣ то, что мы рѣже видимъ, всегда сильнѣе поражаетъ наше воображеніе, и предпочтете необыкновенному обыкновенное есть не больше, какъ неразсчетъ поэта, неразсчетъ предъ его многочисленной публикой, а не передъ собой. Онъ ничуть не теряетъ своего достоинства, даже можетъ быть еще болѣе приобретать его, но только въ глазахъ немногихъ истинныхъ цѣнителей. Мнѣ пришло на память одно происшествіе изъ моего дѣтства. Я всегда чувствовалъ маленькую страсть къ живописи. Меня много занималъ писанный мною пейзажъ, на первомъ планѣ котораго раскидывалось сухое дерево. Я жилъ тогда въ деревнѣ; знатоки и судьи мои были окружные сосѣди. Одинъ изъ нихъ, взглянувши на картину, покачалъ головой и сказалъ: хорошій живописецъ выбираетъ дерево рослое, хорошее, на которомъ бы листья были свѣжіе, хорошо растущее, а не сухое. Въ дѣтствѣ мнѣ казалось досадно слышать такой судъ, но послѣ я изъ него извлекъ мудрость: знать, что правится и что не правится толпѣ. Сочиненія Пушкина, гдѣ дышетъ у него русская природа, такъ же тихи и безпорывны, какъ русская природа. Ихъ только можетъ совершенно понимать тотъ, чья душа носитъ въ себѣ чисто русскіе элементы, кому Россія родина, чья душа такъ нѣжно организована и развилась въ чувствахъ, что способна понять неблестящія съ виду русскія пѣсни и русскій духъ, потому что, чѣмъ предметъ обыкновеннѣе, тѣмъ выше нужно быть поэту, чтобы извлечь изъ него необыкновенное, и чтобы это необыкновенное было между прочимъ совершенная истина. По справедливости ли оцѣнены послѣднія его поэмы? Опредѣлимъ ли, понялъ ли кто «Вориса Годунова», это высокое, глубокое произведеніе, заключенное во внутренней неприступной поэзіи, отвергнувшее всякое грубое, пестрое убранство, на которое обыкновенно заглядывается толпа? — по крайней мѣрѣ печатно нигдѣ не проявившася имъ вѣрная оцѣнка и онъ остался до нынѣ не тронутымъ.»

Все это очень справедливо, особенно опредѣленіе національнаго поэта: «Поэтъ даже можетъ быть и тогда національнымъ, когда описываетъ совершенно сторонній міръ, но глядитъ на него глазами своей національной стихіи, глазами всего народа, когда чувствуетъ и говоритъ такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствуютъ и говорятъ они сами». И, если хотите, съ этой точки зрѣнія Пушкинъ болѣе національно-русскій поэтъ, нежели кто-либо изъ его предшественниковъ; но дѣло въ томъ, что нельзя опредѣлить, въ чемъ же состоитъ эта національность. Въ томъ, что Пушкинъ

чувствовалъ и писалъ такъ, что его соотечественникамъ казалось, будто это чувствуютъ и говорятъ они сами. Прекрасно! Да какъ же чувствуютъ и говорятъ они? чѣмъ отличается ихъ способъ чувствовать и говорить отъ способа другихъ націй?... Вотъ вопросы, на которые не можетъ дать отвѣта настоящее, ибо Россія по преимуществу—страна будущего...

Обращаясь снова къ нашей мысли о художественности, какъ преобладающемъ паеосѣ поэзіи Пушкина, замѣтимъ еще его удивительную способность дѣлать поэтическими самые прозаическіе предметы. Что напримѣръ можетъ быть прозаичнѣе выѣзда въ саняхъ моднаго франта въ сюртукѣ съ бобровымъ воротникомъ? Но у Пушкина это—поэтическая картина:

Ужъ темно; въ санки онъ садится:
«Пади! пади!» раздался крикъ;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротникъ.

Или что можетъ быть прозаичнѣе такой мысли, что-де въ городѣ не было мостовой и всѣ тонули въ грязи, но что уже въ немъ начали дѣлать мостовую? Страшно и подумывать втиснуть такую мысль въ стихъ! Но Пушкинъ этого не побоялся, и у него вышла поэтическая картина въ прекрасныхъ поэтическихъ стихахъ:

Въ году недѣль пять-шесть Одесса,
По волѣ бурнаго Зевеса,
Потоплена, запружена,
Въ густой грязи погружена.
Всѣ дома на аршинъ загравнута,
Лишь на ходуляхъ пѣшеходъ
По улицѣ дерзаетъ вбродъ;
Кареты, люди тонутъ, вязнутъ,
И въ дрожжахъ волѣ, рога сгибаю,
Смѣняеть хилаго коня.
Но ужъ дробить каменья молотъ,
И скоро звонкой мостовой
Покроется спасенный городъ,
Какъ-будто кованной броней.

Для Пушкина также не было такъ называемой низкой природы; поэтому онъ не затруднялся никакимъ сравненіемъ, никакимъ предметомъ, бралъ первый попавшійся ему подъ-руку, и все у него являлось поэтическимъ, а потому прекраснымъ и благороднымъ. Какъ хорошо напримѣръ это, взятое изъ низкой природы, сравненіе:

Стократъ блаженъ, кто преданъ вѣрѣ,
Кто, хладный умъ уюмонивъ,
Поконится въ сердечной нѣгѣ,
Какъ пьяный путникъ на ночлегъ.

Или какъ прекрасна у него вотъ эта «низкая природа»:

Ины нужны мнѣ картины:
Люблю песчаный косогоръ,
Передъ избушкой двѣ рябины,
Калитеу, сломанный заборъ,
На небѣ сѣренькія тучи,
Передъ гумномъ соломы кучи,

Да прудъ подъ сѣнью липъ густыхъ—
Равдолюе уютъ молодыхъ;
Теперь мила мнѣ балабайка,
Да пьяный топотъ трепака
Передъ порогомъ кабака;
Мой идеалъ теперь—хозяйка,
Моя желанія—покой,
Да шей горшокъ, да самъ большой...

Тотъ еще не художникъ, котораго поэзія трепещетъ и отвращается прозы жизни, кого могутъ вдохновлять только высокіе предметы. Для истиннаго художника—гдѣ жизнь, тамъ и поэзія.

Талантъ Пушкина не былъ ограниченъ тѣсной сферой одного какого-нибудь рода поэзіи: превосходный лирикъ, онъ уже готовъ былъ сдѣлаться превосходнымъ драматургомъ, какъ внезапная смерть остановила его развитіе. Эпическая поэзія также была свойственнымъ его таланту родомъ поэзіи. Въ послѣднее время своей жизни онъ все болѣе и болѣе наклонялся къ драмѣ и роману и по мѣрѣ того отдалялся отъ лирической поэзіи. Равнымъ образомъ онъ тогда часто забывалъ стихи для прозы. Это самый естественный ходъ развитія великаго поэтического таланта въ наше время. Лирическая поэзія, обнимающая собой міръ ощущеній и чувствъ, съ особенной силой кипящихъ въ молодой груди, становится тѣсной для мысли возмужалаго человѣка. Тогда она дѣлается его отдыхомъ, его забавой между дѣломъ. Дѣйствительность современнаго намъ міра полнѣе и глубже и шире въ романѣ и драмѣ.—О поэмахъ и драматическихъ опытахъ Пушкина мы будемъ говорить въ слѣдующей статьѣ, а теперь остановимся на его лирическихъ произведеніяхъ.

Пушкина нѣкогда сравнивали съ Байрономъ. Мы уже не разъ замѣчали, что это сравненіе болѣе чѣмъ ложно, ибо трудно найти двухъ поэтовъ, столь противоположныхъ по своей натурѣ, а слѣдовательно и по паеосу своей поэзіи, какъ Байронъ и Пушкинъ. Минимое сходство это вышло изъ ошибочнаго понятія о личности Пушкина. Зная кипучую, разгульную, исполненную тревогъ и бѣды его юность, думали видѣть въ немъ духъ гордый, неукротимый, титаническій. Основываясь на какомъ-нибудь десяткѣ хвалившихся по рукамъ его стихотвореній, исполненныхъ громкихъ и смѣлыхъ, но тѣмъ не менѣе неосновательныхъ и поверхностныхъ фразъ, думали видѣть въ немъ поэтическаго трибуна. Нельзя было бы болѣе ошибиться во мнѣніи о человѣкѣ! Въ тридцать лѣтъ Пушкинъ распрощался съ тревогами своей кипучей юности не только въ стихахъ, но и на дѣлѣ. Надъ «рукописными» своими стишками онъ потомъ самъ смѣялся. Но все это въ сторону; главное дѣло въ томъ, что натура Пушкина (и въ этомъ случаѣ самое

вѣрное свидѣтельство есть его поэзія) была внутренняя, созерцательная, художническая. Пушкинъ не зналъ мукъ и блаженства, какія бываютъ слѣдствіемъ страстно дѣятельнаго (а не только созерцательнаго) увлеченія живой, могучей мысли, въ жертву которой приносится и жизнь, и талантъ. Онъ не принадлежалъ исключительно ни къ какому учению, ни къ какой доктринѣ; въ сферѣ своего поэтическаго міросозерцанія онъ, какъ художникъ по преимуществу, былъ гражданиномъ вселенной, и въ самой исторіи, такъ же какъ и въ природѣ, видѣлъ только мотивы для своихъ поэтическихъ вдохновеній, матеріалы для своихъ творческихъ концепцій. Почему это было такъ, а не иначе, и къ достоинству или недостатку Пушкина должно это отнести? Еслибъ его натура была другая, и онъ шелъ по этому несвойственному ей пути, то безъ сомнѣнія это было бы въ немъ больше, чѣмъ недостаткомъ; но какъ онъ въ этомъ отношеніи былъ только вѣренъ своей натурѣ, то за это его такъ же нельзя хвалить или порицать, какъ одного нельзя хвалить или порицать за то, что у него черные, а не русые волосы, и другого за то, что у него русые, а не черные.

Лирическія произведенія Пушкина въ особенности подтверждаютъ нашу мысль о его личности. Чувство, лежащее въ ихъ основаніи, всегда такъ тихо и кротко, несмотря на его глубину, и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ человѣчно, гуманно! И оно всегда проявляется у него въ формѣ, столь художнически спокойной, столь граціозной! Чтѣ составляетъ содержаніе мелкихъ пьесъ Пушкина? Почти всегда любовь и дружба, какъ чувства, наиболѣе обладавшія постои́мъ и бывшія непосредственнымъ источникомъ счастья и горя всей его жизни. Онъ ничего не отрицаетъ, ничего не проклинаетъ, на все смотритъ съ любовью и благословеніемъ. Самая грусть его, несмотря на ея глубину, какъ-то необыкновенно свѣтла и прозрачна; она умиряетъ муки души и цѣлитъ раны сердца. Общій колоритъ поэзіи Пушкина и въ особенности лирической—внутренняя красота человѣка и лелѣющая душу гуманность. Къ этому прибавимъ мы, что если всякое человѣческое чувство уже прекрасно по тому самому, что оно человѣческое (а не животное), то у Пушкина всякое чувство еще прекрасно, какъ чувство изящное. Мы здѣсь разумѣемъ не поэтическую форму, которая у Пушкина всегда въ высшей степени прекрасна; нѣтъ, каждое чувство, лежащее въ основаніи каждого его стихотворенія, изящно, граціозно и виртуозно само по себѣ: это не просто чувство человѣка, но чувство человѣка-художника, человѣка-артиста. Есть всегда что-то особенно благород-

ное, кроткое, нѣжное, благоуханное и граціозное во всякомъ чувствѣ Пушкина. Въ этомъ отношеніи, читая его творенія, можно превосходнымъ образомъ воспитать въ себѣ человѣка, и такое чтеніе особенно полезно для молодыхъ людей обою пола. Ни одинъ изъ русскихъ поэтовъ не можетъ быть столько, какъ Пушкинъ, воспитателемъ юношества, образователемъ юнаго чувства. Поэзія его чужда всего фантастическаго, мечтательнаго, ложнаго, призрачно-идеальнаго; она вся проникнута насквозь дѣйствительностью; она не кладетъ на лицо жизни бѣлилъ и румянъ, но показываетъ ее въ ея естественной, истинной красотѣ; въ поэзіи Пушкина есть небо, но имъ всегда проникнута земля. Поэтому поэзія Пушкина не опасна юношеству, какъ поэтическая ложь, разгорячающая воображеніе,—ложь, которая ставить человѣка во враждебныя отношенія съ дѣйствительностью, при первомъ столкновеніи съ ней, и заставляетъ безвременно и бесплодно истощать свои силы на гибельную съ ней борьбу. И при всемъ этомъ, кромѣ высокаго художественнаго достоинства формы, такое артистическое изящество человѣческаго чувства! Нужны ли доказательства въ подтвержденіе нашей мысли?—Почти каждое стихотвореніе Пушкина можетъ служить доказательствомъ. Еслибъ мы захотѣли прибѣгнуть къ выпискамъ; имъ не было бы конца. Намъ стоило бы только именовать цѣлый рядъ стихотвореній; но, чтобъ мысль наша имѣла надъ читателемъ убѣждающую силу живого впечатлѣнія, выпишемъ здѣсь нѣсколько пьесъ совершенно различнаго тона и содержанія.

Ты вьнешъ и молчишь; печаль тебя свѣдаетъ;
На дѣвственныхъ устахъ улыбка замираетъ.
Давно твоей иглой узоры и цвѣты
Не оживлялись. Безоумно любишь ты
Грустить. О, я знатокъ въ дѣвической печали!
Давно глаза мои въ душѣ твоей читали.
Люби не утаишь: мы любимъ, и какъ насъ,
Дѣвицы нѣжныя, любовь волнуетъ васъ.
Счастливы юноши! Но кто, скажи, межъ нами,
Красавецъ молодой съ очами голубыми,
Съ кудрами черными? Краснѣешь?.. Я молчу,
Но знаю, знаю все; и, если захочу,
То назову его. Не онъ ли вѣчно бродитъ
Вкругъ дома твоего и взоръ къ окну возводитъ?
Ты втайнѣ ждешь его. Идетъ, и ты бѣжишь,
И долго вслѣдъ за нимъ невримая глядишь.
Никто на праздникъ блистательнаго мая
Межъ колесницами роскошными летая,
Никто изъ юношей свободнѣй и смѣлѣй
Не властвуетъ кономъ по прихоти своей.

Это сама прелесть, сама грація, полная души и нѣжности, страстная и «плѣнительная», выражаясь любимымъ эпитетомъ Пушкина! Ни у какого другого русскаго поэта не найдете вы стихотворенія, въ которомъ бы такъ счастливо сочетались изящно-гуманное чувство съ пластически изящной формой.

Когда любовію и нѣгой упоенный,
 Безмолвно предъ тобой колѣнопреклоненный,
 Я на тебя глядѣлъ и думалъ: ты моя,
 Ты знаешь, милая, желалъ ли славы я;
 Ты знаешь: удаленъ отъ вѣтреннаго свѣта,
 Скучая суетнымъ провананіемъ поэта,
 Уставъ отъ долгихъ бурь, я вовсе не внималъ
 Жужжанью дальнему упрековъ и похвалъ.
 Могли-ль меня молвы тревожить приговоры,
 Когда, склонивъ ко мнѣ томительные взоры
 И руку на главу мнѣ тихо наложивъ,
 Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастливъ?
 Другую, какъ меня, скажи, любить не будешь?
 Ты никогда, мой другъ, меня не позабудешь?
 А я стѣсненное молчаніе хранилъ,
 Я наслажденіемъ весь половъ былъ, и мнилъ,
 Что нѣтъ грядущаго, что грозный день разлуки
 Не придетъ никогда... И что же? Слезы, муки,
 Имѣны, клеветы, все на главу мою
 Обрушилося вдругъ... Что я? гдѣ я? Стою,
 Какъ путникъ, молніей постигнутый въ пустынѣ,
 И все передо мной затмилось! И нынѣ
 Я новымъ для меня желаніемъ томимъ:
 Желанъ славы я, чтобъ именемъ моимъ
 Твой слухъ былъ пораженъ всечасно; чтобъ
 ты мною
 Окружена была; чтобъ громкою молвою
 Все, все вокругъ тебя звучало обо мнѣ;
 Чтобъ, гласу вѣрному внимая въ тишинѣ,
 Ты помнила мои послѣднія моленія
 Въ саду во тьмѣ ночной, въ минуту разлученія.

Это чувство юности; но вотъ оно же—уже
 чувство человѣка возмужалаго,—и въ немъ
 та же трогательная душу гуманность, та же
 артистическая прелесть:

Я васъ любилъ: любовь еще, быть можетъ,
 Въ душѣ моей угасла не совсѣмъ;
 Но пусть она васъ больше не тревожитъ:
 Я не хочу печалить васъ ничѣмъ.
 Я васъ любилъ безмолвно, безнадежно,
 То робостью, то ревностью томимъ;
 Я васъ любилъ такъ искренно, такъ нѣжно,
 Какъ дай вамъ Богъ любимой быть другимъ.

Наконецъ это изящно-гуманное чувство
 отзывается чѣмъ-то благоуханно-святымъ въ
 испытанномъ, но не побѣжденномъ жизнью
 поэтѣ:

Нѣтъ, нѣтъ, не долженъ я, не смѣю, не могу
 Волненьямъ любви безумно предаваться!
 Спокойствіе свое я строго берегу
 И сердцу не даю пылать и забываться.
 Нѣтъ, полно мнѣ любить. Но почему-жъ порой
 Не погружуся я въ минутное мечтанье,
 Когда печально пройдетъ передо мной
 Младое, чистое, небесное созданье,—
 Пройдетъ и скроется? Ужель не можно мнѣ
 Глазами слѣдовать за ней, и въ тишинѣ
 Благословлять ее на радость и на счастье,
 И сердцемъ ей желать всѣ блага жизни сей:
 Веселья, миръ души, безпечные досуги,
 Все—даже счастье того, кто избравъ ей,
 Кто милой дѣвъ дастъ названіе супруги?...

Кромѣ уже поименованныхъ и частью вы-
 писанныхъ нами самобытныхъ пьесъ изъ
 первой части, перечтите тоже слѣдующія,
 которыя поименуемъ мы теперь въ хроно-
 логическомъ порядкѣ: «Сожженное письмо»,
 «Я помню чудное мгновеніе», «Зимняя до-

рога», «Отвѣтъ Ѳ. Т***», «Ангель», «Соло-
 вей», «Близъ мѣстъ, гдѣ царствуетъ Вене-
 ція золотая», «Наперсникъ», «Предчувствіе»,
 «Цвѣтокъ», «Не пой, красавица, при мнѣ»,
 «Городъ пышный, городъ бѣдный», «Птич-
 ка», «Иностранекъ», «На холмахъ Грузіи ле-
 жить ночная тѣнь», «Не плѣняйся бранной
 славой», «Поѣдемъ, я готовъ», «Когда твои
 младыя лѣта», «Зима, что дѣлать намъ въ
 деревнѣ?», «Калимычкѣ», «Что въ имени тебѣ
 моемъ?», «Брожу ли я вдоль улицъ шум-
 ныхъ», «Отвѣтъ Анониму», «Пью за здра-
 віе Мери», «Цыганы», «Мадона», «Зимній
 вечеръ», «Каковъ я прежде былъ, таковъ
 и нынѣ я», «Анчаръ», «Подъѣзжая подъ
 Ижору», «Примѣты», «Красавица» (въ аль-
 бомѣ Г***), «Признаніе» (къ Александрѣ
 Ивановичѣ О—й), «Желаніе», «Пажъ, или
 пятнадцатилѣтній король», «Ея глаза», «Раз-
 ставаніе», «Романсъ» («Предъ испанкой
 благородной»), «Послѣдніе цвѣты», «Кто
 знаетъ край, гдѣ небо блещетъ». Здѣсь не
 названа только «Разлука» («Для береговъ
 отчизны дальней»),—не названа для того,
 чтобъ сказать, что едва ли граціозно-гуман-
 ная муза Пушкина создавала что-нибудь
 благоуханнѣе, чище, святѣе и вмѣстѣ съ
 тѣмъ изящнѣе этого стихотворенія по чув-
 ству и по формѣ.

Какъ на послѣднее доказательство преобла-
 данія въ Пушкинѣ художественнаго элемен-
 та надъ всѣми другими, какъ доказательство,
 что онъ, взявшись за перо, по волѣ или по не-
 волѣ, уже не могъ не быть художникомъ да-
 же въ свѣтскомъ комплиментѣ, въ привѣт-
 ствіи, возложенномъ приличіемъ, указываемъ
 на пьесы: «Баратынскому изъ Бессарабіи»,
 «Примите Невскій Альманахъ», «Княгинѣ З.
 А. Волконской», «Отвѣтъ Катенину», «И. В.
 С***», «Отвѣтъ А. И. Готовцевой», «Е. Н.
 У***вой», «Сѣтованіе», «А. Д. Баратынскому»,
 «Д. В. Давыдову» (при посылкѣ исторіи Пу-
 гачевского бунта), «Къ женщинѣ поэту», «В.
 С. Ф***» (при полученіи поэмъ его), «Въ
 Альбомѣ» («Долго сихъ листовъ завѣтныхъ»).

Мы сказали, что чтеніе Пушкина должно
 сильно дѣйствовать на воспитаніе, развитіе и
 образованіе изящно-гуманнаго чувства въ
 человѣкѣ. Да; не во гнѣвъ будь сказано на-
 шимъ литературнымъ старовѣрамъ, нашимъ
 сухимъ моралистамъ, нашимъ черствымъ,
 анти-эстетическимъ резонерамъ,—никто, рѣ-
 шительно никто изъ русскихъ поэтовъ не
 стяжалъ себѣ такого неоспоримаго права быть
 воспитателемъ и юныхъ, и возмужалыхъ, и
 даже старыхъ (если въ нихъ было и еще не
 умерло зерно эстетическаго и человѣческаго
 чувства) читателей, какъ Пушкинъ, потому
 что мы не знаемъ на Руси болѣе прав-
 свеннаго, при великости таланта, поэта,
 какъ Пушкинъ. Старовѣры еще не могутъ

забыть—кто Ломоносова, кто Сумарокова, кто того, кто другого. Что касается до моралистов и резонеров (между которыми много найдете людей ограниченных, хотя и добрых и даже благонамѣренных, но еще больше фарисеевъ и тартюфов),—они, ратуя противъ Пушкина, какъ безнравственнаго поэта, обыкновенно любятъ ссылаться или на шаловливый въ эротическомъ родѣ произведенія его юности и на поэмѣ «Русланъ и Людмила», не чуждую многихъ поэтическихъ вольностей, или на стихотворенія—«Демонъ», «Даръ напрасный, даръ случайный». Но первого они не ставятъ же въ вину Державину—автору «Мельника» и многихъ довольно вольныхъ анакреонтическихъ стихотвореній, ибо, не смотря на нихъ, считаютъ его въ высшей степени «нравственнымъ» поэтомъ. Равнымъ образомъ, восхищаясь «Душенькой» Богдановича, они тоже не думаютъ находить ее «безнравственной». Чѣмъ же Пушкинъ виноватъ передъ ними?—Этого они сами не понимаютъ, и потому оставимъ ихъ въ покоѣ... Относительно же «Демона» мы еще будемъ говорить о томъ, что Пушкинскій демонъ не изъ самыхъ опасныхъ, и что это—скорѣе чертенокъ, нежели чортъ. Прибавимъ къ этому только, что, и не будучи демоническимъ поэтомъ, Пушкинъ имѣлъ право и не могъ не знать иногда муки сомнѣнія: ибо этой муки совершенно чужды только натуры мелкія, ничтожныя, сухія и мертвыя. Пьеса «Даръ напрасный, даръ случайный» есть не что иное, какъ порожденіе одной изъ тѣхъ тяжелыхъ минутъ нравственной апатіи и душевнаго отчаянія, которыя неизбежны, какъ минуты, для всякой живой и сильной натуры; но она отнюдь не есть выраженіе пафоса Пушкинской поэзіи, а скорѣе—случайное противорѣчіе пафосу его поэзіи. Прізнаніе Пушкина, характеръ и направленіе его поэзіи гораздо болѣе выражается въ этомъ стихотвореніи:

Въ часы забавъ, или праздной скуки,
Бывало лиръ я моей
Вырлалъ изпѣвленные звуки
Безумства, глнни и страстей.
Но и тогда струны лукавой
Невольно звонъ я прерывалъ,
Когда твой голосъ величавой
Меня внезапно поражалъ.
Я лилъ потоки слезъ нежданныхъ,
И ранамъ совѣсти моей
Твоихъ рѣчей благоуханныхъ
Отраденъ чистый былъ елей.
И нынѣ съ высоты духовной
Мнѣ руку простираешь ты,
И силою кроткой и любовной
Смиряешь буйныя мечты.
Твоимъ огнемъ душа палама,
Отвергла мракъ земныхъ суетъ,
И внемлетъ арфѣ серафима
Въ священномъ ужасѣ поэтъ.

Такъ какъ поэзія Пушкина вся заключается преимущественно въ поэтическомъ со-

зерцаніи міра, и такъ какъ она безусловно признаетъ его настоящее положеніе, если не всегда утѣшительнымъ, то всегда необходимо-разумнымъ—поэтому она отличается характеромъ болѣе созерцательнымъ, нежели рефлектирующимъ, выказывается болѣе, какъ чувство или какъ созерцаніе, нежели какъ мысль. Вся насавозъ проникнутая гуманностью, муза Пушкина умѣетъ глубоко страдать отъ диссонансовъ и противорѣчій жизни; но она смотритъ на нихъ съ какимъ-то самоотрицаемъ (resignatio), какъ бы признавая ихъ роковую неизбежность и ненося въ душѣ своей идеала лучшей дѣйствительности и вѣры въ возможность его осуществленія. Такой взглядъ на міръ вытекалъ уже изъ самой натуры Пушкина; этому взгляду обязанъ Пушкинъ изящной елейностью, кротостью, глубиной и возвышенностью своей поэзіи, и въ этомъ же взглядѣ заключаются недостатки его поэзіи. Какъ бы то ни было, но по своему воззрѣнію Пушкинъ принадлежитъ къ той школѣ искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европѣ, и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремленіе изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сдѣлались теперь жизнью всякой истинной поэзіи. Вотъ въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возможенъ только какъ удовлетворительный отвѣтъ на тревожные, болѣзненные вопросы настоящаго. Эту мысль мы полнѣе и яснѣе разовьемъ въ статьѣ о Лермонтовѣ, въ которой постоянно будемъ имѣть въ виду сравненіе обоихъ этихъ поэтовъ.

Въ стихотвореніи «Чернь» заключается художническое profession de foi Пушкина. Онъ презираетъ чернь и, на ея приглашеніе исправлять ее звуками лиры, отвѣчаетъ словами, полными благородной гордости и энергическаго негодованія:

Подите прочь! какое дѣло
Поэту мирному до васъ?
Въ развратѣ каменитѣ смѣло:
Не оживитъ васъ лиры гласъ;
Душѣ противны вы какъ гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имѣли вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры:
Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ!
Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ
Считаютъ соръ—полевный трудъ!
Но, позабывъ свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы-ль у васъ метлу берутъ?
Не для житейскаго волненья,
Не для користи, не для битвы,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Дѣйствительно, смѣшны и жалки тѣ глупцы, которые смотрятъ на поэзію, какъ на искус-

ство втискивать въ размѣренные строчки съ приемами разныя правоучительныя мысли, и требуютъ отъ поэта непременно, чтобъ онъ воспѣвалъ имъ все любовь да дружбу и пр., и которые неспособны увидѣть поэзію въ самомъ вдохновенномъ произведеніи, если въ немъ нѣтъ общихъ правоучительныхъ мѣстъ. Но если до истины можно доходить не тѣмъ, чтобъ соглашаться съ глупцами, то и не тѣмъ, чтобъ противорѣчить имъ, — а тѣмъ, чтобъ, забывая о ихъ существованіи, смотрѣть на предметъ глазами разума. Не только поэты съ ихъ «вдохновеніями, сладкими звуками и молитвами», но и сами жрецы, съ которыми Пушкинъ сравниваетъ поэтовъ, не имѣли бы никакого значенія, еслибъ набожная толпа не соприсутствовала алтарямъ и жертвоприношеніямъ. Толпа, въ смыслѣ массы народной, есть прямая хранительница народнаго духа, непосредственный источникъ таинственной психи народной жизни. Народъ (взятый какъ масса), духовная субстанція жизни котораго не въ состояніи порождать изъ себя великихъ поэтовъ, не стоитъ названія народа или націи — съ него довольно чести называться просто племенемъ. Поэтъ, котораго поэзія выросла не изъ почвы субстанціальной жизни своего народа, не можетъ ни быть, ни называться народнымъ или національнымъ поэтомъ. Никто, кромѣ людей ограниченныхъ и духовно-малолѣтнихъ, не обязываетъ поэта воспѣвать непременно гимны добродѣтели и карать сатирой пороки; но каждый умный человѣкъ вправѣ требовать, чтобъ поэзія поэта или давала ему отвѣты на вопросы времени, или по крайней мѣрѣ исполнена была скорбью этихъ тяжелыхъ неразрѣшимыхъ вопросовъ. Кто поетъ про себя и для себя, презирая толпу, тотъ рискуетъ быть единственнымъ читателемъ своихъ произведеній. И дѣйствительно, Пушкинъ, какъ поэтъ, великъ тамъ, гдѣ онъ просто воплощаетъ въ живыя прекрасныя явленія свои поэтическия созерцанія, но не тамъ, гдѣ хочетъ быть мыслителемъ и рѣшителемъ вопросовъ. Превосходно его стихотвореніе «Поэтъ», въ которомъ онъ развиваетъ мысль, что поэтъ, пока не потребуетъ его Аполлонъ къ священной жертвѣ, ничтожнѣе всѣхъ ничтожныхъ дѣтей міра, а какъ скоро коснется его слуха божественный вѣсь, душа его страиваетъ съ себя нечистый сонъ жизни, какъ пробудившійся орелъ; но мысль эта теперь совершенно ложна. Наша современность кишитъ поэтами, которые пошлы, когда не пишутъ, и становятся благородны и чисты, когда вдохновляются; но тѣмъ не менѣе всѣ видятъ въ нихъ теперь не болѣе, какъ великихъ людей на малыхъ дѣлахъ: всѣ знаютъ, что эти господа скоро выписываются и изъ-за денегъ громкими фразами увѣряютъ другихъ въ томъ,

чему нѣкогда сами вѣрили, но чему теперь уже сами первые не вѣрятъ. Наше время преклонить колѣни только передъ художникомъ, котораго жизнь есть лучший комментарий на его творенія, а творенія — лучшее оправданіе его жизни. Гѣте не принадлежалъ къ числу пошлыхъ торгашей идеями, чувствами и поэзіей; но практическій и историческій индифферентизмъ не далъ бы ему сдѣлаться властителемъ думъ нашего времени, несмотря на всю широту его мірообъемлющаго гения. Личность Пушкина высока и благородна; но его взглядъ на свое художественное служеніе, равно какъ и недостатокъ современнаго европейскаго образованія (о чемъ мы еще будемъ говорить) тѣмъ не менѣе были причиной постепеннаго охлажденія восторга, который возбуждали первые его произведенія. Правда, самый неумѣренный восторгъ возбудили его самыя слабыя, въ художественномъ отношеніи, пьесы; но въ нихъ видна была сильная, одушевленная субъективнымъ стремленіемъ личность. И тѣмъ совершеннѣе становился Пушкинъ, какъ художникъ, тѣмъ болѣе скрывалась и исчезала его личность за чуднымъ роскошнымъ міромъ его поэтическихъ созерцаній. Публика съ одной стороны не была въ состояніи оцѣнить художественнаго совершенства его послѣднихъ созданій (и это конечно не вина Пушкина); съ другой стороны она вправѣ была искать въ поэзіи Пушкина болѣе нравственныхъ и философскихъ вопросовъ, нежели сколько находила ихъ (и это конечно была не ея вина). Между тѣмъ избранный Пушкинымъ путь оправдывается его натурой и призваніемъ: онъ не палъ, а только сдѣлался самимъ собою, но по несчастью въ такое время, которое было очень неблагоприятно для подобнаго направленія, отъ котораго выигрывало искусство и мало приобѣтало общество. Какъ бы то ни было, нельзя винить Пушкина, что онъ не могъ выйти изъ заколдованнаго круга своей личности, — и со всей добросовѣстностью человѣка и художника написалъ свое превосходное стихотвореніе «Поэтъ»:

Поэтъ, не дорожи любовію народной!

Восторженныхъ похвалъ пройдемъ минутный шумъ;

Услышишь судъ глупца и смѣхъ толпы холодной;
Но ты останься твердъ, спокоенъ и угрюмъ.
Ты царь: живи одинъ. Дорогою свободной
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ,
Усовершенствуя плоды высокихъ думъ,
Не требуя наградъ за подвигъ благородной.
Онъ въ самомъ тебѣ. Ты самъ свой высшій судъ;
Всѣхъ строже оцѣнить умѣешь ты свой трудъ.
Ты имъ доволенъ ли, взыскательный художникъ?
Доволенъ? Такъ пускай толпа тебя бранитъ,
И плюетъ на алтарь, гдѣ твой огонь горитъ,
И въ дѣтской рѣвности колеблетъ твой треножникъ.

И Пушкинъ навсегда затворился въ этомъ гордомъ величіи непонятаго и оскорблен-

наго художника. И когда онъ писалъ свои лучшія творенія—«Скупого Рыцаря», «Египетскія Ночи», «Русалка», «Мѣднаго Всадника», «Галуба», «Каменнаго Гостя», онъ всего менѣе рассчитывалъ на восторгъ публики и потому не торопился издавать ихъ...

Изъ мелкихъ произведеній его болѣе другихъ отличаются присутствіемъ глубокой и яркой мысли, и вмѣстѣ съ тѣмъ національнаго чувства, въ истинномъ значеніи этого слова, стихотворенія, посвященные памяти Петра Великаго. Имя Петра Великаго должно быть нравственной точкой, въ которой должны сосредоточиться всѣ чувства, всѣ убѣжденія, всѣ надежды, гордость, благоговѣніе и обожаніе всѣхъ русскихъ: Петръ Великій—не только творецъ бывшаго и настоящаго величія Россіи, но и всегда останется путеводной звѣздой русскаго народа, благодаря которой Россія будетъ всегда идти своей настоящей дорогой къ высокой цѣли нравственнаго, человѣческаго и политическаго совершенства. И Пушкинъ нигдѣ не является ни столько высокимъ, ни столько національнымъ поэтомъ, какъ въ тѣхъ вдохновеніяхъ, которыми обязанъ онъ великому имени творца Россіи. Эти стихотворенія достойны своего высокаго предмета. Жаль только, что ихъ слишкомъ мало. Изъ поэмъ Петръ является въ «Полтавѣ» и «Мѣдномъ Всадникѣ»: объ нихъ мы будемъ говорить въ слѣдующей статьѣ. Изъ мелкихъ стихотвореній Петру посвящены только двѣ пьесы,—но это перлы поэзіи Пушкина. Кромѣ простоты и величія въ мысляхъ, въ чувствахъ и въ выраженіи, есть что-то русское, народное въ самомъ тонѣ и складѣ этихъ пьесъ. Кто изъ образованныхъ русскихъ (если онъ только дѣйствительно русскій) не знаетъ превосходной пьесы, носящей скромное и повидимому незначительное названіе «Стансовъ»? Эта пьеса драгоценна русскому сердцу въ двухъ отношеніяхъ: въ ней, словно изваянный, является колоссальный образъ Петра; въ связи съ нимъ находимъ въ ней поэтическое пророчество, такъ чудно и вполнѣ сбывавшееся, о блаженствѣ нашихъ дней:

Въ надеждѣ славы и добра
Гляжу впередъ я безъ боязни;
Начало славныхъ дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Но правдой онъ привлекъ сердца,
Но правы укротилъ наукой,
И былъ отъ буйнаго стрѣльца
Предъ нимъ отличенъ Долгорукой.

Самодержавною рукой
Онъ смѣло сѣлъ просвѣщенье,
Не презиралъ страны родной:
Онъ зналъ ея предназначенье.

То академикъ, то герой,
То мореплаватель, то плотникъ,
Онъ всеобъемлющей душой
На тронѣ вѣчный былъ работникъ.

Семейнымъ сходствомъ будь же гордъ,
Во всемъ будь пращуру подобенъ:
Какъ онъ неутомимъ и твердъ,
И памятью, какъ онъ, не забобенъ.

Какое величіе и какая простота выраженія! Какъ глубоко знаменательны, какъ возвышенно благородны эти простыя житейскія слова—плотникъ и работникъ!... Кому неизвѣстна также превосходная пьеса Пушкина—«Пиръ Петра Великаго»? Это—высокое художественное произведеніе и въ то же время—народная пѣсня. Вотъ передъ такой народностью въ поэзіи мы готовы преклоняться; вотъ это—патріотизмъ, передъ которымъ мы благоговѣмъ... А ужъ воля ваша, ни народности, ни патріотизма не видимъ мы ни искорки въ новѣйшихъ «драматическихъ представленіяхъ» и романахъ съ хвастливыми фразами, съ квашеной капустой, кулаками и подбитыми лицами...

Никто изъ русскихъ поэтовъ не умѣлъ съ такимъ непостижимымъ искусствомъ спрыскивать живой водой своей творческой фантазіи немножко дубоватые матеріалы народныхъ нашихъ пѣсенъ. Прочтите «Жениха», «Утопленника», «Бѣсовъ» и «Зимній Вечеръ»—и вы удивитесь, увидя, какой очаровательный міръ поэзіи умѣлъ вызвать поэтъ своимъ волшебнымъ жезломъ изъ такихъ скудныхъ стихій... Эти пьесы въ тысячу разъ лучше его же такъ называемыхъ сказокъ,—этихъ уродливыхъ искаженій и безъ того уродливой поэзіи... но о нихъ рѣчь впереди. И если такихъ пьесъ, какъ «Женихъ», «Утопленникъ», «Бѣсы» и «Зимній Вечеръ», у Пушкина немного, въ этомъ конечно виноваты ограниченность и бѣдность сферы нашей народной поэзіи. Но Пушкинъ умѣлъ извлечь изъ нея дивную поему, на половину фантастическую, на половину фактически-положительную, и въ обоихъ случаяхъ удивительно поэтически вѣрную дѣйствительности русской жизни. Мы говоримъ о «Русалкѣ», о которой впрочемъ рѣчь также впереди.

Къ особеннымъ чертамъ Пушкинской поэзіи, рѣзко отдѣляющимъ ее отъ прежней школы, принадлежитъ его художническая добросовѣстность. Пушкинъ ничего не преувеличиваетъ, ничего не украшаетъ, ничѣмъ не эффектируетъ, никогда не взводитъ на себя великолѣпныхъ, но не испытанныхъ имъ чувствъ, и вездѣ является такимъ, каковъ былъ дѣйствительно. Такъ напримѣръ, онъ узнаетъ о смерти той, любовь къ которой заставила его лиру издать столько гармоническихъ стонковъ: какой прекрасный случай изобразить свое отчаяніе, написать картину страшной скорби, невыносимой муки!... Но сердце наше—вѣчная тайна для насъ самихъ... и вотъ какъ подѣйствовала на Пушкина роковая вѣсть:

Подъ небомъ голубымъ страны своей родной
Она томилась, увядала...
Увядла наконецъ, и вѣрно надо мной
Младая тѣнь уже летала;
Но не доступная черта межъ нами есть.
Напрасно чувство возбуждалъ я;
Изъ равнодушныхъ устъ я слышалъ смерти
вѣсть,

И равнодушно ей внималъ я:
Такъ вотъ кого любилъ я пламенной душой
Съ такимъ тяжелымъ напряженьемъ,
Съ такою нѣжною, томительной тоской,
Съ такимъ безумствомъ и мученьемъ!
Гдѣ муки, гдѣ любовь? Увы! въ душѣ моей
Для бѣдной легковѣрной тѣни,
Для сладкой памяти невозвратимыхъ дней
Не нахожу ни слезъ, ни пѣни.

Да, непостижимо сердце человѣческое, и можетъ-быть тотъ же самый предметъ внушилъ въ послѣдствіи Пушкину его дивную «Разлуку» («Для береговъ отчизны дальней»)... Въ отношеніи художнической добросовѣстности Пушкина, такова же его превосходная пьеса «Воспоминаніе»: въ ней онъ не рисуется въ мантіи сатанинскаго велачія, какъ это дѣлаютъ часто мелкодушные талантики, но просто какъ человѣкъ оплакиваетъ свои заблужденія. И этимъ доказывается не то, чтобъ у него было больше другихъ заблужденій, но то, что, какъ душа мощная и благородная, онъ глубоко страдалъ отъ нихъ и свободно сознавался въ нихъ передъ судомъ своей совѣсти... Та же художническая добросовѣстность видна даже въ его картинахъ природы, которыми особенно любятъ щеголять мелкіе таланты, изукрашивая ихъ небывальными красками и изъ русской природы смѣло дѣлая пародію на итальянскую. Въ доказательство приводимъ одну изъ самыхъ превосходнѣйшихъ и, вѣроятно по этой причинѣ, наименѣе замѣченныхъ и оцененныхъ пьесъ Пушкина - «Капризъ»:

Румяный критикъ мой, насмѣшникъ толсто-
пухой,
Готовый вѣкъ трунить надъ нашей томной
музой,
Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной,
Попробуй, сладимъ ли съ проклятою хандрой.
Что-жъ ты нахмурился? Нельзя ли блажь
оставить
И пѣсенкою насъ веселой позабавить?
Смотри, какой вдѣсь видъ: избушекъ рядъ
убогий,
За ними черноземъ, равнины скать отлогой,
Надъ ними сѣрыхъ тучъ густая полоса.
Гдѣ-жъ нивы свѣтлыя? гдѣ темныя лѣса?
Гдѣ рѣчка? На дворѣ у низкаго забора
Два бѣдныхъ деревца стоятъ въ отраду взора,
Два только деревца, и то нѣтъ ни въ одно
Дождливой осенью совсѣмъ обнажено,
А листья на другомъ размокли и, желтѣя,
Чтобъ лужу васорить, ждутъ перваго Борея.
И только. На дворѣ живой собаки нѣтъ.
Вотъ, правда, мужичокъ; за нимъ двѣ бабы
вслѣдъ.
Безъ шапки онъ; несетъ подъ мышкой гробъ
ребенка
И кличетъ издали лѣниваго попенка,

Чтобъ тотъ отца позвалъ, да церковь отворилъ:
Скорѣй, ждать нѣкогда, давно-бъ ужъ скоро-
нилъ!

Кстати объ изображаемой Пушкинымъ природѣ. Онъ созерцалъ ее удивительно вѣрно и живо, но не углублялся въ ея тайный языкъ. Оттого онъ рисуетъ ее, но не мыслить о ней. И это служитъ новымъ доказательствомъ того, что пафосъ его поэзіи былъ чисто артистическій, художническій, и того, что его поэзія должна сильно дѣйствовать на воспитаніе и образованіе чувства въ человѣкѣ. Если съ кѣмъ изъ великихъ европейскихъ поэтовъ Пушкинъ имѣетъ нѣкоторое сходство, такъ болѣе всего съ Гёте, и онъ, еще болѣе, нежели Гёте, можетъ дѣйствовать на развитіе и образованіе чувства. Это съ одной стороны его преимущество передъ Гёте и доказательство, что онъ больше, нежели Гёте, вѣренъ художническому своему элементу; а съ другой стороны въ этомъ же самомъ неизмѣримое превосходство Гёте передъ Пушкинымъ: ибо Гёте—весь мысль, и онъ не просто изображалъ природу, а заставлялъ ее раскрывать передъ нимъ ея заветныя и сокровенныя тайны. Отсюда явилось у Гёте его пантеистическое созерцаніе природы и—

Была ему звѣздная книга ясна,
И съ нимъ говорила морская волна.

Для Гёте природа была раскрытая книга идей; для Пушкина она была полная невыразимаго, но безмолвнаго очарованія живая картина. Образцомъ Пушкинскаго созерцанія природы могутъ служить пьесы: «Туча» и «Обвалъ». Несмотря на всю разницу въ содержаніи этихъ пьесъ, обѣ онѣ—живописны въ поэзіи...

Мы уже говорили о разнообразіи поэзіи Пушкина, о его удивительной способности легко и свободно переноситься въ самыя противоположныя сферы жизни. Въ этомъ отношеніи, независимо отъ мыслительной глубины содержанія, Пушкинъ напоминаетъ Шекспира. Это доказываютъ даже мелкія его пьесы, какъ и поэмы, и драматическіе опыты. Взглянемъ въ этомъ отношеніи на первыя. Превосходнѣйшія пьесы въ антологическомъ родѣ, запечатлѣнные духомъ древне-элинской музы, подражанія Корану, вполне передающія духъ исламизма и красоты арабской поэзіи—блестящій алмазъ въ поэтическомъ вѣницѣ Пушкина! «Въ крови горитъ огонь желанія», «Вертоградъ моей сестры», «Пророкъ» и большое стихотвореніе, родъ поэмы, исполненной глубокаго смысла и названной «Отрывкомъ», представляютъ красоты восточной поэзіи другого характера и высшаго рода, принадлежать къ величайшимъ произведеніямъ Пушкинскаго генія-протѣя. Мы гово-

рили уже о «Женихъ», «Утопленникъ», «Бѣсахъ» и «Зимнемъ вечерѣ»,—пѣсахъ, образующихъ собой отдѣльный міръ русско-народной поэзіи въ художественной формѣ. «Пѣсни Западныхъ Славянъ» болѣе чѣмъ что-нибудь доказываютъ непостижимый поэтический тактъ Пушкина и гибкость его таланта. Извѣстно происхождение этихъ пѣсенъ и продѣлка даровитаго француза Мери́ме, вздумавшаго посміяться надъ колоритомъ мѣстности. Не знаемъ, каковы были на французскомъ языкѣ эти поддѣльные пѣсни, обманувшія Пушкина; но у Пушкина онѣ дышатъ всею роскошью мѣстнаго колорита, и многія изъ нихъ превосходны, несмотря на однообразие,—неизбѣжное впрочемъ свойство всѣхъ народныхъ произведеній.—«Подражанія Данту» можно счесть за отрывочные переводы изъ «Божественной Комедіи», и они даютъ о ней лучшее и вѣрнѣйшее понятіе, чѣмъ всѣ доселѣ сдѣланные по-русски переводы въ стихахъ и прозѣ. «Начало поэмы» («Стамбулъ гауры нынѣ славятъ») какъ будто написано туркомъ нашего времени... Какое разнообразіе! Какое богатство! Какъ виденъ въ этомъ талантъ по превосходству артистическій, художественный! И то ли еще увидимъ въ этомъ отношеніи въ большихъ пѣсахъ Пушкина!

Сдѣлаемъ теперь общій взглядъ на всѣ мелкія стихотворенія и поговоримъ о нѣкоторыхъ въ частности. О стихотвореніяхъ, заключающихся въ первой части, мы говорили почти обо всѣхъ. При началѣ поэтического поприща Пушкина живо интересовала современная исторія,—направленіе, которому онъ скоро совершенно измѣнилъ. Онъ воспѣлъ смерть Наполеона; въ превосходной пѣснѣ своей «Къ морю» онъ принесть достойную дань памяти Байрона; охарактеризовалъ его личность этими немногими, но сильными чертами:

Твой образъ былъ на немъ означенъ.
Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ:
Какъ ты, могущъ, глубокъ и мраченъ,
Какъ ты, ничѣмъ неукротимъ...

Андре Шенье былъ отчасти учителемъ Пушкина въ древней классической поэзіи, и въ элегіи, означенной именемъ французскаго поэта, Пушкинъ многими прекрасными стихами вѣрно воспроизвелъ его образъ. Въ превосходной пѣснѣ «19 октября» мы знакомимся съ самимъ Пушкинымъ, какъ съ человекомъ, для того, чтобъ любить его, какъ человека. Вся эта пѣса посвящена имъ воспоминанію объ отсутствующихъ друзьяхъ. Многія черты въ ней принадлежатъ уже къ прошедшему времени: такъ напримѣръ, теперь, когда уже вывелись восторженные юноши-поэты, вроде Ленскаго (въ «Онѣгинѣ»), никто не говоритъ «о Шиллерѣ, о славѣ, о

любви», но пѣса отъ этого тѣмъ дороже для насъ, какъ живой памятникъ прошлаго.

«Сцена изъ Фауста» есть не переводъ изъ великой поэмы Гёте, а собственное сочиненіе Пушкина въ духѣ Гёте. Превосходная пѣса, но пафосъ ея не совсѣмъ Гётевскій. Прекрасная маленькая пѣска: «Воронъ къ ворону летитъ» есть передѣлка на русскій ладъ баллады Вальтеръ-Скотта. Пѣсы, составляющія третью часть, болѣе проникнуты грустью, но не элегической; это даже не грусть, а скорѣе важная дума испытаннаго жизнью и глубоко всмотрѣвшагося въ нее таланта. Чувство гуманности во многихъ пѣсахъ этой части доходить до какого-то внутренняго просвѣтлѣнія. Таковы въ особенности пѣсы: «Когда твои младые дѣта» и «Врожу ли я вдоль улицъ шумныхъ». Заключеніе послѣдней превосходно: есть что-то похожее на пантеистическое міросозерцаніе Гёте въ послѣднемъ куплетѣ: томимый грустными предчувствіемъ близкаго конца, поэтъ говоритъ, что ему хотѣлось бы заснуть навѣки въ родномъ краѣ, хотя для безчувственного тѣла вездѣ равно истлѣвать—

И пусть у гробоваго входа
Младая будетъ жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вѣчною сияетъ!

Изъ этого, какъ изъ многихъ, особенно большихъ, пѣсѣ Пушкина, видно, что онъ поставилъ выходъ изъ диссонансовъ жизни и примиреніе съ трагическими законами судьбы не въ заоблачныхъ мечтаніяхъ, а въ опирающейся на самое себя силѣ духа...

Въ третьей же части находится превосходное стихотвореніе «Къ Вельможѣ». Это—полная, дивными красками написанная картина русскаго XVIII вѣка. Нѣкоторые крикливые глупцы, не понявъ этого стихотворенія, осмѣливались въ своихъ полемическихъ выходкахъ бросать тѣнь на характеръ великаго поэта, думая видѣть лѣсть тамъ, гдѣ должно видѣть только въ высшей степени художественное постиженіе и изображеніе цѣлой эпохи въ лицѣ одного изъ замѣчательнѣйшихъ ея представителей. Стихи этой пѣсы—само совершенство, и вообще вся пѣса—одно изъ лучшихъ созданій Пушкина; поэтъ, съ дивной вѣрностью изобразивъ то время, еще болѣе отбѣняетъ его черезъ контрастъ съ нашимъ:

Все измѣнилось. Ты видѣлъ вихоръ бури,
Паденіе всего, союзъ ума и фурій,
Освободой грозною воздвигнутый законъ,
Подъ гильотиною Версаль и Трианонъ,
И мрачнымъ ужасомъ смѣненны забавы.
Пресобравился міръ при громахъ новой славы,
Давно Ферней умолкъ. Пріятель твой Вольтеръ,
Превратности судьбы разительный примѣръ,
Не успокоившись и въ гробовомъ жилищѣ,
Донныѣ странствуетъ съ кладбища на кладбище.
Баронъ д'Ольбахъ, Морле, Гальини, Дидеротъ,

Энциклопедіи скеитическій причетъ,
И колѣй Бомарше, и твоей безносый Касти,
Всѣ, всѣ уже прошли. Ихъ мнѣнья, толки, страсти
Забыты для другихъ. Смотри, вокругъ тебя
Все новое кипитъ, бывшее истреба.
Свидѣтелями бывъ вчерашняго паденья,
Едва опомнились младыя поколѣнья.
Жестокыхъ опытовъ собирая поздній плодъ,
Они торопятся съ расходомъ свести приходъ.
Ихъ некогда шутить, обѣдять у Темиры,
Иль спорить о стихахъ. Звукъ новой, чудной
лиры,
Звукъ лиры Байрона развлечь едва ихъ могъ.

Вообще третья часть заключаетъ въ себѣ
лучшія мелкія пьесы Пушкина, не говоря
уже о двухъ превосходѣйшихъ драмати-
ческихъ очеркахъ—«Моцартъ и Сальери» и
«Пиръ во время чумы». Въ самомъ стихѣ
виденъ большой успѣхъ. И между тѣмъ ари-
стархами того времени эта часть была при-
нята очень дурно. «Кавказъ», «Обвалъ»,
«Монастырь на Кавбекѣ», «На холмахъ Гру-
зін лежитъ ночная мгла», «Не плѣняйся
бранной славой», «Когда твои младыя лѣта»,
«Зима. Чтѣ дѣлать намъ въ деревнѣ», «Зим-
нее Утро», «Калмычкѣ», «Что въ имени те-
бѣ моемъ», «Брожу ли я вдоль улицъ
шумныхъ», «Въ часы забавъ, иль праздной
скуки», «Къ Вельможѣ», «Повту», «Отвѣтъ
Анониму», «Пью за здравіе Мери», «Бѣсы»,
«Трудъ», «Цыгане», «Мадона», «Эхо»,
«Клеветникамъ Россіи», «Бородинская Го-
довщина», «Узникъ», «Зимній вечеръ»,
«Даръ напрасный, даръ случайный». «Ка-
ковъ я прежде былъ, таковъ и нынѣ я»,
«Анчаръ», «Примѣты»: во всѣхъ этихъ пье-
сахъ критиканы 1832 года увидѣли несо-
мѣнныя признаки паденія Пушкина!... То-
то были люди со вкусомъ!...

Четвертая часть преимущественно занята
русскими сказками и «Пѣснями Западныхъ
Славянъ»; мелкихъ пьесъ немного, но онѣ
всѣ превосходны. «Гусаръ», «Будрысъ и его
Сыновья», «Воевода»—мастерскіе переводы
изъ Мицкевича; «Красавица», двѣ пьесы
«подражаній древнимъ» и «Элегія» («Безум-
ныхъ лѣтъ угасшее веселье») принадлежать
къ лучшимъ произведеніямъ Пушкина. Кромѣ
того въ четвертой части напечатанъ «Раз-
говоръ книгопродавца съ поэтомъ», явив-
шійся въ первый разъ въ видѣ предисловія
къ первой главѣ «Евгенія Онегина». Этотъ
«Разговоръ» отзывается первой эпохой по-
этической дѣятельности Пушкина и не со-
всѣмъ вѣстай попалъ въ четвертую часть его
сочиненій.

Къ позднѣйшимъ сочиненіямъ Пушкина,
которые бы должны были составить пятую
часть его мелкихъ стихотвореній, принадле-
жатъ: «Туча», «Аквилонъ», «Пиръ Петра
Великаго», «Полководецъ» (одно изъ пре-
восходѣйшихъ созданій Пушкина), «По-
кровъ, упитанный извѣстною кровью» (изъ

А. Шенье). Въ IX-й томъ изданныхъ по
смерти его сочиненій вошли нѣкоторые изъ
старыхъ, непопавшихъ по недосмотру въ
первые тома, и нѣкоторые изъ новыхъ про-
изведеній, которыхъ авторъ не хотѣлъ печат-
тать, а нѣкоторые и изъ дѣйствительно по-
слѣднихъ его произведеній. Во всякомъ слу-
чаѣ лучшія изъ нихъ: «Памятникъ», «Раз-
лука», «Не дай мнѣ Богъ сойти съ ума»,
«Три ключа», «Пажъ или пятнадцатилѣтній
король», «Подражаніе итальянскому», «По-
дражаніе арабскому» («Отрокъ милый, отрокъ
нѣжный»), «М. А. Г.» , «Лицейская Годов-
щина», «Къ Гнѣдичу» (Съ Гомеромъ долго
ты бесѣдовалъ одинъ), «Разставаніе», «Ро-
мансъ», «Ночью, во время безсонницы», «За-
клинаніе», «Капризъ», «Подражаніе Данту»,
«Отрывокъ», «Послѣдніе цѣты», «Кто знаетъ
край, гдѣ небо блещетъ», «Осень», «Начало
поэмы», «Герой», «Молитва», «Опять на ро-
динѣ», да еще пропущенныя вовсе: «Нѣтъ,
нѣтъ, не долженъ я, не смѣю, не могу» и
«Признаніе» (А. И. О.—И).

До какого состоянія внутренняго просвѣт-
ленія возвысился духъ Пушкина въ послѣд-
нее время, могутъ служить фактомъ двѣ ма-
ленькія пьески—«Элегія» и «Три Ключа»:

Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье
Мнѣ тяжело, какъ смутное похмѣлье;
Но, какъ вино, печаль минувшихъ дней
Въ моей душѣ, чѣмъ старѣ, тѣмъ сильнѣй.
Мой путь унылъ. Сулитъ мнѣ трудъ и горе
Грядущаго волнующее море.

Но не хочу, о други, умирать!
Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать,
И, вѣдаю, мнѣ будутъ наслажденія
Межъ горестей, заботъ и тревоженія:
Порой опять гармоніей упьюсь,
Надъ вымысломъ слезами обольюсь,
И, можетъ быть, на мой закатъ печальной
Взнесетъ любовь улыбкою прощальной.

Въ степи мірской, печальной и безбрежной,
Таинственно пробилась три ключа:
Ключъ юности—ключъ быстрый и мятельной,
Кипитъ, бѣжитъ, сверкая и журча;
Кастальскій ключъ волною вдохновенія
Въ степи мірской изгнанниковъ поитъ;
Послѣдній ключъ—холодный ключъ забвенья,
Онъ слабѣ всѣхъ жаръ сердца утолитъ.

Заклучимъ нашъ обзоръ мелкихъ лириче-
скихъ пьесъ Пушкина мнѣніемъ о нихъ Го-
голя,—мнѣніемъ, въ которомъ конечно ска-
зано больше и лучше, нежели сколько и какъ
сказали мы въ цѣлой статьѣ нашей:

«Въ мелкихъ своихъ сочиненіяхъ — этой пре-
лестной автологіи—Пушкинъ разностороненъ не-
обыкновенно и является еще обширнѣе, виднѣе,
нежели въ поэмахъ. Нѣкоторые изъ этихъ мел-
кихъ сочиненій такъ рѣзко ослѣпительны, что
ихъ способенъ понимать всякій, но зато боль-
шая часть изъ нихъ, и притомъ самыхъ лучшихъ,
кажется обыкновенной для многочисленной тол-
пы. Чтобъ быть способну понимать ихъ, нужно
имѣть слишкомъ тонкое обоняніе; нуженъ вкусъ
выше того, который можетъ понимать только

однѣ слишкомъ рѣзкія и крупныя черты. Для этого нужно быть въ нѣкоторомъ отношеніи си-баритомъ, который уже давно пресытился грубыми и тяжелыми яствами, который ѣстъ птичку не болѣе паперстка и услаждается такимъ блюдомъ, котораго вкусъ кажется совсѣмъ неопредѣленнымъ, страннымъ, безъ всякой пріятности привыкшему глотать надѣлы крѣпостного поваря. Это собраніе его мелкихъ стихотвореній—рядъ самыхъ ослѣпительныхъ картинъ. Это тотъ ясный міръ, который такъ дышетъ чертами, знакомыми однимъ древнимъ, въ которомъ природа выражается такъ же живо, какъ въ струѣ какой-нибудь серебряной рѣки, въ которомъ быстро и ярко мелькаютъ ослѣпительныя плечи, или бѣлыя руки, или алебастровая шея, обсыпанная ночью темныхъ кудрей, или прозрачныя гроздья винограда, или мирты и древесная сѣнь, созданная для жизни. Тутъ все: и наслажденіе, и простота, и мгновенная высота мысли, вдругъ объемлющая священнымъ холодомъ вдохновенія читателя. Здѣсь нѣтъ этого каскада краснорѣчія, увлекающаго только многословіемъ, въ которомъ каждая фраза потому только сильна, что соединяется съ другими и оглушаетъ паденіемъ всей массы, но если отдѣлить ее, она становится слабой и бессмысленной. Здѣсь нѣтъ краснорѣчія, здѣсь одна поэзія; никакого наружнаго блеска, все просто, все исполнено внутренняго блеска, который раскрывается невдругъ; все законизмъ, какимъ всегда бываетъ чистая поэзія. Словъ немного, но они такъ точны, что обозначаютъ все. Въ каждомъ словѣ бездна пространства: каждое слово необъятно, какъ поэтъ. Отсюда происходитъ то, что эти мелкія сочиненія перечитываешь нѣсколько разъ, тогда какъ достоинства этого не имѣетъ сочиненіе, въ которомъ слишкомъ просвѣчиваетъ одна главная идея.

«Мнѣ всегда было странно слышать сужденія объ нихъ многихъ, слышущихъ знатоками и литераторами, которыми я болѣе доверяю, показавшіе еще не слышавъ ихъ толковъ объ этомъ предметѣ. Эти мелкія сочиненія можно назвать пробнымъ камнемъ, на которыхъ можно испытать вкусъ и эстетическое чувство разбирающаго его критика. Непостижимое дѣло! казалось, какъ бы имъ не быть доступными всѣмъ! Они такъ просто-возвышенны, такъ ясны, такъ пламенны, такъ сладострастны и въѣдѣ такъ дѣтски-чисты. Какъ бы не понимать ихъ! Но, увы! это неотразимая истина: чѣмъ болѣе поэтъ становится поэтомъ, чѣмъ болѣе изображаетъ онъ чувства, знакомыя поетамъ, тѣмъ замѣтнѣе уменьшается кругъ обступившей его толпы и наконецъ такъ становится тѣснѣе, что онъ можетъ перечесть по пальцамъ всѣхъ своихъ истинныхъ цѣнителей.»

VI.

Поэмы: «Русланъ и Людмила», «Кавказскій пленникъ», «Бахчисарайскій Фонтанъ», «Братья Разбойники».

Нельзя ни съ чѣмъ сравнить восторга и негодованія, возбужденныхъ первой поэмой Пушкина—«Русланъ и Людмила». Слишкомъ немногимъ гениальнымъ твореніямъ удавалось производить столько шуму, сколько произвела эта дѣтская и нисколько не гениальная поэма. Поборники новаго увидѣли въ ней колоссальное произведеніе, и долго послѣ того величали они Пушкина забавнымъ титломъ «пѣвца Руслана и Людмилы». Пред-

ставители другой крайности, слѣпые поклонники старины, почтенные колпаки, были оскорблены и приведены въ ярость появленіемъ «Руслана и Людмилы». Они увидѣли въ ней все, чего въ ней нѣтъ—чуть не безбожіе, и не увидѣли въ ней ничего изъ того, что именно есть въ ней, то есть хорошихъ, звучныхъ стиховъ, ума, эстетическаго вкуса и, мѣстами, проблесковъ поэзіи. Перелистуйте, отъ скуки, журналы 1820 года, — и вы съ трудомъ повѣрите, что все это писалось и читалось не болѣе, какъ какихъ-нибудь 24 года назадъ... И это относится не къ однимъ порицательнымъ, но и къ хвалительнымъ статьямъ, которыми наводнились журналы того времени вслѣдствіе появленія «Руслана и Людмилы». Впрочемъ подобное явленіе столько же понятно, сколько естественно и обыкновенно. Люди, которымъ не дано способности углубляться въ сущность вещей, раздѣляются на старовѣровъ и на верхоглядовъ. Первые стоятъ за старое и слѣдуютъ мудрому правилу: «все старое хорошо, потому что оно—старое, а все новое дурно, потому что оно — новое»; вторые стоятъ за новое и слѣдуютъ мудрому правилу: «все новое хорошо, потому что оно—новое, а все старое дурно, потому что оно—старое». Несмотря на всю противоположность этихъ двухъ партій, онѣ очень похожи одна на другую, потому что источникъ ихъ возраженій, при всемъ своемъ различіи, одинъ и тотъ же: это—нравственная слѣпота, препятствующая видѣть сущность предмета. Старовѣры, какъ люди всегда дряхлые, если не годами, то душой, управляются привычкой, которая замѣняетъ имъ размышленіе и избавляетъ ихъ отъ всякой умственной работы. Привыкнувъ съ молодости слышать, что такой-то писатель великъ, они не заботятся узнать, почему онъ великъ и точно ли онъ великъ, и готовы считать безбожникомъ всякаго, кто осмѣлился бы усомниться въ величій этого писателя. Такимъ-то образомъ до появленія Пушкина у нашихъ словесниковъ слыли за великихъ писателей Кантемиръ, Ломоносовъ, Сумароковъ, Державинъ, Петровъ, Херасковъ, Богдановичъ, — и въ ихъ глазахъ Державинъ потому же самому былъ великъ, почему и Сумароковъ съ Херасковымъ, то есть по неоспоримому праву давности, а совсѣмъ не потому, чтобъ они умѣли чувствовать и постигать красоты его поэзіи. У кого есть эстетическій вкусъ и кто способенъ находить красоты въ Державинѣ, тотъ уже не можетъ восхищаться Сумароковымъ, Херасковымъ или Петровымъ, — а словесники, о которыхъ мы говоримъ, равно благоговѣли передъ Сумароковымъ и Херасковымъ, какъ и передъ Державинымъ; Ломоносова же считали одни наравнѣ съ

Державиннымъ, другіе ставили выше Державина, а третьи оставались въ недоумѣніи, кому изъ нихъ отдать пальму первенства. Ясный знакъ, что всѣми этими мнѣніями управляла привычка, одна привычка и больше ничего... Каково же было дожить этимъ старымъ дѣтямъ привычки до такого страшнаго поруганія, когда общій голосъ публики нарекъ знаменитымъ поэтомъ какого-то Александра Пушкина, который, по метрическимъ книгамъ, жилъ на свѣтѣ не болѣе двадцати одного года! Къ вѣщшему соблазну, реченный Пушкинъ осмѣлился писать такъ, какъ до него никто не писалъ на Руси, возымѣлъ неслыханную дерзость или паче отвѣщенное буйство—идти своимъ собственнымъ путемъ, не взявъ себѣ за образецъ ни одного изъ законодателей парнасскихъ, великихъ поэтовъ иностранныхъ и русскіихъ, каковы: Гомеръ, Пиндаръ, Виргилій, Гораций, Овидій, Тассъ, Мильтонъ, Корнель, Расинъ, Буало, Ломоносовъ, Сумароковъ, Державинъ, Петровъ, Херасковъ, Дмитріевъ и проч. А извѣстно и вѣдомо было въ тѣ времена каждому, даже и не учившемуся въ семинаріи, что талантъ безъ подражанія гениямъ, утвержденнымъ давностью, гибнетъ втунѣ жертвой собственного своевольства. Самъ Жуковский, хотя онъ и крѣпко насолдилъ словесникамъ своими балладами и своимъ романтизмомъ, самъ Жуковский держался Шиллера; а Батюшковъ именно потому и былъ отличнымъ поэтомъ, что подражалъ Парни и Миллвуа, которые, вмѣстѣ взятые, не годились ему и въ парнасскіе камердинеры... По всѣмъ этимъ резонамъ долой Пушкина! Или онъ, или мы; а вмѣстѣ съ нимъ намъ тѣсно на землѣ!.. И это продолжалось не менѣе десяти лѣтъ сряду. Однакожъ Пушкинъ устоялъ, и теперь развѣ только какія-нибудь литературныя аномаліи, которыхъ одно имя возбуждаетъ смѣхъ, вопіютъ еще нерѣдко противъ законности правъ Пушкина на титулъ великаго поэта; но они противопоставляютъ ему уже не Сумарокова съ Херасковымъ, а своихъ собственныхъ, нарочно для этого случая изсеченныхъ гениевъ, которые

...немножечко деруть,
Зато ужъ въ ротъ хмѣльного не берутъ,
И всѣ съ прекраснымъ поведеніемъ.

Такъ всегда время побѣждаетъ предразсудки людей, и на ихъ развалинахъ возстановляетъ побѣдоносное знамя истины; но тѣмъ не менѣе для будущаго времени всегда остается та же работа. Впродолженіе почти пятнадцати лѣтъ всѣ привыкли къ имени Пушкина и къ его славѣ, а потому всѣ и повѣрили наконецъ, что Пушкинъ—великій поэтъ. Но отъ этого дѣло не исправилось

для будущихъ поэтовъ, и ихъ всегда будутъ принимать не съ одними кликами восторга, но и съ свистками, и съ камнями, до тѣхъ поръ, пока не привыкнутъ къ ихъ именамъ и ихъ славѣ. Развѣ теперь не то же самое συμβασται на нашихъ глазахъ съ Гоголемъ и Лермонтовымъ, чѣмъ было съ Пушкинымъ? Есть люди, которые, по какому-то внутреннему безсознательному побужденію, съ жадностью читаютъ каждое новое произведеніе Гоголя и чуть не наизусть знаютъ всѣ прежнія его сочиненія, а между тѣмъ приходятъ въ непритворное негодованіе, если при нихъ Гоголя называютъ великимъ поэтомъ... Подождите еще нѣсколько—привыкнутъ, и тогда—горе человеку, который сдѣлаетъ хотя бы дѣльное замѣчаніе не въ пользу Гоголя... Такова ужъ натура этихъ людей! Они кланяются только побѣдителямъ и признають власть только того, кого боятся...

Но не лучше старовѣровъ и верхогляды, которые рукоплещутъ только торжеству настоящей минуты и не хотятъ знать о заслугѣ, которую сами же прославляли за нѣсколько дней передъ тѣмъ. Для нихъ хорошо только новое, и въ литературѣ они видятъ только моду. Новый водевилъ, пустой и ничтожный, какъ всѣ водевили, для нихъ важнѣе и «Бориса Годунова» Пушкина, и «Горя отъ Ума» Грибоедова, и «Ревизора» Гоголя. Они со всѣмъ не то, что люди движенія, которые въ своей крайности, восторгаясь новымъ литературнымъ явленіемъ, отрицають всякую заслугу со стороны прежнихъ писателей. Нѣтъ, верхогляды совсѣмъ не фанатики: они не отрицають важности старыхъ писателей и старыхъ сочиненій, а просто не хотятъ ихъ знать; старо же для нихъ все, чѣмъ появилось хотя за день до какой-нибудь пошлости, занявшей ихъ сегодня. Каждый изъ нихъ знаетъ по именамъ всѣхъ замѣчательныхъ русскихъ поэтовъ, но ни одинъ изъ нихъ не читалъ ни Ломоносова, ни Державина, ни Карамзина, ни Дмитріева, ни Озерова. Они читаютъ только современное, новое, хотя бы оно состояло изъ сущихъ пустяковъ.

Мы не говоримъ здѣсь о тѣхъ приверженцахъ старины, которые отстаиваютъ старое противъ новаго по привязанности къ школѣ, къ принципамъ, въ которыхъ воспитались. Въ людяхъ этого разряда много смѣшного и жалкаго, но много и достойнаго любви и уваженія. Это не дѣти привычки, о которыхъ мы говорили выше; это—дѣти извѣстной доктрины, извѣстнаго ученія, извѣстной мысли. Равнымъ образомъ и противоположные имъ поклонники новаго, какъ новой мысли, новаго созерцанія, новаго духа, заслуживаютъ любовь и уваженіе, несмотря на ихъ крайности и смѣшныя, одностороннія убѣжденія. Фана-

тизмъ не есть истина, но безъ фанатизма нѣтъ стремленія къ истинѣ. Фанатизмъ — болѣзнь, но вѣдь болѣзнь есть принадлежность только живого, а не мертвого: камень или трупъ не знаютъ болѣзни...

Причиной энтузіазма, возбужденнаго «Русланомъ и Людмилей», было конечно и предчувствіе новаго міра творчества, который открывалъ Пушкинъ всѣми своими первыми произведеніями, но еще болѣе это было просто обольщеніе невиданной дотошъ новинкой. Какъ бы то ни было, но нельзя не понять и не одобрить такого восторга: русская литература не представляла ничего подобнаго «Руслану и Людмилѣ». Въ этой поэмѣ все было ново: и стихи, и повѣян, и шутка, и сказочный характеръ вмѣстѣ съ серьезными картинами. Но бѣшеннаго негодованія, возбужденнаго сказкой Пушкина, нельзя было бы со всѣмъ понять, еслибъ мы не знали о существованіи старсвѣровъ, дѣтей привычки. На что ознакомились они? На нѣсколько вольныхъ картины въ эротическомъ духѣ! — Но они давно уже знакомы были съ ними черезъ Державина и въ особенности черезъ Богдановича... Притомъ же они никогда не ставили этихъ вольностей въ вину напримѣръ Аріосту, Парни, несмотря на то, что вольности въ «Русланѣ и Людмилѣ» — сама скромность, само цѣломудріе въ сравненіи съ вольностями этихъ писателей. Это были писатели старше: къ ихъ славіи давно уже всѣ привыкли, и потому имъ было позволено то, о чемъ не позволялось и думать молодому поэту. Забавнѣе всего, что «Душенька» Богдановича была признаваема старовѣрами за произведеніе классическое, то-есть такое, которое уже выдержало пробу времени и высокое достоинство котораго уже не подвержено никакому сомнѣнію. Судя по этому, имъ-то бы и надобно было особенно восхититься поэмой Пушкина, которая во всѣхъ отношеніяхъ была неизмѣримо выше «Душеньки» Богдановича. Стихъ Богдановича прозаиченъ, вялъ, водягъ, языкъ обветшалый и сверхъ того до нельзя искаженный такъ называвшимся тогда «піитическими вольностями»; повѣян почти нисколько; картины блѣдны, сухи. Словомъ, несмотря на всю незначительность «Руслана и Людмилы», какъ художественнаго произведенія, смѣшно было бы доказывать неизмѣримое превосходство этой поэмы передъ «Душенькой». Сверхъ того она навѣяна была на Пушкина Аріостомъ, и русскаго въ ней кромѣ именъ нѣтъ ничего; романтизма, столь ненавистнаго тогдашнимъ словесникамъ, въ ней тоже нѣтъ ни искорки; романтизмъ даже осмѣянъ въ ней, и очень мило и остроумно, въ забавной выходкѣ противъ «Двѣнадцати Спящихъ Дѣвъ». Короче: поэма Пушкина должна была составить тор-

жество псевдо-классической партіи того времени. Но не тутъ-то было! При второмъ изданіи «Руслана и Людмилы», вышедшимъ въ 1828 году, припечатано нѣсколько ругательныхъ статей на эту поему, написанныхъ въ 1820 году; перечтите ихъ — и вы не повѣрите глазамъ своимъ! Для образчика такихъ критикъ выписываемъ отрывокъ одной изъ нихъ, напечатанной въ «Вѣстникѣ Европы» 1820 года по случаю помѣщеннаго въ «Сынѣ Отечества» отрывка изъ «Руслана и Людмилы» еще до появленія этой поэмы вполне:

«Теперь прошу обратить ваше вниманіе на новый ужасный предметъ, который, какъ у Козьмы Мухоморова, выходитъ изъ нѣдръ морскихъ и показывается посреди Океана Россійской словесности. Пожалуйста, напечатайте же мое письмо: быть можетъ, люди, которые гроваютъ нашему терпѣнію новымъ бѣдствіемъ, опомнятся, разсѣются — и остановятъ намѣреніе сдѣлаться поборниками новаго рода русскихъ сочиненій.

«Дѣло вотъ въ чемъ: вамъ извѣстно, что мы отъ предковъ получили небольшое бѣдное наследство литературы, т.-е. сказки и пѣсни народныя. Чтѣ объ нихъ сказать? Если мы бережемъ старинныя монеты даже самыя безобразныя, то не должны ли тщательно хранить и остатки словесности нашихъ предковъ? Безъ всякаго сомнѣнія! Мы любимъ воспоминать все относящееся къ нашему младенчеству, къ тому счастливому времени дѣтства, когда какая-нибудь пѣсня или сказка служила намъ невинной забавой и составляла все богатство познаній? Видите сами, что я не прочь отъ собранія и изысканія русскихъ сказокъ и пѣсенъ; но когда узналъ я, что наши словесники приняли старинныя пѣсни совсѣмъ съ другой стороны, громко закричали о величинѣ, плавности, силѣ, красотахъ, богатствѣ нашихъ старинныхъ пѣсенъ, начали переводить ихъ на нѣмецкій языкъ, и наконецъ такъ влюбились въ сказки и пѣсни, что въ стихотвореніяхъ XIX вѣка заблистали *Ерусланы* и *Бобы* на новый манеръ, то я вамъ слуга покорный!

«Чего добраго ждать отъ повторенія болѣе жалкихъ, нежели смѣшныхъ лепетаній?... чего ждать, когда наши поэты начинаютъ пародировать *Киршу Данилова*?

«Возможно ли просвѣщенному, или хоть немного свѣдущему человѣку терпѣть, когда ему предлагаютъ новую поему, писанную въ подражаніе *Еруслану Лазаревичу*? Извольте же заглянуть въ 15 и 16 №№ *Сына Отечества*. Тамъ неизвѣстный пинтъ на образчикъ выставляетъ намъ отрывокъ изъ поэмы своей *Людмила и Русланъ* (не Ерусланъ ли?). Не знаю, что будетъ содержать цѣлая поэма; но образчикъ хоть кого выведетъ изъ терпѣнія. Пинтъ оживляетъ *мужичка* самъ съ *ноготъ*, а *борода* съ *локотъ*, придаетъ еще ему безконечные усы («С. Отеч.», стр. 121), показываетъ намъ вѣдму, шапочку-невидимку и проч. Но вотъ что всего драгоцѣннѣе: Русланъ навѣяетъ въ полѣ на побитую рать, видитъ богатырскую голову, подъ которой лежитъ мечъ-кладенецъ; голова съ нимъ разглагольствуетъ, спрашивается... Живо помню, какъ все это, бывало, я слушалъ отъ пьянки моей; теперь на старости сподобился вновь то же услышать отъ поэтовъ нмѣнѣшняго времени... Для болѣе точности или чтобы лучше выразить всю прелесть стариннаго нашего пѣснословія, поэтъ и въ выраженіяхъ уподобился Ерусланову разсказчику, напримѣръ:

Шутите вы со мною,
Всѣхъ удаю васъ бородами!...

Каково?

... Обѣхалъ голову кругомъ
И сталъ *передъ носомъ* молчаливо.
Щекотитъ ноздри копіемъ...

Картина, достойная Кириши Данилова! Далѣе чихнула голова, за ней и эхо *чихаетъ*... Вотъ что говорить рыцарь:

Я ѣду, ѣду, не свишу,
А какъ найду, не спущу...

Потомъ рыцарь ударяетъ голову въ *щеку* тяжелой *рукавицей*... Но увольте меня отъ подробнаго описанія, и позвольте спросить: еслибы въ Московское Благородное Собраніе какъ-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможнымъ) гость съ бородою, въ армякѣ, въ лаптахъ и закричалъ бы вычнымъ голосомъ: *здорово, ребята!* Неужели бы стали такимъ проказникомъ любоваться! Бога ради, позвольте мнѣ, старику, сказать публикѣ, посредствомъ вашего журнала, чтобы она каждый разъ жмурила глаза при появленіи подобныхъ странностей. Зачѣмъ допускать, чтобы плоскія шутки старины снова появлялись между нами? Шутка грубая, не одобряемая вкусомъ просвѣщеннаго, отвратительная, а не мало не смѣшна и не забавна. Dixi.

Житель Бутырской слободы.

Итакъ, ясно, что «бутырскаго» критика оскорбилъ прежде всего сказочный характеръ поэмы «неизвѣстнаго пѣвца», т. е. Пушкина. Но какой же, если не сказочный, характеръ Аріостова «*Orlando furioso*»? Правда, рыцарскій сказочный міръ заключаетъ въ себѣ несравненно больше поэзіи и занимательности, чѣмъ бѣдный міръ русскихъ сказокъ; но что касается до сказочныхъ нецѣлостей, столь оскорбившихъ вкусъ бутырскаго критика, — ихъ довольно въ poemѣ Аріоста, — и онѣ, право, стоятъ «мужичка самъ съ ногою, а борода съ локоть», или головы богатыря. Но, видите ли, Аріостъ — писатель классическій, котораго слава уже утверждена была слишкомъ двумя столѣтіями: стало быть, къ нему и къ его славіи уже привыкли... Волю же было Пушкину сочинить новую поему, которой не было еще и года отъ роду, какъ ее ужъ въ пухъ разругали... При томъ же Аріоста самъ Вольтеръ объявилъ «величайшимъ изъ новѣйшихъ поэтовъ»: стало быть, послѣ такого авторитета, какъ авторитетъ Вольтера, смѣло можно было хвалить Аріоста, не боясь попасться въ просакъ. Вѣдь литературные авторитеты, подобно Корану, на то и существуютъ, чтобы люди могли быть умны безъ ума, свѣдуши безъ ученія, знающіе безъ труда и размышленія и безошибочно правы безъ помощи здраваго смысла. Вотъ другое дѣло, еслибы кто изъ признанныхъ авторитетовъ, напримѣръ Ломоносовъ или Поповскій, могли объявить свое мнѣніе въ пользу «Руслана и Людмилы», тогда всѣ единодушно признали бы эту сказку гениальнымъ произведеніемъ! Хорошая порука — важное дѣло, и чужой умъ — всегда спасеніе для тѣхъ, у кого нѣтъ своего... Что бутырскій критикъ нашелъ пош-

лыми не только выраженія «удавить бородой, стать передъ носомъ, щекотать ноздри копіемъ» и «ѣду, не свишу, а найду, не спущу», но и «умирающій лучъ солнца», это опять происходило отъ привычки къ облизаннымъ празническимъ общимъ мѣстамъ предшествовавшей Пушкину поэзіи, и отъ непривычки къ благородной простотѣ и близости къ натурѣ. Все привычка! Одинъ бутырскій критикъ до того ожесточился противъ «Руслана и Людмилы», что ренемы «языкомъ» и «копіемъ» называлъ мужичками... Видите ли: строго придирались даже къ версификаціи Пушкина, они, эти безусловные поклонники всѣхъ русскихъ поэтовъ до Пушкина, которые изъ всѣхъ силъ и со всевозможнымъ усердіемъ уродовали русскій языкъ незаконными усѣченіями, насиліемъ грамматики и разными «пѣтическими вольностями». Каковъ бы ни былъ стихъ въ «Русланѣ и Людмилѣ», но въ сравненіи со стихомъ «Душеньки» Богдановича, сказокъ Дмитріева, «Странствователя и Домосѣда» Батюшкова и даже «Двѣнадцати Спящихъ Дѣвъ» Жуковского, онъ — само извѣстество, сама поэзія. Оскорбленная привычка этого не замѣчала, а если замѣчала, то для того только, чтобы, по излишней привязчивости, ставить молодому поэту въ непростительную вину то, что считала чуть не достоинствомъ въ старыхъ. Какъ чловѣкъ съ огромнымъ талантомъ, эту привязчивость возбудилъ къ себѣ и Грибоедовъ. При «Вѣстникѣ Европы» одинъ бутырскій критикъ состоялъ въ должностя явнаго зомбѣ всѣхъ новыхъ яркихъ талантовъ; поэтому «Горе отъ ума» возбудило всю желчь его. Такъ, между прочимъ было сказано по поводу отрывка изъ «Горя отъ ума», помѣщеннаго въ альманахѣ «Талія»: «Смѣемъ надѣяться, что всѣ, читавшіе отрывокъ, позволятъ намъ отъ лица всѣхъ просить Грибоедова издать всю комедію». Бутырскій критикъ «Вѣстника Европы», указавъ на эти слова, восклицаетъ: «Напротивъ, лучше попросить автора не издавать ея, пока не перемѣнитъ главнаго характера и не исправитъ слога».

Мы указываемъ на всѣ эти диковинки, разумѣется, не для того, чтобы доказать ихъ чудовищную нецѣлость: игра не стоила бы свѣчъ, да и смѣшно было бы снова позывать къ суду людей, и безъ того уже давно проигравшихъ тяжбу во всѣхъ инстанціяхъ здраваго смысла и вкуса. Нѣтъ, мы хотѣли только охарактеризовать время и нравы, которые засталъ Пушкинъ на Руси при своемъ появленіи на поэтическое поприще, а вмѣстѣ съ тѣмъ и показать, какую роль чудовищно-привычка играетъ тамъ, гдѣ бы должны были играть роль только умъ и вкусъ. Оставимъ же въ сторонѣ эти допотопныя ископаемые древ-

ности, заключающіяся въ затвердѣлыхъ пластахъ «Вѣстника Европы», и обратимся къ «Руслану и Людмилѣ».

Бутырскіе критики, какъ мы видѣли, особенно оскорбились въ «Русланѣ и Людмилѣ» тѣмъ, что показалось имъ въ этой поэмѣ колоритомъ мѣстности и современности въ отношеніи къ ея содержанію. Но именно этого-то совсѣмъ и нѣтъ въ сказкѣ Пушкина: она столько же русская, сколько и нѣмецкая или китайская. Кирша Даниловъ не виноватъ въ ней ни душой, ни тѣломъ, ибо въ самой худшей изъ собранныхъ имъ русскихъ пѣсенъ больше русскаго духа, чѣмъ во всей поэмѣ Пушкина, хотя онъ въ своемъ поэтическомъ прологѣ къ ней и сказалъ: «Тамъ русскій духъ, тамъ Русью пахнетъ». Вѣроятно Пушкинъ не зналъ сборника Кирши Данилова въ то время, когда писалъ «Руслана и Людмилу»: иначе онъ не могъ бы не увлечься духомъ народно-русской поэзіи, и тогда его поэма имѣла бы по крайней мѣрѣ достоинство сказки въ русско-народномъ духѣ, и притомъ написанной прекрасными стихами. Но въ ней русскаго—одни только имена, да и то не всѣ. И этого руссизма нѣтъ такъ же и въ содержаніи, какъ и въ выраженіи поэмы Пушкина. Очевидно, что она—плодъ чуждаго вліянія и скорѣе пародія на Аріоста, чѣмъ подражаніе ему, потому что надѣлать нѣмецкихъ рыцарей изъ русскихъ богатырей и витязей—значитъ исказить равно и нѣмецкую, и русскую дѣйствительность. Намъ такъ мало осталось памятниковъ отъ до-историческихъ временъ Руси, что Владиміръ Красное-Солнышко столько же для насъ мифъ, сколько Владиміръ, просвѣтитель Руси, историческое лицо; а сказки Кирши Данилова, въ которыхъ является дѣйствующимъ лицомъ языческій Владиміръ, явно сложены въ позднѣйшія времена. И потому Пушкинъ отъ преданія только и воспользовался, что словомъ «Солнце», приложеннымъ къ имени Владиміра. Пожива небогатая! Во всемъ остальномъ его Владиміръ-Солнце—пародія на какого-нибудь Карла Великаго. Таковы же Русланъ, и Рогдѣй, и Фарлафъ: дѣйствительность ихъ, историческая и поэтическая, такой же точно пробы, какъ и дѣйствительность Финна, Нанны, богатырской головы и Черномора. Пушкинъ съ особенной радостью ухватился, было, за такъ называемаго «вѣщаго Баяна», понявъ слово «баянъ» какъ нарицательное и равнозначительное словамъ: «скальдъ, бардъ, мѣнестрель, трубадуръ, миннезингеръ». Въ этомъ онъ раздѣлялъ заблужденіе всѣхъ нашихъ словесниковъ, которые, нашедъ въ «Словѣ о Полку Игоревѣ» вѣщаго баяна, соловья стараго времени, который «еще кому хотяше пѣснь творити, то расте-

Соч. Бѣлинскаго. Т. III.

кашется мыслью по древу, сѣрымъ волкомъ по земли, шивымъ орломъ подъ облакъ»,—заключили изъ этого, что Гомеры древней Руси назывались б а я н а м и. Что въ древней Руси были свои пѣсенники, сказочники, балагуры и прибаутчики такъ же, какъ и теперь въ простомъ народѣ бываютъ подобные,—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; но по смыслу текста «Слова» ясно видно, что имя Баяна есть собственное, а отнюдь не нарицательное. Да и Баянъ «Слова» такъ неопредѣленъ и загадоченъ, что на немъ нельзя построить даже и остроумныхъ догадокъ, на которыя такъ щедры досужіе антиквари, а тѣмъ менѣе можно заключить изъ него что-нибудь достоверное. И потому весь баянъ Пушкина—ни болѣе, ни менѣе, какъ риторическая фраза. О прологѣ къ «Руслану и Людмилѣ» дѣйствительно можно сказать: «Тутъ русскій духъ, тутъ Русью пахнетъ»; но этотъ прологъ явился только при второмъ изданіи поэмы, то есть черезъ восемь лѣтъ послѣ перваго ея изданія, стало быть,—тогда, какъ Пушкинъ уже настоящимъ образомъ вникъ въ духъ народной русской поэзіи. Первые семнадцать стиховъ, которыми начинается «Русланъ и Людмила», отъ стиха «Дѣла давно минувшихъ дней» до стиха: «Низко кланяясь гостямъ», дѣйствительно «пахнутъ Русью»; но ими начинается и ими же и оканчивается русскій духъ всей этой поэмы; больше въ ней его слыхомъ не слышать, видомъ не видать. Мы даже подозреваемъ, что не были-ль эти семнадцать счастливыхъ стиховъ поводомъ къ присочиненію къ нимъ всей поэмы... Какъ бы то ни было, только поэма эта—палость сильнаго, еще незрѣлаго таланта, который, кипѣя жаждой дѣятельности, схватился безъ разбора за первый предметъ, мысль о которомъ какъ-то промелькнула передъ нимъ въ веселый часъ. Весь тонъ поэмы—шуточный. Поэтъ не принимаетъ никакого участія въ созданныхъ его фантазіей лицахъ. Онъ просто чертилъ арабески и потѣшался ихъ забавной странностью. Оттого, какъ самъ Пушкинъ справедливо замѣчалъ впослѣдствіи, она холодна. Въ самомъ дѣлѣ, въ ней много, граціи, игривости, остроумія; есть живое движеніе и еще больше блеска, но очень мало жара. Въ эпизодѣ о Финнѣ проглядываетъ чувство; оно вспыхиваетъ на минуту въ воззваніи Руслана къ устланному костью полю но это воззваніе оканчивается нѣсколько риторически. Все остальное холодно.

Вообще «Русланъ и Людмила» для двадцатыхъ годовъ имѣла то же самое значеніе, какое «Душенька» Богдановича для семидесятыхъ годовъ. Разумѣется, великъ переѣсъ на сторонѣ поэмы Пушкина и въ отношеніи къ превосходству времени и къ превосходству таланта. Но наше время далеко впереди

объихъ этихъ эпохъ русской литературы,— и потому если «Душеньку» теперь нѣтъ никакой возможности прочесть отъ начала до конца по доброй волѣ, а не по нуждѣ, которая можетъ заставить прочесть и «Телемахиду», то «Руслана и Людмилу» можно только перелистывать отъ нечего дѣлать, но уже нельзя читать, какъ что-нибудь дѣльное. Ея литературно-историческое значеніе гораздо важнѣе значенія художественнаго. По своему содержанію и отдѣлкѣ она принадлежитъ къ числу переходныхъ пьесъ Пушкина, которыхъ характеръ составляетъ обновленный классицизмъ: въ нихъ Пушкинъ является улучшеннымъ, усовершенствованнымъ Ватюшковымъ. Въ «Русланѣ и Людмилѣ», какъ мы уже сказали выше, нѣтъ ни признака романтизма; даже опухтеленъ недостатокъ поэзіи, несмотря на все изящество выраженія и всю прелесть стиха, неслыханныя до того времени. Скажемъ больше: даже со стороны формы какъ немного она выше обветшалыхъ формъ прежней поэзіи,— есть звенья, соединяющія «Руслана и Людмилу» съ прежней школой поэзіи: мы разумѣемъ здѣсь употребленіе словъ «брада, глава» и произвольное употребленіе усѣченныхъ прилагательныхъ, которыхъ въ поэмѣ Пушкина найдется больше десятка. Словомъ, еслибъ не недостатокъ самобытности и не избытокъ привычки, такъ называемые классики того времени должны были бы торжествовать, какъ свою побѣду надъ такъ называвшимися тогда романтиками, появленіе «Руслана и Людмилы»,—на Пушкинѣ сосредоточить всѣ надежды своей партіи, а истиннаго представителя романтизма, слѣдовательно самаго опаснаго ихъ врага, видѣть въ Жуковскомъ. Въ самомъ дѣлѣ, нѣкоторые изъ нихъ были какъ будто близки къ этому взгляду. Въ «Вѣстникѣ Европы» 1824 года одинъ классикъ разсердился за то, что Верстовскій, положившій на музыку «Черную Шаль» Пушкина, назвалъ ее кантатой.

«Почему (говоритъ бутырскій классикъ) Верстовскій возвелъ простую пѣсню на степень кантаты? Такого ли содержанія бываютъ кантаты собственно такъ называемыя? Такими ли видимъ ихъ у Драйдена, у Жанъ-Баптиста Руссо и у другихъ поэтовъ знаменитыхъ? (Хороши знаменитости—Драйденъ и Жанъ-Баптистъ Руссо!) Источникъ средства свои на страсти, бунтующія въ душѣ безвѣстнаго человека, что употребить онъ, когда нужно будетъ силою музыки возвысить значительность словъ въ тѣхъ кантатахъ, гдѣ историческія или миеологическія во многихъ отношеніяхъ намъ извѣстны и для всѣхъ просвѣщенныхъ людей занимательныя лица страдаютъ или торжествуютъ?—Въ пѣснѣ Пушкина представляется намъ какой-то молдаванинъ, убившій какую-то любимую имъ красавицу, которую соблазнилъ какой-то армянинъ. Достойно ли это того, чтобъ искусный композиторъ изыскивалъ средства потрясать сердца слушателей, чтобъ для пѣсни тратить сокровища

музыки? Не значить ли это воздвигнуть огромный пьедесталъ для маленькой красивой куклы, хотя бы она была сдѣлана на Севрской фабрикѣ? Угадываю причины, побудившія Верстовскаго къ сему подвигу, и знаю напередъ одинъ изъ отвѣтовъ: «А. Пушкинъ принадлежитъ къ числу первоклассныхъ поэтовъ нашихъ». Что касается до стихотворства, я самъ отдаю ему совершенную справедливость; стихи его отменно гладки, плавны, чисты; не знаю, кого изъ нашихъ сравнивать съ нимъ въ искусствѣ стопосложенія; скажу болѣе: Пушкинъ не оговоряется, не бросается ни въ сантиментальность, ни въ таинственность, ни въ надутость, ни въ пустословіе; онъ живъ и стремителенъ въ разсказѣ; употребляетъ слова въ надлежащемъ ихъ смыслѣ; наблюдаетъ умную соразмѣрность въ раздѣленіи мыслей: все это составляетъ (?) красоту его стихотвореній. Гдѣ-жъ однако тѣ качества, которыя, по словамъ Горация, составляютъ поэта? гдѣ mens diviniор? гдѣ os magna sonaturum?» (№ 1, стр. 70 и 71.)

Замѣчаете ли, что нашъ бутырскій критикъ видѣлъ кое-что въ Пушкинѣ, и если не увидѣлъ всего,—ему помѣшала привычка. Пушкинъ не любилъ щеголять эпитетами, не бросался ни въ сантиментальность, ни въ таинственность, ни въ надутость, ни въ пустословіе; онъ живъ и стремителенъ въ разсказѣ, употребляетъ слова въ надлежащемъ ихъ смыслѣ, наблюдаетъ умную соразмѣрность въ раздѣленіи мыслей: все это дѣйствительно составляло неотъемлемыя качества Пушкинской поэзіи, и качества великія; но—видите ли—по мнѣнію бутырскаго классика, это не больше, какъ внѣшная (?) красота стихотворенія Пушкина, потому что гдѣ же въ нихъ mens diviniор (божественное безуміе, изступленіе, восторгъ), гдѣ os magna sonaturum? А что такое разумѣли подъ этимъ наши псевдо классическіе критики? Вотъ что.

...Кто завѣсу мнѣ вѣчности расторгъ!

Я вижу молніи блескъ! Я слышу съ горня свѣта И то, и то!..

Прочтите всю превосходную сатиру Дмитріева «Чужой Толкѣ» — и вы еще лучше поймете, что наши классики разумѣли подъ mens diviniор. Хотя многія изъ первыхъ произведеній Пушкина (какъ напримѣръ «Черная Шаль», «Наполеонъ», «Андрей Шенье») не чужды декламации и риторической напряженности, но для нашихъ классиковъ этого было мало; они не могли увидѣть въ Пушкинѣ mens diviniор,—такъ привыкли они къ напыщенной шумихѣ одошлѣй своего времени! Посмотрите, изъ чего хлопотали бѣдняжки: изъ названій, изъ словъ — «ода, кантата, пѣсня» и т. п. Мы сами слышали однажды, какъ глава классическихъ критиковъ, почтенный, умный и даровитый Мерзляковъ, сказалъ съ каеэдрами: «Пушкинъ пишетъ хорошо, но, Бога ради, не называйте его сочиненій поэмами!» Подъ словомъ «поэма» классики привыкли видѣть что-то чрезвычайно важное Съ

«кантатами» ихъ познакомили Драйденъ и Жанъ-Баптистъ Руссо: стало-быть, то уже не кантата, что не было рабской копіей съ какой нибудь кантаты этихъ двухъ риторико-стихотворцевъ. И какимъ образомъ страсти безвѣстнаго человѣка могли быть предметомъ такого высокаго рода повѣи, какъ кантата? — съ нихъ было бы за глаза довольно и нѣжной пѣсенки вродѣ: «Стоишь сизый голубочекъ»: вѣдь въ залы входить только господа, а слуги остаются въ передней! Въ то время высокій и священный санъ человѣка не признавался ни за что, и человѣкъ считался ниже не только титулярнаго совѣтника, но и простого канцеляриста. Какъ же можно было видѣть равнодушно, что талантливый композиторъ тратитъ сокровища музыки на чувство какого-то армяннина...

А между тѣмъ бутырскіе классики были близки и къ тому, чтобы увидѣть въ Жуковскомъ истиннаго своего врага, какъ это можно замѣтить изъ слѣдующихъ строкъ:

«Будучи однимъ изъ почитателей (но не слѣпыхъ и рабскихъ) таланта нашего отличнаго стихотворца, В. А. Жуковскаго, я такъ же, какъ и прочіе мои соотечественники, восхищался многими прекрасными его произведеніями. Такъ, м. г. м., и я, хотя не имѣю чести быть орлиной породы, свѣтъ прямо смотрѣть на солнце, любовался блескомъ его и согрѣвался животельной его теплотой до тѣхъ поръ, пока западные, чужеземные туманы и мраки не обожгли его и не заслонили свѣтъ его отъ слабыхъ глазъ моихъ, слабыхъ потому, что не могутъ видѣть свѣта сквозь мракъ и туманъ. Говоря языкомъ общепонятнымъ, я съ восхищеніемъ читалъ и перечитывалъ «Пѣвца во станѣ русскихъ воиновъ», переводъ Греевой элегии, «Людмилу», «Свѣтлану», «Эолову арфу», многія мѣста изъ «Двѣнадцати Спящихъ Дѣвъ» и разныя другія стихотворенія Жуковскаго. Но съ нѣкотораго времени, когда мнѣ его стало появляться подъ стихотвореніями, въ которыхъ все нѣмецкое, кромѣ буквъ и словъ, — восторгъ и удивленіе во мнѣ уступило мѣсто сожалѣнію о томъ, что стихотворецъ съ такими превосходными дарованіями оставилъ красоты и приличія языка: оставилъ тѣ средства, которыми онъ усвоилъ русскимъ «Людмилу», «Ахилла» и столько другихъ произведеній словесности чужеземной... оставилъ, и для чего же? Чтобы ввести въ нашъ языкъ обороты, блести ума и безпонятную выпренность нынѣшнихъ нѣмцевъ стихотворцевъ-мистиковъ! Если первыя баллады Жуковскаго породили толпу подражателей, которые только жалкимъ образомъ его перекрашивали, не умѣя подражать красотамъ, разсыпаннымъ щедрой рукой въ прежнихъ его произведеніяхъ, — то мудрено ли, что теперь люди съ превосходными дарованіями или вовсе и безъ дарованій съ жадностью подражаютъ въ немъ тому, что находятъ по своимъ силамъ?.. Истинный талантъ долженъ принадлежать своему отечеству; человѣкъ, одаренный таковымъ талантомъ, если избираетъ поприщемъ своимъ словесность, долженъ возвысить славу природнаго языка своего, раскрыть его сокровища и обогатить оборотами и выраженіями ему свойственными; гений имѣетъ даже право вводить новыя, но не племенные, и никогда не выпускать изъ виду

свойства и приличія языка отечественнаго.» («В. Е.» 1821, т. CXVII, стр. 19—21.)

Но и тутъ, ясно, привычка помѣшала увидѣть дѣло такъ, какъ оно было: бутырскій классикъ не видалъ романтизма въ самыхъ ультра-романтическихъ пьесахъ Жуковскаго, каковы: «Людмила», «Свѣтлана», «Эолова Арфа», «Двѣнадцать Спящихъ Дѣвъ», но увидѣлъ его въ позднѣйшихъ, лучшихъ и по содержанію, и по формѣ, произведеніяхъ Жуковскаго. Подлинно, въ младенческое время литературы и старцы поневолѣ бывають дѣтьми...

Восторги, возбужденные «Русланомъ и Людмилой», равно какъ и необыкновенный успѣхъ этой поэмы, не смотря на всю дѣтскость ея достоинствъ, гораздо естественнѣе и понятнѣе, чѣмъ яростныя нападки на нее бутырскихъ классиковъ. Не говоря уже о томъ, что всякая удачная новостъ ослѣпляетъ глаза, въ «Русланѣ и Людмилѣ» русская поэзія дѣйствительно сдѣлала огромный шагъ впередъ, особенно со стороны технической. Всѣ восхищались ея прекраснымъ языкомъ, стихами, всегда легкими и звучными, а иногда и истинно-поэтическими, граціозной шуткой, разговоромъ плавнымъ, увлекательнымъ, живымъ и быстрымъ, всей этой игривой затѣйливостью, шаловливостью и причудливостью арабесковъ въ характерахъ и событіяхъ, и никому не приходило въ голову требовать отъ этой поэмы народности, къ которой обязывалось ея заглавіе и самое содержаніе, естественности, поэтической мысли, исполнѣ художественной отдѣлки. Образца для нея не было на русскомъ языкѣ, а если и были прежде попытки въ этомъ родѣ, но такія ничтожныя, что сравненіе съ ними не могло бы сбавить цѣны съ «Руслана и Людмилы». У кого изъ прежнихъ поетовъ можно было найти стихи, подобные напимѣръ этимъ:

И вотъ невѣсту молодую
Ведутъ на брачную постель;
Огни погасли... и nocturno
Лампаду зажигаетъ Лель.
Свершились милыя надежды,
Любови готовятся дары;
Падутъ ревнивыя одежды
На цареградскіе коверы...
Вы слышите-ль влюбленный шопотъ
И поцѣлуевъ сладкій звукъ,
И прерывающійся ропотъ
Послѣдней робости?...

Или:

Но прежде юношу ведутъ
Къ великолѣпной русской банѣ.
Ужъ волны дымяныя текутъ
Въ ея серебряныя чаны,
И брызжутъ хладныя фонтаны;
Разостланъ роскошью коверъ;
На немъ усталый ханъ ложится;
Прозрачный паръ надъ нимъ клубится;
Потула нѣги полный взоръ,
Прелестныя, полунагія,

Въ заботѣ нѣжной и нѣмой,
Вкругъ хана дѣвы молодыя
Тѣснятся рѣзвою толпой.
Надъ рыпаремъ иная машетъ
Вѣтвями молодыхъ березъ;
И жаръ отъ нихъ душистый пашетъ;
Другая сокомъ вѣшнихъ розъ
Устала члены прохлаждаетъ,
И въ ароматахъ потопляетъ
Темнокудравые волосы.
Восторгомъ витязъ упоенной
Уже забылъ Людмилы плѣнной
Недавно милыхъ красы;
Томится сладостнымъ желаньемъ;
Бродящій ввѣрь его блеститъ,
И, полный страстнымъ ожиданьемъ,
Онъ таетъ сердцемъ, онъ горитъ.

Конечно теперь смѣшно заблужденіе людей того времени, которые въ «Русланъ и Людмилѣ» думали видѣть поэтическое возсозданіе народно-русскаго сказочнаго міра; но въ двадцатыхъ годахъ, право, немудрено было, въ первый разъ читая такіе стихи, до того увлечься ими, чтобъ въ описаніи какой-то небывалой, фантастической бани увидѣть «великолѣпную русскую» баню. Кому не извѣстно великолѣпіе нашихъ бань, гдѣ въ такомъ употребленіи «сокъ весеннихъ розъ», а «вѣтви молодыхъ березъ» прозаически называются вѣниками?

Эпилогъ къ «Руслану и Людмилѣ» исполненъ элегическаго поэзіи; но, какъ и прологъ къ этой же поэмѣ, онъ, если не ошибаемся, былъ написанъ послѣ ея; при ней же явился только во второмъ ея изданіи, въ 1828 году.

Потому ли что изумительные успѣхи Пушкина и быстрый ходъ его распространяющейся славы слишкомъ озадачили бутырскихъ критиковъ и классиковъ, или потому что они уже сами начали привыкать къ поэзіи Пушкина,—только противъ «Кавказскаго Плѣнника» уже почти совсѣмъ не было воплей, а, напротивъ, ему раздавались вездѣ только хвалебные гимны. Даже въ «Вѣстникѣ Европы» 1823 года была помѣщена похвальная критика этой поэмы (вышедшей въ 1822 году). Эта критика особенно замѣчательна и въ свое время весьма прославилась тѣмъ, что ея сочинитель, при всемъ своемъ стараніи и усердіи, никакъ не могъ догадаться, что сдѣлалось съ черкешенкой и что означаютъ эти прекрасные поэтическіе стихи:

Вдругъ волны глухо зашумѣли
И слышенъ отдаленный стонъ.
На дикій берегъ выходитъ онъ.
Глядитъ назадъ... берега ясныли
И оплеченные бѣлами;
Но нѣтъ черкешенки молодой
Ни у береговъ, ни подъ горой...
Все мертво... на брегахъ уснувшихъ
Лишь вѣтра слышенъ легкій звукъ,
И при лунѣ въ волнахъ блеснувшихъ
Струистый исчезаетъ кругъ...

Такова была тогда привычка къ прозаичности прежней поэзіи, что слишкомъ поэти-

ческій, и по тому уже самому слишкомъ ясный оборотъ, назывался темнымъ и неопредѣленнымъ. Да, Пушкину предстоялъ подвигъ—воспитать и развить въ русскомъ обществѣ чувство изящнаго, способность понимать художество,—и онъ вполне совершилъ этотъ великій подвигъ!

«Кавказскій Плѣнникъ» былъ правнать публикой еще съ большимъ восторгомъ, чѣмъ «Русланъ и Людмила», и, надо сказать, эта маленькая поэма вполне достойна была того приѣма, которымъ ее встрѣтили. Въ ней Пушкинъ явился вполне самимъ собой и вмѣстѣ съ тѣмъ вполне представителемъ своей эпохи: «Кавказскій Плѣнникъ» насквозь проникнутъ ея паеосомъ. Впрочемъ паеосъ этой поэмы—двойственный: поэтъ былъ явно увлеченъ двумя предметами—поэтической жизнью дикахъ и вольныхъ горцевъ, и потому—элегическимъ идеаломъ души, разочарованной жизнью. Изображеніе того и другого слилось у него въ одну роскошно-поэтическую картину. Грандіозный образъ Кавказа съ его воинственными жителями въ первый разъ былъ воспроизведенъ русской поэзіей,—и только въ поэмѣ Пушкина въ первый разъ русское общество познакомилось съ Кавказомъ, давно уже знакомымъ Россіи по оружію. Мы говоримъ «въ первый разъ»: ибо какихъ-нибудь двухъ строфъ, довольно прозаическихъ, посвященныхъ Державинымъ изображенію Кавказа, и отрывка изъ посланія Жуковского къ Воейкову, посвященнаго тоже довольно прозаическому описанію (въ стихахъ) Кавказа, слишкомъ не достаточно для того, чтобъ получить какое-нибудь, хотя сколько-нибудь приблизительное понятіе объ этой поэтической сторонѣ. Мы вѣримъ, что Пушкинъ съ добрымъ намѣреніемъ выписалъ въ примѣчаніяхъ къ своей поэмѣ стихи Державина и Жуковского, и съ полной искренностью, отъ чистаго сердца, хвалитъ ихъ; но тѣмъ не менѣе онъ оказалъ имъ черезъ это слишкомъ плохую услугу: ибо послѣ его исполненныхъ творческой жизни картинъ Кавказа никто не повѣритъ, чтобъ въ тѣхъ выпискахъ шло дѣло о томъ же предметѣ... Мы не будемъ выписывать изъ поэмы Пушкина картинъ Кавказа и горцевъ: кто не знаетъ ихъ наизусть? Скажемъ только, что, несмотря на всю незрѣлость таланта, которая такъ часто проглядываетъ въ «Кавказскомъ Плѣнникѣ», несмотря на слишкомъ юношеское одушевленіе зрѣлищемъ горъ и жизнью ихъ обитателей,—многія картины Кавказа въ этой поэмѣ и теперь еще не потеряли своей поэтической цѣнности. Принимаясь за «Кавказскаго Плѣнника» съ гордымъ намѣреніемъ слегка перелистывать его, вы незамѣтно увлекаетесь имъ, перечитываете его до конца и говорите: «все это юно,

незрѣло, и однакожь такъ хорошо!» Какое же дѣйствіе должны были произвести на русскую публику эти живыя, яркія, великолѣпно-роскошныя картины Кавказа при первомъ появленіи въ свѣтъ поэмы! Съ тѣхъ поръ, съ легкой руки Пушкина, Кавказъ сдѣлался для русскихъ завѣтной страной не только широкой, раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзіи, страной кипучей жизни и смѣлыхъ мечтаній! Муза Пушкина какъ бы освятила давно уже на дѣлѣ существовавшее родство Россіи съ этимъ краемъ, купленнымъ драгоценной кровью сыновъ ея и подвигами ея героевъ. И Кавказъ—эта колыбель поэзіи Пушкина—сдѣлался потомъ и колыбелью поэзіи Лермонтова...

Какъ истинный поэтъ, Пушкинъ не могъ описаній Кавказа вмѣстить въ свою поему, какъ эпизодъ кстати: это было бы слишкомъ дидактически, а слѣдовательно и прозаически, и потому онъ тѣсно связалъ свои живыя картины Кавказа съ дѣйствіемъ поэмы. Онъ рисуетъ ихъ не отъ себя, но передаетъ ихъ, какъ впечатлѣнія и наблюденія плѣнника—героя поэмы, и оттого онъ дышать особенной жизнью, какъ будто самъ читатель видитъ ихъ собственными глазами на самомъ мѣстѣ. Кто былъ на Кавказѣ, тотъ не могъ не удивляться вѣрности картинъ Пушкина: взгляните хотя съ возвышенностей, при которыхъ стоятъ Пятигорскъ, на отдаленную цѣпь горъ,—и вы невольно повторите мысленно эти стихи, о которыхъ вамъ можетъ быть не случилось вспоминать цѣлые годы:

Великолѣпныя картины!
Престолы вѣчные снѣговъ,
Отамъ казались ихъ вершины
Недвижной цѣпью облаковъ,
И въ ихъ кругу колосся двуглавый,
Въ вѣнцѣ блистая ледяномъ,
Эльбрусъ огромный, величавый,
Блѣлѣлъ на небѣ голубомъ.

Описанія дикой воли, разбойническаго героизма и домашней жизни горцевъ—дышать чертами ярко вѣрными. Но черкешенка, связывающая собой обѣ половины поэмы, есть лицо совершенно идеальное и только вѣшнимъ образомъ вѣрное дѣйствительности. Въ изображеніи черкешенки особенно выказалась вся незрѣлость, вся юность таланта Пушкина въ то время. Самое положеніе, въ которое поставилъ поэтъ два главныхъ лица своей поэмы, черкешенку и плѣнника,—это положеніе, наиболѣе плѣнившее публику, отзывается мелодрамой и можетъ быть по тому самому такъ сильно увлекло самого молодого поэта. Но—такова сила истиннаго таланта!—при всей театральности положенія, на которомъ завязанъ узелъ поэмы, при всей его безцвѣтности въ отношеніи къ дѣйствительности—въ рѣчахъ, черкешенки и

плѣнника столько элегической истины чувства, столько сердечности, столько страсти и страданія, что ничѣмъ нельзя оградиться отъ ихъ обаятельнаго увлеченія, при самомъ ясномъ сознаніи въ то же время, что на всемъ этомъ лежитъ печать какой-то дѣтскости. Съ особенной силой дѣйствуетъ на душу читателя сцена освобожденія плѣнника черкешенкой, и эти стихи—

Цѣлу дрожащей взявъ рукой,
Къ его ногамъ она склонилась:
Визжитъ желѣзо подъ тилой,
Слеза невольная скатилась—
И цѣпь распалась и гремѣть...

Чувство свободы борется въ этой сценѣ съ грустью по судьбѣ черкешенки: вы понимаете, что, исполненный этого чувства свободы, плѣнникъ не могъ не предложить своей освободительницѣ того, въ чемъ прежде такъ основательно и благородно отказывалъ ей; но вы понимаете также, что это только порывъ, и что черкешенка, наученная страданіемъ, не могла увлечься этимъ порывомъ. И, несмотря на всю грусть вашу о погибшей красавицѣ, мученическая смерть которой нарисована такъ поэтически, вы чувствуете, что грудь ваша дышетъ свободнѣе по мѣрѣ того, какъ плѣннику въ туманѣ начинаютъ сверкать русскіе штыки, а до его слуха доходятъ оклики сторожевыхъ казаковъ.

Но чтѣ же такое это плѣнникъ?—Это вторая половина двойственнаго содержанія и двойственнаго пафоса поэмы; этому лицу поэма обязана своимъ успѣхомъ не меньше, если не больше, чѣмъ яркимъ краскамъ Кавказа. Плѣнникъ это—«герой того времени». Тогдашніе критики справедливо находили въ этомъ лицѣ и неопредѣленность, и противорѣчивость съ самимъ собой, которые дѣлали его какъ бы безличнымъ; но они не поняли, что черезъ это-то именно характеръ плѣнника и возбудилъ собой такой восторгъ въ публикѣ. Молодые люди особенно были восхищены имъ, потому что каждый видѣлъ въ немъ болѣе или менѣе свое собственное отраженіе. Эта тоска юношей по своей утраченной юности, это разочарованіе, которому не предшествовали никакія очарованія, эта апатія души во время ея сильнѣйшей дѣятельности, это кипѣніе крови при душевномъ холодѣ, это чувство пресыщенія, послѣдовавшее не за роскошнымъ пиромъ жизни, а смѣнившее собой голодъ и жажду, эта жажда дѣятельности, проявляющаяся въ совершенномъ бездѣйствіи и апатической лѣни, словомъ, эта старость прежде юности, эта дряхлость прежде силы, все это—черты «героевъ нашего времени» со временъ Пушкина. Но не Пушкинъ родилъ или выдумалъ ихъ: онъ только первый указалъ на нихъ, потому что они уже начали показываться еще до

него, а при немъ ихъ было уже много. Они не случайное, но необходимое, хотя и печальное явление. Почва этихъ жалкихъ пустоцвѣтовъ не поэзія Пушкина или чья бы то ни было, но общество. Это оттого, что общество живетъ и развивается какъ всякій индивидуумъ: у него есть свои эпохи младенчества, отрочества, юношества, возмужалости, а иногда — и старости. Поэзія русская до Пушкина была отголоскомъ, выраженіемъ младенчества русского общества. И потому это была поэзія до наивности невинная: она гремѣла одами на иллюминаціи, писала нѣжные стишки къ милымъ и была совершенно счастлива этими идиллическими занятіями. Дѣйствительностью ея была мечта, а потому ея дѣйствительность была самая аркадская, въ которой невинное блеяніе барашковъ, воркованіе голубковъ, поцѣлуи пастушковъ и пастушекъ и сладкія слезы чувствительныхъ душъ прерывались только не менѣе невинными возгласами: «пою» или «о ты, священна добродѣтель!» и т. п. Даже романтизмъ того времени былъ такъ наивно-невиненъ, что искалъ эффектовъ на кладбищахъ и пересказывалъ съ восторгомъ старыя бабьи сказки о мертвецахъ, оборотняхъ, въѣдахъ, колдуньяхъ, о дѣвѣ, за ропотъ на судьбу заживо увезенной мертвымъ женихомъ въ могилу, и тому подобные невинные пустяки. Въ трагедіи тогдашняя поэзія очень пристойно выплывала чинный менуэтъ, дѣлая изъ Донского какого-то крикуна въ римской тогѣ. Въ комедіи она преслѣдовала именно тѣ пороки и недостатки общества, которыхъ въ обществѣ не было, и не дотрагивалась именно до тѣхъ, которыми оно было полно, — такъ что комедіи Фонвизина являются въ этомъ отношеніи какими-то исключеніями изъ общаго правила. Въ сатирѣ тогдашняя поэзія нападала скорѣе на пороки древне-греческаго и римскаго или старо-французскаго общества, чѣмъ русскаго. Невинность была всесовершеннѣйшая, а оттого, разумѣется, эта поэзія была и нравственной въ высшей степени. Общество пило, ѣло, веселилось. По разсказамъ нашихъ стариковъ, тогда не по-нынѣшнему умѣли веселиться, и передъ неутомимыми плясунами тогдашняго времени самыя задорныя нынѣшніе танцы — просто старики, которые похороннымъ маршемъ выступаютъ тамъ, гдѣ бы надо было вывертывать ногами и выстукивать каблуками такъ, чтобъ полъ трещалъ и окна дрожали. Быть безусловно счастливымъ, это — привилегія младенчества. Младенецъ играетъ жизнью — плещется въ ея свѣтлой волнѣ и безотчетно любитъ брызгами, которыя производятъ его рѣзвые движенія; онъ всѣмъ восхищается, все находитъ лучшимъ, нежели оно есть на самомъ дѣлѣ, — и если ему скоро

надоѣдаетъ одна игрушка, то такъ же скоро плѣняетъ его другая. Не таковъ уже возрастъ отрочества — переходъ отъ дѣтства къ юношеству. Правда, и тутъ человѣкъ все еще играетъ въ игрушки, но уже не тѣ игрушки; мѣняя ихъ одна на другую, онъ уже сравниваетъ ихъ съ своимъ идеаломъ, и ему грустно, когда онъ не находитъ осуществленія своего неопредѣленнаго желанія, въ которомъ самъ себѣ не можетъ дать отчета. Лишеніе игрушки — для него горе, ибо оно есть уже утрата надежды, потеря сердца. Съ юношествомъ эта жизнь сердца и ума вспыхиваетъ полнымъ пламенемъ, и страсти вступаютъ въ борьбу съ сомнѣніемъ. Тутъ много радостей, но столько же, если не больше, и горя: ибо полное счастье только въ непосредственности бытія; отрочество есть начало пробужденія, а юность — полное пробужденіе сознанія, корень котораго всегда горекъ; сладкіе же плоды его — для будущихъ поколѣній, какъ богатое и выстраданное наслѣдіе отъ предковъ потомкамъ...

«Кавказскій Плѣнникъ» Пушкина засталъ общество въ періодъ его отрочества и почти на переходѣ изъ отрочества въ юношество. Главное лицо его поэмы было полнымъ выраженіемъ этого состоянія общества. И Пушкинъ былъ самъ этимъ плѣнникомъ, но только на ту пору, пока писалъ его. Осуществить въ творческомъ произведеніи идеалъ, мучившій поэта, какъ его собственный недугъ, — для поэта значитъ навсегда освободиться отъ него. Это же лицо является и въ слѣдующихъ поэмахъ Пушкина, но уже не такимъ, какъ въ «Кавказскомъ Плѣнникѣ»: слѣдя за нимъ, вы безпрестанно застаете его въ новомъ моментѣ развитія, и видите, что оно движется, идетъ впередъ, дѣлается сознательнѣе, а потому и интереснѣе для васъ. Тѣмъ-то Пушкинъ, какъ великій поэтъ, и отличался отъ толпы своихъ подражателей, что, не измѣняя сущности своего направленія, всегда крѣпко держась дѣйствительности, которой былъ органомъ, всегда говорилъ новое, между тѣмъ какъ его подражатели и теперь еще хриплыми голосами допѣваютъ свои старыя и всѣмъ надоѣвшія пѣсни. Въ этомъ отношеніи «Кавказскій Плѣнникъ» есть поэма историческая. Читая ее, вы чувствуете, что она могла быть написана только въ извѣстное время, и подъ этимъ условіемъ она всегда будетъ казаться прекрасной. Еслибъ въ наше время даровитый поэтъ написалъ poemу въ духѣ и тонѣ «Кавказскаго Плѣнника», — она была бы безусловно ничтожнѣйшимъ произведеніемъ, хотя бы въ художественномъ отношеніи и далеко превосходила Пушкинскаго «Кавказскаго Плѣнника», который въ сравненіи съ ней все бы остался такъ же хорошъ, какъ и безъ нея.

Лучшая критика, какая когда-либо была написана на «Кавказскаго Пѣвника», принадлежит самому же Пушкину. Въ статьѣ его «Путешествіе въ Арзерумъ» находятся слѣдующія слова, написанныя имъ черезъ семь лѣтъ послѣ изданія «Кавказскаго Пѣвника»: «Здѣсь нашелъ я измаранный списокъ «Кавказскаго Пѣвника» и, признаюсь, перечелъ его съ большимъ удовольствіемъ. Все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено вѣрно». Не знаемъ, къ какому времени относится слѣдующее сужденіе Пушкина о «Кавказскомъ Пѣвникѣ», но оно очень интересно, какъ фактъ, доказывающій, какъ смѣло умѣлъ Пушкинъ смотрѣть на свои произведенія: «Кавказскій Пѣвникъ» — первый неудачный опытъ характера, съ которымъ я насилу сладилъ; онъ былъ принятъ лучше всего, что я ни написалъ, благодаря нѣкоторымъ элегическимъ и описательнымъ стихамъ. Но зато Н. и А. Р., и я — мы вдоволь надъ нимъ посмѣялись». Слова: «характеръ, съ которымъ я насилу сладилъ» особенно замѣчательны: они показываютъ, что поэтъ силится изобразить внѣ себя (объективировать) настоящее состояніе своего духа, и по тому самому не могъ исполнѣть этого сдѣлать.

Въ художественномъ отношеніи «Кавказскій Пѣвникъ» принадлежитъ къ числу тѣхъ произведеній Пушкина, въ которыхъ онъ являлся еще ученикомъ, а не мастеромъ поэзіи. Стихи прекрасны, исполнены жизни, движенія, много поэзіи, но еще нѣтъ искусства. Содержаніе всегда бываетъ соответственно формѣ, и наоборотъ; недостатки одного тѣсно связаны съ недостатками другой, и наоборотъ. Въ отдѣлкѣ стиховъ «Кавказскаго Пѣвника» замѣтно еще, хотя и меньше, чѣмъ въ «Русланъ и Людмила», вліяніе старой школы. Встрѣчаются неточныя выраженія, какъ на примѣръ въ стихѣ: «Удары шашекъ ихъ жестокихъ», или «Гдѣ обнялъ грозное страданье»; попадаютъ слова: глава, молодой, власы. Вступленіе нѣсколько тяжело, какъ и въ «Бахчисарайскомъ Фонтанѣ»; но слабыхъ стиховъ вообще мало, а оборотовъ прозаическихъ почти совсѣмъ нѣтъ, поэзія выраженія почти вездѣ необыкновенно богата. Какъ фактъ для сравненія поэзіи Пушкина вообще съ предшествовавшей ему поэзіей, укажемъ на то, какъ поэтически выражено въ «Кавказскомъ Пѣвникѣ» самое прозаическое понятіе, что черкешенка учила пѣвника языку ея родины:

Съ неясной рѣчию сливаетъ
Очей и знаковъ разговоръ;
Поетъ ему и пѣсни горь,
И пѣсни Грузинъ счастливой,
И памяти нетерпливой
Передастъ языкъ чужой.

Нѣкоторыя выраженія исполнены мысли, и многія мѣста отличаются поразительной вѣрностью дѣйствительности времени, котораго пѣвцомъ и выразителемъ былъ поэтъ. Примѣръ того и другого представляютъ эти прекрасные стихи:

Людей и свѣтъ извѣдалъ онъ,
Узналъ невѣрной жизни дѣну,
Въ сердцахъ друзей нашелъ намѣну,
Въ мечтахъ любви — безумный сонъ!
Наскуча жертвой быть привычной
Давно презрѣнной суеги
И непріяни двоязычной,
И простодушной клеветы, —
Отступникъ свѣта, духъ и природы,
Покинулъ онъ родной предѣлъ
И въ край далекій полетѣлъ
Съ веселымъ призракомъ свободы.

Въ этихъ немногихъ стихахъ слишкомъ много сказано. Это краткая, но рѣзко-характеристическая картина пробудившагося сознанія общества въ лицѣ одного изъ его представителей. Проснулось сознаніе, — и все, что люди почитаютъ хорошимъ по привычкѣ, тяжело пало на душу человѣка, и онъ въ явной враждѣ съ окружающей его дѣйствительностью, въ борьбѣ съ самимъ собой; недовольный ничѣмъ, во всемъ видя призраки, онъ летитъ вдаль за новымъ призракомъ, за новымъ разочарованіемъ... Сколько мысли въ выраженіи: «быть жертвой простодушной клеветы»! Вѣдь клевета не всегда бываетъ дѣйствіемъ злобы: чаще всего она бываетъ плодомъ невиннаго желанія разсѣяться занимательнымъ разговоромъ, а иногда и плодомъ доброжелательства и участія столь же искренняго, сколько и неловкаго. И все это поэтъ умѣлъ выразить однимъ смѣлымъ эпитетомъ! Такихъ эпитетовъ у Пушкина много, и только у него одного впервые начали являться такіе эпитеты!

По мнѣнію Пушкина, «Бахчисарайскій Фонтанъ» слабѣе «Кавказскаго Пѣвника»: съ этимъ нельзя исполнѣ согласиться. Въ «Бахчисарайскомъ Фонтанѣ» (вышедшемъ въ 1824 году) замѣтенъ значительный шагъ впередъ со стороны формы: стихъ лучше, поэзія роскошнѣе, благоуханнѣе. Въ основѣ этой поэмы лежитъ мысль до того огромная, что она могла бы быть подѣ-силу только исполнѣ развившемуся и возмужавшему таланту; очень естественно, что Пушкинъ не совладалъ съ нею и можетъ быть оттого-то и былъ къ ней уже слишкомъ строгъ. Въ дикомъ татаринѣ, пресыщенномъ гаремной любовью, вдругъ всныхиваетъ болѣе человѣческое и высокое чувство къ женщинамъ, которая чужда всего, что составляетъ прелесть владыки и что можетъ пѣвникъ вкусъ азіатскаго варвара. Въ Маріи — все европейское, романтическое: это — дѣва среднихъ вѣковъ, существо вѣтрое, скромное, дѣтски-благоче-

стивое. И чувство, невольно внушенное ею Гирей, есть чувство романтическое, рыцарское, которое перевернуло вверхъ дномъ татарскую натуру деспота-разбойника. Самъ не понимая, какъ, почему и для чего, онъ уважаетъ святину этой беззащитной красоты, онъ—варваръ, для котораго взаимность женщины никогда не была необходимымъ условіемъ истиннаго наслажденія,—онъ ведетъ себя въ отношеніи къ ней почти такъ, какъ паладинъ среднихъ вѣковъ:

Гирей несчастную падить:
Ея унынье, слезы, стоны
Тревожатъ хана краткій сонъ;
И для нея смягчасть онъ
Гарема строгіе законы.
Угрюмый сторожъ ханскихъ женъ
Ни днемъ, ни ночью къ ней не входитъ,
Рукой заботливой не онъ
На ложе сна ее возводитъ,
Не смѣетъ устремиться къ ней
Обидный взоръ его очей;
Она въ купальнѣ потаенной
Одна съ невольницей своей;
Самъ ханъ бонтася дѣвы плѣнной
Печальный возмущать покой.
Гарема въ дальномъ отдаленъ
Позволено ей жить одной:
И мнитсѣ, въ томъ уединеннѣ
Сокрылся нѣкто неясной.

Большаго отъ татарина нельзя и требовать. Но Марія была убита ревнивой Заремой. Нѣтъ и Заремы:

..... она
Гарема стражами нѣмыми
Въ пучину водъ опущена.
Въ ту ночь, какъ умерла княжна,
Свершилось и ея страданье.
Какая-бъ ни была вина,
Ужасно было наказанье!...

Смертью Маріи не кончились для хана муки нераздѣленной любви:

Дворецъ угрюмый опустѣлъ.
Его Гирей опять оставилъ;
Съ толпой татаръ въ чужой предѣлъ
Онъ злой набѣгъ опять направилъ;
Онъ снова въ буряхъ боевыхъ
Несется мрачный, кровожадный;
Но въ сердцѣ хана чувствъ нѣмъ
Таится пламень безотрадный.
Онъ часто въ сѣняхъ роковыхъ
Подъемлетъ саблю и съ размаха
Недвижимъ остается вдругъ,
Глядитъ съ безуміемъ вокругъ,
Блѣднѣетъ, будто полный страха,
И что-то шепчетъ и порой
Горячи слезы льетъ рѣкой.

Видите ли: Марія взяла всю жизнь Гирея; встрѣча съ нею была для него минутой перерожденія, и если онъ отъ новаго, невѣдомаго ему чувства, вдохнутаго ею, еще не сдѣлался человѣкомъ, то уже животное въ немъ умерло, и онъ пересталъ быть татаринѣмъ *comme il faut*. Итакъ, мысль поэмы—перерожденіе (если не просвѣтленіе) дикой души черезъ высокое чувство любви. Мысль вели-

кая и глубокая! Но молодой поэтъ не справился съ нею, и характеръ его поэмы въ ея самыхъ патетическихъ мѣстахъ является мелодраматическимъ. Хотя самъ Пушкинъ находилъ, что «сцена Заремы съ Маріей имѣетъ драматическое достоинство», тѣмъ не менѣе ясно, что въ этомъ драматизмѣ проглядываетъ мелодраматизмъ. Въ монологѣ Заремы есть эта аффектація, это театральное изступленіе страсти, въ которыя всегда впадаютъ молодые поэты и которыя всегда восхищаютъ молодыхъ людей. Если хотите, эта сцена обнаружила тогда сильныя драматическіе элементы въ талантѣ молодого поэта, но не болѣе, какъ элементы, развитія которыхъ слѣдовало ожидать въ будущемъ. Такъ въ эффектной картинѣ молодого художника опытный взглядъ знатока видитъ несомнѣнный залогъ будущаго великаго живописца, несмотря на то, что картина сама по себѣ не многого стоитъ; такъ молодой даровитый трагическій актеръ не можетъ скрыть крикомъ и рѣзкостью своихъ жестовъ избытка огня и страсти, которые кипятъ въ его душѣ, но для выраженія которыхъ онъ не выработалъ еще простой и естественной манеры. И потому мы гораздо болѣе согласны съ Пушкинымъ касательно его мнѣнія насчетъ стиховъ: «Онъ часто въ сѣняхъ роковыхъ» и пр. Вотъ что говоритъ онъ о нихъ: «А. Р. хохоталъ надъ слѣдующими стихами (NB мы выписали ихъ выше)... Молодые писатели вообще не умѣютъ изображать физическія движенія страстей. Ихъ герои всегда содрагаются, хохочутъ дико, скрежещутъ зубами, и проч. Все это смѣшно, какъ мелодрама».

Несмотря на то, въ поэмѣ много частей обаятельно прекрасныхъ. Портреты Заремы и Маріи (особенно Маріи) прелестны, хотя въ нихъ и проглядываетъ наивность нѣсколько юношескаго одушевленія. Но лучшая сторона поэмы—это описанія или, лучше сказать, живыя картины магометанскаго Крыма: онѣ и теперь чрезвычайно увлекательны. Въ нихъ нѣтъ этого элемента выскости, который такъ проглядываетъ въ «Кавказскомъ Плѣнникѣ» въ картинахъ дикаго и грандіознаго Кавказа. Но онѣ непобѣдимо очаровываютъ этой кроткой и роскошной поэзіей, которыми запечатлена соблазнительно-прекрасная природа Тавриды: краски нашего поэта всегда вѣрны мѣстности. Картина гарема, дѣтскія шаловливыя забавы лѣтливой и уныло-однообразной жизни одальскаго, татарскаго пѣсна—все это и теперь еще такъ живо, такъ свѣжо, такъ обаятельно! Что за роскошь поэзіи напимѣръ въ этихъ стихахъ:

Настала ночь; покрылись тѣнью
Тавриды сладостной поля;
Вдали подъ тихой лавровъ сѣнью

Я слышу пѣнье соловья;
За хоромъ звѣздъ луна восходитъ,
Она съ безоблачныхъ небесъ
На доли, на холмы, на лѣсъ
Сіянье томное наводитъ.
Покрѣты бѣлой пеной,
Какъ тѣни легкія мелькая,
По улицамъ Бахчисарая,
Изъ дома въ домъ, одна къ другой
Простыхъ татаръ спѣвать супруги
Дѣлятъ вечерніе досуги.

Описаніе внуха, прислушивающагося подозрительнымъ слухомъ къ малѣйшему шороху, какъ-то чудно сливается съ картиной этой фантастически-прекрасной природы, и музыкальность стиховъ, сладострастіе созвучій нѣжатъ и легкѣютъ очарованное ухо читателя:

Но все вокругъ него молчать;
Одни фонтанъ сладковучны
Изъ мраморной темницы бѣгутъ,
И съ милой розой неразлучны
Во мракѣ соловьи поютъ...

Здѣсь даже неправильныя усѣченія не портятъ стиховъ. И какой истинно-лирической выходкой, исполненной пафоса, замыкаются эти роскошно-сладострастные картины волшебной природы Востока:

Какъ милы темныя красы
Ночей роскошнаго Востока!
Какъ сладко льются ихъ часы
Для обожателей пророка!
Какая нѣга въ ихъ домахъ,
Въ очаровательныхъ садахъ,
Въ тиши гаремовъ безопасныхъ,
Гдѣ подъ вліяніемъ луны
Все полно тайнъ и таинны,
И вдохновеній сладострастныхъ!

При этой роскоши и невыразимой сладости поэзии, которыми такъ полонъ «Бахчисарайскій Фонтанъ», въ немъ плѣняетъ еще эта легкая, свѣтлая грусть, эта поэтическая задумчивость, навѣянная на поэта чудно-прозрачными и благоуханными ночами Востока, и поэтической мечтой, которую возбуждало въ немъ преданіе о таинственномъ фонтанѣ во дворцѣ Гиреевъ. Описаніе этого фонтана дышетъ глубокимъ чувствомъ:

Есть надпись: ѣдкими годами
Еще не сгладилась она.
За чуждыми ея чертами
Журчитъ во мраморѣ вода
И каплетъ хладными слезами,
Не умолкая никогда.
Такъ плачетъ мать во дни печали
О сынѣ, падшемъ на войнѣ.
Младая дѣва въ той странѣ
Преданье старины узнала,
И мрачный памятникъ онѣ
Фонтаномъ слезъ именovali.

Слѣдующіе этихи (до конца) составляютъ превосходнѣйшій музыкальный финалъ поэмы; словно гениальны, они сосредоточиваютъ въ себѣ всю силу впечатлѣнія, которое должно

оставить въ душѣ читателя чтеніе цѣлой поэмы: въ нихъ и роскошь поэтическихъ красокъ, и легкая, свѣтлая, отрадно сладостная грусть, какъ бы навѣянная немолчнымъ журчаніемъ «Фонтана Слезъ» и представлявшая разгоряченной фантазіи поэта таинственный образъ мелькавшей летучей тѣнью женщины... Гармонія послѣднихъ двадцати стиховъ упоительна:

Поклонникъ музъ, поклонникъ мпра,
Забывъ и славу, и любовь,
О, скоро васъ увижу вновь,
Брега веселые Салгира!
Приду на склоны приморскихъ горъ,
Воспоминаній тайныхъ полный,
И вновь таврическія волны
Обрадуютъ мой жадный взоръ.
Волшебный край, очей отрада!
Все живо тамъ: холмы, лѣса,
Янтарь и яхонть винограда,
Долинъ пріютная краса,
И струй, и тополея прохлада—
Все чувство путника манитъ,
Когда, въ часъ утра безмятежной,
Въ горахъ дорогомъ прибрежной,
Привычный конь его бѣжитъ,
И зеленѣющая влага
Предъ нимъ и блещетъ, и шумитъ
Вокругъ утесовъ Аю-дага...

Вообще «Бахчисарайскій Фонтанъ» — роскошно поэтическая мечта юноши, и отпечатокъ юности лежитъ равно и на недостаткахъ его и на достоинствахъ. Во всякомъ случаѣ, это — прекрасный, благоухающій цвѣтокъ, которымъ можно любоваться безотчетно и безтребовательно, какъ всѣми юношескими произведеніями, въ которыхъ полнота силъ замѣняетъ строгую обдуманность концепціи, и роскошь щедрой рукой разбросанныхъ красокъ — строгую отчетливость выполненія.

Теперь намъ предстоитъ говорить о поэмѣ, которая была поворотнымъ кругомъ уже созрѣвшаго таланта Пушкина на путь истинно-художественной дѣятельности: это — «Цыгане». Въ «Русланѣ и Людмилѣ» Пушкинъ является даровитымъ и шаловливымъ ученикомъ, который во время класса, украдкой отъ учителя, чертитъ затѣйливыя арабески, плоды его причудливой и рѣзвой фантазіи; въ «Кавказскомъ Пльнникѣ» и «Бахчисарайскомъ Фонтанѣ» это — молодой поэтъ, еще неопытными пальцами пробующій извлекать изъ музыкальнаго инструмента самобытные звуки, плоды первыхъ, горячихъ вдохновеній; но въ «Цыганахъ» онъ — уже художникъ, глубоко вглядывающійся въ жизнь и мощно властвующій своимъ талантомъ. «Цыганами» открывается средняя эпоха его поэтической дѣятельности, къ которой мы причисляемъ еще «Евгенія Онѣгина» (первыя шесть главъ), «Полтаву», «Графа Нулина», такъ же какъ съ «Бориса Годунова» начинается послѣдняя, высшая эпоха его вполне возмужавшей художнической дѣятельности,

къ которой мы причисляемъ и всѣ поэмы, послѣ его смерти напечатанныя. Въ слѣдующей статьѣ мы рассмотримъ «Цыганъ», «Полтаву», «Евгенія Онегина» и «Графа Нулина», а эту статью заключимъ взглядомъ на «Братьевъ-Разбойниковъ», маленькую поэмку, которую по многимъ отношеніямъ считаемъ престраннымъ явленіемъ.

На первомъ изданіи «Цыганъ», вышедшемъ въ 1827 году, выставлено въ заглавіи: «писано въ 1824 году»; то же самое выставлено и въ заглавіи вышедшихъ въ 1827 же году «Братьевъ-Разбойниковъ», которые первоначально были напечатаны въ одномъ альманахѣ 1825 года. Стало-быть, обѣ эти поэмы написаны Пушкинымъ въ одинъ годъ. Это странно, потому что ихъ раздѣляетъ неизмѣримое пространство: «Цыгане» — произведение великаго поэта, а «Братья-Разбойники» — не болѣе, какъ ученическій опытъ. Въ нихъ все ложно, все натянуто, все мелодрама, и ни въ чемъ нѣтъ истины, отчего эта поэма очень удобна для пародій. Будь она написана въ одно время съ «Русланомъ и Людмилой» — она была бы удивительнымъ фактомъ огромности таланта Пушкина, ибо въ ней стихи бойки, рѣзки и размашисты, рассказъ живой и стремительный. Но какъ произведение, современное «Цыганамъ», эта поэма — неразгаданная вещь. Ея разбойники очень похожи на Шиллеровыхъ удалцевъ третьяго разряда изъ шайки Карла Моора, хотя по внѣшности событія и видно, что оно могло случиться только въ Россіи. Языкъ рассказывающаго повѣсть своей жизни разбойника слишкомъ высокъ для мужика, а понятія слишкомъ низки для человѣка изъ образованнаго сословія; отсюда и выходитъ декламация, проговоренная звучными и сильными стихами. Грезы больного разбойника и монологи, обращаемые имъ въ бреду къ брату, — рѣшительно мелодрама. Поэмка бѣдна даже поэзіей, которой такъ богато все, что ни выходило изъ подъ пера Пушкина, даже «Русланъ и Людмила». Есть въ «Братьяхъ Разбойникахъ» даже плохіе стихи и прозаическіе обороты, какъ напримѣръ: «Межь ними зрится и бѣглець», «Насъ другъ ко другу приковали».

VII.

Поэмы: «Цыгане», «Полтава», «Графъ Нулинъ».

«Цыгане» были приняты съ общими похвалами, но въ этихъ похвалахъ было что-то робкое, нерѣшительное. Въ новой поэмѣ Пушкина подозревали что-то великое, но не умѣли понять, въ чемъ оно заключалось, и, какъ обыкновенно водится въ такихъ случаяхъ, расплывались въ восклицаніяхъ и не

жалѣли знаковъ удивленія. Такъ поступили журналисты; публика была прямодушнѣе и добросовѣстнѣе. Мы хорошо помнимъ это время, помнимъ, какъ многіе были неприятно разочарованы «Цыганами» и говорили, что «Кавказскій Пѣвникъ» и «Бахчисарайскій Фонтанъ» гораздо выше новой поэмы. Это значило, что поэтъ вдругъ переросъ свою публику и однимъ орлинымъ взмахомъ очутился на высотѣ, недоступной для большинства. Въ то время, какъ онъ уже самъ безпощадно смѣялся надъ первыми своими поэмами, его добродушные поклонники еще бредили пѣвникомъ, черкешенкой, Заремой, Маріей, Гиреемъ, братьями-разбойниками, и только по какой-то робости похваливали «Цыганъ», или боясь окомпрометтировать себя, какъ образованныхъ судей изящнаго, или дѣтски восхищаясь пѣсней Земфиры и сценой убійства. Явный знакъ, что Пушкинъ уже пересталъ быть выразителемъ нравственной настроенности современнаго ему общества, и что отселѣ онъ явился уже воспитателемъ будущихъ поколѣній. Но поколѣнія возникаютъ и образуются не днями, а годами, и потому Пушкину не суждено было дожидаться воспитанныхъ его духомъ поколѣній — своихъ истинныхъ судей. «Цыгане» произвели какое-то колебаніе въ быстро-возраставшей до того времени славѣ Пушкина; но послѣ «Цыганъ» каждый новый успѣхъ Пушкина былъ новымъ его паденіемъ, — и «Полтава», послѣднія и лучшія главы «Онегина», «Борисъ Годуновъ» были приняты публикой холодно, а нѣкоторыми журналистами съ ожесточеніемъ и съ оскорбительными криками безусловнаго неодобренія.

Перелистуйте журналы того времени и прочтите, что писано было въ нихъ о «Цыганахъ»: вы удивитесь, какъ можно было такъ мало сказать о столь многомъ! Тутъ найдете только о Байронѣ, о цыганскомъ племени, о небезгрѣшности ремесла — водить медвѣдя, объ успѣшномъ развитіи таланта пѣвца «Руслана и Людмилы», удивленіе къ дѣйствительно удивительнымъ частностямъ поэмы, нападки на будто бы греческій стихъ: «И отъ судебъ защиты нѣтъ», осужденіе будто бы вялаго стиха: «И съ камня на траву свалился» — и многое въ этомъ родѣ; но ни слова, ни намека на идею поэмы.

А между тѣмъ поэма заключаетъ въ себѣ глубокую идею, которая большинствомъ была совсѣмъ не понята, а немногими людьми, радужно привѣтствовавшими поэму, была понята ложно, — что особенно и расположило ихъ въ пользу новаго произведенія Пушкина. И послѣднее очень естественно: изъ всего хода поэмы видно, что самъ Пушкинъ думалъ сказать не то, что сказалъ въ самомъ дѣлѣ. Это особенно доказываетъ, что непо-

средственно творческій элементъ въ Пушкинѣ былъ несравненно сильнѣе мыслительнаго сознательнаго элемента, такъ что ошибки послѣднѣго, какъ бы безъ вѣдома самого поэта, поправлялись первымъ, и внутренняя логика, разумность глубокаго поэтическаго созерцанія сама собой торжествовала надъ неправильностью рефлексій поэта. Повторяемъ: «Цыгане» служатъ неопровержимымъ доказательствомъ справедливости нашего мнѣнія. Идея «Цыганъ» вся сосредоточена въ героѣ этой поэмы—Алеко. А что хотѣлъ Пушкинъ выразить этимъ лицомъ?—Не трудно отвѣтить: всякій, даже съ перваго, поверхностнаго взгляда на поему, увидитъ, что въ Алеко Пушкинъ хотѣлъ показать образецъ человѣка, который до того проникнутъ сознаніемъ человѣческаго достоинства, что въ общественномъ устройствѣ видитъ одно только униженіе и позоръ этого достоинства, и потому, проклявъ общество, равнодушный къ жизни, Алеко въ дикой цыганской волѣ ищетъ того, чего не могло дать ему образованное общество, окованное предрассудками и приличіями, добровольно закабалившее себя на униженіе служеніе идолу золота. Вотъ что хотѣлъ Пушкинъ изобразить въ лицѣ своего Алеко; но успѣлъ ли онъ въ этомъ, то ли именно изобразилъ онъ?—Правда, поэтъ настаиваетъ на этой мысли, и видя, что поступокъ Алеко съ Земфирой явно ей противорѣчатъ, сваливаетъ всю вину на «роковыя страсти, живущія подъ разодранными шатрами», и на «судьбы, отъ которыхъ нигдѣ нѣтъ защиты». Но весь ходъ поэмы, ея развязка и особенно играющее въ ней важную роль лицо стараго цыгана неоспоримо показываютъ, что, желая и думая изъ этой поэмы создать апофеозу Алеко, какъ поборника правъ человѣческаго достоинства, поэтъ вмѣсто этого сдѣлалъ страшную сатиру на него и на подобныхъ ему людей, изрекъ надъ нимъ судъ неумолимо трагическій и выѣстъ съ тѣмъ горько ироническій.

Кому не случалось встрѣчать въ обществѣ людей, которые изъ всѣхъ силъ бьются прослыть такъ называемыми «либералами» и которые достигаютъ не болѣе, какъ незавиднаго прозвища жалкихъ крикуновъ? Эти люди всегда поражаютъ наблюдателя самымъ простодушнымъ, самымъ комическимъ противорѣчіемъ своихъ словъ съ поступками. Много можно было бы сказать объ этихъ людяхъ характеристическаго, чѣмъ такъ рѣзко отличаются они отъ всѣхъ другихъ людей; но мы предпочитаемъ воспользоваться здѣсь чужой, уже готовой характеристикой, которая соединяетъ въ себѣ два драгоцѣнныхъ качества—краткость и полноту: мы говоримъ объ этихъ удачныхъ стихахъ покойнаго Дениса Давыдова:

А гладишь—нашъ Мирабо
Стараго Гаврилу,
За изматое жабо,
Хлещетъ въ усь да въ рыло;
А гладишь—нашъ Лафаетъ,
Брутъ или Фабрицій
Мужичковъ похъ прессъ владеть
Выѣстъ съ свекловицей.

Такіе люди конечно смѣшны и съ нихъ довольно легонькаго водевиля или сатирической пѣсенки, ловко сложенной Давыдовымъ; но поэмы они не стоятъ. Никакъ нельзя сказать, чтобъ Алеко Пушкина былъ изъ этихъ людей, но и нельзя также сказать, чтобъ онъ не былъ имъ сродни. Великая мысль является въ дѣйствительности двойственно—комически и трагически, смотря по личнымъ качествамъ людей, въ которыхъ она выражается. Дурная страсть въ человѣкѣ ничтожномъ или забавна, какъ глупость, или отвратительна, какъ мерзость; дурная страсть въ человѣкѣ съ характеромъ и умомъ ужасна: первая наказывается хохотомъ или презрѣніемъ, смѣшаннымъ съ омерзѣніемъ; вторая служить для людей трагическимъ урокомъ, потрясающимъ душу. Вотъ почему для первой довольно легонькаго водевиля или сатирической пѣсенки, много уже, если комедія; для второй нужна сатира Барбье и ея не погнушается даже трагедія Шекспира. Глупецъ, который корчатъ изъ себя Мирабо, есть не что иное, какъ маленький эгоизмъ, который не любитъ для себя тѣхъ самыхъ стѣснительныхъ формъ, которыми любить душить другихъ. Дайте этому эгоизму огромный объемъ, придайте къ нему большой умъ, сильныя страсти, способность глубоко понимать и чувствовать всякую истину, пока она не противорѣчитъ ему,—и передъ вами весь Алеко,—такой, какимъ создалъ его Пушкинъ. Не страсти погубили Алеко. «Страсти»—слишкомъ неопредѣленное слово, пока вы не назовете ихъ по именамъ: Алеко погубила одна страсть, и эта страсть—эгоизмъ! Прослѣдите за Алеко въ развитіи цѣлой поэмы, и вы увидите, что мы правы.

Приведа встрѣченнаго за холмомъ, подлѣ цыганскаго табора, Алеко, Земфира говоритъ своему отцу между прочимъ:

Онъ хочетъ быть, какъ мы, цыганомъ;
Его преслѣдуетъ законъ.

Въ этихъ словахъ Алеко является еще только таинственнымъ, загадочнымъ лицомъ, не болѣе; для безпристрастной наблюдательности онъ еще не можетъ показаться ни преступникомъ вслѣдствіе эгоизма, ни жертвой несправедливаго гоненія, и только мелкій либерализмъ, въ своей поверхностности, готовъ сразу принять его за мученика идеи. Но вотъ таборъ снялся; Алеко уныло смотритъ на опустѣлое поле и не смѣетъ растолковать

вать себѣ тайной причины своей грусти. Онъ наконецъ волеетъ, какъ Божья птичка, солнце весело блещетъ надъ его головой: о чемъ же его тоска? Поэтъ пророчить ему, что страсти, нѣкогда такъ свирѣпо игравшія имъ, только на время присмирѣли въ его измученной груди и что скоро онъ снова проснется... Опять страсти! но какія же? А вотъ увидимъ...

Можетъ быть Алеко только внѣшнимъ образомъ, по чувству досады, разорвалъ связь съ образованнымъ обществомъ, и ему тяжка исполненная лишений дикая воля бѣднаго бродячаго племени, ибо, какъ мудро замѣтилъ ему старый цыганъ,

... Не всегда мила свобода
Тому, кто къ нѣгѣ приученъ.

Нѣтъ! черноокая Земфира заставила его полюбить эту жизнь, въ которой

Все скудно, дико, все нестройно;
Но все такъ живо-непокойно,
Такъ чуждо мертвыхъ нашихъ нѣгъ,
Такъ чуждо этой жизни праздной,
Какъ пѣснь рабовъ однообразной.

И когда Земфира спросила его, не жалѣетъ ли онъ о томъ, что навсегда бросилъ,—Алеко отвѣчаетъ:

О чемъ жалѣть? Когда-бъ ты знала,
Когда бы ты воображала
Неволю душныхъ городовъ!
Тамъ люди въ кучахъ, за оградой
Не дышатъ утренней прохладой,
Ни вешнимъ запахомъ луговъ,
Любови стыдятся, мысли гонятъ,
Торгуютъ волею своею,
Главы предъ идолами клонятъ
И просятъ денегъ да чина.
Что бросилъ я? Имѣнъ волненье,
Предразсуждений приговоръ,
Толпы безумное гоненье
Или блистательный позоръ.

Какой энергическій, полный мощнаго негодования голосъ! какая пламенная, вся проникнутая благороднымъ пафосомъ рѣчь! Съ какой неотразимой силой увлекаетъ душу это пророчески обвинительное, страшнымъ судомъ гремящее слово! Прислушиваясь къ нему, не можешь не вѣрить, чтобъ человѣкъ, обладающій такой силой жечь огнемъ устъ своихъ, не былъ существомъ высшаго разряда,—существомъ, исполненнымъ свѣтлаго разума и пламенной любви къ истинѣ, глубокой скорби объ униженіи человѣчества... Вы видите въ немъ героя убѣжденія, мученика вышедшаго, недоступныхъ толпъ отверженій... Какъ высоко стоитъ онъ надъ этой презрѣнной толпой, которую такъ нещадно поражаетъ громомъ своего благороднаго негодования!... Но здѣсь то и скрывается великій урокъ для оцѣнки истиннаго достоинства; здѣсь-то и можно видѣть, какъ легко быть

героемъ на счетъ чужихъ пороковъ, заблуждений и слабостей, и какъ мудро быть героемъ на свой собственный счетъ,—какъ всякаго должно судить не по однимъ словамъ его, но если по словамъ, то не иначе, какъ подтвержденнымъ дѣлами. Изречь энергическое, полное благороднаго негодования проклятіе не только на какое-нибудь общество или какой-нибудь народъ, но и на цѣлое человечество, гораздо легче, нежели самому поступить справедливо въ собственномъ своемъ дѣлѣ. И потому изрекать анашему такъ же не всякій имѣетъ право, какъ и изрекать благословеніе; это могутъ только пріавшіе свыше власть и посвященіе. Какъ поучать другихъ имѣетъ право только знающій самъ то, чему берется поучать,—такъ и предписывать другимъ пути практической мудрости и справедливости можетъ только тотъ, кто самъ уже твердой стопой привыкъ ходить по этимъ путямъ. Слово само по себѣ — не болѣе, какъ звукъ пустой: оно важно только какъ выраженіе мысли; а мысль сама по себѣ — не болѣе, какъ призракъ чего-то разумнаго и прекраснаго: она важна лишь, какъ идеальная сущность дѣйствительности. Все, что не подходитъ подъ мѣрку практическаго примѣненія,—ложно и пусто. Вотъ почему необходимо должно обращать вниманіе не только на то, дѣйствительно ли истинно сказанное, но и на то, кѣмъ оно сказано. По этой же причинѣ въ устахъ призванныхъ и посвященныхъ иногда и старыя истины получаютъ новую форму и новую силу убѣжденія, какъ будто бы онѣ были сказаны въ первый разъ; а въ устахъ людей, самовольно принимающихъ на себя обязанность учителей, иногда и новыя, оригинально выраженные мысли пропадаютъ безъ дѣйствія, какъ будто истертыя общія мѣста...

Обратимся къ Алеко. Наконецъ доходить дѣло и до страстей, появленіе которыхъ поэтъ такъ значительно, такимъ угрожающимъ образомъ предсказывалъ. Сердцемъ Алеко одолеваетъ ревность.

Эта страсть свойственна или людямъ по самой натурѣ эгоистическимъ, или людямъ неразвитымъ нравственно. Считать ревность необходимой принадлежностью любви—непростительное заблужденіе. Человѣкъ и р а в с т в е н н о развитый любить спокойно, увѣренно, потому что уважаетъ предметъ любви своей (любовь безъ уваженія для него невозможна). Положимъ, что онъ замѣчаетъ къ себѣ охлажденіе со стороны любимаго предмета, какая бы ни была причина этого охлажденія изъ исчисленныхъ поэтомъ:

Кто устоитъ противъ разлуки,
Соблазна новой красоты,
Противъ усталости и скуки
Иль своеправія мечты?

это охлажденіе заставитъ его страдать, потому что любящее сердце не можетъ не страдать при потерѣ любимого сердца; но онъ не будетъ ревновать. Ревность, безъ достаточнаго основанія, есть болѣзнь людей ничтожныхъ, которые не уважаютъ ни самихъ себя, ни своихъ правъ на привязанность любимого ими предмета; въ ней высказывается мелкая тиранія существа, стоящаго на степени животнаго эгоизма. Такая ревность невозможна для человѣка нравственно-развитого; но такимъ же точно образомъ невозможна для него и ревность на достаточномъ основаніи: ибо такая ревность непременно предполагаетъ мученія подозрительности, оскорбленія и жажды мщенія. Подозрительность совершенно излишня для того, кто можетъ спросить другого о предметѣ подозрѣнія съ такимъ же яснымъ взоромъ, съ какимъ и самъ отвѣтитъ на подобный вопросъ. Если отъ него будутъ скрываться, то любовь его перейдетъ въ превращеніе, которое если не избавитъ его отъ страданія, то дастъ этому страданію другой характеръ и сократитъ его продолжительность; если же ему скажутъ, что его болѣе не любятъ,—тогда муки подозрѣнія тѣмъ менѣе могутъ имѣть смыслъ. Чувство оскорбленія для такого человѣка также невозможно, ибо онъ знаетъ, что прихоть сердца, а не его недостатки причиной потери любимого сердца, и что это сердце, переставъ любить его, не только не перестало его уважать, но еще сострадаетъ, какъ другъ, его горю и винитъ себя, не будучи въ сущности виновато. Что касается до жажды мщенія—въ этомъ случаѣ, она была бы понятна только какъ выраженіе самаго животнаго, самаго грубаго и невѣжественнаго эгоизма, который невозможенъ для человѣка нравственно-развитого. И за что тутъ мстить?—за то, что полюбившее васъ сердце уже не бьется любовью къ вамъ! Но развѣ любовь зависитъ отъ воли человѣка и покоряется ей? И развѣ не случается, что сердце, охладѣвшее къ вамъ, не терзается сознаніемъ этого охлажденія словно тяжелой виной, страшнымъ преступленіемъ? Но не помогутъ ему ни слезы, ни стоны, ни самообвиненія, и тщетны будутъ всѣ усилія его заставить себя любить васъ попрежнему... Такъ чего же вы хотите отъ любимого вами, но уже не любящаго васъ предмета, если сами сознаете, что его охлажденіе къ вамъ теперь такъ же произошло не отъ его воли, какъ не отъ нея произошла прежде его любовь къ вамъ? Хотите ли, чтобъ этотъ предметъ, скрывая насильственно свое къ вамъ охлажденіе, обманывалъ васъ, ради вашего счастья, притворной любовью?—Но такое желаніе со стороны вашей могло бы выйти только изъ самаго грубаго, животнаго

эгоизма: ибо если вы человѣкъ, существо нравственно-развитое, то вы должны думать и заботиться гораздо больше о счастья связаннаго съ вами отношеніями любви предмета, чѣмъ о своемъ собственномъ. И притомъ надо быть слишкомъ пошлымъ человѣкомъ, чтобъ допустить обмануть и успокоить себя принужденной любовью, и надо быть слишкомъ подлымъ человѣкомъ, чтобъ, понимая такую любовь, какъ она есть, удовлетворяться ею: это значило бы принести чужое счастье въ жертву своему собственному — и какому счастью!.. Когда любовь съ которой нибудь стороны кончилась, вмѣстѣ жить нельзя: ибо тотъ не понимаетъ любви и ея требованій и за любовь принимаетъ грубую, животную чувственность, кто способенъ пользоваться ея правами отъ предмета, хотя бы и любимого, но уже не любящаго. Такая «любовь» бываетъ только въ бракахъ, потому что бракъ есть обязательство,—и можетъ быть оно такъ тамъ и нужно; но въ любви такіа отношенія суть оскорбленіе и профанція не только любви, но и человѣческаго достоинства. Всѣ такіе случаи невозможны для человѣка нравственно-развитого.

Есть много родовъ образованія и развитія, и каждое изъ нихъ важно само по себѣ, но всѣхъ ихъ выше должно стоять образованіе нравственное. Одно образованіе дѣлаетъ васъ человѣкомъ ученымъ, другое—человѣкомъ свѣтскимъ, третье—административнымъ, военнымъ, политическимъ и т. д.; но нравственное образованіе дѣлаетъ васъ просто человѣкомъ, т. е. существомъ, отражающимъ на себя отблескъ божественности, и потому высоко стоящимъ надъ міромъ животнымъ. Хорошо быть ученымъ, повстомъ, воиномъ, законодателемъ и проч., но худо не быть при этомъ человѣкомъ; быть же человѣкомъ—значитъ имѣть полное и законное право на существованіе и не будучи ничѣмъ другимъ, какъ только человѣкомъ. Въ чемъ же состоитъ нравственное образованіе, нравственное развитіе? Такъ какъ человѣкъ не только существуетъ, но еще и мыслить, то всякій предметъ, въ отношеніи къ нему, существуетъ не только практически, но и теоретически, и человѣкъ только тогда вполнѣ владѣетъ предметомъ, тогда схватываетъ его съ этихъ обѣихъ сторонъ. Но одно практическое обладаніе предметомъ еще значитъ что-нибудь, тогда какъ одно теоретическое ровно ничего не значитъ. И потому теоретическая нравственность, открывающаяся въ однихъ системахъ и словахъ, но не говорящая за себя, какъ дѣло, какъ фактъ, выходящая только изъ соображеній ума, но неимѣющая глубокихъ корней въ почвѣ сердца,—такая нравственность стѣбитъ без-

нравственности и должна называться китайской или фарисейской. Истинная нравственность прозябает и растет из сердца, при плодотворном содѣйствіи свѣтлых лучей разума. Ея мѣрило — не слова, а практическая дѣятельность. Въ сферѣ теорій и созерцаній быть героемъ добродѣтели въ тысячу разъ легче, нежели въ дѣйствительности выслужить чинъ коллежскаго регистратора или, пообѣдавъ, почувствовать себя сытымъ. Такъ какъ сфера нравственности есть по преимуществу сфера практическая, а практическая сфера образуется преимущественно изъ взаимныхъ отношеній людей другъ къ другу, — то здѣсь-то, въ этихъ отношеніяхъ, и больше нигдѣ, должно искать примѣтъ нравственнаго или безнравственнаго человѣка, а не въ томъ, какъ человѣкъ разсуждаетъ о нравственности или какой системы, какого ученія и какой категории нравственности онъ держится. Слова, какъ бы ни были краснорѣчивы, хотя бы произносились страстнымъ голосомъ и сопровождались не только порывистыми жестами, но при случаѣ и горячими слезами, — слова сами по себѣ все-таки стоятъ не больше всякой другой болтовни: здѣсь, какъ и вездѣ, дѣло — въ дѣлѣ. Одинъ изъ высочайшихъ и священнѣйшихъ принциповъ истинной нравственности заключается въ религіозномъ уваженіи къ человѣческому достоинству во всякомъ человѣкѣ, безъ различія лица, прежде всего за то, что онъ — человѣкъ, и потомъ уже за его личныя достоинства, по той мѣрѣ, въ какой онъ ихъ имѣетъ, — въ живомъ, симпатическомъ созданіи своего братства со всѣми, кто называется человѣкомъ. Вотъ чтó разумѣли мы подъ словомъ «нравственно-развитый человѣкъ», говоря о томъ, какимъ образомъ показалъ бы себя такой человѣкъ въ отношеніи къ любимой имъ особѣ, когда она почему бы то ни было разлюбилъ его. Естественно, что никогда не выказывается такъ рѣзко-опредѣленно нравственность или безнравственность человѣка, какъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ онъ судитъ своего ближняго по отношенію къ самому себѣ и гдѣ въ эти отношенія вмѣшивается страсть: ибо въ такихъ случаяхъ ему предстоитъ быть къ самому себѣ строгимъ безъ эффектовъ, безпристрастнымъ безъ гордости, справедливымъ безъ униженія, между тѣмъ какъ въ такихъ-то именно обстоятельствахъ человѣкъ, по чувству эгоизма, и увлекается крайностями, т. е. или бываетъ къ себѣ пристрастно снисходительнымъ, обвиняя во всемъ своего ближняго, или, чтó бываетъ рѣже, изъ самаго безпристрастія своего и своей къ себѣ строгости дѣлаетъ эффектную мелодраму. Поэтому наше приложеніе идеи нравственности къ дѣлу любви очень удобно

для рѣшенія вопроса, потому что любовь, какъ одна изъ сильнѣйшихъ страстей, увлекающихъ человѣка во всѣ крайности больше, чѣмъ всякая другая страсть, — можетъ служить пробнымъ камнемъ нравственности. Если человѣкъ, находящійся въ положеніи Алеко, подавшаго намъ поводъ къ этимъ разсужденіямъ, есть истинно нравственный человѣкъ, то въ любимой имъ особѣ онъ съ большей страстью, чѣмъ въ комъ-нибудь другомъ, уважаетъ права свободной личности, а слѣдовательно и невольныя естественныя стремленія ея сердца. Въ такомъ случаѣ натурально, что ея внезапнаго къ нему охлажденія онъ не приметъ за преступленіе или такъ называемую на языкѣ пошлыхъ романовъ «невѣрность», и еще менѣе согласится принять отъ нея жертву, которая должна состоять въ ея готовности принадлежать ему даже и безъ любви и для его счастья отказаться отъ счастья новой любви, можетъ быть бывшей причиной ея къ нему охлажденія. Еще болѣе естественно, что въ такомъ случаѣ ему остается сдѣлать только одно: — со всѣмъ самоотверженіемъ души любящей, со всей теплотой сердца, постигшаго святую тайну страданія, благословить его или ее на новую любовь и новое счастье, а свое страданіе, если нѣтъ силъ освободиться отъ него, глубоко скоронить отъ всѣхъ, и въ особенности отъ него или отъ нея, въ своемъ сердцѣ. Такой поступокъ немногими можетъ быть оцененъ, какъ выраженіе истинной нравственности; многіе, воспитанные на романахъ и повѣстяхъ съ ревностью, измѣнами, кинжалами и ядами, найдутъ его даже прованческимъ, а въ человѣкѣ, такимъ образомъ поступившемъ, увидятъ отсутствіе понятія о чести. Дѣйствительно, по понятіямъ, искаженно перешедшимъ къ намъ отъ среднихъ вѣковъ, мужчине надо кровью смыть подобное безчестіе и, какъ говоритъ Алеко, «хищнику и ей, коварной, вонзить кинжалъ въ сердце», а женщину прибѣгнуть къ яду или къ слезамъ и безмолвной тоскѣ; но не должно забывать, что то, чтó могло имѣть смыслъ въ варварскіе средніе вѣка, — въ наше просвѣщенное время уже не имѣетъ никакого смысла. Въ образованномъ человѣкѣ нашего времени Шекспировъ Отелло можетъ возбуждать сильный интересъ, но съ тѣмъ однако-жъ условіемъ, что эта трагедія есть картина того варварскаго времени, въ которое жилъ Шекспиръ и въ которое мужъ считался полновластнымъ господиномъ своей жены; всякій же образованный человѣкъ нашего времени только разсмѣется отъ новыхъ Отелликовъ вроде Марселя въ нелѣпой повѣсти Эжена Сю «Крао» и безымяннаго господина въ отвратительной повѣсти Дюма «Une Vengeance». Но люди которымъ

нужно доказать, что въ наше время кинжалы, яды и даже пистолеты, вслѣдствіе ревности, суть не что иное, какъ пошлые театральные эффекты или результаты болѣзненнаго безумія, животнаго эгоизма и дикаго невѣжества,—такіе люди не стоятъ того, чтобы тратить на нихъ слова. Слава Богу, такихъ людей теперь уже немного и теперь гораздо больше людей, которые принимаютъ слова за одно съ дѣлами; вотъ имъ-то предложимъ мы вопросъ, ближе относящійся къ предмету нашей статьи: что сказать о человѣкѣ, который, по его словамъ, идетъ на равнѣ съ вѣкомъ и для этого толкуетъ о правѣ человеческого (нарушаемомъ его сосѣдомъ по имѣнію) и объ эмансипаціи женщины, но который, если его жена позволить себѣ сдѣлать, въ отношеніи къ нему, сотую долю того, что безъ всякаго позволенія дѣлаетъ онъ въ отношеніи къ ней, — сейчасъ переменяетъ тонъ и готовъ хоть за дубье приняться?... Не правда ли, что, глядя на него, невольно запоешь вполголоса съ Давыдовымъ:

А глядишь: нашъ Мирабо
Старога Гаврилу,
За изматое жабо,
Хлещетъ въ усь да въ рыло...?

Вотъ почему не смѣхъ, а смѣшанное съ ужасомъ отвращеніе возбуждаютъ слова Алеко въ отвѣтъ на простодушный, трогательный и поэтический рассказъ стараго цыгана о Мариулѣ:

Да какъ же ты не поспѣшилъ
Тотчасъ во слѣдъ неблагодарной,
И хищнику, и ей, коварной,
Кинжала въ сердце не вонзилъ?

Итакъ, вотъ онъ — страдалецъ за униженное человеческое достоинство, — человѣкъ, который презрѣлъ предрасудки образованной общественности и нашелъ счастье въ цыганскомъ таборѣ!... Турокъ въ душѣ, онъ считалъ себя впереди цѣлой Европы на пути къ цивилизованному уваженію правъ личности!... И какъ великъ, какъ истинно (т. е. внутренно, духовно) свободенъ передъ нимъ старый цыганъ, этотъ сынъ природы, бѣдности, незнающій въ простотѣ сердца никакихъ теорій нравственности! Сколько поэзіи и истины въ его кроткомъ, благодушномъ отвѣтѣ Алеко:

Къ чему? вольнѣ птицы младость.
Кто въ силахъ удержать любовь?
Чредою всѣмъ дается радость:
Что было, то не будетъ вновь!

Отвѣтъ Алеко на эти полныя любви и правдивости слова стараго цыгана окончательно и вполнѣ раскрываетъ тайну его характера:

Я не таковъ. Нѣтъ, я, не споря,
Отъ правъ моихъ не откажусь;
Или хоть мщеніемъ наслажусь.

О, нѣтъ! когда-бъ надъ бездною моря
Нашелъ я спящаго врага,
Клянусь, и тутъ моя нога
Не пощадила бы злодѣя;
Я въ волны моря, не блѣднѣя,
И беззащитнаго-бъ толкнулъ;
Внезапный ужасъ пробужденья
Свирѣпымъ смѣхомъ упрекнулъ,
И долго мнѣ его паденья
Смѣшонъ и сладокъ былъ бы гулъ.

Изъ этихъ словъ видно, что никакая могучая идея не владѣла душой Алеко, но что всѣ его мысли и чувства и дѣйствія вытекаютъ, во-первыхъ, изъ сознанія своего превосходства надъ толпой, состоящаго въ умѣ болѣе блестящемъ и созерцательномъ, чѣмъ глубокомъ и дѣятельномъ; во-вторыхъ, изъ чудовищнаго эгоизма, который гордъ самимъ собой, какъ добродѣтелью. «Эта женщина (какъ разсуждаетъ эгоизмъ Алеко) отдалась мнѣ, и я счастливъ ея любовью, слѣдовательно я имѣю на нее вѣчное и ненарушимое право, какъ на мою рабу, на мою вещь. Она измѣнила — и я не могу уже быть счастливъ ея любовью: она должна употѣ меня сладостью мщенія. Ея обольститель лишилъ меня счастья, — я долженъ за это заплатить мнѣ жизнью». Не спрашивайте Алеко, наказалъ ли бы онъ самъ себя смертью, еслибъ онъ самъ измѣнилъ любимой имъ женщинѣ и съ свойственной эгоистамъ жестокостью оттолкнулъ ее отъ груди своей: не трудно угадать, какъ бы поступилъ и что бы заговорилъ Алеко въ подобномъ обстоятельствѣ. Эгоизмъ изворотливъ, какъ хамелеонъ: мало того, что такой человѣкъ, какъ Алеко, въ подобномъ случаѣ сталъ бы рисоваться передъ самимъ собой, какъ великодушный и невинный губитель чужого счастья, — онъ, пожалуй, еще почелъ бы себя вправѣ мстить смертью оставленной имъ женщинѣ, которая преслѣдуетъ его своими доуками, упреками, слезами и моленіями, съ чего-то вообразивъ, что имѣетъ на него какія-то права, какъ будто бы онъ созданъ не для жизни, а для ея удовольствія и, подобно дитяти, лишень воли. Не спрашивайте его также, имѣетъ ли на его жизнь право человѣкъ, у котораго онъ отбилъ любовницу; съ свойственнымъ эгоизму безстыдствомъ Алеко въ такомъ случаѣ началъ бы предъ вами витѣовато либеральничать и доказывать пышными фразами, что на женщину имѣетъ законное право только тотъ, кто, любя ее, любимъ ею, и что онъ, Алеко, первый бы уступилъ великодушно свою любовницу тому, кого бы она полюбила. Изъ этого-то животнаго эгоизма вытекаетъ и животная мстительность Алеко. Человѣкъ нравственный и любящій живетъ для идеи, составляющей паеосъ цѣлаго его существованія; онъ можетъ и горько презирать, и сильно ненавидѣть,

но скорѣе по отношенію къ своей идеѣ, чѣмъ къ своему лицу. Онъ не снесетъ обиды и не позволить унижить себя, но это не мѣшаетъ ему умѣть прощать личныя обиды: въ этомъ случаѣ онъ не слабъ, а только великодушенъ. Натуры блестящія, но въ сущности мелкія, потому что эгоистическія,—чужды стремленія къ идеѣ или идеалу: онѣ во всемъ ставятъ сосредоточіемъ свое милое Я. Если они и заберутъ себѣ въ голову, что живутъ для какой-то идеи, то не возвышаются до идеи, а только нагибаются до нея, думаютъ не себя облагородить и освятить проникновениемъ идей, но идею осчастливить своимъ султанскимъ выборомъ. И тогда ихъ идея въ ихъ глазахъ потому только истина, что она—ихъ идея, и потому всякій, не признающій ея истинности, есть ихъ личный врагъ. Но будучи оскорблены въ дѣлѣ личной страсти, эти люди думаютъ, что въ ихъ лицѣ оскорбленъ весь міръ, вся вселенная, и никакая месть не кажется имъ незаконной. Таковъ Алеко!

Скажутъ, что созданіе такого лица не дѣлаетъ чести поэту, тѣмъ болѣе, что онъ ясно хотѣлъ сдѣлать изъ него не столько преступнаго, сколько несчастнаго, увлеченнаго судьбой человѣка. Дѣйствительно, это было бы такъ, еслибъ поэтъ не противопоставилъ стараго цыгана лицу Алеко, можетъ быть безсознательно повинаясь тайной внутренней логикѣ непосредственнаго творчества. И потому идею поэмы «Цыгане» должно искать не въ одномъ лицѣ, а тѣмъ менѣе только въ лицѣ Алеко, но въ общности поэмы. Алеко является въ поэмѣ Пушкина какъ бы для того только, чтобъ представить намъ страшный, поразительный урокъ нравственности. Его противорѣчіе съ самими собой было причиной его гибели,—и онъ такъ жестоко наказанъ оскорбленнымъ имъ закономъ нравственности, что чувство наше, несмотря на великость преступленія, примиряется съ преступникомъ: Алеко не убиваетъ себя: онъ остается жить,—и это рѣшеніе дѣйствуетъ на душу читателя сильнѣе всякой кровавой катастрофы. Поэтическое сравненіе Алеко съ подстрѣленнымъ журавлемъ, печально остающимся на полѣ въ то время, когда станица весело поднимается на воздухъ, чтобъ летѣть къ благословеннымъ краямъ юга, выше всякой трагической сцены. Сидя на камнѣ, окровавленный, съ ножомъ въ рукахъ, «блѣдный лицомъ», Алеко молчитъ, но молчаніе краснорѣчиво: въ немъ слышится нѣмое признаніе справедливости постигшей его кары, и можетъ-быть съ этой самой минуты въ Алеко звѣрь уже умеръ, а человѣкъ воскресъ...

Вы скажете: слишкомъ поздно. Чтѣ-жъ дѣлать! такова, видно, натура этого человѣка, что она могла возвыситься до очеловѣченія

только цѣной страшнаго преступленія и страшной за то кары... Не будемъ строги въ судѣ надъ падшимъ и наказаннымъ, а лучше тѣмъ строже будемъ къ самимъ себѣ, пока мы еще не пали, и заранѣе воспользуемся великимъ урокомъ. Еслибъ Алеко устоялъ въ гордости своего мнѣнія, мы не помирились бы съ нимъ: ибо видѣли бы въ немъ все того же звѣря, какимъ онъ былъ и прежде. Но онъ призналъ заслуженность своей кары,—и мы должны видѣть въ немъ человѣка: а человѣкъ человѣка какъ осудить?...

Убитая чета уже въ землѣ.

... . Когда же ихъ закрыли
Послѣдней горстію земной,
Онъ молча, медленно склонился
И съ камня на траву свалился.

Какое простое и сильное въ благородной простотѣ своей изображеніе самой лютой, самой безотрадной муки! Какъ хороши въ немъ два послѣдніе стиха, на которые такъ нападали критики того времени, какъ на стихи вялые и прозаическіе! Гдѣ-то было даже напечатано, что разъ Пушкинъ имѣлъ горячій споръ съ кѣмъ-то изъ своихъ друзей за эти два стиха и наконецъ вскричалъ: «Я долженъ былъ такъ выразиться; я не могъ иначе выразиться!». Черта, обличающая великаго художника!

Но довольно объ Алеко; обратимся къ старому цыгану. Это одно изъ такихъ лицъ, созданіемъ которыхъ можетъ гордиться всякая литература. Есть въ этомъ цыганѣ что-то патріархальное. У него нѣтъ мыслей: онъ мыслитъ чувствомъ,—и какъ истинны, глубоки, человѣчны его чувства! Языкъ его исполненъ поэзіи. Въ тонѣ рѣчи его столько простоты, наивности, достоинства, самоотрицанія (résignation), кротости, теплоты и елейности. И какъ вѣренъ онъ себѣ во всемъ,—тогда ли, какъ рассказываетъ своимъ простодушнымъ и поэтическимъ языкомъ преданіе объ Овидіи; или когда въ исполненной дикаго огня, дикой страсти и дикой поэзіи пѣсни Земфiry припоминаетъ стараго друга; или когда, утѣшая Алеко въ охлажденіи Земфiry, по своему, но такъ вѣрно и истинно объясняетъ ему натуру и права женскаго сердца и рассказываетъ трогательную повѣсть о самомъ себѣ, о своей любви къ Маріулѣ и ея измѣнѣ, которую онъ, въ своей цыганской простотѣ, такъ человѣчно, такъ гуманно нашелъ совершенно законной... Но въ сценѣ похоронъ и прощанія съ Алеко онъ является, самъ того не подозревая въ своей цыганской дикости, въ истинно-трагическомъ величіи и кротко изрекаетъ несчастному ужасный приговоръ и великія истины:

«Оставь насъ, гордый человѣкъ!
Мы дики, нѣтъ у насъ законовъ,
Мы не терзаемъ, не казимъ,
Не нужно крови намъ и стоновъ;
Но жить съ убійцей не хотимъ.
Ты не рожденъ для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасенъ намъ твой будетъ гласъ.
Мы робки и добры душою,
Ты золъ и смѣлъ—оставь же насъ,
Прости! да будетъ миръ съ тобою.»

Замѣтьте этотъ стихъ: «Ты для себя лишь хочешь воли»: — въ немъ весь смыслъ поэмы, ключъ къ ея основной идеѣ. Послѣ этого можно-ли сомнѣваться въ глубоко-нравственномъ характерѣ поэмы? Нѣтъ, это возможно только для людей близорукихъ и ограниченныхъ, для невѣждъ-моралистовъ, которые привыкли видѣть нравственность только въ азбучныхъ сентенціяхъ...

Нѣкоторые критики того времени особенно нападали на эпилогъ, находя его похожимъ на хоръ изъ какой-нибудь греческой трагедіи. Греческаго въ этомъ эпилогѣ нѣтъ ничего, а осужденія онъ заслуживаетъ. Въ немъ рефлексія поэта взяла на минуту верхъ надъ не посредственностью творчества, и вслѣдствіе этого онъ пришелся совершенно не кстати къ содержанію поэмы, въ явномъ противорѣчій съ ея смысломъ:

Но счастья нѣтъ и между вами,
Природы бѣдные сыны!
И подъ издранными шатрами
Живутъ мучительные сны.
И ваши сны кочевья
Въ пустыняхъ не спаслись отъ бѣдъ,
И всюду страсти роковыя,
И отъ судебъ защиты нѣтъ.

Къ чему тутъ судьбы и къ чему толки о томъ, что счастья нѣтъ и между бѣдными дѣтьми природы? Несчастье принесено къ нимъ сыномъ цивилизаціи, а не родилось между ними и черезъ нихъ же. Но главное: поэту слѣдовало бы въ заключительныхъ стихахъ сосредоточить мысль всей поэмы, такъ энергически выраженной стихомъ: «Ты для себя лишь хочешь воли». Но, какъ мы выше замѣтили, Пушкинъ-поэтъ былъ гораздо выше Пушкина-мыслителя. Еслибы въ духѣ Пушкина оба эти элемента были равно-сильны, и еслибы къ этому роскошный цвѣтъ его поэзіи имѣлъ своей почвой вполне развившуюся многовѣчную цивилизацію,—тогда конечно Пушкинъ былъ бы равенъ величайшимъ поэтамъ Европы..

Можетъ-быть инымъ показется недостатокъ въ «Цыганахъ» то, что въ этой поэмѣ дикій цыганъ, такъ сказать, пристыжаетъ высотой своихъ созерцаній и чувствованій понятія сына цивилизаціи, и такимъ образомъ заставляетъ насъ видѣть идеалъ нравственно-просвѣтленнаго человѣка въ бродя-

Соч. Вѣлинскаго. Т. III.

щемъ дикарѣ. Это несправедливо. Алеко есть одно изъ явленій цивилизаціи, но отнюдь не полный ея представитель. Сверхъ того, не смотря на всю возвышенность чувствованій стараго цыгана, онъ—не высшій идеалъ человѣка: этотъ идеалъ можетъ реализироваться только въ существѣ сознательно-разумномъ, а не въ непосредственно-разумномъ, не вышедшемъ изъ-подъ опеки у природы и обычая. Иначе, развитіе человѣчества черезъ цивилизацію не имѣло бы никакого смысла, и люди, чтобъ сдѣлаться разумными и справедливыми, должны бы въ дикомъ состояніи видѣть свое призваніе и свою цѣль. Человѣчество должно было помириться съ природой, но не иначе, какъ достигши этого примиренія свободно, путемъ духовнаго, противоположнаго природѣ, развитія. Для того-то и распался нѣкогда человѣкъ съ природой и объявилъ ей борьбу на смерть, чтобъ стать выше ея и потомъ; даже примирившись съ ней, быть выше ея, какъ духъ выше матеріи, сознающій разумъ выше безсознательной дѣйствительности. Бываютъ собаки, одаренныя не только удивительнымъ инстинктомъ, подходящимъ близко къ смыслу, но и удивительными добродѣтелями, какъ-то вѣрностью и привязанностью къ человѣку, простирающимися до готовности жертвовать жизнью за человѣка. И въ то же время бываютъ люди не только съ весьма ограниченными способностями, но и съ положительно-низкими страстями и злой, развращенной волей. И однакожъ самый плохой человѣкъ выше самой лучшей собаки, хотя онъ и внушаетъ къ себѣ одно презрѣніе и отвращеніе, тогда какъ послѣдняя пользуется общимъ удивленіемъ и любовью: такъ и самый худшій между интеллектуально развитыми черезъ цивилизацію людьми въ царствѣ разума занимаетъ высшую ступень, нежели самый лучший изъ людей, взлелѣянныхъ на лонѣ природы; послѣдній всегда—не болѣе, какъ прекрасная случайность или существо, обязанное своими достоинствами случайному дару удавшейся организаціи,—тогда какъ самые недостатки и пороки перваго болѣе или менѣе отражаютъ на себѣ необходимый моментъ въ историческомъ развитіи общества или даже цѣлаго человѣчества. Добродѣтели послѣдняго не зависятъ отъ прошедшаго, и потому не даютъ результатовъ въ будущемъ: это талантъ, скрытый въ землѣ, отъ котораго человѣчество не богатѣетъ. И потому жизнь непосредственно естественнаго человѣка ни въ какомъ случаѣ не можетъ обогатить человѣчества великимъ урокомъ. И если въ поэмѣ Пушкина старый цыганъ способствуетъ, самъ того не зная, къ преподанію намъ великаго урока,—то не самъ

собой, а через Алеко, этого сына цивилизации. Здѣсь онъ какъ бы играетъ роль хора въ греческой трагедіи, который иногда изрекаетъ великія истины о совершающемся передъ его глазами событіи, не принимая самъ въ этомъ событіи никакого дѣятельнаго участія.

Сколько «Цыгане» выше предшествовавшихъ поэмъ Пушкина по ихъ мысли, столько выше они ихъ и по концепировкѣ характеровъ, по развитію дѣйствія и по художественной отдѣлкѣ. Нельзя сказать, чтобъ во всѣхъ этихъ отношеніяхъ поэма не отзывалась еще чѣмъ-то... не то, чтобъ незрѣлымъ, но чѣмъ-то еще не совсѣмъ дозрѣлымъ. Такъ напримѣръ, характеръ Алеко и сцена убійства Земфиры и молодого цыгана, несмотря на все ихъ достоинство, отзываются нѣсколько мелодраматическимъ колоритомъ, и вообще въ отдѣлкѣ всей поэмы не достаетъ твердости и увѣренности кисти, какъ въ тѣхъ картинахъ, въ которыхъ краски еще не дошли до той степени совершенства, чтобъ совсѣмъ не походить на краски, что составляетъ величайшее торжество живописи, какъ художества. Въ «Цыганахъ» есть даже погрѣшности въ слогѣ. Такъ напримѣръ, въ стихѣ: «Тогда старикъ, приближась, рекъ», слово *рекъ* отзывается тяжелой книжностью, равно какъ и эпитетъ «подъ издранными шатрами», вмѣсто *изодранными*. Но два стиха—

Медвѣдь, бѣглець родной берлоги,
Косматый гость его шатра,—

можно назвать ультра-романтическими, потому что все неточное, неопредѣленное, сбивчивое, неясное, бѣдное положительнымъ смысломъ, при богатствѣ кажущагося смысла,— все такое должно называться романтическимъ, тогда какъ все опредѣлительно и точно прекрасное должно называться классическимъ, разумѣя подъ «классическимъ» древне-греческое. Что такое «бѣглець родной берлоги»? Не значить-ли это, что медвѣдь бѣжалъ безъ позволенія и безъ паспорта изъ своей берлоги? Хорошо бѣгство для того, кто взять насильно, при помощи дубины и рогатины! Этотъ медвѣдь—похищенецъ, если можно такъ выразиться, но отнюдь не бѣглець. Что такое «косматый гость шатра»? Что медвѣдь добровольно поселился въ шатрѣ Алеко? Хорошо гость, котораго ласковый хозяинъ держитъ у себя на цѣпи, а при случаѣ угощаетъ дубиной! Этотъ медвѣдь скорѣе плѣнникъ, чѣмъ гость.

По всему сказанному мы относимъ «Цыганъ» вмѣстѣ съ «Полтавой» и первыми шестью главами «Евгенія Онѣгина» къ числу поэмъ, въ которыхъ видна только близость, но еще не достиженіе той высокой

степени художественнаго совершенства, которая была собственностью таланта Пушкина и которая развернулась въ первый разъ во всей полнотѣ ея въ «Борисѣ Годуновѣ»,—этомъ безукоризненно высокомъ, со стороны художественной формы, произведеніи.

Намъ не разъ случалось слышать нападки на эпизодъ объ Овидіи, какъ неумѣстный въ поэмѣ и неестественный въ устахъ цыгана. Признаемся: по нашему мнѣнію, трудно выдумать что-нибудь нечѣпѣе подобнаго упрека. Старый цыганъ рассказываетъ въ поэмѣ Пушкина не исторію, а преданіе, и не о поэтѣ римскомъ (цыганъ ничего не смысляетъ ни о поетахъ, ни о римлянахъ), но о какомъ-то святомъ старикѣ, который былъ «младъ и живъ иazoleбной душой, имѣлъ дивный даръ пѣсенъ и подобный шуму водъ голосъ». Сверхъ того «Цыгане» Пушкина—не романъ и не повѣсть, но поэма; а есть большая разница между романомъ и повѣстью и между поэмой. Поэма рисуетъ идеальную дѣйствительность и схватываетъ жизнь въ ея высшихъ моментахъ. Таковы поэмы Байрона и, порожденные ими, поэмы Пушкина. Романъ и повѣсть, напротивъ, изображаютъ жизнь во всей ея прозаической дѣятельности, независимо отъ того, стихами или прозой они пишутся. И потому «Евгеній Онѣгинъ» есть романъ въ стихахъ, но не поэма; «Графъ Нулинъ»—повѣсть въ стихахъ, но не поэма. Въ «Онѣгинѣ» и «Нулинѣ» мы видимъ лица дѣйствительныя и современные намъ; въ «Цыганахъ» всѣ лица идеальныя, какъ эти греческія изваянія, которыхъ открытые глаза не блещутъ свѣтомъ очей, ибо они одного цвѣта съ лицомъ: такъ же мраморны или мѣдны, какъ и лицо. Такимъ образомъ эпизодъ вродѣ разсказа стараго цыгана объ Овидіи въ «Цыганахъ», какъ поэмѣ, столь же возможенъ, естественъ и умѣстенъ, сколько былъ бы онъ страненъ и смѣшонъ въ «Онѣгинѣ» или «Нулинѣ», хотя бы онъ былъ вложенъ въ уста тому или другому герою той или другой повѣсти. И что бы ни говорили о неумѣстности этого эпизода неприванные критики,—ихъ толки будутъ свидѣтельствовать только о безвкусицѣ и мелочности ихъ взгляда на искусство. Эпизодъ объ Овидіи заключаетъ въ себѣ гораздо больше поэзіи, нежели сколько можно найти ее во всей русской литературѣ до Пушкина.

Какъ забавную черту о критическомъ духѣ того времени, когда вышли «Цыгане», извлекаемъ изъ записки Пушкина слѣдующее мѣсто: О «Цыганахъ» одна дама замѣтила, что во всей поэмѣ одинъ только честный человѣкъ, и то медвѣдь. Покойный Р. негодовалъ, зачѣмъ Алеко водить медвѣда

и еще собираетъ деньги съ глазѣющей публики. В. повторилъ то же замѣчаніе (Р. просилъ меня сдѣлать изъ Алеко хоть кузнеца, что было бы не въ примѣръ благородію). Всего бы лучше сдѣлать изъ него чиновника или помѣщика, а не цыгана. Въ такомъ случаѣ, правда, не было бы и всей поэмы: *ma tanto meglio*. Вотъ при какой публикѣ явился и дѣйствовалъ Пушкинъ! На это обстоятельство нельзя не обращать вниманія при оцѣнкѣ заслугъ Пушкина. — «Цыгане» были первымъ усиленіемъ, первой попыткой Пушкина создать что-нибудь важное и зрѣлое какъ по идеѣ, такъ и по исполненію. Мы показали, до какой степени удалось ему это: «Цыгане» оставили далеко за собой все написанное имъ прежде, обнаруживъ въ поэтѣ великія силы; но въ то же время въ этой поэмѣ виденъ только могучій порывъ къ истинно-художественному творчеству, но еще не полное достиженіе желанной цѣли стремленія. Черезъ два года послѣ «Цыганъ» (т. е. въ 1829 году) вышла новая поэма Пушкина — «Полтава», въ которой рѣзко выразилось усиліе поэта оторваться отъ прежней дороги и твердой ногой стать на новый путь творчества. Но гдѣ видно усиліе, тамъ еще нѣтъ достиженія: достигнуть желаемого значить — спокойно, свободно, слѣдовательно безъ всякихъ усилій овладѣть имъ. Поэтому въ «Полтавѣ» видны какая-то нерѣшительность, какое-то колебаніе, вслѣдствіе которыхъ изъ этой поэмы вышло что-то огромное, великое, но въ то же время и нестройное, странное, неполное. «Полтава» богата новымъ элементомъ — народностью въ выраженіи; почти всякое мѣсто, отдѣльно взятое въ ней, превосходитъ все, написанное прежде Пушкинымъ, по силѣ, полнотѣ и роскоши поэтического выраженія, — и въ то же время въ этой поэмѣ нѣтъ единства, она не представляетъ собой цѣлаго. Содержаніе ея до того огромно, что одна смѣлость поэта коснуться такого содержанія есть уже заслуга, тѣмъ болѣе, что многія частности показываютъ, что поэтъ достоинъ былъ своего предмета, — и все-таки, читая «Полтаву» и дивясь ея великимъ красотамъ, спрашиваешь себя: что же это такое? Разсмотрѣніе причинъ такого явленія очень любопытно, и мы постараемся изслѣдовать этотъ вопросъ столько подробно и удовлетворительно, сколько это въ нашихъ силахъ.

Какъ недостатки, такъ и достоинства «Полтавы» были равно непоняты тогдашними критиками и тогдашней публикой. Между тѣмъ на одно произведеніе Пушкина, послѣ «Руслана и Людмилы», не возбуждало такихъ споровъ и толковъ, какъ «Полтава». Ее бранили съ ожесточеніемъ, безъ всякаго

уваженія къ лицу великаго поэта; и съ тѣхъ поръ нѣкоторые критики, обрадовавшись своей собственной смѣлости и своему открытію, что и Пушкина можно бранить, какъ какого-нибудь обыкновеннаго стихотворца, не упускали случая пользоваться своей похвальной смѣлостью и своимъ счастливымъ открытіемъ. Такимъ образомъ въ разныхъ журналахъ и на разные голоса, но одинаково неприлично и несправедливо, были разруганы — «Полтава», «Графъ Нулинъ», «Борисъ Годуновъ», седьмая глава «Евгенія Онѣгина», третья часть мелкихъ стихотвореній и пр. Мы увидимъ, каковы были эти критики или, лучше сказать, эти брани, потому что критика не есть брань, а брань не есть критика. Обратимся къ «Полтавѣ».

Главный недостатокъ «Полтавы» вышелъ изъ желанія поэта написать эпическую поэму. Хотя Пушкинъ принадлежалъ къ той новой литературной школѣ, которая оторвалась отъ преданій псевдо-классицизма; хотя онъ поэтому и смѣялся надъ «чахоточнымъ отцомъ нежного тощія «Энеиды», въ первой главѣ «Онѣгина» шутя обѣщалъ написать «поэму пѣсенъ въ двадцать пять», а седьмую главу его кончилъ этой острой эпиграммой на завѣтное «пою» старинныхъ эпическихъ поэмъ:

Но здѣсь съ побѣдою поздравимъ
Татьяну милую мою,
И въ сторону свой путь направимъ,
Чтобъ не забыть о комъ пою...
Да кстати здѣсь о томъ два слова:
*«Пою пріятеля младого
И множество его причудъ.
Благослови мой долій трудъ,
О ты, эпическая муза!
И странный посохъ мнѣ вручишь,
Не дай блуждать мнѣ окосъ и окриетъ.
Довольно. Съ плечъ долой обузу!
Я классицизму отдалъ честь:
Хоть поздно, а вступленіе есть...»*

однако все это еще не доказываетъ, чтобъ легко было отрѣшиться начисто отъ преобладающихъ преданій этой эпохи, въ которую мы родились и развились. Несмотря на то, что Пушкинъ самъ былъ великимъ реформаторомъ въ русской литературѣ, — литературныя преданія тѣмъ не менѣе отаготѣли надъ нимъ, что можно видѣть изъ его безусловнаго уваженія ко всемъ представителямъ прежней русской литературы. Итакъ, въ «Полтавѣ» ему хотѣлось сдѣлать опытъ эпической поэмы въ новомъ духѣ. Что такое эпическая поэма! — Идеализированное представленіе такого историческаго событія, въ которомъ принималъ участіе весь народъ, которое слито съ религиознымъ, нравственнымъ и политическимъ существованіемъ народа и которое имѣло сильное вліяніе на судьбы народа. Разумѣется, если это событіе касалось не одного народа, но и цѣлаго че-

ловѣчества, — тѣмъ ближе поэма должна подходить къ идеалу эпоса. Такъ смотрѣли на эпическую поэму всѣ образованные люди со временъ упадка древне-греческой національности и возникновенія александрійской школы почти до начала XIX столѣтія, слѣдовательно болѣе двухъ тысячъ лѣтъ. А отчего произошло такое понятіе объ эпосѣ? — отъ того, что у грековъ была «Иліада» и «Одиссея», — болѣе не отъ чего. Причина довольно забавная, но тѣмъ не менѣе понятная, ибо таково всегда вліяніе народа, имѣющаго всемірно-историческое значеніе, на всѣ другіе народы: они подражаютъ ему рабски во всемъ, начиная отъ искусства до покроя платья. У грековъ была «Иліада», которая нѣкоторымъ образомъ служила имъ книгой откровенія, изъ которой вытекала вся ихъ позднѣйшая поэзія и которую читали не одни ученые, но зналъ наизусть каждый эллинь, понимавшій сколько-нибудь достоинство и счастье быть эллиномъ. Стало-быть, почему же не имѣть такой поэмы напримѣръ и римлянамъ? Но какъ же бы это сдѣлать, если такой поэмы у римлянъ не явилось въ полунисторическую эпоху ихъ политическаго существованія? — Очень просто: если ея не создалъ духъ и геній народа, — ее долженъ создать какой-нибудь записной поэтъ. Для этого ему стоитъ только подражать «Иліадѣ». Въ ней воспѣто важнѣйшее событіе изъ традиціонной исторіи грековъ — взятіе Трои: стало-быть, надо порыться въ лѣтописяхъ своего отечества, чтобы поискать такого же. Да вотъ чего же лучше — основаніе Латинскаго государства въ Италіи черезъ мнимое пришествіе Энея въ Италію. Въ подробностяхъ тоже остается только копировать «Иліаду» и «Одиссею» съ небольшими перемѣнами, какъ напримѣръ Гомеръ начинаетъ свою поэму: «Муза, воспой» и пр., а вы начните просто, отъ себя; «пою-де такого-то мужа», и пр. Если же могла быть у римлянъ эпопея, такимъ легкимъ образомъ сочиненная, то почему же бы не могла она быть и у всѣхъ новѣйшихъ народовъ? И вотъ у итальянцевъ явился «Освобожденный Іерусалимъ», у англичанъ — «Потерянный Рай», у испанцевъ — «Араукана», у португальцевъ — «Lusiades» («Лузитане»?), у французовъ — «Генріада», у нѣмцевъ — «Мессіада», у насъ, русскихъ, недоконченная «Петріада», да еще (если упомянуть ради смѣха) пресловутыя, стопудовыя «Россиада» и «Владиміръ». Происхожденіе всѣхъ этихъ поэмъ такъ же незаконно, какъ и образца ихъ «Энеиды». Она явилась вслѣдствіе «Иліады»; но вѣдь «Иліада» была столько же непосредственнымъ созданіемъ цѣлаго народа, сколько и преднамѣреннымъ, сознательнымъ произведеніемъ Гомера. Мы считаемъ за рѣшительно несправедливое мнѣніе,

будто бы «Иліада» есть не что иное, какъ сводъ народныхъ рассудовъ: этому слишкомъ рѣзко противорѣчитъ ея строгое единство и художественная выдержанность. Но въ то же время нельзя сомнѣваться, чтобы Гомеръ не воспользовался болѣе или менѣе готовыми матеріалами, чтобы воздвигнуть изъ нихъ вѣковѣчный памятникъ эллинской жизни и эллинскому искусству. Его художественный геній былъ плавильной печью, черезъ которую грубая руда народныхъ преданій и поэтическихъ пѣсень и отрывковъ вышла чистымъ золотомъ. Гомеръ написалъ объ свои поэмы черезъ 200 лѣтъ послѣ совершенія воспѣтыхъ въ нихъ событий, а событія эти совершались почти за 1200 лѣтъ до Р. Х., слѣдовательно во времена мнеческія, да и самъ Гомеръ жилъ въ эпоху до-историческую; отсюда и происходитъ дѣвственная наивность его поэмъ, вслѣдствіе которой и доселѣ описанный имъ міръ, несмотря на его чудесность, носить на себѣ печать дѣйствительности. Притомъ же «Одиссея» послѣ «Иліады» ясно доказываетъ невозможность въ одномъ произведеніи исчерпать всю жизнь народа, и потому сторона героизма и доблести выражена въ «Иліадѣ», а гражданская мудрость — въ «Одиссее». «Энеида» написана, напротивъ, во времена перерѣзости и паденія народа; она есть произведеніе одного человека, безъ всякаго участія народа, и почти безъ помощи поэтическихъ преданій. Какая же это эпопея вродѣ «Иліады» и что у ней общаго съ «Иліадой»? Это просто — старческое произведеніе, которое силится показаться младенческимъ. И притомъ паеосъ римской жизни былъ совсѣмъ другой, чѣмъ паеосъ греческой; слѣдовательно Эней — ложно-римскій герой. Настоящій герой римскій это — даже не Юлій Цезарь, а развѣ братья Гракхи; настоящій же эпосъ римскій — это кодексъ Юстиніана, оказавшаго римлянамъ услугу вродѣ той, которую Пизистратъ оказалъ грекамъ, собравъ во-едино отрывки Гомеровыхъ поэмъ. Несмотря на то, что герой «Энеиды» носитъ названіе благочестиваго (pius), а ея творецъ — дѣвственнаго (Virgillius), эта поэма явилась во времена упадка нравственности, во времена всеобщаго національнаго разврата, когда древняя правда и доблесть римская погибли навсегда, когда литература жила не геніемъ народнымъ, а покровительствомъ Мецената, когда Горацийъ въ прекрасныхъ стихахъ воспѣвалъ эгоизмъ, малодушіе, низость чувствъ. И хотя никакъ нельзя отрицать многихъ важныхъ достоинствъ въ «Энеидѣ», написанной прекрасными стихами и заключающей въ себѣ многія драгоцѣнныя черты издыхавшаго древняго міра, — тѣмъ не менѣе эти достоинства относятся просто къ памя-

нику древней литературы, оставленному дароватымъ поэтомъ, но не къ эпической поэмѣ,—и, какъ эпическая поэма, «Энеида» весьма жалкое произведеніе. То же самое можно сказать и обо всѣхъ другихъ попыткахъ въ этомъ родѣ. «Освобожденный Іерусалимъ» Тасса написанъ по академической формѣ и, въ угодность академіи, былъ своимъ авторомъ нѣсколько разъ переуродованъ. Воспѣтое въ немъ событіе касалось всего христіанскаго міра, но поэтъ жилъ послѣ этого событія почти пятьсотъ лѣтъ спустя, когда итальянцы давно уже перестали вѣрить не только необходимости сражаться съ сарацинами или турками за что-нибудь другое, кромѣ денегъ, но даже и святости святѣйшаго отца-папы. Прекрасныя октавы (затверженныя даже народомъ) и отдѣльныя красоты въ «Освобожденномъ Іерусалимѣ» все-таки не спасаютъ его отъ несчастія быть неудачной попыткой на эпическую поэмую. «Потерянный рай», кромѣ достоинства поэтическихъ частностей, замѣчательнъ еще, какъ литературный отголосокъ мрачнаго пуританизма и грозныхъ временъ Кромвеля; но какъ эпическая поэма, онъ длиненъ, скученъ и уродливъ. Сама «Генріада» имѣетъ значеніе совсѣмъ не эпической поэмы, а какъ протестъ противъ католической нетерпимости,—что доказывается выборомъ героя, который былъ протестантъ въ душѣ, и во времена самаго дикаго фанатизма умѣлъ быть человѣкомъ, въ разумномъ значеніи этого слова. «Мессіада» замѣчательна, какъ памятникъ нѣмецкаго трудолюбія, терпѣнія и отвлеченнаго мистицизма; это произведеніе тщательно обработанное въ литературномъ отношеніи, но ужасно растянутое, тяжелое и скучное. Только «Божественная комедія» Данте подходитъ подъ идеалъ эпической поэмы, къ которому такъ тщетно стремились всѣ исчисленныя нами. И это потому, что Данте не думалъ подражать ни Гомеру, ни Виргилію. Его поэма была полнымъ выраженіемъ жизни среднихъ вѣковъ съ ихъ схоластической теологіей и варварскими формами ихъ жизни, гдѣ боролось только разнородныхъ элементовъ. Если въ поэмѣ Данте играетъ такую роль Виргилій, — это произошло вслѣдствіе самыхъ естественныхъ и неизбѣжныхъ причинъ: Виргилій пользовался даже въ средніе вѣка какимъ-то суевѣрнымъ уваженіемъ въ Италіи, такъ что сами монахи чуть не причислили его къ лику католическихъ святыхъ. Форма поэмы Данте такъ самобытна и оригинальна, какъ и вѣющій въ ней духъ,—и только развѣ колоссальныя готическія соборы могутъ соперничать съ ней въ чести быть великими поэмами среднихъ вѣковъ. Между тѣмъ въ поэмѣ Данте не воспѣвается никакого зна-

менитаго историческаго событія, имѣвшаго великое влияніе на судьбу народа; въ ней даже нѣтъ ничего героическаго, и ея характеръ по преимуществу—схоластически-теологическій, какимъ наиболѣе отличались средніе вѣка. Слѣдовательно то, что хотѣли видѣть только въ эпическихъ поемахъ на-маниръ «Энеиды», можетъ быть и въ сочиненіяхъ совсѣмъ другого рода: не знаменитое событіе, а духъ народа или эпохи долженъ выражаться въ твореніи, которое можетъ войти въ одну категорію съ поэмами Гомера. И потому смѣло можно сказать, что нѣмцы имѣютъ свою «Иліаду» не въ жалкой «Мессіадѣ» Клоппштокъ, а развѣ въ «Фаустѣ» Гёте. Изъ всего этого мы выводимъ слѣдствіе, что мысль—воспѣвать знаменитое историческое событіе, и изъ этого дѣлать эпическую поэмую принадлежитъ къ эстетическимъ заблужденіямъ человѣчества, и что на этомъ зыбкомъ основаніи ничего нельзя создать, особенно въ наше время, когда въ исторической жизни умирающее прошлое борется съ возникающимъ новымъ, когда вслѣдствіе этого все такъ нерѣшительно, разъединено, слабо и безхарактерно, и когда дѣйствуютъ только отдѣльныя личности, но не массы. Вообще духъ среднихъ вѣковъ особенно былъ враждебенъ эпопее, потому что онъ сильно развилъ чувство индивидуальности и личности, столь благоприятное драмѣ и столь противоположное эпосу, въ которомъ главный герой естественно—само событіе, подчиняющее себя волю отдѣльныхъ лицъ, а не отдѣльныя лица, борющіяся съ событіемъ. Оттого въ новомъ мірѣ даже романъ—этотъ истинный его эпосъ, эта истинная его эпическая поэма,—тѣмъ больше имѣетъ успѣха, чѣмъ больше проникнутъ элементомъ драматическимъ, столь противоположнымъ эпическому. И хотя, вслѣдствіе развѣ принятаго и навсегда утвердившагося ложнаго мнѣнія, эпическая поэзія, по преданію отъ древности, ошибочно приложенному къ требованіямъ новаго міра, и считалась высшимъ родомъ поэзіи и высочайшимъ произведеніемъ человѣческаго генія,—однако этимъ высшимъ родомъ поэзіи въ немъ всегда была, такъ какъ и теперь есть, драма, если уже въ поэзіи непремѣнно одинъ который нибудь родъ долженъ быть высшимъ.

Конечно Пушкинъ былъ столько поэтъ и столько умный человѣкъ, что не могъ понимать эпосъ по мѣркѣ не только какой-нибудь дюжинной «Россиады», но даже и умной и щегольской «Генріады», которыхъ несчастная форма уже слишкомъ устарѣла и опошлалась для времени, когда онъ явился. Но въ то же время отъ возможности эпической поэмы въ новой формѣ онъ не могъ совершенно отречься. И потому, естественно, его

идеаль эпической поэмы заключался въ неоклассицизмъ или классицизмъ, подновленномъ такъ называемымъ романтизмомъ. Художественный тактъ Пушкина не могъ допустить его выбрать содержаніе для эпической поэмы изъ русской исторіи до Петра Великаго, — и потому онъ остановился на величайшей эпохѣ русской исторіи — на царствованіи великаго преобразователя Россіи, и воспользовался величайшимъ его событіемъ — полтавской битвой, въ торжествѣ которой заключалось торжество всѣхъ трудовъ, всѣхъ подвиговъ, словомъ, всей реформы Петра Великаго. Но въ поэмѣ Пушкина, состоящей изъ трехъ пѣсенъ, полтавская битва, равно какъ и герой ея — Петръ Великій, являются только въ послѣдней (третьей) пѣснѣ; тогда какъ двѣ заняты любовью Мазепы къ Маріи и его отношеніями къ ея родственникамъ. Поэтому полтавская битва составляетъ какъ-бы эпизодъ изъ любовной исторіи Мазепы и ея развязку: этимъ явно унижается высота такого предмета, и эпическая поэма уничтожается сама собой! А между тѣмъ эта поэма носитъ названіе «Полтавы»; слѣдственно, ея героемъ, ея мыслью должна бы быть полтавская битва, ибо названіе поэтическаго произведенія всегда важно, потому что оно всегда указываетъ или на главное изъ его дѣйствующихъ лицъ, въ которыхъ воплощается мысль сочиненія, или прямо на эту мысль. Вотъ первая ошибка Пушкина, и ошибка великая! Но можетъ-быть намъ возразятъ, что Пушкинъ совсѣмъ не думалъ писать эпической поэмы, и что герой его поэмы — Мазепа, а не полтавская битва. Подобное возраженіе тѣмъ естественнѣе, что Пушкинъ, какъ говорили и даже писали въ то время, сперва хотѣлъ назвать свою поэму — «Мазепой», но почему-то послѣ, когда приступилъ къ ея печатанію, переименовалъ ее въ «Полтаву». Положимъ, что это такъ, но и съ этой точки зрѣнія «Полтава» будетъ произведеніемъ ошибочнымъ въ ея общности или цѣломъ. Какую мысль хотѣлъ выразить поэтъ черезъ эту исторію любви, смѣшанной съ политическими замыслами и черезъ нихъ пришедшей въ соприкосновеніе съ полтавской битвой? — Неужели эту: какъ опасно обольщать, особенно на старости лѣтъ, юную невинность? И неужели мысль всей поэмы кроется въ мелодраматическомъ смущеніи Мазепы при видѣ опустѣлаго Кочубеева хутора, мимо котораго промчался онъ съ шведскимъ королемъ съ поля полтавской битвы? И стояло ли для такой мысли, конечно очень похвальной и нравственной, но тѣмъ не менѣе слишкомъ частной и нисколько не исторической, — стояло ли для нея изображать полтавскую битву и Петра Великаго? Не думаемъ! Конечно

любовь Мазепы къ дочери Кочубея имѣетъ историческое значеніе по отношенію къ доносу озлобленнаго Кочубея на Мазепу; но въ отношеніи къ Полтавской битвѣ она, эта любовь, не болѣе какъ эпизодъ, какъ историческая подробность, — и полтавская битва имѣетъ огромное значеніе сама по себѣ, не только безъ любви Мазепы, но и безъ самого Мазепы. Еслибъ поэтъ главной своей мыслью имѣлъ любовь Мазепы, онъ долженъ бы полтавскую битву ввести въ свою поэму, какъ эпизодъ, важный только по его отношенію къ лицу одного Мазепы, оставивъ въ тѣни колоссальный образъ Петра и упомянувъ развѣ только о мелодраматической смерти казака, влюбленнаго въ Марію, который вѣдывъ съ доносомъ Кочубея къ Петру, а въ полтавской битвѣ безумно бросился на Мазепу и, на смерть пораженный Войнаровскимъ, умеръ съ именемъ Маріи на устахъ. Иначе весь эпизодъ полтавской битвы необходимо долженъ былъ выйти какой-то особой поэмой въ поэмѣ, безъ всякаго соотношенія къ любовной исторіи Мазепы — какъ оно и дѣйствительно вышло, ко вреду цѣлой поэмы. А это ясно доказываетъ, что Пушкинъ хотѣлъ, во что-бы ни стало, воспользоваться случаемъ къ созданію чего-то вродѣ эпической поэмы; полтавская же битва, такъ кстати пришедшая къ любовной исторіи Мазепы, была такимъ соблазнительнымъ случаемъ, что поэтъ не могъ пропустить его для осуществленія своей мечты. Но въ этой мечтѣ о возможности эпической поэмы и заключается причина зыбкаго основанія «Полтавы», ибо даже изъ самой полтавской битвы нельзя сдѣлать поэмы. Эта битва была мыслью и подвигомъ одного человѣка; народъ принималъ въ ней участіе, какъ орудіе въ рукахъ Великаго, котораго понять и оцѣнить могло только потомство и для котораго судъ потомства едва начался только со временъ Екатерины Второй. Вообще изъ жизни Петра Великаго гениальный поэтъ могъ бы сдѣлать не одну, а множество драмъ, но рѣшительно ни одной эпической поэмы. Петръ Великій слишкомъ личенъ и характеренъ, слѣдовательно слишкомъ драматиченъ для какой-бы то ни было поэмы. Сверхъ того для поэмъ годятся только лица полусторическихкія и полумифическія; отдаленность эпохи, въ которую они жили, способствуетъ совокупить все извѣстное о ихъ жизни въ нѣсколькихъ поэтическихъ мгновеніяхъ. Въ жизни же историческаго лица, не отдаленнаго отъ насъ пространствомъ вѣковъ и чуждыми намъ условіями быта, всегда бываетъ слишкомъ много тѣхъ прозаическихъ подробностей, которыхъ нельзя выбрасывать, не впадая въ напыщенность и высокопарность.

Итакъ, изъ «Полтавы» Пушкина эпиче-

ская поэма не могла выйти по причинѣ невозможности эпической поэмы въ наше время, а романтическая поэма, вродѣ Байроновской, тоже не могла выйти по причинѣ желанія поэта слить ее съ невозможной эпической поэмой. И потому «Полтава» явилась поэмой безъ героя. Мы уже доказали, что смѣшно было бы считать Петра Великаго героемъ поэмы, въ которой главная и большая часть дѣйствія посвящена любовной исторіи Мазепы. Но и самъ Мазепа также не можетъ считаться героемъ «Полтавы». Байронъ въ своей исполненной энергіи и величія поэмѣ, названной именемъ Мазепы, изобразилъ это лицо исторически вѣрно; но какъ онъ въ этомъ изображеніи былъ вѣренъ поэтической истинѣ, то изъ его Мазепы вышло лицо колоссально-поэтическое: тамъ мы видимъ одно изъ тѣхъ титаническихъ лицъ, которыя въ такомъ изобиліи порождаетъ глубокой духъ англійскаго поэта... Но Пушкинъ, лучше Байрона знавшій Мазепу, какъ историческое лицо, хотѣлъ быть вѣренъ исторіи,—и въ этомъ сдѣлалъ большую ошибку, ибо, скажите Бога ради, что за герой поэмы, о которомъ самъ поэтъ говорить:

Что радъ и честно, и безчестно
Вредить онъ недругамъ своимъ;
Что ни единой онъ обиды,
Съ тѣхъ поръ какъ живъ, не забывалъ,
Что далеко преступны виды,
Старикъ надменный простираетъ;
Что онъ не вѣдаетъ святости,
Что онъ не помнитъ благости,
Что онъ не любитъ ничего,
Что кровь готовъ онъ лить, какъ воду,
Что презираетъ онъ свободу,
Что вѣтъ отчизны для него.

Герой какого бы ни было поэтического произведенія, если оно только не въ комическомъ духѣ, долженъ возбуждать къ себѣ сильное участіе со стороны читателя. Еслибъ этотъ герой былъ даже злодѣй,—и тогда онъ долженъ дѣйствовать на читателя силой своей воли, грандіозностью своего мрачнаго духа. Но въ Мазепѣ мы видимъ одну низость интригана, состарѣвшагося въ козняхъ. Чувствуя это, Пушкинъ хотѣлъ дать прочное основаніе своей поэмѣ и дѣйствіямъ Мазепы въ чувствѣ мщенія, которымъ поклонялся Мазепа Петру за личную обиду со стороны послѣдняго. Мы узнаемъ это изъ разговора Мазепы съ Орликомъ наканунѣ полтавской битвы:

Нѣтъ, поздно, Русскому царю
Со мной мириться невозможно.
Давно рѣшилась непреложно
Моя судьба. Давно горю
Стѣсненной злобой. Подъ Азовымъ
Однажды я съ царемъ суровымъ
Во ставкѣ ночью пировалъ.
Полны виномъ кипѣли чаши,
Кипѣли съ ними рѣчи наши.
Я слово смѣлое сказалъ...

Смутились гости молодые—
Царь, вспыхнувъ, чашу уронилъ,
И за усы мои сѣдые
Меня съ угрозою ухватилъ.
Тогда, смиравъ въ безсильномъ гнѣвѣ,
Отмстить себѣ я клятву далъ;
Носилъ ее—какъ мать во чревѣ
Младенца носить. Срокъ насталъ...
Такъ, обо мнѣ воспоминавъ
Хранить онъ будетъ до конца.
Петру я посланъ въ наказанье,—
Я терять въ листахъ его вѣнца.
Онъ далъ бы грады родовые
И жизни лучшіе часы,
Чтобъ снова, какъ во дни былые,
Держать Мазепу за усы.
Но есть еще для насъ надежды...
Кому бѣжать, рѣшить заря.

Нѣтъ нужды говорить о художественномъ достоинствѣ этого разсказа: въ немъ виденъ великій мастеръ. Все въ немъ дышетъ правдами тѣхъ временъ, все вѣрно исторіи. Но хотя этотъ разсказъ и основанъ на историческомъ преданіи, онъ тѣмъ не менѣе нисколько не поясняетъ характера Мазепы, не даетъ единства дѣйствію поэмы. Можно основать поэмѣ на пафосѣ дикаго, безщаднаго мщенія; но это мщеніе въ такомъ случаѣ должно быть рычагомъ всѣхъ дѣйствій лица, должно быть цѣлью самому себѣ. Такое мщеніе не разбираетъ средствъ, не боится препятствій и не колеблется отъ страха неудачи. Но Мазепа былъ очень расчетливъ для такого мщенія; еслибъ онъ зналъ, что его измѣна не удастся, — мало того, еслибъ онъ наканунѣ полтавской битвы, предвидя ея развязку, могъ еще разъ обмануть Петра и разыграть роль невиннаго,—онъ перешелъ бы на сторону Петра. Нѣтъ, на измѣну подвигла его надежда успѣха, надежда получить изъ рукъ шведскаго короля хотя и вассальскую, хотя только съ призракомъ самостоятельности, однако все же корону. Это ли мщеніе? Нѣтъ, мщеніе видитъ одно—своего врага, и готово вмѣстѣ съ нимъ броситься въ бездну, погубить врага хотя бы цѣной собственной гибели. Слова Мазепы, что «русскому царю поздно съ нимъ мириться», могутъ быть приняты не за что иное, какъ за хвастовство отчаянія. Петръ былъ совсѣмъ не такой человекъ, который удостоилъ бы Мазепу чести видѣть въ немъ своего врага и рѣшился бы, даже ради спасенія своего царства, мириться съ нимъ: онъ видѣлъ въ Мазепѣ не болѣе, какъ возмущавшагося своего подданнаго, измѣнника. Мазепа этого не могъ не знать къ своему несчастью: онъ былъ человекъ ума тонкаго и хитраго. Но еслибъ даже и на мщеніи Мазепы основанъ былъ весь планъ поэмы Пушкина, то къ чему же въ ней любовная исторія Мазепы, если не къ тому, чтобы разъединить интересъ поэмы? Но можетъ-быть мысль поэта заключается во взаимной любви Мазепы и Маріи? Старикъ, страстно влюблен-

ный въ молодую дѣвушку, тоже страстно въ него влюбленную,—это мысль глубоко-поэтическая, и надо сказать, что Пушкинъ умѣлъ нарисовать ее кистью великаго живописца. Нѣкоторые изъ критиковъ того времени сильно возставали противъ возможности и естественности такой любви; но ихъ нападки не стоятъ не только возраженій, даже какого бы то ни было вниманія. Эти господа забыли объ «Отелло» Шекспира,—поэта, который въ знаніи человѣческаго сердца и страстей имѣть конечно большій, чѣмъ они, авторитетъ. Но Шекспиръ представилъ такую любовь какъ фактъ, не изслѣдуя его законовъ, потому что другой нравственный вопросъ долженъ былъ составить паѳосъ его драмы. Нашъ поэтъ, напротивъ, анализируетъ самую возможность и естественность такого явленія. И надо сказать, что въ этомъ отношеніи онъ истинно Шекспировски внесъ свѣточъ поэзіи во мракъ вопроса и далъ на него такой удовлетворительный отвѣтъ, какого можно ожидать только отъ великаго поэта:

Мгновенно сердце молодое
Горитъ и гаснетъ. Въ немъ любовь
Проходитъ и приходитъ вновь,
Въ немъ чувство каждый день иное.
Не столь послушно, не слегка,
Не столь мгновенными страстями
Пылаетъ сердце старика,
Окаменѣлое годами.
Упорно, медленно оно
Въ огнѣ страстей раскалено;
Но поздній жаръ ужъ не остынетъ
И съ жизнью лишь его покинетъ.

Далѣе мы увидимъ, что любовь Маріи къ Мазепѣ развита и объяснена еще подробнѣе, глубже, съ мастерствомъ, передъ которымъ невольно останавливается пораженный удивленіемъ читатель. Но на любовь Мазепы къ Маріи все-таки нельзя смотрѣть, какъ на паѳосъ поэмы: ибо эта любовь не заставила его ни на минуту поколебаться въ его мрачныхъ замыслахъ. Бѣгство Маріи страшно смутило Мазепу, но оно не имѣло никакого вліянія на ходъ и развитіе поэмы. Смущеніе Мазепы при видѣ Кочубеева хутора и потомъ при видѣ сумасшедшей Маріи кажется намъ мелодраматической подетавкой со стороны поэта. Можетъ-быть это происходитъ еще и оттого, что послѣ такого событія, какъ полтавская битва съ ея слѣдствіями, интересъ любви уже не можетъ не ослабѣть. Здѣсь опять видна главная ошибка поэта, хотѣвшаго связать романтическое дѣйствіе съ эпопеей. И вотъ почему «Полтава» не производитъ на читателя того одинаго, полного, совершенно удовлетворяющаго впечатлѣнія, которое должно производить всякое глубоко-концептированное и строго обдуманное поэтическое твореніе.

Но отдѣльныя красоты въ «Полтавѣ» из-

умительны. Если «Цыгане» далеко превзошли всѣ предшествовавшія имъ произведенія Пушкина и по идѣ, и по исполненію,—то «Полтава», уступая «Цыганамъ» въ единствѣ плана, далеко превосходитъ ихъ въ совершенствѣ выраженія. Изъ всѣхъ поэмъ Пушкина въ «Полтавѣ» въ первый разъ стихъ его достигъ своего полного развитія, вполне сталъ Пушкинскимъ. Критики того времени не безъ основанія придирались къ двумъ или тремъ неправильно употребленнымъ прилагательнымъ, которыя такъ неожиданно напомнили собой «питическія вольности» прежней школы, напримѣръ: сонъ и у вмѣсто сонную, тризну та и у вмѣсто тризну тайную; на нѣсколько смѣлыхъ нововведеній, какъ напримѣръ въ стихѣ: «Онъ, должны и быть отцомъ и другомъ». Но мы укажемъ и еще на нѣсколько незамѣченныхъ ими погрѣшностей, какъ напримѣръ на неумѣстные славянизмы—«младой, благостныи, главы», и въ особенности на два поражающія своей неточностью выраженія: первое въ монологѣ Мазепы противъ Кочубея, котораго, Богъ знаетъ почему, называетъ онъ «воль-нодумцемъ», и въ разговорѣ свирѣпаго (и вообще весьма прозаически выражающагося во всей поэмѣ) Орлика, который совѣтуетъ Кочубею на допросѣ «пытаться мыслию суровой». Но вотъ и все. За исключеніемъ этого, стихи въ «Полтавѣ»—верхъ совершенства.

Обращаясь къ отдѣльнымъ красотамъ «Полтавы», не знаешь, на чемъ остановиться—такъ много ихъ. Почти каждое мѣсто, отдѣльно взятое на удачу изъ этой поэмы, есть образецъ высокаго художественнаго мастерства. Не будемъ вычислять всѣхъ этихъ мѣстъ, и укажемъ только на нѣкоторые. Хотя казакъ, влюбленный въ Марію, и есть лицо лишнее, введенное въ поэму для эффекта, тѣмъ не менѣе его изображеніе (отъ стиха: «Между полтавскихъ казаковъ» до стиха: «И взоры въ землю опускалъ») представляетъ собой необыкновенно мастерскую картину. Слѣдующій затѣмъ отрывокъ отъ стиха: «Кто при звѣздахъ и при лунѣ» до стиха: «Царю Петру отъ Кочубея» выше всякой похвалы: это вмѣстѣ и народная пѣсня, и художественное созданіе. Кочубей, ожидающій въ темницѣ своей казни, его разговоръ съ Орликомъ (за исключеніемъ того, что говоритъ самъ Орликъ),—все это начертано кистью столь широкой, могучей, и въ то-же время спокойной и увѣренной, что читатель не знаетъ, чему дивиться: мрачности ли ужасной картины, или ея эстетической прелести. Можно ли читать безъ упоенія, столько же полного грусти, сколько и наслажденія, эти стихи:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звѣзды блещутъ.

Своей дремоты превозмочь
 Не хочет воздухъ. Чуть трепещутъ
 Сребристыхъ тополей листы.
 Луна спокойно съ высоты
 Надъ Бѣлой Церковью сіяетъ
 И пышныхъ гетмановъ сады
 И старый замокъ оваряетъ.
 И тихо, тихо все кругомъ;
 Но въ замкѣшопотъ и смятеніе.
 Въ одной изъ башенъ, подъ окномъ,
 Въ глубокомъ, тяжкомъ размышленіи,
 Окованъ Кочубей сидитъ
 И мрачно на небо глядитъ.
 Завтра казнь. Но безъ боязни
 Онъ мыслитъ объ ужасной казни;
 О жизни не жалѣетъ онъ:
 Что смерть ему? желанный сонъ.
 Готовъ онъ лечь во гробъ кровавый.
 Дрема долить. Но, Боже правый!
 Къ ногамъ злодѣя, молча, пасть,
 Какъ безсловесное созданье!
 Царемъ быть отдану во власть
 Врагу царя на поруганье!
 Утратить жизнь—и съ нею честь,
 Другей съ собой на плаху вѣсть,
 Надъ гробомъ слышать ихъ проклятья,
 Ложась безвиннымъ подъ топоръ,
 Врага веселымъ встрѣтитъ взоръ
 И смерти кинутся въ объятья,
 Не завѣщая никому
 Вражды къ злодѣю своему! . .
 И вспомнилъ онъ свою Полтаву,
 Обычный кругъ семьи, друзей,
 Минувшихъ дней богатство, славу,
 И пѣсни дочери своей,
 И старый домъ, гдѣ онъ родился,
 Гдѣ зналъ и трудъ, и мирный сонъ,
 И все, чѣмъ въ жизни наслаждался,
 Что добровольно бросилъ онъ,
 И для чего?

Отвѣтъ Кочубея Орлику на допросъ послѣдняго о зарытыхъкладахъ былъ раскваленъ даже присяжными хулителями «Полтавы», и потому мы не говоримъ о немъ. Кочубея пытаются, а Мазепа въ это время сидитъ у ногъ спящей дочери мученика и думаетъ:

Ахъ вижу я: кому судьбою
 Волненья жизни суждены,
 Тотъ стой одинъ передъ грозю,
 Не призывай къ себѣ жены:
 Въ одну тѣлгу выпрячь не можно
 Коня и трепетную лань.
 Забылся я неосторожно:
 Теперь плачу безумства лань.

Въ тоскѣ страшныхъ угрызений совѣсти злодѣй сходить въ садъ, чтобъ освѣжить пылающую кровь свою,—и обаятельная роскошь лѣтней малороссійской ночи, въ контрастѣ съ мрачными душевными муками Мазепы, блещетъ и сверкаетъ какой-то страшно-фантастической красотой:

Тиха украинская ночь.
 Прозрачно небо. Звѣзды блещутъ.
 Своей дремоты превозмочь
 Не хочетъ воздухъ. Чуть трепещутъ
 Сребристыхъ тополей листы.
 Но мрачны странныя мечты
 Въ душѣ Мазепы: звѣзды ночи,

Какъ обвинительныя очи,
 За нимъ насмѣшливо глядятъ,
 И тополи, стѣснившись въ рядъ,
 Качая тихо головою,
 Какъ судьи, шепчутъ межъ собою,
 И лѣтней теплой ночи тѣма
 Душна, какъ черная тюрьма.
 Вдругъ... слабый крикъ. . невнятный стонъ
 Какъ-бы изъ замка слышитъ онъ.—
 То былъ ли сонъ воображенія,
 Иль плачь совы, иль звѣря вой,
 Иль пытки стонъ, иль звукъ мной—
 Но только своего волненья
 Преодолѣть не могъ старикъ,
 И на протяжный слабый крикъ
 Другамъ отвѣтствовалъ—тѣмъ крикомъ,
 Которымъ онъ въ веселы дикомъ
 Поля сраженья оглашалъ,
 Когда съ Забѣлой, съ Гамалѣемъ,
 И—съ нимъ... и съ этимъ Кочубеемъ
 Онъ въ бранномъ пламени скакалъ.

Скажите: какъ, какимъ языкомъ хвалить такія черты и отрывки высокаго художества? Правду говорятъ, что хвалить мудренѣе, чѣмъ бранить! Чтобъ быть достойнымъ критикомъ такихъ стиховъ, надо самому быть поэтомъ—и еще какимъ! И потому мы, въ сознаніи нашего безсилія, скажемъ убогой прозой, что если эта картина мученій совѣсти Мазепы можетъ подозрительному уму показаться нѣсколько мелодраматической выходкой (по той причинѣ, что Мазепѣ, какъ закоренѣлому злодѣю, такъ же было не къ лицу содрогаться отъ воплей терзаемой имъ жертвы, какъ и краснѣть, подобно юношѣ, отъ привѣта красоты),—то мастерство, съ которымъ выражены эти мученія, выше всякихъ похвалъ и утомляетъ собой всякое удивленіе. Сцена между женой Кочубея и ея дочерью замѣчательно хороша по роли, какую играетъ въ ней Марія. Вопросъ изумленной, еще не очнувшейся отъ сна женщины, которая почти понимаетъ и въ то же время страшится понять ужасный смыслъ внезапнаго явленія матери, этотъ вопросъ: «Какой отецъ? какая казнь?», равно какъ и всѣ вопросительныя и восклицательныя отвѣты,—исполнены драматизма. Картина казни Кочубея и Искры отличается простотой и спокойствіемъ, который въ соединеніи съ ея страшной вѣрностью дѣйствительности производили бы на душу читателя невыносимое, подавляющее впечатлѣніе, еслибъ творческое вдохновеніе поэта не ознаменовало ея печатью изящества. Этотъ палацъ, который, гуляя и веселясь на роковомъ помостѣ, алчно ждетъ жертвы и то, играючи, беретъ въ бѣлыя руки тяжелый топоръ, то шутитъ съ веселой чернью,—и этотъ безпечный народъ, который по совершеніи казни идетъ домой, толкая межъ собой про свои вѣчныя работы: какая глубоко истинная, хотя въ то же время и безотраднo тяжелая мысль во всемъ этомъ!

Но что всё эти разсыпанные богатой рукой поэта красоты передъ красотою третьей пѣсни! И не удивительно: пафосъ этой третьей пѣсни устремленъ на предметъ колоссально-великій... Тутъ мы видимъ Петра и полтавскую битву.. Мастерской кистью изобразилъ поэтъ преступные, мрачные помыслы, кипѣвшіе въ душѣ Мазепы; его притворную болѣзнь и внезапный переходъ съ одра смерти на поприще властительства; гнѣвъ Петра, его сильныя и быстрыя мѣры къ удержанію Малороссіи... Какъ прекрасно это поэтическое обращеніе поэта къ Карлу XII-му:

И ты, любовникъ бранной славы,
Для плема кинушій вѣнецъ,
Твой близокъ день: ты валъ Полтавы
Вдали завидѣлъ наконецъ.

Картина полтавской битвы начертана кистью широкой и смѣлой; она исполнена жизни и движенія: живописецъ могъ бы писать съ нея, какъ съ натуры. Но явленіе Петра въ этой картинѣ, изображенное огненными красками, поражаетъ читателя, говоря собственными словами Пушкина, быстрымъ холодомъ вдохновенія, поднимающимъ волосы на головѣ,—производитъ на него такое впечатлѣніе, какъ будто-бы онъ видитъ передъ глазами совершеніе какого-нибудь таинства, какъ будто бы нѣкій богъ, въ лучахъ нестерпимой для взоровъ смертнаго славы, проходитъ передъ нимъ, окруженный громами и молніями...

Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный гласъ Петра:
«За дѣло, съ Богомъ!» Изъ шатра,
Толпой любимцевъ окруженный,
Выходитъ Петръ. Его глаза
Сіяютъ. Лицъ его ужасенъ.
Движенья быстры. Онъ прекрасенъ,
Онъ весь, какъ божія гроза.
Идетъ.. Ему коня подводятъ.
Ретивъ и смиренъ вѣрный конь;
Почуя роковой огонь,
Дрожитъ, глазами косо водить
И мчится въ прахъ боевомъ,
Гордась могучимъ сѣдокомъ.
Ужъ близокъ полдень. Жаръ пылаетъ.
Какъ пахарь, битва отдыхаетъ.
Кой-гдѣ гарцуютъ казаки;
Ровняясь, строятся полки;
Молчитъ музыка боевая;
На холмахъ пушки, присмирѣвъ,
Прервали свой голодный ревъ.
И се — равнину оглашая,
Далече грянуло ура:
Полки увидѣли Петра.
И онъ прочтася предъ полками,
Могущъ и радостенъ, какъ бой.
Онъ поле пожиралъ очами..
За нимъ во слѣдъ неслись толпой
Син птенцы гвѣзда Петрова —
Въ премѣнахъ жребія земного,
Въ трудахъ державства и войнѣ
Его товарищи, сыны:
И Шереметевъ благородный,
И Брюсъ, и Боуръ, и Рѣпинъ,
И, счастья багровень безродный,
Полудержавный властелинъ.

Представьте себѣ великаго творческаго генія, который столько лѣтъ носилъ и легчалъ въ душѣ своей замыслы преобразованія цѣлаго народа, который столько трудился въ потѣ царственного чела своего,—представьте его въ ту рѣшительную минуту, когда онъ начинаетъ видѣть, что его тяжба съ вѣками, его гигантская борьба съ самой природой, съ самой возможностью готева утѣчаться полнымъ успѣхомъ,—представьте себѣ его преображенное, сіяющее побѣднымъ торжествомъ лицо, если только ваша фантазія довольно сильна для такого представленія,—и вы будете видѣть передъ собой живую картину, начертанную Пушкинымъ въ стихахъ, которые сейчасъ прочли... Да, въ этомъ случаѣ живописи стоило бы побороться съ поэзіей,—и великій живописецъ могъ бы за честь себѣ поставить перевести на полотно въ живыхъ краскахъ живые стихи Пушкина, чтобъ рѣшить задачу, какъ воспользуется живопись предметомъ, столь мастерски выраженнымъ поэзіей. Тутъ задача живописца состояла бы уже не въ творчествѣ, а только въ творчески свободномъ переводѣ одного и того же предмета съ языка поэзіи на языкъ живописи, чтобъ сравнительно показать средства и способы того и другого искусства. Повторяемъ: тутъ живописцу нечего изобрѣтать—для него готовы и группы, и подробности, и лицо Петра—эта главнѣйшая задача всей картины. Полтавская битва была не простое сраженіе, замѣчательное по огромности военныхъ силъ, по упорству сражающихся и количеству пролитой крови: нѣтъ, это была битва за существованіе цѣлаго народа, за будущность цѣлаго государства, это была повѣрка дѣйствительности замысловъ столь великихъ, что вѣроятно они самому Петру въ горькія минуты неудачъ и разочарованія казались несбыточными, какъ и почти всѣмъ его подданнымъ. И потому на лицѣ послѣдняго солдата должна выразиться безсознательная мысль, что совершается что-то великое, и что онъ самъ есть одно изъ орудій совершенія...

Но этимъ еще не оканчивается великая картина: это только главная часть ея; въ отдаленіи поэтъ показываетъ другую часть, меньшую, безъ которой картина его не имѣла бы полноты:

И передъ синими рядами
Своихъ воинственныхъ дружинъ,
Несомый вѣрными слугами,
Въ качалкѣ, блѣденъ, недвижимъ,
Страдая раной, Карлъ явился.
Вожди героя шли за нимъ.
Онъ въ думу тихо погрузился,
Смущенный взоръ изобразилъ
Необычайное волненіе;
Казалось, Карла приводилъ
Желанный бой въ недоумѣнье..
Вдругъ слабымъ маніемъ руки
На русскихъ двинулъ онъ полки.

Въ подробностяхъ битвы особенно замѣчательнъ эпизодъ о волненіи дряхлаго и уже безсильнаго Палія, завидѣвшаго врага своего—Мазепу. Но эпизодъ смерти казака, влюбленнаго въ Марію, несмотря на превосходные стихи, до приторности исполненъ мелодраматизма и вовсе неумѣстенъ. Мы уже говорили, что самая мысль ввести въ поему этого казака, чтобъ было съ кѣмъ Кочубею отправить доносъ Петру на Мазепу, мелодраматически эффектна; ради ея поэтъ искавилъ историческое событіе: доносъ былъ отосланъ не съ казакомъ, а съ старымъ монахомъ, Никаноромъ.

Картина битвы заключается еще картиной, съ которой тоже за честь бы могъ поставить себя побороться великій живописецъ:

Пируетъ Петръ. И гордъ, и асенъ,
И полонъ славы взоръ его,
И царскій пиръ его прекрасенъ.
При кликахъ войска своего
Въ шатръ своемъ онъ угощаетъ
Своихъ вождей, вождей чужихъ,
И славныхъ плѣнниковъ ласкаетъ,
И за учителей своихъ
Заздравный кубокъ поднимаетъ.

Теперь намъ остается говорить о дивно прекрасныхъ подробностяхъ еще цѣлой части поэмы, паеосъ которой составляетъ любовь Маріи къ Мазепѣ. Вся эта часть поэмы есть какъ бы поэма въ поэмѣ, и ея конечно стало бы на особую отдѣльную поему.

Въ историческомъ фактѣ любви Мазепы и Маріи Пушкинъ воспользовался только идеей любви старика къ молодой дѣвушкѣ и молодой дѣвушки къ старику. Въ подробностяхъ и даже въ изображеніи дочери Кочубея онъ отступалъ отъ исторіи. Поэтомъ весь этотъ фактъ онъ передѣлалъ по своему идеалу, — и дочь Кочубея является у него совершенно идеализированной. Онъ перемѣнилъ даже ея имя—Матроны на Марію. Когда Матрона убѣжала къ старому гетману, — онъ, боясь соблазна и толковъ, переслалъ ее въ родительскій домъ, гдѣ мать Матроны к а т о в а л а (палачила, истязала, сѣкла) ее. Но это, какъ и естественно, только еще больше раздражало энергію страсти бѣдной дѣвушки. Мазепа любилъ ее, писалъ къ ней страстные письма, но въ отношеніи къ ней не принялъ никакого твердаго рѣшенія: то умолялъ о свиданіяхъ, то совѣтывалъ идти въ монастырь.

Какъ бы то ни было, но основаніе, сущность отношеній Мазепы и Маріи въ поэмѣ Пушкина историческія и еще болѣе истинныя—поэтически, — и Пушкинъ умѣлъ ими воспользоваться какъ истинно великій поэтъ, хотя онъ ихъ и идеализировалъ по своему.

Не только первый пухъ ланить,
Да русы кудри молодыя,
Порой и старца строгій видъ,
Рубцы чела, власы сѣдые
Въ воображеніи красоты
Влагаютъ страстные мечты.

Подобное явленіе рѣдко, но тѣмъ не менѣе дѣйствительно. Важность его заключается въ законахъ человѣческаго духа, и потому по рѣдкости его можно находить удивительнымъ, но нельзя находить неестественнымъ. Самая обыкновенная женщина видитъ въ мужчинѣ своего защитника и покровителя; отдаваясь ему—сознательно или безсознательно, но во всякомъ случаѣ она дѣлаетъ обмѣнъ красоты или прелести на силу и мужество. Послѣ этого, очень естественно, если бываютъ женскія натуры, которыя, будучи исполнены страстей и энтузіазма, до безумія увлекаются нравственнымъ могуществомъ мужчинъ, украшеннымъ властью и славой, — увлекаются имъ безъ соображенія неравенства лѣтъ. Для такой женщины самая сѣдины прекрасны, а чѣмъ круче нравъ старика, тѣмъ за большее счастье и честь для себя считаетъ она вліяніемъ своей красоты и своей любви укрощать его порывы, дѣлать его ровнѣе и мягче. Само безобразіе этого старика—красота въ глазахъ ея. Вотъ почему кроткая, робкая Дездемона такъ беззаветно отдавалась старому воину, суровому мавру—великому Отелло. Въ Маріи Пушкина это еще понятнѣе: ибо Марія, при всей непосредственности и неразвитости ея сознанія, одарена характеромъ гордымъ, твердымъ, рѣшительнымъ. Она была бы достойна слить свою судьбу не съ такимъ злодѣемъ, какъ Мазепа, но съ героемъ въ истинномъ значеніи этого слова. И какъ бы ни велика была разница ихъ лѣтъ, — ихъ союзъ былъ бы самый естественный, самый разумный. Ошибка Маріи состояла въ томъ, что она въ душѣ, готовой на все злое для достиженія своихъ цѣлей, думала увидѣть душу великую, дерзость безнравственности приняла за могущество героизма. Эта ошибка была ея несчастьемъ, но не виной: Марія, какъ женщина, велика въ этой ошибкѣ. На этомъ основаніи намъ понятна ея любовь, понятно—

Зачѣмъ бѣжала своенравно
Она семейственныхъ оковъ,
Томила, тайно воздыхала
И на пріѣзды жениховъ
Молчаньемъ гордымъ отвѣчала:
Зачѣмъ такъ тихо за столомъ
Она лишь гетману внимала,
Когда бесѣда ликовала
И чаша пѣнилась виномъ;
Зачѣмъ она всегда пѣвала
Тѣ пѣсни, кои онъ слагалъ,
Когда онъ бѣденъ былъ и малъ,
Когда молва его не знала;

Зачѣмъ съ неженскою душой
Она любила конный строй;
И бранный звонъ литавръ, и клики
Предъ бунчукомъ и булавой
Малороссійскаго владыки...

Нельзя довольно надивиться богатству и роскоши красокъ, которыми изобразилъ поэтъ страстную и грандіозную любовь этой женщины. Здѣсь Пушкинъ, какъ поэтъ, вознесся на высоту, доступную только художникамъ первой величины. Глубоко проникъ онъ свой художническій взоръ въ тайну великаго женскаго сердца и ввелъ насъ въ его святилище, чтобъ вышнее сдѣлать для насъ выраженіемъ внутренняго, въ фактъ дѣйствительности открыть общій законъ, въ явленіи — мысль...

Марія, бѣдная Марія,
Краса черкасскихъ дочерей!
Не знаешь ты, какого змія
Ласкаешь на груди своей!
Какой же властью непонятной
Къ душѣ свирѣпой и развратной
Такъ сильно ты привлечена?
Кому ты въ жертву отдана?
Его кудравы сѣдины,
Его глубоки морщины,
Его блестящій, впалый взоръ,
Его лукавый разговоръ
Тебѣ всего, всего дороже:
Ты мать забыть для нихъ могла,
Соблазномъ посланное ложе
Ты отчей сѣни предпочла!
Своими чудными очами
Тебя старикъ заворожилъ;
Своими тихими рѣчами
Въ тебѣ онъ совѣсть усыпилъ;
Ты на него съ благоговѣніемъ
Возводишь ослѣпленный взоръ,
Его легѣшь съ умиленіемъ —
Тебѣ пріятенъ твой позоръ;
Ты имъ въ безумномъ упоеніи,
Какъ цѣломудріемъ, горда —
Ты прелесть нѣжную стыда
Въ своемъ утратила паденьи...
Что стыдъ Марія? Что молва?
Что для нея мірскія пени,
Когда склоняется въ колѣни
Къ ней старца гордая глава,
Когда съ ней гетманъ забываетъ
Судьбы своей и трудъ, и шумъ,
Иль тайны смѣлыхъ, грозныхъ думъ
Ей, дѣвъ робкой, открываетъ?

Но въ такой великой натурѣ любовь можетъ быть только преобладающей страстью, которая въ выборѣ не допускаетъ никакого совѣстничества, даже никакого колебанія, но которая не заглушаетъ въ душѣ другихъ нравственныхъ привязанностей. И потому блаженство любви не отнимаетъ въ сердцѣ Маріи мѣста для грустнаго и тревожнаго воспоминанія объ отцѣ и матери.

И дней невинныхъ ей не жаль,
И душу ей одна печаль
Порой, какъ туча, затмѣваетъ:
Она унылыхъ предъ собой
Отца и мать воображаетъ;
Она сквозь слезы видитъ ихъ

Въ бездѣтной старости однихъ,
И, мнится, пѣснямъ ихъ внимаетъ...
О, еслибъ вѣдала она,
Что ужъ узнала вся Украина!
Но отъ нея сохранена
Еще убійственная тайна.

Намъ скажутъ, что въ дѣйствительности это было не такъ, ибо Матрона ненавидѣла своихъ родителей и клялась вѣчно «любыти и сердечне кохаты Мазепу на злость ея во рога мѣ». Но вѣдь въ дѣйствительности родители Матроны катовали ее... Понятно, почему Пушкинъ рѣшился поэтически отступить отъ «такой» дѣйствительности...

Но нигдѣ личность Маріи не возвышается въ поэмѣ Пушкина до такой апоэозы, какъ въ сценѣ ея объясненія съ Мазепою, — сценѣ, написанной истинно Шекспировскою кистью. Когда Мазепа, чтобъ разсѣять ревнивыя подозрѣнія Маріи, принужденъ былъ открыть ей свои дерзкіе замыслы, она все забываетъ: нѣтъ больше сомнѣній, нѣтъ безпокойства; мало того, что она вѣритъ ему, вѣритъ, что онъ не обманываетъ ее: она вѣритъ, что онъ не обманывается и въ своихъ надеждахъ... Ея ли женскому уму, воспитанному въ затворничествѣ, обреченному на отчужденіе отъ дѣйствительной жизни, ей ли знать, какъ опасны такіа стремленія, и чѣмъ оканчиваются они! Она знаетъ одно, вѣритъ одному, — что онъ, ея возлюбленный, такъ могущъ, что не можетъ не достичь всего, чего бы только захотѣлъ. Блескъ короны на сѣдыхъ кудряхъ любовника уже ослѣпилъ ея очи, — и она восклицаетъ съ увѣренностью дитяти, сильнаго и разумаго одной любовью, но не знаніемъ жизни:

О, милый мой,
Ты будешь царь земли родной!
Твоимъ сѣдинамъ какъ пристанетъ
Корона царская!

Вникните во всю эту сцену, разберите въ ней всякую подробность, взвѣсьте каждое слово: какая глубина, какая истина и выстъ съ тѣмъ какая простота! Этотъ отвѣтъ Маріи: «Я! люблю ли?», это желаніе уклониться отъ отвѣта на вопросъ, уже рѣшенный ея сердцемъ, но все еще страшный для нея — кто ей дороже: любовникъ или отецъ, и кого изъ нихъ принесла бы она въ жертву для спасенія другого, — и потомъ, рѣшительный отвѣтъ, при видѣ гнѣва любовника... какъ все это драматически, и сколько тутъ знанія женскаго сердца.

Явленіе сумасшедшей Маріи, неумѣстное въ ходѣ поэмы и даже мелодраматическое, какъ средство испугать совѣсть Мазепы, превосходно, какъ дополненіе портрета этой женщины. Последнія слова ея безумной рѣчи исполнены столько же трагическаго ужаса, сколько и глубокаго психологическаго смысла:

Пойдемъ домой. Скорѣй... ужъ поздно.
 Ахъ, вижу, голова моя
 Полна волненія пустаго:
 Я принимала за другого
 Тебя, старикъ. Оставь меня.
 Твой вѣзоръ насмѣшливъ и ужасенъ,
 Ты безобразенъ. Онъ прекрасенъ:
 Въ его глазахъ блеститъ любовь,
 Въ его рѣчахъ такая нѣга!
 Его усы бѣлые снѣга,
 А на твоихъ засохла кровь.

Творческая кисть Пушкина нарисовала намъ не одинъ женскій портретъ, но ничего лучше не создала она лица Маріи. Что передъ ней эта препрославленная и столько восхищавшая всѣхъ и теперь еще многихъ восхищающая Татьяна—это смѣшеніе деревенской мечтательности съ городскимъ благоразуміемъ?..

Но «Полтава» принадлежитъ къ числу превосходнѣйшихъ твореній Пушкина не по одному лицу Маріи. Лишенная единства и мысли плана, а потому не достаточная и слабая въ цѣломъ, поэма эта есть великое произведение по ея частностямъ. Она заключаетъ въ себѣ нѣсколько поэмъ, и потому самому не составляетъ одной поэмы. Богатство ея содержанія не могло высказаться въ одномъ сочиненіи, и она распалась отъ тяжести этого богатства. Третья пѣсня ея сама по себѣ есть нѣчто особенное, отдѣльная поэма въ эпическомъ родѣ. Но изъ нея нельзя было сдѣлать эпической поэмы: еслибы поэтъ и далъ ей обширнѣйшій объемъ, она и тогда осталась бы рядомъ превосходнѣйшихъ картинъ, но не поэмой. Чувствуя это, поэтъ хотѣлъ связать ее съ исторіей любви, имѣющей драматическій интересъ, но эта связь не могла не выйти чисто внѣшней. И вся эта разрозненность выразилась въ эпилогѣ, въ которомъ поэтъ говоритъ сперва о гордыхъ и сильныхъ людяхъ того вѣка, потомъ о Петрѣ Великомъ, далѣе—о Карлѣ XII, о Мазепѣ, о Кочубѣ съ Искрою, и оканчиваетъ все это Маріей... Несмотря на то, «Полтава» была великимъ шагомъ впередъ со стороны Пушкина. Какъ архитектурное зданіе, она не поражаетъ общимъ впечатлѣніемъ, нѣтъ въ ней никакого преобладающаго элемента, къ которому бы всѣ другіе относились гармонически; но каждая часть въ отдѣльности есть превосходное художественное произведение. И никогда еще до того времени нашъ поэтъ не употреблялъ такихъ драгоценныхъ матеріаловъ на свои зданія, никогда не отдѣлывалъ ихъ съ болѣе шимъ художественнымъ совершенствомъ. Сколько простоты и энергіи въ его стихѣ! Какая живая соотвѣтственность между содержаніемъ и колоритомъ языка, которымъ оно передано! Есть что-то оригинальное, самобытное, чисто русское въ тонѣ разсказа,

въ духѣ и оборотѣ выраженій! И между тѣмъ какъ дурно была принята эта поэма! Одинъ критикъ, желая высказать сильное свое остроуміе, назвалъ палача бѣлоручкой, а всю картину казни—отвратительной! Вотъ ужъ подлинно бѣлоручка! Другой посмѣялся, какъ надъ нелѣпостью, надъ любовью старика Мазепы къ молодой дѣвушкѣ и находилъ оправданіе этого факта развѣ только въ русской пословицѣ: сѣдина въ бороду, а бѣсъ въ ребро. Третій доказывалъ, что всѣ дѣйствующія лица «Полтавы» карикатурны на основаніи отзывовъ Мазепы о Карлѣ XII и Петрѣ Великомъ!.. И все это тогда читалось; многіе даже вѣрили дѣйности такихъ отзывовъ!..

Теперь намъ слѣдовало бы говорить о «Евгеніи Онѣгинѣ», но статья наша и такъ вышла велика, а «Евгеній Онѣгинъ», кромѣ своего огромнаго объема, имѣетъ въ русской литературѣ и въ русской жизни столь важное значеніе, что о немъ надо или говорить много, или совсѣмъ не говорить. И потому мы отлагаемъ его разборъ до слѣдующей статьи, а эту кончимъ бѣглымъ взглядомъ на «Графа Нулина».

«Графъ Нулинъ»—не болѣе, какъ легкій сатирическій очеркъ одной стороны нашего общества, но очеркъ, сдѣланный рукой въ высшей степени художественной. Сказкой «Модная Жена» Дмитріевъ нѣкогда чуть не стяжалъ вѣнка безсмертія. Сказка его дѣйствительно прекрасна; ее и теперь нельзя читать безъ удовольствія; но вѣнки безсмертія въ наше время очень вздорожали,—и хотя «Графъ Нулинъ» безконечно выше и лучше «Модной Жены» Дмитріева, однако не имъ будетъ безсмертенъ Пушкинъ: для «Графа Нулина» достаточно чести быть не больше, какъ листикомъ въ лавровомъ вѣнкѣ его. Въ лицѣ графа Нулина поэтъ съ неподражаемымъ мастерствомъ изобразилъ одного изъ тѣхъ пустыхъ людей высшего свѣтскаго круга, которые такъ обыкновенны въ жизни. Наталья Павловна—типъ молодой помѣщицы новыхъ временъ, которая воспитывалась въ пансіонѣ, въ дѣлѣ моды не отстаетъ отъ вѣка, хотя живетъ въ глуши, о хозяйствѣ не имѣетъ никакого понятія, читаетъ чувствительные романы и зѣваетъ въ обществѣ своего мужа—истиннаго типа степного медвѣдя и псаря. Въ этой повѣсти все такъ и дышетъ русской природой, сѣренскими красками русскаго деревенскаго быта. Здѣсь цѣлый рядъ картинъ въ фламандскомъ вкусѣ,—и ни одна изъ нихъ не уступаетъ въ достоинствѣ любому изъ тѣхъ произведеній фламандской живописи, которыя такъ высоко цѣнятся знатоками. Что составляетъ главное достоинство фламандской школы, если не умѣнье представлять

прозу дѣйствительности подѣ постическимъ угломъ зрѣнія? Въ этомъ смыслѣ «Графъ Нулинъ» есть цѣлая галлерейя превосходнѣйшихъ картинъ фламандской школы. И если мы сказали, что не «Графомъ Нулинымъ» будетъ безсмертенъ Пушкинъ, это не значитъ, чтобъ мы на поэмѣ его смотрѣли, какъ на легонькое литературное произведеніе, какъ на остроумную шутку: нѣтъ, это значитъ только, что у Пушкина слишкомъ много гораздо большихъ правъ на безсмертіе, чѣмъ «Графъ Нулинъ», и что эта поэмка, которая могла бы составить главный капиталъ извѣстности для иного поэта, у Пушкина есть только роскошь, избытокъ, который тратится безъ вниманія и безъ сожалѣнія.

Нельзя не подивиться легкости, съ какой поэтъ схватываетъ въ «Графѣ Нулинѣ» самыя характеристическія черты русской жизни. Вотъ напримѣръ портретъ Парашы, горничной Натальи Павловны:

....Параша эта
Наперсница ея затѣй:
Шьетъ, моетъ, вѣсти переноситъ,
Изношенныхъ капотозъ проситъ,
Порою барина смѣшитъ,
Порою на барина кричитъ
И лжетъ предъ барыней отважно.

Да, это типъ всѣхъ русскихъ горничныхъ, которые служатъ барынямъ новаго, т. е. пансіонскаго, образованія!

Говорить ли, что вся поема исполнена ума, остроумія, легкости, граціи, тонкой ироніи, благороднаго тона, знанія дѣйствительности, написана стихами въ высшей степени превосходными? Пушкинъ иначе и не умѣлъ писать, — а «Графъ Нулинъ» есть одно изъ удачнѣйшихъ его произведеній.

Эта поема въ первый разъ была напечатана въ «Сѣверныхъ цвѣтахъ» 1828 года, а отдѣльно вышла въ 1829 г. Тогда-то опрокинулась на нее со всѣмъ остервененіемъ педантическая критика. Главной виной поставлено было «Графу Нулину» пустота будто-бы его содержанія. По убѣжденію этой критики, поэзія должна заниматься только важными предметами, каковыя обрѣтаются въ одахъ Ломоносова, его «Петриадѣ», одахъ Петрова и стопудовыхъ пѣсняхъ Хераскова. Ей, этой неотесанной критикѣ, и въ голову не входило, что все это высокопарное и торжественное пѣснопѣіе, взятое массою, далеко не стоитъ одной страницы изъ «Графа Нулина». Потомъ поставлена была въ великое преступленіе «Графу Нулину» неприличная вольность его содержанія и изложенія, будто бы оскорбляющая хорошій тонъ свѣтскаго общества. Бѣдная критика! она любезности училась въ дѣвичьихъ, а хорошаго тона набиралась въ прихожихъ: удивительно

ли, что «Графъ Нулинъ» такъ жестоко оскорбилъ ея тонкое чувство приличія? Бѣдная критика! она и до сихъ поръ добродушно убѣждена въ своемъ знаніи большого свѣта и нещадно преслѣдуетъ «Мертвыя Души» за нарушеніе условій хорошаго тона, — а большой свѣтъ, неблагодарный, до сихъ поръ не хочетъ и подозрѣвать существованія ея, бѣдной критики, и съ такимъ же наслажденіемъ прочелъ «Мертвыя Души», съ какимъ нѣкогда читалъ «Графа Нулина», не видя ни въ томъ, ни въ другомъ произведеніи ничего противнаго и оскорбительнаго тому, что называется онъ «хорошимъ тономъ» и «приличіемъ».

VIII.

«Евгеній Онѣгинъ».

Признаемся: не безъ нѣкоторой робости приступаемъ мы къ критическому разсмотрѣнію такой поэмы, какъ «Евгеній Онѣгинъ». И эта робость оправдывается многими причинами. «Онѣгинъ» есть самое задушевное произведеніе Пушкина, самое любимое дитя его фантазіи, и можно указать слишкомъ на немногія творенія, въ которыхъ личность поэта отразилась бы съ такой полнотою, свѣтло и ясно, какъ отразилась въ «Онѣгинѣ» личность Пушкина. Здѣсь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здѣсь его чувства, понятія, идеалы. Оцѣнить такое произведеніе значитъ — оцѣнить самого поэта во всемъ объемѣ его творческой дѣятельности. Не говоря уже объ эстетическомъ достоинствѣ «Онѣгина», эта поема имѣетъ для насъ, русскихъ, огромное историческое и общественное значеніе. Съ этой точки зрѣнія даже и то, что теперь критика могла бы съ основательностью назвать въ «Онѣгинѣ» слабымъ или устарѣлымъ, — даже и то является исполненнымъ глубокаго значенія, великаго интереса. И насъ приводитъ въ затрудненіе не одно только сознаніе слабости нашихъ силъ для вѣрной оцѣнки такого произведенія, но и необходимость въ одно и то же время во многихъ мѣстахъ «Онѣгина» съ одной стороны видѣть недостатки, съ другой — достоинства. Большинство нашей публики еще не стало выше этой отвлеченной и односторонней критики, которая признаетъ въ произведеніяхъ искусства только безусловныя недостатки или безусловныя достоинства, и которая не понимаетъ, что условное и относительно составляютъ форму безусловнаго, вотъ почему нѣкоторые критики добродушно были убѣждены, что мы не уважаемъ Державина, находя въ немъ великій талантъ и въ то же самое время не находя между произведеніями его ни одного, которое было бы

вполнѣ художественно и могло бы вполнѣ удовлетворить требованіямъ эстетическаго вкуса нашего времени. Но въ отношеніи къ «Онѣггину» наши сужденія могутъ показаться многимъ еще болѣе противорѣчащими, потому что «Онѣггинъ» со стороны формы есть произведеніе въ высшей степени художественное, а со стороны содержанія самые его недостатки составляютъ его величайшія достоинства. Вся наша статья объ «Онѣггинѣ» будетъ развитіемъ этой мысли, какой бы ни показала она съ перваго взгляда многимъ изъ нашихъ читателей.

Прежде всего въ «Онѣггинѣ» мы видимъ поэтически воспроизведенную картину русскаго общества, взятаго въ одномъ изъ интереснѣйшихъ моментовъ его развитія. Съ этой точки зрѣнія «Евгеній Онѣггинъ» есть поэма историческая въ полномъ смыслѣ слова, хотя въ числѣ ея героевъ нѣтъ ни одного историческаго лица. Историческое достоинство этой поэмы тѣмъ выше, что она была на Руси и первымъ, и блистательнымъ опытомъ въ этомъ родѣ. Въ ней Пушкинъ является не просто поэтомъ только, но и представителемъ впервые пробудившагося общественнаго самосознанія: заслуга безмѣрная! До Пушкина русская поэзія была не болѣе, какъ понятливой и переимчивой ученицей европейской музы, — и потому всѣ произведенія русской поэзіи до Пушкина какъ-то походили больше на этюды и копія, нежели на свободныя произведенія самобытнаго вдохновенія. Самъ Крыловъ — этотъ талантъ, столько же сильный и яркій, сколько и национально-русскій, долго не имѣлъ смѣлости отказаться отъ незавидной чести быть то переводчикомъ, то подражателемъ Лафонтена. Въ поэзіи Державина ярко проблескиваютъ и русская рѣчь, и русскій умъ, но не болѣе, какъ проблескиваютъ, потопляемые водой риторически-понятыхъ иноземныхъ формъ и попятій. Озеровъ написалъ русскую трагедію, даже историческую — «Дмитрія Донскаго», но въ ней русскаго и историческаго — одни имена: все остальное столько же русское и историческое, сколько французское или татарское. Жуковский написалъ двѣ русскія баллады — «Людмилу» и «Свѣтлану»; но первая изъ нихъ есть передѣлка нѣмецкой (и притомъ довольно дюжинной) баллады, а другая, отличаясь дѣйствительно поэтическими картинами русскихъ святочныхъ обычаевъ и зимней русской природы, въ то же время вся проникнута нѣмецкой сентиментальностью и нѣмецкимъ фантазмомъ. Муза Батюшкова, вѣчно скитаясь подъ чужими небесами, не сорвала ни одного цвѣтка на русской почвѣ. Всѣхъ этихъ фактовъ было достаточно для заключенія, что въ русской жизни нѣтъ и не можетъ быть никакой поэзіи, и что русскіе поэты должны за вдохновеніемъ

скакать на пегасѣ въ чужіе края, даже на востокъ, не только на западъ. Но съ Пушкинымъ русская поэзія изъ робкой ученицы явилась даровитымъ и опытнымъ мастеромъ. Разумѣется, это сдѣлалось не вдругъ, потому что вдругъ ничего не дѣлается. Въ поэмахъ: «Русланъ и Людмила» и «Братья-Разбойники» Пушкинъ былъ не больше, какъ ученикомъ, подобно своимъ предшественникамъ, — но не въ поэзіи только, какъ они, а еще и въ попыткахъ на поэтическое изображеніе русской дѣйствительности. Этимъ ученичествомъ и объясняется, почему въ «Русланѣ и Людмилѣ» такъ мало русскаго и такъ много итальянскаго, а «Разбойники» такъ похожи на шумливую мелодраму. Есть у Пушкина русская баллада «Женихъ», написанная имъ въ 1825 году, въ которомъ появилась и первая глава «Онѣгина». Эта баллада и со стороны формы, и со стороны содержанія насъ козы пролинула русскимъ духомъ, и о ней въ тысячу разъ больше, чѣмъ о «Русланѣ и Людмилѣ», можно сказать:

Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ.

Такъ какъ эта баллада и тогда не обратила на себя особеннаго вниманія, а теперь почти всѣми забыта, мы выпишемъ изъ нея сцену сватовства.

На утро сваха къ нимъ на дворъ
Нежданная приходитъ,
Наташу хвалитъ, разговоръ
Съ отцомъ ея заводитъ:
«У васъ товаръ, у насъ купецъ,
Собою паренъ молодецъ
И статный, и проворной,
Не вздорной, не зазорной.
«Богатъ, уменъ, ни передъ кѣмъ
Не кланяется въ поясъ,
А какъ бояринъ между тѣмъ
Живетъ, не безпокоясь;
А подаритъ не вѣсть вдругъ
И ласку шубу, и жемчугъ,
И перстни золотые,
И платья парчевыя.
«Катаюсь, видѣлъ онъ вчера
Ее за воротами;
Не по рукамъ ли, да съ двора,
Да въ церковь съ образами?»
Она сидитъ за пирогомъ
Да рѣчь ведетъ обнякомъ,
А бѣдная не вѣста
Себя не видитъ мѣста.
«Согласенъ, говоритъ отецъ,
Ступай благополучно,
Моя Наташа, подь вѣнецъ:
Одной въ свѣтелѣхъ скучно.
Не вѣкъ дѣвицей вѣковать,
Не все касатѣ распѣвать,
Пора гнѣздо устроить,
Чтобъ дѣтушекъ поводить».

И такова вся эта баллада отъ перваго до послѣдняго слова! Въ народныхъ русскихъ пѣсняхъ, вѣсть взятыхъ, не больше русской народности, сколько заключено ея въ этой балладѣ! Но не въ такихъ произведеніяхъ

должно видѣть образцы проникнутыхъ національнымъ духомъ поэтическихъ созданій,—и публика не безъ основанія не обратила особеннаго вниманія на эту чудную балладу. Миръ, такъ вѣрно и ярко изображенный въ ней, слишкомъ доступенъ для всякаго таланта уже по слишкомъ рѣзкой его особенности. Сверхъ того онъ такъ тѣсенъ, мелокъ и немногосложенъ, что истинный талантъ не долго будетъ воспроизводить его, если не захочетъ, чтобъ его произведенія были односторонни, однообразны, скучны и наконецъ пошлы, несмотря на всѣ ихъ достоинства. Вотъ почему человекъ съ талантомъ дѣлаетъ обыкновенно не болѣе одной или, много, двухъ попытокъ въ такомъ родѣ; для него это—дѣло между прочимъ, затѣянное больше изъ желанія испытать свои силы и на этомъ поприщѣ, нежели изъ особеннаго уваженія къ этому поприщу. Лермонтова «Пѣсня про Царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалова купца Калашникова», не превосходя пушкинскаго «Жениха» со стороны формы, слишкомъ много превосходитъ его со стороны содержанія. Это—поэма, въ сравненіи съ которой ничтожны всѣ богатырскія народнорусскія поэмы, собранныя Киришей Давиловымъ. И между тѣмъ «Пѣсня» Лермонтова была не болѣе, какъ опытъ таланта, проба пера, и очевидно, что Лермонтовъ никогда ничего больше не написалъ бы въ этомъ родѣ. Въ этой пѣснѣ Лермонтовъ ваялъ все, что только могъ ему представить сборникъ Кириши Давилова,—и новая попытка въ этомъ родѣ была бы по необходимости повтореніемъ одного и того же—старыя погудки на новый ладъ. Чувства и страсти людей этого міра такъ однообразны въ своемъ проявленіи; общественныя отношенія людей этого міра такъ просты и не сложны, что все это легко исчерпывается до дна однимъ произведеніемъ сильнаго таланта. Разнообразіе страстей, тонкіе до безконечности оттѣнки чувствъ, безчисленно многосложныя отношенія людей, общественныя и частныя,—вотъ гдѣ богатая почва для цвѣтовъ поэзіи, и эту почву можетъ приготовить только сильно развивающаяся или развивавшаяся цивилизація. Произведенія вродѣ «Жеппе» Жоржъ Занда возможны только во Франціи, потому что тамъ цивилизація, въ многосложности ея элементовъ, всѣ сословія поставила въ тѣсное и электрически взаимнодѣйствующее отношеніе другъ къ другу. Наша поэзія, напротивъ, должна искать для себя матеріаловъ почти исключительно въ томъ классѣ, который по своему образу жизни и обычаямъ представляетъ болѣе развитія и умственнаго движенія. И если національность составляетъ одно изъ высочайшихъ достоинствъ поэтическихъ произведеній,—то безъ сомнѣнія истинно-національ-

ныхъ произведеній должно искать у насъ только между такими поэтическими созданіями, которыхъ содержаніе взято изъ жизни сословія, создававшегося по реформѣ Петра Великаго и усвоившаго себѣ формы образованнаго быта. Но большинство публики до сихъ поръ понимаетъ это дѣло иначе. Назовите народнымъ или національнымъ произведеніемъ «Руслана и Людмилу»,—и съ вами всѣ согласятся, что это дѣйствительно народное и національное произведеніе. Еще болѣе будутъ согласны съ вами, если вы назовете народнымъ произведеніемъ всякую пьесу, въ которой дѣйствуютъ мужики и бабы, бородатые купцы и мѣщане, или въ которомъ дѣйствующія лица пересыпаютъ свой незатѣйливый разговоръ русскими пословицами и поговорками и, вдобавокъ, пропускаютъ между ними риторическія, на семинарскій манеръ, фразы о народности и т. п. Люди, болѣе умные и образованные, охотно (и притомъ весьма основательно) видятъ народную русскую поэзію въ басняхъ Крылова, и даже готовы видѣть ее (что уже не такъ основательно) не только въ сказкахъ Пушкина («О царѣ Салтанѣ» и «О мертвой царевнѣ»), но и (что уже вовсе неосновательно) въ сказкахъ Жуковского («О царѣ Берендеѣ до колѣнъ борода» и «О спящей царевнѣ»). Но немногіе согласятся съ вами и для многихъ покажется страннымъ, если вы скажете, что первая истинно національно-русская поэма въ стихахъ была и есть «Евгеній Онѣгинъ» Пушкина, и что въ ней народности болѣе, нежели въ какомъ угодно другомъ народномъ русскомъ сочиненіи. А между тѣмъ это такая же истина, какъ и то, что дважды два—четыре. Если ее не всѣ признаютъ національной—это потому, что у насъ издавна укоренилось престранное мнѣніе, будто-бы русскій во фракѣ или русская въ корсетѣ—уже не русскіе, и что русскій духъ даетъ себя чувствовать только тамъ, гдѣ есть зипунъ, лапти, сивуха и кислая капуста. Въ этомъ случаѣ у насъ многіе даже и между такъ-называемыми образованными людьми безсознательно подражаютъ русскому простонародью, которое всякаго чужестранца изъ Европы называетъ «нѣмцемъ». И вотъ гдѣ источникъ пустой боязни нѣкоторыхъ, чтобъ мы всѣ не онѣмечились! Всѣ европейскіе народы развивались какъ одинъ народъ, сперва подъ сѣнью католическаго единства, духовнаго (въ лицѣ папы) и свѣтскаго (въ лицѣ избраннаго главы священнои Рамской Имперіи), а потомъ подъ вліяніемъ однихъ и тѣхъ же стремленій къ послѣднимъ результатамъ цивилизаціи,—однако тѣмъ не менѣе между французомъ, нѣмцемъ, англичаниномъ, итальянцемъ, шведомъ, испанцемъ—такая же существенная разница, какъ и между рус-

скимъ и индѣйцемъ. Это струны одного и того же инструмента—духа человѣческаго, но струны разнаго объема, каждая съ своимъ особеннымъ звукомъ, и потому-то онѣ издають полные гармоническіе аккорды. Если же народы западной Европы, всѣ равно происходящіе отъ великаго тевтонскаго племени, большей частью смѣшавшагося съ романскими племенами, всѣ равно развившіеся на почвѣ одной и той же религіи, подъ влияніемъ однихъ и тѣхъ же обычаевъ, одного и того же общественного устройства, и потому всѣ равно воспользовавшіеся богатымъ наслѣдіемъ древне-классическаго міра,—если, говоримъ, всѣ народы западной Европы, составляющіе собой единое семейство, тѣмъ не менѣе рѣзко отличаются одинъ отъ другого, то естественное ли дѣло, чтобъ русскій народъ, возникшій на другой почвѣ, подъ другимъ небомъ, имѣвшій свою исторію, ни въ чемъ не похожую на исторію ни одного западно-европейскаго народа, естественно ли, чтобъ русскій народъ, усвоивъ себѣ одежду и обычаи европейскіе, могъ утратить свою національную самобытность и походить, какъ двѣ капли воды, на каждаго изъ европейскихъ народовъ, изъ которыхъ каждый другъ отъ друга рѣзко отличается и физической, и нравственной физиономіей?.. Да это нелѣпость нелѣпостей! хуже этого ничего нельзя выдумать! Первая причина особенноты племени или народа заключается въ почвѣ и климатѣ занимаемой имъ страны; а много ли на земномъ шарѣ странъ одинаковыхъ въ геологическомъ и климатологическомъ отношеніяхъ? И потому, чтобъ напоръ европейскихъ обычаевъ и идей могъ лишить русскихъ ихъ національности, для этого нужно прежде всего ровный, степной материкъ Россіи превратить въ гористый; безконечное его пространство сдѣлать меньшимъ по крайней мѣрѣ въ десять разъ (за исключеніемъ Сибири). И много кромѣ того нужно бы сдѣлать такого, чего нельзя сдѣлать, и о чемъ фантазировать на досугъ прилично только Маниловымъ. Далѣе: бѣднота народность, которая трепещетъ за свою самостоятельность при всякомъ соприкосновеніи съ другой народностью! Наши самозванные патриоты не видятъ, въ простотѣ ума и сердца своего, что, безпрестанно боясь за русскую національность, они тѣмъ самымъ жестоко оскорбляютъ ее. Но когда сдѣлалось всегда побѣдоноснымъ русское войско, если не тогда, какъ Петръ Великій одѣлъ его въ европейское платье и приучилъ его сообразной съ этимъ платьемъ военной дисциплинѣ? Какъ-то естественно видѣть толпу крестьянъ, дурно вооруженныхъ, еще хуже дисциплинированныхъ, по случаю войны недавно оторванныхъ отъ избы и сохи,—какъ-то естественно видѣть ихъ бѣгущими

Соч. Вѣлиискаго. Т. III.

въ безпорядкѣ съ поля битвы;—точно такъ же, какъ естественно видѣть полки солдатъ, даже и при военной неудачѣ, или храбро умирающими на полѣ битвы, или отступающими въ грозномъ порядкѣ. Нѣкоторые изъ горячихъ славянолюбовъ говорятъ: «Посмотрите на нѣмца,—онъ вездѣ нѣмецъ, и въ Россіи, и во Франціи, и въ Индіи; французъ тоже вездѣ французъ, куда бы ни занесла его судьба; а русскій въ Англіи—англичанинъ, во Франціи—французъ, въ Германіи—нѣмецъ». Дѣйствительно, въ этомъ есть своя сторона истины, которой нельзя оспаривать, но которая служитъ не къ униженію, а къ чести русскихъ. Это свойство удачно примѣняться ко всякому народу, ко всякой странѣ отнюдь не есть исключительное свойство только образованныхъ сословій въ Россіи, но свойство всего русскаго племени, всей сѣверной Руси. Этимъ свойствомъ русскій человѣкъ отличается и отъ всѣхъ другихъ славянскихъ племенъ, и можетъ быть ему-то и обязанъ онъ своимъ превосходствомъ надъ ними. Извѣстно, что наши русскіе солдаты—удивительные природные философы и политики и нигдѣ ничему не удивляются, но все находятъ очень естественнымъ, какъ бы это все ни было противоположно ихъ понятіямъ и привычкамъ. Чтобъ слишкомъ не распространяться объ этомъ предметѣ, ссылаемся, для краткости, на замѣчаніе Лермонтова объ удивительной способности русскаго человѣка примѣняться къ обычаямъ тѣхъ народовъ, среди которыхъ ему случается жить. «Не знаю (говоритъ авторъ «Героя Нашего Времени»), достойно порицанія или похвалы это свойство ума, только оно доказываетъ неимоверную его гибкость и присутствіе этого яснаго здраваго смысла, который прощаетъ адо вездѣ, гдѣ видитъ его необходимость или невозможность его уничтоженія». Здѣсь дѣло идетъ о Кавказѣ, а не о Европѣ: но русскій человѣкъ—вездѣ тотъ же. Угловатый нѣмецъ, тяжеловато-гордый Джонъ-Буль уже самими ихъ ухватками и манерами никогда и нигдѣ не скроютъ своего происхожденія; а послѣ француза только русскій можетъ по наружности казаться просто человѣкомъ, не нося на своемъ лбу національнаго клейма или паспорта. Но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобъ русскій, умѣя въ Англіи походить на англичанина, а во Франціи—на француза, хотъ на минуту пересталъ быть русскимъ или хотъ на минуту шутя могъ сдѣлаться англичаниномъ или французомъ. Форма и сущность не всегда—одно и то же. Хорошую форму почему не усвоить себѣ, но отъ сущности своей отрѣшиться совсѣмъ не такъ легко, какъ промѣнять охабенъ на фракъ. Между русскими есть много галломановъ, англомановъ, германомановъ и

разныхъ другихъ «мановъ». Посмотришь на нихъ: точно такъ, съ которой стороны ни зайди — англичанинъ, французъ, нѣмецъ, да и только. Если англomanъ, да еще богатый, то и лошади у него англизированныя, и жокеи, и грумы, словно сейчасъ изъ Лондона привезенные, и паркъ въ англійскомъ вкусѣ, и портеръ онъ пьетъ исправно, любить ростбифъ и пуддингъ, на комфортѣ помѣшанъ, и даже боксируетъ не хуже любого англійскаго кучера. Если галлomanъ — одѣтъ какъ модная картинка, по-французски говорить не хуже парижанина, на все смотритъ съ равнодушнымъ презрѣніемъ, при случаѣ почитаетъ долгомъ быть и любезнымъ, и остроумнымъ. Если германomanъ — больше всего любитъ искусство, какъ искусство, науку — какъ науку, романтизируетъ, презираетъ толпу, не хочетъ внѣшняго счастья и выше всего ставитъ созерцательное блаженство своего внутренняго міра... Но пошлите всѣхъ этихъ господъ пожить — англomanовъ въ Англію, галлomanовъ — во Францію, германomanовъ — въ Германію, да и посмотрите, такъ ли охотно, какъ вы, поспѣшать англичане, французы и нѣмцы признать своими соотечественниками нашихъ англomanовъ, галлomanовъ и германomanовъ... Нѣтъ, не попадутъ они въ соотечественники этимъ народамъ, а только развѣ прослывутъ между ними причтой во языцѣхъ, сбѣгаются предметомъ всеобщаго оскорбительнаго вниманія и удивленія. Это потому, повторяемъ, что усвоить чуждую форму совсѣмъ не то, что отрѣшиться отъ собственной сущности. Русскій заграницей легко можетъ быть принятъ за уроженца страны, въ которой онъ временно живетъ, потому что на улицѣ, въ трактирѣ, на балу, въ дилижансѣ о человѣкѣ заключаютъ по его виду; но въ отношеніяхъ гражданскихъ, семейныхъ, но въ положеніяхъ жизни исключительныхъ — другое дѣло: тутъ поневолѣ обнаружится всякая національность, и каждый поневолѣ явится сыномъ своей и пасынкомъ чужой земли. Съ этой точки зрѣнія русскому гораздо легче прослыть за англичанина въ Россіи, нежели въ Англіи. Но въ отношеніи къ отдѣльнымъ личностямъ еще могутъ быть странныя исключенія; въ отношеніи же къ народамъ — никогда. Доказательствомъ могутъ служить тѣ славянскія племена, которыхъ историческія судьбы были тѣсно связаны съ судьбами западной Европы: Чехія отовсюду окружена тевтонскими племенемъ; властителями ея втеченіе цѣлыхъ столѣтій были нѣмцы; развилась она вмѣстѣ съ ними, на почвѣ католицизма, и упредила ихъ и словомъ и дѣломъ религіознаго обновленія — и что же? — чехи до сихъ поръ славяне, до сихъ поръ — не только не германцы, но и не совсѣмъ европейцы...

Все сказанное нами было необходимымъ отступленіемъ для опроверженія неосновательнаго мнѣнія, будто-бы, въ дѣлѣ литературы, чисто русскую народность должно искать только въ сочиненіяхъ, которыхъ содержаніе заимствовано изъ жизни низшихъ и необразованныхъ классовъ. Вслѣдствіе этого страннаго мнѣнія, оглашающаго «не русскимъ» все, что есть въ Россіи лучшаго и образованнѣйшаго, — вслѣдствіе этого лапотно-сермяжнаго мнѣнія какой-нибудь грубый фарсъ съ мужиками и бабами есть національно-русское произведеніе, а «Горе отъ Ума» есть тоже русское, но только уже не національное произведеніе; какой-нибудь площадной романъ, вродѣ «Разгуляя купеческихъ сынковъ въ Марьиной рощѣ», есть хотя и плохое, однако тѣмъ не менѣе національно-русское произведеніе, а «Герой нашего времени», хотя и превосходное, однако тѣмъ не менѣе русское, но не національное произведеніе... Нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ! Пора наконецъ вооружаться противъ этого мнѣнія всей силой здраваго смысла, всей энергіей неумолимой логики! Мы далеки уже отъ того блаженнаго времени, когда псевдо-классическое направленіе нашей литературы допускало въ изящныя созданія только людей высшаго круга и образованныхъ сословій, и если иногда позволяло выводить въ поэмѣ, драмѣ или эклогѣ простолюдиновъ, то не иначе, какъ умытыхъ, причесанныхъ, разодѣтыхъ и говорящихъ не своимъ языкомъ. Да, мы далеки отъ этого псевдо-классическаго времени; но пора уже отдалиться намъ и отъ этого псевдо-романтическаго направленія, которое, обрадовавшись слову «народность» и праву представлять въ поэмѣхъ и драмѣхъ не только честныхъ людей низшаго званія, но даже воровъ и плутовъ, воображало, что истинная національность скрывается только подъ zipуномъ, въ курной избѣ, и что разбитый на кулачномъ бою носъ пьянаго лакея есть истинно Шекспировская черта, — а главное, что между людьми образованными нельзя искать и признаковъ чего-нибудь похожаго на народность. Пора наконецъ догадаться, что, напротивъ, русскій поэтъ можетъ себя показать истинно-национальнымъ поэтомъ, только изображая въ своихъ произведеніяхъ жизнь образованныхъ сословій: ибо, чтобъ найти національные элементы въ жизни, наполовину прикрывшейся прежде чуждыми ей формами, — для этого поэту нужно и имѣть большой талантъ, и быть национальнымъ въ душѣ. «Истинная національность (говоритъ Гоголь) состоитъ не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духѣ народа; поэтъ можетъ быть даже и тогда націоналенъ, когда описываетъ совершенно сторонній міръ, но глядитъ на него глазами своей націо-

нальной стихіи, глазами всего народа, когда чувствует и говорит такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствуютъ и говорятъ сами». Разгадать тайну народной психикѣ — для поэта значить уметь равно быть вѣрнымъ дѣйствительности при изображеніи и низшихъ, и среднихъ, и высшихъ сословій. Кто умѣетъ схватывать рѣзкіе оттѣнки только грубой простонародной жизни, не умѣя схватывать болѣе тонкихъ и сложныхъ оттѣнковъ образованной жизни, — тотъ никогда не будетъ великимъ поэтомъ, и еще менѣе имѣетъ право на громкое титуло національнаго поэта. Великій національный поэтъ равно умѣетъ заставить говорить и барина, и мужика ихъ языкомъ. И если произведеніе, котораго содержаніе взято изъ жизни образованныхъ сословій, не заслуживаетъ названія національнаго, — значитъ, оно ничего не стоитъ и въ художественномъ отношеніи, потому что невѣрно духу изображаемой имъ дѣйствительности. Поэтому не только такіа произведенія, какъ «Горе отъ Ума» и «Мертвыя Души», но и такіа, какъ «Герой нашего времени», суть столько же національныя, сколько превосходныя поэтическія созданія.

И первымъ такимъ національно-художественнымъ произведеніемъ былъ «Евгеній Онегинъ» Пушкина. Въ этой рѣшимости молодого поэта представить нравственную физиономію наиболѣе оевропеившагося въ Россіи сословія нельзя не видѣть доказательства, что онъ былъ и глубоко сознавалъ себя національнымъ поэтомъ. Онъ понялъ, что время эпическихъ поэмъ давнымъ давно прошло, и что для изображенія современнаго общества, въ которомъ проза жизни такъ глубоко проникла самую поэзію жизни, нуженъ романъ, а не эпическая поэма. Онъ взялъ эту жизнь, какъ она есть, не отвлекая отъ нея только однихъ поэтическихъ ея мгновеній; взялъ ее со всѣмъ холодомъ, со всею ея прозой и пошлостью. И такая смѣлость была бы менѣе удивительной, еслибы романъ затѣянъ былъ въ прозѣ; но писать подобный романъ въ стихахъ въ такое время, когда на русскомъ языкѣ не было ни одного порядочнаго романа и въ прозѣ, — такая смѣлость, оправданная огромнымъ успѣхомъ, была несомнѣннымъ свидѣтельствомъ гениальности поэта. Правда, на русскомъ языкѣ было одно прекрасное (по своему времени) произведеніе, вродѣ повѣсти въ стихахъ: мы говоримъ о «Модной Женѣ» Дмитріева; но между ею и «Онегинимъ» нѣтъ ничего общаго уже потому только, что «Модную Жену» такъ-же легко счесть за вольный переводъ или передѣлку съ французскаго, какъ и за оригинально-русское произведеніе. Если изъ сочиненій Пушкина хоть одно можетъ имѣть что-нибудь общаго съ

прекрасной и остроумной сказкой Дмитріева, такъ это, какъ мы уже и замѣтили въ послѣдней статьѣ, «Графъ Нуланъ»; но и тутъ сходство заключается совсѣмъ не въ повѣстическомъ достоинствѣ обоихъ произведеній. Форма романовъ вродѣ «Онегина» создана Байрономъ; по крайней мѣрѣ манера разсказа, смѣсь прозы и поэзіи въ изображаемой дѣйствительности, отступленія, обращенія поэта къ самому себѣ и особенно это слишкомъ опутительное присутствіе лица поэта въ созданномъ имъ произведеніи, — все это есть дѣло Байрона. Конечно усвоить чужую новую форму для собственнаго содержанія совсѣмъ не то, что самому изобрѣсти ее, — тѣмъ не менѣе при сравненіи «Онегина» Пушкина съ «Донъ-Жуаномъ», «Чайльдъ-Гарольдомъ» и «Беппо» Байрона нельзя найти ничего общаго, кромѣ формы и манеры. Не только содержаніе, но и духъ поэмъ Байрона уничтожаетъ всякую возможность существеннаго сходства между ими и «Онегинимъ» Пушкина: Байронъ писалъ о Европѣ для Европы; этотъ субъективный духъ, столь могучій и глубокій, эта личность, столь колоссальная, гордая и непреклонная, стремилась не столько къ изображенію современнаго человечества, сколько къ суду надъ его прошедшей и настоящей исторіей. Повторяемъ, тутъ нечего искать и тѣни какого-либо сходства. Пушкинъ писалъ о Россіи для Россіи, — и мы видимъ признакъ его самобытнаго и гениальнаго таланта въ томъ, что, вѣрный своей натурѣ, совершенно противоположной натурѣ Байрона, и своему художническому инстинкту, — онъ далекъ былъ отъ того, чтобы соблазниться создать что-нибудь въ Байроновскомъ родѣ, пища русскій романъ. Сдѣлавъ онъ это, — и тогда превознесла бы его выше звѣздъ; слава мгновенная, но великая, была бы наградой за его ложный *tour de force*. Но, повторяемъ, Пушкинъ, какъ поэтъ, былъ слишкомъ великъ для подобнаго шутовскаго подвига, столь обольстительнаго для обыкновенныхъ талантовъ. Онъ заботился не о томъ, чтобъ походить на Байрона, а о томъ, чтобъ быть самимъ собой и быть вѣрнымъ той дѣйствительности, до него еще непочатой и нетронутой, которая просилась подѣ перо его. И зато его «Онегинъ» — въ высшей степени оригинальное и національно-русское произведеніе. Выстъ съ современнымъ ему гениальнымъ твореніемъ Грибоедова — «Горе отъ Ума» *), стихотворный романъ Пушкина по-

*) «Горе отъ Ума» было написано Грибоедовымъ въ бѣтность его въ Тифлисѣ, до 1823 года, но написано *въ чернѣ*. По возвращеніи въ Россію, въ 1823 году, Грибоедовъ подвергнулъ свою комедію значительнымъ исправленіямъ. Въ первый разъ большой отрывокъ изъ нея былъ напечатанъ въ альманахѣ «Талия», въ 1825 году. Первая глава «Онегина»

ложилъ прочное основаніе новой русской поэзіи, новой русской литературѣ. До этихъ двухъ произведеній, какъ мы уже и замѣтили выше, русскіе поэты еще умѣли быть поэтами, воспѣвая чуждые русской дѣйствительности предметы, и почти не умѣли быть поэтами, принимаясь за изображеніе міра русской жизни. Исключеніе остается только за Державиннымъ, въ поэзіи котораго, какъ мы уже не разъ говорили, проблескиваютъ искорки элементовъ русской жизни; за Крыловымъ и наконецъ за Фонвизиннымъ, который впрочемъ былъ въ своихъ комедіяхъ больше даровитымъ копистомъ русской дѣйствительности, нежели ея творческимъ производителемъ. Несмотря на всѣ недостатки, довольно важные, комедіи Грибоѣдова, — она, какъ произведеніе сильнаго таланта, глубокаго и самостоятельнаго ума, была первой русской комедіей, въ которой нѣтъ ничего подражательнаго, нѣтъ ложныхъ мотивовъ и неестественныхъ красокъ, но въ которой и цѣлое, и подробности, и сюжетъ, и характеры, и страсти, и дѣйствія, и мнѣнія, и языкъ — все насквозь проникнуто глубокой истиной русской дѣйствительности. Чтѣ же касается до стиховъ, которыми написано «Горе отъ Ума», — въ этомъ отношеніи Грибоѣдовъ надолго убилъ всякую возможность русской комедіи въ стихахъ. Нуженъ гениальный талантъ, чтобъ продолжать съ успѣхомъ начатое Грибоѣдовымъ дѣло: мечъ Ахилла подъ силу только Аяксамъ и Одиссеямъ. То же можно сказать и въ отношеніи къ «Онѣгину», хотя впрочемъ ему и обязаны своимъ появленіемъ нѣкоторые, далеко неравные ему, но все-таки замѣчательныя попытки, — тогда какъ «Горе отъ Ума» до сихъ поръ высятся въ нашей литературѣ геркулесовскими столбами, за которые никому еще не удалось заглянуть. Примѣръ неслыханный: пьеса, которую вся грамотная Россія выучила наизусть еще въ рукописныхъ спискахъ, болѣе чѣмъ за десять лѣтъ до появленія ея въ печати! Стихи Грибоѣдова обратились въ пословицы и поговорки; комедія его сдѣлалась неисчерпаемымъ источникомъ примѣненій на событія ежедневной жизни, неистощимымъ рудникомъ эпиграфовъ! И хотя никакъ нельзя доказать прямого вліянія со стороны языка и даже стиха басенъ Крылова на языкъ и стихъ комедіи Грибоѣдова, однако нельзя и совершенно отвергать его: такъ въ органически историческомъ развитіи литературы все сдѣлается и связывается одно съ другимъ! Басни Хемницера и Дмитріева относятся къ баснямъ Крылова, какъ просто талантливыя произведенія относятся къ гениальнымъ произведеніямъ. — но тѣмъ не менѣе Крыловъ много

появилась въ печати въ 1826 году, когда вѣроятно у Пушкина было уже готово нѣсколько главъ этой поэмы.

обязанъ Хемницеру и Дмитріеву. Такъ и Грибоѣдовъ: онъ не учился у Крылова, не подражалъ ему: онъ только воспользовался его завоеваніемъ, чтобъ самому идти дальше своимъ собственнымъ путемъ. Не будь Крылова въ русской литературѣ, стихъ Грибоѣдова не былъ бы такъ свободно, такъ вольно, развязно оригиналенъ, словомъ, не шагнулъ бы такъ страшно далеко. Но не этимъ только ограничивается подвигъ Грибоѣдова: вмѣстѣ съ «Онѣгинымъ» Пушкина его «Горе отъ Ума» было первымъ образцомъ поэтическаго изображенія русской дѣйствительности въ обширномъ значеніи слова. Въ этомъ отношеніи оба эти произведенія положили собою основаніе послѣдующей литературѣ, были школой, изъ которой вышли и Лермонтовъ, и Гоголь. Безъ «Онѣгина» былъ бы невозможенъ «Герой нашего времени», такъ же какъ безъ «Онѣгина» и «Горе отъ Ума» Гоголь не почувствовалъ бы себя готовымъ на изображеніе русской дѣйствительности, исполненной такой глубины и истины. Ложная манера изображать русскую дѣйствительность, существовавшая до «Онѣгина» и «Горя отъ Ума», еще и теперь не исчезла изъ русской литературы. Чтѣбъ убѣдиться въ этомъ, стоитъ только обречь себя на смотрѣніе или на чтеніе новыхъ драматическихъ пьесъ, даваемыхъ на русскомъ театрѣ обѣихъ столицъ. Это не что иное, какъ искаженная французская жизнь, самовольно назвавшаяся русской жизнью, это — исковерканные французскіе характеры, прикрывшіеся русскими именами. На русскую повѣсть Гоголь имѣлъ сильное вліяніе, но комедіи его остались одинокими, какъ и «Горе отъ Ума». Значитъ, изображать вѣрно свое родное, то, чтѣ у насъ передъ глазами, чтѣ насъ окружаетъ, чуть ли не труднѣе, чѣмъ изображать чужое. Причина этой трудности заключается въ томъ, что у насъ форму всегда принимаютъ за сущность, а модный костюмъ — за европеизмъ; другими словами — въ томъ, что народность смѣшиваютъ съ простонародностью и думаютъ, что кто не принадлежитъ къ простонародью, то-есть, кто пьетъ шампанское, а не пѣнникъ, и ходитъ во фракѣ, а не смуромъ кафтанѣ, — того должно изображать то какъ француза, то какъ испанца, то какъ англичанина. Нѣкоторые изъ нашихъ литераторовъ, имѣя способность болѣе или менѣе вѣрно списывать портреты, не имѣютъ способности видѣть въ настоящемъ ихъ свѣтъ тѣ лица, съ которыхъ они пишутъ портреты: мудрено ли, что въ ихъ портретахъ нѣтъ никакого сходства съ оригиналами, и что, читая ихъ романы, повѣсти и драмы, невольно спрашиваешь себя:

Съ кого они портреты пишутъ?

Гдѣ разговоры эти слышутъ?

А если и случилось имъ,

Такъ мы ихъ слышать не хотимъ.

Таланты этого рода—плохіе мыслители; фантазія у нихъ развита насчетъ ума. Они не понимаютъ, что тайна національности каждаго народа заключается не въ его одеждѣ и кухнѣ, а въ его, такъ сказать, манерѣ понимать вещи. Чтобъ вѣрно изображать какое-нибудь общество, надо сперва постигнуть его сущность, его особность,—а это нельзя иначе сдѣлать, какъ узнавъ фактически и оцѣнивъ философски ту сумму правилъ, которыми держится общество. У всякаго народа двѣ философіи: одна ученая, книжная, торжественная и праздничная, другая—ежедневная, домашняя, обиходная. Часто объѣты философіи находятся болѣе или менѣе въ близкомъ соотношеніи другъ къ другу; и кто хочетъ изображать общество, тому надо познакомиться съ обѣими, но послѣднюю особенно необходимо изучить. Такъ точно, кто хочетъ узнать какой-нибудь народъ, тотъ прежде всего долженъ изучить его — въ его семейномъ, домашнемъ быту. Кажется, что бы за важность могли имѣть два такіа слова, какъ напимѣръ авось и живетъ, а между тѣмъ они очень важны и, не понимая ихъ важности, иногда нельзя понять иного романа, не только самому написать романъ. И вотъ глубокое знаніе этой-то обиходной философіи и сдѣлало «Онѣгина» и «Горе отъ Ума» произведеніями оригинальными и чисто-русскими.

Содержаніе «Онѣгина» такъ хорошо извѣстно всѣмъ и каждому, что нѣтъ никакой надобности излагать его подробно. Но, чтобъ добраться до лежащей въ его основаніи идеи, мы расскажемъ его въ этихъ немногихъ словахъ. Воспитанная въ деревенской глуши, молодая мечтательная дѣвушка влюбляется въ молодого петербургскаго—говоря нынѣшнимъ языкомъ—лѣва, который, накутивъ свѣтской жизнью, пріѣхалъ скучать въ свою деревню. Она рѣшается написать къ нему письмо, дышащее наивной страстью; онъ отвѣчаетъ ей на словахъ, что не можетъ ее любить, и что не считаетъ себя созданнымъ для «блаженства семейной жизни». Потомъ изъ пустой причины Онѣгинъ вызванъ на дуэль женихомъ сестры нашей влюбленной героини и убиваетъ его. Смерть Ленскаго надолго разлучаетъ Татьяну съ Онѣгинымъ. Разочарованная въ своихъ юныхъ мечтахъ, бѣдная дѣвушка склоняется на слезы и мольбы старой своей матери и выходитъ замужъ за генерала, потому что ей было все равно, за кого бы ни выйти, если уже нельзя было не выйти ни за кого. Онѣгинъ встрѣчаетъ Татьяну въ Петербургѣ и едва узнаетъ ее: такъ перемѣнилась она, такъ мало осталось въ ней сходства между простенькой деревенской дѣвочкой и великолѣпной петербургской дамой. Въ Онѣгинѣ вспыхиваетъ страсть къ

Татьянѣ, онъ пишетъ къ ней письмо, и на этотъ разъ она уже отвѣчаетъ ему на словахъ, что хотя и любитъ его, тѣмъ не менѣе принадлежать ему не можетъ—по гордости добродѣтели. Вотъ и все содержаніе «Онѣгина». Многіе находили и теперь еще находятъ, что тутъ нѣтъ никакого содержанія, потому что романъ ничѣмъ не кончается. Въ самомъ дѣлѣ, тутъ нѣтъ ни смерти (ни отъ чахотки, ни отъ кинжала), ни свадьбы — этого привилегированнаго конца всѣхъ романовъ, повѣстей и драмъ, въ особенности русскихъ. Сверхъ того, сколько тутъ несообразностей! Пока Татьяна была дѣвушкой, Онѣгинъ отвѣчалъ холодностью на ея страстное признаніе; но когда она стала женщиной, — онъ до безумія влюбился въ нее, даже не будучи увѣренъ, что она его любитъ. Неестественно, вовсе неестественно! А какой безнравственный характеръ у этого человѣка: холодно читаетъ онъ мораль влюбленной въ него дѣвушкѣ, вмѣсто того чтобъ взять да тотчасъ и влюбиться въ нее самому, и потомъ, испросивъ по формѣ у ея дражайшихъ родителей ихъ родительскаго благословенія на вѣки нерушимаго, совокупиться съ ней узами законнаго брака и сдѣлаться счастливейшимъ въ мірѣ человѣкомъ. Потомъ: Онѣгинъ ни за что убиваетъ бѣднаго Ленскаго, этого юнаго поэта съ золотыми надеждами и радужными мечтами,—и хоть бы разъ заплакалъ о немъ или по крайней мѣрѣ проговорилъ патетическую рѣчь, гдѣ упоминалось бы объ окровавленной тѣни и проч. Такъ или почти такъ судили и судятъ еще и теперь объ «Онѣгинѣ» многіе изъ почтеннѣйшихъ читателей; по крайней мѣрѣ намъ случалось слышать много такихъ сужденій, которые во время оно бѣсили насъ, а теперь только забавляютъ. Одинъ великій критикъ даже печатно сказалъ, что въ «Онѣгинѣ» нѣтъ цѣлаго, что это просто поэтическая болтовня о томъ, о семъ, а больше ни о чемъ. Великій критикъ основывался въ своемъ заключеніи, во-первыхъ, на томъ, что въ концѣ поэмы нѣтъ ни свадьбы, ни похоронъ, и, во-вторыхъ, на этомъ свѣдѣтельствѣ самого поэта:

Прочталося много, много дней
Съ тѣхъ поръ, какъ юная Татьяна
И съ ней Онѣгинъ въ сумномъ снѣ
Являлись впервые мнѣ—
И далъ свободнаго романа
Я сквозь магическій кристаллъ
Еще не ясно различалъ.

Великій критикъ не догадался, что поэтъ, благодаря своему творческому инстинкту, могъ написать полное и оконченное сочиненіе, не обдумавъ предварительно его плана, и умѣлъ остановиться именно тамъ, гдѣ романъ самъ собой чудесно заканчивается и развязывается—на картинѣ потерявшагося послѣ

объясненія съ Татьяной Онігина. Но мы объ этомъ скажемъ въ своемъ мѣстѣ, равно какъ и о томъ, что ничего не можетъ быть естественнѣе отношеній Онігина къ Татьянѣ въ продолженіе всего романа, и что Онігинъ совсѣмъ не извергъ, не развратный человѣкъ, хотя въ то же время и совсѣмъ не герой добродѣтели. Къ числу заслугъ Пушкина принадлежитъ и то, что онъ вывелъ изъ моды и чудовищъ порока, и героевъ добродѣтели, рисуя вмѣсто ихъ просто людей.

Мы начали статью съ того, что «Онігинъ» есть поэтически вѣрная дѣйствительности картина русскаго общества въ извѣстную эпоху. Картина эта явилась въ-время, т. е. именно тогда, когда явилось то, съ чего можно было срисовать ее—общество. Вслѣдствіе реформы Петра Великаго въ Россіи должно было образоваться общество, совершенно отдѣльное отъ массы народа по своему образу жизни. Но одно исключительное положеніе еще не производитъ общества: чтобъ оно сформировалось, нужны были особенныя основанія, которыя обезпечивали бы его существованіе, и нужно было образованіе, которое давало бы ему не одно внѣшнее, но и внутреннее единство. Екатерина II жалованной грамотой опредѣлила въ 1785 году права и обязанности дворянства. Это обстоятельство сообщило совершенно новый характеръ вельможеству—единственному сословію, которое при Екатеринѣ II-й достигло высшаго своего развитія и было просвѣщеннымъ, образованнымъ сословіемъ. Вслѣдствіе нравственнаго движенія, сообщеннаго грамотой 1785 года, за вельможествомъ началъ возникать классъ средняго дворянства. Подъ словомъ возникнуть мы разумѣемъ слово образовываться. Въ царствованіе Александра Благословеннаго значеніе этого, во всѣхъ отношеніяхъ лучшаго, сословія все увеличивалось и увеличивалось, потому что образованіе все болѣе и болѣе проникало во всѣ углы огромной провинціи, усѣянной помѣщичьими владѣніями. Такимъ образомъ формировалось общество, для котораго благородныя наслажденія бытія становились уже потребностью, какъ признакъ возникающей духовной жизни. Общество это удовлетворялось уже не одной охотою, роскошью и пирами, даже не одними танцами и картами; оно говорило и читало по-французски; музыка и рисованіе тоже входили у него, какъ необходимость, въ планъ воспитанія дѣтей. Державинъ, Фонвизинъ и Богдановичъ—эти поэты, въ свое время извѣстные только одному двору, тогда сдѣлались болѣе или менѣе извѣстными и этому возникающему обществу. Но чтѣ всего важнѣе—у него явилась своя литература, уже болѣе легкая,

живая, общественная и свѣтская, нежели тяжелая школьная и книжная. Если Новиковъ распространилъ изданіемъ книгъ и журналовъ всякаго рода охоту къ чтенію и книжную торговлю, и черезъ это создалъ массу читателей, то Карамзинъ своей реформой языка, направленіемъ, духомъ и формой своихъ сочиненій породилъ литературный вкусъ и создалъ публику. Тогда и поэзія вошла, какъ элементъ, въ жизнь новаго общества. Красавицы и молодые люди толпами бросились на «Лизинъ прудъ», чтобъ «слезой чувствительности» почтить память горестной жертвы страсти и обольщенія. Стихотворенія Дмитріева, запечатлѣнные умомъ, вкусомъ, остротой и граціей, имѣли такой же успѣхъ и такое же вліяніе, какъ и проза Карамзина. Порожденныя ими сентиментальность и мечтательность, несмотря на ихъ смѣшную сторону, были великимъ шагомъ впередъ для молодого общества. Трагедіи Озерова придали еще болѣе силы и блеска этому направленію. Басни Крылова давно уже не только читались взрослыми, но и заучивались наизусть дѣтьми. Вскорѣ появился юноша-поэтъ, который въ эту сентиментальную литературу внесъ романтическіе элементы глубокаго чувства, фантастической мечтательности и эксцентрическаго стремленія въ область чудеснаго и невѣдомаго, и который познакомилъ и породилъ русскую музу съ музой Германіи и Англіи. Вліяніе литературы на общество было гораздо важнѣе, нежели какъ у насъ объ этомъ думаютъ: литература, оближая и сдружая людей разныхъ сословій узами вкуса и стремленіемъ къ благороднымъ наслажденіямъ жизни, сословіе превратило въ общество. Но, несмотря на то, не подлежитъ никакому сомнѣнію, что классъ дворянства былъ и по преимуществу представителемъ общества, и по преимуществу непосредственнымъ источникомъ образованія всего общества. Увеличеніе средствъ къ народному образованію, учрежденіе университетовъ, гимназій, училищъ заставляло общество расти не по днямъ, а по часамъ. Время отъ 1812 до 1815 года было великой эпохой для Россіи. Мы разумѣемъ здѣсь не только внѣшнее величіе и блескъ, какими покрыла себя Россія въ эту великую для нея эпоху, но и внутреннее преуспѣяніе въ гражданственности и образованіи, бывшее результатомъ этой эпохи. Можно сказать безъ преувеличенія, что Россія больше прожила и дальше шагнула отъ 1812 года до настоящей минуты, нежели отъ царствованія Петра до 1812 года. Съ одной стороны 12-й годъ, потрясши всю Россію изъ конца въ конецъ, пробудилъ ея спящія силы и открылъ въ ней новыя, дотогѣ неизвѣстные источники

силъ, чувствомъ общей опасности сплотилъ въ одну огромную массу коснѣвшія въ чувствѣ разединенныхъ интересовъ частныя воли, возбудилъ народное сознаніе и народную гордость, и всѣмъ этимъ способствовалъ зарожденію публичности, какъ началу общественнаго мнѣнія; кромѣ того 12-й годъ нанесъ сильный ударъ коснѣющей старинѣ: вслѣдствіе его исчезли неслужащіе дворяне, спокойно рождавшіеся и умиравшіе въ своихъ деревняхъ, не выѣзжая за заповѣдную черту ихъ владѣній; глушь и дичь быстро исчезали вмѣстѣ съ потрясенными остатками старины. Съ другой стороны вся Россія, въ лицѣ своего побѣдоноснаго войска, лицомъ къ лицу увидѣлась съ Европой, пройдя по ней путемъ побѣдъ и торжествъ.

Все это сильно способствовало возрастанію и укрѣпленію возникшаго общества. Въ двадцатыхъ годахъ текущаго столѣтія русская литература отъ подражательности устремилась къ самобытности: явился Пушкинъ. Онъ любилъ сословіе, въ которомъ почти исключительно выразился прогрессъ русскаго общества и къ которому принадлежалъ самъ,—и въ «Онѣгинѣ» онъ рѣшился представить намъ внутреннюю жизнь этого сословія, а вмѣстѣ съ нимъ и общество, въ томъ видѣ, въ какомъ оно находилось въ избранную имъ эпоху, т. е. въ двадцатыхъ годахъ текущаго столѣтія. И здѣсь нельзя не подивиться быстротѣ, съ которой движется впередъ русское общество: мы смотримъ на «Онѣгина», какъ на романъ времени, отъ котораго мы уже далеки. Идеалы, мотивы этого времени уже такъ чужды намъ, такъ внѣ идеаловъ и мотивовъ нашего времени... «Герой нашего времени» былъ новымъ «Онѣгинымъ»: едва прошло четыре года,—и Печоринъ уже не современный идеалъ. И вотъ въ какомъ смыслѣ сказали мы, что самые недостатки «Онѣгина» суть въ то же время и его величайшія достоинства: эти недостатки можно выразить однимъ словомъ—«старо»; но развѣ вина поэта, что въ Россіи все движется такъ быстро?—и развѣ это не великая заслуга со стороны поэта, что онъ такъ вѣрно умѣлъ схватить дѣйствительность извѣстнаго мгновенія изъ жизни общества? Еслибъ въ «Онѣгинѣ» ничто не казалось теперь устарѣвшимъ или отсталымъ отъ нашего времени,—это было бы явнымъ признакомъ, что въ этой поэмѣ нѣтъ истины, что въ ней изображено не дѣйствительно существовавшее, а воображаемое общество: въ такомъ случаѣ, что-жъ бы это была за поэма, и стоило ли бы говорить о ней?...

Мы уже коснулись содержанія «Онѣгина»: обратимся къ разбору характеровъ дѣйствующихъ лицъ этого романа. Несмотря на то, что

романъ носить на себѣ имя своего героя,—въ романѣ не одинъ, а два героя: Онѣгинъ и Татьяна. Въ обоихъ ихъ должно видѣть представителей обоихъ половъ русскаго общества въ ту эпоху. Обратимся къ первому. Поэтъ очень хорошо сдѣлалъ, выбравъ себѣ героя изъ высшаго круга общества. Онѣгинъ—отнюдь не вельможа (уже и потому, что временемъ вельможества былъ только вѣкъ Елизаветы II); Онѣгинъ—свѣтскій человѣкъ. Мы знаемъ, наши литераторы не любятъ свѣта и свѣтскихъ людей, хотя и помѣшаны на страсти изображать ихъ. Что касается лично до насъ, мы совсѣмъ не свѣтскіе люди и въ свѣтѣ не бываемъ; но не питаемъ къ нему никакихъ мѣщанскихъ предубѣждений. Когда высшій свѣтъ изображается такими писателями, какъ Пушкинъ, Грибоедовъ, Лермонтовъ, князь Одоевскій, графъ Соллогубъ,—мы любимъ литературное изображеніе большаго свѣта такъ же, какъ изображеніе всякаго другого свѣта и не свѣта, съ талантомъ и знаніемъ выполненное. Только въ одномъ случаѣ не можемъ терпѣть большаго свѣта: именно, когда изображаютъ его сочинители, которымъ должны быть гораздо знакомѣ нравы кондитерскихъ и чиновничьихъ гостиныхъ, чѣмъ аристократическихъ салоновъ. Позвольте сдѣлать еще оговорку: мы отнюдь не смѣшиваемъ свѣтскости съ аристократизмомъ, хотя и чаще всего они встрѣчаются вмѣстѣ. Будьте вы человѣкомъ какова вамъ угодно происхожденія, держитесь какихъ вамъ угодно убѣждений,—свѣтскость васъ не испортитъ, а только улучшить. Говорятъ: въ свѣтѣ жизнь тратится на мелочи, самыя святая чувства приносятся въ жертву расчету и приличіямъ. Правда; но развѣ въ среднемъ кругу общества жизнь тратится только на одно великое, а чувство и разумъ не приносятся въ жертву расчету и приличію? О, нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ! Вся разница средняго свѣта отъ высшаго состоитъ въ томъ, что въ первомъ больше мелочности, претензій, чванства, ломанія, мелкаго честолюбія, принужденности и лицемерства. Говорятъ: въ свѣтской жизни много дурныхъ сторонъ. Правда; а развѣ въ не-свѣтской жизни—однѣ только хорошія стороны? Говорятъ: свѣтъ убиваетъ вдохновеніе, и Шекспиръ, и Шиллеръ не были свѣтскими людьми. Правда; но они не были и ни купцами, ни мѣщанами—они были просто людьми, такъ же точно, какъ и Байронъ—аристократъ, свѣтскій человѣкъ, своимъ вдохновеніемъ болѣе всего обязанъ былъ тому, что онъ былъ человѣкъ. Вотъ почему мы не хотимъ подражать нѣкоторымъ нашимъ литераторамъ въ ихъ предубѣжденіяхъ противъ страшнаго для нихъ невидимки—большаго свѣта, и вотъ почему мы очень рады, что

Пушкинъ героемъ своего романа взялъ свѣтскаго человѣка. И что же тутъ дурного? Высшій кругъ общества былъ въ то время уже въ апогеѣ своего развитія; притомъ свѣтскость не помѣшала же Онѣгину сойтись съ Ленскимъ—этимъ наиболее страннымъ и смѣшнымъ въ глазахъ свѣта существомъ. Правда, Онѣгину было дико въ обществѣ Ларинныхъ; но образованность еще болѣе, нежели свѣтскость, была причиной этого. Не споримъ, общество Ларинныхъ очень мило, особенно въ стихахъ Пушкина; но намъ, хоть мы и совсѣмъ не свѣтскіе люди, было бы въ немъ не совсѣмъ ловко,—тѣмъ болѣе, что мы рѣшительно неспособны поддерживать благоразумнаго разговора о псаріѣ, о винѣ, о сѣнокосѣ, о роднѣ. Высшій кругъ общества въ то время до того былъ отдѣленъ отъ всѣхъ другихъ круговъ, что непринадлежавшіе къ нему люди поневолѣ говорили о немъ, какъ до Колумба во всей Европѣ говорили объ антиподахъ и Атлантидѣ. Вслѣдствіе этого Онѣгинъ съ первыхъ же строкъ романа былъ принятъ за безнравственнаго человѣка. Это мнѣніе о немъ и теперь еще не совсѣмъ исчезло. Мы помнимъ, какъ горячо многіе читатели изъявляли свое негодованіе на то, что Онѣгинъ радуется болѣзни своего дяди и ужасается необходимости корчить изъ себя опечаленнаго родственника,

Вдыхать и думать про себя:
Когда же чортъ возьметъ тебя?

Многіе и теперь этимъ крайне недовольны. Изъ этого видно, какимъ важнымъ во всѣхъ отношеніяхъ произведеніемъ былъ «Онѣгинъ» для русской публики, и какъ хорошо сдѣлалъ Пушкинъ, взявъ свѣтскаго человѣка въ герои своего романа. Къ особенностямъ людей свѣтскаго общества принадлежитъ отсутствіе лицемѣрства, въ одно и то же время грубаго и глупаго, добродушнаго и добро-совѣстнаго. Если какой-нибудь бѣдный чиновникъ вдругъ видитъ себя наслѣдникомъ богатаго дяди-старика, готоваго умереть,—съ какими слезами, съ какой униженной предупредительностью будетъ онъ ухаживать за дядюшкой,—хотя этотъ дядюшка можетъ-быть во всю жизнь свою не хотѣлъ ни знать, ни видѣть племянника, и между ними ничего не было общаго. Однако жъ не думайте, чтобъ со стороны племянника это было расчетливымъ лицемѣрствомъ (расчетливое лицемѣрство есть порокъ всѣхъ круговъ общества, и свѣтскихъ, и не-свѣтскихъ); нѣтъ, вслѣдствіе благодѣтельнаго сотрясенія всей нервной системы, произведеннаго видомъ близкаго наслѣдства, нашъ племянникъ не шутя пришелъ въ умиленіе и почувствовалъ пламенную любовь къ дядюшкѣ, хотя и не воля дяди, а законъ, далъ ему

право на наслѣдство. Стало-быть, это лицемѣрство добродушное, искреннее и добросовѣстное. Но вздумай его дядюшка вдругъ, ни съ того, ни съ сего, выздороветь: куда бы дѣвалась у нашего племянника родственная любовь, и какъ бы ложная горестъ вдругъ смѣнилась истинной горестью, и актеръ превратился бы въ человѣка! Обратимся къ Онѣгину. Его дядя былъ ему чуждъ во всѣхъ отношеніяхъ. И что можетъ быть общаго между Онѣгинымъ, который уже—

равно звѣвалъ
Средь модныхъ и старинныхъ залъ,

и между почтеннымъ помѣщикомъ, который въ глуши своей деревни

Лѣтъ сорокъ съ ключницей бранился,
Въ окно смотрѣлъ и мухъ давилъ?

Скажутъ: онъ—его благодѣтель. Какой же благодѣтель, если Онѣгинъ былъ законнымъ наслѣдникомъ его имѣнія? Тутъ благодѣтель—не дядя, а законъ, право наслѣдства. Какое же положеніе человѣка, который обязанъ играть роль огорченнаго, состраждущаго и нѣжнаго родственника при смертномъ одрѣ совершенно чуждаго и посторонняго ему человѣка? Скажутъ: кто обязывалъ его играть такую низкую роль? Какъ кто? Чувство деликатности, человѣчности. Если, почему бы то ни было, вамъ нельзя не принимать къ себѣ человѣка, котораго знакомство для васъ и тяжело, и скучно, развѣ вы не обязаны быть съ нимъ вѣжливы и даже любезны, хотя внутренно вы и посылаете его къ чорту? Что въ словахъ Онѣгина проглядываетъ какая-то насмѣшливая легкость,—въ этомъ виденъ только умъ и естественность, потому что отсутствіе натянутой, тяжелой торжественности въ выраженіи обыкновенныхъ житейскихъ отношеній есть признакъ ума. У свѣтскихъ людей это даже не всегда умъ, а чаще всего—манера, и нельзя не согласиться, что это преумная манера. У людей среднихъ кружковъ, напротивъ, манера—отличаться избыткомъ разныхъ глубокихъ чувствъ при всякомъ сколько-нибудь, по ихъ мнѣнію, важномъ случаѣ. Всѣ знаютъ, что вотъ эта барыня жила съ своимъ мужемъ, какъ кошка съ собакой, и что она радеховъка его смерти, и сама она очень хорошо понимаетъ, что всѣ это знаютъ, и что никого ей не обмануть; но отъ этого она еще громче охаетъ и ахаетъ, стонетъ и рыдаетъ, и тѣмъ безотвязнѣе мучить всѣхъ и cadaго описаніемъ добродѣтелей покойнаго, счастья, какимъ онъ дарилъ ее, и злополучія, въ какое повергъ ее своей кончиной. Мало того: эта барыня готова это же самое сто разъ повторять передъ господиномъ благонамѣренною наружности, котораго всѣ знаютъ

за ея любовника. И что же—какъ этотъ господинъ благонамѣренной наружности, такъ и всѣ родственники, друзья и знакомые горькой, неутѣшной вдовы слушаютъ все это съ печальнымъ и огорченнымъ видомъ,—и если иные подъ рукою смѣются, зато другіе отъ души сокрушаются. И—повторяемъ—это не глупость и не разсчитливое лицемѣрство: это просто—принципъ мѣщанской, простонародной морали. Никому изъ этихъ людей не приходится въ голову спросить себя и другихъ:

Да изъ чего же вы бѣснуетесь столько?

Мало того: они считаютъ за грѣхъ подобный вопросъ, а еслибы рѣшились сдѣлать его, то сами надъ собой расхохотались бы. Имъ не въ догадъ, что если тутъ есть о чемъ грустить, такъ это о пошлой комедіи добродушнаго лицемѣрства, которую всѣ такъ усердно и такъ искренно разыгрываютъ.

Чтобъ не возвращаться опять къ одному и тому же вопросу, сдѣлаемъ небольшое отступленіе. Въ доказательство, какимъ важнымъ явленіемъ не въ одномъ эстетическомъ отношеніи былъ для нашей публики «Онѣгинъ» Пушкина и какими новыми, смѣлыми мыслями казались тогда въ немъ теперь самыя старыя и даже робкія полу-мысли—приведемъ изъ него этотъ куплетъ:

Гмъ! Гмъ! читатель благородной,
Здорова-ль ваша вся родня?
Позвольте: можетъ-быть, угодно
Теперь узнать вамъ отъ меня,
Что значать именно *родные*.
Родные люди вотъ какіе:
Мы ихъ обязаны ласкать,
Любить, душевно уважать,
И по обычаю народа,
О Рождествѣ ихъ навѣщать,
Или по почтѣ поздравлять,
Чтобъ въ остальное время года
О насъ не думали они...
И такъ, дай Богъ имъ долги дни!

Мы помнимъ, что этотъ невинный куплетъ со стороны большей части публики навлекъ упрекъ въ безнравственности уже не на Онѣгина, а на самого поэта. Какая этому причина, если не то добродушное и добросовѣстное лицемѣрство, о которомъ мы сейчасъ говорили? Братья тягнутся съ братьями объ имѣніи и часто питаютъ другъ къ другу такую остервенѣлую ненависть, которая не возможна между чужими, а возможна только между родными. Право родства нерѣдко бываетъ ничѣмъ инымъ, какъ правомъ—бѣдному подличать передъ богатымъ изъ подачки, богатому—презирать докучнаго бѣдняка и отдѣлываться отъ него ничѣмъ; равно богатымъ—завидовать другъ другу въ успехахъ жизни; вообще же—право виѣшиваться въ чужія дѣла, давать ненужные и бесполезные совѣты. Гдѣ ни поступите вы, какъ че-

ловѣкъ съ характеромъ и съ чувствомъ своего человѣческаго достоинства,—вездѣ вы оскорбите принципъ родства. Вздумали вы жениться—просите совѣта; не попросите его—вы опасный мечтатель, вольнодумецъ; попросите—вамъ укажутъ невѣсту; женитесь на ней и будете несчастны—вамъ же скажутъ: «то-то же, братецъ, вотъ какво безъ оглядки-то предпринимать такія важныя дѣла; я вѣдь говорилъ...» Женитесь по своему выбору—еще хуже бѣда.—Какія еще права родства? мало ли ихъ! Вотъ, напримѣръ этого господина, такъ похожаго на Ноздрева, будь онъ вамъ чужой, вы не пустили бы даже въ свою конюшню, опасаясь за нравственность вашихъ лошадей; но онъ вамъ родственникъ,—и вы принимаете его у себя въ гостиной и въ кабинетѣ, и онъ вездѣ позоритъ васъ именемъ своего родственника. Родство даетъ прекрасное средство къ занятію и развлеченію: случилась съ вами бѣда,—и вотъ для вашихъ родственниковъ чудесный случай сѣзжаться къ вамъ, ахатъ, охатъ, качать головой, судить, рѣдить, давать совѣты и наставленія, дѣлать упреки, а потомъ вездѣ развозить эту новость, порицая и браня васъ за глаза, вѣдь извѣстно: чловѣкъ въ бѣдѣ всегда виноватъ, особенно въ глазахъ своихъ родственниковъ. Все это ни для кого не ново, но то бѣда, что это всѣ чувствуютъ, но немногіе это сознаютъ: привычка къ добродушному и добросовѣстному лицемѣрству побѣждаетъ разсудокъ. Есть такіе люди, которые способны смертельно обидѣться, если огромная семья родни, пріѣхавъ въ столицу, остановится не у нихъ; а остановись она у нихъ,—они же будутъ не рады; но ропща, бранясь и всѣмъ жалуюсь подъ рукою, они передъ родственной семейкой будутъ расточать любезности и возьмутъ съ нея слово—опять остановиться у нихъ и вытѣснить ихъ, во имя родства, изъ ихъ собственнаго дома. Что это значить? Совсѣмъ не то, чтобы родство у подобныхъ людей существовало какъ принципъ, а только то, что оно существуетъ у нихъ, какъ фактъ; внутренне, по убѣжденію никто изъ нихъ не признаетъ его, но по привычкѣ, по безсознательности и по лицемѣрству всѣ его признаютъ.

Пушкинъ охарактеризовалъ родство этого рода въ томъ видѣ, какъ оно существуетъ у многихъ, какъ оно есть въ самомъ дѣлѣ, слѣдовательно справедливо и истинно,—и на него осердились, его назвали безнравственнымъ; стало-быть, еслибы онъ описалъ родство между нѣкоторыми людьми такимъ, какимъ оно не существуетъ, т. е. невѣрно и ложно,—его похвалили бы. Все это значитъ ни больше, ни меньше, какъ то, что нравственная одна ложь и неправда... Вотъ къ

чему ведетъ добродушное и добросовѣстное лицемѣрство! Нѣтъ, Пушкинъ поступилъ нравственно, первый сказавъ истину, потому что нужна благородная смѣлость, чтобъ первому рѣшиться сказать истину. И сколько такихъ истинъ сказано въ «Онѣгинѣ»? Многія изъ нихъ и не новы, и даже не очень глубоки; но еслибы Пушкинъ не сказалъ ихъ двадцать лѣтъ назадъ, онѣ теперь были бы и новы, и глубоки. И потому велика заслуга Пушкина, что онъ первый высказалъ эти устарѣвшія и уже неглубокія теперь истины. Онъ бы могъ наскзать истинъ болѣе безусловныхъ и болѣе глубокихъ, но въ такомъ случаѣ его произведеніе было бы лишено истинности: рисуя русскую жизнь, оно не было бы ея выраженіемъ. Гевій никогда не упреждаетъ своего времени, но всегда только угадываетъ его не для всѣхъ видимое содержаніе и смыслъ.

Большая часть публики совершенно отрицала въ Онѣгинѣ душу и сердце, видѣла въ немъ человека холоднаго, сухого и эгоиста по натурѣ. Нельзя ошибочнѣе и кривѣе понять человека! Этого мало: многіе добродушно вѣрили и вѣрятъ, что самъ поэтъ хотѣлъ изобразить Онѣгина холоднымъ эгоистомъ. Это уже значить—имѣя глаза, ничего не видѣть. Свѣтская жизнь не убила въ Онѣгинѣ чувства, а только охолодила къ безплоднымъ страстямъ и мелочнымъ развлеченіямъ. Вспомните строфы, въ которыхъ поэтъ описываетъ свое знакомство съ Онѣгинымъ:

Условій свѣта свергнувъ бремя,
Какъ онъ, отставъ отъ суеты,
Съ нимъ подружился я въ то время.
Мнѣ нравились его черты,
Мечтамъ невольная преданность,
Неподражательная странность
И рѣзкій охлажденный умъ.
Я былъ озлобленъ, онъ угрюмъ;
Страстей игру мы знали оба;
Томила жизнь обоихъ насъ;
Въ обоихъ сердца жаръ погасъ;
Обоихъ ожидала злоба
Слѣпой фортуны и людей
На самомъ утрѣ нашихъ дней.
Кто жилъ и мыслилъ, тотъ не можетъ
Въ душѣ не презирать людей;
Кто чувствовалъ, того тревожитъ
Привракъ невозвратимыхъ дней:
Тому ужъ нѣтъ очарованій,
Того змѣя воспоминаній,
Того раскаянне грызетъ.
Все это часто придаетъ
Большую прелесть разговору.
Сперва Онѣгина языкъ
Меня смущалъ; но я привыкъ
Къ его явительному спору,
И къ шуткѣ съ желчью пополамъ,
И къ злости мрачныхъ эпиграммъ.
Какъ часто лѣтнею порою,
Когда прозрачно и свѣтло
Ночное небо надъ Невою,
И водъ веселое стекло
Не отражаетъ ликъ Діаны,
Вспомня прежнихъ лѣтъ романы,

*Вспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, безпечны вновь,
Дыханьемъ ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Какъ въ лѣсъ зеленый изъ тюрьмы
Перенесенъ колодникъ сонной,
Такъ уносились мы мечтой
Къ началу жизни молодой.*

Изъ этихъ стиховъ мы ясно видимъ по крайней мѣрѣ то, что Онѣгинъ не былъ ни холоденъ, ни сухъ, ни черствъ, что въ душѣ его жила поэзія, и что вообще онъ былъ не изъ числа обыкновенныхъ, дюжинныхъ людей. Невольная преданность мечтамъ, чувствительность и безпечность при созерцаніи красотъ природы и при воспоминаніи о романахъ и любви прежнихъ лѣтъ: все это говоритъ болѣе о чувствѣ и поэзіи, нежели о холодности и сухости. Дѣло только въ томъ, что Онѣгинъ не любилъ распыляться въ мечтахъ, болѣе чувствовалъ, нежели говорилъ, и не всякому открывался. Озлобленный умъ есть тоже признакъ высшей натуры, потому что человекъ съ озлобленнымъ умомъ бываетъ недоволенъ не только людьми, но и самимъ собой. Дюжинные люди всегда довольны собой, а если имъ везетъ, то и всѣми. Жизнь не обманываетъ глупцовъ; напротивъ, она все даетъ имъ, благо немногаго просятъ они отъ нея—корма, поила, тепла, да кой-какихъ игрушекъ, способныхъ тѣшить пошлое и мелкое самолюбіе. Разочарованіе въ жизни, въ людяхъ, въ самихъ себѣ (если только оно истинно и просто, безъ фразъ и щегольства «нарядной печалью») свойственно только людямъ, которые, желая «многого», не удовлетворяются «ничѣмъ». Читатели помнятъ описаніе (въ VII главѣ) кабинета Онѣгина: весь Онѣгинъ въ этомъ описаніи. Особенно поразительно исключеніе изъ опалы двухъ или трехъ романовъ,

Въ которыхъ отравился вѣкъ,
И современный человекъ
Изображенъ довольно вѣрно
Съ его безнравственной душой,
Себялюбивый и сухой,
Мечтанью преданный безмѣрно,
Съ его озлобленнымъ умомъ,
Кипящимъ въ дѣйствиіи пустомъ.

Скажутъ: это портретъ Онѣгина. Пожалуй и такъ; но это еще болѣе говоритъ въ пользу нравственного превосходства Онѣгина, потому что онъ узналъ себя въ портретѣ, который, какъ двѣ капли воды, похожъ на столь многіхъ, но въ которомъ узнаютъ себя столь немногіе, а большая часть «украдкой киваетъ на Петра». Онѣгинъ не любовался самолюбиво этимъ портретомъ, но глухо страдалъ отъ его поразительнаго сходства съ дѣтскими нынѣшняго вѣка. Не натура, не страсти, не заблужденія личныя сдѣлали Онѣгина похожимъ на этотъ портретъ, а вѣкъ.

Связь съ Ленскимъ—этимъ юнымъ мечтателемъ, который такъ понравился нашей публикѣ, всего громче говорить противъ мнимаго бездушія Онягина.

Онягинъ презираетъ людей,

Но правилъ нѣтъ безъ исключеній:
Иныхъ онъ очень отличалъ,
И чувствъ чувство уважалъ.
Онъ слушалъ Ленскаго съ улыбкой:
Поэта пылкій разговоръ,
И умъ еще въ сужденіяхъ вышкой,
И вѣчно вдохновенный взоръ—
Онягину все было ново;
Онъ охладительное слово
Въ устахъ старался удержать,
И думалъ: глупо мнѣ мѣшать
Его минутному блаженству,
И безъ меня пора придетъ;
Пускай покаместъ онъ живетъ
Да вѣрить міра совершенству;
Простимъ горячкѣ юныхъ лѣтъ
И юный жаръ, и юный бредъ.
Межъ ними все рождено споромъ
И къ размышленію влегло:
Племень минувшихъ договоры,
Плоды наукъ, добро и зло,
И предрассудки вѣковые,
И гроба тайны роковыя,
Судьба и жизнь, въ свою черду,
Все подвергалось ихъ суду.

Дѣло говорить само за себя: гордая холодность и сухость, надменное бездушіе Онягина, какъ человѣка, произошли отъ глубокой неспособности многихъ читателей понять такъ вѣрно созданный поводомъ характеръ. Но мы не остановимся на этомъ и исчерпаемъ весь вопросъ.

Чужаки печальный и опасный,
Созданье ада или небесъ,
Сей ангелъ, сей надменный бѣсъ,
Что-жъ онъ?—ужели подражанье,
Ничтожный призракъ, или еще
Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ;
Чужихъ причудъ истолкованье,
Словъ модныхъ полный лексиконъ...
Ужъ не пародія ли онъ?

«Все тотъ же-ль онъ, или усмирился?
Или корчить также чужака?
Скажите, чѣмъ онъ возвратился?
Что намъ представить онъ пока?
Чѣмъ нынѣ явится? Мельмотомъ,
Космополитомъ, патриотомъ,
Гарольдомъ, квакеромъ, ханжой,
Или маской щегольнуть ниню?
Или просто будетъ добрый малой,
Какъ вы да я, какъ цѣлый свѣтъ?
По крайней мѣрѣ мой совѣтъ:
Отстать отъ моды обветшалою.
Довольно онъ морочилъ свѣтъ...
—Знакомъ онъ вамъ?—*«И да, и нѣтъ».*
—Зачѣмъ же такъ неблагоклонно
Вы отзываетесь о немъ?
За то-ль, что мы неуговорно
Хлопочемъ, судимъ обо всемъ,
*Что пылкимъ душъ неосторожность
Самолюбную ничтожность
Или оскорбляетъ, или смущаетъ;*
Что умъ, любя просторъ, тѣснитъ;
Что слишкомъ часто разговоры
Принять мы рады за дѣла;
Что глупость вѣтрена и зла;

Что важнымъ людямъ важны вадоры,
*И что посредственность одна
Намъ по плечу и не странна?*
Блаженъ, кто съ молоду былъ молодъ,
Блаженъ, кто во время соврѣлъ,
Кто постепенно жизни холоды
Съ лѣтами вытерпѣть умѣлъ;
Кто страннымъ снамъ не предавался;
Кто черни свѣтской не чуждался;
Кто въ двадцать лѣтъ былъ франтъ или хватъ,

А въ тридцать выгодно женатъ;
Кто въ пятьдесятъ освободился
Отъ частныхъ и другихъ долговъ;
Кто славы, денегъ и чиновъ
Спокойно въ очередь добился;
О комъ твердили цѣлый вѣкъ:
«N. N. прекрасный человекъ.»
Но грустно думать, что напрасно
Была намъ молодость дана,
Что измѣняли ей всечасно,
Что обманула насъ она;
Что наши лучшія желанья,
Что наши свѣжія мечтанья
Истлѣли быстрой чередой,
Какъ листья осенью гнилой.
Несносно видѣть предъ собою
Однихъ обѣдовъ длинный рядъ,
Глядѣть на жизнь какъ на обрядъ,
И вслѣдъ за чинною толпою
Идти, не раздѣляя съ ней
Ни общихъ мнѣній, ни страстей.

Эти стихи — ключъ къ тайнѣ характера Онягина. Онягинъ — не Мельмотъ, не Чайльд-Гарольдъ, не демонъ, не пародія, не модная причуда, не геній, не великій человекъ, а просто — «добрый малый, какъ вы да я, какъ цѣлый свѣтъ». Поэтъ справедливо называетъ «обветшалою модой» вездѣ находить или вездѣ искать все геніевъ, да необыкновенныхъ людей. Повторяемъ: Онягинъ — добрый малый, но при этомъ недюжинный человекъ. Онъ не годится въ геніи, не лѣзетъ въ великіе люди, но бездѣятельность и пошлость жизни душатъ его, онъ даже не знаетъ, чего ему надо, чего ему хочется, но онъ знаетъ, и очень хорошо знаетъ, что ему не надо, что ему не хочется того, чѣмъ такъ довольна, такъ счастлива самолюбивая посредственность. И за то-то эта самолюбивая посредственность не только провозгласила его «безнравственнымъ», но и отняла у него страсть сердца, теплоту души, доступность всему доброму и прекрасному. Вспомните, какъ воспитанъ Онягинъ, и согласитесь, что натура его была слишкомъ хороша, если ея не убило совсѣмъ такое воспитаніе. Влестящій юноша, онъ былъ увлеченъ свѣтомъ, подобно многимъ; но скоро наскучилъ имъ и оставилъ его, какъ это дѣлаютъ слишкомъ немногіе. Въ душѣ его тлѣлась искра надежды — воскреснуть и освѣжиться въ тиши уединенія, на лонѣ природы; но онъ скоро увидѣлъ, что перемѣна мѣстъ не измѣняетъ сущности нѣкоторыхъ неотразимыхъ и не отъ нашей воли зависящихъ обстоятельствъ.

Два дни ему казались новы
 Уединенныя поля,
 Прохлада сумрачной дубровы,
 Журчанье тихаго ручья;
 На третій — рощи, холмы и поле
 Его не занимали болѣ,
 Потомъ ужъ наводили сонъ;
 Потомъ увидѣлъ ясно онъ,
 Что и въ деревнѣ скука та же,
 Хоть вѣтъ ни улицъ, ни дворцовъ,
 Ни картъ, ни баловъ, ни стиховъ.
 Хандра ждала его на стражѣ,
 И бѣгала за нимъ она,
 Какъ тѣнь иль вѣрная жена.

Мы доказали, что Онѣгинъ не холодный, не сухой, не бездушный человѣкъ, но мы до сихъ поръ избѣгали слова эгоистъ, — и такъ какъ избытокъ чувства, потребность изыскаго не исключаютъ эгоизма, то мы скажемъ теперь, что Онѣгинъ — страдающій эгоистъ. Эгоисты бываютъ двухъ родовъ. Эгоисты перваго разряда — люди безъ всякихъ заносчивыхъ или мечтательныхъ притязаній; они не понимаютъ, какъ можетъ человѣкъ любить кого-нибудь кромѣ самого себя, и потому они нисколько не стараются скрывать своей пламенной любви къ собственнымъ ихъ особамъ; если ихъ дѣла идутъ плохо — они худошавы, блѣдны, злы, низки, подлы, предатели, клеветники; если ихъ дѣла идутъ хорошо — они толсты, жирны, румяны, веселы, добры, выгодами дѣлиться ни съ кѣмъ не станутъ, но угощать готовы не только полезныхъ, даже и вовсе бесполезныхъ имъ людей. Это эгоисты по натурѣ или по причинѣ дурнаго воспитанія. Эгоисты втораго разряда почти никогда не бываютъ толсты и румяны; по большей части этотъ народъ больной и всегда скучающій. Бросаясь всюду, вездѣ ища то счастья, то разсѣянія, они нигдѣ не находятъ ни того, ни другого съ той минуты, какъ оболещенія юности оставляютъ ихъ. Эти люди часто доходятъ до страсти къ добрымъ дѣйствіямъ, до самоотверженія въ пользу ближнихъ; но бѣда въ томъ, что они и въ добрѣ хотятъ искать то счастья, то развлеченія, тогда какъ въ добрѣ слѣдовало бы имъ искать только добра. Если подобные люди живутъ въ обществѣ, представляющемъ полную возможность для каждаго изъ его членовъ стремиться своей дѣятельностью къ осуществленію идеала истины и блага, — о нихъ безъ запинки можно сказать, что суетность и мелкое самолюбіе, заглушивъ въ нихъ добрые элементы, сдѣлали ихъ эгоистами. Но нашъ Онѣгинъ не принадлежитъ ни къ тому, ни къ другому разряду эгоистовъ. Его можно назвать эгоистомъ по неволѣ; въ его эгоизмѣ должно видѣть то, что древніе называли «*fatum*». Благая, благотворная, полезная дѣятельность! Зачѣмъ не предался ей Онѣгинъ? Зачѣмъ не искалъ онъ въ ней

своего удовлетворенія? Зачѣмъ? зачѣмъ? — Зачѣмъ, милостивые государи, что пустымъ людямъ легче спрашивать, нежели дѣльнымъ отвѣчать..

Одинъ среди своихъ владѣній,
 Чтобы только время проводить,
 Сперва задумалъ нашъ Евгенийъ
 Порядокъ новый учредить.
 Въ своей глуши мудрецъ пустынной,
 Яремъ онъ барщины старинной
 Оброкомъ легкимъ замѣнилъ;
 Мужикъ судьбу благословилъ.
 Зато въ углу своемъ надулся,
 Увидя въ этомъ страшный вредъ,
 Его расчетливый сосѣдъ;
 Другой лукаво улыбнулся,
 И въ голосъ съ рѣшилъ такъ,
 Что онъ опаснѣйшій чужакъ.
 Сначала всѣ къ нему ѣзжали;
 Но такъ какъ съ задняго крыльца
 Обыкновенно подавали
 Ему донского жеребца,
 Лишь только вдоль большой дороги
 Заслышитъ ихъ домашніе дроги:
 Поступкомъ оскорбѣясь такимъ,
 Всѣ дружбу прекратили съ нимъ.
 «Сосѣдъ нашъ неучъ, сумасбродитъ,
 Онъ фармазонъ; онъ пьетъ одно
 «Стаканомъ красное вино;
 Онъ дамамъ къ ручкѣ не подходитъ;
 «Все да да *нѣтъ*, не скажете да-съ
 «Иль *нѣтъ*-съ.» Таковъ былъ общій гласъ.

Что-нибудь дѣлать можно только въ обществѣ, на основаніи общественныхъ потребностей, указываемыхъ самой дѣйствительностью, а не теоріей; но что бы сталъ дѣлать Онѣгинъ въ сообществѣ съ такими прекрасными сосѣдями, въ кругу такихъ милыхъ ближнихъ? Облегчить участь мужика конечно много значило для мужика; но со стороны Онѣгина тутъ еще немного было сдѣлано. Есть люди, которымъ если удастся что нибудь сдѣлать порядочное, они съ самодовольствіемъ рассказываютъ объ этомъ всему міру, и такимъ образомъ бываютъ приятно заняты на цѣлую жизнь. Онѣгинъ былъ не изъ такихъ людей: важное и великое для многихъ — для него было не Богъ знаетъ чѣмъ.

Случай свелъ Онѣгина съ Ленскимъ; черезъ Ленскаго Онѣгинъ познакомился съ семействомъ Ларинныхъ. Возвращаясь отъ нихъ домой послѣ перваго визита, Онѣгинъ зѣваетъ; изъ его разговора съ Ленскимъ мы узнаемъ, что онъ Татьяну принялъ за невесту своего пріятеля и, узнавъ о своей ошибкѣ, удивляется его выбору, говоря, что еслибъ онъ самъ былъ повтомъ, то выбралъ бы Татьяну. Этому равнодушному, охлажденному человѣку стоило одного или двухъ невнимательныхъ взглядовъ, чтобы понять разницу между обѣими сестрами, — тогда какъ пламенному, восторженному Ленскому и въ голову не входило, что его возлюбленная была совсѣмъ не идеальное и поэтическое созданіе, а просто хорошенькая и простень-

кая дѣвочка, которая совсѣмъ не стояла того, чтобъ за нее рисковать убить пріятеля или самому быть убитымъ. Между тѣмъ какъ Онѣгинъ зѣвалъ — «по привычкѣ», говоря его собственнымъ выраженіемъ, и нисколько не заботясь о семействѣ Ларинныхъ, — въ этомъ семействѣ его пріездъ завязалъ страшную внутреннюю драму. Большинство публики было крайне удивлено, какъ Онѣгинъ, получивъ письмо Татьяны, могъ не влюбиться въ нее, — и еще болѣе, какъ тотъ же самый Онѣгинъ, который такъ холодно отвергалъ чистую, наивную любовь прекрасной дѣвушки, потомъ страстно влюбился въ великолѣпную свѣтскую даму? Въ самомъ дѣлѣ, есть чему удивляться. Не беремся рѣшить вопроса, но поговоримъ о немъ. Впрочемъ, признавая въ этомъ фактѣ возможность психологическаго вопроса, мы тѣмъ не менѣе нисколько не находимъ удивительнымъ самаго факта. Во-первыхъ, вопросъ, почему влюбился или почему не влюбился, или почему въ то время не влюбился, — такой вопросъ мы считаемъ немного слишкомъ диктаторскимъ. Сердце имѣетъ свои законы — правда; но не такіе, изъ которыхъ легко было бы составить полный систематическій кодексъ. Сродство натуръ, нравственная симпатія, сходство понятій могутъ и даже должны играть большую роль въ любви разумныхъ существъ; но кто въ любви отвергаетъ элементъ чисто непосредственный, влеченіе инстинктуальное, невольное, прихоть сердца, въ оправданіе нѣсколько тривіальной, но чрезвычайно выразительной русской пословицы: «полюбится сатана лучше яснаго сокола», — кто отвергаетъ это, тотъ не понимаетъ любви. Еслибъ выборъ въ любви рѣшался только волей и разумомъ, тогда любовь не была бы чувствомъ и страстью. Присутствіе элемента непосредственности видно и въ самой разумной любви, потому что изъ нѣсколькихъ равно достойныхъ лицъ выбирается только одно, и выборъ этотъ основывается на невольномъ влеченіи сердца. Но бываетъ и такъ, что люди, кажется, созданные одинъ для другого, остаются равнодушны другъ къ другу, и каждый изъ нихъ обращаетъ свое чувство на существо нисколько себѣ не подѣлу. Поэтому Онѣгинъ имѣлъ полное право, безъ всякаго опасенія подпасть подъ уголовный судъ критики, не полюбить Татьяны-дѣвушки и полюбить Татьяну-женщину. Въ томъ и другомъ случаѣ онъ поступилъ равно ни нравственно, ни безнравственно. Этого вполне достаточно для его оправданія; но мы къ этому прибавимъ и еще кое-что. Онѣгинъ былъ такъ уменъ, тонокъ и опытенъ, такъ хорошо понималъ людей и ихъ сердце, что не могъ не понять изъ письма Татьяны, что эта бѣдная

дѣвушка одарена страстнымъ сердцемъ, алчущимъ роковой пищи, что ея душа младенчески чиста, что ея страсть дѣтски простодушна, и что она нисколько не похожа на тѣхъ кокетокъ, которыя такъ надоели ему съ ихъ чувствами то легкими, то поддѣльными. Онъ былъ живо тронутъ письмомъ ея:

Языкѣ дѣвическихъ мечтаній
Въ немъ думы роемъ возмущилъ;
И вспомнилъ онъ Татьяны милой
И блѣдный цвѣтъ, и видъ унылой;
И въ сладостный безгитинный сонъ
Душою погрузился онъ.
Быть можетъ, чувствій пылъ старинной
Имъ на минуту овладѣлъ;
Но обмануть онъ не хотѣлъ.
Довѣрчивость души невинной.

Въ письмѣ своемъ къ Татьянѣ (въ VIII главѣ) онъ говоритъ, что, замѣтя въ ней искру нѣжности, онъ не хотѣлъ ей повѣрить (т. е. заставилъ себя не повѣрить), не далъ хода милой привычкѣ и не хотѣлъ разстаться съ своей постылой свободой. Но если онъ оцѣнилъ одну сторону любви Татьяны, въ то же самое время онъ такъ же ясно видѣлъ и другую ея сторону. Во-первыхъ, обольститься такой младенчески прекрасной любовью и увлечься ею до желанія отвѣчать на нее — значило бы для Онѣгина рѣшиться на женитьбу. Но если его могла еще интересовать поэзія страсти, то поэзія брака не только не интересовала его, но была для него противна. Поэтъ, выразившій въ Онѣгинѣ много своего собственного, такъ изъясняется на этотъ счетъ, говоря о Ленскомъ:

Гимена хлопоты, печали,
Зѣвоты хладная череда
Ему не снились никогда,
Межъ тѣмъ какъ мы, враги Гимена,
Въ домашней жизни зримъ одинъ
Рядъ утомительныхъ картинъ,
Романъ во вкусѣ Лафонтена.

Если не бракъ, то мечтательная любовь, если не хуже что-нибудь; но онъ такъ хорошо постигъ Татьяну, что даже и не подумалъ о послѣднемъ, не унижая себя въ собственныхъ своихъ глазахъ. Но въ обоихъ случаяхъ эта любовь немного представляла ему обольстительнаго. Какъ! онъ, перогрѣвшій въ страстяхъ, извѣдавшій жизнь и людей, еще кипѣвшій какими-то самому ему неясными стремленіями, — онъ, котораго могло занять и наполнить только что нибудь такое, что могло бы выдержать его собственную иронию, — онъ увлекся бы младенческой любовью дѣвочки-мечтательницы, которая смотрѣла на жизнь такъ, какъ онъ уже не могъ смотрѣть... И что же сулила бы ему въ будущемъ эта любовь? Что бы намелъ онъ потомъ въ Татьянѣ? Или прихотливое дитя, которое плакало бы оттого, что онъ не мо-

жеть, подобно ей, дѣтски смотрѣть на жизнь и дѣтски играть въ любовь,—а это, согласитесь, очень скучно; или существо, которое, увлекшись его превосходствомъ, до того подчинилось бы ему, не понимая его, что не имѣло бы ни своего чувства, ни своего смысла, ни своей воли, ни своего характера. Последнее спокойнѣе, но зато еще скучнѣе. И это ли поэзія и блаженство любви!...

Разлученный съ Татьяной смертью Ленскаго, Онягинъ лишился всего, что хотя сколько нибудь связывало его съ людьми.

Убивъ на поединкѣ друга,
Доживъ безъ цѣли, безъ трудовъ,
До двадцати-шести годовъ,
Томась въ бездѣйствіи досуга,
Безъ службы, безъ жены, безъ дѣлъ,
Ничѣмъ заняться не умѣлъ;
Имъ овладѣло безпокойство,
Охота къ перемѣнѣ мѣстъ
(Весьма мучительное свойство,
Немногихъ добровольный крестъ).

Между прочимъ былъ онъ и на Кавказѣ и смотрѣлъ на блѣдный рой тѣней, толпившійся около цѣлебныхъ струй Машука:

Питая горьки размышленья,
Среди печальной ихъ семьи,
Онягинъ вворомъ сожалѣнья
Глядѣлъ на дымныя струи
И мыслить, грустью отуманенъ:
«Зачѣмъ я пулей въ грудь не раненъ!
Зачѣмъ не хилый я старикъ,
Какъ этотъ бѣдный откупщикъ?
Зачѣмъ, какъ тульскій застѣдатель.
Я не лежу въ параличѣ?
Зачѣмъ не чувствую въ плечѣ
Хоть ревматизма? Ахъ, Создатель!
Я молодъ, жизнь во мнѣ крѣпка
Чего мнѣ ждаты! тоска, тоска!...»

Какая жизнь! Вотъ оно, то страданіе, о которомъ такъ много пишутъ и въ стихахъ, и въ прозѣ, на которое столь многіе жалуются, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ знаютъ его; вотъ оно, страданіе истинное, безъ котурна, безъ ходуль, безъ драпировки, безъ фразъ,—страданіе, которое часто не отнимаетъ ни сна, ни аппетита, ни здоровья, но которое тѣмъ ужаснѣе!.. Спать ночью, вставать днемъ, видѣть, что всѣ изъ чего-то хлопочутъ, чѣмъ-то заняты, одинъ деньгами, другой—женитбой, третій—болѣзнию, четвертый—нуждой и кровавымъ потомъ работы,—видѣть вокругъ себя и веселье, и печаль, и смѣхъ, и слезы, видѣть все это и чувствовать себя чуждымъ всему этому, подобно Вѣчному Жиду, который, среди волнуемойся вокругъ него жизни, сознаетъ себя чуждымъ жизни и мечтаетъ о смерти, какъ о величайшемъ для него блаженствѣ: это страданіе не всѣмъ понятное, но оттого не меньше страшное... Молодость, здоровье, богатство, соединенныя съ умомъ, сердцемъ: чего бы, кажется, больше для жизни и счастья? Такъ думаетъ тупая чернь и называетъ подобное

страданіе модной причудой. И чѣмъ естественнѣе, проще страданіе Онягина, чѣмъ дальше оно отъ всякой эффектности, тѣмъ оно менѣе могло быть понято и оцѣнено большинствомъ публики. Въ двадцать шесть лѣтъ такъ много пережить, не вкусивъ жизни, такъ изнемочь, устать, ничего не сдѣлавъ, дойти до такого безусловнаго отрицанія, не перейдя ни черезъ какія убѣжденія: это смерть! Но Онягину не суждено было умереть, не отвѣдавъ изъ чаши жизни: страсть сильная и глубокая не замедлила возбудить дремавшія въ тоскѣ силы его духа. Встрѣтивъ Татьяну на балѣ въ Петербургѣ, Онягинъ едва могъ узнать ее, такъ перемѣнилась она! Мужъ Татьяны такъ прекрасно и такъ полно съ головы до ногъ охарактеризованный поэтомъ этими двумя стихами:

И всѣхъ выше
И носъ, и плечи поднималъ
Вошедшій съ нею генералъ,—

мужъ Татьяны представляетъ ей Онягина, какъ своего родственника и друга. Многіе читатели, въ первый разъ читая эту главу, ожидали громозвучнаго оха и обморока со стороны Татьяны, которая, пришедъ въ себя, по ихъ мнѣнію, должна повиснуть на шеѣ у Онягина. Но какое разочарованіе для нихъ!

Княгиня смотритъ на него...
И что ей душу ни смутило,
Какъ сильно ни была она
Удивлена, поражена,
Но ей ничто не измѣнило:
Въ ней сохранился тотъ же тонъ;
Былъ такъ-же тихъ ея поклонъ.
Ей-ей! не то, чтобъ содрогнулась,
Иль стала вдругъ блѣдна, красна...
У ней и бровь не шевельнулась,
Не сжала даже губъ она.
Хоть онъ глядѣлъ нельзя прилежитъ,
Но и слѣдовъ Татьяны прежней
Не могъ Онягинъ обрести.
Съ ней рѣчь хотѣлъ онъ завести
И—и не могъ. Она спросила,
Давно ль онъ здѣсь, откуда онъ,
И не изъ ихъ ли ужъ сторонъ?
Потомъ къ супругу обратила
Усталый взглядъ; скользнула вонъ...
И недвижимъ остался онъ.
Ужель та самая Татьяна,
Которой онъ наединѣ,
Въ началѣ нашего романа,
Въ глухой, далекой сторонѣ,
Въ благомъ пылу правоученья,
Читалъ когда-то наставленья,
Та, отъ которой онъ хранитъ
Письмо, гдѣ сердце говоритъ,
Гдѣ все наружу, все на волю,
Та дѣвочка... иль это сонъ?..
Та дѣвочка, которой онъ
Пренебрегалъ въ смиренной долѣ,
Ужели съ нимъ сейчасъ была
Такъ равнодушна, такъ смѣла?

Что съ нимъ? въ какомъ онъ странномъ снѣ?
Что шевельнулось въ глубинѣ

Души холодной и лѣнливой?
Досада? суетность? или вновь
Забота юности—любовь?

Не принадлежа къ числу ультра-идеалистовъ, мы охотно допускаемъ въ самыя высокія страсти примѣсъ мелкихъ чувствъ, и потому думаемъ, что досада и суетность имѣли свою долю въ страсти Онѣгина. Но мы рѣшительно несогласны съ этимъ мнѣніемъ поэта, которое такъ торжественно было провозглашено имъ и которое нашло такой отзывъ въ толпѣ, благо пришлось ей по плечу:

О, люди, всѣ похожи вы
На прародительницу Еву:
Что вамъ дано, то не влечетъ;
Васъ непрестанно змій зоветъ
Къ себѣ, къ таинственному древу:
Запретный плодъ вамъ подавай,
А безъ того вамъ рай не рай.

Мы лучше думаемъ о достоинствѣ человѣческой натуры, и убѣждены, что человѣкъ рождается не на зло, а на добро, не на преступленіе, а на разумно-законное наслажденіе благами бытія; что его стремленія справедливы, инстинкты благородны. Зло скрывается не въ человѣкѣ, но въ обществѣ; такъ какъ общества, понимаемая въ смыслѣ формы человѣческаго развитія, еще далеко не достигли своего идеала, то не удивительно, что въ нихъ только и видишь много преступленій. Этимъ же объясняется и то, почему считавшееся преступнымъ въ древнемъ мірѣ считается законнымъ въ новомъ, и наоборотъ; почему у каждаго народа и каждаго вѣка свои понятія о нравственности, законномъ и преступномъ. Человѣчество еще далеко не дошло до той степени совершенства, на которой всѣ люди, какъ существа однородныя и единымъ разумомъ одаренныя, согласятся между собой въ понятіяхъ объ истинномъ и ложномъ, справедливомъ и несправедливомъ, законномъ и преступномъ, такъ же точно, какъ они уже согласились, что не солнце вкругъ земли, а земля вкругъ солнца обращается, и во множествѣ математическихъ аксіомъ. До тѣхъ же поръ преступленіе будетъ только по наружности преступленіе, а внутренне, существенно—непризнаніемъ справедливости и разумности того или другого закона. Было время, когда родители видѣли въ своихъ дѣтяхъ своихъ рабовъ и считали себя вправе насиловать ихъ чувства и склонности самыя священныя. Теперь, если дѣвушка, чувствуя отвращеніе къ господину благонамѣренной наружности, за котораго ее хотятъ насильно выдать, и любя страстно человѣка, съ которымъ ее насильно разлучаютъ,—послѣдуетъ влеченію своего сердца и будетъ любить того, кого она избрала, а не того, въ чей карманъ или въ чей чинъ влюблены ея дражайшіе

родители: неужели она преступница? Ничто такъ не подчинено строгости внѣшнихъ условій, какъ сердце, и ничто такъ не требуетъ безусловной воли, какъ сердце же. Даже самое блаженство любви,—что оно такое, если оно согласовано съ внѣшними условіями?—Пѣсня соловья или жаворонка въ золотой клѣткѣ. Что такое блаженство любви, признающей только власть и прихоть сердца?—Торжественная пѣснь соловья на закатѣ солнца, въ таинственной сѣни склонившихся надъ рѣкою ивъ; вольная пѣснь жаворонка, который, въ безумномъ упоеніи чувствъ бытія, то мчится вверхъ стрѣлой, то падаетъ съ неба, то трепещетъ крыльями, не двигаясь съ мѣста, какъ будто купается и тонетъ въ голубомъ эфирѣ... Птица любитъ волю; страсть есть поэзія и цвѣтъ жизни, но что же въ страстяхъ, если у сердца не будетъ воли?

Письмо Онѣгина къ Татьянѣ горитъ страстью; въ немъ уже нѣтъ ироніи, нѣтъ свѣтской умѣренности, свѣтской маски. Онѣгинъ знаетъ, что онъ можетъ быть подаетъ поводъ къ злобному веселью; но страсть задушила въ немъ страхъ быть смѣшнымъ, подать на себя оружіе врагу. И было съ чего сойти съ ума! По наружности Татьяны можно было подумать, что она помирилась съ жизнью ни на чемъ, отъ души поклонилась идолу суеты,—и въ такомъ случаѣ конечно роль Онѣгина была бы очень смѣшна и жалка. Но въ свѣтѣ наружность никогда и ни въ чемъ не убѣждаетъ: тамъ всѣ слишкомъ хорошо владѣютъ искусствомъ быть веселыми съ достоинствомъ въ то время, какъ сердце разрывается отъ судорогъ. Онѣгинъ могъ не безъ основанія предполагать и то, что Татьяна внутренне осталась самой собой, и свѣтъ научилъ ее только искусству владѣть собой и серьезнѣе смотрѣть на жизнь. Благодатная натура не гибнетъ отъ свѣта, вопреки мнѣнію мѣщанскихъ философовъ; для гибели души и сердца и малый свѣтъ представляетъ точно столько же средствъ, сколько и большой. Вся разница въ формахъ, а не въ сущности. И теперь, въ какомъ же свѣтѣ должна была казаться Онѣгину Татьяна,—уже не мечтательная дѣвушка, повѣрившая лунѣ и звѣздамъ свои задушевные мысли и разгадывавшая сны по книгѣ Мартына Задеки, но женщина, которая знаетъ цѣну всему, что дано ей, которая много требуетъ, но много и даетъ. Ореолъ свѣтскости не могъ не возвысить ее въ глазахъ Онѣгина: въ свѣтѣ, какъ и вездѣ, люди бываютъ двухъ родовъ—одни привязываются къ формамъ и въ ихъ исполненіи видятъ назначеніе жизни,—это чернь; другіе отъ свѣта заимствуютъ знаніе людей и жизни, тактъ дѣйствительности и способность исполнѣнъ владѣть всѣмъ, что дано имъ природой. Татьяна

принадлежала къ числу послѣднихъ, и значеніе свѣтской дамы только возвышало ея значеніе, какъ женщины. Притомъ же въ глазахъ Онѣгина любовь безъ борьбы не имѣла никакой прелести, а Татьяна не обѣщала ему легкой побѣды. И онъ бросился въ эту борьбу безъ надежды на побѣду, безъ разсчета, со всѣмъ безумствомъ искренней страсти, которая такъ и дышетъ въ каждомъ словѣ его письма. Но эта пламенная страсть не произвела на Татьяну никакого впечатлѣнія. Послѣ нѣсколькихъ посланій, встрѣтившись съ ней, Онѣгинъ не замѣтилъ ни смятенія, ни страданія, ни пятенъ слезъ на лицѣ—на немъ отражался лишь слѣдъ гнѣва... Онѣгинъ на цѣлую зиму заперся дома и принялся читать:

И что-жъ? Глаза его читали,
Но мысли были далеко;
Мечты, желанія, печали
Тѣснились въ душу глубоко.
*Онъ можетъ печатными строками
Читалъ духовными глазами
Другія строки.* Въ нихъ-то онъ
Былъ совершенно углубленъ.
То были тайныя преданья
Сердечной, темной старины,
Ни съ чѣмъ не связанныя сны,
Угрозы, толки, предсказанья,
Иль длинной сказки вадоръ живой,
Иль письма дѣвы молодой.
И постепенно въ усыпленіе
И чувствъ, и думъ впадаетъ онъ,
А передъ нимъ воображеніе
Свой пестрый мечетъ фараонъ.
То видитъ онъ: на таломъ снѣгѣ,
Какъ будто спящій на ночлегѣ,
Недвижимъ юноша лежитъ,
И слышитъ голосъ: что-жъ? убитъ!
То видитъ онъ враговъ забвенныхъ,
Клеветниковъ и трусовъ алыхъ,
И рой измѣнницъ молодыхъ,
И кругъ товарищей презрѣнныхъ;
То сельскій домъ—и у окна
Сидитъ она... и все она!...

Мы не будемъ распространяться теперь о сценѣ свиданія и объясненія Онѣгина съ Татьяной, потому что главная роль въ этой сценѣ принадлежитъ Татьянѣ, о которой намъ еще предстоитъ много говорить. Романъ оканчивается отвѣдомъ Татьяны, и читатель навсегда разстается съ Онѣгинымъ въ самую злую минуту его жизни... Что же это такое? Гдѣ же романъ? Какая его мысль? И что за романъ безъ конца? — Мы думаемъ, что есть романы, которыхъ мысль въ томъ и заключается, что въ нихъ нѣтъ конца, потому что въ самой дѣйствительности бываютъ событія безъ развязки, существованія безъ цѣли, существа неопредѣленные, никому непонятныя, даже самимъ себѣ, словомъ—то, что по-французски называется *les êtres manqués, les existences avortées*. И эти существа часто бываютъ одарены большими нравственными преимуществами, большими духовными силами;

объщаютъ много, исполняютъ мало или ничего не исполняютъ. Это зависитъ не отъ нихъ самихъ; тутъ есть *fatum*, заключающийся въ дѣйствительности, которой окружены они, какъ воздухомъ, и изъ которой не въ силахъ и не во власти человѣка освободиться. Другой поэтъ представлялъ намъ другого Онѣгина подъ именемъ Печорина; Пушкинскій Онѣгинъ съ какимъ-то самоотверженіемъ отдался зѣвотѣ; Лермонтовскій Печоринъ бьется на смерть съ жизнью и насильно хочетъ у нея вырвать свою долю; въ дорогахъ—разница, а результатъ одинъ: оба романа такъ-же безъ конца, какъ и жизнь и дѣятельность обоихъ поетовъ...

Что сталося съ Онѣгинымъ потомъ? Воскресила ли его страсть для новаго, болѣе сообразнаго съ человѣческимъ достоинствомъ страданія? Или убила она всѣ силы души его, и безотрадная тоска его обратилась въ мертвую холодную апатію?—Не знаемъ, да и на что намъ знать это, когда мы знаемъ, что силы этой богатой натуры остались безъ приложенія, жизнь безъ смысла, а романъ безъ конца? Довольно и этого знать, чтобы не захотѣть больше ничего знать...

Онѣгинъ—характеръ дѣйствительный въ томъ смыслѣ, что въ немъ нѣтъ ничего мечтательнаго, фантастическаго, что онъ могъ быть счастливымъ или несчастнымъ только въ дѣйствительности и черезъ дѣйствительность. Въ Ленскомъ Пушкинъ изобразилъ характеръ совершенно противоположный характеру Онѣгина, характеръ совершенно отвлеченный, совершенно чуждый дѣйствительности. Тогда это было совершенно новое явленіе, и люди такого рода тогда дѣйствительно начали появляться въ русскомъ обществѣ.

Съ душою прямо геттингенской,
Красавецъ въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ,
Поклонникъ Канта и поэтъ,
Онъ въ Германіи туманной
Привезъ учености плоды:
Вольнолюбивыя мечты,
Духъ пылкій и довольно странный,
Всегда восторженная рѣчь
И кудри черныя до плечъ.

Онъ пѣлъ любовь, любви послушный,
И пѣснь его была ясна,
Какъ мысли дѣвы простодушной,
Какъ сонъ младенца, какъ луна
Въ пустыняхъ неба безмятежныхъ,
Богиня тайнъ и вздоховъ нѣжныхъ.
Онъ пѣлъ *разлуку и печаль*,
И *ничто и туману даль*,
И *романтическія розы*;
Онъ пѣлъ тѣ дальнія страны,
Гдѣ долго въ лонѣ тишины
Лились его живыя слезы;
Онъ пѣлъ *поплеклы жизни цвѣтъ*
Безъ малаго въ восемнадцать лѣтъ.

Ленскій былъ романтикъ и по натурѣ, и по духу времени. Нѣтъ нужды говорить, что

это было существо доступное всему прекрасному, высокому, душа чистая и благородная. Но въ то же время «онъ сердцемъ милый былъ невѣжда», вѣчно толкуя о жизни, никогда не зналъ ея. Дѣйствительность на него не имѣла вліянія: его радости и печали были созданіемъ его фантазіи. Онъ полюбилъ Ольгу, — и что ему была за нужда, что она не понимала его, что, вышедши замужъ, она сдѣлалась бы вторымъ исправленнымъ изданіемъ своей маменьки, что ей все равно было выйти — и за поэта, товарища ея дѣтскихъ игръ, и за довольнаго собой и своей лошадей улана? — Ленскій украсилъ ее достоинствами и совершенствами, приписалъ ей чувства и мысли, которыхъ въ ней не было и о которыхъ она и не заботилась. Существо доброе, милое, веселое — Ольга была очаровательна, какъ и всѣ «барышни», пока онъ еще не сдѣлался «барынями»; а Ленскій видѣлъ въ ней фею, силфиду, романтическую мечту, ни мало не подозревая будущей барыни. Онъ написалъ «надгробный мадригалъ» старику Ларину, въ которомъ, вѣрный себѣ, безъ всякой ироніи, умѣлъ найти поэтическую сторону. Въ простомъ желаніи Онѣгина подшутить надъ нимъ онъ увидѣлъ и измѣну, и обольщеніе, и кровавую обиду. Результатомъ всего этого была его смерть, заранѣе воспѣтая имъ въ туманно-романтическихъ стихахъ. Мы насколько не оправдываемъ Онѣгина, который, какъ говорить поэтъ,

Быль долженъ оказать себя
Не мальчикомъ предрасужденій,
Не пылкимъ мальчикомъ, бойцомъ,
Но мужемъ съ честью и умомъ, —

но тиранія и деспотизмъ свѣтскихъ и житейскихъ предрасудковъ таковы, что требуютъ для борьбы съ собой героевъ. Подробности дуэли Онѣгина съ Ленскимъ — верхъ совершенства въ художественномъ отношеніи. Поэтъ любилъ этотъ идеалъ, осуществленный имъ въ Ленскомъ, и въ прекрасныхъ строфахъ оплакалъ его паденіе:

Друзья мои, вамъ жаль поэта:
Во пѣтѣ радостныхъ надеждъ,
Ихъ не свершивъ еще для свѣта,
Чуть изъ младенческихъ одеждъ,
Увяль! Гдѣ жаркое волненье,
Гдѣ благородное стремленье
И чувствъ, и мыслей молодыхъ,
Высокихъ, вѣжныхъ, удалыхъ?
Гдѣ бурныя любви желанья,
И жажда знаній и труда,
И страхъ порока и стыда,
И вы, завѣтныя мечтанья,
Вы, призракъ жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!
Быть можетъ, онъ для блага міра
Иль хоть для славы былъ рожденъ;
Его умолявшая лира
Гремучій, непрерывный звонъ
Въ вѣкахъ поднять могла. Поэта,
Быть можетъ, на ступеняхъ свѣта,
Соч. Вѣлинскаго. Т. III.

Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тѣнь,
Быть можетъ, унесла съ собою
Святую тайну, и для насъ
Погибъ животворящій глазъ,
И за могильною чертою
Къ ней не домыслится гимнъ временъ,
Благословенія племенъ.
А можетъ быть и то: поэта
Обыкновенный ждалъ удѣлъ.
Прошли бы юности лѣта:
Въ немъ пылъ души бы охладѣлъ;
Во многомъ онъ бы измѣнился,
Разстался бы съ музами, женился;
Въ деревнѣ, счастливъ и рогаъ,
Носилъ бы стеганный халатъ,
Упалъ бы жизнь на самомъ дѣлѣ,
Подагру-бъ въ сорокъ лѣтъ имѣлъ,
Пилъ, ѣлъ, скучалъ, толстѣлъ, хирѣлъ
И наконецъ въ своей постели
Сковался-бъ посреди дѣтей,
Плаксивыхъ бабъ и лекарей.

Мы убѣждены, что съ Ленскимъ случилось бы непременно послѣднее. Въ немъ было много хорошаго, но лучше всего то, что онъ былъ молодой и во-время для своей репутаціи умеръ. Это не была одна изъ тѣхъ натуръ, для которыхъ жить — значитъ развиваться и идти впередъ. Это, повторяемъ, былъ романтикъ, и больше ничего. Останься онъ живъ, Пушкину нечего было бы съ нимъ дѣлать, кромѣ какъ распространить на цѣлую главу то, что онъ такъ полно высказалъ въ одной строфѣ. Люди, подобные Ленскому, при всѣхъ ихъ неоспоримыхъ достоинствахъ, не хороши тѣмъ, что они или перерождаются въ совершенныхъ филистеровъ, или, если сохранять навсегда свой первоначальный типъ, дѣлаются этими устарѣлыми мистиками и мечтателями, которые такъ-же неприятны, какъ и старыя идеальныя дѣвы, и которые больше враги всякаго прогресса, нежели люди просто, безъ претензій, пошлые. Вѣчно копясь въ самихъ себѣ и становя себя центромъ міра, они спокойно смотрятъ на все, что дѣлается въ мірѣ, и твердятъ о томъ, что счастье внутри насъ, что должно стремиться душой въ надзвѣздную сторону мечтаній и не думать о суетахъ этой земли, гдѣ есть и голодъ, и нужда, и... Ленскіе не перевелись и теперь; они только переродились. Въ нихъ уже не осталось ничего, что такъ обаятельно прекрасно было въ Ленскомъ; въ нихъ нѣтъ дѣвственной чистоты его сердца, въ нихъ только претензіи на великость и страсть марать бумагу. Всѣ они поэты, и стихотворный балластъ въ журналахъ доставляется одними ими. Словомъ, это теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди.

Татьяна... но мы поговоримъ о ней въ слѣдующей статьѣ.

IX.

Великъ подвигъ Пушкина, что онъ первый, въ своемъ романѣ, поэтически воспроизвелъ

русское общество того времени, и въ лицѣ Онѣгина и Ленскаго показалъ его главную, т. е. мужскую, сторону; но едва ли не выше подвигъ нашего поэта въ томъ, что онъ первый поэтически воспроизвелъ, въ лицѣ Татьяны, русскую женщину. Мужчина во всѣхъ состояніяхъ, во всѣхъ слояхъ русскаго общества играетъ первую роль; но мы не скажемъ, чтобы женщина играла у насъ вторую и низшую роль, потому что она ровно никакой роли не играетъ. Исключеніе остается только за высшимъ кругомъ, по крайней мѣрѣ до известной степени. Давно бы пора намъ сознаться, что, не смотря на нашу страсть во всемъ копировать европейскіе обычаи, не смотря на наши балы съ танцами, несмотря на отчаяніе славянолюбовъ, что мы совсѣмъ переродились въ нѣмцевъ, — несмотря на все это, пора намъ наконецъ привыкаться, что еще и до сихъ поръ мы — плохіе рыцари, что наше вниманіе къ женщинамъ, наша готовность жить и умереть для нея до сихъ поръ какъ-то театральны и отываются модной свѣтской фразой, и притомъ еще не собственнаго нашего изобрѣтенія, а заимствованной. Чего добраго! теперь и «поштенное» купечество съ бородой, отъ которой попахиваетъ «маненько» капустой и лучкомъ, даже и оно, идя по улицѣ съ «хозяйкой», ведетъ ее подъ руку, а не толкаетъ въ спину колъномъ, указывая дорогу и заказывая звать по сторонамъ; но дома... Однако зачѣмъ говорить, что бываетъ дома? зачѣмъ выносить соръ изъ избы?.. Набравшись готовыхъ чужихъ фразъ, кричимъ мы и въ стихахъ, и въ прозѣ: «женщина — царица общества; ея очаровательнымъ присутствіемъ украшается общество» и т. п. Но посмотрите на наши общества (за исключеніемъ высшего свѣтскаго): вездѣ мужчины — сами по себѣ, женщины — сами по себѣ. И самый отчаянный любезникъ, сидя съ женщинами, какъ-будто жертвуетъ собой изъ вѣжливости; потомъ встаетъ и съ утомленнымъ видомъ, словно послѣ тяжелой работы, идетъ въ комнату мужчинъ, какъ бы для того, чтобы свободно вдохнуть и освѣжиться. Въ Европѣ женщина — дѣйствительно царица общества: веселъ и гордъ мужчина, съ которымъ она больше говоритъ, чѣмъ съ друзьями. У насъ наоборотъ: у насъ женщина ждетъ, какъ милости, чтобы мужчина заговорилъ съ нею; она счастлива и горда его вниманіемъ. И какъ же быть иначе, если то, что называется тономъ и любезностью, у насъ замѣнено жеманствомъ, если у насъ всѣ любятъ повѣію только въ книгахъ, а въ жизни боятся ея пуще чумы и холеры. Какъ вы подадите руку дѣвушкѣ, если она не смѣетъ опереться на нее, не испросивъ позволенія у своей маменьки? Какъ вы рѣшитесь

говорить съ ней много и часто, если знаете, что за это сочтутъ васъ влюбленнымъ въ нее или даже и огласятъ ея женихомъ? Это значило бы окомпрометтировать ее и самому попасть въ бѣду. Если васъ сочтутъ влюбленнымъ въ нее, вамъ некуда будетъ дѣваться отъ лукавыхъ и остроумныхъ намековъ и насмѣшекъ друзей вашихъ, отъ наивныхъ и добродушныхъ разспросовъ совершенно постороннихъ вамъ людей. Но еще хуже вамъ, когда заключать, что вы хотите жениться на ней: если ея родители не будутъ видѣть въ васъ выгодной партіи для своей дочери, они откажутъ вамъ отъ дома и строго запретятъ дочери быть любезной съ вами въ другихъ домахъ; если они увидятъ въ васъ выгодную партію, новая бѣда, страшнѣе прежней: раскнѣгутъ сѣти, ловушки, и вы, пожалуй, увидите себя сочетавшимся законнымъ бракомъ прежде, нежели успеете опомниться и спросить себя: да какъ же и когда же случилось все это? Если же вы человѣкъ съ характеромъ и не поддадитесь, то наживете «исторію», которую долго будете помнить. Отчего все это происходитъ? — Оттого, что у насъ не понимаютъ и не хотятъ понимать, что такое женщина, не чувствуютъ въ ней никакой потребности, не жаждутъ и не ищутъ ея, словомъ, оттого, что у насъ нѣтъ женщины. У насъ «прекрасный полъ» существуетъ только въ романахъ, повѣстяхъ, драмахъ и элегіяхъ; но въ дѣйствительности онъ раздѣляется на четыре разряда: на дѣвочекъ, на невѣстъ, на замужнихъ женщинъ и наконецъ старыхъ дѣвъ и старыхъ бабъ. Первыми, какъ дѣтьми, никто не интересуется; послѣднихъ всѣ боятся и ненавидятъ (и часто по дѣломъ); слѣдовательно нашъ прекрасный полъ состоитъ изъ двухъ отдѣловъ: изъ дѣвицъ, которыя должны выйти замужъ, и изъ женщинъ, которыя уже замужемъ. Русская дѣвушка — не женщина въ европейскомъ смыслѣ этого слова, не человѣкъ: она не что другое, какъ невѣста. Еще ребенкомъ она называется своими женихами всѣхъ мужчинъ, которыхъ видитъ въ своемъ домѣ, и часто общается выйти замужъ за своего папашу или за своего брата; еще въ колыбели ей говорили и мать и отецъ, и сестры и братья, и мамки и няньки, и весь окружающій ее людъ, что она — невѣста, что у ней должны быть женихи. Едва исполнится ей двѣнадцать лѣтъ, и мать упрекая ее въ лѣности, въ неумѣніи держаться и тому подобныхъ недостаткахъ, говоритъ ей: «не стыдно ли вамъ, сударыня: идѣ вы уже невѣста!». Удивительно ли послѣ этого, что она не умѣетъ, не можетъ смотрѣть на себя какъ на женственное существо, какъ на человѣка, и видитъ въ себѣ только невѣсту? Удивительно ли, что съ раннихъ лѣтъ до поздней моло-

дости, иногда даже и до глубокой старости все думы, все мечты, все стремления, все молитвы ее сосредоточены на одной *idée fixe*: на замужествѣ, — что выйти замужъ — ее единственное, страстное желаніе, цѣль и смыслъ ее существованія, что вне этого она ничего не понимаетъ, ни о чемъ не думаетъ, ничего не желаетъ, и что на всякаго неженатаго мужчину она смотритъ опять не какъ на человѣка, а только какъ на жениха? И виновата ли она въ этомъ? — Съ восемнадцати лѣтъ она начинаетъ уже чувствовать, что она — не дочь своихъ родителей, не любимое дитя ихъ сердца, не радость и счастье своей семьи, не украшеніе своего родного крова, а тягостное бремя, готовый залежаться товаръ, лишняя мебель, которая, того и гляди, спадетъ съ цѣны и не сойдетъ съ рукъ. Что же остается ей дѣлать, если не сосредоточить всехъ своихъ способностей на искусствѣ ловить жениховъ? И тѣмъ болѣе, что только въ одномъ этомъ отношеніи и развиваются ее способности, благодаря урокамъ «дражайшихъ родителей», малыхъ тетушекъ, кузинъ и т. д. За что больше всего упрекаетъ и бранитъ свою дочь попечительная маменька? — За то, что она не умѣетъ ловко держаться, строить глазки и гримаски хорошимъ женихамъ, или за то, что расточаетъ свою любезность передъ людьми, которые не могутъ быть для нея выгодной партией. Чему она больше всего учитъ ее? — кокетничать по расчету, притворяться ангеломъ, прятать подъ мягкой, лоснящейся шерстью кошачьи лапки, кошачьи когти. И какова бы ни была по своей натурѣ бѣдная дочь, — она невольно входитъ въ роль, которую дала ей жизнь и въ тайнство которой ее такъ прилежно, такъ основательно посвящаютъ. Дома ходитъ она неряхой, съ непричесанной головой, въ запачканномъ, узенькомъ и короткомъ платьишкѣ линючаго ситца, въ стоптанныхъ башмакахъ, въ грязныхъ, спустившихся чулкахъ: въ деревнѣ вѣдь кто же насъ увидитъ, кромѣ дворянъ, — а для нея стоитъ ли рядиться? Но лишь вдоль дороги завидѣлся экипажъ, общающій неожиданныхъ гостей, — наипа неврѣста подымаетъ руки и долго держитъ ихъ надъ головой, крича въ попыхахъ: «гости ѣдутъ, гости ѣдутъ!» Отъ этого руки изъ красныхъ дѣлаются бѣлыми: «затѣя сельской остроты!». Затѣмъ весь домъ въ смятеніи: маменька и дочь умываются, причесываются, обуваются и на грязное бѣлье надѣваютъ шерстяныя или шелковыя платья, пять лѣтъ назадъ тому сшитыя. О чистотѣ бѣлья заботиться смѣшно: вѣдь бѣлье подъ платьемъ, и его никто не видитъ, а рядиться — извѣстное дѣло — надо для другихъ, а не для себя. Но вотъ, рано или поздно, наконецъ тайныя стремленія и жаркіе обѣты готовы свершиться:

кандидатъ-неврѣста — уже дѣйствительная неврѣста и рядится только для жениха. Она давно его знала, но влюбилась въ него только съ той минуты, какъ поняла, что онъ имѣетъ на нее виды. И ей кажется, что она дѣйствительно влюблена въ него. Болѣзненное стремленіе къ замужеству и радость достиженія способны въ одну минуту возбудить любовь въ сердцѣ, которое такъ давно уже раздражено тайными и явными мечтами о бракѣ. Притомъ же, когда дѣло къ спѣху и торопять, то поневолѣ влюбитеcь сразу, не имѣя времени спросить себя, точно ли вы любите, или вамъ только кажется, что любите... Но «дражайшіе родители» учили свою дочь только искусству во что бы ни стало выйти замужъ; подготовить же ее къ состоянію замужества, объяснить ей обязанности жены, матери, сдѣлать ее способной къ выполнению этой обязанности, — они не подумали. И хорошо сдѣлали: нѣтъ ничего бесполезнѣе и даже вреднѣе, какъ наставленія, хотя бы и самыя лучшія, если они не подкрѣпляются примѣрами, не оправдываются въ глазахъ ученика всей совокупностью окружающей его дѣйствительности. «Я вамъ примѣръ, сударыня!» — безпрестанно повторяетъ диктаторскимъ тономъ мать своей дочери. И дочь преспокойно копируетъ свою мать, готова въ своей особѣ свѣту и будущему мужу второй экземпляръ своей маменьки. Если ее мужъ — человѣкъ богатый, онъ будетъ доволенъ своей женой: домъ у нихъ какъ полная чаша, всего много, хотя все безвкусно, нелѣпо, грязно, пыльно, въ безпорядкѣ, вычищается только передъ большими праздниками (и тогда въ домѣ подымается возня, дѣлается вавилонское столпотвореніе въ лицахъ); дворянскія огромная, слугъ бездна, а не у кого допроситься стакана воды, не кому подать вамъ чашку чаю... А недавняя неврѣста, теперь молодая дама? — О, она живетъ въ «полномъ удовольствіи!», она наконецъ достигла цѣли своей жизни, — она уже не сирота, не приемышъ, не лишнее бремя въ родительскомъ домѣ; она хозяйка у себя дома, сама себѣ госпожа, пользуется полной свободой, ѣздитъ, куда и когда хочетъ, принимаетъ у себя, кого ей угодно; ей уже не нужно болѣе притворяться то невинной овечкой, то кроткимъ ангеломъ; она можетъ капризничать, падать въ обморокъ, повелѣвать, мучить мужа, дѣтей, слугъ. У ней бездна затѣй: карета — не карета, шаль — не шаль, дорогихъ игрушекъ вдоволь; она живетъ барыней-аристократкой, никому не уступаетъ, но всехъ превосходитъ, и мужъ ее едва успѣваетъ закладывать и перезакладывать имѣніе... Дитя новаго поколѣнія, она убрада по возможности пышно, хотя и безвкусно, залу и гостиную, кое-какъ наблюдаетъ въ нихъ

даже какую-то полу-чистоту, полу-опрятность: вѣдь это комнаты для гостей, комнаты парадныя, комнаты на-показъ; полное торжество грязи можетъ быть только въ спальной и дѣтской, въ кабинетѣ мужа, — словомъ, во внутреннихъ комнатахъ, куда гости не ходятъ. А у ней безпрестанно гости, волея не безпрестанно кружокъ; но она плѣняетъ гостей своихъ не свѣтскимъ умомъ, не граціей своихъ манеръ, не очарованіемъ своего увлекательнаго разговора, — нѣтъ, она только старается показать имъ, что у нея всего много, что она богата, что у ней все лучшее — и убранство комнатъ, и угощение, и гости, и лошади, что она не кто-нибудь, что такихъ, какъ она, не много... Содержаніе разговоровъ составляютъ сплетни и наряды, наряды и сплетни. Богъ благословилъ ея замужество — что ни годъ, то ребенокъ. Какъ же она будетъ воспитывать дѣтей своихъ? — Да точно такъ же, какъ сама была воспитана своей маменькой: пока малы, они прозябаютъ въ дѣтской, среди мамокъ и нянекъ, среди горничныхъ, на лонѣ холопства, которое должно внушить имъ первыя правила нравственности, развить въ нихъ благородныя инстинкты, объяснить имъ различіе домового отъ лѣшаго, вѣдмы отъ русалки, растолковать разные примѣты, рассказать всевозможныя исторіи о мертвецахъ и оборотняхъ, внушить ихъ браниться и драться, лгать не краснѣя, приучить безпрестанно ѣсть, никогда не наѣдаясь. И милыя дѣти очень довольны сферой, въ которой живутъ: у нихъ есть фавориты между прислугой, и есть нелюбимые; они живутъ дружно съ первыми, ругаютъ и колотятъ послѣднихъ. Но вотъ они подросли: тогда отецъ дѣлай что хочешь съ мальчиками, а дѣвочекъ поучать прыгать и шнуроваться, немножко бренчать на фортепьяно, немножко болтать по-французски — и воспитаніе кончено; тогда имъ одна наука, одна забота — ловить жениховъ.

Но если наша невѣста выйдетъ за человека небогатаго, хотя и не бѣднаго, но живущаго немного выше своего состоянія, посредствомъ умѣннаго строгимаго порядкомъ сводить концы съ концами: тогда горе ей мужу! Она въ своей деревнѣ никогда ничего не дѣлала (потому что барышня вѣдь не холопка какая нибудь, чтобъ стала что-нибудь дѣлать), ничѣмъ не занималась, не знаетъ хозяйства, а что такое порядокъ, чистота, опрятность въ домѣ, — этого она нигдѣ не видала, объ этомъ она ни отъ кого не слыхала. Для нея выйти замужъ — значитъ сдѣлаться барыней; стать хозяйкой — значитъ повелѣвать всѣми въ домѣ и быть полною госпожей своихъ поступковъ. Ея дѣло — не сберегать, не выгадывать, а покупать и тратить, наряжаться и франтить.

И неужели вы обвините ее во всемъ этомъ? Какое имѣете вы право требовать отъ нея, чтобъ она была не тѣмъ, чѣмъ сами же вы ее сдѣлали? Можете ли вы обвинять даже ея родителей? Развѣ не вы сами сдѣлали изъ женщины только невѣсту и жену, и ничего болѣе? Развѣ когда-нибудь подходили вы къ ней безкорыстно, просто, безъ всякихъ видовъ, для того только, чтобъ насладиться этимъ ароматомъ, этой гармоніей женственнаго существа, этимъ поэтическимъ очарованіемъ присутствія и общества женщины, которыя такъ кротко, успокоительно и обаятельно дѣйствуютъ на жесткую натуру мужчины? Желали-ль вы когда нибудь имѣть друга въ женщинѣ, въ которую вы совсѣмъ не влюблены, сестру въ женщинѣ вамъ посторонней? — Нѣтъ! если вы входите въ женскій кругъ, то не иначе, какъ для выполненія обычной, приличія, обряда; если танцуете съ женщиной, то потому только, что мужчинамъ танцовать съ мужчинами не принято. Если вы обращаете на одну женщину исключительное свое вниманіе, то всегда съ положительными видами — ради женитьбы или волокитства. Вашъ взглядъ на женщину чисто-утилитарный, почти коммерческій: она для васъ — капиталъ съ процентами, деревня, домъ съ доходомъ; если не это, такъ кухарка, прачка, ключница, нянька, много, много, если одалиска...

Конечно изъ всего этого бываютъ исключенія; но общество состоитъ изъ общихъ правилъ, а не изъ исключеній, которыя всего чаще бываютъ болѣзненными наростами на тѣлѣ общества. Эту грустную истину всего лучше подтверждаютъ собой наши такъ называемыя «идеальныя дѣвы». Онѣ обыкновенно страстныя любительницы чтенія, и читаютъ много и скоро, ѣдятъ книги. Но какъ и что читаютъ онѣ, Боже великій!.. Всего достолюбезнѣе въ идеальныхъ дѣвахъ увѣренность ихъ, что онѣ понимаютъ то, что читаютъ, и что чтеніе приноситъ имъ большую пользу. Всѣ онѣ обожательницы Пушкина, — что однакожъ не мѣшаетъ имъ отдавать должную справедливость и таланту Бенедиктова; инныя изъ нихъ съ удовольствіемъ читаютъ даже Гоголя, — что однакожъ нисколько не мѣшаетъ имъ восхищаться повѣстями Марлинскаго и Полевого. Все, что въ ходу, о чемъ пишутъ и говорятъ въ настоящее время, все это сводить ихъ съ ума. Но во всемъ этомъ онѣ видятъ свою любимую мысль, оправданіе своей настроенности, т. е. идеальности, — видятъ ее даже и тамъ, гдѣ ея вовсе нѣтъ или гдѣ она осмѣивается. У всѣхъ уѣдскихъ тетрадки, куда он списываютъ стишки, которые имъ понравятся, мысли, которыя поразятъ ихъ въ книгѣ. Онѣ любятъ

гулять при лунѣ, смотрѣть на звѣзды, слѣдить за теченіемъ ручейка. Онѣ очень наклонны къ дружбѣ, и каждая ведетъ дѣятельную переписку съ своей пріятельницей, которая живетъ съ ней въ одной деревнѣ, а иногда и въ одномъ домѣ, только въ разныхъ комнатахъ. Въ перепискѣ (огромными тетрадищами) сообщаютъ онѣ другъ другу свои чувства, мысли, впечатлѣнія. Сверхъ того каждая изъ нихъ ведетъ свой дневникъ, весь наполненный «выписными чувствами», въ которыхъ (какъ во всѣхъ дневникахъ идеальныхъ и внутреннихъ натуръ мужска и женска пола) нѣтъ ничего живого, истиннаго, только претензіи и идеализмъ. Онѣ презираютъ толпу и землю, питаютъ непримиримую ненависть ко всему матеріальному. Эта ненависть у нихъ часто простирается до желанія вовсе отрѣшиться отъ матеріи. Для этого онѣ морятъ себя голодомъ, не ѣдятъ иногда по цѣлой недѣлѣ, жгутъ на свѣчкѣ пальцы, кладутъ себѣ на грудь подъ платье снѣгу, пьютъ уксусъ и чернила, отучаютъ себя отъ сна, — и этимъ стремленіемъ къ высшему, идеальному существованію до того успѣваютъ разстроить свои нервы, что скоро превращаются въ одну живую и самую матеріальную болячку... Вѣдь крайности сходятся! Всѣ простыя человѣческія и особенно женскія чувства, какъ напр. страстность, способная къ увлеченію чувствъ, любовь материнская, склонность къ мужчине, въ которомъ нѣтъ ничего необыкновеннаго, гениальнаго, который не гонимъ несчастіемъ, не страдаетъ, не боленъ, не бѣденъ, — всѣ такія простыя чувства кажутся имъ пошлыми, ничтожными, смѣшными и презрѣнными. Особенно интересны понятія «идеальныхъ дѣвъ» о любви. Всѣ онѣ — жрицы любви, думаютъ, мечтаютъ, говорятъ и пишутъ только о любви. Но онѣ признаютъ только любовь чистую, неземную, идеальную, платоническую. Бракъ есть профанация любви въ ихъ глазахъ; счастье — опошленіе любви. Имъ непременно надо любить въ разлукѣ, и ихъ высочайшее блаженство — мечтать при лунѣ о предметѣ своей любви и думать: «можетъ быть въ эту минуту и онъ смотритъ на луну и мечтаетъ обо мнѣ; такъ для любви нѣтъ разлуки!» Жалкія рыбы съ холодной кровью, идеальныя дѣвы считаютъ себя птицами; плавая въ мутной водѣ искусственной нервической экзальтацией, онѣ думаютъ, что парятъ въ облакахъ высокихъ чувствъ и мыслей. Имъ чуждо все простое, истинное, задушевное, страстное; думая любить все «высокое и прекрасное», онѣ любятъ только себя; онѣ и не подозреваютъ, что только тѣшатъ свое мелкое самолюбіе трескучими шутихами фантазій, думая быть жрицами

любви и самоотверженія. Многія изъ нихъ не прочь бы и отъ замужества, и при первой возможности вдругъ измѣняютъ свои убѣжденія, и изъ идеальныхъ дѣвъ скоро дѣлаются самыми простыми бабами; но въ иныхъ способность обманывать себя призраками фантазій доходитъ до того, что онѣ на всю жизнь остаются восторженными дѣвственницами, и такимъ образомъ до семидесяти лѣтъ сохраняютъ способность къ сантиментальной экзальтацией, къ нервическому идеализму. Самыя лучшія изъ этого рода женщинъ рано или поздно образумиваются; но прежнее ихъ ложное направленіе навсегда дѣлается чернымъ демономъ ихъ жизни и, подобно остаткамъ дурно-злѣченной болѣзни, отравляетъ ихъ спокойствіе и счастье. Ужаснѣе всѣхъ другихъ тѣ изъ идеальныхъ дѣвъ, которыя не только не чуждаются брака, но въ бракѣ съ предметомъ любви своей видятъ высшее земное блаженство: при ограниченности ума, при отсутствіи всякаго нравственнаго развитія и при испорченности фантазій, онѣ создаютъ свой идеалъ брачнаго счастья, — и когда увидятъ невозможность осуществленія ихъ нелѣпаго идеала, то вымѣщаютъ на мужьяхъ горечь своего разочарованія.

Идеальными дѣвами всѣхъ родовъ бываютъ по большей части дѣвицы, которыхъ развитіе было предоставлено имъ же самимъ. И какъ винить ихъ въ томъ, что, вмѣсто живыхъ существъ, изъ нихъ выходятъ нравственные уроды? Окружающая ихъ положительная дѣйствительность въ самомъ дѣлѣ очень пошла, и ими невольно овладѣваетъ неотразимое убѣжденіе, что хорошо только то, что не похоже, что диаметрально противоположно этой дѣйствительности. А между тѣмъ самобытное, не на почвѣ дѣйствительности, не въ сферѣ общества совершающееся развитіе всегда доводитъ до уродства. И такимъ образомъ имъ предстоятъ двѣ крайности: или быть пошлыми на общій манеръ, быть пошлыми какъ всѣ, или быть пошлыми оригинально. Онѣ избираютъ послѣднее, но думаютъ, что съ земли перепрыгнули за облака, тогда какъ въ самомъ-то дѣлѣ только перевалились изъ положительной пошлости въ мечтательную пошлость. И что всего грустнѣе: между подобными несчастными созданіями бываютъ натуры, не лишеныя истинной потребности болѣе или менѣе человѣчески-разумнаго существованія и достойныя лучшей участи.

Но среди этого міра нравственно-увѣчныхъ явленій изрѣдка удаются истинно-колоссальныя исключенія, которыя всегда дорого платятся за свою исключительность и дѣлаются жертвами собственнаго своего превосходства. Натуры гениальныя, не подозревающія сво-

ей гениальности, онъ безжалостно убиваются
безсознательнымъ обществомъ, какъ очистительная жертва за его собственные грѣхи...
Такова Татьяна Пушкина. Вы коротко знакомы съ почтеннымъ семействомъ Лариныхъ. Отецъ—не то, чтобъ ужъ очень глупъ, да и не совсѣмъ уменъ; не то, чтобъ человѣкъ, да и не вѣдь, а что-то вродѣ подица, принадлежащаго въ одно и то же время двумъ царствамъ природы—растительному и животному.

Онъ былъ простой и добрый баринъ,
И тамъ, гдѣ прахъ его лежитъ,
Надгробный памятникъ гласитъ;
*Смиранный грѣшникъ Дмитрій Ларинъ,
Господній рабъ и бригадиръ,
Подъ камнемъ силъ вкушаетъ миръ.*

Этотъ миръ, вкушаемый подъ камнемъ, былъ продолженіемъ того же самого мира, которымъ «добрый баринъ» наслаждался при жизни подъ татарскимъ халатомъ. Бываютъ на свѣтѣ такіе люди, въ жизни и счастья которыхъ смерть не производитъ ровно никакой перемѣны. Отецъ Татьяны принадлежалъ къ числу такихъ счастливицевъ. Но маменька ея стояла на высшей ступени жизни сравнительно съ своимъ супругомъ. До замужества она обожала Ричардсона, не потому, чтобъ прочла его, а потому, что отъ своей московской кузины слышалась о Грандисонѣ. Помолвленная за Ларина, она втайнѣ вздыхала о другомъ. Но ее повезли къ вѣнцу, не спросившись ея совѣта. Въ деревнѣ мужа она сперва терзалась и рвалась, а потомъ привыкла къ своему положенію и даже стала имъ довольна, особенно съ тѣхъ поръ, какъ постигла тайну самовластно управлять мужемъ.

Она ѣздила по работамъ,
Собила на зиму грибы,
Вела расходы, брала лбы,
Ходила въ баню по субботамъ,
Служанокъ била осердясь,
Все это мужа не спросясь.
Бывало писывала кровью
Она въ альбомы нѣжныхъ дѣвъ,
Звала Полиною Прасковью
И говорила нараспѣвъ;
Корсетъ носила очень узкій,
И русскій Н, какъ N французскій,
Произносить умѣла въ нощь.
Но скоро все перевелось:
Корсетъ, альбомъ, княжну Полину,
Стишковъ чувствительныхъ тетрадь
Она забыла; стала звать
Акуликой прежнюю Селину
И обновила наконецъ
На ватѣ плафоръ и чепецъ.

Словомъ, Ларины жили чудесно, какъ живутъ на этомъ свѣтѣ цѣлые миллионы людей. Однообразіе семейной ихъ жизни нарушалось гостями:

Подъ вечеръ иногда сходилась
Сосѣдей добрая семья,

Неперемонные друзья,
И потужить, и позлословить,
И посмѣяться кой о чемъ.

Ихъ разговоръ благоразумной
О сѣнокошѣ, о винѣ,
О псарнѣ, о своей роднѣ
Конечно не блисталъ ни чувствомъ,
Ни поэтическимъ огнемъ,
Ни остроуміемъ, ни умомъ,
Ни общежитіемъ искусствомъ,
Но разговоръ ихъ милыхъ женъ
Еще былъ менѣе ученъ.

И вотъ кругъ людей, среди которыхъ родилась и выросла Татьяна! Правда, тутъ были два существа, рѣзко отдѣлявшіеся отъ этого круга—сестра Татьяны, Ольга, и женихъ послѣдней, Ленскій. Но и не этимъ существамъ было понять Татьяну. Она любила ихъ просто, сама не зная за что, частью по привычкѣ, частью потому, что они еще не были пошлы; но она не открывала имъ внутренняго міра души своей; какое-то темное, инстинктивное чувство говорило ей, что они—люди другого міра, что они не поймутъ ея. И дѣйствительно, поэтическій Ленскій далеко не подозрѣвалъ, что такое Татьяна: такая женщина была не по его восторженной натурѣ и могла ему казаться скорѣе странной и холодной, нежели поэтической. Ольга еще менѣе Ленскаго могла понять Татьяну. Ольга—существо простое, непосредственное, которое никогда ни о чемъ не разсуждало, ни о чемъ не спрашивало, которому все было ясно и понятно по привычкѣ, и которое все зависѣло отъ привычки. Она очень плакала о смерти Ленскаго, но скоро утѣшилась, вышла за улана и изъ граціозной и милой дѣвочки сдѣлалась дюжиной барыней, повторивъ собою свою маменьку, съ небольшими измѣненіями, которыхъ требовало время. Но совсѣмъ не такъ легко опредѣлить характеръ Татьяны. Натура Татьяны не многосложна, но глубока и сильна. Въ Татьянѣ нѣтъ этихъ болѣзненныхъ противорѣчій, которыми страдаютъ слишкомъ сложныя натуры; Татьяна создана какъ-будто вся изъ одного цѣльнаго куска, безъ всякихъ придѣлокъ и примѣсей. Вся жизнь ея проникнута той цѣлостностью, тѣмъ единствомъ, которое въ мірѣ искусства составляетъ высочайшее достоинство художественнаго произведенія. Страстно влюбленная, простая деревенская дѣвушка, потомъ свѣтская дама,—Татьяна во всѣхъ положеніяхъ своей жизни всегда одна и та же; портретъ ея въ дѣтствѣ, такъ мастерски написанный повтомъ, впоследствии является только развившимся, но неизмѣнившимся.

Дика, печальна, молчалива,
Какъ лань лѣсная боязлива,
Она въ семьѣ своей родной
Кавалась дѣвочкой чужой.
Она ласкаться не умѣла
Къ отцу, ни къ матери своей;

Дѣтя сама, въ толпѣ дѣтей
Играть и прыгать не хотѣла,
И часто цѣлый день одна
Сидѣла молча у окна.

Задумчивость была ея подругой съ колыбельныхъ дней, украшая однообразие ея жизни; пальцы Татьяны не знали иглы, и даже ребенкомъ она не любила куколъ, и ей чужды были дѣтскія шалости; ей былъ скученъ и шумъ, и звонкій смѣхъ дѣтскихъ игръ; ей больше нравились страшные разсказы въ зимній вечеръ. И потому она скоро пристрастилась къ романамъ, и романы поглотили всю жизнь ея.

Она любила на балконѣ
Предупреждать зари восходъ,
Когда на блѣдномъ небосклонѣ
Звѣздъ исчезаетъ хороводъ,
И тихо край земли свѣтлѣетъ,
И, вѣстникъ утра, вѣтеръ вѣетъ,
И всходитъ постепенно день
Зимой, когда ночная тѣнь
Полюсомъ догъ обладаетъ,
И догъ въ правдой тишинѣ,
При отуманенной лунѣ,
Востокъ лѣнивый почиваетъ,
Въ привычный часъ пробуждена
Вставала при свѣтахъ она!

Итакъ, лѣтнія ночи посвящались мечтательности, зимнія — чтенію романовъ, — и это среди міра, имѣвшаго благоразумную привычку громко храпѣть въ это время! Какое противорѣчіе между Татьяной и окружающимъ ее міромъ! Татьяна — это рѣдкій, прекрасный цвѣтокъ, случайно выросшій въ расщелинѣ дикой скалы,

Незнаемый въ травѣ глухой
Ни мотыльками, ни пчелой.

Эти два стиха, сказанные Пушкиннымъ объ Ольгѣ, гораздо больше идутъ къ Татьянѣ. Какіе мотыльки, какія пчелы могли знать этотъ цвѣтокъ или плѣняться имъ? Развѣ безобразные слѣпины, оводы и жуки, вроде Пыхтина, Буянова, Пѣтушкова и тому подобныхъ? Да, такая женщина, какъ Татьяна, можетъ плѣнять только людей, стоящихъ на двухъ крайнихъ ступеняхъ нравственнаго міра, или такихъ, которые были бы въ уровеньъ съ ея натурой, и которыхъ такъ мало на свѣтѣ, или людей совершенно пошлыхъ, которыхъ такъ много на свѣтѣ. Этимъ послѣднимъ Татьяна могла нравиться лицомъ, деревенской свѣжестью и здоровьемъ, даже дикостью своего характера, въ которой они могли видѣть кротость, послушливость и безотвѣтность въ отношеніи къ будущему мужу, — качества, драгоценныя для ихъ грубой животности, не говоря уже о разсчетахъ на приданое, на родство и т. п. Стоящіе же въ срединѣ между этими двумя разрядами людей всего менѣе могли оцѣнить Татьяну. Надобно сказать, что всѣ это срединныя существа, занимающія мѣсто между высшими натура-

ми и черныя человечества, эти таланты, служащіе связью гениальности съ толпой, по большей части — все люди «идеальные», подбѣстать идеальнымъ дѣлаемъ, о которыхъ мы говорили выше. Эти идеалисты думаютъ о себѣ, что они исполнены страстей, чувствъ, высокихъ стремленій, но въ сущности все дѣло заключается въ томъ, что у нихъ фантазія развита насчетъ всѣхъ другихъ способностей, преимущественно разсудка. Въ нихъ есть чувство; но еще больше сентиментальности, и еще больше охоты и способности наблюдать свои ощущенія и вѣчно толковать о нихъ. Въ нихъ есть и умъ, но не свой, а вычитанный, книжный, и потому въ нихъ умъ часто бываетъ много блеска, но никогда не бываетъ дѣльности. Главное же, что всего хуже въ нихъ, что составляетъ ихъ самую слабую сторону, ихъ ахиллесовскую пятку, — это то, что въ нихъ нѣтъ страстей, за исключеніемъ только самолюбія, и то мелкаго, которое ограничивается въ нихъ тѣмъ, что они бездѣлательно и бесплодно погружены въ совершаніе своихъ внутреннихъ достоинствъ. Натуры теплыя, но такъ же не холодныя, какъ и не горячія, они дѣйствительно обладаютъ жалкой способностью вспыхивать на минуту отъ всего и ни отъ чего. Поэтому они только и толкуютъ, что о своихъ пламенныхъ чувствахъ, объ огнѣ, пожирающемъ ихъ душу, о страстяхъ, обуревающихъ ихъ сердце, не подозревая, что все это дѣйствительно буря, но только не на морѣ, а въ стаканѣ воды. И нѣтъ людей, которые бы менѣе ихъ способны были оцѣнить истинное чувство, понять истинную страсть, разгадать человека, глубоко чувствующаго, неподдѣльно откровеннаго. Такие люди не поняли бы Татьяны: они рѣшили бы всѣ въ голосъ, что если она не дура пошлая, то очень странное существо, и что во всякомъ случаѣ она холодна, какъ ледъ, лишена чувства и неспособна къ страсти. И какъ же иначе? Татьяна молчалива, дика, ничѣмъ не увлекается, ничему не радуется, ни отъ чего не приходитъ въ восторгъ, ко всему равнодушна, ни къ кому не ласкается, ни съ кѣмъ не дружится, никого не любитъ, не чувствуетъ потребности пералить въ другого свою душу, тайны своего сердца, а главное — не говоритъ ни о чувствахъ вообще, ни о своихъ собственныхъ въ особенности?.. Если вы сосредоточены въ себѣ и на вашемъ лицѣ нельзя прочесть внутренняго пожирающаго васъ огня, — мелкие люди, столь богатые прекрасными мелкими чувствами, тотчасъ объявятъ васъ существомъ холоднымъ, эгоистомъ, отнимутъ у васъ сердце и оставятъ при васъ одинъ умъ, особенно, если вы имѣете склонность пронизировать надъ собственнымъ чувствомъ, хотя бы то было изъ цѣломудреннаго жела-

нѣя замаскировать его, не любя имъ ни играть, ни щеголять...

Повторяемъ: Татьяна—существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для нея могла быть или величайшимъ блаженствомъ, или величайшимъ бѣдствіемъ жизни, безъ всякой примирительной середины. При счастьи взаимности, любовь такой женщины—ровное, свѣтлое пламя; въ противномъ случаѣ,—упорное пламя, которому сила воли можетъ быть не позволить прорваться наружу, но которое тѣмъ разрушительнѣе и жгучѣе, чѣмъ больше оно сдавлено внутри. Счастливая жена, Татьяна спокойно, но тѣмъ не менѣе страстно и глубоко любила бы свсего мужа, вполне пожертвовала бы собою дѣтямъ, вся отдалась бы своимъ материнскимъ обязанностямъ, но не по разсудку, а опять по страсти, и въ этой жертвѣ, въ строгомъ выполненіи своихъ обязанностей нашла бы свое величайшее наслажденіе, свое верховное блаженство. И все это безъ фразъ, безъ разсужденій, съ этимъ спокойствіемъ, съ этимъ внѣшнимъ безстрастіемъ, съ этой наружной холодною, которая составляють достоинство и величіе глубокихъ и сильныхъ натуръ. Такова Татьяна. Но это только главныя и, такъ сказать, общія черты ея личности: взглянемъ на форму, въ которую вылилась эта личность, посмотримъ на тѣ особенности, которыя составляютъ ея характеръ.

Создаетъ человѣка природа, но развиваетъ и образуетъ его общество. Никакія обстоятельства жизни не спасутъ и не защитятъ человѣка отъ вліянія общества, нигдѣ не скрывается, никуда не уйти ему отъ него. Самое усиліе развиться самостоятельно, внѣ вліянія общества, сообщаетъ человѣку какую-то странность, придаетъ ему что-то уродливое, въ чемъ опять видна печать общества же. Вотъ почему у насъ люди съ дарованіями и хорошими природными расположеніями часто бываютъ самыми несносными людьми, и вотъ почему у насъ только гениальность спасаетъ человѣка отъ пошлости. По этому же самому у насъ такъ мало истинныхъ и такъ много книжныхъ, вычитанныхъ чувствъ, страстей и стремленій, словомъ, — такъ мало истины и жизни въ чувствахъ, страстяхъ и стремленіяхъ и такъ много фразерства во всемъ этомъ. Повсюду распространяющееся чтеніе приноситъ намъ величайшую пользу: въ немъ наше спасеніе и участь нашей будущности; но въ немъ же съ другой стороны и много вреда, такъ же какъ и много пользы для настоящаго. Объяснимся. Наше общество, состоящее изъ образованныхъ сословій, есть плодъ реформы. Оно помнитъ день своего рожденія, потому что оно существовало официально прежде, нежели стало существо-

вать дѣйствительно; потому что наконецъ это общество долго составляло не духъ, а покрой платья, не образованность, а привилегія. Оно началось такъ же, какъ и наша литература: копированіемъ иностранныхъ формъ безъ всякаго содержанія, своего или чужого, потому что отъ своего мы отказались, а чужого не только принять, но и понять не были въ состояніи. Были у французовъ трагедіи: давай и мы писать трагедіи, и Сумароковъ въ одномъ лицѣ своимъ соимѣстилъ и Корнеля, и Расина, и Вольтера. Былъ у французовъ знаменитый баснописецъ Лафонтенъ, и опять тотъ же Сумароковъ, по словамъ его современниковъ, своими притчами далеко обогналъ Лафонтена. Такимъ же точно образомъ въ самое короткое время обзавелись мы своими доморощенными Пиндарами, Горациями, Анакреонами, Гомерами, Вергиліями и т. п. Иностранныя произведенія всѣ наполнены были любовными чувствами, любовными приключеніями: и мы давай тѣмъ же наполнять наши сочиненія. Но тамъ поэзія книги была отраженіемъ поэзіи жизни, любовь стихотворная была выраженіемъ любви, составлявшей жизнь и поэзію общества: у насъ любовь вошла только въ книгу, да въ ней и осталась. Это болѣе или менѣе продолжается и теперь. Мы любимъ читать страстные стихи, романы, повѣсти, и теперь подобное чтеніе не считается предосудительнымъ даже для дѣвушекъ. Иныя изъ нихъ даже сами кропаютъ стишки, и иногда недурные. Итакъ, говорить о любви, читать и писать о ней у насъ любятъ многіе; но любить... Это дѣло другого рода! Оно конечно, если съ позволенія родителей, если страсть можетъ увѣнчаться законнымъ бракомъ, то почему же и не любить! Многіе не только не считаютъ этого излишнимъ, но даже считаютъ необходимымъ, и, женись на приданомъ, толкуютъ о любви... Но любить потому только, что сердце жаждетъ любви, любить безъ надежды на бракъ, всѣмъ жертвовать увлекающему пламени страсти — помните, какъ можно! Вѣдь это значитъ сдѣлать «исторію», произвести скандалъ, стать сказкой общества, предметомъ оскорбительнаго вниманія, осужденія, презрѣнія; сверхъ того приличіе, правила нравственности, общественная мораль... А! такъ вы люди сколько осторожны и благоразумно предусмотрительные, столько и нравственные! Это хорошо; но зачѣмъ же вы противорѣчите себѣ своей охотою къ стихамъ и романамъ, своей страстью къ патетической драмѣ?—Но то поэзія, а то жизнь; зачѣмъ мѣшать ихъ между собою, пусть каждая идетъ своей дорогой: пусть жизнь дремлетъ въ апатіи, а поэзія снабжаетъ ее занимательными снами.—Вотъ это другое дѣло!..

Но худо то, что изъ этого другого дѣла необходимо родится третье, довольно уродливое. Когда между жизнью и поэзіей нѣтъ естественной, живой связи, тогда изъ ихъ враждебно отдѣльнаго существованія образуется поддѣльно-поэтическая и въ высшей степени болѣзненная, уродливая дѣйствительность. Одна часть общества, вѣрная своей родной апатіи, спокойно дремлетъ въ грязи грубо-матеріальнаго существованія; зато другая, пока еще меньшая числительно, но уже довольно значительная, изъ всѣхъ силъ хлопочетъ устроить себѣ поэтическое существованіе, сочетать поэзію съ жизнью. Это у нихъ дѣлается очень просто и очень невнятно. Не видя никакой поэзіи въ обществѣ, они берутъ ее изъ книгъ и по ней соображаютъ свою жизнь. Поэзія говоритъ, что любовь есть душа жизни: и такъ, — надо любить! Саллогизмъ вѣренъ, само сердце за него вмѣстѣ съ умомъ! И вотъ нашъ идеальный юноша или наша идеальная дѣвушка ищетъ, въ кого бы влюбиться. По долгому соображенію, въ какихъ глазахъ больше поэзіи, — въ голубыхъ или черныхъ, предметъ наконецъ избранъ. Начинается комедія — и пошла потѣха! въ этой комедіи есть все: и вздохи, и слезы, и мечты, и прогулки при лунѣ, и отчаяніе, и ревность, и блаженство, и объясненіе, — все, кромѣ истинны чувства... Удивительно ли, что послѣдній актъ этой шутовской комедіи всегда оканчивается разочарованіемъ, и въ чемъ же? — въ собственномъ своемъ чувствѣ, въ своей способности любить?... А между тѣмъ подобное книжное направленіе очень естественно: не книга ли заставила добраго, благороднаго и умнаго помѣщика Манческаго слѣлаться рыцаремъ донъ-Кихотомъ, надѣтъ бумажную кольчугу, взобраться на тощаго Россинанта и пуститься отыскивать по свѣту прекрасную Дульцинею, мимоходомъ сражаясь съ баранами и мельницами? Между поколѣніями отъ двадцатыхъ годовъ до настоящей минуты сколько было у насъ разныхъ донъ-Кихотовъ? У насъ были и есть донъ-Кихоты любви, науки, литературы, убѣжденій, славянофильства и еще Богъ знаетъ чего, всего не перечесть! Выше мы говорили объ идеальныхъ дѣвахъ; а сколько можно сказать интереснаго объ идеальныхъ юношахъ! Но предметъ такъ богатъ и неисчислимъ, что лучше не касаться его, чтобъ совсѣмъ не потерять изъ виду Татьяны Пушкина.

Татьяна не избѣгла горестной участи подпасть подъ разрядъ идеальныхъ дѣвъ, о которыхъ мы говорили. Правда, мы сказали, что она представляетъ собою колоссальное исключеніе въ мірѣ подобныхъ явленій, — и теперь не отпираемся отъ своихъ словъ.

Татьяна возбуждаетъ не смѣхъ, а живое сочувствіе, — но это не потому, чтобъ она вовсе не походила на «идеальныхъ дѣвъ», а потому, что ея глубокая, страстная натура заслонила въ ней собой все, что есть смѣшнаго и пошлаго въ идеальности этого рода, и Татьяна осталась естественно-простой въ самой искусственности и уродливости формы, которую сообщила ей окружающая ее дѣйствительность. Съ одной стороны —

Татьяна вѣрила преданьямъ
Простонародной старины,
И снамъ, и карточнымъ гаданьямъ,
И предсказаніямъ луны.
Ее тревожили примѣты:
Таинственно ей всѣ предметы
Провозглашали что-нибудь,
Предчувствія тѣснили грудь.

Съ другой стороны, Татьяна любила бродить по полямъ,

Съ печальной думою въ очахъ,
Съ французской книжкою въ рукахъ.

Это дивное соединеніе грубыхъ, вульгарныхъ предразсудковъ съ страстью къ французскимъ книжкамъ и съ уваженіемъ къ глубокому творенію Мартына Задеки возможно только въ русской женщинѣ. Весь внутренній міръ Татьяны заключался въ жадѣ любви; ничто другое не говорило ея душѣ; умъ ея спалъ, и только развѣ тяжкое горе жизни могло потомъ разбудить его, — да и то для того, чтобъ сдержатъ страсть и подчинить ее расчету благоразумной морали... Дѣвическіе дни ея ничѣмъ не были заняты; въ нихъ не было своей очереди труда и досуга, не было тѣхъ регулярныхъ занятій, свойственныхъ образованной жизни, которыя держатъ въ равновѣсіи нравственные силы человѣка. Дикое растеніе, вполне предоставленное самому себѣ, Татьяна создала себѣ свою собственную жизнь, въ пустотѣ которой тѣмъ мятеежѣ горѣлъ пожирившій ее внутренній огонь, что ея умъ ничѣмъ не былъ занятъ.

Давно ея воображеніе,
Сгорая нѣгой и тоской,
Алкало пищи роковой;
Давно сердечное томленіе
Тѣснило ей младую грудь:
Душа ждала... кого нибудь.
И дождалась. Открылись очи;
Она сказала: это онъ!
Увы! теперь и дни, и ночи,
И жаркій, одинокій сонъ —
Все полно имъ; все дѣвъ милой
Безъ умолку волшебной силой
Твердитъ о немъ.

Теперь съ какимъ она вниманіемъ
Читаетъ сладостный романъ,
Съ какимъ живымъ очарованіемъ
Пьетъ обольстительный обманъ!

Счастливей сию мечтанья
Одушевленные созданья,
Любовник Юліи Вольмаръ,
Малекъ-Адель и де-Линаръ,
И Вертеръ, мученикъ мятѣжной,
И неподобный Грандиссонъ,
Который намъ наводитъ сонъ,
Всѣ для мечтательницы нѣжной
Въ единый образъ облеклись,
Въ одномъ Онѣгинѣ слились.
Воображаясь героиней
Своихъ возлюбленныхъ творцовъ,
Кларисой, Юліей, Дельфиной,
Татьяна въ тишинѣ лѣсовъ
Одна съ опасной книгой бродить:
Она въ ней ищетъ и находитъ
Свой тайный жаръ, свои мечты,
Плоды сердечной полноты,
Вдыхаетъ и, себя присвоивъ
Чужой восторгъ, чужую грусть,
Въ забвеньи шепчетъ наизусть
Письмо для милаго героя...

Здѣсь не книга родила страсть, но страсть все-таки не могла не проявиться немножко по книжному. Зачѣмъ было воображать Онѣгина Вольмаромъ, Малекъ-Аделемъ, де-Линаромъ и Вертеромъ (Малекъ-Адель и Вертеръ: не все ли это равно, что Ерусланъ Лазаревичъ и корсаръ Байрона)? Зачѣмъ, что для Татьяны не существовалъ настоящій Онѣгинъ, котораго она не могла ни понимать, ни знать; слѣдовательно ей необходимо было придать ему какое-нибудь значеніе, на прокатъ взятое изъ книги, а не изъ жизни, потому что жизни Татьяна тоже не могла ни понимать, ни знать. Зачѣмъ было ей воображать себя Кларисой, Юліей, Дельфиной? Зачѣмъ, что она и саму себя такъ же мало понимала и знала, какъ и Онѣгина. Повторяемъ: созданіе страстное, глубоко чувствующее, и въ то же время не развитое, на-глухо запертое въ темной пустотѣ своего интеллектуальнаго существованія, Татьяна, какъ личность, является намъ подобною не ваянной греческой статуѣ, въ которой все внутреннее такъ прозрачно и выпукло отразилось во внѣшней красотѣ, но подобною египетской статуѣ, неподвижной, тяжелой и связанной. Безъ книги она была бы совершенно нѣмымъ существомъ, и ея плакучій и сохнуцій языкъ не обрѣлъ бы ни одного живого, страстнаго слова, которымъ бы могла она облегчить себя отъ давящей полноты чувства. И хотя непосредственнымъ источникомъ ея страсти къ Онѣгину была ея страстная натура, ея переполнившаяся жажда сочувствія,—все же началась она нѣсколько идеально. Татьяна не могла полюбить Ленскаго и еще менѣе могла полюбить кого нибудь изъ извѣстныхъ ей мужчинъ: она такъ хорошо ихъ знала, и они такъ мало представляли пищи ея экзальтированному, аскетическому воображенію... И вдругъ является Онѣгинъ.

Онъ весь окруженъ тайной: его аристократизмъ, его свѣтскость, неоспоримое превосходство надъ всѣмъ этимъ спокойнымъ и пошлымъ міромъ, среди котораго онъ явился такимъ метеоромъ, его равнодушіе ко всему, странность жизни—все это произвело таинственные слухи, которые не могли не дѣйствовать на фантазію Татьяны, не могли не расположить, не подготовить ея къ рѣшительному эффекту перваго свиданія съ Онѣгинымъ. И она увидѣла его, и онъ предсталъ предъ ней молодой, красивый, ловкій, блестящій, равнодушный, скучающій, загадочный, непостижимый, весь неразрѣшимая тайна для ея неразвитаго ума, весь обольщеніе для ея дикой фантазіи. Есть существа, у которыхъ фантазія имѣетъ гораздо болѣе вліянія на сердце, нежели какъ думаютъ объ этомъ. Татьяна была изъ такихъ существъ. Есть женщины, которымъ стоитъ только показаться восторженнымъ, страстнымъ, и онъ вашъ; но есть женщины, которыхъ вниманіе мужчины можетъ возбудить къ себѣ только равнодушіемъ, холодною и скептицизмомъ, какъ признаками огромныхъ требованій на жизнь или какъ результатомъ мятѣжно и полно пережитой жизни: бѣдная Татьяна была изъ числа такихъ женщинъ...

Госа любви Татьяну гонить,
И въ садъ идетъ она грустить,
И вдругъ недвижны очи клонить,
И лѣнь ей далѣе ступить:
Приподнялася грудь, ланиты
Мгновеннымъ пламенемъ покрыты,
Дыханье замерло въ устахъ,
И въ слухъ шумъ, и блескъ въ очахъ...
Настаетъ ночь; луна обходитъ
Дозоромъ дальній сводъ небесъ,
И соловей во мглѣ древетъ
Напѣвъ звучные заводитъ,—
Татьяна въ темнотѣ не спитъ
И тихо съ няней говоритъ.

Разговоръ Татьяны съ няней—чудо художественнаго совершенства! Это цѣлая драма, проникнутая глубокой истиной. Въ ней удивительно вѣрно изображена русская барышня въ разгарѣ томилщей ее страсти. Сдавленное внутри чувство всегда порывается наружу, особенно въ первый періодъ еще новой, еще неопытной страсти. Кому отереть свое сердце!—сестрѣ?—она не такъ бы поняла его. Няня вовсе не пойметъ; но потому-то и открываетъ ей Татьяна свою тайну—или, лучше сказать, потому-то и не скрываетъ она отъ няни своей тайны.

... «Расскажи мнѣ, няня,
Про янни старые года:
Была ты влюблена тогда?»
— И, полно, Таня! Въ эти лѣта
Мы не слыхали про любовь;
А то бы соннала со свѣта
Меня покойница свекровь.—
«Да какъ же ты вѣнчалась, няня?»

— *Так, видно, Богъ селъ. Мой Ваня*
 Моложе былъ меня, мой свѣтъ,
 А было мнѣ *тринадцать лѣтъ*.
 Недѣль двѣ ходила сваха
 Къ моей роднѣ, и наконецъ
 Благословилъ меня отецъ.
 Я горько плакала со страха;
 Мнѣ съ плачемъ косу расплели,
 И съ пѣньемъ въ церковь повели,
 И вотъ взошъ въ семью чужую...

Вотъ какъ пишеть истинно-народный, истинно-національный поэтъ! Въ словахъ нѣхъ, простыхъ и народныхъ, безъ тривіальности и пошлости, заключается полная и яркая картина внутренней домашней жизни народа, его взглядъ на отношенія половъ, на любовь, на бракъ... И это сдѣлано великимъ поетомъ одной чертой, вскользь, мимоходомъ брошенной!.. Какъ хороши эти добродушные и простодушные стихи:

И, полно, Таня! Въ эти гдѣ
 Мы не знавали про любовь;
 А то бы согнала со свѣта
 Меня покойница свекромъ!

Какъ жаль, что именно такая народность не дается многимъ нашимъ поетамъ, которые такъ хлопочуть о народности—и добиваются одной площадной тривіальности...

Татьяна вдругъ рѣшается писать къ Онѣгину: порывъ наивный и благородный; но его источникъ не въ сознаниі, а въ безсознательности: бѣдная дѣвушка не знала, что дѣлала. Послѣ, когда она стала знатной барыней, для нея совершенно исчезла возможность такихъ наивно-великодушныхъ движеній сердца... Письмо Татьяны свело съ ума всѣхъ русскихъ читателей, когда появилась третья глава «Онѣгина». Мы вмѣстѣ со всѣми думали въ немъ видѣть высочайшій образецъ откровенія женскаго сердца. Самъ поэтъ, кажется, безъ всякой ироніи, безъ всякой задней мысли и писалъ, и читалъ это письмо. Но съ тѣхъ поръ много воды утекло... Письмо Татьяны прекрасно и теперь, хотя уже и отзывается немножко какой-то дѣтскостью, чѣмъ-то «романтическимъ». Иначе и быть не могло; языкъ страстей былъ такъ новъ и недоступенъ нравственно-нѣмотствующей Татьянѣ; она не умѣла бы ни понять, ни выразить собственныхъ своихъ ощущеній, если бы не прибѣгла къ помощи впечатлѣній, оставленныхъ на ея памяти плохими и хорошими романами, безъ толку и безъ разбора читанными ею... Начало письма превосходно: оно проникнуто простымъ искреннимъ чувствомъ; въ немъ Татьяна является сама собой:

Я къ вамъ пишу—чего же болѣе?
 Что я могу еще сказать?
 Теперь, я знаю, въ вашей волѣ
 Меня превратить въ наказанье.
 Но вы, къ моей несчастной долѣ

Хоть каплю жалости храня,
 Вы не оставите меня.
 Сначала я молчать хотѣла;
 Повѣрите: моего стыда
 Вы не узнали-бъ никогда,
 Когда-бъ надежду я имѣла
 Хотя рѣдко, хоть въ недѣлю разъ,
 Въ деревнѣ нашей видѣть васъ,
 Чтобы только слышать ваши рѣчи,
 Вамъ слово молвить, и потомъ
 Все думать, думать объ одномъ,
 И день, и ночь до новой встрѣчи.
 Но, говорятъ, вы велудимъ;
 Въ глуши, въ деревнѣ, все вамъ скучно,
 А мы... ничѣмъ мы не блестимъ,
 Хотя вамъ и рады простодушно.
 Зачѣмъ вы постѣли насъ?
 Въ глуши забытаго селенья
 Я никогда не знала-бъ васъ,
 Не знала-бъ горькаго мученья.
 Души неопытной волненья
 Смиривъ со временемъ (какъ знать?),
 По сердцу я нашла бы друга,
 Была бы вѣрная супруга
 И добродѣтельная мать.

Прекрасны также стихи въ концѣ письма:

... Судьбу мою
 Отнынѣ я тебѣ вручаю,
 Передъ тобою слезы лью,
 Твоей защиты умоляю...
 Вообрази: я здѣсь одна,
 Никто меня не понимаетъ;
 Расудокъ мой изнемогаетъ,
 И молча гибнуть я должна.

Все въ письмѣ Татьяны истинно, но не все просто; мы выписали только то, что и истинно, и просто вмѣстѣ. Сочетаніе простоты съ истиной составляетъ высокую красоту и чувства, и дѣла, и выраженія...

Замѣчательно, съ какимъ усиліемъ старается поэтъ оправдать Татьяну за ея рѣшимость написать и послать это письмо: видно, что поэтъ слишкомъ хорошо зналъ общество, для котораго писалъ...

Я зналъ красавицъ недоступныхъ,
 Холодныхъ, чистыхъ, какъ зима,
 Неумолимыхъ, неподкупныхъ,
 Непостыжимыхъ для ума;
 Ихъ добродѣтели природной,
 Дивился я ихъ спѣси молной,
 И, признаюсь, отъ нихъ бѣжалъ,
 И, мнитсѣ, съ ужасомъ читалъ
 Надъ ихъ бровами надпись ада:
Оставь надежду навсегда.
 Внушать любовь для нихъ бѣда,
 Пугать людей для нихъ отрада.
 Быть можетъ, на берегахъ Невы
 Подобныхъ дамъ видали вы.
 Среди поклонниковъ послушныхъ
 Другихъ причудницъ я видалъ,
 Самолюбиво-равнодушныхъ
 Для вѣдочекъ страстныхъ и похвалъ,
 И что-жъ нашелъ я съ изумленьемъ?
 Онѣ, суровымъ поведеніемъ
 Пугая робкую любовь,
 Ее привлечь умѣли вновь,
 По крайней мѣрѣ, сожалееньемъ,
 По крайней мѣрѣ, звуку рѣчей
 Казался иногда нѣжнѣй.
 И съ легковѣрнымъ ослѣпленіемъ
 Опять любовники молодой

Бѣжить за милой суетой.
 За что-жъ виновнѣ Татьяна?
 За то-ль, что въ милой простотѣ
 Она не вѣдаетъ обмана
 И вѣрить избранной мечтѣ?
 За то-ль, что любить безъ искусства,
 Послушная влеченью чувства;
 Что такъ довѣрчива она,
 Что отъ небесъ одарена
 Воображеніемъ мятежнымъ,
 Умомъ и волею живой,
 И своенравной головой,
 И сердцемъ пламеннымъ и нѣжнымъ?
 Ужели не простите ей
 Вы легкомыслія страстей!
 Кокетка судить хладнокровно;
 Татьяна любить не шути
 И предается безусловно
 Любви, какъ малое дитя.
 Не говорить она: отложимъ—
 Любви мы цѣну тѣмъ умножимъ,
 Вѣрнѣ въ сѣти заведемъ;
 Сперва тщеславіе колышетъ
 Надеждой, тамъ недоумѣнемъ
 Измучимъ сердце, а потомъ
 Ревнивымъ оживимъ огнемъ;
 А то, скучая наслажденіемъ,
 Невольникъ хитрый изъ оковъ
 Всечасно вырваться готовъ.

Вотъ еще отрывокъ изъ «Онѣгина», который выключенъ авторомъ изъ этой поэмы и особенно напечатанъ въ IX томѣ:

О вы, которые любили
 Безъ позволенія родныхъ,
 И сердце нѣжное хранили
 Для впечатлѣній молодыхъ,
 Для радости, для нѣги сладкой—
 Дѣвицы! если вамъ украдкой
 Случалось тайную печать
 Съ письма любезнаго срывать,
 Иль робко въ деревостныя руки
 Заветный лононь отдавать,
 Иль даже молча позволять
 Въ минуту горькую разлуки
 Дрожащій поцѣлуй любви,
 Въ слезахъ съ волненіемъ въ крови,—
 Не осуждайте безусловно
 Татьяны *вѣтренной* (?) моей;
 Не повторяйте хладнокровно
 Рѣшеніе чопорныхъ судей.
 А вы, о *дѣвы* безъ упрёка!
 Которыхъ даже рѣчь порока
 Страшитъ сегодня какъ змѣя—
 Совѣтую вамъ то же я:
 Кто знаетъ? пламенной тоскою
 Сгорите, можетъ-быть, и вы—
 И завтра легкій судъ молвы
 Припишетъ модному герою
 Побѣды новой торжество:
 Любви васъ ищетъ божество.

Только едва ли найдетъ, прибавимъ мы отъ себя прозой. Нельзя не жалѣть о поэтѣ, который видитъ себя принужденнымъ такимъ образомъ оправдывать свою героиню передъ обществомъ — и въ чемъ же? — въ томъ, что составляетъ сущность женщины, ея лучшее право на существованіе — что у ней есть сердце, а не пустая яма, прикрытая корсетомъ! Но еще болѣе нельзя не жалѣть объ обществѣ, передъ которымъ поэтъ

видѣлъ себя принужденнымъ оправдывать героиню своего романа въ томъ, что она женщина, а не деревяшка, выточенная по подобію женщины. И всего грустнѣе въ этомъ то, что передъ женщинами въ особенности старается онъ оправдать свою Татьяну... И за то съ какой горечью говорить онъ о нашихъ женщинахъ вездѣ, гдѣ касается общественной мертвенности, холода, чопорности и сухости! Какъ выдается вотъ эта строфа въ первой главѣ «Онѣгина»:

Причудницы большого свѣта!
 Всѣхъ прежде васъ оставилъ онъ.
 И правда то, что въ наши лѣта
 Довольно скученъ высшій тонъ,
 Хотъ, можетъ быть, иная дама
 Толкуетъ Сея и Бентэма;
 Но вообще ихъ разговоръ—
 Несносный, хотъ невинный вадоръ.
 Къ тому-жъ онѣ такъ непорочны,
 Такъ величавы, такъ умны,
 Такъ благочестія полны,
 Такъ осмотрительны, такъ точны,
 Такъ неприступны для мужчинъ,
 Что видъ ихъ ужъ рождаетъ спянь.

Эта строфа невольно приводитъ намъ на память слѣдующіе стихи, невошедшіе въ поему и напечатанные особо (т. IX):

Морозъ и солнце — чудный день!
 Но нашимъ дамамъ виднѣльнѣ
 Сойти съ крыльца и надъ Невую
 Блеснуть холодной красотою:
 Сидятъ — напрасно ихъ манитъ
 Пескомъ усыпанный гранитъ.
 Умна восточная система
 И правъ обычай стариковъ:
 Онѣ родились для гарема
 Иль для неволи...

Но и на Востока есть поэзія въ жизни, страсть закрадывается и въ гаремы... Зато у насъ царствуетъ строгая нравственность, по крайней мѣрѣ внѣшняя, а за ней иногда бываетъ такая не-поэтическая поэзія жизни, которую если воспользуется поэтъ, то конечно ужъ не для поэмы...

Еслибы мы вздумали слѣдить за всѣми красотами поэмы Пушкина, указывать на всѣ черты высокаго художественнаго мастерства, въ такомъ случаѣ ни нашимъ выпискамъ, ни нашей статьѣ не было бы конца. Но мы считаемъ это излишнимъ, потому что эта поэма давно оцѣнена публикой, и все лучшее въ ней у всякаго на памяти. Мы предположили себѣ другую цѣль: раскрыть по возможности отношеніе поэмы къ обществу, которое она изображаетъ. На этотъ разъ предметъ нашей статьи — характеръ Татьяны, какъ представительницы русской женщины. И потому пропускаемъ всю четвертую главу, въ которой главное для насъ — объясненіе Онѣгина съ Татьяной въ отвѣтъ на ея письмо. Какъ подѣйствовало на нее это объясненіе, понятно: всѣ надежды бѣдной дѣвушки рушились, и она еще глубже затво-

рилась въ себя для внѣшняго міра. Но разрушенная надежда не погасила въ ней пожирающаго ее пламени: онъ началъ горѣть тѣмъ упорнѣе и напряженнѣе, чѣмъ глуше и безвыходнѣе. Несчастье даетъ новую энергію страсти у натуръ съ экзальтированнымъ воображеніемъ. Имъ даже нравится исключительность ихъ положенія; онѣ любятъ свое горе, лелѣютъ свое страданіе, дорожатъ имъ, можетъ-быть еще больше, нежели сколько дорожили бы онѣ своимъ счастьемъ, еслибъ оно выпало на ихъ долю... И притомъ, въ глухомъ лѣсу нашего общества, гдѣ-бы и скоро ли бы встрѣтила Татьяна другое существо, которое, подобно Онегину, могло бы поразить ее воображеніе и обратить огонь ея души на другой предметъ? Вообще несчастная, нераздѣленная любовь, которая упорно переживаетъ надежду, есть явленіе довольно болѣзненное, причина котораго, по слишкомъ рѣдкимъ и вѣроятно чисто физиологическимъ причинамъ, едва ли не скрывается въ экзальтаціи фантазіи, слишкомъ развитой насчетъ другихъ способностей души. Но какъ бы то ни было, а страданія, происходящія отъ фантазіи, падаютъ тяжело на сердце и терзаютъ его иногда еще сильнѣе, нежели страданія, корни которыхъ въ самомъ сердцѣ. Картина глухихъ, никѣмъ не раздѣленныхъ страданій Татьяны изображена въ пятой главѣ съ удивительной истиной и простотой. Посѣщеніе Татьяной опустѣлаго дома Онегина (въ седьмой главѣ) и чувства, пробужденныя въ ней этимъ оставленнымъ жилищемъ, на всѣхъ предметахъ котораго лежалъ такой рѣзкій отпечатокъ духа и характера оставившаго его хозяина, — принадлежатъ къ лучшимъ мѣстамъ поэмы и драгоценнѣйшимъ сокровищамъ русской поэзіи. Татьяна не разъ повторила это посѣщеніе.

И въ молчаливомъ кабинетѣ,
Забывъ на время все на свѣтѣ,
Осталась наконецъ одна,
И долго плакала она.
Потомъ за книги принялася.
Сперва ей было не до нихъ;
Но показался выборъ ихъ
Ей страненъ. Чтенью предалася.
Татьяна жадною душой:
И ей открылся міръ иной.

И начинаетъ по-немногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснѣе, слава Богу,
Того, по комъ она вздыхать
Осуждена судьбою властной...

Ужель загадку разрѣшила,
Ужель слово найдено?..

Итакъ, въ Татьянѣ наконецъ совершился актъ сознанія: умъ ея проснулся. Она поняла наконецъ, что есть для человѣка интересы, есть страданія и скорби кромѣ инте-

реса страданій и скорби любви. Но поняла ли она, въ чемъ именно состоятъ эти другіе интересы и страданія, и если поняла, послужило ли это ей къ облегченію ея собственныхъ страданій? Конечно поняла, но только умомъ, головой, потому что есть идеи, которыя надо пережить и душой, и тѣломъ, чтобы понять ихъ вполнѣ, и которыхъ нельзя изучить въ книгѣ. И потому книжное знакомство съ этимъ новымъ міромъ скорбей если и было для Татьяны откровеніемъ, это откровеніе произвело на нее тяжелое, безотрадное и бесплодное впечатлѣніе; оно испугало ее, ужаснуло и заставило смотрѣть на страсти, какъ на гибель жизни, убѣдило ее въ необходимости покориться дѣйствительности, какъ она есть, и если жить жизнью сердца, то про себя, въ глубинѣ своей души, въ тиши уединенія, во мракѣ ночи, посвященной тоскѣ и рыданіямъ. Посѣщеніе дома Онегина и чтеніе его книгъ приготовили Татьяну къ перерожденію изъ деревенской дѣвочки въ свѣтскую даму, которое такъ удивило и поразило Онегина. Въ предшествовавшей статьѣ мы уже говорили о письмѣ Онегина къ Татьянѣ и о результатѣ всѣхъ его страстныхъ посланій къ ней; теперь перейдемъ прямо къ объясненію Татьяны съ Онегинымъ. Въ этомъ объясненіи все существо Татьяны выразилось вполнѣ. Въ этомъ объясненіи высказалось все, что составляетъ сущность русской женщины съ глубокой натурой, развитой обществомъ, — все: и пламенная страсть, и задумчивость простого, искренняго чувства, и чистота, и святость наивныхъ движеній благородной натуры, резонерство и оскорбленное самолюбіе, и тщеславіе добродѣтели, подъ которой замаскирована рабская боязнь общественного мнѣнія, и хитрые силлогизмы ума, свѣтской моралью парализовавшаго великодушныя движенія сердца... Рѣчь Татьяны начинается упрекомъ, въ которомъ высказывается желаніе мести за оскорбленное самолюбіе:

Онегинъ, помните-ль тотъ часъ,
Когда въ саду въ алеѣ насъ
Судьба свела, и такъ смиренно
Урокъ вамъ выслушала я?
Сегодня очередь моя.
Онегинъ, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,
И я любила васъ; и что же?
Что въ сердцѣ вашемъ я нашла?
Какой отвѣтъ? Одну суровость.
Не правда-ль? Вамъ была не новость
Смиренной дѣвочки любовь?
И нынче—Боже!—стынетъ кровь,
Какъ только вспомню взглядъ холодной
И эту проповѣдь...

Въ самомъ дѣлѣ, Онегинъ былъ виноватъ передъ Татьяной въ томъ, что онъ не полюбилъ ее тогда, какъ она была моложе и лучше и любила его! Вѣдь для любви только и нужно,

что молодость, красота и взаимность! Вотъ понятія, заимствованныя изъ плохихъ сентиментальныхъ романовъ! Нѣмая деревенская дѣвочка съ дѣтскими мечтами—и свѣтская женщина, испытанная жизнью и страданіемъ, обрѣтшая слово для выраженія своихъ чувствъ и мыслей, какая разница! И все-таки, по мнѣнію Татьяны, она болѣе способна внушить любовь тогда, нежѣли теперь, потому что она тогда была моложе и лучше... Какъ въ этомъ взглядѣ на вещи видна русская женщина! А этотъ упрекъ, что тогда она нашла со стороны Онегина одну суровость? «Вамъ была не новость смиренной дѣвочки любовь?» Да это уголовное преступленіе—не подорожить любовью нравственнаго эмбриона!.. Но за этимъ упрекомъ тотчасъ слѣдуетъ и оправданіе:

*Я не виню: въ тотъ страшный часъ
Вы поступили благородно,
Вы были правы предо мной;
Я благодарна всей душой...*

Основная мысль упрековъ Татьяны состоитъ въ убѣжденіи, что Онегинъ потому только не полюбилъ ее тогда, что въ этомъ не было для него очарованія соблазна; а теперь приводитъ къ ей ногамъ жажда скандальной славы... Во всемъ этомъ такъ и происходитъ страхъ за свою добродѣтель...

Тогда—не правда ли?—въ пустынѣ,
Вдали отъ суетной молвы,
Я вамъ не правилась... Что-жъ нынѣ
Мени преслѣдуете вы?
Зачѣмъ у васъ я на примѣтъ?
Не потому-ль, что въ высшемъ свѣтѣ
Теперь являться я должна,
Что я богата и знатна;
Что мужъ въ сраженіяхъ изувѣченъ;
Что насъ за то ласкаетъ дворъ?
Не потому-ль, что мой поворотъ
Теперь бы всѣми былъ замѣченъ,
И могъ бы въ обществѣ принести
Вамъ соблазнительную честь?
Я плачу... Если вайей Тани
Вы не забыли до сихъ поръ,
То знайте: колкость вашей брани,
Холодный, строгій разговоръ,
Когда-бъ въ моей линіи было власти,
Я предпочла бъ обидной страсти
И этимъ письмамъ, и слезамъ.
Къ моимъ младенческимъ мечтамъ
Тогда имѣли вы хоть жалость,
Хоть уваженіе къ лѣтамъ...
А нынче?—что къ моимъ ногамъ
Васъ привело? *Какая малость!*
Какъ съ вашимъ сердцемъ и умомъ
Быть чувства мелкаго рабомъ?

Въ этихъ стихахъ такъ и слышится трепетъ за свое доброе имя въ большомъ свѣтѣ, а въ слѣдующихъ затѣмъ представляются неоспоримыя доказательства глубочайшаго презрѣнія къ большому свѣту... Какое противорѣчіе! И что всего грустнѣе, то и другое истинно къ Татьянѣ...

А мнѣ, Онегинъ, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успѣхи въ вихрѣ свѣта,
Мой модный домъ и вечера,—
Что въ нихъ? Сейчасъ отдать я рада
Всю эту ветوشь маскарада,
Весь этотъ блескъ, и шумъ, и чадъ
За полку книгъ, за дикій садъ,
За наше бѣдное жилище,
За тѣ мѣста, гдѣ въ первый разъ,
Онегинъ, видѣла я васъ,
Да за смиренное кладбище,
Гдѣ нынче крестъ и тѣнь вѣтвей
Надъ бѣдной нянею моею.

Повторяемъ: эти слова такъ же непритворны и искренни, какъ и предшествовавшія имъ. Татьяна не любитъ свѣта и за счастье почла бы навсегда оставить его для деревни; но пока она въ свѣтѣ—его мнѣніе всегда будетъ ей идоломъ, и страхъ его суда всегда будетъ ей добродѣтелью...

А счастье было такъ возможно,
Такъ близко!.. Но судьба моя
Ужъ рѣшена. Неосторожно,
Быть можетъ, поступила я;
Меня съ слезами заклинаній
Молила мать; для бѣдной Тани
Всѣ были жребіи равны...
Я вышла замужъ. Вы должны,
Я васъ прошу меня оставить;
Я знаю: въ вашемъ сердцѣ есть
И гордость, и прямая честь.
*Я васъ люблю (къ чему лукавить?),
Но я другому отдана,—
И буду ейъ ему вѣрна.*

Послѣдніе стихи удивительны—подлинно «конецъ вѣнчаетъ дѣло!» Этотъ отвѣтъ могъ бы идти въ примѣръ классическаго «высокаго» (sublime) наравнѣ съ отвѣтомъ Медеи: «moi!» и стараго Горация: «qu'il mourût!» Вотъ истинная гордость женской добродѣтели! «Но я другому отдана»,—именно отдала, а не отдалась! Вѣчная вѣрность—кому и въ чемъ? Вѣрность такимъ отношеніямъ, которыя составляютъ профанацию чувства и чистоты женственности, потому что нѣкоторыя отношенія, неосвящаемыя любовью, въ высшей степени безнравственны... Но у насъ какъ-то все это клеится вмѣстѣ: поэзія—и жизнь, любовь—и бракъ по расчету, жизнь сердцемъ—и строгое исполненіе внѣшнихъ обязанностей, внутренне ежечасно нарушаемыхъ... Жизнь женщины по преимуществу сосредоточена въ жизни сердца; любить—для нея жить, а жертвовать—значить любить. Для этой роли создала природа Татьяну; но общество пересоздало ее... Татьяна невольно напомнила намъ Вѣру въ «Героѣ Нашего Времени», женщину слабую по чувству, всегда уступающую ему, и прекрасную, высокую въ своей слабости. Правда, женщина поступаетъ безнравственно, принадлежа вдругъ двумъ мужчинамъ, одного любя, а другого обманывая: противъ этой истины не можетъ быть никакого спора; но въ Вѣрѣ этотъ

грѣхъ выкупается страданіемъ отъ сознанія своей несчастной роли. И какъ бы могла она не поступить рѣшительно въ отношеніи къ мужу, когда она видѣла, что тотъ, кому она всю себя пожертвовала, принадлежалъ ей не вполнѣ и, любя ее, все-таки не захотѣлъ бы слить съ ней свое существованіе? Слабая женщина, она чувствовала себя подъ вліяніемъ роковой силы этого человѣка съ демонической натурой, и не могла ему сопротивляться. Татьяна выше ея по своей натурѣ и по характеру, не говоря уже объ огромной разницѣ въ художественномъ изображеніи этихъ двухъ женскихъ лицъ: Татьяна—портретъ во весь ростъ; Вѣра—не больше, какъ слышать. И, несмотря на то, Вѣра—больше женщина... но зато и больше исключеніе, тогда какъ Татьяна—типъ русской женщины... Восторженные идеалы, изжившіе жизнь и женщину по повѣстямъ Марлинскаго, требуютъ отъ необыкновенной женщины презрѣнія къ общественному мнѣнію. Это ложь: женщина не можетъ презирать общественнаго мнѣнія, но можетъ имъ жертвовать скромно, безъ фразъ, безъ самохвальства, понимая всю великость своей жертвы, всю тягость проклятія, которое она беретъ на себя, повинувшись другому высшему закону,—закону своей природы, а ея натура—любовь и самоотверженіе...

Итакъ, въ лицѣ Онѣгина, Ленскаго и Татьяны Пушкинъ изобразилъ русское общество въ одномъ изъ фазисовъ его образованія, его развитія, и съ какой истиной, съ какой вѣрностью, какъ полно и художественно изобразилъ онъ его! Мы не говоримъ о множествѣ вставочныхъ портретовъ и силуэтовъ, вошедшихъ въ его поэмѣ и довершающихъ собой картину русскаго общества высшаго и средняго; не говоримъ о картинахъ сельскихъ баловъ и столичныхъ раутовъ: все это такъ извѣстно нашей публикѣ и такъ давно оцѣнено ею по достоинству... Затѣмъ одно: личность поэта, такъ полно и ярко отразившаяся въ этой поэмѣ, вездѣ является такой прекрасной, такой гуманной, но въ то же время по преимуществу аристической. Вездѣ видите вы въ немъ человѣка, душой и тѣломъ принадлежащаго къ основному принципу, составляющему сущность изображаемаго имъ класса; короче, вездѣ видите русскаго помѣщика... Онъ нападаетъ въ этомъ классѣ на все, что противорѣчитъ гуманности; но принципъ класса для него—вѣчная истина... И потому въ самой сатирѣ его такъ много любви, самое отрицаніе его такъ часто похоже на одобреніе и на любованіе... Вспомните описаніе семейства Ларинныхъ во второй главѣ, и особенно портретъ самого Ларина... Это было причиной, что въ «Онѣгинѣ» многое устарѣло теперь. Но безъ этого можетъ-быть и не вышло бы

изъ «Онѣгина» такой полной и подробной поэмы русской жизни, такого опредѣленнаго факта для отрицанія мысли, въ самомъ же этомъ обществѣ такъ быстро развивающейся...

«Онѣгинъ» писанъ былъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ,—и потому самъ поэтъ росъ вмѣстѣ съ нимъ, и каждая новая глава поэмы была интереснѣе и зрѣлѣе. Но послѣднія двѣ главы рѣзко отдѣляются отъ первыхъ шести: онѣ явно принадлежатъ уже къ высшей, зрѣлой эпохѣ художественнаго развитія поэта. О красотѣ отдѣльных мѣстъ нельзя наговориться довольно; притомъ же ихъ такъ много! Къ лучшимъ принадлежатъ: ночная сцена между Татьяной и няней, дуэль Онѣгина съ Ленскимъ и весь конецъ шестой главы. Въ послѣднихъ двухъ главахъ мы не знаемъ, что хвалить особенно, потому что въ нихъ все превосходно; но первая половина седьмой главы (описаніе весны, воспоминаніе о Ленскомъ, посѣщеніе Татьяной дома Онѣгина) какъ-то особенно выдается изъ всего глубиной грустнаго чувства и дивно-прекрасными стихами... Отступленія, дѣлаемые поэтомъ отъ разсказа, обращенія его къ самому себѣ исполнены необыкновенной граціи, задушевности, чувства, ума, остроты; личность поэта въ нихъ является такой любящей, такой гуманной. Въ своей поэмѣ онъ умѣлъ коснуться такъ многого, намекнуть о столь многомъ, что принадлежитъ исключительно къ міру русской природы, къ міру русскаго общества! «Онѣгина» можно назвать энциклопедіей русской жизни, и въ высшей степени народнымъ произведеніемъ. Удивительно ли, что эта поэма была принята съ такимъ восторгомъ публикой и имѣла такое огромное вліяніе и на современную ей, и на послѣдующую русскую литературу? А ея вліяніе на нравы общества? Она была актомъ сознанія для русскаго общества; почти первымъ, но зато какимъ великимъ шагомъ впередъ для него! Этотъ шагъ былъ богатырскимъ размахомъ, и послѣ него стояніе на одномъ мѣстѣ сдѣлалось уже невозможнымъ... Пусть идетъ время и производитъ съ собой новыя потребности, новыя идеи, пусть растетъ русское общество и обгоняетъ «Онѣгина»: какъ бы далеко оно ни ушло, но всегда будетъ оно любить эту поэмѣ, всегда будетъ останавливаться на ней исполненный любви и благодарности взоръ... Эти строфы, которыя такъ и просятся въ заключеніе нашей статьи, своимъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ на душу читателя лучше насъ выскажутъ то, что бы хотѣлось намъ высказать:

Увы! на жизненныхъ браздахъ,
Мгновенной жатвой, поколѣнья,
По тайной волѣ Провидѣнья,

Восходятъ, зрѣютъ и надутъ;
 Другія имъ во слѣдъ идутъ...
 Такъ наше вѣтренное племя
 Растетъ, волнуется, кипитъ
 И къ гробу прадедовъ тѣснитъ.
 Придетъ, придетъ и наше время,
 И наши внуки въ добрый часъ
 Изъ міра вытѣснятъ и насъ.
 Покаместъ упивайтесь ею,
 Сей легкой живизнью, друзья!
 Ея ничтожность разумѣю
 И къ ней привязанъ мало я;
 Для призраковъ закрылъ я вѣжды;
 Но отдаленныя надежды
 Тревожатъ сердце иногда:
 Безъ непримѣтнаго слѣда
 Мнѣ было-бъ грустно міръ оставить.
 Живу, пишу не для похвалъ;
 Но я бы, кажется, желалъ
 Печальный жребій свой прославить,
 Чтобы обо мнѣ, какъ вѣрный другъ,
 Напомнилъ хоть единый звукъ.
 И чье нибудь онъ сердце тронетъ;
 И сохраненная судьбой,
 Быть можетъ, въ Лету не потонетъ
 Строфа, сложенная мною;
 Быть можетъ,—лестная надежда!—
 Укажетъ будущій невѣжда
 На мой прославленный портретъ,
 И молвить: «то-то былъ поэтъ!»
 Примѣ жъ мое благодаренье,
 Поклонникъ мирныхъ воиновъ,
 О ты, чья память сохранить
 Мои летучія творенья,
 Чья благосклонная рука
 Потреплетъ лавры старика!

X.

«Борисъ Годуновъ».

Совершенно новая эпоха художественной дѣятельности Пушкина началась «Полтавой» и «Борисомъ Годуновымъ». Хотя первая вышла въ 1829 году, а послѣдній въ 1831 году, — тѣмъ не менѣе ихъ должно считать почти современными другъ другу произведеніями, потому что «Борисъ Годуновъ» написанъ былъ гораздо раньше 1831 года, и знаменитая сцена между Пименомъ и Самозванцемъ была напечатана въ «Московскомъ Вѣстникѣ» 1828 года; небольшая сцена между Курбскимъ и Самозванцемъ, — въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» на 1828 годъ, вышедшихъ въ 1827 году. «Полтава», со стороны художественности, относится къ «Борису Годунову», какъ стремленіе относится къ достиженію. Публика приняла «Полтаву» холодно, нежели прежнія поэмы Пушкина; «Борисъ Годуновъ» былъ принятъ совершенно холодно, какъ доказательство совершеннаго паденія таланта, еще недавно столь великаго, такъ много сдѣлавшаго и еще такъ много обѣщавшаго. Какъ тогда, такъ и теперь, у «Бориса Годунова» были жаркіе поклонники; но какъ тогда, такъ и теперь, число этихъ поклонниковъ было очень мало-численно, а число порицателей огромно. Которые изъ нихъ правы, которые виноваты? Тѣ и другіе равно правы и равно виноваты, потому что дѣйствительно ни въ одномъ изъ прежнихъ своихъ произведеній не достигалъ Пушкинъ до такой художественной высоты, — и ни въ одномъ не обнаружилъ такихъ огромныхъ недостатковъ, какъ въ «Борисѣ Годуновѣ». Эта пьеса для него была истинно Ватерлоовской битвой, въ которой онъ развернулъ во всей широтѣ и глубинѣ свой гений и, несмотря на то, все-таки потерпѣлъ рѣшительное пораженіе.

Прежде всего скажемъ, что «Борисъ Годуновъ» Пушкина — совсѣмъ не драма, а развѣ эпическая поэма въ разговорной формѣ. Дѣйствующія лица, вообще слабо очеркнуты, только говорить, и мѣстами говорить превосходно; но они не живутъ, не дѣйствуютъ. Слышите слова, часто исполненные высокой поэзіи, но не видите ни страстей, ни борьбы, ни дѣйствій. Это одинъ изъ первыхъ и главныхъ недостатковъ драмы Пушкина; но этотъ недостатокъ не вина поэта: его причина — въ русской исторіи, изъ которой поэтъ заимствовалъ содержаніе своей драмы. Русская исторія до Петра Великаго тѣмъ и отличается отъ исторіи западно-европейскихъ государствъ, что въ ней преобладаетъ чистоэпическій или, скорѣе, квіетическій характеръ, — тогда какъ въ тѣхъ преобладаетъ характеръ чисто-драматическій. До Петра Великаго въ Россіи развивалось начало семейственное и родовое; но не было и признаковъ развитія личнаго: а можетъ-ли существовать драма безъ сильнаго развитія индивидуальностей и личностей? Что составляетъ содержаніе Шекспировскихъ драматическихъ хроникъ? — борьба личностей, которыя стремятся къ власти и оспариваютъ ее другъ у друга. Это бывало и у насъ: весь удѣльный періодъ есть не что иное, какъ ожесточенная борьба за великокняжескій и за удѣльные престолы; въ періодъ Московскаго царства мы видимъ съ ряду трехъ претендентовъ такого рода; но все-таки не видимъ никакого драматическаго движенія. Въ періодъ удѣловъ одинъ князь свергалъ другого и овладѣвалъ его удѣломъ; потомъ, побѣжденный имъ снова, уступалъ ему его владѣніе, потомъ опять захватывалъ его; но въ удѣлѣ отъ этого ровно ничего не измѣнялось: перемѣнялись лица, а ходъ и сущность дѣлъ оставались тѣ же, потому что ни одно новое лицо не приносило съ собою никакой новой идеи, никакого новаго принципа. Отсюда объясняется, почему народонаселеніе того или другого княжества, того или другого города, съ одинаковой ревностью билось и за стараго князя противъ новаго, и за новаго противъ стараго. И одному Богу извѣстно, чѣмъ бы кончилась для Руси эта усобица, еслибы такъ кстати не

подоспѣли татары. Съ одной стороны ихъ жестокое и позорное иго гибельно подѣйствовало на нравственную сторону русскаго племени, а съ другой—было для него благотвѣтельно потому, что чувствомъ общей опасности и общаго страданія связало разбѣденныя русскія княжества и способствовало развитію государственной централизаціи черезъ преобладаніе Московскаго княженія надъ всѣми другими. Единство болѣе вѣщнее, нежели внутреннее, но тѣмъ не менѣе все же оно спасло Россію! Иоаннъ III, котораго не безъ основанія нѣкоторые историки называютъ великимъ, былъ творцомъ неподвижной крѣпости Московскаго царства, положивъ въ его основу идею восточнаго абсолютизма, столь благотвѣтельнаго для абстрактнаго единства созданной имъ новой державы. И этотъ великій повидимому переворотъ совершился тихо и мирно, безъ всякихъ потрясеній. Иоаннъ III обнаружилъ въ этомъ дѣлѣ гениальную односторонность, переходившую почти въ ограниченность, твердую волю, силу характера; онъ постоянно стремился къ одной цѣли, дѣйствовалъ неослабно, но не боролся, потому что не встрѣтилъ никакого дѣйствительнаго и энергическаго сопротивленія. Дѣло обошлось безъ борьбы, и такимъ образомъ одно изъ самыхъ драматическихъ событій древней русской исторіи совершилось безъ всякаго драматизма. Драматизмъ, какъ поэтический элементъ жизни, заключается въ столкновеніи и сшибкѣ (коллизіи) противоположно и враждебно направленныхъ другъ противъ друга идей, которыя проявляются какъ страсть, какъ паеосъ. Идея самодержавнаго единства Московскаго царства, въ лицѣ Иоанна III торжествующая надъ умирающей удѣльной системой, встрѣтила въ своемъ безусловно побѣдоносномъ шествіи не противниковъ сильныхъ и ожесточенныхъ, на все готовыхъ, а развѣ нѣсколько безсильныхъ и жалкихъ жертвъ. Роды удѣльныхъ князей потомковъ Рюрика скоро выродились въ простую боярщину, которая передъ престоломъ была покорна наравнѣ съ народомъ, но которая стала между престоломъ и народомъ не какъ посредникъ, а какъ непроницаемая ограда, раздѣлившая царя съ народомъ. Разрядныя книги служатъ неоспоримымъ доказательствомъ, что въ древней Россіи личность никогда и ничего не значила, но все значилъ родъ, и торжество боярина было торжествомъ цѣлаго рода боярскаго. Такимъ образомъ удѣльная борьба княжескихъ родовъ переродилась въ дворянскую борьбу боярскихъ родовъ. Но эта борьба не представляетъ никакого содержанія для драматическаго поэта, потому что при дворѣ московскомъ одинъ родъ торжествовалъ надъ другимъ въ милости царской, но ни одинъ

Соч. Бѣлинскаго, т. III.

изъ торжествующихъ родовъ не вносилъ ни въ думу, ни въ администрацію никакой новой идеи, никакого новаго принципа, никакого новаго элемента. Новый любимецъ вездѣ гналъ своихъ прежнихъ противниковъ и ихъ родичей, постригалъ ихъ насильно въ монахи, сажалъ въ тюрьмы, разсылалъ по дальнимъ городамъ то въ поворную неволю, то въ почетную опалу. И такимъ образомъ боролись и мѣнялись лица, а не идеи. Подобная борьба и подобныя смѣны могли много значить для боярскихъ родовъ, для дворянской интриги и крамолы, но для государства онѣ ровно ничего не значили; историческая же драма можетъ брать содержаніе только изъ государственной жизни. Царствованіе Грознаго повидимому болѣе всего представляетъ матеріаловъ для драмы, какъ зрѣлище нещадной войны, объявленной абсолютизмомъ боярскаго крамолѣ, но это только такъ можетъ казаться и едва-ли такъ было на самомъ дѣлѣ, ибо мы не видимъ, чтобы Грозный чѣмъ нибудь думалъ замѣнить гонимый имъ принципъ боярщины. Словомъ, видно ожесточеніе къ боярскимъ родамъ, но нѣтъ въ то же время никакого особеннаго вниманія къ народу; тутъ замѣтно слѣдовательно личное чувство, а не идея, не принципъ, не убѣжденіе. Стало быть, и тутъ нѣтъ ничего для драмы... Но вотъ является Годуновъ,—и чѣмъ бы ни достигъ онъ престола—злодѣйствомъ ли, какъ въ этомъ увѣренъ Карамзинъ, или только смѣлымъ и гибкимъ умомъ безъ преступленія,—во всякомъ случаѣ онъ также не внесъ въ русскую жизнь никакого новаго элемента, и его возвышеніе, равно какъ и его паденіе ничего не значили для будущихъ судебъ русскаго народа: безъ Годунова все пошло бы такъ же точно, какъ и съ Годуновымъ. У Самозванца были разные политическіе замыслы, которые могли бы измѣнить ходъ нашей исторіи; но эти замыслы были не что иное, какъ удалыя мечты человѣка рѣшительнаго, пылкаго, умнаго, но, что называется, безъ царя въ головѣ, а потому они и кончились такъ, какъ слѣдовало кончиться мечтамъ. Шуйскій хотѣлъ изъ боярщины образовать аристократію; но какъ это желаніе было плодомъ не мысли, а трусости и низости,—оно и кончилось бѣдой для Шуйскаго и ровно ничѣмъ не кончилось для государства... Итакъ, вотъ сряду три лица, которыя уже по необыкновенности употребляемыхъ ими способовъ для достиженія верховной власти должны были бы внести въ государственную жизнь новыя основанія, и которыя ровно ничего не внесли въ нее, и прошли въ исторіи безъ слѣда, какъ будто бы ихъ и не было... Не такъ бывало въ государствахъ западной Европы. Для англичанъ напримѣръ было великимъ событіемъ царствованіе Іоанна Безземельнаго,—этого сла-

баго и ничтожнаго брата Ричарда Львиного Сердца, овладѣвшаго властью въ отсутствіи героя, который гонялся въ Палестинѣ за безполезными лаврами. Во Франціи на примѣръ очень важно было рѣшеніе вопроса: кто будетъ управлять Людовикомъ VIII—его мать, Катерина Медичи, или кардиналъ Ришелье. Такихъ примѣровъ можно было бы найти множество; но для поясненія нашей мысли довольно и этихъ двухъ.

Итакъ, если въ «Борисѣ Годуновѣ» Пушкина почти нѣтъ никакого драматизма,—это вина не поэта, а исторіи, изъ которой онъ взялъ содержаніе для своей «эпической драмы». Можетъ быть отъ этого онъ и ограничился только одной попыткой въ этомъ родѣ.

А между тѣмъ Борисъ Годуновъ можетъ быть больше, чѣмъ какое-нибудь другое лицо русской исторіи, годился бы если не для драмы, то хоть для поэмы въ драматической формѣ,—для поэмы, въ которой такой поэтъ, какъ Пушкинъ, могъ бы развернуть всю силу своего таланта и избѣжать тѣхъ огромныхъ недостатковъ и въ историческомъ, и въ эстетическомъ отношеніи, которыми наполнена драма Пушкина. Для этого поэту необходимо было нужно самостоятельно проникнуть въ тайну личности Годунова и поэтическимъ инстинктомъ разгадать тайну его историческаго значенія, не увлекаясь никакимъ авторитетомъ, никакимъ вліяніемъ. Но Пушкинъ рабски во всемъ послѣдовалъ Карамзину,—и изъ его драмы вышло что-то похожее на мелодраму, а Годуновъ его вышелъ мелодраматическимъ злодѣемъ, котораго мучить совѣсть и который въ своемъ злодѣйствѣ напелъ себѣ кару. Мысль нравственная и почтенная, но уже до того избитая, что таланту ничего нельзя изъ нея сдѣлать!..

Отдавая полную справедливость огромнымъ заслугамъ Карамзина, въ то же время можно и даже должно безпристрастными глазами видѣть мѣру, объемъ и границы его заслугъ. Человѣкъ многосторонне-даровитый, Карамзинъ писалъ стихи, повѣсти, былъ преобразователемъ русскаго языка, публицистомъ, журналистомъ, можно сказать, создалъ и образовалъ русскую публику и слѣдовательно упрочилъ возможность существованія и развитія русской литературы; наконецъ далъ Россіи ея исторію, которая далеко оставила за собой всѣ прежнія попытки въ этомъ родѣ, и безъ которой можетъ быть еще и теперь знаніе русской исторіи было бы возможно только для записныхъ тружениковъ науки, но не для публики. И во всемъ этомъ Карамзинъ обнаружилъ много таланта, но не гениальности, и потому все сдѣланное имъ весьма важно, какъ факты исторіи русской литературы и образованія русскаго общества, но совершенно лишено безусловнаго достоин-

ства. Важнѣйшій его трудъ безъ сомнѣнія есть «Исторія Государства Россійскаго», которая читается и перечитывается до сихъ поръ, когда уже всѣ другія его сочиненія пользуются только почетной памятью, какъ произведенія, имѣвшія большую цѣну въ свое время. И дѣйствительно, до тѣхъ поръ, пока русская исторія не будетъ изложена совершенно съ другой точки зрѣнія и съ тѣмъ умѣньемъ, которое дается только талантомъ,—до тѣхъ поръ «Исторія» Карамзина поневолѣ будетъ единственной въ своемъ родѣ. Но уже и теперь ея недостатки видны для всѣхъ, можетъ быть еще больше, нежели ея достоинства. Въ недостаткахъ фактически нельзя винить Карамзина, приступившаго къ своему великому труду въ такое время, когда историческая критика въ Россіи едва начиналась, и Карамзинъ долженъ былъ, пиша исторію, еще заниматься исторической разработкой матеріаловъ. Гораздо важнѣе недостатки его исторіи, происшедшіе изъ его способа смотрѣть на вещи. Сначала его исторія—поэма вродѣ тѣхъ, которыя писались высокопарной прозой и были въ большомъ ходу въ концѣ прошлаго вѣка. Потомъ, мало-по-малу входя въ духъ жизни древней Руси, онъ можетъ быть незамѣтно для самого себя, увлекаясь своимъ трудомъ, увлекся и духомъ древне-русской жизни. Съ Іоанна III Московское царство, въ глазахъ Карамзина, становится высшимъ идеаломъ государства,—вмѣсто исторіи до-Петровской Россіи, онъ пишетъ ея панегирикъ. Все въ ней кажется ему безусловно великимъ, прекраснымъ, мудрымъ и образцовымъ. Къ этому присоединяется еще мелодраматическій взглядъ на характеры историческихъ лицъ. У Карамзина ни въ чемъ нѣтъ середины: у него нѣтъ людей, а есть только или герои добродѣтели, или злодѣи. Этотъ мелодраматизмъ простирается до того, что одно и то же лицо у него сперва является свѣтлымъ ангеломъ, а потомъ—чернымъ демономъ. Таковъ Грозный: пока имъ управляютъ, какъ машиной, Силвестръ и Адашевъ, онъ—сама добродѣтель, сама мудрость; но умираетъ царица Анастасія,—и Грозный вдругъ является бичомъ своего народа, безумнымъ злодѣемъ. Историкъ пере-сказываетъ всѣ ужасы, сдѣланные Грознымъ, и взводитъ на него такіе, которыхъ онъ и не дѣлалъ, заставляя его убивать два раза въ разныя эпохи однихъ и тѣхъ же людей. Жертвы Грознаго часто говорятъ ему передъ смертью эффектные рѣчи, какъ будто бы переведенныя изъ Тита Ливія. Такого же мелодраматическаго злодѣя сдѣлалъ Карамзинъ и изъ Бориса Годунова. Подверженный увлеченію, которое больше всего вредитъ исторіку, онъ объ убіеніи царевича Димитрія говоритъ утвердительно, какъ о дѣлѣ Годунова,

какъ будто бы въ этомъ уже невозможно никакое сомнѣніе. Юноша Годуновъ, прекрасный лицомъ, свѣтлый умомъ, блестящій краснорѣчіемъ, зять палача Малюты Скуратова, и въ рядахъ опричины умѣлъ остаться чистымъ отъ разврата, злодѣйства и крови. Черта характера необыкновеннаго! Но въ ней еще не видно строгой и глубокой добродѣтели: по крайней мѣрѣ послѣдующая жизнь Годунова не подтверждаетъ этого. Будучи царемъ, онъ не долго сдерживалъ порывы своей подозрительности и скоро сдѣлался мучителемъ и тираномъ. Вообще, если онъ при Грозномъ не запятналъ себя кровью,—въ этомъ видно больше ловкости, умѣнья и расчета, нежели добродѣтели. Годуновъ былъ необыкновенно уменъ, и потому не могъ не гнушаться злодѣйствомъ, свершеннымъ безъ нужды и безъ причины. Впрочемъ мы этимъ не хотимъ сказать, чтобъ Годуновъ былъ лицемерный злодѣй; нѣтъ, мы хотимъ только сказать, что можно въ одно и то же время не быть ни злодѣемъ, ни героемъ добродѣтели и не любить злодѣйства въ одно и то же время по чувству и по расчету... Карамзинскій Годуновъ—лицо совершенно двойственное, подобно Грозному: онъ и мудръ и ограниченъ, и злодѣй и добродѣтельный человекъ, и ангелъ и демонъ. Онъ убиваетъ законнаго наследника престола, сына своего перваго благодѣтеля и брата своего второго благодѣтеля, мудро править государствомъ и, принимая корону, клянется, что въ его царствѣ не будетъ нищихъ и убогихъ, и что послѣдней рубашкой будетъ онъ дѣлиться съ народомъ. И честно держать онъ свое обещаніе: онъ дѣлаетъ для народа все, что только было въ его средствахъ и силахъ сдѣлать. А между тѣмъ народъ хочетъ любить его—и не можетъ любить! Онъ приписываетъ ему убіеніе царевича; онъ видитъ въ немъ умышеннаго виновника всѣхъ бѣдствій, обрушившихся надъ Россіей; взводитъ на него обвиненія самыя нелѣпыя и безсмысленныя, какъ на примѣръ смерть датскаго царевича, нареченнаго жениха его милой дочери. Годуновъ все это видитъ и знаетъ.

Пушкинъ неподобно передалъ жалобы Карамзинскаго Годунова на народъ:

Мнѣ счастья нѣтъ. Я думалъ свой народъ
Въ довольствіи, во славу успокоить,
Щедротами любовь его снискать,
Но отложилъ пустое пожеланье:
Живая власть для черни ненавистна,—
Они любить умѣютъ только мертвыхъ.
Безумны мы, когда народный плескъ
Иль ярый вопль тревожатъ сердце наше.
Богъ ниспослалъ на землю нашу гладъ:
Народъ завылъ, въ мученьяхъ погибая;
Я отворилъ имъ житницы; я злато
Разсыпалъ имъ; я имъ сыскалъ работы,—
Они-жъ меня, бѣсуясь, проклинали!

Пожарный огонь ихъ дома истребилъ;
Я выстроилъ имъ новыя жилища,—
Они-жъ меня пожаромъ упрекали!
Вотъ черни судъ, нищи-жъ ея любви!

Это говорить царь, который справедливо жалуется на свою судьбу и на народъ свой. Теперь послушаемъ голоса, если не народа, то цѣлаго сословія, которое тоже, кажется не безъ основанія, жалуется на своего царя:

... онъ править нами,
Какъ царь Иванъ (не къ ночи будь помянутъ).
Что пользы въ томъ, что ливныхъ казней нѣтъ,
Что на полу кровавомъ всенародно
Мы не поемъ каноновъ Инсусу,
Что насъ не жгутъ на площади, а царь
Своимъ желомъ не подгрѣбаетъ углей?
Увѣрены ль мы въ бѣдной жизни нашей!
Насъ каждый день опала ожидаетъ,
Тюрьма, Сибирь, влобукъ или кандалы,
А тамъ въ глуши голодна смерть или петля.

Вотъ—Юрьевъ день задумалъ уничтожить,
Не властны мы въ помѣстіяхъ своихъ,
Не смѣи согнать лѣнника! Радъ не радъ,
Корми его. Не смѣи переманить
Работника! Не то—въ приказъ холопій.
Ну, слыхано-ль хотъ при царѣ Иванѣ
Такое зло? А легче ли народу?
Спроси его. Попробуй самовлавецъ
Имъ посулить старинный Юрьевъ день,
Такъ и пойдетъ потѣха.

Въ чемъ же заключается источникъ этого противорѣчія въ характерѣ и дѣйствіяхъ Годунова? Чѣмъ объясняетъ его нашъ историкъ и вслѣдъ за нимъ нашъ поэтъ? Мученіями виновной совѣсти!.. Вотъ, что заставляетъ говорить Годунова поэтъ, рабскимъ вѣрнымъ историку:

Ахъ, чувствую: ничто не можетъ насъ
Среди мірскихъ печалей успокоить;
Ничто, ничто... едина развѣ совѣсть.
Такъ, здравая, она восторжествуетъ
Надъ злобою, надъ темной клеветой;
Но если въ ней единое пятно,
Единое случайно заведоса,
Тогда бѣда: какъ лавой моровой,
Душа сгоритъ, нальется сердце ядомъ,
Какъ молоткомъ стучить въ ухахъ упрекомъ,
И все тошнить, и голова кружится,
И мальчики кровавые въ глазахъ...
И радъ бѣжать, да некуда... ужасно!
Да, жалокъ тотъ, въ комъ совѣсть нечиста...

Какая жалкая мелодрама! Какой мелкій и ограниченный взглядъ на натуру человека! Какая бѣдная мысль—заставить злодѣя читать самому себѣ мораль, вмѣсто того чтобъ заставить его всѣми мѣрами оправдывать свое злодѣйство въ собственныхъ глазахъ! На этотъ разъ историкъ сыгралъ съ поэтомъ плохую шутку... И вольно же было поэту дѣлаться эхомъ историка, забывъ, что ихъ разделяетъ другъ отъ друга цѣлый вѣкъ!.. Оттого то въ философскомъ отношеніи этотъ взглядъ на Годунова сильно напоминаетъ собой добродушный пафосъ Сумароковскаго «Димитрія Самозванца»...

Прежде всего замѣтимъ, что Карамзинъ сдѣлалъ великую ошибку, позволивъ себѣ до того увлечься голосомъ современниковъ Годунова, что въ убіеніи царевича увидѣлъ неопровержимо и несомнѣнно доказанное участіе Бориса... Изъ нашихъ словъ впрочемъ отнюдь не слѣдуетъ, чтобъ мы прямо и рѣшительно оправдывали Годунова отъ всякаго участія въ этомъ преступленіи. Нѣтъ, мы въ криминально историческомъ процессѣ Годунова видимъ совершенную недостаточность доказательствъ за и противъ Годунова. Судь исторіи долженъ быть остороженъ и безпристрастенъ, какъ судъ присяжныхъ по уголовнымъ дѣламъ. Грѣшно и стыдно утвердить недоказанное преступленіе за такимъ замѣчательнымъ человекомъ, какъ Борисъ Годуновъ. Смерть царевича Дмитрія—дѣло темное и неразрѣшимое для потомства. Не утверждаемъ за достовѣрное, но думаемъ, что съ большей основательностью можно считать Годунова невиннымъ въ преступленіи, нежели виновнымъ. Одно уже то сильно говорить въ пользу этого мнѣнія, что Годуновъ,—человѣкъ умный и хитрый, администраторъ искусный и дипломатъ тонкій,—едва ли бы совершилъ свое преступленіе такъ неловко, нелѣпо, нагло, какъ свойственно было бы совершить его какому-нибудь удалому пройдохѣ, вроде Дмитрія Самозванца, который увлекался только минутными движеніями своихъ страстей и хотѣлъ пользоваться настоящимъ, не думая о будущемъ. Годуновъ имѣлъ всѣ средства совершить свое преступленіе тайно, ловко, не навлекая на себя явныхъ подозрѣній. Онъ могъ воспитать царевича такъ, чтобъ сдѣлать его неспособнымъ къ правленію и довести до монашеской ряссы; могъ даже искусно оспаривать законность его права на насѣдство, такъ какъ царевичъ былъ плодомъ седьмого брака Іоанна Грознаго. Самое вѣроятное предположеніе объ этомъ темномъ событіи нашей исторіи должно, кажется, состоять въ томъ, что нашлись люди, которые слишкомъ хорошо поняли, какъ важна была для Годунова смерть младенца, заграждавшаго ему доступъ къ престолу, и которые, не сговариваясь съ нимъ и не открывая ему своего умысла, думали этимъ страшнымъ преступленіемъ оказать ему великую и давно ожидаемую услугу. Это напоминаетъ намъ сцену изъ «Антонія и Клеопатры» Шекспира, на палубѣ Помпея корабля, гдѣ Менасъ, сторонникъ Помпея, вызывается сдѣлать его властелиномъ всего міра, давъ ему возможность овладѣть тремя пирующими у него соперниками: Цезаремъ, Антоніемъ и Лепидомъ (дѣйств. II, сцена 7). И если служивики Годунова были догадливые и умные Менасы, то нельзя не видѣть, что они оказали Годунову очень дурную

услугу не въ одномъ нравственномъ отношеніи. Если-жъ Годуновъ внутренно, въ тайнѣ, доволенъ былъ ихъ услугой,—нельзя не согласиться, что на этотъ разъ онъ былъ очень близорукъ и недалновиденъ. Радоваться этому преступленію—значило для него радоваться тому, что у его враговъ было наконецъ страшное противъ него оружіе, которымъ они при случаѣ хорошо могли воспользоваться. Нѣтъ, еще разъ: скорѣе можно предположить (какъ ни странно подобное предположеніе), что царевичъ погибъ отъ руки враговъ Годунова, которые, сваливъ на него это преступленіе, какъ только для него одного выгодное, могли рассчитывать на вѣрную его гибель. Какъ бы то ни было, вѣрно одно: ни историкъ «Государства Россійскаго», ни рабски слѣдовавшій ему авторъ «Бориса Годунова» не имѣли ни малѣйшаго права считать преступленіе Годунова доказаннымъ и неподверженнымъ сомнѣнію.

Но—скажутъ намъ—убѣжденіе Карамзина оправдывается единодушнымъ голосомъ современниковъ Годунова, убѣжденіемъ всего народа въ его время; а вѣдь гласъ Божій—гласъ народа! Такъ; но здѣсь главный фактъ есть убѣжденіе тогдашняго народа въ представленіи Годунова, а готовность, расположеніе народа къ этому убѣжденію,—расположеніе, причина котораго заключалась въ любви, даже въ ненависти народа къ Годунову. За чтó же эта ненависть къ человѣку, который такъ любилъ народъ, столько сдѣлалъ для него, и котораго самъ народъ сначала такъ любилъ повидимому?—Въ томъ-то и дѣло, что тутъ съ обѣихъ сторонъ была лишь «любовь повидимому»—и въ этомъ заключается трагическая сторона личности Годунова и судьбы его. Еслибы Пушкинъ видѣлъ эту сторону,—тогда, вмѣсто характера въ половинѣ мелодраматическаго, у него вышелъ бы характеръ простой, естественный, понятный и вмѣстѣ съ тѣмъ трагически-высокій. Правда, и тогда у Пушкина не было бы драмы въ строгомъ значеніи этого слова; но зато была бы превосходная драматическая поэма или эпическая трагедія.

Итакъ, разгадать историческое значеніе и историческую судьбу Годунова—значитъ объяснить причину: почему Годуновъ, повидимому столь любившій народъ и столь много для него сдѣлавшій, не былъ любимъ народомъ? Попытаемся объяснить этотъ вопросъ такъ, какъ мы его понимаемъ.

Карамзинъ и Пушкинъ видятъ въ этой повидимому незаслуженной ненависти народа къ Годунову кару за его преступленіе. Слабость и нерѣшительность мѣръ, принятыхъ Годуновымъ противъ Самозванца, они приписываютъ смущенію виновной совѣсти. Это взглядъ чисто-мелодраматическій и въ

историческомъ, и въ поэтическомъ отношеніи, особенно въ примѣненіи къ такому необыкновенному человѣку, каковъ былъ Борисъ! Въ повѣсть Пушкина самъ Годуновъ объясняетъ причину народной къ себѣ ненависти такъ:

Живая власть для черни ненавистна.
Они любятъ умѣють только мертвыхъ.
Безумны мы, когда народный плескъ
Иль ярый вопль тревожитъ сердце наше.

Это оправданіе — не голосъ истины, а голосъ оскорбленнаго самолюбія, не твердая рѣчь великаго человѣка, а плаксивая жалоба неудавшагося кандидата въ геніи, раздосадованнаго неудачей. Нѣтъ, народъ никогда не обманывается въ своей симпатіи и антипатіи къ живой власти: его любовь или его нелюбовь къ ней — высшій Судъ! Гласъ Божій — гласъ народа!

Изъ всѣхъ страстей человѣческихъ, послѣ самолюбія, самая сильная, самая свирѣпая — властолюбіе. Можно навѣрное сказать, что ни одна страсть не стоила человечеству столько страданій и крови, какъ властолюбіе. Во времена просвѣщенныя и у народовъ цивилизованныхъ властолюбіе является всегда въ соединеніи съ честолюбіемъ, такъ что иногда трудно рѣшить, которая изъ этихъ страстей господствующая въ человѣкѣ, и властолюбіе кажется только результатомъ честолюбія. Во времена варварскія у народовъ необразованныхъ властолюбіе имѣетъ другое значеніе, потому что соединяется не только съ честолюбіемъ, но еще съ чувствомъ самохраненія: гдѣ, не будучи первымъ, такъ легко погибнуть ни за что, — тамъ всякому вдвойнѣ хочется быть первымъ, чтобъ никого не бояться, но всѣхъ страшить. Но такъ какъ каждому изъ всѣхъ или многихъ невозможно быть первымъ, — то право перваго естественнымъ ходомъ исторіи вездѣ утвердилось потомственно въ одномъ родѣ, на основаніи права въ прошедшемъ или преданія. Время осватило и утвердило это право за немногими родами. Это отняло у всѣхъ и у многихъ всякую возможность губить другъ друга и цѣлый народъ притязаніями на верховное первенство. Передъ правомъ избраннаго Провидѣніемъ рода умолкла зависть, смирилось властолюбіе: родъ признанъ высшимъ надо всѣми по праву свыше, и равные между собой охотно повинуются высшему передъ всѣми ими. Но когда царствующій родъ прекращается послѣ наслѣдственнаго владычества въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ, и когда право высшей власти захватываетъ человѣкъ, вчера бывшій равнымъ со всѣми передъ верховной властью, а сегодня долженствующій начать собой новую династію, — тогда естественно разнуздается у всѣхъ страсть властолю-

бія. Каждый думаетъ: если *онъ* могъ быть избранъ, почему же *я* не могъ? Чѣмъ *онъ* лучше меня, и почему не *я* лучше его? Но счастливый властолюбецъ силой и хитростью заставляетъ молчать всѣхъ и все: страсти умолкаютъ, но до времени, до случая...

Естественно, у кого нѣтъ въ отношеніи приобрѣтенія верховной власти освященнаго вѣками права законнаго наслѣдія, — тому, чтобъ заставить въ себѣ видѣть не похитителя власти, а владетеля по праву, остается опереться только на право личнаго превосходства надъ всѣми, на право генія. Только на условіи этого права толпа согласится безусловно признать владычество человѣка, который въ гражданскомъ отношеніи еще вчера стоялъ наравнѣ съ ней. Было ли за Годуновымъ это право? — Нѣтъ! — И вотъ гдѣ разгадка его историческаго значенія и его исторической судьбы: онъ хотѣлъ играть роль генія, не будучи геніемъ, — и зато палъ трагически и увлекъ за собой паденіе своего рода...

Такой человѣкъ есть лицо трагическое; такая участь есть законное достоиніе трагедіи. И что бы могъ сдѣлать Пушкинъ изъ своей поэмы, еслибъ взглянулъ на идею Бориса Годунова съ этой точки! Въ какой бы сферѣ человѣческой дѣятельности ни проявился геній, онъ всегда есть олицетвореніе творческой силы духа, вѣстникъ обновленія жизни. Его назначеніе — ввести въ жизнь новыя элементы и чрезъ это двинуть ее впередъ на высшую ступень. Явленіе генія — эпоха въ жизни народа. Генія уже нѣтъ, а народъ долго еще живетъ въ формахъ жизни, имъ созданной, долго — до новаго генія. Такъ Московское царство, возникшее силою обстоятельствъ при Іоаннѣ Калитѣ и утвержденное геніемъ Іоанна III, жило до Петра Великаго. Тотъ не геній въ исторіи, чье твореніе умираетъ вмѣстѣ съ нимъ: геній по пути исторіи пролагаетъ глубокіе слѣды своего существованія долго послѣ своей смерти.

Борисъ Годуновъ былъ человѣкъ необыкновенно умный и способный. Царедворецъ жестокаго царя, онъ умѣлъ попасть къ нему въ милость, не замазавъ себя ни каплею крови, ни однимъ безчестнымъ поступкомъ. Но это умъ нѣе объясняется отчасти ловко рассчитанной женитьбой на дочери палача, Малюты Скуратова. Въ этой чертѣ высказывается ловкій царедворецъ, но генія еще не видно. Всякій, даже самый ограниченный, но хитрый человѣкъ сумѣлъ бы рассчитать выгоды такого брака въ царствованіе Грознаго; но геній можетъ быть и не рѣшился бы на такой расчетъ, тая въ себѣ огромные замыслы на будущее: титло зятя палача Малюты Скуратова было ненавистно тому

народу, владыкой которого впоследствии сдѣлался Годуновъ. Повторяемъ: расчетъ тонкій, хитрый, но не гениальный; въ немъ виденъ придворный интриганъ, а не будущій великій государь... Годуновъ дѣлается зятемъ наслѣдника, а по смерти Грознаго—членомъ верховной думы,—и Грозный ему въ особенности, мимо старшихъ бояръ, за вѣщалъ блюсти царство. Никакія вѣдмы не предсказывали этому новому Макбету его будущаго величія; но его головѣ было отъ чего закружиться и безъ предсказаній! Это фантастическое счастье онъ могъ принять за лучшее изъ всѣхъ предсказаній! Онъ уничтожилъ верховную думу и официально былъ названъ правителемъ государства: только для вида подавалъ голосъ въ царской думѣ, но рѣшалъ всѣ дѣла самовластно, принималъ пословъ, договаривался съ ними и давалъ ихъ свитѣ цѣловать свою руку... На тронѣ сидѣлъ царь по имени, молчалиникъ и модельщикъ въ сущности, который вручилъ своему родственнику и любимцу всю власть свою, «избывая мірскія суеты и докуки»... Чего не доставало Годунову?—только престола... И онъ достигъ его.

Какъ правитель и какъ царь, Годуновъ обнаружилъ много ума и много способности, но нисколько генія. Въ томъ и другомъ случаѣ это было не больше, какъ умный и способный министр, — но не Сюлли, не Колюберъ, которые умѣли открыть новые источники государственной силы тамъ, гдѣ никто не подозрѣвалъ ихъ: нѣтъ, это былъ министр, который съ успѣхомъ велъ государство по старой, уже продолженной колѣѣ, на основаніи сохраненія *statu quo*. Насильственная смерть царевича,—кто бы ни былъ ея причиной, — уже бросила на него тѣнь подозрѣнія въ глазахъ народа, и это подозрѣніе всѣми силами возбуждали и поддерживали враги его — бояре, которые естественно никакъ не могли простить ему присвоеніе того, на что каждый изъ нихъ считалъ себя точно въ такомъ же, какъ и онъ, правѣ. Какъ правитель, Годуновъ не могъ вносить новыхъ элементовъ въ жизнь государства, которымъ управлялъ не отъ своего имени. Подобная попытка могла бы разстроить всѣ его планы и погубить его. Но когда онъ сдѣлался царемъ,—тогда онъ непременно долженъ былъ явиться реформаторомъ-виждителемъ, чтобы заставить и народъ, и враговъ своихъ—бояръ—забыть, что еще недавно былъ онъ такимъ же, какъ и они, подданнымъ? Но что же онъ сдѣлалъ для Россіи, сдѣлавшись ея царемъ?—и какимъ царемъ — самовластнымъ, воля котораго для народа была воля Божья! Чего бы нельзя было сдѣлать съ такой властью, подкрѣпленной геніемъ! Но и сдѣлавшись ца-

ремъ, Годуновъ остался тѣмъ же умнымъ и ловкимъ правителемъ, какимъ былъ и при Елѣорѣ. Надъ окружающими его боярами онъ имѣлъ личныхъ преимуществъ не больше, какъ на столько, чтобы оскорбить своимъ превосходствомъ ихъ самолюбіе, ихъ ограниченность и посредственность, но не на столько, чтобы покорить ихъ этимъ превосходствомъ, заставить ихъ пасть передъ нимъ, какъ передъ существомъ высшаго рода... Онъ ловко разыгралъ комедію, по счастливому выраженію Пушкина, «морщившись передъ короной, какъ пьяница передъ чаркой вина»; онъ заставилъ себя избрать, а не самъ объявилъ себя царемъ; онъ долго обнаруживалъ какой-то ужасъ къ мысли о верховной власти, и долго заставлялъ себя умолять. Но эта комедія даже черезчуръ тонко была разыграна, и въ ней проглядываетъ не образъ великаго человѣка, который всегда прямо идетъ къ своей цѣли, даже и тогда, когда идетъ къ ней не прямой дорогой, а образъ «маленькаго великаго человѣка», смѣлаго интригана. Это сейчасъ же и обнаружилось, какъ скоро избраніе было рѣшено, и вѣнчаніе осталось уже только обрядомъ, который не опасно было и отложить на время. Когда Сикстъ V былъ избранъ конклавомъ, онъ вдругъ выпрямился и, противъ обыкновенія, самъ заплѣлъ «Те Деумъ»: въ этой поспѣшности виденъ великій человѣкъ, достигшій своей цѣли и принимающій власть не какъ нищій копейку, съ низкими поклонами, но съ увѣренностью и гордостью силы, сознающей свое право на власть. Сикстъ не началъ разсыпаться въ обѣщанія: буду-де таковъ-то и таковъ, сдѣлаю то и другое; а сейчасъ началъ быть и дѣлать, никому не угождая, ни къ кому не подлаживаясь, и заставляя трепетать тѣхъ, которые никого не трепетали и которыхъ всѣ трепетали... Не такъ поступилъ Годуновъ. При вѣнчаніи на царство онъ клянется быть отцомъ народа, показываетъ свсю рубашку, говоря, что всегда будетъ готовъ раздѣлить ее съ послѣднимъ своимъ подданнымъ... Кто просилъ, кто требовалъ отъ него этихъ обѣщаній и клятвъ? И что значать они, что видно въ нихъ, если не чрезвычайная радость о достиженіи давно желанной цѣли, если не благодарность, рожденная этой радостью,—благодарность за блестящее бремя не по силамъ, за великое титло не по достоинству, за высшую власть не по заслугѣ?.. Не такъ принимаетъ подобную власть геній, великій человѣкъ: онъ беретъ ее, какъ что-то свое, принадлежащее ему по праву, никому не кланяясь, никого не благодаря, никому не дѣлая обѣщаній, не давая клятвъ въ порывѣ дурно скрытаго восторга. Вскорѣ послѣ Годунова

въ русской исторіи снова повторилось зрѣлище обѣщаній и клятвъ: ничтожный Шуйскій въ благодарность за корону, которой онъ признавалъ себя внутренне недостойнымъ, предлагалъ боярщинѣ права, которыхъ она отъ него не просила и взять не хотѣла... Но вотъ Годуновъ—царь. Ласкамъ народу нѣтъ конца, милости на всѣхъ лютяся рѣкой... Первый изъ русскихъ царей обратилъ онъ свое непосредственное, прямое, а не черезъ бояръ, вниманіе на массу народа, на его низшій и слѣдовательно самый обширный слой... Это была какая-то нѣжная, родственная заботливость, въ которой былъ виденъ больше отецъ, нежели царь. Народъ долженъ бы былъ боготворить Годунова, и Годуновъ долженъ бы былъ самымъ народнымъ изъ всѣхъ бывшихъ до него царей русскихъ... Въ такомъ случаѣ, что ему тайная злоба и зависть, темная крамола боярщины! Онъ могъ спокойно презирать ее: на стражѣ его стояла лучшая и надежнѣйшая изъ всѣхъ швейцарскихъ и другихъ возможныхъ гвардій—любовь народная... и въ самомъ дѣлѣ, народъ славилъ царя благодушнаго, ласковаго, правосуднаго, милостиваго, доступнаго... Народъ даже старался, силился полюбить Годунова—и никакъ не могъ.. Если у него и была на минуту любовь къ Годунову, то въ головѣ только, а не въ сердцѣ: умъ и воображеніе народа удивлялись Годунову, а сердце молчало, упрямясь согласиться съ умомъ и воображеніемъ... Но вотъ прошла и минута этой надуманной, такъ сказать, головной любви; Борисъ удволяетъ свои благодаренія народу, а народъ, принимая ихъ, клянетъ Бориса... Еще прежде его царствованія, когда еще онъ былъ только правителемъ, тѣнь убитаго царевича начала его преслѣдовать; Борисъ дѣлаетъ счастливый отпоръ наглому нашествію на Россію крымскаго хана, проникашаго до стѣнъ самой Масквы, а народъ говоритъ, что самъ Борисъ призывалъ хана, чтобы отвратить общее вниманіе отъ смерти царевича и дешевой цѣной прославиться избавителемъ отечества... Царица родила дочь: заговорили, что она родила сына, а Борисъ подмѣнилъ его дѣвочкой; а когда маленькая царевна умерла, прошегъ слухъ, что Годуновъ отравилъ ее, боясь, чтобы Федоръ не передалъ ей престола... Въ Москвѣ начались пожары: Борисъ казнилъ зажигателей и помогъ погорѣвшимъ; а народъ обвинялъ его самого въ зажигательствѣ и жалѣлъ о казненныхъ, какъ о невинныхъ жертвахъ... Годуновъ сталъ преслѣдовать распускателей этихъ слуховъ и казнить ихъ: ничего худшаго не могъ онъ выдумать—это значило согласиться въ справедливости слуховъ... Ясно, что слухи эти распускали

бояре; но народъ ловилъ ихъ жаднымъ ухомъ...

Но вотъ вѣнчаніе на царство ослѣпило народъ: и Борисъ, и самъ народъ приняли удивленіе за любовь... Комедія продолжалась только одинъ годъ: Борисъ не выдержалъ своей роли и сорвалъ съ себя маску, не имѣя силы дольше носить ее. Интриганъ становится тираномъ и напоминаетъ собой Грознаго. У него есть свой Малюта Скуратовъ, это презрѣнный, подлый братъ его—Семенъ Годуновъ. Лаская и награждая явно, онъ мучитъ и казнить тайно, и все по поводу слуховъ, все по подозрѣнію къ ненависти къ царю и злыхъ противъ него умысловъ. Бѣльскаго, уже разъ сосланнаго въ ссылку, онъ ссылаетъ снова, выщипавъ ему всю бороду по одному волоску,—какое татарское наказаніе!.. Тюрмы были набиты биткомъ, шпионство сдѣлалось не только выгоднымъ, но и почетнымъ ремесломъ... Явныхъ казней было мало; большей частью все умирали скоростижно; этотъ человекъ не умѣлъ быть даже тираномъ открыто, какъ Грозный, и тиранствовалъ во мракѣ, тайкомъ... Открывается страшный голодъ въ Россіи; народъ гибнетъ тысячами, шайки разбойниковъ грабятъ и рѣжутъ безнаказанно; Борисъ строго наказываетъ скупщиковъ хлѣба, сыплетъ на народъ деньгами, даетъ приютъ голоднымъ и нищимъ, посылаетъ отряды противъ разбойниковъ, строитъ башню Ивана Великаго, чтобы дать народу работу,—словомъ, онъ честно, вѣрно исполняетъ свою клятву—дѣлать съ народомъ послѣднюю рубашку свою... И все напрасно, все тщетно!.. Пронесется слухи о Самозванцѣ; наконецъ Самозванецъ уже поддерживается Польшей, идетъ въ Россію, къ нему передаются русскіе толпами; а Годуновъ ничего не дѣлаетъ, ничего не предпринимаетъ, онъ только собираетъ и жжетъ манифесты Самозванца и требуетъ отъ Шуйскаго клятвы, что царевичъ точно умеръ. Какой жалкій царь! Онъ могъ бы раздавить Самозванца—и палъ подъ его ударами. Подозрѣваютъ, что онъ отравилъ себя ядомъ: можетъ быть; но также можетъ быть, что онъ умеръ скоростижно отъ страшнаго напряженія силъ, вслѣдствіе внутреннихъ волненій. Въ обоихъ случаяхъ онъ умеръ малодушно. Первое извѣстіе о Самозванцѣ Годуновъ принялъ даже очень холодно; это можетъ служить доказательствомъ не одному тому, что онъ былъ увѣренъ въ смерти царевича, но и тому, что онъ былъ невиненъ въ ней; въ то же время это служитъ доказательствомъ, какъ мало былъ онъ дальновиденъ, какъ худо понималъ свое положеніе. Онъ бы долженъ знать, что тѣнь царевича—самый ужасный врагъ его во вся-

комъ случаѣ, былъ онъ убійцей царевича, или нѣтъ: въ первомъ случаѣ эта тѣнь была его неизбежной карой за преступленіе; во второмъ—она была превосходнымъ предложіемъ для народной ненависти. Бояре могли знать невинность Годунова: но если народъ не любилъ его — этого было уже слишкомъ достаточно, чтобы для народа преступленіе его было яснѣе дня. Пока царевичъ жилъ въ Угличѣ съ матерью, — на него никто не обращалъ вниманія: вѣдь онъ былъ плодомъ седьмого брака Грознаго, и личный характеръ его матери не возбуждалъ ни участія, ни уваженія, — Грозный хотѣлъ ее отослать отъ себя и жениться въ восьмой разъ, но смерть помѣшала ему выполнить это намѣреніе. Когда же царевичъ былъ убитъ, и народная ненависть запылала, — младенецъ, святой мученикъ, сдѣлался предметомъ народнаго благоговѣнія...

На всѣхъ дѣйствіяхъ Бориса, даже самыхъ лучшихъ, лежитъ печать отверженія. Всѣ дѣла его неудачны, не благодатны, потому что всѣ они выходили изъ ложнаго источника. Любовь его къ народу была не чувствомъ, а расчетомъ, и потому въ ней есть что-то ласкательное, льстивое, угодническое, и потому народъ не обманулся ею и отвѣтилъ на нее ненавистью. Удивительное существо—народъ! Почти всегда невѣжественный, грубый, ограниченный, слѣпой, — онъ непогрѣшительно истиненъ и правъ въ своихъ инстинктахъ; если онъ иногда обманывается съ этой стороны, то на одну минуту — не болѣе, и кто не любить его по внутренней, живой, сердечной потребности любить его, — тотъ можетъ осипать его деньгами, умирать за него, — онъ будетъ имъ превозносить и восхваляемъ, но любить никогда не будетъ. Если же кто любить его не по расчету, а по внутренней инстинктуальной потребности любить, тотъ можетъ идти вопреки всѣмъ его желаніямъ, — и за это народъ будетъ его осуждать, будетъ на него роптать и въ то же время будетъ любить его. Какъ Годуновъ служить живымъ доказательствомъ первой истины, такъ Петръ Великій служить живымъ доказательствомъ второй. Онъ задумалъ страшную реформу, пошелъ наперекоръ духу, преданіямъ, исторіи, обычаямъ, привычкамъ народа, — и не только умѣйшіе изъ людей его времени имѣли полное право смотрѣть на его реформу, какъ на самую несбыточную и противную здравому смыслу фантазію, но вѣроятно и у него самого бывали горькія минуты сомнѣнія и разочарованія, когда и самъ онъ думалъ то же. Реформа его встрѣтила сильную оппозицію — не со стороны только мятежныхъ стрѣльцовъ и невѣжественныхъ раскольниковъ:

эта оппозиція была слишкомъ сильна передъ его двойнымъ правомъ дѣйствовать самовластно — правомъ наслѣдства и правомъ генія; но и со стороны всего народа, котораго съ теплыхъ палатей дѣян и невѣжества стащили онъ на трудъ живой и дѣятельный. Народъ, повинувшись ему безусловно, осуждалъ его дѣйствія и ропталъ на него, но вмѣстѣ съ тѣмъ и любилъ его до готовности отдать за него послѣднюю каплю своей крови... Между тѣмъ Петръ никогда не дѣлалъ ему обѣщаній, не давалъ клятвъ, но шелъ гордо и прямо, требуя повиновенія, а не умоляя о немъ; но зато все обѣщанное народу Годуновымъ онъ исполнялъ на дѣлѣ, и еще гораздо лучше, потому что дѣйствовалъ въ этомъ случаѣ не по расчету, а по влеченію сердца... Таковъ геній: затѣявъ дѣло, которое, по всѣмъ расчетамъ человѣческой мудрости, не могло не казаться безуміемъ, онъ доводитъ его до конца, торжествуя надъ всѣми препятствіями... Въ чемъ состоитъ тайна этого успѣха? — въ творческой силѣ, присущей организму генія, какъ инстинктъ, — болѣе ни въ чемъ! Геній часто дѣйствуетъ инстинктивно, безумно, и всегда успѣваетъ, — между тѣмъ какъ талантъ рассчитываетъ вѣрно, соображаетъ тонко, дѣйствуетъ мудро, — всѣ его видятъ и всѣ одобряютъ его цѣль и средства, никто не сомнѣвается въ успѣхѣ, — а между тѣмъ, глядь, — вся эта мудрость сама собой обратилась въ безуміе, и великолѣпное зданіе, воздвигавшееся съ такимъ трудомъ, очутилось карточнымъ домикомъ: дунулъ вѣтеръ — и нѣтъ его... Вотъ талантъ, который беретъ за роль генія!

Борисъ Годуновъ не былъ человѣкомъ ничтожнымъ и даже обыкновеннымъ, напротивъ, это былъ человѣкъ ума великаго, который цѣлой головой стоялъ выше своего народа. Борисъ былъ даже выше многихъ предразсудковъ своего времени: первый изъ царей русскихъ рѣшился онъ выдать дочь за иностраннаго и иновѣрнаго принца; говорить, хотѣлъ и сына женить на иностранной принцессѣ; это вовлекло бы Россію въ болѣе живыя и плодотворныя отношенія съ Европой, нежели въ какихъ она была съ ней до того времени, и потому имѣло бы огромное вліяніе на ея будущую судьбу. Борисъ уважалъ просвѣщеніе, тщательно, сколько было въ его средствахъ, воспитывалъ дѣтей своихъ, особенно сына: хотѣлъ основать въ Москвѣ университетъ и послалъ въ Европу за учеными людьми. Уже одно то, что онъ понималъ необходимость опереться преимущественно на любовь народа, и показываетъ, какъ умнѣе былъ этотъ несчастный любимецъ счастья. Но всѣ предпріятія его не состоялись, именно потому (а не почему-

нибудь другому), что у него былъ только умъ и даровитость, но не было гениальности,—тогда какъ судьба поставила его въ такое положеніе, что гениальность была ему необходима. Будь онъ законный, наследный царь, — онъ былъ бы однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ царей русскихъ: тогда ему не было бы никакой нужды быть реформаторомъ, и оставалось бы только хранить *statu quo*, улучшая, но не измѣняя его,—а для этого и безъ гениальности достало бы у него ума и способности — и онъ много сдѣлалъ бы полезнаго для Россіи. Но онъ былъ выскочка (*рыгвепи*) и потому долженъ былъ быть гениемъ или пасть — и палъ... Ведя Русь по старой колеѣ, онъ самъ не могъ не споткнуться на той колеѣ, потому что старая Русь не могла простить ему того, что видѣла его бояриномъ прежде, чѣмъ увидѣла царемъ своимъ. Чтобы утвердиться самому на престолѣ и упрочить его за своимъ потомствомъ, — ему надо было преобразовать, перевоспитать Русь, внести въ ея жизнь новые элементы. Но для этого у него не было никакой идеи, никакого принципа. Онъ былъ только умнѣе своего времени, но не выше его. Въ немъ самомъ жила старая Русь, доказательство — его тиранія и борода Бѣльскаго... А между тѣмъ онъ чувствовалъ, что по его положенію ему необходимо быть преобразователемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ человѣкъ не гениальный, думалъ, что для этого достаточно только прибавить кое-что новаго. И вотъ онъ учреждаетъ въ Москвѣ патріаршій престолъ и сажаетъ на него не лучшаго, а преданнѣйшаго изъ духовныхъ лицъ, который и короновалъ его въ послѣдствіи. Это нововведеніе было совершенно въ духъ того времени, — новое доказательство, что Годуновъ не былъ выше своего времени и ничего не видѣлъ за нимъ... Другое нововведеніе было еще болѣе въ современномъ ему духъ, и по тому самому было вредно для Россіи того вѣка и для новой Россіи, и губительно для самого Годунова: мы говоримъ о томъ законѣ Годунова, который увѣковѣченъ русской пословицей: «Вотъ тебѣ, бубушка, Юрьевъ день!». Этимъ нововведеніемъ Годуновъ раздражилъ обѣ стороны, которыхъ оно касалось, — и помѣщиковъ, и крестьянъ. Первые жаловались, что они не могутъ теперь выгнать изъ своего помѣстья лѣниваго или развратнаго холопа и обязаны кормить его за то, что онъ ничего не дѣлаетъ, или за то, что онъ воруетъ и пьетъ. Вторые — говоря языкомъ римскаго права, изъ *persona* сдѣлались *res*. Значитъ, до Годунова у насъ не было крѣпостнаго сословія, и въ этомъ отношеніи не мы у Европы, а Европа у насъ могла бы съ большей для себя пользой позаимствоваться. Вмѣсто крѣпостнаго права, у насъ

было только помѣстное право — право владѣть землей и обрабатывать ее руками пролетаріевъ на свободныхъ съ ними условіяхъ, обратившихся въ обычай. Этотъ новый законъ былъ такъ въ духъ тѣхъ временъ, что утвердился и укоренился надолго — до временъ Екатерины, уничтожившей даже слово «рабъ» и измѣнившей положеніе этого сословія. И вотъ чѣмъ пережилъ себя Годуновъ въ потомствѣ...

У великаго человѣка и сердце великое. Идя своей дорогой и опираясь на свою силу, онъ ничего не боится; онъ разитъ своихъ враговъ, но не мститъ имъ; въ ихъ паденіи для него заключается торжество его дѣла, а не удовлетвореніе обиженнаго самолюбія. Петръ Великій умѣлъ карать враговъ своего дѣла и умѣлъ прощать личныхъ враговъ, если видѣлъ, что они ему не опасны. Его кара была актомъ правосудія, а не дѣломъ личнаго мщенія, и онъ каралъ открыто, среди бѣлаго дня, но не отравлялъ во мракъ; принявъ публично доносъ, публично изслѣдовалъ дѣло и публично наказывалъ, если доносъ оказывался справедливымъ. Когда бунтъ стрѣлцкій заставилъ его воротиться изъ путешествія, — кровь стрѣльцовъ лилась рѣкой въ глазахъ грознаго царя, и онъ не боялся показаться тираномъ, потому что не былъ имъ. Не такъ дѣйствовалъ Годуновъ. Сперва онъ крѣпился, надѣясь лаской и милостью обезоружить тайныхъ враговъ и прекратить неблагопріятныя о себѣ толки; но, видя, что это не дѣйствуетъ, — не вытерпѣлъ, и тогда настала эпоха террора, шпионства, доносовъ, пытокъ и скоростныхъ смертей... У Годунова не было великаго сердца, и потому онъ не могъ не мучиться подозрѣніями, не бояться крамолы, не увлекаться личнымъ мщеніемъ и наконецъ не сдѣлаться тираномъ. Словомъ, онъ былъ только замѣчательный, а не великій человѣкъ, умный и талантливый администраторъ, но не гений.

Итакъ, вѣрно понять Годунова исторически и поэтически — значитъ понять необходимость его паденія равно въ обоихъ случаяхъ — виновенъ ли онъ былъ въ смерти царевича, или невиненъ. А необходимость эта основана на томъ, что онъ не былъ гениальнымъ человѣкомъ, тогда какъ его положеніе непременно требовало отъ него гениальности. Это просто и ясно.

Отчего же не понималъ этого Пушкинъ? Или не достало у него художнической проницательности, поэтическаго такта? — Нѣтъ, оттого, что онъ увлекся авторитетомъ Карамзина и безусловно покорился ему. Вообще надобно замѣтить, что чѣмъ болѣе понималъ Пушкинъ тайну русскаго духа и русской жизни, тѣмъ болѣе иногда и заблуждался въ этомъ отношеніи. Пушкинъ былъ слиш-

комъ русскій человѣкъ, и потому не всегда вѣрно судилъ обо всемъ русскомъ: чтобы что-нибудь вѣрно оцѣнить разсудкомъ, необходимо это что-нибудь отдѣлить отъ себя и хладнокровно посмотрѣть на него, какъ на что-то чуждое себѣ, внѣ себя находящееся,— а Пушкинъ не всегда могъ дѣлать это, потому именно, что все русское слишкомъ спросилось съ нимъ. Такъ напримѣръ, онъ въ душѣ былъ больше помѣщикомъ и дворяниномъ, нежели сколько можно ожидать этого отъ поэта. Говоря въ своихъ запискахъ о своихъ предкахъ, Пушкинъ осуждаетъ одного изъ нихъ за то, что тотъ подписался подъ соборнымъ дѣяніемъ объ уничтоженіи мѣстничества. Первыми своими произведеніями онъ прослылъ на Руси за русскаго Байрона, за человѣка отрицанія. Но ничего этого не бывало: невозможно предположить болѣе анти-байронической, болѣе консервативной натуры, какъ натура Пушкина. Вспоминая о тѣхъ его «стишкахъ», которые молодежь того времени такъ любила читать въ рукописи,—нельзя не улыбнуться ихъ дѣтской невинности и не воскликнуть:

То кровь кипитъ, то силъ набитоки!

Пушкинъ былъ человѣкъ преданія гораздо больше, нежели какъ объ этомъ еще и теперь думаютъ. Пора его «стишковъ» скоро кончилась, потому что скоро понялъ онъ, что ему надо быть только художникомъ, и больше ничѣмъ, ибо такова его натура, а слѣдовательно таково и призваніе его. Онъ началъ съ того, что написалъ эпиграмму на Карамзина, советуя ему лучше докончить «Илью Богатыря», нежели приниматься за исторію Россіи, а кончилъ тѣмъ, что одно изъ лучшихъ своихъ произведеній написалъ подъ вліяніемъ этого историка и посвятилъ «драгоценной для Россіянъ памяти Николая Михайловича Карамзина сей трудъ, гениемъ вдохновенный». Нельзя не согласиться, что есть что-то официальное и канцелярское въ самомъ складѣ и языкѣ этого посвященія, написаннаго по Ломоносовской конструкціи, съ завѣтнымъ «сей». Кстати о сихъ, оныхъ и таковыхъ: Пушкинъ всегда употреблялъ ихъ по любви къ преданію, хотя къ его скату, опредѣленному, выразительному и поэтическому языку они такъ же плохо шли, какъ грязныя пятна идутъ къ модному платью свѣтскаго человѣка, собравшагося на балъ. Но когда «Библиотека для Чтенія» воздвигала гоненіе на эти «старопечатныя» слова, Пушкинъ еще болѣе, еще чаще началъ употреблять ихъ къ явному вреду своего слога. Въ этомъ поступкѣ не было духа противорѣчія, ни на чемъ неоснованнаго; напротивъ, тутъ дѣйствовалъ духъ принципа—слѣпое уваженія къ преданію. Если уваженіе къ

преданію такъ сильно выразилось въ отношеніи къ симъ, онымъ, таковымъ и коимъ, то естественно, что оно еще сильнѣе должно было проявляться въ Пушкинѣ въ отношеніи къ живымъ и мертвымъ авторитетамъ русской литературы. Пушкинъ не зналъ, какъ и возвеличать поэтическій талантъ Баратынскаго, и видѣлъ большого поэта даже и въ Дельвигѣ; Катенинъ, по его мнѣнію, воскресилъ величавый геній Корнеля—бездѣлица!.. Изъ старыхъ авторитетовъ Пушкинъ не любилъ только одного Сумарокова, котораго очень неосновательно ставилъ ниже даже Тредьяковскаго. Всякая сколько нибудь рѣзкая, хотя бы въ то же время и основательная критика на извѣстный авторитетъ огорчала его и не нравилась ему, какъ посягательство на честь и славу родной литературы. Но въ особенности не знало мѣры его уваженіе и, можно сказать, его благоговѣніе къ Карамзину, чему причиной отчасти было и то, что Пушкинъ былъ окруженъ людьми Карамзинской эпохи и самъ былъ воспитанъ и образованъ въ ея духѣ. Если онъ мощно, побѣдоносно выходилъ изъ духа этой эпохи, то не иначе, какъ поэтъ, а не какъ мыслящій человѣкъ, и не мысль дѣлала его великимъ, а поэтический инстинктъ. Конечно, Пушкина не могли бы такъ сильно покорить мелкія произведенія Карамзина, и Пушкинъ не могъ находить особенной поэзіи въ его стихотвореніяхъ и повѣстяхъ, не могъ особенно увлечься пріятнымъ и сладкимъ слогомъ его статей и ихъ направленіемъ; но Карамзинъ не одного Пушкина,—нѣсколько поколеній увлекъ окончательно своей «Исторіей Государства Россійскаго», которая имѣла на нихъ сильное вліяніе не однимъ своимъ слогомъ, какъ думаютъ, но гораздо больше своимъ духомъ, направленіемъ, принципами. Пушкинъ до того вошелъ въ ея духъ, до того проникнулся имъ, что сдѣлался рѣшительнымъ рыцаремъ «Исторіи» Карамзина и оправдывалъ ее не просто какъ исторію, но какъ политическій и государственный коранъ, долженствующій быть пригоднымъ какъ нельзя лучше и для нашего времени, и остаться такимъ навсегда.

Удивительно ли послѣ этого, что Пушкинъ смотрѣлъ на Годунова глазами Карамзина, и столько заботился объ истинѣ и поэзіи, сколько о томъ, чтобы не погрѣшить противъ «Исторіи Государства Россійскаго»? И потому его поэтический инстинктъ виденъ не въ цѣлости (l'ensemble), а только въ частностяхъ его трагедіи. Лицо Годунова, получивъ характеръ мелодраматическаго злодѣя, мучимаго совѣстью, лишилось своей цѣлости и полноты; изъ живописнаго изображенія, какимъ бы должно было оно быть, оно сдѣлалось мозаической картиной или,

лучше сказать, статуей, которая вырублена не из одного цѣльнаго мрамора, а сложена изъ золота, серебра, мѣди, дерева, мрамора, глины. Отъ этого Пушкинскій Годуновъ является читателю то честнымъ, то низкимъ человѣкомъ; то героемъ, то трусомъ; то мудрымъ и добрымъ царемъ, то безумнымъ злодѣемъ, и нѣтъ другого ключа къ этимъ противорѣчіямъ, кромѣ упрековъ виновной совѣсти... Отъ этого, за отсутствіемъ истинной и живой поэтической идеи, которая давала бы цѣлость и полноту всей трагедіи, «Борисъ Годуновъ» Пушкина является чѣмъ-то неопредѣленнымъ и не производитъ почти никакого рѣзкаго, сосредоточеннаго впечатлѣнія, какого вправѣ ожидать отъ нея читатель, безпрестанно поражаемый ея художественными красотою, безпрестанно восхищающийся ея удивительными частностями.

И дѣйствительно, если, съ одной стороны, эта трагедія отличается большими недостатками,—то, съ другой стороны, она же блистаетъ и необыкновенными достоинствами. Первые выходятъ изъ ложности идеи, положенной въ основаніе драмы; вторыя—изъ превосходнаго выполненія со стороны формы. Пушкинъ былъ такой поэтъ, такой художникъ, который какъ-будто не умѣлъ, еслибъ и хотѣлъ, и дурную идею воплотить не въ превосходную форму. Прежде всего спросимъ всѣхъ, сколько нибудь знакомыхъ съ русской литературой: до Пушкинскаго «Бориса Годунова», изъ русскихъ читателей или русскихъ поэтовъ и литераторовъ, имѣлъ ли кто-нибудь какое-нибудь понятіе о языкѣ, которымъ долженъ говорить въ драмѣ русскій человѣкъ до-Петровской эпохи? Не только прежде, даже послѣ «Бориса Годунова» явилась ли на русскомъ языкѣ хотя одна драма, содержаніе которой взято изъ русской исторіи, и въ которой русскіе люди чувствовали бы, понимали и говорили по-русски? И читая всѣхъ этихъ «Ляпуновыхъ», «Скопинныхъ-Шуйскихъ», «Баторіевъ», «Іоанновъ Третьихъ», «Самозванцевъ», «Царей-Шуйскихъ», «Еленъ Глинскихъ», «Пожарскихъ», которые съ тридцатыхъ годовъ настоящаго столѣтія наводнили русскую литературу и русскую сцену,—что видите вы въ почтенныхъ ихъ сочинителяхъ, если не Сумароковыхъ нашего времени? Не будемъ говорить о русскихъ трагедіяхъ, появившихся до Пушкинскаго «Бориса Годунова»: чего же можно и требовать отъ нихъ! Но что русскаго во всѣхъ этихъ трагедіяхъ, которыя явились уже послѣ «Бориса Годунова»? И не можно ли подуматъ скорѣе, что это нѣмецкія пьесы, только переложенныя на русскіе нравы?—Словно гигантъ между пигмеями до сихъ поръ высится между множествомъ quasi-русскихъ трагедій

Пушкинскій «Борисъ Годуновъ», въ гордомъ и суровомъ уединеніи, въ недоступномъ величіи строгаго художественнаго стиля, благородной классической простоты... Довольно уже расточено было критикой похвалъ и удивленія на сцену въ кельѣ Чудова монастыря между отцомъ Пименомъ и Григорьемъ... Въ самомъ дѣлѣ, эта сцена, которая была напечатана въ одномъ московскомъ журналѣ года за четыре или лѣтъ за пять до появленія всей трагедіи, и которая тогда же надѣлала много шума,—эта сцена въ художественномъ отношеніи, по строгости стиля, по неподдѣльной и неподражаемой простотѣ, выше всѣхъ похвалъ. Это что-то великое, громадное, колоссальное, никогда не бывалое, никѣмъ непредчувствованное. Правда, Пименъ ужъ слишкомъ идеализированъ въ его первомъ монологѣ, и потому чѣмъ болѣе поэтическаго и высокаго въ его словахъ, тѣмъ болѣе грѣшитъ авторъ противъ истины и правды дѣйствительности: не русскому, но и никакому европейскому отшельнику-лѣтописцу того времени не могли войти въ голову подобныя мысли—

Не даромъ многихъ лѣтъ
Свидѣтелемъ Господь меня поставилъ
И книжному искусству вразумилъ:
Когда нибудь монахъ трудолюбивый
Найдетъ мой трудъ усердный, безымянный;
*Засѣтитъ онъ, какъ я, свою лампаду,
И пылъ отъкозъ отъ хартий отряхнетъ,
Правдивыя сказанья перепишетъ.*

На старости я сызнова живу;
Минувшее проходитъ предо мною—
Давно-ль оно неслось, событий полно,
Волнуясь, какъ море-океанъ?
Теперь оно безмолвно и спокойно:
Немного лицъ мнѣ память сохранила,
Немного словъ доходитъ до меня,
А прочее погнѣло невоввратно.»

Ничего подобнаго не могъ сказать русскій отшельникъ-лѣтописецъ конца XVI и начала XVII вѣка; слѣдовательно эти прекрасныя слова—ложь, но ложь, которая стоитъ истины: такъ исполнена она поэзіи, такъ обаятельно дѣйствуетъ на умъ и чувство! Сколько лжи въ этомъ родѣ сказали Корнель и Расинъ—и однакожъ просвѣщеннѣйшая и образованнѣйшая нація въ Европѣ до сихъ поръ рукоплещетъ этой поэтической лжи! И не диво: въ ней, въ этой лжи относительно времени, мѣста и нравовъ есть истина относительно человѣческаго сердца, чело-вѣческой натуры. Во лжи Пушкина тоже есть своя истина, хотя и условная, предположительная: отшельникъ Пименъ не могъ такъ высоко смотрѣть на свое призванье, какъ лѣтописецъ; но еслибъ въ его время такой взглядъ былъ возможенъ, Пименъ выразился бы не иначе, а именно такъ, какъ заставилъ его высказаться Пушкинъ.

Сверхъ того мы выписали изъ этой сцены рѣшительно все, что можно осуждать какъ ложь въ отношеніи къ русской дѣйствительности того времени: все остальное такъ глубоко проникнуто русскимъ духомъ, такъ глубоко вѣрно исторической истинѣ, какъ только могъ это сдѣлать лишь гений Пушкина—истинно-національнаго русскаго поэта. Какая напримѣръ глубоко вѣрная черта русскаго духа заключается въ этихъ словахъ Пимена:

Да вѣдаютъ потомки православныхъ
Земли родной минувшую судьбу,
Своихъ царей великихъ поминаютъ
За ихъ труды, за славу, за добро—
А за грѣхи, за темныя дѣянья
Спасителя смиренно умоляютъ.

Вообще въ этой сценѣ удивительно хорошо обрисованы, въ ихъ противоположности, характеры Пимена и Григорія; одинъ—идеаль безмятежнаго спокойствія въ простотѣ ума и сердца, какъ тихій свѣтъ лампы, озаряющей въ темномъ углу иконы византийской живописи; другой—весь безпокойство и тревога. Григорію трижды снится одна и та же греза. Проснувшись, онъ дивится спокойствію, съ которымъ старецъ пишетъ свою лѣтопись, — и въ это время рисуетъ идеаль историка, который въ то время былъ невозможенъ, другими словами, выговариваетъ превосходнѣйшую поэтическую ложь:

Ни на челѣ высокомъ, ни во взорахъ
Нельзя прочесть его *сокрытыхъ думъ*;
Все тотъ же видъ смиренный, величавый.
Такъ точно дѣякъ, въ приказахъ посѣдѣль,
Спокойно зрѣть на правыхъ и виновныхъ,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не вѣдал ни жалости, ни гнѣва.

Затѣмъ онъ рассказываетъ старцу о «бѣсовскомъ мечтаніи», смущавшемъ сонъ его:

Мнѣ снилось, что лѣстница крутая
Меня вела на башню; съ высоты
Мнѣ видѣлась Москва, что муравейникъ;
Внизу народъ на площади кипѣлъ
И на меня указывалъ со смѣхомъ;
И стыдно мнѣ, и страшно становилось,
И, падая стремглавъ, я пробуждался...

Въ этомъ тревожномъ снѣ—весь будущій Самозванецъ... И какъ по-русски обрисованъ онъ, какая вѣрность въ каждомъ словѣ, въ каждой чертѣ! Вотъ еще два монолога—факты глубоко-вѣрнаго, глубоко-русскаго изображенія этихъ двухъ чисто-русскихъ и такъ противоположныхъ характеровъ:

Пименъ.

Младая кровь играетъ;
Смирный себя молитвой и постомъ,
И сны твои видѣній легкихъ будутъ
Исполнены. Донынѣ—если я,
Невольною дремотой обезьяненъ,

Не сотворю молитвы долгой въ ночи—
Мой старый сонъ не тихъ и не безгрѣшенъ;
Мнѣ чудятся то шумные пиры,
То ратный станъ, то схваты боевыя,
Безумныя потѣхи юныхъ лѣтъ!

Григорій.

Какъ весело провелъ свою ты младость!
Ты воевалъ подъ башнями Казани,
Ты рать Литвы при Шуйскомъ отражалъ,
Ты видѣлъ дворъ и роскошь Іоанна!
Счастливы! а я отъ отроческихъ лѣтъ
По келіямъ скитаюсь, бѣдный инокъ!
Зачѣмъ и мнѣ не тѣшиться въ болахъ,
Не пировать за царскою трапезой?
Успѣлъ бы я, какъ ты, на старость лѣтъ
Отъ суеты, отъ міра отложиться,
Пронести монашества обѣтъ
И въ тихую обитель затвориться.

Слѣдующій затѣмъ длинный монологъ Пимена о суетѣ свѣта и преимуществѣ затворнической жизни—верхъ совершенства! Тутъ русскій духъ, тутъ Русью пахнетъ! Ничья, никакая исторія Россіи не дастъ такого яснаго, живого созерцанія духа русской жизни, какъ это пристоудное, безхитростное разсужденіе отшельника. Картина Іоанна Грознаго, искавшаго упокоенія «въ подобіи монашескихъ трудовъ»; характеристика Феодора и разсказъ о его смерти,—все это чудо искусства, неподражаемые образы русскаго жизни до-Петровской эпохи! Вообще вся эта превосходная сцена сама по себѣ есть великое художественное произведеніе, полное и оконченное. Она показала, какъ, какимъ языкомъ должны писаться драматическія сцены изъ русской исторіи, если ужъ онѣ должны писаться,—и если не навсегда, то надолго убила возможность такихъ сценъ въ русской литературѣ, потому что скоро-ли можно дожидаться такого таланта, который послѣ Пушкина могъ бы подвизаться на этомъ поприщѣ?.. А при этомъ еще нельзя не подуматъ, не истощилъ ли Пушкинъ своей трагедіей всего содержанія русскаго жизни до Петра Великаго такъ, что касаться другихъ эпохъ и другихъ событій историческихъ значило бы только—съ другими именами и названіями повторить одну и ту же основную мысль, и потому быть убійственно однообразнымъ?..

Теперь о частностяхъ. Вся трагедія какъ будто состоитъ изъ отдѣльных частей или сценъ, изъ которыхъ каждая существуетъ какъ будто независимо отъ цѣлаго. Это показываетъ, что трагедія Пушкина есть драматическая хроника, образецъ который созданъ Шекспиромъ. Кромѣ превосходной сцены въ Чудовомъ монастырѣ, между старцемъ Пименомъ и Отрепьевымъ, въ трагедіи Пушкина есть много прекрасныхъ сценъ. Таковы: первая—въ кремлевскихъ палатахъ между Воротынскимъ и Шуйскимъ, въ которой и исторически, и поэтически вѣрно обрисо-

ванъ характеръ Шуйскаго; вторая—сцена на рода идыка Щелканова на площади; третья—въ кремлевскихъ палатахъ, между Борисомъ, согласившимся царствовать, патриархомъ и боярами. Въ этой сценѣ превосходно обрисовано добросовѣстное лицемѣрство Годунова,—въ томъ смыслѣ добросовѣстное, что, обманывая другихъ, онъ прежде всѣхъ обманывалъ самого себя, какъ всякій талантъ, обольщаемый ролью гения. Прекрасно также окончаніе этой сцены, происходящее между Воротынскимъ и Шуйскимъ, гдѣ характеръ послѣдняго все болѣе и болѣе развивается, его слова—

Теперь не время помнить,
Совѣту порой и забывать.—

такъ оригинальны, что должны со временемъ обратиться въ любимую пословицу для благо-разумныхъ и осторожныхъ людей вродѣ Шуйскаго. Превосходна маленькая сцена между патриархомъ и игуменомъ, написанная прозой: это одинъ изъ драгоцѣннѣйшихъ перловъ трагедіи.

Мы уже говорили по поводу шестой сцены о цѣлой трагедіи: въ ней Борисъ является злодѣемъ, сперва сваливающимъ вину своихъ неудачъ и оскорбленій на неблагодарность народа, и послѣ разсуждающій о томъ, какъ жалокъ тотъ, въ комъ нечиста совѣсть. Намъ кажется, что это не драма, а мелодрама: истинно драматическіе злодѣи никогда не разсуждаютъ сами съ собой о невыгодахъ нечистой совѣсти и о пріятности добродѣтели. Въмѣсто этого они дѣйствуютъ, чтобъ дойти до цѣли или удержаться у ней, если уже дошли до нея.

Седьмая сцена въ корчмѣ на литовской границѣ превосходна. Жаль только, что желаніе выказать рѣзче дерзость Отрепьева увлекло поэта въ мелодраматизмъ, заставивъ его спровадить Самозванца въ окно корчмы, въ которое и курица проскочила бы съ трудомъ. Къ лучшимъ сценамъ трагедіи принадлежитъ восьмая—въ домѣ Шуйскаго. Превосходно, выше всякой похвалы, передалъ въ ней поэтъ, устами Шуйскаго, ропотъ и жалобы на Годунова его современниковъ. Выше мы уже выписали этотъ монологъ.

Слѣдующая затѣмъ большая сцена представляетъ собой двѣ части. Въ первой Борисъ превосходно очерченъ, какъ примѣрный семьянинъ, вѣрный отецъ; онъ утѣшаетъ дочь, овдовѣвшую невѣсту, говорить съ сыномъ о сладкомъ плодѣ ученія, о томъ, какъ помогаетъ наука державному труду. Все это такъ просто, такъ естественно,—и Борисъ является въ этой сценѣ во всемъ свѣтѣ своихъ лучшихъ качествъ. Во второй части сцены Борисъ узнаетъ отъ Шуйскаго о появленіи Самозванца. Странное волненіе, об-

наруженное Борисомъ при этомъ извѣстіи, основано поетомъ на виновной совѣсти Годунова,—и его послѣпность къ рѣшительнымъ мѣрамъ противорѣчитъ исторической истинѣ: извѣстно, что Годуновъ вначалѣ принялъ слишкомъ слабыя мѣры противъ Отрепьева, вѣроятно не считая его за опаснаго врага. Но, если смотрѣть на эту сцену съ точки зрѣнія Пушкина, въ ней много драматическаго движенія, много страсти. Борисъ въ страшномъ волненіи, а Шуйскій, не теряя присутствія духа отъ мысли, что волненіе можетъ ему стоить головы, ни на минуту не перестаетъ быть придворной лисой.

Сцена въ Краковѣ, въ домѣ Вишневецкаго, между Самозванцемъ и іезуитомъ Черниковскимъ очень хороша, за исключеніемъ Ломоносовской фразы—«сыны славянъ», не-кстати вложенной поетомъ въ уста Самозванцу. Продолженіе и конецъ этой сцены, гдѣ Самозванецъ говоритъ съ сыномъ Курбскаго, съ разными русскими, приходящими къ нему, съ полякомъ Собаньскимъ и по-этомъ,—не представляютъ никакихъ особен-но рѣзкихъ чертъ.

За маленькой, но прелестной сценой въ замкѣ Мнишка въ Самборѣ слѣдуетъ знаменитая сцена у фонтана. Въ ней Самозванецъ является удалцомъ, который готовъ за-быть свое дѣло для любви, а Марина—холодной, честолюбивой женщиной. Вообще эта сцена очень хороша; но въ ней какъ будто чего-то не достаетъ или какъ будто проглядываютъ какія-то ложныя черты, которыя трудно и указать, но которыя тѣмъ не менѣе производятъ на читателя не совсѣмъ выгодное для сцены впечатлѣніе. Кажется, не преувеличилъ ли поэтъ любовь Самозванца къ Маринѣ, не сдѣлалъ ли онъ изъ минутной прихоти чувственнаго человѣка какую-то глубокую страсть? Самозванецъ въ этой сценѣ слишкомъ искрененъ и благороденъ; порывы его слишкомъ чисты: въ нихъ не видно будущаго растлителя несчастной дочери Годунова... Кажется, въ этомъ заключается ложная сторона этой сцены. Безразсудство Самозванца, его безумное признаніе передъ Мариной въ самозванствѣ совершенно въ его характерѣ, пылкомъ, отважномъ, дерзкомъ, на все готовомъ, но рѣшительно неспособномъ ни на что великое, ни на какой глубоко обдуманной планъ; совершенно въ его характерѣ и мгновенные порывы животной чувственности, но едва ли въ его характерѣ человѣческое чувство любви къ женщинѣ. Характеръ Марины удивительно хорошо выдержанъ въ этой сценѣ.

Сцена на литовской границѣ между молодымъ Курбскимъ и Самозванцемъ до того приторна, фразиста и исполнена пустой декламации, выдаваемой за паеость, что труд-

но повѣрить, чтобъ она была написана Пушкинымъ...

Сцена въ царской думѣ между Годуновымъ, патриархомъ и боярами можетъ быть хороша, даже превосходна только съ Пушкинской точки зрѣнія на участіе Годунова въ смерти царевича; если же смотрѣть на нее иначе, она покажется искусственной, и потому ложной. Но въ ней есть двѣ превосходнѣйшія черты: это рѣчь патриарха о чудесахъ, творимыхъ останками царевича, и о чудномъ исцѣленіи стараго пастуха отъ слѣпоты. Вторая черта—ловкій оборотъ, которымъ хитрый Шуйскій выводитъ Годунова изъ замѣшательства, въ какое привело его неожиданное предложеніе патриарха.

Сцена на равнинѣ, близъ Новгорода-Сѣверскаго, очень интересна своей живостью, характеромъ Маржерета и даже пестрой смѣсью языковъ и лицъ. Сцена юродиваго на кремлевской площади можетъ быть сочтена даже за превосходную, но только съ Пушкинской точки зрѣнія на виновную совѣсть Бориса. Въ сценѣ подъ Сѣвскомъ Самозванецъ обрисованъ очень удачно; особенно хороша эта черта:

Самозванецъ.

Ну! обо мнѣ какъ судятъ въ вашемъ станѣ?

Плѣнникъ.

А говорить о милости твоей,
Что ты-декастъ (будь не во гнѣвѣ) и воръ,
А молодецъ.

Самозванецъ, *смѣясь*.

Такъ это я на дѣлѣ

Имъ докажу.

Въ сценѣ въ царскихъ палатахъ, между Годуновымъ и Басмановымъ, оба эти лица являются въ какомъ-то странномъ свѣтѣ. Годуновъ собирается уничтожить мѣстничество (!). Басмановъ этому, разумѣется, радъ. Оба они разсуждаютъ объ управленіи народомъ, и Годуновъ окончательно рѣшаетъ:

Нѣтъ, милости не чувствуетъ народъ.
Твори добро—не скажетъ онъ спасибо;
Грабь и казни—тебѣ не будетъ хуже.

Басмановъ за это величаетъ его «высокимъ державнымъ духомъ», желаетъ ему поскорѣ управиться съ Отрепьевымъ, чтобъ потомъ «сломить рогъ родовому боярству». Но вотъ Борисъ умираетъ, вотъ даетъ онъ послѣднія наставленія своему наслѣднику; что же особеннаго въ этихъ наставленіяхъ?—Изъ нихъ замѣчательно только одно:

Не намѣняй теченья дѣлъ —Привычка—
Душа державъ...

Въ этомъ, какъ и во всемъ остальномъ, что говоритъ умирающій Годуновъ своему сыну, виденъ царь умный, способный и опытный, который былъ бы однимъ изъ лучшихъ царей русскихъ, еслибъ престолъ достался ему по праву наслѣдія,—но слиш-

комъ ограниченный умъ для того, чтобъ усидѣть на захваченномъ тронѣ...

Крикъ мужика на амвонѣ лобнаго мѣста: «вязать Борисова щенка!» ужасенъ;—это голосъ всего народа или, лучше сказать, голосъ судьбы, обрекшей на гибель родъ несчастнаго честолюбца, взявшаго на себя бремя не по силамъ... Пушкинъ непременно хотѣлъ тутъ выразить голосъ судьбы, обрекшей на гибель родъ злодѣя, царевубійцы... Можетъ быть это было такъ; но спрашиваемъ: который изъ Годуновыхъ болѣе трагическое лицо—царевубійца, наказанный за злодѣяніи, или достойный человекъ, падшій за недостаткомъ гениальности? Трагическое лицо непременно должно возбуждать къ себѣ участіе. Самъ Ричардъ III,—это чудовище злодѣйства, возбуждаетъ къ себѣ участіе исполинской мощью духа. Какъ злодѣй, Борисъ не возбуждаетъ къ себѣ никакого участія, потому что онъ—злодѣй мелкій, малодушный; но, какъ человекъ замѣчательный, такъ сказать, увлеченный судьбой взять роль не по себѣ, онъ очень и очень возбуждаетъ къ себѣ участіе: видишь необходимость его паденія и все-таки жалѣешь о немъ...

Превосходно окончаніе трагедіи. Когда Мосальскій объявилъ народу о смерти дѣтей Годунова, —«народъ въ ужасѣ молчитъ»... Отчего же онъ молчитъ? развѣ не самъ онъ хотѣлъ гибели Годуновскаго рода, развѣ не самъ онъ кричалъ: «вязать Борисова щенка».. Мосальскій продолжаетъ: «Что-жъ вы молчите? Кричите: да здравствуетъ царь Дмитрій Ивановичъ!» —«Народъ безмолвствуетъ».

Это послѣднее слово трагедіи, заключающее въ себѣ глубокую черту, достойную Шекспира... Въ этомъ безмолвіи народа слышенъ страшный, трагическій голосъ новой Немезиды, изрекающей судъ свой надъ новой жертвой—надъ тѣми, кто погубилъ родъ Годуновыхъ...

XI.

Домикъ въ Коломнѣ.—Родословная моего Героя (отрываетъ изъ сатирической поэмы).—Мѣдный Всадникъ.—Галубъ.—Египетскія ночи.—Анджело.—Сцена изъ Фауста.—Пиръ во время чумы.—Моцартъ и Сальери.—Скупой Рыцарь.—Русалка.—Каменный Гость.—Сцены изъ рыцарскихъ временъ.—Сказки: о Царѣ Салтанѣ; о Мертвой Царевнѣ и о Семи Вогагыряхъ; о Золотомъ Пѣтушкѣ; о Рыбакѣ и Рыбкѣ; о Купцѣ Кузьмѣ Остолопѣ и о Работникѣ его Вадѣ. — *Повѣсти*: Арапъ Петра Великаго; Повѣсти Бѣлкина: Пиковая дама;—Капитанская дочка; Дубровский.—Лѣтопись села Горохина.—Кирджали.—Исторія Пугачевского бунта.—Журнальныя статьи.—Заключеніе.

При разборѣ остальныхъ сочиненій Пушкина, о которыхъ нами не было еще гово-

рено, мы нѣсколько отступимъ отъ того хронологическаго порядка, въ какомъ появлялись въ свѣтъ эти сочиненія, чтобы, окончивъ съ поэмами, драматическія произведенія обозрѣть вмѣстѣ.

«Домикъ въ Коломнѣ» — игрушка, сдѣланная рукой великаго мастера. Несмотря на видимую незначительность ея со стороны содержанія, эта шуточная повѣсть тѣмъ не менѣе отличается большими достоинствами со стороны формы. Остроты, шутки, рассказъ, въ одно время и легкій и занимательный, мѣстами проблески чувства, на всемъ какой-то особенный колоритъ, и наконецъ превосходный стихъ — все это тотчасъ же облачаетъ великаго мастера. Когда нечаянно попадаетъ вамъ подъ руку эта, теперь уже столь старая пьеса, и взоръ вашъ небрежно падаетъ на первую попавшуюся строфу или стихъ, — все равно, съ начала это или съ середины, не только вы незамѣтно для самого себя непремѣнно прочтете до конца, и на душѣ вашей отъ этого чтенія останется впечатлѣніе легкое, но невыразимо сладостное, хотя бы вы уже сто разъ читали и перечитывали эту пьесу прежде. Многихъ удивитъ подобное мнѣніе; но «Домикъ въ Коломнѣ» мы считаемъ однимъ изъ замѣчательныхъ произведеній, въ которомъ, подъ легкой небрежной формой и при видимой незначительности содержанія, скрыто много искусства. Эта пьеса доказываетъ ту простую истину, что жизнь, лишь бы искусство вѣрно воспроизводило ее, всегда высоко для насъ занимательна, и что люди, ищущіе въ произведеніяхъ искусства только эффектныхъ сюжетовъ, не понимаютъ ни жизни, ни искусства. Поэтическія произведенія такъ-же имѣютъ свой колоритъ, какъ и произведенія живописи, и если колоритъ въ картинахъ цѣнится такъ высоко, что иногда только онъ одинъ и составляетъ все ихъ достоинство, — то такъ же точно колоритъ долженъ цѣниться и въ поэтическихъ произведеніяхъ. Правда, онъ меньше всего доступенъ большинству читателей, которые по обыкновенію прежде всего хватаются за содержаніе, за мысль, мимо формы, и потому часто дюжинныя произведенія принимаются ими за великія, а великія — за дюжинныя. Мы увѣрены, что есть много читателей, которымъ «Домикъ въ Коломнѣ» очень нравится, но которые тѣмъ не менѣе считаютъ его только миленькой, но очень ничтожной вещью. Такъ всегда судитъ большинство!

«Родословная моего Героя», названная отрывкомъ изъ сатирической повѣсти, вмѣстѣ съ «Графомъ Нулинымъ» и «Домикомъ въ Коломнѣ» составляетъ типъ особеннаго рода поэмъ, которыя такъ любить новая «натуральная» школа нашей литературы, пошед-

шая, какъ извѣстно, не отъ Карамзина и Дмитріева, а отъ Пушкина и Гоголя. Это по преимуществу поэмы нашего времени, потому что ихъ больше другихъ любятъ въ наше время. И немудрено: въ нихъ поэтъ не прячется за своими героями или за событіемъ, но прямо отъ своего лица обращается къ читателю съ тѣми вопросами, которые равно интересны и для самого поэта, и для читателей. Въ поэмахъ этого рода даже важное и патетическое само по себѣ выказывается съ отгѣнкомъ ироніи, юмористически, и иногда тѣмъ сильнѣе дѣйствуетъ на читателя, чѣмъ небрежнѣе говоритъ поэтъ.

Нельзя сказать положительно, хотѣлъ ли Пушкинъ написать цѣлую поэмку и почему-нибудь остановился на началѣ, но нѣтъ никакого сомнѣнія, что отрывокъ «Родословная моего Героя» во всякомъ случаѣ представляетъ собой нѣчто цѣлое, потому что выражаетъ мысль совершенно полную и опредѣленную. Судя по словамъ автора, отрывокъ этотъ можно принять за сатиру на людей, которые потому только не уважаютъ знатности породы, что сами не могутъ похвалиться ею (по крайней мѣрѣ Пушкинъ тутъ ясно даетъ чувствовать, что не понимаетъ другой возможности равнодушія къ гербамъ и пергаментамъ); но, всмотрѣвшись ближе въ его произведеніе, нельзя не увидѣть, что это очень острая сатира, написанная поэткомъ на самого себя. Съ неподражаемымъ остроуміемъ шутитъ поэтъ надъ предками своего героя, излагая его генеалогію:

Изъ нихъ Езерскій Варлаамъ
Гордыней славился боярской;
За споръ то съ тѣмъ онъ, то съ другимъ
Съ большимъ безчестіемъ выводимъ
Бывалъ изъ-за трапезы царской,
Но снова шелъ подъ тяжкій гнѣвъ
И умеръ, Сидчихъ пересѣвъ.

Этотъ намекъ на мѣстничество, составлявшее point d'honneur нашей боярщины, блещетъ истинно Вольтеровскимъ остроуміемъ, которое конечно не возбудитъ въ читателѣ особеннаго уваженія къ «родословнымъ»; но вслѣдъ затѣмъ иронія поэта бросается со-всѣмъ въ противоположную сторону.

Но извините; статья можетъ,
Читатель, вамъ я досадила;
Вашъ умъ духъ вѣка просвѣтилъ,
Васъ спѣхъ дворянская не лложетъ,
И нужды нѣтъ вамъ никакой
До вашей книги родовой.
Кто-бъ ни былъ вашъ родоначальникъ, —
Мстиславъ, князь Курбскій, или Ермакъ,
Или Митюшка цѣловальникъ, —
Вамъ все равно. Конечно такъ:
Вы презираете отцани,
Изъ славы, честию, правами
Великодушно и умно;
Вы отреклись отъ нихъ давно
Прямого просвѣщенія ради,
Гордясь (какъ общей пользы другъ)

Красою «собственныхъ заслугъ»,
Звѣздой двоюроднаго дяди,
Иль приглашеніемъ на балъ,
Туда, гдѣ дѣдъ вашъ не бывалъ.

Эти мысли изумительны своей наивностью, достойной тѣхъ временъ, когда Варлаама Езерскаго за споры то съ тѣмъ, то съ другимъ съ безчестіемъ выводили изъ-за царскаго стола. Изъ чего хлопочетъ поэтъ? Противъ чего возстаютъ онъ?—Противъ того, чего самъ не могъ не осмѣять... Что за упрекъ такой: «Васъ спѣсь дворянская не гложетъ»? Неужто спѣсь дворянская или мѣщанская есть добродѣтель, а не порокъ—признакъ грубости нравовъ и невежества?.. Вамъ все равно, кто бы ни былъ вашъ родоначальникъ—князь или цѣловальникъ Митюшка?.. Гордиться происхожденіемъ отъ князя такъ же смѣшно, какъ и стыдиться происхожденія отъ цѣловальника, потому что какъ въ первомъ случаѣ заслуга, такъ во второмъ—преступленіе—суть чистѣйшая случайность. Не происхожденіе, а жизнь приносить человѣку честь или безчестіе. Иначе Сусанинъ или Мининъ были бы низкими людьми въ сравненіи со всякимъ глупенькимъ и пошленькимъ князькомъ, какихъ довольно бываетъ на бѣломъ свѣтѣ между князьями, достойными всякаго уваженія по ихъ личнымъ достоинствамъ. Поэтъ обвиняетъ родословныхъ людей нашего времени въ томъ, что они презираютъ своими отцами, ихъ славой, правами и честью, —упрекъ столько же ограниченный, сколько и неосновательный. Если человѣкъ не чванится тѣмъ, что происходитъ по прямой линіи отъ какого-нибудь великаго человѣка, неужели это непремѣнно значить, что онъ презираетъ своего великаго предка, его славу, его великія дѣла? Кажется, тутъ слѣдствіе выведено совсѣмъ произвольно. Презирать предковъ, когда они и ничего не сдѣлали хорошаго,—смѣшно и глупо: можно не уважать ихъ, если не за что уважать, но въ то же время не презирать, если не за что презирать. Гдѣ нѣтъ мѣста уваженію, тамъ не всегда есть мѣсто преврѣнію: уважается хорошее, презирается дурное; но отсутствіе хорошаго не всегда предполагаетъ присутствіе дурного, и наоборотъ. Еще смѣшнѣе гордиться чужимъ величіемъ или стыдиться чужой низости. Первая мысль превосходно объяснена въ превосходной баснѣ Крылова «Гуси»; вторая ясна сама по себѣ. Извѣстно, что цѣловальники (въ древности—присяжные чиновники) не отличались особенной честностью, не отличаются и нынѣ, какъ продавцы вина въ питейныхъ домахъ; но если сынъ цѣловальника, по своей натурѣ, оказался неспособенъ къ званію своего отца, и вмѣсто того чтобъ обмѣривать въ кабакахъ пьяныхъ мужиковъ, прожилъ вѣкъ свой—по-

жалуй, не великимъ, даже не даровитымъ, а просто честнымъ человѣкомъ,—скажите: зачѣмъ ему стыдиться, что онъ сынъ своего отца?.. Притомъ же мы нисколько не споримъ, что Тамерланъ былъ большой аристократъ, — по крайней мѣрѣ при его жизни въ этомъ никто не смѣлъ усомниться подъ опасеніемъ быть посажену на колъ; но прежде, нежели сдѣлался великимъ ханомъ, онъ былъ кузнецомъ, заплатившимъ за покражу овцы увѣчьемъ нога. Такъ и всякій родъ начать былъ однимъ человѣкомъ незнатнаго происхожденія, у котораго въ роднѣ былъ не одинъ сапожникъ или портной. Но все это истины немного пошлыя, потому именно, что онѣ ужъ слишкомъ истинны. Тѣмъ повидимому страннѣе, что великій поэтъ видѣлъ въ нихъ ложь, а во лжи—истину. Но здѣсь въ поэтѣ оказался человѣкъ, не могшій, на зло себѣ, отрѣшиться отъ предрасудковъ, надъ которыми самъ смѣялся... Но дагѣ—

Я самъ, хоть въ книжкахъ и словесно
Собратья надо мной трунять,
Я мѣщанинъ, какъ вамъ извѣстно,
И въ этомъ смыслъ (въ какомъ же?) демократъ;
Но каюсь, новой Ходаковской,
Люблю отъ бабушки московской
Я толки слушать о роднѣ,
О толстобрюхой старинѣ.

Признаніе по истинѣ наивное! На вкусъ товарища нѣтъ, говорить русская пословица; но кому какое дѣло до чужихъ вкусовъ, и кто свои личные и притомъ странные вкусы вправѣ выдавать другимъ за законъ? Одинъ любить говорить съ московской бабушкой о роднѣ и о «толстобрюхой старинѣ»; другой любить разсуждать съ своимъ крѣпостнымъ псаремъ о личныхъ качествахъ и добродѣтеляхъ его гончихъ: оба правы, и мы никому изъ нихъ мѣшать не намѣрены, а только считаемъ себя вправѣ попросить обоихъ не навязывать намъ своихъ вкусовъ, какъ правилъ нравственности и добродѣтели.

Мнѣ жаль, что нашей славы звуки
Уже намъ чужды;

Дѣйствительно, жаль, если правда, что звуки нашей славы намъ чужды. Только едва ли правда: равнодушіе къ «толстобрюхой старинѣ» и равнодушіе къ народной славѣ—совсѣмъ не одно и то же. Если поэтъ хотѣлъ этимъ упрекомъ намекнуть на то, что мы, какъ молодой, исполненный надеждъ народъ, больше заняты своимъ настоящимъ и больше смотримъ на свое будущее, нежели на прошлое, —то ему слѣдовало бы выразиться яснѣе и понять лучше причину этого явленія, совершенно необходимаго и нисколько не предосудительнаго въ его источникѣ...

Что проста

Изъ бояръ мы ъѣземъ въ tiers-état...

Полно, проста ли? Мы вообще убѣждены, что ни одно историческое явленіе не дѣлается проста, и ни въ одномъ не виноваты люди. Предки нашихъ баръ шли все въ гору, хотѣли быть только барами и жили широко, не заботясь о будущемъ, а ихъ дѣти принуждены были понять, что барство поддерживается прежде всего деньгами, и что безъ денегъ барство — суета суетъ! Тутъ видна скорѣе смѣтливость и догадливость, нежели простота. Фабрики, компаніи, акціи, спекуляціи, предпріятія, обороты — все это вещи, можетъ быть дѣйствительно нисколько не аристократическія, зато уже и совсѣмъ не простоватыя... Въ наше время простаковъ мало, и простаки въ наше время именно тотъ, кого гложетъ какая-нибудь спѣсь...

Что намъ не въ прокъ пошли науки,
И что спасибо намъ за то
Не скажетъ, кажется, никто.

Да изъ чего же слѣдуетъ, что науки пошли намъ не въ прокъ? ужъ не изъ того ли, что онѣ избавили насъ отъ дворянской спѣси?.. Странный выводъ!.. Впрочемъ, пошедши отъ ложнаго начала, нельзя не дойти до ложныхъ выводовъ. Странное зрѣлище: великій поэтъ видитъ зло въ успѣхахъ просвѣщенія, которое безъ насильственныхъ переворотовъ смягчило грубость нравовъ и сблизило между собой дотошъ раздѣленные сословія!..

Мнѣ жаль, что тѣхъ родовъ боярскихъ
Вѣдѣть блескъ и нивнеть духъ:
Мнѣ жаль, что нѣтъ князей Пожарскихъ,
Что о другихъ пропалъ и слухъ;
Что ихъ поносятъ и Фигляринъ;
Что русскій *оптренный* бояринъ (баринъ?)
Считаетъ грамоты царей
За пыльный сборъ календарей;
Что въ нашемъ теремѣ забытомъ
Растетъ пустынная трава,
Что геральдическаго льва
Демократическимъ копытомъ
Теперь лагаетъ и оселъ:
Духъ вѣка вотъ куда зашелъ!

Многимъ казалось ужасно остроумной выходка о демократическомъ копытѣ осла, лагающаго геральдическаго льва, и они такъ восхитились ею, что повѣрили древности этого геральдическаго льва, по наивному незнанію, что существованіе нашей геральдики есть искусственное и не простирается даже за полувѣкъ отъ настоящаго дня... Отъ этихъ стиховъ такъ и вѣетъ «Литературной Газетой» 1830 года... Ничего не можетъ быть нелѣпѣе, какъ приложеніе къ нашему русскому быту фактовъ исторіи Западной Европы, съ ея католическими и рыцарскими преданіями, вовсе для насъ чуждыми и нисколько къ намъ не идущими. И оттого
Соч. Бѣлинскаго. Т. III.

слова: «аристократическій», «демократическій», встрѣчающіяся изрѣдка въ русскихъ стихахъ или русской прозѣ, тѣмъ смѣшнѣе и забавнѣе, чѣмъ серьезнѣе смотреть они... Пушкина, кажется, очень занимало общественное положеніе Байрона, гордившагося тѣмъ, что въ его жилахъ текла королевская кровь, и болѣе дорожившаго своимъ званіемъ лорда, нежели своимъ значеніемъ перваго поэта Европы XIX вѣка. Но Байронъ — другое дѣло. Онъ — англичанинъ; его предразсудки имѣли значеніе историческое и національное. Еслибъ онъ и не сдѣлался великимъ человѣкомъ, онъ все бы остался важнымъ лицомъ въ своемъ отечествѣ: обладателемъ огромнаго наслѣдства, по праву рожденія членомъ палаты лордовъ... Аристократизмъ — въ этомъ словѣ заключается вся политическая конструкція Англіи, какъ государства, и потому тамъ къ партіи тори принадлежатъ не одни дворяне, но и люди всѣхъ другихъ сословій, которые въ сохраненіи statu quo видятъ для себя великій вопросъ: быть или не быть?... Какъ потомка старинной фамиліи, Пушкина зналъ бы только его кругъ знакомыхъ, а не Россія, для которой въ этомъ обстоятельствѣ не было ничего интереснаго; но какъ поэта, Пушкина узнала вся Россія и теперь гордится имъ, какъ сыномъ, дѣлающимъ честь своей матери... Кому нужно знать, что бѣдный дворянинъ, существующій своими литературными трудами, богатъ длиннымъ рядомъ предковъ, мало извѣстныхъ въ исторіи? Гораздо интереснѣе было знать, что напишетъ новаго этого геніальный поэтъ...

Забавны въ сатирическомъ смыслѣ послѣдніе стихи отрывка:

Вотъ почему, архивы роя,
Я разбиралъ въ досужный часъ
Всю родословную героя,
О комъ затѣялъ свой рассказъ
И адѣсь потомству заповѣдалъ.
Езерскій самъ же твердо вѣдалъ,
Что дѣлъ его, великій мужъ,
Имѣлъ двѣнадцать тысячъ душъ;
Изъ нихъ отцу его досталась
Осьмая часть, и та сполна
Была давно заложена
И ежегодно продавалась;
А самъ онъ жалованьемъ жилъ
И регистраторомъ служилъ.

Увы! Sic transit gloria mundi! На кого же тутъ пенять, на кого жаловаться? Какіе тутъ аристократы и демократы? Тутъ дѣло должно идти просто о мотовствѣ, о незнаніи хозяйства, о неразсчитливой жизни на авось, о естественномъ раздробленіи имѣній черезъ право наслѣдства... Тѣмъ, которые тутъ проиграла, остается одно — вступить въ tiers-état, но не проста, а для того, чтобъ, во-первыхъ, что-нибудь дѣлать, а во-вторыхъ, чтобъ имѣть болѣе вѣрныя средства къ суще-

ствованію... Въмѣсто этой юмористической повѣсти, Пушкину лучше было бы написать дидактическую поэму о пользѣ свекло-сахарныхъ заводовъ или о превосходствѣ плодоперемѣнной системы земледѣлія надъ трехпольной, какъ Ломоносовъ написалъ посланіе о пользѣ стекла, начинающееся этими наивными стихами:

Не право о вещахъ тѣ думаютъ, Шуваловъ,
Которые стекло чтутъ ниже минераловъ.

А между тѣмъ «Родословная Моего Героя» написана стихами до того прекрасными, что нѣтъ никакой возможности противиться ихъ обаянію, не смотря на ихъ содержаніе. И потому эта пьеса—истинный шалашъ, построенный великимъ мастеромъ изъ драгоценнаго паросскаго мрамора...

Теперь перейдемъ къ тремъ лучшимъ, въ художественномъ отношеніи, поэмамъ Пушкина—«Мѣдному Всаднику», «Галубу» и «Египетскимъ Ночамъ».

«Мѣдный Всадникъ» многимъ кажется какимъ-то страннымъ произведеніемъ, потому что тема его повидимому выражена не вполне. По крайней мѣрѣ страхъ, съ какимъ побѣждалъ помѣшанный Евгенийъ отъ конной статуи Петра, нельзя объяснить ничѣмъ другимъ, кромѣ того, что пропущены слова его къ монументу. Иначе, почему же вообразилъ онъ, что грозное лицо царя, возгорѣвъ гнѣвомъ, тихо оборотилось къ нему, и почему, когда стремглавъ побѣждалъ онъ, ему все слышалось,

Какъ будто грома грохотанье;
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой!...

Условьтесь въ томъ, что въ напечатанной поэмѣ не достаетъ словъ, обращенныхъ Евгениемъ къ монументу,—а вамъ сдѣлается ясна идея поэмы, безъ того смутная и неопредѣленная. Настоящій герой ея — Петербургъ. Оттого и начинается она грандіозной картиной Петра, задумывающаго основаніе новой столицы, и яркимъ изображеніемъ Петербурга въ его теперешнемъ видѣ.

На берегу пустынныхъ волнъ
Стоялъ Онъ, думъ великихъ полнъ,
И въ даль глядѣлъ. Предъ нимъ широко
Рѣка неслася; бѣдный челядь
По ней стремился одиноко.
По мшистымъ, топкимъ берегамъ
Чернѣли избы здѣсь и тамъ,
Пріютъ убогаго чухонца;
И дѣсь, невѣдомый лучамъ
Въ туманѣ спрятаннаго солнца,
Кругомъ шумѣлъ.

И думалъ Онъ:
«Отсель грозить мы будемъ шведу;
Здѣсь будетъ городъ заложень,
«На зло надменному сосѣду;
«Природой здѣсь намъ суждено
«Въ Европу прорубить окно,

«Ногою твердой стать при морѣ;
«Сюда, по новымъ имъ волнамъ,
«Всѣ флаги въ гости будутъ къ намъ—
«И запируемъ на просторѣ!»
Прошло сто лѣтъ—и юный градъ,
Полночныхъ странъ краса и диво,
Изъ тѣмъ лѣсовъ, изъ топи блатъ
Вознесся пышно, горделиво:
Гдѣ прежде финскій рыболовъ,
Печальный пасынокъ природы,
Одинъ у низкихъ береговъ
Бросалъ въ невѣдомыя воды
Свой ветхій неводъ, нынѣ тамъ
По оживленнымъ берегамъ
Громады стройныя тѣснатыя
Дворцовъ и башенъ; корабли
Толпой со всѣхъ концовъ земли
Къ богатымъ пристанямъ стремятся:
Въ гранитъ одѣлася Нева;
Мосты повисли надъ водами;
Темнозелеными садами
Ея покрылись острова—
И передъ младшею столицей
Главой склонилася Москва,
Какъ передъ новою царицей
Порфиросная вдова.

Не перепечатаваемъ вполне этого описанія, исполненнаго такой высокой и мощной поэзіи; но, чтобы прослѣдить идею поэмы въ ея развитіи, напомнимъ читателю заключеніе:

Красуйся, градъ Петровъ, и стой
Неколебимо, какъ Россія!
Да умирится же съ тобой
И побѣжденная стихія:
Вражду и плѣнъ старинный свой
Пусть волны финскія забудутъ
И тщетной злобою не будутъ
Тревожить вѣчный сонъ Петра!
Была ужасная пора:
Объ ней свѣжо воспоминанье...
Объ ней, друзья мои, для васъ
Начну свое повѣствованье.
Печаленъ будетъ мой рассказъ.

Содержаніе этого разсказа составляетъ описаніе страшнаго наводненія, постигшаго Петербургъ въ 1824 году. Это плачевное событіе имѣетъ прямое отношеніе къ построенію Петромъ Великимъ Петербурга, не по одной этой причинѣ столь дорого стоившаго Россіи. Съ исторіей наводненія, какъ историческаго событія, поэтъ искусно слилъ частную исторію любви, сдѣлавшейся жертвой этого происшествія. Герой повѣсти — Евгенийъ,—имя, такъ сдружившееся съ перомъ нашего поэта, который съ грустью описываетъ его незначительность, не соответствующую его понятіямъ о родословіи:

Прозванье намъ его не нужно—
Хотя въ минувши времена
Оно, быть можетъ, и блистало
И, подъ перомъ Карамзина,
Въ родныхъ преданьяхъ прозвучало.
Но нынѣ свѣтомъ и молвой
Оно забыто. Нашъ герой
Живетъ въ Коломнѣ; гдѣ-то служитъ;
Дичится знатныхъ и не тужитъ
Ни о покойницѣ роднѣ,
Ни о забытой старинѣ.

Однажды легъ онъ съ грустными мечтами о своемъ житьѣ-бытьѣ; вечеръ былъ мраченъ и буренъ. На другой день сдѣлалось наводненіе—

И всплылъ Петрополь какъ тритонъ,
По поясъ въ воду погруженъ.

Картина наводненія написана у Пушкина красками, которыя цѣною жизни готовъ бы былъ купить поэтъ прошлаго вѣка, помѣшавшійся на мысли написать эпическую поэмѣ — «Потопъ»... Тутъ не знаешь, чему больше дивиться, — громадной ли грандіозности описанія, или его почти прозаической простотѣ, — что, вмѣстѣ взятое, доходитъ до высочайшей поэзіи. Однакожъ, боясь перепечатать всю поэмѣ, пропускаемъ начало описанія, чтобъ поспѣшить къ герою поэмѣ:

Тогда на площади Петровой —
Гдѣ домъ въ углу вознесся новый,
Гдѣ подъ возвышеннымъ крыльцомъ
Съ поднятой лапой, какъ живые,
Стоять два льва сторожевые, —
На вѣтрѣ мраморномъ верхомъ,
Безъ шляпы, руки сжавъ крестомъ,
Сидѣлъ недвижный, страшно блѣдный
Евгеній. Онъ страшился, блѣдный,
Не за себя. Онъ не слыхалъ,
Какъ поднимался жадный валь,
Ему подошвы поднимая;
Какъ дождь ему въ лицо хлесталъ;
Какъ вѣтеръ, буйно завывая,
Съ него и шляпу вдругъ сорвалъ.
Его отчаянные взоры
На край одинъ наведены
Недвижно были. Словно горы,
Изъ возмущенной глубины
Вставали волны тамъ и злились,
Тамъ буря выла, тамъ носились
Обломки... Боже, Боже!... тамъ —
Увы! близехонько къ волнамъ,
Почти у самаго залива —
Заборъ некрашенный да ива
И ветхій домикъ; тамъ онѣ,
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта... Или во снѣ
Онъ это видитъ? Иль вся наша
И жизнь не что, какъ сонъ пустой,
Насмѣшка рока надъ землей?
И онъ какъ будто ободованъ,
Какъ будто къ мрамору прикованъ,
Сойти не можетъ! Вокругъ него
Вода — и больше ничего!
И, обращенъ къ нему спиной,
Въ неколебимой вышинѣ,
Надъ возмущенною Невой
Однѣмъ съ простертою рукою
Глядитъ на бронзовомъ конѣ.

Когда наводненіе утихло, Евгеній на мѣстѣ, гдѣ стоялъ домъ Парашы, нашелъ одну иву — и ничего больше. Несчастный сошелъ съ ума. Бродя по улицамъ, преслѣдуемый мальчишками, получая удары отъ кучерскихъ плетей, разъ —

Онъ очутился подъ столбами
Большого дома. На крыльцѣ,
Съ поднятой лапой, какъ живые,
Стояли львы сторожевые,

И прямо въ темной вышинѣ,
Надъ огражденною склою,
Глядитъ съ простертою рукою
Однѣмъ на бронзовомъ конѣ.

Въ этомъ безпрестанномъ столкновеніи несчастнаго съ «гигантомъ на бронзовомъ конѣ» и въ впечатлѣніи, какое производитъ на него видъ Мѣднаго Всадника, скрывается весь смыслъ поэмѣ; здѣсь ключъ къ ея идеѣ...

Евгеній задрогнулъ. Прояснились
Въ немъ страшно мысли. Онъ узналъ
И мѣсто, гдѣ потопъ игралъ,
Гдѣ волны хищныя толпились,
Бунтуя грозно вокругъ него,
И львовъ, и площадь, и Тою,
Кто неподвижно возвышался
Во мракѣ съ мѣдной головой
И съ распростертою рукою —
Какъ будто градомъ любовался.
Безумецъ блѣдный обомель
Кругомъ скалы съ тоскою дикой,
И надпись арку прочесть,
И сердце скорбью великой
Стѣснилось въ немъ. Его чело
Къ рѣшеткѣ холодной прилегло.
Глаза подернулись туманомъ,
По членамъ холодъ пробѣжалъ,
И задрогнулъ онъ — и мраченъ сталъ
Предъ дивнымъ русскимъ великаномъ.
И, перстъ свой на него поднимая,
Задумался... Но вдругъ стремглавъ
Вбѣжать пустился... Показалось
Ему, что грознаго царя,
Минувшимъ гнѣвомъ озорья,
Лично тѣмъ же обращалось...
И онъ по площади пустой
Вбѣжать и слышать за собой
Какъ будто грома грохотанье,
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой —
И, озаренъ луною блѣдной,
Простерши руки къ вышинѣ,
За нимъ несетъ Всадникъ Мѣдный
На звонко-скачущемъ конѣ, —
И во всю ночь, безумецъ блѣдный
Куда стопы не обращалъ,
За нимъ повсюду Всадникъ Мѣдный
Съ тяжелымъ топотомъ скакалъ...
И съ той поры, куда случалось
Идти той площадью ему,
Въ его лицѣ изображалось
Смятенье: къ сердцу своему
Онъ прижималъ поспѣшно руку,
Какъ бы его смирля муку;
Картузъ виновенный сымалъ,
Смущенныхъ глазъ не подымалъ,
И шелъ стороной...

Въ этой поэмѣ видимъ мы горестную участь личности, страдающей какъ бы вслѣдствіе избранія мѣста для новой столицы, гдѣ подверглось гибели столько людей, — и наше сокрушенное сочувствіемъ сердце, вмѣстѣ съ несчастнымъ, готово смутиться; но вдругъ взоръ нашъ, упавъ на изваяніе виновника нашей славы, склоняется долу, — и въ священномъ трепетѣ, какъ бы въ сознаніи тяжкаго грѣха, бѣжитъ стремглавъ, думая слышать за собой,

Какъ будто грома грохотанье,
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой...

Мы понимаемъ смущенной душой, что не произволъ, а разумная воля олицетворены въ этомъ Мѣдномъ Всадникѣ, который, въ неколебимой вышинѣ, съ распростертой рукой, какъ бы любитъ городомъ... И намъ чудятся, что, среди хаоса и тьмы этого разрушенія, изъ его мѣдныхъ устъ исходить творящее: «да будетъ!», а простертая рука гордо повелѣваетъ утихнутъ разъяреннымъ стихіямъ... И смиреннымъ сердцемъ признаемъ мы торжество общаго надъ частнымъ, не отказываясь отъ нашего сочувствія къ страданію этого частнаго... При взглядѣ на Великана, гордо и неколебимо возносящагося среди всеобщей гибели и разрушенія, и какъ бы символически осуществляющаго собой несокрушимость его творенія,—мы, хотя и не безъ содроганія сердца, но сознаемъ, что этотъ бронзовый гигантъ не могъ уберечь участи индивидуальностей, обезпечивая участь народа и государства; что за него историческая необходимость, и что его взглядъ на насъ есть уже его оправданіе... Да, эта поэма—апоэоза Петра Великаго, самая смѣлая, самая грандіозная, какая могла только прійти въ голову поэту, вполне достойному быть пѣвцомъ великаго преобразователя Россіи... Александръ Македонскій завидовалъ Ахиллу, имѣвшему Гомера своимъ пѣвцомъ: въ глазахъ насъ, русскихъ, Петру некому завидовать въ этомъ отношеніи... Пушкинъ не написалъ ни одной эпической поэмы, ни одной «Петриады», но его «Стансы» (Въ надеждѣ славы и добра), многія мѣста въ «Полтавѣ», «Пиръ Петра Великаго» и наконецъ этотъ «Мѣдный Всадникъ» образуютъ собой самую дивную, самую великую «Петриаду», какую только въ состояніи создать гений великаго національнаго поэта... И мѣрой трепета при чтеніи этой «Петриады» должно опредѣляться, до какой степени вправѣ называться русскимъ всякое русское сердце...

Намъ хотѣлось бы сказать что-нибудь о стихахъ «Мѣднаго Всадника», о ихъ упругости, силѣ, энергіи, величавости; но это выше силъ нашихъ: только такими же стихами, а не нашей бѣдной прозой можно хвалить ихъ... Нѣкоторыя мѣста, какъ напримѣръ упоминаніе о графѣ Хвостовѣ, показываютъ, что по этой поэмѣ еще не былъ проведенъ окончательно рѣзецъ художника, да и напечатана она, какъ извѣстно, послѣ его смерти; но и въ этомъ видѣ она—колоссальное произведеніе...

Въ статьѣ Пушкина «Путешествіе въ Арзрумъ» находятся слѣдующія строки: «Здѣсь нашелъ я измаранный списокъ «Кавказскаго

Плѣнника» и, признаюсь, перечелъ его съ большимъ удовольствіемъ. Все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено вѣрно». Насъ всегда поражала благородная и безпристрастная вѣрность этой оцѣнки, и нельзя не согласиться, что это лучшая критика на «Кавказскаго Плѣнника». «Кавказскій Плѣнникъ» вышелъ въ свѣтъ въ 1822 году и былъ однимъ изъ первыхъ произведеній Пушкина, наиболѣе способствовавшихъ его народности въ Россіи. Истиннымъ героемъ ея былъ не столько плѣнникъ, сколько Кавказъ; исторія плѣнника была только рамкой для описанія Кавказа. Случилось такъ, что и одно изъ послѣднихъ произведеній Пушкина опять посвящено было тому же Кавказу, тѣмъ же горцамъ. Но какая огромная разница между «Кавказскимъ Плѣнникомъ» и «Галубомъ». Словно въ разные вѣка и разными поэтами написаны эти двѣ поэмы! Въ «Путешествіи въ Арзрумъ» Пушкинъ рассказываетъ между прочимъ о похоронахъ у горцевъ, которыхъ свидѣтелемъ ему случилось быть. Это даетъ право догадываться, что впечатлѣнія, плоды которыхъ былъ «Галубъ», собраны были поэтомъ во время его путешествія въ Арзрумъ, въ 1829 году, и что эта поэма была написана имъ послѣ 1829 года. Если ее раздѣлять отъ «Кавказскаго Плѣнника» промежуткомъ только десяти лѣтъ,—какой великій прогрессъ! И что бы написалъ намъ Пушкинъ, еслибы прожилъ еще хоть десять лѣтъ!

Сколькокихъ добрыхъ жизнь поблекла!
Сколькокихъ нѣжныхъ рокъ шадить!
Нѣтъ великаго Патрокла!
Жизнь презрительный Терситъ!...

Въ «Галубѣ» глубоко гуманная мысль выражена въ образахъ столько же отчетливо вѣрныхъ, сколько и поэтическихъ. Старикъ чеченецъ, похоронивъ одного сына, получаетъ другого изъ рукъ его воспитателя. Но этотъ второй сынъ не замѣнилъ ему своего брата и обманулъ надежды отца. Безъ образованія, безъ всякаго знакомства съ другими идеями или другими формами общественной жизни, но единственно инстинктомъ своей природы юный Тазитъ вышелъ изъ стихій своего родного племени, своего родного общества. Онъ не понимаетъ разбоя ни какъ ремесла, ни какъ поэзіи жизни; не понимаетъ мщенія ни какъ долга, ни какъ наслажденія.

Среди родимаго аула
Онъ все чужой; онъ цѣлый день
Въ горахъ одинъ молчитъ и бродитъ.
Такъ въ савѣ пойманный олень
Все въ лѣсъ глядитъ, все въ глушь уходитъ.
Онъ любитъ по крутымъ скаламъ
Скользить, ползти тропой кремнистой,
Внимая бурѣ голосистой
И въ безднѣ воющимъ волнамъ.
Онъ иногда до поздней ночи

Сидитъ печаленъ надъ горой,
Недвижно въ даль уставя очи,
Опершись на руку glavой...
Какія мысли въ немъ проходятъ?
Чего желаетъ онъ тогда?
Изъ міра дальняго куда
Младцы сны его уводятъ?
Какъ знать? Незрима глубь сердець!
Въ мечтаньяхъ отрокъ своеволенъ,
Какъ вѣтеръ въ небѣ..

Въ самомъ дѣлѣ, что онъ такое — поэтъ, художникъ, жрецъ науки или просто одна изъ тѣхъ внутреннихъ, глубоко сосредоточенныхъ въ себѣ натуръ, рождающихся для мирныхъ трудовъ, мирнаго счастья, мирнаго и благотворительнаго вліянія на окружающихъ его людей? Какъ знать это кому-нибудь, если онъ самъ того не знаетъ? Явился онъ въ цивилизованномъ обществѣ, — хотя съ трудомъ, съ борьбой, надѣлавъ тысячи ошибокъ, но сознавъ бы онъ свое назначеніе, напелъ бы его и отдался бы ему. Но онъ родился среди патриархально-разбойническаго, дикаго и невѣжественнаго племени, съ которымъ у него нѣтъ ничего общаго, — и ему нѣтъ мѣста на землѣ, онъ отверженъ, проклятъ; его родные — враги его... Отецъ Тазита — чеченецъ душой и тѣломъ, чеченецъ, которому непонятны, которому ненавистны всѣ нечеченскія формы общественной жизни, который признаетъ святой и безусловно истинной только чеченскую мораль, и который слѣдовательно можетъ въ сынѣ любить только истаго чеченца. Въ отношеніи къ сыну онъ не дѣйствуетъ иначе, какъ заодно съ чеченскимъ обществомъ, во имя его національности. Трагическая коллизія между отцомъ и сыномъ, т. е. между обществомъ и человѣкомъ, не могла не обнаружиться скоро. Разъ Тазитъ, въ своихъ горныхъ разѣздахъ, встрѣтилъ армянина съ товарами — и не ограбилъ, не убилъ или не привелъ его домой на арканѣ. Другой разъ повстрѣчалъ онъ бѣлаго раба — и оставилъ его невредимымъ; въ третій —

Отецъ.

Кого ты видѣлъ?

Сынъ.

Убийцу брата.

Отецъ.

Убийцу сына моего?...
Тазитъ! гдѣ голова его?
Дай, наглажусь!

Сынъ.

Убийца былъ
Одинъ, израненъ, безоруженъ...

Отецъ.

Ты долга крови не забылъ...
Врага ты навѣнчъ опрокинулъ...

Не правда ли? ты шапку вынулъ,
Ты въ горло сталь ему воткнулъ
И трижды тихо повернулъ?
Упился ты его стenanьемъ,
Его змѣинымъ надыханьемъ?...
Гдѣ-жъ голова, подай!.. Нѣтъ силъ...
Но сынъ молчитъ, потупя очи.
И сталъ Галубъ чернѣе ночи
И сыну грозно вопиалъ:
«Поди ты прочь — ты мнѣ не сынъ!
«Ты не чеченецъ — ты старуха,
«Ты трусъ, ты рабъ, ты армянинъ!
«Будь проклятъ мной, поди — чтобъ слуха
«Никто о робкомъ не имѣлъ,
«Чтобъ вѣчно ждалъ ты грозной встрѣчи,
«Чтобъ мертвый братъ тебѣ на плечи
«Окровавленной кошкой сѣлъ
«И къ бѣдѣ гналъ тебя нещадно;
«Чтобъ ты, какъ раненый олень,
«Бѣжалъ, тоскуя безотрадно;
«Чтобъ дѣти русскихъ деревень
«Тебя веревками поймаи
«И какъ волчонка затерзали —
«Чтобъ ты... бѣги, бѣги скорѣй!
«Не оскверняй моихъ очей!»

Здѣсь, въ лицѣ отца, говоритъ общество. Такія чеченскія исторіи случаются и въ цивилизованныхъ обществахъ: Галилея въ Италіи чуть не сожгли живого за его несогласіе съ чеченскими понятіями о мировой системѣ. Но тамъ человѣкъ знаніемъ опередилъ свое общество и, еслибъ былъ сожженъ, могъ бы имѣть хоть то утѣшеніе передъ смертью, что идею его не сожгутъ невѣжественные палачи... Здѣсь же человѣкъ вышелъ изъ своего народа своей натурой, безъ всякаго сознанія объ этомъ, — самое трагическое положеніе, въ какомъ только можетъ быть человѣкъ!... Одинъ среди множества, и ближніе его — враги ему; стремится онъ къ людямъ и съ ужасомъ отскакиваетъ отъ нихъ, какъ отъ змѣи, на которую наступилъ нечаянно... И винить, и презираетъ, и прокликаетъ онъ себя за это, потому что его сознаніе не въ силахъ оправдать въ собственныхъ его глазахъ его отчужденіе отъ общества... И вотъ она — вѣчная борьба общаго съ частнымъ, разума — съ авторитетомъ и преданіемъ, человѣческаго достоинства — съ общественнымъ варварствомъ! Она возможна и между чеченцами!..

Превосходны, выше всякой похвалы послѣдніе стихи «Галуба», представляющіе живое изображеніе черкесскихъ нравовъ и трогательную картину отчужденныхъ отъ общества любовниковъ:

Они въ толпѣ четоу странной
Стоять, не видя ничего.
И горе имъ: онъ — сынъ изгнанный,
Она — любовница его...
О, было время! съ ней украдкой
Видался юноша въ горахъ;
Онъ пилъ огонь отравы сладкой
Въ ея смятенъ, въ рѣчъ краткой,
Въ ея потупленныхъ очахъ,
Когда съ домашняго порогу
Она смотрѣла на дорогу,

Съ подружкой рѣзво говоря,
И вдругъ садилась и бѣднѣла,
И отвѣчая не глядѣла,
И разгоралась, какъ заря;
Или у водъ когда стояла,
Текущихъ съ каменныхъ вершинъ,
И долго кованный кувшинъ
Волною звонкой наполняла...
И онъ, не властный превозмочь
Волненій сердца, разъ приходитъ
Къ ея отцу, его отводитъ
И говоритъ: «Твоя мнѣ дочь
«Давно мила; по ней тоскуя,
«Одинъ и сирѣ давно живу я;
«Благослови любовь мою;
«Я бѣденъ, но могучъ и молодъ;
«Я агнецъ дома, звѣрь въ бою;
«Къ намъ въ саклю не впушу я голодъ;
«Тебѣ я буду сынъ и другъ
«Послушный, преданный и нѣжный,
«Твоимъ сынамъ—кунакъ надежный,
«А ей приверженный супругъ...»

Увы! бѣдный юноша говорилъ все это, не зная самъ себя. Онъ былъ могучъ и молодъ, у него много было отваги и храбрости, — но онъ жалѣлъ бѣжавшаго раба, не могъ убить израненнаго и обезоруженнаго врага: онъ не былъ чеченцемъ, и въ его саклѣ поселился бы голодъ... И за то онъ отверженъ; отвержена и та, которая имѣла несчастіе полюбить его! Чтѣ съ ними стало, намъ неинтересно знать. Они должны погибнуть—это вѣрно; но какъ погибнуть, чтѣ до того!.. Слѣдовательно, поэму эту можно считать цѣлою и оконченною. Мысль ея видна и выражена вполне.

«Египетскія ночи» — въ одно и то же время и повѣсть, писанная прозой, и поэма, писанная стихами. Повѣсть прекрасная. Характеръ Чарскаго, русскаго поэта и свѣтскаго человека, который знаетъ цѣну искусству и таланту и со всѣмъ тѣмъ стыдится ремесла своего; характеръ импровизатора, страстнаго, вдохновеннаго жреца искусства, униженнаго, низкопоклоннаго итальянца, жаднаго къ прибытку нищаго; характеръ нашего большого свѣта, его странныя отношенія къ искусству, — все это выдержано съ удивительною вѣрностію, до мельчайшихъ подробностей, — до некрасивой дѣвушки, по приказанію матери написавшей тему импровизатору. Но чтѣ сказать о повѣсти — «Cleopatra ei suoi amanti»?.. Въ «Мѣдномъ Всадникѣ» поэтъ показалъ намъ величественный образъ преобразователя Россіи и современный Петербургъ; въ «Галубѣ» перенесъ насъ въ среду кавказскихъ дикарей, чтобъ показать, что и тамъ есть человѣческое достоинство, осужденное на трагическое страданіе; въ «Египетскихъ ночахъ» волшебнымъ жезломъ своей поэзіи онъ переноситъ насъ въ среду древняго римскаго міра, одряхлѣвшаго, утратившаго всѣ вѣрованія, всѣ надежды, холоднаго къ жизни и все еще жаждущаго наслажденій, за которыя охотно

платить жизнью, какъ-будто жизнь дешевле денегъ... Во всѣхъ этихъ трехъ поэмахъ видимъ мы Пушкина, узнаемъ въ немъ ему только свойственные колоритъ и стиль; но ни въ одной изъ нихъ не повторяетъ онъ себя, — напротивъ, въ каждой являетъ изумленному взору нашему совершенно новый міръ: «Мѣдный Всадникъ» — весь современная Русь, «Галубъ» — весь Кавказъ, «Египетскія ночи», это — воскресшій, подобно Помпеѣ и Геркулануму, древній міръ на закатѣ его жизни... О стихахъ импровизатора не говоримъ; это чудо искусства..

Три послѣднія означенныя нами поэмы въ художественномъ отношеніи неизмѣримо выше всѣхъ прежнихъ поэмъ Пушкина. Въ нихъ виденъ вполне развитый и выработавшійся художественный стиль, который долженъ быть принадлежностью всякаго великаго поэта. Чтѣ-то глубоко-грустное, но вмѣстѣ и величаво-спокойное лежитъ въ поэтическомъ колоритѣ, разлитомъ на этихъ твореніяхъ. Въ одномъ изъ лучшихъ своихъ лирическихъ стихотвореній поэтъ не даромъ сравнилъ печаль души своей съ виномъ, которое тѣмъ крѣпче, чѣмъ старѣе. Мы прибавимъ отъ себя, что вино, чѣмъ старѣе, тѣмъ не только крѣпче, но и вкуснѣе, и ароматнѣе... Продолжая сравненіе, начатое самими же поетомъ, скажемъ, что послѣднія произведенія его, утративъ конфетную сладость первыхъ, приобрѣли вкусъ и благоуханную букетистость дорогого стараго вина...

«Анджело» составляетъ переходъ отъ эпическихъ повѣй къ драматическимъ; по крайней мѣрѣ діалогъ играетъ въ этой пьесѣ большую роль. «Анджело» былъ принятъ публикой очень сухо, и по дѣломъ. Въ поэмѣ видно какое-то усиліе на простоту, отчего простота ея слога вышла какъ-то искусственна. Можно найти въ «Анджело» счастливыя выраженія, удачныя стихи, если хотите, — много искусства, но искусства чисто-техническаго, безъ вдохновенія, безъ жизни. Короче, эта поэма недостойна таланта Пушкина. Больше о ней нечего сказать.

Теперь перейдемъ къ драматическимъ опытамъ Пушкина, которые онъ столь блистательно началъ своимъ «Борисомъ Годуновымъ». Драматическій элементъ сильно пробивался и въ первыхъ поэмахъ его — «Бахчисарайскомъ Фонтанѣ», «Цыганахъ» и «Полтавѣ», такъ что по нимъ уже можно было видѣть, что онъ можетъ приобрести такіе же успѣхи и въ драматической поэзіи, какіе приобрѣлъ уже въ лирической и эпической. Сцена изъ «Бориса Годунова», напечатанная еще въ 1828 году, оправдала это ожиданіе. Въ 1829 году во второмъ томѣ «Стихотвореній Александра Пушкина»

была напечатана «Сцена изъ Фауста». Это былъ не переводъ какого-нибудь отрывка изъ знаменитой драматической поэмы Гёте, но вариация, разыгранная на ея тему. Многимъ эта сцена такъ понравилась, что они, не зная Гёте «Фауста», порѣшили, будто она лучше его. Дѣйствительно, эта сцена написана удивительно легкими и бойкими стихами, но между ею и Гётевымъ «Фаустомъ» нѣтъ ничего общаго. Она—не что иное, какъ развитіе и распространеніе мысли, выраженной Пушкинымъ въ его маленькомъ стихотвореніи «Демонъ». Этотъ демонъ былъ «довольно мелкій, изъ самыхъ нечиновныхъ». Онъ соблазнялъ однихъ юношей

Въ тѣ дни, когда имъ были новы
Всѣ впечатлѣнья бытія.

Поэтому ему легко было подшучивать надъ ними, и они со страхомъ смотрѣли на него, ибо

Неистощимой клеветой
Онъ Провидѣнье искушалъ;
Онъ звалъ прекрасною мечтою,
Онъ вдохновенье презиралъ;
Не вѣрилъ онъ любви, свободѣ;
На жизнь насмѣшливо глядѣлъ—
И ничего во всей природѣ
Благословить онъ не хотѣлъ.

«Печальны, говоритъ Пушкинъ, были мои встрѣчи съ ними!». Знакомое съ демономъ другого поэта, наше время съ улыбкой смотритъ на Пушкинскаго чертенка. И не диво: для кого существуетъ истина, красота и благо, тѣ не сомнѣваются теперь въ ихъ существованіи; для кого же они не существуютъ, тѣ и не заботятся о нихъ. Но для первыхъ есть другой демонъ, и если они знали его,—

Ихъ умъ, бывало, возмущалъ
Могучій образъ,—межъ ныхъ видѣній,
Какъ царь, нѣмой и гордый онъ сіялъ
Такой волшебной-сладкой красотою,
Что было страшно...

Это уже демонъ совсѣмъ другого рода: отрицать все для одного отрицанія и существующее стараться представлять не существующимъ — для него было бы слишкомъ пошлымъ занятіемъ, которое онъ охотно предоставляет мелкимъ бѣсамъ дурного тона, дьявольской черни и сволочи. Самъ же онъ отрицаетъ для утвержденія, разрушаетъ для созиданія; онъ наводитъ на человека сомнѣніе не въ дѣйствительности истины, какъ истины, красоты, какъ красоты, блага, какъ блага, но какъ это истины, этой красоты, этого блага. Онъ не говоритъ, что истина, красота, благо — призраки, порожденные больнымъ воображеніемъ человека; но говоритъ, что иногда не все то истина, красота и благо, что считаютъ за истину, красоту и благо. Еслибъ

онъ, этотъ демонъ отрицанія, не признавалъ самъ истины, какъ истины, что противопоставить бы онъ ей? во имя чего сталъ бы онъ отрицать ея существованіе. Но онъ тѣмъ и страшенъ, тѣмъ и могущъ, что едва родить въ васъ сомнѣніе въ томъ, что доселѣ считали вы непреложной истиной, какъ уже кажется вамъ издавѣка идеалъ новой истины. И пока эта новая истина для васъ только призракъ, мечта, предположеніе, догадка, предчувствіе, пока не сознали вы ея и не овладѣли ею, вы—добыча этого демона, и должны узнать всѣ муки неудовлетвореннаго стремленія, всю пытку сомнѣнія, всѣ страданія безотраднaго существованія. Но въ сущности это преблагонамѣренный демонъ; если онъ и губитъ иногда людей, если и дѣлаетъ несчастными цѣлыя эпохи, то не иначе, какъ желая добра человѣчеству и всегда выручая его. Это демонъ движенія, вѣчнаго обновленія, вѣчнаго возрожденія...

Этого демона Пушкинъ не зналъ и оттого такъ и заботился о родословныхъ вообще. Его Мефистофель, въ «Сценѣ изъ Фауста»,—все тотъ же мелкій чертенокъ, котораго воспѣлъ онъ въ молодости подъ громкимъ именемъ «Демона». Это просто на просто острякъ прошлаго столѣтія, котораго скептицизмъ наводитъ теперь не разочарованіе, а зѣвоту и хорошій сонъ. Фаустъ Пушкина—не измученный неудовлетворенной жадной знанія человекъ, а какой-то пресытившійся гуляка, которому уже ничего въ горло нейдетъ, un homme blasé. Несмотря на то, пьеса эта написана ловко и бойко, и потому читается легко и съ удовольствіемъ.

«Пиръ во время Чумы», отрывокъ изъ трагедіи Вильсона: «The city of the plague», принадлежитъ къ загадочнымъ произведеніямъ Пушкина. Всѣмъ извѣстно, что «Скупой Рыцарь»—его оригинальное произведеніе, а онъ назвалъ его отрывкомъ изъ трагикомедіи Ченстона: «The caveatous Knigh», для того, какъ говорятъ, чтобъ посмотрѣть, какое дѣйствіе произведетъ на нашу публику это сочиненіе. Можетъ быть и Вильсонъ—родной братъ Ченстону, хотя и есть слухи, что какъ Вильсонъ, такъ и пьеса его—факты не вымышленные. Какъ бы то ни было, но если пьеса Вильсона такъ же хороша, какъ переведенный изъ нея Пушкинымъ отрывокъ, то нельзя не согласиться, что этотъ Вильсонъ написалъ великое произведеніе. Можетъ быть и то, что Пушкинъ только воспользовался идеей, воспроизведя ее по своему, и у него вышла удивительная поэма, не отрывокъ, а цѣлое, оконченное произведеніе. Основная мысль—оргія во время чумы, оргія отчаянія, тѣмъ болѣе ужасная, чѣмъ болѣе веселая. Мысль по-истинѣ трагическая! И какъ много выразилъ Пушкинъ въ этой

маленькой поэмѣ, какъ рѣзко обрисованы въ ней характеры, сколько драматическаго движенія и жизни! Умилительная пѣсня Мери, столь наивная и нѣжная выраженіемъ, столь страшная содержаніемъ, производитъ на читателя невыразимое впечатлѣніе. Какъ много страшнаго смысла въ просьбѣ председателя оргіи спѣть эту пѣсню! Но пѣсня председателя оргіи въ честь чумы—яркая картина гробового сладострастія, отчаяннаго веселья: въ ней слышится даже вдохновеніе несчастія и можетъ-быть преступленія сильной натуры... Такие переводы, если они и близко вѣрны подлинникамъ, стоятъ оригинальных произведеній. Не потому ли на Жуковскаго у насъ никто не смотритъ какъ на переводчика, хотя и всѣ знаютъ, что лучшія его произведенія—переводы?

«Моцартъ и Сальери»—цѣлая трагедія, глубокая, великая, ознаменованная печатью мощнаго генія, хотя и небольшая по объему. Ея идея—вопросъ о сущности и взаимныхъ отношеніяхъ таланта и генія. Есть организація несчастныя, недоконченныя, одаренныя сильнымъ талантомъ, пожираемыя сильной страстью къ искусству и къ славѣ. Любя искусство для искусства, онѣ приносятъ ему въ жертву всю жизнь, всѣ радости, всѣ надежды свои; съ невѣроятнымъ самоотверженіемъ предаются его изученію, готовы пойти въ рабство, закабалить себя на нѣсколько лѣтъ какому нибудь художнику, лишь бы онъ открылъ тайны своего искусства. Если такой человѣкъ положительно бездаренъ и ограниченъ, изъ него выходитъ самодовольный Тредьяковскій, который и живетъ, и умираетъ съ убѣжденіемъ, что онъ—великій геній. Но если это человѣкъ дѣйствительно съ талантомъ, а главное—съ замѣчательнымъ умомъ, съ способностью глубоко чувствовать, понимать и цѣнить искусство—изъ него выходитъ Сальери. Для выраженія своей идеи Пушкинъ удачно выбралъ эти два типа. Изъ Сальери, какъ мало извѣстнаго лица, онъ могъ сдѣлать, что ему угодно; но въ лицѣ Моцарта онъ исторически удачно выбралъ безпечнаго художника, «гуляку празднаго». У Сальери своя логика; на его сторонѣ своего рода справедливость, парадоксальная въ отношеніи къ истинѣ, но для него самого оправдываемая жгучими страданіями его страсти къ искусству, невознагражденной славою. Изъ всѣхъ болѣзненныхъ стремленій, страстей, странностей самыя ужасныя тѣ, съ которыми рождается человѣкъ, которыя, какъ проклятіе, получилъ онъ при рожденіи вмѣстѣ съ своей кровью, своими нервами, своимъ мозгомъ. Такой человѣкъ—всегда лицо трагическое; онъ можетъ быть отвратителенъ, ужасенъ, но не смѣшонъ. Его страсть—родъ помѣшательства при здоровомъ

состояніи разсудка. Сальери такъ уменъ, такъ любитъ музыку и такъ понимаетъ ее, что сейчасъ понялъ, что Моцартъ—геній, и что онъ, Сальери,—ничто передъ нимъ. Сальери былъ гордъ, благороденъ и никому не завидовалъ. Приобрѣтенная имъ слава была счастіемъ его жизни; онъ ничего больше не требовалъ у судьбы,—вдругъ видитъ онъ «безумца, гуляку празднаго», на челѣ котораго горитъ помазаніе свыше...

О небо!

Гдѣ-жъ правота, когда священный даръ,
Когда бессмертный геній—не въ награду
Люби горящей, самоотверженъ,
Трудовъ, усердія, моленій посланъ—
А озаряетъ голову безумца,
Гуляки празднаго?.. О, Моцартъ, Моцартъ!

Моцартъ является со всей простотой, веселостью, шутливостью, съ возможнымъ отсутствіемъ всѣхъ претензій, какъ геній, по своему простодушію неподозрѣвающій собственнаго величія или невидящій въ немъ ничего особеннаго. Онъ приводитъ съ собой къ Сальери слѣпцаго скрипача-дѣшлаго и велитъ ему сыграть что-нибудь изъ Моцарта. Сальери въ бѣшенствѣ на эту профанацію высокаго искусства, Моцартъ хохочетъ, какъ шаловливый ребенокъ, потомъ играетъ для Сальери фантазію, набросанную имъ на бумагу въ безсонную ночь,—и Сальери восклицаетъ въ ревнивомъ восторгѣ:

Ты, Моцартъ, богъ, и самъ того не знаешь,
Я знаю, я!..

Моцартъ отвѣчаетъ ему наивно:

Ба! право? можетъ быть...

Но божество мое проглоталось.

Замѣтьте: Моцартъ не только не отвергаетъ подносимаго ему другими титула генія, но и самъ называетъ себя геніемъ, вмѣстѣ съ тѣмъ называя геніемъ и Сальери. Въ этомъ видны удивительное добродушіе и безпечность: для Моцарта слово «геній» ни по чемъ; скажите ему, что онъ геній,—онъ преважно согласится съ этимъ; начинайте доказывать ему, что онъ вовсе не геній,—онъ согласится и съ этимъ, и въ обоихъ случаяхъ равно искренно. Въ лицѣ Моцарта Пушкинъ представилъ типъ непосредственной геніальности, которая проявляетъ себя безъ усилія, безъ разсчета на успѣхъ, нисколько не подозревая своего величія. Нельзя сказать, чтобъ всѣ геніи были таковы; но такіе особенно невыносимы для талантовъ вроде Сальери. Какъ умъ, какъ сознаніе, Сальери гораздо выше Моцарта; но какъ сила, какъ непосредственная творческая сила, онъ ничто передъ нимъ... И потому самая простота Моцарта, его неспособность цѣнить самого себя еще больше раздражаютъ Сальери. Онъ не тому завидуетъ, что Моцартъ выше его,—превосходство онъ могъ бы вынести благо-

родно, потому что онъ ничто передъ Моцартомъ, потому что Моцартъ—геній, а талантъ передъ геніемъ—ничто... И вотъ онъ твердо рѣшается отравить его. «Иначе»,—говоритъ онъ:—«мы всё погибли, мы—всё жрецы и служители музыки. И что пользы, если онъ останется еще жить? Вѣдь онъ не подыметъ искусства еще выше? Вѣдь оно опять падетъ послѣ его смерти?» Вотъ она, логика страстей!...

За обѣдомъ въ трактирѣ Моцартъ случайно спросилъ Сальери, правда ли, что Бомарше кого-то отравилъ. Какъ истинный итальянецъ, Сальери отвѣчаетъ, что едва-ли, потому что Бомарше былъ слишкомъ смѣшонъ для такого ремесла. Моцартъ дѣлаетъ при этомъ наивное замѣчаніе:

Онъ же геній,
Какъ ты, да я. А геній и злодѣйство —
Двѣ вещи несовмѣстныя. Не правда-ль?

Эта выходка ускорила рѣшимость Сальери. Здѣсь Пушкинъ поражаетъ васъ Шекспировскимъ знаніемъ человѣческаго сердца. Въ простодушныхъ словахъ Моцарта было соединено все жгучее и терзающее для раны, которой страдалъ Сальери. Онъ зналъ себя, какъ человѣка способнаго на злодѣйство, а между тѣмъ самъ геній говоритъ, что геній и злодѣйство несовмѣстны, и что слѣдовательно онъ, Сальери, не геній. А! такъ я не геній? Вотъ же тебѣ,—и ядъ брошенъ въ стаканъ генія... Но когда Моцартъ выпилъ, Сальери какъ-бы съ смущеніемъ и ужасомъ восклицаетъ:

Постой,
Постой, постой!... ты выпилъ!... безъ меня?
Это опять истинно-драматическая черта! Но вотъ одна изъ тѣхъ смѣлыхъ, обнаруживающихъ глубочайшее знаніе человѣческаго сердца чертъ, которыя никогда не могутъ придти въ голову таланту, всегда живущему «плѣнной мысли раздраженіемъ», и на которыя онъ никогда не рѣшится, еслибъ онъ и могли придти къ нему; это Сальери, съ умиленіемъ слушающій Requiem Моцарта и говорящій ему:

Эти слезы
Впервые лью: и больно, и пріятно,
Какъ будто тяжкій совершилъ я долгъ,
Какъ будто ножъ цѣлебный мнѣ отсѣкъ
Страдавшій членъ! Другъ Моцартъ, эти слезы...
Не замѣчай ихъ. Продолжай, спѣши
Еще наполнить звуками мнѣ душу...

Какъ поразительны эти слова своимъ характеромъ умиленія, какой-то даже нѣжностью къ Моцарту! «Другъ Моцартъ»: видите ли, убійца Моцарта любить свою жертву, любить ее художественной половиной души своей, любить ее за то же самое, за что и ненавидитъ... Только великіе, геніальные поэты умѣютъ находить въ тайникахъ человѣческой натуры такіа странныя поведи-

мому противорѣчія, и изображать ихъ такъ, что они становятся намъ понятными безъ объясненій...

Послѣднія слова Сальери, когда, по уходѣ Моцарта, остался онъ одинъ, художественно округляютъ и замыкаютъ въ самой себѣ сцену:

Ты заснешь
Надолго, Моцартъ! Но уже-ль онъ правъ,
И я не геній? Геній и злодѣйство
Двѣ вещи несовмѣстныя. Не правда:
А Бонаротти? Или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы—и не былъ
Убійцею создатель Ватикана?

Какая глубокая и поучительная трагедія! Какое огромное содержаніе и въ какой безконечно-художественной формѣ! Но намъ предстоитъ переходить отъ одного чуда искусства къ другому, и тяжесть взятой нами на себя обязанности смущаетъ насъ своей несоразмѣрностью съ нашими силами. Ничего нѣтъ легче, какъ говорить о слабостяхъ произведеніи или открывать слабыя стороны хорошаго; ничего нѣтъ труднѣе, какъ говорить о произведеніи, которое велико и въ цѣломъ, и въ частяхъ! Къ такимъ принадлежатъ: «Моцартъ и Сальери», «Скупой Рыцарь», «Каменный Гость» и «Русалка», о которыхъ, за исключеніемъ перваго, еще никѣмъ изъ нашихъ журналистовъ и критиковъ доселѣ не сказано ни одного слова...

Нечего говорить объ идеѣ поэмы «Скупой Рыцарь»: она слишкомъ ясна и сама по себѣ, и по названію поэмы. Страсть скупости—идея не новая, но геній умѣетъ и старое сдѣлать новымъ. Идеаль скупца одинъ, но типы его безконечно различны. Плюшкинъ Гоголя гадокъ, отвратителенъ, это—лицо комическое; Баронъ Пушкина ужасенъ—это лицо трагическое. Оба они страшны истинны. Это не то, что скупой Мольера—риторическое олицетвореніе скупости, карикатура, памфлетъ. Нѣтъ, это лица страшно истинныя, заставляющія содрогаться за человѣческую природу. Оба они пожираемы одной гнусной страстью, и все-таки нисколько одинъ на другого не похожи, потому что и тотъ, и другой—не аллегорическое олицетвореніе выражаемой ими идеей, но живыя лица, въ которыхъ общій порокъ выразился индивидуально, лично. Мы сказали, что скупой Пушкина—лицо трагическое. Альберъ говоритъ жиду: когда мнѣ будетъ пятьдесятъ лѣтъ, на что мнѣ тогда и деньги?

Ж и д ѣ. Деньги?—Деньги
Всегда, во всякій возрастъ намъ пригодны;
Но юноша въ нихъ ищетъ слугъ проворныхъ,
И не жалѣя шлетъ туда, сюда;
Старикъ же видитъ въ нихъ друзей надежныхъ,
И бережетъ ихъ, какъ зѣнцу ока.

А л ь б е р ѣ.

О! мой отецъ не слугъ и не друзей
Въ нихъ видитъ, а господъ, и самъ ихъ служитъ;

И какъ же служить? какъ алжирскій рабъ,
Какъ пѣсь пѣиной! Въ истопленной комурѣ
Живетъ, пьетъ воду, пьетъ сухія корки,
Всю ночь не спитъ, все вытаетъ да лаетъ.

Въ этомъ портретѣ мы видимъ лицо чисто комическое; но сойдемъ въ подвалъ, гдѣ этотъ скряга любитъ своимъ золотомъ, и пусть поэтъ багровымъ заревомъ своего поэтического факела освѣтитъ намъ мрачныя бездны сердца своего героя: мы содрогнемся отъ трагическаго величія гнусной страсти скупости; мы увидимъ, что она естественна, что у ней есть своя логика. Любуясь своимъ золотомъ, старый баронъ восклицаетъ:

Чтѣ не подвластно мнѣ!.. Какъ пѣкій демонъ
Отелъ править міромъ я могу;
Лишь захочу—воздвигнутся чертоги;
Въ великолѣпные мои сады
Сбѣгутся нимфы рѣзвою толпою;
И музы данъ свою мнѣ принесутъ,
И волиный геній мнѣ поработится,
И добродѣтели, и бессонный трудъ
Смирненно будутъ ждать моей награды;
И свисту—и ко мнѣ послушно, робко
Вползетъ окровавленное злодѣйство,
И руку будетъ мнѣ лизать, и въ очи
Смотрѣть, въ нихъ знакъ моей читая воли.
Мнѣ все послушно, и же—ничему;
Я выше всѣхъ желаній; я спокоенъ;
Я знаю мощь мою: съ меня довольно
Сего сознанья...

Ужасно, потому что истинно! Да, въ словахъ этого отверженца человѣчества къ несчастью все истинно, кромѣ того, что не въ его волѣ пожелать многое изъ того, что могъ бы онъ выполнить. Въ этомъ и заключается наказаніе за пороки скупости. Скупецъ раскрываетъ всѣ свои сундуки и зажигаетъ (ужасное мотовство!) по свѣчѣ передъ каждымъ изъ нихъ. Это его сладострастіе, его оргія! При видѣ освѣщенныхъ грудъ золота онъ приходитъ въ сатанинскій восторгъ и въ патетической рѣчи обнажаетъ передъ нами страшныя тайны страшнѣйшей изъ человѣческихъ страстей. Золото—кумиръ этого человѣка, онъ исполненъ къ нему поэтическаго чувства, говоритъ о немъ языкомъ благоговѣнія, служить ему, какъ преданный, усердный жрецъ! Расточить его наслѣдство, по его мнѣнію,—значитъ разбить священные сосуды, напоить грязь царскимъ елеемъ... Онъ смотритъ еще на золото, какъ молодой, пылкій человѣкъ на женщину, которую онъ страстно любитъ, обладаніе которой онъ купилъ цѣной страшнаго преступленія и которая тѣмъ дороже ему. Онъ хотѣлъ бы спрятать ее отъ «недостойныхъ взоровъ», его ужасаетъ мысль, чтобы она не принадлежала кому нибудь послѣ его смерти.

По выдержанности характеровъ (скряга, его сына, герцога, жида), по мастерскому расположенію, по страшной силѣ паюса, по удивительнымъ стихамъ, по полнотѣ и окон-

ченности,—словомъ, по всему эта драма—огромное, великое произведеніе, вполне достойное гения самого Шекспира.

Изъ міра среднихъ вѣковъ Западной Европы, изъ міра рыцарей и феодальныхъ рабовъ перейдемъ въ міръ древней Руси, міръ полу-историческій, міръ полу-сказочный. Говорятъ, будто «Русалка» была писана Пушкинымъ, какъ либретто для оперы. Еслибы это было и правда, то хотя самъ Моцартъ написалъ бы музыку на эти слова,—опера не была бы выше своего либретто,—тогда какъ до сихъ поръ лучшія оперы писаны на глупѣйшія и пошлѣйшія слова... Но это предположеніе едва ли основательно. За исключеніемъ двухъ хоровъ русалокъ и одной свадебной пѣсни, да голоса невидимой русалки на свадебномъ пиру, вся пьеса писана пятистопнымъ ямбомъ, слишкомъ длиннымъ и однообразнымъ для пѣнія.

Въ фантастической формѣ этой поэмы скрыта самая простая мысль, рассказана самая обыкновенная, но тѣмъ болѣе ужасная исторія. Мельникъ, человѣкъ не злой, не развратный, но слабый сколько по любви къ дочери, столько можетъ-быть и по страху къ княжескому могуществу, сквозь пальцы смотрѣлъ на связь своей дочери съ княземъ. Какъ человѣкъ хладнокровный, какъ мужчина, онъ тотчасъ понялъ, почему посвѣщенія князя на его мельницу сдѣлались рѣже, и вида, что стараго ужъ не воротить, совѣтуетъ дочери воспользоваться хоть материальными выгодами этой связи. Но дочь—существо любящее и страстное, привязчивое, слѣдовательно обреченное на несчастіе и гибель,—и вѣрить не хочетъ, чтобы ея любезный охладѣлъ къ ней. Она говоритъ:

Онъ занятъ; мало-ль у него заботы?
Вѣдь онъ не мельникъ; за него не станеть
Вода работать! Часто онъ твердитъ,
Что всѣхъ трудовъ его труды тяжеле.

Мельникъ.

Да, вѣрь ему. Когда князя трудятся?
И чтѣ ихъ трудъ? травить лисичъ и зайцевъ,
Да пировать, да собирать сосѣдей,
Да подговаривать васъ бѣдныхъ дурь.
Онъ самъ работаетъ—куда какъ жалко!

Но слышится топотъ коня—и бѣдная женщина все забыла. Она видитъ, что князь печаленъ, но не умѣетъ, не можетъ понять сразу, отчего такъ тревожить ее эта печаль. Онъ объясняется съ ней довольно осторожно, но тѣмъ не менѣе ясно: онъ женится на другой: онъ—князь, онъ не воленъ въ выборѣ невѣсты... Она отплевѣла, а онъ, близорукий мужчина, радеhoneкъ, что дѣло обошлось безъ бури, не понимая, что эта тишина страшнѣе всякой бури,—и на полу-мертвую надѣваетъ онъ повязку и ожерелье, даетъ ей для отца мѣшокъ денегъ и хочетъ уйти...

Она. Постой, тебѣ сказать должна я—
Не помню что.

Князь. Припомни.

Она. Для тебя
Я все готова... Нѣтъ, не то... Постой...
Нельзя, чтобы на вѣки въ самоѣ дѣлѣ
Меня ты могъ покинуть... Все не то...
Да, вспомнила: сегодня у меня
Ребенокъ твой подъ сердцемъ шевельнулся...

За этой страшной, трагической сценой
слѣдуетъ другая, не менѣе ужасная. Подарки
князя глубоко оскорбили несчастную. Она
отдаетъ отцу его мѣшокъ съ деньгами.

Да, бить, забыла я: тебѣ отдать
Велѣлъ онъ это серебро за то,
Что былъ хорошъ ты до него, что дочку
За нимъ пускалъ таскаться, что ее
Держалъ не строго... Въ прокъ тебѣ пойдетъ
Моя погибелъ..

Мельникъ (съ слезами) До чего я дожалъ!
Что Богъ привелъ услышать!

Вѣднѣкъ въ немъ замеръ, проснулся отецъ...
несчастливая бросилась въ Днѣпръ... Мы на
свадьбѣ, картина которой съ удивительной
вѣрностью передана поэтомъ во всемъ ее
простодушій старинныхъ русскихъ нравовъ.
Хоръ дѣвушекъ—преlestъ... Вдругъ, среди
наивнаго веселья, раздается фантастическій
голосъ...

По камушкамъ, по желтому песочку
Пробѣгала быстрая рѣчка;
Въ быстрой рѣчкѣ гуляютъ двѣ рыбки,
Двѣ рыбки, двѣ малыя плотницы.
А слыжала-ль ты, рыбака сестрица,
Про вѣсти-то наши про рѣчнныя?
Какъ вѣчоръ у насъ красная дѣвица утопилась,
Утоная, милаго друга проклинала?

Общее смятеніе. Князь велитъ конюшему
отыскать мельничиху; ея, разумеется, не
находятъ...

Прошло двѣнадцать лѣтъ. Княгиня жа-
лется на охлажденіе къ ней мужа; няня
утѣшаетъ ее, не подозревая, что въ грубой
и невѣжественной простотѣ ея добродушныхъ
словъ скрывается ужасная, роковая истина:
Княгинюшка! мужчина, что дѣтухъ;
Кури-куку! махъ, махъ крыломъ—и прочь;
А женщина—что бѣдная наслѣдка:
Сиди себѣ да выводилъ дышать.
Пока женихъ—ужъ онъ не насидится,
Ни пьетъ, ни ѣстъ, глядитъ—не наглядится;
Женился,—и заботы настанутъ:
То надобно сосѣдей навѣстити,
То на охоту ѣхать съ соколами,
То на войну нелегкая несетъ,
Туда, сюда—а дома не сидится.

Не есть ли это законная кара сильному
полу за беззаконное рабство, въ которомъ
онъ держитъ слабый полъ? Такъ по крайней
мѣрѣ можно думать по окончанію любовныхъ
похожденій героя поэмы, этого русскаго донъ-
Хуана... Наскучивъ женой, онъ вспомнилъ
о прежней любви, раскаялся, какъ въ глу-
пости, что бросилъ дочь мельника, не пони-

мая, что она потому только стала ему мила,
что ея нѣтъ съ нимъ, что его жена не мила
ему...

Сцена на берегу Днѣпра. Ночь. Раздается
хоръ русалокъ, напоминающій своимъ фан-
тастически-дикимъ пафосомъ оргіи Valse in-
fernal изъ «Роберта Дьявола»:

Веселой толпою
Съ глубокаго дна
Мы ночью всплываемъ,
Насъ грѣетъ луна.
Любо намъ ночной порою
Дно рѣчное покидать,
Любо вольной головою
Высь рѣчную разрывать,
Подавать другъ дружкѣ голость,
Воздухъ звонкій раздражать,
И зеленый влажный волосъ
Въ немъ сушить и отражать.

Одна.

Тише! птичка подъ кустами
Встребенулася во мглѣ.

Другая.

Между мѣсяцемъ и нами
Кто-то ходитъ на землѣ.

Этотъ «кто-то»—князь, котораго влекутъ къ
этимъ мѣстамъ воспоминанія прежней счаст-
ливой любви. Вдругъ онъ встрѣчается съ
отцомъ погубленной имъ дѣвушки.

Старикъ. Здорово,
Здорово, вѣтъ!

Князь. Кто ты?

Старикъ. Я здѣшній воронъ.

Князь. Возможно-ль? это мельникъ!..

Старикъ.

Какой я мельникъ! Говорятъ тебѣ,
Я воронъ, а не мельникъ. Чудный случай:
Когда (ты помнишь?) бросилась она
Въ рѣку, я побѣжалъ за нею слѣдомъ
И съ той скалы прыгнуть хотѣлъ, да
вдругъ

Почувствовалъ: два сильныя крыла
Мнѣ выросли внезапно изъ подъ мышекъ
И въ воздухъ сдержали. Съ той поры
То здѣсь, то тамъ летаю, то кляну
Корову мертвую, то на могилѣ
Сажу да караю.

Отосланная княземъ свита является опять
къ нему, по приказанію обезпокоенной кня-
гини. Это вниманіе со стороны уже нелюби-
мой имъ жены раздражаетъ его, и досада
его изливается обыкновеннымъ въ такихъ
случаяхъ восклицаніемъ, однимъ и тѣмъ же
съ тѣхъ поръ, какъ стоитъ міръ, какъ суще-
ствуютъ въ немъ охлажденные любовники и
постоянные любовницы, и наоборотъ:

Несносна

Ея заботливостъ! Иль я ребенокъ,
Что шагу мнѣ нельзя ступить безъ няньки?

Въ послѣдней сценѣ князь встрѣчается съ
своей дочерью-русалкой, которая послана
матерью уловить его... Какъ жаль, что эта

пьеса не кончена! Хотя ее конецъ и понятенъ: князь долженъ погибнуть, увлеченный русалками на дно Днѣпра. Но какими бы фантастическими красками, какими бы дивными образами все это было сказано у Пушкина — и все это погибло для насъ!... «Русалка» въ особенности обнаруживаетъ необыкновенную зрѣлость таланта Пушкина: великій талантъ только въ эпоху полного своего развитія можетъ въ фантастической сказкѣ высказывать столько общечеловѣческаго, дѣйствительнаго, реальнаго, что, читая ее, думаешь читать совсѣмъ не сказку, а высокую трагедію...

Теперь мы приблизились къ перлу созданій Пушкина, къ богатѣйшему, роскошнѣйшему алмазу въ его поэтическомъ вѣнкѣ... Для кого существуетъ искусство какъ искусство, въ его идеалѣ, въ его отвлеченной сущности, для того «Каменный Гость» не можетъ не казаться, безъ всякаго сравненія, лучшимъ и высшимъ въ художественномъ отношеніи созданіемъ Пушкина... Какая дивная гармонія между идеей и формой! какой стихъ, прозрачный, мягкій и упругій, какъ волна, благозвучный, какъ музыка! какая кисть, широкая, смѣлая, какъ будто небрежная, какая антично-благородная простота стила! какія роскошныя картины волшебной страны, гдѣ ночь лимономъ и лавромъ пахнетъ! Принимаясь перечитывать это чудное созданіе искусства, восклицаешь мысленно къ поэту:

Благословенный край, плѣнительный предѣлъ!
Тамъ лавры зыблются, тамъ апельсины
зрѣютъ...

О, расскажи-жъ ты намъ, какъ жены тамъ
умѣютъ
Съ любовью набожность умильно сочетать,
Изъ-подъ мантильи знакъ условный подавать;
Скажи, какъ падаетъ письмо изъ-за рѣшетки,
Какъ влатомъ усыпленъ надзоръ ревнивой
тетки;

Скажи, какъ въ двадцать лѣтъ любовникъ подъ
окномъ
Трепещетъ и кипитъ, окутанный плащомъ...

Такая тема не можетъ пользоваться популярностью. Ее можно или понять глубоко, или вовсе не понять. Для непонимающихъ она не имѣетъ ровно никакой цѣны; для понимающихъ невозможно любить ее безъ страсти, безъ энтузіазма. Но первыхъ много, послѣднихъ мало, и потому она существуетъ для немногихъ...

Герой ея — лицо мнѣстическое, испанскій Фаустъ. Идея донъ-Хуана могла родиться только въ странѣ, гдѣ жить — значитъ любить и драться, а быть счастливымъ и великимъ — значитъ быть любимымъ и храбрымъ, — въ странѣ, гдѣ религіозность доходить до фанатизма, храбрость — до жестокости, любовь — до изступленія, гдѣ романическая настроенность дѣлаетъ героемъ и кавалера, и разбойника.

Но донъ-Хуанъ, такой, какимъ является онъ у Пушкина, — не изступленный любовникъ, не мрачный дуэлистъ; онъ одаренъ всѣмъ, чтобъ сводить съ ума женщинъ и не знать никакихъ препятствій удовлетворенію своихъ желаній. Красавецъ собой, стройный, ловкій, онъ веселъ и остеръ, искрененъ и лживъ, страстенъ и холоденъ, уменъ и повѣса, краснорѣчивъ и дерзокъ, храбръ, смѣлъ, отваженъ. Какъ во всякой высшей натурѣ, въ немъ есть что-то импонирующее. Можетъ быть это сила его воли, широкость и глубина его души. Для него жить — значитъ наслаждаться; посреди своихъ побѣдъ, онъ сейчасъ готовъ умереть; умертвить же соперника въ честномъ бою и насладиться любовью въ присутствіи трупа, ему равно ничего не значить. Онъ вѣритъ въ свою звѣзду и потому на всякаго, кто вызоветъ его, смотритъ заранее какъ на убитаго. Такие люди опасны для женщинъ и не знаютъ, что такое неуспѣхъ въ любви или волокитствѣ. Женщина больше всего обожаетъ въ мужчинѣ силу, мужественность, могущество. Она любитъ, чтобъ онъ былъ съ ней не только нѣженъ, но и дерзокъ. Донъ-Хуанъ имѣетъ въ себѣ все это. Въ глазахъ женщины онъ лѣвъ между мужчинами, не въ новѣйшемъ, пошломъ значеніи этого слова, означающаго франта и модника, а въ смыслѣ превосходства, храбрости и мужества.

Донъ-Хуанъ является ночью въ Мадридѣ. Изъ его разговора съ слугой мы узнаемъ, что онъ былъ въ ссылкѣ за дуэль и воротился тайкомъ. Онъ спрашиваетъ у Лепорелло, могутъ ли узнать его?

Да, донъ-Хуана мудрено признать!
Такихъ, какъ онъ, такая бездна!

Изъ этой грубой похвалы слуги видно ясно, что такое донъ-Хуанъ для всего Мадрита. Мѣсто, въ которомъ они находились въ то время, напоминаетъ донъ-Хуану женщину, которую онъ, кажется, любилъ больше другихъ, — и онъ говоритъ задумчиво:

Бѣдная Инеза!
Ея ужъ нѣтъ! Какъ я любилъ ее!

Чуждую пріятность
Я находилъ въ ея печальномъ взорѣ
И помертвѣлыхъ губахъ. Это странно.
Ты, кажется, ее не находилъ
Красавицей. И точно, — мало было
Въ ней истинно прекраснаго. Глаза,
Одни глаза, да взглядъ... такого взгляда
Ужъ никогда я не встрѣчалъ. А голосъ
У ней былъ тихъ и слабъ, какъ у больной;
А мужъ ея былъ негодяй суровой —
Узналъ я поводно... Бѣдная Инеза!

Въ этихъ немногихъ стихахъ цѣлый портретъ женщины, вся исторія ея жизни... Самое воспоминаніе о ней, столь полное любви и грусти, уже говоритъ, какова должна была

быть эта женщина, которая, не будучи красавицей, умѣла привязать къ себѣ такого человѣка. Но грусть воспоминанія не долго занимаетъ донъ-Хуана.

Лепорелло.

Что-жъ? вслѣдъ за ней другіа были.

Донъ-Хуанъ.

Правда.

Лепорелло.

А живы будемъ, будутъ и другіа.

Донъ-Хуанъ.

И то.

На этотъ разъ онъ хочетъ идти къ Лаурѣ. Но является монахъ, и отъ него наши авантюристы узнаютъ, что на монастырское кладбище сейчасъ должна придти донья - Анна, чтобъ плакать на могилѣ своего мужа, убитаго нашимъ героемъ. Донъ-Хуанъ успѣлъ замѣтить только ея узенькую ножку! но этого довольно для него, чтобъ рѣшиться узнать ее покороче; а пока онъ спѣшитъ къ Лаурѣ.

Лаура—актриса, жрица искусства и наслажденія. Въ ней нѣтъ притворства и лицемерія; она вся наружу. Молодая и прекрасная, она не думаетъ о будущемъ и живетъ для настоящей минуты. Она вѣчно окружена мужчинами и обходится съ ними безъ церемоній, иногда даже съ какимъ-то граціознымъ цинизмомъ. У ней гости; они въ восторгѣ отъ ея игры въ этотъ вечеръ; только одинъ между ними мраченъ. Это донъ-Карлосъ, у котораго донъ-Хуанъ убилъ брата. Она спѣла пѣсню («Я здѣсь, Инезилья») и сказала, что эту пѣсню сочинилъ «ея вѣрный другъ, ея вѣтренный любовникъ» донъ-Хуанъ. Это имя приводитъ донъ-Карлоса въ бѣшенство, и онъ ругаетъ его безбожникомъ и мерзавцемъ, а ее—дурой. Она грозитъ велѣть слугамъ своимъ зарѣзать его; но онъ успокоивается, и они мирятся. Гости уходятъ и она говоритъ Карлосу:

Ты, бѣшенный, останься у меня.

Ты мнѣ понравился; ты донъ-Хуана

Напомнилъ мнѣ, какъ выбравилъ меня

И стиснулъ зубы съ скрежетомъ.

Оставшись съ ней, Карлосъ, вмѣсто лести и любезности, заводитъ мрачные разговоры; теперь ты молода, говоритъ онъ ей, окружена поклонниками, а лѣтъ черезъ шесть, когда глаза твои впадутъ и сѣдина блеснетъ въ косѣ, что тогда съ тобой будетъ?—Этотъ человѣкъ тоже истый испанецъ, какъ и донъ-Хуанъ, только другимъ образомъ. Онъ мраченъ и въ молодости, мраченъ наединѣ съ прекрасной женщиной, которая сказала ему, что она его любитъ; къ старости же изъ него былъ бы готовъ отличный инквизиторъ, который съ полнымъ убѣжденіемъ и спокойной совѣстью жегъ бы еретиковъ и съ особеннымъ насла-

жденіемъ бичевалъ бы самого себя... Лаура въ старости сдѣлалась бы душеньей и мастерски помогала бы вѣренной ея бдительности женѣ проводить за носъ мужа, а можетъ быть пошла бы въ монастырь: но пока она не хочетъ слышать о здорѣ—о будущемъ

Является донъ-Хуанъ; Лаура въ радости бросается ему на шею; Карлосъ вызываетъ его—и падаетъ мертвый.

Донъ-Хуанъ. Вставай, Лаура, конечно.

Лаура. Что тамъ?

Убить? Прекрасно! въ комнатѣ моей!

Что дѣлать мнѣ теперь, повѣса, дьяволъ!

Куда я выброшу его?

Донъ-Хуанъ. Быть можетъ, онъ живъ еще.

Лаура. Да! живъ! гляди, проклятый, ты прямо въ сердце ткнулъ—небось, не мимо. И кровь нейдетъ изъ треугольной ранки, а ужъ не дышетъ—каково?

Въ слѣдующей сценѣ донъ-Хуанъ въ монашеской рясѣ уже разговариваетъ съ доньей-Анной. Она проситъ его соединить молитвы съ ея молитвами.

Мнѣ, мнѣ молиться съ вами, донна-Анна! Я не достоинъ участи такой.

Я не дерзну порочными устами

Мольбу святую вашу повторять;

Я только издали съ благоговѣнъемъ

Смотрю на васъ, когда, *склонившись тихо,*

Вы кудри черныя на мраморъ блдный

Разсчитаете—и мнитъ мнѣ, что тайно

Гробницу эту ангелъ посѣтилъ;

Въ смущенномъ сердцѣ я не обрѣтаю

Тогда моленій. Я двинулся безмолвно

И думаю: счастливъ, чей холодный мраморъ

Согрѣтъ ея дыханіемъ небеснымъ

И окроплень любви ея слезами.

Что это—языкъ коварной лести, или голое сердца? Мы думаемъ, и то, и другое вмѣстѣ. Отличіе людей такого рода, какъ донъ - Хуанъ, въ томъ и состоитъ, что они умѣютъ быть искренно-страстными въ самой лжи и непритворно холодными въ самой страсти, когда это нужно. Донъ-Хуанъ распоряжается своими чувствами, какъ полководецъ солдатами: не онъ у нихъ, а они у него во власти и служатъ ему къ достиженію цѣли. Донья - Анна изумлена странностью такихъ рѣчей въ устахъ монаха; но донъ-Хуанъ идетъ далѣе и съ изумительной дерзостью признается ей, что онъ не монахъ, но пока прикрывается вымышленнымъ именемъ. Сцена эта ведена съ непостижимымъ искусствомъ. Донья-Анна гонитъ его прочь, а между тѣмъ хочетъ знать, кто же онъ, и чего онъ требуетъ...

Смерти!

О, пусть умру сейчасъ у вашихъ ногъ,
Пусть бѣдный прахъ мой здѣсь же похоронятъ,
Не подлѣ праха милаго для васъ,
Не тутъ—не близко—далѣ гдѣ-нибудь,
Тамъ—у дверей—у самаго порога,

Чтобъ камня моего могли коснуться
Вы легкою ногой или одеждой,
Когда сюда, на этотъ гордый гробъ,
Придете кудри наклонять и плакать...

Донья-Анна защищается все слабѣе и слабѣе; у ней вырывается кокетливый вопросъ: «И любите-давно ужъ вы меня?» Самолюбие ея затронуто—до сердца недалеко... Она назначила ему свиданіе у себя дома завтра вечеромъ...

Донья-Анна—такъ же истая испанка, какъ и Лаура, только въ другомъ родѣ. Та—бандера европейскихъ обществъ, а эта—ихъ матрона, обязанная обществомъ быть лицемерной и приученная къ лицемерству. Она дѣвочка; посѣщеніе монастырей, набожныя занятія и слезы надъ гробомъ мужа (сурового старика, за котораго вышла насильно и котораго никогда не любила) суть единственная отрада, единственное утѣшеніе ея, бѣдной, безутѣшной вдовы... Но она женщина, и притомъ южная; страсть у нея—дѣло минуты, и ни позоръ общественнаго мнѣнія, ни лютая казнь не помѣшаютъ ей отдаться вполне тому, кто умѣлъ заставить ее полюбить...

Донъ-Хуанъ въ восторгѣ отъ своего успѣха. Хотя онъ и привыкъ къ побѣдамъ, но эту онъ считалъ труднѣе, чѣмъ оказалось, потому что донья-Анна возбудила въ немъ сильную страсть. Повѣса въ радости своей велитъ Лепорелло звать статую командора къ донь-Аниѣ на завтрашній вечеръ. Статуя киваетъ ему головой въ знакъ согласія; Лепорелло въ ужасѣ. Донъ-Хуанъ самъ зоветъ ее—и съ ужасомъ видитъ, что она кивнула и ему...

Но донъ-Хуанъ не такой человѣкъ, чтобъ что-нибудь могло остановить его. Онъ у вдовы. Рѣчи его страстны, нѣжны, лстивы, вкрадчивы; искусно сдѣлавъ онъ, возбудивъ ея женское любопытство, объявить донь-Аниѣ собственное имя... Онъ хочетъ, чтобъ его любили для него самого, чтобъ его обнимала жена убитаго имъ мужа. Но она уже любить его, и его дерзость еще больше увлекаетъ ее. Не торопясь глупо, онъ проситъ на разставанье только одного холоднаго и мирнаго поцѣлуя—и получаетъ поцѣлуй... Но вотъ входитъ статуя, съ словами: «Я на зовъ явился».

Донъ-Хуанъ. О, Боже! донна Анна!

Статуя. Брось ее;
Все кончено. Дрожишь ты, донъ-Хуанъ?

Донъ-Хуанъ. Ярвѣтъ! я зналъ тебя, и радъ, что вижу.

Статуя. Дай руку.

Донъ-Хуанъ. Вотъ она... о, тяжело
Пожатъе каменной его десницы!
Оставь меня, пусть, пусть мнѣ руку!..
Я гибну—кончено—о, донна Анна!..

Онъ проваливается. Это фантастическое основаніе поэмы на вышпательствѣ статуи производитъ непріятный эффектъ, потому что не возбуждаетъ того ужаса, который обязано бы возбуждать. Въ наше время статуй не боятся и внѣшнихъ развязокъ, *deus ex machina*, не любятъ; но Пушкинъ былъ связанъ преданіемъ и оперой Моцарта, неразрывной съ образомъ донъ-Хуана. Дѣлать было нечего. А драма непременно должна была разрѣшиться трагически—гибелью донъ-Хуана; иначе она была бы веселой повѣстью—не больше, и была бы лишена идеи, лежащей въ ея основаніи. Что такое донъ-Хуанъ!—Каждый человѣкъ, чтобъ жить не одной физической жизнью, но и нравственной жизнью, долженъ имѣть въ жизни какой нибудь интересъ, что-нибудь вродѣ постоянной склонности, влеченія къ чему нибудь. Иначе жизнь его будетъ или не полна, или пуста. Въ людяхъ высшей природы этотъ интересъ, эта склонность, это влеченіе проявляется какъ могущественная страсть, составляющая ихъ силу. Одинъ находитъ свою страсть, паюсъ своей жизни въ наукѣ, другой—въ искусствѣ, третій—въ гражданской дѣятельности, и т. д. Донъ-Хуанъ посвятилъ свою жизнь наслажденію любовью, не отдаваясь однакожъ ни одной женщинѣ исключительно. Это путь ложный. Не говоря уже о томъ, что мужчинѣ невозможно наполнить всю жизнь свою одной любовью, — его одностороннее стремленіе не могло не обратиться въ безнравственную крайность, потому что для удовлетворенія ея онъ долженъ былъ губить женщинъ по ихъ положенію въ обществѣ—и онъ сдѣлалъ себя изъ этого ремесла. Оскорбленіе не условной, но истинно-нравственной идеи всегда влечетъ за собой наказаніе, разумѣется, нравственное же. Самымъ естественнымъ наказаніемъ донъ-Хуану могла бы быть истинная страсть къ женщинѣ, которая или не раздѣляла бы этой страсти, или сдѣлалась бы ея жертвой. Кажется, Пушкинъ это и думалъ сдѣлать: по крайней мѣрѣ такъ заставляетъ думать послѣднее, изъ глубины души вырвавшееся у донъ-Хуана восклицаніе: «О, донна-Анна!», когда его увлекаетъ статуя; но эта статуя портитъ все дѣло, въ чемъ, какъ мы замѣтили выше, нашъ поэтъ не виновать нисколько.

Итакъ, несмотря на это, «Каменный Гость» въ художественномъ отношеніи есть лучшее созданіе Пушкина, — а это много, очень много!

«Сцены изъ рыцарскихъ временъ» представляютъ мѣщанина, возгнушавшагося своимъ состояніемъ и желавшаго попасть въ благородные, а между тѣмъ чуть не попавшагося на висѣлицу. Такія исторіи случались въ средніе вѣка, и Пушкинъ мастерски изло-

жилъ одну изъ нихъ въ формѣ сценъ, писанныхъ прозой. Однакожъ эти сцены не имѣютъ достоинства глубокой идеи, которую поэтъ скорѣе бы могъ найти въ борьбѣ общаго противъ феодаловъ... Впрочемъ въ этихъ сценахъ есть превосходная пѣсня («Жилъ на свѣтѣ рыцарь бѣдный»), въ которой сказано больше, нежели во всей цѣлости этихъ сценъ.

Сказки Пушкина: «О царѣ Салтанѣ», «О жертвой царевнѣ и семи богатыряхъ», «О золотомъ пѣтушкѣ», «О купцѣ Кузьмѣ Остолопѣ и о работникѣ его Балдѣ» были плодомъ довольно ложнаго стремленія къ народности. Народныя сказки хороши и интересны такъ, какъ создала ихъ фантазія народа, безъ перемѣнъ, украшеній и передѣлокъ. Но «Сказка о Рыбакѣ и Гыбѣ», о которой мы не упоминали въ числѣ прочихъ сказокъ, заслуживаетъ исключенія, потому что въ ней есть положительные достоинства. Это не народная сказка: народу принадлежитъ только ея мысль, но выраженіе, рассказъ, стихъ, самый колоритъ, — все принадлежитъ поэту.

Повѣсти въ прозѣ Пушкина, хотя и далеко не могутъ равняться въ достоинствѣ съ лучшими стихотворными его произведеніями даже перваго періода его дѣятельности, однако тѣмъ не менѣе принадлежать къ замѣчательнымъ произведеніямъ русской литературы. Первый его опытъ въ этомъ родѣ напечатанъ былъ въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» на 1829 годъ, подъ названіемъ: «IV глава изъ Историческаго Романа». Въ X томѣ полнаго собранія его сочиненій напечатано шесть главъ и начало седьмой этого романа, подъ названіемъ: «Арапъ Петра Великаго». Въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» IV-я глава напечатана не вполнѣ; но это едва ли не интереснѣйшій отрывокъ изъ всѣхъ семи главъ. Будь этотъ романъ конченъ такъ же хорошо, какъ началъ, мы имѣли бы превосходный историческій русскій романъ, изображающій нравы величайшей эпохи русской исторіи. Поэтъ въ числѣ дѣйствующихъ лицъ своего романа выводитъ въ немъ на сцену и великаго преобразователя Россіи, во всей народной простотѣ его приемовъ и обычаевъ. Не понимаемъ, почему Пушкинъ не продолжалъ этого романа. Онъ имѣлъ время кончить его, потому что IV-я глава написана имъ была еще прежде 1829 года. Эти семь главъ неоконченнаго романа, изъ которыхъ одна упредила всѣ историческіе романы Загоскина и Лажечникова, неизмѣримо выше и лучше всякаго историческаго русскаго романа, порознь взятаго, и всѣхъ ихъ, вмѣстѣ взятыхъ. Передъ ними, передъ этими семью главами неоконченнаго «Арапа Петра Великаго», бѣдны и жалки повѣсти Кукольника, содержаніе которыхъ взято изъ эпохи Петра Великаго и

которыя все-таки не лишены достоинства. Но это вовсе не похвала «Арапу Петра Великаго»: великому небольшая честь быть выше пигмеевъ, — а больше его у насъ не съ кѣмъ сравнивать.

Въ 1831 году вышли «Повѣсти Бѣлкина», холодно принятыя публикой и еще холоднѣе журналами. Дѣйствительно, хотя и нельзя сказать, чтобы въ нихъ уже вовсе не было ничего хорошаго, все-таки эти повѣсти были недостойны ни таланта, ни имени Пушкина. Это что-то вродѣ повѣстей Карамзина, съ той только разницей, что повѣсти Карамзина имѣли для своего времени великое значеніе, а повѣсти Бѣлкина были ниже своего времени. Особенно жалка изъ нихъ одна — «Барышня-крестьянка», неправдоподобная, водевильная, представляющая помѣщичью жизнь съ идиллической точки зрѣнія...

«Пиковая Дама» — собственно не повѣсть, а мастерской рассказъ. Въ ней удивительно вѣрна очерчена старая графиня, ея воспитанница, ихъ отношенія и сильный, но демонически-эгоистическій характеръ Германа. Собственно это не повѣсть, а анекдотъ; для повѣсти содержаніе «Пиковой Дамы» слишкомъ исключительно и случайно. Но рассказъ, повторяемъ, верхъ мастерства.

«Капитанская дочка» — вѣчто вродѣ «Онгина» въ прозѣ. Поэтъ изображаетъ въ ней нравы русскаго общества въ царствованіе Екатерины. Многія картины по вѣрности, истинѣ содержанія и мастерству изложенія — чудо совершенства. Таковы портреты отца и матери героя, его гувернера француза и въ особенности его дядьки изъ псарей, Савельича, этого русскаго Калеба, — Зурина, Миронова и его жены, ихъ кума Ивана Игнатьевича, наконецъ самого Пугачева, съ его «господами енарадами»; таковы многія сцены, которыхъ, за ихъ множествомъ, не находимъ нужнымъ пересчитывать. Ничтожный, безцвѣтный характеръ героя повѣсти и его возлюбленной Марьи Ивановны и мелодраматическій характеръ Швабрина хотя принадлежать къ рѣзкимъ недостаткамъ повѣсти, — однакожъ не мѣшаютъ ей быть однимъ изъ замѣчательныхъ произведеній русской литературы.

«Дубровский» — pendant къ «Капитанской дочкѣ». Въ обоихъ преобладаетъ паѳосъ помѣщичьяго принципа, и молодой Дубровскийъ представленъ Ахилломъ между людьми этого рода, — роль, которая рѣшительно не удалась Гриневу, герою «Капитанской дочки». Но Дубровскийъ, несмотря на все мастерство, которое обнаружилъ авторъ въ его изображеніи, все-таки остался лицомъ мелодраматическимъ и невозбуждающимъ къ себѣ участія. Вообще вся эта повѣсть сильно отзывается мелодрамой. Но въ ней есть

дивныя вещи. Старинный бытъ русскаго дворянства, въ лицѣ Троекурова, изображенъ съ ужасающей вѣрностью. Подъячій и судопроизводство того времени тоже принадлежатъ къ блестящимъ сторонамъ повѣсти. Превосходно очерчены также и холопы. Но всего лучше—характеръ героини, по преимуществу русской женщины. Уединенная жизнью французскіе романы сильно развили въ ней не чувство, не страсти, а фантазію, и она считала себя дѣйствительно героиней, готовой на всѣ жертвы для того, кого полюбитъ. Покуда ей приходилось только играть въ романъ, она дѣлала возможныя безумства; но дошло до дѣла—и она принялась за мораль и добродѣтель. Быть похищенной любовникомъ—разбойникомъ у алтаря, куда насильно притащили ее, чтобы обвинять съ развратнымъ старичишкой,—казалось для нея очень «романическимъ», слѣдовательно чрезвычайно заманчивымъ. Но Дубровскій опоздалъ,—и она втайнѣ этому обрадовалась и разыграла роль вѣрной жены, слѣдовательно опять героини...

«Лѣтопись села Горохина»—шутка острая, въ которой впрочемъ есть и серьезныя вещи, какъ напримѣръ прибытіе въ село Горохино управителя и картина его управленія...

«Кирджали»—мастерской рассказъ истиннаго происшествія.

Объ «Исторіи Пугачевского Бунта» мы не будемъ распространяться. Скажемъ только, что этотъ историческій опытъ—образцовое произведеніе и со стороны исторической, и со стороны слога. Въ послѣднемъ отношеніи Пушкинъ вполне достигъ того, къ чему Карамзинъ только стремился. «Исторія Пугачевского Бунта» показываетъ, что еслибъ онъ успѣлъ написать исторію Петра Великаго,—мы имѣли бы великое историческое созданіе...

Въ журнальныхъ статьяхъ своихъ Пушкинъ отразился со всѣми своими предрасудками; въ нихъ виденъ чуждъ образованности своего вѣка, но по какому-то странному упорству добровольно оставивъ при идеяхъ Карамзина, очень почтенныхъ... для своего времени, которое давно прошло. По этому и по другимъ причинамъ многія изъ его журнальныхъ статей ниже всякой критики. Но нѣкоторыя изъ нихъ во многихъ отношеніяхъ замѣчательны; таковы напримѣръ: «Ломоносовъ», «О Мильтонѣ и Шатобриановомъ переводѣ «Потеряннаго Рая», «Рославлевъ». Очень любопытны его «Отрывки: литературныя, критическія, грамматическія замѣчанія»; въ нихъ онъ весь. Но

полемиическія его статьи—верхъ совершенства. Таковы: «Отрывокъ изъ «Литературныхъ Лѣтописей» и «Торжество Дружбы, или Оправданный Александръ Анеимовичъ Орловъ» и «Нѣсколько словъ о мизинцѣ г Булгарина и о прочемъ»*).

Трудъ нашъ конченъ. О достоинствѣ его или недостаткахъ судить публикѣ; мы скажемъ только, что это еще первая попытка разобрать критически весь кругъ поэтической и литературной дѣятельности одного изъ величайшихъ поэтовъ Россіи. Мы смотрѣли на его произведенія съ любовью, но безъ ослѣпленія и предубѣжденій въ его пользу или противъ него. Пусть другіе сдѣлаютъ это лучше насъ: мы первые поспѣвшимъ отдать имъ должную дань хвалы и поучиться у нихъ.

Заключаемъ. Пушкинъ былъ по преимуществу поэтъ—художникъ и больше ничѣмъ не могъ быть по своей натурѣ. Онъ далъ намъ поэзію, какъ искусство, какъ художество. И потому онъ навсегда останется великимъ, образцовымъ мастеромъ поэзіи, учителемъ искусства. Къ особннымъ свойствамъ его поэзіи принадлежитъ ея способность развивать въ людяхъ чувство изящнаго и чувство гуманности, разумѣя подъ этимъ словомъ безконечное уваженіе къ достоинству человѣка, какъ человѣка. Несмотря на генеалогическія свои предрасудки, Пушкинъ по своей натурѣ своей былъ существомъ любящимъ, симпатичнымъ, готовымъ отъ полноты сердца протянуть руку каждому, кто казался ему «человѣкомъ». Несмотря на его пылкость, способную доходить до крайности, при характерѣ сильномъ и мощномъ, въ немъ было много дѣтски-кроткаго, мягкаго и нѣжнаго. И все это отразилось въ его изящныхъ созданіяхъ. Придетъ время, когда онъ будетъ въ Россіи поэтомъ классическимъ, твореніямъ котораго будутъ образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство...

Конечно придетъ время, когда потомство воздвигнетъ ему вѣковѣчный памятникъ; но тѣмъ страннѣе для его современниковъ, что они не имѣютъ еще порядочнаго изданія его сочиненій... Скоро десять лѣтъ минетъ послѣ трагической кончины нашего великаго поэта, а мы не имѣемъ даже сноснаго собранія его твореній!.. Пора бы подумать объ этомъ.

*) Эти статьи не вошли въ полное собраніе сочиненій Пушкина,—вѣроятно для большей полноты...

Ц. Б И Б Л И О Г Р А Ф І Я.

Жизнь и похождения Петра Степанова сына Столбикова, помщика в трех наместничествах. Рукопись XVIII века. Спб. 1841.

Не понимаемъ, что за охота такому почтенному и талантливому писателю, какъ Основьяненко, тратить время и трудъ на изображеніе глупцовъ, подобныхъ Столбику. Петръ Столбиковъ самъ, отъ своего лица, рассказываетъ исторію своей жизни, и въ этомъ разсказѣ не всегда бываетъ вѣренъ собственному характеру: изъ пошлаго глупца, идіота иногда вдругъ становится онъ умнымъ и чувствительнымъ человѣкомъ, а потомъ опять дѣлается глупцомъ. Въ поступкахъ онъ также противорѣчитъ самому себѣ: то умно управляетъ имѣніями помѣщиковъ, то, сдѣлавшись предводителемъ дворянства, подаетъ губернатору проектъ объ истребленіи саранчи такимъ образомъ: пусть она ѣстъ хлѣбъ, а мужики должны въ это время оборвать у нея крылья, — или что-то въ этомъ родѣ...

Ничѣмъ другимъ не можемъ мы объяснить этого страннаго направленія такого замѣчательнаго дарованія, какимъ владѣетъ Основьяненко, какъ словомъ «провинція»... Можемъ ошибаться, но, пока не докажутъ намъ противнаго, остаемся при своемъ убѣжденіи, — мы вотъ что думаемъ: въ провинціи (разумѣется, нѣтъ правилъ безъ исключенія) свое понятіе о литературѣ, свой взглядъ на изящное: идеалъ высокаго и патетическаго заключается тамъ въ повѣстяхъ Марлинскаго; идеалъ комическаго — въ «Энеидѣ», вывороченной на изнанку».

Эвелина де Вальероль. Романъ въ четырехъ томахъ. Соч. Н. Кукольника. Спб. 1841--1842.

Читателямъ уже извѣстно наше мнѣніе о романѣ Кукольника. Это далеко не художественное произведеніе: въ немъ нѣтъ ни идеи, ни слишкомъ вѣрнаго и глубокаго взгляда на эпоху, ни внутренняго содержанія, поражающаго единствомъ впечатлѣнія и ясной осязательностью того, чего нельзя выразить словомъ и чего поэтическая форма была только чувственнымъ проявленіемъ. Героиня романа служитъ лишь внѣшнимъ центромъ множества событій и множества лицъ, имѣющихъ къ ней слишкомъ мало

Соч. Вѣлинскаго. Т. III.

отношенія. Сама по себѣ она — ни глубоко задуманный и хорошо выполненный женскій характеръ, ни даже особенно интересное описаніе характера: блѣдна, безцвѣтна, обозначена чертами общими и неопредѣленными. Другія лица не чужды внѣшняго интереса въ запутанномъ механизмѣ романа; но ни одно изъ нихъ не можетъ назваться типическимъ лицомъ. Лучше другихъ Гаръ-Шонъ. Гойко сбивается на мелодраматическаго героя, — а онъ-то собственно и есть герой романа: по крайней мѣрѣ въ романѣ все черезъ него и нѣтъ, и ничего безъ него, такъ что еслибъ Гойко не спасался безпрестанно отъ смерти чудеснымъ образомъ, чрезвычайно похожимъ на *deus ex machina*, то романъ остановился бы, и авторъ не зналъ бы, что ему дѣлать съ своими героями и дѣйствующими лицами и куда ихъ дѣвать. На Ришельё Кукольникъ смотритъ слишкомъ невѣрно: Ришельё, по его мнѣнію, подорвалъ, гоненіемъ аристократіи, французскую монархію и приготовилъ новѣйшіе перевороты въ исторіи Франціи... Такой взглядъ есть лучшая мѣрка достоинства романа: на ложномъ основаніи нельзя создать хорошаго произведенія. Всякая великая историческая личность творитъ волю пославшаго ее, хотя, повидимому, и совершаетъ только свою собственную волю; всякій великій историческій дѣйствительный выполняетъ требованія духа времени, которыхъ онъ есть только представитель, а не производитель, хоть онъ и думаетъ осуществлять лишь свои собственные понятія о потребностяхъ общества; потому ни о какомъ историческомъ героѣ, какъ бы великъ онъ ни былъ, нельзя сказать, что онъ сдѣлалъ не то, что должно, — или хвалить его за то, что онъ сдѣлалъ хорошо, когда бы могъ, еслибъ захотѣлъ, сдѣлать худо. Историческое лицо дѣлаетъ только то, что необходимо, — по крайней мѣрѣ только необходимыми изъ его дѣйствій производятъ результаты; все же принадлежащее его личному произволу, и доброе, и худое, существуетъ временно, не оставляя никакихъ слѣдствій и исчезая вмѣстѣ съ лицомъ. Что за гигантъ такой кардиналъ Ришельё, что могъ сдѣлаться владыкой судебъ цѣлаго народа и произвести не то, чего высшія силы хотѣли, а что его кардинальской эминенціи было угодно!.. Подобное историческое созерцаніе и мелко, и ограниченно, и ста-

ро. Да притомъ Кукольникъ навязалъ Ришельё дѣло, котораго тотъ и не думалъ дѣлать; онъ сокрушилъ феодализмъ и пріуготовилъ монархію Людовика XIV, которая потомъ пала вслѣдствіе причинъ, нисколько независѣвшихъ отъ кардинала Ришельё; а Кукольникъ заставляетъ его подрывать монархію и религію!....

Въ изображеніи характера Ришельё авторъ держался известнаго романа Альфреда де-Виньи «Сенъ-Марсъ». Вообще тотъ романъ имѣлъ большое вліяніе на романъ Кукольника, и несмотря на то, ихъ никакъ нельзя сравнивать между собой въ достоинствѣ. Мы не слишкомъ высокаго или, лучше сказать, слишкомъ невысокаго понятія объ «обязанномъ» (какъ называлъ его Пушкинъ) произведеніи щепетильнаго французскаго романиста, но оно, по нашему мнѣнію, все-таки несравненно выше своего русскаго отпрыска. Оно проще, малосложнѣе, ярче по очеркамъ характеровъ и пронизуто началами, которыя, каковы бы они ни были, даютъ ему жизнь и колоритъ. Кукольникъ писалъ свой романъ безъ особенныхъ притязаній: ему, кажется, просто хотѣлось написать повѣсть съ разными похожденіями, способными занять своей калейдоскопической пестротой не слишкомъ взыскательное вниманіе празднаго читателя, — и онъ вполне достигъ своей цѣли. Сверхъ того у него была еще задушевная мысль — представить картину состоянія искусствъ въ Италіи и Франціи XVII столѣтія. Въ этомъ у него нѣтъ ничего общаго съ де-Виньи; но зато все это у него нисколько не вяжется съ романомъ и составляетъ какъ бы вставку, занимающую пять главъ, названныхъ авторомъ «римскими» и отиѣченныхъ предостерегательнымъ эпитафиемъ «ad libitum», а это значитъ, что авторъ избавляетъ отъ чтенія этихъ римскихъ главъ всякаго, кому «почему-либо подробности художественной исторіи могутъ показаться незанимательными и утомительными». Что касается до насъ, — намъ эти подробности не показались незанимательными и утомительными, мы прочли ихъ съ болѣе или менѣе удовольствіемъ, чѣмъ самый романъ. — Есть еще важное различіе романа Кукольника отъ романа де-Виньи: русскій романистъ представилъ Сенъ-Марса совершенно иначе, чѣмъ французскій, и гораздо ближе къ исторической истинѣ.

Говоря вообще, если разсматривать романъ Кукольника вѣдъ строгихъ требованій искусства, — это очень пріятное явленіе въ нашей мертвой и скудной литературѣ; это просто — длинная повѣсть, переполненная затѣйливо запутанными и удовлетворительно распутанными происшествіями; — повѣсть, умно задуманная, внимательно соображенная, но не концептированная; — повѣсть, для которой много было употреблено труда, изученія, но мало вдохновенія; наконецъ — повѣсть, въ которой мало внутренняго, но бездна внѣшняго интереса, каковыя отличается наприимѣръ «Тысяча и Одна Ночь». Въ ней есть эффекты, довольно неловкіе, какъ наприимѣръ смерть карди-

нала Ришельё: но большая часть ея эффектовъ отличается умомъ и вкусомъ. Вообще этотъ романъ написанъ для образованной части публики, а не для полуграмотной черни, для которой сочиняются беззубо-сатирическіе, пошло-моральные и приторно-чувствительные романы. Мы не поклонники произведеній Кукольника: видимъ въ немъ дарованіе, котораго и не оспариваемъ; но не видимъ въ немъ ни генія, ни огромнаго таланта, который въ немъ признается иногда (когда требуютъ того особенныя обстоятельства) нѣкоторыми журналами, печатно называющими себя его друзьями и пріятелями...

Парижъ въ 1838 и 1839 годахъ.
Соч. Владимира Строева. Дѣя части. Спб. 1841—1842.

Нѣтъ ничего труднѣе, какъ писать интересно о предметѣ всѣмъ известномъ, старомъ и избитомъ; но въ то же время нѣтъ и ничего легче этого. Причина трудности, кромѣ неспособности со стороны автора, заключается чаще всего въ томъ, что хотятъ быть новыми во что бы ни стало, ищутъ предметовъ поразительныхъ, важныхъ и, пренебрегая фактами, пускаются въ философскія воззрѣнія и поэтическія описанія. Это общій недостатокъ девяносто-девятой изъ ста путешествій. Почти всѣ они бывають удивительно глубокомысленны, бывають удивительно живописны и — невыносимо скучны. Все хорошо въ нихъ, а зѣваетъ; все ново, а между тѣмъ известныя и дешевыя «guides» въ 16-ю и 32-ю долю листа, напечатанные мелкимъ шрифтомъ, такъ и толпятся въ вашей памяти. Вы хотѣте познакомиться съ характеромъ народа въ его домашнемъ быту, у себя дома, такъ сказать, — а васъ дѣшутъ скучными описаніями памятниковъ и зданій, щедро разсыпая архитектурныя термины. Если у васъ станеть терпѣнія прочесть такую книгу, — вы обыкновенно говорите, протяжно зѣвая: «стояло ли ѣздить такъ далеко, чтобъ написать книгу, которую всякій можетъ составить и не выѣзжая изъ своего захолустья, не только изъ предѣловъ родины?» Чтобъ путешествіе было интересно, надо только смотрѣть на вещи просто и, не гонясь за поразительнымъ, передавать вѣрно, какое впечатлѣніе произвели на автора самыя обыкновенныя и вседневныя предметы. Само собой разумѣется, что всякая страна имѣетъ свое значеніе, свою фیزیономію и свою вседневность. Въ Англіи, кромѣ парламентовъ, важны фабрики, купеческія конторы и рабочій классъ народа; въ Германіи всего важнѣе университеты; но во Франціи — прежде всего улицы, кафѣ, театры, бульвары и гулянья. У кого есть глаза, чтобъ видѣть, уши, чтобъ слышать, и разсудокъ, чтобъ понимать видимое и слышимое, тотъ сейчасъ пойметъ, гдѣ на что должно обратить особенное вниманіе, и съ которой стороны должно взглянуть на предметъ, общій многимъ

странамъ. Газеты издаются во всей Европѣ, такъ же, какъ и театры есть во всей Европѣ; но вездѣ они или наслажденіе, или удобство жизни, а во Франціи — необходимость, насущный хлѣбъ, какъ въ старой Испаніи — бои съ быками и ауто-да-фе еретиковъ. Литература составляетъ важную сторону жизни каждаго европейскаго народа; но въ Германіи она тѣсно связана съ наукой; въ Англіи она — просто литература; въ Сѣверо-Американскихъ Штатахъ — обнародованіе богословскихъ мнѣній разныхъ сектъ; а во Франціи литература — сама жизнь, по преимуществу народная, и тѣмъ менѣе обще-человѣческая. Опера въ Парижѣ — или наслажденіе немногихъ, или тщеславіе цѣлаго народа; а въ Италіи — это цѣлая жизнь, какъ во Франціи литература и журналистика. Итакъ, оставьте въ сторонѣ и длину, и вышину и разбѣры, и формы *Notre Dame*, Лувра, Тюльери, Пале-Рояля и пр., а лучше, если ужъ заговорили о нихъ, расскажите намъ, какими образомъ возникли эти зданія изъ исторической жизни народа, и какими обстоятельствами, невозможными у всякаго другого народа, сопровождалось ихъ построеніе; какъ смотрятъ на нихъ народъ, какихъ событій въ жизни были они театромъ или свидѣтелями. Не пересчитывайте число улицъ, не знакомьте насъ съ ихъ названіями: все это и мелко, и ничтожно, и трудно для памяти; а лучше скажите намъ, какъ толпятся по нимъ живое народонаселеніе города: идетъ ли оно важно, разбѣреннымъ шагомъ, съ скучной и апатической физиономіей, или суетится, веселое, беззаботное, полное жизни и интереса. Словомъ, такъ покажите намъ народъ на улицѣ, чтобъ мы тотчасъ же узнали, каковъ онъ и у себя въ домѣ, а въ домѣ покажите намъ его такъ, чтобъ мы могли догадаться, каковъ онъ въ театрѣ. Стѣны ничего не значатъ: важны только люди...

Для наблюдательнаго путешественника очень легко схватить характеристическія черты страны, потому что характеръ страны прежде всего овладѣваетъ нѣмъ самимъ, какъ прилипчивая болѣзнь. Въ Парижѣ вамъ не посидится дома, хоть бы вы были нисантропъ или подагрикъ: вамъ захочется бѣгать съ утра до ночи по кафѣ, улицамъ, бульварамъ, театрамъ. Тамъ всего легче излѣчиться отъ русской хандры или апатіи и англійскаго сплина. Тамъ поневолѣ вы сдѣлаетесь говорливы, почувствуете охоту до вѣстей и новостей. Тамъ вы будете даже любезнымъ, хотя бы вы были семинаристъ, квакеръ или степной житель. Въ Италіи (вообще) вы сдѣлаетесь обожателемъ прекрасной природы, хотя бы отъ роду не видѣли въ природѣ ничего другого, кромя полей, которые производятъ хлѣбъ, и навозу, которымъ удобряются поля, сдѣлаетесь меломаномъ, хотя бы уши ваши неспособны были отличить романса Глинки отъ пѣсни Шуберта или уличной шарманки отъ скрипки Оло-Буля. Въ Римѣ же вы непремѣнно сдѣлаетесь антикваріемъ и особенно

комментаторомъ. Вся сущность науки тамъ въ комментаріяхъ. Понятъ Данта, какъ поэта, — будетъ для васъ постороннимъ дѣломъ: вся ваша забота, вся дѣятельность и трудолюбіе устремится на то, чтобъ на каждый стихъ Данта быть въ состояніи прочесть наизусть тысячу комментаріевъ. А Данта читать — извѣстное дѣло — все равно, что купаться въ Адриатическомъ морѣ... Избави васъ Богъ поддаваться этой страсти къ комментаріямъ, этому прилипчивому мѣзму: иначе вы воротитесь домой съ огромнымъ запасомъ пустыхъ комментаріевъ, но безъ живой души и здраваго смысла, сдѣлаетесь страшнымъ педантомъ, заклятымъ врагомъ животворной идеи, изступленнымъ обожателемъ мертвой буквы, жаднымъ лакомкой до пергаментной гнили и фоліантовой пыли... О, берегитесь, берегитесь! Иначе что за скѣпную роль будете вы играть, какъ лукаво будутъ улыбаться, слушая, какъ вы въ высокопарныхъ фразахъ, прерываемыхъ точками, какъ-будто отъ одышки, будете производить въ геніи и Вальтеръ-Скотты какого-нибудь посредственнаго итальянскаго романиста или кстати и некстати обращаться къ классической почвѣ и голубому небу Италіи.

Часто путешественники вредятъ себѣ и своимъ книгамъ дурной замашкой видѣть въ той или другой странѣ не то, чтѣ въ ней есть, но то, чтѣ они заранѣе, еще у себя дома, рѣшили въ ней видѣть, вслѣдствіе одностороннихъ убѣжденій, закоренѣлыхъ предразсудковъ или какихъ-нибудь вышнихъ цѣлей и корыстныхъ расчетовъ. Нѣтъ ничего хуже кривыхъ и косыхъ взглядовъ; нѣтъ ничего несноснѣе искаженныхъ фактовъ. А факты можно исказить и не выдумывая лжи. Иностранецъ, пріѣхавшій въ Петербургъ въ праздничный день, можетъ встрѣтить на улицахъ много пьяныхъ мужиковъ, — и если онъ будетъ выходить изъ своей квартиры только по праздникамъ, и притомъ вечеромъ, то безъ всякой лжи будетъ вправѣ написать, что на петербургскихъ улицахъ ему попадалось много пьянаго народу изъ черни; но будетъ ли онъ правъ, если напишетъ, что, когда ни выйдя въ Петербургъ на улицу, всегда встрѣтишь множество пьяныхъ «джентльменовъ»? Во всѣхъ большихъ городахъ есть большіе пороки, и кто хочетъ искать въ нихъ только одной этой стороны, тотъ всегда найдетъ ее. Поэтому нѣтъ ничего легче, какъ оклеветать или превознести страну: не нужно выдумывать фактовъ, стоитъ только обратить вниманіе преимущественно на тѣ факты, которые подтверждаютъ заранѣе составленное мнѣніе, закрывая глаза на тѣ, которые противорѣчатъ этому мнѣнію. Такимъ образомъ, никого не обманывая вымышленной ложью, можно увѣрить, что французы — народъ суровый, тяжелый, расчетливый, корыстный; а англичане — народъ живой, легкій, увлекающійся, симпатичный и даже — чего добраго — гуманный... При этомъ случаѣ очень удобно можно доказать, что вездѣ

и все худо, что Европа гнѣтъ, что желѣзные дороги ведутъ въ адъ, и тому подобныя странности... Но эти странности,—чтобъ не назвать ихъ иначе, —бываютъ еще смѣшнѣе, когда путешественникъ худо играетъ принятую на себя по расчетамъ роль, когда въ немъ невольно проглядываетъ подобострастное удивленіе къ предметамъ, въ отношеніи къ которымъ онъ ситится выказать притворное равнодушіе. Такъ иной, говоря съ презрѣніемъ о Беранже, Жоржъ Зандъ, Викторъ Гюго, — вдругъ падаетъ на колѣни передъ какимъ-нибудь Ламартиномъ, какимъ-нибудь Альфредомъ де Виньи, какимъ-нибудь господиномъ де-Вальзакомъ. Такіе путешественники въ обоихъ случаяхъ обнаруживаютъ дикость нравовъ, не смягченныхъ цивилизаціей и образованіемъ.

Путешествія пишутся иногда въ формѣ ежедневныхъ записокъ,—и тогда центромъ описаній дѣлается личность самого путешественника. Эта форма чрезвычайно интересна и увлекательна. Разумѣется, для этого прежде всего нужно, чтобъ личность путешественника не только не оскорбляла своимъ цинизмомъ, но еще и заинтересовывала бы читателя благоуханнымъ впечатлѣніемъ своей непосредственности. Но каково же будетъ это «благоуханное впечатлѣніе», если путешественникъ рассказываетъ вамъ, какъ и что покупалъ онъ на площади!... Такая простонародная, площадная и циническая сцена не можетъ быть пріятна даже и тогда, когда дѣло идетъ о дырявомъ плащѣ; но каково же, когда вопросъ заключается въ сапогахъ или въ чемъ-нибудь еще болѣе домашнемъ?... Что за удовольствіе для читателя узнать, что нашъ путешественникъ такъ чуждъ чувства изящнаго, что приходится въ изступленіе при видѣ прекрасныхъ, но безполезныхъ вещей, которыми любятъ окружать себя образованное чувство даже и въ житейскихъ мелочахъ, и на которыя даже бѣдный, но эстетически настроенный человекъ нашего времени охотно удѣляетъ часть своихъ средствъ, какъ на необходимости?... Нашъ вѣкъ не любитъ чопорной изысканности въ формахъ, но онъ еще далѣе отъ цинической неопрятности въ наружности. Есть люди, которые въ халатѣ умѣютъ быть пристойными; но есть люди, которые и во фракѣ оскорбляютъ чувство приличія. Авторъ можетъ показаться своимъ читателямъ и въ халатѣ; но подобныя фамильярности съ его стороны не должны впадать въ цинизмъ. Записки путешественника не только могутъ, должны быть просты; но всему есть границы, полагаемая чувствомъ и смысломъ, и отрывистыя отмычки, подобныя слѣдующимъ: «ѣли, легли спать; — вчера пошли было въ дешевый кабакъ обѣдать — на дорогѣ застигъ проливной дождь, — писали съ женой письма», напомнимъ бы собой записки прославленнаго Гоголемъ титулярнаго совѣтника Попрыщина...

Иногда путешествія пишутся въ нѣкоторомъ

систематическомъ порядкѣ. Авторъ сперва описываетъ зданія, потомъ промышленность, нравы народа, и такъ далѣе, посвящая каждую главу на особый предметъ, о которомъ онъ уже не имѣетъ нужды говорить въ другихъ главахъ своей книги. Эта форма имѣетъ свою выгоду и свою хорошую сторону, представляя читателю рядъ отдѣльныхъ и цѣлыхъ картинъ. Если она теряетъ въ калейдоскопической живости описанія, зато дѣлаетъ безопаснѣе личность автора отъ непріятнаго впечатлѣнія на читателя. Строевъ очень хорошо поступилъ, избравъ эту форму, хотя къ описанію Парижа отрывочныя записки и всего лучше идутъ. Строевъ болѣе или менѣе, но почти вездѣ избѣгъ исчисленныхъ нами недостатковъ, которыя въ особенности вредятъ книгамъ путешествій. Правда, найдется въ его книгѣ нѣсколько ничего незначащихъ выраженій вроде «Сѣверной Пальмиры», подъ которой, не знаемъ почему, ему угодно разумѣть нашъ Петербургъ. Конечно Петербургъ—городъ великолѣпный и необыкновенно красивый, но это совсѣмъ не причина называть его ни Пальмирой, ни Вавилономъ, ни другимъ древнимъ, чуть-чуть не допотопнымъ городомъ, о которомъ мы не можемъ себѣ сдѣлать никакого представленія. Вообще обыкновеніе называть новое старыми именами: Наполеона—Цезаремъ, Барклая—Фабіемъ, Кутузова—сѣвернымъ Сципіономъ (для отличія отъ южнаго), прилично только для новыхъ изданій исторіи Кайданова, и развѣ еще литературщикамъ, подвизающимся въ заднихъ рядахъ фельетонной литературы. Можно еще упрекнуть Строева за разсужденія, хотъ ихъ у него—славу Богу—и немного. Такъ наприимѣръ, онъ могъ бы, безъ всякаго ущерба, но съ явной выгодой для своей книги, уволить насъ отъ своихъ взглядовъ на современную французскую литературу, ограничиваясь фактами и не мудствуя... Мы охотно вѣримъ, что Строеву, какъ бывшему фельетонисту и автору давно забытыхъ (по счастью для него) «Сценъ Петербургской Жизни», Вальзакъ кажется великимъ романистомъ. Вальзакъ—дѣйствительно колоссъ передъ всѣми нашими балъзачниками, которые съ такимъ подробнымъ анализомъ распыляются въ описаніи будуара, наряда, движеній и сердецъ своихъ графинь, княгинь и княженъ. Одно уже то, что Вальзакъ всегда шелъ своей дорогой и не только никому не подражалъ, но родилъ тысячи плохихъ подражателей, доказываетъ, что Вальзакъ—человѣкъ съ замѣчательнымъ талантомъ. Онъ—большой мастеръ рассказывать, и еслибъ не распылялся въ водяномъ и растянутаго многословія, которое онъ выдаетъ за тонкій анализъ платья, комнатъ, душъ, сердецъ, страстей и чувствъ—плодъ будто-бы глубокой наблюдательности; еслибъ онъ не выдумывалъ графинь и маркизъ, какія существуютъ только въ его воображеніи, прикованномъ къ прихожимъ салоновъ, а описывалъ болѣе доступную и бо-

лѣе знакомую ему дѣйствительность, — онъ былъ бы однимъ изъ замѣчательныхъ писателей второго или третьяго разряда, не былъ бы теперь забытъ и осмѣянъ въ Парижѣ, не выписался бы такъ скоро и не издавалъ бы плохихъ статей подъ фирмой плохого «*Revue parisienne*». Также мы охотно вѣримъ, что Строеву не можетъ слишкомъ нравиться г-жа Д'Юдеванъ: у всякаго свой вкусъ. И потому не будемъ спорить съ Строевымъ, а скажемъ просто, что его книга о Парижѣ чрезвычайно любопытна по содержанію, богата фактами, хорошо написана, живо изложена, — и вообще такъ интересна, что трудно отъ нея оторваться.

АЛЬФЪ И АЛЬДОНА. *Историческій романъ въ четырехъ томахъ. Соч. Н. Кукольника. Спб. 1842.*

Нельзя не удивляться неистощимой дѣятельности Кукольника. Это рѣшительно плодотворнѣйшій и неутомимѣйшій изъ всѣхъ современныхъ нашихъ писателей. Самъ Полевой долженъ уступить въ этомъ отношеніи пальму первенства Кукольнику, ибо Полевой удивляетъ публику своей дѣятельностью больше или по части объявленій и программъ о многихъ множествахъ своихъ сочиненій, или только первыми томами самихъ сочиненій, никогда не представляя послѣднихъ томовъ; Кукольникъ же, напротивъ, не обѣщаетъ, а дѣлаетъ, или общая немногое, исполняетъ очень много, — словомъ, какъ говорится, продаетъ товаръ лицомъ. И однакожъ удивительная дѣятельность Кукольника вовсе не сфинксова загадка, для рѣшенія которой былъ бы нуженъ новый Эдипъ. Дѣло, напротивъ, очень понятно и весьма ясно. Еслибъ талантъ Кукольника равнялся дѣятельности его и трудолюбію — Кукольникъ былъ бы теперь первымъ талантомъ во всей Европѣ, не только у себя дома. Чрезвычайная дѣятельность обыкновенно бываетъ признакомъ или великаго генія, или посредственности. Тредьяковский, Сумароковъ и Херасковъ — каждый изъ нихъ сочинилъ, перевелъ, словомъ, напечаталъ не меньше Пушкина, который, если сообразить количество написаннаго имъ съ числомъ прожитыхъ имъ лѣтъ, написалъ очень много. Нѣмецкій авторъ, Тикъ, написавшій не менѣе Шиллера и Гёте, — а это однакожъ доказываетъ совсѣмъ не то, что Тикъ былъ равенъ по таланту двумъ упомянутымъ корифеямъ богатой нѣмецкой литературы, но то, что и посредственность бываетъ иногда такъ же производительна, какъ геній. Впрочемъ мы называемъ Тика посредственностью не безусловно, а относительно къ Шиллеру и Гёте, изъ которыхъ съ послѣднимъ добрый нѣмецъ Тикъ когда-то думалъ даже соперничествовать, повѣривъ на слово братьямъ Шлегелямъ, объявившимъ его, по своимъ католическимъ расчетамъ, главой романтической школы. Взятый самъ по

себѣ, безъ сравненія съ великими поэтами, Тикъ — человекъ съ замѣчательнымъ дарованіемъ, не послѣдній писатель въ Германіи; у насъ онъ былъ бы изъ первыхъ и — чего добраго! — слылъ бы за генія... Мы не ставимъ Кукольника наравнѣ ни съ такими сочинителями, какъ Тредьяковский, Сумароковъ и Херасковъ, ни съ такими писателями, какъ Тикъ: Кукольникъ безъ всякаго сомнѣнія столько же выше первыхъ, сколько ниже послѣдняго. Несомнѣнное превосходство Кукольника передъ тремя плодотворными авторами добраго стараго времени нашей литературы заключается не въ одномъ преимуществѣ настоящей эпохи передъ семидесятью годами прошлаго столѣтія, но и въ талантѣ. Превосходство Тика передъ Кукольникомъ состоитъ не въ одномъ талантѣ, но и въ большей артистически-ученой настроенности души, въ большей обширности не однихъ фактическихъ свѣдѣній и многосторонней эрудиціи, но и въ философскомъ, мыслительномъ, идеальномъ образованіи. Плодотворные писатели, подобные Тику, всегда означаютъ или цвѣтущее состояніе, или упадокъ литературы: если они являются при великихъ творцахъ, какъ явился Тикъ при Шиллерѣ и Гёте, — они служатъ несомнѣннымъ признакомъ цвѣтущаго состоянія литературы; если же они дѣйствуютъ одиноко на первомъ планѣ, какъ дѣйствуетъ теперь въ Германіи Тикъ, со времени смерти Гёте, — они означаютъ упадокъ литературы. Еслибъ мы не ожидали на-дняхъ выхода «*Похожденій Чичикова*» Гоголя, то, смотря на усердные и обильные труды Кукольника, Полевого и Ободовскаго, не на шутку подумали бы, что русской литературѣ настаетъ конецъ концовъ...

Подобно Тику, Кукольникъ написалъ кое-что весьма замѣчательное, если взять въ расчетъ бѣдность русской литературы; подобно Тику, онъ не написалъ ничего рѣшительно дурного... Здѣсь мы опять должны оговориться, что сближеніе Кукольника съ Тикомъ, по нашему мнѣнію, можно основывать не на равенствѣ ихъ между собой, а на общности значенія, какое каждый изъ нихъ имѣетъ въ отношеніи къ своей литературѣ — не болѣе. Такъ напр., смѣшно было бы и сравнивать «*Эвелину де Вальероль*» Кукольника съ романомъ Тика «*Витторія Аккоромбона*»: послѣдній романъ могъ живо заинтересовать собой даже образованную нѣмецкую публику; а первая не произвела особеннаго впечатлѣнія даже между читателями «*Библиотеки для Чтенія*». И между тѣмъ все-таки сравнительно съ современными русскими романами, каковы: «*Человѣкъ съ высшимъ взглядомъ*», «*Жизнь и Похожденія Столбикова*», «*Семейство Холмскихъ*» (изданное прошлаго года въ третій разъ), «*Автоматъ*», «*Непостижимая*», «*Два Призрака*», «*Мирошевъ*» и пр., — сравнительно съ ними, «*Эвелина де Вальероль*» есть произведеніе геніальное, великое, громадное, сло-

вомъ—то же самое, что романы Вальтер-Скотта въ сравненіи съ «Эвелиной де Вальероль»...

Что же касается до новаго романа Кукольника «Альфъ и Альдона»—онъ особенный образъ относится къ исчисленнымъ нами современнымъ русскимъ романамъ. Онъ и лучше, и хуже ихъ: лучше потому, что въ немъ больше не только смысла, но и ума; хуже потому, что въ немъ меньше свободы и добродушной искренности. Дѣло въ томъ, что сочинители упомянутыхъ романовъ пропѣли свои эпопеи тѣмъ голосомъ, какой имъ дала природа, и если ихъ пѣснопѣнія вышли довольно усыпительны — больше всего виновата въ томъ природа, не давшая пѣвцамъ лучшаго голоса, а самихъ пѣвцовъ можно винить развѣ въ томъ только, что они нисколько не обработали ученіемъ своихъ и безъ того посредственныхъ голосовъ; Кукольникъ же пропѣлъ эпопею объ «Альфѣ и Альдонѣ» нѣсколькими тонами выше своего природнаго голоса, а потому и разыгралъ роль пѣвца, который, утомивъ бесполезнымъ напряженіемъ грудь свою, измучилъ и истомилъ своихъ слушателей. Еслибъ «Мирошева» напечатать такъ сжато, какъ напечатанъ новый романъ Кукольника, то всѣ четыре части «Мирошева» легко сравнялись бы въ объемѣ съ одной частью «Альфы и Альдоны»; но это-то и составляетъ одинъ изъ главныхъ недостатковъ романа Кукольника. Обширность объема нѣбѣтъ значеніе только какъ результатъ обширности содержанія, требующаго для себя широкіхъ рамокъ: въ противномъ же случаѣ, она очень сбивается на пухлость, водяность, растянутасть и тому подобныя незавидныя качества. Въ новомъ романѣ Кукольника нѣтъ никакого содержанія; заключающіяся въ немъ приключенія и похождения могли бы уместиться въ повѣсть обыкновеннаго размаѣра. Чрезвычайное множество дѣйствующихъ лицъ, которыми, такъ сказать, напичканъ и начиненъ романъ, также принадлежатъ къ числу его главнѣйшихъ недостатковъ. Дѣйствующее лицо въ романѣ непременно должно быть характеромъ или совсѣмъ не должно существовать: въ этомъ отношеніи ни одно изъ дѣйствующихъ лицъ въ «Альфѣ и Альдонѣ» не имѣло бы ни малѣйшаго права на вниманіе къ себѣ со стороны не только мыслящей, но и просто читающей публики. Кукольникъ хотѣлъ въ своемъ романѣ начертать картину нравственнаго и политическаго состоянія Литвы въ половинѣ XIV столѣтія, когда князья частью исповѣдывали христіанскую религію, съ половиною народа, частью покровительствовали ей, между тѣмъ какъ другая половина народа держалась издыхающаго язычества. Не знаемъ, до какой степени подобная эпоха можетъ служить романису; но знаемъ, что Кукольникъ она весьма плохо послужила. Въ романѣ его безпрестанно упоминается объ «эпохѣ»; онъ испещренъ литовскими именами мѣстъ, урочищъ

и людей того времени, но колорита и духа эпохи нѣтъ и признаковъ.

Тысяча и Одна Ночь, арабскія сказки. Спб. 1839 и 1842. Части 6, 7, 8, 9 и 10.

Арабскія сказки суть полнѣйшее выраженіе національнаго духа и общественности важнѣйшаго изъ магометанскихъ народовъ, нѣкогда игравшаго въ мірѣ такую великую роль. Созданія пламенной фантазіи, отрѣшившейся отъ всѣхъ прочихъ способностей души, онѣ отличаются силетеніемъ и переплетеніемъ частей и эпизодовъ, образующихъ собой какое-то уродливое цѣлое, — узорчатой пестротой своей фантастической ткани и рѣзкой яркостью своихъ восточныхъ красокъ; онѣ невольно поражаютъ этимъ безмысленнымъ, произвольнымъ искаженіемъ дѣйствительности, или, лучше сказать, этой дѣйствительности, построенной на воздухахъ, лишенной всѣхъ подпоръ возможности, вопреки здравому смыслу. Это-то самое и придаетъ имъ колоритъ оригинальности, составляющій главную ихъ прелесть.

Всѣ восточные народы—страстные охотники до разсказовъ, и такъ какъ восточная жизнь лишена всякаго движенія и разнообразія, они хотятъ, чтобы эти разсказы были исполнены чудесъ и небывалыхъ приключеній, которая составляли бы собой контрастъ съ ихъ однообразной, скучной дѣйствительностью. И какъ понятно, что, несмотря на всю нелѣпость вымысла, эти сказки слушаются брѣтными правовѣрными головами съ самымъ добродушнымъ убѣжденіемъ въ непреложной истинѣ каждой черты ихъ! Это не глупость, а младенческое состояніе ума, погруженнаго въ вѣчную дремоту. Вотъ почему для дѣтей чтеніе «Арабскихъ Сказокъ» доставляетъ столько наслажденія: человѣкъ-дѣта въ Европѣ сочувствуетъ народу-дитяти въ простодушныхъ откровеніяхъ его фантазій. Человѣкъ взрослый не можетъ читать залпомъ этихъ сказокъ! ему наскучить одно и то же—и чудесныя красавицы, и разумные принцы, и повторенія однихъ и тѣхъ же рѣчей, въ которыхъ ровно ничего нѣтъ. Но такъ какъ и между взрослыми много дѣтей, то «Арабскія Сказки» всегда будутъ имѣть у себя обширный кругъ читателей и почитателей.

Опытъ библиографическаго обозрѣнія, или очеркъ послѣднѣе полугодія русской литературы, съ октября 1841 по апрѣль 1842 Л. Браунъ. Спб. 1842.

Нѣсколько словъ о періодическихъ изданіяхъ русскихъ. Спб.

Занятіе «литературой», видно, становится у насъ занятіемъ очень привлекательнымъ. Страсть къ сочинительству съ каждымъ днемъ возрастаетъ. Не говоримъ уже о томъ, что почти

ежедневно, — и все чаще и чаще, — появляются въ печати на русскомъ языкѣ книжки и книжонки, изумляющія своей пустотой и рецензентовъ, которые обязаны читать ихъ, и тѣхъ горемычныхъ людей, которымъ случайно попадаютъ онѣ на глаза и которыми читаются «скуки-ради». Кто пишетъ ихъ? кто ихъ издаетъ? для кого издаются онѣ? — Богъ вѣсть! Извѣстно только, что все это дѣйствительно пишется, издается и можетъ быть продается, благодаря ловкости бородастыхъ разносителей просвѣщенія по темнымъ угламъ обширнаго царства русскаго. Но еслибъ вы, почтенный читатель мой, знали, сколько еще не печатается изъ того, что пишется: вы ужаснулись бы этой громадной массы исписанной бумаги, этого изумительнаго потока бездарности, пошлости и безграмотности. Когда бы вы знали, сколько напримѣръ пишущій эти строки обязанъ, по долгу журналиста, прочесть втеченіе года стихотвореній большихъ и малыхъ, повѣстей, разсказовъ, отрывковъ, такъ называемыхъ «ученыхъ» статей и пр., и пр., — вамъ сдѣлалось бы страшно, увѣряю васъ! Но прибавьте еще, что большую часть всего этого должно читать по пустякамъ, потому что большая часть статей, присылаемыхъ отъ господъ анонимовъ, псевдонимовъ и другихъ, подписывающихъ свои подлинныя, невыдуманныя имена, остается безъ употребленія и отсылается въ контору «Отечественныхъ Записокъ» «для возвращенія». Еслибъ печатать все получаемое редакціей, то втеченіе года можно было бы издавать три такіе журнала, по объему, какъ «Отечественныя Записки», и каждая книжка этого журнала могла бы быть втрое толще каждой книжки «Отечественныхъ Записокъ». Ужасъ! Откуда все это берется? что за имена неслышанныя и невиданныя въ русской литературѣ, которыя пишутъ и присылаютъ эти статьи? гдѣ скрываются они? Отъ Архангельска до Ахалциха, отъ Варшавы до Иркутска едва ли есть хоть одна губернія, которая не надѣлила бы редакціи «Отечественныхъ Записокъ» нѣсколькими статьями, переводными и оригинальными, повѣстями, разсказами и стихами, — особенно же стихами... Охъ, ужъ эти стихи! отъ нихъ рѣшительно нѣтъ отбоя: они присылаются ежедневно со всѣхъ сторонъ, на разноцвѣтныхъ бумажкахъ, удивительно красиво переписанные, весьма часто запечатанные въ пакетахъ, застрахованныхъ на почтѣ. И что за умиленные письма получаютъ съ этими статьями! Васъ просятъ такъ униженно, такъ ласково, какъ будто дѣло шло Богъ знаетъ о какомъ благополучіи; вамъ говорятъ, что хоть статья и не имѣетъ никакого достоинства, но для поощренія юнаго таланта, только что выступившаго на литературное поприще, вы должны поправить ее и напечатать, чѣмъ незаконно обязате автора и поощрите его къ дальнѣйшимъ трудамъ (какъ-будто журналъ — пансіонная тетрадка, въ которой маль-

чки пробуютъ свои перья, плохо очиненныя и непривыкшія еще къ ороографіи!); иногда убѣждаютъ васъ несчастными обстоятельствами автора, его безпомощностью, бѣдностью и пр., — какъ будто журналъ — богадѣльня или лазаретъ для пособія нуждающимся! Еще чаще читаете, что не авторское самолюбіе, но единственно желаніе видѣть статью свою напечатанной въ такомъ прекрасномъ журналѣ, какой вы издаете, заставляетъ автора просить васъ о помѣщеніи его статьи, которую онъ самъ смиренно признаетъ недостойной такого прекраснаго журнала... О, да сколько могъ бы я поразсказать вамъ о тѣхъ изворотахъ, которые употребляютъ господа сочинители, чтобъ какъ-нибудь попасть въ журналъ съ своей статьей и видѣть подъ ней свое неизвѣстное имя! Повѣрьте, это презабавная исторія. Когда-нибудь, на досугѣ, я побесѣдую о ней съ вами; но и теперь не могу удержаться, чтобъ не упомянуть объ одномъ странномъ письмѣ, недавно полученномъ мною со стихами изъ города Лубны, — письмѣ, которое вѣрно удивитъ васъ не менѣе того, какъ и меня удивило. Вообразите: къ стихамъ, — весьма пологимъ на старческіе, хоть немножко бессмысленнымъ, но зато съ рифмами, — приложено десять рублей ассигнаціями, которые авторъ проситъ редакцію оставить у себя, если стихи будутъ напечатаны! Вотъ до чего доводитъ наконецъ страсть къ сочинительству! Люди, отверженные искусствомъ, не только селятся писать, не только тратятъ время на написаніе и деньги на переписываніе своихъ статей — часто огромныхъ тетрадой in folio, — не только платятъ вѣсовыя и страховыя на почту, но еще хотятъ платить редакціямъ за то только, чтобы хоть какъ-нибудь напечататься!... Жалкая, гибельная страсть, впрочемъ весьма понятная тамъ, гдѣ литература — не искусство, а только забава, гдѣ равнодушіе публики равняется лишь дерзости и невѣжеству литературщиковъ, смѣло выступающихъ впередъ и гордо называющихъ себя «сочинителями»; гдѣ само искусство — плодъ еще несозрѣвшій сваружи, но уже гнѣющій внутри; гдѣ наконецъ нѣтъ никакой литературы, а есть только гениальныя проблески, подобно молніи, на минуту озаряющіе темный горизонтъ и быстро исчезающіе... Но зато въ этой жемчужнѣ гнѣздятся цѣлыя стаи особыхъ существъ, родъ мелкихъ гномовъ, которые, вообразивъ себя поэтами, романистами, драматистами, критиками, трудятся, хлопчутъ, пищатъ, кричатъ, и очень обижаются, когда ихъ никто не слушаетъ или когда кто-нибудь прикрикнетъ на нихъ, чтобъ замолчали. Раздутое самолюбіе этихъ маленькихъ человечковъ иѣшаетъ имъ видѣть въ себѣ людей очень обыкновенныхъ, очень пошлыхъ, и непремѣнно требуетъ, чтобъ они приобрѣли себѣ громкое имя; а какъ громкое имя легче всего приобретается черезъ типографскіе станки, то они и селятся во что бы ни стало попасть въ

«сочинители». И это-то движеніе, неизвѣстное публикой, примѣтное только для микроскопа журналиста, многіе чествуютъ именемъ литературы русской, видятъ ней жизнь, дѣятельность, партію, и Богъ знаетъ что еще... Вѣдная литература! бѣдное искусство!

Робинзонъ Крузе. *Романъ для дѣтей.*
Сочиненіе Кампе. Спб. 1842.

Въ предисловіи, говоря объ извѣстности, которой такъ заслуженно пользуется дѣтская книга «Робинзонъ Крузе», переводчикъ приводитъ мнѣніе Руссо, изъ книги его «*Emile ou de l'Éducation*», и затѣмъ, объясняя, что Руссо говорить не о «Робинзонѣ» вѣнца Кампе, а о «Робинзонѣ» англичанина Даниэля Фоз, прибавляетъ:

«Но добрый Жанъ-Жакъ, говоря о томъ «Робинзонѣ», котораго онъ имѣлъ къ виду, не совсѣмъ вѣрно выражается, что будто бы Робинзонъ на своемъ островѣ, «*dérougu des instruments de tous les arts*»; нѣтъ, «Робинзонъ» Даниэля Фозъ попадаетъ на островъ не совсѣмъ съ голыми руками: у него есть карманный ножикъ, есть камень, труть, а въ скоромъ времени съ разбитаго корабля онъ добываетъ себѣ многіе инструменты: топоръ, пилу, наконецъ ружья, порохъ и проч. Отъ этого «Робинзонъ» теряетъ много занимательности для юныхъ читателей, потому что хотя онъ и уединенъ на островѣ, удаленъ отъ общественной жизни, но не лишенъ многіхъ орудій, которыя доставила ему именно жизнь общественная».

Здѣсь переводчикъ гораздо больше «не совсѣмъ вѣрно выражается», чѣмъ добрый Жанъ-Жакъ, и ровно дважды грѣшитъ противъ истины. Во-первыхъ, эпитетъ добраго (граничащій своимъ значеніемъ съ эпитетомъ «простодушнаго») нисколько не идетъ къ Руссо, къ имени котораго гораздо больше шелъ бы эпитетъ гениальнаго и титуло великаго писателя. Руссо не былъ философомъ въ новѣйшемъ смыслѣ этого слова, въ смыслѣ ученаго, который занимается философіей, какъ наукой, и для котораго философія имѣетъ чисто ученый, кабинетный интересъ, вѣтъ жизни; но Руссо былъ мудрецъ, въ смыслѣ древнихъ, т. е. человекъ, котораго вся жизнь была мышленіемъ, котораго мышленіе было любовью, а любовь мышленіемъ... Руссо не создалъ никакой философской системы, но обогатилъ идеями новѣйшую философію, такъ что самъ Гегель ссылается на него, какъ на величайшій авторитетъ. И Руссо былъ правъ, видя столь важную для воспитанія книгу въ «Робинзонѣ» Даниэля Фозъ; а переводчикъ Кампе совсѣмъ не правъ, отдавая преимущество переведенной имъ книгѣ передъ «Робинзономъ» англійскимъ. Правда, англійскій Робинзонъ очутился на островѣ съ ножомъ, трубкой и малымъ количествомъ табаку въ карманѣ и вскорѣ перевезъ съ корабля все ему нужное; но это обстоятельство нисколько не ослабило основной мысли романа, — мысли

человѣка, поставленнаго въ необходимость для поддержки своего существованія бороться со всевозможными препятствіями и побуждать ихъ, развивая въ себѣ спавшую дотолѣ способность изобрѣтательности, и одинокъ собой представляя цѣлое общество; ибо всевозможныя орудія работы были бы Робинзону, ничему неучившемуся съ малолѣтства, совершенно бесполезны, еслибы необходимость и чувство самосохраненія, вѣсто того чтобы убить его энергію, напротивъ, не укрѣпили ее и не вызвали на борьбу всѣхъ силъ духа его, самому ему дотолѣ неизвѣстныхъ. Сверхъ того Робинзонъ Фозъ запасся ружьями, порохомъ, компасами, математическими инструментами, зрительными трубками и книгами; но не имѣетъ кирки, лопатокъ, заступовъ, иглъ, нитокъ, полотна и многого другого. Дѣлая себѣ столъ и стулъ, онъ принужденъ былъ рубить цѣлое дерево и, обрубивъ сучья, тесать его до тѣхъ поръ, пока не выходила изъ него доска желаемой толщины. Слѣдовательно, «добрый» Руссо былъ правъ, говоря о Робинзонѣ, какъ о человѣкѣ, лишенномъ необходимыхъ инструментовъ.

Вообще «Робинзонъ» Фозъ несравненно лучше «Робинзона» Кампе: послѣдній состоитъ большей частью изъ истинистическихъ и резонерскихъ разговоровъ отца, рассказывающаго дѣтямъ исторію Робинзона. Эти разговоры для дѣтей болѣе способны произвести въ дѣтяхъ скуку и отвращеніе къ морали, чѣмъ быть для нихъ наставительными. «Робинзонъ» Фозъ большей частью наполненъ рассказомъ, котораго интереса и занимательности для дѣтей ни съ чѣмъ нельзя сравнить; разсужденіями онъ наскучаетъ довольно рѣдко. Этотъ первоначальный и истинный «Робинзонъ» былъ переведенъ и по-русски (съ французскаго перевода) въ 1814 году подъ заглавіемъ: «Жизнь и приключеніе Робинзона Круза природнаго англичанина. Переведена съ французскаго Яковомъ Трусовымъ».

Во всякомъ случаѣ и новый переводъ книги Кампе не лишній въ нашей литературѣ, такъ бѣдной сколько-нибудь сносными сочиненіями для дѣтей; тѣмъ болѣе не лишній, что онъ сдѣланъ порядочно, со смысломъ и изданъ опрятно.

Похожденія Чичикова, или Мертвыя Души. *Поэма Н. Гоголя. Москва. 1842.*

Есть два способа выговаривать новыя истины. Одинъ — уклончивый, какъ будто непротнворѣчащій общему мнѣнію, болѣе намекающій, чѣмъ утверждающій; истина въ немъ доступна избраннымъ и замаскирована для толпы скромными выраженіями: «если смѣемъ такъ думать, если позволено такъ выразиться, если не ошибаемся» и т. п. Другой способъ выговаривать истину — прямой и рѣзкій; въ немъ человекъ является провозвѣстникомъ истины, совершенно забывая себя и глубоко презирая робкія оговорки и двусмысленные на-

мек, которые каждая сторона толкуетъ въ свою пользу, и въ которыхъ видно низкое желаніе служить и нашимъ и вашимъ, «Кто не за меня, тотъ противъ меня» — вотъ дивизъ людей, которые любятъ выговаривать истину прямо и сѣло, заботясь только объ истинѣ, а не о томъ, что скажутъ о нихъ саміихъ... Такъ какъ цѣль критики есть истина же, то и критика бываетъ двухъ родовъ: уклончивая и прямая. Является великій талантъ, котораго толпа еще не въ состояніи признать великимъ, потому что нѣмъ его не притвердилось ей, — и вотъ уклончивая критика, въ осторожнѣйшихъ выраженіяхъ, докладываетъ «почтеннѣйшей публикѣ», что явилось-де замѣчательное дарованіе, которое конечно не то, что высокіе гении А, В и В, уже утвержденные общественнымъ мнѣніемъ, но которое, не равняясь съ ними, все-таки нѣтъ свои права на общее вниманіе; мимоходомъ намекаетъ она, что хотя-де и не подвержено никакому сомнѣнію гениальное значеніе А, В и В, но что-де и въ нихъ не можетъ не быть своихъ недостатковъ, потому-де, что «и въ солнцѣ, и въ лунѣ есть темныя пятна»; мимоходомъ приводитъ она мѣста изъ новаго автора и, ничего не говоря о немъ самомъ, равно какъ и не опредѣляя положительно достоинства приводимыхъ мѣстъ, тѣмъ не менѣе говоритъ о нихъ восторженно, такъ что задняя мысль этой уклончивой критики нѣкоторыхъ, весьма не многихъ, даетъ знать, что новый авторъ выше всѣхъ гениальныхъ А, В и В, а толпа охотно соглашается съ ней, уклончивой критикой, что новый авторъ очень можетъ быть и не безъ дарованія, и затѣмъ забываетъ и новаго автора, и уклончивую критику, чтобъ снова обратиться къ гениальнымъ именамъ, которыя она, добродушная толпа, затвердила уже наизусть. Не знаемъ, до какой степени полезна такая критика. Согласны, что можетъ-быть только она и бываетъ полезна; но какъ натуры своей никто переѣмнѣтъ не въ состояніи, то, признаваясь, мы не можемъ побѣдить нашего отвращенія къ уклончивой критикѣ, какъ и ко всему уклончивому, ко всему, въ чемъ мелкое самолюбіе не хочетъ отстать отъ другихъ въ уразумѣніи истины и въ то же время боится оскорбить множество мелкихъ самолюбій, обнаруживъ, что знаетъ больше ихъ, а потому и ограничивается скромной и благонамѣренной службой и нашимъ и вашимъ... Не такова критика прямая и сѣлая: замѣтивъ въ первомъ произведеніи молодого автора исполнскія силы, пока еще не сформировавшіяся и не для всѣхъ прикѣтныя, она, упоенная восторгомъ великаго явленія, прямо объявляетъ его Ахидомъ въ колыбели, который дѣтскими руками мощно душилъ завистливыя мелкія дарованьяца, пристрастныхъ или ограниченнхъ и недалѣковидныхъ критиковъ... Тогда на бѣдную «прямую» критику сыпался насмѣшки и со стороны литературной братіи, и со стороны публики. Но эти насмѣшки и шутки чужды всякаго спокойствія и всякой

добродушной веселости; напротивъ, онѣ отзываются какими-то безпокойствомъ и тревогой безсилія, исполнены вражды и ненависти. И не мудрено: «прямая критика» не удовлетворялась объявленіемъ, что новый авторъ общается великаго автора; нѣтъ, она при этомъ удобномъ случаѣ выразилась съ свойственной ей откровенностью, что гениальные А, В и В съ компаніей никогда не были даже и замѣчательно-талантливыми господами; что ихъ слава основалась на неразвитости общественнаго мнѣнія и держится его лѣзвовой неподвижностью, привычкой и другими чисто внѣшними причинами; что одинъ изъ нихъ, взобравшись на ходули ложныхъ, натынутыхъ чувствъ и надутыхъ пустозвонныхъ фразъ, оклеветалъ дѣйствительность ребяческими выдумками; другой ударился въ противоположную крайность и грязью съ грязи назвалъ свои грубыя картины, приправляя ихъ провинціальнымъ юморомъ; и такъ третьяго, четвертаго и пятаго... Вотъ тутъ-то и начинается борьба старыхъ мнѣній съ новыми, предрасудковъ, страстей и пристрастій — съ истинной (борьба, въ которой всего болѣе достается «прямой критикѣ» и о которой всего менѣе хочетъ знать «прямая критика»)... Врагами новаго таланта являются даже и умные люди, которые уже столько прожили на бѣгомъ свѣтѣ и такъ утвердились въ извѣстномъ образѣ мыслей, что ужъ въ новомъ свѣтѣ истины по неволѣ видятъ только помраченіе истины; если же изъ нихъ найдется хоть одинъ такой, который въ свое время и самъ понималъ больше другихъ, былъ поборникомъ новой истины, теперь уже ставшей старой, — то спрашиваемъ, какова же должна быть его немощная вражда противъ новаго таланта, въ которомъ онъ чувствуетъ что-то, но котораго понять не можетъ? И если у этого *ci-devant* умнаго и шедшаго впереди съ высшими взглядами, а теперь отсталаго отъ времени человека, если у него характеръ слабый, ничтожный и завистливый, а самолюбіе мелкое и раздражительное, то спрашиваемъ, какое жалкое зрѣлище должна представлять его отчаянно-безсильная борьба съ новымъ талантомъ?.. Чтѣ же сказать о тѣхъ «господахъ-сочинителяхъ», которые, благодаря своей ловкости и сѣтливости, замѣняющихъ у людей ограниченныхъ и бездарныхъ умъ и талантъ, пошлыми, въ камердинерскомъ вкусѣ остроуміи надъ французскимъ языкомъ, балами и модами, лорнетками, кудыми фраками, прической *à la gusse*, усами, бородами и т. п., успѣли во-время подтибритъ себѣ извѣстность нравственно сатирическихъ и нравственно-описательныхъ талантовъ? Правда, новый талантъ ничего имъ не сдѣлалъ, ничего о нихъ не сказалъ, никогда съ ними не знался ни лично, ни литературно, какъ съ людьми, съ которыми у него общаго ничего нѣтъ и быть не можетъ; но зато онъ показалъ, чтѣ такое истинный юморъ и непрощаемая невѣжествомъ и порокомъ истинная иронія, и какъ должно дѣйствовать въ пользу общественной

нравственности, не разонёрствуя о нравственности, но только «возводя въ перлъ созданія» типическія явленія дѣйствительности; а это развѣ не то же самое, что убить наповалъ нашихъ нравственно-сатирическихъ сочинителей, даже и не принимая на себя труда знать о ихъ незанимательномъ существованіи? И вотъ они, эти господа нравственно-сатирическіе и другіихъ родовъ сочинители, прославившіеся не одними романами, но и въ качествѣ грамотѣевъ и исправныхъ корректоровъ, прибѣгаютъ, для униженія страшнаго имъ таланта, ко всевозможнымъ свойственнымъ имъ уловкамъ: сперва не признають въ немъ никакого таланта и видятъ рѣшительную бездарность; но сознавая, къ своему ужасу, что слава таланта все растетъ и растетъ, все идетъ и идетъ своей дорогой и не замѣчаетъ раздающагося вокругъ него лая, они начинаютъ милое слово замѣчать въ немъ талантъ, изъясняя сожалѣніе, что онъ дозволяетъ себѣ сбиваться съ пути, увлекаться непопулярными похвалами пріятелей (изъ которыхъ со многими онъ даже и незнакомъ совсѣмъ), которые видятъ въ немъ и Богъ знаетъ что, тогда какъ онъ въ самомъ-то дѣлѣ имѣетъ талантъ только вѣрно и забавно списывать съ натуры; далѣе, «при сей вѣрной оказіи», доказываютъ, что онъ даже и языка-то не знаетъ, въ подтвержденіе чего указываютъ на мелкіе промахи противъ грамматики Греча, на типографскія ошибки, или осуждая со всѣмъ негодованіемъ, свойственнымъ «угнетенной невинности», сильные, оскорбляющія приличіе выраженія, вродѣ слова вонять, котораго, по ихъ увѣренію, не скажетъ въ ихъ обществѣ и порядочный лакей... Большинство публики, съ своей стороны оскорбленное сколько похвалами «прямой критики» новому таланту, къ которому оно еще не привыкло и котораго потому еще не могло понять, столько же—или еще больше—ея откровенными выходами противъ гениальныхъ А, Б и В, къ которымъ оно давно привыкло, и которыхъ хотя ужъ и не читаетъ, но по привычкѣ и преданію все еще считаетъ гениями,—это большинство публики вдвойнѣ не благоволитъ къ новому таланту. Господа нравственно-сатирическіе сочинители хорошо понимаютъ это и еще лучше пользуются этимъ: они по-прежнему перестаютъ говорить о себѣ и о своихъ безсмертныхъ сочиненіяхъ и являются жаркими поклонниками чужой славы, прежде, т. е. когда она была въ ходу, ими ненавидимой и оскорбляемой, а теперь, т. е. когда она скоростянно скончалась, будто бы дорогой и священной для нихъ... И вотъ они кричатъ о духѣ партій, который заставляетъ иной «толстый журналъ» хвалить писателя, неумѣющаго писать по-русски, и пристрастно унижать истиннаго дарованія... Но вотъ слава гениальныхъ господъ А, Б и В наконецъ забывается, благодаря времени и рѣзкой откровенности «прямой критики»; новый талантъ дѣлается авторитетомъ: его оригинальныя и самобытныя созданія,

полныя мысли, сіяющія художественной красотой, вѣющія духомъ новой, прекрасной жизни, проникаютъ въ сознаніе общества, производятъ новую школу въ искусствѣ и литературѣ, такъ что сами нравственно-сатирическіе сочинители, волей или неволей, принуждены перечислить на новый ладъ свои притупившіяся перья и передразнивать форму недоступныхъ имъ по содержанію твореній гевія; общественное мнѣніе круто поворачивается въ пользу великаго поэта, — и вопиющая партія отсталыхъ посредственностей терается, не зная, что дѣлать, грозитъ ругательными статьями и не смѣетъ выполнить угрозы, боясь конечнаго для себя поворота... Не знаемъ, какую роль во всемъ этомъ играла «прямая критика» и на сколько содѣйствовала она этому процессу общественнаго сознанія; но знаемъ, что тѣ же люди, которые изъ порицателей великаго поэта сдѣлались жалкими его поклонниками, не любятъ вспоминать, что такой-то критикъ, еще при первомъ появленіи поэта, не боясь идти противъ общественнаго мнѣнія, не боясь раздражить гусей, равно презирая и насмѣшки и ненависть, смѣло и рѣзко сказалъ о немъ то, что теперь говорить о немъ большинство и они сами, эти безымянные люди... Знаемъ также, что, явивъ опять новое, свѣжее дарованіе, первыми своими созданіями общающее великую будущность,—«прямая критика» также честно разыграетъ свою роль, и ту же игру повторять въ отношеніи къ ней и къ поэту и завистливая посредственность, и тугая, медленная въ процессѣхъ своего сознанія толпа... Но знаемъ при этомъ еще и то, что «прямота», какъ и все истинное и великое, должна быть сама себѣ цѣлью и въ самой себѣ находить свое удовлетвореніе и свою лучшую награду...

Все это—такъ, взглядъ, разсужденія; теперь скажемъ слова два о нѣкоторыхъ фактахъ, подавшихъ намъ поводъ къ этимъ разсужденіямъ и нѣкогда близкое отношеніе къ автору книги, заглавіе которой выставлено въ началѣ этой статьи. Не углубляясь далеко въ прошлое нашей литературы, не упоминая о многихъ предсказаніяхъ «прямой критики», сдѣланныхъ давно и теперь сбывшихся, скажемъ просто, что изъ нынѣ существующихъ журналовъ только на долю «Отечественныхъ Записокъ» выпала роль «прямой критики». Давно ли было то время, когда статья о Марлинскомъ возбудила противъ насъ столько криковъ, столько неприязненности, какъ со стороны литературной братіи такъ и со стороны большинства читающей публики?—И что же? смѣшно и жалко видѣть, какъ съ голосу «Отечественныхъ Записокъ», словами и выраженіями (не новы, да благо ужъ готовы!) преслѣдуютъ теперь блѣдный призракъ падшей славы этого блестящаго фразера—Богъ-знаетъ изъ какихъ щелей поползли въ современную литературу критиканы, Богъ-вѣдаетъ какіе журналы и какія газеты! Большинство публики не только не думаетъ сердиться, но тоже

въ свою очередь повторяетъ вычитываемыя имъ о Марлинскомъ фразы! Давно-ли многіе не могли намъ простить, что мы видѣли великаго поэта въ Лермонтовѣ? Давно ли писали о насъ, что мы превозносимъ его пристрастно, какъ постоянного вкладчика въ нашъ журналъ?—И что же! Мало того, что участіе и устремленныя на поэта полныя изумленія и ожиданія очи цѣлаго общества, при жизни его, и потомъ общая скорбь образованной и необразованной части читающей публики, при вѣсти о его безвременной кончинѣ, вполне оправдали наши прямые и рѣзкіе приговоры о его талантѣ,—мало того: Лермонтова принуждены были хвалить даже тѣ люди, которыхъ не только критикъ, но и существованія онъ не подозрѣвалъ, и которые гораздо лучше и приличнѣе могли бы почтить его талантъ своей враждой, чѣмъ признанью... Но эти нападки на нашъ журналъ за Марлинскаго и Лермонтова ничто въ сравненіи съ нападками за Гоголя... Изъ существующихъ теперь журналовъ «Отечественныя Записки» первыя и одиѣ сказали, и постоянно, со дня своего появленія до настоящей минуты, говорить, что такое Гоголь въ русской литературѣ... Какъ на величайшую нелѣпность со стороны нашего журнала, какъ на самое темное и позорное пятно на немъ, указывали разные критиканы, сочинители и литературщики на наше мнѣніе о Гоголѣ... Еслибъ мы имѣли несчастье увидѣть генія и великаго писателя въ какомъ-нибудь писакѣ средней руки, предметѣ общихъ насмѣшекъ и образцѣ бездарности,—и тогда бы не находили этого столь смѣшнымъ, цѣлѣннымъ, оскорбительнымъ, какъ мысль о томъ, что Гоголь—великій талантъ, гениальный поэтъ и первый писатель современной Россіи... За сравненіе его съ Пушкинымъ на насъ нападали люди, всѣми силами старавшіеся бросать грязью своихъ литературныхъ воззрѣній въ страдальческую тѣнь перваго великаго поэта Руси... Они прикидывались, что ихъ оскорбляла одна мысль видѣть имя Гоголя подлѣ имени Пушкина; они притворялись глухими, когда имъ говорили, что самъ Пушкинъ первый понялъ и оцѣнилъ талантъ Гоголя, и что оба поэта были въ отношеніяхъ, напоминавшихъ собой отношенія Гёте и Шиллера. Изъ всѣхъ немногихъ высоко-превозносимыхъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» поэтовъ только одинъ Лермонтовъ находился съ ихъ издателемъ въ близкихъ пріятельскихъ отношеніяхъ и почти исключительно одному ему отдавалъ свои произведенія; такъ какъ этого нельзя было поставить въ упрекъ ни издателю, ни его журналу,—то вздумали увѣрять, что немногимъ (sic!) успѣхомъ своимъ «Отечественныя Записки» обязаны Лермонтову. Это увѣреніе воспослѣдовало послѣ многихъ другихъ увѣреній въ томъ, что «Отечественныя Записки» никогда не имѣли, не имѣютъ и не будутъ имѣть никакого успѣха... Судя по такому постоянству въ мнѣніи объ успѣхѣ «Отечественныхъ Записокъ», можно думать, что эти люди

скоро убѣдятся въ слѣдующей истинѣ: если стихотворенія такого поэта, какъ Лермонтовъ, не могли не придать собою большаго блеска журналу, то еще не было на Руси (да и нигдѣ) примѣра, чтобъ какой-нибудь журналъ держался чьими бы то ни было стихотвореніями... При этомъ можетъ-быть вспомнить они, что «Московский Вѣстникъ», въ которомъ Пушкинъ исключительно печаталъ свои стихотворенія, не имѣлъ никакого успѣха, ни большого, ни малаго, потому что въ немъ, кромѣ стиховъ Пушкина, ничего интереснаго для публики не было... Издатель «Отечественныхъ Записокъ» всегда сохранялъ, какъ лучшее достояніе своей жизни, признательную память о Пушкинѣ, который удостоивалъ его больше, чѣмъ простаго знакомства; но признаетъ себя обязаннымъ отречься отъ высокой чести былъ пріателемъ или, какъ обыкновенно говорится, «другомъ» Пушкина: если онъ высоко ставитъ поэтическій геній Пушкина, такъ это по причинамъ чисто литературнымъ... Въ его журналѣ читатели не разъ встрѣчали восторженные похвалы Крылову и Жуковскому:—и это опять по причинамъ чисто литературнымъ, хотя издатель и пользуется честью знакомства съ обоими лауреатами нашей литературы, и хотя послѣдній удостоилъ его журналъ помѣщеніемъ въ немъ нѣсколькихъ пьесъ своихъ... Въ «Отечественныхъ Запискахъ» читатели не разъ встрѣчали также восторженные похвалы Ватюшкову и особенно Грибоѣдову; но этихъ двухъ поэтовъ издатель «Отечественныхъ Записокъ» даже никогда и не видывалъ... Что касается до Гоголя, издатель «Отечественныхъ Записокъ» дѣйствительно имѣлъ честь быть знакомъ съ нимъ; но не больше какъ знакомъ,—и въ то время какъ «Отечественныя Записки» своими отзывами о Гоголѣ возбуждали къ себѣ ненависть и навлекали на себя осужденія разныхъ критикановъ,—Гоголь жилъ въ Италіи, а возвращаясь на родину, жилъ преимущественно въ Москвѣ, и ни одной строки его еще не было въ нашемъ журналѣ... Что же заговорятъ наши критическіе рыцари печальнаго образа, если когда-нибудь увидятъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» повѣсть Гоголя?... О, тогда они завопятъ: «видите ли, все хвалятъ своихъ...»

Мы не безъ умысла разговорились, по поводу поэмы Гоголя, о такихъ не прямо литературныхъ предметахъ. Что дѣлать! наша литература еще такъ молода, общественное мнѣніе такъ еще не твердо, что намъ должно говорить о многомъ, о чемъ уже давно не говорится въ иностранныхъ литературахъ и о чемъ, есть надежда, скоро совсѣмъ перестанутъ говорить и въ нашей литературѣ... Журналъ издается не для извѣстнаго круга, а для всѣхъ: «Отечественныя Записки» имѣютъ такой обширный кругъ читателей, въ которомъ нельзя никакъ предполагать единства въ мнѣніи. Поэтому же иногородная публика, которая издавна смотритъ на Петербургъ, какъ на центръ литературной дѣятельности въ Россіи, не можетъ

иногда не приходило въ смущеніе отъ противорѣчащихъ журнальныхъ толковъ, не зная, кому вѣрить, кому не вѣрить, и потому должно давать ей ключъ къ истинѣ не одними словами, но и фактами. Чего добраго! — можетъ-быть скоро ей начнутъ превозносить Гоголя тѣ же самые люди, которые поносили насъ за похвалы ему, и которые теперь, потерявшись отъ неслыханнаго успѣха «Мертвыхъ Душъ», подобно утопающему, хватаются даже за соломинку для своего спасенія отъ потопленія въ волнахъ Леты и утѣряютъ, что «Кузьма Петровичъ Мирошевъ» выше «Мертвыхъ Душъ»... Чего добраго! — можетъ-быть скоро эти люди будутъ упрекать насъ въ невѣжество, безвкусицу и пристрастія, еслибы намъ когда-нибудь случилось какое-нибудь новое произведеніе Гоголя найти неудовлетворительнымъ... Времена переменчивы... Притомъ же есть люди, которые думаютъ, что то и хорошо, что въ ходу...

Но пока для насъ еще существуетъ достовѣрность, что всѣ знаютъ, кто первый оцѣнилъ на Руси Гоголя... Мы знаемъ, что еслибъ гдѣ и случилось публикѣ встрѣтить болѣе или менѣе подходящее къ истинѣ сужденіе о Гоголѣ, особенно въ тонѣ и духѣ «Отечественныхъ Записокъ», публика будетъ знать источникъ, откуда вытекло это сужденіе, и не приметъ его за новость... Теперь всѣ стали умны, даже люди, которые родились неумы, и каждый съумѣетъ поставить ядро на столъ...

Послѣ появленія «Мертвыхъ Душъ» много найдется литературныхъ Колумбовъ, которымъ легко будетъ открыть новый великій талантъ въ русской литературѣ, новаго великаго писателя русскаго — Гоголя...

Но не такъ-то легко было открыть его, когда онъ былъ еще дѣйствительно новымъ. Правда, Гоголь при первомъ появленіи своемъ встрѣтилъ жаркихъ поклонниковъ своему таланту: но ихъ число было слишкомъ мало. Вообще ни одинъ поэтъ на Руси не имѣлъ такой странной судьбы, какъ Гоголь: въ немъ не смѣли видѣть великаго писателя даже люди, знавшіе наизусть его творенія къ его таланту никто не былъ равнодушенъ: его или любили восторженно, или ненавидѣли. И этому есть глубокая причина, которая доказываетъ скорѣе жизненность, чѣмъ мертвенность нашего общества. Гоголь первый взглянулъ смѣло и прямо на русскую дѣйствительность, и если къ этому присовокупить его глубокой юморъ, его безконечную иронию, то ясно будетъ, почему ему еще долго не было понятнымъ, и что обществу легче полюбить его, чѣмъ понять... Впрочемъ мы коснулись такого предмета, котораго нельзя объяснить въ рецензіи. Скоро будемъ мы имѣть случай поговорить подробно о всей поэтической дѣятельности Гоголя, какъ объ одномъ цѣломъ, и обозрѣть всѣ его творенія въ ихъ постепенномъ развитіи. Теперь же ограничимся выраженіемъ въ общихъ чертахъ своего мнѣнія о достоинствѣ

«Мертвыхъ Душъ» — этого великаго произведенія.

Нашей литературѣ, вслѣдствіе ея искусственнаго начала и неестественнаго развитія, суждено представлять изъ себя зрѣлище отрывочныхъ и самыхъ противорѣчащихъ явленій. Мы уже не разъ говорили, что не вѣримъ существованію русской литературы, какъ выраженію народнаго сознанія въ словѣ, исторически развившагося; но видимъ въ ней прекрасное начало великаго будущаго, рядъ отрывочныхъ проблесковъ, яркихъ какъ молнія, широкихъ и размахистыхъ, какъ русская душа, но не болѣе, какъ проблесковъ. Все остальное, изъ чего складывается всѣдневная дѣятельность нашей литературы, имѣетъ мало или совсѣмъ не имѣетъ отношенія къ этимъ проблескамъ, кромѣ развѣ того, какое отношеніе имѣетъ тѣнь къ свѣту и мракъ къ блеску. Гоголь началъ свое поприще еще при Пушкинѣ и съ смертію его замолкъ, казалось, навсегда. Послѣ «Ревизора» онъ не печаталъ ничего до половины текущаго года. Въ этотъ промежутокъ его молчанія, столь печальнаго друзей русской литературы и столь радовавшаго литературщиковъ, успѣла взойти и погаснуть на горизонтѣ русской поэзіи яркая звѣзда таланта Лермонтова. Послѣ «Героя Нашего Времени» только въ журналахъ (читатели знаютъ, въ какихъ) и альманахѣ Смирдина явилось нѣсколько повѣстей, болѣе или менѣе замѣчательныхъ; но ни въ журналахъ, ни отдѣльно не явилось ничего капитальнаго, ничего такого, что составляетъ вѣчное приобрѣтеніе литературы и, какъ лучи солнечные въ фокусѣ стекла, сосредоточиваетъ въ себѣ общественное сознаніе, въ одно и то же время возбуждая и любовь, и восторженные похвалы, и ожесточенныя порицанія, полное удовлетвореніе и совершенное недовольство, но во всякомъ случаѣ общее вниманіе, шумъ, толки и споры. Какое-то апатическое уныніе овладѣло литературой; торжество посредственности было полное; видя, что никто ей не мѣшаетъ, она овладѣла и романомъ, и повѣстью, и театромъ; она выпустила длинную фалангу уроковъ и недоносковъ, то передразнивая Марлинскаго въ призракахъ, то шарлатаня французской исторіей и литовскими преданіями, растягивая ихъ на длинные томы скучныхъ романовъ; то перебиваясь старой ветошью мнимопатріотическихъ и мнимо-народныхъ сценъ пресловутой старины; то выдавая намъ за народность грязь простонародья, за патріотизмъ — сало и галушки, а за юморъ и остроуміе — карикатуры нигдѣ небывалыхъ идиотовъ, которые, по волѣ сочинителя, то глупы, то умны, то опять глупы; то пародируя Шекспира и перелагая его драмы на русскіе нравы; то переводя на русскій языкъ и русскую сцену мусоръ и щепень съ задняго двора нѣмецкой драматической литературы... И вдругъ, среди этого торжества мелочности, посредственности, ничтожества, бездарности, среди этихъ пустоцвѣтовъ и дождевыхъ пузырей литературныхъ,

среди этих ребяческих затей, дѣтских мыслей, ложныхъ чувствъ, фарисейскаго патриотизма, приторной народности, — вдругъ, словно освѣжающій блескъ молніи среди томительной и тлеющей духовности и засухи, является твореніе чисто русское, національное, выхваченное изъ тайника народной жизни, столько же истинное, сколько и патристическое, безпощадно сдерживающее покровъ съ дѣйствительности и дышащее страстной, нервной, кровной любовью къ плодотворному зерну русской жизни; твореніе необязательно-художественное по концепціи и выполнению, по характеристикамъ дѣйствующихъ лицъ и подробностяхъ русскаго быта, — и въ то же время глубокое по мысли, социальное, общественное и историческое... Въ «Мертвыхъ Душахъ» авторъ сдѣлалъ такой великій шагъ, что все, доселѣ имъ написанное, кажется слабымъ и блѣднымъ въ сравненіи съ нимъ... Величайшимъ успѣхомъ и шагомъ впередъ считаемъ мы со стороны автора то, что въ «Мертвыхъ Душахъ» вездѣ ощущаемо и, такъ сказать, осязаемо проступаетъ его субъективность. Здѣсь мы разумѣемъ не ту субъективность, которая, по своей ограниченности или односторонности, искажаетъ объективную дѣйствительность изображаемыхъ поэтомъ предметовъ; но ту глубокую, всеобъемлющую и гуманную субъективность, которая въ художникѣ обнаруживаетъ человѣка съ горячимъ сердцемъ, симпатичной душой и духовно-личной самостью, — ту субъективность, которая не допускаетъ его съ апатическимъ равнодушіемъ быть чуждымъ міру, имъ рисуемому, но заставляетъ его проводить черезъ свою душу живую явленія вѣшняго міра, а черезъ то и въ нихъ вдыхать душу живую... Это преобладаніе субъективности, проникая и одушевляя собой всю поэму Гоголя, доходитъ до высокаго лирическаго пафоса и освѣжительными волнами охватываетъ душу читателя даже въ отступленіяхъ, какъ напримѣръ тамъ, гдѣ онъ говоритъ о завидной долѣ писателя, «который изъ великаго окута ежедневно вращающихся образовъ избралъ одинъ немногія исключенія; который не измѣнялъ ни разу возвышеннаго строя своей лиры, не ниспускался съ вершины своей къ блѣднымъ, ничтожнымъ своимъ собратіямъ и, не касаясь земли, весь повергался въ свои далеко отторгнутые отъ нея и возвышенныя образы»; или тамъ, гдѣ говоритъ онъ о грустной судьбѣ «писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно передъ очами и чего не зрять равнодушныя очи, всю страшную, потрясающую тѣнь мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ, которыми кишитъ наша земная, подчасъ горькая и скучная дорога, и крѣпкой силой неутомимаго рѣзца дерзнувшего выставить ихъ выпукло и ярко на всенародныя очи»; или тамъ еще, гдѣ онъ, по случаю встрѣчи Чичикова съ плѣнившей его блондинкой, говоритъ, что «вездѣ, гдѣ бы ни было въ жизни, среди

ли чорствыхъ, шероховато-бѣдныхъ, неопрятно-плѣснѣющихъ, низменныхъ радостей ея, или среди однообразно-хладныхъ и скучно-опрятныхъ словесій высшихъ, вездѣ хотъ разъ встрѣтится на пути человѣку явленіе, непохожее на все то, что случалось ему видѣть дотолѣ, которое хотъ разъ пробудитъ въ немъ чувство, непохожее на тѣ, которыя суждено ему чувствовать всю жизнь; вездѣ, поперекъ какиихъ бы то ни было печалей, изъ которыхъ плетется жизнь наша, вѣсело прочтется блистающая радость, какъ иногда блистающій экипажъ съ золотой упряжью, картинными конями и сверкающимъ блескомъ стеколъ вдругъ неожиданно прочтется мимо какой-нибудь заглухнувшей бѣдной деревушки, невидавшей ничего, кромѣ сельской телѣги, — и долго мужики стоятъ, зѣвая съ открытыми ртами, не надѣвая шапокъ, хотъ давно уже унесся и пропасть изъ виду дивный экипажъ... Такихъ мѣстъ въ повѣи много — всѣхъ не выписать. Но этотъ пафосъ субъективности поэта проявляется не въ однихъ такихъ высоко-лирическихъ отступленіяхъ: онъ проявляется безпрестанно, даже и среди разсказа о самыхъ прозаическихъ предметахъ, какъ напримѣръ объ известной дорожкѣ, проторенной забубеннымъ русскимъ народомъ... Его же музыку чувствуетъ внимательный слухъ читателя и въ восклицаніяхъ, подобныхъ слѣдующему: «Эхъ, русскій народецъ не любитъ умираеть своею смертью!»...

Столь же важный шагъ впередъ со стороны таланта Гоголя видимъ мы и въ томъ, что въ «Мертвыхъ Душахъ» онъ совершенно отрѣшился отъ малороссійскаго элемента и сталъ русскимъ національнымъ поэтомъ во всемъ пространствѣ этого слова. При каждомъ словѣ его поэмы читатель можетъ говорить:

Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ!

Этотъ русскій духъ ощущается и въ юморѣ, и въ ироніи, и въ выраженіи автора, и въ размашистой силѣ чувствъ, и въ лиризмѣ отступленийъ, и въ пафосѣ всей поэмы, и въ характерахъ дѣйствующихъ лицъ, отъ Чичикова до Селифана и «подлеца чубарова» включительно, — въ Петрушкѣ, носившемъ съ собой свой особенный воздухъ, и въ будочникѣ, который, при фонарномъ свѣтѣ, въ просонкахъ, казнилъ на ногтѣ звѣря и снова заснулъ. Знаемъ, что чопорное чувство многихъ читателей оскорбится въ печати тѣмъ, что такъ субъективно свойственно ему въ жизни, и назоветъ сальностями выходки вродѣ казеннаго на ногтѣ звѣря; но это значитъ не понять поэмы, основанной на пафосѣ дѣйствительности, какъ она есть. Изображайте мѣщанско-филистерскую жизнь нѣщевъ, и вы принуждены будете упоминать (въ похвалу или насмѣшку) о педантизмѣ ихъ опрятности; касаясь же жизни русскаго простолюдинъ, неотличающагося, какъ известно, излишней чистоплотностью, значило бы пропустить одну изъ характеристиче-

скихъ чертъ ея, еслибъ не замѣтить, что не только въ деревняхъ днемъ, сидя у воротъ, бабы усердно занимаются казненьемъ звѣрей у ребятишекъ, изъясняя имъ этимъ свою нѣжность и заботливость, но и въ столицахъ извозчики на биржахъ и работники на улицахъ не рѣдко оказываютъ другъ другу подобную услугу, единственно изъ безкорыстной любви къ такому занятію... Мы знаемъ напередъ, что наши сочинители и критиканы не пропустятъ воспользоваться расположеніемъ многихъ читателей къ чопорности и ихъ склонностью находить въ себѣ образованность большого свѣта, выказывая при этомъ собственное знаніе приличій высшаго общества. Нападая на автора «Мертвыхъ Душъ» за сальности его поэмы, они съ сокрушеннымъ сердцемъ воскликнуть, что и порядочный лакей не станетъ выражаться, какъ выражаются у Гоголя благонамѣренные и почтенные чиновники...

Но мимо ихъ, этихъ столь посвященныхъ въ таинства высшаго общества критикановъ и сочинителей, пусть ихъ хлопочутъ о томъ, чего не смыслятъ, и стоятъ за то, чего не видали, и что не хотятъ ихъ знать...

«Мертвыя Души» прочтутся всѣми, но поправятся, разумѣется, не всѣми. Въ числѣ многихъ причинъ есть и та, что «Мертвыя Души» не соответствуютъ понятію толпы о романѣ, какъ о сказкѣ, гдѣ дѣйствующія лица полюбили, разлучились, а потомъ женились и стали богаты и счастливы. Поэмой Гоголя могутъ вполне насладиться только тѣ, кому доступны мысль и художественное выполненіе созданія, кому важно содержаніе, а не «сюжетъ»; для восмищенія всѣхъ прочихъ остаются только мѣста и частности. Сверхъ того, какъ всякое глубокое созданіе, «Мертвыя Души» не раскрываются вполне съ перваго чтенія даже для людей мыслящихъ: читая ихъ во второй разъ, точно читаешь новое, никогда невиданное произведеніе. «Мертвыя Души» требуютъ изученія. Къ тому же еще должно повторить, что юморъ доступенъ только глубокому и сильно развитому духу. Толпа не понимаетъ и не любитъ его. У насъ всякій писакъ такъ и тарашгтся рисовать бѣшенныя страсти и сильные характеры, списывая ихъ, разумѣется, съ себя и своихъ знакомыхъ. Онъ считаетъ для себя униженіемъ снизойти до комическаго и ненавидитъ его по инстинкту, какъ мышъ кошку. «Комическое» и «юморъ» большинство понимаетъ у насъ какъ шутовское, какъ карикатуру, — и мы увѣрены, что многие, не шутя, съ лукавой и довольной улыбкой отъ своей проникаемости, будутъ говорить и писать, что Гоголь въ шутку называлъ свой романъ поэмой... Именно такъ! Вѣдь Гоголь большой острякъ и шутникъ, и что за веселый человекъ, Боже мой! Самъ безпрестанно хохочетъ и другихъ смѣшитъ!... Именно такъ, вы угадали, умные люди...

Что касается до насъ, то, не считая себя вправѣ говорить печатно о личномъ характерѣ живого писателя, мы скажемъ только, что не въ шутку называлъ Гоголь свой романъ «поэмой», и что не комическую поэму разумѣетъ онъ подъ ней. Это намъ сказалъ не авторъ, а его книга. Мы не видимъ въ ней ничего шуточного и смѣшного; ни въ одномъ словѣ автора не замѣтили мы намѣренія смѣшить читателя: все серьезно, спокойно, истинно и глубоко... Не забудьте, что книга эта есть только экспозиція, введеніе въ поэму, что авторъ общается еще двѣ такія же большія книги, въ которыхъ мы снова встретимся съ Чичиковымъ и увидимъ новыя лица, въ которыхъ Русь выразится съ другой своей стороны... Нельзя ошибочнѣе смотрѣть на «Мертвыя Души» и грубѣе понимать ихъ, какъ видя въ нихъ сатиру. Но объ этомъ и о многомъ другомъ мы поговоримъ въ своемъ мѣстѣ поподробнѣе; а теперь пусть скажетъ что-нибудь самъ авторъ:

«...И опять по обѣимъ сторонамъ столбового пути пошли вновь писать версты, стационарные смотрители, колодцы, обозы, сѣсныя деревни съ самоварами, бабами и бойкими бороатыми хояиномъ, бѣгущимъ изъ постоялаго двора съ ошомъ въ рукѣ; пѣшеходъ въ протертыхъ лаптахъ, плетущійся за 800 верстъ; городишки, выстроенные живьемъ, съ деревянными лавочками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой; рыбные платбаумы, членимые мосты, поля неогладныя и по ту сторону, и по другую; помѣщичьи рыдваны, солдатъ верхомъ на лошади, везущій зеленый ящикъ съ свинцовымъ горохомъ и подписью: «такой-то артиллерійской батареи»; зеленныя, желтыя и свѣжо-разрытыя черныя полосы, мелькающія по степямъ; затанувшая вдали пѣсня, сосновыя верхушки въ туманѣ, пропадающій далече колокольный звонъ, вороны какъ мухи и горизонтъ безъ конца... Русь! Русь! вижу тебя, изъ моего чуднаго, прекраснаго далека тебя вижу: бѣдна природа въ тебѣ, не развеселятъ, не испугаютъ взоровъ деревня ея дива, вѣнчанныя деревнями днвами искусства, города съ многооконными, высокими дворцами, вросшими въ утесы, картинныя деревца и плющи, вросшія въ домы, въ шумъ и въ вѣчной пыли водопадовъ; не опрокинется назадъ голова посмотрѣть на громадѣющіяся безъ конца надъ нею и въ вышинѣ каменные глыбы; не блеснутъ сквозь наброшенные одна на другую темныя арки, опутанныя виноградными сучьями, плющами и несмѣтными миллионами дикихъ розъ, не блеснутъ сквозь нихъ вдали вѣчныя линіи сіяющихъ горъ, несущихся въ серебряныя, ясныя небеса. Открыто-пустынно и ровно все въ тебѣ; какъ точки, какъ значки, непримѣтно торчатъ среди равнинъ невысокіе твои города; ничто не обольститъ и не очаруетъ взора! Но какая же непостижимая, тайная сила влечетъ къ тебѣ? Почему слышится и раздается немолчно въ ушахъ твоя тоскливая, несущаяся по всей длинѣ и ширинѣ твоей, отъ моря до моря, пѣсня? Что въ ней, въ этой пѣснѣ? Что зоветъ, и рыдаетъ, и хватается за сердце? Какіе звуки болѣзненно лобзаютъ и стремятся въ душу и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь отъ меня? какая непостижимая связь таятся между нами? Что глядишь ты такъ, и зачѣмъ все, что ни есть въ тебѣ, обратило на меня полныя ожиданія очи?... И еще, полный недоумѣнія, неподвижно стою я, а уже главу

освѣтло грозное облако, тяжелое грядущимъ дождями, и опѣмѣла мысль передъ твоимъ пространствомъ. Что пророчитъ сей необъятный просторъ? Здѣсь ли, въ тебѣ ли не родится безпредѣльной мысли, когда ты сама безъ конца? Здѣсь ли не быть богатырю, когда есть мѣсто, гдѣ развернуться и пройти ему? И грозно объемлетъ меня могучее пространство, страшной силой отразясь во глубинѣ моей; неестественной властью освѣтились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая землѣ далѣ! Русь!..

И какой же русскій не любить быстрой бѣды? Его ли душѣ, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чортъ побори все!», его ли душѣ не любить ея? Ея ли не любить, когда въ ней слышится что-то восторженно-чуждое? Кажись, невѣдомая сила подхватила тебя на крыло къ себѣ—и самъ летишь, и все летитъ: летятъ версты, летятъ навстрѣчу купцы на облучкахъ своихъ кибитокъ, летитъ съ обѣихъ сторонъ лѣсъ темными строями елей и сосенъ, съ топорнымъ стукомъ и вороньимъ крикомъ, летитъ вся дорога нѣвѣстъ куда въ пропадающую даль—и что-то страшное заключено въ семь быстромъ мельканьи, гдѣ не успѣваетъ означиться пропадающей предметъ; только небо надъ головою, да легкая туча, да продирающийся мѣсяцъ одни кажутся недвижны. Эхъ, тройка! птица-тройка! кто тебя выдумалъ? Знать, у бойкаго народа ты могла только родиться, въ той землѣ, что не любила шутить, а ровнемъ-гляднемъ разметнулась на полсвѣта, да и ступай считать версты, пока не варябитъ тебѣ въ очи. И не хитрый, кажись, дорожный снарядъ, не желѣзнымъ схваченъ винтомъ, а па скоро живемъ, съ однимъ топоромъ да долотомъ снаряжилъ и собралъ тебя ярославскій расторопный мужикъ. Не въ нѣмецкихъ ботфортахъ ямщикъ: борода да рукавицы, и сидитъ чортъ знаетъ на чемъ; а привсталъ да замахнулся, да затанулъ пѣсню—коня вхрепъ, синицы въ колесахъ смѣшались въ одинъ гладкій кругъ, только дрогнула дорога, да вскрикнулъ въ пснугъ остановившійся пѣшеходъ! И вонъ она понеслась, понеслась, повеселась!.. И вотъ уже видно вдали, какъ что-то пылится и сверлитъ воздухъ...

Не такъ ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымомъ дымитесь подъ тобой дорога, гремятъ мосты, все отстаетъ и остается назади. Остановился пораженный Божьимъ чудомъ созерцатель: не молнія ли это, сброшенная съ неба? Что значитъ это наводящее ужасъ движеніе? И что за невѣдомая сила заключена въ сихъ невѣдомыхъ свѣтомъ коняхъ? Эхъ, кони, кони, что за кони! Выхри ли сидятъ въ вашихъ гривахъ? чуткое ли ухо горитъ во всякой вашей жилкѣ? Заслышали съ вышины знакомую пѣсню, дружно и разомъ напрягли жѣдныя груди и, почти не тронувъ копытами земли, превратились въ однѣ вытянутыя линіи, летящія по воздуху,—и мнится вся вдохновенная Богомъ!.. Русь, куда жь несешься ты, дай отвѣтъ? Не даетъ отвѣта? Чуднымъ звономъ заливается колокольникъ; гремитъ и становится вѣтромъ разорвавший въ куски воздухъ; летитъ мимо все, что ни есть на землѣ, и косясь, постораниваются и даютъ ей дорогу другіе народы и государства».

Грустно думать, что этотъ высокій лирическій пафосъ, эти гремящіе, поющіе дионисійскіе блаженствующаго въ себѣ національнаго самосознанія, достойные великаго русскаго поэта, будутъ далеко не для всѣхъ доступны, что добродушное

невѣжество отъ души станетъ хотѣть отъ того, отчего у другого волосы встанутъ на головѣ при священномъ трапезѣ... А между тѣмъ это такъ, и иначе быть не можетъ. Высокая, вдохновенная поэма пойдетъ для большинства за «преуморительную штуку». Найдутся также патриоты, о которыхъ Гоголь говоритъ на 468-й стран. своей поэмы, и которые, съ свойственной имъ проницательностью, увидятъ въ «Мертвыхъ Душахъ» злую сатиру, слѣдствіе холодности и не любви къ родному, къ отечественному,—они, которымъ такъ тепло въ нажитыхъ ими потихоньку домахъ и домикахъ, а можетъ быть и деревенькахъ,—плодахъ благонамѣренной нисурдной службы... Пожалуй, еще закричатъ и о личностяхъ... Впрочемъ это и хорошо съ одной стороны: это будетъ лучшей критической оцѣнкой поэмы... Что касается до насъ, мы, напротивъ, упрекнули бы автора скорее въ излишества непокореннаго спокойно-разумному созерцанію чувства, мѣстами слишкомъ юношески увлекающагося, нежели въ недостатокъ любви и горячности къ родному и отечественному... Мы говоримъ о нѣкоторыхъ,—къ счастью немногихъ, хотя къ несчастью и рѣзкихъ,—мѣстахъ, гдѣ авторъ слишкомъ легко судитъ и національности чуждыхъ племенъ, и не слишкомъ скромно предаетъ мечтамъ о превосходствѣ славянскаго племени надъ ними. Мы думаемъ, что лучше оставлять всякому свое и, сознавая собственное достоинство, умѣть уважать достоинство и въ другихъ... Объ этомъ много можно сказать, какъ о и многомъ другомъ,—что мы и сдѣлаемъ скоро въ свое время и въ своемъ мѣстѣ.

Всякая литература подвержена своимъ законамъ—это уже общее правило. Литературы заднихъ рядовъ, предводимыя Кузичевыми и разными иными знаменитостями въ томъ же родѣ, также имѣютъ свои законы, свои условія; но эти условія, кажется, въ томъ только и состоятъ, что въ нихъ заключается чистое отрицаніе самыхъ простыхъ законовъ, общихъ всѣмъ литературамъ, выражающихъ сколько-нибудь разумное содержаніе. Такъ хотъ бы это условіе: есть въ году время, время жаровъ и зноя, когда едва ли не всякій нѣсколько сокращаетъ свою обыкновенную дѣятельность, когда даже умственные силы теряютъ много своей энергіи, и когда самыя требованія на произведенія высшей, умственной дѣятельности по необходимости должны быть умѣренныя, ограниченныя, въ эту пору и литература, не истощаясь совершенно, впрочемъ также уменьшаетъ свою производительность и какъ бы отдыхаетъ, собирая силы для новыхъ трудовъ, для будущей дѣятельности:—это можетъ случиться не только въ нашей, но и во всякой другой, болѣе солидной литературѣ. Но попробуйте наблюдать—не только вооруженными, но и простыми глазами—надъ этими безвременными литерату-

рами, которыхъ достоинство изиѣряется только вѣсомъ и количествомъ, и вы увидите совсѣмъ противное явленіе: онѣ какъ будто существуютъ внѣ законовъ пространства и времени; условія климата и атмосферы для нихъ совершенно не имѣютъ значенія; въ то время какъ для васъ наступаетъ пора отдыха, у нихъ начинается работа самая живая, самая дѣятельная: работаютъ головы, руки, перья,—больше всего перья, а отъ нихъ не отстаютъ и типографскіе станки. Тутъ не только печатается и издается изъ тѣмъ въ свѣтъ «новое», но перепечатывается или ужъ по крайней мѣрѣ получаетъ новую обертку и все старое: такимъ образомъ первое изданіе вдругъ, по волшебному манію, становится вторымъ; пѣсенникъ дѣлается собраніемъ пѣсенъ; большое изданіе—маленькимъ, карманнымъ, для удобнѣйшаго употребленія и проч., и проч.; всѣхъ приѣмовъ и увертокъ этой литературы не перескажешь. И что это бываетъ за работа, особенно если ужъ «Макарьевская» то не далеко! По русской пословицѣ—тытъ да лять, и вышелъ корабль! Въ самомъ дѣлѣ, тѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Всѣ мало-мальски сложные инструменты въ такомъ случаѣ, чтобы не мѣшали, отлагаются въ сторону: топоръ, обухъ и долото—вотъ всѣ орудія производителей макарьевской литературы. Имъ некогда, они спѣшатъ,—такъ до чистоты ли тутъ? Лишь было бы что продать къ великому дню, да выручить хоть свои-то: ужъ за большимъ не гонятся. Дадимъ имъ дорогу, этимъ скороспѣлымъ издѣліямъ книжной мануфактуры: теперь именно то время, когда они кучами валять на макарьевскую, спѣша захватить себѣ тамъ мѣстечко рядомъ съ желѣзомъ и кожей. Намъ не нужно долго задерживать ихъ и всматриваться въ ихъ физіономію: лица все знакомыя, да притомъ есть и вещи, и даже лица, которыя стоитъ только назвать по имени, чтобы въ одномъ словѣ рассказать вамъ ихъ прошедшую и будущую исторію. Итакъ, начнемъ же нашъ осмотръ.

Русская бесѣда. *Собраніе сочиненій русскихъ литераторовъ. Въ пользу А. Ф. Смирдина. Томъ III. Спб. 1842.*

Знаменитое предпріятіе, долженствовавшее поправить разстроенныя дѣла Смирдина и прославить таланты и великодушіе русскихъ литераторовъ, кончилось: передъ нами лежитъ третій и послѣдній томъ «Русской Весѣды». Мы бесѣдовали съ этимъ третьимъ томомъ, и сладка была намъ эта безмолвная бесѣда въ часъ дремоты.. Точнѣе сказать: бесѣда была довольно тяжеленька, но заключеніе ея было и легко, и приятно... Не шутя, что это такое: шутка или дѣйствительно плодъ усердія — чѣмъ богаты, тѣмъ и рады, по русской пословицѣ?... Нашъ вопросъ относится не къ Смирдину, который могъ быть издателемъ, но отнюдь не критикомъ добровольныхъ приношеній со стороны великодушныхъ литера-

торовъ; притомъ же, какъ человѣкъ, знающій общежитіе, а можетъ быть и до робости деликатный въ обращеніи съ нищимъ людомъ, Смирдинъ, хотъ и со слезами (ужъ конечно не признательности), долженъ былъ принимать всякій хламъ, который вручали ему съ такой добродушной готовностью... Нѣтъ, мы хотимъ сказать, какъ достало у иныхъ сочинителей столько храбрости, чтобы напечатать свои произведенія, да еще и выставить подъ ними имена свои?... Но мы опять обмолвились: дивиться тутъ нечему, а было бы чему подивиться, еслибъ многіе сочинители не воспользовались такимъ прекраснымъ случаемъ втереться въ печать, подъ предлогомъ великодушія, о которомъ никто не просилъ ихъ... Въ первыхъ двухъ томахъ были два прекрасныя, хота и не равныя по достоинству, беллетристическія произведенія: «Аптекарьша» графа Солмогуба и «Барыня» Панаева: за эти двѣ пьесы очень можно простить двумъ первымъ томамъ «Весѣды» всѣ прочія повѣсти, которыми они были начинены. Но въ третьемъ томѣ, какъ будто по тщательному выбору, помѣщено по части повѣстей — такое, хуже чего ни написать, ни выдумать нельзя.

Правоописательное и нравственно-сатирическое перо Булгарина, съ свойственнымъ ему юморомъ и вѣрностью дѣйствительности, описало на 18-ти страницахъ «Чинovníка». Извѣстно всѣмъ, что этотъ интересный классъ русскаго и петербургскаго общества не разъ былъ воспроизводителемъ творческаго перомъ Гоголя; тѣмъ не менѣе Булгаринъ покусился на подобный же подвигъ — и хорошо сдѣлалъ: можетъ утвердительно сказать, что Булгарину не суждено самой судьбой ни въ чемъ сталкиваться съ Гоголемъ, и потому онъ остался самимъ собой, сохраняя свою неподражаемую оригинальность, вслѣдствіе которой въ его «Чинovníкѣ» можете найти все, что вамъ угодно, кромѣ одного — именно чинovníка. Оно и лучше: никто не обвинитъ скромнаго сочинителя въ личностяхъ, которыя русскіе читатели любятъ видѣть во всякомъ литературномъ произведеніи, гдѣ нѣтъ Лидиныхъ, Гремныхъ, Звонскихъ, Линскихъ, Ланитиныхъ и другихъ исполненныхъ свѣтскости и пламенныхъ страстей героевъ. Зато изъ статейки Булгарина читатели могутъ узнать, во-первыхъ, что скромные чинovníки превосходно переплетаютъ книги, дѣлаютъ лучшіе картонажы для кондитерскихъ и отличныя игрушки съ механизмомъ — и все это самоучкой; во-вторыхъ, что рядомъ съ книжной лавкой Занкина есть игрушечная лавка честнаго купца Мухина, а въ ней продаются лучшія дѣтскія игрушки, — что-де хорошо извѣстно Булгарину; въ-третьихъ, что Булгаринъ бываетъ на крестинахъ у чинovníковъ и тамъ говоритъ свысока съ дамами и «коренно по-руски» съ мужчинами, но вина не пьетъ, хота и любитъ выпить рюмку хорошаго вина за столомъ, а это-де потому, что Булгаринъ знакомъ съ сосѣднимъ погребщикомъ!... Особен-

наго вниманія заслуживаютъ заключительныя строки статьи Булгарина. Надо сказать, что видѣть съ статейкой умеръ и герой ея; эта по-видимому весьма естественная развязка подала поводъ сочинителю расчувствоваться такъ: «Вѣчная память и миръ праху твоему, добрый человекъ! Много истребилъ ты бумаги въ жизни, много искрошилъ перьевъ, пролилъ рѣки чернилъ, растопилъ горы сургуча; но ты не писалъ ни пасквилей, ни доносовъ, ни глупыхъ и злобныхъ критикъ, не заставилъ никого проливать слезы, не рѣзалъ языкомъ чужой репутаціи и не прижегъ ничего сердца клеветой». Имѣющій уши да слышитъ!

Не менѣе, если еще не болѣе, послѣ статьи Булгарина заслуживаетъ вниманія статья Погодина. Извѣстно всѣмъ, что Погодинъ вотъ уже другой годъ рассказываетъ о своемъ путешествіи по омраченному буйствомъ знанія Западу, и рассказываетъ съ истинно достойной всякаго удивленія оригинальностью. На этотъ разъ мы узнаемъ, что и какъ дѣлалъ Погодинъ въ Лондонѣ. Завидѣвъ Лондонъ, Погодинъ восклицаетъ: «Вотъ онъ, всемірный базаръ, вотъ столица народа купующаго и продающаго, съ похотью очей и гордостью житейской!» Если читатели спросятъ насъ, почему же народа «купующаго», а не покупающаго, и неужели только Лондонъ покупаетъ и продаетъ «съ похотью очей и гордости житейской», а Парижъ, Амстердамъ, Брюссель, Лейпцигъ, Гамбургъ, Лиссабонъ, Петербургъ, Москва и проч. покупаютъ и продаютъ безъ похоти очей и безъ гордости житейской, — мы отвѣтимъ имъ, что не знаемъ, и посоветуемъ имъ обратиться съ этимъ вопросомъ къ самому сочинителю.

Въ таможенъ чемоданы Погодина, въ отличіе отъ прочихъ путешественниковъ, были осматриваемы «дверемъ затвореннымъ».

«Перехвативъ кое-что», Погодинъ отправился въ театръ, прямо въ раекъ; за мѣсто въ райкѣ онъ заплатилъ очень недорого — всего одинъ рубль. «Надо было (говоритъ онъ) много храбрости для этого рѣшенія: во-первыхъ; какъ найти дорогу, купить билетъ, дойти до мѣста, а потомъ какъ воротиться въ полночь домой, среди мошенниковъ, которые, говорятъ, попадаютъ здѣсь на каждомъ шагу, и, главное дѣло, не умѣя объясняться по-англійски». Дѣйствительно, нельзя не подивиться удивительному присутствію духа Погодина, который не только рѣшился дойти до театра, взять билетъ въ райкъ, но и рисковалъ, возвращаясь въ полночь домой, повстрѣчаться съ англійскими мошенниками, которые не умѣютъ объясняться по англійски!... Но не пугайтесь, читатели, за храброго путешественника: онъ пошелъ. Хозяинъ наговорилъ ему о дорогѣ въ раекъ столько страшнаго, что онъ было оробѣлъ, несмотря на свою примѣрную и столь блестящимъ образомъ доказанную храбрость. «Какъ вдругъ (говоритъ Погодинъ) мелькнула счастливая мысль —

выпросить у него (у хозяина) проводника, который бы отвелъ меня и послѣ пришелъ за мной, въ раекъ; такъ и сдѣлалось. Однакожъ страхъ не кончился. Сидя на мѣстѣ, я все боялся, ну если мальчикъ не придетъ за мной, или я не найду его, и проч., и проч.» Миколодомъ между прочимъ, доказавши ясно, какъ дважды два — четыре, что должность разносчика афишъ возмущаетъ его душу, Погодинъ зашелъ въ лотерею, — и читатель поражается слѣдующими строками: «За всякимъ прилавокъ сидитъ по разряженной красавицѣ для выставки и приманики. Препротивное впечатлѣніе! Одна получаетъ деньги, другая выдаетъ билетъ, третья вертитъ колесо, четвертая читаетъ выпавшій номеръ, пятая отдаетъ выигранную вещь. Ахъ, какъ мнѣ было гадко обойти ихъ кругомъ!»

Да не подумаютъ читатели, что тутъ есть какое-нибудь недоразумѣніе. Такъ какъ за-границей нѣтъ лѣнтаевъ, тунсацевъ, Петрушекъ и Селифановъ; такъ какъ тамъ время есть тотъ же капиталъ, а трудъ человека тѣмъ болѣе капиталъ; такъ какъ тамъ одинъ успѣваетъ дѣлать то, чего у насъ не успѣваетъ дѣлать цѣлая дворная дармоедовъ, — то мужчины тамъ взяли на себя труды серьезные, которые не подъ силу женщинамъ, а женщины отправляютъ всѣ легкія и требующія порядка и чистоты обязанности. Поэтому за-границей женщины служатъ и въ гостиницахъ, и въ трактирахъ, и сидятъ за прилавками магазиновъ, лотерей и т. п. Это и разсчитливо, и изящно, ибо видъ хорошенькой, со вкусомъ и опрятно одѣтой женщины особенно гармонически дѣйствуетъ на всякую душу.

Описание парламента у Погодина — веркъ оригинальности! Но вотъ Погодинъ опять былъ въ райкѣ. Лишь только онъ оттуда, какъ вдругъ... Но нѣтъ, пусть самъ Погодинъ скажетъ, что съ нимъ случилось по выходѣ изъ райка, а мы такъ перепугались за ужасныя слѣдствія, которыя могли бы выйти изъ этого случая, что не можемъ слова сказать... «Вдругъ кинулась почти на меня какая-то вакханка, и я едва убижалъ отъ нея въ свой Leisterstreet!» — Страшно!...

По поводу англійскаго банка Погодинъ выводитъ утѣшительное для Россіи слѣдствіе, что никогда наша торговля не сравнится съ англійской, потому-де, что нашъ купецъ чуть наживетъ капиталъ, да и на бокъ, на печь, словно въ раекъ, и что мы, русскіе, можемъ быть счастливы только дома, у себя въ своей избѣ (?!...), и что такъ-де было вездѣ у славянъ... Помилуйте! да изъ чего же хлопоталъ Петръ Великій, какъ не изъ того, чтобъ сдѣлать насъ изъ славянъ людьми образованными, а избы наши замѣнить домами и зданіями?... Впрочемъ нашъ путешественникъ, кажется, и самъ увидѣлъ, что немного заговорился, почему и поспѣшилъ пренаивно воскликнуть: «Вотъ объ чемъ пришлось мнѣ подумать на дорогѣ въ ТOVERЬ!». Правду сказать, было о чемъ и думать!...

Въ Тoverѣ съ Погодинымъ случилось слѣдующее достопамятное происшествіе, о которомъ пусть онъ самъ разскажетъ: «Хоть я мирный человѣкъ и терпѣть не могу ничего огнестрѣльнаго, а почти охрабрілся, глядя на сверкающія груди, и даже взмахнулъ рукою, но опустилъ ее скорѣе, и вонъ изъ великолѣпной галереи, которая такъ торжественно свидѣтельствуеетъ о звѣрствѣ нашего просвѣщеннаго чело-вѣчества».

Когда проходившіе по Темзѣ пароходы приближались къ мостамъ высокимъ и ачтамъ и трубамъ, по словамъ Погодина, у него замирало сердце, а по тѣлу пробѣгала дрожь: ну, какъ-де забудутъ опустить трубу, и пароходъ расшибется!... Но, къ крайнему удивленію путешественника, такого несчастія не случилось. «Мы, москвичи (говоритъ онъ далѣе), не привыкли къ дѣйствіямъ машинъ и къ этой точности заведенныхъ часовъ, которая здѣсь перешла во всеобщее вѣрованіе, для насъ неизвѣстное». Въ звѣрищѣ, говоритъ Погодинъ, всѣ звѣри живутъ какъ б а р а... Описаніе Виндзорскаго замка у Погодина—преlestь! Словомъ, кто хочетъ вполне насладиться путевыми записками Погодина и вполне оцѣнить ихъ, тотъ читай ихъ самъ «дворемъ затвореннымъ»... увѣряемъ, что удовольствіе будетъ полное и совершенное...

Есть въ третьемъ томѣ «Русской Весѣды» и стихи; но о стихахъ вообще мы рѣшились говорить только въ крайнихъ случаяхъ.

Впрочемъ третій томъ «Русской Весѣды» набитъ не одними вздорами; есть въ немъ двѣ очень дѣльныя статьи. Первая—«Федоръ Ивановичъ Соймоновъ» принадлежитъ Вантышъ-Каменскому и, по своему содержанию, весьма интересна и любопытна. Вторая—«Прокофій Ляпуновъ» принадлежитъ къ тѣмъ немногимъ произведеніямъ Полевого, которыя доказываютъ, что этотъ литераторъ и теперь еще могъ бы заниматься чѣмъ-нибудь лучшимъ, нежели изданіе плохого журнала, составленіе плохихъ неоконченныхъ повѣстей и конкуренція съ разными водевилями и другими господами, съ успѣхомъ и славою подвизавшимися въ «Репертуарѣ» Песочкаго и на сценѣ Александринскаго театра. Цѣль статьи Полевого—доказать, что Ляпуновъ былъ только человѣкъ съ сильнымъ характеромъ, но отнюдь не патріотъ, а, напротивъ, безнравственный человѣкъ, игравшій присягами и клятвами, измѣнявшій всѣмъ партіямъ. Мысль справедливая, хорошо изложенная и достаточно подтвержденная фактами. Но авторъ слишкомъ далеко ео увлекся и не могъ остановиться на той серединѣ истины, которая и должна быть искомою истиной, какъ примиреніе двухъ крайностей. Справедливо нападая на Карамзина, который первый сдѣлалъ изъ Ляпунова героя въ древнемъ духѣ, Полевой совсѣмъ несправедливо осуждаетъ какихъ-то «потомковъ», будто бы, по слѣдамъ Карамзина, представляющихъ Ляпунова въ апопеезѣ гражданска-

го и патріотическаго героизма. Если какой-нибудь посредственный талантъ эффектировалъ Ляпуновымъ въ посредственной драмѣ, а вслѣдъ за нимъ какой-нибудь бездарный писака вновь поставилъ Ляпунова на героическія ходули героизма, да еще въ какомъ-нибудь плохомъ романѣ Ляпуновъ выведенъ съ той же дѣтской точки зрѣнія,—изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы русская поэзія ошибочно увлеклась Ляпуновымъ: ибо русская поэзія не хочетъ имѣть ничего общаго съ посредственными дарованіями и плохими рѣсначаніи и писаками. Напротивъ, скорѣе можно удивляться, какъ никто изъ истинныхъ поэтовъ не воспользовался такимъ характеромъ. Если изобразить Ляпунова, какимъ онъ явился въ исторіи, то это истинный кладъ для поэзіи. Дѣло въ томъ, что Ляпуновъ, несмотря на свою совершенную безнравственность, все-таки лицо, одаренное душой сильной, человѣкъ, властвовавшій надъ нестройной толпой единственно силою своего характера. Словомъ, это одинъ изъ тѣхъ людей, которыхъ природа создаетъ такъ же на великое добро, какъ и на великое зло, смотря по тому, какое дадутъ имъ направленіе воспитаніе и общество. Мы скажемъ, не обвиняясь, что Ляпуновъ, злодѣй и предатель, какимъ онъ былъ въ самомъ дѣлѣ,—лицо болѣе поэтическое, нежели всѣ его современники, за исключеніемъ Скопина-Шуйскаго, который въ свою очередь лицо тоже довольно загадочное. Ляпуновъ былъ тѣмъ, чѣмъ не могъ не быть: его пороки суть пороки общества того времени, а его могучій духъ принадлежитъ одному ему.

Итакъ, вотъ и весь третій томъ «Русской Весѣды».

Нѣсколько словъ о poemѣ Гоголя: «Похожденія Чичикова или Мертвые Души». Москва. 1842.

Мы ничего не хотѣли было говорить объ этой странной брошюрѣ; но насъ побудили къ этому слѣдующія въ ней строки:

«Мы знаемъ, многимъ покажутся странными слова наши; но мы просимъ въ нихъ вникнуть. Что касается до мнѣнія петербургскихъ журналовъ, очень извѣстно, что они подумаютъ (впрочемъ исключая можетъ быть «Отечественныхъ Записокъ», которыя хвалятъ Гоголя); но не о петербургскихъ журналистахъ говоримъ мы; напротивъ, мы о нихъ не говоримъ; развѣ въ Петербургѣ можетъ существовать кругъ ихъ дѣятельности!..»

Хоть мы и не имѣемъ никакихъ причинъ особенно горячиться за всѣ петербургскіе журналы, но все-таки долгъ справедливости требуетъ замѣтить автору брошюры, что кругъ дѣятельности нѣкоторыхъ петербургскихъ журналовъ простирается не только на Петербургъ, но и на Москву, и на всѣ провинціи Россіи, куда выписываются они тысячами, и что, наоборотъ, кругъ дѣятельности нѣкоторыхъ московскихъ журналовъ не простирается даже и на Москву, ибо ни

найти их тамъ, ни услышать о нихъ тамъ что-нибудь рѣшительно невозможно. Это фактъ, противъ котораго не устоитъ никакое умозрѣніе—ни нѣмецкое, ни московское.

Но и не это обстоятельство заставило насъ говорить о томъ, о чемъ легко можно было бы умолчать, а снисходительное выключеніе «Отечественныхъ Записокъ» изъ опалы, подъ которую подпали у строгаго автора петербургскіе журналы. Пожалуй—чего добраго!—найдутся люди, которые заключатъ изъ этого, что «Отечественныя Записки» раздѣляютъ мнѣніе автора брошюры о Гоголѣ и о «Мертвыхъ Душахъ»: вотъ этого-то мы никакъ не хотѣли бы, и желаніе отклонить отъ себя незаслуженную честь участвовать въ ультра-умозрительныхъ московскихъ воззрѣніяхъ на просто-понимаемое нами дѣло побудило насъ взяться за перо. Мысли автора брошюры о Гоголѣ и его твореніяхъ такъ оригинальны, такъ отважны, что едва ли кто-нибудь осмѣлился бы раздѣлить съ нимъ славу ихъ изобрѣтенія. Итакъ спѣшимъ объясниться.

«Предъ нами возникаетъ новый характеръ созданія, является оправданіе цѣлой сферы поэзіи,—сферы, давно унижаемой; древній эпосъ востаетъ передъ нами».

Вотъ что прежде всего видитъ авторъ брошюры въ «Мертвыхъ Душахъ»! Дѣло, видите ли, такого рода: перенесенный изъ Греціи на Западъ, древній эпосъ мелѣлъ постепенно и наконецъ совсѣмъ высохъ, низойдя до романовъ и наконецъ до крайней степени своего униженія—до французской повѣсти... Но Гоголь спасъ древній эпосъ—и міръ имѣетъ теперь новую «Иліаду», т. е. «Мертвыя Души», и новаго Гомера, т. е. Гоголя!.. Видный Гоголь!

Не поворочится отъ такихъ похвалъ!..

Итакъ, эпосъ древній не есть исключительное выраженіе древняго міросозерцанія въ древней формѣ: напротивъ, онъ что-то вѣчное, неподвижно стоящее. независимо отъ исторіи; онъ можетъ быть и у насъ, и мы его имѣемъ—въ «Мертвыхъ Душахъ»!.. Итакъ, эпосъ не развился исторически въ романъ, а снизошелъ до романа!.. Поздравляемъ философское умозрѣніе, плохо знающее фактическую исторію!.. Итакъ, романъ есть не эпосъ нашего времени, въ которомъ выразилось созерцаніе жизни современнаго человѣчества и отразилась сама современная жизнь: нѣтъ, романъ есть искаженіе древняго эпоса!.. Ужъ и современное—то человѣчество не есть ли искаженная Греція?.. Именно такъ!..

Но, увъ! какъ ни ясны умозрительные доводы автора брошюры, а мы, прозаическіе петербуржцы, все-таки остаемся при своихъ историческихъ убѣжденіяхъ, и думаемъ, что Гоголь такъ же похожъ на Гомера, а «Мертвыя Души» на «Иліаду», какъ сѣрое петербургское небо и сосновыя рощи петербургскихъ окрестностей на свѣтлое небо и лавровыя рощи Эллады. Далѣе, мы дума-

емъ, что Гоголь вышелъ совсѣмъ не изъ Гомера и не состоитъ съ нимъ ни въ близкомъ, ни въ дальнемъ родствѣ,—думаемъ, что онъ вышелъ изъ Вальтеръ-Скотта, изъ того Вальтеръ-Скотта, который могъ явиться самъ собой, независимо отъ Гоголя, но безъ котораго Гоголь никакъ не могъ бы явиться. Во французской повѣсти мы видимъ не крайнее униженіе древняго эпоса, а просто—французскую повѣсть, выраженіе, зеркало французской жизни. Мы даже не видимъ ничего особенно позорнаго и въ нѣмецкихъ повѣстяхъ, часто отражающихъ въ себѣ не сферу дѣйствительной жизни, а химеры фантазіи, испорченной пивомъ, кнастеромъ и флистерствомъ. Что выражаетъ собой духъ всемірно-исторической націи, то не можетъ быть вздоромъ, и та философія, которая называетъ вздоромъ подобныя вещи, сама вздоръ, хотя бъ она была и абсолютная...

Правда, авторъ брошюры, кажется, и самъ смекнулъ, что онъ уже слишкомъ занесся, и поспѣшилъ замѣтить, что «Мертвыя Души» не одно и то же съ «Иліадою», ибо де «само содержаніе кладетъ здѣсь разницу»; но тутъ же, въ выносѣхъ, замѣчаетъ: «Кто знаетъ впрочемъ, какъ раскроется содержаніе «Мертвыхъ Душъ». На это мы можемъ отвѣчать утвердительно, что какъ бы ни раскрылось оно, какой бы величавый, лирическій ходъ ни приняло оно, вѣсто юмористическаго, — все-таки «Иліада» будетъ сама по себѣ, а «Мертвыя Души» будутъ сами по себѣ. «Иліада» выразила собой содержаніе положительное, дѣйствительное, общее, мировое и всемірно-историческое, слѣдовательно вѣчное и неумирающее; «Мертвыя Души», равно какъ и всякая другая русская поэма, пока еще не могутъ выразить подобнаго содержанія, потому что еще негдѣ его взять, а на «нѣтъ» и суда нѣтъ. Авторъ брошюры видитъ у Гоголя «эпическое созерцаніе, древнее, истинное, то же, какое у Гомера»: это показываетъ, что онъ совершенно не понималъ пафоса «Мертвыхъ Душъ» и, обольстившись умозрѣніями собственнаго изобрѣтенія, навязывалъ поэмѣ Гоголя значеніе, котораго въ ней вовсе нѣтъ. Напрасно онъ не выкинулъ въ эти глубокосмысленныя слова Гоголя: «И долго еще опредѣлено мнѣ чудной властью идти объ руку съ моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный міру ситѣхъ и незримыхъ, невѣдомыхъ ему слезы» («Мертвыя Души»). Въ этихъ немногихъ словахъ высказано все значеніе, все содержаніе поэмы, и намекнуто, почему она названа «поэмой». Въ смыслѣ поэмы, «Мертвыя Души» діаметрально противоположны «Иліадѣ». Въ «Иліадѣ» жизнь возведена на апофеозъ: въ «Мертвыхъ Душахъ» она разлагается и отрицается; пафосъ «Иліады» есть блаженное упоеніе, прорастающее отъ созерцанія дивно-божественнаго зрѣлища: пафосъ «Мертвыхъ Душъ» есть юморъ, созерцающій жизнь сквозь видный міру

сѣхъ и незримыя, невѣдомыя ему слезы. Что же касается доэпического спокойствія, — оно совсѣмъ не исключительное качество поэмы Гоголя: это — общее родовое качество эпоса. Романы Вальтеръ-Скотта и Купера поэтому также отличаются эпическимъ спокойствіемъ.

Нельзя безъ улыбки читать 9-й страницы брошюры, гдѣ авторъ заставляеть Ахилла новой «Иліады», плутоватаго Чичикова, сливаться съ субстанціальной стихіей русской жизни въ чемъ бы вы думали? — въ любви къ скорой ѣздѣ!.. Итакъ, любовь къ скорой почтовой ѣздѣ — вотъ субстанція русскаго народа!.. Если такъ, то конечно почему жъ бы Чичикову и не быть Ахилломъ русской «Иліады», Собакевичу — Аяксомъ неистовымъ (особенно во время обѣда), Манилову — Александромъ Парисомъ, Плюшкину — Несторомъ, Селифану — Автомедономъ, полиціймейстеру, отцу и благодѣтелю города — Агамемнономъ, а квартальному съ пріятнымъ румянцемъ и въ лакированныхъ ботфортахъ — Гермесомъ?..

Въ сравненіяхъ, разсѣянныхъ по поэмѣ Гоголя, авторъ брошюры особенно видитъ сродство его съ Гомеромъ. Но это сродство существуетъ также и между Пушкиннымъ и Гомеромъ, — что можно фактически доказать ссылками на «Евгенія Онѣгина» и другія поэмы Пушкина... Думаемъ, что съ этой стороны у Гомера довольно наберется родни.

Говоря о полнотѣ жизни, въ которой изображаетъ Гоголь свои лица, и которая дѣйствительно удивительна, авторъ брошюры не точно выразился, сказавъ, будто «Гоголь не лишаетъ лицо, отиѣченное мелкостью, низостью, ни одного человѣческаго движенія»: надо было сказать — иногда не лишаетъ какихъ-нибудь человѣческихъ движеній, или что-нибудь подобное. А то, чего добраго! окажется, что и дура Коробочка, и буйволъ Собакевичъ не лишены ни одного человѣческаго чувства и потому ничѣмъ не хуже любого великаго человѣка. Напрасно также авторъ брошюры вздумалъ смотрѣть съ участіемъ на глупую и сентиментальную размазню Манилова, когда тотъ идиотски мечтаетъ о томъ, какъ онъ съ Чичиковымъ пьетъ чай на бельведерѣ, съ котораго видна Москва, какъ они съ нимъ пріѣзжаютъ въ какое-то общество въ хорошихъ каретахъ, обворожаютъ всѣхъ пріятностью обращенія, и какъ само высшее начальство, узнавши о такой ихъ дружбѣ, пожаловало ихъ генералами... Признаемся, мы читали это со смѣхомъ и безъ всякаго участія къ личности Манилова, можетъ-быть потому именно, что не имѣемъ въ себѣ ничего родственнаго съ такого рода «мечтательными» личностями.

Далѣе, авторъ брошюры доказываетъ, что такой полноты созданія, какова у Гоголя, не встрѣтить ни у кого, кромѣ какъ у Гомера и Шекспира. «Да, — говоритъ онъ: — только Гомеръ, Шекспиръ и Гоголь обладаютъ этой тайной искусства». — А Пушкинъ?.. Да куда ужъ

тутъ Пушкину, когда Гоголь заставилъ (впрочемъ безъ всякаго съ своей стороны желанія — мы за это ручаемся) автора брошюры забыть даже о существованіи Сервантеса, Данта, Гёте, Шиллера, Байрона, Вальтеръ-Скотта, Купера, Веранжѣ, Жоржъ-Занда! Всѣ они — пасъ передъ Гоголемъ!.. Куда имъ до него! Гомеръ, Шекспиръ и Гоголь — больше никого мы не хотимъ знать, что ни говори себѣ «неблагонамѣренные» люди!.. Однакожъ авторъ брошюры позволяетъ Гомеру и Шекспиру стоять подлѣ Гоголя только по «акту созданія», а по содержанію онъ ставитъ ихъ выше его. «Въ отношеніи къ акту творчества, въ отношеніи къ полнотѣ самаго созданія — Гомера и Шекспира, и только Гомера и Шекспира, ставимъ мы рядомъ съ Гоголемъ». Какіе счастливы эти Гомеръ и Шекспиръ! И какъ жаль, что Богъ не далъ имъ дожить до такого счастья!.. «Мы, — говоритъ авторъ брошюры: — далеки отъ того, чтобы унижать колоссальность другихъ поэтовъ, но въ отношеніи къ акту творчества онъ и ни же Гоголя». Но говоря далѣе, авторъ брошюры жестоко проговаривается, самъ того не замѣчая, и даетъ намъ прекрасное средство его же орудіемъ слутъ построенные имъ каргоныя домики фантазерскихъ умозрѣній:

«Развѣ не можетъ быть такъ напримѣръ (продолжаетъ авторъ брошюры): поэтъ, обладающій полнотой творчества, можетъ создать, положить, цвѣтокъ, но во всемъ его совершенствѣ, во всей свободѣ его жизни; другой создастъ великаго человѣка, взявши большее содержаніе, но только помѣтитъ его общими чертами; велико будетъ дѣло послѣдняго, но оно будетъ ниже въ отношеніи къ той полнотѣ и живости, какую даетъ поэтъ, обладающій тайной творчества.»

Во-первыхъ, разсуждая о дѣлѣ творчества, нечего и говорить о поэтахъ, не обладающихъ тайной творчества, и заставлятъ ихъ намѣчать общими чертами идеалы великихъ людей; надо великаго поэта противопоставлять великому же поэту. Въ такомъ случаѣ мы, не обинуясь, скажемъ, что слегка намѣченный идеалъ великаго человѣка будетъ болѣе великимъ созданіемъ, нежели во всей полнотѣ и во всей свободѣ жизни воспроизведенный цвѣтокъ. Двѣ стороны составляютъ великаго поэта: естественный талантъ и духъ или содержаніе. Это — то содержаніе и должно быть мѣриломъ при сравненіи одного поэта съ другимъ. Только содержаніе дѣлаетъ поэта мировымъ: — высшая точка, zenithъ поэтической славы. Прежде, смотря на поэта больше со стороны естественнаго таланта и желая выразить однимъ словомъ высшее его явленіе, мы думали воспользоваться для этого эпитетомъ «мирового»; но скоро, увидѣвъ, что черезъ это смѣшиваются два различныхъ представленія, мы оставили безразличное употребленіе этого слова. Мировой поэтъ не можетъ не быть великимъ поэтомъ; но великій поэтъ еще можетъ быть и не мировымъ поэтомъ. Здѣсь не мѣсто распространяться объ этомъ предметѣ; но если вы хотите знать, что

такое «мировой» поэтъ, возьмите Байрона хоть въ прозаическомъ французскомъ переводѣ и прочтите изъ него, что вамъ прежде попадется на глаза. Если вы не падете въ трепетъ передъ колоссальностью идей этого страшнаго ученика Руссо, этого глубокаго субъективнаго духа, этого потока мнѣстическихъ титановъ, громоздившихъ горы на горы и осаждавшихъ Зевеса на его непреступномъ Олимпѣ,—тогда не понять вамъ, что такое «мировой» поэтъ. Прочтите «Фауста» и «Прометея» Гёте, прочтите трепещущія пафосомъ любви ко всему человѣческому созданію Шиллера,—и вы устыдитесь, что этихъ колоссовъ, идущихъ во главѣ всемірно-историческаго движенія цѣлаго человѣчества, поставили вы ниже великаго русскаго поэта... Что же касается до вашего сравненія художественно созданнаго цвѣтка съ легко наброшеннымъ идеаломъ великаго человѣка, мы укажемъ вамъ на примѣръ не изъ столь великой сферы. «Вояринъ Орша» Лермонтова — произведеніе не только слегка начертанное, но даже дѣтское, гдѣ болшей частью ложны и нравы, и костюмы; но просимъ васъ указать намъ на что-нибудь и побольше цвѣтка, что могло бы сравниться съ этимъ гениальнымъ очеркомъ. Отчего это?—оттого, что въ дѣтскомъ созданіи Лермонтова вѣетъ духъ, передъ которымъ потускнѣетъ не одно художественное произведеніе — цвѣтокъ ли то, или цѣлый цвѣтникъ...

«Итакъ (продолжаетъ авторъ брошюры), этимъ сравненіемъ (хотя вообще сравненія объясняютъ непонятно, но чтобы не писать длинной статьи) надѣемся мы пояснить наши слова: *въ отношеніи къ акту творчества*. Но Боже насъ сохрани, чтобы миниатюрное сравненіе съ цвѣткомъ было въ нашихъ глазахъ мѣриломъ для великихъ созданій Гоголя: мы хотимъ только сказать, что онъ обладаетъ той же тайной, какой обладали Шекспиръ и Гомеръ, и только они...» Итакъ, повторимъ наши слова, какъ бы они странно ни казались: только у Гомера и Шекспира можемъ мы встрѣтить такую полноту созданій, какъ у Гоголя; только Гомеръ, Шекспиръ и Гоголь обладаютъ великой, одной и той же тайной искусства.

Положимъ даже, что все это и такъ, но вотъ вопросъ: что же во всемъ этомъ и чему именно тутъ радоваться?.. Во-первыхъ, еще совсѣмъ не доказанная истина, совсѣмъ не аксіома, что Гоголь, по акту творчества, выше хоть напимѣръ Пушкина и позволяетъ стоять подлѣ себя только Гомеру и Шекспиру,—и мы очень жалѣемъ, что авторъ брошюры не взялъ на себя труда доказать это, а ограничился нѣсколькими фразами, вродѣ оракульскихъ. Во-вторыхъ, акта творчества еще мало для поэта, чтобы имя его стало на ряду съ именами Гомера и Шекспира... Все это ужасно сбивается на риторичку и фразы, все это такъ похоже на игру въ эстетическіе каламбуры. Занятіе конечно невинное, но и никакъ чему не ведущее, кромѣ профанаціи именно того, что составляетъ предметъ дѣтскаго удивле-

нія. Гдѣ, укажите намъ, гдѣ вѣетъ въ созданіяхъ Гоголя этотъ всемірно-историческій духъ, это равно общее для всѣхъ народовъ и вѣковъ содержаніе? Скажите намъ, что бы случилось съ любимымъ созданіемъ Гоголя, еслибъ оно было переведено на французскій, нѣмецкій или англійскій языкъ? Что интереснаго (не говоря уже о великомъ) было бы въ немъ для француза, нѣмца или англичанина? Гдѣ же права Гоголя стоятъ на ряду съ Гомеромъ и Шекспиромъ?—Знаете ли, что мы сказали бы на ушко всѣмъ умозрителямъ: когда развернешь Гомера, Шекспира, Байрона, Гёте или Шиллера, такъ дѣлается какъ-то неловко при воспоминаніи о нашихъ Гомерахъ, Шекспирахъ, Байронахъ и проч. Вальтеромъ-Скоттомъ тоже шутитъ нечего: этотъ человѣкъ далъ историческое и социальное направленіе повѣстному европейскому искусству.

И однакожъ мы сами считаемъ Гоголя великимъ поэтомъ, а его «Мертвыя Души» — великимъ произведеніемъ. Но въ первомъ случаѣ мы разумѣемъ естественный талантъ, по которому Гоголь, какъ и Пушкинъ, дѣйствительно напоминаютъ собой величайшія имена всѣхъ литературъ. Въ самомъ дѣлѣ, нельзя не дивиться его умѣнию оживлять все, къ чему ни прикоснется, въ поэтическіе образы,—его орлиному взгляду, которымъ онъ проникаетъ въ глубину тѣхъ тонкихъ и для простаго взгляда недоступныхъ отношеній и причинъ, гдѣ только слѣпая ограниченность видитъ мелочи и пустяки, не подозрѣвая, что на этихъ мелочахъ и пустякахъ вертится — увы! — цѣлая сфера жизни. Но Гоголь — великій русскій поэтъ, не болѣе; «Мертвыя Души» его — тоже только для Россіи и въ Россіи могутъ имѣть безконечно великое значеніе. Такова пока судьба всѣхъ русскіхъ поэтовъ; такова судьба и Пушкина. Никто не можетъ быть выше вѣка и страны; никакой поэтъ не усвоитъ себѣ содержанія, неприготовленнаго и невыработаннаго исторіей. Немногое, слишкомъ немногое изъ произведеній Пушкина можетъ быть передано на иностранныя языки, не утративъ съ формой своего субстанціального достоинства; но изъ Гоголя — едва ли что-нибудь можетъ быть передано. И однакожъ мы въ Гоголѣ видимъ болѣе важное значеніе для русскаго общества, чѣмъ въ Пушкинѣ: ибо Гоголь болѣе поэтъ социальный, слѣдовательно болѣе поэтъ въ духъ времени; онъ также менѣе теряется въ разнообразіи создаваемыхъ имъ объектовъ и болѣе даетъ чувствовать присутствіе своего субъективнаго духа, который долженъ быть солнцемъ, освѣщающимъ созданія поэта нашего времени. Повторяемъ: чѣмъ выше достоинство Гоголя, какъ поэта, тѣмъ важнѣе его значеніе для русскаго общества, и тѣмъ менѣе можетъ онъ имѣть какое-либо значеніе внѣ Россіи. Но это-то самое и составляетъ его важность, его глубокое значеніе и его — скажемъ смѣло — колоссальное величіе для насъ, русскіхъ. Тутъ нечего и упоминать о Гомерѣ и Шекспирѣ, не-

чего и путать чужихъ въ свои семейныя тайны. «Мертвыя Души» стоятъ «Иліады», но только для Россіи: для всѣхъ же другихъ странъ ихъ значеніе мертво и непонятно.

Было время, когда на Руси никто не хотѣлъ вѣрить, чтобъ русскій умъ, русскій языкъ могли на что-нибудь годиться; всякая иностранная дрань легко шла за геніальность на святой Руси, а свое русское, хотя бы и отличное высокое даровитостью, презиралось за то только, что оно русское. Время это, слава Богу, прошло, и теперь настало другое, когда намъ уже ни почему и Гомеры, и Шекспіры, и Байроны, потому что мы успѣли уже позавестись своими, — мы чужихъ становимъ въ шеренги, словно солдатъ, заставляемъ маршировать и справа и слѣва, и назадъ и впередъ, благо бѣдняжки молчатъ и повинуются нашему гусиному перу и грапичной бумагѣ. Но пора кончиться и этому времени, пора бросить эти ребяческія фразы...

Юность не хочетъ и знать этого. Чуть взбредетъ ей въ голову кака-нибудь недоконченная мечта — тотчасъ ее на бумагу, съ тѣмъ наивнымъ убѣжденіемъ, что эта мечта — аксіома, что міру открыта великая истина, которой не хотятъ признать только невѣжды и завистники... А тамъ что? — Кому суждено возмужать, тотъ потихоньку забудетъ о томъ, о чемъ такъ громко говорилъ прежде, или будетъ самъ смѣяться надъ этимъ, какъ надъ грѣхомъ юности... Но есть люди, которые или навѣкъ остаются дѣтymi, или навѣкъ остаются юношами: ихъ убѣжденіе не слабѣетъ; они продолжаютъ высказывать его съ прежнимъ простодушіемъ, и новыя фантазіи, подобныя прежнимъ, тянутся у нихъ до гроба длинной вереницей, какъ мечты у Манилова по отъѣздѣ Чичикова...

Руководство къ изученію русской словесности, содержащее въ себѣ основныя начала изысканій искусствъ, теорію краснорѣчія, поэтику и краткую исторію литературы, составленное профессоромъ Императорскаго Царскосельскаго Лицея и Императорскаго Училища Правовѣднія, Петромъ Георгіевскимъ. Въ четырехъ частяхъ. Изданіе второе, исправленное. Спб. 1842.

Въ мірѣ умственномъ такъ же есть свои аномаліи, какъ и въ физическомъ. Особенно богата ими русская учебная литература. У насъ есть удивительная «Всеобщая Исторія», надъ которой образованные люди улыбаются вотъ уже, кажется, около двадцати, если не болѣе лѣтъ, и которая все-таки продолжаетъ себѣ втихомолку расплываться новыми изданіями. Но особенно несчастливо было на аномаліи русской учебной литературы по части теорій и исторій искусствъ и литературы. Это уже даже и не аномаліи: это просто чудовища и чудища, въ сравненіи съ которыми всякое безобразіе есть красота. Какъ бы ни дурна была «Всеобщая исторія», все же она говоритъ о фактахъ, дѣйствительно бывшихъ, все же изъ нея

можно узнать хоть нѣсколько именъ историческихъ, все же въ ней нельзя Александра Македонскаго назвать китайскимъ императоромъ, а Перикла — турецкимъ паншой. Теорія изящнаго, напротивъ, даетъ каждому возможность говорить, что на умъ взбрѣдетъ, называть свѣчу собакой, а луну — пирогомъ — полная свобода! благо за подобныя вещи пошлннъ не берутъ, а иногда еще и деньги даютъ. Наши учебники по части теоріи и исторіи изящнаго тѣмъ уродливѣе и нелѣпѣе, что по большей части пишутся людьми добраго стараго времени, когда толковали только о трехъ единствахъ, о подражаніи украшенной природѣ, а въ примѣръ высокаго приводили «с'est moi» и «qu'il mourût». Но еслибъ эти господа остались вѣрны своему времени, они были бы меньше смѣшны, тѣмъ болѣе, что въ такомъ случаѣ ихъ совсѣмъ не читали бы и о нихъ совсѣмъ не было бы слышно. Но вотъ горе: застигнутые врасплохъ новыми врененіемъ, пережившіе уже и великую войну классицизма съ романтизмомъ, — они увидѣли себя въ горькой и тяжелой необходимости смѣшать свои старыя понятія съ новыми, признать авторитеты. Изъ этого вышла такая дикая смѣсь книгъ, что трудно и характеризовать ее; она напоминаетъ собой дикарей Океаніи, которые вслѣдствіе вліянія на нихъ англійской цивилизаціи стали ходить въ европейской одеждѣ, прицѣпляя сабли къ юбкамъ, надѣвая военный мундиръ безъ нижняго платья или сапоги безъ всякой другой одежды.

Все сказанное отнюдь не должно относиться къ безподобному «Руководству» Георгіевскаго. Оно по истинѣ безподобно, ибо нѣтъ ничего подобнаго ему въ цѣломъ мірѣ. Въ немъ нѣтъ ни классицизма, ни романтизма, ни старыхъ, ни новыхъ понятій. Оно составлено особеннымъ образомъ и по особенному, неслыханному въ мірѣ источнику — по рецензіи 230 и 231 №№ «Сѣверной Пчелы» 1836 года, — какъ добродушно признается въ предисловіи самъ сочинитель этого безподобнаго руководства!... Рассмотримъ же это безподобное «Руководство къ изученію Русской Словесности».

Рассмотримъ прежде всего заглавіе книги: оно такъ же безподобно, какъ и вся книга.

«Руководство къ изученію русской словесности, содержащее въ себѣ основныя начала изысканій искусствъ, теорію краснорѣчія и краткую исторію литературы (какой?)». Какимъ образомъ «основныя начала изысканій искусствъ и теорія краснорѣчія» сдѣлались «русской словесностью»? Они должны составлять предметъ эстетики, а не русской словесности, предметъ которой, какъ самое названіе ея показываетъ, есть русское слово, русскій языкъ. Сочинитель толкуетъ въ своемъ «Руководствѣ» о живописи, водѣхствѣ и даже садоводствѣ; но теорія первыхъ двухъ искусствъ есть предметъ эстетики, а теорія садоводства есть полезное знаніе для садовниковъ, но не для учениковъ класса русской словесности.

Теперь не угодно ли взглянуть на «основныя начала изящныхъ искусствъ»? На первой страницѣ, въ выноскѣ, есть мысль, поражающая своей глубиностью и новостью. Она состоитъ ни болѣе, ни менѣе какъ въ томъ, что «подъ художникомъ должно разумѣть собственно такъ-называемаго художника, артиста и поэта». Хорошія мысли и другихъ невольно заставляютъ выдумать хорошія мысли: это мы испытали на себѣ, и по примѣру Георгіевскаго рѣшительно утверждаемъ, что «подъ сапожникомъ должно разумѣть собственно такъ-называемаго сапожника, чоботаря и иногда башмачника». Послѣ этого интересно знать, какъ Георгіевскій опредѣляетъ «искусство». Слушайте! слушайте! «Подъ искусствомъ разумѣютъ способность или навыкъ (!) посредствомъ упражненія (!) производить какой-либо предметъ по извѣстнымъ правиламъ, съ извѣстной цѣлью». Не правда ли, подъ это опредѣленіе удивительно хорошо подходитъ искусство точать сапоги?...

«Живопись есть искусство, представляющее предметы на гладкой поверхности посредствомъ рисовки и красокъ». Какъ хорошо это опредѣленіе схватило идею живописи! Жаль только, что оно забыло о свѣто-тѣни...

«Подъ музыкой нынѣ разумѣютъ искусство производить и соединять звуки пріятнымъ для слуха образомъ». Если это опредѣленіе Георгіевскаго вѣрно, то пѣтухъ никогда не будетъ хорошимъ музыкантомъ, а соловей и канарейка — отличные музыканты.

«Говоря о природѣ, которой подражаютъ изящныя искусства, объяснимъ это слово. Природа артистовъ и *стихотворцевъ* весьма обширна; она заключается въ себѣ четыре міра: міръ *дѣйствительный*, т. е. физическій, нравственный и гражданскій, котораго мы сами составляемъ часть; потомъ міръ *историческій*, населенный великими тѣнями и великими происшествіями; далѣе міръ *баснословный*, мифологическій, въ которомъ обитаютъ боги и герои; наконецъ міръ *идеальный* или *возможный*, въ которомъ нѣтъ ни людей, ни дѣйствій, но есть время, мѣсто, пища и обстоятельства для тѣхъ и другихъ (?!...!). — Аристофанъ осмѣивалъ Сократа при другихъ — это міръ дѣйствительный; трагедія *Димитрій Донской* взята изъ исторіи; трагедія *Медки* взята изъ баснословія; *Кіа*, *Синавъ* и *Труворъ* взяты изъ нашихъ героическихъ или баснословныхъ временъ; *Скупой Платъ* и *Тартюфъ* Мольера взяты изъ міра возможнаго или идеальнаго. — Вотъ то, что вообще называется для художника *природой*.»

Именно то самое! Поняли ль вы тутъ хоть что-нибудь, читатели? — Мы, признаемся, ровно ничего не поняли. По нашему искреннему мнѣнію, это даже не то, что называется пустословіемъ, — мы не видимъ тутъ даже желанія прикрыть фразами отсутствіе мысли; это — извините за откровенность — просто сундукъ! Какими образомъ подобныя пошлости Сумарокова, какъ «Кіа, Синавъ и Труворъ», могли попасть въ книгу, систематически разсуждающую о началахъ изящнаго? Откуда это раздѣленіе природы

на четыре міра? Развѣ міръ историческій не есть міръ дѣйствительный, а міръ воображаемый? И неужели комедія Аристофана потому взята изъ дѣйствительнаго міра, что онъ при другихъ, а не наединѣ съ собой осмѣивалъ Сократа?... Но намъ совѣстно говорить о такихъ пустякахъ и унижительно опровергать ихъ... А между тѣмъ вся эта толстая книга, состоящая изъ 48 страницъ въ 8-ю долю листа, биткомъ набита подобными дивами. Желая угодить всѣмъ и никого не обидѣть, сочинитель всѣхъ равно пожеловалъ въ геніи: онъ съ равнымъ уваженіемъ и равной любовью упоминаетъ о Херасковѣ и о Пушкинѣ, о Сумароковѣ и Грибоедовѣ, о Шекспирѣ и о Хильфеницкомъ, о Вальтеръ-Скоттѣ и баронѣ Врамбеусѣ. Съ такимъ же безпристрастіемъ повторяетъ онъ, не вникая въ смыслъ, мнѣнія и нѣмцевъ, и «Вѣстника Европы», и «Московского Телеграфа», и Толмачева и Кошанскаго, и Платона съ Аристотелемъ. И все это произошло не изъ электическаго желанія помирить различныя ученія, а изъ того, что сочинителю всѣ мнѣнія равны, ибо онъ не взялъ себѣ въ толкъ ни одного изъ нихъ. Исполать!

Сочиненія Платона. Переведенныя съ греческаго и объясненныя профессоромъ Санктпетербургской Духовной Академіи Карповымъ. Часть II-я. Спб. 1842.

Во второй части «Сочиненій Платона» также еще нѣтъ самого Платона, какъ не было и въ первой: герой той и другой части — великій учитель Платона, Сократъ. Но въ этой части Сократъ является уже съ другой, болѣе интересной для всѣхъ, нежели для немногихъ, стороны своей. Въ первыхъ трехъ разговорахъ мы видѣли только діалектика Сократа, который обезоруживалъ хитросплетенную ложь софистовъ ихъ же собственнымъ оружіемъ — діалектикой, но который не высказывалъ своихъ убѣжденій и идей, довольствуясь тѣмъ, что изобличалъ пустоту и ничтожество софистическаго лжеудовольствія. Въ слѣдующихъ же пяти разговорахъ — «Хармидъ», «Этифронъ», «Менонъ», «Апологій Сократа» и «Критонъ», изъ которыхъ состоитъ эта вторая часть, мы видимъ мыслителя и мудреца Сократа, знакомимся съ его высокою мудростью, исполненной глубочайшаго нравственнаго и жизненнаго содержанія. Эта мудрость всѣмъ доступна и всякому понятна, кто только жаждетъ мудрости: ибо Сократъ, какъ истинный грекъ, есть мудрецъ, а не философъ. Между этими двумя словами большая разница. Мудрецовъ могла производить только древность, гдѣ всѣ стихіи жизни были слиты въ органическое цѣлое и единое, гдѣ жрецъ, ученый, художникъ, купецъ, воинъ прежде всего былъ человѣкомъ и гражданиномъ; гдѣ гуманическое начало развивалось въ чело-вѣкѣ прежде всего; гдѣ воспитаніе было столько же развитіемъ тѣла, сколько и духа, на томъ

основаніи, что только въ здоровомъ тѣлѣ можетъ обитать и здоровая душа; гдѣ мыслить значило вѣровать и вѣровать значило мыслить; гдѣ имѣть нравственное убѣжденіе значило быть всегда готовымъ умереть за него; гдѣ наука и искусство не отдѣлялись отъ жизни и образъ мыслей отъ образа жизни; гдѣ гражданинъ былъ участникомъ и въ правленіи, и въ жрецествѣ; гдѣ воинъ въ мирное время учился мудрости и наслаждался искусствомъ, а ученый, артистъ и ораторъ во время войны сражались за отечество и умирали за него; гдѣ праздники были столько же религіозными, столько эстетическими, общественными, государственными и національными... Греція въ особенности была такой страной въ древности, и только она могла произвести такого мудреца, какъ Сократъ, который поучалъ мудрости, бесѣдуя съ народомъ на площадяхъ, въ собраніяхъ, въ торжествахъ, въ темницахъ, — вездѣ, гдѣ могъ сойтись и встрѣтиться съ человекомъ.. Наше время — время не мудрецовъ, а философовъ, не людей, а книжниковъ, ученыхъ... Это потому, что многосторонніе и безконечно разнообразныя, въ сравненіи съ древностью, элементы новой жизни до сихъ поръ еще въ броженіи, до сихъ поръ еще не примирились и не слились въ единое и цѣлое. Въ наше время всѣ — или пѣтатскіе, или военные, или мѣщане, купцы, художники, ученые, земледѣльцы, все, что угодно, — только не «люди»: титло «человѣка» священно и велико только на словахъ да въ книгахъ, а въ жизни о немъ никто не заботится, никто не спрашиваетъ... Въ юности мы учились всѣмъ наукамъ, исключая той, которая научаетъ каждого быть человекомъ. Званіе такое-то можетъ въ наше время избавлять отъ обязанности знать что-нибудь внѣ его сферы; званіе ученаго напимѣръ позволяетъ быть трусомъ, блѣднѣть и прятаться при звукѣ оружія. Но всего грустнѣе, что не только званіе, но даже всемірная слава философа у насъ не только избавляетъ отъ обязанности считать себя въ какихъ бы то ни было кровныхъ связяхъ съ обществомъ и народомъ, но еще какъ бы поставляетъ въ обязанность считать для себя за честь быть выше общества и современности... Оттого-то въ наше время иной философъ, пока на кафедрѣ, — Промееей, рѣшительный Промееей: слушаешь и дивнись, какъ одинъ человѣкъ можетъ вмѣстѣ въ себѣ столько мудрости, столько знанія!... Но придите въ домъ къ этому Промеею: Воже мой, какое превращеніе! Филистеръ, мѣщанинъ, человѣкъ, котораго вся поэзія жизни ограничена какой-нибудь кухаркой-женой, трубкой вънастера и кружкой пива... На кафедрѣ — ему, кажется, только и бесѣдовать бы что съ богами; а въ жизни это одинъ изъ почтеннѣйшихъ членовъ бюргеръ-клуба... На кафедрѣ это герой истины, готовый защищать ее логическими построениями противъ всей вселенной; а въ жизни — это человѣкъ, хорошо вытвердившій

правило «мое дѣло сторона», и живущій въ ладъ со всякой дѣйствительностью, равно счастливый при всякихъ обстоятельствахъ. Удивительно ли, что философія въ наше время производитъ только школьныя партіи, и что живя такъ же не хочетъ ее знать, какъ и она не хочетъ знать жизнь?... А художникъ нашего времени?... Онъ живетъ въ прошедшемъ, поетъ, какъ птица, и, подобно птицѣ, перепархиваетъ съ вѣтки на вѣтку, нища мѣстечка, гдѣ бы ему было получше... Не такова была древность — эта великая школа людей и мужей, гдѣ самыя женщины были героинями своихъ обязанностей и, будучи женами и матерями, умѣли быть и гражданками; гдѣ художники и ученые были не птицами и не педантами, а таинниками, хранителями Прометеева огня національной жизни... Тамъ слово было дѣломъ, и дѣло было словомъ, мысль — фактомъ, и фактъ — мыслью. Зато въ Греціи напимѣръ Гомера знали не одни ученые, а цѣлый народъ; Пиндару и Кориннѣ рукоплескала вся Эллада на олимпійскихъ играхъ; Геродотъ на тѣхъ же олимпійскихъ играхъ (а не въ собраніи общества любителей словесности) читалъ эллинамъ исторію славной борьбы ихъ съ Азіей, а юноша Оукидидъ плакалъ, слушая вѣщаго старца... Софокль, обвиненный неблагодарными дѣтьми въ похитательствѣ ума, передъ лицомъ всего народа выигрываетъ процессъ, прочтя судѣ народу отрывокъ изъ своего «Эдипа»... А между тѣмъ греки не знали великаго искусства книгопечатанія, которымъ мы столько гордимся, забывая, что у насъ большая часть и знающихъ-то грамотѣ читаютъ только преисъ-куранты да объявленія о продажахъ и подрядахъ...

Вѣрить и не знать — это еще значить что-нибудь для человѣка; но знать и не вѣрить — это ровно ничего не значить. Сознательная вѣра и религіозное знаніе — вотъ источникъ живой дѣятельности, безъ котораго жизнь хуже смерти. А между тѣмъ сколько людей въ наше время безъ нахати рады, что они — скептики, и что они вѣрятъ только въ то, что чѣмъ больше въ карманѣ денегъ, тѣмъ веселѣе быть скептикомъ!... Только въ такое несчастное время могутъ существовать люди, которыхъ ремесло состоитъ въ томъ, чтобы тѣшить праздную толпу, куврякаясь передъ ней на канатѣ, въ нарядѣ паяца, въ колпакѣ съ бубенчиками, и которые готовы доказывать, для ея потѣхи, что Сократъ былъ умный плутъ, который морочилъ аэнианъ своимъ демономъ, внутренне смѣясь надъ ними, какъ будто бы Сократъ былъ забавникъ-журналистъ или шутъ... Эти «скептики», по себѣ самимъ судящіе о великихъ людяхъ, эти потѣшники толпы, съ свойственнымъ имъ безстыдствомъ, готовы доказывать, что Сократъ и чашу-то съ цикутой выпилъ изъ желанія плутовать и тѣшиться... Для низкихъ натуръ ничего нѣтъ пріятнѣе, какъ мстить за свое ничтожество, бросая грязью своихъ воззрѣній въ святое и великое жизни...

А бессмысленная толпа, дикая невежественная чернь за то-то и удивляется этимъ гаерамъ, принимая ихъ наглость и дерзость за знаніе и умъ...

Кстати о Сократѣ и о чашѣ съ цикутой, которая прекратила дни мудреца и праведника: въ разговорѣ «Критонъ» Платонъ представляетъ Сократа бесѣдующимъ въ темницѣ съ ученикомъ его, Критономъ. Критонъ уговариваетъ Сократа бѣжать; Сократъ доказываетъ ему, что не можетъ этого сдѣлать, не отрѣкшись отъ своего собственнаго ученія и не запятнавъ безчестіемъ всей своей жизни. Такъ мыслить и чувствовалъ Сократъ — этотъ тонкій плутъ, этотъ ловкій «надувало», тѣшившійся надъ легковѣріемъ афинянъ!... И какъ его мышленіе было его вѣрой, — онъ мученической смертью утвердилъ справедливость своего религіознаго сознанія. Изучать доктрину Сократа, изложенную въ бесѣдахъ, преніяхъ, какъ самъ онъ излагалъ ее, — значитъ не только просвѣщать свой разумъ свѣтомъ истины, но и укрѣплять свой духъ въ вѣрѣ въ истину, приобретать божественную способность дѣлаться жрецомъ истины, готовымъ все принести въ жертву ей и прежде всего — самого себя.

Вотъ почему, нисколько не увлекаясь и не преувеличивая дѣла, но видя его совершенно такимъ, каково оно есть дѣйствительно, мы смѣло можемъ сказать, что Карповъ, если онъ кончитъ изданіе своего перевода, совершитъ подвигъ столько же гражданскій, сколько и ученый. Это великая заслуга передъ обществомъ, это безцѣнный подарокъ его настоящему и будущему. Изученіе классической древности въ новѣйшей Европѣ положено краеугольнымъ камнемъ публичнаго воспитанія юношества, — и въ этомъ видна глубокая мудрость. Есть люди, которые кричатъ: «зачѣмъ намъ нѣтъ спасенія безъ грековъ и римлянъ? зачѣмъ непременно изучать греческій и латинскій, а не санскритскій, или не арабскій языкъ, если ужъ безъ древнихъ языковъ нельзя обойтись?» — Зачѣмъ, милостивые государи, что связь новѣйшей Европы съ Индіей и Аравіей гораздо отдаленнѣе, нежели съ Греціей и Римомъ. То родство въ двадцатомъ столѣтіи, а это родство — близкое, кровное. Изученіе классической древности преобразовало Европу, свергло тысячелѣтнія оковы съ ума чело-вѣческаго, способствовало освобожденію отъ инквизиціи и тому подобнымъ чело-вѣколюбивыхъ и кроткихъ мѣръ къ спасенію душъ. Законодательство римское заимало въ новѣйшей Европѣ феодальную тиранию правомъ, на разумъ основанномъ. Древняя Греція и Римъ — страны духа, впервые освободившагося отъ деспотическаго владычества природы, представитель котораго — Азія. Тамъ, на этой классической почвѣ, развились сѣмена гуманности, гражданской доблести, мышленія и творчества, тамъ начало всякой разумной общественности, тамъ всѣ ея первообразы и идеалы. Правда, тамъ

общество, освободивъ чело-вѣка отъ природы, слишкомъ и покорило его себѣ. Зато средніе вѣка ужъ слишкомъ освободили его отъ общества и впали въ другую крайность. Теперь настаетъ время примиренія этихъ двухъ крайностей, во имя среднихъ вѣковъ и древняго міра; слѣдовательно, Греція и Римъ и теперь еще живутъ и дѣйствуютъ въ насъ, къ нашему благу и нашему преуспѣянію въ осуществленіи на дѣлѣ идеальной истины, которая одна только истинна, ибо всякая эмпирическая истина — ложь.

Переводъ Карпова именно такой, какого только нужно желать въ наше время: вѣрный и точный до буквальности,носящій на себѣ отпечатокъ того языка, съ котораго онъ сдѣланъ; но отъ того русскій языкъ въ немъ нисколько не изнасилованъ и не лишенъ своей естественности. Переводъ изящный болѣе обогатилъ бы нашу литературу, чѣмъ познакомилъ бы насъ съ Платономъ. Такой переводъ можетъ быть важенъ для насъ только послѣ перевода Карпова; но и тогда мы читали бы его *texte en regard* съ переводомъ Карпова, и нѣтъ послѣдній подъ рукою, такъ сказать, для повѣрки не-ваго. Честь и слава чело-вѣку, скромно, въ тиши кабинета, наединѣ, совершающему свой трудъ, который былъ бы истиннымъ подвигомъ для цѣлаго ученаго общества! Не ужели этотъ трудъ не поддержится публичной? — Страшно и подумать объ этомъ...

Наши, списанные съ натуры русскими. Вступокъ двенадцатый. «Няня» Соч. *** год. Спб. 1842.

Статья «Няня» служить новымъ доказательствомъ, что русскія дамы могутъ писать — по крайней мѣрѣ не хуже русскихъ мужчинъ... Русская няня изображена тутъ вѣрно и живописно. Какъ и слѣдуетъ, она является въ статьѣ ангеломъ-хранителемъ дитяти, любить его безсознательно, страдаетъ его страданіями, радуется его радостями. Впрочемъ это только одна сторона русской няни, любящей до самоотверженія, но и необразованной, и грубой, и переполненной всевозможными предразсудками черни. Жаль, что даровитая писательница только слегка коснулась другой стороны няни, едва намекнувъ, какъ няня балуетъ дѣтей глупымъ потворствомъ и грубымъ заступничествомъ передъ гувернантками, на которыхъ, за ихъ справедливую строгость къ дѣтямъ, уже вышедшимъ изъ подъ ея надзора, ворчатъ и злятся за глаза и въ глаза. Тутъ можно было бы нарисовать широкую картину, какъ няня, всегда балуя младшихъ на счетъ старшихъ, озлобляетъ послѣднихъ чувствомъ несправедливости, и изъ тѣхъ и другихъ ангело-подобныхъ существъ подготавливаетъ исподволь существа, совсѣмъ не похожія на ангеловъ... А впрочемъ она ихъ любитъ страстно и нѣжно, только безсознательно, какъ любятъ животныя и люди невежественные, какъ любятъ коровы телятъ, а куры —

цыплятъ, какъ любятъ русскія няни порученныхъ имъ заботливости чужихъ дѣтей... Потому не мѣшало бы замѣтить, какъ эти няни портятъ воображеніе дѣтей страшными разсказами о привидѣніяхъ и тому подобныхъ вздорахъ, которые сильно впечатлѣваются въ юномъ мозгу и вслѣдствіе этого часто одолеваятъ разсудокъ взрослыхъ людей... Еще замѣтимъ, что никакъ нельзя согласиться съ мыслью сочинительницы статьи, будто бы няней, въ смыслѣ ангела-хранителя дѣтей, обязаны мы только крѣпостному сословію. Причина любви старухъ къ дѣтямъ лежитъ въ натурѣ человѣка: старость вездѣ и всегда другъ дѣтства, а дѣтство другъ старости. Дѣтя любятъ свою «бабу» (т. е. мать отца или матери) едва ли не болѣе, чѣмъ мать свою, ибо первая—такъ какъ для нея нѣтъ уже въ жизни никакихъ другихъ интересовъ—занимается имъ съ какой-то неизъяснимой преданностью.

Изложеніе и вообще языкъ статьи «Няня» — просто прелесть: всѣ подробности такъ вѣрно сказаны съ натуры, такъ мастерски перенесены на бумагу, что, читая, будто видишь все на самомъ дѣлѣ. Право, для спасенія чести современной русской литературы, безвременно погибающей отъ нравственно сатирическихъ шпелей и другихъ дрянныхъ и докучныхъ насѣкомыхъ, одно только средство—просить дамъ, чтобъ онѣ побольше писали по-русски...

Драматическія сочиненія и переводы Н. А. Полевого. Спб. 1842. Дѣя части.

Полевой сдѣлался драматистомъ совершенно печально. Еслибъ въ то время, когда издавалъ онъ свой «Московскій Телеграфъ», въ которомъ съ такой энергіей и такимъ одушевленіемъ преслѣдовалъ и уничтожалъ бездарность и посредственность, еслибъ, говоритъ мы, въ то время кто-нибудь сказалъ ему, что пѣкогда онъ будетъ писать «драматическія представленія», — то, думаемъ, такое предсказаніе почелъ бы онъ за обыкновенную выходку оскорбленной и самолюбивой посредственности, которая не хочетъ, да еслибъ и хотѣла—не можетъ вѣрить въ другихъ продолжительности и неизмѣнности возвышенныхъ убѣжденій. Другими словами: онъ принялъ бы этихъ предсказателей за тѣхъ людей, которые съ лукавой усмѣшкой всегда говорятъ пылкому юношѣ, презирающему пошлыми житейскими продѣлками и порывающемуся къ осуществленію высшаго идеала жизни: «а вотъ погоди, упрямаясь—не то запоешь; мы сами не хуже тебя горячились въ свое время, да вотъ утомонились же и взяли за умъ!». Пылкая юность обыкновенно презираетъ такими предсказаніями, но втайнѣ они сердятъ ее и обдаютъ холодомъ, заставляющимъ содрогаться. Увы! на зло пылкой юности, слова этихъ предсказателей не совѣтъ вздоръ и ложь, или, лучше сказать, рѣдко, очень

рѣдко вздоръ и ложь... Нѣчто вродѣ этой горькой мысли такъ ловко и занимательно было развито самимъ Полевымъ въ его безъ всякихъ претензій написанной статейкѣ: «Три Дня въ Двадцати Годахъ» (сценны изъ обыкновенной человеческой жизни, въ разговорахъ представленны; см. «Новый Живописецъ Общества и Литературы, составленный Николаемъ Полевымъ». Москва. 1832, часть III, стр. 119); вотъ содержаніе этой пріятельской статейки. Нѣсколько задушевныхъ друзей, за бутылкой вина, мирно бесѣдуютъ о высокой цѣли жизни, о высокомъ смыслѣ ихъ дружбы. «Мы,—говоритъ одинъ изъ нихъ,—осмѣливаемся причислить себя къ людямъ, отличеннымъ Зевесомъ любовью; намъ должно прожить не только не дѣлая зла: это участь толпы!—нѣтъ, для насъ впереди завидная судьба: дѣйствовать и быть полезными другимъ, тѣмъ, что дала намъ мать-природа и общая дружба наша, освященная заветомъ на прекрасное и великое; всѣ мы въ одно время вступили въ свѣтъ: дадимъ же руку и поклонимся жить для ближнихъ!» На эту восторженную рѣчь восклицаютъ всѣ другіе: «клянесь!». Ораторъ продолжаетъ: «И да будетъ тотъ наказанъ общими всѣхъ насъ презрѣніемъ, кто измѣнитъ клятвѣ! Не я измѣню ей первый...» — «И не я, и не я!» повторяютъ всѣ другіе. Пріятельская бесѣда эта происходитъ наканунѣ развѣда друзей по разнымъ дорогамъ жизни. Одинъ изъ нихъ поэтъ и литераторъ: онъ читаетъ отрывки изъ своихъ стихотвореній, говоритъ объ успѣхѣ своихъ статей, о Лагариковомъ разборѣ «Закры», о нецѣлости англійской драмы и о преимуществѣ «Россіады» передъ «Генріадой». Другого изъ нихъ мѣтятъ друзья въ великіе полководцы; третій самъ смотритъ великимъ дипломатомъ. Вотъ черезъ десять лѣтъ послѣ этого вечера, друзья опять собираются; но это уже не тѣ пылкіе молодые люди, съ которыми мы познакомились въ первый вечеръ, назадъ тому десять лѣтъ... Одинъ изъ нихъ мизантропъ и клянеть себя, какъ за слабость, за остатокъ любви къ людямъ; другой не бережетъ своего здоровья, говоря, что «не для чего»; всѣ чувствуютъ, что отстали отъ вѣка, выжили изъ таланта: дѣйствительность поколотила мечты юности ихъ, и они недовольны жизнью, недовольны другъ другомъ, пересушиваютъ, упрекаютъ одинъ другого въ слабостяхъ, недостаткахъ и ошибкахъ. Еще черезъ десять лѣтъ одинъ изъ нихъ уже сдѣлался «его превосходительствомъ», двое другихъ подличаютъ въ его передней, а третій безуспѣшно хлопочетъ у своего превосходительнаго друга по дѣлу сироты, сына одного изъ ихъ друзей, котораго хотѣтъ ограбить друзья же отца его,—и о мѣстечкѣ съ пустымъ жалованьемъ для другого сироты, сына умершаго въ домѣ умалишенныхъ лучшаго друга изъ этого кружка друзей.

Это рѣшительно лучшее изъ всѣхъ «драматическихъ представленій» Полевого, ибо въ немъ отразилось человѣческое чувство, навѣянное ду-

мой о жизни; а между тѣмъ Полевой написалъ его безъ всякихъ претензій, какъ бездѣлку, которая не стоила ему труда, и которую прочтутъ—хорошо, не прочтутъ—такъ и быть! Какая же мысль этого «драматическаго представленія»? Она ясна и безъ поясненій; но у насъ есть своя мысль на этотъ предметъ,—мысль, по нашему мнѣнью, достойная того, чтобъ какой-нибудь поэтъ взялъ ее въ основаніе дѣлой драмы или дѣлаго романа: «Юность есть огонь и свѣтъ жизни; каждый человѣкъ, по своему, бываетъ разъ въ жизни юнъ; но одинъ сохраняетъ юность до двадцати лѣтъ, другой—до тридцати, третій—до сорока, и такъ далѣе; немногіе избранники Провидѣнія совсѣмъ не знаютъ старости и цвѣтутъ юностью подъ свѣгомъ волосъ дряхлой старости». Гордое презрѣніе къ посредственности—одно изъ свойствъ юности; оно происходитъ изъ любви къ высокому и истинному, изъ внутренняго ясновидѣнія идеала высшей жизни. Довольство тѣмъ, что есть, безъ требованія того, чего еще нѣтъ, но безъ чего не для чего жить, примиреніе съ окружающею дѣйствительностью, терпимость посредственности—вотъ первые страшные предшественники наступающей старости. Кто окупается въ омутъ жизни, кто привыкнетъ къ житейскому, прозаическому, мелочному и посредственному—до того, что съ убѣжденіемъ и самоудовольствіемъ возьметъ въ немъ свою роль и, какъ успѣху, радъ будетъ ей,—тотъ уже старикъ, хилый старикъ. Тускнѣютъ его дряхлыя очи и, сквозь покрывшую ихъ мутную влагу, не могутъ рассмотреть ничего юнаго и великаго: оно возбуждаетъ въ нихъ только кропотливое ворчаніе, которымъ означается порицанье всего новаго и похвала всему старому! Отнимается у нихъ даже свѣтлое воспоминаніе о ихъ невозвратно-погибшей юности, и они называютъ безумствомъ гордые помыслы и благородные порывы своихъ юныхъ лѣтъ, они помнятъ въ нихъ только сильный аппетитъ да крѣпкій сонъ; они хвалятъ свое время не за то, что было въ немъ безусловно прекраснаго, а за то только, что оно было ихъ время... «Забирайте же съ собой въ путь, выходя изъ мягкихъ юношескихъ лѣтъ въ суровое, ожесточающее мужество, забирайте съ собой всѣ человѣческія движенія, не оставляйте ихъ на дорогѣ—не поднимите потомъ! Грозна страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдастъ назадъ она! Могила милосердіе ея, на могилѣ напишется: здѣсь погребенъ человѣкъ! но ничего не прочитаешь въ хладныхъ, безчувственныхъ чертахъ безчеловѣчной старости!» («Мертвыя Души.»)

Но мы, заговорясь о постороннихъ предметахъ, отделились отъ предмета нашей статьи—«Драматическихъ Сочиненій и Переводовъ» Полевого. Читателямъ должно быть извѣстно намъ о нихъ мнѣніе. Полевой въ своемъ «Послѣсловіи», приложенномъ къ концу второй части «Драматическихъ Сочиненій и Переводовъ», говоритъ между прочимъ:

«За немногими исключеніями, которые приѣмлю съ глубокой привнательностью», все, что можно сказать объ Александрѣхъ Анфимовичахъ Орловыхъ и «подобныхъ ему» писателяхъ, было обо мнѣ сказано критиками. Они находили, что даже самый родъ драматическихъ пьесъ ложный, что онѣ *коцебятина* (извините: выраженіе критиковъ); что онѣ доказываютъ безвкусіе, безграмотность; что я обобралъ въ моихъ драматическихъ сочиненіяхъ Шекспира, Гёте, Шиллера, Мольера, Вольтера, Дюма, В. Гюго, В. Скотта, Озерова, Кукольника, и—право, не помню кого-то еще!»

Не принадлежа къ числу критиковъ, на которыхъ такъ горько жалуется Полевой, мы смѣло можемъ сказать, что въ ихъ обвиненіяхъ нѣтъ ни правды, ни толка, и что въ то же время и самъ Полевой не совсѣмъ правъ въ томъ, что говоритъ въ выписанныхъ нами словахъ своего «Послѣсловія». Во-первыхъ, зачѣмъ ему принимать съ глубокой признательностью немногія исключенія по части критическихъ отзывовъ въ пользу его «драматическихъ представленій»? Если ихъ хвалили, то, надо полагать, за то, что находили ихъ достойными похвалы: какой же авторъ обязанъ благодарностью (да еще и глубокой!) критику, который, находя его сочиненія хорошими, не называетъ ихъ дурными? По нашему мнѣнью, авторы благодарятъ критиковъ только за пристрастныя похвалы или за снисхожденіе, которое для гордой юности позоритъ всякую брань. Потомъ: критики, которые равняли Полевого съ Александромъ Анфимовичемъ Орловымъ и находили въ его драмахъ безвкусіе, безграмотность и бессмысліе—«наѣлись грязи», какъ выражается одинъ татарскій критикъ. Мы, напротивъ, думаемъ, что Полевой въ своихъ драмахъ несравненно выше, чѣмъ А. А. Орловъ въ своихъ романахъ, и что въ драмахъ Полевого есть не только и вкуса, много грамотности, и смыслъ вездѣ на лицо. Но вотъ въ томъ-то и бѣда наша, что мы не любимъ посредственности; она для насъ хуже бездарности! При томъ-же мы такъ уважаемъ въ лицѣ Полевого бывшаго журналиста, что намъ непріятно видѣть его чѣмъ-то среднимъ между Кукольниковъ и Ободовскихъ (много ниже перваго и мало выше втораго) и главой разныхъ драматистовъ, съ успѣхомъ подвизавшихся на сценѣ Александринскаго театра. По тому же самому намъ непріятно, что его въ томъ же театрѣ вызываетъ та же публика, которая вызываетъ и Зотова, и Коровкина, и многихъ другихъ того же разбора сочинителей. По нашему мнѣнью, не должно дорожить такими рукоплесканіями, такими вызовами, такой славой.. Далѣе: не правы критики, называя родъ «драматическихъ представленій» Полевого ложнымъ: ибо прежде всего это совсѣмъ не родъ, а такъ, Богъ знаетъ что такое... Еще: не правъ Полевой, почему-то почитая слово «коцебятина» неприличнымъ и извиняясь въ немъ передъ публикой. Коцебятина—то же, что у французовъ напимѣръ *parivaudage*: пер-

вое означаетъ родъ и характеръ драматическихъ пьесъ Коцебу, второе — комедій Маривѡ. Наконецъ не правы критики, утверждая, что Полевой обиралъ въ своихъ «драматическихъ представленіяхъ» Шекспира, Гёте, Шиллера, Мольера, Вольтера, Дюма, В. Гюго, Озерова и Кукольника. Правда, въ любви Ниню и Вероники (въ «Уголино») Полевой сдѣлалъ пародію на «Ромео и Юлію» Шекспира; въ своей «Еленѣ Глинской» Полевой перепародировалъ «Макбета» Шекспира и частью «Кенильвортъ» В. Скотта: но писать пародіи на великія созданія великихъ поэтовъ и обирать ихъ—это совсѣмъ не одно и то же; критики рѣшительно неправы въ этомъ случаѣ! Что касается до Мольера, Полевой передѣлалъ (и то съ кѣмъ-то вдвоемъ) «*Malade imaginaire*», и не думалъ скрывать этого; но передѣлка дѣло—законное и ничего общаго съ литературнымъ обирательствомъ не имѣетъ! Что же касается до Гёте, Шиллера, Вольтера, Дюма, Гюго, Озерова и Кукольника,—то едва ли критики обвиняли Полевого въ похищеніяхъ у этихъ писателей. Правда, Полевой иногда сталкивался съ Кукольниковъ въ нѣкоторыхъ театральныхъ эффектахъ, но это потому, что *les beaux esprits se rencontrent*...

Описавъ злонамеренность критиковъ, Полевой говоритъ, что онъ «втеченіе пяти лѣтъ имѣлъ честь удостоиться за пятнадцать пьесъ драгоценнаго ему одобренія зрителей петербургскихъ и московскихъ». Противъ этого мы не споримъ: здѣсь публика нашла по себѣ сочинителя, а сочинитель нашелъ по себѣ публику; обѣ стороны одна другой довольны, обѣ поняли одна другую—зрѣлище пріятное и умиленное! Двѣ только пьесы заслужили осужденіе публики, «справедливое во всѣхъ отношеніяхъ», прибавляетъ Полевой съ рѣдкой въ нашъ развратный вѣкъ скромностью и безпристрастіемъ къ самому себѣ.

«Такъ поступила со мной критика. Такъ поступила со мной публика. Чѣмъ рѣшить такое противорѣчіе?» Вопросъ глубокомысленный! Есть надѣ чѣмъ поломать голову даже Парижской Академіи Наукъ! Что же касается до насъ,—не смѣемъ и думать, чтобъ нашихъ силъ стало на рѣшеніе вопроса такой важности.

Далѣе Полевой говоритъ, что собираетъ свои пьесы виѣстѣ въ ожиданіи окончательнаго приговора. «Критикамъ (прибавляетъ онъ) доставится средство осудить повально то, что они осуждали въ разбой». Каламбуръ! И еще какой—его стало бы на цѣлый водевиль!

Странно однакожъ, какъ все измѣняется въ этомъ тревожномъ мірѣ: Полевой, нѣкогда критикъ строгій, рѣзкій и для многихъ страшный, теперь такъ же скромно протестуетъ противъ неугомонности критиковъ, какъ нѣкогда, когда онъ самъ былъ критикомъ, множество сочинителей протестовало (и такъ же тщетно) противъ него. И неужели драматическіе труды князя Шаховскаго, каковы бы ни были они, ужъ до такой степени ниже «Драматическихъ представленій»

Полевого?.. А вѣдь едва ли кто о самомъ А. А. Орловѣ или объ извѣстномъ знаменитомъ его соперникѣ говорилъ такіа вещи, какія въ старину говаривалъ Полевой о князѣ Шаховскомъ по поводу его драматическихъ пьесъ...

Интересно, какъ высказываетъ Полевой свое мнѣніе о собственныхъ «драматическихъ представленіяхъ»: это драгоценныя черты для будущаго біографа Полевого! «Мать семейства (говорить онъ) смѣло можетъ причислить мои драматическія сочиненія къ бібліотекѣ своего семейнаго чтенія, и наградой моею будутъ ея слезы и ея улыбка». Да, правда, тысячу разъ правда! Тутъ и сама зависть къ славѣ Полевого охотно согласится, что эта награда столько же принадлежитъ ему, какъ и В. М. Федорову.

Мать дочери велитъ его читать!

Лестная награда для великаго писателя!.. Увы, этой награды не удостоились изъ чужихъ: ни Гомеръ, ни Дантъ, ни Сервантесъ, ни Шекспиръ, ни Байронъ, ни многіе другіе, а изъ нашихъ: ни Пушкинъ, ни Гоголь, ни Лермонтовъ!..

Трудно было бы слѣдить за критической оцѣнкой Полевого собственныхъ его пьесъ: замѣтимъ только, что «Параша»—его любимая пьеса, что день ея представленія былъ счастливѣйшимъ днемъ его жизни, что успѣхъ ея былъ необыкновенный, и что она послужила темой оперѣ Струйскаго, также заслужившей вниманіе знатоковъ...

Выписываемъ вполнѣ замѣтку Полевого о «Солдатскомъ Сердцѣ»—она въ высшей степени замѣчательна:

«Солдатское сердце. Основаніе взято изъ событія въ жизни извѣстнаго литератора, Ѳ. В. Булгарина. Находясь въ военной службѣ и бывши въ Финляндіи, въ юности своей онъ спасъ несчастнаго, ложно обвиненнаго въ предательствѣ, и черезъ много лѣтъ потомъ имѣлъ наслажденіе слышать благодарность сына за сохраненіе жизни отца. По особеннымъ обстоятельствамъ, пьеса моя была принята довольно холодно; но я печатаю ее, потому что *никакія частныя отношенія не сильны побѣдить мое убѣжденіе тамъ, гдѣ я по совѣсти считаю себя правымъ, если воздаю достойному достойное*».

Итакъ, пьеса Полевого «Солдатское Сердце» трижды замѣчательна: во-первыхъ,—тѣмъ, что сюжетъ ея сообщенъ сочинителю Булгаринымъ и Полевой написалъ ее по разсказу Булгарина; во-вторыхъ,—тѣмъ, что по особеннымъ обстоятельствамъ она была довольно холодно принята; въ-третьихъ,—потому что никакія частныя отношенія не помѣшаютъ Полевому воздавать достойному достойное. Александръ Македонскій завидовалъ Ахиллу, что этотъ герой имѣлъ такого пѣвца своихъ подвиговъ, какъ Гомеръ; сколько же героевъ позавидуютъ теперь Булгарину!.. А какая черта великодушія со стороны Полевого это «Солдатское Сердце!» Никакія отношенія... слышите ли: никакія отношенія! т. е. ни «писатели съ огороднымъ прозваніемъ», ни «квасники, самоучкой выучившіеся грамотѣ!...». Подлинно,

когда два достойные сочинителя поймутъ другъ друга, то изъ гусака судиться не будутъ, какъ Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ въ повѣсти Гоголя!..

Комедию «Минимый Больной», водевилъ «Черезполосныя Владѣнія» и «Онъ за все платитъ» и комедию «Ужасный Незнакомецъ» Полевой печатать не хочетъ, и даже кается въ нихъ, какъ въ литературныхъ грѣхахъ. Онъ самъ говоритъ, что «Ужасный Незнакомецъ» ужасно хлопнулся при первомъ представленіи, и что «не все то годится на сцену, что нравится въ чтеніи». Изъ этого видно, что Полевому «Ужасный Незнакомецъ» понравился въ чтеніи.

«Передѣлывая его для сцены (продолжаетъ Полевой), я полагалъ, что пьеска будетъ забавна, но увидѣлъ, что ничего безсвязнаго и неуклюжаго не можетъ быть. Сидя въ углу ложи, обиликаанный авторъ, философически разрѣшалъ я (подлинно истинный философъ—вездѣ и во всякомъ случаѣ вѣрять своему призванію!) задачу объ условіяхъ и требованіяхъ сцены, когда занавѣсъ опускался при общемъ весьма гармоническомъ шикавнѣ зрителей. — Послѣ того, мѣсяца черезъ два, написалъ я *Парашу Сибирячку*.»

Геніальная черта—не смущаться паденіемъ и возставать послѣ него такъ высоко, что ужъ и спрыгнуть внизъ страшно!..

А жалъ, очень жалъ, что Полевой не хочетъ печатать «Черезполосныхъ Владѣній», «Онъ за все платитъ» и «Ужаснаго Незнакомца». Этакъ—чего добраго!—онъ пожалуй не напечатаетъ и «Комедіи о войнѣ Федосьи Сидоровны съ китайцами». Мы вообще противъ непонимыхъ изданій великихъ писателей, особенно противъ пропусковъ тѣхъ изъ ихъ сочиненій, которыя сами они, по авторской скромности, считали бездѣлками: ибо если въ бездѣлкахъ часто заговаривается писатель, то проговаривается человѣкъ... Говоря о «Трехъ Дняхъ въ Двадцати Годахъ», мы сказали, что составляло нѣкогда паеосъ (страсть духа) Полевого: такъ любопытно же будетъ потомству знать, въ чемъ потомъ заключался паеосъ сочиненій Полевого, чтобъ тѣмъ легче могло оно сравнить, чѣмъ онъ былъ прежде и чѣмъ сталъ послѣ... Въ бездѣлкахъ писатель искреннѣе, больше на распашку, больше человѣкъ, тогда какъ въ сочиненіяхъ, которыя онъ считаетъ важными, онъ словно въ мундирѣ, весь—осторожность... Впрочемъ «Комедія о войнѣ Федосьи Сидоровны съ китайцами» совсѣмъ не бездѣлка: это рѣшительно самое поэтическое, самое національное и самое патріотическое произведеніе Полевого. Напечатайте его, г. Полевой, непременно напечатайте, а мы ужъ приложимъ стараніе—разберемъ...

Стихотворенія Владиміра Бенедиктова. *Первая книга. Второе изданіе. Спб. 1842.*

О достоинствѣ и значеніи поэзіи Бенедиктова споръ уже конченъ; самые почитатели его согла-

саясь, что онъ то же самое въ стихахъ, что Марлинскій въ прозѣ. Подражать тому и другому невозможно: оба они, и Бенедиктовъ, и Марлинскій, оригинальны и самобытны даже въ самыхъ недостаткахъ своихъ. Точно такъ же, какъ геніальные, великіе поэты выражаютъ своими твореніями крайность какой-нибудь дѣйствительной стороны искусства или жизни,—такъ они геніально выразили, одинъ въ стихахъ, другой въ прозѣ, крайность внѣшняго блеска и кажущейся силы искусства, чуждой дѣйствительнаго содержанія, а слѣдовательно и дѣйствительной жизненности. Отсюда происходятъ эти блестящіе, пестрые, узорочные миражи образовъ, столь обольстительные для неопытныхъ глазъ, поражающихся одной внѣшностью; отсюда же происходитъ и эта кажущаяся сила страстей и чувствъ, эта кажущаяся оригинальность и яркость идей, и эта дѣйствительная изысканность выраженія, доходящая иногда до уродливости и чудовищности. На Руси есть нѣсколько поэтовъ, въ произведеніяхъ которыхъ больше чувства, души и изящества, чѣмъ въ произведеніяхъ Бенедиктова; но эти поэты не произвели и никогда не произведутъ на публику и въ половину такого впечатлѣнія, какое произвелъ Бенедиктовъ. И публика въ этомъ случаѣ совершенно права: тѣ поэты незначительны въ той сферѣ искусства, къ которой они принадлежатъ: они заслоняются въ ней высшими поэтами той же сферы; а Бенедиктовъ самъ великъ въ той сферѣ искусства, къ которой принадлежитъ, и потому, никому не подражая, имѣетъ толпу подражателей. Объяснимъ это сравненіемъ. Китайская живопись, какъ все китайское, уродлива и ложна; но картина геніальнаго китайскаго живописца (если только могутъ быть геніальные китайскіе живописцы) сильнѣе поразитъ вниманіе зрителей, чѣмъ европейская картина обыкновеннаго таланта. Вообще должно замѣтить, что поэты, подобные Марлинскому и Бенедиктову, Языкову, Хомякову, очень полезны для эстетическаго развитія общества. Эстетическое чувство развивается чрезъ сравненіе и требуетъ образцовъ даже уклоненія искусства отъ настоящаго пути, образцовъ ложнаго вкуса и, разумѣется, образцовъ отличныхъ. Поэты, которыми суждено выражать эту сторону искусства, тщетно стали бы пытаться въ другой какой-нибудь сторонѣ искусства; особенно для нихъ недостижима цѣломудренная и возвышенная простота. Вотъ почему они держатся однажды принятаго направленія. И хорошо дѣлаютъ: будучи вѣрны ему, они всегда будутъ блестять, всегда будутъ имѣть свою толпу почитателей, и какъ теорія, такъ и исторія искусства всегда будетъ въ нужныхъ случаяхъ ссылаться на нихъ какъ на авторитеты въ извѣстныхъ вопросахъ науки изящнаго,—тогда какъ ни та, ни другая и знать не хотятъ обыкновенныхъ талантовъ въ сферѣ истиннаго искусства.

Стихотворенія Бенедиктова имѣли особенный успѣхъ въ Петербургѣ,—успѣхъ, можно сказать,

народный,—такой же, какой Пушкинъ имѣлъ въ Россіи: разница только въ продолжительности, но не въ силѣ. И это очень легко объясняется тѣмъ, что поэзія Бенедиктова — не поэзія природы или исторіи, или народа, — а поэзія среднихъ кружковъ бюрократическаго народонаселенія Петербурга. Она вполне выразила ихъ, съ ихъ любовью и любезностью, съ ихъ балами и свѣтскостью, съ ихъ чувствами и понятіями,—словомъ, со всѣми ихъ особенностями, и выразила простодушно-восторженно, безъ всякой ироніи, безъ всякой скрытой мысли. Сколько юныхъ чиновниковъ и теперь еще помнитъ наизусть наприимѣръ это стихотвореніе «Напоминаніе»:

Нина, помнишь ли мгновенья,
Какъ пѣвецъ усердный твой,
Весь исполненный волненья,
Очарованный тобой,
Въ шумной залѣ и въ гостиной
Вздоръ твой дѣвственно-невинный
Взоромъ огненнымъ ловилъ,—
Иль мечтательно въ окошку
Прислонясь, летучую-ножку
Тайной думою слѣдилъ,
Иль влекомъ мечтою сладкой,
Въ шумѣ общества, украдкой
Въ слѣдъ за Ниною своею
Отъ людей бѣжалъ къ безлюдью
Съ переполненною грудью,
Съ острымъ пламенемъ рѣчей;
Какъ тоска я въ вихрь круженья
Предъ завистливой толпой
Отанъ твою, полный обольщенія,
На ладони огненной,
И рука моя лѣнливо
Отдѣлялась отъ оней
Безконечно прихотливой
Днѣной талии твоей;
И когда ты утомлялась
И садилась отдохнуть,
Океаномъ мнѣ являлась
Нгой зыблемая грудь,—
И на этомъ океанѣ,
Въ пѣни млечной близины,
Черезъ дымку, какъ въ туманѣ,
Рисовались дѣт волны?—
То угрюмъ, то бурно веселъ,
Я стоялъ у пышныхъ креселъ,
Гдѣ покоилась ты,
И прерывистою рѣчью,
Къ твоему склоняясь заплечу,
Пролеталъ мой мечтъ:
Ты внимала мнѣ привѣтно,
А шалутъ главы твоей—
Русый доконъ, незамѣтно
По щекѣ скользилъ моей...
Нина, помнишь тѣ мгновенья,—
Или времени потокъ
Въ море хладнаго забвенья
Все завѣтное увлекъ?

Врядъ ли кто не согласится, что эта Нина—совершенно безцвѣтное лицо, настоящая чиновница, и что во всемъ этомъ воспоминаніи поэта нѣтъ ничего вѣющаго музыкой души и чувства... Но эта безсердечность, этотъ холодный блескъ, при изысканности и неточности выраженія, кажутся истинной поэзіей «льванъ» и «львицанъ» средней руки...

Какъ человѣкъ съ дарованіемъ, Бенедиктовъ

не лишенъ ни вдохновенія, ни чувства, ни фантазіи; но его вдохновеніе, чувство и фантазія лишены дѣйствительной почвы, которая давала бы имъ жизненное питаніе; оттого они натянуты, неестественны и приводятъ читателя въ какое-то напряженное состояніе, какъ при тяжелой работѣ. Впрочемъ иѣстами, хотя и рѣдко, у Бенедиктова проблескиваютъ истинно-поэтическіе образы, проглядываютъ чувство искреннее и задушевное, какъ наприимѣръ въ этихъ прекрасныхъ стихахъ:

Я помню приволье широкихъ дубравъ;
Я помню край дикій. Тамъ въ годы забавъ,
Невинной безнечности полный,
Я видѣлъ—сиялась, шумѣла вода,
Далеко, далеко, не знаю куда,
Катились все волны, да волны.
Я отрокомъ часто на брегѣ стоялъ,
Безъ мысли, но съ чувствомъ на влагу взиралъ.
И всплески мнѣ поги лобзали.
Въ дали безконечной видѣлись дѣса;—
Туда мнѣ хотѣлось: у нихъ небеса
На самыхъ вершинахъ лежали...

Супружеская истина, въ нравственномъ и физическомъ отношеніяхъ. В. Лебедевъ. Спб. 1842.

Есть на французскомъ языкѣ книга: «Tableau de l'amour conjugal», въ которой брачное состояніе подробно рассматривается во всѣхъ отношеніяхъ и преимущественно—медицинскомъ; В. Лебедевъ выписалъ изъ нея кое-что, одобрилъ это сентиментально-моральными разглагольствованіями собственнаго изобрѣтенія, и у него вышла книжечка, опрятно и красиво напечатанная, хотя и со множествомъ ошибокъ противъ орфографіи. О предметахъ такого рода, какъ брачное состояніе, рассматриваемое въ физическомъ отношеніи, должно или все говорить, или ничего не говорить: въ первомъ случаѣ книга можетъ быть полезна тѣмъ, для кого она писана, во второмъ случаѣ она будетъ бесполезна... Что касается до его нравственныхъ разсужденій — ихъ главная идея и цѣль состоитъ въ томъ, что всѣ должны жениться, и что безбрачное состояніе — страшный грѣхъ. Положимъ и такъ; но вотъ бѣда: Лебедевъ полагаетъ взаимную любовь необходимымъ условіемъ брака, а вѣдь любовь есть чувство, независящее отъ воли человѣка, и никто не можетъ сказать себѣ: «дай-ка, влюблюсь вотъ въ эту, или вонъ въ ту», и потому иному во всю жизнь не придется ни разу влюбиться, тогда какъ другой успѣетъ въ продолженіе своей жизни влюбиться нѣсколько разъ; какъ же тутъ быть?—неужели жениться безъ любви?.. Этотъ вопросъ В. Лебедевъ оставилъ безъ отвѣта, вѣроятно потому именно, что это одинъ изъ тѣхъ вопросовъ, на которые отвѣчать трудно. Зато предусмотрительный В. Лебедевъ коснулся другого вопроса, неменѣе важнаго — вопроса о приданомъ. Вотъ это дѣло! но какъ рѣшаетъ онъ этотъ вопросъ?—Онъ говоритъ, что всѣ мужчины ожидаютъ себѣ непремѣнно счастья отъ большого

приданого, и всё по большей части жестоко обманываются въ этомъ... Важная новость, великое открытіе—нечего сказать! Да кто жъ этого не зналъ и безъ вашей книжки. г. В. Лебедевъ? Право, люди не такъ глупы, чтобы не знать, что дважды два—четыре... Дѣйствительно, въ приданомъ неблагоженство, новъ немъ—независимость отъ нуждъ жизни, застрахованіе отъ позора нищеты и голодной смерти. Любовь — дѣло хорошее, но бракъ по любви съ нищетою, вмѣсто приданого, — дѣло глупое и не совсѣмъ нравственное; что хорошаго умножать собой число нищихъ и подвергать любимую женщину всѣмъ униженіямъ и всѣмъ бѣдствіямъ нищеты?.. Вотъ, еслибы вы, г. В. Лебедевъ, взяли на себя трудъ разрѣшить великую политико-экономическую задачу современнаго міра: какъ быть сытымъ и одѣтымъ, не лишенимъ необходимыхъ удобствъ жизни, не получивъ отъ родителей хорошаго наслѣдства и не наворовавъ при «тепленькомъ местечкѣ»

Индѣекъ малую толику,—

это другое дѣло; можетъ-быть многіе съ вами и не согласились бы, зато все-таки остались бы вамъ благодарны хоть за доброе намѣреніе... А то, право, нѣкоторые сочинители считаютъ себя ужасно глубокомысленными, если съ важностью скажутъ, что мужъ долженъ любить жену, а жена—мужа, и т. п. Да кто жъ этого не знаетъ, и кто жъ это исполняетъ?..

На 75 стр. своей книжонки Лебедевъ говоритъ:

«Приданое за женой есть величайшее зло, влекущее за собой развращеніе нравовъ—во-первыхъ, потому: что приданое *естъ* (бываетъ?) главной причиной, что множество мужчинъ остаются на всю жизнь холостыми, а дѣвицы—вѣчными невѣстами; во-вторыхъ, государство отъ безбрачности гражданъ лишается приращенія въ народонаселеніи; и въ-третьихъ, гдѣ болѣе безбрачности, тамъ болѣе разврата и преступленій».

Первое и третье справедливо; но отъ безбрачности не уменьшается народонаселеніе — развѣ увеличивается число несчастныхъ созданій, отъ рожденія осужденныхъ на горе и презрѣніе. В. Лебедевъ очень сожалѣетъ, что не разъ предполагаемое въ Сѣверо-Американскихъ Штатахъ намѣреніе обложить податю всѣхъ неженатыхъ старѣе тридцати лѣтъ отъ роду не состоялось; послѣ этого В. Лебедеву остается сожалѣть и о томъ, что неженатыхъ старѣе тридцати лѣтъ не вѣшаютъ... Онъ не понималъ того, что вѣшніи побудительныя мѣры, какъ бы онѣ сильны ни были, ни къ чему не ведутъ въ такихъ важныхъ общественныхъ вопросахъ. Русскихъ мужиковъ не приневоливаютъ жениться, а они между тѣмъ преусердно женятся: это оттого, что, женясь и приобретая въ жены хозяйку и работницу, мужикъ утверждаетъ свое вѣдшее благосостояніе, а не рискуетъ лишиться его. Когда и въ другихъ сословіяхъ (разумѣется, сообразно съ условіями ихъ быта и образованности) жениться будетъ

выгоднѣе и удобнѣе, нежели остаться въ одиночествѣ,—тогда и въ другихъ сословіяхъ всѣ будутъ жениться, безъ всякихъ денежныхъ пеней и другихъ вѣшнихъ понужденій. А безъ того—всякій скорѣе отдастъ послѣднее для уплаты штрафа, чѣмъ женится: вѣдь лучше дать отрубить себѣ палецъ, чѣмъ голову...

Теперь спѣшимъ выписать единственные дѣльныя строки во всей книжкѣ В. Лебедева:

«Мужчины въ безбрачномъ состояніи живутъ въ обществахъ явно безъ (*соблюдения*) всякаго цѣломудрія, не считая это не только за порокъ, но и не ставя ни себѣ, ни другимъ въ осужденіе; женщинамъ же вмѣняютъ въ предосужденіе самое малѣйшее кокетство. Что это несправедливо, въ этомъ согласится каждый благонамеренный человѣкъ.»

Соглашаемся: ибо мы убѣждены, что право грѣха и преступленія или равно не принадлежать ни тому, ни другому полу, или равно принадлежать и тому, и другому. Разумѣется, первое вѣроятнѣе: но право силы и кулака присвоило мужскому полу и права грѣха и преступленія. не въ примѣръ женщинамъ...

«Мы считаемъ себя (продолжаетъ В. Лебедевъ) живущими въ самомъ просвѣщенномъ вѣкѣ — правда ли это?... Что-то скажутъ объ насъ наши потомки черезъ нѣсколько столѣтій, а судъ и приговоръ потомства справедливъ.»

Правда, тысячу разъ правда!.. Мы даже можемъ сказать В. Лебедеву, что скажутъ о насъ потомки. Они скажутъ: «XIX вѣкъ, считавшій себя самымъ просвѣщеннымъ вѣкомъ, былъ только переходомъ къ истинно просвѣщеннымъ временамъ, ибо въ немъ, гордившемся своей разумностью и гуманностью, владычествовало еще варварство феодальныхъ временъ—чему немалымъ доказательствомъ можетъ служить даже и изданная въ 1843 году маленькая книжка В. Лебедева, подъ названіемъ: «Супружеская истина, въ нравственномъ и физическомъ отношеніяхъ»...

Сочиненія Николая Гоголя. Четыре тома. Спб. 1842.

Въ литературномъ отношеніи нельзя было блистательнѣе заключиться старому году и начаться новому, какъ выходомъ сочиненій Гоголя. Дай Богъ, чтобы это было счастливымъ предзнаменованіемъ для новаго года — чтобы мы увидѣли втеченіе его не однѣ тетрадки и выпуски съ картинками, не однѣ сказки, досужей посредственностью изготовляемыя во множествѣ по заказу литературныхъ антрепренеровъ!..

Намъ нѣтъ никакой нужды говорить о томъ, что содержатъ въ себѣ эти четыре тома: публика уже знаетъ это сама—четыре тома уже прочтены ею по крайней мѣрѣ въ обѣихъ нашихъ столицахъ, если еще не успѣли они проникнуть въ глушь провинцій.

Итакъ, исторія «Мертвыхъ Душъ» готова

повториться: публика читает журналы въ хлопотахъ, особенно тѣ, которымъ такъ не по сердцу произведенія Гоголя... ихъ успѣхъ, хотѣли мы сказать. «Сѣверная Пчела» уже подала голосъ, но она хвалитъ Гоголя (№ 18): «Мыдумаемъ,—говоритъ она,—что для Гоголя вовсе не будетъ униженіемъ, когда мы его поставимъ на одну доску съ Поль-де-Кокомъ и Пиго-Лебрёномъ, писателями талантливыми, но не имѣвшими претензій на поэзію и философію». Увы! мы, съ своей стороны, не можемъ поставить автора этихъ строкъ на одну доску ни съ Поль-де-Кокомъ, ни съ Пиго-Лебрёномъ,—именно потому, что они писатели талантливые и неимѣвшіе притязанія на поэзію и философію... А «Сѣверная Пчела»—надо отдать ей въ этомъ честь,—не имѣя притязаній ни на талантъ, ни на поэзію, сильно претендуетъ на философію, особенно когда хлопочетъ объ участи нечитаемыхъ ею, по ея словамъ, «Отечественныхъ Записокъ»: вотъ и теперь она трунитъ, сколько хватаетъ ея остроумія, какъ надъ образцомъ нелѣпости и бессмыслия, надъ этимъ стихомъ Гёте изъ второй части его «Фауста»:

In deinem Nichts hoff ich das All zu finden.

Ну, ужъ конечно если эта газета можетъ въ «Фаустѣ» Гёте находить бессмыслицы и нелѣпицы, то что для нея произведенія Гоголя, что его поэзія и философія: довольно съ него и того, если эта газета поставитъ его на одну доску съ Поль-де-Кокомъ и Пиго-Лебрёномъ... Жаль, что Гоголь никогда не узнаетъ объ этомъ «производствѣ», и потому не будетъ имѣть возможности поблагодарить «Сѣверную Пчелу».. свойственнымъ ему образомъ...

Но пора отвернуться хоть на время отъ шумнаго рынка этой литературы: наше вниманіе зоветъ теперь къ себѣ то, что составляетъ въ настоящую минуту гордость и честь русской литературы—четыре тома сочиненій Гоголя...

«Вечера на Хуторѣ близъ Диканьки», которыми началось поэтическое поприще Гоголя, и которые теперь въ третій разъ выходятъ въ свѣтъ, оставлены авторомъ въ всякихъ измѣненіяхъ. Такъ и должно было быть: порожденія легкой, свѣтлой, юношеской фантазій, веселыя пѣсни на пиру еще неизвѣданной жизни, они не могли подвергнуться измѣненіямъ поэта, который уже давно смотритъ на жизнь взоромъ глубокимъ, пронзительнымъ и грустно-важнымъ. Для самого поэта эти образы, свѣтлые, какъ майская ночь его Малороссіи, радостные, какъ звучный смѣхъ его Оксаны, шаловливые, какъ затѣи неутомимыхъ парубковъ, товарищей удалого Левко, сладостно-задумчивые, какъ свѣтлоокая паянчкова-утопленница, добродушно насмѣшливые, какъ вѣчно веселая юность, всѣ эти образы навсегда остались милы поэту, какъ первый поцѣлуй любви, какъ шипучая пѣна впервые осушеннаго бокала, какъ память о волшебныхъ дняхъ без-

печно блаженного младенчества... Онъ самъ говоритъ въ предисловіи: «Всю первую часть слѣдовало бы исключить вовсе: это первоначальные ученическіе опыты, недостойные строгаго вниманія читателя; но при нихъ чувствовались первыя сладкія минуты молодого вдохновенія, и имѣ стало жалко исключить изъ памяти первыя игры невозвратной юности. Снисходительный читатель можетъ пропустить весь первый томъ и начать чтеніе со второго». Такъ говоритъ поэтъ,—и онъ имѣетъ полное право простирать свою строгость къ самому себѣ за предѣлы умѣренности и справедливости; но публика тоже права, не соглашаясь съ нимъ. Всякій періодъ жизни человѣческой прекрасенъ и долженъ имѣть свои пѣсни и свои пѣвцы: «Вечера на Хуторѣ» есть одна изъ такихъ вѣчно звучныхъ пѣсней юности, которыхъ цѣль и назначеніе—вновь возвращать на волшебное мгновеніе самой старости невозвратно улетѣвшую юность...

Во второй части, заключающей въ себѣ «Миргородъ», подверглись значительнымъ измѣненіямъ повѣсти: «Тарасъ Бульба» и «Вій». Первая вслѣдствіе этихъ измѣненій сдѣлалась вдвое обширнѣе и безконечно прекраснѣе. Поэтъ чувствовалъ, что въ первомъ изданіи «Тараса Бульбы» на многое только намекнуто, и что многія струны исторической жизни Малороссіи остались въ немъ нетронутыми. Какъ великій поэтъ и художникъ, вѣрный однажды избранной идѣ, пѣвецъ Бульбы не прибавилъ къ своей поэзіи ничего такого, что было бы чуждо ей, но только развилъ многія уже заключавшіяся въ ея основной идѣ подробности. Онъ исчерпалъ въ ней всю жизнь исторической Малороссіи и въ дивномъ, художественномъ созданіи навсегда запечатлѣлъ ея духовный образъ: такъ ваятель удовлетворяетъ въ мраморѣ черты человѣка и даетъ имъ безсмертную жизнь... Особенно замѣчательны подробности бытъ малороссіянъ съ поляками подъ городомъ Дубно и эпизодъ любви Андрія къ прекрасной полькѣ. Вся поэма приняла еще болѣе возвышенный тонъ, проникнулась лиризмомъ. Впрочемъ сужденіе объ этомъ—смѣло можемъ сказать—великимъ созданіемъ завело бы насъ далеко, чего не позволяетъ намъ ни мѣсто, ни время, и потому пока отлагаемъ его. Повѣсть «Вій» черезъ измѣненія сдѣлалась много лучше противъ прежняго, но и теперь она болѣе блеститъ удивительными подробностями, чѣмъ своей цѣлостью. Недостатки ея значительно сгладились, но цѣлаго попрежнему нѣтъ. «Старосвѣтскіе Помѣщики» и «Повѣсть о томъ, какъ поспорилъ Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ» остались совершенно безъ измѣненій: очевидно, эти два превосходныя произведенія такъ хорошо вырѣзли въ душѣ, что могли съ разу явиться во всей опредѣленности своей идеи, во всей полнотѣ своей художественной жизни.

Къ такимъ же зрѣло-художественнымъ и отчетливо концептированнымъ произведеніямъ при-

надлежит и «Невскій Проспектъ», которымъ начинается третья часть; только эта повѣсть, по своему содержанію, далеко глубже и выше тѣхъ двухъ. «Ночь» — это тѣ арабески, небрежно набросанный карандашомъ великаго мастера, значительно и къ лучшему измѣненъ въ своей развязкѣ. О «Портретѣ» и «Римѣ» публикѣ извѣстно наше мнѣніе, за которое одинъ журналъ недавно объявилъ насъ — «ругателями Гоголя»!!! Такова толпа: ей или хвали до надсады груди, или унижай до послѣдней крайности; но не смѣй хвалить за одно и порицать за другое въ одно и то же время... Мнѣніе наше о «Портретѣ» и «Римѣ» остается то же, несмотря ни на чьи крики и клеветы, — и мы подробно разовьемъ это мнѣніе въ обобщенной нами большой статьѣ о сочиненіяхъ Гоголя. «Коласка» — мастерской юмористической очеркъ, въ которомъ болѣе поэтической жизни и истины, чѣмъ во многихъ пудахъ романовъ многихъ нашихъ романистовъ, — и «Записки Сумасшедшаго» — одно изъ глубочайшихъ произведеній Гоголя, также остались безъ переменъ. «Шинель» есть новое произведение, отличающееся глубиной идеи и чувства, зрѣлости художественнаго рѣза.

Въ четвертомъ томѣ очень много новаго, и мы особенно рады, что изъ него даже петербургская публика познакомится съ новой комедіей (впрочемъ еще прежде «Ревизора» написанной) Гоголя — «Женитьба, совершенно невѣроятное событіе въ двухъ дѣйствіяхъ». Здѣсь, въ Петербургѣ, она давалась на сценѣ; но тамъ мы не узнали ея, ибо нѣтъ ничего общаго между тѣмъ, что видѣли мы на сценѣ и что читаемъ теперь въ книгѣ... Никого не обижая, ни на кого не жалуясь, мы кстатіи замѣтимъ здѣсь, что еще не пришла время у насъ для національнаго театра. Большая часть актеровъ нашихъ смотритъ на сценическое искусство, какъ на обязанность говорить то, чего не чувствуютъ... Это напоминаетъ намъ слова Гоголя въ его письмѣ о представленіи «Ревизора»: «Вообще у насъ актеры совсѣмъ не умѣютъ лгать. Они воображаютъ, что лгать — значитъ просто нести болтовню. Лгать — значитъ говорить ложъ тономъ столь близкимъ къ истинѣ, такъ естественно, такъ наивно, какъ можно говорить только одну истину, и здѣсь-то заключается именно все комическое лжи». Точно также, прибавимъ мы отъ себя, большая часть нашихъ актеровъ не хочетъ понять, что искренность и наивность суть первыя условія сценическаго искусства и комизма, и что поэтому смѣшить публику должно естественнымъ воспроизведеніемъ характера, созданнаго поэтомъ, а не утрированіемъ характера; ибо, какъ въ самой дѣйствительности, никто не станетъ выставять на видъ рѣзкія странности своего характера, чтобы смѣшить или другихъ, но каждый тѣмъ и смѣшонъ, что и не подозреваетъ своей смѣшной стороны, такъ и въ сценическомъ искусствѣ, — этомъ зер-

Соч. Вѣлинскаго. Т. III.

калѣ дѣйствительности — актеръ долженъ забыть, что онъ играетъ смѣшную роль и помнить только, что онъ представляетъ характеръ, изъ природы и дѣйствительности взятый. Конечно смѣхъ публики есть награда комическому актеру, но онъ долженъ возбуждать этотъ смѣхъ естественнымъ выполненіемъ представляемаго имъ характера, а не явнымъ желаніемъ, во что бы то ни стало, возбуждать смѣхъ — не рѣзкими движеніями, не уродливымъ костюмомъ... Кстатіи о костюмахъ: вотъ что говоритъ Гоголь, въ своемъ письмѣ, о выполненіи роли Бобчинскаго и Добчинскаго: «Зато оба наши пріятеля, Бобчинскій и Добчинскій, вышли сверхъ ожиданія дурны. Хотя я и думалъ, что они будутъ дурны, ибо, создавая этихъ двухъ маленькихъ чиновниковъ, я воображалъ въ нихъ кожѣ Щепкина и Рязанцова, а все-таки я думалъ, что ихъ наружность и положеніе, въ которомъ они находятся, какъ-нибудь вынесутъ ихъ и не такъ обкарикатурятъ. Сдѣлалось напротивъ: вышла именно карикатура. Уже передъ началомъ представленія, увидѣвши ихъ костюмированными, я ахнулъ. Эти два человѣка въ существѣ своемъ довольно опрятные, толстенькіе, съ прилично приглаженными волосами, очутились въ какихъ-то нескладныхъ, превысокихъ сѣдыхъ парикахъ, всклокоченные, неопрятные, взерошенные, съ выдернутыми огромными манишками, а на сценѣ оказались до такой степени кривляками, что просто было невыносимо».

«Игроки» — пѣлая комедія, по концепціи и выполненію вполне достойная имени своего автора. Сцены «Тяжба», «Лакейская» и «Отрывокъ» — живыя картины разныхъ слоевъ и сферъ русскаго общества. Но выше ихъ «Театральный Развѣздъ послѣ перваго представленія комедіи»: въ этой пьесѣ, поражающей мастерствомъ изложенія, Гоголь является столько же мыслителемъ-эстетикомъ, глубоко постигающимъ законы искусства, которому онъ служить съ такой славой, сколько поэтомъ и социальнымъ писателемъ. Эта пьеса есть какъ-бы журнальная статья въ поэтически-драматической формѣ, — дѣло, возможное для одного Гоголя! Въ пьесѣ этой содержится глубоко сознанный теорія общественной комедіи и удовлетворительные отвѣты на всѣ вопросы или, лучше сказать, на всѣ нападки, возбужденныя «Ревизоромъ» и другими произведеніями автора. Разобрать это превосходное произведеніе нельзя, не дѣлая изъ него выписокъ, а дѣлать изъ него выписки тоже нельзя, по двумъ причинамъ: по невозможности выбора прекраснаго изъ равно прекраснаго, и еще потому, что вся пьеса проникнута такимъ единствомъ мысли, развитой и изложенной такъ логически и послѣдовательно (несмотря на поэтически-драматическую форму), что надобно было бы переписать ее всю отъ начала до конца...

Вожественная Комедія Данте Алигieri. «Адъ». Съ очерками Флаксамана и итальянскимъ текстомъ. Переводъ съ итальянскаго В. Фанъ-Дима. Спб.

Вотъ трудъ и предпріятіе, которыхъ нельзя не одобрить, особенно если выполняются хорошо. Данте — это Гомеръ не одной Италиі, но и всей католической Европы среднихъ вѣковъ. Поэтому не должно удивляться ни тому, что Беатриче, героиня поэмы, есть не что иное, какъ аллегорическій образъ богословія, ни тому, что языческій поэтъ Виргилій сопровождаетъ въ христіанско-языческомъ аду христіанскаго поэта. Данте особенно не посчастливилось на Руси: его никто не переводилъ, и о немъ всѣхъ меньше толковали насъ, тогда какъ это одинъ изъ величайшихъ поэтовъ міра. Фанъ-Димъ заслуживаетъ величайшую благодарность за прекрасное и благое начиненіе познакомить въ прозаическомъ переводѣ русскую публику съ совершенно незнакомымъ ей поэтомъ. Мы находимъ достойнымъ похвалы и мысль переводчика — переводить Данте не стихами (для чего требовался бы огромный поэтический талантъ), а прозой, гдѣ главное достоинство — буквальная близость и вѣрность, безъ насилия русскому языку и безъ ущерба плавности и правильности слога. При такомъ переводѣ и подлинникъ *texte en regard* — дѣло очень и очень не лишнее.

Драматическія сочиненія и переводы Н. А. Полевого. Часть третья. «Гамлетъ». — «Уголино». Спб. 1843.

Мы уже говорили о первыхъ двухъ частяхъ драматическихъ «представленій» Полевого; но вышедшая теперь третья часть ихъ вновь приводитъ насъ въ раздумье о драматическомъ поприщѣ этого Шекспира Александринскаго театра, и потому намъ слѣдовало бы опять поговорить о немъ; но, не желая повторять уже однажды сказаннаго нами и умѣя отдавать должную справедливость основательнымъ и хорошо изложеннымъ мнѣніямъ, кому бы ни принадлежали они, — мы выписываемъ здѣсь изъ первой книжки «Москвитянина» 1843 года сужденія этого журнала о патріотическихъ драмахъ Полевого, — въ полной увѣренности, что всѣ порядочные люди такъ же безусловно согласятся съ этимъ сужденіемъ, какъ мы съ нимъ согласились.

«Всѣ драмы Полевого, имѣвшія успѣхъ, доказываютъ, что у насъ всякое произведеніе, вовсе чуждое художественнаго достоинства, но основанное на патріотическомъ чувствѣ, будетъ всегда имѣть успѣхъ въ нашей публикѣ. Зрители, смотря на такую драму, рукоплещутъ не пьесѣ, не автору, а своимъ собственнымъ чувствамъ, которыя въ нихъ затронуты, а затронуть ихъ въ русскомъ народѣ не много надобно искусства. Писатели съ огромнымъ талантомъ не посягаютъ на изображеніе такихъ высшихъ чувствъ, боясь уронить ихъ недостаткомъ силъ въ искусствѣ или вызвать незаслуженное ими рукоплесканіе; пи-

сатели безъ надежды на свой талантъ не смотрятъ на то и, во что бы ни было, хотятъ снискать одобреніе.

Патріотическая драма, угождающая вкусу народа и любимымъ его чувствамъ, у насъ не переводилась. Вспомнимъ *Великодушнаго Репутеттѣ* Ильяина, *За Богомъ Молитва*, а за Царемъ служба не пропадаетъ Иванова. Князь Шаховской умножилъ также этотъ репертуаръ, особенно воспоминаніями двѣнадцатаго года. Полевой, вспомнившій дѣйствіе, какое эти драмы произвели на публику, возобновилъ этотъ родъ во всѣхъ его подробностяхъ, съ тѣми же достоинствами и недостатками. Лица его цѣлкомъ берутся изъ прежнихъ драмъ, выкроены по той же мѣркѣ и говорятъ тѣмъ же самымъ языкомъ.

«Доказательствомъ справедливости нашего мнѣнія о драмѣ Полевого, что она успѣхомъ своимъ обязана чувствамъ патріотическимъ, а не своему литературному достоинству, можетъ служить одна изъ напечатанныхъ теперь пьесъ — *Солдатское Сердце*, или *Бываки въ Саволакѣ*. Въ ней выведено событіе изъ жизни Булгарина, какъ сознается самъ авторъ, хотѣвшій послѣ патріотическихъ драмъ прославить и добрый подвигъ своего искреннаго друга. Драма упала, по признанію самого же автора. Какая была этому причина? На афишкѣ не было объявлено, что драма представляетъ подвигъ изъ военной жизни Булгарина; да если бы и было объявлено, то публика петербургская такъ любитъ Булгарина, какъ онъ самъ насъ не рѣдко въ томъ увѣряетъ, что подобное объявленіе конечно не погрѣдило бы успѣху пьесы. Враги же его, вѣрно, не такъ ужъ сильны, чтобы могли составить заговоръ противъ его драматической апопоезы, написанной, въ знакъ дружбы, Полевымъ. Нѣтъ, причина не въ томъ. Въ драмѣ выведено событіе изъ простой жизни частнаго человѣка, ужъ безъ всякихъ патріотическихъ чувствъ, безъ громкихъ или завлекательныхъ именъ Державина, Хемницера, Сумарокова. Тутъ требовалось одно простое искусство, безъ всякой помощи посторонней, и драма упала, потому что искусства не было.

«Когда нѣтъ у автора въ запасѣ патріотическихъ чувствъ, чтобы привлечь нашу публику, то онъ прибѣгаетъ къ извѣстнымъ историческимъ именамъ нашей литературы, выводитъ безъ всякаго угрывенія совѣсти Державина, Хемницера или уродуетъ Тредьяковскаго, Сумарокова, вызываетъ рукописанія себѣ громкими стихами нашего лирика, или баснями Хемницера, или заставляетъ смѣяться насчетъ дурныхъ стиховъ Тредьяковскаго, уродливо прочтенныхъ актеромъ, — или пародируетъ между Триссотинномъ и Вадіусомъ, замѣнивъ ихъ именами Сумарокова и Тредьяковскаго... Мотивы все не новы, давно употребленные княземъ Шаховскимъ и другими. Только жаль, что тутъ виѣшиваются имена такіа, которыми мы должны дорожить и которыя надобно выводить осторожно... Не пріятно же слышать, какъ Державинъ и Хемницеръ, на перерывѣ другъ передъ другомъ, хвастаются своими стихами на глазахъ всей публики.

«Друзья Полевого, говоря объ его драмахъ, всегда прибавляютъ: «если бы Полевой не писалъ для сцены, что было бы съ русскимъ театромъ?». Весьма достойно замѣчанія, какъ Полевой, владѣющій умомъ смѣтливымъ и оборотливымъ, являлся всегда тамъ, гдѣ совершалось паденіе какого-нибудь рода словесности... Упали журналы въ Москвѣ и Петербургѣ и, состарѣвшись, лѣниво мѣняли свои страницы... Полевой явился кстаті съ своимъ «Телеграфомъ»... Умеръ Карамзинъ, не завѣщавъ никому историческаго пера

своего... Полевой тутъ какъ тутъ съ «Исторіей Русскаго Народъ»... Упала русская драма на нашей сценѣ. Дѣятельный и остроумный князь Шаховской сходитъ съ нея съ безконечнымъ роємъ своихъ произведеній. Кукольникъ дѣлаетъ трагическія усилія, чтобы поддержать нашу Мельпомену, но я тотъ покидаетъ роль драматика. Сцена почти пуста и живетъ только передѣлками съ французскаго... Полевой и тутъ поспѣваетъ и строитъ какую-нибудь драму изъ обломковъ патріотической драмы Ильина и Федорова, изъ прежнихъ мотивовъ князя Шаховскаго, изъ ужасовъ неистой мелодрамы французской, воспроизведенной имъ въ «Уголино», изъ прежнихъ дѣтскихъ своихъ воспоминаній о драмѣ Коцебу, съ примѣсомъ нѣкоторыхъ новыхъ изъ Дюма, Гюго, Шиллера, Шекспира, а иногда изъ оперъ, какъ напримѣръ «Фрейшица» и проч. Вотъ происхожденіе драмы Полевого... Это постылый ужинъ, который хозяйка дома, за неимѣніемъ свѣжей провизіи, на скорую руку составляетъ изъ оставшихся объѣдковъ отъ своей обѣденной трапезы и предлагаетъ неожиданно наѣхавшимъ гостямъ... Они и тому рады, по извѣстной пословицѣ русскаго хлѣбосольства о безрыбьи...

Ничего не можетъ быть справедливѣе и безпристрастнѣе этого сужденія, такъ замысловато и остро высказаннаго! Есть истины до того очевидныя и неопровержимыя, что въ нихъ не могутъ не соглашаться люди самыхъ противоположныхъ характеровъ, самыхъ несходныхъ убѣжденій и направленій, словомъ,—люди, которымъ какъ-будто назначено ни въ чемъ не соглашаться другъ съ другомъ. Такова напримѣръ истина сужденія «Москвитянина» о патріотическихъ и всакихъ другихъ «представленіяхъ» Полевого: мы, ни въ чемъ не согласные съ «Москвитяниномъ», признаемъ его мнѣніе о драмахъ Полевого неоспоримо истиннымъ, — и думаемъ, что если самъ Булгаринъ, этотъ искренній другъ Полевого, не согласится теперь съ этимъ мнѣніемъ, то развѣ по какимъ-нибудь непредвидѣннымъ обстоятельствамъ настоящей минуты... Что же касается до мнѣнія «Москвитянина» объ изворотливой и смѣтливой литературной дѣятельности Полевого, всегда поспѣвающей строить и создавать на развалинахъ падшихъ зданій, изъ кусочковъ матеріаловъ самыхъ этихъ развалинъ,—то это мнѣніе, съ которымъ мы безусловно согласны, еще прежде «Москвитянина» высказано самимъ Булгаринимъ, съ которымъ мы тогда же въ этомъ согласились. А было это, помнится, еще въ 1839 году, и «Отечественныя Записки» въ свое время сообщили публикѣ этотъ любопытный фактъ безпристрастія Булгарина въ дѣлѣ литературнаго сужденія о другѣ; но какъ повтореніе основательныхъ мнѣній, чьи бы они ни были, служить къ ихъ распространенію и утвержденію, то мы вновь сообщимъ читателямъ интересное мнѣніе Булгарина,—тѣмъ болѣе, что это нужно намъ въ настоящемъ случаѣ для доказательства единодушнаго согласія всѣхъ и каждого въ дѣлѣ слишкомъ очевидныхъ истинъ.

«Почтенный Н. А. Полевой пишетъ, какъ говорятъ, полосами. О чемъ рѣчь въ публикѣ, за

то принимается почтенный Н. А. Полевой. Была эпоха журналовъ, Н. А. издавалъ журналъ; была мода на Шеллингову философію и политическую экономію—онъ писалъ о философіи и политической экономіи. Настала мода на романы—онъ сталъ писать романы. Альманахи ввели въ моду оригинальныя повѣсти—Н. А. сталъ писать повѣсти. Заговорили объ исторіи, — вотъ есть и исторія; наконецъ вкусъ высшаго сословія и публики явно обратился къ театру, и Н. А. Полевой пишетъ трагедіи, драмы, драматическія представленія, драматическія были и водевили. Пишетъ онъ такъ много, что мы не можемъ постигнуть, когда онъ выбираетъ время, чтобы читать и учиться! Н. А. Полевой—человѣкъ умный и удивительно смѣтливый. Онъ не можетъ написать ничего рѣшительно дурного, а между тѣмъ написалъ онъ много хорошаго. Что онъ напишетъ—во всемъ пробивается то талантъ, то смѣтливость, то ловкое подражаніе, и все приписано къ мыслямъ болѣе смѣтливости. Невозможно быть безпристрастнѣе насъ къ Н. А. Полевому, и, не смотря на прошедшее, мы всегда отдаемъ справедливость его таланту, уму, трудолюбію, а болѣе всего его смѣтливости, въ которой онъ не мыслитъ равнаго въ нашей литературѣ».

Совершенная правда! Такъ какъ пришлось къ слову, замѣтимъ тутъ же, что этой, дѣйствительно удивленія достойной, смѣтливостью обладаетъ между русскими литераторами не одинъ Полевой: отдавая ему полную справедливость, мы не должны же быть несправедливы и къ Булгарину, тоже обладающему замѣчательнымъ талантомъ въ этомъ родѣ. Вся разница въ характерѣ таланта: Полевой болѣе устремляется, какъ справедливо замѣчаетъ «Москвитянинъ», туда, гдѣ совершилось паденіе какого-нибудь рода словесности; Булгаринъ, напротивъ, является неожиданно большей частью послѣ какого-нибудь успѣха посредствомъ литературнаго оборота. Въ то время какъ мода на альманахи заставляла Полевого писать повѣсти,—онъ писалъ и Булгаринъ: успѣхъ альманаховъ заставлялъ Булгарина издать «Талию»; удачная подписка на неконченную доселѣ «Исторію Русскаго Народъ» имѣла своимъ слѣдствіемъ неудачную и тоже не конченную «Россію» Булгарина; успѣхъ «Посредника» родилъ «Эконома»; успѣхъ «Нашихъ» произвелъ «Картинки Русскихъ Правовъ»; политическая исторія Суворова Полевого породила «Романтическія Сцены изъ Жизни Суворова» съ политическими же, которые, говорятъ Булгаринъ, скоро явятся въ свѣтъ; успѣхъ драматическихъ «представленій» Полевого на Александринскомъ театрѣ породилъ неуспѣшную впрочемъ «Шкуну Ньюкарлеби». Подражая всему успѣшному, Булгаринъ иногда огорчается, если видитъ, что задуманное имъ «успѣшное» упреждается чужимъ «успѣшнымъ», особенно «успѣшнѣйшимъ». Такъ напримѣръ, «Юрій Милославскій» упредилъ выходомъ «Дмитрія Самозванца» — и зато навлекъ на себя довольно грозную критику въ «Сѣверной Пчелѣ». Равнымъ образомъ Булгаринъ не любитъ совѣстничества.

Возвратимся къ «представленіямъ» Полевого въ изданномъ нынѣ третьемъ ихъ томѣ.

Этотъ третій томъ содержитъ въ себѣ «Гамлета» — драматическое представлѣніе Вилліама Шекспира — и «Уголино» — драматическое представлѣніе Николая Полевого. Хотя «Гамлетъ» только переводъ Полевого, но его можно счесть за сочиненіе, ибо сущность всякаго произведенія составляетъ его духъ, а въ переведенномъ Полевымъ «Гамлетѣ» Шекспира нѣтъ нисколько Шекспировскаго духа: переводчикъ замѣнилъ его собственнымъ своимъ. Поэтому «Гамлетъ» такъ же точно есть сочиненіе Полевого, какъ и «Уголино»: въ обоихъ одинъ духъ, одна манера, и если Шекспиръ болѣе или менѣе виноватъ въ «Гамлетѣ» Полевого, то онъ же болѣе или менѣе виноватъ и въ «Уголино»; ибо въ какомъ отношеніи находится «Гамлетъ» Полевого къ «Гамлету» Шекспира, въ такомъ же точно отношеніи находится «Уголино» Полевого къ «Ромео и Юліи» Шекспира... Многие считаютъ это отношеніе весьма похожимъ на отношеніе пародіи къ оригиналу... Мы сказали, что сущность всякаго произведенія заключается въ его духѣ, и потому должны характеризовать духъ «Гамлета» и «Уголино». Съ этой точки зрѣнія оба эти произведенія чрезвычайно интересны, потому что оба они — родовыя, типическія явленія въ области русской литературы.

Иныя слова, по особеннымъ обстоятельствамъ, получаютъ вполнѣдствіи совѣтъ другое значеніе, нежели какое имѣли вначалѣ и какое назначила имъ выражать этимологія языка. Такъ напримѣръ, русское слово «чувствительный» сперва означало челоѣка съ чувствомъ, съ душой, слѣдовательно оно имѣло похвальное значеніе. Но сентиментальность, овладѣвшая нашей литературой и нашимъ обществомъ въ концѣ прошлаго и началѣ текущаго столѣтія, дала слову «чувствительный» ироническое значеніе, такъ что теперь говорятъ «челоѣкъ съ чувствомъ» и уже не говорятъ «чувствительный челоѣкъ», ибо послѣднее означаетъ слезливаго воздыхателя, аркадскаго пастушка въ соломенной шляпѣ, съ розовыми лентами на груди, — лицо, нѣкогда извѣстное въ русской литературѣ подъ именемъ Эраста Чертополохова. Такимъ же точно образомъ у нѣмцевъ выраженіе «прекрасная душа» (schöne Seele) и происшедшее отъ него неловкое въ русскомъ переводѣ слово «прекраснодушіе» (Schönseeligkeit) получили въ послѣднее время совершенно противоположное значеніе. Слово «прекрасная душа» у нѣмцевъ выражаетъ собой понятіе о тѣхъ слабыхъ и поверхностныхъ характерахъ, которые исполнены энтузіазма ко всему высокому и прекрасному, но которые никогда не могутъ понять хорошенько, въ чемъ состоитъ и что такое это «высокое и прекрасное», отъ котораго они всегда въ такомъ восторгѣ. Сердце у этихъ людей дѣйствительно доброе, ума въ нихъ также отрицать нельзя; но они лишены всякаго такта дѣйствительности. Они узнаютъ высокое и прекрасное только въ книгѣ, и то

не всегда; въ жизни же и въ дѣйствительности они никогда не узнаютъ ни того, ни другого и отъ этого скоро во всемъ разочаровываются (любимое ихъ слово!), холодѣютъ душой, старѣются во дѣлѣ дѣлѣ, останавливаются на полудорогѣ и оканчиваютъ тѣмъ, что или (и это по большей части) примиряются съ дѣйствительностью, какова бы она ни была, т. е. съ облаковъ прямо падаютъ въ грязь, или дѣлаются истинными, мизантропами, дунатиками, сомнамбулами. Обыкновенно они смѣшны и жалки въ томъ и другомъ случаѣ; но въ первомъ они бывають иногда ужъ и не жалки, а скорѣе страшны своимъ примиреніемъ съ дѣйствительностью... Не разочаровываться имъ невозможно, ибо у нихъ идеалъ не имѣетъ ничего общаго съ дѣйствительностью и неспособенъ къ осуществленію на дѣлѣ. Если этотъ идеалъ — дѣва, то непремѣнно неземная, которая не ѣстъ, не пьетъ и не хвораетъ, питающаяся одними высокими чувствами, любовью, восторгомъ, вдохновеніемъ, и пр. И потому въ дѣлахъ они наиболѣе разочаровываются: неспособные понять и оцѣнить ничего, что просто, безъ претензій и безъ эффектовъ прекрасно, они всего чаще привязываются къ ничтожнымъ созданіямъ и умножаютъ число несчастныхъ браковъ по страсти. Если этотъ идеалъ — другъ, то горе ему: самолюбіе — болѣзнь «прекрасныхъ душъ» — требуетъ отъ него, чтобы онъ отказался отъ себя и безпрестанно любовался прекрасными чувствами и словами своего друга, страдалъ бы его страданіями, радовался его радостями, а о себѣ не думалъ бы вовсе; въ противномъ случаѣ, онъ — эгоистъ, холодная душа, «разочарователь». Идеалъ блаженства любви «прекрасныхъ душъ» — пустыня вдали отъ людей, природа, прогулки при лунѣ, вздохи, поцѣлуи и — больше всего — совершенное бездѣйствіе. Они вѣчно стремятся туда, а здѣсь съ недовольны вѣмъ: люди ихъ не понимаютъ, жизнь для нихъ пошла, ибо въ ней нужны и деньги, и пища, и одежда, необходимы горе и трудъ. Трудъ они не любятъ въ особенности: въ немъ такъ много прозы, а они хотятъ дышать одной поэзіей.

Но чтобы сдѣлать вѣрный очеркъ того, что нѣмцы называютъ «прекрасной душой», нужна цѣлая статья. Итакъ, удовольствуемся однимъ намекомъ: догадливые поймутъ насъ. У насъ были попытки ввести въ употребленіе слово «прекраснодушіе», которыя остались тщетными, и по справедливости: у нѣмцевъ это слово получило такое значеніе черезъ развитіе самой общественности такъ же, какъ у насъ слово «чувствительный». Мы думаемъ, что слова «романтикъ» и «мечтатель» довольно близко подходятъ подъ значеніе нѣмецкаго выраженія «прекрасная душа» (schöne Seele). Кто хочетъ познакомиться съ характерами и натурами романтиковъ-мечтателей — тѣмъ рекомендуемъ изъ романовъ Полевого «Аббадонну», а изъ повѣстей: въ особенности «Живописца», «Блаженство Безумія» и

«Эмму»; это тонкіе, злые картины и очерки романтиков и мечтателей. Но всѣхъ ихъ выше—«Гамлетъ» и «Уголино»: это просто сатирическая апофеоза романтическихъ душъ и мечтательныхъ характеровъ. Мы не будемъ распространяться въ доказательствахъ: перечтите въ «Уголино» сцены любви между Нино и Вероникой,—и вы сами увидите, что улыбка на лицо. Одна уже мысль жить въ пустынь аркадскими пастушками, занимаясь одной любовью,—въ высшей степени «романтическая» и «мечтательная». Этотъ Нино съ своей Вероникой просто—Маниловъ съ своей супругой; онъ держитъ въ рукѣ конфетку и говоритъ супругѣ: «Разинь, душенька, ротикъ, я тебѣ положу этотъ кусочекъ»..

Что касается до «Гамлета», то достоинство его, какъ перевода, исполнѣнное великимъ знатокомъ Шекспира, покойнымъ профессоромъ Харьковскаго университета, И. Я. Кронебергомъ, и въ другой статьѣ сыномъ его, А. И. Кронебергомъ. Но нѣтъ худа безъ добра: изъ перевода вышло сочиненіе Полевого, и это послужило къ успѣху пьесы на нашей сценѣ, гдѣ Шекспиръ такъ, какъ онъ есть (не обсахаренный и не разсиропленный), еще недоступенъ. Но зато нѣкоторые потому только и прочли превосходный переводъ «Гамлета» Вроченко и поняли его, что видѣли на сценѣ «Гамлета» Полевого... И то заслуга!

Аристократка, былъ недавнѣе времени, рассказанная Л. Брантомъ. Спб. 1843.

Всѣ жалуются на непрерывное размноженіе плохихъ «сочиненій» въ русской литературѣ, и эти жалобы всегда наводятъ на размышленіе о причинахъ такого горестнаго размноженія. Нѣкоторые изъ этихъ причинъ кроются очень глубоко, и говорить о нихъ въ короткой журнальной рецензіи невозможно; другія, ближайшія, очевидны. Ихъ то мы и хотѣли бы показать читателямъ. Побужденій, которыя заставляютъ у насъ сочинять людей безъ призванія, безъ образованности, безъ всего, что нужно для занятія литературой,—такихъ побужденій два: «деньги» и собственно такъ называемое, внушаемое самолюбіемъ, желаніе печататься, слыть «сочинителемъ». По первому побужденію дѣйствуютъ люди, съ болѣе или менѣе замѣчательнымъ практическимъ разсудкомъ и направленіемъ чисто промышленнымъ. Человѣкъ, перебивавшій можетъ быть на всѣхъ поприщахъ дѣятельности, долго и внимательно присматривавшійся ко всѣмъ доступнымъ ему родамъ занятій, съ одной на мигъ не покидавшей его мыслью, гдѣ бы вѣрнѣе и легче зашибить копейку, почему либо разочтется, что бытъ сочинителемъ выгоднѣе, чѣмъ переписывать отношенія, торговать пряными кореньями, обучать юношество грамматикѣ и «россійской словесности» или рисовать выѣски для мелочныхъ лавокъ,—и вотъ онъ сочинитель. Безстрашно бросается онъ на тотъ родъ литера-

турныхъ произведеній, который преимущественно читается (а иногда и на всѣ роды вдругъ), и небу жарко отъ трескотни его крѣпкаго пера, и полки книжныхъ лавокъ доходятъ подъ тяжестью быстро производимыхъ имъ огромныхъ томовъ книжнаго товара. Если, несмотря на остревеніе, съ которыми онъ попалъ на литературу, первыя попытки окажутся неудачными, то есть не доставятъ ему существенной выгоды—денегъ, онъ смиренно идетъ на иное поприще, уступая мѣсто другому. Но если удача, которой такъ не трудно, при нѣкоторыхъ условіяхъ, достигнуть въ нашей литературѣ, увѣнчиваетъ труды его,—онъ на вѣкъ остается сочинителемъ, и никакія преслѣдованія критики не выживутъ его изъ литературы. Врань журналовъ, если она не наноситъ существеннаго вреда сбыту его сочиненій, онъ переноситъ въ молчаніи, съ стоическимъ хладнокровіемъ. Она даже не сердитъ его внутренно: онъ человѣкъ добрый и нѣрѣдко сознающійся въ своей слабости. Подъ веселый часъ онъ пожалуй и самъ виѣстъ съ вами будетъ сѣять надъ своими сочиненіями и надъ публикой, которая ихъ покушаетъ. Печатныя отреченія отъ своихъ мнѣній, вторичныя обращенія къ нимъ и потомъ новыя отреченія—для него ни-почетъ. Только при сильныхъ наступательныхъ дѣйствіяхъ критики, которая въ томъ кругу, гдѣ она употребляется, извѣстна подъ именемъ «битья по карманамъ», сердце его судорожно сжимается, и голосъ издаетъ звуки, подобные тѣмъ, какіе въ старину можно было слышать въ глухую полночь на большой муромской дорогѣ... Такого рода сочинителей очень много; они, какъ извѣстно, раздѣляются на разные классы: много такихъ, которые тысячами считаютъ свои доходы и давно уже въ печати усвоили себѣ названіе «заслуженныхъ литераторовъ» и титулъ «почтеннѣйшихъ»; но еще больше такихъ, которые таятся, Богъ знаетъ, въ какомъ литературномъ закоулкѣ и приводятся въ движеніе не совѣсть—то щедрымъ великодушіемъ книгопродавцевъ толкучаго рынка. Къ тому же разряду принадлежатъ господа, посвящающіе свои книги «благодѣтелямъ», «святѣльствамъ», «превосходительствамъ» въ знакъ душевнаго уваженія, отиѣнной пресмыкаемости, глубочайшей преданности и другихъ похвальныхъ чувствъ.

Совершенно противное явленіе представляетъ принадлежащій ко второму разряду сочинитель,—сочинитель по страсти къ сочинительству. Это существо въ высшей степени странное, мелкое по природѣ, великое для самого себя, жалкое для другихъ, самолюбивое, раздражительное, лишенное малѣйшей способности сознать свои недостатки, грубо и неисправимо ослабленное самимъ собой. Однажды навсегда, въ глубинѣ души своей рѣшивъ утвердительно вопросъ о своей гениальности, маленькій великій человѣчекъ снитъ и видитъ себя сочинителемъ. И, Боже мой! чего бы онъ не далъ, на что бы не рѣшился, только

бы видѣть поскорѣе осуществленіе безумныхъ грезъ своихъ! Каждая строка, каждая буква, которую онъ написалъ, кажется ему чѣмъ-то важнымъ; какъ ребенокъ съ игрушкой, какъ помѣшанный съ пунктомъ своего помѣшательства, носится онъ съ жалкимъ своимъ сочиненіемъ: не надышеть на него, не нарадуется; не доѣстъ, не доспѣетъ, только бы покрасивѣе его напечатать; обоить пороги въ типографію, гдѣ оно печатается, безпрестанно справляясь: «скоро ли», любясь на корректурные листы и «задавая тонъ» передъ типографскими рабочими. А какъ шибко бьется самолюбивое сердечко его при выходѣ книги въ свѣтъ! Съ какими трепетомъ, съ какими надеждами носить онъ ее по книжнымъ лавкамъ, по журналистамъ? Вездѣ подслушиваетъ, всюду замѣчаетъ, что о немъ говорятъ, впутывается самъ въ разговоръ, и за долго еще до наступленія перваго числа мѣсяца бѣжить въ типографію провѣдать, что скажутъ о немъ «Отечественныя Записки». И вотъ явилась книжка «Отечественныхъ Записокъ». Если, въ пылу добраго намѣренія, журналъ посвятитъ дрянной книжонкѣ его серьезный разборъ, гдѣ ясно докажетъ сочинителю, что писать не его дѣло, и будетъ заклинять его, именемъ здраваго смысла, удержаться отъ пагубной страсти, — въ какой ужасъ, въ какое ярое, необузданное негодованіе приходитъ тогда маленькій-великій человекъ! Кроткія увѣщанія, внушенныя состраданіемъ, превращаются въ глазахъ его въ порожденіе зависти, въ лицемѣрное посягательство на его гений, на вѣнокъ его будущей славы! Уязвленный въ самое сердце, но болѣе, чѣмъ когда-нибудь, убѣжденный въ своемъ достоинствѣ, онъ принимается издавать брошюры противъ своихъ доброжелателей; бесильнымъ жалобамъ его на несправедливость, пристрастіе, личности журналовъ — нѣтъ конца и умолку; онъ даже готовъ принести официальную жалобу на своихъ благонамѣренныхъ судей... Что жъ далѣе? Далѣе, о немъ никто уже не говоритъ, его оставило даже небольшое число слушателей, привлеченныхъ къ нему первоначально дикостью его воплей и новостью нелѣпныхъ претензій; имени его уже никто не произноситъ даже въ насмѣшку, но долго, долго еще, гдѣ-нибудь въ темномъ закоулку литературы, раздастся пискливый голосокъ его колоссально-мелкаго самолюбія. Наконецъ, не дождавшись похвалъ журналистовъ и публики, онъ принимается хвалить самъ себя, выставивъ на видъ свои небывалыя заслуги; онъ не щадитъ никакихъ усилій, не пренебрегаетъ никакими средствами для пріобрѣтенія извѣстности, и готовъ даже, пользуясь открытій въ себѣ, при помощи услужливыхъ пріятелей и собственной проницательности, сходствомъ съ какими-нибудь великимъ человекомъ, выдать себя за пра-пра-внука Шекспира, внука Вальтеръ-Скотта, только бы побольше «предъявить» міру правъ на громкое имя. И все нѣтъ удачи! Но вотъ тщетность усилій, кажется,

наконецъ охладилъ его рвеніе: имя его рѣже и рѣже появляется въ печати, и наконецъ исчезаетъ. Публика не сожалеетъ; журналисты торжествуютъ, отъ души радуясь своему добродѣльному. Увы, торжество преждевременное!.. Вотъ опять является брошюра съ именемъ, которое уже знакомо журналамъ. Это онъ! да, точно онъ, только уже въ другомъ видѣ: онъ значительно присмирѣлъ; посмотрите: онъ хвалить уже тѣхъ, которые его порицаютъ, противъ которыхъ самъ же онъ, въ пылу перваго гнѣва, разослалъ столько бранныхъ брошюръ. Что это значитъ? Вѣднѣй мученикъ пагубной страсти къ сочинительству! до чего дошелъ ты? Чтобы добиться вожделѣнныхъ похвалъ, ты льстишь, ты поешь комплименты тѣмъ, которыхъ прежде ругалъ и которыхъ въ душѣ считаешь врагами!.. Но журналисты, равнодушные нѣкогда къ брани маленькаго-великаго человека, еще равнодушнѣе къ похваламъ его: они снова говорятъ ему напрямикъ горькую, убійственную истину... И что жъ бы вы думали?.. Неудача послѣдней попытки образумить его, возвратитъ на путь истинный, остановить отъ сочинительства?.. Увы, нѣтъ!.. И тогда, когда ни ожесточенные вопли ребяческаго самолюбія, ни безсильная брань, ни умышленная лѣсть, ни бездежное разсыланіе публикѣ брошюръ о своей геніальности, ни даже похвалы въ какой-нибудь газетѣ, доступной состраданію при нѣкоторыхъ условіяхъ, не помогутъ маленькому человеку вырваться изъ безвѣстности, назначенной ему судьбой, — осмѣянный, согнанный съ литературной арены на самую послѣднюю ступень ея, онъ все еще не можетъ преодолѣть злѣйшаго врага своего — собственнаго самолюбія, и продолжаетъ нерѣдко до самой могилы сочинительствовать... Жалки обрисованные нами выше литературные дѣятели изъ корысти, но еще болѣе жалки отверженцы искусства, зараженные страстью къ сочинительству, и не первый ли долгъ критики останавливать сколько возможно столь пагубную страсть въ самомъ ея началѣ, пока она не успѣла еще совершенно овладѣть человекомъ? Вотъ почему «Отечественныя Записки» не рѣдко говорили, и впередъ намѣрены иногда говорить о самыхъ неутѣшительныхъ явленіяхъ нашей литературы съ большимъ вниманіемъ, чѣмъ они повидимому заслуживаютъ.

Все сказанное, само собой разумѣется, не имѣетъ никакого прямого отношенія къ книгѣ, которой заглавіе выставлено въ началѣ статьи. Все это не болѣе, какъ очеркъ, могущій послужить матеріаломъ для будущаго составителя статьи въ «Наши», гдѣ вѣдь долженъ же быть нарисованъ «сочинитель». — Теперь обратимся къ сочиненію Вранта.

Неоднократно мы имѣли случай замѣчать Вранту, какъ бесполезны для литературы и для него самого усилія его сочинять, сочинять во что бы то ни стало. Но Врантъ неисправимъ: едва прошло полгода отъ появленія его стран-

ных критических брошюр, и вот онъ является съ новымъ произведеніемъ: «Аристократка»... Аристократка — и Врантъ! Какъ много сказано однимъ заглавіемъ! Кажется, нечего и прибавлять... Не можемъ однакожъ не обратить вниманія на одну новую, чрезвычайно тонкую выходку Вранта. Послушайте: Врантъ говоритъ о преслѣдованіи критикой людей ничтожныхъ и глупыхъ.

«Отчего именно (спрашиваетъ онъ) на этихъ именно бѣдныхъ недорослей, вѣчныхъ, непронзвольныхъ дѣтей человечества, должно наливаться желчь ума и сатиры, предназначенной преимущественно бичевать предрассудки и пороки людей не незначительныхъ по роли, разыгрываемой ими въ обществѣ, не несправедливыхъ и глупыхъ обыкновенныхъ, дюжинами дюжинъ встречаемыхъ, но людей съ вѣсомъ и вѣшнаго, и внутренняго значенія?»

Подумаешь, къ какимъ средствамъ ни прибѣгаютъ люди! Не преслѣдуйте насмѣшкой невѣждъ и глупцовъ, говоритъ Врантъ: «насмѣшка создана для людей съ вѣсомъ внутренняго и вѣшнаго значенія». Зачѣмъ бы, казалось, придумывать Вранту такой странный парадоксъ?... Но положимъ, что это придумалось такъ, съ проста; главное тутъ — ложность парадокса. Если преслѣдовать только слабости и недостатки людей съ умомъ и вѣсомъ, какъ желаетъ Врантъ, то глупость, невѣжество и шарлатанство могутъ вообразить, что въ нихъ нѣтъ ни слабостей, ни недостатковъ. Намъ кажется, что именно дерзкія-то усилія попасть, куда не слѣдуетъ, невѣжественные предрассудки и простодушія ухищренія глупцовъ и невѣждъ, которыхъ вы, г. Врантъ, защищаете, и должны быть преимущественно преслѣдуемы насмѣшкой; если мало одной насмѣшки — нѣтъ, какъ язви на тѣлѣ общественномъ, должно искоренять всѣми мѣрами — выжигать, вырѣзывать, вытраивать. Si medicamenta non sanant, ignis sanat; si ignis non sanat, ferrum sanat, сказалъ еще Иннократъ, на котораго мы и ссылаемся въ подтвержденіе нашихъ словъ.

Кто жалелъ бы почему-либо короче познакомиться съ новымъ произведеніемъ Вранта, тому мы должны сказать еще, что въ этомъ произведеніи нѣтъ даже тѣхъ простодушныхъ, неумышленныхъ ошибокъ, которыя иногда встрѣчаются въ сочиненіяхъ такого рода и подъ веселымъ срываютъ невольную улыбку; здѣсь все чистенько и гладенько, отдѣлано съ рачительностью самой терпѣливой бездарности и оттого чрезвычайно пошло. Дѣйствующія лица — аристократка, которая ѣздитъ въ Александринскій театръ и объясняется какъ героиня представляемыхъ тамъ водевилей; учитель исторіи, педагогъ, который изъ рукъ вонъ глупъ; сверхъ того самъ сочинитель — Врантъ — иногда замедляетъ и безъ того уже вялое дѣйствіе повѣсти отступленіями вродѣ слѣдующаго:

«Не знаю, отчего рука моя дрожитъ, начерченная строки, приближающія меня къ описанію послѣднихъ событій этой повѣсти; отчего оставляетъ меня спокойствіе историка, и я чувствую нѣкоторое *trémement de coeur*, подобно путнику, завидѣвшему тучу и боящемуся, что гроза достигнетъ его вдали отъ крова и всякаго пріюта?»...

Но довольно. Изъ того, что мы сказали, кажется, можно ясно понять, какова новая повѣсть Вранта, и какого рода аристократію «окритиковалъ онъ въ своей литературѣ». О! Врантъ — большой критикантъ!

Сельское Чтеніе. Книжка, составленная изъ трудовъ: А. Ѳ. Велимина, Н. С. Волкова, С. С. Гадуркина, В. И. Дала, И. И. Иванова, М. Н. Залюскина, И. И. Побыдина, К. Ѳ. Энгельса, княземъ В. Ѳ. Одоевскимъ и А. П. Заболотскимъ. Спб. 1843.

Эта книга, принадлежа собственно къ тому, что обыкновенно называется «литературой», — тѣмъ не менѣ принадлежитъ къ важнѣйшимъ произведеніямъ современной литературы и вѣсомъ своей внутренней цѣнности перетянетъ многіе пуды романовъ, повѣстей, драмъ — даже «патріотическихъ». Явленіе такой книжки, какъ «Сельское Чтеніе», должно радовать всякаго истиннаго патріота, всякаго друга общаго добра. Вѣднѣ наша учебная литература, бѣднѣ ея наша дѣтская литература, и мы сказали бы, что бѣднѣ всѣхъ ихъ наша простонародная литература, еслибы только у насъ существовала какая-нибудь литература для простаго народа. Цѣлыя горы бумаги ежегодно печатаются для него подъ названіемъ «Похожденій Георга Англичаго Милорда», «Похожденій Ваньки Каина», «Анекдотовъ о Балакиревѣ» и сѣробумажныхъ книгъ, вродѣ «Разгуляя Купеческія Сынковъ въ Марьиной Рощѣ», «Козла-Вунтовщика» и т. н. Всѣ эти пошлости расходятся: стало быть, ихъ покупаютъ и читаютъ. Но какая же польза отъ этихъ книгъ? — Пользы никакой, а вредъ можетъ быть: отъ нихъ только грубѣютъ и безъ того грубыя понятія простолюдина, тупѣютъ и безъ того неизощренная его мыслительная способность. Былъ нѣкогда на Руси почтенный человѣкъ — профессоръ Николай Кургановъ; издавалъ онъ книжицу или, лучше сказать, книжицу: «Письмовникъ», содержащій въ себѣ науку русскаго языка со многими присовокупленіемъ разнаго учебнаго и полезно-забавнаго вещесловія, съ присовокупленіемъ книги: «Неустрашимость духа, геройскіе подвиги и пріятныя анекдоты русскихъ» и съ такимъ замысловатымъ эпиграфомъ:

Духовной ли, мірской ли ты? прилежно се читай:

Все найдешь здѣсь, тотъ и другой: но разумѣй смѣкай.

Книга эта имѣла успѣхъ чрезвычайный: еще въ 1796 году была напечатана она уже ше-

етнымъ изданіемъ и до сихъ поръ еще перепечатывается такъ, какъ была, безъ измѣненій, только развѣ съ выпускомъ кое-гдѣ смысла. Для своего времени эта книга — просто золото; теперь она никуда не годится. И не нашлось на Руси ни одного литератора, который бы издалъ для народа такую же книгу, только сообразную съ требованіями нашего времени, въ отношеніи къ языку и выбору статей! Кромѣ изданной Максимовичемъ «Книги Науна о великомъ Божьемъ мірѣ», не было ни одной замѣчательной попытки написать что-нибудь полезное и въѣстѣ завлекательное для простого народа. Да и сама книжка Максимовича оказалась неудовлетворительной. Простой народъ похожъ на ребенка, только говорить съ нимъ еще труднѣе: у ребенка умъ мягокъ, какъ воскъ, и чуждъ всякихъ привычныхъ понятій, а у простого народа умъ и не развитъ, и упрямъ: за него надо приниматься умнѣючи и съ толкомъ. Главное правило тутъ — не торопиться, не желать сдѣлать многое вдругъ, не высказывать всего за-разъ и всегда держаться въ уровень съ понятіемъ простолюдина. Избѣгая книжнаго языка, не должно слишкомъ гоняться и за мужицкими нарѣчіями: простолюдины обыкновенно недовѣрчивы къ собственному способу выраженія, и думаютъ, что бары смѣются надъ ними, говоря «по-печатному» ихъ глупымъ языкомъ. Простота языка должна въ этомъ случаѣ быть только выраженіемъ простоты и ясности въ понятіяхъ и въ мысляхъ.

«Сельское Чтеніе» вполне удовлетворяетъ всѣмъ этимъ требованіямъ. Оно знаетъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, и не потчуетъ папстетами того, кому калачъ въ сласть и лакомство. Въ книгахъ такого рода обыкновенно думаютъ, что дѣло въ шляпѣ, если наговорили съ три короба правоученій: «Сельское Чтеніе» понимаетъ, въ какомъ правоученіи нуждается нашъ народъ, и, какъ искусный врачъ, оно не лѣчитъ отъ подагры человѣка, который пьетъ не шампанское, а сивуху. Вслушав простому человѣку правила религій, преданность и благодарность престолу, «Сельское Чтеніе» постоянно держится въ сферѣ быта и положенія простого человѣка, — въ сферѣ чисто практической. У всякаго народа свои добродѣтели и свои пороки, и съ каждымъ народомъ поэтому должно говорить особеннымъ языкомъ. Русскій мужикъ вообще кротокъ и спокоенъ, какъ сѣверянинъ и притомъ славянинъ, необыкновенно смишенъ и смѣтливъ; но въ то же время онъ лѣнивъ и тѣломъ, и умомъ; чтобъ скорѣе отдѣлаться отъ работы, любитъ дѣлать все на «авось». Авось — это болѣзнь русскаго человѣка; это такой же нравственный его недостатокъ, какъ у швейцарцевъ физическій недостатокъ — кретинство (cretinisme). И «Сельское Чтеніе» представляетъ цѣлую повѣсть объ «авось», которая простому крестьянскому уму покажется изыщѣе всякаго романа Вальтеръ-Скотта, убѣдительнѣе истины, что когда солнце

свѣтитъ — свѣтло бываетъ. Потому къ числу пороковъ русскаго крестьянина принадлежитъ страсть зашибаться хлѣбной; къ этой страсти присоединяется неразсчетливость, составляющая общій недостатокъ русскаго человѣка, который какъ-будто родится миллионеромъ и уважаетъ только рубли, а съ копейками и гривнами, изъ которыхъ составляются рубли, обходится какъ съ соромъ; и на этотъ счетъ «Сельское Чтеніе» предлагаетъ поучительный «Разсказъ о томъ, какъ крестьянинъ Спиридонъ научилъ крестьянина Ивана не пить вина, и что изъ того вышло». Русскій человѣкъ, по натурѣ своей, склоненъ къ повиновенію властямъ, но по неравности своей не всегда умѣетъ понимать благія намѣренія власти, особенно если эти намѣренія для него новы и непривычны. Тогда людямъ, которые любятъ въ мутной водѣ рыбу ловить, весьма легко смущать и сбивать съ толку мужика злонамѣренными объясненіями простого дѣла. Такъ напримѣръ, теперь мужикъ не вооружается противъ прививанія коровьей оспы дѣтямъ его, но прежде онъ смотрѣлъ на эту мѣру благодѣтельнаго правительства, какъ на что-то страшное, грозящее гибелью...

Книжка украшена простыми политипажными картинками и виньетками, сообразно содержанию. И это очень хорошо: простые люди, чтѣ малыя дѣти, — наглядность и заохочиваетъ ихъ къ чтенію, и помогаетъ понимать читаемое.

Есть люди (какихъ людей не бываетъ на бѣломъ свѣтѣ!), которые отъ души убѣждены, что крестьянину нужны ши да каша, а грамота бесполезна. Славу Богу, время начинаетъ обнаруживать ту великую истину, что безъ ума не будетъ и шей съ кашей, а умъ родитъ грамота. Сверхъ того нѣтъ ничего труднѣе, какъ вразумлять дикаря: вы хлопочете о его же благѣ, а онъ, если не можетъ оказать вамъ прямого сопротивленія, упрямствомъ своимъ и равнодушіемъ, безъ явнаго противодѣйствія, разрушаетъ самые лучшіе ваши планы, для выполненія которыхъ вы жертвовали и сномъ, и спокойствіемъ, и удовольствіемъ. Вы ведете ему сѣять картофель, чтобъ его же спасти отъ голодной смерти, а онъ твердитъ, что картошка — трава поганая, проклятая... Но если на свѣтѣ такъ много глупыхъ умниковъ, ханжей и изувѣровъ, которые смотрятъ съ ненавистью на всякое преуспѣяніе, на всякій шагъ впередъ, то утѣшится мыслью, что на томъ же бѣломъ свѣтѣ бываютъ и люди, твердые волей, свѣтлые умомъ и благословенные Провидѣніемъ на выполненіе и осуществленіе его благихъ преднамѣреній... И да будутъ честны и славны изъ рода въ родъ имена такихъ людей, подъ просвѣщеннымъ покровомъ которыхъ каждый можетъ возложить свою посильную лепту на алтарь общаго блага!...

Драматическія сочиненія и переводы Н. А. Полевого. *Часть четвертая. Спб. 1843.*

Въ четвертой части «Драматическихъ Сочинений и Переводовъ» Полевого содержатся три драмы: «Смерть или честь!», «Елена Глинская» и «Мать-испанка». Всѣмъ извѣстно, что Полевой взялъ содержаніе драмы «Смерть или честь» изъ повѣсти, но не всѣ знаютъ можетъ-быть, почему именно онъ взялъ его изъ повѣсти. Тѣ, которые полагаютъ, что онъ поступилъ такъ по общему всѣмъ нашимъ доморожденнымъ драматургамъ недостатку воображенія, очень ошибаются. Вотъ собственныя слова Полевого:

«Мнѣ хотѣлось испытать важность въ наше время *драмы-собственно* (?...) вродѣ драмы Лессинга, Иффланда, Дидерота и съ тѣмъ вмѣстѣ увѣриться, справедливо ли мнѣнїе нѣкоторыхъ критиковъ, будто изъ *повести* или *романа* не можетъ быть заимствовано *сценическое представленіе*, въ чемъ ссылались на множество неудачныхъ опытовъ? *Содержаніе* сей драмы взято изъ повѣсти Мишель-Массона «Le Grain de Sable», помѣщенной въ изданномъ имъ собраніи повѣстей подъ заглавіемъ: «Daniel le Lapidaire ou les Contes de l'atelier». (Парижъ, 1833 года).»

Кто же тѣ «нѣкоторые критики, которые утверждали, что изъ повѣсти нельзя сдѣлать истинно хорошей драмы?»... Да первый—самъ же Полевой! Не тотъ Полевой, который не додалъ шести книжекъ «Русскаго Вѣстника»,—не тотъ, который выкраиваетъ изъ чего попало плохія драмы, создаетъ комедіи вродѣ «Войны Овдосы Сидоровны съ китайцами» и воспѣваетъ «деньги», но тотъ, который издавалъ «Телеграфъ», который ссорился съ другомъ и недругомъ за свои убѣжденія, порицалъ направленіе драмъ Шаховскаго и Кукольника и не воспѣвалъ «денегъ»...

Намъ особенно нравятся тѣ драмы Полевого, въ которыхъ онъ изображаетъ вельможъ и вообще людей высшаго тона. Здѣсь онъ неподражаемъ. Смотри на его графинь и баронессъ, не скажешь, что онъ вчера еще былъ кухарками своихъ мужей, которые въ свою очередь только что сошли съ заботокъ; слушая, какъ разсуждаютъ у Полевого герцогини и герцоги, не подумаешь, что ошибся дверью и попалъ вмѣсто гостиной въ лакейскую... «Смерть или честь!»—драма самаго высокаго тона: въ ней дѣйствуютъ графы, министры, самъ герцогъ и весь дворъ его.

Допустимъ, что примѣчаніе, на которое мы указали выше, придумано не для того, чтобъ придать побольше важности слабому, тщедушному созданію и прикрыть благодѣльнымъ предлогомъ несовершенство хорошо рекомендующагося литературное похищеніе; согласимся, что дѣйствительно не другое что-нибудь, а только желаніе увѣриться—можно ли изъ повѣсти сдѣлать драму,—заставило Полевого заимствовать содержаніе драмы «Смерть или честь» изъ повѣсти. Но вотъ вопросъ: что заставило Полевого заим-

ствовать содержаніе «Елены Глинской» у Шекспира и Вальтеръ-Скотта? Въ чемъ увѣриться желалъ Полевой, пародируя «Макбета» и насильственно перетаскивая въ свое сценическое произведеніе нисколько неподходящую къ тогдашнему русскому быту сцену изъ «Кенильвортскаго Замка»? Зачѣмъ также Полевой передѣлалъ свою «Мать-испанку» изъ романа Мейснера «Рѣдкая Мать», а «Парашу-Сибирячку»—изъ повѣсти Метра «Молодая Сибирячка»,—словомъ, для чего сплелъ онъ всѣ свои драматическія представленія и повѣсти, историческія были и небывлицы, анекдоты и сказки изъ чужихъ доскутѣвъ?... Ради какого испытанія наконецъ еще недавно, въ послѣднемъ блистательнѣйшемъ твореніи своемъ, «Ломоносовъ», исказилъ Н. Полевой повѣсть брата своего, К. Полевого, и повторилъ въ своей передѣлкѣ гуртомъ всѣ эффекты, которыми впродолженіе нѣсколькихъ лѣтъ озадачивалъ публику Александринскаго театра поодинокѣ?... Вопросы неразрѣшимые, на которые едва ли и самъ Полевой возьмется отвѣчать удовлетворительно...

Параша. *Рассказъ съ стихами. Т. Л. Спб. 1843.*

Теперь, когда Лермонтова уже нѣтъ, а прекрасное дарованіе Майкова пока не общается идти дальше антологическаго рода,—позвія русская если не умерла, но уснула, какъ это всегда съ ней бываетъ, какъ скоро тотъ, кому дано свыше быть ея покровителемъ, или скончается во свѣтѣ лѣтъ, или замѣнитъ надеждамъ, которыми подаетъ о себѣ. Теперь стихи встрѣчаются только въ журналахъ; между ними попадаются и такіе, въ которыхъ есть чувство и замѣтно большее или меньшее дарованіе; но они всѣ лишены присутствія могучей мысли. А такъ какъ поэзія русская давно уже пережила свой періодъ прекрасныхъ чувствъ и сладостныхъ мечтаній, и еще съ Пушкина начала періодъ мысли,—то теперь проходятъ мимо вниманія публики такіа стихотворенія, которыми прежде легко было бы въ одинъ день стяжать славу великаго гения. Другими словами: могучамъ властителемъ душъ нашего времени уже перестали быть «стишки»—въ потребности публики ихъ смѣнила поэзія мысли. Это особенно стало замѣтно послѣ Лермонтова. Вотъ почему если теперь и нельзя пожаловаться на бѣдность въ стихотворныхъ произведеніяхъ, то нельзя и сказать, чтобъ было что читать по этой части. День появленія въ журналѣ неизвѣстнаго стихотворенія Лермонтова—теперь эпоха въ исторіи русской литературы: стихотвореніе читаютъ, перечитываютъ, списываютъ, вытверживаютъ на память. Стихотворенія, не принадлежащія Лермонтову, тоже прочитываютъ, даже похваляютъ, но съ тѣмъ, чтобъ совершенно забыть ихъ по выходѣ новой книжки журнала. Многіе заключаютъ изъ этого, что вмѣстѣ съ Лермон-

товымъ умерла и русская поэзія. Что касается до насъ, мы не раздѣляемъ этого мнѣнія и думаемъ, что русская поэзія не умерла, а только уснула по обыкновенію, и что по временамъ она будетъ просыпаться и рассказывать намъ свои прекрасные сны—до тѣхъ поръ, пока не явится на Руси новый поэтъ...

Небольшая книжка, на дняхъ появившаяся въ Петербургѣ подъ скромнымъ названіемъ «разсказа въ стихахъ», есть именно одинъ изъ такихъ прекрасныхъ сновъ на минуту проснувшейся русской поэзіи, какіе давно уже не видѣлись ей. Увѣренные въ глубокомъ снѣ нашей поэзіи, мы взяли за «Парашу» съ явнымъ предубѣжденіемъ, думая найти въ ней или сантиментальную повѣсть о томъ, какъ онъ любилъ ее, или какъ она вышла замужъ за него, или какую-нибудь юмористическую болтовню о современныхъ нравахъ, написанную прозаическими стихами. Каково же было наше удивленіе, когда въ это этого прочли мы поэму, не только написанную прекрасными поэтическими стихами, но и проникнутую глубокой идеей, полнотой внутренняго содержанія, отличающуюся юморомъ и ироніей!... Однакожъ, несмотря на то, увѣренность наша въ тяжеломъ снѣ русской поэзіи была такъ велика, что мы не повѣрили первому впечатлѣнію и прочли снова,—еще лучше! И теперь, когда отъ многократнаго повторенія чтенія мы почти знаемъ наизусть прекрасное поэтическое произведеніе, такъ неожиданно, такъ отрадно освѣжившее душу нашу отъ прозы и скуки ежедневнаго быта,—спѣшимъ познакомить публику съ явленіемъ, которое имѣетъ полное право на ея вниманіе.

Хоть авторъ «Параша» (И. С. Тургеневъ), скрывшій свою фамилію подъ литерами Т. Л., и обозначилъ свое произведеніе скромнымъ именемъ «разсказа въ стихахъ», однако оно тѣмъ не менѣе—«поэма», въ томъ смыслѣ, какой усвоенъ Пушкинымъ произведеніямъ такого рода. Итакъ, мы будемъ называть «Парашу» поэмой: оно и короче, и гораздо справедливѣе, если вспомнить, что «Чернецъ», «Эдда», «Наталья Долгорукая», «Борскій» и тому подобныя стихотворные разсказы величались поэмами. Содержаніе «Параша» въ смыслѣ «сюжета» до того просто и немного-сложно, что его можно разсказать въ двухъ словахъ: на уѣздной барышнѣ женится помѣщикъ-сосѣдъ,—вотъ и все. Но это не содержаніе, а только канва содержанія; само же содержаніе поэмы такъ полно и богато, что его нельзя передать во всей его жизни, во всей благоуханной свѣжести его поэзіи, не заставляя самого поэта перерывать нашей прозаической рѣчи своими поэтическими стихами.

Прежде всего мы должны обратить вниманіе читателей на эпиграфъ поэмы изъ Лермонтова:

«И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно».

Этотъ эпиграфъ выбранъ авторомъ не въ исполненіе давно введеннаго обычая заманивать лю-

бопытство читателей загадочнымъ смысломъ чужой рѣчи; нѣтъ, стихъ Лермонтова, какъ мы увидимъ, находится въ живой связи со смысломъ цѣлой поэмы и столько же служитъ объясненіемъ поэмѣ, сколько и самъ объясняется ею. Поэма начинается описаніемъ помѣщичьяго дома съ безобразной наружностью, съ садомъ, похожимъ на огородъ, но съ гротомъ, который любила посѣщать героиня поэмы.

Ея отецъ—помѣщикъ беззаботный,
Сперва служилъ—и долго; наконецъ
Въ отставку вышелъ—и супругой плотной
Обзавелся; теперь большой дѣлецъ!
Живетъ въ ладу съ своими мужичками...
Онъ очень добръ и очень плутовать,
Торгуетъ и пьетъ чаекъ съ кунцами.
Какъ водится, его супруга—кладъ,
О, сущій кладъ! и умница такая!
А женщина она была простая
Съ лицомъ, весьма похожимъ на пироги;
Ее супругъ любилъ какъ только могъ.

Дочери этой достойной четы никто не называлъ бы красавицей, но она была стройна, походка ея была легка и плавна, прекрасная нога ловко обута, и если рука была немного велика, зато пальцы были прозрачны и тонки.

Ея лицо мнѣ нравилось... оно
Задумчивою грустію дышало;
Всегда казалось мнѣ: ей суждено
Страданій въ жизни испытать не мало...
И что жъ? мнѣ было больно и смѣшно:
Вѣдь въ наши дни спасительно страданье...

Но глаза больше всего въ Парашѣ нравились автору—

Взглядъ этихъ глазъ былъ мягокъ и могучъ—
Но не блестягъ онъ блескомъ торопливымъ;
То былъ онъ ясенъ, какъ весенній лучъ,
То холодомъ проникнуть горделивымъ,
То чуть блисталъ, какъ мѣсяцъ пѣ-за тучъ.
Но взглядъ ея задумчиво-спокойный!
Я больше всѣхъ любилъ: я видѣлъ въ немъ
Возможность страсти горестной и злойной—
Залогъ души, любимой Божествомъ.

Она была не безъ странностей, свойственныхъ «уѣзднымъ барышнямъ»; но не имѣла ничего общаго съ восторженными дѣвками, мечтательницами и охотницами до сладенькихъ стишковъ:

Она была насмѣшлива, горда,
А гордость—добродѣтель, господа...

Здѣсь мы находимся въ большомъ затрудненіи: поэтъ такъ увлекательно, такъ поэтически описываетъ внутреннюю тревогу дѣвственной души своей героини, что намъ совѣстно было бы пересказывать это нашей убогой прозой, а выписывать стихи—значитъ переписывать всю поэму... Но это такъ хорошо, что нѣтъ возможности не выписать.

... Каждый день,
Я вамъ сказала,—она въ саду скиталась;
Она любила гордый шумъ и тѣнь
Старинныхъ липъ—и тихо погружалась
Въ отрадную, забывчивую дѣнь.
Такъ весело качались березы,

Облиты сверкающимъ лучемъ...
И по щекамъ ея катились слезы
Тамъ медленно—Богъ вѣдаетъ о чемъ.
То походя къ убогому забору,
Она стояла по часамъ... и взору
Тогда давала волю... но глядите,
Бывало, все на бѣдный рядъ ракъ.
Тамъ черезъ ровный дугъ, отъ ихъ села
Верстахъ въ пяти, дорога шла большая;
И, какъ змѣя, свивалась и ползла
И, дальній гѣсъ украдкой обгибая,
Ея всю душу за собой влекла.
Озарена какимъ-то блескомъ дивнымъ,
Земля чужая вдругъ являлась ей...
И кто-то милый голосомъ призывнымъ
Такъ чудно пѣлъ и говорилъ о ней.
Таинственной исполненные муки,
Надъ ней, звона, носились эти звуки...
И вотъ, искалъ ея молящій взоръ
Другихъ небесъ—высокихъ, пышныхъ горъ
И тополей, и трепетныхъ оливъ...
Искалъ земли плѣнительной и дальней...
Вдругъ русской пѣсни грустный переливъ
Напомнилъ ей о роднѣй печальной;
Она стоитъ, голову наклонивъ,
И надъ собой дивится—и съ улыбкой
Себя бранитъ; и медленно домой
Пойдетъ, вздохнувъ... то сломить пру-
тикъ гибкой,
То бросить вдругъ... разсѣянной рукой
Достанетъ книжку—развернетъ, закроетъ,
Любимый шепчетъ стихъ... а сердце поетъ,
Лицо блѣднѣетъ... въ этотъ чудный часъ
Я, признаюсь, хотѣлъ бы встрѣтить васъ,
О, барышня моя!... Въ тѣни густой
Широкихъ липъ стоите вы безмолвно;
Вдыхаете; надъ вашей головой
Склонилась вѣтвь... а ваше сердце полно
Мучительной и грустной тишиной.
На васъ гляжу я: прелестью степною
Вы дышите—вы нашей Руси дочь...
Вы хороши, какъ вечеръ предъ грозой,
Какъ майская томительная ночь.

Кто получилъ отъ природы благодатную способность понимать поэзію, какъ поэзію,—не въ однихъ стихахъ, не въ однихъ книгахъ, но и въ жизни, и въ природѣ,—тѣ согласятся съ нами, что въ этомъ отрывкѣ каждое слово такъ и дышитъ всей роскошью, всѣмъ обаяніемъ истинной поэзіи.

Есть два рода поэзіи: одна, какъ талантъ, происходитъ отъ раздражительности нервъ и жизни воображенія; она отличается тѣмъ блескомъ, яркостью красокъ, той рѣзкой угловатостью формъ, которые мечутся въ глаза толпѣ и увлекаютъ ея вниманіе. Чѣмъ болѣе повидному заключаетъ въ себѣ поэзія, тѣмъ пустѣе она внутри самой себя, ибо она вся въ воображеніи и ничего общаго съ дѣйствительностью не имѣетъ; мысли ея похожи на громкія слова и звучныя фразы, а картины ея похожи только до тѣхъ поръ, пока смотришь на нихъ: отведите глаза, и въ вашемъ воображеніи не останется никакого образа, никакого созерцанія, никакого представленія.—Другая поэзія, какъ талантъ, имѣетъ своимъ источникомъ глубокое чувство дѣйствительности, сердечную симпатію ко всему живому, а потому ея чувства всегда истинны, ея мысли всегда оригинальны, даже и не будучи новыми,

ибо онѣ не пойманы извнѣ и на лету, а возникли и выросли въ душѣ поэта. Произведенія такой поэзіи не бросаются въ глаза, но требуютъ, чтобъ въ нихъ вглядывались, и только внимательному взору открывается во всей глубинѣ своей ихъ простая, тихая и цѣломудренная красота. Печать оригинальности составляетъ ихъ неразлучную принадлежность; она есть слѣдствие способности схватывать сущность, а слѣдовательно и особенность каждого предмета. И потому описанія ея запечатлѣны достоверностью, такъ что, еслибъ вы и никогда не видывали описываемаго предмета, вы тѣмъ не менѣе убѣждены, что онъ точно таковъ и другимъ быть не можетъ. Разбираемая нами поэма можетъ служить образцомъ такихъ произведеній. Вотъ вамъ картина неаполитанскаго лѣта:

Прежаркій день—но вовсе не такой,
Какихъ видахъ я на далекомъ югѣ:
Томительно-глубокой сивеюй
Все небо пышетъ; какъ больной въ недугъ,
Земля горитъ и сохнетъ; подъ скалой
Сверкаетъ море блескомъ нестерпимымъ—
И движется, и дышитъ, и молчитъ...
И всѣ цвѣта подъ тѣмъ неутонченнымъ,
Могучимъ солнцемъ рдѣютъ... дивный видъ!
А вотъ, зарывшись весь въ песокъ блестящій,
Рыбакъ лежитъ, и каждый проходящій
Любуется имъ съ завистью—я самъ
Имъ тоже любовался по часамъ.

Въ этихъ тринадцати стихахъ такая картина, что вамъ ничего не остается ожидать къ ея дополненію, хотя въ то же время вы знаете, что тысячи другихъ поэтовъ могли бы ту же картину представить вамъ совсѣмъ иначе, совсѣмъ другими словами. Природа неистощима въ своемъ разнообразіи, и дѣло не въ томъ, чтобъ поэзія представляла ее въ сколько можно обширныхъ и сложныхъ картинахъ, а въ томъ, чтобъ она умѣла схватить особенность каждого ея явленія. Лѣто—вездѣ лѣто: вездѣ отъ него и жарко, и душно, и пыльно; но въ Неаполѣ свое лѣто, въ Россіи—свое. Первое вы сейчасъ видѣли; вотъ второе:

У насъ не то, хоть и у насъ не радъ
Бываешь жару... точно, жаръ глубокий,
Гроза вдали сбрасается, трещать
Кузнечики неистово въ высокой,
Сухой травѣ; въ тѣни снова лежатъ
Жнецы; носы разинули вороны;
Грибами пахнетъ въ рощѣ; тамъ и сямъ
Собаки лаютъ; за водой студеной
Идетъ мужикъ съ кувшиномъ по кустамъ.
Тогда люблю ходить я въ лѣсъ дубовый,
Сидѣть въ тѣни спокойной и суровой
Иль иногда подъ скромнымъ шалашомъ
Бесѣдовать съ разумнымъ мужичкомъ.

Въ такой-то день Параша встрѣтилась съ охотившимся молодымъ человѣкомъ. Мы пропускаемъ большую часть прекрасно изложенныхъ поэтомъ подробностей этой встрѣчи. Скажемъ только, что охотникъ началъ свой разговоръ съ Парашей не восклицаніемъ: «о, дѣва чудная!» или другой какой-нибудь пошлостью въ этомъ родѣ, но адресовался къ ней съ очень простымъ вопросомъ:

«умоляю васъ, скажите, который теперь часъ?» потому: «чей это домъ?», а тамъ объявилъ ей, что покойный дѣдъ былъ очень друженъ съ ея отцомъ.

Портретъ незнакомца превосходно очерченъ авторомъ. Это одинъ изъ тѣхъ великихъ-маленькихъ людей, которыхъ теперь такъ много развелось, и которые улыбкой презрѣнія и насмѣшки прикрываютъ тощее сердце, праздный умъ и посредственность своей натуры. Онъ былъ за-границей и вынесъ оттуда множество бесплодныхъ словъ и сомнѣній... У нѣкоторыхъ журналовъ теперь вошло въ мавію нападать на такихъ путешественниковъ, и они съ торжествомъ указываютъ на нихъ, какъ на живое доказательство, что нечего за добромъ ѣздить на Западъ. Авторъ «Параши» думаетъ объ этомъ иначе, и, соглашаясь съ нимъ, мы вдругъ вспомнили сказку, нѣкогда переведенную Жуковскимъ, «Кабудъ Путешественникъ»... Къ особенностямъ героя поэмы принадлежитъ и то, что, будучи влюбчивымъ, онъ былъ спокоенъ и горделивъ, а потому и счастливъ въ женитьбѣ, удачно обманывая и такихъ между ними, которыхъ самъ не стоить; еще: не будучи особенно умнымъ, онъ вполне владелъ умомъ, дарованнымъ ему отъ Бога. Говоря о страсти своего героя сгибаться передъ знатію, авторъ очень остроумно признается въ томъ, что любить пустой блескъ большого свѣта, не увлекаясь имъ и смотря на него безъ желанія; онъ очень остроумно подшучиваетъ надъ моральными выходками противъ большого свѣта непризнанныхъ, безхвостыхъ львовъ и львицъ, т. е. людей, которые бранятъ большой свѣтъ за то, что тотъ не хочетъ ихъ знать. Люблю, говоритъ авторъ,

Люблю я пышныхъ комнатъ стройный рядъ
И блескъ, и прихоть роскоши старинной...
А женщины... люблю я этотъ взглядъ
Разсѣянный, насмѣшливый и длинный;
Люблю простой, обдуманный нарядъ...
Я этихъ губъ люблю надменный очеркъ,
Задумчиво приподнятую бровь,
Душистыя записки, быстрый почеркъ,
Душистую и быструю любовь;
Люблю я эту поступь, эти плечи,
Небрежныя, заманчивыя рѣчи...
«Но (скажутъ мнѣ) виѣ свѣта никогда
Вы не встрѣчали женщины прекрасной?»
Такихъ особъ встрѣчалъ я иногда,
И даже въ двухъ влюбился очень страстно;
Какъ полевой цвѣтокъ онъ всегда
Такъ милы —но, какъ онъ, свой легкой запахъ
Онъ теряютъ вдругъ... И Боже мой,
Какъ не завянуть имъ въ неловкихъ лапахъ
Чиновника, довольнаго собой?

Эти стихи не обойдутся автору даромъ: его объявятъ за нихъ «аристократомъ», скажутъ, что виѣшній блескъ предпочитаетъ онъ душѣ и сердцу, и т. п. По обыкновенію, въ этомъ случаѣ ему припишутъ то, чего онъ и не думалъ, и горячо будутъ оспаривать его въ томъ, чего онъ не говорилъ. Дѣло тутъ идетъ не о душѣ и сердцѣ: поэтъ говоритъ совсѣмъ не о внутренней святости

нѣ женщины, а о ея поэтической виѣшности, которой могутъ не дорожить только натуры сухія и грубыя. Поэзія формы, извѣстность виѣшности, столь очаровательныя въ женщинѣ, могутъ похвастаться исключительными явленіями виѣ большого свѣта. Женщины другихъ круговъ общества смотрятъ на красоту и извѣстность, какъ на средство поскорѣе выйти замужъ. Достигнувъ этой вожделѣнной цѣли, онѣ скоро перестаютъ и пить, и плакать, и читать сладенькіе стишки, и кокетливо наряжаться, и поэтически держать себя; онѣ предаются прозѣ жизни, скоро полижутъ, пристращаются къ утреннему дезабильѣ, забываютъ музыку, луну, стихи, мечту и т. д. Оттого до замужества почти каждая изъ нихъ — ангелъ доброты, дѣва чудная, неземная, Полина или Надина, а послѣ замужества — солидная дама съ вѣсомъ въ обществѣ, женщина съ характеромъ, Пелагея Петровна и Надежда Алексѣевна. Тутъ есть и другая причина. Юность сама по себѣ есть уже поэзія жизни, и въ юности каждый бываетъ лучше, нежели въ остальное время своей жизни; женщины въ особенности. Надо имѣть слишкомъ много глубины и силы въ натурѣ, чтобъ не охолодѣть въ прозѣ жизни, сберечь чувство и душу отъ холода дѣйствительности и сохранить юность сердца и въ лѣта зрѣлости, и въ годы старости. Но такія натуры слишкомъ рѣдки, и поэзія юности слишкомъ рѣдко бываетъ ручательствомъ за поэзію дальнѣйшихъ возрастовъ. Бракъ есть рѣшительная эпоха въ жизни мужчины и еще болѣе въ жизни женщины: для обоихъ это — гробъ поэзіи и колыбель пошлой прозы и очерствѣнія души и чувства. Авторъ «Параши» превосходно охарактеризовалъ эпитетомъ «довольнаго собой» цѣлый разрядъ людей, особенно страшныхъ и гибельныхъ для благоуханной поэзіи женственныхъ существъ. Люди раздѣляются не только на умныхъ и на дураковъ: тѣ и другіе равно рѣдки, и между ними занимаетъ мѣсто огромный разрядъ пошлыхъ людей. Эти люди по большей части умны и не глупы, иногда же между ними попадаютъ люди не безъ ума и не безъ способностей; по главное ихъ качество въ томъ и другомъ случаѣ — довольство самими собой. Эти господа не знаютъ, что такое раскаяніе, стремленіе къ идеалу и тоска отъ невозможности достигъ его, что такое горе безъ несчастія и страданіе при хорошемъ положеніи дѣла и добромъ здоровьѣ. Какъ бы ни была глубока и богата духовными дарами натура женщины, но если ея мужемъ сдѣлается одинъ изъ такихъ господъ, ей остаются только двѣ неизбежныя дороги: или медленно зачахнуть, или помириться съ жизнью, какъ она есть... Последнее всего чаще случается. Въ высшихъ кругахъ общества при этомъ не исчезаетъ поэзія виѣшности, и нарядъ остается навсегда обдуманно простъ, взглядъ разсѣянь, насмѣшливъ и долготъ, и любовь душиста и быстра, какъ записки и почеркъ; но въ среднихъ кругахъ общества виѣшняя пошлость

вѣрно отражаетъ внутреннюю, и милые полевые цвѣтки быстро вынуты въ неловкихъ лапахъ довольнаго собой чиновника...

На другой день въ домѣ отца Параша ждутъ гостя. Старикъ надѣлъ фракъ; дочь въ тайномъ волненіи; ея прическа такъ мила, а перчатки такъ свѣжи... Наконецъ гость является. Онъ говоритъ со стариками, очаровываетъ ихъ, съ Парашей ни слова; но все въ немъ дышало «сознаніемъ внезапнаго сближенія».

И предаваясь дивной тишинѣ,
Онъ наслаждался страстно и вполнѣ.

Поэтъ даже заставляетъ его «пылать святымъ и чистымъ жаромъ» и увѣряетъ, что онъ былъ любимъ... Предупреждая сомнѣніе читателей, авторъ спрашиваетъ ихъ:

Скажите—ваша память мнѣ поможетъ—
Какъ мнѣ назвать ту страстную тоску,
Ту грустную, невольную тревогу,
Которая беретъ васъ понемногу...
Къ чему намъ лицемерить, о, друзья!
Ее любовью называю я.

Наступаетъ ночь; хозяинъ приглашаетъ гостя погулять въ саду и съ своей супругой понемногу отстаетъ отъ молодой четы. Душа Параша не совсемъ спокойна, а онъ не начинаетъ разговора за тѣмъ, что боится внезапныхъ ощущеній и чувствительныхъ порывовъ, за тѣмъ, что былъ смущенъ своимъ положеніемъ: онъ клялся въ любви только тогда, когда не любилъ; начиная же чувствовать жаръ любовной лихорадки, онъ зарывалъ свою любовь какъ кладъ. Жаль! прелестныя читательницы, охотницы до сладенькихъ стишковъ и восторженныхъ сценъ, вѣрно ожидали тутъ пламеннаго объясненія, при лунѣ и звѣздахъ; но герой поэмы—ужасный прозаникъ: если онъ и допускалъ возможность исключеній, то въ пошлость вѣрилъ твердо и всегда, и рѣдко ошибался, а о другомъ мірѣ не имѣлъ никакого понятія. Что же касается до самого поэта, то чувствительныя и восторженныя читательницы навѣрное будутъ имъ еще менѣе довольны, нежели герои поэмы, и объявятъ его человѣкомъ безъ души и сердца, демономъ, который не вѣритъ любви и презираетъ прекрасное и высокое... Предоставляемъ ему самому защищаться противъ этого грознаго суда и обратимся къ прерванной нити разсказа.

Сказавъ, что герою поэмы въ саду съ уѣздной барышней было едва ли отраднѣе, чѣмъ въ аду, авторъ заставляетъ его постепенно таять и объявляетъ—влюбленнымъ! Какъ и почему это случилось? Поэтъ удовлетворительно отвѣчаетъ на эти вопросы:

Во-первыхъ: ночь прекрасная была,
Ночь лѣтняя, спокойная, нѣмая:
Не свѣтила луна, хоть и взошла;
Рѣка, во тьмѣ таинственно сверкала,
Текла вдали... Дорожка къ ней вела:
А листья въ тишинѣ толгой незримой
Ленечутъ. Вотъ они сошли въ оврагъ,
И словно ихъ движеніемъ гонимый,
Предъ ними разступался мягкій прахъ...
Противиться не могъ онъ обаянію—

Онъ волю далъ безпечному мечтанью,
И улыбался мирно, и дышалъ...
А свѣжій вѣтръ въ глаза ихъ лобызалъ.
А во-вторыхъ: Параша не молчитъ
И не вдыхаетъ съ приторной ужимкой,
Но говоритъ, и просто говоритъ.
Она такъ мило движется—какъ дымкой
Прозрачной тѣнью трепетно облитъ
Ея высокій станъ... онъ отдыхаетъ:
Ужъ онъ и радъ, что съ ней они вдвоемъ,—
Заговорилъ, а сердце въ ней пылаетъ
Невѣдомымъ, томительнымъ огнемъ.
Ихъ запахомъ встрѣчаетъ кустъ незримый
И, словно тоже страстію томимый,
Вдали, вдали—на рубежѣ стѣнъ
Гремитъ, поетъ и плачетъ соловей.
И можетъ быть онъ началъ понимать
Всю прелесть первыхъ трепетныхъ движеній
Ея души—и сталъ въ немъ умирать
Крикливый рой смѣшныхъ предубѣжденій;
Но ей одной доступна благодать
Любви простой, и дѣтской, и стыдливой...
Нѣтъ! о любви не думаетъ она—
Но, какъ листокъ блестящій и стыдливый,
Ее несетъ широкая волна...
Все въ этотъ мигъ кругомъ ей улыбалось,
Надъ ней одной все небо наклонилось,
И, колымая медленно, трава
Ей вслѣдъ шептала милыя слова...

Уѣзжая домой, нашъ герой думалъ про себя: «Я радъ сосѣдамъ... Онъ—человѣкъ богатый... дочь у нихъ одна и «притомъ она мила». Думая такъ, онъ гналъ отъ себя другія, неумѣстныя мечты, отголоски давно минувшихъ дней... А что же Параша? Ей казалось, что все прежнее, вся жизнь ея измѣнилась; во снѣ ей видѣлся онъ, а поэту слышится надъ ней, спящей, какой-то «насмѣшливый» голосъ, который говоритъ:

«Въ теплый вечеръ въ уляхъ чистыхъ
Зрѣютъ свѣтлые соты;
«Въ теплый вечеръ лишь душистыхъ
«Раскрываются цвѣты;
«И тогда по нимъ слезами
«Потечетъ прозрачный медъ—
«Вьется жадно надъ цвѣтами
«Пчелъ ликующій народъ...
«Наклоня сладострастно
«Свой усталый стебелекъ,
«Гостя милаго напрасно
«Ни одинъ не ждетъ цвѣтокъ.
«Такъ и ты цвѣла стыдливо,
«И въ тебѣ, дитя мое,
«Созрѣвало прихотливо
«Сердце страстное твое...
«И теперь, въ красѣ расцвѣта,
«Обаянія полна,
«Ты стоишь подъ солнцемъ лѣта
«Одинока и пышна.
«Такъ склонись же, стебель стройный;
«Такъ раскройся жъ, мой цвѣтокъ;
«Прилетѣлъ женихъ... достойный
«Въ твой забытый уголокъ.»

Однакожъ странно: почему эти прекрасныя стихи такъ неожиданно смѣняются такимъ прозаическимъ стихомъ—«съ достойнымъ женихомъ?.. Не забывайте, что эти стихи прозвучали насмѣшливымъ голосомъ... Чей же это голосъ?—Должно быть сатаны: эта догадка тѣмъ основательнѣе, что самъ поэтъ вслѣдъ затѣмъ заставляетъ сатану «повикнуть угрюмой головой надъ

любящей четой». Но не ожидайте сцены обо-
льщенія: нашъ поэтъ—писатель благоправный, а
герой его поэмы не былъ Донъ-Хуаномъ — въ
этомъ увѣряетъ насъ самъ авторъ:

Мой Викторъ не былъ Донъ-Хуаномъ... ей
Не предстояли грозныя волненія.
«Тѣмъ лучше» скажутъ мнѣ: «разгулъ стра-
стей

«Опасенъ»... Точно; лучше, безъ сомнѣній,
«Спокойно жить и приживать дѣтей,—
И не давать, особенно въ началѣ,
Щекамъ пылать... склоняться головѣ...
А сердцу забываться—и такъ дагѣ.
Не правда ль? Общепринятою молвъ
Я покоряюсь молча.. поздравляю
Парашу—я судьбѣ ее вручаю—
Подобной жизнью будетъ жить она;
А кажется, кохочетъ сатана.

Мой Викторъ пересталъ любить давно...
Въ немъ съизмала горѣли страсти скупы;
Но впрочемъ тѣмъ же свѣтомъ рѣшено,
Что по любви жениться—даже глупо.
И вотъ въ кого ей было суждено
Влюбиться... Что жъ? онъ человѣкъ прекрасный
И—какъ умѣетъ—самъ влюбленъ въ нее;
Ея души задумчивой и страстной
Обылись надежды всѣ... обмылся все,
Чему она дать имя не умѣла,
О чемъ молиться смѣла и не смѣла...
Обмылся все... и оба влюблены...
Но все жъ мнѣ слышится кохотъ сатаны.

Да чему же обрадовался лукавый?.. Не пригото-
вляетъ ли онъ измѣны, ревности, кинжала, яда
и другихъ золъ, которыми нарушается супруже-
ское счастье?.. Ничего не бывало! Вы правы, чув-
ствительныя и восторженные читательницы, го-
вори, что авторъ «Параша» — человѣкъ прозаиче-
скій и холодный... Въ самомъ дѣлѣ, оставивъ са-
тану, онъ вдругъ извѣщаетъ васъ, что онъ долго
былъ въ отсутствіи, лѣтъ черезъ пять посѣтилъ
влюбленныхъ. Четвертый годъ, какъ они были
супругами, и Викторъ какъ-то странно потолстѣлъ;
но ее встревожилъ приходъ поэта, напомнивъ ей
о прежнемъ, и она даже сгрустнула и поплакала;

Но грусть замужней женщины смѣшна.
Какъ ручеекъ невилистый, но плавный,
Катилась жизнь Прасковьи Николаевны!

Мужъ ее любилъ. «Можетъ быть, вы скажете,
что онъ не стоялъ ея любви?» говоритъ поэтъ и
отвѣчаетъ такъ: «кто знаетъ!».

Но—Боже! то ли думалъ я, когда,
Исполненный нѣмого обожанья,
Ея душѣ я предрекалъ года
Святого, благодатнаго страданья!
Съ надеждами разставшись навсегда,
Свыкался я съ суровымъ отчужденьемъ,
Но въ ней ласкалъ послѣднюю мечту
И на нее съ таинственнымъ волненьемъ
Глядѣлъ, какъ на любимую звѣзду...
И что жъ? я былъ обманутъ такъ невинно,
Такъ просто, такъ естественно, такъ чинно,
Что въ истинѣ своихъ желаній я
Сталъ сомнѣваться, милые друзья.
И вотъ что ей сулили ночи той,
Той лѣтней ночи страстныхъ мгновенья,
Когда съ такой тревожной быстротой
Въ ея душѣ смѣшались вдохновенія...
Прощай, Параша!.. Время на покой;

Перо къ концу спѣшитъ нетерпѣливо...
Что жъ мнѣ сказать о ней? Признаться вамъ—
Ее никто не назоветъ счастливой
Вполнѣ... она вдыхаетъ по часамъ,
И въ памяти хранить, какъ совершенство,
Невинности нелѣпое блаженство!
Я скоро съ ней разстался.. и едва ль
Ее увижу вновь... ее мнѣ жалъ..

Если и теперь не для всѣхъ будетъ понятенъ
кохотъ сатаны, то мы, право, не знаемъ, какъ и
объяснить его... Этотъ сатана долженъ быть зна-
комъ русскимъ читателямъ, потому что они встрѣ-
чались съ нимъ и въ «Онѣгинѣ», и въ «Горѣ отъ
Ума», и въ «Ревизорѣ», и въ повѣстяхъ Гоголя,
и въ «Герое Нашего Времени», и вѣстѣ съ нимъ
смѣшались или грустили надъ неточнымъ и пре-
вратнымъ употребленіемъ разныхъ ежедневно
употребляемыхъ словъ. Въ «Парашѣ» навлекло
на себя насмѣшку бѣса слово «любовь» и не-
умѣніе многихъ любить, и умѣніе ихъ дѣлать ко-
медію изъ всякаго чувства. Наши юноши и
дѣвы въ любви всего менѣе думаютъ о любви,
но и тѣ, и другія ищутъ въ ней счастья, а сча-
стье любви полагаютъ въ союзѣ съ нимъ и съ ней.
Любовь, какъ всякое сильное чувство, какъ вся-
кая глубокая страсть, есть сама себѣ цѣль; для
любящихся она — долгъ, требующій служенія и
жертвъ, а, предаваясь чувству, они не отступаютъ
назадъ, что бы ни сулила имъ развязка ихъ ро-
мана — счастливый ли союзъ, или терновый вѣ-
нокъ страданія и безвременную могилу... Но есть
люди, которые очень уважаютъ чувство, пока
оно сулитъ имъ вѣрное счастье и пока оно не
требуетъ отъ нихъ ничего, кромѣ прекрасныхъ
словъ и поэтическихъ восторговъ... И потому
часть такихъ людей рѣшаетъ не страсть, не
чувство, а теплая лѣтняя ночь и одинокая про-
гулка, располагающія къ нѣгѣ, мечтательности,
и заставляющія распыляться душой и сердцемъ.
И какъ иначе? для страсти надо воспитаться,
развиться. А для этого надо возрасти въ такой
общественной сферѣ, въ которой духовная жизнь
черезъ дыханіе входитъ въ человѣка, а не изъ
книгъ узнается имъ. Только тогда изъ его страсти
можетъ выйти или серьезная повѣсть, или высо-
кая драма, а не жалкая комедія, не карикатур-
ная пародія для потѣхи сатаны..

Но можетъ быть все это нинѣ читателямъ
покажется довольно темно, и они найдутъ очень
серьезной развязку повѣсти. Въ самомъ дѣлѣ:
влюблись и женились, оба молоды и съ достат-
комъ, оба приличная партія другъ другу; дай
Богъ такъ всякому!.. И то правда! Такихъ чи-
тателямъ мы ничего не находимся отвѣтить, и ре-
цензенту остается только извиниться передъ
ними словами поэта:

Но вы добры, я слышалъ, и меня,
По глупости, простите ради Бога.

Другіе можетъ быть станутъ благоразумно раз-
суждать, что выйдя Параша, вѣсто Виктора, за
человѣка съ душой возвышенной, сердцежъ страст-
нымъ и проч.,—она не утратила бы благоуханія

души своей и въ пошломъ спокойствіи не забыла бы жаркаго волненія сердца и сладости страданія... Нѣтъ, еслибъ она была выше своей судьбы, не спокойствіе, а страданіе было бы удѣломъ ея—хотѣли мы сказать, но вспомнимъ, что предупредительный поэтъ лучше насъ рѣшилъ этотъ вопросъ, мы ограничимся повтореніемъ его словъ:

Мнѣ жалъ ея... быть можетъ еслибъ рокъ
Ее повелъ другой—другой дорогой...
Но рокъ—такъ всѣми принятъ—жестокъ,
А потому и поступаетъ строго.

Выписанныя нами мѣста изъ поэмы достаточно говорятъ за дарованіе и мастерство автора. Стихъ обнаруживаетъ необыкновенный поэтический талантъ; а вѣрная наблюдательность, глубокая мысль, выхваченная изъ тайника русской жизни, язвочная и тонкая иронія, подъ которой скрывается столько чувства, — все это показываетъ въ авторѣ, кромѣ дара творчества, сына нашего времени, носящаго въ груди своей всѣ скорби и вопросы его. Объ оригинальности мы не говоримъ: она то же, что талантъ—по крайней мѣрѣ безъ нея нѣтъ таланта. Многіе найдутъ въ поэмѣ слѣды подражанія Пушкину и особенно Лермонтову: это неудивительно, ибо живая историческая послѣдовательность литературныхъ явленій всегда смѣшивается толпой съ холодной и бездушной подражательностью. Но люди мыслящіе понимаютъ, что быть подъ неизбѣжнымъ вліяніемъ великихъ мастеровъ родной литературы, проявляя въ своихъ произведеніяхъ упорченное ими литературѣ и обществу, и рабски подражать — совсѣмъ не одно и то же: первое есть доказательство таланта, жизненно развивающагося, второе — безталантности. Можно поддѣлаться подъ стихъ и подъ манеру писателя, но не подъ духъ и натуру его, ибо можно цѣлый вѣкъ проживать съ чужими словами и чужими манерами, но отъ собственнаго духа и собственной натуры отречься нельзя, каковы бы они ни были — велики или малы... Въ стихахъ Т. Л. столько жизни и поэзіи, въ созерцаніи его столько истинны и вѣрности, что тутъ всякая мысль о подражательности нелѣпа. Вся поэма проникнута такимъ строгимъ единствомъ мысли, тона, колорита, такъ выдержана, что обличаетъ въ авторѣ не только творческій талантъ, но и зрѣлость и силу таланта, умѣющаго владѣть своими предметомъ. Вообще нельзя не замѣтить по случаю этой поэмы, какіе великіе успѣхи въ послѣднее время сдѣлали наша поэзія и наше общество; чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только вспомнить о поэмахъ, явившихся до «Цыганъ» Пушкина... Иронія и юморъ, овладѣвшіе современной поэзіей, всего лучше доказываютъ ея огромный успѣхъ: ибо отъ отсутствія ироніи и юмора всегда обличаетъ дѣтское состояніе литературы.

Словно гармоническимъ аккордомъ оканчивается поэма послѣдней строфой, оставляя на душѣ глубокой слѣдъ взволнованной думы:

А если кто разскажъ небрежный мой
Прочтеть—и вдругъ, задумавшись невольно,
На мигъ одинъ поникнетъ головой
И скажетъ мнѣ спасибо: мнѣ довольно...
Тому давно—стоялъ я надъ кормой,
И ныли мы вдоль города чужого;
Я былъ одинъ на палубѣ.. волна
Вадимала насъ и опускала снова...
И вдругъ мнѣ кто-то машетъ изъ окна;—
Кто онъ, когда и гдѣ мы съ нимъ выдѣлись,
Не могъ я вспомнить... быстро мы промчались—
Ему въ отвѣтъ и я махнулъ рукою —
И городъ тихо скрылся за горой..

Дай Богъ, чтобы наша встрѣча съ талантомъ автора «Параши» не была также случайна, но превратилась въ знакомство продолжительное и прочное. Грустно было бы думать, что такой талантъ—не болѣе, какъ вспышка юности, кипѣніе молодой крови, а не признакъ призванія, и можетъ обмануть возбужденныя имъ ожиданія и надежды, какъ обманула поэта героиня его поэмы...

Казакъ. Поэма Александра Кузьмича. Спб. 1843. Двѣ части.

Кто не пишетъ въ наше время романовъ и повѣстей, особенно историческихъ романовъ и повѣстей? Кто? — только люди, ничего не пишущіе! Откуда же эта страсть, въ чемъ ея причины? Объ этомъ можно бы много сказать; но мы на этотъ разъ ограничимся немногими словами. Большая часть пишущаго народа воображала себѣ, что романъ, особенно историческій, не поэзія, потому что пишется прозой. Эти господа думаютъ, что событіе (т. е. завязка или развязка какого-нибудь приключенія или происшествія) уже само по себѣ такъ интересно, что можетъ занять вниманіе читателя и доставить ему удовольствіе. Это «событіе» у нихъ всегда бываетъ одно и то же: герой, одаренный всѣми добродѣтелями, красотой и умомъ, влюбляется въ героиню, которая тоже — фениксъ своего рода. За нее обыкновенно сватается какой-нибудь «злюди», на сторонѣ котораго отецъ. Слѣдуютъ разныя препятствія и страданія; но вѣрность и постоянство все преодолеваютъ — даже здравый смыслъ, — и герои, по претерпѣніи разныхъ несчастій, совокупляются наконецъ законнымъ бракомъ. Къ этому вздору сочинитель прииѣшаетъ исторію, выведетъ нѣсколько историческихъ лицъ и заставитъ ихъ говорить и дѣйствовать для возжелѣннаго соединенія героевъ своего романа, такъ что у много такого сочинителя и полтавская битва, и бородинское сраженіе даются именно съ этой цѣлью и, кромѣ счастливаго брака глупыхъ любовниковъ, не оставляютъ послѣ себя никакихъ результатовъ для міра. Согласитесь, что такъ писать легко: нечего выдумывать, не надъ чѣмъ думать; взялъ перо — и пошелъ писать! Чудаки — эти сочинители! Они

не понимаютъ, что сущность и достоинство романа (и историческаго, и не историческаго) не въ сюжетѣ; что сюжетъ — дѣло всегда готовое: бери только. Что составляетъ сюжетъ напри- мѣръ «Ламмермурской Невѣсты» Вальтеръ-Скотта? Молодой человѣкъ любитъ дѣвушку, кото- рая отвѣчаетъ на его любовь; они объяснились и помѣнялись кольцами; остается только полу- чить согласіе родителей Люціи. Отецъ бы и не прочь отъ этого; но мать, ненавидѣвшая Равенс- вуда, имѣніемъ котораго заставила завладѣть своего слабохарактернаго мужа, не хочетъ и слышать объ этомъ союзѣ и заставляетъ свою дочь выйти замужъ за другого. Встрѣтивъ не- ожидаемое сопротивленіе со стороны дочери, леди Астонъ пользуется отсутствіемъ Равенсвуда и убѣждаетъ Люцію, что онъ измѣнилъ ей. Бѣд- ная слабая дѣвушка рѣшается съ отчаянія выйти за немилаго; брачный контрактъ подпи- санъ ею, вдругъ входитъ въ залу Равенсвудъ, словно обвинительная тѣнь, вызванная изъ гроб- ба вѣроломствомъ. Братья Люціи вызываютъ его на дуэль; онъ принимаетъ ихъ вызовъ и удаляется. Вечеромъ того же дня помѣшавшаяся Люція чуть не зарѣзала своего мужа, а Равенс- вудъ на утро исчезаетъ въ топкихъ болотахъ, черезъ которые спѣшитъ на поединокъ. Тѣмъ и оканчивается романъ. Все это просто, даже обык- новенно. И кому не могъ бы придти въ голову такой же или подобный сюжетъ? Тысячи такихъ сюжетовъ приходили въ голову тысячъ писателей, — и между тѣмъ никто не знаетъ ни ихъ именъ, ни ихъ романовъ, а «Ламмермурская Невѣста» Вальтеръ-Скотта известна всему обра- зованному міру и вѣчно будетъ вѣдома ему, какъ драгоценный алмазъ, украшающій корону великаго царя. Въ чемъ же состоитъ превосход- ство романа Вальтеръ-Скотта передъ тысячею другихъ романовъ съ столь же или еще болѣе интересными, болѣе заманчивыми сюжетами? Въ талантѣ — скажутъ намъ. Но въ какомъ же та- лантѣ? Вѣдь таланты бываютъ разные: одинъ владѣетъ талантомъ править государствомъ, дру- гой одерживать побѣды на полѣ битвы, третій прорывать каналы и устраивать ходы подъ рѣ- ками, четвертый измѣрять движеніе свѣтила не- бесныхъ, и т. п. Талантомъ поэзіи — скажутъ намъ. Такъ, но и этимъ еще не все сказано. Что такое поэзія, въ чемъ состоитъ она? — вотъ во- просъ! Дюжинные сочинители полагаютъ ее въ вымыслахъ воображенія. Но вѣдь и бредъ спя- щаго, мечты сумасшедшаго — вымыслы фантазій; однакожъ они — не поэзія. Должны же имѣть какой-нибудь опредѣленный характеръ вымыслы поэзіи, чтобъ отличаться отъ всѣхъ вымысловъ другого рода. «Поэзія есть творческое воспроиз- веденіе дѣйствительности, какъ возможности». Поэтому чего не можетъ быть въ дѣйствитель- ности, то ложно и въ поэзіи; другими словами, чего не можетъ быть въ дѣйствительности, то не можетъ быть и поэтическимъ. Такое опредѣ-

леніе поэзіи вводитъ фантазію въ живое орга- ническое соотношеніе съ другими способностями души, и преимущественно — съ разумомъ. Чтoby умѣть изображать дѣйствительность, мало даже дара творчества: нуженъ еще разумъ, чтобъ по- нимать дѣйствительность. Кто хочетъ быть по- этомъ на бумагѣ, тотъ прежде долженъ быть поэтомъ въ душѣ и, по натурѣ своей, видѣть дѣйствительность съ ея поэтической стороны. Поэзія не въ однихъ книгахъ: она въ дыханіи жизни, въ чемъ бы ни проявлялась эта жизнь — въ природѣ, въ исторіи или въ частномъ бытѣ человѣка. Такимъ поэтомъ былъ Вальтеръ-Скоттъ, и оттого онъ смѣло могъ брать для своихъ ро- мановъ самые простые, обыкновенные, даже избы- тные сюжеты и дѣлать ихъ въ своихъ романахъ новыми и необыкновенными. Оттого дѣйстви- щія лица его романовъ — живыя лица, живые люди, а не тѣни, не призракъ; ихъ чувства и побужденія, добрыя и злыя, истинны; отношенія другъ къ другу естественны. Оттого наконецъ нѣтъ ничего легче, какъ рассказать въ нѣсколь- кихъ словахъ сюжетъ любого романа Валь- теръ-Скотта, и нѣтъ ничего труднѣе, какъ изло- жить содержаніе его даже въ большой статьѣ. Для истиннаго таланта канва ничего не стоитъ, а важны краски и тѣни, которыми оживить онъ свою канву. Бездарность же, напротивъ, пола- гаетъ всю важность только въ канвѣ, а о кра- скахъ и тѣняхъ не думаетъ, не подозревая того, что въ нихъ то, въ этихъ краскахъ, въ этихъ тѣняхъ, и скрывается поэзія.

Такова новая историческая повѣсть «Казакъ». Сочинитель не жалѣлъ ни бумаги, ни чернилъ, ни словъ, ни фразъ, ни разговоровъ, ни описаній, ни происшествій — всего этого у него вдоволь; нѣтъ одного только — поэзіи! Читаешь, читаешь — въ глазахъ рябитъ, въ головѣ скучно, на душѣ скучно, и спрашиваешь себя: да къ чему же все это? Люди говорятъ, ходятъ, ѣздятъ, пьютъ, ѣдятъ, влюбляются, сражаются — все это, Богъ знаетъ, зачѣмъ и для чего. Да и люди ли это? Нѣтъ, тѣни или, лучше сказать, маріонетки дурной работы, приводимыя въ движеніе бѣлыми нитками, рукой неловкаго фокусника. Никакой истины, никакой естественности ни въ характе- рахъ, ни въ событіяхъ.

Повѣсти Ивана Гудошника. *Собран- ния Николаемъ Полевымъ. Въ двухъ частяхъ. Спб. 1843.*

Вѣроятно для весьма многихъ ничего не мо- жетъ быть завиднѣе участи стараго сочинителя, долго и неуспѣшно подвизавшагося на литератур- номъ поприщѣ и слѣдовательно много написав- шаго. Въ самомъ дѣлѣ, если исключить неболь- шія обиды, наносимыя самолюбію стараго сочи- нителя успѣхами новаго поколѣнія, то это едва ли не счастливѣйшее состояніе въ человѣческой жизни! Старому сочинителю, написавшему на

своемъ вѣку нѣсколько десятковъ повѣстей и романовъ, пять-шесть сочиненій историческихъ, полсотни патріотическихъ драмъ, представлений, былей, небылицъ и анекдотовъ, сотню водевилей и нѣсколько сотенъ юмористическихъ, сатирическихъ и нравственно-философическихъ отрывковъ, замѣчаній и афоризмовъ,—на закатѣ дней остается только очень пріятное и легкое занятіе: издавать плоды многолѣтнихъ трудовъ своихъ и получать за нихъ деньги съ почтеннѣйшей публики... Не правда ли, завидное положеніе?.. Но и въ немъ есть непріятная сторона. Оно можетъ быть исполнѣе хорошо только при одномъ, весьма важномъ условіи—именно, если публика не разлюбила стараго сочинителя и не охладѣла къ его сочиненіямъ. А это то, на бѣду старыхъ сочинителей, случается очень рѣдко. Надобно, чтобъ сочинитель обладалъ слишкомъ могучимъ дарованіемъ, или чтобъ предметы, о которыхъ писалъ онъ въ свое время, заключали въ себѣ какой-нибудь особенный интересъ для поколѣнія, смѣнившаго его публику; иначе «труды» стараго сочинителя не привлекутъ ничего вниманія, и издавать ихъ вновь—то же, что созидать капище въ честь идоловъ, которыми поклонялись наши неозаренные свѣтомъ христіанства предки, но которыми теперь никто ужъ не поклоняется. Гораздо чаще случается, и мы видимъ тому ежедневно примѣры, что старые сочинители выходятъ изъ себя отъ охлажденія къ нимъ публики и, совершенно забытые ею, употребляютъ тысячи усилій, часто весьма забавныхъ, чтобъ снова добыть себѣ поклонниковъ, бросаются на самые новые роды литературныхъ произведеній, ожесточенно преслѣдуютъ въ литературѣ все великое и истинно прекрасное, предъ чѣмъ впервые поблѣднѣли и показались въ настоящемъ своемъ видѣ жалкія порожденія ихъ скудной фантазіи, и наконецъ, истощившись въ бесполезныхъ усиліяхъ, съ судорожными, болѣзненными жаромъ проклинаятъ, надъ грудой вновь изданныхъ, но, увы!—нераскупленныхъ своихъ сочиненій, и новый міръ, и новое время, и новыя идеи,—какъ будто чело-вѣчество виновато, что оно ушло впередъ, и какъ-будто было бы лучше, еслибъ оно остановилось на той точкѣ прогресса, на которой время застигло жалкихъ старыхъ сочинителей!..

У насъ въ настоящее время есть много сочинителей, которые въ печатныхъ обращеніяхъ другъ къ другу давно уже взаимно называютъ себя «заслуженными литераторами», «ветеранами русской литературы», «учениками Дмитріева и Карамзина» и т. п. Нѣкоторые изъ такихъ сочинителей уже предпринимали новыя изданія своихъ сочиненій, но, испуганные плохимъ расходомъ ихъ въ публикѣ, остановились, вѣроятно поджидая времени болѣе благопріятнаго, которое впрочемъ едва ли наступитъ. Другіе, еще болѣе ослабленные своими мнимыми достоинствами и заслугами, продолжаютъ возобновлять свои старыя писанія, находя вѣроятно въ столь невинномъ за-
Соч. Вѣликанскаго. Т. III.

натіи утѣшеніе и уладу при огорченіяхъ и неудачахъ преклонныхъ лѣтъ.

Въ 1840 году Полевой собралъ нѣсколько критическихъ статей своихъ, писанныхъ имъ для «Библиотеки для Чтенія» (гдѣ онѣ помѣщались, по собственному сознанію сочинителя, съ чужими поправками, искаженіями и вставками), и издалъ въ двухъ томахъ подъ названіемъ «Очерки русской литературы». Книга вызвала только весьма двусмысленную улыбку на уста рецензентовъ и нѣкоторой части публики своимъ «введеніемъ», исполненнымъ странными признаніями à la Jules Janin, и осталась въ книжныхъ лавкахъ: залпъ высшихъ взглядовъ, которыми она была нагружена, не попалъ ни въ голову, ни въ карманы читателей. Затѣмъ, въ недавнемъ времени Полевой предпринялъ полное изданіе своихъ драматическихъ сочиненій и переводовъ, которые, сначала «поштучно», погребались въ одномъ театральному сборникѣ и были его украшеніемъ.

Успѣхъ полного изданія «Драматическихъ сочиненій и переводовъ» былъ незавиднѣе успѣха критическихъ очерковъ. Теперь Полевой, при содѣйствіи какого-то книгопродавца Штукина, котораго имя въ первый разъ встрѣчается въ печати, подарилъ публику изданіемъ «Повѣстей Ивана Гудошника». Нѣкогда, въ блаженное старое время, лѣтъ пятнадцать назадъ, можетъ-быть были люди, которымъ нравились историческія сказочки, гдѣ плавными и величественными слогами рассказывалось о томъ, какъ жили «наши предки словене», и гдѣ между тѣмъ не было ничего похожаго на жизнь нашихъ предковъ, гдѣ безбожно коверкался современный русскій языкъ въ тщетныхъ усиліяхъ поддѣлаться подъ ладъ старинной рѣчи; гдѣ наконецъ герои и героини падали въ обморокъ и говорили чувствительныя фразы, вродѣ тѣхъ, какія встрѣчаются на каждой страницѣ «Кузмы Мирошева» и подобныхъ ему плохихъ романовъ. Но теперь едва ли найдется такой добрый и невзыскательный чело-вѣкъ, которому могли бы понравиться «Разсказы Ивана Гудошника». Всѣ эти разсказы такъ скучны и до того проникнуты добродушной, умилительной пошлостью, что рѣшительно ни котораго изъ нихъ дочитать до конца нѣтъ возможности. Итакъ, разбирать ихъ подробно—значило бы дѣлать имъ честь, которой они не заслуживаютъ. Въ началѣ первой части помѣщено предисловіе, которое поражаетъ какой-то ненатуральной задумчивостью и приторной, тоже не совсѣмъ естественной, любезностью въ древле-словенскомъ вкусѣ. Въ немъ между прочимъ высказывается мнѣніе Полевого, будто бы не должно бранить того, что уже давно написано. Полно, такъ ли?.. Мы съ своей стороны думаемъ совершенно иначе. По нашему мнѣнію, все дурное, являющееся въ печати, когда бы оно писано ни было, журналъ долженъ подвергать осужденію,—потому что предостерегать публику отъ плохихъ сочиненій есть одна изъ главнѣйшихъ обязанностей добросовѣстнаго журнала...

Исторія Государства Россійскаго,
сочиненіе Н. М. Карамзина. Изданіе И. Эйперлима.
Книга III. (Томы IX, X, XI и XII.) Спб. 1843.

Карамзинъ воздвигнулъ своему имени прочный памятникъ «Исторіей Государства Россійскаго», хотя и успѣлъ довести ее только до избранія на царство дома Романовыхъ. Какъ всякій важный подвигъ ума и дѣятельности, историческій трудъ Карамзина приобрѣлъ себѣ и безусловныхъ, восторженныхъ хвалителей, и безусловныхъ порицателей. Разумѣется, тѣ и другіе равно далеки отъ истины, которая въ серединѣ. Для Карамзина уже настало потомство, которое, будучи чуждо личнымъ пристрастіямъ, судить ближе къ истинѣ. Главная заслуга Карамзина, какъ историка Россіи, состоитъ совсѣмъ не въ томъ, что онъ написалъ истинную исторію Россіи, а въ томъ, что онъ создалъ возможность въ будущемъ истинной исторіи Россіи. Были и до Карамзина опыты написать исторію, но тѣмъ не менѣе для русскихъ исторіа ихъ отечества оставалась тайной, о которой такъ или сякъ толковали одни ученые и литераторы. Карамзинъ открылъ пѣлому обществу русскому, что у него есть отечество, которое имѣетъ исторію, и что исторіа его отечества должна быть для него интересна, и знаніе ея не только полезно, но и необходимо. Подвигъ великій! И Карамзинъ совершилъ его не столько въ качествѣ историческаго, сколько въ качествѣ превосходнаго беллетристическаго таланта. Въ его живомъ и искусномъ литературномъ разсказѣ вся Русь прочла исторію своего отечества и въ первый разъ получила о ней понятіе. Съ той только минуты сдѣлались возможными и изученіе русской исторіи, и ученая разработка ея матеріаловъ: ибо только съ той минуты русская исторіа сдѣлалась живымъ и всеобщимъ интересомъ. Повторяемъ: великое это дѣло совершилъ Карамзинъ преимущественно своимъ превосходнымъ беллетристическимъ талантомъ. Карамзинъ вполнѣ обладалъ рѣдкой въ его время способностью говорить съ обществомъ языкомъ общества, а не книги. Вышше до него историка Россіи не были извѣстны Россіи, потому что прочесть ихъ исторію могло только одно испытанное школьное терпѣніе. Они были плохи, но ихъ не бранили. «Исторія» Карамзина, напротивъ, возбудила противъ себя жестокую полемику. Эта полемика особенно устремляется на собственно историческую или фактическую часть труда Карамзина. Большая часть указаній критиковъ дѣльна и справедлива; но укороженный тонъ ихъ дѣлаетъ вреда больше самимъ критикамъ, нежели Карамзину. Трудъ его должно разсматривать не безусловно, а принимая въ соображеніе разныя временныя обстоятельства. Карамзинъ, воздвигая зданіе своей исторіи, былъ не только водчимъ, но и каменщикомъ, подобно Аристотелю Фіоравенти, который, воздвигая въ Москвѣ Успенскій соборъ, въ то же время училъ чернорабочихъ обжигать кирпичи и растворять известь. И потому фактическія ошибки въ «Исторіи»

Карамзина должно замѣчать для пользы русской исторіи, а обвинять его въ нихъ не должно. Гораздо важнѣе разборъ его понятій объ исторіи вообще и взглядъ его на исторію Россіи въ частности, равно какъ и манера его повѣствовать. Но и здѣсь должно брать въ соображеніе временныя обстоятельства: Карамзинъ смотрѣлъ на исторію въ духѣ своего времени—какъ на поэму, писанную прозой. Занявъ у писателей XVIII вѣка ихъ литературную манеру изложенія, онъ былъ чуждъ ихъ критическаго, отрицающаго направленія. Поэтому онъ сомнѣвался, какъ историкъ, только въ достовѣрности нѣкоторыхъ фактовъ; но нисколько не сомнѣвался въ томъ, что Русь была государствомъ еще при Рюрикѣ, что Новгородъ былъ республикой, на манеръ крѣагенской, и что съ Іоанна III-го Россія является государствомъ, столь органическимъ и исполненнымъ самобытнаго, богатаго внутренняго содержанія, что реформа Петра Великаго скорѣе кажется возбуждающей соболѣзнованіе, чѣмъ восторгъ, удивленіе и благодарность. Въ одномъ мѣстѣ своихъ сочиненій Карамзинъ ставитъ въ вину Сумарокову, что тотъ, въ трагедіяхъ, «называя героевъ своихъ именами древнихъ князей русскихъ, не думалъ соображать свойства дѣла и языкъ ихъ съ характеромъ времени». И что же? такой же упрекъ можно сдѣлать самому Карамзину: герои его «Исторіи» отчасти напоминаютъ собой героевъ трагедій Корнелия и Расина. Переводя ихъ рѣчи, сохранившіяся въ лѣтописяхъ, онъ лишаетъ ихъ грубой, но часто поэтической простоты, придаетъ имъ характеръ какой-то витѣватости, риторической плавности, симметріи и заботливой стилистической отдѣлки, такъ что эти рѣчи въ его переводѣ являются похожими на переводъ рѣчей римскихъ полководцевъ изъ исторіи Тита Ливія. Сличите отрывки въ подлинникѣ изъ писемъ Курбскаго къ Іоанну Грозному съ Карамзинскимъ переводомъ ихъ (въ текстѣ и примѣчаніяхъ), и вы убѣдитесь, что, переводя ихъ, Карамзинъ сохранялъ ихъ смыслъ, но характеръ и колоритъ давалъ совсѣмъ другой. Историческая повѣсть Карамзина «Марѣа Посадница» можетъ служить живымъ свидѣтельствомъ его историческаго созерцанія: герои его—герои Флоріановскихъ поэмъ, и они выражаются обработаннымъ языкомъ витѣватаго историка римскаго—Тита Ливія. Русскаго въ нихъ нѣтъ ничего, кромѣ словъ, какъ напримѣръ въ рѣчи боярина московскаго на новгородскомъ вѣчѣ и въ отвѣтѣ ему Марѣи, въ которой она ссылается на исторію Рима и упоминаетъ о готахъ, вандалахъ и эрулахъ!!..

Скажутъ, мы говоримъ о повѣсти Карамзина, а не объ исторіи: нѣтъ, мы говоримъ о взглядѣ его на русскую исторію и жизнь нашихъ предковъ... И однакожь мы далеки отъ дѣтскаго назиданія ставить въ упрекъ Карамзину то, что было недостаткомъ его времени. Нѣтъ, лучше воздадимъ благодарность великому человѣку за то,

что онъ, давъ средства сознать недостатки своего времени, двинулъ впередъ послѣдовавшую за нимъ эпоху. Если когда-нибудь явится удовлетвори- тельная исторія Россіи — этимъ обязано будетъ русское общество историческому же труду Карам- зина, упрочившему возможность явленія истин- ной исторіи Россіи. Но и тогда «исторія» Карам- зина не перестанетъ быть предметомъ изученія и для историка, и для литератора, и новый исто- рикъ Россіи не разъ сошлется на нее въ трудѣ своемъ... Какъ памятникъ языка и понятій известной эпохи, «исторія» Карамзина будетъ жить вѣчно.

Стихотворенія Милькѣева. Москва. 1843.

Иронія составляетъ одинъ изъ преобладаю- щихъ элементовъ современной поэзіи. Это по- нятно: поэзія есть воспроизведеніе дѣйствитель- ности, вѣрное зеркало жизни, — а гдѣ же больше иронія, какъ не въ самой дѣйствительности? кто же больше и злѣе смѣется надъ самимъ собой, какъ не жизнь? Посмотрите, какъ любитъ она противорѣчіе, жертвой котораго бываетъ непре- станно бѣдная человѣческая личность! Вотъ на- прижѣръ два актера: одинъ — «безумецъ, гуляка праздный», неподозрѣвающій ни святости иску- ства, ни его высокаго назначенія, невѣжда без- грамотный, лѣннвецъ, добродушный хвастуль, — и между тѣмъ въ грязной натурѣ скрыты бога- тые самородки великихъ чувствованій, могучихъ страстей; эта безумная голова озаряется горя- щимъ ореоломъ вдохновенія, — и рыдаетъ, и ко- леблется многочисленная толпа при звукахъ го- лоса этого самовластнаго чародѣя, и каждый уно- ситъ съ собой изъ театра тѣ высокія откровенія, тѣ таинственные глаголы жизни, для принятія которыхъ нужно посвященіе... За чтѣ же этотъ даръ, это могущество слова, взора и жеста, эта чудодѣйственная сила? За чтѣ, за какой по- двигъ такая высокая награда! Иронія, иронія, иронія... Вотъ другой актеръ: страсть къ иску- ству — его жизнь; изученіе искусства — занятіе, работа, трудъ всей его жизни; стремленіе къ сла- вѣ — болѣзнь его души... И вотъ появляется онъ передъ толпой, разбѣленный и разрумяненный, съ важнымъ видомъ, и ловко, смѣло, съ граціей повертываетъ картонной булавой гладіатора или картоннымъ мечомъ Александра Македонскаго, величаво говоритъ съ другомъ своимъ Алхиме- ресомъ объ измѣнѣ Амалафриды, — театръ дро- жать отъ рукоплесканій, вызовамъ нѣтъ конца... Но отчего же въ этомъ восторгѣ толпы слышенъ одинъ шумъ и крикъ? отчего она съ такимъ же точно восторгомъ черезъ минуту послѣ того при- нимаетъ пошлый водевилъ, и ни одинъ человѣкъ изъ нея не выходитъ изъ театра съ поникшей головой, съ грустнымъ раздумьемъ на челѣ?... Художникъ упоенъ, восхищенъ своимъ торже-

ствомъ; онъ такъ низко, такъ почтительно кла- няется вызывающей его толпѣ... Но отчего же такъ раздражаетъ его всякое двусмысленное су- жденіе «немногихъ» — его, который такъ доволенъ «всеми»? Отчего же такъ уязвляетъ его легкая улыбка «немногихъ»? Чтѣ онъ видитъ въ ней? — Иронію видитъ въ ней онъ, жертва ироніи, самъ воплощенная иронія дѣйствительности... Послѣ этого какъ понятны эти слова пушкинскаго Сальери:

Гдѣ жъ правота, когда священный даръ,
Когда бессмертный гений — не въ награду
Любви горящей, самоотверженія,
Трудовъ, усердія, моленій посланъ,
А оваряетъ голову безумца,
Гуляки празднаго?...

Это значитъ совсѣмъ не то, чтобы жизнь состояла изъ однихъ противорѣчій, и чтобы гений всегда былъ «праздный гуляка», а самоотверженіе труда и изученія всегда было признакомъ ограничен- ности и бездарности: нѣтъ, мы хотимъ сказать только, что дѣйствительность часто любитъ отсту- пать отъ своихъ разумныхъ законовъ, часто лю- битъ пошутить сама надъ собой. Въ этомъ-то и состоитъ ея иронія. Вездѣ и повсюду видимъ мы эту иронію; вездѣ и повсюду видимъ мы жертвы этой ироніи, вездѣ и повсюду — и въ природѣ, и въ исторіи, и въ судьбѣ индивидуумовъ. Вотъ дѣвушка, одаренная столь дивной красотой, что, кажется, весь міръ долженъ преклониться пе- редъ нею... И что же? — иногда (и чаще всего) оказывается, что душа ея пуста, сердце холодно, умъ ограниченъ, и велико только ея мелочное самолюбіе... Вотъ дѣвушка, вся созданная изъ великодушнаго самопожертвованія, изъ горячей любви и высокаго стремленія, созданная для того, чтобы ослѣпить жизнь достойнаго человѣка, быть наградой за великій подвигъ жизни, — чо, увы! никто не добивается этого счастья, а ой награды: она дурна собой, ей не дано волшебнаго обаянія женственности, съ ней говорятъ, какъ съ умнымъ мужчиной... Заглянемъ ли въ исто- рію — и тамъ иронія царитъ надъ людьми. Ни- когда, говорятъ знатоки военнаго дѣла, никогда Наполеонъ не развѣтывалъ въ такой ширинѣ и глубинѣ своего военнаго генія, какъ передъ свои- мъ паденіемъ, — и все-таки палъ, низринутый какой то невидимой рукой, какой-то странной ироніей дѣйствительности... Сколько людей съ торжествомъ и славой выступило на историческое поприще; но одна минута, — и лавровый вѣнокъ смѣнялся шутовскимъ колпакомъ, — и эти люди оказывались столь же малыми для исторической арены, сколько были они велики для обыкно- веннаго круга жизни. Стало-быть, нѣтъ не было мѣста ни тамъ, ни здѣсь, — и тамъ, и здѣсь нѣтъ суждено было погибнуть жертвой ироніи... Не мало представляетъ такихъ жертвъ ироніи область искусства и литературы. Этотъ мрачный законъ ироніи особенно часто тяготеетъ надъ такъ на- зываемыми «самоучками» и вообще надъ людьми,

которые вдругъ измѣняютъ назначенную имъ судьбой дорогу жизни, и измѣняютъ вслѣдствіе сознанія тайнаго внутренняго призванія къ искусству. Дѣйствительно, тайный внутренній голосъ зоветъ и манитъ ихъ къ блестящей мечтѣ, раздаваясь въ глубинѣ души ихъ звуками Вадимова колокольчика; грудь ихъ полна тревогой, и даже во снѣ слышатъ они слова: «встань изъ грязи, въ которую бросила тебя судьба, мужайся и иди впередъ, — лавры побѣды, удивленіе толпы и безсмертіе въ вѣкахъ ожидаютъ тебя!». Ужасенъ этотъ голосъ, ибо нельзя узнать, чей онъ — ангела-хранителя, или чернаго демона; такой вопросъ рѣшается только временемъ и фактами, — а въ этомъ-то и состоитъ иронія жизни. Правда, характеръ истиннаго призванія тѣмъ отличается отъ ложной тревоги, что въ немъ преобладаетъ сторона разсудка, тогда какъ въ послѣдней дѣйствуетъ преимущественно фантазія; но въ томъ-то и заключается возможность ошибокъ, что мечты фантазіи часто очень похожи на проявленіе дѣйствительности, и что въ этихъ мечтахъ есть своя доля дѣйствительности. Человѣкъ не доволенъ своимъ положеніемъ, нѣтъ овладѣваетъ сильное, неодолимое стремленіе вырваться изъ тѣснаго круга, въ который поставила его судьба: это еще не значитъ, чтобъ внутренній голосъ этого человѣка звалъ его сдѣлаться великимъ дѣятелемъ въ сферѣ исторіи или искусства; чаще всего этотъ внутренній голосъ означаетъ не болѣе, какъ стремленіе сдѣлаться просто человѣкомъ, развитъ въ себѣ всѣ данныя Богомъ духовныя силы: но въ томъ-то и состоитъ иронія жизни, что люди не всегда могутъ или умѣютъ понять истинный смыслъ своихъ стремленій, и принимаютъ за тревогу гения зовъ къ человѣческому достоинству.

Литературная дѣятельность имѣетъ въ себѣ гораздо болѣе обаятельнаго, чѣмъ что-нибудь, можетъ-быть потому именно, что она представляетъ собой одно изъ важнѣйшихъ поприщъ для таланта. Вотъ почему молодые люди съ пылкимъ воображеніемъ и горячей кровью хотятъ у насъ быть непремѣнно поэтами. Для нихъ всѣ люди раздѣляются на два разряда: на людей великихъ, т. е. поэтовъ, и на людей обыкновенныхъ, т. е. не поэтовъ. Если они почувствуютъ въ груди своей эту неопредѣленную тревогу, которая производится горячей кровью, пылкимъ воображеніемъ, маленькимъ избыткомъ чувства, искоркой ума, а главное — молодостью, — они сейчасъ хватаются за перо и пишутъ стихи либо романъ. «Я поэтъ!» — за право сказать себѣ это слово, они готовы пожертвовать всѣмъ; но какъ это право не требуетъ особенно дорогихъ жертвъ, по крайней мѣрѣ выше того, что стоитъ одна или двѣ дести писчей бумаги да отважная досужестъ измарать ее разнѣренными строчками или размашистой прозой, — то многіе изъ нихъ легко добиваются счастья быть печатно посвященными въ поэты со стороны пріятельскаго журнала. Потому они издають книжечку своихъ стихотвореній. Пріа-

тельскій журналъ заранѣе извѣщаетъ о выходѣ этой книжечки, какъ о дѣлѣ необыкновенномъ, потомъ расхваливаетъ книжечку; публика засыпаетъ за нею, — а сатана хохочетъ... И вотъ вамъ иронія жизни! Изъ такихъ бѣдныхъ стихотворцевъ особенно жалки такъ называемые поэты по призванію, поэты-самоучки и т. п. Между ними есть люди дѣйствительно съ призваніемъ — быть людьми порядочными и образованными, съ потребностью развитъ въ себѣ природныя дары; между ними бывають даже люди съ внутренними вопросами, на которые могли бы дать имъ отвѣтъ наука и нравственное развитіе; но они предпочитаютъ искать болѣе легкаго и болѣе пріятнаго разрѣшенія своихъ вопросовъ и находятъ его — въ поэзіи, но не въ поэзіи великихъ гениевъ творчества, а въ своихъ бѣдныхъ и жалкихъ виршахъ. Процессъ творчества они считаютъ какой-то кабалистикой: они думаютъ, что если найдетъ на человѣка дуръ вдохновенія, то онъ безъ ума, уменъ, безъ науки свѣдущъ и можетъ видѣть безъ глазъ, слышать безъ ушей. А тутъ еще удивленіе людей, лавровый вѣнокъ славы, безсмертіе въ вѣкахъ, — все это за такую дешевую цѣну! И пишетъ нашъ поэтъ, и издаетъ онъ наконецъ книжечку своихъ стихотвореній; но міръ спокоенъ, люди и не подозреваютъ, что между ними явился гений...

Къ числу такихъ явленій книжнаго міра принадлежать «Стихотворенія Милькѣева». Изъ посвященія книги и приложеннаго къ ней письма поэта къ Василию Андреевичу Жуковскому мы узнаемъ, что Милькѣевъ родился и выросъ на берегахъ Иртыша, чувствовалъ въ себѣ неодолимое стремленіе вырваться изъ тѣснаго, душнаго и ограниченнаго круга, въ который поставила его судьба, въ сферу болѣе высшую, болѣе человѣческую, которую онъ почему-то полагалъ для себя въ поэтической дѣятельности; и что наконецъ, ободренный вниманіемъ В. А. Жуковскаго и пользуясь его просвѣщеннымъ покровительствомъ, переѣхалъ изъ Сибири въ Россію. Вообще все письмо Милькѣева къ В. А. Жуковскому проникнуто простотой, умомъ и достоинствомъ. Къ интереснѣйшимъ подробностямъ этого письма принадлежать тѣ, изъ которыхъ мы узнаемъ, что Милькѣевъ чувствовалъ рѣшительное желаніе сдѣлаться поэтомъ при чтеніи Плутарха, когда ему было шестнадцать лѣтъ; онъ не имѣлъ никакого понятія о правилахъ стопосложенія, и до уразумѣнія ихъ долженъ былъ дойти собственной проницательностью. Такъ же понималъ онъ и правила орфографіи русской. Безъ сомнѣнія, все это стоило ему большихъ трудовъ и большихъ усилій, какъ человѣку, лишенному всѣхъ пособій, какія представляютъ собой учителя и учебники. Изъ этого видно, что Милькѣевъ — то, что называется «поэтъ самородный», «поэтъ-самоучка». Самородные поэты особенно замѣчательны потому, что на ихъ творенія, какъ бы ни были они грубы и необдѣланы, всегда лежитъ печать оригиналь-

ности, столь часто чуждой обыкновенным талантамъ. Таковъ былъ Кольцовъ, стихотворенія котораго, дышашія самобытнымъ вдохновеніемъ и талантомъ, до того оригинальны, что нѣтъ никакой возможности поддѣлаться подъ нихъ простую и наивную форму. Но, увы! не къ такимъ поэтамъ принадлежитъ самородный поэтъ Милькѣевъ, если только принадлежитъ онъ къ какимъ-нибудь поэтамъ. Не только самобытности и оригинальности,—въ его стихахъ нѣтъ даже того, что прежде всего составляетъ достоинство всякихъ порядочныхъ стиховъ: нѣтъ таланта поэтического.

Повѣсти А. Вельтмана. Изд. 1843.

Вельтману суждено играть довольно странную роль въ русской литературѣ. Вотъ уже около пятнадцати лѣтъ какъ всѣ критики и рецензенты, единодушно признавая въ немъ замѣчательный талантъ, тѣмъ не менѣе остаются положительно недовольными каждымъ его произведеніемъ. Но нашему мнѣнію (которое впрочемъ принадлежитъ не однимъ намъ), причина этого страннаго явленія заключается въ странности таланта Вельтмана. Это талантъ отвлеченный, талантъ фантазій, безъ всякаго участія другихъ способностей души, и при этомъ еще талантъ причудливый, капризный, любящій странности. Вотъ почему нельзя безъ вниманія и удовольствія прочесть ни одного произведенія Вельтмана, и въ то же время нельзя остаться удовлетвореннымъ ни однимъ его произведеніемъ. Встрѣчаете прекрасныя подробности—и не видите дѣла; поэтическія мѣста очаровываютъ вашъ умъ—и смѣняются мѣстами, исполненными изысканности, странности, чуждыми поэзіи; а когда дочтете до конца, спрашиваете себя: да что же это такое, и къ чему все это, и зачѣмъ все это? Особенно вредитъ автору желаніе быть оригинальнымъ: оно заставляетъ его накидывать покровъ загадочности на его и безъ того довольно неопредѣленные и неясныя созданія.

Лежащія передъ нами пять повѣстей Вельтмана такъ же точно оправдываютъ наше мнѣніе о талантѣ этого автора, какъ и всѣ другія его произведенія. Во всѣхъ ихъ много проблесковъ истиннаго таланта, и ни въ одной нельзя видѣть поэтическаго возсозданія дѣйствительности. Первая называется «Пріѣзжія изъ уѣзда, или суматоха въ столицѣ»; она была первоначально напечатана въ одномъ плохомъ и теперь окончательно падающемъ московскомъ журналѣ. Содержаніе ея можетъ служить доказательствомъ, что авторъ владѣетъ инстинктомъ и тактомъ дѣйствительности. Въ ней описывается страшная суматоха въ Москвѣ отъ появленія въ ней генія: известно, что нигдѣ такъ часто и такъ много не является геніевъ, какъ въ Москвѣ.

«Свѣдѣніе черезъ заборъ дошло и до Филата Кузмича, знатнаго почетнаго гражданина съ золотой медалью на шеѣ. До того Филата Куз-

мича, что, купивъ себѣ княжескія палаты, только что не позволоченныя снаружи, сказалъ: «что мнѣ до баръ! Я самъ господинъ!» и подѣлалъ въ княжескихъ палатахъ лежанки, и живетъ себѣ самъ-шестъ: Анисья Тихоновна, да Федя, да старуха, да дѣвка-кухарка, да дворникъ. Бывало, тутъ у неразсчитливаго князя сотъ пять гостей въ сутки перебивается, пудовъ пять восковыхъ свѣчей въ вечеръ сожгутъ, рублей тысячу въ день скушаютъ, да двѣ выпьютъ; а теперь, у разсчитливаго Филата Кузмича, ворота на-заперти, въ подворотню собаки на прохожихъ лаютъ, дескать «проваливай мимо! сама голую кость гложу!» Свѣту только божій день, лампадка передъ кивотомъ, да сальная свѣча. Золотая мебель прикрыта чехлами, чтобъ не портилась отъ неупотребленія; пищи—щей горшокъ, самъ большой, да мостыга мяса; зато самоваръ какой знатный! ведра въ три жалъ, чашечки лаютъ маленьки, съ глоточекъ. Живетъ себѣ Филатъ Кузмичъ, словно чужое богатство стережетъ. Садъ былъ слѣшкомъ великъ, такъ онъ повыврубилъ его подъ огородъ, да посадилъ капустки и огурчиковъ. Оранжерею такъ-таки *ранжереей* и оставилъ, только самъ не съѣстъ ни грушки, ни сливки, ни лимончика не сорветъ для домашняго обихода—все на откупъ. По парадному крыльцу не ходитъ; разъ пошелъ было, причудился ему въ дверяхъ офиціантъ княжой; стоитъ себѣ съ булавою, да словно кричитъ: куда тебя чортъ несетъ!—Съ тѣхъ поръ Филатъ Кузмичъ заперъ на ключъ парадное крыльцо.

«Слышалъ, Филатъ Кузмичъ, что люди говорятъ?—сказала Анисья Тихоновна:—говорятъ тово, явился вишь какой-то Яній, крылатый человекъ.

— Ой-ли?

«Знать тово, что ужъ это чудо какое? Явился въ имѣніи у князя Синегорскаго. Сегодня сюда привезутъ; чай, со всей Москвы сбѣжится народъ. Что, кабы ты у дворецкаго мѣстечко добылъ, на хорахъ, что-ль, алы гдѣ у подѣзда, смотрѣть маленько.

— А что тово, Федя! сходи, братъ, попроси ко мнѣ дворецкаго, такъ скажи, дѣльце тятенькѣ есть.

Федя побѣжалъ, а Филатъ Кузмичъ, значительно откашлянувшись, вынулъ бумажничекъ съ ассигнаціями и сказалъ: «постой, все устроимъ.»

Не правда ли, что вѣрно? съ натуры? Но только и есть вѣрнаго и естественнаго во всей повѣсти. Все остальное—карикатура. Бываютъ на свѣтѣ такія происшествія, да только не такъ они дѣлаются... Къ слабымъ сторонамъ этой повѣсти принадлежитъ еще изображеніе московскаго высшего общества: неужели гдѣ-нибудь можетъ быть такое высшее общество? Дуракъ мальчишка читаетъ блистательному сборищу князей, графовъ и разныхъ другихъ знаменитостей преглупые стишонки, и всѣ въ восторгѣ и изъясляютъ этотъ восторгъ самыми пошлыми фразами.

Повѣсть «Радой» ужасно запутана, перепутана и нисколько не распутана. Въ ней есть прекрасныя подробности. Особенно прекрасно лицо серба, съ его восклицаніемъ: «Теперь піе, брате, за здоровье моей сестрицы Лильяны! піе руйно вино! была у меня сестра, да не стало!» и съ его разговоромъ о своей судьбѣ. Прекрасны также подробности объ отношеніяхъ матери къ дочери,

ненавидимой ею за то, что она была плодомъ насильственного брака съ немилымъ: это глубоко и вѣрно воспроизведено авторомъ. Но, несмотря на то, общаго впечатлѣнія повѣсть не производитъ, потому что ужъ слишкомъ перехитрена ея оригинальность и отрывчатость. Сверхъ того она испещрена, безъ всякой нужды, молдаванскими словами, которыя оскорбляютъ и зрѣніе, и слухъ читателя и мѣшаютъ ему свободно слѣдовать за теченіемъ разсказа.

Пестрить свои разсказы странными словами—это страсть Вельмана. И потому вольтеровскія кресла онъ называетъ «розвальнями», какъ православные мужички называютъ особенный родъ дрянныхъ саней; «патэ» Вельманъ называетъ «лежанкой», а французское выраженіе «l'homme comte il faut» переводитъ «человѣкомъ какъ быть», забывъ, что оно давно переведено «порядочнымъ человѣкомъ».

«Путевыя Впечатлѣнія, и между прочимъ горшокъ ерани»—очень миленькій юмористическій разсказъ, въ которомъ даже много глубокой истины, подмѣченной въ женскомъ сердцѣ.

Прекрасная была бы повѣсть «Ольга»: въ ней такъ много естественности и вѣрности, за исключеніемъ идеальнаго лица садовника; начало ея—лирическая пѣснь, исполненная глубокаго чувства и истины. Но авторъ испортилъ ее счастливой развязкой черезъ посредство *deus ex machina*,—и изъ прекрасной повѣсти вышла пустая мелодрама.

Во всякомъ случаѣ, повѣсти Вельмана, хотя онѣ уже и не новостъ, могутъ быть перечитаны съ удовольствіемъ. А такъ какъ публикѣ русской теперь рѣшительно нечего читать, то она должна быть рада, что ей хоть есть что-нибудь порядочное перечитать снова.

Литературный разговор, подслушанный въ книжной лавкѣ.

Какихъ ни вымышляй пружинъ,
Чтобъ мужу бую умудриться:
Не можно вѣкъ носить личинъ,
И истина должна открыться!
Державинъ.

«А? это вы? насилу-то мы съ вами встрѣтились! Ну, что, какъ? Здоровы-ли? что новаго?»... Такъ одинъ молодой человѣкъ, давно уже сидѣвшій въ книжной лавкѣ съ книжкой «Библиотеки для Чтенія» въ рукахъ, привѣтствовалъ другого, только что вошедшаго въ лавку, съ живостью бросившись къ нему навстрѣчу и съ жаромъ пожимая ему руку. Этотъ молодой человѣкъ давно уже поглядывалъ на меня, съ явнымъ желаніемъ заговорить со мной, — должно быть, о статьѣ, которую читалъ. Эта статья, казалось, живо занимала его, потому что онъ и улыбался, и смѣялся; по временамъ изъ устъ его слетали неопредѣленные восклицанія. Онъ даже заговаривалъ со мной о погодѣ; но я, не любя заводить знакомствъ (ибо у насъ на Руси разиѣняться съ незнакомымъ человѣкомъ двумя-тремя фразами о погодѣ — значитъ иногда нажить пріятеля и «моншера»), отдѣлялся отъ него неопредѣленнымъ «да» и т. п. Тѣмъ живѣе была радость молодого человѣка при видѣ знакомаго, съ которымъ онъ давно не видался, и которому могъ излить ощущенія, возбужденныя въ немъ статьей. У нихъ сейчасъ же завязался живой разговоръ, который показался мнѣ столь интереснымъ, что я почелъ не излишнимъ довести его до свѣдѣнія публики. Описаніе наружности и характера обоихъ персонажей этой маленькой сцены нисколько не послужило бы къ ея уясненію, и потому замѣтимъ только слегка, что молодой человѣкъ, встрѣтившій съ такой живостью своего знакомаго, былъ нѣсколько вертлявъ, говорилъ скоро и громко, какъ-бы у себя дома, а лицо его казалось совершеннымъ выраженіемъ легкости и добродушія; знакомый же его отличался отъ него какой-то холодной важностью въ рѣчи и въ манерахъ. Чтобъ лучше слѣдить за ихъ разговоромъ, назовемъ перваго господиномъ А., а другого — господиномъ Б.

А. Что новаго? — Да вѣдь вы знаете, что я всегда запасался имъ отъ васъ же. Вы, кажется, что-то читали въ «Библиотецѣ для Чтенія»?

Б. Ахъ, да! — статью о «Мертвыхъ Душахъ». Чудо, прелесть! Въ иныхъ мѣстахъ хотя и вздоръ, но зато какое во всемъ остроуміе! Такой статьи давно не бывало! Вотъ ужъ можно сказать: писано желчью...

А. Да, правда...

Б. Жаненъ! Рѣшительный Жаненъ!

А. Ну, ужъ вотъ этого-то я и не скажу. Жаненъ — болтунъ; чрезвычайный успѣхъ его основанъ на легкости и на отсутствіи всякихъ твердыхъ и глубокихъ нравственныхъ началъ въ обществѣ, для котораго онъ болтаетъ нынче совсѣмъ не то, что болталъ вчера, а завтра будетъ болтать совершенно противное тому, что болталъ нынче; но Жаненъ все-таки болтунъ остроумный, и при другомъ обществѣ онъ могъ бы сдѣлать изъ своего таланта лучшее, благороднѣйшее употребленіе. Но каковъ бы ни былъ Жаненъ, и теперь его болтовня всегда блещетъ умомъ и остроуміемъ, хоть и совершенно вѣшними, и отличается тономъ порядочныхъ людей. Остроуміе Жанена заключается совсѣмъ не въ томъ, чтобъ, выписавъ изъ разбираемаго романа нѣсколько фразъ, плоскихъ потому именно, что онѣ вложены авторомъ въ уста изображаемаго имъ человѣка дурного тона, приписать эти фразы самому автору и воскликнуть: «Такіе періоды настоящіе свинтусы!» Истинное остроуміе, хотя бы и легкое и мелкое, не искажаетъ умышленно предмета, чтобъ возбудить во что бы то ни стало грубый смѣхъ площадной толпы: оно находитъ смѣшное въ своей манерѣ видѣть предметы, не уродуя ихъ.

Б. Это, пожалуй, и такъ; да вѣдь дѣло-то въ успѣхѣ, и *bien riga qui riga le dernier!* Осуждать такое остроуміе могутъ многіе съ большей основательностью; а острить такъ сами едва ли могли бы, еслибъ и хотѣли.

А. По крайней мѣрѣ нужна для этого большая рѣшительность. Попробуйте выдумать на кого угодно смѣшную нелѣпицу — всѣ расхохотутся, и никто не захочетъ наводить справки, правду вы сказали или ложь. Повторяйте такіа выдумки чаще и насчетъ всѣхъ и каждого: васъ будутъ презирать, а слушать и смѣяться не перестанутъ. Но всему есть мѣра и граница. Одно и то же надобѣдаетъ, а выдумывать цѣлую жизнь разнообразныя литературныя лжи невозможно, и какъ скоро замѣтатъ, что вы повторяете са-

мого себя, то перестанутъ и смѣяться, начнутъ зѣвать. Это я говорю не по отношенію къ журналу, а какъ общую истину, которая удобно прилагается ко многимъ житейскимъ дѣламъ.

В. Такъ вы совершенно отказываете въ остроуміи рецензіямъ «Библіотекъ для Чтенія»?

А. Нисколько. Когда она не увлекается пристрастіемъ, а главное, остритъ надъ тѣмъ, что дѣйствительно ей подлѣ силу, и о чемъ серьезно не стоить сказать и двухъ словъ,—я рецензіи бывають очень забавны. Такъ наприимѣръ, нельзя было не улыбнуться, читая въ «Библіотекѣ для Чтенія» разборъ или, лучше сказать, надгробную рѣчь надъ прахомъ умершихъ прежде своего рожденія стихотвореній какого-то Бочарова. Но когда такое же остроуміе прилагается ею къ предметамъ высшаго значенія, которое почему-то всегда не по сердцу этому журналу, тогда оно по необходимости становится плоскимъ и скучнымъ. Важное само по себѣ нельзя сдѣлать смѣшнымъ.

В. Но, что вы говорите, а въ статьѣ о «Мертвыхъ Душахъ» много ѣдкости...

А. Прибавьте—безсмыслию для предмета, слишкомъ высоко въ отношеніи къ ней стоящаго. Я не вижу ровно ничего остроумнаго ни въ сближеніи плохихъ стихотвореній площаднаго писака съ поэмой Гоголя, ни въ томъ, что рецензентъ называетъ «поэмами» разныя медицинскія сочиненія. Все это мнѣ кажется очень плоскимъ. Разберите-ка этотъ разборъ съ начала до конца, по порядку. Что это такое?—Послушайте: «Вы видите меня въ такомъ восторгѣ, въ какомъ еще не видали. Я пыхчу, трепещу, прыгаю отъ восхищенія...» Пока довольно; остановимся на «пыхтѣніи» рецензента. «Пыхчу» есть настоящее время глагола «пыхтѣть», который значить то же, что «тяжело дышать». Но послѣднее выраженіе употребляется въ отношеніи къ людямъ, а первое—въ отношеніи къ лошадямъ и коровамъ. Видите ли: явное незнаніе русскаго языка?... Если же слово «пыхтѣть» и употребляется въ отношеніи къ людямъ, то не иначе, какъ въ унижительно-комическомъ тонѣ, для выраженія волненія крови и жолчи, производимаго страстями, какъ-то: пристрастіемъ, и т. п... Итакъ, что же хорошаго въ рецензіи, которая почти началась словомъ «пыхчу»?—Но будемъ слѣдить далѣе за «пыхтѣніемъ» аристарха. Ему не понравилось, что Гоголь назвалъ свое сочиненіе «поэмой»,—и вотъ онъ заставляетъ своихъ читателей, «свидѣтелей его бѣшеннаго восторгу», спрашивать у него, пыхтащаго рецензента, какими разнѣромъ писана поэма, давая тѣмъ знать, что онъ, въ своемъ эстетическомъ пыхтѣніи, написанной прозой поэмы не признаетъ «поэмой». Все это дѣйствительно очень забавно и возбуждаетъ смѣхъ, но только совсѣмъ не надъ авторомъ поэмы, а развѣ надъ пыхтащей рецензіей. И мнѣ кажется, что я уже слышу громкій хохотъ свидѣтелей ея бѣшеннаго восторгу, оттого,

что въ poemѣ нѣтъ никакого разнѣру, а можетъ и отъ смѣшной претензіи пыхтащаго рецензента преобразовать правописаніе языка, который чуждъ ему, и котораго духу онъ совсѣмъ не знаетъ. Выписка первой страницы поэмы исполнена пустыхъ придирокъ къ слогу, изъ которыхъ главная состоитъ въ томъ, что Гоголь лучше его пыхтащаго рецензента знаетъ употребленіе родительнаго падежу и не хочетъ слѣдовать его нелѣпой орфографіи. «Поэтъ (воскликаетъ или «пыхтитъ» рецензентъ), поэтъ—существо всемірное; онъ выше временъ, пространствъ и грамматикъ!» Можетъ быть это восклицаніе или это «пыхтѣніе» и очень остроумно, а главное, очень ново и оригинально; но только оно подтверждаетъ мое убѣжденіе въ волненіи «Библіотеки для Чтенія»: не она ли вотъ уже ровно девятый годъ ежемѣсячно смѣется надъ грамматикой и доказываетъ, что эта наука изобрѣтена педантами и дураками? А теперь ей пригодилась, видно, и грамматика: она теперь глубоко уважаетъ эту науку, такъ встаетъ подвернувшуюся ей подъ руку, чтобы было чѣмъ швырнуть въ страшнаго для нея писателя, какъ нѣкогда, съ гораздо большимъ успѣхомъ, швырялъ ею Гречъ въ распорядителя «Библіотеки для Чтенія». И вотъ для доказательства своей силы въ русской грамматикѣ рецензентъ спѣшитъ употребить слово «запахоть», какъ онъ употребляетъ слово «изогнъ», «мечтъ» и т. п. Въ выраженіи Гоголя: «пока мѣстъ слуги управлялись и возились», онъ подчеркиваетъ слово «возились», давая тѣмъ знать, что оно почему то, будто бы, не хорошо, а почему именно, это пока секретъ рецензенту, который онъ вѣроятно когда-нибудь откроетъ «свидѣтелямъ его бѣшеннаго восторгу». Впрочемъ всѣхъ его подчеркиваній не перечесть; они многочисленны и разнообразны. Но вотъ слѣдуетъ самое убѣдительное доказательство, какъ силенъ нашъ рецензентъ въ русскомъ языкѣ—послушайте: «Во всѣхъ словенскихъ языкахъ, какіе я знаю, носъ имѣетъ въ родительномъ падежѣ носъ а, а шумъ, вѣтеръ и дымъ имѣютъ шумъ у, вѣтру, дыму». Скажите, Бога ради: что это такое: шутка, мистификація или просто—«пыхтѣніе»? Я не знаю, да и знать не хочу, какъ въ польскомъ или другомъ славянскомъ языкѣ склоняются въ родительномъ падежѣ слова: носъ, шумъ, вѣтеръ и дымъ; но, какъ природный русскій, знаю достоверно, что слова эти въ русскомъ языкѣ принимаютъ въ родительномъ падежѣ окончаніе равно и а, и у, а когда которое именно, на это нѣтъ постояннаго правила, но это слышится уху природнаго-русскаго, слышится—и никогда не обманывается. Всякій русскій скажетъ, какъ у Гоголя: «Волось, выльзшій изъ носу», и ни одинъ русскій не скажетъ: «Волось, выльзшій изъ носа». Точно такъ-же должно говорить порывы вѣтра, а не порывы вѣтру. Итакъ, знаніе другихъ языковъ не послужило рецензенту облегченіемъ въ знаніи языка русскаго, и онъ, съ

горя, вздумалъ перекривать русскій языкъ на свой ладъ, и, не зная его, принялся учить ему русскіи!...

Б. Однакожь согласитесь, что языкъ у Гоголя часто грѣшитъ противъ грамматики.

А. Соглашаюсь; а вы за это согласитесь, что не рецензенту же «Библиотеки для Чтенія» упрекать его въ этомъ. Я далеко отъ того, чтобъ ставить Гоголю въ заслугу неправильность языка, которая тѣмъ досаднѣе, что у него она явно происходитъ не отъ незнанія, а отъ небрежности, отъ нерасположенія потрудиться лишнюю четверть часа надъ написанной страницей. Но у Гоголя есть нѣчто такое, что заставляетъ не замѣчать небрежности его языка,—есть слогъ. Гоголь не пишетъ, а рисуетъ; его изображенія дышатъ живыми красками дѣйствительности. Видишь и слышишь ихъ. Каждое слово, каждая фраза рѣзко, опредѣленно, рельефно выражаетъ у него мысль, и тщетно бы хотѣли вы придумать другое слово или другую фразу для выраженія этой мысли. Это значитъ нѣтъ слогъ, который имѣютъ только великіе писатели, и о которомъ разсуждать такъ-же не дѣло «Библиотеки для Чтенія», какъ и разсуждать о русскомъ языкѣ, котораго она не знаетъ, что можно доказать изъ каждой ея страницы, наполненной всяческихъ обмолвокъ противъ духа языка, ошибокъ противъ его грамматики, барбаризмовъ, солецизмовъ и въ особенности полонизмовъ.

Б. Это совершенная правда: Гречъ давно это доказалъ въ своей брошюрѣ—помните?... Я вѣдь и самъ вижу, что грамматическія-то обвиненія всѣ выдуманы; но рецензентъ такъ смѣло колетъ ими и такъ смѣшно умѣетъ ихъ выставлять, что тѣмъ болѣе дивнись его неподражаемому остроумію... Впрочемъ если грамматическія нападки рецензента для васъ и ложны, и пусты, и скучны, перестанемъ говорить о нихъ, перейдемъ къ другимъ пунктамъ обвиненій, которые, надѣюсь, будутъ посущественнѣе. Мнѣ любопытно узнать, что-то вы на нихъ скажете.

А. Да что же и говорить мнѣ, если вся рецензія устремлена противъ слогу?...

Б. Нѣтъ, не противъ одного слога, но и противъ дурного тона сочиненія, такъ некстати названнаго «поэмой»; противъ странной претензіи автора видѣть представителей и героевъ русской жизни въ людяхъ низкихъ и глупыхъ; противъ высокаго мнѣнія о самомъ себѣ со стороны автора, который, по таланту, не можетъ стать на ряду даже съ Поль-де-Кокомъ... Что касается до меня, я со всѣмъ этимъ соглашаюсь только въ половину, потому что, какъ хотеть «Библиотека для Чтенія», а по моему мнѣнію, и Гоголь чего-нибудь да стоитъ. И потому повторяю: я держусь середины...

А. Что рецензентъ насмѣвается надъ словомъ «поэма» въ приложеніи къ «Мертвымъ Душамъ», это происходитъ отъ того, что онъ не понимаетъ значенія слова «поэма». Какъ видно изъ его

намековъ, поэма непремѣнно должна воспѣвать народъ въ лицѣ его героевъ. Можетъ-быть «Мертвыя Души» и названы поэмой въ этомъ значеніи; но произнести какой-нибудь судъ надъ ними въ этомъ отношеніи можно только тогда, когда выйдутъ двѣ остальные части поэмы.

Б. Рецензентъ самъ говоритъ объ этомъ въ концѣ рецензіи.

А. Да, но сперва разругавъ за это поэму въ началѣ и срединѣ рецензіи... Что касается до меня лично, я пока готовъ принять слово «поэма», въ отношеніи къ «Мертвымъ Душамъ», за равнозначительное слову «твореніе». Въ этомъ значеніи всякое произведеніе поэзіи есть поэма—и ода, и пѣсня, и трагедія, и комедія. Но не въ этомъ дѣло, а въ томъ, что, опираясь на словъ «поэма», стоящемъ въ заглавіи сочиненія Гоголя, рецензентъ очень наивно силится бросить на автора не совсѣмъ прохладную тѣнь неуваженія, будто-бы, къ русскому обществу, котораго репутація такъ дорога сердцу рецензенту, незнающаго русскаго языка и русской грамматики... Иначе, какъ же вы поймете «тонкіе» намеки рецензенту на то, что авторъ «Мертвыхъ Душъ» будто-бы «при каждомъ неблагоприятномъ случаѣ наводитъ рѣчь на русскіи». Какой же этотъ «неблаговидный случай»?—Авторъ проситъ у читателей извиненія за то, что знакомитъ ихъ съ Петрушкой и Селифаномъ, людьми Чичикова, «зная по опыту, какъ не охотно они знакомятся съ низкими сословіями». Но чтобъ уяснить это съ умысломъ затененное рецензентомъ дѣло,—вотъ «Мертвыя Души»—я прочту вамъ изъ нихъ все это мѣсто, изъ котораго рецензентъ взялъ только то, что нужно было ему для его цѣли. Выслушайте:

«Таковъ уже русскій человѣкъ: страсть сильная зазнаться съ тѣмъ, который бы хотя однимъ чиномъ былъ его повыше, и шалочное знакомство съ графомъ или княземъ для него лучше всякихъ тѣсныхъ дружескихъ отношеній. Авторъ даже опасается за своего героя, который только коллежскій совѣтникъ. Надворные совѣтники можетъ-быть и познакомятся съ нимъ, но тѣ, которые подобались уже къ чинамъ генеральскимъ, тѣ, Богъ вѣсть, можетъ-быть даже бросятъ одинъ изъ тѣхъ презрительныхъ взглядовъ, которые бросаются гордо человѣкомъ на все, что не пресмыкается у ногъ его, или, что еще хуже, можетъ-быть пройдутъ убійственнымъ для автора невниманіемъ».

Итакъ, очевидно, что авторъ, съ свойственнымъ ему юморомъ, и притомъ очень деликатно, кольнуть слабость нашего общества къ знакомству съ чинами и отличіями, а не людьми. Во-первыхъ, это правда; во-вторыхъ, это особенно не унижаетъ русскихъ передъ другими народами, особенно напр. передъ нѣмцами, которые отчаянно болѣны чиноманіемъ, хотя и далеко обогнали насъ въ цивилизаціи и просвѣщеніи: въ-третьихъ, Петрушка и Селифанъ послужили для автора только предлогомъ къ нападеніямъ на чиноманію, и онъ совсѣмъ не думалъ упрекать русское общество за то, что оно не хотеть знаться съ куче-

рами и лакеями. Судите же послѣ этого, изъ какого свѣтлаго источника вытекло негодование незнающаго по-русски рецензента,—негодование, которымъ такъ преисполнены эти его строки:

«Помилуйте! вскрикиваетъ *почтеннѣйшій* (гостинодворскій эпитетъ!) читатель, не отнимая пальцевъ отъ своего *почтеннѣйшаго* носа (острота!), который онъ имѣетъ обыкновеніе зажимать отъ такихъ *воздуховъ* (острота и грамматическая ошибка!): что вы это, съ вашими поэтомъ, при каждомъ *неблаговидномъ* случаѣ, *наводите* дычъ на *русскихъ*? Въ чемъ и за что вы *безпрерывно* ихъ *обличаете*? Да они очень хорошо дѣлаютъ, что не хотятъ знакомиться съ вашими нечистыми героями, отъ которыхъ я самъ принужденъ поминутно *закрывать* носъ и глаза рукой. Если порядочные русскіе не охотно сближаются съ людьми низкаго сословія, причиной этого долженъ быть распространеннѣйшій между ними благородный вкусъ къ изяществу, опрятности, образованнѣйшій ощущеніямъ, а не мнимый *народный порокъ*, не всеобщая спѣсь, не безразсудная гордость. *Надъ чѣмъ вы тутъ насмѣхаетесь? Куда поровните свои эпитеты!* (не по-русски!) Страсть зазнаваться... *Да чтобъ, по случаю Петрушки, упрекать члвчй народъ въ страсти зазнаваться* (у Гоголя: зазнаваться съ тѣмъ, кто хотя однимъ чиномъ повыше—это рецензентомъ выключено, а глаголѣ «зазнаваться» поворотченъ на глаголѣ «зазнаваться»!...), *надо предположить, будто весь народъ ничѣмъ не лучше этого грубаго и грязнаго челоука и только понапрасну, изъ гордости, не знаетъ въ немъ себѣ равнаго!* Но это неправда. *Вы систематически унижаете русскихъ людей.* Я (ол.) этого не люблю и не хочу слушать. Я самъ обожаю чистоту. Ваши *зловонныя* картины поселяютъ во мнѣ отвращеніе....»

Итакъ, скажите же: гдѣ у Гоголя все это есть, и о томъ ли, то ли говорить онъ, на что возсталъ рецензентъ? Нѣтъ, это уже не «пытѣнье»: это что-то вродѣ придирокъ извѣстнаго рода.

В. Оно такъ; я не скажу, чтобъ это было хорошо; но зато какъ зло, какъ ловко, мастерски!..

А. Да, видно, что мастеръ своего дѣла. Но объ этомъ довольно: по одному судите и о обо всемъ, тѣмъ болѣе, что нашъ рецензентъ умѣетъ быть вѣренъ себѣ.

В. Ну, а насчетъ дурнаго тона, сальныхъ картинъ, грязныхъ изображеній—что вы скажете насчетъ всего этого? Право, «Мертвыя Души» какъ-будто писаны для сидѣльцевъ въ мучныхъ лавкахъ...

А. И однакожъ ихъ читаетъ и ими восхищается высшій свѣтъ и не находитъ въ нихъ дурнаго тона, плоскостей и сальности. Авторитетъ большаго свѣта въ этомъ случаѣ безусловно неоспоримъ. Въ нападкѣ рецензента на дурной тонъ «Мертвыхъ Душъ» я узнаю того же опытнаго мастера отбывать непріятныя ему литературныя репутаціи. Правда, къ этому орудію противъ Гоголя не разъ прибѣгали уже и другіе обожатели и знатоки хорошаго тона, еще за долго до появленія бонтовно-«пытающей» рецензіи. И хотя эти другіе ратовали съ той же цѣлью и вслѣдствіе тѣхъ же причинъ, однако они были искреннѣе въ своихъ нападкахъ на дурной тонъ, потому

что, въ простотѣ мѣщанской свѣтскости, они не шутя считаютъ неприличнымъ то, что въ большомъ свѣтѣ нисколько не считается неприличнымъ. Но нашъ рецензентъ очень хорошо понимаетъ, что и для чего онъ дѣлаетъ. Хорошо зная невинную слабость среднихъ круговъ русскаго общества слишкомъ заботиться о приличіяхъ невѣдомаго и недоступнаго имъ большаго свѣта, онъ не пропустилъ случая попробовать ухватиться за эту чувствительную струну.

В. Я вижу, что даже и поклонники Гоголя не чужды замашки нападать на цѣлое общество...

А. Нисколько. Франція въ отношеніи къ свѣтской общественности, безъ всякаго сомнѣнія, первое государство въ мірѣ. Однакожъ и тамъ центръ свѣтскости и высшаго тона находится въ Парижѣ, и именно въ двухъ пунктахъ: въ послѣднемъ убѣжденіи легитимизма, Сенъ-Жерменскомъ Предмѣстьи, и въ новой мѣщанской аристократіи, при дворѣ. Всѣ прочіе слои общества суть только болѣе или менѣе вѣрныя отраженія этихъ первообразовъ свѣтской общественности. Смѣшно и недѣло было бы видѣть униженіе всего общества въ весьма обыкновенной и правдивой фразѣ, что истинный хорошій тонъ царствуетъ въ высшемъ петербургскомъ кругу, и что средніе круги общества часто добровольно дѣлаются смѣшными, считая и себя «большимъ свѣтомъ» и стараясь копировать съ образца, который они видятъ издали, на гуляньяхъ и въ каретахъ, проѣздомъ по улицѣ. Нѣтъ никакого униженія, когда вамъ скажутъ (если вы этого не знаете сами), что нигдѣ нѣтъ столько пустыхъ претензій, изысканности, чопорности, а слѣдовательно и дурнаго тона, какъ въ этихъ среднихъ кругахъ, почему-то считающихъ себя въ какихъ-то отношеніяхъ съ «большимъ свѣтомъ», который для нихъ есть истинная terra incognita. Такъ какъ въ нихъ нѣтъ ничего своего, то все чужое, которымъ дышатъ они, переходитъ у нихъ въ карикатуру: развязность и свобода высшаго общества—въ наглость, приличіе—въ чопорность, вѣжливость—въ церемонность, любезность—въ гостинодворскій тонъ. Я именно говорю о среднихъ кругахъ. Если вы знаете хорошо нашихъ помѣщиковъ, согласитесь со мной, что между ними нерѣдко встрѣчаются прекрасныя исключенія: въ иныхъ домахъ вы не найдете того, что называется «высшимъ свѣтомъ», но найдете благородный тонъ, благородную простоту обращенія, истинную образованность, которая такъ рѣдка и въ «высшемъ свѣтѣ». Въ нихъ есть свое, оттого они и не пародируютъ другихъ; они берутъ отъ большаго свѣта свое, не принимая отъ него чуждаго имъ или несоотвѣтствующаго ихъ средствамъ и положенію. Наше общество еще такъ молодо, такъ еще не установилось и не приняло общаго характера, что такіа прекрасныя исключенія представляются только въ семействахъ, въ отдѣльных домахъ, а не въ цѣломъ сословіи, пестромъ и разнохарактерномъ. И причина такихъ

прекрасныхъ исключеній состоитъ именно въ томъ, что дома, о которыхъ я говорю, имѣютъ свое собственное значеніе и не принадлежатъ къ тому, что называется «средними кругами»: это аристократія нашихъ провинцій. Подъ среднимъ кругомъ должно разумѣть преимущественно чиновничество столицъ и губернскихъ городовъ—это плодородное поле, съ котораго даже и низшіе таланты, чѣмъ талантъ Гоголя, собираютъ такую обильную жатву. Вотъ ихъ-то и имѣла въ виду рецензія. Но что же плоскаго и грязнаго находить рецензентъ у Гоголя? — Портреты Петрушки и Селифана, запахи (говоря его не-русскимъ языкомъ), описаніе двора Коробочки, въ которомъ свинья съ семействомъ, рывшаяся въ кучѣ сора и мимоходомъ заѣвшая цыпленка, особенно—непріятно подѣйствовала на его свѣтскую разборчивость. Что же бы сказалъ онъ, прочитавъ извѣстную басню Крылова, гдѣ свинья играетъ главную роль... «Грязь на грязи!» восклицаетъ «почтеннѣйшій» чистоплотный рецензентъ...

В. Однакожъ вы вѣрно не находите изящными подобныя картины?

А. Напротивъ, именно нахожу-изящной эту грязь, «возведенную въ перлъ созданія», нахожу ее въ миллионъ разъ изящнѣе сусальной позолоты поэтовъ средняго общества, поэтовъ чиновническихъ и губернскихъ. Картина быта, дома и двора Коробочки—въ высшей степени художественная картина, гдѣ каждая черта свидѣлствуетъ о гениальномъ взмахѣ творческой кисти, потому что каждая черта запечатлѣна типической вѣрностью дѣйствительности и живо, осязательно воспроизводитъ цѣлую сферу, цѣлый міръ жизни, во всей его полнотѣ.

В. Хорошо же этотъ міръ! Поздравляю съ такой жизнью!

А. Не взмните—чѣмъ богаты, тѣмъ и рады! Поэзія есть воспроизведеніе дѣйствительности. Она не выдумываетъ ничего такого, чего бы не было въ дѣйствительности; она только идеализируетъ явленія дѣйствительности, возводя ихъ къ общему значенію, что и значить «возводить въ перлъ созданія». Всякая другая поэзія—пустое фантазерство, вздоръ и пустяки, способные забавлять людей ограниченныхъ и необразованныхъ. И потому мѣрка достоинства поэтическаго произведенія есть вѣрность его дѣйствительности.

В. Но неужели же въ русской дѣйствительности нѣтъ ничего лучше и благороднѣе Петрушки, Селифана, Коробочки, Собакевича, Чичикова, и тому подобныхъ героевъ и героинь?

А. Безъ всякаго сомнѣнія, есть; и авторъ совсѣмъ не думалъ своими «Мертвыми Душами» утверждать противное. Онъ только взялъ себѣ извѣстную сферу жизни, дѣйствительно существующую—вотъ и все. Упрекать его за это—все равно, что упрекать Лафонтена и Крылова, зачѣмъ они писали басни, а не оды, упрекать Мольера и Фонвизина, зачѣмъ они писали

комедіи, а не трагедіи. Стекла (по прекрасному выраженію Гоголя), озирющія небесныя свѣтила и насѣкомыхъ, равно велики. А какое же вы имѣете право упрекать естествоиспытателя, что онъ изучаетъ инфузорій, какъ-будто въ природѣ нѣтъ твореній, болѣе благородныхъ? Сверхъ того надо еще сказать, что, находя лица, изображенныя Гоголемъ, особенно безнравственными и глупыми, довольно ребячески преувеличиваютъ дѣло и грубо его понижаютъ. Эти лица дурны по воспитанію, по невѣжественности, а не по натурѣ, и не ихъ вина, что со дня смерти Петра Великаго прошло только 116, а не 300 лѣтъ. Неужели въ иностранныхъ романахъ и повѣстяхъ вы встрѣчаете все героевъ добродѣтели и мудрости? Ничего не бывало! Тѣ же Чичиковы, только въ другомъ платьѣ: во Франціи и въ Англіи они не скупаютъ мертвыхъ душъ, а подкупаютъ живыя души на свободныхъ парламентскихъ выборахъ! Вся разница въ цивилизаціи, а не въ сущности. Парламентскій мерзавецъ образованнѣе какого-нибудь мерзавца нижняго земскаго суда; но въ сущности оба они не лучше другъ друга. Люди съ божественной искрой въ душѣ вездѣ рѣдки,—и я первый пламенно желаю, чтобъ Гоголь иногда дарилъ насъ изображеніями такихъ личностей, тѣмъ болѣе желаю, что теперь только одинъ онъ и можетъ изображать ихъ. Но я не считаю себя вправе требовать, чтобъ онъ изображалъ то, а не это, или ставить ему въ вину, что онъ изображаетъ то, а не другое.

В. Но воля ваша, а такія слова, какъ: «свинтусъ, скотоводъ, подлецъ, еетюкъ, чортъ знаетъ, нагадить» и тому подобныя—такія слова видѣтъ въ печати какъ-то странно.

А. А слышать или самому говорить каждый день не странно?.. Но авторъ «Мертвыхъ Душъ» нигдѣ не говоритъ самъ, онъ только заставляетъ говорить своихъ героевъ сообразно съ ихъ характерами. Чувствительный Маниловъ у него выражается языкомъ образованнаго въ мѣщанскомъ вкусѣ человѣка; а Поздревъ—языкомъ «историческаго» человѣка, героя арमारокъ, трактировъ, попокъ, дракъ и картежныхъ продѣлокъ. Не заставитъ же ихъ было говорить языкомъ людей высшаго общества! Что же касается до слова «подлецъ», авторъ употребляетъ его и отъ своего лица, какъ люди порядочнаго тона употребляютъ, кромѣ этого слова, слова: воръ, разбойникъ, плутъ, взяточникъ, казнокрадъ, завистникъ, лжецъ, клеветникъ и т. п. И я, право, не понимаю, что неприличнаго въ словѣ подлецъ, и чѣмъ оно непристойнѣе наприимѣръ словъ: предатель, низкопоклонникъ и проч. Дѣло не словѣ, а въ тонѣ, въ какомъ это слово произносится. Иной любезникъ чиновническаго или гостиннодворскаго кружка говорить все вѣжливости, одна другой тоньше и деликатнѣе, а все кажется, будто онъ отпускаетъ такія выраженія, за которыя выводятъ подъ руки изъ собраний; а порядочный человѣкъ вы-

ражается рѣзко, называетъ вещи ихъ настоящими словами—вонь вонью, подлеца подлецомъ, и между тѣмъ разговоръ его все-таки исполненъ благородства и достоинства, приличія и хорошаго тона. Правда, Гоголь иногда касается такихъ сторонъ общественности, которыя подъ перомъ иныхъ писателей были бы просто невыносимы и для обонянія, и для слуха, и для взора; но какъ Гоголь не копируетъ дѣйствительности, а «возводитъ ее въ перлъ созданія», какъ его юморъ спокоенъ, мягокъ и благороденъ, несмотря на свою силу, цѣпкость и глубину, то въ его созданіяхъ никогда и ничего не бываетъ низкаго и тривіальнаго. Онъ владѣетъ тайной великаго таланта обращать въ чистое золото все, къ чему ни прикоснется. Скажите по совѣсти, встрѣчали ли вы въ его сочиненіяхъ хотя одну картину грубой чувственности, написанную съ желаніемъ самому налюбоваться ею и, возбужденіемъ нечистаго восторга, приобрести себѣ большее число читателей? Гдѣ, укажите, рисуетъ онъ грязь для грязи, по страсти къ цинизму—замашка, довольно любимая впрочемъ добрымъ и талантливымъ Поль-де-Кокомъ, съ которымъ такъ не впопадъ, такъ натянута вздумала равнять Гоголя рецензія? Гоголь и Поль-де-Кока—это имена, между которыми столько же общаго, какъ между именами Вольтера и какого-нибудь барона Брамбеуса. Кстати: я знаю одного писателя, хотъ и плохо по-русски пишущаго, но во многомъ походящаго на Поль-де-Кока, по крайней мѣрѣ со стороны цинизма, если не со стороны знанія языка, таланта, сердечной теплоты. Это—баронъ Брамбеусъ... Вотъ его такъ можно обвинять въ дурномъ тонѣ, въ плоскостяхъ, въ сальностяхъ, въ явномъ незнаніи русскаго языка и русской грамматики, при талантѣ, котораго силу составляетъ смѣлость, да иногда блестящая вѣншияго, поверхностнаго ума. И подобное обвиненіе можно подтвердить фактами, противъ которыхъ нечего будетъ сказать ни вамъ, ни всякому другому, ни даже барону Брамбеусу. Если вы забыли его несчастныя «Фантастическія Путешествія», какъ забыла ихъ русская публика, бросившаяся было на нихъ сначала слишкомъ горячо, по опрометчивости, столь свойственной всему молодому,—то вамъ стѣнитъ только перелистовать ихъ, чтобы передъ вами возникла цѣлая галлерея картинъ, одна другой неумѣтѣе, одна другой спиртуознѣе, до того, что передъ ними всякіе другіе «запахи» должны утратить свою рѣзкость. Да вотъ кстати—со мной одна изъ тетрадей литературныхъ матеріаловъ, которые я собираю для составленія исторіи русской литературы. Я вѣдь и замелъ сюда именно потому, что мнѣ нужно навести кое-какія справки насчетъ критики «Библіотеки для Чтенія». Я не буду вамъ разрывать всей этой кучи, чтобы не заставить васъ зажимать или, какъ выражается рецензія, «закрывать рукой» вашъ «почтеннѣйшій» носъ; я только напомню вамъ бѣгло кой-что, и прежде всего то

мѣсто, гдѣ баронъ проваливается черезъ Эту къ антиподамъ и попадаетъ прямо въ антрша танцовавшей губернаторши, которая жметъ его колѣнками, душитъ, а онъ за это кусаетъ ее за мягкую тяжесть, наполнившую его ротъ¹⁾. Что—хорошо?.. А его чистоплотные рассказы о «тихомъ, роскошномъ, пуховомъ тѣльцѣ дѣвушкѣ, въ коротенькихъ розовыхъ юбочкахъ»²⁾; о «свѣтлой похотливой кожѣ, преданныхъ на жертву жаднымъ взорамъ, пухленькихъ грудей и плечъ»³⁾; о постели двухъ юныхъ любовниковъ, только что оставленной ими поутру въ живописномъ безобразіи, «еще дышащей волнанической теплотой ихъ сердецъ, среди холодныхъ уже слѣдовъ перваго взрыва ихъ любви»⁴⁾; о душѣ пустынника, «забирающейся за пестрые прозрачные платочки его слушательницъ, чтобы играть съ ихъ бѣленькой грудью и щекотать ихъ подъ сердцемъ»⁵⁾; о «бѣлой жирной ножкѣ мандаринши, на которой влюбленные насѣкомыя (т. е. блохи) утопаютъ въ небесномъ блаженствѣ» и которыхъ мандаринша должна была «всякій вечеръ ловить у себя подъ рубашкою»⁶⁾. Какъ вы думаете: вѣдь право недурно?.. Да то ли еще есть у «почтеннѣйшаго» барона! Вспомните-ка его «Вольшой выходъ Сатаны», гдѣ чортъ сидитъ на воронкѣ, обороченной вверхъ острыми концами, и роскошно повертывается на этомъ эстетическомъ сѣдалищѣ, вслѣдствіе оплеухи, данной ему сатаной... А тонъ выраженія барона? О, это верхъ свѣтскости! Напримѣръ: «Если есть счастье на свѣтѣ, то не индѣ, какъ въ шароварахъ»⁷⁾; или: «нину бабу можно считать своей деревней, которая приноситъ 150,000 годового дохода»⁸⁾; или: «еслибъ людей дѣлали немножко иначе, не такъ поспѣшно и съ должнымъ вниманіемъ, они были бы гораздо умнѣе»⁹⁾; или: «Льстецы, видя только задъ души въ глазахъ сильныхъ людей, не разбираютъ и лобызаютъ все, что имъ ни выставишь...»¹⁰⁾. Помните ли его статью «Юная Словесность», гдѣ юная словесность лѣзетъ къ нашему барону въ дождь, «шумитъ, безчинствуетъ, ломаетъ утварь, расхищаетъ всю собственность и принадлежность счастья»¹¹⁾? Баронъ объявляетъ читателямъ, что у него баронесса, «образующая вѣстѣ съ нимъ широкую и плотную массу человечества», которую онъ хочетъ спасти отъ нападеній «юной словесности», для чего и «пробуетъ треснуть ей въ лобъ колодой картъ». Юная словесность «стрѣляетъ раскаленными ядрами по бастіону супружества»; потомъ «бусурманка (т. е.

¹⁾ «Фант. Пут. барона Брамбеуса», стр. 807—809

²⁾ «Библи. для Чтенія», 1834 г., т. I, стр. 4—5.

³⁾ Ibid., стр. 61.

⁴⁾ «Фант. Пут.», стр. 199.

⁵⁾ «Новоселье», ч. II, стр. 217—218.

⁶⁾ Ibid. стр. 168.

⁷⁾ «Новоселье», ч. II, стр. 204.

⁸⁾ «Библи. для Чтенія», т. I, отд. I, стр. 97.

⁹⁾ «Новоселье», ч. II, стр. 146.

¹⁰⁾ Ibid. стр. 148.

¹¹⁾ «Библи. для Чтенія», т. III, отд. I, стр. 54—59.

юная словесность) изранила взаимное доверіе супругов». Баронъ пыхтитъ и кричитъ: «Не поддадимся! о, коварная словесность! о, мерзкая словесность!.. Ахъ, распутница!» Баронесса «срывается ночью съ постели»; «повалилась на землю, грызетъ въ бѣшенствѣ камень», а юная словесность, «вся запачканная кровью, пыхтитъ и качается въ своей грязной лужѣ» и проч. Право, хорошо! Чтожъ не смѣетесь и не хотите или по крайней мѣрѣ не пыхтите отъ восторгу?.. Что-жъ вы не восклицаете: «какіе свинтусы, какіе скотоводы эти нечистоплотные періоды, эти злобонныя картины»?... Чтѣ такое исторія, какъ наука?—«Жеманная и придирная баба»¹⁾... Чтѣ такое историческій романъ?—«Плодъ соблазна: тельнаго прелюбодѣянiя исторiи съ воображенiемъ»²⁾... Чтѣ такое сочинитель «Мазепы» (плохого романа, теперь забытаго)?—«Наѣздникъ, который въ полночь лѣзетъ къ критику въ разбитое окно, вооруженный острыми гусиными выжаломъ»³⁾... Теперь, не угодно ли полюбоваться философическими афоризмами столько же глубокомысленнаго, сколько и эстетическаго барона?—«Воздухъ есть сухая вода»⁴⁾; «камень, гранить—тоже жидкость, но которой мы уже не можемъ укусить нашими зубами»⁵⁾. «Земная планета—атомъ приведеннаго въ броженіе теплотворомъ яичнаго желтка около перваго зародыша цыпленка»⁶⁾... «Чтѣ такое я самъ?»—спрашиваетъ баронъ,—и тотчасъ весьма удовлетворительно рѣшаетъ этотъ любопытный вопросъ: «Я тоже жидкость, маленькая мѣра жидкости, сгущенной до извѣстной степени, вылитой по особенному образцу, зажженной внутри искрой небснаго огня»⁷⁾... Не хотите ли образчика баронскаго слогу?—«Эта бѣдная Зененда... Она просто жертва неопредѣленности нашего быта! Живая утопленница зыбкихъ его формъ, окруженная неизбежной погibelью, еще борющаяся съ волнами страшнаго хаоса и въ лицѣ погibelи (?) хватающаяся за подмытые утесы, которые обрушаются и дробятся въ ея рукахъ! Уже наша образованность обманула ее призракомъ супружескаго счастья; уже смолола ея существованіе въ своей насти, и бросила его (?) безъ всякой доски въ омутъ домашняго насилія»⁸⁾... Хорошо!.. Но довольно! Я боюсь васъ утопить чтеніемъ этихъ отрывковъ изъ моей тетрадки, которая, увѣраю васъ, очень любопытна, и если не пыхтитъ сама, то заставитъ порядкомъ попыхтѣть иныхъ романистовъ, критиковъ и рецензентовъ... Посудите сами о богатствѣ собранныхъ мною фактовъ: все, чтѣ я успѣлъ прочесть вамъ,

ограничивается «Фантастическими Путешествiями», «Новосельемъ» и тремя первыми томами «Библиотеки для Чтенiя» за 1834 годъ... Слышите ли: только! Сколько же еще богатыхъ источниковъ! О, я надѣюсь написать прелюбопытную исторію русской литературы!..

В. Вотъ эта книга по мнѣ! Страхъ люблю полемику! Даетъ пищу для споровъ и средство взглянуть на предметъ съ разныхъ сторонъ.

А. Это будетъ не полемика, а исторія... Но мы отклонились отъ предмета нашего разговора—пыхтящей рецензiи. Она очень ошиблась—не въ томъ, что вздумала равнять Гоголя съ Поль-де-Коккомъ и даже унижать перваго передъ послѣднимъ, но въ томъ, что могла думать, будто не найдется человѣка, который растолковалъ бы ей, что у нея подъ рукой есть писатель, совершенно подходящий подъ ея обвиненiя и болѣе годный для параллели съ Поль-де-Коккомъ... Хорошо понимая, что успѣха «Мертвыхъ Душъ» не остановить ей, пыхтящая рецензiя приписываетъ необычайный успѣхъ этого превосходнаго художественнаго произведенiя грязности и сальности, смѣло, и храбро навязаннымъ ею. Жалкія усилія, безсильные извороты! Этакъ можно объяснить развѣ только успѣхъ какого-нибудь барона Врамбеуса и какой-нибудь «Библиотеки для Чтенiя», которыхъ судьба въ началѣ была такъ блестяща, а теперь такъ печальна! Баронъ давно уже забытъ и тщетно пытался напомнить о себѣ публикѣ длиннымъ разглагольствованіемъ о «Дѣвѣ Чудной» (публика отъ «Дѣвы» заснула, а о баронѣ не вспомнила); а «Библиотека» быстро подвигается, засыпая сама и усыпляя своихъ читателей, къ берегамъ томной Леты... Передъ смертью жизнь вспыхиваетъ ярче, какъ огонь, готовый погаснуть въ лампадѣ: и вотъ вамъ причина энергiи пыхтящей рецензiи... Въ самомъ дѣлѣ, баронъ трудился, пыхтилъ, написалъ новый романъ, попытался, напечатать его половину, разманить имъ вниманіе публики, но, увы!—публика уже не та! Съ тѣхъ поръ какъ «Библиотека для Чтенiя» успѣла ей наскучить этой мудростью, которая по плечу толпѣ, этимъ скептицизмомъ, который удивляетъ и озадачиваетъ только слабоумныхъ и невѣждъ, этимъ остроуміемъ, которое поддерживается искаженіемъ истинны и повторяетъ себя одиѣи и тѣми же шуточками,—съ тѣхъ поръ публика прочла «Капитанскую Дочку» и посмертныя произведенiя Пушкина, познакомилась въ театрѣ съ «Ревизоромъ», заучила наизусть Лермонтова и много разъ перечла его «Героя Нашего Времени»... Какой шагъ впередъ! Удивительно ли, что эта публика даже не дочла до конца «Дѣвы Чудной» и назвала ее «дѣвой скучной»?.. Чтѣ дѣлать барону?—Тщетно «Библиотека для Чтенiя» громко провозгласила Кукольника геніемъ, великимъ поэтомъ, какъ провозглашала она нѣкогда Тимофеева и многіа другіа посредственности, не страшныя, не опасныя ни ей, ни барону Врамбеусу: ничто не по-

¹⁾ «Библ. для Чтенiя», т. II, отд. V, стр. 42.

²⁾ Ibid., стр. 14.

³⁾ Ibid., стр. 44.

⁴⁾ Ibid., т. II, отд. I, стр. 145.

⁵⁾ Ibid., стр. 146.

⁶⁾ Ibid.

⁷⁾ Ibid., стр. 146.

⁸⁾ Ibid., стр. 161.

могло! Публика даже не стала читать ни «Эвелины-де-Вальероль», ни «Двухъ Призраковъ», ни «Альфа и Альдоны», а нарасхватъ раскупила «Мертвыя Души» — произведение писателя, о которомъ если «Библиотека для Чтенія» и упоминала, то всегда съ презрѣніемъ и насмѣшками... Такъ нѣкогда публика забыла «Большой Выходъ Сатаны» и не прочла «Похожденіе Одной Ревижской Души», потому что сильно заинтересовалась какой-то повѣстью о ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ... Постой же, мы его!.. И вотъ является пытаящая рецензія, гдѣ превосходное художественное произведение названо «нечистоплотнымъ твореніемъ», глубочайшій и могущественнѣйшій юморъ — плоскостью, благородное сознаніе поэта въ чувствѣ собственного значенія въ родной ему русской литературѣ — бредомъ напыщеннаго тщеславія, и гдѣ, къ довершенію всего, содержаніе, ходъ дѣйствія, словомъ, все представлено въ ложномъ, извощенномъ видѣ, умышленно перетолковано въ дурную сторону, подвержено мелкимъ придиркамъ мелочной критики, подбирающейся мелкими обмолвками противъ языка и грамматики... Посмотрите, можете ли горю это *salto mortale* критической добросовѣстности и отчаянной отваги... Посмотрите, чѣмъ кончится споръ, если онъ уже и не кончился... Гоголь, разумѣется, и не узнаетъ объ этихъ отчаянныхъ вылазкахъ на его поэтическую славу (онъ, кажется, человѣкъ совсѣмъ нелюбопытный до многого, что дѣлается въ русской литературѣ); поэтому естественно онъ будетъ отвѣчать только новыми своими произведеніями, отъ которыхъ иные романисты-рецензенты запихнутся на смерть...

В. Я впрочемъ радъ этому разговору. Я люблю видѣть вещи со всѣхъ сторонъ. Сегодня же пойду къ С*** и къ Л*** и буду съ ними спорить противъ «Библиотеки для Чтенія» за Гоголя. Это ихъ удивитъ, а мнѣ доставитъ много удовольствія. Впрочемъ вы все-таки не убѣдили меня. Разговоръ не то, что статья. Говорить можно все, а вотъ еслибъ вы напечатали статью, гдѣ бы такъ же смѣло опровергали рецензію «Библиотеки для Чтенія», какъ смѣло и рѣшительно она отдѣлала «Мертвыя Души» и Гоголя, — тогда другое дѣло! Однакожъ я теперь не совсѣмъ согласенъ и съ «Библиотекой». Мнѣ кажется, что надо держаться середины...

А. Именно такъ. Середина всего выгоднѣе, по крайней мѣрѣ для успѣха такихъ литературныхъ произведеній и такихъ журналовъ, которые судьбой поставлены на середину. Побольше такихъ умѣренныхъ людей, какъ вы, — и они всегда будутъ процвѣтать, сибѣная другъ друга, умирая индивидуально, но не переводясь какъ роды и виды... Но пора обѣдать. Прощайте!

Объясненіе на объясненіе по поводу поэмы Гоголя «Мертвыя Души».

Изъ множества статей, написанныхъ въ послѣднее время о «Мертвыхъ Душахъ» или по поводу «Мертвыхъ Душъ», особенно замѣчательны четыре. Ихъ нельзя не раздѣлить на двѣ половины, попарно. Каждая изъ двухъ статей въ парѣ составляетъ рѣзкій контрастъ; на каждую можно смотрѣть, какъ на крайнюю противоположность другой парѣ. О первой изъ нихъ мы упоминали въ предыдущей книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ», какъ о единственной хорошей статьѣ изъ всѣхъ, написанныхъ по поводу поэмы Гоголя. Она напечатана въ третьей книжкѣ «Современника». Это статья умная и дѣльная сама по себѣ, безотносительно; но кто-то, вѣроятно безъ всякаго умысла, а просто и невинно, сдѣлалъ рѣзче ея достоинство и выше ея цѣну, написавъ къ ней нѣчто вроде антипода и назвавъ свое послѣднее писаніе критикой на «Мертвыя Души». Смыслъ этой «критики» находится въ обратномъ отношеніи къ смыслу статьи «Современника». Боже мой, сколько курьезнаго въ этой «критикѣ!» Довольно сказать, что въ ней Селифанъ названъ представителемъ неиспорченной русской натуры, Ахилломъ новой «Иліады», на томъ основанъ, что онъ а) пріятельски разговариваетъ съ лошадыми, и б) напивается мертвецки со всякимъ хорошимъ, т. е. всегда готовымъ мертвецки напиться, человѣкомъ... Поэтому можно судить и о прочемъ, чѣмъ такъ необыкновенно замѣчательна «критика», о которой мы говоримъ.

Другую пару рѣзкихъ противоположностей составляютъ: статья въ «Библиотеку для Чтенія» и московская брошюрка «Нѣсколько словъ о поэмѣ Гоголя: «Похожденіе Чичикова или Мертвыя Души». — Статья «Библиотеки для Чтенія» была неудачнымъ усиленіемъ втоптать въ грязь великое произведеніе натынутыми и умышленно-фальшивыми нападками на его, будто бы, безграмотность, грязность и эстетическое ничтожество. Всѣмъ извѣстно, что эта статья добилась совсѣмъ не тѣхъ результатовъ, о которыхъ хлопотала.

Брошюрка — антиподъ этой статьи — пошла отъ противоположной крайности: въ ней «Мертвыя Души» являются вторымъ твореніемъ послѣ «Иліады», а подлѣ Гоголя позволяетъ становиться только Гомеру и Шекспиру...

Но «Мертвыя Души» и безъ всякихъ претензій становиться на ряду съ «Иліадой» имѣютъ великое достоинство: оттого-то онѣ устояли не только противъ статьи «Библиотеки для Чтенія», но — что было гораздо труднѣе — и противъ московской брошюры... Къ поэмѣ Гоголя, стало-быть, нельзя примѣнять этихъ стиховъ Пушкина:

Враговъ имѣетъ въ мірѣ всякъ;
Но отъ друзей спаси насъ, Боже!
Ужъ эти мнѣ друзья, друзья!
Объ нихъ не даромъ вспомнилъ я.

Мы раздѣлили эти четыре статьи на двѣ пары, основываясь на противоположности ихъ до-

стоинствъ и исходныхъ пунктовъ; теперь раздѣлимъ ихъ по тождеству достоинства и взглядовъ ихъ. По послѣднему раздѣленію останутся только двѣ статьи, ибо статья «Современника» въ такомъ случаѣ будетъ безъ пары, какъ статья умная и дѣльная; статья «Библиотеки для Чтенія» тоже будетъ безъ пары, какъ протестация противъ огромнаго успѣха явнаго таланта. Итакъ остаются только двѣ статьи: та, въ которой Селифанъ торжественно признанъ представителемъ «неиспорченной русской натуры», и московская брошюрка; обѣ онѣ много имѣютъ между собой общаго и родственнаго. Но обѣ этомъ послѣ, а сперва замѣтимъ мимоходомъ, что намъ много даютъ работы и бранныя, и хвалебныя статьи о «Мертвыхъ Душахъ». Такъ какъ эти хвалебныя статьи больше оскорбляютъ людей безпристрастныхъ и благоразумныхъ, то къ-то мы и поставимъ себя за обязанность преслѣдовать преимущественно передъ бранными. Вслѣдствіе этого въ 8-й книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» была высказана прямо и опредѣлительно горькая истина московской брошюры «Нѣсколько словъ о поэмѣ Гоголя: «Похожденіе Чичикова или Мертвыя Души». Это крайне не понравилось автору ея, Константину Аксакову, -- и вотъ онъ въ 9-мъ № «Москвитянина» напечаталъ противъ насъ возраженіе, въ которомъ силится доказать, что будто бы мы умышленно исказили смыслъ его брошюры и приписали ему такіа мнѣнія, которыхъ онъ не можетъ признать своими. Стоить только перечестъ или нашу рецензію, или брошюру Константина Аксакова, чтобъ убѣдиться, что мы нисколько не переиначивали дѣла, но представили его такимъ, какъ оно есть, и что оттого именно оно и приняло нѣсколько комическій характеръ. Возраженіе автора брошюры также можетъ служить нашимъ оправданіемъ, ибо въ немъ-то и переиначено дѣло: авторъ брошюры, замѣтивъ неловкость своего положенія, прибѣгнувъ къ обыкновенной, но неловкой литературной уверткѣ, -- отперся отъ части своихъ мыслей и много наговорилъ о томъ, что, по его мнѣнію, могло служить ему оправданіемъ, умалчавъ о немногомъ, составляющемъ сущность его брошюры и придавшемъ ей такой комическій характеръ. Объясняемся не ради Константина Аксакова, котораго ни брошюра, ни возраженія не стоятъ большихъ хлопотъ; но ради важности предмета, подавашаго поводъ къ тому и другому. Впрочемъ если наше объясненіе будетъ полезно и для Константина Аксакова, мы будемъ этому очень рады, ибо не имѣемъ никакихъ причинъ не желать добра ни ему, ни кому другому.

Константинъ Аксаковъ начинаетъ свое «Объясненіе» тѣмъ, что брошюра (имя рекъ) принадлежитъ ему, и что въ концѣ ея выставлено его имя, которое, неизвѣстно почему, не упомянуто «Отеч. Записками». Признаетъ справедливость претензіи Константина Аксакова, и чтобъ загладить нашу вину передъ нимъ касательно умол-

чанія его имени, будемъ въ этой статьѣ какъ можно чаще употреблять его. Впрочемъ, не желая оставлять Константина Аксакова въ неизвѣстности о причинѣ умолчанія его имени въ рецензіи, спѣшимъ объяснить, что мы не упомянули этого имени по чувству гуманной деликатности, будучи увѣрены, что имя человѣка и неудачная статья -- не одно и то же, ибо и умный, порядочный человѣкъ можетъ написать (и даже напечатать) плохую брошюру. По тому же самому чувству гуманной деликатности мы не хотѣли (хотя бы и слѣдовало это сдѣлать по требованію истины) замѣтить въ нашей рецензіи, что брошюра Константина Аксакова вся состоитъ изъ сухихъ абстрактныхъ построеній, лишенныхъ всякой жизненности, чуждыхъ всякаго непосредственнаго созерцанія, и что поэтому въ ней нѣтъ ни одной яркой мысли, ни одного теплаго, задушевнаго слова, которыми ознаменовываются первыя и даже самыя неудачныя попытки талантливыхъ и пылкихъ молодыхъ людей, и что потому же въ ея изложеніи видна какая-то вялость, расплывчивость, апатія, неопредѣленность и сбивчивость.

Главное обвиненіе Константина Аксакова противъ насъ состоитъ въ томъ, что будто бы мы заставили его называть «Мертвыя Души» «Иліадой», а Гоголя -- Гомеромъ. Чтобъ отстранить отъ себя нашу улику, онъ ссылается на свою брошюру и дѣлаетъ изъ нея выписки; но все это нисколько не поможетъ горю. Константинъ Аксаковъ дѣйствительно не называлъ «Мертвыхъ Душъ» «Иліадой», а Гоголя -- Гомеромъ: такихъ словъ нѣтъ въ его брошюрѣ; но онъ поставилъ «Мертвыя Души» на одну доску съ «Иліадой», а Гоголя -- на одну доску съ Гомеромъ: вотъ что правда, то правда! Ибо какъ же иначе, если не въ такомъ смыслѣ, можно понимать эти слова брошюры (о которыхъ Константинъ Аксаковъ какъ будто и забылъ, и надо согласиться, что въ этомъ случаѣ память очень кстати измѣнила ему):

«Такъ глубоко значеніе, являющееся намъ въ «Мертвыхъ Душахъ» Гоголя! Передъ нами возникаетъ новый характеръ созданія, является оправданіе *цѣлой сферы поэзіи*, -- сферы, давно унижаемой; древній эпосъ возстаетъ передъ нами».

Это значить ни больше, ни меньше, какъ то, что давно унижаемый эпосъ Гомера вновь воскрепшенъ Гоголемъ, и что «Мертвыя Души» слѣдовательно -- вторая «Иліада»!!.

Еще разъ спрашиваемъ: можно ли иначе понять эти слова Константина Аксакова? Онъ жалуется, что мы, по обыкновенію журналистовъ, имѣющихъ въ виду уронить непріятное имъ произведеніе, вырывали мѣстами по нѣскольку строкъ изъ его брошюры, прибавляя къ нимъ собственныя замѣчанія. Но неужели же мы должны были выписывать все? это значило бы украсить нашъ журналъ брошюрой Константина Аксакова, на что мы не имѣли ни права, ни охоты. Итакъ, мы выписали изъ брошюры только тѣ строки,

въ которыхъ заключались ея основныя положенія. Такъ сдѣлаемъ мы и теперь. Послѣ выписанныхъ строкъ намъ надо было бы перепечатать теперь нѣсколько страницъ, но это было бы скучно и для насъ, и для читателей, и потому мы только перескажемъ содержаніе этихъ нѣсколькихъ страницъ, непосредственно слѣдующихъ за выписанными нами строками. Сперва авторъ брошюры характеризуетъ древній эпосъ тѣмъ, что этотъ эпосъ «основанъ былъ на глубокомъ простомъ созерцаніи и обнималъ собой цѣлый опредѣленный міръ во всей неразрывной связи его явленій», что въ немъ все на своемъ мѣстѣ, всякій предметъ переносится въ него съ его правами, съ тайной его жизни, и т. п. Все это и не ново, и во всемъ этомъ нѣтъ никакой опредѣленности... Потомъ авторъ брошюры говоритъ, что этотъ эпосъ, перенесенный на Западъ, все мелѣлъ, мелѣлъ, «снизошелъ до романовъ и наконецъ до крайней степени своего униженія—до французской повѣсти». «И вдругъ, среди этого времени, возникаетъ древній эпосъ съ своей глубиной и простымъ величіемъ—является поэма Гоголя. Тотъ же глубокопроникающій и все видящій эпическій взоръ, то же всеобъемлющее эпическое созерцаніе».—«Въ поэмѣ Гоголя является намъ тотъ древній, гомеровскій эпосъ; въ ней возникаетъ вновь его важный характеръ, его достоинство и широко-объемлющій размахъ».

Теперь дѣло ясно: эпосъ есть что-то великое; онъ вполне выразился въ созданіяхъ Гомера («Иліадѣ» и «Одиссее»); но со временъ Гомера до Гоголя (до 1842-го года по Р. Х.) все мелѣло и искажалось: Гоголь же вновь воскресилъ его во всей его первобытной красотѣ и свѣжести...

Неужели и теперь Константинъ Аксаковъ отпрется отъ своихъ словъ, явно написанныхъ имъ сгоряча и необдуманно (ибо въ спокойномъ состояніи духа такихъ вещей не говорятъ), и будетъ стараться дать имъ другое значеніе? Нѣтъ, улика на лицо, и тутъ не помогутъ никакія увертки...

Правда, древне-эллинискій эпосъ, перенесенный на Западъ, точно мелѣлъ и искажался; но въ чемъ?—въ такъ называемыхъ эпическихъ поэмахъ—въ «Энеидѣ», «Освобожденномъ Іерусалимѣ», «Потерянномъ Раѣ», «Мессіадѣ» и проч.*) Всѣ эти поэмы имѣютъ свои неотъемлемыя достоинства, но какъ частности и отдѣльныя мѣста, а не въ цѣломъ; ибо онѣ не самобытныя созданія, которымъ бы современное содержаніе дало и современную форму, а подражанія, явившіяся вслѣдствіе школьно-эстетическаго преданія объ «Иліадѣ», преданія, гдѣ «Иліада» была смѣшана и отождествлена съ родомъ поэзіи, къ которому она принадлежать. И этотъ древне-

эллинискій эпосъ, перенесенный на Западъ, дошелъ до крайняго своего униженія въ «Генріадахъ», «Россіадахъ», «Петріадахъ», «Александронадахъ», и другихъ «идахъ», «адахъ» и «ядахъ»; сюда же должно отнести и такія уродливыя произведенія, какъ «Телемакъ» Фенелона, «Гонзальвъ Кордуанскій» Флоріана, «Кама и Гармонія» и «Полидоръ, сынъ Кама и Гармонія» Хераскова и проч. Еслибъ Константинъ Аксаковъ это разумѣлъ подъ искаженіемъ на Западѣ древняго эпоса,—мы совершенно съ нимъ согласились бы, потому что это фактъ, историческій фактъ, противъ котораго нечего сказать. Но въ такомъ случаѣ онъ долженъ бы былъ принять за основаніе, что древне-эллинискій эпосъ и не могъ не искажаться, будучи перенесенъ на Западъ, особенно въ новѣйшія времена. Древне-эллинискій эпосъ могъ существовать только для древнихъ эллиновъ, какъ выраженіе ихъ жизни, ихъ содержанія въ ихъ формѣ. Для міра же новаго его нечего было и воскрешать, ибо у міра новаго есть своя жизнь, свое содержаніе и своя форма, слѣдовательно и свой эпосъ. И эпосъ новаго міра явился преимущественно въ романѣ, котораго главное отличіе отъ древне-эллинскаго эпоса, кромѣ христіанскихъ и другихъ элементовъ новѣйшаго міра, составляетъ еще и проза жизни, вошедшая въ его содержаніе и чуждая древне-эллинскому эпосу. И потому романъ отнюдь не есть искаженіе древняго эпоса, но есть эпосъ новѣйшаго міра, исторически возникнувшій и развившійся изъ самой жизни и сдѣлавшійся ея зеркаломъ, какъ «Иліада» и «Одиссея» были зеркаломъ древней жизни. Константинъ Аксаковъ умалчалъ о романѣ, сказавъ только, и то въ выноскѣ, что конечно и романъ, и повѣсть имѣютъ-де свое значеніе и свое мѣсто въ исторіи искусства поэзіи; но что предѣлы статьи его не позволяютъ ему распространяться о нихъ. Во-первыхъ, эта выноска явно противорѣчитъ съ текстомъ, гдѣ опредѣлительно сказано, что древній эпосъ, перенесенный на Западъ, все мелѣлъ, искажался, снизошелъ до романовъ и наконецъ до крайней степени своего униженія—до французской повѣсти: слѣдовательно, какое же свое значеніе, кромѣ искаженія древняго эпоса, могутъ имѣть романъ и повѣсть въ глазахъ Константина Аксакова? И притомъ, если говорить (особенно такіа диковинки и такъ смѣло), то ужъ надо говорить все и притомъ опредѣленно, чтобъ не дать себя поймать на недоговоркахъ; или ничего не говорить, или говоря, не противорѣчить себѣ ни въ текстѣ, ни въ выноскахъ; или наконецъ, проговорившись, умѣть смолчать. Въ противномъ случаѣ, это все равно, какъ еслибъ кто-нибудь, сказавъ такъ: «Байронъ плохой поэтъ», а въ выноскѣ замѣтивъ: «вырочемъ и Байронъ имѣетъ свое значеніе, но мнѣ теперь некогда о немъ распространяться»,—считалъ бы себя правымъ и подумалъ бы, что онъ все сказалъ, и сказалъ дѣло, а не пустяки. Константинъ Аксаковъ ни однимъ словомъ не

*) Изъ этихъ поэмъ должно исключить «Divina Comedia» Данте, какъ твореніе самобытное, совершенно въ духѣ католической Европы среднихъ вѣковъ.

упомянулъ въ своей брошюрѣ ни о Сервантесѣ, ни о Вальтеръ-Скоттѣ, ни о Куперѣ,—чѣмъ и далъ право думать, что онъ и въ нѣтъ видитъ искаателей эпоса, возстановленнаго Гоголемъ!!!!. Въ нашей рецензіи мы это замѣтили Константи́ну Аксакову, сказавъ при этомъ, что Вальтеръ-Скоттъ есть истинный представитель современнаго эпоса, т. е. историческаго романа, что Вальтеръ-Скоттъ могъ явиться (и явился) безъ Гоголя, но что Гоголя не было бы безъ Вальтеръ-Скотта; и наконецъ если Гоголя можно сближать съ кѣмъ-нибудь, такъ ужъ конечно съ Вальтеръ-Скоттомъ, которому онъ, какъ и всѣ современные романисты, такъ много обязанъ, а не съ Гомеромъ, съ которымъ у него нѣтъ ничего общаго. Но Константи́нъ Аксаковъ въ своемъ «Объясненіи» промолчалъ объ этомъ: —изворотъ очень полезный для него, разумеется, но по отношению къ намъ не совсѣмъ добросовѣстный... И это-то самое заставляетъ насъ повторить, что Константи́нъ Аксаковъ считаетъ романъ униженіемъ эпоса (ибо у него эпосъ нисходитъ до романа), а Вальтеръ-Скотта просто ни за что не считаетъ (ибо не утомляетъ его и упоминаемъ—вѣроятно изъ опасенія унижить Гоголя какими бы то ни было сближеніемъ съ такимъ незначущимъ писателемъ, какъ Вальтеръ-Скоттъ). Какъ называются такіа умозрѣнія—предоставляемъ рѣшить читателямъ...

Итакъ, романъ совершенно уничтоженъ Константи́номъ Аксаковымъ; но современный эпосъ проявился не въ одномъ романѣ исключительно: въ новѣйшей поэзіи есть особый родъ эпоса, который не допускаетъ прозы жизни, который скватываетъ только поэтическіе, идеальные моменты жизни, и содержаніе котораго составляютъ глубочайшія міросозерцанія и нравственные вопросы современнаго человѣчества. Этотъ родъ эпоса одинъ удержалъ за собой имя «поэмы». Таковы всѣ поэмы Байрона, нѣкоторыя поэмы Пушкина (въ особенности «Цыганы» и «Галубъ»), также Лермонтова «Демонъ», «Мцыри» и «Бояринъ Орша». Если для Константи́на Аксакова поэмы Пушкина и Лермонтова не составляютъ факта, то какъ же не упомянулъ онъ ни слова о Байронѣ? Положимъ, что Байронъ, въ сравненіи съ Гоголемъ,—ничто, а Чичиковы, Маниловы и Селифаны имѣютъ болѣе всемірно-историческое значеніе, чѣмъ титаническія, колоссальныя личности британскаго поэта; но, ничтожный въ сравненіи съ Гоголемъ, Байронъ все-таки долженъ же имѣть хоть какое-нибудь свое значеніе и свое мѣсто въ исторіи новѣйшаго искусства?.. Почему же Константи́нъ Аксаковъ не удостоилъ упомянуть о Байронѣ, ну, хоть однимъ презрительнымъ словомъ, хоть для того, чтобы уничтожить его во имя «Мертвыхъ Душъ»? Неужели же, спросить насъ, Константи́нъ Аксаковъ, не шутя, и въ Байронѣ видитъ искаженіе эпоса?—Должно быть, такъ: ибо настоящій, истинный эпосъ послѣ Гомера явился только въ «Мертвыхъ Душахъ»—

Соч. Бѣлинскаго. Т. III.

отвѣчаемъ мы... Да это (опять скажутъ намъ), это просто... нелѣпость, галиматья!.. Помилуйте, какъ это можно (отвѣчаемъ мы): это умозрѣнія, спекулятивныя построенія, гегелевская философія — на замоскворѣцкій ладъ...

Что между Гоголемъ и Гомеромъ есть сходство—въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія; но какое сходство?—такое, что тотъ и другой — поэты; другого нѣтъ и быть не можетъ. Однакожъ такое сходство не только между Гомеромъ и французскимъ пѣсенникомъ Беранжэ, но и между Шекспиромъ и русскимъ баснописцемъ Крыловымъ: всѣхъ ихъ дѣлаетъ сходными—творчество. Но думать, что въ наше время возможенъ древній эпосъ—это такъ же нелѣпо, какъ и думать, чтобъ въ наше время человѣчество могло вновь сдѣлаться изъ взрослаго человѣка ребенкомъ, а думать такъ—значитъ быть чуждымъ всякаго историческаго созерцанія, и пустыя фантазіи празднаго воображенія выдавать за философскія истины...

Итакъ, повторяемъ: Константи́нъ Аксаковъ не называлъ Гоголя Гомеромъ, а «Мертвыя Души» — «Иліадой»; онъ только сказалъ, что, во-первыхъ, «древній эпосъ былъ унижаемъ на Западѣ», а мы прибавили (и имѣли на это право) отъ себя: — Сервантесомъ, Вальтеръ-Скоттомъ, Куперомъ, Байрономъ;—и что, во-вторыхъ, «въ Мертвыхъ Душахъ древній эпосъ возстаетъ передъ нами»; а мы прибавили отъ себя (и имѣли на это право): — егда «Мертвыя Души» то же самое въ новомъ мірѣ, чтó «Иліада» въ древнемъ, а Гоголь—то же самое въ исторіи новѣйшаго искусства, чтó Гомеръ въ исторіи древняго искусства.

Спрашиваемъ всѣхъ и каждого: была ли какая-нибудь возможность вывести другое заключеніе изъ положеній Константи́на Аксакова? или: была ли какая-нибудь возможность не вывести изъ положеній Константи́на Аксакова того заключенія, какое мы вывели?—И мы ли виноваты, что заключеніе это насѣлило весь читающій по-русски міръ?

Правда, Константи́нъ Аксаковъ далѣе въ своей брошюрѣ замѣчаетъ, что «само содержаніе кладетъ разницу между «Иліадой» и «Мертвыми Душами»; однакожъ эта оговорка у него не только не поясняетъ дѣла, а еще болѣе затемняетъ его, какъ противорѣчіе. Константи́ну Аксакову явно хотѣлось сказать что-то новое, неслыханное міромъ; и какъ у него не было ни силъ, ни призванія сказать новой великой истины, то онъ и разсудилъ сказать великій... какъ бы это выразить?—ну, хоть парадоксъ... Удивительно ли, что, развывая и доказывая этотъ парадоксъ, онъ наговорилъ много такого, въ чемъ онъ самъ запутался и надъ чѣмъ другіе только добродушно посмѣялись?... Въ своемъ «Объясненіи» онъ особенно намекаетъ на то, что «эпическое созерцаніе Гоголя—древнее, истинное, то же, какое и у Гомера», и что «только у одного Гоголя видимъ

мы это созерцаніе». Хорошо; да гдѣ же доказательства этого? Да нигдѣ—доказательствъ никакихъ, кромѣ увѣреній Константина Аксакова:—обѣдное и ненадежное ручательство! «Поэма Гоголя (говорить онъ) представляетъ намъ цѣлую форму жизни, цѣлый міръ, гдѣ, опять какъ у Гомера, свободно шумятъ и блещутъ воды, восходитъ солнце, красуется вся природа и живетъ человѣкъ,—міръ, являющій намъ глубокое цѣлое, глубокое, внутри лежащее содержаніе общей жизни, связующій единымъ духомъ всѣ свои явленія». Вотъ всѣ доказательства близкой родственности Гомеровскаго эпоса съ Гоголевскимъ; но, во-первыхъ, это столько же характеристика Гоголевскаго эпоса, сколько и эпоса Вальтеръ-Скотта, съ той только разницей, что эпосъ Вальтеръ-Скотта именно заключаетъ въ себѣ «содержаніе общей жизни», тогда какъ у Гоголя эта «общая жизнь» является только какъ намекъ, какъ задняя мысль, вызываемая совершеннымъ отсутствіемъ общечеловѣческаго въ изображаемой имъ жизни. Противъ этого нечего возразить: это ясно. Помилуйте: какая общая жизнь въ Чичиковыхъ, Селифанахъ, Маниловыхъ, Плюшкиныхъ, Собакевичахъ и во всемъ честномъ компанствѣ, занимающемъ своей пошлостью вниманіе читателя въ «Мертвыхъ Душахъ»? Гдѣ тутъ Гомеръ? Какой тутъ Гомеръ? Тутъ просто Гоголь—и больше никого.

Говоря, что у Гоголя эпическое созерцаніе чисто-древнее, истинное, Гомеровское, и что Гоголь все-таки совсѣмъ не Гомеръ, а «Мертвыя Души» нисколько не «Иліада», ибо-де само содержаніе уже кладетъ здѣсь разницу,—Константинъ Аксаковъ тотчасъ же прибавляетъ: «Кто знаетъ впрочемъ, какъ раскроется содержаніе «Мертвыхъ Душъ»?»—Именно такъ: «кто знаетъ это»? повторяемъ и мы. Глубоко уважая великій талантъ Гоголя, страстно любя его гениальныя созданія, мы въ то же время отвѣчаемъ и ручаемся только за то, что уже написано имъ; а на счетъ того, что онъ еще напишетъ, мы можемъ сказать только: кто знаетъ впрочемъ, какъ, и пр. Особенно часто повторяемъ мы про себя: кто знаетъ впрочемъ, какъ раскроется содержаніе «Мертвыхъ Душъ»? И на повтореніе этого вопроса наводятъ насъ слѣдующія слова въ поэмѣ Гоголя: «Можетъ быть въ сей же самой повѣсти почувтся нины, еще доселѣ небранныя струны, предстанетъ нескѣтное богатство русскаго духа, пройдетъ мужъ, одаренный божественными доблестями, или русская дѣвица, какой не сыскать нигдѣ въ мірѣ, со всей дивной красотой женской души, вся изъ великодушнаго стремленія и самоотверженія. И мертвыми покажутся предъ ними всѣ добродѣтельные люди другихъ племенъ, какъ мертвая книга предъ живымъ словомъ». Да, эти слова творца «Мертвыхъ Душъ» заставили насъ часто и часто повторять въ тревожномъ раздумьи: «кто знаетъ впрочемъ, какъ раскроется содержаніе «Мертвыхъ Душъ»?...

Именно, кто знаетъ?... Много, слишкомъ много обѣщано, такъ много, что негдѣ и взять того, чѣмъ выполнить обѣщаніе, потому что того и нѣтъ еще на свѣтѣ; намъ какъ-то страшно, чтобы первая часть, въ которой все комическое, не осталась истинной трагедіей, а остальные двѣ, гдѣ должны проступить трагическіе элементы, не сдѣлались комическими—по крайней мѣрѣ въ патетическихъ мѣстахъ... Впрочемъ опять-таки—кто знаетъ?... Но кто бы ни зналъ, вопросъ этотъ, заданный Константиномъ Аксаковымъ, явно показываетъ, что если онъ, Константинъ Аксаковъ, и видитъ въ первой части «Мертвыхъ Душъ» разницу съ «Иліадой», полагаемую уже самымъ содержаніемъ,—то все-таки крѣпко надѣется, что въ двухъ послѣднихъ частяхъ «Мертвыхъ Душъ» и эта разница сама собой уничтожится, и что, ерго, «Мертвыя Души» — «Иліада», а Гоголь—Гомеръ. Послѣднаго онъ не сказалъ, но мы вправѣ опять вывести это комическое заключеніе...

Главное доказательство мнимой родственности Гоголевскаго эпоса съ Гомеровскимъ состоитъ у Константина Аксакова въ любви къ сравненіямъ, въ обилии и сходствѣ этихъ сравненій у Гомера и у Гоголя. Странное и забавное доказательство! Объ этомъ сходствѣ упоминаетъ и еще другая критика,—та самая, въ которой мы видимъ гораздо больше родственности и тождества съ брошюрой Константина Аксакова, нежели сколько между Гомеромъ и Гоголемъ; но въ той критикѣ находятъ сходство Гоголя, по отношенію къ сравненіямъ, не съ однимъ Гомеромъ, но и съ Данте; а мы, съ своей стороны, беремся найти его съ добрымъ десяткомъ новѣйшихъ поэтовъ. Изъ одного Пушкина можно выписать тысячу сравненій, такъ же напоминающихъ собой сравненія Гомера, какъ напоминаютъ ихъ сравненія Гоголя. Но вотъ одно, которое побольше всѣхъ Гоголевскихъ сравненій напоминаетъ собой Гомеровскія:

Ни на челѣ высокомъ, ни во взорахъ
Нельзя прочесть его сокрытыхъ думъ;
Все тотъ же видъ, смиренный, величавый.
Такъ точно дыахъ, съ приказъ постыдливый,
Спокойно зрѣтъ на правыхъ и виновныхъ,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не вѣдая ни жалости, ни гнѣва.

Здѣсь даже не одно виѣшнее (какъ у Гоголя), но и внутреннее сходство съ Гомеромъ, заключающееся въ наивной простотѣ, соединенной съ возвышенностью; однако изъ этого еще не выходитъ никакого тождества между Гомеромъ и Пушкинымъ. Правда, «Борисъ Годуновъ» въ тысячу разъ болѣе, чѣмъ «Мертвыя Души», напоминаетъ собой Гомера, тономъ многихъ своихъ страницъ. тономъ наивно-простымъ и виѣстѣ возвышеннымъ; но на это сходство Пушкинъ наведенъ былъ не особенностью его поэтической натуры или ея родственностью съ Гомеромъ, а сущностью избранной имъ для своей трагедіи эпохи, гдѣ самыя высокіе умы и сильныя характеры мыслили

и говорили простодушно или простодушно и возвышенно въѣсть. Тутъ есть еще и другая причина: несмотря на свою драматическую форму, «Борисъ Годуновъ» Пушкина есть, въ сущности, эпическое произведение, а эпосъ съ эпосомъ всегда имѣетъ большее или меньшее, ближайшее или отдаленнѣйшее сходство, какъ одинъ и тотъ же родъ поэзій. Но это сходство уничтожается въ «Мертвыхъ Душахъ» уже тѣмъ, что онъ проникнутъ насквозь юморомъ. Если Гомеръ сравниваетъ тѣснѣйшаго въ битвѣ троянами Аякса съ осломъ, — онъ сравниваетъ его простодушно, безъ всякаго юмора, какъ сравнилъ бы его со львомъ. Для Гомера, какъ и для всѣхъ грековъ его времени, оселъ былъ животное почтенное и не возбуждалъ, какъ въ насъ, смѣха однимъ своимъ появленіемъ или однимъ своимъ именемъ. У Гоголя же, напротивъ, сравненіе напр. франтовъ, увядающихъ около красавицъ, съ мухами, летающими на сахаръ, все насквозь проникнуто юморомъ. Следовательно, все сходство чисто внѣшнее, т. е. то, что и у Гомера есть сравненія, и у Гоголя есть сравненія; но такъ между Гомеромъ и Гоголемъ и еще можно найти большое сходство, именно то, что Гомеръ слагалъ свои возвышенно-наивныя созданія на греческомъ языкѣ, а Гоголь пишетъ по-русски: извѣстно же всѣмъ, что греческій и русскій языки происходятъ отъ одного корня, кромѣ уже того, что всѣ языки въ мірѣ, несмотря на ихъ различіе, основаны на однихъ и тѣхъ же началахъ разума человѣческаго...

Не зная, какъ впрочемъ раскроется содержаніе «Мертвыхъ Душъ» въ двухъ послѣднихъ частяхъ, мы еще не понимаемъ ясно, почему Гоголь назвалъ «поэмой» свое произведение, и пока видимъ въ этомъ названіи тотъ же юморъ, какимъ растворено и проникнуто насквозь это произведение. Если же самъ поэтъ почитаетъ свое произведение «поэмой», содержаніе и герой которой есть субстанція русскаго народа, — то мы, не обинуясь, скажемъ, что поэтъ сдѣлалъ великую ошибку: ибо, хотя эта «субстанція» глубока, и сильна, и громадна (что уже ярко проблескиваетъ и въ комическомъ опредѣленіи общественности, въ которомъ она пока проявляется и которое Гоголь такъ гениально схватываетъ и воспроизводитъ въ «Мертвыхъ Душахъ»), однако субстанція народа можетъ быть предметомъ поэмы только въ своемъ разумномъ опредѣленіи, когда она есть нѣчто положительное и дѣйствительное, а не гадательное и предположительное, когда она есть уже прошедшее и настоящее, а не будущее только... Въ творчествѣ великая для художника задача — выбирать предметъ и содержаніе для произведенія; этотъ предметъ и это содержаніе всегда должны быть осязательно опредѣленны; иначе художественное произведение будетъ неполно, несовершенно, то, что французы называютъ *manqué*. И потому великая ошибка для художника писать поэму, которая можетъ быть возможна въ будущемъ.

Итакъ, чѣмъ болѣе разсматриваемъ дѣло Константина Аксакова, тѣмъ болѣе сходство между Гомеромъ и Гоголемъ становится... какъ бы сказать? — забавнѣе и смѣшнѣе... Смыслъ, содержаніе и форма «Мертвыхъ Душъ» есть «созерцаніе данной сферы жизни сквозь видный міру смѣхъ и незримыя, невѣдомыя слезы». Въ этомъ и заключается трагическое значеніе комическаго произведенія Гоголя; это и выводитъ его изъ ряда обыкновенныхъ сатирическихъ сочиненій, и этого-то не могутъ понять ограниченные люди, которые видятъ въ «Мертвыхъ Душахъ» много смѣшного, уморительнаго, говоря ихъ простонароднымъ жаргономъ, но ужъ мѣстами черезчуръ переутрированного. Всякое выстраданное произведение великаго таланта имѣетъ глубокое значеніе, — и мы первые признаемъ «Мертвыя Души» Гоголя великимъ по самому себѣ произведеніемъ въ мірѣ искусства, для иностранцевъ лишеннымъ всякаго общаго содержанія, но для насъ тѣмъ болѣе важнымъ и драгоценнымъ. Еще не было доселѣ болѣе важнаго для русской общественности произведенія, — и только одинъ Гоголь можетъ дать намъ другое, болѣе важное произведение, а дастъ ли въ самомъ дѣлѣ — «кто впрочемъ знаетъ», судя по нѣкоторымъ основнымъ началамъ воззрѣнія, которые довольно непріятно промелькиваютъ въ «Мертвыхъ Душахъ» и относятся къ нимъ, какъ крапинки и пятнышки къ картинкѣ великаго мастера, — о чемъ мы поговоримъ въ свое время и подробнѣе, и отчетливѣе...

Такимъ образомъ, если Константинъ Аксаковъ хочетъ оправдаться, а не отбѣлаться только отъ неосторожно высказанныхъ имъ странностей, — онъ долженъ сказать и доказать: 1) Почему древній эпосъ снизошелъ (следовательно унизился) до романовъ, и считаетъ ли онъ Сервантеса, Вальтеръ-Скотта, Купера, Байрона искателями эпоса, возстановленнаго и спасеннаго Гоголемъ? Последняя недомолвка очень подозрительна: изъ нея видно, что Константинъ Аксаковъ самъ испугался своихъ смѣлыхъ положеній. — 2) Почему мы сошлись на него, говоря, что изъего положеній прямо выводится то слѣдствіе, что «Мертвыя Души» — «Иліада», а Гоголь — Гомеръ нашего времени? — 3) Почему во французской повѣсти эпосъ дошелъ до своего крайняго униженія?

Но Константинъ Аксаковъ рѣшился ничего больше не говорить объ этомъ послѣ своего ничего необъясниваго «Объясненія», и хорошо сдѣлалъ — больше ему ничего и не остается: онъ высказалъ уже всю свою мудрость. Зато намъ еще много осталось кое-чего сказать.

Какъ, кромѣ частныхъ исторій отдѣльных народовъ, есть еще исторія человѣчества, — точно такъ, кромѣ частныхъ исторій отдѣльных литературъ (греческой, латинской, французской и пр.), есть еще исторія всемірной литературы, предметъ которой — развитіе человѣчества въ сферѣ искусства и литературы. Само собою разумѣется, что

въ этой исторіи должна быть живая, внутренняя связь, что она должна предыдущимъ объяснять послѣдующее, ибо иначе она будетъ лѣтописью или перечнемъ фактовъ, а не исторіей. И потому напримѣръ романы шотландца XIX вѣка, Вальтеръ-Скотта, непрѣнно должны быть въ какой-нибудь связи съ поэмами Гомера. Эта связь именно состоитъ въ томъ, что романы В.-Скотта суть необходимый моментъ дальнѣйшаго развитія эпоса, котораго первымъ моментомъ развитія могутъ быть поэмы индійскія, а послѣдующимъ моментомъ — поэмы Гомера. Въ исторіи нѣтъ скачковъ. Слѣдовательно греческій эпосъ не низшелъ до романовъ, какъ мудрствуетъ Константинъ Аксаковъ, а развился въ романъ: ибо нелѣпо было бы предполагать впродолженіе трехъ тысячъ лѣтъ пробѣлъ въ исторіи всемирной литературы, и отъ Гомера прыгнуть прямо къ Гоголю, который еще въдобавокъ и нисколько не принадлежитъ ко всемірно-историческимъ поэтамъ... Вотъ почему мы основательно, а не наобумъ, исторически, а не фантазмагорически думаемъ и убѣждены, что напримѣръ какой-нибудь Данте, въ дѣлѣ эпоса, побольше значить Гоголя, что тутъ имѣетъ свое значеніе и Аріостъ, и что не только Сервантесъ, Вальтеръ-Скоттъ, Куперъ, какъ художники по преимуществу, но и Свифтъ, Стернъ, Вольтеръ (философскіе романы и повѣсти), Руссо («Новая Элоиза») имѣютъ несравненно и неизмѣримо высшее значеніе во всемірно-исторической литературѣ, чѣмъ Гоголь, ибо въ нихъ совершилось развитіе эпоса и со стороны содержанія, и со стороны искусства, и со стороны содержанія и искусства виѣстѣ. Говорить же, что Гоголь прямо вышелъ изъ Гомера или продолжалъ собой Гомера мимо всѣхъ прочихъ, и старинныхъ, и современныхъ, поэтовъ Европы, значитъ, виѣсто похвалы, оскорблять его, значитъ выключать его изъ историческаго развитія, представлять человѣкомъ, чуждымъ современности, чуждымъ знанія всего, что было до него... Что же касается до мысли о какой-то родственности Гоголевскаго эпоса съ Гомеровскимъ, — мы уже доказали, что эта мысль больше, чѣмъ неосновательна. Притомъ же, еслибъ и такъ было, надобно бѣ было объяснить, въ чемъ тутъ заслуга со стороны Гоголя, тѣмъ болѣе, что авторъ брошюры говоритъ объ этомъ такимъ торжествующимъ тономъ, какъ будто ставить это въ величайшую заслугу Гоголю.

Теперь о крайнемъ искаженіи эпоса во французской повѣсти: это еще что за исторія? Константинъ Аксаковъ видитъ во французской повѣсти — простой анекдотъ, родъ шарады, гдѣ все дѣло въ сюжетѣ, т. е. въ сплетеніи и расплетеніи событія (fable): да волюно же ему видѣть это, когда этого нѣтъ во французской повѣсти¹⁾, а есть совсѣмъ другое, именно: характеры, дивное,

однимъ только французамъ сродное искусство разсказа, социальныя и нравственныя вопросы, воли и страданія современности?.. Если кто-нибудь зажмуритъ глаза и станетъ доказывать, что нѣтъ на свѣтѣ солнца и свѣта, — что ему на это скажутъ? — конечно не другое что, какъ: «открой глаза»; но если онъ слѣпъ отъ природы, — тогда что ему скажутъ? — вотъ что: «ты правъ, для тебя точно нѣтъ на свѣтѣ ни солнца, ни свѣта»... А что можетъ-быть Константинъ Аксаковъ не любить французскихъ повѣстей — его воля, да только публикѣ-то что за дѣло, что любить и чего не любить Константинъ Аксаковъ? Французскія повѣсти читаются всѣмъ просвѣщеннымъ и образованнымъ міромъ во всѣхъ пяти частяхъ земного шара: французская повѣсть есть плодъ французской литературы, а французская литература имѣетъ всемірно-историческое значеніе. Въ одномъ мѣстѣ своего «Объясненія» Константинъ Аксаковъ замѣчаетъ въ скобкахъ, мимоходомъ, что въ разрядъ великихъ писателей Жоржъ Зандъ не входитъ ни безусловно, ни условно, — и думаетъ, что этими словами онъ рѣшилъ дѣло и все сказалъ; тогда какъ онъ этимъ сказалъ только, что онъ или совсѣмъ не читалъ Жоржъ Занда, или читалъ, да не понималъ. Здѣсь не мѣсто распространяться о Жоржъ Зандѣ; скажемъ только, что Жоржъ Зандъ имѣетъ большое значеніе во всемірно-исторической литературѣ, не въ одной французской, тогда какъ Гоголь, при всей неотъемлемой великости его таланта, не имѣетъ рѣшительно никакого значенія во всемірно-исторической литературѣ и великъ только въ одной русской, что, слѣдовательно, имя Жоржъ Занда безусловно можетъ входить въ реестръ именъ европейскіхъ поэтовъ, тогда какъ поминаніе рядомъ именъ Гоголя, Гомера и Шекспира оскорбляетъ и приличіе, и здравый смыслъ... Въ послѣднемъ, кромѣ Константина Аксакова, никто въ мірѣ не усомнится, а насчетъ перваго можно представить сильныя доказательства...

Вдобавокъ къ вопросу о повѣсти, какъ крайнемъ униженіи эпоса, скажемъ, что если ужъ видѣть это униженіе въ повѣсти, то конечно скорѣе въ нѣмецкой, чѣмъ во французской. Нѣмецкая повѣсть возникла и выросла на почвѣ отвлеченія, аскетизма, анти-общественности; она изображаетъ не общество, а отдѣльныя личности, которыхъ вся жизнь и вся повѣсть жизни состоитъ въ переливахъ внутреннихъ ощущеній, фантастическихъ и фантазерскихъ грѣзъ, и которыхъ все блаженство заключается не въ стремленіи къ идеалу дѣйствительной жизни и достиженіи его, а въ томъ, чтобы любоваться собственной внутренней глубиностью и пустой праздной жизнью ощущенія, виѣсто дѣйствія. Но и нѣмецкая повѣсть, какъ мы это замѣтили уже и въ рецензіи, даже какъ и уклоненіе отъ нормы, имѣетъ свое всемірно-историческое значеніе, объясняемое изъ національнаго духа нѣмцевъ.

¹⁾ Исключая, разумѣется, плохихъ повѣстей, которая есть у всѣхъ народовъ, а иногда бываютъ и у великихъ поэтовъ...

Теперь о равенствѣ Гоголя съ Гомеромъ и Шекспиромъ. Константинъ Аксаковъ говоритъ, будто мы взвели на него небывлицу, приписывая ему изобрѣтеніе равенства Гоголя съ Гомеромъ и Шекспиромъ. Онъ не отрицается отъ изобрѣтенія этого удивительнаго равенства, но ставитъ намъ въ вину, что мы не замѣтили, въ какомъ отношеніи разумѣтъ онъ это равенство; а разумѣтъ онъ его, изволите видѣть, въ отношеніи къ акту творчества. Подлинно есть за что обвинять насъ: понимать Константина Аксакова такъ трудно, тѣмъ болѣе, что онъ, кажется, самъ себя не совсѣмъ понимаетъ. Брошюра его—это такая смѣсь несвязныхъ между собой... не мыслей, а скорѣе недомысловъ, что трудно разобрать, что онъ разумѣтъ тутъ, и какъ его понимать! Онъ говоритъ, что Гоголь равенъ Гомеру и Шекспиру по акту творчества, и что въ отношеніи къ акту творчества только Гомеръ, Шекспиръ и Гоголь—величайшіе поэты; и въ то же время онъ, съ какой-то наивностью, увѣряетъ, что этимъ онъ нисколько не унижаетъ великихъ европейскихъ поэтовъ, думая вѣроятно, что для Данте, Сервантеса, Вальтера Скотта, Купера, Байрона, Шиллера, Гёте—большая честь стоять въ почтительномъ отдаленіи отъ Гоголя, пріятельски обнявшагося съ Гомеромъ и Шекспиромъ! Да, милостивый государь, съ чего вы взяли, что Гоголь и по акту творчества родной братъ Гомеру и Шекспиру, и выше всѣхъ другихъ великихъ европейскихъ поэтовъ? Съ чего вы взяли, что вамъ стоило только выговорить эту, положимъ изъ вѣжливости,—мысль, чтобъ ее всѣ, подобно вамъ, наши непреложной и истинной? Гдѣ на это доказательства, гдѣ ваши доводы? Ваше убѣжденіе? — да публикѣ то какое дѣло до вашихъ убѣжденій?... Употребивъ оговорку—«по отношенію къ акту творчества, а не содержанію», Константинъ Аксаковъ думаетъ, что онъ совершенно оправдался и сдѣлалъ насъ кругомъ виноватыми. Какая милая наивность, какая буколическая невинность!... Развивая свою мысль о равенствѣ Гоголя съ Гомеромъ и Шекспиромъ (по отношенію къ акту творчества), Константинъ Аксаковъ говоритъ: «Мы далеки отъ того, чтобъ унижать колоссальность другихъ поэтовъ, но въ отношеніи къ акту созданія они ниже Гоголя (sic!...). Развѣ не можетъ быть такъ на примѣръ: поэтъ, обладающій полнотой творчества, можетъ создать, положимъ, цвѣтокъ, другой создаетъ великаго человѣка; велико будетъ дѣло послѣдняго, но оно будетъ ниже въ отношеніи къ той полнотѣ и живости, какую даетъ поэтъ, обладающій тайной творчества?» Хорошо; но зачѣмъ брать ложныя сравненія, если не за тѣмъ, чтобъ оправдать натяжками ложныя мысли?—Не лучше ли было бы сказать такъ на примѣръ: «Поэтъ, обладающій полнотой творчества, можетъ создать, положимъ, цвѣтокъ; другой, обладающій такой же полнотой, создастъ

великаго человѣка: ничтожно будетъ дѣло перваго передъ дѣломъ второго, какъ ничтоженъ, въ ряду явленій жизни, цвѣтокъ передъ великимъ человѣкомъ»? Какъ вы думаете объ этомъ, г. Константинъ Аксаковъ? Это не совсѣмъ выгодно для вашего идолопоклонства, зато ближе къ истинѣ—повѣрьте намъ въ этомъ случаѣ наслово или спросите у здраваго смысла—онъ за насъ!.. Но положимъ, что и такъ, положимъ, что вы ставите Гоголя выше колоссальныхъ европейскихъ поэтовъ только по акту творчества, а не по содержанію; но зачѣмъ же вы прибавляете эти слова: «Но Боже насъ сохрани, чтобъ миниатюрное сравненіе съ цвѣткомъ было въ нашихъ глазахъ мѣриломъ для великихъ созданий Гоголя!»? Какой смыслъ этихъ словъ—не этотъ ли: по акту творчества, Гоголь выше всѣхъ колоссальныхъ европейскихъ поэтовъ, кромѣ Гомера и Шекспира, съ которыми онъ равенъ, а по содержанію онъ не уступаетъ ниъ, ergo, съ Гомеромъ и Шекспиромъ онъ равенъ во всѣхъ отношеніяхъ, а съ другими европейскими поэтами онъ равенъ по содержанію и выше ихъ по акту творчества?... Какъ вамъ угодно, а выходитъ такъ! Нашъ выводъ изъ вашихъ словъ или вашихъ противорѣчій—все равно, вѣрнѣе... Гдѣ жъ наши на васъ выдумки, лжи и клеветы?..

Актъ творчества дѣйствительно—великая сила въ поэтѣ, какъ отвлеченная сообразительность въ математикѣ: противъ этого никто не споритъ и безъ ссылокъ на «Ueber die aesthetische Erziehung» Шиллера, которое Константинъ Аксаковъ совѣтуетъ намъ прочесть хоть во французскомъ переводѣ, тонко намекая этимъ, что онъ знаетъ по-нѣмецки, какъ будто бы для всякаго другого это рѣшительная невозможность... Безъ акта творчества нѣтъ поэта—это аксіома; но въ наше время мѣриломъ величія поэтовъ принимается не актъ творчества, а идея, общее... Многія стихотворенія Гейне такъ хороши, что ихъ можно принять за Гётевскія, но Гейне, несмотря на то, все-таки пигмей передъ колоссальнымъ Гёте. Въ чемъ же ихъ разнища?—Въ идеѣ, въ содержаніи... «Иванъ Бедоровичъ Шпонька и его тетюшка» по отношенію акта творчества дѣйствительно не ниже Шекспировскаго «Гамлета», но, несмотря на то, въ сравненіи съ «Гамлетомъ» повѣсть Гоголя—абсолютное ничтожество, такъ, что даже есть что-то смѣшное въ какомъ бы то ни было сближеніи этихъ двухъ произведеній... Право такъ, г. Константинъ Аксаковъ!.. Почти такъ же комически забавно и сближеніе «Мертвыхъ Душъ» съ «Илиадой»... Дѣйствительно, Гоголь обладаетъ удивительной полнотой въ актѣ творчества, и эта полнота дѣйствительно можетъ служить ручательствомъ, что Гоголь могъ бы произвести колоссальныя созданія и со стороны содержанія, и несмотря на то, все-таки могъ бы не сравняться ни съ Гомеромъ, ни съ Шекспиромъ, ни стать выше другихъ колоссальныхъ европейскихъ

поэтовъ, еслибъ современная русская жизнь не могла дать ему необходимое для такихъ созданий содержаніе... Мы именно въ томъ-то и видимъ великость и гениальность Гоголя, что онъ своимъ артистическимъ инстинктомъ вѣренъ дѣйствительности, и лучше хочетъ ограничиться, впрочемъ великой, задачей—объективировать современную дѣйствительность, внеся свѣтъ въ мракъ ея, чѣмъ воспѣвать на досугъ то, до чего никому, кромѣ художниковъ и дилетантовъ, нѣтъ никакого дѣла, или изображать русскую дѣйствительность такой, какой она никогда не бывала. «Впрочемъ кто знаетъ, какъ еще раскроеется содержаніе «Мертвыхъ Душъ»? Намъ общаются мужей и дѣвъ неслыханныхъ, какихъ еще не было въ мірѣ и въ сравненіи съ которыми великіе нѣмецкіе люди (т. е. западные европейцы) окажутся пустѣйшими людьми... Да, кто знаетъ впрочемъ... можетъ-быть, судя по этимъ обѣщаніямъ, Константинъ Аксаковъ и дождется скоро оправданія нѣкоторыхъ изъ своихъ фантазій... Тогда мы низко ему поклонимся и отъ души поздравимъ его... Но до тѣхъ поръ повторяемъ: въ томъ, что художническая дѣятельность Гоголя вѣрна дѣйствительности, мы видимъ черту гениальности.

Да, велика творческая сила фантазіи Гоголя—мы въ этомъ согласны съ Константиномъ Аксаковымъ. Но почему она выше творческой силы фантазіи великихъ европейскихъ поэтовъ,—этого мы не понимаемъ. Мы даже имѣемъ дерзость думать, что непосредственность творчества у Гоголя имѣетъ свои границы, и что она иногда измѣняется ему, особенно тамъ, гдѣ въ немъ поэтъ сталкивается съ мыслителемъ, т. е. гдѣ дѣло преимущественно касается идей... Кстати, вѣдь эти идеи, кромѣ огромнаго таланта или, пожалуй, и гения, кромѣ естественной силы непосредственнаго творчества, требуютъ эрудиціи, интеллектуальнаго развитія, основаннаго на неослабномъ преслѣдованіи быстро несущейся умственной жизни современнаго міра, — именно того, чѣмъ такъ сильны и велики наприм. Байронъ, Шиллеръ, Гёте,—эти идеи закладываютъ враги безвыходно замкнутой внутри себя жизни, враги умственнаго аскетизма, который заставляетъ поэтовъ закрывать глаза на все въ мірѣ, кромѣ самихъ себя... Что непосредственность творчества нерѣдко измѣняется Гоголю, или что Гоголь нерѣдко измѣняетъ непосредственности творчества, это ясно доказывается его повѣстями (еще въ «Вечерахъ на Хуторѣ»), «Вечеромъ наканунѣ Ивана Купала» и «Страшной Местию», изъ которыхъ ложное понятіе о народности въ искусствѣ сдѣлало какія-то уродливыя произведенія, за исключеніемъ нѣсколькихъ превосходныхъ частностей, касающихся до проникнутаго юморомъ изображенія дѣйствительности. Но особенно это ясно изъ вполне неудачной повѣсти «Портретъ». Она была напечатана въ «Арабескахъ» еще въ 1835 году; но, должно быть, чув-

ствуя ея недостатки, Гоголь недавно передѣлалъ ее совсѣмъ. И что же вышло изъ этой передѣлки? Первая часть повѣсти, за немногими исключеніями, стала несравненно лучше, именно тамъ, гдѣ дѣло идетъ объ изображеніи дѣйствительности (одна сцена квартальнаго, разсуждающаго о картинахъ Чаркова, сама по себѣ, отдѣльно взятая, есть уже гениальный эскизъ); но вся остальная половина повѣсти невыносимо дурна и со стороны главной мысли, и со стороны подробностей. И что за мысль напримѣръ: благонаѣренный, умный и благородный вельможа, жаркій патриотъ, дѣятельный покровитель искусствъ и наукъ въ отечествѣ, вдругъ, ни съ того, ни съ сего, дѣлается обскурантомъ, злодѣемъ, гонителемъ просвѣщенія,—отъ чего же? Оттого, что взялъ денегъ взаймы у страшнаго ростовщика, у таинственнаго грека!... Дѣло какъ-будто бы въ томъ, что, займи этотъ вельможа у другого кого-нибудь, только бы не у этого грека, онъ остался бы прежнимъ благороднымъ человѣкомъ... Итакъ, вотъ отъ какого фатализма зависитъ нравственность человѣка!... Да помилюте, такіа дѣтскія фантазмгоріи могли пѣздить и ужасать людей только въ невѣжественные средніе вѣка, а для насъ онѣ не занимательны и не страшны, просто—смѣшны и скучны... И потому, что за подробности: на аукціонѣ художникъ В. нашелъ мѣсто и время разсказывать исторію страшнаго портрета, и его всѣ заслушались, а портретъ между тѣмъ пропалъ... Нѣтъ, такое исполненіе повѣсти не сдѣлало бы особенной чести самому незначительному дарованію. А мысль повѣсти была бы прекрасна, еслибъ поэтъ понялъ ее въ современномъ духѣ: въ Чарковѣ онъ хотѣлъ изобразить даровитаго художника, погубившаго свой талантъ, а слѣдовательно и самого себя, жадностью къ деньгамъ и обаяніемъ мелкой извѣстности. И выполненіе этой мысли должно было быть просто, безъ фантастическихъ затѣй, на почвѣ ежедневной дѣйствительности; тогда Гоголь съ своимъ талантомъ создалъ бы нѣчто великое. Не нужно было бы приплетать тутъ и страшнаго портрета съ страшно-смотрящими живыми глазами (въ которомъ поэтъ, кажется, хотѣлъ выразить гибельныя слѣдствія копированія съ натуры вмѣсто творческаго воспроизведенія натуры, и выразилъ чересчуръ затѣйливо, холодно и сухо-аллегорически); не нужно было бы ни ростовщика, ни аукціона, ни многого, что поэтъ почелъ столь нужнымъ, именно оттого, что отдалился отъ современнаго взгляда на жизнь и искусство. Это же доказываетъ и недавно напечатанная въ «Москвитянинѣ» статья «Римъ», въ которой есть удивительно яркія и вѣрныя картины дѣйствительности, но въ которой есть и косые взгляды на Парижъ, и близорукіе взгляды на Римъ, и—что всего непостижимѣе въ Гоголѣ—есть фразы, напоминающія своей вычурной изысканностью языкъ Марлинскаго. Отчего это?—Ду-

имеет оттого, что при богатствѣ современнаго содержанія и обыкновенный талантъ, чѣмъ дальше, тѣмъ больше крѣпнеть, а при одномъ актѣ творчества и гений наконецъ начинаетъ постепенно ниспускаться... Въ «Мертвыхъ Душахъ», гдѣ Гоголь снова очутился на русской, а не на европейской почвѣ, и въ дѣйствительной, а не въ фантастической сферѣ, въ «Мертвыхъ Душахъ» также есть по крайней мѣрѣ обмолвки противъ непосредственности творчества, и весьма важныя, хотя и весьма немногочисленныя: поэтъ весьма неосновательно заставляетъ Чичикова фантазировать о бытѣ простаго русскаго народа, при разсматриваніи реестра скупленныхъ имъ мертвыхъ душъ. Правда, это «фантазированіе» есть одно изъ лучшихъ мѣстъ поэмы: оно исполнено глубины мысли и силы чувства, безконечной поэзіи и имѣетъ поразительной дѣйствительности; но тѣмъ менѣе идетъ оно къ Чичикову, человѣку гениальному въ смыслѣ плута-приобрѣтателя, но совершенно пустому и ничтожному во всѣхъ другихъ отношеніяхъ. Здѣсь поэтъ явно отдалъ ему свои собственныя благороднѣйшія и чистѣйшія слезы, незримыя и невѣдомыя міру, свой глубокой, исполненный грустной любовью юморъ, и заставилъ его высказать то, что долженъ былъ выговорить отъ своего лица. Равнымъ образомъ также мало идетъ къ Чичикову и его размышленія о Собакевичѣ, когда тотъ писалъ расписку: эти размышленія слишкомъ умны, благородны и гуманны; ихъ слѣдовало бы автору сказать отъ своего лица... Характеристика британца съ его сердцевѣдніемъ и мудростью, француза съ его недолговѣчнымъ словомъ и нѣмца съ его умино-худощавымъ словомъ также показываетъ только то, что авторъ не совсѣмъ хорошо знаетъ ни британцевъ, ни французовъ, ни нѣмцевъ, и что незнанію не поможетъ никакой актъ творчества. И между тѣмъ Гоголь все-таки обладаетъ удивительной силой непосредственнаго творчества (въ смыслѣ способности воспроизводить каждый предметъ во всей полнотѣ его жизни, со всѣми его тончайшими особенностями); только эта сила у него имѣетъ свои границы и иногда измѣняетъ ему (чего такимъ образомъ, какъ у Гоголя, не случалось ни съ Гомеромъ, ни съ Шекспиромъ, ни съ Байрономъ, ни съ Шиллеромъ, ни даже съ Пушкинымъ, и что очень часто и еще хуже случалось съ Гёте вслѣдствіе аскетическаго и антиобщественнаго духа этого поэта, съ которымъ все-таки нельзя смѣть равнять Гоголя). Но эта удивительная сила непосредственнаго творчества, которая составляетъ пока еще главную силу и высочайшее достоинство Гоголя, и посредствомъ которой, подобно волшебнику - властелину царства духовъ, вызывающему послушныя на голосъ его заклинанія безплотныя тѣни, — онъ — неограниченный властелинъ царства призрачной дѣйствительности — самовластно вызываетъ передъ себя ея представителей, заставляя ихъ обнажать

передъ нимъ такіе сокровенные изгибы ихъ натуръ, въ которыхъ они не сознались бы самимъ собой подъ страхомъ смертной казни, — эта-то, говоримъ мы, удивительная сила непосредственнаго творчества, въ свою очередь, много вредитъ Гоголю. Она, такъ сказать, отводитъ ему глаза отъ идей и нравственныхъ вопросовъ, которыми кипитъ современность, и заставляетъ его преимущественно устремлять вниманіе на факты и довольствоваться объективнымъ ихъ изображеніемъ. Въ «Отечественныхъ Запискахъ» уже было замѣчено, что къ числу особенныхъ достоинствъ «Мертвыхъ Душъ» принадлежитъ болѣе ощутительное, чѣмъ въ прежнихъ сочиненіяхъ Гоголя, присутствіе субъективнаго начала, а слѣдовательно и рефлексіи. Надо желать, чтобъ это преобладаніе рефлексіи постепенно въ немъ усиливалось, хотя бы насчетъ акта творчества, изъ котораго такъ хлопочетъ Константинъ Аксаковъ. Гегель, въ своей «Эстетикѣ», въ особенную заслугу поставляетъ Шиллеру преобладаніе въ его произведеніяхъ рефльтирующаго элемента, называя это преобладаніе выраженіемъ духа новѣйшаго времени. Советуемъ Константину Аксакову прочесть это мѣсто въ подлинникѣ (мы вѣрнемъ его знанію нѣмецкаго языка) и поразмыслить о немъ. Безъ способности къ непосредственному творчеству нѣтъ и быть не можетъ поэта — кто жъ этого не знаетъ? но когда человѣка называютъ поэтомъ, то уже необходимо предполагаютъ въ немъ эту способность, даже не говоря о ней, и обращая вниманіе на идею, на содержаніе. Если же эта способность въ поэтѣ слишкомъ сильна, то о ней тогда только толкуютъ и кричатъ, когда не видятъ въ немъ глубокаго содержанія. Говоря о Шекспирѣ, было бы странно восторгаться его умѣньемъ все представлять съ поразительной вѣрностью и истиной, вмѣсто того чтобъ удивляться значенію и смыслу, которые его творческій разумъ даетъ образамъ его фантазій. Въ живописцѣ конечно великое достоинство — умѣнье свободно владѣть кистью и повелѣвать красками, но это умѣнье еще не составляетъ великаго живописца. Идея, содержаніе, творческій разумъ — вотъ мѣрило для великихъ художниковъ.

Константинъ Аксаковъ ставитъ въ великую заслугу Гоголю, что у него юморъ, выставя субъектъ, не уничтожаетъ дѣйствительности: да что же бы это былъ за юморъ, еслибъ онъ уничтожалъ дѣйствительность? стоило ли бы тогда и говорить о немъ? Константинъ Аксаковъ говоритъ еще, что такого юмора онъ не нашелъ еще ни у кого, кромя Гоголя: вольно же было не поискать — авось-либо и можно было найти. Не говоря уже о Шекспирѣ, напримѣръ въ романѣ Сервантеса донъ-Кихотъ и Санчо Пансо нисколько не искажены: это лица живыя, дѣйствительныя; но, Боже мой! сколько юмору, и веселаго, и грустнаго, и спокойнаго, и ѣдкаго, въ изображеніи этихъ лицъ! Такихъ примѣровъ

можно найти довольно. Что у Гоголя свой юморъ, и что этотъ юморъ составляетъ главную стихію его таланта,—это другое дѣло; противъ этого нельзя спорить.

Константинъ Аксаковъ нашелъ въ своей брошюрѣ, что Чичиковъ сливается съ субстанціей русскаго народа въ любви къ скорой ѣздѣ: мы надѣ этими посмѣялись въ нашей рецензіи, и вотъ онъ опять упрекаетъ насъ въ искаженіи словъ его: онъ, видите, разумѣлъ не просто «скорую ѣзду», но ѣзду на телѣгахъ и на тройкѣ лошадей. Виноваты—просмотрѣли, въ чемъ дѣло; но все-таки субстанціи русскаго народа не видимъ ни въ тройкѣ, ни въ телѣгахъ. Коляска четверней всѣ образованные русскіе лучше любятъ, чѣмъ траскую телѣгу, на которой заставляетъ ѣздить только необходимость. Но желѣзную дорогу даже и необразованные русскіе, т. е. мужички православные, теперь рѣшительно предпочитаютъ завѣтной телѣгѣ и тройкѣ: доказательство можно каждый день видѣть на царско-сельской дорогѣ. Иначе и быть не можетъ: свѣтъ побѣдитъ тьму, просвѣщеніе побѣдитъ невѣжество, образованность побѣдитъ дикость, а желѣзными дорогами будутъ побѣждены телѣги и тройки. Пожалуй, иной субстанцію русскаго народа запрятать въ горшокъ со щами и кашей или, вѣсто бѣлужины, запечь ее въ кулебакѣ... Можно любить тяжелую, грубую, хотя и вкусную русскую кухню, — и однакожъ не въ ней ощущать себя въ лонѣ русской національности... Константинъ Аксаковъ отсылаетъ насъ къ страницамъ «Мертвыхъ Душъ», гдѣ дѣйствительно съ энтузіазмомъ описана тройка съ телѣгой: страницы эти мы читали не разъ; но онъ намъ ничего не доказали, кромя утарской, забубенной удалы и какой-то беззаботности простого русскаго народа въ дѣлѣ улучшеній... Ссылка на «Мертвые Души» еще не доказательство; мы сами глубоко уважаемъ, горячо любимъ великій талантъ Гоголя, но идолопоклонничать ни передъ кѣмъ не хотимъ; въ наше время идолопоклонство есть ребячество, г. Константинъ Аксаковъ!

Мы съ вами не ребята:
Зачѣмъ же мнѣнія чужія только святы!

Константинъ Аксаковъ опять доказываетъ, что въ Маниловѣ есть своя сторона жизни: да кто жъ въ этомъ сомнѣвался, равно какъ и въ томъ, что и въ свиньѣ, которая, роясь въ навозѣ на дворѣ Коробочки, съѣла мимоходомъ цыпленка, есть своя сторона жизни? Она ѣсть и пьетъ—стало быть живетъ: такъ можно ли думать, что не живетъ Маниловъ, который не только ѣсть и пьетъ, но еще и куритъ табакъ, и не только куритъ табакъ, но еще и фантазируетъ...

Вообще видно, что, сбившись съ прямого пути названіемъ «поэмы», которое Гоголь далъ своему произведенію, Константинъ Аксаковъ готовъ находить прекрасными людьми всѣхъ изображенныхъ въ ней героев... Это, по его мнѣнію, значитъ по-

нимать юморъ Гоголя... Что бы онъ ни говорилъ, но изъ тону и изъ всего въ его брошюрѣ видно, что онъ въ «Мертвыхъ Душахъ» видитъ русскую «Иліаду». Это значитъ—понять поэму Гоголя совершенно наизуотъ. Всѣ эти Маниловы и подобные имъ забавны только въ книгѣ; въ дѣйствительности же избави Боже съ ними встрѣчаться,—а не встрѣчаться съ ними нельзя, потому что изъ-таки довольно въ дѣйствительности, слѣдовательно, они—представители нѣкоторой ея части. Хороша же «Иліада», героемъ которой—дѣйствительность, нибиющая такихъ представителей!.. «Иліаду» можетъ напоминать собой только такая поэма, содержаніемъ которой служить субстанціальная стихія національной жизни, со всѣмъ богатствомъ ея внутренняго содержанія, въ которой эта жизнь полагается, а не отрицается... Истинная критика «Мертвыхъ Душъ» должна состоять не въ восторженныхъ крикахъ о Гомерѣ и Шекспирѣ, объ актѣ творчества, о достоинствахъ Манилова, о неиспорченной русской натурѣ Селифана, о тройкѣ и телѣгахъ: нѣтъ, истинная критика должна раскрыть паюсъ поэмы, который состоитъ въ противорѣчій общественныхъ формъ русской жизни съ ея глубокимъ субстанціальнымъ началомъ, доселѣ еще таинственнымъ, доселѣ еще не открывшимся собственному сознанію и неуловимымъ ни для каковаго опредѣленія. Потомъ критика должна войти въ основы и причины этихъ формъ, должна рѣшить множество повидимому простыхъ, но въ сущности очень важныхъ вопросовъ, вроде слѣдующихъ: Отчего прекрасную блондинку разбранили до слезъ, когда она даже не понимала, за что ее бранятъ? Отчего весь губернский городъ N. оказался и хорошо населеннымъ, и люднымъ, когда сплетни насчетъ Чичикова получили свое начало отъ живого участія «пріятной во всѣхъ отношеніяхъ дамы» и «просто пріятной дамы»? Отчего наружность Чичикова показалась «благонадѣренной» губернатору и всѣмъ сановникамъ города N? Что значитъ слово «благонадѣренный» на чиновническомъ нарѣчій? Отчего авторъ поэмы необходимой принадлежностью длинной и скучной дороги почитаетъ не только холода (которые бываютъ на всякихъ дорогахъ), но и слякоть, грязь, починки, перебранки кузнецовъ и всякихъ дорожныхъ подлецовъ? Отчего Собакевичъ приписалъ Елизавету Воробья? Отчего прокурорскій кучеръ былъ малый опытный, потому что правилъ одной рукой, а другую засунувъ назадъ, придерживая ея барина? Отчего сольвычегодскіе угостили на пиру (а не въ лѣсу, при дорогѣ) устьсысольскихъ на смерть, а сами отъ нихъ понесли крѣпкую ссаду на бока, подъ мышки, и все это называли «пошлать немногую»?... Много такихъ вопросовъ можно выставить. Знаемъ, что большинство почтетъ ихъ мелочными. Тѣмъ-то и велико созданіе «Мертвыхъ Душъ», что въ немъ вскрыта и разанатомирована жизнь до мелочей, и мелочамъ этимъ придано общее

значеніе. Конечно какой-нибудь Иванъ Антоновичъ, кувшинное рыло, очень смѣшонъ въ книгѣ Гоголя и очень мелкое явленіе въ жизни; но если у васъ случится до него дѣло, такъ вы и смѣяться надъ нимъ потеряете охоту, да и мелкииъ его не найдете... Почему онъ такъ можетъ показаться важнымъ для васъ въ жизни—вотъ вопросъ!.. Гоголь гениально (пустяками и мелочами) пояснилъ тайну, отчего изъ Чичикова вышелъ такого рода «приобрѣтатель»; это-то и составляетъ его поэтическое величіе, а не мнимое сходство съ Гомерами и Шекспирами...

Константинъ Аксаковъ ставитъ намъ въ вину, что мы вовсе пропустили слѣдующія строки въ его брошюрѣ: «Такіе тѣсные предѣлы не позволяютъ намъ сказать о многомъ, развитіе многое и дать заранее полныя объясненія на недоумѣнія и вопросы, могущіе возникнуть при чтеніи нашей статьи. Но надѣмся, что они разрѣшатся сами собой». Выписавъ эти строки, Константинъ Аксаковъ замѣчаетъ: «Но у рецензента не было ни недоумѣній, ни вопросовъ; онъ сейчасъ рѣшительно не понялъ, въ чемъ дѣло». Не правда, рѣшительная неправда, г. Константинъ Аксаковъ: брошюра ваша возбудила въ рецензентѣ сильное недоумѣніе касательно того, что въ ней говорится, возбудила вопросъ, какъ въ наше время могутъ являться въ свѣтъ подобныя фантазматическія празднаго воображенія и пустого философствованія; но онъ, рецензентъ, если не тотчасъ же, то очень скоро понялъ, въ чемъ дѣло, т. е. понялъ, что оно заключается только въ сильномъ желаніи отличиться чѣмъ-нибудь необыкновеннымъ въ литературѣ... Итакъ, надежда Константина Аксакова совершенно сбылась: дѣло его брошюры объяснилось само собой... А что тѣсные предѣлы статьи его не позволили ему многое развитіе и заранее отвѣтить на вопросы (которые, видно, чуяло его сердце),—это уже не наша, а его вина: волило же ему было избирать тѣсные предѣлы, вмѣсто обширныхъ...

Остальные пункты «Объясненія» Константина Аксакова состоятъ въ слѣдующемъ:

1. Константинъ Аксаковъ могъ бы доказать ясно, что «Отечественныя Записки» жестоко ошибаются, думая, что пока еще русскій поэтъ не можетъ быть мировымъ поэтомъ; но что онъ объ этомъ конечно съ петербургскими журналами говорить не будетъ; и что объ этомъ могутъ быть написаны цѣлыя сочиненія, книги, но тоже конечно ужъ не для петербургскихъ журналовъ...

2) Возраженіе его, Константина Аксакова, не полно, однако пространнѣе, чѣмъ онъ хотѣлъ; кто же захочетъ узнать дѣло лучше, тотъ можетъ снова прочесть брошюру, которую онъ, Константинъ Аксаковъ, готовъ (храбрая готовность!) вновь повторить слово отъ слова. Затѣмъ онъ оставляетъ всѣ дальнѣйшія объясненія, не предполагаетъ, чтобы «Отечественныя Записки» стали ему возражать (увы, не сбывшееся предположе-

ніе!), и во всякомъ случаѣ отвѣчать болѣе не будетъ...

3. «Отечественныя Записки», несмотря на ихъ несогласія во мнѣніяхъ съ другими петербургскими журналами, въ сущности одно и то же съ ними...

Вѣдныя петербургскіе журналы! погибли вы, погибли безвозвратно! Константинъ Аксаковъ такъ глубоко презираетъ васъ, что и говорить съ вами не хочетъ... Великій Боже! за что же такая страшная кара на петербургскіе журналы?.. Развѣ нельзя было опредѣлить менѣе тяжкаго наказанія!.. Но, позвольте: кто жъ онъ самъ, этотъ страшный, неумолимый Константинъ Аксаковъ, одинъиъ своимъ «да» и «нѣтъ» рѣшающій всѣ вопросы, на все и всему изрекающій приговоры? Неужели это тотъ самый Константинъ Аксаковъ, который въ разныхъ журналахъ, а въ числѣ ихъ и въ «Отечественныхъ Запискахъ», напечаталъ нѣсколько переводовъ нѣмецкихъ стихотвореній, — переводовъ, частью довольно порядочныхъ, частью весьма посредственныхъ, а частью и весьма плохихъ?.. Если такъ, то невольно спросишь: изъ какой же тучи этотъ громъ? да полно, изъ тучи ли еще онъ?..

Что же до нежеланія Константина Аксакова возражать далѣе, оно очень понятно: это ему теперь было бы и трудно, да и негдѣ (развѣ въ брошюрахъ): ибо какой же московскій журналъ захочетъ далѣе принимать, какъ говорить русская пословица, въ чужомъ пиру похмѣлье?..

Что же наконецъ до тождества «Отечественныхъ Записокъ» съ другими петербургскими журналами,—Константинъ Аксаковъ воленъ находить его. Можетъ-быть онъ это утверждаетъ и не съ досады, а по убѣжденію... Мы тоже, по глубокому убѣжденію, видимъ тождество между его брошюрой и знаменитой «критикой» по поводу «Мертвыхъ Душъ», въ которой Салифанъ сдѣлалъ представителемъ неспорченной русской натуры...

алексѣй Васильевичъ Кольцовъ.

(Некрологъ.)

Еще смерть, еще утрата—еще не стало одного пріятельнаго человѣка въ русской литературѣ и русскомъ обществѣ, которыя по справедливости могли гордиться имъ: извѣстный поэтъ русскій, Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ, скончался въ Воронежѣ прошлаго года, въ октябрѣ мѣсяцѣ, на тридцать-третьемъ году отъ роду... Тяжела и горька была жизнь этого человѣка, страшна была смерть его... Впроодолженіе почти двухъ лѣтъ онъ медленно хилѣлъ и таялъ, проводя время въ лѣченіи, то оправляясь, то вновь и еще сильнѣе одолеваясь тяжкимъ внутреннимъ недугомъ... Крѣпкая и сильная натура его могла бы еще преодолѣть болѣзнь тѣла, но семейныя огорченія, совершенное одиночество среди близкихъ ему, но непонимавшихъ его людей, потерянное

время въ прошедшемъ и безнадежность въ будущемъ, горькія разочарованія въ томъ, что любилъ и за любовь къ чему встрѣтилъ вражду и ненависть, потрясли въ основаніи этотъ мощный благородный духъ... Пожиранный лютой чахоткой, одинокій и отчаянный, лишенный не только участія—даже пособій врачебныхъ (ибо ему не на что было покупать лѣкарства), Кольцовъ окончилъ страдальческую жизнь свою 19-го октября прошлаго года, въ три часа по-полудни... Кто зналъ этого человѣка лично и умѣлъ понимать и цѣнить его,—для тѣхъ неожиданное и уже позднее извѣстіе о смерти его было истиннымъ ударомъ...

Кольцовъ родился въ Воронежѣ 1809 года, октября 2-го дня. Его не совсѣмъ основательно называли поэтось-самоучкой, смѣшивая съ простолюдинами, которые, въ зрѣлыхъ лѣтахъ выучившись грамотѣ, сочили это за право кропать стихи. Кольцовъ зналъ грамотѣ съ малолѣтства; по инстинкту, онъ всегда стремился къ сближенію съ людьми, отличенными искрой Божіей,—и никогда не обманывался въ своемъ выборѣ. Рано проснулась въ немъ страсть къ чтенію, и жадно читалъ онъ всякую книгу, какая только попадалась ему подъ руку. Дружба съ однимъ молодымъ человѣкомъ; Серебрянскимъ, подобнымъ ему горемыкой, котораго также уже нѣтъ на свѣтѣ, имѣла сильное и рѣшительное вліяніе на внутреннюю жизнь Кольцова. Серебрянскій былъ человѣкъ замѣчательный, съ душой, съ умомъ, съ рѣдкими дарованіями,—чему можетъ служить доказательствомъ статья его «Мысли о Музыкѣ». (Въ приложеніи къ «Стихотвореніямъ Кольцова».) Получивъ образованіе схоластическое, Серебрянскій взялъ отъ него только оди, хотя и скудные, свѣдѣнія, и самъ довершилъ свое воспитаніе черезъ чтеніе и черезъ суровую школу нужды, бѣдности и тяжелаго опыта, въ борьбѣ съ которыми и палъ, сраженный преждевременной смертью... Потомъ судьба свела Кольцова съ однимъ изъ тѣхъ людей, которые не всегда бываютъ извѣстны обществу, но благовѣстная память и таинственные слухи о которыхъ изъ тѣснаго кружка близкихъ имъ людей переходятъ иногда въ общество: мы говоримъ о Станкевичѣ... Черезъ него Кольцовъ вошелъ именно въ такой кругъ людей, котораго всегда жаждала душа его,—и единственнымъ счастливымъ эпохамъ въ его жизни были встрѣчи его съ этими людьми во время его поѣздокъ по торговымъ дѣламъ отца въ Москву и Петербургъ. Небольшая книжка изданныхъ въ свѣтъ его стихотвореній доставила ему честь личнаго знакомства съ Пушкинымъ, Жуковскимъ, княземъ Вяземскимъ, княземъ Одоевскимъ и другими извѣстными литераторами,—и онъ былъ всѣми ими радушно принятъ и обласканъ. Нѣкоторые изъявили ему свое участіе даже оказаніемъ помощи въ дѣлахъ его,—и въ этомъ случаѣ Кольцовъ особенно хранилъ признательную память къ князю Вяземскому.

1836—1840 годы были самые счастливые для его развитія: Кольцовъ тогда былъ необходимъ для дѣла отца своего, и потому часто бывалъ и долго жила въ Москвѣ и Петербургѣ, приобретая себѣ книги и на собственныхъ средства и подучая ихъ въ подарокъ отъ всѣхъ знакомыхъ ему литераторовъ. Но, несмотря на то, онъ всегда чувствовалъ, что его воспитаніе невосвратимо заключило его въ ограниченный кругъ нравственнаго существованія,—и его глубокій, сѣрый, ясный умъ, вѣрный тактъ дѣйствительности служили ему больше къ горестному сознанію этой истины, чѣмъ къ выходу изъ заколдованной черты, обведенной вокругъ него судьбой. И онъ глубоко страдалъ, видя, что многое для него мудро и непостижимо, потому только, что ново и непривычно. Съ раннихъ лѣтъ ринутый въ жизнь дѣйствительную, онъ коротко зналъ, глубоко понималъ ее,—и, судя по его практическому такту, его иронической улыбкѣ, его осторожному разговору, многіе дивились, какъ онъ въ то же время могъ быть поэтомъ... Есть люди, которые смотрятъ на поэта, какъ на птицу въ клеткѣ, и заговариваютъ съ нимъ для того только, чтобы заставить его пѣть: такъ любители соловьевъ трещать о ножикъ, чтобы звуками этого тренія вызвать птицу на пѣніе... Зная хорошо дѣйствительную жизнь, участвуя, поневолѣ, въ ея дразнахъ, Кольцовъ не загрязнилъ души своей этии дразнами: его душа всегда оставалась чиста, возвышенна, благородна, хотя ироническая улыбка никогда не сходила съ устъ его... Противорѣчіе между дѣйствительностью, въ которую бросила его судьба, и между внутренними потребностями души,—вотъ что всегда было причиной его страданій, и вотъ что наконецъ свело его въ раннюю могилу. Одаренный характеромъ сильнымъ, Кольцовъ умѣлъ терпѣть; но всякому терпѣнію бываетъ конецъ: онъ все могъ перенести, только не ядовитую ненависть тѣхъ, кого любилъ и отъ кого оторваться навсегда у него не было вѣншихъ средствъ...

Какъ поэтъ, Кольцовъ былъ явленіемъ весьма примѣчательнымъ. Онъ обладалъ талантомъ сильнымъ, глубокимъ и энергическимъ, и, несмотря на то, долженъ былъ оставаться въ довольно ограниченной сферѣ искусства—сферѣ поэзіи народной. Въ своихъ «Думахъ» онъ рвался къ другимъ высшимъ мірамъ жизни и мысли, но выражалъ ихъ всегда въ своей однообразной народной формѣ. Если же смотрѣть на стихотворенія Кольцова какъ на произведенія народной поэзіи, которая уже перешла черезъ себя и коснулась высшихъ сферъ жизни и мысли,—то они останутся навсегда однимъ изъ любопытѣйшихъ явленій русской литературы и поэзіи. О нихъ нельзя судить порознь, но, собранныя вмѣстѣ, они представляютъ нѣчто цѣлое—самобытную и интересную въ самой ограниченности своей сферу творчества. Друзья покойнаго поэта, горячо любившіе его и какъ человѣка, желая достойно по-

тить его память, намѣрены издать въ скоромъ времени избранныя его стихотворенія, съ его портретомъ, fac-simile и біографіей.

Библиографическія и журнальныя извѣстія.

Самую свѣжую и интересную новость въ современной русской литературѣ, безъ всякаго сомнѣнія, составляетъ теперь нѣсколько новыхъ и доселѣ неизвѣстныхъ публикѣ стихотвореній покойнаго Лермонтова. Неожиданный случай доставилъ ихъ намъ въ руки, и мы поспѣшили подѣлиться съ нашими читателями высокимъ наслажденіемъ этихъ, какъ будто бы замогильныхъ, звуковъ столь много общавшей и столь безвременно замолкнувшей лиры. Нѣтъ нужды говорить и доказывать, что Лермонтовъ былъ великій поэтъ: въ этомъ уже давно и единодушно согласились всѣ, кто только не лишенъ здраваго смысла и эстетическаго чувства. Блескъ поэтическаго ореола загорѣлся надъ головой молодого поэта тотчасъ же со времени появленія первыхъ его опытовъ. Немного Лермонтовъ успѣлъ произвести, но это немногое тотчасъ же дало ему во мнѣніи общества мѣсто подлѣ Пушкина. Мало того: теперь уже спорятъ не о томъ, можетъ ли имя Лермонтова упоминаться вѣстѣ съ именемъ Пушкина, но о томъ: кто выше — Пушкинъ, или Лермонтовъ? Подобный вопросъ и подобный споръ могутъ быть плодомъ самаго смѣшнаго дѣтства, если въ нихъ дѣло будетъ идти не объ идеяхъ, а объ именахъ. Вообще сравненія одного великаго поэта съ другимъ чрезвычайно трудны; если же въ нихъ видно желаніе возвысить или уронить его насчетъ другого, то они просто нелѣпы и пошлы. Однакожъ злоупотребленіе какого-нибудь дѣла не должно унижать самаго дѣла, и сравненіе одного писателя съ другимъ, дѣлаемое съ цѣлью оцѣнить вѣрно и безпристрастно достоинства и недостатки каждаго изъ нихъ, съ полнымъ уваженіемъ къ обоимъ, есть одна изъ важнѣйшихъ задачъ здравой и основательной критики. Результатомъ такого сравненія никогда не можетъ быть пошлое заключеніе, что Пушкинъ никуда не годится, потому что Лермонтовъ хорошъ, или что Лермонтовъ никуда не годится, потому что Пушкинъ хорошъ. Нѣтъ, результатомъ такого сравненія можетъ быть только объясненіе, въ чемъ именно заключается и великая, и слабая сторона того и другого поэта, чѣмъ одинъ изъ нихъ и выше, и ниже другого. Не время и не мѣсто распространяться здѣсь о такомъ важномъ вопросѣ, какъ сравненіе Пушкина и Лермонтова; но мы считаемъ кстати сказать по этому поводу нѣсколько словъ, тѣмъ болѣе, что теперь другіе толкуютъ объ этомъ кстати и не кстати, вкривъ и вкосъ.

Сравненіе Пушкина съ Лермонтовымъ особенно трудно по тому горестному обстоятельству,

которое какъ будто бы сдѣлалось неизбѣжной участью нашихъ великихъ поэтовъ: мы разумѣемъ безвременный конецъ ихъ поприща, вслѣдствіе котораго нельзя судить о нихъ, какъ о поэтахъ, вполне развившихся и опредѣлившихся. Это особенно относится къ Лермонтову. Посмертныя сочиненія Пушкина — лучшія, художественнѣйшія его созданія, ясно обнаруживаютъ вполне установившееся направленіе его. Они не совсѣмъ безосновательно были приняты публикой холодно. Въ объясненіи противорѣчія, почему лучшія и художественнѣйшія созданія Пушкина не безосновательно приняты были публикой холодно, заключается объясненіе тайны поэзіи Пушкина и значеніе его, какъ поэта. Пушкинъ — это художникъ по преимуществу. Его назначеніе было — осуществить на Руси идею поэзіи, какъ искусства. Намъ скажутъ: неужели же до Пушкина не было на Руси ни поэзіи, ни поетовъ, и неужели поэзія Пушкина не имѣетъ никакой связи съ поэзіей предшествовавшихъ ему поэтовъ; неужели она не развилась исторически, а, словно съ неба, спустилась къ намъ? На такой вопросъ, имѣющей всю внѣшность истины и совершенно ложный въ сущности, мы отвѣтимъ вопросомъ же, только истиннымъ и извѣстнѣмъ, и изнутри: неужели до грековъ не было на землѣ искусства, и поэзія индусовъ, изваянія египтянъ не заслуживаютъ никакого вниманія, какъ произведенія искусства? Нѣтъ, они составляютъ одинъ изъ интереснѣйшихъ предметовъ изученія для эстетики, археологін и исторіи изящнаго; а между тѣмъ искусство, какъ искусство, въ полномъ, пышномъ и благоуханномъ цвѣтѣ своего развитія явилось только у грековъ, и въ этомъ смыслѣ послѣ грековъ ни одинъ народъ доселѣ не имѣлъ такого искусства. И все-таки это нисколько не противорѣчитъ той исторической истинѣ, что искусство грековъ было подготовлено искусствомъ другихъ, предшествовавшихъ имъ на поприщѣ развитія народовъ. Такимъ же точно образомъ, не лишая заслуженной славы предшествовавшихъ Пушкину поэтовъ, не отрицая ихъ вліянія на него, вполне признавая, что безъ нихъ не было бы и его, можно утверждать, что поэзія, какъ искусство, какъ это, а не что-нибудь другое, явилась на Руси только съ Пушкинымъ и черезъ Пушкина. Для такого подвига нужна была натура до того артистическая, до того художественная, что она и могла быть только такой натурой, и ничѣмъ больше. Отсюда проистекаютъ и великія достоинства, и великіе недостатки поэзіи Пушкина. Эти недостатки не случайные, а тѣсно связанные съ достоинствами, необходимо обуславливаются ими такъ же, какъ лицо необходимо обуславливаетъ собой затылокъ, потому что у кого есть лицо, у того не можетъ не быть затылка. Скажемъ сперва о достоинствахъ поэзіи Пушкина, а потомъ уже о недостаткахъ, необходимо вытекающихъ изъ самыхъ этихъ достоинствъ. Пушкинъ первый сдѣ-

далъ русскій языкъ поэтическимъ, а поэзію—русской. Стихъ его неподражаемо художественъ, пластиченъ, рельефенъ, унуго-мягокъ. Въ отношеніи къ художественности и виртуозности поэтического стиха и поэтическихъ образовъ Пушкинъ можетъ быть сравниваемъ съ величайшими европейскими поэтами. Что бы ни говорили о стихѣ Жуковского (дѣйствительно превосходномъ), но между нимъ и стихомъ Пушкина такое же (если еще не большее) разстояніе, какъ между стихомъ Дмитріева (И. И.) и стихомъ Жуковского. Но еще не велика была бы заслуга Пушкина, еслибъ достоинство стиха его было чисто внѣшнее, какъ напримѣръ стиха Языкова и другихъ; нѣтъ, стихъ Пушкина, полный мелодіи и гармоніи, силы и граціи, упругости и нѣжности, металлической твердости и хрустальной прозрачности, былъ выраженіемъ поэтической его натуры: этотъ дивный человѣкъ былъ художникомъ не только въ стихѣ своемъ, но и въ своемъ чувствѣ. Объяснимся. Чувство свойственно всякому человѣку, но у каждого человѣка оно имѣетъ свой характеръ. Есть люди, у которыхъ самыя возвышенныя, самыя благородныя чувства имѣютъ въ себѣ что-то тяжелое, грубое; у другихъ самыя глубокія чувства имѣютъ въ себѣ что-то мягкое до слабости, и т. д. Преобладающій характеръ чувства Пушкина—художественная красота, виртуозность, если можно такъ выразиться, при гибкости и силѣ. Чувство Пушкина изащно само по себѣ, взятое отдѣльно отъ его выраженія; и выраженіе его по одному уже этому не могло не быть изащно. Каждое стихотвореніе Пушкина можетъ служить доказательствомъ нашихъ словъ; но мы въ особенности укажемъ на «Разлуку» (Для береговъ отчизны дальней). Подобно Гёте, Пушкинъ есть поэтъ внутренняго міра души, и можетъ быть еще болѣе, чѣмъ Гёте, способенъ воспитать чувство человѣка, разработать и развить его, сдѣлать его эстетически прекраснымъ. Если поэзія, взятая только какъ искусство, даже внѣ ея философскаго или нравственнаго значенія, улучшаетъ душу человѣка, то лучшее доказательство этому можетъ представить собой поэзія Пушкина.—Это только лицевая сторона поэзіи Пушкина: взгляните на нее съ другой стороны, и васъ поразитъ ея объективность,—качество, столь превосходное непонимающими его настоящаго значенія людьми и столь близкое къ нравственному индифферентизму,—отсутствіе одного преобладающаго убѣжденія, а иногда даже усталость во мнѣніяхъ и странныя предразсудки. Таковъ необходимо долженъ быть (особенно въ наше время) всякій художникъ, который только художникъ (т. е. внѣстѣ съ тѣмъ не мыслитель, не глашатай какой-нибудь могучей думы времени). Онъ—космополитъ въ мірѣ, явленія котораго въ глазахъ его всѣ равно прекрасны и равно интересны, какъ явленія природы въ глазахъ естествоиспытателя; онъ все любитъ и ни

къ чему не прилѣпляется; ничего не ненавидитъ, ничего не отрицаетъ. Поэтическая дѣятельность Пушкина удивляетъ своей случайностью въ выборѣ предметовъ. Онъ пытается создать драму изъ русской исторіи до времени Петра Великаго; дѣлаетъ изъ нея все, что можетъ сдѣлать гениальный поэтъ,—и если при всемъ этомъ ему удалось сдѣлать не слишкомъ много, то это ужъ не его вина. Поддѣлка двухъ французовъ составляетъ его взятые за народныя пѣсни Сербинъ,—и онъ создаетъ рядъ пѣсенъ, дышащихъ всей роскошью дикой поэзіи дикаго народа. Въ то же время онъ, по свѣдѣнью, возсоздаетъ идеалъ Донъ-Хуана, — и производитъ драматическую поэму, исполненную первоклассныхъ художественныхъ красотъ. Не спрашивайте: какое отношеніе, какую связь имѣютъ всѣ эти произведенія съ русскимъ обществомъ, съ русской дѣятельностью? Несмотря на глубоко національные мотивы поэзіи Пушкина, эта поэзія исполнена духа космополитизма, именно потому, что она сознавала самое себя только какъ поэзію и чуждалась всякихъ интересовъ внѣ сферы искусства. И вотъ причина, почему русское общество вдругъ охладѣло къ своему великому, своему долѣ любимому поэту, какъ скоро онъ достигъ апогея своего художческаго величія. Общество въ этомъ случаѣ и право, и неправое,—право потому, что не всѣмъ же быть диллетантами и знатоками искусства; неправое—потому, что Пушкинъ не могъ же въ угоду ему измѣнить своего великаго призванія—водворить поэзію, какъ искусство, въ жизни русской. Призваніе это заключалось въ самой натурѣ Пушкина, и не его вина, если общество, подобно самому поэту, принало временное броженіе его молодой крови за выраженіе его натуры...

Какъ творецъ русской поэзіи, Пушкинъ навѣчныя времена останется учителемъ (maestro) всѣхъ будущихъ поэтовъ, но еслибъ кто-нибудь изъ нихъ, подобно ему, остановился на идеѣ художественности,—это было бы яснымъ доказательствомъ отсутствія гениальности или великости таланта. Вотъ почему или Лермонтовъ пошелъ дальше Пушкина, или онъ—талантъ обыкновенный, не стоящій тѣхъ разнообразныхъ толковъ и жаркихъ споровъ, предметомъ которыхъ онъ сдѣлался. Въ самомъ дѣлѣ, есть люди, которые считаютъ Лермонтова не болѣе, какъ счастливымъ подражателемъ Пушкина, еще не успѣвшимъ проложить собственной дороги для своего таланта. Это мнѣніе столь мелочно и ошибочно, что не стоитъ и возраженія. Нѣтъ двухъ поэтовъ столь существенно различныхъ, какъ Пушкинъ и Лермонтовъ. Пушкинъ—поэтъ внутренняго чувства души; Лермонтовъ—поэтъ беспощадной мысли истинны. Пафосъ Пушкина заключается въ сферѣ самого искусства, какъ искусства; пафосъ поэзіи Лермонтова заключается въ нравственныхъ вопросахъ о судьбѣ и правахъ человѣческой личности. Пушкинъ лелѣлъ

всякое чувство, и ему было тепло въ сторонѣ преданія; встрѣчи съ демономъ нарушали гармонію духа его, и онъ содрогался этихъ встрѣчъ; поэзія Лермонтова растетъ на почвѣ безпощаднаго разума и гордо отрицаетъ преданіе. Для кого доступна великая мысль лучшей поэмы его «Бояринъ Орша», и особенно мысль сцены суда монаховъ надъ Арсеніемъ, тѣ поймутъ насъ и согласятся съ нами. Демонъ не пугалъ Лермонтова: онъ былъ его пѣвцомъ. Послѣ Пушкина ни у кого изъ русскихъ поэтовъ не было такого стиха, какъ у Лермонтова, и конечно Лермонтовъ обязанъ имъ Пушкину; но тѣмъ не менѣе у Лермонтова свой стихъ. Въ «Сказкѣ для Дѣтей» этотъ стихъ возвышается до удивительной художественности; но въ большей части стихотвореній Лермонтова онъ отличается какой-то стальной прозачностью и простотой выраженія. Очевидно, что для Лермонтова стихъ былъ только средствомъ для выраженія его идей, глубокихъ и вѣщихъ простыхъ своей безпощадной истинной, и онъ не слишкомъ дорожилъ имъ. Какъ у Пушкина грація и задумчивость, такъ у Лермонтова жгучая и острая сила составляетъ преобладающее свойство стиха: это трескъ грома, блескъ молніи, взмахъ меча, визгъ пули. Нѣкоторые критики находятъ очень смѣшнымъ, что Лермонтова называютъ русскимъ Байрономъ: это дѣйствительно смѣшно уже по одному сравненію трехъ тощенькихъ книжекъ безвременно погибшаго поэта русскаго съ огромной книгой компактной печати британскаго поэта, и это еще смѣшнѣе по сравненію колоссальной и всемірной славы европейскаго гения съ яркой извѣстностью въ своемъ отечествѣ быстро промелькнувшаго поэта русскаго. Еще разъ повторяемъ: это и смѣшно, и нелѣпно. Но находить сродство въ духѣ Лермонтова съ духомъ Байрона (сродство, которое можетъ быть и не у поэта, какъ было оно у друга Байрона, Шеллея) и, при условіи полного развитія Лермонтова, провидѣть въ немъ не такое же точно (что невозможно), но соотвѣтственное Байрону явленіе: это, по нашему мнѣнію, нисколько не смѣшно, тѣмъ болѣе, что близко къ истинѣ. Есть еще третій родъ критикановъ (самый смѣшной и жалкій), которые увѣряютъ всѣхъ въ великомъ уваженіи, питаемомъ ими къ необыкновенному таланту Лермонтова, и въ то же время говорятъ, что «въ стихахъ Лермонтова отзывается явно отголосокъ лиры другого». Не знаютъ, что означаетъ подобное мнѣніе—ограниченность и слабость ума, совершенное отсутствіе эстетическаго чувства, или (говоря печатными словами одного критикана) «гадку, притаенную мысль», которая, еслибъ могла дойти до Лермонтова, такъ же бы точно посмѣшила и потѣшила его, какъ, поминимъ мы, смѣшили и тѣшили его критики одного журнала объ его стихотвореніяхъ и «Героѣ нашего времени»... Мы убѣждены, что совершенно ничтоженъ будетъ тотъ, на кого подѣйствуютъ, хотя немного, нелѣ-

пое внушеніе, что поэзія русская въ лицѣ Лермонтова не сдѣлала ни шагу впередъ противъ Пушкина... Кстати замѣтимъ, что едва ли какой-нибудь классъ людей представляетъ столько аномалій, какъ классъ «критикановъ»: изъ нихъ есть такіе, которые, изъ зависти къ вашему успѣху и вашей извѣстности на поприсѣ недоступной имъ критики, готовы перевернуть ваши слова и съ умысломъ (если поймутъ ихъ), и безъ умысла (если не поймутъ). За послѣднее да проститъ имъ Богъ, ради ихъ умственной слабости! но за первое да накажетъ ихъ общественное мнѣніе!.. Вы сказали наприимѣръ, что Лермонтовъ пошелъ далѣе Пушкина, а они кричатъ, что вы употребляете Лермонтова какъ средство для того, чтобъ расторгнуть черезъ него союзъ молодого поколѣнія съ Пушкинымъ и нарушить связь преданій. Это обвиненіе, достойное завистливаго педанта, очень похоже на знаменитый силлогизмъ: на дворѣ дождь идетъ, слѣдовательно въ углу столъ стоитъ. Но оставимъ педантовъ, критикановъ, ихъ ограниченность и ихъ мелкую зависть, обратимся къ Лермонтову и скажемъ, что восемь новооткрытыхъ стихотвореній его принадлежать къ замѣчательнѣйшимъ его произведеніямъ, особенно: «Сонъ», «Тамара», «Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю» и «Выхожу одинъ я на дорогу». Въ нихъ нѣтъ ничего Пушкинскаго, но все Лермонтовское,—разумѣется, для тѣхъ только, кто умѣетъ вникать не въ одну букву, но и въ духъ, и кто не можетъ видѣть въ Лермонтовѣ подражателя не только Пушкина и Жуковскаго, но даже и Венедиктова...

Литературныя и журнальныя замѣтки.

Въ какомъ-то ироническомъ петербургскомъ журналѣ была, сказывали намъ, напечатана басня «Крысы»; къ удивленію нашему, эта же басня перепечатана въ № XII «Москвитянина» за 1842. годъ. Изъ этого мы заключили, что какъ остроумный сочинитель, такъ и редакторы обоихъ журналовъ придаютъ большое значеніе этой баснѣ. Чтобъ доставить вящее наслажденіе всѣмъ имъ, перепечатываемъ басню и для нашихъ читателей:

Въ книгопродавческой обширной кладовой,
Среди печатныхъ книгъ, уложенныхъ стѣной,
Прогрызли какъ-то нѣзъ подполья
Лазейку крысы для себя,
И поживиться всѣмъ люба,
Нашли довольно тутъ и пищи, и приволья.
Не знаю, какъ печатъ,
Учились крысы разбирать;
Но дѣло въ томъ, онѣ, какъ знали,
Стихотворенія читали,
Поэзію зубами рвали,
И начали судить, радить,
Поэтовъ, какъ готовъ, бранить,
И на Державина напали.
Одна безхвостая на полку взобралась:
Давно у этой забіяки
Отгрызли хвостъ собаки,
Но крысъ учить она взялась. [великій!
«Державинъ былъ талантъ для всѣхъ временъ»

«Великій онъ поэтъ лишь для своей поры,
 «А не для нашей онъ поры;
 «Для насъ цѣвецъ онъ полудикій!
 «Для насъ—поэзія въ немъ нѣтъ;
 «Для насъ едва ли онъ какой-нибудь поэтъ;
 «Для насъ все мертво въ немъ, скажу чистосердечно.

«Не наша то вина, и не его, конечно,
 «Мы не винимъ его, а судимъ лишь о немъ;
 «Пусть судятъ же и насъ путемъ!..»

Таку крыса рѣчь и долго-бъ продолжала,
 Но гряда книгъ, свалаясь, безхвостую прижала;
 Она пищить, скребеть... коть Васька близко былъ

И судъ по формѣ совершилъ.

Литературныхъ крысъ я наглости дивился;
 Знать, Васька-котъ запропастился.

Давно уже слышимъ мы, что въ «Петербургѣ» издается какой-то журналъ подъ именемъ «Маяка» и желали, изъ любопытства, видѣть его: по справкамъ оказалось, что это чрезвычайно трудно, и мы принуждены были отказаться отъ своего желанія,—какъ вдругъ 24-й нумеръ «Сѣверной Пчелы» снова возбудилъ въ насъ желаніе удостовѣриться въ существованіи мнеческаго журнала. На этотъ разъ случай помогъ намъ неожиданно достать январскую книжку «Маяка» на 1843 годъ,—и при всей нашей недоувѣренности къ «Сѣверной Пчелѣ» мы увидѣли, что все, сказанное въ ней (№ 24) о «Маякѣ»,—сущая правда, не выдумка. Перелистовавъ эту книжку, мы тотчасъ увидѣли, что это журналъ «для немногихъ», и тотчасъ поняли, почему не могли такъ долго убѣдиться собственными глазами въ его существованіи. Между прочими диковинками—представьте себѣ, какой-то Мартыновъ общается Степану Онисимовичу, издателю «Маяка», подробный обзоръ стихотвореній А. С. Пушкина. Предвидя удивленіе многихъ, что какой-то господинъ Мартыновъ общается лучше всѣхъ бывшихъ и настоящихъ критиковъ оцѣнить Пушкина, онъ (т. е. Мартыновъ) говоритъ:

«Лѣтописи грамотности или словесности, по вашему—литературы, представляютъ каждому изъ насъ убѣдительныя доказательства того, что самые извѣстные и знаменитые цѣнители чужихъ произведеній часто впадаютъ въ непростительныя промахи: или слишкомъ заговариваются, или многое не договариваютъ, или многое переговариваютъ; между тѣмъ какъ люди, дотогѣ неизвѣстные, являются на сцену письменности съ ясными, прямыми и вѣрными взглядами на вещи этого рода, безъ малѣйшаго посягательства на высшія точки зрѣнія, и прославленный отъ современниковъ писатель предстаетъ передъ потомствомъ съ оцѣнками лауреатами».

По мнѣнію Мартынова, всѣ критики, хвалившіе Пушкина, и пристрастны, и поверхностны; судя по этому и по другимъ фразамъ статейки Мартынова, видно, что онъ рѣшился общипать Пушкина не на шутку Мартыновъ говоритъ правду, что нѣтъ дѣла до извѣстности или неизвѣстности критика, лишь бы онъ дѣльно критиковалъ; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы какой-нибудь господинъ, хотя бы то былъ самъ

Мартыновъ, не сдѣлавъ дѣла, а только посуливъ его, уже имѣлъ право расхвастаться имъ, какъ великимъ подвигомъ, и утверждать храбро, что всѣ критики заблуждались, а одинъ онъ напалъ на истину. Но въ «Маякѣ» этотъ тонъ принять, какъ видно, за основаніе изданія: имъ такъ и дышать всѣ статьи его. Издатель «Маяка» (если не ошибаемся, Бурачекъ) въ отвѣтъ на литературное хвастовство Мартынова говоритъ, что для нашей литературы насталъ вѣкъ мишурности, что Батюшковъ былъ предвѣстникомъ, а Пушкинъ основателемъ и утвердителемъ этой мишурности; что противъ нея теперь ратуютъ, елико силъ хватаютъ, «Маякъ», «Сынъ Отечества» и «Москвитининъ», а прочіе журналы горой стоятъ за нее!.. Боже великій, что это такое?.. Но погодите—то ли еще вперед! «Сыну Отечества» «Маякъ» воздаетъ полную похвалу, какъ достойному его сподвижнику; но «Москвитининъ» онъ только вполнину доволенъ. «Москвитининъ»—видите ли—противорѣчитъ самому себѣ, съ одной стороны утверждая, что русская литература должна свергнуть съ себя вліяніе лукаваго и буйствомъ разума омраченнаго Запада и быть самобытной и оригинальной; а съ другой стороны утверждаетъ, что «Мертвыя Души» Гоголя—великое произведеніе, что Пушкинъ—великій поэтъ, и что Западъ образованнѣе насъ.

«Въ чемъ (воскликаетъ въ рыцарскомъ негодованіи нашъ восточный витязь?) въ вязкѣ блондовъ (блондъ?), въ развлеченіяхъ и услажденіяхъ жизни, въ желѣзныхъ дорогахъ, операхъ—въ роскоши—пожалуй; но въ любви къ Богу, въ добродѣтели, въ семейности, въ сердечной, духовной образованности, что безконечно важнѣе и труднѣе,—русскіе всегда были и есть выше Запада.»

Далѣе издатель «Маяка» восклицаетъ: «Добрые русскіе! вы всѣ согласны, что пора намъ бросить чужое и возвратиться къ своему?» и такъ заставляетъ добрыхъ русскихъ отвѣчать ему: «Да, да, мы всѣ согласны. Это хорошо. Давайте свое, свое, русское, родное! ура!» «Стало быть, и Пушкинъ мишурникъ?» спрашиваютъ хорошихъ добрыхъ русскихъ издатели «Маяка»: «Какъ смѣть! мировой поэтъ! народный гений! краса и столбъ нашей литературы!.. Но издателя «Маяка» нельзя сбить съ толку цѣлому хору добрыхъ русскихъ,—и онъ, ни мало не заиняясь, отвѣчаетъ такъ:

«—Добрые русскіе! вѣдь это все пока пороженіе рѣчи, слова—слова—слова! вглядимся въ дѣло: разберемте Пушкина: вотъ Мартыновъ предлагаетъ вамъ свой исполнинскій трудъ: выслушаемте его спокойно, не горячася, посудимъ, потолкуемъ—убѣдимся и положимъ: «быть тому такъ»; всѣ заблуждались въ словесности, *въ пошлости*, и производители, и потребители. Кого же винить?—ложный духъ времени! Кому краснѣть—никому или всѣмъ: а на *людей* не только смерть, и *стыдъ красенъ*. Смиримъ же свою неумѣстную гордость, отринемъ свою мнимую непогрѣзительность, падшими людьми и, подъ такимъ назидательнымъ урокомъ идущей развѣ и навсегда перестанемъ повторять *порожня рѣчи*!»

Вотъ ужъ подлинно порожнія рѣчи! Какъ бы хорошо было, для чести здраваго смысла и русской литературы, еслибы онѣ перестали повторяться! И что за милый, наивный и патриархальный тонъ, что за короткость съ добрыми русскими? Хорошо еще, что эти «добрые русскіе» не слышатъ такихъ «порожнихъ» рѣчей! Видите ли: соберитесь-ка вкушѣ и влюбѣ, сядемъ вокругъ Мартынова, читающаго намъ свой исповѣдничій трудъ, состоящій изъ порожнихъ рѣчей, — да не горячася, спокойно, — и сознаемся въ ничтожествѣ или, нѣтъ, бишь, — въ мишурности нашего великаго поэта и въ собственной глупости, да, по старинному обычаю, и ударимъ челомъ, не боясь запачкать его въ грязь, премудрому Мартынову, навешену на насъ такъ легко и скоро на умъ-разумъ... Кстати ужъ за-одно въ смиреніи сердца повалимся въ ноги и у новаго великаго муфтія російской словесности, издателя «Маяка», что онъ растолковалъ намъ, новѣждамъ, что Пушкинъ не болѣе, какъ флигель и анъ русской литературы, которая доселѣ повторяетъ его «мишурные артикулы», — и только попросимъ, чтобы онъ, нашъ литературный муфтія, смиловался, удержалъ порывъ своего мусульманскаго фанатизма, помня пословицу: гдѣ гнѣвъ, тамъ и милость!.. Ну, добрые русскіе! гаркнемъ же дружно и велегласно: помилуй, отецъ и командиръ, впередъ, право, не будемъ! Убѣдимся, вразумимся и дружно примемся лѣчиться!..

И это литература?.. Но что жъ тутъ огорчаться: вѣдь это литература подземная, — задній дворъ литературы... Однакожъ интересно знать, что разувѣютъ эти господа подъ «народностью» русской литературы и какія средства почитаютъ они необходимыми для того, чтобы наша литература сдѣлалась народной. Скучно выписывать, а дѣлать нечего, если ужъ начали. Итакъ, слушайте «добрые русскіе»:

«Давайте выражать русское горячее чувство, мудрое знаніе и силу богатырскую души — живымъ, кипучимъ, роднымъ, народнымъ, маленько мужицкимъ словомъ... Что же, господа (надобно бы — *ребята* или *братцы*)?.. Да гдѣ же вы?... Куда жъ вы разбѣжались?..»

Надобно сказать, что вся эта галиматья изложена въ видѣ спора между «Маякомъ» и «Москвитяниномъ». Изъ чего же спорятъ эти достойные сподвижники? За что вооружился «Маякъ» на «Москвитянина»? Инъ-то ужъ совсѣмъ бы не слѣдовало ссориться. Но таковы люди! Это еще только перемолочка — милые бранятся, только тѣшутся; а то бываютъ какія страшныя ссоры между (выражаясь маленько мужицкимъ слогомъ) закадышними друзьями!.. Гоголь превосходно изобразилъ примѣръ такихъ разрывовъ самой пламенной дружбы въ лицѣ Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича... Главная разница въ характерахъ этихъ достойныхъ друзей состояла въ томъ, что Иванъ Ивановичъ былъ чрезвычайно тонкій и разборчивый на слова человѣкъ; а

Иванъ Никифоровичъ любилъ иногда ввернуть въ разговоръ маленько мужицкое словцо... Это и было причиной вражды, смѣнившей ихъ дружбу...

Любопытно и поучительно слѣдить за процессомъ возрастанія какой бы ни было большой славы. Никакая слава не дается даромъ: ее надо взять съ бою. Люди не охотно признаютъ превосходство надъ собой одного человѣка и готовы ревновать даже такому успѣху, который собственно для нихъ не имѣетъ никакой цѣны. Вотъ почему иногда глупецъ, незнающій грамоты, громче другихъ кричитъ противъ литературной славы, потому только, что она — слава. Но кромѣ бессознательной толпы есть еще особенный родъ непримиримыхъ враговъ литературной славы, которыхъ обязанность и назначеніе именно въ томъ и состоитъ, чтобы сдѣлать цѣннѣе вѣнокъ ея: сюда принадлежатъ маленькіе таланты съ большимъ самолюбіемъ, разная посредственность, для мелкаго эгоизма которой всякій успѣхъ есть личная, кровная обида. Эта моль и тля, враждебная всякой знаменитости, вѣчно воюетъ и грызется между собой; но при видѣ знаменитости, словно по инстинкту, дѣйствуетъ согласно и дружно. Взаимное истребленіе у нея идетъ довольно успѣшно: поле битвы покрывается трупами, — и изъ этихъ гниющихъ труповъ возникаетъ новая моль, новая тля, и эта исторія повторяется бесконечно. Но истребленіе истинной славы никогда не удастся этой завистливой породѣ насѣкомыхъ: мухи на время могутъ запачкать картину генія;

Но краски чуждыя, съ лѣтами,
Спадаютъ ветхой чешуей;
Созданье генія предъ нами
Выходитъ съ прежней красотой.

Но моли, тлѣ, мухамъ и подобнымъ тому дряннымъ насѣкомымъ довольно и того, если имъ удастся хоть на минуту затемнить славу и на время помѣшать ея успѣхамъ, чтобы между тѣмъ, подъ шумокъ, пока общественное мнѣніе еще не установилось отъ своего нерѣшительнаго колебанія, воспользоваться крохами отъ убогой транеи своей бѣдной извѣстности. Забавно смотрѣть, когда эта тля, видя, что дѣло славы уже совершилось, теряется въ отчаяніи, сбивается съ плана своей атаки: то, желая казаться безпристрастной въ глазахъ толпы, уже не позволяющей ей обманывать себя, лукаво хвалитъ знаменитость, то, вновь приходя въ безсильную ярость отъ глубоко уязвленнаго самолюбія, иступленной бранью изобличаетъ притворство своихъ предательскихъ похвалъ. Это часто случается во всякой литературѣ, гдѣ есть дюжинные таланты, есть посредственность, и гдѣ между ними возникаетъ иногда могучій талантъ...

Кстати: что дѣлается въ нашей литературѣ? Увы, она предчувствуетъ весну, несмотря на зимній холодъ и снѣгъ, которые такъ некстати пре-

вратили весну въ зиму, —предчувствуетъ весну— и начинаетъ погружаться въ свою обычную летаргію, которая продолжится до послѣднихъ дней осени. Итакъ, остаются одни журналы, которые, такъ и саятъ, но все же бодрствуютъ въ продолженіе цѣлаго года. Что же новаго въ журналахъ? — Самая послѣдняя и самая забавная новость въ нихъ—это рецензія «Библіотеки для Чтенія» на изданіе сочиненій Гоголя въ четырехъ томахъ. Это рецензія особенно замѣчательна тѣмъ, что, за исключеніемъ немногихъ умышленно и неумышленно-ложныхъ взглядовъ, выраженныхъ неприлично бранчивыми фразами, о самихъ сочиненіяхъ почти ничего не сказано, а между тѣмъ рецензія довольно длинна. О чемъ же говорится въ ней? О томъ, что Гоголь знался, подчинялся прискорбному ослѣпленію самолюбія; что его понятія о своемъ значеніи въ искусствѣ «раздувались» болѣе и болѣе; что надобно же будетъ, рано или поздно, его «колоссальному тщеславію» подать въ отставку отъ «потѣшнаго» званія «перваго поэта нашего времени» за «неспособностью къ этому званію» и за «ранами, нанесенными самолюбію» (чьему?— не сказано въ рецензіи, но должно думать, что самолюбію рецензента «Библіотеки»); что ему, рецензенту, иногда становится страшно, чтобы, для большаго эффекта, Гомеръ Второй (т. е. Гоголь) не заколоса, и тому подобное.. Все это не выдуманно и нисколько не преувеличено нами: все это напечатано въ «Литературной Лѣтописи» «Библіотеки для Чтенія» за мартъ нынѣшняго года. Мы сочли необходимымъ подобное увѣреніе съ нашей стороны, что фразы «Библіотеки» переданы нами вѣрно, безъ искаженія и безъ преувеличенія: читая ихъ, мы не вѣрили собственнымъ глазамъ, а когда убѣдились, что наши глаза не обманываютъ насъ, то, не шутя, стали бояться, чтобы «почтеннѣйшій» рецензентъ, для большаго эффекта, не заколоса: ибо подобныя фразы явно обнаруживаютъ разстройство вслѣдствіе сильнаго припаду отчаянія. Къ какой стати, вмѣсто разбора сочиненій автора, толковать о его самолюбіи, дѣйствительности котораго, къ довершенію всего, еще и доказать нечѣмъ? «Вечера на Хуторѣ» Гоголю кажутся менѣе заслуживающими вниманія публики, чѣмъ позднѣйшія его произведенія: если и допустить, что онъ ошибается, то гдѣ же тутъ самолюбіе? Развѣ смотрѣть ошибочно на свои произведенія— все равно, что увлекаться тщеславіемъ? Да и кто далъ право рецензенту «Библіотеки» на цензорство нравовъ писателей? Если онъ видитъ въ себѣ идеалъ скромности, при огромномъ талантѣ— передъ нимъ: онъ можетъ, сколько ему угодно, любоваться своими нравственными совершенствами, одному ему извѣстными; но пусть удержится отъ «скромнаго» стремленія называть печатно извѣстнаго писателя зазнайкой, хвастуномъ, помѣшаннымъ отъ самолюбія, и т. п. Такія замашки обнаруживаютъ явно безпокойство

и смущеніе духа! Мы знаемъ, что рецензентъ «Библіотеки» никогда не отличался эстетическимъ вкусомъ; мы помнимъ, что онъ бранилъ Пушкина и превозносилъ Тимофеева, поставилъ ни во что лучшее произведеніе Лажечникова — «Ледяной Домъ» и превозносилъ до небесъ плохой романъ Степанова—«Постоялый Дворъ»; съ презрѣніемъ отзывался объ историческихъ романахъ Вальтеръ-Скотта — и провозгласилъ Кукольника великимъ геніемъ... Итакъ, нисколько не удивительно, что сочиненія Гоголя недоступны, по своей высотѣ, для вкуса и разумія рецензента «Библіотеки», и еслибы его сужденія о нихъ проистекали только изъ безвкусія и незнанія въ дѣлѣ изящнаго, то мы и не обратили бы на нихъ никакого вниманія, снисходительно позволя ему судить и ридить по крайнему его разумію. Но нѣтъ! Въ его бранчивыхъ приговорахъ, кромѣ безвкусія и невѣдѣнія, выказываются еще и худо скрываемаая враждебность, какое-то ожесточеніе противъ таланта Гоголя. Люди, неимѣющие эстетическаго вкуса и эстетическаго образованія, могутъ находить, напримеръ, комедію Гоголя «Женитьба» слабой, неудачной, если хотите, но никто изъ людей грамотныхъ не скажетъ, чтобы въ ней не было смысла. Что касается до «Развѣзда», это превосходное произведеніе обратило на себя общее вниманіе и общія похвалы и друзей, и недруговъ таланта Гоголя; а рецензентъ «Библіотеки» смѣло утверждаетъ, что нелѣпѣ этой пьесы міръ ничего не производилъ... Нѣтъ! какъ бы ни старался рецензентъ увѣрять насъ въ своемъ безвкусіи и невѣдѣніи,—мы повѣримъ ему только на половину, а другую отнесемъ къ раздражительности глубоко оскорбленнаго самолюбія, которое сознало наконецъ бѣдность своего авторскаго дарованія. И конечно Гоголь былъ виной этого сознанія, равно какъ и того, что «Дѣва Чудная», которую сочинитель общалъ болѣе года назадъ тому кончить и издать особой книгой, не являлась въ свѣтъ... Послѣ Гоголевскаго юмора трудно имѣть свой юморъ, а послѣ «Миргорода», повѣстей вродѣ «Шинели», романа вродѣ «Мертвыхъ Душъ» кто же улыбнется при чтеніи «Фантастическихъ Путешествій» барона Врембеуса и его повѣстей, гдѣ мандаринши ищутъ у себя блохъ и подобныя тому грубыя сальности издають отъ себя свой особенный запахъ?... Нѣтъ, прошла, давно прошла пора авторскаго и юмористическаго гарпованія для сочинителей вродѣ барона Врембеуса! Конечно въ этомъ опять-таки виноватъ Гоголь же, но, какъ говорить пословица, безъ вины виноватъ. Забавнѣе всего нападки рецензента «Библіотеки» на грязныя картины въ сочиненіяхъ Гоголя: подумаешь, дѣло идетъ о повѣстяхъ барона Врембеуса... Особенно возмущаетъ нашего благовоспитаннаго рецензента то, что герои Гоголя «сморкаются, чихаютъ» и «падаютъ», и что они ругаются «канальями, подлецами, мошенниками,

свиньями, свинтусами и оетюками»... Все это кажется ему особенно несовѣстнымъ съ идеей поэмы: видно, что эту идею онъ вычиталъ изъ пѣнники Толмачева или Георгіевскаго, гдѣ поэмы предписано сочинять непремѣнно стихами и непремѣнно «высокимъ слономъ». Должно быть, ученому рецензенту не извѣстно, какъ въ поэмѣ поэмъ — «Иліадѣ» — не только люди, но и боги ругаются другъ съ другомъ не лучше героевъ повѣстей Гоголя: такъ наприимѣръ, въ XXI пѣснѣ Арей называетъ Палладу «наглою мухой»; а Гера-богиня Артемиду-богиню — «безтыльной псицей» или, говоря проще, — «сухой». Скажутъ: это недостатки поэзіи грубыхъ временъ; старыя пѣсни! не недостатки, а вѣрное изображение современной дѣйствительности, съ ея бытомъ и ея понятіями! Полевой выдумалъ съ горя называть юморъ Гоголя «малороссійскимъ жартомъ»; рецензентъ «Библиотеки», во всемъ другомъ несогласный съ Полевымъ, съ радостью подхватилъ это слово «жартъ», — и вышла нелѣпость; ибо малороссійскій глаголъ «жартовать» значитъ — любовничать съ женщинами, слѣдовательно слово «жартъ» не имѣетъ никакого соотношенія съ понятіемъ о какомъ бы то ни было юморѣ — малороссійскомъ, или великороссійскомъ... Очень забавно также видѣть, какъ старается рецензентъ прикрыть неблаговидныя чувства свои къ таланту Гоголя противорѣчивыми брани похвалами: изъ Поль-де-Кокковъ онъ уже произвелъ его въ Диккенса, «Вечера на Хуторѣ» похваливаетъ, «Старосвѣтскихъ Помѣщиковъ» находитъ художественнымъ созданіемъ, съ похвалой отзываясь о «Тарасѣ Вульбѣ», въ его первобытномъ видѣ, но для того, чтобы тѣмъ больше унижить это произведение, вновь передѣланное авторомъ. И въ то же время всѣ эти повѣсти въ глазахъ нашего рецензента не болѣе, какъ анекдоты!... Какъ все это мелко и ничтожно!

Нѣсколько словъ «Москвитяину». Въ 6-й книжкѣ медленно выходящаго «Москвитянина» помѣщено окончаніе разбора «Полной Русской Хрестоматіи» Галахова. Всѣмъ извѣстно, какъ косо смотритъ аристархъ московскаго журнала на эту книгу. Предоставляя самому Галахову раздѣлаться съ его раздражительнымъ противникомъ, мы сами не можемъ не сдѣлать замѣтокъ на нѣкоторыя выходки Шевырева, устремленныя прямо на нашъ журналъ. У этого почтеннаго и достойнаго аристарха московскаго есть странная привычка: о чемъ бы ни говорилъ онъ, — придиричиво касаться «Отечественныхъ Записокъ». Это, можно сказать, его манія, его болѣзнь. А что у кого болить, тотъ о томъ и говорить. Изъ состраданія къ такому состоянію души почтеннаго критика московскаго, мы хотимъ откровеннымъ объясненіемъ способствовать къ проясненію его сознанія, нѣсколько затемненнаго можетъ быть раздражительностью и пристрастіемъ.

Соч. Бѣлинскаго, т. III.

Шевыревъ находитъ страннымъ, что Галаховъ ставитъ имя Лермонтова не только вѣсть съ именами Карамзина, Крылова, Жуковскаго и Пушкина, но даже Шиллера и Гёте. По нашему мнѣнію, если можно съ именами Шиллера и Гёте ставить не только Пушкина, но и Жуковскаго, и Крылова, и Карамзина, — то Галаховъ правъ, поставивъ вѣсть съ ними имя Лермонтова. И ужъ конечно имя поэта Лермонтова скорѣе можетъ быть поставлено съ именами поэтовъ Шиллера и Гёте, чѣмъ имя Карамзина, отличнаго литератора, извѣстнаго историка, но нисколько не поэта. Неужели это неизвѣстно Шевыреву?...

Вслѣдъ за этимъ страннымъ, упрекомъ Шевыревъ начинаетъ оправдываться передъ своими читателями (вѣроятно предполагая, что у «Москвитянина» есть читатели) въ посягательствѣ на славу молодого поэта, т. е. Лермонтова. «Мы, — говоритъ онъ, — знаемъ, что Россія лишилась въ немъ одной изъ лучшихъ надеждъ молодого поколѣнія. Мы съ радостью привѣтствовали прекрасное его дарованіе; не признавали только направленія въ нѣкоторыхъ пьесахъ, но увѣрены были, что оно измѣнилось бы впоследствии, потому что не представляло ничего оригинальнаго, отзывалось очевиднымъ подражаніемъ, свойственнымъ всякому молодому таланту при началѣ его поприща». Всѣмъ извѣстно, что въ свое время Шевыревъ даже взялъ на себя трудъ показать, кому именно подражалъ Лермонтовъ, и открылъ, съ свойственной ему критической проницательностью, что Лермонтовъ подражалъ не только Пушкину и Жуковскому, но даже и Бедиктову!... Въ доказательство удивительной способности Шевырева открывать духъ подражательности тамъ, гдѣ нѣтъ его и тѣни, указываемъ кстати на высказанное имъ въ этой же статьѣ мнѣніе, будто бы Лермонтовъ въ «Мцыри» подражалъ Жуковскому!... Любопытно бы знать, какая изъ пьесъ Жуковскаго послужила Лермонтову образцомъ для его «Мцыри»? Жаль, что Шевыревъ оставилъ насъ въ недоумѣніи касательно этого любопытнаго вопроса...

Почему же особенно негодуетъ Шевыревъ на упоминаніе имени Лермонтова вѣсть съ именами нѣкоторыхъ нашихъ писателей старой школы? — Потому что Лермонтовъ рано умеръ, а тѣ довольно пожилы на свѣтѣ и успѣли написать и напечатать все, что могли и хотѣли. Вотъ по истинѣ странный критеріумъ для измѣренія достоинства писателей относительно другъ къ другу! Помните: Грибоѣдовъ написалъ одну только комедію, да и ту несовершенную, какъ первый опытъ его самобытнаго творчества: неужели же Грибоѣдовъ, какъ поэтъ, не выше наприимѣръ Озерова, написавшаго пять трагедій и нѣсколько мелкихъ пьесъ? Вѣзъ сомнѣнія, неизмѣримо выше, потому что, судя по пяти трагедіямъ, можно знать, что Озеровъ ничего не написалъ бы великаго, тогда какъ, судя по «Горю отъ Ума», нельзя ни опредѣлить, ни измѣрить высоты, на

которую могъ бы подняться огромный талантъ (мы не побоялись сказать — даже гений) Грибодова. Лермонтовъ написалъ немного, но въ этомъ немногѣмъ видно очень многое. Если Шевыревъ не видитъ этого, — мы не споримъ съ нимъ, ибо въ дѣлѣ личнаго вкуса спора быть не можетъ; но зачѣмъ же Шевыревъ непремѣнно хочетъ, чтобъ его личный вкусъ былъ нормой для вкуса всѣхъ и каждого, и зачѣмъ же онъ смотритъ чуть-чуть не какъ на уголовного преступника — на всякаго, кто хочетъ имѣть свой вкусъ, независимо отъ личнаго вкуса его, Шевырева? Всякое достоинство, всякая сила спокойны, именно потому, что увѣрены въ самихъ себѣ: они никому не навязываются, никому не напрашиваются; но, идя своимъ ровнымъ шагомъ, не оборачиваются назадъ, чтобъ видѣть, кланяются ли имъ другіе. Только раздражительное литературное самолюбіе раздувается и пылится, чтобъ его слушали и съ нимъ соображались, а видя, что его не замѣчаютъ и идутъ своей дорогой, кричить «слово и дѣло!». Это не сила, а бессиліе, — не достоинство, а мелочность... Здѣсь кстати замѣтить, въ какомъ еще дѣтскомъ состояніи находится русская литература и критика: спорять и кричать о томъ, зачѣмъ такъ, а не иначе разищены имена писателей, а не разсуждаютъ объ истинномъ значеніи этихъ именъ. Слѣдя за рядомъ мыслей Шевырева, мы должны благодарить его за повтореніе нѣкоторыхъ мыслей, впервые высказанныхъ по-русски въ нашемъ журналѣ, каковы слѣдующія: что Жуковский внесъ романтическую стихію въ нашу поэзію; что Пушкинъ воспринялъ въ себя все приготовленное предшественниками и творчески внесъ полное сознаніе народнаго духа въ поэзію. Правда, эти наши мысли не далеко разнесутся столь мало читаемымъ журналомъ, каковъ «Москвитининъ»; но все-же мы благодарны Шевыреву и за внимательное изученіе критическихъ страницъ нашего журнала, и за совѣстливое повтореніе ихъ, безъ всякаго искаженія. Однакожъ мы еще были бы благодарны Шевыреву, еслибъ онъ указывалъ на источники, которыми иногда пользуется въ своихъ статьяхъ, и которыми онъ обязанъ хорошими мѣстами и мыслями своихъ статей.

Шевыревъ настаиваетъ на томъ, что въ Лермонтовѣ не было ничего оригинальнаго: дѣло его личнаго вкуса, и мы опять не споримъ! Но не можемъ не замѣтить снова, что напрасно Шевыревъ симптомы своего личнаго вкуса хочетъ выдать, во что бы то ни стало, за норму общаго здороваго вкуса. Онъ называетъ «Пѣсню про царя Ивана Васильевича, Молодого Опричника и Удалаго Куща Калашникова» лучшимъ произведеніемъ Лермонтова, а характеры Мцыри и Печорина призраками. Можетъ-быть Шевыревъ и правъ, думая такъ; но можетъ-быть правы и другіе, думая не такъ. Вотъ наприхѣръ мы осмѣливаемся думать, что пѣса эта есть юно-

шеское произведеніе Лермонтова, что никогда бы онъ не обратился болѣе къ пѣсамъ такого содержанія. Кто читалъ Кошкина, тотъ не поверитъ исторической правдоподобности «Пѣсни», особенно, если сравнить ее съ той пѣснью въ сборникѣ Кирши Данилова, которая подала Лермонтову поводъ написать его «Пѣсню» и которая называется «Мастрюкъ Темрюковичъ»... Говоря о «Пѣснѣ» Лермонтова, Шевыревъ видитъ въ ней между прочимъ выраженіе «ироніи власти, какъ исторической черты въ характерѣ Іоанна Грознаго»: эта мысль намъ кажется справедливой; но хвалить ее не смѣемъ, ибо впервые она была высказана въ «Отечественныхъ Запискахъ».

До сихъ поръ Шевыревъ только излагалъ свои мысли, выдавая ихъ съ нѣскольکو раздражительной настойчивостью за несомнѣнно истинныя; но теперь онъ начинаетъ сердиться и браниться. Ни съ того, ни съ сего переходитъ онъ вдругъ къ какимъ-то «литературнымъ промышленникамъ», которые, имѣя въ рукахъ своихъ нѣкоторыя стихотворенія Лермонтова, подъ именемъ его же (подъ его же именемъ?) печатають множество пустыхъ стиховъ». Обвиненіе немножко рѣзкое и несовсѣмъ вѣжливо и прилично выраженное! Слѣдовало бы доказать его фактами, перечисливъ по-именно это «множество пустыхъ стихотвореній, подъ именемъ Лермонтова печатаемыхъ». Недавно въ «Отечественныхъ Запискахъ» напечатано было девять стихотвореній, изъ которыхъ восемь до того превосходны, что и безъ подписи имени автора всѣ люди съ эстетическимъ вкусомъ признали бы ихъ за стихотворенія Лермонтова. Неужели же Шевыревъ судить о достоинствѣ стихотвореній и узнаетъ, кѣмъ они написаны, только по подписи имени?.. Нѣтъ, это что-то не такъ! А вотъ и доказательство: вслѣдъ же за тѣмъ Шевыревъ увѣряетъ, будто бы «одинъ журналъ, обанкрутившійся стихотворцами, обѣщаетъ намъ продолженіе стихотвореній Лермонтовыхъ безконечное» (надобно было бы правильнѣе сказать по-русски: обѣщаетъ намъ безконечное продолженіе Лермонтовскихъ стихотвореній), «до тѣхъ поръ, пока не создастъ себѣ живого поэта на прокатъ, для подкраски своей нескончаемой французско-русской прозы (?)». Какой же это журналъ, г. Шевыревъ? — Но вы не можете отвѣтить на нашъ вопросъ, ибо вы сочинили, выдумали этотъ журналъ.. Выдумывать неправду — не значить ли сердиться? Сердиться — не значить ли сознавать себя неправымъ и за свою вину бранить другихъ?.. Не хорошо!.. Но это не все: гнѣвное вдохновеніе раздраженнаго московскаго критика создаетъ новые призраки, чтобъ было ему надъ кѣмъ показывать свою храбрость, достойную манчскаго вѣтя... Этотъ же журналъ, по словамъ Шевырева, «самой позорной клеветой чернитъ совѣсть покойнаго поэта передъ глазами всей русской публики и не въ шутку увѣряетъ ее, что русская поэзія, въ лицѣ Лермонтова, въ первый

разъ вступила въ самую тѣсную дружбу, съ кѣмъ бы вы думали?... съ чортомъ!...» — «Такой чортовщины (прибавляетъ Шевыревъ) еще никогда не бывало ни въ русской литературѣ, ни въ русской критикѣ!»... Это уже слишкомъ! Подумалъ ли Шевыревъ объ этихъ словахъ, прежде чѣмъ сорвались они съ его пера, вѣроятно «въ минуту жизни трудную» для него?.. Какъ! неужели плоская шутка или умышленное непониманіе чужихъ словъ — тоже считаетъ онъ въ числѣ оружія противъ своихъ противниковъ? Дѣлая такую важную денонсiацію на нихъ, почему не почелъ онъ за нужное и даже необходимое написать изъ собственныхъ слова, какъ это дѣлаютъ всѣ добросовѣстные критики?.. «Наконецъ (говоритъ еще Шевыревъ) промышленники-книгопродавцы вслѣдъ за промышленниками-журналистами издають три тома стихотвореній Лермонтова и, въ числѣ ихъ, всѣ школьныя тетради покойнаго, всѣ тѣ поэмы и драмы, отъ которыхъ онъ со стыдомъ отрекся бы, еслибы былъ живъ, — и все это дѣлается подъ личиною уваженія къ поэту, а на самомъ дѣлѣ изъ однихъ корыстныхъ и низкихъ цѣлей, чтобы только именемъ Лермонтова привлечь невѣжественныхъ подписчиковъ и читателей». Подобныя обвиненія читали уже мы въ «Библиотекѣ для Чтенія», — и вотъ изъ повторятъ знаменитый критикъ, какъ будто въ оправданіе французской пословицы: *les beaux esprits se repaissent*. Но основательны ли эти обвиненія? Не внушены ли они какимъ-нибудь другимъ чувствомъ — наприимѣръ завистью видѣть стихотворенія Лермонтова сперва въ непріязненномъ журналѣ, а потомъ отдѣльно изданными, стало-быть, никогда не видѣть ихъ въ своемъ журналѣ!.. Какъ! неужели Лермонтовъ могъ написать что-нибудь такое, что не стоило бы печати или могло оскорбить вкусъ публики, явившись въ печати? Кромѣ одного или, много, двухъ мелкихъ стихотвореній, по нашему убѣжденію, въ этихъ трехъ томахъ не найдется ни одного, которое было бы незначительно и не было бы въ тысячу разъ лучше лучшихъ стихотвореній наприимѣръ Языкова, Хомякова и Бенедиктова и *tutti quanti*, — этихъ вѣчныхъ предметовъ критическаго удивленія Шевырева, который когда-то самъ писалъ стишонки немногимъ развѣ хуже ихъ... Такая поэма, какъ «Вояринъ Орша», неужели не болѣе, какъ школьная тетрадь? И притомъ, по какому праву, на какомъ основаніи настаиваетъ Шевыревъ, чтобы желаніе почитателей таланта Лермонтова имѣть у себя каждую строку его — было преступно, равно какъ и желаніе издателей Лермонтова удовлетворить этому желанію большей части русской публики? Мало ли чего не напечаталъ бы самъ Лермонтовъ: вѣдь и Пушкинъ не напечаталъ бы при жизни своей лицейскихъ стихотвореній; но кто же не благодаренъ издателямъ за помѣщеніе ихъ въ полное собраніе его сочиненій? Шевыревъ говоритъ: «Любопытна

для исторіи военная школа Наполеона, но не имѣетъ она значенія въ жизни молодого генерала, сраженнаго почти на первомъ шагу своего военнаго поприща». Но еслибъ этотъ генералъ былъ Наполеонъ послѣ итальянской кампаніи? Для Шевырева сдѣланное Лермонтовымъ кажется только замѣчательнымъ, а намъ оно кажется великимъ; Шевыреву кажется, что мы ошибаемся, а намъ кажется, что онъ ошибается: изъ чего жъ тутъ бравиться, и неужели безъ брани нельзя оставаться той и другой сторонѣ при своихъ убѣжденіяхъ? Мало того, что Шевыревъ печатно называетъ журналиста, печатавшаго въ своемъ журналѣ стихи Лермонтова и при жизни, и по смерти поэта, — журналистомъ-промышленникомъ, но даже позволяетъ себѣ сомнѣваться въ его уваженіи къ поэту и приписывать ему низкія и корыстныя цѣли... И противъ кого же онъ пишетъ это? — Противъ журнала, который о немъ не позволяетъ себѣ такъ писать, хотя и могъ бы высказать ему много жесткихъ истинъ, не совсѣмъ-то здоровыхъ для литературной репутаціи Шевырева. Далѣе, Шевыревъ видитъ какихъ-то необыкновенныхъ поэтовъ въ Языковѣ, Бенедиктовѣ и Хомяковѣ, особенно въ послѣднемъ; наше мнѣніе объ этихъ господахъ діаметрально противоположно его мнѣнію: мы не видимъ въ нихъ никакихъ поэтовъ, особенно въ послѣднемъ; но тѣмъ не менѣе вѣримъ, что Шевыревъ восхищается ими *gratis*, не изъ какихъ-нибудь корыстныхъ и низкихъ цѣлей... Шевыревъ видѣлъ въ Лермонтовѣ подражателя Бенедиктову; Павлова ставитъ онъ выше Гоголя; у поэзіи Жуковскаго и Пушкина отнималъ честь мысли и приписывалъ ее, на ихъ счетъ, Бенедиктову, — и мы вѣримъ, что все это дѣлалъ онъ безъ всякаго злого умысла, а такъ, отъ доброты сердца, и съ самымъ простодушнымъ убѣжденіемъ...

Въ доказательство, какъ иногда опасно свой личный вкусъ выдавать за общій, и какъ въ этомъ отношеніи не всякому слѣдуетъ быть слишкомъ смѣлымъ, — обращаетъ вниманіе читателей на то, что Шевыревъ находитъ дурными эти превосходные стихи Лермонтова, представляющіе въ себѣ живую и роскошную картину Кавказа.

И надъ вершинами Кавказа
Изгнанникъ рая пролеталъ.
Подъ нимъ Кавбекъ, какъ грань алмаза,
Снѣгами вѣчными сиялъ;
И, глубоко внизу чернѣя,
Какъ трещина, жилище змѣя,
Вился излучистый Дарьялъ;
И Терекъ, прыгая, какъ львица,
Съ косматою гривой на хребтѣ,
Ревѣлъ, и хищный зорь и птица,
Кружась въ лазурной высотѣ,
Глазю воду его внимали;
И золотыя облака,
Изъ южныхъ странъ, издалека,
Его на сѣверъ провожали;
И скалы тѣсною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Надъ нимъ склонялись головою,
Слѣдя мелькающія волны;

И башни замковъ на скалахъ
Смотрѣли грозно сквозь туманы:
У вратъ Кавказа на часахъ
Сторожевые великаны.

Шевыревъ видитъ тутъ подражаніе Марлинскому, и ужасно радъ грамматической неловкости, вслѣдствіе которой безграмотному читателю,—но только безграмотному,—можетъ показаться, что хищный звѣрь кружится вмѣстѣ съ птицей въ лазурной высотѣ... Шевыревъ видитъ отсутствіе полного грамматическаго смысла въ этихъ чудныхъ стихахъ Лермонтова:

А мой отецъ? Онъ какъ живой
Въ своей одеждѣ боевой
Являлся мнѣ, и помнилъ я:
Кольчуги звонъ, и блескъ ружья,
И юрды, непреклонный взоръ,
И молодыхъ моихъ сестеръ...

Съ грамматической указкой не мудрено доказать ничтожество стиховъ не только Державина, но и Жуковского, и Пушкина, что и дѣлали, бывало, педанты добраго стараго времени.

Въ числѣ важныхъ обвиненій на издателя «Новой Хрестоматіи» Шевыревъ приводитъ его предпочтеніе Кольцову «передъ лучшими (?) нашими лириками современными—Языковымъ и Хомяковымъ». Это несправедливо: Языковъ и Хомяковъ давно уже не лучшіе и не современные лирики, оба они пишутъ теперь мало и рѣдко, и оба пишутъ, какъ писали назадъ тому около двадцати лѣтъ. Кольцовъ, безъ всякаго сомнѣнія, неизмѣнно выше ихъ уже и потому только, что онъ былъ истинный поэтъ по призванію, между тѣмъ какъ они только звучные версификаторы, особенно послѣдній. Шевыревъ говоритъ: «Въ Кольцовѣ весьма замѣчательна была склонность къ философско-религіозной думѣ, которая таится въ простонародіи русскомъ». Не правда; гдѣ доказательство этого элемента въ нашемъ простонародіи? Ужъ не въ народной ли русской поэзіи, гдѣ его нѣтъ ни слѣда, ни признака? Кольцовъ потому и имѣлъ склонность къ философско-религіозной думѣ, что самобытнымъ стремленіемъ своей мощной натуры совершенно оторвался отъ всякой нравственной связи съ простонародьемъ, среди котораго возросъ. Шевыревъ, считая по пальцамъ слоги и ударенія въ стихахъ Кольцова, не замѣтилъ, что ихъ метръ совершенно особенный, образованный по метру народныхъ пѣсней, но принадлежавшій собственно Кольцову. Пропускаетъ безъ вниманія бранчивыя выраженія Шевырева, излившіяся изъ досады, что Кольцовъ выбиралъ себѣ знакомства не по рекомендаціи Шевырева и держался не его литературной партіи.

Говоря о помѣщеніи въ «Хрестоматію» переводныхъ пьесъ Струговщикова, Шевыревъ вспоминаетъ, что въ «Римскихъ Элегіяхъ» Гёте, переведенныхъ Струговщиковымъ, не было правильнаго пентаметра. Положимъ, что и такъ: но

развѣ въ этомъ дѣло, а не въ вѣрной поэтической передачѣ подлинника? Мы уже не говоримъ о томъ, что Струговщикова не хуже Шевырева знаетъ метрику; но какъ же начинать свои привязки съ метра! Шевыреву кажется, что покойный И. И. Дмитріевъ лучше Струговщикова передалъ пьесу Гёте, названную имъ «Размышленіемъ по случаю грома»,—и потому самъ же прибавляетъ, что Дмитріевъ далъ пьесѣ другое значеніе, уклоняясь отъ панееистической мысли Гёте... Шутка! Послѣ этого переводъ Дмитріева, разумеется, болѣе есть искаженіе, чѣмъ переводъ.

Шевыревъ ниже всего низкаго поставилъ прекрасную пьесу Огарева «Ноктурно»,—и по дѣломъ: зачѣмъ Огаревъ печатаетъ свои стихотворенія въ «Отечественныхъ Запискахъ», а не въ «Москвитинѣхъ»? Шевыревъ называетъ повѣсти Панаева—«Дочь Чиновнаго Человѣка» и «Вѣдую Горячку»—дюжинными повѣстями, годными только на пустыя страницы журналовъ: опять та же причина дурнаго расположенія московскаго критика и его пристрастнаго сужденія о повѣстяхъ Панаева,—та же причина, т. е. «Отечественныя Записки!» И за что бы такъ почтенному критику сердиться на нашъ журналъ, столь изобильный хорошими и даже типическими произведеніями по части повѣствовательной?...

Далѣе, опять встрѣчаемъ негодование московскаго критика за предпочтеніе, отданное Галаховымъ Кольцову передъ Языковымъ и Хомяковымъ. Мы тоже съ этой стороны не совсѣмъ довольны издателемъ «Хрестоматіи»: ему бы совсѣмъ не слѣдовало помѣщать пьесы Языкова и Хомякова, особенно послѣдняго: зачѣмъ приучать мальчишкѣ къ фразерству и пустотѣ мыслей въ гладкихъ стихахъ? Шевыревъ удивляется, что Галаховъ русскимъ пѣснямъ Кольцова отдаетъ преимущество предъ русскими пѣснями Дельвига; странное удивленіе! Да кто же не чувствуетъ и не знаетъ, что русская пѣсня забытаго Дельвига столько же русская, сколько напр. идилліи г-жи Дезульеръ Теокритовскія; тогда какъ пѣсни Кольцова горятъ и трепещутъ, насквозь проникнуты русскимъ чувствомъ, русской душой?...

Заключимъ наши замѣтки указаніемъ на странную выходку Шевырева противъ «Похвальнаго слова Петру Великому» почтеннаго профессора А. В. Никитенко, этого образцоваго произведенія, полного здравыхъ мыслей, краснорѣчія и отличающагося изящнымъ языкомъ. Московскаго критика возмутила слѣдующая мысль въ «Словѣ» Никитенко: «Но еслибъ и самый утонченный, разсчитливый эгоизмъ вздумалъ спросить, что каждый изъ насъ почерпнулъ на свою долю въ новомъ порядкѣ вещей? мы отвѣчали бы: честь существовать по-человѣчески и облагодетельствовать свое существованіе всѣми нашими силами матеріальными и нравственными». Шевыревъ испещряетъ эти строки Никитенко и курсивомъ, и вопросительными знаками въ скобкахъ, а потому

доносить... читателю, что «это неприлично и безнравственно въ смыслѣ и религіозномъ, и патристическомъ, и исторически ложно!». Это, изволите видѣть, называется критикой у Шевырева... А между тѣмъ онъ же, Шевыревъ, очень наивно находитъ сравненіе Петра съ Богомъ, сдѣланное Ломоносовымъ, нисколько не гиперболическимъ!... «Неужели же русскій народъ до Петра Великаго не имѣлъ чести существовать по-человѣчески?» вопіетъ Шевыревъ. Если человѣческое существованіе народа заключается въ жизни ума, науки, искусства, цивилизаціи, общественности, гуманности въ нравахъ и обычаяхъ, то существованіе это для Россіи начинается съ Петра Великаго, — смѣло и утвердительно отвѣчаемъ мы Шевыреву. Да и кто въ этомъ не увѣренъ, вмѣстѣ съ ораторомъ, который во всей рѣчи имѣлъ одну цѣль — показать, чѣмъ мы обязаны Петру, какъ просвѣтителю своему. Въ справедливости нашей мысли ссылаемся на любимые авторитеты Шевырева и на Карамзина въ особенности. Петръ Великій — это новый Моисей, воздвигнутый Богомъ для изведенія русскаго народа изъ душнаго и темнаго плѣна азіатизма... Петръ Великій — это путеводная звѣзда Россіи, вѣчно должествующая указывать ей путь къ преуспѣянію и славѣ... Петръ Великій — это колоссальный образъ самой Руси, представитель ея нравственныхъ и физическихъ силъ... Нѣтъ похвалы, которая была бы преувеличена для Петра Великаго, ибо онъ далъ Россіи свѣтъ и сдѣлалъ русскихъ людьми... Никитенко развиваетъ въ своей рѣчи эти же самыя мысли — и за одинъ-то изъ самыхъ простыхъ логическихъ изъ нихъ выводовъ Шевыревъ дѣлаетъ ему упреки, которые не знаемъ какъ и назвать; знаемъ только, что они въ высшей степени неприличны и нелѣпы. Пусть читатели сами разсудятъ, какое можно имѣть довѣріе къ критику, который такъ понимаетъ и толкуетъ разбираемыхъ имъ писателей...

Скажемъ въ заключеніе, что грустное зрѣлище представляютъ собой литература и критика, гдѣ считающіе себя представителями науки и просвѣщенія или занимаются мелкими и пустыми вопросами, или на важные вопросы набрасываютъ тѣнь подозрительныхъ и двусмысленныхъ намековъ, готовые каждаго, кто не раздѣляетъ ихъ мнѣній, выставить какимъ-то противосмысленнымъ общему порядку явленіемъ... И между тѣмъ они-то первые и кричатъ противъ дурного тона, неприличной брани, грубаго неуваженія къ чужимъ мнѣніямъ, необразованной нетерпимости къ чужому убѣжденію, о безыменныхъ рыцаряхъ, о желтыхъ перчаткахъ... Милостивые государи! хотѣли бы мы сказать имъ: передъ вами ваши громкія виена, гражданскія и литературныя: утийте же поддержать предполагаемый вами блескъ, утийте заставить уважать свое достоинство, уважая сами достоинство другихъ; передъ вами ваши желтыя перчатки — не марайте же ихъ грязью мелкой журнальной брани и неприлич-

ныхъ выходокъ мелкаго и раздражительнаго самолюбія...

«Сѣверная Пчела», которая, какъ извѣстно, состоитъ по особымъ порученіямъ при «Отечественныхъ Запискахъ», хлопочетъ объ извѣстности ихъ и умышленно, но съ добрымъ намѣреніемъ говорить о нихъ разными нелѣпостями. Въ «Отечественныхъ Запискахъ», въ отдѣлѣ Критики, печатались въ нынѣшнемъ году, по поводу «Сочиненій Пушкина», большія статьи по части исторіи русской литературы; эти статьи имѣютъ связь между собою, и часто одна статья есть развитіе мыслей, едва обозначенныхъ въ предыдущей или, напротивъ, повтореніе въ краткихъ словахъ того, что было прежде въ подробности изложено. «Сѣверная Пчела», ревнуя къ пользамъ «Отечественныхъ Записокъ», догадалась, что имъ бы весьма хотѣлось обратить на эти историческія статьи вниманіе публики, и, въ порывѣ своей ревности, принялась за дѣло весьма ловко: она знаетъ, что въ предметъ столь щекотливомъ, какъ исторія литературы, особенно современной, значеніе каждаго слова измѣняется, смотря по тому, гдѣ оно поставлено, что ему предшествуетъ и что за нимъ слѣдуетъ, а наконецъ потому, какой смыслъ данъ этому слову предшествовавшимъ изложеніемъ. По призыву этой умышленной и весьма благонамѣренной разбѣянности, «Сѣверная Пчела», выписавъ наудачу нѣсколько словъ о Карамзинѣ, Державинѣ, Жуковскомъ и другихъ, — такъ сводитъ ихъ вмѣстѣ, что нечитавшіе «Отечественныхъ Записокъ» могутъ подумать, будто онѣ питаютъ величайшую злобу противъ всѣхъ именъ, которыми русская литература обязана своей славой. Вотъ что значитъ усердіе, руководимое опытной журнальной тактикой! «Сѣверная Пчела» вырываетъ клочками фразы изъ длинныхъ статей и приписываетъ имъ такой смыслъ, какового они не имѣли. Она знаетъ, что есть люди, которыхъ никакъ не убѣдишь, что напримѣръ слова: «Г-нъ А. болѣе замѣчательнъ по мыслямъ» — отнюдь не значать, что у А. нѣтъ чувства, или «Б. болѣе замѣчательнъ по блестящему стилю» — отнюдь не значить, что у Б. отсутствіе мыслей. Что дѣлать! есть на этомъ свѣтѣ такіе господа Половинкины, которые читаютъ только половину книги, половину страницы, половину фразы, едва ли не половину слова, — и изъ этихъ половинокъ сшиваютъ себѣ цѣлое мнѣніе. Вотъ такихъ-то людей и имѣетъ въ виду добрая и услужливая газета: она знаетъ, что эти люди, прочитавъ вырванные ею строки, разсердятся и бросятся читать «Отечественныя Записки»; тутъ-то они и пойманы: прочитавъ, они найдутъ совсѣмъ другое, примирятся съ журналомъ и сдѣлаются постоянными его читателями. Такъ и слѣдуетъ поступать, если хочешь услужить! Вотъ примѣръ недавній: въ 256 № «Сѣверная Пчела» производитъ фальшивую атаку на статью «Отечественныхъ Записокъ» о Жуковскомъ. Она вырываетъ

изъ статьи разныя фразы, которыя безъ связи съ пѣлымъ дѣйствительно могутъ имѣть призракъ того смысла, который какъ-будто хочется найти въ нихъ фельетонисту. Вслѣдствіе этихъ вырванныхъ тамъ и сямъ короткихъ фразъ изъ огромной статьи «Отечественныя Записки» дѣйствительно могутъ сдѣлаться въ глазахъ поверхностныхъ читателей такимъ журналомъ, который не умѣетъ отдавать должной справедливости Карамзину, Жуковскому и другимъ знаменитымъ и заслуженнымъ дѣателямъ русской литературы. Не видно ли въ этомъ горячаго усердія доброй газеты къ пользѣ «Отечественныхъ Записокъ»; такой способъ нападенія былъ бы уже слишкомъ неловокъ, еслибъ онъ былъ внушенъ враждебностью и желаніемъ вредить. Всякій основательный читатель, развернувъ «Отеч. Записки» и вникнувъ въ смыслъ пѣлой статьи, увидѣлъ бы тотчасъ, что «Сѣв. Пчела» съ дурнымъ умысломъ искажила содержаніе статьи и доноситъ... читателямъ не то, что сказано «Отечественными Записками». Конечно всякій основательный читатель и теперь можетъ это сдѣлать, но теперь онъ увидитъ, что «Сѣверная Пчела» сдѣлала это съ добрымъ намѣреніемъ, и похвалитъ ея умѣнье достигать доброй цѣли, т. е. какъ можно чаще заставлятъ своихъ читателей заглядывать въ «Отечественныя Записки». Дѣлая видъ, будто застываетъ за Жуковскаго противъ «Отечественныхъ Записокъ», «Сѣверная Пчела» спрашиваетъ: «Кто ввелъ романтизмъ въ русскую поэзію?» А о чемъ же и говорится, что же и доказывается въ статьѣ «Отечественныхъ Записокъ», какъ не то именно, что Жуковский ввелъ романтизмъ въ русскую литературу? Эта почтенная газета увѣряетъ еще, будто Лермонтова мы считаемъ равнымъ Карамзину писателемъ... Какое противорѣчіе! Мы превозносимъ Лермонтова, равняя его съ унижаемымъ нами Карамзиннымъ!!!! Воля ваша, а это — верхъ усердія въ желаніи услужить намъ! Правда, излишество этого усердія довело почтеннаго фельетониста до нелѣпости и бессмыслицы; но благое намѣреніе чего не оправдываетъ! Правда, мы никогда не равняли Лермонтова съ Карамзиннымъ, потому что было бы нелѣпо сравнивать великаго поэта съ знаменитымъ литераторомъ и историкомъ, и Лермонтова если можно съ кѣмъ сравнивать, такъ развѣ съ Жуковскимъ, съ Пушкинымъ, а ужъ отнюдь не съ Карамзиннымъ; но вѣдь «Сѣверной Пчелѣ» до этого что за дѣло? Ей нужно заставить, какими бы то ни было средствами, всѣхъ и каждого читать «Отечественныя Записки», а до смысла и правды нѣтъ надобности... Она говоритъ, что мы называемъ Жуковскаго изряднымъ переводчикомъ: кто читалъ нашу статью, тотъ помнитъ, что мы вездѣ называемъ Жуковскаго то превосходнымъ, то безпримѣрнымъ переводчикомъ. Что же причиной этого «изряднаго» искаженія нашихъ словъ, если не излишество усердія къ нашимъ пользѣмъ? «Сѣверная Пчела» ставитъ намъ (раз-

умѣется притворно) въ великую вину нашъ отзывъ о забытыхъ теперь балладахъ Жуковскаго «Людишлѣ» и «Свѣтланѣ»; но кто изъ людей, имѣющихъ хоть сколько нибудь смысла и вкуса, не согласится безусловно съ нашимъ мнѣніемъ объ этихъ незрѣлыхъ, юношескихъ произведеніяхъ поэта, столь богатаго другими произведеніями великаго достоинства? Вѣрно, чувствуя, что эта нападка на насъ уже чересчуръ усердна, «Сѣверная Пчела» придирается къ языку и восклицаетъ: «Зачѣмъ же вы, великіе мужи нашего времени, пишете, какъ писали подъячіе прошлаго времени? Стихи, которыми она, т. е. баллада, написана! Такъ не напишетъ ни одинъ посредственный литераторъ!»... Часъ-отъ-часу лучше! Вѣдь можно сказать — и всѣ русскіе всегда говорили, говорятъ и будутъ говорить: такая-то поэма писана гекзаметрами, а такая-то шестистопными ямбическими стихами, а нельзя, видите, сказать: стихи, которыми писана баллада... «Сѣверная Пчела» говоритъ, въ «Отечественныхъ Запискахъ» грамматики нѣтъ ни капли; чувствуете ли гиперболу? Чувствуете ли, что самъ фельетонистъ совсѣмъ этого не думаетъ и напередъ убѣжденъ, что никто ему не повѣритъ? «Сѣверная Пчела» какъ бы издѣвается надъ нашей фразой: «почувствуете себя скучающими и утомленными»; можетъ-быть такъ нельзя сказать по-русски, но по-русски это можно и очень можно сказать. — «Сѣверная Пчела» дѣлаетъ видъ, будто ее страшитъ то, что «Отечественныя Записки» овладѣваютъ безпрекословно литературнымъ поприщемъ и утверждаютъ на немъ свое мнѣніе. Тонкій намекъ, тонкая похвала, которую тотчасъ можно заимѣть подъ покровомъ умышленной боязни! Разумѣется, «Сѣверная Пчела» очень хорошо понимаетъ, что достичь этой цѣли журналу можетъ только своимъ внутреннимъ достоинствомъ, силой своего мнѣнія, а не фельетонными продѣлками, т. е. криками о своихъ минимыхъ заслугахъ, бранью на все талантливое и даровитое и т. п. — Добрая газета говоритъ, что «Отечественныя Записки» льстятъ юношеству и дѣтей называютъ умѣе отцовъ. Опять тонкая штука! Кто же повѣритъ, будто «Сѣв. Пчела» такъ ужъ недалеконидна, будто не понимаетъ, что процессъ совершенствованія общества производится именно черезъ умственный и нравственный успѣхъ юныхъ поколѣній? Было время, когда жгли колдуновъ и пытали не однихъ обвиненныхъ, но и подозрѣваемыхъ въ преступленіи; теперь этого нѣтъ вовсе: не выше ли же, не умѣе ли люди нашего времени людей тѣхъ варварскихъ и невѣжественныхъ временъ? А какимъ образомъ люди нашего времени стали такъ выше и такъ умѣе людей того времени? — Разумѣется, не вдругъ, а черезъ постепенное улучшеніе каждого новаго поколѣнія передъ старымъ. Разумѣется, наши понятія свѣжѣе, шире и глубже понятій отцовъ нашихъ — такъ же, какъ понятія дѣтей нашихъ будутъ свѣжѣе, шире и глубже нашихъ

понятій. Иначе, дѣти наши были бы жалкимъ поколѣніемъ, недостойнымъ дышать воздухомъ и видѣть свѣтъ Вожій. — Дальше, «Сѣверная Пчела» совѣтуетъ своимъ читателямъ внимательнѣе прочесть въ нашей статьѣ о Жуковскомъ мѣсто отъ словъ: «гораздо выше романтизмъ греческій» до словъ: «въ честь обомъ погибшихъ и была воздвигнута статуя Антэросъ», и убѣждаетъ при этомъ отцовъ и матерей не давать въ руки своимъ дѣтямъ «Отечественныхъ Записокъ». Ловкій оборотъ, раздражающій любопытство тѣхъ, которые не читали нашей статьи о Жуковскомъ! Извѣстно, что все таинственное, воспрещаемое только привлекаетъ къ себѣ, а не отталкиваетъ. И потому избави васъ Богъ подозрѣвать въ этихъ словахъ «Сѣверной Пчелы» злой умыселъ или черную клевету. Ничего этого нѣтъ. Все это не болѣе, какъ журнальная штука. Во-первыхъ, «Сѣверная Пчела» знаетъ, что указываемое ею мѣсто заключаетъ въ себѣ такіе факты о древнемъ мірѣ, которые изучаются юношествомъ какъ предметъ искусства древностей и исторіи, и которые могутъ казаться неприличными только чопорному жеманству мѣщанъ во дворянствѣ. Во-вторыхъ, какіе же родители позволяютъ малолѣтнимъ дѣтямъ читать журналы, издаваемые для взрослыхъ людей? Вѣроятно, если отецъ находитъ въ журналѣ что-нибудь интересное и полезное для дѣтей, самъ читаетъ имъ это, выпуская при чтеніи все, чего не слѣдуетъ дѣтямъ знать. Такъ напримѣръ, что интереснаго и поучительнаго для дѣтей узнать изъ 170 № «Сѣверной Пчелы», что Гречъ, разсерженный голландской медленностью, «не могъ удержаться отъ древняго восклицанія, которымъ на Руси выражаются всякія движенія душевныя», и которое заставило его просить у двухъ нѣмцевъ извиненія въ томъ, что онъ — русскій («Сѣверная Пчела», № 170)?... Что полезнаго увидятъ они въ рассказахъ того же Греча (присылаемыхъ изъ Парижа) о подвигахъ парижскихъ воровъ и мошенниковъ или о похожденияхъ французскихъ актрисъ, напримѣръ о болѣзни дѣвицы Рашель, которая избавится отъ этой болѣзни черезъ шесть недѣль? Что наставительнаго прочтутъ они въ «юмористическихъ» статейкахъ Булгарина, гдѣ говорится о взяточникахъ, подъячихъ, и проч., и проч. Дѣтямъ тутъ нечего читать, старики же посягаются, поморщиваются, а все-таки читаютъ... «Сѣверная Пчела» знаетъ это очень хорошо, и потому-то такъ смѣло нападаетъ на «Отечественныя Записки». Чтобъ не пропустить времени подписки на журналы, она теперь удваиваетъ свое усердіе и нарочно громоздитъ нелѣпость на нелѣпости, чтобъ только выказать намъ свою службу, за что мы и благодаримъ ее всепокорно. Она ужъ прямо говоритъ, что всѣ наши сужденія о литературѣ (№ 256) — «сухая нелѣпица и одинъ разсчетъ». Такъ и надо! она вѣдь знаетъ, что никто не повторитъ этого о журналѣ, который давно уже пользуется извѣстностью,

какъ лучший русскій журналъ, и который пріобрѣлъ уже огромный успѣхъ и довѣріе въ публикѣ. Этого мало: она теперь, кажется, въ сотый разъ увѣряетъ, будто «Отечественныя Записки» издаются для какого-то бѣднаго семейства, тогда какъ давно уже доказано, что «Отечественныя записки» никогда не издавались, не издаются и не будутъ издаваться въ пользу какого бы то ни было бѣднаго семейства, и что онѣ составляютъ собственность издателя ихъ, ни съ кѣмъ имъ не раздѣляемую. Такое усердіе къ нашимъ пользамъ намъ даже кажется немножко излишнимъ. Зачѣмъ прибѣгать къ подобнымъ ухищреніямъ для привлеченія намъ подписчиковъ, которыхъ и безъ того много? «Сѣверная Пчела» можетъ доставлять, какъ доставляла и до сихъ поръ, намъ читателей простыми средствами, т. е. браня насъ ежедневно. — Вотъ что касается до извѣщенія ея (№ 256), будто бы «Отечественныя Записки» обязаны своимъ существованіемъ (!) великодушному самоотверженію бумажнаго фабриканта, бумагопродавца и типографщика Жернакова (!!!??), — это другое дѣло: она, во-первыхъ, хотѣла риторическимъ языкомъ сказать простую истину, что «Отечественныя Записки» печатаются въ типографіи Жернакова, которая дѣйствительно работаетъ очень усердно, хотя и не самоотверженно, потому что весьма исправно получаетъ за это довольно значительную плату; во-вторыхъ, ей хотѣлось намекнуть, что «Отечественныя Записки» съ будущаго года не будутъ уже печататься въ типографіи Жернакова, а перенесутся въ другую типографію; но остерегалась это сдѣлать, дожидаясь нашего о томъ извѣщенія; мы же съ своей стороны не считали за нужное извѣщать о такой бездѣлицѣ. Но теперь, чтобъ выручить изъ бѣды «Сѣверную Пчелу», желавшую подать намъ случай опровергнуть объявленія ея, будто журналъ нашъ не могъ и не можетъ существовать безъ типографіи Жернакова, — вынуждены сказать, что дѣйствительно съ будущаго года «Отечественныя Записки» будутъ печататься въ типографіи Глазунова и К^о, гдѣ уже нарочно для нихъ куплена большая скоропечатная машина, могущая отпечатывать до 1000 листовъ въ часъ, и приготовленъ новый шрифтъ изъ знаменитой словолитни Ревильиона. Первая книжка «Отечественныхъ Записокъ» 1844 года будетъ уже набрана этимъ шрифтомъ и отпечатана на этой машинѣ. Скорость печатанія доставитъ намъ возможность рѣнѣе разсылать книжки для иногородныхъ читателей, нежели какъ было дѣлаемо это до сихъ поръ. Довольно ли?

Но напрасно, намъ кажется, «Сѣверная Пчела» жалуется, будто мы обижали ее за ея похвалы Ольхину. Опять не то, и вѣроятно опять изъ усердія къ намъ! Мы смѣемся только надъ гимнази и дневрамбами ея Ольхину, о которомъ она говоритъ, что — не то воздвигся, не то возсталъ новый дѣятель, котораго природа одарила див-

ними качествами ума и сердца, потому — что онъ издаетъ сочиненія Ѳ. Булгарина, ничего ему за нихъ не заплативши (№ 256 «Сѣверной Пчелы»). Дѣйствительно, со стороны Ольхина очень великодушно употребить значительную сумму на изданіе стараго литературнаго хлама, котораго конечно у него никто покупать не будетъ; но что же въ этомъ пользы для русской литературы? По нашему мнѣнію, это даже и совсѣмъ не литературное дѣло. Въ томъ же номерѣ «Сѣверной Пчелы» говорится, что «иностранные журналы берутъ деньги съ актѣровъ, авторовъ и книгопродавцевъ за похвалы», и къ этому прибавляетъ элегическимъ тономъ: «Быть можетъ: но у насъ нѣ(е)кому дать и нѣ(е)кому взять! Какой актѣръ, какой авторъ, какой книгопродавецъ у насъ дастъ деньги?» Въ самомъ дѣлѣ, должно быть прискорбно, — и мы не можемъ не уважать этого унынія нашей доброй газеты, хотя, право, никакъ не въ силахъ раздѣлять его, потому что ничего не понимаемъ по этой части... Но это эпизодъ, вставка: обратимся къ главному.

«Сѣверная Пчела» служитъ намъ не только тогда, когда бранитъ «Отечественныя Записки», вызывая этимъ насъ на побѣдоносное опроверженіе, но и тогда, когда восхваляетъ такіе журналы, похвалу которымъ всякій приметъ не иначе, какъ за иронию. Прежде всего она преусердно хвалитъ самое себя: къ этому уже всѣ привыкли, и всякій знаетъ этому цѣну. Потому она увѣряетъ публику, что «Сынъ Отечества», подъ редакціей Масальскаго, сдѣлался «прекраснымъ, прелюбопытнымъ, справедливымъ и безпристрастнымъ въ своихъ сужденіяхъ журналомъ», и что будто бы этотъ Масальскій «трудами своими заслужилъ почетное имя въ литературѣ, а благонамѣренностью своихъ критикъ приобрѣлъ уваженіе даже своихъ противниковъ», и что «къ совершенству издаваемого имъ «Сына Отечества» не достаетъ только аккуратности въ выходѣ книжекъ»... Какъ непримѣтно и больно уколотъ этимъ несчастный «Сынъ Отечества»! *)

Вотъ также черта услужливости «Сѣверной Пчелы» въ отношеніи къ намъ. Ей (№ 232) не понравилось сужденіе наше объ «Исторіи Государства Россійскаго» Карамзина, и она начинаетъ разсуждать, какое имѣетъ право судить объ «Исторіи» Карамзина издатель «Отечественныхъ Записокъ»? и рѣшаетъ, что онъ не имѣетъ никакого права, ибо не написалъ нѣсколькихъ сочиненій, удовлетворяющихъ потребностямъ современнаго общества. Какъ, спросите вы: неужели для того, чтобы имѣть право критиковать на примѣръ «Иліаду», критикъ сперва самъ долженъ

написать поэму не хуже Гомеровою? Неужели критика не есть самостоятельный талантъ, который выказывается не въ своемъ призваніи, въ своемъ дѣлѣ, т. е. въ критикѣ, а въ поэзіи, въ исторіи и т. д?... Да послѣ этого не только поэты и историки лишатъ критиковъ права судить о поэтическихъ и историческихъ сочиненіяхъ, но нельзя будетъ сказать и портному, зачѣмъ онъ испортилъ фракъ, не опасаясь услышать отъ него въ оправданіе: а вы развѣ умѣете шить фракъ лучше моего, что беретесь критиковать мою работу?—Еще образчикъ: «Сѣверная Пчела» выдумываетъ (№ 250), будто мы упрекаемъ Ѳ. Булгарина въ старости, словно въ порокъ какому-нибудь, тогда какъ мы говорили не о старости его, а о томъ, что онъ выдаетъ за новость понятія и идеи, которыя были новы, интересны и основательны назадъ тому лѣтъ тридцать съ небольшимъ, и о томъ еще, что Ѳ. Булгаринъ давно уже весь выписался... Что же дѣлаетъ «Сѣверная Пчела»? Она примѣромъ Вальтеръ-Скотта, Вольтера, Гёте, Шарля Нодье, Ламартина, Кузена, Вильжена, Гизо, Баранта, Шатобріана, Карамзина и Жуковскаго начала доказывать, что Ѳ. Булгаринъ и въ преклонныхъ лѣтахъ можетъ быть отличнымъ прозаикомъ, критикомъ, историкомъ и романистомъ!!!! Скажите, пожалуйста, можно ли такъ шутить!

Лестное вниманіе къ намъ со стороны «Сѣверной Пчелы» и вѣрная долговременная служба ей «Отечественнымъ Запискамъ» трогаютъ насъ до глубины души, и мы въ концѣ года обязанностию считаемъ свидѣтельствовать ей нашу искреннюю благодарность. Почти не бываетъ номера этой газеты, въ которомъ не говорилось бы, прямо или косвенно, объ «Отечественныхъ Запискахъ», особенно въ субботнихъ фельетонахъ, которые пишутся исключительно для однихъ «Отечественныхъ Записокъ». «Сѣверная Пчела» учитъ науку и знаетъ всѣ статьи наши, особенно критическія, библиографическія и журнальныя замѣтки, въ то же время притворно увѣряя публику, будто издателя и сотрудники и въ руки не берутъ «Отечественныхъ Записокъ», почитая для себя унизительнымъ читать ихъ, и еще болѣе — писать о нихъ. Намъ не для чего притворяться, и потому мы можемъ прямо и открыто сказать, что читаемъ въ «Сѣверной Пчелѣ» аккуратно всѣ статьи и статейки, въ которыхъ упоминается что-либо объ «Отечественныхъ Запискахъ». Благодарность — чувство невольное, а мы такъ одолжены «Сѣверной Пчелой»! Вудемъ надѣяться, что въ слѣдующемъ году усердіе «Сѣверной Пчелы» не ослабнетъ, и она не разъ подастъ намъ поводъ поговорить о самихъ себѣ публикѣ: она знаетъ, что безъ этого повода мы никогда не говоримъ о себѣ. Итакъ, добрая сотрудница наша, до новаго года!...

*) А «Сына Отечества» до сихъ поръ вышло только пять книжекъ, т. е. послѣдняя книжка его была за май, тогда какъ у насъ теперь декабрьскіе морозы!

IV. ТЕАТРЪ.

РУССКІЙ ТЕАТРЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

ЖЕНИТЬБА: Оригинальная комедія въ двухъ дѣйствіяхъ, сочиненіе Н. В. Гоголя (автора «Ревизора»).

Въ ожиданіи выхода полного собранія сочиненій Гоголя скажемъ здѣсь нѣсколько словъ о характерахъ въ новой комедіи его «Женитьба». Подколесинъ — не просто вялый и нерѣшительный человѣкъ съ слабой волей, которымъ можетъ всякій управлять: его нерѣшительность преимущественно выказывается въ вопросѣ о женитьбѣ. Ему страхъ какъ хочется жениться, но приступить къ дѣлу онъ не въ силахъ. Пока вопросъ идетъ о намѣреніи, Подколесинъ рѣшительнѣе до героизма; но чуть коснулось исполненія — онъ труситъ. Это недугъ, который знакомъ слишкомъ многимъ людямъ, поумнѣе и пообразованнѣе Подколесина. Въ характерѣ Подколесина авторъ подмѣтилъ и выразилъ черту общую, слѣдовательно идею. Подколесинъ покоряется одному Кочкареву, потому что тотъ нахалъ, которому не уступить — значитъ рѣшиться на исторію, конечно не опасную, но зато неприличную, а одно стѣбитъ другого. Кочкаревъ — добрый и пустой малый, нахалъ и разбитная голова. Онъ скоро знакомится, скоро дружится и сейчасъ на ты. Горе тому, кто удостоится его дружбы! Кочкаревъ переставитъ у него по-своему мебель въ комнатѣ, да еще будетъ ругать, если тотъ не усердно будетъ помогать ему распоряжаться въ своемъ домѣ. Кочкаревъ навязжетъ другу своего портного, своего сапожника не потому, чтобы убѣжденъ былъ въ ихъ превосходствѣ, а для того только, чтобы сказать: «я рекомендовалъ». Кочкаревъ хочетъ, чтобы все шло и дѣлалось черезъ него, и чтобы всѣ говорили: «этотъ человѣкъ на всѣ руки». Для этого онъ готовъ хлопотать, биться до пота лица, перенести, что угодно. Другъ его собирается купить домъ: у Кочкарева ужъ есть на примѣтѣ домъ — отличнѣйшій во всѣхъ отношеніяхъ, именно такой, какой нуженъ его другу: онъ самъ, правду сказать, и не былъ въ этомъ домѣ, но готовъ сейчасъ же расписать расположеніе его комнатъ, доказать его удобство, выгодность, побожиться за достоинство каждой половицы, каждого стропила. Если другъ не захочетъ смотрѣть этого дома, онъ потащитъ его, бу-

детъ упрашивать, умолять, а въ случаѣ рѣшительнаго отказа — разсорится съ другомъ по-своему: назоветъ его и «свиньей», и «подлецомъ». Первыя слова его свахѣ, которую засталъ онъ у Подколесина, были: «Ну, послушай, на кой чортъ ты меня женила?» Изъ этого видно уже, что женитьба не очень осчастливила его, и что не ему бы хлопотать о женитьбѣ другихъ. Но не тутъ-то было: провъдавъ о чужомъ дѣлѣ, онъ уже похожъ на гончую собаку, почуявшую зайца; чтобы похлопотать, онъ описываетъ женитьбу самыми оболъстительными красками, какія только можетъ ему дать его грубая фантазія. И потому, если актеръ, выполняющій роль Кочкарева, услышавъ о намѣреніи Подколесина жениться, сдѣлаетъ значительную мину, какъ человѣкъ, у котораго есть какая-то цѣль, — то онъ испортитъ всю роль съ самаго начала. Въ концѣ пьесы Кочкаревъ, взбѣсившись на Подколесина, самъ говоритъ: «Да если ужъ пошло на правду, то и я хорошъ. Ну, скажите пожалуйста, вотъ я на всѣхъ сошлюсь: ну, не олухъ-ли я, не глупъ-ли я? Изъ чего бьюсь, кричу, инда горло пересохло? Скажите, что онъ мнѣ? родня что-ли? И что я ему такое — нянька, тетка, свекруха, кума что-ли? Изъ какого же дьявола, изъ чего я хлопочу о немъ, не знаю себѣ покою, нелегкая прибрала бы его совсѣмъ? — А просто чортъ знаетъ изъ чего! поди ты, спроси иной разъ человѣка, изъ чего онъ что-нибудь дѣлаетъ!» Въ этихъ словахъ — вся тайна характера Кочкарева. — Ж е в а к и н ѣ — не кривляка, не шутъ: это старый селядонъ, а потому и щеголь, несмотря на свой старинный мундиръ. Куда-бы ни занесла его судьба — хоть въ Китай, не только въ Сицилію, — онъ вездѣ займѣтитъ одно только «розанчики этакіе». Кромѣ «розанчиковъ» для него ничто на свѣтѣ не существуетъ. — А н у ч к и н ѣ — человѣкъ, живущій и бредящій однимъ — высшимъ обществомъ, котораго онъ никогда и во снѣ не видывалъ и съ которымъ у него нѣтъ ничего общаго. Онъ почтиаетъ себя образованнымъ человѣкомъ и, услышавъ о Сициліи, сейчасъ захотѣлъ узнать, говорятъ-ли тамъ «барышни» по-французски. Барышни, французскій языкъ и обхожденіе высшего общества — въ этомъ для него и смыслъ жизни, и цѣль жизни, и кромѣ этого для него ничто не

существуетъ. Много попадаетъ Анучинныхъ на бѣломъ свѣтѣ: они-то громче всѣхъ хлопаютъ актерамъ и вызываютъ ихъ; они-то восхищаются всякимъ плоскимъ и грубымъ двусмыслиемъ въ водевилѣ и осуждаютъ пьесы за неприличный тонъ; они-то не любятъ ни на сценѣ, ни въ книгахъ людей низкаго званія и грубыхъ выраженій. Анучкинъ—въ высшей степени типическое лицо, для представленія котораго на театрѣ нужно много ума и таланта. Пятое дѣйствующее лицо—Я и ц а (экзекуторъ). Это—человѣкъ грубый, матеріальный; но онъ живетъ и служитъ въ Петербургѣ—стало-быть, не похожъ на провинціального медвѣдя. Вообще для хорошаго выполненія ролей, созданныхъ Гоголемъ, актерамъ всего нужно нѣе наивность, отсутствіе всякаго желанія и усилія смѣшнить. Если человѣкъ имѣетъ смѣшную или слабую сторону, онъ тѣмъ и возбуждаетъ смѣхъ, что не предполагаетъ въ себѣ ничего смѣшного или страннаго. Въ обществѣ никто не станетъ стараться смѣшнить другихъ на свой счетъ, а сцена должна быть зеркаломъ общества...

Лицо С в а х и въ «Женитьбѣ»—одно изъ самыхъ живыхъ и типическихъ созданій Гоголя. Бойкость, яркость движеній, трещоточный разговоръ должны быть прежде всего сличены актрисой, выполняющей эту роль; малѣйшая вялость, тяжеловатость сейчасъ испортятъ дѣло. Это баба, наметающаяся въ своемъ ремеслѣ; ея не разстроитъ никакое обстоятельство, не смутитъ никакое возраженіе; у нея готовъ отвѣтъ на всякій вопросъ. Невѣста спрашиваетъ сваху про одного изъ жениховъ, не пьетъ-ли онъ. «А пьетъ, не прекословлю, пьетъ! Что же дѣлать? ужъ онъ титулярный совѣтникъ, за то такой тихій, какъ шолкъ», отвѣчаетъ сваха и, въ утѣшеніе, прибавляетъ: «Впрочемъ что жъ такого, что иной разъ выпьетъ лишнее? Вѣдь не всю же недѣлю бываетъ пьянъ—иной день выберется и трезвый». Про другого она говоритъ: «Немножко занкается, зато ужъ такой скромный».

Сколько юмора, какой языкъ, какіе характеры, какая типическая вѣрность натурѣ! Но, увы, словно нетопыри прекраснымъ зданіемъ овладѣли нашей сценой пошлыми комедіи съ прятничной любовью и неизбежной свадьбой! Это называется у насъ «сюжетомъ». Смотря на наши комедіи и водевили и принимая ихъ за выраженіе дѣйствительности, вы подумаете, что наше общество только и занимается, что любовью, только и живетъ и дышитъ, что ею! И какой любовью—безкорыстной, безъ всякаго расчета на приданое, на связи и покровительство!..

Братья купцы, или игра счастья. Драма въ пяти дѣйствіяхъ, въ стихахъ, переведенная съ нѣмецкаго П. Г. Ободовскимъ.

Рубенсъ въ Мадридѣ. Историческая драма въ четырехъ дѣйствіяхъ, въ стихахъ, переложенная съ нѣмецкаго. (Отрывокъ.)

Поэзія каждаго народа тѣсно сопряжена съ его жизнью и исторіей. Отсюда изъясняются успѣхи

извѣстнаго народа въ одномъ родѣ поэзіи и неуспѣхи его въ другомъ. Какъ нація, отличающаяся внутренней, субъективной настроенностью духа, Германія вся высказалась и вылилась въ лирической поэзіи. Ни одинъ народъ въ Европѣ не имѣетъ столько замѣчательныхъ лириковъ, какъ нѣмцы, и ни въ одной европейской литературѣ лирическая поэзія не развилась до такой степени, какъ въ нѣмецкой литературѣ. Созерцательность, какъ начало внутреннее и спокойное, противоположное дѣятельному началу, составляетъ отличительную черту мыслительно-идеальнаго характера нѣмцевъ,—и ей-то обязаны они своей музыкальностью и своимъ лиризмомъ. Зато, какъ у народа болѣе семейственнаго, чѣмъ общественнаго, болѣе созерцающаго, чѣмъ дѣйствующаго, у нѣмцевъ нѣтъ ни драмы, ни романа. Всѣ попытки ихъ въ этихъ родахъ ознаменованы печатью особеннаго ничтожества, жалкаго безсилія и смѣшного уродства. Въ этомъ случаѣ должно исключить одного Шиллера. Но этотъ великій поэтъ въ драмахъ своихъ остался вѣренъ національному духу: преобладающій характеръ его драмъ—чисто лирический, и онѣ ничего общаго не имѣютъ съ прототипомъ драмы, изображающей дѣйствительность—съ драмой Шекспира. Въ своей сферѣ драмы Шиллера—великія, вѣковыя созданія; но ихъ не должно смѣшивать съ настоящей драмой новаго міра, и онѣ гораздо больше имѣютъ общаго съ греческой трагедіей, чѣмъ съ Шекспировскою драмой. Для большаго поясненія нашей мысли скажемъ, что къ такому роду драмъ, какъ Шиллеровскія, относится и «Манфредъ» Байрона. Надо быть слишкомъ великимъ лирикомъ, чтобы свободно ходить на котурнѣ Шиллеровской драмы: простой талантъ, взбравшійся на ея котурнѣ, непременно падаетъ съ него—прямо въ грязь. Вотъ отчего всѣ подражатели Шиллера такъ приторны, пошлы и несносны. «Фаустъ» и «Прометей» Гёте—тоже національныя нѣмецкія драмы, ибо глубокое философское содержаніе высказалось въ нихъ бурнымъ потокомъ лирическаго пафоса, а драматизмъ ихъ одна внѣшняя форма; отъ драматизма онѣ взяли только діалогъ. Зато всѣ прочія драмы Гёте, кромѣ одного «Гетца», представляющаго собой какое-то странное исключеніе изъ общаго правила,—живыя свидѣтельства неспособности нѣмцевъ къ драмѣ, какъ выраженію дѣйствительности. Не говоря уже о такихъ жалкихъ созданіяхъ, какъ «Клавіго», «Стелло», «Братъ и Сестра»,—самымъ «Эгмонтомъ» Гёте можетъ, какъ драмой, очароваться только неопытное эстетическое чувство, не умѣющее отличать поддѣлки и ложныхъ усилій отъ свободнаго творчества. Изъ романа нѣмцы сдѣлали какой-то свой особенный родъ поэзіи; они въ немъ то сантиментальничали съ Августомъ Лафонтеномъ, то тѣшили фантазмагорическими аллегоріями съ Шпассомъ, то превращали дѣйствительность въ фантазмагорію съ гениальнымъ сумасбродомъ Гофманомъ, котораго геній задохся

въ тѣснотѣ идеальной и гофратской дѣйствительности. Отъ этого въ литературномъ мірѣ нѣтъ ничего хуже нѣмецкихъ романовъ, повѣстей и въ особенности драмъ. Къ несчастію, число послѣднихъ безконечно велико и со дня на день все прибываетъ, какъ полая вода весной, грозя затопить театръ. Но англичанъ и французовъ, имѣющихъ свою національную и истинную драму, не легко обморочить сладкими супами нѣмецкой драматической кухни: они на нихъ не смотрятъ. Благодаря досужеству и бездарности нѣкоторыхъ русскіихъ сочинителей и переводчиковъ, намъ, русскимъ, досталось на долю, вѣвая и морщась, лакомиться приторными отъ сладости драматическими супами нѣмцевъ. Въ XVII № «Репертуара» за прошлый годъ напечатана драма Гуцкова «Вернеръ, или Сердце и Свѣтъ». Боже великій, что это за дивная галиматья, что за геніальность бездарности? Не знаешь, чему болѣе дивиться въ ней: незнанію ли сердца человѣческаго, или незнанію свѣта! Нѣтъ, не далась нѣмцамъ драма, не дался имъ театръ: въ послѣднемъ у нихъ много изученія, ума, даже учености, но нѣтъ жизни и натуры,—натянута въ позахъ, въ манерахъ, въ дикціи, бюргерство и честность, гофратство и аккуратность, но не сценическое искусство, не поэзія...

«Братья-Купцы» и «Рубенсъ въ Мадридѣ» принадлежатъ къ самымъ образцовымъ уродамъ драматической нѣмецкой кунсткамеры. Скучно, тяжело и для насъ, и для читателей было бы пересказыванье этой путаницы приключеній и похожденій, лишенныхъ всякой правдоподобности и естественности,—путаницы, которая составляетъ содержаніе этихъ двухъ приторныхъ драмъ.

Помоносовъ, или жизнь и поэзія.
Драматическая поэма въ пяти дѣйствіяхъ, въ прозѣ и стихахъ, соч. Н. А. Полевого. Дѣйствіе первое: рыбакъ; дѣйствіе второе: поэтъ; дѣйствіе третье: цѣли жизни; дѣйствіе четвертое: поэтъ и люди; дѣйствіе пятое: великій человѣкъ.

Полевой и Ободовскій завладѣли сценой Александринскаго театра, вниманіемъ и восторгомъ его публики. И если нельзя не завидовать лаврамъ этихъ достойныхъ драматурговъ, то нельзя не завидовать и счастью публики Александринскаго театра; она счастливиѣ и англійской публики, которая имѣла одного только Шекспира, и германской, которая имѣла одного только Шиллера: она, въ лицѣ Полевого и Ободовскаго, имѣетъ вдругъ и Шекспира, и Шиллера! Полевой—это Шекспиръ публики Александринскаго театра, Ободовскій—это ея Шиллеръ. Первый отличается разнообразіемъ своего генія и глубокимъ знаніемъ сердца человѣческаго; второй—избыткомъ лирическаго чувства, которое такъ и хлещетъ у него черезъ край потокомъ огнедышущей лавы. Тамъ, гдѣ у Полевого не хватаетъ генія или оказывается недостатокъ въ сердцевѣдѣніи, онъ обыкновенно прибѣгаетъ къ балетнымъ сценамъ и,

подъ звуки жалобно протяжной музыки, устраиваетъ патетическія сцены разставанія нѣжныхъ дѣтей съ дражайшими родителями или вѣрнаго супруга съ обожаемой супругой. Тамъ, гдѣ у Ободовскаго изсякаетъ на минуту самородный источникъ бурно-пламеннаго чувства, онъ прибѣгаетъ къ пляскѣ, заставляя героя (а иногда и героиню) патетически-патріотической драмы отхватывать въ присядку какой-нибудь національный танецъ. Обвиняютъ Ободовскаго въ подражаніи Полевому; но вѣдь и Шиллеръ подражалъ Шекспиру! Обвиняютъ Полевого въ похищеніяхъ у Шекспира, Шиллера, Гёте, Мольера, Гюго, Дюма и прочихъ; но это не только не похищенія—даже не замѣстоуствованія; извѣстно, что Шекспиръ бралъ свое, гдѣ ни находилъ его: то же дѣлаетъ и Полевой, въ качествѣ Шекспира Александринскаго театра. Полевой пишетъ и драмы, и комедіи, и водевили; Шекспиръ писалъ только драмы и комедіи: стало-быть, геній Полевого еще разнообразнѣе, чѣмъ геній Шекспира. Шиллеръ писалъ однѣ драмы и не писалъ комедій: Ободовскій тоже пишетъ однѣ драмы и не пишетъ комедій. Полевой началъ свое драматическое поприще подражаніемъ «Гамлету» Шекспира; Ободовскій началъ свое драматическое поприще переводомъ «Дона Карлоса» Шиллера. Подобно Шекспиру, Полевой началъ свое драматическое поприще уже въ лѣтахъ зрѣлаго мужества, а до тѣхъ поръ, подобно Шекспиру, съ успѣхомъ упражнялся въ разныхъ родахъ искусства, свойственныхъ незрѣлой юности, и, подобно Шекспиру, началъ свое литературное поприще нѣсколькими лирическими пьесами, о которыхъ въ свое время извѣстилъ русскію публику Свиньинъ. Ободовскій, подобно Шиллеру, началъ свое драматическое поприще въ лѣта пылкой юности. Намъ возражать можетъ-быть, что Шекспиръ не прибѣгалъ къ балетнымъ сценамъ, и Шиллеръ не заставлялъ плясать своихъ героевъ; такъ: но вѣдь нельзя же ни въ чемъ найти совершеннаго сходства; притомъ же балетныя сцены и пляски можно отнести скорѣе къ усовершенствованію новѣйшаго драматическаго искусства на сценѣ Александринскаго театра, чѣмъ къ недостаткамъ его. Послѣ Шекспира и Шиллера драматическое искусство должно же было подвинуться впередъ,—и оно подвинулось: въ драмахъ Полевого, съ приличной важностью менуэтной выступки, а въ драмахъ Ободовскаго, съ дробной быстротой малороссійскаго трепака,—въ чемъ сверхъ того выразились и степенныя лѣта перваго сочинителя, и порывистая юность второго. Что же касается до несходствъ,—ихъ можно найти и еще нѣсколько. Шекспиръ началъ свое поприще несчастно: Полевой счастливо; Шекспиръ не обольщался своей славой и смотрѣлъ на нее съ улыбой горькаго британскаго юмора: Полевой вполнѣ ужъетъ цѣнить пожатые имъ на сценѣ Александринскаго театра лавры. Шиллеръ былъ гонимъ въ юности и уважаетъ въ лѣта мужества: Ободовскій былъ ласкаемъ и уважаетъ

со дня вступленія своего на драматическое поприще, и т. д.

Еслибы не усердіе и трудолюбіе этихъ достойныхъ драматурговъ, — русская сцена пала бы совершенно, за немѣнѣемъ драматической литературы. Теперь она только и держится, что Полевымъ и Ободовскимъ, которыхъ поэтому можно назвать русскими драматическими Атлантами. Обыкновенно они дѣйствуютъ такъ: когда сцена истощится, они пишутъ новую пьесу, и пьеса эта дается разъ пятьдесятъ сряду, а потомъ уже совѣтъ не дается. Такъ недавно тѣшилъ Ободовскій публику Александринскаго театра своей безподобной драмой «Русская Боярыня XVII столѣтія»; такъ недавно тѣшилъ Полевой публику Александринскаго театра «Еленой Глинской», а на прошлой масляницѣ потѣшалъ ее «Ломоносовымъ», который былъ данъ ровно девятнадцать разъ, и который уже едва ли данъ будетъ въ двадцатый разъ. Сама «Сѣверная Пчела» (зри 35 №) выразилась объ этомъ такъ: «Дайте десять разъ сряду пьесу, и она уже старая! Всѣ ее видѣли, всѣ наслаждались ею, и занимательность пропала. А пусть бы играли ту же пьесу два раза въ недѣлю, она была бы свѣжа втеченіе года. Вотъ придетъ масляница, и къ посту пьеса превратится въ Демьянову уху». Полно, правда ли это? Намъ кажется, что для такой пьесы, какъ «Ломоносовъ», очень выгодно быть представленной девятнадцать разъ въ продолженіе двадцати дней, по пословицѣ: куй желѣзо, пока горячо. Чтѣ изыщно, то всегда интересно, и занимательность хорошей пьесы не можетъ пропасть ни съ того, ни съ сего. «Горе отъ ума» и «Ревизоръ» и теперь даются, и всегда будутъ даваться. А «Ломоносовъ» и К^о пошумать, пошумать недѣлю двѣ-три, да и умрутъ скорострѣжно, пропадутъ безъ вѣсти.

Ксенофонтъ Полевой сдѣлалъ изъ жизни Ломоносова нѣчто среднее между повѣстью и біографіей. Онъ вѣрно придерживался тѣхъ немногихъ и главныхъ фактовъ жизни Ломоносова, которые дошли до нашего времени, вѣрно держался духа, разлитаго въ твореніяхъ Ломоносова, и очень искусно замѣстилъ пробѣлы въ жизни Ломоносова возможными и вѣроятными распространеніями и вымыслами, которые не противорѣчатъ ни извѣстнымъ фактамъ жизни, ни духу твореній Ломоносова. Такимъ образомъ у К. Полевого вышла книга, искусно изложенная. Н. Полевой, соревнующій всѣмъ прошедшимъ успѣхамъ, отъ водевиля Аблесимова, драмъ Иванова и Ильина, до многочисленныхъ драматическихъ опытовъ князя Шаховскаго, поревновалъ и успѣху брата своего, К. Полевого, — и изъ хорошей книги выкроилъ плохую драму, въ которой, ради драматической шумихи дурного тона и трескучихъ эффектовъ, нарушилъ историческую истину и изъ характера отца русской учености и литературы сдѣлалъ жалкую карикатуру. Жизнь Ломоносова нисколько не драматическая, и К. Полевой очень

хорошо поступилъ, сдѣлавъ изъ нея нѣчто среднее между біографіей и повѣстью. Ломоносовъ былъ человѣкъ съ душой поэтической; мы охотно допускаемъ въ немъ и талантъ поэтический; но кому же не извѣстно, что наука была преобладающей страстью его, и что заслуги его въ области науки несравненно значительнѣе и выше, чѣмъ въ области поэзіи и краснорѣчія? Полевой, не разъ печатно говорившій, что Ломоносовъ — не поэтъ, сдѣлалъ въ своей драмѣ Ломоносова по преимуществу поэтомъ и на его поэтическомъ стремленіи основалъ пафосъ своей драмы. Какъ вамъ покажется это противорѣчіе критика съ поэтомъ (ибо Полевой, не шутя, считаетъ себя поэтомъ)? Но это противорѣчіе не единственное: Полевой въ продолженіе почти десятилѣтняго изданія своего «Телеграфа» постоянно и съ какими-то ожесточеніемъ преслѣдовалъ драматическіе труды князя Шаховскаго, а теперь самъ неутѣшимо подвизается на его поприщѣ, и притомъ въ томъ же духѣ, въ тѣхъ же понятіяхъ объ искусствѣ, только съ меньшимъ талантомъ, нежели князь Шаховской. И такихъ противорѣчій между Полевымъ, какъ бывшимъ критикомъ, и между Полевымъ, какъ теперешнимъ дѣйствителемъ на поприщѣ изыщной словесности, можно найти много. Откуда же происходятъ эти противорѣчія, въ чемъ ихъ источникъ, гдѣ ихъ причина? По нашему мнѣнію, эти противорѣчія суть нѣчто кажущееся, въ самомъ же дѣлѣ ихъ нѣтъ. Какъ критикъ, Полевой не выше Полевого-романиста и драматурга. Критика Полевого отличалась вкусомъ, остроуміемъ, здравымъ смысломъ, когда въ нее не вмѣшивались пристрастіе и оскорбленное сочинительское самолюбіе; но законы изыщнаго, глубокаго смысла искусства всегда были и навсегда остались тайной для критики Полевого. Вотъ почему теперь пріятнѣе перечитывать его рецензіи, чѣмъ его критики, и вотъ почему въ его критикахъ теперь уже не находятъ мыслей и даже не могутъ понять, о чемъ въ нихъ толкуется, и видятъ въ нихъ одни фразы и слова. Кто глубоко понимаетъ сущность искусства, тотъ благоговѣнно чтитъ искусство и никогда не рѣшится унижать его литературной дѣятельностью безъ призванія, безъ таланта. Но положимъ, что могутъ иногда быть подобныя нравственныя аномаліи, и что человѣкъ, глубоко понимающій искусство, можетъ имѣть иногда слабость чувствовать въ себѣ призваніе, котораго ему не дано, и видѣть въ себѣ талантъ, котораго въ немъ нѣтъ, все-же въ его произведеніяхъ, какъ бы ни были они холодны, сухи и скучны, будутъ видны его понятія объ искусствѣ. Но драмы Полевого — живое опроверженіе того, чтѣ онъ писалъ, бывало, о чужихъ драмахъ, а критика его — рѣшительное ауто-да-фе для его драмъ. Нѣтъ, поверхностная критика Полевого была зерномъ его теперешнихъ драмъ, и между ею и ими нѣтъ большого противорѣчія. Критикъ Полевой былъ моложе, слѣдовательно живѣе и

сильнѣе нравственно; драматургъ Полевой — уже сочинитель, который все для себя рѣшил и опредѣлилъ, которому нечего больше узнавать, нечему больше учиться; вотъ и вся разница...

И однакожь основать драму жизни Ломоносова на исключительномъ стремленіи къ поэзіи, понимая Ломоносова совсѣмъ не какъ поэта, — это противорѣчіе уже не эстетикѣ, а развѣ здравому смыслу. Но что Полевой — человекъ умный, въ этомъ никто не сомнѣвается, и мы увѣрены, что онъ самъ прежде другихъ видѣлъ несообразность въ основной идѣе своей «драматической повѣсти». Зачѣмъ же допустилъ онъ эту несообразность? Очевидно, что здѣсь увлекла его непреодолимая охота быть драматургомъ вопреки призванію и способностямъ. Какъ умный человекъ, онъ понималъ очень хорошо, что нѣтъ никакой возможности заинтересовать толпу идеей стремленія къ наукѣ, и что стремленіемъ къ поэзіи можно заинтересовать толпу, хотя она и не понимаетъ, что такое поэзія. Конечно это показываетъ въ сочинителѣ легкость и неглубокость эстетическихъ, ученыхъ и литературныхъ убѣжденій. Что за любовь, что за уваженіе къ искусству, если хлопанье, крики и вызовы толпы могутъ ихъ ослаблять и уничтожать.

Когда идея, взятая въ основаніе произведенія, ложна сама въ себѣ, то и при талантѣ автора произведеніе не можетъ быть удачно; если же тутъ дѣло идетъ о сочинителѣ безъ призванія и способности, то изъ произведенія выходитъ нелѣпость. Если эта нелѣпость исполнена трескучихъ и грубыхъ эффектовъ и выставляется на удивленіе толпы, то она можетъ имѣть сильный, хотя и мгновенный успѣхъ...

Но мы отдалились отъ предмета статьи — «драматической повѣсти» Полевого; обратимся къ ней. Рассказывать ея содержанія мы не будемъ, потому что это содержаніе — повтореніе тѣхъ изломанныхъ эффектовъ и истертихъ общихъ мѣстъ, изъ которыхъ уже сто разъ клевалъ Полевой свои «драматическія представленія». Первый актъ вертится зесь на любви — не Ломоносова, слава Богу, а Вавилы къ Настѣ, на которой отецъ хочетъ заставить Ломоносова жениться. Любовь — самый ложный мотивъ въ русской драмѣ, когда дѣло идетъ о женитьбѣ. Въ мужикомъ быту не бываетъ французскихъ водевилей. Это ложь! Второй актъ опять состоитъ изъ любви — Ломоносова къ дочери его хозяйки, Христинѣ. Скрига и ростовщикъ Кляузъ далъ матери Христинѣ денегъ взаймы и, зная, что ей нечѣмъ заплатить, хочетъ заставить ее выдать за него дочь свою или пойти въ тюрьму. Когда уже старуху тащутъ въ тюрьму, Ломоносовъ кстати является съ деньгами, платитъ долгъ, выгоняетъ Кляуза, признается г-жѣ Энслевнѣ въ любви къ ея дочери, проситъ ея руки. Какъ все это старо, пошло и приторно! Въ третьемъ актѣ Ломоносовъ презираетъ Вольфа, не ходитъ къ нему на лекціи, терпитъ нужду и говоритъ

фразы. Пришедши разъ домой, онъ видитъ, что жена его спитъ у колыбели дочери, горестно задумывается, цѣлуетъ дочь, становится на колѣни, читаетъ молитву и, разыгравъ эту мнуетную сцену, уходитъ въ Россію. Эпизодъ завербованія въ третьемъ актѣ лишаетъ всякой правдоподобности, всякой исторической истины и всякаго смысла. Въ четвертомъ актѣ Полевой хотѣлъ изобразить въ лицѣ Ломоносова отношеніе поэта къ людямъ; людей онъ дѣйствительно представилъ довольно полными, но въ Ломоносовѣ показалъ не поэта, не ученаго, а какого-то брызгу, который на словахъ города беретъ, а на дѣлѣ малодушенъ и слабохарактеренъ, какъ плаксивый ребенокъ. Въ пятомъ актѣ, Полевой показываетъ намъ большой свѣтъ; вотъ это ужъ совсѣмъ напрасно! Его большой свѣтъ похожъ на пиршуку подгулявшихъ сочинителей средней руки, которые подъ хмѣльнымъ мирятся послѣ своихъ грязныхъ ссоръ, обнимаются, цѣлуются, называютъ другъ друга «почтеннѣйшими» и даже пляшутъ въ присядку, подорнувъ свои мелодраматическія колѣни. Кстати: на вельможескомъ балѣ, изображенномъ чудной кистью Полевого, пляшетъ Тредьяковский, подъ напѣвъ глухихъ стиховъ своихъ. Что даже и вельможи стараго времени любили иногда потѣшиться ученымъ народомъ, который по большей части былъ горькимъ пьяницей и добровольнымъ шуткомъ, — это фактъ; но чтобы у вельможи на балѣ могъ плясать въ присядку Тредьяковский, — это вѣроятно принадлежитъ къ поэтическому вымыслу Полевого. Но нападки на Полевого нѣкоторыхъ литераторовъ за Тредьяковского совершенно несправедливы. Мы помнимъ, что за это нападала на Лажечникова и «Библіотека для Чтенія», а въ драмѣ Полевого характеръ Тредьяковскаго есть повтореніе созданнаго Лажечниковымъ характера Тредьяковскаго въ «Ледяномъ Домѣ». Говорятъ, что Тредьяковский могъ писать плохіе стихи и все-таки быть порядочнымъ человекомъ. Не знаемъ, такъ ли это, но вотъ анекдотъ о Тредьяковскомъ изъ записокъ Пушкина:

«Тредьяковскій пришелъ однажды жаловаться Шувалову на Сумарокова. «Ваше высокопревосходительство! Меня Александръ Петровичъ такъ ударилъ въ правую щеку, что она до сихъ поръ у меня болитъ». «Какъ же, братецъ? отвѣчалъ ему Шуваловъ: у тебя болитъ правая щека, а ты держишься за лѣвую?» — «Ахъ, В. В., вы имѣете резонъ», отвѣчалъ ему Тредьяковскій и перенесъ руку на другую сторону. Тредьяковскому не разъ случалось быть битымъ. Въ дѣлѣ Волинскаго сказано, что сей однажды въ какой-то праздникъ потребовалъ оду у придворнаго поиты Василія Тредьяковскаго; но ода была не готова, и пылкій статскій секретарь наказалъ тростью оплошнаго стихотворца.»

Хорошъ порядочный человекъ! Скажутъ: то было такое время! Однакожь въ такое же время Ломоносовъ писалъ къ Шувалову, хотѣвшему помирить его съ Сумароковымъ: «Я, ваше высокопревосходительство, не только у вельможъ, но

ниже у Господа моего Бога дуракомъ быть не хочу».

Игроки. *Оригинальная комедія въ одномъ дѣйствіи. Соч. Гоголя.*

Драматическіе опыты Гоголя представляютъ собою какое-то исключительное явленіе въ русской литературѣ. Если не принимать въ соображеніе комедіи Фонвизина, бывшія въ свое время исключительнымъ явленіемъ, и «Горе отъ Ума», тоже бывшее исключительнымъ явленіемъ въ свое время,—драматическіе опыты Гоголя среди драматической русской поэзіи съ 1835 г. до настоящей минуты—это Чимборазо среди низменныхъ, болотистыхъ мѣстъ, зеленый и роскошный оазисъ среди песчаныхъ степей Африки. Послѣ повѣстей Гоголя съ удовольствіемъ читаются повѣсти и нѣкоторыхъ другихъ писателей; но послѣ драматическихъ пьесъ Гоголя ничего нельзя ни читать, ни смотрѣть на театрѣ. И между тѣмъ только одинъ «Ревизоръ» имѣлъ огромный успѣхъ, а «Женитьба» и «Игроки» были приняты или холодно, или даже съ неприязнью. Не трудно угадать причину этого явленія: литература наша хотя и медленно, но все же идетъ впередъ, а театръ давно уже остановился на одномъ мѣстѣ. Публика читающая и публика театральная—это двѣ совершенно различныя публики, ибо театръ посѣщаютъ и такіе люди, которые ничего не читаютъ и лишены всякаго образованія. У Александринскаго театра своя публика, съ собственной фязіономіей, съ особенными понятіями, требованіями, взглядомъ на вещи. Успѣхъ пьесы состоитъ въ вызовѣ автора, и въ этомъ отношеніи не успѣваютъ только или ужъ чересчуръ бессмысленныя и скучныя пьесы, или ужъ слишкомъ высокія созданія искусства. Слѣдовательно, ничего нѣтъ легче, какъ быть вызваннымъ въ Александринскомъ театрѣ,—и дѣйствительно, тамъ вызовы и громки, и многократны: почти каждое представленіе вызываютъ автора, а много по два, по три, по пяти и по десяти разъ. Изъ этого видно, какіе патріархальные нравы царствуютъ въ большей части публики Александринскаго театра! За границей вызовъ бываетъ наградой подвига и признакомъ неожиданно великаго успѣха,—то же, что триумфъ для римскаго полководца. Въ Александринскомъ театрѣ вызовъ означаетъ страсть пошумѣть и покричать на свои деньги—чтобъ не даромъ онѣ пропадали; къ этому надо еще прибавить способность восхищаться всякимъ вздоромъ и простодушное неумѣніе сортировать по степени достоинства однородныя вещи. Отсюда происходитъ и страсть вызывать актеровъ. Много вызовутъ десять разъ, и ужъ рѣдкаго не вызовутъ ни разу. Вызываютъ актеровъ не по одному разу и въ Михайловскомъ театрѣ, но очень рѣдко, какъ и слѣдуетъ,—именно въ тѣхъ только случаяхъ, когда артистъ, какъ

говорится, превзойдетъ самого себя. Въ Михайловскомъ театрѣ тоже аплодируютъ, кричатъ «браво» и въ остроумныхъ пьесахъ выражаютъ свой восторгъ смѣхомъ; но все бываетъ такъ кстати, именно тогда только, когда нужно, и во всемъ присутствуетъ благородная утѣренность—признакъ образованности и уваженія къ собственному достоинству человѣка. Кого легко разсмѣшить, тому непомытна истинная острота, истинный комизмъ. Пьесы, восхищающія большую часть публики Александринскаго театра, раздѣляются на поэтическія и комическія. Первые изъ нихъ—или переводы чудовищныхъ нѣмецкихъ драмъ, составленныхъ изъ сантиментальности, пошлыхъ эффектовъ и ложныхъ положеній,—или самородныя произведенія, въ которыхъ надутая фразеологіей и бездушными возгласами унижаются почтенныя историческія имена: пѣсни и пляски кстати и некстати, доставляющія случай любимой актрисѣ пропѣть или проплясать, и сцены сумасшествія составляютъ необходимое условіе драмъ этого рода, возбуждаютъ крикъ восторга, бѣшенство рукоплесканій. Пьесы комическія всегда—или переводы, или передѣлки французскихъ водевилей. Эти пьесы совершенно убили на русскомъ театрѣ и сценическое искусство, и драматическій вкусъ. Водевиль есть легкое, граціозное дитя общественной жизни во Франціи: тамъ онъ имѣетъ смыслъ и достоинство; тамъ онъ видитъ для себя богатые матеріалы въ ежедневной жизни, въ домашнемъ быту. Къ нашей русской жизни, къ нашему русскому быту водевилъ идетъ, какъ санная ѣзда и овчинныя шубы къ жителямъ Неаполя. И потому переводный водевилъ еще имѣетъ смыслъ на русской сценѣ, какъ любопытное зрѣлище домашней жизни чуждаго народа; но передѣланный, передоженный на русскіе нравы или, лучше сказать, на русскія имена, водевилъ есть чудовище бессмыслицы и нелѣпости. Содержаніе его, завязка и развязка, словомъ—баснь (fable) взяты изъ чуждой намъ жизни, а между тѣмъ большая часть публики Александринскаго театра увѣрена, что дѣйствіе происходитъ въ Россіи, потому что дѣйствующія лица называются Иванами Кузьмичами и Степанидами Ильиничнами. Грубый каламбуръ, плоская острота, плохой куплетъ дополняютъ очарованіе. Какое же тутъ можетъ быть драматическое искусство? Оно можетъ развиваться только на почвѣ родного быта, служа зеркаломъ дѣйствительности своего народа. Но эти незаконные водевили не требуютъ ни естественности, ни характеровъ, ни истинны; а между тѣмъ они служатъ прототипомъ и нормой драматической литературы для публики Александринскаго театра. Артисты его (между которыми есть люди съ яркими дарованіями и замѣчательными способностями), не имѣя ролей, выражающихъ вѣяніе изъ дѣйствительности и творчески обработанные характеры, не имѣютъ нужды изучать

ни окружающей ихъ дѣйствительности, которую они призваны воспроизводить, ни своего искусства, которому они призваны служить. Не играя пьесъ, проникнутыхъ внутреннимъ единствомъ, они не могутъ сдѣлать привычки къ единству и цѣлостности (ensemble) хода представленія, и каждый изъ нихъ старается фигурировать передъ толпой отъ своего лица, не думая о пьесѣ и о своихъ товарищахъ. Мы несправедливы были бы по крайней мѣрѣ къ нѣкоторымъ изъ нихъ, еслибы стали отрицать въ нихъ всякій порывъ къ истинному искусству; но противъ теченія плыть нельзя, и, видя холодность и скуку толпы, они поневолѣ принимаются за ложную манеру, ради рукописесканій и вызововъ. И вотъ, когда имъ случится играть пьесу, созданную высокимъ талантомъ изъ элементовъ чисто русской жизни,—они дѣлаются похожими на иностранцевъ, которые хорошо изучили нравы и языкъ чуждаго имъ народа, но которые все-таки не въ своей сферѣ и не могутъ скрыть поддѣлки. Такова участь пьесъ Гоголя. Чтобъ наслаждаться ими, надо сперва понимать ихъ, а чтобъ понимать ихъ, нужны вкусъ, образованность, эстетическій тактъ, вѣрный и тонкій слухъ, который уловить всякое характеристическое слово, поймаетъ на лету всякій намекъ автора. Одно уже то, что лица въ пьесахъ Гоголя—люди, а не марионетки, характеры, выхваченные изъ тайника русской жизни,—одно уже это дѣлаетъ ихъ скучными для большей части публики Александринскаго театра. Сверхъ того въ пьесахъ Гоголя нѣтъ этого пошлаго, избытка содержанія, которое начинается прамичной любовью, а оканчивается законнымъ бракомъ; но вмѣсто этого въ нихъ развиваются такіа событія, которыя могутъ быть, а не такіа, какіихъ не бываетъ и какія не могутъ быть. Простота и естественность недоступны для толпы.

«Игроки» Гоголя давно уже напечатаны; слѣдовательно, нѣтъ никакой нужды рассказывать ихъ содержаніе. Скажемъ только, что это произведеніе, по своей глубокой истинѣ, по творческой концепціи, художественной отдѣлкѣ характеровъ, по выдержанности въ цѣломъ и въ подробностяхъ, не могло имѣть никакого смысла и интереса для большей части публики Александринскаго театра.

Полчаса за кулисами. *Комедія въ одномъ дѣйствіи. Соч. Н. А. Полевого.*

О, неутомимый нашъ «драматическій представитель»! когда находите вы время писать такое множество «драматическихъ представленій»? О вы, который написали намъ неконченную «Исторію Русскаго Народа» для взрослыхъ людей, и потомъ, тоже неконченную, «Исторію Россіи для малолѣтнихъ читателей»; оставшуюся въ рукописи «Исторію Петра Великаго»—вѣроятно для взрослыхъ людей, и потомъ напечатанную «Исто-

рію Петра Великаго»—кажется, для малолѣтнихъ читателей; вы, который обѣщали издать многое множество до сихъ поръ неизданныхъ книгъ; вы, который написали нѣсколько романовъ, много повѣстей, издали нѣсколько томовъ юмористическихъ статей, нѣсколько томовъ переводныхъ повѣстей и всякой всячины, помѣщавшейся въ вашемъ журналѣ; вы, который писали о философіи, объ исторіи, о политической экономіи, о невещественномъ капиталѣ, о политикѣ, объ агрономіи и сельскомъ хозяйствѣ, о санскритской и китайской грамматикахъ, о лингвистикѣ, о литературахъ и языкахъ всего земного шара, объ эстетикѣ, и проч., и проч., гдѣ же и перечислить намъ все, что вы знаете, и о чемъ вы писали на вѣку своемъ! Скажите намъ, о нашъ Вольтеръ и Гёте по всеобъемлемости свѣдѣній, многосторонности генія и разнообразію произведеній! скажите намъ, когда успѣли вы написать столько «драматическихъ представленій»? Они родятся у васъ, какъ грибы послѣ дождя; вы производите ихъ дюжинами! Не изобрѣли ли вы паровой машины для изготовленія этого товара,—машины, въ которой перемалываются Шекспиръ, Шиллеръ, Вальтеръ-Скоттъ, Коцебу, князь Шаховской, Б. Ф(Ѳ)едоровъ и вашъ собственный геній, и изъ смѣси всего этого выходятъ «драматическія представленія»? Вотъ сейчасъ любовались мы вашимъ «Волшебнымъ Боченкомъ», до краевъ наполненнымъ чистымъ золотомъ истинно-Шекспировской фантазіи, истинно-Шекспировскаго юмора,—и не успѣли мы отдохнуть отъ могущественныхъ и сладостныхъ впечатлѣній вашей бочарной пьесы, какъ вы, неутомимый чародѣй, ведете насъ въ новой пьесѣ на полчаса за кулисы, гдѣ вѣроятно увидимъ мы чудеса...

Такъ думали мы про себя въ антрактѣ между «Рассказомъ Курдюковой» и пьесой Полевого «Полчаса за кулисами». Вздвигшія занавѣсъ прервали наши думы. Вглядываясь, вслушиваясь.. ба! да это что-то знакомое! гдѣ то мы читали это... А! да это старая пьеса «Утро въ кабинетѣ знатнаго барина», изъ «Новаго Живописца Общества и Литературы», издававшегося при «Московскомъ Телеграфѣ». Любопытные могутъ найти ее въ тридцатъ третьей части «Московского Телеграфа» (1830): въ отдѣльно изданномъ въ 1832 году «Новомъ Живописцѣ Общества и Литературы» ее почему-то нѣтъ... «Полчаса за кулисами» отличается отъ «Утра въ кабинетѣ знатнаго барина» только собственными именами дѣйствующихъ лицъ: Беззубовъ послѣдняго названъ въ первомъ дюкомъ де-Шапюи; остальное также немножко офранцужено. Итакъ, новому «драматическому представленію» Полевого тринадцать лѣтъ. Порадовавшись неожиданному свиданію съ старымъ знакомымъ, мы подивились экономіи сочинителя, у котораго всякая дрань идетъ въ дѣло.

КОНЕЦЪ ТРЕТЬЯГО ТОМА.

ЛИТЕРАТУРНОЕ РАЗВИТИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПЛЕМЕНЬ И НАРОДОВ

ШАРЛЯ ДЕТУРНО.

Содержание: Предисловие къ русскому изданію. Предисловіе автора. ГЛАВА I. Начало литературы. ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ. Литература у негрскихъ расъ. ГЛАВА II. Литература меланезійцевъ. ГЛАВА III. Литература африканскихъ негровъ. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ. Литература у желтыхъ расъ. ГЛАВА IV. Полинезійская литература. ГЛАВА V. Литература дикой Америки. ГЛАВА VI. Древняя литература Перу и Мексики. ГЛАВА VII. Литература у манголондовъ и у низшихъ манголовъ. ГЛАВА VIII. Литература въ Китаѣ и въ Японіи. ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ. Литература у народовъ бѣлой расы. ГЛАВА IX. Литература у египтянъ, берберовъ, и эвлоповъ.

ГЛАВА X. Арабская литература. ГЛАВА XI. Литература у евреевъ. ГЛАВА XII. Личическая литература въ Индіи. ГЛАВА XIII. Литература въ Индіи. (Продолженіе) ГЛАВА XIV. Литература въ Персіи. ГЛАВА XV. Греко-романская литература. ГЛАВА XVI. Греко-романская литература. (Продолженіе). ГЛАВА XVII. Первобытная литература среди европейскихъ варваровъ. ГЛАВА XVIII. Первобытная литература среди европейскихъ варваровъ. (Продолженіе). ГЛАВА XIX. Средневѣковая литература. ГЛАВА XX. Прошедшее и будущее литературы. Цѣна 1 руб. 50 коп.

ДУШЕВНЫЯ ДВИЖЕНІЯ.

Психо-физиологическій этюдъ д-ра Г. Ланге, профессора Копенгагенскаго университета. Цѣна 40 коп.

Содержание: Предисловіе французскаго переводчика.—Предварительныя замѣчанія.—Печаль. Радость.—Страхъ.—Гнѣвъ. Ярость. Разочарованіе. Нетерпѣніе.—Теорія эмоцій.—Физиологическія явленія. Вліяніе кровообращенія на нервныя функціи. Вліяніе эмоцій на кровообращеніе. Ва-

зомоторная теорія эмоциональныхъ явленій. Гипотеза о душевномъ происхожденіи аффектовъ. Матеріальныя причины. Патологическіе аффекты. Мозговой механизмъ. Невѣрная постановка вопроса. Индивидуальныя различія въ аффектахъ.—Добавочныя примѣчанія.

ПСИХОЛОГІЯ ХАРАКТЕРА.

Ф. ПОЛАНА. Переводъ съ французскаго подъ редакціей Р. М. Сементовскаго. Цѣна 75 коп.

Содержание: Предисловіе къ русскому изданію.—Вступленіе. Часть I. Типы, вызываемыя преобладаніемъ спеціальной формы духовной дѣятельности. Отдѣлъ I. Типы, вызываемыя различными формами психологической ассоціаціи. 1) Формы систематической ассоціаціи. 2) Типы, вызываемыя преобладаніемъ систематической задержки. 3) Типы, вызываемыя ассоціаціей по противоположности. 4) Типы съ преобладаніемъ ассоціацій по смежности и сходству. 5) Типы съ самостоятельную дѣятельностью духовныхъ элементовъ. Отдѣлъ II. Типы, вызываемыя различными свойствами стремленій и духа. 1) Широта личности и стремленій; обиліе въ нихъ элементовъ. 2) Чистота психическихъ элементовъ. 3) Сила стремленій. 4) Устойчивость стремленій. 5) Гибкость стремленій. 6) Чувствительность психическихъ элементовъ. Заключение. Часть II. Типы, обусловливаемыя преобладаніемъ или отсутствіемъ того или другого стремленія. Вступленіе.—

Отдѣлъ I. Типы, обусловливаемыя органическими стремленіями. 1) Стремленія, касающіяся органической жизни. 2) Стремленія, касающіяся духовной жизни.—Отдѣлъ II. Типы, обусловливаемыя социальными стремленіями. 1) Типы, обусловливаемыя преобладаніемъ стремленій, касающихся отдѣльныхъ индивидовъ. 2) Типы, обусловливаемыя преобладаніемъ стремленій, направленныхъ на социальныя группы. 3) Типы, обусловливаемыя преобладаніемъ безличныхъ стремленій. 4) Синтетическія тенденціи.—Отдѣлъ III. Типы, обусловливаемыя сверхобщественными стремленіями. Заключение.—Часть III. Индивидуальный характеръ. 1) Соединеніе нѣсколькихъ типовъ въ одномъ индивидѣ. 2) Зависимость стремленій и значеніе дѣятель. 3) Развивающійся и установившійся характеръ. 4) Занѣна однихъ стремленій другими. Заключение.—Перечень сочиненій, на которыя ссылается авторъ.

РЕНАНА

КАКЪ ЧЕЛОВѢКЪ И ПИСАТЕЛЬ.

Критико-біографическій этюдъ С. Ф. Гадлевскаго. Съ портретомъ Э. Ренана. Цѣна 1 рубль.

Содержание: Введеніе. I. Дѣтство и отрочество Ренана (1823—1839 гг.).—II. Юность (1838—1845 гг.).—III. Переломъ въ жизни Ренана и первые шаги его на литературномъ поприщѣ (1845—1849 гг.).—IV. Труды Ренана по семитической филологіи, по истолкованію библейскихъ текстовъ и по исторіи греко-арабской филологіи въ средніе вѣка.—Женитьба Ренана (1849—1860 гг.).—V. Путешествіе на Востокъ.—Смерть Генриетты.—Возвращеніе въ Парижъ.—Вступительная лек-

ція въ Collège de France.—Поѣздка въ Аѳонъ.—Труды Ренана по исторіи религіи.—VI. Путешествіе въ страну львовъ.—Политическія катастрофы.—Полемика съ Штраусомъ по поводу франко-германской войны.—Политическія воззрѣнія Ренана и его философскія драмы.—VII. Философія Ренана.—VIII. Последние годы Ренана.—Праздники въ Бресс.—Болезни, смерть и похороны великаго писателя.—Заключеніе.

ПОПУЛЯРНО-НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА.

1) Экстазы человѣка. П. Мантегацца. Въ 2 тъ част. Ц. 1 р. 50 к.—2) Психологія вниманія. Д-ра Рибо. Ц. 40 к.—3) Берегите легкія! Гигиеническія бесѣды д-ра Никейера. Съ 30 рис. Ц. 75 к.—4) Современные психопаты. Д-ра А. Кюллера. Ц. 1 р. 50 к.—5) Предназначеніе погоды А. Далле. Съ рис. Ц. 1 р. 25 к.—6) Физиологія души. А. Герцена. Ц. 80 к.—7) Психологія великихъ людей. Г. Жоли. 3-е изд. Ц. 60 к.—8) Дарвинизмъ. Э. Ферьера. Общедоступное излож. идей Дарвина. 2-е изд. Ц. 60 к.—9) Міръ грѣзъ. Д-ра. Симона. Сновидѣнія, галлюцинаціи, сомнамбулизмъ, гипнотизмъ, иллюзіи. Ц. 1 р.—10) Первобытные люди. Дебьера. Со многими рис. Ц. 1 р.—11) Законы подражанія. Тарда. Ц. 1 р. 50 к.—12) Геніальность и

пошнѣтельность. Ц. Домбровъ, съ портр. автора и нѣскольк. рисунками, 3-е изд. Ц. 1 р. 13) Общедоступная астрономія. К. Фламариона. Съ 100 рис. 3-е изд. Ц. 80 к.—14) Гигіена семьи. Гебера. Ц. 50 к.—15) Бактеріи и ихъ роль въ жизни человѣка. Мигулы. Съ 35 рис. Ц. 1 р.—16) Наука о мизин. Попул. физиологія человѣка. В. Дункенича. Съ 92 рис. Ц. 1 р.—17) Электричество въ природѣ. Ж. Дарн. Съ 102 рис. Ц. 1 р. 25 к.—18) Усталость. Моссо. Съ 80 рис. Ц. 1 р. 25 к.—19) Гигіена женщинъ. Женщины-врача. М. Тило. 2-е изд. Ц. 40 к.—20) Воспитаніе воли. Жюля Пейо. Ц. 75 к.—21) Основы политической экономіи. Шарля Жюда. Ц. 1 р. 25 к.—22) Психологія характера. Поллана. Ц. 75 к.

СОЧИНЕНІЯ В. Г. БѢЛИНСКАГО.

ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ТОМАХЪ.

Съ портретомъ и факсимиле автора, гравюрой съ картины Наумова и
статей Н. К. Михайловскаго.

Дешевое изданіе Ф. Павленкова
выпускаемое съ разрѣшенія наследниковъ Бѣлинскаго.

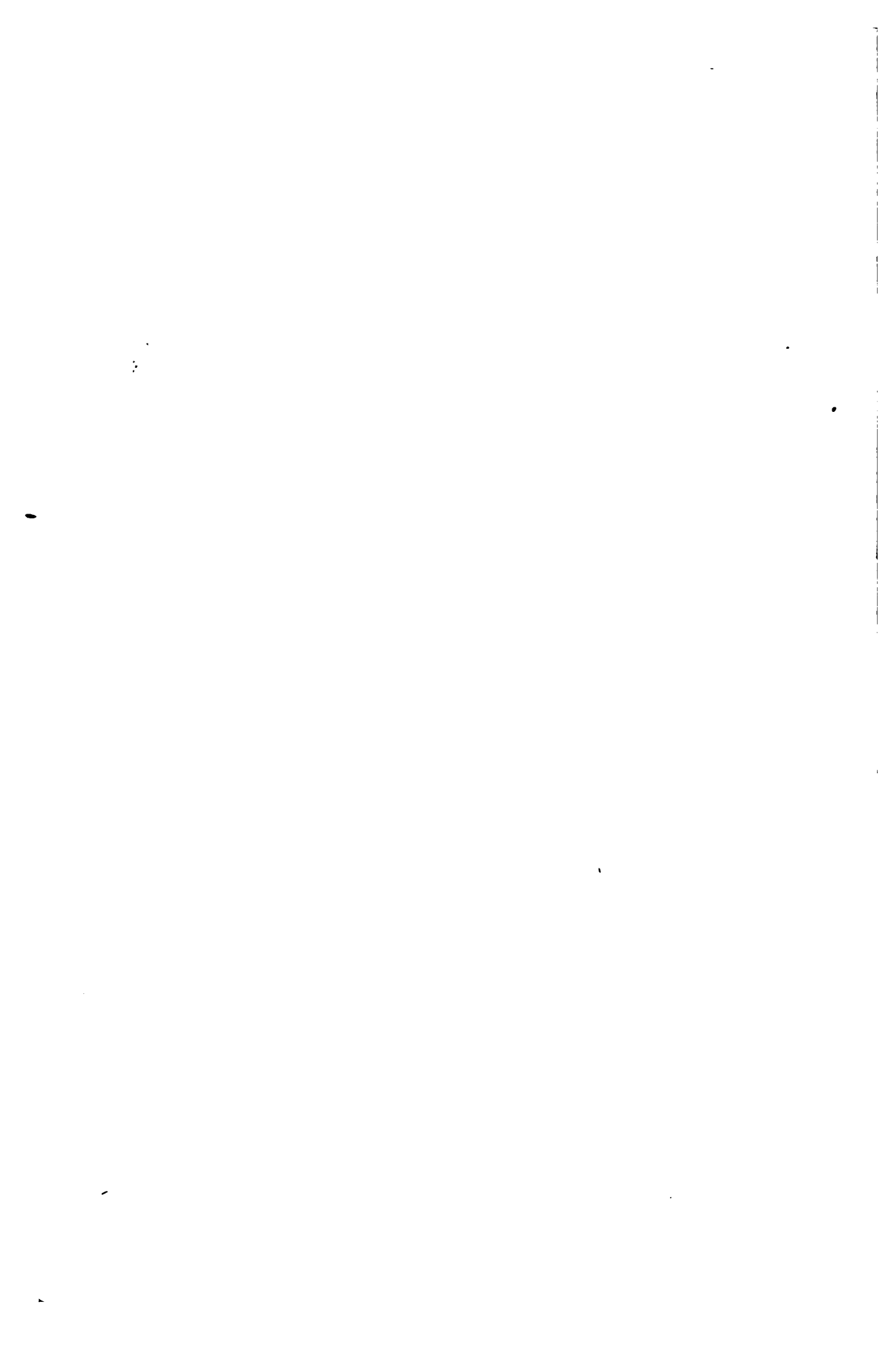
ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ
1844—1849.

Цѣна каждаго тома 1 руб. 25 коп.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Паровая скоропечатня А. Пороховщикова, Гороховая, д. № 12.

1896.



ОГЛАВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.

Прудонъ и Вѣлинскій. «Изъ записокъ профана 1875 г.» Н. К. Михайловскаго. I
Стр.

I. КРИТИКА.

Русская литература въ 1844 г.	1	Импровизаторъ, или молодость и мечты итальянскаго поэта. Андерсена	698
Тарантасъ. Графа В. А. Соллогуба	61	Исторія Наполеона. Н. Полевого	699
Опытъ исторіи русской литературы. Профессора А. Никитенко. Книга I. Введеніе	107	Руководство въ познанію теоретической матеріальной философіи. А. Татаринова	700
Славянскій сборникъ. Н. В. Савельева-Ростиславича	123	Общая риторика. Н. Кошанскаго	701
Сто русскихъ литераторовъ. Томъ третій	157	Разговоръ. И. Тургенева	712
Князь Антиохъ Дмитріевичъ Кантемиръ	171	Леди Анна, или сирота. Переводъ съ англійскаго. Чтеніе для дѣтей перваго возраста. А. Ишимовой	713
Петербургъ и Москва	191	Проконій Ляпуновъ, или междупарствіе въ Россіи. Сочиненіе автора «Князя Скопина-Шуйскаго»	715
Русская литература въ 1845 году	223	Сочиненія Константина Мосальскаго	718
Голосъ въ защиту отъ „Голоса въ защиту русскаго языка“	253	Метеоръ на 1845 г.	726
Петербургскій сборникъ. Н. Некрасова	259	Типы современныхъ нравовъ. Н. Кирилова	728
Мысли и замѣтки о русской литературѣ	289	Краткая исторія крестовыхъ походовъ	—
Воспоминанія Оаддея Булгарина	321	Карманный словарь иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ составъ русскаго языка. Н. Кирилова	730
Николай Алексѣевичъ Полевой	357	Отхотворенія Эдуарда Губера	781
Алексій Васильевичъ Кольцовъ	387	Отхотворенія Петра Штавера	787
Взглядъ на русскую литературу 1846 года	437	Физиологія Петербурга. Ч. II. Н. Некрасова	743
Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями Николая Гоголя	485	Грамматическія разсужденія. В. А. Васильева	750
Отвѣтъ „Москвитяину“	503	Отхотворенія Александра Струговицкова	763
Взглядъ на русскую литературу 1847 года	559	Сочиненія Державина	767
		Сельское чтеніе. Книжка третья	777

II. БИБЛИОГРАФІЯ.

Семейство, или домашнія радости и огорченія. Фредерикъ Бремеръ	647	Столѣтіе Россіи съ 1745 до 1845 г. Н. Полевого	781
Наизъ и Дамаянти. В. А. Жуковскаго	651	Исторія консульства и имперіи. Тьера	786
Басни И. А. Крылова	652	Букеты, или петербургское цвѣтобѣсіе. В. А. Соллогуба	789
Герой нашего времени. М. Лермонтова	654	Петербургскія вершини. Я. Буткова. Книга I. Изъ очень короткой рецензіи о романахъ А. Дюма	800
Амарантосъ, или розмъ возрожденной Эллады. Георгія Эвлампиоса	655	Кочубей, генеральный судья. Н. Сементовскаго	801
Тысяча и одна ночь. Арабскія сказки	656	Переводъ сочиненій Гоголя на французскій языкъ	—
Объ историческомъ значеніи русской народной поэзіи. Николая Костомарова	657	Мельникъ. Жоржа Занда	803
Гамлетъ. Переводъ А. Кронеберга	658	По поводу дѣтскихъ книгъ	—
Парижскія тайны. Эжена Сю	663	Юмористическіе разсказы нашего времени, издаваемые Абрамадбрю	806
Молодикъ на 1844 г. Украинскій литературный сборникъ	668	Мирза Хаджи-Баба Исфгани. Моріера	—
Антологія изъ Жана-Поля Рихтера	671	Столѣтіе Россіи, съ 1745 до 1845 г. Н. Полевого. Ч. 2-я	807
Старинная сказка объ Иванушкѣ-дурчакѣ. Н. Полевого	681	Отхотворенія Аполлона Григорьева. Стихотворенія 1845 года. Я. П. Полонскаго	808
Стихотворенія М. Лермонтова	684		
Стихотворенія В. Жуковскаго	687		
На сонъ грядущій. Графа В. А. Соллогуба	694		
Правила высшаго краснорѣчія. О подражаніи Христу	698		

	Стр.		Стр.
Похожденія Чичикова, или Мертвыя души.		Современныя замѣтки	884
Н. Гоголя	815	Второе полное собраніе сочиненій Марлин-	
Сочиненія Озерова. Сочиненія Фонвизина. .	817	скаго	897
Полное собраніе сочиненій И. Крылова.		Вѣдныя люди. Ф. Достоевскаго	900
Жизнь и сочиненія Ивана Андреевича		Китай въ гражданскомъ и нравственномъ	
Крылова. М. Лобанова	822	отношеніи. Монаха Іоакима	901
Повѣсти, сказки и рассказы казака Луган-		Сельское чтеніе. Книжка четвертая	906
скаго	826	Нѣсколько словъ о чтеніи романовъ	912
Терева Дюнойе. Е. Сю.—Матильда, записки		Вечеръ въ пансіонѣ	915
молодой женщины. Е. Сю.—Сынъ тайны.		Цирин. Трагедія Кёрнера	916
Поля Феваля.—Іезуитъ. К. Шпиндлера . .	830	Рассказы дѣтамъ изъ древняго міра. К. Бек-	
Два Ивана, два Степанъча, два Костылькова.		кера	917
Н. Кукольника	848		
Новая бібліотека для воспитанія. П. Рѣдкина.			
Сынъ рыбака, Михаилъ Васильевичъ Ло-			
моносовъ. П. Фурмана. Альмазахъ для			
дѣтей. П. Фурмана.	859		
Картина земли для наглядности преподава-			
нія физической географіи. А. Постельса .	865		
Музей современной иностранной литературы.	866		
Векфильдскій священникъ. Гольдсмита . . .	870		
Главные черты древней финской эпопеи «Ка-			
ловалы». М. Эмана.	878		

III. ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.

Литературный залъ	921
Булгаринъ.	923

IV. ТЕАТРЪ.

Предокъ и потомки. В. Гюго	929
Павелъ Степановичъ Мочаловъ.	931

ПРУДОНЪ И БѢЛИНСКІЙ.

(Изъ «Записокъ профана» 1876 г.)

Читатель конечно не будетъ пораженъ сопоставленіемъ именъ Прудона и Бѣлинскаго, потому что оно не ново. Прудонъ и Бѣлинскій — современники, имѣвшіе даже общіе знакомыя и друзья. Естественное дѣло, что извѣстныя вѣянія времени, какъ напримѣръ нѣмецкая философія, нѣкоторые взгляды на задачи общественной жизни и т. п., живо затрогивали ихъ обоихъ. Въ этомъ именно смыслъ читателю и случалось встрѣчать сопоставленіе ихъ именъ. Я однако отнюдь не думаю проводить параллели между мнѣніями этихъ двухъ писателей, да изъ нижеслѣдующаго будетъ видно, что такіа параллели были бы по малой мѣрѣ безплодны, если не прямо невозможны. Другое дѣло — фигуры, личности Прудона и Бѣлинскаго. Онѣ сами собой напрашиваются на сравненіе, тѣмъ болѣе, что недавно появились обширные матеріалы для характеристики того и другого. Во Франціи въ нынѣшнемъ году началось четырнадцатитомное изданіе переписки Прудона. Извлеченія изъ этого изданія до сихъ поръ танутся въ «Вѣстникъ Европы», въ статьѣ, озаглавленной: «Пьеръ-Жозефъ Прудонъ въ его письмахъ». Въ нынѣшнемъ же году окончился въ томъ же «Вѣстникъ Европы» обширный «опытъ біографіи» Бѣлинскаго, составленный г. Пыпинымъ, главнымъ образомъ на основаніи переписки нашего знаменитаго критика. Читатели «Вѣстника Европы» неизбежно наталкивались на сравненіе. Натолкнулся и я, и хочу подѣлиться съ другими своими впечатлѣніями.

Г. Д—евъ, авторъ статьи «Пьеръ-Жозефъ Прудонъ въ его письмахъ», очевидно — позитивистъ школы Конта и тщательно отыскиваетъ въ своемъ матеріалѣ черты, могущія служить подтвержденіемъ извѣстнаго Контова закона трехъ фазисовъ, въ силу котораго умственное развитіе человѣка, какъ и всего человѣчества, идетъ отъ теологіи

черезъ метафизику къ положительной наукѣ. Многія изъ соображеній г. Д—ва очень остроумны и справедливы. Я думаю однако, что по отношенію къ Прудону эта смѣна трехъ фазисовъ во всякомъ случаѣ имѣетъ совершенно второстепенное и чисто внѣшнее значеніе. Что Прудонъ первоначально былъ занятъ теологіей, затѣмъ ринулся въ область метафизики, изъ которой хотя и никогда не выбился окончательно, но все-таки отдалъ должное положительной наукѣ и ея орудіямъ, опыту и наблюденію — это вѣрно. Но не требуется глубокаго изученія переписки и сочиненій Прудона, чтобы видѣть, что это были ступени развитія не столько его самого, сколько, такъ сказать, оружія, которымъ онъ бился за свои заветныя идеи. Это, кажется, отчасти думаетъ и г. Д—евъ, но оставляетъ эту мысль безъ должнаго вниманія. А то бы ему пришлось, чего добраго, убѣдиться, что заветныя идеи Прудона даже и вовсе не укладываются въ формулу Конта. Какъ бы то ни было, но г. Д—евъ согласно своей задачѣ слѣдитъ преимущественно за процессомъ философскаго развитія Прудона, и потому проходитъ мимо многого, очень характернаго для Прудона, какъ личности. Восполнить этотъ недостатокъ я могу только отчасти, потому что успѣлъ познакомиться только съ двумя первыми томами французскаго изданія переписки Прудона. Кое въ чемъ намъ помогутъ впрочемъ его сочиненія.

Литературную свою дѣятельность Прудонъ началъ «Опытомъ всеобщей грамматики» (1837), — сочиненіемъ слабымъ, дѣтскимъ, о которомъ читающему люду только и извѣстно, что авторъ впоследствии отъ него отрекся. Совершенно незнакомый съ современными ему филологическими открытіями, даже не подозрѣвая ихъ существованія, Прудонъ производилъ всѣ языки отъ священнаго... Видѣть въ «Опытѣ всеобщей грам-

матики» явленіе теологическаго фазиса развитія пожалуй можно; но вѣдь дѣло-то тутъ просто въ томъ, что бѣдному наборщику попало въ руки нѣсколько книгъ извѣстнаго характера и содержанія. Если мы выкинемъ изъ счета подобныя случайности, то увидимъ, что Прудонъ явился въ литературѣ человекомъ вполне готовымъ, т. е. съ идеями, на столько ясными и установившимися, что въ дальнѣйшей дѣятельности онъ подлежали только развитію, а не измѣненію. Въ прошеніи о стипендіи Сюара (внѣшнюю біографію Прудона я предполагаю читателю извѣстною) Прудонъ много говорилъ о своихъ религиозныхъ убѣжденіяхъ. Но для біографа гораздо интереснѣе то обстоятельство, что секретарь безансонской академіи Переннъ, потребовавъ измѣненія слѣдующихъ строкъ: «Рожденный и воспитанный среди рабочаго класса, принадлежа ему и нынѣ, и навсегда сердцемъ, разумомъ, привычками, общностью интересовъ и желаній, я былъ бы вполне счастливъ, еслибы привлекъ ваше вниманіе къ этой части общества, которую такъ красить названіе «рабочей»; еслибы я оказался достойнымъ чести быть ея первымъ представителемъ передъ вами, еслибы я могъ отнынѣ работать безъ отдыха въ философіи и наукѣ, со всею энергіею моею воли и всѣми силами моего разума, для полного освобожденія своихъ братьевъ и товарищей». Разсказывая свои планы въ письмѣ къ Перенну, Прудонъ объявляетъ, что онъ не намеренъ изучать юриспруденцію: «Вся система нашихъ законовъ основана на принципахъ, въ которыхъ нѣтъ ничего философскаго и которые одинаково противны и закону природы, и закону откровенія. Таково по крайней мѣрѣ мое мнѣніе. Мнѣ нетрудно было бы подтвердить его многочисленными примѣрами. Условности, основанныя на побѣдѣ, рабствѣ, силѣ, привилегіи или варварствѣ, — вотъ суть нашего права». Въ одномъ изъ самыхъ раннихъ писемъ (1838 г.), собранныхъ во французскомъ изданіи, Прудонъ называетъ уже себя «*égalitaire*», какъ называлъ себя всю жизнь. Получивъ Сюарову стипендію, онъ пишетъ одному другу: «Меня поздравляютъ съ прочностью положенія, съ возможностью сдѣлать карьеру, принять участіе въ погонѣ за мѣстами и жалованьями, достигъ почета и блестящаго положенія, сравняться и даже можетъ быть превзойти Жоффруа, Пулье и проч. Но никто не сказалъ мнѣ: «Прудонъ, ты долженъ прежде всего отдаться дѣлу бѣдныхъ, освобожденію слабыхъ, просвѣщенію народа; ты можетъ быть будешь предметомъ ужаса для богатыхъ и сильныхъ; тебя будутъ проклинать держащіе ключи науки и богатства: иди своей дорогой реформатора навстрѣчу преслѣдованіямъ, клеветѣ,

горечи, самой смерти. Вѣрь своему назначенію и смѣло предпочти славное мученичество апостола радостямъ и золотымъ цѣпямъ рабовъ. Тебя ли побѣдятъ дѣсть и соблазны удовольствій и богатства? Ты ли, сынъ народа, отречешься отъ своей совѣсти и предашь свою вѣру? За тобой слѣдятъ глаза твоихъ братьевъ; они мучительно ждутъ, придется ли имъ оплакивать паденіе и измѣну того, кто такъ клялся быть ихъ защитникомъ; отблагодарить тебя имъ нечѣмъ, кромѣ благословеній, которыя однако дороже золота. Страдай и умри, если нужно, но говори истину и стой за сироту». Еще дальше Прудонъ выразилъ съ меньшимъ пафосомъ, но съ тѣмъ болѣею силою нѣкоторыя воззрѣнія, которымъ онъ также оставался вѣренъ всю жизнь: «Я держусь своихъ принциповъ; я ими никогда не пожертвую, что-бы ни случилось; я доволенъ своимъ положеніемъ ремесленника. — Я откровенный и неизмѣнный республиканецъ по убѣжденію и чувству; но правда и то, что мой республиканизмъ не совсѣмъ тотъ, который значится у сегодовъ Робеспьера и поклонниковъ Марата; ихъ дѣла — самое сильное ихъ осужденіе». Такъ говорилъ Прудонъ еще до изданія «Опыта всеобщей грамматики». Особенно характерна эта оговорка насчетъ якобинцевъ. Это — частности, но то-то и важно, что даже такая частности, какъ ненависть къ якобинцамъ, уже съ молодости отличала Прудона. Второе печатное сочиненіе Прудона было «О празднованіи воскресенія». Оно мало читается, хотя и вошло въ собраніе сочиненій Прудона. И дѣйствительно оно само по себѣ не имѣетъ никакого значенія, но въ біографическомъ смыслѣ оно, напротивъ, очень важно. Можно пожалуй опять-таки говорить по поводу его о теологическомъ фазисѣ развитія, потому что тутъ дѣло идетъ о Моисеевомъ законѣ. Но дѣло въ томъ, что «Празднованіе воскресенія» представляетъ совсѣмъ не богословское толкованіе установленія субботняго дня и десяти заповѣдей. Это — комментарій чисто прудоновскій, основанію которыхъ авторъ никогда не измѣнялъ. Заповѣдь «не укради» напримѣръ толкуется уже прямо въ смыслѣ извѣстныхъ мемуаровъ о собственности. Словомъ, и установленіе субботняго дня, и весь законъ Моисеевъ привлечены Прудономъ только въ качествѣ орудія. Слѣдующая тирада ясно покажетъ, въ чемъ дѣло: «Что мы видимъ вокругъ насъ? Съ одной стороны — люди, недовольные и разочарованные среди роскоши, бѣдные даже со всѣми своими богатствами; съ другой — наемники, которымъ нищета запрещаетъ даже думать о своемъ разумѣ и о своей душѣ; они счастливы, когда находятъ работу въ воскресенье!.. И среди всего этого христіанство,

указывая на законъ Моисеевъ, и безъ дальнѣйшихъ объясненій сохраняетъ празднованіе дня, который сдѣлалъ насъ всѣхъ равными и братьями. Не говорятъ ли оно тѣмъ самымъ: есть время для труда, есть время и для отдыха. Если одни изъ васъ не имѣютъ отдыха, такъ это потому, что у другихъ слишкомъ много досуга. Смертные, ищите истину и справедливость; войдите въ себя, раскайтесь, обновитесь... Мы должны быть благодарны соборамъ, которые, не то что изящные аббаты восемнадцатаго вѣка, упорно стояли за празднованіе воскресенья. И дай Богъ, чтобы уваженіе къ этому дню было для насъ такъ же священно, какъ и для нашихъ отцовъ! Грызущее насъ зло чувствовалось бы сильнѣе, и лекарство было бы можетъ быть скорѣе найдено... Собственность еще не дѣлала мучениковъ, она — послѣдній изъ ложныхъ боговъ. Вопросъ о равенствѣ состояній былъ уже поднятъ, но въ видѣ безпринципной теоріи. Онъ долженъ быть вновь поднятъ во всей его глубинѣ. Проповѣдуемый во имя Бога и освященный голосомъ священника, онъ распространится, какъ молнія... Вотъ задача: *найти состояние общественнаго равенства, которое не было бы ни коммунизмомъ, ни деспотизмомъ, ни раздробленіемъ, ни анархіей, — но свободною въ порядкѣ и независимостью въ единствѣ* (курсивъ подлинника). А за разрѣшеніемъ этого перваго пункта остается другой: *найти лучший способъ перехода* (къ этому идеалу). Тутъ вся задача человечества». («Оеuvres», II, 150.)

Кто знаетъ Прудона, тотъ знаетъ, что въ этихъ строкахъ заключенъ уже весь Прудонъ, какимъ его знаетъ читающій міръ. Для него нѣтъ ничего характернѣе, какъ постановка извѣстнаго, крайняго идеала (выраженаго часто очень «страшными словами»), и затѣмъ выработка переходныхъ ступеней. Къ этому мы еще вернемся, а теперь я обращаю вниманіе читателя главнымъ образомъ на то, что по отношенію къ своимъ заветнымъ идеямъ Прудонъ явился въ литературу человекомъ совсѣмъ готовымъ, въ томъ родѣ, какъ родилась Минерва изъ головы Юпитера. Онъ мѣнялъ только приемы доказательства, съ которыми обращался съ крайнею безцеремонностью. Приведу одинъ только примѣръ, какъ сказалъ бы г. Д—евъ, изъ метафизическаго фазиса его развитія. Извѣстно пристрастіе Прудона къ такъ называемой антиноміи. На этой диалектической штукѣ построена формальная сторона «Системы экономическихъ противорѣчій». Въ одинъ прекрасный день Прудонъ по чисто практическимъ соображеніямъ, которыя нетрудно было бы указать, рѣшаетъ измѣнить свой хваленый методъ. Онъ преспокойно пишетъ:

«Я принялъ гегелевскую идею, что антиномія разрѣшается въ высшемъ принципѣ, въ синтезѣ, отличномъ отъ двухъ первыхъ — тезиса и антитезиса. Съ этой логической ошибкой я теперь разстался. *Антиномія не разрѣшается*, и въ этомъ состоитъ основная фальшь всей гегелевской философіи. Оба момента, входящіе въ антиномію, *уравновѣшиваются* или между собой, или съ другими антиномическими моментами. Уравновѣшеніе не есть синтезъ, какъ его разумѣлъ Гегель, а вслѣдъ за нимъ и я. Сдѣлавъ эту оговорку въ интересъ чистой логики, я сохраняю однако все сказанное въ «Системѣ экономическихъ противорѣчій». («De la justice», 3 éd., 179.) Въ другомъ мѣстѣ того же сочиненія онъ громитъ знаменитую «тріаду», какъ опасную глупость и пошлость. Доводы его при этомъ очень слабы; лучше сказать, ихъ нѣтъ совсѣмъ: онъ просто объявляетъ, что «орудіе логики» непременно двучленное (binaire), чему соответствуетъ и самая суть явленій природы. Очевидно, что «интересы чистой логики» особеннаго значенія для него не имѣютъ. Въ ту минуту онъ былъ занятъ практической мыслью сплотить буржуазію и рабочихъ въ одно цѣлое и направить эти соединенныя силы на общіхъ враговъ, а сообразно этому «тріада» должна была сократиться въ «діаду». Подобныхъ примѣровъ можно бы было привести немало, а между тѣмъ есть основныя воззрѣнія Прудона, проходящія неизмѣнной красной нитью черезъ всѣ его письма и сочиненія, среди всевозможныхъ противорѣчій и удивительныхъ ампутацій, которымъ онъ подвергалъ и метафизику, и всѣ другія орудія своей борьбы.

Противорѣчій можно найти очень много и въ сочиненіяхъ, и въ письмахъ Прудона. Но это — или чисто логическіе и въ общей системѣ его воззрѣній всегда второстепенные промахи, или результаты минутныхъ вспышекъ подъ напоромъ тревожной исторіи Франціи 30—50 годовъ, или наконецъ совершенно сознательное, хладнокровное пригибаніе разныхъ отвлеченныхъ формулъ къ извѣстнымъ практическимъ цѣлямъ. И за всѣмъ тѣмъ Прудонъ можетъ служить образцомъ непоколебимости убѣжденій, особенно поразительной для насъ, русскихъ. Я даже рѣшаюсь сказать, что нѣкоторые взгляды были ему прирожденны. Въ теорію врожденныхъ идей, независимо отъ опыта, я не вѣрю, но думаю, что по сколько извѣстныхъ мыслей и чувствъ оставляютъ по себѣ слѣды въ нервной организаціи человѣка, они могутъ передаваться по наслѣдству, а слѣдовательно человѣкъ можетъ родиться съ совершенно опредѣленными задатками ихъ. Какъ бы то ни было, но основныя воззрѣнія Прудона, кото-

рыя только и стоитъ, говоря о немъ, имѣть въ виду, до такой степени неизмѣнны на всемъ пространствѣ отъ «Празднованія воскресенья» до любого изъ посмертныхъ сочиненій, что прикидывать сюда мѣрку трехъ фазисовъ Конта—значить жертвовать сущю для формы. Контовъ законъ важенъ, какъ попытка привести различныя стороны жизни къ одному знаменателю мысли, и къ числу лучшихъ страницъ «Курса положительной философіи» относится напримѣръ анализъ связи между теологическимъ мышленіемъ и военнымъ бытомъ. Отголосокъ этой связи можетъ быть и существовалъ въ какихъ нибудь дѣтскихъ играхъ и забавахъ Прудона. Но съ того момента, какъ онъ принадлежитъ исторіи, онъ—Прудонъ и никогда ничѣмъ инымъ не былъ.

Съ непоколебимостью убѣжденій, каковы бы ни были самыя убѣжденія, симпатичныя намъ или нѣтъ, мы привыкли связывать представленіе о благородствѣ личности. Мы даже склонны мѣрять одно другимъ. Я не намѣренъ разрушать эту совершенно законную ассоціацію идей. Бываютъ однако случаи, когда непоколебимость убѣжденій не исключаетъ возможности нѣкоторыхъ измѣненій въ личномъ характерѣ ихъ носителя. Я долженъ сказать, что Прудонъ представляетъ собою одно изъ такихъ на первый взглядъ парадоксальныхъ явленій. Уже то обстоятельство, что онъ при крайне невыгодныхъ условіяхъ такъ рано вполне сформировался, показываетъ, что непоколебимость далась ему безъ внутренней борьбы, далась даромъ, въ такомъ родѣ, какъ напримѣръ породистому охотничьему щенку даются даромъ, по наслѣдству, чутье и нѣкоторыя повадки, подлежащія только легкой дрессировкѣ. Ниже я попытаюсь дать хоть намекъ на качество и размѣръ полученнаго Прудономъ духовнаго наслѣдства. Но что оно было вообще большое—это очевидно. А если такъ, то непоколебимость является чѣмъ-то фатальнымъ, мало зависящимъ отъ свойствъ личности; лично не совсѣмъ хороший человекъ можетъ быть такъ крѣпко скованъ своимъ духовнымъ наслѣдіемъ, что свергнуть съ себя его иго окажется для него дѣломъ немислимымъ. Но недостатки его личного характера все-таки должны какъ нибудь прорваться, такъ сказать, въ щели основного строя его непоколебимыхъ убѣжденій. Къ сожалѣнію съ Прудономъ такъ и было. Возьмите напримѣръ хоть вышеупомянутое внезапное и, собственно говоря, немотивированное превращеніе «тріады» въ «діаду», предпринятое для минутной практической цѣли. Въ качествѣ профана я вполне способенъ оцѣнить всю глубину изреченія св. Августина: *nulla est homini causa phi-*

losophandi, nisi ut beatus sit. Философія должна служить цѣлямъ человека, иначе она не имѣетъ смысла. Но изъ этого не слѣдуетъ, что можно сообразно практическимъ цѣлямъ ломать истину, т. е. то, что мы признаемъ въ данную минуту истиной. Этого не могутъ понять только разные гг. Аверкіевы, Авсѣенки, Антроповы и прочія имена, начинающіяся на А, а впрочемъ и на нѣкоторыя другія буквы, какъ напримѣръ на С—Стебницкій. Они стоятъ за «чистое искусство», т. е. выгоняютъ изъ его области всякія симпатіи и антипатіи, а сами сознательно извращаютъ въ своихъ произведеніяхъ факты въ угоду... чортъ знаетъ чего. Конечно всѣ эти «тріады» и «діады» такъ отъ насъ далеки теперь, такъ мало намъ дороги, что подмѣна одной изъ нихъ другою нисколько не оскорбляетъ нашего нравственнаго чувства. Но это именно только потому, что намъ до нихъ дѣла нѣтъ, а во времена Прудона было иначе. Слѣдовательно добросовѣстнымъ его поведение на этомъ пунктѣ никакъ нельзя назвать. Однако настаивать на этомъ я не буду, потому что переписка Прудона открываетъ факты болѣе рѣзкіе и достойные вниманія.

Въ одномъ изъ писемъ 1850 г. встрѣчается слѣдующая фраза, какъ справедливо замѣчаетъ г. Д—евъ, резюмирующая собою всю публицистическую политику Прудона: «Непоколебимость принциповъ, постоянныя сдѣлки (transaction) съ обстоятельствами и людьми». (Та же мысль выражена въ эпиграфѣ къ «Теоріи нахога»: «*Des réformes tous jours, des utopies — jamais.*») Въ другомъ письмѣ того же года читаемъ: «Мой планъ былъ бы, еслибъ я сдѣлался вашимъ сотрудникомъ,—послѣ новаго подтвержденія и защиты всѣхъ моихъ предыдущихъ заключеній, овладѣть общественнымъ мнѣніемъ посредствомъ новой грандіозной теоріи, которая бы предупредила и поглотила всѣ критики, *теоріи прогресса въ себѣ*, т. е. вѣчнаго движенія революціонныхъ идей,—словомъ, философіи реформъ. Этимъ я спасъ бы все: абсолютизмъ принциповъ и медленность примѣненій. Тогда бы поняли, что если истина есть то, что *есть*, она—еще болѣе то, что *дѣлается* (devient); тогда бы журналъ даже въ своихъ исключеніяхъ изъ общихъ правилъ могъ быть оправданъ и защищенъ отъ всякихъ упрековъ. Тогда революціонная партія представляется разомъ непоколебимой въ своихъ принципахъ, практической и возможной». Эта идея не представляла, собственно говоря, новости въ Прудонѣ 1850 г.; она была ему всегда присуща, хотя и не въ видѣ ясно сознаанной и точно сформулированной теоріи. Мы видѣли, что уже въ «Празднованіи воскресенья» пла рѣчь объ идеалѣ

общественнаго равенства и вмѣстѣ съ тѣмъ о подготовительныхъ къ нему ступеняхъ. И таковъ Прудонъ во всемъ. Напримѣръ его знаменитая «анархія», такъ многихъ пугавшая, не имѣетъ въ себѣ рѣшительно ничего разрушительнаго. Анархія Прудона есть отдаленный, крайній идеалъ, нѣкоторымъ образомъ маякъ, освѣщающій путь. Въ одномъ письмѣ къ Даримону Прудонъ пишетъ: «Наша идея *анархіи* пущена... Послѣ отрицанія государства мы должны дать почувствовать, что дѣло идетъ о довершеніи прогрессивнаго движенія, состоящаго въ упрощеніи usque ad nihilum, а не въ осуществленіи внезапной и прямой анархіи». Таковъ же характеръ и другой знаменитой формулы: собственность есть кража. Отрицанія собственности въ принципѣ здѣсь нѣтъ и поминна. Для этого Прудонъ былъ слишкомъ французскій крестьянинъ—это очень важно замѣтить—извѣстный своей безпредѣльной, почти идолопоклоннической привязанностью къ собственности. Прудонъ не только не отрицалъ собственности въ принципѣ, а, напротивъ, хотѣлъ ее, какъ онъ однажды выразился, *universaliser*, т. е. расширить ея сферу, дать ее тѣмъ, у кого ея нѣтъ. Конечно, стави единственнымъ основаніемъ права собственности трудъ, онъ колебалъ основы современнаго общества, въ которомъ собственность покоится на весьма различныхъ основаніяхъ. Но опять-таки никакого рѣзкаго переворота онъ не желалъ. Онъ писалъ одному пріятелю, требовавшему нѣкоторыхъ разъясненій: «Въ каждой реформѣ есть двѣ различныя вещи, которыя слишкомъ часто смѣшиваютъ: *переходное состояніе* и *совершенство* или *законченность*. Первое—какъ разъ то единственное дѣло, которое *теперешнее* общество призвано исполнить; но какъ же осуществимъ мы этотъ переходный процессъ? Ты найдешь отвѣтъ на этотъ вопросъ, сопоставляя нѣкоторыя мѣста моего втораго мемуара». Затѣмъ слѣдуютъ указанія на страницы извѣстнаго письма къ Бланки, гдѣ говорится о постепенномъ сокращеніи рентъ, арендѣ и «нападеніи на собственность со стороны процента». Всѣ эти мѣры Прудонъ оставилъ въ послѣдствіи болѣе или менѣе въ сторонѣ или измѣнилъ планъ ихъ введенія, но во всякомъ случаѣ и въ ту минуту, когда онъ писалъ свои мемуары о собственности, и тогда, когда онъ думалъ провозвести всѣ нужныя и возможныя реформы двумя декретами—о ссудахъ и о налогахъ—и тогда, когда онъ, говоря о своемъ народномъ банкѣ, писалъ: «Я начинаю предпріятіе, которому не было и не будетъ равнаго; я хочу измѣнить основаніе общества, перемѣнить ось цивилизаціи, сдѣлать, чтобы міръ, вращавшійся до сихъ поръ, по волѣ Божіей,

отъ запада къ востоку, сталъ двигаться отнынѣ, по волѣ человека, отъ востока къ западу» («*Oeuvres*», XVIII, 1)—и позже, и всегда, несмотря на всѣ страшныя слова, Прудонъ былъ противникомъ всякаго насильственнаго переворота и сторонникомъ постепеннаго «прогресса въ себѣ». Системы же, предлагающія извѣстный, совершенный съ точки зрѣнія авторовъ порядокъ вещей, который вмѣстѣ съ тѣмъ могъ быть осуществленъ немедленно, Прудонъ съ обычной энергіей выраженія называлъ «проклятою ложью». Читатель найдетъ обильныя подтвержденія въ цитатахъ г. Д—ева и еще больше въ сочиненіяхъ Прудона. А намъ предстоитъ здѣсь разрѣшить другой вопросъ.

Легко сказать: непоколебимость принциповъ и постоянныя сдѣлки съ обстоятельствами и людьми! Но какъ привести эту программу въ исполненіе? Какъ провести невредимо корабль принциповъ среди безчисленныхъ рифовъ и подводныхъ камней практической жизни, и въ особенности въ такой бурный историческій моментъ, въ какой довелось жить, мыслить и дѣйствовать Прудону? Не придется ли тутъ иногда, говоря прямо, лгать? Какъ понималъ это дѣло самъ Прудонъ,—отчасти видно изъ письма его къ Марку Дюфрессу (1850 г.). Говорю: отчасти, потому что г. Д—евъ къ сожалѣнію недостаточно воспользовался этимъ замѣчательнымъ письмомъ, хотя оно почему-то упоминается у него два раза («Вѣстникъ Европы», № 8, 564, и № 9, 123), такъ что трудно даже обозначить въ точности время, когда оно написано. Дюфрессъ задалъ Прудону рядъ политическихъ и социальныхъ вопросовъ, имѣя въ виду возможность изданія газеты. Прудонъ отвѣчалъ между прочимъ: «Всѣ эти вопросы въ сущности прямо или косвенно сводятся къ слѣдующему: журналъ, о которомъ идетъ рѣчь, будетъ или нѣтъ слѣдовать политикѣ инсurreкціонной и въ какой мѣрѣ? Такъ какъ нѣтъ, да и не будетъ никогда предѣловъ для неудовольствій, какія можно поднимать противъ какого бы то ни было правительства, противъ законности его происхожденія и правоты его дѣйствій, такъ какъ слѣдовательно невозможно *логически* остановиться на пути возстанія, а предѣлъ является лишь тогда, когда возмущающійся органъ дѣлается обладателемъ власти,—изъ этого слѣдуетъ, что вопросъ, поставленный вами, предполагаетъ мнѣніе, о нравственности котораго каждый можетъ судить по своему. Журналъ не перестанетъ подбивать къ возстанію до тѣхъ поръ, пока его сотрудники не будутъ министрами, а его глава—президентомъ республики. Съ этой точки зрѣнія я и стану формулировать мои отвѣты на каждое изъ вашихъ вопрошеній». Вотъ образъ

чики этихъ отвѣтовъ. Католицизмъ долженъ быть по мнѣнію Прудона преслѣдуемъ «вплоть до уничтоженія, что однако не мѣшаетъ мнѣ надписывать на моемъ знамени: *терпимость*; это—конечно противорѣчіе». И тутъ же онъ прибавляетъ въ видѣ вопроса: «что вы отвѣтите, когда васъ попросятъ объяснить его, т. е. это противорѣчіе?». Онъ стоитъ въ принципѣ за избирательное начало въ примѣненіи ко всякой должности. Но на практикѣ общественное благо (*salut public*) потребуетъ многочисленныхъ исключеній изъ этого принципа, а вотъ опять—новое противорѣчіе. И опять Прудонъ спрашиваетъ: «посмѣете-ли вы объяснить его?». Точно то же и въ вопросѣ самоуправленія. Прудонъ защищаетъ полную самостоятельность общинъ. «Таковъ для меня, говоритъ онъ, настоящій принципъ, составляющій то, что довольно-таки глупо называли жирондизмомъ». Но государство часто должно быть поставлено выше коммуны для того, чтобы дѣйствовать на нее, какъ импульсъ, какъ руководящее и развивающее начало. Журналу съ абсолютными принципами опять придется противорѣчить себѣ, и его нападки на существующее правительство будутъ потому уже недобросовѣстны, что на мѣстѣ правительства онъ дѣйствовалъ бы точно такъ-же. Письмо оканчивается уже приведеннымъ мною выше намекомъ на теорію «прогресса въ себѣ».

Г. Д.—еву очень нравится письмо къ Дюфрессу, какъ яркое выраженіе свойственной Прудону безпощадности и свободы критики и презрѣнія къ «условной демократической фразеологіи». Но Г. Д.—евъ и вообще не страдаетъ по отношенію къ своему герою тѣмъ, что ему въ этомъ героѣ такъ сильно и не совсѣмъ основательно нравится—безпристрастіемъ. Онъ готовъ измолотить всѣхъ современниковъ Прудона (кромя Огюста Конта), чтобы сдѣлать изъ ихъ труповъ достойный пьедесталъ для знаменитаго социалиста. Я, грѣшный профанъ, прочиталъ письмо къ Дюфрессу съ крайне непріятнымъ чувствомъ, да и вообще переписка Прудона нѣсколько ослабила мое уваженіе къ нему, какъ личности. Въ письмѣ къ Дюфрессу презрѣніе къ условной демократической фразеологіи—последнее дѣло; лучше сказать, дѣло совсѣмъ не въ немъ. Безъ сомнѣнія письмо дышетъ замѣчательной смѣлостью и мысли, и личнаго характера. Такъ откровенно говорить можетъ только человѣкъ сильнаго ума и глубоко убѣжденный. Прудонъ здѣсь, выражаясь его собственными словами, называетъ кошку кошкой и недобросовѣстность недобросовѣстностью. Преслѣдуемъ же его благому примѣру и скажемъ, что самъ онъ былъ часто очень недобросовѣстенъ. Сама по себѣ

теорія «прогресса въ себѣ» и очень разумна, и была во Франціи сороковыхъ годовъ вполне уместна. Ждать, что земной рай, нарисованный со всѣми мельчайшими подробностями, осуществится завтра, значить или имѣть очень скромныя, очень жалкія представленія о земномъ раѣ, или не имѣть самыхъ элементарныхъ понятій о томъ, какъ идутъ дѣла на землѣ. На такое ожиданіе способны только увлеченіе, которое несетъ извиненіе въ самомъ себѣ, невѣжество или барство, желающее пожинать, не сѣя, и вѣсть рябчиковъ, не жаря ихъ. Поэтому мысль о непоколебимости принциповъ при необходимости согласовать ихъ практическое приложеніе съ обстоятельствами времени и мѣста—глубоко вѣрна, хотя и представляетъ ту опасность, что за нее могутъ ухватиться негодяи и трусы. Но съ этимъ ужъ ничего не подѣлаешь. Самому же Прудону вовсе не предстояли тѣ ужасныя дилеммы, которыя онъ съ такимъ задоромъ ставилъ передъ Дюфрессомъ. Разъ заявлена доктрина «прогресса въ себѣ», можетъ-ли быть заподозрѣно въ недобросовѣстности такое напимѣръ разсужденіе: я требую полной, безусловной терпимости, но такъ какъ католицизмъ есть первый и злѣйшій врагъ ея, то во имя терпимости я буду преслѣдовать его «вплоть до уничтоженія»? или: «я требую полной самостоятельности самыхъ дробныхъ общественныхъ единицъ, какова община, но такъ какъ при такихъ-то и такихъ-то условіяхъ самостоятельность общины можетъ быть поддержана только внимательствомъ центральной, государственной власти, то я призываю эту власть»? Конечно могутъ представиться многочисленные случаи, въ которыхъ согласованіе непоколебимаго принципа съ жизненною практикой будетъ очень трудно; возможны тутъ разныя ошибки въ разчетѣ, но объ недобросовѣстности не можетъ быть и рѣчи. Прудонъ это очень хорошо понималъ и потому-то и систематизировалъ рекомендуемый имъ образъ дѣйствія, сложилъ его элементы въ точно сформулированную теорію. Но вотъ гдѣ его недобросовѣстность. Въ полемикѣ напимѣръ съ Луи Бланомъ онъ плохо различалъ принципъ и его осуществленіе, цѣль и средства. Вмѣсто того чтобы держаться своего правила, называть кошку кошкой и стоять на томъ, что будь, дескать, я на вапемъ мѣстѣ члена временнаго правительства, я бы не національныя мастерскія заводилъ, а дѣлалъ бы то-то и то-то—вмѣсто этого онъ громилъ «губернаментализмъ» Луи Блана и щеголялъ своей «анархіей». Между тѣмъ онъ очень хорошо понималъ, что его анархія есть только маякъ, отдаленный возможный результатъ ряда дѣйствій, которыми онъ самъ готовъ былъ при-

дать нѣкоторый «гувернаментальный» характеръ. Какъ видно изъ письма къ Дюфрессу, онъ имѣлъ въ мысляхъ возможность занять постъ президента республики и не отбрыкивался отъ этой возможности, а заносилъ ее въ счетъ своихъ соображеній. Въ этомъ нѣтъ ничего достойнаго порицанія. Занявъ постъ президента, онъ сталъ бы по собственному сознанию дѣйствовать тѣми же приемами и способами, какъ Луи Бланъ и всякое другое правительство, хотя и направлялъ бы ихъ иначе. И тутъ опять-таки нѣтъ ничего худого или даже противорѣчащаго его идеѣ анархіи. Но громить при этомъ то или другое правительство не за то, что оно плохо распоряжается, а за то, что оно вообще распоряжается, — это конечно недобросовѣстно.

Достойно вниманія, что анархиста Прудона постоянно тянуло къ правительству, какъ видно изъ множества мѣстъ его переписки. Такъ еще въ 1842 г., сообщая другу своему Бергману о задуманномъ имъ сочиненіи, онъ прибавляетъ: «ты быть можетъ не удивишься моему предсказанію, что черезъ два года я весь, со всѣмъ моимъ добромъ (*avec mes biens et bagages*) перейду къ правительству». По волѣ судьбы однако тотчасъ же вслѣдъ за этимъ письмомъ противъ него было возбуждено судебное преслѣдованіе за третій мемуаръ о собственности. Онъ былъ искренно пораженъ этою неожиданностью, но все-таки послалъ министру Дюпателю свои сочиненія и объяснительную записку. Бергману онъ писалъ по этому поводу: «Надѣюсь, что министръ приметъ благосклонно мои идеи, тѣмъ болѣе, что я объясняю ему (ты это поймешь), какъ самыя радикальныя теоріи могутъ быть обращены въ пользу правительства. Въ самомъ дѣлѣ, если въ обществѣ не должно происходить ни замѣненія, ни перерыва, то каждая теорія должна доказать, что она необходимо вытекаетъ изъ существующей, о сохраненіи которой она слѣдовательно должна, обязана заботиться до тѣхъ поръ, пока не начнетъ дѣйствовать сама». Иногда впрочемъ на него нападаютъ и сомнѣнія такого рода: «Не смѣю еще надѣяться на то, что правительство пойметъ достоинство моихъ изслѣдованій». Но это рѣдко. Большею частью Прудонъ надѣется и ждетъ: «Мнѣ удастся въ одно и то-же время быть самымъ крайнимъ реформаторомъ эпохи и пользоваться протекціей власти» (1842); «вопреки всеобщей ненависти у меня всегда есть какой-нибудь министръ, который при случаѣ можетъ помочь мнѣ» (1848). Въ 1849, *сидя въ тюрьмѣ*, онъ пишетъ Гильомену: «Я долженъ извѣстить васъ о большомъ дѣлѣ, затѣянномъ между С. Пелажи (тюремъ) и Елисейскимъ

дворцомъ. Луи Бонапартъ долженъ ни больше, ни меньше, какъ сдѣлаться компаньономъ «народнаго банка». Я доставлю публикаціи, статуты и т. д.; дѣло пойдетъ на разсмотрѣніе, и быть можетъ правительство или президентъ, не знаю ужъ кто изъ нихъ, сдѣлаетъ для насъ то, что сдѣлано было для *cités ouvrières*: возьметъ на себя починъ акціонерной компаніи посредствомъ крупной подписки». Будучи переведенъ въ крѣпость Дюленсъ, гдѣ были заключены Распайль, Альберъ, Барбесъ, Бланки и другіе, онъ пишетъ: «Право, не знаю, почему я очутился со всѣми этими гражданами, которыхъ я необычайно уважаю... Я — новый человекъ, человекъ полемики, а не баррикады, — человекъ, который могъ бы достичь своей цѣли, обѣдая каждый день съ префектомъ полиціи». Событія 2 декабря и затѣмъ вторая имперія не только не ослабили этого оригинальнаго убѣжденія Прудона — дѣйствовать заодно съ правительствомъ, — а даже поддали ему жару: «я рассчитываю черезъ два-три мѣсяца водрузить ни больше, ни меньше, какъ знамя соціальной республики. Случай представляется великолѣпный, успѣхъ почти вѣрный. Какъ только Бонапартъ сдѣлается императоромъ, я примусь разсуждать о совершившемся фактѣ (ни *за*, ни *противъ*); я буду обсуждать миссію Бонапарта и рачительно подталкивать его ко всѣмъ революціоннымъ предпріятіямъ, которыя въ данномъ случаѣ должны конечно усилить его популярность, но вмѣстѣ съ тѣмъ подвигать впередъ и демократію». Въ другомъ письмѣ читаемъ: «Рассчитываю я выпустить втѣченіе іюня и іюля три изданія къ ряду, занять положеніе на совершенно новой почвѣ и заставить Елисейскій дворецъ посмотрѣть на союзъ съ республиканцами, какъ на вещь до такой степени желательную, логическую, настоятельно необходимую, что имъ останется только ожидать ее съ достоинствомъ... Слѣдуетъ искуснымъ маневромъ, высшими философскими соображеніями, поставить партію, находящуюся нынче въ изгнаніи, такъ высоко, не взирая на ея ошибки, чтобы всякая монархическая раставрація показала чудовищной и чтобы правительство 2-го декабря, слѣдуя логикѣ своего происхожденія, своего предназначенія, своего положенія, было въ постоянной необходимости искать соглашенія. Словомъ сказать: надо сдѣлать изъ революціи единственную программу, возможную для Луи Наполеона; надо, чтобы онъ устремился къ ней для своего счастья и спасенія; надо широко растворить ему эту дверь будущности, популярности, безсмертія; надо закрыть ему всѣ другіе исходы, обрѣзать малѣйшую вѣтвь спасенія, отнять всякій предлогъ, лишить всякой надежды. Надо, говорю я, доказать ему, доказать

всѣмъ интеллигенціямъ, что внѣ революціи они пропали, и доказывая это, добиться того, чтобы оно такъ случилось».

Я нарочно привелъ образцы (ихъ много въ письмахъ Прудона) и совершенно искренней увѣренности, что его идеи станутъ руководить правительствомъ, и хитрыхъ макіавелическихъ комбинацій, задуманныхъ на погибель правительства. И тѣ, и другія проникнуты крайнимъ простодушіемъ, не лишеннымъ своеобразнаго комическаго элемента, особенно если вспомнить, что на дѣлѣ Прудонъ не только никогда ни такъ, ни иначе не проникалъ въ правительственныя сферы, но испыталъ всѣ удовольствія тюрьмы и изгнанія. Трудно даже понять, какъ могъ человѣкъ несомнѣнно сильнаго, огромнаго ума до такой степени плохо ориентироваться въ комбинаціяхъ практической жизни. Но я не на эту сторону дѣла хочу обратить вниманіе читателя. Она свидѣлствуетъ только о наивности Прудона и его глубокой вѣрѣ въ свои идеи, — вѣрѣ, не допускающей даже и тѣни сомнѣнія, что какъ только извѣстныя «вышія философскія соображенія» будутъ представлены Дюшателю или Наполеону, — такъ Наполеонъ и Дюшатель немедленно раскроютъ Прудону свои объятія. Это та самая вѣра, которая побуждала Прудона совершенно искренно писать одному другу: «моли Бога, чтобы я нашелъ издателя (для перваго межуара о собственности), — въ этомъ можетъ быть спасеніе Франціи!». Если вы посмотрите на упованія Прудона съ этой точки зрѣнія, то ихъ комическій характеръ нѣсколько поблѣднѣетъ, и вы припомните можетъ быть извѣстную поговорку, что между смѣшнымъ и великимъ всего одинъ шагъ разстоянія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ вы невольно поражаетесь тѣмъ обстоятельствомъ, что человѣкъ, не только въ первомъ же своемъ зрѣломъ произведеніи объявившій себя «анархистомъ», но всегда преслѣдовавшій въ другихъ попытки правительственной инициативы, самъ постоянно тяготѣлъ (хотя и платонически) къ правительству. Если мы даже выкинемъ изъ счета, ради его двусмысленности, планъ подкона подъ Наполеона III, то многія другія упованія Прудона ясно показываютъ, что онъ совершенно искренно и вполне честно рассчитывалъ дѣйствовать правительственными путями. Оно, какъ мы видѣли, и не противорѣчитъ его собственной доктринѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ вполне противорѣчили и этой доктринѣ, и элементарнымъ понятіямъ о нравственности его нападки на другихъ за то, чѣмъ онъ былъ такъ грѣшенъ самъ. И въ полемикѣ его, всегда страстной и часто очень искусной, это противорѣчіе выражалось многими некрасивыми чертами. Самая умѣренная характеристика его образа

дѣйствій въ этомъ отношеніи можетъ быть выражена словомъ «плутоватость», — словомъ, которое онъ въ одномъ письмѣ самъ употребляетъ по отношенію къ себѣ. Но если «плутоватый» человѣкъ, сознавая свою плутоватость и сознательно пуская ее въ ходъ, примется лавировать по самымъ опаснымъ и бурнымъ пространствамъ грязнаго житейскаго моря, то становится «за человѣка страшно», за его нравственную чистоту, потому что замараться вѣдь такъ легко. И Прудонъ замарался. До сихъ поръ мы видѣли только наивность его платоническаго тяготѣнія къ правительственнымъ сферамъ и полнѣйшее безкорыстіе, потому что во всѣхъ своихъ замыслахъ войти въ правительство искреннимъ или коварнымъ другомъ онъ о себѣ не думалъ, ничего лично для себя не добивался. Но онъ все-таки стоялъ на слишкомъ скользкой почвѣ и поскользнулся, и не разъ. Къ сожалѣнію письма, относящіяся къ подобнымъ случаямъ, мнѣ въ оригиналѣ неизвѣстны, а г. Д—евъ скупъ на выдержки изъ нихъ, во-первыхъ по характеру своей задачи, а во-вторыхъ надо думать потому, что щадить своего героя. Но тѣмъ болѣеую силу получаютъ нѣкоторыя отрицательныя или недобрытелиныя сужденія г. Д—ева. Въ 1850 г., сидя въ тюрьмѣ, Прудонъ продолжалъ руководить оттуда своей газетой «Voix du Peuple». Правительство Луи-Наполеона подозрѣвало его во всѣхъ рѣзкихъ статьяхъ и потому перевело его въ другую тюрьму и стѣснило его въ выходѣ и приѣмѣ друзей. Тогда онъ написалъ префекту полиціи письмо, въ которомъ просилъ прежнихъ послабленій. Онъ напоминаетъ префекту, что его направленіе никогда не было разрушительнымъ, что на возмущеніе 13-го іюня онъ не переставалъ смотрѣть, какъ на дѣло противозаконное, такъ какъ «право возстанія погашается учрежденіемъ всеобщей подачи голосовъ». Далѣе онъ указываетъ на свою постоянную примирительную роль, на неустанное желаніе согласить интересы классовъ, для чего собственно онъ и напечаталъ свои «Признанія революціонера», и наконецъ на свою безпощадную критику всѣхъ социалистскихъ утопій, ссылаясь даже на толки, ходившіе на биржѣ, что онъ, Прудонъ, содѣйствовалъ порядку и возстановленію нормальнаго хода дѣлъ (!) своими нападками на утопистовъ и либерализмомъ своихъ стремленій. «Это письмо, вынужденъ замѣтить г. Д—евъ: — вызвано конечно тяжелой дѣйствительностью, но Прудону все-таки не слѣдовало писать его съ такими доводами». Вмѣстѣ съ тѣмъ Прудонъ извѣщалъ префекта, что онъ отказывается отъ всякаго участія въ «Voix du Peuple», а редакцію увѣщевалъ подержать его обращеніе къ префекту «умѣ-

ренностью и примирительнымъ духомъ». Изъ другого письма къ префекту видно, что первое подѣйствовало: Прудонъ «усердно благодарить» префекта, но просить перевести его въ старую тюрьму. Не приводя изъ этого письма ни одной подлинной строки, г. Д—евъ замѣчаетъ: «Письмо это, даже и на совершенно объективный взглядъ, не производитъ хорошаго впечатлѣнія, хотя вполне вѣрно, что такой человѣкъ, какъ Прудонъ, никогда не вдавался въ абсолютизмъ и нетерпимость (?). Но онъ ненавидѣлъ и презиралъ правительство президента, зналъ прекрасно, чего ждать отъ его клики, и находилъ возможнымъ очень мягко переписываться съ префектомъ полиціи». Есть и еще одно любопытное письмо 1850 г., изъ котораго г. Д—евъ не дѣлаетъ никакихъ выдержекъ, а только изображаетъ производимое этимъ письмомъ впечатлѣніе на читателя. Приведа изъ дружескаго письма Прудона рѣзко презрительное выраженіе о Наполеонѣ, г. Д—евъ продолжаетъ: «тѣмъ не пріятнѣе наткнуться въ концѣ третьяго тома на письмо къ президенту республики отъ 28-го ноября, съ просьбою объ облегченіи участи, хотя письмо это и было потомъ уничтожено, какъ слишкомъ личное, по замѣчанію самого автора, находящемуся подъ текстомъ. Письмо это, названное «петиціей», было замѣнено ходатайствомъ объ общей амнистіи. Во всякомъ случаѣ врядъ ли слѣдовало Прудону обращаться къ человѣку, замышлявшему 2-е декабря, по имя солидарности, объединяющей ихъ, какъ враговъ старыхъ партій». Есть еще, тоже нехорошія, письма Прудона къ Рюп-Рюп, т. е. къ принцу Наполеону, писанныя уже послѣ 2-го декабря. Собственноноручное письмо такого ничтожества, какъ этотъ прохождецъ, *даже не къ нему адресованное*, а только касающееся его, Прудонъ «сохраняетъ съ гордостью». Онъ говоритъ о «славѣ имени» и «чести дома» Бонапарта.

Къ такимъ некрасивымъ результатамъ пришелъ Прудонъ, спускаясь съ высоты теоріи «прогресса въ себѣ» по наклонной плоскости своей «плутоватости». Что дѣло здѣсь не въ теоріи, а въ личности Прудона—это очевидно. Что поведеніе его далеко отъ рыцарства, это опять-таки—фактъ, на какомъ бы языкѣ вы его ни рассказали, а не только на языкѣ «условной демократической фразеологии». Я не обвинительный актъ пишу противъ Прудона. Да и очень бы это жалкое дѣло было. Я просто ишу въ его перепискѣ его портрета и не могу не останавливаться преимущественно на такихъ чертахъ, которыя для меня новы, и смѣю думать, не для одного меня, а для громаднаго большинства читающихъ и думающихъ русскихъ и европейцевъ, привыкшихъ связывать съ лич-

ностью Прудона представленіе о чемъ-то безусловно чистомъ, свободномъ отъ малѣйшаго пятна и упрека. Совсѣмъ не весело подбирать эти тусклые черты, потому что, подбирая ихъ, приходится отрывать нѣчто отъ сердца. Это—не фраза. Со мной согласится всякій, когда-нибудь увлекавшійся какимъ-нибудь историческимъ или живымъ образомъ, именно образомъ, свѣтлою личностью, а не только ея идеями. Дѣло извѣстное, что и на солнцѣ есть пятна, но, какъ ни элементарна эта истина, какъ ни часто она подтверждается, а все-таки нелѣпая природа человѣка беретъ свое и не позволяетъ сказать безъ боли и печали: «я ты, Брутъ?!». Я долженъ признаться, что личность Прудона стояла для меня скорѣе выше, чѣмъ ниже его идей. Сочиненія его поучительны въ совсѣмъ особенномъ смыслѣ. Если вычестъ у Прудона то, чтѣ въ немъ есть общаго съ другими социалистами, то, сравнительно говоря, у него мало чему можно научиться въ прямомъ смыслѣ слова, т. е. пріобрѣсти непосредственно отъ него. Но чтеніе его сочиненій дѣйствуетъ замѣчательно возбуждательнымъ образомъ, какъ ферментъ. Каждая его книга поднимаетъ въ читателѣ цѣлый рядъ вопросовъ, которые требуютъ отвѣтовъ, цѣлый рядъ мыслей, которыя вторгаются въ вашъ умственный запасъ, требуютъ себѣ въ немъ мѣста, раздвигаютъ и тормозятъ своихъ сосѣдей, требуютъ отъ васъ пересмотра, критики и самокритики. Сравните напримѣръ «Капиталъ» Маркса съ «Системой экономическихъ противорѣчій». У Маркса вы нѣчто узнали, да такъ узнали, какъ будто извѣстныя свѣдѣнія приколочены у васъ въ мозгу двухъ-вершковыми гвоздями. Подъ этими страшными гвоздями ничто не поколеблется, ничто не шелохнется. «Система экономическихъ противорѣчій» напротивъ, сравнительно опять-таки говоря, даетъ вамъ мало положительнаго знанія, умственного успокоенія. Но она дорога именно тѣмъ состояніемъ умственного безпокойства, броженія, которое производитъ. Это объясняется обаяніемъ личности писателя, тѣмъ бурнымъ клокотаніемъ жизни, которымъ она полна и которое брызжетъ изъ каждой строки, то въ видѣ истинно громоноснаго гнѣва, то въ видѣ пламеннаго призыва къ чему-то, не всегда определенному, но всегда высокому и свѣтлому, то въ видѣ почти безумной смѣлости отрицанія и критики. Въ разговорѣ съ однимъ французскимъ социалистомъ меня поразила его фраза: «nous sommes presque tous proud-honiens», мы почти всѣ — продуины. Когда я сталъ добиваться подробностей, то узналъ, что собесѣдникъ мой во-первыхъ придаетъ крайне слабое значеніе идеѣ прудоновскаго банка, единственнаго практическаго, поло-

жительнаго результата дѣятельности Прудона; а во-вторыхъ признаетъ завѣтную мысль Прудона о сочетаніи силъ буржуазіи и рабочаго класса—пережитой, оставленной за флагомъ. Что же остается? Остается идея личности, одинаково не мирящаяся ни съ необузданностью мелкаго эгоизма, систематизированнаго въ ученіи экономистовъ, ни съ планами фаланстеріанцевъ, икарійцевъ и т. п., замыкающими личность въ тѣсныя и фантастическія рамки. Съ этой точки зрѣнія значеніе Прудона для Франціи дѣйствительно громадно въ воспитательномъ смыслѣ. Но воспитаніе это производилось исключительно тѣми шпорами, которыя Прудонъ неустанно и безжалостно давалъ личности въ своихъ сочиненіяхъ, иначе сказать, собственной личностью Прудона. Та же мысль о связи личности Прудона съ его идеями о личности очень хорошо (но теперь уже не совсѣмъ вѣрно) выражена въ брошюрѣ Жуковскаго «Прудонъ и Луи Бланъ» (1866 г.): «Онъ выдѣлялъ себя не во имя новой какой-либо партіи, новой коллективной силы единомышленниковъ, которой бы искалъ и на которую думалъ бы опираться. Нѣтъ, у него никогда не было ни школы, ни кружка, ни партіи, и онъ весьма далеко былъ отъ желанія организовать подобную партію... Весь протестъ его окружающему заключался въ его собственной личности; на однихъ своихъ плечахъ онъ хотѣлъ вынести всю войну, которую вызывалъ своимъ отрицаніемъ... Личность и прежде всего личность стояла для него на первомъ планѣ; въ этомъ началѣ личности видѣлъ онъ всю силу... Въ силу такого взгляда никто не былъ менѣе способенъ къ интригѣ, къ оправданію поступковъ благою цѣлью, къ половиннымъ сдѣлкамъ, уступкамъ и компромиссамъ; безукоризненность личной дѣятельности онъ ставилъ въ первый законъ политической и гражданской дѣятельности, самую личность, если хотите, ставилъ потому выше дѣла... Ту идеальную чистоту личности, которую идеалисты проповѣдывали только на словахъ, онъ хотѣлъ сдѣлать закономъ самаго дѣла... Съ рѣдкой послѣдовательностью онъ хотѣлъ отстаивать право и чистоту личности во всѣхъ сферахъ ея дѣятельности и во всѣхъ положеніяхъ. Вотъ почему онъ остался столь же бѣденъ деньгами, какъ немногіе друзья его и единомышленники». Въ этихъ сочувственныхъ словахъ выражено не личное мнѣніе Жуковскаго, а почти общее понятіе, къ которому склонялись и заклятые враги Прудона. И вдругъ—плутоватость! Сама по себѣ плутоватость—слишкомъ обычное и неважное явленіе, чтобы ею возмущаться. Но плутоватость въ Прудонѣ и плутоватость, доходящая до похвальбы передъ Наполеономъ, что, дескать, на

биржѣ толкуютъ, что я способствовалъ возстановленію порядка и нормальнаго хода дѣлъ, т. е. подготовленію второй имперіи!.. Г. Д—въ неоднократно съ презрѣніемъ отзывался о моральной оцѣнкѣ фактовъ, доставленныхъ перепиской Прудона. Прежде всего, говоритъ онъ,—философія, исторія философскаго развитія. Полагаю, что Прудонъ первый не согласился бы встать на такую точку зрѣнія, да и г. Д—въ далеко не вполнѣ на ней удержался, что очень понятно. Конечно переписка Прудона служитъ хорошимъ подспорьемъ для изслѣдованія процесса его философскаго развитія, но можно, собственно говоря, обойтись довольно удобно и безъ нея. Возьмите сочиненія Прудона, расположите ихъ въ хронологическомъ порядкѣ, изслѣдуйте и освѣщайте процессъ развитія съ точки зрѣнія Конта или какой угодно другой. Дѣйствительно, для исторіи философскаго развитія Прудона переписка не даетъ ничего существенно новаго, ничего такого, чего нельзя бы было отыскать въ его сочиненіяхъ, но она незаменима для характеристики личности и представляетъ въ этомъ отношеніи дѣйствительно новыя и неожиданныя матеріалы. Всѣ были напимѣръ увѣрены, что Прудонъ не имѣлъ и не хотѣлъ имѣть партіи, на которую рассчитывалъ бы опереться. Оказывается, что это неправда. Партія онъ дѣйствительно не имѣлъ: онъ имѣлъ только «кружокъ», очень небольшой, за который считалъ себя однако «нравственно отвѣтственнымъ», какъ онъ писалъ префекту полиціи. Но онъ *хотѣлъ* имѣть партію, какъ видно изъ многихъ его писемъ. Всѣ были увѣрены, что онъ мечталъ провести въ жизнь свои идеи единственно на своихъ собственныхъ плечахъ. Оказывается, что это неправда, потому что онъ рассчитывалъ и на плечи Дюшателя и разныхъ другихъ министровъ. Всѣ были наконецъ увѣрены, что «никто не былъ менѣе способенъ къ интригѣ, къ оправданію поступковъ благою цѣлью». И это неправда, потому что въ перепискѣ встрѣчаются прямые совѣты выть съ волками по волчьей, а планъ подкупа подъ Наполеона III свидѣлствуетъ, что интрига и оправданіе поступковъ благою цѣлью были Прудону не совсѣмъ чужды. Ниже я разскажу еще одинъ подходящий эпизодъ изъ его частной жизни.

Но каковы бы ни были пятна на солнцѣ, оно остается солнцемъ. Лично Прудонъ былъ человекъ плутоватый, это несомнѣнно, но самъ онъ сильно преувеличивалъ свою плутоватость и способность къ интригѣ. Въ сущности у него было только позывъ къ ней, а способности не было вовсе. Плутуватость его достигла предположенныхъ цѣлей только въ полемикѣ, въ которой онъ часто далеко не добросовѣстно, но по крайней мѣрѣ внѣшнимъ обра-

зомъ успѣшно вывертывался изъ затруднительныхъ положеній. На всѣхъ остальныхъ пунктахъ плутоватость привела къ нулю, если не къ отрицательной величинѣ. Факты говорятъ сами за себя: увѣреніе, что онъ можетъ дѣлать свое дѣло, каждый день обѣдая съ префектомъ полиціи, написано въ тюрьмѣ; вслѣдъ за твердо выраженнымъ намѣреніемъ «перейти со всѣмъ багажемъ въ правительството», какъ мы видѣли, началось судебное преслѣдованіе Прудона,—это, если хотите, черты высокаго комизма. Что же касается до облегченія тюремнаго режима, добытаго плутоватостью, то оно меньше, чѣмъ нуль, потому что облегченіе было ничтожно, а честное имя Прудона компрометтировано. Коварные замыслы противъ правительства Наполеона III поражаютъ своей фантастичностью, и черезъ два-три года послѣ ихъ изложенія Прудонъ чувствуетъ прихвостня императора,—принца Наполеона. Не меньше можетъ быть всякаго грѣшнаго потомка грѣшныхъ прародителей Адама и Евы, Прудонъ былъ не прочь и отъ власти и богатства, и отъ интриги и оправданія поступковъ благою цѣлью. Но какъ-то всегда такъ выходило, что либо замыселъ, несмотря на весь умъ Прудона, оказывался ребяческимъ, либо онъ самъ отказывался напримѣръ отъ денегъ, когда ихъ могъ получить совершенно безобиднымъ образомъ. Онъ хотѣлъ и не хотѣлъ. Благодаря бѣдности человѣческаго языка, нельзя выразиться яснѣе, а между тѣмъ это противорѣчіе всѣмъ понятно, потому что оно довольно обыкновенно. Власть и богатства Прудонъ, надо замѣтить, никогда не добивался, какъ своихъ личныхъ, своекорыстныхъ цѣлей, но все-таки думалъ о нихъ. Когда вслѣдствіе письма его къ Наполеону было снято запрещеніе съ его книги, онъ былъ очень обрадованъ и писалъ одному другу, что собирается воевать съ клерикалами и консерваторами, надѣется сразу заработать 30,000 франковъ своими изданіями и стать во главѣ настоящей революціонной партіи. Мысль заняться какимъ-нибудь нелитературнымъ практическимъ доходнымъ предпріятіемъ очень часто занимала Прудона. Между прочимъ въ 1852 году онъ собирался пустить въ ходъ проектъ судоходства между Марселемъ и Ріо-Жанейро. Сообщивъ это свѣдѣніе, г. Д—евъ замѣчаетъ: «Пикантно при этомъ то, что, въ ожиданіи социальныхъ переворотовъ, Прудонъ каждый разъ собирается дѣйствовать буржуазными средствами: ловкостью, секретомъ и т. д.». Соответственныхъ фактовъ г. Д—евъ не приводитъ. Въ томъ же 1852 году Прудонъ писалъ: «Почему мнѣ не двадцать пять лѣтъ вмѣсто сорока четырехъ! Десяти лѣтъ довольно бы мнѣ было, чтобы составить состояніе, безъ котораго человѣкъ съ идеями всегда ли-

шенъ солидности и кредита. Тогда мы могли бы попытаться кое-что и вступить въ равныя сношенія съ властью имѣющими... Теперь же я все-таки презрѣнный писака, недостойный вниманія ни со стороны республиканской буржуазіи, ни со стороны буржуазіи бонапартистской». Въ слѣдующемъ году онъ былъ сильно занятъ проектомъ желѣзной дороги изъ Безансона въ Мюльгаузенъ. Въ чемъ состояло его участіе въ этомъ дѣлѣ, изъ изложенія г. Д—ева не видно. Во всякомъ случаѣ «онъ мечталъ, еслибы предпріятіе это состоялось, получить отъ концессионера 500,000 франковъ на возобновленіе своего *народнаго банка*». Дѣло это однако лопнуло, потому что концессія была дана не патронамъ Прудона, а Перейрѣ. Такихъ неудачъ въ жизни Прудона было не мало, и становится наконецъ интереснымъ, почему же замѣчательноумный, талантливый и извѣстный человѣкъ, желающій вдобавокъ добиться извѣстнаго матеріальнаго благосостоянія, не получаетъ его? Что Прудонъ никогда его не получилъ, это читатель конечно знаетъ. Всѣмъ извѣстно, что Прудонъ оставался всю жизнь бѣднякомъ, но до какой степени бѣднякомъ! Издавъ уже свои мемуары о собственности и работая надъ «Création de l'ordre, будучи уже слѣдовательно знаменитостью, сочиненія которой переводились на иностранные языки, онъ писалъ матери: «Отдайте зачинить мои старые башмаки, которые вы должны были получить съ дилижансомъ изъ Пема». Гораздо позже онъ писалъ, что удовольствовался бы 4 или даже 3,000 франковъ въ годъ. «Писать, еще писать и всегда писать! вотъ моя бѣда: кто выведетъ меня изъ этого ада?»—восклицаетъ онъ въ 1852 г., измученный подобной работой. Можно подумать, что онъ былъ просто плохой дѣлецъ, такъ же дурно установливавшій въ практику свои промышленные проекты, какъ дурно ориентировался въ политической практикѣ, когда рассчитывалъ напримѣръ опереться на Дюшателя. Оно по всей вѣроятности отчасти такъ и было. Но былъ въ его жизни по крайней мѣрѣ одинъ такой случай, когда онъ могъ сразу получить порядочный кушъ, и очень любопытно видѣть, какъ онъ съ этимъ случаемъ распорядился. Когда дѣло безансонско-мюльгаузенской желѣзной дороги для него лопнуло, министръ финансовъ Манъ и выбранный концессионеръ Перейра нашли, что Прудону слѣдуетъ заплатить 40,000 фр. «отступного», какъ говоритъ г. Д—евъ. Прудонъ отказался. «Я принялъ участіе въ хлопотахъ,—писалъ онъ по этому поводу,—и съ цѣлью политической, и въ интересъ принципа. Принципъ этотъ: конкуренція, которую я желалъ возбудить между желѣзными путями вѣтвью отъ Безансона до Мюльгаузена. Императоръ рѣшилъ иначе; мнѣ нечего брать

вознаграждение за принципъ. Деньги и идея—двѣ несомнѣримыя величины». Сколько мнѣ извѣстно, Прудонъ видѣлъ тутъ какую-то борьбу между принципами сенъ-симонистовъ, представителемъ которыхъ въ этомъ дѣлѣ считалъ Перейру, и своими. Изъ 40,000 фр. ему повидимому слѣдовала только извѣстная часть, которая для него все-таки должна была составлять изрядную сумму. По крайней мѣрѣ онъ писалъ нѣсколько позже: «Въ первый разъ подвергся я денежному искушенію; долженъ однако прибавить, что со мной поступили съ добрымъ намѣреніемъ и деликатностью».

Вотъ и разбирайте человѣческое сердце... Г. Д.—евъ говорить, что планы Прудона дѣйствовать хитростью, ловкостью, подвохами и подходами—«пикантны». Можетъ быть и пикантны, но я рѣшительно не понимаю, какъ можно просто вкушать и смаковать эту пикантность, не пытаясь дать ей объясненіе. Безъ такого объясненія вся переписка Прудона представляетъ только беспорядочную кучу писемъ, которая даже интереса большого не имѣетъ. Потому что, повторяю, исторія философскаго развитія Прудона можетъ быть выслѣжена и по его сочиненіямъ, а для познанія всякаго рода пикантностей достаточно голаго заявленія, что былъ, дескать, человѣкъ большого ума и высокой честности, но дѣлалъ глупости и гадости.

Г. Д.—евъ замѣчаетъ, что въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ Прудонъ оставался до конца жизни французскимъ мужикомъ. Я думаю, что это основаніе всей личности Прудона и всѣхъ его сочиненій. По отзывамъ всѣхъ, имѣвшихъ случай узнать французскихъ крестьянъ, исторія сдѣлала ихъ людьми, что называется, себѣ на умѣ, самостоятельными, упорными, упрямыми, трудолюбивыми, воздержными и бережливими до скупости, жесткими эгоистами. Проникающее ихъ личное начало рѣзче всего выражается въ необыкновенной страсти къ собственности. Французскій крестьянинъ бьется какъ рыба объ ледъ, работаетъ какъ волъ, откапываетъ себѣ во всемъ, чтобы накопить деньжонокъ и округлить свой наследственный участокъ земли, или же онъ съ этой цѣлью занимается за страшные проценты. Сегодня онъ умеръ, и сколоченный съ невѣроятными усиліями клочокъ земли дробится поровну между его сыновьями, изъ которыхъ каждый начинаетъ дѣло округленія вновь, если только его не перетянутъ къ себѣ соблазны городской жизни. Въ семьѣ французскій крестьянинъ—дееспотъ и смотритъ на жену свысока, какъ на существо несравненно низшее. Не только общественнаго хозяйства, хотя бы оно не выходило изъ предѣловъ семейнаго, но и общественной жизни онъ не знаетъ. Онъ поглощенъ своей лич-

ностью и только ближайшіе ея отпрыски, дѣти, ему близки. Мишле, такъ поэтически описавшій привязанность французскаго крестьянина къ «любовницѣ-землѣ», говоритъ: «Чтобы обладать нѣсколькими футами виноградника, женщина отнимаетъ грудь у своего ребенка и даетъ ее чужому. «Ты будешь жить или умрешь, мой сынъ, говорить отецъ, но если ты будешь жить, у тебя будетъ земля». Но это жестоко, это нечестиво, скажете вы. Подумайте прежде. «У тебя будетъ земля», это значить: «Ты не будешь наемникомъ, котораго сегодня берутъ, а завтра гонять, ты не будешь рабомъ изъ-за дневного пропитанія, ты будешь свободенъ». Свободенъ! Великое слово, содержащее въ себѣ все человѣческое достоинство». («Le peuple», 58.) Но сыновья мужика, какъ уже сказано, никогда не остаются вмѣстѣ, каждый изъ нихъ опять-таки замкнется въ свою личную жизнь, къ которой причастны только его дѣти. Что касается религіозныхъ воззрѣній, то за вычетомъ нѣсколькихъ мѣстностей, гдѣ французскій крестьянинъ суевѣренъ, какъ въ средніе вѣка, и почти идолопоклонникъ, онъ, вообще говоря, — крайній скептикъ и человѣкъ равнодушный, индифферентный.

Представьте себѣ теперь, что изъ этой однородной массы выдѣлился человѣкъ громаднаго ума и пытливости—Прудонъ. Какъ бы ни были личныя особенности его ума и характера, но кровная связь съ милліонами людей, обладавшихъ такою рѣзко опредѣленной фizioноміей, должна была наложить на него свою наследственную печать. Самъ Прудонъ очень хорошо понималъ и очень высоко цѣнилъ эту кровную связь. Онъ съ гордостью говорилъ о своихъ четырнадцати предкахъ-мужикахъ и съ этой же точки зрѣнія написаны многія прекрасныя страницы въ книгѣ «De la justice»: воспоминанія о смерти отца, котораго онъ глубоко уважалъ, о томъ времени, когда самъ онъ былъ пастухомъ и т. п. Нѣкоторые наследственно мужицкія черты остались въ Прудонѣ до конца его дней въ совершенно неперевавленномъ, неизмѣненномъ его личнымъ развитіемъ видѣ. Таковы его отношенія къ женщинамъ. Они извѣстны. Переписка только подтверждаетъ, что и въ частной жизни онъ на этомъ пунктѣ былъ таковъ же, какъ и въ теоріи. Его отношенія къ женѣ были замѣчательно жестки. Описывая въ одномъ письмѣ ея опасную болѣзнь и ожидая ея смерти, онъ говоритъ только о непріятностяхъ положенія вдовца съ дѣтьми и о неизбѣжной вслѣдствіе этого неурядицѣ въ домашнихъ дѣлахъ. Очевидно, что его извѣстное положеніе, что «женщина—или хозяйка, или куртизанка», не было для него фразой, а это—характерная крестьянская мысль. Но ко-

нечно далеко не всё типическія мужицкія черты могли сохраниться съ такою полною неприкосновенностью. Въ большей части случаевъ онѣ должны были, сохраняя свой коренной характеръ, подвергнуться извѣстной переработкѣ, хотя бы уже потому, что Прудону приходилось сталкиваться съ такими вещами, которыя въ крестьянскомъ быту не имѣютъ мѣста.

Напримѣръ французскій мужикъ можетъ болѣе или менѣе хорошо, болѣе или менѣе дурно устроить свои практическія дѣла, смотря по его ловкости, но онъ во всякомъ случаѣ прежде всего — практикъ и узкій практическій утилитаристъ. Эта черта въ основаніи своемъ досталась по наслѣдству и Прудону, но понятію въ преобразованномъ, такъ сказать, расширенномъ видѣ. Она выразилась его ненавистью ко всякой специальности для специальности. Искусство для искусства онъ называлъ проституціей, философію для философіи — «торговлей абсолютомъ»; такому же рѣзкому осужденію подвергались политика и экономія, какъ самостоятельныя, самодовлѣющія цѣли. Прудонъ не понималъ, какъ можно заниматься какой-нибудь специальностью для нея самой, а не для счастья человѣка или, какъ онъ говорилъ, для утвержденія справедливости. Въ книгѣ «De la justice» онъ сдѣлалъ даже намекъ на грандіозную теорію, въ силу которой справедливость должна была стать основаніемъ не только общественнаго устройства, а и всѣхъ мировыхъ процессовъ. Въ человѣческихъ же дѣлахъ онъ тѣмъ паче требовалъ служенія справедливости отъ всякой функции, отъ всякой дѣятельности. Искусство, наука, философія, промышленный прогрессъ, политическія формы сами по себѣ для него ничего не значили. Это несомнѣнно та же практичность французскаго мужика, но поднятая на высшую ступень развитія. Прудонъ это очень хорошо понималъ. Въ одномъ своемъ сочиненіи онъ говоритъ напримѣръ, что «человѣку народа никогда бы не пришла въ голову такая нелѣпость, какъ декартовское: «я мысля, слѣдовательно существую». Онъ хочетъ сказать, что для человѣка народа есть гораздо болѣе убѣдительное доказательство существованія — трудъ, дѣятельность вообще, лишь частная, специальная, слѣдовательно подчиненная форма которой есть мышленіе. Другія общія идеи Прудона, — тѣ, которымъ онъ оставался вѣренъ всю жизнь, столь же удобно приводятся въ связь съ духовнымъ наслѣдствомъ ряда поколѣній французскихъ крестьянъ. На первомъ мѣстѣ здѣсь стоитъ идея личности. Грубый эгоизмъ французскаго мужика, просвѣтленный работой гениальнаго ума, преобразился въ начало личнаго достоинства и

личной свободы. Наиболѣе трудно поддающийся объясненію съ этой точки зрѣнія фактъ есть прудоновское отрицаніе собственности, на первый взглядъ такъ рѣзко противорѣчащее основной складкѣ французскаго крестьянства. Но это только на первый взглядъ. Прежде всего замѣтимъ, что Прудонъ, совершенно въ духѣ своей родной среды, рѣшительно отрицалъ собственность общинную. Въ силу тѣхъ же причинъ, которыя мѣшались въ этой средѣ даже двумъ братьямъ вести общее хозяйство, Прудонъ всѣми силами боролся съ коммунизмомъ. Свободу и равенство Прудонъ понималъ и цѣнилъ, но третій членъ извѣстнаго девиза революціи — братство — былъ для него тарабарская грамота. Что же касается до его отрицанія собственности вообще, то это не болѣе, какъ діалектическій фокусъ. При употребленіи «критическаго орудія антиномій», отрицаніе очень часто оказывается и должно оказываться утвержденіемъ. Во всякомъ случаѣ критика Прудона ни малѣйше не грозила собственности французскихъ крестьянъ, — личной собственности, приобретенной трудомъ и передаваемой по наслѣдству. Мало того, его критика вполне согласовалась съ этимъ порядкомъ вещей, систематизировала его, представляла лишь его расширеніе, развитіе и облагороженіе. Французскій крестьянинъ, грубый и узкій, надѣляетъ cadaque своего сына собственностью. Это — именно взглядъ Прудона, съ той разницей, что кругозоръ его былъ шире, обнималъ всѣхъ сыновей всѣхъ отцовъ, т. е. все человѣчество. Онъ хотѣлъ, какъ мы видѣли, universaliser собственность, а не выбросить ее за бортъ.

Еслибы у меня было достаточно времени и мѣста, я могъ бы провести это объясненіе и дальше, даже до многихъ мелкихъ подробностей жизни и дѣятельности Прудона. Но сказаннаго для меня достаточно. Читатель, надѣюсь, убѣдился, что Прудонъ былъ потомокъ своихъ предковъ. Это опредѣленіе можетъ показаться смѣшнымъ или страннымъ, но оно вѣрно выражаетъ мысль. Мы сейчасъ увидимъ человѣка, который не былъ потомкомъ своихъ предковъ, у котораго предковъ потому какъ бы не было. Прудонъ былъ въ совсѣмъ иномъ положеніи. Онъ представлялъ собой звено прямой, однородной цѣпи, нѣкоторымъ образомъ сосудъ, въ который влились чистые, несмѣшанные соки вѣковой исторіи. Отсюда его довѣріе къ будущему, не впадающее однако въ оптимизмъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ терпѣливое отношеніе къ этому будущему, не впадающее однако въ апатію и бездѣятельность. Отсюда такъ проникающая его всего идея «прогресса въ себѣ». Но что для насъ особенно важно, такъ это — вытекающая отсюда проч-

ность основныхъ вѣрованій и убѣжденій. Какова бы ни была степень плутоватости Прудона (лично ли ему принадлежавшей или тоже полученной по наслѣдству), но она или шла на службу основнымъ вѣрованіямъ, или, если отклонялась отъ нихъ, играла роль не важную и второстепенную. За плечами его лежала слишкомъ характерная и непрерывная исторія, чтобы онъ могъ высвободиться изъ-подъ ея ига. Это было впрочемъ «благое иго», потому что не отягощало, а облегчало ему жизнь. Если уже у него въ молодости сложились всѣ его главнѣйшія убѣжденія, то тѣмъ самымъ было обойдено множество ошибокъ, внутреннихъ противорѣчій и мукъ. То, что въ массѣ французскихъ крестьянъ было инстинктомъ, въ личности Прудона выразилось сознаниемъ и системой. Сознаніе конечно должно было очищать, обтесывать грубость инстинктовъ, но все-таки имѣть въ нихъ свое основаніе. Вотъ почему Прудонъ оставался всегда вѣренъ и не могъ не оставаться вѣрнымъ идеямъ свободы, личной самостоятельности, труда и собственности. Вотъ почему онъ до такой степени глубоко вѣровалъ въ свои идеи, что полагалъ возможнымъ убѣдить любого мнинастра «высшими философскими соображеніями». Въ сущности эти высшія соображенія были далеко не настолько убѣдительны и побѣдительны. Но самому Прудону они казались таковыми, потому что были результатомъ не его личной головной работы, а его плоть и кровью, унаслѣдованной отъ цѣлаго ряда предковъ, въ которыхъ тѣ же идеи пребывали въ видѣ инстинктовъ и неясныхъ позывовъ. При такихъ условіяхъ личные недостатки были почти безсильны.

Я никакъ не думалъ такъ долго останавливаться на Прудонѣ, потому что, по правдѣ сказать, хотѣлъ только отгнѣнить имъ фигуру нашего Бѣлинскаго и затѣмъ сдѣлать вѣсколько общихъ выводовъ. А отгнѣняютъ другъ друга эти фигуры замѣчательно, потому что, при значительномъ сходствѣ по темпераменту, страстности, преданности идеѣ, логическому безстрашію, трудно найти двухъ людей, исторія внутренней жизни которыхъ была бы до такой степени различна. Это два антипода. Если въ Прудонѣ поражаетъ необычайная стойкость убѣжденій при нѣкоторой плутоватости характера, то въ Бѣлинскомъ, наоборотъ, поразительно рыцарски честная, святая натура рядомъ съ шатаніемъ и колебаніемъ принциповъ. Эта противоположность наводитъ русскаго человѣка на многія горькія, но и на многія утѣшительныя мысли.

Начать съ того, что, вмѣсто однородной, непрерывной характерной цѣпи предковъ

Прудона, мы встрѣчаемъ на порогѣ жизни Бѣлинскаго слѣдующую мѣшанину: прадѣдъ неизвѣстенъ; дѣдъ — сельскій священникъ; отецъ — военный лекаръ, пользующійся репутаціей вольнодумца и безбожника; мать — мелкая дворянка, владѣющая семьей крѣпостныхъ людей и малограмотная; отецъ въ 1831 году получаетъ чинъ коллежскаго ассесора, дающій дворянство, причемъ, несмотря на все свое вольнодумство, заботѣвается «тщеславіемъ дворянства», какъ извѣщалъ Бѣлинскаго одинъ его родственникъ. Эта мѣшанина не представляетъ въ русской жизни ничего необыкновеннаго, исключительнаго. Весьма можетъ быть, что г. А., критикъ «Русскаго Вѣстника», крайне презрительно говорящій и о Бѣлинскомъ, и о его происхожденіи и обстановкѣ, самъ узрѣлъ свѣтъ при подобныхъ же условіяхъ. Это бываетъ. Но представьте себѣ, что изъ этой мѣшанины выдѣлился не г. А., а человѣкъ большого ума и пытливости и вдобавокъ съ страшнымъ, неподкупнымъ чувствомъ правды. Что будетъ? Отвѣтъ даетъ біографія Бѣлинскаго. Рассказывать ее я, разумѣется, не буду, и остановлюсь только на нѣкоторыхъ ея пунктахъ.

Первымъ крупнымъ жизненнымъ шагомъ Бѣлинскаго была трагедія, которую онъ написалъ еще бывши студентомъ. Сюжетъ трагедіи былъ заимствованъ изъ крѣпостныхъ отношеній. Герой ея — незаконный сынъ помѣщика и его крѣпостной; трагедія изобилуетъ убійствами и романтическими ужасами, но въ основаніи своемъ взята изъ дѣйствительной жизни. Пыпинъ, ссылаясь на источники, говоритъ, что «именно впечатлѣнія этой жизни (помѣщичьяго произвола и крѣпостныхъ отношеній вообще), негодование къ этимъ возмутительнымъ явленіямъ, составлявшимъ «порядокъ вещей», именно и одушевляли его и дали содержаніе его трагедіи». Бѣлинскій возлагалъ большія надежды на свое произведеніе и въ авторскомъ, и въ денежномъ смыслѣ. Онъ рассчитывалъ напечатать трагедію, поставить ее на сцену и такимъ образомъ «откупиться отъ казны», т. е. выдти изъ казеннокоштныхъ студентовъ и жить на квартирѣ. Онъ потерпѣлъ полное фіаско. Товарищами трагедія одобрена не была, а цензурный комитетъ, состоявшій изъ профессоровъ университета, нашелъ ее «безнравственной, безчестящей университетъ». Эта исторія способствовала исключенію Бѣлинскаго изъ университета. Много онъ послѣ того бѣдствовалъ, но наконецъ друзья устроили его вотъ какимъ образомъ. Въ Москвѣ жилъ одинъ богатый баринъ, имѣвшій страсть писать и печататься и извѣстный тогда подъ именемъ

Прутикова. Этому-то барину Лажечниковъ и рекомендовалъ Бѣлинскаго въ качествѣ домашняго секретаря, обязанность котораго состояла въ «исправленіи грамматическихъ и другихъ погрѣшностей въ сочиненіяхъ его превосходительства». Дальнѣйшую исторію Лажечниковъ рассказываетъ такъ: «Вскорѣ Бѣлинскій водворенъ въ аристократическомъ домѣ, пользуется не только чистымъ, даже ароматическимъ воздухомъ, имѣетъ прислугу, которая летаетъ по его мановенію, имѣетъ хорошій столъ, отличныя вина, слушаетъ музыку разныхъ европейскихъ знаменитостей (одна дочь его превосходительства—музыкантша), располагаетъ огромной библиотекой, будто собственной, однимъ словомъ, катается, какъ сыръ въ маслѣ. Но скорѣ заходятъ тучи надъ этой блаженной жизнью. Оказывается, что за нее надо подчасъ жертвовать своими убѣжденіями, собственной рукой писать имъ приговоры, дѣйствовать противъ совѣсти. И вотъ въ одно прекрасное утро Бѣлинскій исчезаетъ изъ дома, начиненнаго всѣми житейскими благами, исчезаетъ съ своимъ добромъ, завязаннымъ въ носовой платокъ, и сокровищемъ, которое онъ носитъ въ груди своей. Его превосходительству оставлена записка съ извиненіемъ нижеподписавшагося покорнаго слуги, что онъ не сроденъ къ должности домашняго секретаря».

Я потому напомнилъ этотъ довольно извѣстный и самъ по себѣ неважный эпизодъ изъ жизни Бѣлинскаго, что въ жизни Прудона имѣется внѣшнимъ образомъ совершенно параллельный фактъ. Такъ что сравненіе очень удобно и напрашивается само собой. Въ началѣ 1841 г. Прудонъ тоже поступилъ домашнимъ секретаремъ къ одному важному барину, занимавшемуся сочиненіемъ по уголовному праву. Обязанности Прудона состояла приблизительно въ томъ же; что долженъ былъ дѣлать Бѣлинскій, но онъ посмотрѣлъ на свою роль совсѣмъ иначе. Онъ не только не бѣжалъ подобно Бѣлинскому, а задумалъ цѣлый коварный планъ эксплуатаціи патрона въ видахъ своихъ излюбленныхъ идей. Мысль эта его очень занимала, какъ видно изъ нѣсколькихъ писемъ, вошедшихъ въ первый томъ переписки, въ которыхъ онъ очень пространно развиваетъ эту тему. Онъ смѣется надъ своимъ патрономъ и рассчитываетъ заставить его плясать по своей дудкѣ, подсунувъ ему, подъ видомъ его идей, свои собственныя. Онъ хочетъ, поддакивая патрону, его аристократическимъ тенденціямъ, направить все сочиненіе извѣстнымъ образомъ. И когда сочиненіе явится и заслужитъ многочисленныя похвалы,—въ этомъ Прудонъ вполнѣ увѣренъ,—явится настоящій его авторъ, т. е. Прудонъ, и предложитъ номиналь-

ному автору нѣкоторые логическіе, неизбежные выводы изъ него. Патронъ долженъ будетъ принять ихъ, несмотря на все свое къ нимъ отвращеніе, или же признать себя одураченнымъ невѣждой. «Или онъ будетъ кричать: «да здравствуетъ равенство! долой собственность!» или я сдѣлаю изъ него осла... Надо обращаться съ людьми, какъ съ дѣтьми, золотить пилули, надувать людей въ ихъ собственномъ интересѣ». «Я сдѣлаю скандалъ изъ этого сочиненія», пишетъ онъ въ другомъ письмѣ. Никакого такого скандала Прудонъ не сдѣлалъ, и вообще весь этотъ коварный планъ далъ въ результатѣ такой же круглый нуль, какъ и всѣ другіе макіавеллическіе замыслы Прудона. Но дѣло не въ этомъ, а въ личностяхъ Прудона и Бѣлинскаго, которыхъ эти двѣ исторіи домашняго секретарства такъ хорошо обрисовываютъ и отбѣиваютъ. Ничего подобнаго прудоновскимъ подвохамъ и подходамъ Бѣлинскій никогда въ мысляхъ не имѣлъ и не могъ имѣть. Самая характеристическая его черта есть глубоко, до наивности и ребичества правдивое отношеніе къ людямъ, къ принципамъ, къ фактамъ. Онъ былъ, можно сказать, сама правда, облеченная въ жалкую, слабую плоть. Если мы переберемъ всѣхъ многочисленныхъ и часто взаимно исключавшихся боговъ, которымъ Бѣлинскій въ разное время страстно молился и приносилъ жертвы,—театръ, поэзія, Шиллеръ, Гегелевская «дѣйствительность», цивилизація, социальная идея,—то увидимъ, что во всемъ этомъ онъ искалъ только одного—правды и, собственно говоря, ей одной молился. Какъ только замѣчалась въ томъ или другомъ временномъ богѣ какая-нибудь фальшь, Бѣлинскаго ужъ начинало коробить и щемить, а тамъ—глядяшь—кумиръ летитъ отъ взмаха сильной руки бывшаго правовѣрнаго, и бывшій правовѣрный топчетъ его съ неистовствомъ челоуѣка, обманутаго въ самыхъ лучшихъ своихъ вѣрованіяхъ и упованіяхъ. Изъ этого не слѣдуетъ однако, чтобы въ низвергнутомъ кумирѣ была подмѣчена дѣйствительная фальшь. Жажда правды была въ Бѣлинскомъ безъ преувеличенія ужасающая, она мучила и измучила его. Это свидѣлствуютъ всѣ его письма. Но потому то онъ и мучился, что чутье правды не соответствовало жаднѣ. Какъ путникъ въ степи, метался онъ «духовной жаждою томимъ», мучимый собственнымъ горячимъ, иссушающимъ дыханіемъ. И вдругъ передъ нимъ оазисъ, зеленый, влажный, свѣжій... Увы! Это—только миражъ, ложь, фальшь, но Бѣлинскій часто убѣждался въ этомъ слишкомъ поздно, а затѣмъ слѣдовала новая ломка, новое горе, новое неистовство, тѣмъ болѣе сильное, чѣмъ заманчивѣе былъ предательскій миражъ. Была одна область, въ кото-

рой онъ былъ почти непогрѣшимъ, — область эстетическая. Г. Пыпинъ приводитъ очень любопытный рассказъ бывшаго учителя Бѣлинскаго, Попова, о томъ, какъ они вмѣстѣ съ будущимъ великимъ критикомъ, тогда еще студентомъ, читали «Бориса Годунова» Пушкина. Особенно поразила Бѣлинскаго известная сцена въ корчмѣ. «Прочитавъ разговоръ хозяйки корчмы съ собравшимися у нея бродягами, улики противъ Григорія и бѣгство его черезъ окно, Бѣлинскій выронилъ книгу изъ рукъ, чуть не сломалъ стулъ, на которомъ сидѣлъ, и восторженно закричалъ: «Да это — живые; я видѣлъ, я вижу, какъ онъ бросился въ окно!» Эта способность цѣнить правду изображенія и восторгаться ею была въ Бѣлинскомъ развита совершенно необычайно. Пройдетъ много лѣтъ, смѣнится много критиковъ и даже критическихъ приемовъ, но нѣкоторые эстетическіе приговоры Бѣлинскаго останутся во всей силѣ. Но зато только въ этой области Бѣлинскій и находилъ для себя почти непрерывный рядъ наслажденій. Какъ только эстетическое явленіе осложнялось философскими и нравственно-политическими началами, такъ чуть правды болѣе или менѣе измѣняло ему, между тѣмъ какъ жажда оставалась все та же, и это-то и дѣлало изъ него того великомученика правды, какимъ онъ выступаетъ въ своей перепискѣ. Постояннымъ колебаніемъ строя его мыслей особенно поразительны, если поставить ихъ рядомъ съ прочностью, непрерывностью чуть не отъ колыбели до могилы, устойчивостью убѣжденій Прудона.

Я отнюдь не хочу умалить значеніе Бѣлинскаго, да вѣдь я и не говорю ничего новаго. Всѣмъ извѣстно, всѣми признано, что Бѣлинскій былъ эстетическій критикъ огромной силы и что онъ не разъ перемѣнилъ свои взгляды вообще и взгляды на искусство въ частности. Но я хотѣлъ бы внушить читателю болѣе почтительное и кажется болѣе правильное отношеніе къ критикѣ Бѣлинскаго. У насъ его нынче не читаютъ, теперешнее подростающее поколѣніе пожалуй что и вовсе его не знаетъ. И это на основаніи его репутаціи, вполне впрочемъ вѣрной въ общемъ. Однако изъ этой вѣрности репутаціи слѣдуетъ не то, что Бѣлинскаго читать не нужно, а то, что его могутъ съ пользою читать только люди, умственно и нравственно окрѣпшіе. Конечно у кого въ головѣ нѣтъ царя, того Бѣлинскій можетъ сбить своими противорѣчивыми сужденіями о явленіяхъ литературы и жизни. Но человѣкъ съ царемъ въ головѣ получить при чтеніи его сочиненій много наслажденій и много пользы. Судьба Бѣлинскаго очень печальна. Ругать его и до сихъ поръ ругаютъ, даже тѣми самыми кличками, которыми его надѣляли при жизни. Погодишь наприимѣръ,

несмотря на свой почтенный возрастъ, никакъ не можетъ забыть, что Бѣлинскій — «недоучившійся студентъ». Есть молодые шенки, которые тоже на эту тему распространяются. Есть правда у Бѣлинскаго почитателя, собственно почитателя его свѣтлаго имени, но многіе изъ нихъ готовы признать, что Бѣлинскій въ концѣ концовъ все-таки — пройденная ступень, потому что — дескать — эстетическая критика отжила свое время. Оно такъ, да не такъ. Конечно многіе вопросы, занимавшіе Бѣлинскаго, для насъ не существуютъ. Мы наприимѣръ ужъ не будемъ разсуждать о томъ, можетъ ли быть сатира приписана къ разряду художественныхъ произведеній. Но возьмите самый элементарный вопросъ эстетической критики: вѣрно-ли изображено извѣстное лицо или положеніе въ данномъ литературномъ произведеніи? Главная, не переходящая сила Бѣлинскаго состояла въ умѣнью отвѣтить на этотъ вопросъ. А для этого требуется такое умѣнье ставить себя въ положеніе изображаемыхъ лицъ, такая глубокая способность сочувствія страдающей и наслаждающейся человѣческой личности, что не можетъ быть и сомнѣнія въ значеніи Бѣлинскаго даже до сего дня.

Мы видѣли, что трагедія Бѣлинскаго была юношескимъ протестомъ противъ крѣпостного права и другихъ порядковъ добраго стараго времени. Это не могло быть конечно единственнымъ явленіемъ, и Бѣлинскій носилъ въ кружкѣ Станкевича прозвище «неистоваго Виссаріона» не только за свои манеры, а и за свое душевное содержаніе. Онъ въ это время сильно увлекался Шиллеромъ и питалъ, какъ говорилъ потомъ самъ, «дикую вражду къ общественнымъ порядкамъ во имя абстрактнаго идеала общества». Долго ли, коротко ли продолжалось это настроеніе (у Пыпина этотъ періодъ изложенъ очень неясно и сбивчиво), но Бѣлинскій наконецъ бросился въ другую крайность, — въ безусловное оправданіе всякой дѣйствительности въ качествѣ необходимо «разумной». Перемѣна эта совершилась подъ вліяніемъ нѣмецкой философіи, постепенно овладѣвавшей Бѣлинскимъ. До какой степени она имъ овладѣла въ указанномъ направленіи примиренія съ дѣйствительностью, видно уже изъ любопытнѣйшаго письма отъ 7 августа 1837 г. Письмо писано къ одному пріятелю изъ Пятигорска, гдѣ Бѣлинскій въ то время лечился.

«Богъ не есть ничто отдѣльное отъ міра, — писалъ Бѣлинскій, — но Богъ въ мірѣ, потому что Онъ вездѣ. Да, Его, — какъ говорятъ великій Іоаннъ, любимѣйшій ученикъ Христа, — Его нигде не видалъ; но Онъ во всякомъ благородномъ порывѣ человѣка, во всякой свѣтлой его мысли, во всякомъ святомъ движеніи его сердца... Ищи Бога не въ храмахъ, созданныхъ людьми, но ищи въ сердцѣ своемъ, ищи въ любви своей. Утони, исчезни въ наукѣ и искусствѣ, возлюби науку и

искусство, возлюби ихъ, какъ цѣль и потребность твоей жизни, а не какъ средство къ образованію и успѣхамъ въ свѣтѣ—и ты будешь блаженъ, а кто достигъ блаженства, тотъ носить въ себѣ Бога... Философія—вотъ что должно быть предметомъ твоей дѣятельности. Философія есть наука идеи чистой, отрѣшенной; исторія и естествознаніе суть науки идеи въ явленіи. Теперь спрашиваю тебя: что важнѣе—идея или явленіе, душа или тѣло?.. Но тебѣ нельзя начать прямо съ философіи: тебѣ надо приготовиться къ ней путемъ искусства. Какъ къ душевному просвѣтленію черезъ причастіе христіанинъ готовится путемъ поста и покаянія, такъ искусствомъ ты долженъ очистить свою душу отъ проказы земной суеты, холоднаго себялюбія, отъ обольщеній внѣшней жизни, и приготовить ее къ принятію чистой истины... Только въ философіи ты найдешь отвѣты на вопросы души твоей, только она дастъ миръ и гармонію душѣ твоей и подаритъ тебя такимъ счастьемъ, какого толпа и не подозреваетъ... Въ самомъ себѣ, въ совершенномъ святилищѣ своего духа найдешь ты высшее счастье, и тогда твоя маленькая комнатка, твой убогій и тѣсный кабинетъ будетъ истиннымъ храмомъ счастья. Ты будешь свободенъ, потому что не будешь ничего просить у міра, и міръ оставитъ тебя въ покоѣ, видя, что ты у него ничего не просишь. Пуще всего оставь политику и бойся всякаго политическаго вліянія на свой образъ мыслей. Политика у насъ въ Россіи не имѣетъ смысла, и ею могутъ заниматься только пустые головы. Люби добро, и тогда ты будешь необходимо полезенъ своему отечеству, не думая и не стараясь быть ему полезнымъ. Еслибы каждый изъ индѣйцевъ, составляющихъ Россію, путемъ любви дошелъ до совершенства, тогда Россія безъ всякой политики сдѣлалась бы счастливѣйшей страной въ мірѣ... Для Россіи назначена совсѣмъ другая судьба, нежели для Франціи, гдѣ политическое направленіе въ науку, и искусства, и характера жителей имѣетъ свой смыслъ, свою хорошую сторону... Если хочешь понять назначеніе Россіи, прочти исторію Петра Великаго,—она объяснитъ тебѣ все. Ни у какого народа не было такого государя. Всѣ великіе государи другихъ народовъ ниже Петра... Петръ есть ясное доказательство, что Россія не изъ себя разовьетъ свою гражданственность и свою свободу, но получить то и другое отъ своихъ царей, такъ какъ уже много получила отъ нихъ того и другого. Правда, мы еще не имѣемъ правъ, мы—еще рабы, если угодно, но это оттого, что мы еще должны быть рабами. Россія—еще дитя, для котораго нужна нянька, въ груди которой бьется въ сердце, полное любви къ своему питомцу, а въ рукѣ которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости... Дать Россіи въ теперешнемъ ея состояніи конституцію—значитъ погубить Россію. Въ понятіи нашего народа свобода есть воля, а воля—оворочничество. Не въ парламентъ пошелъ бы освобожденный русскій народъ, а въ кабакъ побѣждалъ бы пить вино, бить стекла и вѣшать дворянъ, которые брѣютъ бороды и ходятъ въ сюртукахъ. Свобода конституціонная есть свобода условная, а истинная, безусловная свобода наступаетъ въ государствѣ съ успѣхами просвѣщенія, основаннаго на философіи умозрительной, а не эмпирической, на царствѣ чистаго разума, а не пошлаго здраваго смысла... Наше правительство не позволяетъ писать противъ крѣпостнаго права, а между тѣмъ исподволь освобождаетъ крестьянъ... Давно ли мы съ тобой живемъ на свѣтѣ, давно ли мы помнимъ себя, и уже посмотри, какъ переѣхалось обще-

Соч. Вѣлинскаго Т. IV.

ственное мнѣніе: много ли теперь осталось тирановъ-помѣщиковъ, а которые и остались, не презираютъ ли ихъ самые помѣщики? Видишь ли, что и въ Россіи все идетъ къ лучшему... Власть даетъ намъ полную свободу думать и мыслить, но ограничиваетъ свободу громко говорить и вышнваться въ ея дѣла. Она пропускаетъ къ намъ изъ-за границы такіа книги, которыя никакъ не позволяютъ перевести и издать. И что-жъ, все хорошо и законно съ ея стороны, потому что то, что можешь знать ты, не долженъ знать мужикъ, потому что мысль, которая можетъ сдѣлать тебя лучше, погубила бы мужика, который естественно понималъ бы ее ложно. Правительство позволяетъ намъ выписывать изъ-за границы все, что производитъ германская мыслительность, самая свободная, и не позволяетъ выписывать политическихъ книгъ, которыя послужили бы только ко вреду, кружа головы неосновательныхъ людей. Въ моихъ глазахъ эта мѣра превосходна и похвальна...

Письмо оканчивается панегирикомъ нѣмцамъ и рѣзкимъ осужденіемъ французовъ. Такъ смирился человѣкъ, еще недавно написавшій кровавую трагедію изъ крѣпостнаго быта и питавшій «дикую вражду къ общественнымъ порядкамъ во имя абстрактнаго идеала». Такъ омирился «неистовый Виссаріонъ». По поводу этого замѣчательнаго письма г. А. «Русскаго Вѣстника» счелъ возможнымъ и умѣстнымъ предаться какимъ-то дряннымъ подмигиваніямъ. Трудно даже понять такое неуваженіе къ святынямъ, потому что приведенное письмо—настоящая святыня, вполне очевидная даже для самаго грубаго глаза, если только онъ хоть разъ въ жизни напрягался, вглядываясь въ даль, чтобы найти тамъ правду. Еслибы еще была возможность доказать, что Вѣлинскій противорѣчилъ себѣ изъ-за какихъ-нибудь стороннихъ побужденій, я бы понялъ усердіе критики «Русскаго Вѣстника». Но тормозить грязными руками трупъ великомученика правды, пристроивать свои личныя и, самое большее, катковскія дѣлишки къ тому обстоятельству, что Вѣлинскій въ неустанной погонѣ за правдой ошибался и мѣнялъ свой цвѣтъ, играть на этомъ обстоятельствѣ, какъ на фортепьяно,—какая гадость! И эти—не говорю фарисеи и книжники, потому что это для нихъ все-таки не по шерсти кличка, она все-таки подразумеваетъ, если не умъ и знаніе, то хоть хитрость и эрудицію,—эти пятиалтынные, эти гроши говорить объ уваженіи къ личности, къ исторіи, они стоятъ за какую-то «культуру» и негодуютъ на какую-то «тенденціозность»... Во всей перепискѣ Вѣлинскаго, собранной Пыпинымъ, нѣтъ ничего трогательнѣе этого письма. Нигдѣ не выразились такъ ясно его глубочайшая преданность и какое-то необыкновенное проникновеніе тѣмъ, что онъ въ данную минуту считалъ правдой. Я ужъ не говорю о содержаніи письма, посмотрите только на его внѣшность, на форму изло-

женія. Каждая строка здѣсь дорога, каждое сочетаніе и размѣщеніе словъ, какъ свидѣтельство изумительной правдивости Бѣлинскаго. Обыкновенно бурный, часто впадающій даже въ риторику слогъ не только его сочиненій, а и писемъ, дѣлается тутъ мягкимъ, ровнымъ, спокойнымъ. Иначе и не можетъ писать обладатель правды не воинствующей, а успокоительной, утѣшительной. Я увѣренъ, что и лицо Бѣлинскаго въ это время преобразилось, и что говорилъ онъ не «упорствуя, волнуясь и спѣша», а ровно, спокойно и нѣсколько торжественно, хотя конечно по страстности своей натуры долго выдержать этого не могъ. Пыпинъ обращаетъ вниманіе на то, что во время писанія этого письма личныя обстоятельства Бѣлинскаго были «ужасны», хуже чѣмъ когда-нибудь. Это въ самомъ дѣлѣ очень характерный фактъ. Больной, нищій, въ завтрашнемъ днѣ не увѣренный, Бѣлинскій съ невозмутимымъ спокойствіемъ объясняетъ, что все идетъ къ лучшему и что философія даетъ такое счастье, какого толпа и не подозреваетъ и какого внѣшняя жизнь не можетъ ни дать, ни отнять. Со стороны смѣшно, если хотите, дико, нелѣпо, фикція, иллюзія, обманъ, ложь, но очевидно, что самъ Бѣлинскій въ ту минуту дѣйствительно обладалъ такимъ счастьемъ, потому что глубоко вѣрилъ, что навѣянный на него философскій вздоръ есть правда. Придетъ время, и Бѣлинскій столь же искренно, столь же цѣльно и полно возстанетъ противъ этой «правды», но тогда она уже не будетъ въ его глазахъ правдой. До этого однако еще далеко. Вотъ еще нѣсколько отрывковъ изъ этой эпохи его развитія, которое шло въ томъ же направленіи все crescendo.

Въ 1838 г. онъ писалъ: «Теперь, когда я нахожусь въ созерцаніи безконечнаго, теперь я глубоко понимаю, что всякій правъ и никто не виноватъ». «Такова моя натура: съ напряженіемъ, горестно и трудно принимаетъ мой духъ въ себя и любовь, и вражду, и знаніе, и всякую мысль, всякое чувство; но, принявъ, весь еще проникается ими до сокровенныхъ глубокихъ изгибовъ своихъ. Такъ въ горнилѣ моего духа выработалось самобытно значеніе великаго слова *дѣйствительность*». «*Дѣйствительность*, твержу я, вставая и ложась спать». Въ 1839 году: «Пріѣзжаю въ Москву съ Кавказа, пріѣзжаетъ М.—мы живемъ вмѣстѣ. Лѣтомъ просматривалъ онъ философію религіи и права Гегеля. Новый міръ намъ открылся. Сила есть право и право есть сила:—нѣтъ, не могу описать тебѣ, съ какимъ чувствомъ услышалъ я эти слова,—это было освобожденіе. Я понималъ идею паденія царствъ, законность завоеваній, я понималъ, что нѣтъ дикой мате-

ріальной силы, нѣтъ владычества штыка и меча, нѣтъ произвола, нѣтъ случайности—и кончилась моя опека надъ родомъ человѣческимъ».

Шиллеръ въ это время предавался сильному поруганію, какъ «личный врагъ» (собственныхъ слова Бѣлинскаго), «за субъективно-правственную точку зрѣнія, за страшную идею долга, за абстрактный героизмъ, за прекраснодушную войну съ дѣйствительностью, за все за это, отчего я страдалъ во имя его». Задачей Бѣлинскаго становится уже отмѣченное въ письмѣ съ Кавказа самосовершенствованіе, «абсолютная» или «полная жизнь духа». За эту задачу онъ принимается съ своей обычной страстностью и правдивостью, безжалостно роется въ своей душѣ и бичуетъ себя за самолюбіе, тщеславіе, чувственность и проч. Дѣлаетъ онъ это до послѣдней степени просто, искренно, безъ всякой рисовки передъ собой и передъ друзьями. Онъ и тутъ—искренно вѣрующій жрецъ правды, проникнутый важностью своихъ священнодѣйствій и жертвоприношеній. Несмотря на шаткость почвы, на которой онъ стоялъ, вы не встрѣтите въ его самобичеваніяхъ ни униженія паче гордости, ни малѣйшаго кокетства. Находятся помощники въ этой работѣ (особенно Боткинъ); друзья помогаютъ другъ другу въ достиженіи «абсолютной жизни», несутъ одинъ другому всякую душевную мелочь, требуютъ критики и даютъ ее.

Бѣлинскій первый замѣчаетъ всю ложь такихъ «правдивыхъ» дружескихъ отношеній. Уже вскорѣ послѣ своего переѣзда въ Петербургъ онъ пишетъ: «Говорить о себѣ да о себѣ или все о моихъ да своихъ страданіяхъ, забывши, что и другой также думаетъ о себѣ и также богатъ страданіями,—не хорошо и не умно». Но ему все еще жаль Москвы, друзей, кружка. Петербургъ ему очень не нравится, такъ какъ онъ не находитъ тутъ тѣхъ теплыхъ, участливыхъ и, собственно говоря, до назойливости откровенныхъ отношеній, какія оставилъ въ Москвѣ. Мало-по-малу личныя и кружковыя ноты уступаютъ мѣсто другимъ. Уже въ 1840 г. онъ пишетъ: «Въ Петербургѣ съ необитаемаго острова я очутился въ столицѣ, журналъ поставилъ меня лицомъ къ лицу съ обществомъ, — и Богу извѣстно, какъ много перенесъ я! Для тебя еще не совсѣмъ понятна моя вражда къ *москводушію*, но ты смотришь на одну сторону медали, а я вижу обѣ. Меня убило это зрѣлище общества, въ которомъ властвуютъ и играютъ роли подлецы и дюжинныя посредственности, а все даровитое и благородное лежитъ въ позорномъ бездѣйствіи на необитаемомъ островѣ... Отчего же европеецъ въ страданіи бросает-

ся на общественную деятельность и находится въ ней выходъ изъ самаго страданія?... Последняя фраза предвѣщаетъ уже разрывъ съ богомъ разумной дѣйствительности и примиренія, и въ самомъ дѣлѣ громъ очень скоро разражается. Въ томъ же 1840 г. Бѣлинскій писалъ: «Проклинаю мое стремленіе къ примиренію съ гнусной дѣйствительностью! Да здравствуетъ великій Шиллеръ, благородный адвокатъ человечества, яркая звѣзда спасенія, эмансипаторъ общества отъ кровавыхъ предразсудковъ преданія! Да здравствуетъ разумъ, да скроется тьма!—какъ восклицаетъ великій Пушкинъ. Для меня теперь *человѣческая личность* выше исторіи, выше общества, выше человечества. Это—мысль и дума вѣка! Боже мой! страшно подумать! что со мной было—горячка или помѣшательство—я словно выздоравливающій». «Дѣйствительность—это палачъ». «Боже мой, сколько отвратительныхъ мерзостей сказалъ я печатно, со всей искренностью, со всѣмъ фанатизмомъ дикаго убѣжденія! Больше всего печалитъ меня теперь выходка противъ Мицкевича въ гадкой статьѣ о Менцелѣ. Какъ! отнимать у великаго поэта священное право оплакивать паденіе того, что дороже ему всего въ мірѣ и въ вѣчности,—его родины... И этого-то благороднаго и великаго поэта называлъ я печатно крикуномъ, поэтомъ рюмованныхъ памфлетовъ! Послѣ этого всего тяжелѣе мнѣ вспоминать о «Горѣ отъ ума», которое я осудилъ съ художественной точки зрѣнія, о которомъ говорилъ свысока и съ пренебреженіемъ, не догадываясь, что это — благороднѣйшее, гуманическое произведеніе, энергическій (и притомъ еще первый) протестъ противъ гнусной расейской дѣйствительности, противъ чиновниковъ, взяточниковъ, баръ-развратниковъ, противъ свѣтскаго общества, противъ невѣжества, добровольнаго холопства и проч., и проч., и проч... Чортъ знаетъ, какъ подумаешь, какими зигзагами совершалось мое развитіе, цѣною какихъ ужасныхъ заблужденій купилъ я истину, и какую горькую истину, — что все на свѣтѣ гнушно, и особенно вокругъ насъ». «Признаться ль тебѣ въ грѣхъ... о Шиллерѣ не могу и думать задыхаясь, а къ Гёте начинаю чувствовать родъ ненависти, и ей-Богу, у меня руки не поднимаются противъ Менцеля, хоть сей мужъ и попрежнему остается въ глазахъ моихъ идиотомъ. Боже мой,—какіе прыжки, какіе зигзаги въ развитіи! Страшно подумать».

Съ этого времени прыжки и зигзаги развитія, такъ мучившіе Бѣлинскаго, въ общемъ прекращаются. Онъ продолжаетъ еще приходить въ «неистовый» восторгъ передъ вновь открывающимися для него сторонами мысли и жизни, но эти новыя впечатлѣнія уже довольно ровно укладываются въ его устано-

вившееся міросозерцаніе. Такъ напримѣръ, онъ пишетъ: «Я весь въ идеѣ гражданской доблести, весь въ идеѣ правды и чести, и мимо ихъ мало замѣчаю какое бы то ни было величіе. Теперь ты поймешь, почему Тимолеонъ, Гракхи и Катонъ Утическій... заслонили собой въ моихъ глазахъ и Цезаря, и Македонскаго. Во мнѣ развилась какая-то... фанатическая любовь къ свободѣ и независимости челоѣческой личности, которая возможна только при обществѣ, основанномъ на правдѣ и доблести». Или: «Я съ трудомъ и болью расстаюсь съ старой идеей, отрицаю ее до нелзя, и въ новую перехожу со всѣмъ фанатизмомъ прозелита. Я теперь въ новой крайности, — это идея социализма, которая стала для меня идеей идей... альфой и омегой вѣры и знанія. Она поглотила (для меня) и исторію, и религію, и философію. И потому ею я объясняю теперь жизнь мою, твою и всѣхъ, съ кѣмъ встрѣчался я на пути жизни». Жоржъ Зандъ, которую онъ прежде презиралъ, становится для него «вдохновенной пророчицей, энергическимъ адвокатомъ правъ женщинъ». И т. п. Эти новыя мысли конечно уже не враждебно привходили въ его психическое содержаніе, потому что то были только частности отрицанія «разумной дѣйствительности» и борьбы съ ней, которая наполнила Бѣлинскаго. Нѣкоторый миръ опять насталъ въ его душѣ, и онъ могъ по временамъ даже не съ ненавистью, а съ тонкимъ юморомъ смотрѣть на своихъ старыхъ, низверженныхъ боговъ. Очень характерно въ этомъ отношеніи длинное письмо къ Водкину отъ 1-го марта 1841 г. «Я имѣю особенно важныя причины злиться на Г. (Гегеля),—писалъ Бѣлинскій,—ибо чувствую, что былъ вѣренъ ему (въ ощущеніи), мирясь съ расейской дѣйствительностью, хваля Загоскина и подобныя гнусности и ненависти Шиллера. Въ отношеніи къ послѣднему я былъ еще послѣдователнѣе самого Г., хотя и глупѣе Менцеля... Ты—я знаю—будешь надо мной смѣяться... но смѣйся какъ хочешь, а я — свое: судьба субъекта, индивидуума, личности важнѣе судьбы всего міра и здравія китайскаго императора (то есть гегелевской Allgemeinheit). Мнѣ говорятъ: развивай всѣ сокровища своего духа для свободнаго самонаслажденія духомъ, плачь, дабы утѣшиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись къ совершенству, лѣзь на верхнюю ступень лѣстницы развитія, а споткнешься—падай—чортъ съ тобой, таковский и былъ. Благодарю покорно, Егоръ Федорычъ (Гегель), кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всѣмъ подобающимъ вашему философскому филистерству уваженіемъ честь имѣю донести вамъ, что еслибы мнѣ и удалось влѣзть на верхнюю ступень лѣстницы развитія,—я и тамъ попросилъ бы

вась отдать мнѣ отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суетвѣрія, инквизиціи, Филиппа II, и проч., и проч.; иначе я съ верхней ступени бросаюсь внизъ головой. Я не хочу счастья и даромъ, если не буду спокоенъ насчетъ каждаго изъ моихъ братій по крови... Говорятъ, что дисгармонія есть условіе гармоніи; можетъ быть это очень выгодно и улаживательно для меломановъ, но ужъ конечно не для тѣхъ, которымъ суждено выразить своей участіемъ идею дисгармоніи».

Но если Бѣлинскій такимъ образомъ вступилъ наконецъ въ свою послѣднюю гавань, изъ которой вышелъ только въ могилу, то миръ въ его измученной душѣ водворился далеко не безусловный. Во-первыхъ его мучили ошибки прошлаго. Положимъ, что самъ онъ установился окончательно. Но чтѣ написано перомъ, того не вырубишь топоромъ. Онъ былъ тутъ у всѣхъ на глазахъ, улики его прежнихъ «мерзостей». Не такой онъ былъ человекъ, чтобы не сознаваться въ своихъ ошибкахъ, прятать ихъ, но вѣдь годы ушли на эти ошибки, невозвратные годы, которыхъ впереди Богъ еще вѣсть много ли будетъ. Да и наконецъ извѣстно, что ренегатъ, отступникъ, если онъ отступникъ искренній, отступившій правды ради, а не ради какихъ-нибудь вѣсомыхъ или невѣсомыхъ земныхъ благъ, есть злѣйшій врагъ своей прежней вѣры, потому что ненависть къ извѣстному строю мыслей осложняется тутъ покаяніемъ, ненавистью къ себѣ, къ своему прошедшему. А ужъ если такое эгоистическое существо, какъ человекъ, доведено до ненависти къ себѣ, то тутъ не можетъ быть и рѣчи о пощадѣ. Страшно дѣйствіе пушечныхъ выстрѣловъ, но оно еще страшнѣе, когда выстрѣлъ направляется на самую пушку, т. е. когда ее разрываетъ. Бѣлинскій совершалъ таинство покаянія съ такою же стремительностью, вѣрою и безпощадностью, какъ и все, чтѣ онъ дѣлалъ. Воспоминаніе о «мерзостяхъ» отзывалось на немъ крайне болѣзненно. Мы уже видѣли это въ нѣкоторыхъ письмахъ. Но есть и свидѣтели очевидцы. Напримѣръ Панаевъ рассказываетъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ», что, когда Бѣлинскій увидалъ у него однажды на столѣ книжку журнала, развернутую на одной его старой статьѣ изъ «мерзкихъ» (кажется это была «Вородинская годовщина»), онъ пришелъ въ крайнее раздраженіе, почти въ ярость. Онъ сталъ даже уличать Панаева, что тотъ ему нарочно подсунулъ эту статью. Это конечно противорѣчитъ тому смиренному типу покаянія, къ которому мы привыкли. Но сила покаянія, боль отвращенія къ своему прошедшему этимъ, надѣюсь, не уменьшаются.

Но чаша жизненной горечи не исчерпы-

валась для Бѣлинскаго отравой воспоминаній. Будущее было отравлено не меньше, если не больше. Послѣдній результатъ, къ которому привело развитіе Бѣлинскаго, былъ: борьба съ дѣйствительностью. Борьба эта была для него обязательна во-первыхъ, какъ для человека, который отдавался всегда цѣлкомъ, безъ остатка и не могъ не вести себя сообразно своимъ убѣжденіямъ; во-вторыхъ, какъ для ренегата, который тѣмъ сильнѣе ненавидѣлъ «разумную дѣйствительность», чѣмъ жарче ей прежде молился. Борьба! борьба, когда «у сокола крылья связаны и пути ему всѣ заказаны»! Надо себѣ представить именно Бѣлинскаго въ этомъ положеніи, его, страстнаго, сильнаго, цѣльнаго, вѣрующаго и въ то же время такъ ничтожнаго передъ тогдашней «разумной дѣйствительностью»... Письма его изобилуютъ жалобами на цензуру и, что особенно характерно, на «произвольность» ея. Онъ бы понялъ и оцѣнилъ серьезную строгость, хотя бы и ненавидѣлъ ее. Напримѣръ: «Мою статью страшно опешеловали. Горше всего то, что совершенно произвольно; выкинуто о Мицкевичѣ, о шапкѣ-мурмолакѣ, а мелкихъ фразъ, строкъ—безъ числа. Но объ этомъ я еще буду писать къ тебѣ, потому что это довело меня до отчаянія, и я выдержалъ нѣсколько тяжелыхъ дней». «Писать нечего и не о чемъ; со дня на день становится невозможно и невозможно. Объ искусствѣ ври что хочешь, а о дѣлѣ, т. е. о нравахъ и нравственности,—хоть и не трать труда и времени». «Отъ помарокъ статья лишилась своей ровноты и внутренней диалектической полноты. Ну, да чортъ съ ней! Мнѣ объ этомъ и вспоминать—ножъ вострый». И пр., и пр., и пр. Бѣлинскій рассказываетъ еще одинъ любопытный фактъ, прикосновенный къ цензурнымъ дѣламъ. Фактъ этотъ впрочемъ случился не съ его статей. Одинъ славянофилъ по знакомству видѣлъ у цензора статью, направленную противъ славянофильства, и «уговорилъ его кое-что смягчить». «Видите-ли, сколько у насъ цензоровъ», прибавляетъ съ негодованіемъ Бѣлинскій...

Но и тутъ еще не конецъ мукамъ этого страдальца. Знаете-ли вы, читатель, чтѣ значитъ «исписаться»? Это—почти то-же, что истечь кровью. Это, когда писатель отдалъ вамъ весь запасъ своихъ идей и не получилъ никакой сдачи въ видѣ новыхъ жизненныхъ фактовъ, дающихъ новое возбужденіе. Или когда онъ, усталый отъ бессонныхъ ночей и напряженной мозговой работы, чувствуетъ, что перо его перестаетъ быстро и свободно двигаться по бумагѣ, а мозгъ упорно отказывается фабриковать мысли и образы; искать же другого образа жизни и пропитанія онъ по обстоятельствамъ и привычкѣ

не можетъ, и потому—какъ ни какъ—пишетъ. Вы говорите тогда: онъ исписался, пора ему на смѣну другого. И вы совершенно правы, но отъ этого не легче тому, который исписался, и онъ могъ бы пожалуй отъ васъ требовать нѣсколько большаго участія къ его судьбѣ; частица тѣхъ знаній, которыми вы теперь владѣете, тѣхъ можетъ быть очень высокихъ мыслей и чувствъ, которыя васъ волнуютъ или успокаиваютъ, принадлежатъ вѣдь и ему, который исписался. Онъ долго ли, коротко ли горѣлъ для васъ, и если перегорѣлъ, такъ можетъ быть потому, что сильно горѣлъ. Никакой геній не застрахованъ отъ такого конца, потому что нѣтъ на свѣтѣ ничего неисчерпаемаго, кромѣ силы и матеріи, а формы ихъ, въ томъ числѣ и форма писателя, нарождаются и слѣдовательно изсякаютъ. Это я только къ слову, къ тому именно слову, что и Бѣлинскій позналъ ужасъ ожиданія конца. Онъ былъ слишкомъ богатая натура, чтобы рано изсякнуть, да и смерть не заставила себя ждать. Но ужасъ ожиданія онъ все-таки позналъ, потому что одно время ему казалось, что онъ исписался: «Взялся было за работу — не могу — лихорадочный жаръ, изнеможеніе. Какъ я испугался! Стало быть я не могу работать! Стало быть мнѣ надо искать мѣста въ больницѣ!» «Дѣло прошлое, а я и самъ ѣхалъ за-границу съ тяжелымъ и грустнымъ убѣжденіемъ, что поприще мое кончилось, что я сдѣлалъ все, что дано было мнѣ сдѣлать, что я выписался и... сталъ похожъ на выжатый и вымоченный въ чаѣ лимонъ. Каково мнѣ было такъ думать, можете судить сами: тутъ дѣло шло не объ одномъ самолюбіи, но и о голодной смерти съ семействомъ»...

Надо однако подвести итоги этой статьѣ. Смѣю думать, что, несмотря на ея безпорядочность, я предложилъ читателю вдуматься въ два ряда очень интересныхъ явленій. Съ одной стороны читатель видитъ Прудона, человѣка по натурѣ своей плутоватаго, часто готоваго сфальсифицировать, — и однако этотъ плутоватый человѣкъ отъ перваго публичнаго заявленія своихъ мыслей и чувствъ до самой могилы остается непоколебимо вѣренъ своимъ убѣжденіямъ. Съ другой — Бѣлинскій, весь проникнутый жаждой правды, органически неспособный покрывать душой, — и однако этотъ человѣкъ всю жизнь остается только великомученикомъ правды и мечется изъ стороны въ сторону, какъ какая-нибудь щепка на волнахъ. Фактъ поразительный! Для Прудона программа жизни готова чуть не съ пеленокъ и готова до многихъ мелкихъ подробностей: цѣль — «стоять за сироту», т. е. за обездоленный людъ; средства — вполнѣ опредѣленные; отдаленный идеалъ — тоже вполнѣ опредѣленный: анархія; путь къ идеалу —

рядъ переходныхъ состояній, изъ которыхъ ближайшія опять-таки вполнѣ (для Прудона конечно) ясны. Передъ Бѣлинскимъ, напротивъ — мракъ, мракъ и мракъ, лишь по временамъ разсѣваемый молніей, и то для того, чтобы сказать человѣку: не туда! Неужели же мы, русскіе — до такой степени обойденная порода людей, что даже лучшіе между нами, чистѣйшіе, осуждены на рядъ ошибокъ! Почему тамъ, въ Европѣ, правда (все равно какая, лишь бы человѣкъ признавалъ ее правдой) дается сразу даже плутоватому человѣку, а у насъ не дается даже вполнѣ достойнымъ воспринять ее? По тому ли, по сему ли, но таковъ фактъ. Радоваться ему или печалиться? Если я ставлю этотъ вопросъ, значить имѣю резоны разрѣшить его въ радостномъ смыслѣ, потому что на первый взглядъ ничего, кромѣ глубокой печали, параллель Бѣлинскаго и Прудона возбуждать въ русскомъ человѣкѣ не можетъ. Въ самомъ дѣлѣ, мы конечно можемъ съ гордостью показать Бѣлинскаго цѣлому міру, не скрывая ни одной изъ его святыхъ ранъ. Но раны остаются ранами, т. е. болью и безобразіемъ. Ужъ лучше нѣкоторая плутоватость, особенно если она такъ мало въ концѣ-концовъ управляетъ человѣкомъ, какъ это было съ Прудономъ, чѣмъ жажда правды, приводящая къ ряду не только личныхъ мученій, а и ошибокъ. Это — одинъ взглядъ, и я понимаю его и даже раздѣляю. Но долженъ откровенно сознаться, что меня при этомъ подкупаютъ нѣкоторыя идеи Прудона, да можетъ быть и не одного меня, а и читателя. — Прудонъ пользуется уваженіемъ самыхъ разнообразныхъ читателей, его съ почтеніемъ цитируютъ и Страховъ, и Градовскій, и многіе другіе степенные, солидные и ученые люди; такъ ужъ Прудонъ ухитрился. Но возьмите вмѣсто него какого-нибудь другого непоколебимаго европейскаго человѣка, хоть Бисмарка, который у насъ такимъ всеобщимъ уваженіемъ не пользуется. Бисмаркъ тоже пронесъ свою феодальную подкладку неприкосновенной отъ ранней молодости до сегодня, со включеніемъ момента культуръ-кампа. Ему тоже непрерывный рядъ предковъ съ рѣзко-опредѣленными нравственными фizioноміями оставилъ духовное наслѣдство, иго, которое онъ сбросилъ только вмѣстѣ съ жизнью. Не знаю, какъ читатель, а я, еслибы мнѣ предложили на выборъ судьбу Бисмарка или Бѣлинскаго, выбралъ бы Бѣлинскаго. И тутъ не будетъ никакого геройства съ моей стороны, потому что я просто не могу представить себѣ себя въ кожѣ Бисмарка; неопредѣленное исканіе правды мнѣ все-таки ближе, понятнѣе, дороже, чѣмъ такая опредѣленная правда, какъ правда Бисмарка. Она — про-

сто неправда, и признать ее правдой я даже во снѣ не могу. Изъ этого слѣдуетъ, что непоколебимость убѣжденій, доставляя несомнѣнно личное спокойствіе ихъ обладателю, для посторонняго наблюдателя еще не рѣшаетъ всего. Для этого посторонняго человѣка остается еще любопытный вопросъ: а каковы именно убѣжденія этого непоколебимаго человѣка? Если въ какомъ-нибудь углу Европы исторія выработала непоколебимѣйшаго негодяя, то, какъ бы онъ ни былъ лично счастливъ, посторонній человѣкъ имѣетъ полное право подумать: да хоть бы ты разъ въ жизни поколебалъ свои убѣжденія и сдѣлалъ честное дѣло!

Дѣло въ томъ, что европейскій человѣкъ имѣетъ у себя за плечами болѣе или менѣе опредѣленную и непрерывную исторію. Это даетъ ему твердость поступи и подчасъ страшную силу. Но европейскую исторію мы уже вполне знаемъ, и знаемъ, что изъ десяти европейцевъ девять направляютъ свою страшную силу убѣжденія не на защиту сиротъ, какъ направилъ Прудонъ, а на разныя другія и гораздо менѣе симпатичныя вещи. Въ нашемъ отечествѣ, напротивъ, твердой поступи нѣтъ ни у кого, да и откуда ей взяться? Происхожденіе напимѣръ большинства пишущей братіи приблизительно такое же, какъ и Бѣлинскаго: немножко дворянства, немножко поповства, немножко вольнодумства, немножко холопства. Да тутъ и не въ одномъ происхожденіи дѣло. Только въ Россіи возможны такіе факты, какъ напимѣръ демократизмъ Рюриковича князя Васильчикова, радикализмъ графа Льва Толстого и аристократизмъ... аристократизмъ Авсѣенки или генерала Фадѣева, и я не знаю еще кого съ фамиліями, несомнѣнно почтенными, но не особенно аристократическими. Перечисленіемъ подобныхъ фактовъ можно бы было занять нѣсколько печатныхъ листовъ, еслибы это было нужно, еслибы и безъ того не было вполне извѣстно, что мы—мѣшанина. Мѣшанина ведетъ прежде всего къ тому, что ни въ одной странѣ въ мірѣ нѣтъ такого количества арлекиновъ, какъ въ нашемъ отечествѣ. Арлекинъ, какъ извѣстно, осиротѣлъ, какъ только родился, и былъ нищъ и нагъ. Надъ нимъ сжалились два пріятеля, сыновья портныхъ, и принесли одинъ — нѣсколько обрѣзковъ зеленой матеріи, а другой — красной. Любящая Коломбина прибавила еще немножко желтой матеріи. И съ тѣхъ поръ арлекинъ не снимаетъ своего трехцвѣтнаго платья не столько потому, что оно ему нравится, сколько изъ благодарности къ пріятелямъ и Коломбинѣ. И арлекинъ очень веселъ и ему все тринь-трава. Большое количество этихъ веселыхъ, пестрыхъ людей—очень неприятная вещь. Въ Европѣ

большая часть ихъ непремѣнно была бы приурочена къ какому-нибудь опредѣленному цвѣту. Но къ какому? Можетъ быть къ такому, что лучше бы имъ вѣки-вѣчныя оставаться пестрыми, веселыми людьми. Но не все же у насъ арлекины, т. е. люди, заразы облеченные и въ красный, и въ желтый, и въ зеленый цвѣтъ. Какъ ни великъ Бѣлинскій, но онъ—не исключительная единица, а русскій типъ. Это долженъ признать всякій, имѣвшій возможность и конечно умѣнье наблюдать разныя оттѣнки русскаго общества. Я думаю, что даже именно теперь, среди отвратительныхъ кувыроканий изъ-за цѣлковаго и безобразнѣйшаго забвенія самыхъ элементарныхъ нравственныхъ правилъ,—мучается въ разныхъ углахъ Россіи много маленькихъ, невидныхъ, незамѣтныхъ Бѣлинскихъ, безъ его блестящаго таланта, безъ его другихъ умственныхъ качествъ, но не менѣе его жаждущихъ цѣльной правды и способныхъ ей отдаться. Литература этими людьми не занимается, отчасти по причинамъ, отъ нея независимымъ, отчасти по привычкѣ сосредоточивать свое вниманіе на явленіяхъ, всплывающихъ на поверхность общественной жизни. Не берусь подтвердить существованіе такихъ людей фактами, но оно объяснимо и а priori. Ихъ должно создавать то же самое отсутствіе исторіи, которое создаетъ и арлекиновъ. Исторія создаетъ силу, твердость, опредѣленность, но во-первыхъ направляетъ эти силы весьма разнообразно, а слѣдовательно на чей бы ни было взглядъ далеко не всегда удачно, а вторыхъ создаетъ также многопудовую тяжесть преданія, не дающую свободы критическому духу. Отсутствіе исторіи создаетъ дряблость, нравственную слякоть, но зато, если ужъ выдастся въ средѣ, лишенной исторіи, личность, одаренная инстинктомъ правды, то она способна къ гораздо большей широтѣ и смѣлости, чѣмъ европейскій человѣкъ, именно потому, что надъ ней нѣтъ исторіи и мертвящаго давленія преданія. Европейскихъ людей поражаетъ смѣлость русскаго отрицанія. Оно для нихъ—дикость, варварство, и въ этомъ мнѣніи есть извѣстная доля правды. Русскому человѣку, благодаря отсутствію исторіи, нѣтъ причины дорожить даже таблицей умноженія, но нѣтъ также причины дорожить и напимѣръ общественными перегородками, которыхъ наша исторія никогда не водружала съ европейской опредѣленностью и устойчивостью. Я не скрываю ни отъ себя, ни отъ читателей двусмысленности моихъ положеній. Я очень хорошо понимаю, что нѣкоторыя колоссальныя воровства и грабежи возможны только въ Россіи, по отсутствію историческаго воспитанія личности. Но я прибавляю,

что по той же причинѣ русскій человѣкъ неспособенъ дорожить многими условными нравственными понятіями, которыми цѣна дѣйствительно—грошъ и за которыя однако европеецъ платитъ очень дорого. БѢлинскій очень хорошо понималъ эту обоюдострую истину. Вотъ отрывки изъ двухъ его писемъ.

«Прочти, пожалуйста, повѣсть Диккенса *Битва жизни*; нѣтъ ли ты ясно увидишь всю ограниченность, все узколюбіе этого дубоваго англичанина, когда онъ является не талантомъ, а просто человѣкомъ... Уважаю практическія натуры въ homines d'action, но если вкушеніе сладости ихъ роли непременно должно быть основано на условіи безвыходной ограниченности, душевной узкости—слуга покорный, я лучше хочу быть совершенной натурой, человѣкомъ просто, но лишь бы все чувствовать и понимать широко, привольно и глубоко. Я—натура русская (онъ прибавляетъ, что и гордится этимъ)... Не хочу быть даже французомъ, хотя эту націю люблю и уважаю больше другихъ. Русская личность—пока эмбрионъ, но сколько широты и силы въ натурѣ этого эмбриона, какъ душна и страшна ей всякая ограниченность и узкость. Она боится ихъ, не терпитъ ихъ больше всего—и хорошо, по моему мнѣнію, дѣлаетъ, довольствуясь пока ничѣмъ, вмѣсто того, чтобы закабалиться въ какую-нибудь дрянную односторонность... Русакъ пока еще дѣйствительно—ничего; но посмотри, какъ онъ требователенъ, не хочетъ того, не дивится этому, отрицаетъ все, а между тѣмъ чего-то хочетъ, къ чему-то стремится... Не думай, чтобы я въ этомъ вопросѣ былъ энтузіастомъ. Нѣтъ, я дошелъ до его рѣшенія (для себя) тяжкимъ путемъ сомнѣнія и отрицанія. Не думай, чтобы я со всѣми говорилъ такъ: нѣтъ, въ глазахъ нашихъ квасныхъ патриотовъ, славянофиловъ... витязей прошедшаго и обожателей настоящаго, я всегда останусь тѣмъ, тѣмъ они меня до сихъ поръ считали»

«Многіе, не видя въ сочиненіяхъ Гоголя и натуральной школы такъ называемыхъ «благородныхъ» лицъ, а все плутовъ или плутишекъ, приписываютъ это будто бы оскорбительному понятію о Россіи, что въ ней-де честныхъ, благородныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ умныхъ людей быть не можетъ. Это обвиненіе негѣное, и его-то старался я и буду стараться отстранить. Что хорошіе люди есть вездѣ, объ этомъ и говорить

нечего; что ихъ на Руси по сущности народа русскаго должно быть гораздо больше, нежели какъ думаютъ сами славянофилы (т. е. истинно хорошихъ людей, а не мелодраматическихъ героев), и что наконецъ Русь есть по преимуществу страна крайностей и чудныхъ, странныхъ и непонятныхъ исключеній—все это для меня аксіома, какъ дважды-два четыре. Но вотъ горько: литература все-таки не можетъ пользоваться этими хорошими людьми, не впадая въ идеализацію, въ риторику и въ мелодраму, т. е. не можетъ представлять ихъ художественно такими, какъ они есть на самомъ дѣлѣ, по той простой причинѣ, что ихъ тогда не пропуститъ цензурная таможня. А почему? Потому именно, что въ нихъ человеческое въ прямомъ противорѣчій съ той общественной средой, въ которой они живутъ. Мало того: хорошій человѣкъ на Руси можетъ иногда быть героемъ добра въ полномъ смыслѣ слова, но это не мѣшаетъ ему быть съ другихъ сторонъ гоголевскимъ лицомъ: честенъ и правдивъ, готовъ за правду на пытку, на колесо, но невѣжда, колотитъ жену, варваръ съ дѣтми и т. д. Это потому, что все хорошее въ немъ есть даръ природы, есть чисто человеческое, которыми онъ нисколько не обязанъ ни воспитанію, ни преданію, словомъ—средѣ, въ которой родился, живетъ и долженъ умереть; потому наконецъ, что подъ нимъ нѣтъ terrain, а, какъ вы говорите справедливо, не плавучее море, а огромное стекло».

Присоединяя свой скромный голосъ къ голосу великаго критика, я по поводу послѣдней выписки изъ переписки БѢлинскаго напомню читателю еще одну разницу между нимъ и Прудономъ. Прудонъ хотъ и посидѣлъ въ тюрьмѣ, но написалъ, напечаталъ и заставилъ читать Европу всѣ свои «страшные слова», между которыми были дѣйствительно страшныя. БѢлинскій же хотя въ тюрьмѣ и не сидѣлъ, но своихъ мнѣній о папкѣ-мурмолкѣ вполне обнародовать не могъ. Это различіе имѣетъ свои многочисленныя параллели въ европейской и русской жизни... Затѣмъ я вспоминаю чей-то гордый отвѣтъ на вопросъ о предкахъ. «Я—самъ предокъ», отвѣчалъ вопрошаемый. Не принять ли намъ къ свѣдѣнію и руководству этотъ отвѣтъ? Какъ вы думаете, читатель?

Н. Михайловскій.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ 1844 ГОДУ.

Вотъ уже пятое обозрѣніе годового бюджета русской литературы представляемъ мы нашимъ читателямъ. Обязавшись передъ публикой быть вѣрнымъ зеркаломъ русской литературы, постоянно отдавая отчетъ во всякой вновь выходящей въ Россіи книгѣ, во всякомъ литературномъ явленіи, «Отечественныя Записки» не вполне исполнили бы свое назначеніе—быть полной и подробной лѣтописью движенія русскаго слова, еслибъ не вѣрили себѣ въ обязанность этихъ годовыхъ обозрѣній, въ которыхъ обо всемъ, о чемъ въ продолженіе цѣлаго года говорилось, какъ о настоящемъ, говорится, какъ о прошедшемъ, и въ которыхъ всѣ отдѣльныя и разнообразныя явленія цѣлаго года подводятся подъ одну точку зрѣнія. Не ставимъ себѣ этого въ особенную заслугу, потому что видимъ въ этомъ только должное выполненіе добровольно принятой на себя обязанности; но не можемъ не замѣтить, что подобная обязанность довольно тяжела. Читатели наши знаютъ, что большая часть этихъ годовыхъ обозрѣній постоянно наполнялась разсужденіями вообще о русской литературѣ и слѣдовательно о всѣхъ русскихъ писателяхъ, отъ Кантемира и Ломоносова до настоящей минуты; а взгляды на прошлогоднюю литературу—главный предметъ статьи—всегда занималъ ея меньшую часть. Подобныя отступленія отъ главнаго предмета необходимы по двумъ причинамъ: во-первыхъ, потому что настоящее объясняется только прошедшимъ, и потому что по поводу цѣлой русской литературы еще можно написать не одну, а даже и нѣсколько статей, болѣе или менѣе интересныхъ; но о русской литературѣ за тотъ или другой годъ, право, не о чемъ слишкомъ много или слишкомъ интересно разговориться. И это-то составляетъ особенную трудность подобныхъ статей. Легко пересчитывать богатства истинныя или мнимыя; много можно говорить о нихъ; но что сказать о бѣдности, близкой къ нищетѣ? Да, о совершенной нищетѣ, потому что те-

перь нѣтъ уже и мнимыхъ, воображаемыхъ богатствъ. А между тѣмъ о чемъ же говорить журналу, если ему уже нечего говорить о литературѣ? Вѣдь у насъ литература составляетъ единственный интересъ, доступный публикѣ, если не упоминать о преферансѣ, говоря о немногихъ, исключительныхъ и какъ бы случайныхъ ея интересахъ. Итакъ, будемъ же говорить о литературѣ,—и если, читатели, этотъ предметъ уже кажется вамъ нѣсколько истощеннымъ и слишкомъ часто истощаемымъ; если толки о немъ уже доставляютъ вамъ только то магнетическое удовольствіе, которое такъ близко къ усыпленію, поздравляемъ васъ съ прогрессомъ и пользуемся случаемъ увѣрить васъ, что мы въ свою очередь совсѣмъ не чужды этого прогресса, и что въ этомъ отношеніи вы не правы, если вздумаете упрекнуть насъ въ отсталости отъ духа времени и въ новой запоздалости касательнаго интереса... Еще разъ: будемъ разсуждать о русской литературѣ,—предметъ и новый, и любопытный...

Переходчивы времена, какъ подумаешь! Вспомните о томъ, что такъ сильно интересовало васъ, что давало такую полноту вашей жизни и что было еще такъ недавно,—вы поневолѣ воскликнете съ грустью:

Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ!

На Руси еще не вывелись люди, которые

Извѣстѣя черпаютъ изъ забытыхъ газетъ
Время очаковскихъ и покоренья Крыма;

—люди, которые со вздохомъ вспоминаютъ о пудрѣ, о косахъ съ кошельками, о вискахъ à la piqueon, о шитыхъ кафтанахъ, шляпахъ—корабликахъ, объ атласныхъ штанахъ, о шелковыхъ чулкахъ и башмакахъ съ бриліантовыми пряжками и красными каблуками; о робронахъ, фижмахъ, о мушкахъ, о менуэтѣ, о гротфатерѣ, о вельможескихъ столахъ, куда всякій раувгѣ diable могъ явиться за подачкой, наѣсться и напиться и за все это расквитаться только униженнымъ

поклономъ щедрому амфитріону, который такъ же мало замѣчалъ этотъ поклонъ, какъ и тѣхъ, кто сидѣлъ за столомъ его; о фейерверкахъ, о пирахъ, о «Петриадѣ» Ломоносова, о трагедіяхъ Сумарокова, «Россиадѣ» Хераскова, «Душенькѣ» Богдановича, одахъ Петрова и Державина, и обо всей этой поэзіи, столь плодотворной, столь громкой, столь однообразной, нѣкогда возбуждавшей такое благоговѣнное удивленіе, а теперь извѣстной большей частью только по воспоминаніямъ, по преданію и по слухамъ... И правы, сто тысячу разъ правы эти вздыхающіе остатки, одиноко и безотрадно уцѣлѣвшіе отъ тѣхъ временъ: вокругъ нихъ «все новое кипитъ, бывшее истребля». Миръ ихъ и миръ нашъ—два совершенно различныхъ міра, между которыми нѣтъ ничего общаго. Говоря съ ними, они съ трудомъ понимаютъ въ нашихъ устахъ русскій языкъ, такъ страшно измѣнившійся съ тѣхъ поръ; что же до нашихъ понятій—они не вразумительны для нихъ даже при посредствѣ самаго точнаго и вѣрнаго перевода на ихъ понятія. Положеніе такихъ людей можно сравнить только съ несчастіемъ—вдругъ ожить, пролежавъ лѣтъ восемьдесятъ подъ той землей, на которой все двигалось и измѣнялось съ быстротой изумительной. Да, имъ, этимъ добрымъ людямъ, есть о чемъ вздыхать! Но эти люди теперь—исключеніе, дорогая рѣдкость, нѣчто вродѣ подлинника Несторовой лѣтописи, если только подлинникъ Несторовой лѣтописи гдѣ-нибудь еще существуетъ или существовалъ когда-нибудь. Но теперь есть еще довольно людей другого міра, болѣе близкаго нашему. Это люди, которые юношами любовались на блестящій закатъ царствованія Екатерины II и съ гордыми надеждами встрѣтили кроткое сіяніе царствованія Александра Благословеннаго; которые еще не успѣли привыкнуть ни къ пудрѣ, ни къ пуклямъ и весело разстались съ этими атрибутами отошедшаго въ вѣчность вѣка; которые безъ повѣрки, безъ сомнѣнія повторяли громкія фразы пожилыхъ и старыхъ людей о величій Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Петрова и Державина,—но которые уже плакали навзрыдъ надъ «Бѣдной Лизой», предавались нѣжной меланхоліи при чтеніи «Натали Боярской Дочери» и восхищались «Письмами Русскаго Путешественника». При этомъ поколѣніи оды были еще въ ходу, но болѣе по укоренившемуся въ прошломъ вѣкѣ благоговѣнію къ ихъ громогласію, нежели вслѣдствіе потребностей наставшаго новаго вѣка. Скажемъ болѣе: ода тогда уже отжила свое время, и ея громозвучные возгласы были заглушены томными вздохами и нѣжнымъ

журчаніемъ сладкихъ слезъ. Одамъ не переставали удивляться, считая ихъ высшимъ родомъ поэзіи послѣ героической поэмы, но новыхъ даровитыхъ одистовъ не являлось. Дмитріевъ пробовалъ писать оды, но только пробовалъ (что не помогало ему однакожъ жестоко осмѣять оды въ остроумной сатирѣ «Чужой Толкъ»),—и настоящій успѣхъ имѣли его пѣсни, басни, сказки, эпиграммы, надписи и мадригалы, а не оды. Между молодымъ поколѣніемъ начали потомъ появляться *esprits-forts*, которые позволяли себѣ сомнѣваться въ неоспоримомъ величій Сумарокова: и не мудрено—они вѣдь знали каждую строку Карамзина, выучили наизусть его стихи, равно какъ стихи Дмитріева и Нелединскаго; въ театрѣ восхищались трагедіями Озерова. Мерзляковъ даже дерзнулъ (о, ужасъ!) изъяснить довольно рѣзкое сомнѣніе на счетъ безукоризненнаго совершенства «Россиады» и «Владимира». Муза Жуковского открыла изумленнымъ глазамъ этого поколѣнія совершенно новый миръ поэзіи. Намъ разъ случилось слышать отъ одного изъ людей этого поколѣнія довольно наивный рассказъ о томъ странномъ впечатлѣніи, какимъ поражены были его сверстники, когда, привыкши къ громкимъ фразамъ, вродѣ: «О ты, священная добродѣтель!»—они вдругъ прочли эти стихи:

Вотъ и мѣсяць величавый
Всталъ надъ тихою дубравой;
То нѣтъ облака блеснеть,
То за облако зайдеть;
Съ горъ простерты длинны тѣни;
И лѣсовъ дремучихъ сѣни,
И зеркало зыблехъ водъ,
И небесъ далекій сводъ
Въ свѣтлый сумракъ облечены...
Спать пригорки отдалены,
Боръ заснулъ, долина спитъ...
Чу!... полночный часъ звучитъ.

По наивному рассказу современниковъ этой баллады, особеннымъ изумленіемъ поразило слово «чу!»... Они не знали, что имъ дѣлать съ этимъ словомъ, какъ принять его—за поэтическую красоту или литературное уродство... И въ то время, какъ Жуковский вводилъ и распространялъ вкусъ къ романтизму, скрипучій, сроспійся съ усѣченіями и какофоніей русскій псевдо-классицизмъ, подъ очаровательнымъ перомъ Батюшкова, дошелъ даже не только до щегольства, но и почти до поэзіи выраженія, до мелодій стиха... И что же?—Едва прошло два десятилѣтія наступившаго вѣка, какъ явился Пушкинъ, — и доселѣ новое поколѣніе съ изумленіемъ увидѣло себя поколѣніемъ, уже отжившимъ свое время... Въ самомъ дѣлѣ, если русская проза, преобразованная Карамзинымъ, улучшенная Жуковскимъ, еще не показала въ

это время рѣшительнаго стремленія къ новому преобразованію, — зато стихи такъ быстро, такъ скоро измѣнились, что тотчасъ же за Пушкинымъ даже и убогіе талантомъ молодые люди запѣли такими легкими, такими гладкими стихами, что, въ сравненія съ ними, и стихи Батюшкова перестали казаться образцомъ изящества. И добро бы реформа стиха ограничивалась только его фактурой; нѣтъ, самый тонъ поэзіи, ея содержаніе, ея мотивы—все стало диаметрально противоположно прежней поэзіи. Сколько уже времени до того Жуковский писалъ баллады! на нихъ нѣкоторые косились, хотя большинство читало ихъ съ одобреніемъ; но лишь явился Пушкинъ, не написавшій почти ни одной баллады, какъ баллада сдѣлалась любимымъ родомъ: всѣ принялись за мертвецовъ, за кладбища, за ночныхъ убійцъ; поднялись жестокіе споры за балладу. Элегія напала; убила оду; уныніе, грусть, разочарованіе, сомнѣніе, сладостная лѣнь, пьянство, похмѣлье, пиры, студентское удалство, Гамлетовское раздумье, разрушенныя надежды, обманщица жизнь, пѣна шампанскаго, разбойники, нищія, цыгане—вотъ что, какъ хозяева, вошло во храмъ русской поэзіи и гордо пальцемъ указало дверь прежнимъ жрецамъ и поклонникамъ... Критика, дотогѣ скромная, покорная служительница авторитета и льстивая повторящица избитыхъ общихъ мѣстъ,—вдругъ словно съ цѣпи сорвалась. Она перевернула всѣ понятія, ложью объявила то, что дотогѣ считалось истинной назвала истинной то, что дотогѣ считалось ложью. Сумарокова провозгласила она бездарнымъ писакой, подъ пару Тредьяковскому; поэмы Хераскова изъ великихъ произвела только въ тяжелыя; Петрова объявила надутымъ риторомъ въ стихахъ; даже Ломоносова дерзнула поставить, какъ поэта и лирика, на весьма почтительное разстояніе отъ Державина. Изъ всѣхъ этихъ колоссальныхъ славъ уцѣлѣли только Ломоносовъ и Державинъ; но первый больше, какъ ученый, какъ преобразователь языка, нежели какъ поэтъ; объ одномъ только Державинѣ новая критика повторила всѣ старыя фразы, съ прибавленіемъ своихъ новыхъ. Потомъ пользовались ея благосклонностью Хемницеръ и Богдановичъ, и небылъ ею опѣенъ Фонвизинъ—единственный писатель Екатерининскаго вѣка, котораго будутъ читать еще не одинъ вѣкъ. Къ числу заслугъ новой критики принадлежитъ еще то, что она уничтожила смѣшной предразсудокъ, основанный на кумовствѣ и безвкусицѣ, — предразсудокъ, вслѣдствіе котораго басни Дмитріева считались выше басенъ Крылова, — тогда какъ здравый

смыслъ и чистый вкусъ запрещали какое-нибудь сравненіе между талантливыми баснями Дмитріева и гениальными баснями Крылова... Не перечестъ всѣхъ подвиговъ новой критики! Не довольствуясь своими писателями, она смѣло пустилась судить (впрочемъ съ чужого голоса) объ иностранныхъ: не только Флоріанъ, Делиль, Кребилльонъ, Дюси, Попе, Адиссонъ, Драйденъ, но и трагики — Корнель, Расинъ, Вольтеръ были объявлены ею плохими и ничтожными поэтами. Взамѣнъ ихъ, она провозгласила великими гениями Шекспира, Сервантеса, Шиллера, Гёте, Байрона, Вальтеръ-Скотта, Виктора Гюго, заговорила съ уваженіемъ о Гофманѣ, Жанъ-Полѣ, Вашингтонѣ Ирвингѣ, Тикѣ, Цюкке, — Буало, Баттѣ и Лагарпъ были ею уничтожены, какъ законодатели въ области изящнаго, какъ руководители литературнаго вкуса; на дребезги разбитыхъ ихъ статуй и пьедесталовъ поставила она братьевъ Штегелей.

Но всѣ эти опасныя новости, всѣ эти «дикія неистовства» вольнодумной критики, такъ изумившія и раздражившія старое поколѣніе, и въ половину не произвели на него такого страшнаго, потрясающаго впечатлѣнія, какъ начинавшіяся потомъ нападки на Карамзина. Тутъ вполне обнаружилось воспитанное Карамзиннымъ поколѣніе: въ непростительной дерзости новыхъ критиковъ — судить о Карамзинѣ не по табели о рангахъ, а по своему смыслу и вкусу, увидѣло оно покушеніе на жизнь и честь—не Карамзина (котораго честь достаточно обезпечивалась его заслугами), а на жизнь и честь Карамзинскаго поколѣнія. Война была страшная; много было пролито чернилъ и поломано перьевъ; сражались и стихами, и прозой. Замѣчательно впрочемъ, что эта война началась еще при жизни Карамзина (который не вмѣшивался въ нее) и что первый осмѣлился говорить о Карамзинѣ, не по преданію и не по авторитету, а по собственному сужденію, человекъ стараго поколѣнія — профессоръ Каченовскій. Князь Вяземскій доказывалъ ему его несправедливость въ стихотворномъ посланіи, которое было напечатано въ «Сынѣ Отечества» 1821) и начиналось такъ:

Передъ судомъ ума сколь, Каченовскій!
жалокъ...

Каченовскій перепечаталъ это посланіе у себя, въ «Вѣстникѣ Европы», поблагодаривъ издателя «Сына Отечества» за запятую и восклицательный знакъ, которыми, въ первомъ стихѣ, отдѣлено имя того, къ кому адресовано посланіе, и снабдивъ эту пьесу очень любопытными примѣчаніями. И долго послѣ того продолжалась война...

Карамзина не стало; князь Вяземскій напечаталъ въ «Телеграфѣ» еще стихотворную филиппику противъ враговъ Карамзина, т. е. противъ людей, которые почли себя вправе судить о Карамзинѣ по крайнему ихъ, а не чужому разумѣнью; въ этой филиппикѣ онъ сравнилъ Карамзина съ геніальнымъ водчимъ, который изъ грубаго матеріала русскаго языка воздвигъ великолѣпный храмъ, а критиковъ Карамзина сравнилъ онъ съ совами, которыя набились въ храмъ, и проч. Но, несмотря на всѣ филиппики въ прозѣ и стихахъ, время все шло да шло, унося съ собой и вещи, и людей, все измѣняя въ пользу новаго на счетъ стараго. Изъ поколѣнія, образованнаго подъ вліяніемъ Карамзинскаго направленія, многіе смотрѣли на Пушкина косо, какъ на литературнаго еретика; но очень немногіе умѣли какъ-то эклектически сочетать уваженіе къ Пушкину и другимъ новымъ талантамъ съ уваженіемъ, попрежнему болѣе упрямымъ, нежели отчетливымъ, къ литературнымъ корифеямъ своего времени. Мое время, наше время—какія это волшебныя слова для человѣка! И какъ не считать ему своего времени за золотой вѣкъ Астрей: вѣдь онъ тогда былъ молодъ и счастливъ! Писатели его времени были первыми, которые поразили впечатлѣніемъ его юный умъ, его юное сердце, а впечатлѣнія юности неизгладимы!... И потому мы не можемъ безъ живой симпатіи читать этихъ стиховъ, въ которыхъ отжившее свой вѣкъ поколѣніе, въ лицѣ одного изъ замѣчательнѣйшихъ своихъ представителей, съ такой грустной искренностью признаетъ себя побѣжденнымъ и, отказываясь дѣлить интересы новаго поколѣнія, уже не обвиняетъ его за то, что оно живетъ жизнью тоже своего, а не чужого времени.

Сны другого поколѣнія,
Мы въ новомъ — прошлогодній цвѣтъ:
Живыхъ намъ чужды впечатлѣнія,
А нашимъ въ нихъ сочувствій нѣтъ.
Они, что любимъ, разлюбили,
Страстамъ ихъ — насъ не волновать!
Ихъ тамъ не было, гдѣ мы были,
Гдѣ будутъ — намъ ужъ не бывать!
Нашъ міръ — имъ храмъ опустошенный,
Имъ баснословье — наша быль,
И то, что пепелъ намъ священный,
Для нихъ одна нѣмая пыль.
Такъ мы развалинамъ подобны,
И на распутіи живыхъ
Стоимъ, какъ памятникъ надгробный
Среди обителей людскихъ.

Да, понятна такая грусть, равно какъ и то, что поколѣніе Карамзинскаго періода нашей литературы проигралотяжбу о своемъ первенствѣ скорѣе, нежели увидѣло и призналось, что его тяжба проиграна. Между нимъ было много людей, которые прочли

первыя печатныя строки Карамзина въ минуту ихъ появленія, а Карамзинъ началъ писать за десять лѣтъ до начала новаго столѣтія: слѣдовательно многіе изъ людей этого поколѣнія, не подготовившись, встрѣтили славу Пушкина, вдругъ выросшую колоссально, безъ ихъ вѣдома, безъ ихъ содѣйствія, и какую славу!—славу, которой до него не зналъ ни одинъ русскій поэтъ—славу народную... Въ то время самыя младшіе изъ людей этого поколѣнія были уже людьми возмужалыми, вполне развившимися и опредѣлившимися; большая же часть этого поколѣнія состояла изъ людей пожилыхъ; и если между ними немного было стариковъ, то къ нимъ примкнулись, въ чувствѣ оппозиціи новой литературѣ, всѣ старцы Ломоносовскаго періода нашей литературы,—старцы, которые, разнясь съ ними во многомъ, почти всѣ совершенно сходились въ безусловномъ удивленіи къ Карамзину. Но вотъ что удивительно: какъ это новое, это романтическое поколѣніе, одержавшее такую рѣшительную побѣду надъ предшествовавшимъ ему поколѣніемъ,—какъ оно-то такъ скоро стало въ то самое положеніе, въ которое оно поставило смѣненное имъ поколѣніе? Скажутъ: этому минуло уже около двадцати пяти лѣтъ, почти цѣлая четверть вѣка. Еслибъ это было такъ, тутъ не было бы ничего особенно удивительнаго; но дѣло въ томъ, что между 1831-мъ и 1835-мъ годомъ въ литературѣ нашей произошелъ крутой переломъ. Пушкинъ пошелъ по совершенно новой дорогѣ, предавшись искусству въ исключительномъ значеніи этого слова; издавъ «Бориса Годунова» и послѣднія главы «Онегина», онъ печаталъ, и то изрѣдка, только небольшія пьесы. Правда, онъ напечаталъ въ своемъ журналѣ «Капитанскую Дочку» и «Скупого Рыцаря»; но «Египетскія Ночи», «Русалка», «Мѣдный Всадникъ» и «Каменный Гость» были напечатаны уже послѣ его смерти. Сверхъ того онъ обнаружилъ сильную склонность къ прозѣ и къ важнымъ историческимъ трудамъ, потому что его «Исторія Пугачевскаго Бунта» была для него самого только пробнымъ камнемъ его историческаго таланта, и, работая надъ нею, онъ уже готовилъ матеріалы для труда болѣе важнаго и великаго — для исторіи Петра Великаго. Но, что особенно замѣчательно въ началѣ тридцатыхъ годовъ (между 1831 и 1835-мъ), Пушкинъ также былъ въ упадкѣ своей славы, какъ въ началѣ двадцатыхъ годовъ онъ былъ въ ея апогеѣ. Это фактъ многозначительный. Отъ Пушкина отступились его присяжные хвалители и издалека повели рѣчь, что онъ отсталъ отъ вѣка, обманулъ всеобщее ожиданіе,—словомъ, повели рѣчь

въ мѣсяцъ и говорить эти истины, и принимать ихъ къ дѣлу. Было время, когда Мераляковъ не зналъ, куда дѣваться отъ всеобщаго негодованія, которое возбудили его смѣлыя статьи противъ Хераскова. И даже во время Пушкина,—это помнимъ и мы,—выходки противъ Сумарокова многими принимались съ суевѣрнымъ ужасомъ, какъ въ степяхъ Средней Азіи были бы приняты хулы на Далай-Ламу. Теперь о талантъ можно всякому судить, какъ угодно: если вы судите ложно, и Пушкина называете бездарнымъ писакой, а какого-нибудь новаго Тредьяковского—гениальнымъ писателемъ,—въ этомъ всѣ увидятъ только ваше невѣжество и безвкусіе, а не дерзость, не буйство, не безнравственность. И этимъ прогрессомъ мы обязаны блаженной памяти романтической критикѣ: и это ея неотъемлемая, неоспоримая заслуга, за которую ей честь и слава. Романтическая критика явилась въ такія баснословныя, такія мнѣшескія времена русской литературы, какъ будто-бы это было назадъ тому тысячу лѣтъ, хотя это было не болѣе двадцати пяти лѣтъ назадъ. Судите сами—и дивитесь: въ то блаженное и приснопаматное время молодой человекъ, желавшій дѣйствовать на литературномъ поприщѣ, долженъ былъ сперва втереться въ гостиную какого-нибудь знаменитаго писателя, прославившагося нѣсколькими мадригалами и прозаической статьей о ничемъ, напечатанной лѣтъ пятнадцать назадъ; въ гостиной нашъ кандидатъ въ писатели долженъ былъ прислушиваться къ литературнымъ толкамъ «знаменитыхъ и опытныхъ» литераторовъ, чтобъ научиться здраво судить о литературѣ, т. е. научиться повторять чужія слова, а вмѣстѣ съ тѣмъ и позапасться приличіемъ и хорошимъ тономъ. Выдержавъ первый искусь, онъ въ одинъ прекрасный вечеръ робко, съ замираніемъ сердца, объявлялъ почтенному собранію, что онъ смастерилъ басенку, пѣсенку, мадригалъ, сонетецъ или что-нибудь въ этомъ родѣ, и что при сочиненіи своей пьесы онъ подражалъ такому-то (тогда сочинять значило подражать, а сочиняя не подражать или сочинять не подражая—значило буйствовать и вольнодумничать). Почтенное собраніе благосклонно соизволяло выслушать первый опытъ юнаго пѣнты, потомъ начинало дѣлать свои замѣчанія о томъ, что хорошо и что нехорошо въ пьесѣ. Сколько головъ, столько и умовъ: вслѣдствіе этой аксіомы въ пьесѣ скромнаго пѣнты не оставалось почти ни одного незабраваннаго слова, и все осужденное онъ долженъ былъ пережвѣнить или исключить. Это повторялось нѣсколько вечеровъ; наконецъ

стихотвореніе объявлялось годнымъ для печати и помѣщалось въ журналѣ. Это было родомъ рыцарскаго посвященія, и съ той минуты новоставленникъ обязывался быть вѣрнымъ риторикѣ, фразамъ, пѣтическимъ вольностямъ, обязывался не имѣть своего сужденія до извѣстныхъ солидныхъ лѣтъ, а до тѣхъ поръ жить ходячими мнѣніями знаменитыхъ и опытныхъ литераторовъ. Одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ поборниковъ такъ называемаго романтизма рассказываетъ презабавный анекдотъ изъ этихъ временъ литературнаго патронажества: «Я помню, какъ однажды при мѣ, въ обществѣ литераторовъ, читали стихи Пушкина «Къ Морю» (они тогда не были еще напечатаны и только что явились въ рукописи). Молодой человекъ, прочитавшій ихъ, застѣнчиво сказалъ, что это его произведеніе, и скромно просилъ совѣта, что ему исправить, и вообще можно ли напечатать ихъ. Пошли толки! Одинъ говорилъ то, другой другое; мнимый авторъ все отрицалъ, записывалъ, выслушалъ рѣшительный приговоръ, что стихи недурны, но безъ исправленія печатать ихъ нельзя, и вдругъ объявилъ, что это—стихи Пушкина. «Вообразите, какіе длинные носы приросли къ носамъ всѣхъ совѣтниковъ!» Вотъ какія были это времена! И со всѣмъ этимъ романтическая критика боролась смѣло, отважно, неутомимо, и все это она побѣдила.

Надо еще сказать, что эта критика имѣла что-то вродѣ самобытнаго мнѣнія, не чужда была эстетической образованности и вкуса, наскоро читала все, что писалось за-границею, и наскоро перелистывала во французскихъ переводахъ почти всѣхъ европейскихъ писателей. Это давало ей огромный перевѣсъ надъ людьми стараго поколѣнія, которые были хорошо знакомы только съ французскими писателями XVII и XVIII вѣка, глазами которыхъ смотрѣли на писателей Германіи и Англіи, но сами ихъ никогда не читали или читали въ водяныхъ французскихъ переводахъ того же XVIII вѣка. Такимъ образомъ ложная мысль, что искусство есть украшенное подражаніе изящной (а не низкой) природѣ, и что сочинять значить подражать какому-нибудь прославленному писателю, особенно изъ древнихъ,—эта ложная мысль была первымъ и главнымъ догматомъ ихъ эстетическаго корана. Романтическая критика въ особенности устремилась на подражаніе,—и если теперь поставить въ заглавіи своего сочиненія: подражаніе тому-то или такому-то, значитъ заранѣе убить свою книгу, лишивъ ее читателей (такъ же, какъ прежде значило—заранѣе расположить и критику, и публику въ пользу своей книги);

это дѣло—заслуга романтической критики. Такъ называемые русскіе классики больше всего боялись имѣть какое-нибудь свое собственное оригинальное мнѣніе и больше всего старались думать и говорить, какъ думали и говорили прежде ихъ и какъ думали и говорили въ ихъ время всѣ: романтическая критика сдѣлала то, что теперь каждый скорѣе рѣшится высказать странное мнѣніе, нежели повторить чужое. О движеніи современныхъ европейскихъ литературъ классики не имѣли никакого понятія: романтическая критика по своему слѣдила за нимъ и озадачивала классиковъ новыми именами и новыми идеями.

Повторяемъ: всѣ эти заслуги романтической критики важны и велики; но этимъ только онѣ и оканчиваются, тогда какъ она претендовала на что-то гораздо важнѣйшее и большее. Такъ называемые ея «высшіе взгляды» были ничѣмъ инымъ, какъ верхоглядствомъ; ея многосторонность и всевѣдѣніе — эклектическимъ энциклопедизмомъ; ея философія — ошибочно понятыми и невѣрно повторенными чужими рѣчами. Явившись въ эпоху чисто переходную, когда гораздо легче было все отрицать, нежели что-нибудь утверждать въ области русской литературы, обладаая болѣе практической, нежели теоретической способностью дѣйствовать, и не понявъ исторически умственного движенія въ современной Европѣ, — она все, дѣлавшееся въ европейскихъ литературахъ, цѣликомъ думали перенести въ русскую, и потому впала въ самыя смѣшныя ошибки. Французовъ, у которыхъ послѣ Декарта не было уже признаковъ философіи, какъ науки, — французовъ увлекъ эклектизмъ Кузена, и они добродушно признали этого красноречиваго великаго философомъ. Русская романтическая критика въ этомъ исключительно французскомъ, слѣдовательно совершенно частномъ, явленіи увидѣла явленіе мировое, и когда даже наши доморощенные критики, понявъ негѣдность эклектизма, начали посмѣиваться надъ Кузеномъ, а во Франціи онъ уже совершенно палъ, — романтическая критика тутъ-то и принялась съ особеннымъ усердіемъ кадить генію Кузена. Теперь уже не нужно объяснять, что эклектизмъ есть не философія, а чистое и прямое отрицаніе философіи, и что эклектический философъ есть то же самое, что холодный огонь или огненный холодъ, и что основаніе эклектизма, какъ ученія мертвого и неорганическаго, составляетъ мыслекрадство и шарлатанство. Послѣ того какъ Кузенъ переправилъ посмертныя сочиненія своего ученика Жоффруа и вписалъ въ нихъ похвалы себѣ и своей философіи, тогда какъ Жоффруа прямо отвергаетъ эклек-

тизмъ какъ негѣдность, и послѣ того, какъ эта шулерская продѣлка эклектическаго философа была печатно выведена наружу, кто же теперь не знаетъ, что Кузенъ шарлатанъ? Познакомившись съ новымъ историческимъ направленіемъ во Франціи, романтическая критика цѣликомъ перенесла идеи Гизо, Тьерри и Баранта о противоположности галльскаго элемента съ франкскимъ, какъ непосредственнаго источника всей послѣдующей исторіи Франціи, о борьбѣ общинъ съ феодализмомъ и важности средняго сословія въ новой европейской исторіи, — всѣ эти идеи, выведенныя изъ совершенно чуждыхъ намъ фактовъ, романтическая критика цѣликомъ перенесла въ исторію русскаго народа. Нападая на Карамзина, оспаривая его въ каждой строкѣ, она, бѣдная романтическая критика, и не замѣчала, какую смѣшную играла роль, отыскивая въ русской исторіи совершенно чуждый ей смыслъ и мѣряя ея событія совершенно чуждымъ ей аршиномъ. И мудро ли, что факты въ ея исторіи остались тѣ же самыя, какіе находятся въ исторіи Карамзина, съ прибавленіемъ неидущихъ къ дѣлу высокопарныхъ умствованій, взятыхъ на прокатъ у чужеземныхъ мыслителей, — и еще съ той разницей, что исторія Карамзина написана языкомъ блестящимъ, художественно обработаннымъ, хотя и искусственнымъ, а исторія романтической критики написана языкомъ пухлымъ, многорѣчивымъ, фразистымъ, темнымъ, неопредѣленнымъ — не по безграмотности романтической критики (въ которой ее тогда упрекали враги ея), а по неопредѣленности идей, невольно отразившейся и въ языкѣ. Карамзинъ увлекся идеей московскаго царства, созданнаго Іоанномъ III, какъ высчайшимъ идеаломъ государства; кто можетъ раздѣлять этотъ энтузіазмъ Карамзина, тотъ въ его исторіи найдетъ именно то, чего въ ней должно искать и что въ ней дѣйствительно есть, потому что Карамзинъ со всей добросовѣстностью, во всей истинѣ исполнилъ свое дѣло, не искажая ни одного изъ фактовъ. Романтическая критика въ своей исторіи, волей или неволей, показала то же московское царство (потому что противъ очевидности фактовъ нечего дѣлать), но только съ какими-то теоретическими атрибутами, которые относились къ нему, какъ масло къ водѣ.

Далѣе: романтическая критика, узнавъ, что во Франціи закипѣла война между классицизмомъ и романтизмомъ, обѣими руками уцѣпилась за слово «романтизмъ» и сдѣлала его альфой и омегой всякой мудрости, отвѣтомъ на всѣ вопросы. А между тѣмъ во Франціи, думая спорить о классицизмѣ

и романтизмъ, въ сущности-то спорили о литературной свободѣ, стѣсненной до уродства писателями XVII и XVIII вѣка. Въ свое время во Франціи была своя романтическая поэзія, которая называлась провансальской. Кончилось рыцарство — кончился и романтизмъ. Корнель и Расинъ были поэтами ново-монархическаго, а не феодальнаго общества. Послѣ революціи Шатобрианъ явился представителемъ подновленнаго ради текущей потребности романтизма; тѣмъ же явился во время реставраціи Ламартинъ. Съ ними ожилъ на минуту галлванически воскрешенный романтизмъ; но чахоточное чадо скончалось гораздо прежде своихъ здоровыхъ родителей. Кромѣ этихъ двухъ писателей, въ новой Франціи не было ни одного нео-романтика. Но наша романтическая критика думала видѣть романтиковъ во всѣхъ новыхъ французскихъ писателяхъ, не разсмотрѣвъ въ ихъ направленіи чисто отрицательнаго и чисто общественнаго, и потому уже нисколько не романтическаго характера. Особенно видѣла она и романтика, и великаго генія въ Викторѣ Гюго, — этомъ поэтѣ, который, не будучи лишенъ поэтическаго таланта, совершенно лишенъ чувства истины, и который, смялся стать выше самого себя, выше своихъ средствъ, дошелъ до крайнихъ предѣловъ натянутости и неестественности. Быстро выросши до облаковъ, его колоссальная слава скоро и испарилась вмѣстѣ съ этими облаками. Въ Германіи такъ называемое романтическое движеніе было ничѣмъ инымъ, какъ литературной оппозиціей протестантизму, — и о романтизмѣ и среднихъ вѣкахъ больше всего хлопоталъ перешедшій въ католицизмъ Шлегель. Такое же движеніе въ пользу католицизма было частью и во Франціи. Не понявъ этого столь исключительнаго явленія, объясняемаго несомнѣнно литературными причинами, — наша романтическая критика объявила Шлегелей и Экштейна великими геніями, представителями философскихъ понятій объ искусствѣ и лучшими критиками нашего времени. Гдѣ теперь эти геніи, эти маленькіе великіе люди, которымъ удалось разыграть замѣтную роль въ переходный моментъ? — ихъ эфемерное существованіе кончилось съ породившимъ ихъ моментомъ. Наша романтическая критика, преклоняясь передъ Кузеномъ, почитала своей обязанностью благоговѣть и передъ Шеллингомъ, объ ученіи котораго узнала она изъ французскихъ газетъ. Когда же слышала она о Гегелѣ, ея время уже прошло, ей уже не подъ силу стало справляться, что такое Гегель. Отставъ отъ времени, она рѣшилась объявлять отсталымъ все новое, съ чѣмъ

уже нельзя ей было сладить. Такъ же начала она, съ роковой для нея эпохи тридцатыхъ годовъ, дѣйствовать и въ отношеніи къ русской литературѣ. Марлинскій у нея обогналъ вѣкъ, а Пушкинъ отсталъ отъ вѣка. Не желая отстать отъ Марлинскаго, она и сама принялась писать повѣсти. Это были пренеприятныя повѣсти: въ нихъ вся сущность и вся цѣнность романтической критики. Можетъ-быть мы когда-нибудь поговоримъ особенно объ этихъ повѣстяхъ: предметъ и любопытенъ, и поучителенъ... «Вечера на Хуторѣ», это первое произведеніе Гоголя, столь оригинальное, столь свѣжее, столь наивное и исполненное жизни, романтическая критика встрѣтила бранью. Запоздалая, никѣмъ невнимаемая, безъ голоса, безъ кредита, романтическая критика и теперь еще не перестаетъ давать знать, что она все еще пишетъ, пишетъ... Что же и какъ же она пишетъ? Кажется, все то же и все такъ же, какъ и прежде; да дѣло въ томъ, что все это только прежнія слова, но уже безъ увѣренности, безъ силы, безъ увлеченія, безъ жара, и притомъ слова одни и тѣ же, всѣмъ извѣстныя и всѣмъ давно уже наскучившія. Новаго въ ней одно, да и то, отъ частаго повторенія, сдѣлалось уже старо: это какая-то инстинктивная и закоренѣлая враждебность ко всему новому, исполненному силы и свѣжести. Такъ, она бранитъ постоянно Гоголя, Диккенса, доказывая, что ихъ постигнетъ участь Дюкре-дю Мениля. Явился Лермонтовъ — она бранитъ и его, и говоря объ одномъ изъ лучшихъ его стихотвореній: «И скучно, и грустно», восклицаетъ насмѣшливо: «и скучно, и грустно!». Вѣримъ, вѣримъ, что ей — отсталой романтической, ей — запоздалой верхоглядной критикѣ, — и скучно, и грустно сознавать свое безсиліе въ разумѣніи и чувствованіи всего новаго и юнаго! Но не однимъ этимъ ограничиваются ея подвиги: она пустилась въ мелкія компіляціи; она кропаетъ стишонки, надъ которыми во время оно такъ остроумно потѣшалась... Прежде она была самобытная критика, а теперь она — поставщица всякихъ статей и мнѣній, какія ни закажутъ ей, готовая къ услугамъ тѣхъ самыхъ людей, которые нѣкогда очень боялись ея...

Конечно все это «и скучно, и грустно», но въ то же время и понятно. Результата всякаго явленія должно искать въ самомъ этомъ явленіи. Мы уже говорили, что романтическая эпоха нашей литературы (отъ начала двадцатыхъ до половины тридцатыхъ годовъ) была эпохой переходной, въ которой непонятное старое отрицалось во имя еще менѣе понятнаго новаго, въ которой только увлекались и обольщались иде-

ями, но не проникались ими. Основаніе было и неглубокое, и непрочное; непосредственное чувство (часто очень вѣрное) принималось за сознательную мысль, практическая ловкость и сноровка и тактъ—за философское направленіе, за мыслительную созерцательность, наглядка—за изученіе. Слово «романтизмъ» всего лучше объясняетъ дѣло. Романтизмъ былъ попыткой подновить старое, воскресить давно умершее. Въ Германіи онъ былъ усиленъ остановитъ потокъ новыхъ идей объ обществѣ и успѣхѣ знанія, основаннаго на чистомъ разумѣ. Во Франціи онъ былъ вызванъ, сперва какъ противодействие идеямъ переворота, потомъ какъ нравственная поддержка реставраціи. Обстоятельства его вызвали, и вмѣстѣ съ обстоятельствами онъ и исчезъ. Но къ намъ онъ не находился ни въ какихъ отношеніяхъ; правда, онъ изгналъ изъ нашей литературы стѣснительность и однообразіе формъ; но развѣ въ этомъ сущность романтизма? Романтизмъ это — переведенный на языкъ поэзіи пѣтизмъ среднихъ вѣковъ, экзальтація рыцарства. Съ этимъ романтизмомъ насъ еще прежде познакомилъ Жуковский, и однакожъ Жуковского никто не называлъ романтикомъ, хотя онъ въ тысячу разъ болѣе романтикъ, нежели Пушкинъ, котораго всѣ почитали творцомъ и представителемъ романтизма въ русской литературѣ. Вотъ ясное доказательство, что спорили, сами не зная хорошенько, о чемъ!

Сверхъ того даже и со стороны эстетической свободы такъ ли были далеки, какъ думали?—Нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ!—У самыхъ отчаянныхъ нашихъ романтиковъ понимаемый въ ихъ смыслѣ романтизмъ былъ не больше, какъ тотъ же псевдо-классицизмъ, только расширенный и развязанный отъ узъ вѣстной формы. Мы очень хорошо помнимъ, что романтическая критика не разъ толковала о возможности эпической поэмы въ наше время: не тотъ же ли это псевдоклассицизмъ, для котораго поэма была высшимъ родомъ поэзіи, который сочинялъ «Генріады», «Петріады», «Россиады», чтобъ не отстать отъ грековъ и римлянъ? Нашъ романтизмъ видѣлъ великое созданье въ «Notre Dame de Paris», этомъ натянутомъ, ложномъ и всячески фальшивомъ, хотя и блестящемъ произведеніи,—и видитъ признакъ упадка вкуса въ романахъ Диккенса и произведеніяхъ Гоголя. А если вы захотите присмотрѣться къ «драматическимъ представленіямъ» нашего романтизма,—то увидите, что и они мѣются по тѣмъ же самымъ рецептамъ, по которымъ составлялись псевдо-классическія драмы и комедіи: тѣ-же избытныя завязки и насильственные развязки, та-же неестествен-

ность, та-же «украшенная природа», тѣ-же образы безъ лицъ вмѣсто характеровъ, то-же однообразіе, та-же пошлость и то-же умѣнье. Даже въ иной передѣлкѣ «Гамлета» нельзя не увидѣть чисто Дюсисовскихъ понятій о трагедіи, только немного подновленныхъ,—иной передѣльщикъ «Гамлета» — тотъ же самый Дюси, только не XVIII, а XIX вѣка: разница въ покроѣ платья, а не въ идеѣ. А эти нападки, будто-бы, на мерзости романовъ Диккенса и, будто-бы, на сальности произведеній Гоголя,—не чистый ли это классицизмъ XVIII вѣка? Наши романтики ушли отъ псевдо-классицизма гораздо меньше, нежели ушелъ отъ него Казимиръ Делавинъ—этотъ мнимый примиритель Расина съ Шекспиромъ, этотъ поэтический академикъ-электикъ.

Мы помнимъ русскій романтизмъ въ самомъ разгарѣ его. Эпоха нашего сознанія сливается съ эпохой его торжества. Юношескому чувству правилась его походка, его удалство, его гордое сознаніе своихъ успѣховъ. Жадно перечитывая и даже переписывая всякое вновь появившееся стихотвореніе Пушкина, мы почти съ такимъ же восторгомъ хватились за все, что выходило изъ-подъ пера Баратынскаго, Языкова, Дельвига, Подолинскаго, Веневитинова, Полежаева, Давыдова, Козлова, Туманскаго, Хомякова... e tutti quanti. Все было хорошо, все нравилось, все восхищало. Но болѣе всего послѣ Пушкина интересовали насъ, какъ и всѣхъ, стихотворенія Баратынскаго, Веневитинова, Полежаева и Языкова. Послѣдній стоялъ въ нашемъ сознаніи едва ли не первымъ послѣ Пушкина. Но время шло, и мы шли за нимъ; декорации перемѣнились; послѣ того много промелькнуло новыхъ именъ, много появилось надѣлавшихъ большого шума сочиненій, и одни изъ нихъ, очень немногія, удержали за собой свою знаменитость, но большая часть исчезла навсегда... И вотъ теперь эта блестящая дружина талантовъ, такъ очаровывавшихъ наше юношеское вниманіе, уже дождалась потомства, хотя многіе изъ нихъ еще живы и даже не стары; дождалась потомства, потому что между эпохой ея блестящаго успѣха и между нашимъ временемъ легла цѣлая бездна... Веневитиновъ умеръ во двѣтъ лѣтъ, оставивъ книжечку стиховъ и книжечку прозы: въ той и другой видны прекрасныя надежды, какія подавалъ этотъ юноша на свое будущее, та и другая юношески прекрасны; но ничего опредѣленнаго не представляетъ ни та, ни другая. Короче, это прекрасная надежда, разрушенная смертью.—Полежаевъ умеръ жертвой богатыхъ, но не уравненныхъ даровъ природы: все доброе въ немъ было

вмѣстѣ и зломъ, и отравой его жизни. Поэзія его есть полное выраженіе личности: это смѣсь вкуса съ безвкусіемъ, таланта съ неразвитостію, гениальныхъ проблемъ съ пошлостію, силы безъ мѣры и гармоніи, словомъ, что-то прекрасное и вмѣстѣ дикое, неопредѣленное. — Поэзія Козлова была скорбью личнаго несчастья поэта; Козловъ былъ поэтомъ не по призванію, а по несчастью. Такіе поэты бываютъ всегда однообразны и нравятся, пока къ нимъ не привыкнешь. «Чернецъ» былъ прочитанъ еще въ рукописи цѣлой Россіей; но это не былъ успѣхъ «Горя отъ ума»: это былъ успѣхъ «Бѣдной Лизы». Козловъ переведилъ Байрона, но, переводя, онъ сообщалъ ему колоритъ своего собственнаго вдохновенія и силу Байрона превращалъ въ простое чувство унылости. Въ мелкихъ стихотвореніяхъ Козлова есть мелодія стиха, но содержаніе ихъ однообразно и не довольно существенно. — Летучія стихотворенія Давыдова — бивуачныя импровизаціи. Давыдовъ и въ поэзіи былъ партизаномъ, какъ на войнѣ. Нельзя лучше его успѣть въ поэзіи, занимаясь ею между прочимъ, какъ однимъ изъ наслажденій жизни. — Дельвигъ своею поэтической славой былъ обязанъ больше дружескимъ отношеніямъ къ Пушкину и другимъ поэтамъ своего времени, нежели таланту. Это была прекрасная личность, которую любили всѣ близкіе къ ней; Дельвигъ любилъ и понималъ поэзію не въ однихъ стихотвореніяхъ, но и въ жизни, и это — то ошибочно увлекло его къ замѣтной поэзіи, какъ своимъ призваніемъ; онъ былъ поэтическая натура, но не поэтъ. — Давно уже Подолинскій сталъ писать все рѣже и рѣже, а наконецъ и совсѣмъ пересталъ. Что это значитъ? неужели прежде времени потухло священное пламя вдохновенія? Мы думаемъ, Подолинскій почувствовалъ самъ, что онъ сдѣлалъ все, что могъ сдѣлать, написалъ все, что могъ написать. Онъ пробовалъ писать, когда уже прошло его время, но вѣроятно увидѣлъ, что у него выходитъ то же самое, что было имъ давно уже написано, а попытки въ другомъ тонѣ вѣроятно ему не удавались. У Подолинскаго былъ талантъ, и прекрасный; но, по нашему мнѣнію, ни одинъ поэтъ этой эпохи не выразилъ своими сочиненіями такъ опредѣленно и ясно, до какой степени бѣдна... какъ бы это сказать? бѣдна сущностью эта эпоха. Возьмите прежнія стихотворенія Подолинскаго: прекрасно, а какъ то утомительно. Удивительно ли, что теперь о нихъ совсѣмъ не говорятъ, какъ будто бы ихъ и не было? А гдѣтъ пятнадцать назадъ появленіе новаго стихотворенія, новой поэмы Подолинскаго было фактомъ текущей рус-

ской литературы. — Туманскій писалъ много, и только въ алегическомъ родѣ; въ его стихахъ много чувства и души; въ свое время стихотворенія его имѣли достоинство, и когда прошло ихъ время, они перестали являться вновь.

Призваніе Баратынскаго было на рубежѣ двухъ сферъ: онъ мыслилъ стихами, если можно такъ выразиться, не будучи собственно ни поэтомъ въ смыслѣ художника, ни сухимъ мыслителемъ. Стихотворенія его не были ни стихотворнымъ резонёрствомъ, ни художественными созданіями. Дума всегда преобладала въ нихъ надъ непосредственностью творчества. Почти каждое стихотвореніе Баратынскаго было порождено не стремленіемъ осуществить идеальныя видѣнія фантазіи художника, но необходимостью высказать скорбную мысль, навѣянную на поэта созерцаемъ жизни. Эта мысль или, лучше сказать, эта дума всегда такъ тепла, такъ задумчива въ стихахъ Баратынскаго; она обращается къ головѣ читателя, но доходитъ до нея черезъ его сердце. Въ думѣ Баратынскаго много страдательнаго, въ обоихъ значеніяхъ этого слова, и въ томъ, что въ ней слышится страданіе, и въ томъ, что эта мысль не активная, а чисто пассивная. Она — всегда вопросъ, на который поэтъ отвѣчаетъ только скорбью; никогда этотъ вопросъ не разрѣшается у него въ отвѣтъ самостоятельностью мысли, въ вопросѣ заключенной. Читая стихи Баратынскаго, забываешь о поэтѣ, и тѣмъ болѣе видишь передъ собой человѣка, съ которымъ можешь не согласиться, но которому не можешь отказать въ своей симпатіи, потому что этотъ человѣкъ, сильно чувствуя, много думалъ, слѣдовательно жилъ, какъ не всѣмъ дано жить, но только избраннымъ. Его скорбь была у него не въ фантазіи, а въ сердцѣ; фантазія жетолько давала жизнь и форму его скорби; и сердце не рождало его скорби, но только принимало ее отъ его головы. Стихъ Баратынскаго запечатлѣнъ одушевленіемъ и чувствомъ; иногда онъ не лишентъ даже силы выраженія; словомъ, въ стихѣ Баратынскаго есть поэзія, но какъ его второстепенное качество, и оттого онъ не художественъ. Къ недостаткамъ стиха Баратынскаго принадлежатъ мѣстами прозаичность, мѣстами неточность выраженія. Вообще поэзія Баратынскаго — не нашего времени; но мыслящій человѣкъ всегда перечтетъ съ удовольствіемъ стихотворенія Баратынскаго, потому что всегда найдетъ въ нихъ человѣка — предметъ вѣчно интересный для человѣка. Въ послѣднее время Баратынскій писалъ очень мало; въ его «Сумеркахъ» есть нѣсколько истинно прекрасныхъ пьесъ; по-

являвшіяся затѣмъ стихотворенія его довольно слабы. Онъ сдѣлалъ все, что могъ сдѣлать для литературы; но, оплакивая его преждевременную смерть, мы скорбимъ о потерѣ не только поэта, но и человѣка: въ Баратынскомъ оба эти имени слились нераздѣльно...

Теперь намъ остается поговорить о двухъ поэтахъ Пушкинской эпохи: объ одномъ, котораго слишкомъ превозносили близкіе къ нему люди и которымъ восхищалась вся Россія, — о Языковѣ, и о другомъ, котораго превозносятъ теперь близкіе къ нему люди, но о которомъ публика и въ то время едва знала, — о Хомяковѣ. Какъ нарочно въ прошломъ году вышли стихотворенія того и другого, слѣдовательно они сами просятся въ нашу статью, предметъ которой — обзоръ всей русской литературы въ 1844 году.

Стихотворенія Языкова и Хомякова вышли въ маленькихъ книжкахъ, объ сѣ оригинальнымъ титуломъ: «НЗ Стихотвореній Н. М. Языкова» — «КЕ Стихотвореній А. С. Хомякова». Заглавіе по счету стихотвореній, счетъ славянскими цифрами, киноварью оттиснутыми, — оригинально, хотя и некрасиво! Въ одной книжкѣ 56, въ другой 25 стихотвореній; хорошаго понемножку!.. Начнемъ съ пятидесятишести; но прежде скажемъ нѣсколько словъ о томъ времени, когда этихъ стихотвореній было написано пѣлыхъ стошестнадцать...

Это было необыкновенно оригинальное время, читатели! Даже сочиненія самого Пушкина, написанныя въ это время, большей частью весьма рѣзко отличаются отъ его же сочиненій, написанныхъ послѣ. Но Пушкинъ смѣло перешагнулъ черезъ границу и своихъ тридцати лѣтъ, по поводу которыхъ онъ такъ поэтически распрощался съ своею юностью въ VI-й главѣ «Онегина», вышедшей въ 1828 году, и черезъ границу критическихъ для русской литературы тридцатыхъ годовъ текущаго столѣтія. Но онъ перешагнулъ черезъ нихъ, какъ мы замѣтили выше, болѣе посредствомъ своего огромнаго художническаго таланта, нежели сознательной мысли. На первыхъ его сочиненіяхъ, несмотря на все превосходство ихъ передъ опытами двухъ поэтовъ его эпохи, слишкомъ замѣтенъ отпечатокъ этой эпохи. Поэтому не удивительно, что Пушкинъ видѣлъ вокругъ себя все геніевъ, да талантовъ. Вотъ почему онъ такъ охотно упоминалъ въ своихъ стихахъ о сочиненіяхъ близкихъ къ нему людей и даже въ особыхъ стихотвореніяхъ превозносилъ ихъ поэтическія заслуги:

Такъ нашъ Катенинъ воскресилъ
Корнелия геній величавый;
Такъ вывелъ колкій Шаховской
Своихъ комедій шумныхъ рой...

Увы! гдѣ же этотъ величавый геній Корнелия, воскрешенный на русскомъ театрѣ Катенинымъ? — объ этомъ ровно ничего не знаемъ ни мы, ни русская публика... Гдѣ шумный рой комедій? — разлетѣлся, разсѣялся и — забытъ! Кто не помнитъ гекзаметровъ Пушкина, въ которыхъ онъ говоритъ, что Дельвигъ возрастилъ на снѣгахъ Оеокритовы нѣжныя розы, въ желѣзномъ вѣкѣ угадалъ золотой, — что онъ молодой славянинъ, духомъ грекъ, а родомъ германецъ! Или кто не знаетъ этихъ стиховъ къ Баратынскому на счетъ его «Эды»:

Стихъ каждый повѣсти твоей
Звучитъ и блещетъ какъ червонецъ.
Твоя чухоночка, ей-ей,
Гречанокъ Байрона милѣй,
А твой Зонзъ — прямой чухонецъ.

Какъ не сказать, что если всѣ безпрекосно согласятся съ послѣднимъ стихомъ, то едва ли кто согласится съ третьимъ и четвертымъ? Но чтобы показать дѣло во всей его ясности, выпишемъ посланіе Пушкина къ Языкову:

Языковъ, кто тебѣ внушилъ
Твое посланіе удалое?
Какъ ты шалишь и какъ ты милъ,
Какой избытокъ чувствъ и силъ,
Какое буйство молодое!
Нѣтъ, не касатяскою водою
Ты воспонилъ свою Камену;
Пегасъ иную Иппокрену
Копытомъ вышибъ предъ тобой.
Она не холодной льется влагой,
Но пѣнится жгучею брагой;
Она размычива, пьяна.
Какъ сей напитокъ благородный,
Сліянье рому и вина,
Безъ примѣси воды негодной,
Въ Тригорскомъ жаждою свободной,
Открытый въ наши времена.

Это было писано въ лѣто отъ Р. Х. 1827-е, — и тогда намъ, какъ и всѣмъ, очень нравилось, а теперь мы, какъ и всѣ, спрашиваемъ самихъ себя: неужели это намъ нравилось и какъ же это намъ нравилось? Что такое: «удалое посланіе», и почему же это только удалое, а выстѣ съ тѣмъ и не ухарское, не забубенное? Что такое — «буйство молодое»? — Въ «Словѣ о Полку Игоревѣ» слова: буй и буеть употреблены въ смыслѣ храбрый, сильный, храбрость, богатырство; но въ наше время буйство означаетъ только ту добродѣтель, за которую сажаютъ въ тюрьму. И потомъ: что за напитокъ — молодое буйство? «Хмельная брага» — напитокъ, который сами наши поэты вѣроятно замѣняли или англійскимъ портеромъ, или кротовскимъ пивомъ. Эпитетъ «размычивыи» происходитъ отъ глагола разнимать, разбирать; о пьяныхъ говорятъ: экъ его разнимаетъ, экъ разбираетъ. — Что такое «сво-

бодная жажда» — рѣшительно не понимаемъ.

А между тѣмъ было время, когда всѣ этимъ восхищались, не вникая слишкомъ строго въ смыслъ. Въ это золотое время быть поэтомъ — значило быть древнимъ полубогомъ. И потому всѣ бросились въ поэты. Стишки были въ страшной модѣ: ихъ читали въ книгахъ, изъ книгъ переписывали въ тетрадки. Молодые люди бредили стихами, и чужими, и своими; «барышники» были отъ стиховъ безъ ума. «Дѣва, луна, она, къ ней, золотая гѣнь, мечта, буйное разгулье, разочарованіе», но въ особенности дѣва и луна сдѣлались постоянными темами, на которыя наши поэты въ запуски варіировали свои невинныя упражненія въ стихотворствѣ. Это было полное торжество самой безкорыстной любви къ искусству и литературѣ. Лишь появится, бывало, стихотвореніе, — критики и рецензенты о немъ пишутъ и спорятъ между собой; читатели говорятъ и спорятъ о немъ. Бывало, убить нѣсколько вечеровъ на споръ о стихотвореніи ничего не стоило. Да, это былъ золотой вѣкъ Астреи для стиховъ! поэты и читатели жили въ Аркадіи. Литературу любили для литературы, стихи любили для стиховъ, рѣмы — для рѣмъ, а совсѣмъ не для того смысла или того значенія, которое было (если только было) въ стихахъ и рѣмахъ. Теперь не то: въ нашъ корыстный вѣкъ люди до того развратились, что никто не дастъ даромъ своей статьи въ журналъ — изъ чести видѣть въ печати свое имя. Теперь многіе пишутъ только для денегъ, въ полномъ убѣжденіи, что это гораздо умнѣе и приличнѣе для взрослага человѣка, нежели писать изъ безкорыстнаго стремленія прославить свое имя въ кругу своихъ пріятелей или плохими сочиненіями дѣйствовать въ пользу отечественной словесности. Люди съ талантомъ и призваніемъ пишутъ теперь изъ желанія высказаться и за свои труды хотятъ брать деньги, чтобъ имѣть возможность вполне посвятить себя литературѣ. И только немногія праведныя души прошли чистыми чрезъ мутный потокъ времени и сохранили цѣломудріе и наивность романтической эпохи. Уже не вспоминая съ умысломъ о томъ, что они тогда кропали стишонки, которыми пріобрѣли себѣ большую извѣстность, — они тѣмъ не менѣе любятъ спивать жиденькія печатныя тетрадки, набивая ихъ разнымъ невиннымъ вздоромъ въ стихахъ и прозѣ, приправляя запоздалыми сужденіями о литературѣ и устарѣлыми фразами о безкорыстной любви къ литературѣ... Счастливые люди! имъ все кажется, что ихъ время или еще не прошло, или опять скоро настанетъ.

Въ это-то время явился Языковъ. Несмотря на неслыханный успѣхъ Пушкина, Языковъ въ короткое время успѣлъ пріобрѣсти себѣ огромную извѣстность. Всѣ были поражены оригинальной формой и оригинальнымъ содержаніемъ поэзіи Языкова, звучностью, яркостью, блескомъ и энергіей его стиха. Что въ Языковѣ дѣйствительно былъ талантъ, объ этомъ нѣтъ и спора; но пора уже рассмотреть, до какой степени были справедливы заключенія публики того времени объ оригинальности поэзіи и достоинствѣ стиха Языкова.

Начнемъ съ оригинальности. Паеозъ поэзіи Языкова составляетъ поэзія юности! Теперь посмотримъ, какъ понялъ поэтъ поэзію юности, и попросимъ его самого отвѣчать на этотъ вопросъ.

Намъ было весело, друзья,
Когда мы лихо пировали,
Свободу нашего житія
И цѣлый міръ позабывали!
Тѣ дни лѣтъли, какъ стрѣла,
Могучимъ вынута лукомъ,
Они звучали яркимъ звукомъ
Разгульных пѣсенъ и стекла;
Какъ искры брызжущія стали
На поединкѣ роковымъ,
Какъ очи свѣтлыя виномъ,
Они плѣнительно блистали.

Въ этихъ стихахъ, такъ сказать, программа всей поэзіи Языкова. Но вотъ цѣлое стихотвореніе — «Кубокъ», представляющее апопеезу юности и любви поэта:

Восхитительно играетъ
Драгоценное вино!
Смѣшной пѣною играетъ,
Златомъ искрится оно!
Успокаивающая влага
Оживитъ тебя всего:
Вспыхнуть радость и отвага
Блескомъ взира твою;
Самобытными мечтами
Заполняетъ голова,
И, какъ волны за волнами,
Изъ души польются сами
Вдохновенныя слова;
Строить, пылать міръ житейской
Развернется предъ тобой...
Много силъ чародѣйской
Въ этой влагѣ золотой!
И любовь развеселитъ
Человѣка, и она
Животворно въ немъ играетъ,
Столь же сладостно сильна;
Въ дни прекраснаго расцвѣта
Поэтическхъ заботъ (???),
Ей дѣятельность поэта
Дави дивныя несетъ;
Молодое сердце бьется,
То притихнетъ и дрожитъ,
То проснется, встрепенется,
Словно выпорхнетъ, взвѣется
И куда-то улетать!
И, послушно, имя дѣвы
Станетъ въ лики чудныхъ словъ (???),
И сроднятся съ нимъ напѣвы
Вѣчно-памятныхъ стиховъ (!!!)

Дѣва, радость, величайся
Рѣдкой славою любви,
Настоящему вѣрайся
И мгновенья лови!
Горделивый и свободный
Чудно (?) *пьянствует* (!) поэтъ!
Кубокъ взялъ: *души угодны*
Этотъ образъ, этотъ цвѣтъ (?!),
Слаз и налил; ихъ ласкаетъ
Взоромъ, словомъ и рукой;
Сразу кубокъ выпиваетъ
И высоко поднимаетъ,
И надъ *буйной* головой
Держитъ. Рѣчь его струится
Безмятежно весела,
А *въ руку еще таится*
Жребій брэннаго стекла (???!!!).

Вотъ она—поэзія юности и любви поэта, по идеалу Языкова!... Чудно *пьянствуетъ* поэтъ: а что жъ тутъ чуднаго, кромѣ развѣ того, что и поэтъ такъ же можетъ *пьянствовать*, какъ и... приберите сами, читатели, къ нашему «и», кого вамъ угодно. Мы понимаемъ, что есть поэзія во всемъ живомъ, стало-быть, есть она и въ *питьѣ* вини; но никакъ не понимаемъ, чтобъ она могла быть въ *пьянствѣ*; поэзія можетъ быть и въ *ѣдѣ*, но никогда въ *обжорствѣ*. Пьютъ и ѣдятъ всѣ люди, но *пьянствуютъ* и *обжираются* только дикари. Подобное антиэстетическое направленіе нашъ поэтъ довелъ до того, что въ одномъ стихотвореніи, вспоминая о времени своего студенчества, говоритъ:

Ну, да! судьбою благосклонной
Во здравье было мнѣ дано
Той жизни *мило-забубенной*
Извѣдать ерѣйское вино.

Въ другомъ стихотвореніи, приглашая друзей на свою могилу, поэтъ восклицаетъ:

Во славу маѣ, вы чашу круговую
Наполните блестящимъ виномъ,
Торжественно пропойте пѣснь родную,
И *пьянствуйте* о имени моемъ.

Спрашивается: какимъ образомъ поэтъ съ дарованіемъ, человѣкъ образованный и принадлежащій къ одному изъ замѣтнѣйшихъ круговъ общества,—какимъ образомъ могъ онъ дойти до такой антиэстетичности, до такой, выразимся прямо, тривіальности въ мысляхъ, чувствѣхъ и выраженіяхъ?—Не трудно объяснить это странное явленіе. До Пушкина наша поэзія была не только риторической, но и скучно-чопорной, приторно-сентиментальной. Она или воспѣвала надутыми словами разныя иллюминаціи, или перекладывала въ пухлые фразы газетныхъ реляціи, а если вдавалась въ сферу частной жизни, то или жеманно сентиментальничала, или старалась прикинуться сладострастною на манеръ древнихъ. Нужна была сильная реакція этому риторическому направленію. Разумѣется, эта реакція должна была заключаться въ натурѣ,

естественности и простотѣ какъ предметовъ, избираемыхъ поэзіей, такъ и въ выраженіи этихъ предметовъ. Понятно, что всѣ захотѣли быть народными, каждый по своему. Такъ, Дельвигъ началъ писать русскія пѣсни; Языковъ началъ брать слова и предметы изъ житейскаго русскаго міра, запѣлъ русскимъ удалцомъ. Но тутъ прогрессъ былъ только въ намѣреніи, а въ исполненіе забралась та же риторика, которая водянила и прежнюю поэзію. Пѣсни Дельвига были пѣснями барина, пропѣтыми будто-бы на мужицкій ладъ. Удадь Языкова была тоже удадь барина, который только въ стихахъ носилъ шапку, заломленную на бекрень, а въ самомъ дѣлѣ одѣвался, какъ одѣваются всѣ порядочные люди его сословія. Въ посланіи Пушкина къ Языкову, которое мы привели выше (и на которое должно смотрѣть, какъ на исключеніе между его стихотвореніями), упоминается о «*хмѣльной брагѣ*»: ясно, что поэтъ здѣсь только прикинулся пьющимъ этотъ напитокъ, а въ самомъ-то дѣлѣ никогда не пилъ,—а прикинулся, чтобъ казаться народнымъ. Вообще о нравственности всѣхъ тогдашнихъ поэтовъ отнюдь не должно заключать по ихъ стихамъ въ честь вина и пьянству: въ этомъ случаѣ они риторически напыляли на себя небывальщину. Этого рода риторизмъ есть главная основа всей поэзіи Языкова. Всѣ его ухарскія и мило-забубенныя выходки, его молодое буйство и чудное пьянство явились въ печати не какъ выраженія дѣйствительности (чѣмъ должна быть всякая истинная поэзія), а такъ, только для «красоты слога», какъ говоритъ Маниловъ. Кстати о риторикѣ: перечтите его пѣсы: «Олегъ», «Евстапій», «Пѣсня короля Ренгера»), «Ливонія», «Кудесникъ», «Новгородская пѣсня», «Усадь», «Меченосецъ», «Арагъ», «Пѣснь Баяна»: что такое все это, если не риторика, хотя и не лишенная своего рода изящества? Тутъ славяне полу-баснословныхъ временъ Святослава и русскіе XIII вѣка говорятъ и чувствуютъ, какъ ливонскіе рыцари, которые, въ свою очередь, очень похожи на нѣмецкихъ буршей; тутъ ни въ чемъ нѣтъ истины—ни въ содержаніи, ни въ краскахъ, ни въ тонѣ. А тамъ, гдѣ поэтъ говоритъ отъ себя, нѣтъ никакой истины въ чувствѣхъ, мысль придумана, произвольно кончена, стихъ блестящъ, бросается въ глаза, поражаетъ слухъ своей необыкновенностью, и читатель только до тѣхъ поръ признаетъ его прекраснымъ,

* Эта пѣса есть подражаніе пѣснѣ Батюшкова: *Пѣснь Гаральда Смѣлаго*. Вообще Языковъ не разъ подражалъ Батюшкову, какъ напримѣръ въ пѣснѣ: *Мое Уединеніе* и въ другихъ.

пока не дастъ себѣ труда присмотрѣться и прислушаться къ нему.

Люди, несимпатизировавшіе съ романтической школой, нападали на нѣкоторыя стихотворенія Языкова за отсутствіе въ нихъ чувства цѣломудрія, за слишкомъ неприкрытое даже цвѣтами поэзіи сладострастіе. Мы такъ думаемъ, что эти пьесы также точно заслуживаютъ упрекъ за отсутствіе въ нихъ именно того, излишнее присутствіе чего въ нихъ такъ возмущало однихъ, такъ оскорбляло другихъ. Сладострастіе этихъ пьесъ холодное; это не болѣе, какъ шалость воображенія. Слѣдующая пьеса самого Языкова есть лучшая критика на всѣ его пьесы въ этомъ родѣ:

Ночь безлунная звѣздами
Убирала синій сводъ;
Тихи были зыби водъ;
Подъ зелеными кустами,
Сладко, дѣва-красота,
Я сжималъ тебя руками;
Я горячими устами
Цѣловалъ тебя въ уста;
Страстнымъ жаромъ подымались
Перси полныя твои;
Разлетаясь, разливались
Черныя локоновъ струи;
Закрывала, открывала
Ты лазурь своихъ очей;
Трепетала и вдыхала
Грудь, прижатая къ моей.
Подъ ночными небесами,
Сладко, дѣва-красота,
Я горячими устами
Цѣловалъ тебя въ уста...
Небесамъ благодаренье
Здравствуй, дѣва-красота!
То играло свидѣнье,
Безтѣлесная мечта!

Когда муза Языкова прикидывается вакханкой, — въ ея безтѣлесномъ лицѣ блещетъ яркій румянецъ наглого упоенія, но худо то, что этотъ румянецъ, если вглядѣться въ него, оказывается толстымъ слоемъ румянъ... Теперь объ оригинальномъ стихѣ Языкова: въ немъ много блеска и звучности; первый ослѣпляетъ, вторая оглушаетъ, и изумленный читатель, застигнутый врасплохъ, признаетъ стихъ Языкова образцовымъ. Первое и главное достоинство всякаго стиха составляетъ строгая точность выраженія, требующая, чтобъ всякое слово необходимо попадало въ стихъ и стряло на своемъ мѣстѣ, такъ чтобъ его никакимъ другимъ замѣнить было невозможно, чтобъ эпитетъ былъ вѣренъ и опредѣлительнъ. Только точность выраженія дѣлаетъ истиннымъ представляемый поэтомъ предметъ, такъ что мы какъ-будто видимъ передъ собой этотъ предметъ. Стихи Языкова очень слабы со стороны точности выраженія. Это можно доказать множествомъ примѣровъ. Вотъ нѣсколько:

Тѣ дни летѣли, какъ стрѣла,
Могучимъ кинутой лукомъ,
Они звучали яркимъ звукомъ
Разгульных пѣсень и стекла;
Какъ искры брызжущія стали
На поединкѣ роковомъ,
Какъ очи, свѣтлыя виномъ,
Они плѣнительно блистали.

Что такое «яркій звукъ разгульных пѣсень»? Есть ли какая-нибудь точность и какая-нибудь образность въ этомъ выраженіи? И какъ могли «звучать дни»? И неужели искры только тогда плѣнительны, когда брызжутъ на роковомъ поединкѣ? И какое отношеніе имѣютъ эти страшныя искры къ веселой жизни поэта? Разберите все это строго, переведите всѣ эти фразы на простой языкъ здраваго смысла, — и вы увидите одинъ наборъ словъ, замаскированный кажушимся вдохновеніемъ, кажущейся красотой стиха...

Вспыхнуть радость и отвага
Блескомъ взора твоего,

Неужели это поэтический образъ?

Самобытными мечтами
Зануляетъ голова.

Что за самобытныя мечты? развѣ —
пьяныя?

Чудно пьянствуетъ поэтъ.

Что жъ тутъ чуднаго?

Прекрасно радуясь, играя,
Надежды смѣлыми кипятъ.

Что за эпитетъ: прекрасно радуясь?

Ты вся мила, ты вся прекрасна,
Какъ пламенны твои уста;
Какъ безгранично сладострастна
Твоихъ объятій полнота!

Безгранично сладострастная полнота объятій: помилюте, да этого «не хитрому уму не выдумать бы въ вѣкъ!...»

Здѣсь муза пѣсень полюбила
Мои словесныя дѣла.
Разнообразныя надежды
Я расточительно питаю.
...Грозю правдой
Ты знаменито ихъ пугнешь.

Тебѣ привѣтъ мой издалеча
Отъ москворѣцкихъ береговъ,
Туда, гдѣ звонкихъ звономъ вѣча
Моихъ пугалась ты стиховъ.

Товарищи, какъ думаете вы?
Для васъ я пѣлъ...
Нѣтъ, не для васъ! — Она меня хвалила,
Ей нравились разгульный мой стнокъ,
И младости заносчивая сила,
И пламенныхъ восторговъ киплятокъ.

Благословляю твой возвратъ
Изъ этой нехристы нѣмецкой
На Русь, къ святыхъ москворѣцкой.

Неточность, вычурность и натянутость всѣхъ этихъ выражений и словъ, означенныхъ нами курсивомъ, слишкомъ очевидны и не требуютъ доказательствъ. Замѣтимъ только, что «нѣмецкая нехристь» есть выражение, уже оставляемое даже русскими мужичками, понявшими наконецъ, что нѣмцы вѣрують въ того же самаго Христа, въ Котораго и мы вѣруемъ; Языковъ тоже понимаетъ это—въ чемъ мы ручаемся за него; но какъ ему, во что бы ни стало, надо быть народнымъ, и какъ поэзія для него есть только маскарадъ, то, являясь въ печати, онъ старается закрыть свой фракъ зипуномъ, поглаживаетъ свою накладную бороду и, чтобъ ни въ чемъ не отстать отъ народа, такъ и пеголяетъ въ своихъ стихахъ грубостью и чувствъ, и выражений. По его мнѣнію, это значитъ быть народнымъ! Хороша народность! Кому не дано быть народнымъ и кто хочетъ сдѣлаться имъ насильно, тотъ непременно будетъ простонароднымъ или вульгарнымъ. У Языкова нѣтъ ни одного стихотворенія, въ которомъ не было бы хотя одного слова, нестати поставленнаго или изысканнаго и фигурнаго. Еслибъ приведенныхъ нами примѣровъ кому-нибудь показалось мало, или доказательства наши кому-нибудь показались бы неудовлетворительными,—мы всегда будемъ готовы представить и больше примѣровъ и придать нашимъ доказательствамъ большую убѣдительность и очевидность.. Правда, встрѣчаются у него иногда и весьма счастливые и ловкіе стихи и выражения, но они всегда переишьшаны съ несчастными и неловкими. Такъ на примѣръ, въ стихотвореніи «Пожаръ»:

Уже, осушены за Русь и сходен наши,
Высоко надъ столомъ *состукивались* чаши,
И разомъ кинути *всей силою* плеча,
Скакали по полу дробясь и бреча.

Послѣдній стихъ хорошъ, но глаголъ «состукивались» какъ-то отзывается изысканностью, а выражение: «кидать всей силою плеча» совершенно ложно.

Картина пышная и грозная предъ нами:
Подъ *громоносными* ночными облаками,
Поднеба зареюмъ багровымъ обхвативъ,
Шумѣлъ и вылъ огня блистательный разливъ.

Послѣдніе два стиха даже очень хороши; но зпитеть «громоносными» во второмъ стихѣ не то, чтобъ неточенъ, а какъ-то отзывается общимъ мѣстомъ, и его вставка въ стихъ если чѣмъ нибудь оправдывается, такъ это развѣ необходимо составить стихъ непременно изъ шести стопъ. Въ томъ же стихотвореніи есть стихи:

Ты помнишь ли, какъ мы, на праздникъ *ноч-*
Уже веселые и шумные *виномъ,* [номъ,
Уже тѣучие (?) и сытые (1), *кругами*
Сидѣли у стола.

Что за странный наборъ словъ!

Есть у Языкова нѣсколько стихотвореній очень недурныхъ, несмотря на ихъ недостатки, какъ на примѣръ: «Поэту», «Двѣ Картины», «Вечеръ», «Подражаніе псалму СXXXVI». Еще разъ: мы не думаемъ отрицать таланта въ Языковѣ, но хотимъ только опредѣлить объемъ этого таланта. Имя Языкова навсегда принадлежитъ русской литературѣ и не сотрется съ ея страницъ даже тогда, когда стихотворенія его уже не будутъ читаться публикой: оно останется извѣстно людямъ, изучающимъ исторію русскаго языка и русской литературы. Языковъ принесъ большую пользу нашей литературѣ даже самыми ошибками своими: онъ былъ смѣлъ, и его смѣлость была заслугой. Вычурныя выражения, оскорбляющія эстетическій вкусъ, мнимая оригинальность языка, выѣшная красота стиха, ложность красокъ и самыхъ чувствъ,—все это теперь уже сознано въ поэзіи Языкова и все это теперь уже не дастъ успѣха другому поэту; но все это было необходимо и принесло великую пользу въ свое время. Дотогѣ всякая мысль, всякое чувство, всякое выражение, словомъ, всякое содержаніе и всякая форма казались противными и эстетическому вкусу, если они не оправдывались, какъ копія образцовъ, произведеніемъ какого-нибудь писателя, признаннаго образцовымъ. Оттого писатели наши отличались удивительной робостью: всякое новое оригинальное выражение, родившееся въ собственной ихъ головѣ, приводило ихъ въ ужасъ; литература, въ свою очередь, отличалась скучнымъ однообразиемъ, особенно въ произведеніяхъ второстепенныхъ талантовъ. Чтобъ имѣть право писать не такъ, какъ всѣ писали, надо было сперва приобрести огромный авторитетъ. Такимъ образомъ первыя сочиненія Пушкина ужасали нашихъ классиковъ своеволіемъ мысли и выраженія. И потому смѣлыя, по ихъ оригинальности, стихотворенія Языкова имѣли на общественное мнѣніе такое же полезное вліяніе, какъ и проза Марлинскаго: они дали возможность каждому писать не такъ, какъ всѣ пишутъ, а какъ онъ способенъ писать, слѣдственно каждому дали возможность быть самимъ собою въ своихъ сочиненіяхъ. Это было задачей всей романтической эпохи нашей литературы,—задачей, которую она счастливо рѣшила.

Вотъ историческое значеніе поэзіи Языкова: оно немаловажно. Но въ эстетическомъ отношеніи общій характеръ поэзіи Языкова чисто риторическій, основаніе забько, паеосъ бѣденъ, краски ложны, а содержаніе и форма лишены истины. Главный ея недостатокъ составляетъ та холодность.

которую такъ справедливо находилъ Пушкинъ съ своимъ произведеніемъ—«Русланъ и Людмила». Муза Языкова не понимаетъ простой красоты, исполненной спокойной внутренней силы; она любитъ во всемъ одну яркую и шумную, одну эффектную сторону. Это видно во всякой строкѣ, имъ написанной; это онъ даже самъ высказалъ;

Такъ гений радостно трепещетъ,
Свое величье познаетъ,
Когда предъ нимъ *времится и блещетъ*.
Иного гению полетъ.

Повидимому поэзія Языкова исполнена бурнаго, огненнаго вдохновенія; но это не богѣе, какъ разноцвѣтный огонь отразившагося на льдинѣ солнца, это... но мы лучше объяснимъ нашу мысль собственными стихами Языкова:

... Такъ волна
Въ лучахъ свѣтила золотого
Блещать, кипить — но холодна!

Разсказывая въ удачныхъ стихотвореніяхъ богѣе всего о своихъ попойкахъ, Языковъ нерѣдко разсуждалъ въ нихъ и о томъ, что пора уже ему охмѣлиться и приняться за дѣло. Это благое намѣреніе или, лучше, эта охота говорить въ стихахъ объ этомъ благомъ намѣреніи сдѣлалась новымъ источникомъ для его вдохновенія, обратилась у него въ истинную манію и отъ частаго повторенія превратилась въ общее риторическое мѣсто. Общіянія эти продолжаютъ до сихъ поръ; всѣ давно знаютъ, что нашъ поэтъ давно уже охмѣлился; публика узнала даже (изъ его же стиховъ), что онъ давно уже не можетъ ничего пить, кромѣ рейнвейна и малаги; но дѣла до сихъ поръ отъ него не видно. Новыя стихотворенія его только повторяютъ недостатки его прежнихъ стихотвореній, не повторяя ихъ достоинствъ, каковы бы они ни были. Въ прошломъ 1844 году въ одномъ журналѣ было помѣщено предлинное стихотвореніе Языкова, въ которомъ онъ между прочимъ говорить:

Но вотъ въ Москвѣ я, слава Богу!
Уже не робко я гляжу
И на парнасскую дорожку —
Пора за дѣло мнѣ! Вину и кутежу
Уже не стану, какъ бывало,
Пѣть *вольнодумную* хвалу:
Потѣхи юности удалой
Не кстати были бѣ мнѣ; неюному челу
Не кстати рѣзвый плющъ и роза...
Пора за дѣло! Въ добрый путь!

Вотъ подлинно длинные сборы въ путь! Гдѣ жъ дѣло-то? Неужели эта крохотная книжечка съ пятьюдесятью стихотвореніями, изъ которыхъ большая половина старыхъ, имѣющихъ свой историческій интересъ, и меньшая половина новыхъ инте-

ресныхъ развѣ только какъ фактъ совершеннаго упадка таланта, нѣкогда столь превозносиваго? Перечтите напр. драгоценное стихотвореніе, въ которомъ неуваженіе къ печати и грамотнымъ людямъ доведено до послѣдней степени: это—посланіе къ М. П. Погодину:

Благодарю тебя сердечно
За подареніе твое!
Мнѣ съ нимъ раздолье! Съ нимъ житье
Поэту! *Дивно — быстро!* Легко пошли часы мои
Съ тѣхъ поръ, какъ ты меня *уважил!*
По стихотворчески я зажилъ,
Я въ душу! Словно, какъ ручьи
Съ высокихъ горъ на доли *зачны*
Бѣгутъ, игривы и *прозрачны*,
Бѣгутъ, сверкая и звеня
Светлостеклянными струями,
При ясномъ небѣ, межъ цвѣтами
Весной: такъ точно у меня
Стихи мои, *проворно, мило*,
Съ пера бѣгутъ теперь; — и вотъ
Тебѣ, мой *ясный* доброхотъ,
Стаканъ стиховъ (!!...): на, пей! — Что было —
Того уже намъ не воротить!
Да, братъ, теперь мои созданія
Не то, что въ пору волнованья
Надеждъ и мыслей¹⁾; — такъ и быть!
Они теперь — напитокъ трезвый²⁾;
Давнымъ давно уже въ нихъ нѣтъ
Игры и силы прежнихъ дѣтъ,
Ни мысли пламенной и рѣзвой,
Ни *явно-буйнаго* стиха³⁾, —
И недиковинное дѣло⁴⁾:
Я самъ не тотъ уже (,) и смѣло
Въ томъ признаюсь: Кто безъ грѣха?
Но ты, ты *добрый и почтенный*,
Ты примешь ласковой душой
Напитокъ, поднесенный мною,
Хоть онъ безхмѣльный и не *пьяный*⁵⁾.

Скажите, ради здраваго смысла: неужели это поэзія, «языкъ боговъ»? Вотъ чѣмъ развѣшился романтизмъ двадцатыхъ годовъ! Впрочемъ и то сказать: «Отъ великаго до смѣшнаго только шагъ», по выраженію Наполеона: стало быть, отъ небольшого до смѣшнаго еще ближе!...

Это «дивно быстро!» стихотвореніе, звенящее «свѣлостеклянными» струями прѣсной и не совсѣмъ свѣжей воды, поднесенной въ стаканѣ «явному» доброхоту стихотворцемъ, «сдѣлавшимся въ духѣ» отъ «подаренница», которымъ «уважилъ» его «явный» доброхотъ,—это образцовое про-

¹⁾ Вотъ что правда, такъ правда, хотя и выраженная прозаически, несладко и съ грѣшкомъ противъ грамматики!...

²⁾ То есть: вода?

³⁾ Зачѣмъ продолжать печатать такіа жалкія созданія, въ которыхъ нѣтъ не только поэзіи, но даже и *буйно-явнаго* стиха?

⁴⁾ Даже очень понятное!

⁵⁾ Зачѣмъ же было не послать этого прѣснаго стакана въ рукописи тому, для кого онъ былъ назначенъ, — дѣло семейное и до публики не касающееся. Что такое *не пьяное* вино? Должно быть не *пьяннѣе* вино? иначе было бы сказано: не *пьяннѣе* вино.

явление заживо умершаго таланта, не напечатано въ числѣ заветныхъ 57-ми стихотвореній Языкова. Напрасно! отъ этого его книжечка много потеряла. По нашему, ужъ если печатать, такъ все, что характеризуетъ и опредѣляетъ дѣятельность поэта; лучше было бы или совсѣмъ не издавать этой маленькой книжечки, въ которой литература ровно ничего не выиграла, или издать книжку побольше, которая была бы вторымъ изданіемъ изданныхъ въ 1833 году стихотвореній Языкова, съ прибавленіемъ къ нимъ всего написаннаго имъ послѣ, а между прочимъ и его прекрасной «Драматической Сказки объ Иванѣ Паревичѣ, Жарѣ Птицѣ и о Сѣромъ Волкѣ», которая, по нашему мнѣнію, лучше всего, что вышло изъ-подъ пера Языкова.

Муза Хомякова состоитъ въ близкомъ родствѣ съ музой Языкова, хотя и многимъ отъ нея отличается. Сперва о различіи: въ стихотвореніяхъ Языкова (прежнихъ) нельзя отрицать признака поэтической струи, которая болѣе или менѣе сквозитъ черезъ ихъ риторизмъ; въ стихотвореніяхъ Хомякова есть не только струя, но полный и блестящій талантъ — только отнюдь не поэтический, а какой, мы скоро это скажемъ. Теперь о сродствѣ: мы показали выше, что шумливая, пѣнистая и кипучая, хотя въ то же время и холодная струя поэзіи Языкова была не изъ сердца — источника страстной природы, а изъ головы, которая у людей еще чаще бываетъ источникомъ прихотей празднаго и фантазирующаго разсудка, нежели источникомъ разума, глубоко и вѣрно постигающаго дѣйствительность. Мы показали, что народность поэзіи Языкова, непросыпный хмѣль и пьяное буйство его музы, равно какъ и ея стремленія быть вакханкой, — все это было болѣе или менѣе искусственно и поддѣльно. Въ этой искусственности и поддѣльности Хомяковъ далеко опередилъ Языкова. Имѣя способность изобрѣтать и придумывать звучные стихи, онъ рѣшился употребить ее въ пользу себя, приобрести ею себя славу не только поэта, но и прорицателя, который проникъ въ дѣйствительность настоящаго и постигъ тайну будущаго и который гадаетъ на своихъ стихахъ не о судьбѣ частныхъ личностей (какъ это дѣлаютъ ворожеи на картахъ), но о судьбѣ царствъ и народовъ... Прочтите въ «Новомъ Живописцѣ Общества и Литературы» Полевого сцены изъ трагедіи «Стенька Разинъ» (т. II. стр. 210—223) и сравните ихъ съ любыми сценами напримѣръ изъ «Ермака» Хомякова: вы увидите, что способность владѣть такимъ стихомъ, какимъ владѣетъ Хомяковъ, не имѣетъ ничего об-

щаго съ талантомъ поэзіи, съ даромъ творчества. Стихи «Разина» ничѣмъ не хуже стиховъ «Ермака»; можно даже подумать, что тѣ и другіе писаны однимъ и тѣмъ же лицомъ. Ниже мы сравнимъ ихъ. Итакъ, Языковъ, владѣя стихомъ, для котораго все-таки нужно было кой-чего побольше простой способности располагать слова по правиламъ версификаціи, съ какой-то добродушной безпечностью, обличающей болѣе или менѣе поэтическую натуру, ограничился, изъ множества предметовъ, представлявшихся его уму, тѣмъ, что выбралъ какое-то удалое и пьяное буйство, какую-то будто бы вакханальную, но въ сущности прескромную и преневиновую любовь. Хомяковъ, какъ болѣе свободный отъ всякаго внутренняго, непосредственнаго стремленія версификаторъ, выбралъ для своихъ стихотворческихъ занятій предметы гораздо повыше. Пушкинъ напримѣръ не выбиралъ, потому что по призванію, поэтъ великій лишенъ не только права, даже возможности выбирать предметы для своихъ пѣснопѣній и давать своимъ твореніямъ произвольное направленіе: источникъ его вдохновенія есть его собственная натура, а его натура есть цѣлый, въ самомъ себѣ замкнутый міръ, который рвется наружу; задача поэта — вывести наружу, объектировать въ поэтическихъ образахъ свой собственный міръ, сущность своего собственного духа. Хомякову нельзя было не выбирать: онъ не былъ поэтомъ, и ему было все равно, что бы ни пѣть. Онъ недолго думалъ — и рѣшился посвятить свои послѣдніе труды на гимны старой, до-Петровской Руси. Намѣреніе похвальное, хотя и лишенное всякаго художественнаго такта, потому что живое современное всегда ближе къ сердцу поэта. Чтобы довершить ошибку направленія, Хомяковъ рѣшился въ современной Россіи видѣть старую Русь. Не дивитесь, читатели: для Хомякова это было гораздо легче, нежели для насъ съ вами; люди простые, мы всѣ вещи видимъ такъ, какъ онѣ суть, или, если не можемъ увидѣть ихъ въ настоящемъ свѣтѣ, не считаемъ нужнымъ представлять ихъ въ ложномъ. Кто одаренъ способностью глубокаго, страстнаго убѣжденія, кто алчетъ и жаждетъ истины, тотъ можетъ заблуждаться; но ему, когда онъ сознаетъ свою ошибку, есть оправданіе въ ней: это страданіе всего его существа, потому что онъ убѣждается всѣмъ своимъ существомъ — и умомъ, и сердцемъ, и кровью, и плотью. Кто же, напротивъ, одаренъ счастливою способностью свободного выбора во всемъ, тому легко убѣждаться, въ чемъ ему угодно и на столько времени, на сколько ему заблагоразсудится — на годъ.

на два или на цѣлую жизнь; потому что въѣдъ это прихоть или расчетъ ума, а не убѣжденіе,—спокойное дѣйствіе головы, а не страстное сотрясеніе всей органической системы, не то чувство, которое заставило лермонтовскаго Мцыри сказать:

Я зналъ одной лишь думы власть,
Одну — но пламенную страсть:
Она, какъ червь, во мнѣ жила,
Изяла душу и сожгла.

Я эту страсть во тѣмъ ночной
Вскормилъ слезами и тоской;
Ее предъ небомъ и землею
Я нынѣ громко признаю
И о прощеньи не молю.

Но мы отделились отъ предмета — отъ стихотворствованія Хомякова. Возможностью выбирать и самимъ выборомъ своимъ онъ сталъ въ то самое выгодное положеніе, какого хотѣлъ себѣ: его многіе признали юнымъ поэтомъ, подающимъ о себѣ большія надежды въ будущемъ. Особенно обратилъ онъ на себя вниманіе двумя трагедіями: «Ермакъ» и «Димитрій Самозванецъ». Обѣ онѣ по ихъ назначенію—апофеоза старой Руси или московскаго царства; но ни въ одной изъ нихъ нѣтъ никакой Россіи, ни старой, ни новой, потому что ни въ одной изъ нихъ нѣтъ ничего русскаго. «Ермакъ» — совершенно классическая трагедія, вродѣ трагедій Расина: въ ней казаки похожи на нѣмецкихъ буршей, а самъ Ермакъ — живая каррикатура Карла Моора. Французская классическая трагедія искажала грековъ и римлянъ, но этотъ недостатокъ выкупала своею національностью: ая греки и римляне были живые французы того времени. Въ тѣсныхъ, до китавизма искусственныхъ формахъ, она умѣла быть не только скучной и вялой, но мѣстами и страстной, поэтической, блестящей, впечаткомъ необыкновеннаго таланта. Ничего этого нѣтъ въ «Ермакѣ»: нѣмецкіе бурши обидѣлись бы этой трагедіей, увидя въ ней карикатуру на себя, а для русскаго отъ ней нѣтъ ни радости, ни горя, потому что въ ней нѣтъ ничего русскаго. Что же до стиховъ, — то вотъ чувствительный романсъ, который поэтъ своей наперсницѣ Софьѣ Амалии, этой пародіи на шиллеровскихъ «Разбойниковъ» — предметъ пламенной любви Ермака, злополучная Ольга:

«Зачѣмъ, скажи, твое стечанье
И безотрадная печаль?
Твой умеръ другъ, или изгнанье
Его умчало въ степь и даль?»
— Когда бъ онъ былъ въ странѣ далекой,
Я друга бы назадъ ждала,
И въ скорби жила одинокой
Надежда тогда бы цвѣла.
Когда бъ онъ былъ въ могилѣ холодной,
Можъ бы плакали глаза,

А слезы въ груди безотрадной —
Небось вечерняя роса!
Но онъ преступникъ, онъ убійца;
О немъ и плакать мнѣ нельзя.
Ахъ, растворишься моя гробница,
Раскройся тихая земля!

Теперь сравните съ этимъ романсомъ идеальной русской дѣвы XVI вѣка — эту романтическую пѣсню донскаго казака XVII столѣтія (изъ трагедіи «Стенька Разинъ») — и рѣшите сами, въ которой изъ двухъ пьесъ стихи лучше:

Тихій Донъ, страна родная,
Первыхъ радостей пріютъ,
Гдѣ свобода золотая,
Гдѣ мечты мои живутъ,
Гдѣ пѣвецъ, безвѣстный въ мірѣ,
Вдохновеній тайныхъ полнъ,
Я вѣтралъ неснѣлой лири,
Въ челновѣ, на конѣ воли,
И мечты, и вдохновенье,
И любви мой идеалъ,
И въ горящемъ пѣснопѣньи
Всю природу обнимаю!
Помню, помню тѣ мгновенья,
Какъ пѣвецъ героемъ сталъ,
Саблей — радость вдохновенья,
Пулей — лиру замѣняю;
Какъ въ Азовскія тверднни,
Оъ свистомъ ринулся овинецъ;
И въ далекія пустыни
Мчался юноша пѣвецъ;
На конѣ, съ мечомъ во длани,
Несся вихремъ по полямъ,
Громеноснымъ богомъ брани,
Смертью, гибелью врагамъ.

Въ «Димитрій Самозванцѣ» Хомяковъ обнаружилъ притязанія на историческое изученіе. Но историческое изученіе только тогда полезно для поэта, желающаго воспроизвести въ своемъ твореніи нравственную физіономію народа, когда въ самой натурѣ, въ самомъ духѣ этого поэта есть живое, кровное сродство съ національностью изображаемаго имъ народа. Такимъ поэтомъ былъ Пушкинъ, и потому онъ націоналенъ не въ однихъ только тѣхъ своихъ произведеніяхъ, въ которыхъ изображаетъ русскую дѣйствительность. Этого рода национальность дается не всякому, кто только вздумаетъ писать стихи или кто воображаетъ себя дѣйствительно проникнутымъ любовью къ своему родному. Чѣмъ поэтъ огромнѣе, тѣмъ онъ и національнѣе, потому что тѣмъ богѣе сторонъ національнаго духа доступно ему. Но бываютъ таланты односторонніе, не великіе, и вмѣстѣ глубоко, хотя и односторонне національные: таковъ былъ талантъ Кольцова, въ безыскусственныхъ звукахъ котораго высказывалась душа чисто-русская. Изученіе исторіи и нравовъ народа можетъ только усилить, такъ сказать, талантъ поэта, но никогда не дастъ оно ему чувства народности, если его не дала ему природа. Вотъ почему въ «Димитрій Самозванцѣ» видна богѣе или менѣе

ловкая поддѣлка подѣ русскую народность, но нѣтъ ни одного истиннаго проблеска русской народности. Видимъ лица, видимъ событія, видимъ русскія слова, но не видимъ того, что давало бы смыслъ, было бы ключомъ къ разгадкѣ этихъ лицъ и событій. Самозванецъ и Ляпуновъ Хомякова говорятъ, кажется, порусски, а между тѣмъ оба они—какіе-то романтическіе мечтатели двадцатыхъ годовъ XIX столѣтія, слѣдовательно нисколько не русскіе начала XVIII вѣка. А между тѣмъ эта трагедія написана послѣ «Бориса Годунова» Пушкина!.. Мы сказали, что въ ней видна болѣе или менѣе ловкая поддѣлка подѣ русскую народность; но какая разница между поддѣлкой русскаго поэта, Хомякова, подѣ русскую народность—и поддѣлкой француза Меримэ подѣ народность пѣсенъ юго-западныхъ славянъ. Меримэ не зналъ ни одного славянскаго языка, не былъ ни въ одной славянской землѣ, писалъ эти пѣсни во Франціи, руководствуясь только одной маленькой брошюрой и однимъ итальянскимъ сочиненіемъ, имѣющими нѣкоторое отношеніе къ пѣснямъ сербовъ, далматовъ, босняковъ и пр. Меримэ сочинилъ эти пѣсни «pour se moquer de la couleur locale» и ввелъ въ заблужденіе Мицкевича и Пушкина, которые оба признали эти пѣсни подлинными, а послѣдній даже большую часть ихъ переложилъ порусски превосходѣйшими стихами.

Защитники Хомякова говорятъ, что драма—не его призваніе, что онъ—лирикъ. Изъ романа Ольги можно видѣть характеръ лиризма Хомякова. Прежде, чѣмъ быть лирикомъ, надо быть поэтомъ. Лиризмъ еще больше, нежели всякій другой родъ поэзіи, основывается на непосредственности теплаго сердечнаго чувства и не терпитъ холодныхъ головныхъ чувствъ, которые выдаются за мысли, но которые въ сущности такъ же относятся къ мыслямъ, какъ умъ къ умничанью, чувство—къ сантиментальности, щеголеватость—къ изыществу. Посмотримъ на лиризмъ Хомякова въ его лирическихъ произведеніяхъ. Первое изъ нихъ, «Къ Иностранкѣ», можетъ служить образцомъ всего лиризма Хомякова:

Вокругъ нея очарованье,
Вся роскошь юга дышитъ въ ней,
Отъ розъ ей прелесть и названье,
Отъ звездъ полудня блескъ очей.
Прикованъ къ ней волшебной силой
Поэтъ восторженный глядитъ,
Но никогда онъ дѣвъ милой
Своей любви не посвятить.
Пусть ей поютъ сердца звуки,
Высокой думы красота,
Поэтовъ радости и муки,
Поэтовъ чистая мечта.
Пусть въ ней душа, какъ пламень ясный,
Какъ дымъ молитвенныхъ кадиль,

Пусть ангелъ свѣтлый и прекрасный
Ее съ рожденія осѣнитъ;
Но ей чужда моя Россія,
Отчизны (чей?) дивная краса,
И ей милѣй страны другія,
Другія лучше небеса.
Пою ей пѣснь родного края—
Она не внемлетъ, не глядитъ.
При ней скажу я: «Русь святая!»
И сердце въ ней не задрожитъ.
И тѣсно лучъ живого свѣта
Изъ черныхъ падаетъ очей:
Ей гордая душа поэта
Не посвятить души своей.

Не будемъ говорить о томъ, что въ этомъ стихотвореніи нѣтъ ни одного поэтическаго выраженія, ни одного поэтическаго оборота, которые встрѣчаются даже въ стихотвореніяхъ Бенедиктова, риторизмъ которыхъ не чуждъ какой-то поэтической струйки; не будемъ доказывать, что все это стихотвореніе—наборъ модныхъ словъ и модныхъ фразъ, въ которыхъ прозаическая нищета чувства и мысли такъ и бросается въ глаза. Вмѣсто этого лучше разберемъ то будто-бы чувство, ту будто-бы мысль, которые положены въ основу этой пѣсмы, и обнаружимъ всю ихъ ложность, неестественность и поддѣльность. Поэтъ смотритъ на прекрасную женщину и задаетъ себѣ вопросъ: любить ему или нѣтъ? Видите ли, какъ влюбляются поэты! Совсѣмъ не такъ, какъ простые смертные, не такъ, какъ всякое существо, называющееся человѣкомъ: человѣкъ влюбляется просто, безъ вопросовъ, даже прежде, нежели пойметъ и сознаетъ, что онъ влюбился. У человѣка это чувство зависитъ не отъ головы, у него оно естественное, непосредственное стремленіе сердца къ сердцу. Но нашъ поэтъ думаетъ объ этомъ иначе. Задавъ себѣ глубокомысленный вопросъ: любить или нѣтъ?—онъ не почелъ за нужное даже погадать хоть на пальцахъ и отвѣчаетъ рѣшительно: «нѣтъ!». Бѣдная женщина, бѣдная иностранка! Какого сердца, какого сокровища любви лишилась она! О, еслибъ она поняла это!... Намъ какъ-то и скучно, и совѣстно разсуждать о такихъ незамысловатыхъ вещахъ; но быть такъ: начавъ, надо кончить, тѣмъ болѣе, что это для многихъ поэтовъ можетъ быть полезно. Мы понимаемъ, что человѣкъ можетъ любить женщину и въ то же время не хотѣть любить ее, и въ такомъ случаѣ мы хотимъ видѣть въ немъ живое страданіе отъ этой борьбы разсудка съ чувствомъ, головы съ сердцемъ; только тогда его положеніе можетъ быть предметомъ поэтическаго воспроизведенія, а иначе оно—прихоть головы, ложь, годная только для сатиры, для эпиграммы; посмотрите же, какъ разсудителенъ, какъ благоразуменъ, какъ спокоенъ нашъ поэтъ: доказавъ себѣ силлогизмомъ, что ему

не слѣдуетъ любить иностранку, которая зѣбаетъ, слушая его родныя пѣсни и патріотическія восклицанія по той простой причинѣ, что не понимаетъ ихъ, онъ такъ доволенъ собой, что въ состояніи сейчасъ-же сѣсть за столъ и начать завтракать или обѣдать. Гдѣ же тутъ истина поэзіи? Тутъ нѣтъ ничего похожего на чувство и поэзію. И таковы-то всѣ лирическія стихотворенія Хомякова! У этого поэта родникъ вдохновенія бьетъ не въ сердцѣ, такъ же, какъ у Сампсона сила была не въ мышцахъ, а въ волосахъ; но Сампсонъ, несмотря на то, оказывалъ опыты сверхъ-человѣческой силы: гдѣ же опыты нашего поэта? А вотъ помжемъ...

Не презирай клина стального
Въ обдѣлкѣ древности простой,
И пыль забвенья вѣкового
Сотри заботливой рукой.

Что такое: «обдѣлка простой древности»? Какой смыслъ этого кудреватаго выраженія? Далѣе въ этомъ стихотвореніи есть «мечи съ красивою оправой», которые «блистаютъ тщетною забавой»?!! Наконецъ голосъ брани «воскрешаетъ губительный порывъ булата»... Восточные жители поэзію называютъ искусствомъ «нанизывать жемчугъ на нить описаній»: какъ не далеко ушли отъ персіанъ многіе изъ нашихъ такъ называемыхъ «поэтовъ», которые насмѣшливо улыбаются надъ турецкими опредѣленіемъ поэзіи, а между тѣмъ сами, думая творить, только нанизываютъ пустозвонныя фразы на нить какой-нибудь бѣдной рефлексіи! У Хомякова есть пьеса—«Вдохновеніе»; прекрасно! Мы отъ самого Хомякова узнаемъ, какъ онъ понимаетъ вдохновеніе.

Лови минуту вдохновенія,
Восторговъ чашу пей,
И сномъ лѣниваго забвенья
Не убивай души своей.

Что значитъ ловить минуту вдохновенія?— Не тратить времени, но писать, когда почувствуешь налитіе вдохновенія? Если такъ,— оно справедливо, какъ дважды-два—четыре, но точно также и не ново. Или можетъ быть поэтъ словомъ «лови» разумѣлъ настоящую ловлю и хотѣлъ сказать: ищи вдохновенія, гоняйся за нимъ?—Если такъ, то это самое ложное понятіе о вдохновеніи: его не ищутъ, оно приходитъ само. «Восторговъ чашу жадно пей»: что такое—чаша «восторговъ»? И какихъ восторговъ? Слово восторгъ можетъ употребляться во множествѣ самыхъ разнообразныхъ и самыхъ противоположныхъ значеній: для одного чаша восторговъ заключается въ штофъ полугара, для другого—въ бутылкѣ шампанскаго, а для третьяго—въ знаніи истины. Первые чаши можно пить жадно, когда угод-

но; если кто полюбитъ такіе восторги, третью чашу можно опять пить, когда угодно и сколько угодно, но для этого требуется жажда истины, самоотверженіе труда. Однимъ словомъ, когда въ стихотвореніи не опредѣлено, о какихъ восторгахъ идетъ дѣло—такое стихотвореніе легко можно принять за наборъ звучныхъ словъ. Но это бы еще куда ни шло, а вотъ скажите намъ, ради грамматики, ради логики, ради здраваго смысла, что такое: «сонъ лѣниваго забвенья»?—Просимъ васъ: объясните намъ, по какимъ законамъ мысли человѣческой сошлись рядомъ эти три слова, не образующія собой не только идеи какой-нибудь, но даже и какого-нибудь смысла? Неужели это лирическій пафосъ?...

И если разъ, въ безпечной лѣни,
Ничтожность міра полюбвишь,
Ты свяжешь цѣпью наслажденій
Души бунтующій порывъ,—
Въ тебѣ поэзіи священной
Не снидетъ чистая роса, и пр.

Связать цѣпью наслажденій (какихъ?) бунтующій порывъ души: какая великолѣпная шумиха бѣдныхъ значеніемъ словъ! какая неопредѣленность понятій! Цѣпь наслажденій, а какихъ? Вѣдь и пить чашу восторговъ—тоже наслажденіе! Скажутъ: поэтическое произведеніе—не диссертация; краткость выраженій есть первое его достоинство, а прозаическая обстоятельность—главнѣйшій недостатокъ. Такъ; но отчего, напр., у Пушкина, у Лермонтова одно слово по своей рѣзкой опредѣлительности иногда заключаетъ въ себѣ самую обстоятельную диссертацию въ прозѣ? Оттого, что оба они поэты, и притомъ еще великіе. И потомъ, какая сухая отвлеченность въ понятіи Хомякова о сущности поэта: онъ дѣлаетъ изъ поэта то, чѣмъ поэтъ никогда не бывалъ и никогда быть не можетъ: существо безгрѣшное, не падающее, не спотыкающееся. По его мнѣнію, согрѣши поэтъ разъ въ жизни;—и навсегда прощай его вдохновеніе. Чтобъ предупредить это несчастье, онъ даетъ ему рецептъ: живи-де безпрестанно въ поэтическихъ восторгахъ, т. е. будь шутомъ на ходуляхъ, повтори собою лицо манчскаго витязя, донъ-Кихота, который даже и спалъ въ своемъ картонномъ шлемѣ, даже и во снѣ сражался съ баранами и мельницами... Нѣтъ, не таковъ поэтъ: возьмемъ въ свидѣтели Пушкина, который сказалъ, что часто «межъ дѣтей ничтожныхъ міра, быть можетъ всѣхъ ничтожнѣе поэтъ, пока не коснется его слуха божественный глаголъ, и пока не встретится душа его, какъ пробудившійся орелъ». Когда поэзія есть живой глаголъ дѣйствительности,—она великая вещь на землѣ; но

когда она силится сдѣлать существующимъ несуществующее, возможнымъ невозможное, когда она прославляетъ пустое и хвалитъ ложное,—тогда она не богѣе, какъ забава дѣтей, которымъ деревянная лошадка нравится болѣе настоящей лошади... И не поэтъ тотъ, кто лишенъ всякаго такта дѣйствительности, всякаго инстинкта истины; не поэтъ онъ, а искусникъ, который умѣетъ плясать съ завязанными глазами между яйцами, не разбивая ихъ... Такой поэтъ похожъ на тѣхъ жонглѣровъ диалектики, которымъ все равно, о чемъ бы и какъ бы ни спорить, лишь бы только опровергнуть противника; которые, доказавъ одному, что дважды-два—четыре, съ тѣмъ же жаромъ доказываютъ другому, что дважды-два—пять, и для которыхъ важнѣйшій результатъ спора есть не истина, а суетное, мелочное удовольствіе перескочить другого и остаться побѣдителемъ, хотя бы то было на счетъ здраваго смысла и добросовѣстности.

Но мы нѣсколько отделились отъ нашего предмета — отъ стихотвореній Хомякова, возвратимся къ нимъ. Пока мы не нашли никакихъ признаковъ поэзіи въ простыхъ лирическихъ его стихотвореніяхъ: можетъ-быть поэзія скрывается въ его пророческихъ лирическихъ пьесахъ?—А вотъ посмотримъ. Въ стихотвореніи «Къ Россіи» Хомяковъ даетъ своему отечеству истинно-отеческія наставленія: онъ запрещаетъ ему чувства гордости и рекомендуетъ смиреніе. Онъ говоритъ Россіи:

Грознѣй тебя былъ Римъ великій,
Царь семихолмнаго хребта,
Желтѣлыхъ силъ и воли дикой
Осуществленная мечта,
И нестерпимъ былъ огнь булата
Въ рукахъ алтайскихъ дикарей.

Какіе великолѣпные, энергическіе и поэтическіе стихи! Самъ Пушкинъ никогда не писалъ такихъ чудно-прекрасныхъ стиховъ! Мы очарованы и увлечены ими; однакожь не до такой степени, чтобъ не могли освѣдомиться скромно о томъ, что скрывается въ этихъ дивныхъ стихахъ. И потому беремъ на себя смѣлость спросить кого бы то ни было—самого поэта или нашихъ читателей: что такое «царь семихолмнаго хребта» и что такое «семихолмный хребетъ»? Что Римъ построенъ будто-бы на семи холмахъ, случилось слышать и намъ! но чтобъ онъ былъ построенъ на хребтѣ горъ—это едва ли кому случалось слышать. Что такое: «осуществленная мечта желѣзныхъ силъ и дикой воли»? Еще еслибы дѣло шло только объ осуществленной мечтѣ желѣзной силы (а не желѣзныхъ силъ),—мы кое-какъ поняли бы мысль поэта; но

почему воля римлянъ (а римляне дѣйствительно были по преимуществу народъ воли, какъ греки — народъ эстетическаго чувства) была дикая—не понимаемъ! Она можетъ быть сильной, несокрушимой, желѣзной, если угодно—даже стальной; хотъ это и довольно пошлый эпитетъ, гордой, непреклонной; но дикой... нѣтъ, не понимаемъ, совсѣмъ не понимаемъ!... Позвольте—кажется поняли! Да, такъ, точно такъ: воля римлянъ сдѣлалась для того дикой, чтобъ богато ризовать съ словомъ великій... Что такое: «огнь булата»? Опять не понимаемъ! Остріе, тяжесть, сила булата—это мы понимаемъ, но «огнь булата»... Не понимаете ли вы, господа-защитники генія Хомякова, что такое «огнь булата»?...

Итакъ, вотъ они — эти великолѣпные, энергическіе и поэтическіе стихи: sic transit gloria mundi!...

Въ другомъ стихотвореніи Хомяковъ предрекаетъ скорую гибель Англіи. Сперва онъ расхваливаетъ ее, называетъ «счастливей» и «богачей» (вѣроятно, мѣти на дѣтей, работающихъ въ рудокопняхъ), а потомъ начинаетъ бранить:

Но за то, что ты лукава;
Но за то, что ты горда,
Что тебѣ мірская слава
Выше Божьего суда;
Но за то, что церковь Божью
Святотатственной рукой
Приковала ты къ подножью
Власть суетной, земной...
Для тебя, морей паряща,
День придетъ, и близокъ онъ —
Блескъ твой, злато, баграница,
Все пройдетъ, минетъ, какъ сонъ...

Что это такое? іереміада по папской власти, нѣкогда повелѣвавшей царями и народами?... Да развѣ въ одной только Англіи служители церкви введены въ истинные предѣлы ихъ обязанностей, высокихъ, священныхъ, но уже по тому самому не суетныхъ, земныхъ? Въ нашъ просвѣщенный вѣкъ европейскими народами править вездѣ свѣтская власть, кромѣ Турціи, въ которой законы и даже власть султана зависятъ отъ мнѣнія улемовъ и муфтіевъ. Мы не беремъ на себя высокой роли предрекать скорый конецъ народамъ и государствамъ: вѣдь существованіе народовъ и государствъ—не то, что существованіе какихъ-нибудь стихотвореній, которое зависитъ иногда отъ первой дѣльной критики... Мы не думаемъ, чтобъ Англія такъ-таки вотъ взяла да и окончила смертью животъ свой, прочитавъ стихотвореніе Хомякова: отъ него и вздремнуть довольно, и то не Англіи, а какому-нибудь русскому читателю. Но что Англія можетъ много потерпѣть за то, что въ ней бѣдные люди безпре-

станно или умирають голодной смертью, или предупреждаютъ смерть самоубійствомъ,—это другое дѣло...

Въ стихотвореніи «Мечта» нашъ поэтъ оплакиваетъ близкую гибель Запада, гдѣ «кометы бурныхъ сѣтъ бродили въ высотѣ»... При этой вѣрной оказіи онъ почелъ нужнымъ даже похвалить покойника, въ которомъ много-де было хорошаго,—

Но горѣ вѣкъ прошелъ — и мертвецы по-
крокомъ
Задремутъ Западъ весь! тамъ будетъ мракъ
глубокъ.

Услышь же гласъ судьбы, въ сѣняхъ новомъ,
Просняся, дремлющій Востокъ!

Хомяковъ очень хорошо сдѣлалъ, что догадался потолкать въ бокъ этого лежня, Востокъ, который безъ трескучей стукотни его удивительныхъ стиховъ вѣроятно и не подумалъ бы даже потянуться или зѣвнуть во снѣ, не только проснуться. Такова ужъ восточная натура: ей хотъ весь свѣтъ провалился, все спитъ; къ восточному человѣку очень идутъ стихи эти Тредьяковскаго:

Аще міръ сокрушенъ распадется,
Сей мужъ николи жъ содрогнется.

Все это хорошо, но вотъ вопросъ: что разумѣетъ Хомяковъ подъ «Востокомъ»? По крайней мѣрѣ что касается до насъ,—мы такъ горды чувствомъ нашего національнаго достоинства, что подъ Востокомъ не можемъ разумѣть Россію. Вѣдь Западъ—Европа, а Востокъ—Азія? Россія же принадлежитъ къ Европѣ и по своему географическому положенію, и потому что она держава христіанская, и потому что новая ея гражданственность—европейская, и потому что ея исторія уже слилась неразрывно съ судьбами Европы. Кажется такъ, поэтъ? Кого же вы будите? Какихъ враговъ призываете вы на мнимый трупъ Запада торжествовать мнимую гибель цивилизаціи, смерть свѣта и праздникъ тьмы?—Вѣрно, турковъ и татаръ?—Ну, турки и татары, просыпайтесь на голосъ вашего прорицателя: по его увѣренію, Западъ не нынче, завтра скончается, и наступитъ вашъ чередъ, потомки Чингисъ-Хановъ и Тамерлановъ!...

Хомяковъ писалъ очень мало, и притомъ издалъ не все написанное и напечатанное имъ въ журналахъ: въ его крохотной книжечкѣ нѣтъ по крайней мѣрѣ десятка его стихотвореній, и между прочимъ той чудной импровизаціи («Московский Вѣстникъ» 1828), которая начинается такъ:

Въ стаканы чокъ
И въ губы чмокъ!
На долгій срокъ,
Друзья, прощайте!

Лечу къ боямъ,
Бѣ другимъ краямъ,
Во слѣдъ орламъ
Чокъ — выпивайте!

Но нисколько нѣтъ удивительнаго, что Хомяковъ такъ мало написалъ: хорошаго понемножку. Кромѣ того, намъ что-то сдается, что каждое стихотвореніе писалось долго, что между однимъ и другимъ стихомъ много его стихотвореній искали мѣсяцы и годы промежуточнаго времени... Что же! тѣмъ лучше выходили стихотворенія!

Намъ можетъ-быть замѣтять, что мы противорѣчимъ сами себя, увѣряя, будто Хомяковъ не поэтъ, и въ то же время говоря о его произведеніяхъ, какъ о чемъ-то важномъ. Мы пишемъ не для себя, а для публики: въ ней могутъ найтись люди, которые пожалуй повѣрятъ возгласамъ одного журнала, увѣряющаго, что Хомяковъ—великій и національный русскій поэтъ. «Отечественныя Записки» въ прошломъ году при выходѣ стихотвореній Языкова и Хомякова говорили о нихъ не только съ умѣренностью, но и съ снисходительностью. Что-жъ вышло изъ этого?—Журналъ, въ которомъ исключительно печатаются стихотворенія обоихъ этихъ поэтовъ, умалчивая о Языковѣ, по поводу стихотвореній Хомякова объявилъ, что этотъ поэтъ великъ, а «Отечественныя Записки» никуда не годятся, потому что не признають его великости. Затѣмъ онъ перепечаталъ почти всю книжку стихотвореній Хомякова и, считая это за неопровержимое доказательство ихъ высокаго достоинства, заключаетъ такъ: «Не правда ли, читатели, что надо быть слишкомъ наглу, слишкомъ дерзку, чтобы ругать такіа С(с)тихотворенія. И какія несчастныя бредни выставляютъ П(п)убликѣ на поклоненіе Иностранныя Записки вмѣсто Хомяковыхъ и Языковыхъ!» Не знаемъ, согласились ли съ этимъ журналомъ его читатели; не считаемъ важнымъ сужденіе его о нашемъ журналѣ и нашихъ мнѣніяхъ, равно какъ и обо всемъ, о чемъ онъ судить; но не можемъ не выставить на видъ, что если существуетъ журналъ, который до того убѣжденъ въ великости и національности Хомякова, какъ поэта, что печатно называетъ «дерзкими» и «наглыми ругателями» и «иностраницами» всѣхъ, кто не согласенъ съ нимъ во мнѣніи о Хомяковѣ,—стало быть, существуютъ и люди, которые думаютъ и чувствуютъ точно такъ же, какъ этотъ журналъ: вотъ для этихъ-то людей (а совсѣмъ не для этого журнала) и пишемъ мы. Поэтъ съ поддѣльнымъ дарованіемъ, но никѣмъ не замѣчаемый, никакимъ печатнымъ крикомъ непровозглашаемый, неопасенъ въ отношеніи къ порчѣ общественнаго вкуса:

о немъ можно при случаѣ отозваться съ легкой улыбкой—и все тутъ. Но поэтъ съ дарованіемъ слагать громкія слова во фразистыя стопы, поэтъ, который замѣняетъ вкусъ, жаръ чувства и основательность идеи завлекательными для неопытныхъ людей софизмами ума и чувства, и между тѣмъ имѣетъ усердныхъ глашатаевъ своей великости — воля ваша, надо предположить въ критикѣ рыбью кровь, если она можетъ оставаться равнодушной къ такому явленію и со всей энергіей не обнаружить истины.

Можетъ быть намъ еще замѣтить, что способъ нашего анализа, состоящій въ разборѣ фразъ, мелоченъ. Дѣло не въ способѣ, а въ его результатахъ; да кромя того это единственный и превосходный способъ для сужденія даже и не о такихъ поэтахъ, каковы: Марлинскій, Языковъ, Хомяковъ, Бенедиктовъ и другіе въ томъ же родѣ. Многія фразы съ перваго раза кажутся блестящими, поэтическими и заключающими въ себѣ глубокія идеи; но если вы не поторопитесь, отдавшись первому впечатлѣнію, произнести о нихъ сужденіе, а хладнокровно спросите самихъ себѣ: что значитъ вотъ это, что хотѣлъ сказать поэтъ вотъ этимъ?—то съ удивленіемъ увидите, что это сначала такъ поразившее васъ стихотвореніе — просто наборъ пустыхъ словъ...

Кромѣ двухъ книжечекъ стихотвореній Языкова и Хомякова, въ прошломъ году вышла еще книжечка стихотвореній Полонскаго подъ скромнымъ названіемъ: «Гаммы». Полонскій обладаетъ въ нѣкоторой степени тѣмъ, что можно назвать чистымъ элементомъ поэзіи и безъ чего никакія умныя и глубокія мысли, никакая ученость не сдѣлаютъ человѣка поэтомъ. Но и одного этого также еще слишкомъ мало, чтобы въ наше время заставить говорить о себѣ, какъ о поэтѣ. Знаемъ, знаемъ, скажутъ многіе: нужно еще направленіе, нужны идеи! Такъ, господа, вы правы; но не полноѣ: главное и трудное дѣло состоитъ не въ томъ, чтобы имѣть направленіе и идеи, а въ томъ, чтобы не выборъ, не усиліе, не стремленіе, а прежде всего сама натура поэта была непосредственнымъ источникомъ его направленія и его идей. Еслибъ сказали Лермонтову о значеніи его направленія и идей, — онъ вѣроятно многому удивился бы и даже не всему повѣрилъ; и не мудро: его направленіе, его идеи были—онъ самъ, его собственная личность, и потому онъ часто высказывалъ великое чувство, высокую мысль, въ полной увѣренности, что онъ не сказалъ ничего особеннаго. Такъ силачъ безъ вниманія, мимохо-

домъ откидываетъ ногой съ дороги такой камень, котораго человѣкъ съ обыкновенной силой не сдвинуть бы съ мѣста и руками. Повторяемъ: въ наше время трудно быть такимъ поэтомъ, котораго бы всѣ знали и о которомъ бы всѣ говорили; другими словами: въ наше время трудно поэту приобрести славу. Это потому, что въ наше время еще являются таланты и многоумныхъ людей, между тѣмъ какъ наше время обращаетъ вниманіе только на замѣчательныя натуры.

Изъ отдѣльно вышедшихъ въ прошломъ году поэтическихъ произведеній въ стихахъ самымъ замѣчательнымъ безъ сомнѣнія было—«Налъ и Дамаянти», индійская поэма, съ нѣмецкаго перевода Рюккертъ, переведенная Жуковскимъ на русскіе гекзаметры, легкіе, свѣтлые, прозрачные, граціозные и плѣнительные. Въмѣстѣ съ другими произведеніями Жуковскаго, помѣщенными имъ въ разныхъ журналахъ съ 1837 года, «Налъ и Дамаянти» составила потомъ девятый томъ полнаго собранія сочиненій знаменитаго поэта. — Новое изданіе басенъ Крылова съ прибавленіемъ новой, девятой части также составляетъ одно изъ блестящихъ приобретений литературы прошлаго года. Но это было послѣднее изданіе жизни маститаго поэта, такъ же, какъ этотъ годъ былъ послѣднимъ въ его жизни... Крыловъ—самъ талантъ огромный и человѣкъ замѣчательный, былъ ровесникъ русской литературы. О такомъ явленіи можно сказать больше, нежели сколько было о немъ сказано: въ слѣдующей книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» мы въ особой статьѣ выполнимъ нашъ долгъ передъ Крыловымъ и публикой.—Въ прошломъ же году вышли: четвертая и (послѣдняя) часть «Стихотвореній Лермонтова»; переводъ «Гамлета» Кронберга; переводъ Вронченко «Фауста» Гёте; третье изданіе «Героя нашего времени»; «Сочиненія князя Одоевскаго»; второе изданіе перваго тома повѣстей графа Соллогуба, подъ общимъ названіемъ: «На Сонъ Грядущій». Изъ стихотвореній Лермонтова, вошедшихъ въ четвертую часть, двѣ пьесы: «Пророкъ» и «Свиданіе» сдѣлались извѣстными только въ прошломъ году. «Сочиненія князя Одоевскаго», доселѣ разбѣянные во множествѣ періодическихъ изданій почти за двадцать лѣтъ, будучи теперь собраны вмѣстѣ и изданы въ трехъ уемистыхъ томахъ, какъ бы возвратили публикѣ одного изъ лучшихъ ея писателей, съ которыми она привыкла встрѣчаться только изрѣдка и ненадолго. Теперь сочиненія князя Одоевскаго уже не отрывки, неотдѣльныя пьесы, но нѣчто цѣлое и полное, отра-

жившее на себѣ духъ и направленіе писателя замѣчательнаго и даровитаго.

Вотъ все, что вышло достойнаго вниманія въ продолженіе прошлаго года по части изящной литературы. Надо согласиться, что очень немного! Остального должно искать въ журналахъ, къ чему мы сейчасъ же и приступимъ. Но прежде сдѣлаемъ одну оговорку: мы будемъ упоминать только о замѣчательныхъ, въ какомъ бы то ни было отношеніи, явленіяхъ, а все, что мы не считаемъ ни въ какомъ отношеніи замѣчательнымъ, пройдемъ молчаніемъ. Такимъ образомъ мы даже и журналы не всѣ назовемъ по имени; тѣмъ менѣе намѣрены мы судить о ихъ достоинствахъ и недостаткахъ. Да и къ чему? Если они издаются, значитъ, ихъ кто-нибудь да читаетъ же, и кому-нибудь они нравятся же. Переубѣдить этихъ «кого-нибудь» такъ же невозможно, какъ и доказать самимъ этимъ журналамъ, что они напрасно издаются; если же мы предприняли бы это бесполезное дѣло, — за что же большинство публики, неподозрѣвающей существованія этихъ журналовъ, должно было бы терпѣть скуку подобныхъ разсужденій и толковъ? Нѣтъ ничего труднѣе, скучнѣе и бесполезнѣе, какъ говорить о вещахъ отрицательно-хорошихъ и отрицательно-дурныхъ. Изъ журналовъ настоящаго времени намъ остается говорить только о нашемъ собственномъ журналѣ, о «Библіотекѣ для Чтенія» и о «Москвитинѣ», примѣчательномъ въ томъ отношеніи, что онъ единственный журналъ въ Москвѣ. Изъ газетъ — объ «Инвалидѣ», «Сѣверной Пчелѣ» и «Литературной Газетѣ» *).

*) Нельзя не сдѣлать, хотя въ выноскѣ, исключенія въ пользу двухъ прекурсежныхъ петербургскихъ изданій — *Сына Отечества* и *Листка для Сѣтскихъ Людей*. Первый давно уже прославился своимъ злополучіемъ на пути къ совершенствованію. Онъ нѣсколько разъ мѣнялся въ форматѣ и планѣ изданія, нѣсколько разъ чаялъ движенія живой воды то отъ той, то отъ другой редакціи, къ которымъ безпрестанно переходилъ; но истощеніе жизненныхъ силъ въ немъ было такъ велико, что всѣ попытки на продолженіе его жизни остались совершенно безуспѣшными. Послѣдній его редакторъ уже два раза передъ всякимъ новымъ годомъ въ подробной и обстоятельно составленной программѣ увѣрялъ публику, что онъ дохаетъ ей недостающіе *Лѣтъ Сына Отечества* за прошлый годъ, а въ будущемъ будетъ выдавать его книжки безъ замедленія и своевременно. Въ прошломъ 1844 году опытный и извѣстный своими блестящими дарованіями редакторъ *Сына Отечества* снова рѣшился подвергнуть свой журналъ коренной реформѣ. Обстоятельная и пріятнымъ слогомъ написанная программа еще въ концѣ 1843 года, вслѣдъ за программой «Литературной Газеты», извѣстила весь читающій міръ, что *Сынъ Отечества* съ будущаго года превращается въ недѣльное изданіе, вродѣ газеты съ политическими. Чтобъ реформа была радикальнѣе, а слѣдовательно и успѣш-

Не наше дѣло разсуждать объ «Отечественныхъ Запискахъ»: судъ надъ ними принадлежитъ публикѣ, и она давно уже произнесла его и словомъ, и дѣломъ. Что касается до «Библіотеки для Чтенія», мы можемъ сказать о ней свое мнѣніе, не впадая ни въ брань, ни въ кумовство... Но что можно сказать новаго объ этомъ журналѣ? Что онъ всегда имѣлъ свои неотъемлемыя достоинства, это доказываетъ его прочный и продолжительный успѣхъ въ публикѣ; что теперь этотъ журналъ далеко уже не таковъ, какимъ онъ былъ назадь тому лѣтъ шесть или семь, — это также не новость. О замѣчательныхъ статьяхъ, какія въ немъ появлялись въ продолженіе прошлаго года, мы скажемъ въ своемъ мѣстѣ. Характеръ и направленіе — все тѣ же: слѣдовательно о нихъ новаго сказать нечего. Впрочемъ не мѣшаетъ напомнить о нихъ новыми фактами. Въ прошломъ году въ «Библіотекѣ для Чтенія» было помѣщено нѣсколько весьма забавныхъ и острыхъ рецензій; но лучше всѣхъ была библиографическая статья о книгѣ московскаго профессора Погодина — «Годъ въ Чужихъ Краяхъ»: на русскомъ языкѣ не часто случается читать такіа умныя и острыя статьи. Но въ томъ же прошломъ году была напечатана въ «Литературной Лѣтописи» «Библіотеки для Чте-

нѣе, преобразованный журналъ установилъ для себя новую эру и рѣшился считать свой новый годъ съ 1-го марта. Особенно замѣчательны слѣдующія строки программы: «Фамиліи дѣла, оставшіяся на попеченіи редактора по смерти отца его, недопускали (кого?) обратить полное вниманіе преимущественно на журнальную работу, — и это было единственной причиной несвоевременнаго выхода книжекъ журнала». Замѣчательны также и эти строки въ программѣ: «Точность выхода въ назначенный день, немедленная разсылка и вѣрность доставки тетрадей принимаются неизмѣнными правилами (чѣм?)»; для чего приняты редакторомъ особыя мѣры. Но еще замѣчательнѣе то, что до сихъ поръ *Сынъ Отечества* вышло только 16 *Лѣтъ*, т. е. только за четыре мѣсяца, за мартъ, апрѣль, май и іюнь, и еще не вышло ни одной тетради за іюль, августъ, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь, т. е. не додано бездѣляцъ — двадцати-четыре-хъ тетрадей... Да сверхъ того не доданы еще послѣднія книжки за 1843 годъ. Вѣрите послѣ этого обѣщаніямъ!

Кстати уже вотъ и еще достопримѣчательное явленіе въ области русской литературы: издававшійся когда-то въ Петербургѣ журналъ *Русскій Вѣстникъ* тоже перешелъ въ руки новой редакціи и, общая (въ программѣ) быть аккуратнымъ въ выходѣ своихъ *демадиати* книжекъ, — въ продолженіе всего 1844 года вышелъ въ числѣ одной книжки... Должно быть, новая редакція *Русскаго Вѣстника* приняла еще болѣе особыя мѣры къ правильному и своевременному выходу книжекъ этого журнала, нежели редакція *Сына Отечества*...

Листокъ для Сѣтскихъ Людей надеется съ возможнымъ великолѣпіемъ, съ возможнымъ въ Россіи извѣстномъ въ типографскомъ отношеніи. Модныя картины его получаютъ изъ Парижа; печатается онъ на лучшей веленовой бумагѣ лучшимъ шриф-

нія» рецензія четвертой части стихотворений Лермонтова,—рецензія, которая... но судите сами о ея умѣ и остротѣ по этому началу:

«О трижды, четырежды счастливая провинція! ты еще читаешь стихи! ты будешь читать эти стихи!... Петербургъ... тра, ля ля ля — ля ля ля!...

Ахъ, ты соло io odio, io stitolo!

Гарсія! Биардо! Биардо!... о!... бриконна!... брикончелли!... Что ты сдѣлала изъ этого степеннаго, гордаго, молчаливаго Петербурга? Его узнать нельзя!» и т. д.

Мы думаемъ, что этой выпиской достаточно напомнили всей русской публикѣ объ этой знаменитой рецензіи, которая вѣроятно очень удивила ее,—и потому дальше выписывать не нужно. Кромѣ страннаго тона статьи—конечно забавной, только на ея же собственный счетъ*),—книжка стихотворений тако-

моя; политинажи его превосходны. Но не эти только оканчиваются достоинства этого удивительнаго нахажія; вѣдшая сторона не есть самая блестящая и лучшая его сторона. Выборъ, изобрѣтеніе и слогъ статей—вотъ его главные права на извѣстность во всѣхъ уголкахъ міра, гдѣ только есть свѣтское общество. Особенно замѣчательны *сонетскій* тонъ этихъ статей. Говорятъ, что въ изданіи *Листка* никогда не участвуетъ лондонское фешенебельное общество и la haute société du Faubourg Saint-Germain. Мы хотѣли бы, читатели, представить вамъ нѣсколько образчиковъ этого «свѣтскаго» тона, царствующаго въ *Листкѣ*, но... чувствуемъ, что слухъ наши слишкомъ слабы для подобнаго дѣла. Выписывать отрывки—нѣтъ жѣста; да намъ и некогда; характеризовать нашими собственными словами... но, увы! мы не бываемъ ни въ гостиной Горбачевой, прославленной Панаевыми, ни въ танцклассѣ Маринкевичевой, ни въ лѣтнемъ нѣмецкомъ клубѣ... Нѣтъ, чувствуемъ, воображеніе наше слишкомъ сухо, перо слишкомъ слабо, чтобъ дать хоть приблизительное понятіе объ этомъ фантастическомъ блескѣ, этомъ ароматѣ свѣтскости самаго лучшаго тона... Но нельзя же не представить хотя одной черты. Въ «Листкѣ» между прочимъ помѣщаются и гравюры. Кто-то изъ свѣтскихъ участниковъ «Листка» прислалъ (кажется изъ Тамбова) его редакціи вопросъ—не хочетъ ли она помѣщать карикатуры на знаменитыхъ русскихъ писателей, разумеется съ ихъ позволенія. Редакція «Листка» отвѣчала политинажемъ, на которомъ были изображены двѣ барыни—свѣтскія, само собой разумеется,—пьющія чай; а въ слѣдовавшемъ затѣмъ номерѣ была напечатана разгадка картинки: «Объ съ чаемъ»,—т. е. *общаемъ*... Это ли не верхъ свѣтскаго остроумія? Увѣряемъ читателей, что такихъ чертъ *высшаго тона* въ «Листкѣ»—бездна; есть даже и лучшія... Петербургскій беап тонде долженъ быть очень доволенъ, что для него издается такой прекрасный журналъ. Впрочемъ это только одно предположеніе съ нашей стороны. Зато мы увѣрены, что беап тонде нашихъ убаюканныхъ городовъ дѣйствительно въ восторгѣ отъ *Листка*, и провинціальныя львы и дѣвды изъ него набираются свѣтскаго столичнаго тона.

*) Замѣчательно, что одна газета, прежняя союзница *Библиотеки для Чтенія*, очень дѣльно подала свой голосъ объ этой рецензіи. Вотъ что между прочимъ сказала эта газета: «*Любопытны мы знаемъ, что скажутъ иногородные, прочитавъ эту критику. Намъ, видѣвшимъ Воробьева, Захбони и восхищающимся теперь бурбономъ Ровере, намъ это ни смѣшно,*

го поэта, какъ Лермонтовъ, книжка, въ которой правда на половину пьесъ слабыхъ, но въ которой помѣщены и такіе пьесы, какъ «Тамара», «Выхожу одинъ я на дорогу», «Утѣсь», «Морская царевна», «Пророкъ» и проч.,—эта книжка поставлена рецензіей въ число самыхъ пустыхъ и ничтожныхъ литературныхъ явленій. Такими отзывами «Библиотека для Чтенія» уже не въ первый разъ удивлять читающій міръ: кому не извѣстно, что этотъ журналъ постоянно бранить Гоголя и какъ будто въ досаду ему хвалить даже романы Воскресенскаго? Кому не извѣстно, какъ превозносила «Библиотека для Чтенія» «Сенсація Курдюковой»? — и вотъ что теперь говоритъ она о нихъ въ своей послѣдней книжкѣ за прошлый годъ: «Покійный Мятлевъ написалъ очень умную шутку, которая цѣлую недѣлю была въ большой модѣ. Кто не читалъ этихъ безцѣнныхъ «Сенсацій мадамъ Кордюковой», въ Россіи эдакъ л'этранже? Кто не повторялъ ихъ, кто не забывалъ?» Подобныя выходки однакожъ многихъ и теперь удивляютъ. Что касается до насъ,—мы прежде думали въ нихъ видѣть ошибки вслѣдствіе недостатка эстетическаго вкуса и эстетическаго образованія. Дѣйствительно, нельзя сказать, чтобъ въ области изящнаго «Библиотека для Чтенія» была у себя дома; но тѣмъ не менѣе нельзя и отрицать, чтобъ этотъ журналъ, столь смѣтливый, не зналъ цѣны сочиненіямъ Гоголя, которыхъ онъ бранитъ, или цѣны сочиненіямъ Загоскина и Воскресенскаго, которыхъ онъ хвалитъ. Нѣтъ, «Библиотека для Чтенія» не теперь только поняла, что такое «Сенсація»: она очень хорошо поняла ихъ и тогда, когда въ первый разъ собиралась превознести ихъ. Что же это значитъ? — Прихоть, страсть шутить. Надъ кѣмъ, чѣмъ? — Ну, да хоть надъ тѣми людьми, которые эти шутки принимаютъ не за шутки. Цвѣтущее время «Библиотеки для Чтенія» давно уже прошло—и невозвратно; кругъ ея читателей значительно сжался; но онъ и теперь еще не малъ: значитъ, есть люди, которымъ нуженъ журналъ съ такимъ направленіемъ. И почему же «Библиотеки» не удовлетворяютъ потребности цѣлой части русской публики!

ни забавно. *Титумъ, титумъ, пампамъ, пампамъ, тра ля, ля, ля, ля!* Кого это разсѣлшитъ или позабавитъ? «Библиотека для Чтенія» говоритъ, что Петербургъ только поетъ и ничего не читаетъ. И весьма умно дѣлаетъ, если поетъ вмѣсто того, чтобъ читать *титумъ, титумъ и пампамъ, пампамъ*. Довко и жѣтко! Но подмѣтивъ грамматическую ошибку въ рецензіи, «Библиотека для Чтенія», газета, о которой мы говоримъ, растолковала, въ чемъ ошибка, и прибавляетъ, что это—*замѣчаніе бабушки Беклы Васильевны Лонки*... Ужъ это совсѣмъ не остро!..

«Москвитининъ» имѣетъ весьма тѣсный кругъ читателей; но этотъ кругъ, какъ ни малъ, все же существуетъ: почему же не существовать и «Москвитинину»? Больше мы ничего не можемъ сказать объ этомъ журналѣ, хотя и желали бы сказать больше. Его издатель много писалъ о томъ, что бы можно было и что бы должно было дѣлать для русской исторіи; онъ писалъ трагедіи въ стихахъ и повѣсти въ прозѣ, — стало-быть, онъ и поэтъ; онъ переложилъ на русскіе нравы Гётева «Гецца Фонъ-Берлихингена»; онъ провелъ годъ въ чужихъ краяхъ и подарилъ публику восхитительнѣйшимъ описаніемъ своего путешествія; онъ... Но кто перечтетъ все, чѣмъ знаменито и славно имя Погодина въ гѣтописяхъ русской науки, литературы, журналистики и поэзіи?... Сотрудники «Москвитинина» тоже все презамѣчательные таланты, уже много сдѣлавшіе, подобно Шевыреву, М. Дмитріеву и Лихонину, и много обѣщающіе въ будущемъ, подобно Милюкову, Студитскому, Иванчину-Писареву и господамъ Зражевской и Шаховой. Статьи, помѣщаемыя въ этомъ журналѣ, должны быть очень интересны и хорошо написаны, — и если до сихъ поръ въ этомъ еще никто не согласился, кромѣ сотрудниковъ и вкладчиковъ самаго журнала, — такъ это потому вѣроятно, что направленіе и духъ журнала слишкомъ исключительны. Кто считаетъ себя только русскимъ, не заботясь о своемъ славянизмѣ, тотъ въ статьяхъ «Москвитинина» заблудится, словно въ одной изъ тѣхъ темныхъ дубравъ, гдѣ воздвигались деревянныя храмы Перуну и обитали мелкія славянскія божества — кикиморы и гѣшіе. Надо быть истымъ славяниномъ, чтобъ находить въ статьяхъ «Москвитинина» талантъ, знаніе, убѣжденіе, интересъ, ясность и проч. Но, увы! мы не болѣе, какъ русскіе, а не славяне, мы граждане Россійской имперіи, мы и душой, и тѣломъ въ интересахъ нашего времени и желаемъ не возврата ахъ temps primitifs, а естественнаго хода впередъ, путемъ просвѣщенія и цивилизаціи. Это обстоятельство совершенно лишаетъ насъ возможности понимать «Москвитинина». Думаемъ, что это — прекрасный журналъ (потому что какіе люди, какіе таланты въ немъ участвуютъ!...); но чѣмъ и какъ онъ прекрасенъ, — не можемъ сказать при всемъ нашемъ желаніи...

Лучшая русская политическая газета теперь — «Инвадъ». Онъ столько хорошъ, сколько можетъ быть хорошимъ при его средствахъ и условіяхъ. Политическія извѣстія въ немъ всегда полны и свѣжи. Фельетонъ его всегда занимателенъ и разнообразенъ, особенно фельетонъ, составляемый изъ

иностранныхъ новостей. И публика вполне оцѣнила превосходство этого изданія передъ всѣми ему подобными: «Инвадъ» теперь болѣе читаемая въ Россіи газета. — О «Сѣверной Пчелѣ» новаго сказать нечего: она все та же, какой была въ первый годъ своего существованія. Въ прошломъ году въ ней была только одна пережѣва: ея фельетоны были необыкновенно скучны и сухи. — Сдѣлаемъ еще одну замѣтку касательно «Пчелы»: забота о чистотѣ отечественнаго (?) языка и вопли о его искаженіи всѣми журналами и газетами, кромѣ «Сѣверной Пчелы», составляли нпродолженіе прошлаго года все направленіе, весь духъ этой газеты. Объявляя о своемъ продолженіи на 1845 г., «Сѣверная Пчела» между прочимъ говоритъ, что она «по прежнему будетъ хранительницей и блюстительницей чистоты и правильности драгоценнаго народнаго достоянія — русскаго языка» (255 № «Сѣверн. Пчелы» 1844 года). Все это очень хорошо; но одни слова еще немного стѣять, взглянемъ на факты; вотъ нѣсколько выдержекъ изъ «Сѣверной Пчелы» за 1843 и 1844 года: «Роль Иможены играла г-жа Тадини. Какъ вторая пѣвица, она имѣетъ превосходныя качества. (:) П(и)прекрасный, звучный, обширный голосъ, хорошую методу, выгодную физіку (?) и много жару» (246 № 1843). — «Вы вѣроятно читаете что-нибудь посочнѣе: Парижскія Тайны, романъ, при чтеніи котораго кровь течетъ изъ носа у читателя». — «А если вы левъ или львица, то вы должны быть въ восторгѣ отъ огнедышущихъ изверженій вулканической головы, на каменномъ основаніи сердца Жоржъ-Зандъ» (278 № 1843); — «Конечно надобно необыкновенной власти надъ собой, чтобъ» и пр. (57 № 1844). Такихъ фразъ можно набрать изъ «Сѣверной Пчелы» тысячи; но довольно и этихъ, прежде другихъ бросившихся намъ въ глаза, когда мы рѣшились перелистовать нѣсколько наудачу попавшихся намъ подъ руку номеровъ. Неужели это пуризмъ? неужели это значить: быть «хранительницей» и «блюстительницей» чистоты языка? Мы не говоримъ уже о тонѣ всей газеты, объ острогахъ, которыя вертятся на томъ, что фельетонный острословъ называетъ Жюль Жанена «почтеннѣйшимъ Юліемъ Ивановичемъ Жаненомъ» (78 № 1844), и которыя поддѣстятъ «бабушкѣ Декаль Васильевнѣ Логикѣ» (258 № 1844): всякій смутитъ и остритъ по крайнему своему разумѣнію и сообразно съ своимъ образованіемъ; но зачѣмъ братья быть блюстителями и хранителями языка?...

«Литературная Газета» была вѣрна своей программѣ и постоянно представляла читателямъ статьи съ политическими о разныхъ

любопытныхъ предметахъ, литературныхъ, театральную и петербургскую хренику, записки для хозяевъ и нахонецъ кухонныя статьи доктора Пуфа, который пишетъ такъ же хорошо, какъ и учить готовить лакомыя блюда. Нельзя не замѣтить, что докторъ Пуфъ владѣетъ перомъ едва ли еще не лучше, чѣмъ вертеломъ, — и его статейки даже и для людей, не интересующихся кухней, казались интереснѣе, остроумнѣе и литературнѣе статей многихъ нашихъ фельетонистовъ.

Теперь взглянемъ на замѣчательнѣйшія беллетристическія статьи, помѣщенные въ прошлогоднихъ журналахъ. Первое мѣсто въ этомъ отношеніи принадлежитъ Луганскому. Въ первыхъ двухъ книжкахъ «Библиотеки для Чтенія» были помѣщены «Похожденія Христіана Ивановича Біолядамура и его Аршета». Эта повѣсть написана Луганскимъ, какъ текстъ для объясненія картинокъ Сапожникова, сдѣланный заранѣе безъ всякихъ предварительныхъ соглашеній романиста съ рисовальщикомъ. Сапожниковъ рисовалъ свои исполненныя смысла, жизни и оригинальности картинки по прихоти своей художнической фантазіи; Луганскому предстояло трудъ угадать поэтический смыслъ этихъ картинокъ и написать къ нимъ текстъ, словно либретто къ готовой уже оперѣ: слѣдовательно это была нѣкоторымъ образомъ заказная работа. Но Луганскій болѣе нежели ловко и удачно выпутался изъ затруднительнаго положенія: изъ его текста къ картинкамъ вышла оригинальная повѣсть, которая прекрасна и безъ картинокъ, хотя при нихъ и еще лучше. Правда, нѣкоторые мѣста отзываются задачей, но въ общемъ этого почти не замѣтно. Жизнь петербургскихъ нѣмцевъ, многія черты вообще петербургской жизни и вообще русской жизни, вѣрно подмѣченныя, удачно схваченныя, множество фигуръ, искусно обрисованныхъ — отъ добраго подъячаго Ивана Ивановича до ломового извозчика, перевозящаго пожитки Біолядамура, отъ «свѣдки З'Виборга» до няни Акулины и хозяйки квартиры на Пескахъ, отъ самого Біолядамура до его вѣрнаго Аршета, — все это такъ занимательно, такъ полно жизни и истины, что отъ труда Луганскаго нельзя оторваться, не дочитавъ его до послѣдней строки. И еще лучше повѣсть Луганскаго... но о ней послѣ: сперва пересмотримъ, что еще есть хорошаго въ «Библиотекахъ для Чтенія». Очень занимателенъ романъ Кукольника: «Два Ивана, два Степановича, два Костылькова», помѣщенный въ 5, 6, 7 и 8 книжкахъ «Библиотеки». Содержаніе романа относится къ эпохѣ Петра Великаго. Есть однакожъ въ этомъ романѣ

неземная дѣва, созданіе ложное и приторное всячески — и какъ поэтическое произведеніе, и какъ невозможное для того времени лицо; вообще всѣ сцены любви, все страстное и нѣжное какъ-то сбивается у Кукольника на сантиментальное. Герой романа весь составленъ изъ невозможностей и противорѣчій. То, подобно испанцу, онъ стремится выполнить клятву мести; то играетъ роль нѣжнаго влюбленнаго пастишка, то по своей собственной склонности играетъ роль полицейскаго шпіона. Много натянутаго, неестественнаго; часто событія разрѣшаются посредствомъ *deus ex machina*. Причина этихъ недостатковъ скрывается сколько въ самомъ талантѣ Кукольника, столько и въ поспѣшности, съ которой онъ писалъ свой романъ. Несмотря на то, въ этомъ романѣ очень много хорошаго: въ дѣйствующихъ лицахъ часто замѣтна не только вѣрность языка, но и вѣрность понятій той эпохи. Есть мѣста мастерскія. И хотя мѣстами романъ очень утомителенъ, однако его нельзя не дочесть до конца. Можно еще упомянуть о рассказѣ Гребенки: «Быль не быль, и не сказка». Изъ переводныхъ повѣстей въ «Библиотекахъ» скажемъ во-первыхъ о «Сесилѣ», романѣ Гантъ-Гантъ, которую называютъ нѣмецкимъ Жоржъ-Зандомъ. Романъ не то, чтобъ плохъ, не то, чтобъ хорошъ, — отзывается посредственностью, а потому хуже, чѣмъ плохъ. Очень удивилъ насъ романъ Алексиса — «Кабанисъ»: первая часть его, представляющая картину воспитанія и семейныхъ нравовъ Германіи XVIII вѣка, чрезвычайно интересна, но остальные части набиты такой безтолковой и пошлой пунтицею романтическихъ эффектовъ, что не знаешь, чему больше дивиться — терпѣнію ли сочинителя написать такой длинный вздоръ, или рѣшимости журнала — передать его на своихъ страницахъ. Въ видѣ прибавленія при «Библиотекахъ» выдается по частямъ переводъ «Вѣчнаго Жида» Эжена Сю. Переводъ слабъ. Что до романа — основа его негѣпа, но подробности большей частью очень замѣчательны; въ рассказѣ много жара и движенія, но много сантиментальности и надутыя пошлости. Главный интересъ этого романа для французовъ заключается въ нападкахъ на іезуитовъ. Впрочемъ съ этой стороны романъ Эжена Сю интересенъ не для однихъ французовъ. Въ послѣднихъ двухъ книжкахъ «Библиотеки для Чтенія» начался безконечный романъ: «Лондонскія Тайны», наполненный такими приключеніями, какихъ не бываетъ ни на землѣ, ни на лунѣ. «Лондонскія Тайны» повторяютъ собою всѣ недостатки «Парижскихъ Тайнъ», не представляя ни одного

изъ достоинствъ послѣдняго романа. Впрочемъ и «Лондонскія Тайны» не то, чтобъ имѣли какой-нибудь интересъ, но раздражаютъ любопытство читателя, дѣйствуя не столько на его умъ, сколько на нервы: это интересъ чисто наркотическій, потому романъ долженъ понравиться многимъ.

Въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года изъ оригинальныхъ беллетристическихъ произведеній были напечатаны: «Барышня», рассказъ Панаева, одинъ изъ самыхъ мѣткихъ, самыхъ удачныхъ юмористическихъ очерковъ этого писателя; «Живой мертвецъ» — одна изъ лучшихъ юмористическихъ статей князя Одоевскаго; она потомъ вошла въ составъ изданныхъ въ прошломъ же году «Сочиненій князя Одоевскаго»; «Докторъ» Гребенки — не столько повѣсть, сколько правоописательный очеркъ, заключающій много хорошаго въ подробностяхъ. «Сцены Уѣздной Жизни» Н* обнаруживаютъ большое знаніе уѣздной жизни, много наблюдательности и таланта, хотя и отзываются литературной неопытностью. Отъ автора, скрывшагося подъ таинственной литерой Н*, много можно ожидать въ будущемъ. «Андрей Колосовъ» Т. Д. — рассказъ, чрезвычайно замѣчательный по прекрасной мысли: авторъ обнаружилъ въ немъ много ума и таланта, а вмѣстѣ съ тѣмъ и показалъ, что онъ не хотѣлъ сдѣлать и половины того, что бы могъ сдѣлать: оттого и вышелъ хорошенькій рассказъ тамъ, гдѣ бы слѣдовало выйти прекрасной повѣсти. — Лучшими повѣстями въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года были: «Колбасники и Бородачи» Луганскаго и «Послѣдній Визитъ» А. Нестроева. «Колбасники и Бородачи» — рѣшительно лучшее произведеніе Луганскаго. Несмотря на чисто практическую и внѣшнюю цѣль этой повѣсти, въ ней есть подробности истинно художественныя, есть черты купеческаго быта, схваченныя съ изумительной вѣрностью: такова сцена сватанья, гдѣ отецъ перебиваетъ у сына невѣсту. Даже слишкомъ явно внѣшняя цѣль повѣсти нисколько не вредитъ ея достоинству; авторъ умѣлъ возвысить ее до мысли и черезъ мысль слить ее съ поэтической стороной своего произведенія. Какъ «Колбасники и Бородачи» были лучшей продолженіе прошлаго года повѣстью въ юмористическомъ родѣ, такъ «Послѣдній Визитъ» — едва ли не лучшая русская повѣсть въ патетическомъ родѣ. Да, публика еще въ первый разъ прочла на русскомъ языкѣ повѣсть, въ которой страсть понята такъ глубоко и вѣрно, изображена такъ просто и сильно. Дѣйствующія лица очень обыкновенны, а потому и истинны; завязка

проста до того, что ее нельзя пересказать иначе, какъ подлинными словами автора, — а между тѣмъ тутъ заключена страшная, потрясающая душу драма. Въ первый еще разъ страсть нашла себѣ голосъ и выраженіе въ русской повѣсти... Чтобъ не приняли нашихъ словъ за преувеличеніе, скажемъ въ поясненіе, что были и прежде русскія повѣсти, въ которыхъ слышался голосъ страсти, какъ напримѣръ въ «Тарасѣ Бульбѣ» Гоголя, именно въ сценахъ любви Андрія и прекрасной полячки; но тутъ положеніе исключительное, среди дѣйствительности страшно поэтической, а въ «Послѣднемъ Визитѣ» страсть горитъ въ нѣдрахъ дѣйствительности современной, обыкновенной, прозаической, въ сердцахъ людей, по ихъ характерамъ и положенію въ обществѣ вовсе не исключительныхъ, и эта страсть не изливается бурными потоками исполненныхъ лирическаго пафоса рѣчей, а высказывается драматически, горитъ и пышетъ въ самыхъ простыхъ словахъ. Характеры этой повѣсти задуманы и выполнены очень вѣрно; только характеръ героини не совсѣмъ дочерченъ; зато характеръ героя повѣсти и въ особенностяхъ характеръ мужа отдѣланы съ удивительной опредѣленностью. Но въ этомъ произведеніи къ сожалѣнію есть недостатокъ, который тѣмъ рѣче и тѣмъ непріятнѣе, чѣмъ прекраснѣе вся повѣсть: ее конецъ слабѣе начала и середины. Мы даже думаемъ, что выстрѣлъ, который дошелъ до ушей героини, было совсѣмъ не нужно, равно какъ и самой дуэли: развязка могла бы быть проще и тѣмъ поразительнѣе. Помѣшательство героини повѣсти тоже немного сбивается на эффектъ: достаточно было бы вмѣсто помѣшательства — просто апатическаго равнодушія: для благоразумнаго Григорія Павловича это было бы не легче сумасшествія жены... Кстати скажемъ, что авторъ этой повѣсти *) уже не въ первый разъ обращаетъ на себя вниманіе любителей изящнаго: «Звѣзда», «Цѣлѣтокъ» и другія повѣсти въ «Отечественныхъ Запискахъ», означенныя подписью А. Н., принадлежатъ ему. Но съ «Послѣдняго Визита» для него, кажется, настала эпоха новаго, болѣе глубокаго и истиннаго творчества: въ прежнихъ своихъ повѣстяхъ онъ изображалъ и характеры, и положенія какіе-то исключительные и необыкновенныя; въ послѣдней своей повѣсти онъ смѣло вошелъ въ глубину простой, ежедневной дѣйствительности и умѣлъ въ ее пошлости и прозѣ найти страсть, слѣдовательно и поэзію. Отъ души желаемъ, чтобъ

*) П. Н. Кудрявцевъ.

этотъ прекрасный талантъ никогда болѣе не сходилъ съ этой новой для него дороги, но все шло по ней впередъ и впередъ: онъ можетъ уйти далеко...

Изъ переводныхъ статей въ «Отечественныхъ Запискахъ» за прошлый годъ были помѣщены: «Домашній Секретарь», романъ Жоржъ-Занда; «Крошка Пяхесъ по прозванію Цинноберъ», повѣсть Гофмана; «Зять, какихъ мало», повѣсть Шарля Бернара; «Жакъ», романъ Жоржъ-Занда; «Жизнь и приключенія Мартина Чодзльвита», новый романъ Чарльса Диккенса. О достоинствѣ романовъ Жоржъ-Занда нечего распространяться: они говорятъ сами за себя гораздо лучше, нежели кто-либо могъ бы говорить о нихъ.—«Жизнь и приключенія Мартина Чодзльвита» — едва ли не лучший романъ даровитаго Диккенса. Это полная картина современной Англіи со стороны нравовъ и вѣстѣ яркая, хотя можетъ быть и односторонняя картина общества Сѣверо-Американскихъ Штатовъ. Чтѣ за неистощимость изобрѣтенія, чтѣ за разнообразіе характеровъ, такъ глубоко задуманныхъ, такъ вѣрно очерченныхъ? Чтѣ за юморъ! чтѣ за слогъ! Прочитавъ въ прошломъ году «Лавку Древностей», мы думали, что приходитъ время навсегда проститься съ огромнымъ талантомъ Диккенса; но послѣдній его романъ доказалъ, что талантъ автора «Николая Никольби» и «Бернеби Роджа» только вздремнулъ на время, чтобъ проснуться еще свѣжѣе и могучѣе прежняго. Въ «Мартинѣ Чодзльвитѣ» замѣтна необыкновенная зрѣлость таланта автора; правда, развязка этого романа отзывается общими мѣстами; но такова развязка у всѣхъ романовъ Диккенса: вѣдь Диккенсъ — англичанинъ.

Между немногими стихотвореніями, печатавшимися въ нашихъ прошлогоднихъ журналахъ, въ нѣкоторыхъ промелькивали искорки то поэзіи безъ мысли, то мысли безъ поэзіи, то что-то какъ-будто похожее и на мысль, и на поэзію вмѣстѣ. Мы разумѣемъ здѣсь стихотворенія Майкова, Фета, Т. Л., Огарева, Крешева, Полонскаго. Но кромѣ двухъ вновь открытыхъ стихотвореній Лермонтова: «Пророкъ» и «Свиданіе» выдавалось изъ ряда другихъ только стихотвореніе Фета: «Колыбельная пѣсня».

Изъ переводныхъ стихотвореній замѣчательнѣе всего по обыкновенію были переводы Струговщикова изъ Гёте. Къ числу замѣчательныхъ явленій этого рода принадлежитъ отрывокъ изъ «Фауста», переведенный Т. Л. (6-я книжка «Отеч. Записокъ»). Какъ объ опытѣ, заслуживающемъ вниманія, должно упомянуть о переводѣ Яхонтова «Торквато-Тассо», драмы Гёте (8-я

книжка «Отеч. Записокъ»). Очень любопытны напечатанныя въ «Библіотекѣ для Чтенія» (3-я книжка) неизданные стихотворенія Державина и Фонвизина.

Изъ статей ученаго содержанія замѣчательны въ «Библіотекѣ для Чтенія»: «Историческое обозрѣніе открытія золота въ Старомъ и Новомъ свѣтѣ»; «Послѣднія путешествія французовъ»; «Арнаутъ», «Ясы и Меддавія» (автора «Странствователя по сушѣ и морямъ»); «Кардиналъ Ришелье»; «Финансы и государственный кредитъ въ Австріи и Пруссіи»; «Германскій таможенный Союзъ». — Въ «Библіотекѣ для Чтенія» съ нѣкотораго времени появилась критика, состоящая не изъ однихъ выписокъ изъ разбираемой книги, иногда даже вовсе безъ этихъ выписокъ; но такая перемѣна насколько не улучшила этого отдѣла журнала, а только сдѣлала его еще менѣе занимательнымъ. Замѣчательна въ «Библіотекѣ для Чтенія» одна критическая статья, и то только тѣмъ, что она — переводъ нѣмецкой брошюры: «Schiller's Leben von Döring», — переводъ, разведенный водою мыслей переводчика и выданный за оригинальное сочиненіе. Это — статья о «Вильгельмѣ Теллѣ», переведенномъ Миллеромъ, и кстати о Шиллерѣ. Оригинальнаго, въ Россіи сочиненнаго, въ ней только одна мысль, зато удивительная, если не чудовищная. Мысль эта состоитъ въ томъ, что хотя Пушкинъ и выше Жуковского, какъ поэтъ и мыслитель, однако «никогда творенія Пушкина не приобрѣтали и не приобретутъ той любви, которую возбуждали и всегда будутъ возбуждать творенія Жуковского» (2-я книжка). Эта мысль или шутка, или мистификація, можетъ имѣть достоинство неоспоримой истины, если ее прочесть наизуотъ и по нѣтъ наоборотъ...

Въ «Отечественныхъ Запискахъ» изъ статей ученаго содержанія вѣроятно замѣчательны читателями «Иезуиты»; «Людовикъ XV и его вѣкъ»; «Записки русскаго морского офицера во время путешествія вокругъ свѣта въ 1840, 1841 и 1842 годахъ» Бутаккова (двѣ отдѣльныя статьи: одна въ третьей, другая въ седьмой книжкѣ); «О ходѣ искусства у древнихъ народовъ и объ истребленіи и сохраненіи памятниковъ древняго искусства» И. Я. Кронеберга (бывшаго профессора Харьковскаго университета); «Поездка черезъ Буэносъ-Айресскія Пампы» Чихачева; «Байкаль» Щукина; «Августъ Лудвигъ Шлецеръ — жизнь и труды его» Головачева; «Реформація», «О народности медицины»; «Е. А. Баратынскій». Въ отдѣлѣ «Критики», кромѣ разборовъ собственно къ изысканной литературѣ относящихся книгъ, — разборовъ, выражающихъ

мнѣніе редакціи,—въ «Отечественныхъ Запискахъ» были напечатаны разборы, писанные сторонними лицами: «о Филологическихъ наблюденіяхъ Павскаго надъ составомъ русскаго языка» Надеждина (двѣ статьи, впрочемъ еще не заключающія въ себѣ конца критики); разборъ книгъ: «Гальванизмъ въ техническомъ примѣненіи, для любителей природы и искусства и для технического употребленія», соч. К. О., и «Полное изложеніе гальванопластики, гальванической позолоты и серебрения», соч. А. Г.; «Полный курсъ геологическихъ наукъ», соч. Эдуарда Эйхвальда.

Русскихъ книгъ теперь выходитъ годъ отъ году меньше: зато число дурныхъ уже не находится въ чудовищной пропорціи къ числу хорошихъ. Особенно много выходитъ хорошихъ книгъ спеціальнаго содержанія; верѣдки и хорошіе учебники. Все это гораздо лучше множества пустыхъ книгъ преимущественно беллетристическаго содержанія, которыя прежде наводняли собою русскую литературу или, лучше сказать, подвалы книжныхъ лавокъ. Назовемъ нѣкоторыя изъ выпшедшихъ въ прошломъ году книгъ, особенно замѣчательныхъ важностью содержанія: «Остромирово Евангеліе», изд. Востоковымъ; «Выходы Царей Михаила Теодоровича и Алексія Михайловича», изд. Строевымъ; «Семена Порошина Записки, служащія къ исторіи Великаго Князя Павла Петровича»; «Описаніе первой войны Императора Александра съ Наполеономъ въ 1805 году», соч. Михайловскаго-Данилевскаго; «Основные начала русскаго судопроизводства», диссертация Кавелина; «Поѣздка въ Якутскъ» Шукина; «Поѣздка въ Забайкальскій Край»; «Правила, мысли и мнѣнія Наполеона о военной наукѣ, военной исторіи и военномъ дѣлѣ», собранныя Каузенромъ, переведенныя Леонтьевымъ; «Политическая и военная жизнь Наполеона», соч. Жомини; «Исторія военныхъ дѣйствій въ Азіатской Турціи»; «Описаніе турецкой войны въ 1828—1829 годахъ» Лукьяновича и друг. Обо всѣхъ этихъ и другихъ, не упомянутыхъ здѣсь, книгахъ Библиографическая Хроника «Отечественныхъ Записокъ» постоянно и современно отдавала отчетъ публикѣ. Въ прошломъ году возымѣло начало и теперь продолжается успѣшно монументальное изданіе литографическихъ снимковъ съ картинъ Императорской Эрмитажной Галлерей, предпринятое французскими художниками Гойе-Дефонтономъ и Полемъ Пети.

Если мы вообще насчитали не слишкомъ много замѣчательныхъ явленій въ русской литературѣ 1844 года, можетъ быть еще меньше, чѣмъ въ литературѣ 1843 года,—

не должно видѣть въ этомъ только доказательство все большей и большей бѣдности русской литературы. Бѣдность дѣйствительно страшная, но въ ней есть своя хорошая, скажемъ больше—своя прекрасная сторона. Теперь пишутъ мало, потому что публика стала разборчивѣе и взыскательнѣе: стало быть, писать сдѣлалось труднѣе и для талантовъ, а для посредственности просто невозможно. Потерявъ въ числительномъ богатствѣ, наша литература много выиграла въ духѣ и направленіи. Немного было хорошихъ повѣстей въ прошломъ году, но выберите самую слабую изъ всѣхъ упомянутыхъ нами въ этомъ обзорѣ и сравните ее съ повѣстями Марлинскаго, Полевого, Погодина, Загоскина и другихъ,—и увидите, какъ богата нищета современной русской литературы въ сравненіи съ ея нищенскимъ богатствомъ прежняго времени. Теперь, слава Богу! переводится поколѣніе такъ называемыхъ безкорыстныхъ любителей литературы для литературы: теперь читаютъ корыстно, т. е. хотятъ видѣть въ книгѣ не средство къ пріятному препровожденію времени, а мысль, направленіе, мнѣніе, истину, выраженіе дѣйствительности. Литературное достоинство теперь уже не искупитъ недостатка мысли, и поэтическая мишурата таланта никому не дастъ славы. Фраза потеряла свое очарованіе: ее сейчасъ разложить на слова, чтобъ добиться, что за смыслъ скрываетъ она въ себѣ; въ риторикѣ теперь упражняются только старые писатели, которые повыписались или совсѣмъ исписались. Метроманы тоже выводятся; стихотвореніе, даже очень недурное, уже перестало быть явленіемъ великой важности: восхищаются одними превосходными стихотвореніями. Все это составляетъ характеръ послѣдняго періода нашей литературы, которому тонъ и направленіе дали Гоголь и Лермонтовъ. Многіе жалуются на журналы, особенно на толстые, приписывая имъ малочисленность книгъ. Но развѣ не все равно—въ отдѣльной книгѣ или въ журналѣ прочесть хорошее сочиненіе? Правда, теперешніе журналы слишкомъ энциклопедичны, слишкомъ разнообразны, но это не ихъ вина, а дѣло необходимости. Чтобъ журналъ былъ читаемъ, не гоняясь за разнообразіемъ содержанія, — нужно, чтобъ онъ выигралъ мнѣніемъ: а вѣдь въ чемъ болѣе выразиться мнѣнію, если не въ литературѣ? Литература—предметъ конечно интересный, но совсѣмъ не неистощимый; притомъ же теперь, какъ мы это уже говорили, прошелъ вѣкъ литературщины, и въ литературѣ всѣ хотятъ видѣть больше разнообразія... Итакъ, будемъ толковать о литературѣ и читать толстые журналы.

ТАРАНТАСЪ.

Путевыя впечатлѣнія. Сочиненіе графа В. А. Соллогуба. С.-Петербургъ. 1845.

Въ современной русской литературѣ журналъ совершенно убилъ книгу. Между разными балластами, все-таки только въ журналахъ, — разумѣется, лучшихъ (которыхъ такъ немного), — можно встрѣчать болѣе или менѣе замѣчательныя произведенія по части изящной литературы. Сюда должно отнести еще сборники или альманахи: въ лучшихъ изъ нихъ тоже попадаются иногда хорошія пьесы. Но хорошая книга теперь истинная рѣдкость, такъ что критикамъ и рецензентамъ ихъ офиціо приходится хоть совсѣмъ не упоминать о книгахъ и вмѣсто ихъ разбирать вновь выходящія книжки журналовъ и даже листки газетъ. Тѣмъ болѣе вниманіе должна обращать критика на всякую книгу, сколько-нибудь выходящую изъ-подъ уровня посредственности. Нечего и говорить, что появленіе книги, которая слишкомъ далеко выходитъ изъ-подъ этого уровня, должно быть истиннымъ праздникомъ для критики. Къ такимъ книгамъ принадлежитъ «Тарантасъ» графа Соллогуба. Несмотря на то, что изъ двадцати главъ, составляющихъ это произведеніе, цѣлыхъ семь главъ были напечатаны въ «Отечественныхъ Запискахъ» еще въ 1840 году, — «Тарантасъ» — столько же новое, сколько и прекрасное произведеніе, которое своимъ появленіемъ составило бы эпоху и не въ такое бѣдное изящными созданіями время, каково наше. Семь главъ «Тарантаса», давно уже извѣстныхъ публикѣ, давали понятіе только о достоинствѣ цѣлаго произведенія, а не о идеѣ его, прекрасной и глубокой, которую можно понять только по прочтеніи всего сочиненія, приткнутого удивительной цѣлостностью и совершеннымъ единствомъ. Многіе видятъ въ «Тарантасѣ» какое-то двойственное произведеніе, въ которомъ сторона непосредственнаго, художественнаго представленія дѣйствительности превосходна, а сторона воззрѣній автора на эту дѣйствительность, его мыслей о ней, будто бы исполнена парадоксовъ, оскорбляющихъ въ читателѣ чувство истины. Подобное мнѣніе несправедливо. Тѣ, кому оно принадлежитъ, не довольно глубоко вникли въ идею автора — и объективную вѣрность, съ какой изобразилъ онъ характеръ одного изъ героевъ «Тарантаса» — Ивана Василье-

вича, принявъ за выраженіе его личныхъ убѣжденій, — тогда какъ на самомъ дѣлѣ авторъ «Тарантаса» столько же можетъ отвѣчать за мнѣнія героя своего юмористическаго разсказа, сколько напри- мѣръ Гоголь можетъ отвѣчать за чувство, понятія и поступки дѣйствующихъ лицъ въ его «Ревизорѣ» или «Мертвыхъ Душахъ». Между тѣмъ обычный взглядъ лучшей части читателей на «Тарантасъ» очень понятенъ: при первомъ чтеніи можетъ показаться, будто-бы авторъ не чуждъ желанія, хотя и не прямо, а предположительно, высказать черезъ Ивана Васильевича нѣкоторыя изъ своихъ воззрѣній на русское общество, — и тѣмъ легче увлечься подобнымъ ошибочнымъ мнѣніемъ, что необыкновенный талантъ автора и его мастерство живописать дѣйствительность лишаютъ читателя способности спокойно смотрѣть на картины, которыя такъ быстро и живо проходятъ передъ его глазами. Мы сами на первый разъ увлеклись рѣзкимъ противорѣчіемъ, которое находится между этими безпрестанно смѣняющимися и безпрестанно поражающими новыми удивленіемъ картинами, и между странными — чтобъ не сказать нелѣпыми, мнѣніями Ивана Васильевича. Это заставило насъ забыть, что мы читаемъ не легкіе очерки, не силуэты, а произведеніе, въ которомъ характеры дѣйствующихъ лицъ выдержаны художественно, и въ которомъ нѣтъ ничего произвольнаго, но все необходимо пристекаетъ изъ глубокой идеи, лежащей въ основаніи произведенія. Такимъ образомъ беремъ назадъ свое выраженіе въ рецензій о «Тарантасѣ», что въ немъ вмѣстѣ съ дѣльными мыслями много и парадоксовъ. Только въ XV и XVI-й главахъ авторъ «Тарантаса» говоритъ съ читателемъ отъ своего лица; и вотъ — кстати замѣтить — эти-то главы болѣе всего сбиваютъ читателя съ толку, раздвояя въ его умѣ произведеніе графа Соллогуба и ужасая его множествомъ странныхъ парадоксовъ. Но мы не скажемъ, чтобъ это были парадоксы: это скорѣе мнѣнія, съ которыми нельзя согласиться безусловно и которыя вызываютъ на споръ. Последнее обстоятельство даетъ имъ полное право на книжное существованіе: съ чѣмъ можно спорить и что стоить спора, —

то имѣть право быть написаннымъ и напечатаннымъ. Есть книги, имѣющія удивительную способность смертельно наскучать читателю, даже говоря все истину и правду, съ которой читатель вполне соглашается; и, наоборотъ, есть книги, которыя имѣютъ еще болѣе удивительную способность заинтересовать и завлечь читателя именно противоположностью ихъ направленія съ его убѣждениями; онѣ служатъ для читателя повѣркой его собственныхъ вѣрованій, потому что, прочитавъ такую книгу, онъ или вовсе отказывается отъ своего убѣждения, или умѣряетъ его, или наконецъ еще болѣе въ немъ утверждаетъ. Такой книгѣ охотно можно простить даже и парадоксы, тѣмъ болѣе если они искренны, и авторъ ихъ далекъ отъ того, чтобъ подозревать въ нихъ парадоксы. Вотъ другое дѣло—парадоксы умышленные, порожденные эгоистическимъ желаніемъ поддержать вопіющую ложь въ пользу касты или лица: такіе парадоксы не стоятъ опроверженія и спора: прерзательная насмѣшка—единственное достойное ихъ наказаніе...

Не будемъ пускаться въ изслѣдованія—къ какому роду и виду поэтическихъ произведеній принадлежить «Тарантасъ». Въ наше время, слава Богу, признается въ мірѣ изящнаго только одинъ родъ—хорошій, запечатлѣнный талантомъ и умомъ, а обо всѣхъ другихъ родахъ и видахъ теперь никто не заботится. Наше время вполне принимаетъ глубоко мудрое правило Вольтера: «всѣ роды хороши, кромѣ скучнаго». Но мы въ отношеніи къ этому правилу гораздо послѣдовательнѣе самого Вольтера, который противорѣчилъ своему собственному принципу, держась преданій и повѣрій французскаго псевдо-классицизма. Къ правилу Вольтера: «всѣ роды хороши, кромѣ скучнаго», наше время настоятельно прибавляетъ слѣдующее дополненіе: «и несовременнаго»,—такъ что полное правило будетъ: «всѣ роды хороши, кромѣ скучнаго и несовременнаго». Поэтому мы если не признаемъ безусловно хорошимъ всего, что имѣло огромный успѣхъ въ свое время, то во всемъ этомъ видимъ хорошія стороны, смотря на предметъ съ исторической точки. Вслѣдствіе этого, удивляясь великимъ гениямъ Данте, Шекспира, Сервантеса, наше время не отрицаетъ заслугъ Корнея, Расина и Мольера; не становясь на колѣни передъ Ломоносовымъ, Державиннымъ, Озеровымъ, Карамзинымъ, не видя въ нихъ слишкомъ многого для себя собственно,—тѣмъ съ неменьшимъ уваженіемъ произноситъ имена ихъ, какъ людей, чьихъ творенія въ ихъ время были современно хороши, т. е. удовлетворяли потребностямъ ихъ совре-

менниковъ. Чисто художественная критика, недопускающая историческаго взгляда, теперь никуда не годится, какъ односторонняя, пристрастная и неблагодарная. Художественность и теперь великое качество литературныхъ произведеній; но если при ней нѣтъ качества, заключающагося въ духѣ современности, она уже не можетъ сильно увлекать насъ. Поэтому, теперь посредственно-художественное произведеніе, которое даетъ толчокъ общественному сознанию, будитъ вопросы или рѣшаетъ ихъ, гораздо важнѣе самаго художественнаго произведенія, ничего не дающаго сознанию внѣ сферы искусства. Вообще нашъ вѣкъ—вѣкъ рефлексіи, мысли, тревожныхъ вопросовъ, а не искусства. Скажемъ болѣе: нашъ вѣкъ враждебенъ чистому искусству, и чистое искусство невозможно въ немъ. Какъ во всѣ критическія эпохи, эпохи разложенія жизни, отрицанія стараго при одномъ предчувствіи новаго, теперь искусство—не господинъ, а рабъ: оно служитъ постороннимъ для него цѣлямъ.

Мы сказали, что «Тарантасъ» графа Соллогуба—произведеніе художественное, но къ этому должны прибавить, что оно въ то же время и современное произведеніе,—что составляетъ одно изъ важнѣйшихъ его достоинствъ, которому обязано оно своимъ необыкновеннымъ успѣхомъ. Слѣдовательно «Тарантасъ»—художественное произведеніе въ современномъ значеніи этого слова. Оттого въ него вошли не только разсужденія между дѣйствующими лицами, но и цѣлыя диссертации. Оттого оно—не романъ, не повѣсть, не очеркъ, не трактатъ, не изслѣдованіе, но то и другое, и третье вмѣстѣ. Пусть называетъ его каждый какъ кому угодно: тутъ дѣло въ дѣлѣ, а не въ названіи. «Тарантасъ» имѣлъ большой успѣхъ: его не только раскупили и прочли въ короткое время, но однимъ онъ очень понравился, другимъ очень не понравился, третьимъ очень понравился и очень не понравился въ одно и то же время; одни его хвалятъ безъ мѣры, другіе бранятъ безъ мѣры, третьи хвалятъ и бранятъ вмѣстѣ; авторъ черезъ него приобрѣлъ себѣ и друзей, и враговъ; о его произведеніи говорятъ, судятъ и спорятъ. Это успѣхъ! По нашему мнѣнію, незавиденъ успѣхъ произведенія, которое возбудило бы однѣ похвалы, одну любовь, безъ порицаній, безъ ненависти; подобный успѣхъ немногимъ лучше полнаго неуспѣха, т. е. когда произведеніе возбуждаетъ одну брань безъ похвалы,—хотя то и другое все-таки лучше, нежели не возбудить ни похвалы, ни брани, а встрѣтить одно равнодушное невниманіе.

Этотъ-то необыкновенный успѣхъ «Та-

рантаса» и налагаетъ на критику обязанность — рассмотреть его внимательно со всѣхъ сторонъ. Для этого необходимо прослѣдить все развитіе этого произведенія, безпрестанно выражаясь словами автора или прибѣгая къ выпискамъ. Такой способъ критики нисколько не опасенъ для «Тарантаса», какъ книги: онъ упредилъ нашу статью слишкомъ тремя мѣсяцами, а въ это время его уже вездѣ прочли, и едва ли найдется хотя одинъ читатель, который прочелъ бы нашу статью, еще не успѣвъ прочесть «Тарантаса».

Русская литература, къ чести ея, давно уже обнаружила стремленіе — быть зеркаломъ дѣйствительности. Мысль изобразить въ романѣ героя нашего времени не принадлежитъ исключительно Лермонтову. Евгений Онегинъ тоже — герой своего времени; но и самъ Пушкинъ былъ упрежденъ въ этой мысли, не будучи никѣмъ упрежденъ въ искусствѣ и совершенствѣ ея выполненія. Мысль эта принадлежитъ Карамзину. Онъ первый сдѣлалъ не одну попытку для ея осуществленія. Между его сочиненіями есть неконченный или, лучше сказать, только что начатый романъ, даже и названный «Рыцаремъ нашего времени». Это былъ вполнѣ «герой того времени». Назывался онъ Леонъ, былъ красавецъ и чувствительный мечтатель. «Любовь питала, согрѣвала, тѣшила, веселила его; была первымъ впечатлѣніемъ его души, первой краской, первой чертой на бѣломъ листѣ ея чувствительности». Онъ и родился не такъ, какъ родятся нынче, а совершенно романически, совершенно въ духѣ своего времени. Судите сами по этому отрывку: «На луговой сторонѣ Волги, тамъ, гдѣ впадаетъ прозрачная рѣка Свѣта и гдѣ, какъ извѣстно по исторіи Натальи боярской дочери, жилъ и умеръ изгнанникомъ невинный бояринъ Любославскій, — тамъ, въ маленькой деревенькѣ, родился прадѣдъ, дѣдъ, отецъ Леонъ; тамъ родился и самъ Леонъ въ то время, когда природа, подобно любезной кокеткѣ, сидящей за туалетомъ, убиралась, наряжалась въ лучшее свое весеннее платье; бѣлалась, румянилась... весенними цвѣтами; смотрѣлась въ зеркало... водъ прозрачныхъ и завивала себѣ кудри... на вершинахъ древесныхъ — то-есть въ маѣ мѣсяцѣ, и въ самую ту минуту, какъ первый лучъ земного свѣта коснулся до его глазной перепонки, въ орѣховыхъ кустахъ загѣли вдругъ соловей и малиновка, а въ березовой рошѣ закричали вдругъ филинъ и кукушка: хорошее и худое предназначено! по которому осьмидесятилѣтняя повивальная бабка, принявшая Леона на руки, съ веселой усмѣшкой и съ печальнымъ

вдохомъ предсказала ему счастье и несчастье въ жизни, ведро и ненастье, богатство и нищету, друзей и непріятелей, успѣхъ въ любви и рога при случаѣ». Этого слишкомъ достаточно, чтобъ показать, что Карамзинъ имѣлъ бы полное право своего «Рыцаря нашего времени» назвать «Героемъ нашего времени». Въ повѣсти: «Чувствительный и холодный» (два характера) Карамзинъ, въ лицѣ своего Эраста, тоже изобразилъ одного изъ героев своего времени. Въ юмористическомъ очеркѣ: «Моя исповѣдь», представилъ онъ еще одного изъ героев своего времени, хотъ и совѣмъ въ другомъ родѣ, нежели въ какомъ были его Леонъ и Эрастъ. Послѣ Онегина и Печорина въ наше время никто не брался за изображеніе героя нашего времени. Причина понятна: герой настоящей минуты — лицо въ одно и то же время удивительно многосложное и удивительно неопредѣленное, тѣмъ болѣе требующее для своего изображенія огромнаго таланта. Сверхъ того наша современность кипитъ необыкновеннымъ разнообразіемъ героев: въ этомъ отношеніи Чичиковъ, какъ пріобрѣтатель, не меньше, если еще не больше Печорина, — герой нашего времени. И потому вся современная русская литература, по необходимости принявъ исключительно юмористическое направленіе, устремилась на изображеніе героев современности, смотря по силѣ и средствамъ таланта каждаго писателя. Иванъ Васильевичъ, герой «Тарантаса», — тоже одинъ изъ героев нашего времени. Онъ до того мелокъ и ничтоженъ, что авторъ не могъ рисовать его серьезно, и съ перваго же раза выводитъ его смѣшнымъ, — явный знакъ, что это одинъ изъ второстепенныхъ героев нашего времени. Но въ то же время нельзя не вмѣнить графу Соллогубу въ большую заслугу, что онъ именно Ивана Васильевича, а не другого какого-нибудь героя, выбралъ для своего юмористическаго карандаша, потому что современная дѣйствительность кипитъ такими героями, вѣрнѣе сказать, кипитъ Иванами Васильевичами...

Что такое Иванъ Васильевичъ? — Это нѣчто вродѣ маленькаго донъ-Кихота. Чтобъ объяснить отношенія Ивана Васильевича къ настоящему, къ большому, къ испанскому донъ-Кихоту, надо сказать нѣсколько словъ о послѣднемъ. Донъ-Кихоть — прежде всего прекраснѣйшій и благороднѣйшій человекъ, истинный рыцарь безъ страха и упрека. Несмотря на то, что онъ смѣшонъ съ ногъ до головы, внутри и снаружи, — онъ не только не глупъ, но, напротивъ, очень уменъ; мало этого: онъ — истинный мудрецъ. Потому ли, что

такова уже натура его, или отъ воспитанія, отъ обстоятельствъ жизни,—но только фантазія взяла у него верхъ надъ всѣми другими способностями и сдѣлала изъ него шута и посмѣшнице народовъ и вѣковъ. Отъ чтенія вздорныхъ рыцарскихъ сказокъ у него, по русской пословицѣ, умъ за разумъ зашелъ. Живя совершенно въ мечтѣ, совершенно внѣ современной ему дѣйствительности, онъ лишился всякаго такта дѣйствительности и вздумалъ сдѣлаться рыцаремъ въ такое время, когда на землѣ не осталось уже ни одного рыцаря, а волшебникамъ и чудесамъ вѣрила только тупая чернь. И онъ свято выполнилъ свой обѣтъ—защищать слабыхъ противъ сильныхъ, остался вѣренъ своей воображаемой Дульциней, несмотря на всѣ жестокия разочарованія, которымъ подвергала его совсѣмъ не рыцарская дѣйствительность. Еслибъ эта храбрость, это великодушіе, эта преданность, еслибъ всѣ эти прекрасныя, высокія и благородныя качества были употреблены на дѣло во время и кстати,—донъ-Кихотъ былъ бы истинно великимъ человѣкомъ! Но въ томъ-то и состоитъ его отличие отъ всѣхъ другихъ людей, что сама натура его была парадоксальная, и что никогда не увидѣлъ бы онъ дѣйствительности въ ея настоящемъ образѣ и не употребилъ бы кстати, во время и на дѣло богатыхъ сокровищъ своего великаго сердца. Родись онъ во времена рыцарства,—онъ навѣрное устремился бы на уничтоженіе его, и еслибъ узналъ о существованіи древняго міра, сталъ бы корчить изъ себя грека или римлянина. Но какъ не было уже и слѣдовъ рыцарства, когда онъ родился, то рыцарство сдѣлалось точкой его помѣшательства, его *idée fixe*. Когда ему случалось выходить на минуту изъ этой мысли, онъ удивлялъ всѣхъ своимъ умомъ, здравымъ смысломъ, говорилъ какъ мудрецъ. Даже когда мистификація сильныхъ людей осуществила мечты его рыцарскихъ стремленій,—онъ, въ качествѣ судьи, обнаружилъ не только великій умъ, но даже мудрость. И между тѣмъ въ сущности онъ тѣмъ не менѣе былъ сумасшедшій, шутъ, посмѣшнице людей... Мы не беремся примирить это противорѣчіе; но для насъ ясно, что такія парадоксальныя натуры не только не рѣдки, но даже очень часты вездѣ и всегда. Онѣ умны, но только въ сферѣ мечты; онѣ способны къ самоотверженію, но за призракъ; онѣ дѣятельны, но изъ пустяковъ; онѣ даровиты, но бесплодно; имъ все доступно, кромѣ одного, что всего важнѣе, всего выше—кромѣ дѣйствительности. Онѣ одарены удивительною способностью породить

изъ себя негѣпую идею и увидѣть ея подтвержденіе въ наиболѣе противорѣчащихъ ей фактахъ дѣйствительности. Чѣмъ негѣпѣе запавшая имъ въ голову идея, тѣмъ сильнѣе пьянѣютъ онѣ отъ нея, и на всѣхъ трезвыхъ смотрятъ какъ на пьяныхъ, какъ на сумасшедшихъ, какъ на безумныхъ, а иногда даже какъ на людей безнравственныхъ, злонамѣренныхъ и вредныхъ. Донъ-Кихотъ—лицо въ высшей степени типическое, родовое, которое никогда не переведется, никогда не устарѣетъ,—и въ этомъ-то обнаружилась вся великость генія Сервантеса. Развѣ изувѣръ по убѣжденію въ наше время не донъ-Кихотъ? Развѣ не донъ-Кихоты—эти безумные бонапартисты, которыхъ только смерть герцога рейхштадтскаго заставила разстаться съ мечтой о возможности возстановленія имперіи во Франціи? Развѣ не донъ-Кихоты—нынѣшніе легитимисты, нынѣшніе ультрамонтанисты, нынѣшніе тори въ Англіи? А этотъ нѣкогда великій мыслитель, который въ молодости далъ такое сильное движеніе развитію человѣческой мысли, а въ старости вздумалъ разыграть роль какого-то самозваннаго пророка, этотъ Шеллингъ, однимъ словомъ,—развѣ онъ не донъ-Кихотъ? Къ особеннымъ и существеннымъ отличіямъ донъ-Кихотовъ отъ другихъ людей принадлежитъ способность къ чисто-теоретическимъ, книжнымъ, внѣ жизни и дѣйствительности почерпнутымъ убѣжденіямъ. Есть люди, по мнѣнію которыхъ не только Атилла, самъ Адамъ былъ славянинецъ... это ли не донъ-кихотство?... Другимъ не нравится созданная Петромъ Великимъ Россія, и они съ горя видно мечтаютъ о реставраціи блаженной эпохи, когда за употребленіе табака рѣзали носы; другіе идутъ далѣе и хотятъ реставраціи Руси до нашествія татаръ, а третьи желаютъ о возвращеніи въ XIX вѣкъ Руси Гостомысловскихъ временъ, т. е. Руси баснословной... Это ли еще не донъ-кихотство?... А между тѣмъ послушайте-ка этихъ господъ: если вы не согласитесь съ ними, они вамъ скажутъ, что вы отстали отъ вѣка, что вы невѣжда, апостатъ, человѣкъ безнравственный, вредный.

Теперь обратимся къ Ивану Васильевичу. Это донъ-Кихотъ маленький, донъ-Кихотъ въ миниатюрѣ. У испанскаго донъ-Кихота достало души, чтобъ осуществить на дѣлѣ свою мечту и великодушно пожертвовать ей всѣмъ существомъ своимъ. Только на смертномъ одрѣ понялъ онъ, что онъ—не донъ-Кихотъ, а мирный манчскій помѣщикъ... У Ивана Васильевича стало силы воли только на то, чтобъ отъ Москвы до села Мордасы проехать въ чужомъ тарантасѣ бѣлую тетрадь, назначенную для пу-

тевыхъ замѣтокъ. Иванъ Васильевичъ въ мужикѣ нашелъ идеалъ русскаго человѣка и хотѣлъ даже дворянъ нарядить въ костюмъ очень похожій на мужицкій, за исключеніемъ желтыхъ сафьяновыхъ сапожекъ (собственнаго его, Ивана Васильевича, изобрѣтенія),—а между тѣмъ самъ скорѣе рѣшился бы умереть, нежели на одну складку отступить отъ моднаго парижскаго костюма. Такихъ микроскопическихъ донъ-Кихотовъ въ наше время развелось на Руси многое множество. Всѣ они, за исключеніемъ незначительныхъ, разнообразныхъ отгѣнковъ, похожи одинъ на другого, какъ двѣ капли воды. Всѣ они—люди добрые, умные, сочувствующие всему прекрасному, высокому, любить разсуждать и спорить о Байронѣ и о матеряхъ важныхъ, страстные либералы и, въ дополненіе ко всему этому, пренебрежительные и прескучнѣйшіе люди. Но мы оставимъ ихъ въ сторонѣ и обратимся наконецъ исключительно къ ихъ достойному представителю—къ Ивану Васильевичу.

Иванъ Васильевичъ—одинъ изъ этихъ червячковъ, которые имѣютъ свойство блеснуть въ темнотѣ. Въ глуши провинціи вы обрадовались бы, какъ неожиданному счастью, знакомству съ такимъ человѣкомъ; даже въ столицѣ, куда вы недавно пріѣхали и всему чужды, вы поздравили бы себя съ подобнымъ знакомствомъ. Сначала вы очень полюбили бы Ивана Васильевича и не могли бы довольно нахвалиться имъ; но скоро вы съ удивленіемъ замѣтили бы, что въ немъ ничего не обнаруживается новаго, что онъ весь высказался и выказался вамъ, что вы его выучили наизусть, и что онъ сталъ вамъ скученъ, какъ книга, которую вы, за неимѣніемъ другихъ, сто разъ перечли и наизусть знаете. Сначала вамъ покажется, что онъ добръ, даже очень добръ; но потомъ вы увидите, что эта доброта въ немъ—совершенно отрицательное достоинство, въ которомъ больше отсутствія зла, нежели положительнаго присутствія добра, что эта доброта похожа на мягкость, свидѣтельствующую объ отсутствіи всякой энергіи воли, всякой самостоятельности характера, всякаго рѣзкаго и опредѣленнаго выраженія личности. И тогда вы поймете, что доброта Ивана Васильевича тѣсно связана въ немъ съ безсиліемъ на зло. Сначала вамъ покажется, что онъ уменъ, даже очень уменъ; вы и потомъ никогда не скажете, чтобъ онъ былъ глупъ, потому что это была бы вопиющая неправда; но вы скоро замѣтите, что умъ его—ограниченный, легкій и поверхностный, который неспособенъ долго и постоянно останавливаться на одномъ предметѣ, неспособенъ къ сомнѣнію и его мукамъ и борьбѣ. Тогда вы поймете, что его умъ чисто страдатель-

ный, т. е. способный раздражаться и приходить въ дѣятельность отъ чужихъ мыслей, но неспособный самъ родить никакой мысли, ничего понять самостоятельно, оригинально, неспособный даже усвоить себѣ ничего чужого. Такъ же скоро исчезнетъ и ваше мнѣніе о его талантахъ—и исчезнетъ тѣмъ скорѣе, чѣмъ больше вы въ нихъ видѣли. Если вы и замѣтите въ немъ способность къ чему-нибудь, то скоро увидите, что она служитъ ему для того только, чтобъ все начинать, ничего не оканчивая, за все браться, ничѣмъ не овладѣвая. Но всего болѣе приобрѣлъ онъ ваше расположеніе, вашу любовь, даже ваше уваженіе—избыткомъ чувства, готоваго откликнуться на все человѣческое, и что же! съ этой-то стороны всего болѣе и долженъ потерять онъ въ вашихъ глазахъ, когда вы лучше разсмотрите и узнаете его. Его чувство такъ чуждо всякой глубины, всякой энергіи, всякой продолжительности, и между тѣмъ такъ легко воспламеняется и проходитъ, не оставляя слѣда, что оно похоже больше на нервическую раздражительность, на чувствительность (*susceptibilité*), нежели на чувство. Умъ, сердце, дарованія, словомъ, вся натура Ивана Васильевича такъ устроена, что онъ неспособенъ понять ничего такого, чего не испыталъ, не видѣлъ, и потому его могутъ беспокоить или радовать однѣ случайности, одни частные факты, на которые ему приходится наткнуться. Слѣдствіе занимаетъ его безъ причины, явленія останавливаютъ его вниманіе, но идея всегда проходитъ мимо его, такъ что онъ и не подозреваетъ ея присутствія. Онъ не можетъ жить безъ убѣжденій и гоняется за ними; впрочемъ ему легко имѣть ихъ, потому что въ сущности ему все равно, чему бы ни вѣрить, лишь бы вѣрить. Когда чье-нибудь рѣзкое возраженіе или какой-нибудь фактъ разобьетъ его убѣжденіе,—въ первую минуту ему какъ-будто больно оттого, но въ слѣдующую затѣмъ минуту онъ или самъ сочиняетъ себѣ новое убѣжденіе, или возьметъ на прокатъ чужое, и на этомъ успокоится. Сильное сомнѣніе и его муки чужды Ивану Васильевичу. Умъ его—парадоксальный и бросается или на все блестящее, или на все странное. Что дважды-два—четыре, это для него истина пошлая, грустная, и потому во всемъ онъ старается изъ двухъ, умноженныхъ на два, сдѣлать четыре съ половиной или съ четвертью. Простая истина невыносима ему, и, какъ всѣ романтики и страдательно-поэтическія натуры, онъ предоставляетъ ее людямъ съ холоднымъ умомъ, безъ сердца. Во всемъ онъ видитъ только одну сторону, — ту, которая прежде бросится ему въ глаза, и изъ-за

нея ужъ никакъ не можетъ видѣть другихъ сторонъ. Онъ хочетъ во всемъ встрѣчать одно, и голова его никакъ не можетъ мирить противоположностей въ одномъ и томъ же предметѣ. Такъ напримѣръ, во Франціи онъ увидѣлъ борьбу корыстныхъ расчетовъ и мелкихъ интригъ—и съ тѣхъ поръ Франція, его прежній идеалъ, вовсе перестала существовать для него... Онъ неспособенъ понять, что добро и зло идутъ бокъ, и что безъ борьбы добра со зломъ не было бы движенія, развитія, прогресса, словомъ, — жизни; что историческое лицо можетъ въ одно и то же время дѣйствовать и по искреннему убѣжденію и по самолюбію, и что исторія—говоря метафорически — есть гумно, на которомъ цѣпами анализа отдѣляются зерна отъ мякины человѣческихъ дѣяній, и что количество мякины, хотя бы и превосходящее количество зеренъ, никогда не можетъ уничтожить цѣны и достоинства самыхъ зеренъ. Нѣтъ, ему давайте или одно бѣлое, или одно черное, но тѣней и разнообразія красокъ онъ не любитъ. Для него не существуютъ люди такъ, какъ они суть: онъ видитъ въ нихъ или демоновъ, или ангеловъ. Все это происходитъ отъ бѣдности его натуры, рѣшительно неспособной ни къ убѣжденіямъ, ни къ страстямъ, способной только къ фантазіямъ и чувствованіямъ. А между тѣмъ съ тѣхъ поръ, какъ только началъ онъ себя помнить, онъ смотрѣлъ на себя, какъ на человѣка, отпущеннаго перстомъ Провидѣнія, назначеннаго къ чему-то великому или по крайней мѣрѣ необыкновенному... Это очень обыкновенное явленіе въ обществахъ неустановившихся, полуобразованныхъ, гдѣ все быстро, гдѣ невѣжество рядомъ идетъ съ знаніемъ, образованность — съ дикостью. Въ такомъ обществѣ всякому человѣку, который обнаруживаетъ какое-нибудь стремленіе или хотѣ просто претензіи на образованность, который живетъ не со всѣми такъ, какъ всѣ живутъ, и любитъ разсуждать, — всякому такому человѣку легко увѣрить себя (и притомъ очень искренно) и другихъ, что онъ—геніальный человѣкъ. Если же при этомъ онъ не глухъ и не тупъ, одаренъ способностью легко схватывать со всего вершки, много читаетъ, обо всемъ говоритъ съ жаромъ и рѣшительно, бранить толпу, да собирается путешествовать—то онъ геній, непремѣнно геній! Вслѣдствіе этого онъ всю жизнь къ чему-то готовится... Прежде Иванны Васильевичи носились съ своими непонятными толпѣ внутренними страданіями, восторгами и разочарованіями, корчили изъ себя Фаустовъ, Манфредовъ, Корсаровъ; теперь мода на

эти глупости проходить, и потому Иванны Васильевичи теперь пустились изучать Западъ и Россію, чтобъ разгадать будущность отечества и узнать, чѣмъ они могутъ быть ему полезны. Въ томъ и другомъ случаѣ главную роль играетъ непоимѣнное самолюбіе бѣдной натуры; самолюбіе—единственная страсть такихъ людей. Прежде Иванны Васильевичи съ истинно-геніальнымъ самоотверженіемъ доходили до грустнаго убѣжденія, что толпѣ не понять ихъ, и что имъ нечего дѣлать на землѣ; теперь это сдѣлалось пошло, и потому теперь Иванны Васильевичи рѣшились убѣдиться, что Западъ гниетъ...

Вотъ нашъ взглядъ на Ивана Васильевича, какъ на лицо, на характеръ. Когда мы прослѣдимъ нить событій, развивающихся въ «Тарантасѣ», — читатели увидятъ сами, до какой степени вѣренъ нашъ взглядъ. Но прежде намъ надобно сказать, что авторъ «Тарантаса» очень умно и ловко далъ своему маленькому донъ-Кихоту спутника, — не Санчо-Пансу, а олицетворенный непосредственный здравый смыслъ, въ лицѣ Василя Ивановича, медвѣдеобразнаго, но весьма почтеннаго казанскаго помѣщика. Иванъ Васильевичъ—непризнанный, самозванный геній, питающій реформаторскія намеренія на счетъ толпы; Василій Ивановичъ — толпа, которая своимъ пошлымъ здравымъ смысломъ обиваетъ восковыя крылья самозванному генію. Здравый смыслъ толпы кажется пошлымъ истинному генію и рано или поздно падаетъ во прахъ передъ его высокими безуміемъ; но онъ—бичъ самолюбивой посредственности, и немилосердно бьетъ ее, даже иногда самъ не зная, какъ и чѣмъ. Таковы отношенія другъ къ другу обоихъ героевъ «Тарантаса». Первую и главную роль играетъ безъ сомнѣнія Иванъ Васильевичъ; но Василій Ивановичъ необходимъ для Ивана Васильевича: безъ перваго послѣдній не былъ бы такъ опредѣлительно, ярко, рельефно обрисованъ,—извѣстно, что ничто такъ рѣзко не выказываетъ вещи, какъ противоположность. Въ нравственномъ отношеніи между Иваномъ Васильевичемъ и Василюмъ Ивановичемъ существовала такая же противоположность, какъ и между героями извѣстной повѣсти Гоголя: у одного голова похожа на рѣдкую хвостомъ внизъ; у другого—на рѣдкую хвостомъ вверхъ. Впрочемъ нельзя рѣшить, кто изъ нихъ правъ и съ кѣмъ изъ нихъ должно соглашаться; мы даже думаемъ, что въ дѣйствительности истинно дѣльный человѣкъ убѣжитъ отъ того и другого: отъ одного, какъ отъ неуклюжаго, косолапаго медвѣдя,—отъ другого, какъ отъ крикливаго ученаго попугая. Но книга—не жизнь; въ

книгѣ можно съ кѣмъ угодно ужиться, въ книгѣ очень милы даже и герои «Ревизора». И потому мы не убѣжимъ отъ Ивана Васильевича и Василя Ивановича, а, напротивъ, побѣжимъ къ нимъ. Они очень интересны для изученія, а изучать ихъ можно только обихъ вѣстѣ. Итакъ, къ нимъ, — но не на Тверской бульваръ въ Москвѣ, гдѣ они встрѣтились, даже не въ тарантасѣ, въ которомъ они ѣхали, а въ ихъ деревни — посмотримъ, какъ они родились, выросли и стали такими, какими встрѣчаетъ ихъ читатель на Тверскомъ бульварѣ, въ первой главѣ «Тарантаса».

Итакъ, мы начнемъ даже и не съ середины, а чуть ли не съ конца — съ XV и XVI главъ, отъ которыхъ уже перейдемъ къ первой главѣ. Начнемъ, какъ это сдѣлалъ и самъ авторъ, съ медвѣдя:

«Василій Ивановичъ родился въ Казанской губерніи, въ деревнѣ Мордасахъ, въ которой родился и жилъ его отецъ, въ которой и ему было суждено жить и умереть. Родился онъ въ восьмидесятыхъ годахъ и мирно развивался подъ сѣнью отеческаго крова. Ребенку было привольно расти. Вѣгаль онъ всею по господскому двору, погнавъ кнутикомъ трехъ мальчишекъ, изображающихъ тройку лошадей, и поостегивая весьма порядочно пристяжныхъ, когда онъ недостаточно закидывали головы на сторону. Любилъ онъ также тѣшить вѣчный свой досугъ чуркомъ, бабками, свайкой и городками, но главное основаніе системы его воспитанія заключалось въ голубятнѣ. Василій Ивановичъ провелъ лучшія минуты своего дѣтства въ голубятнѣ, сманивалъ и ловилъ крестьянскихъ чистыхъ голубей и приобрѣлъ весьма обширныя свѣдѣнія касательно козырныхъ и турмановъ».

«Отецъ Василя Ивановича, Иванъ Федотовичъ, имѣлъ какое-то несчастье испортить себѣ въ молодости желудокъ. Такъ какъ по близости доктора не обрѣталось, то какой-то соседъ присоветовалъ ему прибѣгнуть для поправленія здоровья къ постоянному употребленію травничка: Иванъ Федотовичъ до того пристрастился къ своему способу леченія, до того усиливалъ приемъ, что скоро приобрѣлъ въ окологѣ весьма недюжинную славу человѣка, пьющаго запоемъ. Со временемъ барскій запой сдѣлался постояннымъ, такъ что каждый день утромъ, въ десять часовъ, Иванъ Федотовичъ съ хованской точностью былъ уже невозможно подшефе, а въ одиннадцать совершенно пьянъ. А какъ пьяному человѣку скучно одному, то Иванъ Федотовичъ окружилъ себя дураками и дураками, которые и усаждали его досуги. Торговалъ онъ, правда, себѣ карму, но варла пришлось слишкомъ дорого, и былъ тогда же отправленъ въ Петербургъ къ какому-то вельможѣ. Надеждою сдѣдовательно довольствоваться взрослыми глупцами и уродами, которыхъ одѣвали въ затрапезныя платья съ красными фигурами и заплаты на спинѣ, съ рогами, хвостами и прочими смѣшными украшениями. Иногда морили ихъ голодомъ для смѣха, били по носу и по щекамъ, травили собаками, кидали въ воду и вообще употребляли на всевозможныя забавы. Въ такихъ удовольствіяхъ проходилъ цѣлый день, и когда Иванъ Федотовичъ ложился почивать, пьяная старуха должна была рассказывать ему сказки, оборванные казачки щекалили ему легонько пятки и обгоняли кругомъ его мухъ. Дураки должны

были сеориться въ уголку и отнюдь не спать или утомляться, потому что кучеръ вдругъ прогонялъ дремоту и оживлялъ ихъ бесѣду звонкимъ прикосновеніемъ арапника».

«Мать Василя Ивановича, Арина Аникимовна, имѣла тоже свою дуру, но ужъ больше для приличія и, такъ сказать, для штата. Она была женщина серьезная и скупая, не любила заниматься пустяками. Она сама смотрѣла за работами, знала, кого выдрать и кому водки поднести, присутствовала при молотбѣ, свидѣтельствовала на мельничьихъ закромахъ, надсматривала ткацкую, мужичинъ приказывала накаивать при себѣ, а женщинъ иногда и сама трепала за косу. Само собой разумается, кругомъ ея образовалась цѣлая куча разностепенной дворни, приживалокъ, наущницъ, кумушекъ, нянекъ, дѣвокъ, которыя, какъ водится, цѣловали у Василя Ивановича ручку, кормили его тайкомъ медомъ, поили бражкой и угождали ему всячески въ ожиданіи будущихъ благъ».

Говоря о такомъ произведеніи, какъ «Тарантасъ», нѣтъ никакой возможности избѣжать выписокъ, и частыхъ, и довольно длинныхъ; у какаго рецензента поднимается рука — пересказывать своими словами на примѣръ содержаніе сейчасъ выписаннаго нами отрывка, заключающаго въ себѣ такую вѣрную, такъ мастерски написанную картину русскаго семейства? Здѣсь не знаешь, чему больше удивляться въ авторѣ: глубокому ли его знанію дѣйствительности, которую онъ изображаетъ, или его мастерству изображать! Но обратимся къ Василю Ивановичу. Онъ росъ себѣ, говоритъ авторъ, по простымъ законамъ природы, какъ растетъ капуста или горохъ. Десяти лѣтъ началъ онъ учиться у дядьки грамотѣ и два года долбилъ азы; писать онъ выучился прескверно и кончилъ свой курсъ наукъ катехизисомъ и ариметикой въ вопросахъ и отвѣтахъ. Кромѣ дядьки, у него былъ еще учителемъ отставной унтеръ-офицеръ изъ малороссійскъ, Вухтичъ.

«Получалъ онъ (Вухтичъ) жалованья шестьдесятъ рублей въ годъ, да отсыпной муки по два пуда въ мѣсяцъ, да изношенное платье съ барскаго плеча и нѣчто изъ обуви. Кромѣ того, такъ какъ платья было немного, потому что Иванъ Федотовичъ вѣчно ходилъ въ халатъ, то Вухтичу было еще предоставлено въ утѣшеніе держать свою корову на господскомъ кормѣ. Василій Ивановичъ мало оказывалъ почтенія учителю, ѣдиль верхомъ на его спинѣ, дразнилъ его языкомъ и нерѣдко швырялъ ему книгой прямо въ носъ. Если же терпѣливый Вухтичъ и выйдетъ, бывало, наконецъ изъ терпѣнія и схватится за линейку, Василій Ивановичъ кувиркомъ побѣжитъ жаловаться татенькѣ, что учитель его, такой, такой, бьетъ-де его палкой и бранитъ его дурными словами. Татенька съ-пьяна раскричится на Вухтича: «Ахъ, ты, сѣдой этакой песь, а тебя кормлю и одѣваю, а ты у меня въ дому шумѣть задумалъ! Вотъ а тебѣ... смотри, по шеемъ велю выпроводить... Не давать коровѣ его сѣна...» А кумушки и приживалки окружаютъ Василя Ивановича и начинаютъ его утѣшать: «Ненаглядное ты наше красное солнышко, свѣтъ наша радость, баринъ ты нашъ, повольте ручку поцѣловать... Не слушайте, ягода,

волокотой вы найтъ, хохла поганого. Онъ—мужикъ, найтъ братъ... Гдѣ ему знать, какъ съ знатными господами обиходъ имѣть...

— «Что же въ самомъ дѣлѣ,—думалъ Вухтичъ, не ходить же по міру». Заключеніемъ всего этого было то, что Вухтичъ женился на дворовой дѣвкѣ, получилъ въ награжденіе двѣ десятины земли, и воспитаніе Василія Ивановича было окончено» (стр. 177).

Изобразивъ съ такой поразительной вѣрностью «воспитаніе» Василія Ивановича и сказавъ, что даже и оно не испортило его доброй натуры,—авторъ удивляется тому, что всѣ наши дѣды и прадѣды воспитывались такъ же, какъ и Василій Ивановичъ, а между тѣмъ не въ примѣръ намъ были отличнѣйшіе люди, съ твердыми правилами, —что особенно доказывается тѣмъ, что они «крѣпко хранили, не по логическому убѣжденію, а по какому-то странному (?) внушенію (?), любовь ко всѣмъ нашимъ отечественнымъ постановленіямъ». Здѣсь авторъ что-то темновато разсуждаетъ; но, сколько можемъ мы понять, подъ отечественными постановленіями онъ разумѣетъ старые обычаи, которыхъ наши дѣды и прадѣды дѣйствительно крѣпко держались. Кому не извѣстно, чего стоило Петру Великому сбрить бороду только съ малѣйшей части своихъ подданныхъ? Впрочемъ добродѣтель, которая возбуждаетъ такой энтузіазмъ въ авторѣ «Тарантаса» и которая заключается въ крѣпкомъ храненіи старыхъ обычаевъ,—именно изъ того и вытекла, что наши дѣды и прадѣды, какъ говоритъ графъ Соллогубъ, «были точно люди не грамотные». Мы не можемъ придти въ себя отъ удивленія, не понимая, чему же авторъ тутъ удивляется... Эта добродѣтель и теперь еще сохранилась на Руси, именно — между старообрядцами разныхъ толковъ, которые, какъ извѣстно, въ грамотѣ очень несильны. Китайцы тоже отличаются этой добродѣтью, именно потому, что они, при своей грамотности, ужасные невѣжды и обскуранты. Но еще больше китайцевъ отличаются этой добродѣтью безчисленныя породы бессловесныхъ, которая совсѣмъ неспособна знать грамоты и которая до сихъ поръ живуть точь-въ-точь, какъ жили ихъ предки съ перваго дня созданія. Вотъ, еслибы авторъ «Тарантаса» нашелъ гдѣ-нибудь людей просвѣщенныхъ и образованныхъ, но которые крѣпко держатся старыхъ обычаевъ, и удивился бы этому,—тогда бы мы нисколько не удивились его удивленію и вполне раздѣлили бы его...

Мы не будемъ говорить, какъ Василій Ивановичъ служилъ въ Казани, плясалъ на одномъ балу казачка и влюбился въ свою даму; но мы не можемъ пропустить рацеи его «дражайшаго родителя» въ отвѣтъ на «покорнѣйшую» просьбу «послушнѣйшаго»

сына о благословеніи на бракъ: «Вишь, щенокъ, что затѣялъ; еще на губахъ молоко не обсохло, а ужъ о бабѣ думаетъ». Отъ матери онъ услышалъ то же самое. Воля мужа была ей закономъ. Даромъ, что пьяница, думала она, а все-таки мужъ. При этомъ авторъ не могъ удержаться отъ восклицанія: «такъ думали въ старину!». Хорошо думали въ старину! прибавимъ мы отъ себя. Когда милый «тятенька» Василія Ивановича умеръ отъ сивухи, добрые его крестьяне горько о немъ плакали; картина была умиленная... Авторъ очень остроумно замѣчаетъ, что «любовь мужика къ барину есть любовь врожденная и почти неизъяснимая»: мы въ этомъ столько же увѣрены, какъ и онъ... Наконецъ Василій Ивановичъ женился и поѣхалъ въ Мордасы; на границѣ помѣстья всѣ мужики, «стоя на колѣняхъ», ожидали молодыхъ съ хлѣбомъ и съ солью. «Русскіе крестьяне,—говоритъ авторъ,—не кричатъ виватовъ, не выходятъ изъ себя отъ восторга, но тихо и трогательно выражаютъ свою преданность; и жалокъ тотъ, кто видитъ въ нихъ только лукавыхъ, бессловесныхъ рабовъ и не вѣруетъ въ ихъ искренность». Объ этомъ предметѣ мы опять думаемъ точно такъ же, какъ самъ авторъ. Еслибы Василій Ивановичъ спросилъ у своего старосты, отчего крестьяне такъ радуются,—староста навѣрное отвѣтилъ бы:

.....они
На радости, тебя увидя, пляшутъ.

Послѣ этого Василій Ивановичъ сдѣлался, какъ и слѣдовало отъ такого воспитанія и такихъ примѣровъ, предобродѣтельнымъ помѣщикомъ. Онъ поправилъ мужиковъ, управляя ими по «русской методѣ», безъ агрономическихъ и филантропическихъ усовершенствованій. Учитъ сына поручилъ уже не дьячку, а семинаристу. Старые сосѣди говорили о Василіи Ивановичѣ, что онъ—«продувная шельма», а молодые, что онъ—«пошлый дуракъ»; но въ сущности онъ былъ добродѣтельный помѣщикъ села Мордасъ, въ которомъ пока и оставимъ его, чтобъ захватить въ сосѣднюю деревню—къ родителямъ Ивана Васильевича.

Иванъ Васильевичъ родился черезъ тридцать лѣтъ послѣ Василія Ивановича. Это даетъ намъ надежду, что авторъ представить намъ совсѣмъ другую картину воспитанія, въ которой будетъ виденъ прогрессъ цѣлыхъ тридцати лѣтъ—огромнаго періода времени для Россіи, которая такъ быстро развивается. Василій Ивановичъ родился въ восьмидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія; слѣдовательно Иванъ Васильевичъ родился или около 1815 года. или немного

позже. Мать его была какая-то княжна средней руки, недавняго восточнаго происхожденія, какъ говоритъ авторъ, и была помѣщена на французскомъ языкѣ. Несмотря на всѣ свои претензіи, какъ старая дѣвка безъ приданаго, она была принуждена выйти замужъ за помѣщика, который «не былъ похожъ на Малекъ-Адела или на Eugène de Rothelin, не былъ похожъ даже на лютаго тирана, а скорѣй на сурма: ѣлъ, спалъ, да рыскалъ цѣлый день по полю». Отъ этой — то достойной четы родился Иванъ Васильевичъ. Воспитаніе его поручено было французскому гувернёру. «Всѣмъ извѣстно, — говоритъ авторъ, что французы долго истили намъ за свою неудачу, оставивъ за собою несмѣтное количество фельдфебелей, фельдшеровъ, сапожниковъ, которые, подъ предлогомъ воспитанія, испортили на Руси едва ли не цѣлое поколѣніе» (стр. 197). Замѣчаніе энергическое и остроумное, но, во-первыхъ, совсѣмъ не новое — уже тысячу тысячъ разъ было предметомъ посильныхъ остротъ журналовъ и правоучительныхъ романовъ добраго стараго времени; во-вторыхъ, оно едва ли основательно. Человѣку, несчастной судьбой занесенному въ чуждую страну, нечего ѣсть, а умирать съ голоду естественно не хочется: что жъ тутъ острить, что онъ схватился даже и за воспитаніе, чтобъ добыть кусокъ хлѣба? Авторъ могъ бы безъ всякихъ натяжекъ обнаружить свое остроуміе на счетъ невѣждъ, которые Богъ знаетъ кому поручали воспитаніе своихъ дѣтей: все смѣшное на сторонѣ этихъ дражайшихъ родителей. Эмигрантовъ авторъ не смѣшиваетъ съ этой саранчой: да, французскіе эмигранты конечно люди почтенные въ глазахъ многихъ, и мы не станемъ спорить съ этими «многими». Гувернёръ Ивана Васильевича былъ эмигрантъ. Съ удивительной ироніей авторъ рассказываетъ намъ, какъ Иванъ Васильевичъ узналъ, что Расинъ — первый поэтъ въ мірѣ, а Вольтеръ — такая тѣма мудрости, что и подумать страшно. Воспитаніе Ивана Васильевича, какъ и слѣдуетъ, было самое поверхностное и безтолковое, уже потому только, что его воспитывалъ человѣкъ, который случайно сдѣлался воспитателемъ. Это такъ естественно! А между тѣмъ мы далеки отъ того, чтобъ слишкомъ нападать и на родителей, поручавшихъ своихъ дѣтей такимъ воспитателямъ. Гдѣ же имъ было искать лучшихъ? Университеты русскіе тогда были совсѣмъ не то, что теперь, а ученые того времени, за слишкомъ рѣдкими исключеніями, часто казались сродни «зеленому господину» въ «Петербургскихъ Угкахъ» Некрасова. Слѣдовательно въ такомъ состояніи воспита-

нія никто не былъ виноватъ, и намъ кажется, что даровитый авторъ обращаетъ на воспитаніе слишкомъ исключительное вниманіе, почти вовсе упуская изъ вида натуру своего героя. Въ такомъ воспитаніи — вся надежда на добрую натуру воспитанника. Вѣдь Василій Ивановичъ, по словамъ автора, не погибъ же отъ самаго ужаснаго воспитанія, благодаря добрымъ наклонностямъ его природы? Почему же съ Иваномъ Васильевичемъ не то сбылось? А вѣдь онъ, даже и по воспитанію, имѣлъ огромныя преимущества передъ Васи́ліемъ Ивановичемъ, потому что зналъ хотя одинъ иностранный языкъ (а это — совсѣмъ не пустяки) и имѣлъ хоть какія-нибудь познанія, какъ бы поверхностны и пусты они ни были. Будь у него добрая натура, ему не поздно было бы проснуться отъ своего ничтожества даже въ двадцать лѣтъ и дѣльнымъ трудомъ (который для него былъ такъ возможенъ, потому что онъ зналъ уже иностранный языкъ) воротить потерянное въ дѣтствѣ время. И какую пользу принесло бы ему путешествіе въ Европу!.. Но мы сейчасъ увидимъ, какъ воспользовалась этимъ путешествіемъ слабая голова Ивана Васильевича. Авторъ самъ чувствовалъ необходимость взглянуть на натуру своего героя, но сдѣлалъ это вскользь и не совсѣмъ впопадъ: «Иванъ Васильевичъ былъ мальчикъ совершенно славянской породы, то есть гнѣвный, но бойкій» (стр. 199). Такъ, русская гнѣнь — большая помѣха во всемъ русскому человѣку, но еще не непреодолимое препятствіе, и не въ ней корень зла: корень лежитъ глубже, его надо искать въ отсутствіи опредѣленнаго общественнаго мнѣнія, которое каждому указывало бы его путь, а не становило бы его на распутьи, говоря: иди, куда хочешь. Что же касается до Ивана Васильевича, корень зла его жизни заключался въ его слабой, ничтожной натурѣ, неспособной ни къ убѣжденію, ни къ страсти и вѣчно гонявшейся за убѣжденіями и страстями не по внутренней потребности, а по самолюбію и отъ скуки. Отъ гувернёра перешелъ онъ въ одинъ частный пансіонъ въ Петербургѣ, гдѣ наблюдалась удивительная чистота, а учили вздорамъ и плохо. Иванъ Васильевичъ гнѣнился и молодецествовалъ трубкой, водкой и другими пороками взрослыхъ; а на выпускномъ экзаменѣ срѣзался. Это заставило его подумать о себѣ. «Онъ почувствовалъ, что не рожденъ для безмысленнаго разврата, а что въ немъ таится что-то живое, благородное, просящееся на свѣтъ, требующее дѣятельности, возвышающее душу». Онъ бы не прочь былъ и приняться за свое перевоспитаніе; «но какъ начать учиться, когда нѣкоторые товарищи уже титуляр-

ные совѣтники и веселятся въ свѣтѣ?» А! вотъ что! Мелкая натура сказала! Ступайте-ка служить, Иванъ Васильевичъ,—куда вамъ учиться! Но оказалось, что онъ не годился и въ чиновники, и потому бросилъ службу; потомъ влюбился,—и тутъ толку не было; бросился въ свѣтъ,—и то надѣло; хватался за поэтовъ, за науки, «принимался за все сгоряча, но горячность скоро проходила; онъ утомлялся и искалъ минутнаго разсѣянiя, глупой забавы. Онъ сдѣлался истинно жалкимъ человѣкомъ, не оттого, чтобъ положенiе его было несчастливое, но оттого, что онъ ни въ чемъ не могъ принимать долго участiя, оттого, что самъ собою былъ недоволенъ, оттого, что усталъ самъ отъ самого себя». Наконецъ онъ отправился за-границу. Сперва посѣтилъ Берлинъ «Знаменитости, передъ которыми онъ готовился благоговѣть, произвели на него то же самое впечатлѣнiе, какъ кассиръ его министерства или излоровскiй маркёръ. У одной знаменитости былъ носъ толстый, у другой — бородавка на щекѣ». Вздумагъ было посѣщать лекцiи, но увидѣлъ, что безъ приготовленiя нельзя ихъ понимать. «Въ Германiи объяснилась ему тайна воспитанiя. Онъ видѣлъ, какъ здѣсь каждый человѣкъ, отъ мужика до принца, вращается въ своемъ кругѣ терпѣливо и систематически, не заходясь слишкомъ высоко, не падая слишкомъ низко. Онъ видѣлъ, какъ каждый человѣкъ выбираетъ себѣ дорогу и идетъ себѣ постоянно по этой дорогѣ, не заглядываясь на стороны, не теряя ни разу изъ виду своей цѣли». И жалкiй бѣднякъ, который уже своей натурой осужденъ на вѣкъ остаться духовно-малолѣтнимъ, принялся проклинать своего француза-наставника, вмѣсто того чтобъ ругнуть хорошенько самого себя... Потомъ онъ началъ ругать нѣмцевъ за то, что они дѣланы его: для слабыхъ натуръ это не послѣднее средство утѣшиться въ горѣ! Но кромѣ того вообще въ русской натурѣ — оправдываться въ своихъ недостаткахъ недостатками другихъ; одна изъ любимыхъ поговорокъ русскаго человѣка: «славны бубны за горами»...

Иванъ Васильевичъ поѣхалъ въ Парижъ. Сначала онъ увлекся шумнымъ и разнообразнымъ движенiемъ парижской жизни, но скоро «онъ увидѣлъ собственную исторiю въ огромномъ размѣрѣ: вѣчный шумъ, вѣчную борьбу, вѣчное движенiе, звонкія рѣчи, громкіе возгласы, безмѣрное хвастовство, желанiе высказаться и стать передъ другими, а на дѣлѣ этой кипящей жизни — тяжелую скуку и холодный эгоизмъ». Подлинно, всякій во всемъ видитъ свое, въ оправданiе Шеллинговской системы тожде-

ства и въ то же время въ оправданiе басни Крылова, извѣстная героиня которой, затесавшись на барскiй дворъ, ничего не увидѣла тамъ, кромѣ навоза... Бѣдный Иванъ Васильевичъ! ему вездѣ и во всемъ суждено видѣть ужасную дрянь — самого себя... Нѣтъ—виноваты!—въ Итали онъ увидѣлъ искусство, и оно освѣжило его. По крайней мѣрѣ такъ увѣряетъ авторъ. Мы вѣримъ ему, хотя въ то же время вѣримъ и тому, что безъ приготовленiя, безъ страсти, безъ труда и настойчивости въ развитiи чувства изящнаго въ самомъ себѣ искусство никому не дается. Минутное раздраженiе нервовъ—еще не проникновенiе въ тайны искусства; минутное развлеченiе новыми предметами—еще не наслажденiе ими.—Авторъ увѣряетъ (стр. 210), что Итали не пала, не погибла, не скоронена, и совѣтуетъ ей не вѣрить коварнымъ словамъ, истину которыхъ она сама хорошо понимаетъ. Впрочемъ никто не станетъ спорить, чтобъ природа Итали, развалины и обломки ея прежней богатой жизни не были обаятельно прекрасны. Къ ней идетъ сравненiе, сказанное Байрономъ о Греци: это прекрасная женщина, которая еще прекрасна и въ гробѣ. Но Греция воскресла, и для нея это сравненiе уже не годится.

Непріязненные толки иностранцевъ о Россiи заставили Ивана Васильевича думать о своемъ отечествѣ и полюбить его. Черта, вполнѣ достойная Ивана Васильевича! Пустота составляетъ душу этого человѣка, и въ его пустотѣ есть какое-то тревожное, суетливое стремленiе безъ всякой способности достиженiя. Въ немъ нѣтъ ничего непосредственнаго, живого: ему нужно, чтобъ его толкали извнѣ, и только тогда можетъ онъ бросаться, на время и не надолго, то на то, то на другое. Такимъ образомъ безъ поѣздки за-границу ему никогда не пришло бы въ голову полюбить Россiю, даже никогда не вздумалось бы, что земля, въ которой онъ живетъ, называется Россiей, и что онъ самъ—гражданинъ этой земли. Поэтому, какъ понятно, что и теперь, когда, благодаря путешествiю, онъ полюбилъ Россiю,—какъ понятно, что это—не чувство, а новая мечта его празднующейся фантазiи! «Тогда рѣшился онъ изучить свою родину основательно, и такъ какъ онъ принимался за все съ восторгомъ, то и отъизнѣлюбіе въ немъ загорѣлось бурнымъ пламенемъ». Возвратившись въ Россiю, онъ вооружился книгой для своихъ путевыхъ впечатлѣнiй и очинилъ перо. «Но чтѣ будетъ изъ этого? Чтѣ напишетъ онъ? Чтѣ откроетъ? Чтѣ скажетъ вамъ?—Кажется, ничего!» (стр. 212). Авторъ объясняетъ это тѣмъ, что Иванъ Васильевичъ

не приученъ къ упорному труду: мы принимаемъ эту причину, но какъ одну изъ вѣроятнѣйшихъ. Первая и главная причина—въ натурѣ Ивана Васильевича, неспособной ни къ убѣжденію, ни къ страсти,—въ его умѣ, неспособномъ выдерживать отрицанія и идти до послѣднихъ слѣдствій...

Теперь пойдѣмъ за нашими героями въ Москву на Тверской бульваръ и послушаемъ нѣкоторые отрывки изъ разговора.

- Откуда ты?
— Я былъ за-границей.
— Вотъ-съ! а гдѣ, коли смѣю спросить?
— Въ Парижѣ шесть мѣсяцевъ.
— Такъ-съ.
— Въ Германіи, въ Италіи.
— Да, да, да, да... Хорошо... а коли смѣю спросить, много денегъ-то изволилъ порастрѣять?
— Какъ-съ?
— Много-ли, братъ, промотыжничалъ...
— Довольно-съ.
— То-то... а батюшка-то твой, мой сосѣдъ, что скажетъ на это. Вѣдь старики-то не очень сговорчивы на дѣтское мотовство... Да и годы-то плохіе. Ты, чай, слышалъ, что у батюшки всю гречиху градомъ побилло?
— Батюшка писалъ-съ; а самъ теперь къ нему собирается.
— Хорошее дѣло старика утѣшить. А... смѣю спросить, какого чина?
— Такъ и есть! подумалъ молодой человекъ,— 12 класса, отвѣчалъ онъ запинаясь...
— Гм... не важно... а ужъ въ отставкѣ, чай?
— Въ отставкѣ.
— То-то же. Вы, молодые люди, вбили себѣ въ голову, что надо пренебрегать службой. Умны слышкомъ, изволиете видѣть, стали. — А теперь, коли смѣю спросить, что вы намѣрены дѣлать-съ... Ась?
— Да я хотѣлъ бы, Василій Ивановичъ, посмотреть на Россію, познакомиться съ ней.
— Какъ-съ?
— Я хотѣлъ бы изучить свою родину.
— Что, что, что...
— Я намѣренъ изучить свою родину.
— Позвольте, я не понимаю... Вы хотите изучать?...
— Изучать мою родину... изучать Россію.
— А какъ это вы, батюшка, будете изучать Россію?...

— Да въ двухъ видахъ... въ отношеніи ея древности и въ отношеніи ея народности, что впрочемъ тѣсно связано между собой. Разбирая наши памятники, наши повѣрья и преданья, прислушиваясь ко всѣмъ отголоскамъ нашей старины, мнѣ удастся... виновать, намъ... мы, товарищи и я... мы дойдемъ до познанія народнаго духа, права и требованія, и будемъ знать, изъ какого источника должно возникать наше народное просвѣщеніе, пользуясь примѣромъ Европы, но не принимая его за образецъ.

— По моему, сказалъ Василій Ивановичъ: — я надену тебѣ самое лучшее средство изучать Россію — жениться. Брошь пустяки слова, да поѣдемъ-ка, братъ, въ Казань. Чинъ у тебя небольшой, однако офицерской. Имѣніе у васъ дворянское. Партію легко найдемъ. На невѣсть у насъ; слава Богу, урожай... Женись-на, право, да ступай жить съ старикомъ. Пора и объ немъ подумать. — Эхъ, братъ, право — ну! Ты вѣдь думаешь, въ деревнѣ скучно? Ни чуть. По утру въ поле; а тамъ закусить, да пообѣдать, да выспаться, а тамъ къ сосѣдямъ... А именины-то, а псовая

охота, а своя музыка, а ярмарка... А?... Житье, братъ... что твой Парижъ. Да главное, какъ заводятся у тебя ребятишки, да родятся у тебя рожи самъ-восемь, да на гумнѣ столько хлѣба наберется, что не успеешь молотить, а въ карманѣ столько цѣлевыхъ, что не сочтешь, такъ, по моему, ты славно будешь знать Россію. А?...

Видите ли: не правы ли мы, сказавъ, что при этомъ миниатюрномъ донъ-Кихотѣ, Иванѣ Васильевичѣ, авторъ назначилъ Василію Ивановичу роль не Санчо-Пансы, а олицетвореннаго здраваго смысла, который впрочемъ и не подозрѣваетъ ни мало, что онъ—здравый смыслъ?—Мало этого: Василій Ивановичъ, въ отношеніи къ Ивану Васильевичу, не только олицетворенный здравый смыслъ, но и олицетворенная иронія. Все, что говорилъ онъ ему, можно перевести такъ: знаемъ мы васъ, голубчики! вы и модничаєте, и умничаєте, и ѣздите за-границу, проматываетесь и дома, и на чужбинѣ и подымаете носъ кверху передъ нами, степными медвѣдями,—а вѣдь кончите же тѣмъ, что сами омедвѣдитесь не лучше нашего, и въ законномъ сожителствѣ съ какой-нибудь Авдотьей Петровной, съ кучей дѣтей, разѣввшись, разоспавшись и растолстѣвъ, отъ полноты сердца будете говорить: «Въ деревнѣ скучно? Ничуть! По утру въ поле, а тамъ закусить, да пообѣдать, да выспаться, а тамъ къ сосѣдямъ... А именины-то, а псовая охота, а своя музыка, а ярмарка... А?... Житье, братъ... что твой Парижъ!» Еслибъ Василій Ивановичъ былъ хоть немного философски образованъ, онъ могъ бы прибавить къ этому: какъ ни заносись, мой милый, а дѣйствительность возьметъ свое,—и быть тебѣ не рыцаремъ, не философомъ, не реформаторомъ, а помѣшникомъ, да еще женатымъ на какой-нибудь Авдотѣ Петровнѣ, которая смолоду болтала по-французски, а а въ лѣтахъ будетъ держать дѣвичью въ страхъ не хуже моей Авдотьи Петровны. Я же тебя знаю: ты боекъ только на словахъ, а натурка твоя жиденькая, и ты спасуешь передъ прозой жизни, даже и не попытавшись побороться съ нею!... Конечно Василій Ивановичъ и не думалъ иронизировать, и самъ не подозревалъ глубокаго смысла своихъ словъ, но вѣдь онъ—безсознательный, непосредственный здравый смыслъ: онъ уменъ, какъ дѣйствительность, какъ природа, которая никогда не ошибается, но которая сама не знаетъ ни того, что она разумна, ни того, какъ она разумна, ни даже того, что она существуетъ... Да и зачѣмъ Василію Ивановичу сознаніе? онъ силенъ и безъ него—большинство, толпа, словомъ, дѣйствительность за него; а на сторонѣ Ивана Васильевича только слова и фразы. Если хотите, на лѣствицѣ нравственнаго совершенства послѣдній стоитъ несравненно

выше перваго; но по собственному, исключительному свойству дѣйствительности, среди которой оба они живутъ,—въ сущности оба они сходятъ на нуль. Одинъ, какъ медвѣдь, мечтаетъ, идя по Тверскому бульвару, о московскихъ удовольствіяхъ:

«Въ самомъ дѣлѣ, какъ подумаешь, Англійскій клубъ, Нѣмецкій клубъ, Коммерческій клубъ, и все стоишь съ картами, къ которымъ можно пристѣть, чтобъ посмотрѣть, какъ люди играютъ большую и малую игру. А тамъ лото, за которыми сидятъ помѣщики, и бильярдъ съ угатыми игроками и шутивыми маркерами. Что за раздолье!... а цыгане то, комедія-то, а медвѣжья травля медвѣдями мордашками у Рогожской Заставы, а гулянье за городомъ, а театръ-то, театръ, гдѣ пляшутъ такіа красавицы, и ногами такіе вонзели выдѣлываютъ, что просто глазамъ не вѣришь!...»

Другой, какъ попугай, мечтаетъ о парижскихъ удовольствіяхъ:

«Господи, Боже мой, какъ жаль, что такъ мало здѣсь движенія и жизни... *Nel furore*... то ли дѣло Парижъ... *della tempesta*. Ахъ Парижъ, Парижъ! Гдѣ твои гризетты, твои театры и балы Мюзара... *Nel furore*. Какъ вспомнишь: Лаблашъ, Гризи, Фанинъ Эльслеръ, а здѣсь только что спрашиваютъ, какой у тебя чинъ. Скажешь: губернский секретарь — никто на тебя и смотрѣть не хочетъ... *della tempesta*!»

Что за странная пустота, что за странное ничтожество въ чувствахъ этихъ двухъ представителей двухъ вѣковъ!

Мы не будемъ распространяться о дивномъ экипажѣ, по имени котораго названо новое сочиненіе графа Соллогуба, о сундукахъ, сундучкахъ, коробкахъ, коробочкахъ, боченкахъ, которыми этотъ экипажъ загроможденъ и увязанъ снаружи, о перинахъ, тюфякахъ, подушкахъ, которыми онъ заваленъ внутри; скажемъ только, что талантъ автора неподражаемъ въ отношеніи всѣхъ этихъ подробностей. Тарантасъ готовъ двинуться; наконецъ явился и Иванъ Васильевичъ.

«Воротникъ его макинтоша былъ поднятъ выше ушей; подъ мышкой былъ у него небольшой чемоданчикъ, а въ рукахъ держалъ онъ шелковый вонтикъ, дорожный мѣшокъ со стальнымъ замочкомъ и прекрасно переплетенную въ коричневый сафьянъ книгу со стальными застѣжками и тонко очиненнымъ карандашомъ.

— А, Иванъ Васильевичъ! сказалъ Василій Ивановичъ. — Пора, батюшка. Да гдѣ же кладъ твой?

— У меня ничего нѣтъ больше съ собой.

— Эва! да ты, братъ, эдакъ въ мѣшкѣ-то своемъ замерзнешь. Хорошо, что у меня есть лишній тулупчикъ на зачѣмъ мѣху. Да-бывъ, скажи, пожалуйста, что подъ тебя подложить, перину или тюфякъ?

— Какъ? съ ужасомъ спросилъ Иванъ Васильевичъ.

— Я у тебя спрашиваю, что ты больше любишь, тюфякъ или перину? Иванъ Васильевичъ готовъ былъ бѣжать и съ отчаяніемъ поглядывать со стороны на сторону. Ему казалось, что вся Европа увидитъ его въ тулупѣ, въ перинѣ и въ тарантасѣ (стр. 20).»

Да, было отчего въ отчаяніе придти! И вотъ въ чемъ состоитъ европеизмъ господъ вроде Ивана Васильевича. Этимъ людямъ и въ голову не входитъ, что если въ Европѣ всѣ стремятся къ опозитизмованію своего быта, — за то никто, при недостаткѣ, при переверотѣ обстоятельствъ, при случаѣ, не постыдится ни сѣсть въ какой угодно тарантасѣ, ни вычистить себя, при нуждѣ, сапоги. Этого рода европейцевъ, въ отличіе отъ истинныхъ европейцевъ, не худо бы называть европейцами-татарами...

Ивану Васильевичу было грустно, но дѣлать нечего. Онъ промотался по-русски и напелъ случай допестись до дому; притомъ же дорогой онъ можетъ изучать Россіи и вести свои записки... Все бы хорошо. «Но эта неблагогородная перина, но эти ситцевыя подушки, но этотъ ужасный тарантасъ!...» Въ самомъ дѣлѣ ужасно!..

«— Василій Ивановичъ?

— Что, батюшка?

— Знаете ли, о чемъ я думаю?

— Нѣтъ, батюшка, не знаю.

— Я думаю, что такъ какъ мы собираемся теперь путешествовать...

— Что, что, батюшка... Какое путешествіе?

— Да вѣдь мы теперь путешествуемъ,

— Нѣтъ, Иванъ Васильевичъ, совсѣмъ нѣтъ. Мы просто ѣдемъ изъ Москвы въ Мордасы, черезъ Казань.

— Ну, да вѣдь это тоже путешествіе.

— Какое, батюшка, путешествіе. Путешествуютъ такъ, за-границей, въ Нѣмечинѣ; а мы что за путешественники? Просто — дворяне, ѣдемъ-себѣ въ деревню.»

О, Василій Ивановичъ! о, великій практический философъ, отъ роду не философствовавшій! Какъ, съ своей безграмотностью, какъ умнѣе ты этого полуграмотнаго фертика! Потому умнѣе, что какъ бы ни были грубы твои понятія, ихъ корень въ дѣйствительности, а не въ книгѣ, и, вѣрный степовому началу своей жизни, ты знаешь, что въ степяхъ ѣздить по дѣламъ и по нуждѣ, а не изъ любопытства, не для изученія! Ты называешь всѣ вещи ихъ настоящими именами, мѣсяцъ называешь просто мѣсяцемъ, а не воздушной или небесной ночной лампадой! Ахъ, еслибы зналъ ты, какъ уменъ твой глупый отвѣтъ: «мы не путешествуемъ, а ѣдемъ изъ Москвы въ Мордасы; мы — не путешественники, а просто — дворяне, ѣдемъ-себѣ въ деревню!...»

Иванъ Васильевичъ книжнымъ языкомъ толкуетъ своему спутнику о пользѣ путешествій, — и Василій Ивановичъ, ничего не понимая, носмутно предчувствуя, что юноша несетъ страшную дичь, отвѣчаетъ ему: «Вотъ-съ». Иванъ Васильевичъ съ риторическимъ восторгомъ говоритъ о своихъ предполагаемыхъ путевыхъ впечатлѣніяхъ, о пользѣ, которую сдѣлаетъ его книга;

Василій Ивановичъ наконецъ объясняется на-прямки: «Ты все такое мелишь странное». Иванъ Васильевичъ толкуетъ о своей любви и своемъ уваженіи къ русскому мужику и русскому барину, и о своей ненависти и своемъ презрѣніи къ чиновнику. Василій Ивановичъ, человекъ умный по привычкѣ, и потому совершенно чуждый и благоговѣнія къ мужику и барину, и презрѣнія къ чиновнику, такъ какъ всѣхъ ихъ онъ находитъ въ порядкѣ вещей, спрашиваетъ: «А отчего же это, батюшка, ненавидите вы чиновниковъ?» Иванъ Васильевичъ прибѣгаетъ къ уловкѣ всѣхъ людей, которые ничего не въ состояніи понять въ идеѣ, въ принципѣ, въ источникѣ, а все понимаютъ случайно, и раздѣляетъ чиновниковъ на благородныхъ, которыхъ онъ уважаетъ, и на такихъ, которыхъ презираетъ за ихъ трагичную образованность, за отсутствие въ нихъ всего русскаго, за взяточничество. Отсутствие всего русскаго—и взяточничество! Какое?... Браня чиновниковъ, онъ восхищается мужиками, увѣряя, что ничего не можетъ быть красивѣе и живописнѣе ихъ. «Въ мужикѣ,—говоритъ онъ,—таится зародышъ русскаго богатырскаго духа, начало нашего отечественнаго (народнаго, національнаго) величія».—«Хитрыя бываютъ бестіи!» замѣтилъ Василій Ивановичъ... Аполוגистъ не смѣшался отъ этого замѣчанія, совершенно чуждаго всякихъ претензій на остроуміе или юморъ, но которое тѣмъ поразительнѣе, чѣмъ невиннѣе и простодушнѣе,—и поставилъ въ огромную заслугу мужику его, будто-бы, способность сдѣлаться, по желанію (желательно бы знать, чѣму?), музыкантомъ, механикомъ, живописцемъ, управителемъ, чѣмъ угодно. Если хотите,—это, къ сожалѣнію, справедливо: изъ страха или изъ корысти русскій человекъ возьмется за все, вопреки мудрому правилу:

Бѣда, коль пироги начнетъ печь сапожникъ,
А сапоги тачать пирожникъ.

Покажите русскому человеку хоть Аполлона Бельведерскаго: онъ не сконфузится и топоромъ, и скобелю сдѣлаетъ изъ еловаго бревна Аполлона Бельведерскаго, да еще будетъ божиться, что его работа настоящая нѣмецкая. Потому-то русскіе покупатели такъ страстны къ иностранной работѣ и такъ боятся отечественныхъ издѣлій. Конечно способность и готовность ко всему, хотя бы и вынужденная, имѣетъ свою хорошую сторону и иногда творитъ чудеса: противъ этого мы ни слова. Но вѣдь иногда совсѣмъ не то, что всегда, и *tout de force*, какъ дѣло случайности и удачи, совсѣмъ не то, что свободное произведеніе таланта или природной способности, разви-

той правильнымъ ученіемъ. Умы поверхностные любятъ увлекаться блестящимъ, бросающимся въ глаза, парадоксальнымъ; но умъ основательный не позволитъ себѣ увлечься лицевой стороной предмета, не посмотрѣвъ на изнанку; естественное и простое онъ всегда предпочтетъ насильственному и хитрому.

Есть однакожъ въ апологіи Ивана Васильевича мысль очень умная и дѣльная—о гнусности и вредѣ существа, называемаго дворовымъ человекомъ; есть часть истины и въ его одностороннемъ взглядѣ на чиновника, какъ потомка двороваго человека.

«Дворовый не что иное, какъ первый шагъ къ чиновнику. Дворовый обрѣтъ, ходитъ въ длинномъ сюртукѣ домашняго сукна. Дворовый служитъ потѣхой праздной дѣни и прихвывается къ тунеядству и разврату. Дворовый уже пьянствуетъ и воруетъ, и важничаетъ, и презираетъ мужика, который за него трудится и платитъ за него подушныя. Потомъ, при благополучныхъ обстоятельствахъ, дворовый вступаетъ и въ конторщики, въ вольноотпущенные, въ приказные: приказный презираетъ и двороваго, и мужика, и учится уже крѣчкотворству, и потихоньку отъ исправника подбираетъ себѣ куръ, да гривенники. У него сюртукъ нансовый, волосы примазанные. Онъ обучается уже воровству систематическому. Потомъ приказный спускается еще на ступень ниже, дѣлается писцомъ, повѣнчикомъ, секретаремъ и наконецъ настоящимъ чиновникомъ. Тогда сфера его увеличивается; тогда получаетъ онъ другое бытіе: презираетъ и мужика, и приказнаго, потому что они, изволите видѣть, люди необразованные. Онъ имѣетъ уже высшія потребности, и потому вредѣтъ уже ассигнаціями. Ему вѣдь надо пить донское, курить табакъ Жукова, играть въ банчикъ, задѣть въ тарантасъ, выписывать для жены чепцы съ серебрянными колосьями и шелковыя платья. Для этого онъ безъ малѣйшаго задрѣнія совѣсти вступаетъ на свое мѣсто, какъ купецъ вступаетъ въ лавку, и торгуетъ своимъ вліаніемъ, какъ товаромъ. Попадется иной, другой... «Ништо ему, говорятъ собратья. Бери, да ути!» (стр. 30—31).

Дѣйствительно, эта генеалогія, отъ двороваго черезъ конторщика изъ вольноотпущенныхъ и приказнаго до чиновника, не только остроумна, но и отчасти справедлива. Реформа Петра Великаго, которой основнымъ принципомъ было преимущество личныхъ достоинствъ или способностей надъ породой, пересоздала двороваго въ подъячаго, подъячій родилъ приказнаго, приказный—чиновника. Итакъ, дворовый—яйцо, подъячій—червь, приказный—куколка, чиновникъ—бабочка! Тутъ, какъ видите, есть развитие, и каждая новая ступень выше и лучше прежней. Мы сами не охотники до «чиновника», но тѣмъ не менѣе мы чужды всякаго несправедливаго и односторонняго недоброжелательства къ этому почтенному члену нашего общества. Мы никакъ не можемъ согласиться съ Иваномъ Васильевичемъ, что

лучшія сословія у насъ—мужикъ и баринъ, а худшее—чиновникъ. Пусть образованіе чиновника трактирное, какъ увѣряетъ Иванъ Васильевичъ, пусть онъ пьетъ донское, куритъ жуковский, ѣздитъ въ тарантасъ и выписываетъ для жены своей чепцы съ серебряными колосьями да шелковыя платья: во всемъ этомъ есть своя хорошая сторона, которая состоитъ въ томъ, что формы жизни чиновника близко подходятъ къ формамъ жизни барина. Сынъ чиновника годится на все и всюду: онъ поступаетъ въ кадетскій корпусъ и оттуда выходитъ хорошимъ офицеромъ; онъ поступаетъ въ университетъ, откуда для него открыты честные и благородные пути на всѣ поприща жизни, и онъ всегда способенъ съ честью идти по одному разъ-избранному имъ поприщу; онъ можетъ быть ученымъ, художникомъ, литераторомъ, словомъ,—всѣмъ, чѣмъ можетъ быть и баринъ. Скажутъ: кто же не можетъ, и почему эта привилегія сына чиновника?—Потому, отвѣчаемъ мы, что военный офицеръ, чиновникъ, приготовившійся къ службѣ университетскимъ образованіемъ, ученый, профессоръ, учитель, художникъ, литераторъ изъ мужиковъ, изъ купцовъ, изъ духовнаго званія,—всѣ они—больше исключенія изъ общаго правила, нежели общее правило, и всѣ они находятся въ прямой противоположности съ формами жизни сословій, изъ которыхъ вышли. И потому-то, образовавшись, они спѣшатъ выйти изъ своего сословія, съ которымъ чувствуютъ себя на вѣкъ разорванными черезъ образованіе, и слѣдовательно спѣшатъ увеличить собою чиновническое сословіе. Какъ? спросятъ насъ, да какое же отношеніе между музыкантомъ на примѣръ и чиновникомъ?—Очень большое: ихъ связываетъ одинаковость формъ жизни. И потому-то сынъ чиновника, сдѣлавшись на примѣръ ученымъ или художникомъ, какъ будто совсѣмъ не выходитъ изъ своего сословія: его костюмъ тотъ же, образъ жизни тотъ же, отъ утренняго чаю или кофе—до поклона знакомой дамѣ или до танца съ нею на балѣ. Скажемъ прямо: формы жизни чиновника могутъ быть нѣсколько грубѣе, аляповатѣе формъ жизни барина, но сущность тѣхъ и другихъ совершенно одинакова, и чиновникъ изъ бѣдныхъ людей, котораго образованіе допустить въ свѣтскій кругъ, никогда не будетъ такимъ страннымъ исключеніемъ, какимъ былъ бы чужеземецъ изъ другого сословія, особенно купеческаго. Чиновническое сословіе играетъ въ Россіи роль химической печи, проходя черезъ которую люди мѣщанскаго, купеческаго, духовнаго и, пожалуй, двороваго сословія теряютъ рѣзкія и грубыя вѣншности этихъ сословій и отъ отца къ сыну вырождаются

въ сословіе баръ. Это потому, что въ Россіи чинъ, обязывая челоѣка носить европейскій костюмъ и держаться европейскихъ формъ жизни, вмѣстѣ съ тѣмъ обязываетъ его во всемъ тянуться за бариномъ. Сверхъ того между бариномъ и чиновникомъ—не во гнѣвъ будетъ сказано всѣмъ Иванамъ Васильевичамъ—существуетъ болѣе живая и крѣпкая связь, нежели между бариномъ и мужикомъ, купцомъ, духовнымъ или челоѣкомъ изъ другого какого-либо сословія—это все чиновничество же. Развѣ баринъ—не чиновникъ? Много ли у насъ дворянъ неслужащихъ и неимѣющихъ чина? Скажутъ: они служатъ въ военной. Неправда! Ихъ больше въ статской, и статской службой по большей части оканчиваютъ и тѣ, которые начали съ военной. А сколько теперь дворянъ, сдѣлавшихся дворянами черезъ службу? Два-три поколѣнія—и вы ни въ какой телескопъ не отличите ихъ отъ родового дворянства. Чтѣ же касается до вѣточничества, право, никому не легче давать взятки за сѣдателю или исправнику, нежели страпчему или писцу квартальнаго, потому что взятка—все взятка, кто бы ни взялъ ее съ васъ. Мы уже не говоримъ о томъ, что въ Петербургѣ на примѣръ служащіе въ министерскихъ департаментахъ чиновники не подвержены никакому упреку въ этомъ отношеніи. Вообще это предметъ, о которомъ... о которомъ мы не хотимъ больше говорить, «чтобъ гусей не раздражить». Иванъ Васильевичъ—гусь породистый: мамежка его была татарская княжна,—и потому для него нужна генеалогія людей. Мы съ этой стороны совсѣмъ въ другомъ положеніи,—и намъ нисколько нѣтъ нужды до того, кто былъ отецъ этого челоѣка; для насъ важно одно: каковъ самъ этотъ челоѣкъ.

Иванъ Васильевичъ наговорилъ очень много хорошаго о состояніи, до какого дошли теперь дворянскіе выборы, и по своему верхоглядству сложилъ всю вину на богатыхъ дворянъ. Мы не беремъ объяснять это явленіе, и скажемъ только, что все, чтѣ есть или чтѣ сдѣлалось, есть и сдѣлалось по причинамъ неотразимымъ и съ самаго начала носило въ себѣ сѣмена своего будущаго состоянія. Объ этомъ бы и слѣдовало говорить Ивану Васильевичу или ничего не говорить. А іереміады-то мы слышали и не отъ него, и онъ всѣмъ надѣянъ, потому что ихъ способенъ повторять всякій челоѣкъ, неумѣющій порядочно связать двухъ идей. Чтѣ новаго въ этихъ на примѣръ словахъ Ивана Васильевича?—«Всѣ старинныя имена наши исчезаютъ. Гербы нашихъ княжескихъ домовъ развалились въ прахъ, потому что не на чтѣ ихъ

возстановить. и русское дворянство зажиточное, радушное, хлѣбосольное отдало родовыя свои вотчины оборотливымъ купцамъ, которые въ роскошныхъ палатахъ подѣлали себѣ фабрики». Какая же, по мнѣнію Ивана Васильевича, причина этого важнаго явления?—«Попромотались на праздники, на театры, на любовницъ, на всякую дрянъ»... Знаете ли, на что похоже подобное объясненіе! Вопросъ: Отчего умеръ этотъ человѣкъ? Отвѣтъ: Отъ болѣзни. — Хорошо; но отчего онъ заболѣлъ, и почему онъ умеръ отъ этой болѣзни, когда другой, у котораго была та же самая болѣзнь, не умеръ отъ нея? Но это сравненіе еще не совсѣмъ вѣрно: человѣкъ можетъ умереть отъ случайности, а случайность не объясняется общими законами; измѣненіе же или упадокъ цѣлаго сословія не можетъ быть дѣломъ случайности, — и мотовство тутъ плохое объясненіе. Что праздники, театры и любовницы богачей нашего времени передъ роскошью вельможъ прошлаго вѣка! Однакожъ имъ доставало своихъ средствъ.... Нѣтъ; подобный вопросъ надо было или рѣшить поглубже и поосновательнѣе, или вовсе не браться за него. Василій Ивановичъ гораздо лучше рѣшилъ его. «Что думаете вы о нашихъ аристократахъ?» спрашиваетъ его Иванъ Васильевичъ. «Я думаю,—сказалъ Василій Ивановичъ,—что на станціи намъ не дадутъ лошадей».

Описаніе станціи превосходно: при каждой строкѣ такъ и хочется вскрикнуть: «Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ». Анекдотъ станціоннаго смотрителя о генералѣ прекрасенъ и самъ по себѣ, и по тому восторгу, въ который привелъ онъ Василія Ивановича. Описаніе жилища или, лучше сказать, логовища, въ которомъ помѣщается станціонный смотритель и въ которомъ такъ вѣрно, какъ въ зеркалѣ, отражаются его духъ, понятія и наклонности,—это описаніе—верхъ мастерства, и хотя нѣкоторые правоописательные романисты, они же и критики, объявили, ради весьма понятныхъ причинъ, что графъ Соллогубъ пишетъ въ поверхностномъ родѣ,—однако для насъ одна страница въ «Тарантасѣ», которая знакомитъ читателя съ покоемъ станціоннаго смотрителя, въ тысячу разъ лучше всѣхъ правоописательныхъ и нравственно-сатирическихъ романовъ. Превосходенъ также этотъ вскользь, но вѣрно обрисованный маіоръ, который въ ожиданіи лошадей всѣмъ говорилъ «ты» и всѣмъ рассказывалъ обстоятельства своей жизни, хотя о нихъ никто у него не спрашивалъ, и котораго Василій Ивановичъ трепалъ по плечу, приговаривая: «военная косточка!» (стр. 43). Никѣмъ неподозрѣваемый изъ чаявшихъ дви-

женія лошадей, внезапный проѣздъ тайнаго совѣтника, для котораго у станціоннаго смотрителя нашлись лошади, есть истинно-художническая черта, которая удивительно вѣрно доканчиваетъ картину «станціи». За станціей слѣдуетъ гостинница, но въ промежуткѣ этихъ двухъ любопытныхъ фактовъ русской жизни съ Василіемъ Ивановичемъ случилось несчастье: отъ тарантаса были отрѣзаны два чемодана и нѣсколько коробовъ, а съ ними пропали чепчикъ и тюрбанъ отъ мадамъ Лебуръ, съ Кузнецкаго моста, прибрѣтенные для Авдотьи Петровны.

«Приѣхавъ на станцію, онъ бросился къ смотрителю съ жалобой и просьбой о помощи. Смотритель отвѣчалъ ему въ утѣшеніе: «Будьте совершенно спокойны. Ваши вещи пропали. Это уже не въ первый разъ. Вы тутъ въ двѣнадцать верстахъ проѣзжали черезъ деревню, которая тѣмъ известна: все шалуны живутъ».

— Какіе шалуны? спросилъ Иванъ Васильевичъ.
— Известно-съ. На большой дорогѣ шалать ночью. Коли заснете, какъ-разъ задній чемоданъ отрѣжутъ.

— Да это разбой!

— Нѣтъ, не разбой, а шалости.

— Хороши шалости, уныло говорилъ Василій Ивановичъ, отправляясь снова въ путь. — А что скажетъ Авдотья Петровна?» (стр. 47).

Иванъ Васильевичъ торопится во Владимірѣ, которымъ онъ, какъ древнимъ городомъ, прекрасно можетъ начать свои путевыя впечатлѣнія. «Я вамъ уже говорилъ, Василій Ивановичъ, что я... и не я одинъ, а насъ много, мы хотимъ выпутаться изъ гнуснаго просвѣщенія Запада и выдумать своеобытное просвѣщеніе Востока». И эту дичь Иванъ Васильевичъ несетъ простоудушно, безъ всякой задней мысли... Какой чудакъ!...

Наконецъ путешественники наши во Владимірѣ, въ губернской гостинницѣ, которая изображена и вѣрно, и оригинально.

«— Что есть у васъ? спросилъ Иванъ Васильевичъ у полового.

— Все есть, отвѣчалъ надменно половой.

— Постели есть?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— А что есть обѣдать?

— Все есть.

— Какъ все?

— Щи-съ, супъ-съ. Биштекъ можно сдѣлать. Да вотъ на столѣ записка, прибавилъ половой, гордо подавая сѣрый лоскутокъ бумаги.

Иванъ Васильевичъ принялся читать:

О б ѣ т ы

1. Супъ. — Липотажъ.
2. Говядина. — Телятина съ цидрономъ.
3. Рыба. — Раки.
4. Соусъ. — Патша.
5. Жаркое. — Курица съ рысью.
6. Хлѣбное. — Желе савельиновъ.

На вопросъ о винахъ половой тоже съ увѣренностью отвѣчалъ: «Какъ не быть-съ? Вся вина есть: шампанское, полушампанское, три-мандера, лафиты есть. Первѣйшія вина». Нечего и говорить, что онъ собиралъ на столъ долго, переменялъ и встряхивалъ грязныя салфетки, и что ничего ни ѣсть, ни пить не было возможности. Это однакожъ не помѣшало Василию Ивановичу ѣсть за троихъ—русскій баринъ! Лежа на стѣнѣ и поворачиваясь съ боку на бокъ, Иванъ Васильевичъ началъ съ горя бранить русскія гостиницы на нѣмецкій ладъ и мечтать о заведеніи гостиницы на русскую статью. Много хорошихъ фразъ отпустилъ онъ на этотъ предметъ, но дѣла, по своему обыкновенію, не сказалъ. Гонимая за теоретическими, отдаленными причинами, онъ не увидѣлъ ближайшихъ, практическихъ. Онъ никакъ не можетъ взять въ толкъ, что дѣло сдѣлано и воротить его невозможно; что все на Руси, волей или неволей, тянется за европеизмомъ и коверкаетъ его на монгольскую статью. Иванъ Васильевичъ видно не бывалъ въ губернскихъ трактирахъ, гдѣ по-русски угощается русскій людъ, тогда бы онъ повѣлъ, почему всѣ дрянную гостиницу предпочитаютъ хорошему трактиру. А что наши губернскія гостиницы скверны, въ этомъ виноваты не отсутствіе національнаго элемента, не подражаніе вѣнскому европеизму, а просто на-просто отсутствіе конкуренціи между заведеніями такого рода. Въ иномъ губернскомъ городѣ одна гостиница и та плоха до невозможности, потому что пуста и рѣдко принимаетъ гостей; а Торжокъ—увѣданный городъ, и въ немъ двѣ гостиницы: одна сносная, а другая даже порядочная, оттого, что по значительному числу проѣзжающихъ обѣ могутъ существовать, не подрывая одна другой. Видите ли, «ларчикъ просто открывался»; но Иванъ Васильевичъ не любитъ простыхъ причинъ, которыя не даютъ предмета для риторики и не вычурно-умныхъ фразъ.

Отправившись осматривать историческій городъ, Иванъ Васильевичъ, по своему невѣдѣнію, не много нашелъ удовольствія въ созерцаніи древностей. Не понимаемъ, какъ не догадался онъ, что люди, живущіе среди этой древности, до того равнодушны къ ней, что даже не считаютъ за нужное пожалѣть, что не имѣютъ о нихъ никакого понятія. А вѣдь это фактъ, о которомъ можно пораздуматься. Тутъ естественно представляется вопросъ: кто виноватъ въ этомъ равнодушіи—люди или древности?... Вѣдь любовь къ родному, къ древностямъ, къ исторіи должна быть непосредственная, живая, самородная, а не книжная, не искусственная, и если на что само собою не

откликается пѣлое общество, это едва ли стоитъ изученія и едва ли не нѣмо само по себѣ... Но если Иванъ Васильевичъ ни чего не узналъ о древностяхъ Владимира, зато хорошо узналъ его настоящее положеніе, какъ губернскаго города. Сдѣлавъ яркую и вѣрную характеристику губернскаго города, которая, право, въ тысячу разъ стоитъ больше всякой самой ученой диссертациі о гнилыхъ древностяхъ,—пріятель Ивана Васильевича рассказываетъ ему свою исторію, по имени которой эта глава названа «простою и глухой исторіей». Тутъ много вѣрнаго и правдиваго, хотя въ цѣломъ разсказѣ преобладаетъ догматическій и правоучительный тонъ. Разсказъ начинается съ опредѣленія на службу въ Петербургъ. «Жить въ Петербургѣ и не служить—все равно, что быть въ водѣ и не плавать. Весь Петербургъ кажется огромнымъ департаментомъ, и даже строенія его глядятъ министрами, директорами, столоничальниками, съ форменными стѣнами, съ вицемундирными окнами. Кажется, что самыя петербургскія улицы раздѣляются, по табели о рангахъ, на благородныя, высокоблагородныя и превосходительныя» Но служба не далась пріятелю Ивана Васильевича, что онъ приписалъ своему невѣжеству. Странное уничиженіе! «Служба — лѣстница. По этой лѣстницѣ ползаютъ, шагаютъ, карабкаются и прыгаютъ люди зеленого цѣта, то толкая другъ друга, то срываясь отъ неосторожности, то зацѣпляясь за фалды надежнаго эквилибриста; немногіе идутъ твердо и безъ помощи. Немногіе думаютъ объ общей пользѣ, но каждый думаетъ о своей. Каждый помышляетъ, какъ бы схватить крестикъ, чтобъ поважничать передъ собратіями, да какъ бы набить карманъ потуже. Не думай впрочемъ, чтобъ петербургскіе чиновники брали взятки. Сохрани Богъ! Не смѣшивай петербургскихъ чиновниковъ съ губернскими. Взятки, братецъ, дѣло подлое, опасное, и притомъ не совсѣмъ прибыльное. Но мало ли есть проселочныхъ дорогъ къ той же цѣли. Займы, афферы, акціи, облигаціи, спекуляціи... Этимъ способомъ, при нѣкоторомъ служебномъ вліяніи, при удачной смѣтливости въ дѣлахъ, состоянія точно также наживаются. Честь спасена, а деньги въ карманѣ». Не понимаемъ, зачѣмъ же послѣ этого нужны для службы наука и образованіе? Тутъ нужны, напротивъ, гибкая спина, ловкость акробата и практическая способность пріобрѣтать благонамѣреннымъ образомъ...

Разсказчикъ пустился въ свѣтъ. Слѣдуютъ моральныя нападки на гибельную страсть низшихъ сословій таяться за высшими,

бѣдныхъ—за богатыми. Потерянное время, потерянные слова, сколько ни толкуй знатный ничтожному, сколько ни увѣрай богатый бѣднаго, что онъ, ничтожный, такъ же осужденъ судьбой на ничтожество, какъ онъ, знатный, опредѣленъ на знатность; что онъ, бѣдный, такъ же осужденъ судьбой на нищету, какъ онъ, богатый, назначенъ для богатства,—ничтожный и бѣдный никогда не будутъ такъ глупы, чтобъ просто душно повѣрить подобнымъ увѣреніямъ. Никто изъ земнородныхъ не считаетъ себя ниже и хуже другого,—и лѣзть на верхъ, гдѣ такъ спокойно и безопасно, вмѣсто того чтобъ ползти внизъ, въ грязь, подъ ноги другихъ, служа имъ мостовой,—это такой же инстинктъ, какъ пить и ѣсть. Только сильные и богатые убѣждены, что хорошо быть слабымъ и бѣднымъ, и то до тѣхъ поръ только, пока не ослабѣютъ и не обѣднѣютъ сами; но лишь случись это, они вдругъ измѣняютъ свое кровное убѣжденіе. И потому, право, давно бы пора оставить эту риторическую мораль, потому что теперь уже нѣтъ такихъ людей, которые допустили бы убѣдить себя въ ней. Свѣтскость пріятеля Ивана Васильевича кончилась тѣмъ, что онъ въ концѣ разорился и для поправленія обстоятельствъ рѣшился жениться, а для этого еще болѣе сталъ прикидываться богачомъ. Но женившись, онъ узналъ, что и его супруга такимъ же образомъ дѣлала спекуляцію, выходя замужъ. Жить было имъ нечѣмъ. Ему хотѣлось въ деревню, а она, какъ женщина образованная и свѣтская, не хотѣла и слышать о деревнѣ, и потому помирились на Москвѣ, гдѣ онъ попалъ въ особенный кружокъ, «составляющій въ огромномъ городѣ нѣчто вродѣ маленькаго досаднаго городка. Этотъ городокъ—городокъ отставной, отчество усовъ и венгерокъ, пріютъ недовольныхъ всякаго рода, вертепъ самыхъ странныхъ разбоевъ, горнило самыхъ странныхъ разсказовъ. Въ немъ живутъ отставленные и отставные, сердитые, обманутые честолюбіемъ, вообще все люди лѣнивые и добродетельные. Оттого и господствуетъ между ними духъ праздности и празднословія, и не даромъ называютъ этотъ городъ старухой. Ему прежде всего надо болтать, болтать во что бы ни стало. Онъ разскажетъ вамъ, что сѣрый волкъ гуляетъ по Кузнецкому мосту и заглядываетъ во всѣ лавки; онъ повѣдаетъ вамъ на ухо, что турецкій султанъ усыновилъ французскаго короля; онъ выдумаетъ особую политику, особую Европу,—было бы о чемъ поболтать». Очень недурно еще замѣчаніе: «Пороки петербургскіе происходятъ отъ напряженной дѣятельности, отъ желанія выказаться, отъ тщеславія и честолюбія;

пороки московскіе происходятъ отъ отсутствія дѣятельности, отъ недостатка живой цѣли въ жизни, отъ скуки и тяжелой барской лѣни» (стр. 83). На счетъ жены пріятеля Ивана Васильевича пошли по Москвѣ сплетни, за которыя онъ трепалъ одинъ хохолъ и одни усы и вызвалъ ихъ на дуэль. А между тѣмъ жить ему съ женой было совершенно нечѣмъ, потому что онъ промоталъ все до копѣйки. Такъ какъ «русскій человѣкъ крѣпокъ заднимъ умомъ», онъ тогда только замѣтилъ, что у его жены есть и хорошія качества. и что онъ ее любитъ; жена его поняла то же въ отношеніи къ нему. Вызванные имъ на дуэль хохолъ и усы распорядились такъ, что его за вызовъ отправили на телегѣ въ Владимірѣ, гдѣ онъ и обрѣтается подъ присмотромъ полиціи, а жена его уѣхала въ Петербургъ къ отцу.

Этотъ разсказъ произвелъ на Ивана Васильевича тяжелое впечатлѣніе и заставилъ попризадуматься. Онъ вспомнилъ о своемъ путешествіи:

«Въ Германіи удивила меня глупость ученыхъ; въ Италіи страдалъ я отъ холода; во Франціи опротивѣли мнѣ безнравственность и нечистота. Вездѣ нашелъ я подлую алчность къ деньгамъ, грубое самодовольствіе, всѣ признаки испорченности и смѣшныя притязанія на совершенство. И поневолѣ полюбилъ я тогда Россію и рѣшился посвятить остатокъ дней на познаніе своей родины. И похвально бы, кажется, и не трудно.

Только теперь вотъ вопросъ: какъ ее узнаешь? Хватился я сперва за древности,—древностей нѣтъ. Думалъ изучить губернскія общества,—губернскихъ обществъ нѣтъ. Всѣ они, какъ говорить, форменныя. Столичная жизнь—жизнь не русская, переиравшая у Европы и мелочное образованіе, и крупныя пороки. Гдѣ же искать Россію? Можетъ быть, въ простомъ народѣ, въ простомъ всенедномъ быту русской жизни. Но вотъ я ѣду четвертый день, и слушаю и прислушиваюсь, и гляжу и вглядываюсь, и хоть что хочешь дѣлай, ничего отмѣтить и записать не могу. Окрестность мертвая, земля, земля, земли столько, что глаза устаютъ смотрѣть, дорога скверная... по дорогѣ идутъ обывы... мужики ругаются... Вотъ и все... а тамъ, то смотритель пьянъ, то тараканы по стѣнамъ ползаютъ, то ши салными свѣчами пахнутъ... Ну, можно ли порядочному человѣку заниматься подобной дрянью?... И всего безотраднѣе то, что на всемъ огромномъ пространствѣ господствуетъ какое-то ужасное однообразіе, которое утомляетъ до чрезвычайности и отдохнуть не дастъ... Нѣтъ ничего новаго, ничего неожиданнаго. Все то же да то же... и завтра будетъ какъ нынче. Здѣсь станція, а тамъ еще та же станція; здѣсь старость, который проситъ на водку, а тамъ опять до безконечности все старости, которые просятъ на водку... что же я стану писать? Теперь я понимаю Василия Ивановича. Онъ въ самомъ дѣлѣ былъ правъ, когда увѣралъ, что мы не путешествуемъ и что въ Россіи путешествовать невозможно. Мы просто ѣдемъ въ Мордасы. Пропали мои впечатлѣнія!» (стр. 88—89).

Бѣдный Иванъ Васильевичъ! Жалкая карикатура на донъ-Кихота! У него го-

лова устроена рѣшительно вверхъ ногами: тамъ, гдѣ земля усѣяна развалинами рыцарскихъ замковъ и готическими соборами, онъ видѣлъ только мельницы и барановъ и сражался съ ними; а тамъ, гдѣ только мельницы и бараны, онъ ищетъ рыцарей... Въ уѣздномъ городишкѣ онъ спрашивалъ у мужа.

«А что здѣсь любопытнаго?—Да чему, батюшка, быть любопытному! Кажись, ничего нѣтъ.—«Древнихъ строеній нѣтъ?»—Никакъ нѣтъ-съ... Да бишь... былъ точно деревянный острогъ, неча сказать, нигде не годился... да и тотъ въ прошломъ году сгорѣлъ.—«Давно, видно, былъ построенъ?»—Нѣтъ-съ, не такъ давно, а дѣсомъ мошеники подрядчикъ надулъ совѣмъ. Хорошо, что и сгорѣлъ... право-съ.—«А много здѣсь живущихъ?»—Нашей братьи мѣщанъ довольно-съ, а то служащіе только.—«Городничій?»—Да-съ, известное дѣло, городничій, судья, исправникъ и прочіе—весь комплектъ.—«А какъ они время проводятъ?»—Въ присутствіе ходятъ, пуншты пьютъ, картишками тѣшатся... Да-бишь—теперь у насъ за городомъ цыганскій таборъ, такъ вотъ они повадились въ таборъ таскаться. *Словно московскіе баря или купечіе смки.* Такой куражъ, что чудо. Судья на скрипкѣ играетъ, Артамонъ Ивановичъ, застѣватель, отхватываетъ въ присядку; ну, и хитлого-то тутъ не занимать стать... Гуляютъ себѣ да и только. Этакая, знаете, нація» (стр. 90—91).

И вотъ наши путешественники въ таборѣ. Иванъ Васильевичъ прежде всего огорчился, увидѣвъ на цыганкахъ жалкіе европейскіе костюмы: такой чудакъ! Потомъ онъ чуть не заплакалъ съ отчаянія, когда цыганки запѣли не дикую кочевую пѣсню, а русскій водеvilный романсъ. Вынувъ изъ галстука золотую булабочку, онъ подарилъ ее красавицѣ Наташѣ, съ тѣмъ, чтобъ она ходила въ своемъ національномъ костюмѣ и не пѣла русскихъ пѣсенъ... Больше этого быть шутомъ не позволяется чело-вѣку, и сантиментальное, донъ-кихотовское фразѣрство Ивана Васильевича въ этомъ смѣшномъ поступкѣ дошло до послѣднихъ предѣловъ возможнаго. Чтѣ бы онъ могъ еще сдѣлать?—развѣ жениться на Наташѣ, застѣтивъ въ ней какія-нибудь добрыя качества... Но довольно и того, чтѣ уже сдѣлалъ онъ, чтобѣ Наташа смѣялась надъ нимъ цѣлую жизнь...

Зато степная натура Василя Ивановича плавала въ блаженствѣ. Онъ забывалъ и себя, и грозную свою Авдотью Петровну, улыбался, притопывалъ, прищолкивалъ, сыпалъ въ жадную толпу двугривеными и четвертаками и прикрикивалъ: «а вотъ эту пѣсню, а вотъ ту», и т. д. Это для него была истинная итальянская опера, единственная, доступная ему. Въ заключеніе онъ бросилъ цыганамъ десятирублевую ассигнацію... Это называется широкимъ размахомъ русской души, богатствомъ. Иностранецъ выпьетъ бутылку шампан-

скаго: русскій одну выпьетъ, а другую выпьетъ на полъ: изъ этого нѣкоторые выводятъ такое слѣдствіе, что у людей гнищаго Запада мышиныя натуры, а у насъ—чисто медвѣжьи...

Эпизодъ объ интригѣ мѣщанина съ женой частнаго пристава рассказанъ съ неподражаемымъ, истинно-художественнымъ совершенствомъ и превосходно заканчивается собою картину жизни уѣзднаго города.

Теперь послушаемъ проповѣдь Ивана Васильевича противъ русской литературы, до которой, какъ и до всякой другой, Василю Ивановичу никакой нужды не было;—это однакожъ не помѣшало его спутнику ораторствовать громко, фразисто, книжно, съ надутымъ восторгомъ и натянутымъ негодованіемъ. Подобно Ивану Александровичу Хлестакову, который безграмотнымъ людямъ объявилъ рѣшительно, что все, чтѣ ни пишется и ни издается въ Петербургѣ, все это—его сочиненіе,—Иванъ Васильевичъ также рѣшительно объявилъ безграмотному Василю Ивановичу, что литература теперь вездѣ—торговля и спекуляція, и что «въ Европѣ чистыя чувства задушены пороками и расчетомъ». Чтѣ нужды, чтѣ Иванъ Васильевичъ, какъ мы уже видѣли выше, ничему не учился, ничего не читалъ и—можно побиться о закладъ—понятія не имѣетъ о нравственномъ движеніи и литературѣ современной Европы: ему тѣмъ легче корчить судью грознаго и неуомимаго, и изрекать приговоры рѣшительные и неизмѣнные! Вѣдь Василю Ивановичу, который въ этомъ дѣлѣ ничего не понимаетъ и совершенно равнодушенъ къ нему, вѣдь ему все равно, и онъ не помѣшаетъ болтать этому витязю, сражавшемуся съ мельницами и баранами... Всего больше досталось отъ него русской литературѣ. Онъ раздѣлялъ ее на двѣ литературы: на благородную и подлую, на безкорыстную и торговую, на даровитую и бездарную. «Одна даровитая, но усталая, которая показывается въ люди рѣдко, смиренно, иногда съ улыбкой на лицѣ, а всегда чаще съ тяжелой грустью на сердцѣ. Другая наша литература, напротивъ, кричитъ на всѣхъ перекресткахъ, чтобъ только ее приняли за настоящую русскую литературу и не узнали про настоящую... Оттого наши даровитые писатели всегда удалялись и теперь удаляются отъ ея прикосновенія, опасаясь быть замѣшанными въ ея странную дѣятельность». Вотъ какія бѣлоручки, подумаешь! Имъ нельзя писать и дѣйствовать потому только, что наша литература, подобно всѣмъ литературамъ въ мірѣ, бывшимъ, сущимъ и будущимъ, имѣетъ свои пятна.

свои темныя стороны! Чтобы они могли писать, для этого нужно сперва настрого запретить писать всѣмъ, кто, по ихъ мнѣнію, недостойнъ писать въ то время, когда они сами изволятъ писать! Иначе они станутъ появляться на литературномъ поприщѣ рѣдко и смиренно, чуть не со слезами на глазахъ, будутъ удаляться отъ его прикосновенія, опасаясь быть замѣшанными въ его странную дѣятельность! Иванъ Васильевичъ и не подозреваетъ, что подобными обсахаренными и переслащенными комплиментами онъ дѣлаетъ смѣшными тѣхъ, кого прославляетъ. Изъ этого видно, что онъ и о русской литературѣ имѣетъ такое же ясное понятіе, какъ о европейской, и что русскую литературу онъ изучалъ за границей по столовымъ картамъ въ трактирахъ. У кого есть талантъ, тотъ съ особеннымъ жаромъ дѣйствуетъ именно тогда, когда въ литературѣ застои, бездарность и духъ спекуляціи. Только маленькіе таланты или таланты самозванные, прославленные въ своемъ кружкѣ и признанные за геніевъ своими пріятелями, удаляются отъ литературы въ ея бѣдномъ, беспомощномъ состояніи. Если наши таланты, истинные и большіе, рѣдко напоминаютъ о себѣ своими новыми произведеніями,—значитъ или они лѣнивы, или имъ нечего писать, или не о чемъ писать. Можетъ-быть нашлись бы и другія причины, только совсѣмъ не тѣ, о которыхъ декламируетъ Иванъ Васильевичъ... Если ужъ предположить, что истинный талантъ можетъ не писать изъ презрѣнія къ настоящему положенію литературы, то ужъ не долженъ писать совсѣмъ и никого не смѣшать рѣдкими появленіями, какъ признаками невыдержаннаго характера. А между тѣмъ изъ живущихъ теперь литераторовъ и писателей нѣтъ ни одного, который бы хоть изрѣдка не показывался, если ужъ не съ чѣмъ-нибудь дѣльнымъ, то хоть со стишками—вѣдь привычка другая натура! Когда начиналась «Библіотека для Чтенія», въ нее всѣ бросались съ своими выкладами, отъ Пушкина и Жуковского до людей съ самыми маленькими именами. Пересчитывать же имена для доказательства, что и теперь пишутъ всѣ, которые и прежде писали,—трудъ совсѣмъ лишній: нѣтъ рѣшительно ни одного имени въ подтвержденіе такъ негѣпо выдуманнаго Иваномъ Васильевичемъ факта... Многимъ покажется странно, что мы такъ вооружились противъ лица, существующаго въ книгѣ, а не въ дѣйствительности. Въ томъ то и горе, что Ивановъ Васильевичъ слишкомъ много въ дѣйствительности; мы не даромъ говорили, что даровитый авторъ «Тарантаса» слишкомъ хорошо проникъ мыслію въ типъ людей этого

рода и такъ художественно-вѣрно воспроизвелъ его. Эти-то Иваны Васильевичи издавна уже твердятъ и повторяютъ время отъ времени будто нашимъ даровитымъ писателямъ то негдѣ печататься, то вовсе нельзя писать по причинѣ торговаго и недобросовѣстнаго направленія литературы,—и мы очень рады случаю отбить охоту у этихъ господъ повторять подобныя негѣпости. Иванъ Васильевичъ въ особенности сердитъ на русскую критику, какъ въ «Горѣ отъ Ума» Скалозубъ сердитъ на басню, и называетъ ее «чудовищной неблагопристойностью». Это понятно: мыши не любятъ кошекъ. Извѣстное дѣло, Иваны Васильевичи большіе охотники «пописать, иногда прозой, иногда стишками—какъ выкинется» (какъ говоритъ Хлестаковъ); но критика мѣшаетъ имъ понасть въ геніи, т. е. выдавать всякій вздоръ за удивительныя красоты поэзій. Разумѣется и русская критика, подобно всякой отрасли русской литературы, имѣетъ свои пятна и черныя стороны; но изъ этого не слѣдуетъ бросать анафему на всю критику, которая принесла и приноситъ столько пользы и литературѣ, и публикѣ очищеніемъ вкуса, преслѣдованіемъ ложныхъ авторитетовъ и ложныхъ произведеній. Мы понимаемъ впрочемъ, что разумѣютъ Иваны Васильевичи подъ критикой благородной и благопристойной: критику безъ убѣжденій, безъ принциповъ, безъ энергіи, безъ жара, безъ души, безъ оригинальности, безъ таланта, холодную, мелочную,—критику, которая выѣзжаетъ на общихъ мѣстахъ, кадитъ признаннымъ знаменитостямъ за все, что бы ни написали онѣ, не смѣетъ признать новаго таланта, расксы угождаетъ своей партіи и бросаетъ камешки изъ-за угла только въ чужихъ,—наконецъ критику, на которую никто не сердится, которой никто не ненавидитъ, потому что всѣ презираютъ ее. Такая критика есть полное выраженіе слабенькихъ и пошленькихъ натуръ Ивановъ Васильевичей. Чтобы хорошенько поразить ненавистную ему критику, Иванъ Васильевичъ представляетъ ее въ видѣ заморскаго шута, который коверкается передъ мужиками, а мужики на него не хотятъ и смотрѣть; очень остроумно! жалъ только, что ни мало не правдоподобно и натянуто, потому что критика пишется не для мужиковъ, а мужики не имѣютъ ни малѣйшаго понятія о ея существованіи. «Русскій человѣкъ (продолжаетъ декламировать Иванъ Васильевичъ) не отзовется ни на одинъ голосъ ему незнакомый и непонятный. Ему не то надо. Ему давай родные звуки, родныя картины, чтобы забилося его сердце, чтобы засвѣтлѣло въ его душѣ». Что за фразы! какая риторика!... Дагѣ

Иванъ Васильевичъ предлагаетъ рѣшительную мѣру: выбросить за окошко все, что сдѣлано слишкомъ столѣтіемъ и что дѣйствительно существуетъ, и замѣнить это тѣмъ, что проблематически существуетъ въ головахъ славянофильскихъ... Какой яростный реформаторъ — ему все ни по чѣмъ! Сказано — и сдѣлано! Въ заключеніе онъ зоветъ нашихъ поэтовъ и писателей въ мужицкую избу — набираться тамъ мудрости. Особенно совѣтуетъ онъ слушать со вниманіемъ слова умирающаго мужика: въ этихъ словахъ, по его убѣжденію, заключается богатое содержаніе для литературы... Что за пустой человѣкъ Иванъ Васильевичъ!..

Тарантасъ повстрѣчалъ карету, у которой опустилась рессора и лопнула шина. Въ каретѣ Иванъ Васильевичъ узналъ русскаго князя, съ которымъ познакомился за-границей. Этотъ князь варварскимъ русскимъ языкомъ, испещреннымъ галлицизмами, кричитъ на ямщиковъ и лакеевъ и каждому сулитъ по пяти-сотъ палокъ. «Въ деревню ѣду (говоритъ князь Ивану Васильевичу). Нечего дѣлать. Бурмистръ оброка не высылаетъ; чортъ ихъ знаетъ, что пишутъ. Неурожай у нихъ тамъ какой-то, деревня какая-то сгорѣла. А мнѣ что за дѣло? Я — человѣкъ европейскій, я не мѣшаюсь въ дѣла своихъ крестьянъ; пускай живутъ какъ хотятъ, только чтобъ деньги доставляли аккуратно. И ихъ насквозь знаю. Такіе мошенники, что ужаси. Они думаютъ, что я за-границей, такъ они могутъ меня обманывать. Да я знаю, какъ надо поступать. Сыновей бурмистра въ рекруты, неплательщиковъ въ рабочій домъ, возмю весь доходъ за годъ впередъ, да на зиму въ Римъ». Къ несчастью, портретъ этого европейца не совсѣмъ невѣренъ: бываютъ такіе. Хуже всего въ этихъ выродкахъ то, что многіе добродушные невѣжды по нимъ дѣлаютъ свои заключенія о русскихъ путешественникахъ и пользѣ путешествій вообще. Простодушнымъ невѣждамъ трудно растолковать, что люди бываютъ всякіе: одни, побывавъ за-границей, дѣлаются еще хуже и дерутся еще больнѣе; а другіе переимѣняются къ лучшему и научаются уважать человеческое достоинство даже и въ своемъ собственномъ лакеѣ...

Разъ Иванъ Васильевичъ былъ не въ духѣ и, презрительно поглядывая на своего спутника, говорилъ про себя: «О, дубина, дубина, самоваръ безтолковый, подъяческая природа, ты самъ не что иное, какъ тарантасъ, уродливое созданіе, начиненное дрянными предразсудками, какъ тарантасъ начиненъ перинами. Какъ тарантасъ, ты не видишь ничего лучше степи, ничего даѣе Москвы. Лучъ просвѣщенія не пробилъ твоей

толстой шкуры. Для тебя искусство сосредоточивается въ вѣтренной мельницѣ, наука въ молотильной машинѣ, а поэзія въ ботвинѣ, да въ кулебякѣ. Дѣла тебѣ нѣтъ до стремленія вѣка, до современныхъ европейскихъ задачъ. Были бы у тебя лишь пи, да баня, да погребецъ, да тарантасъ, да плѣсень твоя деревенская. Дубинаты, Василій Ивановичъ!» Вся эта филиппика устремлена противъ Василія Ивановича за то, что онъ не хотѣлъ помедлить въ Нижнемъ и дать оратору время изучать Россію на ярмаркѣ. Но Василій Ивановичъ тотчасъ же представился своему спутнику совсѣмъ съ другой стороны — истиннымъ благодѣтельнымъ помѣщикомъ, точъ въ точъ какъ представляють ихъ въ дивертисментахъ на нашихъ театрахъ. Тутъ все дѣло вертится на любви крестьянъ къ господамъ, внушенной имъ уже самой природой, и еще на томъ, что Авдотья Петровна сама глѣдитъ больныхъ простыми средствами. Изъ всего этого выводится слѣдствіе, что все хорошо, какъ есть, и никакихъ измѣненій къ лучшему, особенно въ иноземномъ духѣ, вовсе не нужно. Въ самомъ дѣлѣ, къ чему больница и докторъ, развращенный познаніями гнилого Запада, — къ чему они тамъ, гдѣ всякая безграмотная баба умѣетъ глѣчить простыми средствами?... Какъ бы то ни было, но Иванъ Васильевичъ (чувствительная душа) чуть не расплакался при рассказѣ Василія Ивановича о томъ, какъ будетъ онъ встрѣченъ своими мужиками, которые на радости свиданія съ бариномъ предстанутъ передъ его свѣтлыми очами, кто съ индюкомъ подъ мышкой, кто съ ковригой хлѣба. Эта сцена изображена на картинкѣ: Василій Ивановичъ съ своей полу-русской и полу-татарской физиономіей, а мужички съ греческими лицами героевъ «Иліады», можетъ быть въ ознаменованіе того, что всѣ мужики — красавцы, и непріятныхъ физиономій между ними не бываетъ.

Въ запятномъ городѣ неизвѣстнаго званія тарантасъ измѣнилъ довѣренности друга своего, Василія Ивановича, и потребовалъ починки. Кузнецъ, впрочемъ знакомый съ развратнымъ Западомъ, запросилъ за починку 50 рублей, а согласился за три цѣлковыхъ. Съ горя путешественники наши зашли въ харчевню напиться чаю. Тамъ сидѣли купцы, чистые русаки, нисколько незнакомые съ развращеннымъ Западомъ. Одинъ изъ нихъ хвастался, какъ онъ купилъ у проигравшагося въ карты помѣщика скверной муки, смѣшалъ ее съ хорошей, да и продалъ въ Рыбинскъ за лучшій сортъ. «Что-жъ, коммерческое дѣло!» сказалъ одинъ. — «Оборотецъ извѣстный, прибавилъ другой». Разумѣется, они

пили чай, держа блюдечки на растопыренной пятернѣ, и потъ ручьями катился съ ихъ фizioномій—но попадалъ ли въ блюдечки, объ этомъ авторъ ничего не говоритъ. Вообще купцы изображены превосходно, и наблюдательный талантъ автора торжествуетъ въ этомъ изображеніи такъ же, какъ и вездѣ, гдѣ приходится ему изображать. Очень ловко сѣумѣлъ онъ заставить ихъ высказываться передъ Иваномъ Васильевичемъ, который думалъ, что онъ видитъ все это во снѣ,—такъ пораженъ онъ былъ принципомъ этой особой «коммерціи», которая избѣгаетъ по возможности векселей и всякихъ формальностей и вертится на навѣхѣ, рутинѣ, обманѣ и плутняхъ. Какъ ни убѣждалъ онъ ихъ въ превосходствѣ правильной, систематической европейской коммерціи передъ этимъ испорченно-восточнымъ барышничествомъ на авось,—купцы остались при своемъ. Одинъ изъ нихъ, помолчавъ нѣсколько, сказалъ:

«— Вы, можетъ быть кое-что, признательно сказать, и справедливо тутъ говорите, хоть и больно громкое. Да изволите видѣть, люди-то мы не грамотные. Дѣловъ всѣхъ рассудить не въ состояніи. Какъ разъ подвернутся французы, да аферисты, заведутъ компаніи, а тамъ глядишь и похлопали капиталу. Чего добраго въ несоотвѣстныя попадешь. Нѣтъ ужъ, батюшка, по старому-то оно не такъ складно, да ладно. Нашъ порядокъ съ-изстари такъ ведется. Отцы наши такъ дѣлали и не промотались, слава Богу, и капиталъ намъ оставили. Да вотъ-съ, и мы потрудились на своемъ вѣку, и тоже, слава Богу, не промотали отцовскаго благословенія, да и дѣтей своихъ надѣлили. А дѣти пушай дѣлаютъ, какъ знаютъ. Ихняя будетъ воля... Да не прикажете ли, сударь, чашечку?»

- Нѣтъ, спасибо.
- Одну хотъ чашечку.
- Право, не могу...
- Со сливочками!...» (стр. 170).

Въ большомъ селѣ, гдѣ былъ праздникъ, Иванъ Васильевичъ пустился изучать русскую народность, но его аристократическій носъ безпрестанно отворачивался отъ народныхъ сценъ, которые, какъ извѣстно, бываютъ грязноваты не у насъ однихъ. Увидя молодицъ, онъ поправилъ на себѣ пальто и, въ надеждѣ вѣрнаго эффекта, подошелъ къ толпѣ.

«Однако онъ ошибся. Здоровая румяная дѣвка указывала на него довольно нахально, обращаясь къ подругамъ: «Вишь, какой облимаанный нѣмецъ идетъ!»

Молодицы засмѣялись, а парень въ красной рубашкѣ вѣхался въ разговоръ:

— Эка зубастая Матрѣха. Смотри, *рыло* *ра-собой!*

Матрѣха улыбнулась.

— Вишь, больно напужать... Озарникъ этакой. Я и сама тресну, что сдачи не попросишь.» (стр. 220).

Насладившись этой сценой сельской идилии и рыцарской любезности, нашъ изыска-

тель наткнулся на раскольника и попробовалъ допроситься у мужика, что за секта, много ли у нихъ раскольниковъ, и проч. Но на всѣ свои вопросы получалъ одинъ отвѣтъ: «по старымъ книгамъ». Далѣе пьяный солдатъ рассказывалъ, какъ онъ ходилъ подъ турку, и объяснялъ причину войны тѣмъ, что «турецкій салтанъ, по ихъ нѣмецкому языку, вишь, государь такой значить, прислалъ къ нашему Царю грамоту: я хочу-де, чтобъ ты посторонился, а то мѣста не даешь; да изволь-ка еще окрестить всѣхъ твоихъ православныхъ въ нашу языческую поганую вѣру», и проч. Долго еще бродилъ Иванъ Васильевичъ, много еще видѣлъ пьяныхъ сценъ,—а народности все не нашелъ. Мимо его промчался на тройкѣ засѣдатель, и Иванъ Васильевичъ воскликнулъ: «О, чиновники! Ужъ не вы ли, по привычкѣ къ воровству, украли у насъ народности!» Вотъ что называется съ больной-то головы да на здоровую! Ужъ не чиновники ли, по привычкѣ къ воровству, украли у Ивана Васильевича способность смотрѣть прямо на вещи? Или онъ не получилъ ея отъ природы? Послѣднее вѣроятнѣе.

Какъ нарочно, при входѣ въ избу на слѣдующей станціи, Иванъ Васильевичъ встрѣтилъ чиновника. Это былъ исправляющій должность исправника, выѣхавшій на встрѣчу губернатору. Василій Ивановичъ пригласилъ его съ собою напиться чаю и спросилъ, давно ли онъ служить.— Съ восемьсотъ четвертаго. «А почему вы служите по выборамъ?» лукаво спросилъ его Иванъ Васильевичъ. Чиновникъ объяснилъ свое житіе-бытіе очень просто, безъ риторики,—и Ивану Васильевичу отъ чего-то стало грустно... Народность опять увернулась у него изъ-подъ рукъ. Отдернувъ занавѣсъ стоявшей въ сторонѣ кровати, онъ увидѣлъ на ней больного старика съ дѣтьми, и первое чувство этого Европейца, который такъ гнушается развратнымъ просвѣщеніемъ Запада, этого либерала, который такъ любитъ трактовать объ отношеніяхъ мужика къ барину,—первое движеніе его было—обидѣться, что простой станціонный смотритель осмѣлился не встать передъ нимъ, европейцомъ и либераломъ 12-го класса! Оказалось, что старикъ давно лишился ногъ, и, по милости начальства, должность за него править его сынъ, мальчикъ лѣтъ одиннадцати. Ивану Васильевичу опять стало грустно, и его гнѣвъ на чиновниковъ утихъ.

Вѣхавъ въ Казань, Иванъ Васильевичъ словно помѣшался: такую дичь понесъ о Западѣ и Востокѣ, притиснувшихъ между собою бѣдное славянское начало, что у

насъ рѣшительно нѣтъ силы и смѣлости остановиться на этой декламации, въ которой на каждомъ словѣ умъ за разумъ заходитъ. За нее Востокъ, въ лицѣ татаръ, надулъ Ивана Васильевича: продалъ ему за большія деньги разную дрянь, которую опытный Василий Ивановичъ не хотѣлъ оцѣнить и въ 15 рублей ассигнаціями.

Но вотъ мы уже у послѣдней главы, которая оканчивается сномъ Ивана Васильевича. Это чудный сонъ: авторъ истощилъ въ немъ всю иронию и чудесно дорисовалъ имъ своего миниатюрнаго донъ-Кихота. Вообще старикъ Дмитріевъ сказалъ о снахъ великую истину: «Когда же складны сны бываютъ?» Прибавьте къ этому, что сонъ этотъ видится такому человѣку, какъ Иванъ Васильевичъ, — и трепещите заранее. А между тѣмъ дѣлать нечего — станемъ бредить съ Иваномъ Васильевичемъ. Пропускаемъ подробности, какъ тарантасъ обратился въ птицу и попалъ въ пещеру съ тѣнями, какъ мертвые призраки подъячихъ поднялись за Иваномъ Васильевичемъ, ругали его подлецомъ и канальей и хотѣли растерзать живого. Намъ лучше хотѣлось бы пересказать все, что видѣлъ онъ на землѣ, мчавшись на тарантасѣ-птицѣ по воздуху, но не умѣемъ, а выписывать дѣликомъ — слишкомъ много. И потому волей или неволей пропускаемъ даже возрожденіе русскаго тарантаса на европейскую стать, и слѣшимъ къ встрѣчѣ Ивана Васильевича съ тѣмъ княземъ, который недавно ругалъ своихъ людей въ сломанной каретѣ. Встрѣча послѣдовала въ Москвѣ, которая въ чудномъ снѣ, по своей архитектурѣ, перешагнула Италію. «На головѣ его (князя) была бобровая шапка, станъ былъ плотно схваченъ тонкимъ суковатымъ полушубкомъ на собольемъ мѣху, а на ногахъ желтые сафьянные сапоги доказывали, по славянскому обычаю, его дворянское достоинство». Въ нравственномъ отношеніи князь такъ же измѣнился, какъ и наружно; онъ уже считаетъ глупостью путешествія... Почему? спросите вы, ужъ не изъ патріотизма ли? — Отчасти такъ. — Но, скажете вы: если въ чемъ всего менѣе можно упрекнуть англичанъ, такъ это въ отсутствіи или недостаткѣ патріотизма; напротивъ, ихъ любовь къ отечеству переходитъ даже въ недостатокъ, въ порокъ, въ какое-то слѣпое и фанатическое пристрастіе ко всему англійскому — и между тѣмъ вся Европа наводнена англійскими туристами, особенно Парижъ и Римъ. Это правда, но вѣдь не забудьте, что за человѣкъ Иванъ Васильевичъ, и не забудьте, что все это онъ бредитъ во снѣ. Главная же причина, почему князь съ гордостью отвергалъ въ русскомъ даже возможность

желанія путешествовать, состоитъ въ томъ, что русскому въ эти блаженные времена желтыхъ сафьяновыхъ сапожекъ (какъ жаль, что эта эпоха не означена цифрами!), что русскому тогда не зачѣмъ будетъ ѣхать ни на западъ, ни на востокъ, ни на югъ, ни на сѣверъ, ибо въ огромной Россіи есть свой западъ и востокъ, югъ и сѣверъ. Изъ этого можно навѣрное заключить, что въ это вождельное время, которое можетъ только представиться во снѣ, и то развѣ какому-нибудь Ивану Васильевичу, въ Россіи будетъ свой Римъ, свой Неаполь, свой Везувій, свое Средиземное море, свои Альпы, своя Швейцарія, свой Гималай и Индія, словомъ, будетъ все, чего нѣтъ теперь, и что манитъ и раздражаетъ любопытство путешественниковъ всѣхъ странъ. Далѣе, въ эту вождельную желто-сапожную эпоху уже не будетъ существовать между народами братскаго разнѣна идей, никакихъ связей, торговли, науки, образованности, и новый Гумбольдтъ уже не поѣдетъ къ намъ изучать природу Уральскаго хребта!.. Нѣтъ, ужъ лучше бы князь попрежнему проматывался за-границей и обнаружилъ свой европеизмъ пятьюстами палокъ, чѣмъ вдаваться въ такую дакую философію!.. Далъ чуть было не забыли мы: въ желто-сапожную эпоху будетъ процвѣтать арзамаская школа живописи, которая вѣроятно смѣнитъ собою нынѣшнюю суздальскую... Князь исчезъ — и Иванъ Васильевичъ очутился въ объятіяхъ своего пансіонскаго товарища, — того самаго, который на владимірскомъ бульварѣ рассказывалъ ему о себѣ «простую и глупую исторію». Этотъ такъ же исправился, какъ и князь, и съ своей милой супругой сталъ идеаломъ семейнаго блаженства. Но главная его добродѣтель въ томъ, что онъ не завидуетъ богатымъ и безъ ума радъ, что бѣденъ... Позвольте! опять чуть было не забыли мы одного изъ самыхъ характеристическихъ обстоятельствъ желто-сапожной эпохи (въ которую процвѣтетъ Торжокъ, бойко торгующій сафьянными издѣліями): въ эту желто-сафьянную эпоху будутъ равно отвратительны и тунейдцы, надувающіеся глупой надменностью, и жадные завистники всякаго отличія (желтыхъ сапожекъ?) и всякаго успѣха (наслѣдства?), и голодная зависть нищей бездарности. Жаль, что Иванъ Васильевичъ, посѣтившій во снѣ эту славянофильскую эпоху, не выглядѣлъ въ ней ничего на счетъ зависти нищей даровитости, нищей геніальности: вѣроятно таланты и геніи будутъ ходить въ красныхъ сапожкахъ, и потому имъ нечего будетъ завидовать желтымъ. Обращаемся къ семейному блаженству пансіоннаго товарища Ивана Васильевича.

«— Есть на землѣ счастье! сказалъ Иванъ Васильевичъ съ вдохновеніемъ:— есть цѣль въ жизни... и она заключается...

— Батюшки, батюшки, помогите!... Бѣда... помогите... Валимся, падаемъ!...

Иванъ Васильевичъ вдругъ почувствовалъ сильный толчокъ и, шлепнувшись обо что-то всей своей тяжестью, вдругъ проснулся отъ сильного удара.

— А... что?... что такое?...

«Батюшки, помогите, умираю!» кричалъ Василій Ивановичъ: «кто бы могъ подумать... тарантасъ опрокинулся.»

Въ самомъ дѣлѣ, тарантасъ лежалъ во рву вверхъ колесами. Подъ тарантасомъ лежалъ Иванъ Васильевичъ, ошеломленный неожиданнымъ паденіемъ. Подъ Иваномъ Васильевичемъ лежалъ Василій Ивановичъ въ самомъ ужасномъ испугѣ. Книга путевыхъ впечатлѣній утонула на вѣки на днѣ влажной пропасти. (Туда ей и дорога! скажемъ мы отъ себя.) Сенька висѣлъ внизъ головой, зацѣпясь ногами за колы...

Однѣ мышцы успѣли выпутаться изъ постронокъ и уже стояли довольно равнодушно у опрокинутого тарантаса... Сперва оглядѣлся онъ кругомъ, нѣтъ ли гдѣ помощи, а потомъ хладнокровно сказалъ вопіющему Василію Ивановичу:

— Ничего, ваше благородіе!

Превосходно! Юморъ какого бы ни было автора, хотя бы съ талантомъ первой величины, не могъ лучше прервать вздорнаго сна и лучше закончить прекрасной книги... Нельзя не согласиться, что юморъ автора «Тарантаса» тѣмъ болѣе исполненъ глубины и жалчи, что онъ замаскированъ удивительнымъ спокойствіемъ, такъ что жѣстами читателю можетъ казаться, будто авторъ раздѣляетъ образъ мыслей своего жалкаго и смѣшного героя, этого маленькаго донъ-Кихота въ миниатюрѣ и въ карикатурѣ. Между тѣмъ ясно, что эта книга, по ея тонкому и глубокому юмору, принадлежитъ къ разряду книгъ вродѣ «*Epistolae obscurorum Virorum*», «Писемъ Юлія» и «*Lettres Persannes*» Монтескьѣ. Славянофилы, въ лицѣ Ивана Васильевича, получили въ ней страшный ударъ, потому что ничего нѣтъ въ мірѣ страшнѣе смѣшного: смѣшное — казнь уродливыхъ нелѣпостей. Какъ! эти люди... но оставимъ людей и поговоримъ объ одномъ человѣкѣ—объ Иванѣ Васильевичѣ... Какъ! этотъ человѣкъ съ жидкой натурой, слабой головой, безъ энергіи, безъ ананій, безъ опытности, съ одной мечтательностью, съ однѣми пошлыми фантазіями могъ вообразить, что онъ нашелъ дорогу, на которую Россія должна сверотить съ пути, указаннаго ей ея великими преобразователями!... Комары, мошки хотятъ поправлять и переделывать громадное аданіе, сооруженное исполиномъ!.. Близорукіе, косые, кривые и слѣпые, они хотятъ заглядывать въ будущее и думаютъ видѣть его такъ же ясно, какъ и настоящее! Ихъ маленькому самолюбію не приходится въ голову, что и настоящее-то въ ихъ головѣ отражается невѣрно, какъ въ

кривомъ или разбитомъ зеркалѣ. Головы, устроенныя вверхъ ногами, онѣ мыслятъ вѣчно заднимъ числомъ, и если имъ удастся замѣтить кое-что такое, что всѣмъ бросается въ глаза и что на всѣхъ производить грустное и тяжелое впечатлѣніе,— онѣ ждутъ исцѣленія не отъ будущаго, но, вычеркивая настоящее (какъ-будто бы его вовсе не было или какъ-будто бы оно не есть необходимый результатъ прошедшаго), обращаются къ давно-прошедшему, котораго или вовсе не знаютъ, или плохо знаютъ, смотря на него въ очки своей фантазіи,— и посредствомъ какого-то невозможнаго, чудовищнаго *salto mortale* хотятъ выдвинуть это давно-прошедшее, мимо настоящаго, прямо въ будущее. Не понимая современнаго, не будучи гражданами никакой эпохи, никакого времени (потому что кто живетъ внѣ настоящаго, современнаго, тотъ нигдѣ не живетъ), новые донъ-Кихоты, они сочинили себѣ одно изъ тѣхъ нелѣпыхъ убѣжденій, которыя такъ близки къ толкамъ старообрядческихъ сектъ, основанныхъ на мертвомъ пониманіи мертвой буквы, и изъ этого убѣжденія сдѣлали себѣ новую Дульцинею тобовскую, ломаютъ за нее перья и лѣютъ чернила. Не понимая, что у нихъ нѣтъ и не можетъ быть противниковъ (потому что невинное помѣшательство пользуется счастливой привилегіей не имѣть враговъ)— они выдумываютъ, ищутъ себѣ враговъ и думаютъ видѣть главнаго своего врага въ просвѣщеніи Запада; но Западъ не хочетъ и знать о ихъ существованіи: онъ идетъ себѣ, куда указало ему Провидѣніе, не замѣчая ни ихъ бумажныхъ шлемовъ, ни ихъ деревянные копій... Подобныя нелѣпости давно уже требовали одной изъ тѣхъ жестокихъ и бьющихъ на смерть сатиръ, которыми можетъ поражать только художественный талантъ... «Тарантасъ» графа Соллогуба явился такой сатирой, исполненной ума, остроумія, мысли, юмора, художественности...

Мы все сказали. Прощайте жъ, Иванъ Васильевичъ! Спасибо вамъ: вы заняли насъ, вы и посердили, и позабавили насъ на свой счетъ. Прощайте, смѣшной и жалкій донъ-Кихотъ! Вѣчное спасибо вамъ за то, что вы сказали всему свѣту, какъ зовутся по имени и по отчеству люди извѣстнаго разряда: ихъ зовутъ Иванами Васильевичами...

Прощай, «Тарантасъ»! прощай, книга умная, даровитая и—что всего важнѣе— книга дѣльная! Благодаримъ тебя за наслажденія, которыми подарила ты насъ и которыхъ вѣроятно долго, долго не дожидаться намъ, потому что такіа книги и не у насъ рѣдко появляются...

ОПЫТЪ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Сочиненіе а.-о. профессора Императорскаго С.-Петербургскаго Университета, доктора философіи
А. Никитенко. Книга первая. Введеніе. Спб. 1846.

Давно чувствуется всѣми настоящая потребность въ исторіи русской литературы. Впрочемъ въ послѣднее время обнаружались нѣкоторые признаки, по которымъ можно судить, что уже предпринята не одна попытка къ удовлетворенію этой потребности. Еще въ 1839 году Максимовичъ издалъ первую часть своей «Исторіи Древней Русской Словесности»; когда выйдетъ вторая часть, и выйдетъ ли она когда-нибудь,—намъ не извѣстно, и потому эта попытка доселѣ остается попыткой, неперешедшей въ дѣло. Вышедшая теперь въ свѣтъ первая часть «Опыта Исторіи Русской Литературы» Никитенко, была упрещена многочисленными чтеніями Шевырева въ «Москвитинѣ», касающимися до исторіи древней, преимущественно теологической, русской словесности и предвѣщающими появленіе полной исторіи всей русской литературы. Къ этому мы можемъ присовокупить, что готовится и еще сочиненіе по тому же предмету, подъ именемъ «Критическаго Исторіи Русской Литературы» (преимущественно новой, съ обзоромъ, въ видѣ введенія, произведеній народной поэзіи); впрочемъ мы ничего не можемъ сказать положительнаго о времени выхода этого сочиненія. Во всякомъ случаѣ, нельзя не желать, чтобъ всѣ эти сочиненія вышли какъ можно скорѣе, вполнѣ оконченныя: каковы бы ни были ихъ направленія и степень достоинства—они не могутъ не способствовать довольно сильно движенію общественнаго сознанія въ столь важномъ предметѣ, какъ отечественная литература. И чѣмъ различнѣе и противоположнѣе въ своихъ взглядахъ и направленіяхъ будутъ всѣ эти сочиненія, тѣмъ больше принесутъ они пользы.

Есть три способа знакомиться съ литературой и изучать ее. Первый—чисто критическій, который состоитъ въ критическомъ разборѣ каждаго замѣчательнаго писателя; второй—чисто-историческій, который состоитъ въ обзорѣ хода и развитія всей литературы: здѣсь обращается больше вниманія на эпохи и на школы литературы, чѣмъ на отдѣльныя дѣйстви-

ція лица. Третій способъ состоитъ въ соединеніи, по возможности, обоихъ первыхъ. Этотъ способъ самый лучший. Во всякомъ случаѣ, вліяніе и важность критики не подвергаются никакому сомнѣнію. Первый критикомъ и слѣдовательно основателемъ критики въ русской литературѣ былъ Карамзинъ. Самая замѣчательная его критическая статья была «О Богдановичѣ и его сочиненіяхъ»; къ числу критическихъ же его статей должно отнести и статью «Пантеонъ Россійскихъ Авторовъ», въ которой онъ сообщаетъ краткія извѣстія, не чуждаясь мѣстами критическаго взгляда, о старинныхъ писателяхъ—Несторѣ, Никонѣ, Матвѣевѣ (Артамонѣ Сергѣевичѣ), царевнѣ Софіи, Симеонѣ Полоцкомъ, Дмитріи Тупталѣ, Теофанѣ Прокоповичѣ, князѣ Хилковѣ, князѣ Кантемирѣ, Татищевѣ, Климовскомъ, Буслаевѣ, Тредьяковскомъ, Силвестрѣ, Кулябѣ, Крашенинниковѣ, Барковѣ, Геденонѣ, Дмитріи Сѣменовѣ, Ломоносовѣ, Сумароковѣ, Федорѣ Эминѣ, Майковѣ, Поповскомъ, Поповѣ. Не говоримъ о множествѣ мелкихъ рецензій Карамзина въ его «Московскомъ Журналѣ» и «Вѣстникѣ Европы»,—рецензій, которыми онъ такъ много способствовалъ къ очищенію и утвержденію вкуса публики.—Кромѣ Карамзина, какъ критикъ, заслуживаетъ почетнаго упоминенія современникъ его, Макаровъ, изъ критическихъ статей котораго особенно замѣчательны: «Сочиненія и переводы Ивана Дмитріева» и «Разсужденіе о старомъ и новомъ слоgѣ русскаго языка». Онѣ были напечатаны въ его журналѣ: «Московский Меркурій», который онъ издавалъ въ 1803 году.—Черезъ нѣсколько лѣтъ Жуковский написалъ двѣ критическія статьи «О Сатирахъ Кантемира» и «Басняхъ Крылова». Батюшковъ разобралъ сочиненія Муравьева (М. Н.) и писалъ объ «Освобожденномъ Иерусалимѣ» Тасса и сонетахъ Петрарки.—Князь Вяземскій долженъ быть упомянуть, какъ одинъ изъ первыхъ критиковъ эпохи русской литературы до двадцатыхъ годовъ: онъ написалъ «О Жизни и Сочиненіяхъ Озерова», «О Державинѣ» и другія критическія статьи, въ

свое время очень замѣчательныя. Но критикомъ по ремеслу, критикомъ ex officio во второе десятилѣтіе настоящаго вѣка былъ Мерзляковъ, писавшій въ особенности о Сумароковѣ и Херасковѣ. Въ то же время Мерзляковъ былъ и теоретикомъ поэзіи, какъ искусства.—Въ началѣ двадцатыхъ годовъ критики начали размножаться, и въ альманахныхъ «обозрѣніяхъ литературы» за тотъ или другой годъ видны попытки дѣлать очерки исторіи русской литературы. Представителями этой критики, поверхностной, безотчетной, но безпокойной и горячей, ратовавшей за такъ называемый романтизмъ противъ такъ называемого классицизма,—критики, распространявшей много поверхностныхъ и неосновательныхъ мыслей, но и принесшей большую пользу сближеніемъ литературы съ жизнью,—представителями этой критики были Марлинскій и Полевой. Послѣдній около десяти лѣтъ былъ главнымъ органомъ русской критики, черезъ свой журналъ—«Московский Телеграфъ». Потомъ, въ 1839 году, онъ издалъ, подъ именемъ «Очерковъ Русской Литературы», свои важнѣйшія критическія статьи въ двухъ томахъ: въ нихъ онъ показавъ крайніе предѣлы, до которыхъ могла доходить наша такъ называемая романтическая критика—равно какъ и собственная его критическая тенденція. Въ самомъ дѣлѣ, еще до выхода этихъ двухъ томовъ Полевой уже отсталъ отъ самого себя и началъ издавать такія произведенія, которые еще такъ недавно и такъ жестоко преслѣдовала его критика и въ принципѣ, и въ исполненіи. Поэтому на его «Очерки Русской Литературы» можно смотрѣть, какъ на памятникъ, сооруженный авторомъ своей критической славы.—Шевыревъ вышелъ на поприще критики вскорѣ послѣ Полевого. До тридцатыхъ годовъ характеръ и направленіе его критики носили отпечатокъ знакомства съ нѣмецкими эстетиками и вообще съ нѣмецкой литературой. Въ критикѣ его замѣтно было присутствіе чего-то похожаго на принципъ, и потому въ ней меньше было произвольныхъ мнѣній, чѣмъ въ критикѣ Полевого; но со стороны таланта Шевыревъ далеко уступалъ Полевому,—и потому послѣдній имѣлъ большое вліяніе на современную ему литературу, а первый не имѣлъ на нее почти никакого вліянія. Съ тридцатыхъ годовъ критика Шевырева приняла какое-то квази-итальянское направленіе; по крайней мѣрѣ онъ безпрестанно, и кстати, и некстати, толковалъ о Дантѣ, Петраркѣ и Тассѣ, говоря о русскихъ писателяхъ. Это вѣроятно было слѣдствіемъ его пребыванія въ Італіи. Въ эту-то итальянскую эпоху своей критики Шевыревъ во-первыхъ на-

печаталъ знаменитое свое стихотвореніе, названное имъ: «Чтеніе Данта», и начинающееся этимъ бессмертнымъ стихомъ:

Что въ морѣ купаться, то Данта читать!

во-вторыхъ, учинилъ два безцѣнныхъ критическихъ открытія касательно русской литературы: первое сдѣлано имъ по поводу разбора «Трехъ Повѣстей» Н. Павлова, и мы передаемъ его, это открытіе, словами самого изобрѣтателя, Шевырева:

«Жизнь есть какое-то складное бюро, со множествомъ ящичковъ, между которыми есть одинъ глубокий, тайный ящикъ съ пружиной. Всѣ повѣствователи шарятъ въ этомъ бюро, но не всякому известна пружина закрытаго ящика. Въ немъ-то лежатъ тайна повѣсти истинной, повѣсти глубокой. Авторъ повѣстей, мною разбираемыхъ, нашелъ путь къ этому секрету; онъ открылъ въ немъ маленькій уголокъ; но этотъ ящикъ чрезвычайно сложенъ. Въ немъ такъ много пружинокъ и прожигинокъ. Есть надежда, что и ты онъ откроешь со временемъ, послѣ такого прекраснаго начала; но есть святое мѣсто этого ящика, которое надо непременно заранѣе открыть всякому повѣствователю, но которое нашъ авторъ только что вскрылъ слегка, коснувшись одной его поверхности. Въ этомъ ящикѣ лежитъ вещь, сильно дѣйствующая въ нашемъ мірѣ, дежать половина насъ самихъ, а иногда и всѣ мы. Это сердце женское.»

Кто не согласится, что это открытіе очень оригинально?.. Второе открытіе, уже чисто-литературное, еще оригинальнѣе. Разбирая стихотворенія Бенедиктова, Шевыревъ, съ свойственной критической проникательностью, замѣтилъ, что въ русской поэзіи до появленія Бенедиктова не было мысли;—замѣтите: не было мысли въ поэзіи, которой представителями были Державинъ, Фонвизинъ, Крыловъ, Жуковский, Батюшковъ, Пушкинъ и Грибоѣдовъ,—а, по мнѣнію Шевырева, ея представителями были еще и Языковъ, Хомяковъ и tutti quanti... Вотъ его собственные слова: «Это была эпоха изыскаго матеріализма въ поэзіи... Слухъ нашъ дрожалъ отъ какой-то роскоши раздражительныхъ звуковъ... упивался ими, скользилъ по нимъ, иногда не вслушиваясь въ нихъ... Воображеніе наслаждалось картинками, но болѣе чувственными... Иногда только внутреннее чувство, чувство сердечное и особенно чувство грусти неземной, вѣяло чѣмъ-то духовнымъ въ нашей поэзіи... Но матеріализмъ торжествовалъ надъ всѣмъ... Формы убивали духъ... Нѣжные, сладкіе, упоительные звуки оплетали насъ своей невидимой сѣтью...» Итакъ, въ этой поэзіи не доставало мысли: Бенедиктовъ—первый поэтъ, въ поэзіи котораго нѣтъ матеріальности—одна духовность, т. е. проникновеніе мыслью, и потому Шевыревъ, въ восторгѣ отъ своего открытія, воскликнулъ: «Вотъ почему съ особенной радостью встрѣчаю я такого поэта, въ первыхъ пре-

людиахъ котораго доносится мнѣ сквозь матеріальные звуки эта глубокая, тайная, прожитая дума, одна возможная спасительница нашей поэзіи!»

Въ этомъ можно на-слово повѣрить Шевыреву: онъ самъ поэтъ, и ему ли не знать толка въ поэзіи? Потому-то онъ мало того что расхвалилъ Бенедиктова, но и напелъ въ его стихахъ мысль, которой не находилъ даже въ созданіяхъ Пушкина! Въ эту же итальянскую эпоху своей критики Шевыревъ пустился было на изобрѣтеніе русской октавы, по примѣру итальянской; но предпріятіе такъ же точно не удалось, какъ и введеніе гекзаметровъ въ русскую поэзію другимъ извѣстнымъ поэтомъ, критикомъ и профессоромъ. Можетъ-быть октавы потому не восторжествовали, что въ поэтическомъ достоинствѣ нисколько не превосходили помянутые гекзаметры, хотя между тѣми и другими легло чуть не столѣтіе...

Въ первую эпоху своей критической дѣятельности Шевыревъ дѣйствовалъ въ «Московскомъ Вѣстникѣ» Погодина (1827—1830); во вторую—въ «Московскомъ Наблюдателѣ» Андросова (1835—1837). Но онъ не ограничился этими двумя эпохами, и теперь обрѣтается въ третьей, въ которой онъ отступился не только отъ Германіи, но и отъ Италиі, равно какъ и отъ всего Запада. Эта третья эпоха—восточная, славянофильская; ея дѣятельность проявилась въ «Москвитинѣ». Она ознаменовалась многими любопытными и оригинальными открытіями и изобрѣтеніями, такъ что перечесть ихъ всѣ нѣтъ никакой возможности; но лучшимъ изъ нихъ кажется намъ замѣчаніе о Лермонтовѣ, какъ подражателѣ не только Пушкина и Жуковскаго, но даже и Бенедиктова!...

Много было и другихъ критиковъ, изъ которыхъ каждый чѣмъ-нибудь да прославилъ себя: одинъ «душегрѣйкой новѣйшаго унынія»; другой—мыслью, что Пушкинъ не болѣе какъ легкій и пріятный стихотворецъ, мастеръ на мелочи, что герои поэмъ его—бѣсенята, и что изящество сего произведеній есть не болѣе, какъ изящество хорошо-спитатаго моднаго фрака; а Ломоносовымъ-де не налюбоваться «въ сытость» и позднѣйшему потомству, и что Шекспиръ и Байронъ неомовенными руками возлагали возгребія нечистыя и уметы поганыя на алтарь чистыхъ дѣвъ, сирѣчь музъ... ¹⁾ Третій снискалъ себѣ безсмертную славу просто прославленіемъ писателей своего

прихода и бранью на чужихъ; четвертый—похвалою и бранью однимъ и тѣмъ же лицамъ, смотря по обстоятельствамъ и погодѣ. Обо всѣхъ такихъ мы умалчиваемъ. Наша цѣль была поименовать только главнѣйшихъ дѣйствователей на поприщѣ критики въ различные эпохи русской литературы.

Изъ этого краткаго обзора видно, что каждая эпоха русской литературы имѣла свое сознаніе о самой себѣ, выражавшееся въ критикѣ. Но ни одна эпоха не выразила этого сознанія о цѣлой литературѣ въ историческомъ изложеніи ея хода и развитія. Были попытки, но до того ничтожныя, что не стоить и упоминать о нихъ. Впрочемъ такъ называемый «Краткій опытъ исторіи русской литературы» Греча имѣетъ по крайней мѣрѣ достоинство литературнаго адресъ-календаря и справочной книги о времени рожденія, смерти, о служебномъ поприщѣ, чинахъ, орденахъ и времени появленія въ свѣтъ сочиненій значительной части нашихъ писателей. Какъ справочная книга, она очень полезна для современниковъ и будетъ полезна даже для отдаленнѣйшаго потомства, которое узнаетъ изъ нея, что старинные литераторы и поэты были вмѣстѣ и чиновники. Чтѣ же касается до практической и критической стороны этой книги, — смѣшно и говорить о ней. Многіе изъ нашихъ читателей изъявляли намъ свое удивленіе, что мы рѣшились на серьезный и дѣльный разборъ новаго изданія «Учебной Книги Русской Словесности», вѣсто того чтобъ посмѣшить публику забавной рецензіей на эту поистинѣ забавную книгу. Мы очень рады случаю объясниться на этотъ счетъ съ читателями. Во-первыхъ, мы хотѣли быть полезны многочисленному классу учащихся и учащихся «россійской словесности», для которой на русскомъ языкѣ нѣтъ ни одного сколько-нибудь сноснаго руководства. Во-вторыхъ, сочинителя этой невѣроятной книги мы хотѣли лишить всякой возможности утѣшить себя мыслью, что наша статья—брань безъ доказательствъ и что она внушена намъ завистью и недоброжелательствомъ къ автору такого превосходнаго учебника... Безъ этихъ причинъ, которыя конечно гораздо важнѣе для насъ, чѣмъ для нашихъ читателей, —мы никакъ не рѣшились бы съ важностью доказывать, что книга, въ которой все — противорѣчіе, никуда не годится. Поступивъ такъ, мы за одинъ разъ вырвали зло съ корнемъ,—и жалкаго учебника теперь какъ не бывало!... Есть и еще книга, претендующая знакомить своихъ читателей съ исторіей русской литературы. Это — «Руководство къ познанію литера-

¹⁾ Все это факты не только не преувеличенные, но еще ослабленные нами. Еслибъ нужно было, мы представили бы печатныя доказательства, что такимъ слогомъ писалась критика назадъ тому лѣтъ восемнадцать.

туры» Пяксина. Но Пяксинъ даже не означилъ въ заглавіи своей книги—какой литературы хочетъ онъ повѣствовать исторію; зато въ самой книгѣ, рассказавъ кратко исторію литературъ еврейской, индійской, греческой, римской и объяснивъ духъ новыхъ литературъ, классицизмъ и романтизмъ, пространнѣе изложилъ исторію русской литературы. Эта книга — повѣрять ли?—далеко ничтожнѣе книги Греча... Впрочемъ всѣ учебники и ученые сочиненія такого рода ровно никуда не годятся по совершенному отсутствію въ нихъ всякаго начала, которое проникало бы собою всѣ ихъ сужденія и приговоры и давало бы имъ единство. Для Пяксина наприѣръ и Пушкинъ—поэтъ, и Херасковъ—тоже поэтъ, да еще какой!... Есть ли тутъ что нибудь похожее на взглядъ, на образъ мыслей, на мнѣніе, на убѣжденіе, на принципъ? Не такъ мыслить и понимать въ этомъ отношеніи наприѣръ Мерзляковъ. Можно не соглашаться съ его системой и даже считать ее ложной; но нельзя не видѣть въ ней ни самобытнаго мнѣнія, ни послѣдовательности въ доказательствахъ и выводахъ. Каково бы ни было его начало, онъ вѣренъ ему и ни въ чемъ не противорѣчитъ самому себѣ. Признавая великимъ поэтомъ Ломоносова, находя поэтическія достоинства и красоты въ сочиненіяхъ Сумарокова, Хераскова и Петрова,—Мерзляковъ не видѣлъ (потому что не могъ видѣть, оставаясь вѣрнымъ своему началу) въ Пушкинѣ великаго поэта. И потому вы или вовсе отвергнете основное начало критики Мерзлякова и слѣдовательно его выводы, или во всемъ согласитесь съ нимъ. А у этихъ господъ все смѣшано и перемѣшано: въ ихъ книгѣ мирно уживаются самыя разнородныя, противорѣчащія понятія,—и то, что дважды-два—четыре, и то, что дважды-два—пять съ половиной...

Тѣмъ важнѣе теперь появленіе всякаго опыта исторіи русской литературы, хоть сколько-нибудь отличающагося самостоятельнымъ взглядомъ на предметъ и послѣдовательностью въ выводахъ. Но опытъ Никитенко далеко не принадлежитъ къ числу какихъ-нибудь и сколько-нибудь сносныхъ или порядочныхъ опытовъ: онъ обѣщаетъ гораздо больше. Говоримъ, обѣщаетъ, потому что «Опытъ» пока состоитъ еще только въ одномъ введеніи; но это введеніе тѣмъ не менѣе даетъ надѣяться читателю найти въ исторіи русской литературы Никитенко сочиненіе прекрасное и по взгляду на предметъ, и по изложенію содержания,—сочиненіе, болѣе чѣмъ прекрасное, сочиненіе дѣльное. Но пока оно еще не въ рукахъ публики, пока мы еще не

прочли его, поговоримъ пока не о будущемъ, а о настоящемъ, поговоримъ о «Введеніи». Тѣмъ болѣе, что, обобщая хорошую исторію русской литературы, оно въ то же время и само по себѣ, какъ отдѣльное произведеніе, заслуживаетъ большого вниманія. Содержаніе этого «Введенія» само по себѣ можетъ служить предметомъ особеннаго сочиненія, и потому, пока не явятся въ свѣтъ остальные части труда Никитенко, — мы имѣемъ право рассмотреть его «Введеніе», какъ само по себѣ полное и оконченное сочиненіе.

Вотъ предметы, которые рассматриваются во «Введеніи» къ исторіи русской литературы: 1) идея и значеніе исторіи литературы; 2) методъ изученія исторіи литературы; 3) источники исторіи литературы; 4) идея и значеніе исторіи литературы русской; 5) раздѣленіе исторіи русской литературы на періоды. Этотъ простой перечень главъ, изъ которыхъ состоитъ «Введеніе», много говоритъ въ пользу сочиненія, свидѣтельствуя, что авторъ началъ съ начала и принялся за тѣ вопросы, рѣшеніе которыхъ должно быть положено во главу, краеугольнымъ камнемъ исторіи русской литературы, и что въ послѣдующихъ частяхъ труда его изложеніе фактовъ будетъ озарено свѣтомъ мысли. Мы сейчасъ увидимъ, какъ счастливо успѣлъ авторъ избѣжать двухъ крайностей, которыя для писателей бывають Сциллой и Харибдой—успѣлъ избѣжать односторонняго идеализма, гордо отвергающаго изученіе фактовъ, и односторонняго эмпиризма, который дорожитъ только мертвой буквой и, набирая фактъ на фактъ, подавляется безполезнымъ избыткомъ собственныхъ приобретений и завоеваній. Авторъ «Введенія» начинаетъ прямымъ нападеніемъ на послѣднюю крайность...

Въ мысли, въ идеѣ видитъ авторъ таинственную психею народной жизни, которая составляетъ содержаніе исторіи; а преимущественно откровеніе этой мысли, этой идеи видитъ онъ въ словѣ. «Человѣкъ,—говоритъ онъ,—есть органъ мысли; это верховнѣйшее изъ его преимуществъ, долгъ его, злополучіе и благо». По нашему мнѣнію, думать такъ, значить — думать справедливо объ исторіи. «Несмотря однакомъ (говоритъ авторъ) ни на очевидность успѣховъ мыслительной дѣятельности, ни на требованіе вѣка, многіе писатели не совсѣмъ еще чуждаются прежней методы и воззрѣній исторіи. Направленіе, характеръ и мысли народной, выраженные въ словѣ, судьба науки и литературы у нихъ все еще составляетъ одно какое-то дополненіе къ жизни внѣшней. Они, кажется, до

сихъ поръ не довольно вникли въ тѣсную органическую связь глубокихъ внутреннихъ явленій этого рода со внѣшними; ихъ не слѣдуетъ разлучать тамъ, гдѣ дѣло идетъ о полнотѣ знанія. Такое положеніе науки дѣлаетъ необходимымъ специализированіе главнѣйшихъ элементовъ исторіи, и мы принуждены изъ исторіи литературы составлять особую науку, тогда какъ настоящее ея мѣсто въ общей великой наукѣ, обнимающей жизнь и судьбу народа въ цѣлости и нераздѣльно». Вотъ истинный взглядъ на исторію литературы! Исторія народа есть исторія развитія мысли, выраженной и непосредственной, и сознательной стороной жизни народа, а мысль народа преимущественно выражается въ его литературѣ, потому что обнаруживается въ ней прамѣ и сознательнѣе. Правда, литература не есть исключительное и полное выраженіе умственной жизни народа, которая еще высказывается въ искусствѣ въ обширномъ значеніи этого слова. Громадные храмы Индіи, высѣченные изъ скалъ, построенные изъ горъ, стоятъ «Махабгараты» или «Рамаяны»; изящные памятники древней греческой архитектуры и скульптуры составляютъ какъ-бы одно съ «Иліадой», «Одиссеей» и трагедіями; огромныя римскія зданія, ознаменованныя печатью гражданского и государственнаго величія, не менѣе повѣствованій Тита Ливія и Тацита, не менѣе Юстинианова кодекса свидѣлствуютъ о бытіи народа, который былъ державнымъ владыкой міра, властелиномъ царей и народовъ и который, даже по смерти своей, внесъ преобладающій элементъ своей жизни въ жизнь новѣйшихъ народовъ Европы, ознакомивъ ихъ съ лучшими идеями о правѣ. Въ готическихъ соборахъ, картинахъ и музыкѣ мастеровъ среднихъ вѣковъ жизнь этой по преимуществу религіозно-христіанско-католической эпохи отразилась едва ли еще не полнѣе и роскошнѣе, нежели въ поэмѣ Данте и романахъ менестрелей. И теперь, въ наше время, жизнь народовъ выражается не въ одной литературѣ, а только преимущественно въ литературѣ. Это впрочемъ было и всегда, за исключеніемъ развѣ среднихъ вѣковъ. Кромѣ того, что литература объемлетъ собою несравненно обширнѣйшій кругъ народнаго созданія, нежели всякое другое искусство, — ея памятники прочнѣе, несокрушимѣе, вѣковѣчнѣе, потому что она, по сущности своей, духовнѣе другихъ искусствъ, менѣе зависитъ отъ матеріальныхъ средствъ.

Но здѣсь есть недоразумѣніе: мы назвали литературу искусствомъ и противопоставили ее другимъ искусствамъ. Это не совсѣмъ опредѣлительно, и на этотъ счетъ надо

яснѣе выразиться: надо начать съ начала, надо опредѣлить литературу, съ точностью указать, что входитъ въ ея кругъ, съ чѣмъ она соприкасается, и что должно исключать изъ ея круга. Авторъ «Опыта», какъ и должно, не миновалъ этого вопроса, но разсмотрѣлъ и по своему рѣшилъ его. Онъ начинаетъ разсматривать его съ отношеній между частнымъ и общимъ, національнымъ и общечеловѣческимъ и въ основу сокровенной внутренней жизни литературы полагаетъ общія всему человѣчеству идеи разума...

Во всемъ, что онъ говоритъ по этому поводу, много истины, и все очень близко къ истинѣ, многое выражено необыкновенно удачно и опредѣленно; но намъ кажется, что тутъ вопросъ рѣшенъ не вполне удовлетворительно. Прежде всего обратимъ вниманіе на то, что Никитенко противопоставляетъ науку литературѣ. Это не совсѣмъ вѣрно съ его же собственной точки зрѣнія на литературу, потому что подъ его опредѣленіе литературы подходит и наука, какъ «мысль человѣческая, возникающая у народа вмѣстѣ съ нимъ изъ его духа, жизни, историческихъ и мѣстныхъ обстоятельствъ и посредствомъ слова выражающая свое народно-человѣческое развитіе подъ совокупнымъ вліяніемъ верховныхъ и всеобщихъ идей истиннаго и изящнаго». Повторяемъ: это опредѣленіе такъ же идетъ и къ наукѣ, какъ и къ литературѣ, и по этому самому не выражаетъ вѣрно ни той, ни другой. Содержаніе науки и литературы одно и то же — истина; слѣдовательно, вся разница между ними состоитъ только въ формѣ, въ методѣ, въ пути, въ способѣ, которыми каждая изъ нихъ выражаетъ истину. Такъ какъ у обѣихъ одно и то же орудіе выраженія — слово, то и отдѣлать ихъ другъ отъ друга можно только на существенномъ отличіи. Литература, въ обширномъ значеніи, обнимаетъ собою и науку, и потому говорится: литература исторіи, литература химіи, литература медицины и т. д. Такимъ образомъ въ этомъ смыслѣ сама наука относится къ литературѣ, какъ видъ къ роду, какъ часть къ цѣлому. Противопоставивъ литературѣ науку, авторъ хотѣлъ яснѣе и точнѣе опредѣлить первую черезъ ея противоположность. Цѣль хорошая и средство вѣрное; но тутъ есть ошибка, которая парализировала средство и не допустила вполне достичь цѣли: авторъ упустилъ изъ вида искусство, которое и слѣдовало противопоставить литературѣ, чтобы точно и вѣрно опредѣлить послѣднюю. Но можетъ быть мы сами ошибаемся, и авторъ подъ литературой разумѣетъ именно искусство. Въ такомъ случаѣ его ошибка дѣлается

еще большей. Во-первыхъ, подъ его опредѣленіе литературы искусство никакъ не подойдетъ, потому что въ этомъ опредѣленіи нѣтъ ни слова о творчествѣ; во-вторыхъ, литература состоитъ не изъ однихъ только произведеній искусства. Говоря объ искусствѣ по поводу литературы, должно разумѣть искусство словесное, т. е. поэзію. Опредѣлить поэзію — значитъ опредѣлить искусство вообще, т. е. столько же опредѣлить и архитектуру, и скульптуру, и живопись, и музыку, сколько и поэзію, потому что послѣдняя отъ первыхъ разнится не сущностью, а способомъ выраженія. Правда, этотъ способъ, т. е. слово, дѣлаетъ ее выше всѣхъ другихъ искусствъ и производитъ цѣлый кругъ эстетическихъ законовъ, только ей одной свойственныхъ и всякому другому искусству чужихъ. Но это показываетъ только, что теорія поэзіи существенно раздѣляется на двѣ части—общую и прикладную; въ первой объясняется значеніе искусства вообще и излагаются законы, равно общіе всѣмъ искусствамъ; а во второй поэзія рассматривается какъ особенное искусство, имѣющее свои, только ей свойственные законы. Вотъ это-то словесное или литературное искусство, т. е. поэзія, и должно противопоставляться наукѣ, для взаимнаго опредѣленія той и другой, какъ двухъ самостоятельныхъ областей литературы. Въ такомъ случаѣ ихъ различіе очевидно: наука—область спекулятивнаго, диалектическаго развитія истины, какъ мысли прямо, безъ всякаго посредства образовъ. Главный дѣятель науки—умъ, и всего менѣе фантазія. Искусство, слѣдовательно и поэзія, есть, напротивъ, непосредственно е развитіе истины, въ которомъ мысль высказывается черезъ образъ и въ которомъ главный дѣятель есть фантазія. Наука, разлагающей дѣятельностью разсудка, отвлекаетъ общія идеи отъ живыхъ явленій. Искусство, творческой дѣятельностью фантазіи, общія идеи являетъ живыми образами. Наука мертва для непосвященнаго въ ея таинства; искусство оказываетъ свое вліяніе иногда надъ самыми грубыми и невѣжественными людьми. Наука требуетъ всей жизни человѣка, всего человѣка; искусство болѣе или менѣе дается почти всякому. Наука дѣйствуетъ мыслью прямо на умъ; искусство дѣйствуетъ непосредственно на чувство человѣка. Это два полюса совершенно противоположные. Только въ исторіи наука и искусство соединяются вмѣстѣ для достиженія одной и той же цѣли, потому что въ наше время исторія есть столько же ученое, по внутреннему содержанию, сколько художественное, по изложенію, произведеніе. Доселѣ мы говорили о наукѣ

спекулятивной, которая весь міръ явленій переводитъ на языкъ мысли, идею, и въ которой бытіе является единымъ изъ самаго себя вѣчно развивающимся идеальнымъ началомъ: другая наука—наука опытная, эмпирическая терпеливымъ и постояннымъ трудомъ медленно, шагъ за шагомъ, приобретающая и приготовляющая поприще для завоеваній мысли,—эта наука тоже противоположна искусству. Она находитъ, разлагаетъ, сравниваетъ, приводитъ въ порядокъ безконечный міръ фактовъ, классифицируетъ ихъ. Она тоже не для толпы, а для избранныхъ, тоже требуетъ всей жизни человѣка, всего человѣка, также имѣетъ своихъ героевъ и мучениковъ.

Итакъ, вотъ первое различіе науки отъ искусства въ отношеніи къ обществу; тайны ея, т. е. процессъ ея дѣятельности, доступны только для посвященныхъ, для тружениковъ, но страсти обрѣкшихъ себя ея служенію,—слѣдовательно для самой малѣйшей части общества; результаты же науки доступны уже для большей части общества, т. е. не для однихъ ученыхъ, но и для дилетантовъ. Искусство, напротивъ, по его доступности, существуетъ для всѣхъ, хотя и не въ равной мѣрѣ, и не для всѣхъ одинаково.

Искусство существуетъ даже для дикихъ народовъ. Пѣсню дикарь торжествуетъ свою побѣду надъ врагомъ; пѣсню возбуждаетъ онъ въ себѣ воинственный пылъ, готовясь на битву; въ пѣснѣ изливаются онъ и горе, и радость. Но неизмѣримое пространство раздѣляетъ народную пѣсню отъ художественной поэмы или драмы. Въ образованныхъ обществахъ (у которыхъ однихъ можетъ быть художественная поэзія) художественныя произведенія имѣютъ обширный кругъ читателей, а драматическая поэзія, чрезъ театръ, дѣлается доступной даже безграмотнымъ людямъ. Однакожъ изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобъ художественныя произведенія были не только доступны всему обществу, но и вполне доступны только его меньшей части. Для полнаго, истиннаго постиженія искусства, а слѣдовательно и полнаго, истиннаго наслажденія имъ необходимо основательное изученіе, развитіе;—эстетическое чувство, получаемое человекомъ отъ природы, должно возвыситься на степень эстетическаго вкуса, приобретаемаго изученіемъ и развитіемъ. А это возможно только для тѣхъ, кто на искусство смотритъ не какъ на пріятное препровожденіе времени, веселое занятіе отъ нечего-дѣлать или легкое средство отъ скуки, но кто видитъ въ искусствѣ серьезное дѣло, требующее размышленія, вызывающее на мысль, развивающее и умъ, и сердце. Искусство

должно имѣть не однихъ только диллетантовъ, но и жрецовъ, героевъ и мучениковъ, которые, не производя ничего сами, тѣмъ не менѣе занимаются имъ какъ дѣломъ своей жизни, какъ своимъ назначеніемъ, горячо берутъ къ сердцу его успѣхи, его ослабленіе, его упадокъ; изучая его сами, объясняютъ его другимъ. Это та же наука, та же ученость, потому что для истиннаго постиженія искусства, для истиннаго наслажденія имъ нужно много и много всегда и всегда учиться, и притомъ учиться многому такому, что повидимому находится совершенно внѣ сферы искусства. Сами диллетанты, эти любезники искусства, ищущіе въ немъ только наслажденія и развлеченія, сами диллетанты раздѣляются на множество разрядовъ по степени ихъ страсти или пристрастія къ искусству. Для толпы же собственно существуютъ только результаты искусства, и то безъ ихъ вѣдома и сознанія: само искусство вовсе не существуетъ для нея такъ же, какъ и наука. Толпа никогда не понимаетъ высокихъ произведеній искусства, и они рѣдко ей нравятся, потому что, какъ мы сказали выше, искусство требуетъ изученія, требуетъ особеннаго посвященія въ его таинства. А между тѣмъ необходимо, чтобы и у толпы было свое искусство, своя литература. И толпа имѣетъ то и другое въ такъ называемой беллетристикѣ, за неимѣніемъ другого, болѣе опредѣлительнаго термина. Дѣятели беллетристики—таланты, иногда большіе, всего чаще малые. Беллетристика (*belles-lettres*) есть ежедневная пища общества, которая пережѣивается ежедневно, потому что одинъ и тѣ же блюда скоро надоѣдаютъ. Беллетристика относится къ искусству, какъ гравюры и литографіи относятся къ картинамъ, какъ статузки и фигурки, бронзовые, мраморныя и гипсовыя,—къ вѣковѣчнымъ произведеніямъ скульптуры, къ статуямъ Венеры Медичейской и Аполлона Бельведерскаго. Какъ бы ни была хороша гравюра или литографія, хотя бы это была мастерская копія съ мастерской картины: она—не болѣе, какъ украшеніе вашей комнаты,—украшеніе, которое скоро наскучаетъ, и вы спѣшите замѣнить ее другой, какъ спѣшите пережѣнить мебель, обои вашихъ комнатъ, занавѣски вашихъ оконъ, сообразуясь съ требованіями моды. Но если вы владѣете картиной великаго мастера и если умѣете понимать ее,—она никогда не наскучитъ вамъ, вы никогда не выучите ее наизусть, но всегда будете открывать въ ней новыя красоты, прежде незамѣченныя вами; вы повѣсите ее не для украшенія комнаты, потому что комната, какъ бы ни была великолѣпна, такъ же не стоитъ

этой картины, такъ же недостойна украшаться ею, какъ не стоитъ она человека. И вы для этой картины выберете не лучшую, не великолѣпнѣйшую, не роскошнѣйшую, а удобнѣйшую, хотя бы самую простую комнату вашего дома,—комнату, которая должна быть удобно для картины освѣщена и въ которой не должно быть никакихъ игрушекъ. Изъ сказаннаго видно, въ чемъ состоятъ существенная разница между художественными и беллетристическими произведеніями. Вѣдь и гравюра, и статузка принадлежатъ къ области изящнаго, и въ нихъ есть и творчество, и художественность; но въ какой мѣрѣ—вотъ вопросъ! Мало этого: всѣ эти игрушки, всѣ домашнія принадлежности—лампы, жирандолы, шпандалы, чернильницы, прессъ-папье, сигарочницы, мебель, и пр., и пр.,—всѣ эти вещи теперь дѣлаются съ такимъ вкусомъ, такимъ изяществомъ, что тѣ, которые изобрѣтаютъ ихъ форму, болѣе имѣютъ право называться артистами, нежели мастеровыми. Но естественно, что гравюры и статузки стоятъ еще на высшей степени художественности, нежели домашняя утварь, и болѣе, нежели она, принадлежатъ къ міру изящнаго. И такъ, гдѣ же, въ чемъ же та рѣзкая черта, которая отдѣляетъ искусство отъ беллетристики?—Рѣзкой черты нѣтъ и быть не можетъ, такъ же, какъ и въ психологическомъ мірѣ нѣтъ рѣзкой черты между гениальностью и бездарностью, умомъ и глупостью, красотой и безобразіемъ, потому что между всѣми этими крайностями есть посредствующія звенья, переходы и отгѣнки незамѣтные и невидимые. Рѣзкой черты нѣтъ, но черта есть. Истинно-художественное произведеніе бессмертно; оно составляетъ вѣчный капиталъ литературы. Оно при своемъ появленіи иногда можетъ быть даже не узано и не признано современниками, не только толпой, но и учеными; однакъ же оно возьметъ свое, и будущія поколѣнія преклонятся передъ нимъ, вдохновенныя вѣющимъ въ немъ духомъ новой жизни. Беллетристическія произведенія, напротивъ, могутъ добиваться только развѣ долговѣчности, но никогда не достигнуть бессмертія; родятся они тысячами, — тысячами и умираютъ; вчера еще побѣдоносныя, владѣвшія вниманіемъ свѣта, восхищавшія и радовавшія его, веселыя, гордыя, свѣжія, яркія, блестящія,—сегодня они уже блекнутъ, вянутъ, а завтра ихъ нѣтъ. Всего болѣе и всего чаще они имѣютъ огромный успѣхъ при своемъ появленіи; толпа тотчасъ же провозглашаетъ ихъ гениальными произведеніями, кромѣ ихъ не хочетъ ничего знать, ничего читать, ни о чемъ слышать, ни о чемъ говорить; но время идетъ, и колоссаль-

ное, великое произведеніе умираетъ вмагѣ, и неблагодарная толпа забываетъ даже, какъ она превозносила его, и нагло отпирается даже отъ знакомства съ нимъ, какъ отпираются люди отъ знакомства съ разорившимся богачемъ, у ногъ котораго недавно ползали они...

Но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобъ беллетристическія эфемериды были ничтожными явленіями и не заслуживали вниманія и уваженія людей дѣльных. Нѣтъ, онѣ необходимы, онѣ имѣютъ великое значеніе, великій смыслъ. Само искусство такъ же не замѣнить ихъ, какъ и онѣ не замѣняютъ искусства; онѣ необходимы и благодѣтельны, какъ и художественныя произведенія. Онѣ—искусство толпы; безъ нихъ толпа была бы лишена благодѣній искусства. Сверхъ того въ беллетристику выражаются потребности настоящего, дума и вопросъ дня, которыхъ иногда не предчувствовала ни наука, ни искусство, ни самъ авторъ подобнаго беллетристическаго произведенія. Слѣдовательно, подобныя произведенія такъ же какъ и наука, и искусство, бываютъ живыми откровеніями дѣйствительности, живой почвой истины и зерномъ будущаго.

Итакъ, мы нашли уже три области литературы: науку, искусство (поэзію) и беллетристику. Но это еще не все: остается еще область, неназванная нами, но не менѣе великая и важная, особенно въ наше время, въ которое она такъ развилась и усилилась. Для этой области нѣтъ названія на русскомъ языкѣ, и потому мы назовемъ ее такъ, какъ она называется тамъ, гдѣ родилась, гдѣ ея владычество и сила—прессой (*la presse*). Въ эту область литературы входятъ журналистика, брошюра, словомъ—все, что легко, изычно и доступно для всѣхъ и cadaго, для общества, для толпы, что популяризуешь, обобщаетъ идеи, знакомить съ результатами науки и искусства и распространяетъ энциклопедическое образованіе, превращаетъ интересы и вопросы, самые отвлеченные и глубокіе, въ интересы и вопросы жизни, для всѣхъ и cadaго равно близкіе и важные, словомъ, сближаетъ науку и искусство съ жизнью.

Теперь взглянемъ на взаимныя отношенія этихъ четырехъ областей литературы, чтобъ увидѣть, какъ и въ какой мѣрѣ всѣ онѣ могутъ служить содержаніемъ исторіи литературы.

Наука имѣетъ свою исторію, искусство также; но искусство много, и каждое изъ нихъ, независимо отъ другихъ, можетъ имѣть свою исторію, слѣдовательно и словесное или литературное искусство—поэзія. Но исторія поэзіи безъ связи съ исторіей беллетристики и прессы вообще была бы не-

полна и односторонна; слѣдовательно она такъ и просится сама въ исторію литературы, какъ одна изъ главнѣйшихъ и существеннѣйшихъ частей ея. Наука, несмотря на всю свою противоположность поэзіи, не можетъ не дѣйствовать на нее, ни не принимать на себя ея вліянія. Мы не будемъ говорить уже о томъ, какъ дѣйствуетъ философія на поэзію и поэзія на философію: это завлекло бы слишкомъ далеко; скажемъ только, что никакъ невозможно отрицать хотя не прямого и невидимаго вліянія на искусство даже положительныхъ наукъ, какова на примѣръ математика. Новый способъ рѣшать теорему конечно не можетъ имѣть никакого вліянія на искусство; но рѣшеніе вопроса о круглотѣ земли и ея обращеніи вокругъ неподвижнаго въ отношеніи къ ней солнца, о движеніи всей мировой системы,—рѣшеніе такихъ вопросовъ, развивая умы, сдѣлавъ ихъ смѣлѣе и полѣтистѣе, могло ли не имѣть вліянія на фантазію поэта и его произведенія? Все живое въ связи между собою; наука и искусство суть стороны бытія, которое едино и цѣло: могутъ ли стороны одного предмета быть чужды другъ другу? И такъ, исторія науки должна входить въ исторію литературы, по крайней мѣрѣ въ той мѣрѣ, въ какой наука, по своимъ результатамъ, имѣла вліяніе на искусство. Вліяніе поэзіи на беллетристику очевидно: беллетристика есть также поэзія, только низшая, менѣе строгая и чистая,—то же золото, только низшей пробы, только смѣшанное съ металлами низшаго достоинства. Поэзія даетъ беллетристикѣ жизнь и направленіе, и потому иногда одно высокое художественное произведеніе порождаетъ множество болѣе или менѣе прекрасныхъ беллетристическихъ явленій; одинъ гоній даетъ полетъ множеству талантовъ. Но и беллетристика съ своей стороны имѣетъ вліяніе на искусство: она переводитъ на языкъ толпы его идеи и даже дѣлаетъ толпѣ доступными художественныя произведенія, подражая имъ. Сверхъ того беллетристика имѣетъ свои минуты откровенія, указывая на живыя потребности общества, на непредвидѣнные вопросы дня, и не даетъ искусству изолироваться отъ жизни, отъ общества и принять характеръ педантическій и аскетическій. Что же касается до прессы,—она всему служитъ, она равно необходима и наукѣ, и искусству, и беллетристикѣ, и обществу.

И такъ, содержаніе исторіи литературы составляютъ: исторія поэзіи, беллетристики, прессы и отчасти науки. Въ этомъ случаѣ мы нисколько не разнимся съ Никитенко во взглядѣ на предметъ; но намъ кажется, что онъ не довольно опредѣлительно выра-

зился въ рѣшеніи этого вопроса. Вотъ почти единственное мѣсто во всемъ «Введеніи», которое мы могли не оспаривать, потому что въ сущности мы согласны съ нимъ, но противъ котораго мы нашли сказать что-нибудь. Почти во всемъ остальномъ мы

вополнѣ согласны съ идеями автора, такъ прекрасно вездѣ изложенными. Мы могли бы прослѣдить ихъ, чтобы представить содержаніе всей книги Никитенко, но думаемъ, что для читателей будетъ пріятнѣе непосредственно познакомиться съ этою книгою...

СЛАВЯНСКІЙ СБОРНИКЪ.

Н. В. Савельева-Ростиславича. Спб. 1845.

Трепещите и кланяйтесь, читатели! Вы готовитесь имѣть дѣло съ книгой, которая—бездна премудрости, океанъ учености... Вообразите: однихъ примѣчаній полторы тысячи!.. Предметъ книги самый ученый—славянскій міръ, иначе словяница или словенщина... Цѣль книги—возстановленіе русской народности, будто бы съѣденной врагами нашими, нѣмцами; возжелѣнное возстановленіе это торжественно совершается книгой черезъ рѣшеніе вопроса, что варяго-русы были не нѣмцы, а славяне, — чистые, породистые славяне, безъ всякой нѣмецкой или другой какой еретической примѣси. Средства книги—страшная эрудиція, неслышанная начитанность. Не знаемъ, какъ вамъ это покажется, но что касается до насъ, мы нисколько не испугались этой книги. Ученость—вещь почтенная, и мы сочли бы варваромъ, готтентотомъ всякаго, кто безъ уваженія сталъ бы смотрѣть на ученость; но ученость учености рознь: есть ученость истинная, свѣтлая, плодотворная и благотворная, и есть ученость ложная, мрачная, безплодная, хотя и работающая. Черезъ ученость люди доискиваются истины: черезъ ученость доискивался истины Фаустъ, тревожимый внутренними вопросами, мучимый страшными сомнѣніями, жаждавшій обнять, какъ друга, всю природу, стремившійся добратся до начала всѣхъ началъ, до источника жизни и свѣта, и безтрепетно пускавшійся въ непредѣльный и невещественный міръ матерей—первородныхъ, чистыхъ идей. Но черезъ ученость же добивался истины и Вагнеръ, человекъ узко-лобый, ограниченный, слабоумный, сухой, безъ фантазіи, безъ сердца, безъ огня душевнаго, прототипъ педанта, представитель всѣхъ возможныхъ Тредьяковскихъ, изобрѣтателей русскихъ гекзаметровъ на греческій ладъ и русскихъ октавъ на итальянскій манеръ... Къ чему ни прикоснется Вагнеръ—все изсыхаетъ и гнѣетъ подъ его мертвой рукой: цвѣты теряютъ свои краски и благоуханіе, красота превращается въ мертвый аппаратъ, нравственность стано-

вится скучнымъ жеманствомъ, истина—пошлой сентенціей... Глядя на Вагнера, особенно слушая его, чувствуешь невольное отвращеніе къ наукѣ и къ учености: такъ противѣтъ въ глазахъ вашихъ красивый, благоухающій, вкусный и сочный плодъ, если по немъ проползетъ отвратительный слизнякъ...

Вагнеровъ много, и они раздѣляются и подраздѣляются на множество родовъ и видовъ. Мы имѣемъ теперь въ виду только одинъ родъ этихъ, впрочемъ очень любопытныхъ, людей. Сохраняя общіе родовые признаки всѣхъ Вагнеровъ, т. е. ограниченность, слабоуміе, сухость, пошлость, задорливость и фанатизмъ,—Вагнеръ, о которомъ мы хотимъ говорить въ общемъ типическомъ смыслѣ, не примѣняя ни къ кому въ особенности его характера,—нашъ Вагнеръ ко всѣмъ этимъ прекраснымъ качествамъ присовокупляетъ еще ипохондрическую способность впадать въ манію какой-нибудь нелѣпой мысли, какого-нибудь дикаго убѣжденія. Избравъ предметомъ своихъ занятій, напримѣръ, исторію, онъ видитъ въ исторіи совсѣмъ не исторію, а средство къ записи и оправданію чудовищныхъ идей. Во всѣхъ другихъ отношеніяхъ существо доброе и нисколько не опасное,—онъ дѣлается разъяреннымъ, когда онъ говоритъ или пишетъ о своей завѣтной идеѣ, на которой помѣшанъ. Всѣ противники этой идеи—личные враги Вагнера, хотя бы они жили за сто или за тысячу лѣтъ до его рожденія; всѣ они, мертвые и живые, по его мнѣнію, люди слабоумные, глупые, низкіе, злые, презрѣнные, способные на всякое дурное дѣло. Всѣ ея защитники и послѣдователи, мертвые и живые, по его мнѣнію, люди умные, гениальные, добродѣтельные, чуть не праведные. Идея его—истинная и непреложная: онъ ее доказалъ, утвердилъ, сдѣлалъ яснѣе солнца,—и только люди, ослѣпленные невежествомъ или злобой, могутъ не видѣть этого. Говоря о своей идеѣ, какъ объ аксіомѣ, принятой всѣмъ міромъ, за исключеніемъ

нѣсколькихъ невѣждъ и злодѣевъ (хотя бы въ самомъ-то дѣлѣ, кромѣ самого Вагнера и его пріятелей, или никто и знать не хочетъ ея, или всѣ смѣются надъ нею, какъ надъ вздоромъ), — онъ самъ о себѣ говорить какъ о великомъ человѣкѣ, великомъ ученомъ, великомъ гениі и, въ подтвержденіе этого, не краснѣя, вставляетъ въ свою книгу похвалы самому себѣ, полученные имъ отъ своихъ пріятелей, такихъ же Вагнеровъ, какъ и самъ онъ, и, въ благодарность, съ своей стороны также превозносить ихъ до седьмого неба. Вѣднѣй человѣкъ, жалкій человѣкъ! Хуже всего въ немъ то, что онъ отъ всей души считаетъ себя великимъ ученымъ. Въ самомъ дѣлѣ, онъ усердно занимается своимъ предметомъ, много прочелъ и перечелъ, знаетъ бездну фактовъ, — словомъ, по всѣмъ правамъ принадлежитъ къ числу самыхъ остервенѣлыхъ книгоѣдовъ. Но, несмотря на то, онъ такъ-же мало имѣетъ право претендовать на титулъ ученаго, какъ и на званіе умнаго человѣка. Это не потому только, что Вагнеръ ограниченъ и, какъ говорится, недалекъ и пороха не выдумаетъ: и ограниченные люди могутъ быть учеными (эмпирически и фактически) и своими посильными трудами, очищая старые факты и натываясь на новые, приносить пользу наукѣ — но потому, что Вагнеръ, о которомъ мы говоримъ, въ наукѣ видитъ не науку, а свою мысль и свое самолюбіе. Онъ принимается за науку уже съ готовой мыслью, какъ на лошадь, зная впередъ, куда привезетъ она его. Мы этимъ не хотимъ сказать, чтобъ нельзя было приступить къ наукѣ изъ желанія оправдать ею свою задушевную мысль, въ которой человѣкъ убѣжденъ по чувству, предчувствію, а ргіогі, и которой онъ хочетъ, путемъ науки, дать дѣйствительное, реальное существованіе. Нѣтъ, такъ приступалъ къ наукѣ не одинъ великій человѣкъ, и не безъ успѣха; но для этого нужно прежде всего, чтобъ задушевная, завѣтная, пророческая мысль родилась въ благодатной натурѣ, въ свѣтломъ умѣ, и чтобъ она носила въ себѣ зерно разумности; потомъ необходимо, чтобъ приступающій такимъ образомъ къ наукѣ, для оправданія своей мысли въ собственныхъ глазахъ и глазахъ всего міра, — вошелъ въ святилище науки съ облаженными и чистыми ногами, не заноса въ него сора и пыли заранѣе принятыхъ на вѣру убѣжденій. Онъ долженъ на все время изслѣдованія отречься отъ всякаго пристрастія въ пользу своей идеи, долженъ быть готовъ дойти и до убивающаго ее результата. Человѣкъ, который посвящаетъ себя наукѣ, не только

можетъ, долженъ быть живымъ человѣкомъ въ тѣлѣ, съ кровью, съ сердцемъ, съ любовью; но у науки не должно быть тѣла, крови и сердца: она — духъ безтѣлесный, чисто отвлеченный разумъ, безъ крови и сердца, безъ страстей и пристрастій, холодный, строгій, суровый и безопадный. У нея есть любовь, но своя особенная, ей только свойственная, духовная, идеальная любовь къ предмету безплотному, отвлеченному — къ истинѣ, — не къ той или вотъ этой истинѣ, заранѣе извѣстной, а къ такой, какая сама-собою явится результатомъ свободнаго изслѣдованія. Въ этомъ смыслѣ типъ истиннаго ученаго — математикъ, который, ища неизвѣстной величины, нисколько не заботится, какая именно будетъ эта величина, и поправится она ему, или нѣтъ: для него всѣ величины равно хороши, и онъ добивается именно той, которая необходимо должна быть результатомъ рѣшаемой имъ задачи. У кого есть любимая мысль и кто такимъ образомъ оправдываетъ ее черезъ науку, тотъ вполне заслуживаетъ высокаго и благороднаго титула ученаго; равнымъ образомъ какъ и тотъ, кто умѣетъ отказаться отъ любимого убѣжденія, если увидитъ, что оно оказалось, чрезъ ученое изслѣдованіе, предубѣжденіемъ или заблужденіемъ. Не таковы Вагнеры, о которыхъ мы говоримъ: они обращаются съ наукой какъ съ лошадью, которую заставляютъ насильно везти себя, куда имъ нужно или куда имъ угодно. Любимыя мысли ихъ всегда внѣ науки и ея интересовъ. Устремлять ли они свое исключительное вниманіе на примѣръ на русскую исторію, — не думайте, чтобъ ихъ цѣль была разработать ея матеріалы, разъяснить ея темныя факты; или изложить въ стройномъ повѣствованіи ея событія. Нѣтъ, подобные труды и задачи они охотно предоставляютъ другимъ, а сами занимаются вопросами, которые столько же легки для ученой болтовни, сколько пусты въ своей сущности. Имъ, видите ли, нужно непременно узнать, кто были варяго-русссы. Зачѣмъ? Для окончательнаго рѣшенія перваго вопроса русской исторіи, какова бы ни была степень его важности? — О, совѣтъ нѣтъ! Имъ это нужно для изъясненія ихъ отвращенія къ нѣмцамъ и любви къ славянскому міру. Какъ надо рѣшить вопросъ — это они знаютъ напередъ. Еще не начиная заниматься русской исторіей, они уже знали, что варяго-русссы — чистые славяне, и что Шленгеръ съ умысла «вралъ», называя ихъ норманами, увлекаемый рейнскимъ патріотизмомъ. Читая этихъ господъ, такъ и думаешь, что читаешь писаніе какого-нибудь бородачаго учителя какого-нибудь старообрядческаго толка: та же стрѣлцкая ненависть ко всему

иноземному, та же негѣлая логика, то же фанатическое изступленіе въ дикихъ убѣжденіяхъ...

Но это Вагнеровское направленіе становится еще диче, когда къ нему примѣшивается охота сочинять историческія гипотезы и догадки, которыя выдаются за непреложныя истины на основаніи натянутыхъ словопроизводствъ, сближеній, цитатъ и такъ называемой «исторической логики». Ни одна область науки такъ не богата чудовищными негѣпостями, какъ область филологій и исторіи. Происхожденіе, начало и сродство языковъ и народовъ представляютъ самое обширное поле для произвольныхъ толкованій, негѣпыхъ догадокъ и дикихъ заключеній. Первоначальная исторія всѣхъ народовъ покрыта глубокимъ и непроницаемымъ мракомъ,—и потому Вагнерамъ тутъ легко одними и тѣми же доказательствами утверждать самыя противорѣчающія положенія. Для этого и невѣжество, и многознаніе равно служатъ, и послѣднее иногда доходитъ еще до большихъ негѣпостей, нежели первое. По крайней мѣрѣ послѣднее увлекаетъ за собой толпы адептовъ и иногда переходитъ отъ поколѣній къ поколѣнію. Ученость этого рода по-истинѣ забавна съ своими важными изслѣдованіями вопросовъ, которыя въ сущности очень не важны, а главное—неразрѣшны. Великій нашъ юмористическій поэтъ, глубокий знатокъ тѣхъ комическихъ слабостей человѣческой природы, въ которыхъ такъ трудно уловить тонкую черту, отдѣляющую гениальность отъ сумасшествія,—превосходно характеризуетъ манеры и уловки историческихъ изслѣдователей. Онъ сдѣлалъ это, чтобъ объяснить происхожденіе глупыхъ слетней, которыя возникли на счетъ героя его романа и ни съ того, ни съ сего въ глазахъ слетницъ обратились въ достовѣрность. «Наша братія, народъ умный, какъ мы называемъ себя, поступаетъ почти такъ-же, и доказательствомъ служатъ наши ученые разсужденія. Сперва ученый подѣлываетъ въ нихъ необыкновеннымъ подлецомъ, начинаетъ робко, умѣренно, начинаетъ самымъ смиреннымъ запросомъ: не отсюда ли? не изъ того ли угла получила имя такая-то страна? или: не принадлежитъ ли этотъ документъ къ другому позднѣйшему времени? или: не нужно ли подѣ этимъ народомъ разумѣть вотъ какой народъ? Цитуетъ медленно тѣхъ и другихъ писателей, и чуть только видить какой-нибудь намекъ, или показалось ему намекомъ, ужъ онъ получаетъ рысь и бодрится, разговариваетъ съ древними писателями за просто, задаетъ имъ запросы и самъ даже отвѣчаетъ за нихъ, позабывая вовсе о

томъ, что началъ робкимъ предположеніемъ; ему уже кажется, что онъ это видитъ, что это ясно—и разсужденіе заключено словами: такъ это вотъ какъ было, такъ вотъ какой народъ нужно разумѣть, такъ вотъ съ какой точки нужно смотрѣть на предметъ. Потомъ во всеуслышаніе, съ каведры,—и новооткрытая истина пошла гулять по свѣту, набирая себѣ послѣдователей и поклонниковъ» («Мертвыя Души», стр. 362—363).

Это столько же не преувеличено и вѣрно, сколько зло и смѣшно... Главный источникъ подобныхъ человѣческихъ слабостей заключается въ человѣческомъ самолюбіи. Ученому, литератору пріятно не только основать въ наукѣ свою систему, свой взглядъ на предметъ, но даже и быть послѣдователемъ новаго ученія, кѣмъ-нибудь другимъ основаннаго.—Мы-де не старовѣры, мы-де впереди всѣхъ,—думаютъ, самолюбиво ослабляясь, такіе ученые или такіе литераторы, не подозревая, что они дѣйствительно впереди всѣхъ... на пути негѣпости.

Но мы совсѣмъ забыли объ «ученой» книгѣ Савельева-Ростиславича, о знаменитомъ «Славянскомъ Сборникѣ», увлекшись разными размышленіями, которыя, разумеется, нисколько не относятся ни къ ученому Савельеву-Ростиславичу, ни къ его варяго-русскому альманаху. Займемся же имъ исключительно.

Книга Савельева-Ростиславича начинается увѣреніемъ, что Петръ Великій любилъ Россію и русскихъ и что онъ, когда могъ, всегда предпочиталъ русскаго нѣмцу. Это справедливо, хотя уже и не ново. Сочинитель, ссылаясь на донесеніе Кампредона французскому двору, увѣряетъ, что Петръ Великій для того сзывалъ въ Петербургъ всѣхъ дворянъ подѣ опасеніемъ конфискаціи имѣній и лишенія дворянскаго званія за неявку, чтобы узнать способныхъ на службу дворянъ и замѣнить ими иностранцевъ, которыхъ онъ хотѣлъ вскорѣ уволить отъ службы и отослать. Это похоже на правду, однакожъ на самомъ дѣлѣ не правда, что бы ни говорили Кампредонъ и Савельев-Ростиславичъ. Что Петръ желалъ освободиться отъ лишнихъ иностранцевъ, между которыми естественно было много пустыхъ и даже вредныхъ для Россіи людей, и дать ходъ своимъ способнымъ людямъ,—это вѣрно; но чтобъ онъ хотѣлъ отослать всѣхъ иностранцевъ, даже достойныхъ и оказавшихъ ему услуги, онъ, у котораго между ними былъ когда-то Тиммерманъ, Гордонъ, Лефортъ, былъ Остерманъ, и послѣ котораго остался Россіи Мининъ,—это просто выдумка, не стоящая опроверженія. Импе-

ратрица Екатерина, нѣмка по рожденію, но дочь Петра Великаго не по крови, а по духу, равно умѣла дать свободный ходъ и широкое поприще и даровитымъ русскимъ, и даровитымъ нѣмцамъ и умѣла дѣлать это такъ, что при ней не было ни русской, ни нѣмецкой партіи, а было вмѣсто ихъ твердое, умное и славное русское правительство. Савельевъ-Ростиславичъ продолжаетъ сочинять: «Но Великій умеръ — и мысль его осталась безъ исполненія. Люди, къ которымъ онъ питалъ глубочайшее презрѣніе, размножились. Въ благодарность Россіи, которая кормила ихъ и поила, они подарили бироновщину (1730—1740), тяготѣвшую надъ нашимъ отечествомъ до счастливаго воцаренія дочери Петровой, кроткой Елисаветы, очистившей Русь отъ иноплемениковъ и приготовившей намъ вѣкъ Екатерины Великой». Тутъ что ни слово, то вопіющая ложь! Читая это, невольно подумаешь, что иноплеменики съ умыслу подготовили намъ Бирона, какъ іезуиты, по мнѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ, подготовили московскому царству Дмитрія Самозванца... Въ благодарность подарили намъ бироновщину — что за нелѣпость! Этакъ иной подумаетъ, пожалуй, что Анна Іоанновна была иноплеменица, а не родная дочь Іоанна Алексѣевича, не родная племянница Петра Великаго!... Не знаемъ, право, въ какой мѣрѣ Елисавета Петровна предуготовила царствованіе Екатерины Великой; мы даже думаемъ, что славой и блескомъ своего царствованія Екатерина II никому не объясняла, кромѣ самой себя и своихъ сподвижниковъ, которыхъ она такъ хорошо умѣла выбирать... Жаль, что Савельевъ-Ростиславичъ не заглянулъ хоть въ исторію Устрялова, если ему неизвѣстны другіе источники касательно царствованія Елисаветы Петровны... Но что ему до источниковъ, что до истины: Елисавета Петровна «очистила Русь отъ иноплемениковъ», а это въ его глазахъ все равно, что сдѣлать Русь счастливою! Но исторія говоритъ не то... Трудно было Россіи при Петрѣ — и реформа, и войны, и трудъ, и пожертвованія; но правосудіе и нелицепріятіе великаго царя, доступность къ нему для всѣхъ и каждаго, очарованіе имени и обильные плоды его подвиговъ вознаграждали Русь за все, — и послѣ его смерти она, къ несчастью, слишкомъ скоро и слишкомъ хорошо узнала, что была при немъ счастлива. По смерти же Петра только съ царствованія Екатерины II настала для Россіи и теперь продолжающаяся эпоха счастья, благоденствія и славы.

По мнѣнію Савельева-Ростиславича, система скандинавскаго происхожденія Руси явилась во время Бирона изъ угожденія

временщикамъ-иноземцамъ. Тутъ онъ видитъ рѣшительный заговоръ нѣмцевъ противъ русскихъ. Въ самомъ дѣлѣ, если Байеръ правъ, и варяго-русскіе князья пришли къ намъ изъ Скандинавіи, — горе намъ; наша національная честь посрамлена на вѣки, достоинство погрязло, и мы — нѣчто менѣе собаки, какъ говорятъ персіяне. Словомъ, послѣ этого намъ, русскимъ, остается только взять да повѣситься всѣмъ до одинаго! Зато какое торжество для Швеціи: послѣ этого ей нечего даже жалѣть ни о прибалтійскихъ областяхъ, ни о Финляндіи! Но утѣшьтеся: Байеръ былъ нѣмецъ, увлекавшійся рейнскимъ патріотизмомъ, врагъ Россіи, злодѣй, извергъ, который хотѣлъ украсть нашу честь, славу, достоинство. Нашлись люди, которые изобличили его. Первымъ изъ нихъ былъ великій Ломоносовъ, послѣднимъ — Савельевъ-Ростиславичъ. Въ «Славянскомъ Сборникѣ» подробно и краснорѣчиво изображены подвиги того и другого по этой части. Во время Бирона нѣмцы жили дружно между собою въ Россіи, а объ русскихъ въ этомъ отношеніи вотъ что сказалъ Вольпскій: «Намъ, русскимъ, не надобенъ хлѣбъ; мы другъ друга ѣдимъ, и съ того сыты бываемъ». И все-таки не мы, а нѣмцы были виноваты въ нашихъ бѣдствіяхъ: по крайней мѣрѣ Савельевъ-Ростиславичъ крѣпко держится этого мнѣнія. Главную же причину нашихъ бѣдствій въ то время онъ полагаетъ въ скандинавскомъ происхожденіи Руси. Скажи Байеръ съ самаго начала, что варяго-русы пришли къ намъ съ славянскаго балтійскаго моря, и прими это мнѣніе Шлѣдеръ, — Биронъ ничего бы не могъ намъ сдѣлать, и мы непремѣнно сослали бы его въ Великій-Кутъ или Прибалтійскую Сербъ, въ славянскій городъ Винету, недавно дотла разрушенный диссертацией Грановскаго. Но когда Ломоносовъ принялся за русскую исторію, которой онъ не зналъ, и за восстановленіе славы руссовъ, — было уже поздно: нѣмцы, Биронъ и Байеръ, уже успѣли призвать въ Россію скандинавскихъ варяго-русовъ. Умный, ученый, энергическій, гениальный Шлѣдеръ своей могущественной исторической критикой, своими изслѣдованіями и авторитетомъ утвердилъ Байерово ученіе о скандинавскомъ происхожденіи Руси. Если и въ наше время есть люди, которые, подобно Вельтману, считаютъ «предосудительнымъ для чести Россіи скандинавское происхожденіе варяго-русовъ», — то могли ли на Шлѣдера смотрѣть иначе въ тѣ времена надуториторическаго патріотизма, когда самъ Ломоносовъ, — человекъ высокаго ума, гениальныхъ способностей, сильнаго характера, великой учено-

сти, — если не принималъ за достовѣрное нелѣпаго и педантическаго мнѣнія о происхожденіи Рюрика отъ Кесарей, то и не отрицалъ въ немъ вѣроятности!!!... Итакъ, Ломоносовъ первый возсталъ противъ Байерова ученія. Причиной этого возстанія чело-вѣка ученаго и гениальнаго, но рѣши-тельно незнавшаго исторіи, было, во-пер-выхъ, убѣжденіе, столь свойственное рито-рическому варварству того времени, будто бы скандинавское происхожденіе варяго-русовъ позорно для чести Россіи, и во вто-рыхъ, не безосновательная вражда Ломо-носова къ нѣмцамъ-академикамъ, и вообще огорченія, которымъ, по своей великой рев-ности къ успѣхамъ наукъ въ Россіи, онъ подвергался вслѣдствіе академической ка-балы и сплетень подъяческаго характера. Въ числѣ его противниковъ (которыхъ— надо сказать правду — Ломоносовъ умѣлъ наживать себѣ вспылчивостью и крутостью своего нрава) былъ и бессмертный «про-фессоръ элоквенціи, а паче всего хитростей піитическихъ», Василій Кирилловичъ Тредья-ковский. Савельевъ-Ростиславичъ до того осерчалъ на бѣднаго и жалкаго Тредьяков-скаго, который держался нѣмецкой партіи и скандинавскаго происхожденія Руси, что съ восторгомъ и необыкновенной элоквен-ціей пересказываетъ исторію истязанія, которому Волинскій подвергъ Тредьяков-скаго ровно ни за что. «Артемій Петровичъ накормилъ друга пюхами (говоритъ кра-снорѣчивый Савельевъ-Ростиславичъ); при-казалъ ввалить ему 70 палокъ по голой спинѣ; велѣлъ закатить ему еще 30 па-локъ; далъ ему на прощанье еще съ деся-токъ палокъ»... Вотъ что значить истощить на яркое повѣствованіе оплеушнаго и па-лочнаго событія все богатство славянскаго языка и краснорѣчиво воспользоваться всей энергіей и живописностью великокут-скихъ глаголовъ! накормить пюхами, ввалить, закатить и проч.!... Савельевъ-Ростиславичъ съ презрѣніемъ говоритъ о Тредьяковскомъ, который, по паденіи Во-лынскаго, взыскалъ съ его наслѣдниковъ за побой 720 рублей. Что жъ тутъ удиви-тельнаго? Могъ ли иначе поступить чело-вѣкъ, котораго «кормили оплеухами» и «ва-ляли палками», заказавъ ему стихи на шу-товскую свадьбу въ ледяномъ домѣ?... И мож-но ли слѣшкомъ порицать нивость чувствъ въ писакѣ, котораго, какъ всякаго пи-саку, въ то время можно было бить?... А хорошее было то время, когда вельможа Волинскій, провозглашенный патріотомъ, потѣшался собственноручнымъ кормленіемъ бѣднаго писаки оплеухами?... И писатели нашего времени берутъ сторону Волынскаго въ этомъ позорномъ фактѣ, забывая, что,

каковъ бы ни былъ Тредьяковский, но вѣдь все же и писака—братъ писателя по ре-меслу, если не по таланту... То-то славян-ская-то логика! А еще жалуются, что нѣмцы обижали нашихъ ученыхъ и литераторовъ! Да найдите хоть одного нѣмца, который бы не оскорбился, видя, что его брата по ре-меслу бьютъ оплеухами и палками, хотя бы этотъ братъ по ремеслу былъ его личный врагъ... Правъ Волинскій: «Намъ, русскимъ, не нужно хлѣба: мы ѣдимъ другъ друга, и съ того сыты бываемъ»... Бѣдный Тредья-ковский! тебя до сихъ поръ ѣдятъ писаки и не нарадуются до-сыта, что въ твоёмъ лицѣ нещадно бито было оплеухами и па-лками достоинство литератора, ученаго и поэта!...

Савельевъ-Ростиславичъ, словно за ве-ликое преступленіе, упрекаетъ Байера и Шлёдера за ихъ мнѣніе о скандинавскомъ происхожденіи Руси и приписываетъ его: 1) злему умыслу извести русское самопо-знаніе и 2) нѣмецкому патріотизму. Мы рѣши-тельно не можемъ понять, почему бы Байеръ и Шлёдеръ, даже ошибаясь, не могли дойти до убѣжденія въ скандинавскомъ прои-схожденіи Руси совершенно безпристрастно, безъ всякихъ злыхъ умысловъ и безъ вся-каго патріотизма? Что Савельевъ-Рости-славичъ принялъ мнѣніе Морощкина о про-исхожденіи варяго-русовъ отъ балтійско-приморскихъ славянъ Великаго-Кута,— принялъ его не по ученому убѣжденію, а по чувству патріотическому,—это ясно, — и онъ самъ въ этомъ сознается, находя предосудительнымъ для Россіи скандинав-ское происхожденіе варяго-русовъ. Нѣ-мецъ вообще не слѣшкомъ страстный па-тріотъ, а въ наукѣ онъ еще болѣе космо-политъ, чѣмъ въ чемъ-нибудь другомъ. Мнѣніе Байера, развитое и утвержденное Шлёдеромъ, сверхъ того совсѣмъ не такъ нелѣпо, какъ угодно утверждать Ростисла-вичу. Оно имѣетъ за себя сильныя доказа-тельства и много вѣроятности; если же оно также имѣетъ сильныя доказательства и противъ себя, и если оно не имѣетъ полной достовѣрности,—такъ это потому, что во-просъ о происхожденіи Руси, будь сказано не во гнѣвъ Ростиславичу, столько же не разрѣшимъ, сколько и бесплоденъ, даже еслибъ онъ и былъ разрѣшимъ. По тому же самому и мнѣніе Эверса о черноморскомъ происхожденіи Руси такъ же точно вѣроят-но, какъ и мнѣніе о скандинавскомъ, такъ же точно имѣетъ сильныя доказательства за себя, какъ и противъ себя. По тому же самому и мнѣніе славянофиловъ о славян-скомъ происхожденіи Руси не вовсе лишено смысла и вѣроятности.

Много было мнѣній объ этомъ предметѣ,

и еще будетъ больше, благодаря охотѣ людей рѣшать неразрѣшимое и изслѣдовать бесполезное,—и каждое изъ этихъ мнѣній будетъ имѣть свою долю вѣроятности. Таково свойство гипотезъ: онѣ представляютъ широкій разгулъ колобродству человѣческаго ума. Гипотеза можетъ имѣть свое относительное достоинство, но ничего нѣтъ нелѣпѣе, какъ принимать ее за непреложную истину, за аксіому, и честить невѣждами, глупцами и безнравственными людьми всѣхъ тѣхъ, кто съ нею несогласенъ. Догадки и соображенія должны играть важную роль въ исторической критикѣ; безъ логики тутъ, какъ и вездѣ, нельзя шага сдѣлать; но эти догадки и соображенія, эта логика должны имѣть матеріалъ, безъ котораго онѣ—пустыя, хотя бы и ученые фантазіи; этотъ матеріалъ—историческіе факты. Только по ихъ основанію логика соображенія и даже догадки доводятъ до истины. Еслибъ хоть одно изъ многочисленныхъ мнѣній о происхожденіи Руси основывалось на достаточномъ числѣ несомнительныхъ фактовъ,—то это мнѣніе сейчасъ же побѣдило бы всѣ другія и было бы признано за непреложное единодушно всѣми учеными. Но пока объ одномъ и томъ же вопросѣ существуетъ множество различныхъ и противоположныхъ мнѣній,—до тѣхъ поръ вопросъ не далеко подвинулся, и нелѣпо считать его рѣшеннымъ. Карамзинъ очень умно поступилъ, послѣдовавъ Шлёцеровскому мнѣнію о происхожденіи Руси, но въ то же время давъ мѣсто и другому мнѣнію. Но мы думаемъ, что будущій историкъ русской земли еще лучше поступитъ, когда, касательно вопроса о происхожденіи Руси, перечтетъ всѣ важнѣйшія мнѣнія, съ ихъ главнѣйшими доказательствами, и порѣшитъ, что ни одного изъ нихъ невозможно ни принять, ни отринуть, и что поэтому всѣ они равно никуда не годятся. Развѣ найдется подлинная рукопись Несторовой лѣтописи безъ искаженій и пропусковъ, а въ ней найдется опредѣленное и никакому сомнѣнію неподверженное указаніе на происхожденіе Руси; или развѣ отыщется другой какой-нибудь древній манускриптъ, русскій, славянскій, латинскій или нѣмецкій, который окончательно рѣшитъ вопросъ о происхожденіи Руси: тогда другое дѣло! Но въ ожиданіи этого, право, давно пора бы перестать компрометтировать и русскую исторію, и русскую ученость этими безплодными изысканіями, этой безплодной полемикой, этими безплодными гипотезами и всей этой ученостью Рудбековъ и Тредьяковскихъ! И чтѣ важнаго въ рѣшеніи этого вопроса?—Положимъ, что Байеръ и Шлёцеръ правы, что варяго-русы пришли изъ

Скандинавіи; яснѣе ли отъ этого хоть на волосъ первый періодъ русской исторіи? Эти варяго-русскіе князья изъ Скандинавіи, призванные новгородскими славянами, такъ мало привели съ собой своихъ норманскихъ земляковъ, что новгородская національность не получила отъ ихъ вліянія никакого отпечатка, и если они что-нибудь привили къ ней, такъ развѣ съ десятокъ собственныхъ именъ, скоро ослабяившихся, да много-много если съ десятокъ словъ, тоже скоро измѣнившихся, такъ что теперь никакъ не разберешь, они ли къ намъ зашли отъ нѣмцевъ или отъ насъ зашли къ нѣмцамъ. Скандинавскіе варяго-русы не занесли къ намъ даже феодализма—главнѣйшей черты тевтонской народности, потому что наша удѣльная система столько же въ сущности похожа на феодальную, сколько русскій языкъ похожъ на примѣръ на англійскій: прототипъ нашей удѣльной системы совсѣмъ не политическій и не государственный, а чисто семейственный и племенной, который и теперь сохранился во всей чистотѣ въ помѣщичьихъ правахъ. Оттого и не вошло въ нее малората, но, напротивъ, она сама собой исчезла бы чрезъ раздробленіе, еслибъ нашествіе татаръ не дало перевѣса Москвѣ. Гдѣ же другіе слѣды вліянія скандинавскаго происхожденія варяго-русовъ на нравы, обычаи, характеръ, умъ, фантазію, законодательство и другія стороны славянской народности новгородцевъ? Пока—ихъ еще не отыскано, а о нихъ-то прежде всего и слѣдовало бы позаботиться Шлёцеру и его послѣдователямъ. Итакъ, что же намъ въ томъ, что къ нашимъ предкамъ пришли шведы, а не другой какой-нибудь народъ, на примѣръ не японцы?

Теперь положимъ, что совершенно и несомнѣнно правы Ниманъ и Эверсъ,—варяго-русы пришли изъ-за Чернаго моря: чтѣ жъ въ томъ, что пришли варвары къ варварамъ, да и потонули въ ихъ народности, не оставивъ въ ней никакого слѣда, словно канули на дно? Сверхъ того на Эверсъ и его послѣдователей лежитъ болѣе тяжкое обвиненіе, нежели на послѣдователей другихъ мнѣній: ихъ воззрѣніе (которое впрочемъ едва ли не достовѣрнѣе всѣхъ другихъ) совершенно ниспровергаетъ авторитетъ лѣтописи Нестора,—и имъ слѣдовало бы окончательно рѣшить вопросъ о ней, сличивъ ея списки и строго разобравъ ее со всѣхъ сторонъ и во всѣхъ отношеніяхъ. Ученый профессоръ Каченовскій, исключительно и долгое время занимавшійся развитіемъ Эверсова взгляда на черноморское происхожденіе варяго-русовъ, дѣйствовалъ такъ медленно, робко и нерѣшительно, что только возбудилъ новые (правда, очень

важные и дѣльные, какихъ до него не существовало) вопросы, но не рѣшилъ ихъ, а школа его со смертью Сергѣя Строева (Скромненики) какъ-будто исчезла. — Теперь положимъ, что варяги-русь пришли изъ прибалтійскаго Великаго Кута, т. е. свои пришли къ своимъ: тѣмъ же это лучше скандинавовъ или хозаръ, нѣмцевъ или татаръ? Славянофилы говорятъ, будто это тѣмъ лучше, что иноплеменное происхождение Руси оскорбляетъ наше національное достоинство; но это такая нелѣпость, на которую смѣшно и возражать... Потомъ они говорятъ еще, что отъ рѣшенія вопроса: нѣмцы или славяне были варяго-русы? зависитъ рѣшеніе современной и будущей судьбы нашей народности, т. е. можемъ ли мы развиваться своебытно и самостоятельно, или должны ограничиться жалкой ролью подражателей и передразнивателей той или другой, но всегда чуждой намъ жизни. Это уже изъ рукъ вонъ нелѣпо, особенно въ приложеніи къ Россіи! Во-первыхъ, что за дикая мысль разгадывать и опредѣлять будущее народа, писать его программу? На основаніи многихъ данныхъ можно быть убѣждену, что Россію ожидаетъ великая и блестящая будущность; но какая именно и какимъ образомъ — стараться или надѣяться узнать это — такая же чудовищная нелѣпость, какъ думать, что можно узнать будущую участь каждаго человѣка. Для народа, какъ и для человѣка, жизнь тѣмъ и интересна, тѣмъ и заманчива, тѣмъ и обаятельна, что ея даль закрыта отъ его взоровъ и недоступна имъ, что онъ можетъ заглядывать только развѣ въ идею своего будущаго, но никогда въ форму его проявленія. Дайте ему это всевѣдѣніе будущаго, и вы увидите, что онъ не захочетъ жить. Потомъ, что за нелѣпость судить о будущемъ народа по его отдаленному прошедшему, которое такъ оторвано даже отъ его настоящаго? Что общаго между новгородцемъ IX-го, москвитомъ XV-го и русскимъ XIX вѣка? Если можно предчувствовать и предугадывать (въ идеѣ) будущее, то не иначе, какъ на основаніи настоящаго, которое одно есть испытанная мѣра, и прошедшаго, какъ результатъ его. Вѣдь дерево узнается по плоду. Если вы хотите узнать, выйдетъ ли что-нибудь путное изъ молодого человѣка, вѣрно вы не захотите справляться, каково онъ велъ себя въ утробѣ своей матери или потомъ въ колыбели, а напротивъ, какимъ обнаружилъ онъ себя въ лѣта юности, когда созрѣли его силы, развились способности, обнаружилась воля? Положимъ, что варяги-русь были иноплеменники — шведы, хозары, чухны, или кто угодно: что жъ изъ этого? Кажется, Францію и Англію на примѣръ нельзя

обвинить въ отсутствіи или недостаткѣ народности — какъ вы объ этомъ думаете, гг. славянофилы? А между тѣмъ развѣ национальность ихъ сложилась и развилась изъ одного элемента? Напротивъ, изъ многихъ. Галлы, коренное и туземное народонаселеніе Франціи, были сперва покорены римлянами и отчасти смѣшались съ ними кровью, языкомъ, религіей, обычаями, изъ чего и образовался элементъ галло-римскій. Потомъ римская Галлія была завоевана франками (которыхъ Савельевъ-Ростиславичъ считаетъ вѣстѣ съ Венелинымъ славянскимъ народомъ!!...) и наконецъ цѣлая часть римско-галльско-франкской Франціи была завоевана норманами. Сколько различныхъ элементовъ! Но сильное галльское начало восторжествовало надъ всѣми, и въ комментаріяхъ Юлія Цезаря нельзя не видѣть зародыша нынѣшней современной Франціи. А Англія? Бритты, потомъ римляне, потомъ саксонцы и наконецъ французскіе норманы! Здѣсь, кажется, наоборотъ Франціи, тевтонское начало явилось преобладающимъ надъ кельтическимъ, а результатомъ все-таки была сильная, крѣпкая, оригинальная національность! Неужели этихъ уроковъ мало для доказательства славянофиламъ! Что кто-бы ни были варяго-русы — нѣмцы или славяне, — вопросъ о нашей народности чрезъ нихъ ровно нисколько не рѣшается, и къ нашему будущему они имѣютъ еще менѣе существеннаго отношенія, нежели сколько имѣли къ тому давно-прошедшему Руси, въ которое пришли въ нее?...

Пусть Шлѣцеръ ошибался въ происхожденіи руссовъ: въ этомъ нѣтъ никакого преступленія съ его стороны, никакого нѣмецкаго патріотизма, никакого злоумышленія на честь и благоденствіе Россіи. И вообще о Шлѣцерѣ не худо было бы говорить съ большимъ уваженіемъ, нежели какъ позволяетъ себѣ говорить о немъ Савельевъ-Ростиславичъ, который, кажется, ровно ничего еще не сдѣлалъ для русской исторіи... Да, пусть даже главная мысль Шлѣцера о русской исторіи — ошибка, заблужденіе; но все-таки заслуги Шлѣцера русской исторіи велики: онъ своимъ изслѣдованіемъ Нестора далъ намъ истинный, ученый методъ исторической критики. Есть за что быть намъ вѣчно благодарными ему! И если какой-нибудь Ростиславичъ можетъ, будто бы съ ученой манерой, нападать на Шлѣцера, то благодаря все ему же, Шлѣцеру же. И что за вина со стороны Шлѣцера быть нѣмцемъ, и за что такая фантастическая ненависть къ нѣмцамъ, у которыхъ Петръ Великій выучился побѣждать ихъ же самихъ, и которые дали намъ флотъ, тор-

говлю, просвѣщеніе, образованность, науку, искусство, нравы, благодатныя выгоды цивилизованной человѣческой жизни и все, чего не знали и чему были чужды наши предки, которые такъ чуждались и такъ ненавидѣли нѣмцевъ?

Но у Ростиславича, какъ истого славянина, нѣмцы всегда и во всемъ виноваты— безъ вины виноваты, какъ говоритъ славянская пословица. Шлёцеръ, сѣбясь надъ Рудбековскимъ искусствомъ подвергать слова филологической дыбѣ, говоритъ: «Если дадутъ мнѣ сотню русскихъ именъ, то, съ помощью извѣстнаго Рудбековского искусства, возьмусь я отыскать столько же подобныхъ звуковъ въ малайскомъ, перуанскомъ и японскомъ языкахъ». Какъ же понялъ эти слова Шлёцера добросовѣстный, безпристрастный славянинъ, Ростиславичъ?— На основаніи этихъ словъ онъ утверждаетъ, что будто-бы «онъ самъ» (т. е. Шлёцеръ) «хвастался Рудбековскимъ искусствомъ находить сходство тамъ, гдѣ нѣтъ ни малѣйшаго сходства»!!... Мало того, Ростиславичъ въ восторгѣ отъ этой остроумно-полемической выходки Ломоносова противъ Шлёцера, который дѣйствительно смѣшно ошибался въ производствѣ нѣкоторыхъ русскихъ словъ: «Изъ сего заключать должно, какихъ гнусныхъ пакостей не наколѣблудить въ Россійскихъ древностяхъ такая допущенная въ нихъ скотина»—«Рѣзко, а вѣдь справедливо!» (воскликаетъ Ростиславичъ), и Ломоносовъ имѣлъ право (!) такъ (!!) говорить, какъ русскій (!!!) и какъ ученый (!!!!!), коротко знакомый съ отечественной исторіей (sic), который удѣлялъ часть своихъ занятій продолженію нѣсколькихъ лѣтъ». Что за образъ мыслей и чувствованій у Савельева-Ростиславича!... Но и этого еще не довольно для варяжскаго его правдолюбія: что ни дѣлаютъ нѣмцы, все это глупо и низко въ его глазахъ; что ни дѣлаетъ Ломоносовъ, все это у него и умно, и благородно. Онъ въ восторгѣ, что рѣчь академика Миллера (ученаго знаменитаго, который, даже по признанію Савельева-Ростиславича, оказалъ великія заслуги собраніемъ матеріаловъ и Сибирской Исторіей), рѣчь Миллера «о началѣ народа и имени русскаго», написанная въ Байеровскомъ духѣ, была запрещена. Ломоносовъ съ Крашенинниковымъ и Поповскимъ объявили рѣчь Миллера «предсудительной для Россіи». Въ этомъ случаѣ какъ Ломоносовъ, такъ и Ростиславичъ обнаружили истинно славянскія понятія о свободѣ ученаго изслѣдованія, не говоря уже объ «учености» ихъ взгляда на то, что приговоры науки могутъ быть предсудительны государству или народу. Но

и всего этого было мало Ростиславичу: ему оставалось еще доказать, что Миллеръ виноватъ и въ томъ, что хотѣлъ защищаться и вознаградить себя за уничтоженіе его рѣчи напечатаніемъ ея. «Миллеръ (говоритъ Ростиславичъ) старался отомстить своимъ противникамъ другимъ образомъ: онъ сталъ, по выраженію Ломоносова, въ ежемѣсячныхъ и другихъ своихъ сочиненіяхъ всѣвать, по обычаю своему, занозливыя рѣчи (какое преступленіе!), и больше всего высматривать пятна на одеждѣ російскаго тѣла, проходя многія истинныя ея украшенія, — а между тѣмъ въ разныхъ сочиненіяхъ началъ вмѣщать свою скандальную диссертацию о российскомъ народѣ по частямъ (какой, подумаешь, извергъ былъ этотъ Миллеръ!) и хвастать, что онъ ту диссертацию, за кою оптрафованъ, напечатаетъ золотыми литерами». Эти строки возбуждаютъ въ насъ желаніе спросить Ростиславича: что бы онъ заговорилъ, еслибы такъ называемые имъ Шлёцеріане успѣли добиться запрещенія всѣхъ изысканій касательно русской исторіи, дѣлаемыхъ не въ духѣ Шлёцера? Или можетъ быть, какъ истый славянинъ, онъ уважаетъ свободу ученаго изслѣдованія только для самого себя и для своихъ?.. И подобныя монгольскія книги пишутся въ XIX вѣкѣ и выдаются за «ученыя» сочиненія! Хороша ученость!

Но послѣдуемъ желанію Ростиславича, отбросимъ всѣхъ этихъ нѣмцевъ, которые совсѣмъ перепортили первый періодъ нашей исторіи, и посмотримъ на историческіе подвиги Ломоносова, полюбуемся ими. Ломоносовъ признавалъ варяжскую Русь племенемъ славянскимъ, обитавшимъ на южныхъ берегахъ Балтійскаго моря: великая заслуга съ его стороны, въ глазахъ Ростиславича! Но почему Ломоносовъ думалъ такъ, а не иначе, какимъ путемъ дошелъ онъ до этого убѣжденія? — Не почему другому, какъ потому, что не-славянское происхожденіе варяговъ-руси было бы «предсудительно славѣ руссовъ». Миллеръ, по вѣстной необходимости, попытавшійся было на сближеніе съ мыслями Ломоносова, сталъ подкрѣплять ее учеными доводами, о которыхъ Ломоносовъ и не думалъ; но все-таки въ племени роксолановъ подумалъ видѣть скандинавовъ. Желая оправдать и очистить память Ломоносова отъ незнанія и неучености въ исторіи и доказать, что Ломоносовъ былъ и великій историкъ, только оклеветанный Шлёцеромъ, Савельевъ-Ростиславичъ дѣлаетъ длинную выписку изъ вступленія къ его «Древней Россійской Исторіи». Мы думали и Богъ знаетъ что увидѣть въ этой выпискѣ, которой Савельевъ-Ростисла-

вичъ грозился убить наповалъ всѣхъ Швѣцѣрианъ и не-славянофиловъ; а вмѣсто того, что же увидѣли мы въ этихъ строкахъ Ломоносова, по мнѣнію его апологиста, исполненныхъ такой удивительной мыслительности, до которой нѣмцамъ никогда не удавалось доходить? что нашли мы въ этомъ историческомъ *profession de foi* Ломоносова?—Ничего, кромѣ надутаго риторическаго пустословія и суесловія о древней славѣ руссовъ и объ удивительномъ сходствѣ русской исторіи съ римской... Вотъ маленькій отрывокъ для образчика историческихъ воззрѣній Ломоносова: «Посему всякъ, кто увидитъ въ російскихъ преданіяхъ—равныя дѣла и героевъ греческимъ и римскимъ подобныя, унижать насъ передъ оными причины имѣть не будетъ; но только вину полагать долженъ на бывшій нашъ недостатокъ въ искусствѣ, каковымъ греческіе и латинскіе писатели своихъ героевъ въ полной славѣ предали вѣчности...». Мы не намѣрены издѣваться надъ этими простодушными словами великаго челоуѣка, жившаго въ томъ вѣкѣ, когда идея и значеніе исторіи едва только предчувствовались немногими свѣтлыми умами, отличавшимися философическимъ направленіемъ. Ломоносовъ былъ умъ положительный и практический, чуждый всякаго умозрительнаго направленія, да и исторія была совсѣмъ не его предметъ. Нѣмецкіе ученые, съ которыми онъ такъ опрометчиво, такъ запальчиво и такъ неосновательно вступилъ въ историческую полемику, стояли въ отношеніи къ исторіи какъ наукѣ неизмѣримо выше его, потому что они глубоко чувствовали и сознавали необходимость строгой и холодной критики, чтобъ очистить исторію отъ басни. Короче, мы не видимъ уголовного преступленія со стороны Ломоносова, что онъ взялся явно не за свое дѣло; но какъ же не грѣхъ Ростиславичу видѣть въ словахъ Ломоносова что-нибудь другое, кромѣ пустой риторики? Какъ! въ наше время, не шутя, всю разницу между исторіей древнихъ грековъ и римлянъ и между исторіей Россіи видѣть только въ «нашемъ недостаткѣ искусства, каковымъ греческіе и латинскіе писатели своихъ героевъ въ полной славѣ предали вѣчности!» Да это-то только и составляетъ все! Поэтому-то и нѣтъ ничего общаго между древней Греціей, древнимъ Римомъ и Россіей временъ Елисаветинскихъ, что у насъ не было ни науки, ни искусства! Вѣдь между греческими и римскими героями и между греческими и латинскими писателями есть кровная, живая связь: явленіе однихъ необходимо условливало явленіе другихъ, и Омѣръ, Исѣодъ, Эсхилъ, Софоклъ, Эврипидъ,

Пиндаръ, Геродотъ, Фукидидъ, Ксенофонтъ, Сократъ, Платонъ, Аристотель, Демосеенъ, Аристофанъ, Праксителъ, Фидіасъ, Апеллесъ, Титъ-Ливій, Горацій, Виргилій, Овидій, Тацитъ и другіе были такими же точно героями и историческими лицами, какъ Ахиллъ, Агамемнонъ, Гекторъ, Кодръ, Ликуртъ, Солонъ, Мильтиадъ, Периклъ, Алкивиадъ, Александръ Македонскій и всѣ герои Рима, отъ консула Брута до Юлія Цесаря и послѣдняго римлянина, соименника первому консулу. Гдѣ нѣтъ поэтовъ, историковъ, ораторовъ, художниковъ, тамъ нѣтъ въ нихъ и потребности, тамъ не могли они быть, да тамъ и нечего было имъ дѣлать. Ломоносовъ даже находить рѣшительное сходство между римской и русской исторіей... Вотъ поминутъ наивная манера находить сходство тамъ, гдѣ нѣтъ ничего, кромѣ совершенной противоположности и совершеннаго несходства. Но Ломоносову это извинительно: онъ и въ исторіи былъ такимъ же риторомъ, какъ и въ своихъ надутыхъ одахъ на иллюминаціи и въ своей раздутой квазі-русской трагедіи «Темира и Селимъ», и поэтому въ русской исторіи искалъ не истины, а «славы руссовъ». Но простительно-ли Ростиславичу, не шутя, безъ смѣха, безъ мистификаціи передавать эти слова Ломоносова, какъ его право на титулѣ историка, какъ доказательство, что Ломоносовъ указывалъ русской исторіи настоящую дорогу, съ которой сбили ее лукавые и злонамѣренные нѣмцы?.. Мало всего этого; кончивъ выписку риторическихъ фразъ Ломоносова, Ростиславичъ очень наивно восклицаетъ: «Это вступленіе лучше всего знакомить со взглядомъ Ломоносова на русскую исторію и на обязанности историка». Именно такъ! Прочтя это вступленіе, кто же захочетъ прочесть самую исторію Ломоносова или упоминать имя ея автора, говоря объ исторіи, какъ о наукѣ, а не какъ о риторическомъ панегирикѣ руссамъ!..

Но—дѣлать нечего—скрѣпя сердце, посмотримъ на дальнѣйшіе историческіе подвиги Ломоносова. Говоря о первобытныхъ племенахъ славянскихъ, Ломоносовъ заключаетъ о ихъ древности и величіи по пространству, которое они занимали. «Сравнивъ тогдашнее состояніе могущества и величества славянскаго съ нынѣшнимъ, едва чувствительное нахожу въ немъ приращеніе. Чрезъ покореніе западныхъ и южныхъ словенъ въ подданство чужой власти и приведеніе въ магометанство едва ли не послѣдовалъ бы знатный уронъ сего племени передъ прежнимъ,—еслибы приращенное могущество Россіи съ одной стороны онаго умаленія съ избыткомъ не наполнило. Того ради безъ сомнѣнія заключить можно, что

величество словенскихъ народовъ, вообще считая, стоитъ близъ тысячи лѣтъ почти на одной мѣрѣ». Видите ли въ чемъ дѣло! Для русскихъ XVIII вѣка много было радости въ томъ, что славяне, около тысячи лѣтъ косясь въ безплодномъ для человѣчества существованіи, все-таки, несмотря на то, пребывали въ величествѣ! Индійцы, китайцы, японцы ужъ конечно гораздо древнѣе славянъ и, своимъ существованіемъ, оставили въ исторіи человѣчества болѣе глубокой, нежели славяне, слѣдъ; но что жъ въ этомъ пользы для нихъ теперь, когда они превратились въ какія-то нравственные окаменѣлости какъ-будто допотопнаго міра? Для насъ, русскихъ, важна русская, а не словенская исторія; да и русская-то исторія становится важной не прежде, какъ съ возвышенія московскаго княженія, съ котораго для Россіи наступило время уже историческаго существованія. Первый періодъ русской исторіи до Ярослава совершенно неуловимъ для историка, то мелькая, то исчезая изъ глазъ въ баснословномъ и мническомъ сумракѣ. Непроходимая чаща удѣльнаго періода составляетъ только полу-историческій періодъ русской исторіи, — періодъ, въ которомъ важна одна только сторона — распространіе и расширеніе Руси на сѣверъ, черезъ удѣльную систему. Все это въ русской исторіи можетъ занимать не болѣе, какъ двѣ главы: первая будетъ состоять изъ малаго числа фактовъ и съ умѣренностью и осторожностью употребленныхъ гипотезъ и догадокъ, а вторая будетъ родомъ введенія въ русскую исторію, которая начнется собственно съ Іоанна Калиты (съ 1328 года). До славянъ же намъ нѣтъ дѣла, потому что они не сдѣлали ничего такого, что дало бы имъ право на вниманіе науки, и на основаніи чего наука могла бы видѣть въ ихъ существованіи фактъ исторіи человѣчества. Если славяне не были варварами, но, напротивъ, обладали цивилизаціей, просвѣщеніемъ и образованіемъ, — тѣмъ лучше для нихъ, а совсѣмъ не для насъ, которымъ отъ этого ни холодно, ни тепло, ни хуже, ни лучше. И если Байеръ и Шлёцеръ были не правы, отзываясь о новгородскихъ славянахъ, какъ о невѣжественныхъ варварахъ, а Ломоносовъ былъ правъ, приписывая имъ цивилизацію, просвѣщеніе и образованность, — пусть славянофилы уличатъ первыхъ и оправдаютъ послѣднихъ, пусть покажутъ они въ памятникахъ письменности, законодательства, самаго язычества, науки и искусства, какъ велики были цивилизація, просвѣщеніе и образованность новгородскихъ славянъ. Но въ такомъ случаѣ пусть покажутъ и докажутъ все это

не ради ложнаго патріотизма, который тутъ совершенно неумѣстенъ, но ради объективной истины предмета, которая всегда имѣетъ свою относительную важность и достоинство. Пусть они въ этомъ случаѣ обопрутся на факты, а не на гипотезы, догадки и фантазіи; пусть не хвалятся, какъ Богъ знаетъ чѣмъ, мірской сходкой, искони существовавшей у всѣхъ славянскихъ племенъ и даже до нашихъ дней сохранившейся и въ Россіи, — пусть, говоримъ, не хвалятся ею, потому что она существовала и существуетъ у индійцевъ и даже у обитателей Океаніи, оставаясь обычаемъ, изъ котораго ничего не развивается для исторіи. А еслибъ славянофиламъ и удалось уличить Байера и Шлёцера и оправдать Ломоносова, еслибы они и доказали, основываясь на фактахъ, что новгородскіе славяне были народъ цивилизованный, просвѣщенный и образованный, — все-таки да остерегутся они хвалиться этимъ, какъ чѣмъ-то очень лестнымъ для чести современной намъ Россіи, потому что, повторяемъ, эта цивилизація и образованность, это просвѣщеніе, если онѣ — не мечта, дѣлаютъ честь новгородскимъ славянамъ прежде-Рюриковскихъ временъ, а не намъ, — и изъ нихъ (т. е. изъ цивилизаціи, просвѣщенія и образованности) не вышло ровно никакихъ слѣдствій, потому что въ періодъ удѣловъ и татарщины мы не видимъ ни цивилизаціи, ни просвѣщенія, ни образованности. Съ Іоанна III развилась полувосточная цивилизація Московскаго-царства; но просвѣщеніе и образованность все-таки появились только съ царствованія Петра Великаго. Но, увы! славянофилы тщетно вопіютъ намъ о цивилизаціи, просвѣщеніи и образованности кievскихъ и новгородскихъ славянъ еще задолго до пришествія къ послѣднимъ варяго-русовъ: нѣтъ никакихъ слѣдовъ этой цивилизаціи, этой образованности, этого просвѣщенія! Чтѣ за просвѣщеніе безъ грамотности, а грамотностью мы обязаны христіанству, а христіанство явилось у насъ послѣ Рюрика! И чтѣ унизительнаго для нынѣшней Россіи, что предки ея — славяне, были необразованы? Развѣ не варвары были галлы и всѣ племена кельтическія? Развѣ не варвары были племена тевтонскія, положившія основаніе нынѣшнихъ просвѣщенныхъ европейскихъ гусударствъ? Развѣ Европа до открытія Америки, изобрѣтенія книгопечатанія и пороха не была страной варварской? И неужели Европѣ нашихъ временъ должно стыдиться сознаться въ этомъ? Какая негѣпость! Изъ всѣхъ народовъ человѣчества древніе греки были народомъ-аристократомъ, и тѣмъ не менѣе отцы ихъ — пелазги — были

дикие варвары. Какъ будто бы происхождение можетъ унижить человѣка или народъ? Какъ-будто бы каждый народъ не бываетъ въ своемъ происхожденіи дикимъ варваромъ,—такъ же, какъ-будто бы каждый человѣкъ не родился младенцемъ?... Неужели все это—не аксіомы въ глазахъ славянофиловъ? Неужели для нихъ ново и странно, что дважды-два—четыре, а не пять?... Странные люди!...

Обратимся еще разъ къ Ломоносову; но, избѣгая длинныхъ выписокъ, скажемъ просто, что Савельевъ-Ростиславичъ вмѣстѣ съ Ломоносовымъ въ превеликомъ восторгѣ оттого, что славянское имя будто бы прославилось еще въ началѣ VI столѣтія по Р. Х.; что вмѣстѣ съ другими варварами славяне способствовали разрушенію Римской имперіи; и что, по свидѣтельству Птолемея, Сармацію одержали «превеликіе вендскіе народы», которые были не кто другіе, какъ наши предки—славяне... Положимъ, что все это и такъ; но чему же тутъ радоваться? Древности славянъ?—Но что она передъ древностью китайцевъ?—молодость, просто молодость! Но еслибъ славяне были древнѣе самихъ китайцевъ, что жъ въ этомъ? Современная намъ китайская цивилизація смѣшна, уродлива, пошла; но, какъ окаменѣлый памятникъ цивилизаціи, можетъ-быть древнѣйшей, нежели цивилизаціи всѣхъ другихъ историческихъ народовъ глубокой древности, она интересна, поучительна, достойна глубочайшаго изученія. Что же осталось намъ отъ древности славянъ, которые, положимъ, были уже страшными головорѣзами еще задолго до Птолемея,—ничего, ровно ничего! Такая древность и не стоитъ ничего,—и юность Россійской имперіи, существующей не болѣе полутора столѣтія, въ миллионъ разъ лучше такой древности... Но что мы говоримъ! Какое тутъ сравненіе, какая параллель! Развѣ можно сравнивать пустоту съ содержаніемъ, ничто — со многимъ?...

Забавнѣе всего, что Савельевъ-Ростиславичъ, послѣ выписки изъ Ломоносова, восклицаетъ: «И такъ, вотъ на чемъ хотѣлъ основать свою историческую критику Ломоносовъ. Сравненіе тѣхъ временъ съ нынѣшними, естественное теченіе бытія человѣческаго, то есть естественность и логическая возможность событій, и наконецъ примѣры прошедшаго, послѣ чего и филологія составляетъ уже не безсильное доказательство, но только тогда, когда опирается на свидѣтельство древнихъ, согласна съ истинными основаніями, извлекаемыми изъ разсмотрѣнія временъ уже чисто историческихъ, вполнѣ извѣстныхъ. Какое безмѣр-

ное разстояніе отъ Байера (.) Миллера и самого Шлѣдера!» Именно — безмѣрное! Байеръ, Миллеръ и Шлѣдеръ могли и ошибаться, но они всегда понимали сами, что говорили, и ихъ всегда можно понимать, даже иногда и не соглашаясь съ ними...

Слѣдить шагъ за шагомъ за мыслями или, лучше сказать, за мечтами Савельева-Ростиславича нѣтъ возможности; это и скучно, и бесполезно. Сверхъ того мы вѣдь и взялись не опровергать его (это не стоило бы труда), а только показать и обнаружить негѣдность славянофильскаго направленія въ наукѣ, — направленія, незаслуживающаго никакого вниманія ни въ ученomъ, ни въ литературномъ отношеніяхъ, но очень любопытнаго... въ психологическомъ отношеніи... И потому будемъ указывать на особенно курьезныя мѣста въ книгѣ Савельева-Ростиславича.

Вотъ образчикъ ученаго достоинства, литературной вѣжливости и гуманнаго образованія Савельева-Ростиславича: разругавъ Полевого за то, что онъ въ своемъ «Телеграфѣ» расхвалилъ сочиненіе Погодина «О происхожденіи Руси», и сказавъ, что Погодинъ, въ благодарность за это, объявилъ Полевого человѣкомъ неспособнымъ связать въ порядкѣ двухъ идей,—Савельевъ-Ростиславичъ такъ продолжаетъ говорить о Полевомъ: «Смѣтливый журналистъ, ради потѣхи почтеннѣйшей публики, особенно изъ недоучившихся купеческихъ сынковъ, придумалъ особое названіе кваснаго патріотизма и потчивалъ имъ всѣхъ несогласныхъ съ рейнскими идеями, перенесенными дѣликомъ въ «Исторію Русскаго Народа», и пр. Мы понимаемъ, что названіе кваснаго патріотизма, по извѣстнымъ причинамъ, должно крѣпко не нравиться Савельеву-Ростиславичу; но тѣмъ не менѣе остроумное названіе это, котораго многіе боятся пуще чумы, придумано не Полевымъ, а княземъ Вяземскимъ,—и, по нашему мнѣнію, избобрѣсти названіе «кваснаго патріотизма» есть большая заслуга, нежели написать негѣдную, хотя бы и ученую, книгу въ 700 страницъ. Мы помнимъ, что Полевой, тогда еще не писавшій квасныхъ драмъ, комедій и водевилей, очень ловко и удачно умѣлъ пользоваться остроумнымъ выраженіемъ князя Вяземскаго, но совсѣмъ не противъ только противниковъ Шлѣдеровскаго ученія о варяго-руссахъ, а противъ всѣхъ тѣхъ непризнанныхъ и самозванныхъ патріотовъ, которые минимымъ патріотизмомъ прикрываютъ свою ограниченность и свое невѣжество и востаютъ противъ всякаго успѣха мысли и знанія. Со стороны Полевого это заслуга, которая дѣлаетъ ему честь. Но Полевой принялъ мнѣніе Шлѣдера о скан-

динавскомъ происхожденіи,—и ему уже никакъ не оправдаться передъ неумолимымъ къ такому ужасному преступленію Савельевымъ-Ростиславичемъ. По мнѣнію послѣдняго, «Исторія Русскаго Народа» не могла не быть дурной уже потому, что авторъ ея послѣдовалъ Шлёцеру», и Савельевъ-Ростиславичъ повторяетъ кстати плоскую, пошлую и старую остроу, что Нибуръ умеръ отъ прочтенія посвященной ему «Исторіи Русскаго Народа»,—остроту, которая такъ идетъ къ такой ученой книгѣ, каковъ «Славянскій Сборникъ»... Но вѣдь и Карамзинъ преимущественно держался мнѣнія Шлёцера, хотя и далъ мѣсто въ своей «Исторіи» другому мнѣнію: отчего же Савельевъ-Ростиславичъ находить хорошія качества въ «Исторіи Государства Россійскаго».—На это у него есть достаточная причина: на страницахъ ССVIII и ССIX-й мы узнаемъ отъ него самого, что онъ, Савельевъ, рѣшился посвятить всѣ свои способности разработкѣ отечественной исторіи въ память единственнаго нашего русскаго исторіографа, Николая Михайловича Карамзина, который прислалъ ему, новорожденному, безсмертный трудъ свой съ надписью: «маленькому тезкѣ, можетъ-быть также будущему историку»... Видите ли, чтѣ значить подарокъ въ-время и кстати: и Карамзина «Исторія» сдѣлалась безсмертной, несмотря на Шлёцеровскія идеи, принятые ею за основаніе, и Савельевъ, маленькій тезка великаго писателя, сдѣлался также историкомъ... О, велико-кутская наивность!...

Отдѣлавъ Полевого, нашъ рыцарь Велико-Кута принимается за Погодина. И подѣломъ ему, Погодину: зачѣмъ онъ Шлёцеру вѣритъ больше, чѣмъ Венелину, Моршину и Савельеву! Вотъ какъ онъ отдѣлываетъ его, мимоходомъ не давая спуска и тезкѣ своему Карамзину, несмотря на подарокъ:

«Фантастическо-ученое построение древней Русской Исторіи наперекоръ Несторовой лѣтописи. Нѣкогда въ «Московскомъ Вѣстникѣ» Погодинъ писалъ объ «Исторіи Государства Россійскаго»: «Карамзинъ великъ какъ художникъ-живописецъ, хотя его картины часто похожи на картины того славнаго итальянца, который героевъ всталъ вѣрнѣе въ платьѣ своего времени, хотя въ его Олегахъ и Святославахъ мы видимъ часто Ахиллесовъ и Агамемноновъ Расиновскихъ. Какъ критикъ, Карамзинъ только что могъ воспользоваться тѣмъ, что до него было сдѣлано, особенно въ древнѣйшей исторіи: вотъ ужъ, право, жаліишная снисходительность! Слѣдовало сказать: Карамзинъ не умѣлъ воспользоваться открытіями Байера, что новгородцы суть кабардинцы, а бузжане — татарскіе Бужжани, или что Витичевъ на Днѣпрѣ есть Витебскъ (на Двинѣ); не умѣлъ воспользоваться и тѣмъ, чтѣ сдѣлано для древнѣйшей исторіи Миллеромъ, особенно касательно превращенія царя Додона въ скандинавскаго бога Одина, а Бовы Королевича — въ Бауса Оденевича; не умѣлъ вос-

пользоваться и открытіями Струбе, что Перунъ славянскій именно есть скандинавскій Торъ; не умѣлъ воспользоваться и гипотезой Шлёцера, что у насъ на югѣ былъ особый азиатскій народъ, Кноз, неизвѣстная орда варваровъ, которые показались на западѣ и исчезли; шли съ востока, неизвѣстно откуда; названы россами, неизвѣстно почему; прогнаны опять въ свои пустыни не европейскимъ просвѣщеніемъ или храбростію, но случаемъ; только неизвѣстно куда; не умѣлъ воспользоваться гениальной мыслью рейнскаго патриотизма о внутреннемъ бытѣ славянъ и значеніи русскаго славянскаго племени, забытаго до IX вѣка Отцовъ человечества; не умѣлъ воспользоваться удивительно высокой мыслью объ основаніи Русскаго Царства шаймой дерзкихъ разбойниковъ, жестокихъ шведскихъ грабителей, призванныхъ по неосторожности славянами въ ландианы; не умѣлъ воспользоваться превосходными соображеніями о томъ, какъ Елена перешла въ католичество потому, что въ Царьградѣ всѣ знакомые померли; наконецъ слѣдовало сказать: Карамзинъ не только не умѣлъ воспользоваться ни одной изъ этихъ ученыхъ идей, но даже осмѣлился замѣтить, что Байеръ уважалъ сходство именъ, недостойное замѣчанія, и худо зналъ географію; что Миллеръ повторялъ датскія сказки, и что у Шлёцера народы падаютъ съ неба и скрываются въ землю, какъ жертвы по сказкамъ суевѣрія... Въ самомъ дѣлѣ, какой же ограниченный человекъ былъ Карамзинъ, не постигавшій величія Байера, Миллера и Шлёцера!... Но послушаемъ Михаила Петровича: «Какъ философъ, онъ имѣетъ еще меньше достоинствъ, и ни на одинъ философскій вопросъ не отвѣтитъ мнѣ изъ его «Исторіи». Апофеизмъ Карамзина въ «Исторіи» суть большей частью общія мѣста. Взглядъ его на Исторію, какъ науку, нестранный, и это ясно видно изъ Предисловія.» Въ чемъ состоитъ невѣрность взгляда Карамзина, несправедливость общихъ мѣстъ его «Исторіи», и какіе философскіе вопросы занимали умъ почтеннаго профессора — любители исторіи не узнали, потому что и до нынѣ еще не увидѣли свѣтъ Божій — обѣщанная профессоромъ (1829) книга «Карамзинъ, собраніе статей, относящихся до Исторіи». Въмѣсто ее, Михаилъ Петровичъ началъ упражняться въ стихахъ и прозѣ: отъ профессора исторіи, такъ строго осудившаго славное твореніе исторіографа, всѣ русскіе ждали доказательствъ; но вмѣсто разбора Карамзина — въ 1830 году явилась «Марья Посадница Новгородская, трагедія въ 5 дѣйствіяхъ, въ стихахъ». Почтенный профессоръ хотѣлъ испытать свои силы въ историческомъ родѣ, а именно: когда безсмертная Екатерина ввела при дворѣ русскій языкъ, то за каждое иностранное слово, употребленное въ разговорѣ, опредѣлялось въ видѣ наказанія — выучить 100 стиховъ изъ «Телемахида»; въ наше время, при славномъ Внукѣ Екатерины Великой, русская народность хотѣла воскресаетъ; но если для введенія въ общество русскаго языка введено было подобное же наказаніе, то гдѣ современная «Телемахида»? Почтенный профессоръ исторіи чувствовалъ этотъ важный недостатокъ и — удачно исполнилъ его знаменитой «Марей Посадницей», написанной такими стихами, какіе уже не показывались со временъ «Телемахида» Василія Кирилловича. — Въ 1832 году вышли «Поэтыи Михаила Погодина» (въ 3 частяхъ), написанныя почтеннымъ авторомъ въ дидактическомъ родѣ: ловкій и остроумный профессоръ исторіи хотѣлъ представить очевидное доказательство, что у кого нѣтъ ни слога, ни воображенія, ни глубины мысли, тому не должно писать поэтии. Убѣдивъ себя и читателей въ этой великой истинѣ, онъ рѣшился опять испытать свои силы въ

стихахъ à la Trédiakowsky, и съ этой цѣлью написалъ драму «Петръ Великій», которая до нынѣ остается ненапечатанной, хотя отрывки и явились было въ русскимъ читателямъ; почтенный профессоръ исторіи убѣдился наконецъ на опытъ, что пародія на стихи и на шекспировское созданіе изъ жизни безсмертнаго императора была бы только оскорбленіемъ памяти великаго человѣка, и потому, какъ русскій патриотъ, обрекъ свою драму на вѣчное забвеніе. Въ благодарность за это русскіе почитатели Погодина уже терпѣливо стали ждать появленія давно обѣщаннаго историческаго творенія. Въ 1835 году они съ радостью прочли объявленіе, что вышла «Исторія о лицахъ о Димитріи Самозванцѣ», сочиненіе М. Погодина, но почтенный профессоръ исторіи на этотъ разъ вздумалъ пошутить: подъ именемъ «Исторіи въ лицахъ» онъ попотчивалъ своихъ читателей опять драмой, только въ прозѣ. Это сочиненіе, кажется, написано авторомъ съ благой цѣлью — рѣшительно и окончательно убѣдить всѣхъ своихъ друзей и почитателей въ совершенной неспособности писать драму, даже въ прозѣ. Успѣшно достигнувъ этой цѣли, почтенный авторъ принялся *отдыхать* исторію, какъ философъ.

«Пока издавался «Московскій Вѣстникъ», М. П. Погодинъ умѣлъ приобрести себѣ хорошую извѣстность, какъ знатокъ русской и всеобщей исторіи, нѣсколько умными и дѣльными критическими замѣтками на разные историческія сочиненія; участіе, которое принималъ въ изданіи журнала Юрій Ивановичъ Венелинъ, оказалось въ самыхъ благотворныхъ слѣдствіяхъ относительно развитія мыслительности у Михаила Петровича. Но по мѣрѣ ослабленія этого вліянія скандинавоманія приобрѣтала большую и большую силу надъ почтеннымъ авторомъ «Маренъ» и «Исторіи въ лицахъ», наконецъ вообладала имъ совершенно, и чѣмъ дальше шелъ онъ, тѣмъ глубже погружался въ тинистое болото дѣлкихъ мыслей и странныхъ выраженій.»

Все это или почти это было уже сказано о Погодинѣ въ странной брошюрѣ: «Современные историческіе труды въ Россіи, М. Т. Каченовскаго, М. П. Погодина, Н. Г. Устрялова, и пр.», о которой читатели наши могутъ справиться въ 5-й книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» нынѣшняго года въ отдѣлѣ Библиографической Хроники. Во всѣхъ этихъ нападкахъ на Погодина есть своя доля правды; но онъ здѣсь неумѣстенъ и производитъ на читателя непріятное впечатлѣніе: читатель видитъ, что Погодина бранятъ совсѣмъ не за тѣ факты, которые выставляютъ на видъ, а за то, что онъ раздѣляетъ мнѣніе Шлѣдера. Это возмутительно! Можно не соглашаться съ мнѣніемъ другого, можно и даже должно опровергать его, но кому бы то ни было ставить въ преступленіе мнѣніе объ ученостѣ предметъ и преслѣдовать за него ненавистью и ругательствомъ, это ни на что не похоже! Отдѣлавъ à la Atilla (вѣдь Атилла былъ тоже славянинъ?) всѣхъ байеріанъ, миллеріанъ и шлѣдеріанъ, Савельевъ раздаетъ вѣнцы мученичества, славы и величія всѣмъ историческимъ критикамъ въ славянофильскомъ духѣ, преимуще-

ственно же — Венелину, Морошкину и самому себѣ, Савельеву-Ростиславичу!...

Мы не будемъ входить въ разборъ мнѣній Савельева о Венелинѣ. Скажемъ только, что всѣ странности этого страннаго человѣка Ростиславичъ безусловно принимаетъ за несомнѣнныя истины, и что онъ, столь строгій къ Байеру и Шлѣдеру за ихъ филологическія натяжки, въ филологической дыбѣ Венелина видитъ свободные и рациональные филологическіе выводы. Для него ясно, какъ день Божій, что гунны были славяне, а Атилла — Тѣланъ, что франки были тоже славяне, и т. п. Всему этому онъ такъ радъ, всѣмъ этимъ онъ такъ гордъ, какъ-будто бы и въ самомъ дѣлѣ для насъ, русскихъ XIX вѣка, большая радость — кровное родство съ варварами-гуннами и ихъ Тамерланомъ-Атилой, грозившимъ гибелью будущей европейской цивилизаціи!... Что касается до насъ, мы охотно признаемъ въ Венелинѣ, какъ въ ученомъ, хорошія стороны. Это былъ одинъ изъ тѣхъ умовъ замѣчательныхъ, но парадоксальныхъ, которые вѣчно обманываются въ главномъ положеніи своей доктрины, но открываютъ иногда истины побочныя, которыхъ касаются мимоходомъ. Страстный къ своему предмету, владѣвшій огромной, хотя и специальной, ученостью, изступленный славянинъ, Венелинъ, доказывая нелѣпость — славянизировать большей части народовъ, игравшихъ роль въ Европѣ средних вѣковъ до крестовыхъ походовъ, въ то же время обогатилъ свои сочиненія интересными побочными сближеніями и выводами, можетъ-быть дѣйствительно поубавилъ число народовъ, доказавъ, что одинъ и тотъ же народъ принимался за нѣсколькихъ, потому что былъ извѣстенъ подъ разными именами и т. п. Нѣмцы не будутъ благодарны Венелину за ославяненіе нѣмцевъ; но въ томъ, что касается собственно славянъ, указанія Венелина могли бы имѣть свою цѣну и въ глазахъ нѣмцевъ, незнающихъ славянскихъ нарѣчій, еслибъ только истинно-ученая и безпристрастная рука отдѣлила въ сочиненіяхъ Венелина плеведа отъ зеренъ. Усердіе Венелина къ успѣхамъ просвѣщенія болгаръ, доказанное не одними словами, но и дѣломъ, любовь и признательность, которая успѣла онъ возбудить въ нихъ къ себѣ, дадутъ о немъ хорошее понятіе, можетъ-быть еще болѣе какъ о человѣкѣ, нежели какъ объ ученомъ. *Suum cuique!* Но смотрѣть на Венелина, какъ на славянскаго Нибура, какъ на великаго ученаго, который оказалъ человѣчеству услугу не меньше услуги напимѣръ Коперника, видѣть въ ультра-славянизмѣ что-нибудь другое, кромѣ болѣзненной односто-

ронности, вѣрить ему на-слово, что гунны и франки—славяне, а Аттила—Тѣлянъ, и т. п.,—все это, воля ваша, не больше, какъ только смѣшно и жалко! Есть же наконецъ вещи, о которыхъ нельзя говорить серьезно, не рискуя сдѣлаться посмѣшищемъ въ глазахъ людей съ здравымъ смысломъ.

Что касается до Морошкина, нельзя не отдать ему справедливости, какъ профессору, который любитъ свой предметъ, говорить о немъ съ знаніемъ дѣла, съ жаромъ и увлекательностью убѣжденія. Но вѣдь онъ читаетъ исторію русскаго права, а не русскую исторію,—и мы, право, не знаемъ, какимъ образомъ увлекся онъ пустымъ и безплоднымъ вопросомъ о происхожденіи Руси. По крайней мѣрѣ онъ рѣшаетъ его столько же забавно, какъ и утвердительно. По его мнѣнію, слово Русь происходитъ отъ рощи, прута, розги или лозы (*Roscia Pruthenia Ruthe, Rosgi*), другими словами, Россія значитъ древлянская или лѣсная роща, лѣсъ. Тутъ играетъ роль даже жезлъ, сирѣчь палка, трость (по-малороссійски *кій*), и т. д. Все это филологическое производство утверждено на глаголѣ расти. Скиѣ, (чужакъ, по Венелину), по мнѣнію Морошкина, значитъ лѣсной житель, Урманъ (отсюда норманъ), напоминающій Аримана, значитъ лѣсъ; Бунинъ значитъ то же, что скиѣ (лѣсной житель); аланъ значитъ съ лѣсомъ равный; роксоланы значитъ то же, что аланы, а благороднѣйшая отрасль роксоланъ суть рязанцы, а всѣ эти имена значатъ то же, что россы... Далѣе Морошкинъ находитъ поволожскую или туркестанскую Россію. «Я вѣрю,—говоритъ онъ:—арабскимъ географамъ и не боюсь, когда они меня, истого славянина и русса, назовутъ туркомъ: я точно турокъ, ибо я руссъ; турокъ есть такъ же руссъ, какъ и я: ибо онъ славянинъ». Довольно! Охотниковъ до курьезныхъ вещей отсылаемъ къ книгѣ Морошкина: «О значеніи имени руссовъ и славянъ», а если они испугаются цѣлой книги, то къ рецензіи объ этой книгѣ въ 63 номерѣ «Литературной газеты» 1841 года. Очевидно, Морошкинъ пошелъ гораздо далѣе самого Венелина; и если нельзя сказать, чтобъ, подобно Венелину, онъ мимоходомъ и стороною сдѣлалъ что-нибудь для знанія,—зато нельзя сказать, чтобъ онъ не довелъ до послѣдней крайности его странностей. Но тѣмъ выше заслуга Морошкина въ глазахъ Савельева-Ростиславича, который иногда позволяетъ себѣ не во всемъ соглашаться съ Венелинымъ, но Морошкина во всемъ находитъ непогрѣшительнымъ, какъ турки (они же славяне) своего пророка. Вотъ истинная-то стачка геніевъ!...

Но нельзя безъ слезъ умиленія читать полное и подробное изложеніе собственныхъ ученыхъ подвиговъ, которому Савельевъ-Ростиславичъ посвятилъ цѣлыхъ двадцать страницъ. Боже мой, какая скромность, и вмѣстѣ съ тѣмъ какое глубокое, какое твердое сознаніе своихъ заслугъ, своего достоинства! Кто возьметъ терпѣніе прочесть эти двадцать страницъ, тотъ вполне пойметъ, какимъ образомъ Бюффонъ имѣлъ смѣлость говорить, не краснѣя: «Геніевъ три: Лейбницъ, Ньютонъ и я!». Хотя Савельевъ-Ростиславичъ и не выговариваетъ прямо, что на Руси не было геніевъ выше трехъ—Венелина, Морошкина и въ особенности его, Савельева-Ростиславича,—однако это само собою выходитъ изъ сущности всей его толстой книги, которая, кажется, для того больше и была написана. Савельевъ-Ростиславичъ помѣстилъ въ ней свою автобіографію, и началъ ее съ самаго нѣжнаго своего дѣтства,—мало!—просто съ самаго дня своего рожденія, когда великій тѣзкаго, Карамзинъ, прислалъ свою «Исторію» родителю новорожденнаго,—что и рѣшило послѣдняго посвятить себя обработанію (обработыванію?) русской исторіи, «откуда (прибавляетъ скромный автобіографъ) объясняется критическое направленіе первыхъ трудовъ автора этой книги». Увѣдомленіе, драгоценное для потомства, которое поэтому избавлено отъ труда разыскивать, писать диссертации, толстыя книги, спорить, браниться, стараясь рѣшить великій вопросъ: чѣмъ объяснить критическое направленіе первыхъ трудовъ Савельева-Ростиславича!... Отъ дня своего рожденія Савельевъ-Ростиславичъ ведетъ насъ съ собой уже прямо въ университетъ: жалъ! черезъ это лишились мы драгоценныхъ фактовъ о его младенчествѣ и отрочествѣ... Съ удивительной снисходительностью и добротой, столь свойственными генію, знакомить насъ Савельевъ-Ростиславичъ съ подробностями своего университетскаго курса: какихъ профессоровъ онъ особенно уважалъ и съ особеннымъ вниманіемъ слушалъ, и кто именно изъ нихъ особенно способствовалъ развитію въ немъ, Савельевъ-Ростиславичъ, мыслительности, плодомъ которой былъ его «Славянскій Сборникъ». Затѣмъ переходитъ онъ къ разбору своихъ сочиненій, и хотя многія изъ нихъ, за давностью и за негодностью, давно уже забыты, тѣмъ не менѣе онъ имѣетъ терпѣніе приводить и опровергать всѣ сужденія о нихъ журналовъ... До чего не доводитъ людей сочинительское самолюбіе!.. Мимоходомъ сыплются у него брани и ругательства на Полевого, Устрялова, Погодина и другихъ плѣсцеріанъ, которые, не боясь Бога и со-

вѣсти, не радѣя о чести и славѣ отечества, преступно и злоумышленно унижаютъ Россію, выводя варяго-русовъ изъ Скандинавіи... Велико ихъ преступленіе—нельзя не согласиться, но зато и казнить же ихъ нашъ великокутскій инквизиторъ!... Правду говорятъ моралисты, что добродѣтель всегда торжествуетъ, а пороки наказываются,—да, всегда и вездѣ, но особенно въ «Славянскомъ Сборникѣ» Савельева-Ростиславича... Полевой, Устряловъ и Погодинъ — живыя доказательства, что преступленіе неостается безъ кары; зато Савельевъ-Ростиславичъ — живое доказательство, что добродѣтель вознаграждается. Обѣ эти истины онъ развили съ удивительной тщательностью, особенно послѣднюю: какой-то Игнатовичъ отозвался о его «Исторіи сѣверо-восточной Европы и мнимаго переселенія народовъ», что «немного найдется произведеній ума положительнаго не только въ русской, но и въ европейской литературѣ, соединяющихъ въ себѣ такую бездну учености съ живымъ, почти изящнымъ и вмѣстѣ строго-отчетливымъ изложеніемъ», и что «теорія объ азіатскомъ и нѣмецкомъ происхожденіи всѣхъ безъ изъятія воинственныхъ дружинъ, разрушившихъ Западную Римскую Исторію (имперію?), такъ сильно потрясена розысканіями Н. В. Савельева, что еще одинъ толчокъ — и она рухнетъ безвозвратно». Но справедливо говорится, что нѣтъ розы безъ шиповъ, т. е. что и добродѣтель иногда страдаетъ: тутъ же приложено мнѣніе и Полевого объ этомъ гениальномъ сочиненіи ученаго Савельева-Ростиславича, — мнѣніе, которое обвиняетъ послѣдняго, что онъ «хвалилъ бредни Венелина, разглагольствія Шаффарика, возгласы другихъ славянофиловъ, передѣлывалъ Всеобщую Исторію и спорилъ объ Атилѣ», — вслѣдъ зачѣмъ Полевой воскликнулъ: «Какъ не жаль ему (Савельеву) тратить время, трудъ и дарованіе на такой вздоръ!». Но Савельевъ-Ростиславичъ, какъ истинный гений, не струсилъ этого приговора, съ которымъ согласны всѣ здравомыслящіе люди, и подарилъ его гордымъ презрѣніемъ, которое выразилъ курсивомъ, восклицательными и вопросительными знаками въ скобкахъ. Да и странно было бы огорчиться Савельеву-Ростиславичу приговоромъ Полевого, когда черезъ страницу, — онъ могъ привести мнѣніе одного знатока исторіи о своей статьѣ «Паденіе Пскова», что это — «живой отголосокъ простодушныхъ лѣтописцевъ нашихъ, въ изящной формѣ нашего времени, — произведеніе, которое принесло бы честь самому Тьерри, еслибъ онъ писалъ по-русски». Савельевъ-Ростиславичъ почему-то не почелъ за нужное сказать, кто этотъ знатокъ исторіи,

который произвелъ его въ русскаго Тьерри; но изъ выноски видно, что слова эти были напечатаны въ «Маякѣ»: Sic transit gloria mundi!... Но ничего! Савельевъ-Ростиславичъ — человѣкъ не безразличный на похвалы, изъ какой бы ямы ни шли онѣ къ нему... За нихъ онъ сейчасъ же готовъ произвести въ «знатоки исторіи» даже человѣка, который совершенно невнимателенъ въ знаніи исторіи, и которому совершенно бесполезно знаніе и того, что онъ дѣйствительно знаетъ... Одной только похвалы себѣ не рѣшился повторить скромный Савельевъ-Ростиславичъ: это гимнъ, который накропалъ въ честь его, Венелина, Атиллы и Морошкина какой-то московскій виршенлетъ и который начинается такъ:

Напрасно все: вашъ понятъ трудъ
И оди́нъ великій гений!
Всѣ толки мелочныхъ сужденій
Ужъ никогда не потрясутъ
Глубокихъ вашихъ умозрній!

а оканчивается такъ:

Хвала тебѣ, Венелинъ славный!
Ура! Морошкинъ-славянинъ!
Савельевъ, Руси православной
Неутомимый, вѣрный сынъ!
Нѣтъ, ваша слава не затмится,
Вашъ трудъ великій не умретъ;
И правда всюду водворится
И плодъ обильный принесетъ!

Вотъ мы какъ! Ай-да наши! молодцы!... Но, Боже мой, что съ нами! Кажется, и мы впадаемъ въ маяковскій тонъ... Вотъ что значить чтеніе славянофильскихъ книгъ...

«Библиотека для Чтенія» когда-то, по случаю спора между Погодинымъ и Скромненко (Строевымъ), совѣтовала новой исторической школѣ сразиться на смерть съ Шлёцеровскою школою, чтобъ окончательно порѣшить, которая изъ нихъ права. «Но для этого труднаго, важнаго, великаго предпріятія (сказано тамъ же) юная историческая школа, кажется, еще слишкомъ юна. Желаемъ ей расти не по днямъ, а по часамъ: ея будущность занимаетъ всѣхъ любителей отечественной исторіи». Савельевъ отвѣчаетъ на это: «Прошло десять лѣтъ, и вотъ юная историческая школа представляетъ шлёцеріанамъ уже не брошюрку, не статью, а цѣлый томъ въ семьсотъ страницъ (.) съ 1,500 примѣчаній — основной вопросъ рѣшенъ на жизнь и смерть». Какъ вамъ это покажется? А это не выдуманно нами: это напечатано на ССХХVII страницѣ «Славянскаго Сборника» и списано здѣсь съ возможной точностью!

Но, во-первыхъ, съ чего взялъ Савельевъ-Ростиславичъ, что слова «Библиотеки для Чтенія» относятся къ нему? Тутъ явно го-

ворится объ исторической школѣ, основанной Каченовскимъ, человѣкомъ умнымъ, ученымъ, здравомыслящимъ, осторожнымъ и ужъ совсѣмъ не славянофиломъ. Развѣ ученикъ его, Сергѣй Строевъ, говорилъ когда-нибудь похожее на то, что утверждаетъ Ростиславичъ, ученикъ и вмѣстѣ соперникъ Венелина и Морозкина?... Томъ въ семьсотъ страницъ—великая важность! Считайте-ка число страницъ въ томахъ Тредьяковского—и ваша книга въ семьсотъ страницъ исчезнетъ въ нихъ какъ ручеекъ въ морѣ. Съ 1,500 примѣчаній, изъ которыхъ, слѣдовало бы прибавить, большая часть состоитъ или изъ площадной брани на шпѣрианъ, или изъ указаний на страницы «Русскаго Вѣстника», «Сына Отечества», «Маяка», «Москвитянина» и другихъ журналовъ!... «Основной вопросъ рѣшенъ на жизнь и смерть»—верхъ хвастливаго самовосхваленія! Нѣтъ, г. Савельевъ-Ростиславичъ, вы слишкомъ скоры: подождите, пока противники ваши сознаются побѣжденными и примутъ ваше мнѣніе. Такъ побѣждать, какъ побѣждаете вы, очень легко и очень смѣшно: вѣдь китайскій богдыханъ считаетъ себя царемъ царей и, платя за англійскіе товары китайскими товарами и китайскимъ золотомъ, говоритъ же въ своихъ манифестахъ, что рыжіе варвары приносятъ ему съ Запада дань, въ изъявленіе ихъ покорности владыкѣ Небесной Имперіи... Берегитесь, господа, обольщеній своего кружка: въ немъ какъ разъ увѣрять васъ, что вы гений и что вы побѣдили всѣхъ вашихъ противниковъ, которые даже и не думали съ вами бороться, а просто или смѣялись надъ вами, или не обращали на ваше ратованіе никакого вниманія. Кружокъ—вещь опасная: онъ можетъ довести человѣка до жалкаго донъ-кихотства. Кружокъ и свѣтъ—двѣ вещи разныя; первый признаетъ за достоинство, доказанное и несомнѣнное то, надъ чѣмъ часто смѣется второй, какъ надъ негѣпостью. Живите въ кружкѣ, который вамъ нравится; — но заглядывайте и въ свѣтъ, прислушивайтесь и къ его сужденіямъ, чтобъ не впасть сперва въ односторонность и исключительность, а потомъ и просто въ негѣпость. Исключительное и безвыходное пребываніе въ себѣ или въ пріятельскомъ кружкѣ, или въ приходѣ своего журнала — гибельно для человѣка. Ограниченіе себя однимъ и тѣмъ же, отчужденіе отъ всего, что не мы и не наше, гибельно не только для частныхъ лицъ, но и для народовъ: вспомните Китай и Японію! Мы не отнимаемъ у Савельева того, что принадлежитъ ему по праву: начитан-

ности, эрудиціи, трудолюбія, знанія, даже дарованія въ извѣстной степени; онъ владѣетъ языкомъ, и еслибъ захотѣлъ держаться болѣе приличнаго и спокойнаго тона, писалъ бы, если не изящно, то литературно. Не будучи не только Тьерри, но и десятой долей Тьерри, Савельевъ могъ бы сдѣлаться полезнымъ дѣятелемъ въ сферѣ нашей исторической литературы и нашей исторической критики. Статьи Савельева: «Дмитрій Іоанновичъ Донской первоначальникъ русской славы»; «Паденіе Пскова»; «Царь Василій Шуйскій»; «Критика на русскую Исторію г. Устрялова» (въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду», 1837); «О необходимости критическаго изданія Исторіи Карамзина»,—всѣ эти статьи не безъ достоинствъ, хотя и не безъ недостатковъ, словомъ—сочиненія хорошія, полезныя, хотя и не великія, не гениальныя. И вообще не мѣшало бы Савельеву не дѣлать самому себѣ приговоровъ, но ожидать ихъ отъ другихъ, и если онъ не пугается осужденія, то не слѣдовало бы ему на слово вѣрить похваламъ и повторять ихъ въ своей книгѣ, какъ великія истины, говоря о себѣ, какъ Богъ знаетъ о комъ, и величая себя то юнымъ критикомъ, то авторомъ Донского...

Только вышедшее изъ всякихъ границъ ослѣпленіе мелкаго самолюбія могло заставить Савельева повторить отзывы Полевого о его двухъ статьяхъ, какъ такіе отзывы, которые стоить только повторить, чтобъ показать всю ихъ неосновательность и негѣпость. А между тѣмъ эти отзывы очень основательны и, главное, совершенно безпристрастны. Вотъ слова Полевого: «Мы готовы отдать справедливость труду, еслибъ и видѣли въ немъ что-нибудь противъ насъ самихъ и противъ трудовъ нашихъ *). Вотъ напримѣръ мы съ удовольствіемъ упомянемъ о небольшой полемиической брошюрѣ Савельева: «Дмитрій Іоанновичъ Донской». Онъ не соглашается съ нами, даже бранитъ насъ, но въ изысканіяхъ своихъ показываетъ тщательность, усердіе, начитанность — мы въ сторонѣ, а труду автора почетъ, еслибъ намъ вздумалось даже и поспорить съ нимъ». О статьѣ Савельева «О необходимости критическаго изданія Исторіи Карамзина» Полевой отзывался такъ: «Это розысканіе—статья дѣльная, и мы порадовались, что, брося свои прежніе вздорные толки объ исторіи, г. Савельевъ принимаетъ за дѣльные занятія».

*) Здѣсь Савельевъ дѣлаетъ въ скобкахъ замѣчаніе, пересыпанное всѣмъ аттицизмомъ велико-кутской соли: «Все несчастное, зловѣщее Я, а гдѣ же истина-то? объ ней-то, *биднажми*, и помину совсѣмъ нѣтъ!»

Первый отзывъ Полевого долженъ быть для Савельева лестнѣе всякаго другого мнѣнія, потому что въ брошюрѣ о Донскомъ онъ опровергаетъ, не всегда вѣжливо и въ тонѣ приличія, мнѣнія Полевого; но Савельеву, видно, не суждено знать ни того, что ему дѣлаетъ истинную честь, ни того, чѣмъ бы онъ могъ заняться съ пользою для себя и для науки, и на что бы онъ могъ не бесполезно употребить свои способности и свое трудолюбіе: онъ больше вѣритъ возгласамъ и увѣреніямъ мнимыхъ друзей своихъ, для разсчетливости которыхъ очень полезно производить его въ Тьерри и величать гениемъ въ нелѣпыхъ и плохихъ стишонкахъ.

Не слѣдовало бы также Савельеву братья не за свое дѣло и толковать о вопросахъ всеобщей исторіи, которой онъ—извините нашу откровенность—вовсе не понимаетъ, что и доказалъ онъ огромными статьями. Равнымъ образомъ хорошо бы онъ сдѣлалъ, еслибъ, для пользы русской исторіи и еще больше для своей собственной, оставилъ въ покоѣ славянъ, болгаръ, гунновъ, франковъ, варяго-русовъ, Великій-Кутъ, Байера, Миллера и Шлёцера и обратилъ свою дѣятельность исключительно на тѣ вопросы русской исторіи, которые доступны критикѣ и розысканіямъ и которые такъ давно и такъ тщетно дожидаются дѣятелей. Поле великое и едва-едва тронутое,—сколько пищи для дѣятельности, сколько пользы для труда, сколько славы для успѣха! Но еще болѣе слѣдовало бы Савельеву постараться посвятить себя наукѣ настоящимъ образомъ, сдѣлаться ученымъ въ истинномъ значеніи этого слова, т. е. научиться находить въ наукѣ одинъ интересъ—объективную истину предмета, не примѣшивая къ нему никакихъ постороннихъ интересовъ, ни мѣстныхъ, ни космополитическихъ, ни славянскихъ, ни тевтонскихъ, ни русскихъ, ни нѣмецкихъ. Въ объективной истинѣ предмета нѣтъ науки, нѣтъ учености, нѣтъ ученыхъ, а есть только ученые мечты, фантазіи, мечтатели и фантазеры. Ученый долженъ быть рыцаремъ истины, а не сектантомъ, не геригутеромъ, не раскольниковъ. Фанатизмъ и мистицизмъ—враги науки, потому что они—тьма, а наука—свѣтъ. Языкъ науки можетъ принимать полемическій тонъ, но наука не должна ругаться, соблюдая свое достоинство. Въ ученыхъ сочиненіяхъ и остроуміе—не лишняя вещь, но вѣдь не всякому дана способность быть остроумнымъ, и Савельевъ, надо сказать правду, остритъ тяжело, неловко, едва ли еще не хуже, чѣмъ остритъ покойный Венелинъ, варяжскому остроумію котораго такъ удивляется сочинитель «Сла-

вянскаго Сборника». Но больше всего надо беречься въ наукѣ мистицизма, потому что онъ доводитъ до величайшихъ нелѣпостей, что и сбылось такъ жалко и смѣшно надъ Савельевымъ, который до того дошелъ, что, на основаніи свидѣтельства Льва Діакона, вѣритъ, будто Ахиллъ (герой «Иліады») былъ не эллинъ, а скиѣ, слѣдственно славянинъ!... Боже мой! Ахиллъ, героическій представитель эллинскаго духа, герой величайшей національной поэмы величайшаго національнаго поэта Эллады, лицо баснословное, обликъ чисто мненческій,—скиѣ, славянинъ, и это на основаніи свидѣтельства Льва Діакона, который жилъ двѣ тысячи лѣтъ послѣ Ахилла!... О, нелѣпость нелѣпостей! Мистицизмъ, внесенный въ науку, заставляетъ признавать бывшимъ и сущимъ то, чего не было и нѣтъ; бѣлое представляетъ чернымъ, черное—бѣлымъ; полярную зиму превращаетъ въ африканское лѣто; въ экваторіальныхъ странахъ находитъ мертвыя замерзшія тундры, а подъ полюсами видитъ роскошную природу Индіи; помноживъ два на два, получаетъ въ произведеніи пять и семь-восьмьхъ... Мы не шутимъ: за примѣрами ходить не далеко, и книга Савельева въ этомъ отношеніи истинный кладъ. Она утверждаетъ, что славяне оказали великую услугу человечеству, боровшись съ Римомъ и избавивъ Европу отъ оковъ римскаго деспотизма!... Во-первыхъ, только для Савельева рѣшенное дѣло, что варвары, разрушившіе Западную Римскую имперію, были славяне, а не тевтоны; во-вторыхъ, кто бы они ни были, за эту услугу мы не намѣрены имъ кланяться, потому что они и не думали освобождать Европу отъ римскаго деспотизма, а просто грабили, рѣзали, жгли, брали въ плѣнъ, убивали и злодѣйствовали изъ корысти, для себя самихъ, вовсе не думая о будущности разоряемыхъ ими земель. Потомъ Савельевъ приписываетъ славянамъ честь обновленія Запада свѣжей, нерастлѣнной жизнію: это просто-на-просто значитъ, что нѣмцы—славяне, и что нѣмцевъ въ Европѣ никогда и не бывало,—все это были славяне!... Но что всѣ эти странности въ сравненіи съ словами Моршквина, которыми Савельевъ заключаетъ свою статью! Слушайте: «Племя славянское живетъ будущностью, надеждой, что вновь возстанетъ великій царь Волги (??!...) и воззоветъ ихъ къ единому великому знамени, къ знамени не разрушенія, а общаго успокоенія въ нѣдрахъ семейственнаго христіанскаго быта, который, кажется, предостаточно развитъ славянскимъ народамъ. Царство мира и любви имѣетъ семейственную форму, данную отъ природы и духа, а не изы-

сканную, не созданную переходящими вѣками исторіи» (стало быть, переходящія вѣка исторіи — не отъ природы и духа, а такъ себѣ, ни отъ чего?). «Когда настаетъ судъ исторіи, тевтонскій міръ дастъ славянамъ все, чтѣ взято (чтѣ именно взято и кѣмъ—желательно бы знать? Но, кажется, этого и самъ прорицатель не вѣдаетъ...) у нихъ. Не своими козарскими саблями славянскій міръ грозитъ тевтонамъ, а славянской цивилизаціей, первородными формами человѣческаго быта (да помилуйте! Калмыки давно уже обрѣтаются и еще въ болѣе чистыхъ, нежели славяне, первородныхъ формахъ), грозитъ ему преимуществомъ (хорошо, еслибъ и причастностью его жизни!), званіемъ наслѣдника во всемірной исторіи». Вы удивляетесь, читатель; но то ли еще пишутъ и печатаютъ господа-славянофилы! Вотъ напримѣръ одинъ изъ нихъ недавно напечаталъ въ журналѣ слѣдующія неслыханныя новости, а именно, что «у насъ не было ненависти и гордости», которыя были въ исторіи Запада, и что наша «родимая почва была упитана не кровью—кровью упитана западная земля,—но слезами нашихъ предковъ, перетерпѣвшихъ и варяговъ, и татаръ, и Литву, и жестокости Іоанна Грознаго (человѣка безкровнаго!), и нашествіе двадцати языковъ, и наводненіе легіона духовъ». Послѣдняя фраза — верхъ мистиче-

ской бессмыслицы, непонятна; но остальное въ этихъ словахъ все понятно; дѣло, изволите видѣть, въ томъ, что битва при Калкѣ, битва донская, нашествіе Литвы, наконецъ вторженіе въ Россію полчищъ сына судьбы не стоили намъ ни капли крови, и мы отдѣлались отъ нихъ однѣми слезами; мы не дрались, а только плакали!!!...

Не будемъ разбирать другихъ статей «Славянскаго Сборника» — онѣ не стоятъ этого труда; ихъ можно читать для забавы, для потѣхи; но серьезно разсуждать о нихъ было бы и бесполезно, и смѣшно. Говоря о первой статьѣ Савельева, мы имѣли въ виду не «Славянскій Сборникъ», не сочиненіе Савельева, а славянофильскую доктрину, которой Савельевъ является такимъ горячимъ и наивнымъ представителемъ. Его «Славянскій Сборникъ», въ 700 страницъ, съ 1.500 примѣчаній, только въ этомъ отношеніи и замѣчательнъ; во всѣхъ же другихъ отношеніяхъ эта книга пустая, ничтожная. Въ заключеніе, совѣтуемъ Савельеву воспользоваться, не на словахъ, а на дѣлѣ, полезнымъ совѣтомъ, заключающимся въ китайскомъ выраженіи изъ Сан-цзы-цзына, которымъ онъ достойно заключилъ свою статью:

«Кто читаетъ исторію, долженъ изслѣдовать бытописанія; проникнетъ (проникнуть?) древнее и настоящее какъ-бы собственными очами. Устами читай, мыслями вникай».

СТО РУССКИХЪ ЛИТЕРАТОРОВЪ.

Изданіе книгопродавца А. Смирдина. Томъ третій. — Бенедиктовъ. Бѣгичевъ. Гречъ. Марковъ. Михайловскій-Данилевскій. Матлевъ. Ободовскій. Скобелевъ. Ушаковъ. Хмельницкій. — Спб. 1845.

За шесть лѣтъ передъ тѣмъ вышелъ первый томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ». Тайнственные слухи заранѣе предупредили читающій міръ о появленіи этого изданія. Въ Россіи все идетъ скоро, и потому не удивительно, что въ 1839 году великолѣпныя изданія могли казаться чудомъ. Въ самомъ дѣлѣ, огромный, изящно изданный сборникъ статей лучшихъ русскихъ писателей,—при каждой статьѣ гравированный на стали, въ Лондонѣ, портретъ автора, и гравированная на стали же картинка къ каждой статьѣ: да это что-то прекрасное по мысли, великолѣпное по изданію! Имя издателя, книгопродавца Смирдина, давно уже приобрѣло на Руси общую извѣстность и общую довѣренность. Въ глазахъ русской публики Смирдинъ давно уже не принадлежалъ къ числу обыкновенныхъ торгашей книгами, для которыхъ книги — такой же

товаръ, какъ и сѣно, сало или деготь, только можетъ-быть менѣе наживной и выгодный, и которые могутъ знать толкъ и въ сѣнѣ, и въ салѣ, и въ дегтѣ, но не въ книгахъ. Нѣтъ, русская публика видѣла въ Смирдинѣ книгопродавца на европейскую ногу, книгопродавца съ благороднымъ самолюбіемъ, для котораго не столько было важно нажитья черезъ книги, сколько слить свое имя съ русской литературой, внести его въ ея лѣтописи. И русская публика не ошиблась въ этомъ случаѣ: Смирдинъ точно былъ достоинъ ея высокаго о немъ мнѣнія. Онъ хотѣлъ торговать, слѣдовательно хотѣлъ барышей, хотѣлъ наживать, —однакожъ наживать не только честно, но еще и почетно, со славой. Для этого онъ поставилъ себѣ за правило издавать только хорошія сочиненія и давать ходъ только хорошимъ сочиненіямъ. Правда, онъ могъ

издать и дурную книгу, но не намѣренно, а по ошибкѣ своего вкуса или по ошибочному совѣту тѣхъ, чьему вкусу довѣрялъ онъ. Но какихъ бы барышей ни обѣщало ему сочиненіе, въ ничтожности котораго онъ былъ убѣжденъ,—никогда не рѣшился бы онъ издать его на свой счетъ. Ему всегда легче было рѣшиться на изданіе хорошаго сочиненія, которое требовало большихъ издержекъ и, вмѣсто барышей, обѣщало убытокъ, нежели рѣшиться на изданіе дурной книги, обѣщающей вѣрную прибыль. Въ этомъ было его самолюбіе, его честолюбіе, его гордость, его страсть—тѣмъ болѣе удивительныя, тѣмъ болѣе безкорыстныя, что онъ самъ, по своему образованію, воспитанію, привычкамъ, понятіямъ, образу жизни, не могъ ни цѣнить, ни наслаждаться содержаніемъ и достоинствомъ тѣхъ сочиненій, которыхъ былъ издателемъ и которыми доставлялъ наслажденіе всему читающему русскому міру. Вслѣдствіе этого онъ долженъ былъ руководствоваться совѣтами и указаніями тѣхъ книжныхъ людей, которые и читаютъ, и сами пишутъ книги. Надо согласиться, что положеніе Смирдина было въ этомъ отношеніи очень затруднительно, потому что онъ не обладалъ никакимъ прочнымъ основаніемъ, которое могло бы руководить его въ выборѣ совѣтниковъ. Это несприятное обстоятельство было впоследствии причиною всѣхъ его неудачъ и разрушенія его надеждъ—быть долго полезнымъ русской литературѣ. А между тѣмъ онъ все-таки сдѣлалъ для русской литературы такъ много, что упрочилъ своему имени почетную страницу въ ея исторіи. Итакъ, не будемъ обвинять его за то, что онъ могъ бы еще сдѣлать и чего однакожъ не сдѣлалъ: но отдадимъ ему должную справедливость за то, что имъ сдѣлано.

А онъ, повторяемъ, много сдѣлалъ: онъ произвелъ рѣшительный переворотъ въ русской книжной торговлѣ и вслѣдствіе этого въ русской литературѣ. Онъ издалъ сочиненія Державина, Батюшкова, Жуковскаго, Карамзина, Крылова—такъ, какъ они, въ типографскомъ отношеніи, никогда прежде того не были изданы, т. е. опрятно, даже красиво, и—что всего важнѣе—пустилъ ихъ въ продажу по цѣнѣ, доступной и для небогатыхъ людей. Въ послѣднемъ отношеніи заслуга Смирдина особенно велика: до него книги продавались страшно дорого и поэтому были доступны большей частью только тѣмъ людямъ, которые всего менѣе читаютъ и покупаютъ книги. Благодаря Смирдину, приобрѣтеніе книгъ болѣе или менѣе сдѣлалось доступнымъ и тому классу людей, которые наиболѣе читаютъ и слѣдовательно наиболѣе нуждаются въ

книгахъ. Повторяемъ: это главная заслуга Смирдина передъ русской литературой и русской образованностью. Чѣмъ дешевле книги, тѣмъ больше ихъ читаютъ, а чѣмъ больше въ обществѣ читателей, тѣмъ общество образованнѣе. Въ этомъ отношеніи дѣятельность книгопродавца, опирающаяся на капиталъ, благородна, прекрасна и богата самыми благотворными слѣдствіями. Такова была дѣятельность Смирдина: она безукоризненна въ томъ отношеніи, которое зависѣло отъ его воли, отъ его честнаго самолюбія, его благородной страсти. Но въ томъ, что зависѣло отъ вкуса, образованности и знанія, и въ чемъ Смирдинъ, какъ мы уже сказали, самъ зависѣлъ не отъ самого себя, а отъ совѣтовъ и внушеній тѣхъ литераторовъ, на сужденіе которыхъ онъ долженъ былъ безусловно полагаться,—въ этомъ отношеніи его изданія имѣли большіе недостатки. Редакція его изданій всегда была далеко ниже ихъ типографскаго выполненія, зависѣвшего только отъ издателя. Такъ на примѣръ, сочиненія Державина изданы не въ хронологическомъ порядкѣ, по времени ихъ появленія изъ-подъ пера поэта, а на основаніи ложнаго раздѣленія по родамъ, которымъ всегда руководствовалась, при изданіи сочиненій каждаго автора, старая, такъ называемая классическая школа. «Исторія Государства Россійскаго» Карамзина, благодаря Смирдину, стоила только тридцать рублей ассигнаціями, вмѣсто прежнихъ полутора и больше рублей, слѣдовательно въ пять разъ дешевле. Вышла она въ двѣнадцати небольшихъ книжкахъ въ 12-ю долю листа, напечатанныхъ однакожъ не слишкомъ мелкимъ и очень четкимъ шрифтомъ. Чего бы, кажется, лучше! И дѣйствительно, на сторонѣ книгопродавца тутъ одна только заслуга, и заслуга великая! Но образованные, просвѣщенные, ученые и даровитые писатели, принимавшіе участіе въ редакціи «Исторіи» Карамзина, дали ему благой и мудрый совѣтъ—частью посократить, частью повѣбросить примѣчанія!... Затѣмъ это было сдѣлано? Затѣмъ, чтобъ книжка была тоньше, изданіе обошлось дешевле, и его можно было бы пустить въ продажу дешевле. Очень хорошо! Но въ такомъ случаѣ всего бы лучше было напечатать «Исторію» Карамзина совсѣмъ безъ примѣчаній. Тогда она годилась бы по крайней мѣрѣ для тѣхъ людей, которые читаютъ исторію какъ романъ, какъ повѣсть, какъ сказку, и для которыхъ скучно заглядывать въ примѣчанія, состоящіе часто изъ интереснѣйшихъ и любопытнѣйшихъ выписокъ изъ лѣтописей и современныхъ записокъ, чтобъ повѣрять имъ и событія, и автора исторіи.

Но редакторы или совѣтчики, желая угодить всѣмъ, не угодили никому. Тѣмъ, кто не любитъ примѣчаній, они все-таки навязали же примѣчанія, хотя и не полныя, которыя только безъ нужды увеличили книгу и ея цѣну; тѣхъ же, для которыхъ примѣчанія важны не меньше самаго текста, они снабдили искаженными примѣчаніями, которыя поэтому не имѣли уже никакой цѣны. И если для первыхъ лучше было бы издать «Исторію» Карамзина совсѣмъ безъ примѣчаній, то естественно, что для послѣднихъ слѣдовало бы ее издать съ полными примѣчаніями, тѣмъ болѣе, что три или много четыре лишніе листа при книгѣ не слишкомъ увеличили бы ея толщину (книжки вышли очень тонки) и расходы изданія. Въ послѣднемъ случаѣ лучше бы возвысить цѣну книги рублями пятью, потому что и 35 рублей — все-таки вчетверо дешевле 150 рублей. Тогда изданіе равно годилось бы для всѣхъ — и для тѣхъ, кому не нужны примѣчанія, и для тѣхъ, кому они нужны, между тѣмъ какъ искаженіе примѣчаній много повредило успѣху изданія и слѣдовательно выгодамъ издателя. Раскройте журналы того времени, — вы увидите, что мы говоримъ правду: это произвольное и ненужное искаженіе примѣчаній встрѣчено было общимъ ропотомъ. И неудивительно: теперь каждый образованный читатель съ большей охотой заплатитъ Эйнерлингу 50 рублей ассигнаціями за его компактное и прекрасное изданіе «Исторію» Карамзина, нежели Смирдину 10 руб. асс. за его же дешевое изданіе той же «Исторіи».

Смирдину пришла счастливая мысль издать полный каталогъ своей огромной библіотеки; но для осуществленія этой мысли онъ могъ только пожертвовать капиталомъ, а не быть редакторомъ изданія, и изданіе вышло изъ рукъ вонъ плохо. Составлявшіе каталогъ держались такого неслыханнаго порядка въ раздѣленіи книгъ по ихъ содержанію, что изъ хорошей книги поневогѣ выплелъ вздоръ. Повѣрятъ ли, что въ этомъ каталогѣ, въ отдѣлѣ богословскихъ книгъ, помѣщены: «Ключъ къ таинствамъ натуры» Эккартсгаузена, «Дочь молочника, истинная и занимательная повѣсть» и другія повѣсти и сказки нравственнаго содержанія; а въ отдѣлѣ философіи — книги вродѣ слѣдующей: «Смѣющійся Демокритъ, или поле честныхъ увеселеній съ поруганіемъ меланхоліи»?... Еще хорошо, что при этомъ каталогѣ есть общій каталогъ, по алфавиту, всѣхъ книгъ и всѣхъ авторовъ, и потому, хотя и съ трудомъ, а можно прискать книгу, которую нужно. Благодаря этому обстоятельству, каталогъ Смирдина — настоящая ручная книга въ

кабинетѣ каждаго литератора. Но будь онъ составленъ какъ слѣдуетъ, это была бы безцѣнная книга. Изъ всего этого видно, что могъ бы сдѣлать для русской литературы и русскаго образованія такой книгопродавецъ, какъ Смирдинъ, еслибъ онъ не имѣлъ нужды въ чужихъ совѣтахъ и чужомъ руководствѣ и могъ дѣйствовать самостоятельно...

Но еще большій переворотъ въ русской литературѣ сдѣлалъ Смирдинъ своимъ журналомъ — «Библіотека для Чтенія». Появленіе этого журнала — истинная эпоха въ исторіи русской литературы. До него наша журналистика существовала только для немногихъ, только для избранныхъ, только для любителей, но не для общества. Лучшій тогда журналъ «Московский Телеграфъ», пользовавшійся большимъ успѣхомъ, нежели всѣ предшествовавшіе и современные ему журналы, почти постоянно держался на 1,200 подписчиковъ и никогда не имѣлъ ихъ больше 1,500. Это считалось тогда огромнымъ успѣхомъ; но съ появленія «Библіотеки для Чтенія» всякому журналу необходимо стало имѣть больше 1,000 подписчиковъ только для издержекъ на изданіе. Отчего произошла такая быстрая перемена? Оттого, что съ появленія «Библіотеки для Чтенія» литературный трудъ сдѣлался капиталомъ. Много было тогда объ этомъ споровъ, и многіе видѣли въ этомъ униженіи литературы, литературное торгашество. Рыцари литературнаго безкорыстія или, лучше сказать, литературнаго донъ-кихотства не замѣчали, что въ ихъ пышныхъ фразахъ больше ребячества, нежели возвышенности чувства. Въ наше время, когда не-богачамъ жить такъ трудно и жить можно только трудомъ, въ наше время не цѣнить литературы на деньги — значитъ не цѣнить ея ни во что, не признавать ея существованія. Дѣйствительно, можно-ли предполагать богатую литературу тамъ, гдѣ книги — не товаръ и гдѣ говорятъ: «все товаръ — и битое стекло, и мусоръ, и песокъ; но книги — не товаръ»? Можно-ли предполагать дѣйствительное существованіе литературы тамъ, гдѣ можетъ жить своимъ трудомъ и подѣнщикъ, и разносчикъ, и продавецъ стараго тряпья и битой посуды, и тѣмъ болѣе писецъ, но гдѣ не можетъ жить своимъ трудомъ писатель, литераторъ? Что бы ни говорили, но аксіома неоспоримая, что нельзя въ одно и то же время быть вполне и хорошимъ чиновникомъ, и хорошимъ литераторомъ: чиновникъ непременно будетъ жѣлать литератору, а литераторъ — чиновнику. Чтобы быть ученымъ, поэтомъ или литераторомъ вполне, необходимо видѣть въ наукѣ, въ искусствѣ или въ литера-

турѣ свое исключительное призваніе, свое, такъ сказать, ремесло, свой родъ промышленности, говоря языкомъ политической экономіи. Намъ скажутъ, что между нашими знаменитыми писателями были и есть люди, отличавшіеся и отличающіеся на служебномъ поприщѣ. Вѣримъ; но что же это доказываетъ, если не то, что эти-же самые знаменитые писатели были бы еще знаменитѣе, т. е. лучше и больше писали бы, еслибъ могли посвятить свою дѣятельность исключительно одной литературѣ? Мы вѣдь не говоримъ, что только литература не-премѣнно мѣшаетъ службѣ; нѣтъ, мы говоримъ, что у одного литература мѣшаетъ службѣ, у другого служба мѣшаетъ литературѣ, а у третьяго служба и литература взаимно мѣшаютъ другъ другу (последнее бываетъ чаще всего и хуже всего, потому что полу-чиновникъ хуже чиновника такъ же, какъ полу-литераторъ хуже литератора). И это будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока литературная дѣятельность не будетъ одна обезпечивать существованіе литератора. До сихъ поръ одной изъ существенныхъ причинъ жалкаго состоянія нашей литературы должно считать то, что у насъ очень много полу-литераторовъ и очень мало литераторовъ. Говоря это, мы хотимъ только указать на существующій фактъ, а совѣмъ не винить въ этомъ кого-нибудь. Что необходимо, въ томъ никто не виновать, а полу-литераторство до сихъ поръ необходимость, своего рода неотразимый fatum. Въ этомъ даже есть своя хорошая сторона, хотя и не для литературы: лучше пусть чиновникъ дополняетъ скудные свои доходы урывочными литературными трудами и ими пріобрѣтаетъ возможность существовать, нежели служебными злоупотребленіями — этимъ любимымъ источникомъ людей стараго поколѣнія. Но еще будетъ лучше, когда всякій челоѣкъ съ талантомъ или способностями къ литературѣ только въ одной литературной дѣятельности будетъ находить вѣрный и благородный источникъ своего обезпеченія.

Мы не скажемъ, чтобъ Смирдинъ своею «Библіотекой для Чтенія» довелъ русскую литературу до состоянія обезпечивать вѣншее положеніе ея дѣятелей; но онъ первый положилъ начало такому ходу русской литературы. Бывало, журналъ могъ не только держаться, но и доставлять выгоды своему издателю при какихъ-нибудь трехъ-стахъ подписчикахъ, — а при пяти-стахъ журналъ считался богачомъ. И не мудрено: издатель его тратился только на бумагу и печать. Вотъ отчего такъ много издавалось тогда журналовъ въ Москвѣ, гдѣ бумага и печать и теперь гораздо дешевле, нежели

въ Петербургѣ. Книжки журналовъ тогдашнихъ были маленькія, тощенькія и набивались стишками, изрѣдка оригинальными повѣстями (большей частью отрывками изъ неконченныхъ романовъ и повѣстей) да переводами. Весь этотъ матеріалъ доставался издателямъ даромъ, и если они давали за что скудную плату, такъ развѣ за переводы. Исключенія бывали рѣдки... Тогда былъ золотой вѣкъ литературной невинности или, лучше сказать, ребяческаго литературшчества: тогда читали и писали изъ одной чистой любви къ литературѣ, какъ невинному и благородному занятію, а печатались изъ одной чести видѣть себя въ печати. Истинная литературная Аркадія, настоящая журнальная идиллія, въ которой овцы были довольны, а пастухи сыты!... Правда, тутъ не было торгашества, по крайней мѣрѣ со стороны добровольныхъ вкладчиковъ, если не издателей; зато сколько было тутъ мелкаго самолюбія, сколько ребячества, и какъ вся литература походила на дѣтскую игру въ мячикъ: перебрасывались стишками ни на что и полемикой изъ ничего — и были довольны, счастливы!...

Но все вдругъ измѣнилось съ появленіемъ журнала Смирдина: за статью установилась плата, литературный трудъ сдѣлался капиталомъ. Сначала это новое движеніе въ литературѣ не могло не имѣть своихъ дурныхъ сторонъ, какъ и всякій общественный успѣхъ. Но вѣдь и цивилизація имѣетъ свои дурныя стороны, которыхъ не знаютъ общества, пребывающія въ дикомъ состояніи; однако-жъ только славянофилы могутъ утверждать, что лучше оставаться людямъ дикарями, нежели вмѣстѣ съ благодѣяніями цивилизаціи принять и ея неизбѣжные недостатки. Итакъ, сначала приманка платы за литературный трудъ произвела вмѣстѣ съ хорошими слѣдствіями и дурныя: появилось множество писакъ, которые думали, что за ихъ сочиненія такъ вотъ и польется на нихъ золотой дождь; даже люди съ способностями и дарованіемъ начали заботиться не столько о томъ, чтобъ хорошо писать, сколько о томъ, чтобъ много и скоро писать. Но это не было продолжительно: лишь только новость обратилась въ обычай и обыкновеніе, какъ все вошло въ свои должныя границы. И теперь, право, лучше и вѣрнѣе, чѣмъ прежде, цѣнятся и таланты, и бездарность, писака никогда не перебьетъ дороги у писателя, и плохое произведеніе никогда не предпочтется хорошему за то, что послѣднее дороже. По крайней мѣрѣ такъ бываетъ теперь въ мѣрѣ журналистики. Книгопродавцы доселѣ продолжаютъ руково-

даться совѣтами литераторовъ, съ которыми имѣютъ дѣла и мнѣнію которыхъ вѣрятъ, а не то—именами мѣряютъ достоинства произведеній и за плохую повѣсть знаменитаго, хотя и выписавшагося писателя всегда дадутъ втрое и впятеро больше, нежели за прекрасное произведеніе молодого человѣка, который только что начинаетъ и еще не успѣлъ приобрести себѣ литературнаго имени. Но журналы (разумѣется, хорошіе) должны быть чужды этого упрека, — и если вы прочтете въ журналѣ плохую повѣсть, приписывайте ея помѣщеніе не безвкусию и не скупости журналиста, а только тому, что и за деньги не могъ онъ достать хорошей повѣсти. Этимъ, и только этимъ должно объяснить помѣщеніе въ журналахъ всего посредственнаго и дурного: если негдѣ взять хорошаго, поневолѣ станешь печатать что есть, выбирая изъ худого менѣе худое; но хорошій романъ, хорошая повѣсть, драма, хорошая журнальная статья уже не залежится въ портфелѣ автора потому только, что онъ хочетъ взять за свой трудъ хорошую цѣну. Если же журналистъ, по расчету, изъ экономіи, наполняетъ свой журналъ балластомъ—этимъ онъ не можетъ не вредить успѣху своего изданія, слѣдовательно и въ матеріальныхъ выгодахъ не можетъ не терять, думая выигрывать. Сами книгопродавцы, издавая много посредственнаго, уже почти не издають дурного, а, напротивъ, часто издають и хорошее. Еслибъ въ настоящее время русская литература была богаче талантами, и таланты были бы дѣятельнѣе, то плата за трудъ, обратившаяся въ обычай, сдѣлала бы то, что печатались бы только хорошія произведенія, а посредственные и дурныя нашли бы свой складочный магазинъ только въ тѣхъ журналахъ, которые издаются на прежнемъ основаніи литературнаго безкорыстія, т. е. безкорыстнаго обычая прежнихъ журналистовъ не платить сотрудникамъ и вкладчикамъ. И потому такъ называемое торговое направленіе, данное Смирдинымъ русской литературѣ, даже и въ отношеніи къ успѣхамъ вкуса принесло великую пользу и только вначалѣ произвело немного вреда.

Любопытно вспомнить кстати, какіе толки и вошпи пробудила тогда «Библиотека для Чтенія» въ отношеніи къ ея правилу платить за статьи. Черезъ годъ послѣ появленія этого журнала (въ 1835 г.) въ Москвѣ основался новый журналъ—и официальный критикъ этого журнала вотъ что провозгласилъ въ своей статьѣ: «Словесность и Торговля»:

«Да, да, — мой взглядъ на современную нашу литературу будетъ нынѣ совершенно матеріальный. На журналы я смотрю, какъ на капиталы. Библиотека для Чтенія имѣетъ для меня

пять тысячъ душъ подписчиковъ, *Смѣрная Пчела*, можетъ быть—вдвое. Замѣчательно, что эти журналы еще въ томъ сходятся съ богачами, что любить хвастаться всенародно своимъ богатствомъ.— Эти души подписчиковъ гораздо вѣрнѣе, чѣмъ твои оброчныя; за ними нѣтъ никогда недоимки, они платятъ впередъ, и всегда чистыми деньгами, и всегда на ассигнаціи.— Вотъ ѣдетъ литераторъ въ новыхъ саняхъ; ты думаешь — это сани. Нѣтъ, это статья *Библиотеки для Чтенія*, получившая видъ саней, покрытыхъ медвѣжьей полостью, съ богатыми серебряными когтями. Вся эта бронза, этотъ коверъ, этотъ лакъ чистый и опрятный—все это лавры дорого заплаченной статьи, принявшіе разныя образы саннаго надѣнія. Литераторъ хочетъ дать обѣдъ и жалуется, что у него нѣтъ денегъ. Ему говорятъ: да напиши повѣсть — пошли въ *Библиотеку для Чтенія*: вотъ и обѣдъ. Однимъ словомъ, литература наша сыта, даетъ обѣды, *живетъ въ чертогахъ* (?!), *позитивъ въ картахъ*, въ лавковыхъ саняхъ, кутается въ медвѣжью шубу, въ бекешу съ бобровымъ воротникомъ, *возвращаетъ голоса на аукціонахъ Опекунскаго Совета*, *покупаетъ имѣнія*!... (??!...) Насталъ если не золотой, то самый сытный вѣкъ нашей литературы. Дождались мы того счастливаго времени, что статьи наши считаются за вѣрные банковые билеты, что словесность наша имѣетъ свой торговый домъ, въ которомъ эти измаранные билеты тотчасъ вымѣниваются на чистые печатные, все приобретающіе. Не на Парнасѣ сидятъ наши музы, не среди ихъ въ небесахъ, а въ снѣгу обитаетъ наша словесность. Я представляю ее себѣ владѣтельницей ломбарда: здѣсь, на престолѣ изъ ассигнацій, воеводѣ даетъ она со счетами въ руки. Въ огромныхъ залахъ ея чертоговъ великое множество просителей съ исписанными тетрадами въ рукахъ; билеты равно принимаются отъ извѣстныхъ и неизвѣстныхъ; она всѣхъ сравнила по уровню печатнаго листа, за исключеніемъ немногихъ прежнихъ капиталистовъ; — но между этими просителями нѣтъ уже ни одного героя, который осмѣлился бы, какъ прежде, поднять голову надъ всѣми и объявить монополію на повѣсть, на романъ, на поэму. Но кто невидимый герой всего этого міра? Кто устроилъ ломбардъ нашей словесности и ваялъ ея производителей подъ свою опеку? Кто движетъ всей этой машиной нашей литературы? *Книгопродавецъ*. Съ нимъ подружилась наша словесность, ему продала себя за деньги и поклялась въ вѣчной вѣрности.»

Эта шумливая выходка противъ прекраснаго дѣла Смирдина говоритъ всего убѣдительнѣе въ его пользу. Во первыхъ, широкорѣсательная и многоглаголивая статья эта напечатана въ журналѣ, который въ своей программѣ объявилъ, что онъ будетъ «платить за статьи, и платить не скупю». Во-вторыхъ, вѣлорѣчивый сочинитель этой статьи не замедлилъ послать въ журналъ Смирдина статью на общихъ для всѣхъ основаніяхъ денежнаго вознагражденія. (Вотъ подлинно, проданъ да и бранить другихъ, что они продаютъ свои труды!..) Въ третьихъ, въ открытѣ, который мы написали изъ статьи, что ни слово, то неправда, что ни слово, то выдумка, что ни слово, то преувеличеніе. Все это наговорено, какъ выражается Маниловъ въ «Мертвыхъ Душахъ», только «для красоты слога», для метафоръ и фигуръ, для риторики. Риторъ,

когда говорить, прислушивается къ собственнымъ словамъ, жуется ихъ, облизывается; что ему за дѣло, что въ нихъ заключается сушая нелѣпость или вовсе ничего не заключается!.. Что иной авторъ могъ купить себѣ сани за цѣну статьи, отданной имъ въ журналъ Смирдина—это не невозможное дѣло. За деньги, полученные отъ того же журнала за цѣлый рядъ статей, печатавшихся въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, иной могъ, пожалуй, купить и карету: опять не невозможное дѣло. Но превратить статью въ карету, или посредствомъ многихъ статей придти въ состояніе возвышать голосъ на аукціонахъ Опекунскаго Совѣта и покупать деревни,—воля ваша, все это нелѣпость, т. е. пустая и шумливая риторика. Правда, у насъ были два романиста, которые своими романами, говорятъ, приобрѣли себѣ состояніе; но это случилось или до «Библиотеки для Чтенія», или безъ ея содѣйствія, и подобный успѣхъ былъ совершенной случайностью, изъ которой смѣшно было бы дѣлать общее правило. Золотой дождь, полившійся изъ журнала г. Смирдина на русскихъ литераторовъ, привидѣлся во снѣ московскому критикану, а онъ взялъ да и напечаталъ свой сонъ, какъ будто все это было дѣйствительностью, благо, что бумага все терпитъ и ни отъ чего не краснѣетъ... Довольно и того, что журналъ Смирдина положилъ начало обычаю вознаграждать по мѣрѣ возможности литературный трудъ, и черезъ это далъ литераторамъ большую возможность, нежели какую имѣли они прежде, предаваться литературнымъ занятіямъ. И то было истиннымъ подвигомъ съ его стороны, и за то ему честь и слава! Говорятъ: нашъ вѣкъ желѣзный, денежный и промышленный:—фразы! Люди всегда были и будутъ людьми: ни прежде, ни теперь и ни послѣ не могли, не могутъ и не будутъ они въ состояніи питаться и одѣваться воздухомъ. Плата за честный трудъ нисколько не унижательна; унижительно злоупотребленіе труда. И, по нашему мнѣнію, гораздо честнѣе продать свою статью журналисту или книгопродавцу, нежели кропать стишонки въ честь какого нибудь мецената, милостивца и покровителя, какъ это дѣлывалось въ невинное и безкорыстное время нашей литературы, когда подобными одами добивались чести играть роль шута въ боярскихъ палатахъ, получали мѣсто и выходили въ люди...

Движеніе, данное Смирдинымъ русской литературѣ, сначала было очень сильно. Почти вслѣдъ за журналомъ его началъ издаваться Плюшаромъ «Энциклопедическій Лексиконъ»,—предпріятіе огромное и при-

ведшее въ движеніе много перьевъ,—которыя до того лежали безъ употребленія. Пока это изданіе шло хорошо, его владѣлецъ показавъ едва ли не первый примѣръ честнаго вознагражденія за трудъ на правилахъ европейской коммерціи, т. е. записка отъ главнаго редактора, представленная въ конторѣ редакціи, была истиннымъ банковымъ билетомъ: деньги выдавались въ ту же минуту, сполна, безъ ужимокъ, безъ гримасъ, безъ отсрочекъ до слѣдующей недѣли, безъ просьбы—принять пока половинку, и монеткой, вмѣсто ассигнацій (такъ какъ тогда ассигнаціи ходили съ лажемъ), безъ жалобъ на недостатокъ денегъ, на дороговизну времени, стѣсненныя обстоятельства,—словомъ, безъ всѣхъ этихъ непріятностей, которыя дѣлаютъ для васъ истинной мукой полученіе денегъ, по праву вамъ принадлежащихъ...

Какъ пошелъ въ ходъ журналъ Смирдина, какъ дѣйствовала его редакція, объ этомъ мы не будемъ говорить, потому что это не относится къ предмету статьи. Скажемъ только, что Смирдинъ все дѣлалъ для своего изданія, что долженъ былъ и что могъ онъ сдѣлать, даже болѣе. Онъ не боялся риска, сыпалъ деньгами, ходилъ къ литераторамъ, принималъ ихъ у себя, гонялся за статьями, заказывалъ ихъ, торопилъ окончаніемъ, кланялся, просилъ... Что бы могъ дѣлать онъ больше?

«Ста Русскихъ Литераторовъ» едва ли не самое любимое изъ всѣхъ изданій, которыя когда либо предпринималъ Смирдинъ. Онъ началъ его со страстью, продолжаетъ съ упорствомъ и повидимому ожидаетъ отъ него много пользы. Посмотримъ, до какой степени основательны эти надежды.

Мысль изданія «Ста Русскихъ Литераторовъ» не лишена оригинальности. Это своего рода портретная галлерей русскихъ писателей, которая не только знакомитъ читателя съ лицомъ и почеркомъ каждаго замѣчательнаго писателя, но и напоминаетъ ему его талантъ и его манеру статей, приложенной къ портрету. Картинки, сюжетъ которыхъ заимствованъ изъ статей, составляющихъ содержаніе книги, дополняютъ собой роскошь изданія. Все это очень недурно придумано и такимъ образомъ можно было бы составить цѣлый рядъ очень интересныхъ книгъ, изданіе которыхъ принесло бы и честь и прибыль книгопродавцу. Но и тутъ Смирдинъ сдѣлалъ все, что могъ и чего въ правѣ была требовать отъ него публика, т. е. онъ не жалѣлъ ни денегъ, ни хлопотъ. Изданные имъ три тома «Ста Русскихъ Литераторовъ», по красотѣ изданія, по портретамъ и картинкамъ,—книги хоть куда, книги, какихъ

у насъ не много, и какихъ до выхода перваго тома этого изданія никогда не бывало. Смирдинъ предположилъ себѣ издать десять томовъ, съ десятью портретами и десятью картинками въ каждомъ; что же касается до статей, то, по его плану, ихъ не могло быть меньше, не могло быть больше десяти въ каждомъ томѣ. И такъ, сто портретовъ, сто литераторовъ для всего изданія! Гдѣ наберетъ Смирдинъ? спрашивали мы самихъ себя, когда прошелъ слухъ объ этомъ предпріятіи. Не полагая, чтобъ невозможное было возможно,—мы думали, что, во-первыхъ, Смирдинъ начнетъ свое изданіе съ Кантемира, Тредьяковского, Ломоносова, Поповскаго, Сумарокова, Хераскова, Петрова, Державина, Фонвизина, Богдановича, Княжнина, Аблесимова, Капниста и т. п. Въ такомъ случаѣ, держась хронологическаго порядка, онъ могъ бы наполнить тома три одними писателями, предшествовавшими Пушкину. Подобная мысль была бы не дурна. Тутъ нечего было бы разсуждать о томъ, поэты, или не поэты были Тредьяковский, Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ; они играли въ свое время важную роль въ русской литературѣ и пользовались огромной извѣстностью: этого довольно. Строгость выбора — дѣло важное; но Смирдинъ въ этомъ выборѣ непременно долженъ былъ принять за основаніе извѣстность, какой въ свое время пользовался тотъ или другой писатель. Мы думали, что Смирдину удалось достать хоть по одному или по нѣскольку изъ неизданныхъ сочиненій этихъ писателей, а при портретахъ тѣхъ, послѣ которыхъ не оставалось ничего ненапечатаннаго, онъ приложитъ что-нибудь уже изъ напечатаннаго и извѣстнаго,—что-нибудь такое, что характеризовало бы писателя, портретъ котораго находился передъ глазами читателя. Это была бы истинная портретная и въ то же время историческая галерея русской литературы, великолѣпный памятникъ, воздвигнутый русской литературѣ просвѣщеннымъ и умнымъ усердіемъ книгопродавца. Тутъ главное дѣло—хронологическая послѣдовательность дѣятелей русской литературы, такъ, чтобы каждый томъ представлялъ цѣлую группу писателей отдѣльной эпохи, и чтобъ это была, такъ сказать, своего рода исторія русской литературы въ лицахъ. Нечего и говорить, что когда бы дошло дѣло до живыхъ литераторовъ, ихъ портреты являлись бы съ новыми статьями. Но и тутъ насъ ужасало число семьдесятъ: гдѣ наберетъ столько писателей Смирдинъ?... Но когда vyšелъ первый томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ», мы тотчасъ поняли, что, при нуждѣ, онъ можетъ набрать ихъ, пожалуй,

цѣлыхъ пятьсотъ, и даже надѣлать ихъ, еслибъ не нашлось уже готовыхъ. Какъ надѣлать? да очень просто: встрѣтилъ чело-вѣка, который знаетъ грамотѣ и любить «читать книжки», да и попросилъ его написать повѣсть или драму. Тотъ сперва удивится, потомъ поломается, а тамъ и согласится. Есть тысячи людей, которые изъ денегъ или изъ чести видѣтъ въ печати свой портретъ и свое сочиненіе готовы пуститься въ сочинительство, даже и не зная грамотѣ...

Еще первый томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ» показалъ, что это изданіе принято безъ всякаго плана, безъ всякаго порядка. Кто попался первый, того и давай сюда, отчего и составилось общество, члены котораго не могутъ довольно надивиться тому, какъ они сошлись вмѣстѣ. Старые писатели смѣшаны съ новыми, гениальные съ бездарными, знаменитые съ неизвѣстными, хорошие съ плохими: Пушкинъ съ Зотовымъ, Крыловъ съ Каменскимъ, Шишковъ съ Вережкинымъ, Гречъ съ Бенедиктовымъ, и т. д. Но пусть старые писатели смѣшаны безъ толку съ новыми и молодыми: это бы еще куда ни шло; не хорошо, но такъ и быть. Хуже всего то, что гениальность смѣшана съ бездарностью, талантъ съ посредственностью, знаменитость съ неизвѣстностью. Конечно не Смирдину взвѣшивать и сортировать литературные таланты; но все-таки ему слѣдовало крѣпко держаться въ этомъ отношеніи основанія извѣстности, репутаціи таланта. Спрашиваемъ его, ради какихъ причинъ Зотовъ попалъ въ его сборникъ? Говорятъ, онъ написалъ нѣсколько десятковъ томовъ; хорошо; но развѣ мало томовъ написалъ извѣстный московскій романистъ, Александръ Анфиловъ Орловъ, развѣ романы и повѣсти его не расходились тысячами, и онъ не напечаталъ себѣ многочисленной публики? Почему же его не видимъ мы въ числѣ «Ста Русскихъ Литераторовъ»? Или еще можетъ быть въ которомъ-нибудь изъ слѣдующихъ томовъ мы будемъ имѣть удовольствіе встрѣтить этого счастливаго, по таланту и славѣ, соперника Зотова? Дай-то Богъ!... Но шутки въ сторону.

Мы пересмотрѣли два первые тома и внимательно разсмотрѣли третій томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ»: что же нашли мы въ нихъ?—Въ первомъ томѣ два портрета совершенно лишніе и неумѣстные (Зотова и Свинына); при двухъ портретахъ (Александрова и Марлинскаго) плохія статьи. Во второмъ: три портрета (Каменскаго, Вережкина и Масальскаго) совершенно излишніе и неумѣстные; четыре

портрета (Булгарина, Загоскина, Панаева, Шишкова) запоздалые, а, за исключением Крылова, десять портретовъ съ плохими статьями. Въ третьемъ: четыре портрета (Ободовскаго, Мятлева, Бѣгичева и Маркова) лишніе и неумѣстныя; три портрета (Греча, Хмельницкаго и Ушакова) запоздалые; при восьми портретахъ плохія статьи. Итого: изъ тридцати портретовъ девять лишніхъ и неумѣстныхъ, восемь запоздалыхъ; изъ тридцати слишкомъ статей девятнадцать плохихъ (считая за одну статью пять стихотвореній Бенедиктова и за одну же статью десять стихотвореній Мят-

лева). Хорошій итогъ!... Жалуйтесь послѣ этого на холодность и равнодушіе русской публики къ поддержанію цвѣтущаго состоянія русской литературы! Объясняйте, отчего пала наша книжная торговля!

Еслибъ еще Смирдинъ въ своихъ «Ста Русскихъ Литераторахъ» имѣлъ цѣлью представить историко-картинную галерею русской литературы,—по крайней мѣрѣ въ его изданіи не было бы запоздалыхъ портретовъ! Но это изданіе предпринято безъ всякаго соображенія: оттого его успѣхъ кажется довольно сомнительнымъ...

КНЯЗЬ АНТІОХЪ ДМИТРІЕВИЧЪ КАНТЕМИРЪ.

Русскую литературу начинаютъ съ Ломоносова,—и справедливо. Ломоносовъ дѣйствительно былъ основателемъ русской литературы. Какъ гениальный человѣкъ, онъ далъ ей форму и направленіе, которыя она надолго удержала. Каковы были эта форма и это направленіе—вопросъ другой; дѣло въ томъ, что дать форму и направленіе цѣлой литературѣ могъ только человѣкъ необыкновенный, но, несмотря на общее согласіе въ томъ, что русская литература начинается съ Ломоносова, всѣ начинаютъ ея исторію съ Кантемира. Это тоже справедливо. Если Кантемиръ и Тредьяковский не были основателями русской литературы, ихъ труды нѣкоторымъ образомъ были какъ бы предисловіемъ къ ея основанію. Оба они, особенно послѣдній, брались за то, за что прежде всего должно было взяться; но оба они не имѣли достаточныхъ средствъ для выполненія предлежавшаго имъ дѣла. Впрочемъ къ Кантемиру это относится гораздо меньше, чѣмъ къ Тредьяковскому. Кантемиръ не столько начинаетъ собой исторію русской литературы, сколько заканчиваетъ періодъ русской письменности. Кантемиръ писалъ такъ называемыми силлабическими стихами, —размѣромъ, который совершенно несвойственъ русскому языку; но этотъ размѣръ существовалъ на Руси задолго до Кантемира. Онъ зашелъ къ намъ изъ Польши чрезъ Малороссію, въ XVI столѣтіи. Этимъ размѣромъ писали и Петръ Могила, и Димитрій Ростовскій, и Симеонъ Полоцкій; но ихъ стихи были духовнаго содержанія, не блестящіе поэзіей и отличались однажды-навсегда принятой и неподвижной риторической формой; Кантемиръ же первый началъ писать сти-

хи, тѣмъ же силлабическимъ размѣромъ, но содержаніе, характеръ и цѣль его стиховъ были уже совсѣмъ другіе, нежели у его предшественниковъ на стихотворческомъ поприщѣ. Кантемиръ началъ собой исторію свѣтской русской литературы. Вотъ почему всѣ, справедливо считая Ломоносова отцомъ русской литературы, въ то же время не совсѣмъ безъ основанія Кантемиромъ начинаютъ ея исторію. Несмотря на страшную устарѣлость языка, которымъ писалъ Кантемиръ, несмотря на бѣдность поэтическаго элемента въ его стихахъ, Кантемиръ своими сатирами воздвигъ себѣ маленкій, скромный, но тѣмъ не менѣе безсмертный памятникъ въ русской литературѣ. Имя его уже пережило много эфемерныхъ знаменитостей, и классическихъ, и романтическихъ, и еще переживетъ ихъ многія тысячи. Этотъ человѣкъ, по какому-то счастливому инстинкту, первый на Руси свелъ поэзію съ жизнью,—тогда-какъ самъ Ломоносовъ только развелъ ихъ надолго. Поэзія Кантемира уже по тому одному, что она была сатирической, не могла быть риторической. Не только при Кантемирѣ, но и гораздо спустя послѣ него, русская литература могла, еслибъ поняла свое положеніе, смѣяться и осмѣивать, а между-тѣмъ она больше восторгалась и надувалась. Впрочемъ дѣйствительность таки взяла свое,—и русская литература какъ-то, сама-сбой, безсознательно, раздѣлилась на сатирическую и риторическую. Значительная часть сочиненій Сумарокова въ сатирическомъ родѣ,—и, несмотря на тупость и аляповатость сатирической музы этого неутомимаго писателя, стремившагося къ всеобъемлемости и ничего не обнявшаго, его нападки

на подъячихъ не были бесполезны; если онѣ не исправляли нравовъ, зато поддерживали въ обществѣ сознаніе, что порокъ есть все-таки порокъ, хотя бы онъ былъ и неизбежнымъ зломъ. Слѣдовательно, благодаря можетъ-быть заслугѣ одной только литературы, у насъ зло не смѣло называться добромъ, а лихоимство и казнокрадство не титуловались благонамѣренностью, какъ это всегда водилось и теперь водится напримѣръ въ Китаѣ. И могло ли это быть у насъ иначе, если сатирическое направленіе современъ Кантемира сдѣлалось живой струей всей русской литературы? Не говоря уже о Фонвизинѣ, котораго превосходный талантъ былъ по преимуществу сатирический,—самъ Державинъ, который по духу своего времени риторическую превыспренность считалъ заодно съ поэзіей,—заплатилъ большую дань сатирѣ. И еще далеко не успѣлъ блестящій лирикъ вѣка Екатерины догнѣть своихъ громозвучныхъ одъ, какъ явился на Руси національный баснописецъ—Крыловъ. Это сатирическое направленіе, столь важное и благотворное, столь живое и дѣйствительное для общества, въ которомъ такъ странно боролась прививная европейская форма съ азіатской сущностью родной старины, — это сатирическое направленіе никогда не прекращалось въ русской литературѣ, но только переродилось въ юмористическое, какъ болѣе глубокое въ психологическомъ отношеніи и болѣе родственное художественному характеру новейшей русской поэзіи.

Говоря о Кантемирѣ, нѣтъ нужды распространяться въ біографическихъ подробностяхъ; но не мѣшаетъ взглянуть бѣгло на жизнь Кантемира въ ея связи съ литературой. Есть на русскомъ языкѣ старинная книжица, изданная Новиковымъ въ 1783 году, подъ титуломъ: «Исторія о жизни и дѣлахъ молдавскаго господаря князя Константина Кантемира, сочиненная Санкт-петербургской Академіи Наукъ покойнымъ профессоромъ Бееромъ, съ россійскимъ переводомъ и съ приложеніемъ родословной князей Кантемировъ». Въ этой книжкѣ сказано, что Кантемиры свой родъ производятъ отъ крымскихъ татаръ, и доказано кстаті, что въ этомъ обстоятельствѣ для Кантемировъ нѣтъ ничего унижительнаго, потому-что «знатностью породы, каковую предки наши или на прямой добродѣтели, или на некой мнимой славѣ въ своемъ утвердили потомствѣ, татары намъ не токмо ни мало не уступаютъ, но еще гораздо больше, нежели мы, благородствомъ знаменитѣйшихъ мужей превозносятся: ибо нѣтъ у нихъ ни одинаго таковаго важнаго

и храбраго дѣла, за которое подлой или простолюдинъ могъ бы когда-нибудь причтенъ быть въ число мурзъ». Послѣ такого по-истинѣ татарскаго воззрѣнія на несомнѣнность родовой знаменитости князей Кантемировъ наивная книжица неоспоримо доказываетъ, что Кантемиры происходятъ по прямой линіи отъ Тамерлана, что видно изъ самаго ихъ имени: Канъ-Тимуръ, т. е. родственникъ Тимура. Но для русской литературы все равно, отъ Тамерлана или, еще древнѣе—отъ Адама произошелъ сатирикъ Кантемиръ. Для нея довольно знать, что онъ былъ сынъ молдавскаго господаря Дмитрія Кантемира, столь извѣстнаго въ исторіи Петра Великаго по турецкой войнѣ, кончившейся миромъ при Прутѣ. Князь Дмитрій былъ человѣкъ ученый; съ особеннымъ удовольствіемъ занимался онъ исторіей, «былъ весьма-искусенъ въ философіи и математикѣ и имѣлъ знаніе въ архитектурѣ»; былъ членомъ Берлинской Академіи; говорилъ по-турецки, по-персидски, по-гречески, по-латынѣ, по-итальянски, по-русски, по-молдавски, порядочно зналъ французскій языкъ и оставилъ послѣ себя нѣсколько сочиненій на латинскомъ, греческомъ, молдавскомъ и русскомъ языкахъ. Изъ нихъ «Система Мухаммеданскаго Закона», по повелѣнію Петра Великаго, напечатана въ Петербургѣ въ 1722 году. Очень естественно, что у такого отца дѣти были людьми учеными и образованными.

Антіохъ былъ четвертымъ сыномъ князя Дмитрія и родился въ Константинополѣ 1708 года сентября 10. Такъ какъ отецъ скоро замѣтилъ въ немъ отличныя дарованія, то и приложилъ особенное стараніе о его воспитаніи преимущественно передъ всѣми другими своими сыновьями. Сначала Антіохъ воспитывался въ Харьковѣ, потомъ въ Москвѣ, наконецъ въ Петербургѣ. Вездѣ пользовался онъ уроками лучшихъ въ то время преподавателей. Не желая ни на минуту спустить глазъ своихъ съ любимаго сына, князь Дмитрій взялъ Антіоха съ собою въ персидскій походъ, въ которомъ онъ сопровождалъ Петра Великаго, въ 1722 году. Во время похода ученіе Антіоха не прерывалось ни на минуту; самое путешествіе это практически не могло не быть чрезвычайно полезно любознательному четырнадцатилѣтнему юношѣ. Страсть и уваженіе къ учености были такъ сильны въ старомъ Кантемирѣ, что онъ желалъ имѣть наследникомъ своего большаго имѣнія того изъ сыновей, который больше другихъ отличится въ наукахъ. Онъ даже просилъ объ этомъ Петра Великаго, а въ духовномъ завѣщаніи прямо указалъ на Антіоха, какъ на того изъ своихъ сыновей, который по способностямъ и

познаніямъ достоинъ быть наслѣдникомъ его имѣнія *). Въ 1725 году была учреждена С.-Петербургская Императорская Академія Наукъ, и Антиохъ выслушалъ курсъ высшихъ наукъ у иностранныхъ профессоровъ, приглашенныхъ Петромъ Великимъ въ Россію. Математикѣ учился онъ у Бернулли, физикѣ—у Бальфингера, исторіи—у Беера, нравственной философіи—у Гросса. Блестящія дарованія скоро обратили на молодого Кантемира общее вниманіе. Еще бывъ поручикомъ преображенскаго полка, почти двадцати лѣтъ отъ роду, онъ едва не былъ посланъ къ французскому двору; намѣреніе это почему-то было отмѣнено, но оно показываетъ, какой репутаціей пользовался этотъ молодой человекъ въ такое время, когда молодость считалась порокомъ, отъ котораго едва избавлялись въ сорокъ лѣтъ. По нѣкоторымъ словамъ книги Беера можно заключить не безъ основанія, что первые три сатиры Антиоха Кантемира не мало способствовали его возвышенію въ глазахъ самого правительства. Виѣстъ съ его братьями, Матвѣемъ и Сергіемъ, и сестрой Маріею Анна Іоанновна пожаловала ему тысячу тридцать крестьянскихъ дворовъ. Въ 1731 году онъ былъ посланъ въ Лондонъ въ качествѣ резидента. Проѣзжая чрезъ Голландію, Кантемиръ запасся книгами и поручилъ одному книгопродавцу въ Гагѣ напечатать сочиненіе своего отца: «Описаніе историческое и географическое Молдавіи»; впрочемъ это сочиненіе не было напечатано. Въ Лондонѣ Кантемиръ былъ принятъ съ отличіемъ, какъ ученый человекъ и глубокий политикъ. За удовлетворительное окончаніе возложеннаго на него порученія онъ былъ облеченъ значеніемъ чрезвычайнаго посланника и полномочнаго министра. Свободное отъ политическихъ занятій время онъ посвящалъ наукамъ и бесѣдѣ съ учеными людьми Англіи, которую онъ почиталъ просвѣщеннѣйшей страной въ мірѣ. Знакомство съ нѣкоторыми итальянцами побудило его выучиться итальянскому языку, которымъ онъ такъ хорошо овладѣлъ, что и говорилъ, и писалъ на немъ какъ природный итальянецъ. Вслѣдствіе оспы, которую Кантемиръ перенесъ въ дѣтствѣ, онъ всегда

страдалъ истеченіемъ мокроты изъ глазъ. Отъ усиленнаго занятія чтеніемъ въ Лондонѣ эта болѣзнь до того у него усилилась, что онъ поѣхалъ въ 1736 году въ Парижъ лѣчиться у знаменитаго въ то время врача Жандрона, лейбъ-медика французскаго регента. Жандронъ дѣйствительно помогъ Кантемиру; а когда, въ 1738 году, Кантемиръ пріѣхалъ въ Парижъ въ качествѣ полномочнаго министра, то и совсѣмъ излѣчилъ его отъ глазной болѣзни. Въ 1739 году Кантемиръ былъ наименованъ чрезвычайнымъ посломъ при французскомъ дворѣ. При запутанныхъ обстоятельствахъ этой эпохи Кантемиръ удержался въ милости и при Правительницѣ, которая пожаловала его въ 1741 году въ тайные совѣтники, и при Елисаветѣ Петровнѣ, подтвердившей его въ этомъ чинѣ. Въ Парижѣ Кантемиръ велъ жизнь уединенную, зная только съ людьми учеными и литераторами, и съ страстью предавался ученію. Съ особеннымъ рвеніемъ занимался онъ тогда алгеброй и сочинилъ на русскомъ языкѣ «Руководство къ Алгебрѣ», которое осталось въ рукописи. Батюшковъ, представившій Кантемира въ бесѣдѣ съ Монтескьѣ, аббатомъ В. и аббатомъ Гуаско, справедливо замѣтилъ, что Кантемиръ писалъ бы стихи и на необитаемомъ островѣ, потому что онъ писалъ ихъ въ Парижѣ, который въ отношеніи къ нему, какъ къ стихотворцу, былъ для него дѣйствительно необитаемымъ островомъ. Весь характеръ, вся личность Кантемира отразилась въ этихъ, его же, стихахъ:

Тотъ въ сей жизни лишь, блаженъ, кто, малымъ
довольнъ,
Въ тишинѣ знаетъ прожить, отъ суетныхъ
воленъ
Мыслей, что мучать другихъ, и топчетъ на-
дежду
Словъ добродѣтели къ концу неизбежну.
Небольшой домъ, на своемъ построенный полѣ,
Даетъ нужное моеи умѣренной волѣ;
Не скудный, не лишній корь, и средно
забаву,
Гдѣ бѣ съ другомъ честнымъ я могъ, по моему
праву
Выбрантыя; въ лишніе часы прочесть скуки
бремя,
Гдѣ бѣ, отъ шуму отдаленъ, прочее все время
Провождаю межъ мертвыми греки и латини,
Исследуя всѣхъ вещей дѣйства и причины,
И, учась, знать образцомъ другихъ, что по-
лезно.
Что вредно въ нравахъ, что въ нихъ гнусно
или любезно:
То одно желаніе мое составляетъ.

Съ 1740 года здоровье Кантемира начало совершенно разстроиваться. Вотъ что говоритъ объ этомъ книжица Беера: «Князь Антиохъ подверженъ былъ человѣческимъ слабостямъ, какъ и другіе люди. Онъ чув-

*) Впрочемъ это дѣло какъ-то безтолково объяснено въ книгѣ Беера: на стр. 321 сказано о второмъ сынѣ князя Дмитрія, Константѣ, что «Императоръ Петръ II, снисходя на желаніе умершаго родителя его, князя Дмитрія, повелѣлъ (19 мая 1729 года) въ недвижимомъ имѣніи быть одному ему наслѣдникомъ». Во всякомъ случаѣ, и всѣ другіе братья Константина не остались бѣдняками, благодаря щедротамъ Петра Великаго и его преемниковъ. Такъ какъ Антиохъ не былъ женатъ и не оставилъ по себѣ наслѣдниковъ, то имѣніе его перешло къ братьямъ.

ствоваѣ то самъ, яко челоѣкъ, и имѣлъ несчастіе искувиться въ скорби, свойственной челоѣческому роду. Съ 1740 года почувствоваѣ онъ внутреннюю болѣзнь, которая отъ часу умножалась. И хотя онъ въ пищѣ весьма былъ воздерженъ, однако желудокъ его почти ничего уже варить не могъ». Въ 1741 году онъ ѣздилъ на ахенскія воды, отъ которыхъ и получилъ облегченіе, равно какъ и отъ лѣкарства какой-то дѣвицы Стефенсъ, которое онъ употреблялъ по совѣту же Жандрона. Въ 1743 году онъ пользовался пломбьерскими водами, которыя однако не помогли ему. По возвращеніи въ Парижъ онъ отдался на руки разнымъ врачамъ, которые совсѣмъ загѣчили его. Въ это время онъ страдаѣ крайнимъ ослабленіемъ желудка, рѣзью въ почкахъ и бессонницей. Потомъ онъ схватилъ лихорадку, довольно впрочемъ легкую, и у него открылся кашель. По совѣту одного изъ друзей своихъ, который, вопреки мнѣнію докторовъ, смотрѣлъ серьезно на эти припадки, Кантемиръ рѣшился провести зиму въ Неаполѣ. Но, когда онъ получилъ на это разрѣшеніе отъ своего двора, было уже поздно: усилившаяся болѣзнь и дурное время года не позволили ему тронуться съ мѣста. Погода страдаѣ онъ болѣзнь въ груди, не переставая чтеніемъ прогонять скуку бессонницы. На увѣщанія, что онъ этимъ вредитъ себѣ, онъ обыкновенно отвѣчалъ, что «тогда только не чувствуетъ болѣзни, когда трудится». Охоту къ чтенію онъ потеряѣ только за три или за четыре дня до своей смерти, и это обстоятельство открыло ему опасность его положенія. Одинъ изъ друзей его, читая съ нимъ разсужденіе Цицерона «о дружбѣ», во имя налагаемаго этимъ чувствомъ долга, заговорилъ съ нимъ прямо о его положеніи и посовѣтоваѣ заняться послѣдними распоряженіями. Кантемиръ съ благодарностью приняѣ этотъ совѣтъ, какъ доказательство истинной дружбы, и не медля приступилъ къ составленію духовной, въ которой, отказавъ все свое имѣніе братьямъ и сестрамъ, завѣщалъ, чтобъ тѣло его, по вскрытіи, было набальзамировано, отвезено въ Россію и похоронено, безъ всякой церемоніи, въ греческомъ монастырѣ, въ Москвѣ, гдѣ схоронены были его родители. До самой минуты своей смерти онъ былъ въ полномъ разумѣ. Умеръ онъ 1744 г., марта 31, тридцати пяти лѣтъ и семи мѣсяцевъ отъ роду. По вскрытіи тѣла оказалось, что у него была водяная въ груди.

О личномъ характерѣ Кантемира извѣстно только, что онъ былъ челоѣкъ благородный, правдивый и кроткій. Сначала онъ казался непривѣтливымъ, но эта непривѣт-

ливость постепенно исчезала въ отношеніи къ людямъ, которые ему болѣе и болѣе нравились. Слабое и болѣзненное его тѣло-сложеніе придавало его характеру меланхолическій оттѣнокъ, что однакожъ не мѣшало ему быть и любезнымъ, и веселымъ въ обществѣ людей, которые ему нравились, и съ которыми онъ могъ быть откровененъ. Въ частной жизни онъ былъ экономъ и, какъ говоритъ книжица Беера, изъ которой мы заимствовали эти подробности: «никогда не признавалъ, что долги были знакомъ благородства и высокаго достоинства». Вотъ все, что дошло до потомства о Кантемирѣ, какъ о челоѣкѣ; въ его сатирахъ мы увидимъ его какъ поэта, и вновь встрѣтимся съ нимъ, какъ съ челоѣкомъ.

Въ 1789 году написалъ Кантемиръ свою первую сатиру, слѣдовательно ровно за десять лѣтъ до первой оды Ломоносова («На взятіе Хотина»), написанной новымъ раз-мѣромъ. Это едва ли не лучшая изъ всѣхъ сатиръ Кантемира. Она была направлена противъ обскурантовъ (людей, одержимыхъ болѣзнь мракобѣсія), враговъ просвѣщенія, словомъ, славянофиловъ того времени. Въ ней, какъ и во всѣхъ сатирахъ Кантемира, нѣтъ ни жолчнаго негодованія, ни бурнаго паэоса; но въ ней много ума, много комической соли и есть одушевленіе, тихое, ровное, но постоянно выдерживаемое. Кантемиръ не бичуетъ, а только сѣчетъ обскурантовъ. Оно и естественно: сатира страстная, грозная, бѣшеная, вооруженная свитѣмъ изъ змѣй бичомъ, сатира въ образѣ Немезиды, бросающей молніи изъ очей, съ пѣной у рта, такая сатира возможна только или у народа, который уже пережилъ самого себя, для котораго уже нѣтъ ни выхода, ни будущаго, или у народа, который еще полонъ свѣжихъ силъ жизни, но уже сознаѣ причины, которыя удерживаютъ его стремленіе на пути дальнѣйшаго развитія. Ни то, ни другое положеніе не могло относиться къ Россіи временъ Кантемира. Прогрессъ, который тогда для нея былъ возможенъ, весь заключался больше въ формѣ, нежели въ духѣ, слѣдовательно былъ слишкомъ внѣшенъ, и потому не могъ имѣть слишкомъ сильныхъ и опасныхъ враговъ. Эти враги были больше смѣшны, нежели страшны, и для нихъ нуженъ былъ не свистящій бичъ ювеналовской сатиры, а легкая лоза насмѣшки и ироніи. И въ этомъ отношеніи сатиры Кантемира были именно такими, какія тогда были нужны и могли быть полезны. Первая сатира, «На худшихъ ученіе», особенно богата смѣшными чертами и вѣрными снимками съ общества того времени. Поэтъ дѣлаетъ обращеніе къ

уму своему, прося его не понуждать его рукъ къ перу. Можно, говоритъ поэтъ, и не писавши достигъ славы: вѣдь въ нашъ вѣкъ къ ней ведутъ многіе пути; а изъ нихъ самый трудный и невыгодный—тотъ, «что босы проклали девять сестръ».

..... Кто надъ столомъ гнется,
Цяла на книгу глаза, большихъ не добьются
Палаты, ни расцвѣщенна мраморами саду;
Овцы не прибавитъ онъ къ отцовскому стаду.
Правда, въ нашемъ молодомъ монархѣ*) надежда
Входить музамъ не мала: со стыдомъ невѣжда
Вѣжитъ его. Аполлонъ славы въ немъ защиту
Своей не слабу почуетъ, чтища свою свиту
Видѣлъ его самого, и во всемъ обильно
Тщится множить жителей Парнасскихъ онъ
сильно:

*Но та бѣда, многе въ царь похваляютъ
За страхъ то, что въ подданномъ дерзко осуж-
даютъ.*

Какъ ловко выражена мысль двухъ послѣднихъ стиховъ! За ними слѣдуетъ рядъ картинъ тогдашняго общества, написанныхъ мастерской кистью. Поэтъ заставляетъ невѣждъ, подъ вымышленными именами, говорить филиппики противъ просвѣщенія. И каждый изъ этихъ антагонистовъ свѣта Божія высказывается сообразно своему характеру, и ни одинъ изъ нихъ не повторяетъ другого.

«Расколы и ереси наукъ суть дѣти,
Больше вретъ, кому далось больше разумѣти,
Приходить въ безбожіе, кто надъ книгой таетъ»,
Криво съ чотками въ рукахъ ворчить и вадъ-
хасть,

И проситъ свята душа съ юркими слезами
Смотрѣть, сколь стѣла наукъ вредно между нами:
«Дѣти наши, что предъ тѣмъ тихи и покорны
Протческимъ шли слѣдомъ, къ Божіей про-
ворны

Службѣ, съ страхомъ слушая, что сами не знали,
Теперь, къ церкви соблазну, Библию честь стали,
Толкуютъ, всему хотятъ знать поводъ, причину,
Мало вѣры подая священному чину;
Потеряли добрый нравъ, забыли пить квасу,
Не приобщивъ изъ палкоу къ соленому мясу;
Уже свѣчекъ не кладутъ, постныхъ дней не

знають,
Мирскую въ церковныхъ власти рукахъ лишину
чаютъ,

Шепча, что тѣмъ, что мирной жизни ужъ от-
стали,

Помысли и вотчины весьма не пристали». Сильванъ другую вину наукамъ находитъ: «Ученіе, говоритъ, намъ голодъ наводитъ; Живали мы прежь сего, не зная латынѣ, Гораздо обильнѣе, чѣмъ живемъ мы нынѣ, Гораздо въ невѣжествѣ больше хлѣба жали, Перенивъ чужой языкъ, свой хлѣбъ потеряли. Бude рѣчь моя слаба, бude нѣтъ въ ней чину, Ни связи, должно о томъ тужить дворянину: Доводъ, порядокъ въ словахъ, подлинъ то есть дѣло;

*) Поэтъ говоритъ о Петрѣ Второмъ, которому тогда было четырнадцать лѣтъ. Онъ въ дѣтствѣ съ особенной ревностю учился, а впоследствии подтвердилъ данныя его предшественниками привилегіи Академіи наукъ и назначилъ ея членамъ и даже чиновникамъ постоянные оклады.

Знатымъ полно подтверждать, или отрицать смѣло.

Съ ума сошолъ, кто души силу и предѣлы
Испытаетъ, кто въ поту томится дни дѣлы,
Чтобъ строй міра и вещей вывѣдать премѣну
Иль причину; глупо онъ глѣтитъ горохъ въ стѣну.
Приростетъ ли мнѣ съ того день въ жизни или

въ ящикъ
Хоть грошъ? могуль чрезъ то узнать, что при-
казчикъ,

Что дворецкій крадетъ въ годъ? какъ приба-
вить воду

Въ мой прудъ? какъ бочекъ число съ виннаго
заводу?

Не умѣе, кто глаза, полонъ безпокойства,
Коптитъ печась при огнѣ, чтобъ вызвать рудъ
свойства;

Вѣдь не теперь мы твердимъ, что буки, что
вѣди;

Можно знать различіе злата, серебра, мѣди.

Травъ, болѣзней знаніе—все то голы враки;
Глава ль болитъ? тому врачъ ищетъ въ рукѣ
знаки;

Всею въ насъ виновна кровь, будетъ ему вѣру
Нать хоцешь. Слабѣемъ ли? — кровь тихо чрезъ
мѣру

Течетъ; если спѣшно — жаръ въ тѣлѣ отвѣтъ
смѣло

Даетъ, хотя внутри никто видѣлъ живо тѣло.

А пока въ басняхъ такихъ время онъ прово-
дитъ,

Лучшій сокъ изъ нашего мѣшка въ его входитъ.
Къ чему звѣздъ теченіе числить, и ни къ дѣлу,
Ни кстаті за однимъ ночью пятномъ не спать
цѣлу?

За любопытствомъ однимъ лишиться покою,
Ища — солнце ль движется, или мы съ землею?
Въ часовникѣ можно честь на всякій день года
Число мѣсяца и часъ солнечнаго восхода.

*Землю въ четверти дѣлитъ безъ Евклида смыслимъ;
Сколько копеекъ въ рублѣ, безъ алгебры стислимы,*

Румяный, трюфлей рынувъ, Лука подбѣваетъ:

«Наука содружество людей разрушаетъ;
Люди мы къ сообществу Божію тварь стали
Не въ нашу пользу одну смысла даръ приали:
Что же пользы мному, когда я запрусъ
Въ чуланъ, для мертвыхъ друзей живущихъ
лишуся?

Когда все содружество, вся моя ватага
Будетъ чернило, перо, песокъ да бумага?

Въ весельи, въ пирахъ мы живы должны про-
вождати;

И такъ она недолга: на что коротати,
Крушится надъ книгою и повреждати очи?

Не лучше ли съ кубкомъ дни прогулять и ночи?
Вино — даръ божественный, много въ немъ
провору;

Дружитъ людей, подаетъ поводъ къ разговору,
Веселитъ, всѣ тяжкія мысли отнимаетъ,

Скудость знаетъ облегчать, слабымъ ободряетъ,
Жестокимъ смягчать сердца, угрозою отво-
дитъ,

Любовникъ лучше виномъ въ цѣль свою до-
ходитъ.

Когда по небу сохой бразды водить стануть,
А съ поверхности земли звѣзды ужъ проглануть,

Когда будутъ течъ къ ключамъ своимъ быстры
И возвратятся назадъ минувшіе вѣки; [рѣки,
Когда въ постъ чернецъ одну бѣту станетъ ви-
зигу,

Тогда, оставя стаканъ, примуся за книгу».

Медоръ тужитъ, что чрезчуръ бумаги исходитъ
На письмо, на печать книгъ, а ему приходится,

Что не во что завертѣть завѣтныя кудри;
Не сѣишь на Сеневу онъ фунтъ доброй пудры.

Предъ *Елоромъ*¹⁾ двухъ денегъ *Виргилій* не
стоитъ,
*Рексу*²⁾, не *Цицерону*, похвала достойтъ.

Обращаясь вновь къ своему уму и доказывая ему безплодность борьбы съ невѣждами, сатирикъ говоритъ:

Гордость, лѣнь, богатство, мудрость одолѣло;
Науку невѣжество мѣстомъ ужъ посѣло:

Подъ митрой гордится, то въ шитомъ платѣ
ходить,

Судить за краснымъ сукномъ, смѣло полки во-
Наука ободрана въ доскутахъ обшита, [дѣтъ.
Изъ всѣхъ почти домовъ съ ругательствомъ собита,
Знаться съ нею не хотятъ, бѣгутъ ея дружбы,
Какъ въ морѣ страдавшіе корабельной службы.
Всѣ кричатъ: никакой плодъ не виденъ съ
науки!

Ученыхъ хотъ голова полна, пусты руки!
Боли кто карты мѣшать, разныхъ винъ вкусъ
знаетъ,

Танцуетъ, на дудочкѣ пѣсни три играетъ,
Смыслить искусно прибрать въ своемъ платѣ
Тому ужъ и въ самыя молодыя лѣты [дѣтъ,—
Всякая высша степень—мзда ужъ не велика,
Седми мудрецовъ себя достойнымъ мнитъ лѣка.

Вторая сатира, «*Филаретъ и Евгений*», написанная мѣсяца черезъ два послѣ первой, нападаетъ «на зависть и гордость дворянъ злонаправныхъ». Это впрочемъ чуть ли не слабѣйшая изъ всѣхъ сатиръ Кантемира. Въ ней больше разсужденій, больше морали, нежели жолчи. Впрочемъ и въ ней есть мѣста замѣчательныя.

Вотъ на примѣръ картина жизни фата или льва того времени:

Пѣлъ пѣтухъ, встала заря, лучи освѣтили
Солнца верхи горъ; тогда войско выводили
На поле предки твои, а ты подъ парчою,
Углубленъ маго въ пуху тѣломъ и душою,
Грозою сопнешъ; когда дня пробѣгутъ двѣ доли,
Звѣнешъ, растворишь глаза, выспишься до воли,
Тянешься ужъ часъ другой, вѣжишься ожидая
Пойла, чтѣ шлетъ Индія нѣкъ везуть съ Китая.
Изъ постели въ веркалу однимъ прыгнуешь ско-
ломъ,

Тамъ ужъ въ попеченіи и трудѣ глубокомъ,
Женскихъ достойную плечъ завѣску на спину
Вскленивъ, волосъ съ волосомъ прибираешь къ
чину.

Часть надъ плоскимъ лбомъ торчатъ будучь са-
новаты,

По румянымъ часть щекамъ въ колечки завиты
Свободно станеть играть, часть уйдетъ за темя
Въ мѣшокъ. Дивятся тому строенію племя
Тебѣ подобныхъ; ты самъ, новый Нарцисъ,
жадно

Глотаешь очми себя; нога жмется складно
Въ тѣсномъ башмакѣ твои, потъ со слугъ ва-
лится,

Въ двѣ моволи и тебѣ красаота становится;
Избѣтъ полъ и подъ башмакѣ стерто много
мѣлу.

Дерево вздѣнешъ потомъ на себя ты члѣу.

Дальнѣйшее описаніе облаченія фата и въ особенности слова сатирика на счетъ того, какъ хорошо воспользовался фатъ

своимъ путешествіемъ по Европѣ, чрезвычайно забавны, за исключеніемъ устарѣлаго языка, слога и силлабическаго стихосложенія. Пусть читатели сами повѣрятъ справедливость нашихъ словъ, прочтя эту сатиру всю, а мы выпишемъ изъ нея еще вотъ эти стихи:

Бѣдныхъ слезы предъ тобой льются, пока злобно
Ты смѣешься нищетѣ; каменный душою
Вьешь холода до крови, что махнулъ рукою
Вмѣсто правой лѣвою (звѣримъ лишь прилична
Жадность крови; *плоть въ слугѣ твоей однолична*).
Мало, правда, ты копишь денегъ, но къ нимъ
жаденъ;

Мотъ почти всегда живетъ серебрюлюбемъ смра-
денъ,

И все законно онъ мнитъ, чтѣ ужъ истощенной
Можетъ дополнить мѣшокъ; нужды совершенной
Стала ему золота куча, безъ которой
Прохладамъ долженъ своимъ конецъ видѣть
скорой.

Въ этомъ отрывкѣ есть стихи (не указываемъ на нихъ: человеческое чувство читателя ихъ угадаетъ и безъ насъ), которые могутъ служить торжественнымъ и неопровержимымъ доказательствомъ, что наша литература, даже въ самомъ началѣ ея, была провозвѣстницей для общества всѣхъ благородныхъ чувствъ, всѣхъ высокихъ понятій. Да, она умѣла не только льстить, но и выговаривать святые истины о человѣческомъ достоинствѣ. Самая лесть у ней была не столько убѣжденіемъ, сколько, во-первыхъ, подчиненіемъ всѣмъ принятому обычаю, а во-вторыхъ, риторической манерой. До поэзіи достигала она и у самого Державина только тамъ, гдѣ онъ переставалъ быть поэтомъ въ духѣ времени и становился просто человѣкомъ. Простимъ же ей, нашей старой литературѣ, ея грѣхи, вольные и невольные, и будемъ ей благодарны за то, что она, и только одна она, была воспитательницей юнаго, созданнаго Петромъ Великимъ, общества, отъ Кантемира до нашихъ временъ. По мнѣ, нѣтъ цѣны этимъ неуклюжимъ стихамъ умнаго, честнаго и добраго Кантемира:

..... Лучшую дорогу
Избравъ, кто правду всегда говорить принялся;
Но и кто правду молчитъ, виновенъ не стался,
Буде ложью утѣять правду не посмѣеть.
Счастливъ, кто средину оной держаться умѣетъ;
Умъ свѣтлый нуженъ къ тому, разговоръ пріятный,
Учтивость приличная, что даетъ родъ знатный.
Ползати не советую, хотъ стѣси мучаюся,

.....
Адамъ дворянъ не родилъ, по одному сыну
Жребій былъ копать садъ, пасть другому скотину;
Ной въ ковчегѣ съ собою спасъ все себѣ равныхъ.
Простыхъ земледѣлѣй, права лишь славныхъ:
Отъ нихъ мы произвошли, одинъ порагѣ
Остава дудку, соху, другой — попоадѣе.

Чтобъ не возвращаться опять къ одному и тому же предмету, выпишемъ теперь же

¹⁾ Славный сапожникъ того времени въ Москвѣ.
²⁾ Славный портной того времени въ Москвѣ.

изъ шестой сатиры стихи, въ которыхъ Кантемиръ казнить насмѣшкой добровольное униженіе человѣческаго достоинства низкопоклонствомъ и лестью:

Съ пѣтухами пробудясь, нужно потащиться
Изъ дому въ домъ на поклонъ, въ переднихъ
томиться,

Полдни торчатъ на ногахъ съ холопы въ бесѣдѣ,
Ни сморгнуть, ни кашлянуть смѣя. По обѣдѣ
Та же жизнь до вечера; ночь вся беззастѣночно
Пройдетъ, думая въ тому поутру пристойно
Еще бѣжать, передъ кѣмъ гнуть шею и спину,
Что слугѣ въ подарокъ, что понести господину,
Нужно часто полагать, небылицъ вѣрить,
Что одною скорлупою можно море смѣрить;
Господскую сносить спѣсь, признавать, что ро-
Моложе Владимира однимъ только годошъ, [домъ
Хоть ты помнишь, какъ отецъ носилъ кафтанъ
Кривую жену его называть Венерой. [сѣрой,
И въ пальныхъ дѣтахъ хвалить острогу природу;
Не вѣвать, когда онъ самъ несетъ сумасбродну.
Нужно благодѣтелемъ звать того, другого,
Отъ кого вѣкъ не видать добра никакого...

Третья сатира, «Къ Теофану, епископу новгородскому», написанная въ 1730 году, рассуждаетъ о различіи страстей человѣческихъ. Тутъ осмѣиваются сребролюбцы, сплетники, болтуны, ханжи, самолюбцы, пьяницы, завистники и т. п. Въ четвертой сатирѣ, написанной въ 1731 г., Кантемиръ спрашиваетъ свою музу, не пора ли имъ перестать писать сатиры?

..... Многимъ тѣ нелюбы,
И ворчатъ ужъ не одинъ, что гдѣ нѣтъ мнѣ дѣла,
Тамъ мѣшаюсь, и кажу себя чрепачуръ смѣла.

Ты (говоритъ онъ своей музѣ) смѣло хулишь и находишь свое веселіе въ томъ, чтобы бѣсить злыхъ, «а я вижу, что въ чужомъ пиру мнѣ похмѣлье». Одинъ (продолжаетъ сатирикъ) хочетъ потянуть меня къ суду, что, нападая на пьяницъ, «умалю кружальные доходы»; другой, похваляясь, что отъ доски до доски прочелъ Библію острожской печати, убѣдился изъ нея, что «во мнѣ нечистый духъ злословить бороду»; третій сердится, что нападаю на взятки. Тогда сатирикъ, желая переимѣнить грубый тонъ на вѣжливый, начинаетъ иронически хвалить глупцовъ и негодяевъ; но это доводитъ его до сознанія, что онъ не умѣетъ и въ шутку хвалить того, что считаетъ дурнымъ.

..... когда хвалы принимаюсь
Писать, когда, Муза, твой нравъ сломить стараюсь,—

Сколько ногти ни грызу, и тру лобъ вспотѣлый,
Съ трудомъ стиха два сплету, да и тѣ не спѣлы,
Жестки, досадны ушамъ, и на тѣ походить,
Что по цѣлой азбукѣ святыхъ жить водить *).

*) Вотъ примѣчаніе, изъ изданія 1762 г., на этотъ стихъ: «нѣкто, прозваніемъ Максимовичъ, стихами описалъ и по азбукѣ расположилъ житія святыхъ печерскихъ. Сія книга напечатана въ Кіевѣ въ листъ и нальца въ два толщини; однакожъ въ ней,

Духъ твой лѣнивъ, и въ зубахъ визнеть твоё слово

Не забавно, не красно, не сильно, не ново;
А какъ въ нравахъ вредно что усмотрю, умно
Самъ ставши, подъ перомъ стихъ течетъ скорѣе;
Тогда я стихотворцемъ самъ себя поздравлю,
И чтоцовъ моихъ вѣвать тиетно не заставлю;
Проворентъ, весель спѣшу, какъ вождь на побѣду,
Иль какъ пошъ съ похорошъ въ жирному обѣду.

Кантемиръ заключаетъ эту сатиру тѣмъ, что сатиры могутъ не нравиться только дурнымъ людямъ и глупцамъ, на которыхъ нечего смотрѣть:

Такимъ однимъ сатира наша быть противна
Можетъ; да ихъ нечего падить, и не дивна
Мнѣ любовь ихъ, какъ и гнѣвъ ихъ мнѣ стра-
шенъ мало.

Просить у нихъ не хочу, съ ними не пристало
Вестись, чтобъ не почернѣть, касаясь сажн;
Вредить не могутъ тѣ мнѣ, пока въ сильной
Нахожуся матері отечества правой. [стражи
Акимъ Богъ чистой духъ далъ и разумъ ядровой,
Беззлобы беззлобные наши стихи возлюбятъ,
И охотно стануть честь, надѣясь, что сгубятъ
Можетъ быть или уменьшать злые людей нравы.
Сколько тѣмъ придется имъ и пользы, и славы!

Въ этихъ стихахъ — весь Кантемиръ! Этотъ человѣкъ не былъ поэтомъ; непосредственный художественный талантъ не былъ его удѣломъ. Его поэзія — поэзія ума, здраваго смысла и благороднаго сердца. Кантемиръ въ своихъ стихахъ — не поэтъ, а публицистъ, пишущій о нравахъ энергически и остроумно. Насмѣшка и иронія — вотъ въ чемъ заключался талантъ Кантемира.

Пятая сатира, «Сатиръ и Періергъ», написанная въ 1737 г. въ Лондонѣ, устремлена «на человѣческія злонравія вообще». Ея форма очень изысканна, и въ цѣломъ она скучна; но подробности есть удивительныя, какъ на примѣръ это мѣсто:

Болваномъ Макарь вчера казался народу,
Годенъ лишь дрова рубить или таскать воду;
О безуміи его худая шла повѣсть,
Углемъ чернымъ всякъ патилъ его плоху со-
Улыбнулся тому жъ счастье Макару, — [вѣсть.
И сегодня временщикъ: ужъ совсѣмъ подъ-пару
Честнымъ, знатнымъ, искуснымъ людямъ ста-
новится,

Всякъ уму наперерывъ чудному дивится.
Сколько пользы отъ него царство ждать имѣетъ,
Поправить взглядомъ однимъ все легко умѣетъ.
Чѣмъ бывший глупецъ предъ нимъ народъ весь
озлобилъ;

Богъ въ благополучіе ваше его собилъ.

Заключеніе этой сатиры особенно забавно. Исчисляя разныя человѣческія глупости, сатирикъ говоритъ:

Пахарь, соху ведучи иль оброкъ считалъ,
Не однажды приводилъ, словы отирая:
За что-де меня Творецъ не сдѣлалъ солдатомъ?

кромѣ именъ святыхъ и государя царевича Алексѣя Петровича, которому приписана, мнѣ кажется, не найдешь.

Не ходилъ бы въ сѣракѣ, но въ платѣ богатомъ,
Зналъ бы лишь одно свое ружье да капрала,
На правѣжъ бы нога моя не стояла.
Для меня бѣ свинья моя только поросилась,
Съ коровы мнѣ бѣ молоко, мнѣ бѣ кура носилась,
А то все приказчицѣ, страпчицѣ, книгинѣ
Понеси въ поклонъ, а самъ жирѣй на мяхинѣ.
Пришолъ наборъ, пахара вписали въ солдаты:
Не однажды дымные вспомнить ужъ палаты,
Проклинаетъ жизнь свою въ зеденомъ кафтанѣ,
Десять заплата въ день по сѣромъ жупанѣ.
Толъ не житье было мнѣ, говоритъ, въ крестъ-
яствѣ?

Правда, тогда не ходилъ я въ такомъ убранствѣ;
Да лѣтомъ въ подклѣтѣ я, на печи зимою
Сыпалъ, въ дождикъ изъ избы я вонъ ни ногою;
Заплачу подушное, оброкъ господину,
Какую жѣ больше найду я тужить причину?
Щей горшокъ, да самъ большой, хованнъ я дома,
Хлѣба у меня черевъ годъ, а скотамъ солома.
Дальна ѣзда мнѣ была съѣздить въ торгъ для соли
Иль въ праздникъ пойти въ село, и то съ доб-
рой воли!

А теперь—чортъ, не житье, волочись по свѣту,
Все бы рубашка бѣла, а вынуть чѣмъ нѣту;
Ходи въ штанахъ, возсяваружьомъ пострѣльнѣмъ,
И гдѣ до смерти всѣхъ быть надобно быть
сѣльнѣмъ.

Ни выпастся нѣкогда, часто нѣтъ что кушать;
Наряжать мнѣ все собой, а сотерыхъ слушать.
Чернецъ тотъ, коль день навадъ чрезмѣрну охоту
Имѣлъ ходитъ въ влобухъ, и всяку работу
Въ церкви легку сказывалъ, проса со слезами,
Чтобъ и онъ съ небесными былъ въ счетѣ чи-
нами,—

Сегодня не то постъ: радъ бы скинуть рясу,
Скучили ужъ сухари, полетѣлъ бы въ мячу;
Радъ къ чорту въ товарищи, лишь бы бѣльцомъ
быти,

Нѣтъ мочи ужъ ангеломъ въ слабомъ тѣлѣ слыти.

Шестая сатира, написанная въ 1738 г.,
разсуждаетъ «о истинномъ блаженствѣ». Сатирикъ доказываетъ въ ней, что истинное счастье заключается въ благоразумной серединѣ и въ бесѣдѣ съ музами. Седьмая сатира, «Къ князю Никитѣ Юрьевичу Трубецкому», написанная въ 1739 году въ Парижѣ, разсуждаетъ «о воспитаніи». Эта сатира исполнена такихъ здравыхъ, гуман-
ныхъ понятій о воспитаніи, что стоила бы и теперь въ напечатанной золотыми буквами; и не худо было бы, еслибы вступающіе въ бракъ предварительно заучивали ее наизусть.

Вотъ нѣсколько отрывковъ на выдержку:

Завсегда дѣтамъ тверда строгіе уставы,
Наскучишь; истребишь въ нихъ всяку любовь
славы,

Если часто предъ людьми обличать ихъ станешь:
Дай имъ время и играть; самъ себя обманешь,
Буде станешь торопить лишь спѣша дѣло;
Наединѣ исправлять можешь ты ихъ смѣло.
Ласковость больше въ одинъ часъ дѣтей испра-
вить,

Нежъ суровость въ цѣлый годъ; кто часто за-
ставить

Дрожать сына предъ собой, хвалю въ немъ
заглядитъ

Смѣлость, и безвременно торопѣтъ поводить.
Счастливъ кто надеждою похвалъ забудитъ
знать

Младенца; много въ тому примѣръ пособляетъ:
Относятся къ сердцу глаза вѣсть уха скорее.

Не одни тѣ растятъ насъ, коимъ наше дѣтство
Ввѣрено; со всѣхъ сторонъ находятъ посредство
Вскользнуться внутрь сердца правъ: есе, что
окужаетъ

Младенца, произвести въ немъ нравъ помогаетъ.

Обычно дѣтъ чистоты первый увядаетъ
Отрока въ объятіяхъ рабыни; и знаетъ
Унесши младенца, что небомъ и землею
Отлыгаться предъ отцомъ наставленъ слугою.
Слуги язва суть дѣтей; родителей алѣе
Всѣхъ примѣръ. Часто дѣти были бы честибѣ,
Еслибъ и мать, и отецъ предъ младенцемъ знали
Собой владѣть, и языкъ свой въ удѣ держали.

Повторяемъ: такіа мысли о воспитаніи и
теперь скорѣе новы, нежели стары.

Восьмая сатира, «На безстыдну нахаль-
чивость», написанная въ 1739 году въ Па-
рижѣ, заключаетъ въ себѣ понятіе сати-
рика о скромности. Онъ говоритъ о томъ,
какъ осторожно пишетъ свои стихи, не гѣ-
нитъ ихъ «хѣрить», прячетъ на долго въ
ящикъ и, собираясь печатать, выправляетъ.

Стыдливѣмъ, боязливымъ и всегда собою
Недовольнымъ быть во мнѣ природы рукою
Втиснено, иль отеческимъ совѣтомъ изъ дѣтства.

Въ параллель себѣ, сатирикъ противопо-
ставляетъ людей наглыхъ и безстыдныхъ.

—Кантемиръ началъ было и девятую сати-
ру, но за болѣзнью не могъ ея написать.

Мелкія стихотворенія Кантемира любо-
пытны, но не столько, какъ поэтическія
произведенія, сколько какъ произведенія
человѣка съ умомъ и сердцемъ. Если хоти-
те, въ нихъ есть своя гармонія, свой ритмъ,
замѣтна поэтическая или, лучше сказать,
стихотворческая замашка; но поэзіи мало.
Кантемиръ писалъ пѣсни, басни и эпиграм-
мы. Пѣсни его раздѣляются на любовныя и
на нравственныя. Первые остались не на-
печатанныя и вѣроятно погибли для по-
томства,—что очень жаль, потому-что, по
словамъ самого Кантемира, они имѣли боль-
шой успѣхъ: онъ самъ говоритъ въ чет-
вертой сатирѣ:

Довольно моихъ поютъ пѣсней и дѣвнцы
Чистыя, и отроки, коихъ отъ денницы
До другой невидимо колетъ любви жало.

А въ примѣчаніи къ этимъ стихамъ ска-
зано: «сатирикъ сочинилъ многія пѣсни, ко-
торыя въ Россіи и понынѣ поются». Кан-
темиръ какъ бы раскаявается въ этихъ
пѣсняхъ, какъ въ грѣхѣ своей юности; въ
этой же сатирѣ онъ говоритъ:

Любовны пѣсни писать, я чаю, тѣхъ дѣло,
Кохъ столько умъ не спѣлъ, сколько слабо
тѣло.

Вотъ образчикъ нравственныхъ пѣсенъ
Кантемира:

Видишь, Никита, какъ крылато пламя
 Ни землю пашетъ, ни жнетъ, ниже сѣетъ;
 Отъ руки вышней однакъ въ свое время
 Пишу довольну, жизньъ продлить, имѣть.
 Лицею въ полѣ, какъ врѣшь, многодѣтной
 Ни прядетъ, ни тчетъ; царь мудрый Сіона
 Однако въ славу своей столь примѣтной
 Не имѣлъ одежды. Ты голосъ закона,
 Въ сердцахъ природа кой отъ вѣкъ вложила,
 И Богъ во плоти подтвердилъ, внушая,
 Что честно, благо, пусть того лишь сила
 Тобой владѣетъ, злости убѣгая, и пр.

Изъ этого отрывка достаточно видно, что преобладающее направленіе Кантемира было не поэтическое, а дидактическое, и что трудность выражаться на языкѣ не только необработанномъ, даже не тронутомъ, много мѣшала ясности и красотѣ его слога. Басни Кантемира интересны, какъ первые опыты въ этомъ родѣ—не самаго автора, а русскаго языка. Ихъ впрочемъ немного—всего шесть. Изъ девяти эпиграммъ выпишемъ одну для образчика.

На что Другъ Лиду бореть?—Дряхла ужъ и сѣда,
 Съ трудомъ ножку воробья сгнзетъ въ пол-
 обѣда.

Къ старинѣ охотникъ Другъ, въ томъ забаву
 ставитъ;

Лидой медалей число собранныхъ прибавитъ.

Наконецъ, къ числу стихотворческихъ трудовъ Кантемира принадлежатъ еще «Десять Писемъ Гораціевыхъ», стихами безъ приемъ, съ приложеніемъ письма о русскомъ стихосложеніи, подъ вымышленнымъ именемъ Макетина, «Оды Анакреонтовы» (были ли напечатаны, когда и гдѣ, или не были напечатаны—неизвѣстно). Сверхъ того Кантемиръ предупредилъ Ломоносова въ намѣреніи—воспѣть въ эпической поэмѣ подвиги Петра Великаго: поэма Ломоносова называлась «Петриадой», Кантемира—«Петреидой» и, подобно первой, не была кончена *).

Всѣ эти стихотворные, равно какъ и прозаическіе труды Кантемира очень важ-

ны, какъ первые опыты, которые должны были и другихъ подвигнуть къ литературной дѣятельности; важны они еще и какъ первый памятникъ тяжелой борьбы умнаго, ученаго и даровитаго писателя съ трудностями языка, не только не разработаннаго, но и нетронутого, подобно полю, которое, кромѣ дикихъ самородныхъ травъ, ничего не произращало. Перо Кантемира было первымъ плугомъ, который прошелъ по этому полю. Скажутъ: у насъ и до Кантемира была словесность. Такъ, но какая? теологически-схоластическая или гѣтописная, или, наконецъ, состоявшая изъ произведеній народной поэзіи. Но честь усилія—найти на русскомъ языкѣ выраженіе для идей, понятій и предметовъ совершенно новой сферы,—сферы европейской, принадлежитъ прямѣе всѣхъ Кантемиру. И еще большее и высшее значеніе имѣютъ его сатиры. Здѣсь Кантемиръ является первымъ писателемъ, вызваннымъ реформой того Петра Великаго, образъ и духъ котораго глубоко впечатлѣлся еще въ юношеской душѣ будущаго сатирика. Такимъ образомъ Кантемиръ былъ первымъ сподвижникомъ Петра на такомъ поприщѣ, котораго Петръ не дождался увидѣть, но которое, какъ и все въ Россіи, приготовлено имъ же. О, какъ бы горячо обнялъ великій преобразователь Россіи двадцатилѣтняго стихотворца, еслибы дожилъ до его первой сатиры! Но за Петра это сдѣлалъ одинъ изъ птенцовъ его орлиного гнѣзда—Феофанъ Прокоповичъ. Сатиры Кантемира—подражаніе и большей частью то переводъ, то передѣлка сатиръ Горація, Буало и частью Ювенала; но тѣмъ не менѣе онѣ—въ высшей степени оригинальныя произведенія: такъ умѣлъ Кантемиръ примѣнить ихъ къ быту и потребностямъ русскаго общества! Онъ не нападаетъ въ нихъ на пороки, свойственные созрѣвшимъ или пересозрѣвшимъ цивилизаціямъ: нѣтъ, онъ нападаетъ на фанатизмъ невѣжества, на предразсудки современнаго ему русскаго общества. Во второй сатирѣ онъ осмѣиваетъ дворянскую спѣсь—порокъ столь же свойственный русскимъ, сколько и всякому другому народу въ Европѣ; но колоритъ этого порока, равно какъ и манера нападать на него въ его сатирѣ—чисто русскіе. Короче: подражая Горацію и Буало, Кантемиръ до того обрусилъ ихъ въ своихъ сатирахъ, что аббатъ Гуаско не усомнился перевести ихъ на французскій языкъ, какъ произведенія, которыя для французовъ могли имѣть всю прелесть оригинальности. И вотъ въ чемъ состоитъ великая заслуга Кантемира не только передъ русскимъ языкомъ или русской литературой, но и передъ русскимъ обществомъ

*) Труды Кантемира въ прозѣ были слѣдующіе: 1) *Разговоры о множествѣ міровъ*, соч. Фонтенелла, перев. съ франц. Санктпетербургъ; три изданія (когда вышло первое изданіе, неизвѣстно; второе—въ 1761, третье—въ 1802); оставшіеся въ рукописи: 2) *Юстинова исторія*; 3) *Корнелій Непотъ*; 4) *Кевита таблица*; 5) *Письма Персидскія Монтескіе*; 6) *Епиктетова правоученіе*; 7) *Итальянскіе разговоры Алегротти о ситти*. Всѣ эти переводы интересны, какъ живой памятникъ первой борьбы русскаго языка съ европейскими идеями, и какъ факты исторіи русскаго языка. Сверхъ того осталось въ рукописи сочиненіе Кантемира: *Руководство къ Анебру*, и никогда не были обнародованы его дипломатическія изъ Лондона и Парижа реляціи, письма, замѣчанія, вѣроятно очень любопытныя не въ одномъ литературномъ отношеніи. Изъ напечатанныхъ его сочиненій извѣстно еще: *Симфонія или сомазіе на божествовоственную книгу псалмовъ царя и пророка Давида* (Сиб. 1727, второе изданіе 1821). Это сводъ всѣхъ стиховъ псалтиря, по азбучному порядку, для удобѣйшаго приисканія текстовъ.

его времени. Теперь вопросъ: какъ велико было вліяніе сатиръ Кантемира на русское общество, въ которомъ грамотность была мало распространена, а о литературности не было и помина? Сатиры Кантемира изда ны гораздо послѣ его смерти (въ 1762 г.), но съ его собственноручнаго списка, посланнаго имъ изъ Парижа къ императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ, съ посвященіемъ ей. Онѣ снабжены многочисленными подробными примѣчаніями въ выноскахъ, кѣмъ писанными—неизвѣстно, но, кажется, не самимъ Кантемиромъ. При каждой сатирѣ въ примѣчаніи говорится: издана въ такое-то время; но, кажется, здѣсь слово «издана» значитъ ни больше, ни меньше, какъ — написана, и при жизни Кантемира, кажется, ни одна сатира его не была напечатана. Но тѣмъ не менѣе не подвержено никакому сомнѣнію, что сатиры Кантемира, какъ и всѣ его стихотворныя произведенія, пользовались большою извѣстностью въ обществѣ того времени. Самъ Кантемиръ говорить о большомъ успѣхѣ его любовныхъ пѣсенъ. Рукописныя сатиры свои онъ прилагалъ императрицѣ: значитъ, онѣ были ей извѣстны и прежде, а если такъ: значитъ, на нихъ всѣ смотрѣли, какъ на что-то важное. Если ихъ читала императрица, то читалъ и весь дворъ. Сверхъ того онѣ нашли себѣ большую извѣстность и большее одобреніе въ духовенствѣ, между которыми было тогда много людей ученыхъ и образованныхъ. Теофанъ Прокоповичъ до того былъ восхищенъ первой сатирой Кантемира, что написалъ къ ихъ автору, не зная его, извѣстное посланіе, которое начинается стихомъ: «Не знаю, кто ты, пророче рогатый», и которое дышитъ неподдѣльнымъ восторгомъ. Новоспаскій архимандритъ Теофілъ Кроликъ привѣтствовалъ Кантемира тоже посланіемъ въ стихахъ, только на латинскомъ языкѣ. О чемъ говорить и чѣмъ интересуются высшіе представители общества по уму, образованности и знатности, — о томъ, разумѣется, говорить и общество. Поэтому очень могло быть, что сатиры Кантемира скоро пошли разгуливать въ спискахъ по всей Россіи между грамотнымъ народомъ. Это тѣмъ естественно, что въ сатирахъ Кантемира почти вовсе нѣтъ или есть очень мало риторики, что въ нихъ говорится только о томъ, что у всѣхъ было передъ глазами, и говорится не только русскимъ языкомъ, но и русскимъ умомъ. Въ жизнеописаніи Кантемира сказано, что всѣ сатиры его имѣли большой успѣхъ, и что «многіе его стихи пошли въ пословицы». И не мудрено: въ сатирахъ Кантемира попадаются стихи до того забавные и наивно-остроумные, что невольно

остаются въ памяти. Таковы напримѣръ эти два стиха въ первой сатирѣ:

И просить свята душа съ горькими словами
Смотрѣть, сколь сѣмя наукъ вредно между нами.

Таковы же стихи, которые приведемъ изъ разныхъ сатиръ.

Лбеда и ея другъ дѣлавъ или подъячій.

Безъ всякой украсы
Болтнешь, что не дѣлають черница однѣ рясъ.

Сегодня одинъ изъ тѣхъ дней святъ Николаю,
Для чего весь городъ пьянъ отъ края до края.

Вино должень перевести, кто пьяныхъ не любить.

Пространный столъ, что семьѣ поповской съѣсть
трудно,
Въ тридцатъ блюдъ, еще ему мнилось яство
скудно.

Мнѣ ли въ такомъ возрастѣ поправлять довлѣтъ
Сѣдыхъ, пожилыхъ людей, кои чтутъ съ очами,
И чуть три зуба сберечь могли за губами;
Комъ помнать морь въ Москвѣ, и какъ сего года
Дѣла Чигиринскаго скажутъ похода.

Послѣдній стихъ невольно приводитъ на память стихи Грибоѣдова:

Извѣстѣ черпають изъ забытыхъ газетъ
Временъ очаковскихъ и покоренья Крыма.

Кантемиръ, по своему болѣзненному сложенію, меланхолическому характеру, былъ наклоненъ къ нравственному дидактизму. Немножко суровый моралистъ (что доказываетъ его раскаяніе въ любовныхъ пѣсняхъ) и весьма остроумный человѣкъ, Кантемиръ любилъ только избранное общество, слѣдовательно не любилъ общества вообще, которое оскорбляло его своими пороками и недостатками; такой характеръ предполагаетъ раздражительность и любовь къ уединенію. Всѣ эти обстоятельства необходимо дѣлали Кантемира сатирикомъ. По языку неточному, неопредѣленному, по конструкціи часто запутанной, не говоря уже о страшной устарѣлости въ наше время того и другого, по стихосложенію, столь несвойственному русской просодіи, сатиры Кантемира нельзя читать безъ нѣкотораго напиряженія, тѣмъ болѣе нельзя ихъ читать много и долго. Но, несмотря на то, въ нихъ столько оригинальности, столько ума и остроумія, такія яркія и вѣрныя картины тогдашняго общества, личность автора отражается въ нихъ такъ прекрасно, такъ человѣчно, что развернуть изрѣдка старика Кантемира и прочесть которую-нибудь изъ его сатиръ есть истинное наслажденіе. По крайней мѣрѣ для меня гораздо легче и пріятнѣе читать сатиры Кантемира, нежели громозвучныя оды Ломоносова, поэмы Хераскова и даже многія оды Державина (какъ напримѣръ «На взятіе Измаила», «Цѣленіе

Саула» и т. п.); отъ всѣхъ этихъ одъ и поэмъ можно заснуть, а отъ сатиръ Кантемира проснуться. Вообще для меня Кантемиръ и Фонвизинъ, особенно послѣдній, — самые интересные писатели первыхъ періодовъ нашей литературы: они говорятъ мнѣ не о заоблачныхъ превыспренностихъ по случаю плоскыхъ иллюминацій, а о живой дѣйствительности, исторически существовавшей, о нравахъ общества, которое такъ не похоже на наше общество, но которое было ему роднымъ дѣдушкой.

Посвященіе сатиръ Кантемира императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ, по своему изобрѣтенію, напоминаетъ оду Державина «По слѣдамъ Анакреона».

О Кантемирѣ, кромѣ статьи Жуков-

скаго, напечатанной въ «Вѣстникѣ Европы» 1809 года, почти ничего дѣльнаго писано не было. Сочиненія и переводы его большей частью остались ненапечатанными, а напечатанныя изданы врознь. Въ 1836 году кѣмъ-то было предпринято изданіе «Русскихъ Классиковъ», началось съ Кантемира, да на немъ и остановилось, кажется, на пятой сатирѣ. Изданіе было это красивое и снабженное біографіей Кантемира и необходимыми примѣчаніями. Жаль только, что примѣчанія не были слово въ слово перепечатаны съ изданій 1762 года: они необходимы, потому-что характеризуютъ духъ времени, состояніе русскаго языка и общества того времени.

ПЕТЕРБУРГЪ И МОСКВА.

Предки наши, принужденные въ кровавыхъ бояхъ познакомиться съ божіими дворянами и съ берегами Невы, конечно не воображали, чтобъ на этихъ дикихъ, бѣдныхъ, низменныхъ и болотистыхъ берегахъ суждено было возникнуть Россійской Имперіи, равно какъ не воображали они, чтобы Московское царство когда-нибудь сдѣлалось Россійской Имперіей. И возможно ли было вообразить что-нибудь подобное? Кто можетъ предугадать явленіе генія, и можетъ ли толпа предвидѣть пути генія, хотя этотъ геній и есть не что иное, какъ мысль, разумъ, духъ и воля самой этой толпы, съ той только разницей, что все, что тамъ въ ней, какъ смутное предчувствіе, въ немъ является отчетливымъ сознаниемъ? Въ концѣ XVII вѣка Московское Царство не представляло собою уже слишкомъ рѣзкій контрастъ съ европейскими государствами, уже не могло болѣе двигаться на ржавыхъ колесахъ своего азіатскаго устройства; ему надо было кончиться, но народу русскому надо было жить; ему предлежало великое будущее, и потому изъ него же самого Богъ воздвигъ ему генія, который долженъ былъ сблизить его съ Европой. Какъ всѣ великіе люди, Петръ явился въ пору для Россіи, но во многомъ не походилъ онъ на другихъ великихъ людей. Его доблести, гигантскій ростъ и гордая, величавая наружность съ огромнымъ творческимъ умомъ и исполинской волей, — все это такъ походило на страну, въ которой онъ родился, на народъ, который возсоздать былъ онъ призванъ, страну безпредѣльную, но тогда еще не сплоченную органически, народъ великій, но съ однимъ

глухимъ предчувствіемъ своей великой будущности. Поэтому Петръ самъ долженъ былъ создать самого себя и средства для этого самовоспитанія найти не въ общественныхъ элементахъ своего отечества, а внѣ его, и первымъ пестуномъ его было отрицаніе. Совершенные невѣжды и фанатики обвиняли его въ презрѣніи къ родной странѣ; но они обманывались: Петра тѣсно связывало съ Россіей обоимъ имъ родное и ничѣмъ не побѣдимое чувство своего великаго призванія въ будущемъ. Петръ страстно любилъ эту Русь, которой самъ онъ былъ представителемъ по праву высшаго, отъ Бога истекавшаго избранія; но въ Россіи онъ видѣлъ двѣ страны, — ту, которую онъ засталъ, и ту, которую онъ долженъ былъ создать: послѣдней принадлежали его мысль, его кровь, его потъ, его трудъ, вся жизнь, все счастье и вся радость его жизни. Ученикъ Европы, онъ остался русскимъ въ душѣ, вопреки мнѣнію слабоумныхъ, которыхъ много и теперь, будто бы европеизмъ изъ русскаго человека долженъ сдѣлать не-русскаго человека, и будто-бы слѣдовательно все русское можетъ поддерживаться только дикими и невѣжественными формами азіатскаго быта. Москва, столица Московскаго царства, Москва, уже по самому своему положенію въ центрѣ Руси, не могла соотвѣтствовать видамъ Петра на всеобщую и коренную реформу: ему нужна была столица на берегу моря. Но моря у него не было, потому-что берега Сѣвернаго и Восточнаго океана и Каспійское море нисколько не могли способствовать сближенію Россіи съ Европой.

Надо было немедленно завоевать новое море. Два моря могъ онъ имѣть въ виду для завоеванія—Черное и Балтійское. Но для перваго ему нужно имѣть Малороссію въ своемъ полномъ подданствѣ, а не подъ своимъ только верховнымъ покровительствомъ, а это совершилось не прежде, какъ по измѣнѣ Мазепы. Кромѣ того ему нужно было отнять у турковъ Крымъ и взять въ свое владѣніе обширныя степныя пустыни, прилежающія къ Черному морю, а взять ихъ во владѣніе значило—населить ихъ: трудъ несвоевременный! и притомъ къ чему бы повелъ онъ? Столица на берегу Чернаго моря сблизила бы Россію не съ Европой, а развѣ съ Турціей, а насильственно притянула бы силы Россіи къ пункту столь отдаленному, что Россія имѣла бы тогда свою столицу, такъ сказать, въ чуждомъ государствѣ. Не такіе виды представляло Балтійское море. Прилежащія къ нему страны изстари знакомы были русскому мечу; много пролилось на нихъ русской крови, и оставить ихъ въ чуждомъ владѣніи, не сдѣлать Балтійскаго моря границей Россіи—значило бы сдѣлать Россію навсегда открытой для непріятельскихъ вторженій и навсегда закрытой для сношеній съ Европой. Петръ слишкомъ хорошо понималъ это, и всѣмъ съ Швеціей по необходимости сдѣлалась главнымъ вопросомъ всей его жизни, главной пружиной всей его дѣятельности. Ревель и особенно Рига какъ бы просились сдѣлаться новой столицей Россіи,—мѣстомъ, гдѣ русскій элементъ лицомъ къ лицу столкнулся бы съ европейскимъ, не для того, чтобы погибнуть въ немъ, но принять его въ себя. Но Ревель и Рига сдѣлались позднѣе достояніемъ Петра, который вначалѣ хлопоталъ не изъ многого—только изъ уголка на берегу Балтики, а медлить Петру, въ ожиданіи завоеваній, было некогда: ему надо было торопиться жить, т. е. творить и дѣйствовать,—и потому, когда Ревель и Рига сдѣлались русскими городами,—городъ Санктпетербургъ существовалъ уже семь лѣтъ, на него было уже истрачено столько денегъ, положено столько труда, а по причинѣ Котлина острова и Невы съ ея четвернымъ устьемъ онъ представлялъ такое выгодное и обольстительное для ума преобразователя положеніе, что уже поздно и грустно было бы ему думать о другомъ мѣстѣ для новой столицы. Онъ давно уже смотрѣлъ на Петербургъ, какъ на свое твореніе, любилъ его, какъ дитя своей творческой мысли; можетъ-быть ему самому не разъ казалась трудной и отчаянной эта борьба съ дикой, суровой природой, съ болотистой почвой, сырымъ и нездоровымъ климатомъ, въ краю пустынномъ и отдаленномъ отъ

населенныхъ мѣстъ, откуда можно было получать продовольствіе,—но непреклонная сила воли надо всѣмъ восторжествовала; геній упоренъ потому именно, что онъ—геній, и чѣмъ тяжелѣе борьба, охлаждающая слабыхъ, тѣмъ больше для него наслажденія развертывать передъ міромъ и самимъ собою все богатство своихъ неисчерпаемыхъ силъ. Торжественна была минута, когда, при осмотрѣ дикихъ береговъ Финскаго залива, впервые заронила въ душу Великаго мысль основать здѣсь столицу будущей имперіи. Въ этой минутѣ была заключена цѣлая поэма, обширная и гранціозная; только великому поэту можно было разгадать и охватить все богатство ея содержанія этими немногими стихами:

*На берегу пустынныхъ волнъ
Стоялъ Онъ, думъ великихъ полнъ,
И вдаль глядѣлъ... Предъ нимъ широко
Рѣка неслася; бѣдный челнъ
По ней стремился одиноко;
По мшистымъ, топкимъ берегамъ
Чернѣли избы адскія и тамъ,
Приютъ убогаго чухонца;
И дѣсь, нежданный лучамъ
Въ туманѣ спрятаннаго солнца,
Кругомъ шумѣлъ...*

И думалъ Онъ:
«Отсель грозить мы будемъ шведу,
Здѣсь будетъ городъ заложенъ
На зло надменному сосѣду;
Природой здѣсь намъ суждено
Въ Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при морѣ;
Сюда, по новымъ нѣмъ волнамъ,
Всѣ флаги въ гости будутъ къ намъ,
И зашируемъ на просторѣ.»

Петербургъ строился экспромптомъ: въ мѣсяцъ дѣлалось то, чего бы стало дѣлать на годъ. Воля одного человѣка побѣдила и самую природу. Казалось, сама судьба, вопреки всѣмъ расчетамъ вѣроятностей, захотѣла забросить столицу Россійской Имперіи въ этотъ непріязненный и враждебный человѣку природой и климатомъ край, гдѣ небо блѣдно-зелено, тощая травка мѣшается съ ползучимъ верескомъ, сухимъ мохомъ, болотными порослями и сѣрыми кочками; гдѣ царствуютъ колючая сосна и печальная ель и не всегда нарушаетъ ихъ томительное однообразіе чахлая береза—это растеніе сѣвера; гдѣ болотистыя испаренія и разлитая въ воздухъ сырость проникаютъ и каменные дома, и кости человѣка; гдѣ нѣтъ ни весны, ни лѣта, ни зимы, но круглый годъ свирѣпствуетъ гнилая и мокрая осень, которая пародируетъ то весну, то лѣто, то зиму... Казалось, судьба хотѣла, чтобы спавшій дотошій непробуднымъ сномъ русскій человѣкъ кровавымъ потомъ и отчаянной борьбой выработалъ свое будущее, ибо прочны только тяжкимъ трудомъ одержанныя побѣды, только страданіями

и кровью стяжанныя завоеванія! Можетъ-быть въ болѣе благопріятномъ климатѣ, среди менѣе враждебной природы, при отсутствіи неодолимыхъ препятствій, русскій человѣкъ скоро возгордился бы своими легкими успѣхами, и его энергія снова заснула бы, не успѣвъ даже и проснуться вполнѣ. И для того-то тотъ, кто посланъ ему былъ отъ Бога, былъ не только царемъ и повелителемъ, дѣйствовалъ не однимъ авторитетомъ, но еще болѣе собственнымъ примѣромъ, который обезоруживалъ закоснѣлое невѣжество и вѣками взлелѣянную лѣнь:

То академикъ, то герой,
То мореплаватель, то плотникъ,
Онъ всеобъемлющей душой
На тронѣ вѣчный былъ работникъ!

Несмотря на всю дѣятельность, которой исторія не представляетъ подобаго примѣра, Петербургъ, оставленный Петромъ Великимъ, былъ слишкомъ бѣдный и ничтожный городокъ, чтобъ объ немъ можно было говорить, какъ о чемъ-то важномъ. Казалось, этому городку, обязанному своимъ насильственнымъ существованіемъ воли великаго человѣка, не суждено было пережить своего строителя. Воля одного изъ его наслѣдниковъ могла осудить его на вѣчное забвеніе или на ничтожное чахоточное существованіе... Но здѣсь-то и является во всемъ блескѣ творческій гений Петра Великаго: его планы, его предначертанія должны были продолжаться вѣковѣчно. Таковы право и сила гения: онъ кладетъ камень въ основаніе новому зданію и оставляетъ его чертежъ; преемники дѣла могутъ-быть и хотѣли бы перенести зданіе на другое мѣсто, да негдѣ имъ взять такого прочнаго камня въ основаніе, а камень, положенный гениемъ, такъ великъ, что съ человѣческими силами нельзя и мечтать сдвинуть его.

Петербургъ не могъ не продолжаться, потому что съ его существованіемъ тѣсно было связано существованіе Россійской Имперіи, смѣнившей собою Московское царство. И росъ Петербургъ не по днямъ, а по часамъ.

Прошло сто лѣтъ — и юный градъ,
Полночныхъ странъ краса и диво,
Изъ тьмы лѣсовъ, изъ топи блатъ
Вознесся пышно, горделиво.
Гдѣ прежде финскій рыболовъ,
Печальный пасынокъ природы,
Одинъ у низкихъ береговъ
Бросалъ въ неведомыя воды
Свой ветхій неводъ; нынѣ тамъ
По оживленнымъ берегамъ
Громады стройныя тѣснятся
Дворцовъ и башенъ; корабли
Толпой со всѣхъ концовъ земли
Къ богатымъ пристанямъ стремятся;
Въ гранитъ одѣлась Нева,

Мосты повисли надъ водами;
Темнозелеными садами
Ея покрылся острова;
И передъ младшею столицей
Главой склонилась Москва,
Какъ передъ новою царицей
Порфирноносная вдова.

Такимъ образомъ Россія явилась вдругъ съ двумя столицами — старой и новой, Москвой и Петербургомъ. Искключительность этого обстоятельства не осталась безъ послѣдствій болѣе или менѣе важныхъ. Въ то время какъ росъ и украшался Петербургъ, по своему измѣнилась и Москва. Вслѣдствіе неизбежнаго вторженія въ нее европеизма съ одной стороны и въ цѣлости сохранившагося элемента старинной неподвижности съ другой стороны, она вышла какимъ-то причудливымъ городомъ, въ которомъ пестрѣютъ и мечутся въ глаза перемѣшанные черты европеизма и азиатизма. Раскинулась и растянулась она на огромное пространство: кажется, куда огромный городъ! А походите по ней, — и вы увидите, что ея обширности много способствуютъ длинныя, предлинныя заборы. Огромныхъ зданій въ ней нѣтъ; самые большіе дома не то, чтобы малы, да и не то, чтобы велики; архитектурнымъ достоинствомъ они не щеголяютъ. Въ ихъ архитектуру явно вмѣшался гений древняго Московскаго царства, который остался вѣренъ своему стремленію къ семейному удобству. Стоить часъ походить по кривымъ и косымъ улицамъ Москвы, — и вы тотчасъ же замѣтите, что это городъ патриархальной семейственности: дома стоятъ особнякомъ, почти при каждомъ есть довольно обширный дворъ, поросшій травой и окруженный службами. Самый бѣдный москвичъ, если онъ женатъ, не можетъ обойтись безъ погреба и, при наймѣ квартиры, болѣе заботится о погребѣ, гдѣ будутъ храниться его съѣстные припасы, нежели о комнатахъ, гдѣ онъ будетъ жить. Нерѣдко у самаго бѣднаго москвича, если онъ женатъ, любимѣйшая мечта цѣлой его жизни — когда-нибудь перестать шататься по квартирамъ и зажить своимъ домкомъ. И вотъ, съ горемъ пополамъ, призвавъ на помощь родное «авось», онъ покупаетъ или нанимаетъ на извѣстное число лѣтъ пустопорожнее мѣсто въ какомъ-нибудь захолустѣ, и лѣтъ пять, а иногда и десять строить домишко о трехъ окнахъ, покупая материалы то въ долгъ, то по случаю, изворачиваясь такъ и сякъ. И наконецъ наступитъ вождѣнный день переѣзда въ собственный домъ; домишко плохъ, да зато свой, и притомъ съ дворомъ — стало-быть, можно и куръ водить, и теленка есть гдѣ пасти; но главное, при домишкѣ есть по-

гребъ—чего же болѣе? Такихъ домишекъ въ Москвѣ неизчислимое множество, и они-то способствуютъ ея обширности, если не ея великолѣпію. Эти домишки попадаютъ даже на лучшихъ улицахъ Москвы, между лучшими домами, такъ же, какъ хорошіе (т. е. каменные въ два или три этажа) попадаютъ въ самыхъ отдаленныхъ и плохихъ улицахъ, между такими домишками. Для русскаго, который родился и жилъ безвыѣздно въ Петербургѣ, Москва такъ же точно изумительна, какъ и для иностранца. По дорогѣ въ Москву нашъ петербуржецъ увидѣлъ бы, разумѣется, Новгородъ и Тверь, которые совсѣмъ не приготовили бы его къ зрѣлищу Москвы; хотя Новгородъ и древній городъ, но отъ древняго въ немъ остался только его кремль, весьма невзрачнаго вида, съ Софійскимъ соборомъ, примѣчательнымъ своей древностью, но ни огромностью, ни изяществомъ. Улицы въ Новгородѣ не кривы и не узки; многіе дома своей архитектурой и даже цвѣтомъ напоминаютъ Петербургъ. Тверь тоже не дастъ нашему петербуржцу идеи о Москвѣ: ея улицы прямы и широки, а для губернскаго города она довольно красива. Слѣдовательно, въѣжая въ первый разъ въ Москву, нашъ петербуржецъ въѣдетъ въ новый для него міръ. Тщетно будетъ онъ искать главной или лучшей московской улицы, которую могъ бы онъ сравнить съ Невскимъ проспектомъ. Ему покажутъ Тверскую улицу,—и онъ съ изумленіемъ увидитъ себя посреди кривой и узкой, по горѣ тянущейся улицы, съ небольшою площадкой съ одной стороны,—улицы, на которой самый огромный и самый красивый домъ считался бы въ Петербургѣ весьма скромнымъ, со стороны огромности и изящества домовъ; съ страннымъ чувствомъ увидѣлъ бы онъ, привыкшій къ прямымъ линиямъ и угламъ, что одинъ домъ выбѣжалъ на нѣсколько шаговъ на улицу, какъ будто бы для того, чтобы посмотреть, что дѣлается на ней, а другой отбѣжалъ на нѣсколько шаговъ назадъ, какъ будто изъ спѣси или изъ скромности,—смотря по его наружности; что между двумя довольно большими каменными скромно и уютно помѣстился ветхій деревянный домишко и, прислонившись стѣнами своими къ стѣнамъ сосѣднихъ домовъ, кажется, не на радуется тому, что они не даютъ ему упасть и сверхъ того защищаютъ его отъ холода и дождя; что подлѣ великолѣпнаго моднаго магазина глѣтится себѣ крохотная табачная лавочка, или грязная харчевня, или таковая же пивная. И еще болѣе удивился бы нашъ петербуржецъ, почувствовавъ, что въ странномъ же разѣ въ трактирахъ. И еслибы вы погротескѣ этой улицы есть своя красота.

И пошелъ бы онъ на Кузнечій мостъ: тамъ все то же, за исключеніемъ деревянныхъ домишекъ; зато увидѣлъ бы онъ каменные съ модными магазинами, но до того миниатюрные, что ему пришла бы въ голову мысль—ужъ не заѣхалъ ли онъ, новый Гуливеръ, въ царство лилипутовъ... Хотя ни одинъ истинный петербуржецъ ничему не удивляется и ничѣмъ не восторгается, но не удержался бы онъ отъ какого-нибудь громко произнесеннаго междометія, еслибы, пройдя кругъ опоясывающихъ Москву бульваровъ—лучшаго ея украшенія, которому Петербургъ имѣетъ полное право завидовать,—онъ, то спускаясь подъ гору, то подымаясь въ гору, видѣлъ бы со всѣхъ сторонъ амфитеатры крышъ, перемѣшанныхъ съ зеленью садовъ: будь при этомъ вмѣсто церквей минареты, онъ счелъ бы себя перенесеннымъ въ какой-нибудь восточный городъ, о которомъ читалъ въ Шехерезадѣ. И это зрѣлище ему понравилось бы, и онъ по крайней мѣрѣ впродолженіе весны и лѣта охотно не сталъ бы искать столицы и города тамъ, гдѣ, взаимѣ этого, есть такіе живописные ландшафты...

Многія улицы въ Москвѣ, какъ-то: Тверская, Арбатская, Поварская, Никитская, обѣ линіи по сторонамъ Тверского и Никитскаго бульваровъ, состоятъ преимущественно изъ «господскихъ» (московское слово!) домовъ. И тутъ вы видите больше удобства, чѣмъ огромности или изящества. Во всемъ и на всемъ печать семейственности: и удобный домъ, обширный, но тѣмъ не менѣе для одного семейства, широкий дворъ, а у воротъ въ лѣтніе вечера многочисленная дворян. Вездѣ разъединенность, особенность; каждый живетъ у себя дома и крѣпко отгораживается отъ сосѣда. Это еще замѣтнѣе въ Замоскворѣчьи, этой чисто купеческой и мѣщанской части Москвы: тамъ окна завѣшаны занавѣсками, ворота на запоръ; при ударѣ въ нихъ раздается сердитый лай цѣпной сабаки, все мертво или, лучше сказать, сонно; домъ или домишко похожъ на крѣпостцу, приготовившуюся выдержать долговременную осаду. Вездѣ семейство, и почти нигдѣ не видно города!...

Въ Москвѣ много трактировъ, и они всегда биткомъ набиты преимущественно тѣмъ народомъ, который въ нихъ пьетъ только чай. Не нужно объяснять, о какомъ народѣ говоримъ мы: это народъ, выпивающій въ день по пятнадцати самоваровъ,—народъ, который не можетъ жить безъ чаю, который пять разъ пьетъ его дома и столько же разъ въ трактирахъ. И еслибы вы посмотрѣли на этотъ народъ, вы не удиви-

лись бы, что чай не разстраиваетъ ему нервъ, не мѣшаетъ спать, не портитъ зубовъ; вы подумали бы, что онъ безнаказанно для здоровья можетъ пудами употреблять опиумъ... Кондитерскихъ въ Москвѣ мало; въ нихъ покупаютъ много, но поѣщаютъ ихъ мало. Гостиницы въ Москвѣ существуютъ преимущественно для приѣзжающихъ или для холостой молодежи, любящей кутнуть. Обѣдаютъ въ Москвѣ больше дома. Тамъ даже бѣдные холостые люди большей части любятъ обѣдать у себя дома, вѣрные семейственному характеру Москвы. Если же они обѣдаютъ внѣ дома, то въ какомъ-нибудь знакомомъ имъ семействѣ, особенно у родныхъ. Вообще Москва, славная своимъ глѣбосольствомъ и гостеприимствомъ, чуждается жизни городской, общественной и любитъ обѣдать у себя дома, семейно. Славится своими сытными обѣдами Англійскій клубъ въ Москвѣ; но попробуйте въ немъ пообѣдать—и, несмотря на то, что вы будете сидѣть между пятьюстами или болѣе человѣкъ, вамъ непременно покажется, что вы пообѣдали у родныхъ. Чѣмъ же касается до постоянныхъ членовъ клуба, они потому и любятъ въ немъ обѣдать, что имъ кажется, будто они обѣдаютъ у себя дома, въ своемъ семействѣ. Характеръ семейственности лежитъ на всемъ и во всемъ московскомъ! Родство даже до сихъ поръ играетъ великую роль въ Москвѣ. Тамъ никто не живетъ безъ родни. Если вы родились бобылемъ и приѣхали жить въ Москву, — васъ сейчасъ женятъ, и у васъ будетъ огромное родство до семьдесятъ-седьмого колѣна. Не любить и не уважать родни въ Москвѣ считается хуже, чѣмъ вольнодумствомъ. Вы обязаны будете знать день рожденія и именинъ по крайней мѣрѣ полутораэта человѣкъ, и горе вамъ, если вы забудете поздравить хоть одного изъ нихъ. Это немножко хлопотно и скучно, но вѣдь зато родство—священная вещь. Гдѣ развита въ такой степени семейственность, тамъ родство не можетъ не быть въ великомъ почетѣ. По смерти Петра Великаго Москва сдѣлалась убѣжищемъ опальныхъ дворянъ высшаго разряда и мѣстомъ отдохновенія удалившихся отъ дѣлъ вельможъ. Вслѣдствіе этого она получила какой-то аристократическій характеръ, который особенно развился въ царствованіе Екатерины Второй. Кто не слышалъ о широкой, распашной жизни вельможъ въ Москвѣ? Кто не слышалъ разсказовъ о томъ, какъ въ своихъ великолѣпныхъ палатахъ ежедневно угощали они столомъ и званого, и незваного, и знакомаго, и незнакомаго, и въ городѣ, и въ деревнѣ, гдѣ для всѣхъ отворяли свои пышные сады? Кто не слы-

шалъ разсказовъ о ихъ пирахъ, — разсказовъ, похожихъ на отрывки изъ «Тысячи и Одной Ночи»? Видите ли, что Москва и тутъ осталась вѣрна своему древне-московскому элементу: чванство и чивость, распашная и потѣшная жизнь въ ней нашли свой приютъ! Но съ предшествовавшаго царствованія Москва мало-по-малу начала дѣлаться городомъ торговымъ, промышленнымъ и мануфактурнымъ. Она одѣваетъ всю Россію своими бумажно-прядаильными издѣліями; ея отдаленныя части, ея окрестности и ея уѣзды—все это усяяно фабриками и заводами, большими и малыми. И въ этомъ отношеніи не Петербургу тягаться съ нею, потому что самое ея положеніе почти въ серединѣ Россіи назначило ей быть центромъ внутренней промышленности. И то ли будетъ она въ этомъ отношеніи, когда желѣзная дорога соединитъ ее съ Петербургомъ, и какъ артеріи отъ сердца, потянутся отъ нея шоссе въ Ярославль, въ Казань; въ Воронежъ, въ Харьковъ, въ Кіевъ и Одессу...

Москва гордится своими историческими древностями, памятниками; она—сама историческая древность и во внѣшнемъ и во внутреннемъ отношеніи! Но какъ она сама, такъ и ея допетровскія древности представляютъ странное зрѣлище смѣси съ новымъ: отъ Кремля остался одинъ чертѣкъ, потому что его ежегодно поправляютъ, а въ немъ возникаютъ новыя зданія. Духъ новаго вѣетъ и на Москву и стираетъ мало-помалу ея древній отпечатокъ.

Мы начали о Петербургѣ, а распространились о Москвѣ, но это совсѣмъ не отступление отъ главнаго предмета. У насъ двѣ столицы: какъ же говорить объ одной, не сравнивая ея съ другой? Только чрезъ такое сравненіе можемъ мы узнать особенности и характеръ каждой изъ нихъ. Ничто въ мірѣ не существуетъ напрасно: если у насъ двѣ столицы — значитъ каждая изъ нихъ необходима, а необходимость можетъ заключаться только въ идеѣ, которую выражаетъ каждая изъ нихъ. И потому Петербургъ представляетъ собою идею; Москва — другую. Въ чемъ состоитъ идея того и другого города, это можете узнать, только проведя параллель между тѣмъ и другимъ. И потому мы не разъ еще, говоря о Петербургѣ, будемъ обращаться и къ Москвѣ. Пока мы нашли, что отличительный характеръ Москвы—семейственность. Обратимся къ Петербургу.

О Петербургѣ привыкли думать, какъ о городѣ, построенномъ даже не на болотѣ, а чуть ли не на воздухѣ. Многіе, не шутя, увѣряютъ, что это городъ безъ исторической святости, безъ преданій, безъ связи съ родной страной, — городъ, построенный на сва-

яхъ и на разсчетъ. Всѣ эти мнѣнія немного ужъ устарѣли, и ихъ пора бы оставить. Правда, коли хотите, въ нихъ есть своя сторона истины, но зато много и жи. Петербургъ построенъ Петромъ Великимъ какъ столица новой Россійской Имперіи, и Петербургъ — городъ неисторическій, безъ преданія!.. Это негѣпость, не стѣящая опроверженія! Вся бѣда вышла изъ того, что Петербургъ слишкомъ молодъ для самого себя и совершенное дитя въ сравненіи со старушкой Москвой. Такъ неужели молодой человѣкъ, ознаменовавшій свое вступленіе въ жизнь великихъ подвиговъ, — не историческій человѣкъ, потому что онъ мало жилъ; а старичокъ какой-нибудь — историческій человѣкъ, потому что онъ много жилъ? Не только много жила, но и много испытала древняя Москва, столица Московскаго царства; у ней есть своя исторія — никто не спорить противъ этого, но что же вся ея исторія въ сравненіи съ великимъ эпосомъ біографіи Петра Великаго? А не тѣсно ли связать Петербургъ съ этой біографіей? Отвергать историческую важность Петербурга — не значитъ ли не умѣть цѣнить Петра для русской исторіи? Говоря объ исторической святинѣ, спрашиваютъ: гдѣ у Петербурга эти памятники, надъ которыми пролетѣли вѣка, не разрушивъ ихъ? Да, милостивые государи, такихъ памятниковъ въ Петербургѣ нѣтъ и быть не можетъ, потому что самъ онъ существуетъ со дня своего заложения только сто сорокъ одинъ годъ; но зато онъ самъ есть великій историческій памятникъ. Всюду видите вы въ немъ живые слѣды его строителя, и для многихъ (въ томъ числѣ и для насъ) такія маленькія строенія, какъ примѣръ домикъ на Петербургской сторонѣ, дворецъ въ Лѣтнемъ саду, дворецъ въ Петергофѣ, стѣять не одного, а многихъ Кремлей!.. Чтѣ дѣлать? — у всякаго свой вкусъ! Петербургъ построенъ на разсчетъ — правда; но чѣмъ же разсчетъ ниже слѣпотаго случая? Мудрые вѣка говорятъ, что желѣзный гвоздь, сдѣланный грубой рукой деревенскаго кузнеца, выше всякаго цвѣтка, съ такой красотой рожденнаго природой, — выше его въ томъ отношеніи, что онъ — произведеніе сознательнаго духа, а цвѣтокъ есть произведеніе непосредственной силы. Разсчетъ есть одна изъ сторонъ сознанія. Говорятъ еще, что Петербургъ не имѣетъ въ себѣ ничего оригинальнаго, самобытнаго, что онъ есть какое-то, будто бы, общее воплощеніе идеи столичнаго города и, какъ двѣ капли воды, похожъ на всѣ столичные города въ мірѣ. Но на какіе же именно? На старые, каковы напр. Римъ, Парижъ, Лондонъ, онъ по-

ходить никакъ не можетъ; стало-быть, это сущая неправда. Если онъ похожъ на какіе-нибудь города, то вѣроятно на большіе города Сѣверной Америки, которые, подобно ему, тоже выстроены на разсчетъ. И развѣ въ этихъ городахъ нѣтъ своего, оригинальнаго? Развѣ въ стѣнахъ города и въ каждомъ камнѣ его видѣть будущее, не значитъ — видѣть что-то оригинальное и притомъ прекрасно оригинальное? Но Петербургъ оригинальнѣе всѣхъ городовъ Америки, потому что онъ есть новый городъ въ старой странѣ, слѣдовательно есть новая надежда, прекрасное будущее этой страны. Что-нибудь одно: или реформа Петра Великаго была только великой исторической ошибкой, или Петербургъ имѣетъ необъятно-великое значеніе для Россіи. Что-нибудь одно: или новое образованіе Россіи, какъ ложное и призракное, скоро исчезнетъ совсѣмъ, не оставивъ по себѣ и слѣда, или Россія навсегда и безвозвратно оторвана отъ своего прошедшаго. Въ первомъ случаѣ, разумѣется, Петербургъ — случайное и эфемерное порожденіе эпохи, принявшей ошибочное направленіе, — грибокъ, который въ одну ночь выросъ и въ одинъ день высохъ; во второмъ случаѣ Петербургъ есть необходимое и вѣковѣчное явленіе, величественный и крѣпкій дубъ, который сосредоточитъ въ себѣ всѣ жизненные соки Россіи. Нѣкоторые доморожденные политики, считающіе себя удивительно глубокомысленными, думаютъ, что такъ какъ-де Петербургъ явился непосредственно, выросъ и расширился не вѣками, а обязанъ своимъ существованіемъ волѣ одного человѣка, то другой человѣкъ, имѣющій власть выше, также можетъ оставить его, выстроить себѣ новый городъ на другомъ концѣ Россіи: мнѣніе крайне дѣтское! Такія дѣла не такъ легко затѣваются и исполняются. Былъ человѣкъ, который имѣлъ не только власть, но и силу сотворить чудо, и былъ мигъ, когда эта сила могла проявиться въ такомъ чудѣ, — и потому для новаго чуда въ этомъ родѣ потребуется опять два условія: не только человѣкъ, но и мигъ. Произволъ не производитъ ничего великаго: великое исходитъ изъ разумной необходимости, слѣдовательно отъ Бога. Произволъ не соорудитъ въ короткое время великаго города: произволъ можетъ выстроить развѣ только вавилонскую башню, слѣдствіемъ которой будетъ не возрожденіе страны къ великому будущему, а раздѣленіе языковъ. Гораздо легче сказать — оставить Петербургъ, чѣмъ сдѣлать это: языкъ безъ костей, по русской пословицѣ, и можетъ говорить, чтѣ ему угодно; но дѣло не то, чтѣ пустое слово. Только господамъ

Маниловымъ легко строить въ своей праздной фантазіи мосты черезъ пруды, съ лавками по обѣимъ сторонамъ.

Иностранецъ Альгаротти сказалъ: «Петербургъ есть окно, черезъ которое Россія смотритъ на Европу», — счастливое выраженіе, въ немногихъ словахъ удачно схватившее великую мысль! И вотъ въ чемъ заключается твердое основаніе Петербурга, а не въ сваяхъ, на которыхъ онъ построенъ, и съ которыхъ его не такъ-то легко сдвинуть! Вотъ въ чемъ его идея и слѣдовательно его великое значеніе, его святое право на вѣковѣчное существованіе! Говорятъ, что Петербургъ выражаетъ собою только внѣшній европеизмъ. Положимъ, что и такъ; но при развитіи Россіи, совершенно противоположномъ европейскому, т. е. при развитіи сверху внизъ, а не снизу вверхъ, внѣшность имѣетъ гораздо высшее значеніе, болѣшую важность, нежели какъ думаютъ. Чтѣ вы видите въ поэзіи Ломоносова? — одну внѣшность, русскія слова, втиснутыя въ латинско-нѣмецкую конструкцію; выписныя мысли, какихъ и признака не было въ обществѣ, среди котораго и для котораго писалъ Ломоносовъ свои риторическіе стихи! И однакожъ Ломоносова не безъ основанія называютъ отцомъ русской поэзіи, которая тоже не безъ основанія гордится напимѣръ хоть такимъ поэтомъ, какъ Пушкинъ. Нужно ли доказывать, что еслибы у насъ не было заведено этой мертвой, подражательной, чисто внѣшней поэзіи, — то не родилась бы у насъ и живая, оригинальная и самобытная поэзія Пушкина? Нѣтъ, это и безъ доказательствъ ясно, какъ день Божій. И такъ, иногда и внѣшность чего-нибудь да стоитъ. Скажемъ болѣе: внѣшнее иногда влечетъ за собой внутреннее. Положимъ, что надѣтъ фракъ или сюртукъ, вмѣсто овчиннаго тулупа, синяго армяка или смураго кафтана, еще не значитъ сдѣлаться европейцемъ; но отъ чего же у насъ, въ Россіи, и учатся чему-нибудь, и занимаются чтеніемъ, и обнаруживаютъ и любовь, и вкусъ къ изящнымъ искусствамъ только люди, одѣвающиеся по европейски? Чтѣ ни говорите, а даже и фракъ съ сюртукомъ — предметы, кажется, совершенно внѣшніе, не мало дѣйствуютъ на внутреннее благообразіе человѣка. Петръ Великій это понималъ, и отсюда его гоненіе на бороды, охаби, терлики, шапки-мурмолки и всѣ другія завѣтныя принадлежности московскаго туалета.

Есть мудрые люди, которые презираютъ всѣмъ внѣшнимъ; имъ давай идею, любовь, духъ, а на факты, на міръ практический, на будничную сторону жизни они не хотятъ и смотрѣть. Есть другіе мудрые

люди, которые, кромѣ фактовъ и дѣла, ни о чемъ знать не хотятъ, а въ идеѣ и духѣ видятъ однѣ мечты. Первые изъ нихъ за особенную честь поставляютъ себѣ слушать съ презрительнымъ видомъ, когда при нихъ говорятъ о желѣзной дорогѣ. Эти средства къ возвышенію нравственнаго достоинства страны имъ кажутся и ложными, и ничтожными; они всего ждутъ отъ чуда и думаютъ, что образованіе въ одно прекрасное утро свалится прямо съ неба, а народъ возьметъ на себя трудъ только поднять его, да проглотить, не жевавши. Мудрецы этого разряда давно уже ославлены именемъ романтиковъ. Мудрецы второго разряда спятъ и видятъ шоссе, желѣзныя дороги, мануфактуры, торговлю, банки, общества для разныхъ спекуляцій: въ этомъ ихъ идеалъ народнаго и государственнаго блаженства; духъ, идея въ ихъ глазахъ — вредныя или безполезныя мечты. Это классики нашего времени. Не принадлежа ни къ тѣмъ, ни къ другимъ, мы въ послѣднихъ видимъ хоть что-нибудь, тогда какъ въ первыхъ — виноваты — равно ничего не видимъ. Есть два способа проводить новый источникъ жизни въ застоявшійся организмъ общественнаго тѣла: первый — наука или ученіе, книгопечатаніе, въ обширномъ значеніи этого слова, какъ средство къ распространенію идей; второй — жизнь, разумѣя подъ этимъ словомъ формы обыкновенной, ежедневной жизни, нравы, обычаи. Тотъ и другой способъ равно важны, и послѣдній едва ли еще не важнѣе въ томъ отношеніи, что и само чтеніе, и самая идея тогда только важны и дѣйствительны, когда входятъ въ жизнь, становятся, такъ сказать, обычаемъ или обыкновеніемъ. Нѣтъ ничего сильнѣе и крѣпче обычая: гораздо легче убѣдить людей логикой въ какой угодно истинѣ, нежели склонить ихъ къ практическому примѣненію этой истины, если въ этомъ мѣшаетъ имъ обычай. Намъ кажется, что на долю Петербурга преимущественно выпалъ этотъ второй способъ распространенія и утвержденія европеизма въ русскомъ обществѣ. Петербургъ есть образецъ для всей Россіи во всемъ, чтѣ касается до формъ жизни, начиная отъ моды до свѣтскаго тона, отъ манеры класть кирпичи до высшихъ таинствъ архитектурнаго искусства, отъ типографскаго изищества до журналовъ, исключительно владѣющихъ вниманіемъ публики. Сравните петербургскую жизнь съ московскою — и въ ихъ различіи или, лучше сказать, ихъ противоположности вы сейчасъ увидите значеніе того и другого города. Несмотря на узость московскихъ улицъ, снабженныхъ троту-

арами въ поларшина шириною, онѣ только днемъ бываютъ тѣсны, и то далеко не всѣ, и притомъ больше по причинѣ ихъ узкости, чѣмъ по многолюдству. Съ десяти часовъ вечера Москва уже пустѣетъ, и особенно зимой скучны и пустыни эти кривыя улицы съ еще болѣе кривыми переулками. Широкія улицы Петербурга почти всегда оживлены народомъ, который куда-то спѣшитъ, куда-то торопится. На нихъ до двѣнадцати часовъ ночи довольнолюдно и до утра вездѣ попадаются то тамъ, то сямъ запоздалые. Кондитерскія полны народомъ; нѣмцы, французы и другіе иностранцы, туземные и заѣзжіе, пьютъ, ѣдятъ и читаютъ газеты; русскіе больше пьютъ и ѣдятъ, а нѣкоторые пробѣгаютъ «Пчелу», «Инвалидъ» и иногда пристально читаютъ толстыя журналы, переплетенные, для удобства, въ особенныя книжки, по отдѣламъ: это охотники до литературы; охотниковъ до политики у насъ вообще мало. Рестораны всегда полны, кухмистерскія заведенія тоже. Тутъ то же самое: пьютъ, ѣдятъ, читаютъ, курятъ, играютъ на биліардѣ, и все большей частью молча. Если и говорятъ, то тихо, и то сосѣдъ съ сосѣдомъ; зато часто случается слышать прегромкіе голоса, которые ни мало не женируются говорить о предметахъ, нисколько для постороннихъ не интересныхъ, напримѣръ о томъ, какъ Иванъ Семеновичъ вчера остался безъ двухъ, играя семь въ червяхъ, или о томъ, что Петръ Николаевичъ получилъ мѣсто, а Василій Степановичъ произведенъ въ слѣдующій чинъ, и тому подобныхъ литературныхъ и политическихъ новостяхъ. Дома въ Петербургѣ, какъ извѣстно, огромные. Петербуржецъ о погребѣ не заботится: если не женатъ, онъ обѣдаетъ въ трактирѣ; женатъ,—онъ все беретъ изъ лавочки. Домъ, гдѣ нанимаетъ онъ квартиру,—сущій боевъ ковчегъ, въ которомъ можно найти по парѣ всякихъ животныхъ. Рѣдко случается узнать петербуржцу, кто живетъ возлѣ него, потому что и сверху, и снизу, и съ боковъ его живутъ люди, которые такъ же, какъ и онъ, заняты своимъ дѣломъ и такъ же не имѣютъ времени узнавать о немъ, какъ и онъ о нихъ. Главное удобство въ квартирѣ, за которымъ гонится петербуржецъ, состоитъ въ томъ, чтобы ко всему быть поближе—и къ мѣсту своей службы, и къ мѣсту, гдѣ все можно достать и лучше, и дешевле. Послѣдняго удобства онъ часто достигаетъ въ своемъ боевомъ ковчегѣ, гдѣ есть и погребокъ, и кондитерская, и кухмистеръ, и магазины, и портные, и сапожники, и все на свѣтѣ. Идея города больше всего заключается въ сплошной сосредоточенности всѣхъ удобствъ въ на-

болѣе сжатомъ кругѣ: въ этомъ отношеніи Петербургъ несравненно больше городъ, чѣмъ Москва, и можетъ-быть одинъ городъ во всей Россіи, гдѣ все разбросано, разъединено, запечатлѣно семейственностью. Если въ Петербургѣ нѣтъ публичности въ истинномъ значеніи этого слова, зато ужъ нѣтъ и домашняго или семейнаго затворничества. Петербургъ любить улицу, гулянье, театръ, кофейную, вокзалъ, словомъ, любить всѣ общественныя заведенія. Этого пока еще немного, но зато изъ этого можетъ многое выйти впереди. Петербургъ не можетъ жить безъ газетъ, безъ афишъ и разнаго рода объявленій; Петербургъ давно уже привыкъ, какъ къ необходимости, къ «Полицейской Газетѣ», къ городской почтѣ. Едва проснувшись, петербуржецъ хочетъ тотчасъ же знать, что дается сегодня на театрахъ, нѣтъ ли концерта, скачки, гулянья съ музыкой; словомъ, хочетъ знать все, что составляетъ сферу его удовольствій и разбѣганій,—а для этого ему стоитъ только протянуть руку къ столу, если онъ получаетъ всѣ эти извѣстительныя изданія, или забѣжать въ первую попавшуюся кондитерскую. Въ Москвѣ многіе подписчики на «Московскія Вѣдомости», выходящія три раза въ недѣлю (по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ), посылаютъ за ними только по субботамъ и получаютъ вдругъ три номера. Оно и удобно: подъ праздникъ есть свободное время заняться новостями всего міра... Кромѣ того, по неимѣнію городской почты и разсыльныхъ, надо посылать своего человека въ контору университетской типографіи, а это не для всякаго удобно и не для всѣхъ даже возможно. Для петербуржца заглянуть каждый день въ «Пчелу» или «Инвалидъ»—такая же необходимость, такой же обычай, какъ напиться по утру чаю... Въ противоположность Москвѣ, огромные дома въ Петербургѣ днемъ не затворяются и доступны черезъ ворота и черезъ двери; ночью у воротъ всегда можно найти дворника или вызвать его звонкомъ, слѣдовательно всегда можно попасть въ домъ, въ который вамъ непремѣнно нужно попасть. У дверей каждой квартиры видна ручка звонка, а на многихъ дверяхъ не только нумеръ, но и мѣдная или желѣзная дощечка съ именемъ занимающаго квартиру. Хотя въ Москвѣ улицы не длинны, каждая носитъ особенное названіе и почти въ каждой есть церковь, а иногда еще и не одна, почему легко бы, казалось, отыскать, кого нужно, если знаешь адресъ; однакожъ, отыскивать тамъ—истинное мученіе, если въ домѣ есть не одинъ жилецъ. Обыкновенно входите вы тамъ на довольно большой дворъ,

на которомъ, кромѣ собаки или собакъ, ни одного живого существа; спросить некого, надо стучаться въ двери съ вопросомъ: не здѣсь ли живетъ такой-то, потому что въ Москвѣ дворники рѣдки, а звонки еще и того рѣже. Нѣтъ никакой возможности ходить по московскимъ улицамъ, которыя узки, кривы и наполнены проѣжающими. Надо быть москвичемъ, чтобы умѣть смѣло ходить по нимъ, такъ же, какъ надо быть парижаниномъ, чтобы, ходя по Парижу, не пачкаться на его грязныхъ улицахъ. Впрочемъ самими москвичи ходить не любятъ; отъ того извозчикамъ въ Москвѣ много работы. Извозчики тамъ дешевы, но на плохихъ дрожкахъ и прескверныхъ саниахъ; дрожки вездѣ скверны по самому ихъ устройству; это просто орудіе пытки для допроса обвиненныхъ; но саней плохихъ въ Петербургѣ не бываетъ: здѣсь самыя скверныя санишки сдѣланы на манеръ будто-бы хорошихъ и покрыты полостью изъ теленка, похожаго на медвѣдя, а полость покрыта чѣмъ-то вродѣ сукна. Въ Петербургѣ никто не сѣлъ бы на сани безъ медвѣдя.. Впрочемъ въ Петербургѣ мало ѣздить, больше ходять: оно и здорово, ибо движеніе есть лучшее и притомъ самое дешевое средство противъ геморроя, да притомъ же въ Петербургѣ удобно ходить: горъ и косогоровъ нѣтъ, все ровно и гладко, тротуары изъ плитняка, а индѣ и изъ гранита, широкіе, ровные и во всякое время года чистые, какъ полы.

Чтобы ближе познакомиться съ обѣими нашими столицами, сравнимъ между собою ихъ народонаселеніе.

Высшее сословіе или высшій кругъ общества во всѣхъ городахъ въ мірѣ составляетъ собой нѣчто исключительное. Большой свѣтъ въ Петербургѣ еще болѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь, есть истинная terra incognita для всѣхъ, кто не пользуется въ немъ правомъ гражданства; это городъ въ городѣ, государство въ государствѣ. Непосвященные въ его таинства смотрятъ на него издавѣка, на почтительномъ разстояніи, смотрятъ на него съ завистью и томленіемъ, съ какими путникъ, заблудившійся въ песчаной степи Аравіи, смотритъ на миражъ, представляющійся ему цвѣтущимъ оазисомъ; но недоступный для нихъ рай большого свѣта, страгомый булавой швейцара и толпой офиціантовъ, разодѣтыхъ маркизами XVIII вѣка, даже и не смотритъ на этихъ чающихъ для себя движенія райской воды. Люди различныхъ слоевъ средняго сословія, отъ высшаго до низшаго, съ напряженнымъ вниманіемъ прислушиваются къ отдаленному и непонятному для нихъ гулу большого свѣта и по своему толкуютъ долетающіе до ихъ

ушей анекдоты, искаженные ихъ простодушіемъ. Словомъ, они такъ заботятся о большомъ свѣтѣ, какъ будто безъ него не могутъ дышать. Не довольствуясь этимъ, они изо всѣхъ силъ бьются, бѣдные, переразвиваясь бытіемъ большого свѣта, и—à force de forger—достигаютъ до сладостной самоувѣренности, что и они—тоже большой свѣтъ. Конечно настоящій большой свѣтъ очень бы добродушно разсмѣялся, еслибъ узналъ объ этихъ безчисленныхъ претендентахъ на близкое родство съ нимъ; но отъ этого тѣмъ не менѣе страсть считать себя принадлежащимъ или прикосновеннымъ къ большому свѣту доходитъ въ среднихъ сословіяхъ Петербурга до наступленія. Поэтому въ Петербургѣ счету нѣтъ различнымъ кругамъ «большого свѣта». Всѣ они отличаются со стороны высшаго къ низшему—величаво или лукаво насмѣшливымъ взглядомъ; а со стороны низшаго къ высшему—досадою обиженнаго самолюбія, впрочемъ утѣшающаго себя тѣмъ, что и мы-де не отстанемъ отъ другихъ и постоимъ за себя въ хорошемъ тонѣ. Хорошій тонъ это—точка помѣшательства для петербургскаго жителя. Послѣдній чиновникъ, получающій не болѣе семисотъ рублей жалованья, ради хорошаго тона отпускаетъ при случаѣ искаженную французскую фразу—единственную, какую удалось ему затвердить изъ «Самоучителя»; изъ хорошаго тона онъ одѣвается всегда у порядочнаго портного и носитъ на рукахъ хотя и засаленныя, но желтыя перчатки. Дѣвицы даже низшихъ классовъ ужасно любятъ вернуть въ безграмотной русской запискѣ безграмотную французскую фразу,—и если вамъ понадобится писать къ такой дѣвицѣ, то ничѣмъ вы ей такъ не польстите, какъ смѣшеніемъ нижегородскаго съ французскимъ: этимъ вы ей покажете, что считаете ее дѣвицей образованной и «хорошаго тона». Любятъ онѣ также и стишки, особенно изъ водевильныхъ куплетовъ; но нѣкоторыя возвышаются своимъ вкусомъ даже до поэзіи Бенедиктова,—и это дѣвицы самыхъ аристократическихъ, самыхъ бонтоновыхъ круговъ чиновническаго сословія. Видите-ли: Петербургъ во всемъ себѣ вѣренъ; онъ стремится къ высшей формѣ общественнаго быта.... Не такова въ этомъ отношеніи Москва. Въ ней даже большой свѣтъ имѣетъ свой особенный характеръ. Но кто не принадлежитъ къ нему, тотъ о немъ и не заботится, будучи весь погруженъ въ сферу собственнаго сословія.

Ядро коренного московскаго народонаселенія составляетъ купечество. Девять десятыхъ этого многочисленнаго сословія носятъ православную, отъ предковъ завѣ-

щанную бороду, длиннополый сюртукъ снѣгаго сукна и ботфорты съ кисточкой, скрывающіе въ себѣ оконечности плисовыхъ или суконныхъ брюкъ; одна десятая позволяетъ себѣ брить бороду и, по одеждѣ, по образу жизни, вообще во внѣшности, походить на разночинцевъ и даже дворянъ средней руки. Сколько старинныхъ вельможескихъ домовъ перешло теперь въ собственность купечества! И вообще эти огромныя зданія, памятники уже отжившихъ свой вѣкъ нравовъ и обычаевъ, почти всѣ безъ исключенія превратились или въ казенныя учебныя заведенія, или, какъ мы уже сказали, поступили въ собственность богатаго купечества. Какъ расположилось и какъ живетъ въ этихъ палатахъ и дворцахъ «поштенное» купечество,—объ этомъ любопытные могутъ справиться между прочимъ въ повѣсти Вельтмана «Пріѣзжіи изъ уѣзда, или суматоха въ столицѣ». Но не въ однихъ княжескихъ и графскихъ палатахъ,—хороши также эти купцы и въ дорогихъ каретахъ и коляскахъ, которыя вихремъ несутся на превосходныхъ лошадяхъ, блистающихъ самой дорогой сбруей: въ экипажѣ сидитъ «поштенная» и весьма довольная собой борода; возлѣ нея помѣщается плотная и объѣмистая масса ея дражайшей половины, разбѣленная, разрумяненная, обремененная жемчугами, иногда съ платкомъ на головѣ и съ косичками отъ висковъ, но чаще въ шляпкѣ съ перьями (прекрасный полъ даже и въ купечествѣ далеко обогналъ мужчинъ на пути европеизма!), а на запяткахъ стоитъ сидѣлецъ въ длиннополомъ жидовскомъ сюртукѣ, въ рыжихъ сапогахъ съ кисточками, пуховой шляпѣ и въ зеленыхъ перчаткахъ... Проходящіе мимо купцы средней руки и мѣщане съ удовольствіемъ пощолкиваютъ языкомъ, смотря на лихихъ коней, и гордо приговариваютъ: «Вишь, какъ наши-то!», а дворяне, смотря изъ оконъ, съ досадой думаютъ: «мужикъ проклятый, развалился, какъ и Богъ знаетъ кто!... Для русскаго купца, особенно москвича, толстая статистая лошадь и толстая статистая жена—первыя блага въ жизни... Въ Москвѣ повсюду встрѣчаете вы купцовъ, и все показываетъ вамъ, что Москва по преимуществу городъ купческаго сословія. Или населенъ Китай-городъ; они исключительно завладѣли Замоскворѣчьемъ, и ими же кишатъ даже самыя аристократическія улицы и мѣста въ Москвѣ, каковы — Тверская, Тверской бульваръ, Пречистенка, Остоженка, Арбатская, Поварская, Мясницкая и другія улицы. Базисомъ этому многочисленному сословію въ Москвѣ служитъ еще многочисленнѣйшее сословіе: это—мѣщан-

ство, которое создало себѣ какой-то особенный костюмъ изъ національнаго русскаго и изъ басурманскаго нѣмецкаго, гдѣ неизбежно красуются зеленныя перчатки, пуховая шляпа или картузъ такого устройства, въ которомъ равно изуродованы и опошлены и русскій, и иностранный типы головной мужской одежды; выростковые сапоги, въ которыхъ прячутся нанковые или суконныя штанишки; сверху что-то среднее между долгополымъ жидовскимъ сюртукомъ и кучерскимъ кафтаномъ; красная александрийская или ситцевая рубаша съ косымъ воротомъ, а на шеѣ грязный пестрый платокъ. Прекрасная половина этого сословія представляетъ своимъ костюмомъ такое же дикое смѣшеніе русскаго и европейскаго: мѣщанки ходятъ большей частью (кромя ужъ самыхъ бѣдныхъ) въ платьяхъ и шляхахъ порядочныхъ женщинъ, а волосы прячутъ подъ шапочку, сдѣланную изъ цвѣтнаго шелковаго платка; бѣлила, румяна и сурьма составляютъ неотъемлемую часть ихъ самихъ, точно такъ же, какъ стеклянные глаза, безжизненное лицо и черныя зубы. Это мѣщанство есть вездѣ, гдѣ только есть русскій городъ, даже большое торговое село. Типъ этого мѣщанства вполне постигъ петербургскій актеръ, Григорьевъ 2-й.—и этому-то типу обязанъ онъ своимъ необыкновеннымъ успѣхомъ на Александринскомъ театрѣ.

Но въ Москвѣ есть еще другого рода среднее сословіе—образованное среднее сословіе. Мы не считаемъ за нужное объяснять нашимъ читателямъ, что мы разумѣемъ вообще подъ образованными сословіями: кому не извѣстно, что у насъ, въ Россіи, есть рѣзкая черта, которая отдѣляетъ необразованныя сословія отъ образованныхъ и которая заключается, во-первыхъ, въ костюмахъ и обычаяхъ, обнаруживающихъ рѣшительное притязаніе на европеизмъ; во-вторыхъ,—въ любви къ преферансу; въ третьихъ,—въ болѣе или менѣе занятіи чтеніемъ. Касательно послѣдняго пункта можно сказать съ достовѣрностью, что кто читаетъ постоянно хоть «Московскія Вѣдомости», тотъ уже принадлежитъ къ образованному сословию, если кромя того онъ въ одеждѣ и обычаяхъ придерживается западнаго типа. Къ числу необходимыхъ отличій «образованнаго» человека отъ «необразованнаго» у насъ полагается и чинъ, хотя съ нѣкотораго времени и у насъ уже начинаютъ убѣждать, что и безъ чина такъ же можно быть образованнымъ человекомъ, какъ и ненѣждой съ чиномъ. Впрочемъ подобное мнѣніе нисколько не проникло въ низшіе классы общества, и—милліо-

неръ-купецъ, поглаживая свою бородку, смѣло претендуетъ на умъ (благо плутовать и мастеръ надуть и недруга, и друга), но никогда на образованность. Различій и степеней между «образованными» людьми у насъ множество. Одни изъ нихъ читаютъ только дѣловыя бумаги и письма, до нихъ лично касающіяся, да еще календари и «Московскія Вѣдомости»; нѣкоторые идутъ далѣе—и постоянно читаютъ «Сѣверную Пчелу»; есть такіе, которые читаютъ рѣшительно всѣ русскіе журналы, газеты, книги и брошюры и не читаютъ ничего иностраннаго, даже зная какой-нибудь иностранный языкъ; наконецъ, есть такіе *esprits-forts*, которые очень много читаютъ на иностранныхъ языкахъ и рѣшительно ничего на своемъ родномъ; но «образованныѣйшими» должно почитать безъ сомнѣнія тѣхъ немногихъ у насъ людей, которые, иногда заглядывая въ русскіе журналы, постоянно читаютъ иностранные, изрѣдка прочитывая русскія книги (благо хорошихъ-то изъ нихъ очень мало), часто читаютъ иностранныя книги. Но еще многочисленнѣе отгѣнки нашей образованности въ отношеніи къ одеждѣ, обычаямъ и картамъ. Есть у насъ люди, которые европейскую одежду носятъ только официально, но у себя дома, безъ гостей, постоянно пребываютъ въ татарскихъ халатахъ, сафьянныхъ сапогахъ и разнаго рода ермолкахъ; нѣкоторые халату предпочитаютъ ухарскій архагухъ — щегольство провинціальныхъ лакеевъ; другіе, напротивъ, и дома остаются вѣрны европейскому типу и ходятъ въ пальто, въ которомъ могутъ, безъ нарушенія приличія, принимать визиты за-просто; одни слѣдуютъ постоянно модѣ, другіе увлекаются венгерками, казачьими шароварами и тому подобными удалыми, захватскими и ухарскими изобрѣтеніями провинціального изящнаго вкуса. Въ образѣ жизни главный отгѣнокъ различій состоитъ въ томъ, что они поздно встаютъ, обѣдаютъ никакъ не ранѣе четырехъ часовъ, вечеромъ пьютъ чай никакъ не ранѣе десяти часовъ, и чѣмъ позже ложатся спать, тѣмъ лучше, а другіе въ этомъ отношеніи болѣе придерживаются старины. Въ обращеніи отгѣнки нашего общества такъ безчисленны, что нѣтъ никакой возможности и говорить объ нихъ. Но въ этомъ отношеніи всѣ отгѣнки, отъ самаго высшаго до самаго низшаго, имѣютъ въ себѣ то общаго, что всѣ равно вѣрны внѣшности, которая не обязываетъ ни къ чему внутреннему: это та же одежда. Въ отношеніи къ картамъ есть только три различія: одни играютъ только въ преферансъ; другіе—только въ банкъ и въ палки; третьи

—и въ преферансъ, и въ палки. Различіе кушей подразумевается само собою. Въ Петербургѣ въ преферансъ играютъ по мастямъ и на семь не прикупаютъ; въ Москвѣ и въ провинціи прикупаютъ и на десять, безъ различія мастей. Образованный классъ въ Москвѣ довольно многочисленъ и чрезвычайно разнообразенъ. Несмотря на то, всѣ москвичи очень похожи другъ на друга, къ нимъ всегда будетъ идти эта характеристика, сдѣланная знаменитѣйшимъ москвичемъ Фамусовымъ:

Отъ головы до пятокъ
На всѣхъ московскихъ есть особый отпечатокъ.

Москвичи—люди на распашку, истинные аэианы, только на русско-московскій ладъ. Они любятъ пожить, и въ ихъ смыслѣ дѣйствительно хорошо живутъ. Кто не слышалъ о московскомъ Англійскомъ клубѣ и его сытныхъ обѣдахъ? Кромѣ Англійскаго и Нѣмецкаго клубовъ, теперь въ Москвѣ есть еще — Дворянскій. Кто не слышалъ о московскомъ хлѣбосольствѣ, гостепріимствѣ и радушіи? Въ какомъ другомъ городѣ въ мірѣ можете вы съ такимъ удобствомъ и жениться, и пообѣдать, какъ въ Москвѣ?... Гдѣ, кромѣ Москвы, вы можете и служить, и торговать, и сочинять романы, и издавать журналы не для чего иного, какъ только для собственнаго развлечения, для отдыха? Гдѣ лучше можете вы отдохнуть и поправить свое здоровье, какъ не въ Москвѣ? Гдѣ, если не въ Москвѣ, можете вы много говорить о своихъ трудахъ, настоящихъ и будущихъ, прослыть за дѣятельнѣйшаго человѣка въ мірѣ—и въ то же время ровно ничего не дѣлать? Гдѣ, кромѣ Москвы, можете вы быть довольнѣе тѣмъ, что вы ничего не дѣлаете, а время проводите приятно? Оттого-то въ Москвѣ такъ много заѣзжаго празднаго народа, который собирается туда изъ провинціи жуировать, кутить, веселиться, жениться. Оттого-то такъ много халатовъ, венгерокъ, штатскихъ панталонъ съ лампасами и такихъ невиданныхъ сюртуковъ съ шнурами, которые, появившись на Невскомъ проспектѣ, заставили бы смотрѣть на себя съ ужасомъ все народонаселеніе Петербурга. Въ Москвѣ есть, говорятъ, даже шапки-мурмолки, вродѣ той, которую, по увѣренію москвичей, носилъ еще Рюрикъ. Оттого-то наконецъ въ Москвѣ только можетъ процвѣтать цыганскій хоръ Ильюшки. Липо москвичи никогда не озабочены: оно добродушно и откровенно, и смотритъ такъ, какъ будто хочетъ вамъ сказать: а гдѣ вы сегодня обѣдаете? Кто хоть сколько-нибудь знаетъ Москву, тотъ не можетъ не знать, что, кромѣ англійскаго комфорта, есть еще и

московскій комфортъ, иначе называемый «жизнью на распашку». Москвичи такъ рѣзко отличаются ото всѣхъ не-москвичей, что напримѣръ московскій баринъ, московская барыня, московская барышня, московскій поэтъ, московскій мыслитель, московскій литераторъ, московскій архивный юноша, все это—типы, все это—слова техническія, рѣшительно непонятныя для тѣхъ, кто не живетъ въ Москвѣ. Это происходитъ отъ исключительнаго положенія Москвы, въ которое постановила ее реформа Петра Великаго. Москва одна соединила въ себѣ тройственную идею Оксфорда, Манчестера и Реймса. Москва—городъ промышленный. Въ Москвѣ находится не только старѣйшій, но и лучший русскій университетъ, привлекающій въ нее свѣжую молодежь изъ всѣхъ концовъ Россіи. Хотя значительная часть воспитанниковъ этого университета, по окончаніи курса, оставляетъ Москву, чтобы хоть что-нибудь дѣлать на этомъ свѣтѣ, но все же изъ нихъ довольно остается и въ Москвѣ. Эти остающіеся, вмѣстѣ съ учащимися, составляютъ собою особенное среднее сословіе, въ которомъ находятся люди всѣхъ сословій. Ихъ соединяетъ и подводитъ подъ общій уровень образованіе или по крайней мѣрѣ стремленіе къ образованію. Среднее сословіе такого рода—оазисъ на песчаномъ грунтѣ всѣхъ другихъ сословій. Такіе оазисы находятся во многихъ, если не во всѣхъ, русскихъ городахъ. Въ иномъ городѣ такой оазисъ состоитъ изъ пяти, въ иномъ и изъ одной только души, а въ нѣкоторыхъ городахъ и совсѣмъ нѣтъ такихъ оазисовъ—все чистый песокъ, или чистый черноземъ, поросшій бурьяномъ и крапивой. Къ особенной чести Москвы, никакъ нельзя не согласиться, что въ ней такихъ оазисовъ едва ли не больше, чѣмъ въ какомъ-нибудь другомъ русскомъ городѣ. Это происходитъ отъ двухъ причинъ: во-первыхъ, отъ исключительнаго положенія Москвы, чуждой всякаго административнаго, бюрократическаго и officialнаго характера, ея значенія и столицы, и вмѣстѣ огромнаго губернскаго города; во-вторыхъ,—отъ вліянія Московскаго университета. Оттого въ дѣлѣ вопросовъ, касающихся до науки, искусства, литературы, у москвичей больше простора, знанія, вкуса, такта, образованности, чѣмъ у большинства читающей и даже пишущей петербургской публики. Это, повторяемъ, лучшая сторона московскаго быта. Но на свѣтѣ все такъ чудно устроено, что самое лучшее дѣло непременно должно имѣть свою слабую сторону. Что нѣтъ въ мірѣ народа ученѣе нѣмцевъ—это извѣстно всякому: сами москвичи, по наукѣ, не годятся нѣмцамъ въ ученики. Но зато и у нѣмцевъ есть та сла-

бая сторона, что они до тридцати лѣтъ бываютъ буршами, а остальную—и большую—половину жизнь—филистерами; и поэтому не имѣютъ время быть людьми. Такъ и Москвѣ: люди, поставившіе образованность цѣлью своей жизни, сначала бываютъ молодыми людьми, подающими о себѣ большія надежды, и потомъ, если въ время не выйдутъ изъ Москвы, дѣлаются москвичами, и тогда уже перестаютъ подавать о себѣ какія-нибудь надежды, какъ люди, для которыхъ прошла пора общаго, а пора исполнять еще не наступила. Даже и молодые люди, «подающіе о себѣ большія надежды», въ Москвѣ имѣютъ тотъ общій недостатокъ, что часто смѣшиваютъ между собой самыя различныя и противоположныя понятія, какъ-то: стихотворство съ дѣломъ, фантазія празднаго ума—съ мышленіемъ. Многимъ изъ нихъ (исключенія рѣдки) стѣбитъ сочинить свою, а всего чаще вычитать готовую теорію или фантазію о чемъ бы то ни было,—и они уже твердо рѣшаются видѣть оправданіе этой теоріи или этой фантазии въ самой дѣйствительности,—и чѣмъ болѣе дѣйствительность противорѣчитъ ихъ любимой мечтѣ, тѣмъ упрямѣе убѣждены они въ ея безусловномъ тождествѣ съ дѣйствительностью. Отсюда игра словами, которая принимается за дѣла, игра въ понятія, которая считается фактами. Все это очень невинно, но отъ того не меньше смѣшно. Что бы ни дѣлали въ жизни молодые люди, оставляющіе Москву для Петербурга,—они дѣлаютъ; москвичи же ограничиваются только бесѣдами и спорами о томъ, что должно дѣлать, бесѣдами и спорами часто очень умными, но всегда рѣшительно безплодными. Страсть разсуждать и спорить есть живая сторона москвичей; но дѣла изъ этихъ разсужденій и споровъ у нихъ не выходитъ. Нигдѣ нѣтъ столько мыслителей, поэтовъ, талантовъ, даже геніевъ, особенно «высшихъ натуръ», какъ въ Москвѣ; но всѣ они дѣлаются болѣе или менѣе извѣстными въ Москвы только тогда, какъ переѣдутъ въ Петербургъ; тутъ они, волей или неволей, или попадаютъ въ составъ той толпы, которую всегда бранили, и дѣлаются простыми смертными, или дѣйствительно находятъ, какое бы то ни было, поприще своимъ способностямъ, часто болѣе или менѣе замѣчательнымъ, если и не геніальнымъ. Нигдѣ столько не говорятъ о литературѣ, какъ въ Москвѣ, и между тѣмъ въ Москвѣ-то и нѣтъ никакой литературной дѣятельности, по крайней мѣрѣ теперь. Если тамъ появится журналъ, то не ищите въ немъ ничего, кромѣ напыщенныхъ толковъ о мистическомъ значеніи Москвы, опирающихся

на царь-пушкѣ и большомъ колоколѣ, какъ будто городъ Петра Великаго стоитъ внѣ Россіи, и какъ будто исполнитъ на Исаакиевской площади не есть величайшая историческая святыня русскаго народа; не шите ничего кромѣ множества посредственныхъ стихотвореній къ дѣвѣ, къ лунѣ, къ Ивану-великому, Сухаревой башнѣ, а иногда—повѣрять ли?—къ пѣнному вину, будто бы источнику всего великаго въ русской народности, плохихъ повѣстей, запоздалыхъ сужденій о литературѣ, исполненныхъ враждой къ Западу и прямыми и косвенными нападками на безнравственность людей, не принадлежащихъ къ приходу этого журнала и не удивляющихся геніальности его сотрудниковъ. Если выйдетъ брошюра,—это опять или несовсѣмъ образованныя выходки противъ, будто бы, гнѣющаго Запада; или какія-нибудь дѣтскія фантазіи съ самонадѣянными притязаніями на открытіе глубокихъ истинъ вродѣ тѣхъ, что Гоголь—не шутя нашъ Гомеръ, и «Мертвыя Души»—единственный послѣ «Иліады» типъ истиннаго эпоса.

Разумѣется, мы говоримъ здѣсь о слабыхъ сторонахъ, не отрицая возможности прекраснѣйшихъ исключеній изъ нихъ. Вездѣ есть свое хорошее и слѣдовательно свое слабое или недостаточное. Петербургъ и Москва—двѣ стороны или, лучше сказать, двѣ односторонности, которыя могутъ современемъ образовать своимъ сліяніемъ прекрасное и гармоническое цѣлое, прививъ другъ другу то, что въ нихъ есть лучшаго. Время это близко: желѣзная дорога дѣлательно дѣлается...

Обратимся къ Петербургу.

Низшій слой народонаселенія, собственно простой народъ, вездѣ одинаковъ. Впрочемъ петербургскій простой народъ нѣсколько разнится отъ московскаго: кромѣ полугара и чая, онъ любитъ еще и кофе, и сигары, которыми даже лакомятся подгородные мужики; а прекрасный полъ петербургскаго престонородья, въ лицѣ кухарокъ и разнаго рода служанокъ, чай и водку отнюдь не считаетъ необходимостью, а безъ кофею рѣшительно не можетъ жить; подгородныя крестьянки Петербурга забыли уже національную русскую пляску для французской кадрили, которую танцуютъ подъ звуки гармоники, ими самими извлекаемые: влияние лукаваго Запада, разсчитанное слѣдствие его адскихъ козней! Петербургскія швейки и вообще всѣ простыя женщины, усвоившія себѣ европейскій костюмъ, предпочитаютъ шляпки чепцамъ, тогда какъ въ Москвѣ наоборотъ, и вообще одѣваются съ большимъ вкусомъ противъ московскихъ женщинъ даже не одного съ

ними сословія. То же должно сказать и о мужчинахъ: къ какому сословію принадлежить иной служитель и мастеровой, это можно узнать только по его манерамъ, но не всегда по его платью. Это опять влияние того же лукаваго Запада! Далѣе въ нашей книгѣ благосклонный читатель современемъ найдетъ описаніе такъ-называемыхъ «лакейскихъ баловъ», о которыхъ въ Москвѣ люди этого сословія еще и не мечтали. Говоря о Москвѣ, мы нарочно распространились о купеческомъ и мѣщанскомъ сословіяхъ, какъ о самыхъ характеристическихъ ей принадлежностяхъ. Безъ всякаго сомнѣнія, мѣщане, вродѣ тѣхъ, которыхъ такъ удачно представляетъ на сценѣ Александринскаго театра Григорьевъ 2-й, есть и въ Петербургѣ, и притомъ еще въ довольномъ количествѣ; но здѣсь они какъ будто не у себя дома, какъ будто въ гостяхъ, какъ будто колонисты или заѣзжіе иностранцы. Петербургскій нѣмецъ болѣе ихъ туземецъ петербургскій. На улицахъ Петербурга они попадаются гораздо рѣже, чѣмъ въ Москвѣ; ихъ надо искать на Щукиномъ, въ овощныхъ лавкахъ, въ мясныхъ рядахъ и всякаго рода маленькихъ лавочкахъ, которыя рассыпаны тамъ и сямъ по Петербургу. Мѣщане-сидѣльцы и приказчики въ лавкахъ, находящихся на болѣе видныхъ улицахъ Петербурга,—какъ-то цивилизованнѣе своихъ московскихъ собратьевъ. Вообще-же всѣ они такъ перетасованы въ петербургскомъ народонаселеніи, что не бросаются въ глаза прежде всего, какъ въ Москвѣ; скажемъ болѣе: въ Петербургѣ они какъ-то совсѣмъ незамѣтны. И вотъ почему мы думаемъ, что Григорьевъ 2-й не имѣлъ бы такого успѣха на московской сценѣ, какимъ пользуется онъ на петербургской: представляемый имъ типъ конечно—не невидаль въ Петербургѣ, но въ то же время онъ—и не такое обыкновенное явленіе, которое своимъ рѣзкимъ контрастомъ съ нравами преобладающаго сословія въ Петербургѣ могло бы не возбуждать громкаго и веселаго смѣха на свой счетъ. Что же касается до петербургскаго купечества,—оно рѣзко отличается отъ московскаго. Купцовъ съ бородами, особенно богатыхъ, въ Петербургѣ очень мало, и они кажутся рѣшительными колонистами въ этомъ оевропеившемся городѣ; они даже выбрали особенныя улицы своимъ исключительнымъ мѣстомъ жительства: это—Троицкій переулокъ, улицы, сопредѣльныя Пяти-угламъ и около старообрядческой церкви. Въ Петербургѣ множество купцовъ изъ нѣмцевъ, даже англичанъ. и потому большая часть даже русскихъ купцовъ смотрятъ не купчинами, а негоціантами, и ихъ не отличить отъ сплошной массы, со-

ставляющей петербургское среднее сословіе. Наконецъ мы дошли до главнаго (по его многочисленности и общности его фазіономіи) «петербургскаго сословія». Известно, что ни въ какомъ городѣ въ мірѣ нѣтъ столько молодыхъ, пожилыхъ и даже старыхъ бездомныхъ людей, какъ въ Петербургѣ, и нигдѣ осыдамы и семейные такъ не похожи на бездомныхъ, какъ въ Петербургѣ. Въ этомъ отношеніи Петербургъ—антиподъ Москвы. Это рѣзкое различіе объясняется отношеніями, въ которыхъ оба города находятся къ Россіи. Петербургъ—центръ правительства, городъ по преимуществу административный, бюрократическій и officialный. Едва ли не цѣлая треть его народонаселенія состоитъ изъ военныхъ, а число штатскихъ чиновниковъ едва ли еще не превышаетъ собою числа военныхъ офицеровъ. Въ Петербургѣ все служить, все хлопочетъ о мѣстѣ или объ опредѣленіи на службу. Въ Москвѣ вы часто можете слышать вопросъ: «чѣмъ вы занимаетесь?»; въ Петербургѣ этотъ вопросъ рѣшительно замѣненъ вопросомъ: «гдѣ вы служите?». Слово «чиновникъ» въ Петербургѣ такое же типическое, какъ въ Москвѣ «баринъ», «барыня», и т. д. Чиновникъ—это туземецъ, истый гражданинъ Петербурга. Если къ вамъ пришлютъ лакея, мальчика, дѣвочку хотъ пяти лѣтъ, каждый изъ этихъ посланныхъ, отыскивая въ домѣ вашу квартиру, будетъ спрашивать у дворника или у самого васъ: «здѣсь ли живетъ чиновникъ такой-то?», хотя бы вы не имѣли никакого чина и нигдѣ не служили и никогда не намѣревались служить. Такой ужъ петербургскій «воронъ»! Петербургскій житель вѣчно боленъ лихорадкой дѣятельности; часто онъ въ сущности дѣлаетъ ничего, въ отличіе отъ москвича, который ничего не дѣлаетъ, но «ничего» петербургскаго жителя для него самого всегда есть «нѣчто»: по крайней мѣрѣ онъ всегда знаетъ, изъ чего хлопочетъ. Москвичи, Богъ ихъ знаетъ какъ, нашли тайну все на свѣтѣ дѣлать такъ, какъ въ Петербургѣ отдыхаютъ или ничего не дѣлаютъ. Въ самомъ дѣлѣ, даже визитъ, прогулка, обѣдъ—все это петербуржецъ исправляетъ съ озабоченнымъ видомъ, какъ будто боясь опоздать или потерять дорогое время, и на все это рѣшается онъ не всегда безъ цѣли и безъ расчета. Въ Москвѣ даже солидные люди молчатъ только тогда, когда спятъ, а юноши, особенно «подающие о себѣ большія надежды», говорятъ даже и во снѣ, а потомъ даже иногда печатаютъ, если имъ случится сказать во снѣ что-нибудь хорошее,—чѣмъ и должно объяснять инныя литературныя явленія въ Москвѣ.

Петербургецъ, если онъ—человѣкъ солидный, скупъ на слова, если они не ведутъ ни къ какой положительной цѣли. Лицо москвича открыто, добродушно, беззаботно, весело, привѣтливо; москвичъ всегда радъ заговорить и заспорить съ вами о чемъ угодно, и въ разговорѣ москвичъ откровенъ. Лицо петербуржца всегда озабочено и пасмурно; петербуржецъ всегда вѣжливъ, часто даже любезенъ, но какъ-то холодно и осторожно; если разговорится, то о предметахъ самыхъ обыкновенныхъ; серьезно онъ говоритъ только о службѣ, а спорить и разсуждать ни о чемъ не любитъ. По лицу москвича видно, что онъ доволенъ людьми и міромъ; по лицу петербуржца видно, что онъ доволенъ—самимъ собой, если, разумеется, дѣла его идутъ хорошо. Отсюда проистекаетъ его тонкая наблюдательность; отъ этого безпрестанно вспыхиваетъ его тонкая иронія: онъ сейчасъ замѣтитъ, если ваши сапоги не хорошо вычищены или у вашихъ панталонъ оборвалась штрипка, а у жилета виситъ готовая оборваться пуговка, замѣтитъ—и улыбнется лукаво, самодовольно... Въ этой улыбкѣ впрочемъ и состоитъ вся его иронія. Москвичъ снисходителенъ ко всякому туалету и не замѣчателенъ вообще во всемъ, что касается до наружности. Прежде всего онъ требуетъ, чтобы вы были или добрый малый, или человѣкъ съ душой и сердцемъ... При первой же встрѣчѣ онъ съ вами заспоритъ, и только тогда начнетъ иронически улыбаться, когда увидитъ, что ваши мнѣнія не сходятся съ мнѣвіями кружка, въ которомъ онъ ораторствуетъ или въ которомъ онъ слушаетъ, какъ другіе ораторствуютъ, и который онъ непременно считаетъ за литературную или философскую «партію». Вообще всякій москвичъ, къ какому бы званію ни принадлежалъ онъ, вполне доволенъ жизнью, потому-что доволенъ Москвой и по своему умѣетъ наслаждаться жизнью, потому-что по своему онъ живетъ широко, раздольно, на-распашку. Въ чемъ заключается его наслажденіе жизнью—это другой вопросъ. Умные люди давно уже согласились между собой, что крѣпкій сонъ, сильный аппетитъ, здоровый желудокъ, внушающее уваженіе разнѣры брюшныхъ полостей, полное и румяное лицо и наконецъ завидная способность быть всегда въ добромъ расположеніи духа суть самое прочное основаніе истиннаго счастья въ этомъ подлунномъ мірѣ. Москвичи, какъ умные люди, вполне соглашаясь съ этимъ, думаютъ еще, что чѣмъ менѣе человѣкъ о чемъ-нибудь заботится серьезно, чѣмъ менѣе что-нибудь дѣлаетъ и чѣмъ болѣе обо всемъ говорить, тѣмъ онъ счастливѣе. И едва ли

они не правы въ этомъ отношеніи, счастливые мудрецы! Зато одинъ видъ москвича возбуждаетъ въ васъ аппетитъ и охоту говорить много, горячо, съ убѣжденіемъ, но рѣшительно безъ всякой цѣли и безъ всякаго результата! Не такое дѣйствіе производитъ на душу наблюдателя видъ петербургскаго жителя. Онъ рѣдко бываетъ румянъ, часто бываетъ блѣденъ, но всего чаще его лицо отзывается геморроидальнымъ колоритомъ, свойственнымъ петербургскому небу; и на этомъ лицѣ почти всегда видна бываетъ забота, что-то безпокойное, тревожное и вмѣстѣ съ этимъ какое-то довольство самимъ собою, что-то похожее на непобѣдимое убѣжденіе въ собственномъ достоинствѣ. Петербургскій житель никогда не ложится спать раньше двухъ часовъ ночи, а иногда и совсѣмъ не ложится; но это не мѣшаетъ ему въ девять часовъ утра сидѣть уже за дѣломъ или быть въ департаментѣ. Послѣ обѣда онъ непремѣнно въ театрѣ, на вечерѣ, на балѣ, въ концертѣ, маскарадѣ, за картами, на гуляньи, смотря по времени года. Онъ успѣваетъ вездѣ, и какъ работаетъ, такъ и наслаждается торопливо, часто поглядывая на часы, какъ будто боясь, что у него не хватитъ времени. Москвичъ — предобрѣйшій человѣкъ, довѣрчивъ, разговорчивъ и особенно наклоненъ къ службѣ. Петербуржецъ, напротивъ, не говорливъ, на другихъ смотритъ съ недоувѣрчивостью и съ чувствомъ собственного достоинства: ему какъ будто все кажется, что онъ или занятъ дѣловыми бумагами, или играетъ въ преферансъ, а извѣстно, что важныя занятія требуютъ вниманія и молчаливости. Петербуржецъ рѣзко отличается отъ москвича даже въ способѣ наслаждаться: въ столѣ и винахъ онъ ищетъ утонченнаго гастрономическаго изящества, а не излишества, не разливаннаго моря. Въ обществѣ онъ рѣшится лучше скучать, нежели, предавшись обаянію живого разговора, манкировать передъ чиною и церемонностью, въ которыхъ онъ привыкъ видѣть величіе и хорошій тонъ. Исключеніе остается за холостыми пирушками; русскій человѣкъ кутитъ одинаково во всѣхъ концахъ Россіи, и въ его кутежѣ всегда равно проглядываетъ какое-то степное раздолье, напоминающее древне-новгородскіе нравы.

Въ Москвѣ нѣтъ чиновниковъ. Порядочные люди въ Москвѣ, къ чести ихъ, нѣмѣста своей службы ужѣютъ быть просто людьми, такъ что и не догадаешься, что они служатъ. Нижшій классъ бюрократіи тамъ сплыветъ еще подъ именемъ «приказныхъ» и мало замѣтенъ, разумѣется, для тѣхъ, кто не имѣетъ до нихъ дѣла, и за-

то, разумѣется, тѣмъ замѣтнѣе для тѣхъ, кому есть до нихъ нужда. Военныхъ въ Москвѣ мало, притомъ многіе изъ нихъ являются туда на время, въ отпускъ. Словомъ, въ Москвѣ почти не замѣтно ничего официальнаго, и петербургскій чиновникъ въ Москвѣ есть такое же странное и удивительное явленіе, какъ московскій мыслитель въ Петербургѣ. Хотя москвичъ вообще оригинальнѣе и какъ будто самобытнѣе петербуржца, однако тѣмъ не менѣе онъ очень скоро свыкается съ Петербургомъ, если переѣдетъ въ него жить. Куда дѣваются высокопарныя мечты, идеалы, теоріи, фантазіи! Петербургъ въ этомъ отношеніи пробный камень человѣка: кто, живя въ немъ, не увлекся водоворотомъ призрачной жизни, умѣлъ сберечь и душу, и сердце не насчетъ здраваго смысла, сохранить свое человѣческое достоинство, не предаваясь донкихотству, — тому смѣло можете вы протянуть руку, какъ человѣку... Петербургъ имѣетъ на нѣкоторыя натуры отрезвляющее свойство: сначала кажется вамъ, что отъ его атмосферы, словно листья съ дерева, спадаютъ съ васъ самыя дорогія убѣжденія; но скоро замѣчаете вы, что то не убѣжденія, а мечты, порожденные праздной жизнью и рѣшительнымъ незнаніемъ дѣйствительности, — и вы остаетесь можете-быть съ тяжелой грустью, но въ этой грусти такъ много святаго, человѣческаго... Что мечты! Самыя обольстительныя изъ нихъ не стоятъ въ глазахъ дѣльнаго (въ разумномъ значеніи этого слова) человѣка самой горькой истины, потому что счастье глупца есть ложь, тогда какъ страданіе дѣльнаго человѣка есть истина, и притомъ плодотворная въ будущемъ...

Для дополненія нашей картины выпишемъ нѣсколько строкъ о Москвѣ и Петербургѣ изъ одной старой статьи, которая такъ хороша, что въ ней многое осталось новымъ и по прошествіи семи лѣтъ.

«Петербургъ весь шевелится, отъ погребовъ до чердака; съ полночи начинаютъ печь французскіе хлѣбы, которые назавтра всѣ съѣстъ разноплеменный народъ, и во всю ночь то одинъ глазъ его свѣтится, то другой; Москва ночью вся спитъ и на другой день, перекрестившись и поклонившись на всѣ четыре стороны, выѣзжаетъ съ казачами на рынокъ. Москва женскаго рода, Петербургъ мужскаго. Въ Москвѣ все невѣсты, въ Петербургѣ все женихи. Петербургъ наблюдаетъ большое приличіе въ своей одеждѣ, не любитъ пестрыхъ цвѣтовъ и никакихъ рѣзкихъ и дерзкихъ отступленій отъ моды; зато Москва требуетъ, если ужъ пошло на моду, чтобы во всей формѣ была мода: если таія длинна, то она пускаетъ ее еще длиннѣе; если отвороты фрака велики, то у ней какъ сараинныя двери. Петербургъ — аккуратный человѣкъ, совершенный нѣмецъ, на все глядитъ съ расчетомъ, и прежде, нежели задумаетъ дать вечеринку, посмотреть въ карманъ;

Москва — русскій дворянинъ, и если ужъ веселится, то веселится до упаду и не заботится о томъ, что уже хватаетъ больше того, сколько находится въ карманѣ; она не любитъ середины. Москва всегда ѣдетъ завернувшись въ медвѣжью шубу и большей частью на обѣдъ; Петербургъ въ байковомъ сюртукѣ, заложивъ обѣ руки въ карманы, летитъ во всю прыть на биржу или въ «должность». Москва гуляетъ до четырехъ часовъ ночи и на другой день не поднимается съ постели раньше второго часа; Петербургъ тоже гуляетъ до четырехъ часовъ, но на другой день, какъ ни въ чемъ не бывало, въ девять часовъ спѣшитъ въ своемъ байковомъ сюртукѣ въ присутствіе. Въ Москву тащится Русь съ деньгами въ карманѣ и возвращается на легкѣ; въ Петербургъ ѣдутъ люди бездомовные и развѣщаются во всѣ стороны свѣта съ изряднымъ капиталомъ. Въ Москву тащится Русь въ зимнихъ выбиткахъ, по зимнимъ ухабамъ сбивать и покумать; въ Петербургъ идетъ русскій народъ пѣшкомъ лѣтней порою строить и работать. Москва — кладовая: она наваливаетъ тюки да бьюки, на мелкаго продавца и смотрѣть не хочетъ; Петербургъ весь расточился по кусочкамъ, раздѣлился, разложился на лавочки и магазинны и ловить мелкихъ покупателей. Москва говоритъ: «коли нужно покупишку — сыщешь»; Петербургъ съесть вывѣску подъ самымъ носомъ, подкапывается подъ вашъ полъ съ «ренскимъ погребомъ» и ставитъ извозчикью биржу въ самыя двери вашего дома. Москва не глядитъ на своихъ жителей, а шлетъ товары во всю Русь; Петербургъ продаетъ галстуки и перчатки своимъ чиновникамъ. Москва — большой гостинный дворъ; Петербургъ — свѣтлый магазинъ. Москва нужна Россіи; для Петербурга нужна Россія. Въ Москвѣ рѣдко встрѣтишь гербовую пуговицу на фракѣ; въ Петербургѣ нѣтъ фраковъ безъ гербовыхъ пуговицъ. Петербургъ любитъ подтрунить надъ Москвой, надъ ея неловкостью и безвкусицею; Москва кохнетъ Петербургъ тѣмъ, что онъ не умѣетъ говорить по-русски. Въ Петербургѣ, на Невскомъ проспектѣ, гуляютъ въ два часа люди, какъ будто сошедшіе съ журнальных медныхъ картинокъ, выставленныхъ въ окна, даже старухи съ такими узорчатыми талиями, что дѣлается смѣшно; на гуляньяхъ въ Москвѣ всегда попадется въ самой срединѣ модной толпы какая-нибудь матушка съ платкомъ на головѣ и уже совершенно безъ всякой талии.» («Современникъ», 1837, т. VI, стр. 403.)

Мы выпустили нѣсколько строкъ изъ этого отрывка, потому что онъ уже устарѣли и безъ комментариев не годятся. Кромѣ этого нельзя оставить безъ замѣчанія фразы: «Москва нужна Россіи; для Петербурга нужна Россія». Эта фраза болѣе остроумна, чѣмъ справедлива. Петербургъ такъ же нуженъ Россіи, какъ и Москва, а Россія такъ же нужна для Москвы, какъ и для Петербурга. Нельзя отнять важнаго значенія у Москвы, хотя и нельзя еще сказать, въ чемъ именно оно состоитъ. Значеніе самаго Петербурга яснѣе пока à priori, чѣмъ à posteriori. Это отъ того, что мы все еще находимся въ настоящемъ моментѣ нашей исторіи; наше прошедшее такъ еще невелико, что по немъ мы можемъ только догадываться о будущемъ, а не говорить о немъ утвердительно. Мы все еще въ переходномъ положеніи. Поэтому мудрено схва-

тить вѣрно и опредѣленно характеристику обоихъ городовъ. Говоря о томъ, что они теперь, все надо думать, чѣмъ они могутъ сдѣлаться въ будущемъ. Можетъ-быть назначеніе Москвы состоитъ въ удержаніи національнаго начала (сущности котораго, какъ сущности многихъ вещей этого міра, пока нѣтъ возможности опредѣлить) и въ противоборствѣ иноземному влиянію, которое могло бы оставаться рѣшительно вѣдшимъ, а потому и бесплоднымъ, еслибъ не встрѣчало на своемъ пути національнаго элемента и не боролось съ нимъ. Все живое есть результатъ борьбы; все, что является и утверждается безъ борьбы, все то мертво. Несмотря на видимую падкость Москвы до новыхъ мнѣній или, пожалуй, и до новыхъ идей,—она, моя матушка, до сихъ поръ живетъ все по старому и не тужитъ. Съ этими идеями, она обращается какъ-то по-нѣмецки: идеи у нея сами по себѣ, а жизнь сама по себѣ. Ясно, что въ ней есть свое собственное консервативное начало, которое только уступаетъ, и то понемногу и медленно, новизнѣ, но не покоряется ей. Представитель этой новизны есть Петербургъ, и въ этомъ его великое значеніе для Россіи. Петербургъ не заносится идеями, онъ — человѣкъ положительный и разсудительный. Своего байкового сюртука онъ никогда не назоветъ римской тогой; онъ лучше будетъ играть въ преферансъ, нежели хлопотать о невозможномъ; его не удивили ни теоріями, ни умозрѣніями, а мечты онъ терпѣть не можетъ; стоять на болотѣ ему не совсѣмъ пріятно, но все-таки лучше, чѣмъ держаться безъ всякихъ подпоръ на воздухахъ. Его законъ — нудящая сила обстоятельствъ, и онъ готовъ сдѣлаться чѣмъ угодно, если это угодно будетъ обстоятельствамъ. Поэтому его мудрено опредѣлить на основаніи того, чѣмъ онъ былъ и что онъ есть. Ни одинъ петербуржецъ не лѣзетъ въ геніи и не мечтаетъ передѣлывать дѣйствительности: онъ слишкомъ хорошо ее знаетъ, чтобъ не смиряться передъ ея силой. Геніи рождаются сотнями только тамъ, гдѣ, вслѣдствіе обстоятельствъ, царствуетъ полное невѣдѣніе того, что называется дѣйствительностью, гдѣ каждый собой мѣряетъ весь міръ и мечты своей праздношатающейся фантазіи принимаетъ за несомнѣнные факты исторіи и современной дѣйствительности. Въ Петербургѣ каждый является на своемъ мѣстѣ и самими собой, потому-что, еслибы въ немъ кто-нибудь объяснилъ призанія быть лучше и выше другихъ, ему сказали бы: «а ну-те, попробуйте!». Словомъ, Петербургъ не вѣритъ, а требуетъ дѣла. Въ немъ каждый стремится къ своей цѣли, и какова бы ни была его цѣль, петербур-

жесть ее достигаетъ. Это имѣетъ свою пользу, и притомъ большую: какова бы ни была дѣятельность, но привычка и приобретаемое чрезъ нее умѣнье дѣйствовать—великое дѣло. Кто не сидѣлъ сложа руки и тогда, какъ нечего было дѣлать, тотъ сумѣетъ дѣйствовать, когда настанетъ для этого время. Городъ—не то, что человекъ; для него и сто лѣтъ не Богъ знаетъ какое время. Короче: мы думаемъ, что Петербургу назначено всегда трудиться и дѣлать такъ же, какъ Москвѣ готовить дѣлателей. Это видно и теперь: сколько молодыхъ людей, окончившихъ въ Московскомъ университетѣ курсъ наукъ, приглашаетъ въ Петербургъ на службу! Вслѣдствіе вліянія

Московского университета и вслѣдствіе тихаго провинціальнаго положенія Москвы въ ней, говоря вообще, читаютъ не больше, чѣмъ въ Петербургѣ, но въ дѣлѣ вопросовъ науки, искусства, литературы москвичи обнаруживаютъ больше простора, знанія, вкуса, такта, образованности, чѣмъ большинство петербургской читающей и разсуждающей публики. Вслѣдствіе тѣхъ же самыхъ обстоятельствъ въ Москвѣ больше, чѣмъ въ Петербургѣ, молодыхъ людей, способныхъ къ дѣлу, но дѣлаютъ что-нибудь они опять-таки только въ Петербургѣ, а въ Москвѣ только говорятъ о томъ, что бы и какъ бы они дѣлали, если бы стали что-нибудь дѣлать.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ 1845 ГОДУ.

Тихо и незабвенно еще канулъ годъ въ вѣчность, канулъ, какъ капля въ море! И никто не пожалѣлъ о покойникѣ, никто не проводилъ его ласковыми словомъ,—онъ былъ забытъ заживо. забытъ совершенно: въ декабрѣ на него смотрѣли всѣ какъ на докучнаго, засидѣвшагося гостя, который только мѣшаетъ радостной встрѣчѣ съ вожделѣннымъ новымъ годомъ. Старый годъ въ своемъ послѣднемъ мѣсяцѣ бываетъ похожъ на начальника, который подаетъ въ отставку, но, за сдачей дѣла, еще не оставилъ своего мѣста. Разница только въ томъ, что о старомъ начальникѣ всегда жалѣютъ, если не по сознанию, что онъ былъ хорошъ, то по боязни, что новый будетъ еще хуже; новаго же года люди никогда не боятся: напротивъ, ждутъ его съ нетерпѣніемъ, какъ-будто въ условной цифрѣ заключается талисманъ ихъ счастья. И все это для того, чтобъ измѣнить ему, когда онъ состарѣется, и снова возложить свои надежды на его преемника! Такимъ образомъ непримѣтно уходитъ годъ за годомъ,—и только развѣ тогда, какъ человекъ почувствуетъ на плечахъ своихъ порядочное количество годовъ, впадаетъ онъ въ невольное раздумье, и уже не съ такой холодностью провожаетъ старый и не съ такой радостью встрѣчаетъ новый годъ... Ему въ первый разъ приходитъ на умъ очень простая истина, что первое января, которымъ теперь называется новый годъ, ничѣмъ не лучше перваго сентября, которымъ прежде начинался годъ; что условныя вѣхи, столбы и станціи на безконечной дорогѣ жизни въ сущности ничего не

значатъ, и что для каждаго лично всего лучше измѣрять свое время объемомъ своей дѣятельности или хотя своихъ удачъ и своего счастья. Ничего не сдѣлать, ничего не достигнуть, ничего не добиться, ничего не получить въ продолженіе цѣлаго года—значитъ потерять годъ, значитъ не жить въ продолженіе цѣлаго года. А сколько такихъ годовъ теряется у людей! Не дѣлать—не жить; для мертваго это небольшая бѣда, но не жить живому—ужасно! И между тѣмъ такъ много людей живетъ не живя, но только собираясь жить! Кто въ самомъ себѣ не носитъ источника жизни, т. е. источника живой дѣятельности, кто не надѣется на себя,—тотъ вѣчно ожидаетъ всего отъ вѣшняго и случайнаго. И вотъ причина чествованія новаго года. Новый годъ даетъ то, чего не далъ прошлый... И вотъ—

Настали святки. То-то радости!
Гадаетъ вѣтреная младость,
Которой ничего не жаль,
Передъ которой жизни даль
Лежитъ свѣтла, необозрима;
Гадаетъ старость сквозь очки
У гробовой своей доски,
Все потерявъ невозвратно;
И все равно: надежда имъ
Лжетъ дѣтскимъ лепетомъ своимъ.

Святочныя гаданія всегда относятся къ новому году; люди убѣждены, что только въ новомъ году могутъ они быть счастливы. О томъ, достойны ли, способны ли они быть счастливы, имъ и въ голову не приходитъ. Еще тѣ, которые ждутъ своего счастья отъ денегъ, отъ матеріальныхъ выгодъ, могутъ быть правы: не удалось въ прошломъ

году — авось удастся въ будущемъ! При томъ же люди этого сорта дѣятельны и крѣпко держатся пословицы: «на Бога надѣйся, самъ не плошай». Но романтическіе лѣннвцы, но вѣчно бездѣятельные, или глупо дѣятельные мечтатели думаютъ объ этомъ иначе: небрежно, въ сладкой задумчивости, опустивъ руки въ пустые карманы, прогуливаются они по дорогѣ жизни, глядя все впередъ, — туда, въ туманную даль, и думаютъ, что счастье гонится за ними, ищетъ ихъ и вотъ — того и гляди — наконецъ найдетъ ихъ и бросится въ ихъ объятія, чтобъ никогда уже не разставаться съ ними. «О, чтѣ-то сулишь ты мнѣ, таинственный новый годъ!» восклицаютъ они въ стихахъ и въ прозѣ.. А о томъ и не подумаютъ, что они пережитрились, перемудрились до того, что сами не знаютъ, чего имъ надо и чего не надо; что они утратили способность просто чувствовать, просто понимать вещи; что сдѣлались олицетвореннымъ противорѣчіемъ — *de facto* живутъ на землѣ, а мыслью на облакахъ; что стали ложны, неестественны, натянуты

Съ своей безнравственной душой,
Самолюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмѣрно,
Съ своимъ озлобленнымъ умомъ,
Кипящемъ въ дѣйствіи пустомъ.

Въ наше время особенно много людей мечтающихъ и разсуждающихъ, о которыхъ впрочемъ не всегда можно сказать, чтобъ они были въ то же время и мыслящими людьми. Не жить, но мечтать и разсуждать о жизни — вотъ въ чемъ заключается ихъ жизнь... Нельзя не подивиться, что юморъ современной русской литературы до сихъ поръ не воспользовался этими интересными типами, которыхъ такъ много теперь въ дѣйствительности, что ему было бы гдѣ разгуляться! Это существа странныя, иногда жалкія, иногда достойныя участія, но всегда равно любопытныя для наблюденія. Ихъ значеніе у насъ очень важно; они явились вслѣдствіе внутренней необходимости, какъ выраженіе нравственнаго состоянія общества. Еще недавно были они «героями своего времени». Теперь на нихъ мода проходить, но ихъ все еще много, и они еще не скоро переведутся. Притомъ же они не столько переводятся, сколько измѣняются, принимая новыя формы. Поэтому они раздѣляются на множество оттѣнковъ, заслуживающихъ подробнаго изслѣдованія.

Чтѣ же это за люди, чтѣ это за типы? — Это высокія натуры, презирающія толпу: вотъ общее ихъ опредѣленіе, довольно полное и вѣрное. Чтѣ же касается до оттѣнковъ, начнемъ съ перваго.

Онъ слезы лилъ, добросердечно
Бранилъ толпу,
И проклиналъ безчеловѣчно
Свою судьбу.
Являлся горестнымъ страдальцемъ,
Писалъ стихи,
И не дерзалъ коснуться пальцемъ
Ея руки.

Никакой натуралистъ такъ хорошо и полно не составлялъ исторіи какого-нибудь genus или species животнаго царства, какъ хорошо и полно рассказана въ этихъ восьми стихахъ исторія человѣческой породы, о которой говоримъ мы. Недовольство судьбою, брань на толпу, вѣчное страданіе, почти всегда кропаніе стихковъ и идеальное обожаніе неземной дѣвы — вотъ родовые признаки этихъ «романтиковъ» жизни. Первый разрядъ ихъ состоитъ больше изъ людей чувствующихъ, нежели умствующихъ. Ихъ призваніе — страдать, и они горды своимъ призваніемъ. Не спрашивайте ихъ, по чемъ, отчего они страдаютъ: они презираютъ страданіе, которое можно объяснить какой-нибудь причиной. Они любятъ страданіе для страданія. Имъ стыдно минуты веселаго, беззаботнаго увлеченія; они боятся здоровья, хотя бы быть блѣдными, худыми, и ничѣмъ такъ нельзя встревожить ихъ, какъ сказавъ, что они поползли. Для чего все это? — Для того, что толпа любитъ ѣсть, пить, веселиться, смѣяться, а они, во чтѣ бы то ни стало, хотятъ быть выше толпы. Имъ пріятно увѣрять себя, что въ нихъ kloкочутъ неистовыя страсти, что ихъ юная грудь разбита несчастьемъ, свѣтлыя надежды на жизнь давно разлетѣлись, и на долю имъ осталось одно горькое разочарованіе. Имъ непременно нужна душа, которая поняла бы ихъ, но они рѣшительно не знаютъ, чтѣ имъ дѣлать съ такой душой, когда имъ удастся найти ее, потому что ихъ страсти въ головѣ, а не въ сердцѣ, а счастливая любовь становитъ ихъ втупикъ. Поэтому, они предпочитаютъ любовь непонятую, нераздѣленную, любви счастливой, и желаютъ встрѣчи или съ жестокою дѣвой, или съ измѣнницей... Во всемъ этомъ главную роль играетъ самолюбіе, и одна-кожъ тутъ есть или была когда-то своя хорошая сторона; но мы объ этомъ скажемъ ниже, а теперь обратимся къ другому, высшему разряду «романтиковъ».

Между этими «романтиками» бываютъ люди умные, даже очень, хотя и бесплодно умные. Они толкуютъ не о чувствахъ и не о себѣ только: они разсуждаютъ вообще о жизни. Стремленіе пессима похвальное, когда оно имѣетъ прочную основу, практическій характеръ! Но романтики вообще враги всего пракческаго, которое они съ презрѣніемъ отдали на до-

лю «толпы», не понимая въ своемъ ослѣпленіи, что всякій геній, всякій великій дѣятель есть человѣкъ практическій, хотя бы онъ дѣйствовалъ даже въ сферѣ отвлеченнаго мышленія. Разладъ съ дѣйствительностью—богѣзна этихъ людей. Въ дни кипучей, полной силами юности, когда надо жить, надо спѣшить жить, они, вмѣсто этого, только разсуждаютъ о жизни. Нѣкоторые изъ нихъ спокватываются, но поздно: именно въ то время, когда человѣкъ не годится уже ни на что лучшее, какъ только на то, чтобы разсуждать о жизни, которой онъ никогда не извѣдалъ. Толпа живетъ, не мысля, и оттого живетъ пошло; но мыслить, не живя,—развѣ это лучше? развѣ это не такая же или даже еще не большая уродливость?...

Но теперь всѣ заговорили о дѣйствительности. У всѣхъ на языкѣ одна и та же фраза:—«надо дѣлать!». И между тѣмъ все-таки никто ничего не дѣлаетъ! Это показываетъ, что, во что бы ни нарядился романтикъ, онъ все остается романтикомъ. Не понимая этого, романтики обѣими руками начали хвататься за маски и костюмы,—и вышелъ пестрый маскарадъ, гдѣ на одинъ вечеръ такъ легко быть тѣмъ угодно—и туркомъ, и жидомъ, и рыцаремъ. Нѣкоторые, говорятъ, не шутя надѣли на себя терликъ, охабень и шапку-мурмолку; богѣе благоразумные довольствуются только тѣмъ, что ходятъ дома въ татарской ермолкѣ, татарскомъ халатѣ и желтыхъ сафьянныхъ сапожкахъ—все же историческій костюмъ! Назывались они «партіями» и думаютъ, что дѣлать значить—разсуждать на пріятельскихъ вечерахъ о томъ, что только они—удивительные люди, и что кто думаетъ не по ихъ, тотъ бродитъ во тьмѣ.

Во всемъ этомъ видно одно: стремленіе жить мимо жизни, глубокой внутренней разладъ съ дѣйствительностью. Сперва хотятъ составить программу жизни, хорошенько обдумать и обсудить ее, а потомъ уже и жить по этой программѣ. Удивительно ли, что вся жизнь такихъ людей проходитъ въ составленіи программъ? Человѣкъ долженъ сознать жизнь, и разумъ долженъ вести человѣка по пути жизни—тѣмъ и отличается человѣкъ отъ животныхъ безсловесныхъ; но основой жизни долженъ быть истинный, непосредственное чувство. Безъ нихъ жизнь есть пустое, холодное и къ довершенію преглуное умничанье; такъ же, какъ, безъ мыслительности, непосредственное существованіе есть животное состояніе. Любовь къ женщинѣ—высокое чувство, но оно тогда только истинно, когда выходитъ изъ сердца, а не изъ головы. А между

тѣмъ романтики по преимуществу живутъ головными, а не сердечными страстями, и потому вся гамма жизни ихъ поется визгливой фистулой. Ихъ презрѣніе къ «толпѣ» такъ велико, что они не могутъ понять, какимъ образомъ самъ геній потому только и великъ, что служить толпѣ, даже борясь съ нею. Поэтому они не хотятъ снизойти до ознакомленія себя съ толпой, до изученія ея характера, положенія, потребностей, нуждъ. Для обихода цѣлой ихъ жизни достаточно нѣсколькихъ мыслей, иногда нѣсколькихъ фразъ, вычитанныхъ въ книгѣ, поверхностно понятыхъ, не впадѣ приложенныхъ къ дѣйствительности. Они смотрятъ на толпу не какъ на силу, которая гнется и подается только отъ силы генія, а какъ на стадо, которое можетъ гнать передъ собою, куда угодно, первый умникъ, если вздумаетъ взяться за это дѣло. Ихъ любовь и довѣренность къ теоріямъ (разумѣется, преимущественно къ своимъ собственнымъ) такъ велика, что они скорѣе рѣшатся не признать существованія цѣлаго народа, который не подходитъ подъ ихъ теорію, нежели отказаться отъ нея. Имъ это такъ легко, а для народа это такъ не опасно! Пусть тѣшатся!... Но вѣдь этимъ потѣхамъ долженъ же быть когда-нибудь и конецъ: самъ донъ-Кихотъ опомнился передъ смертью... Что жъ! когда горькій опытъ жизни разобьетъ мечты романтика,—у него не все еще будетъ отнято: у него останется великолѣпная мачта страданія вслѣдствіе непризнанной гениальности...

И однакожъ такіе романтики—не случайное явленіе. Они были необходимыми результатомъ прививнаго образованія нашего общества; ихъ исторія тѣсно соединена съ исторіей нашей литературы, съ которой такъ-же тѣсно слита и исторія образованія нашего общества.

До начала литературы дѣды и отцы наши жили просто, безъ претензій, безъ хитростей, безъ мудрованія, ѣли, пили, спали (и какъ еще ѣли, и пили, и спали! намъ, ихъ внукамъ и дѣтямъ, увы! уже не ѣсть, не пить и не спать такъ!), женили дѣтей своихъ (тогда сыновья не могли сами жениться—ихъ женили отцы, такъ же, какъ теперь они выдаютъ дочерей замужъ), умѣли гѣтъ въ сорокъ, старѣли гѣтъ въ семьдесятъ, умирали гѣтъ въ девяносто... Безъ сомнѣнія, это была жизнь весьма простая, но вмѣстѣ съ тѣмъ и грубо-простая. Вѣдь простота простотѣ—рознь, и для общества лучшая простота есть та, которая выработалась изъ затѣйливой вычурности, какъ на примѣръ простота обращенія въ

современной Европѣ, вышедшая изъ изысканной хитрости обращенія XVIII вѣка. Въ этомъ чрезчуръ простомъ обществѣ не было жизни, разнообразія, потому что личность человѣка поглощалась этимъ обществомъ, и каждый долженъ, обязанъ былъ жить, какъ жили всѣ, а не какъ указывалъ ему его разумъ, его чувство, его наклонности. Реформа Петра Великаго потрясла въ основаніи это оцѣпенѣлое общество; но она только разбудила, растревожила, взволновала его, и если переѣхала, то извѣтъ только. Внутреннее измѣненіе общества должно было быть дѣйствительнымъ результатомъ этой реформы. Явилась литература, сперва безъ читателей, безъ публики, литература громозвучная, торжественная, надутая, школьная риторическая, педантическая, книжная, безъ всякаго живого отношенія къ жизни и обществу. Въ блестящее царствованіе Екатерины II было положено основаніе знакомства русскаго общества съ европейскимъ: съ этого времени начало сильно распространяться въ Россіи знаніе французскаго языка, а вмѣстѣ съ нимъ и изысканная вѣжливость обращенія и сентиментальный характеръ нравовъ. Бѣдный молодой дворянинъ Карамзинъ объѣхалъ большую часть Европы и своими «Письмами Русскаго Путешественника», очаровавшими его современниковъ, прочтанными всей грамотной Россіей того времени, довершилъ и утвердилъ знакомство русскаго образованнаго общества съ Европой. Эта книга, которую теперь такъ скучно читать, — тѣмъ не менѣе великій фактъ въ исторіи нашей литературы и въ исторіи образованія нашего общества. Съ Карамзина наше сочинительство и писательство уже начало становиться не просто книжничествомъ, а литературой, потому что талантъ Карамзина создалъ и образовалъ публику. Направленіе, данное Карамзинымъ нашей литературѣ, было по преимуществу сентиментальное. Такъ какъ оно было въ духъ времени, то скоро проникло въ нравы общества. Чувствительныя души толпами ходили гулять на Лизинъ-прудъ; Эрасты, Леоны, Леониды, Мелодоры, Филалеты, Нины, Лилы, Эмили, Юліи разнужились до чрезвычайности, вздохи превращались въ тихіе дни въ вѣтренные, слезы потекли рѣками... Будь это въ наше время, сейчасъ бы составили компаніи на акціяхъ для постройки вѣтренныхъ и водяныхъ мельницъ, въ расчетъ на движущую силу вздоховъ и слезъ чувствительныхъ душъ... Теперь это конечно смѣшно, но тогда имѣло свое глубокое значеніе. Литература въ первый разъ стала выраженіемъ общества и потому начала оказывать на него сильное

нравственное вліяніе. Чувствительныя души были тогда если не лучшія души въ обществѣ, то безъ сомнѣнія самыя образованныя. Онѣ рѣзко отдѣлились отъ безчувственной толпы; но онѣ гордились передъ ней только своей способностью чувствовать, умиляться до слезъ отъ всего прекраснаго и человѣческаго, а еще не тянулись въ герои и великіе люди. Но тѣмъ не менѣе раздѣленіе избранныхъ отъ толпы уже обнаружилось. Оно не могло остановиться на одномъ мѣстѣ, но должно было идти впередъ, развиваться. Романическая музыка Жуковскаго своими очаровательно-задумчивыми звуками, похожими на уныло-гармоническіе звуки золотой арфы, дала сентиментальному обществу болѣе истинный и болѣе поэтический характеръ. Въ ней, несмотря на ея мечтательность, была сила, энергія, и она любила не одну слабую задумчивость, но и мрачныя картины фантастической дѣйствительности, наполненной гробами, скелетами, духами, злодѣйствами и преступленіями — темными преданіями среднихъ вѣковъ... Въ двадцатыхъ годахъ раздалось въ нашей литературѣ слово «романтизмъ». Всѣ заговорили о Байронѣ, и байронизмъ сдѣлался пунктомъ помѣпательства для прекрасныхъ душъ... Вотъ съ этого-то времени и начали появляться у насъ толпы маленькіе великіе люди съ печатью проклятія на челѣ, съ отчаяніемъ въ душѣ, съ разочарованіемъ въ сердцѣ, съ глубокимъ презрѣніемъ къ «ничтожной толпѣ». Герои сдѣлались вдругъ очень дешевы. Всякій мальчикъ; котораго учитель оставилъ безъ обѣда за незнаніе урока, утѣшалъ себя въ горѣ фразами о преслѣдующемъ его рокѣ и о непреклонности своей души, пораженной, но не побѣжденной. Эти господа провозгласили своимъ органомъ Пушкина, потому что не поняли его. Они обѣими руками ухватились за его молодые произведенія, — прекрасныя, но въ то же время и незрѣлыя; зато, когда Пушкинъ нашелъ путь, назначенный ему его натурой, когда онъ развился до всей высоты своего генія и сдѣлался великимъ художникомъ, — они отступились отъ него, какъ отъ падшаго таланта. Истиннымъ выраженіемъ романтическаго направленія были повѣсти Марлинскаго, съ дополненіемъ къ нимъ повѣстей вродѣ «Живописца», «Блаженства Безумія», «Эммы» и т. п., и потомъ стихотворенія нѣкоторыхъ поэтовъ, явившихся вмѣстѣ съ Пушкинымъ и доведшихъ это направленіе до послѣдней крайности. Въ немъ была и отчаянная фразеологія ложныхъ, натянутыхъ страстей, и притязательная (prétentieuse) фразеологія нѣмецко-бюргеровской мечтательности по-

поламъ съ плохо-понятнымъ нѣмецко-фило-софскимъ мудрованіемъ, и наша, будто бы, народная удалъ чувствъ и выраженій, сби-вающаяся нѣсколько на ямщицкое ухарство. Превосходнымъ образчикомъ послѣдняго можетъ служить слѣдующее стихотвореніе, напечатанное въ «Эхо», альманахѣ на 1830 годѣ, изданномъ въ Москвѣ:

Прочь съ презрѣнною толпою,
Душъ, схоластиковъ, молчати!
Вамъ ли черствою душою
Жаръ поэзіи понять?
Дико, бѣшено стремленье,
Чѣмъ поэтъ одушевленъ:
Такъ въ безумномъ упоеньи
Богъ постоитъ, Аполлонъ,
Съ Марсіаса содралъ кожу!
Берегись его дѣтей:
Эпиграммой хлопнутъ въ рожу,
Римомъ бѣшеной своей
Въ поэтическія плечи
Придавятъ дураковъ,
И позоръ вашъ, врага дѣти,
Отдадутъ на свистъ вѣковъ.

Нельзя не согласиться, что это немножко пошло, немножко грязно, даже отчасти глуповато; но нельзя не согласиться и съ тѣмъ, что это только доведенная до послѣдней крайности та «мило забубенная» поэзія, которая воспѣвала удалъ бурсадкой жизни и возвышеннымъ стремленіемъ разума къ чашѣ съ шипучимъ, — та разудалая поэзія, которой мы съ вами, читатель, такъ восхищались во время оное, и которая и теперь еще имѣетъ простодушіе претендовать на вниманіе и на почетъ... Справедлива русская пословица: яблоко отъ яблони не далеко упало... Что же касается до неистовой и глубокомысленной романтической фразеоло-гии въ стихахъ и прозѣ, мы не высказали бы ясно нашей мысли о романтическомъ направленіи, еслибы не привели здѣсь нѣсколько фразъ, болѣе или менѣе характерическихъ.

Вотъ на выдержку нѣсколько мѣстъ изъ разныхъ романтическихъ авторовъ:

«Человѣкъ созданъ изъ Добра и Любви; съ ними все соединилось у него въ первообытнѣйшую его жизни. Кто былъ добръ, тотъ любилъ; кто любилъ, тотъ былъ добръ. И любовь родила душу Человѣка съ жертвой Природой. Философія не разогрѣетъ Вѣры, и не логикой убѣждаются въ ея святыхъ истинахъ — но сердцемъ. Такъ въ сердцѣ чело-вѣческомъ воздвигнутъ алтарь святой Вѣры; рядомъ съ нимъ поставленъ алтарь Любви; и на обоихъ горитъ одинокая жернова вѣчной истинѣ — пламень надежды! Безъ этого пламени солнце наше давно потасало бы, и кометы праздничали бы только погребальную трезну на скелетѣ земли, съ ужасомъ спѣша отъ мрачной пустоты *), гдѣ тлѣетъ трупъ

*) Великолепная картина! Любопытно было бы взглянуть, какъ кометы сжигали бы помѣститься въ скелетѣ земли, чтобы праздновать на ней погребальную трезну и въ то же самое время съ ужа-сомъ спѣшить изъ мрачной пустоты туда, и др. Для этого стоило бы погасить пламень надежды въ алтарѣ сердца...

ея, спѣша — туда, выше, выше, гдѣ свѣтъ чище, ярче, болѣе вѣчно...

Чудная Вѣринька! скажи, кто ты: демонъ или ангелъ? Нѣтъ, ты неземная. Это я знаю лучше тебя самой.

Сказали бы мнѣ: будь поэтомъ — и чрезъ годъ я склонилъ бы свою унывающую голову передъ тою, которой обаяванъ вдохновеніемъ *). Развѣ не поэзія — высокая любовь моя! Развѣ нѣтъ пылу въ моей душѣ! Я бы разбилъ ее въ искры, и звуки, и мысль — и свѣтъ отивчалъ бы мнѣ вздохами, и словами, и рукоплесканіями.

Ногу на землю, взоры на небо — вотъ истинное твое положеніе, человекъ!

Любовь! любовь! души моей восторгъ!
Въ умѣ моимъ ты лучшая идея.
Въ познаніяхъ ты лучшее познаніе,
Въ надеждахъ — нѣтъ надежды равной,
Въ мечтахъ моихъ — роскошнѣйшей мечты!

Отдайте Вѣриньку, кому угодно, забросьте ея за моря, за непроходимые лѣса и горы, позвольте мнѣ ползти на коленяхъ по всему свѣту искать ее..

Вездѣ есть змѣй коварнаго сомнѣнья.
Но змѣй любви безмѣрно ядовитъ.

Душа моя изѣдена мученьемъ,
Какъ ялой разбойникъ совѣстью и кровью!
За что, за что? за чистоту страстей,
За благородство сердца и души!!

Не понимай, не понимай, божественная дѣва,
Монхъ пустыни рыцарей не понимай!
Не слушай словъ сердца чужаго напѣва,
Насмѣшками сожги душевный рай;
О, удержи порывъ нѣмого гнѣва,
Не понимай меня, не понимай!

Умремъ, моя мечта!.. Да и на что намъ жизнь?

Ты моя, моя — ты не вырвешься изъ объятій души моей; я умерщвляю тебя моимъ послѣднимъ смертнымъ дыханіемъ.

Душа велѣла жизнь любить,
А жизнь — и душу ненавидѣть...

Все это очень смѣшно, смѣшнѣе ничего нельзя выдумать, самая злая пародія не могла бы такъ страшно осмѣять этихъ выписокъ, какъ осмѣиваютъ онѣ сами себя; но это смѣшно теперь; а было время — что грѣха таить! — когда это всѣхъ приводило въ восторгъ: явный знакъ, что все это было нужно и необходимо въ свое время, и даже имѣло свою хорошую сторону, принесло свои хорошіе результаты. Уже одно то, что, благодаря этимъ туманнымъ, заоблачнымъ и разудалымъ фразѣрствамъ, мы навсегда какъ-будто застрахованы въ будущемъ отъ

*) Романтизмъ думаетъ, что стоить только влюбиться въ деву неземную, чтобы сдѣлаться поэтомъ не хуже Байрона, не имѣя отъ природы таланта ни на грошъ. Не знаемъ, думалъ ли романтизмъ, что если безталантный человѣкъ влюбится въ деву неземную, то сейчасъ же сдѣлается первымъ умникомъ на свѣтѣ...

опасности увидѣть нашу литературу на такой странной дорогѣ,—одно это уже большая заслуга. Что же касается до романтиковъ жизни, порожденныхъ и взлѣбляемыхъ этой романтической литературой, высокопарной безъ крыльевъ, глубокой безъ основанія, таинственной безъ смысла, разгульной безъ вдохновенія, смѣлой изъ бравуры, оригинальной изъ фанфаронства, тщеславной по ограниченности, странной по духу противорѣчія,—романтики жизни, какъ мы сказали выше, не перевелись и теперь; нѣкоторые изъ нихъ и остались такими, какими были—ихъ кругъ состоитъ или изъ людей уже слишкомъ пожилыхъ, или изъ дѣтей; другіе, прикинувшись учеными, облекли старыя претензіи въ новыя фразы. Твердя безпрестанно, что абстрактное мышленіе ни къ чему не ведетъ, что достоинство знанія повѣряется его отношеніями къ жизни, а важность теоріи опредѣляется ея приложимостью къ практикѣ,—они тѣмъ не менѣе продолжаютъ жить въ мечтѣ, съ той только разницей, что сочиняютъ мечтательныя теоріи не объ отвлеченныхъ предметахъ, а о дѣйствительности, которую схватываютъ въ своихъ опредѣленіяхъ такъ вѣрно, какъ вѣрно чудотворенная кисть Ефрема писала портреты, изображая Архипа Сидоромъ, а Луку Петромъ.

Стать смѣшнымъ—значитъ проиграть свое дѣло. Романтизмъ проигралъ его всѣчески—и въ литературѣ, и въ жизни. Онъ самъ это чувствуетъ. Что же было причиной его паденія?—Переворотъ въ литературѣ, новое направленіе, принятое ею. Этого переворота не могъ бы сдѣлать ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ. Мы видѣли выше, какъ легко наши «романтики» вообразили себя Байронами, не будучи въ состояніи даже подозрѣвать, что такое была эта титаническая натура. Для всего ложнаго и смѣшного одинъ бичъ, мѣткій и страшный—юморъ. Только вооруженный этимъ сильнымъ орудіемъ писатель могъ дать новое направленіе литературѣ и убить романтизмъ. Нужно ли говорить, кто былъ этотъ писатель? Его давно уже знаетъ вся читающая Россія, теперь его знаетъ и Европа.

Еслибы насъ спросили, въ чемъ состоитъ существенная заслуга новой литературной школы,—мы отвѣчали бы: въ томъ именно, за что нападаетъ на все близорукая посредственность или низкая зависть,—въ томъ, что отъ высшихъ идеаловъ челоуѣческой природы и жизни она обратилась къ такъ называемой «толпѣ», исключительно избрала ее своимъ героемъ, изучаетъ ее съ глубокимъ вниманіемъ и знакомить ее съ ней же самой. Это значило завершить окончательно стремленіе нашей литературы, желавшей

сдѣлаться вполне національной, русской, оригинальной и самобытной; это значило сдѣлать ее выраженіемъ и зеркаломъ русскаго общества, одушевить ее живымъ національнымъ интересомъ.

Уничтоженіе всего фальшиваго, ложнаго, неестественнаго, должноствовало быть необходимымъ результатомъ этого новаго направленія нашей литературы, которое воплѣтъ обнаружилось съ 1836 года, когда публика наша прочла «Миргородъ» и «Ревизора». Съ тѣхъ поръ весь ходъ нашей литературы, вся сущность ея развитія, весь интересъ ея исторіи заключились въ успѣхахъ новой школы.

Еслибы ежегодныя обзорѣнія русской литературы постоянно помѣщались съ тѣхъ поръ въ какомъ-нибудь журналѣ,—они оправдали бы воплѣтъ нашу мысль. Чего нельзя замѣтить въ годъ, то дѣлается замѣтнымъ въ годы. Перечестъ литературныя произведенія за цѣлый годъ ничего не значитъ; одинъ годъ можетъ быть ими богатъ, другой бѣденъ—это дѣло случайности. Критическій отчетъ за годовую итогъ произведеній долженъ прежде всего показать успѣхъ литературы или ея упадокъ въ продолженіе года со стороны ея духа и направленія. Такъ дѣлали мы въ продолженіе пяти лѣтъ сряду; такъ сдѣлаемъ и теперь.

Прошлый 1845 годъ литературными произведеніями былъ нѣсколько богаче своего предшественника. Но главная заслуга 1845 года состоитъ въ томъ, что въ немъ замѣтно опредѣленіе выказалась дѣйствительность дѣльнаго направленія литературы. По крайней мѣрѣ такъ должно заключать изъ отчаянныхъ воплей нѣкоторыхъ отставныхъ или отсталыхъ *ci-devant* талантовъ, теперь плохихъ сочинителей, которые клятвенно увѣряютъ, что съ тѣхъ поръ, какъ ихъ книги нейдутъ съ рукъ и ихъ никто уже не читаетъ, литература наша гибнетъ, въ чемъ виновата, во-первыхъ, новая школа, которая пишетъ такъ хорошо, что только ея произведенія и читаются публикой, а во-вторыхъ, толстые журналы, которые принимаютъ на свои страницы произведенія этой школы или хвалятъ ихъ, когда они являются отдѣльными книгами... Но оставимъ этихъ господъ—и обратимся къ прошлогодней литературѣ.

Отдѣльно вышедшихъ книгъ по части изящной словесности въ прошломъ году было не много, если даже включить сюда и сборники. Первое мѣсто между ними безспорно должно принадлежать «Тарантасу» графа Соллогуба. Эта книга вдвойнѣ интересна—и какъ прекрасное литературное произведеніе, и какъ изящное, великолѣпное изданіе. Въ послѣднемъ отношеніи

«Тарантасъ» — рѣшительно первая книга въ русской литературѣ. Въ свое время мы представили публикѣ наше мнѣніе о произведеніи графа Соллогуба въ особой статьѣ, въ отдѣлѣ Критики. Статья наша была понята двояко: одни приняли ее за восторженную и неумѣренную похвалу, другіе — за что-то вродѣ памфлета. Это произошло оттого, что и самъ «Тарантасъ» одними былъ принятъ за искреннее profession de foi такъ называемаго славянофильства; другими — за злую сатиру на него. Что касается до насъ, мы принадлежимъ къ числу послѣднихъ, и теперь, какъ и тогда, понимаемъ «Тарантасъ» какъ сатиру и будемъ его понимать такъ до тѣхъ поръ, пока онъ не изгладится изъ литературныхъ воспоминаній публики. Мы не можемъ иначе думать, уважая умъ и талантъ автора «Тарантаса», потому что герой этого сатирическаго очерка, Иванъ Васильевичъ, играетъ въ немъ такую смѣшную роль, говоритъ такіа несообразности и странности, что увидѣть во всемъ этомъ искреннее выраженіе убѣжденій автора было бы слишкомъ смѣло и неосторожно. Мы думаемъ, напротивъ, что «Тарантасъ» тѣмъ и дѣлаетъ особенную честь таланту и изобрѣтательности своего автора, что въ немъ еще впервые въ русской литературѣ является одинъ изъ комическихъ «героевъ нашего времени», — этихъ героевъ, которые тѣмъ смѣшнѣе, что они считаютъ себя лицами очень серьезными, даже чуть не гениями, чуть не великими людьми. За нихъ давно бы слѣдовало приняться нашимъ даровитымъ писателямъ: это и сдѣлалъ графъ Соллогубъ прежде всѣхъ. Нечего и говорить, что онъ выполнилъ свою задачу съ необыкновеннымъ талантомъ, — хотя впрочемъ и нельзя сказать, чтобы въ его произведеніи не было недостатковъ и довольно важныхъ, какъ на примѣръ убѣренія, будто русская критика пишется для забавы мужиковъ, которые однакожъ предпочитаютъ ей шутковъ въ ихъ мужицкомъ костюмѣ; что будто бы литература русская должна набирать идеи и вдохновенія у постелей умирающихъ мужиковъ, сидя подлѣ нихъ въ качествѣ стенографа и записывая ихъ послѣднія слова, которыя, — какъ всѣмъ извѣстно, — касаются только разныхъ житейскихъ заботъ и распоряженій на счетъ дѣтей, снохъ, коровъ и барановъ. Но, несмотря на эти недостатки, которые притомъ еще и легко исправить при второмъ изданіи «Тарантаса», — сочиненіе графа Соллогуба все-таки принадлежитъ къ замѣчательнѣйшимъ литературнымъ явленіямъ прошлаго года.

Въ прошломъ же году вышелъ вторымъ

изданіемъ второй томъ повѣстей графа Соллогуба, подъ общимъ названіемъ: «На Сонъ Градущій». Это насъ особенно порадовало, какъ неопровержимое доказательство готовности и охоты нашей публики покупать, читать и перечитывать все, что выходитъ изъ-за черты посредственности.

Къ числу замѣчательныхъ произведеній прошлаго года должно причислить и «Петербургскія Вершины» Буткова. Эта книга не обнаруживаетъ въ авторѣ поэта; изъ нея видно, что его талантъ — писать сатирическіе очерки, а не юмористическія повѣсти. Но хорошо и это. Въ наше время сатирическій талантъ не останется незамѣченнымъ.

Въ Москвѣ есть писатель, нѣкто Ваненко, о которомъ почти никто не знаетъ, котораго имя почти невѣстно въ нашей литературѣ, но который тѣмъ не менѣе одаренъ талантомъ, нечуждымъ даже и смора. Жаль только, что Ваненко исключительно привязался къ простонароднымъ разсказаніямъ и считаетъ очень выгоднымъ писать для простаго народа, который не читаетъ его, потому что еще не довольно грамотенъ для занятія литературой. Мы думаемъ, что для Ваненко было бы гораздо выгоднѣе ваяться за изображеніе сферы жизни ступенью выше. Пусть тутъ будутъ и мужики, но только пусть они дѣйствуютъ не въ сказочномъ, а въ дѣйствительномъ мірѣ. Мы убѣждены, что у Ваненко стало бы таланта и на это, и что только тогда нашелъ бы онъ поприще, достойное таланта. Въ прошломъ году Ваненко напечаталъ вторымъ изданіемъ: «Пару новыхъ русскихъ Разсказней. 1) О солдатѣ Япикѣ красной рубашкѣ, синія ластовицы; 2) О молодомъ Ильѣ женатомъ, да о лысомъ Мартыѣ тароватомъ». Читая эту книжку, видишь въ ней талантъ и жалѣешь, что онъ потраченъ на то!

Прошлый литературный годъ дебютировалъ вдругъ двумя весьма замѣчательными поэмами въ стихахъ. Первая — «Разговоръ», Тургенева, написана удивительными стихами, какіе теперь являются рѣдко, исполнены мысли; но вообще въ ней слишкомъ замѣтно вліяніе Лермонтова, — и, прочитавъ новую поэму Тургенева (поэму «Андрей»), посвященную въ этой книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ», нельзя не замѣтить, что въ этомъ послѣднемъ родѣ талантъ Тургенева гораздо свободнѣе, естественнѣе, оригинальнѣе, больше, такъ сказать, у себя дома, нежели въ «Разговорѣ». Поэма Маякова — «Двѣ Судьбы», доказала, что его талантъ не ограниченъ исключительно тѣснымъ кругомъ антологической поэзіи, и что ему предстоитъ въ будущемъ богатое раз-

витіе. Несмотря на явную небрежность, съ какой написаны многіе стихи въ этой поэмі, несмотря на то, что нѣкоторые мѣста въ ней отзываются юношеской незрѣлостью мысли,—поэма чрезвычайно замѣчательна въ цѣломъ, блеститъ удивительными частностями, исполненными ума и поэзіи.

«Стихотворенія Александра Струговщикова, заимствованныя изъ Гёте и Шиллера»; «Стихотворенія Эдуарда Губера»; «Новыя стихотворенія Н. Языкова» и пятое (компактное, въ одной книгѣ) изданіе «Сочиненій Державина» довершаютъ собою рядъ вышедшихъ въ прошломъ году книгъ стихотворнаго содержанія. — Публикѣ извѣстно наше мнѣніе о прекрасномъ талантѣ Струговщикова переводить Гёте, который мы глубоко уважаемъ, и потому всегда жалѣли, что Струговщикова не хочется ограничиться ролью переводчика, вѣрно, не мудрствуя лукаво, передающаго по-русски творенія великаго германскаго поэта, но, вмѣсто этого, хотеть быть какимъ-то полу-оригинальнымъ поэтомъ, передѣлывая то, что надо только переводить и что хорошо само по себѣ. Общее мнѣніе, обнаружившееся по выходѣ книжки Струговщикова, показало, что мы были правы. — Поэзія Губера, отличающаяся замѣчательно хорошимъ стихомъ и избыткомъ болѣзненнаго чувства, бѣдна оригинальностью. Она не принадлежитъ ни къ какой странѣ, ни къ какому времени; ее можно счесть за переводъ съ какого угодно языка. — «Новыя стихотворенія Н. Языкова» оказались весьма старыми. — Изданіе «Сочиненій Державина» вышло сѣровато и плоховато во всѣхъ отношеніяхъ.

«Физиологія Петербурга» (двѣ части), «Вчера и Сегодня», «Сто Русскихъ Литераторовъ» (третій томъ) и второе изданіе двухъ частей «Новоселья», изданнаго въ первый разъ въ 1833 году, были замѣчательнѣйшими сборниками прошлаго года. О «Физиологіи Петербурга» было въ продолженіе всего года столько говорено, что страшно и вспомнить. Одна газета жила въ 1845 году преимущественно нападками на эту книгу, имѣвшую большой успѣхъ. Статьи этого сборника всѣ безъ исключенія болѣе или менѣе могли доставить публикѣ занимательное и пріятное чтеніе; но особенно замѣчательны изъ нихъ въ прозѣ: «Петербургскій Дворникъ», В. И. Луганскаго, «Петербургскіе Углы», Н. А. Некрасова; въ стихахъ: «Чиновникъ», Н. А. Некрасова. — Въ сборникѣ «Вчера и Сегодня» прочли мы два отрывка изъ неоконченныхъ повѣстей Лермонтова, чрезвычайно интересныхъ; егѡ же нѣсколько

стихотвореній, впрочемъ ничѣмъ особенно не замѣчательныхъ; премиленькій разсказъ графа Соллогуба—«Собачка» и очень интересную статью Второва—«Гаврила Петровичъ Каменевъ». — Въ третьемъ томѣ «Ста Русскихъ Литераторовъ», кромѣ первыхъ двухъ статей, все остальное представляетъ превосходнѣйшіе образцы посредственности и бездарности.

Переводы по части изящной словесности, отдѣльно вышедшіе въ прошломъ году, не нужно пересчитывать; былъ одинъ, но который стоитъ множества. Мы говоримъ о большомъ предпріятіи — перевести всего Вальтеръ-Скотта. Доселѣ вышли два романа—«Квентинъ Дорвардъ», «Антикварій», и на-дняхъ поступитъ въ продажу третій—«Айвенго». Переводъ и изданіе достойны подлинника.

Теперь перейдемъ къ замѣчательнѣйшимъ произведеніямъ по части изящной литературы, явившимся въ журналахъ. Стиховъ теперь вообще мало печатаютъ въ журналахъ. Жалѣть или радоваться? — Намъ кажется, что это очень пріятное явленіе. Писать стихи, даже порядочные, въ наше время ничего не стоитъ, и въ этомъ отношеніи «поэтовъ» у насъ несмѣтные легіоны—тѣмъ темъ. Но—увы! — ихъ уже не печатаютъ или мало печатаютъ, потому что не читаютъ. Дѣва просто, томъ № 1, неземная дѣва, № 2, луна, ночь, уныніе, разочарованіе, цыганка, шампанское, лѣнь, похмѣлье, разгулье, отчаяніе, горе, страданіе, дружба, игры, любовь, слава, мечта,—все это до того уже перелѣто на разные голоса, что наконецъ надоѣло всѣмъ смертельно. Нужно что-нибудь новое, но новое открываетъ геній, и въ настоящую минуту у насъ, увѣ! не имѣется въ наличности ни одного геніальнаго поэта.

Конечно и таланту, если онъ друженъ съ умомъ, если онъ умный талантъ, удастся угадывать, что можетъ имѣть успѣхъ въ настоящую минуту, особенно, если это указано или хотъ издадека намекнуто геніемъ. Въ прошлый годъ явилось въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ, нѣсколько счастливыхъ вдохновеній таланта, которые впрочемъ мы можемъ перечестъ всѣ до одного, не утомляя ни себя, ни читателя: «Современная Ода» Не—ва и «Старушкѣ», его же (въ «Отеч. Запискахъ»); «Чиновникъ» (въ «Физиологіи Петербурга»); «Духъ Вѣка», Майкова (въ «Финскомъ Вѣстникѣ»). Къ этому небольшому итогу слѣдуетъ прибавить три энергическія пьески: «Хавронья», неизвѣстнаго (въ «Отеч. Запискахъ») и слѣдующія два посланія во 2-й книжкѣ «Москвитянина», которыя, особенно первое, —

такъ хороши, что, желая содѣйствовать ихъ извѣстности, мы считаемъ за нужное выписать ихъ здѣсь.

Къ усопшимъ льнетъ какъ червь Фигларинъ
исотвязный.

Въ живыхъ ни одного онъ друга не найдетъ.
Зато, когда изъ лицъ почетныхъ кто умретъ,
Клеймятъ онъ прахъ его своею дружкой грязной.
— Такъ что же? Тутъ разсчитъ: онъ съ при-
былью двойной:

Презрѣнье отъ живыхъ на мертвыхъ вымѣщаетъ,
И чтобъ нажить друзей, какъ Чичиковъ другой,
Онъ души мертвыхъ покупаетъ.

—
Что ты несешь на мертвыхъ небылицу,
Такъ нагло лѣзешь къ намъ въ друзья?
Признь посмертная твоя
Не запятнаетъ ихъ гробницу.
Все тѣ жъ и Пушкинъ, и Крыловъ,
Хоть ѣсть ихъ червь, по волѣ Бога,
Не любивай же мертвецовъ —
И безъ тебя у нихъ васъ много.

Справедливость требуетъ еще указать, какъ на довольно замѣчательныя стихотворныя произведенія, на нѣкоторые опыты Григорьева (въ «Репертуарѣ и Пантеонѣ»), какъ напримѣръ прекрасное стихотвореніе: «Городъ», и на разсказъ въ стихахъ: «Олимій Радинъ», въ которомъ цѣлое темно, безсвязно, но есть прекрасныя мѣста. Вообще о Григорьевѣ можно сказать, что онъ, кажется, сдѣлался поэтомъ не по избытку таланта, а по избытку ума, и что на немъ мучительно отяготѣло вліяніе Лермонтова, отчего и происходятъ темнота и неопредѣленность въ цѣломъ многихъ пьесъ его и большіхъ и малыхъ: видно, что онъ не въ силахъ ни отдѣлаться отъ пресѣдующей его мысли генія, ни овладѣть ею. Онъ написалъ даже драму въ стихахъ: «Два Эгоизма», — въ цѣломъ довольно блѣдное отраженіе довольно блѣдной драмы Лермонтова: «Маскарадъ». Григорьевъ въ этой драмѣ такъ запутался въ неопредѣленныхъ рефлексіяхъ, возбужденныхъ въ немъ извѣтъ, что читатель никакъ не въ состояніи понять чувствъ героевъ ея, ни того, за что они любятъ и ненавидятъ себя и другъ друга, ни того, за что непонятный герой отравляетъ ядомъ непонятную героиню. Но вообще въ этомъ странномъ и неудачномъ произведеніи промелькиваютъ мѣстами что-то такое, что невольно возбуждаетъ интересъ, если не къ лицамъ драмы, то къ лицу автора. Мѣстами хороши въ ней сатирическіе выходы; какъ хорошъ напримѣръ этотъ монологъ славянофила Баскакова:

Семья — славянское начало.
Я въ диссортациі моей
Подробно наложу, какъ въ ней преобладала
Безъ примѣсъ другихъ идей
Идея чистая, славянская идея...
Читая Гегеля съ Мертвиловымъ вдвоемъ,
Мы согласились оба въ томъ,
Что, чувство съ разумомъ согласовать умѣя,

Различіе половъ — славяне лишь одинъ
Уразумѣть могли такъ тонко и глубоко...

У нихъ однихъ, отъ самой старины,

Поставлена разумно и высоко

Идея мужа и жены...

Жена не гес у нихъ, не вещь, но нѣчто; воли
Не признается въ ней конечно, но она

Законами ограждена...

Мужъ можетъ бить ее, но убивать не смѣетъ:
Надъ ней духовное лишь право онъ имѣетъ,
И только частію in corpore; притомъ

Глубокій смыслъ въ преданьи томъ

Иль, лучше, въ мысли той о власти надъ женою.

Пусть проявляется подъ жесткою корою,

Подъ формою побой: что форма? Признаюсь,

Семья меня всегда приводить въ умаленье...

Власть мужа, и жены покорное смиренье...

Чога славянская — я ей не надивлюсь!

Замѣчательными оригинальными повѣстями наши журналы въ прошломъ году были не очень богаты. Начнемъ съ «Библіотеки для Чтенія». Лучшимъ оригинальнымъ произведеніемъ въ этомъ родѣ былъ въ ней сатирическій очеркъ китайскихъ нравовъ, подъ названіемъ: «Совершеннѣйшая изъ всѣхъ Женщинъ», барона Брамбеуса. У этого писателя нѣтъ ни дара творчества, ни юмора, но много таланта карикатуры, много того, что по-малороссійски называется жартованіемъ или жартомъ. Его повѣсти и разсказы мѣстами невольно заставляютъ читателя смѣяться; въ нихъ много блескокъ и порывовъ ума. Еслибы въ этихъ сатирическихъ очеркахъ было больше опредѣленности въ мысли, больше глубины и дѣльной злости, — ихъ литературное значеніе имѣло бы большую важность. «Совершеннѣйшая изъ всѣхъ Женщинъ» есть одно изъ удачныхъ произведеній шутиваго пера барона Брамбеуса, и нельзя не пожалѣть, что эта забавная повѣсть осталась неоконченной. — «Счастье лучше Богатырства», рукопись, найденная и изданная О. В. Бугаринымъ и Н. А. Полевымъ, — романъ, написанный въ сотрудничествѣ, двумя лицами, — небывалое до сихъ поръ явленіе въ нашей литературѣ! Умъ хорошо, два лучше, говоритъ русская пословица: но на этотъ разъ, кажется, численность не имѣла никакого вліянія на романъ. Это довольно неудачное усиліе двухъ прежнихъ писателей поддѣлаться подъ новую школу. Особенно жалко тутъ лицо какого-то удалившагося отъ людей добродѣтельнаго химика. Но если о достоинствѣ вещей должно сдѣлать относительно, то скучная сказка «Счастье лучше Богатырства» можетъ показаться даже очень сноснымъ произведеніемъ въ сравненіи со всѣми остальными оригинальными изящными произведеніями въ «Библіотекѣ для Чтенія» прошлаго года. — «Емеля или Превращенія», первая часть новаго романа Вельтмана, рѣшительно напоминаетъ собою блаженной

памяти «Русалку», волшебную оперу, которая так забавляла наших дѣдовъ своими «превращеніями». Тутъ ничего не поймете: это не романъ, а довольно нескладный совъ. Даровитый авторъ «Кащей Безсмертнаго» въ «Емелѣ» превзошелъ самого себя въ странной прихотливости своей фантазіи; прежде эта странная прихотливость выкупалась блестками поэзіи; о «Емелѣ» и этого нельзя сказать.—«Вояжеры» quasi комедія Основьяненко—высокій образецъ бездарности и плоскаго вкуса.—«Башня Веселуха» (вскорѣ потомъ изданная отдѣльно)—такъ себѣ, ни то, ни сѣ.—«Петербургъ Днем и Ночью»—пародія на «Парижскія Тайны»; сочинитель впрочемъ не думалъ писать пародію—пародія вышла противъ его воли, и оттого читать ее очень скучно. Ни образовъ, ни лицъ, ни характеровъ, ни правдоподобія, ни естественности, ни мыслей! Зато фразъ—разливанное море! Давно уже не являлось въ русской литературѣ такого страннаго произведенія.—«Три Періода», романъ Кукольника, можетъ служить мѣрой читательскаго терпѣнія...

Переводныхъ романовъ и повѣстей въ «Библіотекѣ для Чтенія» прошлаго года было шесть, кромѣ «Теверино» и нѣсколькихъ небольшихъ разсказовъ, помѣщенныхъ въ «Смѣси», и кромѣ окончанія «Лондонскихъ Тайнъ» и «Вѣчнаго Жида», начатаго еще съ 1844 года и тянувшагося почти цѣлый прошлый годъ. Лучшими можно назвать «Элену Миддлтонъ», г-жи Фуллертонъ и «Якова Ванъ-деръ-Несъ», г-жи Паальцовъ: эти двѣ повѣсти, особенно первая, по крайней мѣрѣ естественны, хотя страшно растянуты, особенно первая. Конечно «Графъ Монте-Кристо»—блестящее беллетристическое произведеніе, которое читается легко и скоро; но оно—не романъ, а волшебная сказка, только не въ арабскомъ, а въ европейскомъ вкусѣ.—Что касается до «Вѣчнаго Жида»,—онъ окончательно дорѣзалъ литературную репутацію своего автора. Правда, въ немъ много частностей очень интересныхъ, умныхъ, обличающихъ въ писателѣ замѣчательный талантъ; но цѣлое—океанъ фразѣрства въ вымыслѣ площадныхъ эффектовъ, невыносимыхъ натяжекъ, невыразимой пошлости. Лица мадмуазель Кардовиль, мосье Гарди, Габріеля, двухъ сиротокъ—Розы и Бланки, дражайшаго родителя ихъ, маршала Симона—верхъ неестественности и приторности. Какое отношеніе имѣютъ къ роману «Вѣчный Жидъ» и «Иродіада»?—ровно никакого, гораздо меньше, нежели листъ бумаги, въ которую завертываютъ книгу, имѣетъ отношенія къ самой книгѣ. Еслибы авторъ назвалъ свой романъ просто: «Иезу-

иты», не ввелъ бы въ него ни вѣчнаго жида, ни Иродіады, ни Самуила съ женою, ни двухъ сотъ милліоновъ нечѣпаго наслѣдства, ни приторно-сентиментальныхъ лицъ вроде сиротокъ-сестеръ и Габріеля, еслибы не преувеличилъ характера Родэна, придумалъ поестественнѣе завязку и вмѣсто десяти томовъ написалъ только четыре, и написалъ не торопясь, но обдумывая,—изъ-подъ пера его вышелъ бы прекрасный романъ, потому что у Эжена Сю больше таланта, чѣмъ у Балзака, Дюма, Жюльена, Сулье, Гюгана и tutti quanti вмѣстѣ взятыхъ. Но жажда денегъ и мгновеннаго успѣха равняетъ теперь всѣ таланты, и большіе, и малые, подводя ихъ произведенія подъ одинъ и тотъ же уровень ничтожности.

Рядъ оригинальныхъ произведеній по части изящной прозы въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года заключился одной изъ тѣхъ повѣстей, которыя составляютъ приобрѣтеніе литературы, а не литературнаго только года. Мы говоримъ о превосходной повѣсти: «Кто виноватъ?», напечатанной въ послѣдней книжкѣ нашего журнала. Эта повѣсть не принадлежитъ къ числу тѣхъ произведеній, запечатлѣнныхъ высокою художественностью, которая иногда творитъ изъ ничего, не заботясь ни о цѣли, ни о ничтожествѣ содержанія; но эта повѣсть не принадлежитъ и къ числу тѣхъ умныхъ произведеній, въ которыхъ лишенный фантазіи авторъ, словно въ диссертаци, развиваетъ свои мысли и взгляды о томъ или другомъ нравственномъ вопросѣ, и въ которыхъ нѣтъ ни характеровъ, ни дѣйствій. Авторъ повѣсти: «Кто виноватъ?» какъ-то чудно умѣлъ довести умъ до поэзіи, мысль обратить въ живыя лица, плоды своей наблюдательности—въ дѣйствіе, исполненное драматическаго движенія. Какая во всемъ поразительная вѣрность дѣйствительности, какая глубокая мысль, какое единство дѣйствія, какъ все соразмѣрно—ничего лишняго, ничего недосказаннаго; какая оригинальность слога, сколько ума, юмора, остроумія, души, чувства! Если это не случайный опытъ, не неожиданная удача въ чуждомъ автору родѣ литературы, а залогъ цѣлаго ряда такихъ произведеній въ будущемъ, то мы смѣло можемъ поздравить публику съ приобрѣтеніемъ необыкновеннаго таланта въ совершенно новомъ родѣ.—«Маменькинъ Сынокъ», романъ Панаева, напечатанный въ первыхъ двухъ книжкахъ «Отечественныхъ Записокъ», отличается всѣми достоинствами и всѣми недостатками таланта этого писателя. Мы не будемъ распространяться ни о тѣхъ, ни о другихъ, и

скажемъ коротко, что они связаны съ сущностью таланта Панаева, который, не рискуя ошибиться, можно назвать дагерротипнымъ. Во всякомъ случаѣ «Маменькинъ Сынъ» — одно изъ лучшихъ его произведений и одна изъ лучшихъ повѣстей прошлаго года. — «Необыкновенный Поединокъ», романтическая повѣсть Говорилина (псевдонимъ), чуждъ всякаго художественнаго достоинства, но весьма нечуждъ литературнаго интереса, особенно для тѣхъ, кто пойметъ живое отношеніе этого разсказа къ эпиграфамъ, которыми онъ украшенъ, и эпиграфовъ къ разсказу. Съ этой точки зрѣнія мы считали и считаемъ «Необыкновенный Поединокъ» произведеніемъ, заслуживающимъ вниманіе и способнымъ навести читателя на нѣкоторыя весьма любопытныя соображенія на счетъ нѣкоторыхъ знаменитыхъ именъ нашей литературы. — «Богатая Невѣста», драматическій разсказъ М., написанъ подъ вліяніемъ комедій Гоголя и есть едва ли не единственный опытъ въ этомъ родѣ, который читается съ наслажденіемъ и послѣ комедій Гоголя. Жаль, что этому разсказу повредило то, что не означено значеніе дѣйствующихъ въ немъ лицъ. — Въ повѣсти Ста-Одного — «Старое Зеркало», много интересныхъ частныхъ и умныхъ замѣтокъ, хорошо очерчено лицо Ивана Анисимовича и дочки его, Маша; но въ цѣломъ эта повѣсть не выдержана, и развязка ея какъ-то странна, неестественна и неудовлетворительна. — «Милочка, повѣсть Побѣдоносцева, не лишена интереса; жаль, что разсказъ ея не довольно сжатъ и быстръ. — Сверхъ того въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года были напечатаны: «Дача на Петергофской дорогѣ», повѣсть Жуковой; «Ошибка», драматическій анекдотъ, Нестроева, и «Няня», повѣсть Побѣдоносцева.

«Жанна», «Теверино» и «Маркиза» — три романа Жоржъ Занда, были переведены въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года. «Маркиза» одно изъ старыхъ произведений этой писательницы, «Жанна» — изъ недавнихъ, «Теверино» — послѣднее. Излишне говорить о ихъ художественномъ достоинствѣ: Жоржъ Зандъ безспорно — первый талантъ во всемъ пишущемъ мірѣ нашего времени. Скажемъ только, что въ лицѣ Жанны поэтической инстинктъ представилъ міру лучший и вѣрнѣйшій комментарий на значеніе исторической Жанны (д'Аркъ), нежели какой могла представить наука, много хлопотавшая объ этомъ вопросѣ. «Теверино» въ своемъ родѣ стоитъ «Жанны», и оба эти романа безспорно принадлежатъ къ лучшимъ созданіямъ гениальнаго автора. Замѣчательно, что «Тевери-

но» написанъ послѣ «Le Meunier d'Angibault», прекраснаго романа, но испорченнаго двумя главными лицами, до приторности неестественными, — и послѣ «Ивидоры», во всѣхъ отношеніяхъ слабого и неудачнаго произведенія. — «Вотчимъ» — одна изъ лучшихъ повѣстей одного изъ лучшихъ французскихъ нувелистовъ, Шарля Бернара, который съ замѣчательнымъ талантомъ изображаетъ нравы современной Франціи. Можетъ-быть, современемъ выписавшись, и онъ начнетъ писать эффектные сказки на манеръ «Тысячи и одной ночи» или «Вѣчнаго Жиды» и «Графа Монте-Кристо»; но пока талантъ его еще сохраняетъ всю свою свѣжесть и силу, такъ что послѣ повѣстей Жоржъ Занда только и можно читать его повѣсти. — «Американцы», романъ, переведенный съ нѣмецкаго, представляетъ гораздо меньше художественности, нежели романы Купера, но едва ли не больше ихъ знакомить съ нравами Сѣверо-Американскихъ Штатовъ и ихъ отношеніями къ племенамъ дикихъ, потому что это прямая и положительная цѣль автора, нѣмца, долго и прилежно изучавшаго интересную страну. Романическая или поэтическая сторона этого романа, не отличаясь особеннымъ достоинствомъ, въ то же время и не лишена вовсе достоинства. Авторъ «Американцевъ» извѣстенъ въ Европѣ уже не однимъ романомъ въ этомъ родѣ. Имени своего онъ не выставляетъ на романахъ; но мы слышали, что это — Р. Вессельгфѣтъ, котораго любопытная статья — «Семейная Жизнь въ Соединенныхъ Штатахъ» была переведена въ Смѣся «Отечественныхъ Записокъ» 1843 года. Говорятъ, будто большинству нашей публики больше понравилась «Королева Маргъ», нежели романы Жоржъ Занда, «Вотчимъ» Шарля Бернара и «Американцы»... О вкусахъ спорить не станемъ, а съ этой книжки начинаемъ печатать продолженіе «Королевы Маргъ», т. е. новѣйшій романъ Дюма: «Графиня Монсорбъ».

Упомянувъ о статьяхъ: «Бараны», короткий, но исполненный глубокаго значенія восточный апологъ В. И. Буганскаго (въ «Москвитянинѣ»); «Иванъ Ивановичъ», прехорошенькій разсказъ Гребенки (въ «Финскомъ Вѣстникѣ»); «Деньщикъ», фзіологическій очеркъ В. И. Луганскаго (тамъ же); «Лука Лукичъ», правоописательный очеркъ Д. (тамъ же); «Факторъ», правоописательный разсказъ Гребенки (тамъ же); «Чужая голова — темный гѣсъ», разсказъ Гребенки (въ «Иллюстраціи»); «Колокола, чудесная повѣсть о колоколахъ, отзванивающихся старину и при- вѣтствующихъ новый годъ», повѣсть

Диккенса (переведенная въ «Москвитинѣ»),—мы исчислили все, что было замѣчательнаго по части изящной прозы, оригинальной и переводной, въ русскихъ журналахъ прошлаго года. Изъ этихъ послѣднихъ статей мы должны указать на «Деньщика» В. И. Луганскаго, какъ на одно изъ капитальныхъ произведеній русской литературы. В. И. Луганскій создалъ себѣ особенный родъ поэзіи, въ которомъ у него нѣтъ соперниковъ. Этотъ родъ можно называть физиологическимъ. Повѣсть съ завязкой и развязкой—не въ талантѣ В. И. Луганскаго, и всѣ его попытки въ этомъ родѣ замѣчательны только частностями, отдѣльными мѣстами, но не цѣлымъ. Въ физиологическихъ же очеркахъ лицъ разныхъ сословій онъ—истинный поэтъ, потому что умѣетъ лицо типическое сдѣлать представителемъ сословія, возвести его въ идеалъ, не въ пошломъ и глупомъ значеніи этого слова, т. е. не въ смыслѣ—украшенія дѣйствительности, а въ истинномъ его смыслѣ—воспроизведенія дѣйствительности во всей ея истинѣ. «Колбасники и Бородачи», «Дворникъ» и «Деньщикъ»—образцовыя произведенія въ своемъ родѣ, тайку котораго такъ глубоко постигъ В. И. Луганскій. Послѣ Гоголя это до сихъ поръ рѣшительно первый талантъ въ русской литературѣ.

Книгъ ученыхъ, учебныхъ и вообще дѣльных въ прошломъ году вышло довольно много. Литература этого рода оказываетъ у насъ видимые успѣхи, которые должны радовать патріотическое чувство русскаго. Причина этихъ успѣховъ заключается сколько въ усиліяхъ правительства, которое всегда готово поощрять усилія частныхъ лицъ и само предпринимаетъ изданія гѣтописей и всякаго рода историческихъ памятниковъ,—столько же и въ быстрыхъ успѣхахъ образованности русскаго общества. Въ жизни все связано тѣсно: образованность ведетъ за собой просвѣщеніе. Пока легкая изящная литература еще не укоренилась въ обществѣ до того, чтобъ войти въ его привычку, сдѣлаться его необходимою роскошью,—она замѣняетъ ему науку. Но когда она перестаетъ быть исключительнымъ достояніемъ немногихъ и становится потребностью толпы,—люди избранные дѣлаются требовательнѣе и разборчивѣе въ изящныхъ удовольствіяхъ своего ума и, не оставляя ихъ, стремятся въ то же время и къ болѣе прочнымъ, основательнымъ потребностямъ ума—къ знанію, къ наукѣ. Такимъ образомъ по мѣрѣ того, какъ высшіе (нравственно) слои общества переходятъ отъ легкой литературы къ наукѣ, низшіе отъ невѣжества и необразован-

ности восходятъ къ легкой литературѣ. Это круговая порука, и успѣхи легкой литературы—ручательство успѣховъ науки. Одно безъ другого быть не можетъ. Просвѣщеніе, основанное на наукѣ, не можетъ быть удѣломъ всѣхъ, даже удѣломъ большинства; но образованіе, основанное на успѣхахъ легкой литературы, можетъ и должно быть удѣломъ всѣхъ, даже самыхъ низшихъ слоевъ общества, которые могутъ быть грамотны только тогда, когда имъ есть что читать. Вотъ почему нельзя не радоваться, видя, что у насъ страсть къ легкому чтенію сдѣлалась уже не роскошью, а насущною потребностью, которой едва въ состояніи удовлетворить наши журналы, наполняемые романами и повѣстями. Эта страсть къ легкому чтенію—признакъ распространившагося въ обществѣ образованія, которое въ свою очередь свидѣтельствуетъ о близкихъ успѣхахъ просвѣщенія, основаннаго на наукѣ.

Изъ перечня вышедшихъ въ прошломъ году книгъ и изданій серьезнаго содержанія мы увидимъ, что ихъ число несравненно больше числа отдѣльно вышедшихъ книгъ по части легкой литературы. Скажутъ: беллетристическія сочиненія преимущественно помѣщаются въ журналахъ; но мы покажемъ, что въ тѣхъ же самыхъ журналахъ помѣщается множество статей и серьезнаго содержанія.

Особенно должно было радовать всѣхъ видимое усиленіе литературы русской исторіи и русскихъ древностей. Въ прошломъ году вышли слѣдующія книги по этой части: «Всеобщая бібліотека Россіи или каталогъ книгъ для изученія нашего отечества во всѣхъ отношеніяхъ и подробностяхъ». Это—второе прибавленіе въ книгѣ того же названія, изданное Чертковымъ въ 1838 году, которая, вмѣстѣ съ первымъ прибавленіемъ, заключала въ себѣ до 7000 званій книгъ; во второмъ прибавленіи, вышедшемъ въ прошломъ году, заключается ихъ до 1800 званій.—«Московская Оружейная Палата»—изданная отъ правительства опись содержащимся въ этомъ палладіумѣ нашей древности вещей; текстъ книги, прекрасно составленный Вельтманомъ, объясняется изображеніями, превосходно сдѣланными. Книга эта вышла въ прошломъ году, хотя на ней и выставленъ 1844 годъ.—«Памятники Московской Древности, съ присовокупленіемъ очерка монументальной исторіи Москвы и Древнихъ видовъ и плановъ древней столицы»,—великолѣпное и изящное изданіе, начатое въ 1842 году, въ прошломъ году окончилось выходомъ послѣднихъ трехъ тетрадей (9, 10 и 11-й). Эта драгоценная книга равно дѣлаетъ честь

и автору, Свигиреву, и издателю, Семену. — «Памятники, изданные временной комиссией для разбора древних актов», Высочайше утвержденной при киевском военномъ, подольскомъ и волынскомъ генералъ-губернаторѣ, и Собраніе древнихъ грамотъ и актовъ городовъ: Вильны, Ковна, Трокъ, православныхъ монастырей, церквей, и по разнымъ предметамъ» принадлежать къ тѣмъ монументальнымъ изданіямъ, которые возможны только для правительства, а не для частныхъ лицъ, — между тѣмъ какъ «Симбирскій Сборникъ» принадлежитъ къ числу тѣхъ важныхъ изданій, которые, будучи обязаны своимъ появленіемъ усиліямъ и ревности частныхъ лицъ, болѣе всего свидѣтельствуютъ объ успѣхахъ просвѣщенія въ обществѣ. — «Записки Дюка Лирийскаго и Бервикскаго во время пребыванія его при императорскомъ российскомъ дворѣ въ званіи посла короля испанскаго» были послѣднимъ трудомъ Д. И. Языкова, оказавшаго столько услугъ русской исторической литературѣ. — Тромонинъ и въ прошломъ году продолжалъ свое интересное изданіе: «Достопамятности Москвы»; Москва теперь дѣятельно изучается, и литература ея древностей уже богата превосходными сочиненіями и изданіями. Здѣсь же мѣсто упомянуть объ интересной брошюрѣ Свигирева: «О дубочныхъ картинахъ русскаго народа», какъ о сочиненіи, относящемся если не къ русской исторіи, то къ русской стариѣ, которая имѣетъ полное право на наше вниманіе. Въ прошломъ году вышло нѣсколько замѣчательныхъ книгъ по части критическаго изслѣдованія фактовъ русской исторіи, именно: «Юмбергъ и Винета», историческое изслѣдованіе Грановскаго; «Объ отношеніяхъ Новгорода къ Великимъ Князьямъ», историческое изслѣдованіе Соловьева; «Очеркъ литературы русской до Карамзина», Старчевскаго, и «Изслѣдованіе о мѣстничествѣ», Валуева (отдѣльно напечатанная статья изъ «Симбирскаго сборника»). Съ успѣхомъ продолжалось великолѣпное изданіе: «Императоръ Александръ I-й и его сподвижники»; портреты и текстъ этого изданія не оставляютъ желать ничего лучшаго. Второе изданіе первой части «Руководства къ «Всеобщей Исторіи» Лоренца, «Краткая исторія крестовыхъ походовъ», переведенная съ нѣмецкаго, и 4 и 5-я части «Всемирной Исторіи» Беккера заключаютъ собою историческую литературу прошлаго года. — Изъ беллетристическихъ сочиненій дѣльнаго содержанія можно указать на 2-й томъ «Воспоминаній Слѣплого», интересное описаніе кругосвѣтнаго путешествія Араго, изящно изданное съ прекрасными картинками; «Англійская

Индія въ 1843 году», соч. Варрена; «Римъ и Италія среднихъ и новѣйшихъ временъ», соч. кн. Волконскаго. — Изъ спеціальныхъ сочиненій можно вспомнить 5 ю и 6-ю части «Народной Медицины», Чаруковскаго; 3 ю часть «Руководства къ воспитанію, образованію и сохраненію здоровья дѣтей», Грума; «Карманный Словарь иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ составъ русскаго языка»; «Указатель Законовъ для Сельскихъ Хозяевъ»; «Лекціи Популярной Астрономіи», Зеленаго; «Нумизматическіе Факты Грузинскаго Царства», князя Баратаева.

Какъ на особенно пріятныя явленія въ литературѣ прошлаго года, должно указать на первую часть «Опыта Исторіи Русской Литературы», Никитенко, и третью книжку «Сельскаго Чтенія», издаваемаго княземъ Одоевскимъ и Заблоцкимъ.

Теологическая литература наша обогатилась въ прошломъ году изящнымъ изданіемъ «Словъ и Рѣчей» знаменитаго духовнаго витія нашего, высокопреосвященнаго Филарета, митрополита московскаго, вошедшихъ въ трехъ большихъ томахъ. — Сверхъ того по части духовной литературы вышли въ прошломъ году: «О Подражаніи Христу», Фомы Кемпійскаго, въ переводѣ графа Сперанскаго; «Творенія Святыхъ Отцовъ», въ русскомъ переводѣ, издаваемая при Московской Духовной Академіи, первая, вторая и третья книжки третьяго года.

Перечень нашъ едва ли полонъ — такъ много выходитъ теперь у насъ хорошихъ книгъ серьезнаго содержанія: по крайней мѣрѣ втрое больше, нежели хорошихъ книгъ по части легкой литературы.

Въ журналахъ статьи серьезнаго содержанія тоже едва ли не превосходятъ и числомъ, и объемомъ статьи беллетристическія. Въ этомъ легко убѣдиться изъ простаго перечня. Въ «Библіотекѣ для Чтенія», въ отдѣлѣ Наукъ и Искусствъ, были помѣщены статьи: «Еремія Бентамъ»; «Древніе Мексиканцы»; «Естественная Исторія Пресмыкающихся»; «Метеорическіе камни, преимущественно упавшіе въ Россіи», Э. Эйхвальда; «Венеція въ 1843 году» (Уварова); «Врачебное сословіе въ Англіи»; «Письма, Инструкціи и Записки Маріи Стюартъ», изданныи кн. Лобановымъ; «Лафатеръ и Галль», С. С. Куторги; «Историческій характеръ Людовика XIV», К. П.; «О прекрасномъ и объ искусствѣ», Виктора Кузена; «Писатели и ученые предыдущаго пятидесятилѣтія», лорда Брума. — Статья Кузена есть выборка мыслей изъ «Эстетики» Гегеля; знаменитый эклектикъ только порицалъ и поощрялъ такъ легко доставшаеся ему пріобрѣтеніе, объ источникѣ

котораго онъ счелъ за лучшее скромно умолчать. Статьи лорда Брума о Вольтерѣ и Руссо, о Юмѣ и Робертсонѣ, несмотря на громкое имя ихъ автора, довольно пусты и ничтожны. Въ Смѣси «Библіотеки для Чтенія» была очень умная и интересная статья: «Судьба поэтовъ въ Германіи», къ сожалѣнію неоконченная.

Въ «Москвитяинѣ» прошлаго года (№№ 5 и 6-й) насъ удивила статья: «Письмо изъ Парижа», подписанная: Н. Л.—й; по мысли, духу, направленію, благородному тону, безпристрастію, наблюдательности и мастерству изложенія это одна изъ такихъ статей, которая въ нашей литературѣ—слишкомъ рѣдкія явленія.

Въ «Отечественныхъ Запискахъ», по отдѣлу наукъ и искусствъ, были помѣщены статьи: «Англійская Индія въ 1843 году», изъ книги Варрена; «Письма объ изученіи природы», Искандера; окончаніе статьи: «Реформація», начатой и продолжавшейся въ 1844 году, «Консульство и Имперія», Тьера, «Алтай» (естественная исторія, его коши и жители), статья Катрафажа, написанная по поводу сочиненія Чихачева: «Voyage Scientifique dans l'Altai oriental et les parties adjacentes de la frontière de Chine»; «Космосъ», опытъ физическаго міроописанія, Александра Гумбольда; «Вѣрованія Индусовъ». Сверхъ ученыхъ извѣстій о дѣятельности Парижской Академіи Наукъ, о всѣхъ новыхъ открытіяхъ въ области наукъ, искусствъ и ремеселъ, въ Смѣси «Отечественныхъ Записокъ» были помѣщены библиографическіе очерки знаменитыхъ современниковъ: Теодора Гука, Талейрана, Верцеліуса, Круга, Мартинеза де-ла Розы, лорда Брума, Сальватора Тончи, Беранже, Августа-Вильгельма Шлегеля, Эспартеро, генерала Джаксона, барона Бозіо, Джона Росселя, лэди Стенгопъ.

Нѣкоторые безпристрастные доброжелатели «Отечественныхъ Записокъ» и намеками и явно, словесно и печатно утверждаютъ, будто бы содержаніе и направленіе «Отечественныхъ Записокъ» не соответствуетъ ихъ названію, потому-де, что въ нихъ нѣтъ ничего отечественнаго. Мы не станемъ спорить съ этими благонамѣренными доброжелателями, но только выставимъ имъ на видъ нѣсколько фактовъ. Въ отдѣлѣ Словесности «Отечественныхъ Записокъ» помѣщаются развѣ одни только переводы? Развѣ не бываетъ оригинальныхъ статей въ отдѣлѣ Наукъ и Художествъ? Развѣ въ отдѣлѣ Критики и Библиографической Хроники разсматриваются не русскіе книги? Развѣ не «отечественное» составляетъ предметъ отдѣла

Домоводства, Сельскаго хозяйства и Промышленности вообще?... Въ «Отечественныхъ Запискахъ» есть особый отдѣлъ, который, подъ именемъ «Современной Хроники Россіи», представляетъ собой фактическую лѣтопись русскаго законодательства и распоряженія высшаго правительства по части государственнаго управленія. Это «Отечественныя Записки» съ особенной охотой принимаютъ въ себя все, исключительно касающееся до Россіи,—для доказательства стоитъ только указать на слѣдующія статьи въ отдѣлѣ Наукъ и Художествъ и Смѣси прошлаго года: «Коронаваніе императрицы Екатерины Алексѣевны Петромъ Великимъ» (статья, доставленная редакціи покойнымъ Д. И. Языковымъ); «Воспоминаніе о генералѣ-фельдмаршалѣ Петрѣ Александровичѣ Румянцовѣ - Задунайскомъ», Н. Кутузова; «Военно-учебныя заведенія, подвѣдомственные Его Императорскому Высочеству, Главному Начальнику—въ царствованіе императрицы Екатерины II-й», П. И. Глѣбова; «Иванъ Андреевичъ Крыловъ»; «Замѣтки на пути изъ Москвы въ Закавказскій Край»; «Величина поверхности тридцати семи губерній и областей въ Европейской Россіи»; «Народонаселеніе въ губерніяхъ Европейской Россіи», и пр., и пр. Въ отдѣлѣ Критики разобраны два важныя изданія, относящіяся къ отечественной исторіи: «Памятники, изданные временной комиссіей для разбора древнихъ актовъ, учрежденной при кievскомъ военномъ, подольскомъ и волынскомъ генералъ-губернаторѣ и Собраніе древнихъ актовъ городовъ Вильны, Ковна, Троку, православныхъ церквей, монастырей и по разнымъ предметамъ». Въ отдѣлѣ Библиографической Хроники обращено особенное вниманіе на книги русской исторіи, чему доказательствомъ могутъ въ особенности служить обширныя рецензіи на «Симбирскій Сборникъ» и «Отношенія Новгорода къ Великимъ Князьямъ» и др. А что въ то-же время «Отечественныя Записки» представляютъ своимъ читателямъ и возможно подробную картину движенія современныхъ литературъ Германіи, Англіи и Франціи,—мы думаемъ, что одно другому нисколько не мѣшаетъ и что въ этомъ отношеніи со стороны нашего журнала заслуга больше... Одинъ журналъ (мы не назовемъ его), обвинивъ въ разныхъ ересяхъ всю русскую литературу и достойныхъ представителей ея — Ломоносова, Державина, Карамзина, Жуковскаго и Пушкина, въ томъ же самомъ обвинилъ «Библіотеку для Чтенія» и «Отечественныя Записки», вѣроятно основываясь на томъ, что въ нихъ нѣтъ статей теологическаго содержанія! Да, ихъ не

было и не будетъ въ «Отечественныхъ Запискахъ», потому что теологія не входитъ въ ихъ программу. Сверхъ того издатель и редакторъ «Отечественныхъ Записокъ» думаетъ и глубоко убѣжденъ, что писать о богословскихъ предметахъ—должно быть исключительнымъ правомъ и обязанностью людей духовнаго сана, которые суть единственные истинные проповѣдники и блюстители святыхъ истинъ православной церкви, и что было бы великой профанціей допустить какихъ-нибудь самозванныхъ ревнителей свѣтскаго званія мѣшать въ литературныхъ изданіяхъ статьи религіознаго содержанія съ любовными стихами, романами, повѣстями и комедіями... Оставаться въ законныхъ предѣлахъ дозволенной дѣятельности, не стараясь самовольно вмѣшиваться въ вопросы, подлежащіе не нашему вѣдѣнію,—всегда было и будетъ первымъ правиломъ нашего журнала...

Теперь намъ остается сказать нѣсколько словъ о журналахъ. Ихъ у насъ немного, а изъ существующихъ мы не имѣемъ охоты говорить о всѣхъ... Мы указали на все, что было въ какомъ бы то ни было отношеніи замѣчательнаго въ журналахъ прошлаго года; говорить о направленіи изданій, уже пользующихся давнишней извѣстностью, было бы излишне. И потому скажемъ нѣсколько словъ о новыхъ журналахъ — «Финскомъ Вѣстникѣ» и «Иллюстраціи». Мы не спѣшили нашимъ сужденіемъ о нихъ, желая дать имъ время опредѣленнѣе высказаться. Къ тому же мы не любимъ разсуждать о журналахъ во время подписки, и охотно предоставляемъ эту благонамѣренную методу признаннымъ ея любителямъ. Мы уже указали на замѣчательныя оригинальныя статьи въ «Финскомъ Вѣстникѣ» по части легкой литературы; теперь остается сказать, что въ немъ были хорошія статьи и серьезнаго содержанія, какъ напримѣръ: «Очеркъ исторической дѣятельности до Карамзина», Старчевскаго; «Финляндской войны 1741 и 1742 годовъ»; «Общественныя науки въ Россіи», В. Майкова и пр. Вообще «Финскій Вѣстникъ» былъ вѣренъ своему значенію — быть специальнымъ сборникомъ: всѣ иностранныя статьи его переводились со шведскаго и знакомили русскихъ читателей съ Финляндіей. Другого же значенія онъ не имѣлъ и, кажется, имѣть не будетъ. Слѣдственно, не ищите того, что требуется отъ журнала—опредѣленной фizioноміи, вѣрности однажды избранному принципу и т. п. Это—сборникъ, не болѣе. О недостаткахъ «Финскаго Вѣстника» пока умолчимъ изъ уваженія къ достоинствамъ, которые онъ уже обнаружилъ,

надѣясь, что въ будущемъ году послѣднія совершенно перевѣсятъ первыя.—Вотъ объ «Иллюстраціи», къ сожалѣнію, не можемъ сказать того же. Картинокъ въ ней много, такъ что больше требовать было бы несправедливо: въ этомъ отношеніи мы отдаемъ «Иллюстраціи» полную честь. Прибавимъ къ этому, что въ ней много и русскихъ оригинальныхъ картинокъ—что также большая заслуга со стороны подобнаго изданія. Жаль только, что иностранныя картинки въ «Иллюстраціи» не совсѣмъ хорошо отпечатываются, а русскія сверхъ того (большою частью) дурно рисуются. Намъ пріятно было встрѣтить въ «Иллюстраціи» портреты: Каратыгина, Брянскаго, Моцалова, Петрова, г-жи Александръ-Мейеръ; но весьма непріятно было видѣть, что эти портреты или почти не похожи, или вовсе не похожи на оригиналы. Хуже всѣхъ въ этомъ отношеніи портреты Брянскаго и Петрова, и г-жи Александръ-Мейеръ: тонкія, нѣжныя черты худощаваго лица этой артистки очутились на портретѣ крупными, грубыми, а лицо сдѣлано не только полнымъ, но и одутловатымъ. Такова художественная сторона «Иллюстраціи»; къ сожалѣнію и литературная такова же. Впервые, въ этомъ изданіи нѣтъ ничего, похожаго на журналъ, на газету, отчего оно ужасно сухо и вло. Являются въ немъ изрѣдка рецензіи, но до того неловкія, тяжелыя и бѣдныя содержаніемъ и направленіемъ, что нѣтъ никакого интереса читать ихъ. Даже ссоры «Иллюстраціи» съ одной газеткой были такъ неловки и тяжелы, что не стоило труда и начинать ихъ. Извѣщая о смерти Августа-Вильгельма Шлегеля, издатель «Иллюстраціи» сказалъ между прочимъ, что Шлегель былъ «порядочнымъ стихослагателемъ», что онъ «обратился къ критикѣ по недостатку высшаго, самостоятельнаго таланта» и что, будто-бы, эту профессію (т. е. критику) въ отдѣльномъ ея видѣ создала бездарность (№ 10)... Вотъ истинно-европейское, устинно-ученое понятіе о критикѣ! Мы понимаемъ, что издатель «Иллюстраціи» не можетъ быть доволенъ критикой, которая не слишкомъ снисходительна бывала къ нему, но въ то же время не шутя боимся, чтобы онъ, по изложенной имъ причинѣ, не сдѣлался критикомъ... Впрочемъ онъ принимался и за критику, и все съ такимъ же успѣхомъ, съ какимъ брался за лирическую поэзію, за драму, за романъ, за повѣсть, за изданіе «Художественной Газеты», «Дагеротипа» и tutti quanti... Но Шлегель былъ превосходный переводчикъ и для своего времени превосходный критикъ.—Статьи, которыми наполняется «Иллюстрація», большей ча-

стью запечатлѣны посредственностью и замѣчательною небрежностью. Изъ оригинальныхъ статей только и можно указать на разсказъ Гребенки: «Чужая голова — темный лѣсъ». Ко всему этому надо прибавить особенную манеру издателя выражаться какимъ-то страннымъ языкомъ: сотрудникъ у него гласитъ истину, сѣни аристократическаго дома онъ хочетъ описать купно съ лѣстницами... Но всего лучше въ

этомъ изданіи «Переписка»: ничего еще подобнаго не бывало въ русской литературѣ! Это самый забавный отдѣлъ «Иллюстраціи»: по крайней мѣрѣ мы обязаны ему многими веселыми минутами. Когда-нибудь въ замѣткахъ нашего журнала мы выпишемъ нѣсколько примѣровъ этой наивно-курьёзной переписки, чтобъ доставить богатый матеріалъ будущему историку русской литературы...

ГОЛОСЪ ВЪ ЗАЩИТУ ОТЪ „ГОЛОСА ВЪ ЗАЩИТУ РУССКАГО ЯЗЫКА“.

Wär der Gedank nicht so verwünscht gescheidt,
Man wär versucht ihn herzlich dumm zu nennen.

Schiller (*Wallenstein*).

Но умисель другой тутъ былъ:
Хозяинъ музыку любить...

Крыловъ (*Музыканты*).

Должно однакожъ замѣтить, что литературныя несогласія того времени были не иное что, какъ рыцарскіе поединки, въ которыхъ дѣйствовали однимъ законнымъ и честнымъ оружіемъ; тогда искали торжества мнѣнію своему, хотѣли выказать искусство свое, удовлетворить нѣкоторой удалости ума, искавшего въ подобныхъ ошибкахъ случайностей, гласности и блеска. По вышеприведенному замѣчанію, что у насъ тогда было болѣе аматѣровъ, нежели артистовъ, слѣдуетъ, что и въ сихъ расприхъ выходили другъ противъ друга добровольные, безкорыстные бойцы, а не наемники, которые ругаютъ изъ денегъ, нападаютъ сегодня на того, за котораго дрались вчера, торгуютъ равно и присягой, и оружіемъ своимъ, и за бесиліемъ своимъ въ бою на чистоту, готовы прибѣгать ко всѣмъ пособіямъ предательства. Убѣгая съ открытаго поля битвы, поруганіе и уязвленіе побѣдителемъ, они не признаютъ себя побѣжденными: если стрѣлы ихъ не мѣтны и удары не вѣрны, то они имѣютъ въ запасъ другое оружіе, потаенное, ядовитое, имѣютъ свои неприступныя засады, изъ коихъ поражаютъ противниковъ своихъ навѣрное.

Князь Вяземскій (*Библиографическія и Литературныя записки о Фонвизинѣ и его времени, помѣщенныя въ Утренней Зарѣ 1841 года*).

Всѣ согласны въ очевидности успѣховъ нашей литературы. Каждая эпоха ея имѣла своихъ достойныхъ представителей; настоящая имѣетъ своихъ, и въ этомъ отношеніи ей нечѣмъ гордиться передъ своими предшественницами. Но она имѣетъ полное право гордиться передъ ними своей зрѣлостью. Съ годами она стала мужественнѣе, опытнѣе, умнѣе. И если она пережила не слишкомъ много годовъ, зато въ пережитые ею немногіе годы подвергалась многимъ неожиданнымъ измѣненіямъ, перепробовала много новыхъ путей мысли и формы; это принесло ей ту великую пользу, что «новость» мысли или формы она уже не принимаетъ больше за достоинство этой мысли или за достоинство этой формы. Съ литературой, есте-

ственно, возмужала и публика. Теперь посредственность тщетно стала бы ридиться въ павлинья перья изысканной оригинальности, ложнаго паэоса, блестящей фразеологии: время успѣховъ ея миновало. Разсчетливое корыстолюбіе, въ связи съ добродушной ограниченностью, тщетно стало бы теперь надѣвать на себя маску изступленнаго фанатизма; оно никого не увѣритъ въ глубокости своихъ убѣжденій, въ которыхъ всѣ увидятъ одно только низкое лицемеріе. Старый, выписавшійся сочинитель можетъ теперь, сколько ему угодно, нападать на талантъ и геній, на убѣжденіе и заслугу, и хвалить самого себя и свои сочиненія: отъ этого ни ему, ни его сочиненіямъ не будетъ лучше, такъ же, какъ не будетъ

хуже ни таланту, ни гснiю, ни убѣжденiю, ни заслугѣ. Имена потеряли теперь все свое очарованiе. Публика восхищается сочиненiями, а не именами. Кто бы ни издалъ для нея сборникъ хорошихъ статей, — если статьи хороши, она раскупаетъ сборникъ, хотя бы его издатель былъ новсе ей неизвѣстенъ; если статьи плохи, она не покупаетъ сборника, хотя бы его издатель былъ преславитѣе лицо въ литературѣ и подъ статьями сборника тоже выставлены были громкiя имена. Еслибы гениальный писатель вдругъ издалъ что-нибудь недостойное его таланта и имени, это сочиненiе безъ всякихъ обиняковъ было бы названо всѣми посредственнымъ или плохимъ. Новый талантъ, великiй или обыкновенный, можетъ теперь смѣло выходить на литературное поприще безъ журнальных и всякихъ другихъ протекцiй: онъ сейчасъ же будетъ признанъ за то, что онъ есть въ самомъ дѣлѣ, и его успѣхъ всегда будетъ болѣе или менѣе соответственъ его степени. Направление современной литературы русской носить на себѣ отпечатокъ зрѣлости и мужественности. Литература наша съ недоступныхъ высотъ великихъ идеаловъ, которыхъ осуществленiй никто не видалъ и не встрѣчалъ на землѣ, спустилась на землю и принялась за разработку современной дѣйствительности, представляемой толпой. Этими изъ предмета праздноя забавы она сдѣлалась предметомъ дѣльнаго занятiя. Въ ней, теперь утвердился два великiе элемента — стражи здраваго эстетическаго вкуса противъ всего фразѣрскаго, натянутаго, неестественнаго, слабаго, сантиментальнаго, ложнаго: мы говоримъ объ иронiи и юморѣ. Съ ними открытъ для нашей литературы прямой, широкой и надежный путь къ истиннымъ, плодотворнымъ успѣхамъ въ будущемъ.

Но главная, существенная сторона успѣховъ современной русской литературы заключается конечно въ томъ, что теперь широкъ и легокъ путь для таланта, узокъ и труденъ для посредственности, невозможно для бездарности. Но изъ этого самаго прогресса вышло не совсѣмъ отрадное слѣдствiе, какъ бы для доказательства того, что, если справедлива поговорка, «нѣтъ худа безъ добра», видно, правда и то, что не бываетъ и добра безъ худа. Посредственность и бездарность всегда были завистливы, беспокойны и раздражительны; но теперь неудачи доводятъ ихъ до готовности пользоваться всѣми средствами для поддержанiя своего падшаго кредита, для пораженiя всѣхъ и каждого, кто съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ дѣйствуетъ на литературномъ поприщѣ. Журнальная по-

лемика не новостъ въ нашей литературѣ. Почти всѣ записные читатели на святой Руси до страсти любятъ полемическiя статьи — и въ то же время почти всѣ любятъ бранить полемику. Многiе изъ нихъ точно такъ же отъ всей души убѣждены въ страшномъ вредѣ полемики для нравовъ, какъ и въ великой пользѣ для тѣхъ же нравовъ отъ преферанса, слетовъ и азiотовъ. Что до насъ, — мы убѣждены, что въ благоустроенномъ обществѣ нестерпимы злоупотребленiя полемики, т. е. дурной тонъ, площадная рѣзкость выраженiй, личности; но что въ полемикѣ, умѣющей держаться въ предѣлахъ чисто-литературныхъ вопросовъ и выражаться прилично, нѣтъ никакого вреда, а, напротивъ, есть много пользы, потому что такая полемика даетъ литературѣ жизнь и движенiе. Еслибы иногда полемика и позволила себѣ немного забываться и проговариваться — большой бѣды въ этомъ нѣтъ, и такого рода промахи должны подлежать суду общественнаго мнѣнiя. Назадъ тому лѣтъ двѣнадцать полемика наводняла собою всѣ журналы, и нельзя сказать, чтобы иногда она не грѣшила противъ хорошаго тона; но зато и нельзя сказать, чтобы позволила себѣ такiя странныя выходки, которыя скорѣе можно назвать «юридическими», нежели «литературными».

Что русскiй языкъ — одинъ изъ богатѣйшихъ языковъ въ мiрѣ, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнiя. Но при этомъ не должно забывать историческаго развитiя Россiи и быстраго оборота, произведеннаго въ немъ реформой Петра Великаго. До Петра Великаго русскiй языкъ вполне соответствовалъ нравственному состоянiю Руси и былъ болѣе, чѣмъ только достаточенъ для выраженiя всего круга понятiй того времени. Но съ реформой Петра Великаго, отворившей двери Россiи дотогѣ чуждымъ ей понятiямъ, русскiй языкъ по необходимости долженъ былъ подвергнуться наводненiю чужестранныхъ словъ и даже оборотовъ, а высшее общество по необходимости должно было предпочесть чужой языкъ своему родному. Теперь, когда у насъ есть уже литература и когда самый языкъ подвергся большимъ измѣненiямъ, эта необходимость не существуетъ болѣе и для высшаго общества. Но, несмотря на то, еще не близко время окончательнаго установленiя русскаго языка, и чѣмъ оно отдаленнѣе, тѣмъ больше надежды на болѣе богатое развитiе нашего языка.

Рецензентъ «Отечественныхъ Записокъ» называлъ слова: «фабрика, губернiя, маляръ, кучеръ, мастеръ, мастерство, подмастерье, смастерить» — иностранными, вошедшими

въ составъ русскаго языка. Рецензентъ «Москвитянина», прибавивъ къ нимъ, какъ онъ говорить, и старшихъ ихъ братьевъ азіатскаго происхожденія: «ясакъ, ерыкъ, аргамакъ, халатъ», изъясняетъ свое согласіе признать всѣ эти слова не русскими, а иностранными, но не просто, а на томъ условіи, чтобъ рецензенту «Отечественныхъ Записокъ» доказать ему, что «тѣ, чьи предки выѣхали въ XIV столѣтіи отъ нѣмецъ и изъ Золотой-Орды къ Дмитрію Іоанновичу Донскому, и доселѣ не русскіе, а иностранцы, хотя 600 лѣтъ исповѣдаютъ (исповѣдываютъ) православную вѣру, говорятъ русскимъ языкомъ, служатъ и пользуются всѣми правами гражданства». Рецензентъ «Отечественныхъ Записокъ» рѣшительно отказывается доказывать такую странность; а что касается до упомянутыхъ словъ, онъ такъ же признаетъ ихъ не русскими, а иностранными, какъ русскихъ людей иностраннаго, и притомъ древняго происхожденія, признаетъ совершенно русскими, а не иностранцами,—и основывается на томъ, что національность человѣка способна къ перерожденію физическому и нравственному, и что слова не исповѣдываютъ никакой вѣры, не женятся и не рожаютъ.

Особенное негодованіе возбудило въ «Москвитянинѣ» мнѣніе «Отечественныхъ Записокъ» о непереводаемости на русскій языкъ французскаго слова *charité*, котораго значеніе не вполне передается русскими словами «милосердіе». «Москвитянинъ» почелъ долгомъ воспользоваться этимъ случаемъ. Онъ приводитъ тексты изъ апостола Павла на французскомъ, русскомъ, церковно-славянскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, изъ которыхъ видно, что французское слово *charité* по-русски и по-нѣмецки замѣнено словомъ любовь. Не явное ли это доказательство, что у французовъ словомъ больше противъ русскихъ и нѣмцевъ, потому что, кромѣ слова *amour* (любовь), у нихъ есть еще слово *charité*, которое означаетъ дѣятельную, практическую любовь, обнаруживающуюся стремленіемъ облегчать страданія ближняго. Мы не думали доказывать, что отсутствіе этого слова у народа можетъ служить признакомъ отсутствія и выражаемаго имъ понятія. Нѣтъ, отсутствіе слова *charité* даетъ слову любовь только обширнѣйшее значеніе, а у французовъ оно служитъ признакомъ филологическаго, а отнюдь не христіанскаго преимуществъ передъ нами.

«Москвитянинъ» увѣряетъ, что «нашлось возможнымъ передать на нашемъ языкѣ философію, даже (?) Шеллинга и Окена». А кто же говорилъ, что они непереводаемы по-русски? Мы говорили

только, что ихъ невозможно перевести, не испестривъ русскаго перевода множествомъ иностранныхъ словъ, и повторяемъ это теперь. Если нѣкоторые пуристы слова: «индивидуумъ» и «фактъ» замѣняютъ словами «недѣлимый» и «бытъ», такъ это только смѣшно, а ничуть не доказательно. Что французскій языкъ былъ разработанъ и развитъ два вѣка назадъ,—это фактъ, несмотря на всѣ цитаты «Москвитянина». Тутъ невозможны никакія параллели съ русскимъ языкомъ. Не говоря уже о превосходствѣ генія, сравните по чистотѣ языка—Расина (и даже Корнея) съ Озеровымъ,—и вы увидите, что тутъ неумѣстны всѣ сравненія; а между тѣмъ это писатели XVIII вѣка, Озеровъ же—писатель XIX вѣка. Тутъ нечего восклицать: «этому ли богатству намъ завидовать?». Именно этому! Что Вольтеръ жаловался на бѣдность французскаго языка,—это не доказываетъ богатства русскаго; это доказываетъ только, что Вольтеръ не принадлежалъ къ числу тѣхъ посредственностей, которыя способны остановиться на чемъ-нибудь и удовлетвориться чѣмъ-нибудь. Сверхъ того никакаго языка ни въ какую эпоху не можетъ быть до того удовлетворительнымъ, чтобъ отъ него нечего было больше желать и ожидать.

Царство вѣры не отъ міра сего. Церковь для ея дѣйствованія не нуждается въ обыкновенныхъ средствахъ. Для ея вѣчныхъ, непреходящихъ и неизмѣнныхъ истинъ всякій человѣческій языкъ былъ, есть и будетъ недостаточенъ и богатъ. Проповѣдь требуетъ больше и любви, и убѣжденія отъ проповѣдника, нежели богатаго развитія отъ языка, на которомъ говоритъ проповѣдникъ. Первые апостолы были рыбаки, которые, въ простотѣ сердечнаго убѣжденія, прозрѣвъ духовно, увидѣли больше мудрыхъ міра и сдѣлались «ловцами человѣковъ»... Короче: мы думаемъ, что исторія духовнаго краснорѣчія должна быть изучаема и излагаема отдѣльно отъ исторіи свѣтской литературы. Это дѣло людей, посвятившихъ себя изученію богословія. Говоря о духовныхъ витіяхъ, нельзя же ограничиться одной внѣшней стороной ихъ «словъ» и «рѣчей», т. е. однимъ краснорѣчіемъ, но невольно коснешься и содержанія, съ которымъ оно связано, и отъ котораго оно получаетъ свою силу. А это значитъ войти въ сферу теологіи... О предметахъ теологическихъ должны разсуждать теологическіе, а не литературные журналы, наполняемые стишками, сказками, всякой мірской суетой, а иногда—что грѣха таить!—и спорами, которые порождаются не совсѣмъ христіанскими чувствами....

ПЕТЕРБУРГСКІЙ СБОРНИКЪ,

изданный Н. Некрасовымъ. Спб. 1846.

«Бѣдные люди», романъ Достоевскаго, въ этомъ альманахѣ—первая статья и по мѣсту, и по достоинству. Начинаемъ съ нея.

Появленіе всякаго необыкновеннаго таланта рождаетъ въ читающемъ и пишущемъ мірѣ противорѣчія и раздоры. Если такой талантъ является въ раннюю эпоху еще неустановившейся литературы,—онъ встрѣчаетъ съ одной стороны восторженные клики, неумѣренные хвалы, съ другой—безусловное осужденіе, безусловное отрицаніе. Такъ было съ Пушкинымъ. Одни увидѣли въ немъ «сѣвернаго Байрона» (какъ-будто гдѣ-нибудь былъ южный Байронъ!), представителя современнаго чело-вѣчества, и все это—по первымъ его произведеніямъ, особенно по тѣмъ, которыя были слабѣе другихъ и теперь совершенно потеряли безотносительную цѣнность; другіе упорно смотрѣли на его произведенія, какъ на униженіе, профанцію поэзіи, во имя дебелыхъ торжественныхъ одъ, къ которымъ привыкли съ дѣтства. Понятъ Пушкина предоставлено было уже другому поколѣнію, и едва ли уже не послѣ его смерти. Нѣсколько иначе было съ Гоголемъ. Много встрѣтилъ себѣ враговъ талантъ Пушкина, но несравненно болѣе явилось преданныхъ ему друзей, восторженныхъ его почитателей. Противъ него были старцы лѣтами и духомъ; за него—и молодые поколѣнія, и сохранившіе свѣжесть чувства старики. Какъ всякій великій талантъ, Гоголь скоро нашелъ себѣ восторженныхъ поклонниковъ, но число ихъ было уже далеко не такъ велико, какъ у Пушкина. Можно сказать, что какъ на сторонѣ Пушкина было большинство, такъ на сторонѣ Гоголя—меньшинство; большинство же было сначала рѣшительно противъ Гоголя. И это очень естественно: міръ поэзіи Гоголя такъ оригиналенъ и самобытенъ, такъ принадлежитъ исключительно его таланту, что даже и между людьми, не омраченными пристрастіемъ и нелишенными эстетическаго смысла, нашлись такіе, которые не знали, какъ имъ о немъ думать. Въ недоумѣніи имъ казалось, что это или ужъ слишкомъ хорошо, или ужъ слишкомъ дурно,—и они помирились на половинѣ съ твореніями самаго національнаго и можетъ-быть самаго великаго изъ русскихъ поэтовъ, т. е. рѣшили,

что у него есть талантъ, даже большой, только идущій по ложной дорогѣ. Естественность поэзіи Гоголя, ея страшная вѣрность дѣйствительности изумила ихъ уже не какъ смѣлость, но какъ дерзость. Если и теперь еще не совсѣмъ исчезла изъ русской литературы та чопорность, которая такъ прекрасно выражается французскимъ словомъ pruderie, и въ которой такъ вѣрно отразились нравы полубоярской и полумѣщанской части нашего общества; если и теперь еще существуютъ литераторы, которые естественность считаютъ великимъ недостаткомъ въ поэзіи, а неестественность великимъ ея достоинствомъ, и новую школу поэзіи думаютъ унижить эпитетомъ «натуральной»,—то понятно, какъ должно было большинство публики встрѣтить основателя новой школы. И потому естественно, что еще и теперь въ немъ упорствуютъ признавать великій талантъ часто тѣ самые люди, которые съ жадностью читаютъ и перечитываютъ каждое его новое произведеніе; а кто теперь не читаетъ съ жадностью его новыхъ и не перечитываетъ съ наслажденіемъ его старыхъ произведеній? Нѣтъ нужды говорить, что безпощадная истина его созданий—одна изъ причинъ этого нерасположенія большинства публики признавать на словахъ великимъ поэтомъ того, кого оно же, это же большинство, признало великимъ поэтомъ на дѣлѣ, читая и раскупая его творенія, и даже самими своими нападками на нихъ давая имъ больше, нежели только литературное значеніе. Но при всемъ томъ первая и главная причина этого непризнанія заключается въ безпримѣрной въ нашей литературѣ оригинальности и самобытности произведеній Гоголя. Говоримъ безпримѣрной, потому что съ одной стороны ни одинъ русский поэтъ не можетъ идти въ сравненіе съ Гоголемъ. Всякій гениальный талантъ оригиналенъ и самобытенъ; но есть разница между одной и другой оригинальностью, между одной и другой самобытностью. Оригинальность и самобытность Пушкина въ отношеніи къ предшествовавшимъ ему поэтамъ, кромѣ печати особенности, положенной личностію его на его творенія, состояла преимущественно въ томъ, что ихъ произведенія были только стремленіемъ къ

поэзіи, а его—самой поэзіей; они, такъ сказать, были кандидатами на званіе поэтовъ, а онъ былъ поэтомъ-художникомъ въ полномъ и совершенномъ значеніи этого слова. Но тѣмъ не менѣе къ чести предшественниковъ Пушкина должно сказать, что они имѣли на него болѣе или меньшее вліяніе, и ихъ поэзія болѣе или меньше была предвѣстницей его поэзіи, особенно первыхъ его опытовъ. Еще прямѣе и непосредственнѣе было вліяніе на Пушкина современныхъ ему европейскихъ поэтовъ. Если при всемъ этомъ первая произведенія Пушкина, однихъ непріятно, другихъ къ полному ихъ удовольствію и восторгу, поразили не только новостью, но оригинальностью и самобытностью,—это показываетъ, какъ геніаленъ былъ талантъ его. Но все-таки его первая произведенія напоминали собой многое и въ русской литературѣ, хотя и отдаленно, и еще болѣе многое, и притомъ ближайшимъ образомъ, въ иностранныхъ литературахъ,—чему доказательствомъ служить неудачно и неловко приданный ему титулъ русскаго Байрона. У Гоголя не было предшественниковъ въ русской литературѣ, не было (и не могло быть) образцовъ въ иностранныхъ литературахъ. О родѣ его поэзіи, до появленія ея, не было и намековъ. Его поэзія явилась вдругъ, неожиданная, непохожая ни на чью другую поэзію. Конечно нельзя отрицать вліянія на Гоголя со стороны напимѣръ Пушкина; но это вліяніе было не прямое: оно отразилось на творчествѣ Гоголя, а не на особенности, не на фizioноміи, такъ сказать, творчества Гоголя. Это было вліяніе болѣе времени, которое Пушкинъ подвинулъ впередъ, нежели самого Пушкина. Разумѣется, еслибъ Гоголь явился прежде Пушкина, онъ не могъ бы достигнуть той высоты, на которой онъ стоитъ теперь. Но прямого вліянія, такого, какое имѣли (въ болѣе или меньшей степени, ближе или отдаленнѣе) на Пушкина предшествовавшіе ему русскіе и современные ему европейскіе поэты, — такого вліянія со стороны Пушкина на Гоголя нельзя открыть никакихъ слѣдовъ въ сочиненіяхъ послѣдняго. Сверхъ того, поэзія избирающая своимъ предметомъ только положительно прекрасныя явленія жизни и рѣдко испытываемыя человѣкомъ высокія ощущенія,—такая поэзія если не совсѣмъ понятна въ сущности, то всѣмъ доступна по наружности. По крайней мѣрѣ она до того нравится толпѣ, что даже и ложные таланты, если они не лишены блеска и смѣлости, увлекаютъ ее, пародируя въ своихъ хитро-изысканныхъ выдумкахъ высокую сторону дѣйствительности; это доказываетъ

чрезвычайный, хотя и мгновенный успѣхъ Марлинскаго и... но не будемъ называть другихъ—довольно и одного примѣра... Скажемъ болѣе: толпа, представительница прозаической, будничной и черновой стороны жизни, терпѣть не можетъ, чтобъ поэзія занималась ею, хотя и не смиреніе, а опасливость неувереннаго въ себѣ самолюбія причиною этого, напротивъ, она любитъ, чтобъ поэзія представляла ей все героическое да твердила ей все о высокомъ и прекрасномъ. За голосомъ немногихъ, которымъ дано дѣйствительно понимать высокое жизни, толпа готова провозгласить великимъ геніемъ даже Байрона, въ которомъ она, толпа, неспособна понять ни пол-мысли, ни пол-стиха; но искренно плѣняется и увлекаетъ ее только театральное и мелодраматическое пародированіе высокой стороны жизни (какъ въ повѣстяхъ Марлинскаго) или истинное и дѣйствительно прекрасное, но вмѣстѣ съ тѣмъ и не слишкомъ великое, нѣсколько незрѣлое и дѣтское, потому что сама толпа есть не что иное, какъ вѣчный недоросль, что-то похожее на дряхлаго ребенка или на младенствующаго старика. Лучшимъ доказательствомъ справедливости нашихъ словъ можетъ служить Пушкинъ. Когда слава его была въ своей апогеѣ, когда представители толпы провозглашали его «сѣвернымъ Байрономъ и представителемъ современнаго человѣчества?»—Тогда, какъ онъ удивлялъ ихъ «Русланомъ и Людмилой», «Братьями Разбойниками», «Кавказскимъ Пѣнникомъ», «Бахчисарайскимъ фонтаномъ» и тѣми стишками, въ которыхъ воспѣвалъ золотую лѣнь, шипучее вино и тому подобное. «Цыгане» приняты были уже съ меньшимъ восторгомъ; «Полтава» публикой принята холодно, а журналисты встрѣтили ее бранью; «Борисъ Годуновъ» вовсе не былъ оцененъ... и многіе ли даже теперь догадываются, что за великія созданія—«Моцартъ и Сальери», «Пиръ во время чумы», «Скупой Рыцарь», «Галубъ», «Мѣдный Всадникъ», «Каменный гость»? Одинъ изъ критиковъ того времени въ седьмой главѣ «Евгенія Онѣгина», которая, по глубинѣ чувства, по зрѣлости мысли, по художественной отдѣлкѣ, гораздо выше первыхъ шести главъ,—увидѣлъ «рѣшительное паденіе, chute complète», и съ торжествомъ возвѣстилъ его на двухъ языкахъ—русскомъ и французскомъ!.. Другой критикъ, говоря о той же седьмой главѣ «Онѣгина», сдѣлалъ такое заключеніе, что Пушкинъ отсталъ отъ вѣка, и что на него «прошла мода», какъ нѣкогда прошла мода на Наполеона, потому что и онъ отсталъ отъ вѣка!.. Еще двое другихъ, какъ будто сговорясь между собою, несмотря на

то, что были противниками по мнѣніямъ, объявили, что въ третьей части стихотвореній Пушкина (вышедшей въ 1832 году) не видно прежняго Пушкина!.. И они не ошиблись бы, еслибы сказали это въ томъ смыслѣ, что Пушкинъ въ этой третьей части сталъ выше, нежели какъ былъ въ первыхъ двухъ частяхъ своихъ стихотвореній; но—увы!—добрые критики говорили тутъ о паденіи Пушкина!.. Все это факты, которые, еслибы понадобилось, мы скрѣпили бы указаніемъ на страницы журналовъ блаженной памяти, въ которыхъ печатались такіа диковинки. И вотъ какъ судила толпа и о поэтѣ, избравшемъ предметомъ пѣсенъ своихъ высокую сторону жизни: она восхищалась его ученическими опытами и отступилась отъ него тотчасъ, какъ сталъ онъ мастеромъ, и какимъ еще мастеромъ—великимъ!..

Какъ же должна была судить толпа о поэтѣ, дерзнувшемъ пойти по дорогѣ, до него никому невѣдомой, рѣшившемся, оставивъ въ покоѣ героевъ (которые, по правдѣ сказать, на землѣ являлись гораздо рѣже, нежели въ фантазіи поэтовъ), обратиться къ толпѣ и къ будничной жизни?.. Сначала, какъ и слѣдуетъ, она подумала, что этотъ поэтъ не знаетъ ничего лучше ея, толпы, и неспособенъ вознестись мыслию за границу всендневной прозаической жизни. И такое заключеніе было очень естественно съ ея стороны: она не встрѣчала въ сочиненіяхъ этого поэта ни моральныхъ сентенцій, ни комическихъ выходовъ. Напротивъ, она видѣла, что онъ рисуетъ ей своихъ странныхъ героевъ и ихъ бѣдную, жалкую жизнь очень серьезно, говоритъ о нихъ почти съ такой же важностью, какъ въ дѣйствительности говорятъ они о самихъ себѣ и своихъ дѣлишкахъ. Конечно это писатель, положимъ, не безъ дарованія, но мелкій, безъ фантазіи, безъ души, безъ сердца, безъ способности понимать высокое и прекрасное, любящій изображать только грязную, неумытую природу! Но—странное дѣло!—толпа сама не могла не замѣтить, что она съ жадностью его читаетъ, что онъ чѣмъ-то сильно задѣваетъ и сердить ее; потомъ съ изумленіемъ узнаетъ она, что высшій свѣтъ, верховный представитель хорошаго тона и приличія, оставая безъ вниманія бонтоныя, опрятныя произведенія дюжинныхъ сочинителей, безъ перчатокъ и съ удовольствіемъ читаетъ сочиненія этого писателя, исполненныя дурного тона, оскорбляющихъ приличіе выражений и картинъ и, кажется, назначенныхъ для потѣхи самыхъ необразованныхъ читателей!.. Въ то же время нашлись люди, которые по поводу сочиненій этого писа-

теля заговорили о юморѣ, какъ могущественномъ элементѣ творчества, посредствомъ котораго поэтъ служить всему высокому и прекрасному, даже не упоминая о нихъ, но только вѣрно воспроизводя явленія жизни, по ихъ сущности противоположныя высокому и прекрасному, — другими словами, путемъ отрицанія достигая той же самой цѣли, только иногда еще вѣрнѣе, которой достигаетъ и поэтъ, избравшій предметомъ своихъ твореній исключительно идеальную сторону жизни. Все это не могло не имѣть вліянія на мнѣніе толпы; а между тѣмъ съ теченіемъ времени она все болѣе и болѣе привыкала къ его сочиненіямъ, и все, что казалось ей въ нихъ страннымъ и рѣзкимъ, со дня на день становилось въ ея глазахъ очень естественнымъ,—чему способствовала много и основанная имъ литературная школа. И вотъ теперь, когда французскій переводъ нѣсколькихъ его повѣстей доставилъ ему громкую извѣстность въ Европѣ,—теперь и самыя враги его таланта, имѣющіе свои причины вести отчаянную войну противъ его успѣховъ, уже не рѣшаются говорить о немъ прежнимъ языкомъ...

Вообще литература наша, въ лицѣ Пушкина и Гоголя, перешла черезъ самый трудный и самый блестящій процессъ своего развитія: благодаря имъ, она если еще не достигла своей возмужалости, то уже вышла изъ состоянія дѣтства и той юности, которая близка къ дѣтству. Это обстоятельство совершенно измѣнило судьбу явленія новыхъ талантовъ въ нашей литературѣ. Теперь каждый новый талантъ тотчасъ же оцѣняется по его достоинству. Явился Лермонтовъ—и первыми своими опытами заставилъ всѣхъ смотрѣть на его талантъ съ изумленнымъ ожиданіемъ чего-то великаго. Много ли успѣлъ написать онъ вѣченіе своего краткаго (четырёхлѣтняго) литературнаго поприща?—а между тѣмъ нуженъ былъ только одинъ смѣлый голосъ, чтобъ за Лермонтовымъ, съ первыхъ же опытовъ его, утвердить имя великаго, гениальнаго поэта... Съ другой стороны, какъ ни хлопочетъ теперь посредственность выдавать себя за гениальность, — ей это никакъ не удастся. Не помогаютъ ей ни драмы, русскія и итальянскія, ни романы и повѣсти русскіе, французскіе, литовскіе и нѣмецкіе, ни стихотворенія, ни дагерротипы, ни иллюстраціи... Недавно одна газета хотѣла сдѣлать изъ Буткова опаснаго соперника таланту Гоголя, и что же? Всѣ нашли, что у Буткова точно есть дарованіе, но что больше о немъ сказать нечего, а ожидать отъ него чего-то необыкновеннаго тоже нечего...

Правда, и теперь появленіе необыкновеннаго таланта не может не возбуждать довольно противорѣчащихъ толковъ; но, въ-первыхъ, это свойство необыкновеннаго таланта во всякой литературѣ, пока не при-выкнутъ къ нему (привычка—умъ толпы), а во-вторыхъ, въ самомъ противорѣчїи этихъ толковъ уже лежитъ безусловное признаніе необыкновенности таланта. Говорятъ и спорятъ о томъ, что хорошо и что дурно въ его первыхъ произведеніяхъ; но что онъ необыкновенный талантъ—объ этомъ говорятъ, но не спорятъ. Нѣсколько невѣжественныхъ или завистливыхъ голосовъ тутъ ничего не значить. Если какой-нибудь квазі-критикъ или критиканъ рѣшится объявить, что произведеніе новаго писателя, возбуждившаго своимъ появленіемъ сильное движеніе въ читательскомъ мірѣ, рѣшительно дурно, что въ немъ нѣтъ ни искры таланта, — такой критиканъ поступитъ очень неразсчитливо въ отношеніи къ самому себѣ. Самые недогадливые увидятъ ясно, что онъ, критиканъ, не иное что, какъ жалкая и купно завистливая посредственность... Но съ другой стороны и преувеличенно восторженныхъ похвалы, критическіе гимны и диоирамбы теперь тоже возможны только со стороны людей, немогущихъ имѣть никакого вліянія на общественное мнѣніе. Литература наша пережила свою эпоху энтузіастическихъ увлеченій, восторженныхъ похвалъ и безотчетныхъ восклицаній. Теперь отъ критика требуютъ, чтобъ онъ спокойно и трезво сказалъ, какъ понимаетъ онъ поэтическое произведеніе; а до восторговъ, въ которые привело оно его, до счастья, какое доставило оно ему, никому нѣтъ нужды: это его домашнее дѣло.

Слухи о «Бѣдныхъ Людяхъ» и новомъ, необыкновенномъ талантѣ, готовомъ появиться на аренѣ русской литературы, задолго предупредили появленіе самой повѣсти. Подобнаго обстоятельства никакъ нельзя назвать выгоднымъ для автора. Для людей съ положительнымъ, развитымъ эстетическимъ вкусомъ все равно—быть или не быть предубѣжденными въ пользу или не въ пользу автора: прочитавъ повѣсть, они увидятъ, что это такое; но истинныхъ знатоковъ искусства немного на бѣломъ свѣтѣ, а не знатоки отъ всего заранѣе расквела-даго ожидаютъ какого-то чуда совершенства, т. е. фразистой мелодрамы во вкусѣ Марлинскаго, — и увидя, что это совсѣмъ не то, что все такъ просто, естественно, истинно и вѣрно, онъ разочаровывается, и въ досадѣ уже не видитъ въ произведеніи и того, что болѣе или менѣе ему доступно и что навѣрное понравилось бы ему, еслибъ онъ не былъ заранѣе настроенъ искать тутъ

какихъ-то волшебныхъ фокусъ-покусовъ. Несмотря на то, успѣхъ «Бѣдныхъ Людей» былъ полный. Еслибъ эту повѣсть приняли всѣ съ безусловными похвалами, съ безусловнымъ восторгомъ, — это служило бы неопровержимымъ доказательствомъ, что въ ней точно есть талантъ, но нѣтъ ничего необыкновеннаго. Такой дебютъ былъ бы жалокъ. Но вышло гораздо лучше: за исключеніемъ людей, рѣшительно лишенныхъ способности понимать поэзію, и за исключеніемъ можетъ-быть двухъ-трехъ испугавшихся за себя писакъ, всѣ согласились, что въ этой повѣсти замѣтенъ не совсѣмъ обыкновенный талантъ. Для перваго раза нечего больше и желать. Со временемъ та же повѣсть будетъ казаться иной многимъ изъ тѣхъ, которые сочили преувеличенными предшествовавшіе ея появленію слухи о высокомъ художественномъ ея достоинствѣ. Изъ всѣхъ критиковъ самый великій, самый гениальный, самый непогрѣшительный — время. Впрочемъ не должно забывать, что романъ Достоевскаго прочтенъ всѣми только въ Петербургѣ, и что только Петербургъ обнаружилъ свое мнѣніе о талантѣ новаго поэта. Въ Москвѣ еще только читаютъ его «Бѣдныхъ Людей» и «Двойника» (помѣщеннаго въ февральской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ»), а въ провинціи еще и не читали ихъ. Мы очень любимъ и уважаемъ Петербургъ во многихъ отношеніяхъ, но отнюдь не въ климатическомъ и не въ эстетическомъ: нигдѣ въ Россіи такъ много не читаютъ, какъ въ Петербургѣ, слѣдовательно нигдѣ въ Россіи нѣтъ такой многочисленной читающей публики, сосредоточенной на такомъ маломъ пространствѣ, какъ въ Петербургѣ, — и при всемъ томъ насъ (*chaque wagon a sa fantaisie!*) почему-то всегда интересуется болѣе мнѣніе Москвы и провинціи о книгѣ, нежели Петербурга. Мы никогда не говоримъ: «это сочиненіе такъ хорошо, что даже въ провинціи имѣло огромный успѣхъ»; но, напротивъ, мы какъ-то особенно не расположены къ сочиненіямъ, которые только въ Петербургѣ возбуждаютъ общій восторгъ. Можетъ-быть по этому самому намъ не нравятся стихотворенія Бенедиктова, «Сенсациі мадамъ Курдюковой» и всѣ патріотическія и патетическія драмы, возбуждающія такіе оглушительные аплодисманы на сценѣ Александринскаго театра. Можетъ быть въ этомъ случаѣ мы и не правы, но намъ кажется, что жители Петербурга—ужь черезчуръ занятые, черезчуръ дѣловые люди, и потому едва-ли могутъ блистать особенно развитымъ эстетическимъ вкусомъ. Имъ надо что-нибудь, во первыхъ, не слишкомъ большое, а во-вторыхъ, и это главное — что-нибудь

полегче, что-нибудь не слишкомъ требующее углубленія мыслью, не слишкомъ вызывающее на размышленіе, словомъ, — такое, что было бы и коротко, и ясно и не заставляло бы думать, какъ фельетонная статья въ «Сѣверной Пчелѣ», какъ правоописательная статейка Булгарина. И это понятно: въ Петербургѣ всѣ бѣдны временемъ: кто служитъ, кто спекулируетъ, кто играетъ въ преферансъ, а часто случается и такъ, что одно и то же лицо несетъ на себѣ эти три тягости разомъ. Когда тутъ читать съ самоуглубленіемъ въ читаемое, съ размышленіемъ о читаемомъ? Тутъ дай Богъ успѣть только перелистывать часть того бѣднаго количества печатныхъ листовъ, которое вырабатываютъ наши типографіи. Въ Москвѣ число читателей несравненно меньше, но въ массѣ московскихъ читателей есть довольно людей, для которыхъ сколько-нибудь замѣчательная книга есть фактъ, есть «нѣчто», которые читаютъ ее сами, читаютъ другимъ или настоятельно рекомендуютъ другимъ читать ее, думаютъ о ней, толкуютъ, спорятъ. Смѣшно было бы утверждать, что и въ Петербургѣ нѣтъ такихъ читателей; но мы знаемъ достоверно, что въ немъ ихъ очень мало въ сравненіи со всей читающей массой, и что большая часть ихъ состоитъ изъ такого молодого народа, который не успѣлъ еще ни поступить на службу, ни постичь поэзію преферанса. Что касается до провинціи, въ ней можетъ-быть въ сложности не менѣе, если не болѣе истинно образованныхъ и съ эстетическимъ вкусомъ людей, нежели въ обѣихъ столицахъ нашихъ; и если ихъ кажется такъ мало въ провинціи, это потому, что они разсѣяны на огромномъ пространствѣ и живутъ въ такомъ другъ отъ друга разстояніи, что отъ одного до другого иногда хоть мѣсяцъ скачи на лихой тройкѣ — не доѣдешь! Велика матушка Россія!.. Повсему этому очень интересно узнать, какое впечатлѣніе талантъ Достоевскаго производитъ на Москву и на провинцію. Но, въ ожиданіи этого, мы посѣпшимъ отдать отчетъ въ собственныхъ нашихъ впечатлѣніяхъ.

Съ перваго взгляда видно, что талантъ Достоевскаго не сатирическій, не описательный, но въ высокой степени творческій, и что преобладающій характеръ его таланта — юморъ. Онъ не поражаетъ тѣмъ знаніемъ жизни и сердца человѣческаго, которое дается опытомъ и наблюденіемъ: нѣтъ, онъ знаетъ ихъ, и притомъ глубоко знаетъ, но а priori, слѣдовательно чисто-поэтически, творчески. Его знаніе есть талантъ, вдохновеніе. Мы не хотимъ его сравнивать ни съ кѣмъ, потому что такіа срав-

ненія вообще отзываются дѣтствомъ и ни къ чему не ведутъ, ничего не объясняютъ. Скажемъ только, что это талантъ необыкновенный и самобытный, который сразу, еще первымъ произведеніемъ своимъ, рѣзко отдѣлился отъ всей толпы нашихъ писателей, болѣе или менѣе обязанныхъ Гоголю направленіемъ и характеромъ, а потому и успѣхомъ своего таланта. Что же касается до его отношеній къ Гоголю, то если его, какъ писателя съ сильнымъ и самостоятельнымъ талантомъ, нельзя назвать подражателемъ Гоголя, то и нельзя не сказать, что онъ еще болѣе обязанъ Гоголю, нежели сколько Лермонтовъ обязанъ былъ Пушкину. Во многихъ частностяхъ обоехъ романовъ Достоевскаго («Бѣдныхъ Людей» и «Двойника») видно сильное вліяніе Гоголя, даже въ оборотѣ фразы; но со всѣмъ тѣмъ въ талантѣ Достоевскаго такъ много самостоятельности, что это теперь очевидное вліяніе на него Гоголя вѣроятно не будетъ продолжительно и скоро исчезнетъ съ другими, собственно ему принадлежащими недостатками, хотя тѣмъ не менѣе Гоголь навсегда останется, такъ сказать, его отцомъ по творчеству. Продолжая эту риторическую фигуру сравненія, прибавимъ, что тутъ нѣтъ даже никакого намека на подражательность: сынъ, живя своей собственной жизнью и мыслью, тѣмъ не менѣе все-таки обязанъ своимъ существованіемъ отцу. Какъ бы ни великолѣпно и ни роскошно развился въ послѣдствіи талантъ Достоевскаго, Гоголь навсегда останется Колумбомъ той неизмѣрной и неистощимой области творчества, въ которой долженъ подвизаться Достоевскій. Пока еще трудно опредѣлить рѣшительно, въ чемъ заключается особенность, такъ сказать, индивидуальность и личность таланта Достоевскаго, но что онъ имѣетъ все это, въ томъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Судя по «Бѣднымъ Людямъ», мы заключили было, что глубоко-человѣчественный и патетическій элементъ, въ сліяніи съ юмористическимъ, составляетъ особенную черту въ характерѣ его таланта; но, прочтя «Двойника», мы увидѣли, что подобное заключеніе было бы слишкомъ поспѣшно. Правда, только нравственно слѣпые и глухіе не могутъ не видѣть и не слышать въ «Двойникѣ» глубоко-патетическаго, глубоко-трагическаго колорита и тона; но, во-первыхъ, это въ колоритѣ и тонѣ въ «Двойникѣ» спрятались, такъ сказать, за юморъ, замаскировались имъ, какъ въ «Запискахъ Сумасшедшаго» Гоголя... Вообще талантъ Достоевскаго при всей его огромности еще такъ молодъ, что не можетъ высказаться и высказаться опредѣленно. Это естественно: отъ писате-

ля, который весь высказывается первым своим произведениемъ, многого ожидать нельзя. Какъ ни хорошъ «Герой Нашего Времени», но еслибъ кто подумалъ, что Лермонтовъ впоследствии не могъ бы написать чего-нибудь несравненно лучшаго, тотъ этимъ показалъ бы, что онъ не слишкомъ высокаго мнѣнія о талантѣ Лермонтова.

Мы сказали, что въ обоихъ романахъ Достоевскаго замѣтно сильное вліяніе Гоголя, и это должно относиться только къ частностямъ, къ оборотамъ фразы, но отнюдь не къ концепціи цѣлаго произведенія и характеровъ дѣйствующихъ лицъ. Въ послѣднихъ двухъ отношеніяхъ талантъ Достоевскаго блеститъ яркой самостоятельностью. Если можно подумать, что Макару Алексѣвичу Дѣвушкину, старику Покровскому и Голядкину старшему Достоевскаго нѣсколько сродни Поприцину и Акакіевичъ Башмакинъ Гоголя, то въ то же время нельзя не видѣть, что между лицами романовъ Достоевскаго и повѣстей Гоголя существуетъ такая же разница, какъ и между Поприцинымъ и Башмакинымъ, хотя оба эти лица созданы однимъ и тѣмъ же авторомъ. Мы даже думаемъ, что Гоголь только первый навелъ всѣхъ (и въ этомъ его заслуга, которой подобной уже никому болѣе не оказать) на эти забытые существованія въ нашей дѣйствительности, но что Достоевскій самъ собой взялъ ихъ въ той же самой дѣйствительности.

Нельзя не согласиться, что для перваго дебюта «Вѣдныя Люди» и непосредственно за ними «Двойникъ» — произведенія необыкновеннаго размѣра, и что такъ еще никто не начиналъ изъ русскихъ писателей. Конечно это доказываетъ со всѣмъ не то, чтобы Достоевскій по таланту былъ выше своихъ предшественниковъ (мы далеки отъ подобной негѣпой мысли), но только то, что онъ имѣлъ передъ ними выгоду явиться послѣ нихъ; однакожъ со всѣмъ тѣмъ подобный дебютъ ясно указываетъ на мѣсто, которое со временемъ займетъ Достоевскій въ русской литературѣ, и на то, что еслибъ онъ и не сталъ рядомъ съ своими предшественниками, какъ равный съ равными, то долго еще ждать намъ таланта, который бы сталъ къ нимъ ближе его. Посмотрите, какъ проста завязка въ «Вѣдныхъ Людяхъ»: вѣдь и рассказать нечего! А между тѣмъ такъ много приходится рассказывать, если удержаться на это! Вѣдныи пожилой чиновникъ, недалекаго ума, безъ всякаго образования, но съ безконечно-доброй душой и теплымъ сердцемъ, опираясь на право

дальняго, чуть ли еще не придуманнаго имъ для благовиднаго предлога, родства, исхищаетъ бѣдную дѣвушку изъ рукъ гнусной торговки женской добродѣтелью, дѣвической красотой. Авторъ не говоритъ намъ, любовь ли заставила этого чиновника почувствовать состраданіе, или состраданіе родило въ немъ любовь къ этой дѣвушкѣ; только мы видимъ, что его чувство къ ней не просто отеческое и стариковское, не просто чувство одинокаго старика, которому нужно кого-нибудь любить, чтобъ не возненавидѣть жизни и не замереть отъ ея холода, и которому всего естественнѣе полюбить существо, обязанное ему, одолженное имъ, — существо, къ которому онъ привыкъ и которое привыкло къ нему. Нѣтъ, въ чувствѣ Макара Алексѣвича къ его «маточкѣ, ангелчику и херувимчику Варинькѣ» есть что-то похожее на чувство любовника, — на чувство, которое онъ силится не признавать въ себѣ, но которое у него противъ воли по временамъ прорывается наружу, и которое онъ не сталъ бы скрывать, еслибъ замѣтилъ, что она смотритъ на него не какъ на вовсе неумѣстное. Но бѣднякъ видитъ, что этого нѣтъ, и съ героическимъ самоотверженіемъ остается при роли родственника-покровителя. Иногда онъ разнѣживается, особенно въ первомъ письмѣ, насчетъ поднятаго уголочка оконной занавѣски, хорошей весенней погоды, птичекъ небесныхъ и говоритъ, что «все въ розовомъ цвѣтѣ представляется». Получивъ въ отвѣтъ намекъ на его лѣта, бѣднякъ впадаетъ въ тоску, чувствуя, что его поймали на шалости, и досада его слегка высказывается только въ увѣреніяхъ, что онъ еще вовсе не старикъ. Эти отношенія, это чувство, эта старческая страсть, въ которой такъ чудно слились и доброта сердечная, и любовь, и привычка, — все это развито авторомъ съ удивительнымъ искусствомъ, съ неподражаемымъ мастерствомъ. Дѣвушкинъ, помогая Варинькѣ Доброселовой, забираетъ впередъ жалованье, входитъ въ долги, терпитъ страшную нужду и въ лютыя минуты отчаянія, какъ русскій человѣкъ, ищетъ забвенія въ пьянствѣ. Но какъ онъ деликатенъ по истинкѣ! Благодарѣтельствуя, онъ лишаетъ себя всего, такъ сказать, обворовываетъ, грабитъ самого себя, — до послѣдней крайности обманываетъ свою Вариньку небывалымъ у него капиталомъ въ ломбардѣ, и если проговаривается объ истинномъ своемъ положеніи, то по стариковской олтливости и такъ просто-душно! Ему не приходитъ въ голову, что онъ приобрѣлъ право своими пожертвованіями требовать вознагражденія любовью за любовь, тогда какъ по тѣснотѣ и узкости его

понятій онъ могъ бы навязать себя Варинь-кѣ въ мужья уже по тому естественному и весьма справедливому убѣжденію, что никто, какъ онъ, не можетъ такъ любить ее и всего себя принести ей на жертву; но отъ нея онъ не потребовалъ жертвы: онъ любилъ ее не для себя, а для нея самой, и жертвовать для ней всѣмъ—было для него счастьемъ. Чѣмъ ограниченнѣе его умъ, чѣмъ тѣснѣе и грубѣе его понятія, тѣмъ, кажется, шире, благороднѣе и деликатнѣе его сердце; можно сказать, что у него всѣ умственные способности изъ головы перешли въ сердце. Многіе могутъ подумать, что въ лицѣ Дѣвушкина авторъ хотѣлъ изобразить человѣка, у котораго умъ и способности придавлены, приплюснуты жизнью. Была бы большая ошибка думать такъ. Мысль автора гораздо глубже и гуманнѣе: онъ въ лицѣ Макара Алексѣвича показывалъ намъ, какъ много прекраснаго, благороднаго и святаго лежитъ въ самой ограниченной человѣческой натурѣ. Конечно не всѣ бѣдняки такого рода похожи на Макара Алексѣвича въ его хорошихъ свойствахъ, и мы согласны, что такіе люди рѣдки, но въ то же время нельзя не согласиться и съ тѣмъ, что на такихъ людей мало обращаютъ вниманія, мало ими занимаются, мало ихъ знаютъ. Если богачъ, ежедневно проѣдающій сто, двѣсти и больше рублей, бросить нищему двадцать пять рублей, всѣ замѣчаютъ это и, въ чаяніи получить отъ него больше, умиляются душой отъ его великодушнаго поступка. Но бѣднякъ, отдающій такому же бѣдняку, какъ и онъ самъ, свои послѣднія двадцать копѣекъ мѣдью, какъ отдастъ ихъ Дѣвушкинъ Горшкову,—такой бѣднякъ не всѣхъ тронетъ и въ повѣсти, мастерски написанной, а въ дѣйствительности въ его поступкѣ не захотѣли бы увидѣть ничего, кромѣ смѣшного. Честь и слава молодому поэту, муза котораго любитъ людей на чердакахъ и въ подвалахъ, и говорить о нихъ обитателямъ раззолоченныхъ палатъ: «вѣдь это тоже люди, ваши братья!»

Обратите вниманіе на старика Покровскаго—и вы увидите ту же гуманную мысль автора. Подставной мужъ обольщенной и обманутой женщины, потому угнетенный мужъ разлукъ, бой-бабы, шутъ и пьяница—и онъ человѣкъ! Вы можете смѣяться надъ его любовью къ своему мнимому сыну, напоминающую робкую любовь собаки къ человѣку, но если, смѣясь надъ ней, вы въ то же время глубоко ею не трогаетесь, если изображеніе Покровскаго, съ книгами въ карманѣ и подъ мышкой, безъ шапки на головѣ, въ дождь и холодъ бѣгущаго за гробомъ смѣшно-любимаго имъ сына,—не производитъ

на васъ трагическаго впечатлѣнія, не говорите объ этомъ никому, чтобъ какой-нибудь Покровскій, шутъ и пьяница, не покраснѣлъ за васъ, какъ за человѣка...

Вообще трагическій элементъ глубоко проникаетъ собою весь этотъ романъ. И этотъ элементъ тѣмъ поразительнѣе, что онъ передается читателю не только словами, но и понятіями Макара Алексѣвича. Смѣшны и глубоко потрясать душу читателя въ одно и то же время, заставить его улыбаться сквозь слезы,—какое умѣнье, какой талантъ! И никакихъ мелодраматическихъ пружинъ, ничего похожаго на театральные эффекты! Все такъ просто и обыкновенно, какъ та будничная, повседневная жизнь, которая кипитъ вокругъ каждаго изъ насъ и пошлость которой нарушается только неожиданнымъ появленіемъ смерти, то къ тому, то къ другому!... Всѣ лица обрисованы такъ полно, такъ ярко, не исключая ни лица Быкова, только на минуту появляющагося въ романѣ собственной особой, ни лица Анны Ѳедоровны, ни разу не появляющейся въ романѣ собственной особой. Отецъ и мать Доброселовой, старикъ и юноша Покровскіе, жалкій писака Ратазневъ, ростовщикъ,—словомъ, каждое лицо даже изъ тѣхъ, которыя или только вскользь показываются, или только заочно упоминаются въ романѣ, такъ и стоитъ передъ читателемъ, какъ будто давно коротко ему знакомое. Можно бы замѣтить, и не безъ основанія, что лицо Вариньки какъ-то несовсѣмъ опредѣленно и неокончено; но, видно, ужъ такова участь русскихъ женщинъ, что русская поэзія не ладитъ съ ними да и только! Не знаемъ, кто тутъ виноватъ, русскія ли женщины, или русская поэзія; но знаемъ, что только Пушкину удалось въ лицѣ Татьяны схватить нѣсколько чертъ русской женщины, да и то ему необходимо было сдѣлать ее свѣтской дамой, чтобъ сообщить ей характеру опредѣленность и самобытность. Журналъ Вариньки прекрасенъ, но все-таки, по мастерству изложенія, его нельзя сравнить съ письмами Дѣвушкина. Замѣтно, что авторъ тутъ былъ не совсѣмъ, какъ говорится, у себя дома; но и тутъ онъ блистательно умѣлъ выйти изъ затруднительнаго положенія. Воспоминанія дѣтства, перенѣздъ въ Петербургъ, разстройство дѣла Доброселова, ученіе въ пансіонѣ, особенно жизнь въ домѣ Анны Ѳедоровны, отношенія Вариньки къ Покровскому, ихъ сближеніе, портретъ отца Покровскаго, подарокъ молодому Покровскому въ день именинъ, смерть Покровскаго, все это равноказано съ изумительнымъ мастерствомъ. Доброселова не выговариваетъ ни одного щекотливаго для нея обстоятельства, ни безчестныхъ видовъ на нее Анны

Федоровны, ни своей любви къ Покровскому, ни своего потомъ невольнаго паденія; но читатель самъ видитъ все такъ ясно, что ему и не нужно никакихъ объясненій.

Разсказывать содержаніе этого романа было бы излишне; дѣлать большія выписки тоже. Но не мѣшаетъ инымъ можетъ быть забывчивымъ читателямъ напомнить ихъ же собственныя впечатлѣнія, ихъ же самихъ призвать въ свидѣтели справедливости и вѣрности нашего мнѣнія о высокомъ художественномъ достоинствѣ «Бѣдныхъ Людей», и потому считаемъ необходимымъ выписать нѣсколько мѣстъ изъ писемъ Макара Алексѣевича. Это не дастъ большой работы вниманію читателей;—а между тѣмъ посреди нихъ вѣроятно найдутся такіе, которыми эти выписанныя нами мѣста покажутся какъ-будто новыми, въ первый разъ прочитанными, и это обстоятельство можетъ быть заставить ихъ вновь перечесть всю повѣсть и сознаться себѣ, что они только при этомъ второмъ чтеніи поняли ее... Такія произведенія, какъ «Бѣдные Люди», никому не даются съ перваго раза: они требуютъ не только чтенія, но и изученія.

«Пишу къ вамъ внѣ себя. Я весь взволнованъ страшнымъ происшествіемъ. Голова моя вертится кругомъ. Я чувствую, что все вокругъ меня вертится. Ахъ, родная моя, что я разскажу-то вамъ теперь! Вотъ мы и не предчувствовали этого. Нѣтъ, я не вѣрю, чтобы я не предчувствовалъ: я все это предчувствовалъ. Все это заранѣ слышалось моему сердцу! Я даже намедни во снѣ что-то видѣлъ подобное.

«Вотъ что случилось. — Разскажу вамъ безъ слога, а такъ, какъ мнѣ на душу Господь положить. Пошелъ я сегодня въ должность. Пришелъ, сижу, пишу. А нужно вамъ знать, маточка, что я и вчера писалъ тоже. Ну, такъ вотъ вчера подходитъ ко мнѣ Тимошей Ивановичъ и лично изволить показывать, что—вотъ, дескать, бумага нужная, спѣшная. Перепишите, говоритъ, Макарь Алексѣевичъ, почище, поспѣшнѣе и тщательно; сегодня къ подписанію идетъ.—Замѣтите вамъ нужно, ангельчикъ, что вчерашняго дня я былъ самъ не свой; ни на что и глядѣть не хотѣлось; грусть, тоска такая напала! На сердцѣ холодно, на душѣ темно; въ памяти все вы были, моя ясочка. Ну, вотъ, я и принялся переписывать; переписалъ чисто, хорошо, только ужъ не знаю какъ вамъ точнѣе сказать, самъ ли печальный меня попуталъ, или тайными судьбами какими определено было, или просто такъ должно было сдѣлаться—только пропустилъ я цѣлую строчку; смыслъ-то и вышелъ Господь его знаетъ какой, просто никакого не вышло. Съ бумагой-то вчера опоздали и подали ее на подписаніе его превосходительству только сегодня. Я, какъ ни въ чемъ не бывало, являюсь сегодня въ обычный часъ и располагаюсь рядкомъ съ Емельяномъ Ивановичемъ. Нужно вамъ замѣтить, родная, что я съ недавняго времени сталъ вдвое болѣе прежняго совѣститься и въ стыдъ приходить. Я въ послѣднее время и не глядѣлъ ни на кого. Чуть стулъ зашриптитъ у кого-нибудь, такъ ужъ я и ни живъ, ни мертвъ. Вотъ точно такъ и сегодня, приникъ, присмирѣлъ, сжму сажу, такъ что Ефимъ Акимовичъ такой задирала, какого я на свѣтѣ до

него не было) сказать во всеуслышаніе: Что, дескать, вы, Макарь Алексѣевичъ, сидите сегодня такимъ у-у-у! да тутъ такую гримасу скорчилъ, что всѣ, кто около него и меня ни были, такъ и покатались со смѣху, и ужъ, разумѣется, на мой счетъ. И пошли, и пошли! Я и уши прижалъ, и глаза зажурилъ, сижу себѣ, не пошевелился. Таковъ ужъ обычай мой; они этакъ скорѣй отскажутъ. И такъ я уткнулся носомъ въ бумагу и пишу перомъ. Вдругъ слышу шумъ, бѣготня, суетня; слышу—не обманываются ли уши мои? вонзутъ меня, требуютъ меня, вонзутъ Дѣвушкина. Задрожало у меня сердце въ груди, и ужъ самъ не знаю, чего я испугался; только знаю то, что я такъ испугался, какъ никогда еще въ жизни со мной не было. Я приросъ къ стулу,—и какъ ни въ чемъ не бывало, точно и не я. Но вотъ, опять начали; ближе и ближе. Вотъ ужъ надъ самымъ ухомъ моимъ: дескать, Дѣвушкина! Дѣвушкина! гдѣ Дѣвушкинъ? Поднимаю глаза: передо мной Евстафій Ивановичъ; говоритъ: Макарь Алексѣевичъ! къ его превосходительству, скорѣе! Бѣды вы съ бумагой надѣлали. Только это одно и сказалъ, да довольно, не правда ли, маточка, довольно сказано было? Я помертвѣлъ, одеснѣлъ, чувствъ лишился, иду—ну, да ужъ просто ни живъ, ни мертвъ отправился. Ведутъ меня черезъ одну комнату, черезъ другую комнату, черезъ третью комнату, въ кабинетъ—предстагъ! Положительнаго отчета, объ чемъ я тогда думалъ, я вамъ дать не могу. Вижу, стоятъ его превосходительство, вокругъ него всѣ они. Я, кажется, не поклонился; позабылъ. Оторопѣлъ такъ, что и губы трасутся, и ноги трасутся. Да и было отъ чего, маточка. Во первыхъ, совѣстно; я взглянулъ направо въ зеркало, такъ просто было, отъ чего съ ума сойти отъ того, что я тамъ увидѣлъ. А во вторыхъ, я всегда дѣлалъ такъ, какъ будто бы меня и на свѣтѣ не было. Такъ что едва ли его превосходительство были извѣстны о существованіи моемъ. Можетъ быть слышали, такъ, мелькомъ, что есть у нихъ въ вѣдомствѣ Дѣвушкинъ, но въ кратчайшія сего сношенія никогда не входили.

«Начали гнѣвно: какъ же это вы, сударь! Чего вы смотрите? нужная бумага, нужно къ смѣху, а вы ее портите. И какъ же вы это,—тутъ его превосходительство обратились къ Евстафію Ивановичу. Я только слышу какъ до меня звуки словъ долетаютъ:—нерадѣе! неосмотрительность! Вводите въ неприятность!—Я раскисъ было ротъ для чего-то. Хотѣлъ было прошенія просить, да не могъ, убѣжать—покусаться не смѣлъ, и тутъ... тутъ, маточка, такое случилось, что я и теперь едва перо держу отъ стыда.—Моя пуговка—ну ее къ бѣсу—пуговка, что висѣла у меня на ниточкѣ—вдругъ сорвалась, отскочила, запрыгала (и видно задѣлъ ее нечаянно), зазвенѣла, покатила и прямо, такъ-таки прямо, проклятая, къ столамъ его превосходительства, и это посреди всеобщаго молчанія! Вотъ и все было мое оправданіе, все извиненіе, весь отвѣтъ, все, что я собирался сказать его превосходительству! Послѣдствія были ужасны! Его превосходительство тотчасъ обратили вниманіе на фигуру мою и на мой костюмъ. Я вспомнилъ, что я видѣлъ въ зеркалѣ, я бросился ловить пуговку, нашла на меня дурь, нагнулся, хочу взять пуговку, катается, вертится, не могу поймать, словомъ, и въ отношеніи ловкости отличился. Тутъ ужъ я чувствую, что и послѣднія силы меня оставляютъ, что ужъ все, все потеряно! Вся репутація потеряна, весь человѣкъ пропалъ! А тутъ въ обоихъ ухахъ ни съ того, ни съ сего и Тереза, и Фальдони, и пошло перезванивать. Наконецъ поймалъ пуговку, приподнялся, вытянулся, да ужъ колѣ дуракъ, такъ стоялъ бы себѣ смирно, руки по швамъ! Такъ

нѣтъ же. Началъ пуговку къ оторваннымъ ниткамъ прилаживать, точно оттого она и приста-
неть; да еще улыбаюсь, да еще улыбаюсь. Его
превосходительство отвернувшись сначала, потомъ
опять на меня взглянулъ—слышу говорить Евста-
фію Ивановичу: какъ же?... посмотрите въ ка-
комъ онъ видѣ?... какъ онъ!... что онъ!... — Ахъ,
родная моя, что ужъ тутъ—какъ онъ? Да что
онъ? Отличился, въ полномъ смыслѣ слова отли-
чился. Слышу, Евстафій Ивановичъ говорить—не
замѣченъ, ни въ чемъ не замѣченъ, поведения
примѣрнаго, жалованья достаточно, по окладу...
Ну, облегчите его какъ-нибудь, говорить его пре-
восходительство. Выдать ему впередъ... — Да за-
бралъ, говорятъ, забралъ, вотъ за столько-то вре-
мени впередъ забралъ. Обстоятельства вѣрно та-
кія, а поведения хорошаго и не замѣченъ, никогда
не замѣченъ. — Я, ангельчикъ мой, горѣлъ, въ
адскомъ огнѣ горѣлъ! Я умираю! — Ну, говорить
его превосходительство громко: переписать же
вновь поскорѣе; дѣвушка, подойдите сюда, пе-
репишите опять вновь безъ ошибки; да послу-
шайте: тутъ его превосходительство обернулся
къ прочимъ, раздали приказанія разнымъ, и всѣ
разошлись. Только что разошлись они, его пре-
восходительство поспѣшно вынимаетъ книжечку
и изъ него сторублевою: вотъ—говорятъ они—чѣмъ
могу, считайте какъ хотите, возьмите... да и всу-
нулъ мнѣ въ руку. Я, ангелъ мой, вздрогнулъ,
вся душа моя потряслась; не знаю, что было со
мною; а было схватить ихъ ручку хотѣлъ. А онъ-то
весь покраснѣлъ, мой голубчикъ, да—вотъ ужъ
тутъ ни на волосокъ отъ правды не отступаю,
родная моя; ваялъ мою руку недостойную, да и
потрясъ ее, такъ-таки ваялъ да и потрясъ, словно
ровня своей, словно такому же какъ самъ гене-
ралу. Ступайте, говорятъ; чѣмъ могу... Ошибокъ
не дѣлайте, а теперь грѣхъ пополамъ.»

Такая страшная сцена можетъ не по-
трясти глубоко только душу такого чело-
вѣка, для котораго челоѣкъ, если онъ чи-
новникъ не выше 9-го класса, не стоитъ ни
вниманія, ни участія. Но всякое челоѣче-
ское сердце, для котораго въ мірѣ ничего
нѣтъ выше и священнѣе челоѣка, кто бы
онъ ни былъ, всякое челоѣческое сердце
судорожно и болѣзненно сожмется отъ этой
повторяемъ, страшной, глубоко-патетиче-
ской сцены... И сколько потрясающаго душу
дѣйствія заключается въ выраженіи его
благодарности, смѣшанной съ чувствомъ со-
знанія своего паденія и съ чувствомъ того
самоуниженія, которое бѣдность и ограни-
ченность ума часто считаютъ за добродѣ-
тели...

«Теперь, мамочка, вотъ какъ я рѣшилъ: васъ
и Федору прошу, и еслибы и дѣти у меня были,
то и имъ бы повелѣлъ, чтобъ Богу молились,
то-есть вотъ какъ: за родного отца не молились
бы, а за его превосходительство каждодневно и
вѣчно бы молились! Еще скажу, маточка, и это
торжественно говорю—слушайте меня, маточка,
хорошенько—клянусь, что какъ ни погибалъ я
отъ скорби душевной, въ лютые дни нашего зло-
получія, глядя на васъ, на ваши бѣдствія, и на
себя, на униженіе мое и мою неспособность, не-
смотря на все это, клянусь вамъ, что не такъ мнѣ
сто рублей дороги, какъ то, что его превосходи-
тельство сами мнѣ, соломи, пьяницѣ, руку мою
недостойную пожать позволили. Этими они меня
самому себѣ возвратили. Этими поступкомъ они

мой духъ воскресили, жизнь мнѣ слаше на вѣки
сдѣлали, и я твердо увѣренъ, что я какъ ни грѣ-
шенъ передъ Всевышнимъ, но молитва о счастьи
и благополучіи его превосходительства дойдетъ
до престола Его!..»

Другимъ образомъ, но не менѣе ужасна
эта картина:

«Сего числа случилось у насъ на квартирѣ до-
нельзя горестное, ни чѣмъ необъяснимое и не-
ожиданное событіе. Нашъ бѣдный Горшковъ (за-
мѣтитъ вамъ нужно, маточка) совершенно оправ-
дался. Рѣшеніе-то ужъ давно какъ вышло, а сего-
дня онъ ходилъ слушать окончательную револю-
цію. Дѣло для него весьма счастливо кончилось.
Какая тамъ была вина на немъ, за нерадѣніе и
неосмотрительность—на все вышло полное отпу-
щеніе. Приступили выправить въ его пользу съ
купца знатную сумму денегъ, такъ что онъ и
обстоятельствами-то сильно поправился, да и
честь-то его отъ пятна избавилась, и все стало
лучше,—однимъ словомъ, вышло самое полное
исполненіе желанія. Пришелъ онъ сегодня въ
три часа домой. На немъ лица не было, блѣдный
какъ полотно, губы у него трясутся, а самъ улы-
бается—обнялъ жену, дѣтей. Мы всѣ гурьбой
ходили къ нему поздравлять его. Онъ былъ весьма
растроганъ нашимъ поступкомъ, кланялся на всѣ
стороны, жалъ у каждаго изъ насъ руку по нѣ-
скольку разъ. Мнѣ даже показалось, что онъ и
выростъ-то, и выпрямился-то, и что у него и сле-
зинки-то нѣтъ уже въ глазахъ. Въ волненіи былъ
такимъ бѣдный! Двухъ минутъ на мѣстѣ не могъ
простоять; бралъ въ руки все, что ему ни попа-
далось, потомъ опять бросалъ, безпрестанно улы-
бался и кланялся, садился, вставалъ, опять са-
дился, говорилъ Богу знать что такое—гово-
рилъ: «честь моя, честь, доброе имя, дѣти мои»—
и какъ говорилъ-то! Даже заплакалъ. Мы тоже
большую частію прослезнились. Ратазаявъ видно
хотѣлъ его ободрить и сказалъ—«что, батюшка,
честь, когда нечего ѣсть, деньги, батюшка, деньги
главное, вотъ за что Бога благодарите!»—и тутъ
же его по плечу потрепалъ. Мнѣ показалось, что
Горшковъ обидѣлся, т. е. не на то чтобъ прямо
неудовольствіе выказалъ, а только посмотрѣлъ
какъ-то странно на Ратазаява, да руку его съ
плеча своего снялъ. А прежде бы этого не было,
маточка! Впрочемъ! различные бываютъ характе-
ры. — Вотъ я, напримѣръ, на такихъ радостяхъ
гордецомъ бы не выказался; вѣдь чего, родная
моя, иногда и поклонъ лишній и униженіе
нельзяешь, не отъ чего много, какъ отъ при-
падка доброты душевной и отъ излишней ма-
лости сердца.. но впрочемъ не во мнѣ тутъ и
дѣло-то. — Да, говорить, и деньги хорошо; слава
Богу, слава Богу!.. и потомъ все время, какъ мы
у него были, твердилъ: слава Богу, слава Богу!..
Жена его заказала обѣдъ поделекатнѣе, пообиль-
нѣе. Хозяйка наша сама для нихъ страпала. Хо-
зяйка наша отчасти добрая женщина. А до обѣда
Горшковъ на мѣстѣ не могъ усидѣть. Заходилъ
ко всѣмъ въ комнаты, звали ль, не звали его.
Такъ себѣ войдетъ, улыбнется, присядетъ на стулъ;
скажетъ что-нибудь, а иногда и ничего не ска-
жетъ и уйдетъ. У мичмана даже карты въ руки
ваялъ; его и усадили играть за четвертаго. Онъ
поигралъ-поигралъ, напуталъ въ игръ какого-то
ведора, сдѣлалъ три-четыре хода и бросилъ
играть. Нѣтъ, говорить, вѣдь я такъ, а это только
такъ—и ушелъ отъ нихъ. Меня истрѣтилъ въ
корридорѣ, ваялъ меня за обѣ руки, посмотрѣлъ
мнѣ прямо въ глаза, только такъ чудно, пожалъ
мнѣ руку и отошелъ, и все улыбался, но какъ-то
тяжело, странно улыбался, словно мертвый. Жена
его плакала отъ радости несело такъ у нихъ

было, по праздничному. Пообѣдали они скоро. Вотъ послѣ обѣда онъ и говоритъ жѣнѣ: — «Послушайте, душонька, вотъ я немножко прилягу» — да и пошелъ на постель. Подозвалъ къ себѣ дочку, положилъ ей на голову руку и долго долго гладилъ по головѣ ребенка. Потомъ опять оборотился къ жѣнѣ; дескать, а что жъ Петинька? Петья нашь, Петинька?.. Жѣна перекрестилась да и отвѣчаетъ, что вѣдь онъ уже умеръ. — Да, да, знаю, все знаю, Петинька теперь въ царствѣ небесномъ. — Жѣна видитъ, что онъ самъ не свой, что происшествіе-то его потрясло совершенно, и говоритъ ему — вы бы, душонька, заснули. — Да, говорить, а сейчасъ... а немножко, — тутъ онъ отвернулся, полежалъ немножко, потомъ оборотился, хотѣлъ сказать что-то. Жѣна его не расслышала; спросила его: что, мой другъ? А онъ не отвѣчаетъ. Она подождала немножко — ну, думаетъ, уснулъ, и вышла на часокъ къ хозяйкѣ. Черезъ часъ времени воротилась — видитъ, мужъ еще не проснулся и лежитъ себѣ не шелохнется. Она думала, что спитъ, сѣла и стала работать что-то. Она рассказываетъ, что она работала съ полчася и такъ погрузилась въ размышленіе, что даже и не помнитъ, о чемъ она думала, говорить только, что она и позабыла объ мужѣ. Только вдругъ она очнулась отъ какого-то тревожнаго ощущенія, и гробовая тишина въ комнатѣ поразила ее прежде всего. Она посмотрѣла на кроватъ и видитъ, что мужъ лежитъ все въ одномъ положеніи. Она подошла къ нему, сдернула одеяло, смотреть — а ужъ онъ холодехонекъ — умеръ, маточка, умеръ Горшковъ, внезапно умеръ, словно его громомъ убило. А отчего умеръ, Богъ его знаетъ. Меня это такъ сразило, Варинька, что я до сихъ поръ опомниться не могу. Не вѣрится что-то, чтобы такъ просто могъ умереть человѣкъ. Этакой бѣднѣга, горемыка этотъ Горшковъ! Ахъ судьба-то, судьба какаа! Жѣна въ слезахъ, такая испуганная. Дѣвочка куда-то въ уголъ забилась. У нихъ тамъ суматоха такая идетъ; слѣдствіе медицинское будутъ дѣлать... ужъ не могу самъ навѣрное сказать. Только жалко! Грустно подумать, что такъ въ самомъ дѣлѣ ни дня, ни часа не вѣдаешь!.. Погибаетъ ни за что...

Что передъ этой картиной, написанной такой широкой и мощной кистью, что передъ нею мелодраматическіе ужасы въ повѣстяхъ модныхъ французскихъ фельетонныхъ романистовъ! Какая страшная простота и истина! И кто все это рассказываетъ? — ограниченный и смѣшной Макарь Алексѣвичъ Дѣвушкинъ!..

Мы не будемъ больше указывать на превосходныя частности этого романа: легче перечестъ весь романъ, нежели пересчитать все, что въ немъ превосходнаго, потому что онъ весь, въ цѣломъ — превосходенъ. Упомянемъ только о послѣднемъ письмѣ Дѣвушкина къ его Варинькѣ: это слезы, рыданіе, вопль, раздирающіе душу! Тутъ все истинно, глубоко и велико, а между тѣмъ это пишется ограниченный, смѣшной Макарь Алексѣвичъ Дѣвушкинъ! И читая его, вы сами готовы рыдать и въ то же время улыбаются... Сколько сокрушительной силы любви, горя и отчаянія въ этихъ простодушныхъ словахъ старика, теряющаго все, чѣмъ мила была ему жизнь: «Да вы знаете

ли только, что тамъ такое, куда вы ѣдете, маточка? Вы можете-быть этого не знаете, такъ меня спросите! Тамъ степь, родная моя, тамъ степь чистая, голая степь, вотъ какъ моя ладошь голая! Тамъ ходитъ баба безчувственная, да мужикъ необразованный пьяница ходитъ...».

Мы думаемъ, что теперь кстати сказать нѣсколько словъ и о «Двойникѣ», хотя онъ и не относится къ «Петербургскому Сборнику». Какъ талантъ необыкновенный, авторъ нисколько не повторился во второмъ своемъ произведеніи, — и оно представляетъ у него совершенно новый міръ. Герой романа — Г. Голядкинъ — одинъ изъ тѣхъ обидчивыхъ, помѣшанныхъ на амбиціи людей, которые такъ часто встрѣчаются въ низшихъ и среднихъ слояхъ нашего общества. Ему все кажется, что его обижаетъ и словами, и взглядами, и жестами, что противъ него всюду составляются интриги, ведутся подкопы. Это тѣмъ смѣшнѣе, что онъ ни состояніемъ, ни чиномъ, ни мѣстомъ, ни умомъ, ни способностями рѣшительно не можетъ ни въ комъ возбудить къ себѣ зависти. Онъ не уменъ и не глупъ, не богатъ и не бѣденъ, очень добръ и до слабости мягокъ характеромъ, и жить ему на свѣтѣ было бы совсѣмъ недурно, но болѣзненная обидчивость и подозрительность его характера есть черный демонъ его жизни, которому суждено сдѣлать адъ изъ его существованія. Если внимательно осмотрѣться кругомъ себя, сколько увидишь господъ Голядкиныхъ, и богатыхъ, и глупыхъ, и умныхъ! Г. Голядкинъ въ восторгѣ отъ одной своей добродѣтели, которая состоитъ въ томъ, что онъ ходитъ не въ маскѣ, не интриганъ, дѣйствуетъ открыто и идетъ прямой дорогой. Еще въ началѣ романа, изъ разговора съ докторомъ Крестьяномъ Ивановичемъ, не мудрено догадаться, что Г. Голядкинъ разстроенъ въ умѣ. И такъ, герой романа — сумасшедшій! Мысль смѣлая и выполненная авторомъ съ удивительнымъ мастерствомъ! Считаю излишнимъ слѣдить за ея развитіемъ, указывать на отдѣльныя мѣста и удивляться цѣлому созданію. Для всякого, кому доступны тайны искусства, съ перваго взгляда видно, что въ «Двойникѣ» еще больше творческаго таланта и глубины мысли, нежели въ «Бѣдныхъ Людяхъ». А между тѣмъ почти общій голосъ петербургскихъ читателей рѣшилъ, что этотъ романъ несносно растянутъ и оттого ужасно скученъ, изъ чего де и слѣдуетъ, что объ авторѣ напрасно прокричали, и что въ его талантѣ нѣтъ ничего необыкновеннаго!.. Справедливо ли такое заключеніе? — Мы, не обвиняясь, скажемъ, что съ одной стороны оно крайне ложно

а съ другой—что въ немъ есть основаніе, какъ оно всегда бываетъ въ сужденіи непонимающей самой себя толпы.

Начнемъ съ того, что «Двойникъ» насколько не растянута, хотя и нельзя сказать, чтобъ онъ не былъ утомителенъ для всякаго читателя, какъ бы глубоко и вѣрно ни понималъ и ни цѣнилъ онъ талантъ автора. Дѣло въ томъ, что такъ называемая растянутасть бываетъ двухъ родовъ: одна происходитъ отъ бѣдности таланта,—вотъ это-то и есть растянутасть; другая происходитъ отъ богатства, особливо молодого таланта, еще не созрѣвшаго, и ее слѣдуетъ называть не растянутастью, а излишней плодovitостью. Еслибъ авторъ «Двойника» далъ намъ перо въ руки съ безусловнымъ правомъ исключать изъ рукописи его «Двойника» все, что показалось бы намъ растянутымъ и излишнимъ,—у насъ не поднялась бы рука ни на одно отдѣльное мѣсто, потому что каждое отдѣльное мѣсто въ этомъ романѣ — верхъ совершенства. Но дѣло въ томъ, что такихъ превосходныхъ мѣстъ въ «Двойникѣ» ужъ чрезчуръ много, а одно да одно, какъ бы ни было оно превосходно, и утомляетъ, и наскучаетъ. Демьянова уха была сварена на славу, и сосѣдъ Фока ѣлъ ее съ аппетитомъ и всласть; но наконецъ бѣжалъ же отъ нея... Очевидно, что авторъ «Двойника» еще не приобрѣлъ себѣ такта мѣры и гармоніи, и оттого не совсѣмъ безосновательно многіе упрекаютъ въ растянутасти даже и «Бѣдныхъ Людей», хотя этотъ упрекъ и идетъ къ нимъ меньше, нежели къ «Двойнику». И такъ, въ этомъ отношеніи судъ толпы справедливъ; но онъ ложенъ въ выводѣ о талантѣ Достоевскаго. Самая эта чрезмѣрная плодovitость только служитъ доказательствомъ того, какъ много у него таланта и какъ великъ его талантъ.

Что же тутъ дѣлать молодому автору? Продолжать ли идти своей дорогой, никого не слушая, или, желая угодить толпѣ, стараться приобрести преждевременную, слѣдовательно искусственную зрѣлость своему таланту и, за неимѣніемъ естественнаго, прибѣгнуть къ поддѣльному чувству мѣры? По нашему мнѣнію, обѣ эти крайности равно губительны. Талантъ долженъ идти своей дорогой, съ каждымъ днемъ естественнымъ образомъ избавляясь отъ своего главнаго недостатка, т. е. молодости и незрѣлости; но въ то же время онъ долженъ, обязанъ «принимать къ свѣдѣнію», чѣмъ особенно недоволено большинство его читателей, и всего болѣе долженъ остерегаться презирать его мнѣніе, но всегда стараться отыскивать основаніе этого мнѣнія, потому что оно почти всегда дѣльно и справедливо.

Если что можно счесть въ «Двойникѣ» растянутастью, такъ это частое и мѣстами вовсе ненужное повтореніе однихъ и тѣхъ же фразъ, какъ наприимѣръ: «Дожили я до бѣды», *дожилъ я вотъ такимъ-то образомъ до бѣды...* Эта бѣда вѣдь кака!.. *экая ты бѣда одолѣла кака!*.. Напечатанныя курсивомъ фразы совершенно лишнія, а такихъ фразъ въ романѣ найдется довольно. Мы понимаемъ ихъ источникъ: молодой талантъ въ сознаніи своей силы и своего богатства какъ будто тѣпшится юморомъ; но въ немъ такъ много юмора дѣйствительнаго, юмора мысли и дѣла, что ему смѣло можно не дорожить юморомъ словъ и фразъ.

Вообще «Двойникъ» носитъ на себѣ отпечатокъ таланта огромнаго и сильнаго, но еще молодого и неопытнаго: отсюда всѣ его недостатки, но отсюда же и всѣ его достоинства. Тѣ и другія такъ тѣсно связаны между собою, что еслибъ авторъ теперь вздумалъ совершенно переделывать свой «Двойникъ», чтобъ оставить въ немъ однѣ красоты, исключивъ всѣ недостатки,—мы увѣрены, онъ испортилъ бы его. Авторъ рассказываетъ приключенія своего героя отъ себя, но совершенно его языкомъ и его понятіями: это съ одной стороны показываетъ избытокъ юмора въ его талантѣ, безконечно могущественную способность объективнаго созерцанія явлений жизни, способность, такъ сказать, переселяться въ кожу другого, совершенно чуждаго ему существа; но съ другой стороны это же самое сдѣлало неясными многія обстоятельства въ романѣ, какъ-то: каждый читатель совершенно вправѣ не понять и не догадаться, что письма Вахрамѣева и г. Голядкина-младшаго г. Голядкина-старшаго сочиняетъ самъ къ себѣ, въ своемъ разстроенномъ воображеніи,—даже, что наружное сходство съ нимъ младшаго Голядкина совсѣмъ не такъ велико и поразительно, какъ показалось, оно ему въ его разстроенномъ воображеніи, и вообще о самомъ помѣшательствѣ Голядкина не всякій читатель догадается скоро. Все это недостатки, хотя и тѣсно связанныя съ достоинствами и красотами дѣлаго произведенія. Существенный недостатокъ въ этомъ романѣ только одинъ; почти всѣ лица въ немъ, какъ ни мастерски впрочемъ очерчены ихъ характеры, говорятъ почти одинаковымъ языкомъ. Болѣе указать не на что.

Мы только слегка коснулись обоихъ произведеній Достоевскаго, особенно послѣдняго; говорить о нихъ подробно,—значило бы зайти гораздо далѣе, нежели сколько позволяютъ предѣлы журнальной статьи

Такого неисчерпаемаго богатства фантазіи не часто случается встрѣчать и въ талантахъ огромнаго размаха,—и это богатство видимо мучитъ и тяготитъ автора «Бѣдныхъ Людей» и «Двойника». Отсюда и ихъ мнимая растянутасть, на которую такъ жалуются люди, очень любящіе читать, но впрочемъ отнюдь не находящіе, чтобы «Парижскія Тайны», «Вѣчный Жидъ» или «Графъ Монте-Кристо» были растянуты. И съ одной стороны чтецы такого рода правы; не всякому дано знать тайны искусства, такъ же, какъ не всякому дано глубоко чувствовать и мыслить. Поэтому чтецы имѣютъ полное право не знать ни причины, ни истиннаго значенія того, что называютъ они «растянутостью»; они знаютъ только, что чтеніе «Бѣдныхъ Людей» нѣсколько утомляетъ ихъ, тогда какъ этотъ романъ имъ нравится, а «Двойникъ» не многимъ изъ нихъ удается осилить до конца. Это фактъ: пусть молодой авторъ пойметъ и приметъ его къ свѣдѣнію. Да спасетъ его богъ вдохновенія отъ гордой мысли презирать мнѣніе даже профановъ искусства, когда они всѣ говорятъ одно и то же, — такъ же, какъ да спасетъ онъ его и отъ унизительнаго намѣренія поддѣлываться подъ вкусъ толпы и льстить ему: обѣ эти крайности—Сцилла и Харибда таланта. Знайки искусства, даже и нѣсколько утомляясь чтеніемъ «Двойника», все-таки не отрываются отъ этого романа, не дочитавъ его до послѣдней строки; но, во-первыхъ, и они, дорожа и любясь каждымъ словомъ, каждымъ отдѣльнымъ мѣстомъ романа, все-таки чувствуютъ утомленіе; во-вторыхъ, истинно большой талантъ такъ же долженъ писать не для однихъ знатоковъ, какъ и не для одной толпы, но для всѣхъ. Что же касается до толковъ большинства, что «Двойникъ»—плохая повѣсть, что слухи о необыкновенномъ талантѣ его автора преувеличены и т. п.,—объ этомъ Достоевскому нечего заботиться: его талантъ принадлежитъ къ разряду тѣхъ, которые постигаются и признаются не вдругъ. Много продолженіе его поприща явится талантовъ, которыхъ будутъ противопоставлять ему, но кончится тѣмъ, что о нихъ забудутъ именно въ то время, когда онъ достигнетъ апогея своей славы. И теперь, когда явится его новая повѣсть, за нее съ безсознательнымъ любопытствомъ и жадностью поспѣвать схватиться тѣ самые люди, которые такъ мудро и окончательно рѣшили по «Двойнику», что у него или вовсе нѣтъ таланта, или есть, да такъ-себѣ, небольшой...

Теперь намъ слѣдовало бы сказать что-нибудь о печатныхъ толкахъ и сужденіяхъ

по поводу «Бѣдныхъ Людей»; но мы чувствуемъ себя на эту минуту въ такомъ добромъ расположеніи духа, что хотимъ ограничиться совѣтомъ Достоевскому—перепечатать всѣ эти сужденія при будущемъ изданіи своихъ сочиненій, какъ это сдѣлалъ Пушкинъ, приложившій ко второму или третьему изданію «Руслана и Людмилы» всѣ критика и рецензіи, въ которыхъ брали эту поэму...

Обращаемся къ остальнымъ статьямъ «Петербургскаго Сборника».

«Три портрета», рассказъ Тургенева, при ловкомъ и живомъ изложеніи имѣетъ всю заманчивость не повѣсти, а скорѣе воспоминаній о добромъ старомъ времени. Къ нему шелъ бы эпиграфъ: «Дѣла минувшихъ дней!»...

«Мартингалъ» (изъ записокъ гробовщика), кн. Одоевскаго, исполненъ интереса и по содержанію, и по изложенію. Можно замѣтить только, что этотъ рассказъ былъ бы естественнѣе, еслибы въ немъ не былъ вмѣшанъ гробовщикъ, которому, несмотря на то, что онъ нѣмецъ и ученъ, едва ли бы молодой человѣкъ сталъ открывать свои заветныя и страшныя тайны, готовясь morrerъ умереть насильственной смертью...

Къ отдѣлу рассказовъ въ альманахѣ должно присовокупить и «Парижскія Увеселенія», легкій и живой очеркъ того, какъ веселятся французы и какъ поддѣлываются подъ ихъ способъ веселиться русскіе, живущіе въ Парижѣ. Эта статья тоже интересна.

Переходимъ къ стихотворной части альманаха. Онъ украшенъ цѣлыми двумя, и къ тому еще прекрасными, поэмами. «Помѣщикъ» Тургенева—легкая, живая, блестящая импровизація, исполненная ума, ироніи, остроумія и граціи. Кажется, здѣсь талантъ Тургенева напелъ свой истинный родъ, и въ этомъ родѣ онъ неподражаемъ. Стихъ легокъ, поэтиченъ, блеститъ эпиграммой. Кто-то увѣрялъ печатно, будто «Помѣщикъ»—подражаніе «Евгенію Онегину»: ужъ не «Энеидѣ» ли Виргилія? Правъ, послѣднее предположеніе ничѣмъ не несправедливѣе перваго. Первое произведеніе такого рода въ русской литературѣ принадлежитъ Дмитріеву, автору «Модной Жены». Оно было написано въ духѣ и вкусѣ своего времени (поэтому-то оно прекрасно и теперь). Для нашего же времени Пушкинъ далъ образцы такихъ произведеній въ «Графѣ Нулинѣ» и «Домикѣ въ Коломнѣ». А обѣ «Онегинѣ» тутъ и поминать нечего, какъ о произведеніи совсѣмъ другого и притомъ высшаго рода. Пусть успокоится на этотъ счетъ почтенный кри-

тиканъ, одаренный такой удивительной способностью находить сходство тамъ, гдѣ его вовсе нѣтъ. Что «Помѣщикъ» Тургенева можетъ ему не нравиться, этому мы не удивляемся: у всякаго свой вкусъ. Есть люди, которымъ наприѣмъ очень не нравится, что повѣсти Гоголя переведены на французскій языкъ (черезъ что талантъ Гоголя получилъ европейскую извѣстность); а намъ нравится (и притомъ еще какъ!) и «Помѣщикъ» Тургенева, и то, что повѣсти Гоголя изданы въ Парижѣ въ такомъ прекрасномъ переводѣ. Къ «Помѣщику» приложены прекрасныя картинки, рисованныя Агинымъ. Мы очень рады случаю отдать должную справедливость таланту этого молодого художника. Тимъ—безспорно лучший рисовальщикъ въ Россіи, но въ его карандашѣ ничего нѣтъ русскаго. Смотри на картинки Агина, невольно вспомнишь стихъ Пушкина: «Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ». Его картинки къ «Помѣщику» — заглядѣнье! — за исключеніемъ впрочемъ четырехъ, которыя не удались, какъ 16-я, 17-я и 19-я, или мало удались, какъ 11-я.

Въ началѣ прошлаго года Майковъ подарилъ публику прекрасной поэмой—«Двѣ Судьбы»; въ началѣ нынѣшняго года онъ опять даритъ ее прекрасной поэмой—«Машенька». Рассказывать содержаніе новаго произведенія Майкова было бы излишне: оно такъ просто. У бѣднаго чиновника соблазнили страстно любимую имъ дочь; увидѣвъ ее на гуляньѣ, на островахъ. Вдущую, въ пышномъ нарядѣ, объ-руку съ своимъ соблазнителемъ, несчастный отецъ проклинаетъ ее; оставленная своимъ любовникомъ, бѣдная Маша, которой вся вина состоитъ въ страстной натурѣ и дѣтской неопытности ума и сердца, возвращается къ отцу—и тотъ принимаетъ ее съ благословеніемъ. Вотъ и все. Сюжетъ даже не новъ. Но въ художественномъ произведеніи дѣло не въ сюжетѣ, а въ характерахъ, въ краскахъ и тѣняхъ разсказа. Съ этой стороны поэма Майкова отличается красотами необыкновенными. Характеръ отца обрисованъ превосходно. Маша и ея подруга, Zizipe, какъ институтки, очерчены безподобно; но характеръ Маши, какъ героини поэмы, не совсѣмъ ровенъ и опредѣлительнъ; чего-то не достаетъ ему. Лучшая сторона новой поэмы Майкова—то, что на вульгарномъ языкѣ называется соединеніемъ патетическаго элемента съ комическимъ, которое въ сущности есть не иное что, какъ умѣнье представлять жизнь въ ея истинѣ. Этой истины много въ поэмѣ. Особенно порадовала насъ въ ней прелесть комическаго разговора, который даетъ надежду, что

для таланта молодого поэта предстоить еще въ будущемъ богатое развитіе въ такомъ родѣ поэзіи, къ которому въ началѣ его поприща никто не считалъ его способнымъ. Не для показанія красоты поэмы (для этого ее нужно было бы перепечатать всю), а для поясненія и подтвержденія нашей мысли, выпишемъ конецъ:

Марія шла дрожащею стопой,
Одна съ больной, растерзанной душой:
«Дай силы умереть мнѣ, правый Боже!
Весь міръ—чужой мнѣ... А отецъ?... старикъ...
Оставленный... и онъ... онъ пролилъ тоже!
За что жъ? хоть на него взглянуть бы мнѣ,
Все разсказать... а тамъ—пусть прожинается!»
Она идетъ; сторонится народъ,
Кто молча, кто съ угрозою, кто шепчетъ:
«Безумная!» и въ страхѣ отступаетъ.
И вотъ знакомый домикъ: меркнулъ день,
Зарей вечерней небо обогрѣлось,
И длинная по улицамъ ложилась
Отъ фонарей, деревъ и кровель тѣнь.
Вотъ садъ, скамья, поросшая травой
Подъ вѣтвями широкими березъ.
На ней старикъ. Последній клочъ волосъ
Давно ужъ выпалъ. Блѣдный, онъ казался
Однимъ скелетомъ. Ветхій вищъ-мундиръ
Не снять: онъ видно снять не догадался,
Прійдя отъ должности. Покой и миръ
Его лица былъ страшенъ: это было
Спокойствіе отчаянья. Уныло
Онъ только ждалъ скорѣй оставить міръ.
Вдругъ слышитъ вздохъ и листья задрожали
Отъ шороха. «Что, ужъ не воры ль тутъ?
А пусть все крадутъ, пусть все разберутъ,
Вѣдь ужъ они... они ее украли...
Старикъ закрылъ лицо и зарыдалъ,
И чудится ему рыданья тоже,
И голосъ: «Что я сдѣлала съ нимъ, Боже!»
Не зная какъ, онъ дочь ужъ обнималъ,
Не въ силахъ слова вымолвить.— «Папаша,
Простите!»—«Что, я развѣ звѣрь или жидъ!»
—«Простите!»—«Полно! Богъ тебя проститъ!»
А ты... а ты меня простишь ли, Маша?»

Мелкихъ стихотвореній въ «Петербургскомъ Сборникѣ» немного. Самыя интересныя изъ нихъ принадлежатъ перу издателя сборника, Некрасова. Они проникнуты мыслью; это — не стишки къ дѣвѣ и лунѣ; въ нихъ много умнаго, дѣльнаго и современнаго. Лучшее изъ нихъ—«Въ Дорогѣ». Изъ другихъ стихотвореній въ «Сборникѣ» замѣчательны переводы Тургенева: «Тѣма», изъ Байрона, и «Римская Элегія», Гёте.

«Макбетъ» Шекспира, переведенный Кронебергомъ, одинъ заслуживалъ бы особой критической статьи, потому что это переводъ классическій, вполне достойный подлинника. «Макбетъ»—одно изъ самыхъ колоссальныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ самыхъ чудовищныхъ произведеній Шекспира, гдѣ съ одной стороны отразилась вся исполинская сила творческаго его генія, а съ другой—все варварство вѣка, въ которомъ жилъ онъ. Много разсуждали и спорили о значеніи вѣдѣмъ, играющихъ въ «Макбетѣ» такую важную роль: одни хотѣли видѣть въ

нихъ просто вѣдьмъ, другіе—олицетвореніе честолюбивыхъ страстей Макбета, глухо свирѣпствовавшихъ на днѣ души его; третьи — поэтическія аллегоріи. Справедливо только первое изъ этихъ мнѣній. Шекспиръ — можетъ быть величайшій изъ всѣхъ гениевъ въ сферѣ поэзіи, какихъ только видѣлъ міръ; но въ то же время онъ былъ сынъ своего времени, своего вѣка, того варварскаго вѣка, когда разумъ человѣческій едва началъ пробуждаться отъ своего тысячелѣтняго сна, когда въ Европѣ тысячами жгли колдуновъ, и когда никто не сомнѣвался въ возможности прямыхъ сношеній человѣка съ нечистой силой. Шекспиръ не былъ чуждъ слѣпоты своего времени, — и вводя вѣдьмъ въ свою великую трагедію, онъ нисколько не думалъ дѣлать изъ нихъ философскія олицетворенія и поэтическія аллегоріи. Это доказывается между прочимъ и важной ролью, какую играетъ въ «Гамлетѣ» тѣнь отца героя этой великой трагедіи. «Другъ Гораціо, — говоритъ Гамлетъ:—на землѣ есть много такого, о чемъ и не бредила ваша философія». Это убѣжденіе Шекспира, это говоритъ онъ самъ или, лучше сказать, невѣжество и варварство его вѣка, — а обскуранты нашего времени такъ и ухватились за эти слова, какъ за оправданіе своего слабоумія. Шекспиръ видѣлъ и Богъ-вѣсть какую удивительную драматическую и трагическую пружину въ ходѣ Бирнамскаго Лѣса и въ томъ обстоятельствѣ, что Макбетъ не можетъ пасть отъ руки человѣка, рожденнаго женой. Дѣло оказалось чѣмъ-то вродѣ плохого каламбура; но такова творческая сила этого человѣка, что, несмотря на всѣ негѣности, которыя ввелъ онъ въ свою драму, «Макбетъ» все-таки огромное, колоссальное созданіе, какъ готическіе храмы среднихъ вѣковъ. Что-то сурово-величаво-грандіозно-трагическое лежитъ на этихъ лицахъ и ихъ судьбѣ; кажется, имѣешь дѣло не съ людьми, а съ титанами, и какая глубина мысли, сколько обнаженныхъ тайнъ человѣческой природы, сколько рѣшенныхъ великихъ вопросовъ, какой страшный и поучительный урокъ!.. Вотъ доказательство, что время не губитъ генія, но геній торжествуетъ надъ временемъ, и что каждый моментъ всемірно-историческаго развитія человѣчества даетъ равнообильную жатву для поэзіи. Пройдутъ еще два вѣка, а можетъ быть и меньше, когда будутъ дивиться варварству XIX столѣтія, какъ мы дивимся варварству XVI-го; не найдутъ въ немъ Шекспира, но найдутъ Байрона и Жоржъ Занда...

И это не кругъ, въ которомъ безвыходно кружится человѣчество, а спираль, гдѣ

каждый послѣдующій кругъ обширнѣе предшествующаго. Нашъ вѣкъ имѣетъ передъ XVI-мъ то важное преимущество, что онъ заранѣе знаетъ, въ чемъ послѣдующіе вѣка должны увидѣть его варварство...

У насъ было довольно переводовъ стихами драмъ Шекспира. Лучшіе изъ нихъ доселѣ принадлежали Вронченко («Гамлетъ» и «Макбетъ»). Но переводы Вронченко, вѣрно передавая духъ Шекспира, не передаютъ его изящности. Кронебергъ умѣлъ счастливо выполнить оба эти условія: его переводъ вѣренъ и духу, и изящности подлинника, исполненъ въ одно и то же время и энергіи, и легкости выраженія. Это рѣшительно не только лучший, сравнительно съ другими русскими переводами, но положительно превосходный переводъ одной изъ лучшихъ трагедій Шекспира, такъ же, какъ его же переводъ «Двѣнадцатой Ночи» («Отечественныя Записки» 1841, томъ XVII) есть единственный и превосходный переводъ одной изъ прелестнѣйшихъ комедій Шекспира.

Теперь остается намъ сказать о трехъ статьяхъ теоретическаго содержанія въ «Петербургскомъ Сборникѣ». «Капризы и Раздумье», Искандера, автора повѣсти: «Кто Винаватъ?» (въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года) и разныхъ статей литературно-философскаго содержанія, — есть родъ замѣтокъ и афористическихъ размышленій о жизни, исполненныхъ ума и оригинальности во взглядѣ и изложеніи. Не можемъ удержаться, чтобы не выписать небольшого отрывка:

«Наука, государство, искусство, промышленность идутъ, развиваясь во всей Европѣ, стройно, широко; впереди великіе мыслители, великіе государственные люди, великіе художники, предпримчивые таланты. А домашняя жизнь наша складывается все-какъ, основанная на воспоминаніяхъ, привычкахъ и внѣшнихъ необходимостяхъ; обѣ ней въ самомъ дѣлѣ никто не думаетъ, для нея нѣтъ ни мыслителей, ни талантовъ, ни поэтовъ, — не даромъ ее называютъ *прозой*, въ противоположность плаксивой жизни балладъ и глупой жизни идиллій. Только лѣта юности обставлены похудожественнѣе; а потомъ за послѣднимъ лирическимъ порывомъ любви — утомительное *встрѣдѣ* закулисной жизни, ежедневной жизни — это тѣсная спальня, душная дѣтская, грязная кухня, гдѣ гости никогда не бывають. Конечно въ послѣдніе три вѣка много перевинилось въ образѣ жизни: впрочемъ украдкой, безсознательно, даже вопреки убѣжденіямъ, иная образъ жизни, люди не признавались въ этомъ: знамена остались тѣ же, люди, какъ испанцы, хотѣтъ только сохранить *фигурсы*, несмотря на то, что большая часть ихъ не соответствуетъ настоящему. Прислышаваясь къ сужденіямъ мудрыхъ міра сего, дивяшися, какъ можетъ умъ дойти до того, чтобы въ одно и то же время совмѣстить въ своей нравственный кодексъ стоическія сентенціи Сенеки и Катона, романтически-восторженныя выходы рыцаря среднихъ вѣковъ, самоотверженныя нравоченія благочестивыхъ отшельниковъ степей еи-

вандских и своекорыстных правила политической экономии. Безобразия подобного смещения принесли свой плод, именно — мертвую мораль, мораль, существующую только на словах, а в самом деле неостойчивую управлять поступками; современная мораль не имеет никакого влияния на наши действия; это милый обман, нравственная благопристойность, одежда — не больше. У каждого человека за его официальной моралью есть свой спрятанный *esprit de conduite*: официально он будет плакать о том, что бедный беден, официально он благородным львом вступится за честь женщины, — *privatim* он берет страшные проценты, *privatim* он считает себя вправе бовечествовать женщине, если условился с нею в цѣнѣ. Постоянная ложь, постоянное двоедушие сдѣлали то, что меньше дикихъ порывовъ и вдвое больше плутовства, что рѣдко человекъ скажетъ другому оскорбительное слово въ глаза и почти всегда очернитъ его за глаза; въ Парижѣ а меньше встрѣчаютъ шуринеровъ и эскарповъ, нежели мушаровъ, потому что на первое ремесло надобно имѣть откровенную безнравственность и своего рода отвагу, а на второе только двоедушие и подлость. Наполеонъ съ содроганіемъ говорилъ о гнусной привычкѣ безпрестанно лгать. Мы лжемъ на словахъ, лжемъ движеніями, лжемъ нѣтъ утѣхъ, лжемъ нѣтъ добродѣтели, лжемъ нѣтъ порочности; лгание это конечно много способствуетъ къ развѣтнью, къ нравственному безсилію, въ которомъ родятся и умираютъ цѣлыя поколѣнія, въ какомъ-то чаду и туманѣ проходящія по землѣ. Между тѣмъ и это лгание сдѣлалось совершенно естественнымъ, даже моральнымъ: мы узнаемъ человека благосовитаннаго — по тому, что никогда не добьешься отъ него, чтобы онъ откровенно сказалъ свое мнѣніе.

«Наполеонъ говорилъ еще, что наука до тѣхъ поръ не объяснитъ главнѣйшихъ явленій всемирной жизни, пока не бросится *ex mŕe* *подробностей*. Чего желалъ Наполеонъ — исполнилъ микроскопъ. Естественныиспытатели увидѣли, что не въ падецѣ толстыя артеріи и вены, не огромные куски мяса могутъ разрѣшить важнѣйшіе вопросы физиологій, а волосяные сосуды, а клетчатка, волокна, ихъ составъ. Употребленіе микроскопа надобно ввести въ нравственный мѣръ, надобно разсмѣтрѣть нитъ за нитью паутину ежедневныхъ отношеній, которая опутываетъ самые сильные характеры, самые огненные эвергій. Люди никакъ не могутъ заставить себя серьезно подумать о томъ, что они дѣлаютъ дома съ утра до ночи; они тщательно хлопочутъ и думаютъ обо всемъ: о картахъ, о крестахъ, объ абсолютномъ, о вариационныхъ исчисленіяхъ, о томъ, когда ледъ пройдетъ на Невѣ, — но объ ежедневныхъ, будничныхъ отношеніяхъ, обо всѣхъ мелочахъ, къ которымъ принадлежатъ семейныя тайны, ховайственныя дѣла, отношенія къ роднымъ, близкимъ, прислугѣ, слугамъ и пр., и пр., — объ этихъ вещахъ ни за что въ свѣтѣ не заставишь подумать: они готовы, выдуманы. Паскаль говоритъ, что люди для того играютъ въ карты, чтобы не оставаться никогда долго наединѣ съ собою, чтобы не дать развиться угрызѣніямъ совѣсти. Очень изротно, что, руководствуясь тѣмъ же истиннымъ, человекъ не любитъ разсуждать о семейныхъ тайнахъ, — а не пора ли бы имъ на свѣтѣ? Я, какъ маленькія дѣти, боюсь темноты; мнѣ все кажется, что въ темнотѣ сидитъ злой духъ съ рыжей бородой и съ копьемъ. Зачѣмъ, кажется, прятать подъ спудомъ то, что не боится свѣта; да въ сущности это все равно: прятать не прятать — все обличится; съ каждымъ днемъ меньше тайнъ.

Was sich in dem Kämmerlein
Still und fein gesponnen,

Kommt—wie kann es anders sein?
Endlich an die Sonnen.

«Израѣдка какое-нибудь преступленіе, совершенное въ этомъ нравѣ частной жизни, пугнетъ на день, на другой людей, стоявшихъ возлѣ, заставитъ ихъ задуматься... для того, чтобы потомъ начать судить и осуждать. Добрѣйшій человекъ въ мѣрѣ, который не найдетъ въ душѣ жестокости, чтобы убить комара, съ великимъ удовольствіемъ растерзаетъ доброе имя ближняго на основаніи морали, по которой онъ самъ не поступаетъ и которую прилагаетъ къ частному случаю, рассказанному во всей его непонятности. «Его жена уѣхала» вчера отъ него» — скверная женщина! «Отецъ его лишилъ наслѣдства» — скверный отецъ! Всякое судебное мѣсто снисходительнѣе осуждаетъ, нежели записные филантропы и люди, соизнающіе себя честными и добрыми. Дѣйствіе тѣмъ тому назидъ Спиноза доказывалъ, что всякій прошедшій фактъ надобно ни хвалить, ни порицать, а разбирать, какъ математическую задачу, т. е. стараться понять, — этого никакъ не растолкуешь. Къ тому же, чтобы преступленіе обратило на себя вниманіе, надобно, чтобы оно было чудовищно, громко, скандально, облитъ кровью. Мы въ этомъ отношеніи похожи на французскихъ классиковъ, которые если шли въ театр, то для того, чтобы посмѣтрѣть, какъ цари, герои или по крайней мѣрѣ полководцы и наперсники ихъ кровь проливаютъ, а не для того, чтобы видѣть мѣшански проливаемые слезы.

«Людямъ необходимы декорации, обстановка, надпись; мѣшанцы во дворянствѣ очень удивились, узнавши, что онъ сорокъ лѣтъ говоритъ прозой — мы хохочемъ надъ нимъ; а многіе лѣтъ сорокъ дѣлали злодѣянія и умерли лѣтъ восьмидесяти, не зная этого, потому что ихъ злодѣянія не подходили ни подъ какой параграфъ кодекса — и мы не плачемъ надъ ними.

«Лафаржъ отравилъ своего мужа (т. е. положимъ, что отравилъ; слѣдствие было сдѣлано такъ мелко, что нельзя понять, Лафаржъ ли отравилъ мышьякомъ своего мужа, или судьи отравили юриспруденціей г-жу Лафаржъ). Крикъ, толки. Злодѣйство въ самомъ дѣлѣ страшное, гнусное — въ этомъ никто не сомнѣвается; да что же собственно новаго въ этомъ убійствѣ? Я уверенъ, что въ томъ же Парижѣ, гдѣ такъ кричали объ этомъ, нѣтъ большой улицы, гдѣ бы въ годъ или въ два не случилось чего-нибудь подобнаго, — разнища въ оружійхъ. Лафаржъ, какъ рѣшительный преступникъ, далъ минеральнаго аду; а что далъ напимѣръ мой соседъ, этотъ богатый откупщикъ, своей жонѣ, которая вышла за него потому, что ея нѣжные родители стояли передъ нею на коленяхъ, умоляя спасти ихъ нѣжнѣе, ихъ честь — продажей своего тѣла, своимъ безчестіемъ; что далъ ей мужъ, какого аду, отъ котораго она изъ ангела красоты сдѣлалась въ два года развалиной? Отчего эти ввалившіяся щеки, отчего ея глаза, сдѣлавшіеся огромными, блестятъ какъ-то болѣзненно-жемчужнымъ отливомъ? Орфла и самъ Распайль не найдутъ ничего ядовитаго въ ея желудкѣ, когда она умретъ; и не мудрено: аду у ней въ мозгу. Психическія отравы ускользаютъ отъ химическихъ реакцій и отъ тупости людскихъ сужденій. «Чего недостаетъ этой женщинѣ? она утопаетъ въ роскоши» — говорятъ глупѣйшіе, не понимая, что мужъ, наиражающій жену не потому, что она хочетъ этого, а потому что онъ хочетъ, — себя наиражаетъ; онъ ее наиражаетъ потому, что она его, на томъ же основаніи, какъ наиражаетъ лакея и кучера. «Все такъ, — говорятъ умнѣйшіе, — но, согласившись на просьбу родителей, она должна была благоразумнѣе переносить свою судьбу.»

«А позвольте спросить: возможно ли *хроническое* самоотвержение? Разомъ пожертвовать собой не важность: Курций бросился въ пропасть, да и поминай какъ звали—это понятно, а беспрестанно, цѣлые годы, каждый день приносить себя на жертву—да гдѣ же взять столько геройства или столько ослеплаго терпѣнья? Довѣдно, что хватило силъ на первую безумную жертву,—такая жертва, само собою разумѣется, не приноситъ ни отцу, ни матери, потому что они перестаютъ быть отцомъ и матерью, если требуютъ такихъ жертвъ. Супругъ вѣроятно не остановился на куплѣ, потребовалъ сверхъ страшныхъ жертвъ, отъ которыхъ возмущается все человѣческое достоинство, любовь, и не найдя ей, началъ раг *dépit* тихое, кроткое, семейное преслѣдованіе, эту навѣстную охоту *rag force*, преслѣдованіе внимательное, какъ самая нѣжная любовь, постоянное, какъ самая вѣрная старуха-жена, преслѣдованіе, отравляющее каждый кусокъ въ горлѣ и каждую улыбку на устахъ. И коротко знакомъ съ этимъ преслѣдованіемъ: оно, какъ Янусъ, о двухъ лицахъ—одно для гостей, глупо улыбающееся, другое для домашняго употребленія, тоже улыбающееся, но улыбкой гнѣны, сказалъ бы я, еслибъ гнѣны улыбались: хищные зѣвки добросовѣстны: они не дѣлаютъ медовыхъ устъ, когда хотятъ кушать. Умри жена—супругъ водвигнетъ монументъ; объ немъ будутъ жалѣть больше, нежели объ ней; онъ самъ облеветъ слезами ея гробъ, и, для довершенія удара, словами откровенными: онъ, подавая ей психическаго мышьяку, вовсе и не думалъ, что она умретъ.

«Людямъ непременно надобно видимые знаки, несчастію нѣмому они сочувствовать не могутъ. «Вотъ видите этого толстаго мужчину съ усами—онъ сидѣлъ годъ въ тюрьмѣ»,—и всѣ: «ахъ, Боже мой! бѣдный, что онъ вынесъ!». Ну, а какая же тюрьма въ образованномъ государствѣ можетъ сравняться съ свободной жизнью этой женщины? Съ чего тюремщику, если онъ не какой-нибудь извергъ, которыхъ такъ же мало, какъ и великихъ людей, съ чего ему ненавидѣть колодника? Они оба несутъ двѣ довольно тяжелыя ноши; тюремщикъ, исполняя свою обязанность, не смѣетъ идти далѣе приказа. Конечно заключеніе тяжело—я это знаю лучше многихъ, но ставишь тюрьму рядомъ съ семейными несчастіями смѣшно. Люди, по своему несовершенности, только тѣ несчастія считаютъ великими, гдѣ цѣны гремѣть, гдѣ есть кровь, снѣжны пятна, какъ будто хирургическія болѣзни сильнѣе нравственныхъ.

«Когда я хожу по улицамъ, особенно поздно вечеромъ, когда все тихо, мрачно, и только кое-гдѣ свѣтятся ночники, тухнущая лампа, догорающая свѣча,—на меня находятъ ужасъ; за каждой стѣной мнѣ мерещится драма, за каждой

стѣной видѣются горячія слезы,—слезы, о которыхъ никто не вѣдаетъ,—слезы обманутыхъ надеждъ,—слезы, съ которыми утекаютъ не одни юношескія вѣрованія, но всѣ вѣрованія человѣческія, а иногда и самая жизнь. Есть конечно дома, въ которыхъ благоденственно ѣдятъ и пьютъ цѣлый день, тучнѣютъ и спятъ безпробудно цѣлую ночь, да и въ такомъ домѣ найдется хоть какая-нибудь племянница, притѣсненная, заданная, хоть горничная или дворникъ, а ужъ непременно кому-нибудь да солоно жить».

«Отчего все это? Я полагаю, что вещество большого мозга не совсѣмъ еще выработалось въ продолженіе шести тысячъ лѣтъ; оно еще не готово; оттого люди и не могутъ сообразить, какъ устроить домашній бытъ свой.

«Право такъ. У большей части людей мозгъ ребячій,—имъ надобны дядьки, няньки, педели, наказанія, приказанія, карцеры, игрушки, конфеты и прочее,—дѣло дѣтское!»

Въ статьѣ своей «О характерѣ народности въ древнемъ и новѣйшемъ искусствѣ» Никитенко рассматриваетъ одинъ изъ интереснѣйшихъ современныхъ вопросовъ изъ сферы искусства и удовлетворительно рѣшаетъ его съ свойственнымъ ему глубокомысліемъ и изяществомъ изложенія, показавъ настоящія отношенія между народнымъ и общечеловѣческимъ. Эту прекрасную статью должно читать всю: отрывокъ не далъ бы о ней никакого понятія, потому что вся она есть не что иное, какъ стройно-логическое развитіе одной основной идеи.

О статьѣ Бѣлинскаго «Мысли и замѣтки о русской литературѣ», по извѣстнѣмъ публикѣ отношеніямъ ея автора къ нашему журналу, мы не считаемъ себя вправе говорить, предоставляя судить о ней читателямъ. Думаемъ однакожъ, что во всякомъ случаѣ она не повредила достоинству альманаха.

Успѣхъ «Петербургскаго Сборника» упредилъ наше о немъ сужденіе. Дивитесь этому успѣху нечего: такой альманахъ—еще небывалое явленіе въ нашей литературѣ. Выборъ статей, ихъ многочисленность, объемъ книги, внѣшняя изящность изданія,—все это, вмѣстѣ взятое, есть небывалое явленіе въ этомъ родѣ; оттого и успѣхъ небывалый.

МЫСЛИ И ЗАМѢТКИ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ.

Какова бы ни была наша литература, во всякомъ случаѣ ея значеніе для насъ гораздо важнѣе, нежели какъ можетъ оно казаться: въ ней, въ одной ней вся наша умственная жизнь и вся поэзія нашей жизни. Только въ ея сферѣ перестаемъ мы быть Иванами и Петраами, а становимся просто людьми, обращаемся къ людямъ и съ людьми.

Въ нашемъ обществѣ преобладаетъ духъ разьединенія: у каждого нашего сословія все свое, особенное—и платье, и манеры, и образъ жизни, и обычаи, и даже языкъ. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, стоить только провести вечеръ, на которомъ сошлись бы нечаянно чиновникъ, военный, помѣщикъ, купецъ, мѣщанинъ, повѣренный по дѣламъ или управляющій, духовный, студентъ, се-

минаристъ, профессоръ, художникъ; увидя себя въ такомъ обществѣ, вы можете подумать, что присутствуете при раздѣленіи языковъ... Такъ велико разъединеніе, царствующее между этими представителями разныхъ классовъ одного и того же общества! Духъ разъединенія враждебенъ обществу: общество соединяетъ людей, каста разъединяетъ ихъ. Многіе думаютъ, что спѣсь, остатокъ славянской старины, уничтожаетъ у насъ социальность (sociabilité). Если это и справедливо, то развѣ отчасти только. Положимъ, что дворянинъ неохотно сходится съ людьми низшаго званія; но люди низшихъ званий чѣмъ не готовы пожертвовать для сближенія съ дворяниномъ? Это ихъ страсть! Но бѣда въ томъ, что это сближеніе всегда бываетъ внѣшнимъ, формальнымъ, похожимъ на шапочное знакомство; самолюбію богатаго купца льститъ знакомство даже съ бѣднымъ дворяниномъ, но, перезнакомившись и съ богатыми дворянами, онъ все же остается вѣрнѣйшимъ привычкамъ, понятіямъ, языку, образу жизни своего, то есть купеческаго, званія. Этотъ духъ особности такъ силенъ у насъ, что даже и новыя сословія, возникшія изъ новаго порядка дѣлъ, основаннаго Петромъ Великимъ, не замедлили принять на себя особенныя отгѣнки. Чему удивляться, что дворянинъ на купца, а купецъ на дворянина вовсе не походятъ, если иногда то же различіе существуетъ и между ученымъ и художникомъ?.. У насъ еще не перевелись ученые, которые всю жизнь остаются вѣрными благородной рѣшимости не понимать, что такое искусство и зачѣмъ оно; у насъ еще много художниковъ, которые и не подозреваютъ живой связи ихъ искусства съ наукой, съ литературой, съ жизнью. И потому сведите такого ученаго съ такимъ художникомъ,—и вы увидите, что они будутъ или молчать, или перекидываться общими фразами, да и тѣ для нихъ будутъ не разговоромъ, а работой. Иной нашъ ученый, особенно если онъ посвятилъ себя точнымъ наукамъ, смотритъ съ иронической улыбкой на философію и исторію и на тѣхъ, кто ими занимается, а на поэзію, литературу, журналистику смотритъ просто какъ на вадоръ. Такъ-называемый нашъ «словесникъ» съ презрѣніемъ смотритъ на математику, которая не далась ему въ школѣ. Скажутъ: все это не духъ разъединенія, а духъ полупросвѣщенія или полубразованности. Такъ! но вѣдь всѣ эти люди получили первоначальное образованіе, если не довольно глубокое, то довольно многостороннее: словесникъ учился еще въ школѣ математикѣ, а математикъ—словесности.

Многіе изъ нихъ даже очень хорошо рассуждаютъ при случаѣ о томъ, что существуетъ только искусственное раздѣленіе наукъ, а существеннаго нѣтъ и быть не можетъ, потому что всѣ науки составляютъ одно знаніе объ одномъ предметѣ—о бытіи, что искусство такъ же, какъ и наука, есть то же сознаніе бытія, только въ другой формѣ, и что литература должна быть наслажденіемъ и роскошью ума равно для всѣхъ образованныхъ людей. Но когда эти прекрасныя рассужденія придется имъ приложить къ дѣлу,—тогда они сейчасъ же раздѣляются на цехи, которые посматриваютъ другъ на друга или съ нѣкоторой иронической улыбкой и съ чувствомъ своего достоинства, или съ какой-то недобѣрчивостью... Какъ же тутъ требовать социальности между людьми различныхъ сословій, изъ которыхъ каждое по своему и думаетъ, и говоритъ, и одѣвается, ѣстъ и пьетъ?..

И однакожъ, несмотря на то, сказать, чтобъ у насъ вовсе не было общества, значило бы сказать неправду. Несомнѣнно то, что у насъ есть сильная потребность общества и стремленіе къ обществу, а это уже важно! Реформа Петра Великаго не уничтожила, не разрушила стѣнъ, отдѣлявшихъ въ старомъ обществѣ одинъ классъ отъ другого; но она подкопалась подъ основаніе этихъ стѣнъ, и если не повалила, то наклонила ихъ на бокъ,—и теперь со дня на день онѣ все болѣе и болѣе клонятся, обсыпаясь и засыпаются собственными своими обломками, собственнымъ своимъ щебнемъ и мусоромъ, такъ что починять ихъ—значило бы придавать имъ тяжесть, которая, по причинѣ подрываго ихъ основанія, только ускорила бы ихъ, и безъ того немѣлкое, паденіе. И если теперь раздѣленные этими стѣнами сословія не могутъ переходить черезъ нихъ, какъ черезъ ровную мостовую, зато легко могутъ перескакивать черезъ нихъ тамъ, гдѣ онѣ особенно пообвалились или пострадали отъ проломовъ. Все это прежде дѣлалось медленно и незамѣтно, теперь дѣлается быстрѣе и замѣтнѣе,—и близко время, когда все это очень скоро и начисто сдѣлается. Желѣзныя дороги пройдутъ и подъ стѣнами, и черезъ стѣны, тунелями и мостами; усиленіемъ промышленности и торговли онѣ переплетутъ интересы людей всѣхъ сословій и классовъ и заставятъ ихъ вступить между собою въ тѣ живыя и тѣсныя отношенія, которыя невольно сглаживаютъ всѣ рѣзкія и ненужныя различія.

Но начало этого сближенія сословій между собою, которое есть начало образующагося общества, отнюдь не принадлежитъ

исключительно нашему времени: оно сливается съ началомъ нашей литературы. Разнородное общество, сплоченное въ одну массу только одними матеріальными интересами, было бы жалкимъ и нечеловѣческимъ обществомъ. Какъ бы ни были велики внѣшнее благоденствіе и внѣшняя сила какого-нибудь общества,—но если въ немъ торговля, промышленность, пароходство, желѣзныя дороги и вообще всѣ матеріальныя движущія силы составляютъ первоначальныя, главныя и прямыя, а не вспомогательныя только средства къ просвѣщенію и образованію,—то едва ли можно позавидовать такому обществу... Въ этомъ отношеніи намъ нельзя пожаловаться на судьбу: общественное просвѣщеніе и образованіе потекло у насъ въ началѣ ручейкомъ малымъ и едва замѣтнымъ, но зато изъ высшаго и благороднѣйшаго источника — изъ самой науки и литературы. Наука у насъ и теперь только укореняется, но еще не укоренилась, тогда какъ образованіе только еще не разраслось, но уже укоренилось. Листъ его мелокъ и рѣдокъ, стволъ не высокъ и не толстъ, но корень уже такъ глубокъ, что его не вырвать никакой бурей, никакому потоку, никакой силѣ: вырубите этотъ лѣсокъ въ одномъ мѣстѣ,—корень дастъ отпрыски въ другомъ, и вы скорѣе устанете вырубать, нежели устанете онъ давать новые отпрыски и разрастаться...

Говоря объ успѣхахъ образованія нашего общества, мы говоримъ объ успѣхахъ нашей литературы, потому что наше образованіе есть непосредственное дѣйствіе нашей литературы на понятіе и нравы общества. Литература наша создала нравы нашего общества, воспитала уже нѣсколько поколѣній, рѣзко отличающихся одно отъ другого, положила начало внутреннему сближенію сословій, образовала рядъ общественнаго мнѣнія и произвела нѣчто вродѣ особеннаго класса въ обществѣ, который отъ обыкновеннаго средняго сословія отличается тѣмъ, что состоитъ не изъ купечества и мѣщанства только, но изъ людей всѣхъ сословій, сблизившихся между собой черезъ образованіе, которое у насъ исключительно сосредоточивается на любви къ литературѣ.

Если хотите понять и оцѣнить вліяніе нашей литературы на общество, посмотрите на представителей ея различныхъ эпохъ, поговорите съ ними или заставьте ихъ поговорить между собой. Литература наша такъ молода, такъ недавно началась, что и теперь еще можно встрѣтить въ обществѣ всѣхъ ея представителей. Первое замѣчательное русское стихотвореніе, написанное правильнымъ размѣромъ, Ломоносова «Ода на взя-

тіе Хотина», явилось въ 1789 году, ровно 107 лѣтъ тому назадъ, а Ломоносовъ умеръ въ 1765 году, съ небольшимъ 80 лѣтъ назадъ тому. Теперь конечно нѣтъ уже людей, которые видѣли бы Ломоносова хотя въ дѣтствѣ ихъ, или, видѣвши его, могли бы помнить объ этомъ; но и теперь еще много на Руси людей, которые по сочиненіямъ Ломоносова научились любить поэзію и литературу и которые и теперь считаютъ его такимъ же великимъ поэтомъ, какимъ всѣ считали его въ ихъ время. Еще больше теперь людей, которые живо помнятъ и лицо, и голосъ Державина и эпоху его полной славы считаютъ лучшихъ временемъ своей жизни. Многіе старики и теперь убѣждены отъ всей души въ высокомъ достоинствѣ поэмъ Хераскова, и давно ли маститый поэтъ Дмитріевъ жаловался печатно на неуваженіе молодыхъ поколѣній къ таланту творца «Россиады» и «Владимира»? Есть еще много стариковъ, которые съ умиленіемъ вспоминаютъ о трагедіяхъ Сумарокова и при спорѣ готовы называть продекламировать лучшія, по ихъ мнѣнію, тирады изъ «Димитрія Самозванца». Другіе изъ нихъ, уже соглашаясь, что языкъ Сумарокова дѣйствительно очень устарѣлъ, укажутъ вамъ съ особеннымъ уваженіемъ на трагедіи и комедіи Княжнина, какъ на образецъ драматическаго пафоса и чистоты русскаго языка. Еще больше можно теперь встрѣтить такихъ, которые ничего не станутъ говорить о Сумароковѣ и Княжнинѣ, но тѣмъ съ большимъ жаромъ и съ большей увѣренностью заговорятъ объ Озеровѣ. Что же касается до Карамзина,—не только старыя, но и старѣющія поколѣнія беззавѣтно принадлежатъ ему душой и тѣломъ, чувствуютъ, думаютъ и живутъ его духомъ, несмотря на то, что они не только читали Жуковского, Батюшкова, Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Лермонтова, но и восхищались всѣми ими болѣе или менѣе... Потомъ есть теперь люди, которые иронически улыбаются при имени Пушкина и съ благоговѣніемъ говорятъ о Жуковскомъ, какъ будто уваженіе къ послѣднему несомнѣнно съ уваженіемъ къ первому. А сколько теперь людей, которые не понимаютъ Гоголя и оправдываютъ свое предубѣжденіе на счетъ его тѣмъ, что они понимаютъ Пушкина!.. Но не думайте, чтобы все это были чисто-литературные факты: нѣтъ, если вы внимательнѣе присмотритесь и прислушаетесь къ этимъ представителямъ различныхъ эпохъ нашей литературы и различныхъ эпохъ нашего общества,—вы не можете не замѣтить болѣе или менѣе живого отношенія между ихъ литературными и ихъ

житейскими понятіями и убѣжденіями. Что же касается собственно до литературнаго ихъ образованія, — это люди, раздѣленные другъ отъ друга какъ-будто столѣтіями, потому-что наша литература съ небольшимъ во сто лѣтъ пробѣжала разстояніе не одного вѣка. И потому была большая разница между обществомъ, которое восторгалось громоздкими фразами высокопарныхъ одъ и тяжелыхъ эпическихъ поэмъ; и обществомъ, которое ходило плакать на Лизинъ прудъ; — между обществомъ, которое жадно читало «Людмилу» и «Свѣтлану», уивалось фантастическими ужасами «Двѣнадцати Спящихъ Дѣвъ» или нѣжилось въ романтической задумчивости подъ таинственные звуки «Дюловой Арфы», — и между обществомъ, которое для «Евгенія Онегина» забыло и «Кавказскаго Пльвника», и «Бахчисарайскій Фонтанъ», для «Горя отъ Ума» — комедіи Фонвизина, для «Бориса Годунова» — «Димитрія Донскаго» Озерова (какъ нѣкогда для послѣдняго забыло оно «Димитрія Самозванца» Сумарокова), а потомъ для Пушкина и Лермонтова какъ-будто охолодѣло къ поэтамъ, которые имъ предшествовали; для Гоголя совершенно забыло всѣхъ романистовъ и нувелистовъ, которыми еще недавно такъ восхищалось... Подумайте только, какое неизмѣримое пространство времени легло между «Иваномъ Выжигинымъ», который вышелъ въ 1829 году, и между «Мертвыми Душами», которые вышли въ 1842 году... Это различіе литературнаго образованія общества перешло въ жизнь и раздѣлило людей на различно дѣйствующія, мыслящія и убѣжденные поколѣнія, которыхъ живые споры и полемическія отношенія, выходя изъ принциповъ, а не изъ матеріальныхъ интересовъ, являютъ собой признаки возникающей и развивающейся въ обществѣ духовной жизни. И это великое дѣло есть дѣло нашей литературы..

Литература была для нашего общества живымъ источникомъ даже практическихъ нравственныхъ идей. Она началась сатирой и въ лицѣ Кантемира объявила нещадную войну невѣжеству, предразсудкамъ, сутяжничеству, ябедѣ, крючкотворству, лихоимству и казнокрадству, которыя она застала въ старомъ обществѣ не какъ пороки, но какъ правила жизни, какъ моральныя убѣжденія. Каковъ бы ни былъ талантъ Сумарокова, но его сатирическіе нападки на «крапивное сѣмя» всегда будутъ заслуживать почетнаго упоминовенія отъ историка русской литературы. Комедія Фонвизина были еще болѣе заслугой предъ обществомъ, нежели предъ литературой. Отчасти то же можно сказать и объ

«Ябедѣ» Капишта. Басня потому такъ хороша и принялась у насъ, что она принадлежитъ къ сатирическому роду поэзіи. Самъ Державинъ, поэтъ непремуществу лирическій, былъ въ то же время и сатирическимъ поэтомъ, какъ напримѣръ въ «Фелицѣ», «Вельможѣ» и другихъ пьесахъ. Наконецъ пришло время, когда въ нашей литературѣ сатира перешла въ юморъ, который высказывается въ художественномъ воспроизведеніи житейской дѣйствительности. Конечно смѣшно было бы предполагать, чтобъ сатира, комедія, повѣсть или романъ могли исправить порочнаго человѣка; но нѣтъ сомнѣнія, что они, открывая глаза общества на самого же его, способствуя пробужденію его самосознанія, покрываютъ порочнаго презрѣніемъ и позоромъ. Не даромъ же многіе у насъ не могутъ безъ ненависти слышать имени Гоголя, и его «Ревизора» называютъ «безнравственнымъ» сочиненіемъ, которое слѣдовало бы запретить. Равнымъ образомъ теперь уже никто не будетъ такъ просто душенъ, чтобы думать, что комедія или повѣсть можетъ взяточника сдѣлать честнымъ человѣкомъ, — нѣтъ, кривое дерево, когда оно уже выросло и потолстѣло, не сдѣлаешь прямымъ; но въдъ у взяточниковъ такъ же бывають дѣти, какъ и у невзяточниковъ: тѣ и другія, еще не имѣя причинъ считать безнравственными яркія изображенія взяточничества, восхищаются ими и незамѣтно для самихъ себя обогащаются такими впечатлѣніями, которыя не всегда оказываются безплодными въ ихъ послѣдующей жизни, когда они дѣлаются дѣйствительными членами общества. Впечатлѣнія юности сильны, и юность то и принимаетъ за несомнѣнную истину, что прежде всего поразило ея чувство, воображеніе и умъ. И вотъ какимъ образомъ дѣйствуетъ литература уже не на одно образованіе, но и на нравственное улучшеніе общества! Какъ бы то ни было, но это фактъ, не подлежащій никакому сомнѣнію, что только въ послѣднее время у насъ начало дѣлаться замѣтнымъ число людей, которые нравственные убѣжденія стараются осуществлять на дѣлѣ, въ ущербъ своимъ личнымъ выгодамъ и во вредъ своему общественному положенію...

Не менѣе этого неоспоримъ и тотъ фактъ, что литература служитъ у насъ точкой соединенія людей, во всѣхъ другихъ отношеніяхъ внутренно разъединенныхъ. Мѣщанинъ Ломоносовъ за свой талантъ и свою ученость достигаетъ важныхъ чиновъ, и вельможи допускають его въ свой кругъ. Съ другой стороны, литература же сближаетъ его съ людьми бѣдными и ничтож-

ныни въ гражданскомъ отношеніи. Бѣдный дворянинъ Державинъ за свой талантъ самъ дѣлается вельможей, — и между людьми, съ которыми сблизила его литература, онъ напелъ не однихъ меценатовъ, но и друзей. Казанскій купецъ Каменевъ, написавшій балладу «Грошвалъ», пріѣхавъ въ Москву по дѣламъ, пошелъ познакомиться съ Карамзинъ; а черезъ него перезнакомился со всѣмъ московскимъ литературнымъ кругомъ. Это было назадь тому сорокъ лѣтъ, когда купцы казнили только въ переднихъ дворянскихъ домахъ, и то по дѣламъ, съ товарами или за должкомъ; объ ушатѣ, котораго смиренно покупали. Первые журналы русскіе, которыхъ и самыя имена теперь забыты; издавались кружками молодыхъ людей, сблизившихся между собою черезъ общую имъ всѣмъ страсть къ литературѣ. Образованность равняетъ людей. И въ наше время уже несколько не рѣдкость встрѣтить дружескій кружокъ, въ которомъ найдется и знатный баринъ, и разношвецъ, и купецъ, и мѣщанинъ, — кружокъ, члены котораго совершенно забыли раздѣляющія ихъ внѣшнія различія и взаимно уважаютъ другъ въ другѣ просто людей. Вотъ истинное начало образованной общественности, созданное у насъ литературой! Кто изъ имѣющихъ право на имя человѣка не пожелаетъ отъ всей души, чтобъ эта общественность росла и увеличивалась не по днямъ, а по часамъ, какъ росли наши скачковые боатыри! Какъ все живое, общество должно быть органическимъ, то есть множествомъ людей, связанныхъ между собой внутреннею. Дневныя интересы, торговля, акціи, балы, собранія, танцы — тоже связь, но только внѣшняя, слѣдовательно не живая, не органическая; хотя и необходимая и полезная. Внутренне связываютъ людей и общеправственные интересы, сходство въ понятияхъ, равенство въ образованіи и при этомъ взаимное уваженіе къ своему человѣческому достоинству. Но всѣ наши нравственные интересы, вся духовная жизнь наша сосредоточивались до сихъ поръ и еще долго будутъ сосредоточиваться исключительно въ литературѣ; она живой источникъ, изъ котораго проистекаютъ въ общество всѣ человѣческія чувства и понятія...

Повидимому крѣпко ничего легче, а въ сущности нѣтъ ничего труднѣе, какъ писать о русской литературѣ. Это потому, что русская литература все еще младенецъ, молодой, младенецъ-Алкидъ, но все же младенецъ. А о дѣтяхъ вообще гораздо труднѣе сказать что-нибудь положительное, определенное, нежели о взрослыхъ людяхъ.

Притомъ же наша литература, подобно нашему обществу, представляетъ собой зрѣлище всевозможныхъ противорѣчій, противоположностей, крайностей, странностей. Это оттого, что она началась не сама-собой, а была сперва пересадкою на нашу почву съ чуждой намъ почвы. Поэтому объ нашей литературѣ всего легче говорить крайностями. Доказывайте, что она не уступаетъ въ богатствѣ и зрѣлости ни одной европейской литературѣ, и что мы можемъ десятками считать нашихъ Гейнэ и сотнями нашихъ талантовъ; или доказывайте, что у насъ вовсе нѣтъ литературы; что наши лучшіе писатели — или случайныя явленія, или просто ничего не стоятъ въ общихъ случаяхъ, какъ по крайней мѣрѣ поймутъ, и наше мнѣніе найдутъ себя жаркихъ посядвателей. Любовь къ крайностямъ въ сужденіяхъ — одно изъ свойствъ еще не установившейся природы русской; русскій человѣкъ любитъ или не въ мѣру хвалиться, или не въ мѣру скромничать. И потому у насъ такъ много, съ одной стороны, пустоголовыхъ европеизовъ, которые съ восхищеніемъ говорятъ о послѣдней фальшивой сказкѣ выписаннаго французскаго балетриста, или съ амфозомъ носятъ новый модельный куплетъ, давно забытый парижанами, а съ презрительнымъ равнодушіемъ или съ оскорбительной недоверчивостью смотрятъ на гениальное произведеніе русскаго поэта, для которыхъ Россія не имѣетъ будущаго, и въ ней все дурно и ничего порядочнаго быть не можетъ; а съ другой стороны, у насъ такъ много класныхъ патриотовъ, которые всѣми силами натягиваютъ ненавидѣть все европейское — даже просвѣщеніе, и имѣть все русское — даже сивуху и рукопашную дуэль. Пристыжте къ одной изъ этихъ партій, — она сейчасъ же превратитъ насъ въ великіе люди и въ гѣи. Когда какъ другая — возненавидитъ и объявитъ бездарнымъ человѣкомъ. Но во всякомъ случаѣ, нѣтъ враговъ, мы будемъ жить и друзей. Держась же безпристрастнаго, трезваго мнѣнія объ этомъ предметѣ, — мы возстанемъ противъ себя съ стороны. Одна изъ нихъ обременитъ насъ своимъ моднымъ, попугайнымъ презрѣніемъ; другая, покаяный, объявитъ насъ человѣкомъ безпокойнымъ, озабоченнымъ, подозрительнымъ, реператоромъ и будетъ писать на насъ литературныя донесенія — разумѣется, публикующія. Самое неприятное тутъ то, что мы не будемъ поняты, и въ вашихъ словахъ будутъ находить то неумѣренныя похвалы, то неумѣренную брань, но не будутъ видѣть въ нихъ вѣрной характеристики факта дѣйствительности, какъ онъ есть, со всѣмъ его

добромъ и зломъ, достоинствами и недостатками, со всѣми противорѣчіями, которыми онъ носитъ въ самомъ себѣ. Это особенно прилагается къ нашей литературѣ, которая представляетъ собой столько крайностей и противорѣчій, что, сказавши о ней что-нибудь утвердительное, тотчасъ же должно сдѣлать оговорку, которая большинству публики, больше любящему читать, нежели разсуждать, легко можетъ показаться отрицаніемъ или противорѣчіемъ. Такъ напримѣръ, сказавши о силѣ и благотворномъ влияніи нашей литературы на общество и слѣдовательно о ея великой для насъ важности, мы должны оговориться, чтобы этому влиянію и этой важности не приписали большаго размѣровъ, нежели какіе мы разумѣли, и такимъ образомъ не вывели бы изъ нашихъ словъ такого заключенія, что мы не только имѣемъ литературу, но еще и богатую литературу, которая смѣло можетъ стать наравнѣ съ любой европейской литературой. Подобное заключеніе было бы всячески ложно. У насъ есть литература, и литература богатая талантами и произведениями, если брать въ соображеніе ея средства и молодость, — но наша литература существуетъ только для насъ: для иностранцевъ же она еще вовсе не литература, и они имѣютъ полное право не признавать ея существованія, потому-что они не могутъ черезъ нее изучать и узнавать насъ какъ народъ, какъ общество. Литература наша слишкомъ молода, неопредѣлена и безцвѣтна для того, чтобы иностранцы могли видѣть въ ней фактъ нашей умственной жизни. Еще недавно была она робкимъ, хотя и даровитымъ ученикомъ, который поставлялъ себѣ за славу копировать европейскіе образцы, который за картины русской жизни выдавалъ кони съ картинъ европейской жизни. И это составляетъ характеръ дѣловой эпохи литературы нашей отъ Кантемира и Ломоносова до Пушкина. Потомъ, почувствовавъ свои силы, она изъ ученика сдѣлалась мастеромъ, и вмѣсто того чтобы копировать съ готовыхъ картинъ европейской жизни, простоудушно выдавая ихъ за оригинальныя картины русской жизни, она смѣло начала воспроизводить картины и европейской, и русской жизни. Но пока еще только въ первыхъ была она вполне мастеромъ, а во вторыхъ только стремилась, и не всегда безуспѣшно, стать мастеромъ. И это составляетъ характеръ періода нашей литературы отъ Пушкина до Гоголя. Съ появленія Гоголя литература наша исключительно обратилась къ русской жизни, къ русской дѣйствительности. Можетъ-быть черезъ это она сдѣ-

лалась болѣе односторонней и даже однообразной, зато и болѣе оригинальной, самобытной, а слѣдовательно и истинной. Теперь взглянемъ на эти періоды русской литературы въ отношеніи къ ихъ значенію не для насъ, а для иностранцевъ. Нѣтъ никакой нужды доказывать, что Ломоносовъ и Карамзинъ имѣютъ для насъ великое значеніе; но попробуйте перевести ихъ сочиненія на любой европейскій языкъ, — и вы увидите, станутъ ли иностранцы читать ихъ, а если и прочтутъ, то много ли найдутъ въ нихъ интереснаго для себя. Они скажутъ: «мы давно уже прочли все это у себя дома; дайте намъ русскихъ писателей». То же бы самое сказали они и о сочиненіяхъ Дмитріева, Озерова, Батюшкова, Жуковского. Изъ всего этого періода былъ бы имъ интересенъ только одинъ писатель — баснописецъ Крыловъ; но онъ рѣшительно не переводимъ ни на какой языкъ въ мірѣ, и его могутъ оцѣнить только тѣ изъ иностранцевъ, которые знаютъ русскій языкъ и долго жили въ Россіи. Итакъ, цѣлый періодъ русской литературы рѣшительно не существуетъ для Европы. Что же касается до второго, — онъ можетъ существовать для нихъ, но только въ известной степени. Еслибы такіа произведенія Пушкина, какъ напримѣръ «Моцартъ и Сальери», «Скупой Рыцарь», «Каменный Гость», были переведены достойнымъ ихъ образомъ на какой-нибудь европейскій языкъ, — иностранцы не могли бы не признать ихъ превосходными созданіями поэзіи, но тѣмъ не менѣе эти пьесы не имѣли бы для нихъ почти никакого интереса, какъ созданія русской поэзіи. То же можно сказать и о лучшихъ произведеніяхъ Лермонтова. Ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ не могутъ не терять отъ переводовъ, какъ бы ни хороши были переводы ихъ сочиненій. Причина очевидна: хотя въ твореніяхъ Пушкина и Лермонтова видна душа русская, ясный, положительный русскій умъ, сила и глубокость чувства, — однакожъ эти качества виднѣе намъ, русскимъ, нежели иностранцамъ, потому-что русская національность еще не довольно выработалась и развилась, чтобы русскій поэтъ могъ налагать на свои произведенія ея рѣзкую печать, выражая въ нихъ общечеловѣческія идеи. А требованія европейцевъ въ этомъ отношеніи велики. И не мудрено: національный духъ европейскихъ народовъ такъ самобытенъ и рѣзко отражается въ ихъ литературѣ, что, какъ бы ни было велико въ художественномъ отношеніи произведеніе, не запечатлѣнное рѣзкой печатью національности, — оно уже теряетъ въ глазахъ европейца главное свое достоинство. Въ

какомъ-нибудь Марриетъ, Бульверъ или еще меньше значительномъ беллетристѣ англійскомъ вы такъ же точно видите англичанина, какъ и въ Шекспирѣ, Байронѣ, Вальтеръ-Скоттѣ. Жоржъ-Зандъ и Поль-де-Кокъ представляютъ собой крайнія стороны французскаго духа, и хотя первый выражаетъ собой все прекрасное, человеческое и высокое, а послѣдній—ограниченное и пошлое французской національности,—однако вы сейчасъ видите, что оба они равне могли явиться только во Франціи. Какой-нибудь Клауденъ или Августъ Лафонтенъ такъ же нѣмцы, какъ Гёте и Шиллеръ. Въ каждой изъ этихъ литературъ писатель выражаетъ своими сочиненіями хорошую или слабую сторону своей родной національности, и національный духъ, словно таможенный штеннелъ, лежитъ тамъ какъ на произведеніи генія, такъ и на произведеніи бездарнаго писателя. Французы оставались въ высшей степени національными, но всѣхъ силъ подражая грекамъ и римлянамъ. Виландъ остался нѣмцемъ, подражая французамъ. Барьеры національности не переходили для европейцевъ. Можетъ-быть это наша величайшая выгода, что намъ равно доступны всѣ національности, и наши поэты такъ легко и свободно становятся въ своихъ произведеніяхъ и греками, и римлянами, и французами, и нѣмцами, и англичанами, и итальянцами, и испанцами; но эта выгода въ будущемъ, какъ указание на то, что наша національность должна выработаться широко и многосторонне. Въ настоящемъ же это пока скорѣе недостатокъ, чѣмъ достоинство, не столько широкость и многосторонность, сколько невыработанность и неопредѣленность своего собственного личнаго начала.

И потому для иностранцевъ интереснѣе другихъ были бы въ хорошихъ переводахъ тѣ созданія Пушкина и Лермонтова, которыхъ содержаніе взято изъ русской жизни. Такимъ образомъ «Евгеній Онегинъ» былъ бы для иностранцевъ интереснѣе «Мопарта и Сальери», «Скупого Рыцаря» и «Каменнаго Гостя». И вотъ почему самый интересный для иностранцевъ русскій поэтъ есть Гоголь. Это не предположеніе, а фактъ, доказанный замѣчательнымъ успѣхомъ во Франціи перевода пяти повѣстей этого писателя, въ прошломъ году изданныхъ въ Парижѣ Луи Віардо. Этотъ успѣхъ понятенъ: кромѣ огромности своего художественнаго таланта, Гоголь строго держится въ своихъ сочиненіяхъ сферы русской житейской дѣйствительности. А это-то всего и интереснѣе для иностранцевъ: они хотятъ черезъ поэтазнакомиться съ страной, которая произвела его. Въ этомъ от-

ношеніи Гоголь—самый національный изъ русскихъ поэтовъ, и ему нельзя бояться перевода, хотя, по причинѣ самой національности его сочиненій, и въ лучшемъ переводѣ не можетъ не ослабиться ихъ ко-лоритъ.

Но и этимъ успѣхомъ не должно слишкомъ заноситься. Для поэта, который хочетъ, чтобъ геній его былъ признанъ всѣмъ и всѣми, а не одними только его соотечественниками, національность есть первое, но не единственное условіе: необходимо еще, чтобъ, будучи національнымъ, онъ въ то же время былъ и всемірнымъ, то есть, чтобы національность его твореній была формой, тѣломъ, плотью, физиономіей, личностью духовнаго и безплотнаго міра, общечеловѣческихъ идей. Другими словами: необходимо, чтобъ національный поэтъ имѣлъ великое историческое значеніе не для одного только своего отечества, но чтобы его явленіе имѣло всемірно-историческое значеніе. Такие поэты могутъ являться только у народовъ, призванныхъ играть въ судьбахъ человѣчества всемірно-историческую роль, то есть своею національною жизнью имѣть вліяніе на ходъ и развитіе всего человѣчества. И потому, если, съ одной стороны, безъ великаго генія отъ природы нельзя быть всемірно-историческимъ поэтомъ, то, съ другой стороны, и съ великимъ геніемъ иногда можно быть не всемірно-историческимъ поэтомъ, то есть имѣть важность только для одного своего народа. Здѣсь значеніе поэта зависитъ уже не отъ него самого, не отъ его дѣятельности, направленія, генія, но отъ значенія страны, которая произвела его. Съ этой точки зрѣнія у насъ нѣтъ ни одного поэта, котораго мы имѣли бы право ставить наравнѣ съ первыми поэтами Европы,—даже и въ такомъ случаѣ, еслибы мы ясно увидѣли, что со стороны таланта онъ не уступаетъ тому или другому изъ нихъ. Пьесы Пушкина: «Мопартъ и Сальери», «Скупой Рыцарь» и «Каменный Гость» такъ хороши, что безъ всякаго преувеличенія можно сказать, что онѣ достойны генія самого Шекспира; но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобъ Пушкинъ былъ равенъ Шекспиру. Не говоря уже о томъ, что есть большая разница въ силѣ и объемѣ между геніемъ Шекспира и геніемъ Пушкина,—еслибы Пушкинъ написалъ столько же и въ такой же мѣрѣ превосходнаго, сколько Шекспиръ, и тогда его равенство съ Шекспиромъ было бы слишкомъ смѣлой гипотезой. Тѣмъ болѣе это теперь, когда мы знаемъ, что число и объемъ его лучшихъ произведеній такъ бѣдны въ сравненіи съ числомъ и объемомъ лучшихъ

произведений Шекспира. Вообще мы скорее можем сказать, что в нашей литературе есть несколько произведений, которых мы можем, по их художественному достоинству, противопоставлять некоторым гениальным произведениям европейских литератур; но мы не можем сказать, чтобы у нас были поэты, которых мы могли бы противопоставлять европейским поэтам первой величины. Есть глубокий смысл в том, что мы нуждаемся в знакомстве с великими поэтами иностранных литератур, и что иностранцы не нуждаются в знакомстве с нашими. Отношение наших великих поэтов к великим поэтам Европы можно выразить так: о некоторых пьесах Пушкина можно сказать, что сам Шекспир не постыдился бы назвать их своими, так же как некоторые пьесы Лермонтова сам Байрон не постыдился бы назвать своими; но, не рискуя впасть в негибость, нельзя сказать наоборот; что под некоторыми сочинениями Шекспира и Байрона Пушкин и Лермонтов не постыдились бы подписать своего имени. Мы можем называть наших поэтов Шекспирами, Байронами, Вальтер-Скоттами, Гёте, Шиллерами и пр. только для показанія силы или направления их таланта, но не их значения в глазах всего образованнаго міра. Кого называют не своим именем, тот не может быть равен тому, чьим именем его называют. Байронъ явился послѣ Гёте и Шиллера,—и остался Байрономъ, а не былъ прозванъ англійскимъ Гёте или англійскимъ Шиллеромъ. Когда для Россіи придетъ время производить поэтовъ всемірнаго значенія,—этихъ поэтовъ будутъ называть ихъ собственными именами, и каждое имя такого поэта, оставаясь собственнымъ, будетъ въ то же время и нарицательнымъ, будетъ употребляться и во множественномъ числѣ, потому что будетъ типическимъ.

Говоря, что русскій великій поэтъ, будучи одаренъ отъ природы и равнымъ великому европейскому поэту талантомъ, все-таки не можетъ въ настоящее время достигнуть равнаго съ нимъ значенія,—мы хотимъ этимъ сказать, что онъ можетъ соперничествовать съ нимъ только въ формѣ, но не въ содержаніи своей поэзіи. Содержаніе даетъ поэту жизнь его народа, слѣдовательно достоинство, глубина, объемъ и значеніе этого содержанія зависятъ прямо и непосредственно не отъ самого поэта и не отъ его таланта, а отъ историческаго значенія жизни его народа. Только тридцать-шесть лѣтъ прошло съ того вѣчно-памятнаго дня, какъ Россія громами

полтавской битвы возвѣстила міру о своемъ приобщеніи къ европейской жизни, о своемъ вступленіи на поприще всемірно-историческаго существованія,—и какой блестящій путь преуспѣнія и славы совершила она въ этотъ короткий срокъ времени! Это что-то баснословно-великое, безпримѣрное, нигдѣ и никогда не бывающее! Россія рѣшила судьбы современнаго міра, «поваливъ въ бездну тяготѣвшей надъ царствами кумиръ», и теперь, занявъ по праву принадлежавшее ей мѣсто между первоклассными державами Европы, она вмѣстѣ съ ними держитъ судьбы міра на вѣсахъ своего могущества... Но это показываетъ, что мы ни отъ кого не отстали, а многихъ и опередили въ политическо-историческомъ значеніи—важной, но еще не единственной, не исключительной сторонѣ жизни для народа, призваннаго для великой роли. Наше политическое величіе есть несомнѣнный залогъ нашего будущаго великаго значенія и въ другихъ отношеніяхъ; но нѣ однихъ въ немъ еще нѣтъ окончательнаго достиженія до развитія воихъ сторонъ, должествующихъ составлять полноту и цѣлость жизни великаго народа. Въ будущемъ мы, кромѣ побѣдоноснаго русскаго меча, положимъ на вѣсы европейской жизни еще и русскую мысль... Тогда будутъ у насъ и поэты, которыхъ мы будемъ имѣть право равнять съ европейскими поэтами первой величины. Но теперь будемъ довольны тѣмъ, что есть, не преувеличивая и не уменьшая того, чѣмъ владѣемъ. По времени наша литература оказала огромные успѣхи, свидѣтельствующіе несомнѣнно о плодотворности почвы русскаго духа. Если еще не литература наша, то уже кое-что въ литературѣ нашей начинаетъ интересовать даже иностранцевъ. Интересъ этотъ пока еще довольно одностороненъ, потому-что въ произведеніяхъ русскихъ поэтовъ иностранцы могутъ находить для себя только мѣстный колоритъ, живопись нравовъ и обычаевъ отолѣрѣзко противоположной имъ страны...

У насъ изстари ведется обычай нападать то на публику за ея, будто бы, равнодушіе ко всему родному, а преимущественно къ отечественнымъ талантамъ, къ отечественной литературѣ; то на критиковъ, будто-бы, старающихся унижать заслуженные авторитеты русской литературы. Мы не безъ причины поставили рядомъ оба эти обвиненія; между ними такъ много общаго. Начнемъ съ перваго. Неумоимые защитники нашей литературы, скромно величающие себя «патріотами» и «правдолюбими», больше всего жалуются на упадокъ нашей книжной торговли, на малый расходъ книгъ. Но

факты говорят совсѣмъ другое: изъ нихъ ясно, какъ дважды два—четыре, что у насъ хорошо расходится даже «ожило-нибудя» порядочныя книги, не говоря уже о пресвосходныхъ. «Героя нашего времени» продолженіе шести лѣтъ разошлось три изданія; стихотвореній Лермонтова скоро потребуются третье изданіе, несмотря на то, что они всѣ были первоначально напечатаны въ журналахъ; «Вечера на Хуторѣ» Гоголя печатались едва ли не четыре раза; «Ревизора» разошлось три изданія, второе изданіе (1842 г.) сочиненій Гоголя разошлось въ числѣ трехъ тысячъ экземпляровъ; «Мертвыя Души», напечатанныя въ 1842 году въ числѣ двухъ тысячъ четырехъ сотъ экземпляровъ, давно расхватаны до послѣдняго экземпляра. Даже повѣсти графа Салтыкова, прочитанныя публикой въ журналахъ, вышли уже вторымъ изданіемъ; «Баранталь», вѣроятно тоже скоро появится вторымъ изданіемъ. Этихъ фактовъ достаточно. Говорить даже, что у насъ не можетъ не окупиться изданіе самой плохой книги, почему книгопродавцы и печатаютъ такъ много плохихъ книгъ. Исключеніе, видно, остается только за сочиненіями господъ «справедливыхъ», жалующихся на то, что книги не идутъ съ рукъ. Но это донимаетъ только, какъ невыгодно запаздывать талантомъ, умомъ и понятіями. Въ горести и отчаяніи при мысли о залежавшемся товарѣ своего ума и фантазіи эти господа вадумали свалить вину паденія книжнаго товара на толстые журналы и на новую, будто бы, ложную школу литературы, основанную Гоголемъ. Оба эти обвиненія сидятъ одно другого. Обвинители говорятъ, будто наша литература гибнетъ оттого, что въ журналахъ печатаются прѣдлкомъ многотомные романы, исторіи и тому подобное. Они даже уверяютъ, что сама публика недовольна этимъ. Конечно! для публики очень невыгодно за пятьдесятъ рублей въ годъ приобретать столько сочиненій, которыя, будучи изданы отдѣльно, обошлись бы ей чуть ли не въ пятеро дороже! Какъ же послѣ этого публикѣ не жаловаться на журналы? Вамъ хочется, чтобы и книги, несмотря на то, шли своими чередомъ? Издавайте ихъ какъ можно дешевле и въ большомъ количествѣ экземпляровъ: журналы вамъ не помѣшаютъ. Несмотря на то, что книги и у насъ сдѣлались гораздо дешевле, нежели какъ были онѣ лѣтъ за пятнадцать назадъ тому, когда крошечные альманахи, сѣренько издававшіеся, продавались по десяти рублей ассигнаціями, а плохіе переводы романовъ Вальтеръ-Скотта и оригинальные русскіе романы—по двадцати и больше рублей ас-

сигнаціями за экземпляръ,—несмотря на то, книги у насъ еще и теперь—страшно дорогой товаръ. Это, къ несчастію, слишкомъ хорошо знаютъ тѣ, кто считаетъ за необходимое имѣть въ своей библіотекѣ сочиненія всѣхъ извѣстныхъ русскихъ писателей. Только въ прошломъ году вышло изданіе сочиненій Державина, стоящее три рубля серебромъ; тогда какъ этимъ сочиненіямъ давно бы слѣдовало продаваться еще вдвое дешевле. Смирдинское изданіе сочиненій Батюшкова стоитъ пятнадцать рублей ассигнаціями. Первые восемь томовъ сочиненій Жуковского теперь съ трудомъ можно приобрести и за пятнадцать рублей серебромъ, потому что изданіе давно разошлось, а новое все нѣтъ какъ нѣтъ. Сочиненія Пушкина, дурно изданныя, стоятъ до шестидесяти рублей ассигнаціями. «Мертвыя Души» Гоголя, продававшіяся по три рубля серебромъ, теперь нельзя купить меньше десяти рублей серебромъ, а о новыхъ изданіяхъ даже и не слышно. Какъ же процвѣтаетъ книжной торговлѣ, когда публикѣ нечего покупать, при всей ея охотѣ покупать? Скажутъ: у насъ есть книгопродавцы-издатели, которые вмѣсто того, чтобы наживать, только разоряются отъ изданія книгъ. Такъ, но много ли изъ этихъ книгопродавцевъ знаютъ толкъ въ товарѣ, который торгуютъ? Кто же тутъ виноватъ—нужели толстые журналы?..

Конечно нельзя не согласиться отчасти и въ томъ, что наша публика не совсѣмъ похожа напримѣръ на французскую въ ея любви къ отечественнымъ талантамъ и отечественной литературѣ. Въ Парижѣ вышло новое изданіе (которое счетомъ—и связать трудно) сочиненій Люго въ то самое время, когда Французская академія отказала ему въ званіи своего члена: публика изъявила свое неудовольствіе тѣмъ, что въ нѣсколько дней раскупила все изданіе... У насъ еще невозможны такіа явленія. Почти каждый образованный французъ считаетъ необходимымъ имѣть въ своей библіотекѣ всѣхъ своихъ писателей, которыхъ общественное мнѣніе признало классическими: И онъ читаетъ и перечитываетъ ихъ всю жизнь сномъ. У насъ—что грѣха таить!—не всякій записной литераторъ считаетъ за нужное имѣть старыхъ писателей. И вообще у насъ всѣ охотнѣе покупаютъ новую книгу, нежели старую; старыхъ писателей у насъ почти никто не читаетъ, особенно тѣ, которые всѣхъ громче кричатъ о ихъ гени и славѣ. Это отчасти происходитъ оттого, что наше образованіе еще не установилось и образованныя потребности еще не обратились у насъ въ привычку. Но тутъ есть и другая, можетъ-

быть еще болѣе существенная, причина, которая не только объясняетъ, но частью и оправдываетъ это нравственное явленіе. Французы до сихъ поръ читаютъ напримѣръ Рабле или Паскаля, писателей XVI и XVII вѣка: тутъ нѣтъ ничего удивительнаго, потому-что этихъ писателей и теперь читаютъ и изучаютъ не одни французы, но и нѣмцы, и англичане, словомъ, люди всѣхъ образованныхъ націй. Языкъ этихъ писателей, и особенно Рабле, устарѣлъ, но содержание ихъ сочиненій всегда будетъ имѣть свой живой интересъ, потому-что оно тѣсно связано со смысломъ и значеніемъ цѣлой исторической эпохи. Это доказываетъ ту истину, что только содержание, а не языкъ, не слогъ можетъ спасти отъ забвенія писателя, несмотря на измѣненіе языка, нравовъ и понятій въ обществѣ. Тутъ даже и талантъ, какъ бы онъ ни былъ великъ, не составляетъ всего. Ломоносовъ былъ великій, гениальный человѣкъ; его ученыя сочиненія всегда будутъ имѣть свою цѣну; но его стихи для насъ могутъ имѣть только одинъ интересъ — какъ историческій фактъ рождающейся литературы, а больше никакого. Читать ихъ и скучно, и трудно. На это можно рѣшиться по обязанности, а не по склонности. Державинъ былъ положительно одаренъ поэтическимъ гениемъ; но его эпоха такъ мало могла дать содержанія для его творчества, что если его и читаютъ теперь, то больше съ цѣлью изученія исторіи русской литературы, нежели для прямого эстетическаго наслажденія. Карамзинъ изъ торной, ухабистой и каменистой дороги латинско-нѣмецкой конструкторціи, славяно-церковныхъ рѣченій и оборотовъ и схоластической надутости выраженія вывелъ русскій языкъ на настоящій и естественный ему путь, заговорилъ съ обществомъ языкомъ общества, создалъ, можно сказать, и литературу, и публику: заслуга великая и безсмертная! Мы признаемъ ее со всею охотою, и считаемъ для себя не только за долгъ, но и за наслажденіе быть признательными къ имени знаменитаго мужа; но все это не даетъ содержанія «Бѣдной Лизѣ», «Наташѣ Боярской Дочери», «Марѣ Посадницѣ» и пр., не сдѣлаетъ ихъ интересными для нашего времени и не заставитъ насъ читать и перечитывать ихъ. И обо многихъ писателяхъ нашихъ можно сказать то же. Намъ возразятъ: «Таково было ихъ время; они не виноваты, что родились въ ихъ, а не въ наше время». Согласны, совершенно согласны; но мы и не винимъ ихъ: мы только снимаемъ вину съ нашей публики; наша роль отнюдь не обвинительная, но чисто оправдывательная. О вкусахъ

спорить трудно; но если кого изъ старыхъ писателей нашихъ можно читать съ истиннымъ удовольствіемъ, такъ это Фонвизина. Его сочиненія такъ похожи на записки или мемуары этой эпохи, хотя они и совсѣмъ не записки или мемуары. Фонвизинъ былъ необыкновенно умный человѣкъ; онъ не хлопоталъ о высокопарной, иллюминированной сторонѣ своего времени, но смотрѣлъ больше на его внутреннюю, домашнюю сторону. Потому сочиненія его крайне интересны. О Крыловѣ не говоримъ: всѣ мы, разъ заучивъ его въ дѣтствѣ, уже никогда не забываемъ.

Сказанное нами о Ломоносовѣ, Державинѣ и Карамзинѣ многими принято будетъ за *flagrant délit* алостваго униженія критикой нашихъ литературныхъ славъ. Въ самомъ дѣлѣ, улика на лицо — и какъ нѣтъ спасенія! Но, какъ говоритъ русская пословица, «страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ!». Къ счастью мнѣніе объ униженіи критикой литературныхъ славъ со дня на день перестаетъ быть мнѣніемъ публики: теперь оно осталось на долю самихъ же такъ-называемыхъ критиковъ, сдѣлалось любимымъ орудіемъ обиженныхъ самолюбій, забытыхъ извѣстностей, надменныхъ талантовъ, выписавшихся сочинителей, — орудіемъ, вполне достойнымъ ихъ!.. Кто не хочетъ превозносить ихъ или, еще болѣе, кто не хочетъ замѣчать ихъ; кто, говоря о знаменитыхъ писателяхъ, не хочетъ повторять готовыхъ стереотипныхъ и избитыхъ фразъ, быть эхомъ чужихъ мнѣній, но хочетъ, по своему разумію, по мѣрѣ силъ своихъ, судить независимо и свободно, оцѣнить заслуги каждаго писателя, показать его достоинства и недостатки, указать на его настоящее мѣсто и значеніе въ русской литературѣ; что дѣлать съ такимъ критикомъ, особенно если его мнѣнія находятъ отзывъ въ публикѣ? — Больше нечего съ нимъ дѣлать, какъ кричать о немъ, сколько можно громче и чаще, что онъ унижаетъ литературныя славъ, порочитъ Ломоносова, Державина, Карамзина, Батюшкова, Жуковского, даже Пушкина!.. Кстати можно намекнуть, что онъ проповѣдуетъ безнравственность, развращаетъ молодыхъ поколѣнія, что онъ... по крайней мѣрѣ — ренегатъ, если не что нибудь еще хуже... Это тоже называется «критикой»... Неужели такая критика находитъ еще себѣ послѣдователей въ публикѣ?... Какихъ—это другой вопросъ, но что находить, это очень возможно, потому-что наша читающая публика такъ же разнообразна, пестра и не единична, какъ и наше общество. Между ней есть люди, для которыхъ «Ревизоръ» и «Мерт-

выя Души»—грубые фарсы, а «Сенсаціи го-
спожы Курдюковой» — остроумѣйшее про-
изведение; есть люди, которые, какъ ска-
залъ Гоголь, «любятъ потолковать о лите-
ратурѣ, хвалятъ Булгарина, Пушкина и
Греча и говорятъ съ презрѣніемъ и остро-
умными колкостями объ А. А. Орловѣ». Та-
кіе люди, или такіе чтецы (читателями ихъ
грубо называть) въ критикѣ видятъ или без-
условную похвалу, или безусловную брань:
имъ такъ легко понимать такую критику,
отъ всякой другой у нихъ закружилась бы
голова, потому-что имъ пришлось бы думать,
что для нихъ всего тяжелѣе и труднѣе.
Когда является разборъ сочиненій писате-
ля, написанный въ духѣ истинной критики,
отдѣляющій въ авторѣ безусловныя до-
стоинства отъ условныхъ, недостатки та-
ланта отъ недостатка времени,—такого раз-
бора помнятые чтецы не станутъ читать;
но имъ скажетъ о немъ какой-нибудь при-
сяжный ихъ критикъ, какой-нибудь тво-
рецъ всякой всячины, который изъ всей
мочи хвалитъ себя, да старыхъ писателей,
уже не опасныхъ ему, и бранитъ напоса-
въ все даровитое въ новомъ поколѣніи. Этотъ
критикъ по-своему разберетъ для своихъ
чтецовъ вновь явившіяся разборъ, вырветъ
изъ него по строчкѣ, по слову изъ страни-
цы и воскликнетъ: можно ли такъ унижать
заслуженные авторитеты! И чтецы вѣрятъ
ему, потому что понимаютъ его: онъ гово-
ритъ имъ ихъ языкомъ, ихъ понятіями,
ихъ чувствами, ихъ вкусомъ, — *les beaux*
esprits se rencontrent... Имъ, этимъ чте-
цамъ, и въ голову не входитъ, что правда
не унижаетъ таланта, такъ же, какъ и оши-
бочное мнѣніе не вредитъ ему, что унижить
можно только незаслуженную извѣстность,
и что слѣдовательно независимое сужде-
ніе о литературѣ ни въ какомъ случаѣ не
можетъ быть вредно, но часто бываетъ по-
лезно. Изобрѣтатель такой критики увѣритъ
своихъ чтецовъ еще и въ томъ, что кри-
тикъ, при имени котораго онъ не можетъ
оставаться хладнокровнымъ, хвалитъ толь-
ко своихъ друзей; а чтецы и вѣрятъ печат-
ному: гдѣ же имъ спрашивать, что этотъ
критикъ едва ли знакомъ лично съ живыми
писателями, которымъ онъ удивляется?—
Это дѣло частное; и гдѣ же имъ сообра-
зить, что онъ еще не родился на свѣтъ,
когда умеръ Ломоносовъ, и не зналъ еще
грамотъ, когда умеръ Державинъ и когда
были въ полномъ своей славы Карамзинъ
и Жуковский, заслугамъ и гению которыхъ
онъ отдастъ полную справедливость но
только не съ чужого голоса и не безот-
четно?—Для соображенія вѣдь нужна спо-
собность соображать. Гораздо легче повѣ-
рить на слово тому, кто повторяетъ себѣ

да и только: хвалитъ-де все своихъ прія-
телей...

Вообще вѣстѣ съ удивительными и бы-
стрыми успѣхами въ умственномъ и лите-
ратурномъ образованіи проглядываетъ у
насъ какая-то незрѣлость, какая-то шат-
кость и неопредѣленность. Истины, въ дру-
гихъ литературахъ давно сдѣлавшіяся ак-
сіомами, давно уже не возбуждающія спо-
ровъ и не требующія доказательствъ, — у
насъ все еще не подвергались сужденію,
еще не всеѣмъ извѣстны. Вы напри-
мѣръ не написали никакой книги, а меж-
ду тѣмъ издаете журналъ, пользующій-
ся огромнымъ успѣхомъ, — и ваши про-
тивники кричатъ, что вашъ журналъ
плохъ, потому-что вы не написали ника-
кой книги. Это «потому-что» очень ориги-
нально! Да если журналъ хорошъ, какое
вамъ дѣло до того, написали ли не напи-
сали его издатель книги?—Вы занимаетесь
критикой, и хотъ на столько успѣшно, что-
бы живо затронуть чужія мнѣнія или при-
страстія и нажить себѣ враговъ: не думайте,
чтобы ваши противники стали опровергать
ваши положенія, оспаривать ваши выводы.
Нѣтъ, вѣсто всего этого они начнутъ
вамъ говорить, что, ничего не написавши
сами, вы не имѣете права критиковать дру-
гихъ; что вы молоды, а между тѣмъ суди-
те о произведеніяхъ людей, которые уже
стары, и т. д. Подобныя выходы хотъ
кого приведутъ въ затруднительное поло-
женіе,—не потому, чтобы трудно было от-
вѣчать на нихъ, а потому именно, что слиш-
комъ легко отвѣчать на нихъ. Но у кого
же достанетъ духу опровергать подобныя
мнѣнія, съ важностью доказывать, что
можно не быть поваромъ — и вѣрно судить
о столѣ; не быть портнымъ — и безошибоч-
но сказать свое мнѣніе о достоинствѣ или
недостаткахъ новаго фрака; — такъ же точ-
но, какъ не умѣть писать стиховъ, рома-
новъ, повѣстей, драмъ — и быть въ состоя-
ніи дѣльно и здраво судить о чужихъ про-
изведеніяхъ; и что, если въ сферѣ гастро-
номіи имѣть тонкій вкусъ есть своего рода
талантъ — то тѣмъ болѣе это въ сферѣ
искусства, и что критика есть своего рода
искусство. Есть истины, которыя даже пош-
лы, потому именно, что слишкомъ очевидны,
какъ наприимѣръ то, что лѣтомъ тепло, а
зимой холодно, что подъ дождемъ можно
вымокнуть, а передъ огнемъ высушиться.
А между-тѣмъ у насъ иногда необходимо
защипать подобныя истины всей силой ло-
гики и діалектики... Но это еще можетъ
быть только или смѣшно, или досадно, смотря
по расположенію вашего духа; но бываютъ
явленія, отъ которыхъ не захочется смѣять-
ся. Вспомните только, что произведеніе,

вѣрно схватывающее какія-нибудь черты общества, считается у насъ часто паскви-лемъ то на общество, то на сословіе, то на лица. Отъ нашей литературы требуютъ, чтобы она видѣла въ дѣйствительности только героевъ добродѣтели, да мелодрама-тическихъ злодѣевъ, и чтобы она и не по-дозрѣвала, что въ обществѣ можетъ быть много смѣшныхъ, странныхъ и уродливыхъ явленій. Каждый, чтобы ему было широко и просторно жить, готовъ, еслибъ могъ, за-претить другимъ жить... Писаки во фриз-выхъ шинеляхъ, съ небритыми подбородка-ми, пишутъ на заказъ мелкимъ книгопро-давцамъ плохія книжонки: что жъ тутъ худо-го? Почему писаки не находятъ свой кусокъ хлѣба, какъ онъ можетъ и умѣть? — Но эти писаки портятъ вкусъ публики, уни-жаютъ литературу и знаніе литератора? — Положимъ, такъ; но чтобы они не вредили вкусу публики и успѣхамъ литературы, для этого есть журналы, есть критика. — Нѣтъ, намъ этого мало; будь наша воля — мы за-претили бы писакамъ писать вздоры, а кни-гопродавцамъ издавать ихъ... И откуда, отъ кого выходятъ подобныя мысли? — изъ журналовъ, отъ литераторовъ!.. Между ни-ми есть ужасные запретители: кромѣ сво-ихъ сочиненій, такъ бы все и запретили гуртомъ... Нѣкоторые и на этомъ не оста-новились бы, но желали бы запретить про-дажу всякихъ другихъ товаровъ, — даже хлѣба и соли, кромѣ своихъ сочиненій... Явился у насъ писатель, юмористическій талантъ котораго имѣлъ до того сильное вліяніе на всю литературу, что далъ ей со-вершенно новое направленіе. Его стали порочить. Хотѣли увѣрить публику, что онъ — Подъ-де-Кокъ, живописецъ, грязной, не-умытой и непринесанной природы. Онъ не отвѣчалъ никому и шелъ себѣ впередъ. Публика, въ отношеніи къ нему, раздѣ-лилась на двѣ стороны, изъ которыхъ са-мая многочисленная была рѣшительно про-тивъ него, — что впрочемъ нисколько не мѣшало ей раскупать, читать и цѣрчить-вать его сочиненія. Наконецъ и болышин-ство публики стало за него; что дѣлать дорисателямъ? Они начали признавать въ немъ талантъ, даже большой, хотя, по ихъ словамъ, идущій не по настоящему пути; но выѣстъ съ этимъ стали давать знать и намекали прямо, что онъ, будто бы, уни-жаетъ все русское, оскорбляетъ почтенное сословіе чиновниковъ и т. п. Но эти госпо-да хлопочутъ совсѣмъ не о чиновникахъ, а о самихъ себѣ; имъ бы хотѣлось заставить молчать всю современную литературу, чтобы публика, не имѣя ничего хорошаго, пожево-дѣ принялась за чтеніе ихъ сочиненій и на-чала бы снова покупать ихъ... И это все

печатается, а публика читаетъ, потому что еслибы этого никто не читалъ, то это и не печаталось бы... Всѣ мнѣнія находятъ у насъ мѣсто, просторъ, вниманіе и даже по-слѣдователей. Что же это, если не незрѣ-лость и не шаткость общественнаго мнѣ-нія? Но со всѣмъ этимъ истина и здравый вкусъ все таки идутъ твердыми шагами и овладѣваютъ полемъ этой безпорядочной битвы мнѣній. Если всякій ложный и пустой, но блестящій талантъ непремѣнно поль-зуется успѣхомъ, то не было еще прѣбра, чтобы истинный талантъ не былъ у насъ признанъ и не получилъ успѣха. Ложные авторитеты падаютъ со дня на день. Давно ли слава Марлинскаго — этого жонглѣра фразы, казалась колоссальною? — Теперь о немъ уже и не говорятъ, не только не ква-лятъ, даже и не бранятъ его. Такихъ прѣ-мѣровъ можно бы привести много. Все это доказываетъ, что и литература, и обще-ство наше еще слишкомъ молоды и незрѣлы, но что въ нихъ кроется много здоровой жизненной силы, обещающей богатое раз-витіе въ будущемъ.

Разъ гдѣ-то была высказана мысль, что у насъ больше художественныхъ, нежели беллетристическихъ проважденій, больше гениевъ, нежели талантовъ. Какъ всякая самобытная и оригинальная мысль, она воз-будила толки. И дѣйствительно, съ перваго взгляда эта мысль можетъ показаться стран-нымъ парадоксомъ; но тѣмъ не менѣе она справедлива въ основаніи. Чтобы убѣдить-ся въ этомъ, стоитъ только бросить бѣг-лый взглядъ на ходъ нашей литературы, отъ ея начала до настоящаго времени. Бел-летристъ есть подражатель, онъ живетъ чужою мыслью — мыслью гения. Правда, ге-нии перваго періода нашей литературы, до Пушкина, были не чѣмъ, ничѣмъ, какъ бел-летристами, въ отношеніи къ европейскимъ писателямъ, у которыхъ они учились пи-сать, заимствовали и форму, и мысли, но въ нашей литературѣ роль ихъ была со-всѣмъ другая. Кактемиръ подражалъ Го-рацію и Буало и со всѣмъ тѣмъ въ русской литературѣ былъ совершенно оригиналь-нымъ писателемъ, предметомъ удивленія для современниковъ, которые видѣли въ немъ гения, и уваженія для потомства, которое ви-дѣтъ въ немъ одно изъ замѣчательныхъ яв-леній нашей литературы. Нечего и говорить въ этомъ отношеніи о Ломоносовѣ, Державинѣ и Фонвизинѣ: это, были дѣйствительно ге-ниальныя люди, а второй изъ нихъ даже былъ дѣйствительно гениальнымъ поэтомъ. Но и Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Богдановичъ, и Княжнинъ считались въ ихъ время и даже долго послѣ ихъ смерти

великими поэтами. Сергій Николаевичъ Глинка—этотъ почтенный и всегда вдохновенный ветеранъ нашей литературы,—и теперь считаетъ ихъ великими поэтами. И хотя наше время думаетъ объ этомъ совсѣмъ иначе, однакожъ оно не можетъ не согласиться, что и мѣніе Сергія Николаевича Глинки и его времени имѣетъ свое основаніе. Первые дѣтели всякой литературы, а особенно подражательной, являются даже и потомству въ такихъ большихъ размѣрахъ, которые уже не существуютъ для такихъ же талантовъ, но являющихся позже, уже во время успѣховъ и развитія литературы. Сумароковъ, по убѣжденію его современниковъ, далеко оставилъ за собой и баснописца Лафонтена, и трагиковъ Корнеля и Расина и сравнялся съ господиномъ Вольтеромъ. Херасковъ былъ нашимъ Гомеромъ, Петровъ — Пиндаромъ, Богдановичъ—Зефиръ давалъ ему перо изъ своихъ крылъ, и Амуръ водилъ его рукою, когда онъ писалъ «Душеньку»... Но много ли породили подражателей эти, положимъ, условные гении? Много ли породилъ подражателей самъ Державинъ? Правда, торжественныхъ одъ было въ тѣ блаженные времена написано и напечатано миллионы; но это оттого, что тысячи рукъ писали ихъ, и если на каждую руку по одной одѣ—такъ ужъ выйдетъ страшный итогъ. Но много ли дошло до насъ именъ талантливыхъ беллетристовъ, порожденныхъ движеніемъ, общеннымъ нашей литературѣ ея первыми гениями? Положимъ, что у Сумарокова, Хераскова и Петрова и не могло быть талантливыхъ подражателей; но много ли было ихъ у Державина? Нѣсколько одъ написалъ Дмитриевъ, и немного больше написалъ ихъ Капнистъ—вотъ и все... Одъ обоихъ этихъ поэтовъ по числу—ничто въ сравненіи съ численнымъ богатствомъ одъ Державина. А между тѣмъ такъ естественно, что беллетристу легче писать много, нежели его образу; но у насъ это всегда бывало наоборотъ. Макаровъ и Подшиваловъ, очень мало написавшіе, особенно послѣдній, дѣйствовали независимо отъ Карамзина; подражателями же Карамзина были Владиміръ Измайловъ, князь Шапировъ и, право, не помнимъ, кто еще: такъ мало ихъ было, и бывшіе такъ мало и вяло писали! Вліяніе Жуковского было обширнѣе: у него и теперь, и всегда можно учиться переводить, стихъ его тоже всегда будетъ образцовымъ. Козловъ, Ѳ. Глинка и частью Туманскій были отголосками музыки Жуковского. Гений Пушкина породилъ еще болѣе подражателей, у которыхъ нельзя отрицать таланта и которые въ свое время пользовались огромной извѣстностью, но всѣ, вмѣстѣ

взятые, они едва ли написали половину того, что написалъ одинъ Пушкинъ, хотя и онъ написалъ не очень много,—и какъ скоро пережили они свой талантъ и свою извѣстность! И теперь пишутъ многіе; одинъ сходять со сцены, то есть забывается (это у насъ дѣлается необыкновенно скоро), другой является, въ сложности всѣ производятъ довольно много (по крайней мѣрѣ относительно), но каждый особенно писать очень мало. И притомъ всѣ претендуютъ на художественность, на творчество, никто не хочетъ быть просто рассказчикомъ, сказочникомъ, беллетристомъ. Почти всѣ пишутъ на заказъ, зная впередъ, сколько дастъ имъ каждая строчка, каждое слово, каждая запятая, но въ то же время всѣ пишутъ и по вдохновенію. Многіе продаютъ еще ненаписанныя повѣсти, но не потому, что слишкомъ много пишутъ и много получаютъ заказовъ, а потому, что слишкомъ мало пишутъ. Иной разразится повѣстью въ годъ—и смотритъ Наполеономъ послѣ аустерлицкой битвы. Удастся написать въ годъ двѣ повѣсти: это уже равняется завоеванію всего міра. Оттого у насъ нѣтъ беллетристики, и публикѣ нечего читать. Всѣ сколько-нибудь замѣчательныя произведенія каждаго года (со включеніемъ сюда и такихъ, которыя только что сносны) можно перечестъ по пальцамъ. Во Франціи это дѣлается иначе: тамъ пишутъ полосами, и каждый сколько-нибудь извѣстный беллетристъ исписываетъ ежегодно цѣлыя томы, чуть не десятки томовъ, не заботясь о томъ, за что приметъ его публика—за гения или просто за талантъ. Тамъ беллетристъ пишетъ гораздо болѣе, чѣмъ художникъ-поэтъ: Жоржъ-Зандъ написала много болѣе, нежели сколько у насъ пишется многими впродолженіе многихъ лѣтъ; но кипа сочиненій Жоржъ-Зандъ въ сравненіи съ кипой сочиненій Ежена Сю или Александра Дюма—то же, что озеро въ сравненіи съ моремъ или море въ сравненіи съ океаномъ. Оно и естественно: творчество не покоряется волѣ, и художнику нужно время обдумать и выносить въ утѣ своемъ концептированную имъ мысль... Въ настоящемъ, въ истинномъ значеніи этого слова у насъ было и есть только три беллетриста: это—Булгаринъ, Полевой и Кукольникъ. Неутомимость ихъ изумительна...

Изъ всѣхъ родовъ поэзіи слабѣе другихъ принялась у насъ драма, особенно комедія. По крайней мѣрѣ хотъ такъ-называемая классическая трагедія имѣла у насъ свое время развитія и успѣховъ.

Трагедія Сумаронова дали пищу нашему рождающемуся театру и не только восхищали современниковъ, но «Димитрій Самозванецъ» давался на провинціальныхъ театрахъ еще въ началѣ двадцатыхъ годовъ текущаго столѣтія. Трагедія и комедія Княжнина имѣли для своего времени неотъемлемое достоинство, — и вообще можно сказать, что наше время много бы выиграло, еслибъ теперь явился такой умный и ловкій заимствователь по части драматической литературы, какимъ для своего времени былъ Княжнинъ. Еще выше его былъ Озеровъ. Изъ этого видно, что классическая трагедія у насъ развивалась въ продолженіе цѣлыхъ трехъ поколѣній. Явился романтизмъ, — и пошли романтическія драмы, кровавыя, страшныя, эффектныя, наконецъ даже народныя, но вмѣстѣ съ тѣмъ больше безтолковыя и пустыя. Теперь ужъ и онѣ пишутся только для бенефисовъ, да и то все рѣже и рѣже. Есть надежда, что скоро онѣ и совсѣмъ прекратятся. И хорошо! лучше вовсе ничего, нежели много великолѣпнаго или какого бы то ни было вздору!

Но и въ дѣлѣ драмы еще больше, чѣмъ гдѣ-нибудь, оправдалось положеніе, что у насъ во всемъ больше гениевъ (хотя ихъ и очень мало), нежели талантовъ. Пушкинъ въ своемъ «Борисѣ Годуновѣ» далъ намъ истинный и гениальный образецъ народной драмы; но потому-то можетъ быть онъ и остался безъ всякаго вліянія на нашу драматическую литературу, что былъ слишкомъ истиненъ и гениаленъ. По крайній мѣрѣ ни на одномъ драматическомъ произведеніи съ признаками таланта не отразилось вліяніе «Бориса Годунова». Скажутъ: это оттого, что ни одной драмы съ признаками таланта никогда не появлялось у насъ. Правда! но отчего же у насъ появлялись и появляются поэмы въ стихахъ съ признаками таланта, да иногда еще и замѣчательнаго, доказывающія, какъ сильно и плодотворно вліяніе Пушкина и Лермонтова на нашу литературу?.. Послѣ «Бориса Годунова» лучшее драматическое произведеніе въ народномъ духѣ принадлежитъ Пушкину же: это — «Русалка». Его драматическія поэмы: «Сцена изъ Фауста», «Моцартъ и Сальери», «Скупой Рыцарь», «Каменный Гость», тоже не отозвались въ русской литературѣ никакими сколько-нибудь счастливыми опытами. А между тѣмъ всѣ драматическіе опыты Пушкина — великія художественныя созданія...

Такова же участь и нашей комедіи: или что-нибудь необыкновенное, или — меньше чѣмъ ничего. О русскихъ комедіяхъ до Фонвизина почти нечего и говорить: это

были или переводы, или передѣлки, и въ этомъ отношеніи труды Княжнина заслуживаютъ уваженія, но какъ оригинальныя русскія комедіи — это было странное уродство. «Бригадиръ» и «Недоросль», не будучи художественными произведеніями въ строгомъ смыслѣ этого слова, тѣмъ не менѣе были гениальными созданіями. По ихъ характеру, ихъ можно назвать вѣрными и имѣткими сатирами въ формѣ комедіи. Были имъ подражанія, но уродливыя и негѣпныя. Впрочемъ, хотъ и поздно, но ихъ вліяніе отозвалось въ комедіи Основьяненко «Дворянскіе Выборы», — произведеніи, имѣющемъ свои недостатки, но и не безъ достоинствъ. Между «Бригадиромъ» и «Недорослемъ» Аблесимовъ какъ-то обмолвился премилымъ народнымъ водовилемъ. Это была случайность, хотя и прекрасная; ей и слѣдовало остаться безъ послѣдствій для литературы. «Ябеда» Капниста замѣчательна больше по цѣли, нежели по выполненію. Теперь должно перейти прямо къ «Горю отъ Ума» Грибоѣдова, потому-что множество комедій, написанныхъ, въ стихахъ и прозѣ, въ промежутокъ времени отъ Фонвизина до Грибоѣдова, не стоятъ упоминанія. «Горе отъ Ума» — это наполовину художественная, наполовину сатирическая комедія, этотъ высокій образецъ ума, остроумія, таланта, гениальности, злого, желчнаго вдохновенія, — «Горе отъ Ума» до сихъ поръ остается единственнымъ произведеніемъ въ нашей литературѣ, въ родѣ котораго ни одинъ талантъ не рѣшился попытать своихъ силъ. Отъ комедіи Грибоѣдова должно перейти прямо къ «Ревизору». Кромя этой въ высочайшей степени художественной комедіи, исполненной глубочайшаго юмора и поразительной истинны, Гоголь еще написалъ небольшую комедію — «Женитьба» и нѣсколько сценъ, которыхъ нельзя назвать комедіями по ихъ объему и которыя относятся къ комедіи, какъ повѣсть относится къ роману. Всѣ эти сцены носятъ на себѣ рѣзкую печать таланта автора «Ревизора» и, подобно ему, до сихъ поръ остаются въ нашей литературѣ уединенными памятниками среди широкой песчаной степи, гдѣ не видно ни дерева, ни былинки... Были, правда, двѣ или три попытки, не совсѣмъ неудачныя, но слишкомъ нерѣшительныя...

Односторонность во взглядѣ на предметы всегда ведетъ къ ложнымъ выводамъ, хотя бы этотъ взглядъ не былъ лишень глубокости и проникательности. Способность убѣжденія, одна изъ прекраснѣйшихъ способностей человѣческой природы, при односторонности ведетъ къ фанатизму. Литера-

турный фанатизмъ такъ же глухъ и слѣпъ, какъ и всякій другой, особенно, когда онъ живетъ во имя теоріи. Нѣмецкія эстетическія теоріи такъ хорошо принялись на воспримчивой почвѣ нашего недавняго образованія, что нашли себѣ такихъ жаркихъ и фанатическихъ послѣдователей, на которыхъ и въ самой Германіи, особенно теперь, посмотрѣли бы какъ на чудо теоретическаго изступленія. Для неисправимыхъ фанатиковъ этого рода французская литература и французское искусство есть истинный камень преткновенія: не понимая ихъ и упорствуя сознаться въ этомъ, они ни мало не затрудняются не признавать ихъ существованія. Это впрочемъ не удивительно: вѣдь нѣкоторые историки времени реставраціи настаивали же на томъ, что Наполеонъ былъ полководецъ Людовика XVIII... Въ самомъ дѣлѣ, съ чисто-теоретической точки зрѣнія, не прибѣгая къ живому историческому созерцанію, не много хорошаго можно найти во французской литературѣ, восторгаясь нѣмецкой. Нѣмецкая эстетика вышла изъ ученаго кабинета, а нѣмецкая поэзія вышла изъ нѣмецкой эстетики. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, стоитъ только вспомнить, какъ писалъ впрочемъ гениальный Шиллеръ: въ «Валленштейнѣ» все было имъ не только заранѣе обдуманно, но и доказано, и оправдано, все вышло изъ теоріи, и авторъ писалъ эту драму восемь лѣтъ. Шиллеръ хотѣлъ писать эпическую поэму изъ жизни Фридриха Великаго; но хотѣлъ за нее приняться не прежде, какъ сперва развивши философски теорію эпической поэмы новаго времени. Всѣ эти явленія, немного странныя, чтобы не сказать уродливыя, и много повредившія гению Шиллера, какъ и другихъ нѣмецкихъ поэтовъ, вышли прямо изъ соціальнаго положенія нѣмцевъ, тихаго, семейнаго, созерцательнаго, кабинетнаго. Французская литература, напротивъ, вся вышла изъ общественной и исторической жизни и тѣсно слита съ нею. Поэтому о французской литературѣ нельзя судить по готовой теоріи, не впадши въ односторонность и не доходя до ложныхъ выводовъ. Трагедія Корнея, правда, очень уродлива по ихъ классической формѣ, и теоретики имѣютъ полное право нападать на эту китайскую форму, которой поддался величавый и могущественный гений Корнея вслѣдствіе насильственнаго вліянія Ришелье, который и въ литературѣ хотѣлъ быть первымъ министромъ. Но теоретики жестоко ошиблись бы, еслибы за уродливой псевдо-классической формой корнелевскихъ трагедій проглядѣли страшную внутреннюю силу ихъ пафоса. Французы нашего времени говорятъ, что Ми-

рабо обязанъ Корнею лучшими вдохновеніями своихъ рѣчей. Послѣ этого удивляйтесь французамъ, что они забываютъ скоро свои романическія трагедіи à la Шекспиръ и до сихъ поръ читаютъ и всегда будутъ читать стараго Корнея. Каждый изъ знаменитыхъ изъ писателей неразрывно связанъ съ эпохой, въ которой онъ жилъ, и имѣетъ право на мѣсто не въ одной исторіи французской литературы, но и въ исторіи Франціи. Здѣсь всѣ мысли о творчествѣ имѣютъ уже нѣсколько другое значеніе, нежели какое имѣютъ онѣ въ нѣмецкой литературѣ: онѣ должны раздѣлить свою власть и силу съ мыслями объ обществѣ и его историческомъ ходѣ. У насъ есть люди, которымъ удалось понять, что «Ревизоръ» есть глубоко-творческое и художественное произведеніе, и что ни одна комедія Мольера не выдержитъ эстетической критики. Они правы въ этомъ отношеніи, но не правы въ выводѣ, который они дѣлаютъ изъ этого факта. Дѣйствительно, ни одна комедія Мольера не выдержитъ эстетической критики, потому-что всѣ онѣ больше сдѣланы, нежели созданы, часто сбиваются на фарсъ или по крайней мѣрѣ допускаютъ въ себя фарсы (какъ напримѣръ ложные: муфтіи, дервишъ и турки въ «Le Bourgeois-Geutilhomme»); пружины ихъ дѣйствія всегда искусственны и однообразны, характеры абстрактны, сатира слишкомъ рѣзко выглядываетъ изъ-подъ формы поэтическаго изобрѣтенія и т. д. Но вмѣстѣ съ этимъ Мольеръ имѣлъ огромное вліяніе на современное ему общество и высоко поднялъ французскій театръ, —что могъ сдѣлать только человѣкъ даже не просто съ талантомъ, а съ гениемъ. Чтобы судить о его комедіяхъ, ихъ надо не читать, а видѣть на сценѣ, и притомъ непременно на французской сценѣ, потому-что ихъ сценическое достоинство выше драматическаго. Французы не имѣютъ права гордиться именно той или вотъ этой комедіей Мольера; но имѣютъ полное право гордиться комедіями или, лучше сказать, театромъ Мольера, потому-что Мольеръ далъ имъ цѣлый театръ. То же можно сказать и о Скрибѣ. Нельзя указать ни на одну его драму, ни на одинъ водевилъ, какъ на художественное произведеніе, которое всегда будетъ имѣть свою цѣну; но можно сказать утвердительно, что театръ Скриба всегда будетъ имѣть свою цѣну, а теперь ему и цѣны нѣтъ: такъ онъ важенъ для современнаго общества, составленнаго изъ всѣхъ классовъ, образованныхъ и необразованныхъ, которые стекаются въ театръ, чтобы видѣть на сценѣ самихъ себя...

У насъ есть нѣсколько высоко-художественныхъ произведений, которые стекаются въ театръ, чтобы видѣть на сценѣ самихъ себя...

ственныхъ комедій, которыя, по своему числу, не могутъ составить постоянного репертуара для театра и которыя, при всемъ ихъ достоинствѣ, смертельно надоели бы намъ, еслибы кромѣ ихъ ничего не дано было на театрѣ, потому что одно и вѣчно одно всегда надоедаетъ...

У французовъ, положимъ, нѣтъ ни одной художественной комедіи, но зато есть театръ, который существуетъ для всѣхъ и въ которомъ общество и учится, и эстетически наслаждается...

На чьей сторонѣ выгода?...

Пусть рѣшатъ читатели. Наше дѣло—сторона.

Чѣмъ отличается геній отъ таланта?—Вопросъ очень важный, тѣмъ болѣе, что его рѣшаютъ всегда очень мудрено. Не беремся, но попытаемся объяснить его просто. Что геній и талантъ дается природою, что тотъ и другой есть, такъ сказать, свойство самаго организма человѣка, какъ свѣтъ и теплота есть свойство огня,—объ этомъ нечего и говорить, какъ о предметѣ, на счетъ котораго давно согласились всѣ. Вопросъ въ различіи генія отъ таланта, и наоборотъ.

Кому не случалось встрѣчать множество людей, которые любятъ наприкирѣ читать, слѣдятъ за литературой и хотятъ судить о ней; но которые тогда только смѣло судятъ о новой книгѣ, когда успѣли прочитать о ней сужденіе журнала, пользующагося ихъ безусловной довѣренностью, и которые чувствуютъ себя въ самомъ затруднительномъ положеніи, если рецензія или критика на книгу, надѣлавшую шуму, долго не является въ ихъ журналѣ? Кому не случалось встрѣчать людей, которые готовы судить обо всемъ, но лишь кто-нибудь рѣзко возразитъ имъ, они тотчасъ же отказываются отъ своего мнѣнія и безусловно соглашаются съ мнѣніемъ возразившаго? Это люди безъ мнѣнія, безъ способности имѣть мнѣніе,—люди, которые могутъ быть сильны только чужимъ мнѣніемъ, и для которыхъ авторитетъ есть необходимость перваго разряда. Надобно замѣтить, что у людей этого рода очень сильно развиты инстинкты чувствовать чужую силу и всегда узнавать ее. Между тѣмъ это могутъ быть совсѣмъ не глупые люди: для нихъ существуютъ доказательства, у нихъ есть судительная способность, но только эта способность у нихъ лишена самостоятельности и требуетъ опоры въ авторитетѣ. Толпа большей частью состоитъ изъ такихъ людей, и ею всегда и вездѣ управляютъ люди съ большей или мень-

шей самостоятельностью мнѣнія. И вотъ причина, почему толпа не долго увлекается ложнымъ и уродливымъ, и рано или поздно, но всегда признаетъ достоинство истиннаго и прекраснаго: за нее дѣйствуютъ другіе, а она только подмываетъ. Безъ этой нравственной дисциплины въ понятіяхъ людей не было бы единства, но была бы страшная анархія.

Талантъ, какъ способность дѣлать, производить, относиться больше къ формѣ созданія, и съ этой точки зрѣнія талантъ—есть сила инстинктивная, которая можетъ существовать въ человѣкѣ независимо отъ ума, сердца и другихъ интеллектуальныхъ и нравственныхъ сторонъ человѣческой природы. Но для формы нужно содержаніе, —и вотъ здѣсь-то получаетъ всю свою важность самостоятельная дѣятельность духовныхъ силъ человѣка. Если есть люди, которые лишены способности имѣть о вещахъ свое мнѣніе и которые принимаютъ чужое мнѣніе цѣликомъ, какъ что-то готовое, о чемъ имъ уже нечего больше и думать; то есть люди, которые, вѣчно живя чужимъ мнѣніемъ, имѣютъ способность усвоить его себѣ, развивать, выводить изъ него новыя слѣдствія, находить чрезъ него на другія мысли,—и эта способность до того обманываетъ людей этого рода, что они очень добросовѣстно убѣждены въ самостоятельности своей собственной мыслительности. И они почти правы въ этомъ: натуры живыя и воспримчивыя, они сами не знаютъ и не помнятъ, отъ кого зашла къ нимъ та или другая мысль, потому что все извнѣ легко и быстро пристаетъ къ нимъ почти безсознательно, инстинктивно. Имъ стоитъ только поговорить съ умнымъ человѣкомъ или прочесть хорошую книгу, чтобы въ нихъ тотчасъ же возбудился цѣлый рядъ новыхъ мыслей, которыя они не могутъ не принять за свои собственныя. Эти люди, управляемые другими, въ свою очередь имѣютъ большое вліяніе на толпу. Они довольно часто встрѣчаются на свѣтѣ; особенно ихъ много бываетъ въ столицахъ. Вообще, чѣмъ просвѣщеннѣе и образованнѣе общество, тѣмъ больше въ немъ такихъ людей. Наконецъ есть люди (такихъ очень мало), которые дѣйствительно обладаютъ способностью творческой самостоятельности своихъ способностей. Они на все смотрятъ какъ-то особенно, оригинально, во всемъ видятъ именно то, чего безъ нихъ никто не видитъ, а послѣ нихъ всѣ видятъ и всѣ удивляются, что прежде этого не видѣли. Эти люди совсѣмъ не хитрые и не мудреные; они все понимаютъ просто, но ихъ простое пониманіе сначала кажется всѣмъ очень мудренымъ, а иногда безумнымъ и

нелѣпнымъ, а потомъ кажется уже столь простымъ, что нѣтъ глупца, который не подивился бы, какъ ему не пришло этого въ голову — вѣдь это такъ просто! Когда Колумбъ собирался открыть Америку, — на него всѣ смотрѣли, какъ на помѣшаннаго мечтателя, а когда онъ открылъ Америку, то почти никто не хотѣлъ признать въ этомъ даже заслуги, потому-что открытую Америку всѣмъ казалось такъ легко открыть!...

Говоря объ этихъ трехъ разрядахъ людей, мы хотѣли сказать о толпѣ, талантѣ и гениіи...

Въ наше время талантъ не рѣдкость во всемъ, но особенно въ литературѣ. Просто ни почему! Его часто даже смѣшиваютъ съ гениемъ. И не мудрено, нуженъ своего рода большой талантъ, чтобы съ перваго разу отличить талантъ отъ гениа. Это приводитъ насъ на память то мѣсто изъ повѣсти извѣстнаго французскаго писателя нашего времени, гдѣ онъ такъ рассказываетъ объ авторствѣ своего героя.

«Онъ признавался, что все начатое имъ принимало послѣ первыхъ десяти строкъ, трехъ или четырехъ стиховъ такое сходство съ писателями, которыхъ читалъ онъ, что онъ краснѣлъ, вида себя способнымъ только на подражаніе. Онъ показывалъ мнѣ нѣсколько стиховъ и фразъ, подъ которыми Ламартинъ, Викторъ Гюго, Поль Курье, Шарль Нодье, Бальзакъ и даже Беранже могли

бы подписать имена свои. Но всѣ эти опыты, которые можно бы назвать отрывками изъ отрывковъ, служили бы въ сочиненіяхъ тѣхъ писателей для украшенія индивидуальныхъ идей; но этой-то индивидуальности и не было у Ораса. Если онъ хотѣлъ выразить какую-нибудь идею, вы тотчасъ и увидѣли бы (онъ и самъ тотчасъ же увидѣлъ) явную кражу: идея эта была не его; она принадлежала этимъ писателямъ, принадлежала всѣмъ, только не ему.»

Вотъ вѣчная исторія таланта! Конечно она не всегда бываетъ именно такой, какъ представлена въ словахъ автора, на котораго мы сослались; но сущность ея всегда такова. Какъ бы талантъ ни былъ великъ, онъ не можетъ наложить печати своей личности на свои произведенія, и потому не можетъ быть оригиналенъ и самобытенъ. Какъ бы ни велика была его способность усвоить себѣ чужія идеи, онъ не надолго скроетъ, что его вдохновенье не бьетъ живымъ родникомъ изъ тайниковъ его натуры, но есть только «плѣнной мысли раздраженье». Но зато какъ бы ни тѣсна и ни ограничена была сфера таланта, но если на его произведеніяхъ виденъ тотъ рѣзкій отпечатокъ личности, который дѣлаетъ произведенія такъ оригинальными, что подъ нихъ невозможно поддѣлаться, тогда это уже не талантъ, а гений. Къ числу такихъ гениальныхъ поэтовъ принадлежитъ въ нашей литературѣ баснописецъ Крыловъ.

ВОСПОМИНАНІЯ ОАДДЕЯ БУЛГАРИНА.

Отрывки изъ видѣннаго, слышаннаго и испытаннаго въ жизни. Спб. 1864. Двѣ части, съ эпиграфомъ:

Отцы и братіе! еже сѣ гдѣ описалъ или переписалъ или недописалъ, чтите исправляющая Бога для, а не кланяте!
(Послѣсловіе съ автописи Нестора.)

Уже нѣсколько мѣсяцевъ, какъ появилась первая часть «Воспоминаній» Булгарина, мѣсяцемъ позже явилась и вторая; но мы до сей поры почти ничего не сказали отъ себя объ этихъ «Воспоминаніяхъ» — и не сказали съ намѣреніемъ. Причина заключается въ томъ, что въ «Воспоминаніяхъ» Булгарина видѣли мы не просто обыкновенную книгу, какихъ довольно наплодилъ онъ въ русской литературѣ втеченіе своего долгаго и блестящаго поприща, но что-то гораздо важнѣе. «Воспоминанія» Оаддея Булгарина — отрывки изъ того, чтѣ видѣлъ, слышалъ и испыталъ Оаддей Булгаринъ!... Какой свѣтъ должна бросить подобная книга на ея сочинителя! Не въ ней ли разгадка многихъ его дѣйствій, которыя до сихъ поръ каза-

лись темными? Не въ ней ли ключъ къ цѣлой литературной жизни Булгарина, которая не только въ публикѣ, но даже въ нѣмецкихъ консервационно-лексиконахъ и, разумѣется, тоже въ нѣмецкихъ журналахъ подвергалась донинѣ такимъ страннымъ толкованіямъ, что люди, читающіе «Сѣверную Пчелу», гдѣ безпрестанно втеченіе двадцати слишкомъ лѣтъ ежедневно прославляется любовь къ правдѣ и другія добродѣтели Булгарина, терялись въ недоумѣніи? Именно такой ключъ видѣли мы въ «Воспоминаніяхъ» Булгарина.

Не входя въ разсужденіе о томъ, имѣли ли право Булгаринъ издавать свои «Воспоминанія», то есть занимать публику своимъ собою, скажемъ, что донинѣ у великихъ людей видѣлось обыкновеніе оста-

влять записки о самихъ себя, воспомина- нія и всякія автобіографическія замѣтки въ рукописи до конца дней своихъ. Великій человѣкъ умеръ,—являются его за- писки; конечно деньги, выручаемыя отъ продажи экземпляровъ, уже не поступаютъ въ карманъ его,—но зато записки по- явленіемъ своимъ какъ бы продолжаютъ на нѣкоторое время существованіе ихъ ав- тора. По поводу высказанныхъ въ нихъ фактовъ, бросающихъ новый свѣтъ на жизнь и дѣйствія великаго покойника, воз- никаютъ жаркіе споры, пренія, и плодомъ всего бываетъ болѣе или менѣе вѣрная окончательная оцѣнка жизни и дѣятель- ности покойника...

Что же заставило Булгарина отсту- пить отъ этого установившагося и есте- ственнаго порядка? Почему издалъ онъ свои записки при жизни?... У него есть на это отвѣтъ въ предисловіи. «Вѣдь это только отрывки», говоритъ онъ, и вслѣдъ затѣмъ, чувствуя, что причина слаба и даже вовсе неудовлетворительна, прибавляетъ:

«При воспоминаніи прошлаго кажется мнѣ, будто жизнь моя расширяется и увеличивается, и будто я молодѣю! Нынѣшнее единообразіе жизни исчезаетъ—и я смѣшиваюсь съ оживленными событіями прошлаго времени, вижу передъ собой людей замѣчательныхъ или для меня драгоцѣ- ныхъ, наслаждаюсь прежними радостями и весе- люсь минувшими опасностями*), прежнимъ го- ремъ и нуждой. Пишу съ удовольствіемъ, потому что это занимаетъ меня и доставляетъ случай излить чувство моей благодарности къ людямъ, сдѣлавшимъ мнѣ добро, отдать справедливость многимъ забытымъ людямъ, достойнымъ памяти, высказать нѣсколько полезныхъ истинъ, предста- вить характеристику своего времени. Найдется много кое-чего любопытнаго и даже поучитель- наго!»

Но, скажете вы: никто не запрещалъ Булгарину вспоминать и даже записывать свои воспоминанія и при этомъ чувствовать жизнь свою расширенною и себя по- молодѣвшимъ, наслаждаться минувшими опасностями, радостями, неудачами. Благо- дарность къ людямъ, сдѣлавшимъ добро Булгарину, тоже нисколько не выдохлась бы, пролежавъ въ рукописи до смерти со- чинителя, напротивъ, она приобрѣла бы ароматъ благодарности безкорыстной и не- заискивающей,—и все бы остальное могло бы такъ же удобно сдѣлаться, только нѣ- сколькими годами позже,—вотъ вся раз- ница...

Стало быть, и второй отвѣтъ не отвѣтъ. И такъ что же?

Далѣе въ предисловіи читаемъ: «Явился мой добрый М. Д. Ольхинъ и рѣшилъ пе- чатать,—печатаю!»

*) Для непомнящихъ какиѣ разнообразныя опасности подвергался Булгаринъ.

Итакъ, появленіемъ «Воспоминаній Бул- гарина» обязаны мы доброму Оль- хину, которому обязаны мы также нача- ломъ компактнаго изданія сочиненій Булга- рина, да разными иллюстрированными очер- ками съ лицевой стороны и изнанкой и всѣмъ тѣмъ, за что Ольхинъ приобрѣлъ эпитетъ «добраго» отъ Булгарина, — отъ самого Булгарина, который, какъ извѣстно, по любви своей къ правдѣ, хвалитъ даромъ всѣхъ, не исключая и самого себя...

Какъ бы то ни было, но «Воспоминанія» передъ нами,—и прежде, нежели успѣли мы сказать о нихъ хоть слово, публика уже ознакомилась съ ними частью черезъ нихъ самихъ, а еще больше черезъ статьи Полевого въ «Литературной Газетѣ»,—ста- тьи, которыми онъ такъ блистательно, какъ будто вновь, съ свѣжими силами, начиналъ свое литературное поприще и которыми, къ общему сожалѣнію, ему суждено было кон- чить его... Изъ другихъ журналовъ, ста- равшихся познакомить публику съ «Вос- поминаніями» Булгарина, должно упомя- нуть о «Финскомъ Вѣстникѣ», представив- шемъ объ этой книгѣ двѣ рецензіи, ма- стерски написанныя. Теперь очередь за нами. Но если, какъ мы сказали, «Воспо- минанія» объясняютъ все литературное по- прище Булгарина, то съ другой стороны и литературное поприще его, взятое въ цѣломъ, если не объясняетъ «Воспомина- ній», то служитъ достойной къ нимъ пре- людіей. А это поприще объемлетъ собою двадцать-пять лѣтъ времени—что состав- ляетъ цѣлую четверть вѣка! Поэтому мы рѣшились начать съ начала, т. е. сперва бросить взглядъ на все литературное по- прище Булгарина, а потому уже, какъ вѣ- нецъ дѣла, какъ послѣднее слово длинной рѣчи, какъ разгадку загадки, рассмотреть «Воспоминанія»...

Булгаринъ—извѣстный правдолюбъ; такъ по крайней мѣрѣ еженедѣльно провозгла- шаетъ онъ самъ себя черезъ «Всякую Вся- чину». По увѣренію «Всякой Всячины», пламенная любовь Булгарина къ правдѣ на- дѣлала ему бездну враговъ и поставила его въ кругу русскихъ литераторовъ въ положеніе Сократа между аинянами: ци- кута зависти, клеветъ, обидъ, оскорбленій такъ и подносится ему врагами, ожесточен- ными противъ него за его правду. Удиви- тельно-ли, что насъ онъ считаетъ въ числѣ самыхъ свирѣпыхъ враговъ своихъ? И не безъ причины: мы хвалимъ сочиненія Го- голя, а въ сочиненіяхъ Булгарина видимъ— не больше, какъ сочиненія Булгарина... Это обстоятельство смущаетъ насъ: «Вся- кая Всячина» непременно объявитъ статью нашу пристрастной, несправедливой, бран-

чивой, или еще и хуже того... И потому, чтобы избѣжать этого, мы рѣшились почти ничего не говорить или по крайней мѣрѣ какъ можно меньше говорить отъ себя о сочиненіяхъ Булгарина, а больше ссылаться на факты или приводить мнѣнія другихъ литераторовъ о литературныхъ подвигахъ Булгарина. Безпристрастіе наше въ этомъ случаѣ простирается до такой степени, что мы намѣрены ссылаться на сужденія о Булгаринѣ даже такихъ людей, которые его не разъ хвалили и которыхъ онъ самъ не разъ хвалилъ, которые бывали его друзьями и которымъ онъ самъ бывалъ другомъ. Такъ, мы особенно будемъ ссылаться на Полевого...

Не помнимъ хорошенько, съ котораго именно года Булгаринъ сталъ уже не воинъ, а писатель, и—русскій къ славѣ нашихъ дней; но помнимъ, что въ 1821 году онъ издалъ книжку ученаго поляка, Ежовскаго, «Избранныя Оды Горация» съ комментаріями на русскомъ языкѣ, и выставилъ на ней свое имя, позабывъ упомянуть объ имени Ежовскаго... Это былъ одинъ изъ первыхъ подвиговъ Булгарина во славу русской литературы и въ ознаменованіи пламенной любви его къ правдѣ. Въ 1822 году, Булгаринъ является уже издателемъ журнала «Сѣверный Архивъ». Итакъ, дѣятельность Булгарина на поприщѣ русской литературы началась не позже (если не раньше) 1821 года; но, несмотря на то, что онъ пишетъ и печатается по-русски уже двадцать пять лѣтъ, несмотря на ужасное разнообразіе его литературной дѣятельности, — ее не трудно обозрѣть и основательно, и подробно: для этого стоить только раздѣлить труды Булгарина по ихъ родамъ и каждый родъ подвести подъ общій взглядъ.

Начнемъ съ журнальной дѣятельности Булгарина. Ею онъ прежде всего нажилъ себѣ, по его словамъ, непримиримыхъ враговъ, говоря о нихъ правду. Итакъ, развернемъ старые журналы—эту живую летопись прошедшихъ временъ нашей литературы, и посмотримъ, какія горькія истины высказалъ своимъ собратіямъ по ремеслу Булгаринъ, движимый пламенной любовью къ правдѣ: посмотримъ, какъ его безпримѣрное (за исключеніемъ Сократа) въ летописяхъ міра, «рьяное» и неукротимое правдолюбіе навлекло ему вражду и ненависть столькожъ людей, почти съ перваго шага, сдѣланнаго имъ на поприщѣ русской журналистики. Зрѣлище любопытное и поучительное! Съ одной стороны мы увидимъ одного человѣка, съ рыцарской запальчивостью готового переломить копьѣ за даму своего сердца—истину, вызвать за нее на бой съ собой хоть цѣлый свѣтъ, и друга,

и недруга; а съ другой—цѣлую толпу пристрастныхъ и ожесточенныхъ гонителей истины, готовыхъ на всѣ средства противъ ея храбраго защитника—даже на ложь и на клевету...

Литературно-боевое поприще Булгарина началось въ 1825 году; первый важный походъ его за истину и правду былъ противъ «Московского Телеграфа». Застрѣльщикомъ былъ Булгаринъ. Всѣхъ подробностей войны нечего приводить здѣсь: онѣ у всѣхъ еще въ памяти; но дѣло въ томъ, что Булгаринъ навлекъ на себя ожесточенныя гоненія со стороны «Телеграфа» слѣдующими оскорбительными для самолюбія этого журнала истинами и правдами:

I. Нилъ негровъ течетъ мимо Тумбуцкой гавани. На что оскорбленный «Телеграфъ» отвѣчалъ Булгарину, черезъ «Матюшу журналочку», сперва лукавымъ вопросомъ: «какой-де Нилъ негровъ?» а потомъ не менѣе коварнымъ объясненіемъ, что въ Африкѣ нѣтъ и никогда не бывало никакой Тумбуцкой гавани, а вмѣсто нея есть тамъ земля и городъ Томбуку, но что этотъ городъ отстоитъ отъ гавани верстъ на тысячу, и что поэтому Нигеръ (названный Булгаринымъ Ниломъ негровъ) никакимъ образомъ не можетъ течь мимо гавани...

II. Не задолго до наводненія въ Петербургѣ всѣ собаки въ Гостинномъ Дворѣ пропали и явились не прежде, какъ на другой день.

На эту правду «Телеграфъ» съ свойственной ему недобросовѣстностью замѣтилъ Булгарину, что собаки въ Гостинномъ Дворѣ бываютъ только по ночамъ, и какъ ихъ на это время привязываютъ, то онѣ не могли скрыться, ни по предчувствію наводненія и ни по какой другой фантазіи съ ихъ стороны.

III. Въ Константинополѣ есть мраморный бассейнъ, въ которомъ плаваютъ «семь рыбокъ жареныхъ или имѣющихъ видъ поджаренныхъ».

IV. Лошадь турецкаго султана такъ обременена сбруей изъ драгоценныхъ камней, что съ трудомъ везетъ его, и шесть человѣкъ едва могутъ снять чепракъ.

V. Въ Турціи на большихъ дорогахъ вездѣ у фонтановъ висятъ «золотые ковши».

VI. Одинъ малороссійскій казакъ «цѣлые три часа» защищался противъ «цѣлой польской арміи», былъ прострѣленъ «четырнадцатью» пулями и продолжалъ сражаться.

VI. Въ Манчестерѣ недавно одинъ ювелиръ отлучился на два дня. Между тѣмъ индѣйскій пѣтухъ вскочилъ къ нему въ комнату, сѣлъ у него брильянтовъ на

8,000 ф. ст. и вылетѣлъ въ окно. Но пѣтуха зарѣзали и съѣли, а брильянты отдали хозяину.

VIII. Корабли придумали обивать кожей, но это оказалось неудобнымъ, потому-что къ кожѣ пристаётъ такое множество червей, что это препятствуетъ свободному ходу кораблей.

Не считаемъ нужнымъ говорить, какъ воспользовались враги Булгарина этими истинами и правдами, изъ которыхъ можетъ быть не всё сказано было имъ, но которыя всё защищалъ онъ самъ съ блистательнымъ успѣхомъ. Желающихъ знать подробности этой интересной битвы отсылаемъ къ «Московскому Телеграфу».

Читатели наши съ основаніемъ могутъ сказать, что семь изъ истинъ, сказанныхъ или неказанныхъ самимъ Булгаринымъ, такъ неважны, что заслуживаютъ только улыбки, а не спору. Это справедливо, но тѣмъ не менѣе справедливо и то, что 1) эти истины или правды были высказаны въ изданіяхъ или принадлежавшихъ Булгарину, или отданныхъ подъ его надзоръ Гречемъ, и 2) что онъ, Булгаринъ, не въ одной жаркой полемической статьѣ отстаивалъ несомнѣнность этихъ истинъ съ свойственной ему любовью къ правдѣ. Но враги его не ограничились этимъ. Бросивъ тѣнь сомнѣнія на географическія свѣдѣнія Булгарина опроверженіемъ существованія Тумбухтской гавани, они обвинили его еще въ томъ, что онъ заставляетъ Нестора считать новый годъ съ сентября, тогда какъ Несторъ считалъ его съ марта (лѣтосчисленіе съ 1-го сентября ввелъ Киприанъ въ XIV ст., какъ это открыто Карамзиннымъ); что онъ Московскій соборъ, бывшій въ 1347 году, отнесъ къ 1343-му году, что онъ, Булгаринъ, выдумалъ, будто въ Россіи еще при Великомъ Князѣ Игорѣ били монету, основываясь на монетѣ, принадлежавшей къ эпохѣ дагѣ половины XVI вѣка; что онъ, Булгаринъ, графа Сегюра произвелъ въ курфюрсты; увѣрялъ, что Байкалъ длиной около 600, а шириной отъ 35 до 100 слишкомъ, а окружностью до 2000 верстъ,—тогда какъ длина Байкала (отъ Култука до Верхней Ангарты) 585 верстъ, самая большая ширина около 100, а самая малая менѣе 30 верстъ; что Булгаринъ нашелъ рѣку Богуденху, которой въ Сибири нѣтъ, потому-что вѣсто ея тамъ есть Малая и Большая Бугуденха; нашелъ рыбу хариуги, вѣсто дѣйствительно существующей рыбы хариусы, и торговлю въ Иркутскѣ омулевымъ жиромъ, о каковой торговлѣ въ Иркутскѣ никто и не слыхалъ. Враги Булгарина потому особенно громко смѣялись надъ этими его истинами,

что онъ самъ совѣтовалъ другимъ, «взявшись за изданіе журнала, почерпнуть свои географическія свѣдѣнія не изъ напечатанныхъ для дѣтей географій, но слѣдовать за успѣхами этой науки, читать произведенія ученыхъ мужей по этой части, всѣ новые журналы на иностранныхъ языкахъ, пересматривать вновь выходящія карты, замѣчать поправки на нихъ, слѣданныя вслѣдствіе новыхъ открытій и ученыхъ изслѣдованій». И всё эти слова сказаны Булгаринымъ для доказательства, что Сахалинъ—полуостровъ, а не островъ!.. Враги Булгарина никакъ не хотѣли согласиться съ нимъ, чтобы Эльборусъ и Казбекъ были два разныхъ имени одной и той же горы, какъ онъ утверждалъ это въ «Сѣверномъ Архивѣ»; что Гомеръ былъ статистикъ; что ложь нынѣ употребляется въ логикѣ вмѣсто силлогизма; что «умъ—кукла, которая вышла изъ моды»; что «очень отзывается истиной то сказаніе, что Палеонъ римлянинъ приплылъ въ Россію во время Нерона и построилъ городъ «Рома нова, впоследствии названный Романово»; что Кіевъ построенъ Кіемъ, словяниномъ, въ 430 году, и что славяне еще во 2-мъ вѣкѣ по Р. Х. умѣли писать и пр., и пр.—всего и не перечтешь.

Но пламенѣющій правдой Булгаринъ не допустилъ враговъ своихъ торжествовать надъ нимъ безнаказанно. Онъ блистательно опровергъ всё ихъ обвиненія. Опроверженія его крайне интересны. Касательно Несторова лѣтосчисленія онъ сказалъ, что «русскіе со введенія христіанской вѣры считали гражданскій годъ съ сентября, и что Несторъ слѣдовалъ этому лѣтосчисленію; но ученику всякому извѣстно, что русскіе до конца XIV вѣка считали годъ съ марта», и прибавляетъ къ этому убѣдительному возраженію: «не лучше ли не спорить о томъ, въ чемъ еще вы сами не увѣрены». Гораздо труднѣе было ему свести концы съ концами касательно Игоревой монеты. Дѣло было не шуточное. При всей глубокости и обширности своихъ историческихъ, археологическихъ и нумизматическихъ познаній Булгаринъ впалъ въ ошибку, принявъ слова: «и Государь», вычеканенныя на монетѣ сокращенно ИГДРЬ, за собственное имя Игоря, и забывши, что еслибы при Игорѣ и чеканилась русская монета, то все же безъ изображенія св. Георгія, потому-что князь Игорь и его подданные были идолопоклонники. Но и тутъ Булгаринъ нашелся, какъ вернуться отъ бѣды неминуемой. Онъ отвѣтилъ: «Помигуйте, господа! гдѣ вы нашли, что я говорилъ о Игорѣ идолопоклонникѣ? Прошу вспомнить, что многіе изъ русскихъ князей имѣли сверхъ крестныхъ именъ

военныя свои имена». Когда же враги Булгарина на это возразили ему, что кромѣ Игоря Рюриковича и Игоря Олеговича, убитаго въ 1147 году, въ Россіи не было ни одного великаго князя этого имени; что титулъ: государь всея Руси принять Іоанномъ Васильевичемъ, начавшимъ царствовать въ 1461 г., когда уже не было у насъ варяжскихъ именъ и употреблялись одни христіанскіе; что всадникъ на конѣ, копѣемъ поражающій змія, вовсе не Георгій Побѣдоносецъ, а просто чеканъ московскихъ денегъ, установленный съ 1535 г., ибо до того времени изображался на нихъ всадникъ съ поднятой надъ головой саблей, и что слѣдовательно Игоревская монета Булгарина принадлежитъ къ половинѣ XVI вѣка;—Булгаринъ нисколько не сконфузился и отъ этихъ возраженій, и съ свойственной ему любовью къ правдѣ, равно какъ и съ свойственнымъ ему остроуміемъ, такъ отвѣтилъ врагамъ своимъ:

«Г. Лебедевъ сообщилъ мнѣ монету, найденную въ землѣ, въ городѣ Грязовцѣ. На этой монетѣ находится надпись: «Князь Игорь всея Руси»—и изображенъ Георгій Побѣдоносецъ на конѣ. Въ № 15 «С. А.» на 1823 г. сообщилъ я извѣстіе о сей монетѣ, безъ всякихъ съ моей стороны разсужденій и поясненій. — Винаоватъ ли я, что въ Грязовцѣ найдена эта мудреная для васъ монета? Я, Булгаринъ, не копалъ земли, не чеканилъ монеты, не описывалъ ея (?). Я долженъ былъ извѣстять читателей о сообщенной мнѣ рѣдкости—и только! Зачѣмъ же вы обвиняете меня въ незнаніи исторіи?»

Очень жалѣемъ, что, по неизмѣннѣ времени, не можемъ справиться, что отвѣчалъ врагамъ своимъ Булгаринъ, вторично уличившимъ его въ незнаніи исторіи по поводу открытой имъ монеты царей Θεодора и Іоанна, братьевъ Петра Великаго. Но должно думать, что пламенная любовь Булгарина къ правдѣ и тутъ доставила ему блестящую побѣду надъ врагами... Было бы очень затруднительно и даже, такъ сказать, скучно выписывать всѣ «правды», которыми Булгаринъ нажилъ себѣ столько «враговъ», навлекъ на себя столько ненавистей и даже гоненій. Вотъ послѣ этого и любите правду, и говорите ее людямъ! Но шутки въ сторону; поговоримъ серьезно. Все, о чемъ мы говорили до сихъ поръ, есть какъ бы программа всего журнальнаго поприща Булгарина. Булгаринъ остался себѣ вѣренъ въ этомъ отношеніи и въ остальныхъ двадцать лѣтъ своей журнальной дѣятельности. И теперь онъ точно таковъ же, какъ былъ во время первыхъ схватокъ своихъ съ «Телеграфомъ», только сталъ еще рѣшительнѣе и смѣлѣе, еще болѣе усовершенствовалъ свою тактику. Никогда ни прежде, ни теперь не оставлялъ онъ никого въ покоѣ, но ко всѣмъ придирался, всѣхъ зацѣплялъ,

и всегда съ намѣреніями не совѣсть литературными; но лишь попробуй кто отвѣтить ему—и пошла перепалка, пошли споры изъ ничего, доказательства ни о чемъ, и глядишь—литературное дѣло превращается вовсе не въ литературное. При этихъ случаяхъ Булгаринъ обыкновенно начинаетъ говорить о своихъ врагахъ. Повѣрить ему, такъ и у самого Наполеона не было такихъ ожесточенныхъ и непримиримыхъ враговъ. Чѣмъ же онъ вооружилъ ихъ противъ себя?—Правдой, одной правдой, да еще развѣ своими удивительными талантами, своими неслыханными успѣхами въ литературѣ. Но развѣ Крыловъ, Жуковский, Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Гоголь, Лермонтовъ,—развѣ эти люди ниже Булгарина своими талантами, своими успѣхами?—А между тѣмъ, имѣя враговъ, они имѣли и друзей, тогда какъ Булгаринъ, кромѣ Греча и блаженной памяти Ушакова, во всемъ пишущемъ мірѣ видитъ однихъ враговъ, которые словно сговорились между собою не давать ему покоя, преслѣдовать его. Право, если повѣрить Булгарину,—онъ, подобно Наполеону, имѣетъ своихъ (литературныхъ, разумѣется) Жоржей Кадуделей.... Съ кѣмъ не бранился онъ? «Вѣстникъ Европы», «Мнемозина», «Телеграфъ», «Московский Вѣстникъ», «Атеней», «Галатей», «Телескопъ», «Молва», «Московский Наблюдатель», «Славянинъ», «Литературныя Прибавленія къ Инвалиду» (изд. Воейковымъ), «Литературная Газета» (Дельвига), «Библіотека для Чтенія», «Литературныя прибавленія къ «Инвалиду» и «Литературная Газета» (изд. Краевскимъ), «Пантеонъ», «Репертуаръ», «Москвитининъ», «Иллюстрація», «Отеч. Записки»,—со всѣми этими изданіями Булгаринъ или былъ въ войнѣ, или и теперь воюетъ. Онъ былъ въ постоянной враждѣ съ цѣлыми поколѣніями журналовъ, съ цѣлыми поколѣніями писателей; ссорился съ людьми, которые уже печатались, когда еще онъ не начиналъ учиться грамотѣ; ссорился съ людьми, которые еще не начинали учиться грамотѣ, когда уже онъ печатался. Мало этого: онъ бранился даже съ «Сыномъ Отечества» и «Русскимъ Вѣстникомъ» подъ редакціей Полевого; ссорился съ сотрудниками «С. Пчелы», возражалъ имъ въ «Пчелѣ» на ихъ статьи, напечатанныя въ «Пчелѣ» же, и велъ съ ними цѣлыя троянскія войны, когда они начинали принимать участіе (какъ Полевой, Кони, Межевичъ) въ другихъ изданіяхъ. Мало и этого: онъ сегодня бранилъ людей, которыхъ превозносилъ вчера, сегодня прославлялъ людей, которыхъ унижалъ вчера. Онъ главный источникъ и прямая причина полемики

нашего времени, и одинъ изъ прямыхъ источниковъ и главныхъ причинъ полемики за цѣлыя двадцать-пять лѣтъ русской журналистики. Вотъ что разъ высказалъ на счетъ этого Полевой, бывший редакторомъ «Русскаго Вѣстника»,—тотъ Полевой, съ которымъ Бугаринъ столько разъ ссорился и мирился, котораго онъ столько разъ бранилъ и превозносилъ, и съ которымъ передъ его смертью онъ опять разсорился за то, что тотъ умно и дѣльно высказалъ правду о его «Воспоминаніяхъ»:

«Намъ не понравилось въ «Комарахъ» одно: перепалки Ѳ. В. съ литературной братіей и безпрестанное толкованіе его о томъ, что на него всѣ нападаютъ; что всѣ на него нападающіе не правы; что большая часть изъ нихъ очень глупы; что нападенія ихъ служатъ ему въ пользу; что онъ ихъ не боится. Не пора ли перестать? Все исчисленное нами повторяется Ѳ. В. безпрестанно, а какая же глѣня не припоется, если безпрестанно пѣть ея! Дѣло очень простое: на Ѳ. В. нападаютъ—правда, а онъ развѣ никого не трогаетъ? Какъ же требовать, чтобы задѣтые молчали, если еще не было примѣра, чтобы Ѳ. В. оставилъ когда-нибудь безъ отвѣта самое невинное и кроткое замѣчаніе? Кто погрозитъ ему нголкой—онъ рубить того мечомъ, а кто броситъ въ него хлопнушку—онъ отвѣчаетъ изъ пушки, когда притомъ изъ десяти перепалокъ девять всегда начинаеть Ѳ. В.? Вопросъ о томъ: всѣ ли противники Ѳ. В. не правы,—думаемъ, и самъ онъ по совѣсти рѣшитъ отрицательно. Совершенство не дано въ удѣлъ человеку, а ошибки—неизбѣжный удѣлъ его. Задачу о томъ, всѣ ли соперники Ѳ. В. дураки, невѣжды и негодяи литературные, опять считаемъ мы безспорно отрицательной. Если же нападки на Ѳ. В. ему не вредны, а полезны, изъ чего же заводить споры и шумъ? А что Ѳ. В. не боится нападокъ, пора публикѣ увѣриться и безъ непрестанныхъ о томъ напоминаній съ его стороны. Скажемъ откровенно: замолчи Ѳ. В., и никто не затронетъ его. Не угодно ли ему не заводить споровъ хоть по молодости, хоть для опыта, для удостовѣренія въ словахъ нашихъ? Посмотрите, какъ все будетъ тихо и смирно. («Русскій Вѣстникъ» 1842, № 4, стр. 21.)»

Это тревожное безпокойство, эта задорливость и спорливость присяжнаго литератора могли бы быть своего рода достоинствами и имѣть болѣе или менѣе полезное вліяніе на литературу, еслибы они вытекали дѣйствительно изъ любви къ истинѣ, хотя бы и ложно понимаемой, изъ живого и страстнаго убѣжденія. Тогда споры и самыя ссоры, безпрестанно заводимыя такимъ литераторомъ, болѣе или менѣе оживляли бы журналистику и способствовали разрѣшенію разныхъ вопросовъ, уясненію разныхъ истинъ. Но Бугарина грѣхъ обвинить въ рыцарской рьяности такого рода: къ литературнымъ, эстетическимъ и ученымъ вопросамъ онъ оказывалъ всегда ледяное равнодушіе, дѣлалъ видъ, что даже и не подозреваетъ существованія того, что называется мнѣніемъ, убѣжденіемъ, правиломъ, принципомъ.

Всѣ эти слова всегда казались и кажутся ему смѣшными, и онъ истощилъ надъ ними весь запасъ своего посылнаго остроумія. Переберите всѣ изданія, которыя онъ редактировалъ или редактируетъ, въ которыхъ онъ участвовалъ или участвуетъ—«Сѣверный Архивъ», «Литературные Листки» и «Сынъ Отечества», «Репертуаръ» и «Пантеонъ» (1842) и «Сѣверную Пчелу»: какъ безцвѣтны и безхарактерны всѣ эти журналы! Но, вѣрные нашему слову, мы опять приведемъ свидѣтельство людей, совершенно чуждыхъ намъ и нашему изданію. Вотъ какъ въ «Московскомъ Вѣстникѣ» была оцѣнена «С. Пчела» въ отношеніи къ направленію и духу ея критики.

«...но «Сѣверная Пчела»!... Боюсь уклониться отъ нашего предмета, мы прямо спросимъ себя: какой въ ней образъ мыслей? Пристально разсмотримъ всѣ ея статьи критическія, мы рѣшительно отвѣчаемъ: никакого. Въ ней критика замѣняется такъ-называемой *литературной тактикой*, честь усовершенствованія которой принадлежитъ единственно гг. издателямъ «С. Пчелы». Ужасно, какъ подумаешь: въ наше время ничего не стоитъ, жалко насмѣхаясь надъ истиной, поднять до небесъ и растоптать въ прахъ одно и то же произведеніе! Утѣшимся тѣмъ только, что въ одной «С. Пчелѣ» совершаются подобныя явленія.—Итакъ, за недостаткомъ въ ней образа мыслей мы должны обличить сокровенныя правила ея тактики.

1) Если вы не обнаружили еще своего мнѣнія на счетъ сочиненій и журналовъ гг. издателей «Пчелы», то васъ оставляютъ въ покоѣ, дожидаясь отъ васъ рѣшительнаго поступка, вслѣдствіе котораго вы или другъ, или врагъ этому журналу: какъ аукнется, такъ и откликнется, вотъ ея эпиграфъ! Похвалите—и васъ похвалятъ. Если же вы когда-нибудь осмѣлились сказать что-либо противъ сочиненій и журналовъ гг. издателей, то не ожидайте помилованія ни себѣ, ни произведенію вашему, какого бы достоинства ни было сіе послѣднее. Лишь только вы напечатаете что-либо, какъ одинъ издатель выступаетъ на васъ съ островами, составляющими аркую противоположность со стихами Крылова, Дмитріева и другихъ, которыми онъ обыкновенно снабжаетъ свои критики; а другой, расцѣпавъ по ключамъ ваше произведеніе, ищетъ въ немъ ошибокъ грамматическихъ, опечатокъ и т. п., и съ указкой учителя грамматики ясно, какъ *дважды два—четыре*, доказываетъ вамъ, что вы не знаете ни логики, ни грамматики. Примѣромъ этому служатъ всѣ прошлогоднія пренія «С. Пчелы» съ «Телеграфомъ» и «Славяниномъ». Вы не думайте найти здѣсь замѣчаній на образъ мыслей этихъ журналовъ, на существенное достоинство статей: рѣшительно ничего болѣе не найдете, кромѣ мелкихъ придирокъ къ слогу, личностей и пустыхъ восклицаній. Отъ этихъ послѣднихъ переходятъ часто къ домашнимъ объясненіямъ...

2) Если авторъ или издатель книги находится въ близкихъ литературныхъ отношеніяхъ къ издателямъ, тотчасъ раздаются похвалы неумѣренныя. Коль нечего хвалить въ особенностяхъ, то выписываютъ нѣсколько строкъ изъ предисловія или излагаютъ подробно содержаніе, или на нѣсколькихъ страничкахъ хвалятъ изданіе, шрифтъ и проч.—Здѣсь естество должно замѣтить, что въ «С. Пчелѣ» книги оцѣниваются вѣрно только въ

типографическомъ отношеніи... Всѣ похвалы оканчиваются восклицаніями: *«покупайте, и. покупатели! Не ступитесь, патенки! Да это раскупятъ, какъ конфеты, да и какъ не купятъ тою, что полезно, хорошо и дешево?»* (стр. 137). Невольно подумаешь, что существенная цѣль каждой критики, помѣщенной въ «С. Пчелѣ», состоитъ въ томъ, чтобы заставить купить книгу или отклонить покупателя, нанести *существенный* вредъ автору или издателю ея. Кромѣ этой существенной цѣли всѣхъ разборовъ «С. Пчелы», есть еще другая — побочная. Во всякой критикѣ стороны, встаетъ или не встаетъ, задѣваютъ объявленныхъ противниковъ «С. Пчелы». Чувство какого-то обиженного самолюбія и мелочного мщенія обнаруживается вездѣ...

3) Если къ автору не имѣютъ никакихъ отношеній, то о произведеніи его отзываются и такъ, и сякъ, указавъ на нѣкоторые мелкие недостатки. Но если дерзновенный осмѣлится возразить, тогда въ пылу негодованія жертвуютъ даже собственнымъ мнѣніемъ, чтобы поразить противника, извиняются въ своей опрометчивости передъ публикой, вновь разбираютъ книгу и находятъ въ ней кучи ошибокъ...

Наонецъ 4) нѣкоторымъ извѣстнымъ писателямъ расточаются похвалы въ «С. Пчелѣ». Но онѣ скучны для читателей и еще скучнѣе для самихъ авторовъ... Образъ критики въ «С. Пчелѣ» всего болѣе обличаетъ жалкую скудость ея сужденій. Всѣ рецензій лучшихъ произведеній въ ней состоятъ въ выпискѣ нѣкоторыхъ отрывковъ, приправленной общими мѣстами и пустыми восклицаніями, въ маловажныхъ замѣчаніяхъ на слова, правильно или неправильно употребленныхъ, на ошибки грамматическія, на опечатки и т. п.... Обыкновенно начинаются эти критики такимъ образомъ: «Новое прелестное стихотвореніе такого-то!» — «*Честъ вамъ и слава, и поэтѣ!*» (№ 145), — «Это вещь совершенно оригинальная» (№ 147), — «*Сии стихи живутъ страницами!*» (№ 124). Иногда послѣ подобныхъ восклицаній случаются объясненія эстетическія, въ которыхъ всего замѣтнѣе и недостатокъ точки зрѣнія, и неустойчивость мыслей, и незнаніе науки вкуса... Но всего чаще, не пускаясь въ вопросы эстетическіе, рецензенты прямо приступаютъ къ разбору выраженій, и иногда въ жару восторга ораторскаго говорятъ непонятныя вещи... Но всего забавнѣе критика выраженій. Выписавши нѣсколько стиховъ изъ «Финляндіи» (стихотворенія Баратынскаго), рецензентъ (Булгаринъ) восклицаетъ: «Картина живая! вы видите все, что читаете. Какъ искусно поэтъ умѣлъ воспользоваться обыкновенными оборотами рѣчей! Еслибъ простой поселянинъ сталъ описывать вамъ языкомъ природы этотъ видъ, онъ сказалъ бы: Тутъ море, надъ моремъ гора, а съ горы сходять лѣсъ къ берегу. Поэтъ, такъ-сказать, *позолотилъ простонародный разсказъ и пропѣлъ при звукахъ лиры* (!!!). Тяжелыя стопы прекрасно изображаютъ огромныя деревья. Кто выдалъ въ натурѣ лѣсъ, растущій на косогорѣ, колеблемый вѣтрами, тотъ живо представитъ себѣ *это шестое тяжелыми стопами!*... «Далега бура — прелесть!» — «Чужихъ беврежныхъ водъ свицовая равнина — есть совершенство поэзіи. Этотъ свинецъ, оковывающей пришелица въ чужой странѣ — поэзія». Все это пересыпано похвалами неумѣренными и не тонкими, замѣчаніями о словахъ, римахъ и проч...

Статья о выставкѣ въ Академіи художествъ отличается тѣмъ же восторгомъ насильственнымъ, преизобируетъ тѣми же выраженіями томными; а общими мѣстами, похвалами однообразными ясно обличаетъ незнаніе дѣла. По мнѣнію рецензента, всѣ живописцы на одно лицо: и Довѣ, и Кипрен-

скій, и Щедринъ — всѣ равно превосходны; у всѣхъ на картинахъ видишь живыя лица, живую природу, живой воздухъ и проч. Преимущественно обращаетъ вниманіе рецензентъ на отдѣлку существенныхъ подробностей, какъ-то: шинелей, подкладокъ, наложеннаго пола, эполетовъ серебряныхъ и золотыхъ украшеній и проч....

Съ такой же основательностью судить «С. Пчелы» и о музыкѣ...

Вмѣсто того, чтобы говорить о поэзіи, живописи и музыкѣ, для чего нужно познаніе дѣла, не лучше ли бѣ было «С. Пчелѣ» ограничиться извѣстіями о балансахъ, скакунахъ, скороходахъ, ученыхъ собакахъ и проч.?

Изъ всего этого само собой извлекается, что главный характеръ образа мыслей въ «С. Пчелѣ» есть совершенная пустота; по этой-то необходимости критика замѣнена въ ней *Литературной тактикой*. Гг. издатели въ совершенной увѣренности, что они давностью своихъ журналовъ приобрѣли всеобщее довѣріе публики, что въ ихъ рукахъ находится участь всей литературы русской, смѣло упражняются въ своемъ искусствѣ журнальномъ и съ какой-то непростительной запальчивостью, безъ уваженія къ приличіямъ не только людей ученыхъ, но и свѣтскихъ, не умѣя даже скрывать въ себѣ порывовъ оскорбленнаго самолюбія, подписываютъ всему приговоры рѣшительные, ни на чемъ не основанные и всегда внушаемые не любовью къ истинѣ, а посторонними отношеніями.

Это было сказано въ 1828 году, слѣдовательно девятнадцать лѣтъ назадъ, — а между тѣмъ можно ли о «Пчелѣ» 1846 года сказать что-нибудь болѣе новое, болѣе современное?...

Теперь намъ слѣдуетъ объяснить фактами, что должно разумѣть подѣ литературной тактикой Булгарина. Предметъ весьма любопытный! Въ 1824 году издавался въ Москвѣ литературный сборникъ «Мнемозина». Булгаринъ, разсчитывая на дружбу издателей сборника, похвалилъ это изданіе; но видя, что его похвалы приняты были издателями сборника равнодушно, онъ разбранилъ «Мнемозину» и въ цѣломъ, и каждую статью особю:

«Желаніе дать, какъ говорится, ходъ *Мнемозинѣ* заставило меня смотрѣть сквозь пальцы на недостатки этого изданія и *выставить* передъ публикой *посредственное за изрядное*, извиняя слабое добрымъ намѣреніемъ одного издателя и юностью другого. *Признаюсь откровенно въ винѣ* моей передъ публикой, которая должна приписать *отступленіе мое отъ истины* моему *неличеприемному* желанію поддержать новорождающееся изданіе.»

Примѣровъ подобнаго отступленія отъ истины со стороны правдолюбиваго Булгарина — несть числа! Но мы ограничимся нѣсколькими, самыми разительными. О томъ, какъ онъ сперва бранилъ «Телеграфъ», потомъ превозносилъ его, потомъ опять бранилъ — можно бы составить не одну курьезную статью. Какъ будто забывши, что говорилъ онъ о Полевомъ въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, какъ величалъ его верхоглядомъ, невѣждой, отрицалъ въ немъ талантъ и знаніе; — какъ будто забывъ, что,

почему-то усомнившись въ дружбѣ «Телеграфа», онъ въ «Сынѣ Отечества» 1830 г. сказалъ объ «Исторіи Русскаго Народа»: «Нынѣ нѣкто Николай Полевой, въ сочинительскомъ пылу о дарованіяхъ и знаніяхъ своихъ возмечтавъ, первый томъ «Исторіи Русскаго Народа» напечаталъ и тамъ равномѣрно свои суесловія о происхожденіи руссовъ помѣстилъ»; — какъ будто позавбывъ все это, Булгаринъ, въ торжествѣ примиренія съ «жесточайшимъ врагомъ» своимъ (одна изъ наиболѣе употребляемыхъ имъ фразъ), обнаружилъ всю тактику свою въ слѣдующемъ отзывѣ о той же самой «Исторіи Русскаго Народа»:

«Чуждый зависти и всѣхъ литературныхъ мелочей (*sic!*), я всегда отдавалъ справедливость жесточайшимъ моимъ противникамъ (*такъ точно!*); но теперь съ удовольствіемъ говорю истину о трудѣ писателя самостоятельнаго, благонамѣреннаго и пламоннаго любителя просвѣщенія. Занимаясь съ любовью всю жизнь исторіей, и преимущественно русской, осмѣливаюсь сказать явно (*чего робѣть!*), что я въ состояніи судить объ исторіи (*доказательство: монеты Иоры и царей Федора и Иоанна купил*). Не почитаю *Исторію Русскаго Народа* совершенной, но признаю ее сочиненіемъ чрезвычайно важнымъ, любопытнымъ и полезнымъ для Россіи, ибо въ ней въ первый разъ появляются (?) политика, философія и критика. Повторю однажды уже сказанное, что «*Исторія* русскаго народа, соч. Полевого, есть такая книга, которую не только можно, но и должно, и непремѣнно должно прочесть послѣ «*Исторіи*» Карамзина, и что каждый любитель отечественнаго обязанъ даже имѣть ее. Лишь себя надеждой, что я заслужилъ довѣренность публики (*о, совершенно!*), и что въ этомъ случаѣ она повѣритъ словамъ моимъ болѣе, нежели тѣмъ отвратительнымъ нападкамъ, которые превращаютъ литературное поприще въ какое-то торжище и унижаютъ званіе литератора. Почтенный, добрый, благородный Карамзинъ сказалъ, что первая потребность писателя есть *доброе сердце*. Читая въ журналахъ (*чуждымъ Булгарину*) грубую брань, клеветы, сплетни, гнусныя выходки зависти, радомъ съ преувеличенными похвалами бессмертному историографу, поневолѣ выводимъ заключеніе, которое... не идетъ въ печать». («С. Пчела», 1830, № 110.)

Можно ли усомниться въ искренности этихъ словъ, вспомнивъ другой подвигъ правдолюбія Булгарина, совершенный имъ въ томъ же 1830 году по поводу VII главы «Онѣгина». Отрывокъ изъ этой главы былъ напечатанъ въ «Московскомъ Вѣстникѣ»; но по причинѣ нѣсколькихъ опечатокъ Пушкинъ позволилъ «С. Пчелѣ» перепечатать этотъ отрывокъ, — и «С. Пчела» чуть не съ колѣнопреклоненіемъ приняла его на свои листки. Не помнимъ, котораго года и въ которомъ номерѣ «Пчелы» было все это; но хорошо помнимъ, что по выходѣ въ свѣтъ VII-ой главы «Онѣгина», въ 1830 году, Булгаринъ разбранилъ его на чемъ свѣтъ стоитъ, въ 35 № «Пчелы». Вотъ его собственные слова:

«Холодный пріемъ, оказанный поэмѣ «Полта-

ва», служить яснымъ доказательствомъ, что очарованіе имонъ исчезло, и въ самомъ дѣлѣ, — можно ли требовать вниманія публики къ такимъ проливоденіямъ, какова напр. глава VII «Евгенія Онѣгина»!... Но глава VII *истощена* (?) такими *стихами* и балагурствомъ, что въ сравненія съ ними даже «Евгеній Вельскій» кажется чѣмъ-то похожимъ на дѣло. Ни одной мысли въ этой водяной главѣ, ни одного чувствованія, ни одной картины, достойной *возвратнаго* совершеннаго паденія, *снута* *completé!*... Въ пустынѣ нашей поэзіи появились опять «Онѣгину», блѣдный, слабый... сердцу больно, когда взглянешъ на эту безцвѣтную картину. — Всѣ вводныя и вставныя части, всѣ постороннія описанія такъ ничтожны, что намъ вѣрить не хочется, чтобы можно было печатать такіа мелочи.»

При этомъ удобномъ случаѣ глубокомысленный критикъ (Булгаринъ считалъ себя критикомъ!) не шутя обвинилъ Пушкина, что тотъ возвратился съ Кавказа съ VII главой «Онѣгина», а не съ торжественными одами на побѣды русскихъ войскъ въ азіатской Турціи. Эта выходка показала очень смѣшной важному «Московскому Вѣстнику», который и выразился на этотъ счетъ такъ:

«Это показывается, какъ нашъ аристархъ понимаетъ вдохновеніе, и вмѣстѣ можетъ служить мѣриломъ его способности опѣвывать то, что происходитъ отъ вдохновенія. Въ главахъ его поэты, вѣрно, ботаникъ или минералогъ, который съ Кавказа непремѣнно долженъ возвратиться съ произведеніями Кавказа, а изъ Америки съ тѣмъ, что растетъ или добывается въ Америкѣ. Г. критикъ (?) забываетъ, что Грибоедовъ съ этого же Кавказа привезъ намъ комедію, въ которой отразился бытъ свѣтскій, міръ московскихъ нравовъ и причудъ; что Байронъ создалъ Гаура въ Англіи, а Сервантесъ «Донъ-Кихота» въ темницѣ; что Тассъ никогда не бывалъ въ Ерусалимѣ, Муръ никогда не посѣщалъ Индіи.»

Исторія съ драмой Полевого «Уголино» была однимъ изъ блистательныхъ подвиговъ Булгарина по части литературной тактики и любви къ правдѣ. Будучи въ 1838 году редакторомъ «Сына Отечества» и находясь съ Булгаринымъ въ пріязненныхъ отношеніяхъ, Полевой очень снисходительно отозвался о «Россіи», извѣстной компіляціи Булгарина, и только замѣтилъ что-то о недостаткахъ приложенныхъ къ этой компіляціи картъ. А передъ этимъ Булгаринъ, разбирая «Уголино», поставилъ автора этой драмы если не выше Шекспира и Шиллера, то радышкомъ съ ними. И вдругъ — о ужасъ! черезъ нѣсколько недѣль, если не дней, Булгаринъ самъ протестовалъ противъ своей собственной статьи, объявивъ, что въ ней похвалы драмѣ Полевого были слѣдствіемъ самагадеріи!.. Вотъ до чего доводитъ людей излишняя любовь къ правдѣ!... Съ сокрушеннымъ сердцемъ воскликнулъ при этомъ случаѣ Булгаринъ: «*mea culpa, mea taximasculpa*», — что, если не ошибаемся, по-русски значитъ: «согрѣшилъ, окаянныи!», а по-польски! «падамъ до ногъ!»... Потомъ, когда Полевой былъ редакторъ «Русскаго

Вѣстника», въ 1842 году, и помѣстил въ этомъ журналѣ статейку: «Хозяйственные Замѣтки», что-то, помнится, о кочерыжкахъ,—Булгаринъ, увидя въ этомъ злонамеренный подрывъ «Эконому», такъ приударилъ въ полемическій набатъ, такого надѣлалъ шуму, что публика отъ души хотѣла съ мѣсяцъ времени,—только на этотъ разъ вовсе не надъ Полевымъ... Кстати ужъ вспомнимъ, что «Юрій Милославскій» Загоскина во время торжества его былъ объявленъ въ «Пчелѣ» самымъ плохимъ романомъ, а теперь, когда онъ—не богѣ, какъ литературное воспоминаніе, никому не опасное, та же «Пчела» говоритъ о романахъ Загоскина чуть не съ благоговѣніемъ...

А война съ «Иллюстраціей», которая тянется вотъ уже другой годъ?.. Эта война чуть было не прервалась по случаю статьи Полевого о «Воспоминаніяхъ»: Булгаринъ началъ было уже захваливать драмы Кукольника, недавно еще имъ унижаемыя и уничтожаемыя, чтобы этой диверсіей унизить и уничтожить драмы Полевого, недавно еще превозносимыя и прославляемыя имъ; но смерть Полевого сдѣлала ненужной эту стратегику—и война съ «Иллюстраціей» пошла прежней колесей... А изъ чего? Жаль видѣть въ непріязненныхъ отношеніяхъ этихъ двухъ, столь достойныхъ, литераторовъ!.. Но, видно, Булгарину не суждено уживаться такъ же и съ своими, какъ и съ чужими... А все излишняя любовь къ правдѣ!..

Такихъ образчиковъ правдолюбія Булгарина, т. е. примѣровъ его всегдашней готовности разбранить сегодня сочиненіе или автора, которыхъ онъ хвалилъ и превозносилъ вчера, или расхвалилъ и превознести сочиненіе или автора, которыхъ онъ вчера бранилъ,—такихъ примѣровъ мы могли бы привести до нѣсколькихъ десятковъ, съ указаніемъ на нумеръ и страницу журнала или газеты, съ точной выпиской подлинныхъ словъ Булгарина; но скупо рыться въ хламъ забытыхъ изданій, и еще скупѣе говорить объ одномъ и томъ же, особенно о такихъ правдолюбивыхъ подвигахъ. Впрочемъ, если Булгарину эта статья покажется неудовлетворительной, мы готовы пополнить ее фактами и доказательствами: мы тоже любимъ правду—хотя и не такъ, какъ онъ, а по своему,—и для нея готовы снова обрѣчь себя на трудъ и скуку... А что это не слова только, а дѣло, и что мы хорошо знаемъ дѣла давно минувшихъ дней въ области русской литературы и журналистики, въ доказательство этого приводимъ небольшую выписку изъ одной страницы «Московского Телеграфа» 1825 г.

Въ «Литер. Листкахъ» 1824 г. напечатано: «Въ *«Revue Encyclopédique»*, одномъ изъ отличнѣйшихъ европейскихъ журналовъ, издаваемомъ въ Парижѣ обществомъ ученыхъ мужей всѣхъ странъ и всѣхъ народовъ, въ майской книжкѣ (1823 г.) на страницѣ 384 помѣщенъ полный разборъ *«Русскаго Ивалида и Новостей литературы»*, изд. Воейковымъ. Советуемъ почтенному издателю этихъ журналовъ прочесть основательнымъ и справедливымъ замечанія на счетъ его трудовъ и, если возможно, послѣдовать совѣтамъ благонамѣренной критики».—Въ томъ же году *«Литературный Листокъ»* напечатано: «Въ *«Revue Encyclopédique»* одна только часть разборовъ хороша, а сообщаемыя издателями извѣстія объ иностранныхъ книгахъ и литературныхъ такъ, что у насъ не могли бы появиться даже въ «Мнемозинѣ»: названія странъ, заглавія, содержаніе книгъ—все тамъ пережато».—Воейковъ замѣтилъ, что тутъ явное противорѣчіе: два разныхъ мнѣнія объ одной книгѣ. Булгаринъ отвѣчаетъ: «Не могу понять, какимъ образомъ Воейковъ отыскалъ тутъ противорѣчіе. Въ *«Литер. Листкахъ»* сказано, что въ «*Rev. Enc.*» помѣщенъ полный разборъ *«Русскаго Ивалида и Новостей Литературы»*, и повторяю, что въ *«Revue Encyclopédique»* одна только часть разборовъ хороша, следовательно превосходство полного разбора *«Рус. Ивалида»* не подвержено ни малѣйшему сомнѣнію».—Въ заключеніе Булгаринъ обѣщаетъ помѣстить этотъ разборъ въ *«Сынъ Отечества»*, но онъ не исполнилъ этого; угодно ли знать почему?—Въ «*Revue Encyclopédique»* никогда не было полного разбора *«Рус. Ивалида»*! Тамъ помѣщено съ небольшимъ на двухъ страничкахъ библиографическое извѣстіе объ *«Ивалидѣ»* (следовательно въ томъ разрядѣ извѣстій, который былъ осужденъ Булгаринимъ). Сколько неправдъ и противорѣчій насаждалъ Булгаринъ! 1) Когда надобно было осудить *«Ивалида»*—онъ похвалилъ «*Revue»*. 2) Когда надобно было унизить *«Мнемозину»*—онъ уничтожилъ достоинство «*Revue»*. 3) Когда ему замѣтили тутъ противорѣчіе, онъ отдѣлался неправдой, сказавши, что въ «*Revue»* помѣщенъ полный разборъ *«Ивалида»*. 4) Такъ какъ въ «*Revue»* нѣтъ полного разбора, а онъ обѣщалъ помѣстить его въ «*Сынъ Отеч.*»—онъ не помѣстилъ разбора.—Кромѣ того всамѣй замѣтить, что онъ почитаетъ своихъ читателей или слѣпыми, или совершенными невѣждами, которые ничего не читаютъ кромѣ его журнала и вѣрятъ всему, что онъ скажетъ Булгаринъ.»

Доселѣ мы говорили о военныхъ отношеніяхъ Булгарина почти ко всей русской литературѣ, почти ко всѣмъ журналамъ и писателямъ русскимъ, существовавшимъ или существующимъ въ продолженіе послѣднихъ двадцати-пяти лѣтъ. Теперь, любя справедливость, считаемъ священнѣйшей обязанностью нашей показать, до какой степени способенъ Булгаринъ къ постоянству и неизмѣнности въ дружескихъ отношеніяхъ. Кому не извѣстенъ трогательный союзъ, оборонительный и наступательный, въ которомъ уже двадцать-пять лѣтъ находятся къ чести и славѣ русской словесности эти два достойные литератора—Булгаринъ и Гречъ? И этотъ союзъ ни разу не былъ нарушенъ даже со стороны Булгарина, этого по преимуществу неугомоннаго рушителя всевозможныхъ союзовъ!.. И зато печать благодатности возлегла на этомъ достойномъ союзѣ и не сходитъ съ него...

Нечего и говорить, какъ выгоденъ былъ этотъ союзъ для обоихъ союзниковъ: онъ далъ имъ возможность взаимнаго самопрославленія. Правда, извѣстно изъ многочисленныхъ опытовъ, что союзники, особенно Булгаринъ, никогда не затрудняются замолвить доброе слово въ свою пользу: такъ напр., Булгаринъ сказалъ, что нападать на «Выжигина», такъ весело разгуливающего въ свѣтѣ, — все равно, что прославляться храбростью геростратовой, чухонскимъ остроуміемъ и безпристрастіемъ шенякинскаго суда... Но все же неловко хвалить самого себя, особенно имѣя такъ много «ожесточенныхъ враговъ», какъ много имѣлъ и имѣетъ ихъ Булгаринъ. И вотъ почему Булгаринъ хвалить больше Греча, а Гречъ хвалитъ больше Булгарина. Пушкинъ подъ псевдонимомъ Косичкина такъ описываетъ это отрадное явленіе въ нашей литературѣ:

«Посреди полемики, раздражающей нашу бѣдную словесность, Н. И. Гречъ и Ѳ. В. Булгаринъ болѣе десяти лѣтъ подаютъ утѣшительный примѣръ согласія, основаннаго на взаимномъ уваженіи, сходствѣ душъ и занятій гражданскихъ и литературныхъ. Этотъ назидательный союзъ ознаменованъ почтенными памятниками. Ѳаддей Венедиктовичъ скромно призналъ себя ученикомъ Николая Ивановича; Н. И. поспѣшно провозгласилъ Ѳаддея Венедиктовича *любимымъ своимъ товарищемъ*; Ѳ. В. посвятилъ Николаю Ивановичу своего *Джигиря Самозванца*; Н. И. посвятилъ Ѳаддею Венедиктовичу свою *Побѣду въ Германіи*; Ѳ. В. написалъ для *Грамматики* Николая Ивановича хвалебное предисловіе; Н. И. въ *С. Пчелѣ* (издаваемой Гречемъ и Булгаринымъ) напечаталъ хвалебное объявленіе объ *Иванѣ Выжигинѣ*. Единодушіе истинно трогательное!»

Въ «Сынѣ Отечества» (издававшемся Гречемъ и Булгаринымъ) было объявлено, что «Булгаринъ остроумный, основательный критикъ, литераторъ образованный, просвѣщенный, умный, съ отличнымъ успѣхомъ владѣетъ языкомъ»; что «имя Булгарина займетъ отличное мѣсто въ исторіи русской словесности»; что «у него», Булгарина, «есть добрый капиталъ ума, свѣдѣній и дѣятельности»; что «онъ», Булгаринъ, «въ короткое время занятія своего литературой опередилъ многихъ нашихъ ветерановъ, приобрѣлъ на этомъ поприщѣ несомнѣнную, лестную извѣстность, и самъ своими трудами приносить честь нашей словесности», и что, «не говоря уже о польской, онъ», Булгаринъ, могъ бы заняться французской или нѣмецкой литературой съ равнымъ успѣхомъ». Въ томъ же «Сынѣ Отечества» 1824 г. № 38 было объявлено, что Булгаринъ описываетъ моды «правильно, легко, свободно, пріятно, кратко и мило»... Но все это ничто въ сравненіи съ похвалой, которой превознесло Булгарина дружеское перо Греча въ «Сынѣ Отечества» 1831

года: тутъ Гречъ объявилъ, что «у Булгарина въ одномъ мизинцѣ болѣе ума и таланта, нежели во многихъ головахъ рецензентовъ»... Остроумный Теофилактъ Косичкинъ (псевдонимъ, подъ которымъ скрывался, какъ извѣстно, Пушкинъ) принялъ этотъ намекъ на себя и, оскорбленный имъ, удостоилъ оригинальную выходку Греча о чудномъ мизинцѣ его товарища такимъ замѣчаніемъ:

«Гречъ въ журналѣ, съ жадностью читаемомъ во всей просвѣщенной Европѣ, даетъ понимать, будто бы въ мизинцѣ его товарища болѣе ума и таланта, чѣмъ въ головѣ моей! Отамъ слишкомъ для меня оскорбительный! Полагаю себя вправѣ обвинить во *всесмысленіи всей Европы*, что я ничьихъ мизинцевъ не боюсь, ибо, не входя въ разсмотрѣніе головъ, убѣраю, что пальцы момъ (малднй особо и всѣ пять въ совокупности) готовы воздать сторицею, кому бы то ни было, Dixit»

Но пока довольно о журнальномъ поприщѣ Булгарина. Намъ еще придется (для круглоты рѣчи) возвратиться къ нему; теперь обратимся къ другимъ родамъ его литературныхъ занятій. Мы уже упоминали объ «Избранныхъ одахъ Горация», которыя съ чужими примѣчаніями, безъ всякаго намека на «заимствование», издалъ Булгаринъ. Перепечатать латинскій текстъ одъ Горация и перевести ученыхъ примѣчанія къ нимъ съ польскаго на русскій языкъ, — для этого не требуется не только особеннаго, даже никакого знанія латинскаго языка. Булгаринъ понялъ это — и доказалъ свое знаніе тѣмъ, что родительный падежъ имени богини *Strenae* превратилъ въ *Stre-naa*, а именительный *Strenua* — въ *Strenno*, да еще спорилъ, что онъ правъ; и тѣмъ еще, что въ книгѣ своей «Россія» онъ латинское слово *castriensis* — лагерный — принялъ за кастрата, и на этомъ основалъ, что римскій *comes castriensis* былъ не иной кто, какъ «начальникъ надъ евреями»... Потомъ издалъ онъ (1823 г.) «Воспоминанія объ Испаніи». Несмотря на то, что подъ крыльями побѣдоносныхъ орловъ Наполеона Булгаринъ самъ могъ многое видѣть и замѣтить въ Испаніи, — его «Воспоминанія объ Испаніи» напоминаютъ не одну Испанію, но еще и «Исторію войны португальской и испанской», соч. Бошана... Потомъ въ своемъ театральномъ альманахѣ «Талія» Булгаринъ напечаталъ статью «О Драматическомъ Искусствѣ», подписанную буквами А. Ѳ. И что же? — «Ожесточенные враги» Булгарина доказали, что все хорошее въ этой статьѣ выбрано изъ курса Шлегеля «О Драматургіи»!... Мало этого: они объявили, что авторъ этой «заимствованной» статьи есть не кто иной, какъ Булгаринъ! Но несмотря на то, что самъ Булгаринъ проговорился, а

Гречъ прямо объявилъ, что статья «О Драматическомъ Искусствѣ» писана издателемъ «Талии»,—несмотря на все это, Бугаринъ написалъ къ себѣ письмо отъ имени мнимаго А. Ѳ., въ которомъ письмѣ онъ пишетъ, будто въ статьѣ его были даже означены страницы шлегелева курса, изъ которыхъ что заимствовано, но «издатель русской «Талии», г. Бугаринъ, напелъ неприличнымъ обременять альманахъ учеными цитатами (т. е. указаніемъ на страницы книги, изъ которой взята статья, или хоть указаніемъ на имя автора!...) и исключилъ оныя». Внизу прибавлено: «Правда. Б.» (отъ чего впоследствии и произошло техническое выраженіе правда-буки, для означенія извѣстнаго рода правды...). По случаю всей этой исторіи въ «Телеграфѣ» было замѣчено: «Гречъ недавно сказалъ: «ловкаго моего товарища трудно поймать». Нашли чѣмъ похвалиться, М. Г.! Все до времени!»

«Россія въ историческомъ, географическомъ, статистическомъ» и еще не помнимъ, право, въ какихъ отношеніяхъ была попыткой Бугарина сдѣлаться историкомъ. Несчастная попытка! Книга эта до того отзывалась компиляціей, наскоро и въ нѣсколько рукъ состряпанной, что не возбуждала толковъ даже и во «враждебныхъ» Бугарину журналахъ, осталась недоконченной и перешла на лари толкачаго рынка и въ мѣшки букинистовъ. И такъ, ее мимо.

Обратимся къ нравоописательнымъ и нравственно-сатирическимъ статейкамъ, повѣстямъ, рассказамъ и романамъ, равно какъ и къ историческимъ романамъ Бугарина, которыми онъ особенно превозносился нѣкоторое время, и о которыхъ онъ теперь уже и самъ такъ рѣдко вспоминаетъ. Вѣрные нашему обществу—говорить больше отъ лица другихъ, нежели отъ себя собственно, приводимъ здѣсь нѣсколько сужденій объ этихъ произведеніяхъ Бугарина,—сужденій людей, совершенно чуждыхъ намъ и другъ другу.

Вотъ что сказано было въ той статьѣ «Московского Вѣстника», изъ которой мы уже сдѣлали выше довольно большое извлеченіе, о нравственно-сатирическихъ статьяхъ Бугарина:

«Всѣ его статьи подъ рубрикой «Нравы» носятъ на себѣ общіе признаки всѣхъ его сочиненій, о которыхъ мы уже говорили. Все это пріятно и полезно для того круга читателей, который ограничивается немногими нравственными правилами и не требуетъ отъ писателя ни новыхъ, ни глубокихъ мыслей, какъ новой пищи уму дѣятельному. Для людей сколько-нибудь просвѣщенныхъ, для людей мыслящихъ и знающихъ съ литературой чужеземными такого рода статьи были и скучны. Архипъ Ѳаддеевъ, главный и любимый герой его, есть человѣкъ пустой съ одними

общими мѣстами; онъ любитъ расточать давно извѣстные всѣмъ софизмы и, какъ поваръ въ баснѣ Крылова, богатъ поученіями. Въ своихъ напакахъ на молодежь онъ платитъ дань своему возрасту; но, къ чести нашего времени, молодые люди, питая всевозможное уваженіе къ урокамъ опыта, въ совѣтахъ мудрой старости, мимо ушей пропускаютъ неводержанные нападки стариковъ скучныхъ, запальчивыхъ и кропотливыхъ. Зановинин, Цапцарапкины, Кривовозинин, лица, вводимыя Бугаринымъ, не принадлежатъ болѣе нашему времени. Это скучные остатки отъ того племени судей, которое поражено было перомъ Фонвизина и Капниста... Въ доказательство того, что наше мнѣніе внушено истиной, а не пристрастіемъ, мы безъ всякихъ нападокъ опять повторяемъ наше мнѣніе и утверждаемъ, что сочиненія его, не представляя намъ ни души высокой, ни теплоты чувства, ни глубокомыслія, ни ироніи, ни ѣдкаго остроумія, ни оригинальности взгляда, имѣютъ одни только отрицательныя достоинства, какъ-то: гладкость и правильность слога, иногда живость разсказа и другія качества, не всѣмъ въ равной мѣрѣ принадлежащія»...

Въ томъ же «Московскомъ Вѣстникѣ» 1828 г. еще прежде было высказано слѣдующее по поводу мелкихъ статей:

«Эта теплота чувства или мысли, которая родитъ душу читателя съ писателемъ, совершенно отсутствуетъ въ сочиненіяхъ Бугарина. Главный ихъ характеръ—безжизненность: изъ нихъ мы не можемъ даже опредѣлить образа мыслей въ авторѣ. Слогъ правиленъ, чистъ, гладокъ, иногда живъ, изрѣдка блещетъ остроуміемъ,—но холоденъ... Бугаринъ, кажется, завладѣлъ монополіей въ описаніи *Нравовъ*; но писатель безъ *своего* возвращенія на міръ, безъ глубокомыслія, съ одними только обветшалыми правилами, безъ проникающей теплоты, безъ ироніи, никогда не успѣетъ въ этомъ родѣ. У Бугарина вы не найдете свѣтлой, разнообразной, пестрой картины современныхъ обычаевъ и характеровъ; онъ смотритъ на нихъ не своими глазами, а сквозь стекло чужеземныхъ писателей; не русскіе нравы описываетъ, а передѣлываетъ чужіе на русскіе, подражая въ этомъ случаѣ нашимъ комикамъ. Часто встрѣчается у него давно забытый родъ аллегорій нравственныхъ безъ всякаго поэтическаго вымысла, безъ теплоты чувства, которыми отличаются аллегоріи Глинки; нѣрѣдко найдете смѣшные анахронизмы, какъ напр. въ *Предразсудкахъ*, которымъ нынѣ никто не вѣритъ; онъ часто, по примѣру старыхъ нашихъ комиковъ, заставлятъ свои лица невинно высказывать другимъ свои недостатки, какъ будто они до того уже не тонки и не хитры, что не ужьются скрывать въ себѣ и дурного. Нехитрость лицъ, создаваемыхъ авторомъ, показываетъ недостатокъ искусства въ немъ самомъ. Мы говоримъ безпристрастно о сочиненіяхъ Бугарина и, въ случаѣ возраженій, готовы доказать примѣрами справедливость нашихъ замѣчаній... Гречъ, товарищъ Бугарина, доказываетъ достоинства его сочиненій числомъ подписчиковъ. Аргументъ важный;—но просимъ Греча взглянуть въ послѣднія страницы *Александровъ*, и онъ убѣдится въ непрочности своего аргумента, равно какъ и въ томъ, что число подписчиковъ не всегда зависитъ отъ достоинства произведеній».

Отзывъ «Литературн. Газеты», изд. барономъ Дельвигомъ, не менѣе замѣчательнъ по умѣренному и безпристрастному тону:

«Вступленіе Бугарина на поприще литератора,

и литератора русскаго, было явленіемъ замѣчательнымъ. Человѣкъ, неизвѣстный дотогѣ никакими литературными трудами на нашемъ языкѣ, долго не жившій въ Россіи, отвыкнувшій, по собственному его признанію, отъ русскаго языка и можетъ быть хотѣвшій отвыкнуть отъ него, — вдругъ вступилъ на сцену въ нашей словесности, въ тѣхъ мѣстахъ, когда уже почти не учатся болѣе новымъ языкамъ, и выступилъ не съ стихами или короткими статейками, а съ двумя журналами, которые, по разнообразію своего содержанія, требовали по крайней мѣрѣ достаточнаго знанія языка и большой гибкости слога. Что ни говори, а подвигъ смѣлый, хотя выполненіе его, особенно въ первыхъ произведеніяхъ Булгарина, отыскалось болѣе отвагой юноши, пускающагося на удачу, нежели предпріятіемъ чловѣка вѣрныхъ лѣтъ, извѣщающаго свои силы и испытующаго свои способности прежде, нежели примется за дѣло. Впослѣдствіи онъ началъ писать свободно, но и тогда, но и теперь еще въ сочиненіяхъ его замѣтны прежніе недостатки: въ нихъ нѣтъ слога, и этому причиной слабое знаніе русскаго языка. Неумѣнье выразиться прямо и точно заставляетъ сочинителя пускаться въ перифразы; а это дѣлаетъ фразы его растянутыми, вялыми и потому скучными. Болѣе всего недостатковъ этотъ замѣтенъ въ драматическихъ мѣстахъ сочиненій Булгарина: въ разговорахъ дѣйствующихъ лицъ и въ живомъ разсказѣ дѣйствія, требующемъ быстроты и движенія... Въ сочиненіяхъ Булгарина все сглажено, обдѣлано, но безцвѣтно и безжизненно. Должно однакожь отдать справедливость авторскому чистосердечію Булгарина: онъ самъ признавался и не однажды, что Гречъ былъ его руководителемъ въ русскомъ языкѣ и даже исправлялъ въ его сочиненіяхъ ошибки противъ него... Скажемъ и то: обязательная признанъ не всегда можетъ стоять на стражѣ. Какъ бы она ни пеклась о чужихъ уместныхъ дѣтищахъ, но на нее также находятъ минуты дремоты, и въ это время ошибки противъ языка, ошибки противъ смысла, ошибки противъ логики и другіе грѣхи литературные насильственно вползаютъ въ сочиненія литератора недоучившагося, подобно, какъ грѣхи нравственные прокрадываются въ душу чловѣка нестердыхъ правилъ. Такъ было нерѣдко и съ сочиненіями Булгарина: неправильное употребленіе словъ, странно обточенныхъ, ученическихъ фразъ, мѣстами незнаніе управленія и даже спряженія глаголовъ, встрѣчаемыя въ статьяхъ, явно доказываютъ, что Гречъ не всегда могъ съ одинаковой внимательностью наблюдать за чистотой языка въ статьяхъ своего друга...

Въ пяти томахъ новаго изданія сочиненій Булгарина находятся и статьи историческія, и военныя разсказы, и литературныя повѣствовательныя статьи, и исторія, и наконецъ повѣсти. Заглавія всѣхъ этихъ отдѣленій вѣроятно придуманы для того, чтобы болѣе заманить любопытство читателя разнообразіемъ содержанія; но неужели Булгаринъ печатаетъ и перепечатываетъ свои сочиненія только для тѣхъ, которые читаютъ безъ повѣрки?... Изъ повѣстей Булгарина лучшая, по нашему мнѣнію, *Эстерка*; и если бы не разговоры и рѣчи, о которыхъ уже мы говорили въ 1-й нашей статьѣ, то она еще была бы лучше. Но какъ вообразить напр. молодого гайдамака, который, сѣдя у подножія Карпатскихъ горъ, пародируетъ монологъ *Царя Лира*: «Бушуйте, вѣтры! греми, громи! приюминайте намъ, что мы не имѣемъ ни крова, ни пристанища!» Такой же недостатокъ соображенія (часто и недостатокъ воображенія) встрѣчается и въ другихъ повѣстяхъ Булгарина. Тѣ изъ нихъ, которымъ даны заглавія нравственныя (какъ-то: *Милость и правосудіе*, *Правосудіе и за-*

слуга, *Фонтанъ милости* и т. п.) и которыя названы *Восточными повѣстями*, *Восточными сказаніями*, *Восточными сказками*, *Восточными апологами*, смотря по прихоти сочинителя, сбиваются все на одинъ ладъ и похожи на нехитрыя варіанціи одной и той же темы. Въ нихъ нѣтъ ни примѣтъ восточнаго, ни занимательности; любая сказка Мармонтеля, Флоріана и даже писателей гораздо низшаго разряда, болѣе удовлетворяетъ читателя, особенно въ отношеніи слога. Помѣщенные въ отдѣленіяхъ *Исторіи*, *Статей историческихъ* и *Военныхъ разсказовъ* статьи, въ которыхъ самъ сочинитель играетъ роль, похожи на *быль съ примѣсмью*, какъ сказано съ большою точностью въ заглавіи: *Федора*. Укажемъ на нѣкоторыя изъ тѣхъ, которыхъ названія выписаны нами выше; въ нихъ можно отнести: *Ужасную ночь* и *Приключенія уланскаго корнета подъ Фридрихсгофомъ*.

Но главную часть сочиненій Булгарина составляютъ такъ-называемыя статьи *О нравахъ*; вѣроятно онѣ наполняютъ всѣ 7 томовъ, недостающіе въ обобщенномъ дѣнадцати...

Хорошо бытъ гонителемъ пороковъ и проповѣдникомъ благонравія; полезно даже искоренять дурныя привычки и, для пользы образованности и вкуса, осмѣивать глупости и странности. Худо только то, когда сатирикъ ловой своей стегаетъ по воздуху; когда онъ осуждаетъ пороки, небывалые въ народѣ, или осмѣиваетъ странности, имъ самимъ выдуманныя. Что, если бы какой иностранецъ заговорилъ китайцамъ, что они не соблюдаютъ постовъ, установленныхъ нашей церковью, или сталъ бы подшучивать надъ тѣмъ, что они слишкомъ много танцуютъ и любятъ гоняться за европейскими модами? Такія или подобныя нравственно-сатирическія обвиненія бывали однакожь у насъ, именно въ статьяхъ Булгарина. Большая часть изъ нихъ писана была, какъ по всему видно, на скорую руку, для пополненія пустого мѣста въ журналѣ; и первая встрѣтившаяся мысль, первая попавшаяся подъ руку книга: Жуи, Поль-де-Кокъ, словомъ, кто бы ни былъ, снабжала его предметомъ для статьи *о нравахъ русскихъ*. Онъ не хотѣлъ или не имѣлъ времени вѣрно обдумывать: водятся ли на Руси описываемый имъ пороки или странность, и если водятся, точно ли въ томъ видѣ, въ какомъ изображаетъ ихъ авторъ чужеземный? Онъ писалъ, какъ чловѣкъ, не коротко знающій Россію и русскихъ; и плодомъ ложнаго о нихъ понятія былъ нравственно-сатирическій романъ: *Жизнь Выжигина*, въ которомъ болѣе, нежели въ другихъ сочиненіяхъ, авторъ относитъ къ общимъ нравамъ народа тѣ пороки и странности, которыхъ едва ли встрѣчается нѣсколько печальныхъ примѣровъ.

Страннѣе всего авторская самоувѣренность его въ непогрѣшительности своихъ наблюденій и приговоровъ. Не хвалитъ его сочиненій, значить сдѣлаться заклятымъ его врагомъ и наклепать на себя колкости, въ которыхъ личность и неумѣренность выражений часто выходитъ изъ всѣхъ возможныхъ границъ. Истинное дарованіе скромно, а посредственность всегда заносчива. Чиновникъ, который просидѣлъ нѣсколько лѣтъ въ одномъ мѣстѣ, едва имѣя способность для должностей писца, и почти безъ пользы для службы, но съ пользою для себя, потому что, не хотя его лишитъ хлѣба и обходить другихъ ради его ничтожности, давали ему и чины, и награды, — первый готовъ жаловаться на несправедливость, видя, что награжденъ больше его чловѣкъ съ талантомъ, но младшій его и лѣтами, и службой. Офицеръ, который для счета стоялъ въ ряду воиновъ, который не только не выдвигаетъ пороку, но и не важжеть готового, и котораго *туля-дура*, по выраженію Суворова, вадѣла можетъ быть нехотя, громче

всѣхъ возвысить свой голосъ, и будетъ толковать о заслугахъ своихъ отечеству, о пролитой крови, сравнивая себя съ тѣмъ или другимъ изъ своихъ сверстниковъ, болѣе награжденных за подвиги, достойные награды. То же видимъ и въ литературѣ: вездѣ посредственность шумитъ больше примого достоинства. На это можно бы, кажется, со всей откровенностью сказать этимъ авторамъ того-сего, этимъ любителямъ незаслуженныхъ похвалъ: «Мм. Гг.! вы хвалите сами себя, вы тщеславитесь тѣмъ, что сочиненій вашихъ вышло столько изданій, что они читаются тамъ-то и тамъ-то: слѣдовательно, цѣль ваша достигнута, и болѣе существенные или вещественные подвиги вашихъ трудовъ должны для васъ замѣнить дымъ славы, который можетъ быть пучить и не насыщаетъ.»

«Иванъ Выжигинъ» есть краугольный камень литературной извѣстности Булгарина. Успѣхъ этого романа, можно сказать безъ преувеличенія, былъ блестящій. Тотчасъ же расхвотанный, прочитанный и зачитанный, онъ былъ превознесенъ пріятелями автора*), похваленъ его союзниками, которые готовы были на всѣ моральныя уступки и пожертвованія, лишь бы обезоружить безпокойное «правдолюбіе» Булгарина, и былъ разбраненъ во всѣхъ поврежденных изданіяхъ, не захотѣвшихъ приступить къ насильственному союзу. Представляемъ здѣсь нѣсколько мнѣній о «Выжигинѣ», современныхъ появленію этого романа.

«Менѣ таланта, но болѣе литературной опытности (нежели въ «Черномъ годѣ» или «Горскихъ князьяхъ», романѣ Нарѣжнаго), языкъ болѣе гладкій, хотя и безцвѣтный и вялый, находимъ мы въ *Выжигинѣ*, нравственно-сатирическомъ романѣ Булгарина. Пустота, безвкусіе, бездушность, нравственныя сентенціи, выбранныя изъ дѣтскихъ прописей, невѣрность описаній, приторность шутокъ,—вотъ качества этого сочиненія,—качества, которыя составляютъ его достоинство, ибо они дѣлаютъ его по плечу простому народу и той части нашей публики, которая отъ азбуки и катихизиса приступаетъ къ повѣстямъ и путешествіямъ. Что есть люди, которые читаютъ *Выжигина* съ удовольствіемъ и слѣдовательно съ пользою, это доказываются тѣмъ, что *Выжигинъ* расхотится. Но гдѣ же эти люди?—спросятъ меня. Мы не видимъ ихъ, точно такъ же, какъ и тѣхъ, которые наслаждаются *Сонникомъ* и кингой *О колапѣ*; но они есть, ибо и *Сонникъ*, и *Выжигинъ*, и *О колапѣ* раскупаются во всѣхъ лавкахъ» (Деминца, альманахъ на 1830 годъ).

«Быстрое распространеніе фамиліи *Выжигиныхъ* (Булгарина и Орлова) есть натуральное слѣдствіе давно признаннаго въ основатель ея достоинства, что онъ приходится не только по сердцу, но и по плечу читающей нашей публикѣ. По несчастью, наша читающая публика не есть самая высшая по тону и образованію. Лучшая часть нашего

общества, непривыкшая еще порядочно разбирать по-русски, по сию пору предается добродушному патристическому сокрушенію, что у насъ, на отечественномъ языкѣ, почитать нечего. *Иванъ Выжигинъ*, какъ благоразумный дѣтина, выжженный обстоятельствомъ, не думаетъ и хлопотать объ ея вниманіи. Не надѣясь на князя, отъ которыхъ самый блестящій талантъ награждается однимъ холоднымъ междометіемъ удивленія, онъ избралъ себѣ другую, менѣе высокую, но болѣе широкую дорогу, на которой встрѣченъ былъ радушіемъ и награжденъ тороватѣе. Онъ принаровился къ потребностямъ, вкусу и замашкамъ нашего средняго сословія, въ которомъ охота къ чтенію ежедневно усиливается болѣе и болѣе, и заполонилъ его вниманіе, выбравъ для своей кукольной комедіи содержаніе, цвѣтъ и тонъ къ нему близкіе. Въ самомъ дѣлѣ, эта коллекція уродливыхъ образовъ, одѣтыхъ въ знакомыя платья, какъ могла не понравиться русскому народу, который любитъ показывать изъ кармана фигу дурачества, которыхъ явно осуждать не смѣетъ? *Иванъ Выжигинъ* доставилъ вполне ему это удовольствіе. Благодаря его карикатурамъ, деревенскіе помѣщики могли вымѣщать горе, претерпѣваемое отъ уѣздныхъ судовъ и губернскихъ палатъ, громкимъ и раздольнымъ хохотомъ надъ грозными членами; миролюбивые купцы находили тайное удовольствіе посмѣяться себѣ въ бороду надъ спѣсивыми барами; пронирливые сдѣльцы, въ свою очередь, могли забавляться изуродованными харями суровыхъ своихъ хозяевъ; лакеи тѣшились надъ господами, горничныя пересмѣхали барынь. Коротко сказать—*Иванъ Выжигинъ* умѣлъ найти чувствительную струну въ каждомъ сословіи русскаго народа и пошевелить ее пріятнымъ шекотаньемъ. Само собою разумѣется, что на это не требовалось большого искусства. Занимательность представляемыхъ имъ карикатуръ состояла не въ вѣрности, а въ уродливости. Обыкновенно, чѣмъ безобразнѣе и отвратительнѣе фигуры, выставляемыя на посмѣшье, тѣмъ хохотъ громче и продолжительнѣе. Попробуйте развѣсить подъ Новинскимъ характеристическія картины нравовъ, написанныя самой вѣрной и богатой кистью: ихъ никто и не замѣтитъ. Но вокругъ папца, въ дурацкомъ колпакѣ, съ ослиными ушами, краснымъ носомъ, кривыми ногами и огромнымъ брюхомъ, всегда толпятся и зрители, и слушателей видимо невидимо! *Иванъ Выжигинъ* зналъ хорошо эту слабость; воспользовался ею, какъ нельзя лучше, и награжденъ за то, какъ нельзя больше. Отъ выставленнаго имъ райка не было отбоя» (Телескопъ, 1831 г.).

Но вотъ сужденіе о Петрѣ Ивановичѣ Выжигинѣ, отличающееся особеннымъ безпристрастіемъ къ его автору и совершенно спокойнымъ тономъ; не соглашаясь съ нимъ вполне, мы все-таки приводимъ и его:

«Доселѣ Булгаринъ писалъ повѣсти и романы двухъ родовъ: такъ-называемые нравственно-сатирическіе и историческіе. Къ первому роду принадлежатъ, какъ извѣстно, *Иванъ Выжигинъ*; ко второму—*Дмитрій Самозванецъ*. Въ *II. Выжигинѣ* онъ соединилъ оба эти рода, соединилъ *Ие. Выжигина* съ *Самозванцемъ*, и должно сознаться, исполнилъ это дѣло весьма неудачно. Сданы историческія или вообще все, что относится къ войнѣ 1812 года, такъ рѣзко отдѣляется отъ остальнаго—*нравописательнаго*, какъ масло отъ воды. Вездѣ видны вставки и, такъ сказать, заплатки изъ порфиры *Самозванца* на ветхомъ рубишѣ сироты *Выжигина*. Даже второе названіе этого романа;

*) Одинъ изъ нихъ, В. Ушаковъ, разбирая впоследствии *Дмитрія Самозванца* Булгарина, воскликнулъ: «Приступаю къ разсмотрѣнію романа, сочиненнаго моимъ короткимъ пріятелемъ, Фаддеемъ Венедиктовичемъ Булгаринимъ, и объ этихъ моихъ сношеніяхъ съ авторомъ предварительно уведомлю всѣхъ острившихъ жало на новое произведеніе моего друга». Подлинно:

Блаженъ, кто друга здѣсь по сердцу обрѣтаетъ!

исторический—есть въ полномъ смыслѣ придаточное. Эти вставки бросаются въ глаза при самомъ бѣгломъ чтеніи. Кажется, будто читаешь два романа, между собой совершенно различныя или сшитыя другъ съ другомъ на живую нитку, безъ всякой послѣдовательности и связи. Можно подумать, что авторъ вложилъ происшествія 1812 года не прежде, какъ по окончаніи правоописательной части романа, или, наоборотъ, вставилъ интригу, написавъ сперва историческія сцены... Этому разногласію и безсвязности, кромѣ недостатка въ общемъ планѣ и въ правильномъ распредѣленіи частей, могла быть и другая причина: по моему мнѣнію, Булгаринъ имѣетъ талантъ преимущественно къ сценамъ историческимъ и не склоненъ къ правоописательному роду. Онъ обладаетъ воображеніемъ, то есть способностью передавать вѣрно и живо то, чего былъ самъ нѣкогда свидѣтелемъ, что изучать съ подробностью, словомъ, что коротко ему знакомо изъ чтенія или изъ опытовъ жизни. Но, скажемъ прямо: онъ не одаренъ фантазіей, той творческой способностью, которая создаетъ характеры, даже приключенія, и придаетъ вымыслу не только правдоподобіе, но и дѣйствительность... То, что должно дышать жизнью, возбуждать къ себѣ участіе, завлекать возрастающимъ интересомъ, у него выло, безцвѣтно, холодно, утомительно. Ложная система правоученія еще болѣе увеличиваетъ эти недостатки. Въ подтвержденіе мною сказаннаго, разсмотрите историческія сцены новаго *Выжигина*,—тѣ, въ которыхъ является Наполеонъ съ своей блестящей свитой, съ своими маршалами, съ своей главной квартирой; возьмите даже прибытіе Кутузова въ армию или картину Москвы до вступленія въ нее неприятеля: все это заманчиво, живо, естественно. Отъ чего? Отъ того, что онъ не отступаетъ отъ исторіи, вѣрно слѣдуетъ за своими вожатыми—Сегюромъ, Шамбре, Глинкой, или быть-можетъ за лучшимъ изъ вожатыхъ—своими воспоминавіями. Всю вторую половину III-го тома можно по справедливости назвать великимъ оазисомъ въ пустынѣ этого романа. Но шагъ за оазисъ—и вась останавливаетъ безплодіе: нигдѣ тѣни, чтобы принятъ утомленнаго путника; нигдѣ источника, чтобы отвести душу. Дѣйствующія лица становятся неестественными и, чтобы продолжить сравненіе—ходить на ходуляхъ, подобно жителямъ степей (Landes) во Франціи. Вась встрѣчаютъ толпы героевъ великодушія или дюжныя злодѣевъ и преступниковъ всѣхъ родовъ, для которыхъ мало бы висѣлицы, и которые, къ счастью рода человѣческаго, не существуютъ на свѣтѣ, ибо суть такіа же безжизненныя отвлеченности, какъ и образцы всѣхъ возможныхъ добродѣтелей» (*Телескопъ* 1831 г.).

Выписывая всѣ эти мнѣнія о романахъ Булгарина, мы равно далеки отъ того, чтобы признавать ихъ безусловно справедливыми и въ осужденіи, и въ похвалѣ. Что касается до осужденія, нѣкоторые изъ выписанныхъ нами строкъ, при всей справедливости ихъ основанія, писаны явно не въ спокойномъ духѣ, а это показываетъ, что онѣ не безусловно справедливы. Съ другой стороны, мнѣніе о заманчивости, живости и естественности нѣкоторыхъ описаній и картинъ въ «Петрѣ Выжигинѣ», равно какъ и о предполагаемой способности Булгарина къ историческимъ сценамъ, кажется намъ преувеличеннымъ. Какъ бы то ни было, но для насъ во всѣхъ этихъ выпискахъ, из-

влеченныхъ изъ разныхъ поврежденныхъ изданій, изъ статей, писанныхъ людьми, совершенно другъ другу чуждыми, — во всемъ этомъ ясно видно, что мнѣніе о совершенномъ отсутствіи въ сочиненіяхъ Булгарина фантазіи и изобрѣтенія, о холодности и сухости его языка, впрочемъ по большей части гладкаго и чистаго,—что это было общимъ мнѣніемъ еще назадъ тому болѣе пятнадцати лѣтъ.

Теперь намъ легче высказать собственное наше мнѣніе о сочинительствѣ Булгарина,—и мы выскажемъ его *sine ira et studio*. Отнимать всякое значеніе у того необыкновеннаго успѣха, который приобрѣтень «Иваномъ Выжигинымъ», объяснять его успѣхомъ «Сонниковъ» и книгъ «О клопахъ»,—по нашему мнѣнію, вовсе несправедливо, и критики Булгарина подобными выходками только лишали свои статьи того довѣрія у публики, котораго онѣ заслуживали по справедливости своего основанія. Если нельзя принять за безусловное правило, что большой расходъ книги всегда есть доказательство ея достоинства,—то нельзя также думать, чтобы большой расходъ книги не свидѣтельствовалъ по крайней мѣрѣ въ пользу ея условнаго, современнаго достоинства, въ доказательство того, что книга была въ потребности времени и лучше другихъ удовлетворила этой потребности. Вообще незаслуженный успѣхъ есть болѣе рѣдкое явленіе въ литературѣ, нежели какъ объ этомъ думаютъ,—особенно большой успѣхъ. И мы, ни мало не обинуясь, скажемъ, что необыкновенный успѣхъ «Ивана Выжигина» былъ точно такъ же заслуженъ, какъ и необыкновенный успѣхъ «Юрія Милославскаго», хотя въ послѣднемъ романѣ мы видимъ несравненно больше и таланта, и вообще литературнаго достоинства, нежели въ первомъ. «Иванъ Выжигинъ», говорите вы, угодишь насмѣшливости разныхъ сословій русскаго общества рядомъ карикатуръ одна другой уродливѣе и безобразнѣе. Хорошо! Но зачѣмъ же никто другой, кромѣ Булгарина, не подумалъ угодить этой насмѣшливости? Что ни говорите, а на успѣхъ, на чѣмъ бы онъ ни основывался, всегда много охотниковъ; но успѣваетъ всегда только рѣшительный, смѣлый, предприимчивый и трудолюбивый. До «Выжигина» у насъ почти вовсе не было оригинальныхъ романовъ, тогда-какъ потребность въ нихъ уже была сильная. Булгаринъ первый понялъ это, и зато первый же былъ и награжденъ сторицей. Правда, появленіе Булгарина на литературномъ поприщѣ въ качествѣ романиста было упреждено появленіемъ на томъ же поприщѣ Нарѣжнаго, человѣка съ замѣча-

тельными и оригинальными талантомъ. Но это обстоятельство, во всѣхъ отношеніяхъ болѣе нежели невыгодное, можно сказать — страшное для Булгарина, по многимъ причинамъ не могло вредить ему. Во-первыхъ, Нарѣжный дебютировалъ въ 1822 году весьма плохимъ романомъ — «Аристѣонъ, или перевоспитаніе», будучи до того времени едва извѣстенъ, какъ авторъ скопированной съ «Разбойниковъ» Шиллера драмы «Димитрій Самозванецъ» (1804 г.) и «Славянскихъ Вечеровъ» — надутно-риторическихъ поэмъ въ прозѣ (1809 г.); въ 1824 году издалъ онъ свои «Новыя Повѣсти», которыя слѣдовало бы правильнѣе называть плохими повѣстями. Лучшія его произведенія — «Бурсакъ», романъ въ 4-хъ частяхъ (1824 г.), и «Два Ивана, или страсть къ тяжбамъ», въ 3-хъ частяхъ (1825 г.), — несмотря на все ихъ достоинство, не могли вдругъ воспользоваться огромнымъ успѣхомъ, потому что, по ихъ содержанію, касающемуся одной Малороссіи, не имѣли общаго интереса для всѣхъ русскихъ. Сверхъ того самыя достоинства этихъ романовъ Нарѣжнаго были таковы, что нужно было время для уразумѣнія и оцѣнки ихъ. Притомъ талантъ Нарѣжнаго былъ какой-то нерѣшительный: идя въ подробностяхъ и частностяхъ путемъ совершенно новымъ, въ общей завязкѣ и развязкѣ онъ шелъ путемъ избитымъ; богатый комизмомъ, онъ въ то же время былъ щедръ и на скучную мораль. Комическія же сцены его въ то время могли смѣшить публику, но не могли поставить его въ ея глазахъ на слишкомъ высокое мѣсто. Булгаринъ взялся за дѣло иначе и, съ свойственной ему смѣтливостью, понявъ, что нападки на такъ называемыя злоупотребленія не могутъ не расшевелить сильно всѣхъ струнъ русскаго общества. И онъ не обманулся. Не имѣя фантазій, вовсе чуждый дара творчества, онъ замѣнилъ дѣлю художество, сатирой — вѣрность дѣйствительности, карикатурой — характеры и образы. Взявши себѣ въ образецъ старинный романъ А. Измайлова: «Евгеній, или пагубныя слѣдствія дурного воспитанія» (первая часть напечатана въ 1799, вторая — въ 1801 году), онъ такъ искусно съумѣлъ тряхнуть стариной на новый манеръ, предпріятіе его всѣмъ показалось такъ оригинальнымъ, что успѣхъ превзошелъ ожиданія. Это очень понятно. Всегда такъ было, есть и будетъ въ литературахъ, возникшихъ не изъ собственной, родной почвы, а начавшихся подражаніемъ иностраннымъ литературамъ: сперва въ нихъ тотъ и беретъ, кто смѣлѣе и явнѣе подражаетъ иностраннымъ образцамъ, а потомъ тотъ, кто подражаніе иностраннымъ

образцамъ лучше другихъ умѣетъ выдавать за что-то оригинальное, народное. Было время, когда наше юное общество въ «Синавахъ» и «Димитріяхъ Самозванцахъ» Сумарокова добродушно видѣло героев и лицъ русской исторіи; потомъ пришло время, и это нѣсколько подросшая публика добродушно думала видѣть Россію и русскихъ въ безцвѣтныхъ аллегорическихъ олицетвореніяхъ, играющихъ роль дѣйствующихъ лицъ въ «Иванѣ Выжигинѣ»; но черезъ годъ послѣ этого, прочитавъ «Юрія Милославскаго», она воскликнула «вотъ это ужъ настоящая Русь, настоящіе русскіе!». Теперь она поняла, что въ литературномъ произведеніи только то лицо можетъ быть истинно-русскимъ, которое поэтически, художественно изображено, — и потому уже и въ «Юріи Милославскомъ» такъ же не видятъ русскихъ лицъ, какъ не видятъ ихъ болѣе въ «Иванѣ Выжигинѣ», въ трагедіяхъ и комедіяхъ Сумарокова. Но этимъ нисколько не отнимается заслуга ни Сумарокова, ни Булгарина и Загоскина. Эти три писателя выразили своими произведеніями три постепенные момента русской литературы, три ступени, перешагнутыя ею въ ея развитіи. Благодаря младенческому состоянію нашей литературы, успѣхъ Сумарокова былъ продолжителенъ; но успѣхъ Булгарина былъ уже только минутный: «Юрій Милославскій» напoвалъ убилъ его «Димитрія Самозванца», «Петръ Ивановичъ Выжигинъ», какъ повтореніе двухъ первыхъ романовъ Булгарина, имѣлъ успѣхъ гораздо слабѣе, а «Рославлевъ» Загоскина и совершенно добилъ остатки «Петра Ивановича Выжигина». Но первый романъ Булгарина далъ ему огромную извѣстность, и, благодаря ей, онъ могъ еще нѣкоторое время писать романы, хотя не съ прежнимъ успѣхомъ, но все же не вовсе безъ успѣха. Надо сказать, что съ появленія «Выжигина» литература наша круто повернула отъ стиховъ къ прозѣ. Въ какинибудь пять-шесть лѣтъ съ того времени явились новыя имена, новыя знаменитыя по успѣху и относительнымъ, условнымъ достоинствамъ произведенія: Загоскинъ, Лажечниковъ, Вельтманъ, Ушаковъ, Бѣгичевъ и другіе, и ихъ романы и повѣсти. Но въ 1831 году появилась первая книжка «Вечеровъ на Хуторѣ», неизвѣстнаго до того автора, какого-то Гоголя...

Говоря о Булгаринѣ, мы не напрасно вспомнили о Сумароковѣ. Булгаринъ давно уже жалуется на своихъ «враговъ», что они огласили его бездарнымъ сочинителемъ. Особенно горько и много жаловался онъ за это на «Отч. Записки». Но это не совсѣмъ справедливо, и на этотъ счетъ

мы готовы хладнокровно объясниться. Если Булгаринъ думаетъ, что природа снабдила его даромъ поэзіи, творчества,—то мы дѣйствительно считаемъ его положительно бездарнымъ писателемъ. Если же подъ словомъ «бездарный» онъ разумѣетъ отрицаніе всякихъ способностей къ чему-нибудь, то мы никогда не думали считать его бездарнымъ. Даже въ его статьяхъ о нравахъ мы не отвергаемъ способности—хотя подѣлываться подъ Адиссона и Жуи. Статьи эти сухи, блѣдны, безцвѣтны и потому скучны; ихъ такъ же невозможно сравнивать съ статьями въ томъ же родѣ «Новаго живописца общества и литературы» Полевого, какъ невозможно сравнивать произведенія прилежнаго ученика, копирующаго съ чужихъ картинъ, съ произведеніями даровитаго живописца, пишущаго съ натуры. Что же до «Ивана Выжигина» и даже другихъ романовъ Булгарина,—въ нихъ нѣтъ ни даже признака фантазіи, изобрѣтенія, творчества, поэзіи; но тѣмъ не менѣе о нихъ можно сказать, что въ нихъ выразилась посредственность, и никакъ нельзя сказать, чтобы въ нихъ выразилась бездарность. Сумароковъ теперь забытъ, читать его невозможно; таланта поэзіи въ немъ не было и признака; но все же онъ человѣкъ способный, и ему литература наша обязана многимъ. Сдѣлать то, что сдѣлалъ онъ, было не совсѣмъ легко, а потому, кромѣ его, и не нашлось никого, кто взялся бы за его дѣло. Сумароковыхъ у насъ было много, и нельзя сказать, чтобы ихъ не было и теперь. Разница та, что теперешніе Сумароковы уже обязаны имѣть не одну способность, но купно и что-то врождѣ дарованія, для того, чтобы успѣть хотя не на долго въ какой-нибудь еще неизвѣданной отрасли литературы. Такъ Марлинскій съ блестящимъ успѣхомъ взялся за, будто бы, русскую повѣсть съ мелодраматическими страстями и ходульными характеристиками. Такъ иной брался за драму съ итальянскими художниками и за народно-русскую драму съ русскими собственными именами. И тутъ былъ успѣхъ; не на долго, но былъ. Въ свое время имѣлъ успѣхъ и Булгаринъ. Но это время прошло, и напрасно онъ нападка на «новую натуральную школу» думаетъ воротить невозвратное... Видя невозможность писать романы, онъ хочетъ вознаградить себя за это униженіемъ новой школы, и какъ будто сдѣлалъ себѣ какую-то задачу ратовать противъ нея въ фельетонахъ «С. Пчелы»...

И вотъ мы естественнымъ путемъ возвратились опять къ журнальному поприщу Булгарина. Журналистикой началъ онъ свое литературное поприще, журналистикой

и оканчиваетъ его теперь. Но и здѣсь, какъ во всемъ, остался онъ вѣренъ самому себѣ: никакихъ принциповъ, никакихъ убѣждений, одна литературная тактика, какъ и двадцать лѣтъ назадъ. Такъ же точно говоритъ онъ неумолкаемо о своей любви къ правдѣ и о своихъ «врагахъ». Такъ же точно хвалитъ сегодня то, что бранилъ вчера и что снова будетъ хвалить завтра, смотря по отношеніямъ. Такъ же точно позволяетъ себѣ приписывать своимъ противникамъ то, чего они не дѣлали и не говорили и возражать на мнѣнія, которыхъ они никогда не обнаруживали. Такъ напр., въ 88 № «Сѣв. Пчелы» прошлаго года обвинилъ онъ «Отеч. Записки» въ постоянномъ будто бы стремленіи унижать Каратыгина 1-го, и не могъ представить изъ «Отеч. Записокъ» ни одного слова въ оправданіе взводимого имъ на нихъ обвиненія. Такъ, въ 55 № «Сѣв. Пчелы» нынѣшняго года Булгаринъ взводитъ на «Отеч. Записки» небывшую, будто онѣ сравнили Гоголя съ Гомеромъ, тогда-какъ «Отеч. Записки» прежде всѣхъ другихъ журналовъ посмѣялись надъ забавной московской брошюркой, въ которой Гоголь сравненъ былъ съ Гомеромъ. Какъ и прежде, Булгаринъ позволяетъ себѣ, въ нападкахъ на своихъ противниковъ, выходить изъ чисто-литературной сферы. Напомнимъ читателямъ нашимъ небольшую статейку въ «Литературной Газетѣ» 1830 г.

«Въ 39 № «Сѣверной Пчелы» помѣщено окончаніе статьи о VII главѣ «Онѣгина», въ которой между прочимъ прочли мы, будто бы Пушкинъ, описывая Москву, «взялъ обильную дань изъ *Горя отъ Ума* и, просимъ не погрѣбаться, изъ другой известной книги». Седьмая глава «Онѣгина» лучше всѣхъ защитниковъ отвѣчаетъ за себя своими красотами, и никто, кромѣ «Сѣв. Пчелы», не найдетъ въ описаніи Москвы заимствованій изъ «Горя отъ Ума». И Грибоедовъ, и Пушкинъ писали свои картины съ одного предмета; неминуемо и у того, и другого должны встрѣчаться черты сходныя. Но изъ какой, просимъ не погрѣбаться, другой известной книги Пушкинъ что-то похитилъ? Не называетъ ли «Сѣв. Пчела» известной книгой «Ивана Выжигина», гдѣ находится странное раздѣленіе московскаго общества на классы, въ числѣ которыхъ одинъ составленъ изъ архивныхъ юношей? Кажется, что такъ; и мы также обвинимъ Пушкина, хотя по какой-то игрѣ случая его описаніе Москвы было написано прежде «Ивана Выжигина» и напечатано въ «Сѣв. Пчелѣ» почти за годъ до появленія этого романа. Обвинимъ Пушкина и въ другомъ, еще важнѣйшемъ похищеніи: онъ многое заимствовалъ изъ романа «Димитрій Самозванецъ» и этими хищеніями удачно, съ искусствомъ, ему свойственнымъ, украсилъ свою историческую трагедію «Борисъ Годуновъ», хотя тоже, по странному стеченію обстоятельствъ, имъ написанную за пѣть лѣтъ до рожденія историческаго романа Булгарина.»

Въ той же «Литературной Газетѣ» напечатанъ протестъ противъ статьи Булгарина, въ которой онъ говоритъ, что въ

чужихъ краяхъ странствуетъ нѣсколько юныхъ россіянъ, которые «выдаютъ себя за первоклассныхъ русскихъ поэтовъ, философовъ и критиковъ и всѣмъ журналистамъ обѣщаютъ сообщать извѣстія о Россіи, а болѣе о русской литературѣ». Въ числѣ этихъ юныхъ россіянъ поименованъ Шевыревъ, «авторъ писемъ изъ Италіи, помѣщаемыхъ въ «Московскомъ Вѣстникѣ», и соучастникъ по изданію этого журнала». Протестъ противъ этихъ болѣе полицейскихъ, нежели литературныхъ извѣстій былъ написанъ въ «Литерат. Газетѣ» самимъ Шевыревымъ.

И теперь Булгаринъ дѣлаетъ то же самое, какъ бы въ доказательство, что ему, какъ нѣотѣйцамъ въ Аѳинахъ, все позволительно, все возможно... Чего не писалъ Булгаринъ въ подрывъ кредита у публики «Отеч. Записокъ»?.. то увѣрялъ, что онѣ скоро прекратятся за неимѣніемъ подписчиковъ; то говорилъ, что ихъ друзья съ умыслу распускаютъ слухи, будто онѣ издаются въ пользу какого-то бѣднаго семейства... Но вотъ самые свѣжіе примѣры: въ 55 № «Сѣверной Пчелы» нынѣшняго года Булгаринъ утверждаетъ, будто «Отеч. Записки» основаны были съ цѣлью уронить «Библиотеку для Чтенія»; будто какая-то компанія, составившаяся для изданія «Отеч. Записокъ», рѣшительно объявила извѣстное правило: «кто съ нами, тотъ не противъ насъ». Во-первыхъ, нигдѣ не было объявлено, чтобы «Отеч. Записки» издавались компаніей, и на заглавномъ листѣ ихъ всегда стояло только имя издателя и редактора этого журнала: откуда же и чего ради сочинилъ Булгаринъ компанію?.. Далѣе: «Вызвали изъ Москвы критика, который своими парадоксами, печатаемыми въ «Молвѣ», заставилъ добрыхъ людей взглянуть на себя съ улыбкой удивленія (и такъ добрые люди, а въ числѣ ихъ и Булгаринъ, посмотрѣли на себя съ удивленіемъ?..) и поручили ему писать разборы книгъ, т. е. уничтожать все прошлое (не пошлое ли?) и рубить все: что не съ нами, то противъ насъ. Вотъ и пошла потѣха». Спросимъ Булгарина, ссылаясь на его совѣсти: все это литературныя ли подробности? А что, если къ этому мы скажемъ, что все это сочинено имъ самимъ и ничего этого не бывало?.. Но ему до правды нужды нѣтъ, лишь бы, какъ говорится, насолить врагу, лишь бы взять не мытьемъ такъ катаньемъ... Какой правдолюбъ!.. Еслибы кто печатно рассказалъ, что напр. гдѣ-нибудь, хотъ въ Китаѣ положимъ, есть старый журналистъ, онъ же и выписавшійся сочинитель, который въ досадѣ, что его не читаютъ, а молодыхъ писателей читаютъ, еженедѣльно пишетъ

на нихъ въ своемъ изданіи: «Сплетни», самую пошлую брань, хуже всякой всячины, и, чтобы дѣло шло успѣшнѣе, пригласилъ себѣ въ сотрудники одного бездарнаго и глупаго писаку, обруганнаго во всѣхъ журналахъ, привыкшаго узнавать своихъ критиковъ по когтямъ, какъ они привыкли узнавать его по ушамъ; что писака, доселѣ игравшій роль литературнаго зайца, травлей котораго потѣшался весь свѣтъ, обрадовался, что въ рукахъ патрона своего можетъ быть грязной тряпкой, чтобы марать порядочныхъ людей,—цѣпной собакой, чтобы лаять на людей лучше и выше себя и тѣмъ добиться похвалы: «Ай, моска! знать она сильна, что лаетъ на слона!»,—еслибы, говоримъ мы, кто-нибудь рассказалъ это печатно, въ этомъ не было бы ничего неприличнаго и, кромѣ китайскихъ журналистовъ, этого некому было бы принять на свой счетъ. Такъ и сдѣлалъ Пушкинъ (назавшись Теофилактомъ Косичкинымъ), сказавши: «Я человекъ миролюбивый, но всегда готовъ заступиться за моего друга; я не похожу на того китайскаго журналиста, который, потакая своему товарищу и въ глаза выхваляя его бредни, говоритъ на ухо всякому: «этотъ пачкунъ и мерзавецъ сорочитъ меня со всѣми порядочными людьми, мараютъ меня своимъ товариществомъ; но что дѣлать? онъ человекъ дѣловой и расторопный».

Все это позволительно, какъ выдумка, не выдаваемая за истину; но входить въ частныя дѣла своихъ противниковъ, сочинять на нихъ цѣлыя исторіи, — это называется личностями и за это иногда и отвѣчаютъ личностью же... А что же, если не это позволяетъ себѣ дѣлать Булгаринъ? Объ этомъ истати должны мы рассказать цѣлую исторію. Въ 57 № «С. Пчелы» Гречъ пишетъ изъ Парижа слѣдующее о переводѣ повѣстей Гоголя на французскій языкъ:

«Віардо, изданіемъ перевода сочиненій Н. В. Гоголя, принесъ намъ и нашей литературной репутаціи услугу очень сомнительную, похожую на ту, которой, въ баснѣ Крылова, медвѣдь угодилъ спящему другу. Нельзя вообразить себѣ ничего карикатурнѣе и смѣшнѣе этого перевода. Наблюдательность автора, его искусство схватывать едва уловимыя черты малороссійскаго быта, его мнимое простодушіе, его наивная замысловатость — все это исчезло подъ губительнымъ поркомъ варвара-переводчика: остались нечѣтые вымыслы, уродливыя спены, отвратительныя подробности, безвкусіе и отсутствіе всякаго благородства и изящества литературнаго; вмѣсто живого тѣла, видимъ безобразный скелетъ. Впрочемъ, всякъ воленъ переводить что и какъ ему угодно, а вотъ что непростительно, и противъ чего мы возстаемъ всѣми силами: Віардо, печатая юрдовую повѣсть «Вій» въ «Journal des Débats», снабдилъ ее предисловіемъ, въ которомъ говоритъ, что Гоголь продолжаетъ въ отечествѣ своемъ созданіе литературы оригинальной, обогащенной

трудами двухъ уморивших писателей ея—Пушкина и Лермонтова. Мы охотно отдаемъ справедливость уму и таланту Гоголя, и ставимъ его произведенія на почетное мѣсто среди твореній нынѣшняго времени; признаемъ въ его *Тарасѣ Бульбѣ* большія достоинства и красоты, всегда съ новымъ наслажденіемъ перечитываемъ *Старостинскіе Помѣщики*, и не можемъ натѣшиться забавнымъ *Ресурсомъ*; но не дерзаемъ ставить его не только наравнѣ съ Пушкиннымъ и съ Лермонтовымъ, да и непосредственно послѣ нихъ. У него нѣтъ главнаго—*тѣхъ языка*; онъ позаиметь, позабавитъ публику своими разсказами, но не подвинетъ ее впередъ на пути литературнаго образованія, какъ Ломоносовъ, Карамзинъ, Жуковский, Пушкинъ, Лермонтовъ. Журналы здѣшніе (??) смѣются надъ твореніями Гоголя въ переводѣ и ставятъ его гораздо ниже дѣйствительнаго ихъ достоинства. Ихъ винить нельзя. Прочитайте переводъ повѣсти «Вій» и скажите, можетъ ли быть что уродливѣе и нехитрѣе.

Что сказать на это? «Сѣв. Пчела» вольна находить переводъ Віардо варварскимъ, какъ мы вольны находить его превосходнымъ: на вкусъ товарища нѣтъ. Но чтобы французскіе журналы смѣялись надъ твореніями Гоголя къ переводѣ и ставили ихъ гораздо ниже дѣйствительнаго ихъ достоинства,—это—просимъ не прогибаться—чистая выдумка, остроумное сочиненіе «Сѣв. Пчелы»... Всѣ французскіе журналы, говорившіе о Гоголѣ, говорили о немъ съ величайшими похвалами. Но что весь этотъ коммеражъ «Пчелы» въ сравненіи съ слѣдующей выходкой Булгарина.

«Я совершенно согласенъ со всѣмъ, что Н. И. Гречъ говоритъ о сочиненіяхъ Гоголя и переводѣ ихъ на французскій языкъ; но бывъ въ пріятныхъ отношеніяхъ къ Віардо, я обязанъ, зная дѣло, представить, при обвиненіи его, обличительныя обстоятельства (*circonstances atténuantes*). Недавно еще, въ текущемъ году, говорилъ я въ «Сѣверной Пчелѣ» (*Всякая елка* № 22), что у насъ есть люди, которые ловятъ každого заѣзжаго чужеземнаго литератора, чтобы *отучить* ему своимъ понятіемъ о русской литературѣ и русскихъ литераторахъ, т. е. похвальное мнѣніе о своихъ собственныхъ и пріятелей своихъ сочиненіяхъ и дурное о своихъ противникахъ и критикахъ. Такимъ образомъ *уловили* Марье и другихъ; точно такъ-же понимали и Віардо, увѣрили его, что первый писатель въ Россіи, изъ всѣхъ бывшихъ и будущихъ, есть Гоголь, и пригласили перевести его сочиненія. Но какъ же переводить, когда Віардо, какъ мнѣ весьма хорошо извѣстно, не знаетъ трехъ словъ по-русски? къ нему *отрадимъ* одного изъ *геніевъ* новой натуральной школы, *знающаго французскій языкъ* (*т. е. французскія слова*), и онъ сталъ надстрочно переводить для Віардо сочиненія Гоголя, а Віардо долженствовала сообщить этому переводу слогъ и свойство французскаго языка, какъ говорится—*оформивши* чужеземное слово. *Встрѣчая часто у Віардо этого генія* новой натуральной школы, *за бумагами, я однажды не могъ вытерпѣть, чтобъ не изъяснить моему удаленію, и тогда Віардо сознался мнѣ, что это геній переводитъ для нея сочиненія Гоголя, съ которыми онъ намеренъ познакомиться Егерю...*»

И затѣмъ, какъ бы насмѣхаясь надъ добродушіемъ своихъ читателей или испытывая мѣру ихъ терпѣнія, Булгаринъ увѣ-

ряетъ, что «не выносить сору изъ избы»—его неизмѣнное правило!.. А наконецъ изъясняетъ сожалѣніе, что «Віардо самъ подвергнулся и подвергнул русскую литературу упрекамъ и порицаніямъ французскихъ литераторовъ!»... Впрочемъ это сожалѣніе понятно: Булгаринъ не можетъ забыть, какъ незамѣтно и тихо скончались за границей переводы его сочиненій, и, напуганный собственнымъ примѣромъ, до того не вѣритъ возможности успѣха русскаго писателя за границей, что и похвалы (да еще какія!) французскихъ критиковъ и журналистовъ Гоголю принимаетъ за брань... Но, спрашиваемъ, во имя кого и чего позволимъ себѣ Булгаринъ сочинять небывалыя исторіи о геніи, отправленномъ школой къ Віардо, о томъ, что этотъ геній знаетъ только французскія слова, а не французскій языкъ, и что онъ выдалъ его у Віардо за бумагами и т. п.? Ужъ не во имя ли своего дивнаго мизинца, въ которомъ, по увѣренію Греча, ловкаго товарища Булгарина, болѣе ума и таланта, нежели во многихъ головахъ рецензентовъ? Въ такомъ случаѣ не худо бы Булгарину подумать, что вѣдь мизинцы, хотя и не столь умные и талантливые, какъ его, есть и у другихъ, да еще съ придачей добрыхъ восьми пальцевъ другихъ названій... Впрочемъ чего ожидать отъ такъ называемаго литератора, который позволяетъ себѣ, на старости лѣтъ, писать сказки о встрѣчѣ съ сотрудникомъ «Отеч. Записокъ», будто бы помѣшавшемся на *idée fixe*, т. е. который печатно называетъ своихъ противниковъ сумасшедшими!.. Или чего ожидать отъ фельетониста, который изъ ничего—изъ капустныхъ кочерыжекъ—поссорившись съ Полевымъ, недавно еще имъ превозносимымъ, позволилъ себѣ фразу о «писателѣ съ огороднымъ прозваніемъ» и о «какомъ-то квасникѣ, выучившемся грамотѣ самоучкой»?..

Впрочемъ во всемъ этомъ есть, какъ говорить Булгаринъ, «облегчительныя обстоятельства» (*circonstances atténuantes*). Ничего нѣтъ тяжелѣе, какъ быть каліфомъ на часъ, даже и въ литературѣ. Было время, Булгаринъ чуть было не попалъ въ русскіе Вальтеръ-Скотты, но это время давно прошло, и хотя сотрудники «Пчелы» во время отсутствія Булгарина изъ Петербурга и провозглашаютъ его время отъ времени русскимъ Вальтеръ-Скоттомъ, и даже самъ онъ, не отвергая подносимаго ему его сотрудниками титула, иногда величалъ себя для разнообразія Сократомъ,—однакожъ публика видитъ теперь въ немъ только фельетониста «Сѣв. Пчелы», ни больше, ни меньше, совершенно забывъ объ его прежнихъ тво-

реніяхъ. А кто виной этому? — Гоголь, который успѣлъ своими сочиненіями изгладить изъ памяти публики даже сочиненія тѣхъ романистовъ, которые дѣйствительно не лишены даровитости и которые, своими романами, успѣли изгладить изъ памяти публики романы Булгарина!... Есть отъ чего сдѣлать изъ Гоголя свою *idée fixe*, говоря словами Булгарина! Сначала Гоголь въ глазахъ Булгарина не имѣлъ ни искры таланта, но теперь, когда, по увѣренію Булгарина, Гоголь навлекъ на себя насмѣшки французскихъ литераторовъ, Булгаринъ уже много хорошаго признаетъ въ сочиненіяхъ Гоголя. Но все-таки не можетъ онъ простить ему основанія литературной школы, которая всѣхъ старыхъ писателей лишила всякой возможности съ успѣхомъ писать романы, повѣсти и комедіи изъ русской жизни, и которую за это Булгаринъ очень основательно прозвалъ «новой натуральной школой», въ отличіе отъ старой риторической или ненатуральной, т. е. искусственной, другими словами — ложной школы. Этимъ Булгаринъ прекрасно оцѣнилъ новую школу и въ то же время отдалъ справедливость старой; — новой школѣ ничего не остается, какъ благодарить его за удачно приданный ей эпитетъ... Но за что же онъ безпрестанно, такъ сказать, задираетъ новую школу? Виновата ли она, что онъ, по собственному признанію, и доселѣ есть «ученикъ Карамзина и Дмитріева»?.. Естественнo, что значеніе и учителей стало теперь не то, что было назадъ тому лѣтъ тридцать, ибо послѣ нихъ были другіе учителя — Жу-

ковскій, Батюшковъ, Пушкинъ, Грибодовъ, не говоря уже о явившихся послѣ нихъ Гоголѣ и Лермонтовѣ. А объ ученикахъ нечего и говорить: волей или неволей, а пришлось имъ пережить свою минутную извѣстность. Какъ ни браните новую школу, а она уже не станетъ идти раковой походкой и писать по вашему. И притомъ, браня ее, вы ее прославляете. Всѣ видятъ, что вы сердиты на нее за ея успѣхи. Иначе вы не стали бы безпрестанно твердить о ней. Явится новое произведеніе, скажите о немъ ваше мнѣніе, и не сердитесь, когда другіе не согласны съ вами. А вы на чужое мнѣніе, несогласное съ вашимъ, смотрите какъ на ересь, какъ на преступленіе! На что же это похоже, теперь цѣлые фельетоны «Сѣв. Пчелы» наполняются совсѣмъ не хладнокровными доказательствами, что у Достоевскаго нѣтъ ни искорки таланта. А нѣтъ — такъ и нѣтъ — тѣмъ лучше для васъ. Скажите это — и успокойтесь; а то подумаютъ, что вы не искренни, что вы, чего добраго, испугались новаго таланта, и хотите всѣхъ увѣрить, что онъ — не талантъ. Дѣйствуя такъ, вы только вредите себѣ...

Но ученаго учить — только портить, говорить пословица. Наше дѣло было — представить въ легкомъ очеркѣ литературную дѣятельность Булгарина за двадцать-пять лѣтъ. Какъ умѣли, мы это сдѣлали, и теперь отъ нашихъ воспоминаній объ его литературной дѣятельности обращаемся къ его собственнымъ «Воспоминаніямъ», надѣясь, что тѣ и другія взаимно будутъ служить другъ другу комментаріемъ...

НИКОЛАЙ АЛЕКСѢЕВИЧЪ ПОЛЕВОЙ.

...На жизненныхъ брандахъ,
Мгновенной жатвой, поколѣнья,
По тайной волѣ провидѣнья,
Восходить, зрѣютъ и падаютъ;
Другія имъ во слѣдъ идутъ...

Пушкинъ.

Всякая сфера дѣятельности безконечно разнообразна и требуетъ различныхъ дѣятелей. Съ перваго взгляда кажется, что науку можетъ поднять и двинуть впередъ только ученый, поэзію — поэтъ, литературу — литераторъ. Безъ всякаго сомнѣнія, безъ ученыхъ наука не могла бы не только пониматься и двигаться, но даже и существовать, такъ же какъ и поэзія — безъ поэтовъ, литература — безъ литераторовъ; однакожъ тѣмъ не менѣе справедливо и то, что наука, искусство и литературѣ оказывали

иногда величайшія услуги люди, которые ничего не писали и не были ни учеными, ни поэтами, ни литераторами. Нужно ли говорить, какое великое вліяніе на успѣхи литературы можетъ иногда имѣть книгопродавецъ-издатель? Вспомнимъ Новикова. Этотъ человекъ, — столь мало у насъ извѣстный и оцѣненный (по причинѣ почти совершеннаго отсутствія публичности), — имѣлъ сильное вліяніе на движеніе русской литературы и слѣдовательно русской образованности. Самъ онъ ничего или почти

ничего не писалъ, но онъ обладалъ удивительной способностью заставлять писать другихъ. Владѣя значительными средствами, онъ издавалъ множество книгъ въ такое время, когда у насъ почти вовсе не было книгъ. Но и въ этомъ случаѣ онъ дѣйствовалъ не какъ книгопродавецъ, хотя въ то время и роль дѣльнаго книгопродавца была бы еще благотѣльнѣе, нежели какъ могла бы она быть теперь. Нѣтъ! Новиковъ не былъ книгопродавцемъ: нажитья продажей книгъ нисколько не было его цѣлью. Благородная натура этого человѣка постоянно одушевлялась высокой гражданской страстью—разливать свѣтъ образованія въ своемъ отечествѣ. И онъ увидѣлъ могущественное средство для достижения этой цѣли въ распространеніи въ обществѣ страсти къ чтенію. Для чтенія нужны книги и журналы, а ихъ-то и не было тогда. И вотъ Новиковъ издаетъ книги и журналы, всюду ищетъ молодыхъ людей, способныхъ или охотливыхъ къ книжному дѣлу. Знающимъ иностранные языки онъ заказываетъ переводы, у стихотворцевъ печатаетъ стихи, у прозаиковъ—прозу; всѣхъ одобряетъ и понуждаетъ, бѣднымъ даетъ средства къ образованію. Кому не извѣстно, что самъ Карамзинъ многимъ былъ обязанъ Новикову? Еслибы это и несправедливо было приписано Новикову, все же это важный фактъ въ его пользу. Когда явился Пушкинъ, всякое ходячее по рукамъ стихотвореніе, дѣйствительно хорошее или только казавшееся хорошимъ, приписывалось Пушкину, хотя бы и вовсе не принадлежало ему. Такъ и Новикову приписывалось изданіе всякой книги и одобреніе всякаго таланта: это выразительно указываетъ на его роль на сценѣ русской литературы...

Но эта роль, какъ ни важна и ни велика она, имѣла опредѣленный и ограниченный характеръ. Новикову нужно было, во что бы ни стало, заохотить общество къ чтенію, давши ему средства удовлетворять этой охотѣ—книги и журналы. О направленіи этой охоты онъ не думалъ, да и думать тогда объ этомъ было рано. Онъ печаталъ почти все, что ни писалось, и считалъ за писателя всякаго, кто только имѣлъ охоту писать для печати. Новиковъ не былъ архитекторомъ: онъ приготовлялъ только строительные матеріалы и строительныхъ мастеровъ. Давать литературѣ направленіе, дѣйствовать на нее лично—это роль людей другого рода. Но и для этой роли—вторяемъ—нужны не одни ученые и поэты.

Три человѣка, нисколько не бывшіе поэтами, имѣли сильное вліяніе на русскую поэзію и вообще русскую изящную литературу въ три различныхъ эпохи ея истории

ческаго существованія. Эти люди были Ломоносовъ, Карамзинъ и Полевой... Каждый изъ нихъ оказалъ свое вліяніе на литературу своимъ особеннымъ образомъ, сообразно съ обстоятельствами и требованіями своего времени.

Ломоносовъ, Карамзинъ — и Полевой! Какъ многихъ оскорбитъ такое сближеніе именъ! Имена еще до сихъ поръ играютъ въ нашей литературѣ чрезвычайно важную роль, потому что для многихъ еще замѣняютъ они идеи... Имена въ нашей литературѣ—то же, что чины въ нашей общественной жизни, т. е. легкое внѣшнее средство оцѣнить человѣка... Не всякому дана способность судить вѣрно о качествахъ человѣка и узнавать безошибочно, хорошъ онъ, или нѣтъ. Такъ точно, не всякому дана способность судить вѣрно объ истинномъ значеніи и достоинствѣ писателя; но нѣтъ глупца и невѣжды, который бы, услышавъ громкое или извѣстное имя, не догадался бы тотчасъ же, что это—большой сочинитель. Чѣмъ старѣе имя писателя, тѣмъ большимъ уваженіемъ пользуется оно (особенно со стороны людей, никогда не читавшихъ этого писателя),—и поставить съ нимъ рядомъ имя хоть бы и весьма извѣстнаго, но еще живого или только недавно умершаго писателя—значитъ разсердить на смерть множество людей, которымъ литература, по разнымъ отношеніямъ, близка къ сердцу, а еще болѣе людей, которымъ до литературы вовсе нѣтъ никакого дѣла... Въ настоящемъ случаѣ мы дѣлаемъ большой рискъ въ этомъ отношеніи. Старики, которые и теперь считаютъ Ломоносова вѣстѣ съ Сумароковымъ и Херасковымъ образцовыми писателями, увидятъ страшную профанацію въ сближеніи имени Полевого съ именемъ Ломоносова. Но этихъ уже не много, и они будутъ жаловаться про себя и между собой; ихъ дрожащіе голоса не возвысятся среди общества, которое такъ молодо въ отношеніи къ нимъ, что уже не помнитъ пудренныхъ косъ съ кошельками... Но что кажутъ тѣ, которые съ личностью и эпохой Карамзина сливаютъ воспоминаніе о лучшемъ времени своей жизни; которые наконецъ помнятъ въ Полевомъ человѣка, писавшаго противъ Карамзина, хотя и послѣ его смерти?.. Что скажутъ бывшіе журналисты, современники Полевого, и многие писатели и писаки, которыхъ нѣкогда уничтожалъ онъ своимъ журналомъ, и у которыхъ еще цѣлы шрамы отъ глубокихъ ранъ, нанесенныхъ его перомъ ихъ самолюбію?.. Что скажутъ всѣ они?—Пусть говорятъ, что хотятъ: страшнѣе сонъ да милостивъ Богъ!.. Истина выше:

людей и не должна бояться ихъ, особенно истина объ умершемъ человѣкѣ, могла котораго требовать суда, а не осужденія, доложной справедливости, а не восторженныхъ похвалъ ложныхъ друзей или пристрастного ропота раненныхъ самолюбій...

За Ломоносовымъ потомство не безъ основанія утвердило имя основателя и отца русской поэзіи и литературы. Что онъ былъ первый, по времени, русский поэтъ: это такъ же очевидно, какъ и то, что Державинъ былъ первый, по таланту, русский поэтъ! Но Ломоносовъ, натура поэтическая, какъ всякая гениальная натура, тѣмъ не менѣе не былъ поэтомъ. Онъ поэтически чувствовалъ и мыслилъ, но не владелъ поэтическимъ даромъ творчества. Лучшая оцѣнка въ этомъ отношеніи, была сдѣлана ему Пушкинымъ:

«Ломоносовъ былъ великій человѣкъ. Между Петромъ I-мъ и Екатериной II-ой онъ одинъ является событиямъ подвижничествомъ просвѣщенія. Онъ создалъ первый университетъ; онъ, лучше сказать, самъ былъ первымъ университетомъ. Но въ этомъ университетѣ профессоръ поэзіи и элоквиенціи не что иное, какъ исправный чиновникъ, а не поэтъ, вдохновенный свыше, не ораторъ, мощно увлекающій. Однообразныя и стѣснительныя формы, въ которыя отливала его мысль, даютъ его прозѣ ходъ утомительный и тяжелый. Эта схоластическая величавость полу-славянская, полу-латинская, сдѣлалась было необходимою; въ счастье, Карамзинъ освободилъ языкъ отъ чуждаго ига и возвратилъ ему свободу, обративъ его къ живымъ источникамъ народнаго слова.

«Въ Ломоносовѣ нѣтъ ни чувства, ни воображенія. Однѣ его, писанныя по образцу тогдашнихъ нѣмецкихъ стихотворцевъ, давно уже забытыхъ въ самой Германіи, утомительны и надуты. Его вліяніе на словесность было вредное, и до сихъ поръ въ ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращеніе отъ простоты и точности, отсутствіе всякой народности и оригинальности—вотъ слѣды, оставленные Ломоносовымъ. Ломоносовъ самъ не дорожилъ своей поэзіей, и гораздо болѣе заботился о своихъ химическихъ опытахъ, нежели о должностныхъ одахъ на высочайшество и проч. Съ какимъ презрѣніемъ говоритъ онъ о Сумароковѣ, страстно въ своему искусству,—объ этомъ человѣкѣ, который ни о чемъ, кромѣ какъ о бѣдномъ своемъ ремеслѣ, не думаетъ... Зато съ какимъ жаромъ говоритъ онъ о наукахъ, о просвѣщеніи.»

Въ этихъ словахъ виденъ взглядъ удивительно вѣрный, но тѣмъ не менѣе односторонній. «Вліяніе Ломоносова на словесность было вредное и до сихъ поръ въ ней отзывается»: это такъ и не такъ въ одно и то же время. Подъ статьей Пушкина не выставлено года, когда она написана, и потому намъ слѣдуетъ ограничиться увѣренностью, что она была написана не раньше 1836 года, —десять или около того лѣтъ назадъ тому. Въ Россіи все идетъ скоро, и десять лѣтъ для насъ — много времени. Въ новой школѣ, которую сами враги ея почтили именемъ «натуральной»

нѣтъ уже ни малѣйшихъ слѣдовъ Ломоносовскаго вліянія, слѣдовательно оно уже прошло. Даже въ старой школѣ видно устарѣлое вліяніе Карамзина, но уже не Ломоносова. Если вліяніе послѣдняго и было вредно, все же оно не было зломъ неизлѣчимымъ. Съ другой стороны, если и нельзя согласиться, что вліяніе Ломоносова на русскую литературу было вредное, то изъ этого еще отнюдь не слѣдуетъ, чтобы оно не было необходимо. А что необходимо, то уже полезно, хотя бы съ другой стороны и было вредно. Во время Ломоносова намъ не нужно было народной поэзіи: тогда великій вопросъ—быть или не быть заключался для насъ не въ народности, а въ европейзми. Далеко ли ушелъ бы Ломоносовъ въ науки, еслибы, оставивъ безъ вниманія ея успѣхи въ Европѣ, сталъ хлопотать о наукѣ русской, рѣшился бы сдѣлаться нововводителемъ въ этой области, а продолжателемъ трудовъ россійскихъ книжниковъ и мудрецовъ до него бывшихъ?.. Первымъ благотѣльнымъ слѣдствіемъ возникавшей тогда литературы должно было быть отрѣшеніе общества не отъ національности, а отъ непосредственного или безсознательнаго характера этой національности. Мы должны были на время перестать быть русскими, чтобы потомъ сознательно сдѣлаться русскими. Что вліяніе Ломоносова на литературу было надолго вредно,—это правда; но развѣ не правда и то, что и результаты реформы Петра Великаго были во многихъ отношеніяхъ временно вредны? Однакожъ изъ этого вѣдь не слѣдуетъ, чтобы реформа Петра Великаго не была въ высочайшей степени полезна и благотѣльна для Россіи.—Ломоносовъ былъ Петромъ Великимъ нашей литературы. Отъ его сочиненій (кромѣ ученыхъ) ничего не осталось теперь для нашего наслажденія; но многое ли осталось теперь и отъ учрежденій Петра Великаго, и похожа ли сколько-нибудь Россія нашего времени на Россію Петра Великаго? А между тѣмъ Россія нашего времени—все-таки твореніе Петра Великаго...

Сужденіе Пушкина о Ломоносовѣ очень вѣрно, какъ отвѣтъ на безсознательно восторженные возгласы слѣпыхъ почитателей Ломоносова, которые и теперь, вопреки всякой очевидности, упорно хотятъ видѣть въ немъ не только поэта, но еще и великаго поэта, тогда какъ въ сущности онъ не былъ ни то, ни другое; но какъ окончательный приговоръ надъ Ломоносовымъ, сужденіе о немъ Пушкина — повторяемъ — одностороннее. Имя основателя и отца русской литературы и поэзіи по праву принадлежитъ этому вели-

кому человѣку. Натура по преимуществу практическая, онъ былъ рожденъ реформаторомъ и основателемъ. Не приписывая непринадлежащаго ему титула поэта, нельзя не видѣть, что онъ былъ превосходный стихотворецъ (версификаторъ). Если прибавить къ этому его глубокое знаніе русскаго языка (хотя по духу и потребностямъ своего времени онъ и старался придавать ему полу-славянскую и полу-латинскую величавость),—то нельзя не согласиться, что въ отношеніи къ стиху можно подумать, что Державинъ жилъ и писалъ прежде Ломоносова. Этого мало: въ нѣкоторыхъ стихахъ Ломоносова, несмотря на ихъ декламаторскій и напыщенный тонъ, промелькиваетъ иногда поэтическое чувство — отблескъ его поэтической души. Въ словахъ нашихъ нѣтъ противорѣчій: живая натура — всегда поэтическая натура, хотя изъ этого и нисколько не слѣдуетъ, чтобы человѣкъ съ живой натурой былъ непременно поэтъ: иначе и изъ Наполеона легко было бы сдѣлать поэта, и имя его внести въ исторію французской поэзіи... Метрика, усвоенная Ломоносовымъ нашей поэзіи, есть большая заслуга съ его стороны. Нѣкоторые думаютъ, что ямбы, хорей, дактили, амфибрахи и анапесты несвойственны просодической натурѣ русскаго языка. Говорятъ, будто самъ Пушкинъ впослѣдствіи ставилъ себѣ въ вину, что своими дивными стихами окончательно и безвозвратно утвердилъ эти разиѣры за русской поэзіей, и будто онъ хотѣлъ воротиться къ разиѣрамъ нашихъ народныхъ пѣсенъ, для чего и написалъ свою «Сказку о Рыбакѣ и Рыбкѣ». Если это правда,—это была ошибка со стороны великаго поэта. Метръ народныхъ пѣсенъ былъ хорошъ для выраженія бѣднаго круга понятій, выражаемыхъ ими; но и въ этомъ кругѣ онъ далеко не исчерпывалъ просодическаго богатства русскаго языка; для выраженія же новой безконечно-разнообразной и широкой сферы понятій онъ былъ бы совершенно недостаточенъ и крайне однообразенъ. Версификація Ломоносова не даромъ удержалась: она сродна духу русскаго языка и сама въ себѣ носила свою силу; отъ этого всѣ попытки замѣнить ее были и будутъ безплодны.

Что касается до славяно-латино-нѣмецкихъ періодовъ Ломоносова, напыщенности его рѣчи,—намъ теперь до всего этого такъ же мало дѣла, какъ и до странныхъ костюмовъ эпохи Петра Великаго: то и другое замѣнено теперь лучшимъ. По словамъ Пушкина, Карамзинъ къ счастью освободилъ нашъ языкъ отъ чуждаго ига. Слово къ счастью указываетъ какъ бы на случайность, тогда какъ тутъ была необходи-

мость, и Карамзинъ—или кто бы ни былъ, лишь бы съ такими же способностями,—не могъ бы послѣ Ломоносова сдѣлать ничего другого, кромѣ этого освобожденія языка отъ чуждаго ига. Карамзинъ, разрушивъ дѣло Ломоносова, тѣмъ самымъ только продолжалъ его. Великій реформаторъ приходитъ не съ тѣмъ, чтобы разрушить, а съ тѣмъ, чтобы создать, разрушая...

Но точно ли Карамзинъ возвратилъ свободу нашему языку и обратилъ его къ живымъ источникамъ народнаго слова? Известно, что его прозаическій слогъ дѣлится на двѣ эпохи — до-историческую и историческую, т. е. что слогъ его «Исторіи Государства Россійскаго» рѣзко отличается отъ слога всѣхъ его сочиненій, предшествовавшихъ ей. До-историческій слогъ Карамзина былъ великимъ шагомъ впередъ со стороны и языка литературы русской: въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Но не менѣе несомнѣнно и то, что это слогъ далеко еще не русскій, хотя и несравненно болѣе свойственный духу русскаго языка, нежели слогъ Ломоносова. Скажемъ болѣе: не безъ причины восхищавшій современниковъ, до-историческій слогъ Карамзина теперь блѣдетъ и безцвѣтенъ. Онъ относится къ настоящему русскому слогу, какъ языкъ новѣйшихъ латинистовъ къ языку Горація и Тацита. Въ немъ и для иностранца, учащагося по-русски, будетъ все просто и легко, потому что иностранецъ не встрѣтитъ въ немъ того, что называется идиотизмами, т. е. чисто-русскихъ оборотовъ или руссизмовъ. Историческій же слогъ Карамзина слишкомъ отзывается искусственной поддѣлкой подъ языкъ лѣтописей и слишкомъ не лишенъ риторическаго оттѣнка. Впрочемъ, все это мы говоримъ не для униженія великаго подвига Карамзина, а какъ бы въ отвѣтъ на слова Пушкина, чтобы показать, что и Карамзинъ не сдѣлалъ всего, какъ не сдѣлалъ всего Ломоносовъ, и что, относительно, потомство вправѣ обвинять и Карамзина въ тѣхъ же недостаткахъ, въ какихъ обвиняетъ Пушкинъ Ломоносова; но что тотъ и другой — и Ломоносовъ, и Карамзинъ — оба сдѣлали именно то, что нужно было сдѣлать въ ихъ время, и слѣдовательно обоимъ имъ равно принадлежить вѣчная честь великаго подвига...

Карамзинъ явился въ то самое время, когда направленіе, данное Ломоносовымъ литературѣ, такъ сказать, истощило само себя и обратилось въ застой. Въ духѣ этого направленія уже ничего нельзя было дѣлать. Въ самой литературѣ обнаружилась ему реакція: языкъ и самый характеръ сочиненій Фонвизина уже отошли отъ Ломоносовскаго типа. Позднѣе Макаровъ,

независимо отъ Карамзина, началъ переводить и писать языкомъ, совершенно Карамзинскимъ. Нуженъ былъ только человѣкъ, который, по своимъ интеллектуальнымъ средствамъ, былъ бы способенъ завладѣть общественнымъ мнѣніемъ и стать во главѣ литературнаго движенія. Такимъ человѣкомъ явился Карамзинъ. Онъ былъ для своей эпохи всѣмъ: и реформаторомъ, и теоретикомъ, и практикомъ, и стихотворцемъ, и прозаикомъ, и поэтомъ, и журналистомъ, лирикомъ, сказочникомъ, новелистомъ, археологомъ. Его стихи учились наизусть, его повѣсти, особенно «Бѣдная Лиза» и «Марья Посадинца», сводили съ ума всю публику. И хотя Карамзинъ нисколько не былъ поэтомъ, тѣмъ не менѣе этотъ успѣхъ былъ вполне заслуженный. Его «Письма Русскаго Путешественника» познакомили тогдашнее общество съ Европой, которая только для высшаго слоя его не была *terra incognita*,—и въ этомъ отношеніи Карамзинъ былъ истиннымъ Колумбомъ. Письма Фонвизина изъ Франціи были несравненно дѣльнѣе «Писемъ Русскаго Путешественника», но они не могли произвести на общество такого вліянія, потому что были понятны только для людей, знакомыхъ съ состояніемъ дѣлъ въ Европѣ того времени, а всѣмъ другимъ могли сообщить о ней самое превратное понятіе. Письма Фонвизина такъ дѣльны, что только теперь настало время для ихъ настоящей оцѣнки. Но во времена переходныя, въ эпохи преобразованій часто бываютъ нужнѣе и полезнѣе тѣ легкія произведенія, которыя, могущественно увлекая толпу, тотчасъ умиряютъ, какъ скоро сдѣлаютъ свое дѣло. И вотъ гдѣ самая слабая, а вѣдѣтъ съ тѣмъ и самая важная сторона литературной дѣятельности Карамзина. Онъ не принадлежитъ къ числу тѣхъ писателей, творенія которыхъ всегда свѣжи и юны, не знаютъ ни старости, ни смерти. Нѣтъ, къ чему лицемѣрить! «Бѣдная Лиза», «Наталья Боярская Дочь», «Счастливый Карло», «Марья Посадинца», «Островъ Борнгольмъ»,—всѣ эти и другія повѣсти Карамзина для однихъ теперь дороги только какъ воспоминаніе о свѣтлыхъ дняхъ юности, какъ память о сказочкѣ нянюшки, подъ разсказъ которой когда-то сладко было засыпать; для другихъ онѣ интересны какъ стародавніе костюмы, какъ факты образованія и развитія общества во времена давнопрошедшія; но читать ихъ для эстетическаго наслажденія, читать ихъ какъ поэтическія произведенія теперь никто не будетъ... Еще въ то время, когда авторитетъ Карамзина только стремился къ своей апогеѣ, равно какъ и въ то время, когда

онъ достигъ ея, появились Крыловъ, Жуковский и Батюшковъ,—поэты по натурѣ, люди, призванные давать неуываемые образцы настоящей поэзіи, а не переходящей беллетристики только. Имя Пушкина уже прогремѣло по всей Россіи, когда умеръ Карамзинъ...

Но все это служить не къ уменьшенію заслугъ Карамзина, а къ опредѣленію рода и характера его литературной дѣятельности. Если его творенія, какъ говорится, отжили свое время, тѣмъ не менѣе имя его будетъ всегда знаменито и почтенно, если хотите—бессмертно: его навсегда сохранить не только исторія литературы, но и благодарная память образованной части народа русскаго.

Новиковъ старался распространить въ русскомъ обществѣ охоту къ чтенію множествомъ книгъ; Карамзинъ дѣлалъ то же самое, но уже заманчивостью сочиненій. Удивительно ли, что онъ болѣе Новикова успѣлъ въ своемъ дѣлѣ? Онъ создалъ въ Россіи многочисленный, въ сравненіи съ прежнимъ, классъ читателей, создалъ, можно сказать, нѣчто вродѣ публики, потому что образованный имъ классъ читателей получилъ уже извѣстное направленіе, извѣстный вкусъ, слѣдовательно болѣе или менѣе отличался характеромъ единства. До Карамзина этого не было на Руси. Его читатели относились къ прежнимъ, какъ относятся люди съ гастрономическими замашками къ людямъ, которые безъ разбору ѣдятъ все, что ни поставятъ передъ ними, ни чѣмъ особенно не услаждаясь, ни чѣмъ не оскорбляясь. Это былъ безмѣрный шагъ впередъ. Повѣсти Карамзина, извлекшія столько слезъ изъ очей его нѣжныхъ читательницъ и столько вздоховъ изъ груди его чувствительныхъ читателей, нисколько не были произведеніями поэзіи, какъ искусства, какъ творчества; но тѣмъ не менѣе онѣ были для своего времени прекрасными беллетристическими произведеніями человѣка съ большимъ дарованіемъ. Самая сантиментальность направленія вообще всего, написаннаго Карамзинымъ, имѣетъ свое великое достоинство: она была необходима, какъ для своего времени была необходима схоластическая напыщенность Ломоносова. Это было новой ступенью, новымъ шагомъ впередъ начавшей развиваться литературы. До Карамзина у насъ были періодическія изданія, но не было ни одного журнала: онъ первый далъ намъ его. Его «Московский Журналъ» и «Вѣстникъ Европы» были для своего времени явленіемъ удивительнымъ и огромнымъ, особенно если сравнить ихъ не только съ бывшими до нихъ, но и съ бывшими послѣ

нихъ на Руси журналами, до самаго «Московского Телеграфа».. Какое разнообразіе, какая свѣжесть, какой тактъ въ выборѣ статей, какое умное, живое передаваніе политическихъ новостей, столь интересныхъ въ то время! Какая по тому времени умная и ловкая критика!

Къ чему ни обратитесь въ нашей литературѣ,—всему начало положено Карамзинымъ: журналистикѣ, критикѣ, повѣсти-роману, повѣсти исторической, публицизму, изученію исторіи. Мы не говоримъ уже о его стихотворствѣ, имѣвшемъ большую цѣну для своего времени; ни о его «Исторіи Государства Россійскаго», положившей начало дѣльному, ученому изученію русской исторіи и давшей для этого возможность. Въ «Исторіи Государства Россійскаго» — весь Карамзинъ, со всей огромностью оказанныхъ имъ Россіи услугъ и со всей несостоятельностью на безусловное достоинство въ будущемъ своихъ твореній. Причина этого—повторяемъ—заключается въ родѣ и характерѣ его литературной дѣятельности. Если онъ былъ великъ, то не какъ художникъ-поэтъ, не какъ мыслитель-писатель, а какъ практическій дѣятель, призванный проложить дорогу среди непроходимыхъ дебрей, расчистить арену для будущихъ дѣятелей, приготовить матеріалы, чтобы гениальные писатели въ разныхъ родахъ не были остановлены на ходу своимъ необходимою предвѣдѣніемъ работъ. Державинъ былъ гениальный поэтъ по своей натурѣ, но если онъ не явился такимъ же по своимъ твореніямъ,—это потому именно, что прежде его былъ только Ломоносовъ, а не Карамзинъ,—тогда какъ для Пушкина было большимъ счастьемъ явиться уже на закатѣ дней Карамзина... Это вполне опредѣляетъ нашу мысль о сущности дѣятельности и заслугъ Карамзина... Онъ, сказали мы, создалъ на Руси если еще не публику, то возможность публики, нѣчто вродѣ публики: подвигъ великій, но для котораго требовался не геній, обыкновенно устремляющій всѣ силы свои въ одну сторону, на одинъ предметъ, а энциклопедическій, разнообразный талантъ.

Сильно было движеніе, сообщенное нашей литературѣ Карамзинимъ. И оно принесло свои плоды. При полномъ владычествѣ и очарованіи имени Карамзина, тихо и незамѣтно возникло то новое, которое должно было смѣнить собою Карамзинскую эпоху. Но новый духъ не признавалъ своихъ правъ и охотно подчинялся вліянію Карамзина. Крыловъ считался не больше какъ замѣчательнымъ послѣ Дмитріева баснописцемъ, и дѣйствительно, самобытность его таланта проявлялась только изрѣдка;

но большей частью онъ или подражалъ въ своихъ басняхъ Лафонтену, или морализировалъ въ нихъ въ пользу и назиданіе дѣтей. Жуковского, пересадишаго романтизмъ на почву русской литературы, всѣ похвалили, но многіе подозрѣвали его истинное значеніе. Батюшковъ, основатель пластически-художественнаго элемента въ русской поэзіи, восхищалъ своихъ современниковъ совѣмъ не тѣмъ, что составляло величайшее достоинство его музы, родственной музѣ эллинской. Всѣ эти люди смотрѣли на Карамзина, какъ на своего учителя и хорега; всѣ они находились подъ вліяніемъ его идей. Очевидно, что это была школа или, лучше сказать, это были школы новыя, но переходныя, и потому нерѣшительныя, изъ которыхъ ни одна не была въ силахъ стоять во главѣ движенія и руководить имъ. Все, какъ будто, колебалось между прошедшимъ и будущимъ, и только ждало человѣка, который сдѣлалъ бы рѣшительный шагъ. И этотъ человѣкъ не замедлилъ явиться: то былъ Пушкинъ... Съ нимъ явилась новая школа поэзии, не совѣмъ удачно провозглашенная «романтической»...

Съ Пушкинымъ почти исчезли изъ русской поэзіи всѣ слѣды карамзинскаго направленія. Новое время и новое положеніе вещей дали поэту той эпохи другое направленіе. Но онъ былъ силенъ не столько силой времени, сколько своей глубоко-художественной натурой: вотъ чтó съ перваго же шагу эмансипировало его отъ вліянія Карамзина. Первоначальному направленію своему онъ измѣнилъ впослѣдствіи, именно потому, что источникъ его скрывался въ современности, а не въ натурѣ его. Какъ человѣкъ, Пушкинъ отразилъ на себѣ всю неопредѣленность и шаткость направленій и убѣжденій своего времени, и въ умѣ его какъ-то странно уживались вмѣстѣ тенденціи поэта и помѣщика, человѣка и дворянина, мѣщанина и аристократа. Какъ поэтъ, Пушкинъ противорѣчилъ себѣ какъ человѣку, по крайней мѣрѣ вездѣ, гдѣ былъ онъ вѣренъ своей артистической натурѣ, гдѣ онъ былъ преимущественно художникомъ. Повторяемъ: сила его всегда была въ его художественной натурѣ. Становясь человѣкомъ (лицомъ частнымъ—*particulier*), онъ суевѣрно благоговѣлъ передъ карамзинскими идеями; становясь поэтомъ, онъ опережалъ ихъ на цѣлыя вѣка...

Пушкинъ былъ главой поэтическаго движенія. Но времена пережѣнились: если уже беллетристъ-публицистъ не могъ быть главой литературной эпохи, то и одинъ поэтъ, какъ бы ни былъ онъ великъ, уже не могъ

удовлетворить собою всѣмъ требованіямъ эпохи. До какой степени эта эпоха рѣзко отдѣлилась отъ предшествовавшей, можно видѣть изъ обстоятельствъ появленія Пушкина на литературное поприще. Прежде всѣ поэты принимались безусловно, и каждому, кому только ни захотѣлось бы въ поэтическіе боги, готово было почетное мѣсто въ капищѣ поэзіи. Когда явился Карамзинъ, ограниченный кругъ тогдашнихъ читателей почти съ равнымъ восторгомъ произносилъ имена Кантемира, Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Петрова, Державина. Самъ Карамзинъ высоко поставилъ Богдановича. Первые опыты Карамзина приняты были всѣми съ восхищеніемъ. Появленіе Жуковского и Батюшкова не возбудило никакого ропота. И только нѣкоторые сомнѣнія въ безусловномъ достоинствѣ Сумарокова и Хераскова, обнаружены Мераляковымъ (1815 года), да юношески-рьяная нападка на Хераскова со стороны студента Строева *) нѣсколько нарушили аркадскую безмятежность, съ которой весь пишущій людъ пользовался заслуженной и незаслуженной славой. Явившись на поприще литературной дѣятельности, Карамзинъ принялъ всѣ авторитеты; по крайней мѣрѣ не считалъ нужнымъ составлять противъ тѣхъ, которыхъ не признавалъ втайнѣ. Самъ онъ былъ вполне главой литературной эпохи и изъ новыхъ писателей только Дмитріеву уступалъ пальму первенства въ стихотворствѣ. Во всемъ прочемъ онъ безусловно первенствовалъ въ литературѣ и былъ въ ней не только первымъ литераторомъ, но и первымъ поэтомъ, какъ нувелистъ-романистъ. И это первенство было безусловно признано всѣми. Нападки на Карамзина славянофиловъ того времени, подъ предводительствомъ Шипкова, касались одного языка и были притомъ слишкомъ ничтожны сами по себѣ, потому-что на сторонѣ пуристовъ были только книжники, а на сторонѣ Карамзина—вся публика. Не такъ былъ принятъ Пушкинъ. Онъ былъ слишкомъ великъ, чтобы тотчасъ же быть понятымъ и оцененнымъ всѣми. И потому его встрѣтили съ одной стороны восторженные клики молодого поколѣнія, а съ другой—ожесточенная брань теоретиковъ и людей привычки, для которыхъ хорошо все старое, и дурно все новое. Притомъ же хотя поэзія Пушкина, въ смыслѣ историческаго развитія, и была,

такъ сказать, результатомъ поэтическихъ усилій всѣхъ прежде него бывшихъ поэтовъ, отъ Ломоносова до Жуковского и Батюшкова,—тѣмъ не менѣе однакожъ она была и ихъ отрицаніемъ. По крайней мѣрѣ такъ могло казаться съ перваго взгляда. Тогда естественно многимъ могла придти въ голову такая дилемма: «Если сочиненія Пушкина, писанныя вопреки всѣмъ правиламъ, извлеченнымъ изъ твореній великихъ гениевъ и утвержденныхъ вѣками, если они—истинныя поэтическія произведенія, то произведенія нашихъ великихъ поэтовъ (Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Петрова, Державина, Богдановича), писанныя по вѣковымъ правиламъ,—уже не истинныя поэтическія творенія». Это ихъ по инстинкту рѣшило не признавать въ Пушкинѣ поэта или по крайней мѣрѣ видѣть въ немъ не болѣе, какъ обыкновенный талантъ, способный писать только безъ правилъ. Съ своей стороны восторженные почитатели Пушкина естественнымъ образомъ доходили до такой же несправедливости въ отношеніи къ его предшественникамъ на поэтическомъ поприщѣ. Такъ всегда раздѣляетъ людей на двѣ крайнія стороны всякая рѣзкая реформа. Тогда литература стала вопросомъ, съ которымъ незамѣтно слились многіе вопросы о жизни. Вопросъ долженъ былъ родить живые споры, упорныя битвы за мнѣнія, ареной которыхъ должна была сдѣлаться журналистика.

Теперь понятна роль Полевого въ нашей литературѣ. Она усложнилась обстоятельствами. По роду своихъ способностей, Полевой имѣлъ большое сходство съ Карамзинымъ: его доставало на все—на повѣсть, на романъ, на драму, на стихи, на исторію. Но играть первую роль въ литературѣ для него было уже невозможно, потому-что тогда былъ Пушкинъ, а при истинномъ великомъ поэтѣ нельзя играть роль поэта человѣку, не рожденному поэтомъ. Сверхъ того Полевой въ вопросѣ о поэзіи находился подъ вліяніемъ Пушкина, какъ живой практики всѣхъ теорій о поэзіи; но Пушкинъ въ этомъ отношеніи ни съ какой стороны не могъ находиться ни подъ чьимъ вліяніемъ, потому-что самъ могъ черпать идеи изъ того-же источника, который служилъ всякому журналисту, т. е. изъ личнаго знакомства съ иностранными литературами. Въ этомъ отношеніи Пушкинъ былъ однимъ изъ образованнѣйшихъ людей своей эпохи и ужъ конечно не изъ русскихъ журналовъ могъ учиться и слѣдить за ходомъ европейскаго развитія.

Но, не смотря на это, Полевому предстояла роль дѣятельная и блестящая, вполне сообразная съ его натурой и способ-

*) Теперь почтеннаго археолога. Въ 1815 году онъ издавалъ журналъ: *Современный наблюдатель российской словесности*, въ которомъ отъ него порядкомъ и дѣльно досталось *Россіадѣ* и *Владимиру* къ величайшему соблазну литературныхъ стариковъ.

ностями. Онъ былъ рожденъ на то, чтобъ быть журналистомъ, и былъ имъ по призванію, а не по случаю. Чтобъ оцѣнить его журнальную дѣятельность и ея огромное вліяніе на русскую литературу, необходимо взглянуть на состояніе, въ которомъ находилась тогда литература и особенно журналистика. Первые опыты Пушкина огласились по всей Россіи, проникали во всѣ ея захолусты, въ которыхъ дотогѣ проникали только буквари и сонники. Массы читателей увеличилась чрезъ это по крайней мѣрѣ въ десятеро и стала походить на публику. Вездѣ чувствовалась потребность въ опредѣленномъ вкусѣ, слѣдовательно и въ теоріи. А этого-то тогда и не было. Всѣ авторитеты стояли на неприступной высотѣ; Сумарокова считали великимъ писателемъ; между Ломоносовымъ и Державиннымъ не видѣли никакой разницы; басни Крылова считались ниже басенъ Дмитріева. Великихъ писателей было безъ счету, и объ нихъ позволялось говорить одѣ только похвальные фразы, которыя давно уже обратились въ общія мѣста. Литературные нравы вполне соответствовали такимъ литературнымъ понятіямъ. Молодой человѣкъ, желавшій попасть въ писатели, долженъ былъ прежде всего найти себѣ мецената или между знаменитыми писателями, или между знаменитыми покровителями литературы, затѣмъ долженъ былъ добиться лестной чести—попасть на литературные вечера своего мецената. Тамъ предстоялъ ему долгій искъ: прежде всего онъ обязанъ былъ «не смѣть свое сужденіе имѣть»; его дѣло было слушать умныя рѣчи опытныхъ людей, молча или словесно во всемъ соглашаться съ ними. Только со временемъ, уже приобретя лестную репутацію грибоевскаго Молчалина, могъ онъ дерзнуть просить позволенія—прочестъ свое первое произведеніе. Прочтя его, онъ выслушивалъ критику и совѣты, обязанъ былъ перемѣнять, переправлять и передѣлывать каждую строку, каждое слово, которое не одобрялось кѣмъ-либо изъ опытныхъ и почтенныхъ знатоковъ словесности. Сто разъ передѣланное и переправленное его дѣтище поступало наконецъ въ печать. Еще лѣтъ десятокъ—и литература русская обогащалась, въ лицѣ этого новіианта, или писателя съ талантомъ, но уже безъ всякой самостоятельности, или дюжиннымъ писакой. Во всякомъ случаѣ онъ поступалъ тогда, съ благословенія своихъ меценатовъ, въ число опытныхъ и знаменитыхъ писателей,—и всѣ вѣрили, что онъ—большой писатель, потому-что за него ручались не его сочиненія, а такіе знаменитые авто-

ритеты. Затѣмъ онъ самъ попадалъ въ авторитеты и меценаты, и въ отношеніи къ другимъ игралъ такую-же курьезную роль, какую играли въ отношеніи къ нему знаменитости, которые «вывели его въ люди». Теперь это невѣроятно, а тогда было такъ!

Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ!

Всякое независимое, самобытное мнѣніе, всякій свѣжій голосъ, все, что не отзывалось рутинной, преданіемъ, авторитетомъ, общимъ мнѣніемъ, ходячей фразой,—все это считалось ересью, дерзостью, чуть не буйствомъ...

А журналы тогдашніе?.. «Вѣстникъ Европы», вышедши изъ-подъ редакціи Карамзина, только подъ кратковременнымъ заведываніемъ Жуковскаго напоминалъ о своемъ прежнемъ достоинствѣ. Затѣмъ онъ становился все суше, скучнѣе и пустѣе, наконецъ сдѣлался просто сборникомъ статей, безъ направленія, безъ мысли, и потерялъ совершенно свой журнальный характеръ. Конечно всегда, даже въ самые худшіе годы свои, былъ онъ лучше всѣхъ журналовъ, существовавшихъ въ Россіи до «Московского Журнала», издававшихся Карамзиннымъ въ 1791 и 1792 годахъ. И не диво: благодаря Карамзину, ему и не было возможно быть хуже ихъ; но онъ долженъ былъ бы считать своей обязанностью быть лучше даже карамзинскаго «Вѣстника Европы», потому-что съ тѣхъ поръ, какъ Карамзинъ оставилъ его (съ 1804 года), много прошло времени, и отъ издателя уже не требовалось таланта Карамзина, чтобы возвысить и улучшить начатый имъ журналъ. Но вышло не такъ. Въ началѣ двадцатыхъ годовъ «Вѣстникъ Европы» былъ идеаломъ мертвенности, сухости, скуки и какой-то старческой заплѣсневѣлости. О другихъ журналахъ не стоить и говорить: иные изъ нихъ были сравнительно лучше «Вѣстника Европы», но не какъ журналы съ мнѣніемъ и направленіемъ, а только какъ сборники разныхъ статей. «Сынъ Отечества» даже принималъ на свои, до крайности сѣрые и жесткіе, листки стихотворенія Пушкина, Баратынскаго и другихъ поэтовъ новой тогда школы, даже открыто взялъ на себя обязанность защищать эту школу; но тѣмъ не менѣе самъ онъ представлялъ собой смѣсь стараго съ новымъ и отсутствіе всякихъ началъ, всего, что похоже на опредѣленное и ни въ чемъ не противорѣчащее себѣ мнѣніе. Какъ судить и рядить «Сынъ Отечества» объ искусствѣ даже впоследствии, можно видѣть изъ его опредѣленія романтизма, который, по его мнѣнію, начался съ Байрона и отличается отъ классицизма

тѣмъ, что начинается съ половины или даже съ конца дѣла!..

Вообще должно замѣтить, что война за такъ - называемый романтизмъ противъ такъ-называемаго классицизма была начата не Полевымъ. Романтическое броженіе было общимъ между молодежью того времени. Острыя и бойкія полемическія статьи Марлинскаго противъ литературныхъ старовѣровъ, печатавшіяся въ «Сынѣ Отечества», и его же такъ-называемые обзоры русской словесности, печатавшіеся въ извѣстномъ тогда альманахѣ; трехъ-мѣсячный сборникъ «Мнемозина», — все это выразило собою совершенно новое направленіе литературы, котораго органомъ былъ «Телеграфъ», и все это нѣсколькими годами упредило появленіе «Телеграфа». Слѣдовательно, Полевой не былъ ни первымъ, ни единственнымъ представителемъ новаго направленія русской литературы, какъ Карамзинъ былъ въ свое время первымъ и почти единственнымъ представителемъ новаго направленія, почти имъ же однимъ и произведеннаго, потому-что подлѣ его имени въ этомъ дѣлѣ можно вспомнить только два другихъ имени—Макарова и Дмитріева.

Но это нисколько не уменьшаетъ заслуги Полевого: мы увидимъ, что онъ сдѣлалъ на своемъ пути стать выше всѣхъ соперничествъ и даже восторжествовалъ въ борьбѣ противъ всѣхъ враждебныхъ соперниковъ!..

Романтизмъ — вотъ слово, которое было написано на знамени этого смѣлаго, неутомимаго и даровитаго бойца,—слово, которое отстаивалъ онъ даже и тогда, когда потеряло оно свое прежнее значеніе и когда уже не было противъ кого отстаивать его!.. Что же такое этотъ «романтизмъ», который наполнялъ собою цѣлую литературную эпоху, за который было столько чернильныхъ войнъ, столько полемическихъ битвъ на жизнь и на смерть? Когда мы впервые услышали это слово, въ европейскихъ литературахъ уже давно кипѣли страшныя войны за него. Но не вездѣ онъ имѣлъ одинаковое значеніе. Первое движеніе въ его пользу обнаружилось въ Германіи, какъ реакція вліянію французской литературы, какъ протестъ въ пользу нѣмецкой національности въ литературѣ. Въ своей настоящей современной дѣйствительности Германія не видѣла, по извѣстнымъ причинамъ, никакихъ національныхъ элементовъ и обратилась къ своему прошедшему, къ своимъ среднимъ вѣкамъ, къ рыцарскимъ замкамъ, съ ихъ башнями и подъемами мостами, съ ихъ поэтическимъ варварствомъ и романтической дикостью ихъ нравовъ. Гёте и Шиллеръ не были вполне предста-

вителями этого романтическаго движенія, но заплатили ему не малую дань, особенно послѣдній. Потомъ нѣмецкій романтизмъ началъ принимать новое направленіе, какъ реакція сухой и обнаженной простоты протестантизма, какъ усиліе въ пользу мистицизма среднихъ вѣковъ и противъ философскаго рационализма. Жаркими поборниками этого направленія явились братья Шлегели. Думая найти всякую опору своимъ теоріямъ въ посредственномъ, но зато ультра-романтическомъ Тиктѣ, они провозгласили его великимъ поэтомъ, имѣли жалкую смѣлость противопоставлять его Гёте. Теперь эта затѣя не больше, какъ воспоминаніе: романтизмъ, на время искусно воскрешенный, давно уже вновь опочилъ сномъ непробуднымъ. Шлегелей нѣтъ, а Тикку удивляется только рѣдѣющая толпа стариковъ, скудно вознаграждая его этимъ удивленіемъ за насмѣшки и презрѣніе молодыхъ поколѣній!.. Въ Англіи романтизмъ былъ освобожденіемъ отъ вліянія французскаго классицизма, принятаго школой Поле, Аддисона и Драйдена. Байронъ и не думалъ быть романтикомъ въ смыслѣ поборника среднихъ вѣковъ: онъ смотрѣлъ не назадъ, а впередъ. Романтизмъ во Франціи сперва былъ реакціей революціонному рационализму и явился въ ней съ Шатобрианомъ, этимъ рыцаремъ реставраціи. Потомъ французскій романтизмъ превратился въ простой, чисто литературный вопросъ о свободѣ поэтическихъ формъ, до уродливости сжатыхъ и искаженныхъ прежнимъ классицизмомъ. Въ сущности дѣло тутъ шло о томъ, которая школа натуральнѣе—Расина или Шекспира, и можно ли въ трагедіи вводить лица низшихъ сословій и патетическое мѣшать съ комическимъ. Представителемъ этого романтическаго движенія во Франціи былъ Викторъ Гюго, поэтъ даровитый, отнюдь не гениальный, богѣе богатый воображеніемъ, нежели тактомъ истины. По чувству противорѣчія, онъ дошелъ до величайшихъ негѣностей: вмѣсто того, чтобы отрицать въ прежней псевдо-классической школѣ однѣ ея крайности, онъ почелъ за нужное идти ей наперекоръ даже и въ томъ, что составляло ея истинное и высокое достоинство, что дѣлало ее глубоко національной: чувство мѣры и постоянное присутствіе того, что французы называютъ *le bon sens*. Онъ дошелъ до того, что гордо объявилъ чудовищное прекраснымъ: *le laid, c'est le beau*... Подчиняясь нѣмецкому вліянію, онъ ринулся въ средніе вѣка, но вынесъ оттуда только одни негѣпыя преувеличенія. Гюго имѣлъ свою минуту торжества, но давно уже во Франціи и онъ, и романтизмъ не

больше, какъ преданіе... Свобода формы выиграна и утверждена, и теперь никто не держится тамъ условныхъ и стѣснительныхъ формъ псевдо-классицизма, но за это никого уже не называютъ тамъ «романтикомъ».

Само-собою разумѣется, что у насъ романтизмъ не могъ имѣть никакого соотношенія ни съ католицизмомъ, ни съ средними вѣками. Онъ могъ бы еще быть стремленіемъ къ лирической, субъективной настроенности въ поэзіи, усиленъ сдѣлать поэзію выраженіемъ преимущественно внутреннихъ тайнъ сердца, мистики человѣческой личности, потому-что такое направленіе поэзіи есть дѣйствительно романтическое. Но Жуковский уже ввелъ въ нашу поэзію этотъ романтизмъ гораздо прежде, нежели слово «романтизмъ» сдѣлалось извѣстнымъ въ нашей литературѣ. И однакожъ Жуковского ни тогда, ни послѣ никто не называлъ романтикомъ: это названіе было утверждено общимъ голосомъ за Пушкинымъ, который и по своей натурѣ, и по характеру своей поэзіи несравненно меньше Жуковского былъ романтикомъ. За что же прослылъ онъ такимъ ультра-романтикомъ? — За то, что откинулъ въ своихъ произведеніяхъ всѣ старыя формы и началъ писать элегіи и поэмы. Изъ этого ясно видно, что нашъ романтизмъ никогда не былъ ничѣмъ другимъ, какъ реакціей стѣснительныхъ и условныхъ формамъ, занятымъ нашей литературой у французской литературы. Новѣйшій классицизмъ былъ не чѣмъ инымъ, какъ усиленъ поддѣлываться подъ формы древнихъ литературъ, греческой и латинской, произведенія которыхъ были признаны классическими, т. е. образцовыми, — такими, которыя могли читаться въ училищахъ, въ классахъ, какъ непогрѣшительные образцы, достойные подражанія. Потомъ дошли до убѣжденія, что писать хорошо можно не иначе, какъ рабски подражая древнимъ. Разумѣется, подражать древнимъ можно было только въ формѣ, а не въ духѣ, но и это не могло не вредить добровольнымъ подражателямъ, потому-что это значило новый духъ заковыгивать въ старыя и чуждыя ему формы. Такъ и было во Франціи. Но французскіе писатели, подражая древнимъ, на зло самимъ-себѣ и безъ собственнаго вѣдома, оставались вѣрными своему національному духу, тогда-какъ ихъ подражатели, думая быть греками и римлянами, были ровно ничѣмъ. Объ уравнивленіи природы и духа, выражавшемся въ пластически-прекрасной формѣ, никто не имѣлъ ни малѣйшаго понятія, а всѣ твердили только о знаменитомъ тріединствѣ, плохо понятомъ

изъ Аристотеля. Толковали, правда, и тогда, что въ классическомъ искусствѣ форма преобладаетъ надъ идеей, а въ романтическомъ, наоборотъ, — идея надъ формой. Но это, во-первыхъ, не совсѣмъ было вѣрно въ отношеніи къ древнему искусству, потому-что въ немъ видно было примиреніе духа съ природой, уравнивленіе идеи съ формой, а не перевѣсъ формы надъ идеей. Равнымъ образомъ не совсѣмъ вѣрно судили и о романтизмѣ, считая его представителями не только Шекспира, но и Байрона, — тогда какъ истинные представители романтизма были трубадуры и менестрели, а изъ извѣстныхъ поэтовъ развѣ только Петрарка и Дантъ, первый въ своихъ сонетахъ, исполненныхъ мечтательной идеальной любви, а второй въ своей чудовищной и тѣмъ не менѣе великой поэмі, исполненной католическихъ тенденцій и богословскихъ аллегорій и такъ полно отразившей въ себѣ всю уродливо-величавую жизнь среднихъ вѣковъ. Новѣйшее искусство скорѣе должно стремиться подойти къ древнему, нежели къ романтическому, оставаясь въ сущности ровно ни тѣмъ, ни другимъ. Все это теперь ясно, какъ день. Но тогда вопросъ былъ многосложенъ, и спорящія стороны не понимали ни себя, ни другъ друга. Какъ ни бросались въ философію, что ни твердили о внѣшнемъ и внутреннемъ, о формѣ и идеѣ, но главнымъ вопросомъ все-таки оставалось освобожденіе отъ условныхъ правилъ, безъ нужды стѣснявшихъ вдохновеніе и отдалявшихъ искусство отъ естественности, самобытности и народности.

Вопросъ стѣбилъ споровъ, дѣло стѣило битвы. Теперь на этомъ полѣ все тихо и мертво, забыты и побѣжденные, и побѣдители; но плоды побѣды остались, и литература навсегда освободилась отъ условныхъ и стѣснительныхъ правилъ, связывавшихъ вдохновеніе и стоявшихъ непреодолимой плотью для самобытности и народности. И первымъ поборникомъ и пламеннымъ бойцомъ является въ этой битвѣ Полевой, какъ журналистъ, публицистъ, критикъ, беллетристъ.

«Московский Телеграфъ» былъ явленіемъ необыкновеннымъ во всѣхъ отношеніяхъ. Человѣкъ, почти вовсе неизвѣстный въ литературѣ, нигдѣ не учившійся, купецъ званіемъ, беретъ за изданіе журнала, — и его журналъ съ первой же книжки изумляетъ всѣхъ живостью, свѣжестью, новостью, разнообразіемъ, вкусомъ, хорошимъ языкомъ, наконецъ вѣрностью въ каждой строкѣ однажды принятому и рѣзко выраженному направленію. Такой журналъ не могъ бы не быть замѣченнымъ и въ толгѣ

хорошихъ журналовъ, но среди мертвой, вялой, безцвѣтной, жалкой журналистики того времени онъ былъ изумительнымъ явленіемъ. И съ первой до послѣдней книжки своей издавался онъ в теченіе почти десяти лѣтъ съ той постоянной заботливостью, съ тѣмъ вниманіемъ, съ тѣмъ неослабѣваемымъ стремленіемъ къ улучшенію, которыхъ источникомъ могутъ быть только призваніе и страсть. Первая мысль, которую тотчасъ же началъ онъ развивать съ энергіей и талантомъ, которая постоянно одушевляла его, была мысль о необходимости умственного движенія, о необходимости слѣдовать за успѣхами времени, улучшаться, идти впередъ, избѣгать неподвижности и застоя, какъ главной причины гибели просвѣщенія, образованія, литературы. Эта мысль, теперь общее мѣсто даже для всякаго невѣжды и глупца, тогда была новостью, которую почти всѣ приняли за опасную ересь. Надо было развивать ее, повторять, твердить о ней, чтобы провести ее въ общество, сдѣлать ходячей истиной. И это совершилъ Полевой! Боже мой! какъ взѣлись на него за эту мысль ученые невѣжды, безталантные литераторы, плохіе журналисты, закосѣвшіе въ предрассудкахъ старики! И какъ усилилась эта буря негодованія и злобы умной, оригинальной, чуждой предрассудковъ критикой «Московского Телеграфа», высказывавшаго свои мнѣнія прямо, не смотрѣвшаго ни на какіе авторитеты! И было изъ чего сердиться на этотъ журналъ: нѣтъ возможности пересчитать всѣ авторитеты, уничтоженные имъ! И сколько было тогда великихъ писателей, которые ничего путнаго не написали! Одинъ дубовыми стишищами переложилъ расиновскую трагедію; другой написалъ мадригалъ Лилетъ и триолетъ Хлюбъ; третій—дюжину плаксивыхъ стишонковъ; четвертый—сентиментальную повѣсть; извѣстность пятого была основана на статьѣ, выкраденной изъ иностранной книги, а шестой просто выдалъ за свое сочиненіе забытый трудъ какого-нибудь стараго русскаго писателя. «Московский Телеграфъ» на все навелъ справки, все вспомнилъ, все вывелъ наружу... Многимъ сказалъ онъ, что ихъ сочиненія въ свое время могли имѣть свою относительную цѣнность, но что время ихъ прошло, и что теперь мальчики пишутъ лучше ихъ, заслуженныхъ и знаменитыхъ авторовъ. На все на это нужно было тогда много смѣлости: въ то время самое легкое замѣчаніе не въ пользу автора или сочиненія принималось за брань и ругательство и служило поводомъ ко множеству критикъ, антикритикъ, рекритикъ, отвѣтовъ, возраженій и проч. Считавшіе

себя обиженными не забывали этого; а кому пріятно имѣть безчисленное множество враговъ, иногда просто изъ ничего? Да, для этого нужно было больше, чѣмъ смѣлость,—нужно было самоотверженіе. Особенную ненависть навлекъ на себя Полевой со стороны ученаго люда, учившагося по старымъ книгамъ и не подозрѣвавшаго, что могутъ быть новыя и лучшія. Тогда-то раздались ожесточенные вопли: да что онъ, да кто онъ, гдѣ онъ учился, гдѣ его аттестаты, какія его ученые званія? онъ купецъ, торгашъ, самоучка, всезнайка и т. п. Повѣрятъ ли, что многіе «ученые» въ своихъ выходкахъ противъ Полевого не стыдились дѣлать намеки на его водочный заводъ,—пятно, какъ сказалъ Пушкинъ, ужасное, какъ извѣстно, всему нашему дворянству!.. Вотъ что напиримѣръ было сказано между прочимъ о Полевомъ въ «Вѣстникѣ Европы» (1828 года, № 23, стр. 199): «Онъ прикидывается къ нимъ (къ поэтамъ) волчокъ критики съ размаху и опредѣляетъ мигомъ, сколько въ нихъ поэтического угара»...

Загляните въ современные «Московскому Телеграфу» журналы—и вы подумаете, что Полевой не умѣлъ иначе говорить, какъ страшными ругательствами, что журналъ его былъ складочнымъ мѣстомъ полемики дурного тона, брани, дерзостей, лжей. Но пересмотрите «Московский Телеграфъ» хоть за все время его существованія,—и вы увидите, что всегда, въ жару самой запальчивой полемики, онъ умѣлъ сохранять свое достоинство, уважать приличіе и хорошій тонъ, и что въ самыхъ любезностяхъ его противниковъ было больше грубости и плоскости, нежели въ его брани. Мы пишемъ не панегирикъ, не эклогу, а характеристику замѣчательнаго дѣятеля на поприщѣ русской литературы, и потому мы не скажемъ не только того, чтобы Полевой никогда не ошибался, но и того, чтобы онъ всегда былъ безпристрастенъ въ отношеніи къ своимъ противникамъ, всегда умѣлъ отдавать имъ должную справедливость. Нѣтъ, онъ былъ человѣкъ, и притомъ постоянно раздражаемый самыми возмутительными въ отношеніи къ нему несправедливостями, ошибался и бывалъ не правъ; но въ исторіи человѣческихъ дѣлъ вопросъ не въ томъ, кто былъ безупреченъ и непогрѣшителенъ, а въ томъ, кто болѣе другихъ относительно, по возможности, былъ справедливъ, или у кого сумма добраго стремленія и добрыхъ дѣлъ если не перевѣшиваетъ недостатковъ и слабостей, то искупляетъ ихъ... И въ этомъ отношеніи издатель «Московского Телеграфа» смѣло могъ бы рассказать всему свѣту исторію своихъ отношеній къ противникамъ,

не скрывая своих промаховъ и ошибокъ, смѣло могъ бы одинъ противостать цѣлой ихъ фалангѣ... Наведя справки, не трудно убѣдиться, что полемики въ «Московскомъ Телеграфѣ» было не много, по крайней мѣрѣ меньше, нежели въ каждомъ изъ современныхъ ему журналовъ, не говоря уже о томъ, что его полемическія статьи всегда были умны, дѣльны, остроумны, ловки и приличны. И потому причину общаго ожесточенія противъ этого журнала должно искать не столько въ полемическіхъ статьяхъ, сколько въ его критикѣ и библиографіи, гдѣ правда высказывалась столько же прямо, сколько и прилично, отчего и кусалась больнѣе. До «Телеграфа» въ нашей журналистикѣ уклончивый тонъ принимали за одно съ вѣжливымъ; старались какъ можно меньше говорить о писателяхъ и сочиненіяхъ, а если говорили, то съ тѣмъ, чтобы хвалить общими избитыми фразами. Полевой показалъ первый, что литература — не игра въ фанты, не дѣтская забава, что исканіе истины есть ея главный предметъ, и что истина — не такая бездѣлица, которой можно было бы жертвовать условнымъ приличіемъ и пріязненнымъ отношеніемъ. Изъявить публично такой образъ мыслей въ то время значило сдѣлать страшную дерзость и высказать себя человѣкомъ «безпокойнымъ», т. е. хуже чѣмъ безнравственнымъ.

Многіе раздѣляютъ людей въ нравственномъ отношеніи на благонамѣренныхъ и безпокойныхъ: первые не мѣшаютъ другимъ обдѣлывать свои дѣлишки, каковы бы они ни были, лишь бы только и имъ никто не мѣшалъ въ тихомолочку заниматься тѣмъ же самымъ; вторые никакъ не могутъ вытерпѣть, чтобы не заговорить громко, узнавши, что ихъ сосѣдъ, посредствомъ справокъ и отношеній, пустилъ по міру цѣлое семейство, или,

Когда весь городъ знаетъ,

Что у него ни за собой,

Ни за женой —

А смотришь, помаленьку

То домикъ выстроитъ, то купитъ деревеньку.

И въ литературномъ мірѣ даже и теперь «благонамѣренныхъ» несравненно больше, нежели «безпокойныхъ», а въ то время, то есть до «Телеграфа», послѣднихъ почти вовсе не было. И потому очень естественно, что этотъ журналъ многимъ казался чудовищнымъ явленіемъ, именно потому, что здравый смыслъ, образованный вкусъ и истину ставилъ выше людей и ради ихъ не щадилъ авторскихъ самолюбій. Теперь съ трудомъ можно повѣрить, чтобы когда-нибудь могло быть такимъ образомъ и до такой степени: и это опять заслуга Полевого, и заслуга великая!

Это обстоятельство опять указываетъ на рѣзкое различіе роли Полевого отъ роли Карамзина на одномъ и томъ же впрочемъ поприщѣ. Карамзинъ не былъ связанъ прошедшимъ, и ему не съ чѣмъ было бороться, почему онъ и не оскорбилъ ни чьего самолюбія, не возбудилъ ни чьей вражды къ себѣ, кромѣ завистниковъ, блѣдный рой которыхъ скоро долженъ былъ исчезнуть при быстрыхъ успѣхахъ его славы и при общей любви къ нему большинства образованнаго общества. Обстоятельства, положеніе литературы дали Полевому роль бойца. Онъ не столько утверждалъ, сколько отрицалъ, не столько доказывалъ, сколько оспаривалъ. Кромѣ того во время Карамзина было не до идей и вопросовъ; первыхъ никто не спрашивалъ, вторыхъ не было, общество было для нихъ еще слишкомъ молодо, неразвито и безсознательно. Спорили о фразахъ, хлопотали о правильности и чистотѣ языка, и всѣ вопросы заключались въ стилистикѣ. Во всемъ остальномъ дѣло шло о томъ, чтобы педагогическую школьную литературу сдѣлать свѣтской, общественной и общительной, равно привлекательной и для кабинетнаго труженика, и для дѣловаго человѣка, и для свѣтскаго щеголя и свѣтской дамы. И Карамзинъ это сдѣлалъ не теоріями, не спорами, а образчиками сочиненій, которыхъ требовалъ духъ времени. Онъ былъ знакомъ хорошо и съ французской, и съ нѣмецкой, и съ англійской литературами, но ихъ вліяніе на него было больше внѣшнее, нежели внутреннее. Идеи XVIII вѣка не волновали его, по крайней мѣрѣ этого не замѣтно въ его сочиненіяхъ. Фонвизинъ предшественникъ Карамзина, гораздо больше былъ сыномъ своего вѣка. Карамзинъ занялъ у XVIII вѣка только сантиментальное направленіе и обожаніе природы, которую называлъ онъ Натурой, тоже сантиментальное, но не пантеистическое; о любви и всѣхъ сердечныхъ склонностяхъ говорилъ онъ какъ будто съ голосу Руссо, но въ сущности смотрѣлъ на нихъ не больше, какъ на извинительныя слабости человеческого естества. Вотъ все, чѣмъ ограничилось вліяніе на него вѣка. Но чрезъ двадцать-пять лѣтъ явились уже другія потребности, явилось стремленіе къ сознанію, къ изслѣдованію, къ анализу. Захотѣли узнать, что такое Шекспиръ и Байронъ, Данте и Сервантесъ, Гёте и Шиллеръ, что такое Востокъ и классическая древность, что такое философія, политическая экономія и т. д., и все это свели на вопросъ о классицизмѣ и романтизмѣ, или по крайней мѣрѣ кстаті и некстаті все это привязали къ нему.

Всѣ новыя идеи, возникшія въ Европѣ въ началѣ XIX вѣка, смутно доходили до русской любознательности и смутно отражались въ ней. Это было время, когда хотѣли ломать и строить, но на половинѣ ломки останавливались, чтобы сдѣлать новую надстройку, а на половинѣ стройки останавливались, чтобы кончить по старому. Это была эпоха чисто переходная. И «Телеграфъ», вѣрный своему названію, былъ полнымъ представителемъ этой эпохи. Въ немъ было много силы, энергіи, жару, стремленія, безпокойства, тревожности, онъ неуспѣшно слѣдилъ за всѣми движеніями умственного развитія въ Европѣ и тотчасъ же передавалъ ихъ такъ, какъ они отражались въ его понятіи; но вмѣстѣ съ тѣмъ все въ немъ было неопредѣленно, часто смутно, а иногда и противорѣчиво. Это давало полную возможность придраться къ нему людямъ, стоявшимъ внѣ умственного движенія своей эпохи. И они не шутя считали себя неизмѣримо выше Полевого и съ важностью ловили и высчитывали его ошибки, промахи, опіибки, не понимая, что ихъ преимущество надъ нимъ состояло только въ томъ, что они спали, а онъ жилъ и дѣйствовалъ; не спитъ, тотъ, разумѣется, не грѣшитъ, особенно если спитъ такъ крѣпко, что и во снѣ ничего не видитъ... Они гордо величали его то самоучкой, то недоучкой, и на основаніи его опіибокъ (а часто и того, что только имъ казалось опіибками, то есть чего они не въ состояніи были понять) доказывали, что онъ невѣжда и шарлатанъ.

Правда, онъ учился самоучкой, и то, что другимъ давалось безъ труда, досталось ему страшными усиліями; но если этотъ путь къ знанію не могъ не повредить Полевому, болѣе или менѣе разладивши его съ систематичностью и методой, зато и принесъ ему большую пользу: спасъ его отъ школьных предразсудковъ, отъ педантизма и образовалъ изъ него публициста, которому нужно имѣть дѣло не съ аудиторіей, а съ обществомъ. Его все интересовало, ко всему влекло, и онъ учился съ жаромъ, съ упорствомъ, съ настойчивостью; но этотъ энциклопедизмъ, эта жажда всезнанія при житейскихъ работахъ, при изданіи журнала естественно не допускала его углубиться въ какой-нибудь исключительный предметъ, сдѣлаться ученымъ. Неопредѣленность идей (свойство той эпохи) и поверхностность многосторонняго знанія (результатъ энциклопедическаго знанія и самообразованія) отзывались во многомъ, что писалъ онъ, особенно въ его философскихъ воззрѣніяхъ; но онъ равно былъ чуждъ и невѣжества, и шарлатан-

ства, въ которыхъ его обвиняли противники. Натура живая и воспримчивая, онъ страстно увлекался всѣми современными идеями, и его можно было обвинять только въ томъ, что онъ часто понималъ ихъ по своему, но не въ томъ, чтобы онъ говорилъ о нихъ, не понимая ихъ. Журналистъ и беллетристъ по призванію, человекъ практическій по своей природѣ, онъ всегда былъ ясенъ и опредѣленъ, когда не бросался въ теорію, но говорилъ просто, какъ человекъ со вкусомъ, съ здравымъ смысломъ и съ образованіемъ. Нѣмецкая философія сильно занимала его умъ, но онъ знакомился съ ея идеями не изъ прямого источника, недоступнаго для дилетантовъ и любителей философіи, а изъ популярных лекцій Кузена,—и его главная опіибка тутъ состояла въ томъ, что этого беллетриста философіи онъ принялъ за главу философическаго движенія, будто бы скончавшагося въ Германіи съ Шеллингомъ. Даже и въ этомъ отношеніи, можетъ-быть составляющемъ самую слабую сторону образованія Полевого, нельзя не удивляться его тревожной любознательности, за все хватавшейся, ко всему стремившейся, ничего не оставившей безъ вниманія. Вмѣстѣ съ нимъ много вышло на литературную арену людей, основательно учившихся и потомъ называвшихъ себя «учеными»; всѣ они были противъ него одного; но что же сдѣлали они, или что они дѣлаютъ теперь?.. Гдѣ свершеніе тѣхъ надеждъ, которыя они подавали?.. Черезъ два года послѣ «Московского Телеграфа» явился «Московский Вѣстникъ», за нимъ—«Атеней» и «Галатея», даже дряхлый «Вѣстникъ Европы» оживился, ударился въ ожесточенную полемику, схватился за теорію и даже философію, потомъ всѣ они соединились въ «Телескопъ», чтобы сильнѣе ударить на своего общаго врага; но они могли только поднять его своими нападками, ничего не сдѣлавши ни для себя, ни для публики...

Сначала въ «Телеграфѣ» принимали участіе, хотя и не большое, даже Жуковский и Пушкинъ, и весьма значительное участіе принималъ въ немъ князь Вяземскій. Но вскорѣ участь этого журнала стала зависѣть только отъ дѣятельности и таланта его издателя, постоянно вспомошествоваемаго только своимъ братомъ, К. А. Полевымъ; но журналъ отъ этого не упалъ, а годъ отъ году становился лучше. Этого мало: его не уронили даже двѣ важныя опіибки его издателя. Первая изъ нихъ была—примиреніе съ однимъ петербургскимъ журналомъ и одной петербургской газетой послѣ продолжительной и постоянной войны съ ними. Такъ какъ эта война дѣлала особен-

ную честь «Телеграфу», то примирение не могло не окомпрометтировать его. Эта важная ошибка была слѣдствіемъ другой, еще важнѣйшей. Въ 1829 году Полевой напечаталъ въ своемъ журналѣ критическую статью объ «Исторіи Государства Россійскаго». Статья была превосходно написана, мѣра заслугъ Карамзина оцѣнена въ ней была вѣрно, безпристрастно, съ полнымъ уваженіемъ къ имени знаменитаго писателя. Но чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ явилось въ «Телеграфѣ» объявленіе о скоромъ выходѣ «Исторіи Русскаго Народа». Тогда поднялась противъ Полевого страшная буря: его статья объ исторіи Карамзина объяснялась его противниками, какъ предисловіе къ объявленію о подпискѣ на собственную исторію. Но всѣ эти вопли Полевому легко было сдѣлать ничтожными и обратить къ собственной чести и къ предосужденію своихъ противниковъ: ему стоило только всегда сохранять тонъ должнаго уваженія къ Карамзину, даже доказывая его ошибки; но онъ не вытерпѣлъ—и досаду на своихъ противниковъ сталъ вымѣщать на «Исторіи» Карамзина. «Исторія Русскаго Народа» явилась съ двойнымъ текстомъ: въ одномъ была исторія, а въ другомъ—довольно нехладнокровныя нападки на Карамзина, и каждому изъ этихъ текстовъ было отведено ровно по полустраницѣ... Пожалѣемъ о слабости замѣчательнаго человѣка, оказавшаго литературѣ и общественному образованію великія заслуги, но не будемъ оправдывать его слабости или называть ее добродѣтелью...

Къ этой же эпохѣ «Телеграфа» относится и принятіе имъ въ свои сотрудники одного писателя съ его статьями, многоглаголивыми, широковысказательными, плоскими и пошлыми, въ которыхъ подъ фирмой ратованія за новое скрывались отсталость и страшная ограниченность въ понятіяхъ... Но «Телеграфъ» вынесъ и этотъ сильный ударъ, имъ же самимъ нанесенный себѣ: не смотря на все это, онъ не падалъ, а улучшался. Причина этого заключалась въ личности его издателя. Онъ былъ литераторомъ, журналистомъ и публицистомъ не по случаю, не изъ расчета, не отъ нечего дѣлать, не по самолюбію, а по страсти, по призванію. Онъ никогда не negliжировалъ изданіемъ своего журнала, каждую книжку его издавалъ съ тщаніемъ, обдуманно, не жалѣя ни труда, ни издержекъ. И при этомъ онъ владѣлъ тайной журнальнаго дѣла, былъ одаренъ для него страшной способностью. Онъ постигъ вполне значеніе журнала, какъ зеркала современности, «и современное» и «кстати»—были въ рукахъ его по истинѣ два волшебные жезла, произво-

дившіе чудеса. Пронесется ли слухъ о приѣздѣ Гумбольдта въ Россію, онъ помѣщаетъ статью о сочиненіяхъ Гумбольдта; умираетъ ли какда-нибудь европейская знаменитость, —въ «Телеграфѣ» тотчасъ является ея біографія, а если это ученый или поэтъ, то критическая оцѣнка его произведеній. Ни одна новость никогда не ускользала отъ дѣятельности этого журнала. И потому каждая книжка его была животрепещущей новостью, и каждая статья въ ней была на своемъ мѣстѣ, была кстати. Поэтому «Телеграфъ» совершенно былъ чуждъ недостатка, столь общаго даже хорошимъ журналамъ: въ немъ никогда не было балласту, т. е. такихъ статей, которыхъ помѣщеніе не оправдывалось бы необходимостью... И потому, безъ всякаго преувеличенія, можно сказать положительно, что «Московскій Телеграфъ» былъ рѣшительно лучшимъ журналомъ въ Россіи отъ начала журналистики.

Въ 1832, 1833 и 1834 годахъ «Телеграфъ», нисколько не ослабѣвая ни въ энергіи, ни въ разнообразіи, ни въ достоинствѣ, тѣмъ не менѣе былъ уже въ своей апогеѣ, даже на поворотѣ къ ней. Онъ сдѣлалъ свое дѣло и, попрежнему хлопоча о движеніи впередъ, безъ собственнаго вѣдома и желанія, наперекоръ самому себѣ, началъ принимать характеръ коснѣнія. Въ эти три года были напечатаны въ немъ большіе критическіе разборы Полевого сочиненій Державина, Жуковскаго, Пушкина и повѣсти: «Блаженство Безумія», «Живописецъ», «Эмма». Въ тѣхъ и другихъ Полевой высказался вполне, въ тѣхъ и другихъ вполне выказались уголки его зрѣнія, огибъ его ума, характеръ его образованія, равно какъ вполне отразилась его эпоха съ ея живой дѣятельностью, безпокойнымъ, тревожнымъ движеніемъ, заносчивостью, юношескимъ жаромъ, простодушнымъ убѣжденіемъ, съ полуфранцузскими тенденціями и полунѣмецкими идеями, съ поверхностностью и неопредѣленностью въ понятіяхъ, съ чувствами вмѣсто отчетливаго сознанія, часто съ громкими словами и туманными фразами вмѣсто теорій, съ смѣлостью, отвагой, одушевленіемъ. Въ этихъ статьяхъ и повѣстяхъ Полевой какъ бы поспѣшилъ представить результатъ своей журнальной дѣятельности, разомъ цѣлостно и обдуманно высказавъ въ нихъ все, о чемъ говорилъ нѣсколько лѣтъ отрывочно и случайно. Онъ какъ будто чувствовалъ, не сознавая этого ясно, что возникаетъ въ нашей литературѣ новое движеніе, ему невѣдомое и непонятное,—и торопился высказаться вполне и опредѣленно. А новое между тѣмъ дѣй-

ствительно возникало,—и Полевой отступилъ отъ Пушкина, какъ отъ отсталого поэта, въ ту самую минуту, когда тотъ изъ поэта, подававшего великія надежды, началъ становиться дѣйствительно великимъ поэтомъ; съ перваго же разу не понявъ онъ Гоголя и, по искреннему убѣжденію, навсегда остался при этомъ непониманіи...

Съ прекращеніемъ «Телеграфа» поприще Полевого, какъ журналиста, было кончено, и ему слѣдовало ограничиться такъ-называемыми солидными трудами—доканчивать свою исторію, писать и издавать книги... Но что прикажете дѣлать съ неутомимой журнальной натурой? Быть столько времени и съ такимъ успѣхомъ первымъ голосомъ въ журналистикѣ — и слышать новые, долготѣ безвѣстные голоса, которые поютъ уже совсѣмъ другую пѣсню, на это у него не достало силы резиньироваться. Изъ журналиста онъ пошелъ въ сотрудники, расходился и вновь сходилъ съ журналами, въ которыхъ участвовалъ, принимался было за редакцію новыхъ — и только доказывалъ этимъ, что время его прошло невозвратно... При этомъ естественно не могъ онъ не увлекаться спорами, полемикой, выгоды которыхъ уже не могли быть на его сторонѣ... Но довольно объ этомъ: заслуги Полевого такъ велики, что, при мысли о нихъ, нѣтъ ни охоты, ни силы распространяться о его ошибкахъ...

О его драмахъ мы ничего не скажемъ, кромѣ того, что онѣ доказываютъ его удивительную способность быть всѣмъ въ области беллетристики и во всемъ дѣйствовать съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ. Возьмись онъ за нихъ въ началѣ, а не въ концѣ своего поприща, — и онѣ могли бы умножили бы его права на общую признательность... Повѣсти его потому именно имѣютъ свое относительное достоинство, что явились во-время. Не долго правились онѣ, но правились сильно, читались съ жадностью. Въ нихъ онъ былъ вѣренъ себѣ, и для него онѣ были только особенной отъ журнальныхъ статей формой для развитія тѣхъ же тенденцій, которыя развивалъ онъ и въ своихъ журнальныхъ статьяхъ. То же должно сказать и о его романахъ, изъ которыхъ «Клятва при Гробѣ Господнемъ» отличается мѣстами замѣчательнымъ умѣньемъ пользоваться историческими источниками для романтическихъ сценъ и картинъ.

Вѣренъ былъ онъ себѣ и въ своей «Исторіи Русскаго Народа»: какъ во всемъ, что ни писалъ онъ, и въ ней былъ онъ журналистомъ, а не историкомъ. Въ этомъ ея слабая сторона, но въ этомъ и ея относи-

тельные достоинства. Онъ взялся за нее не по призванію, однакожъ и не изъ разчета, какъ утверждали это его противники, а по страстному влеченію своей журнальной натуры—все представлять въ новомъ видѣ, ко всему прилагать новыя идеи. Ему казалось, что смутный хаосъ, образовавшійся въ его головѣ изъ идей Гердера, Шеллинга, Гизо и Тьерри, очень удобоприложимъ къ русской исторіи. Это значило вовсе не понять русской исторіи, и не нужно говорить, что изъ этого вышло. Истина взяла наконецъ свое, и послѣдніе томы «Исторіи Русскаго Народа» уже очень похожи на «Исторію Государства Россійскаго»... Конечно нельзя сказать, чтобы въ первой не было ничего дѣльнымъ образомъ новаго, но въ сущности «Исторія» Полевого только возвысила «Исторію» Карамзина... Это опять была ошибка, и очень важная, но ошибка, вышедшая изъ хорошаго источника, ошибка человѣка умнаго и даровитаго, думавшаго быть дальше своей эпохи, но на дѣлѣ бывшаго только однимъ изъ самыхъ рѣзкихъ ея выраженій... Впослѣдствіи Полевой написалъ русскую исторію для дѣтей: это былъ трудъ простой, безъ претензій, и потому очень дѣльный и полезный, отличавшійся даже ясностью и картинностью историческаго изложенія.

Полевой родился въ купеческомъ семействѣ и готовился быть купцомъ. Ему было около двадцати лѣтъ отъ роду, когда рѣшился онъ учиться и образоваться. Отецъ его, человѣкъ стараго времени, неблагоклонно смотрѣлъ на его любовь къ книгамъ, и Полевой занимался ими тайкомъ. Кончивъ днемъ дѣла свои по торговлѣ, ночью, вмѣсто того чтобы спать, принимался онъ за ученіе. Не всегда могъ доставать онъ для этого огарокъ свѣчи, потому что отецъ его запретилъ ему сидѣть по ночамъ. Не было свѣчи — онъ пользовался луннымъ свѣтомъ; доставалъ свѣчу — и затыкалъ щелки своей комнаты, чтобы предательскій свѣтъ огня не бросился въ глаза отцу. Въ такихъ страшныхъ, разрушительныхъ для здоровья трудахъ проводилъ онъ три года. Въ это время написалъ онъ статью о проѣздѣ императора Александра черезъ Курскъ и послалъ ее въ «Московскія Вѣдомости». Статья обратила на себя вниманіе курскаго губернатора, который захотѣлъ познакомиться съ молодымъ авторомъ. Это живо затронуло самолюбіе старика-отца, и онъ позволилъ своему сыну заниматься книгами. У пьянаго дьячка началъ Полевой учиться латинскому и французскому языку и, пользуясь своей необыкновенной памятью, для начала выучилъ наизусть цѣлый французскій лексиконъ...

Эта неудержимая страсть къ ученію, эта страшная сила воли въ достиженіи цѣли и преодоленіи препятствій достаточно доказываютъ, что Полевой не былъ человѣкомъ обыкновеннымъ. Почти двадцати-двухъ лѣтъ началъ онъ самоучкой учиться русской грамматикѣ: это было около 1818 года, а въ 1825 году, т. е. чрезъ семь лѣтъ, Полевой былъ издателемъ лучшаго журнала въ Россіи... Такіе люди не часто являются, и гораздо легче попасть въ доктора всѣхъ возможныхъ наукъ, нежели сравниться съ ними...

Заключаемъ. Предлагаемая статья не есть ни памфлетъ, ни панегирикъ; мы старались безъ преувеличенія оцѣнить заслуги одного изъ замѣчательнѣйшихъ дѣятелей русской литературы, не скрывая слабыхъ

сторонъ его литературной дѣятельности, но смотря на нихъ *sine ira et studio*. Пусть судятъ читатели, до какой степени успѣли мы въ этомъ. Явится много толковъ о Полевомъ: одни будутъ безъ мѣры превозносить, другіе безъ мѣры унижать его, тѣ провозгласятъ его великимъ ученымъ, другіе—великимъ романистомъ и новеллистомъ, третьи—чего добраго!—великимъ драматургомъ; но едва ли кто-нибудь признастъ его тѣмъ, чѣмъ онъ въ самомъ дѣлѣ былъ замѣчательнъ... Такъ думаемъ мы, хорошо зная современную литературу и ея дѣятелей... Дай Богъ, чтобы мы ошиблись въ этомъ; но во всякомъ случаѣ смѣемъ думать, что голосъ нашъ, упредивши другія сужденія, не будетъ бесполезенъ для тѣхъ, которые возьмутся судить о Полевомъ...

АЛЕКСѢЙ ВАСИЛЬЕВИЧЪ КОЛЬЦОВЪ.

Русскій бытъ —

Увы! — совсѣмъ не такъ глядѣть,
Хоть о семейности его
Славянофилы намъ твердятъ
Уже давно, — но, виновать,
Я въ немъ не вижу ничего
Семейнаго... О старинѣ
Разсказовъ много знаю я,
И память вѣрная моя
Тѣмъ пѣснѣ сохранила мнѣ
Однообразныхъ и простыхъ,
Но страшно грустныхъ... Слыхнень въ нихъ
То голосъ воли удалой,
Все злою долею женой,
Все подкольною змѣей
Опутанный, — то плачь о томъ,
Что тускло зыблится вечеркомъ
Горитъ лучина, — хоть не спать
Бѣдняжкѣ ночь, и друга ждать,
И тѣшить старую любовь, —
Что ту лучину залила
Лихая старая свекровь...
О, вѣрите мнѣ: не весела
Картина — русская семья...
Семья для насъ всегда была
Лихая мачиха, не мать...

А. Григорьевъ.

Издавая въ свѣтъ полное собраніе стихотвореній покойнаго Кольцова, мы прежде всего думаемъ выполнить долгъ справедливости въ отношеніи къ поэту, до сихъ поръ еще не понятому и не оцѣненному надлежащимъ образомъ. Конечно нельзя сказать, чтобы Кольцовъ не обратилъ на себя общаго вниманія еще при первомъ появленіи своемъ на литературное поприще; но это вниманіе относилось не столько къ поэту съ сильнымъ самобытнымъ талантомъ, сколько къ любопытному феномену. Большею частью въ немъ видѣли русскаго мужичка, который,

едва зная грамотѣ, самъ собою открылъ и развилъ въ себѣ способность писать стихи, и притомъ недурные. Всѣ поняли, что по таланту Кольцовъ выше Слѣпушкина, Суханова, Алипанова; но не многіе поняли, что у него рѣшительно не было ничего общаго съ этими поэтами-самоучками, какъ ихъ тогда величали. Впрочемъ это естественно, и тутъ некого винить. Для вѣрной оцѣнки всякаго поэта нужно время, и не разъ случалось, что даже великіе гении въ области искусства были признаваемы только потомствомъ. Теперь этого уже не

бываетъ, потому что теперь пустому, но блестящему таланту легче попасть въ геніи, нежели генію не быть признаннымъ; но и теперь это признаніе дѣлалъ массою общества тоже требуетъ времени и обходится не безъ борьбы. То же самое можно отнести ко всякому замѣчательному таланту, выходящему изъ-подъ уровня обыкновенности.

Кромѣ этого обстоятельства, Кольцовъ явился въ то время русской литературы, когда она, такъ сказать, кипѣла новыми талантами въ новыхъ родахъ. Едва замолкли поэты, вышедшіе по слѣдамъ Пушкина, какъ начали появляться романисты, нувелисты, а потомъ поэты-стихотворцы, рѣзко отличавшіеся отъ прежнихъ своимъ направленіемъ и колоритомъ. Въ литературѣ молодой и не установившейся новостъ возбуждаетъ такое же вниманіе, какъ и геніальность, и часто считается за одно съ нею, хотя и не надолго. Среди всѣхъ этихъ новостей самъ Кольцовъ возбуждалъ собою вниманіе, какъ новость, появившаяся подъ именемъ поэта-прасола. Будъ онъ не мѣщанинъ, почти безграмотный, не прасолъ, — его стихотворенія можетъ-быть едва ли были бы тогда замѣчены. Первые стихотворенія Кольцова печатались изрѣдка въ разныхъ малоизвѣстныхъ изданіяхъ. Публика узнала о немъ только въ 1835 году, когда въ Москвѣ вышла книжка его стихотвореній, въ числѣ восемнадцати пьесъ, изъ которыхъ едва ли половина носила на себѣ отпечатокъ его самобытнаго таланта, потому-что пора настоящаго творчества и полнаго развитія таланта Кольцова настала только съ 1836 года. Однако же вниманіе, какое обратили на Кольцова многіе литераторы и между ними Жуковский и самъ Пушкинъ, отзывалось и въ публикѣ. Книжка имѣла успѣхъ, и имя Кольцова приобрѣло общую извѣстность. Съ 1836 года онъ постоянно печаталъ свои стихотворенія въ журналахъ: «Современникъ», «Телескопъ», «Литературныхъ Прибавленій къ «Русскому Инвалиду», «Сынъ Отечества» (1838), «Московскомъ Наблюдателѣ» (1838—1839), а потомъ большей частью въ «Отечественныхъ Запискахъ» и въ альманахахъ: «Утренняя Заря» и «Сборникъ». Когда даже и большія сочиненія, повѣсти и драмы, разбросаны такимъ образомъ по разнымъ изданіямъ, и тогда публикѣ неудобно составить себѣ о ихъ авторѣ опредѣленное поятіе: тѣмъ болѣе это относится къ автору мелкихъ стихотвореній, которые продолженіе почти восьми лѣтъ печатались въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ. Появляется въ журналѣ новое стихотвореніе даровитаго поэта, производитъ свой эффектъ — и, какъ все въ мірѣ, мало-по-малу

забывается. Иной читатель и хотѣлъ бы вновь перечестъ его, но для этого надо отыскивать стихотвореніе въ кучѣ журналовъ; а притомъ не всякій помнитъ, гдѣ именно помѣщено оно, и не всякій имѣетъ возможность доставать старые журналы. Такимъ образомъ общій колоритъ и характеръ произведеній поэта ускользаютъ отъ читателей. Отъ времени до времени поэтъ производитъ на нихъ впечатлѣніе то тѣмъ, то другимъ своимъ стихотвореніемъ, но не общностью, не дѣлостью своей поэзіи, которая, если онъ поэтъ съ большимъ дарованіемъ, должна представлять собою особый, самобытный и оригинальный міръ дѣйствительности.

Прежде, нежели приступимъ мы къ разсмотрѣнію произведеній Кольцова, считаемъ нужнымъ коснуться нѣкоторыхъ подробностей его жизни. Жизнь Кольцова не богата или, лучше сказать, вовсе бѣдна внѣшними событіями; но тѣмъ богатѣе исторія его внутренняго развитія и тяжелой борьбы между его призваніемъ и его суровой судьбой.

Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ родился въ Воронежѣ въ 1809 году, октября 2-го. Отецъ его, воронежскій мѣщанинъ, былъ человекъ не богатый, но достаточный, промышлявшій стадами барановъ для доставки матеріала на салотопенные заводы. Одаренный самыми счастливыми способностями, молодой Кольцовъ не получилъ никакого образованія. Воспитаніе его предоставлено было природѣ, какъ это бываетъ у насъ и не въ одномъ этомъ сословіи. Само-собою разумѣется, что съ раннихъ лѣтъ онъ не могъ набраться не только какихъ-нибудь нравственныхъ правилъ или усвоить себѣ хорошія привычки, но и не могъ обогатиться никакими хорошими впечатлѣніями, которые для юной души важнѣе всякихъ внушеній и толкованій. Онъ видѣлъ вокругъ себя домашнія хлопоты, мелочную торговлю съ ея продѣлками, слышалъ грубыя и не всегда пристойныя рѣчи даже отъ тѣхъ, изъ чьихъ устъ ему слѣдовало бы слышать одно хорошее. Всѣмъ извѣстно, какова вообще наша семейственная жизнь, и какова она въ особенности въ среднемъ классѣ, гдѣ мужицкая грубость лишена добродушной простоты и соединена съ мѣщанской слѣсью, лманьемъ и кривляньемъ. По счастью къ благодатной натурѣ Кольцова не приставала грязь, среди которой онъ родился и на лонѣ которой былъ воспитанъ. Съ дѣтства онъ жилъ въ своемъ особенномъ мірѣ, — и ясное небо, лѣса, поля, степь, цвѣты производили на него гораздо сильнѣйшее впечатлѣніе, нежели грубая и удушливая атмосфера его до-

машней жизни. Предоставленный самому себѣ, безъ всякаго присмотра, Кольцовъ, подобно всѣмъ дѣтямъ любившій бродить босикомъ по травѣ и по лужамъ, чуть-было не лишился на всю жизнь употребленія ногъ, и долго былъ боленъ, такъ-что хотя его впоследствии и вылечили, однако онъ всегда чувствовалъ отзвѣы этой болѣзни. Только необыкновенно крѣпкое сложеніе могло спасти его отъ калѣчества или и самой смерти, какъ въ этомъ, такъ и въ другихъ случаяхъ его жизни. Такъ напримѣръ, будучи уже старше шестнадцати лѣтъ, онъ, на всемъ скаку, упалъ съ лошади, черезъ ея голову, и такъ сильно ударился тыломъ о землю, что на всю жизнь остался сутуловатымъ. Но, несмотря на все это, онъ всегда былъ здоровъ и крѣпокъ.

На десятомъ году Кольцова начали учить грамотѣ, подъ руководствомъ одного изъ воронежскихъ семинаристовъ. Такъ-какъ грамота ребенку удалась, и онъ скоро ей выучился, его отдали въ воронежское уѣздное училище, изъ котораго онъ былъ взятъ, пробывши около четырехъ мѣсяцевъ во второмъ классѣ: такъ-какъ онъ умѣлъ уже читать и писать, то отецъ его и заключилъ, что больше ему ничего не нужно знать, и что воспитаніе его кончено. Не знаемъ, какимъ образомъ былъ онъ переведенъ во второй классъ, и вообще чему онъ научился въ этомъ училищѣ, потому-что, какъ ни коротко мы знали Кольцова лично, но не замѣтили въ немъ никакихъ признаковъ элементарнаго образованія. Мало того: изъ примѣра Кольцова мы больше всего убѣдились въ важности элементарнаго образованія, которое можно получить въ уѣздномъ училищѣ. При всѣхъ его удивительныхъ способностяхъ, при всемъ его глубокомъ умѣ,—подобно всѣмъ самоучкамъ, образовавшимся урывками, почти тайкомъ отъ родительской власти, Кольцовъ всегда чувствовалъ, что его интеллектуальному существованію не достаетъ твердой почвы, и что вслѣдствіе этого ему часто достается съ трудомъ то, что легко усваивается людьми очень недалекими, но воспользовавшимися благотворными первоначальными обученіями. Такъ напримѣръ, онъ очень любилъ исторію, но многое въ ней было для него странно и дико, особенно все, что относилось до древняго міра, съ которымъ необходимо сблизиться въ дѣтствѣ, чтобы понимать его. Для всякаго, кто въ уѣздномъ училищѣ прошелъ хоть Кайданова «Исторію», незамѣтно дѣлаются какъ будто родственными имена героев древности. Древняя жизнь и древній бытъ такъ не похожи на нашу жизнь и бытъ, что только чрезъ науку въ лѣта

дѣтства можемъ мы осваиваться съ ними и привыкать находить ихъ возможными и естественными. Вслѣдствіе этого же недостатка въ элементарномъ образованіи, Кольцовъ, при всей глубокости и гибкости своего эстетическаго вкуса, не могъ понимать «Иліады», хотя и не разъ принимался читать ее въ переводѣ Гнѣдича,—между-тѣмъ какъ Шекспиръ восхищалъ его даже въ посредственныхъ и плохихъ переводахъ, и онъ съ жадностью собиралъ, читалъ и перечитывалъ ихъ. Что онъ немного вынесъ изъ уѣзднаго училища, хотя и пробылъ четыре мѣсяца даже во второмъ классѣ,—это всего яснѣе видно изъ того что онъ не имѣлъ почти никакого понятія о грамматикѣ и писалъ вовсе безъ орфографіи.

Несмотря на то, съ училища началось для Кольцова пробужденіе его интеллектуальной жизни: онъ началъ пристращаться къ чтенію. Получаемыя отъ отца деньги на игрушки онъ употреблялъ на покупку сказокъ, и «Бова Королевичъ» съ «Ерусланомъ Лазаревичемъ» составляли его любимѣйшее чтеніе. На Руси не одна одаренная богатой фантазіей натура, подобно Кольцову, начала съ этихъ сказокъ свое литературное образованіе. Охота къ сказкамъ всегда есть вѣрный признакъ въ ребенкѣ присутствія фантазіи и склонности къ поэзіи,—и переходъ отъ сказокъ къ романамъ и стихамъ очень естественъ: тѣ и другіе даютъ пищу фантазіи и чувству, съ той только разницей, что сказки удовлетворяютъ дѣтскую фантазію, а романы и стихи составляютъ потребность уже болѣе развитой и болѣе подружившейся съ разумомъ фантазіи. Но вотъ особенная черта, обнаружившаяся въ Кольцовѣ не только пассивную и воспринимашую, но и дѣятельную фантазію: читая сказки, онъ почувствовалъ охоту составлять самому что-нибудь въ ихъ родѣ. Но такъ-какъ тогда онъ еще не имѣлъ привычки повѣрять бумагѣ все, что ни приходило ему въ голову, то его неясныя самому ему авторскія порыванія и остались въ однѣхъ мечтахъ.

Десятилѣтній Кольцовъ взятъ былъ изъ училища отцомъ своимъ для того, чтобы помогать ему въ торговлѣ. Онъ бралъ его съ собой въ степи, гдѣ впродолженіе всего лѣта бродилъ его скотъ; а зимой посылалъ его съ приказчиками на базары для закупки и продажи товара. Итакъ, съ десятилѣтняго возраста Кольцовъ окунулся въ омутъ довольно грязной дѣйствительности; но онъ какъ будто и не замѣтилъ ея: его юной душѣ полюблилось широкое раздолье степи. Не будучи еще въ состояніи понять и оцѣнить торговой дѣятельности,

кипѣвшей въ этой степи,— онъ тѣмъ лучше понялъ и оцѣнилъ степь, и полюбилъ ее страстно и восторженно, полюбилъ ее какъ друга, какъ любовницу.

Степь раздольная
Далеко вокругъ,
Широко лежать,
Ковылемъ-травой
Разстилается!
Ахъ, ты степь моя,
Степь привольная,
Широко ты, степь,
Пораскинулась,
Къ Морю-Черному
Понадвинулась!

Многія пьесы Кольцова отзываются впечатлѣніями, которыми подарила его степь: «Косарь», «Могила», «Путникъ», «Ночлегъ Чумаковъ», «Цвѣтокъ», «Пора любви» и другія. Почти во всѣхъ его стихотвореніяхъ, въ которыхъ степь даже и не играетъ никакой роли, есть что-то степное, широкое, размашистое и въ колоритѣ и въ тонѣ. Читая ихъ, невольно вспоминаешь, что ихъ авторъ—сынъ степи, что степь воспитала его и взлелѣвала. И потому ремесло прасола не только не было ему неприятно, но еще и нравилось ему: оно познакомило его со степью и давало ему возможность цѣлое лѣто не разставаться съ ней. Онъ любилъ вечерній огонь, на которомъ варилась степная каша; любилъ ночлеги подъ чистымъ небомъ, на зеленой травѣ; любилъ иногда цѣлые дни не сѣздать съ коня, перегоняя стада съ одного мѣста на другое. Правда, эта поэтическая жизнь не была безъ неудобствъ и не безъ неудовольствій, очень прозаическихъ. Случалось цѣлые дни и недѣли проводить въ грязи, слякоти, на холодномъ осеннемъ вѣтру, засыпать на голой землѣ, подъ шумъ дождя, подъ защитой войлока или овчиннаго тулупа. Но привольное раздолье степи въ ясные и жаркіе дни весны и лѣта вознаграждало его за всѣ лишнія и тягости осени и бурной погоды.

Разставаясь со степью, Кольцовъ только мѣнялъ одно наслажденіе на другое: въ городѣ его ожидали сказки и товарищи. Симпатичная натура его рано открылась для любви и дружбы. Бывши еще въ училищѣ, онъ сблизился съ мальчикомъ, ровесникомъ ему по лѣтамъ, сыномъ богатаго купца. Стихотвореніе: «Ровеснику», написано Кольцовымъ, кажется, этому первому другу его юности. Сблизила его съ нимъ страсть къ чтенію, которая въ обоихъ ихъ была сильна. У отца пріятеля Кольцова было много книгъ, и друзья пользовались ими свободно, вмѣстѣ читая ихъ въ саду. Кольцовъ даже бралъ ихъ и на домъ. Правда, эти книги были не

что-нибудь дѣльное, а романы Дюкре-дю-Мениля, Августа Лафонтена и подобныхъ имъ; но если для впечатлительной, одаренной сильной фантазіей натуры и сказки о Бовѣ и Ерусаланѣ могли служить нравственнымъ будильникомъ,—то естественно, что эти романы еще болѣе не могли не быть ей полезными. Больше всего полюбились Кольцову изъ этихъ книгъ «Тысяча и одна ночь» и «Кадмъ и Гармонія» Хераскова, особенно первая. И не мудрено: арабскія сказки созданы для того, чтобы плѣнять и очаровывать впечатлительное воображеніе дѣтей и младенцевъ существующихъ народовъ. Тогда русскія простонародныя сказки потеряли для Кольцова всю свою цѣну: это былъ съ его стороны первый шагъ впередъ на пути развитія. Ему уже не хотѣлось сочинять сказокъ: романы овладѣли всѣмъ существомъ его и, разумѣется, у него родилось желаніе самому произвести что-нибудь въ этомъ родѣ; но это желаніе опять осталось при одной мечтѣ.

Такимъ образомъ между степью съ баранами и чтеніемъ съ пріятелемъ провелъ Кольцовъ три года. Въ это время ему суждено было въ первый разъ узнать несчастье: онъ лишился своего друга, умершаго отъ болѣзни. Горестъ Кольцова была глубока и сильна; но онъ не могъ не утѣшиться скоро, потому-что былъ еще слишкомъ молодъ, и въ немъ было слишкомъ много жизни, стремленія и отзыва на призывы бытія. Чтеніе сдѣлалось его прибѣжищемъ отъ горести и утѣшеніемъ въ ней. Послѣ его пріятеля ему осталось нѣсколько десятковъ книгъ, которыя онъ перечитывалъ на свободѣ, и въ городѣ, и въ степи. До сихъ поръ онъ не читалъ стиховъ и не имѣлъ о нихъ никакого понятія. Вдругъ нечаянно покупаетъ онъ на рынкѣ, за сходную цѣну, сочиненія Дмитріева. Въ восторгѣ отъ своей покупки бѣжитъ онъ съ нею въ садъ и начинаетъ пѣть стихи Дмитріева. Ему казалось, что стихи нельзя читать, но должно ихъ пѣть: такъ заключалъ онъ по пѣснямъ, между которыми и стихами не могъ тотчасъ же не замѣтить близкаго сходства. Гармонія стиха и рѣзые полюбилась Кольцову, хотя онъ и не понималъ, что такое стихъ и въ чемъ состоитъ его отличіе отъ прозы. Многія пьесы онъ заучилъ наизусть, и особенно понравился ему «Ермакъ». Тогда пробудилась въ немъ сильная охота самому слагать такіе же звучныя строфы съ приемами но у него не было ни матеріала для содержанія, ни умѣнія для формы. Однакожъ матеріалъ вскорѣ ему представился, и онъ по-своему воспользовался имъ для перваго опыта въ стихахъ. Тогда ему было 16 лѣтъ. Одному изъ

его пріятелей приснился странный сонъ, повторившійся три ночи сряду. Въ молодѣя лѣта всякій сколько-нибудь странный или необыкновенный сонъ имѣетъ для насъ таинственное и пророческое значеніе. Пріятель Кольцова былъ сильно пораженъ своимъ сномъ и разсказалъ его Кольцову, чѣмъ и произвелъ на него такое глубокое впечатлѣніе, что тотъ сейчасъ же рѣшился описать его стихами. Оставшись одинъ, Кольцовъ засѣлъ за дѣло, не имѣя никакого понятія о размѣрѣ и версификаціи; выбралъ одну пьесу Дмитріева и началъ подражать ей стиху. Первые стиховъ десятокъ достались ему съ большимъ трудомъ, остальные пошли легче, и въ ночь готова была пречудовищная пьеса, подъ названіемъ «Три Видѣнія», которую онъ потомъ истребилъ, какъ слишкомъ нецѣпный опытъ. Но какъ ни плохъ былъ этотъ опытъ, однакожъ онъ навсегда рѣшилъ поэтическое призваніе Кольцова: послѣ него онъ почувствовалъ рѣшительную страсть къ стихотворству. Ему хотѣлось и читать чужіе стихи, и писать свои, такъ что съ этихъ поръ онъ уже не охотно читалъ прозу, и сталъ покупать только книги, писанныя стихами. Такъ какъ въ Воронежѣ и тогда существовала небольшая книжная лавка, то на деньги, которые иногда давалъ ему отецъ, Кольцовъ скоро приобрѣлъ себѣ сочиненія Ломоносова, Державина, Богдановича. Онъ продолжалъ писать, стараясь подражать этимъ поэтамъ въ механизмѣ стиха; но вотъ горе: ему некому было показывать своихъ опытовъ, не съ кѣмъ было совѣтоваться на ихъ счетъ, а между тѣмъ совѣтникъ ему былъ необходимъ, — и онъ рѣшился обратиться за совѣтами къ воронежскому книгопродавцу, наивно предполагая, что кто торгуетъ книгами, тотъ знаетъ и толкъ въ книжномъ дѣлѣ, и принесъ ему «Три Видѣнія» и другія свои пьесы. Книгопродавецъ былъ человѣкъ необразованный, но не глупый и добрый; онъ сказалъ Кольцову, что его стихи кажутся ему дурными, хотъ онъ и не можетъ ему объяснить, почему именно; но что если онъ хочетъ научиться писать хорошо стихи, то вотъ поможетъ ему книжка: «Русская Просодія», изданная для воспитанниковъ благороднаго университетскаго пансіона». Видно, какой-то инстинктъ сказалъ этому книгопродавцу, что онъ видитъ передъ собою человѣка не совсѣмъ обыкновеннаго, и видно, его тронуло страстное юношеское стремленіе Кольцова къ стихотворству: онъ подарилъ ему «Русскую Просодію» и предложилъ ему безденежно давать книги для прочтенія. Нечего и говорить о радости Кольцова: онъ приобрѣлъ

книгу, которая должна посвятить его въ таинства стихотворства и дать ему возможность самому сдѣлаться поэтомъ, и сверхъ того у него очутилась подъ руками цѣлая бібліотека! Это было для него счастьемъ, блаженствомъ! Онъ избавился отъ необходимости перечитывать однѣ и тѣ же книги; цѣлый новый міръ открылся передъ нимъ, и онъ бросился въ него со всѣмъ жаромъ, со всей жадностью нестерпимаго голода, и безъ разбору пожиралъ чтеніемъ и хорошее, и дурное. Книги, которые ему особенно нравились, онъ, по прочтеніи, покупалъ, и его небольшая бібліотека скоро обогатилась сочиненіями Жуковскаго, Пушкина, Дельвига.

Такимъ образомъ въ раздольѣ этого чтенія и въ попыткахъ на стихотворство прошло пять лѣтъ. Кольцовъ достигъ семнадцатилѣтняго возраста, и тогда съ нимъ совершилось событіе, имѣвшее могущественное вліяніе на всю жизнь его. Мы уже говорили, что Кольцовъ принадлежалъ къ числу тѣхъ страстныхъ организацій, которыя рано открываются для всѣхъ симпатій сердца, для любви и дружбы въ особенности. До сихъ поръ это были чувства и привязанности хотя жаркія, но дѣтскія: теперь настала пора чувствъ и привязанностей другого рода. Въ семействѣ Кольцова вошла молодая дѣвушка, въ качествѣ служанки. Несмотря на низкое званіе, она получила отъ природы все, чѣмъ можно было потрясти въ основаніи такую сильную и поэтическую натуру, какова была натура Кольцова. И его чувство не осталось безъ отвѣта. Не знаемъ, долго ли продолжалась эта связь; но знаемъ, что она не была слабостью или легкимъ безотчетнымъ чувствомъ, впервые пробудившей потребностью молодой кипящей крови. Нѣтъ, это была страсть глубокая и сильная, вліяніе которой Кольцовъ чувствовалъ всю жизнь свою. Онъ не только любилъ, онъ уважалъ, свято чтить предметъ своей любви, въ которомъ нашелъ свой осуществленный идеалъ женщины, еще не мечтая объ идеалахъ и не ища ихъ. Но эта связь, составившая жизнь и блаженство молодого поэта, не нравилась его семейству и даже беспокоила его. Извѣстное дѣло, что въ этомъ сословіи первое задушевное желаніе отца состоитъ въ томъ, чтобы поскорѣе женить своего сына на какомъ-нибудь размазванномъ бѣлизнами, румянами и сурьмой болванѣ съ черными зубами и хорошимъ, соответственно состоянію семьи жениха, приданымъ. Связь Кольцова была опасна для этихъ мѣщанскихъ плановъ, не говоря уже о томъ, что въ глазахъ дикихъ невѣждъ, простодушно и грубо чуждыхъ

всякой поэзіи жизни, она казалась предсудительной и безнравственной. Надо было разорвать ее во что бы ни стало. Для этого воспользовались отсутствием Кольцова въ степь,—и когда онъ воротился домой, то уже не засталъ ее тамъ... Это несчастье такъ жестоко поразило его, что онъ схватилъ сильную горячку. Оправившись отъ болѣзни и призававши у родныхъ и знакомыхъ деньжонокъ, онъ бросился, какъ безумный, въ степи развѣдывать о несчастной. Сколько могъ, далеко ѣздилъ самъ, еще дальше посылалъ преданныхъ ему за деньги людей. Не знаемъ, долго ли продолжались эти розыски; только результатомъ ихъ было извѣстіе, что несчастная жертва варварскаго разсчета, попавшись въ донскія степи, въ казацкую станицу, скоро зачахла и умерла въ тоскѣ разлуки и въ мукахъ жестокаго обращенія...

Эти подробности мы слышали отъ самого Кольцова въ 1838 году. Несмотря на то, что онъ вспоминалъ горе, постигшее его назадъ тому болѣе десяти лѣтъ, лицо его было блѣдно, слова съ трудомъ и медленно выходили изъ его устъ и, говоря, онъ смотрѣлъ въ сторону и внизъ... Только одинъ разъ говорилъ онъ съ нами объ этомъ, и мы никогда не рѣшались болѣе спрашивать его объ этой исторіи, чтобъ узнать ее во всей подробности; это значило бы раскрывать рану сердца, которая и безъ того никогда вполне не закрывалась...

Эта любовь, и въ ея счастливую пору, и въ минуту ея несчастья, сильно подѣйствовала на развитіе поэтическаго таланта Кольцова. Онъ какъ будто вдругъ почувствовалъ себя уже не стихотворцемъ, одолаваемымъ охотой слагать разнѣренныя строчки съ римами, безъ всякаго содержанія, но поэтомъ, стихъ котораго сдѣлался отзывомъ на призывы жизни, грудъ котораго носила въ себѣ богатое содержаніе для поэтическихъ изліяній. Пьесы: «Если встрѣчусь съ тобой», «Первая любовь», «Къ ней» (Опять тоску, опять любовь), «Ты не пой, соловей», «Не шуми ты, рожь», «Къ Милой», «Примиреніе», «Міръ Музыки» и нѣкоторыя другія явно относятся къ этой любви, которая всю жизнь не переставала вдохновлять Кольцова. Natura Кольцова была крѣпка и здорова физически и нравственно. Какъ ни жестокъ былъ ударъ, поразившій его въ самое сердце, но онъ вынесъ его, не закрылъ глазъ своихъ на природу и жизнь, не оглохъ къ ихъ обаятельнымъ призывамъ, не ушелъ внутрь себя, не забился въ какія-нибудь сладковато-мистическія утѣшенія, какъ это дѣлаютъ послѣ несчастья нравственно-слабыя натуры. Нѣтъ, онъ всталъ свое горе съ собой,

бодро и мощно понесъ его по пути жизни, какъ дорогую, хотя и тяжкую ношу, не отказываясь въ то же время отъ жизни и ея радостей. Въ своемъ поэтическомъ призваніи увидѣлъ онъ вознагражденіе за тяжелое горе своей жизни и весь погрузился въ море поэзіи, читая и перечитывая любимыхъ поэтовъ, и по ихъ слѣдамъ пробуя самъ извлекать изъ своей души поэтическіе звуки, которыми она была переполнена. Къ тому же онъ уже не имѣлъ больше надобности носить свои стихотворенія на судъ къ книгопродавцу, потому-что нашелъ себѣ совѣтника и руководителя, какого давно желалъ и въ какомъ давно нуждался. И когда постигла его утрата любви, у него, какъ бы въ вознагражденіе за нее, остался другъ. Это былъ человекъ замѣчательный, одаренный отъ природы счастливыми способностями и прекраснымъ сердцемъ. Natura сильная и широкая, Серебрянскій, будучи семинаристомъ, рано почувствовалъ отвращеніе къ схоластикѣ, рано понялъ, что судьба назначила ему другую дорогу и другое призваніе, и, руководимый инстинктомъ, онъ самъ себѣ создалъ образованіе, котораго нельзя получить въ семинаріи. Въ его натурѣ и самой судьбѣ было много общаго съ Кольцовымъ, и ихъ знакомство скоро превратилось въ дружбу. Дружескія бесѣды съ Серебрянскимъ были для Кольцова истинной школой развитія во всѣхъ отношеніяхъ, особенно въ эстетическомъ. Для своихъ поэтическихъ опытовъ Кольцовъ нашелъ себѣ въ Серебрянскомъ судью строгаго, безпристрастнаго, со вкусомъ и тактомъ, знающаго дѣло. Въ посланіи къ нему (написанномъ неизвѣстно въ которомъ году—должно быть между 1827 и 1830) Кольцовъ говоритъ:

Вотъ мой досугъ; въ немъ умъ твой строгій
Найдетъ ошибокъ слишкомъ много:
Здѣсь каждый стихъ—чай грѣшный бредъ.
Что жъ дѣлать! Я—такой поэтъ,
Что на Руси смѣшнее нѣтъ.
Но не щади ты недостатки,
Замѣть, что требуетъ поправки.

Это посланіе вполне обнаруживаетъ взаимныя отношенія обоихъ друзей и какъ важенъ былъ Серебрянскій для развитія таланта Кольцова. Въ самомъ дѣлѣ, только съ тѣхъ поръ, какъ онъ сошелся съ Серебрянскимъ, и прежнія его стихотворенія, и вновь написанныя достигли той степени удовлетворительности, что стали годиться для печати. Одни изъ нихъ онъ поправлялъ по совѣту Серебрянскаго, а насчетъ удававшихся сразу былъ спокоенъ, опираясь на его одобреніе. Но не долго пользовался Кольцовъ совѣтами своего друга. Серебрянскому надо было избрать себѣ до-

рогу, и не столько по влеченію, сколько по расчету поприще врача онъ предпочелъ другимъ, чтобы не отчаяваться въ будущемъ, по крайней мѣрѣ, въ кускѣ хлѣба, и поступить въ московскую медико-хирургическую академію.

Какъ бы то ни было, но поэтическое призваніе Кольцова было рѣшено и сознано имъ самимъ. Непосредственное стремленіе его натуры преодолѣло всѣ препятствія. Это былъ поэтъ по призванію, по натурѣ, — и препятствія могли не охладить, а только дать его поэтическому стремленію еще болѣшую энергію. Прасолъ, верхомъ на лошади гоняющій скотъ съ одного поля на другое; по колѣни въ крови присутствующій при рѣзаніи или, лучше сказать, при бойкѣ скота; приказчикъ, стоящій на базарѣ у воевъ съ саломъ — и мечтающій о любви, о дружбѣ, о внутреннихъ поэтическихъ движеніяхъ души, о природѣ, о судьбѣ человѣка, о тайнахъ жизни и смерти, мучимый и скорбями растерзаннаго сердца, и умственными сомнѣніями, и въ то же время дѣятельный членъ дѣйствительности, среди которой поставленъ, смышленный и бойкій русскій торговецъ, который продаетъ, покупаетъ, бранится и дружится Богъ знаетъ съ кѣмъ, торгуется изъ копейки и пускаетъ въ ходъ всѣ пружины мелкаго торгашества, которыхъ внутренно отражается какъ мерзости: какая картина, какая судьба, какой человѣкъ!.. Возвращаясь домой, онъ встрѣчаетъ не ласку, не привѣтъ, а грубое невѣжество, которое никакъ не можетъ простить ему того, что онъ хочетъ быть человекомъ и въ этомъ отношеніи уже рѣзко отличился отъ невѣжественныхъ животныхъ въ человѣческомъ образѣ. Но у него есть книги,

Много думъ въ головѣ,
Много въ сердцѣ огня! —

и онъ закрываетъ глаза на грязную дѣйствительность, не замѣчаетъ презрѣнія, не видитъ ненависти. Презрѣніе, ненависть!.. За что же?.. Кому онъ сдѣлалъ зло, кого обидѣлъ? Не жертвуетъ ли онъ лучшими своими чувствами, благороднѣйшими своими стремленіями этой грязной и сальной дѣйствительности, чтобы тяжкимъ трудомъ и скучными хлопотами въ чуждой ему сферѣ способствовать матеріальному благосостоянію своего семейства? Но, увы! удивляться этому презрѣнію и этой ненависти безъ причины — значить не знать людей. Сойдитесь съ пьяницей, сами оставаясь трезвымъ человекомъ: онъ не возлюбитъ васъ. Неряха никогда не проститъ вамъ опрятности, низкопоклонникъ — благородной гордости, негодяй — честности. Но еще болѣе невѣжество не проститъ вамъ ума и стремленія

къ образованности. И какъ простить! Не желая оскорблять его, будучи съ нимъ ласковы и обязательны, вы все-таки унижаете его вашимъ достоинствомъ, вы — живой упрекъ ему! И если это невѣжество — пожилой, почтенный человѣкъ, ничего неумѣющій дѣлать, а вы — юноша, который и въ житейскихъ дѣлахъ превосходитъ его способностью и соображеніемъ, тогда онъ лютый, непримиримый врагъ вашъ. Онъ воспользуется вашими углубами, выжметъ васъ насухо, какъ апельсинъ, а потомъ растопчетъ ногами и выброситъ за окно, видя, что вы уже больше не нужны ему...

Слухъ о самородномъ талантѣ Кольцова дошелъ до одного молодого человѣка, одного изъ тѣхъ замѣчательныхъ людей, которые не всегда бываютъ извѣстны обществу, но благоговѣйные и таинственные слухи о которыхъ переходятъ иногда и въ общество изъ тѣснаго кружка близкихъ къ нимъ людей. Это былъ Станкевичъ, сынъ воронежскаго помѣщика, бывшій въ то время въ Московскомъ университетѣ и пріѣзжавшій на каникулы въ свою деревню, а оттуда иногда и въ Воронежъ. Станкевичъ познакомился съ Кольцовымъ, прочелъ его опыты и одобрилъ ихъ. Въ 1831 году Кольцовъ, по дѣламъ отца своего, пріѣхалъ въ Москву и черезъ Станкевича приобрѣлъ тамъ нѣсколько новыхъ знакомствъ, впоследствии довольно важныхъ для него. Въ это время двѣ или три пьески его были напечатаны съ его именемъ въ одномъ впрочемъ довольно плохомъ московскомъ журналѣ. Для Кольцова, не смѣшаго вѣрить въ свой талантъ, это было лестно и пріятно. Впоследствии Станкевичъ предложилъ ему на свой счетъ издать его стихотворенія. Это намѣреніе было выполнено въ 1835 году. Изъ довольно увѣсистой и толстой тетради Станкевичъ выбралъ 18 пьесъ, показавшихся ему лучшими, и напечаталъ ихъ въ маленькой опрятной книжкѣ, которая доставила Кольцову болѣшую извѣстность въ литературномъ мірѣ. Правда, тутъ больше всего дѣйствовало волшебное слово поэтъ-самоучка, поэтъ-прасолъ, — и будь эти 18 стихотвореній изданы какъ произведенія человѣка хотя бы и крестьянскаго званія по рожденію, но кончившаго курсъ въ университетѣ и уже служившаго чиновникомъ въ департаментѣ, — на нихъ не обратили бы такого вниманія. Но надо и то сказать, что въ этой книжкѣ видно было больше обѣщаніе въ будущемъ сильнаго таланта, нежели сильный талантъ въ настоящемъ.

1836-й годъ былъ эпохой въ жизни Кольцова. По дѣламъ отца своего онъ долженъ былъ побывать въ Москвѣ и Петербургѣ и пробыть довольно долгое время въ обѣихъ

столицахъ. Въ Москвѣ онъ коротко сблизился съ однимъ молодымъ литераторомъ, съ которымъ познакомился еще въ первый приѣздъ свой въ Москву. Новый пріятель познакомилъ его со многими московскими литераторами. Эти знакомства обогатили его книгами, потому что почти каждый литераторъ спѣшилъ дарить его своими сочиненіями и изданіями. Такимъ образомъ бібліотека его въ короткое время значительно умножилась. Что же касается до чести знакомства со всѣми литературными знаменитостями, большими и малыми, — то нельзя сказать, чтобы Кольцовъ добивался ея или слишкомъ дорожилъ ею. Съ одной стороны онъ былъ скромнѣе и робокъ, а съ другой — въ немъ сильно было чувство своего достоинства, и потому онъ не любилъ быть на выставкѣ. По чувству деликатности и благодарности онъ позволялъ принимавшимъ въ немъ участіе людямъ развозить его по литературнымъ знаменитостямъ, но игралъ тутъ болѣе пассивную, нежели дѣятельную роль. Онъ никакъ не могъ убѣдиться, чтобы онъ, по своимъ достоинствамъ, имѣлъ право на вниманіе чуждыхъ ему людей. Представлялся кому бы то ни было въ качествѣ таланта или литературной рѣдкости ему было и неловко, и больно. Притомъ же Кольцовъ былъ очень проникателенъ и имѣлъ много такту: онъ очень хорошо понималъ и видѣлъ, что одни принимали его, какъ диковинку, смотрѣли на него, какъ смотрятъ на заморскаго звѣря, на великана, на карлика; что другіе, снисходя до равенства въ обращеніи съ нимъ, были въ восторгѣ отъ своей просвѣщенной готовности уважать талантъ даже и въ мѣщанинѣ; и что только слишкомъ немногіе протягивали ему руку съ участіемъ и искренностью. Нѣкоторые смотрѣли на него съ чувствомъ своего достоинства и говорили съ нимъ тономъ покровительства; а нѣкоторые только изъ вѣжливости не оборачивались къ нему спиной. Все это онъ очень хорошо видѣлъ и понималъ. Одинъ знаменитый московскій литераторъ обошелся съ нимъ очень сухо, хотя и вѣжливо; потомъ, встрѣтившись съ молодымъ литераторомъ, который представилъ ему Кольцова, началъ надъ нимъ подшучивать: «Что-де вы нашли въ этихъ стишонкахъ, какой тутъ талантъ? Да это просто ваша мистификація: вы сами сочинили эту книжку ради шутки». Другой, тоже очень извѣстный литераторъ, не нашелъ ничего поэтическаго въ наружности, манерахъ и словахъ Кольцова, а, напротивъ, увидѣлъ въ немъ очень положительнаго человѣка, изъ чего и заключилъ, что у него не можетъ быть таланта... Это послѣднее заключеніе осо-

бенно замѣчательно: такъ судить толпа о поэтѣ! Не находя въ себѣ довольно способности, чтобъ изъ сочиненій поэта удостоверить въ его талантѣ, — она требуетъ отъ него, чтобъ онъ показывался передъ ней не иначе, какъ въ поэтическомъ мундирѣ, т. е. съ кудрями до плечъ, съ вдохновеннымъ взоромъ, съ восторженной рѣчью, съ поэтическимъ опьяненіемъ или безуміемъ въ манерахъ и движеніяхъ. Тогда ей легко признать его поэтомъ. Но, увы! Кольцовъ нисколько не подходилъ подъ этотъ идеалъ поэта: онъ былъ слишкомъ уменъ, слишкомъ хорошо зналъ жизнь и людей, чтобы играть глупенькую и пошленькую роль энтузіаста. Онъ не любилъ обращать на себя вниманіе и думалъ, что въ обществѣ особенно должно держать себя прилично, быть просто человѣкомъ, какъ всѣ, а не гениемъ, не поэтомъ. Онъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ глупцовъ, которые думаютъ, что если имъ удалось скропать порядочную статейку, повѣстку или десятокъ стихотвореній, то всѣ должны почитать за счастье видѣть ихъ, и что кому они протянули свою руку, тотъ долженъ быть безъ ума отъ радости. Кольцовъ не былъ скорѣе ни на знакомства, ни на дружбу. Когда онъ видѣлъ съ чьей-нибудь стороны слишкомъ много ласки къ нему, это пугало его и заставляло быть осторожнымъ. Онъ никакъ не могъ думать, чтобы въ немъ было что-нибудь особенное, за что нельзя было не любить его. «Что я ему? Что такое во мнѣ?» — говаривалъ онъ въ такихъ случаяхъ. Но когда онъ сходилъ съ человѣкомъ, когда увѣрялся, что тотъ не изъ прихоти, а дѣйствительно расположенъ къ нему, и что онъ самъ можетъ платить ему тѣмъ же, — тогда раскрывалъ онъ свою душу, и на его преданность можно было положиться, какъ на каменную гору. Онъ умѣлъ любить, глубоко чувствовалъ потребность дружбы и любви и, какъ немногіе, былъ способенъ къ нимъ; но не любилъ шутить ими...

Однакожъ знакомства съ литературными знаменитостями были для него не безъ пріятности. Когда онъ освобождался отъ замѣшательства пераго представленія и сколько-нибудь осваивался съ новымъ лицомъ, оно интересовало его. Говоря мало, глядя немножко исподлобья, онъ все замѣчалъ, и едва ли что ускользало отъ его проникательности, — что было ему тѣмъ легче, что каждый готовъ былъ видѣть въ немъ скорѣе замѣшательство и нелюдимость, нежели проникательность. Ему любопытно было видѣть себя въ кругу тѣхъ умныхъ людей, которые издалика казались ему существами высшаго рода; ему интересно бы-

лю слышать ихъ умныя рѣчи. Много-ли наслушался онъ ихъ, объ этомъ мы кое-что слышали отъ него впоследствии...

Въ Петербургѣ Кольцовъ познакомился съ княземъ Одоевскимъ, съ Пушкинымъ, Жуковскимъ и княземъ Вяземскимъ, былъ хорошо ими принятъ и обласканъ. Съ особеннымъ чувствомъ вспоминалъ онъ всегда о радушномъ и тепломъ приѣмѣ, который оказалъ ему тотъ, кого онъ съ трепетомъ готовился увидѣть, какъ божество какое-нибудь—Пушкинъ. Почти со слезами на глазахъ рассказывалъ намъ Кольцовъ объ этой торжественной въ его жизни минутѣ. Кто познакомился въ Петербургѣ съ первыми литературными знаменитостями, тому ничего не стоитъ перезнакомиться съ второстепенными. Сперва онъ и здѣсь больше все молчалъ и наблюдалъ, но потомъ, смекнувъ дѣломъ, давалъ волю своей ироніи... О, какъ бы удивились многіе изъ фельетонныхъ и стихотворныхъ рыцарей, еслибы могли догадаться, что этотъ мужичокъ, котораго они думали импонировать своей литературной важностью, видитъ ихъ насквозь и умѣетъ настоящимъ образомъ цѣнить ихъ таланты, образованность и ученость...

Въ 1838 году Кольцовъ опять былъ по дѣламъ въ Москвѣ и Петербургѣ. Въ этотъ разъ онъ особенно долго жилъ въ Москвѣ и до отъѣзда въ Петербургъ, и по возвращеніи изъ него, и жизнь въ Москвѣ особенно полюбилась ему. Постоянно-пріятное расположеніе духа было причиной, что онъ написалъ въ это время много хорошаго. Возвращеніе домой было для него довольно грустно. Онъ вдругъ почувствовалъ, что есть другой міръ, который ближе къ нему и сильнѣе манитъ его къ себѣ, нежели міръ воронежской и степной жизни. Имъ овладѣло чувство одиночества, которое преодолевалось въ немъ только любовью къ природѣ и чтеніемъ. Вотъ что писалъ онъ объ этомъ къ одному изъ своихъ московскихъ пріятелей: «Въ Воронежѣ я пріѣхалъ хорошо; но въ Воронежѣ жить мнѣ противу прежняго вдвое хуже: скучно, грустно, бездомно въ немъ. И все какъ-то кажется то же, а не то. Дѣла коммерціи безъ меня разстроились порядочно, новыхъ непріятностей куча, что день—то горе, что шагъ—то напасть. Но, слава Богу, какъ-то я всѣ ихъ переношу теперь терпѣливо, и онѣ сдѣлались для меня будто предметами посторонними и до меня почти не касающимися. На душѣ тепло, покойно. Хорошее гѣто, славная погода, синее небо, свѣтлый день, вечерняя тишь — все прекрасно, чудесно, очаровательно,—и я жизнью живу и тону своей душой въ удовольствіяхъ на-

шего гѣта. Благодарю васъ, благодарю всѣхъ вашихъ друзей. Вы и они много для меня сдѣлали; о, слишкомъ много, много! Эти послѣдніе два мѣсяца стоили для меня пяти лѣтъ воронежской жизни. Я теперь гляжу на себя, и не узнаю. Словесностью занимаюсь мало, читаю немного — некогда, въ головѣ дрянъ такая набита, что хочется плюнуть; матеріализмъ дрянной, гадкій, и виѣстѣ съ тѣмъ необходимый. Плавай, голубчикъ, на всякой водѣ, гдѣ велитъ дѣла житейскія; нырай и въ тинѣ, когда надобно нырять; гинь въ дугу и стой прямо въ одно время. И я все это дѣлаю теперь даже съ охотой. Новаго не написать ничего—некогда. Воронежъ принялъ меня противу прежняго въ десять разъ радушнѣе; я благодаренъ ему. До меня люди выдумали, будто я въ Москвѣ женился; будто въ Питерѣ уѣхалъ навсегда жить; будто меня оставили въ Питерѣ стихи писать. И всѣ встрѣчаются со мной, и такъ любопытно глядятъ, какъ на заморскую чучелу. Я сгорача немного посердился на нихъ за это; но подумалъ,—и вышло, что я былъ глупъ. На людей сердиться нельзя, и требовать строго отъ нихъ нельзя; кривое дерево не разогнешь прямо, а въ глѣсу больше кривого и суковатаго, чѣмъ ровнаго. Люди правы: они судятъ по своему. Спасибо и за это, и мнѣ они нравятся въ этихъ странностяхъ. Старикъ-отецъ со мной хорошъ; любитъ меня болѣе за то, что дѣло хорошо кончилось: онъ всегда такія вещи очень любитъ. Степъ опять очаровала меня, я чортъ знаетъ до какого забвенія любовался ею. Какъ она хороша показалась, и я съ восторгомъ глѣлъ: Пора Любви—она къ ней идетъ. Только это чувство было другого совсѣмъ рода; послѣ мнѣ стало на ней скучно. Она хороша на минуту, и то не одному, а самъ-другъ, и то не надолго. Къ ней пріѣхалъ погостить—и въ городъ, въ столицу, въ кипятокъ жизни, въ борьбу страстей! А то она сама-по-себѣ слишкомъ однообразна и молчалива. Серебрянскій доѣхалъ до двора, но очень боленъ; кажется, проживетъ не болѣе мѣсяцевъ двухъ, а можетъ я ошибаюсь. Съ моими знакомыми расхожусь по-маленьку, наскучили мнѣ ихъ разговоры пошлые. Я хотѣлъ съ пріѣзда увѣрить ихъ, что они криво смотрятъ на вещи, ошибочно понимаютъ; толковалъ такъ и такъ. Они надо мной смѣются, думаютъ, что я несу имъ вздоръ. Я повернулъ себя отъ нихъ на другую дорогу; хотѣлъ ихъ научить — да ба! — и вотъ какъ съ ними поладить: все ихъ слушаю, думая самъ-про-себя о другомъ; всѣхъ ихъ хвалю во всю мочь; всѣ они у меня люди умные, ученые, прекрас-

ные поэты, философы, музыканты, живописцы, образцовые чиновники, образцовые купцы, образцовые книгопродавцы; и они стали мной довольны; и я самъ-про-себя смѣюсь надъ ними отъ души. Такимъ образомъ все идетъ ладно; а то что въ самомъ дѣлѣ изъ ничего наживать себѣ дураковъ-враговъ. Ужъ видно, какъ кого Господь умудрилъ, такъ онъ съ своей мудростью и умретъ».

Въ этомъ письмѣ весь Кольцовъ. Такъ писалъ онъ всегда и почти такъ говорилъ. Рѣчь его была всегда нѣсколько вычурна, языкъ не отличался опредѣленностью, но зато поражалъ какой-то наивностью и оригинальностью. Тогдашнее состояніе души его выражено въ этомъ письмѣ вѣрнѣе, нежели какъ можетъ-быть думать онъ самъ. Глазамъ его открылся другой міръ; воронежская жизнь сдѣлалась скучна; только прекрасная пора лѣта составляла всю его отраду, онъ любилъ еще степь, но уже не такъ, какъ прежде: въ первый разъ понялъ онъ, что она однообразна, что на ней весело быть на минуту и то не одному... И такъ кончилась эпоха непосредственной жизни. Прошедшее спало съ цѣны, настоящее стало грустно, и взоры невольно начали обращаться на будущее. Препятствія знакомства, дотогѣ сносныя и, можетъ-быть, даже пріятныя, сдѣлались невыносимы, и тѣ-же люди явились въ другомъ свѣтѣ. Все родное Кольцова было уже не въ опустѣломъ для него Воронежѣ, а въ Москвѣ, и туда стремились всѣ думы его. Въ семействѣ своемъ онъ горячо любилъ младшую сестру, и между ними существовала самая тѣсная дружба. Кольцовъ видѣлъ въ сестрѣ много хорошаго, уважалъ ея вкусъ и часто совѣтовался съ ней насчетъ своихъ стихотвореній,—словомъ, дѣлился съ ней своей внутренней жизнью. Вѣря въ ея къ нему задушевное расположение, онъ дѣлалъ для нея все, что могъ. Настоятельностью, просьбами, лестью, всякими хитростями онъ склонилъ своего отца купить ей фортепіано и нанялъ учителя музыки и французскаго языка. Новые связи и отношенія, новый міръ, открывшійся ему, не ослабилъ этой дружбы, хотя одной ея ему было уже мало, и сердце его рвалось вдалѣ. Натура Кольцова была не только сильна, но и нѣжна; онъ не вдругъ привязывался къ людямъ, сходилъ съ ними недовѣрчиво, сближался медленно; но когда уже отдавался имъ, то отдавался весь. Это имѣло для него гибельныя слѣдствія въ отношеніи къ нѣкоторымъ привязанностямъ: предательство, вѣроломство, низкія интриги особы, которой онъ былъ преданъ безусловно и которая казалась ему также пре-

данной, были для него страшнымъ ударомъ. Онъ все на свѣтѣ могъ перенести, кромѣ этого, и кошачья лапка имѣла силу ранить его сильнѣе львиной лапы. Горячо любилъ онъ также своего маленькаго брата, но тотъ давно уже умеръ, къ его крайнему прискорбію. Съ отцомъ онъ былъ всегда на политическихъ отношеніяхъ, которыя и въ размолокѣ, и въ мирѣ были борьбой. Тутъ старые предразсудки и невѣжество явно и тайно боролись съ смѣлымъ умомъ и стремленіемъ къ свѣту. Счастливое окончаніе нѣкоторыхъ важныхъ для благосостоянія семейства дѣлъ и лестное вниманіе В. А. Жуковскаго къ Кольцову,—вниманіе, которому свидѣтелемъ былъ весь Воронежъ въ 1837 году, способствовали наружному миру и согласію между отцомъ и сыномъ. Къ тому-же сынъ былъ еще необходимъ для отца: на немъ лежали всѣ торговыя дѣла, на него переведены были всѣ долги, всѣ векселя и обязательства; на его дѣятельности, его умѣніи и ловкости вести дѣла лежала участь цѣлаго дома, который былъ въ такомъ положеніи, что еще нѣсколько счастливо преодоленныхъ препятствій—и его благосостояніе совершенно упрочивалось; но въ случаѣ неуспѣха должно было слѣдовать конечное разореніе.

Еслибы Кольцовъ принялся за дѣла, будучи лѣтъ 18-ти, не раньше, навѣрное можно сказать, что онъ съ ними никакъ бы не освоился, и его поэтическая натура съ ужасомъ и омерзѣніемъ отворотилась бы отъ этой грязной дѣйствительности. Но онъ понемногу и незамѣтно для самого себя освоился съ ними съ дѣтства; эта дѣйствительность украдкой подошла къ нему и овладѣла имъ прежде, нежели онъ былъ въ состояніи увидѣть ея безобразіе. Самъ не зная какъ, втянулся онъ въ дѣла мелкаго торгашества, тѣмъ легче, что они не отнимали же у него вовсе возможности предаваться чтенію, мечтамъ, природѣ и поэзіи. Онъ же такъ полюбилъ степь! На ней началось его изученіе дѣйствительности и людей, и борьба съ ними; здѣсь была его школа жизни. Тутъ случались съ нимъ обстоятельства не только непріятныя, даже страшныя. Разъ, въ степи, одинъ изъ работниковъ за что-то такъ озлобился на него, что рѣшился его зарѣзать. Намекнули-ли объ этомъ Кольцову со стороны, или онъ самъ догадался; но медлить было нельзя, а обыкновенными средствами защищаться невозможно. Надобно было рѣшиться на трагико-комедію, и Кольцова достало на нее. Будто ничего не подозрѣвая и не замѣчая, онъ сталъ съ мужикомъ необыкновенно любезенъ, досталъ вина, пилъ съ нимъ и братался. Этимъ опасность была

отстранена, потому-что русскаго мужика такъ же можно и отвести отъ убійства, какъ и навести на него. Только по возвращеніи въ Воронежъ Кольцовъ снялъ съ себя маску передъ отчаяннымъ удалцомъ, требовавшимъ разсчета. При этомъ разсчетѣ, продолжавшемся очень долго, злодѣй имѣлъ причину и время раскаться въ своемъ умыслѣ, а можетъ-быть и въ томъ, что не удалось ему его выполнить... Вотъ міръ, въ которомъ жилъ Кольцовъ, вотъ борьба, которую онъ велъ съ дѣйствительностью!... Не съ одними волками, которые стадами слѣдили за стадами барановъ, приходилось вести ожесточенную войну...

Около этого времени, т. е. послѣдней поѣздки его въ Москву, къ прочимъ хлопотамъ Кольцова присоединилась еще постройка новаго дома, который, по величинѣ своей, долженъ былъ давать около семи тысячъ ассигнаціями ежегоднаго дохода. Къ несчастію, не одинъ онъ былъ наслѣдникомъ этого дома,—обстоятельство, которое впоследствии дорого ему стоило... Всѣ эти дѣла онъ велъ и ладилъ, и чрезъ два года довелъ на свою погибель до желаннаго конца... Но въ это время они начали тяготить его, и въ немъ все больше и больше усиливалось отвращеніе къ нимъ. Это не было слѣдствиемъ пошлаго идеальничанья, которое любить одни облака и не любить земли; нѣтъ, тутъ былъ другой, благороднѣйшій источникъ. Кольцовъ полагалъ большое различіе между купцомъ-капиталистомъ, которому не только необходимо, даже выгодно быть честнымъ, потому-что честность даетъ кредитъ, а безъ кредита большая торговля невозможна,—и между мелкимъ торговцемъ, котораго положеніе всегда скользко, ненадежно, неопредѣленно, который всегда принужденъ вертѣться ужомъ и жабой, кланяться, подличать, божиться, натягивать всѣми правдами и неправдами... Кольцовъ не боялся дѣла, но не любилъ низости и грязи. Волей и неволей былъ онъ съ дѣтства завербованъ въ эту грязную дѣятельность; запряженный разъ, терпѣливо тащилъ свою вошу въ надеждѣ будущихъ благъ; но по-временамъ эта ноша доводила его до отчаянія. Съ послѣдней поѣздки въ Москву эти минуты унынія, апатіи и тоски стали являться чаще. Одна надежда облегчала ихъ. По отстройкѣ дома онъ думалъ сдать отцу приведенныя имъ въ порядокъ дѣла по степи, а самому заняться присмотромъ за домою и открытѣ въ немъ книжную лавку. Это значило бы для него примирить потребности своей натуры съ внѣшней дѣйствительностью. Но, при всемъ своемъ знаніи жизни и людей, Кольцовъ жестоко обра-

чивался въ своей надеждѣ... Но пока надо было жить, какъ судьба хотѣла. Слѣдующія строки изъ письма его къ одному изъ знакомыхъ ему петербургскихъ литераторовъ, писанныя еще 1836 году, представляютъ яркую картину его занятій: «Батинька два мѣсяца въ Москвѣ, продаетъ быковъ; дома я одинъ, дѣлъ много. Покупаю свиней, становлю на винный заводъ на барду; въ рошѣ рублю дрова; осенью пахалъ землю; на скорую руку ѣзжу въ села; дома по дѣламъ хлопочу съ зари до полноты». Но тогда онъ не жаловался, а черезъ два года писалъ въ Москву къ пріятелю: «Писать къ вамъ хочется, а ничего нейдетъ изъ головы. Плохо что-то моя голова сдѣлалась въ Воронежѣ, одурѣла вовсе, и самъ не знаю отъ чего—не то отъ этихъ дѣлъ торговыхъ, не то отъ пережѣны жизни. Я было такъ привыкъ быть у васъ и съ вами, такъ забылся для всего другого; а тутъ вдругъ все надобно позабыть, дѣлать другое, думать о другомъ—нѣдъ и дѣла торговые тоже сами не дѣлаются тоже кой-о-чемъ надобно подумать. Такъ одряхлѣлъ, такъ отяжелѣлъ: право, боюсь, чтобъ мнѣ не сдѣлаться вовсе человѣкомъ матеріальнымъ. Боже избави! ужъ это будетъ весьма рано; не хотѣлось бы это слышать отъ самого себя. Что-то скажетъ осень. Кажется, у ней будетъ для меня больше свободнаго времени—посмотримъ. Стройка дома безъ меня и дѣла торговые у отца шли дурно. Теперь, слава Богу, плыветъ ровнѣе. Съ отцомъ живемъ хорошо, ладно—и лучше. Онъ ко мнѣ больше имѣетъ уваженія теперь, нежели прежде, а все виною хорошаго конца дѣла. Онъ эти вещи очень любитъ, и хорошо дѣлаетъ: ему старику это идетъ».—Мѣсяца черезъ два онъ писалъ къ тому же лицу: «Хотѣлось бы писать къ вамъ совсѣмъ не такъ, какъ пишу теперь; но что жъ прикажете дѣлать, когда дѣла дьявольски работаютъ со мною. Бойка скота, стройка дома, туда, сюда—ажъ на душѣ тошнить, такъ хорошо мнѣ жить!—Серебрянскій умеръ. Да, лишился я человѣка, котораго любилъ столько лѣтъ душой и котораго потерю горько оплакиваю. Много желаній не сбылось, много надеждъ не исполнилось—проклятая болѣзнь! Прекрасный міръ прекрасной души, не высказавшись, сокрылся навсегда. Да, внѣшнія обстоятельства могутъ подавить и великую душу человѣка, если они непрерывно тяготятъ ее, и когда противу нихъ защиты нѣтъ. На плодотворной почвѣ земли хорошо удобрить человѣкъ свою ниву, посѣять хлѣбъ; но не соберетъ плода, если хлѣбъ выжжетъ корень, роса зари ему не помочъ—ей нуженъ въ пору дождь. А

этой-то земной благодати и капли не сошло на его жизнь; нужда и горе сокрушили тѣло страдальца. Грустно думать, былъ нѣкогда, недавно даже, милый человѣкъ—и нѣтъ его, и не увидишь никогда, и все кругомъ тебя молчатъ, и самый зовъ свиданія мретъ безотвѣтно въ безчувственной дали». Интересны и слѣдующія строки изъ одного письма Кольцова, какъ живое свидѣтельство того, что значили для этой симпатической натуры дружескія связи и отношенія: «Не было еще мучительнѣе въ жизни моей состоянія, какъ въ прошломъ годѣ. Плохое, мучительное дѣло: больной Серебрянскій—смерть его все довершила. Скажите, въ одну минуту разломить, что крѣпло нѣсколько лѣтъ—моя любовь къ нему, прекрасная душа его, желанія, мечты, стремленія, ожиданія, надежды на будущее—и все вдругъ! Вмѣстѣ мы съ нимъ росли, вмѣстѣ читали Шекспира, думали, спорили. И я такъ много былъ ему обязанъ, онъ черезчуръ меня баловалъ. Вотъ почему я онѣмѣлъ было совсѣмъ, и всему хотѣлъ сказать: прощай! и еслибы не вы, я все бы потерялъ навсегда. Вѣдь меня не очень увлекала и увлекаетъ блестящая толпа; сходка, общество людей—конечно хорошо, но если есть человѣкъ, то такъ; а безъ него толпа немного даетъ. Опять я такой человѣкъ, которому надобны сильныя потрясенія; иначе я—ноль. Никто меня не уничтожить съ другой душой, а собственно мою уничтожить всякій».

Такимъ образомъ прошелъ для Кольцова и еще годъ, и горизонтъ его жизни все гуще заволакивался тучами. Свѣтлыя минуты навѣщали его все рѣже и рѣже. «Пророчески угадали вы мое положеніе (писалъ онъ въ 1840 году въ Петербургъ, къ пріятелю); у меня у самого давно уже лежитъ на душѣ грустное это сознаніе, что въ Воронежѣ долго мнѣ не сдобровать. Давно живу я въ немъ и гляжу вонъ, какъ звѣрь. Тѣсенъ мой кругъ, грязенъ мой міръ, горько жить мнѣ въ немъ, и я не знаю, какъ я еще не потерялся въ немъ давно. Какая-нибудь добрая сила невидимо поддерживаетъ меня отъ паденія. И если я не перемѣню себя, то скоро упаду; это неминуемо, какъ дважды-два четыре. Хотя я и отказалъ себѣ во многомъ и частью, живя въ этой грязи, отрѣшилъ себя отъ ней, но все-таки не совсѣмъ, но все-таки я не вышелъ изъ нея». Въ это время Кольцову было сдѣлано изъ Петербурга предложеніе принять управленіе книжной лавкой, основанной на акціяхъ. Другое предложеніе было сдѣлано ему А. А. Краевскихъ—принять на себя завѣдываніе конторой «Отечественныхъ Записокъ». Первое

предложеніе было ему совершенно не по душѣ. Сумма акцій была незначительна, а онъ былъ убѣжденъ, что начинать какую бы то ни было торговлю можно только съ большимъ капиталомъ, и что иначе поневогѣ выйдетъ или разореніе, или не торговля, а торгашество со всѣми его продѣлками, при одной мысли о которыхъ ему дѣлалось гадко. Кромѣ того ему ни того, ни другого предложенія нельзя было принять еще и потому, что, по причинѣ долга въ 20,000, векселя котораго были сдѣланы на его имя, онъ не могъ выѣхать изъ Воронежа противъ воли отца. Разъ какъ-то Кольцовъ зажилъ въ Москвѣ, и только-что пріѣхалъ домой, какъ его зовутъ въ полицію по векселю въ 3,000 рублей. Опоздай онъ нѣсколькими днями, и вексель былъ бы посланъ въ Москву, гдѣ онъ не имѣлъ бы никакой возможности расплатиться по немъ. И это было бы дѣломъ отца его. «Онъ человѣкъ простой, купецъ, спекулянтъ, вышелъ изъ ничего, вѣкъ рождь молотилъ на обухѣ. Такъ его грудь такъ черства, что его на все достанетъ для своей пользы и для своей торговли. Настоящій купецъ устраиваетъ одни свои дѣла, а есть-ли польза отъ нихъ другимъ—ему и дѣла нѣтъ, и онъ что только съ рукъ сойдетъ, все дѣлать во всякую пору готовъ. Мнѣ отъ него и такъ достается довольно. Чуть маломальски что не такъ, ворчитъ и сердится: вы, говорить, все по-книжному, да по-печатному, народъ грамотный—ума палата». —Далѣе: «Вы боитесь за меня, чтобъ я скоро не потерялся. Это правда, и такая правда, какая она лишь можетъ быть,—не только черезъ пять лѣтъ, даже и скорѣе, живя такъ и въ Воронежѣ. Но что жъ дѣлать? Буду жить, пока живется, работать, пока работается. Сколько могу, столько и сдѣлаю; употреблю всѣ силы, пожертвую, сколько могу; буду биться до конца-края, приведу въ дѣйствіе всѣ зависящія отъ меня средства. И когда послѣ этого упаду—мнѣ краснѣть будетъ не передъ кѣмъ, и предъ самимъ собой я буду правъ. Другого дѣлать нечего. А что въ 1838 году написалъ такъ много порядочнаго—это потому, во-первыхъ, что я былъ съ вами и съ людьми, которые меня каждый день настраивали, а во-вторыхъ, я почти ничего не дѣлалъ и былъ празденъ. Тяготило меня до-смерти одно дѣло, но только одно дѣло, не больше. И я все еще писалъ такъ мало. А здѣсь кругомъ меня другой народъ—татаринъ на татаринѣ, жидъ на жидѣ, а дѣлать—беремя: стройка дома (которая кончилась съ мѣсяцъ назадъ), судебныя дѣла, услуги, прислуги, угожденія, посѣщенія, счета, расчеты, брани,

ссоры. И какъ еще я пишу? И для чего пишу?—для васъ, для васъ однихъ; а здѣсь я за писанія терплю одни оскорбленія. Всякій подлець такъ на меня и лѣзетъ, дескать писакѣ-то и крылья опшибить... Это часто меня смѣшитъ, когда какой-нибудь чудакъ пѣтушится».

Осенью 1840 года снова представился Кольцову случай ѣхать въ Москву и Петербургъ. Хотя это было по двумъ тяжбынмъ дѣламъ, однако онъ былъ радъ и имъ, какъ случаю вырваться изъ Воронежа и увидѣться съ людьми родными ему по чувству и по мысли. Это была его послѣдняя поѣздка. Московскій другъ его давно уже жилъ въ Петербургѣ, и по прїѣздѣ сюда Кольцовъ остановился у него и прожилъ съ нимъ около трехъ мѣсяцевъ. Одно дѣло его было проиграно. Надо было спѣшить въ Москву поправить и спасти другое, самое важное. Такъ-какъ изъ Москвы ему надо было ѣхать домой, то онъ отправился въ нее съ тоской. Его мучили тяжкія предчувствія, которыя и не обманули его. Мысль о возвращеніи въ Воронежъ ужасала его. Онъ уже колебался, не остаться ли ему въ Петербургѣ навсегда, кончивши дѣло въ Москвѣ; но остаться безо всего, съ одними своими средствами, начать снова поприще лавочнаго сидѣльца, приказчика, мелкаго торгаша—одна мысль объ этомъ приводила его въ бѣшенство. Онъ все надѣялся, что отецъ дастъ ему тысячу десять денегъ, на условіи отказаться отъ дома и всякаго другого наслѣдства, и что съ этимъ небольшимъ капиталомъ онъ найдетъ возможность пристроиться въ Петербургѣ и вести въ немъ тихую жизнь, зарывшись въ книги и учась всему, чему не могъ учиться въ свое время. Изъ Москвы онъ писалъ къ своему другу: «Ахъ! еслибы къ вамъ скорѣе! Еслибы вы знали, какъ не хочется ѣхать домой—такъ холодомъ и обдастъ при мысли ѣхать туда, а надо ѣхать, необходимость, жегѣзный законъ». Дѣло его въ Москвѣ кончилось хорошо, чѣмъ, какъ и въ прежнихъ дѣлахъ, онъ особенно былъ обязанъ благородному участію князя П. А. Вяземскаго, снабжавшаго его рекомендательными письмами къ особамъ, доступъ къ которымъ иначе былъ бы для него невозможенъ. Новый годъ встрѣтилъ онъ шумно и весело въ кругу своихъ московскихъ друзей и знакомыхъ. Время шло, а онъ все жилъ въ Москвѣ. «Не хочется ѣхать (писалъ онъ), да и только. Вотъ пришло время—и домъ, и родные не взиюблились наконецъ. И еслибы была какая-нибудь возможность жить въ Питерѣ—я бы прямо маршъ, и остался бы въ немъ навсегда. Но безъ средствъ

этого сдѣлать нельзя,—и я ѣду домой. И эта поѣздка много похожа на ловлю сурковъ: ихъ изъ земли выливаютъ водой, а меня нужда посылаетъ голодомъ. Я писалъ къ отцу по окончаніи дѣла, чтобы онъ прислалъ мнѣ денегъ. Старикъ мой говоритъ: «Денегъ нѣтъ тебѣ ни копѣйки, а что дѣло кончилось хорошо, мнѣ все равно, хотя бы кончилось и дурно. Мнѣ 68 лѣтъ и жить осталось меньше, чѣмъ вамъ. Я даже слышалъ, что ты хочешь остаться въ Питерѣ—съ Богомъ, во святой часъ. Благословеніе дамъ, а больше ничего.—Я прочелъ сіи родительскія строки и сказалъ: вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день! Спробуйте, отчего это такъ сдѣлалось? А вотъ отчего: дѣло кончилось послѣднее и самое гадкое; слѣдственно, его кредитъ теперь очищенъ совершенно. Прежде онъ боялся полиціи, и потому любилъ меня до излишества: а теперь она ему не страшна—и домъ его, и все у него въ рукахъ: такъ я, выходитъ, сталъ ему не нуженъ... Эта новость и особенно эта непризнательность срѣзали меня глубоко. Вотъ отчего я такъ долго живу въ Москвѣ и не ѣду домой, и ѣхать не хочется, и не пишу къ вамъ. Я думалъ сначала махнуть въ Питеръ; но какъ прохватилъ меня голодъ, я и присѣлъ—и хорошо сдѣлалъ».

По возвращеніи домой Кольцовъ нашелъ, по обыкновенію, всѣ дѣла въ упадкѣ и разстройствѣ, благодаря старческой мудрости и опытности, и принялся ихъ устривать. Отецъ принялъ его холодно и едва согласился давать ему тысячу рублей въ годъ изъ семи тысячъ, которыя долженъ былъ приносить домъ, въ ожиданіи чего Кольцовъ долженъ былъ жить и трудиться безъ копѣйки въ карманѣ,—онъ, которому одному все семейство было обязано своимъ благосостояніемъ... Тогда имъ овладѣла одна мысль—устроивши дѣла, ѣхать въ Петербургъ, куда отецъ отпускалъ его охотно, уплативши всѣ долги по векселямъ на имя сына и рѣшившись прекратить торговлю со скотомъ. Но въ это время Кольцовъ началъ себя дурно чувствовать, и на страстной недѣлѣ чуть не умеръ, но однакожъ кое-какъ оправился. Къ счастью, докторъ его былъ человѣкъ благородный и симпатичный, который лѣчилъ его болѣе изъ личнаго расположенія къ нему, нежели изъ расчета; онъ зналъ впередъ, что получить бездѣлицу, а занимался своимъ паціентомъ съ дружескимъ участіемъ. Во время самыхъ сильныхъ припадковъ болѣзни Кольцовъ говорилъ ему: «Докторъ, если моя болѣзнь неизлѣчима, если вы только протягиваете жизнь, то прошу васъ не тянуть ея. Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, и вамъ

меньше хлопотъ». Докторъ ручался за его излѣченіе: «Когда такъ, будемъ лѣчиться». Что терпѣлъ Кольцовъ во время болѣзни отъ близкихъ и кровныхъ, за исключеніемъ матери, принимавшей въ немъ искреннее участіе, о томъ страшно и подумать. Это усилило расстройство его здоровья. Но тутъ, какъ нарочно, судьба-предательница послала ему жизнь и радость, можно сказать, блаженство, за которое онъ дорого долженъ былъ расплатиться. Страстной любовью озарился восходъ его жизни; пышнымъ, багрянымъ, но зловѣщимъ блескомъ страстной любви озарился и закатъ его жизни. Закрывъ глаза на все, полной чашей, съ безумной жадностью пилъ нашъ страдалецъ отравительные восторги. На бѣду его, эта женщина была совершенно по немъ — красавица, умна, образована, и ея организація вполне соответствовала его кипучей, огненной натурѣ. Нужда заставила ее разстаться съ нимъ. Еще до этой разлуки онъ уже почувствовалъ ослабленіе во всемъ организмѣ своемъ; вскорѣ открылась болѣзнь. Знакомый ему докторъ снова помогъ ему; но вслѣдъ затѣмъ открылась боль въ груди, слабость во всемъ тѣлѣ, по ночамъ сильная испарина, расстройство желудка и желудочный кашель. По совѣту доктора, Кольцовъ поѣхалъ на дачу къ одному изъ своихъ родственниковъ, чтобы тамъ купаться въ Дону. Это его немного поправило; но осень наступила прежде, нежели онъ успѣлъ кончить курсъ своего купанья, и надо было прекратить его. Вслѣдъ затѣмъ сдѣлалось воспаленіе въ почкахъ; но даже и послѣ этого онъ все-таки сталъ оправляться. До сихъ поръ онъ ничего не читалъ, не писалъ, ни о чемъ не думалъ кромѣ лѣкарства, лѣченья, обѣда и ужина; но тутъ опять принялся за свои занятія, воскресъ нравственно. Нельзя не дивиться силѣ духа этого человѣка. Правда, онъ надѣялся выздоровѣть, и не хотѣлось ему умереть; но возможность смерти онъ видѣлъ ясно и смотрѣлъ на нее прямо, не мигая глазами. Вотъ слова, которыми онъ заключаетъ письмо свое къ двоимъ изъ друзей своихъ въ Петербургъ: «Ну, теперь, милые мои, пришло сказать: прощайте—на долго ли?—не знаю. Но какъ-то это слово горько отозвалось въ душѣ моей. Но еще—прощайте, и въ третій разъ прощайте. Еслибъ я была женщина, хорошая бы пора плакать. Минута грусти, побудь хоть ты со мною подольше!» А между тѣмъ все письмо проникнуто бодростью духа, надеждой и даже веселостью...

Но это выздоровленіе было только отсрочкой смерти. Для возстановленія его здоровья нужно было прежде всего спокой-

ствіе, а между тѣмъ его ежедневно, ежеминутно оскорбляли, мучили, дразнили, какъ дикаго звѣря въ клѣткѣ. Иногда ему не на что было купить лѣкарства; иногда у него не было ни чая, ни сахару, ни свѣчей, а иногда мать его только украдкой отъ отца могла доставлять ему обѣдъ и ужинъ. Отецъ требовалъ, чтобы онъ жилъ вмѣстѣ съ ними, гдѣ ему не было бы покою ни на минуту. Онъ перешелъ на мезонинъ, который цѣлую зиму не топился,—ему отказано было въ дровахъ, и онъ добывалъ ихъ по ночамъ, какъ воръ. Узнавши объ этомъ, ему обѣщали выгнать его по шею изъ дому... Дѣлать было нечего, и онъ перешолъ внизъ. Разъ въ сосѣдней комнатѣ у сестры его много было гостей, и онъ затѣяли игру: поставили на середину комнаты столъ, положили на него дѣвушку, накрыли ее простыней и начали хоромъ пѣть вѣчную память рабу Божию Алексѣю... Это была невинная шутка...

Вскорѣ послѣдовала свадьба сестры. «Все начало ходить и бѣгать черезъ мою комнату; полы моютъ то и дѣло, а сырость для меня убійственна. Трубки, благовонія курятъ каждый день; для моихъ разстроенныхъ легкихъ все это плохо. У меня опять образовалось воспаленіе, сначала въ правомъ боку, потомъ въ лѣвомъ, противу сердца, довольно опасное и мучительное. И здѣсь-то я струсилъ не на шутку. Нѣсколько дней жизнь висѣла на волоскѣ. Лѣкаръ мой, несмотря на то, что я ему очень мало платилъ, пріѣзжалъ три раза въ день. А въ эту пору у насъ вечеринки каждый день—шумъ, крикъ, бѣготня, двери до полночи въ моей комнатѣ ни минуты не стоятъ на петляхъ. Прошу не курить,—курятъ больше; прошу не благовонить—больше, прошу не мыть половъ—моютъ». Все это потомъ кое-какъ уладилось; свадьба кончилась; больной, для спасенія жизни, прибѣгъ къ хитрости и со всѣми перемирился, попросивши у всѣхъ извиненія за мерзости, которыя съ нимъ дѣлали; его оставили въ покоѣ, и онъ увидѣлъ себя точно въ раю. «Я теперь, слава Богу, живу покойно, смиренно. Они меня не беспокоятъ. Въ комнатѣ тишина; самъ большой, самъ старшой. Съ отцомъ вижусь рѣдко; онъ меня не оскорбляетъ больше пока, и я имъ доволенъ. Обѣдъ готовить порядочный. Чай есть, сахаръ тоже, а мнѣ пока больше ничего не нужно. Здоровье мое стало лучше. Началъ прохаживаться, и два раза былъ въ театрѣ. Лѣкаръ увѣряетъ, что я въ постѣ не умру, а весной меня вылѣчатъ. Но силъ, не только духовныхъ, и физическихъ еще нѣтъ; памяти тоже. Волоса начали расти, съ лица зеленъ сошла, глаза чисты». Въ

заключеніи письма, говоря о своемъ нравственномъ состояніи, онъ прибавляетъ: «Что, если и выздоровѣвши, такимъ останусь?—Тогда прощайте, друзья, Москва, Петербургъ! Нѣтъ, дай Господи умереть, а не дожить до этого полипнаго состоянія. Или жить для жизни, или — маршъ на покой!»

Мысль о переѣздѣ въ Петербургъ съ новой силой воскресла въ немъ, какъ скоро начиналъ онъ себя чувствовать лучше. Онъ только ждалъ для этого совершеннаго выздоровленія. Но и тутъ внутри его происходила страшная борьба, которую мы перескажемъ его собственными словами: «Какъ вы скажете: удерживаться ли въ Воронежѣ дома, бросить ли все, ѣхать въ Петербургъ? Удерживаться дома—жизнь мнѣ будетъ плохая. Но все старикъ меня, какъ не говори, а со двора не сгонитъ. У меня много здѣсь людей хорошихъ, которымъ я еще ни слова. Про это знаетъ лѣкарь и тотъ, у кого я жилъ на дачѣ: скажи я имъ, они помогутъ. Съ старикомъ уладиться легко—жениться, и онъ будетъ ко мнѣ хорошъ. Но зато надо взять тамъ, гдѣ ему будетъ угодно. Это значитъ пожертвовать собой, сгубить женщину и себя. Ѣхать въ Питеръ—онъ не дастъ ни гроша. Ну, положимъ, я найдусь туда пріѣхать; у меня есть вещей рублей на триста; этого достаточно. Но пріѣхавши туда, что я буду дѣлать? Наняться въ приказчики? не могу; отъ себя заниматься?—не на что. Положить надежду на мои стишонки: что за нихъ дадутъ! И что за нихъ буду получать въ годъ—пустяки: на сапоги, на чай, и только. Талантъ мой—надо говорить правду—особенно теперь, въ рѣшительное время, талантъ мой пустой. Нѣсколько пѣсенокъ въ годъ—дрянь. За нихъ много не дадутъ. Писать въ прозѣ не умѣю; а мнѣ тридцать три года. Вотъ мое положеніе. Пожалуйста, напишите мнѣ ваше мнѣніе; я имъ дорожу болѣе всего. В. Г. пишетъ: ѣхать. Да боюсь, страшно. Я, живя на свѣтѣ, хорошаго не видалъ, или видѣлъ, да немного, да и то живя въ Москвѣ и Питерѣ, а въ Воронежѣ не помню когда. Что, если въ сорокъ лѣтъ придется нищенствовать?—Плохо!»

Послѣднее письмо, которое мы получили отъ Кольцова, было отъ 27-го февраля 1842 года. Лѣтомъ мы писали къ нему, но отвѣта не было; а осенью мы получили изъ Воронежа отъ незнакомыхъ намъ людей извѣстіе о его смерти... Поэтому подробностей о послѣднемъ времени его жизни мы не знаемъ, и только можемъ предпологать, что это была продолжительная агонія, страданіе, мученичество... Онъ умеръ 19 октября 1842 года, въ три часа по полудни, на

тридцать-четвертомъ году отъ рожденія.

Такова была жизнь этого человѣка! Рожденный для жизни, онъ исполненъ былъ необыкновенныхъ силъ и для наслажденія ею и для борьбы съ нею, а жить для него значило—чувствовать и мыслить, стремиться и познавать. Любовь и симпатія были основной стихіей его натуры. Онъ былъ слишкомъ уменъ, чтобъ быть въ любви идеалистомъ, и былъ слишкомъ деликатно и благородно созданъ, чтобъ быть въ ней материалистомъ. Грубая чувственность могла увлечь его, но не надолго, и онъ умѣлъ отрѣшиться отъ нея, не столько силой воли, сколько природнымъ отвращеніемъ ко всему грубому и низкому. Нѣжнымъ вздыхателемъ, довольствующимся обожаніемъ своего идеала, онъ никогда не былъ и не могъ быть, потому что для такой смѣшной роли онъ былъ слишкомъ уменъ и слишкомъ одаренъ жизнью и страстью. Женщина никогда не была въ его глазахъ безплотнымъ идеаломъ, эфирной мечтой, туманнымъ образомъ, таинственнымъ видѣніемъ невѣдомаго міра; но въ то же время онъ умѣлъ понимать ее поэтически; видѣлъ въ ней существо родное мужчине, слѣдовательно, подобно ему, земное, и тѣмъ болѣе прекрасное, и поклонялся въ ней красотѣ, граціи, жизни, чувству, могуществу страсти. Но вполне обаять и покорить эту сильную натуру могла только женщина съ сильнымъ характеромъ, которой страсти и воля не останавливались передъ деревяннымъ болваномъ общественнаго мнѣнія, передъ лицемернымъ судомъ безнравственныхъ моралистовъ, глупыхъ умниковъ и невѣжественныхъ глупцовъ. И вотъ почему его послѣдняя любовь совершенно изгладила въ его сердцѣ всѣ скорбныя воспоминанія первой, и ему казалось, что онъ любитъ только въ первый разъ... Онъ не могъ наслаждаться безъ чувства, безъ раздѣла; но когда его страсти отвѣчала страсть—онъ предавался ей и ея наслажденіямъ со всѣмъ самозабвеніемъ, всею стремительностью натуры пламенной и сильной, думая не о послѣдствіяхъ, а только о томъ, что «жить намъ на свѣтѣ не дважды!..»

Въ дружбѣ онъ не зналъ расчета и эгоизма. Грубая и грязная дѣйствительность, въ среду которой втолкнула его судьба, какъ неизбежной жертвы, требовала отъ него и поклоновъ, и униженія, и лжи, и всѣхъ изворотовъ мелкаго торгашества, но онъ и тутъ умѣлъ сохранить свое человѣческое достоинство и всегда держаться неизмѣримо выше людей своего сословія, находящихся въ такомъ же положеніи. Внутренно онъ всегда оставался чистъ отъ этой грязи, и ничего изъ нея не

внести въ задушевный міръ своей жизни. Всегда готовый одолжить близкаго человѣка, онъ избѣгалъ всякаго случая одолжиться имъ: его пугала одна мысль внести разсчетъ въ чистоту дружественныхъ отношеній, и съ этой стороны онъ доходилъ до ребячества. Какъ всѣ люди съ глубокимъ чувствомъ, онъ больше всего боялся сдѣлать изъ чувства комедію, и потому медленно и робко сходилъ съ человѣкомъ; но, разъ сблизившись, онъ умѣлъ любить, умѣлъ быть преданнымъ безъ увѣреній и фразъ. Увы! эта сила любви и привязанности больше всего и сгубила его. Мы уже говорили, какъ года за полтора передъ смертью, вдалекѣ отъ тѣхъ, которые понимали и любили его, онъ видѣлъ себя въ кругу дикихъ невѣждъ, которые уже не нуждались въ немъ и потому поспѣшили снять съ себя маску родственной любви и отомстить ему за его превосходство надъ ними. Какъ ни тяжело было подобное разочарованіе, но у Кольцова всегда стало бы силы перенести его, тѣмъ болѣе, что онъ никогда не дорожилъ особенно связями крови безъ связи духа; да, у него стало бы силы отвѣтить презрѣніемъ на подлости предательства, порожденныя ограниченностью и невѣжествомъ. Но сила измѣнила ему, когда всему этому—и къ болѣзни, и къ нуждѣ, и къ черной неблагодарности за услуги, ему пришлось еще горько разочароваться въ тѣхъ дорогихъ и въ живыхъ отношеніяхъ, гдѣ, по его мнѣнію, связь крови была скрѣплена связью духа, и когда тутъ за свою любовь, дружбу и преданность онъ вдругъ и неожиданно увидѣлъ вражду, ненависть, неблагодарность, предательство, и все это въ формѣ грязной, наглой, безстыдной... Тутъ все было оскорблено въ немъ—и благородѣйшія, святѣйшія чувства его сердца, и его самолюбіе: ему горько было убѣдиться, что его такъ долго и такъ коварно обманывали, и что бисеръ души своей онъ бросалъ подъ ноги нечистымъ животнымъ...

Говорятъ, будто любящее сердце, умъ, талантъ и всякое превосходство надъ людьми есть страшный даръ природы, родъ проклятья, изрекаемаго судьбой надъ человекомъ избраннымъ въ самую минуту его рожденія... Говорятъ, будто несчастіемъ и страданіями цѣлой жизни избранныкъ долженъ расплатиться за дерзкую привилегію быть выше другихъ. И все это доказываютъ примѣрами людей замѣчательныхъ... Но справедливо ли такое мнѣніе, и должна ли жизнь быть мачихой въ отношеніи къ любящимъ дѣтямъ природы?.. О, нѣтъ! эта вражда жизни съ природой отнюдь не есть законъ разумной необходимо-

сти, но есть только результатъ несовершенства человѣческихъ обществъ. Избранный человѣкъ болѣе, чѣмъ всякій другой, родится для жизни и наслажденія ею, — и не жизнь, а общество виновато въ томъ, что, едва родившись, онъ съ бою долженъ брать даже самый воздухъ, чтобъ ему можно было дышать... Въ своемъ семействѣ, гдѣ, кажется, естественная любовь должна была бы стоять на стражѣ его дѣтства и лелѣять его,—въ своемъ семействѣ прежде всего встрѣчаетъ онъ, съ ужасомъ и отвращеніемъ, чудовищный образъ общества, которое въ человѣкѣ не хочетъ признавать человѣка, но видитъ въ немъ только породу и касту или смотритъ на него только какъ на работника, какъ на живой капиталъ, съ котораго нѣкогда можно будетъ брать проценты... Семейство, узы крови: что вы, если не бичи и цѣпи тамъ, гдѣ полудикое и невѣжественное общество еще въ колыбели встрѣчаетъ человѣка, въ видѣ патриархальнаго логовища, глава котораго есть степной деспотъ съ нагайкой въ рукѣ, «самолюбивый, упрямый, хвастунъ безъ совѣсти, не любитъ жить съ другими въ домѣ человѣчески, а любитъ, чтобы все передъ нимъ трепетало, боялось и рабствовало?»

Мы уже говорили, что Кольцовъ нисколько не заносился своимъ талантомъ. Онъ живо чувствовалъ недостатокъ своего образованія. «Будь человѣкъ и гениальный (говоритъ онъ въ одномъ письмѣ), а не умѣй грамотѣ — не прочтешь и вздорной сказки. На всякое дѣло надо имѣть полные способы. Прежде я-таки, грѣшный человѣкъ, думалъ о себѣ и то, и то, а теперѣ кровь какъ угомонила, такъ и осталось одно желаніе въ душѣ—учиться. И думаю, что это хлѣбъ прочный, и его мнѣ надолго станетъ; а тамъ что Богъ дастъ. Васъ же прошу объ одномъ: всѣ дурныя пьесы бросайте безъ вниманія, а какія нравятся, тѣ печатайте». Люди обыкновенно не столько наслаждаются тѣмъ, что имъ дано, сколько горюютъ о томъ, чего имъ не дано; притомъ они мало цѣнятъ то, что дается имъ безъ труда, и видятъ верхъ совершенства только въ томъ, что добывается потомъ и кровью. Кольцова особенно огорчало то, что ему не далась проза, которая, по его выраженію, «съ нимъ еще при рожденіи разошлась самымъ неблагороднымъ образомъ». Въ 1840 году нашъ знаменитый трагическій актеръ, Мочаловъ, посѣтилъ Воронежъ и давалъ представленія на тамошнемъ театрѣ. Кольцову, горячо любившему Мочалова, какъ художника и какъ человѣка, очень хотѣлось написать что-нибудь для журнала о его представленіяхъ; но

онъ, разумѣется, не рѣшился и попробовать. Досада его очень наивно излилась въ письмѣ къ другу: «Глупое положеніе нашей братіи-пріемачей! Вотъ теперь и хочется написать статейку о Павлѣ Степановичѣ, а чертовскіе размѣры на даютъ ходу прозѣ и велятъ молчать». Отдѣлаться отъ мелочной торговли и на свободѣ предаться ученію было любимѣйшей мечтой всей жизни Кольцова. Не имѣя яснаго понятія о наукахъ, онъ хотѣлъ учиться всему — и тому, чему бы могъ и долженъ былъ учиться, и тому, чему не могъ и не долженъ былъ; но сквозь этотъ хаосъ темныхъ представленій о наукѣ ясно было видно, что еслибы онъ и не могъ заняться исторіей, какъ наукой, то съ жаромъ и страстью предался бы чтенію преимущественно историческихъ сочиненій. Онъ желалъ учиться и языкамъ; но для осуществленія всѣхъ этихъ прозектовъ его время прошло, и все, что оставалось для него, — это предаться съ упоеніемъ чтенію всего, что могъ найти лучшаго на русскомъ языкѣ. Приобрѣтеніе книгъ было счастьемъ и радостью его жизни. «Вы не можете представить (писалъ онъ въ 1840 году къ другу), какой богачъ я сталъ хорошими книгами. Есть что читать! Вашъ подарокъ получилъ; «Отечественныя Записки», «Современникъ» тоже; отъ Губера получилъ «Фауста», отъ Владиславева — «Утреннюю Зарю»; купилъ полное собраніе сочиненій Пушкина, «Исторію философскихъ системъ» Галича: мнѣ се наши бурсаки сильно расхвалили; прочелъ первую часть — вовсе ничего не понялъ. Развѣ философія — другое дѣло? Можетъ быть и такъ; будемъ читать еще до конца. Теперь одинъ недостатокъ оказался: надобно непременно обзавестись «Исторіей» Карамзина; у меня есть Полевого и Ишимова краткія, да хочется имѣть полную, да оперъ нѣсколько». Какъ человѣкъ необразованный или, лучше сказать, какъ полуобразованный самоучка, Кольцовъ нѣкоторые изъ лучшихъ своихъ пѣсенъ хотѣлъ назвать русскими балладами, думая этимъ возвысить ихъ. Не изъ этого ли источника происходило и его страстное желаніе написать либретто для оперы, — дѣло, къ которому онъ едва ли былъ способенъ? Другое дѣло — къ готовому, но голому драматическому очерку написать аріи, разумѣется, вродѣ его русскихъ пѣсенъ — это онъ могъ бы выполнить прекрасно, и можетъ быть этого-то и хотѣлось ему. Какъ бы то ни было, но оперныя либретто на русскомъ языкѣ онъ собиралъ съ жадностью. Изъ другого, болѣе истиннаго и глубокаго источника выходило у него страстное желаніе путешествовать по Россіи. Это было тоже лю-

бимѣйшей его мечтой, которой, какъ и многимъ другимъ, не суждено было осуществиться.

Какъ человѣку не только съ истиннымъ, но еще и съ большимъ талантомъ, Кольцову знакомы были горькія минуты разочарованія въ своемъ поэтическомъ призваніи. Не зная, что всякому мастеру часто всего труднѣе быть судьей собственныхъ произведеній, онъ думалъ, что у него вовсе нѣтъ эстетическаго вкуса. Такъ писалъ онъ разъ къ одному изъ своихъ друзей объ одной изъ лучшихъ своихъ пьесъ: «Чортъ знаетъ, иногда прочтешь Хуторокъ — покажется, а иногда разорвать хочется». Въ другой разъ онъ писалъ: «Сколько я ни бьюсь съ самимъ-собой, но все эстетическое чувство не управляетъ мной, не обладаю имъ я, какъ бы хотѣлось — хоть лягъ, да умри».

Стихотворенія Кольцова можно раздѣлить на три разряда. Къ первому относятся пьесы, писанныя правильнымъ размѣромъ, преимущественно ямбомъ и хореемъ. Большая часть ихъ принадлежитъ къ первымъ его опытамъ, и въ нихъ онъ былъ подражателемъ поэтовъ, наиболѣе ему нравившихся. Таковы пьесы: «Сирота», «Ровеснику», «Маленькому брату», «Ночлегъ чумаковъ», «Путникъ», «Красавицѣ», «Сестрѣ», «Приди ко мнѣ», «Разувѣреніе», «Не мнѣ внимать нагнѣвъ волшебный», «Мщеніе», «Вздохъ на могилѣ Веневитинова», «Къ рѣкѣ Гайдарѣ», «Что значу я», «Утѣшеніе», «Я былъ у ней», «Первая любовь», «Къ ней же», «Наяда», «Къ N.», «Соловей», «Къ Другу», «Изступленіе», «Поэтъ и няня», «А. П. Серебрянскому». Въ этихъ стихотвореніяхъ проглядываетъ что-то похожее на талантъ и даже оригинальность; нѣкоторые изъ нихъ даже очень недурны. По крайней мѣрѣ изъ нихъ видно, что Кольцовъ и въ этомъ родѣ поэзіи могъ бы усовершенствоваться до извѣстной степени; но не иначе, какъ съ трудомъ и усиленіемъ выработавши себѣ стихъ и оставаясь подражателемъ, съ нѣкоторымъ только оттѣнкомъ оригинальности. Правильный стихъ не былъ его достояніемъ, и какъ-бы ни выработалъ онъ его, все-таки никогда бы не сравнился въ немъ съ нашими звучными поэтами даже средней руки. Но здѣсь и виденъ сильный, самостоятельный талантъ Кольцова: онъ не остановился на этомъ сомнительномъ успѣхѣ, но, движимый однимъ инстинктомъ своимъ, скоро нашелъ свою настоящую дорогу. Съ 1831 года онъ рѣшительно обратился къ русскимъ пѣснямъ, и если писалъ иногда правильнымъ размѣромъ, то уже безъ всякихъ претензій на особенный успѣхъ, безъ вся-

каго желанія подражать или состязаться съ другими поэтами. Особенно любилъ этимъ размѣромъ, чаще безъ рѣимы, съ которой онъ плохо ладилъ, выражать ощущенія и мысли, имѣвшія непосредственное отношеніе къ его жизни. Таковы (за исключеніемъ пьесъ: «Цвѣтокъ», «Бѣдный призракъ», «Товарищу») пьесы: «Послѣдняя борьба», «Къ милой», «Примиреніе», «Миръ музыки», «Не разливай волшебныхъ звуковъ», «К***», «Вопль страданія», «Звѣзда», «На новый 1842 годъ». Пьесы же: «Очи, очи голубыя», «Размоловка», «Люди добрые, скажите», «Теремъ», «По-надъ Дономъ садъ цвѣтетъ», «Совѣтъ старца», «Глаза», «Домикъ лѣсника», «Женитьба Павла»—составляютъ переходъ отъ подражательныхъ опытовъ Кольцова къ его настоящему роду—русской пѣснѣ.

Въ русскихъ пѣсняхъ талантъ Кольцова выразился во всей своей полнотѣ и силѣ. Рано почувствовалъ онъ бессознательное стремленіе выражать свои чувства складомъ русской пѣсни, которая такъ очаровывала его въ устахъ простого народа; но его удерживала отъ этого мысль, что русская пѣсня—не поэзія, а что-то просто-народное, грубое и вульгарное. Къ счастью, ему попалась въ руки книжка стихотвореній барона Дельвига (изданная въ 1829 году). Каково же было его удовольствіе, его радость, когда въ этой книжкѣ онъ увидѣлъ между «настоящими» стихотвореніями и русскія пѣсни! Онъ сейчасъ смекнулъ въ чемъ дѣло, и порѣшилъ его такимъ силлогизмомъ: баронъ—вѣдь это баринъ, да еще большій, все равно, что графъ или князь, и вѣрно онъ ученый человѣкъ; но онъ сочиняетъ же русскія пѣсни: стало-быть, русская пѣсня не вздоръ, не глупость, а тоже поэзія... И съ тѣхъ поръ онъ все больше и больше началъ наклоняться къ этому роду поэзіи. Первые пѣсни, какъ написанныя имъ еще до знакомства съ пѣснями Дельвига, такъ и многія, написанныя до 1835 года, были чѣмъ-то среднимъ между романсомъ и русской пѣсней, и потому походили на русскія пѣсни то Дельвига, то Мерзлякова. Но еще съ 1830 года ему уже удавалось иногда выражать въ русской пѣснѣ всю оригинальность своего таланта, и пьесамъ: «Кольцо», «Удалецъ», «Крестьянская пирушка», «Размышленіе поселенина» (1830—1832), недостаетъ только зрѣлости мысли, чтобъ быть образцовыми въ своемъ родѣ произведеніями. Но съ пѣсенъ «Ты не пой, соловей», 1830) и «Не шуми ты, рожь» (1834), начинается рядъ русскихъ пѣсенъ, какъ особаго рода, созданнаго Кольцовымъ.

Для означенія различныхъ степеней дара

творчества употребляются большей частью два слова: талантъ и геній. Подъ первымъ разумѣется низшая, подъ вторымъ—высшая степень способности творить. Но такое раздѣленіе довольно неопредѣленно: оно не даетъ мѣры (критеріума) для опредѣленія высоты художественной силы. Правда, талантъ и геній отличаются другъ отъ друга тѣмъ, что первый ниже второго, а второй выше перваго; но чѣмъ же именно ниже или выше—вотъ вопросъ! Одно изъ главнѣйшихъ и существеннѣйшихъ качествъ генія есть оригинальность и самобытность, потомъ всеобщность и глубина его идей и идеаловъ, и наконецъ историческое влияніе ихъ на эпоху, въ которую онъ живетъ. Геній всегда открываетъ своими твореніями новый, никому до него неизвѣстный, никѣмъ не подозрѣваемый міръ дѣйствительности. Толпа живетъ и движется, но бессознательно; переживши извѣстный историческій моментъ и уже нося въ самой себѣ всѣ элементы новаго существованія, она тѣмъ упорнѣе держится формъ стараго. Является геній—и воздвигаетъ людямъ новую жизнь, начала которой они уже носили въ себѣ, и корень которой скрывался уже въ самомъ прошедшемъ. Но толпа не признаетъ своего участія въ дѣлѣ генія; дико и враждебно смотритъ она на новый міръ мысли и формы, открывающійся въ его твореніяхъ, и только немногіе берутъ его сторону, и только новыя поколѣнія упрочиваютъ за нимъ побѣду. Имя генія—милліонъ, потому-что въ груди своей носить онъ страданія, радости, надежды и стремленія милліоновъ. И вотъ въ чемъ заключается всеобщность его идей и идеаловъ: они касаются всѣхъ, они всѣмъ нужны, они существуютъ не для избранныхъ, не для того или другого сословія, но для цѣлаго народа, а черезъ него и для всего человѣчества. Частность и исключительность, напротивъ, есть достояніе таланта,—и потому бываютъ таланты, произведенія которыхъ нравятся или только веселымъ и счастливымъ, или только меланхоликамъ и несчастнымъ, или только образованнымъ классамъ общества, или только низшимъ слоямъ его, и т. д. Есть люди, которые нечаянно открывали въ себѣ талантъ черезъ какой-нибудь внѣшній и случайный толчокъ: одинъ отъ того, что ослѣпъ, другой отъ того, что лишился любимой имъ женщины, третій отъ того, что пострадалъ за правое дѣло, или за преступленіе, въ которомъ былъ невиненъ, и т. д. Безъ этихъ случайностей всѣ эти люди никогда не сдѣлались бы поэтами. Естественно, что каждый изъ нихъ поетъ на одинъ и тотъ же ладъ и всегда одно и то же, и потому

правится только людямъ, которые одинаково съ нимъ настроены и находятъ въ его произведеніяхъ отголоски своихъ личныхъ ощущеній или примѣненія къ обстоятельствамъ своей жизни. Отсутствие оригинальности и самобытности всегда есть характеристическій признакъ таланта: онъ живетъ не своей, а чужой жизнью, его вдохновеніе есть не что иное, какъ «плѣнной мысли раздраженіе»,—мысли, захваченной у генія или подслушанной у самой толпы. Талантъ не управляетъ толпой, а льститъ ей, не утверждаетъ даже новой моды, а идетъ за модой; куда дуетъ вѣтеръ, туда и стремится онъ. Поди онъ противъ—и его сейчасъ забудутъ, а этого-то онъ и боится больше всего на свѣтѣ. Иногда онъ кажется оригинальнымъ и въ свою очередь порождаетъ толпу подражателей; но эта оригинальность тотчасъ исчезаетъ, какъ скоро привыкнуть и приглядятся къ ней, и оказывается или результатомъ чуждаго вліянія, или проявленіемъ дурного вкуса эпохи; а толпа подражателей доказываетъ только то, что и талантъ имѣетъ степени, и менѣе талантливые подражаютъ болѣе талантливому.

Очевидно, что геній и талантъ суть только крайнія степени, противоположные полюсы творческой силы, и что между ними должно быть что-нибудь среднее. Въ самомъ дѣлѣ, иначе міръ искусства былъ бы очень скуденъ, состоя изъ однихъ геніальныхъ твореній, окруженныхъ развалинами эфемерныхъ произведеній таланта. Напротивъ, во всѣхъ сферахъ человеческой дѣятельности исторія сохранила имена людей, которые не были геніями, не были полноточными властелинами своего времени, но тѣмъ не менѣе имѣли на него свое дѣйствительное вліяніе, и потому заняли хотя и второстепенныя, но почетныя мѣста въ благодарной памяти потомства. Въ сферѣ искусства такихъ людей называютъ большими и великими талантами, въ отличіе отъ геніевъ и отъ обыкновенныхъ талантовъ. Но это названіе довольно неопредѣленно. Мы думаемъ, къ такимъ людямъ лучше бышло названіе геніальныхъ талантовъ, какъ выражающее и ихъ сродство съ геніемъ и съ талантомъ, и ту средину, которую они занимаютъ между тѣмъ и другимъ.

Но слова ничего не значатъ, если не выражаютъ идеи, доказывающей ихъ необходимость и дѣйствительность. И потому мы должны оправдать употребляемое нами выраженіе «геніального таланта», показавши его отношеніе къ «генію» и «таланту». Геніальный талантъ отличается отъ обыкновеннаго таланта тѣмъ, что, подобно генію, живетъ собственной жизнью, творитъ свободно, а не подражательно, и на свои

творенія налагаетъ печать оригинальности и самобытности со стороны какъ содержанія, такъ и формы. Отъ генія же онъ отличается объемомъ своего содержанія, которое у него бываетъ менѣе обще и болѣе частно. И потому геній есть полный властелинъ своего времени, которое носитъ на себѣ его имя,—тогда какъ вліяніе геніальнаго таланта, какъ бы оно ни было сильно, всегда простирается только на одну какую-нибудь сторону искусства и жизни. Другими словами: геній захватываетъ и наполняетъ собой цѣлую область современной ему дѣйствительности, геніальный талантъ—одинъ уголокъ ея. Что въ геніи составляетъ полноту его существованія,—то въ геніальномъ талантѣ есть какъ бы отблескъ генія. Но сходное и общее между ними, несмотря на всю огромность раздѣляющаго ихъ пространства,—это та оригинальность и самобытность, которая порождаетъ множество подражателей, но ни одного самостоятельнаго таланта, которой можно подражать, но которой невозможно усвоить. И вотъ гдѣ существенное отличіе геніальнаго таланта отъ обыкновеннаго. Послѣдній есть не болѣе, какъ посредникъ между геніемъ и толпой, родъ фактора, необходимаго для облегченія сношеній между ними: невольно увлекаясь идеями генія, онъ ихъ совлекаетъ съ ихъ высокаго, недоступнаго толпѣ пьедестала и тѣмъ самымъ приближаетъ ихъ къ разумію толпы. Подъ рукой таланта, идеи генія, такъ сказать, мельчаютъ и опошляются, но этимъ самымъ онѣ и дѣлаются популярными, становятся всѣмъ доступными и каждому извѣстными. И потому талантъ совершаетъ великое дѣло; но въ этомъ случаѣ онъ дѣлается жертвой собственнаго успѣха: по мѣрѣ того, какъ онъ болѣе знакомитъ и сближаетъ толпу съ геніемъ, добродушно думая знакомить и сближать ее только съ самимъ собой,—толпа все болѣе и болѣе отворачивается отъ него, обращаясь все болѣе и болѣе къ самому генію, непосредственныя сношенія съ которымъ стали для нея уже возможными и доступными. Сдѣлавши свое дѣло, таланты (потому-что для такого дѣла одного таланта мало, а нужна толпа талантовъ) забываются: имена ихъ остаются въ исторіи литературы, но сочиненія предаются болѣе или менѣе полному забвенію.

Но мы все-таки еще не сказали послѣдняго слова о существенномъ различіи между геніальнымъ и обыкновеннымъ талантомъ. Оно заключается въ тайнѣ натуры человѣка. Въ человѣкѣ, владѣющемъ обыкновеннымъ талантомъ, талантъ есть сила абстрактная, родъ капитала, который принадлежитъ своему владѣльцу, но который

—не одно съ нимъ. Продолжимъ наше сравненіе. Потерявши капиталъ, можно найти другой: капиталъ—вѣщное средство для жизни, но не сама жизнь. Какъ часто видимъ мы людей, которые, долгое время пользовавшись огромной извѣстностью своего таланта, пережили свой талантъ и свою извѣстность, и которые, несмотря на то, сумѣли вознаградить себя другими благами жизни: приобрѣли большіе чины и большія деньги и прекрасно живутъ себѣ безъ таланта и безъ славы. Не таковъ человѣкъ, одаренный геніальнымъ талантомъ: его нельзя отдѣлить отъ его таланта, его талантъ—его жизнь, его кровь, его духъ, его плоть, биеіе его сердца, дыханіе его груди, словомъ—весь онъ самъ. Это роковая сила, которая всегда будетъ мчать его къ одной цѣли, къ одной дѣятельности, наперекоръ судьбѣ, рожденію, воспитанію, всѣмъ вѣшнимъ обстоятельствамъ его жизни, какъ бы ни были они сильны. Онъ страстенъ къ славѣ и очень не чуждъ самолюбія; но еще не въ этомъ только источникъ его ничѣмъ неудержимаго стремленія къ творчеству: оно у него—инстинктъ, натура, страсть. Въ отношеніи къ своему призванію онъ смѣло можетъ сказать о себѣ:

Я зналъ одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть:
Она, какъ червь, во мнѣ жила,
Игрыала душу и сожгла.

Я эту страсть во тѣмъ ночной
Вскормилъ слезами и тоской;
Ее предъ небомъ и землей
Я нынѣ громко признаю
И о прощеньи не молю.

Сила геніальнаго таланта основана на живомъ, неразрывномъ единствѣ человѣка съ поэтомъ. Тутъ замѣчательность таланта происходитъ отъ замѣчательности человѣка, какъ личности, какъ натуры; тогда-какъ обыкновенный талантъ отнюдь не условливаетъ собой необыкновеннаго человѣка; тутъ человѣкъ и талантъ—каждый самъ по-себѣ, и человѣкъ въ отношеніи къ таланту есть то же, что ящикъ въ отношеніи къ деньгамъ, которые въ немъ лежатъ. Сильная и богатая натура всегда отличается отъ натуры обыкновенныхъ, никогда на нихъ не похожа, всегда оригинальна, —и удивительно ли, если печать этой оригинальности налагаетъ она и на свои творенія? Самобытность поэтическихъ произведеній есть отраженіе самобытности создавшей ихъ личности.

У всякаго человѣка есть лицо, слѣдовательно всякій человѣкъ есть личность; и однакожъ въ человѣческомъ родѣ гораздо больше существъ неопредѣленныхъ,

безцвѣтныхъ, безхарактерныхъ, слѣдовательно безличныхъ, нежели существъ съ рѣзкимъ выраженіемъ личности. Лицо есть выраженіе, душа человѣка; но вѣдь есть лица, которыхъ нельзя забыть, разъ увидѣвши, и есть лица, которыя видишь безпрестанно цѣлыя годы и забываешь, не видя недѣлю. Слѣдовательно, личность имѣетъ свои степени и свою постепенность. Чѣмъ общѣе, тѣмъ ничтожѣе она; чѣмъ богѣе поражаетъ оригинальностью, тѣмъ она выше. Поэтому геній есть высочайшее развитіе личности. Тайну генія составляетъ собственно не умъ; умъ, и часто весьма замѣчательный, бываетъ и у обыкновенныхъ людей;—не талантъ: талантъ, и притомъ весьма замѣчательный, часто бываетъ и у обыкновенныхъ людей;—не сердце: оно тоже, и очень часто, бываетъ удѣломъ людей обыкновенныхъ. Нѣтъ, тайна генія заключается больше всего въ какой-то непосредственной творческой способности вдохновенія, похожаго на откровеніе и составляющаго тайну личности человѣка. Это что-то такъ же неуловимое и невыразимое словомъ, какъ выраженіе фізіономіи, какъ органическая жизнь. Намъ извѣстны средства жизни, ея органы, ихъ отправленія; но фізіологическая жизнь все-таки для насъ тайна. Мы не можемъ выразить сущности генія, но всегда вѣрно чувствуемъ преобладающее надъ нами вліяніе не только генія, но всякой сколько-нибудь высшей насъ личности. Иногда геніальная личность, обдѣленная образованіемъ и не подозрѣвающая своего значенія, съ смиреніемъ и съ робостью подходитъ къ человѣку обыкновенному, но образованному, развитому и ученіемъ, и свѣтской жизнью; но дѣло всегда оканчивается тѣмъ, что первая незамѣтно беретъ верхъ надъ послѣднимъ, и обыкновенный человѣкъ въ присутствіи геніальнаго невѣжды какъ-то невольно дѣлается осторожнымъ, какъ-бы боясь проговориться. Вотъ что значитъ личность, натура,—и талантъ тогда только бываетъ плодотворенъ и живучъ, когда онъ тѣсно соединенъ съ личностью, съ натурой человѣка. И вотъ почему иногда бываютъ люди съ талантомъ, не имѣя ни ума, ни сердца: это таланты обыкновенныя, которые могутъ существовать безъ связи съ личностью и натурой человѣка.

Когда талантъ въ человѣкѣ есть не просто вѣшняя сила производить на основаніи увлеченія самобытными образцами, но выраженіе внутренней сущности человѣка, его личности, его натуры—тогда, каковъ бы ни былъ объемъ этого таланта, онъ уже сила творческая, зиждительная, слѣдовательно въ немъ уже заключается

искра гениальности, — и если, по его объему, его нельзя назвать «гением», то можно и должно назвать «гениальнымъ талантомъ».

Къ числу такихъ талантовъ принадлежить и талантъ Кольцова.

Пока сочиненія Кольцова были разбросаны по разнымъ періодическимъ изданіямъ, подобное заключеніе о его талантѣ не безъ основанія могло бы показаться нѣсколько преувеличеннымъ; но теперь, когда все написанное имъ собрано въ одной книгѣ, и наше мнѣніе можетъ быть повѣреннымъ, мы смѣло выговариваемъ его не какъ просто мнѣніе, но какъ глубокое и обдуманное убѣжденіе.

Кромѣ пѣсенъ, созданныхъ самимъ народомъ, и потому называющихся «народными», до Кольцова у насъ не было художественныхъ народныхъ пѣсенъ, хотя многіе русскіе поэты и пробовали свои силы въ этомъ родѣ, а Мерзляковъ и Дельвигъ даже приобрѣли себѣ большую извѣстность своими русскими пѣснями, за которыми публика охотно утвердила титулъ «народныхъ». Въ самомъ дѣлѣ, въ пѣсняхъ Мерзлякова попадаются иногда мѣста, въ которыхъ онъ удачно подражаетъ народнымъ мелодіямъ, и вообще онъ по этой части сдѣлалъ все, что можетъ сдѣлать талантъ. Но, несмотря на то, въ цѣломъ его русскія пѣсни не что иное, какъ романсы, пропѣтые на русскій народный мотивъ. Въ нихъ виденъ баринъ, которому пришла охота попробовать сыграть роль крестьянина. Что же касается до русскихъ пѣсенъ Дельвига — это уже рѣшительно романсы, въ которыхъ русскаго — одни слова. Это чистая поддѣлка, въ которой роль русскаго крестьянина игралъ даже и не совсемъ русскій, а скорѣе нѣмецкій или, еще ближе къ дѣлу, итальянскій баринъ. Мерзляковъ по крайней мѣрѣ перенесъ въ свои русскія пѣсни русскую грусть-тоску, русское гореванье, отъ котораго щемитъ сердце и захватываетъ духъ. Въ пѣсняхъ Дельвига нѣтъ ничего, кромѣ сладенькаго любезничанья и сладенькой задумчивости, слѣдовательно нѣтъ ничего русскаго. Впрочемъ наше мнѣніе о пѣсняхъ Мерзлякова клонится не къ униженію его таланта, весьма замѣчательнаго; но мы хотимъ только сказать, что русскія пѣсни могъ создать только русскій человѣкъ, сынъ народа въ такомъ смыслѣ, въ какомъ и самъ Пушкинъ не былъ и не могъ быть русскимъ человекомъ, по причинѣ рѣзкаго разрыва, произведеннаго реформой Петра Великаго между образованными классами русскаго общества и массой народа. Въ пьесахъ Пушкина, содержаніе которыхъ взято изъ народной жизни и выражено въ народной

формѣ, видна душа глубоко-русская, но въ то же время видна и та художественная объективность, которая дѣлала для Пушкина возможнымъ быть какъ у себя дома во всѣхъ сферахъ жизни, даже самыхъ противоположныхъ другъ другу, и благодаря которой онъ въ «Каменномъ Гостѣ» изобразилъ природу и нравы Испаніи съ такой же поразительной вѣрностью, какъ въ «Русалкѣ» изобразилъ природу и нравы Руси временъ удѣловъ. Сверхъ того, въ этой «Русалкѣ», если внимательнѣе прислушаться къ ея звукамъ, приглядѣться къ ея колориту, — нельзя не открыть въ ней примѣси поэтическихъ элементовъ, болѣе обрусѣнныхъ поэтомъ, если можно такъ выразиться, нежели чисто русскихъ. Сейчасъ видно, что эта пьеса писана поэтомъ, который образованъ европейски и который безъ этого обстоятельства не могъ бы написать ее такъ. Не таковъ міръ русскихъ пѣсенъ Кольцова: въ нихъ и содержаніе, и форма чисто русскія, — и, несмотря на всю объективность своего гения, Пушкинъ не могъ бы написать ни одной пѣсни вродѣ Кольцова, потому что Кольцовъ одинъ и безраздѣльно владѣлъ тайной этой пѣсни. Этой пѣсней онъ создалъ свой особенный, только одному ему довѣшій міръ, въ которомъ и самъ Пушкинъ не могъ бы съ нимъ соперничествовать, — но не по недостатку таланта, а потому, что міръ пѣсни Кольцова требуетъ всего человѣка, а для Пушкина, какъ для гения, этотъ міръ былъ бы слишкомъ тѣсенъ и малъ, и потому могъ входить только, какъ элементъ, въ огромный и необъятный міръ Пушкинской поэзіи.

Кольцовъ родился для поэзіи, которую онъ создалъ. Онъ былъ сыномъ народа въ полномъ значеніи этого слова. Быть, среди котораго онъ воспитался и выросъ, былъ тотъ же крестьянскій бытъ, хотя нѣсколько и выше его. Кольцовъ выросъ среди степей и мужиковъ. Онъ не для фразы, не для краснаго слова, не воображеніемъ, не мечтой, а душой, сердцемъ, кровью любилъ русскую природу, и все хорошее и прекрасное, что, какъ зародышъ, какъ возможность, живетъ въ натурѣ русскаго селянина. Не на словахъ, а на дѣлѣ сочувствовалъ онъ простому народу въ его горестяхъ, радостяхъ и наслажденіяхъ. Онъ зналъ его нужды, горе и радость, прозу и поэзію его жизни, — зналъ ихъ не по наслышкѣ, не изъ книгъ, не черезъ изученіе, а потому, что самъ и по всей натурѣ, и по своему положенію былъ вполне русскій человѣкъ. Онъ носилъ въ себѣ всѣ элементы русскаго духа, въ особенности — страшную силу въ страданіи и въ наслажденіи.

способность бѣшено предаваться и печали, и веселью, а вмѣсто того, чтобы падать подъ бременемъ самаго отчаяннѣя, способность находить въ немъ какое-то буйное, удалое, размахистое упоеніе, а если уже пасть, то спокойно, съ полнымъ сознаниемъ своего паденія, не прибѣгая къ ложнымъ утѣшеніямъ, не ища спасенія въ томъ, чего не нужно было ему въ его лучшіе дни. Въ одной изъ своихъ пѣсенъ онъ жалуется, что у него нѣтъ воли,

Чтобъ въ чужой сторонѣ
На людей поглядѣть;
Чтобъ порой предъ бѣдой
За себя постоять;
Подъ грозой роковой
Назадъ шагу не дать;
И чтобъ съ горемъ, въ пиру,
Быть съ веселымъ людомъ;
На погибель идти —
Пѣсни пѣть соловьемъ.

Нѣтъ, въ томъ не могло не быть такой воли, кто въ столь мощныхъ образахъ могъ выразить свою тоску по такой волѣ...

Нельзя было тѣснѣ слить своей жизни съ жизнью народа, какъ это само собой сдѣлалось у Кольцова. Его радовала и умиляла рожь, шумящая спѣлымъ колосомъ, и на чужую ниву смотрѣлъ онъ съ любовью крестьянина, который смотритъ на свое поле, орошенное его собственнымъ потомъ. Кольцовъ не былъ земледѣльцемъ, но урожай былъ для него свѣтлымъ праздникомъ: прочтите его «Пѣсню пахаря» и «Урожай». Сколько сочувствія къ крестьянскому быту въ его «Крестьянской пирушкѣ» и въ пѣснѣ:

Что ты спишь, мужичокъ!
Вѣдь ужъ лѣто прошло,
Вѣдь ужъ осень на дворъ
Черезъ прясло глядитъ;
Всѣмъ за око зима
Въ теплой шубѣ идетъ,
Пусть свѣжкомъ порошить,
Подъ саними хрустятъ.
Всѣ сосѣди на нихъ
Хлѣбъ возутъ, продаютъ,
Собираютъ казну,
Бражку ковшикомъ пьютъ.

Кольцовъ зналъ и любилъ крестьянскій бытъ такъ, какъ онъ есть на самомъ дѣлѣ, не украшая и не поэтизируя его. Поэзію этого быта нашелъ онъ въ самомъ этомъ бытѣ, а не въ риторикѣ, не въ пѣтикѣ, не въ мечтѣ, даже не въ фантазіи своей, которая давала ему только образы для выраженія уже даннаго ему дѣйствительностью содержанія. И потому въ его пѣсни смѣло вошли и лапти, и рваные кафтаны, и включенныя бороды, и старыя онучи—и вся эта грязь превратилась у него въ чистое золото поэзіи. Любовь играетъ въ его пѣсняхъ большую, но далеко не исключительную роль: нѣтъ, въ нихъ вошли и другіе, мо-

жетъ-быть еще болѣе общіе элементы, изъ которыхъ слагается русскій простонародный бытъ. Мотивъ многихъ его пѣсенъ составляетъ то нужда и бѣдность, то борьба изъ копѣйки, то прожитое счастье, то жалоба на судьбу-мачиху.

Въ одной пѣснѣ крестьянинъ садится за столъ, чтобы подумать, какъ ему жить одному; въ другой выражено раздумье крестьянина, на что ему рѣшиться—жить ли въ чужихъ людяхъ, или дома браниться съ старикомъ-отцомъ, рассказывать ребятишкамъ сказки, ботѣть, старѣться. Такъ, говоритъ онъ, хотъ оно и не того, но ужъ такъ бы и быть, да кто пойдетъ за нищаго? «Гдѣ избытокъ мой зарытъ лежитъ?» И это раздумье разрѣшается въ саркастическую русскую иронию:

Куда глянешь — всюду наша степь;
На горахъ — лѣса, сады, дома;
На днѣ моря — груды золота;
Облака идутъ — нарядъ несутъ!...

Но если гдѣ идетъ дѣло о горѣ и отчаяніи русскаго человѣка—тамъ поэзія Кольцова доходитъ до высокаго, тамъ обнаруживаетъ она страшную силу выраженія, поразительное могущество образовъ.

Пала грусть-тоска тяжелая
На кручинную головушку;
Мучить душу мука смертная,
Вонъ изъ тѣла душа просится.

И какая же вмѣстѣ съ тѣмъ сила духа и воли въ самомъ отчаяніи:

Въ ночь, подъ бурей, я коня сѣдлалъ,
Всѣхъ дороги въ путь отправилъ —
Горе мыкать, жизнью тѣшиться:
Съ зломъ долей перевѣдаться...

И послѣ этой пѣсни («Измѣна суженой») прочтите пѣсню: «Ахъ, зачѣмъ меня» — какая разница! Тамъ буря отчаянія сильной мужской души, мощно опирающейся на самое себя; здѣсь грустное воркованіе горлицы, глубокая, раздирающая душу жалоба нѣжной женской души, осужденной на безвыходное страданіе...

Когда форма есть выраженіе содержанія, она связана съ нимъ такъ тѣсно, что отдѣлить ее отъ содержанія—значитъ уничтожить само содержаніе; и наоборотъ: отдѣлить содержаніе отъ формы — значитъ уничтожить форму. Эта живая связь или, лучше сказать, это органическое единство и тождество идеи съ формой и формы съ идеей бываетъ достояніемъ только одной гениальности. Простой талантъ всегда опирается или преимущественно на содержаніе, и тогда его произведенія не долговѣчны со стороны формы, или преимущественно блистаетъ формой, и тогда его произведенія эфемерны со стороны содержанія; но главное и въ томъ, и другомъ случаѣ

богатыя мыслью или щеголяющія вѣншней красотой, они лишены оригинальности формы, свидѣтельствующей о самобытности мысли. Здѣсь-то всего яснѣе и открывается, что обыкновенный талантъ основанъ на способности подражанія, на способности увлеченія образцами, — и въ этомъ заключается причина недолговѣчности, а чаще всего и эфемерности таланта. И потому оригинальность есть не случайное, но необходимое свойство гениальности, есть черта, которая отдѣляетъ гениальность отъ простой талантливости или даровитости. Но эта оригинальность, прежде всего поражающая читателей въ языкѣ поэта, не должна быть искусственной или изысканной: тогда она увлекаетъ только на минуту и потомъ тѣмъ болѣе дѣлается предметомъ осмѣянія и презрѣнія, чѣмъ больше сперва имѣла успѣха. Поэтъ долженъ быть оригиналенъ, самъ не зная какъ, и если долженъ о чемъ-нибудь заботиться, такъ это не объ оригинальности, а объ истиннѣйшихъ выраженіяхъ: оригинальность придетъ сама собой, если въ талантѣ его есть гениальность. Истинная оригинальность въ изобрѣтеніи, а слѣдовательно и въ формѣ, возможна только при вѣрности дѣйствительности и истинѣ.

Такой оригинальностью Кольцовъ обладалъ въ высшей степени. Съ этой стороны его пѣсни смѣло можно равнять съ баснями Крылова. Даже русскія пѣсни, созданныя народомъ, не могутъ равняться съ пѣснями Кольцова въ богатствѣ языка и образовъ, чисто русскихъ. Это естественно: въ народныхъ пѣсняхъ заключаются только элементы народнаго духа и поэзіи, но въ нихъ нѣтъ художественности, подъ которой должно разумѣть цѣлостъ, единство, полноту, окончанность и выдержанность мысли и формы. Многія русскія пѣсни имѣютъ значеніе только въ пѣніи, а въ чтеніи почти, или и вовсе, лишены смысла; другія при богатствѣ наивныхъ поэтическихъ образовъ не чужды прозаическихъ выраженій и слабыхъ мѣстъ, и только очень немногія, и то не вполне, удовлетворяютъ болѣе или менѣе богатствомъ содержанія при силѣ выраженія. Изъ поэтовъ только Мерзляковъ, и то въ одной только пѣснѣ, и то не вполне, умѣлъ приблизиться къ языку народному безъ изысканности, народному не вѣншнимъ только образомъ, но и внутренне; умѣлъ сохранить силу чувства и избѣжать будуарной сентиментальности романа, — въ пѣснѣ: «Чернобровый, черноглазый». По крайней мѣрѣ слѣдующіе стихи изъ этой пѣсни нельзя не признать удивительными:

Воетъ сыр-боръ за горою,

Метелина въ полѣ;
Встала вьюга, непогода,
Запала дорога...

Кольцовъ, напротивъ, никогда не проговаривается противъ народности ни въ чувствѣ, ни въ выраженіи. Чувство его всегда глубоко, сильно, мощно и никогда не впадаетъ въ сентиментальность, даже и тамъ, гдѣ оно становится нѣжнымъ и трогательнымъ. Въ выраженіи онъ также вѣренъ русскому духу. Даже въ слабыхъ его пѣсняхъ никогда не найдете фальшиваго русскаго выраженія; но лучшія его пѣсни представляютъ собою изумительное богатство самыхъ роскошныхъ, самыхъ оригинальныхъ образовъ въ высшей степени русской поэзіи. Съ этой стороны языкъ его столько же удивителенъ, сколько и неподражаемъ. Гдѣ, у кого, кромѣ Кольцова, найдете вы такіе обороты, выраженія и образы, какими наприимѣръ усыпаны, такъ сказать, двѣ пѣсни Лихача-Кудрявича? У кого, кромѣ Кольцова, можно встрѣтить такіе стихи:

Грудь бѣлая волнуется,
Что рѣченька глубокая —
Песку со дна не выкинуть.
Въ лицѣ огонь, въ глазахъ туманъ...
Смеркаетъ степь, горитъ заря...

На гумнѣ — ни снопа,
Въ закромахъ — ни зерна;
На дворѣ, по травѣ,
Хоть шаромъ покати.
Изъ клѣтѣй домовою
Сорь метлою посмею,
И лошадокъ за долгу
По сосѣдямъ развезу.

Иль у сокола
Крылья связаны,
Иль пути ему
Всѣ заказаны?

Не держи жъ, пусти, дай волюшку
Тамъ опять мнѣ жить, гдѣ хочется,
Безъ талана — иди таланился,
Молодымъ кудрямъ счастливитися.

Отчего жъ на свѣтъ
Глядѣть хочется,
Облетѣть его
Душа проситъся?

Мы не выбирали этихъ отрывковъ, но брали, что прежде попадалось на глаза. Выписывать все хорошее — значило бы большую часть пьесъ Кольцова въ одной и той же книгѣ напечатать вдвойнѣ. И потому мы не войдемъ въ подробный разборъ отдѣльныхъ пьесъ. Скажемъ просто: еслибы Кольцовъ написалъ только такіа пьесы, какъ «Совѣтъ старца», «Крестьянская пирушка», «Размышленіе поселенника», «Два прощанія», «Размолвка», «Кольцо», «Пѣсня старика», «Не шуми ты, рожь», «Удалецъ», «Ты не пой, соловей», «Пѣсня пахаря», «Не

на радость, не на счастье», «Всякому своей таланъ», «Пѣсню Грозномъ», «Я любила его», «Что онъ ходитъ за мной», «Нынче ночью къ себѣ»,—и тогда въ его талантъ нельзя было бы не признать чего-то необыкновеннаго. Но что же сказать о такихъ пѣсахъ, какъ «Урожай», «Молодая жница», «Косарь», «Раздумье селянина», «Горькая доля», «Пора любви», «Послѣдній поцѣлуй», «Въ полѣ вѣтеръ вѣетъ», «Пѣсня разбойника», «Тоска по волѣ», «Говорилъ мнѣ другъ прощаючися», «Безъ ума, безъ разума», «Разлука», «Разсчитъ съ жизнью», «Перепутье», «Дуютъ вѣтры», «Грусть дѣвушки», «Доля бѣдняка», «Ты прости-прощай», «Разступитесь, лѣса темные», «Какъ здоровъ да молодъ»?—Такия пѣсы громко говорятъ сами за себя, и кто бы не увидалъ въ нихъ огромнаго таланта, съ тѣмъ нечего и словъ тратить—съ слѣпыми о цѣлѣхъ не разсуждаютъ. Что же касается до пѣсѣ: «Лѣсъ» (посвященный памяти Пушкина), «Двѣ пѣсни Лихача-Кудрявича», «Ахъ, зачѣмъ меня», «Измѣна суженой», «Деревенская бѣда», «Бѣгство», «Путь», «Что ты спишь, мужичокъ», «Въ непогоду вѣтеръ», «Дума сокола», «Свѣтитъ солнышко», «Такъ и рвется душа», «Много есть у меня», «Не весна тогда», «Хуторокъ» и «Ночь»—эти пѣсы принадлежатъ не только къ лучшимъ пѣсамъ Кольцова, но и къ числу замѣчательнѣйшихъ произведеній русской поэзіи. Мы не говоримъ уже о неподражаемомъ превосходствѣ собственно лирическихъ пѣсенъ—талантъ Кольцова былъ по преимуществу лирический; но не можемъ не указать на повѣствовательный характеръ пѣсѣ: «Измѣна суженой», «Деревенская бѣда», «Бѣгство», обѣ «пѣсни Лихача-Кудрявича», и на страстно-драматическій характеръ пѣсѣ: «Хуторокъ» и «Ночь».

Почти всѣ пѣсни Кольцова писаны правильнымъ размѣромъ: но этого вдругъ не замѣтишь, а если замѣтишь, то не безъ удивленія. Дактилическое окончаніе ямбовъ и хореевъ и полуриема, вмѣсто риемы, а часто и совершенное отсутствіе риемы, какъ созвучія слова, но, взаимнѣ, всегда риема смысла или цѣлаго реченія, цѣлой соотвѣтственной фразы—все это приближаетъ размѣръ пѣсенъ Кольцова къ размѣру народныхъ пѣсенъ. Кольцовъ не имѣлъ яснаго понятія о версификаціи, и руководствовался только своимъ слухомъ. И потому безъ всякаго старанія и даже совершенно безсознательно умѣлъ онъ искусно замаскировать правильный размѣръ своихъ пѣсенъ, такъ-что его и не подозрѣваешь въ нихъ. Притомъ онъ придавалъ своему стиху такую оригинальность, что и самыя ихъ размѣры кажутся совершенно ориги-

нальными. И въ этомъ отношеніи, какъ и во всемъ другомъ, подражать Кольцову невозможно: легче сдѣлаться такимъ же, какъ онъ, оригинальнымъ поэтомъ, нежели въ чемъ-нибудь поддѣлаться подъ него. Съ нимъ родилась его поэзія, съ нимъ и умерла ея тайна.

Нѣкоторыя пѣсни Кольцова положены на музыку многими нашими композиторами. Жаль, что это большей частью не лучшія его пѣсни, что произошло вѣроятно отъ того, что пѣсни Кольцова были доселѣ разсѣяны во множествѣ періодическихъ изданій. Теперь выходомъ въ свѣтъ этой книги музыкальному таланту предоставляется прекрасное поприще для состязанія съ поэтическимъ талантомъ. Русскіе звуки поэзіи Кольцова должны породить много новыхъ мотивовъ національной музыки. И придетъ время, когда пѣсни Кольцова пройдутъ въ народъ и будутъ пѣться на всемъ пространствѣ безпредѣльной Руси, какъ нѣкогда пройдутъ въ народъ и будутъ заучены ими наизусть басни Крылова...

Къ третьему разряду произведеній Кольцова принадлежатъ думы—особый и оригинальный родъ стихотвореній, созданный имъ. Эти думы далеко не могутъ равняться въ достоинствѣ съ его пѣснями; нѣкоторыя изъ нихъ даже слабы, и только немногія прекрасны. Въ нихъ онъ силился выразить порыванія своего духа къ знанію, силился разрѣшить вопросы, возникавшіе въ его умѣ. И потому въ нихъ естественно представляются двѣ стороны: вопросъ и рѣшеніе. Въ первомъ отношеніи нѣкоторыя думы прекрасны, какъ напримѣръ: «Великая тайна», «Неразгаданная истина», «Молитва», «Вопросъ». Такъ, напримѣръ, что можетъ быть прекраснѣе этихъ стиховъ, проникнутыхъ глубокой мыслью, выраженной поэтически и страстно:

Спаситель, Спаситель!
Чиста моя вѣра,
Какъ пламя молитвы!
Но, Боже, и вѣрь
Могила томна!
Что слухъ мой замѣнить?
Потухшія очи?
Глубокое чувство
Остывшаго сердца?
Что будетъ живанъ духа
Безъ этого сердца?

Но во второмъ отношеніи эти думы естественно не могутъ имѣть никакого значенія. Сильный, но неразвитый умъ, томясь великими вопросами и чувствуя себя не въ силахъ разрѣшить ихъ, обыкновенно старается успокоить себя или какой-нибудь риторической фразой о высшемъ мірѣ, или иронической выходкой противъ слабости ума человеческого, какъ напримѣръ сдѣ-

лагъ это Кольцовъ въ думѣ: «Неразгаданная истина», которая оканчивается такъ:

Подѣлку-жъ я крылья
Дерякому сомнѣнью,
Прокляну усилъя
Къ тайнамъ провидѣнья.
Умъ нашъ не шагаетъ
Міра за границу,
Наобумъ мѣшаетъ
Съ былью небылицу.

Это случалось и случается и съ великими мыслителями, когда они брались или берутся за вопросы выше ихъ времени или выше ихъ самихъ. Кольцовъ съ его вопросами не могъ быть ни въ какихъ отношеніяхъ ни съ какимъ вѣкомъ: они были важны только для него, и тѣмъ труднѣе было ему рѣшать ихъ. Но самый вопросъ излагается у него часто съ необыкновенной поэзіей, доходящей до высокаго (sublime); чтобы убѣдиться въ этомъ, стоить только прочесть его «Великую тайну». Несмотря на мистическую темноту выраженія, которая иногда доходитъ до рѣшительной бессмыслицы, какъ наприимѣръ въ трехъ первыхъ стихахъ думы «Божій міръ», и естественная причина которой была та, что поэтъ больше ощущалъ и чувствовалъ или, лучше сказать, больше предощущалъ и предчувствовалъ сердцемъ, нежели сознавалъ умомъ то, что хотѣлъ выразить словомъ,—несмотря на эту мистическую темноту, почти во всѣхъ его думахъ есть поэзія и мысли, и выраженія. Многіе осуждали Кольцова за этотъ родъ стихотвореній, видя въ нихъ претензіи полуграмотнаго прасола на философское умничанье. Да если вспомнить, мало ли за что не осуждали Кольцова эти «многіе»—даже за то, что въ бесѣдахъ онъ сидѣлъ не все молча, но иногда осмѣливался высказывать свое мнѣніе о предметѣ общаго разговора. Этой строгостью къ Кольцову особенно отличались умные и образованные люди, книжники, литераторы, полулитераторы и литературщики. И по-дѣломъ ему: какъ было смѣть ему, безграмотному мѣщанину, удостоенному за его талантъ чести быть принятымъ въ общество умныхъ людей,—какъ было ему при нихъ «смѣть свое сужденіе имѣть!»... Люди съ книжнымъ, вычитаннымъ умомъ, съ готовыми сужденіями о чемъ угодно, никогда не поймутъ, чтобы человѣкъ съ высшей натурой, но обдѣленный образованіемъ, могъ на своемъ странномъ языкѣ вслухъ выговаривать то, что глубоко запало въ его душу и сильно заняло его умъ; никогда не растолкуете вы имъ, что такой человѣкъ и ошибается-то лучше, нежели какъ они говорятъ дѣло, потому что онъ ошибается по своему, а они говорятъ чужое...

Особенное достоинство думъ Кольцова заключается въ ихъ чисто-русскомъ, народномъ языкѣ. Кольцовъ не по кокетству таланта, а по необходимости прибѣгалъ къ этому складу. Въ своихъ думахъ Кольцовъ—русскій простолюдинъ, ставшій выше своего сословія на столько, чтобы только увидѣть другую, высшую сферу жизни, но не на столько, чтобы овладѣть ею и самому совершенно отрѣшиться отъ своей прежней сферы. И потому онъ по необходимости говоритъ ея понятіями и ея языкомъ объ увидѣнной имъ вдали сферѣ другихъ, высшихъ понятій; но потому же онъ въ своихъ думахъ искрененъ и истиненъ до наивности,—что и составляетъ главное ихъ достоинство. Хотя пѣсни Кольцова были бы понятны и доступны для нашего простаго народа, но все же онъ были бы для него гораздо высшей школой поэзіи, а слѣдовательно чувствъ и понятій, нежели поэзія народныхъ пѣсень,—и потому были бы очень полезны для нравственнаго и эстетическаго его образованія. Такимъ же точно образомъ думы Кольцова, изложенныя образами и складомъ чисто-русскими и представляющія собою первую высшую ступень простаго русскаго человѣка въ стремленіи къ нравственно-идеальному развитію,—были бы очень полезны для избранныхъ натуръ въ простомъ народѣ.

Мистическое направленіе Кольцова, обнаруженное имъ въ думахъ, не могло бы у него долго продолжиться, еслибъ онъ остался живъ. Этотъ простой, ясный и смѣлый умъ не могъ бы долго плавать въ туманахъ неопредѣленныхъ представленій. Доказательствомъ этому служитъ его превосходная дума «Не время ль намъ оставитьъ», написанная имъ менѣе нежели за годъ до смерти. Въ ней виденъ рѣшительный выходъ изъ тумановъ мистицизма и крутой поворотъ къ простымъ созерцаніямъ здраваго разсудка.

Теперь намъ остается сказать слова два о редакціонной части изданія сочиненій Кольцова. Мы расположили его сочиненія по годамъ и раздѣлили ихъ на два отдѣла. Въ первомъ помѣстили мы одно лучшее, избранное, не нарушая однако же хронологической послѣдовательности,—и потому въ этомъ отдѣлѣ сперва идутъ пьесы перваго періода поэтическихъ опытовъ Кольцова, которыя естественно слабѣе послѣдующихъ, которыя занимаютъ собой середину и большую часть отдѣла; а въ концѣ его по той же причинѣ рѣшились мы помѣстить и четыре послѣднія стихотворенія, довольно слабыя и написанныя Кольцовымъ уже не задолго до смерти, во время тяж-

кой болѣзни, въ мучительныхъ обстоятельствахъ. Изъ нихъ стихотвореніе «На новый 1842-й годъ» имѣетъ свой интересъ, какъ скорбное предчувствіе поэта,—увы!—слишкомъ вѣрно сбывшееся; остальные же три—какъ послѣдніе, уже замирающіе звуки еще недавно громкаго, мощнаго и гармоническаго голоса... Думы помѣстили мы отдѣльно, непосредственно послѣ пѣсенъ и не отдѣлили лучшихъ изъ нихъ отъ слабыхъ, потому что эти пьесы слишкомъ тѣсно слиты съ личностью Кольцова и интересны болѣе какъ факты его внутренней жизни, нежели какъ поэтическія произведенія, хотя нѣкоторыя изъ нихъ прекрасны и съ этой точки зрѣнія, какъ напримѣръ: «Великая тайна», «Могила», «Не время ль намъ оставить». Такимъ образомъ изъ 125 пьесъ въ первомъ отдѣлѣ помѣщено 79 пьесъ. Остальные 46 стихотвореній мы напечатали въ особомъ отдѣлѣ, въ видѣ приложенія. Между ними есть много слабыхъ, даже очень слабыхъ; но нѣтъ ни одного, которое не имѣло бы хотя относительнаго интереса или замѣчательной степени одушевленія, даже стра-

сти, или оригинальной мыслью, или счастливыми оборотами выраженій, или наконецъ болѣе или менѣе любопытнымъ отношеніемъ къ жизни и личности автора. Нѣкоторыя изъ стихотвореній этого отдѣла были бы даже очень недурны, еслибы отзывались большей зрѣлостью и выдержанностью. Таковы напримѣръ пьесы: «Если встрѣчусь съ тобой», «Теремъ», «По-надъ Дономъ садъ цвѣтетъ», «Домикъ дѣсника», «Размышленіе поселенина», «Глаза», «Два прощанья», «Бѣдный призракъ», «Товарищу», «Не скажу никому», «Гдѣ вы, дни мои».

Такъ же, въ видѣ приложенія, рѣшили мы, при собраніи стихотвореній Кольцова, напечатать «Мысли о музыкѣ», статью друга его Серебрянскаго. Это единственный оставшійся послѣ Серебрянскаго литературный памятникъ, погребенный въ одномъ малоизвѣстномъ и притомъ старомъ уже журналѣ. Мы увѣрены, что отношенія Серебрянскаго къ Кольцову, равно какъ и достоинство статьи, которая сама такъ похожа на музыкальное произведеніе, вполне оправдываютъ ея помѣщеніе въ книгѣ сочиненій Кольцова.

ВЗГЛЯДЪ НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 1846 ГОДА.

Настоящее есть результатъ прошедшаго и указаніе на будущее. Поэтому говорить о русской литературѣ 1846 года,—значить говорить о современномъ состояніи русской литературы вообще, чего нельзя сдѣлать, не коснувшись того, чѣмъ она была, чѣмъ должна быть. Но мы не владимъ ни въ какія историческія подробности, которыя завлекли бы насъ далеко. Главная цѣль нашей статьи—познакомить заранее читателей «Современника» съ его взглядомъ на русскую литературу, слѣдовательно съ его духомъ и направленіемъ, какъ журнала. Программы и объявленія въ этомъ отношеніи ничего не говорятъ: они только обѣщаютъ. И потому программа «Современника», по возможности краткая и не многословная, ограничилась только обѣщаніями, чисто внѣшними. Предполагаемая статья вмѣстѣ съ статьей самого редактора, напечатанной во второмъ отдѣлѣ этого же номера, будетъ второй, внутренней, такъ сказать, программой «Современника», въ которой читатели могутъ сами до извѣстной степени повѣрять обѣщанія исполненіемъ.

Еслибы насъ спросили, въ чемъ состоитъ отличительный характеръ современной рус-

ской литературы, мы отвѣчали бы: въ болѣе и болѣе тѣсномъ сближеніи съ жизнью, съ дѣйствительностью, въ большей и большей близости къ зрѣлости и возмужалости. Само собой разумѣется, что подобная характеристика можетъ относиться только къ литературѣ недавней, молодой, и притомъ возникшей не самобытно, а вслѣдствіе подражательности. Самобытная литература зрѣетъ вѣками, и эпоха ея зрѣлости есть въ то же время и эпоха числительнаго богатства ея замѣчательныхъ произведеній (chefs d'oeuvre). Этого нельзя сказать о русской литературѣ. Ея исторія, какъ исторія самой Россіи, не похожа на исторію никакой другой литературы. И потому она представляетъ собой зрѣлище единственное, исключительное, которое тотчасъ дѣлается страннымъ, непонятнымъ, почти бессмысленнымъ, какъ скоро на нее будутъ смотрѣть, какъ на всякую другую европейскую литературу. Какъ и все, что ни есть въ современной Россіи живого, прекраснаго и разумнаго, наша литература есть результатъ реформы Петра Великаго. Правда, онъ не заботился о литературѣ и ничего не сдѣлалъ для ея возникновенія, но онъ заботился о просвѣщеніи, бросивъ въ плодот-

виту ю землю русскаго духа сѣмена науки и образованія, — и литература безъ его вѣдома явилась впоследствии сама собой, какъ необходимый результатъ его же дѣятельности. Въ томъ-то, скажемъ мимоходомъ, и состояла органическая жизненность преобразования Петра Великаго, что оно породило много и такого, о чемъ онъ можетъ-быть и не думалъ, чего онъ даже и не предчувствовалъ. Даровитый и умный Кантемиръ, вполнину подражатель, вполнину перелagатель на русскіе нравы сатиры римскихъ поэтовъ (преимущественно Горация) и ихъ подражателя и перелagателя на французскіе нравы — Буало, Кантемиръ, съ его силлабическимъ размѣромъ, съ его языкомъ полу-книжнымъ, полу-народнымъ, который по самой этой смѣси былъ языкомъ образованнаго общества того времени, Кантемиръ и, вслѣдъ за нимъ, Тредьяковский, съ его безплодной ученостью, съ его бездарнымъ трудолюбіемъ, съ его схоластическимъ педантизмомъ, съ его неудачными попытками усвоить русскому стихотворству правильные тоническіе размѣры и древніе гекзаметры, съ его варварскими виршами и варварскимъ двоекратнымъ переложеніемъ Роллена, — Кантемиръ и Тредьяковский были, такъ сказать, прологомъ, предисловіемъ къ русской литературѣ. Отъ смерти перваго прошло съ небольшимъ сто два года (онъ умеръ 31 марта 1744 года); отъ смерти втораго прошло только съ небольшимъ 77 лѣтъ (онъ умеръ 6 августа 1769 года). Тредьяковский былъ еще въ цвѣтѣ своей славы и еще только шесть лѣтъ величалъ себя «профессоромъ элоквиенціи и хитростей піитическихъ»; еще молодой, но больной, слабый и уже близкій къ смерти, Кантемиръ былъ живъ *), когда въ 1739 году двадцативосьмилѣтній Ломоносовъ — Петръ Великій русской литературы — прислалъ изъ нѣмецкой земли свою знаменитую «Оду на взятіе Хотина», съ которой по всей справедливости должно считать начало литературы. Все, что сдѣлано было Кантемиромъ, осталось безъ слѣда и вліянія въ книжномъ мірѣ; все, что было сдѣлано Тредьяковскимъ, оказалось неудачнымъ — даже его попытки ввести въ русское стихотворство правильные тоническіе метры... Поэтому ода Ломоносова показала всѣмъ первымъ стихотворнымъ произведеніемъ на русскомъ языкѣ, которое было написано правильнымъ размѣромъ. Вліяніе Ломоносова на русскую литературу было такое же точно, какъ вліяніе Петра Великаго на Россію вообще: долго

литература шла по указанному имъ ей пути, но наконецъ, совершенно освободясь отъ его вліянія, пошла по дорогѣ, которой самъ Ломоносовъ не могъ ни предвидѣть, ни предчувствовать. Онъ далъ ей направленіе книжное, подражательное, и оттого повидимому безплодное и безжизненное, слѣдовательно вредное и губительное. Это совершенная правда, которая однакожъ нисколько не умаляетъ великой заслуги Ломоносова, нисколько не отнимаетъ у него права на имя отца русской литературы. Не то же ли самое говорятъ о Петрѣ Великомъ наши литературные старообрядцы? И надо сказать, что ихъ ошибка состоитъ не въ томъ, что они говорятъ о Петрѣ Великомъ и созданной имъ Россіи, а въ томъ, какое они выводятъ изъ этого слѣдствіе. По ихъ мнѣнію, реформа Петра убила въ Россіи народность, а слѣдовательно и всякій духъ жизни, такъ что Россіи для своего спасенія не остается ничего другаго, какъ снова обратиться къ благодатнымъ полупатріархальнымъ нравамъ эпохи Котлихина. Повторяемъ: ошибаясь въ выводѣ, они правы въ положеніи, и поддѣльный, искусственный европеизмъ Россіи, созданный реформой Петра Великаго, дѣйствительно можетъ казаться не болѣе, какъ внѣшней формой безъ внутренняго содержанія. Но развѣ нельзя того же самого сказать о всѣхъ поэтическихъ ораторскихъ опытахъ Ломоносова? За что же, по какому же странному противорѣчію съ собственнымъ своимъ взглядомъ эти самые люди благоговѣютъ передъ именемъ Ломоносова и съ странной раздражительностью принимаютъ за преступленіе всякое свободное мнѣніе объ этомъ риторѣ и въ поэзіи, и въ краснорѣчіи? Не было ли бы съ ихъ стороны гораздо послѣдовательнѣе и сообразнѣе съ логикой и здравымъ смысломъ и на Ломоносова смотрѣть такъ же точно, какъ смотрятъ они на Петра Великаго?..

Чужое, извнѣ взятое содержаніе никогда не можетъ замѣнить ни въ литературѣ, ни въ жизни отсутствія своего собственнаго, національнаго содержанія; но оно можетъ переродиться въ него со временемъ, какъ пища, извнѣ принимаемая человекомъ, перерождается въ его кровь и плоть и поддѣживаетъ въ немъ силу, здоровье и жизнь. Не будемъ распространяться, какимъ образомъ это сдѣлалось съ Россіей, созданной Петромъ, и русской литературой, созданной Ломоносовымъ; но что это дѣйствительно сдѣлалось и дѣлается съ нами — это историческій фактъ, истина фактически очевидная. Сравните басни Крылова, комедію Грибоѣдова, произведенія Пуш-

*) Кантемиру тогда было 31 годъ, а Тредьяковскому — 36 лѣтъ.

кина, Лермонтова и въ особенности Гоголя, — сравните ихъ съ произведеніями Ломоносова и писателей его школы, и вы не увидите между ними ничего общаго, никакой связи, вы подумаете, что въ русской литературѣ все случайно — и талантъ, и гений; а можетъ ли имѣть какую-нибудь важность случайное: не есть ли это призракъ, мечта? И дѣйствительно, было время, когда вопросъ — есть ли у насъ литература? не казался парадоксомъ и многими разрѣшенъ былъ въ отрицательномъ смыслѣ. И такое рѣшеніе естественно и неизбѣжно, если русскую литературу судить на основаніяхъ, по которымъ должно судить исторію европейскихъ литературъ. Но одинъ изъ величайшихъ умственныхъ успѣховъ нашего времени въ томъ и состоитъ, что мы наконецъ поняли, что у Россіи была своя исторія, насколько не похожая на исторію ни одного европейскаго государства, и что ее должно изучать и о ней должно судить на основаніи ея же самой, а не на основаніи исторій, ничего не имѣющихъ съ ней общаго, европейскихъ народовъ. То же и въ отношеніи къ исторіи русской литературы. Между писателями, которыхъ мы поименовали выше, и между Ломоносовымъ и его школою дѣйствительно нѣтъ ничего общаго, никакой связи, если сравнивать ихъ, какъ двѣ крайности; но между ними сейчасъ же явится передъ вами живая кровная связь, какъ скоро вы будете изучать въ хронологическомъ порядкѣ всѣхъ русскихъ писателей отъ Ломоносова до Гоголя. Тогда вы увидите, что до Пушкина все движеніе русской литературы заключалось въ стремленіи, хотя и безсознательномъ, освободиться отъ вліянія Ломоносова и сблизиться съ жизнью, съ дѣйствительностью, слѣдовательно сдѣлаться самобытной, національной, русской. Если въ произведеніяхъ Хераскова и Петрова, такъ незаслуженно превознесенныхъ современниками, нельзя увидѣть ни малѣйшаго прогресса въ этомъ отношеніи, — зато прогрессъ есть уже въ Сумароковѣ, писателѣ безъ генія, безъ вкуса, почти безъ таланта, но на котораго современники смотрѣли, какъ на соперника Ломоносова. Попытки Сумарокова, хотя и неудачныя, на комедію изъ русскихъ нравовъ, его сатиры, а главное его простодушно-жолчныя выходки противъ «красивнаго сѣмени», равно какъ и нѣкоторыя прозаическія статьи, болѣе или менѣе касавшіяся вопросовъ современной ему дѣйствительности, — все это показываетъ какое-то стремленіе на сближеніе литературы съ жизнью. И въ этомъ отношеніи сочиненія Сумарокова, лишенные всякаго художественнаго или литературна-

го интереса, заслуживаютъ изученія, такъ же какъ имя его, сперва не по достоинству превозносимое, а потомъ столько же несправедливо унижаемое, заслуживаетъ уваженія въ потомствѣ. Нельзя смотрѣть, какъ на безполезныя явленія, даже и на Хераскова съ Петровымъ: современники видѣли въ нихъ гениевъ, превозносили ихъ до седьмого неба, стало-быть, читали ихъ, а если читали, стало-быть, эти писатели сильно способствовали распространенію въ Россіи вкуса къ занятію и наслажденію литературой. Безобразныя притчи Сумарокова явились изящными, по тому времени, переводами французскихъ басенъ въ басняхъ Хемницера и Дмитріева, а въ басняхъ Крылова онѣ явились въ послѣдствіи превосходными народными произведеніями. Подражатель Ломоносова, смиренно благоговѣвшій даже передъ Херасковымъ и Петровымъ, Державинъ, если не былъ самобытнымъ русскимъ поэтомъ, то уже не былъ и только риторомъ. Одаренный отъ природы великимъ поэтическимъ гениемъ, онъ потому только не могъ создать самобытной русской поэзіи, что для этого не пришло еще время, а не по недостатку естественныхъ силъ и средствъ. Русский языкъ былъ тогда еще не выработанъ, духъ книжничества и риторики царилъ въ литературѣ; но главное — тогда была только государственная жизнь, но не было жизни общественной, потому что тогда не было общества, а былъ только дворъ, на который всѣ смотрѣли, но который знали только принадлежавшіе къ нему. Не было общества, не было и общественной жизни, общественныхъ интересовъ; поэзіи и литературѣ не откуда было брать содержаніе, и потому онѣ существовали и поддерживались не сами собой, а покровительствомъ сильныхъ и знатныхъ, и носили характеръ officialный. Такъ должно смотрѣть на эту эпоху, сравнивая ее съ нашей; но не такъ должно смотрѣть на нее, сравнивая ее съ эпохой Ломоносова: тутъ былъ сравнительно большой прогрессъ. Если въ это время еще не было общества, за то именно въ это время оно зарождалось, потому что блескъ и образованность двора начинали тогда отражаться и на среднемъ дворянствѣ, и тогда же начали устанавливаться въ немъ тѣ нравы, которые мы видимъ теперь. И потому, кромѣ огромной разницы въ поэтическомъ гении, Державинъ уже имѣлъ передъ Ломоносовымъ большое преимущество и со стороны содержанія для своей поэзіи, хотя онъ былъ человѣкомъ безъ образованія, не только безъ учености. Поэтому поэзія Державина далеко разнообразнѣе, живѣе, человѣчнѣе со стороны содержанія, нежели поэзія Ло-

моносова, Причина этого не въ томъ только, что Ломоносовъ былъ больше превосходный стихотворецъ, нежели поэтъ, тогда какъ Державинъ отъ природы получилъ поэтический гений, но и въ сравнительномъ успѣхѣ общества временъ Екатерины Великой передъ обществомъ временъ императрицы Анны и Елизаветы.

По этой же причинѣ литература екатерининскаго времени рѣшительно заслоняетъ собой предшествовавшую ей литературу. Кромѣ Державина, въ то время былъ Фонвизинъ, — первый даровитый комикъ въ русской литературѣ, писатель, котораго теперь не только чрезвычайно интересно изучать, но котораго читать есть истинное наслаждение. Въ его лицѣ русская литература какъ будто даже преждевременно сдѣлала огромный шагъ къ сближенію съ дѣйствительностью: его сочиненія — живая лѣтопись той эпохи. Въ это же время литература наша отъ древнихъ литературъ, изучавшихся въ семинаріяхъ и на семинарскій ладъ, начала исключительно наклоняться къ французской литературѣ. Вслѣдствіе этого начали хлопотать о такъ-называемой легкой литературѣ, въ которой блисталъ Богдановичъ. Къ концу царствованія Екатерины явился Карамзинъ, давшій русской литературѣ новое направленіе. Мы не будемъ говорить о его великихъ заслугахъ, его великомъ вліяніи на нашу литературу и черезъ нее на образованіе нашего общества. Мы не будемъ также входить въ подробности о слѣдовавшихъ за нимъ писателяхъ. Скажемъ коротко, что въ каждомъ изъ нихъ видно постепенное освобожденіе отъ книжнаго, риторическаго направленія, даннаго Ломоносовымъ нашей литературѣ, и постепенное сближеніе литературы съ обществомъ, съ жизнью, съ дѣйствительностью. Загляните въ лицейскія стихотворенія Пушкина, даже во многія изъ пьесъ въ первой части его сочиненій, имъ самимъ изданныхъ, — и вы увидите въ нихъ вліяніе почти всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ, отъ Ломоносова до Жуковского и Батюшкова включительно. Баснописецъ Крыловъ, предшествующій Хемницеромъ и Дмитріевымъ, такъ сказать, приготовилъ языкъ и стихъ для безсмертной комедіи Грибоѣдова. Стало быть, въ нашей литературѣ всюду живая историческая связь, новое выходитъ изъ стараго, послѣдующее объясняется предыдущимъ, и ничто не является случайно. «Но, — спросятъ насъ можетъ быть, — въ чемъ же заключалась важная заслуга Ломоносова, если вся заслуга послѣдующихъ писателей состояла въ постепенной эманципации русской литературы изъ-подъ его вліянія, слѣ-

довательно въ томъ, что они старались писать не такъ, какъ онъ писалъ? И не странное ли это противорѣчіе — говорить съ уваженіемъ о заслугахъ и гениі писателя, котораго вы же сами называете риторомъ?»

Во-первыхъ, Ломоносовъ нисколько не былъ риторомъ по его натурѣ: для этого онъ былъ слишкомъ великъ; но его сдѣлали риторомъ не отъ него зависѣвшія обстоятельства. Его сочиненія раздѣляются на ученныя и литературныя: къ послѣднимъ мы относимъ оды, «Петриаду», трагедіи, словомъ, — всѣ стихотворныя его опыты похвальные слова. Въ его ученыхъ сочиненіяхъ по части астрономіи, физики, химіи, металлургіи, навигаціи — нѣтъ риторики, хотя онъ и писаны длинными періодами по латино-нѣмецкой конструкціи, съ глаголами въ концѣ, но его стихотворныя произведенія и похвальные рѣчи преисполнены риторики. Отчего же это? Оттого, что для ученыхъ своихъ сочиненій у него было готовое содержаніе, которое добылъ онъ себѣ наукой и трудомъ въ нѣмецкой землѣ, и котораго ему не нужно было дожидаться или допрашиваться у своего отечества. Приобрѣтенное ученіемъ и трудомъ онъ развилъ и увеличилъ собственнымъ гениемъ. Стало быть, онъ зналъ, чтѣ писалъ, и не нуждался въ риторикѣ. Содержанія же для своей поэзіи онъ не могъ найти въ общественной жизни своего отечества, потому что тутъ не было не только сознанія, но и стремленія къ нему, стало-быть, не было никакихъ умственныхъ и нравственныхъ интересовъ; слѣдовательно, онъ долженъ былъ взять для своей поэзіи совершенно чуждое, но зато готовое содержаніе, выражая въ своихъ стихахъ чувства, понятія и идеи, выработанныя не нами, не нашей жизнью и не на нашей почвѣ. Это значило сдѣлаться риторомъ поневолѣ, потому что понятія чуждой жизни, выдаваемые за понятія своей жизни, всегда риторика. Еще богѣе риторикой были въ то время европейскіе кафтаны, камзолы, башмаки, парики, робронды, мушки, ассамблеи, менуэты и т. д. Но кто же, кромѣ теоретиковъ и фантазеровъ, скажетъ, чтобы теперь европейская одежда и нравы не сдѣлались національными для лучшей, т. е. образованнѣйшей части русскаго общества, нисколько не мѣшая ему быть русскимъ на самомъ дѣлѣ, а не по названію только? Скажемъ богѣе: въ отношеніи не только къ образованнѣйшей части русскаго общества, но и всего народа русскаго, теперь сдѣлались чистой риторикой всѣ понятія, опредѣленія и слова до-петровскаго русскаго быта, — и еслибы военныя и гражданскія чины наши были переименованы въ стра-

тиговъ, бояръ, стольниковъ и т. п., — простой народъ тутъ ровно бы ничего не понималъ. То же самое, благодаря Ломоносову, совершилось и въ литературномъ мірѣ: всѣ поддѣлки подъ народность теперь пахнутъ простонародностью, т. е. пошлостью, и всѣ попытки въ этомъ родѣ самыхъ даровитыхъ писателей отзываются риторикой.

«Но какимъ же чудомъ, — спросятъ насъ, — внѣшнее, абстрактное заимствование чужого и искусственное перенесеніе его на родную почву, — какимъ чудомъ могло породить оно живой органической плодъ?» — Въ отвѣтъ на это скажемъ то же, что уже говорили: рѣшеніе этого вопроса безъ сомнѣнія интересно; но намъ нѣтъ дѣла до него: для насъ довольно сказать, что такъ, именно такъ было, что это историческій фактъ, достовѣрности котораго не можетъ и подуматъ опровергать тотъ, у кого есть глаза, чтобъ видѣть, и уши, чтобъ слышать. Писатели, въ которыхъ выразилось прогрессивное движеніе черезъ освобожденіе литературы русской отъ Ломоносовскаго вліянія, нисколько не думали объ этомъ; это дѣлалось у нихъ безсознательно; за нихъ работалъ духъ времени, котораго они были органами. Они высоко уважали Ломоносова, какъ поэта, благоговѣли передъ его гениемъ, старались подражать ему, и все-таки больше и больше отходили отъ него. Разительный примѣръ этого — Державинъ. Но въ томъ-то и состоитъ жизненность европейскаго начала, привитаго къ нашей народности Петромъ Великимъ, что оно не коснѣетъ въ мертвой стоячести, но движется, идетъ впередъ, развивается. Еслибы Ломоносовъ не вздумалъ писать одъ по образцу современныхъ ему нѣмецкихъ поэтовъ и французскаго лирика Жанъ-Батиста Руссо, не вздумалъ писать своей «Петриады» по образцу Виргиліевой «Энеиды», гдѣ вмѣстѣ съ Петромъ Великимъ, героемъ своей поэмы, сдѣлалъ дѣйствующимъ лицомъ и Нептуна, засадивъ его съ тритонами и наядами на дно прокладнаго Бѣлаго моря; еслибы, говоримъ мы, вмѣсто всѣхъ этихъ книжныхъ, школярныхъ негѣпостей онъ обратился къ источникамъ нашей народной поэзіи — къ «Слову о Полку Игоревомъ», къ русскимъ сказкамъ (извѣстнымъ теперь по сборнику Кириши Данилова), къ народнымъ пѣснямъ и, вдохновленный, проникнутый ими, на ихъ чисто-народномъ основаніи рѣшился бы построить зданіе новой русской литературы: что бы тогда вышло? — Вопросъ повидимому важный, но въ сущности препустой, похожій на вопросы вродѣ слѣдующихъ: что было бы, еслибы Петръ Великій родился во Франціи, а Наполеонъ — въ Рос-

сіи, или: что было бы, еслибы за зимой слѣдовала не весна, а прямо лѣто? и т. п. Мы можемъ знать, что было и что есть, но какъ намъ знать, чего не было или чего нѣтъ? Разумѣется, и въ сферѣ исторіи все мелкое, ничтожное, случайное могло бы быть и не такъ, какъ было; но ея великія событія, имѣющія вліяніе на будущность народовъ, не могутъ быть иначе, какъ именно такъ, какъ они бывають, разумѣется, въ отношеніи къ главному ихъ смыслу, а не къ подробностямъ проявленія. Петръ Великій могъ построить Петербургъ пожалуй тамъ, гдѣ теперь Шлиссельбургъ, или по крайней мѣрѣ хотъ немного выше, т. е. дальше отъ моря, чѣмъ теперь; могъ сдѣлать новой столицей Ревель или Ригу: во всемъ этомъ играла большую роль случайность, разныя обстоятельства; но сущность дѣла была не въ томъ, а въ необходимости новой столицы на берегу моря, которая дала бы намъ средство легко и удобно своситься съ Европой. Въ этой мысли уже не было ничего случайнаго, ничего такого, что могло бы равно и быть, и не быть, или быть иначе, нежели какъ было. Но для тѣхъ, для кого не существуетъ разумной необходимости великихъ историческихъ событий, мы, пожалуй, готовы признать важность вопроса: что было бы, еслибы Ломоносовъ основалъ новую русскую литературу на народномъ началѣ? — и отвѣтимъ имъ, что изъ этого ровно ничего не вышло бы. Однообразныя формы нашей бѣдной народной поэзіи были достаточны для выраженія ограниченаго содержанія племенной, естественной, непосредственной, полу-патріархальной жизни старой Руси; но новое содержаніе нешло къ нимъ, не улеглось въ нихъ; для него необходимы были и новыя формы. Тогда спасеніе наше зависѣло не отъ народности, а отъ европеизма; ради нашего спасенія тогда необходимо было не задушить, не истребить (дѣло или невозможное, или гибельное, если возможное) нашу народность, а, такъ сказать, задержать на время (*suspendre*) ея ходъ и развитіе, чтобы привить къ ея почвѣ новыя элементы. Пока эти элементы относились къ нашимъ роднымъ, какъ масло къ водѣ, — у насъ естественно все было риторикой — и нравы, и — ихъ выраженіе — литература. Но тутъ было живое начало органическаго сращенія, черезъ процессъ усвоиванія (*assimilation*), и потому литература отъ абстрактнаго начала мертвой подражательности двигалась все къ живому началу самобытности. И мы дождались наконецъ до того, что переводъ нѣсколькихъ повѣстей Гоголя на французскій языкъ обратилъ на русскую литературу удивленное вниманіе всей Европы, —

говоримъ удивленное, потому что переводы русскихъ романовъ и повѣстей на иностранные языки дѣлались и прежде, но вмѣсто вниманія порождали въ иностранцахъ совсѣмъ не лестное для насъ вниманіе къ нашей литературѣ, по той причинѣ, что эти русскіе повѣсти и романы, переведенные на ихъ языки, они считали, напротивъ, переводами съ ихъ языковъ: такъ чужды они были всего русскаго, всякой самобытности и оригинальности.

Карамзинъ окончательно освободилъ русскую литературу отъ Ломоносовскаго вліянія, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы онъ освободилъ ее отъ риторики и сдѣлалъ національной: онъ много для этого сдѣлалъ, но этого не сдѣлалъ; потому что до этого было еще далеко. Первымъ національнымъ поэтомъ русскимъ былъ Пушкинъ*); съ него начался новый періодъ нашей литературы, еще больше противоположный Карамзинскому, нежели этотъ послѣдній Ломоносовскому. Вліяніе Карамзина до сихъ поръ ощутительно въ нашей литературѣ, и полное освобожденіе отъ него будетъ великимъ шагомъ впередъ со стороны русской литературы. Но это не только ни на волосъ не уменьшаетъ заслугъ Карамзина, но, напротивъ, обнаруживаетъ всю ихъ великость: вредное во вліяніи писателя есть запоздалое, отсталое, а чтобы оно властвовало не въ свое время, необходимо, чтобы въ свое время оно было новымъ, живымъ, прекраснымъ и великимъ.

Въ отношеніи къ литературѣ, какъ къ искусству, поэзіи, творчеству, вліяніе Карамзина теперь совершенно исчезло, не оставивъ никакихъ слѣдовъ. Въ этомъ отношеніи литература наша всего ближе къ той зрѣлости и возмужалости, рѣчь о которыхъ мы начали эту статью. Такъ называемую «натуральную школу» нельзя упрекнуть въ риторику, разумѣя подъ этимъ словомъ вольное или невольное искаженіе дѣйствительности, фальшивое идеализированіе жизни. Мы отнюдь не хотимъ этимъ сказать, чтобы всѣ новые писатели, которыхъ (въ похвалу имъ или въ осужденіе) причисляютъ къ натуральной школѣ, были все гении или необыкновенные таланты;

*) Намъ могутъ замѣтить, ссылаясь на собственныя наши слова, что не Пушкинъ, а Крыловъ; но вѣдь Крыловъ былъ только баснописецъ-поэтъ, тогда какъ трудно было бы такимъ же образомъ однимъ словомъ опредѣлить, какой поэтъ былъ Пушкинъ. Поэзія Крылова—поэзія здраваго смысла, житейской мудрости, и для нея скорѣе, чѣмъ для всякой другой поэзіи, можно было найти готовое содержаніе въ русской жизни. Притомъ же самая лучшая, слѣдовательно самая народная басня свои Крыловъ написалъ уже въ эпоху дѣятельности Пушкина, и слѣдовательно новаго движенія, которое послѣдній далъ русской поэзіи.

мы далеки отъ подобнаго дѣтскаго оболъщевія. За исключеніемъ Гоголя, который создалъ въ Россіи новое искусство, новую литературу, и котораго гениальность давно уже признана не нами одними и даже не въ одной Россіи только,—мы видимъ въ натуральной школѣ довольно талантовъ, отъ весьма замѣчательныхъ до весьма обыкновенныхъ. Но не въ талантахъ, не въ ихъ числѣ видимъ мы собственно прогрессъ литературы, а въ ихъ направленіи, ихъ манерѣ писать. Таланты были всегда, но прежде они украшали природу, идеализировали дѣйствительность, т. е. изображали несуществующее, рассказывали о небываломъ; а теперь они воспроизводятъ жизнь и дѣйствительность въ ихъ истинѣ. Отъ этого литература получала важное значеніе въ глазахъ общества. Русская повѣсть въ журналѣ предпочтается переводной, и мало того, чтобы повѣсть была написана русскимъ авторомъ, необходимо, чтобы она изображала русскую жизнь. Безъ русскихъ повѣстей теперь не можетъ имѣть успѣха ни одинъ журналъ. И это не прихоть, не мода, но разумная потребность, имѣющая глубокой смыслъ, глубокое основаніе: въ ней выражается стремленіе русскаго общества къ самосознанію, слѣдовательно пробужденіе въ немъ нравственныхъ интересовъ, умственной жизни. Уже безвозвратно прошло то время, когда даже всякая посредственность иностранная казалась выше всякаго таланта русскаго. Умѣя отдавать справедливость чужому, русское общество уже умѣетъ цѣнить и свое, равно чуждаясь какъ хвастливости, такъ и униженія. Но если оно болѣе интересуется хорошей русской повѣстью, нежели превосходнымъ иностраннымъ романомъ, въ этомъ виденъ огромный шагъ впередъ съ его стороны. Въ одно и то же время умѣть видѣть превосходство чужого надъ своимъ и все-таки ближе принимать къ сердцу свое, — тутъ нѣтъ ложнаго патріотизма, нѣтъ ограниченаго пристрастія: тутъ только благородное и законное стремленіе сознать себя...

Натуральную школу обвиняютъ въ стремленіи все изображать съ дурной стороны. Какъ водится, у однихъ это обвиненіе — умысленная клевета, у другихъ — искренняя жалоба. Во всякомъ случаѣ возможность подобнаго обвиненія показываетъ только то, что натуральная школа, несмотря на ея огромные успѣхи, существуетъ еще недавно, что къ ней не успѣли еще привыкнуть, и что у насъ еще много людей Карамзинскаго образованія, которыхъ риторика имѣетъ свойство утѣшать, а истина—огорчать. Разумѣется, нельзя, чтобы всѣ обвиненія противъ натуральной школы

были положительно ложны, а она во всемъ была непогрѣшительно права. Но еслибы ея преобладающее отрицательное направленіе и было односторонней крайностью, и въ этомъ есть своя польза, свое добро: привычка вѣрно изображать отрицательныя явленія жизни дастъ возможность тѣмъ же людямъ или ихъ послѣдователямъ, когда придетъ время, вѣрно изображать и положительныя явленія жизни, не становя ихъ на ходули, не преувеличивая, словомъ, не идеализируя ихъ риторически.

Но видъ міра собственно беллетристическаго вліяніе Карамзина до сихъ поръ еще очень ощутительно. Это всего лучше доказываетъ такъ называемая партія славянофильская. Извѣстно, что въ глазахъ Карамзина Іоаннъ III былъ выше Петра Великаго, а до-петровская Русь лучше Россіи новой. Вотъ источникъ такъ-называемаго славянофильства, которое мы впрочемъ во многихъ отношеніяхъ считаемъ весьма важнымъ явленіемъ, доказывающимъ въ свою очередь, что время зрѣлости и возмужалости нашей литературы близко. Во времена дѣтства литературы всѣхъ занимають вопросы, если даже и важные сами по себѣ, то не имѣющіе никакого дѣльнаго примѣненія къ жизни. Такъ называемое славянофильство безъ всякаго сомнѣнія касается самыхъ жизненныхъ, самыхъ важныхъ вопросовъ нашей общественности. Какъ оно ихъ касается и какъ оно къ нимъ относится—это другое дѣло. Но прежде всего славянофильство есть убѣжденіе, которое, какъ всякое убѣжденіе, заслуживаетъ полнаго уваженія, даже и въ такомъ случаѣ, если съ нимъ вовсе не согласны. Славянофиловъ у насъ много, и число ихъ все увеличивается,—фактъ, который тоже говоритъ въ пользу славянофильства. Можно сказать, что вся наша литература, а съ нею и часть публики, если не вся публика, раздѣлилась на двѣ стороны—славянофиловъ и не-славянофиловъ. Много можно сказать въ пользу славянофильства, говоря о причинахъ, вызвавшихъ его явленіе; но, рассмотрѣвши его ближе, нельзя не увидѣть, что существованіе и важность этой литературной котеріи чисто-отрицательныя, что она вызвана и живетъ не для себя, а для оправданія и утвержденія именно той идеи, на борьбу съ которой обрекла себя. Поэтому нѣтъ никакого интереса говорить съ славянофилами о томъ, чего они хотятъ, да и сами они неохотно говорятъ и пишутъ объ этомъ, хотя и не дѣлаютъ изъ этого никакой тайны. Дѣло въ томъ, что положительная сторона ихъ доктрины заключается въ какихъ-то туманныхъ, мистическихъ предчувствіяхъ побѣды Вос-

тока надъ Западомъ, которыхъ несостоятельность слишкомъ ясно обнаруживается фактами дѣйствительности, всѣми вмѣстѣ и каждымъ порознь. Но отрицательная сторона ихъ ученія гораздо болѣе заслуживаетъ вниманія, не въ томъ, что она говоритъ противъ гниющаго будто бы Запада (Запада славянофилы рѣшительно не понимаютъ, потому что мѣряютъ его на восточный аршинъ); но въ томъ, что они говорятъ противъ русскаго европеизма, а объ этомъ они говорятъ много дѣльнаго, съ чѣмъ нельзя не согласиться хотя на половину, какъ наприимѣръ, что въ русской жизни есть какая-то двойственность, слѣдовательно отсутствіе нравственнаго единства; что это лишаетъ насъ рѣзко выразившагося національнаго характера, какимъ, къ чести ихъ, отличаются почти всѣ европейскіе народы; что это дѣлаетъ насъ какими-то междоумками, которые хорошо умѣютъ мыслить по-французски, по-нѣмецки и по-англійски, но никакъ не умѣютъ мыслить по-русски; и что причина всего этого въ реформѣ Петра Великаго. Все это справедливо до извѣстной степени. Но нельзя остановиться на признаніи справедливости какого-бы то ни было факта, а должно изслѣдовать его причины, въ надеждѣ въ самомъ злѣ найти и средства къ выходу изъ него. Этого славянофилы не дѣлали и не сдѣлали; но зато они заставили если не сдѣлать, то дѣлать это своихъ противниковъ. И вотъ гдѣ ихъ истинная заслуга. Заснуть въ самолюбивыхъ мечтахъ, о чемъ бы онѣ ни были—о нашей ли народной славѣ, или о нашемъ европеизмѣ,—равно бесплодно и вредно, ибо сонъ есть не жизнь, а только грѣзы о жизни; и нельзя не сказать спасибо тому, кто прерветъ такой сонъ. Въ самомъ дѣлѣ, никогда изученіе русской исторіи не имѣло такого серьезнаго характера, какой приняло оно въ послѣднее время. Мы вопрошаемъ и допрашиваемъ прошедшее, чтобы оно объяснило намъ наше настоящее и намекнуло о нашемъ будущемъ. Мы какъ будто испугались за нашу жизнь, за наше значеніе, за наше прошедшее и будущее, и скорѣе хотимъ рѣшить великій вопросъ: «быть или не быть?». Тутъ уже дѣло идетъ не о томъ, откуда пришли варяги—съ Запада или съ Юга, изъ-за Балтійскаго или изъ-за Чернаго моря,—а о томъ, проходитъ ли черезъ нашу исторію какая-нибудь живая органическая мысль, и если проходитъ, какая именно; какія наши отношенія къ нашему прошедшему, отъ котораго мы какъ будто оторваны, и къ Западу, съ которымъ мы какъ будто связаны. И результатомъ этихъ хлопотливыхъ и тревожныхъ изслѣдованій начинается ока-

зываются, что, во-первыхъ, мы не такъ рѣзко оторваны отъ нашего прошедшаго, какъ думали, и не такъ тѣсно связаны съ Западомъ, какъ воображали. Когда русскій бываетъ за-границей, его слушаютъ, имъ интересуются не тогда, какъ онъ истинно-европейски разсуждаетъ о европейскихъ вопросахъ, но когда онъ судить о нихъ, какъ русскій, хотя бы по этой причинѣ сужденія его были ложны, пристрастны, ограничены, односторонни. И потому онъ чувствуетъ тамъ необходимость придать себѣ характеръ своей національности и, за неимѣніемъ лучшаго, становится славянофиломъ, хотя на время и притомъ неискренно, чтобы только чѣмъ-нибудь казаться въ глазахъ иностранцевъ. Съ другой стороны, обращаясь къ своему настоящему положенію, смотря на него глазами сомнѣнія и изслѣдованія, мы не можемъ не видѣть, какъ во многихъ отношеніяхъ смѣшно и жалко успокоилъ насъ нашъ русскій европеизмъ на счетъ нашихъ русскихъ недостатковъ, заблывая и зарумянивъ, но вовсе не изгладивъ ихъ. И въ этомъ отношеніи поѣздки за-границу чрезвычайно полезны намъ: многіе изъ русскихъ отправляются туда рѣшительными европейцами, а возвращаются оттуда, сами не зная къ-мъ, и по тому самому съ искреннимъ желаніемъ сдѣлаться русскими. Что же все это означаетъ?—Неужели славянофилы правы и реформа Петра Великаго только лишила насъ народности и сдѣлала междоумками? И неужели они правы, говоря, что намъ надо воротиться къ общественному устройству и правамъ временъ не то баснословнаго Гостомысла, не то царя Алексѣя Михайловича (на счетъ этого сами господа славянофилы еще не условились между собой)?...

Нѣтъ, это означаетъ совсѣмъ другое, а именно то, что Россія вполнѣ исчерпала, изжила эпоху преобразованія, что реформа совершила въ ней свое дѣло, сдѣлала для нея все, что могла и должна была сдѣлать, и что настало для Россіи время развиваться самобытно, изъ самой себя. Но миновать, перескочить, перепрыгнуть, такъ сказать, эпоху реформы и воротиться къ предшествовавшимъ ей временамъ: неужели это значитъ развиваться самобытно? Смѣшно было бы такъ думать уже по одному тому, что это такая же невозможность, какъ и перемѣнить порядокъ годовыхъ временъ, заставивъ за весной слѣдовать зиму, а за осенью—лѣто. Это значило бы еще признать явленіе Петра Великаго, его реформу и послѣдующія событія въ Россіи (можетъ быть до самаго 1812 года,—эпохи, съ которой началась новая жизнь для Россіи), признать ихъ случайными, какимъ-то тя-

желымъ сномъ, который тотчасъ исчезаетъ и уничтожается, какъ скоро проснувшійся человѣкъ открываетъ глаза. Но такъ думать сродно господамъ Маниловымъ. Подобныя событія въ жизни народа слишкомъ велики, чтобы быть случайными, и жизнь народа не есть утлая лодочка, которой каждый можетъ давать произвольное направленіе легкимъ движеніемъ весла. Въмѣсто того чтобы думать о невозможномъ и смѣшнить всѣхъ на свой счетъ самолюбивымъ вмѣшательствомъ въ историческія судьбы, гораздо лучше, признавши неотразимую и неизмѣнимую дѣйствительность существующаго, дѣйствовать на его основаніи, руководясь разумомъ и здравымъ смысломъ, а не Маниловскими фантазіями. Не объ измѣненіи того, что совершилось безъ нашего вѣдома и что смѣется надъ нашей волей, должны мы думать, а объ измѣненіи самихъ себя на основаніи уже указаннаго намъ пути высшей насъ волей. Дѣло въ томъ, что пора намъ перестать казаться и начать быть, пора оставить, какъ дурную привычку, довольствоваться словами и европейскія формы и внѣшности принимать за европеизмъ. Скажемъ болѣе: пора намъ перестать восхищаться европейскимъ потому только, что оно не азіатское, но любить, уважать его, стремиться къ нему потому только, что оно человѣческое, и на этомъ основаніи все европейское, въ чемъ нѣтъ человѣческаго, отвергать съ такой же энергіей, какъ и все азіатское, въ чемъ нѣтъ человѣческаго. Европейскихъ элементовъ такъ много вошло въ русскую жизнь, въ русскіе права, что намъ вовсе не нужно безпрестанно обращаться къ Европѣ, чтобы сознавать наши потребности: и на основаніи того, что уже усвоено нами отъ Европы, мы достаточно можемъ судить о томъ, что намъ нужно.

Повторяемъ, славянофилы правы во многихъ отношеніяхъ; но тѣмъ не менѣе ихъ роль чисто отрицательная, хотя и полезная на время. Главная причина ихъ странныхъ выводовъ заключается въ томъ, что они произвольно упреждаютъ время, процессъ развитія принимаютъ за его результатъ, хотятъ видѣть плодъ прежде цвѣта и, находя листья безвкусными, объявляютъ плодъ гнилымъ и предлагаютъ огромный лѣсъ, разросшійся на необозримомъ пространствѣ, пересадить на другое мѣсто и приложить къ нему другого рода уходъ. По ихъ мнѣнію, это не легко, но возможно! Они забыли, что новая Петровская Россія такъ же молода, какъ Сѣверная Америка, что въ будущемъ ей представляется гораздо больше, чѣмъ въ прошедшемъ. Они

забыли, что въ разгарѣ процесса часто особенно бросаются въ глаза именно тѣ явленія, которыя по окончаніи процесса должны исчезнуть, и часто не видно именно того, что въ послѣдствіи должно явиться результатомъ процесса. Въ этомъ отношеніи Россію нечего сравнивать со старыми государствами Европы, которыхъ исторія пладіа метрально противоположно нашей, и давно уже дала и цвѣтъ, и плодъ. Безъ всякаго сомнѣнія, русскому легче усвоить себѣ взглядъ француза, англичанина или нѣмца, нежели мыслить самостоятельно, по-русски, потому что то готовый взглядъ, съ которымъ равно легко знакомить его и наука, и современная дѣйствительность; тогда какъ онъ въ отношеніи къ самому себѣ еще загадка, потому что еще загадка для него значеніе и судьба его отечества, гдѣ все зародыши, зачатки и ничего опредѣленнаго, развившагося, сформировавшагося. Разумѣется, въ этомъ есть нѣчто грустное, но зато какъ много и утѣшительнаго въ этомъ же самомъ! Дубъ растетъ медленно, зато живетъ вѣка. Человѣку сродно желать скората свершенія своихъ желаній, но скороспѣлость ненадежна: намъ болѣе, чѣмъ кому другому, должно убѣдиться въ этой истинѣ. Извѣстно, что французы, англичане, нѣмцы такъ національны каждый по своему, что не въ состояніи понимать другъ друга,—тогда какъ русскому равно доступны и социальность француза, и практическая дѣятельность англичанина, и туманная философія нѣмца. Одни видятъ въ этомъ наше превосходство передъ всѣми другими народами; другіе выводятъ изъ этого весьма печальныя заключенія о безхарактерности, которую воспитала въ насъ реформа Петра: ибо, говорятъ они, у кого нѣтъ своей жизни, тому легко поддѣлываться подъ чужую, у кого нѣтъ своихъ интересовъ, тому легко понимать чужіе; но поддѣлываться подъ чужую жизнь—не значитъ жить; понять чужіе интересы—не значитъ усвоить ихъ себѣ. Въ послѣднемъ мѣнѣи много правды, но не совсѣмъ лишено истины и первое мѣнѣе, какъ ни заочиво оно. Прежде всего мы скажемъ, что рѣшительно не вѣримъ въ возможность крѣпкаго политическаго и государственнаго существованія народовъ, лишенныхъ національности, слѣдовательно живущихъ чисто внѣшней жизнью. Въ Европѣ есть одно такое искусственное государство, склеенное изъ многихъ національностей; но кому же неизвѣстно, что его крѣпость и сила—до поры и времени?... Намъ, русскимъ, нечего сомнѣваться въ нашемъ политическомъ и государственномъ значеніи: изъ всѣхъ славянскихъ племенъ только мы сло-

жились въ крѣпкое и могучее государство, и какъ до Петра Великаго, такъ и послѣ него, до настоящей минуты, выдержали съ честью не одинъ суровый экзаменъ судьбы, не разъ были на краю гибели, и всегда успѣвали спастись отъ нея и потомъ являться въ новой и большей силѣ и крѣпости. Въ народѣ, чуждомъ внутренняго развитія, не можетъ быть этой крѣпости, этой силы. Да, въ насъ есть національная жизнь, мы призваны сказать міру свое слово, свою мысль, но какое это слово, какая мысль,—объ этомъ пока еще рано намъ хлопотать. Наши внуки или правнуки узнаютъ это безъ всякихъ усилій напряженнаго разгадыванія, потому что это слово, эта мысль будетъ сказана ими... Такъ какъ русская литература есть главный предметъ нашей статьи, то въ настоящемъ случаѣ будетъ очень естественно сослаться на ея свидѣтельство. Она существуетъ всего какихъ-нибудь сто семь лѣтъ, а между тѣмъ въ ней уже есть нѣсколько произведеній, которыя потому только и интересны для иностранцевъ, что кажутся имъ не похожими на произведенія ихъ литературъ, слѣдовательно оригинальными, самобытными, т. е. національно-русскими. Но въ чемъ состоитъ эта русская національность,—этого пока еще нельзя опредѣлить; для насъ пока довольно того, что элементы ея уже начинаютъ пробиваться и обнаруживаться сквозь безцвѣтность и подражательность, въ которыя ввергла насъ реформа Петра Великаго.

Что же касается до многосторонности, съ какой русскій человѣкъ понимаетъ чуждыя ему національности—въ этомъ заключается равно и его слабость, и его сильная сторона. Слабая потому, что этой многосторонности дѣйствительно много помогаетъ его настоящая независимость отъ односторонности собственныхъ національныхъ интересовъ. Но можно сказать съ достовѣрностью, что эта независимость только помогаетъ этой многосторонности; а едва-ли можно сказать съ какой-нибудь достовѣрностью, чтобы она производила ее. По крайней мѣрѣ намъ кажется, что было-бы слишкомъ смѣло приписывать положенію то, что всего болѣе должно приписывать природной даровитости. Не любя гаданій и мечтаній и пуще всего боясь произвольныхъ, имѣющихъ только субъективное значеніе выводовъ, мы не утверждаемъ за не-преложное, что русскому народу предначинено выразить въ своей національности наиболѣе богатое и многостороннее содержаніе, и что въ этомъ заключается причина его удивительной способности воспринимать и усваивать себѣ все чуждое ему;

но смѣемъ думать, что подобная мысль, какъ предположеніе, высказываемое безъ самохвальства и фанатизма, не лишена основанія...

Просимъ извиненія у гг. славянофиловъ, если мы приписали имъ что нибудь такое, чего они не думали или не говорили: если бы они могли упрекнуть насъ въ чемъ-нибудь подобномъ, пусть примутъ это за простую и неумышленную ошибку съ нашей стороны. Каковы бы ни были ихъ понятія или, по нашему, ошибки и заблужденія, мы уважаемъ ихъ источникъ. Мы можемъ сочувствовать всякому искреннему, независимому и благородному въ его началѣ убѣжденію, не только не раздѣляя его, но и видя въ немъ діаметральную противоположность нашему убѣжденію. На чьей сторонѣ истина—разсудитъ время, великій и непогрѣшительный судья всѣхъ умственныхъ и теоретическихъ тяжбъ. Журналъ, который теперь одинъ остался органомъ славянофильскаго направленія, объявилъ нѣкогда «непримиримую вражду» всякому противоположному направленію. Что касается до насъ, имѣя свое опредѣленное направленіе, свои горячія убѣжденія, которые намъ дороже всего на свѣтѣ, мы тоже готовы защищать ихъ всѣми силами нашими и вмѣстѣ съ тѣмъ противоборствовать всякому противоположному направленію и убѣжденію, но мы хотѣли бы защищать наши мнѣнія съ достоинствомъ, а противоположнымъ—противоборствовать съ твердостью и спокойствіемъ, безъ всякой вражды. Къ чему вражда? Кто враждуетъ, тотъ сердится, а кто сердится, тотъ чувствуетъ, что онъ не правъ. Мы имѣемъ самолюбіе до того считать себя правыми въ главныхъ основаніяхъ нашихъ убѣждений, что не имѣемъ никакой нужды враждовать и сердиться, смѣшивать идеи съ лицами, и вмѣсто благородной и позволенной борьбы мнѣній заводить бесполезную и неприличную борьбу личностей и самолюбій....

На свѣтѣ нѣтъ ничего безусловно важнаго или неважнаго. Противъ этой истины могутъ спорить только тѣ исключительно теоретическія натуры, которые до тѣхъ поръ и умы, пока носятъ въ общихъ отвлеченностяхъ, а какъ скоро спустятся въ сферу приложеній общаго къ частному, словомъ,—въ міръ дѣйствительности, тотчасъ оказываются сомнительными на счетъ нормальнаго состоянія ихъ мозга. О такихъ людяхъ русская поговорка выражается, что у нихъ умъ за разумъ зашелъ,—выраженіе, столько же глубокомысленное, сколько и справедливое, потому что оно не отнимаетъ у людей этого разбора ни ума, ни разсудка, но только указываетъ на ихъ

неправильныя, превратныя дѣйствія, словно на два испортившіяся колеса въ машинѣ, которыя дѣйствуютъ одно за другое, вопреки своему назначенію, и этимъ дѣлаютъ всю машину негодной къ употребленію. Итакъ, все на свѣтѣ только относительно важно или не важно, велико или мало, старо или ново. «Какъ,—скажутъ намъ, и истина, и добродѣтель—понятія относительныя?».—Нѣтъ, какъ понятіе, какъ мысль, онѣ безусловны и вѣчны; но какъ осуществленіе, какъ фактъ—онѣ относительны. Идея истины и добра признавалась всѣми народами во всѣ вѣка; но что непреложная истина, что добро для одного народа или вѣка, то часто бываетъ ложью или зломъ для другого народа въ другой вѣкъ. Поэтому безусловный, или абсолютный способъ сужденія есть самый легкій, но зато и самый ненадежный; теперь онъ называется абстрактнымъ, или отвлеченнымъ. Ничего нѣтъ легче, какъ опредѣлить, чѣмъ долженъ быть человекъ въ нравственномъ отношеніи; но ничего нѣтъ труднѣе, какъ показать, почему вотъ этотъ человекъ сдѣлался тѣмъ, что онъ есть, а не сдѣлался тѣмъ, чѣмъ бы ему, по теоріи нравственной философіи, слѣдовало быть.

Вотъ точка зрѣнія, съ которой мы находимъ признаки зрѣлости современной русской литературы въ явленіяхъ, повидимому самыхъ обыкновенныхъ. Присмотритесь, прислушайтесь: о чемъ больше всего толкуютъ наши журналы?—о народности, о дѣйствительности. На что больше всего нападаютъ они?—на романтизмъ, мечтательность, отвлеченность. О нѣкоторыхъ изъ этихъ предметовъ много было толковать и прежде, да не тотъ они имѣли смыслъ, не то значеніе. Понятіе о «дѣйствительности» совершенно новое; на «романтизмъ» прежде смотрѣли, какъ на альфу и омегу человѣческой мудрости, и въ немъ одномъ искали рѣшенія всѣхъ вопросовъ; понятіе о «народности» имѣло прежде исключительно литературное значеніе, безъ всякаго приложенія къ жизни. Оно, если хотите, и теперь обращается преимущественно въ сферѣ литературы; но разница въ томъ, что литература-то теперь сдѣлалась эхомъ жизни. Какъ судать теперь объ этихъ предметахъ—вопросъ другой. По обыкновенію, одни лучше, другіе хуже, но почти всѣ одинаково въ томъ отношеніи, что въ рѣшеніи этихъ вопросовъ видать какъ будто собственное спасеніе. Въ особенности вопросъ о «народности» сдѣлался всеобщимъ вопросомъ и проявился въ двухъ крайностяхъ. Одни смѣшали съ народностью старинные обычаи, сохранившіеся теперь

только въ простонародьи, и не любятъ, чтобы при нихъ говорили съ неуваженіемъ о курной и грязной избѣ, о рѣдкѣ и квасѣ, даже о сивухѣ; другіе, сознавая потребность высшаго національнаго начала и не находя его въ дѣйствительности, хлопчутъ выдумать свое и неясно, намеками указываютъ намъ на смиреніе, какъ на выраженіе русской національности. Съ первыми смѣшно спорить; но вторымъ можно замѣтить, что смиреніе есть въ извѣстныхъ случаяхъ весьма похвальная добродѣтель для человѣка всякой страны, для француза, какъ и для русскаго, для англичанина, какъ и для турка, но что она едва ли можетъ одна составить то, что называется «народностью». Притомъ же этотъ взглядъ, можетъ-быть превосходный въ теоретическомъ отношеніи, не совсѣмъ уживается съ историческими фактами. Удѣльный періодъ нашъ отличается скорѣе гордыней и драчливостью, нежели смиреніемъ. Татарамъ поддались мы совсѣмъ не отъ смиренія (что было-бы для насъ не честью, а безчестіемъ, какъ и для всякаго другого народа), а по безсилію, вслѣдствіе раздѣленія нашихъ силъ родовымъ, кровнымъ началомъ, положенномъ въ основаніе правительственной системы того времени. Іоаннъ Калита былъ хитеръ, а не смиренъ; Симеонъ даже прозванъ былъ «гордымъ»; а эти князья были первоначальниками силы Московскаго царства. Дмитрій Донской мечомъ, а не смиреніемъ предсказалъ татарамъ конецъ ихъ владычества надъ Русью. Іоанны III и IV, оба прозванные «грозными», не отличались смиреніемъ. Только слабый Феодоръ составляетъ исключеніе изъ правила. И вообще какъ-то странно видѣть въ смиреніи причину, по которой ничтожное Московское княжество сдѣлалось впоследствии сперва Московскимъ царствомъ, а потомъ Россійской имперіей, пріосѣнивъ крыльями двуглаваго орла, какъ свое достояніе, Сибирь, Малороссію, Бѣлоруссію, Новороссію, Крымъ, Бессарабію, Лифляндію, Эстляндію, Курляндію, Финляндію, Кавказъ. Конечно въ русской исторіи можно найти поразительныя черты смиренія, какъ и другихъ добродѣтелей, со стороны правительственныхъ и частныхъ лицъ; но въ исторіи какого же народа нельзя найти ихъ, и чѣмъ какой-нибудь Людовикъ IX уступаетъ въ смиреніи Феодору Іоанновичу?.. Толкуютъ еще о любви, какъ о національномъ началѣ, исключительно присущемъ однимъ славянскимъ племенамъ, въ ущербъ гальскимъ, тебтонскимъ и инымъ западнымъ. Эта мысль у нѣкоторыхъ обратилась въ истинную мономанію, такъ-что кто-то изъ этихъ «нѣкоторыхъ» рѣшился

даже печатно сказать, что русская земля смочена слезами, а отнюдь не кровью, и что слезами, а не кровью, отдѣлались мы не только отъ татаръ, но и отъ нашествія Наполеона... Не правда ли, что въ этихъ словахъ высокій образецъ ума, зашедшаго за разумъ, вслѣдствіе увлеченія системой, теоріей, несообразной съ дѣйствительностью?.. Мы, напротивъ, думаемъ, что любовь есть свойство человѣческой натуры вообще и такъ же не можетъ быть исключительной принадлежностью одного народа и племени, какъ и дыханіе, зрѣніе, голодъ, жажда, умъ, слово... Ошибка тутъ въ томъ, что относительное принято за безусловное. Завоевательная система, положившая основаніе европейскимъ государствамъ, тотчасъ же породила тамъ чисто-юридическій бытъ, въ которомъ само насиліе и угнетеніе приняло видъ не произвола, а закона. У славянъ же, напротивъ, господствовалъ обычай, вышедшій изъ кроткихъ и любовныхъ патріархальныхъ отношеній. Но долго ли продолжался этотъ патріархальный бытъ и что мы знаемъ о немъ достовернаго? Еще до удѣльнаго періода встречаемъ мы въ русской исторіи черты вовсе не любовныя—хитраго воеводы Олега, суроваго воеводы Святослава, потомъ Святополка (убійцу Борься и Глѣба), дѣтей Владиміра, вставшихъ на своего отца, и т. п. Это, скажутъ, занесли къ намъ варяги и — прибавимъ мы отъ себя—положили этимъ начало искаженію любовнаго патріархальнаго быта. Изъ чего же въ такомъ случаѣ и хлопотать? Удѣльный періодъ такъ же мало періодъ любви, какъ и смиренія; это скорѣе періодъ рѣзни, обратившейся въ обычай. О татарскомъ періодѣ нечего и говорить: тогда лицемерное и предательское смиреніе было нужнее и любви, и настоящаго смиренія. Уголовные законы, пытки, казни періода Московскаго царства и послѣдующихъ временъ, до самаго царствованія Екатерины Великой, опять посылаютъ насъ искать любви въ до-историческія времена славянъ. Гдѣ же тутъ любовь, какъ національное начало? Национальнымъ началомъ она никогда и не была, но была человѣческимъ началомъ, поддерживавшимся въ племени его историческимъ или, лучше сказать, его не-историческимъ положеніемъ. Положеніе измѣнилось, измѣнились и патріархальныя нравы, а съ ними исчезла и любовь, какъ бытовая сторона жизни. Ужъ не возвратится ли намъ къ этимъ временамъ? Почему жъ бы и не такъ, если это такъ же легко, какъ старику сдѣлаться юношей, а юношѣ—младенцемъ?..

Естественно, что подобныя крайности вызываютъ такіа же противоположныя

крайности. Одни бросились въ фантастическую народность; другіе — въ фантастическій космополитизмъ, во имя человѣчества. По мнѣнію послѣднихъ, національность происходитъ отъ чисто-внѣшнихъ вліяній, выражаетъ собой все, что есть въ народѣ неподвижнаго, грубаго, ограниченнаго, неразумнаго, и діаметрально противопологается всему человѣческому. Чувствуя же, что нельзя отрицать въ народѣ и человѣческаго, противоположнаго, по ихъ мнѣнію, національному, они раздѣляютъ недѣлимую личность народа на большинство и меньшинство, приписывая послѣднему качества, діаметрально противоположныя качествамъ перваго. Такимъ образомъ, безпрестанно нападая на какой-то дуализмъ, который они видятъ всюду, даже тамъ, гдѣ его вовсе нѣтъ, они сами впадаютъ въ крайность самаго отвлеченнаго дуализма. Великіе люди, по ихъ понятію, стоятъ внѣ своей національности, и вся заслуга, все величіе ихъ въ томъ и заключается, что они идутъ прямо противъ своей національности, борятся съ нею и побѣждаютъ ее. Вотъ истинно русское и въ этомъ отношеніи рѣзко-національное мнѣніе, которое не могло бы придти въ голову европейцу! Это мнѣніе вытекло прямо изъ ложнаго взгляда на реформу Петра Великаго, который, по общему въ Россіи мнѣнію, будто бы уничтожилъ русскую народность. Это мнѣніе тѣхъ, которые народность видятъ въ обычаяхъ и предразсудкахъ, не понимая, что въ нихъ дѣйствительно отражается народность, но что они одни отнюдь еще не составляютъ народности. Раздѣлить народное и человѣческое на два совершенно-чуждыя, даже враждебныя одно другому начала, значитъ впасть въ самый абстрактный, въ самый книжный дуализмъ.

Что составляетъ въ человѣкѣ его высокую, его благороднѣйшую дѣйствительность? — Конечно то, что мы называемъ его духовностью, т. е. чувство, разумъ, воля, въ которыхъ выражается его вѣчная, непреходящая, необходимая сущность. А что считается въ человѣкѣ низшимъ, случайнымъ, относительнымъ, преходящимъ? — Конечно его тѣло. Извѣстно, что наше тѣло мы снѣздѣтства привыкли презирать, можетъ-быть потому именно, что, вѣчно живя въ логическихъ фантазіяхъ, мы мало его знаемъ. Врачи, напротивъ, больше другихъ уважаютъ тѣло, потому что больше другихъ знаютъ его. Вотъ почему отъ болѣзней чисто-правственныхъ они лѣчатъ иногда средствами чисто-матеріальными, и наоборотъ. Изъ этого видно, что врачи, уважая тѣло, не презираютъ души: они только не презираютъ тѣла, уважая душу.

Въ этомъ отношеніи они похожи на умнаго агронома, который съ уваженіемъ смотритъ не только на богатство получаемыхъ имъ отъ земли зеренъ, но и на самую землю, которая ихъ произрастила, и даже на грязный, нечистый и вонючій навозъ, который усилилъ плодотворность этой земли. — Вы конечно очень цѣните въ человѣкѣ чувство? — Прекрасно! — такъ цѣните же и этотъ кусокъ мяса, который трепещетъ въ его груди, который вы называете сердцемъ и котораго замедленное или ускоренное бѣніе вѣрно соответствуетъ каждому движенію вашей души. — Вы конечно очень уважаете въ человѣкѣ умъ? — Прекрасно! — такъ останавливайтесь же въ благоговѣйномъ изумленіи и передъ этой массой мозга, гдѣ происходятъ всѣ умственные отправления, откуда по всему организму распространяются черезъ позвоночный хребетъ нити нервъ, которыя суть органы ощущеній и чувствъ и которыя исполнены какихъ-то до того тонкихъ жидкостей, что онѣ ускользаютъ отъ матеріальнаго наблюденія и не даются умозрѣнію. Иначе вы будете удивляться въ человѣкѣ слѣдствію мимо причины, или — что еще хуже — сочините свои небывалыя въ природѣ причины и удовлетворите ихъ. Психологія, не опирающаяся на фізіологію, такъ же несостоятельна, какъ и фізіологія, не знающая о существованіи анатоміи. Современная наука не удовольствовалась и этимъ: химическимъ анализомъ хочетъ она проникнуть въ таинственную лабораторію природы, а наблюденіемъ надъ эмбриономъ (зародышемъ) прослѣдить физическій процессъ нравственнаго развитія. Но это внутренній міръ фізіологической жизни человѣка; всѣ его сокровенныя отъ насъ дѣйствія, какъ результатъ, выказываются наружи въ лицѣ, взглядѣ, голосѣ, даже манерахъ человѣка. А между тѣмъ что такое лицо, глаза, голосъ, манеры? Вѣдь это все — тѣло, внѣшность, слѣдовательно все преходящее, случайное, ничтожное, потому что вѣдь все это — не чувство, не умъ, не воля? — такъ! но вѣдь во всемъ этомъ мы видимъ и слышимъ и чувство, и умъ, и волю. Всего случайнѣе въ человѣкѣ его манеры, потому что онѣ больше всего зависятъ отъ воспитанія, образа жизни, отъ общества, въ которомъ живетъ человѣкъ; но почему же иногда и въ грубыхъ манерахъ мужика чувство наше угадываетъ добраго человѣка, которому у смѣло можете довѣриться, и въ то же время изящныя манеры свѣтскаго человѣка заставляютъ васъ иногда невольно остерегаться его? — Сколько на свѣтѣ людей съ душой, съ чувствомъ, но у каждаго изъ нихъ его

чувство имѣть свой характеръ, свою особенность. Сколько на свѣтѣ умныхъ людей, и между тѣмъ у каждаго изъ нихъ свой умъ. Это не значитъ, чтобы умы людей были разные: въ такомъ случаѣ люди не могли бы понимать другъ друга, но это значитъ, что у самаго ума есть своя индивидуальность. Въ этомъ его ограниченность, и поэтому умъ величайшаго гения всегда неизмѣримо ниже ума всего человѣчества; но въ этомъ же и его дѣйствительность, его реальность. Умъ безъ плоти, безъ фizioноміи, умъ, не дѣйствующій на кровь и не принимающій на себя ея дѣйствія, есть логическая мечта, мертвый абстрактъ. Умъ—это человѣкъ въ тѣлѣ или, лучше сказать, человѣкъ черезъ тѣло, словомъ,—личность. Оттого на свѣтѣ столько умовъ, сколько людей, и только у человѣчества одинъ умъ. Посмотрите, сколько нравственныхъ отбѣнковъ въ человѣческой натурѣ: у одного умъ едва замѣтенъ изъ за сердца, у другого сердце какъ будто помѣстилось въ мозгъ; этотъ страшно уменъ и способенъ на дѣло, да ничего сдѣлать не можетъ, потому что нѣтъ у него воли; у того страшная воля да слабая голова, и изъ его дѣятельности выходятъ или вздоръ, или зло. Перечесъ этихъ отбѣнковъ такъ же невозможно, какъ перечесъ различія фizioномій: сколько людей, столько и лицъ, и двухъ совершенно схожихъ найти еще менѣе возможно, нежели найти два древесные листка, совершенно схожіе между собой... Когда вы влюблены въ женщину, не говорите, что вы обольщены прекрасными качествами ея ума и сердца: иначе, когда вамъ укажутъ на другую, которой нравственные качества выше, вы обязаны будете перевлюбиться и оставить первый предметъ своей любви для новаго, какъ оставляютъ хорошую книгу для лучшей. Нельзя отрицать вліянія нравственныхъ качествъ на чувство любви, но когда любятъ человѣка, любятъ его всего, не какъ идею, а какъ живую личность; любятъ въ немъ особенно то, чего не умѣютъ ни опредѣлить, ни назвать. Въ самомъ дѣлѣ, какъ бы опредѣлили и назвали вы наприимѣръ то неуловимое выраженіе, ту таинственную игру его фizioноміи, его голоса, словомъ,—все то, что составляетъ его особность, что дѣлаетъ его не похожимъ на другихъ, и за что именно вы больше всего и любите его? Иначе зачѣмъ бы вамъ было рыдать въ отчаяніи надъ трупомъ любимаго вами существа?—Вѣдь съ нимъ не умерло то, что было въ немъ лучшаго, благороднѣйшаго, что называли вы въ немъ духовнымъ и нравственнымъ, — а умерло только грубо-матеріальное, случайное?.. Но объ этомъ то

случайномъ и рыдаете вы горько, потому что воспоминанье о прекрасныхъ качествахъ человѣка не замѣнитъ вамъ человѣка, какъ умирающаго отъ голода не насытитъ воспоминаніе о роскошномъ столѣ, которымъ онъ недавно наслаждался. Я охотно соглашусь съ спиритуалистами, что мое сравненіе грубо, но зато оно вѣрно, а это для меня главное. Державинъ сказалъ:

Таки весь я не умру; но часть меня большая,
Отъ тѣна убавая, по смерти станеть жить.

Противъ дѣйствительности такого безсмертія нечего сказать, хотя оно и не утѣшитъ людей близкихъ поэту; но что передаетъ поэтъ потомству въ своихъ созданіяхъ, если не свою личность? Не будь онъ личность больше, чѣмъ кто-нибудь, личность по преимуществу, его созданія были бы бездѣльны и блѣдны. Отъ этого творенія каждаго великаго поэта представляютъ собой совершенно особенный, оригинальный міръ, и между Гомеромъ, Шекспиромъ, Байрономъ, Сервантесомъ, Вальтеръ-Скоттомъ, Гёте и Жоржъ Зандомъ общаго только то, что всѣ они—великіе поэты...

Но чтѣ же эта личность, которая даетъ реальность и чувству, и уму, и волѣ, и гению, и безъ которой все—или фантастическая мечта, или логическая отвлеченность? Я много могъ бы наговорить вамъ объ этомъ, читатели; но предпочитаю лучше откровенно сознаться вамъ, что чѣмъ живѣе соверцаю внутри себя сущность личности, тѣмъ менѣе умѣю опредѣлить ее словами. Это такая же тайна, какъ и жизнь: всѣ ее видятъ, всѣ ощущаютъ себя въ ея нѣдрахъ, и никто не скажетъ вамъ, что она такое. Такъ точно ученые, хорошо зная дѣйствіе и силы дѣятелей природы, каковы электричество, гальванизмъ, магнетизмъ, и потому нисколько не сомнѣваясь въ ихъ существованіи, все-таки не умѣютъ сказать, чтѣ они такое. Страннѣе всего, что все, чтѣ мы можемъ сказать о личности, ограничивается тѣмъ, что она ничтожна передъ чувствомъ, разумомъ, волей, добродѣтелью, красотой и тому подобными вѣчными и непреходящими идеями; но что безъ нея, преходящаго и случайнаго явленія, не было бы ни чувства, ни ума, ни воли, ни добродѣтели, ни красоты, такъ же, какъ не было бы ни безчувственности, ни глупости, ни безхарактерности, ни порока, ни безобразія..

Чтѣ личность въ отношеніи къ идеѣ человѣка, то народность въ отношеніи къ идеѣ человѣчества. Другими словами: народности суть личности человѣчества. Безъ національностей человѣчество было бы мертвымъ логическимъ абстрактомъ, словомъ безъ содержанія, звукомъ безъ значенія. Въ отношеніи къ этому вопросу я скорѣе готовъ

перейти на сторону славянофиловъ, нежели оставаться на сторонѣ гуманическихъ космополитовъ, потому что если первые и ошибаются, то какъ люди, какъ живыя существа, а вторые и истину-то говорятъ какъ такое-то изданіе такой-то логики... Но къ счастью я надѣюсь остаться на своемъ мѣстѣ, не переходя ни къ кому...

Человѣческое присуще человѣку потому, что онъ—человѣкъ, но оно проявляется въ немъ не иначе, какъ, во-первыхъ, на основаніи его собственной личности и въ той мѣрѣ, въ какой она можетъ его вмѣстить въ себѣ, а во-вторыхъ—на основаніи его національности. Личность человѣка есть исключеніе другихъ личностей и по тому самому есть ограниченіе человѣческой сущности; ни одинъ человѣкъ, какъ бы ни велика была его гениальность, никогда не исчерпаетъ самимъ собою не только всѣхъ сферъ жизни, но даже и одной какой-нибудь ея стороны. Ни одинъ человѣкъ не только не можетъ замѣнить самимъ собою всѣхъ людей (т. е. сдѣлать ихъ существованіе не нужнымъ), но даже и ни одного человѣка, какъ бы онъ ни былъ ниже его въ нравственномъ или умственномъ отношеніи, но всѣ и каждый необходимы всѣмъ и каждому. На этомъ и основано единство и братство человѣческаго рода. Человѣкъ силенъ и обезпеченъ только въ обществѣ, но, чтобы и общество въ свою очередь было сильно и обезпечено, ему необходима внутренняя, непосредственная, органическая связь—национальность. Она есть самобытный результатъ соединенія людей, но не есть ихъ произведеніе: ни одинъ народъ не создалъ своей національности, какъ не создалъ самого себя. Это указываетъ на кровное, родовое происхожденіе всѣхъ національностей. Чѣмъ ближе человѣкъ или народъ къ своему началу, тѣмъ ближе онъ къ природѣ, тѣмъ болѣе онъ ея рабъ; тогда онъ не человѣкъ, а ребенокъ, не народъ, а племя. Въ томъ и другомъ человѣческое развивается по мѣрѣ ихъ освобожденія отъ естественной непосредственности. Этому освобожденію часто способствуютъ разныя внѣшнія причины; но человѣческое тѣмъ не менѣе приходитъ къ народу не извнѣ, а изъ него же самого, и всегда проявляется въ немъ національно.

Собственно говоря, борьба человѣческаго съ національнымъ есть не больше, какъ риторическая фигура; но въ дѣйствительности ея нѣтъ. Даже и тогда, когда прогрессъ одного народа совершается черезъ заимствованіе у другого, онъ тѣмъ не менѣе совершается національно. Иначе нѣтъ прогресса. Когда народъ поддается напору чуждыхъ ему идей и обычаевъ, не имѣя въ

себѣ силы перерабатывать ихъ самодѣятельностью собственной національности, въ собственную же сущность,—тогда онъ гибнетъ политически. На свѣтѣ много людей, извѣстныхъ подъ именемъ «пустыхъ»: они умны чужимъ умомъ, ни о чемъ не имѣютъ своего мнѣнія, а между тѣмъ и учатся, и слѣдятъ за всѣмъ на свѣтѣ. Пустота ихъ въ томъ и состоитъ, что они заимствуютъ чужикомъ, и ихъ мозгъ не перевариваетъ чужой мысли, а передаетъ ее черезъ языкъ въ томъ же самомъ видѣ, въ какомъ принялъ ее. Это люди безличныя, потому что чѣмъ человѣкъ личнѣе, тѣмъ способнѣе обращать чужое въ свое, т. е. налагать на него отпечатокъ своей личности. Что человѣкъ безъ личности, то народъ безъ національности. Это доказывается тѣмъ, что всѣ націи, игравшія и играющія первыя роли въ исторіи человѣчества, отличались и отличаются наиболѣе рѣзкой національностью. Вспомните евреевъ, грековъ и римлянъ; посмотрите на французовъ, англичанъ, нѣмцевъ. Въ наше время народныя вражды и антипатіи погасли совершенно. Французъ уже не питаетъ ненависти къ англичанину за то, что онъ—англичанинъ, и наоборотъ. Напротивъ, со дня на день болѣе и болѣе обнаруживается въ наше время сочувствіе и любовь народа къ народу. Это утѣшительное, гуманное явленіе есть результатъ просвѣщенія. Но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобы просвѣщеніе сглаживало народности и дѣлало всѣ народы похожими одинъ на другой, какъ двѣ капли воды. Напротивъ, наше время есть по преимуществу время сильнаго развитія національностей. Французъ хочетъ быть французомъ и требуетъ отъ нѣмца, чтобы тотъ былъ нѣмцемъ, и только на этомъ основаніи и интересуется имъ. Въ такихъ точно отношеніяхъ находятся теперь другъ къ другу всѣ европейскіе народы. А между тѣмъ они нещадно заимствуютъ другъ у друга, нисколько не боясь повредить своей національности. Исторія говорить, что подобныя опасенія могутъ быть дѣйствительны только для народовъ нравственно-безсильныхъ и ничтожныхъ. Древняя Эллада была наслѣдницей всего предшествовавшаго ей древняго міра. Въ ея составѣ вошли элементы египетскіе и финикійскіе, кромѣ основного пелазгическаго. Римляне приняли въ себя, такъ сказать, весь древній міръ, и все-таки остались римлянами, и если пали, то не отъ внѣшнихъ заимствованій, а отъ того, что были послѣдними представителями исчерпаннаго всю жизнь свою древняго міра, долженствовавшаго обновиться черезъ христіанство и тевтонскихъ варваровъ. Французская ли-

тература долгое время рабски подражала греческой и латинской, наивно грабля ихъ заимствованиями, — и все-таки оставалась національно-французской. Все отрицательное движеніе французской литературы XVIII вѣка вышло изъ Англіи; но французы до того умѣли усвоить его себѣ, наложивъ на него печать своей національности, что никто и не думаетъ оспаривать у ихъ литературы чести самобытнаго развитія. Нѣмецкая философія пошла отъ француза Декарта, нисколько не сдѣлавшись отъ этого французской.

Раздѣленіе народа на противоположныя, враждебныя будто бы другъ другу, большинство и меньшинство можетъ быть и справедливо со стороны логики, но рѣшительно ложно со стороны здраваго смысла. Меньшинство всегда выражаетъ собой большинство, въ хорошемъ или въ дурномъ смыслѣ. Еще страннѣе приписать большинству народа только дурныя качества, а меньшинству одни хорошія. Хороша была-бы французская нація, еслибы о ней стали судить по развратному дворянству времени Людовика XV-го! Этотъ примѣръ указываетъ, что меньшинство скорѣе можетъ выражать собою болѣе дурныя, нежели хорошія стороны національности народа, потому что оно живетъ искусственной жизнью, когда противопоставляетъ себя большинству, какъ что-то отдѣльное отъ него и чуждое ему. Это видимъ мы и въ современной намъ Франціи въ лицѣ bourgeoisie, — господствующаго теперь въ ней сословія. Что же касается до великихъ людей, они по преимуществу — дѣти своей страны. Великій человѣкъ всегда націоналенъ, какъ его народъ, ибо онъ потому и великъ, что представляетъ собою свой народъ. Борьба генія съ народомъ не есть борьба человѣческаго съ національнымъ, а просто на просто — новаго со старымъ, идеи съ эмпиризмомъ, разума съ предрасудками. Масса всегда живетъ привычкой и разумнымъ, истиннымъ и полезнымъ считаетъ только то, къ чему привыкла. Она защищаетъ съ остервененіемъ то старое, противъ котораго вѣкомъ или менѣе назадъ съ остервененіемъ же боролась она, какъ противъ новаго. Противодѣйствіе массы генію необходимо: это съ ея стороны экзаменъ генію; если онъ возьметъ свое, ни на что несмотря, значитъ, онъ точно геній, т. е. въ самомъ себѣ носить свое право дѣйствовать на судьбы своего отечества. Иначе всякій резонеръ, всякій мечтатель, всякій философъ, всякій маленький великій человѣкъ сталъ бы обходиться съ народомъ, какъ съ лошадыю, направляя его по волѣ своихъ прихотей и фантазій то въ ту, то въ другую сторону...

Нѣтъ никакой необходимости раздѣлять народъ на самого себя, чтобы доставить себѣ источникъ новыхъ идей. Источникъ всего новаго есть старое; по-крайней мѣрѣ старымъ готовится новое. Въ геніи не столько поражаетъ находчивость новаго, сколько смѣлость противопоставить его старому и произвести между ними борьбу на смерть. Необходимость нововведеній въ Россіи чувствовали еще предшественники Петра: она указывалась наставляющимъ положеніемъ государства; но произвести реформу могъ только Петръ. Для этого ему вовсе не нужно было предполагать себя во враждебныхъ отношеніяхъ къ своему народу, но, напротивъ, нужно было знать и любить его, сознавать свое кровное единство съ нимъ. Что въ народѣ безсознательно живетъ какъ возможность, то въ геніи является какъ осуществленіе, какъ дѣйствительность. Народъ относится къ своимъ великимъ людямъ, какъ почва къ растеніямъ, которыя производитъ она. Тутъ единство, а не раздѣленіе, не двойственность. И, вопреки силлогистамъ (новое слово!), для великаго поэта нѣтъ большей чести, какъ быть въ высшей степени національнымъ, потому что иначе онъ и не можетъ быть великимъ. То, что называютъ резонеры человѣческимъ, противопоставляя его національному, есть въ сущности новое, непосредственно и логически слѣдующее изъ стараго, хотя бы оно и было чистымъ его отрицаніемъ. Когда крайность какого-нибудь принципа доводится до негѣпости, изъ нея одинъ естественный путь — переходъ въ противоположную крайность. Это въ натурѣ и человѣка, и народовъ. Слѣдовательно, источникъ всякаго прогресса, всякаго движенія впередъ заключается не въ двойственности народовъ, а въ человеческой натурѣ, такъ же, какъ въ ней заключается и источникъ уклоненій отъ истины, коснѣнія и неподвижности.

Важность теоретическихъ вопросовъ зависитъ отъ ихъ отношенія къ дѣйствительности. То, что для насъ, русскихъ, еще важные вопросы, давно уже рѣшено въ Европѣ, давно уже составляетъ тамъ простыя истины жизни, въ которыхъ никто не сомнѣвается, о которыхъ никто не споритъ, и въ которыхъ всѣ согласны. И — что всего лучше — эти вопросы рѣшены тамъ самой жизнью, или если теорія и имѣла участіе въ ихъ рѣшеніи, то при помощи дѣйствительности. — Но это нисколько не должно отнимать у насъ смѣлости и охоты заниматься рѣшеніемъ такихъ вопросовъ, потому что пока не рѣшимъ мы ихъ сами

собой и для самих себя, намъ не будетъ никакой пользы въ томъ, что они рѣшены въ Европѣ. Перенесенные на почву нашей жизни, эти вопросы тѣ же, да не тѣ, и требуютъ другого рѣшенія.—Теперь Европу занимаютъ новые великіе вопросы. Интересоваться ими, слѣдить за ними намъ можно и должно, ибо ничто человѣческое не должно быть чуждо намъ, если мы хотимъ быть людьми. Но въ то же время для насъ было бы вовсе безплодно принимать эти вопросы какъ наши собственные. Въ нихъ нашего только то, что примѣнимо къ нашему положенію; все остальное чуждо намъ, и мы стали бы играть роль дон-Кихотовъ, горячася изъ него. Этими мы заслужили бы скорѣе насмѣшки европейцевъ, нежели ихъ уваженіе. У себя, вокругъ себя, вотъ гдѣ должны мы искать и вопросовъ, и ихъ рѣшенія. Это направленіе будетъ плодотворно, если и не будетъ блестяще. И начатки этого направленія видимъ мы въ современной русской литературѣ, а въ нихъ—лизость ея зрѣлости и возмужалости. Въ этомъ отношеніи литература наша дошла до такого положенія, что ея успѣхи въ будущемъ, ея движеніе впередъ зависать больше отъ объема и количества предметовъ, доступныхъ ея завѣдыванію, нежели отъ нея самой. Чѣмъ шире будутъ границы ея содержанія, чѣмъ больше будетъ пищи для ея дѣятельности, тѣмъ быстрѣе и плодотивѣе будетъ ея развитіе. Какъ бы то ни было, но если она еще не достигла своей зрѣлости, она уже нашла, нащупала, такъ сказать, прямую дорогу къ ней,—а это великій успѣхъ съ ея стороны.

Одинъ изъ самыхъ поразительныхъ признаковъ зрѣлости современной русской литературы—это роль, которую играетъ въ ней стихотворная поэзія. Бывало, стихи и стишки составляли отраду и утѣшеніе нашей публики. Ихъ читали, перечитывали, учили наизусть, покупали, не жалѣя денегъ, или переписывали въ тетради. Новая поэма въ стихахъ, отрывокъ изъ поэмы, новое стихотвореніе, появившееся въ журналѣ или альманахѣ,—все это пользовалось привилегіей производить шумъ, толки, восторги, споры и т. п. Стихотворцы являлись безъ счету, росли, какъ грибы послѣ дождя. Теперь не то. Стихи играютъ второстепенную въ сравненіи съ прозой роль. Ихъ читаютъ будто нехотя, едва замѣчаютъ, хладнокровно похваживаютъ хорошее и ничего не говорятъ о посредственномъ. Стихотворцевъ, противъ прежняго, стало теперь несравненно меньше. Изъ этого многіе заключили, будто вѣкъ поэзіи миновался для русской литературы, что поэзія скрылась отъ насъ

чуть ли не навсегда. Мы такъ, напротивъ, видимъ въ этомъ скорѣе торжество, нежели упадокъ русской поэзіи. Что поколебало, а потомъ и вовсе изгнало манію стихописанія и стихочтенія?—Прежде всего появленіе Гоголя, потомъ появленіе въ печати посмертныхъ сочиненій Пушкина и наконецъ явленіе Лермонтова. Поэтическую дѣятельность Пушкина можно раздѣлить на два періода: въ первомъ она является прекрасной, но еще не глубокой, не установившейся, еще доступной для копирования и подражанія; во второмъ мы видимъ ее на неприступной высотѣ художественной зрѣлости, глубины, могущества; тутъ уже нельзя копировать ее, нельзя подражать ей. Талантъ Лермонтова съ перваго же своего дебюта обратилъ на себя всеобщее вниманіе, отбилъ у всѣхъ и у всякаго охоту подражать ему. Послѣ этого доступъ къ поэтической славѣ сдѣлался очень труденъ, такъ что талантъ, который прежде могъ бы играть блестящую роль, теперь долженъ ограничиться болѣе скромнымъ положеніемъ. Это значитъ, что вкусъ публики сдѣлался разборчивѣе, требованія строже: а это конечно успѣхъ, а не упадокъ вкуса. Теперь нуженъ новый Пушкинъ, новый Лермонтовъ, чтобы книжка стихотвореній привела въ восторгъ всю публику, въ движеніе—всю литературу. Но уже теперь сдѣлалось рѣшительно невозможнымъ для господъ поэтовъ обращать на себя вниманіе или приобрѣтать славу или извѣстность хоть на волосъ выше той мѣры, въ какой они дѣйствительно заслуживаютъ по своему таланту вниманія, славы и извѣстности. Талантъ теперь всегда будетъ оцѣненъ, и его успѣхъ уже не зависить ни отъ покровительства, ни отъ преслѣдованія журналовъ (если еще чѣмъ могутъ они повредить ему, такъ развѣ молчаніемъ, но уже не похвалами и не бранью); онъ будетъ замѣченъ и оцѣненъ, но не иначе, какъ по мѣрѣ его истиннаго достоинства—ни больше, ни меньше.

Въ прошломъ 1846 году вышли стихотворенія Григорьева, Полонскаго, Лизандера, Плещеева, Жадовской, «Троянъ и Ангелица» Вельтмана—что то вродѣ дѣтской сказки не то въ стихахъ, не то въ мѣрной прозѣ; «Слово о Полку Игоря», передѣланное Минаевымъ на поэму во вкусѣ не древности, не старины, того недавняго времени, когда была мода на поэмы. Это въ сущности не больше, какъ растространеніе или разжиженіе довольно бойкими стихами довольно короткаго и сжатаго «Слова о Полку Игоревомъ». Мы рады будемъ, если попытка Минаева понравится публикѣ; но что до насъ собственно ка-

сается, намъ такъ нравится «Слово о Полку Игоревомъ» въ его настоящемъ видѣ, что мы не можемъ безъ непріятнаго чувства смотрѣть на его передѣлки. Намъ кажется, что его вовсе не нужно ни измѣнять, ни переводить, ни перелгать, но довольно замѣнить въ немъ слишкомъ обветшалыя и непонятныя слова болѣе новыми и понятными, хотя и взятыми же изъ народнаго языка. Мы называли стихи Минаева бойкими; прибавимъ къ этому, что они еще столько же фразисты, сколько и восторжены, и что въ нихъ больше риторички, нежели поэзіи. Минаевъ—энтузіастическій поклонникъ «Слова о Полку Игоревомъ»; въ его глазахъ оно чуть ли не выше всей русской поэзіи отъ Ломоносова до Лермонтова включительно. Это изъясняетъ онъ въ послѣсловіи къ стихотворному труду своему, которое носитъ слѣдующее наивно-семинарское названіе: «Для любознательныхъ отроковицъ и юношей».

Стихотворенія Юліи Жадовской были превознесены почти всѣми нашими журналами. Дѣйствительно, въ нихъ нельзя отрицать чего-то продѣ поэтическаго таланта. Жаль только, что источникъ вдохновенія этого таланта не жизнь, а мечта, и что поэту она не имѣетъ никакого отношенія къ жизни и бѣденъ поэзіей. Это впрочемъ выходитъ изъ отношеній Жадовской къ обществу, какъ женщины. Вотъ стихотвореніе, которое вполне объясняетъ это положеніе:

Меня гнететъ тоска недугъ;
Мнѣ скучно *отъ этого міра*, другъ;
Мнѣ надобно сплетни, вздоръ—
Мужчинъ ничтожный разговоръ,
Смѣшной, полѣный женщинами толкъ,
Нѣхъ вышисные бархаты, шокль,
Ума и сердца пустота
И накладная красота.
Мірекихъ суетъ я не терплю,
По Божій міръ душой люблю,
По вѣчно будутъ милы мнѣ—
И зорьки мерцающія въ вышинѣ,
И шумъ развѣсистыхъ деревьевъ,
И зелень бархатныхъ луговъ,
И водъ прозрачная струя,
И въ роцѣ пѣсни соловья.

Нужно слишкомъ много смѣлости и героизма, чтобы женщина, такимъ образомъ отстраненная или отстранившаяся отъ общества, не заключилась въ ограниченный кругъ мечтаній, но ринулась бы въ жизнь для борьбы съ нею, если не для наслажденія, котораго возможности не видать въ ней. Жадовская предпочла этому трудному шагу безмятежное смотрѣніе на небо и звѣзды. Почти въ каждомъ своемъ стихотвореніи не спускаетъ она глазъ съ неба и звѣздъ, но новаго ничего тамъ не замѣтила. Это не то, что Леверье,

который открылъ тамъ планету Нептунъ; до него никѣмъ не знаемую. Леверье больше поэтъ, чѣмъ Жадовская, хоть онъ и не пишетъ стиховъ. Охотно согласимся съ тѣми, кто найдетъ наше сближеніе неумѣстнымъ или натянутымъ, но все-таки скажемъ, что смотрѣть на небо и не видѣть въ немъ ничего, кромѣ общихъ фразъ съ приемами или безъ приема, — плохая поэзія. Да и что путнаго можетъ увидѣть въ небѣ поэтъ нашего времени, если онъ совершенно чуждъ самыхъ общихъ физическихъ и астрономическихъ понятій, и не знаетъ, что этотъ голубой куполъ, плѣняющій его глаза, не существуетъ въ дѣйствительности, но есть произведеніе его же собственнаго зрѣнія, ставшаго центромъ видимой имъ сферической окружности; что тамъ на высотѣ, куда ему такъ хочется, и пусто, и холодно, и нѣтъ воздуха для дыхания, что отъ звѣзды до звѣзды и въ тысячу лѣтъ не долетишь на лучшемъ аэростатѣ... То ли дѣло земля!—на ней намъ и свѣтло, и тепло, на ней все наше, все близко и понятно намъ, на ней наша жизнь и наша поэзія... Зато кто отворачивается отъ нея, не умѣя понимать ее, тотъ не можетъ быть поэтомъ и можетъ ловить въ холодной высотѣ одніи холодныя и пустыя фразы...

Изъ поименованныхъ нами стихотворныхъ книжекъ, вышедшихъ въ прошломъ году, замѣчательнѣе другихъ «Стихотворенія Аполлона Григорьева». Въ нихъ по крайней мѣрѣ есть хоть блески дѣльной поэзіи, т. е. такой поэзіи, которой не стыдно заниматься, какъ дѣломъ. Жаль, что этихъ блестящихъ не много; ими обязанъ былъ Григорьевъ влиянію на него Лермонтова; но это влияніе исчезаетъ въ немъ все больше и больше и переходитъ въ самобытность, которая вся заключается въ туманномистическихъ фразахъ, при чтеніи которыхъ невольно приходитъ на память эта старая эпиграмма:

Ужъ подлинно Бябрусъ боготъ языкомъ пѣлъ:
Изъ смертныхъ бо его никто не разумѣлъ.

Вотъ самобытность, которая не стоитъ даже подражательности!

Но истиннымъ приобретеніемъ для русской литературы вообще было вышедшее въ прошломъ году изданіе стихотвореній Кольцова. Несмотря на то, что эти стихотворенія всѣ были уже напечатаны и прочтены въ альманахахъ и журналахъ,—они производятъ впечатлѣніе новости, потому именно, что собраны выѣсть и даютъ читателю понятіе о всей поэтической дѣятельности Кольцова, представляя собою нѣчто цѣлое. Эта книжка — капитальное, классическое приобретеніе русской литера-

туры, не имѣющее ничего общаго съ тѣми эфемерными явленіями, которыя, даже и не будучи лишены относительныхъ достоинствъ, перелистываются, какъ новость, для того, чтобы быть потомъ забытыми. Въ наше время стихотворный талантъ ни почемъ—вещь очень обыкновенная; чтобы онъ чего-нибудь стоилъ, ему нужно быть не просто талантомъ, но еще большимъ талантомъ, вооруженнымъ самобытной мыслью, горячимъ сочувствіемъ къ жизни, способностью глубоко понимать ее. Благодаря толкамъ журналовъ, нѣкоторые маленькіе таланты кое-какъ поняли это по своему и стали на заглавныхъ листкахъ своихъ книжекъ ставить эпиграфы во свидѣтельство, что ихъ поэзія отличается современнымъ направлениемъ, да еще латинскіе, вродѣ слѣдующаго: *Homo sum, et nihil humani a me alienum puto*. Но ни ученость, ни латинскіе эпиграфы, ни даже дѣйствительное знаніе латинскаго языка не дадутъ человѣку того, чего не дала ему природа, и такъ называемое «современное направленіе» поэтовъ извѣстнаго разряда всегда будетъ только «пѣвникой мысли раздраженіемъ». Вотъ отчего полуграмотный прасоловъ Кольцовъ безъ науки и образованія нашелъ средство сдѣлаться необыкновеннымъ и самобытнымъ поэтомъ. Онъ сдѣлался поэтомъ, самъ не зная какъ, и умеръ съ искреннимъ убѣжденіемъ, что если ему и удалось написать двѣ, три порядочныя пьески, все-таки онъ былъ поэтъ посредственный и жалкій... Восторги и похвалы друзей не много дѣйствовали на его самолюбіе... Будъ онъ живъ теперь, онъ въ первый разъ вкусилъ бы наслажденіе увѣрившагося въ самомъ себѣ достоинства; но судьба отказала ему въ этомъ законномъ вознагражденіи за столько мукъ и сомнѣній... Такъ какъ мы не можемъ сказать о поэзіи Кольцова ничего, кромѣ того, что уже высказано объ этомъ предметѣ въ статьѣ: «О жизни и о сочиненіяхъ Кольцова», вошедшей въ составъ изданія его сочиненій, то и отсылаемъ къ ней тѣхъ, которые не читали ея, но хотѣли бы знать наше мнѣніе о талантѣ Кольцова и его значеніи въ русской литературѣ.

Изъ стихотворныхъ произведеній, появившихся не отдѣльно, а въ разныхъ изданіяхъ прошлаго года, замѣчательны: «Помѣщикъ», разсказъ (въ «Петербургскомъ Сборникѣ»), и «Андрей», поэма (въ «Отечественныхъ Запискахъ») Тургенева; «Машенька», поэма Майкова (въ «Петербургскомъ Сборникѣ»); «Макбетъ» Шекспира, переводъ Кронеберга стихами и прозой. Замѣчательныхъ мелкихъ стихотвореній въ прошломъ году, какъ и вообще въ послѣднее

время, было очень мало. Лучшія изъ нихъ принадлежатъ Майкову, Тургеневу и Некрасову.

О стихотвореніяхъ послѣдняго мы могли бы сказать болѣе, если бы этому рѣшительно не препятствовали его отношенія къ «Современнику»...

Кстати о стихотворныхъ переводахъ классическихъ произведеній. А. Григорьевъ перевелъ Софоклову «Антигону» («Библиотека для чтенія», № 8). За многими изъ нашихъ литераторовъ водится замашка говорить съ таинственною важностью о вещахъ давнымъ давно извѣстныхъ и приниматься съ самоуверенностью за совершенно чуждую имъ работу. Григорьевъ объявляетъ въ небольшомъ предисловіи къ своему переводу, что онъ со временемъ «изложитъ свой взглядъ на греческую трагедію», взглядъ, «особенное начало котораго есть, впрочемъ, непосредственная связь ея съ ученіемъ древнихъ мистерій». Да это знаютъ дѣти въ низшихъ классахъ гимназій! Вотъ, напримѣръ, идея, что въ одной «Антигонѣ» является борьба двухъ началъ человѣческой жизни—личнаго права и долга противъ общаго права и долга, и что, слѣдовательно, «въ Антигонѣ» «изъ-за древнихъ формъ вѣетъ предчувствіемъ иной жизни»—эта идея принадлежитъ исключительно Григорьеву, и мы охотно готовы оставить ее за нимъ. Что касается до самой «Антигоны», то едва ли Софоклъ—«аттическая пчела»—узналъ-бы себя въ этомъ торопливомъ, исполненномъ претензій и крайне-новѣйшомъ переводѣ Григорьева. Величавый древній сенаръ (шестистопный ямбъ) превратился въ какую-то рубленую, неправильную прозу, напоминающую новѣйшія «драматическія представленія» нашихъ доморощенныхъ драматурговъ; мелодическіе хоры являются пустозвоннымъ наборомъ словъ, часто лишенныхъ всякаго смысла; о древнемъ колоритѣ, характеристикѣ cadaго отдѣльнаго лица нѣтъ и помина *). Спрашивается, для чего и для кого трудился Григорьевъ? Развѣ для того, чтобы отбить у насъ и безъ того не слишкомъ сильную охоту къ классической старинѣ, съ которой онъ такъ необдуманно обошелся?...

По части беллетристической прозы отдѣльными изданіями вышли въ прошломъ году только два сочиненія: «Брынскій Лѣсъ», эпизодъ изъ первыхъ годовъ царствованія Петра Великаго, романъ Загоскина, и вторая часть «Петербургскихъ Вершинъ», Бутова.

*) Нечего говорить о безчисленныхъ промахахъ; по мнѣнію Григорьева, Аресъ (Марсъ) должно выговаривать Аресъ, и пр.

Новый романъ Загоскина отличается всёми, какъ дурными, такъ и хорошими сторонами его прежнихъ романовъ. Отчасти это новое, не поминимъ уже которое счетовъ, подражаніе Загоскина своему первому роману — «Юрію Милославскому». Но герой послѣдняго романа еще безцвѣтнѣе и безличнѣе, нежели герой перваго. О героинѣ нечего и говорить: это вовсе не женщина, а тѣмъ менѣе русская женщина конца XVII столѣтія. По своей завязкѣ «Брынский Лѣсъ» напоминаетъ сентиментальные романы и повѣсти прошлаго вѣка. Стрѣлецкій сотникъ Лѣвшинъ романтически влюбляется въ какую-то неземную дѣву, съ которой сводитъ его судьба на постояломъ дворѣ. Изъ первой же части романа узнаете вы, что у боярина Буйносова пропала малолѣтняя дочь въ Брынскомъ лѣсу, гдѣ онъ остановился проѣздомъ отдохнуть съ своей холопской свитой, состоявшей человѣкъ изъ пятидесяти. Узнавши это, вы сейчасъ догадываетесь, что идеальная дѣва, плѣнившая Лѣвшина, есть дочь Буйносова, а вмѣстѣ съ тѣмъ узнаете, что будетъ далѣе въ романѣ и чѣмъ онъ кончится. Любовь двухъ голубковъ высказывается избитыми французами романовъ прошлаго вѣка фразами, которые ни коимъ образомъ не могли бы войти въ голову русскаго человека послѣдней половины XVII столѣтія, когда еще не появлялась и знаменитая книжка, рекомая: «Приклады, какъ пишутся комплименты разные на нѣмецкомъ языкѣ, то есть писанія отъ потентатовъ къ потентатамъ, поздравительныя и сожалѣтельныя и иныя; также между сродниковъ и пріятелей». Къ слабымъ сторонамъ романа принадлежатъ и его направленіе, происходящее отъ охоты автора приходить въ восторгъ отъ всякихъ старинныхъ обычаевъ и нравовъ, даже самыхъ негѣпыхъ, негѣжественныхъ и варварскихъ, и ими, кстати и некстати, колотъ глаза современнымъ обычаямъ и нравамъ. Впрочемъ это недостатокъ не важный: гдѣ авторъ рисуетъ старину неправдоподобно, невѣрно, слабо, тамъ онъ, разумѣется, не производитъ на читателя никакого впечатлѣнія, кромѣ скуки; тамъ же, гдѣ онъ изображаетъ «доброе старое время» въ его истинномъ видѣ, какъ писатель съ талантомъ, — тамъ онъ всегда достигаетъ результата, совершенно противоположнаго тому, котораго добивается, т. е. разубѣждаетъ читателя именно въ томъ, въ чемъ хочетъ его убѣдить, и наоборотъ. И это лучшія страницы романа, написанныя съ замѣчательнымъ талантомъ и отличающіяся большимъ интересомъ, какъ, напр., картина Земскаго приказа и достойнаго подьяка, Ануфрія Трифоныча, рассказъ

приказчика Буйносова о пропажѣ его дочери въ глазахъ семи нянекъ и полусотни челядинцевъ, а главное — картина суда на татарскій манеръ, — суда, гдѣ, въ лицѣ боярина Куродавлева и пришедшихъ къ нему судиться двухъ мужиковъ, выказываются вся прелесть и нѣкоторыя изъ старинныхъ нравовъ. Къ числу хорошихъ сторонъ новаго романа Загоскина должно отнести еще вообще не дурно, а мѣстами и прекрасно очерченные характеры раскольниковъ: Андрея Поморянина, старца Пафнутія, отца Филиппа и Волосатаго старца, и боярина Куродавлева, добровольнаго мученика мѣстической спѣси. Но всѣхъ ихъ лучше обрисованъ Андрей Поморянинъ. Нельзя не пожалѣть, что Загоскинъ занимаетъ въ своемъ романѣ вниманіе читателя больше безцвѣтной и скучной любовью своего героя, нежели картинами нравовъ и историческими событіями этой интересной эпохи. Языкъ новаго романа Загоскина, какъ и всѣхъ прежнихъ его романовъ, вездѣ ясенъ, простъ, плавенъ, мѣстами одушевленъ и живъ.

Вторая книга «Петербургскихъ Вершинъ» Буткова показалась намъ гораздо лучше первой, хотя и первую мы не нашли дурной. По нашему мнѣнію, у Буткова нѣтъ таланта для романа и повѣсти, и онъ очень хорошо дѣлаетъ, оставаясь всегда въ предѣлахъ свойственнаго ему одному рода дагерротипическихъ рассказовъ и очерковъ. Это не творчество, не поэзія, но это стоитъ творчества, поэзіи. Рассказы и очерки Буткова относятся къ роману и повѣсти, какъ статистика къ исторіи, какъ дѣйствительность къ поэзіи. Въ нихъ мало фантазіи, зато много ума и сердца; мало юмору, зато много ироніи и остроумія, источникъ которыхъ симпатичная душа. Можетъ быть талантъ Буткова одностороненъ и не отличается особеннымъ объемомъ, но дѣло въ томъ, что можно имѣть талантъ и многостороннѣе и больше таланта Буткова — и напоминать имъ о существованіи то того, то другого, еще большаго таланта; тогда какъ талантъ Буткова никого не напоминаетъ — онъ совершенно самъ по себѣ. Вотъ почему особенно любимы мы имъ и уважаемъ его. Рассказы, очерки, анекдоты — называйте ихъ, какъ хотите — Буткова представляютъ собой какой-то особенный родъ литературы, доселѣ небывалый. Съ большимъ удовольствіемъ замѣтили мы, что въ этой второй книжкѣ Бутковъ рѣже впадаетъ въ каррикатуру, меньше употребляетъ странныхъ словъ, что языкъ его сталъ точнѣе, опредѣленнѣе и содержаніе еще болѣе прониклось мыслью и истиной, чѣмъ было все это въ первой книжкѣ. Это

значить идти впередъ. Отъ души желаемъ, чтобы третья книжка «Петербургскихъ Вершинъ» поскорѣ вышла.

Обращаясь къ замѣчательнымъ произведеніямъ беллетристической прозы, явившимся въ сборникахъ и журналахъ прошлаго года, — взглядъ нашъ прежде всего встрѣчаетъ «Бѣдныхъ Людей», романъ, вдругъ доставившій большую извѣстность до того времени совершенно неизвѣстному въ литературѣ имени. Впрочемъ объ этомъ произведеніи было такъ много говорено во всѣхъ журналахъ, что новые подробные толки о немъ уже не могутъ быть интересны для публики. И потому мы не будемъ слишкомъ распространяться объ этомъ предметѣ. Сила, глубина и оригинальность таланта Достоевскаго была признана тотчасъ же всѣми, и — что еще важнѣе — публика тотчасъ же обнаружила ту неумѣренную требовательность въ отношеніи къ таланту Достоевскаго и ту неумѣренную нетерпимость къ его недостаткамъ, которыя имѣетъ свойство возбуждать только сильный талантъ. Почти всѣ единогласно нашли въ «Бѣдныхъ Людяхъ» Достоевскаго способность утомлять читателя, даже восхищая его, и приписали это свойство одни — растянутости, другіе — неумѣренной плодовитости. Дѣйствительно, нельзя не согласиться, что еслибы «Бѣдные Люди» явились хотя десятой долей въ меньшемъ объемѣ, и авторъ имѣлъ бы предусмотрительность поочистить ихъ отъ излишнихъ повтореній однихъ и тѣхъ же фразъ и словъ, — это произведение явилось бы безукоризненно-художественнымъ. Во второй книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» Достоевскій вышелъ на судъ заинтересованной имъ публики со вторымъ своимъ романомъ: «Двойникъ. Приключеніе господина Голядкина». Хотя первый дебютъ молодого писателя уже достаточно угодилъ ему дорожку къ успѣху, однако должно сознаться, что «Двойникъ» не имѣлъ никакого успѣха въ публикѣ. Если еще нельзя на этомъ основаніи осудить второе произведеніе Достоевскаго, какъ неудачное, и еще менѣе, какъ неимѣющее никакихъ достоинствъ, — то нельзя также и признать судъ публики неосновательнымъ. Въ «Двойникѣ» авторъ обнаружилъ огромную силу творчества, характеръ героя концепированъ глубоко и смѣло, ума и истинны въ этомъ произведеніи много, художественнаго мастерства тоже; но имѣстъ съ этимъ тутъ видно страшное неумѣнье владѣть и распоряжаться экономическимъ избыткомъ собственныхъ силъ. Все, что въ «Бѣдныхъ Людяхъ» было извинительными для перваго опыта недостатками, въ «Двойникѣ» яви-

лось чудовищными недостатками, и это все заключается въ одномъ: въ неумѣннѣ богатаго силами таланта опредѣлять разумную мѣру и границы художественному развитію задуманной имъ идеи. Попробуемъ объяснить нашу мысль примѣромъ. Гоголь такъ глубоко и живо концепировалъ идею характера Хлестакова, что легко бы могъ сдѣлать его героемъ еще цѣлаго десятка комедій, въ которыхъ Иванъ Александровичъ являлся бы вѣрнымъ самому себѣ, хотя и совершенно въ новыхъ положеніяхъ: какъ женихъ, мужъ, отецъ семейства, помѣщикъ, старикъ и т. д. Эти комедіи, нѣтъ сомнѣнія, были бы такъ же превосходны, какъ и «Ревизоръ», но уже такого, какъ онъ, успѣха имѣть не могли бы, а скорѣе бы наскучили, нежели нравились, потому что все уха да уха, хотя бы и «Демьянова», прѣдается. Какъ скоро поэтъ выразилъ своимъ произведеніемъ идею, его дѣло сдѣлано, и онъ долженъ оставить въ покоѣ эту идею, подъ опасеніемъ наскучить ей. Другой примѣръ на тотъ же предметъ: что можетъ быть лучше двухъ сценъ, выключенныхъ Гоголемъ изъ его комедіи, какъ замедлявшихъ ея теченіе? Сравнительно онѣ не уступаютъ въ достоинствѣ ни одной изъ остальныхъ сценъ комедіи, почему же онѣ выключилъ ихъ? — Потому, что онѣ въ высшей степени обладаетъ тактомъ художественной мѣры и не только знаетъ, съ чего начать и гдѣ остановиться, но и умѣетъ развить предметъ ни больше, ни меньше того, сколько нужно. Мы убѣждены, что еслибы Достоевскій укоротилъ своего «Двойника» по крайней мѣрѣ цѣлой третью, повѣсть его могла бы имѣть успѣхъ. Но въ ней есть еще и другой существенный недостатокъ: это ея фантастическій колоритъ. Фантастическое въ наше время можетъ имѣть мѣсто только въ домахъ умалишенныхъ, а не въ литературѣ, и находится въ завѣдываніи врачей, а не поэтовъ. По всѣмъ этимъ причинамъ «Двойникъ» оцѣнили только немногіе диллетанты искусства, для которыхъ литературныя произведенія составляютъ предметъ не одного наслажденія, но и изученія. Публика же состоитъ не изъ диллетантовъ, а изъ обыкновенныхъ читателей, которые читаютъ только то, что имъ непосредственно нравится, не разсуждая, почему имъ это нравится, и тотчасъ закрываютъ книгу, какъ скоро она начинаетъ ихъ утомлять, тоже не давая себѣ отчета, почему она имъ не по вкусу. Произведеніе, которое нравится знатокамъ и не нравится большинству, можетъ имѣть свои достоинства, но истинно хорошее произведеніе есть то, которое нравится обѣимъ сторонамъ, или по крайней мѣрѣ, нра-

вась первой, читается и второй; Гоголь не всѣмъ правился, да прочли-то его всѣ...

Въ десятой книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» появилось третье произведение Достоевскаго, повѣсть «Господинъ Прохарчинъ», которая всѣхъ почитателей таланта Достоевскаго привела въ непріятное изумленіе. Въ ней сверкаютъ искры таланта, но въ такой густой темнотѣ, что ихъ свѣтъ ничего не даетъ разсмотрѣть читателю... Не вдохновеніе, не свободное и наивное творчество породило эту странную повѣсть, а что-то вродѣ... какъ бы это сказать? — не то умничанья, не то претензіи... иначе она не была бы такой вычурной, манерной, непонятной, болѣе похожей на какое-нибудь истинное, но странное и запутанное происшествіе, нежели на поэтическое созданіе. Въ искусствѣ не должно быть ничего темнаго и непонятнаго; его произведенія тѣмъ и выше такъ называемыхъ «истинныхъ происшествій», что поэтъ освѣщаетъ пламенникомъ своей фантазіи всѣ сердечные изгибы своихъ героевъ, всѣ тайныя причины ихъ дѣйствій, снимаетъ съ разсказываемаго имъ событія все случайное, представляя нашимъ глазамъ одно необходимое, какъ неизбѣжный результатъ достаточной причины. Мы не говоримъ уже о замашкѣ автора часто повторять какое-нибудь особенно удавшееся ему выраженіе (какъ, на примѣръ, «Прохарчинъ мудрецъ!») и тѣмъ ослаблять силу его впечатлѣнія: это недостатокъ второстепенный и, главное, поправимый. Замѣтимъ мимоходомъ, что у Гоголя вѣтъ такихъ повтореній. Конечно мы не въ правѣ требовать отъ произведенія Достоевскаго совершенства произведеній Гоголя; но тѣмъ не менѣе думаемъ, что большому таланту весьма полезно пользоваться примѣромъ еще большаго.

Къ замѣчательнымъ произведеніямъ легкой литературы прошлаго года принадлежатъ помѣщенные въ «Отечественныхъ Запискахъ» повѣсти: «Небывалое въ быломъ, или бывшее въ небываломъ» Луганскаго, и «Деревня» Григоровича. Оба эти произведенія имѣютъ между собою то общее свойство, что они интересны не какъ повѣсти, а какъ мастерскіе фیزیологическіе очерки бытовой стороны жизни. Мы не скажемъ, чтобы собственно повѣсть Луганскаго не имѣла интереса; мы хотимъ только сказать, что она гораздо интереснѣе своими отступленіями и аксессуарами, нежели своей романической завязкой. Такъ на примѣръ, превосходная картина избы съ рѣзными окнами, въ сравненіи съ малороссійской хатой, лучше всей повѣсти, хотя входитъ въ нее только эпизодомъ и ничѣмъ внутренне не связана съ сущностью ея содержанія.

Вообще въ повѣстяхъ Луганскаго всего интереснѣе подробности, и «Небывалое въ быломъ, или бывшее въ небываломъ» въ особенности богато интересными частностями, помимо общаго интереса повѣсти, которая служить тутъ только рамкою, а не картиною, средствомъ, а не цѣлью. Объ этомъ можно было бы сказать больше, но какъ мы скоро будемъ имѣть случай высказать наше мнѣніе о всей литературной дѣятельности этого писателя, то пока и ограничимся этими немногими строками.

О Григоровичѣ мы теперь же скажемъ, что у него нѣтъ ни малѣйшаго таланта къ повѣсти, но есть замѣчательный талантъ для тѣхъ очерковъ общественнаго быта, которые теперь получили въ литературѣ названіе «фیزیологическихъ». Но онъ хотѣлъ сдѣлать изъ своей «Деревни» повѣсть, и отсюда вышли всѣ недостатки его произведенія, которыхъ онъ легко бы могъ миновать, если бы ограничился безсвязными вѣтвистымъ образомъ, но дышущими одной мыслью картинами деревенскаго быта крестьянъ. Неудачна также и его попытка заглянуть во внутренній міръ героини его повѣсти, и вообще изъ его Акулины вышло лицо довольно безцвѣтное и неопредѣленное, именно потому, что онъ старался сдѣлать изъ нея особенно интересное лицо. Къ недостаткамъ повѣсти принадлежатъ также и натянута, изысканная и вычурная мѣстами описанія природы. Но что касается собственно до очерковъ крестьянскаго быта, это блестящая сторона произведенія Григоровича. Онъ обнаружилъ тутъ много наблюдательности и знанія дѣла, и умѣлъ выказать то и другое въ образахъ простыхъ, истинныхъ, вѣрныхъ, съ замѣчательнымъ талантомъ. Его «Деревня» — одно изъ лучшихъ беллетристическихъ произведеній прошлаго года.

Статья Луганскаго: «Русскій Мужикъ», явившаяся въ третьей части «Новоселья», исполнена глубокаго значенія, отличается необыкновеннымъ мастерствомъ изложенія и вообще принадлежитъ къ лучшимъ фیزیологическимъ очеркамъ этого писателя, котораго необыкновенный талантъ не имѣетъ себѣ соперниковъ въ этомъ родѣ литературы.

Съ шестой книжки «Библіотеки для Чтенія» тянется романъ Вельтмана: «Приключенія, почерпнутыя изъ моря житейскаго», который еще не кончился послѣднею книжкою этого журнала за прошлой годъ. Вельтманъ обнаружилъ въ новомъ своемъ романѣ едва ли еще не больше таланта, нежели въ прежнихъ своихъ произведеніяхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и тотъ же самый недостатокъ умѣнія распорядиться своимъ талан-

томъ. Въ его «Приключеніяхъ» толпится страшное множество лицъ, изъ которыхъ многія очеркнуты съ необыкновеннымъ мастерствомъ; много поразительно вѣрныхъ картинъ современнаго русскаго быта, но выстъ съ тѣмъ есть лица неестественныя, положенія натянутыя, и слишкомъ запутанные узлы событій разрѣшаются посредствомъ *deus ex machina*. Все, что есть прекраснаго въ этомъ романѣ, принадлежитъ таланту Вельтмана, который безспорно одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ талантовъ нашего времени; а все, что составляетъ слабыя стороны «Приключеній», вышло изъ намѣреннаго желанія Вельтмана доказать превосходство старинныхъ нравовъ передъ нынѣшними. Странное направленіе! Мы нисколько не принадлежимъ къ безусловнымъ почитателямъ современныхъ нравовъ русскаго общества, не менѣе всякаго другого видимъ ихъ странности и недостатки и желаемъ ихъ исправленія. Какъ и у славянофиловъ, у насъ есть свой идеалъ нравовъ, во имя котораго мы желали бы ихъ исправленія, но нашъ идеалъ не въ прошедшемъ, а въ будущемъ, на основаніи настоящаго. Впередъ идти можно, назадъ — нельзя, и что бы ни привлекало насъ въ прошедшемъ, оно прошло безвозвратно. Мы готовы согласиться, что молодые купчики, которые кутятъ на новый ладъ и лучше умѣютъ проматывать деньги отцами, нежели прибрѣтать сами, — мы согласны, что они страннѣе и негнѣе своихъ отцовъ, которые упорно держатся старины. Но мы никакъ не можемъ согласиться, чтобы ихъ отцы не были тоже странны и негнѣы. Молодые поколѣнія даже купчиковъ выражаютъ собою переходное состояніе своего сословія, переходное отъ худшаго къ лучшему, но это лучше окажется хорошимъ только какъ результатъ перехода, а какъ процессъ перехода оно разумѣется скорѣе хуже, нежели лучше стараго. Дѣйствуйте на исправленіе нравовъ сатирою, или — что лучше всякой сатиры — вѣрнымъ ихъ изображеніемъ; но дѣйствуйте не во имя отжившихъ нравовъ, а во имя разума и здраваго смысла, не во имя мечтательнаго и невозможнаго обращенія къ прошедшему, а во имя возможнаго развитія будущаго изъ настоящаго. Пристрастіе, къ чему бы оно ни пригнѣпилось — къ старинѣ или новизнѣ, всегда жѣмшаетъ достиженію цѣли, потому что невольно вводитъ въ ложь человѣка, самаго страстнаго къ истинѣ и дѣйствующаго по самому благородному убѣжденію. Это и сбылось съ Вельтманомъ въ его новомъ романѣ. Онъ придалъ безнравственнымъ лицамъ своего романа такой колоритъ, какъ будто они

безнравственны по милости новыхъ нравовъ, а живи-де они въ Кошихинскія времена, то были бы отличнѣйшими людьми. По крайней мѣрѣ мы считаемъ себя въ правѣ сдѣлать подобное заключеніе изъ того, что авторъ нигдѣ и не думаетъ маскировать своей симпатіи къ старинѣ, своей антипатіи къ новизнѣ. Такъ, наприимѣръ, повинувась истинѣ, онъ безпристрастно показалъ естественныя причины страшнаго богатства купчины Захолустьева, но въ то же время счелъ за необходимое противопоставить ему Селифонта Михѣича, который тоже страшно разбогатѣлъ, но честностью и порядкомъ, а главное потому, что «жилъ по старому русскому обычаю». Желали бы мы знать, что бы наши купцы сказали объ этой утопіи честнаго благоприобрѣтенія огромнаго имѣнія... По мнѣнію Вельтмана, русскій человѣкъ, имѣющій несчастье знать французскій языкъ, есть человѣкъ погибшій... Какихъ, подумаешь, не бываетъ предразсудковъ у людей съ умомъ и талантомъ!..

Герой романа, Дмитричій — нѣчто вроде Ваньки Каина новыхъ временъ, или того, что французы называютъ *chevalier d'industrie*, лицо очень возможное и вообще мастерски очерченное авторомъ. Зато героиня, Саломея Петровна, которой выпала невыгодная роль представительницы и жертвы новѣйшихъ нравовъ и знанія французскаго языка, — лицо совершенно сказочное. Сначала она является жеманницей, холодной лицемѣркой, до пошлости неискусной актрисой, а потомъ самой страстной женщиной, какую только можно вообразить. Дѣйствіе романа презапутанное, въ немъ столько эпизодовъ, сколько лицъ, а лицамъ, какъ мы сказали, счету нѣтъ. Какъ только является новое лицо, авторъ безъ церемоній бросаетъ героя и героиню и начинается разсказывать читателю исторію этого новаго лица, со дня его рожденія, а иногда и со дня рожденія его родителей, по день его появленія въ романѣ. Большая часть изъ этихъ вводныхъ лицъ изображены или очеркнуты съ большимъ искусствомъ. Ходъ романа очень интересенъ, въ событіяхъ много истины, но въ то же время и много невѣроятностей. Когда автору нѣтъ средства естественно развязать узелъ завязки или завязать новый, у него сейчасъ является *deus ex machina*. Такого, напр., похищеніе Саломеи холопами Филиппа Савича, помѣщика Кіевской губерніи — самая невѣроятная романтическая натяжка, на какую только когда-либо рѣшался писатель съ талантомъ. Такихъ сказочныхъ невѣроятностей особенно много въ событіяхъ жизни Дмитричкаго; ему все удастся, онъ

всегда выходить съ выгодой для себя изъ самаго затруднительнаго, самаго невыгоднаго положенія. Пріѣзжаетъ въ Москву безъ бумажъ, съ однимъ червонцемъ, останавливается въ гостинницѣ, ѣстъ на широкую ногу, и вдругъ судьба посылаетъ ему литературщика, который принялъ его за литератора, занимавшаго еще вчера этотъ же самый номеръ гостинницы, везетъ его къ себѣ, предлагаетъ у себя квартиру, даетъ денегъ. Все это дѣлается по шучью велѣнію, а по моему прошенію, и доказываетъ, что у Вельмана больше таланта для частностей и подробностей, нежели для созданія чего-нибудь цѣлаго, больше наклонности къ сказкѣ, нежели къ роману, и что системы и теории много дѣлаютъ вреда его замѣчательному таланту...

Упомянувши еще о «Венгерцахъ», физиологическомъ очеркѣ, въ «Финскомъ Вѣстникѣ», мы окончимъ нашъ перечень всего особенно замѣчательнаго, что явилось въ прошломъ году по части изыщѣнной словесности. Перечень этотъ вышелъ не великъ*); обо многомъ мы не хотимъ упоминать вовсе не потому, чтобы во всемъ, о чемъ умалчиваемъ, видѣли мы одно дурное и ничего хорошаго, но потому, что считали нужнымъ говорить только объ особенно замѣчательномъ.

«Воспоминанія Баддея Булгарина (Отрывки изъ видѣннаго, слышаннаго и испытаннаго въ жизни)», не принадлежа собственно ни къ ученой, ни къ поэтической, но къ такъ называемой легкой литературѣ, есть книга во многихъ отношеніяхъ интересная и замѣчательная. По поводу недавно вышедшей третьей части этого сочиненія мы выскажемъ ниже наше о немъ мнѣніе, а пока ограничимся однимъ упоминовеньемъ.

Къ числу такого же рода произведений отнесли бы мы и «Записки Доктора», сочиненіе Малиновскаго, еслибы эти записки больше были вѣрны своей прекрасной цѣли и больше походили на записки, нежели на мелодраму въ формѣ неудавшагося романа, написаннаго безъ таланта, безъ умѣнія и такту.

Отъ чисто-литературныхъ произведений переходякъ сочиненіямъ ученаго или серьезнаго содержанія, начнемъ съ того, что сдѣлано было въ прошломъ году по части русской исторіи. Скажемъ здѣсь кстати,

*) Это произошло частью оттого, что множество замѣчательныхъ беллетристическихъ произведений, особенно повѣстей, должно бы было появиться въ прошломъ году въ одномъ огромномъ сборникѣ, предполагавшемся къ изданію. Но по случаю «Современника» литераторъ, предпринимавшій изданіе этого сборника, счелъ за лучшее оставить свое предпріятіе и передать «Современнику» собранія имъ статьи.

что въ «Современникѣ» будетъ обращено особенное вниманіе на этотъ предметъ. Кромѣ статей по части русской исторіи, журналъ нашъ, не обобщая своимъ читателямъ полной библіографіи по другимъ частямъ, будетъ представлять отзывы обо всемъ, что будетъ являться сколько-нибудь замѣчательнаго по части русской исторіи*).

«Исторія русской словесности, преимущественно древней, — XXXIII публичныя лекціи Шевырева» (доселѣ вышло двѣ части), принадлежитъ къ замѣчательнымъ явленіямъ ученой русской литературы прошлаго года. Въ этомъ сочиненіи авторъ обнаружилъ короткое знакомство съ источниками, обширную начитанность, словомъ, — эрудицію, которая сдѣлала бы честь самому кропотливому нѣмецкому геллертеру. При этомъ оно отличается глубокимъ и искреннимъ убѣжденіемъ, самой наивной добросовѣстностью, которая однакожъ не помѣшала трудолюбивому и почтенному профессору представлять факты въ самомъ неистинномъ видѣ. Это странное явленіе будетъ очень понятно, если взять въ соображеніе, какую ужасную силу имѣетъ надъ здравомысліемъ человѣка духъ системы, обаяніе готовой идеи, еще прежде изученія фактовъ принятой за непреложно-истинную. Вотъ причина, почему Шевыревъ въ духовныхъ сочиненіяхъ древней и старой Руси непремѣнно хочетъ видѣть произведенія народной словесности, а въ русскомъ сказочномъ витязѣ Ильѣ Муромцѣ находитъ что-то общее съ Сидомъ, рыцарственнымъ героемъ національныхъ испанскихъ романсовъ... Вѣдь ученый и трудолюбивый Венелинъ находилъ же Атиллу славяниномъ, а въ Меровингахъ франкскихъ видѣлъ славянскихъ «мировыхъ» или «міровыхъ» — не помнимъ, право... Это доказываетъ, что господа ученые, платя дань человѣческой слабости, бываютъ подвержены такимъ же странностямъ, какъ и самые простые, вовсе безграмотные люди... Можетъ-быть это происходитъ оттого, что они, какъ говоритъ простой народъ, зачитываются, и у нихъ умъ за разумъ заходитъ; можетъ быть это происходитъ и отъ другихъ причинъ — не знаемъ; но знаемъ только то, что духъ системы и доктрины имѣетъ удивительное свойство омрачать и фанатизировать даже самые свѣтлые умы... Впрочемъ книга Шевырева, вѣтъ своего славянофильскаго направленія, имѣетъ много достоинствъ, какъ памятникъ примѣрнаго трудолюбія и добросовѣстной, хотя и одно-

*) Слѣдующее за тѣмъ въ этой статьѣ 1-го № «Современника» о русской исторической литературѣ написано Кавелинымъ и помѣщено во второй части «Собранія его сочиненій», стр. 299—315.

сторонней, учености. Болѣе всего важны примѣчанія, которыми снабжена она и куда отнесены авторомъ самые интересные факты, которые съ особеннымъ упорствомъ отказались свидѣтельствовать въ пользу любимыхъ идей его. Замѣчательна еще книга Шевырева и тѣмъ, что подала поводъ къ четыремъ прекраснымъ критическимъ статьямъ (въ «Отечественныхъ Запискахъ» № 5 и 12, въ «Библиотекѣ для Чтенія» и «Финскомъ Вѣстникѣ»).

Къ числу блистательнѣйшихъ приобрѣтеній по части учебной русской литературы вообще, а не одного прошлаго года, принадлежить вышедшее въ прошломъ году второе отдѣленіе второй части «Руководства къ Всеобщей Исторіи» — сочиненіе профессора Лоренца. Этой книжкой заключается средняя исторія. Съ нетерпѣніемъ ожидаемъ продолженія и окончанія этого превосходнаго труда.

«Исторія консульства и имперіи» Тьера появилась въ двухъ переводахъ. Вышла шестая часть «Всемирной Исторіи» Беккера.

«Нравы, обычаи и памятники всѣхъ народовъ земного шара», изданіе Семена и Стойковича, превосходными иллюстрированными картинками и полиптиками и вообще типографскимъ изиществомъ затмил собою всѣ когда-либо явившіяся въ Россіи такъ называемыя великолѣпныя изданія. Содержаніе книги соответствуетъ ея вѣщному достоинству и — что даетъ ей особенную важность — есть не переводъ, а почти оригинальный трудъ двухъ русскихъ литераторовъ, которые, пользуясь иностранными источниками, умѣли придать ему достоинство одушевленнаго одной идеей сочиненія. Въ вышедшей книгѣ содержится описаніе Индустана, сдѣланное Тютчевымъ, и Заганскаго полуострова, сдѣланное Стойковичемъ. Во второй книгѣ издатели обѣщаютъ описаніе Китая и Японіи.

Въ журналахъ прошлаго года было очень много интересныхъ статей ученаго содержанія, оригинальныхъ и переводныхъ. Изъ первыхъ въ особенности можно указать на: седьмое и восьмое «Письма объ изученіи природы» Искандера; «Кочующіе и осѣдло-живущіе въ Астраханской губерніи инородцы» барона Ө. А. Бюлера; «Европейскія желѣзныя дороги въ историческомъ, географическомъ и статистическомъ отношеніяхъ» (въ «Отечественныхъ Запискахъ»); «Нога и рука человѣка» С. С. Курторги (въ «Библиотекѣ для Чтенія»); «Жизнь и нравы змѣй; Жизнь и нравы пауковъ» Ушакова (въ «Финскомъ Вѣстникѣ»). Изъ переводныхъ статей особенно замѣчательна — «Оливеръ Кромвель» (въ «Отечественныхъ Запискахъ»). Знаменитое ученое твореніе

Гумбольдта было переведено въ «Отечественныхъ Запискахъ» подъ именемъ «Космоса», а въ «Библиотекѣ для Чтенія» — подъ именемъ «Козмоса». Нельзя не отдать справедливости обоимъ журналамъ за ихъ поспѣшность познакомить русскую публику съ произведеніемъ великаго ученаго, столь важнымъ по предмету и написаннымъ популярно; но едва ли оба журнала достигли своей цѣли. Популярность изложенія Гумбольдта чисто-нѣмецкая, слѣдовательно исполнѣ доступная только людямъ, специально занимающимся естественными науками и астрономіей. Въ этомъ отношеніи гораздо полезнѣе перевода обоимъ журналамъ была статья въ «Сѣверной Пчелѣ» (№ 175—180): «Александръ Гумбольдтъ и его Вселенная (Kosmos)». Не знаемъ, откуда переведена или кѣмъ написана она, но непосвященныхъ въ таинства науки она знакомитъ съ книгой Гумбольдта больше и лучше, нежели переводы этой книги въ обоимъ журналахъ. Въ «Финскомъ Вѣстникѣ» переводится знаменитое твореніе Тьера: «Завоеваніе Англіи норманнами». Это сочиненіе конечно не ново вездѣ, кромѣ Россіи, и оттого мысль «Финскаго Вѣстника» перевести его заслуживаетъ похвалы и благодарности.

Въ послѣднее время много стало появляться книгъ, брошюръ и статей по спеціальнымъ предметамъ. Конечно, истинно хорошихъ между ними еще мало, но всѣ онѣ важны, какъ свидѣтельство дѣльнаго направленія литературы. Такъ напримѣръ, въ прошломъ году вышли весьма замѣчательныя книги, которыя мы только поимеемъ, такъ какъ о нихъ было уже много говорено въ журналахъ: первая книга «Записокъ Русскаго Географическаго Общества»; третья часть «Исторіи Смутаго времени» Бутурлина; «Объ источникахъ и употребленіи статистическихъ свѣдѣній» Журавскаго; «Нижегородская ярмарка въ 1843, 1844 и 1845 годахъ» Мельникова, и пр. Особенно пріятно видѣть, что появляется довольно много книгъ, брошюръ и статей, касающихся не только сельскаго хозяйства въ его техническомъ значеніи, но и быта того многочисленнаго класса людей, который играетъ такую великую роль въ отношеніи къ сельскому хозяйству, какъ живая и разумная производящая сила. Особенно заслуживаетъ вниманія въ 103 № «Московскихъ Вѣдомостей» превосходная статья С. А. Маслова — «Жаръ и Жатва Хлѣба (Дѣтнія замѣтки въ Московской губерніи)». Эта замѣчательная статья, за которую почтеннаго автора благословить всякій другъ человѣчества, была перепечатана почти во всѣхъ журналахъ, из-

дающихся отъ правительственныхъ вѣдомствъ.

Мы не упомянули о нѣсколькихъ замѣчательныхъ книгахъ, показавшихся въ концѣ прошлаго года, для того, чтобы начать съ нихъ отдѣлъ Критики и Библиографіи «Современника». Но прежде скажемъ нѣсколько словъ объ этомъ отдѣлѣ нашего журнала. Почти во всѣхъ другихъ журналахъ критика составляетъ особый отъ библиографіи отдѣлъ. Пишущій эти строки семилѣтнимъ тяжкимъ опытомъ позналъ невыгоду такого раздѣленія. Подъ критикой разумѣется статья извѣстнаго объема и даже особеннаго отъ рецензій тона. Замѣчательныхъ книгъ, подлежащихъ вѣдомству серьезной критики, у насъ выходитъ такъ мало, что обязанность писать по критикѣ каждый мѣсяцъ поневолѣ дѣлается чѣмъ-то вродѣ тяжелой поставки, ибо много замѣчательнаго печатается въ журналахъ. Поэтому, представляя отчеты наши публикѣ о всѣхъ болѣе или менѣе примѣчательныхъ явленіяхъ русской литературы, мы не будемъ нисколько заботиться, что выйдетъ изъ нашего разбора—критика или рецензія. Пусть сами читатели наши рѣшаютъ это, каждый по своему вкусу и разумію. Этимъ мы надѣемся доставить имъ услугу, избавивъ журналъ нашъ отъ балласта многословія и надутости, неизбежнаго иногда при двойномъ раздѣленіи критики: на большую, или собственно критику, и малую, или рецензію. Критика наша, какъ мы сказали выше, бу-

детъ обращать вниманіе на всѣ сколько-нибудь замѣчательныя сочиненія по части русской исторіи; затѣмъ болѣе всего обратитъ она свое вниманіе на произведенія чисто литературныя; но въ отношеніи и къ нимъ мы не обѣщаемъ полной библиографіи, ибо о книгахъ ничтожныхъ даже отрицательно, по нашему мнѣнію, не стоитъ труда ни писать, ни читать. Мы даже будемъ считать нашей обязанностью, изъ уваженія къ убикѣ и самимъ себѣ, проходить молчаніемъ дюжинныя произведенія дюжинныхъ писакъ, которые успѣли уже приобрести себѣ позорную извѣстность, которые, думая вѣрно изображать жизнь, какъ она есть, вмѣсто этого изображаютъ вѣрно только себя, такъ какъ они есть, т. е. во всемъ величіи ихъ претензій, ограниченности, бездарности, пошлости и слабоумія. Съ другой стороны, чуждые всякихъ притязаній на энциклопедическую многосторонность познаній, мы не будемъ ничего говорить о специальныхъ сочиненіяхъ, какъ бы ни были они замѣчательны, если они выходятъ изъ круга нашихъ занятій. О книгахъ легкихъ и незначительныхъ будетъ у насъ говориться въ фѣльетонѣ «Современника», въ отдѣлѣ смѣси, и отъ времени до времени прилагаться къ его книжкамъ полныя библиографическіе списки всѣхъ, безъ исключенія, выходящихъ въ Россіи книгъ на русскомъ языкѣ, съ обозначеніемъ типографіи, формата, числа страницъ и даже по возможности цѣны.

ВЫБРАННЫЯ МѢСТА ИЗЪ ПЕРЕПИСКИ СЪ ДРУЗЬЯМИ НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ.

Слб. 1847.

Это едва ли не самая странная и не самая поучительная книга, какая когда-либо появлялась на русскомъ языкѣ! Безпристрастный читатель, съ одной стороны, найдетъ въ ней жестокий ударъ человѣческой гордости, а съ другой стороны, обогатится любопытными психологическими фактами касательно бѣдной человѣческой природы... Впрочемъ нисколько не правъ будетъ тотъ, кѣмъ, при чтеніи этой книги, попеременно стали бы овладѣвать то жестокая грусть, то злая радость,—грусть о томъ, что и человѣкъ съ огромнымъ талантомъ можетъ падать такъ же, какъ и самый дюжинный человѣкъ,—радость оттого, что все ложное, натянутое, неестествен-

ное никогда не можетъ замаскироваться, но всегда безпощадно казнится собственной же пошлостью... Смыслъ этой книги не до такой степени печаленъ. Тутъ дѣло идетъ только объ искусствѣ, и самое худшее въ немъ—потеря человѣка для искусства...

Сколько книгъ является съ эпиграфами, которые нисколько къ нимъ не идутъ и ничего въ нихъ не поясняютъ, и сколько эпиграфовъ такъ и проснутся въ эту книгу, которая явилась безъ всякаго эпиграфа! Напримѣръ, какъ бы шелъ къ ней этотъ эпиграфъ: «Суета суетъ и всяческая суета!» или этотъ: «Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas!»... Но не будемъ говорить о

томъ, чего въ ней нѣтъ, а обратимся къ тому, что въ ней есть... Изъ предисловія узнаемъ мы, что авторъ былъ боленъ при смерти и написалъ было завѣщаніе. Все это очень обыкновенно и со всякимъ случиться можетъ. Но вотъ что вовсе необыкновенно и чего доселѣ еще ни съ кѣмъ изъ частныхъ лицъ не случилось. Завѣщаніе Н. В. Гоголя, напечатанное въ книгѣ вполнѣ, не включаетъ въ себя никакихъ семейныхъ подробностей, которыя, разумѣется, и не шли бы въ печать, но все состоитъ изъ интимной бесѣды автора съ Россіей... То есть: авторъ говоритъ и называетъ, а Россія его слушаетъ и объясняетъ выполнить... Тутъ между прочимъ говорится, какъ о вѣнцѣ творенія Гоголя, о какой-то «Прощальной повѣсти», написанной имъ въ назиданіе, поученіе и утѣшеніе высокихъ душъ... Потомъ объявляетъ, что авторъ смеетъ всѣ свои сочиненія, бывшія у него въ рукописяхъ, какъ безполезныя... Въмѣсто этого проситъ онъ друзей своихъ издать его письма съ 1844 года для пользы тоже высокихъ душъ... Но вотъ конецъ завѣщанія въ подлинныхъ словахъ:

«УП. Завѣщаю... но я вспомнилъ, что уже не могу этимъ располагать. Ноосмотрительнымъ образомъ похищено у меня право собственности: безъ моей воли и позволенія опубликовать мой портретъ. По многимъ причинамъ, которыя мнѣ объявлять не нужно, я не хотѣлъ этого, не продавалъ никому право на его публичное наданіе, и отказывалъ всѣмъ книгопродавцамъ, доселѣ приступавшимъ ко мнѣ съ предложеніемъ, и только въ такомъ случаѣ предполагалъ себѣ это позволить, еслибы помогъ мнѣ Богъ совершить тотъ трудъ, которымъ мысль моя была занята во всю жизнь мою, и притомъ такъ совершить его, чтобы всѣ мои соотечественники сказали въ одинъ голосъ, что я честно исполнилъ свое дѣло, и даже пожелали бы узнать черты лица того человека, который до времени работалъ въ тишинѣ и не хотѣлъ пользоваться несласлуженной нѣвѣстностью. Съ этимъ соединялось другое обстоятельство: *портретъ мой въ такомъ случаѣ могъ распродаться дружелюбно множеству экземпляровъ, принесъ бы значительный доходъ тому художнику, который долженъ былъ гравировать его.* Художникъ этотъ уже нѣсколько лѣтъ трудится въ Римѣ надъ гравированіемъ божественной картины Рафаэля: Преображеніе Господне. Онъ всѣмъ пожертвовалъ для труда своего, труда убійственнаго, пожирающаго годы и здоровье, и съ такимъ совершенствомъ исполнилъ свое дѣло, подходящее нинѣ къ концу, съ какимъ не исполнялъ еще ни одинъ изъ гравировъ. Но, по причинѣ высокой цѣны и малого числа знатоковъ, эстампъ его не можетъ разойтись въ такомъ количествѣ, чтобы вознаградить его за все; мой портретъ ему помогъ бы. Теперь планъ мой разрушенъ: разъ опубликованное изображение кого бы то ни было дѣлается уже собственностью каждаго, занимающагося наданіемъ гравюръ и литографій. Но еслибы случилось такъ, что послѣ моей смерти письма, послѣ меня наданные, доставили бы какому-нибудь общественную пользу (хоть бы даже однимъ только чистосердечнымъ стремленіемъ ее доставить), и пожелали

бы мои соотечественники увидѣть и портретъ мой, то я прошу всѣхъ таковыхъ надателей благородно отказываться отъ своего права; тѣхъ же моихъ читателей, которые по наипыней благосклонности ко всему, что не пользуется нѣвѣстностью, завели у себя какой-нибудь портретъ мой, прошу уничтожить его тутъ же по прочтеніи сихъ строкъ, тѣмъ болѣе, что онъ сдѣланъ дурно и безъ сходства, и покупать только тотъ, на которомъ будетъ выставлено: гравировалъ Іорданъ. Снимъ будетъ сдѣлано по крайней мѣрѣ справедливое дѣло. А еще будетъ справедливѣе, если тѣ, которые имѣютъ достатокъ, станутъ выѣсть портрета моего покупать самый эстампъ Преображенія Господня, который, по признанію даже чужеземцевъ, есть вѣнецъ гравировальнаго дѣла и составляетъ славу русскую.

Завѣщаніе мое немедленно по смерти моей должно быть напечатано во всѣхъ журналахъ и вѣдомостяхъ, дабы, по случаю невѣдѣнія его, никто не сдѣлалъ передо мною невинно-виноватыхъ, и тѣмъ бы не нанесъ упрека на свою душу.»

Изданную теперь книгу «Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями» Гоголь проситъ своихъ соотечественниковъ прочитывать нѣсколько разъ, а достаточныхъ изъ нихъ проситъ онъ покупать ее по нѣскольку экземпляровъ для раздачи тѣмъ, которые сами купить ее не въ состояніи. Собираясь въ Сирію на поклоненіе святымъ мѣстамъ, проситъ онъ прощенія у всѣхъ, передъ которыми виноватъ, равно какъ и у тѣхъ, передъ которыми не виноватъ... Въ особенности сознаетъ онъ, что въ его обхожденіи съ людьми всегда было много непріятно-отталкивающаго.

«Отчасти это происходило (говоритъ онъ) оттого, что я избѣгалъ встрѣчъ и знакомствъ, чувствуя, что не могу еще произнести умнаго и нужнаго слова человеку (пустыхъ же и не нужныхъ словъ произносить не хотѣлось), и будучи въ то же время убѣжденъ, что, по причинѣ безчисленнаго множества моихъ недостатковъ, мнѣ было необходимо хотя немного воспитать самого себя въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ людей. *Отчасти же это происходило и отъ мелочного самолюбія, свойственнаго только такимъ изъ насъ, которые изъ глупи пробрались въ люди и считаютъ себя отчасти умными и людьми на другихъ.*

За предисловіемъ и завѣщаніемъ слѣдуютъ письма. Въ этихъ письмахъ авторъ изображаетъ себя какъ бы прозрѣвшимъ вслѣдствіе своей болѣзни, исполнившимся духа любви, кротости и въ особенности смиренія... Содержаніе ихъ совершенно соответствуетъ такому духу: это не письма, это скорѣе строгія и иногда грозныя увѣщанія учителя ученикамъ... Онъ поучаетъ, наставляетъ, совѣтуетъ, уличаетъ, упрекаетъ, прощаетъ и т. д. Къ нему всѣ обращаются съ вопросами, и онъ никого не оставляетъ безъ отвѣта. Онъ самъ говоритъ: «Все какимъ-то инстинктомъ обращалось ко мнѣ, требуя помощи и совѣта». Тутъ же, черезъ нѣсколько строкъ: «Въ послѣднее время мнѣ случалось даже полу-

чать письма отъ людей, мнѣ почти вовсе незнакомыхъ, и давать на нихъ отвѣты такіе, какихъ бы я не счумѣлъ дать прежде. А между прочимъ (?) я ничуть не умнѣе никого» Затѣмъ слѣдуетъ объясненіе, что эта мудрость произошла отъ болѣзни. Въ другомъ письмѣ, давая пріятелю совѣтъ по части хозяйства, авторъ говоритъ «только раскуси его хорошенько, и не будешь въ накладѣ; два человѣка уже благодарятъ меня, одинъ изъ нихъ тебѣ знакомый К**». Видите ли? онъ самъ сознаетъ себя чѣмъ-то вродѣ *cugé du village* или даже и папы своего маленькаго католическаго міра... Послушаемъ же его совѣтовъ и подивимся имъ...

Говоря въ письмѣ къ одной дамѣ о значеніи женщины въ свѣтѣ, авторъ открываетъ намъ главную причину лихоимства въ Россіи. Найти причину зла — почти то же, что найти противъ него лѣкарство. И авторъ «Переписки» нашелъ его... Слушайте: главная причина взяточничества чиновниковъ происходитъ «отъ расточительности ихъ женъ, которыя такъ жадничаютъ блистать въ свѣтѣ, большомъ и маломъ, и требуютъ на то денегъ отъ мужей» Признаемся: мы были сильно поражены этимъ страннымъ открытіемъ.... Мы однакожъ не остановились на этомъ, но пошли дальше: думая да думая, мы надумались, что оно конечно хорошо, если чиновницы перестанутъ щеголять и блистать въ свѣтѣ, но что еще будетъ лучше, если онѣ вмѣстѣ съ тѣмъ навсегда оставятъ дурную привычку—поутру и вечеромъ пить чай или кофе, а въ полдень обѣдать, равно какъ и другую не менѣе дурную привычку прикрывать наготу свою чѣмъ-нибудь другимъ, кромѣ рогожи или самой дешевой парусины... Тогда бы имъ вовсе не для чего было просить у мужей денегъ, а мужьямъ вовсе не для чего было бы брать даже жалованье, не только взятки... Исправленіе нравовъ было бы всесовершенное... Съ этимъ могутъ не согласиться только такъ называемые практическіе люди, которые все понимаютъ не вдохновеніемъ, а здравымъ смысломъ да опытностью... Они могутъ сказать, что до Петра Великаго у насъ не было модъ, и женщины сидѣли взаперти, а взяточничество было, да еще въ несравненно сильнѣйшей степени, чѣмъ теперь... Пожалуй, они могутъ еще сказать, что, хорошо зная человѣческую натуру и ея слабости, они считаютъ рѣшительно невозможнымъ, чтобы у однихъ уничтожить желаніе блистать, когда другіе, по своимъ средствамъ, согласятся скорѣе умереть, нежели перестать блистать; и что если равенство въ средствахъ есть неосуществимая мечта,

то никакія «переписки» въ мірѣ не убѣдятъ никакого Кира не желать быть Крезомъ, или не завидовать ему, ибо это въ природѣ человѣческой, а немногія и рѣдкія исключенія тутъ ровно ничего не значатъ. Но мало ли чего могутъ наговорить практическіе люди, да что ихъ слушать! Вѣдь они черпаютъ свои мысли въ разумъ, разсудкъ, опытъ и знаніи—источникахъ мірскихъ, свѣтскихъ и грѣховныхъ!.. Эти люди, пожалуй, скажутъ вамъ, что только въ здоровомъ тѣлѣ можетъ обитать здоровая душа, что только не страждущій никакимъ разстройствомъ мозгъ можетъ правильно мыслить... Заткните уши отъ такихъ вольнодумныхъ мыслей и плюньте (любимое выраженіе автора «Переписки») на проповѣдниковъ такой ереси; вотъ что говорить объ этомъ нашъ авторъ:

«О, какъ нужны намъ недуги! Изъ множества похвѣ, которыя я уже извлекъ изъ нихъ, укажу вамъ только на одну: не будь этихъ недуговъ, я бы задумалъ, что сталъ уже таинимъ, какимъ слѣдуетъ мнѣ быть. Не говорю уже о томъ, что самое здоровье, которое безпрестанно подталкиваетъ русскаго человека на какіе-то прыжки и желаніе порисоваться своими качествами передъ другими, заставило бы меня надѣлать уже тысячу глупостей. Притомъ нынѣ, въ мои свѣжія минуты, которыя даетъ мнѣ милость небесная, и среди самыхъ страданій иногда приходятъ во мнѣ мысли, несравненно лучшія прежнихъ, и я вижу самъ, что теперь все, что ты выйдешь изъ-подъ пера моего, будетъ значительно лучше прежняго».

Теперь неоспоримо, какъ дважды два—четыре, что нездоровье лучше здоровья; въ здоровьѣ человѣкъ, особенно русскій, любитъ рисоваться и заноситься, а въ болѣзни онъ ясно видитъ, что прежде онъ дѣлалъ одиѣ глупости, а вотъ теперь-то за умъ хватился и сталъ молодецъ хоть куда! Онъ ужъ тутъ самъ видитъ, что онъ и пишетъ лучше прежняго, и если весь свѣтъ видитъ это дѣло совершенно наоборотъ, можно «плюнуть» на весь свѣтъ, брешешь,—могъ ты, дуракъ!.. Вы думаете, что съ свѣтомъ, даже съ большимъ, нельзя такъ говорить? По крайней мѣрѣ въ «Выбранныхъ мѣстахъ изъ дружеской переписки» свѣтскіе люди иначе не называются, какъ «глупыми умниками». Вообще, замѣтимъ кстати, обращеніе нашего смиренномудраго совѣтодателя какъ съ своими адептами, такъ и съ людьми, никогда его не знавшими, отличается немножко черезчуръ восточной откровенностью. «Критика (у него) устала и запуталась отъ разборовъ загадочныхъ произведеній новѣйшей литературы, съ горя бросилась въ сторону и, уклонившись отъ вопросовъ литературныхъ, понесла дичь». Вотъ, чтобы помочь этому горю и направить критику на истинный путь, онъ и написалъ свою превосходную

критическую статью «Объ «Одиссеѣ», переводимой Жуковскимъ»,—статью, въ которой, разумеется, дичи не было нисколько... Но вотъ черта еще лучше: «Какъ глупы нѣмецкіе умники, выдумавшіе, будто Гомеръ мнѣ, а всѣ творенія его—народныя пѣсни и рапсодіи». Сколько мы помнимъ, главнымъ поборникомъ этого мнѣнія былъ профессоръ Вольфъ,—человѣкъ конечно не гениальный, но весьма ученый и совсѣмъ не дуракъ... Но вотъ бѣда: это мнѣніе раздѣлялъ и Гёте, который хотя былъ и нѣмецъ, но дуракомъ ни въ чьихъ глазахъ никогда еще не былъ... Что скажутъ о насъ нѣмцы, если узнаютъ, что ихъ Гёте былъ не болѣе, какъ—дуракъ!.. А между тѣмъ, воля ваша, а вѣдь оно должно быть такъ, потому что нашъ авторъ не знаетъ ни греческаго языка, столь знакомаго Вольфу и Гёте, да едва-ли знаетъ и по нѣмецки-то; сверхъ того онъ судить не по разуму, не по знанію, а по вдохновенію: изъ всего этого слѣдуетъ, что онъ правъ и что Гёте—дѣйствительно дуракъ... Нѣтъ, это дѣло рѣшенное—Гёте дуракъ! Да и что тутъ чиниться съ какими-нибудь нѣмцами!..

Но вотъ особенно интересное сужденіе автора о славянофилахъ, отличающееся всѣмъ достоинствомъ его патріархальной откровенности:

«Споры о нашихъ европейскихкихъ и славянскихъ началахъ, которые, какъ ты говоришь, пробираются уже въ гостиныя, показываютъ только то, что мы начинаемъ просыпаться, но еще не вполне проснулись; а потому не мудрено, что съ обѣихъ сторонъ наговаривается весьма много дичи. Всѣ эти славянисты и европисты—или же старовѣры и нововѣры, или же восточники и западники, а что они въ самомъ дѣлѣ, не ужью сказать, потому что покажутся они мнѣ кажутся только карикатурами на то, чѣмъ хотятъ быть,—все они говорятъ о двухъ разныхъ сторонахъ одного и того же предмета, никакъ не догадываясь, что ничуть не спорятъ и не поперецать другъ другу. Одинъ подошелъ слишкомъ близко къ строенію, такъ, что видитъ одну часть его; другой отошелъ отъ него слишкомъ далеко, такъ, что видитъ весь фасадъ, но по частямъ не видитъ. Разумеется, правды больше на сторонѣ славянистовъ и восточниковъ, потому что они все-таки видятъ фасадъ и, стало-быть, все-таки говорятъ о главномъ, а не о частяхъ. Но и на сторонѣ европистовъ и западниковъ тоже есть правда, потому что они говорятъ довольно подробно и отчетливо о той стѣнѣ, которая стоитъ передъ ихъ глазами; вина ихъ въ томъ только, что изъ-за карниза, вѣнчающаго эту стѣну, не видится имъ верхушка всего строенія, то есть глава, куполъ и все, что ни есть въ вышинѣ. Можно бы посоветовать обоимъ—одному попробовать, хоть на время, подойти ближе, а другому отступить немного назадъ. Но на это они не согласятся, потому что духъ гордости обуялъ обоими. Всякій изъ нихъ увѣренъ, что онъ окончательно и положительно правъ, и что другой окончательно и положительно лжётъ. Кичливости больше на сторонѣ славянистовъ: они хвастуны; изъ нихъ каждый воображаетъ о себѣ, что онъ открылъ Америку, и найден-

ное имъ зернышко раздуваетъ въ ртуту. Разумеется, что такимъ строптивымъ хвастовствомъ вооружаютъ они еще болѣе противъ себя европистовъ, которые давно бы готовы были отъ многого отступить, потому что и сами начинаютъ слышать многое, прежде неслыханное, но упорствуютъ, не желая уступить слишкомъ раскозырившемуся чужбѣку.»

А въ другомъ мѣстѣ вотъ что говоритъ авторъ о томъ же предметѣ:

«Многіе у насъ уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не въ мѣру русскими доблестями и думаютъ вовсе не о томъ, чтобы ихъ углубить и воспитать въ себѣ, но чтобы выставить ихъ напоказъ и сказать Европѣ: «смотрите, нѣмцы: мы лучше васъ!» Это хвастовство—губитель всего. Оно раздражаетъ другихъ и наноситъ вредъ самому хвастуну. Навлучшее дѣло можно превратить въ грязь, если только имъ похвалишься и похвастаешь! А у насъ, еще не сдѣлавши дѣла, имъ хвастаются! Хвастаются будущими! Нѣтъ, по мнѣ, уже лучше временное умиленіе и тоска отъ самого себя, нежели самонадеянность въ себѣ.»

Но мы начали рѣчь о совѣтахъ, которыми авторъ надѣляетъ своихъ адептовъ; надо кончить эту интересную матерію. Одинъ изъ пріятелей автора посягнулъ на дѣло неслыханной дерзости: онъ рѣшился сказать автору письменно, что, по его мнѣнію, теперь-де самое время для выпуска второй части «Мертвыхъ Душъ»... Подобная дерзость не могла не подѣйствовать нѣсколько смутно на смиреніе нашего автора,—и онъ разразился слѣдующимъ громовымъ отвѣтомъ неосторожному смѣльчаку:

«Вотъ, еслибы ты вмѣсто того, чтобы предлагать мнѣ пустые запросы (которыми напичкалъ половину письма своего и которые ни къ чему не ведутъ, кромѣ удовольствія какого-то празднаго любопытства), собралъ всѣ дѣльныя замѣчанія на мою книгу, какъ свои, такъ и другихъ умныхъ людей, занятыхъ, подобно тебѣ, живящюю опытной и дѣльной, да присоединилъ бы къ этому множество событій и анекдотовъ, какіе ни случались въ околотеѣ нашемъ и во всей губерніи, въ подтвержденіе или въ опроверженіе всякаго дѣла въ моей книгѣ, какихъ можно бы десятками прибавить на всякую страницу, тогда бы ты сдѣлалъ доброе дѣло, и я бы сказалъ тебѣ мое вѣрное спасибо. Какъ бы отъ этого раздвинулся мой круговоротъ! Какъ бы освѣжилась моя голова, и какъ бы успѣшнѣе пошло мое дѣло! Но того, о чемъ я прошу, никто не исполняетъ, моихъ запросовъ никто не считаетъ важными, а только уважаетъ свои; а иной даже требуетъ отъ меня какой-то искренности и откровенности, не понимая самъ, чего онъ требуетъ. И къ чему это пустое любопытство знать впередъ, и эта пустая ни къ чему неведущая торопливость, которой, какъ я замѣчаю, уже и ты начинаешь заражаться? Смотри, какъ въ природѣ совершается все чинно и мудро, въ какомъ стройномъ законѣ, и какъ все разумно исходитъ одно изъ другого! Одни мы, Богъ вѣсть изъ чего, мечемся. Все торопится, все въ какой-то горячкѣ. Ну, вѣдь слышишь ты хорошенько слова свои: «второй томъ нуженъ теперь необходимо?» Чтобы я изъ-за того только, что есть противъ меня всеобщее недо-

вольствіе, сталъ торопиться вторымъ томомъ, такъ же глупо, какъ и то, что я поторопился первымъ? Да развѣ ужъ я совсѣмъ выжилъ изъ ума? Неудовольствіе это мнѣ нужно; въ неудовольствіи человѣкъ хоть что-нибудь мнѣ выскажетъ. И откуда вывелъ ты заключеніе, что второй томъ именно теперь нуженъ? Загѣзъ ты развѣ въ мою голову? Почувствовалъ существо второго тома? По твоему онъ нуженъ теперь, а по моему не раньше, какъ черезъ два-три года, да и то еще, принимая въ соображеніе попутный ходъ обстоятельствъ и времени. Кто жъ изъ насъ правъ? Тотъ ли, у кого второй томъ уже сидитъ въ головѣ, или тотъ, кто даже и не знаетъ, изъ чего состоитъ второй томъ? Какая странная мода теперь завелась на Руси! Самъ человѣкъ лежитъ на боку, къ дѣлу настоящему дѣлаетъ, а другого торопятъ, точно, какъ будто непременно другой долженъ изъ всѣхъ силъ таянуть отъ радости, что его пріятель лежитъ на боку. Чуть замѣтаетъ, что хотя одинъ человѣкъ занялся серьезно какимъ-нибудь дѣломъ, ужъ его торопятъ со всѣхъ сторонъ, и потомъ его же выбраніе, если сдѣлаетъ глупо, скажутъ: зачѣмъ поторопился? Но оканчивая тебѣ поученіе. На твой умный вопросъ я отвѣчалъ, и даже сказалъ тебѣ то, чего доселѣ не говорилъ еще никому. Не думай однако же послѣ этой исповѣди, чтобы я самъ былъ такой же уродецъ, каковы мои герои. Нѣтъ, я не похожъ на нихъ. Я люблю добро, я ишу его и сгораю имъ; но я не люблю моихъ мерзостей и не держу ихъ руку, какъ мои герои; я не люблю тѣхъ низостей моихъ, которыя отдаляютъ меня отъ добра. Я воюю съ ними, и буду воевать, и изгоню ихъ, и мнѣ въ этомъ поможетъ Богъ, и это вѣдору, что выпустили глупые свѣтскіе умники, будто человѣку только и возможно воспитать себя, покуда онъ въ школѣ, а послѣ ужъ и черты нельзя измѣнить въ себѣ; только въ *мудрой сѣтской башкѣ* могла образоваться такая глупая мысль. Я уже отъ многихъ своихъ гадостей набавился тѣмъ, что передалъ ихъ своимъ героямъ, ихъ осмѣялъ въ нихъ и выставилъ другихъ также надъ ними посмѣяться. Я оторвался уже отъ многого тѣмъ, что, лишивши картиннаго вида и рыцарской маски, подъ которой выѣзжаетъ ковыремъ всякая мерзость наша, поставилъ ее рядомъ съ той гадостью, которая всѣмъ видна. И когда повѣрю себя на исповѣди передъ Тѣмъ, Кто повелѣлъ мнѣ быть въ мірѣ и освобождался отъ моихъ недостатковъ, вижу много въ себѣ пороковъ; но они уже не тѣ, которые были въ прошломъ году. Святая сила помогла мнѣ отъ тѣхъ оторваться. А тебѣ совѣтую не пропустить мимо ушей этихъ словъ, но, по прочтеніи моего письма, остаться одному на нѣсколько минутъ и, отъ всего отдѣлаясь, взглянуть хорошенько на самого себя, перебравши передъ собою всю свою жизнь, чтобы провѣрить на дѣлѣ истину словъ моихъ. Въ этомъ же моимъ отвѣтъ найдешь отвѣтъ и на другіе запросы, если попристанешь взглядысь. Тебѣ объяснится также и то, почему не выставлать я до сихъ поръ читателю явленій утѣшительныхъ и не избралъ въ мои герои добродѣтельныхъ людей. Ихъ въ головѣ не выдумаешь. Пока не станешь самъ, хотя сколько-нибудь, на нихъ походить, пока не добудешь постоянствомъ и не завоюешь силой въ душу нѣсколько добрыхъ качествъ, мертвечина будетъ все, что ни напишетъ перо твое, и какъ земля отъ неба будетъ далеко отъ правды. Выдумывать кошмаровъ—я также не выдумывалъ; кошмары эти давали мою собственную душу: что было въ душѣ, то изъ нея и вышло.»

Но истинный перлъ по совѣтодательной

части составляютъ три письма автора. Въ одномъ онъ учитъ мужа и жену жить по супружески. Жалѣемъ, что длиннота этого письма лишаетъ насъ возможности пересказать его содержаніе: это чудо, прелесть, еще ничего не являлось подобнаго на русскомъ языкѣ, и передъ этимъ даже путевыя записки за границей Погодина—просто пасы!.. Въ другихъ двухъ письмахъ содержатся преудивительные совѣты помѣщику, какъ управлять своими крестьянами. Въ одномъ изъ нихъ замѣчательнѣе всего совѣтъ касательно сельскаго суда и расправы. Такъ какъ, по мнѣнію автора, въ спорахъ, жалобахъ, неудовольствіяхъ и тяжбахъ всегда бываютъ неправы обѣ стороны, то онъ и рѣшаетъ, что дѣло судьи—наказывать обѣ...

«Эта мысль (говоритъ онъ), какъ непреложное вѣрованіе, разнеслась повсюду въ нашемъ народѣ. Вооруженный ею, даже простой и не умный человѣкъ получаетъ въ народѣ власть и прекращаетъ ссоры. *Мы* только, *люди описіе*, не слышимъ ее, потому что набрались пустыхъ рыцарски-европейскихъ понятій о правдѣ. Мы только споримъ изъ-за того, кто правъ, кто виноватъ; а если разобрать каждое изъ дѣлъ нашихъ, придемъ къ тому же знаменателю, т. е. оба виноваты. И видишь, что *всѣма здраво* поступила комендантша въ повѣсти Пушкина *Капитанская Дочка*, которая, пославши поручика разсудить городского солдата съ бабою, подравнившихся въ багѣ за деревянную шайку, снабдила его такой инструкціей: «Разбери, кто правъ, кто виноватъ, да обонихъ и накажи.»

Въ другомъ письмѣ авторъ совѣтуетъ помѣщику прежде всего, не шутя, искренно показать своимъ крестьянамъ, что ему, помѣщику, деньги—нуль.

«Негодяямъ же и пьяницамъ повели, чтобы они оказывали добрымъ мужикамъ такое же уваженіе, какъ бы старостѣ, приказчику, попу или даже самому тебѣ. Чтобы, когда еще они завидятъ казали примѣрнаго мужика и хозяина, *летѣлы бы шапки съ головы у естъ мужиковъ*, и все бы давало дорогу, а который посмѣлъ бы оказать ему какое-нибудь неуваженіе или не послушается умныхъ словъ его, того распеки тутъ же при всѣхъ; скажи ему: «Ахъ, ты, *невимитое рыло!* Самъ весь зажилъ въ самѣ, такъ, что и глазъ не видать, да еще не хочешь оказывать и чести честному! *Поклонись же ему въ ноги* и попроси, чтобы навелъ тебя на разумъ; не наведетъ на разумъ—собакой пропадешь.»

Хорошъ и этотъ совѣтъ: «Мужика не бой: съѣздить его въ рожу еще не большое искусство: это сѣужбеть сдѣлать и становой, и засѣдатель, и даже староста; мужикъ къ этому уже привыкъ, и только что почешетъ слега у себя въ затылкѣ». Загѣмъ авторъ учитъ помѣщика ругаться съ мужиками... Что это такое? гдѣ мы? ужъ не перенеслись ли мы въ давно-прошедшія времена?..

Но это еще не все. Вотъ лучшее: «За-мѣчанія твои о школахъ совершенно спра-

ведливы. Учить мужика грамотѣ за тѣмъ, чтобы доставить ему возможность читать пустыя книжонки, которыя издають для народа европейскіе человеколюбцы, есть дѣйствительно вздоръ. Главное уже то, что у мужика нѣтъ вовсе для этого времени. Послѣ столькихъ работъ никакая книжонка не погѣзетъ въ голову — и, пришедши домой, онъ заснетъ, какъ убитый, богатырскимъ сномъ». Либо пойдетъ въ кабакъ, что онъ и дѣлаетъ нерѣдко... Но не понимаемъ, съ чего взялъ авторъ, будто народъ бѣжитъ, какъ отъ чорта, отъ всякой письменной бумаги? Бумагъ юридическихъ не любить не одинъ нашъ народъ, особенно если грамотѣ не знаетъ; но грамоты нашъ народъ не боится, напротивъ, любить ее и бѣжитъ къ ней, а не отъ нея. Пусть попроситъ авторъ своихъ друзей, чтобы они переслали ему отчетъ за 1846 годъ Министра Государственныхъ Имуществъ, напечатанный во всѣхъ официальныхъ русскихъ газетахъ: изъ него увидитъ онъ, какъ быстро распространяется въ Россіи грамотность между простымъ народомъ... А еслибы захотѣлъ онъ пожить въ той Россіи, которую такъ расхваливаетъ, живя въ разныхъ нѣмецкихъ земляхъ, и поприглядѣться къ нашему простому народу, о которомъ онъ судитъ такъ рѣшительно, не зная его, — онъ убѣдился бы, что эти быстрые успѣхи въ дѣлѣ распространения грамотности въ простомъ народѣ основаны именно на глубокой потребности, какую чувствуетъ народъ въ грамотности, и на сильномъ стремленіи, какое онъ оказываетъ къ ученію... Авторъ увидѣлъ бы, какъ часто бородатые русскіе мужики ничего не жалѣютъ для обученія дѣтей своихъ грамотѣ и достигаютъ иногда этой цѣли при всевозможной бѣдности въ средствахъ. Да, эта любовь къ свѣту, выраившаяся въ пословицѣ: ученье—свѣтъ, неученье — тьма, составляетъ одно изъ лучшихъ и благороднѣйшихъ свойствъ русскаго народа, — и это-то свойство до сихъ поръ не признано въ немъ его близорукими восхвалителями и льстецами, которые, забывъ того, навдумывали для него множество похвальныхъ качествъ, или не бывалыхъ въ немъ, или составляющихъ еще его темную сторону.

Замѣчательна слѣдующая черта: въ началѣ письма авторъ совѣтуетъ помѣщику показывать крестьянамъ, искренно, безъ шутокъ, что деньги ему ни почемъ, т. е. вовсе не нужны; а въ концѣ письма говорить: «Разбогатѣешь ты, какъ Крезъ, въ противность тѣмъ подслѣповатымъ людямъ, которые думаютъ, будто выгоды помѣщика идутъ врознь съ выгодами мужиковъ»...

Особеннымъ отбѣнкомъ отличаются письма автора къ Жуковскому. Вотъ нѣсколько образчиковъ писемъ этого рода:

«Поведемъ рѣчь о статьѣ, надъ которой произнесенъ смертный приговоръ, т. е. о статьѣ подъ названіемъ: *О лиризмѣ нашихъ поэтовъ*. Прежде всего благодарность за смертный приговоръ! Вотъ уже во второй разъ я спасенъ тобой, о мой истинный наставникъ и учитель! Прошлый годъ твоимъ же рука остановила меня, когда я уже было хотѣлъ послать Плетневу въ *Современникъ* мои сказанія о русскихъ поэтахъ; теперь ты вновь предашь уничтоженію новый плодъ моего неразумія. Только одинъ ты меня еще останавливаешь, тогда какъ всѣ другіе торопятъ, нежизненно зазывая. Сколько мучностей успѣлъ бы я уже надѣлать, еслибы только послушался другихъ моихъ пріятелей... Итакъ, вотъ тебѣ моя благодарственная писнь — а затѣмъ обратимся къ самой статьѣ. Мнѣ стыдно, когда подумаю, какъ до сихъ поръ еще я мучу и какъ не умю заговорить ни о чемъ, что поумнѣе. Всею малютке выводить мысли и толки о литературѣ. Тутъ какъ-то особенно становится все у меня напыщенно, темно и невразумительно. Мою же собственную мысль, которую не только вижу умомъ, но даже чувствую сердцемъ, не въ силахъ передать. Слышитъ душа многое, а пересказать или написать ничего не умю. Основаніе статьи моею справедливо, а между тѣмъ объяснился я такъ, что всякимъ выраженіемъ выказалъ на противорѣчье.»

Знаменитая статья: «Объ «Одиссее», переводимой Жуковскимъ», вновь является въ этой книгѣ, въ видѣ письма къ Н. М. Я...ву. Вотъ основныя мысли этой удивительной статьи:

I. Для перевода «Одиссеи» необходимо приготовленіе цѣлой жизни, необходимы въ жизни переводчика разные внутреннія и внѣшнія событія, поселяющія въ душѣ миръ, гармонію и другія похвальные качества. Жуковскій вполне соотвѣтствуетъ этимъ «необходимымъ» требованіямъ.

II. Переводчикъ долженъ быть христіаниномъ по преимуществу, ибо язычника Гомера можно проникать и постигать только христіанскимъ чувствомъ. И съ этой стороны Жуковскій больше нежели удовлетворителенъ. (Нужно ли знать переводчику по гречески и знаетъ ли Жуковскій этотъ языкъ, — объ этомъ, какъ дѣлѣ мірскомъ и слѣдовательно ничтожномъ, авторъ умалчиваетъ).

III. Зато переводъ «Одиссеи» вышелъ несравненно лучше подлинника.

IV. Переводъ этотъ необходимъ для нашего времени, по причинѣ общаго охлажденія и недоразумѣнія.

V. «Одиссея» произведетъ у насъ вліяніе, какъ вообще на всѣхъ, такъ и отдѣльно на cadaго.

VI. Ее будутъ у насъ читать: дворяне, мѣщане, купцы, грамотѣи и не грамотѣи, рядовые солдаты, лакеи, дѣти обоого пола.

VII. Греческій политеизмъ, сирѣчь многобожіе, не введетъ въ искушеніе нашихъ

мужичковъ: они почешутъ у себя въ затылкѣ и сейчасъ смекнутъ, въ чемъ дѣло и въ чемъ вадоръ.

VIII. «Одиссея» произведетъ благотѣльное вліяніе на нашу литературу: писатели и критики наши перестанутъ нести дичь. Но главное —

IX. «Одиссея» исправитъ всю нашу цивилизацію, испорченную вліяніемъ Европы, и возвратитъ насъ къ незапамятнымъ былымъ временамъ, помолодитъ насъ десятками тремя вѣковъ... Вѣдь это-то и значить идти впередъ...

«Словомъ (говоритъ авторъ), на страждущихъ и болтающихъ отъ своего европейскаго совершенства — «Одиссея» подѣйствуетъ. Много напомятъ она намъ младенчески-прекраснаго, которое (увы!) утрачено, но которое должно возвратитъ себѣ человечество, какъ свое законное наслѣдство. Многие надъ многими призадумаются. А между тѣмъ многое изъ временъ патриархальныхъ, съ которыми есть такое сродство въ русской природѣ, разнесется невидимо по лицу Русской земли. Благоухающими устами поэзіи навѣвается на души то, чего не внесешь въ нихъ никакими законами и никакою властью».

Въ одномъ письмѣ къ Жуковскому авторъ говоритъ:

«Твоя «Одиссея» принесетъ много общаго добра: это тебѣ предскажу. Она возвратитъ къ септестии современнаго человека, усталаго отъ безпорядка жизни мыслей; она обновитъ въ глазахъ его много того, что брошено имъ, какъ ветхое и ненужное для быта; она возвратитъ его къ простотѣ».

Подобный великій благотѣльный переворотъ, произведенный литературнымъ трудомъ, тѣмъ необходимѣе, что, по словамъ автора, «все теперь распылось и расшнуровалось; дрянъ и тряпка сталъ всякъ человекъ; обратилъ самъ себя въ подлое подножіе всего (?) и въ раба самыхъ пустѣйшихъ и мелкихъ обстоятельствъ, и нѣтъ теперь нигдѣ свободы въ ея истинномъ смыслѣ».

Все это прекрасно. Но вотъ два смиренныя вопроса съ нашей стороны. Какъ будетъ простой народъ читать «Одиссею»? Положимъ, «Одиссея» не принадлежитъ къ числу книжонокъ, издаваемыхъ для народа европейскими человеколюбцами; но какъ будетъ читать ее нашъ народъ, которому авторъ такъ положительно и строго запрещаетъ знать грамотъ?.. Или учиться грамотѣ, чтобъ умѣть читать, нужно только «глупымъ» нѣмцамъ, а словенину стоитъ только почестъ у себя въ затылкѣ, чтобы прочесть всякую книгу, не умѣя читать?.. Потомъ, что, если, сверхъ чаянія, мистическія предсказанія Гоголя о вліяніи «Одиссеи» на судьбу русскаго народа вовсе не сбудутся, и переводъ этотъ, подобно переводу Гнѣдича «Иліады», будетъ существовать только слишкомъ для немногихъ?... Вѣдь тогда кто-жъ не скажетъ:

Надѣяла снѣга славы,
А море не зажгла!...

Но самую любопытнѣйшую часть этой книги составляютъ четыре письма къ разнымъ лицамъ по поводу «Мертвыхъ Душъ». Эти четыре письма обрадовали, привели въ восторгъ, сдѣлали истинно счастливыми нѣкоторые литераторы, особенно занятыхъ литературной славой Гоголя. Это не тайна, ибо они постыжили печатно выразить свое торжество, забывъ мудрую русскую пословицу: постыжись — людей насмѣшить, и не менѣе мудрую французскую пословицу: *bien riga qui riga le dernier*... Изъ слѣдующихъ выписокъ легко будетъ всякому увидѣть, что именно въ этихъ фразахъ такъ восхищено враговъ таланта Гоголя.

«Вы напрасно негодуете на неутиренный тонъ нѣкоторыхъ нападеній на «Мертвыхъ Душъ». Это имѣетъ свою хорошую сторону. Иногда нужно имѣть противъ себя озабоченныхъ. Кто увлеченъ красотами, тотъ не видитъ недостатковъ и прощаетъ все; но кто озабоченъ, тотъ постарается выкопать въ насъ всю дрянъ и выставитъ ее такъ ярко наружу, что поневолѣ ее увидишь. Истинно такъ рѣдко приходится слышать, что уже за одну крупницу ея можно простить всякій оскорбительный голосъ, съ какимъ бы она ни произносилась. Въ критикахъ Булгарина, Сенковского и Полевого есть много справедливаго, начиная даже съ даннаго мнѣ совѣта поучиться прежде русской грамотѣ, а потомъ уже писать. Въ самомъ дѣлѣ, еслибы я не торопился печатаніемъ рукописи и поддержалъ ее у себя съ годъ, я бы увидѣлъ потомъ и самъ, что въ такомъ неоправданномъ видѣ ей никакъ нельзя было являться въ свѣтъ. Самые эпиграммы и насмѣшки надо мной были мнѣ нужны, несмотря на то, что съ перваго разу пришлось очень не по-сердцу. О! какъ намъ нужны безпрестанные щелчки, и этотъ оскорбительный тонъ, и эти ѣдки, пронимающія насъ сквозь насмѣшки! На дѣлѣ души нашей столько таится всякаго мелкаго, ничтожнаго самолюбія, шекотливаго, сквернаго честолюбія, что насъ ежеминутно слѣдуетъ колоть, поражать, бить всѣми возможными орудіями, и мы должны благодарить ежеминутно насъ поражающую руку».

«Я бы желалъ однакожъ побольше критикъ, не со стороны литераторовъ, но со стороны людей, занятыхъ дѣломъ самой жизни. Со стороны практическихъ людей, какъ на бѣду, кромѣ литераторовъ, не отозвался никто. А между тѣмъ «Мертвыхъ Душъ» произвели много шума, много ропота; задѣли за живое многихъ и насмѣшкой, и правдой, и карикатурой; коснулись порядка вещей, который у всѣхъ ежедневно передъ глазами — хоть исполнены промаховъ, анахронизмовъ, явнаго незнанія многихъ предметовъ, мѣстами даже съ умысломъ помѣщено обидное и задѣвающее, авось что-нибудь выберетъ меня хорошенько и въ брань выскажетъ мнѣ правду, которой добиваюсь. И хоть бы одна душа подала голосъ! А могъ всакъ. И какъ бы еще умно! Служащій чиновникъ могъ бы явно доказать, въ виду всѣхъ, неправдоподобность мной изображеннаго событія приведеніемъ двухъ-трехъ дѣйствительно случившихся дѣлъ, и тѣмъ бы опровергъ меня лучше всякаго слова, или тѣмъ же самымъ образомъ могъ бы защитить и оправдать справедливость мной описаннаго. Приведеніемъ событія случившагося лучше доказывалось дѣло, нежели пустыми

словами и литературными разглагольствованіями. Могъ бы то же сдѣлать и купецъ, и помѣщикъ, словомъ,—всякій грамотѣй, сидятъ ли онъ сиднемъ на мѣстѣ, или рыскается вдоль и поперекъ по всему лицу Русской земли. Сверхъ собственнаго взгляда своего, всякій человекъ съ того мѣста или ступеньки въ обществѣ, на которую поставили его должность, званіе или образованіе, имѣетъ случай видѣть тотъ же предметъ съ такой стороны, съ которой кромѣ его никто другой не можетъ видѣть. По поводу «Мертвыхъ Душъ» могла бы написаться всей толпой читателей другая книга, несравненно любопытнѣйшая «Мертвыхъ Душъ», которая могла бы научить не только меня, но и самихъ читателей, потому что—нечего таить грѣха—всѣ мы очень плохо знаемъ Россію.

«И хотъ бы одна душа заговорила во всеуслышаніе! Точно какъ бы вымерло все, какъ бы въ самомъ дѣлѣ обитали въ Россіи не живыя, а какія-то «мертвыя души». И меня же упрекаютъ въ плохомъ знаніи Россіи! Какъ будто непременно силой Святого Духа долженъ узнать я все, что ни дѣлается во всѣхъ углахъ ея,—безъ наученія научиться! Но какими путями могу научиться я, писатель, осужденный уже самимъ званіемъ писателя на сидячую, затворническую жизнь, и притомъ еще болѣе, и притомъ еще принужденный жить вдали отъ Россіи? какими путями могу я научиться? Меня же не научатъ эти литераторы и журналисты, которые сами затворники и люди кабинетные. У писателя только и есть одинъ учитель: сами читатели. А читатели сами отказались поучить меня. Знаю, что дамъ сильный отвѣтъ Богу за то, что не исполнилъ, какъ слѣдуетъ, своего дѣла; но знаю, что дадутъ за меня отвѣтъ и другіе. И говорю это не даромъ. Видѣть Богъ, говорю не даромъ!

«Я предчувствовалъ, что всѣ лирическія отступленія въ повѣсть будутъ приняты въ превратномъ смыслѣ. Они такъ неясны, такъ мало выжуются съ предметами, проходящими передъ глазами читателя, такъ невпопадъ складу и замашкѣ сочиненія, что ввели въ заблужденіе какъ противниковъ, такъ и защитниковъ. Всѣ мѣста, гдѣ я замкнулся и неопредѣленно о писателѣ, были отнесены на мой счетъ; я краснѣлъ даже отъ изъясненій ихъ въ мою пользу. И по дѣломъ мнѣ! Ни въ какомъ случаѣ не слѣдовало выдавать и сочиненія, которое хотя выверено было не дурно, но спитъ кое-какъ, бѣлыми нитками, подобно платью, приносящему портнымъ только для прикѣрки. Дивлюсь только тому, что мало было сдѣлано упрековъ въ отношеніи къ искусству и творческой наукѣ. Этому помѣшало какъ гнѣвное расположеніе моихъ критиковъ, такъ и непривычка всматриваться въ постройку сочиненія. Слѣдовало показывать, какія части чудовищно-длины въ отношеніи къ другимъ, гдѣ писатель измѣнилъ самому себѣ, не выдержавъ своего собственнаго, уже разъ принятаго тона. Никто не замѣтилъ даже, что послѣдняя половина книги обработана меньше первой, что въ ней великіе пропуски, что главныя и важныя обстоятельства сжаты и сокращены, неважныя и побочныя распространены, что не столько выступаетъ внутренній духъ всего сочиненія, сколько мечется въ глаза пестрота частей и лоскутность его. Словомъ,—можно было много сдѣлать нападеній несравненно дѣльнѣйшихъ, избранныхъ меня гораздо болѣе, нежели теперь бранять, и избранныхъ за дѣло.

«Охота же тебѣ, будучи такимъ знатокомъ и вѣдателемъ человека, задавать мнѣ тѣ же пустые запросы, которые умѣютъ задать и другіе. Поко-

вина ихъ относится къ тому, что еще впереди. Ну, что толку въ подобномъ любопытствѣ?

«Одинъ только запросъ умнѣ и достоинствъ тебя, и я бы желалъ, чтобы его мнѣ сдѣлали и другіе, хотя не знаю, сумѣли ли бы на него отвѣчать умно. Именно запросъ: отчего герои моихъ послѣднихъ произведеній, и въ особенности «Мертвыхъ Душъ», будучи далеки отъ того, чтобы быть портретами дѣйствительныхъ людей, будучи сами по себѣ свойства совсѣмъ непривлекательнаго, неизвѣстно почему близки душѣ, точно какъ бы въ сочиненіи ихъ участвовало какое-нибудь обстоятельство душевное? Еще годъ назадъ мнѣ было бы неловко отвѣчать на это даже и тебѣ. Теперь же прямо скажу все: герои мои потому близки душѣ, что они изъ души; всѣ мои послѣднія сочиненія—исторія моей собственной души. А чтобы получить все это объяснить, опредѣлю тебѣ себя самого какъ писателя. Обо мнѣ много толковали, разбирая кое-какія мои стороны, но главнаго существа моего не опредѣлили. Его слыхали одинъ только Пушкинъ. Онъ мнѣ говорилъ всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставить такъ ярко пошлость жизни, умѣть очертить въ такой силѣ пошлость пошлаго человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользаетъ отъ глазъ, мелькнула бы крупно въ глаза всѣмъ. Вотъ мое главное свойство, одному мнѣ принадлежащее, и котораго точно нѣтъ у другихъ писателей. Оно вполнѣ углубилось во мнѣ еще сильнѣе отъ соединенія съ нимъ нѣкотораго душевнаго обстоятельства. Но этого я не въ состояніи былъ открыть тогда даже и Пушкину.

«Это свойство выступило съ большою силой въ «Мертвыхъ Душахъ». «Мертвыя Души» не потому такъ испугали многихъ и произвели такой шумъ, чтобы онѣ раскрыли какія-нибудь раны общества или внутреннія болѣзни, и не потому также, чтобы представили потресающія картины торжествующаго зла и страждущей невинности. Ничуть не было. Герои мои вовсе не злодѣи; прибавъ я только одну добрую черту любому изъ нихъ, читатель помирится бы съ ними всѣми. Но пошлость всего вмѣстѣ испугала читателей. Испугало ихъ то, что одинъ за другимъ слѣдуютъ у меня герои, одинъ пошлѣе другого, что нѣтъ ни одного утѣшительнаго явленія, что негдѣ даже и пріотдохнуть или перевести духъ бѣдному читателю, и что по прочтеніи всей книги кажется, какъ бы точно вышелъ изъ какого-то душнаго погреба на Божій свѣтъ. Мнѣ бы скорѣе простили, еслибы я выставилъ картинныхъ изверговъ, но пошлости не простили мнѣ. Русскаго человека испугала его ничтожность болѣе, нежели всѣ его пороки и недостатки. Явленіе замѣчательное! Испугъ прекрасный! Въ комъ такое сильное отвращеніе отъ ничтожнаго, въ томъ, вѣрно, заключено все то, что противоположно ничтожному. И такъ, вотъ въ чемъ мое главное достоинство, но достоинство это, говорю вновь, не развилось бы во мнѣ въ такой силѣ, еслибы съ нимъ не соединились мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная исторія. Никто изъ читателей моихъ не зналъ того, что, смѣясь надъ моими героями, онъ смѣялся надо мною.

«Не судите обо мнѣ и не выводите своихъ заключеній; вы ошибаетесь подобно тѣмъ изъ моихъ пріятелей, которые, создавши изъ меня свой собственный идеалъ писателя, сообразно своему собственному образу мыслей о писателѣ, начали было отъ меня требовать, чтобы я отвѣчалъ имъ же созданному идеалу. Создалъ меня Богъ и не скрылъ отъ меня назначенія моего. Рожденъ я вовсе не затѣмъ, чтобы произвести

эпоху въ области литературной. Дѣло мое проще и ближе: дѣло мое есть то, о которомъ прежде всего долженъ подумать всякій человекъ, но только одинъ я. Дѣло мое—*душа и прочное дѣло жизни*. А потому и образъ дѣйствій моихъ долженъ быть проченъ, и сочинять я долженъ прочно. Мнѣ неважно торопиться; пусть ихъ торопятся другіе. Жгу, когда нужно жечь, и, вѣрно, поступаю какъ нужно, потому что безъ молитвы не приступаю ни къ чему.»

Вотъ почти все главное, изъ котораго мы однакоже вкратцѣ извлечемъ самое существенное:

I. Гоголь самъ сознается, что онъ недоуменъ всѣмъ, что было имъ написано до сихъ поръ, а потому сжегъ рукопись второй части «Мертвыхъ Душъ» и другихъ своихъ сочиненій. Ерго: враги таланта Гоголя правы въ томъ, что столько лѣтъ выставляя его писателемъ безъ дарованія, безъ вкуса, мастеромъ на однихъ сальныя и грязныя картины въ родѣ Поль де-Кока.

II. Гоголь самъ соглашается, что особенность его таланта состоитъ въ умѣнии «очертить въ такой силѣ пошлость пошлаго человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользаетъ отъ глазъ, мелькнула бы крупно въ глаза всѣмъ». Ерго: это явно талантъ мелкій и ничтожный...

III. Гоголь объявляетъ торжественно, что согласенъ съ тѣми, которые бранили его сочиненія, и не согласенъ съ тѣми, которые хвалили ихъ. Ерго: хвалители Гоголя суть литературная партія, уцѣпившаяся за него для униженія истинныхъ, но ненавистныхъ ей талантовъ.

IV. Гоголь самъ говоритъ, что «рожденъ онъ вовсе не за тѣмъ, чтобы произвести эпоху въ области литературной, а за тѣмъ, чтобы спасти свою душу». Ерго: звали тѣ, которые провозгласили его главой новой литературной школы.

V. Гоголь признается самъ, что «въ критикахъ Булгарина, Сенковского и Полевого есть много справедливаго, начиная даже съ даннаго ему совѣта поучиться прежде русской грамотѣ, а потомъ уже писать», и что «еслибы онъ не торопился печатаніемъ рукописи и подержалъ ее у себя съ годъ, то увидѣлъ бы потомъ и самъ, что въ такомъ неопытномъ видѣ ей никакъ нельзя было являться въ свѣтъ» и пр. Ерго: кромѣ «Вечеровъ на Хуторѣ» все, написанное Гоголемъ, есть чистый вздоръ и не заслуживаетъ никакого вниманія...

Подобные выводы могутъ показаться правильными и дѣльными только тѣмъ, которымъ они полезны. Сильно ошибаются тѣ, которые думаютъ, что публику нашего времени во всемъ можно увѣрить журнальной статьёй, что она вѣритъ только печатному, а сама ничего не видитъ, ничего не пони-

маетъ. Такимъ образомъ хотятъ увѣрить, что слава Гоголя основана на крикливыхъ возгласахъ какой-то литературной партіи, которой нужно было поднять его изъ своихъ собственныхъ разчетовъ. А добрая русская публика и повѣрила этой партіи, и начала раскупать сочиненія Гоголя и наполнять театры, когда въ нихъ давался «Ревизоръ»... Мало этого, помянутая литературная партія успѣла убѣдить въ геніальности Гоголя даже французскую, а за ней и всю европейскую публику... И все это обманъ, пuffs, подлогъ,—потому что самъ Гоголь отрицается отъ своихъ сочиненій и своей славы... Только-то?... А намъ какое до этого дѣло?—Когда нѣкоторые хвалили сочиненія Гоголя, они не ходили къ нему справляться, какъ онъ думаетъ о своихъ сочиненіяхъ, а судили о нихъ сообразно съ тѣми впечатлѣніями, которыя они производили... Такъ точно и теперь мы не пойдемъ къ нему спрашивать его, какъ теперь прикажетъ онъ намъ думать о его прежнихъ сочиненіяхъ и о его «Выбранныхъ мѣстахъ изъ Переписки съ Друзьями»... Какая намъ нужда, что онъ не признаетъ достоинства своихъ сочиненій. если ихъ признало общество? Это факты, которыхъ дѣйствительности не въ состояніи же опровергнуть онъ самъ... Нѣтъ, господа противники таланта Гоголя, раненко вы вдували торжествовать побѣду, которой не одержали и которой не одержать вамъ! Именно теперь то еще болѣе, чѣмъ прежде, будутъ расходиться и читаться прежнія сочиненія Гоголя, теперь то еще выше, чѣмъ прежде, будетъ цѣниться онъ, потому что теперь онъ самъ существуетъ для публики больше въ прошедшемъ...

Но оставимъ и хвалителей въ сторонѣ, обратимся опять къ нашему автору. Конечно въ его смиренномудромъ признаніи собственныхъ ошибокъ и правды въ нападкахъ враговъ много высокаго, дѣлающаго ему особенную честь; но, смотря на дѣло проще, т. е. не со стороны самолюбія, а со стороны самаго дѣла, можно замѣтить, что авторъ гораздо бы лучше поступилъ, еслибы, вмѣсто всякихъ признаній, воспользовался дѣльными замѣчаніями и второе изданіе «Мертвыхъ Душъ» выпустилъ бы въ опрятномъ видѣ... То же отчасти можно сказать и о «Выбранныхъ», но отнюдь не избранныхъ мѣстахъ изъ «Переписки съ Друзьями»: они могли явиться въ печати и грамотнѣе, и приличнѣе, и опрятнѣе вообще, такъ сказать... Но, видно, на словахъ блистать смиреніемъ легче, нежели трудиться на дѣлѣ...

Не можемъ не выставить на видъ еще одной черты. Вотъ что говоритъ авторъ

въ одномъ мѣстѣ своей книги: «Вотъ уже почти полтора ста лѣтъ протекло съ тѣхъ поръ, какъ государь Петръ I прочистилъ намъ глаза чистилицемъ просвѣщенія европейскаго, далъ въ руки намъ всѣ средства и орудія для дѣла,—и до сихъ поръ остаются также пустыни, грусти и безлюдны наши пространства, также безпріютно и непривѣтливо все вокругъ насъ, точно какъ будто бы мы до сихъ поръ еще не у себя дома, не подъ родной нашей крышей, но гдѣ-то остановились безпріютно на проѣзжей дорогѣ, и дышетъ намъ отъ Россіи не радушнымъ, роднымъ приемомъ братьевъ, но какой то холодной, занесенной вьюгой почтовой станціей, гдѣ видится одинъ ко всему равнодушный станціонный смотритель съ черствымъ отвѣтомъ: «нѣтъ лошадей». Въ этомъ винить авторъ насъ же, и, разумѣется, винить основательно. Но вотъ что онъ же говоритъ въ другомъ мѣстѣ своей книги: «И до сихъ поръ еще, къ нашему стыду, указываютъ намъ европейцы на своихъ великихъ людей, которыхъ умѣе бываютъ у насъ и не великіе люди; но тѣ хоть какое-нибудь оставили послѣ себя дѣло прочное, а мы производимъ кучи дѣлъ—и всѣ какъ пыль сметаются они съ земли вмѣстѣ съ нами». Потомъ читаемъ мы вотъ что: «Еслибы такимъ же перомъ, какимъ начертана біографія Фонвизина, написано было все царствованіе Екатерины, которое уже и теперь кажется намъ почти фантастическимъ отъ чрезвычайнаго обилія эпохи и необыкновеннаго столкновенія необыкновенныхъ лицъ и характеровъ,—то можно сказать почти навѣрно, что подобнаго по достоинству историческаго сочиненія не представила бы намъ Европа». Какъ вамъ кажутся, читатель, эти три выписки изъ различныхъ мѣстъ одной и той же книги?..

Вотъ еще оригинальный образчикъ логики автора: онъ говоритъ, что никто не

можетъ признать русскихъ людей ни въ Простаковой, ни въ Тарасѣ Скотининѣ, ни въ Простаковѣ, ни въ Митрофанѣ Фонвизина,—и въ то же время всякій чувствуетъ, что нигдѣ въ другой землѣ, ни во Франціи, ни въ Англіи, не могли образоваться такіе существа. Вотъ тутъ и понимаешь, какъ знаешь!...

Теперь вопросъ: зачѣмъ написана вся эта книга?

Это такъ же трудно рѣшить, какъ и то, зачѣмъ написаны авторомъ эти строки: «О, какъ намъ бываетъ нужна публичная, данная въ виду всѣхъ, оплеуха!»

Какое слѣдствіе можно извлечь изъ этой книги?

Разумѣется, въ этомъ случаѣ всякій поступитъ по своему, и слѣдствій будетъ выведено почти столько же, сколько людей возьмется за это дѣло. Что касается до насъ, мы вывели изъ этой книги такое слѣдствіе, что горе человѣку, котораго сама природа создала художникомъ, горе ему, если, недовольный своей дорогой, онъ ринется въ чуждый ему путь. На этомъ новомъ пути ожидаетъ его неминуемое паденіе, послѣ котораго не всегда бываетъ возможно возвращеніе на прежнюю дорогу... При этомъ мы почему-то вспомнили эти стихи Крылова:

Бѣда, коль пироги начнетъ печь сапожникъ,
А сапоги тачать пирожникъ!
И дѣло не пойдетъ на ладъ,
Да и примѣчено стократъ,
Что кто за ремесло чужое браться любитъ,
Тотъ за всегда другихъ упрямѣй и надорѣй:
Онъ лучше дѣло все погубитъ,
И радъ скорѣй
Посмѣшищемъ стать свѣта,
Чѣмъ у честныхъ и знающихъ людей
Спросить изъ выслушать разумнаго совѣта.

Приходили намъ въ голову и другіе выводы изъ книги «Выбранныхъ мѣстъ изъ Переписки съ Друзьями»; но... статья наша и такъ вышла черезчуръ длинна.

ОТВѢТЪ „МОСКВИТЯНИНУ“.

Появленіе «Современника» въ преобразованномъ видѣ, подъ новой редакціей, возбудило, какъ и слѣдовало ожидать, много толковъ и шуму въ разныхъ литературныхъ кругахъ и кружкахъ, великолѣпно величающихъ себя «партіями». Особенное вниманіе обращено было ими на многія статьи по отдѣлу словесности, какъ на примѣръ: «Кто виноватъ?», «Обыкновенная Исторія», «Записки Охотника». Но

до сихъ поръ эти сужденія о «Современникѣ» ограничивались короткими и отрывочными отзывами, иногда похвальными, чаще порицательными, мелкими нападками въ разсыпную. А вотъ теперь, во второй части «Москвитянина», вышедшей въ сентябрѣ нынѣшняго года, является большая статья, подъ названіемъ: «О мнѣніяхъ «Современника» историческихъ и литературныхъ».

Если бы тутъ дѣло шло только о «Современникѣ», мы не видѣли бы никакой необходимости отвѣчать на эту статью. Однимъ журналъ нашъ можетъ нравиться, другимъ не нравиться,—это дѣло личнаго вкуса, въ которое намъ всего менѣе слѣдуетъ вмѣшиваться. Но статья «Москвитянина» о «Современникѣ» касается основныхъ началъ (принциповъ) не одного «Современника», но всей русской литературы настоящаго времени. Такимъ образомъ споръ или полемика теряетъ тутъ свое личное значеніе и переходитъ въ борьбу за идеи. Въ такомъ случаѣ молчаніе съ нашей стороны не безъ основанія могло бы быть принято всѣми за тайное и невольное согласіе съ нашими противниками. Вотъ почему мы считаемъ себя обязанными возразить на статью «Москвитянина».

Въ ней разсмотрѣны три статьи, помѣщенные въ первой книжкѣ «Современника» за нынѣшній годъ: «Взглядъ на юридическій бытъ древней Россіи» Кавелина, «О современномъ направленіи русской литературы» Никитенко и «Взглядъ на русскую литературу 1846 года» Бѣлинскаго. Статью Кавелина критикъ «Москвитянина» силится уничтожить, выказывая ея, будто бы, противорѣчія и опровергая ея основныя положенія своими собственными; но самого Кавелина онъ оставляетъ безъ всякой оцѣнки или критики. Приступая же къ разбору статей Никитенко и Бѣлинскаго, онъ счелъ за нужное представить въ легкихъ, но рѣзкихъ очеркахъ литературную характеристику ихъ авторовъ. И достается же имъ отъ него! Впрочемъ, строго судя Никитенко, критикъ «Москвитянина» еще помнитъ русскую пословицу: гдѣ гнѣвъ, тутъ и милость; но къ Бѣлинскому онъ безпощадно строгъ; онъ вышелъ противъ него съ рѣшительнымъ намѣреніемъ уничтожить его дѣла, съ знаменемъ, на которомъ огненными буквами написано *pas de grâce!* Въ своемъ мѣстѣ мы остановимся на этомъ посплотивомъ рушеніи чужой литературной извѣстности и обнаружимъ ея тайныя причины и побужденія; а теперь начнемъ разборъ статьи нашего грознаго аристарха съ самаго начала. Грозенъ онъ—нечего сказать; но страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ, а мы не изъ робкаго десятка... Критика была бы конечно ужаснымъ оружіемъ для всякаго, еслибы къ счастью она сама не подлежала—критикѣ же...

Такъ какъ Кавелинъ, статья котораго отдѣльно и съ особенной подробностью разобрана критикомъ «Москвитянина», рѣшился самъ отвѣчать ему, то отвѣтъ «Современника» «Москвитянину» будетъ со-

стоять изъ двухъ статей. Что же касается до Никитенко, онъ и на этотъ разъ остается вѣрнымъ своему «независимому положенію въ нашей литературѣ», какъ выразился о немъ критикъ «Москвитянина», и предоставляетъ намъ отвѣтить за него въ той мѣрѣ, въ какой нужно это для защиты «Современника».

Въ началѣ статьи «Москвитянина», въ видѣ интродукціи, говорится довольно темно, какими-то намеками, о какомъ-то «литературномъ спорѣ между Москвой и Петербургомъ и о необходимости этого спора»;—отомъ, что «петербургскіе журналы встрѣтили московское направленіе съ насмѣшками и самодовольнымъ пренебреженіемъ, придумали для послѣдователей его (т. е. московскаго направленія) названіе старовѣровъ и славянофиловъ», показавшееся имъ почему-то очень забавнымъ, подтрунивали надъ мурмоками», и что, «принявши разъ этотъ тонъ, имъ было трудно пережѣнить его и сознаться въ легкомысліи». Въ доказательство указывается на «Отечественныя Записки», которыя въ особенности погрѣшили тѣмъ, что «такъ-называемымъ славянофиламъ приписывали то, чего они никогда не говорили и не думали». Въ свѣдѣтели всего этого призываются «московскіе ученые, не раздѣляющіе образа мыслей московскаго направленія». Потомъ отдается должная справедливость «Отечественнымъ Запискамъ» въ томъ, что «къ концу прошлаго года и въ нынѣшнемъ онѣ значительно пережѣнили тонъ и стали добросовѣстнѣе всматриваться въ тотъ образъ мыслей, котораго прежде не удостоивали серьезнаго взгляда». Вслѣдъ затѣмъ читаемъ слѣдующія строки, которыя выписываемъ вполнѣ:

«Въ это самое время отъ нихъ («Отечественныхъ Записокъ») отошли нѣкоторые изъ постоянныхъ ихъ сотрудниковъ и основали новый журналъ. Отъ нихъ, разумѣется, нельзя было ожидать направленія по существу своему новаго; но можно и должно было ожидать лучшаго, достойнѣйшаго выраженія того же направленія; всего отраднѣе было то, что редакцію принялъ на себя человекъ, ужьившій сохранить независимое положеніе въ нашей литературѣ и не написавшій ни одной строки подъ вліяніемъ страсти или раздраженнаго самолюбія; наконецъ въ новомъ журналѣ должны были участвовать лица, наднава живущія въ Москвѣ, хорошо знакомыя съ образомъ мыслей другой литературной партіи и съ ея послѣдователями, проводившія съ ними нѣсколько лѣтъ въ постоянныхъ сношеніяхъ и узнавшія ихъ безъ посредства журнальныхъ статей и сплетенъ, развозимыхъ зазѣжыми посѣтителями.»

Но—увы!—ожиданія «Москвитянина» или его критика, М.... З.... К...., не сбылись!

«Скажемъ откровенно (говоритъ онъ): первый номеръ «Современника» не оправдалъ нашего

ожиданія. Можетъ быть мы и ошибаемся; но, по нашему мнѣнію, новый журналъ подлежитъ тремъ важнымъ обвиненіямъ: во-первыхъ, въ отсутствіи единства направленія и согласія съ самимъ собой; во-вторыхъ, въ односторонности и тѣснотѣ своего образа мыслей; въ-третьихъ, въ искаженіи образа мыслей противниковъ.»

Остановимся на этомъ. Увертюра разыграна мастерски и вполне подготовила къ впечатлѣнію самой оперы; остается только слушать, восхищаться и апплодировать. Явно, что изъ трехъ важныхъ обвиненій, вводимыхъ критикомъ «Москвитянина» на «Современникъ», въ его глазахъ истинно важно только то, которое онъ не безъ умысла поставилъ послѣднимъ, какъ менѣе другихъ важное. Съ первыхъ же строкъ статьи видно, что тутъ дѣло собственно не о «Современникѣ»;

Но умисель другой тутъ былъ:
Хозяинъ музыку любилъ.

Что такое «московское направленіе», загадочной рѣчью о которомъ начинается статья? Разумѣется, такъ называемое славянофильство. Очевидно, что авторъ статьи — славянофилъ. Но онъ не хочетъ этого названія; онъ говоритъ, что его партію окрестили имъ петербургскіе журналы. Изъ этого видно, что онъ самъ чувствуетъ все смѣшное, заключающееся въ этомъ словѣ, но онъ не чувствуетъ, что слово можетъ быть смѣшно не само собою, а заключеннымъ въ немъ понятіемъ, и что переимѣнить названіе вещи не значитъ измѣнить самую вещь. Петербургскіе журналы не сговаривались давать названіе славянофиловъ литераторамъ извѣстнаго образа мыслей; вѣроятно они или подслушали его у самихъ этихъ литераторовъ, или извлекли изъ сущности ихъ ученія, альфа и омега котораго суть славяне, враждебно и торжественно противопоставляемые гниющему Западу. На свѣтѣ много охотниковъ называть своихъ противниковъ смѣшными или не смѣшными именами. Это же и не мудрено; но мудрено дать кому-либо такое названіе, которое бы принято было всѣми. Такія удачныя названія рѣдко выдумываются кѣмъ-нибудь, но принадлежать всѣмъ и никому въ особенности. Таково и названіе славянофиловъ. Но пусть славянофилы не будутъ больше славянофилами; намъ это все равно: мы не видимъ важнаго вопроса не только въ названіи славянофиловъ, но даже и въ сущности ихъ ученія. И такъ, пусть они изъ славянофиловъ переименуются во что имъ угодно, но только не въ «московское направленіе»: этого не можетъ допустить здравый смыслъ. Во-первыхъ, выраженіе «московское направленіе» неловко и неудобно для обозначенія литературной пар-

тіи: какъ называть людей «направленіемъ»? А во-вторыхъ — это главное — почему славянофильство именно московское направленіе? Мы понимаемъ, что господамъ славянофиламъ, живущимъ въ Москвѣ, очень лестно прикрыться именемъ такого важнаго въ Россіи города, какъ Москва, и завербовать въ свои ряды всѣхъ москвичей поголовно; но лестно ли это будетъ для Москвы и москвичей — вотъ вопросъ! И что на это скажутъ съ одной стороны тѣ московскіе ученые, которые, по словамъ самого критика «Москвитянина», не раздѣляютъ образа мыслей «московскаго направленія», но хорошо съ нимъ знакомы; а съ другой стороны лица, которые раздѣляютъ этотъ образъ мыслей, но живутъ и пишутъ въ Петербургѣ?... Намъ кажется, что славянофильству чуть ли не болѣе слѣдуетъ названіе петербургскаго направленія, чѣмъ московскаго. По крайней мѣрѣ, сколько мы знаемъ славянофильство, оно совсѣмъ не такъ ново на Руси, какъ можетъ быть думать сами послѣдователи этого ученія. Кому не извѣстно, что успѣхи Карамзина въ преобразованіи русскаго литературнаго языка вызвали въ началѣ нынѣшняго столѣтія партію, которая, вооружаясь противъ его нововведеній, думала отстаивать отъ иноземнаго вліянія родной языкъ и добрые праотческіе нравы! Какъ вы думаете, не сродни ли эта партія нынѣшнимъ славянофиламъ? Вотъ нѣсколько стиховъ на выдержку изъ посланія Василія Пушкина къ Жуковскому, — пьесы, по которой можно до извѣстной степени судить о живости и характерѣ борьбы двухъ партій нашей литературы того времени:

Въ чемъ увѣряютъ насъ Паскаль и Босеюэтъ,
Въ Синописѣхъ того, въ Степенной Книгѣ нѣтъ.
Отечество люблю, языкъ я русскій анаю;
Но Тредьяковскаго съ Расиномъ не равняю,
И Пиндаръ нашихъ странъ тѣмъ слогомъ не

писалъ,
Какимъ Байанъ въ свой вѣкъ героевъ воспѣ-

валъ.
Я правъ, и ты со мной конечно въ томъ со-

гласенъ;
Но правду говорить безумцамъ — трудъ напра-

сенъ.
Я вижу весь соборъ безграмотныхъ славянъ,
Которыми адѣсь акусъ къ наашному поправъ,

Противъ меня теперь рыкающій ужасно.
Къ дружинѣ вопіетъ нашъ Баддусъ велегласно:
«О братія мои, зову на помощь васъ!

Ударимъ на него — и первый буду азъ.

Кто намъ грамматикѣ совѣтуетъ учиться,
Во тѣмъ крошкѣшную, въ гіенну погрузится;
И аще смѣетъ кто Карамзина хвалить,
Нашъ долгъ, о людие, злодѣя истребить.»

И такъ, любезный другъ, а смѣло въ бой вступаю;

Въ словесности расколъ, какъ должно, осуждаю.
Арестъ душою добръ, но авторъ онъ дурной,
И намъ отъ книгъ его нѣтъ пользы никакой,

Въ страницѣ каждой онъ слоги древній выхва-
ляетъ
И русскимъ всѣмъ словамъ прямой источникъ
взаетъ;
Что нужно? Толстый томъ, гдѣ зависть лишь
видна,
Не есть лагарповъ курсъ, а пагуба одна.
Въ славянскомъ языкѣ и самъ я пользу вижу,
Но вкусъ я варварскій гоню и ненавижу.
Въ душѣ своей ношу къ язычному любви;
Творенье безъ идей мою волнуетъ кровь.
Словъ много затвердить не есть еще ученье:
Намъ нужны не слова, намъ нужно просвѣщеніе.

Видите ли: и здѣсь уже люди, объявившіе себя противъ европейскаго образованія, названы славянами; а далеко ли отъ славянъ до славянофиловъ? Правда, съ обѣихъ сторонъ здѣсь споръ чисто литературный, потому что другого тогда и не могло быть; и разумѣется, славянофильская партія нашего времени двинулась дальше своей прародительницы. А гдѣ было гнѣздо этой старой славянской партіи?—въ Петербургѣ. Посланіе, изъ котораго мы выписали нѣсколько стиховъ, написано было въ Москвѣ—центрѣ литературной реформы того времени. Въ послѣднее время славянофильство, какъ новое направленіе, рѣзко и рѣшительно провозгласило себя въ московскомъ журналѣ «Москвитининъ»; но и тутъ оно упрямлено было въ Петербургѣ: изданіе «Маяка» началось годомъ ранѣе «Москвитянина». Многіе славянофилы не любятъ вспоминать о «Маякѣ», какъ будто чуждаются его, никогда не высказываютъ своего мнѣнія ни за, ни противъ него; подумаешь, что они и не знаютъ ничего о существованіи подобнаго журнала. А это оттого, что «Маякъ» былъ самымъ крайнимъ и самымъ послѣдовательнымъ органомъ славянофильства. Вѣрный своему принципу, исходному пункту своего ученія, онъ никогда не противорѣчилъ ему и логически дошелъ до крайнихъ, до послѣднихъ своихъ результатовъ. Онъ не признавалъ ни тѣни истины во всемъ, что хотъ сколько-нибудь противорѣчило его основному убѣжденію; и если знаменитѣйшихъ представителей русской литературы, отъ Ломоносова и Державина до Пушкина, онъ объявилъ зараженными западною ересью, вредными и опасными для нравственной чистоты русскаго общества,—онъ сдѣлалъ это не по чему другому, какъ по строгой послѣдовательности, строгой вѣрности началу своего ученія. Въ немъ все было едино и цѣло, все сообразно съ его направленіемъ и цѣлью: и языкъ, и манера выражаться, и литературное, и художественное достоинство его стиховъ и прозы. Онъ больше славянофилъ, чѣмъ «Москвитянинъ», и потому имѣлъ полное право смотрѣть на него, какъ на противорѣчивый, непослѣдовательный органъ того ученія, которое во

всей чистотѣ своей явилось только въ немъ, пресловутомъ «Маякѣ». Но этимъ самымъ, разумѣется, онъ оказалъ очень дурную услугу славянофильству, потому что выставилъ его на позорище свѣта въ его истинномъ, настоящемъ видѣ; а извѣстно, что есть предметы, которые стоить только выказать въ ихъ дѣйствительномъ значеніи и образѣ, чтобы уронить ихъ, хотя это дѣлается иногда и съ цѣлью, напротивъ, поднять и повесить ихъ въ глазахъ общества...

Какъ бы то ни было, но изъ всего сказаннаго нами неоспоримо слѣдуетъ, что называть славянофильство «московскимъ направленіемъ» отнюдь не слѣдуетъ, потому что Петербургу славянофильство принадлежитъ не только не меньше, но чуть ли еще не больше, чѣмъ Москвѣ. Отстранивши отъ Москвы такъ невольно навязываемое ей московскими славянофилами исключительное право на славянофильство, мы дѣйствуемъ въ ея пользу, а не противъ ея. Но точно также мы не согласились бы называть славянофильство и «петербургскимъ направленіемъ». Только тогда можно означить какое-нибудь направленіе именемъ города, когда оно дѣйствительно есть главное, исключительное направленіе этого города, а всѣ другія, существующія въ немъ направленія, являются на второмъ и третьемъ планѣ, слабы, незначительны, ничтожны. Но по поводу славянофильства этого нельзя сказать ни о Петербургѣ, ни о Москвѣ. Въ томъ и другомъ городѣ жили и дѣйствовали знаменитѣйшіе представители нашей литературы, имѣвшіе рѣшительное и важное вліяніе и на литературу, и на образованіе общества, и они-то между тѣмъ нисколько не принадлежатъ къ славянофиламъ. Мы знаемъ, что гг. московскіе славянофилы могутъ указать намъ съ торжествомъ по крайней мѣрѣ на два знаменитыя въ литературѣ имени, какъ такіа, которыя, еслибы и не принадлежали имъ вполне, то болѣе или менѣе симпатизируютъ съ ними—особенно на имя Гоголя, послѣ изданія его «Переписки съ Друзьями». Но это ровно ничего не доказывало бы въ ихъ пользу, потому что великое значеніе Гоголя въ русской литературѣ основывается вовсе не на этой «Перепискѣ», а на его прежнихъ твореніяхъ, положительно и рѣзко антиславянофильскихъ. И потому гг. московскіе славянофилы были бы вполне вѣрны своей точкѣ зрѣнія, еслибы восхищались только «Перепиской», а на всѣ другія произведенія Гоголя смотрѣли бы косо. Но они и ихъ приняли подъ свое высокое покровительство, вѣроятно ради будущихъ, новыхъ его произведеній, которыхъ характеръ заранее опредѣляется въ ихъ глазахъ «Пе-

репиской». «Маякъ» никогда не обнаружилъ бы такой непоследовательности: еслибъ онъ здравствовалъ доселѣ, вѣроятно онъ расхвалилъ бы «Переписку» и простилъ бы за нее Гоголю его прежнія произведенія, но только простилъ бы, не отрицая настоящей необходимости для нихъ очистительнаго ауто-да-фе.

Что касается до массы русскихъ литераторовъ, прежнихъ и теперешнихъ, старыхъ и молодыхъ, они избираютъ мѣстомъ своего жительства Петербургъ или Москву по разнымъ обстоятельствамъ ихъ жизни, не всегда зависящимъ отъ ихъ воли, и ужъ конечно всего менѣе по уваженію къ тому образу мыслей, который раздѣляютъ. И потому отвести для славянофиловъ городъ Москву, а для литераторовъ противоположнаго направленія—городъ Петербургъ можетъ войти въ голову только квартирьеръ-стерамъ особаго, исключительнаго рода. Какъ въ Петербургѣ много славянофиловъ, такъ точно въ Москвѣ много не-славянофиловъ, и наоборотъ. Критикъ «Москвитянина» указываетъ на Петербургъ, какъ на мѣстопробываніе противоположной «московскому направленію» партіи, и самъ же говоритъ, что въ Москвѣ есть ученые, не раздѣляющіе этого направленія, и отзывается о нихъ съ уваженіемъ. Странное дѣло: почему же направленіе славянофиловъ, живущихъ въ Москвѣ, «московское», а направленіе этихъ ученыхъ, тоже живущихъ въ Москвѣ, да еще издавна, по словамъ критика «Москвитянина», не-московское?... Въ этомъ видно притязаніе на первенство значенія, высокое уваженіе къ своему славянофильскому значенію, въ ущербъ всякому другому значенію. Мы такъ думаемъ, что право на первенство въ этомъ случаѣ можетъ дать только преимущество таланта, а не отношеніе къ той или другой партіи... Что же ввело въ заблужденіе критика «Москвитянина» и заставило его выдумать «московское направленіе»? Неужели то обстоятельство, совершенно вѣдшее и случайное, что въ Петербургѣ мало журналовъ, но все же есть ихъ нѣсколько, и нѣкоторые изъ нихъ направленія славянофильскаго, другіе—не имѣютъ ничего общаго съ славянофильствомъ; а въ Москвѣ всего-на-все одинъ журналъ, и онъ славянофильскій? И что поэтому московскіе ученые и литераторы, не принадлежащіе къ славянофильской партіи, помѣщаютъ свои труды въ петербургскихъ журналахъ? Нѣтъ, это не то! Тутъ скрываются болѣе важныя причины. Господамъ славянофиламъ нужно, необходимо, волей или неволей, навязать Москвѣ славянофильство. По ихъ мнѣнію, это ученіе одно истинно-рус-

ское, національное, а Москва—представительница и хранительница русской народности. Итакъ, очевидно—что-нибудь одно изъ двухъ: или славянофильство—направленіе ложное, или оно московское... Москва, вишь, виновата! И потому, говоря такъ много о выраженіи «московское направленіе», мы не привязались къ мелочи, а обратили особенное вниманіе на одинъ изъ важнѣйшихъ спорныхъ пунктовъ славянофильства... Читатели уже видятъ, какъ крѣпокъ и проченъ этотъ спорный пунктъ; но мы покажемъ это еще больше, обратившись къ другимъ такимъ же точкамъ опоры направленія, претендующаго на званіе «московскаго»...

Такимъ же точно образомъ, какъ не признаемъ мы этого названія, не признаемъ мы существованія спора между Москвой и Петербургомъ. Правда, бывали прежде и бывають теперь споры между московскими и петербургскими литераторами, но такъ же точно, какъ и споры московскихъ съ московскими же и петербургскихъ съ петербургскими же литераторами; но ни Москва съ Петербургомъ, ни Петербургъ съ Москвой никогда и не думали спорить. Да изъ чего же бы имъ и спорить? Было время, когда Москва спорила съ Тверью и Рязанью, но на то были свои историческія причины, которыхъ теперь не существуетъ, и время это давно прошло. Петербургъ и Москва—оба принадлежатъ Россіи и равно дороги, важны и необходимы какъ ей, такъ и другъ другу. Петербургъ можетъ похвалиться передъ Москвой такими хорошими сторонами, какихъ въ ней нѣтъ, и отсутствіемъ такихъ недостатковъ, которые въ ней есть; Москва въ свою очередь можетъ на достаточномъ основаніи сдѣлать то же самое въ отношеніи къ Петербургу. Но именно то, что, кромѣ общихъ имъ выгодныхъ сторонъ, каждый изъ нихъ имѣетъ еще свои собственные,—это-то самое и дѣлаетъ ихъ и необходимыми, и полезными другъ другу и должно соединять ихъ, вмѣсто того чтобъ раздѣлять. Подобное отношеніе должно быть источникомъ не споровъ, а взаимнаго другъ на друга полезнаго вліянія. Петербургъ—резиденція правительства и въ административномъ смыслѣ центральный городъ Россіи, хотя и стоитъ на одной изъ ея оконечностей; Петербургъ—окно въ Европу, посредникъ между Европой и Россіей. Такой роли не могъ бы играть городъ съ иностраннымъ народонаселеніемъ, какъ напр. Ревель или Рига, хотя бы это былъ и столько же огромный, какъ Петербургъ, городъ. Москва—центральный городъ Россіи по географическому положенію. Вся сѣверовосточная, восточ-

ная и южная Россія и съ самимъ Петербургомъ сносится черезъ Москву. Сверхъ того Москва—городъ по преимуществу промышленный, торговый и, по своему университету, старѣйшему изъ русскихъ университетовъ, городъ науки. При этомъ не должно упускать изъ виду, что Москва есть городъ древній, историческій, городъ преданій, представительница народнаго духа. Петербургъ, напротивъ, городъ новый, построенный на завоеванной землѣ, торговая колонія, разросшаяся въ столицу; его почва чужда преданій; онъ кипитъ народонаселеніемъ, преимущественно наноснымъ, приплывающимъ къ нему со всѣхъ концовъ Россіи, болѣе частью чисто русскимъ, меньшей частью обрусѣлымъ иностраннымъ. Это послѣднее никогда не можетъ дать ему иностраннаго характера, уже по одному тому, что оно состоитъ изъ людей разныхъ націй и вѣроисповѣданій, и потому не представляетъ собою сплошной массы, которая бы могла контр-балансировать съ массой русскаго народонаселенія Петербурга. Находясь подъ вліяніемъ русскихъ законовъ и тѣмъ болѣе чувствуя нравственный перевѣсъ надъ собою массы русскаго народонаселенія, эти иностранцы скоро дѣлаются почти русскими, дѣти же ихъ—совершенно русскіе; а между тѣмъ въ торговлѣ, въ ремеслахъ, въ формахъ жизни они приносятъ съ собою новые, необходимые намъ элементы. Благодаря морю и пароходству, Петербургъ отдѣленъ отъ Европы только тремя сутками пути; а благодаря желѣзнымъ дорогамъ, безъ перерыва идущимъ теперь отъ Штетина до Гавра, онъ ближе всѣхъ другихъ русскихъ городовъ и къ Парижу, и къ Лондону. Черезъ Петербургъ передаются Россіи всѣ новѣйшія изобрѣтенія, сдѣланныя въ Европѣ, по части наукъ, искусствъ, мануфактуръ, ремеслъ. Такимъ образомъ безъ Петербурга Москва представляла бы только крайность народнаго начала, не оживляемаго и не умѣряемаго элементами европейской жизни; а Петербургъ безъ Москвы имѣлъ бы на провинцію болѣе административное, нежели живое нравственное и социальное вліяніе, потому-что если Петербургъ есть посредникъ между Европой и Россіей, то Москва есть посредникъ между Петербургомъ и Россіей. Называя Петербургъ посредникомъ между Европой и Россіей, мы не думаемъ этимъ сказать, что, только живя въ немъ, можно слѣдить за успѣхами наукъ и искусствъ въ Европѣ. Напротивъ, это можно дѣлать, живя не только въ Москвѣ, но и въ Тамбовѣ, и въ Саратовѣ. Но подобное наблюденіе успѣховъ ума человѣческаго въ Европѣ вѣтъ Петербурга воз-

можно только для отдѣльныхъ лицъ, а не для массъ. Можно напримѣръ, и живя въ Москвѣ, знать лучшій способъ кладки камня и кирпичей при строеніи зданій; но говорить, при постройкѣ кремлевскаго дворца и храма Спасителя въ Москву было привезено изъ Петербурга нѣсколько работниковъ для наученія московскихъ мастеровъ надлежащему способу класть кирпичъ при выводѣ стѣнъ. Безъ сомнѣнія, московскіе архитекторы знали, какъ кладется въ Европѣ камень и кирпичъ; а въ Петербургѣ мастеровые, не заботясь объ Европѣ, умѣли класть кирпичъ, какъ кладутъ его тамъ.

Этотъ простой и ничтожный повидимому фактъ показываетъ, какое вліяніе имѣетъ Петербургъ по своей близости къ Европѣ: не на одни избранныя личности, но на самую жизнь Россіи. Его роль чисто практическая; его вліянія надо искать не въ однихъ книгахъ, но въ нравахъ, въ образѣ жизни. Его замѣчательнѣйшія учебныя заведенія—спеціальныя, преимущественно техническія.

Естественно, что между Петербургомъ и Москвой должны быть существенныя различія, которыя должны отразиться и въ литературѣ: разность точекъ воззрѣнія на одни и тѣ же предметы. Изъ этого могъ бы возникнуть даже споръ, о которомъ говоритъ критикъ «Москвитинина». Но этого спора доселѣ не было, хотя и бывали споры между петербургскими и московскими литераторами. Можетъ-быть это происходитъ отъ сильнаго и быстрого вліянія другъ на друга обоихъ городовъ. Напримѣръ было время, когда московскіе литераторы (разумеется, нѣкоторые) упрекали петербургскихъ за то, что тѣ берутъ деньги за свои труды, а не пишутъ изъ одной любви къ литературѣ, и еще за то, что ихъ журналистика отличается не направленіемъ, не идеями, а только аккуратнымъ, современнымъ выходомъ книжекъ. Если хотите, въ этомъ фактѣ выразилось болѣе или менѣе различіе обоихъ городовъ; но на долго ли? Еще не успѣлъ прекратиться этотъ споръ на перьяхъ, какъ причины его уже и не существовало: въ Петербургѣ явились журналы и съ направленіемъ, и съ идеями, да вдобавокъ и съ аккуратнымъ, своевременнымъ выходомъ книжекъ; а въ Москвѣ такъ же, какъ и въ Петербургѣ, стали брать деньги за литературные труды, и безденежныя литературныя предпріятія сдѣлались невозможны; но отъ этого въ Москвѣ не перевелись люди съ убѣжденіями и идеями. Въ сущности же весь этотъ споръ вышелъ больше изъ того, что однихъ литераторовъ припи-

сали къ Петербургу, другихъ—къ Москвѣ, и по нимъ судили о томъ и другомъ городѣ. Такъ напримѣръ, московскіе журналисты въ своей полемической войнѣ съ Петербургомъ имѣли въ виду преимущественно Греча, Булгарина и Воейкова и какъ будто забывали, что кромѣ ихъ въ Петербургѣ жили Крыловъ, Гнѣдичъ, Жуковский, Пушкинъ, потомъ Гоголь,—писатели, которыхъ конечно нельзя было обвинять въ отсутствіи направленія. Пушкинъ съ самаго появленія на литературное поприще продавалъ книгопродавцамъ свои сочиненія за неслыханныя до него цѣны, а между тѣмъ онъ не былъ тогда журналистомъ; въ его поэзіи не выражалось ни петербургскаго, ни московскаго направленія: живя въ Петербургѣ, онъ, какъ поэтъ, по своему таланту, по духу, содержанію и формѣ своихъ произведеній, принадлежалъ не Петербургу, не Москвѣ только, а цѣлой Россіи. Въ послѣднее время возникла полемика по поводу славянофильства, но это отнюдь не было споромъ между Петербургомъ и Москвой. Ссылаемся на тѣ самыя «Отечественныя Записки», о которыхъ говоритъ въ началѣ статьи своей критикъ «Москвитянина»: онъ найдетъ тамъ возраженія и отповѣди не одному «Москвитянину» или «Московскому Сборнику», но и «Маяку». Сверхъ того статьи противъ «Москвитянина» и «Московского Сборника» писаны тамъ не одними петербургскими литераторами, но и московскими; такъ напримѣръ, въ нынѣшнемъ году напечатана тамъ была статья московскаго профессора, Грановскаго, въ опроверженіе статьи Хомякова, помѣщенной въ «Московскомъ Сборникѣ» на 1847 годъ; въ возникшемъ затѣмъ спорѣ возраженія Хомякова печатались въ «Московскомъ Городскомъ Листкѣ», а возраженія Грановскаго—въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Гдѣ жъ тутъ споръ Петербурга съ Москвой? Тутъ столько же споръ Петербурга съ Петербургомъ и Москвы съ Москвой, сколько и Петербурга съ Москвой. Нѣтъ, какъ ни хлопочите, а никакъ не удастся вамъ обыкновенные литературные споры превратить въ какую-то борьбу двухъ городовъ, и еще менѣе успѣете вы смѣшать съ Москвой какой-нибудь литературный кружокъ. Москва велика, и какъ ни надувайтесь, а все съ нее не будете ростомъ, только повредите вашему здоровью и будете смѣшны...

Бывали когда-то въ нѣкоторыхъ петербургскихъ журналахъ насмѣшки надъ Москвой, а въ московскихъ—что-то вродѣ не совсѣмъ пріязненныхъ выходокъ противъ Петербурга. Но подобный споръ могъ быть только плодомъ юношескаго, незрѣлаго со-

стоянія нашей литературы и нашей общественной образованности. Теперь, слава Богу, по крайней мѣрѣ въ петербургскихъ журналахъ вовсе вышли изъ употребленія наѣздническіе возгласы противъ Москвы и въ патетическомъ, и въ ироническомъ духѣ. Со стороны московскихъ литераторовъ (по крайней мѣрѣ можно смѣло поручиться за тѣхъ, которые не раздѣляютъ такъ называемаго «московскаго направленія») тоже не видно никакихъ предубѣжденій противъ Петербурга. Всѣ совершеннѣйшіе давно уже предоставили подобные споры о превосходствѣ одной столицы передъ другой дѣтямъ, юношамъ и энтузіастамъ. И хорошо сдѣлали, потому что въ такихъ спорахъ играли главную роль не Москва и Петербургъ, а маленькое самолюбіе спорщиковъ: каждый хотѣлъ возвысить украшенный его присутствіемъ городъ насчетъ другого. Тамъ же, гдѣ къ самолюбію примѣшивался фанатизмъ теорій, не видно было ни малѣйшаго знанія ни того города, который превозносился, ни того, который приносился ему въ жертву. Короче, это былъ споръ дѣтскій, ребяческій. Петербургскіе журналы дѣйствительно подтрунивали надъ мурмошками, а московскіе журналы точно не подтрунивали надъ ними; но это не потому, чтобъ мурмошки были смѣшны только въ Петербургѣ, а въ Москвѣ же были-бы не смѣшны, а опять-таки потому только, что въ Москвѣ всего-навсего одинъ журналъ, да и тотъ родственнѣй мурмошкамъ. А что надъ ними смѣялись петербургскіе журналы—въ этомъ нѣтъ ничего предосудительнаго для петербургскихъ журналовъ...

Смѣяться, право, не грѣшно
Надъ тѣмъ, что кажется смѣшно.

Смѣхъ часто бываетъ великимъ посредникомъ въ дѣлѣ отличенія истины отъ лжи. Иная мысль или иной поступокъ совершенно оправдываются логикой; вы не соглашаетесь съ ихъ истинностью, но и не находите ничего возразить на доказательства ихъ неоспоримой истинности. Но тутъ дѣло рѣшается смѣхъ! Такъ напримѣръ, можно видѣть и понимать, что вотъ этотъ господинъ надѣлъ мурмошку по глубокому убѣжденію, которымъ онъ не шутитъ, которому онъ благородно приносить въ жертву всю жизнь свою, что онъ правъ съ своей точки зрѣнія и защищаетъ мурмошку съ жаромъ, краснорѣчиво, логически и умно; все это можно видѣть и понимать—и все-таки смѣяться... Можно любить человека, даже уважать его—и вмѣстѣ съ этимъ смѣяться надъ нимъ... Тебя зову въ свидѣтели, о

знаменитый витязь ламаанскій, вѣчно-паметный обожатель несравненной Дульциней тобозской! Ты былъ рыцарь безъ пятна и страха, краса и честь кавалеровъ, гроза и трепетъ злодѣевъ, надежда и отрада угнетенныхъ и страждущихъ; благородный и великодушный, ты часто являлся мудрецомъ въ рѣчахъ своихъ, дышавшихъ возвышенностью мыслей и чувствъ, ясностью взгляда, здравымъ смысломъ и краснорѣчіемъ; храбрый воинъ, ты былъ еще и справедливымъ, искуснымъ судьей! Вижу и признаю всѣ твои достоинства, удивляюсь имъ—и все-таки, читая дивную эпопею твоей жизни, отъ всего сердца смѣюсь надъ тобой, до той самой минуты, когда, готовый изъ этого міра, населеннаго трактирщиками, волшебниками, злодѣями, вассалами, рабами и рыцарями, перейти въ другой, лучший міръ, гдѣ вовсе нѣтъ всей этой дряни, ты вдругъ какъ бы прозрѣлъ и плачущему оруженосцу своему и будущему губернатору завоеваннаго тобою острова, Санхо-Пансѣ, сказалъ, что ты не рыцарь, а помѣщикъ... тогда мой смѣхъ, то веселый, то грустный, смѣняется уже одной безпримѣсной и глубокой грустью...

Приступая къ разбору статьи Никитенко, критикъ «Москвитянина» говоритъ, что «здѣсь должно быть обозначено направление журнала, то, къ чему онъ клонитъ общественное мнѣніе, мѣрило всѣхъ его литературныхъ сужденій и оправданіе сочувствій». То же видитъ онъ въ статьѣ Бѣлинскаго, вслѣдствіе чего основательно требуетъ, чтобы обѣ эти статьи выражали одно воззрѣніе, были проникнуты однимъ направленіемъ, а между тѣмъ находятъ въ нихъ страшныя противорѣчія. И поэтому мы скажемъ нѣсколько словъ о его взглядѣ на статью Никитенко только въ отношеніи къ этимъ противорѣчіямъ.

Критикъ «Москвитянина» соглашается съ Никитенко, что наша общественная образованность вообще отличается отсутствіемъ мощныхъ, широко раскрывающихся личностей, зато она разстилается въ ширину и глубину, течетъ спокойноѣе, тише, какъ дома, и работаетъ безъ шума, но работаетъ около самыхъ основаній. Но никакъ не хочетъ согласиться съ нимъ насчетъ той же мысли, только высказанной въ приложеніи къ современной русской литературѣ. Вотъ слова Никитенко:

«Взаимнѣ сильныхъ талантовъ, недостающихъ нашей современной литературѣ, въ ней, такъ сказать, отстоялись и улеглись жизненныя начала дальнѣйшаго развитія и дѣятельности... Въ ней есть сознаніе своей самостоятельности и своего назначенія. Она уже сила, организованная правильно, дѣятельная, живыми отпрысками переплетающаяся съ разными общественными нуж-

дами и интересами, не метеоръ, случайно залѣтѣвшій изъ чужой намъ сферы на удивленіе толпы, не вспышка уединенной гениальной мысли, нечаянно проскользнувшая въ умахъ и потрясшая ихъ на минуту новымъ и невѣдомымъ ощущеніемъ. Въ области литературы нашей теперь нѣтъ мѣстъ особенно замѣчательныхъ, но есть вся литература.»

На это критикъ «Москвитянина» возражаетъ, что Никитенко, «кажется, слишкомъ снисходителенъ къ изящной литературѣ». При этомъ кстати онъ вспомнилъ, что мысль эту читалъ когда-то въ «Отечественныхъ Запискахъ»; но тамъ, по его мнѣнію, она была кстати, а у Никитенко некстати, потому-де, что Никитенко любитъ искусство ради самаго искусства и глубоко понимаетъ его требованія, а въ этомъ случаѣ удовлетворяется количествомъ и легкимъ сбытомъ произведеній, забывъ качества и внутреннего достоинства. Остановимся на этомъ. Бѣлинскій неоднократно высказывалъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» ту мысль, что за исключеніемъ Гоголя, пишущаго въ послѣднее время мало и рѣдко, въ русской литературѣ теперь нѣтъ великихъ талантовъ, но зато есть теперь у насъ литература. Никитенко, независимо отъ Бѣлинскаго, въ статьѣ своей, помѣщенной въ первой книжкѣ «Современника», по своему высказалъ, и можетъ быть тоже не въ первый разъ, ту же мысль. Чтѣ можно заключить изъ этого факта, касательно единства направленія «Современника»? Ничего болѣе, кромѣ того, что редакторъ «Современника» сходится съ своими сотрудниками въ одномъ изъ главныхъ пунктовъ направленія его журнала. Но благонамѣренному критику «Москвитянина» непременно нужно было, во чтѣ бы ни стало, найти тутъ противорѣчія; но какъ, не смотря на всю свою готовность къ этому, онъ все-таки не могъ найти въ словахъ Никитенко противорѣчія со взглядомъ Бѣлинскаго, то счелъ за нужное найти у Никитенко противорѣчіе съ самимъ собой... И дѣйствительно, въ словахъ редактора «Современника» есть противорѣчіе, не только не съ самимъ собой, а съ критикомъ «Москвитянина»: Никитенко видитъ въ новой русской литературѣ нѣчто достойное вниманія и уваженія, а М.... З.... К.... видитъ въ ней безобразную массу бездарныхъ и негѣпныхъ произведеній. Чтѣ сказать на это? Ничего болѣе, какъ посовѣтовать Никитенко, когда онъ будетъ что-нибудь писать, посылать программу каждой своей статьи на утвержденіе рѣшительнаго и непогрѣшительнаго въ своихъ приговорахъ критика «Москвитянина», чтѣ онъ у него одобрить, такъ тому и быть, чтѣ забраковать, то вонъ изъ

статьи. Это, кажется, единственный способъ для Никитенко избѣгать мыслей и воззрѣній неосновательныхъ и ложныхъ... въ глазахъ критика «Москвитянина». — Многіе могутъ найти не совсѣмъ согласной съ здравымъ смысломъ подобную опеку какого-то замаскировавшагося таинственными буквами неизвѣстнаго литературнаго наѣздника надъ извѣстнымъ профессоромъ и литераторомъ, обладающимъ, по сознанію самого его противника, самобытнымъ взглядомъ на предметы мысли. Намъ самимъ это кажется такъ, но М.... З.... К.... думаетъ объ этомъ иначе: все, что не согласно съ его образомъ мыслей, онъ считаетъ рѣшительнымъ вадоромъ. Въ этомъ отношеніи онъ не менѣе всѣхъ восточныхъ людей вѣрится въ «несомнѣнную книгу», только въ отличіе отъ нихъ видитъ эту «несомнѣнную книгу» — въ себѣ.

Было бы слишкомъ утомительно и скучно слѣдить за критикомъ «Москвитянина» шагъ за шагомъ. Онъ выписываетъ изъ разбираемыхъ имъ статей цѣлыя страницы; разбирая его такъ же подробно, мы должны были бы выписывать и эти выписки, и его собственныя страницы; и потому постараемся какъ можно короче изложить сущность дѣла. Въ статьѣ своей Никитенко нападаетъ мѣстами на недостатки такъ называемой натуральной школы, состоящія въ преувеличеніи и однообразіи предметовъ. Это его мнѣніе, и онъ выражаетъ его безъ рѣзкости, безъ всякой враждебности къ натуральной школѣ; напротивъ, въ самыхъ его нападкахъ видно, что онъ уважаетъ и любитъ ее, и на этомъ-то основаніи желаетъ указать ей ея настоящую дорогу. Словомъ, онъ признаетъ и талантъ, и достоинство въ произведеніяхъ натуральной школы, но признаетъ ихъ не безусловно, хвалитъ основаніе, но порицаетъ крайности. Во всемъ этомъ критикъ «Москвитянина» увидѣлъ страшныя противорѣчія съ статьей Бѣлинскаго, лишающія «Современникъ» всякаго единства мысли и направленія. «Одно изъ двухъ (говоритъ онъ): или журналъ не долженъ имѣть своего образа мыслей, и тогда онъ не журналъ, — а неизвѣстно что такое; или онъ долженъ имѣть его, и тогда не мѣшаетъ участвовать въ немъ согласиться предварительно между собой». Здѣсь мы прежде всего считаемъ долгомъ поблагодарить грознаго критика за его уваженіе къ нашему журналу, невольно высказавшееся у него самой чрезвычайностью требованій отъ «Современника». Прибавимъ къ этому, что его идеалъ журнала очень вѣренъ; но къ несчастью его существованіе рѣшительно невозможно при настоящемъ состояніи литературы и обще-

ственного образованія. Въ Европѣ не только каждое извѣстное мнѣніе можетъ сейчасъ же найти свой органъ въ журналѣ, но и каждый изъ оттѣнковъ этого мнѣнія: для этого тамъ всегда найдется достаточное число людей, способныхъ работать по опредѣленному направленію. Но и тамъ едва ли найдется хотя одинъ хорошій журналъ или одно хорошее обзорѣніе, въ которомъ все до послѣдней строки было бы проникнуто однимъ направленіемъ. Это возможно исполнѣ только въ отношеніи къ политическимъ или критическимъ статьямъ, но не всегда возможно въ отношеніи даже къ ученымъ статьямъ, и рѣшительно невозможно въ отношеніи къ произведеніямъ изящной словесности. Ни одинъ журналъ не откажется отъ превосходной статьи, потому только, что она, по духу своему, не совсѣмъ ладитъ съ направленіемъ журнала. Въ такомъ случаѣ обыкновенно статья печатается съ оговоркой отъ редакціи, а иногда въ томъ же журналѣ помѣщается и возраженіе на несогласныя съ направленіемъ журнала мѣста въ статьѣ. Что же касается до произведеній изящной словесности, на нихъ тамъ вовсе не простираются условія, налагаемыя направленіемъ журнала на статьи теоретическія. Жоржъ Зандъ напримѣръ по своимъ убѣжденіямъ и симпатіямъ не имѣетъ ничего общаго съ людьми, участвующими въ «Journal des Débats» или «Revue des deux Mondes»; а между тѣмъ, вадумай она помѣститъ тамъ свою повѣсть — возмуть, да еще съ какой радостью, не обращая никакого вниманія на духъ и направленіе повѣсти. И это очень естественно: кто дѣйствительно понимаетъ законы искусства, тотъ знаетъ, что повѣстей писать по заказу нельзя, и что тутъ направленіе и духъ должны зависѣть только отъ личности автора. Хорошихъ же поэтовъ вездѣ немного, стало быть, тутъ выборъ можетъ касаться только достоинства романа или повѣсти, но не направленія ихъ.

Что касается до нашихъ журналовъ, — необходимость имѣть извѣстное направленіе, извѣстный образъ мыслей и никогда не противорѣчить ему начала обнаруживаться только въ послѣднее время. Журналовъ у насъ немного, но все-таки больше, нежели сколько есть у насъ людей способныхъ своими трудами поддерживать журналы. У насъ большое счастье для журнала, если онъ успѣетъ соединить труды нѣсколькихъ людей и съ талантомъ, и съ образомъ мыслей, если не совершенно тождественнымъ, то по крайней мѣрѣ не расходящимся въ главныхъ и общихъ положеніяхъ. Поэтому требовать отъ журнала, чтобы всѣ

его сотрудники были совершенно согласны даже въ отгѣнкахъ главнаго направленія, значить требовать невозможнаго. Тутъ не помогутъ мудрые совѣты вродѣ слѣдующаго: сперва соберитесь да согласитесь между собою. Искусственнымъ образомъ нельзя соглашать людей въ дѣлѣ убѣжденія, и ни одинъ порядочный человекъ ничего не уступитъ изъ своего мнѣнія ради причины, лежащей внѣ его мнѣнія. Лишь бы журналъ имѣлъ общій характеръ, такъ-то съ его представленіемъ въ умѣ всякаго соединялось бы извѣстное направленіе: этого для него пока совершенно достаточно, чтобъ быть ему хорошимъ журналомъ. Разность въ отгѣнкахъ мыслей еще ничего; плохо какъ «изъ одного города да не одніе вѣсти». Вотъ напримѣръ какъ М... З... К... отзывается о первой теперь поэтической знаменитости не только во Франціи, но и во всей Европѣ: «Жоржъ Зандъ, котораго конечно не назовутъ писателемъ отсталымъ отъ вѣка, истощивъ въ прежнихъ своихъ произведеніяхъ всѣ виды страсти, всѣ образы личности, протестующей противъ общества, въ «Консуэло», «Жаннѣ», въ «Companion du tour de France», изображаетъ красоту и спокойное могущество самопожертвованія и самообладанія; а въ «Чортовой Лужѣ» она пльняется мирной простотой семейнаго быта». Оставляя въ сторонѣ приложение, которое критикъ «Москвитянина» хочетъ сдѣлать изъ своего сужденія о Жоржѣ Зандѣ, мы замѣтимъ только, что въ этомъ сужденіи видно высокое уваженіе къ таланту знаменитаго французскаго писателя, въ чемъ мы совершенно съ нимъ согласны. Но вотъ чтó о томъ же писателѣ сказалъ Хомяковъ, принадлежащій къ тому же «московскому направленію», къ которому принадлежитъ и М... З... К... и печатающій свои статьи въ тѣхъ же изданіяхъ, т. е. въ «Москвитянинѣ» и «Московскомъ Сборникѣ»:

«Впрочемъ, по мѣрѣ того, какъ искусство народное дѣлается менѣе возможнымъ, такъ оскудѣваетъ и искусство вообще, и Франція по необходимости была страной анти-художественной, т. е. не только неспособной производить, но неспособной понимать прекрасное. въ какой бы то ни было области искусства. Такъ напримѣръ, въ наше время Франція и офранцузившаяся (?) публика встрѣчала съ слѣпнымъ благоговѣніемъ произведенія Жоржъ Занда, *которыя совершенно ничтожны въ смыслѣ художественномъ* (какое бы они ни имѣли значеніе въ отношеніи движенія общественной мысли), и не нашла ни похвалъ, ни удивленія, когда та же Жоржъ Зандъ почерпнула изъ скуднаго, но уцѣлѣвшаго источника простаго человѣческаго быта прелестный и почти художественный разсказъ «Чортовой Лужи, подѣ которымъ Диккенсъ и едва ли не самъ Гоголь могли бы подписать свои имена.» («Московский Сборникъ». 1847, стр. 350—351).

Вотъ это такъ противорѣчіе! Тутъ поневоѣ вспомнишь стихи Крылова:

Чѣмъ кумушекъ считать трудиться,
Не лучше-ль на себя, кума, оборотиться?

Чѣмъ другимъ давать совѣтъ «предварительно согласиться между собою», не лучше-ль было бы прежде самимъ испытать на дѣлѣ возможность осуществленія такого совѣта, чтобъ не подать повода говорить о себѣ:

Запѣли молодцы: кто въ дѣсь, кто по дрова!

Обратимся къ противорѣчіямъ «Современника». Послѣ многихъ выписокъ изъ статьи Никитенко критикъ «Москвитянина» задаетъ намъ слѣдующіе вопросы: «Но если таковъ образъ мыслей редактора, почему помѣщена въ той же книжкѣ повѣсть подѣ заглавіемъ: «Родственники»? Развѣ для того, чтобы читатели тутъ же могли повѣрить на дѣлѣ справедливость впечатлѣній Никитенко, какъ будто произведенныхъ именно этой повѣстью? Вообще, почему отдѣлъ словесности отданъ почти исключительно въ распоряженіе тому направленію, которое такъ справедливо осуждается самимъ редакторомъ въ отдѣлѣ наукъ?» На всѣ эти вопросы мы отвѣтимъ критику «Москвитянина» однимъ вопросомъ: а на какомъ основаніи вы увѣрены такъ положительно, что Никитенко раздѣляетъ вашъ образъ мыслей касательно какъ повѣсти «Родственники», такъ и всѣхъ другихъ повѣстей въ отдѣлѣ словесности нашего журнала? Кромѣ того, что Никитенко и не думалъ, подобно вамъ, уничтожать натуральной школы, а только хотѣлъ, показавши ея достоинства (на что вы ему и возразили на стр. 177), показать и ея недостатки, состоящіе, по его мнѣнію, въ преувеличеніи и однообразии. Для примѣненія онъ могъ имѣть въ виду произведенія, дѣйствительно отличающіяся грубой естественностью или впадающія въ карикатуру, какихъ немало появляется въ нашей литературѣ. Какъ бы то ни было, но какъ онъ не указалъ ни на одно произведеніе, то вы не имѣли никакого основанія навязывать ему этихъ указаній, кромѣ вашего самолюбія, которое увѣряетъ васъ, что судить безошибочно значить судить по вашему. И неужели вы не шута думаете, что стоитъ только назвать, безъ всякихъ доказательствъ, ту или другую повѣсть дурной, чтобы всѣхъ убѣдить, что она точно дурна? Но нѣтъ, этого вамъ мало: вы, кажется, убѣждены, что вамъ ничего не нужно, и говорите, что съ вами безусловно должны быть согласны всѣ, даже не зная, какъ вы думаете о томъ или другомъ предметѣ: хотя Никитенко до появленія вашей статьи и не могъ знать вашего мнѣнія о повѣсти

«Родственники», однако тѣмъ не менѣе, думаете вы, не могъ не раздѣлять его... Странная увѣренность!

Далѣе скромный критикъ «Москвитянина», въ видѣ уступки, дѣлаетъ такое замѣчаніе: «Можетъ быть другого рода повѣстей достать нельзя; можетъ быть даже такіа повѣсти нужны для успѣха журнала, чего мы впрочемъ не думаемъ». Странно видѣть человека, который, по собственному сознанію, рѣшительно не знаетъ журнальнаго дѣла, а между тѣмъ взялся разсуждать о немъ! Онъ не знаетъ, какія повѣсти можно доставать, и какія повѣсти нравятся публикѣ и слѣдовательно могутъ поддерживать журналъ. То говоритъ: «можетъ быть», то: «чего мы впрочемъ не думаемъ». Какъ объяснить ему это? Онъ назвалъ только одну повѣсть: «Родственники». О ней можно судить съ двухъ сторонъ: со стороны направленія и со стороны выполненія. Въ первомъ отношеніи мы на «можетъ быть» нашего критика отвѣчаемъ утвердительно; во второмъ отношеніи, эта повѣсть не безъ достоинствъ, мѣстами замѣчательныхъ, но вообще не можетъ идти въ образецъ повѣстей той школы, на которую съ такимъ ожесточеніемъ нападаетъ нашъ критикъ. Въ этомъ случаѣ намъ трудно отвѣчать ему, сколько потому, что онъ по одной первой книжкѣ журнала хочетъ произнести судъ о всѣхъ будущихъ книжкахъ этого журнала, хотя бы ему суждено было продолжаться десять лѣтъ при постоянномъ участіи однихъ и тѣхъ же лицъ, сколько и потому, что онъ, говоря о повѣстяхъ, называлъ только повѣсть «Родственники» и неопредѣленно указалъ на отдѣлъ словесности, не сказавши ни слова о повѣсти «Кто виноватъ?» Искандера, вышедшей какъ приложение къ первой книжкѣ, ни о «Хорѣ и Калинычѣ», рассказѣ Тургенева, помѣщенномъ въ Смѣси. Вѣроятно онъ имѣлъ свои причины не высказывать своего мнѣнія объ этихъ двухъ произведеніяхъ, и въ такомъ случаѣ надо отдать ему справедливость, онъ поступилъ очень ловко. Если бы мы сказали, что онъ и ихъ считаетъ тѣмъ же, чѣмъ считаетъ всѣ произведенія натуральной школы, онъ могъ бы отвѣтить, что о нихъ ничего не говорилъ, что онъ указалъ только на то, что было помѣщено въ отдѣлѣ словесности. Но если бы, сдѣлавши вопросъ: «можетъ быть даже такіа повѣсти нужны для успѣха журнала», онъ указалъ на «Кто виноватъ?» и «Хоръ Калинычъ» — тогда бы мы положительно и утвердительно отвѣчали ему: да! Но онъ хочетъ быть съ нами великодушнымъ; онъ отрицаетъ мысль, чтобы мы въ выборѣ повѣстей руководствовались расчетомъ на

успѣхъ журнала. а не внутреннимъ достоинствомъ повѣстей. Благодаримъ за доброе мнѣніе, но никакъ не думаемъ, чтобы потребности нашего читающаго общества были въ такомъ разладѣ съ истиннымъ вкусомъ, что удовлетворять имъ непремѣнно значило бы — руководствоваться корыстными расчетомъ, а не слѣдовать искренно своему вкусу и убѣжденію. Въ «Современникѣ» не было и не будетъ помѣщено ни одной повѣсти, которая бы, по искреннему убѣжденію редакціи, не заключала въ себѣ какихъ-нибудь хорошихъ сторонъ, дѣлающихъ ее стоящей печати, и уже было напечатано нѣсколько весьма замѣчательныхъ произведеній въ этомъ родѣ. Они были замѣчены и отличены публикою, и мы очень рады, что нашъ вкусъ, наше личное мнѣніе совпали, въ отношеніи къ нимъ, со вкусомъ и мнѣніемъ большинства публики. Эти произведенія: «Кто виноватъ?», «Обыкновенная Исторія», «Рассказы Охотника» и «Изъ сочиненій доктора Крупова о душевныхъ болѣзняхъ вообще и объ эпидемическомъ развитіи оныхъ въ особенности»... Замѣчательна также мысль критика, сдѣланная въ видѣ уступки, что «редакторъ «Современника» не властенъ пересоздать изящной литературы по своимъ желаніямъ. Вотъ что правда, то правда! Только съ чего вы взяли, что онъ желаетъ ее пересоздать? Желать видѣть ее въ лучшемъ, совершеннѣйшемъ видѣ, и желать пересоздать — не одно и то же.

Теперь слѣдуютъ критическія противорѣчія статьи Никитенко съ статьей Бѣлинскаго. Въ послѣдней сказано между прочимъ, что «еслибы преобладающее отрицательное направленіе и было въ натуральной школѣ односторонней крайностью, и въ этомъ есть своя польза, свое добро: привычка вѣрно изображать отрицательныя явленія жизни дастъ возможность тѣмъ же людямъ или ихъ послѣдователямъ, когда придетъ время, вѣрно изображать и положительные явленія жизни, не становя ихъ на ходули, не преувеличивая, словомъ, не идеализируя ихъ риторически». Конечно тутъ нѣтъ буквальнаго, вѣшняго согласія съ статьей Никитенко; но нѣтъ и рѣзкаго противорѣчія. Съ одной стороны тутъ уступка, согласіе въ томъ, что отрицаніе составляетъ дѣйствительно преобладающее направленіе новой школы; съ другой показана польза и этого направленія. Но критикъ «Москвитянина» восклицаетъ патетически: «мы не спрашиваемъ, справедливо ли это или нѣтъ, но согласно ли съ убѣжденіями редактора и съ наставленіями, предложенными имъ въ его статьѣ? Думаетъ ли онъ, что, смотря по времени, литература можетъ изображать и темныя, и свѣтлыя

стороны дѣйствительности, т. е. быть правдивою; можетъ также изображать однѣ отрицательныя стороны, то есть клеветать? Полагаетъ ли онъ, что привычка отыскивать одни пороки и поносить людей способствуетъ развитію безпристрастія и справедливости?... Въ этихъ словахъ отозвалось рѣшительное отсутствіе живого практическаго пониманія искусства. Критикъ «Москвитянина», мы увѣрены въ этомъ, человекъ умный и начитанный, который знаетъ всевозможныя теоріи и системы искусства, особенно нѣмецкія. Это безспорно очень хорошо; но одного этого еще очень мало для дѣйствительнаго пониманія искусства; для этого прежде всего и больше всего нужно то врожденное эстетическое чувство, тотъ инстинктъ, тотъ тактъ изящнаго, которые обнаруживаются не въ теоріи, а въ ея критическомъ приложеніи къ произведеніямъ искусства. Мы еще обратимся къ этому вопросу и покажемъ, въ какомъ отношеніи находится къ нему критикъ «Москвитянина»; а теперь покажемъ, какъ мало истины въ его словахъ. Ему кажется рѣшительной негѣпостью, чтобы литература, смотря по времени, отличалась то тѣмъ, то другимъ исключительнымъ направленіемъ. А между тѣмъ это всегда такъ было и будетъ; доказательства можно найти въ исторіи каждой литературы. Изображать однѣ отрицательныя стороны жизни—вовсе не значить клеветать, а значить только находиться въ односторонности; клеветать же значить взводить на дѣйствительность такія обвиненія, находить въ ней такія пятна, какихъ въ ней вовсе нѣтъ. Давать клеветѣ другое значеніе—тоже значить клеветать... не на клевету, разумѣется, а на людей не нашего прихода... Находить въ людяхъ тѣ пороки, которые въ нихъ дѣйствительно есть, не значить поносить ихъ: поношеніе въ самихъ порокахъ, и кто пороченъ, тотъ поносить самъ себя... Привычка отыскивать дѣйствительно существующее очень близка къ привычкѣ отыскивать истину, а это, разумѣется, способствуетъ развитію безпристрастія и справедливости...

Противорѣчій между статьей Никитенко и статьей Бѣлинскаго критикъ «Москвитянина» находитъ такую бездну, что даже отказывается на всѣ указывать, а избираетъ самыя разительныя. «Редакторъ (говоритъ онъ) нападалъ сильно на карикатурныя изображенія помѣщиковъ и деревенскаго быта; критикъ въ числѣ замѣчательныхъ стихотворныхъ произведеній прошлаго года упоминаетъ о разсказѣ подъ заглавіемъ: «Помѣщикъ» (въ «Отечественныхъ Запискахъ»)). Дался же сла-

вянофиламъ этотъ «Помѣщикъ»! Вотъ уже скоро два года, какъ было напечатано (въ «Петербургскомъ Сборникѣ» Некрасова, а не «Отечественныхъ Запискахъ») это стихотвореніе Тургенева, а они до сихъ поръ не могутъ отъ него придти въ себя. Съ того времени и до сей минуты все толкуютъ о немъ. Увѣряютъ, что это произведеніе ничтожное, карикатура, что оно бездарно, плохо; кажется, стоило ли бы обращать на него вниманіе? А между тѣмъ они все продолжаютъ изъ за него волноваться и выходить изъ себя... Обращаясь къ противорѣчію, спросимъ критика «Москвитянина»: на какомъ основаніи вообразилъ онъ, что Никитенко, говоря о карикатурныхъ изображеніяхъ помѣщиковъ, мѣтилъ именно на пьесу Тургенева? Ужъ не на основаніи ли ея заглавія, такъ положительно указывающаго на помѣщика, что и ошибиться нельзя? Въ такомъ случаѣ намъ остается только дивиться тонкой провидательности критика «Москвитянина»... «Редакторъ (продолжаетъ онъ) строго осуждалъ направленіе тѣхъ писателей, которые создаютъ такъ называемые народные характеры изъ грязи, лохмотьевъ, квасу, щей и кулаковъ русскаго человѣка, а критикъ восхваляетъ повѣсть подъ заглавіемъ «Деревня» (въ «Отечественныхъ Запискахъ»), которая создана именно по этому рецепту». Опять то же! Критику «Москвитянина» кажется, что повѣсть «Деревня» создана по этому рецепту, и этого ему достаточно для убѣжденія, что и Никитенкѣ кажется то же... Но здѣсь мы остановимся и отъ частныхъ перейдемъ къ общему вопросу—къ вопросу о натуральной школѣ, которая съ такимъ живымъ участіемъ и вниманіемъ принята публикой и съ такимъ ожесточеніемъ преслѣдуется двумя литературными партіями—натуральной или риторической, состоящей изъ отставныхъ беллетристовъ, и славянофильской. Намъ очень неприятно, что мы должны повторять то, что уже не разъ было сказано нами: но что жъ намъ дѣлать, если противники натуральной школы, безпрестанно нападая на нее, твердятъ все одно и то же, не умѣя выдумать ничего новаго?

Объ эти партіи большей частью согласны въ ихъ нападкахъ на натуральную школу, хотя и по разнымъ побужденіямъ; ихъ доводы, доказательства, даже тонъ — почти одинаковы; но только въ одномъ онѣ существенно разнятся. Первая партія, не любя натуральной школы, еще больше не любитъ Гоголя, какъ ея главу и основателя. Въ этомъ есть смыслъ и логика. Идя отъ начала ложнаго, эти люди по крайней мѣрѣ не противорѣчатъ себѣ до явной бессмы-

слицы: нападая на плодъ, не восхищаются корнемъ; осуждая результатъ, не хвалятъ причины. Ошибаясь въ отношеніи къ истинѣ, они совершенно правы въ отношеніи къ самимъ себѣ. Чтѣ касается до причинъ ихъ нерасположенія къ произведеніямъ Гоголя, — онѣ давно извѣстны: Гоголь далъ такое направленіе литературѣ, которое изгнало изъ нея риторику и для успѣха въ которомъ необходимъ талантъ. Вслѣдствіе этого старая манера выводить въ романахъ и повѣстяхъ риторическія олицетворенія отвлеченныхъ добродѣтелей и пороковъ, вмѣсто живыхъ типическихъ лицъ, пала. Всѣ попытки писателей этой школы на поддержаніе къ нимъ вниманія публики обращаются для нихъ въ рѣшительныя паденія. Даже тѣ ихъ произведенія, которыя къ свое время имѣли успѣхъ, даже значительный, давно уже забыты. Новыя изданія ихъ остаются въ книжныхъ лавкахъ. Согласитесь, что это непріятно, и есть изъ чего выйти изъ себя и увидѣть въ новой школѣ своего личнаго врага. Къ этому присоединяются и другія обстоятельства. Эти люди вышли на литературное поприще во время господства совершенно иныхъ понятій объ искусствѣ и литературѣ. Тогда искусство не имѣло ничего общаго съ жизнью, дѣйствительностью. Написать романъ или повѣсть тогда значило — написать разныхъ неправдоподобныхъ событій, вмѣсто характеровъ, заставить говорить и дѣйствовать аллегорическія фигуры разныхъ дурныхъ и хорошихъ качествъ, все это напичкать моральными сентенціями, и изъ всего этого вывести какое нибудь нравственное правило, вродѣ того на примѣръ, что добродѣтель награждается, а порокъ наказывается. При этомъ допускалась легкая и умѣренная сатира, т. е. беззубыя насмѣшки надъ общими человѣческими слабостями, не воплощенными въ лицо и характеръ, и потому существующими равно вездѣ, какъ и нигдѣ. О колоритѣ мѣстности и времени не было вопроса, и потому нельзя было понять, какой землѣ и какому вѣку принадлежатъ дѣйствующія лица романа или повѣсти; зато можно было имѣть удовольствіе по произволу переносить ихъ въ какую угодно землю, въ какой угодно вѣкъ. Но взаимнѣе этого строго требовалось, чтобы подлѣ каждаго злодѣя рисовался добродѣтельный человѣкъ, подлѣ глупца — умница, подлѣ лжеца — правдолюбъ. Именъ эти герои не имѣли, но имъ давались клички по ихъ качествамъ: Добросердовъ, Честоновъ, Пріатовъ, Ножовъ, Вороватинъ и т. п. Такъ писать было легко: для этого не нужно было таланта, наблюдательности, живого чувства дѣйствитель-

ности; а нужны были только нѣкоторая образованность и начитанность, а главное — охота и навыкъ писать. И подѣ влияніемъ этихъ-то понятій выросли и развились писатели той школы, о которой мы говоримъ. Удивительно ли, что до сихъ поръ они все такъ-же понимаютъ искусство? Оно для нихъ — невинное и полезное занятіе, которое должно тѣшить читателя, представляя ему только пріятныя картины жизни, рисуя только образованныхъ людей, и ни подѣ какимъ видомъ — неотесанныхъ мужиковъ въ зипунахъ и лаптяхъ. Правда, еще эти писатели были не стары, когда такъ называемый романтизмъ вторгся вдругъ и въ нашу литературу, когда романы Вальтеръ-Скотта смѣнили «Малекъ Аделя» г-жи Котэнь, и знакомство съ драмами Шекспира показало, что всякій человѣкъ, на какой бы низкой ступени общества и даже человѣческаго достоинства ни стоялъ онъ, имѣетъ полное право на вниманіе искусства потому только, что онъ человѣкъ. И многіе изъ писателей неестественной риторической школы горячо стали за романтизмъ; но это произвело въ нихъ только какую-то странную смѣсь старыхъ установившихся понятій съ новыми неустановившимися. Они не могли въ нихъ примириться по существенной противоположности другъ другу. И потому наши романисты и нувелисты этой школы остались при старыхъ понятіяхъ, сдѣлавши нѣсколько нелогическихъ уступокъ въ пользу новыхъ. Это отразилось въ ихъ сочиненіяхъ тѣмъ, что они стали заботиться о мѣстномъ колоритѣ и позволяли себѣ рисовать и людей низшихъ сословій. Это называлось у нихъ народностью. Но въ чемъ состояла эта народность? Въ томъ, что своимъ сколамъ съ чужеземныхъ образцовъ они давали русскія имена, да еще иногда и историческія, отчего ихъ лица нисколько не дѣлались русскими, потому что прежде всего не были созданіями искусства, а были только блѣдными копіями. Вообще ихъ романы походили на нынѣшніе русскіе водевили, передѣлываемые изъ французскихъ, посредствомъ переложенія чуждыхъ намъ французскихъ нравовъ на чуждые имъ русскіе нравы. Риторика всегда оставалась риторикой, даже и подрумяненная плохо понятнымъ романтизмомъ. Для яснаго уразумѣнія новыхъ образцовъ искусства и новыхъ о немъ понятій нужно было время, а для обращенія русской литературы на дорогу самобытности нужны новые образцы въ самой русской литературѣ. И такіе образцы даны были Пушкинымъ и потомъ Гоголемъ. Но слѣдовать за ними можно было бы только людямъ съ талантомъ. Вотъ отчего писа-

тели риторической школы такъ косо смотрѣли на Пушкина и почему такъ невыносимо имъ одно имя Гоголя! Въ чемъ состоятъ ихъ нападки на него? Вѣчно въ одномъ и томъ же: онъ рисуетъ грязь, представляетъ неумытую натуру и оскорбляетъ русское общество, находя въ немъ характеры низкіе и не противопоставляя имъ высокихъ... Все это совершенно согласно со старинными піитиками и риториками.

За то же самое, тѣмъ же самыми выражениями нападаютъ славянофилы на натуральную школу, но за то же самое превозносятъ они Гоголя. Чтѣ за странное противорѣчіе? Какая его причина? Еслибы критикъ «Москвитянина» не находилъ никакой связи между Гоголемъ и натуральной школой, онъ былъ бы правъ съ своей точки зрѣнія, какъ бы ни была она фальшива. Но вотъ чтѣ говоритъ онъ самъ объ этомъ: «Петербургскіе журналы подняли знамя и провозгласили явленіе новой литературной школы, по ихъ мнѣнію, совершенно самостоятельной. Они выводятъ ее изъ всего прошедшаго развитія нашей литературы и видятъ въ ней отвѣтъ на современныя потребности нашего общества. Происхождение натурализма, кажется, объясняется гораздо проще; нѣтъ нужды придумывать для него родословной, когда на немъ лежатъ явные признаки тѣхъ вліяній, которымъ онъ обязанъ своимъ существованіемъ. Матеріалъ данъ Гоголемъ или, лучше, взятъ у него: это пошлая сторона нашей дѣйствительности». Основная мысль этихъ словъ справедлива: натуральная школа дѣйствительно произошла отъ Гоголя, и безъ него ея не было бы; но фактъ этотъ толкуется критикомъ «Москвитянина» фальшиво. Если натуральная школа вышла изъ Гоголя, изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобы она не была результатомъ всего прошедшаго развитія нашей литературы и отвѣтомъ на современныя потребности нашего общества, потому что самъ Гоголь, ея основатель, былъ результатомъ всего прошедшаго развитія нашей литературы и отвѣтомъ на современныя потребности нашего общества. Чтѣ онъ несравненно выше и важнѣе всей своей школы, противъ этого мы и не думали спорить.—это другое дѣло. Во взглядѣ критика «Москвитянина» на Гоголя видно рѣшительное непониманіе ни искусства, ни Гоголя. Ясно, что онъ держится тѣхъ же піитикъ и риторикъ, которыми руководствуются писатели неестественной школы, и что, за неимѣніемъ собственнаго прочнаго воззрѣнія на предметъ, онъ слишкомъ увлекся мнѣніемъ Пушкина о Гоголѣ, съ которымъ самъ Гоголь безусловно согласился. Вотъ его собствен-

ныя слова на этотъ счетъ: «Обо мнѣ много толковали, разбирая кое-какія мои стороны, но главнаго существа моего не опредѣляли. Его слышалъ одинъ только Пушкинъ. Онъ мнѣ говорилъ всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставить такъ ярко пошлость жизни, умѣть очертить въ такой силѣ пошлость пошлаго человѣка, чтобы вся та мелочь, которая ускользаетъ отъ глазъ, мелькнула бы крупно въ глаза всѣмъ. Вотъ мое главное свойство, одному мнѣ принадлежащее, и котораго точно нѣтъ у другихъ писателей» («Выбран. Мѣста изъ Переп. съ Друзьями»). Въ этихъ словахъ много правды; но ихъ нельзя принимать за полное и окончательное сужденіе о Гоголѣ. Теньеръ былъ по преимуществу живописецъ пошлости жизни голландскаго престопаго (чтѣ — скажемъ мимоходомъ — не помѣшало Европѣ признать его великимъ талантомъ); эта пошлость есть истинный герой его живописныхъ поэмъ, тутъ она на первомъ планѣ и прежде всего бросается въ глаза зрителю. Однакожъ было бы нелѣпо искать чего-нибудь общаго между талантомъ Теньера и Гоголя. Гогартъ — по преимуществу живописецъ пороковъ, разврата и пошлости, и больше ничего; но и съ нимъ у Гоголя такъ же мало сходства, какъ и съ Теньеромъ. Гоголь создалъ типы — Ивана Федоровича Шпоньки, Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, Хлестакова, Городничаго, Бобчинскаго и Добчинскаго, Земляники, Шпекина, Тяпкина-Ляпкина, Чичикова, Манилова, Коробочки, Плюшкина, Собакевича, Ноздрева и многіе другіе. Въ нихъ онъ является великимъ живописцемъ пошлости жизни, который видитъ насквозь свой предметъ во всей его глубинѣ и широтѣ и схватываетъ его во всей полнотѣ и цѣлости его дѣйствительности. Но зачѣмъ же забываютъ, что тотъ же Гоголь написалъ «Тараса Бульбу», — поэму, герой и второстепенныя дѣйствующія лица которой — характеры высоко-трагическіе? И между тѣмъ видно, что поэма эта писана той же рукой, которой писаны «Ревизоръ» и «Мертвыя Души». Въ ней является та особенность, которая принадлежитъ только таланту Гоголя. Въ драмахъ Шекспира встрѣчаются съ великими личностями и пошлыя, но комизмъ у него всегда на сторонѣ только послѣднихъ; его Фальстафъ смѣшонъ, а принцъ Генрихъ и потомъ король Генрихъ V — вовсе не смѣшонъ. У Гоголя Тарасъ Бульба такъ же исполненъ комизма, какъ и трагическаго величія; оба эти противоположные элемента слились въ немъ неразрывно и цѣлостно въ единую, замкнутую въ себя, личность; вы и удивляетесь ему, и ужасаетесь его, и

смѣтается надъ нимъ. Изъ всѣхъ извѣстныхъ произведеній европейскихъ литературъ примѣръ подобнаго, и то не вполне, слиянія серьезнаго и смѣшнаго, трагическаго и комическаго, ничтожности и пошлости жизни со всѣмъ, что есть въ ней великаго и прекраснаго, представляетъ только «Донъ-Кихотъ» Сервантеса. Если въ «Тарасѣ Бульбѣ» Гоголь умѣлъ въ трагическомъ открыть комическое, то въ «Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ» и «Шинели» онъ умѣлъ уже не въ комизмѣ, а въ положительной пошлости жизни найти трагическое. Вотъ гдѣ, намъ кажется, должно искать существенной особенности таланта Гоголя. Это—не одинъ даръ выставить ярко пошлость жизни, а еще болѣе—даръ выставить явленія жизни во всей полнотѣ ихъ реальности и ихъ истинности. Въ «Перепискѣ» Гоголя есть одно мѣсто, которое бросаетъ яркій свѣтъ на значеніе и особенность его таланта, и которое было или ложно понято, или оставлено безъ вниманія: «Эти ничтожные люди (въ «Мертвыхъ Душахъ») однакожъ ничуть не портреты съ ничтожныхъ людей; напротивъ, въ нихъ собраны черты тѣхъ, которые считаютъ себя лучшими другихъ, разумѣется, только въ разжалованномъ видѣ изъ генераловъ въ солдаты; тутъ, кромѣ моихъ собственныхъ, есть даже черты моихъ пріятелей». Дѣйствительно, каждый изъ насъ, какой бы онъ ни былъ хорошій человѣкъ, если вникаетъ въ себя съ тѣмъ безпристрастіемъ, съ какимъ вникаетъ въ другихъ,—то непременно найдетъ въ себѣ въ большей или меньшей степени многіе изъ элементовъ многихъ героевъ Гоголя. И кому не случилось встрѣчать людей, которые немножко скупеньки, какъ говорится, прижимисты, а во всѣхъ другихъ отношеніяхъ—прекраснѣйшіе люди, одаренные замѣчательнымъ умомъ, горячимъ сердцемъ? Они готовы на все доброе, они не оставятъ человѣка въ нуждѣ, помогутъ ему, но только подумавши, поразсчитавши, съ нѣкоторымъ усиліемъ надъ собой. Такой человѣкъ, разумѣется, не Плюшкинъ, но съ возможностью сдѣлаться имъ, если поддастся влиянію этого элемента, и если при этомъ стеченіе враждебныхъ обстоятельствъ разовьетъ его и дастъ ему перевѣсъ надъ всѣми другими склонностями, инстинктами и влеченіями. Бываютъ люди съ умомъ, душой, образованіемъ, познаніями, блестящими дарованіями—и при всемъ этомъ съ тѣмъ качествомъ, которое теперь извѣстно на Руси подъ именемъ «хлестаковства». Скажемъ больше: многіе изъ насъ, положи руку на сердце, могутъ сказать, что имъ не случилось быть Хлестаковыми, кому цѣлые года своей жизни

(особенно молодости), кому хоть одинъ день, одинъ вечеръ, одну минуту? Порядочный человѣкъ не тѣмъ отличается отъ пошлаго, чтобы онъ былъ вовсе чуждъ всякой пошлости, а тѣмъ, что видитъ и знаетъ, что въ немъ есть пошлаго, тогда какъ пошлый человѣкъ и не подозреваетъ этого въ отношеніи къ себѣ; напротивъ, ему то и кажется больше всѣхъ, что онъ—истинное совершенство. Здѣсь мы опять видимъ подтвержденіе вышесказанной нами мысли объ особенностяхъ таланта Гоголя, которая состоитъ не въ исключительномъ только дарѣ живописать ярко пошлость жизни, а проникать въ полноту и реальность явленій жизни. Онъ, по натурѣ своей, не склоненъ къ идеализаціи, онъ не вѣритъ ей; она кажется ему отвлеченіемъ, а не дѣйствительностью; въ дѣйствительности для него добро и зло, достоинство и пошлость не раздѣльны, а только перемѣшаны не въ равныхъ доляхъ. Ему дался не пошлый человѣкъ, а человѣкъ вообще, какъ онъ есть, не украшенный и не идеализированный. Писатели риторической школы утверждаютъ, будто всѣ лица, созданныя Гоголемъ, отвратительны, какъ люди. Справедливо-ли это?—Нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ! Возьмемъ на поддержку нѣсколько лицъ. Маниловъ пошлъ до крайности, сладокъ до приторности, пусть и ограниченъ; но онъ не злой человѣкъ; его обманываютъ его люди, пользуясь его добродушіемъ; онъ—скорѣе ихъ жертва, нежели они его жертвы. Достоинство отрицательное—не споримъ; но еслибы авторъ придалъ къ прочимъ чертамъ Манилова еще жестокость обращенія съ людьми, тогда всѣ бы закричали: что за гнусное лицо, ни одной человѣческой черты! Такъ уважимъ же въ Маниловѣ и это отрицательное достоинство. Собакевичъ—антиподъ Манилова; онъ грубъ, неотесанъ, обжора, плутъ и кулакъ; но избы его мужиковъ построены хоть неуклюже, а прочно, изъ хорошаго лѣсу, и, кажется, его мужикамъ хорошо въ нихъ жить. Положимъ, причина этого не гуманность, а расчетъ, но расчетъ, предполагающій здравый смыслъ, расчетъ, котораго, къ несчастью, не бываетъ иногда у людей съ европейскимъ образованіемъ, которые пускаютъ по міру своихъ мужиковъ на основаніи рациональнаго хозяйства. Достоинство опять отрицательное, но нѣдъ еслибы его не было въ Собакевичѣ, Собакевичъ былъ бы еще хуже: стало быть, онъ лучше при этомъ отрицательномъ достоинствѣ. Коробочка пошла и глупа, скупа и прижимиста, ея дѣвчонка ходитъ въ грязи босикомъ, но зато не съ распухшими отъ пощечинъ щеками, не сидитъ голодна, не утираетъ слезъ кулакомъ,

не считаетъ себя несчастной, но довольна своей участью. Скажутъ: все это доказываетъ только то, что лица, созданныя Гоголемъ, могли бѣ быть еще хуже, а не то, чтобъ они были хороши. Да мы и не говоримъ, что они хороши, а говоримъ только, что они не такъ дурны, какъ говорятъ о нихъ.

Писатели риторической школы ставятъ въ особенную вину Гоголю, что вмѣстѣ съ пошлыми людьми онъ для утѣшенія читателей не выводитъ на сцену лицъ порядочныхъ и добродѣтельныхъ. Въ этомъ съ ними согласны и почитатели Гоголя изъ славянофильской партіи. Это доказываетъ, что тѣ и другіе почерпнули свои понятія объ искусствѣ изъ однихъ и тѣхъ же книгъ и риторикъ. Они говорятъ: развѣ въ жизни одни только пошлепы и негодяи? Чтѣ сказать имъ на это? Живописецъ изобразилъ на картинѣ мать, которая любитъ своимъ ребенкомъ и которой все лицо—одно выраженіе материнской любви. Чтѣ бы сказали критику, который осудилъ бы эту картину на томъ основаніи, что женщинамъ доступно не одно материнское чувство, что художникъ оклеветалъ изображенную имъ женщину, отнявъ у нея всѣ другія чувства? Я думаю, вы ничего не сказали бы ему, даже согласились бы съ нимъ—и хорошо бы сдѣлали. Но тутъ, скажутъ, уже потому нѣтъ клеветы, что на лицѣ женщины изображено чувство похвальное. Стало быть, по вашему, живописецъ оклеветалъ бы женщину вообще, еслибы представилъ на картинѣ Медею, убивающую, изъ чувства ревности, собственныхъ дѣтей? Стало быть, вы будете осуждать его за то, что онъ не помѣстилъ на своей картинѣ фигуры добродѣтельной женщины, которая бы всѣмъ выраженіемъ своего лица и взора, всей своей позою протестовала противъ ужаснаго дѣйствія Медеи? Да художникъ хотѣлъ изобразить крайнюю степень ревности; это было задушевной идеей, которую хотѣлъ онъ выразить; стало быть, все чуждое этой идее только раздвоило и ослабило бы интересъ его картины, нарушило бы единство ея впечатлѣнія. Стало быть, подобныя требованія съ вашей стороны противорѣчатъ основнымъ законамъ искусства. «Перебирая послѣдніе романы (говоритъ критикъ «Москвитянина»), изданные во Франціи, съ притязаніемъ на социальное значеніе, мы не находимъ ни одного, въ которомъ бы выставлены были одни пороки и темныя стороны общества. Напротивъ, вездѣ, въ противоположность извергамъ, негодьямъ, плутамъ, ханжамъ, изображаются лица, принадлежащія къ однимъ сословіямъ и занимающія въ обществѣ одинаковое по-

ложеніе съ первыми, но честныя, благородныя, щедрыя и набожныя. Говорятъ, что типы честныхъ людей удаются хуже, чѣмъ типы негодяевъ; это отчасти справедливо; но еще справедливѣе то, что ни тѣ, ни другіе не имѣютъ художественнаго достоинства, пишутся не съ художественной цѣлью, а потому должно судить о нихъ не по выполненію, а по намѣренію». Мы замѣтимъ на это, что если произведеніе, претендующее принадлежать къ области искусства, не заслуживаетъ никакого вниманія по выполненію, то оно не стоитъ никакого вниманія и по намѣренію, какъ бы ни было оно похвально, потому что такое произведеніе уже нисколько не будетъ принадлежать къ области искусства. Истиннымъ художникамъ равно удаются типы и негодяевъ, и порядочныхъ людей; когда же мы находимъ въ романѣ удачными только типы негодяевъ и неудачными типы порядочныхъ людей, это явный знакъ, что или авторъ взялся не за свое дѣло, вышлепъ изъ своихъ средствъ, изъ предѣловъ своего таланта и слѣдовательно погрѣшилъ противъ основныхъ законовъ искусства, т. е. выдумалъ, писалъ и натягивалъ риторически тамъ, гдѣ надо было творить, или что онъ безъ всякой нужды, вопреки внутреннему смыслу своего произведенія, только по внѣшнему требованію морали, ввелъ въ свой романъ эти лица, и слѣдовательно опять погрѣшилъ противъ основныхъ законовъ искусства. Вотъ то-то и есть: хлопочутъ о чистомъ искусствѣ, и первые не понимаютъ его; нападаютъ на искусство, служащее постороннимъ цѣлямъ, и первые требуютъ, чтобы оно служило постороннимъ цѣлямъ, т. е. оправдывало бы теоріи и системы нравственныя и социальныя. Творчество, по своей сущности, требуетъ безусловной свободы въ выборѣ предметовъ не только отъ критиковъ, но и отъ самого художника. Ни ему никто не вправе задавать сюжетовъ, ни онъ самъ не вправе направлять себя въ этомъ отношеніи. Онъ можетъ имѣть опредѣленное направленіе, но оно у него только тогда можетъ быть истинно, когда безъ усилія, свободно сходитъ съ его талантомъ, его натурой, инстинктами и стремленіемъ. Онъ изобразилъ вамъ порокъ, развратъ, пошлость: судите, вѣрно ли, хорошо ли онъ сдѣлалъ это; а не толкуйте, зачѣмъ онъ сдѣлалъ это, а не другое, или вмѣстѣ съ этимъ не сдѣлалъ и другого. Говорятъ: чтѣ это за направленіе—изображать одно низкое и пошлѣе?—А почему бы не такъ? Одинъ живописецъ прославился изображеніемъ вообще животныхъ, другой—только коровъ или лошадей, третій—кухонныхъ

припасовъ, и каждый изъ нихъ только этимъ и занимался всю жизнь, и никого изъ нихъ не обвиняли за это, а въ области поэзіи отнимаютъ у художника это право. То, скажутъ, живопись, а то поэзія. Но въдѣ то и другое, не смотря на все ихъ различіе, равно искусство, а основные законы искусства—одни и тѣ же во всѣхъ искусствахъ. Не вѣрю я эстетическому чувству и вкусу тѣхъ людей, которые съ удивленіемъ останавливаются передъ Мадонной Рафаэля и съ презрѣніемъ отворачиваются отъ картинъ Теньера, говоря: «это проза жизни, пошлость, грязь»; но такъ-же точно и не вѣрю я и эстетическому смыслу тѣхъ, которые съ нѣкоторой иронической улыбкой посматриваютъ на Мадонну Рафаэля, говоря: «кто идеалы, то, чего нѣтъ въ натурѣ!» и въ умиленіемъ смотрятъ на картины Теньера говоря: «вотъ натура, вотъ истина, вотъ дѣйствительность!» Для этихъ людей не существуетъ искусства; новая форма—и они не узнаютъ его, какъ маленькія дѣти не узнаютъ знакомаго имъ человѣка, потому только, что онъ на сюртукъ надѣлъ шинель, въ которой они никогда его не видали. Имъ не растолкуешь, что Мадонну и сцены мужиковъ, какъ ни различны эти явленія, произвелъ одинъ и тотъ же духъ искусства, что Рафаэль и Теньеръ—оба художники и оба нашли содержаніе своихъ произведеній въ той же дѣйствительности, безконечно разнообразной и всегда единой, какъ разнообразна и единая природа, какъ разнообразно и едино существо человѣка! А сколько такихъ людей на бѣломъ свѣтѣ! По крайней мѣрѣ мнѣ не разъ случалось встрѣчать такихъ тонкихъ знатоковъ и цѣнителей искусства. Одни изъ нихъ отрицаютъ всякій талантъ въ Гоголѣ, и когда такому господину намекнешь, что это отъ отсутствія эстетическаго чувства, онъ сейчасъ съ торжествомъ возразитъ: «отчего же я понимаю Пушкина и восхищаюсь имъ?» Другіе не признаютъ особеннаго таланта въ Пушкинѣ на томъ основаніи, что имъ очень нравится Гоголь. Это значитъ только, что ни тѣ, ни другіе не понимаютъ ни Пушкина, ни Гоголя и восхищаются въ нихъ вовсе не тѣмъ, что составляетъ сущность и красоту ихъ твореній. Одинъ писатель риторической школы печатно объявилъ, что еслибы ему нужно было выѣхать изъ Россіи и взять съ собой только лучшее изъ русской литературы, онъ взялъ бы только басни Крылова и «Горе отъ Ума» Грибоедова. Какъ выраженіе личнаго, частнаго вкуса, это было бы справедливо и основательно; но какъ взглядъ на искусство вообще, это ложь, это все равно, какъ еслибы кто, любя березу больше всѣхъ дру-

гихъ деревьевъ, сталъ доказывать, что дубъ—дерево некрасивое и дрянное.

Самое сильное и тяжелое обвиненіе, которымъ писатели риторической школы думаютъ окончательно уничтожить Гоголя, состоитъ въ томъ, что лица, которые онъ обыкновенно выводитъ въ своихъ сочиненіяхъ, оскорбляютъ общество. Въ этомъ съ ними совершенно согласились и славянофилы, только больше въ этомъ отношеніи къ натуральной школѣ, нежели къ Гоголю; первую они нещадно бранятъ за это, а насчетъ Гоголя только изъявляютъ сожалѣніе, что онъ не рисуетъ испуганныхъ лицъ. Подобное обвиненіе больше всего показываетъ незрѣлость нашего общественнаго образованія. Въ странахъ, упреждавшихъ насъ развитіемъ цѣлыхъ вѣковъ, и понятія не имѣютъ о возможности подобнаго обвиненія. Никто не скажетъ, чтобы англичане не были ревнивы къ своей національной чести; напротивъ, едва ли есть другой народъ, въ которомъ національнѣйшій эгоизмъ доходилъ бы до такихъ крайностей, какъ у англичанъ. И между тѣмъ они любятъ своего Гогарта, который изображалъ только пороки, развратъ, злоупотребленія и пошлость англійскаго общества его времени. И ни одинъ англичанинъ не скажетъ, что Гогартъ оклеветалъ Англію, что онъ не видѣлъ и не признавалъ въ ней ничего человѣческаго, благороднаго, возвышеннаго и прекраснаго. Англичане понимаютъ, что талантъ имѣетъ полное и святое право быть одностороннимъ. И что онъ можетъ быть великимъ въ самой односторонности. Съ другой стороны, они такъ глубоко чувствуютъ и сознаютъ свое національное величіе, что нисколько не боятся, чтобы ему могло повредить обнаруженіе недостатковъ и темныхъ сторонъ англійскаго общества. Но и мы можемъ жаловаться только на незрѣлость общественнаго образованія, а не на отсутствіе въ нашемъ обществѣ чувства своего національнаго достоинства: это доказывается тѣмъ фактомъ, не подлежащимъ никакому сомнѣнію, что, несмотря на ребяческіе возгласы не впадѣть усердныхъ патріотовъ, произведенія Гоголя въ короткое время получили на Руси народность. Ихъ не читаютъ только тѣ, которые ничего не читаютъ; а «Ревизора» знаютъ многіе и изъ тѣхъ, которые вовсе не знаютъ грамоты. Успѣхъ натуральной школы есть тоже фактъ, подтверждающій ту же истину. И оно такъ должно быть: чѣмъ сильнѣе человѣкъ, чѣмъ выше онъ нравственно, тѣмъ смѣлѣе онъ смотритъ на свои слабыя стороны и недостатки. Еще болѣе можно сказать это о народахъ, которые

живутъ не человѣческій вѣкъ, а цѣлые вѣка. Народъ слабый, ничтожный или состарѣвшійся, изжившій всю жизнь свою до невозможности идти впередъ, любить только хвалить себя и больше всего боится взглянуть на свои раны: онъ знаетъ, что онѣ смертельны, что его дѣйствительность не представляетъ ему ничего отраднаго, и что только въ обманѣ самого себя можетъ онъ находить тѣ ложныя утѣшенія, до которыхъ такъ падки слабые и дряхлые. Таковы напримѣръ китайцы или персіяне: послушать ихъ, такъ лучше ихъ нѣтъ народа въ мірѣ и всѣ другіе народы передъ ними — ослы и негодяи. Не таковъ долженъ быть народъ великій, полный силъ и жизни; сознаніе своихъ недостатковъ вмѣсто того, чтобы приводить его въ отчаяніе и повергать въ сомнѣнія о своихъ силахъ, даетъ ему новыя силы, окриляетъ его въ новую дѣятельность. Вотъ почему первый нашъ свѣтскій писатель былъ сатирикъ, и съ легкой руки его сатира постоянно шла объ руку съ другими родами литературы. Лирикъ Державинъ, воспѣвавшій величіе Россіи, былъ въ то же время и сатирикомъ, и его оды къ «Фелицѣ», его «Вельможа» принадлежатъ къ лучшимъ и оригинальнѣйшимъ его произведеніямъ. Здѣсь мы не можемъ не упомянуть о просвѣщенномъ и благодѣтельномъ покровительствѣ, которыми наше правительство ободряло сатиру: оно допустило къ представленію и «Недоросля», и «Ябеду», и «Горе отъ Ума», и «Ревизора». И наше общество было достойно своего правительства: за исключеніемъ второй изъ этихъ комедій, слабой по исполненію, всѣ другія въ короткое время сдѣлались народными драматическими пьесами.

На чемъ основаны доказательства противниковъ и почитателей Гоголя, что его произведенія оскорбительны для русскаго имени? На томъ только — и больше ни на чемъ — что, читая ихъ, каждый убѣдится, что въ Россіи нѣтъ порядочныхъ людей. Мы вполне согласны, что точно найдется не мало людей, способныхъ вывести изъ сочиненій Гоголя такое оригинальное слѣдствіе; но гдѣ же нѣтъ такихъ простодушныхъ читателей, которые дагѣе буквального смысла книги ничего въ ней не видятъ, и неужели по нимъ должно судить о всей русской публикѣ, и только соображаясь съ ихъ ограниченностью должна дѣйствовать литература? Напротивъ, намъ кажется, о нихъ она всего менѣе должна заботиться. Есть люди, для которыхъ литература и наука, просвѣщеніе и образованіе дѣйствительно только вредны, а не полезны, потому что сбиваютъ ихъ съ послѣдняго остат-

ка здраваго смысла, скупо удѣленного имъ природой, неужели же для нихъ уничтожить литературу и науку, просвѣщеніе и образованіе? Подобное предположеніе нелѣпо уже по одному тому, что такіе люди находятся въ рѣшительномъ меньшинствѣ, и что литература и наука оказываютъ благодѣтельное вліяніе не на однихъ избранныхъ натуръ, но на всю массу общества. Намъ скажутъ, что не одни ограниченные люди видятъ въ сочиненіяхъ Гоголя оскорбленіе русскому обществу. Положимъ такъ; но мнѣніе-то это, кому бы ни принадлежало оно, всегда будетъ ограниченнымъ. Писатель выведетъ въ повѣсти пьяницу, а читатель скажетъ: можно ли такъ позорить Россію? будто въ ней все одни пьяницы? Положимъ, этотъ читатель умный, даже очень умный человѣкъ; да слѣдствіе-то, которое онъ вывелъ изъ повѣсти, нелѣпо. Намъ скажутъ, что искусство обобщаетъ частныя явленія и что оно уже не искусство, если представляетъ явленія случайныя. Правда; но вѣдь общество и особливо народъ заключаетъ въ себѣ множество сторонъ, которыя не только повѣсть, цѣлая литература никогда не исчерпаетъ. Критикъ «Москвитянина» особенно обидѣлся повѣстью «Деревня». «Въ ней (говоритъ онъ) собрано и ярко выставлено все, что можно было найти въ нравахъ крестьянъ грубаго, оскорбительнаго и жестокаго. Но поражаютъ не частности, а глубокая безчувственность и совершенное отсутствіе нравственнаго смысла въ цѣломъ быту. Ни состраданія, ни раскаянія, ни стыда, ни страха, ни даже животной привязанности между единокровными, авторъ ничего не нашелъ въ русской деревнѣ. Можетъ-быть вы подумаете, что она представляется ему въ томъ состояніи первобытной дикости, которое, по мнѣнію нѣкоторыхъ, предшествуетъ пробужденію нравственнаго сознанія и слѣдовательно допускаетъ развитіе; но вы ошибетесь; въ сквернословіи крестьянъ авторъ подслушалъ какую-то иронию надъ погрѣшнымъ чувствомъ, признакъ не дикости, а растлѣнія; имена отца, матери, слова молитвы произносятся безпрестанно, но безотзывно; ими играютъ безъ содроганія; они какъ будто выдуманы для другихъ людей, а не для жалкаго племени, утратившаго всякое подобіе съ человѣкомъ». У! какъ сильно! Только справедливо ли? Содержаніе повѣсти «Деревня» состоитъ въ томъ, что бѣдную, загнанную сиротку, по проискамъ плута-старосты, господа выдали замужъ за негодяя, въ дурную семью. Что же критикъ «Москвитянина» думаетъ, что въ деревняхъ нѣтъ негодяевъ, нѣтъ дурныхъ семействъ? Или

онъ думаетъ, что изобразить негодяя или дурное семейство значить—доказать, что въ русскихъ деревняхъ все негодяи и дурныя семейства? Надо согласиться, что нашъ критикъ очень поедръ въ раздачѣ другимъ разныхъ дурныхъ цѣлей и намѣреній: но, къ счастью, вовсе невольно. Въ повѣсти «Деревня» Григоровичъ изобразилъ деревню именно въ томъ видѣ, какъ это говоритъ критикъ «Москвитянина», хотя и не съ той цѣлью, не съ той мыслью, которая онъ такъ великодушно ему приписываетъ. Въ нравахъ этой «Деревни» дѣйствительно только грубое и жестокое, и нѣтъ даже «животной привязанности между единокровными». Но вотъ тотъ-же самый Григоровичъ, который написалъ «Деревню», предлагаетъ читателямъ въ этой книжкѣ «Современника» новую свою повѣсть («Антонъ Горемыка»), въ которой на сценѣ опять деревня и которой герой — русскій крестьянинъ, но уже вовсе не вродѣ мужа Акулины, а человекъ добрый, который, по своему, нѣжно, человѣчески любитъ своего племянника, свою жену и обращается съ ними по-человѣчески. Слѣдуетъ ли же изъ этого, что Григоровичъ видитъ въ русской деревнѣ только дикость и звѣрство въ семейныхъ отношеніяхъ? Нѣтъ, изъ этого слѣдуетъ совсѣмъ другое, а именно то, что въ одной повѣсти онъ взялъ одну сторону деревни, а въ другой—другую. Вы сами сказали, что въ первой повѣсти онъ выставилъ все грубое, оскорбительное и жестокое, что можно было найти въ нравахъ крестьянъ. Если это можно было найти, значитъ, это не выдуманно, а взято съ дѣйствительности, значитъ, это истина, а не клевета. Послѣдней тутъ нельзя искать послѣ вашихъ собственныхъ словъ; ее скорѣе можно искать и найти въ вашемъ усилии обвинить Григоровича въ дурныхъ цѣляхъ и намѣреніяхъ... Какое вы имѣете право требовать отъ автора, чтобы онъ замѣчалъ и изображалъ не ту сторону дѣйствительности, которая сама мечется ему въ глаза, которую онъ узналъ, изучилъ, а ту, которая васъ занимаетъ? Вы вправѣ только требовать, чтобы онъ не выдумалъ, былъ вѣренъ изображаемой имъ дѣйствительности; а все, что есть и бываетъ, принадлежитъ ему, равно какъ и выборъ изъ всего этого. Въ «Журналѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ» есть слѣдующее статистическое извѣстіе касательно смертности въ Россіи:

«Кромѣ разницы въ численности (погибшихъ въ дракахъ) есть еще то различіе между мужчинами, женщинами и дѣтьми, что первые почти все погибли въ обоюдныхъ ссорахъ и побойщахъ, часто вслѣдствіе собственной же задорливости при слабости; изъ послѣднихъ женщины пре-

имущественно были жертвами супружескихъ не-удовольствій и исправительныхъ или наставительныхъ мѣръ супруговъ, кромѣ немногихъ случаевъ, гдѣ и онѣ пали, ратоборствуя даже иногда съ подобными же себѣ женщинами; а дѣти лишались жизни болѣе всего отъ неумѣреннаго наказанія ихъ, что называется чѣмъ попало, за шалости или проступки. Всѣ эти случаи не составляютъ убійствъ преднамѣренныхъ, и не могутъ быть не причтены къ смертности отъ неосторожности. Въ Тверской губерніи напримѣръ одинъ крестьянинъ, желая наказать жену за что-то, убилъ ударомъ руки бывшаго у ней на груди ребенка: что это какъ не неосторожность? Весьма похожая на эту смерть постигла одного шестнадцатилѣтняго ребенка въ Полтавской губерніи, а въ Бурской случилось точь-въ-точь подобное происшествіе.»

Такого рода официальное извѣстіе можетъ быть до нѣкоторой степени указателемъ нравовъ простого народа. Что случается часто или нерѣдко, то не есть явленіе случайное, исключительное и можетъ служить матеріаломъ для художественнаго произведенія, но отнюдь не можетъ быть принято за всеобщее явленіе, исключющее всѣ противоположныя, и служить позоромъ обществу или народу. Такъ напримѣръ, всѣмъ извѣстно, что, кромѣ Россіи, нигдѣ нѣтъ обыкновенія париться въ жаркой банѣ, слѣдовательно нигдѣ же, кромѣ Россіи, не можетъ быть и примѣровъ смерти отъ запариванія. Но слѣдуетъ-ли скрывать такіе факты изъ боязни какого-то нареканія на народъ? Это случается въ народѣ, но кто же скажетъ, что весь русскій народъ какъ дорвется до полка, такъ и запарится сейчасъ же? Крайняя степень всякаго злѣтѣмъ еще и выносима, что обрушивается всегда на меньшинствѣ, слѣдовательно, если и можетъ принадлежать тому или другому обществу, то никогда не можетъ послужить обвиненіемъ всему обществу.

Но обратимся исключительно къ критику «Москвитянина» и разберемъ его мнѣніе о Гоголѣ и натуральной школѣ. «Гоголь (говорить онъ) первый дерзнулъ ввести изображеніе пошлаго въ область художества». Неправда. Литература наша началась не съ Гоголя, а между тѣмъ именно началась попыткой ввести изображеніе пошлаго въ область художества. Вспомните Каптемира. Съ тѣхъ поръ, какъ мы замѣтили это выше, литература наша не оставляла вовсе этого направленія. Въ немъ блистательно отличился Фонвизинъ; оно отразилось во многихъ лучшихъ созданіяхъ Державина. Пушкинъ началъ писать своего (неоконченнаго впрочемъ) «Арапа Петра Великаго», когда еще имени Гоголя не появилось въ печати. При этомъ не мѣшаетъ вспомнить не только «Графа Нулина», всего посвященнаго изображенію пошлости, но «Евгенія Онегина», въ которомъ изображеніе пош-

лости играет не послѣднюю роль. Гоголь только пошелъ далѣе всѣхъ въ томъ, что критикъ «Москвитянина» разумѣетъ подъ выраженіемъ—изображеніе пошлости, и что, по нашему мнѣнію, справедливѣе называть изображеніемъ дѣйствительности, какъ она есть, во всей ея полнотѣ и истинѣ. Въ этомъ отношеніи Гоголь дѣйствительно сталъ такъ выше всѣхъ другихъ писателей русскихъ, обнаружилъ въ своей манерѣ столько самобытности и оригинальности, что сталъ основателемъ новой литературной школы, хотѣлъ ли онъ этого, или нѣтъ—все равно. Но пойдѣмъ далѣе за нашимъ критикомъ.

«На то нуженъ былъ его гений. Въ этотъ глухой, безцвѣтный міръ, безъ грома и безъ потрясеній, неподвижный и ровный, какъ бездонное болото, медленно и безвозвратно втягивающее въ себя все живое и свѣжее, въ этотъ міръ высоко поэтический самымъ отсутствіемъ всего идеальнаго (?), онъ первый опустился какъ рудокопъ, почуявшій подъ землей еще нетронутую силу. Съ его стороны это было не одно счастливое внушеніе художественнаго инстинкта, но сознательный подвигъ цѣлой жизни, *выраженіе личной потребности внутренняго очищенія*. Подъ изображеніемъ дѣйствительности, поразительно истиннымъ, скрывалась душевная, скорбная исповѣдь. Отъ этого произошла односторонность его послѣднихъ произведеній, *которые однако нельзя назвать односторонними (!)*, именно потому, что вмѣстѣ съ содержаніемъ художникъ передаетъ свою мысль, свое побужденіе (!...). Оно такъ необходимо для полноты впечатлѣнія, такъ нераздѣльно съ художественнымъ достоинствомъ его произведеній, что литературный подвигъ Гоголя только въ этомъ смыслѣ и могъ совершиться (???...). Ни страсть къ наблюденіямъ, ни благородное негодованіе на пороки и вообще никакое побужденіе, какъ бы съ виду оно ни было безкорыстно, но допускающее въ душѣ художника чувство личнаго превосходства, не дало бы на него ни права, ни силъ (?). Нужно было породниться душой съ той жизнью и съ тѣми людьми, отъ которыхъ отворачиваются съ презрѣніемъ, нужно было почувствовать въ себѣ самомъ ихъ слабости, пороки и пошлость, чтобы въ нихъ же почувствовать присутствіе человеческого. Кто съ этимъ не согласенъ, или кто иначе понимаетъ внутренній смыслъ произведеній Гоголя, съ тѣмъ мы не можемъ спорить—это одинъ изъ тѣхъ вопросовъ, которые рѣшаются безъ апеллаціи въ глубинѣ сознанія.»

Мы и не споримъ, потому что спорить можно только противъ того, съ чѣмъ бы-ваешь не согласенъ, но что, въ то же время хорошо понимаешь; а въ этой выпискѣ, признаемся, мы почти ничего не поняли. Почему міръ, изображенный Гоголемъ, высоко поэтиченъ самымъ отсутствіемъ всего идеальнаго? Почему послѣднія произведенія Гоголя односторонни, однаковъ ихъ не позволяется называть односторонними на томъ основаніи, что вмѣстѣ съ содержаніемъ художникъ передаетъ свою мысль, свое побужденіе? Воля ваша—темно что-то, мистицизмомъ отзывается! Ничего не понимаемъ! Что значить «вмѣстѣ съ содержаніемъ передавать свою мысль»? Да въ искусствѣ

иначе мысль и не передается, какъ черезъ содержаніе и форму; это дѣлали всѣ художники и до Гоголя, и будутъ дѣлать послѣ него, потому что въ этомъ сущность искусства. Почему Гоголь открылъ міръ пошлости не вслѣдствіе своей художнической натуры, своего художническаго призванія, а вслѣдствіе «личной потребности внутренняго очищенія»? Да это пахнетъ умильной средневѣковой легендой, чѣмъ-то вродѣ баллады «Двѣнадцать спящихъ дѣвъ!» Еще разъ—ничего не понимаемъ! И потому, оставивъ въ покоѣ этотъ великолѣпный наборъ громкихъ словъ и таинственныхъ фразъ, перейдемъ къ натуральной школѣ, которая въ глазахъ нашего критика безъ вины виновата передъ Гоголемъ тѣмъ, что пошла по пути, который онъ ей самъ указалъ.

Первая ея вина та, что она переняла у Гоголя только его односторонность, т. е. взяла у него одно содержаніе, изъ чего неоспоримо слѣдуетъ, что односторонность есть содержаніе, а содержаніе есть односторонность. Но пусть будетъ такъ. Вторая вина ея та, что она подражаетъ Гоголю во всемъ, даже въ опредѣленіи людей по бородавкѣ на носу, по цвѣту жилета и т. п. Но направленіе натуральная школа заимствовала не у Гоголя, а у новѣйшей французской литературы, и это направленіе есть «кариатура и клевета на дѣйствительность, понятая какъ исправительное средство». Затѣмъ слѣдуетъ характеристика новѣйшей французской литературы и ея сравненіе съ локкимъ приказчикомъ, который, «поддѣлываясь подъ вкусъ публики и соблазняя ее яркими красками, заманиваетъ къ себѣ въ лавку толпу покупателей, отбиваетъ ихъ отъ сосѣдняго продавца и помогаетъ своему господину (т. е. хозяину) сбывать товаръ, иными словами: вербовать послѣдователей». Сравненіе очень вѣрно: всякое изящное произведеніе съ социальнымъ направленіемъ есть, во-первыхъ, непременно французское, хотя бы писано было напимѣръ Диккенсомъ; во-вторыхъ, вербовать послѣдователей значитъ—торговать, а торговать значитъ—набирать послѣдователей. Противъ этого нечего сказать, кромѣ развѣ того, что писатели риторической школы дадутъ большаго маха, если собственными словами нашего критика не докажутъ, что Гоголь заимствовалъ свое направленіе у новѣйшей французской литературы. Это имъ будетъ тѣмъ легче сдѣлать, что они, подобно намъ, вѣроятно не вѣрятъ мистическому увѣренію, будто Гоголь открылъ міръ пошлости вслѣдствіе личной потребности внутренняго очищенія, чѣмъ и отличился рѣзко и отъ новѣйшей французской литературы, и отъ русской натуральной школы.

подражающей ему. Но далѣе: новѣйшая французская литература приняла въ себя, какъ основное двигательное начало,—одушевленіе страсти, какъ цѣль — возбужденіе страсти; а страсть, по мнѣнію нашего критика, оскверняетъ все то, во что ее вмѣшиваютъ. Мы думали доселѣ, что, напротивъ, страсть есть источникъ всякой живой, плодотворной дѣятельности, что ею сдѣлано все великое и прекрасное, и что зло не въ страсти вообще, а въ дурныхъ страстяхъ; но что безъ страстей вообще житейское море такъ же бы чуждо было всякаго движенія, какъ водяное море безъ вѣтровъ. Иные люди нападаютъ на страсти оттого именно, что сами слишкомъ страстны, что устали и измучились волненіемъ страстей. Другіе же потому, что все ихъ не знаютъ и сами не вѣдаютъ, за что на нихъ сердятся. Всякіе бываютъ люди и всякія страсти. У иного напримѣръ всю страсть, весь пафосъ его натуры составляетъ холодная злость, и онъ только тогда бываетъ уменъ, талантливъ и даже здоровъ, когда кусается.

Итакъ, это дѣло рѣшенное, не подлежащее никакому сомнѣнію, что сущность новѣйшей французской литературы—«клевета на дѣятельность, въ смыслѣ преувеличенія темныхъ ея сторонъ, допущенная для поощренія къ совершенствованію». «Стремленіе (прибавляетъ нашъ критикъ) въ основѣ своей благородное, похвальное, но созданное ложно и потому безплодное». Однакожъ не думайте, чтобы натуральная школа ужъ ничѣмъ не отличалась отъ французской литературы: у нея содержаніе свое, національное, разработанное Гоголемъ. Что за путаница! Какъ истина-то, противъ воли нашего критика, сама пробивается наружу сквозь непроходимую чащу умышленно наплетенныхъ клеветъ, съ благородной цѣлью если не исправить своихъ литературныхъ противниковъ, то хоть насолить имъ! Какъ ни припутываетъ онъ къ натуральной школѣ французскую словесность, а все-таки только одинъ Гоголь является въ прямомъ отношеніи къ ней. Какъ ни бились мы, чтобы понять, чѣмъ, по мнѣнію нашего критика, разнится натуральная школа отъ Гоголя, а поняли въ его словахъ только то, что давно хорошо понимали и безъ него, т. е. что Гоголь далеко выше всѣхъ своихъ послѣдователей. Значитъ, преступленіе натуральной школы состоитъ только въ томъ, что таланты ея представителей ниже таланта Гоголя. Да, это вина! Мы пропускаемъ юмористическую характеристику натуральной школы, сдѣланную критикомъ «Москвитянина» съ цѣлью показать всю ничтожность, пустоту

и пошлость натуральной школы. Въ этой характеристикѣ онъ обнаружилъ бездну того остроумія, которое такъ и блещетъ въ его сравненіи французской соціальной литературы съ лавкой приказчика. Онъ говоритъ, что произведенія натуральной школы—пародія на созданные Гоголемъ типы, карикатуры и клевета на дѣятельность, что ея приемы всегда одни и тѣ же, характеры блѣдны и безцвѣтны, интрига завязывается слабымъ узломъ, такъ что всякій рассказъ можно на любомъ мѣстѣ прервать и также тянуть до безконечности, и что всѣмъ этимъ достигается побочная цѣль, а именно: наводится нестерпимая скука на читателя. Далѣе онъ говоритъ положительно, что вліяніе натуральной школы безвредно, потому что ничтожно. Эта мысль даже повторена; въ другомъ мѣстѣ критикъ говоритъ, что писатели нелюбимой имъ школы впали въ односторонность «именно потому, что у насъ односторонность невинна и безопасна, что самое направленіе есть плодъ подражанія, а не дѣятельныхъ потребностей общества, и потому прибавляетъ его или наводитъ на него скуку, не задѣвая за живое». Наконецъ, что натуральная школа не поддержана ни однимъ сильнымъ талантомъ, что ей не поддались ни одинъ даже второклассный талантъ, и что она должна исчезнуть такъ же скоро и случайно, какъ она возникла.

Положимъ, все это справедливо; но въ такомъ случаѣ изъ чего-же вы горячитесь, зачѣмъ безпрестанно пишете о натуральной школѣ, ни на минуту не сводите съ нея вашего тревожнаго вниманія, посвящаете ей цѣлыя длинныя статьи, похожія на горькія жалобы, если еще не на что-то худшее?.. Воля ваша, а тутъ есть странное противорѣчье, которое можно объяснить только развѣ тѣмъ, что къ этому вопросу примѣшалась та страсть, которой вліяніе критикъ находитъ столь дурнымъ. Стоитъ ли толковать о пустякахъ, о вздорѣ, — словомъ, о литературныхъ произведеніяхъ, которыхъ клеветуютъ на общество, даже не по злонамѣренности, напротивъ, съ добрымъ и благороднымъ намѣреніемъ, а потому, что они не самобытны, на половину подражаютъ Гоголю, перенимая его односторонность и недостатки, на половину — новѣйшей французской литературѣ, перенимая у ней преувеличенія и недобросовѣстное искаженіе дѣятельности, — о литературныхъ произведеніяхъ, чуждыхъ всякаго достоинства, не ознаменованныхъ талантомъ, способныхъ наводить только скуку, и потому самому безвредныхъ и ничтожныхъ, несмотря на ложное ихъ направленіе? Но если уже нашъ критикъ

позволилъ себѣ сдѣлать такую несообразность, впасть въ такое противорѣчіе съ самимъ собой, несмотря на всю нелюбовь его къ подобнымъ противорѣчіямъ по крайней мѣрѣ въ другихъ, онъ все-же бы долженъ былъ представить хоть какія-нибудь доказательства въ подтвержденіе своего мнѣнія, вмѣсто того чтобы ограничиться только изложеніемъ своего мнѣнія. Нѣтъ ничего легче, какъ доказывать общими положеніями безъ примѣненій ихъ къ подробностямъ обсуживаемаго предмета. Этакъ легко доказать, что не только натуральная школа, но и любая литература никуда не годится; но подобная манера доказывать убѣдительно только для доказывающаго, больше ни для кого. Правда, критикъ сослался на три произведенія натуральной школы: «Деревню», «Родственниковъ» и «Помѣщикъ»; но, во-первыхъ, натуральная школа состоитъ не изъ трехъ же только этихъ произведеній, а во-вторыхъ, онъ только называлъ ихъ дурными, не приведя никакихъ доказательствъ, вѣроятно думая, что ему стоитъ только сказать то или другое, чтобы ему всѣ повѣрили безусловно. Правда, онъ распространился о «Деревнѣ», но изъ его диктаторскихъ возгласовъ противъ этой повѣсти видно только то, что ему не нравится ея направленіе, а не то, чтобы оно дѣйствительно было дурно. Нѣтъ, если онъ хотѣлъ, почему бы то ни было, уничтожить натуральную школу, ему бы слѣдовало, оставивъ въ сторонѣ ея направленіе, ея, какъ онъ вѣжливо выражается, клеветы на общество, разобрать главныя ея произведенія на основаніи эстетической критики, чтобы показать, какъ мало или какъ вообще не соответствуютъ они основнымъ требованіямъ искусства. Тогда уже и ихъ направленіе само собой уничтожилось бы, потому что когда произведение, претендующее принадлежать къ области искусства, не выполняетъ его требованій, тогда оно ложно, мертво, скучно, и не спасетъ его никакое направленіе. Искусство можетъ быть органомъ извѣстныхъ идей и направленій, но только тогда, когда оно — прежде всего искусство. Иначе его произведенія будутъ мертвыми аллегоріями, холодными диссертациями, а не живымъ воспроизведеніемъ дѣйствительности. Тѣмъ болѣе обязанъ былъ сдѣлать это нашъ критикъ, что онъ особенно заботится о чистомъ искусствѣ, объ искусствѣ, какъ искусство. Но онъ предпочелъ упомянуть, и то вскользь, о трехъ только произведеніяхъ натуральной школы, а обо всѣхъ другихъ умалчиваетъ и, кромѣ Григоровича, не называлъ по имени ни одного изъ ея представителей.

На все на это у него были свои причины. Онъ вѣроятно чувствовалъ, что, пустившись въ настоящую критику произведеній натуральной школы, онъ принужденъ былъ бы найти въ ней что-нибудь и хорошее, что было вовсе несообразно съ его намѣреніемъ; потому онъ не могъ бы избѣжать выписокъ, а онѣ могли бы доказывать совершенно противное его доказательствамъ. Называя по именамъ писателей натуральной школы, онъ этимъ показывалъ бы, что не шутитъ своимъ дѣломъ и не сморитъ на отношенія, въ которыя могла бы его поставить его откровенность ко столькимъ лицамъ. Гораздо спокойнѣе было ему назвать только одного, да намекнуть еще на двухъ: остальные не вправѣ считать себя въ числѣ подпавшихъ его нападкамъ: при случаѣ можно сказать имъ, что онъ не относитъ ихъ къ натуральной школѣ. Но подобныя недоговорки и уклончивость никогда не разъясняютъ дѣла, а только усиливаютъ и усложняютъ недоразумѣнія, и потому мы просимъ нашего критика отвѣтить намъ прямо и откровенно: неужели онъ и въ самомъ дѣлѣ не видитъ никакого таланта, не признаетъ никакой заслуги въ такихъ писателяхъ, каковы напримѣръ: Луганскій (Даль), авторъ «Тарантаса», авторъ повѣсти «Кто виноватъ?», авторъ «Бѣдныхъ Людей», авторъ «Обыкновенной Исторіи», авторъ «Записокъ Охотника», авторъ «Послѣдняго Визита», о которыхъ онъ не почелъ за нужное упомянуть? Потому; неужели онъ и въ самомъ дѣлѣ ни во что ставитъ успѣхъ произведеній натуральной школы или думаетъ увѣрить насъ, что онъ его не видитъ и не признаетъ? Какіе журналы пользуются наибольшимъ успѣхомъ, если не тѣ, въ которыхъ помѣщаются произведенія натуральной школы, и которыхъ направленіе совпадаетъ съ направленіемъ этой школы? Скажемъ больше: безъ этихъ произведеній натуральной школы теперь невозможенъ успѣхъ никакого журнала. Или критикъ нашъ не шутя считаетъ русскую публику до сихъ поръ несовершеннолѣтней, какимъ-то недорослемъ, который шагу не можетъ сдѣлать безъ критическихъ нянекъ, и потому поневолѣ допускаетъ ихъ сбивать его съ толку, направляя то въ ту, то въ другую сторону? Это дѣйствительно было въ эпоху условной вѣры въ имена и авторитеты; но этого давно уже нѣтъ. Критика, слава Богу, давно уже изъ журналовъ перешла въ публику, сдѣлалась общественнымъ мнѣніемъ. Судьба книгъ или какого-нибудь литературнаго произведенія уже давно не зависитъ отъ произвола всякаго, кто только вздумаетъ ее поднять или уронить. Ми-

нополій критическихъ теперь нѣтъ, потому что у всякаго журнала свое мнѣніе, и что хвалить одинъ, то бранить другой. Но обратимся къ фактамъ. Пушкинъ былъ встрѣченъ и восторженными похвалами, и ожесточенной бранью: неужели же наша публика признала его великимъ національнымъ поэтомъ только потому, что его хвалители перекричали его порицателей? Нужно ли говорить, что съ перваго появленія Гоголя на литературное поприще до сей минуты его постоянно преслѣдуетъ одна литературная партія, что самыя рѣшительныя нападки на него раздавались изъ журнала, имѣвшаго обширный кругъ читателей, и доселѣ раздаются изъ газеты, тоже пользующейся большимъ расходомъ? Неужели же опять необыкновенный и быстрый успѣхъ сочиненій Гоголя произошелъ оттого, что, какъ увѣряетъ одна газета, его хвалители кричали громче всѣхъ? Лермонтовъ дѣйствовалъ на литературномъ поприщѣ какихъ-нибудь четыре года и умеръ прежде, нежели талантъ его успѣлъ вполне развернуться, а между тѣмъ во мнѣніи публики онъ еще при жизни своей сталъ въ ряду первоклассныхъ знаменитостей русской литературы: неужели и это опять дѣло литературной партіи? А публика тутъ что же? Какая, подумаешь, сговорчивая публика! Но почему же наши противники съ обѣихъ сторонъ не могли увѣрить ее ни въ ничтожности прославляемыхъ нами литературныхъ именъ, ни въ великости талантовъ и заслугъ писателей своихъ партій? Вѣдь если дѣло пойдетъ на громкость голоса, рѣзкость выраженій и рѣшительность приговоровъ, наши противники едва-ли уступятъ намъ въ этомъ, но вѣроятно еще и далеко превзойдутъ насъ... Но риторическая школа, нападая на натуральную, по крайней мѣрѣ противопоставляетъ, хотя и безъ успѣха, ея писателямъ и произведениямъ своихъ писателей и свои произведения, но господа славянофилы не могутъ сдѣлать и этого. А между тѣмъ самымъ простымъ, законнымъ, справедливымъ и дѣйствительнымъ средствомъ уничтожить натуральную школу и дать настоящее направленіе вкусу публики было бы для нихъ—противопоставить ея писателямъ своихъ писателей, ея произведениямъ—свои произведения... Что же мѣшаетъ имъ сдѣлать это? Они впрочемъ это и дѣлаютъ время отъ времени, понемножку и помаленьку: то напечатываютъ повѣсть, которой никто, кромѣ ихъ, читать не можетъ и не хочетъ, то стихотвореніе вродѣ «свѣтикалуны», въ народномъ тонѣ котораго виденъ баринъ, неловко костюмировавшійся крестьяниномъ... Бѣдныя!...

Но мы еще не упомянули о самой главной, самой тяжелой винѣ, которая, по мнѣнію критика «Москвитянина», лежитъ на натуральной школѣ. Дѣло—видите-ли—въ томъ, что «она не обнаружила никакого сочувствія къ народу и такъ же легкомысленно клеветаетъ на него, какъ и на общество»!... Вотъ ужъ этого-то обвиненія мы, признаться, не ожидали отъ славянофиловъ, хотя и многого другого ожидали отъ нихъ! Но защищать противъ него натуральную школу мы не намѣрены, по крайней мѣрѣ серьезно, потому что видимъ въ немъ даже не клевету, а просто нелѣпость. Это все равно, какъ еслибы славянофилы обвинять въ исключительной любви къ Западу и ненависти ко всему, что носитъ на себѣ славянский характеръ. Въ этомъ случаѣ мы искренно жалѣемъ о критикѣ «Москвитянина», что онъ не позаботился подкрѣпить ссылки на сочиненія натуральной школы и даже выписками изъ нихъ такое важное, уже не въ литературномъ, а въ нравственномъ отношеніи, обвиненіе, выставяющее въ дурномъ свѣтѣ не талантъ, а сердце его противниковъ, оскорбляющее уже не самолюбіе, а ихъ достоинство... Да, такой со стороны его необдуманный поступокъ возбуждаетъ въ насъ искреннее къ нему сожалѣніе...

Положеніе натуральной школы между двумя непріязненными ей партіями поистинѣ странно: отъ одной она должна защищать Гоголя, и отъ обѣихъ—самое себя; одна нападаетъ на нее за симпатію къ простому народу, другая нападаетъ на нее за отсутствіе къ нему всякаго сочувствія... Оставимъ въ сторонѣ разглагольствованія критика «Москвитянина» о народѣ, который, по его мнѣнію, «сохранилъ въ себѣ какое-то здоровое сознаніе равновѣсія между субъективными требованіями и правами дѣйствительности,—сознаніе, заглушенное въ насъ одностороннимъ развитіемъ личности», и предоставимъ ему самому разгадать таинственный смыслъ его собственныхъ словъ; а сами замѣтимъ только, что враги натуральной школы отличаются между прочимъ удивительною скромностью въ отношеніи къ самимъ себѣ и удивительною готовностью отдавать должную справедливость даже своимъ противникамъ. Недавно одинъ изъ нихъ, Хомяковъ, съ рѣдкой въ нашъ хитрый и осторожный вѣкъ наивностью, объявлялъ печатно, что въ немъ чувство любви къ отечеству «невольное и прирожденное», а у его противниковъ—«приобрѣтенное волей и разсудкомъ, такъ сказать, наживное» («Моск. Сборникъ», 1847). А вотъ теперь М... З... К... объявляетъ, въ пользу себя и своего литературнаго прихода, моно-

полію на симпатію къ простому народу! Откуда взялись у этихъ господъ притязанія на исключительное обладаніе всѣми этими добродѣтелями? Гдѣ, когда, какими книгами, сочиненіями, статьями доказали они, что они больше другихъ знаютъ и любятъ русскій народъ? Все, что дѣлалось литераторами для способствованія развитію первоначальной образованности между народомъ, дѣлалось не ими. Укажемъ на «Сельское Чтеніе», издаваемое княземъ Одоевскимъ и Заблоцкимъ: тамъ есть труды Даля, князя Одоевскаго, графа Соллогуба и другихъ литераторовъ, но ни одного изъ славянофиловъ. Знаемъ, что гг. славянофилы смотрятъ на это изданіе почему-то очень не ласково и не высоко цѣнятъ его; но не будемъ здѣсь спорить съ ними о томъ, хороша или дурна эта книжка: пусть она и дурна, да дѣло въ томъ, что литературная партія, на которую они такъ нападаютъ, сдѣлала что могла для народа и тѣмъ показала свое желаніе быть ему полезной; а они, славянофилы, ничего не сдѣлали для него. И почему думаетъ критикъ «Москвитянина», что писатели натуральной школы не знаютъ народа? Сошлемся въ особенности на того же Даля, о которомъ мы уже упоминали: изъ его сочиненій видно, что онъ на Руси человѣкъ бывалый; воспоминанія и рассказы его относятся и къ западу и къ востоку, и къ сѣверу и къ югу, и къ границамъ и къ центру Россіи; изъ всѣхъ нашихъ писателей, не исключая и Гоголя, онъ особенное вниманіе обращаетъ на простой народъ, и видно, что онъ долго и съ участіемъ изучалъ его, знаетъ его быть до малѣйшихъ подробностей, знаетъ, чѣмъ владимірскій крестьянинъ отличается отъ тверскаго и въ отношеніи къ отбѣнкамъ нравовъ, и въ отношеніи къ способамъ жизни и промысламъ. Читая его ловкіе, рѣзкіе, теплые типическіе очерки русскаго простонародья, многому отъ души смѣешься, о многомъ отъ души жалѣешь, но всегда любишь въ нихъ простой нашъ народъ, потому что всегда получаешь о немъ самое выгодное для него понятіе. И публика послѣ этого повѣритъ какому нибудь М... З... К..., въ продолженіе двухъ почти лѣтъ прогарцовавшему въ литературѣ двумя статьями, что такой писатель, какъ Даль, меньше его знаетъ и любитъ русскій народъ, и что онъ выставляетъ его въ карикатурѣ?... Не думаемъ! Нападая на Григоровича за злостное, будто бы, представленіе крестьянскихъ нравовъ въ его повѣсти «Деревня», критикъ «Москвитянина» не забылъ замѣтить, что лицо Акулины очерчено риторически и лишено естественности; а что въ самой неудавшейся по-

пыткѣ автора повѣсти показать глубокую натуру въ загнанномъ лицѣ его героини видна его симпатія и любовь къ простому народу,—объ этомъ онъ забылъ упомянуть, вѣроятно по избытку безпристрастія и справедливости...

Приступая къ статьѣ Бѣлинскаго, критикъ «Москвитянина» почелъ нужнымъ отрекомендовать его публикѣ не только со стороны его литературной дѣятельности, но и со стороны характера. «Бѣлинскій (говоритъ онъ) составляетъ совершенную противоположность Никитенко. Онъ почти никогда не является самимъ собою и рѣдко пишетъ по свободному внушенію. Вовсе не чуждый эстетическаго чувства (чему доказательствомъ служатъ особенно прежнія статьи его), онъ какъ будто пренебрегаетъ имъ и, обладая собственнымъ капиталомъ, постоянно живетъ въ долгъ. Съ тѣхъ поръ какъ онъ явился на поприщѣ критики, онъ былъ всегда подъ влияніемъ чужой мысли. Несчастливая восприимчивость, способность понимать легко и поверхностно, отрекаться скоро и рѣшительно отъ вчерашняго образа мыслей, увлекаться новизной и доводить ее до крайностей, держала его въ какой-то постоянной тревогѣ, которая обратилась наконецъ въ нормальное состояніе и помѣшала развитію его способностей». Не знаемъ, изъ какого источника почерпнулъ критикъ «Москвитянина» эти любопытныя свѣдѣнія о Бѣлинскомъ, но только не изъ его сочиненій; всего вѣроятнѣе, что изъ сплетенъ, развозимыхъ завѣжными посѣтителеми, о которыхъ онъ упоминаетъ въ началѣ своей статьи. Оттого и сужденіе его о Бѣлинскомъ не имѣетъ ничего общаго съ литературнымъ отзывомъ. Еслибы онъ обратился къ настоящему источнику, т. е. къ статьямъ Бѣлинскаго, то едва ли бы нашелъ тамъ подтвержденіе тому, что говоритъ онъ о немъ. Повѣритъ ему, такъ во всей литературной дѣятельности Бѣлинскаго нѣтъ никакого единства, что сегодня онъ говоритъ одно, завтра—другое! Это едва-ли справедливо. По крайней мѣрѣ Бѣлинскому не разъ случалось читать на себя нападки своихъ противниковъ за излишнее постоянство въ главныхъ пунктахъ его убѣжденій касательно многихъ предметовъ. Вотъ ужъ сколько напримѣръ времени, какъ онъ говоритъ о славянофилахъ одно и то же, и можетъ положительно ручаться за себя, что никогда не измѣнится въ этомъ отношеніи. Онъ глубоко убѣжденъ, что критикъ «Москвитянина»—человѣкъ вполне самостоятельный и родился уже готовымъ славянофиломъ, а не сдѣлался имъ вслѣдствіе несчастной восприимчивости и таковой же

способности понимать легко и поверхностно, и что ничто не помѣшало развитію его способностей, съ такимъ блескомъ обнаруженныхъ имъ при защитѣ славянофильства. Да, Бѣлинскій охотно уступаетъ ему и самообытность, и глубину пониманія, особенно предметовъ, недоступныхъ разумѣнію другихъ; напр. того, что Гоголь сдѣлался живописцемъ пошлости вслѣдствіе личной потребности внутренняго очищенія; словомъ, Бѣлинскій охотно уступаетъ своему противнику все, что онъ у него отнялъ; но, къ величайшему своему прискорбію, взаимно этого, никакъ не можетъ признать въ немъ того, что онъ такъ великодушно, хотя и вовсе непослѣдовательно, призналъ въ немъ, т. е. эстетическаго чувства. Бѣлинскій признаетъ вполне оригинальность, глубину и силу мистическаго воззрѣнія въ сужденіи критика «Москвитянина» о Гоголѣ; но никакъ не можетъ сказать того же о его эстетическомъ воззрѣніи на Гоголя и на натуральную школу. Бѣлинскому странно только, что его противникъ могъ найти въ немъ эстетическое чувство, когда вслѣдъ затѣмъ же онъ говоритъ, что онъ, Бѣлинскій, былъ всегда подлѣ чужой мыслию, съ тѣхъ поръ какъ явился на поприщѣ критики. Да зачѣмъ же эстетическое чувство тому, кто опредѣляетъ достоинство изящныхъ произведеній съ чужого голоса, кто чужой мысли не умѣетъ провести черезъ себя самого и претворить ее въ свою собственную? И какъ въ критикахъ такого человѣка замѣтить эстетическое чувство? Далѣе критикъ «Москвитянина» обвиняетъ Бѣлинскаго въ отсутствіи терпимости, справедливо приписывая это его привычкѣ мыслить чужимъ образомъ мыслей. Бѣлинскій съ своей стороны видитъ несомнѣнное доказательство мыслительной самообытности М.... З.... К.... въ его терпимости, которую такъ умиленно обнаружилъ онъ при сужденіи о натуральной школѣ и о своихъ противникахъ, Кавелинѣ и Бѣлинскомъ. Что же касается до того, что М.... З.... К.... осудилъ Бѣлинскаго на вѣчную неравноту способностей,—Бѣлинскій нисколько не удивляется благородной умѣренности и изящной вѣжливости такого о немъ отзыва: ему уже не въ первый разъ встрѣчать подобныя противъ себя выходки въ «Москвитянинѣ». Чего тамъ не писали о немъ? И что онъ ни чему не учился, ни о чемъ не имѣетъ понятія, не знаетъ ни одного иностраннаго языка, и т. п. Въ началѣ прошлаго года Бѣлинскій собирался издать огромный литературный сборникъ; объ этомъ намѣреніи слегка было намекнуто въ числѣ другихъ литературныхъ слуховъ въ «Отечественныхъ Запискахъ». И что

же? — въ «Москвитянинѣ» вслѣдъ затѣмъ было напечатано, что въ Петербургѣ издается огромный альманахъ съ картинками, съ цыганскими хорами и плясками и т. п. Тутъ впрочемъ нечему удивляться: въ подобныхъ выходахъ славянофилы не болѣе, какъ вѣрны началу своего ученія, т. е. слѣдуютъ тѣмъ неспорченнымъ вліяніемъ лукаваго Запада нравамъ, которыми они такъ удивляются, и которые къ ихъ сожалѣнію давно уже исчезли на Русѣ, но которые при ихъ помощи, будемъ надѣяться, еще воротятся къ намъ... Но пока Бѣлинскій не видитъ никакой нужды горячо спорить за себя съ такими противниками, или прибѣгать въ спорѣ къ ихъ средствамъ. Да и къ чему? Публика и сама съумѣетъ увидѣть разницу между человѣкомъ, у котораго литературная дѣятельность была призваніемъ, страстью, который никогда не отдѣлялъ своего убѣжденія отъ своихъ интересовъ, который, руководствуясь врожденнымъ инстинктомъ истины, имѣлъ больше вліянія на общественное мнѣніе, чѣмъ многіе изъ его дѣйствительно ученыхъ противниковъ,—и между какимъ-нибудь баричкомъ, который изучалъ народъ черезъ своего камердинера и думаетъ, что любить его больше другихъ, потому что сочинилъ или принялъ на вѣру готовую о немъ мистическую теорію, который между служебными и свѣтскими обязанностями занимается также и литературой, въ качествѣ дилеттанта, и изъ году въ годъ высматриваетъ по статейкѣ, имѣя вдоволь времени показаться въ ней умнымъ, ученымъ и, пожалуй, талантливымъ... Въ наше время талантъ самъ по себѣ не рѣдкость; но онъ всегда былъ и будетъ рѣдкостью въ соединеніи съ страстнымъ убѣжденіемъ, съ страстной дѣятельностью, потому что только тогда можетъ онъ быть дѣйствительно полезенъ обществу. Что касается до вопроса, сообразна ли съ способностью страстнаго, глубокаго убѣжденія способность измѣнять его, онъ давно рѣшенъ для всѣхъ тѣхъ, кто любитъ истину больше себя и всегда готовъ пожертвовать ей своимъ самолюбіемъ, откровенно признавая, что онъ, какъ и другіе, можетъ ошибаться и заблуждаться. Для того же, чтобъ вѣрно судить, легко ли отдѣлялся такой человѣкъ отъ убѣжденій, которыя уже не удовлетворяли его, и переходилъ къ новымъ, или это всегда бывало для него болѣзненнымъ процессомъ, стоило ему горькихъ разочарованій, тяжелыхъ сомнѣній, мучительной тоски,—для того, чтобы судить объ этомъ, прежде всего надо быть увѣреннымъ въ своемъ безпристрастіи и добросовѣстности...

Говоря выше о Гоголѣ и натуральной

школѣ, мы отвѣтили на большую часть возраженій критика «Москвитянина» на статью Бѣлинскаго, особенно виноватаго въ его глазахъ за хорошее мнѣніе о натуральной школѣ. Это-то критикъ нашъ и называетъ «односторонностью и тѣснотой образа мыслей», составляющихъ второй пунктъ его обвинительнаго противъ «Современника» акта. Въ сущности эта односторонность и тѣснота образа мыслей есть самобытный, независимый отъ славянофильства взглядъ на литературу. Третье и послѣднее обвиненіе противъ насъ въ статьѣ «Москвитянина» состоитъ въ искаженіи нами образа мыслей гг. славянофиловъ. Можетъ-быть мы и дѣйствительно не совсѣмъ вѣрно излагали ихъ образъ мыслей и приписывали имъ иногда такіа мнѣнія, которые имъ не принадлежатъ, и умалчивали о такихъ, которые составляютъ основу ихъ ученія. Но кто же въ этомъ виноватъ? Конечно не мы, а сами гг. славянофилы. До сихъ поръ ни одинъ изъ нихъ не потрудился изложить основныхъ началъ славянофильскаго ученія, показать, чѣмъ оно разнится отъ извѣстныхъ воззрѣній. Въмѣсто этого у нихъ одни

Намеки тонкіе на то,
Чего не вѣдаетъ никто.

Доселѣ ихъ образъ мыслей проглядываетъ только въ симпатіяхъ и антипатіяхъ къ тѣмъ или другимъ литературнымъ произведеніямъ и лицамъ. Кромѣ того они безпрестанно противорѣчатъ самимъ себѣ; такъ что можно подумать, что у нихъ столько же мнѣній, сколько и лицъ. Можно указать на выходы, разбросанныя тамъ и сямъ, противъ европеизма, цивилизаціи, необходимости образованія и грамотности для простого народа, противъ реформы Петра Великаго, современныхъ нравовъ, какіе то темныя намеки, что русскому обществу надо воротиться назадъ и снова начать свое самобытное развитіе съ той эпохи, на которой оно было прервано, надо сблизиться съ народомъ, который, будто бы, сохранилъ въ чистотѣ древніе славянскіе нравы и нисколько не измѣнился въ продолженіе вѣковъ. Все это можетъ-быть и заслуживаетъ по крайней мѣрѣ быть выслушаннымъ; но для этого сперва должно быть высказаннымъ. Вѣлинскій въ статьѣ своей въ первой книжкѣ «Современника» сказалъ, что явленіе славянофильства есть фактъ, замѣчательный до извѣстной степени, какъ протестъ противъ безусловной подражательности и какъ свѣдѣтельство потребности русскаго общества въ самостоятельномъ развитіи. Въ подобномъ отзывѣ не могло быть ничего оскорбительнаго для славянофиловъ. Напротивъ, онъ давалъ имъ удобный случай объяснить-

ся съ своими противниками, изложивъ имъ свое ученіе и показавъ имъ, въ чемъ и гдѣ именно они понимаютъ его невѣрно. Но славянофилы поступили иначе. Какъ люди, не привыкшіе къ благосклоннымъ о себѣ отзывамъ со стороны не принадлежащихъ къ нимъ литературныхъ партій, они до того обрадовались отзыву Бѣлинскаго, что начали смотрѣть на всѣхъ своихъ противниковъ, какъ на разбитое въ прахъ войско, а на себя—какъ на великихъ побѣдителей. Вотъ что называется—не давши сраженія, торжествовать побѣду! Въмѣсто того чтобы объяснить свой образъ мыслей, они съ ожесточеніемъ начали нападать на чужія мнѣнія.

Скажите, легко-ли послѣ этого судить вѣрно о такомъ образѣ мыслей?

Давно уже замѣчена за славянофилами замашка—основывать важность своего ученія на такихъ фактахъ, которые или вовсе не существуютъ, или доказываютъ совсѣмъ противное. Мы сейчасъ представимъ доказательство этого изъ статьи М.... З... К..., гдѣ между прочимъ выдается за несомнѣнную истину, будто бы «на краснорѣчивый голосъ Мицкевича взоры многихъ, въ томъ числѣ и Жоржъ Занда, обратились къ славянскому міру, который понять ими какъ міръ общины, и обратились не съ однимъ любопытствомъ, а съ какимъ то участіемъ и ожиданіемъ». Эта оригинальная выходка снабжена выноской, въ которой говорится объ извѣстномъ сочиненіи Жоржъ Занда—«Жишка» или «Зипка». Все это, по мнѣнію критика «Москвитянина», значитъ ни больше, ни меньше, какъ то, что Европа ужасно какъ занята такъ-называемымъ славянскимъ вопросомъ; а по нашему мнѣнію, все это ровно ничего не значить. Если Зандъ избрала предметъ своего сочиненія гусситскую войну, это могло произойти безъ всякаго отношенія къ важности или неважности славянскаго вопроса, а, напротивъ, именно оттого, что гусситская война—событіе чисто европейское, западное, католическое; славянскаго тутъ только національное происхожденіе дѣйствователей, да безплодный для нихъ исходъ георической впрочемъ борьбы. Когда дѣло реформы взяло на себя германское племя, реформа восторжествовала надъ католицизмомъ. Что касается до Мицкевича, его дѣйствительно краснорѣчивый, хотя и сумасбродный, голосъ точно обращенъ къ себѣ на нѣкоторое время вниманіе парижанъ, жадныхъ до новостей; но къ славянскому вопросу все-таки не возбуждалъ никакого участія. Извѣстно, что французское правительство принуждено было запретить Мицкевичу публичныя чтенія, но не

за ихъ направлѣніе, нисколько не опасное для него, а чтобы прекратить сцены, несогласныя съ общественнымъ приличіемъ. Надо сказать, что въ Парижѣ есть нѣкто Товьянскій, выдающій себя за пророка и чудотворца, который призванъ, когда настанетъ время, устроить къ лучшему дѣла сего міра. Мицкевичъ увѣровалъ въ этого шарлатана, — что доказываетъ, что у него натура страстная и увлекающаяся, воображеніе пылкое и наклонное къ мистицизму, но голова слабая. Отсюда ученіе его носитъ названіе мессіанизма или товьянизма, и ему слѣдуютъ нѣсколько десятковъ чело­вѣкъ изъ поляковъ. Когда разъ на лекціи Мицкевичъ въ фанатическомъ вдохновеніи спрашивалъ своихъ слушателей, вѣрятъ ли они новому мессіи, какая-то восторженная женщина бросилась къ его ногамъ, рыдая и восклицая: «вѣрю, учитель!» Вотъ случай, по которому прекращены лекціи Мицкевича, и о нихъ теперь вовсе забыли въ Парижѣ. Вообще въ Европѣ мало заботятся о чужихъ вопросахъ и чужихъ дѣлахъ, потому что у всѣхъ много своихъ и всѣ заняты ими. Это особенно относится къ французамъ; для нихъ всѣ другія страны существуютъ только по отношенію къ Франціи. Можетъ-быть поэтому въ ихъ журналахъ можно находить болѣе или менѣе вѣрныя извѣстія только объ Англіи, Испаніи и Италіи: онѣ къ нимъ ближе и больше связаны съ ними политически. Говорятъ въ Парижѣ и о Россіи, но отнюдь не потому, что это славянская земля, а потому, что это великое и могущественное государство съ огромнымъ вліяніемъ въ сферѣ европейской политики.

И вотъ на какихъ фактахъ славянофилы основываютъ важность своего ученія! Но вотъ еще примѣръ, какъ трудно, какъ невозможно понимать ихъ. Кавелинъ сказалъ, что на новгородскомъ вѣтчѣ «дѣла рѣшались не по большинству голосовъ, не единогласно, а какъ-то неопредѣленно, сообща». Эти слова объясняются цѣлымъ взглядомъ Кавелина на новгородскую общину, какъ чуждую всякаго прочнаго основанія и потому неспособную развиться ни въ какую государственную форму. М.... З.... К.... возражаетъ на это, что въ Новгородѣ было двоевластіе, и что идеалъ новгородскаго быта можно опредѣлить, какъ согласіе князя съ вѣчемъ. Этими онъ хочетъ указать на особенности славянскаго общиннаго начала, составляющаго краеугольный камень славянофильства. Но изъ его словъ видно, что особеннаго и оригинальнаго въ этомъ бытѣ ничего не было, что онъ отзывается карикатурой на нынѣшнія конституціонныя

монархіи, основа которыхъ — двоевластіе, а идеалъ — согласіе короля съ палатой. Критикъ «Москвитянина» прибавляетъ, что рѣдкія минуты этого согласія князя съ вѣчемъ представляютъ апогей новгородскаго быта, но признается, что оно осуществлялось только иногда, и то не на долго. Что жъ тутъ было особенно любовнаго, согласнаго, общиннаго, по любимому выраженію славянофиловъ? Въ возраженіе на слова Кавелина критикъ «Москвитянина» замѣчаетъ, что «способъ рѣшенія по большинству запечатлѣваетъ распаденіе общества на большинство и меньшинство и разложеніе общиннаго начала; вѣче, выраженіе его (общиннаго начала), нужно именно для того, чтобы примирить противоположности, цѣль его — вынести и спасти единство; отъ этого вѣче обыкновенно оканчивается въ лѣтописяхъ формулой: «сидюшася вси въ любовь». Скажите, Бога ради, есть ли, можетъ ли быть въ какомъ бы то ни было совѣщательномъ правленіи другой способъ рѣшенія вопросовъ, кромѣ какъ по большинству голосовъ? Утверждать это — значитъ смѣяться надъ здравымъ смысломъ. Что на новгородскомъ вѣтчѣ случалось бывать единодушному рѣшенію вопросовъ, безъ всякаго противорѣчащаго меньшинства — это не диво; это случается, даже не рѣдко, и въ представительныхъ камерахъ конституціонныхъ государствъ нашего времени; тѣмъ чаще это могло случаться въ массѣ народа, вездѣ наклоннаго къ мгновенному единодушному умеченію и порыву, какъ въ добрѣ, такъ и въ злѣ. Также часто могло случаться, что меньшинство являлось слишкомъ ничтожнымъ, чтобы спорить съ большинствомъ, и часто соглашалось съ нимъ не по убѣжденію, а изъ опасенія хлебнуть волховской водицы. Извѣстно, что въ случаѣ раздѣленія мѣнѣй на половины равныя или почти равныя бывали драки и побоища, доставлявшія Волхону обильную добычу; которая сторона побѣждала, та и рѣшала вопросъ. И потому его рѣшеніе все-таки всегда зависѣло отъ большинства или по крайней мѣрѣ отъ перевѣса физической силы. Но Кавелинъ былъ правъ, сказавши, что дѣла рѣшались на вѣтчѣ не по большинству голосовъ: онъ хотѣлъ этимъ указать на отсутствіе баллотировки или другой какой-нибудь постоянной, неизмѣнной, кореннымъ закономъ опредѣленной формы для обнаруженія большинства, а потому и прибавилъ: «а какъ то совершенно неопредѣленно, сообща», т.-е. безтолково и нелѣпо, какъ прилично общинѣ чисто патріархальной, совершенно чуждой юридическаго элемента. И такія общины были совсѣмъ не у однихъ славянскихъ племенъ, какъ увѣ-

ряютъ славянофилы, а были и у всѣхъ племенъ и народовъ въ патріархальномъ состояніи, даже и у дикарей, да только нигдѣ онѣ не развились, во многихъ мѣстахъ не удержались. И у кельтическихъ племенъ были эти общины, ибо они управлялись собраниями народа и совѣтами старцевъ, жрецовъ и т. д.; но только германскіе народы развили общинное начало, потому что внесли въ него юридическое начало, какъ главное и преобладающее.

А между тѣмъ общинный бытъ славянскихъ племенъ—красугольный камень славянофильства; по крайней мѣрѣ онъ не сходитъ у нихъ съ языка, и ему назначили они свидѣтельствовать въ пользу любви, какъ общественной стихіи, отличающей славянскія племена отъ всѣхъ другихъ. Но не значитъ ли это—основывать свое ученіе именно на тѣхъ фактахъ, которые особенно противорѣчатъ ему? Какъ же вы хотите, чтобы такое ученіе понимали, и чтобы, говоря о немъ, не впадали въ противорѣчія? И потому Бѣлинскій охотно признаетъ, что онъ изложилъ основанія славянофильства невѣрно и противорѣчиво, и не будетъ защищаться отъ возраженій своего противника по этому вопросу, тѣмъ болѣе, что эти возраженія не подвинули его, Бѣлинскаго, ни на шагъ впередъ по части пониманія славянофильства, а, напротивъ, повергли его еще въ большее прежняго недоразумѣніе насчетъ этого таинственнаго ученія. Онъ не станетъ спорить съ славянофилами даже и въ такомъ случаѣ, если они скажутъ ему, что онъ ошибся и впагъ въ противорѣчіе, назвавъ славянофильство заслуживающимъ вниманіе и имѣющимъ какой-нибудь смыслъ явленіемъ, но охотно согласится съ ними въ этомъ, по личной потребности внутренняго очищенія... Да и какъ спорить съ славянофилами о чемъ бы то ни было, возражать имъ противъ чего бы то ни было или защищаться противъ нихъ въ чемъ бы то ни было, когда они, какъ кажется, окончательно порѣшили, что ихъ ученіе несомнѣнно самой несомнѣнной книги восточныхъ народовъ, что все несогласное съ нимъ есть оскорбленіе истины и нравственнаго чувства? Просимъ нашихъ читателей вспомнить, что наговорилъ критикъ «Москвитянина» на натуральную школу; напелъ ли онъ въ ней хоть что-нибудь хорошее, что находятъ въ ней иногда, хотя и не искренно, а ради приличія, даже риторическіе враги ея? Еще разъ: какъ спорить съ людьми, которымъ, во что бы ни стало, нужно оправдать свою систему, и которые поэтому не уважаютъ даже фактовъ? Бѣлинскій напримѣръ сказалъ: «Извѣст-

но, что въ глазахъ Карамзина Іоаннъ III былъ выше Петра Великаго, а до Петровская Русь лучше Россіи новой: вотъ источникъ славянофильства». Говоря такъ, онъ имѣлъ въ виду не одну «Исторію» Карамзина, но и рукописный его обзоръ древней и новой исторіи Россіи, извѣстный многимъ. Критикъ «Москвитянина», выписывая изъ VI тома «Исторіи» Карамзина параллель между Іоанномъ III и Петромъ Великимъ, самъ соглашается, что здѣсь дѣйствительно проглядываетъ предпочтеніе въ пользу Іоанна; а потомъ какъ-то выводитъ, что Бѣлинскій взвелъ на Карамзина небывлицу.

Мы отвѣтили критику «Москвитянина» на всѣ три его обвинительные противъ «Современника» пункта. Читатели видѣли, какъ важны и дѣйствительны противорѣчія между статьёй Никитенко и статьёй Бѣлинскаго, равно какъ и помѣщаемыми въ нашемъ журналѣ произведеніями натуральной школы. Что касается до второго пункта, т. е. до односторонности и тѣсноты образъмыслей «Современника»,—ясно, какъ день, что онѣ заключаются въ нашемъ несогласіи съ основаніями славянофильства,—въ томъ, что мы никакъ не можемъ принять за аксіому предположенія, будто европейскій бытъ ложенъ своимъ основаніемъ отрицанія крайностей,—что мы не можемъ отдѣлать Гоголя отъ натуральной школы иначе, какъ только на основаніи неоспоримаго превосходства его таланта, а отнюдь не на томъ темномъ и непонятномъ для насъ основаніи, будто онъ сдѣлался живописцемъ пошлости по личному требованію внутренняго очищенія,—что мы не можемъ ненавидѣть и преслѣдовать натуральную школу, взводя на нее разныя небывлицы и обращая противъ нея то, что составляетъ ея существенное достоинство, т. е. симпатію къ человѣку во всякомъ состояніи и званіи, за то только, что она не поняла личной потребности внутренняго очищенія. Но фанатизмъ послѣдователей какого-нибудь ученія доказываетъ не его истинность, а только его односторонность, исключительность и часто совершенную ложность. А какъ судятъ славянофилы объ изящныхъ произведеніяхъ напримѣръ? Для нихъ тутъ все дѣло въ направленіи: согласно оно съ ихъ направленіемъ, такъ въ произведеніи есть талантъ; не согласно, оно—чистѣйшая бездарность. Вотъ изъ тысячи примѣровъ одинъ. Тургеневъ у «Москвитянина» и у «Московского Сборника» постоянно находился въ разрядѣ бездарныхъ писакъ, особенно за его стихотворный физиологическій очеркъ: «Помѣщикъ». Но вотъ «Московскому Сборнику» показалось почему-то,

что въ своемъ разсказѣ охотника: «Хорь и Калинычъ», Тургеневъ совпалъ съ славянофилами въ понятіи о простомъ народѣ, — и за это Тургеневъ тотчасъ же и торжественно произведенъ «Московскимъ Сборникомъ» изъ бездарностей въ талантъ, а разсказъ его названъ — шутка ли! — превосходнымъ. Да неужели же талантъ писателя прежде всего не въ его натурѣ, не въ его головѣ, а всегда только въ его направленіи? Неужели сочиненіе не можетъ въ одно и то же время отличаться и талантомъ, и ложнымъ направленіемъ? Мы не думаемъ, чтобы славянофилы не знали этого; но они съ умысломъ закрываютъ глаза на эту истину, съ умысломъ держатся этой (говоря словами М.... З.... К....) «клеветы на дѣйствительность, въ смыслѣ преувеличенія темныхъ ея сторонъ, допущенной для поощренія къ совершенствованію», т. е. къ переходу въ славянофильство; но (скажемъ опять словами того же М.... З.... К....) «никто не вправе заподозрѣвать намѣренія; мы вѣримъ, что оно чисто и благородно, но средство не годится, и путь слишкомъ хитеръ», т. е. слишкомъ отзывается дѣтствомъ. Но по крайней мѣрѣ «Московский Сборникъ» обнаружилъ похвальную готовность похвалить хорошее въ писателѣ противной стороны, хотя и по своему объяснилъ это внезапное и неожиданное имъ явленіе хорошаго у писателя, который, по его мнѣнію, до тѣхъ поръ писалъ только дурное. Вотъ его собственныя слова по этому предмету: «Вотъ что значитъ прикоснуться къ землѣ и къ народу: вмѣстѣ дается сила! Пока Тургеневъ толковалъ о своихъ скучныхъ любовяхъ, да разныхъ апатіяхъ, о своемъ эгоизмѣ, все выходило вяло и безталанно; но онъ прикоснулся къ народу, прикоснулся къ нему съ участіемъ и сочувствіемъ, и посмотрите, какъ хорошъ его разсказъ! Талантъ, таившійся въ сочинителѣ (а!), скрывавшійся во

все время, пока онъ силился увѣрить другихъ и себя въ отвлеченныхъ и потому небывалыхъ состояніяхъ души, этотъ талантъ вмѣстѣ обнаружился, и какъ сильно и прекрасно, когда онъ заговорилъ о другомъ. Всѣ отдадутъ ему справедливость: по крайней мѣрѣ мы спѣшимъ сдѣлать это. Дай Богъ Тургеневу продолжать по этой дорогѣ!» Почему же М.... З.... К.... не замѣтили этого: вѣдь разсказъ «Хорь и Калинычъ» напечатанъ въ первой же книжкѣ «Современника», въ которой напечатаны и разбираемыя имъ статьи? Ясно, что или онъ боялся это сдѣлать, чтобы его нападки на натуральную школу въ его же собственныхъ глазахъ не обратились въ совершенную ложь, или что два славянофила не могутъ говорить объ одномъ и томъ же предметѣ, не противорѣча другъ другу.

Какъ же послѣ этого требовать отъ другихъ, чтобы они вѣрно судили о такомъ ученіи, въ которомъ еще не успѣли согласиться сами его послѣдователи? Вотъ когда они сами вникнуть хорошо и основательно въ то, что выдаютъ за начало всякой премудрости, да ясно и опредѣленно изложить свое ученіе, — тогда ихъ будутъ слушать, не станутъ приписывать имъ того, чего они не говорили, и, можетъ быть не соглашаясь съ ними вполне, охотно отдадутъ справедливость тому, что есть хорошаго и справедливаго въ ихъ образѣ мыслей. Но для этого имъ нужно больше говорить о себѣ, чѣмъ о другихъ, больше доказывать свои положенія, чѣмъ опровергать чужія, потомъ выражаться насчетъ своихъ противниковъ повѣжливѣе, съ большимъ достоинствомъ, и вообще не ограничиваться одними общими отвлеченными разсужденіями о любви и смиреніи, но проявлять ихъ въ дѣйствіи. Любовь и смиреніе, бесспорно, прекрасныя добродѣтели на дѣлѣ, но на словахъ они стоятъ не больше всякой другой болтовни.

ВЗГЛЯДЪ НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 1847 ГОДА.

I.

Время и прогрессъ. — Фельетонисты. — Враги прогресса. — Употребленіе иностранныхъ словъ въ русскомъ языкѣ. — Годичныя обзорнія русской литературы въ альманахахъ двадцатыхъ годовъ. — Обзорнія нашего времени. — Натуральная школа. — Ея происхожденіе. — Гоголь. — Нападки на натуральную школу. — Разсмотрѣніе этихъ нападокъ.

Когда долго не бываетъ тѣхъ замѣчательныхъ событій, которыя рѣзко измѣняютъ въ чемъ-нибудь обычное теченіе

дѣла и круто поворачиваютъ его въ другую сторону, всѣ года кажутся похожими одинъ на другой. Новый годъ празднуется какъ условный календарный праздникъ, и людямъ кажется, что вся перемѣна, все новое, принесенное истекшимъ годомъ, состоятъ только въ томъ, что каждый изъ нихъ и еще однимъ годомъ сталъ старѣе —

И хорошъ бабушки твердятъ:
Какъ наши годы-то летать!

А между тѣмъ, какъ оглянется человѣкъ назадъ и пробѣжитъ въ своей памяти нѣсколько такихъ годовъ, то и видитъ, что все стало съ тѣхъ поръ какъ-то не такъ, какъ было прежде. Разумѣется, тутъ всякаго свой календарь, свои лютры, олимпиады, десятилѣтїя, години, эпохи, періоды, опредѣляемые и назначаеваемые событіями его собственной жизни. И потому одинъ говоритъ: «какъ все перемѣнилось въ послѣднія двадцать лѣтъ!». Для другого перемѣна произошла въ десять, для третьяго—въ пять лѣтъ. Въ чемъ заключается она, эта перемѣна, не всякій можетъ опредѣлить, но всякій чувствуетъ, что вотъ съ такого-то времени точно произошла какая-то перемѣна, что и онъ какъ будто не тотъ, да и другіе не тѣ, да не совсѣмъ тотъ порядокъ и ходъ самыхъ обыкновенныхъ дѣлъ на свѣтѣ. И вотъ одни жалуются, что все стало хуже; другіе въ восторгѣ, что все становится лучше. Разумѣется, тутъ зло и добро опредѣляется большей частью личнымъ положеніемъ каждаго, и каждый свою собственную особу ставитъ центромъ событій и все на свѣтѣ относитъ къ ней: ему стало хуже, и онъ думаетъ, что все и для всѣхъ стало хуже, и наоборотъ. Но такъ понимаетъ дѣло большинство, масса; люди, наблюдающіе и мыслящіе въ измѣненіи обычнаго хода житейскихъ дѣлъ видятъ, напротивъ, не одно улучшеніе или пониженіе ихъ собственнаго положенія, но измѣненіе понятій и нравовъ общества, слѣдовательно развитіе общественной жизни. Развитие для нихъ есть ходъ впередъ, слѣдовательно улучшеніе, успѣхъ, прогрессъ.

Фельетонисты, которыхъ у насъ теперь развелось такое множество, и которые, по обязанности своей еженедѣльно разсуждаютъ въ газетахъ о томъ, что въ Петербургѣ погода постоянно дурна, считаютъ себя глубокими мыслителями и глашатаями великихъ истинъ,—фельетонисты наши очень не влюблены въ слово «прогрессъ» и преслѣдуютъ его съ тѣмъ остроуміемъ, котораго неоспоримую и блестящую славу они дѣлаютъ только съ нашими же водевилями. За чѣмъ же слово «прогрессъ» навлекло на себя особенное гоненіе этихъ остроумныхъ господъ? Причинъ многообразныхъ. Одному слово это нелюбопотому, что о немъ не слышно было въ то время, когда онъ былъ молодъ и еще какъ-нибудь змогъ бы понять его. Другому потому, что это слово введено въ употребленіе не имъ, а другими,—людьми, которые не пишутъ ни фельетоновъ, ни водевилей, а между тѣмъ имѣютъ въ литературѣ такое вліяніе, что могутъ вводить въ употребленіе новыя слова. Третьему это слово противно потому, что оно вошло въ употреб-

леніе безъ его вѣдома, спросу и совѣта, тогда какъ онъ убѣжденъ, что безъ его участія ничего важнаго не должно дѣлаться въ литературѣ. Между этими господами много большихъ охотниковъ выдумывать что-нибудь новое, да только это никогда имъ не удается. Они и выдумываютъ, да все не впопадъ, и всѣ ихъ нововведенія отыскиваются чаромутіемъ и возбуждаютъ смѣхъ. Зато, чуть только кто-нибудь скажетъ новую мысль или употребитъ новое слово, имъ все кажется, что вотъ эту-то мысль или это-то слово они и выдумали-бы непременно, еслибы ихъ не упредили и такимъ образомъ не перебили у нихъ случая отличиться нововведеніемъ. Есть между этими господами и такіе, которые еще не пережили эпохи, когда человѣкъ способенъ еще учиться, и, по лѣтамъ своимъ, могли бы понять слово «прогрессъ», такъ не могутъ достичь этого по другимъ «не зависящимъ отъ нихъ обстоятельствамъ». При всемъ нашемъ уваженіи къ господамъ фельетонистамъ и водевилистамъ и къ ихъ доказанному блестящему остроумію, мы не войдемъ съ ними въ споръ, боясь, что бой былъ бы слишкомъ не равенъ, разумѣется—для насъ... Есть еще особенный родъ враговъ «прогресса»; это—люди, которые тѣмъ сильнѣйшую чувствуютъ къ этому слову ненависть, чѣмъ лучше понимаютъ его смыслъ и значеніе. Тутъ уже ненависть собственно не къ слову, а къ идеѣ, которую оно выражаетъ, и на невинномъ словѣ вымѣщается досада на его значеніе. Имъ, этимъ людямъ, хотѣлось бы увѣрить и себя, и другихъ, что застой лучше движенія, старое всегда лучше новаго и жизнь заднимъ числомъ есть настоящая, истинная жизнь, исполненная счастья и нравственности. Они соглашаются, хотя и съ болью въ сердцѣ, что міръ всегда измѣнялся и никогда не стоялъ долго на точкѣ нравственнаго замерзанья; но въ этомъ-то они и видятъ причину всѣхъ золъ на свѣтѣ. Вмѣсто всякаго спора съ этими господами, вмѣсто всякихъ доказательствъ и доводовъ противъ нихъ, мы скажемъ, что это—китайцы... Такое названіе рѣшаетъ вопросъ лучше всякихъ изслѣдованій и разсужденій...

Слово «прогрессъ» естественно должно было встрѣтить особенную неприязнь къ нему со стороны пуристовъ русскаго языка, которые возмущаются всякимъ иностраннымъ словомъ, какъ ересью или расколомъ въ ортодоксію родного языка. Подобный пуризмъ имѣетъ свое законное и дѣльное основаніе; но тѣмъ не менѣе онъ—односторонность, доведенная до послѣдней крайности. Нѣкоторые изъ старыхъ писателей, не любя современной русскаго лите-

ратуры (потому что она далеко их обошла, а они от нея далеко отстали, и такимъ образомъ лишились всякой возможности играть въ ней сколько-нибудь значительную роль), прикрываются пуризмомъ и твердятъ безпрестанно, что въ наше время прекрасный русскій языкъ всячески искажается и уродуется, особенно введеніемъ въ него иностранныхъ словъ. Но кто же не знаетъ, что пуристы говорили то же самое объ эпохѣ Карамзина? Стало быть, наше время терпитъ тутъ совершенную напраслину, и если оно виновато въ томъ, въ чемъ его обвиняютъ, то отнюдь не больше всякаго другого времени, предшествовавшего ему. Еслибы употребленіе въ русскомъ языкѣ иностранныхъ словъ и было зломъ, оно—зло необходимое, корень котораго глубоко лежитъ въ реформѣ Петра Великаго, познакоившей насъ со множествомъ до того совершенно чуждыхъ намъ понятій, для выраженія которыхъ у насъ не было словъ. Поэтому необходимо было чужія понятія и выражать чужими готовыми словами. Нѣкоторыя изъ этихъ словъ такъ и остались непереведенными и незамѣненными, и потому получили право гражданства въ русскомъ словарѣ. Всѣ къ нимъ привыкли, всѣ ихъ понимаютъ: за что же гнать ихъ? Конечно простолюдинъ не пойметъ словъ «инстинктъ», «эгоизмъ», но не потому не пойметъ словъ, что они иностранныя, а потому, что его уму чужды выражаемые ими понятія, и слова «побудка», «ячество» не будутъ для него нисколько яснѣе «инстинкта» и «эгоизма». Простолюдины не понимаютъ чисторусскихъ словъ, которыхъ смыслъ внѣ тѣснаго круга ихъ обычныхъ житейскихъ понятій, наприкладъ: «событіе, современность, возникновеніе» и т. п., и хорошо понимаютъ иностранныя слова, выражающія относящіяся къ ихъ быту или не чуждыя его понятія, наприкладъ: «пачпортъ, билетъ, ассигнація, квитанція» и т. п. Что же касается до людей образованныхъ, то «инстинктъ» для нихъ—воля ваша—яснѣе и понятнѣе «побудки», «эгоизмъ»—«ячества», «факты»—«бытей». Но если одни иностранныя слова удержались и получили въ русскомъ языкѣ право гражданства, зато другія съ теченіемъ времени были удачно замѣнены русскими, большей частью вновь составленными. Такъ Тредьяковскій, говорятъ, ввелъ слово «предметъ», а Карамзинъ—«промышленность». Такихъ русскихъ словъ, удачно замѣнившихъ собою иностранныхъ, множество. И мы первые скажемъ, что употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значитъ оскорблять и здравый смыслъ, и

здравый вкусъ. Такъ наприкладъ, ничего не можетъ быть неяснѣе и диче, какъ употребленіе слова «утрировать» вмѣсто «преувеличивать». Каждая эпоха русской литературы ознаменовывалась наплывомъ иностранныхъ словъ; наша, разумѣется, не избѣгла его. И это еще не скоро кончится: знакомство съ новыми идеями, выработавшимися на чужой намъ почвѣ, всегда будетъ приводить къ намъ и новымъ словамъ. Но чѣмъ дальше, тѣмъ менѣе это будетъ замѣтно, потому что до сихъ поръ мы вдругъ знакомились съ цѣлымъ кругомъ до того чуждыхъ намъ понятій. По мѣрѣ нашихъ успѣховъ въ сближеніи съ Европой запасы чуждыхъ намъ понятій будутъ все болѣе и болѣе истощаться, и новыми для насъ будетъ только то, что ново и для самой Европы. Тогда, естественно, и заимствованія пойдутъ ровнѣе, тише, потому что мы будемъ уже не догонять Европу, а идти съ нею рядомъ, не говоря уже о томъ, что и языкъ русскій съ теченіемъ времени будетъ все болѣе и болѣе вырабатываться, развиваться, становиться гибче и опредѣленнѣе.

Нѣтъ сомнѣнія, что охота пестрить русскую рѣчь иностранными словами безъ нужды, безъ достаточнаго основанія противна здравому смыслу и здравому вкусу; но она вредитъ не русскому языку и не русской литературѣ, а только тѣмъ, кто одержимъ ею. Но противоположная крайность, т. е. неумѣренный пуризмъ, производитъ тѣ же слѣдствія, потому что крайности сходятся. Судьба языка не можетъ зависѣть отъ произвола того или другого лица. У языка есть хранитель надежный и вѣрный; это—его же собственный духъ, гений. Вотъ почему изъ множества вводимыхъ иностранныхъ словъ удерживаются только немногія, а остальные сами собою исчезаютъ. Тому же самому закону подлежатъ и новосоставляемыя русскія слова: одни изъ нихъ удерживаются, другія исчезаютъ. Неудачно придуманное русское слово для выраженія чуждаго понятія не только не лучше, но рѣшительно хуже иностраннаго слова. Говорятъ, для слова «прогрессъ» не нужно и выдумывать новаго слова, потому что оно удовлетворительно выражается словами: «успѣхъ, поступательное движеніе», и т. д. Съ этимъ нельзя согласиться. Прогрессъ относится только къ тому, что развивается само изъ себя. Прогрессомъ можетъ быть и то, въ чемъ вовсе нѣтъ успѣха, приобрѣтенія, даже шагу впередъ; и, напротивъ, прогрессомъ можетъ быть иногда неуспѣхъ, упадокъ, движеніе назадъ. Это именно относится къ историческому развитію. Бываютъ въ жиз-

ни народовъ и челоуѣчества эпохи несчастныя, въ которыя цѣлыя поколѣнія какъ-бы приносятся въ жертву слѣдующимъ поколѣніямъ. Проходить тяжелая година—и изъ зла рождается добро. Слово «прогрессъ» отличается всею опредѣленностью и точностью научнаго термина, и въ послѣднее время оно сдѣлалось ходячимъ словомъ, его употребляютъ всѣ—даже тѣ, которые нападаютъ на его употребленіе. И потому, пока не явится русскаго слова, которое-бы вполне замѣнило его собою, мы будемъ употреблять слово «прогрессъ».

Всякое органическое развитіе совершается черезъ прогрессъ, развивается же органически только то, что имѣетъ свою исторію, а имѣетъ свою исторію только то, въ чемъ каждое явленіе есть необходимый результатъ предыдущаго и имъ объясняется. Если можно представить себѣ литературу, въ которой являются отъ времени до времени сочиненія замѣчательныя, но чуждыя всякой внутренней связи и зависимости, обязанныя своимъ появленіемъ внѣшнимъ вліяніямъ, подражательности, — у такой литературы не можетъ быть исторіи. Ея исторія—каталогъ книгъ. Къ какой литературѣ слово «прогрессъ» неприменимо, и появленіе новаго, почему-нибудь замѣчательнаго произведенія въ ней не есть прогрессъ, потому что это произведеніе не имѣетъ корня въ прошедшемъ и не дастъ плода въ будущемъ. Тутъ время и годы ничего не значатъ: они могутъ идти себѣ, ничего не измѣняя. Не такъ бываетъ въ литературѣ, развивающейся исторически: тутъ каждый годъ что-нибудь да принести за собой, и это что-нибудь есть прогрессъ. Но не каждый годъ можно ясно увидѣть и опредѣлить этотъ прогрессъ; часто онъ оказывается только въ послѣдствіи. Но во всякомъ случаѣ очень полезно въ опредѣленные сроки, напримѣръ по окончаніи каждаго года, обозрѣвать въ цѣломъ ходъ литературы, ея пріобрѣтенія, ея богатства или ея бѣдность. Такія обозрѣнія не бесполезны для настоящаго времени и могутъ служить важнымъ пособіемъ для будущаго историка литературы.

Отчеты о литературной дѣятельности за каждый истекшій годъ начали входить у насъ въ обыкновеніе съ 1823 года. Примѣръ былъ поданъ Марлинскимъ въ знаменитомъ того времени альманахѣ. И съ тѣхъ поръ годовыя обозрѣнія литературы почти не прерывались въ альманахахъ въ продолженіе десяти лѣтъ. Въ журналахъ же они появлялись рѣдко, но въ послѣднее время постоянно печатаются въ одномъ извѣстномъ журналѣ уже лѣтъ семь сряду. Отдѣлъ критики въ «Современникѣ» про-

шлаго года началось обзоромъ русской литературы 1846 года, и каждая первая книжка его на новый годъ всегда будетъ заключать въ себѣ такое обозрѣніе литературной дѣятельности за истекшій годъ.

Подобныя обозрѣнія съ теченіемъ времени дѣлаются истинными лѣтописями литературы, важнымъ пособіемъ для ея историка. Альманачныя обозрѣнія, о которыхъ мы сейчасъ говорили, имѣютъ теперь для насъ весь интересъ старины, несмотря на то, что начались всего 24 года назадъ тому! Такъ быстро идетъ впередъ наша литература! Но какой отдаленной, какой глубокой стариной отзывается «Обозрѣніе русской литературы 1814 года», написанное Гречемъ и помѣщенное въ «Сынѣ Отечества» 1816 года! На нѣсколькихъ жиденькихъ страничкахъ исчислены всѣ ученныя и литературныя пріобрѣтенія и сокровища 1814 года. Годъ этотъ дѣйствительно ознаменованъ былъ появленіемъ нѣсколькихъ замѣчательныхъ серьезныхъ книгъ, какъ напримѣръ: «Собраніе государственныхъ российскихъ грамотъ и договоровъ», обязанное своимъ изданіемъ графу Н. П. Румянцеву; «Исторія медицины въ Россіи» Рихтера и переводъ Дестуниса «Плутарховыхъ Жизнеописаній». Но что за страшная бѣдность по части собственно такъ называемой изящной словесности! Переводъ Делилевой поэмы «Сады» Палицина, описательная поэма князя Шихматова «Сельскій Житель», стихотвореніе Державина «Христосъ», «Ночь на размышленіе» князя Шихматова и «Размышленіе о судьбѣ» князя Долгорукова. Все это поэмы въ дидактическомъ родѣ, который тогда былъ особенно въ ходу, а теперь давно уже признавъ анти-поэтическимъ и забытъ совершенно. Потомъ въ обозрѣніи Греча упоминается объ изданіи басенъ и сказокъ Александра Измайлова и о басняхъ какого-то Агафи, и въ заключеніе замѣчено, что басни Крылова были помѣщаемы въ журналахъ. Вотъ и все! Авторъ обозрѣнія замѣчаетъ, что втеченіе первыхъ пяти лѣтъ XIX столѣтія вышло болѣе сочиненій, нежели прежде того втеченіе десяти лѣтъ, но что, по причинѣ политическихъ обстоятельствъ того времени, съ 1806 до 1814 года, литературное движеніе въ Россіи почти совсѣмъ остановилось. Въ продолженіе второй половины 1812 и первой 1813 годовъ не только не вышло въ свѣтъ, но и не было написано ни одной страницы, которая бы не имѣла предметомъ тогдашнихъ происшествій. «Наконецъ въ 1814 году,—говоритъ авторъ обозрѣнія,—увѣнчавшемъ всѣ напряженія и труды истекшихъ лѣтъ, русская литерату-

ра, посвящая поэзію и краснорѣчіе въ честь и славу великаго монарха своего, обратилась снова на путь мирный, уроченный и огражденный навсегда. Втеченіе этого года вышли многіе сочиненія и переводы, которые останутся незабвенными въ лѣтописяхъ нашей литературы». Это отчасти справедливо, только не въ отношеніи къ произведеніямъ поэзіи... Замѣчательно, что, признавая бѣдность нѣкоторыхъ разрядовъ своего обозрѣнія, авторъ, какъ успѣху русской литературы, радуется тому, что втеченіе 1814 года вышло въ Петербургѣ и Москвѣ только по одному роману (оба переведены съ нѣмецкаго), да двѣ историческія повѣсти! Не думалъ онъ тогда, что романъ и повѣсть скоро станутъ во главѣ всѣхъ родовъ поэзіи, и что самъ онъ напишетъ нѣкогда «Поѣздку въ Германію» и «Черную женщину»! Но вотъ еще характеристическая черта нашей литературы или, лучше сказать, нашей публики,—черта, о которой, къ сожалѣнію, нельзя сказать, чтобы теперь она отзывалась старинной: извѣстнаго путешествія Крузенштерна вокругъ свѣта, изданнаго въ 1809—1813 годахъ, на русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, и путешествія вокругъ свѣта Лисянскаго, изданнаго въ 1812 году, на русскомъ и англійскомъ языкахъ, въ Россіи разошлось — говоритъ авторъ обозрѣнія—едва-ли по двѣсти экземпляровъ каждаго, между тѣмъ какъ въ Германіи вышло три изданія путешествія Крузенштерна, а въ Лондонѣ продана въ двѣ недѣли половина экземпляровъ книги Лисянскаго.

Годишныя обозрѣнія появились въ альманахахъ вслѣдствіе начинавшаго возникать критическаго духа. Приступая къ обозрѣнію литературы извѣстнаго года, критикъ начиналъ иногда очеркомъ всей исторіи русской литературы. Писать эти обозрѣнія тогда было очень легко и очень трудно. Легко потому, что все ограничивалось легкими сужденіями, выражавшими личный вкусъ обозрѣвателя,—трудно, или, лучше сказать, скудно потому, что это была работа дробная, мелкая: надо было перечислить рѣшительно все, что появилось втеченіе обозрѣваемого года отдѣльно изданнымъ, въ журналахъ и альманахахъ, оригинальное и переводное. А что печаталось тогда по части изящной словесности въ журналахъ и альманахахъ? — большей частью крошечные отрывки изъ маленькихъ поэмъ, изъ романовъ, повѣстей, драмъ, и т. п. Большой частью цѣлыхъ сочиненій и не существовало: отрывокъ писался безъ всякаго намѣренія написать цѣлое. О каждой такой бездѣлицѣ надо было упомянуть и сказать свое мнѣніе, потому что тогда,

при началѣ такъ-называемаго романтизма, все было ново, все интересовало собой, все считалось важнымъ событіемъ — и отрывокъ изъ несуществующей поэмы въ двадцать стиховъ считомъ, и элегія, и сотое подражаніе какой-нибудь пьесѣ Ламартина, переводъ романа Вальтеръ-Скотта и переводъ романа какого-нибудь Фанъ-деръ-Фельде.

Въ этомъ отношеніи теперь гораздо лучше писать обозрѣнія. Теперь уже не считается принадлежащимъ къ литературѣ все, что ни выходитъ изъ-подъ типографскихъ станковъ. Теперь многое испытано, ко многому приглядѣлись и привыкли. Конечно переводъ такого романа, какъ «Домби и Сынъ», и теперь замѣчательное явленіе въ литературѣ, и обозрѣватель не вправѣ пропустить его безъ вниманія; но зато переводы романовъ Сю, Дюма и другихъ французскихъ беллетристовъ, появляющіеся теперь дюжинами, уже нельзя считать всегда литературными явленіями. Они пишутся сплеча, ихъ цѣль — выгодный сбытъ, доставляемое ими наслажденіе извѣстному разряду любителей такой литературы относится конечно ко вкусу, но не къ эстетическому, а тому, который у однихъ удовлетворяется сигарами, у другихъ — щелканьемъ орѣшковъ... Публика нашего времени уже не та, что была прежде. Произволъ критики уже не можетъ убить хорошей книги и дать ходъ дурной. Французскіе романы наполняютъ собой наши журналы и издаются особо; въ томъ и другомъ случаѣ они находятъ себѣ множество читателей. Но по этому отнюдь не слѣдуетъ дѣлать рѣзкихъ заключеній о вкусѣ публики. Многіе берутся за романъ Дюма, какъ за сказку, впередъ зная, что это такое; читаютъ его съ тѣмъ, чтобы развлечь себя на время чтенія небывалыми приключеніями, а потомъ и забыть ихъ навсегда. Въ этомъ, разумѣется, нѣтъ ничего дурного. Одни любятъ качаться на качеляхъ, другой бѣдитъ верхомъ, третій плавать, четвертый курить, и многіе вмѣстѣ съ этими любятъ читать вздорныя сказки, хорошо рассказываемыя. Поэтому переводные романы и повѣсти уже не заслоняютъ собой оригинальныхъ; напротивъ, общій вкусъ публики отдаетъ послѣднимъ рѣшительное предпочтеніе, такъ что помѣщать въ журналахъ преимущественно переводные романы и повѣсти заставляетъ журналистовъ только одна крайность, т. е. недостатокъ въ оригинальныхъ произведеніяхъ этого рода. И такое направленіе вкуса публики становится замѣтнѣе и опредѣленнѣе годъ отъ году. Въ отношеніи же къ оригинальнымъ произведеніямъ очарованіе имѣетъ совер-

шенно исчезло; громкое имя конечно и теперь заставитъ каждого вѣяться за новое сочиненіе, но уже никто не придетъ отъ него въ восторгъ, если въ немъ хорошаго одно только имя автора. Сочиненія посредственныя, слабыя проходятъ незамѣтными, умираютъ своей смертію, а не отъ ударовъ критики. Такому положенію литературы, столь различному отъ того, въ какомъ она находилась гдѣ двадцать назадъ тому, должна соответствовать и критика. Отдавая отчетъ въ годичномъ движеніи литературной дѣятельности, теперь нечего обращать вниманіе на количество произведеній или хлопотать объ оцѣнкѣ каждаго явленія изъ опасенія, что безъ указаній критики публика не будетъ знать, что считать ей хорошимъ и что—дурнымъ. Нѣтъ даже нужды останавливаться на каждомъ порядкомъ произведеніи и вдаваться въ подробный разборъ всѣхъ его красотъ и недостатковъ. Подобное вниманіе принадлежитъ теперь по праву только особенно замѣчательнымъ, въ положительномъ или отрицательномъ смыслѣ, произведеніямъ. Главная же задача тутъ—показать преобладающее направленіе, общій характеръ литературы въ данное время, прослѣдить въ ея явленіяхъ оживляющую и движущую ее мысль. Только такимъ образомъ можно если не опредѣлить, то хоть намекнуть, на сколько истекшій годъ подвинулъ впередъ литературу, какой прогрессъ совершила она въ немъ.

Собственно новымъ 1847 годъ ничѣмъ не ознаменовалъ себя въ литературѣ. Явились въ преобразованномъ видѣ нѣкоторыя изъ старыхъ періодическихъ изданій, явился даже одинъ новый листокъ; замѣчательными произведеніями по части изящной словесности прошлый годъ былъ особенно богатъ въ сравненіи съ предшествовавшими годами; явилось нѣсколько новыхъ именъ, новыхъ талантовъ и дѣйствователей по разнымъ частямъ литературы. Но не явилось ни одного изъ тѣхъ ярко-замѣчательныхъ произведеній, которыя своимъ появленіемъ дѣлаютъ эпоху въ исторіи литературы, даютъ ей новое направленіе. Вотъ почему мы говоримъ, что собственно новымъ литература прошлаго года ничѣмъ не ознаменовала себя. Она шла по прежнему пути, котораго нельзя назвать ни новымъ, потому что онъ успѣлъ уже обозначиться, ни старымъ, потому что слишкомъ недавно открылся для литературы,—именно немного раньше того времени, когда въ первый разъ было кѣмъ-то выговорено слово: «натуральная школа». Съ тѣхъ поръ прогрессъ русской литературы въ каждомъ новомъ году состоялъ въ болѣе твердомъ ея шагѣ въ этомъ

направленіи. Прошлый 1847 годъ былъ особенно замѣчательнъ въ этомъ отношеніи въ сравненіи съ предшествовавшими годами, какъ по числу и замѣчательности вѣрныхъ этому направленію произведеній, такъ и болѣе опредѣленностью, сознательностью и силой самаго направленія и болѣе имъ его кредитомъ у публики.

Натуральная школа стоитъ теперь на первомъ планѣ русской литературы. Съ одной стороны, нисколько не преувеличивая дѣла по какимъ-нибудь пристрастнымъ увлеченіямъ, мы можемъ сказать, что публика, т. е. большинство читателей, за нее: это—фактъ, а не предположеніе. Теперь вся литературная дѣятельность сосредоточилась въ журналахъ; а какіе журналы пользуются болѣе известностью, имѣютъ болѣе обширный кругъ читателей и болѣе влияние на мнѣніе публики, какъ не тѣ, въ которыхъ помѣщаются произведенія натуральной школы? Какіе романы и повѣсти читаются публикой съ особеннымъ интересомъ, какъ не тѣ, которые принадлежатъ натуральной школѣ, или, лучше сказать, читаются ли публикой романы и повѣсти, не принадлежащія къ натуральной школѣ? Какая критика пользуется болѣе широкимъ влияніемъ на мнѣніе публики или, лучше сказать, какая критика болѣе сообразна съ мнѣніемъ и вкусомъ публики, какъ не та, которая стоитъ за натуральную школу противъ риторической? Съ другой стороны, о комъ безпрестанно говорятъ, спорятъ, на кого безпрестанно нападаютъ съ ожесточеніемъ, какъ не на натуральную школу? Партія, ничего неимѣющая между собою общаго, въ нападкахъ на натуральную школу дѣйствуютъ согласнo, единодушно, приписываютъ ей мнѣнія, которыхъ она чуждается, намѣренія, которыхъ у ней никогда не было, ложно перетолковываютъ каждое ея слово, каждый ея шагъ, то бранятъ ее съ запальчивостью, забывая иногда приличіе, то жалуются на нее чуть не со слезами! Что общаго между заклятыми врагами Гоголя, представителями побѣжденнаго риторическаго направленія, и между такъ-называемыми славянофилами?—Ничего!—и однакожъ послѣдніе, признавая Гоголя основателемъ натуральной школы, согласнo съ первыми нападаютъ въ томъ-же тонѣ, тѣми-же словами, съ такими-же доказательствами на натуральную школу, и почли за нужное отличиться отъ своихъ новыхъ союзниковъ только логической непослѣдовательностью, вслѣдствіе которой они поставили Гоголю въ заслугу то самое, за что преслѣдуютъ его школу, на томъ основаніи, что онъ писалъ по какой-то «потребности внутренняго очищенія». Къ этому должно прибавить, что школы,

непріязненные натуральной, не въ состояніи представить ни одного сколько-нибудь замѣчательнаго произведенія, которое доказало-бы дѣломъ, что можно писать хорошо, руководствуясь правилами противоположными тѣмъ, которыхъ держится натуральная школа. Всѣ попытки ихъ въ этомъ родѣ послужили къ торжеству натурализма и паденію риторизма. Видя это, нѣкоторые изъ противниковъ натуральной школы пытались противопоставлять ей ея же писателей. Такъ, одна газета думала Бутковымъ уничтожить авторитетъ самого Гоголя...

Все это нисколько не ново въ нашей литературѣ, но было не разъ и всегда будетъ. Карамзинъ первый произвелъ раздѣленіе въ едва возникавшей тогда русской литературѣ. До него всѣ были согласны во всѣхъ литературныхъ вопросахъ, и если бывали разногласія и споры, они выходили не изъ мнѣній и убѣжденій, а изъ мелкихъ и безпокойныхъ самолюбіи Тредьяковскаго и Сумарокова. Но это согласіе доказывало только безжизненность тогдашней такъ-называемой литературы. Карамзинъ первый оживилъ ее, потому что перевелъ ее изъ книги въ жизнь, изъ школы въ общество. Тогда, естественно, явились и партіи, началась война на перьяхъ, раздалась вопли, что Карамзинъ и его школа губятъ русскій языкъ и вредятъ добрымъ русскимъ нравамъ. Въ лицѣ его противниковъ, казалось, вновь возстала русская упорная старина, которая съ такимъ судорожнымъ, и тѣмъ болѣе безплоднымъ, напряженіемъ отстаивала себя отъ реформы Петра Великаго. Но большинство было на сторонѣ права, т. е. таланта и современныхъ нравственныхъ потребностей, вопли противниковъ заглушались хвалебными гимнами поклонниковъ Карамзина. Все группировалось около него, и отъ него все получало свое значеніе и свою значительность, все—даже его противники. Онъ былъ героемъ, Ахилломъ литературы того времени. Но что вся эта тревога въ сравненіи съ бурей, которая поднялась съ появленіемъ Пушкина на литературномъ поприщѣ? Она такъ памятна всѣмъ, что нѣтъ нужды распространяться о ней. Скажемъ только, что противники Пушкина видѣли въ его сочиненіяхъ искаженіе русскаго языка, русской поэзіи, несомнѣнный вредъ не только для эстетическаго вкуса публики, но и — повѣрятъ-ли теперь этому? — для общественной нравственности!!.. Не желая шевелить старыхъ дразни, мы удерживаемся отъ всякихъ указаній, но если у насъ ихъ потребуютъ, мы всегда готовы представить печатныя доказательства. Въ одной критикѣ на «Гра-

фа Нулина» Пушкинъ обвинялся въ непримитивности, доходящемъ до цинизма! Перечитывая эту критику теперь, невольно забываешь, когда и на что она писана: такъ и кажется, что это сейчасъ написанная статья противъ какого-нибудь произведенія теперешней натуральной школы: тотъ же языкъ, тѣ же доводы, та же манера братья за дѣло, какіе и теперь употребляются въ нападкахъ на натуральную школу.

Что же за причина, что противники всякаго движенія впередъ во всѣ эпохи нашей литературы говорили одно и то же и почти одними и тѣми же словами?

Причина этого скрывается тамъ же, гдѣ надо искать и происхожденіе натуральной школы — въ исторіи нашей литературы. Она началась натурализмомъ: первый свѣтскій писатель былъ сатирикъ Кантемиръ. Несмотря на подражаніе латинскимъ сатирикамъ и Буало, онъ умѣлъ остаться оригинальнымъ, потому что былъ вѣренъ натурѣ и писалъ съ нея. Къ несчастью, однообразіе избраннаго имъ рода, грубость и необработанность языка, не свойственный нашей поэзіи силлабическій метръ, не допустили Кантемира быть образцомъ и законодателемъ русской поэзіи. Роль эта была предоставлена Ломоносову. Но какъ Кантемиръ все-таки остается человекомъ съ необыкновеннымъ талантомъ, то его и нельзя выключить изъ русской исторіи литературы, какъ перваго, по времени, ея поэта. Поэтому мы вправѣ сказать, не искажая фактовъ и не дѣлая натяжекъ, что русская поэзія при самомъ началѣ своемъ потекла, если можно такъ выразиться, двумя параллельными другъ другу руслами, которыя, чѣмъ далѣе, тѣмъ чаще сливались въ одинъ потокъ, разбѣгаясь послѣ опять на два, до тѣхъ поръ, пока въ наше время не составили одного цѣлаго. Въ лицѣ Кантемира русская поэзія обнаружила стремленіе къ дѣйствительности, къ жизни, какъ она есть, основала свою силу на вѣрности натурѣ. Въ лицѣ Ломоносова она обнаружила стремленіе къ идеалу, поняла себя, какъ оракула жизни высшей, выпренней, какъ глашатая всего высокаго и великаго. Оба эти направленія были законны и оба вышли не изъ жизни, а изъ теоріи, изъ книги, изъ школы. Но манера, съ какой Кантемиръ взялся за дѣло, утверждаетъ за первымъ направленіемъ преимущество истины и реальности. Въ Державинѣ, какъ талантѣ вышешъ, оба эти направленія часто сливались, и его оды къ «Фелицѣ», «Вельможѣ», «На Счастье» — едва ли не лучшія его произведенія, по крайней мѣрѣ, безъ всякаго сомнѣнія, въ нихъ больше оригинальнаго,

русскаго, нежели въ его торжественныхъ одахъ. Въ басняхъ Хемницера и въ комедіяхъ Фонвизина отозвалось направленіе, представителемъ котораго, по времени, былъ Кантемиръ. Сатира у нихъ уже рѣже переходитъ въ преувеличеніе и карикатуру, становится болѣе натуральной, по мѣрѣ того какъ становится болѣе поэтической. Въ басняхъ Крылова сатира дѣлается вполне художественной; натурализмъ становится отличною характеристическою чертой его поэзіи. Это былъ первый великій натуралистъ въ нашей поэзіи. Зато онъ первый и подвергся упрекамъ за изображенія «низкой природы», особенно за басню «Свинья». Посмотрите, какъ натуральны его животныя: это—настоящіе люди, съ рѣзко очерченными характерами, и притомъ люди русскіе, а не другіе какіе-нибудь. А его басни, въ которыхъ дѣйствующія лица—русскіе мужички? Не есть ли это верхъ натуральности? И однакожъ теперь уже не упрекаютъ Крылова ни за свинью, которая, «не жалѣя рыла, весь задній дворъ изрыла», ни за то, что въ своихъ басняхъ онъ выводилъ мужиковъ, да еще заставлялъ ихъ говорить самымъ мужичкинымъ складомъ. Скажутъ: то басня, то такой ужъ родъ поэзіи. А развѣ законы изящнаго не одинаковы для всѣхъ его родовъ? Дмитріевъ писалъ тоже басни и въ нихъ изрѣдка вводилъ, эпизодически, крестьянъ; но его басни, имѣющія свои неотъемлемыя достоинства, нисколько не отличаются натуральностью, и его крестьяне говорятъ въ нихъ какими-то общими, не принадлежащими исключительно ни одному сословію языкомъ. Причина этой разницы лежитъ въ томъ, что поэзія Дмитріева и въ басняхъ его, такъ-же какъ и въ одахъ, шла отъ Ломоносова, а не отъ Кантемира, держалась идеала, а не дѣйствительности. Теорія Ломоносова опиралась на древнихъ, какъ понимали ихъ тогда въ Европѣ. Карамзинъ и Дмитріевъ, особенно послѣдній, смотрѣли на искусство глазами французовъ XVIII вѣка. А извѣстно, что французы того времени понимали искусство какъ выраженіе жизни не народа, а общества, и притомъ только высшаго, дворянскаго, и приличіе считали главнымъ и первымъ условіемъ поэзіи. Оттого у нихъ греческіе и римскіе герои ходили въ парикахъ и говорили героинямъ: *madame!* Эта теорія глубоко проникла въ русскую литературу, и, какъ увидимъ далѣе, слѣды ея влияния не изгладились совсѣмъ и до сихъ поръ...

Озеровъ, Жуковский и Батюшковъ продолжали собою направленіе, данное нашей поэзіи Ломоносовымъ. Они были вѣрны идеалу, но этотъ идеалъ у нихъ становился

все менѣе и менѣе отвлеченнымъ и риторическимъ, все больше и больше сближающимся съ дѣйствительностью или по крайней мѣрѣ стремившимся къ этому сближенію. Въ произведеніяхъ этихъ писателей, особенно двухъ послѣднихъ, языкомъ поэзіи заговорили уже не одни официальные восторги, но и такія страсти, чувства и стремленія, источникомъ которыхъ были не отвлеченные идеалы, но человѣческое сердце, человѣческая душа. Наконецъ явился Пушкинъ, поэзія котораго относится къ поэзіи всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ, какъ достиженіе относится къ стремленію. Въ ней слились въ одинъ широкій потокъ оба, до того текшіе раздѣльно, ручья русской поэзіи. Русское ухо услышало въ ея сложномъ аккордѣ и чисто русскіе звуки. Несмотря на преимущественно идеальный и лирическій характеръ первыхъ поэмъ Пушкина, въ нихъ уже вошли элементы жизни дѣйствительной, что доказывается смѣлостью, въ то время удивившей всѣхъ, ввести въ поэму не классическихъ итальянскихъ или испанскихъ, а русскихъ разбойниковъ, не съ кинжалами и пистолетами, а широкими ножами и тяжелыми кистенями, и заставить одного изъ нихъ говорить въ бреду прокнутъ и грозныхъ палачей. Цыганскій таборъ съ оборванными шатрами между колесами телегъ, съ пляшущимъ медвѣдемъ и нагими дѣтьми въ перекидныхъ корзинахъ на ослахъ былъ тоже неслыханной дотогѣ сценой для кроваваго трагическаго событія. Но въ «Евгеніи Онѣгинѣ» идеалы еще болѣе уступили мѣсто дѣйствительности, или по крайней мѣрѣ то и другое до того слилось во что-то новое, среднее между тѣмъ и другимъ, что поэма эта должна по справедливости считаться произведеніемъ, положившимъ начало поэзіи нашего времени. Тутъ уже натуральность является не какъ сатира, не какъ комизмъ, а какъ вѣрное воспроизведеніе дѣйствительности, со всѣмъ ея добромъ и зломъ, со всѣми ея житейскими дразгами; около двухъ или трехъ лицъ, опозтизированныхъ или нѣсколько идеализированныхъ, выведены люди обыкновенные, но не на посмѣшище, какъ уроды, какъ исключенія изъ общаго правила, а какъ лица, составляющія большинство общества. И все это въ романѣ, писанномъ стихами!

Что же въ это время дѣлалъ романъ въ прозѣ?

Онъ всѣми силами стремился къ сближенію съ дѣйствительностью, къ натуральности. Вспомните романы и повѣсти Нарѣжнаго, Булгарина, Марлинскаго, Загоскина, Лажечникова, Ушакова, Вельмана,

Полевого, Погодина. Здѣсь не мѣсто разсуждать о томъ, кто изъ нихъ больше сдѣлалъ, чей талантъ былъ выше; мы говоримъ объ общемъ имъ всѣмъ стремленіи — сблизить романъ съ дѣйствительностью, сдѣлать его вѣрнымъ ея зеркаломъ. Между этими попытками были очень замѣчательныя, но тѣмъ не менѣе всѣ онѣ отзывались переходной эпохой, стремились къ новому, не оставляя старой колен. Весь успѣхъ заключался въ томъ, что, несмотря на вопли старовѣровъ, въ романѣ стали появляться лица всѣхъ сословій, и авторы старались поддѣлываться подъ языкъ каждаго. Это называлось тогда народностью. Но эта народность слишкомъ отзывалась маскарадностью: русскія лица низшихъ сословій походили на переряженныхъ баръ, а бары только именами отличались отъ иностранцевъ. Нуженъ былъ геніальный талантъ, чтобы навсегда освободить русскую поэзію, изображающую русскіе нравы, русскій бытъ изъ подъ чуждыхъ ей вліяній. Пушкинъ много сдѣлалъ для этого; но докончить, довершить дѣло предоставлено было другому таланту. Въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» на 1829 годъ явился отрывокъ изъ романа Пушкина: «Арапъ Петра Великаго», подъ заглавіемъ: «IV глава изъ историческаго романа». Этотъ маленький отрывокъ былъ верхъ натуральности! Въ такой тѣсной рамкѣ такая широкая картина нравовъ эпохи Петра Великаго! Но, къ сожалѣнію, этого романа было написано всего только шесть главъ и начало седьмой (вполнѣ онъ былъ напечатанъ уже по смерти Пушкина).

Съ появленія «Миргорода» и «Арабесокъ» (въ 1835 году) и «Ревизора» (въ 1836) начинается полная извѣстность Гоголя и его сильное вліяніе на русскую литературу. Изъ всѣхъ сужденій объ этомъ писателѣ, высказанныхъ почитателями его таланта, самое замѣчательное и близкое къ истинѣ едва-ли не принадлежитъ человѣку, который вовсе не принадлежалъ къ числу его почитателей и который, какъ будто въ какомъ-то внезапномъ вдохновеніи, самъ не зная какъ, вышелъ на минуту изъ своей обычной колен, которой былъ вѣренъ всю жизнь, проговоривши о Гоголѣ слѣдующій диамантъ:

«Всѣ произведенія Гоголя обнаруживаютъ въ немъ самоувѣренность, стремленіе къ самостоятельности, какое-то умышленное, насильственное пренебреженіе къ прежнимъ знаніямъ, опытамъ и образцамъ, онъ читаетъ только книгу природы, излучаетъ только міръ *оистотелный*; потому его идеалы слишкомъ естественны и просты до наготы; онъ, по выраженію Ивана Никифоровича, одного изъ его созданій, является передъ читателемъ въ натурѣ. Красоты его созданій всегда новы, свѣжи, поразительны; *ошибки* чуть не отпа-

тительны (?); онъ, какъ будто забываетъ исторію, подобно древнимъ, начинаетъ новый міръ искусства, вызывая его изъ небытія въ *простонаправное* (?) хаотическое (?) состояніе; потому что его искусство какъ будто не знаетъ, не понимаетъ стыдливости; онъ — великій художникъ, не знающій исторіи и не выдавшій образцовъ искусства.»

Въ этомъ исполненномъ лирическаго безпорядка диамантѣ, безъ воли и сознанія автора, высказана самая характеристическая черта таланта Гоголя — оригинальность и самобытность, отличающія его отъ всѣхъ русскихъ писателей. Что это сдѣлано нечаянно, по вдохновенію, доказывается и параллелью, которую проводитъ авторъ между Гоголемъ и — кѣмъ бы вы думали? — Кукольниковъ!! — и странными, противорѣчащими словами и выраженіями въ самомъ диамантѣ, доказывающими, что не въ волю человѣка даже на минуту, и притомъ въ порывѣ вдохновенія, совершенно оторваться отъ обычной колен своей жизни. Надо сказать, что авторъ — теоретикъ и всю жизнь провелъ въ составленіи и преподаваніи разныхъ риторикъ и пѣтистикъ, которыя, какъ и всѣ книги этого рода, никому и никогда не научили сочинять хорошо, но съ толку сбили многихъ. Вотъ почему его особенно поразила въ сочиненіяхъ Гоголя ихъ полная отрѣшенность и независимость отъ всякихъ школьных правилъ и преданій, — и если онъ не могъ съ одной стороны не вѣнчать ему этого въ заслугу, то съ другой, — не могъ того-же самаго не поставить ему въ заслуженный упрекъ. Отсюда и угадалъ онъ въ сочиненіяхъ Гоголя «ошибки, чуть не отвратительныя», и «простонаправное хаотическое состояніе искусства». Спросите его, какія это ошибки, — и мы увѣрены, что онъ прежде всего укажетъ на будочника, который казнить звѣря на когтѣ (въ «Мертвыхъ Душахъ»), и этимъ фактомъ подтвердитъ окончательно, что Гоголь «не знаетъ исторіи и не выдавалъ образцовъ искусства». А между тѣмъ Гоголю вѣроятно извѣстнѣе, нежели его критику, что одна изъ извѣстнѣйшихъ галлерей въ Европѣ хранитъ, какъ безцѣнное сокровище, картину великаго Мурильо, представляющую мальчика, который съ усердіемъ и обстоятельно занимается тѣмъ, что будочникъ сдѣлалъ съ просонья и мимоходомъ.

Какъ-бы то ни было, но дѣйствительное вліяніе теорій и школъ было одной изъ главныхъ причинъ, почему многие сначала спокойно, безъ всякой враждебности, искренно и добросовѣстно видѣли въ Гоголѣ не болѣе, какъ писателя забавнаго, но тривіальнаго и незначительнаго, и вышли изъ себя уже вслѣдствіе восторженныхъ похвалъ, расточавшихся ему другой стороной, и важнаго значенія, которое онъ

быстро приобреталъ въ общественномъ мѣнѣніи. Въ самомъ дѣлѣ, какъ ни ново было въ свое время направленіе Карамзина, — оно оправдывалось образцами французской литературы. Какъ ни странно поразили всѣхъ баллады Жуковского съ ихъ мрачнымъ колоритомъ, съ ихъ кладбищами и мертвецами, — но за нихъ были имена коринеевъ нѣмецкой литературы. Самъ Пушкинъ съ одной стороны былъ подготовленъ предшествовавшими ему поэтами, и первые опыты его носили на себѣ легкіе слѣды ихъ вліянія, а съ другой стороны его нововведенія оправдывались общимъ движеніемъ во всѣхъ литературахъ Европы и вліяніемъ Байрона — авторитета огромнаго. Но Гоголю не было образца, не было предшественниковъ ни въ русской, ни въ иностранныхъ литературахъ. Всѣ теоріи, всѣ преданія литературныя были противъ него, потому что онъ былъ противъ нихъ. Чтобы понять его, надо было вовсе выкинуть ихъ изъ головы, забыть о ихъ существованіи, — а это для многихъ значило бы переродиться, умереть и вновь воскреснуть. Чтобы яснѣе сдѣлать нашу мысль, посмотримъ, въ какихъ отношеніяхъ находится Гоголь къ другимъ русскимъ поэтамъ. Конечно и въ тѣхъ сочиненіяхъ Пушкина, которые представляютъ чуждыя русскому міру картины, безъ всякаго сомнѣнія есть элементы русскіе, но кто укажетъ ихъ? Какъ доказать, что напримѣръ поэмы: «Мопартъ и Сальери», «Каменный Гость», «Скупой Рыцарь», «Галубъ» могли быть написаны только русскимъ поэтомъ, и что ихъ не могъ-бы написать поэтъ другой націи? То же можно сказать и о Лермонтовѣ. Всѣ сочиненія Гоголя посвящены исключительно изображенію міра русской жизни, и у него нѣтъ соперниковъ въ искусствѣ воспроизводить ее во всей ея истинности. Онъ ничего не смягчаетъ, не украшаетъ, вслѣдствіе любви къ идеаламъ, или какихъ-нибудь заранее принятыхъ идей, или привычныхъ страстей, какъ напримѣръ Пушкинъ въ «Онѣгинѣ» идеализировалъ помѣщичій бытъ. Конечно преобладающій характеръ его сочиненій — отрицаніе; всякое отрицаніе, чтобъ быть живымъ и поэтическимъ, должно дѣлаться во имя идеала, — и этотъ идеалъ у Гоголя такъ же не свой, т. е. не туземный, какъ и у всѣхъ другихъ русскихъ поэтовъ, потому что наша общественная жизнь еще не сложилась и не установилась, чтобъ могла дать литературѣ этотъ идеалъ. Но нельзя же не согласиться съ тѣмъ, что по поводу сочиненій Гоголя уже никакъ невозможно предложить вопроса: какъ доказать, что они могли быть написаны только русскимъ поэтомъ, и что ихъ не могъ

бы написать поэтъ другой націи? Изображать русскую дѣйствительность, и съ такой поразительной вѣрностью и истиной, разумѣется, можетъ только русскій поэтъ. И вотъ пока въ этомъ-то болѣе всего и состоитъ народность нашей литературы.

Литература наша была плодомъ сознательной мысли, явилась какъ нововведеніе, началась подражательностью. Но она не остановилась на этомъ, а постоянно стремилась къ самобытности, народности, изъ риторической стремилась сдѣлаться естественной, натуральной. Это стремленіе, означенное замѣтными и постоянными успѣхами, и составляетъ смыслъ и душу исторіи нашей литературы. И мы, не обинуясь, скажемъ, что ни въ одномъ русскомъ писателѣ это стремленіе не достигло такого успѣха, какъ въ Гоголѣ. Это могло совершиться только черезъ исключительное обращеніе искусства къ дѣйствительности, помимо всякихъ идеаловъ. Для этого нужно было обратить все вниманіе на толпу, на массу, изображать людей обыкновенныхъ, а не пріятныя только исключенія изъ общаго правила, которыя всегда соблазняютъ поэтовъ на идеализированіе и носятъ на себѣ чужой отпечатокъ. Это великая заслуга со стороны Гоголя, но это-то люди стараго образованія и вѣщаютъ ему въ великое преступленіе передъ законами искусства. Этимъ онъ совершенно измѣнилъ взглядъ на самое искусство. Къ сочиненіямъ каждаго изъ поэтовъ русскихъ можно, хотя и съ натяжкой, приложить старое и ветхое опредѣленіе поэзіи, какъ «украшенной природы»; но въ отношеніи къ сочиненіямъ Гоголя этого уже невозможно сдѣлать. Къ нимъ идетъ другое опредѣленіе искусства — какъ воспроизведеніе дѣйствительности во всей ея истинѣ. Тутъ все дѣло въ типахъ, а идеалъ тутъ понимается не какъ украшеніе (слѣдовательно ложь), а какъ отношеніе, въ который авторъ ставитъ другъ къ другу созданные имъ типы, сообразно съ мыслью, которую онъ хочетъ развить своимъ произведеніемъ.

Искусство въ наше время обогнало теорію. Старыя теоріи потеряли весь свой кредитъ; даже люди, воспитанные на нихъ, слѣдуютъ не имъ, а какой-то странной смѣси старыхъ понятій съ новыми. Такъ напримѣръ, нѣкоторые изъ нихъ, отвергая старую французскую теорію во имя романтизма, первые подали соблазнительный примѣръ выводить въ романѣ лицъ низшихъ сословій, даже негодяевъ, къ которымъ шли имена Вороватыхъ и Ножовыхъ; но они же потомъ оправдывались въ этомъ тѣмъ, что вмѣстѣ съ безнравственными лицами выводили и нравственные подъ именемъ

Правдолюбивыхъ, Благотворовыхъ и т. п. Въ первомъ случаѣ видно было вліяніе новыхъ идей; во второмъ—старыхъ, потому что по рецепту старой пѣтики необходимо было на нѣсколькихъ глупцовъ отпустить хоть одного умника, а на нѣсколькихъ негодяевъ—хоть одного добродѣтельнаго человѣка*). Но въ обоихъ случаяхъ эти междоумки совершенно упускали изъ виду главное, т. е. искусство, потому что и не догадывались, что ихъ и добродѣтельныя, и порочныя лица были не люди, не характеры, а риторическія олицетворенія отвлеченныхъ добродѣтелей и пороковъ. Это лучше всего объясняетъ, почему для нихъ теорія, правило важнѣе дѣла, сущности: послѣднее недоступно ихъ разумѣнію. Впрочемъ отъ вліянія теоріи не всегда избѣгаютъ и таланты, даже гениальные. Гоголь принадлежитъ къ числу немногихъ, совершенно избѣгнувшихъ всякаго вліянія какой бы то ни было теоріи. Умѣя понимать искусство и удивляться ему въ произведеніяхъ другихъ поэтовъ, онъ тѣмъ не менѣе пошелъ своей дорогой, слѣдуя глубокому и вѣрному художническому инстинкту, какимъ щедро одарила его природа, и не соблазнившись чужими успѣхами на подражаніе. Это, разумѣется, не дало ему оригинальности, но дало ему возможность сохранить и выказать вполне ту оригинальность, которая была принадлежностью, свойствомъ его личности и слѣдовательно, подобно таланту, даромъ природы. Отъ этого онъ и показался для многихъ какъ бы извнѣ вошедшимъ въ русскую литературу, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ былъ ея необходимымъ явленіемъ, требовавшимся всѣмъ предшествовавшимъ ея развитіемъ.

Вліяніе Гоголя на русскую литературу было огромно. Не только всѣ молодые таланты бросились на указанный имъ путь, но и нѣкоторые писатели, уже пріобрѣтшіе извѣстность, пошли по этому же пути, оставивши свой прежній. Отсюда появленіе школы, которую противники ея думали унижить названіемъ натуральной. Послѣ «Мертвыхъ Душъ» Гоголь ничего не написалъ. На сценѣ литературы теперь только его школа. Всѣ упреки и обвиненія, которые прежде устремлялись на него, теперь обращены на натуральную школу, и если еще дѣлаются выходки противъ него, то по поводу этой школы. Въ чемъ же обвиняютъ ее? Обвиненій не много, и они всегда одни и тѣ же. Сперва нападали на нее за ея, будто бы, постоянныя нападки на чиновниковъ. Въ ея изображеніяхъ быта этого со-

словія одни искренно, другіе умышленно видѣли злонамѣренныя карикатуры. Съ нѣкотораго времени эти обвиненія замолкли. Теперь обвиняютъ писателей натуральной школы за то, что они любятъ изображать людей низкаго званія, дѣлаютъ герои своихъ повѣстей мужиковъ, дворянчиковъ, извозчиковъ, описываютъ углы, убѣжища голодной нищеты и часто всяческой безнравственности. Чтобы устыдить новыхъ писателей, обвинители съ торжествомъ указываютъ на прекрасныя времена русской литературы, ссылаются на Карамзина и Дмитріева, избравшихъ для своихъ сочиненій предметы высокіе и благородные, и приводятъ въ примѣръ забытаго теперь изыщества чувствительную пѣсенку: «Всѣхъ двѣточковъ болѣ розу я любилъ». Мы же напомнимъ имъ, что первая замѣчательная русская повѣсть была написана Карамзинимъ, и ея героиня была обольщенная пѣтлетромъ крестьянка—Бѣдная Лиза.... Но тамъ, скажутъ они, все опрятно и чисто, и подмосковная крестьянка не уступитъ самой благовоспитанной барышнѣ. Вотъ мы и дошли до причины спора: тутъ виновата, какъ видите, старая пѣтика. Она позволяетъ изображать, пожалуй, и мужиковъ, но не иначе, какъ одѣтыхъ въ театральные костюмы, обнаруживающихъ чувства и понятія, чуждыя ихъ быту, положенію и образованію, и объясняющихся такимъ языкомъ, которымъ никто не говоритъ, а тѣмъ болѣе крестьяне,—языкомъ литературнымъ, украшеннымъ «сими, оными, коими, таковыми», и т. п. Да чего же лучше: пастушки и пастушки французскихъ писателей XVIII вѣка представляютъ готовый и прекрасный образецъ для изображенія русскихъ крестьянъ и крестьянокъ; берите дѣликомъ: вотъ вамъ и соломенные шляпы съ голубыми и розовыми лентами, пудра, мушки, фижмы, корсеты, юбки съ ретрусманами, башмаки на высокихъ красныхъ каблучкахъ. Только въ языкѣ держитесь литературныхъ привычекъ, потому что французы никогда не любили шеголять обветшалыми, неупотребляемыми въ разговорѣ словами. Это замашка чисто русская; у насъ даже первоклассныя таланты любятъ «брега, младость, перси, очи, выю, стопы, чело, главу, гласъ» и тому подобныя принадлежности такъ-называемаго «высшаго слога». Короче: старая пѣтика позволяетъ изображать все, что вамъ угодно, но только предписываетъ при этомъ изображаемый предметъ такъ украсить, чтобы не было никакой возможности узнать, что вы хотѣли изобразить. Слѣдуя строго ея урокамъ, поэтъ можетъ пойти дальше прославленнаго Дмитріевымъ малара Ефрема, который

*) Тогда слово *резонёръ* для комедій было такимъ же техническимъ словомъ, какъ и *jeune première*, первый любовникъ, или *prima donna* для оперы.

Архипа писалъ Сидоромъ, а Луку—Кузьмой: онъ можетъ снять къ Архипа такой портретъ, который не будетъ походить не только на Сидора, но и ни на что на свѣтѣ, даже на комокъ земли. Натуральная школа слѣдуетъ совершенно противоположному правилу; возможно-близкое сходство изображаемыхъ ею лицъ съ ихъ образами въ дѣйствительности не составляетъ въ ней всего, но есть первое ея требованіе, безъ выполненія котораго уже не можетъ быть въ сочиненіи ничего хорошаго. Требованіе тяжелое, выполнимое только для таланта! Какъ же послѣ этого не любить и не чтить старой пѣтики тѣмъ писателямъ, которые когда-то умѣли и безъ таланта съ успѣхомъ подвизаться на поприщѣ поэзіи? Какъ не считать ихъ натуральной школы самымъ ужаснымъ врагомъ своимъ, когда она ввела такую манеру писать, которая имъ недоступна? Это конечно относится только къ людямъ, у которыхъ въ этотъ вопросъ вмѣшалось самолюбіе; но найдется много и такихъ, которые по искреннему убѣжденію не любятъ естественности въ искусствѣ, вслѣдствіе вліянія на нихъ старой пѣтики. Эти люди съ особенной горечью жалуются еще на то, что теперь искусство забыло свое прежнее назначеніе. «Бывало—говорятъ они—поэзія поучала, забавляя, заставляла читателя забывать о тяготахъ и страданіяхъ жизни, представляла ему только картины пріятныя и смѣющіяся. Прежніе поэты представляли и картины бѣдности, но бѣдности опрятной, умытой, выражающейся скромно и благородно; притомъ же къ концу повѣсти всегда являлась чувствительная молодая дама или дѣвица, дочь богатыхъ и благородныхъ родителей, а не то благодѣтельный молодой человѣкъ,—и во имя милаго или милой сердца водворяли довольство и счастье тамъ, гдѣ была бѣдность и нищета, и благодарныя слезы орошали благодѣтельную руку,—и читатель невольно подносилъ свой батистовый платокъ къ глазамъ и чувствовалъ, что онъ становится добрѣе и чувствительнѣе.... А теперь! посмотрите, что теперь пишутъ! мужики въ лаптяхъ и сермягахъ, часто отъ нихъ несетъ сивухой, баба—родъ центавра, по одеждѣ не вдругъ узнаешь, какого это пола существо; углы—убѣжища нищеты, отчаянія и разврата, до которыхъ надо доходить по двору грязному по колѣни; какой-нибудь пьянушка—подъячій или учитель изъ семинаристовъ, выгнанный изъ службы,—все это списывается съ натуры, въ наготѣ страшной истины, такъ что если прочтешь—жди ночью тяжелыхъ сновъ...» Такъ или почти такъ говорятъ маститые питомцы

старой пѣтики. Въ сущности, ихъ жалобы состоятъ въ томъ, зачѣмъ поэзія перестала безстыдно лгать, изъ дѣтской сказки превратилась въ быль, не всегда пріятную, зачѣмъ отказалась она быть гремушкой, подъ которую дѣтямъ пріятно и прыгать, и засыпать. Странные люди, счастливые люди! имъ удалось на всю жизнь остаться дѣтьми и даже въ старости быть несовершеннолѣтними, недорослями,—и вотъ они требуютъ, чтобы и всѣ походили на нихъ! Да читайте свои старыя сказки — никто вамъ не мѣшаетъ; а другимъ оставьте занятія, свойственныя совершеннолѣтію. Вамъ ложь — намъ истина: раздѣлимы безъ спору, благо вамъ не нужно нашего пая, а мы даромъ не возьмемъ вашего... Но этому полюбовному раздѣлу мѣшаетъ другая причина — эгоизмъ, который считаетъ себя добродѣтелью. Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ человѣка обеспеченнаго, можетъ быть богатаго; онъ сейчасъ пообѣдалъ сладко, со вкусомъ (поваръ у него прекрасный), усѣлся въ спокойныхъ вольтеровскихъ креслахъ съ чашкой кофе, передъ пыляющимъ каминномъ, тепло и хорошо ему, чувство благосостоянія дѣлаетъ его веселымъ,—и вотъ беретъ онъ книгу, лѣниво переворачиваетъ ея листы,—и брови его надвигаются на глаза, улыбка исчезаетъ съ румяныхъ губъ, онъ взволнованъ, встревоженъ, раздосадованъ... И есть отъ чего! книга говоритъ ему, что не всѣ на свѣтѣ живутъ такъ хорошо, какъ онъ, что есть углы, гдѣ подъ лохмотьями дрожитъ отъ холоду цѣлое семейство, можетъ быть недавно еще знавшее довольство,—что есть на свѣтѣ люди, рожденіемъ, судьбой обреченные на нищету,—что послѣдняя копейка идетъ на зеленое вино не всегда отъ праздности и лѣни, но и отъ отчаянія. И нашему счастливцу неловко, какъ будто совѣстно своего комфорта. А все виновата скверная книга: онъ взялъ ее для своего удовольствія, а вычиталъ тоску и скуку. Прочь ее! «Книга должна пріятно развлекать; я и безъ того знаю, что въ жизни много тяжелаго и мрачнаго, и если читаю, такъ для того, чтобы забыть это!» восклицаетъ онъ. — Такъ, милый, добрый сибаритъ, для твоего спокойствія и книги должны лгать, и бѣдныя забывать свое горе, голодный свой голодъ, стоны страданія должны долетать до тебя музыкальными звуками, чтобы не испортился твой аппетитъ, не нарушился твой сонъ... Представьте теперь въ такомъ же положеніи другого любителя пріятнаго чтенія. Ему надо было дать балъ, срокъ приближался, а денегъ не было; управляющій его, Никита Федорычъ, что-то замѣш-

кался высылкой. Но сегодня деньги получены, балъ можно дать; съ сигарой въ зубахъ, веселый и довольный лежитъ онъ на диванѣ, и отъ нечего дѣлать руки его лѣниво протягиваются къ книгѣ. Опять та же исторія! Проклятая книга рассказываетъ ему подвиги Никиты Ѳеодорыча, подлаго холопа, съ дѣтства привыкшаго подобострастно служить чужимъ страстямъ и прихотямъ, женатаго на отставной любовницѣ родителя своего барина. И ему-то, незнакомому ни съ какимъ человѣческимъ чувствомъ, поручена судьба и участь всѣхъ Антоновъ... Скорѣ прочь ее, скверную книгу!.. Представьте теперь еще въ такомъ комфортабельномъ состояніи человѣка, который въ дѣтствѣ бѣгалъ босикомъ, бывалъ на посылкахъ, а лѣтъ подъ пятьдесятъ какъ-то очутился въ чинахъ, имѣетъ «малую толику». Всѣ читаютъ—надо и ему читать; но что находитъ онъ въ книгѣ?—свою біографію, да еще какъ вѣрно рассказанную, хотя кромѣ его самого темныя похождения его жизни—тайна для всѣхъ, и ни одному сочинителю не откуда было узнать ихъ... И вотъ онъ уже не взволнованъ, а просто взбѣшонъ, и съ чувствомъ достоинства облегчаетъ свою досаду такимъ разсужденіемъ: «Вотъ какъ пишутъ нынѣ! вотъ до чего дошло вольнодумство! Такъ ли писали прежде? Штитель ровный, гладкій, все о предметахъ нѣжныхъ или возвышенныхъ, читать сладко и обидѣться нечѣмъ!»

Есть особенный родъ читателей, который по чувству аристократизма не любитъ встрѣчаться даже въ книгахъ съ людьми низшихъ классовъ, обыкновенно незнающими приличія и хорошаго тона, не любитъ грязи и нищеты, по ихъ противоположности съ роскошными салонами, будуарами и кабинетами. Эти отзываются о натуральной школѣ не иначе, какъ съ высокомернымъ презрѣніемъ, иронической улыбой... Кто они такіе, эти феодальные бароны, гнушающіеся «подлой чернью», которая въ ихъ глазахъ ниже хорошей лошади? Не спѣшите справляться о нихъ въ герольдическихъ книгахъ или при дворахъ европейскихъ: вы не найдете ихъ гербовъ, они не ѣздятъ ко двору, и если выдали большой свѣтъ, то не иначе, какъ съ улицы, сквозь ярко освѣщенные окна, на сколько позволяли сторы и занавѣски... Предками они не могутъ похвалиться: они обыкновенно — или чиновники, или изъ новаго дворянства, богатаго только библейскими преданіями о дѣдушкѣ управляющемъ, о дядюшкѣ откупщикѣ, а иногда и о бабушкѣ просвирнѣ и тетюшкѣ торговкѣ. Авторъ этой статьи считаетъ при этомъ обязанностью довести до свѣдѣнія своихъ читателей, что упрекать ближняго

незнатностью происхожденія вовсе не въ его привычкахъ и положительно противно всѣмъ его убѣжденіямъ, и что онъ самъ отнюдь не стыдится признаться въ этомъ. Но онъ думаетъ—и вѣроятно читатели его согласятся съ нимъ—что ничего нѣтъ пріятнѣе, какъ оборвать съ вороны павлиньи перья и доказать ей, что она принадлежитъ къ той породѣ, которую вздумала презирать. Человѣкъ простаго званія еще не ворона, потому что онъ простаго званія; вороной дѣлаетъ не званіе, а природа, и вороны такъ же бываютъ во всѣхъ званіяхъ, какъ во всѣхъ же званіяхъ бываютъ и орлы; но конечно только вороны свойственно радиться въ павлиньи перья и величаться ими. Такъ почему-же не сказать воронѣ, что она—ворона? Презрѣніе къ низшимъ сословіямъ въ наше время отнюдь не есть порокъ высшихъ сословій; напротивъ, это болѣзнь выскочекъ, порожденіе невѣжества, грубости чувствъ и понятій. Умный и образованный человѣкъ, еслибъ онъ былъ одержимъ этой болѣзью, никогда не обнаружитъ ея, потому что она не въ духъ времени, потому что показать ее—значитъ каркнуть о себѣ во все воронье горло. Намъ кажется, что какъ ни гадко лицемеріе, но въ этомъ случаѣ оно даже лучше вороньей откровенности, потому что свидѣтельствуетъ объ умѣ. Павлинь, горделиво распускающій пышный хвостъ свой передъ другими птицами, слыветъ животнымъ красивымъ, но не умнымъ. Что же сказать о воронѣ, снѣсиво выказывающей заимствованный нарядъ? Подобная снѣсь всегда чужда ума и есть порокъ по преимуществу плебейскій. Гдѣ больше ломанья и притязаній, какъ не въ тѣхъ слояхъ общества, которые начинаютъ тотчасъ послѣ самыхъ низшихъ? А это потому, что тутъ всего больше невѣжества. Посмотрите, какъ глубоко презираетъ лакей мужика, который во всѣхъ отношеніяхъ лучше, благороднѣй, человѣчнѣй его! Откуда эта гордость въ лакеѣ? Онъ перенялъ пороки своего барина и оттого считаетъ себя далеко образованнѣе мужика. Виѣшній лоскъ грубыми натурами всегда принимается за образованность.

«Что за охота наводнять литературу мужиками?» восклицаютъ аристократы извѣстнаго разряда. Въ ихъ глазахъ писатель—ремесленникъ, которому какъ что закажутъ, такъ онъ и дѣлаетъ. Имъ въ голову не входитъ, что въ отношеніи къ выбору предметовъ сочиненія писатель не можетъ руководствоваться ни чуждой ему волей, ни даже собственнымъ произволомъ; ибо искусство имѣетъ свои законы, безъ уваженія которыхъ нельзя хорошо писать. Оно прежде всего требуетъ, чтобы писатель

былъ вѣренъ собственной натурѣ, своему таланту, своей фантазіи. А чѣмъ объяснить, что одинъ любитъ изображать предметы веселые, другой—мрачные, если не натурой, характеромъ и талантомъ поэта? Кто что любитъ, чѣмъ интересуется, то и знаетъ лучше, а что лучше знаетъ, то лучше изображаетъ. Вотъ самое законное оправданіе поэта, котораго упрекаютъ за выборъ предметовъ; оно не удовлетворительно только для людей, которые ничего не смыслятъ въ искусствѣ и грубо смѣшиваютъ его съ ремесломъ. Природа—вѣчный образецъ искусства, а величайшій и благороднѣйшій предметъ въ природѣ—человѣкъ. А развѣ мужикъ не человѣкъ?—Но что же можетъ быть интереснаго въ грубомъ, необразованномъ человѣкѣ?—Какъ что?—его душа, умъ, сердце, страсти, склонности,—словомъ, все то же, что и въ образованномъ человѣкѣ. Положимъ, послѣдній выше перваго; но развѣ ботаникъ интересуется только садовыми, улучшенными искусствомъ растениями, презирая ихъ полевые, дико-растущіе первообразы? Развѣ для анатомика и физиолога организмъ дикаго австралійца не такъ же интересенъ, какъ и организмъ просвѣщеннаго европейца? На какомъ же основаніи искусство въ этомъ отношеніи должно такъ разниться отъ науки? А потомъ—вы говорите, что образованный человѣкъ выше необразованнаго. Съ этимъ нельзя не согласиться съ вами, но не безусловно. Конечно самый пустой свѣтскій человѣкъ несравненно выше мужика, но въ какомъ отношеніи? Только въ свѣтскомъ образованіи, а это нисколько не помѣшаетъ иному мужику быть выше его на примѣръ со стороны ума, чувства, характера. Образование только развиваетъ нравственные силы человѣка, но не даетъ ихъ: даетъ ихъ человѣку природа. И въ этой раздачѣ драгоценнѣйшихъ даровъ своихъ она дѣйствуетъ слѣпо, не разбирая сословій... Если изъ образованныхъ классовъ общества выходитъ больше замѣчательныхъ людей, это потому, что тутъ больше средствъ къ развитію, а совсѣмъ не потому, чтобы природа была для людей низшихъ классовъ скупѣе въ раздачѣ даровъ своихъ. «Чему можно научиться изъ книги, въ которой описывается какой-нибудь спившійся съ кругу горемыка?» говорятъ еще эти аристократы средней руки. —Какъ чему? разумѣется, не свѣтскому обращенію и не хорошему тону, а знанію человѣка въ извѣстномъ положеніи. Одинъ спивается отъ глѣбности, отъ дурного воспитанія, отъ слабости характера; другой—отъ несчастныхъ обстоятельствъ жизни, въ которыхъ онъ можетъ быть нисколько не виноватъ. Въ

обоихъ случаяхъ это примѣры поучительные и любопытные для наблюденія. Конечно отвернуться съ презрѣніемъ отъ человѣка падшаго гораздо легче, нежели протянуть ему руку на утѣшеніе и помощь, такъ же какъ осудить его строго, во имя нравственности, гораздо легче, нежели съ участіемъ и любовью войти въ его положеніе, изслѣдовать до глубины причину его паденія и пожалѣть о немъ, какъ о человѣкѣ, даже и тогда, когда онъ самъ окажется много виноватымъ въ своемъ паденіи. Искушитель рода человѣческаго приходилъ въ міръ для всѣхъ людей; не мудрыхъ и образованныхъ, а простыхъ умомъ и сердцемъ рыбаковъ призывалъ Онъ быть «ловцами человѣковъ»; не богатыхъ и счастливыхъ, а бѣдныхъ, страждущихъ, падшихъ искалъ Онъ, чтобы однихъ утѣшить, другихъ ободрить и возстановить. Гнойныя язвы на едва прикрытомъ нечистыми лохмотьями тѣлѣ не оскорбляли его исполненнаго любви и милосердія взгляда. Онъ—сынъ Бога, человѣчески любилъ людей и сострадалъ имъ въ ихъ нищетѣ, грязи, позорѣ, развратѣ, порокахъ, злодѣйствахъ; Онъ разрушилъ бросить камень въ блудницу тѣмъ, которые ничѣмъ не могли упрекнуть себя въ совѣсти, и устыдилъ жестокосердыхъ судей, и сказалъ падшей женщинѣ слово утѣшенія;—и разбойникъ, испуская духъ на орудіи заслуженной имъ казни, за одну минуту раскаянія услышалъ отъ него слово прощенія и мира... А мы—сыны человѣческіе—мы хотимъ любить изъ нашихъ братьевъ только равныхъ намъ, отворачиваемся отъ низшихъ, какъ отъ парій, отъ падшихъ, какъ отъ прокаженныхъ... Какія добродѣтели и заслуги дали намъ на это право? Не отсутствіе ли именно всякихъ добродѣтелей и заслугъ!... Но божественное слово любви и братства не втугѣ огласило міръ. То, что прежде было обязанностью только призванныхъ на служеніе алтарю лицъ или добродѣтелю немногихъ избранныхъ натуръ,—это самое дѣлается теперь обязанностью обществъ, служить признакомъ уже не одной добродѣтели, но и образованности частныхъ лицъ. Посмотрите, какъ въ нашъ вѣкъ вездѣ заняты всѣ участы низшихъ классовъ, какъ частная благотворительность всюду переходитъ въ общественную, какъ вездѣ основываются хорошо организованныя, богатые вѣрными средствами общества для распространенія просвѣщенія въ низшихъ классахъ, для пособія нуждающимся и страждущимъ, для отвращенія и предупрежденія нищеты и ея неизбежнаго слѣдствія—безнравственности и разврата. Это общее движеніе,

столь благородное, столь человѣческое, столь христіанское, встрѣтило своихъ поприцателей въ лицѣ поклонниковъ тупой и косной патріархальности. Они говорятъ, что тутъ дѣйствуютъ мода, увлеченіе, тщеславіе, а не человѣколюбіе. Пусть такъ, да когда же и гдѣ же въ лучшихъ человѣческихъ дѣйствіяхъ не участвовали подобныя мелкія побужденія? Но какъ же сказать, что только такія побужденія могутъ быть причиной такихъ явленій? Какъ думать, что главные виновники такихъ явленій, увлекающіе своимъ примѣромъ толпу, не одушевлены богѣе благородными и высокими побужденіями? Разумѣется, нечего удивляться добродѣтели людей, которые бросаются въ благотворительность не по чувству любви къ ближнему, а изъ моды, изъ подражательности, изъ тщеславія; но это добродѣтель въ отношеніи къ обществу, которое исполнено такого духа, что и дѣятельность суетныхъ людей умѣетъ направлять къ добру! Это ли не отрадное въ высшей степени явленіе новѣйшей цивилизаціи, успѣховъ ума, просвѣщенія и образованности?

Могло-ли не отразиться въ литературѣ это новое общественное движеніе,—въ литературѣ, которая всегда бываетъ выраженіемъ общества! Въ этомъ отношеніи литература сдѣлала едва-ли не больше: она скорѣе способствовала возбужденію въ обществѣ такого направленія, нежели только отразила его въ себѣ, скорѣе упредила его, нежели только не отстала отъ него. Нечего говорить, достойна-ли и благородна-ли такая роль; но за нее-то и нападаетъ на литературу безгербовная аристократія. Мы думаемъ, что довольно показали, изъ какихъ источниковъ выходятъ эти нападки и чего они стоить...

Остается упомянуть еще о нападкахъ на современную литературу и на натурализмъ вообще съ эстетической точки зрѣнія, во имя чистаго искусства, которое само себѣ цѣль и въѣ себя не признаетъ никакихъ цѣлей. Въ этой мысли есть основаніе, но она преувеличенность замѣтна съ перваго взгляду. Мысль эта чисто-нѣмецкаго происхожденія; она могла родиться только у народа совершательнаго, мыслящаго и мечтающаго, и никакъ не могла бы явиться у народа практическаго, общественность котораго для всѣхъ и cadaго представляетъ широкое поле для живой дѣятельности. Что такое чистое искусство, этого хорошо не знаютъ сами поборники его, и оттого оно является у нихъ какимъ-то идеаломъ, а не существуетъ фактически. Оно въ сущности есть дурная крайность другой дурной крайности, т.-е. искусства

дидактическаго, поучительнаго, холоднаго, сухого, мертваго, котораго произведенія не иное что, какъ риторическія упражненія на заданныя темы. Безъ всякаго сомнѣнія, искусство прежде всего должно быть искусствомъ, а потомъ уже оно можетъ быть выраженіемъ духа и направленія общества въ извѣстную эпоху. Какими бы прекрасными мыслями ни было наполнено стихотвореніе, какъ бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами, но если въ немъ нѣтъ поэзіи,—въ немъ не можетъ быть ни прекрасныхъ мыслей и никакихъ вопросовъ, и все, что можно замѣтить въ немъ, это развѣ прекрасное намѣреніе, дурно выполненное. Когда въ романѣ или повѣсти нѣтъ образовъ и лицъ, нѣтъ характеровъ, нѣтъ ничего типическаго,—какъ бы вѣрно и тщательно ни было списано съ натуры все, что въ немъ разсказывается, читатель не найдетъ тутъ никакой натуральности, не замѣтитъ ничего вѣрно подмѣченнаго, ловко схваченнаго. Лица будутъ перемѣшиваться между собою въ его глазахъ; въ разсказѣ онъ увидитъ путаницу непонятныхъ происшествій. Невозможно безнаказанно нарушать законы искусства. Чтобы списывать вѣрно съ натуры, мало умѣть писать, т.-е. владѣть искусствомъ писца или писаря; надобно умѣть явленія дѣйствительности провести черезъ свою фантазію, дать имъ новую жизнь. Хорошо и вѣрно изложенное слѣдственное дѣло, имѣющее романическій интересъ, не есть романъ и можетъ служить развѣ только матеріаломъ для романа, т.-е. подать поэту поводъ написать романъ. Но для этого онъ долженъ проникнуть мыслью во внутреннюю сущность дѣла, отгадать тайны душевныя побужденія, заставившія эти лица дѣйствовать такъ, схватить ту точку этого дѣла, которая составляетъ центръ круга этихъ событій, даетъ имъ смыслъ чего-то единаго, полнаго, цѣлаго, замкнутаго въ самомъ себѣ. А это можетъ сдѣлать только поэтъ. Кажется, чего бы легче было вѣрно списать портретъ человѣка? И иной цѣлый вѣкъ упражняется въ этомъ родѣ живописи, а все не можетъ списать знакомаго ему лица такъ, чтобы и другіе узнали, чей это портретъ. Умѣть списать вѣрно портретъ есть уже своего рода талантъ, но этимъ не оканчивается все. Обыкновенный живописецъ сдѣлалъ очень сходно портретъ вашего знакомаго; сходство не подвергается ни малѣйшему сомнѣнію въ томъ смыслѣ, что вы не можете не узнать сразу, чей это портретъ, а все какъ-то недовольны имъ,—вамъ кажется, будто онъ и похожъ на свой оригиналъ, и не похожъ на него.

Но пусть съ него же сниметъ портретъ Тырыновъ или Брюловъ, — и вамъ покажется, что зеркало далеко не такъ вѣрно повторяетъ образъ вашего знакомаго, какъ этотъ портретъ, потому что это будетъ уже не только портретъ, но и художественное произведение, въ которомъ схвачено не одно внѣшнее сходство, но вся душа оригинала. Итакъ, вѣрно списывать съ дѣйствительности можетъ только талантъ, и какъ бы ни ничтожно было произведение въ другихъ отношеніяхъ, но чѣмъ болѣе оно поражаетъ вѣрностью натурѣ, тѣмъ несомнѣннѣе талантъ его автора. Что не все должно оканчиваться вѣрностью натурѣ, особенно въ поэзіи, — это другой вопросъ. Въ живописи, по свойству и сущности этого искусства, одно умѣнье вѣрно писать съ натуры можетъ служить часто признакомъ необыкновеннаго таланта. Въ поэзіи это не совсѣмъ такъ: не умѣя вѣрно писать съ натуры, нельзя быть поэтомъ, но и одного этого умѣнья тоже мало, чтобы быть поэтомъ, по крайней мѣрѣ замѣчательнымъ. Обыкновенно говорятъ, что вѣрное списыванье съ натуры предметовъ ужасныхъ (наприм. убійства, казни и т. п.), безъ мысли и художественности, возбуждаетъ отвращенье, а не наслажденье. Это больше чѣмъ несправедливо, это ложно. Зрѣлище убійства или казни есть такой предметъ, который самъ по себѣ не можетъ доставлять наслажденья, и въ произведеніи великаго поэта читатель наслаждается не убійствомъ, не казнью, а мастерствомъ, съ какимъ то или другое изображено поэтомъ, слѣдовательно это наслажденье эстетическое, а не психологическое, смѣшанное съ невольнымъ ужасомъ и отвращеньемъ, тогда какъ картина высокаго подвига или счастья любви доставляетъ наслажденье болѣе сложное, и потому полное, столько же эстетическое, какъ и психологическое. Но человѣкъ безъ таланта никогда вѣрно не изобразитъ убійства или казни, хотя бы онъ тысячу разъ имѣлъ случай изучить этотъ предметъ въ дѣйствительности; все, что можетъ онъ сдѣлать, — это болѣе или менѣе вѣрное его описаніе, но никогда не представитъ онъ вѣрной его картины. Описаніе его можетъ возбуждать сильное любопытство, но не наслажденье. Если же, не имѣя таланта, онъ пустится писать картину такого событія, она всегда произведетъ только одно отвращенье, но не потому, что вѣрно списана съ натуры, а по причинѣ противоположной, потому что мелодрама не есть драматическая картина, театральнѣе эффектъ не есть выраженіе чувства.

Но, вполнѣ признавая, что искусство

прежде всего должно быть искусствомъ, мы тѣмъ не менѣе думаемъ, что мысль о какомъ-то чистомъ, отрѣшенномъ искусствѣ, живущемъ въ своей собственной сферѣ, не имѣющемъ ничего общаго съ другими сторонами жизни, есть мысль отвлеченная, мечтательная. Такого искусства никогда и нигдѣ не бывало. Безъ всякаго сомнѣнья, жизнь раздѣляется и подраздѣляется на множество сторонъ, имѣющихъ свою самостоятельность; но эти стороны сливаются одна съ другой живымъ образомъ, и нѣтъ между ними рѣзкой раздѣляющей ихъ черты. Какъ ни дробите жизнь, она всегда едина и цѣльна. Говорятъ: для науки нуженъ умъ и разсудокъ, для творчества — фантазія, и думаютъ, что этимъ порѣшили дѣло начисто, такъ что хоть сдавай его въ архивъ. А для искусства не нужно ума и разсудка? А ученый можетъ обойтись безъ фантазіи? Неправда! Истина въ томъ, что въ искусствѣ фантазія играетъ самую дѣятельную и первенствующую роль, а въ наукѣ — умъ и разсудокъ. Бываютъ конечно произведенія поэзіи, въ которыхъ ничего не видно, кромѣ сильной блестящей фантазіи: но это вовсе не общее правило для художественныхъ произведеній. Въ твореніяхъ Шекспира не знаешь, чему болѣе дивиться — богатству ли творческой фантазіи, или богатству всеобъемлющаго ума. Есть роды учености, которые не только не требуютъ фантазіи, въ которыхъ эта способность могла бы только вредить; но никакъ этого нельзя сказать объ учености вообще. Искусство есть воспроизведеніе дѣйствительности, повторенный, какъ-бы вновь созданный міръ; можетъ ли же оно быть какой-то одинокой, изолированной отъ всѣхъ чуждыхъ ему вліяній дѣятельностью? Можетъ ли поэтъ не отразиться въ своемъ произведеніи какъ человѣкъ, какъ характеръ, какъ натура, — словомъ, какъ личность! Разумѣется, нѣтъ, потому-что и самая способность изображать явленія дѣйствительности безъ всякаго отношенія къ самому себѣ — есть опять-таки выраженіе натуры поэта. Но и эта способность имѣетъ свои границы. Личность Шекспира просвѣчиваетъ сквозь его творенія, хотя и кажется, что онъ такъ же равнодушенъ къ изображаемому имъ міру, какъ и судьба, спасающая или губящая его героевъ. Въ романахъ Вальтеръ-Скотта невозможно не увидѣть въ авторѣ человѣка болѣе замѣчательнаго талантомъ, нежели сознательно-широкимъ пониманьемъ жизни, торжества и аристократа по убѣжденію и привычкамъ. Личность поэта не есть что-нибудь безусловное, особо стоящее, внѣ

всякихъ вліяній извѣтъ. Поэтъ прежде всего — человѣкъ, потомъ гражданинъ своей земли, сынъ своего времени. Духъ народа и времени на него не могутъ дѣйствовать менѣе, чѣмъ на другихъ. Шекспиръ былъ поэтомъ старой веселой Англіи, которая въ продолженіе немногихъ лѣтъ вдругъ сдѣлалась суровой, строгой, фанатической. Пуританское движеніе имѣло сильное вліяніе на его послѣднія произведенія, наложивъ на нихъ отпечатокъ мрачной грусти. Изъ этого видно, что, родись онъ десятилѣтіями двумя позже, — геній его остался бы тотъ же, но характеръ его произведеній былъ бы другой. Поэзія Мильтона — явно произведеніе его эпохи; самъ того не подозревая, онъ въ лицѣ своего гордаго и мрачнаго сатаны написалъ апоэозу возстанія противъ авторитета, хотя и думалъ сдѣлать совершенно другое. Такъ сильно дѣйствуетъ на поэзію историческое движеніе общества. Вотъ отчего теперь исключительно-эстетическая критика, которая хочетъ имѣть дѣло съ поэтомъ и его произведеніемъ, не обращая вниманія на мѣсто и время, гдѣ и когда писалъ поэтъ, на обстоятельства, подготовившія его къ поэтическому поприщу и имѣвшія вліяніе на его поэтическую дѣятельность, потеряла теперь всякій кредитъ, сдѣлалась невозможной. Говорятъ: духъ партій, сектантизмъ вредятъ таланту, портятъ его произведенія. Правда! И потому-то онъ долженъ быть органомъ не той или другой партіи или секты, осужденной можетъ быть на эфемерное существованье, обреченной исчезнуть безъ слѣда, но сокровенной думы всего общества, его можетъ-быть еще не яснаго самому ему стремленія. Другими словами: поэтъ долженъ выражать не частное и случайное, но общее и необходимое, которое даетъ колоритъ и смыслъ всей его эпохѣ. Какъ же разсмотрѣть онъ въ этомъ хаосѣ противорѣчащихъ мнѣній, стремленій, которое изъ нихъ дѣйствительно выражаетъ духъ его эпохи? Въ этомъ случаѣ единственнымъ вѣрнымъ указателемъ больше всего можетъ быть его инстинктъ, темное безсознательное чувство, часто составляющее всю силу геніальной натуры: кажется, идетъ наудачу, вопреки общему мнѣнію, наперекоръ всѣмъ принятымъ понятіямъ и здравому смыслу, а между тѣмъ идетъ прямо туда, куда надо идти, — и вскорѣ даже тѣ, которые громче другихъ кричали противъ него, волей или неволей, а идутъ за нимъ и уже не понимаютъ, какъ же можно было бы идти не по этой дорогѣ. Вотъ почему иной поэтъ только до тѣхъ поръ и дѣйствуетъ могущественно, даетъ новое направленіе цѣлой литературѣ,

пока просто, инстинктивно, безсознательно слѣдуетъ внушенію своего таланта; а лишь только начнетъ разсуждать и пустится въ философію, — глядь, и споткнулся, да еще какъ!... И обезсилѣетъ вдругъ богатырь, точно Самсонъ, лишенный волосъ, и онъ, который шелъ впереди всѣхъ, тащитъ теперь въ заднихъ отсталыхъ рядахъ, въ толпѣ своихъ прежнихъ противниковъ, а теперь новыхъ союзниковъ, и вмѣстѣ съ ними вооружается на собственное дѣло: да ужъ поздно: не его волей сдѣлано оно, не его волей и пасть ему, оно выше его самого и нужнѣе обществу, нежели онъ самъ теперь.... И больно, и жалко, и смѣшно смотрѣть на даровитаго поэта, захотѣвшаго сдѣлаться плохимъ ревонѣромъ!...

Въ наше время искусство и литература больше, чѣмъ когда-либо прежде, сдѣлались выраженіемъ общественныхъ вопросовъ, потому что въ наше время эти вопросы стали общіе, доступнѣе всѣмъ, яснѣе, сдѣлались для всѣхъ интересомъ первой степени, стали во главѣ всѣхъ другихъ вопросовъ. Это, разумѣется, не могло не измѣнить общаго направленія искусства во вредъ ему. Такъ самые геніальные поэты, увлекаясь рѣшеніемъ общественныхъ вопросовъ, удивляютъ иногда теперь публику сочиненіями, которыхъ художественное достоинство нисколько не соответствуетъ ихъ таланту или по крайней мѣрѣ обнаруживается только въ частностяхъ, а цѣлое произведеніе слабо, растянuto, вяло, скучно. Вспомните романы Жоржъ Занда: «Le Meunier d'Angibault», «Le Péché de Monsieur Antoine», «Isidore». Но и здѣсь бѣда произошла собственно не отъ вліянія современныхъ общественныхъ вопросовъ, а отъ того, что авторъ существующую дѣйствительность хотѣлъ замѣнить утопией, и вслѣдствіе этого заставилъ искусство изображать міръ, существующій только въ его воображеніи. Такимъ образомъ, вмѣстѣ съ характерами возможными, съ лицами всѣмъ знакомыми, онъ вывелъ характеры фантастическіе, лица небывалыя, и романъ у него смѣшался со сказкой, натуральное заслонилось неестественнымъ, поэзія смѣшалась съ риторикой. Но изъ этого еще нѣтъ причины вопить о паденіи искусства; тотъ же Жоржъ Зандъ послѣ «Le Meunier d'Angibault» написалъ «Теверино», а послѣ «Исидоры» и «Le Péché de Monsieur Antoine» — «Лукрецію Флоріани». Порча искусства вслѣдствіе вліянія современныхъ общественныхъ вопросовъ могла бы скорѣе обнаружиться на талантахъ низшей степени, но и тутъ она обнаруживается только въ неумѣніи отличать существующее отъ небывалаго, возможное отъ невозможнаго, и

еще болѣе—въ страсти къ мелодрамѣ, къ натянутымъ эффектамъ. Что особенно хорошо въ романахъ Евгенія Сю?—вѣрныя картины современнаго общества, въ которыхъ больше всего видно вліяніе современныхъ вопросовъ. А что составляетъ ихъ слабую сторону, портитъ ихъ до того, что отбиваетъ всякую охоту читать ихъ?—Преувеличенія, мелодрама, эффекты, небывалые характеры вродѣ принца Родольфа, —словомъ, все ложное, неестественное, ненатуральное,—а все это выходитъ отнюдь не изъ вліянія современныхъ вопросовъ, а изъ недостатка таланта, котораго хватаетъ только на частности и никогда на цѣлое произведеніе. Съ другой стороны, мы можемъ указать на романы Диккенса, которые такъ глубоко проникнуты задушевными симпатіями нашего времени, и которыми это нисколько не мѣшаетъ быть превосходными художественными произведеніями.

Мы сказали, что чистаго, отрѣшеннаго, безусловнаго или, какъ говорятъ философы, абсолютнаго искусства никогда и нигдѣ не бывало. Если нѣчто подобное можно допустить, такъ это развѣ художественныя произведенія тѣхъ эпохъ, въ которыя искусство было главнымъ интересомъ, исключительно занимавшимъ образованнѣйшую часть общества. Таковы напримѣръ произведенія живописи итальянскихъ школъ въ XVI столѣтіи. Ихъ содержаніе по видимому преимущественно религіозное; но это большей частью миражъ, а на самомъ дѣлѣ предметъ этой живописи—красота какъ красота, больше въ пластическомъ или классическомъ, нежели въ романтическомъ смыслѣ этого слова. Возьмемъ напримѣръ мадонну Рафаэля, этотъ chef d'oeuvre итальянской живописи XVI вѣка. Кто не помнитъ статьи Жуковскаго объ этомъ дивномъ произведеніи, кто съ молодыхъ лѣтъ не составилъ себѣ о немъ понятія по этой статьѣ? Кто, стало-быть, не былъ увѣренъ, какъ въ несомнѣнной истинѣ, что это произведеніе по превосходству романтическое, что лицо мадонны—высочайшій идеалъ той неземной красоты, которой таинство открывается только внутреннему созерцанію, и то въ рѣдкія мгновенія чистаго восторженнаго вдохновенія? Авторъ предлагаемой статьи недавно видѣлъ эту картину. Не будучи знатокомъ живописи, онъ не позволилъ бы себѣ говорить объ этой удивительной картинѣ съ цѣлью опредѣлить ея значеніе и степень ея достоинства: но какъ дѣло идетъ только о его личномъ впечатлѣніи и о романтическомъ или неромантическомъ характерѣ картины,—то онъ думаетъ, что можетъ

позволить себѣ на этотъ счетъ нѣсколько словъ. Статьи Жуковскаго онъ не читалъ уже давно, можетъ быть больше десяти лѣтъ, но какъ до того времени онъ читалъ и перечитывалъ ее со всѣмъ страстнымъ увлеченіемъ, со всей вѣрой молодости и зналъ ее почти наизусть,—то и подошелъ къ знаменитой картинѣ съ ожиданіемъ уже извѣстнаго впечатлѣнія. Долго смотрѣлъ онъ на нее, оставлялъ, обращался къ другимъ картинамъ и снова подходилъ къ ней. Какъ ни мало знаетъ онъ толку въ живописи, но первое впечатлѣніе его было рѣшительно и опредѣленно въ одномъ отношеніи: онъ тотчасъ же почувствовалъ, что послѣ этой картины трудно понять достоинства другихъ и заинтересоваться ими. Два раза былъ онъ въ дрезденской галлерей и въ оба видѣлъ только эту картину, даже когда смотрѣлъ на другія и когда ни на что не смотрѣлъ. И теперь, когда ни вспомнить онъ о ней, она словно стоитъ передъ его глазами, и память почти замѣняетъ дѣйствительность. Но чѣмъ дольше и пристальнѣе всматривался онъ въ эту картину, чѣмъ больше думалъ тогда и послѣ, тѣмъ болѣе убѣждался, что мадонна Рафаэля и мадонна, описанная Жуковскимъ подъ именемъ рафаэлевой,—двѣ совершенно различныя картины, не имѣющія между собой ничего общаго, ничего сходнаго. Мадонна Рафаэля—фигура строго классическая и нисколько не романтическая. Лицо ея выражаетъ ту красоту, которая существуетъ самостоятельно, не заимствуя своего очарованія отъ какого-нибудь нравственнаго выраженія въ лицѣ. На этомъ лицѣ, напротивъ, ничего нѣтъ прочестъ. Лицо мадонны, равно и вся ея фигура исполнены невыразимаго благородства и достоинства. Это дочь царя, проникнутая сознаніемъ и своего высокаго сана, и своего личнаго достоинства. Въ ея взорѣ есть что то строгое, сдержанное, нѣтъ благости и милости, но нѣтъ и гордости, презрѣнія, а вмѣсто всего этого какое-то не забывающее своего величія снисхожденіе. Это—какъ бы сказали—*idéal sublime du comte il faut*. Но тѣни неуловимаго, таинственнаго, туманнаго, мерцающаго,—словомъ, романческаго; напротивъ, во всемъ такая отчетливая, ясная опредѣленность, окончательность, такая строгая правильность и вѣрность очертаній, и вмѣстѣ съ этимъ такое благородство, изящество кисти! Религіозное созерцаніе выразилось въ этой картинѣ только въ лицѣ божественнаго младенца, но созерцаніе, исключительно свойственное только католицизму того времени. Въ положеніи младенца, въ протянутыхъ къ предстоящимъ (разумѣю зрителей картины) ру-

какъ, въ расширенныхъ зрачкахъ глазъ его видны гнѣвъ и угроза, а въ приподнятой нижней губѣ горделивое презрѣніе. Это не Богъ прощенія и милости, не искупительный агнецъ за грѣхи міра,—это Богъ судящій и карающій... Изъ этого видно, что и въ фигурѣ младенца нѣтъ ничего романтическаго; напротивъ, его выраженіе такъ просто и опредѣленно, такъ уловимо, что сразу понимаешь отчетливо, что видишь. Развѣ только въ лицахъ ангеловъ, отличающихся необыкновеннымъ выраженіемъ разумности и задумчиво созерцающихъ явленіе Божества, можно найти что-нибудь романтическое.

Всего естественнѣе искать такъ называемаго искусства у грековъ. Дѣйствительно, красота, составляющая существенный элементъ искусства, была едва-ли не преобладающимъ элементомъ жизни этого народа. Оттого искусство его ближе всякаго другого къ идеалу такъ-называемаго чистаго искусства. Но тѣмъ не менѣе красота въ немъ была больше существенной формой всякаго содержанія, нежели самимъ содержаніемъ. Содержаніе же ему давали и религія, и гражданская жизнь, но только всегда подъ очевиднымъ преобладаніемъ красоты. Стало-быть, и самое греческое искусство только ближе другихъ къ идеалу абсолютнаго искусства, но нельзя назвать его абсолютнымъ, т. е. независимымъ отъ другихъ сторонъ національной жизни. Обыкновенно ссылаются на Шекспира и особенно на Гёте, какъ на представителей свободного, чистаго искусства; но это одно изъ самыхъ неудачныхъ указаній. Что Шекспиръ—величайшій творческій гений, поэтъ по преимуществу, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія; но тѣ плохо понимаютъ его, кто изъ-за его поэзіи не видитъ богатаго содержанія, неистощимаго рудника уроковъ и фактовъ для психолога, философа, историка, государственнаго человѣка и т. п. Шекспиръ все передаетъ черезъ поэзію, но передаваемое имъ далеко отъ того, чтобы принадлежать одной поэзіи. Вообще характеръ новаго искусства—перевѣсъ важности содержанія надъ важностью формы, тогда какъ характеръ древняго искусства—равновѣсіе содержанія и формы. Ссылка на Гёте еще неудачнѣе, нежели ссылка на Шекспира. Мы докажемъ это двумя примѣрами. Въ «Современникѣ» прошлаго года напечатанъ былъ переводъ гётевскаго романа «Wahlverwandschaften», о которомъ и на Руси было иногда толковано печатно; въ Германіи же онъ пользуется страшнымъ почетомъ, о немъ написаны тамъ горы статей и цѣлыя книги. Не знаемъ, до какой степени понравился онъ русской

публикѣ, и даже понравился-ли онъ ей: наше дѣло было познакомить ее съ замѣчательнымъ произведеніемъ великаго поэта. Мы даже думаемъ, что романъ этотъ больше удивилъ нашу публику, нежели понравился ей. Въ самомъ дѣлѣ; тутъ много можно удивиться! Дѣвушка переписываетъ отчеты по управленію имѣніемъ; герой романа замѣчаетъ, что въ ея копіи, чѣмъ дальше, тѣмъ больше почеркъ ея становится похожъ на его почеркъ. «Ты любишь меня!» восклицаетъ онъ, бросаясь ей на шею. Повторяемъ, такая черта не одной нашей, но и всякой другой публикѣ не можетъ не показаться странной. Но для нѣмцевъ она нисколько не странна, потому что это черта нѣмецкой жизни, вѣрно схваченная. Такихъ чертъ въ этомъ романѣ найдется довольно; многіе сочтутъ, пожалуй, и весь романъ не за что иное, какъ за такую черту... Не значитъ-ли это, что романъ Гёте написанъ до того подъ вліяніемъ нѣмецкой общественности, что въ Германіи онъ кажется чѣмъ-то странно необыкновеннымъ? Но «Фаустъ» Гёте конечно вездѣ великое созданіе. На него въ особенности любятъ указывать, какъ на образецъ чистаго искусства, неподчиняющагося ничему, кромѣ собственныхъ, одному ему свойственныхъ законовъ. И однакожъ—не въ осудъ будь сказано почтеннымъ рыцарямъ чистаго искусства—«Фаустъ» есть полное отраженіе всей жизни современнаго ему нѣмецкаго общества. Въ немъ выразилось все философское движеніе Германіи въ концѣ прошлаго столѣтія. Недаромъ послѣдователи школы Гегеля цитовали безпрестанно въ своихъ лекціяхъ и философскихъ трактатахъ стихи изъ «Фауста». Недаромъ также во второй части «Фауста» Гёте безпрестанно впадалъ въ аллегорію, часто темную и непонятную по отвлеченности идей. Гдѣ-же тутъ чистое искусство?

Мы видѣли, что и греческое искусство только ближе всякаго другого къ идеалу такъ-называемаго чистаго искусства, но не осуществляетъ его вполне; что же касается до новѣйшаго искусства, оно всегда было далеко отъ этого идеала, а въ настоящее время еще больше отдалилось отъ него; но это-то и составляетъ его силу. Собственно художественный интересъ не могъ не уступить мѣста другимъ важнѣйшимъ для человѣчества интересамъ, и искусство благородно взялось служить имъ въ качествѣ ихъ органа. Но отъ этого оно нисколько не перестало быть искусствомъ, а только получило новый характеръ. Отнимать у искусства право служить общественнымъ интересамъ—значитъ не возвышать,

а унижать его, потому что это значитъ — лишать его самой живой силы, т. е. мысли, дѣлать его предметомъ какого-то сибаритскаго наслажденія, игрушкой праздныхъ лѣнцевъ. Это значитъ даже убивать его, чему доказательствомъ можетъ служить жалкое положеніе живописи нашего времени. Какъ будто не замѣчая кипящей во-кругъ него жизни, съ закрытыми глазами на все живое, современное, дѣйствительное, это искусство ищетъ вдохновенія въ отжившемъ прошедшемъ, беретъ оттуда готовые идеалы, къ которымъ люди давно уже охладѣли, которые никого уже не интересуютъ, не грѣютъ, ни въ комъ не возбуждаютъ живого сочувствія.

Платонъ считалъ униженіемъ, профанаціей науки приложеніе геометріи къ ремесламъ. Это понятно въ такомъ восторженномъ идеалистѣ и романтикѣ, гражданинѣ маленькой республики, гдѣ общественная жизнь была такъ проста и немногосложна; но въ наше время она не имѣетъ даже оригинальности милой нечѣпости. Говорятъ, Диккенсъ своими романами сильно способствовалъ въ Англіи улучшенію учебныхъ заведеній, въ которыхъ все основано было на безщадномъ драчѣ розгами и варварскомъ обращеніи съ дѣтьми. Чтѣ жъ тутъ дурного, спросимъ мы, если Диккенсъ дѣйствовалъ въ этомъ случаѣ какъ поэтъ? Развѣ отъ этого романы его хуже въ эстетическомъ отношеніи? Здѣсь явное недоразумѣніе: видятъ, что искусство и наука не одно и то же, а не видятъ, что ихъ различіе вовсе не въ содержаніи, а только въ способѣ обрабатывать данное содержаніе. Философъ говоритъ силлогизмами, поэтъ — образами и картинами, а говорятъ оба они одно и то же. Политико-экономъ, вооружаясь статистическими числами, доказываетъ, дѣйствуя на умъ своихъ читателей или слушателей, что положеніе такого-то класса въ обществѣ много улучшилось или много ухудшилось вслѣдствіе такихъ-то и такихъ-то причинъ. Поэтъ, вооружаясь живымъ и яркимъ изображеніемъ дѣйствительности, показываетъ въ вѣрной картинѣ, дѣйствуя на фантазію своихъ читателей, что положеніе такого-то класса въ обществѣ дѣйствительно много улучшилось или ухудшилось отъ такихъ-то и такихъ-то причинъ. Одинъ доказываетъ, другой показываетъ, и оба убѣждаютъ, только одинъ логическими доводами, другой — картинами. Но перваго слушаютъ и понимаютъ немногіе, другого — всѣ. Высочайшій и священнѣйшій интересъ общества есть его собственное благосостояніе, равно простираемое на каждого изъ его членовъ. Путь къ этому благосостоянію — сознаніе, а сознанію

искусство можетъ способствовать не меньше науки. Тутъ и наука и искусство равно необходимы, и ни наука не можетъ замѣнить искусства, ни искусство науки.

Дурное, ошибочное пониманіе истины не уничтожаетъ самой истины. Если мы видимъ иногда людей, даже умныхъ и благонамѣренныхъ, которые берутся за изложеніе общественныхъ вопросовъ въ поэтической формѣ, не имѣя отъ природы ни искры поэтическаго дарованія, изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что такіе вопросы чужды искусству и губятъ его. Еслибы эти люди вздумали служить чистому искусству, ихъ паденіе было бы еще разительнѣе. Плохъ на примѣръ былъ забытый теперь романъ «Панъ Подстоличъ», вышедшій назадъ тому больше десяти лѣтъ и написанный съ похвальной цѣлью — представить картину состоянія бѣлорусскихъ крестьянъ; но все же онъ не былъ совсѣмъ бесполезенъ, и хоть съ страшной скукой, но прочли же его иныя. Конечно авторъ лучше достигъ бы своей благородной цѣли, еслибы содержаніе своего романа изложилъ въ формѣ записокъ или замѣтокъ наблюдателя, не пускаясь въ поэзію; но еслибы онъ взялся написать романъ чисто поэтическій, онъ еще меньше достигъ бы своей цѣли. Теперь многихъ увлекаетъ волшебное слово: «направленіе»; думаютъ, что все дѣло въ немъ, и не понимаютъ, что въ сферѣ искусства, во-первыхъ, никакое направленіе гроша не стоитъ безъ таланта, а во-вторыхъ, самое направленіе должно быть не въ головѣ только, а прежде всего въ сердцѣ, въ крови пишущаго; прежде всего должно быть чувствомъ, инстинктомъ, а потомъ уже, пожалуй, и сознательной мыслью, — что для него, этого направленія, такъ же надобно родиться, какъ и для самаго искусства. Идея, вычитанная или услышанная и, пожалуй, понятая, какъ должно, но не проведенная черезъ собственную натуру, не получившая отпечатка вашей личности, есть мертвый капиталъ не только для поэтической, но и всякой литературной дѣятельности. Какъ ни списывайте съ натуры, какъ ни сдобривайте вашихъ списковъ готовыми идеями и благонамѣренными «тенденціями», но если у васъ нѣтъ поэтическаго таланта, — списки ваши никому не напомнятъ своихъ оригиналовъ, а идеи и направленія останутся общими риторическими мѣстами.

Теперь что нибудь одно изъ двухъ: или картины нѣкоторыхъ сторонъ общественнаго быта, представляемыя писателями натуральной школы, проникнуты истиной и вѣрностью дѣйствительности, и въ такомъ случаѣ онѣ порождены талантомъ, носятъ

на себѣ отпечатокъ созданія; или, если это наоборотъ, онѣ не могутъ никого увлекать и убѣждать, и въ нихъ никто не видитъ ни малѣйшаго сходства съ дѣйствительностью. Такъ и говорить о нихъ противники этой школы, но тогда слѣдуетъ спросить: отчего же съ одной стороны эти произведенія пользуются такимъ успѣхомъ у большинства читающей публики, а съ другой—имѣютъ способность такъ сильно раздражать противниковъ натуральной школы? Вѣдь только золотая посредственность пользуется завидной привилегіей—никого не раздражать и не имѣть враговъ и противниковъ?

Одни говорили, что натуральная школа клеветаетъ на общество и унижаетъ его умышленно; другіе теперь прибавляютъ къ этому, что она особенно виновата въ этомъ отношеніи передъ простымъ народомъ. Последнее обвиненіе выходитъ какъ-то противорѣчиво у хулителей натуральной школы: одни изъ нихъ упрекаютъ ее съ мѣщански-аристократической точки зрѣнія, достойной прославленнаго Мольеромъ Журдена, за излишнюю симпатію къ людямъ простого званія, другіе—за скрытую враждебность къ нимъ. Мы уже имѣли случаи обстоятельно и подробно возразить на это обвиненіе и доказать всю его неосновательность и неблаговидность (въ статьѣ «Отвѣтъ «Москвитяину»), такъ что новаго объ этомъ сказать ничего не имѣемъ, пока наши доброжелатели не выдумаютъ чего нибудь новаго въ подкрѣпленіе этого, дѣлающаго имъ особенную честь, обвиненія. И потому скажемъ нѣсколько словъ о другомъ обвиненіи. Одни говорятъ (и очень справедливо на этотъ разъ), что натуральная школа основана Гоголемъ; другіе, отчасти соглашаясь съ этимъ, прибавляютъ еще, что французская неистовая словесность (дѣтъ десять назадъ тому какъ уже скончавшаяся вмалѣ) еще больше Гоголя имѣла участія въ порожденіи натуральной школы. Подобное обвиненіе изъ рукъ вонъ негѣпо: всѣ факты рѣшительно противъ него. Обращаясь къ его родословной, можно сказать, что оно порождено или тѣми неблаговидными причинами, о которыхъ говорить запрещаетъ приличіе, или рѣшительнымъ непониманіемъ литературнаго дѣла. Последнее еще вѣрнѣе. Хотя эти господа и ратуютъ за искусство, но это не мѣшаетъ имъ не имѣть о немъ ни малѣйшаго понятія. Какія произведенія французской литературы причислены были у насъ почему-то къ неистовой школѣ?—Первые романы Гюго (и въ особенности его знаменитая «Notre-Dame de Paris»), Сю, Дюма, «Мертвый оселъ и гильотинированная жен-

щина» Жюль Жанена. Не такъ-ли? Кто жъ теперь ихъ помнить, когда сами авторы ихъ давно уже приняли новое направленіе? И что составляло главный характеръ этихъ произведеній, не лишенныхъ впрочемъ своего рода достоинствъ?—преувеличеніе, мелодрама, трескучіе эффекты. Представителемъ такого направленія у насъ былъ только Марлинскій, и вліяніе Гоголя положило рѣшительный конецъ этому направленію. Что же у него общаго съ натуральной школой? Теперь даже и рѣдкихъ попытокъ нѣтъ на произведенія съ такимъ направленіемъ, за исключеніемъ развѣ драмъ съ испанскими страстями, восхищающихъ обычныхъ посѣтителей Александринскаго театра. А если посредственность и бездарность пытаются иногда, и то очень рѣдко, приобрести успѣхъ подражаніемъ французскимъ романамъ, то новѣйшимъ, болѣе негѣпнымъ и вздорнымъ, нежели неистовымъ. Къ такимъ попыткамъ принадлежитъ недавно напечатанный въ одномъ журналѣ романъ «Спекуляторы», наполненный небывальными злодѣями или, вѣрнѣе сказать, негодяями, и невозможными похождениями, изъ которыхъ однакожъ выводится въ концѣ чистѣйшая нравственность. Но натуральной школѣ что за дѣло до подобныхъ произведеній? Они къ ней не относятся ни съ которой стороны.

Гораздо вѣрнѣе всѣхъ этихъ обвиненій тотъ фактъ, что въ лицѣ писателей натуральной школы русская литература пошла по пути истинному и настоящему, обратилась къ самобытнымъ источникамъ вдохновенія и идеаловъ, и чрезъ это сдѣлалась и современной, и русскою. Съ этого пути она, кажется, уже не сойдетъ, потому что это прямой путь къ самобытности, къ освобожденію отъ всякихъ чуждыхъ и постороннихъ вліяній. Этимъ мы отнюдь не хотимъ сказать, что она всегда останется въ томъ состояніи, какъ теперь; нѣтъ, она будетъ идти впередъ, измѣняться, но только никогда уже не перестанетъ быть вѣрной дѣйствительности и натурѣ. Мы нисколько не обольщены ея успѣхами и вовсе не хотимъ преувеличивать ихъ. Мы очень хорошо видимъ, что наша литература и теперь еще на пути стремленія, а не достиженія, что она только устанавливается, но еще не установилась. Весь успѣхъ ея заключается пока въ томъ, что она нашла уже свою настоящую дорогу и больше не ищетъ ея, но съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе твердымъ шагомъ продолжаетъ идти по ней. Теперь у ней нѣтъ главы, ея дѣятеля—таланты не первой степени, а между тѣмъ она имѣетъ свой характеръ и уже безъ помочей идетъ по настоящей дорогѣ, которую ясно ви-

дѣтъ сама. Здѣсь невольно приходятъ намъ на память слова, сказанныя редакторомъ «Современника» въ первой книжкѣ этого журнала за прошлый годъ: «Взаимнѣ сильныхъ талантовъ, не достигающихъ нашей современной литературѣ, въ ней, такъ сказать, отстоялись и улеглись жизненные начала дальнѣйшаго развитія и дѣятельности. Она уже, какъ мы замѣтили выше, явленіе опредѣленнаго рода; въ ней есть сознаніе самостоятельности и своего значенія. Она уже сила организованная правильно, дѣятельная, живыми отпрысками перепахивающаяся съ разными общественными нуждами и интересами, не метеоръ, случайно залетѣвшій изъ чуждой намъ сферы на удивленіе толпы, не вспышка уединенной гениальной мысли, нечаянно проскользнувшая въ умахъ и потрясшая ихъ на минуту новымъ и невѣдомымъ ощущеніемъ. Въ области литературы нашей теперь нѣтъ мѣстъ особенно замѣчательныхъ, но есть вся литература. Недавно она еще была похожа на пестрое пространство нашихъ полей, только-что освободившихся отъ ледяной земной коры: тутъ на холмахъ кой-гдѣ пробивается травка, въ оврагахъ лежитъ еще почернѣвшій снѣгъ, перемѣшанный съ грязью. Теперь ее можно сравнить съ тѣми же полями въ весеннемъ убранствѣ: хотя зелень не блистаетъ яркимъ колоритомъ, мѣстами она очень блѣдна и не роскошна, но она уже стелется повсюду; прекрасное время года наступаетъ».

Мы думаемъ, что въ этомъ есть проречье...

Справедливость выписанныхъ нами словъ сдѣлается еще очевиднѣе, если обратить вниманіе и на другія стороны русской литературы нашего времени. Тамъ увидимъ мы явленіе, соответствующее тому, которое въ поэзіи называютъ натурализмомъ, т. е. то же стремленіе къ дѣйствительности, реальности, истинѣ, то же отвращеніе отъ фантазій и призраковъ. Въ наукѣ отвлеченныя теоріи, апіорныя построенія, довлѣніе къ системамъ со дня на день теряютъ свой кредитъ и уступаютъ мѣсто направленію практическому, основанному на знаніи фактовъ. Конечно наука еще не пустила у насъ глубокихъ корней, но и въ ней уже замѣтенъ поворотъ къ самобытности, именно въ той сферѣ, въ которой самобытность прежде всего должна начаться для русской науки—въ сферѣ изученія русской исторіи. Въ ея событіяхъ, до сихъ поръ объяснявшихся подъ вліяніемъ изученія западной исторіи, уже приводятся начала жизни, только ей свойственныя, и русская исторія объясняется по-русски. То же обращеніе

къ вопросамъ, имѣющимъ болѣе близкое отношеніе собственно къ нашей, русской жизни, то же усиліе разрѣшить ихъ по-всему замѣтно и въ изученіи современнаго быта Россіи. Чтобы доказать это, мы разберемъ все, что въ прошломъ году явилось замѣчательнаго въ какомъ-бы то ни было отношеніи.

II.

Значеніе романа и повѣсти въ настоящее время.—Замѣчательные романы и повѣсти прошлаго года и характеристика современныхъ русскихъ беллетристовъ: Искандеръ, Гончаровъ, Тургеневъ, Далъ, Григоровичъ, Дружининъ.—«Путевыя замѣтки» Т. Ч.—«Испанскія письма», Боткина.—«Полное собраніе русскихъ авторовъ», А. Смирдина.

Романъ и повѣсть стали теперь во главѣ всѣхъ другихъ родовъ поэзіи. Въ нихъ заключилась вся изящная литература, такъ что всякое другое произведеніе кажется при нихъ чѣмъ-то исключительнымъ и случайнымъ. Причины этого—въ самой сущности романа и повѣсти, какъ рода поэзіи. Въ нихъ лучше, удобнѣе, нежели въ какомъ-нибудь другомъ родѣ поэзіи, вымыслъ сливается съ дѣйствительностью, художественное изображеніе смѣшивается съ простымъ, лишь бы вѣрнымъ, списываніемъ съ натуры. Романъ и повѣсть, даже изображая самую обыкновенную и пошлую прозу житейскаго быта, могутъ быть представителями крайнихъ предѣловъ искусства, высшаго творчества; съ другой стороны, отражая въ себѣ только избранныя, высокія мгновенія жизни, они могутъ быть лишены всякой поэзіи, всякаго искусства... Это самый широкій, всеобъемлющій родъ поэзіи. Въ немъ талантъ чувствуетъ себя безгранично свободнымъ; въ немъ соединяются всѣ другіе роды поэзіи—и лирика, какъ изліяніе чувствъ автора по поводу описываемаго имъ событія, и драматизмъ, какъ болѣе яркій и рельефный способъ заставляя высказываться данные характеры. Отступленія, разсужденія, дидактика, нетерпимыя въ другихъ родахъ поэзіи, въ романѣ и повѣсти могутъ имѣть законное мѣсто. Романъ и повѣсть даютъ полный просторъ писателю въ отношеніи преобладающаго свойства его таланта, характера, вкуса, направленія, и т. д. Вотъ почему въ послѣднее время такъ много романистовъ и повѣствователей. И потому же теперь самыя предѣлы романа и повѣсти раздвинулись: кромѣ «разказа», давно уже существовавшаго въ литературѣ, какъ низшій и болѣе легкій видъ повѣсти, недавно получили въ литературѣ право гражданства такъ-называемыя фізіологіи, характеристическіе очерки разныхъ сторонъ обществен-

наго быта. Наконецъ самые мемуары, совершенно чуждые всякаго вымысла, цѣнимы только по мѣрѣ вѣрной и точной передачи ими дѣйствительныхъ событій, самые мемуары, если они мастерски написаны, составляютъ какъ бы послѣднюю грань въ области романа, замыкая ее собою. Что же общаго между вымыслами фантазій и строго историческими изображеніемъ того, что было на самомъ дѣлѣ? Какъ что?—художественность изложенія! Недаромъ же историковъ называютъ художниками. Кажется, что-бы дѣлать искусству (въ смыслѣ художества) тамъ, гдѣ писатель связанъ источниками, фактами и долженъ только о томъ стараться, чтобы воспроизвести эти факты какъ можно вѣрнѣе? Но въ томъ-то и дѣло, что вѣрное воспроизведеніе фактовъ невозможно при помощи одной эрудиціи, а нужна еще фантазія. Историческіе факты, содержащіеся въ источникахъ,—не болѣе, какъ камни и кирпичи: только художникъ можетъ воздвигнуть изъ этого матеріала изящное зданіе. Въ первой статьѣ нашей мы уже говорили о томъ, что вѣрно списывать съ натуры такъ же нельзя безъ творческаго таланта, какъ и создавать вымыслы, похожіе на натуру. Сближеніе искусства съ жизнью, вымыслы—съ дѣйствительностью въ нашъ вѣкъ особенно выразилось въ историческомъ романѣ. Отсюда былъ только шагъ до истиннаго воззрѣнія на мемуары, въ которыхъ такую важную роль играютъ очерки характеровъ и лицъ. Если очерки живы, увлекательны, значить—они не копіи, не списки, всегда блѣдные, ничего не выражающіе, а художественное воспроизведеніе лицъ и событій. Такъ дорожатъ портретами Фанъ-Дейковъ, Типіановъ и Веласкесовъ, вовсе не интересуясь знать, съ кого были писаны эти портреты: ими дорожатъ, какъ картинами, какъ художественными произведеніями. Такова сила искусства: лицо, ничѣмъ не замѣчательное само по себѣ, получаетъ чрезъ искусство общее значеніе, для всѣхъ равно интересное, и на человѣка, который при жизни не обращалъ на себя ничьего вниманія, смотря въ вѣка по милости художника, давашаго ему своей кистью новую жизнь! То же самое и въ мемуарахъ, и въ разсказахъ, и во всякаго рода снимкахъ съ натуры. Тутъ степень достоинства произведенія зависитъ отъ степени таланта писателя. И вы можете въ книгѣ любоваться человѣкомъ, съ которымъ не захотѣли бы нигдѣ встрѣтиться, котораго можетъ быть всегда знали бы какъ самое пустое и скучное созданіе. Запоздалыя эстетики утверждаютъ, что «поэзія не должна быть живописью, потому что въ живописи все дѣло въ вѣрномъ изобра-

женіи предмета, скваченнаго въ одномъ известномъ моментѣ». Но если поэзія беретъ изображать лица, характеры, событія,—словомъ, картины жизни, само собою разумѣется, что въ такомъ случаѣ она беретъ на себя ту же самую обязанность, что живописецъ, т. е. быть вѣрной дѣйствительности, которую взялась воспроизводить. И эта вѣрность есть первое требованіе, первая задача поэзіи. О поэтическомъ талантѣ автора тутъ должно судить, прежде всего основываясь на томъ, до какой степени удовлетворяетъ онъ этому требованію, рѣшаетъ эту задачу. Если онъ не живописецъ,—явный знакъ, что онъ и не поэтъ, что у него вовсе нѣтъ таланта. Но что поэзія не должна быть только живописью, это опять другое дѣло, и съ этимъ нельзя не согласиться. Въ картинахъ поэта должна быть мысль, производимое ими впечатлѣніе должно дѣйствовать на умъ читателя, должно давать то или другое направленіе его взгляду на извѣстныя стороны жизни. Для этого романъ и повѣсть, съ однородными имъ произведеніями, самый удобный родъ поэзіи. На его долю преимущественно досталось изображеніе картинъ общественности, поэтический анализъ общественной жизни.

Прошлый 1847 годъ былъ особенно богатъ замѣчательными романами, повѣстями и разсказами. По огромному успѣху въ публикѣ, первое мѣсто между ними принадлежитъ, безъ всякаго сомнѣнія, двумъ романамъ: «Кто виноватъ?» и «Обыкновенная Исторія», почему мы и начнемъ съ нихъ наше обзорнѣе изящной литературы за прошлый годъ.

Искандеръ давно уже извѣстенъ публикѣ, какъ авторъ разныхъ статей, отличающихся замѣчательнымъ умомъ, талантомъ, остроуміемъ, оригинальностью взгляда на предметы и оригинальностью выраженія. Но какъ романистъ, онъ талантъ новый, обратившій на себя особенное вниманіе русской публики только съ прошлаго года. Правда, въ «Отечественныхъ Запискахъ» были напечатаны два его опыта въ искусствѣ разсказывать: «Записки одного молодого человѣка» (1840) и «Еще изъ записокъ одного молодого человѣка» (1841), въ которыхъ можно было предугадывать въ авторѣ будущаго даровитаго романиста, судя по вѣрности и живости этихъ легкихъ очерковъ. Гончаровъ, авторъ «Обыкновенной Исторіи»,—лицо совершенно новое въ нашей литературѣ, но уже занявшее въ ней одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ. Потому ли, что оба эти романа—«Кто виноватъ?» и «Обыкновенная Исторія»—появились почти въ одно время и раздѣлили между собой славу необыкновеннаго успѣ-

ха, — о нихъ не только говорятъ вмѣстѣ, но еще и сравниваютъ ихъ между собой, будто явленія однородныя. Одинъ журналъ, объявивъ недавно романъ Искандера въ высшей степени художественнымъ произведеніемъ, изъявилъ свое недовольство романомъ Гончарова на томъ основаніи, что въ послѣднемъ не нашелъ достоинствъ перваго. Мы тоже намѣрены въ разборѣ этихъ романовъ ставить ихъ вмѣстѣ, но не для того, чтобы показать ихъ сходство, котораго между ними, какъ произведеніями совершенно различными по ихъ сущности, нѣтъ и тѣни, а для того, чтобы самой ихъ взаимной противоположностью вѣрнѣе очертить особенность каждаго изъ нихъ и показать ихъ достоинства и недостатки.

Видѣть въ авторѣ «Кто виноватъ?» необыкновеннаго художника — значитъ вовсе не понимать его таланта. Правда, онъ обладаетъ замѣчательной способностью вѣрно передавать явленія дѣйствительности, очерки его опредѣленны и рѣзки, картины его ярки и сразу бросаются въ глаза. Но даже и эти самыя качества доказываютъ, что главная сила его не въ творчествѣ, не въ художественности, а въ мысли, глубоко прочувствованной, вполне сознательной и развитой. Могущество этой мысли — главная сила его таланта; художественная манера схватывать вѣрно явленія дѣйствительности — второстепенная, вспомогательная сила его таланта. Отнимите у него первую, — вторая окажется слишкомъ несостоятельной для самобытной дѣятельности.

Подобный талантъ не есть что-нибудь особенное, исключительное, случайное. Нѣтъ, такіе таланты такъ же естественны, какъ и таланты чисто художественные. Ихъ дѣятельность образуетъ особенную сферу искусства, въ которой фантазія является на второмъ мѣстѣ, а умъ — на первомъ. На это различіе мало обращаютъ вниманія и оттого въ теоріи искусства выходитъ страшная путаница. Хотятъ видѣть въ искусствѣ своего рода умышленный Китай, рѣзко отдѣленный точными границами отъ всего, что не искусство въ строгомъ смыслѣ слова. А между тѣмъ эти пограничныя линіи существуютъ больше предположительно, нежели дѣйствительно; по крайней мѣрѣ ихъ не укажешь пальцемъ, какъ на картѣ границы государствъ. Искусство, по мѣрѣ приближенія къ той или другой своей границѣ, постепенно теряетъ нѣчто отъ своей сущности и принимаетъ въ себя отъ сущности того, съ чѣмъ граничитъ, такъ что вмѣсто разграничивающей черты является область, примиряющая обѣ стороны.

Поэтъ-художникъ — болѣе живописецъ, нежели думаютъ. Чувство формы — въ этомъ

вся натура его. Вѣчно соперничать съ природой въ способности творить — его высочайшее наслажденіе. Схватить данный предметъ во всей его истинѣ, заставить его, такъ сказать, дышать жизнью — вотъ въ чемъ его сила, торжество, удовлетвореніе, гордость. Но поэзія выше живописи, предѣлы ея обширнѣе, нежели предѣлы всякаго другого искусства. И потому поэтъ, разумѣется, не можетъ ограничиться одной живописью, — о чемъ мы впрочемъ уже говорили. Но какія бы ни были другія превосходныя, возбуждающія восторгъ и удивленіе качества его твореній, — все-таки главная сила его въ поэтической живописи. Онъ обладаетъ способностью быстро постигать всѣ формы жизни, переноситься во всякій характеръ, во всякую личность, — и для этого ему нужны не опыты, не изученіе, а достаточно иногда одного намека или одного быстрого взгляда. Два-три факта, — и его фантазія возстановляетъ цѣлый отдѣльный, замкнутый въ самомъ себѣ міръ жизни, со всѣми его условіями и отношеніями, съ свойственнымъ ему колоритомъ и оттѣнками. Такъ Кювье наукой дошелъ до искусства по одной ископаемой кости возстановлять умышленно цѣлый организмъ животнаго, которому она принадлежала. Но тутъ дѣйствовалъ гений, развитый и вспомоствуемый наукой; поэтъ же преимущественно опирается на свое чувство, свой поэтический инстинктъ.

Другой разрядъ поэтовъ, о которомъ мы начали говорить и къ которому принадлежитъ авторъ романа «Кто виноватъ?», можетъ изображать вѣрно только тѣ стороны жизни, которыя особенно почему бы то ни было поразили ихъ мысль и особенно знакомы имъ. Они не понимаютъ наслажденія представить вѣрно явленіе дѣйствительности для того только, чтобы вѣрно представить его. У нихъ не достаетъ ни охоты, ни терпѣнія на такой, по ихъ мнѣнію, бесполезный трудъ. Для нихъ важенъ не предметъ, а смыслъ предмета, — и ихъ вдохновеніе вспыхиваетъ только для того, чтобы черезъ вѣрное представленіе предмета сдѣлать въ глазахъ всѣхъ очевиднымъ и осязательнымъ смыслъ его. У нихъ, стало-быть, опредѣленная и ясно сознаваемая цѣль впереди всего, а поэзія — только средство къ достиженію этой цѣли. Поэтому доступный ихъ таланту міръ жизни опредѣляется ихъ задушевною мыслью, ихъ взглядомъ на жизнь; это магическій кругъ, изъ котораго они не могутъ выйти безнаказанно, т. е. не теряя вдругъ способности изображать дѣйствительность поэтически вѣрно. Отнимите у нихъ эту, одушевляющую ихъ, мысль, заставьте отка-

заться отъ ихъ взгляда на предметы,—и у нихъ нѣтъ больше и таланта; тогда какъ талантъ поэта-художника всегда съ нимъ, пока вокругъ него движется жизнь, какая бы она ни была.

Что составляетъ задушевную мысль Искандера, которая служить ему источникомъ его вдохновенія, возвышаетъ его иногда въ вѣрномъ изображеніи явленій общественной жизни почти до художественности? — Мысль о достоинствѣ человѣческомъ, которое унижается предрассудками, невѣжествомъ, и унижается то несправедливостію челоѣка къ своему ближнему, то собственнымъ добровольнымъ искаженіемъ самого себя. Герой всѣхъ романовъ и повѣстей Искандера, сколько бы ни написалъ онъ ихъ, всегда былъ и будетъ одинъ и тотъ же: это—человѣкъ, понятіе общее, родовое, во всей обширности этого слова, во всей святости его значенія. Искандеръ—по преимуществу поэтъ гуманности. Поэтому въ его романѣ бездна лицъ, большей частью мастерски очерченныхъ, но нѣтъ героя, нѣтъ героини. Въ первой части, заинтересовавъ насъ четой Негровыхъ, онъ выводитъ намъ героями романа Круциферскаго и Любоньку. Въ эпизодѣ, записанномъ для связи обѣихъ частей, героемъ является Бельтовъ; но мать Бельтова и его гувернеръ-женевецъ едва ли не больше, нежели онъ самъ, интересуютъ собой читателя. Во второй части героями являются Бельтовъ и Круциферская, и въ ней только раскрывается полный основная мысль романа, являющаяся сначала такъ загадочной въ его названіи «Кто виноватъ?». Но мы должны признаться, что эта-то мысль всего менѣе и интересуетъ насъ въ романѣ, такъ же, какъ Бельтовъ, герой романа, кажется намъ самымъ неудачнымъ лицомъ во всемъ романѣ. Когда Круциферскій сдѣлался женихомъ Любоньки, докторъ Круповъ сказалъ ему: «не пара тебѣ эта невѣста, ужъ что хочешь,—эти глаза, этотъ цвѣтъ лица, этотъ трепетъ, который иногда пробѣгаетъ по ея лицу,—она тигренокъ, который еще не знаетъ своей силы, а ты, да что ты? ты—невѣста; ты, братецъ, нѣмка; ты будешь жена—ну, годно ли это?» Въ этихъ словахъ лежитъ завязка романа, который, по намѣренію автора, долженъ былъ только начаться свадьбой вмѣсто того, чтобы кончиться ею. Авторъ, познакомивши насъ съ Бельтовымъ, ведетъ насъ въ мирное убѣжище молодой четы, уже четыре года наслаждающейся тихимъ семейнымъ счастьемъ; — но, помня мрачное предсказаніе оракула въ лицѣ скептическаго доктора, читатель невольно ждетъ,

что въ самой картинѣ семейнаго счастья Круциферскихъ авторъ покажетъ ему зародышъ и начало будущихъ бѣдъ. Круциферскій дѣйствительно не женился, а вышелъ замужъ. Его жена была слишкомъ выше его, слѣдовательно слишкомъ не по немъ. Естественно, что онъ былъ вполне счастливъ ею; но не естественно, чтобы она была спокойно счастлива, не видѣла тревожныхъ сновъ, не задумывалась наяву. Она могла уважать и даже любить своего мужа, какъ существо младенчески чистое и благородное, которое сверхъ того вырвало ее изъ аду родительскаго дома; но такая ли любовь могла удовлетворить такую женщину, наполнить тѣ потребности, тѣ стремленія ея натуры, которыя тѣмъ мучительнѣе, чѣмъ неопредѣленнѣе и бессознательнѣе? Знакомство съ Бельтовымъ, скоро превратившееся въ любовь, должно было только открыть ей глаза на ея положеніе, пробудить въ ней сознаніе того, что она не могла быть счастлива съ такимъ челоѣкомъ, какъ Круциферскій. Но этого авторъ не сдѣлалъ.

Мысль была прекрасная, исполненная глубокаго трагическаго значенія. Она-то и увлекла большинство читателей и помѣшала имъ замѣтить, что вся исторія трагической любви Бельтова и Круциферской рассказана умно, очнь умно, даже ловко, то зато ужъ нисколько не художественно. Тутъ мастерской рассказъ, но нѣтъ и слѣда живой поэтической картины. Мысль спасла и вынесла автора: умомъ онъ вѣрно понималъ положеніе своихъ героевъ, но перedalъ его только какъ умный челоѣкъ, хорошо понявшій дѣло, но не какъ поэтъ. Такъ иногда даровитый актеръ, взявшійся за роль, которая вовсе не въ его средствахъ и талантѣ, все-таки не портитъ ее, но умно и ловко выполняетъ ее, вмѣсто того чтобы сыграть. Мысль роли не потеряна, а трагическій смыслъ пьесы дополняется недостаткомъ въ выполненіи главной роли,—и зритель не вдругъ догадывается, что онъ былъ только увлеченъ, а совсѣмъ не удовлетворенъ.

Это доказывается между прочимъ и тѣмъ, что во второй части романа характеръ Бельтова произвольно измѣненъ авторомъ. Сперва это былъ челоѣкъ, жаждавшій полезной дѣятельности и ни въ чемъ не находившій ея, по причинѣ ложнаго воспитанія, которое далъ ему благородный женевскій мечтатель. Бельтовъ зналъ многое и обо всемъ имѣлъ общія понятія, но совершенно не зналъ той общественной среды, въ которой одной могъ бы дѣйствовать съ пользой. Все это не только сказано, но и показано авторомъ мастерски.

Мы думаемъ, что при этомъ авторъ могъ бы еще указать слегка и на натуру своего героя, нисколько не практическую и, кромѣ воспитанія, порядочно испорченную еще и богатствомъ. Тому, кто родился богатымъ, надо получить отъ природы особенное призваніе къ какой бы то ни было дѣятельности, чтобы не праздно жить на свѣтѣ и не скучать отъ бездѣйствія. Этого-то призванія и не замѣтно вовсе въ натурѣ Бельтова. Натура его была чрезвычайно богата и многосторонна, но въ этомъ богатствѣ и многосторонности ничто не имѣло прочнаго корня. У него много ума, но ума созерцательнаго, теорическаго, который не столько углублялся въ предметы, сколько скользилъ по нимъ. Онъ способенъ былъ понимать многое, почти все, но эта-то многосторонность сочувствія и пониманія и мѣшаетъ такимъ людямъ сосредоточить всѣ свои силы на одномъ предметѣ, устремить на него всю свою волю. Такіе люди вѣчно порываются къ дѣятельности, пытаются найти свою дорогу, и, разумѣется, не находятъ ея.

Такимъ образомъ Бельтовъ осужденъ былъ томиться никогда неудовлетворяемой жаждой дѣятельности и тоской бездѣйствія. Авторъ мастерски передалъ намъ его неудачныя попытки служить, потомъ сдѣлаться врачомъ, артистомъ. Если нельзя сказать, что онъ вполне очертилъ и разъяснилъ этотъ характеръ,—все же это у него лицо, хорошо очерченное, понятное и естественное. Но въ послѣдней части романа Бельтовъ вдругъ является передъ нами какой-то высшей, гениальной натурой, для дѣятельности которой дѣйствительность не представляетъ достойнаго поприща... Это уже совсѣмъ не тотъ человекъ, съ которымъ мы такъ хорошо познакомились прежде; это уже не Бельтовъ, а что то вродѣ Печорина. Разумѣется, прежній Бельтовъ былъ гораздо лучше, какъ всякій человекъ, играющій свою собственную роль. Сходство съ Печоринымъ для него крайне невыгодно. Не понимаемъ, зачѣмъ автору нужно было съ своей дороги сойти на чужую!... Неужели этимъ онъ хотѣлъ поднять Бельтова до Круциферской? Напрасно! для нея онъ былъ бы также интересенъ и въ прежнемъ своемъ видѣ; и тогда онъ сталъ бы подлѣ бѣднаго Круциферскаго настоящимъ колосомъ подлѣ карлика. Онъ былъ человекъ взрослый, совершеннолѣтній, мужчина, по крайней мѣрѣ по уму и взгляду на жизнь; а Круциферскій съ его благородными мечтами вмѣсто настоящаго пониманія людей и жизни и подлѣ прегнаго Бельтова все казался бы ребенкомъ, котораго развитіе задержано какой-нибудь болѣзнью.

Круциферская, въ свою очередь, является гораздо интереснѣе въ первой части романа, нежели въ послѣдней. Нельзя сказать, чтобы и тамъ ея характеръ былъ рѣзко очерченъ; но зато рѣзко было очерчено ея положеніе въ домѣ Негрова. Тамъ она хороша молча, безъ словъ, безъ дѣйствій. Читатель угадываетъ ее, хотя не слышитъ отъ нея почти ни слова. Авторъ въ обрисовкѣ ея положенія обнаружилъ необыкновенное мастерство. Только въ отрывкахъ изъ ея дневника она у него высказывается сама. Но мы не совсѣмъ довольны этой исповѣдью. Кромѣ того, что манера знакомить читателей съ героинями романовъ черезъ ихъ записки—манера старая, избитая и фальшивая,—записки Любоньки немножко отзываются поддѣлкой: по крайней мѣрѣ не всякій повѣритъ, что ихъ писала женщина... Очевидно, что и тутъ авторъ вышелъ изъ сферы своего таланта. То же скажемъ мы и объ отрывкахъ Круциферской въ концѣ романа. Въ томъ и другомъ случаѣ авторъ ловко отдѣлался отъ задачи, которая была ему не по силамъ, но не больше. Вообще, сдѣлавшись Круциферской, Любонька перестала быть характеромъ, лицомъ и превратилась въ мастерски, умно развитую мысль. Она и Бельтовъ—два единственныхъ лица, съ которыми авторъ не совладакъ какъ слѣдуетъ. Но и въ нихъ нельзя не удивляться его ловкости и искусству поддерживать интересъ до конца и поразить, растрогать большинство читателей тамъ, гдѣ съ его талантомъ, но безъ его ума и вѣрнаго взгляда на предметы, всякій другой только насмѣшилъ бы.

Итакъ, не въ картинѣ трагической любви Бельтова и Круциферской надо искать достоинствъ романа Искандера. Мы видѣли, что все это вовсе не картина, а мастерски изложенное слѣдственное дѣло. Вообще «Кто виноватъ?»—собственно не романъ, а рядъ біографій, мастерски написанныхъ и ловко связанныхъ внѣшнимъ образомъ въ одно цѣлое именно той мыслью, которой автору не удалось развить поэтически. Но въ этихъ біографіяхъ есть и внутренняя связь, хотя и безъ всякаго отношенія къ трагической любви Бельтова и Круциферской. Это—мысль, которая глубоко легла въ ихъ основаніе, дала жизнь и душу каждой чертѣ, каждому слову разсказа, сообщила ему эту убѣдительность и увлекательность, которая равно неотразимо дѣйствуетъ на читателей симпатизирующихъ и несимпатизирующихъ съ авторомъ, образованныхъ и необразованныхъ. Мысль эта является у автора какъ чувство, какъ страсть; словомъ, изъ его романа видно,

что она столько же составляет пагубу его жизни, какъ и его романа. О чемъ бы онъ ни говорилъ, чѣмъ бы ни увлекся въ отступленіи, онъ никогда не забываетъ ея, безпрестанно возвращается къ ней, она какъ-будто невольно сама высказывается у него. Эта мысль срослась съ его талантомъ; въ ней его сила; еслибъ онъ могъ охладѣть къ ней, отречься отъ нея, — онъ бы вдругъ лишился своего таланта. Какая же эта мысль? Это — страданіе, болѣзнь при видѣ непризнаннаго человѣческаго достоинства, оскорбляемаго съ умысломъ и еще больше безъ умысла; это то, что нѣмцы называютъ гуманностью (*Humanität*). Тѣ, кому покажется непонятной мысль, заключающаяся въ этомъ словѣ, въ сочиненіяхъ Искандера найдутъ самое лучшее ея объясненіе. О самомъ же словѣ скажемъ, что нѣмцы сдѣлали его изъ латинскаго слова *humanus*, что значитъ человѣческій. Здѣсь оно берется въ противоположность слову животный. Когда человѣкъ поступаетъ съ людьми, какъ слѣдуетъ человѣку поступать съ своими ближними, братьями по естеству, онъ поступаетъ гуманно; въ противномъ случаѣ онъ поступаетъ, какъ прилично животному. Гуманность есть человѣколюбіе, но развитое сознаниемъ и образованіемъ. Человѣкъ, воспитывающій бѣднаго сироту не по расчету, не изъ хвастовства, а по желанію сдѣлать добро, — воспитывающій его какъ родного сына, виждетъ съ этимъ дающій ему чувствовать, что онъ его благодѣтель, что онъ на него тратится, и пр., и пр., такой человѣкъ конечно заслуживаетъ названіе добраго, нравственнаго и человѣколюбиваго, но отнюдь не гуманнаго. У него много чувства, любви, но они не развиты въ немъ сознаниемъ, покрыты грубой корой. Его грубый умъ и не подозреваетъ, что въ натурѣ человѣческой есть струны тонкія и нѣжныя, съ которыми надобно обращаться бережно, чтобы не сдѣлать человѣка несчастнымъ при всѣхъ вѣншихъ условіяхъ счастья, или чтобы не огрубить, не опомилить человѣка, который, при болѣе гуманномъ съ нимъ обращеніи, могъ бы сдѣлаться порядочнымъ. А между тѣмъ сколько на свѣтѣ такихъ благодѣтелей, которые мучатъ, а иногда и губятъ тѣхъ, на кого изливаются ихъ благодѣянія, безъ всякаго дурного умысла, иногда горячо любя ихъ, смиренно желая имъ всякаго добра, — и потомъ добродушно удивляются тому, что вѣсто привязанности и уваженія имъ заплачено холодною, равнодушіемъ, неблагодарностью, даже ненавистью и враждой, или что изъ ихъ воспитанниковъ вышли негодяи, тогда какъ они имъ дали самое нравственное

воспитаніе. Сколько есть отцовъ и матерей, которые дѣйствительно по своему любятъ своихъ дѣтей, но считаютъ священной обязанностью безпрестанно твердить имъ, что они обязаны своимъ родителямъ и жизнью, и одеждой, и воспитаніемъ! Эти несчастные и не догадываются, что они сами лишаютъ себя дѣтей, замѣняя ихъ какими-то приемышами, сиротами, которыхъ они взяли изъ чувства благодѣтельности. Они спокойно дремлютъ на моральномъ правилѣ, что дѣти должны любить своихъ родителей, и потомъ въ старости со вздохомъ повторяютъ избитую сентенцію, что отъ дѣтей нечего ожидать, кромѣ неблагодарности. Даже этотъ страшный опытъ не снимаетъ толстой ледяной коры съ ихъ оцѣнчивыхъ умовъ и не заставляетъ ихъ наконецъ понять, что сердце человѣческое дѣйствуетъ по своимъ собственнымъ законамъ и никакихъ другихъ признавать не хочетъ и не можетъ, что любовь по долгу и по обязанности есть чувство противное человѣческой природѣ, сверхъ-естественное, фантастическое, невозможное и небывалое, что любовь дается только любви, что любви нельзя требовать, какъ чего-то слѣдующаго намъ по праву, но всякую любовь надо приобрести, заслужить, отъ кого бы то ни было, все равно — отъ высшаго или отъ низшаго насъ, сыну ли отъ отца, или отцу отъ сына. Посмотрите на дѣтей: часто случается, что дѣтя очень равнодушно смотрятъ на свою мать, хотя она и кормитъ его своей грудью, и подымаетъ страшный ревъ, если, проснувшись, не увидитъ тотчасъ же своей няни, которую оно привыкло видѣть при себѣ безотлучно. Видите ли: ребенокъ — это полное и совершенное выраженіе природы — даритъ своей любовью того, кто доказываетъ ему любовь свою на самомъ дѣлѣ, кто отказался для него отъ всѣхъ удовольствій, словно желѣзной цѣпью приковалъ себя къ его жалкому и слабому существованію.

Гуманность нисколько не находится въ противорѣчій съ уваженіемъ къ высокимъ общественнымъ положеніямъ и рангамъ; но она находится въ рѣшительномъ противорѣчій съ презрѣніемъ къ кому бы то ни было, кромѣ негодяевъ и подлецовъ. Она охотно признаетъ общественное первенство людей, но только смотритъ на него не съ одной вѣншей, но болѣе съ внутренней стороны. Гуманность не только не обязываетъ человѣка низшаго сословія съ грубыми манерами, привычками осыпать непривычными ему вѣжливостями, но даже запрещаетъ это, потому что такое обращеніе поставило бы его въ неловкое положеніе, заставило бы подозревать въ немъ на-

смѣшку или дурной умыселъ. Гуманный человѣкъ обойдется съ низшимъ себя и грубо развитымъ человѣкомъ съ той вѣжливостью, которая тому не можетъ показаться странной или дикой; но онъ не допуститъ его унижать передъ нимъ свое человеческое достоинство, — не позволитъ ему кланяться себѣ въ ноги, не станетъ называть его Ванькой или Ванюхой и тому подобными именами, похожими на собачьи клички, не будетъ легонько трясти его за бороду въ знакъ своего милостиваго къ нему расположенія, чтобы тотъ, подлюхмыляясь, говорилъ ему съ подобострастiemъ: «за что изволите жаловать?..». Чувство гуманности оскорбляется, когда люди не уважаютъ въ другихъ человеческаго достоинства, и еще болѣе оскорбляется и страдаетъ, когда человѣкъ самъ въ себѣ не уважаетъ собственнаго достоинства.

Вотъ это-то чувство гуманности и составляетъ, такъ сказать, душу твореній Искандера. Онъ ея проповѣдникъ, адвокатъ. Выводимыя имъ на сцену лица — люди не злые, даже большей частью добрые, которые мучатъ и преслѣдуютъ самихъ себя и другихъ чаще съ хорошими, нежели съ дурными намѣреніями, больше по невѣжеству, нежели по злости. Даже тѣ изъ его лицъ, которыя отталкиваютъ отъ себя низостью чувствъ и гадостью поступковъ, представляются авторомъ больше какъ жертвы ихъ собственнаго невѣжества и той среды, въ которой они живутъ, нежели ихъ злой натуры. Онъ изображаетъ преступления, неподлежащія вѣдомству законовъ и понимаемыя большинствомъ какъ дѣйствія разумныя и нравственныя. Злодѣевъ у него мало: въ трехъ повѣстяхъ, доселѣ напечатанныхъ, только въ одной «Сорокъ-Воровкъ» выведенъ злодѣй, да и то такой, котораго и теперь многіе готовы считать за самаго добродѣтельнаго и нравственнаго человѣка. Главное орудіе Искандера, которымъ онъ владѣетъ съ такимъ удивительнымъ мастерствомъ, — иронія, нерѣдко возвышающаяся до сарказма, но чаще обнаруживающаяся легкой, граціозной и необыкновенно добродушной шуткой: вспомните добраго почтмейстера, который два раза чуть не убилъ Бельтова, сначала горемъ, потомъ радостью, и такъ добродушно потиралъ себѣ руки, такъ вкушалъ успѣхъ сюрприза, что «нѣтъ въ мірѣ жестокаго сердца, которое нашло бы въ себѣ силу упрекнуть его за эту штуку, и которое бы не предложило ему закусить». А между тѣмъ и въ этой чертѣ, нисколько не возмутительной, а только забавной, авторъ остается

вѣрнымъ своей завѣтной идеѣ. Все что касается этой идеи въ романѣ «Кто виноватъ?», — все это отличается вѣрностью дѣйствительности, мастерствомъ изложенія, которыя выше всякихъ похвалъ. Здѣсь, а не въ любви Бельтова и Круциферской, блестящая сторона романа и торжество таланта автора. Мы сказали выше, что романъ этотъ — рядъ біографій, связанныхъ между собой одной мыслью, но безконечно разнообразныхъ, глубоко правдивыхъ и богатыхъ философскимъ значеніемъ. Здѣсь авторъ вполне въ своей сферѣ. Что лучшаго въ той самой части романа, которая вся посвящена трагической любви Бельтова и Круциферской, какъ не біографія почтеннѣйшаго Карпа Кондратьича, бойкой супруги его Марьи Степановны и бѣдной дочери ихъ Варвары Карповны, по домашнему Вавы, — біографія, вошедшая сюда эпизодомъ? Когда интересны въ романѣ Круциферскій и Любонька? Тогда, какъ они живутъ въ домѣ Негровыхъ и страдаютъ отъ всего ихъ окружающаго. Такія положенія сподручны автору, и онъ обыкновенный мастеръ рисовать ихъ. Когда интересенъ самъ Бельтовъ? Когда мы читаемъ исторію его превратнаго и ложнаго воспитанія и потомъ исторію неудачныхъ попытокъ найти свою дорогу въ жизни. Это также входитъ въ сферу таланта автора. Онъ — философъ по преимуществу, а между тѣмъ немножко и поэтъ, и воспользовался этимъ, чтобы изложить свои понятія о жизни притчами. Это всего лучше доказывается его превосходнымъ рассказомъ: «Изъ сочиненія доктора Крупова — О душевныхъ болѣзняхъ вообще и объ эпидемическомъ развитіи оныхъ въ особенности». Въ немъ авторъ ни одной чертой, ни однимъ словомъ не вышелъ изъ сферы своего таланта, и оттого здѣсь его талантъ въ большей опредѣленности, нежели въ другихъ его сочиненіяхъ. Мысль его та же, но она приняла здѣсь исключительно тонъ ироніи, для однихъ очень веселой и забавной, для другихъ грустной и мучительной, и только въ изображеніи косога Лѣвки — фигуры, которая бы сдѣлала честь любому художнику, — авторъ говоритъ серьезно. По мысли и по выполненію, это рѣшительно лучшее произведеніе прошлаго года, хотя оно и не произвело на публику особеннаго впечатлѣнія. Но публика права въ этомъ случаѣ: въ романѣ «Кто виноватъ?» и въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ другихъ писателей она нашла больше ближайшихъ къ ней и потому нужнѣйшихъ и полезнѣйшихъ ей истинъ, а между тѣмъ въ послѣднемъ произведеніи тотъ же духъ, то же содержаніе, что и въ первомъ. Вообще упрекъ

нута авторъ въ односторонности—значило бы вовсе не понять его. Онъ можетъ изображать вѣрно только міръ, подлежащій вѣдомству его задушевной мысли; его мастерскіе очерки основаны на врожденной наблюдательности и на изученіи извѣстной стороны дѣйствительности. Натура воспримчивая и впечатлительная, авторъ сохранилъ въ памяти своей многіе образы, поразившіе его еще въ дѣтствѣ. Легко понять, что выводимыя имъ лица не суть чистыя созданія фантазіи, это скорѣе мастерски обдѣланные, а иногда и вовсе передѣланные матеріалы, дѣликомъ взятые изъ дѣйствительности. Вѣдь мы сказали, что авторъ больше философъ и только немножко поэтъ...

Совершенною противоположностью составляетъ съ нимъ въ этомъ отношеніи авторъ «Обыкновенной Истории». Онъ—поэтъ, художникъ, и больше ничего. У него нѣтъ ни любви, ни вражды къ создаваемымъ имъ лицамъ, они его не веселятъ, не сердятъ, онъ не даетъ никакихъ нравственныхъ уроковъ ни имъ, ни читателю; онъ какъ-будто думаетъ: кто въ бѣдѣ, тотъ и въ отвѣтѣ, а мое дѣло сторона. Изъ всѣхъ нынѣшнихъ писателей онъ одинъ, только онъ одинъ приближается къ идеалу чистаго искусства, тогда какъ всѣ другіе отошли отъ него на неизмѣримое пространство—и тѣмъ самымъ успѣваютъ. Всѣ нынѣшніе писатели имѣютъ еще нѣчто кромѣ таланта, и это-то нѣчто важнѣе самаго таланта и составляетъ его силу; у Гончарова нѣтъ ничего, кромѣ таланта; онъ больше, чѣмъ кто-нибудь теперь, поэтъ-художникъ. Талантъ его не первостепенный, но сильный, замѣчательный. Къ особенностямъ его таланта принадлежитъ необыкновенное мастерство рисовать женскіе характеры. Онъ никогда не повторяетъ себя, ни одна его женщина не напоминаетъ собой другой, и всѣ, какъ портреты, превосходны. Что общаго между грубой и злой, но по своему способной къ нѣжнымъ чувствамъ Аграфеной и между свѣтской женщиной, мечтательной и съ разстроенными нервами? И каждая изъ нихъ въ своемъ родѣ мастерское, художественное произведеніе. Мать молодого Адуева и мать Надиньки—обѣ старухи, обѣ очень добры, обѣ очень любятъ своихъ дѣтей и обѣ равно вредны своимъ дѣтямъ, наконецъ обѣ глупы и пошлы. А между тѣмъ это два лица совершенно различныя: одна—барыня провинціальная стараго вѣка, ничего не читаетъ и ничего не понимаетъ, кромѣ мелочей хозяйства: словомъ, добрая внучка злой госпожи Простаковой; другая—барыня столичная, которая читаетъ французскія книжки, ничего не понимаетъ, кромѣ мелочей хо-

зяйства, словомъ, добрая правнучка злой госпожи Простаковой. Въ изображеніи такихъ плоскихъ и пошлыхъ лицъ, лишенныхъ всякой самостоятельности и оригинальности, иногда всего лучше выказывается талантъ, потому что всего труднѣе обозначить ихъ чѣмъ-нибудь особеннымъ. Что общаго между этой живой, вѣтренной, своеправной и немножко лукавой Надинькой, и той спокойной по наружности, но пожираемой внутреннимъ огнемъ Лизой? Тетка героя романа—лицо вводное, мимоходомъ очерченное, но какое прекрасное женское лицо! Какъ хороша она въ сценѣ, оканчивающей первую часть романа! Мы не будемъ распространяться насчетъ мастерства, съ какимъ обрисованы мужскіе характеры: о женскихъ мы не могли не замѣтить, потому что до сихъ поръ они рѣдко удавались у насъ даже первостепеннымъ талантамъ; у нашихъ писателей женщина—или приторно сентиментальное существо, или семинаристъ въ юбкѣ, съ книжными фразами. Женщины Гончарова живыя, вѣрныя дѣйствительности созданія. Это новость въ нашей литературѣ.

Обратимся къ двумъ главнымъ мужскимъ лицамъ романа—молодому Адуеву и его дядѣ, Петру Ивановичу: о послѣднемъ нельзя не сказать хотя нѣсколько словъ, говоря о первомъ, потому что онъ противоположностью своей еще болѣе отгѣняетъ героя романа. Говорятъ, типъ молодого Адуева—устарѣлый; говорятъ, что такіе характеры уже не существуютъ на Руси. Нѣтъ, не перевелись и не переведутся никогда такіе характеры, потому что ихъ производить не всегда обстоятельства жизни, но иногда сама природа. Родоначальникъ ихъ на Руси—Владиміръ Ленскій, по прямой линіи происходящій отъ гѣтевскаго Вертера. Пушкинъ первый замѣтилъ существованіе въ нашемъ обществѣ такихъ натуръ и указалъ на нихъ. Съ теченіемъ времени онѣ будутъ измѣняться, но сущность ихъ всегда будетъ та же самая.... Молодой Адуевъ, пріѣхавъ въ Петербургъ, мечтаетъ, съ какой радостью обниметъ своего обожаемаго дядю и въ какомъ восторгѣ будетъ отъ него дядя. Онъ останавливается въ трактирѣ—и боится, что дядя осердится на него, зачѣмъ онъ не пріѣхалъ прямо къ нему. Холодный пріемъ дяди разсѣиваетъ его провинціальныя мечты. До сихъ поръ молодой Адуевъ является больше провинціаломъ, нежели романтикомъ. Онъ даже непріятно былъ пораженъ тѣмъ, что дядя называлъ дуракомъ Заѣзжалова и душой деревенскую тетку съ ея желтымъ цвѣткомъ, приславшихъ къ нему преглупѣйшія письма. Провинціалы часто быва-

ютъ очень смѣшны въ своихъ отношеніяхъ къ своимъ роднымъ и знакомымъ. Въ маленькихъ городкахъ жизнь однообразна, узка, мелка, всѣ другъ друга знаютъ, и если не враждуютъ между собой, то непременно пребываютъ въ нѣжнѣйшей дружбѣ; среднихъ отношеній почти нѣтъ. И вотъ изъ городка отправляется искать счастья въ столицу молодой человѣкъ; всѣ имъ интересуются, провожаютъ его, желаютъ ему всякаго счастья, просятъ не забывать. Онъ уже сдѣлался въ столицѣ пожилымъ человѣкомъ, родной городокъ его представляется ему какимъ-то смутнымъ видѣніемъ; подъ влияніемъ новыхъ впечатлѣній, новыхъ знакомствъ, отношеній, интересовъ, онъ давно перзабылъ и имена, и лица людей, которыхъ такъ коротко зналъ въ дѣтствѣ, и помнить только о самыхъ близкихъ къ нему, да и то они представляютъ ему въ томъ видѣ, какъ онъ ихъ оставилъ, а вѣдь они съ тѣхъ поръ перемѣнились же. По ихъ письмамъ онъ видитъ, что у него съ ними нѣтъ ничего общаго; отвѣчая имъ, онъ поддѣляется подъ ихъ тонъ, подъ ихъ понятія; удивительно-ли, что онъ пишетъ къ нимъ рѣже и рѣже, наконецъ и совсѣмъ перестаетъ писать. Мысль о пріѣздѣ въ столицу родственника или знакомаго пугаетъ его столько-же, какъ жителей пограничнаго города во время войны пугаетъ мысль, что непріятель пойдетъ ихъ дорогой. Въ столицѣ не понимаютъ заочной любви; здѣсь думаютъ, что любовь, дружба, пріязнь, знакомство поддерживаются личными отношеніями, а разлукой и отсутствіемъ охлаждаются и уничтожаются. Въ провинціи думаютъ совсѣмъ наоборотъ; вслѣдствіе однообразія жизни, тамъ удивительно развита склонность къ любви и дружбѣ. Тамъ рады всякому; мѣшать другъ другу, не давать покою — тамъ считается священнѣйшей обязанностью. Если кому-нибудь перестанутъ надѣдать родственники и знакомые, онъ сочтетъ себя самымъ несчастнымъ, наиболѣе обиженнымъ человѣкомъ въ мірѣ. Когда къ провинціалу, живущему въ маленькомъ городкѣ, вдругъ навѣщаетъ орда родственниковъ и обращаетъ его маленький домикъ въ боченокъ, набитый сельдами, онъ, по наружности, не знаетъ какъ и радоваться; съ веселымъ лицомъ бѣгаетъ, суетится, угощаетъ всю эту толпу, а внутренно отъ всей души проклинаетъ ее. А между тѣмъ попробуй-ка эти люди въ другой разъ остановиться не у него: онъ никогда имъ не проститъ этого. Такова ужъ патриархальная логика провинціи! И съ такой-то логикой пріѣзжаетъ иногда провинціалъ въ столицу по дѣламъ со всѣмъ семействомъ своимъ. Въ столицѣ есть у него

родственникъ, который лѣтъ ужъ двадцать какъ выѣхалъ изъ своего мѣстечка и давнымъ давно перзабылъ всѣхъ своихъ родныхъ и знакомыхъ. Нашъ провинціалъ летитъ къ нему съ распростертыми объятіями, съ малыми дѣтьми, которыхъ надо развѣстать по учебнымъ заведеніямъ, и обожаемой супругой, которая пріѣхала полюбоваться на столичные магазины модъ. Раздаются ахи, охи, крикъ, пискъ, визгъ. «А мы прямокъ вамъ, мы не смѣли остановиться въ трактирѣ!» Столичный родственникъ блѣднѣетъ, не знаетъ, что дѣлать, что сказать, онъ похожъ на жителя города, взятаго непріятелемъ, къ которому въ домъ ворвалась толпа предавшихся грабежу непріятельскихъ солдатъ. А между тѣмъ ему уже подробно изъяснено, какъ его любятъ, какъ его помнятъ, какъ о немъ безпрестанно говорятъ и какъ на него надѣются, какъ увѣрены, что онъ непременно поможетъ опредѣлить Костиньку, Петиньку, Оединьку, Митиньку по корпусамъ, а Машеньку, Сашеньку, Любочку и Таничку въ институтъ. Столичный родственникъ видитъ, что отъ одной минуты зависитъ его гибель или спасеніе, собирается съ духомъ и съ холодной вѣжливостью объясняетъ непріятельскому отряду, что онъ никакъ не можетъ принять ихъ къ себѣ, что его квартира тѣсновата и для его собственного семейства, что въ корпуса и институты дѣти принимаются по экзамену и по указанному порядку, что тутъ не поможетъ никакая протекція, если нѣтъ вакантныхъ мѣстъ, или если дѣти старше или моложе приемныхъ лѣтъ, или не выдержатъ экзамена, а тѣмъ болѣе протекція такого незначительнаго человѣка, какъ онъ, который сверхъ того служитъ совсѣмъ по другому вѣдомству и не знакомъ ни съ кѣмъ изъ начальниковъ учебныхъ заведеній. Разочарованные провинціалы удаляются въ бѣшенствѣ, вопіютъ противъ столичнаго эгоизма и развращенія и говорятъ о своемъ родственникѣ, какъ о чудовищѣ. А между тѣмъ это можетъ быть очень порядочный человѣкъ; вся вина его въ томъ, что онъ не захотѣлъ обратить своей квартиры въ безобразный таборъ, лишить себя всякаго пріюта въ собственномъ домѣ, всякой возможности заниматься дѣлами службы въ тиши своего кабинета, принимать у себя по вечерамъ людей, или близкихъ ему, или полезныхъ и необходимыхъ ему по службѣ, и такимъ образомъ стѣснить себя, подвергнуть себя тяжкимъ лишеніямъ для людей, совершенно чуждыхъ ему, съ которыми бы онъ не захотѣлъ вести и обыкновеннаго знакомства. А между тѣмъ и эти провинціалы по своему люди добрые и даже неглупые; вся

вина ихъ въ томъ, что, отправляясь въ столицу, они увѣрены найти въ ней, за исключеніемъ огромности, великогѣпія и модныхъ магазиновъ, свой городокъ, съ тѣми же нравами, обычаями и понятіями. Они по своему любятъ роскошь и великолѣпіе, хотя и безъ вкуса; при средствахъ готовы изукрасить всячески свою залу и гостиную; о кабинетѣ не имѣютъ понятія и не знаютъ, зачѣмъ онъ; спальня и дѣтская у нихъ всегда самыя грязныя комнаты; имъ ничего не стоитъ потѣсниться и пожатъ; понятіе о комфортѣ не существуетъ для нихъ, они привыкли къ тѣснотѣ, любятъ ее по пословицѣ: въ тѣснотѣ люди живутъ, да и жилимъ крѣпче пахнетъ. Они всякому рады и, по словамъ Петра Ивановича, хоть ночью ужинъ состряпаютъ. По замѣчанію его племянника, эта черта составляетъ добродѣтель русскихъ, съ чѣмъ Петръ Ивановичъ рѣшительно не согласенъ. «Какая тутъ добродѣтель—говоритъ онъ.—Отъ скуки тамъ всякому мерзавцу рады; милости просимъ, кушай, сколько хочешь, только займи какънибудь нашу праздность, помоги убить время, да дай взглянуть на тебя: все таки что-нибудь новое; а кушанья не пожалѣемъ: это намъ здѣсь ровно ничего не стоитъ... Препротивная добродѣтель!» Петръ Ивановичъ выразился немножко жестко, но не совсѣмъ несправедливо. Дѣйствительно, радушіе и гостепріимство провинціальное больше всего основываются на бездѣйствіи, праздности, скукѣ, привычкѣ. Силу столичныхъ людей они измѣряютъ не мѣстомъ, не связями, не вліяніемъ, а чиномъ, и отъ души увѣрены, что если кто дѣйствительный статскій совѣтникъ, такъ ужъ непремѣнно всемогущая особа, которой стѣбитъ только сказать слово, чтобы сейчасъ рѣшили въ вашу пользу процессъ, тянувшійся пятьдесятъ лѣтъ, приняли вашихъ дѣтей въ учебное заведеніе, дали вамъ выгодное мѣсто, чинъ и орденъ. Откажите имъ въ какой-нибудь просьбѣ, при всемъ вашемъ желаніи исполнить ее, но по невозможности выполнить,—и вотъ вы самый безправственный человѣкъ въ мірѣ, вы зазнались, подняли носъ, презираете провинціаловъ. А у нихъ первая добродѣтель—ни передъ кѣмъ не зазнаваться, не отказываться ни отъ чьего знакомства и быть готовымъ къ услугамъ всѣхъ и cadaго. Правда, нигдѣ нѣтъ такого важничанья, ломанья, счета старшинствомъ, чинами, званіемъ; но этотъ порокъ, опасный для общаго мира и согласія, смягается тамъ добродѣтельной готовностью съежиться въ присутствіи чловека, который хотя однимъ чиномъ выше, и въ то же самое время не уронить своего

достоинства передъ тѣмъ, кто чиномъ ниже. Впрочемъ эта добродѣтель процвѣтаетъ и въ столицѣ, хотя и въ болѣе тонкихъ формахъ. Но въ провинціи это дѣлается съ истинно аркадской наивностью. «Э, братецъ (говоритъ богатый помѣщикъ или важный чиновникъ бѣдному помѣщику или чиновнику), ты меня вовсе забылъ, а я недоволенъ мной? или плохо кормлю? кажется, у меня для тебя всегда есть плошка за столомъ, шутъ ты гороховый!» Бѣднякъ слегка конфузится, бормочетъ извиненія, держась передъ своимъ патрономъ въ почтительной позѣ; но въ глазахъ его сіяетъ удовольствіе: онъ знаетъ, гдѣ гнѣвъ, тутъ и милость, и что въ иной брани больше любви, чѣмъ въ иной ласкѣ. «Ну, да хорошо, Богъ тебя проститъ, теперь поидемъ-ка хлѣба—соли откушать, обѣдъ готовъ». И оба довольны: одинъ, что выполнилъ въ точности законы патриархальнаго гостепріимства и обласкалъ бѣднаго чловека; другой, что хорошо принять и обласканъ такой важной въ его глазахъ персоной. И этотъ бѣднякъ всегда предпочтетъ обществу совершенно равныхъ ему людей не только обществу аристократовъ его заолустья, но и обществу низшихъ его людей, потому что онъ тогда только и чувствуетъ свое достоинство, когда унижается передъ высшимъ и ломается передъ низшимъ. Конечно это отнюдь не можетъ относиться ко всѣмъ провинціаламъ; вездѣ есть люди образованные, умные и достойные, но они вездѣ въ меньшинствѣ, а мы говоримъ о большинствѣ. Непосредственное вліяніе окружающей чловека среды такъ на него сильно, что лучшіе изъ провинціаловъ бывають не чужды провинціальныхъ предрасудковъ, и на первый разъ теряются, пріѣхавши въ столицу.

Тутъ все дико имъ, все не такъ, какъ у нихъ. Тамъ жизнь простая, на распаху; ходятъ другъ къ другу во всякое время, безъ доклада. Приходитъ сосѣдъ къ сосѣду: въ прихожей или нѣтъ никого, или спитъ на грязномъ залавкѣ небритый лакей, или оборванный мальчишка, а спитъ онъ потому, что ему нечего дѣлать, хотя окружающая его грязь и вонь могли бы дать ему работы дня на два. И вотъ гость входитъ въ залу—нѣтъ никого; въ гостиную—тоже никого; онъ въ спальню—и вдругъ тамъ раздается визгливое ахъ; гость говоритъ въ пріятномъ замѣшательствѣ: «извините-ся», медленно пятится въ гостиную, къ нему кто-нибудь выбѣгаетъ, изъясняетъ свой восторгъ отъ его посѣщенія, и оба смѣются надъ забавнымъ приключеніемъ. А здѣсь, въ столицѣ, все на заперти, вездѣ колокольчики, вездѣ не-

избѣжное: «какъ прикажете доложить?» а потомъ—то дома нѣтъ, то нездоровъ, то просятъ извинить—заняты, а когда примутъ, то конечно вѣжливо, но зато какъ равнодушно, холодно, никакого радушія, ни позавтракать, ни пообѣдать не пригласятъ...

Но обратимся къ герою «Обыкновенной Истории». Въ немъ есть чувство деликатности и приличія; хотя онъ и былъ увѣренъ, что дядя приметъ его съ восторгомъ и помѣститъ у себя въ квартирѣ, однако какое-то темное чувство заставило его остановиться въ трактирѣ. Еслибъ онъ сдѣлалъ хорошую привычку разсуждать отомъ, что всего ближе къ нему, онъ пораздумался бы о темномъ чувствѣ, которое заставило его вѣхаться въ трактирѣ, а не прямо на квартиру дяди, и скоро понялъ бы, что нѣтъ никакихъ причинъ ожидать отъ дяди другого приема, кромѣ развѣ равнодушно-ласковаго, и что нѣтъ у него никакихъ правъ на жительство у него въ квартирѣ. Но, къ несчастію, онъ привыкъ разсуждать только о любви, дружбѣ и другихъ высокихъ и далекихъ предметахъ, и потому явился къ дядѣ провинціаломъ съ ногъ до головы. Исполненный ума и здраваго смысла слова дяди ничего не растолковали ему, а только произвели на него тяжелое, грустное впечатлѣніе и заставили его романтически страдать. Онъ былъ трижды романтикъ—по натурѣ, по воспитанію и по обстоятельствамъ жизни, между тѣмъ какъ и одной изъ этихъ причинъ достаточно, чтобъ сбить съ толку порядочнаго человѣка и заставить его надѣлать тьму глупостей. Нѣкоторые находятъ, что онъ своими вещественными знаками невещественныхъ отношеній и другими черезчуръ ребяческими выходками не совсѣмъ вѣроятенъ, особенно въ наше время. Не споримъ, можетъ-быть въ этомъ замѣчаніи и есть доля правды; да дѣло-то въ томъ, что полное изображеніе характера молодого Адуева надо искать не здѣсь, а въ его любовныхъ похожденияхъ. Въ нихъ онъ весь, въ нихъ онъ представителю множества людей, похожихъ на него, какъ двѣ капли воды, и дѣйствительно обрѣтающихся въ здѣшнемъ мірѣ. Скажемъ нѣсколько словъ объ этой не новой, но все еще интересной породѣ, къ которой принадлежитъ этотъ романтическій звѣрекъ.

Это порода людей, которыхъ природа съ избыткомъ надѣляетъ нервической чувствительностью, часто доходящей до болѣзненной раздражительности (*susceptibilité*). Они рано обнаруживаютъ тонкое пониманіе неопредѣленныхъ ощущеній и чувствъ, любятъ слѣдить за ними, наблюдать ихъ и называютъ это—наслаждаться внутренней жиз-

нью. Поэтому они очень мечтательны и любятъ или уединеніе, или кругъ избранныхъ друзей, съ которыми бы они могли говорить о своихъ ощущеніяхъ, чувствахъ и мысляхъ, хотя мыслей у нихъ такъ же мало, какъ много ощущеній и чувствъ. Вообще они богато одарены отъ природы душевными способностями, но дѣятельность ихъ способностей чисто страдательная; иные изъ нихъ много понимаютъ, но ни одинъ не способенъ что-нибудь дѣлать, производить; онъ немножко музыкантъ, немножко живописецъ, немножко поэтъ, даже при нуждѣ немножко критикъ и литераторъ, но всѣ эти таланты у него таковы, что онъ не можетъ ими пріобрѣсти не только славы или извѣстности, но даже выработывать посредственное содержаніе. Изъ всѣхъ умственныхъ способностей въ нихъ сильно развивается воображеніе и фантазія, но не та фантазія, посредствомъ которой поэтъ творитъ, а та фантазія, которая заставляетъ человѣка наслажденіе мечтами о благахъ жизни предпочитать наслажденію дѣйствительными благами жизни. Это они называютъ жить высшей жизнью, недоступной для презрѣнной толпы, парить горѣ, тогда какъ презрѣнная толпа пресмыкается долу. Отъ природы они очень добры, симпатичны, способны къ великодушнымъ движеніямъ, но какъ фантазія въ нихъ преобладаетъ надъ разсудкомъ и сердцемъ, то они скоро доходятъ до сознательнаго презрѣнія къ «пошлому здоровому смыслу»—этому, по ихъ мнѣнію, достоинству людей матеріальныхъ, грубыхъ и ничтожныхъ, для которыхъ не существуетъ высокаго и прекраснаго; сердце ихъ, безпрестанно насилуемое въ его инстинктахъ и стремленіяхъ ихъ волей, подъ управленіемъ фантазіи, скоро скудѣетъ любовью, и они дѣлаются ужасными эгоистами и деспотами, сами того не замѣчая, а напротивъ того, будучи добросовѣстно убѣждены, что они самые любящіе и самоотверженные люди. Такъ какъ въ дѣтствѣ они удивляли всѣхъ раннимъ и быстрымъ развитіемъ своихъ способностей и оказывали, сколько своими достоинствами, столько же и недостатками, сильное вліяніе надъ своими сверстниками, изъ которыхъ иные были гораздо выше ихъ,—естественно, что они были захвалены съ раннихъ лѣтъ и сами о себѣ возымѣли высокое понятіе. Природа и безъ того отпустила имъ самолюбія гораздо больше, нежели сколько нужно его для экилибра человѣческой жизни; удивительно ли, что легкіе и мало заслуженные блестящіе успѣхи усиливаютъ у нихъ самолюбіе до неперотятной степени? Но самолюбіе въ нихъ бываетъ всегда такъ замаскировано, что они

добросовѣстно не подозрѣваютъ его въ себѣ, искренно принимаютъ его за гениальное стремленіе къ славѣ, ко всему великому, высокому и прекрасному. Они долго бываютъ помѣшаны на трехъ завѣтныхъ идеяхъ: это—слава, дружба и любовь. Все остальное для нихъ не существуетъ; это, по ихъ мнѣнію, достояніе преархейной толпы. Всѣ роды славы для нихъ равно обольстительны, и сначала они долго колеблются, какой избрать путь для достиженія славы. Имъ и въ голову не приходитъ, что, кто считаетъ себя равно способнымъ ко всѣмъ поприщамъ славы, тотъ не способенъ ни къ какому,—что самые великіе люди узнавали о своей гениальности не прежде, какъ сдѣлавши сперва что нибудь дѣйствительно великое и гениальное, и узнаютъ это не по собственному сознанію, а по одобрительнымъ и восторженнымъ кликамъ толпы. И вотъ манитъ ихъ военная слава, имъ очень бы хотѣлось въ Наполеоны, но только не иначе, какъ на такомъ условіи, чтобъ имъ на первый случай дали подъ команду хоть небольшую, хоть стотысячную армію, чтобъ они сейчасъ же могли начинать блестящій рядъ побѣдъ своихъ. Манитъ ихъ и гражданская слава, но не иначе, какъ на такомъ условіи, чтобъ имъ прямо махнуть въ министры и сейчасъ же преобразовать государство (у нихъ же всегда готовы въ головѣ превосходные проекты для всякаго рода реформъ, стоитъ только пристѣсть да написать). Но какъ зависть людей сдѣлала невозможными такіе гениальные скачки для такихъ гениальныхъ людей и требуетъ, чтобъ всякій начиналъ свое поприще съ начала, а не съ конца, и на дѣлѣ, а не на словахъ только, доказалъ бы свою гениальность, то наши гении поневолѣ скоро обращаются къ другимъ путямъ славы. Хватаются они иногда и за науку, но не на долго: сухая и скучная матерія, надобно много учиться, много работать, и нѣтъ никакой пищи сердцу и фантазіи. Остается искусство; но какое же избрать? Архитектура, скульптура, живопись и музыка никакому генію не даются безъ тяжкаго и продолжительнаго труда, и что всего хуже и обиднѣе для романтиковъ, сначала труда чисто матеріальнаго и механическаго. Остается поэзія—и вотъ они бросаются къ ней со всего размаху и, еще ничего не сдѣлавши, въ мечтахъ своихъ украшаютъ себя огненнымъ ореоломъ поэтической славы. Главное ихъ заблужденіе состоитъ еще не въ нелѣпомъ убѣжденіи, что въ поэзіи нужны только талантъ и вдохновеніе, что кто родился поэтомъ, тому ничему не нужно учиться, ничего не нужно знать: у ко-

го дѣйствительно есть большой талантъ, тотъ силой самаго таланта скоро пойметъ нелѣпость этой мысли и начнетъ все изучать, ко всему прислушиваться и приглядываться. Нѣтъ, главное и гибельное ихъ заблужденіе состоитъ въ томъ, что они увѣрили себя въ своемъ поэтическомъ призваніи, какъ въ непреложной истинѣ, срослись съ этой несчастной мыслью, такъ что разочароваться въ ней—значитъ для нихъ потерять всякую вѣру въ себя и въ жизнь и въ цвѣтѣ лѣтъ сдѣлаться паралитическими стариками. И вотъ нашъ романтикъ принимается писать стихи и говорить въ нихъ о томъ, о чемъ давно прежде него было сказано и великими, и малыми поэтами, и вовсе не-поэтами. Онъ воспѣваетъ въ нихъ свои страданія, которыхъ не испыталъ, говоритъ о своихъ темныхъ надеждахъ, изъ которыхъ видно только то, что онъ самъ не знаетъ, чего хочетъ; простираетъ къ братьямъ-людямъ горячія объятія и хочетъ разомъ прижать къ сердцу все человѣчество, или горько жалуется, что толпа холодно отвернулась отъ его братскихъ объятій. Бѣдникъ не понимаетъ, что, сидя въ кабинетѣ, ничего не стоитъ вдругъ возгорѣться самой неистовой любовью къ человѣчеству, по крайней мѣрѣ гораздо легче, нежели провести безъ сна хоть одну ночь у постели трудно-больного. Обыкновенно романтики придають страшную цѣну чувству, думаютъ, что только одни они надѣлены сильными чувствами, а другіе лишены ихъ, потому что не кричатъ о своихъ чувствахъ. Чувство конечно важная сторона въ натурѣ человѣка, но не всѣ и не всегда поступаютъ въ жизни сообразно съ своей способностью чувствовать глубоко и сильно. Случается и такъ, что иной, чѣмъ сильнѣе чувствуетъ, тѣмъ безчувственнѣе живетъ: рыдаетъ отъ стиховъ, отъ музыки, отъ живого изображенія человѣческихъ бѣдствій въ романѣ или повѣсти—и равнодушно проходитъ мимо дѣйствительнаго страданія, которое у него передъ глазами. Иной управляющій, изъ нѣмцевъ, со слезами восторга на глазахъ читаетъ своей Минхенъ какое-либо восторженное посланіе Шиллера къ Лаурѣ и, кончивши послѣдній стихъ, съ неменьшимъ удовольствіемъ идетъ пороть мужиковъ за то, что они осмѣлились робко намекнуть своему милостивому барину, что они не со всѣмъ довольны отеческими попеченіями управляющаго о ихъ благостояніи, отъ которыхъ только одинъ онъ и жирѣетъ, а они все худѣютъ. — Стихи нашего романтика гладки, блестящи, не лишены даже поэтической обработки, хотя въ нихъ и довольно риторической водницы, однако въ нихъ нѣ-

стами проглядываетъ чувство, иногда даже блеснетъ мысль (какъ отголосокъ чужой мысли), — словомъ, замѣтно что то вродѣ таланта. Стихи его печатаются въ журналахъ, многіе ихъ хвалятъ; а если онъ явится съ ними въ переходную эпоху литературы, онъ можетъ приобрести даже значительную извѣстность. Но переходныя эпохи литературы особенно гибельны для такихъ поэтовъ: ихъ извѣстность, приобретенная въ короткое время чѣмъ-то, и въ короткое-же время исчезаетъ просто отъ ничего; сперва ихъ стихи перестаютъ хвалить, потомъ читать, а наконецъ и печатать. Но молодому Адуеву не удалось насладиться хотя на мгновение даже ложной извѣстностью: его не допустили до этого и времени, въ которое онъ вышелъ со своими стихами, и умный откровенный дядя. Его несчастье состояло не въ томъ, что онъ былъ бездаренъ, а въ томъ, что у него вмѣсто таланта былъ полуталантъ, который въ поэзіи хуже бездарности, потому что увлекаетъ человѣка ложными надеждами. Вы помните, чего ему стоило разочарованіе въ своемъ поэтическомъ призваніи...

Дружба также дорого обходится романтикамъ. Всякое чувство, чтобъ быть истиннымъ, должно быть прежде всего естественно и просто. Дружба иногда завязывается отъ сходства, а иногда отъ противоположности натуръ; но во всякомъ случаѣ оно чувство невольное, именно потому, что свободное; имъ управляетъ сердце, а не умъ и воля. Друга нельзя искать, какъ подрядчика на работу, друга нельзя выбрать; друзьями дѣлаются случайно и незамѣтно; привычка и обстоятельства жизни скрѣпляютъ дружбу. Истинные друзья не даютъ имени соединяющей ихъ симпатіи, не болтаютъ о ней безпрестанно, ничего не требуютъ одинъ отъ другого во имя дружбы, но дѣлаютъ другъ для друга, что могутъ. Бывали примѣры, что другъ не выносилъ смерти своего друга и умиралъ вскорѣ послѣ него; другой отъ потери своего друга нѣз веселаго человѣка дѣлается на всю жизнь меланхоликомъ; а третій поскорѣе, потушить, да и утѣшится, но если онъ навсегда сохранить воспоминаніе, и оно будетъ для него вмѣстѣ и грустно, и отрадно, — онъ былъ истиннымъ другомъ умершаго, хотя не только не умеръ самъ отъ его потери, не сошелъ съ ума, не сдѣлался меланхоликомъ, но еще нашелъ силу быть довольно счастливымъ въ жизни и безъ друга. Степень и характеръ дружбы зависятъ отъ личности друзей; тутъ главное, чтобъ не было въ отношеніяхъ ничего натянутого, напряженнаго, восторженнаго, ничего похожаго на долгъ и обязанность, а то иной

готовъ и Богъ знаетъ на какія самопожертвованія для своего друга, чтобы сказать самому себѣ, а иногда и другимъ: «вотъ каковъ я въ дружбѣ!» или: «вотъ къ какой дружбѣ я способенъ!». Этотъ то родъ дружбы обожаютъ романтики. Они дружатся по программѣ, заранѣе составленной, гдѣ съ точностью опредѣлены сущность, права и обязанности дружбы; они только не заключаютъ контрактовъ со своими друзьями. Имъ дружба нужна, чтобъ удивить міръ и показать ему, какъ великія натуры въ дружбѣ отличаются отъ обыкновенныхъ людей, отъ толпы. Ихъ тянетъ къ дружбѣ не столько потребность симпатіи, столь сильной въ молодыхъ лѣтахъ, сколько потребность имѣть при себѣ человѣка, которому бы они безпрестанно могли говорить о драгоцѣнной своей особѣ. Выражаясь ихъ высокимъ словомъ, для нихъ другъ есть драгоцѣнный сосудъ для изліянія самыхъ святыхъ и заветныхъ чувствъ, мыслей, надеждъ, мечтаній и т. д.; тогда какъ въ самомъ то дѣлѣ въ ихъ глазахъ другъ есть локанъ, куда они выливаютъ помон своего самолюбія. Зато они и не знаютъ дружбы, потому что друзья ихъ скоро оказываются неблагодарными, вѣроломными, извергами, и они еще сильнѣе злобствуютъ на людей, которые не умѣли и не хотѣли понять и оцѣнить ихъ...

Любовь обходится имъ еще дороже, потому что это чувство само по себѣ живѣе и сильнѣе другихъ. Обыкновенно любовь раздѣляются на многіе роды и виды; всѣ эти раздѣленія болѣе частью негѣпы, потому что надѣланы людьми, которые способны мечтать и разсуждать о любви, не желая любить. Прежде всего раздѣляютъ любовь на матеріальную или чувственную и платоническую или идеальную, презираютъ первую и восторгаются второй. Дѣйствительно, есть люди столь грубые, что могутъ предаваться только животнымъ наслажденіямъ любви, не хлопоча даже о красотѣ и молодости; но даже и эта любовь, какъ ни груба она, все же лучше платонической, потому что естественнѣе ея: послѣдняя хороша только для хранителей восточныхъ гаремовъ... Человѣкъ не звѣрь и не ангелъ; онъ долженъ любить не животное и не платонически, а человѣчески. Какъ бы ни идеализировали любовь, но какъ же не видѣть, что природа одарила людей этимъ прекраснымъ чувствомъ сколько для ихъ счастья, столько и для размноженія и поддержанія рода человеческого. Родовъ любви такъ же много, какъ много на землѣ людей, потому что каждый любитъ сообразно съ своимъ темпераментомъ, характеромъ, понятіями и

т. д. И всякая любовь истинна и прекрасна по своему, лишь бы только она была въ сердцѣ, а не въ головѣ. Но романтики особенно падки къ головной любви. Сперва они сочиняютъ программу любви, потомъ ищутъ достойной себя женщины, а за неимѣніемъ таковой любятъ пока какую-нибудь; имъ ничего не стоитъ велѣть себѣ любить, вѣдь у нихъ все дѣлаетъ голова, а не сердце. Имъ любовь нужна не для счастья, не для наслажденія, а для оправданія на дѣлѣ своей высокой теоріи любви. И они любятъ по тетрадкѣ и больше всего боятся отступить хотя отъ одного параграфа своей программы. Главная ихъ забота являться въ любви великими и ни въ чемъ не унизиться до сходства съ обыкновенными людьми. И однакожъ въ любви молодого Адуева къ Надинкѣ было столько истиннаго и живого чувства; природа заставила на время молчать его романтизмъ, но не побѣдила его. Онъ могъ бы быть счастливъ надолго, но былъ только на минуту, потому что все самъ испортилъ. Надинька была умнѣе его, а главное по-проще и естественнѣе. Капризное, избалованное дитя, она любила его сердцемъ, а не головой, безъ теорій и безъ претензій на гениальность; она видѣла въ любви только ея свѣтлую и веселую сторону, и потому любила какъ будто шутя—шалила, кокетничала, дразнила Адуева своими капризами. Но онъ любилъ «горестно и трудно», весь задыхающійся, весь въ пѣнѣ, словно лошадь, которая тащитъ въ гору тяжелый возъ. Какъ романтикъ, онъ былъ и педантъ: легкость, шутка оскорбляли въ его глазахъ святое и высокое чувство любви. Любя, онъ хотѣлъ быть театральнымъ героемъ. Онъ скоро все переболталъ съ Надинькой о своихъ чувствахъ, пришлось повторять старое, а Надинька хотѣла, чтобы онъ занималъ не только ея сердце, но и умъ, потому что она была пылка, впечатлительна, жаждала новаго; все привычное и однообразное скоро наскучало ей. Но къ этому Адуевъ былъ человекъ самый неспособный въ мірѣ, потому что собственно его умъ спалъ глубокимъ и непробуднымъ сномъ: считая себя великимъ философомъ, онъ не мыслилъ, а мечталъ, бредилъ на яву. При такихъ отношеніяхъ къ предмету его любви, ему былъ опасенъ всякій соперникъ,—пусть онъ былъ бы хуже его, лишь бы только не походилъ на него и могъ бы имѣть для Надиньки прелесть новости; а тутъ вдругъ является графъ, человекъ съ блестящимъ свѣтскимъ образованіемъ. Адуевъ, думая повести себя въ отношеніи къ нему истиннымъ героемъ, черезъ это самое повелъ себя какъ глупый, дурно

воспитанный мальчишка, и этимъ испортилъ все дѣло. Дядя объяснилъ ему, но поздно и бесполезно для него, что во всей этой исторіи былъ виноватъ только одинъ онъ. Какъ жалокъ этотъ несчастный мученикъ своей извращенной и ограниченной натуры въ послѣднемъ его объясненіи съ Надинькой и потомъ въ разговорѣ съ дядей! Страданія его невыносимы; онъ не можетъ не согласиться съ доводами дяди, и между тѣмъ все-таки не можетъ понять дѣло въ его настоящемъ свѣтѣ. Какъ! ему унизиться до такъ-называемыхъ хитростей, ему, который затѣмъ и полюбилъ, чтобы удивить себя и міръ своей громадной страстью, хотя міръ и не думалъ заботиться ни о немъ, ни о его любви! По его теоріи, судьба должна была послать ему такую же великую героиню, какъ онъ самъ, и вмѣсто этого послала легкомысленную дѣвчонку, бездушную кокетку! Надинька, которая была еще недавно въ глазахъ его выше всѣхъ женщинъ, теперь вдругъ стала ниже всѣхъ ихъ! Все это было бы очень смѣшно, еслибъ не было такъ грустно. Ложныя причины производятъ такія же мучительныя страданія, какъ и истинныя. Вотъ мало-помалу онъ перешелъ отъ мрачнаго отчаянія къ холодному унынію и, какъ истинный романтикъ, началъ щеголять и кокетничать «своей нарядной печалью». Прошелъ годъ, и онъ уже презираетъ Надиньку, говоря, что въ ея любви не было нисколько героизма и самоотверженія. На вопросъ тетки: какой любви потребовалъ бы онъ отъ женщины? онъ отвѣчалъ: «я бы потребовалъ отъ нея первенства въ ея сердцѣ; любимая женщина не должна замѣчать, видѣть другихъ мужчинъ, кромѣ меня; всѣ они должны казаться ей невыносимы; я одинъ выше, прекраснѣе (тутъ онъ выпрямился), лучше, благороднѣе всѣхъ. Каждый мигъ, прожитый не со мной, для нея потерянный мигъ; въ моихъ глазахъ, въ моихъ разговорахъ должна она почерпать блаженство и не знать другого; для меня она должна жертвовать всѣмъ: презрѣнными годами, расчетами, свергнуть съ себя деспотическое иго матери, мужа, бѣжать, если нужно, на край свѣта, сносить энергически всѣ лишения, наконецъ презрѣть самую смерть—вотъ любовь!»

Какъ эта галиматья похожа на слова восточнаго деспота, который говоритъ своему главному еврею: «если одна изъ моихъ одалисокъ проговоритъ во снѣ мужское имя, которое будетъ не моимъ,—сейчасъ же въ мѣшокъ и въ море!». Бѣдный мечтатель увѣренъ, что въ его словахъ выразилась страсть, къ которой способны только полубоги, а не простые смертные, и

между тѣмъ тутъ выразились только самое необузданное самолюбіе и самый отвратительный эгоизмъ. Ему нужно не любовницу, а рабу, которую онъ могъ бы безнаказанно мучить капризами своего эгоизма и самолюбія. Прежде, чѣмъ требовать такой любви отъ женщины, ему слѣдовало бы спросить себя, способенъ ли самъ заплатить такой-же любовью; чувство увѣряло его, что способенъ, тогда какъ въ этомъ случаѣ нельзя вѣрить ни чувству, ни уму, а только опыту; но для романтиковъ чувство есть единственный непогрѣшительный авторитетъ въ рѣшеніи всѣхъ вопросовъ жизни. Но еслибы онъ и былъ способенъ къ такой любви, это бы должно было быть для него причиной бояться любви и бѣжать отъ нея, потому что это любовь не человѣческая, а звѣриная, взаимное терзаніе другъ друга. Любовь требуетъ свободы; отдаваясь другъ другу, по временамъ, любящиеся по временамъ хотѣтъ принадлежать и самимъ себѣ. Адуевъ требуетъ любви вѣчной, не понимая того, что чѣмъ любовь живѣе, страстнѣе, чѣмъ ближе подходитъ подъ любимый идеалъ поэтовъ, тѣмъ она кратковременнѣе, тѣмъ скорѣе охлаждается и переходитъ въ равнодушіе, а иногда и въ отвращеніе. И наоборотъ, чѣмъ любовь спокойнѣе и тише, т. е. чѣмъ прозаичнѣе, тѣмъ продолжительнѣе: привычка скрѣпляетъ ее на всю жизнь. Поэтическая, страстная любовь—это цвѣтъ нашей жизни, нашей молодости; ее испытываютъ рѣдкіе, и только одинъ разъ въ жизни, хотя послѣ нѣсколько разъ, да уже не такъ, потому что, какъ сказалъ нѣмецкій поэтъ, май жизни цвѣтетъ только разъ. Шекспиръ не даромъ заставилъ умереть Ромео и Юлію въ концѣ своей трагедіи: черезъ это они остаются въ памяти читателя героями любви, ея апопеезой; оставъ же онъ ихъ въ живыхъ, они представлялись бы намъ счастливыми супругами, которые, сидя вмѣстѣ, зѣваютъ, а иногда и ссорятся, въ чемъ вовсе нѣтъ поэзіи.

Но вотъ судьба послала нашему герою именно такую женщину, т. е. такую-же, какъ онъ, испорченную, съ вывороченнымъ наизнанку сердцемъ и мозгомъ. Сначала онъ утопалъ въ блаженствѣ, все забывъ, все бросая, съ утра до поздней ночи просиживалъ у ней каждый день. Въ чемъ же заключалось его блаженство?—Въ разговорахъ о своей любви. И этотъ страстный молодой человѣкъ, сидя наединѣ съ прекрасной молодой женщиной, которая его любить и которую онъ любитъ, не краснѣлъ, не блѣднѣлъ, не замиралъ отъ томительныхъ желаній; ему довольно было разговоровъ о взаимной ихъ любви!... Это

впрочемъ понятно: сильная склонность къ идеализму и романтизму почти всегда свидѣтельствуетъ объ отсутствіи темперамента; это люди безпопые,—то же, что въ царствѣ растений тайнобрачные, грибы напримѣръ. Мы понимаемъ это трепетное, робкое обожаніе женщины, въ которое не входитъ ни одно дерзкое желаніе, но это не платонизмъ: это первый моментъ первой свѣжей, дѣвственной любви; это не отсутствіе страсти, а страсть, которая еще боится сказаться самой себѣ. Съ этого начинается первая любовь, но остановиться на этомъ такъ же смѣшно и глупо, какъ захотѣть остаться на всю жизнь ребенкомъ и вѣздить верхомъ на палочкѣ. Любовь имѣетъ свои законы развитія, свои возрасты, какъ цвѣты, какъ жизнь человѣческая. У ней есть своя роскошная весна, свое жаркое лѣто, наконецъ осень, которая для однихъ бываетъ теплой, свѣтлой и плодородной, для другихъ—холодной, гнилой и безплодной. Но нашъ герой не хотѣлъ знать законовъ сердца, природы, дѣйствительности, онъ сочинилъ для нихъ свои собственные, онъ гордо признавалъ существующій міръ призракомъ, а созданный его фантазіей призракъ—дѣйствительно существующимъ міромъ. На зло возможнѣе, онъ упорно хотѣлъ оставаться въ первомъ моментѣ любви на всю жизнь свою. Однакожъ сердечныя измѣненія съ Тафаевой скоро начали утомлять его; онъ думалъ поправить дѣло предложеніемъ жениться. Коли такъ, то надо бы было поторопиться; но онъ только думалъ, что рѣшился, а въ самомъ-то дѣлѣ ему только былъ нуженъ предметъ для новыхъ мечтаній. Между тѣмъ Тафаева начала смертельно надоедать ему своей привязчивой любовью; онъ началъ тиранить ее самымъ грубымъ и отвратительнымъ образомъ за то, что уже не любилъ ея. Еще прежде этого онъ ужъ начиналъ понимать, что свобода въ любви—вещь недурная, что пріятно бывать у любимой женщины, но также пріятно быть вправѣ пройти по Невскому, когда хочется, отобѣдать съ знакомыми и друзьями, провести съ ними вечеръ,—что наконецъ при любви можно не бросать и службы. Измучивши бѣдную женщину самымъ варварскимъ образомъ, взваливши на нее всю вину въ несчастіи, въ которомъ онъ былъ виноватъ гораздо больше ея,—онъ рѣшился наконецъ сказать себѣ, что онъ ея не любитъ, и что ему пора покончить съ ней. Такимъ образомъ его глупый идеалъ любви былъ въ дребезги разбитъ опытомъ. Онъ самъ увидѣлъ свою несостоятельность передъ любовью, о которой мечталъ всю жизнь свою. Онъ увидѣлъ ясно, что онъ

вовсе не герой, а самый обыкновенный человекъ, хуже тѣхъ, кого презиралъ, что онъ самолюбивъ безъ достоинствъ, требователенъ безъ правъ, заносчивъ безъ силы, гордъ и надутъ собой безъ заслуги, неблагодаренъ, эгоистъ. Это открытіе словно громомъ пришибло его, но не заставило его искать примиренія съ жизнью, пойти настоящимъ путемъ. Онъ впалъ въ мертвую апатію и рѣшился отомстить за свое ничтожество природѣ и человѣчеству, связавшись съ животными Костяковымъ и предавшись пустымъ удовольствіямъ, безъ всякой охоты къ нимъ. Последняя его любовная исторія гадка. Онъ хотѣлъ погубить бѣдную страстную дѣвушку, такъ, отъ скуки, и не могъ бы въ этомъ покушеніи оправдаться даже бѣшенствомъ чувственныхъ желаній, хотя и это плохое оправданіе, особенно, когда есть для этого путь болѣе прямой и честный. Отецъ дѣвушки далъ ему урокъ, страшный для его самолюбія: онъ обѣщалъ поколотить его; герой нашъ хотѣлъ съ отчаяніемъ броситься въ Неву, но струсилъ. Концертъ, на который затащила его тетка, расшевелилъ въ немъ прежнія мечтанія и вызвалъ его на откровенное объясненіе съ теткой и дядей. Здѣсь онъ обвинялъ дядю во всѣхъ своихъ несчастіяхъ. Дядя посвоемудѣйстви-тельно кое въ чемъ сильно ошибался, но онъ былъ тутъ самимъ собою, не лгалъ, не притворялся, говорилъ по убѣжденію, что думалъ и чувствовалъ; если слова его подѣйствовали на племянника болѣе вредно, нежели полезно, въ этомъ виновата ограниченная, болѣзненная и поврежденная натура нашего героя. Это одинъ изъ тѣхъ людей, которые иногда и видятъ истину, но, рванувшись къ ней, или не допрыгиваютъ до нея, или перепрыгиваютъ черезъ нее, такъ-что бывають только около нея, но никогда въ ней. Выѣзжая изъ Петербурга въ деревню, онъ расквитался съ нимъ фразами и стихами и прочелъ стихотвореніе Пушкина: «Художникъ-варваръ кистью сонной»... Эти господа ни на часъ безъ монологовъ и стиховъ—такіе болтуны!

Онъ пріѣхалъ въ деревню живымъ трупомъ; нравственная жизнь была въ немъ совершенно парализована; самая наружность его сильно измѣнилась, мать едва узнала его. Съ нею онъ обошелся почти-тельно, но холодно, ничего ей не открылъ, не объяснилъ. Онъ наконецъ понялъ, что между нимъ и ею нѣтъ ничего общаго, что еслибъ онъ сталъ ей объяснять, куда дѣвались его волосы, она поняла бы это такъ же, какъ Евсей и Аграфена. Ласки и угожденіе матери скоро стали ему въ

тягость. Мѣста—свидѣтели его дѣтства—расшевелили въ немъ прежнія мечты, и онъ началъ хныкать о ихъ невозвратной потерѣ, говоря, что счастье въ обманахъ и призракахъ. Это общее убѣжденіе всѣхъ дряблыхъ, безсильныхъ, недоконченныхъ натуръ. Вѣдь, кажется, опытъ достаточно показалъ ему, что всѣ его несчастія произошли именно оттого, что онъ предавался обманамъ и мечтамъ: воображалъ, что у него огромный поэтический талантъ, тогда какъ у него не было никакого, что онъ созданъ для какой-то героической и самоотверженной дружбы и колоссальной любви, тогда какъ въ немъ ничего не было героическаго, самоотверженнаго. Это былъ человекъ обыкновенный, но вовсе не пошлый. Онъ былъ добръ, любящъ и не глухъ, не лишенъ образованія; всѣ несчастія его произошли оттого, что, будучи обыкновеннымъ человекомъ, онъ хотѣлъ разыграть роль необыкновеннаго. Кто въ молодости не мечталъ, не предавался обманамъ, не гонялся за призраками, и кто не разочаровывался въ нихъ, и кому эти разочарованія не стоили сердечныхъ судорогъ, тоски, апатіи, и кто потомъ не смѣялся надъ ними отъ всей души? Но здоровымъ натурамъ полезна эта практическая логика жизни и опыта: они отъ нея развиваются и мужаютъ нравственно; романтики гибнутъ отъ нея...

Когда мы въ первый разъ читали письмо нашего героя къ теткѣ и дядѣ, писанное послѣ смерти его матери и исполненное душевнаго спокойствія и здраваго смысла, — это письмо подѣйствовало на насъ какъ то странно; но мы объяснили его себѣ такъ, что авторъ хочетъ послать своего героя снова въ Петербургъ затѣмъ, чтобы тотъ новыми глупостями достойно заключилъ свое донкихотское поприще. Письмомъ этимъ заключается вторая часть романа; эпилогъ начинается черезъ четыре года послѣ вторичнаго пріѣзда нашего героя въ Петербургъ. На сценѣ Петръ Ивановичъ. Это лицо введено въ романъ не само для себя, а для того, чтобы своей противоположностью съ героемъ романа лучше оттъннить его. Это набросило на весь романъ нѣсколько дидактической оттъннокъ, въ чемъ многіе не безъ основанія упрекали автора. Но авторъ умѣлъ и тутъ показать себя человекомъ съ необыкновеннымъ талантомъ. Петръ Ивановичъ—не абстрактная идея, живое лицо, фигура, нарисованная во весь ростъ кистью смѣлой, широкой и вѣрной. О немъ, какъ о человекѣ, судятъ или слишкомъ хорошо, или слишкомъ дурно, и въ обоихъ случаяхъ ошибочно. Одни хотятъ видѣть въ немъ

какой-то идеалъ, образецъ для подражанія: это—люди положительные и разсудительные. Другіе видятъ въ немъ чуть не изверга: это—мечтатели. Петръ Ивановичъ по своему человѣкъ очень хорошій; онъ уменъ, очень уменъ, потому-что хорошо понимаетъ чувства и страсти, которыхъ въ немъ нѣтъ и которыя онъ презираетъ; существо вовсе не поэтическое, онъ понимаетъ поэзію въ тысячу разъ лучше своего племянника, который изъ лучшихъ произведеній Пушкина какъ-то ухитрился набраться такого духа, какого можно было бы набраться изъ сочиненій фразеровъ и риторовъ. Петръ Ивановичъ—злой, холоденъ по натурѣ, неспособенъ къ великодушнымъ движеніямъ, но вмѣстѣ съ этимъ онъ не только не злой, но положительно добръ. Онъ честенъ, благороденъ, не лицемеръ, не притворщикъ, на него можно положиться, онъ не обманываетъ, чего не можетъ или не хочетъ сдѣлать, а что обманываетъ, то не премѣнно сдѣлаетъ. Словомъ, это въ полномъ смыслѣ порядочный человѣкъ, какихъ, дай Богъ, чтобъ было больше. Онъ составилъ себѣ непреложныя правила для жизни, сообразуясь съ своей натурой и здравымъ смысломъ. Онъ ими не гордился и не хвастался, но считалъ ихъ непогрѣшительно вѣрными. Дѣйствительно, мантія его практической философіи была сшита изъ прочной и крѣпкой матеріи, которая хорошо могла защищать его отъ невзгодъ жизни. Каковы-же были его изумленіе и ужасъ, когда, доживъ до боли въ поясницѣ и до сѣдыхъ волосъ, онъ вдругъ замѣтилъ въ своей мантіи прорѣху—правда, одну только, но зато какую широкую. Онъ хлопоталъ о семейственномъ счастьи, но былъ увѣренъ, что утвердилъ свое семейственное положеніе на прочномъ основаніи,—и вдругъ увидѣлъ, что бѣдная жена его была жертвой его мудрости, что онъ заѣлъ ея вѣкъ, задушилъ ее въ холодной и тѣсной атмосферѣ.

Какой урокъ для людей положительныхъ, представителей здраваго смысла! Видно, человѣку нужно и еще чего-нибудь немножко, кромѣ здраваго смысла! Видно, на границахъ-то крайностей больше всего и стережетъ насъ судьба. Видно, и страсти необходимы для полноты человѣческой натуры, и не всегда можно безнаказанно навязывать другому то счастье, которое только насъ можетъ удовлетворить, но всякій человѣкъ можетъ быть счастливымъ только сообразно съ собственной натурой! Петръ Ивановичъ хитро и тонко разсчиталъ, что ему надо овладѣть понятіями, убѣжденіями, склонностями своей жены, не давая ей этого замѣтить, вести ее по дорогѣ жизни,

но такъ, чтобъ она думала, что сама идетъ; но онъ сдѣлалъ въ этомъ разсчетѣ одну важную ошибку: при всемъ своемъ умѣ онъ не сообразилъ, что для этого надо было выбрать жену, чуждую всякой страстности, всякой потребности любви и сочувствія, холодную, добрую, вялую, всего лучше пустую, даже немножко глупую. Но на такой онъ можетъ-быть не захотѣлъ бы жениться, по самолюбію; въ такомъ случаѣ ему слѣдовало вовсе не жениться.

Петръ Ивановичъ выдержанъ отъ начала до конца съ удивительной вѣрностью; но героя романа мы не узнаемъ въ эпилогѣ: это лицо вовсе фальшивое, неестественное. Такое перерожденіе для него было бы возможно только тогда, еслибъ онъ былъ обыкновенный болтунъ и фразеръ, который повторяетъ чужія слова, не понимая ихъ, наклепываетъ на себя чувства, восторги и страданія, которыхъ никогда не испытывалъ; но молодой Адуевъ, къ его несчастію, часто бывалъ слишкомъ искрененъ въ своихъ заблужденіяхъ и нехѣностяхъ. Его романтизмъ былъ въ его натурѣ; такіе романтики никогда не дѣлаются положительными людьми. Авторъ имѣлъ-бы скорѣе право заставить своего героя заглохнуть въ деревенской дичи въ апатіи и лѣни, нежели заставить его выгодно служить въ Петербургѣ и жениться на большомъ приданомъ. Еще бы лучше и естественнѣе было ему сдѣлать его мистикомъ, фанатикомъ, сектантомъ; но всего лучше и естественнѣе было бы ему сдѣлать его напр. славянофиломъ. Тутъ Адуевъ остался бы вѣрнымъ своей натурѣ, продолжалъ бы старую свою жизнь и между тѣмъ думалъ бы, что онъ и Богъ знаетъ какъ ушелъ впередъ, тогда какъ въ сущности онъ только бы перенесъ старыя знамена своихъ мечтаній на новую почву. Прежде онъ мечталъ о славѣ, о дружбѣ, о любви, а тутъ сталъ-бы мечтать о народахъ и племенахъ,—о томъ, что на долю славянъ досталась любовь, а на долю тевтоновъ—вражда,—о томъ, что во времена Гостомысла славяне имѣли высшую и образцовую для всего міра цивилизацію, что современная Россія быстро идетъ къ этой цивилизаціи, что этого не видятъ только слѣпые и ожесточенные разсудкомъ, а всѣ зрячіе и размягченные фантазіей давно это ясно видятъ. Тогда бы герой былъ вполне современнымъ романтикомъ, и никому бы не вошло въ голову, что люди такого закала теперь уже не существуютъ...

Придуманная авторомъ развязка романа портитъ впечатлѣніе всего этого прекраснаго произведенія, потому-что она неестественна и ложна. Въ эпилогѣ хороши толь-

ко Петръ Ивановичъ и Лизавета Александровна до самаго конца; въ отношеніи же къ герою романа эпилогъ хотъ не читать... Какъ такой сильный талантъ могъ впасть въ такую странную ошибку? Или онъ не совладавъ съ своимъ предметомъ? Ничуть не бывало! Авторъ увлекся желаніемъ попробовать свои силы на чуждой ему почвѣ—на почвѣ сознательной мысли—и пересталъ быть поэтомъ. Здѣсь всего яснѣе открывается различіе его таланта съ талантомъ Искандера: тотъ и въ сферѣ чуждой для его таланта дѣйствительности умѣлъ выпутаться изъ своего положенія силой мысли; авторъ «Обыкновенной Исторіи» впасть въ важную ошибку именно оттого, что оставилъ на минуту руководство непосредственнаго таланта. У Искандера мысль всегда впереди, онъ впередъ знаетъ, что и для чего пишетъ; онъ изображаетъ съ поразительной вѣрностью сцену дѣйствительности для того только, чтобы сказать о ней слово, произнести судъ. Гончаровъ рисуетъ свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своей способностью рисовать; говоритъ и судитъ и извлекаетъ изъ нихъ нравственныя слѣдствія ему надо предоставить своимъ читателямъ. Картины Искандера отличаются не столько вѣрностью рисунка и тонкостью кисти, сколько глубокимъ знаніемъ изображаемой имъ дѣйствительности; онъ отличается больше фактической, нежели поэтической истиной, увлекательны слогомъ не столько поэтическимъ, сколько исполненнымъ ума, мысли, юмора и остроумія,—всегда поражающими оригинальностью и новостью. Главная сила таланта Гончарова—всегда въ изящности и тонкости кисти, вѣрности рисунка; онъ неожиданно впадаетъ въ поэзію даже въ изображенія мелочныхъ и постороннихъ обстоятельствъ, какъ напримеръ въ поэтическомъ описаніи процесса горѣнія въ каминѣ сочиненій молодого Адуева. Въ талантѣ Искандера поэзія—агентъ второстепенный, а главный—мысль; въ талантѣ Гончарова поэзія—агентъ первый, главный и единственный...

Несмотря на неудачный или, лучше сказать, на испорченный эпилогъ, романъ Гончарова остается однимъ изъ замѣчательныхъ произведеній русской литературы. Къ особеннымъ его достоинствамъ принадлежитъ между прочимъ языкъ чистый, правильный, легкій, свободный, льющійся. Разсказъ Гончарова въ этомъ отношеніи не печатная книга, а живая импровизація. Нѣкоторые жаловались на длинноту и утомительность разговоровъ между дядей и племянникомъ. Но для насъ эти разговоры

принадлежатъ къ лучшимъ сторонамъ романа. Въ нихъ нѣтъ ничего отвлеченнаго, нуднаго къ дѣлу; это—не диспуты, а живые, страстные, драматическіе споры, гдѣ каждое дѣйствующее лицо высказываетъ себя, какъ человѣка и характеръ, отстаиваетъ, такъ сказать, свое нравственное существованіе. Правда, въ такомъ рода разговорахъ, особенно при легкомъ дидактическомъ колоритѣ, наброшенномъ на романъ, всего легче было споткнуться хотъ какому таланту; но тѣмъ больше чести Гончарову, что онъ такъ счастливо рѣшилъ трудную самое по себѣ задачу и остался поэтомъ тамъ, гдѣ такъ легко было сбиться на тонъ резонѣра.

Теперь у насъ на очереди «Разсказы Охотника» Тургенева. Талантъ Тургенева имѣетъ много аналогій съ талантомъ Луганскаго (Далъ). Настоящій родъ того и другого—физиологическіе очерки разныхъ сторонъ русскаго быта и русскаго люда. Тургеневъ началъ свое литературное поприще лирической поэзіей. Между его мелкими стихотвореніями есть пьесы три, четыре очень недурныхъ, какъ напримеръ «Старый помѣщикъ», «Баллада», «Федя», «Человѣкъ, какихъ много»; но эти пьесы удалась ему потому, что въ нихъ или вовсе нѣтъ лиризма, или что въ нихъ главное не лиризмъ, а намеки на русскую жизнь. Собственно же лирическія стихотворенія Тургенева показываютъ рѣшительное отсутствіе самостоятельнаго лирическаго таланта. Онъ написалъ нѣсколько поэмъ. Первая изъ нихъ, «Параша», была замѣчена публикой при ея появленіи по бойкому стиху, веселой ироніи, вѣрнымъ картинамъ русской природы, а главное—по удачнымъ физиологическимъ очеркамъ помѣщичьяго быта въ подробностяхъ. Но прочному успѣху поэмы помѣшало то, что авторъ, пиша ея, вовсе не думалъ о физиологическомъ очеркѣ, а хлопоталъ о поэмѣ въ томъ смыслѣ, въ какомъ у него нѣтъ самостоятельнаго таланта къ этому роду поэзіи. Оттого все лучшее въ ней проблеснуло какъ-то случайно, невзначай. Потому онъ написалъ поэму—«Разговоръ»: стихи въ ней звучные и сильные, много чувства, ума, мысли; но какъ эта мысль чужая, заимствованная, то на первый разъ поэма могла даже понравиться, но прочесть ее вторично уже не захочется. Въ третьей поэмѣ Тургенева, «Андрей», много хорошаго, потому что много вѣрныхъ очерковъ русскаго быта; но въ цѣломъ поэма опять не удалась, потому что это повѣсть любви, изображать которую не въ талантѣ автора. Письмо героини къ герою поэмы длинно и растянuto, въ немъ больше чув-

ствительности, нежели павеса. Вообще въ этихъ опытахъ Тургенева былъ замѣтенъ талантъ, но какой-то нерѣшительный и неопредѣленный. Онъ пробовалъ себя и въ повѣсти; написалъ «Андрея Колосова», въ которомъ много прекрасныхъ очерковъ характеровъ и русской жизни, но, какъ повѣсть, въ цѣломъ это произведеніе до того странно, не досказано, неуклюже, что очень немногіе замѣтили, что въ ней было хорошаго. Замѣтно было, что Тургеневъ искалъ своей дороги и все еще не находилъ ея: потому что это не всегда и не всѣмъ легко и скоро удается. Наконецъ Тургеневъ написалъ стихотворный рассказъ — «Помѣщикъ», не поэму, а физиологическій очеркъ помѣщичьяго быта, шутку, если хотите, но эта шутка какъ то вышла далеко лучше всѣхъ поэмъ автора. Бойкій эпиграмматическій стихъ, веселая иронія, вѣрность картинъ, вмѣстѣ съ этимъ выдержанность цѣлаго произведенія, отъ начала до конца,—все показывало, что Тургеневъ напалъ на истинный родъ своего таланта, взялся за свое, и что нѣтъ никакихъ причинъ оставлять ему вовсе стихи. Въ то же время былъ напечатанъ его рассказъ въ прозѣ — «Три Портрета», изъ котораго видно было, что Тургеневъ и въ прозѣ нашелъ свою настоящую дорогу. Наконецъ въ первой книжкѣ «Современника» за прошлый годъ былъ напечатанъ его рассказъ «Хорь и Калинычъ». Успѣхъ въ публикѣ этого небольшого рассказа, помѣщенного въ Смѣси, былъ неожиданъ для автора и заставилъ его продолжать «Рассказы Охотника». Здѣсь талантъ его обозначился вполне. Очевидно, что у него нѣтъ таланта чистаго творчества, что онъ не можетъ создавать характеровъ, ставить ихъ въ такія отношенія между собой, изъ какихъ образуются сами собой романы или повѣсти. Онъ можетъ изображать дѣйствительность видѣнную и изученную имъ, если угодно—творить, но изъ готоваго, даннаго дѣйствительностью матеріала. Это не простое списываніе съ дѣйствительности, она не даетъ автору идей, но наводитъ, наталкиваетъ, такъ сказать, на нихъ. Онъ перерабатываетъ взятое имъ готовое содержаніе по своему идеалу, и отъ этого у него выходитъ картина болѣе живая, говорящая и полная мысли, нежели дѣйствительный случай, подавшій ему поводъ написать эту картину; и для этого необходимъ въ извѣстной мѣрѣ поэтический талантъ. Правда, иногда все умѣніе его заключается въ томъ, чтобы только вѣрно передать знакомое ему лицо или событіе, котораго онъ былъ свидѣтелемъ, потому что въ дѣйствительности бываютъ

иногда явленія, которыя стоитъ только вѣрно переложить на бумагу, чтобы они имѣли всѣ признаки художественнаго вымысла. Но и для этого необходимъ талантъ, и таланты такого рода имѣютъ свои степени. Въ обоихъ этихъ случаяхъ Тургеневъ обладаетъ весьма замѣчательнымъ талантомъ. Главная характеристическая черта его таланта заключается въ томъ, что ему едва-ли бы удалось создать вѣрно такой характеръ, подобнаго которому онъ не встрѣчалъ въ дѣйствительности. Онъ всегда долженъ держаться почвы дѣйствительности. Для такого рода искусства ему даны отъ природы богатые средства: даръ наблюдательности, способность вѣрно и быстро понять и оцѣнить всякое явленіе, инстинктомъ разгадать его причины и слѣдствія, и такимъ образомъ догадкой и соображеніемъ дополнить необходимый ему запасъ свѣдѣній, когда разспросы мало объясняютъ.

Не удивительно, что маленькая пьеска—«Хорь и Калинычъ», имѣла такой успѣхъ: въ ней авторъ зашелъ къ народу съ такой стороны, съ какой до него къ нему никто еще не заходилъ. Хорь съ его практическимъ смысломъ и практической натурой, съ его грубымъ, но крѣпкимъ и яснымъ умомъ, съ его глубокимъ презрѣніемъ къ «бабамъ» и сильной нелюбовью къ чистотѣ и опрятности—типъ русскаго мужика, умѣвшаго создать себѣ значущее положеніе при обстоятельствахъ весьма неблагоприятныхъ. Но Калинычъ—еще болѣе свѣжій и полный типъ русскаго мужика: это поэтическая натура въ простомъ народѣ. Съ какимъ участіемъ и добродушіемъ авторъ описываетъ намъ своихъ героевъ, какъ умѣетъ онъ заставить читателей полюбить ихъ отъ всей души! Всѣхъ «Рассказовъ Охотника» было напечатано прошлаго года въ «Современникѣ» семь. Въ нихъ авторъ знакомитъ своихъ читателей съ разными сторонами провинціальнаго быта, съ людьми разныхъ состояній и званій. Не всѣ его рассказы одинаковаго достоинства: одни лучше, другіе слабѣе, но между ними нѣтъ ни одного, который бы чѣмъ-нибудь не былъ интересенъ, занимателенъ и поучителенъ. «Хорь и Калинычъ» до сихъ поръ остается лучшимъ изъ всѣхъ рассказовъ охотника; за нимъ — «Бурмистръ», а послѣ него «Однودворецъ Овсяниковъ» и «Контора». Нельзя не пожелать, чтобы Тургеневъ написалъ еще хоть цѣлые томы такихъ рассказовъ.

Хотя рассказъ Тургенева—«Петръ Петровичъ Каратаевъ», напечатанный во второй книжкѣ «Современника» за прошлый годъ, и не принадлежитъ къ ряду «Расска-

зовъ Охотника», но это такой же мастерской физиологическій очеркъ характера чисто русскаго, и притомъ съ московскимъ оттѣнкомъ. Въ немъ талантъ автора выказался съ такой же полнотою, какъ и въ лучшихъ изъ «Разсказовъ Охотника».

Не можемъ не упомянуть о необыкновенномъ мастерствѣ Тургенева изображать картины русской природы. Онъ любитъ природу не какъ диллетантъ, а какъ артистъ, и потому никогда не старается изображать ее только въ поэтическихъ ея видахъ, но беретъ ее, какъ она ему представляется. Его картины всегда вѣрны, вы всегда узнаете въ нихъ нашу родную, русскую природу....

Григоровичъ посвятилъ свой талантъ исключительно изображенію жизни низшихъ классовъ народа. Въ его талантѣ тоже много аналогій съ талантомъ Дала. Онъ также постоянно держится на почвѣ хорошо извѣстной и изученной имъ дѣйствительности; но его два послѣдніе опыта—«Деревня» и въ особенности «Антонъ-Горемыка»—идутъ гораздо дальше физиологическихъ очерковъ. «Антонъ-Горемыка»—больше, чѣмъ повѣсть: это романъ, въ которомъ все вѣрно основной идеей, все относится къ ней, завязка и развязка свободно выходятъ изъ самой сущности дѣла. Несмотря на то, что внѣшняя сторона разсказа вся вертится на пропажѣ мушкетерской лошададки; несмотря на то, что Антонъ—мужикъ простой, вовсе не изъ бойкихъ и хитрыхъ, онъ—лицо трагическое въ полномъ значеніи этого слова. Эта повѣсть трогательная, по прочтеніи которой въ голову невольно тѣснится мысль грустная и важная. Желаемъ отъ всей души, чтобы Григоровичъ продолжалъ идти по этой дорогѣ, на которой отъ его таланта можно ожидать такъ многого... И пусть онъ не смущается бранью хулителей: эти господа полезны и необходимы для вѣрнаго опредѣленія объема таланта: чѣмъ большая ихъ стая бѣжитъ вслѣдъ успѣха, тѣмъ, значитъ, успѣхъ огромнѣе...

Въ послѣдней книжкѣ «Современника» за прошлый годъ была напечатана «Полинька Саксъ», повѣсть Дружинина, лица совершенно новаго въ русской литературѣ. Многое въ этой повѣсти отзывается незрѣлостью мысли, преувеличеніемъ, лицо Сакса немножко идеально; несмотря на то, въ повѣсти такъ много истины, такъ много душевной теплоты и вѣрнаго, сознательнаго пониманія дѣйствительности, такъ много самобытности, что повѣсть тотчасъ-же обратила на себя общее вниманіе. Особенно хорошо въ ней выдержанъ характеръ героини повѣсти; видно, что авторъ хорошо

знаетъ русскую женщину. Вторая повѣсть Дружинина, появившаяся въ нынѣшнемъ году, подтверждаетъ поданное первой повѣстью мнѣніе о самостоятельности таланта автора и позволяетъ многого ожидать отъ него въ будущемъ.

Къ замѣчательнѣйшимъ повѣстямъ прошлаго года принадлежитъ «Павелъ Алексѣвичъ Игривой», повѣсть Дала («Отечественныя Записки»). Карлъ Ивановичъ Гонобобель и ротмистръ Шилохвостовъ, какъ характеры, какъ типы, принадлежатъ къ самымъ мастерскимъ очеркамъ пера автора. Впрочемъ всѣ лица въ этой повѣсти очерчены прекрасно, особенно дражайшіе родители Любоньки; но молодой Гонобобель и другъ его Шилохвостовъ—созданія гениальныя. Это типы довольно знакомые многимъ по дѣйствительности, но искусство еще въ первый разъ воспользовалось ими и передало ихъ на пріятное знакомство всему міру. Повѣсть эта нравится не одними подробностями частностями, какъ всѣ большія повѣсти Дала; она почти выдержана въ цѣломъ, какъ повѣсть. Говоримъ почти, потому что трагическое для героя повѣсти событіе производитъ на читателя впечатлѣніе чего-то неожиданнаго и непонятнаго. Человѣкъ такъ любилъ женщину, столько дѣлалъ для нея; она повидимому такъ любила его; безпутный мужъ ее умеръ; другъ спѣшитъ за границу на свиданіе съ ней, окрыленный надеждами любви, и видитъ ее замужемъ за другимъ. Дѣло въ томъ, что авторъ не хотѣлъ окрасить своего разсказа тѣмъ колоритомъ, по которому читатель видѣлъ бы естественность такой развязки. Игривый—человѣкъ комически робкій и стыдливый, почему и дозволилъ двумъ негодяямъ изъ рукъ вырвать у него повѣсту. Во время страданій ея супружеской жизни онъ велъ себя въ отношеніи къ ней какъ деликатнѣйшій и благороднѣйшій человѣкъ, но ни сколько какъ любовникъ; оттого ея оробѣвшее, запуганное чувство къ нему скоро обратилось въ благодарность, уваженіе, удивленіе, наконецъ въ благоговѣніе; она видѣла въ немъ друга, брата, отца, воплощенную добродѣтель, и уже по тому самому не видѣла въ немъ любовника. Послѣ этого развязка понятна, равно какъ и то, что Игривый на всю остальную жизнь свою сдѣлался какимъ-то помѣшаннымъ шуткомъ.

Въ «Библіотекѣ для Чтенія» прошлаго года тянулись «Приключенія, почерпнутыя изъ моря житейскаго», Вельтмана, кончившіяся во второй книжкѣ этого журнала на нынѣшній годъ. Такъ какъ этотъ романъ начался, кажется, въ 1846 г., то мы о немъ уже имѣли случай говорить. И потому снова

повторимъ, что въ этомъ произведеніи романъ смѣшанъ съ сказкой, невѣроятное—съ вѣроятнымъ, невозможное съ возможнымъ. Такъ наприимѣръ, Дмитрицкій, герой романа, воспользовавшись бумагами и платьемъ простофили молодого купчика, который, какъ нарочно, былъ очень похожъ на него лицомъ, является къ его отцу въ качествѣ его сына. Онъ такъ ловко играетъ свою роль, что ни отецъ, ни мать и никто изъ домашнихъ ни одну минуту не возымѣлъ подозрѣнія въ тождествѣ самозванца съ настоящимъ сыномъ. Самозванецъ женится на богатой невѣстѣ и, узнавши въ ночь брака, что настоящій сынъ появился, тотчасъ-же выбирается изъ чужого гнѣзда съ огромнымъ пукомъ ассигнацій, полученныхъ въ приданое за женой, и съ другого же дня начинаетъ играть въ московскомъ большомъ свѣтѣ роль богатаго венгерскаго магната. Мудрено что-то! Но, поставивши свои лица въ невѣроятныя положенія, авторъ тѣмъ не менѣе увлекательно описываетъ ихъ похождения. Но тамъ, гдѣ въ романѣ нѣтъ натяжекъ, талантъ автора является въ самомъ выгодномъ для него свѣтѣ. Такъ наприимѣръ, похождения настоящего сына, который все собирается и никакъ не можетъ рѣшиться броситься въ ноги къ своему «тятенькѣ», боясь, что дражайшій родитель сразу пришибетъ его на смерть, исполнены истины, глубокаго знанія дѣйствительности, увлекающаго интереса. Такихъ прекрасныхъ эпизодовъ въ романѣ Вельтмана много. Лучше всего даются ему изображенія купеческихъ, мѣщанскихъ и простонародныхъ нравовъ. Слабѣ всего у него картины большого свѣта. Такъ наприимѣръ, у него важную роль играетъ великосвѣтскій молодой человекъ Чаровъ, котораго вся свѣтскость состоитъ въ томъ, что онъ всѣмъ своимъ пріятелямъ и знакомымъ говоритъ: ска-атина, у-уродъ... Несмотря на всѣ странности и, можно сказать, нелѣпости романа Вельтмана, это все-таки очень замѣчательное произведение.

Изъ отдѣльно вышедшихъ въ прошломъ году книгъ по части изящной словесности замѣчательны только «Путевыя Замѣтки» Т. Ч. Это маленькая, красиво напечатанная книжка, вышедшая въ Одессѣ; авторъ—женщина; это видно по всему, особенно по взгляду на предметы. Много сердечной теплоты, много чувства, жизнь, не всегда понятая или понятая уже слишкомъ по-женски, но никогда не набѣленная, не нарумяненная, не преувеличенная, не искаженная, увлекательный рассказъ, прекрасный языкъ,—вотъ достоинство двухъ рассказовъ г-жи Т. Ч. Особенно интересенъ

первый рассказъ: «Три варіаціи на старую тему». Взрослая дѣвушка влюбилась въ мальчика. Потомъ она потеряла его изъ виду и вышла замужъ за человека добраго и порядочнаго, но къ которому она не чувствовала ничего особеннаго. Вдругъ она встрѣчается съ Лѣлей, который теперь уже сталъ Алексисомъ. У нихъ завязалось нѣчто вродѣ особенныхъ отношеній, которыя разрѣшились страстнымъ поцѣлуемъ съ обѣихъ сторонъ, полнымъ объясненіемъ и отъѣздомъ Алексиса по настоящему требованію героини, въ которой любовь не побѣдила чувства долга. Потомъ она уѣхала съ больнымъ мужемъ на воды за границу. Тамъ она получила письмо отъ одной изъ своихъ пріятельницъ, изъ котораго она узнала, что Алексисъ ее любитъ страстно. Письмо это сильно взволновало ее. Разъ, перечитывая его и мечтая объ Алексисѣ, она вдругъ услышала въ сосѣдней комнатѣ, гдѣ былъ мужъ ея, какой-то странный шумъ. Вбѣгаетъ — и видитъ своего мужа почти въ обморокѣ; съ нимъ случился жестокий чахоточный припадокъ. Оправившись нѣсколько, онъ началъ говорить ей о своей скорой смерти, благодарилъ ее за вниманіе и попеченіе о немъ, радовался, что оставляетъ ее не безъ состоянія, и советовалъ ей выйти замужъ, такъ какъ она молода, хороша и дѣтей у нихъ не было. По обыкновенію всѣхъ восторженныхъ женщинъ, она съ ужасомъ отвергла послѣднее предложеніе. Затѣмъ ее начали мучить угрызенія совѣсти. И какъ же иначе: мужъ ея умиралъ и благодарилъ ее за любовь и вниманіе къ нему, а она въ это время думала о другомъ, любила другого. Бѣдная женщина чуть было не рассказала свою тайну умирающему мужу; къ счастью случившійся съ ней обморокъ помѣшалъ этому ненужному и нелѣпому признанію, которое могло только отравить послѣднія минуты добраго и благороднаго человека. Такова логика восторженной женщины!... Мужъ героини умеръ, ей было 35 лѣтъ, когда она увидѣла Алексія Петровича; онъ былъ женатъ и жилъ честолюбцемъ. Героиня наша едва могла подавить свое волненіе при видѣ его; но онъ обошелся съ ней съ холодной вѣжливостью. Тутъ она совершенно разочаровалась въ извергахъ мужчинахъ и горько плакала. Какъ! онъ все забылъ! Да что же ему помнить-то? Поцѣлуй? исторію любви, которая ничѣмъ не кончилась и прервалась въ самомъ началѣ;—одну изъ тѣхъ исторій, которыя со многими мужчинами случаются не одинъ разъ въ жизни? У мужчины много интересовъ въ жизни, и потому память его удерживаетъ только исторію, которая посерьѣнѣе одного по-

цѣлуя. Женщина—другое дѣло: она вся живетъ исключительно въ любви, и тѣмъ болѣе своими внутренними ощущениями, чѣмъ болѣе обязана скрывать ихъ. Женщины особенно падки до любовныхъ исторій, которыя не оканчиваются ничѣмъ серьезнымъ, въ которыхъ не нужно ничѣмъ рисковать, ничѣмъ жертвовать, можно измѣнить мужу въ сердцѣ—и остаться формально вѣрной своимъ обѣтамъ, удовлетворить потребности любить—и свято выполнить налагаемыя обществомъ обязанности. Героиня второй повѣсти—гouvernante, одна изъ тѣхъ женщинъ, у которыхъ фантазія преобладаетъ надъ сердцемъ, которыхъ надо атаковать съ головы, т. е. прежде всего надо чѣмъ-нибудь удивить, поразить, возбудить любопытство: не красотою—такъ безобразіемъ, не умомъ—такъ глупостью, не достоинствомъ—такъ странною, не добродѣтелью—такъ порокомъ. За ней волоочится безобразный собой, нисколько не любившій ее человекъ, и ее же любить страстно благородный, красивый собой мужчина. Она знаетъ цѣну обомъ имъ—и, какъ бабочка на огонь, рвется къ первому. Повѣсть рассказана хорошо; но видно, героиня не возбудила къ себѣ особеннаго участія, и потому первая повѣсть больше понравилась всѣмъ, нежели вторая. Въ обѣихъ виденъ талантъ, отъ котораго можно надѣяться хорошихъ результатовъ, если онъ будетъ развиваться.

Изъ иностранныхъ замѣчательныхъ романовъ въ «Современникѣ» и въ «Отечественныхъ Запискахъ» была переведена «Лукреція Флоріани» (о ней было уже говорено въ нашемъ журналѣ), и продолжается переводомъ: «Торговый домъ подъ фирмой Домби и Сынъ»; когда этотъ превосходный романъ, далеко оставившій за собой всѣ прежнія произведенія Диккенса, появится весь въ русскомъ переводѣ, мы поговоримъ о немъ.

Къ разряду словесности принадлежатъ записки или воспоминанія былого. «Письма объ Испаніи» (въ «Современникѣ») Боткина были неожиданно пріятной новостью въ русской литературѣ. Испанія для насъ—terra incognita. Политическія извѣстія только сбиваютъ съ толку всякаго, кто бы захотѣлъ получить понятіе о положеніи этой земли. Главная заслуга автора «Писемъ объ Испаніи» состоитъ въ томъ, что онъ на все смотрѣлъ собственными глазами, не увлекаясь готовыми сужденіями объ Испаніи, разсѣянными въ книгахъ, журналахъ и газетахъ; вы чувствуете изъ его писемъ, что онъ сперва посмотрѣлся, наслушался, разспросилъ и изучилъ, и потомъ уже составилъ свое понятіе о странѣ.

Оттого взглядъ его на нее новъ, оригиналенъ, и все завѣряетъ читателя въ его вѣрности, въ томъ, что онъ знакомится не съ какой-нибудь фантастической, а съ дѣйствительно существующей страной. Увлекательное изложеніе еще болѣе возвышаетъ достоинство «Писемъ» Боткина.

Русская критика стоитъ теперь на болѣе прочномъ основаніи; она уже не въ однихъ журналахъ, но и въ публикѣ, вслѣдствіе все болѣе и болѣе развивающагося вкуса и образованности. Это чрезвычайно должно благоприятствовать развитію самой критики: она уже дѣло, подлежащее суду общественнаго мнѣнія, а не книжное, не имѣющее связи съ жизнью занятіе. Теперь уже не всякому можно быть критикомъ, кому только вздумается, не всякое мнѣніе приметъ потому только, что оно печатное. Пристрастіе партій не можетъ уже убить хорошей книги и дать ходъ дурной. Въ критикѣ нынѣшней часто слышится убѣжденіе, и люди, вовсе его неимѣющіе, стараются по крайней мѣрѣ прикрываться имъ. Борьба мнѣній, выражающаяся въ критикѣ, свидѣтельствуетъ, что русская литература только быстро подвигается къ совершенствованію, но еще не достигла его. Конечно вездѣ есть люди, которые какъ-будто самой природой назначены всѣхъ затрогивать, ко всѣмъ прицѣпляться, всѣхъ хулить, безпрестанно заводить ссоры, шумъ, брань. Кромѣ природной склонности, ничѣмъ не побѣдимой, ихъ побуждаетъ къ этому и раздраженное самолюбіе, и мелкіе личные интересы, нисколько не относящіеся къ литературѣ. Такіе люди—всюду зло неизбежное, имѣющее даже свою полезную сторону: эти люди добровольно берутъ на себя ту роль передъ обществомъ, которую спартанцы заставляли играть илоты передъ своими дѣтьми...

Въ прошломъ году вниманіе критики было преимущественно занято «Перепиской Гоголя съ друзьями». Можно сказать, что память объ этой книгѣ и теперь поддерживается только статьями. Лучшая изъ статей противъ нея принадлежитъ Н. Ф. Павлову. Въ своихъ письмахъ къ Гоголю онъ сталъ на его точку зрѣнія, чтобы показать его невѣрность собственнымъ началамъ. Тонкость мысли, ловкость діалектики, при изложеніи въ высшей степени изящномъ, дѣлають письма Н. Ф. Павлова явленіемъ образцовымъ и совершенно особымъ въ нашей литературѣ. Жаль, если все дѣло окончится тремя письмами!

Извѣстный книгопродавецъ нашъ Смирдинъ своими изданіями русскихъ авторовъ приготовилъ и намѣренъ еще боль-

ше приготовить труда и хлопот русской критикѣ. Онъ уже издалъ Ломоносова, Державина, Фонвизина, Озорова, Каятемира, Хемницера, Муравьева, Княжнина и Лермонтова. Въ одной газетѣ было говорено о скоромъ выходѣ въ свѣтъ сочиненій Богдановича, Давыдова, Карамзина и Измайлова. Тамъ-же увѣряли, что вслѣдъ за ними поступятъ въ печать: «Исторія Государства Россійскаго» Карамзина, сочиненія императрицы Екатерины II, сочиненія Сумарокова, Хераскова, Тредьяковскаго, Кострова, князя Долгорукова, Капниста, Нахимова, Нарѣжнаго, — и что сверхъ того приступлено къ пріобрѣтенію права на изданіе сочиненій Жуковскаго, Батюш-

кова, Дмитриева, Гнѣдича, Хмѣльницкаго, Шаховскаго и Баратынскаго. Довольно работы критикѣ! Пусть каждый выскажетъ свое мнѣніе, не беспокоясь о томъ, что другіе думаютъ не такъ, какъ онъ. Надо имѣть терпимость къ чужимъ мнѣніямъ. Нельзя заставить всѣхъ думать одно. Опровергайте чужія мнѣнія, несогласныя съ вашими, но не преслѣдуйте ихъ съ ожесточеніемъ потому только, что они противны вамъ, не старайтесь выставлять ихъ въ невыгодномъ для нихъ свѣтѣ не въ литературномъ отношеніи. Это плохой расчетъ: желая выиграть больше простору вашимъ мнѣніямъ, вы можете быть этимъ самымъ лишите ихъ всякой почвы.

Семейство, или домашнія радости и огорченія. Романъ шведской писательницы *Фредерики Бремеръ. Перев. съ подлинника. Спб. 1842.*

Вотъ романъ, который болѣе года тянулся въ «Современникѣ»... Изъ всѣхъ нашихъ журналовъ «Современникъ» — самый почтенный, самый безукоризненный. Онъ напоминаетъ собою то блаженное время русской литературы и русской журналистики, о которомъ теперь осталось одно преданіе, какъ о золотомъ вѣкѣ, и въ которомъ любили литературу для литературы, вида въ ней сколько невинное, столько же и благороднее препровожденіе времени. Тогда, какъ въ вѣкъ Астрей, сочиненія не продавались и не покупались, напротивъ, сами авторы готовы были платить деньги за честь видѣть свои творенія напечатанными въ журналѣ, — полемикѣ не было: вмѣсто ея царствовала любезность самаго лучшаго тона. Писали стишки «къ милымъ», «прекраснымъ». Въ литературѣ не подозрѣвали никакого отношенія къ обществу и не вносили въ нее никакихъ вопросовъ, не касающихся до «прелестныхъ» или до мирной сельской жизни на берегу ручья, подъ соломенной кровлей, съ милой подругой и чистой совѣстью. Но противъ духа времени и его движенія идти нельзя, — и «Современникъ» конечно много разнится отъ журналовъ стараго добраго времени. Во-первыхъ, онъ издается изящно, а они издавались неопрятно; онъ существуетъ никогдѣ, по доброй волѣ, а тѣ существовали никогдѣ по недостатку въ публикѣ и въ читателяхъ, которые играли съ ними въ гулячки. Видите ли — никакого сходства! Но «Современникъ» сохранилъ эту свойственную журналамъ стараго добраго времени безкорыстную любовь къ литературѣ, какъ къ невинному и благородному занятію, въ самомъ себѣ имѣющему свою цѣль. И потому онъ идетъ себѣ своей дорогой, съ полнымъ сознаніемъ своего достоинства. И по наружности, и по внутреннему содержанію между всѣми другими журналами «Современникъ» — то же, что аристократъ между плебеями. Онъ ни съ кѣмъ не бранится, ни съ кѣмъ не споритъ, ни на кого не нападаетъ (развѣ только изрѣдка на какой-нибудь иностранный журналъ, не умѣющий цѣнить сочиненій такого-то или такого-то), ни противъ кого не защищается. О немъ многіе говорятъ, иные порицая, другіе хваля его, но онъ ни о комъ не говоритъ, кромѣ «Звѣздочки», журнала для дѣтей, тоже почтеннаго и безукоризненнаго. У него свой кругъ пред-

метовъ, свой міръ вѣдѣнія, — въ особенности Финляндія и ея литература, — и по этой части Гротъ снабжаетъ его поистинѣ превосходными статьями. Въ числѣ его отдѣловъ есть и библиографія, которой короткіе, но многозначительные отзывы многихъ приводили въ раздумье. У него своя философія, — и по этой части Петерсонъ снабжаетъ его удивительными статьями. У него все свое — поэты тоже. Въ «Современникѣ» изрѣдка раздаются нестарѣющіе звуки лиры Жуковского; въ немъ допѣваетъ свои послѣдніе пѣсни Баратынский; сверхъ того въ немъ постоянно являются розовыя мечты, радужныя фантазіи и сладостныя чувства, облеченныя въ неподражаемый стихъ. Въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго, потому что все это показываетъ только изящный вкусъ «Современника». Такъ-же точно оригиналенъ и самобытенъ «Современникъ» въ отношеніи къ изящной прозѣ, украшающей его страницы вольно и широко раскидывающимися строками, безъ тѣсноты и давки, свойственной плебейской экономіи. У него свои повѣсти, какъ и свои стихи. Бывало, изобильно снабжалъ его повѣстями и рассказами Основьяненко: въ каждой книжкѣ «Современника» (а тогда онъ выходилъ въ числѣ четырехъ книжекъ ежегодно) читатели его находили повѣсть Основьяненко, а иногда и двѣ. Видя такую плодovitость малороссійскаго писателя, даже мы, люди посторонніе въ отношеніи къ «Современнику», чуть было не повѣрили достовѣрности вдругъ пронесшагося слуха, будто Основьяненко — первый писатель русскій... Но въ 1842 году нескончаемая нить повѣстей и рассказовъ Основьяненко вдругъ прервалась. Чьи-то повѣсти будетъ теперь печатать «Современникъ»? — думали мы, и много думали.... одна-кожъ не отгадали. Оставивъ въ покоѣ русскія повѣсти, «Современникъ» еще съ конца 1842 года началъ печатать романъ шведской писательницы Фредерики Бремеръ —

Романъ отиѣнно длинный, длинный,
Правоучительный и чинный.

Поговоримъ объ этомъ романѣ. Онъ обратилъ на себя общее вниманіе, и многіе увидѣли въ немъ даже колоссальное произведеніе, тогда какъ другіе ничего ровно не видѣли. Мы держались середины между двумя этими крайностями. Прежде всего надо сказать, что Бремеръ не лишена свойственной женщинамъ способности не только хорошо и легко рассказывать, но даже съ нѣкоторымъ

успѣхомъ очерчивать характеры, которые под силу ея одностороннему взгляду на вещи и ея небогатой фантазій. Основная мысль ея романа та, что счастье заключается только въ семейной жизни и человѣкъ назначенъ природой преимущественно для семейной жизни. Мысль, какъ видите, нелишенная истины, но довольно односторонняя, и притомъ не новая: на ней въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтія выѣхала слава Августа Лафонтена, блаженной памяти. Этотъ добрый нѣмецъ такъ же во всякомъ человѣкѣ видѣлъ прежде всего мужа и жену, какъ натуралистъ во всякомъ животномъ прежде всего видѣлъ самца или самку. Но прославляемое имъ блаженство семейной жизни было такъ мѣщански идеально, такъ приторно-сладко, что оно скоро сдѣлалось всѣмъ непріятно, какъ теплая вода, разсыченная медомъ. Фредерика Бремеръ не испугалась этого и отважно сдѣлалась Августомъ Лафонтею нашего вѣка. Надо согласиться, что она явилась весьма кстати и въ то же время весьма некстати:—кстати, потому что безъ такой жаркой защитницы блаженства супружеской и семейной жизни это блаженство сдѣлалось бы теперь столько же сомнительнымъ, какъ и дѣйствительность золотого вѣка;—некстати, потому что теперь жениться по склонности и для счастья считается совсѣмъ не въ тонѣ, и всѣ рѣшительно женятся для денегъ и связей, а на дѣтей смотрять, какъ на неизбежное неудобство семейной жизни. Сверхъ того въ наше скептическое время скорѣе повѣрять существованію волшебниковъ и кудесниковъ, чѣмъ существованію «счастья». Ему вѣрять теперь только безбородые юноши, да мечтательныя дѣвы; послѣднія вѣрять жарче первыхъ, но не дальше, какъ только до замужества; а если онѣ остаются на всю жизнь дѣвицами, то и до гробовой доски вѣрять счастью и мечтаютъ о немъ. Это исключительная привилегія старыхъ дѣвъ, — да и что имъ было бы дѣлать на свѣтѣ, еслибъ онѣ не вѣрили въ счастье и не мечтали о немъ?... Фредерика Бремеръ тѣмъ съ большимъ убѣжденіемъ и большимъ жаромъ вѣрять въ счастье семейной жизни, что сама имѣетъ ни съ чѣмъ несравнимое преимущество быть «дѣвой», и притомъ уже, кажется, такой, которая годится Минервѣ въ ровесницы не по одному уму. Это очень выгодное обстоятельство для дѣла, котораго адвокатомъ явилась Фредерика Бремеръ; блаженство, которое мы знаемъ только въ мечтахъ, всегда кажется намъ лучше, выше, обольстительнѣе блаженства, которое извѣдано нами на самомъ дѣлѣ. И потому Фредерика Бремеръ съ восхищеніемъ, съ энтузіазмомъ описываетъ счастье семейной жизни, такъ что въ первыхъ же страницъ тотчасъ видите, что сочинительница не была, а только желала страстно быть замужемъ. Это, разумеется, столько же выгодно для романа, сколь вредно для юныхъ читателей, особенно читательницъ, и особенно читательницъ безъ приданаго; бѣдняжки сейчасъ ударятся въ розовыя мечты о счастьи и о немъ,—

и каково же будетъ ихъ разочарованіе, когда ни одинъ «онъ» ни въ грошъ не оцѣнитъ ихъ прекрасной души, которая, какъ ни хороша, а все-таки совсѣмъ не то, что «души»!... Каково будетъ разочарованіе и тѣхъ юныхъ читательницъ, которыя, съ склонностью къ мечтательности, владѣютъ и «дѣйствительными достоинствами», т. е. приданымъ? Бѣдняжки, пожалуй, потребуютъ отъ своихъ мужей любви и счастья, не подозревая въ простотѣ сердца, что любовь и счастье при деньгахъ совершенно лишнія и даже вредныя вещи, какъ лекарство при здоровьи. Сначала имъ будетъ больно, а потомъ онѣ возненавидятъ всѣ эти романы, которые такъ добросовѣстно лгутъ и такъ благонамѣренно обманываютъ дѣтей, заранее ставя ихъ въ ложное положеніе къ дѣйствительности, вмѣсто того чтобъ заранее знакомить ихъ съ дѣйствительностью...

И однакожъ Фредерика Бремеръ не буквально повторила собою Августа Лафонтена: она, какъ бы противъ воли своей, принуждена была сдѣлать значительную уступку духу времени: въ заглавіи ея романа стоять не однѣ «радости» семейныя, но и «огорченія». А! такъ эта утопія имѣетъ и свои огорченія даже въ романахъ! Прочтите романъ Бремеръ,—и то ли еще увидите! Вы увидите, что для полнаго семейнаго счастья мало одной любви, но еще болѣе нужно эгоистическаго сосредоточенія въ маленькой и тѣсненькой сферѣ домашняго быта,—нужна значительная доля умственной ограниченности, которая только одна даетъ человѣку силу заткнуть уши отъ всѣхъ другихъ обаятельныхъ зововъ бытія и закрыть глаза на всѣ другія обаятельныя картины широко раскинувшейся, безконечно разнообразной жизни... И какая разница въ этомъ отношеніи напримѣръ между семейственной Германіей нашего времени и общественнымъ древнимъ міромъ! Въ первой жизнь такъ узко, такъ душно опредѣляется для людей съ ихъ младенчества, семейный эгоизмъ полагается въ основу воспитанія; во второмъ человѣкъ родился для общества, воспитывался обществомъ, и потому дѣлался человѣкомъ, а не филистеромъ...

Несмотря на все желаніе Фредерики Бремеръ быть безпристрастной въ отношеніи къ увлеченію ея идеѣ, она можетъ отстаивать ея преувеличенную истинность только ложью. Доказательствомъ этого можетъ служить искаженный ею, сколько съ умысломъ, столько и по слабости таланта, образъ Сары—единственнаго человѣческаго лица среди толпы этихъ добрыхъ, милыхъ, но въ то же время и дюжинныхъ характеровъ, каковы всѣ эти Франки, отъ суходушнаго ихъ родителя до долгоногой Петрей, отъ старой фрау Гуниллы до стараго же Мунтера. И за то, что эта бѣдная Сара была выше другихъ и не могла свободно дышать въ ихъ бѣдной атмосферѣ,—сочинительница заставила ее впасть въ бездну несчастія, и какъ замѣтно, что не под силу сочинительницѣ былъ этотъ идеалъ, что не могла она сладить съ этими

характеромъ, потому такъ смѣшно и нелѣпо заставила больную и умирающую Сару говорить надутыя фразы и длинные риторическіе монологи! А все изъ чего эта буря въ стаканѣ воды?— Изъ того, чтобы доказать всевозможными натажками, что счастье въ идилліи домашняго быта— и больше нигдѣ... Романъ Фредерика Бремеръ читается впрочемъ не безъ удовольствія, потому что эта писательница не безъ дарованія; но какъ всё произведеніе, писаннаго на тему, подъ влияніемъ односторонней мысли, его нельзя долго читать безъ отдыха, и онъ мѣстами страшно наскучаетъ. Не дочесть его какъ-то не хочется, а какъ дочесть, то чувствуешь удовольствіе преодолевшаго труда,—и ужъ конечно никогда не вздумаешь перечесть его вновь.

Наль и Дамаянти. *Индійская повесть.*
В. А. Жуковскаго. Спб. 1844.

«Наль и Дамаянти» есть эпизодъ огромной индійской поэмы «Магабгарата», — эпизодъ, какому въ ней довольно, и который представляетъ собою вѣточье цѣлого. На вѣтвѣцкомъ языкѣ два перевода этой поэмы («Наль и Дамаянти»), одинъ Вонна, другой Рюкерт. Жуковскій переводилъ съ послѣдняго. О достоинствѣ его перевода нечего и говорить. Легкость, прозрачность, удивительная простота и благородная поэзія его гекзаметра обнаруживаютъ высокое искусство, неподражаемое художество. Это переводъ вполнѣ художественный, и русская литература сдѣлала въ немъ важное для себя приобритеніе.

Что касается до самой поэмы, она — индійская въ полномъ значеніи слова. Въ ней дѣйствуютъ боги, люди и животныя. Боги, какъ двѣ капли воды, похожи на людей, а люди — ни дать, ни взять — тѣ же животныя. Такъ напримѣръ, гуси играютъ въ поэмі такую роль, что безъ нихъ не было бы и поэмы. И эти гуси говорятъ и мыслятъ точь-въ-точь, какъ люди, а эти люди въ свою очередь говорятъ и мыслятъ точь-въ-точь, какъ гуси. Гуси здѣсь не глупѣе людей, а люди не умнѣе гусей. Въ этомъ выразился пантеизмъ Индіи и все индійское міросозерцаніе. Богъ индійца — природа; выше и дальше природы не простираются духовныя взоры индійца. Поэтому въ его глазахъ гусь или корова — такія же важныя персоны, какъ и царь и герой, не говоря уже о простомъ человѣкѣ. Поэтому же индѣецъ весь теряется въ мировой субстанціи и бѣденъ личностью. Ему легко отрывать себя отъ себя и погружаться, смотря на кончикъ своего носа, въ созерцаніе божественнаго ничтожества. Отсюда происходитъ чудовищность, нелѣпость, дикость, сердечная теплота, плѣнительная наивность, а иногда и грандіозность его поэзія. Для насъ, европейцевъ, эта поэзія интересна какъ фактъ первобытнаго міра, и мы не можемъ сочувствовать ея суевѣрію, ея уродливому піетизму, даже самымъ красотамъ ея. Это происходитъ отъ противоположности европейскаго духа съ азіатскимъ.

Въ азіатскомъ нравственномъ мірѣ преобладаетъ субстанціональное, безразличное и неопредѣленное общее — это бездна, поглощающая и уничтожающая личность человѣка. Отсюда индійскія религиозныя самоожоженія, самоуродованія и всякаго рода самоубійства ради блаженнаго погруженія въ лоно мировой жизни. Личность есть основа европейскаго духа, и потому въ немъ человѣкъ является выше природы. Сравните въ этомъ отношеніи «Иліаду» съ любой индійской поэмой: какая разница! Мы читаемъ «Иліаду» какъ колыбельную пѣсню человечества, по прекрасному выраженію Гёте; но мы сочувствуемъ ей вполнѣ, какъ своему собственному младенчеству, изъ котораго развивалась наша возмужалость. Въ «Иліадѣ» боги также принимаютъ участіе въ дѣлахъ людей, но о животныихъ уже нѣтъ и поминна. Боги эти прекрасны, и каждый изъ нихъ — живое существо, имѣетъ страсти, желанія, характеръ, потому что каждый изъ нихъ — личность. Человѣкъ играетъ такую высокую роль, что сами боги его не что иное, какъ апопееза его же собственной нравственной природы.

Въ «Налѣ и Дамаянти» нѣтъ характеровъ; всё ея дѣйствующія лица — образы безъ лицъ! Вотъ наприимѣръ характеристика Наль:

Крѣпкій мышцею, свѣтлый разумомъ, чтилъ смиренный
Мудрыхъ духовныхъ мужей, глубоко проникнувшій въ тайны
Смыслъ писаній священныхъ, жертвъ сожигатель усердный
Въ храмахъ боговъ, воздавалъ своимъ обуздатель, нечестнымъ
Помысламъ чуждымъ, любовь и тайная дума
Дѣлъ, гроза и ужасъ враговъ, дружей упованье,
Опытный въ трудной военной наукѣ, искусный и славный
Вождь, изъ лука дивный стрѣлокъ, наипаче же смѣлый
Чуждымъ искусствомъ править конями, на коихъ онъ въ сутки
Могъ сто миль проскакать — таковъ былъ Наль; но и слабость
Такъ же нѣтъ онъ ведему: въ кости играть былъ безпримѣрно
Страстенъ.

Какая же тутъ личность? Это описаніе идетъ равно ко всѣмъ добродѣтельнымъ людямъ, гусямъ и зѣбкамъ поэмы. Это просто сказка, но сказка, нѣмлющая важное значеніе историческаго факта жизни великаго племени, — наконецъ сказка, изложенная поэтически.

Изданіе «Наль и Дамаянти» прекрасно; жаль только, что его портитъ ореография, отсылающаяся блаженной памяти семидесятью годами.

Басни И. А. Крылова. *Въ десяти книгахъ.* Спб. 1844.

Изданія басенъ И. А. Крылова потеряли счетъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ считалось однажы, что ихъ издано тридцать девять тысячъ экземпляровъ. Такихъ успѣховъ не пользовался на Руси ни одинъ

писатель, крохѣ Ивана Андреевича Крылова. И будетъ еще время, когда его басни будутъ издаваться за одинъ разъ въ числѣ 40,000 экземпляровъ. Иванъ Андреевичъ Крыловъ, больше всѣхъ нашихъ писателей—кандидатъ на нѣтъ еще не занятое на Руси мѣсто «народнаго поэта»; онъ имъ сдѣлается тотчасъ же, когда русскій народъ весь сдѣлается грамотнымъ народомъ. Сверхъ того Крыловъ проложитъ и другимъ русскимъ поэтамъ дорогу къ народности.

Говорить о достоинствѣ басенъ И. А. Крылова—лишнее дѣло: въ этомъ пунктѣ сошлись мнѣнія всѣхъ грамотныхъ людей въ Россіи. Было время, когда не умѣли рѣшить, кто выше—Хемницеръ или Крыловъ, и было время, когда Дмитріева (И. И.), какъ баснописца, считали выше Крылова. Время это давно уже прошло, и теперь, умѣя цѣнить по достоинству Хемницера и Дмитріева, всѣ знаютъ, что Крыловъ неизмѣримо выше ихъ обоихъ. Его басни—русскія басни, а не переводы, не подражанія. Это не значить, чтобъ онъ никогда не переводилъ напримѣръ изъ Лафонтена и не подражалъ ему: это значить только, что онъ и въ переводахъ, и въ подражаніяхъ не могъ и не умѣлъ не быть оригинальнымъ и русскимъ въ высшей степени. Такая ужъ у него русская натура! Посмотрите, если прозвище «дѣдушки», которымъ такъ ловко окрестилъ его князь Вяземскій въ своемъ стихотвореніи, и не сдѣлается народнымъ именемъ Крылова во всей Руси!

Всѣ басни Крылова прекрасны; но самыя лучшія, по нашему мнѣнію, заключаются въ седьмой и восьмой книгахъ. Здѣсь онъ очевидно уклонился отъ прежняго пути, котораго болѣе или менѣе держался по преданію; здѣсь онъ имѣлъ въ виду болѣе взрослыхъ людей, чѣмъ дѣтей; здѣсь больше басенъ, въ которыхъ герои—люди, именно все православный людъ; даже и звѣри въ этихъ басняхъ какъ-то больше, чѣмъ бывало прежде, похожи на людей. Въ самомъ стихѣ ясно видно большое улучшение. Вотъ лучшія, по нашему мнѣнію, басни въ седьмой и восьмой книгахъ: «Совѣтъ Мышей», «Мельникъ», «Мотъ и Ласточка», «Свинья подъ Дубомъ», «Лисица и Оселъ», «Муха и Пчела», «Крестьянинъ и Овца» (едва ли не лучшая изъ всѣхъ басенъ Крылова), «Волкъ и Мышонокъ», «Два Мужика», «Двѣ Собаки», «Кошка и Соловей», «Рыбы Пляски», «Прихожанинъ», «Ворона», «Левъ состарѣвшійся», «Вѣлка», «Щука», «Кукушка и Орелъ», «Врѣтвы», «Вѣднй Богачъ», «Вулатъ», «Купецъ», «Пушки и Паруса», «Оселъ», «Миронъ», «Волкъ и Котъ», «Три Мужика».

И въ девятой книгѣ, заключающей въ себѣ одиннадцать басенъ, талантъ Крылова еще удивляетъ своей силой и свѣжестью: для него нѣтъ старости! Намъ особенно нравятся двѣ басни: «Волкъ и Овцы» и «Вельможа». Также прекрасна басня «Кукушка и Пѣтухъ».

Странно: почему до сихъ поръ не изданы комедіи Крылова? Конечно эти комедіи не такъ хороши, какъ его же басни; но все же онѣ хороши

на столько, чтобы стоить имени своего автора,—а это, право, не мало! Сверхъ того комедіи Крылова еще интересны, какъ памятники нравовъ и литературы стараго времени.

Герой нашего времени. Соч. М. Лермонтова. Изданіе третье. Спб. 1843. Двѣ части.

Вотъ книга, которой суждено никогда не старѣться, потому что, при самомъ рожденіи ея, она была вспырнута живой водой поэзіи! Эта старая книга всегда будетъ нова. Мы было взяли первое изданіе ея, чтобъ справиться о его годѣ,—взглядъ нашъ упалъ на первую страницу—и страницы начали одна за другой переворачиваться подъ рукой. Сколько разъ читали мы эту книгу—пора бы ужъ было ей надоесть; ничуть не бывало: все старое въ ней такъ ново, такъ свѣжо, какъ-будто мы читаемъ ее въ первый разъ. И предшествовавшія чтенія не только не ослабили эффекта новаго, но еще какъ-будто усилили его. Такъ доброе вино отъ лѣтъ становится все крѣпче и букетистѣе!

Три изданія менѣе, чѣмъ въ четыре года; какъ хотите, а это успѣхъ, огромный успѣхъ! И какъ кстати явилось это третье изданіе—именно какъ-будто для того, чтобъ рѣзче выказать литературную нищету настоящаго времени и яснѣе обнаружить всю великость утраты, понесенной русской поэзіей въ лицѣ Лермонтова. Сколько романовъ и повѣстей, сколько стихотвореній вышло въ эти четыре года! Многие изъ нихъ надышали шуму и доставили своимъ авторамъ славу «первыхъ писателей», благодаря услужливости и расчетливости журнальных крикуновъ; нѣкоторые изъ этихъ романовъ, повѣстей и стихотвореній дѣйствительно были не безъ достоинствъ, и даже замѣчательныхъ: но гдѣ же они, всѣ эти творенія, куда скрылись? Да, если перечесть, ихъ наберется таки довольно; но, крохѣ «Мертвыхъ Душъ» и нѣсколькихъ новыхъ пьесъ Голя, — «Герой нашего времени», равно какъ и стихотворенія Лермонтова—все-таки новыя, словно сегодня написанныя книги, а всѣ тѣ произведенія были новы только, пока забавляли публику, пока служили ей насущнымъ дневнымъ хлѣбомъ; но сегодня хлѣбъ съѣденъ и завтра его ужъ нѣтъ.

Перечитывая вновь «Героя нашего времени», невольно удивляешься, какъ все въ немъ просто, легко, обыкновенно и въ то же время такъ проникнуто жизнью, мыслью, такъ широко, глубоко, возвышенно... Кажется, будто все это не стоило никакого труда автору,—и тогда вспадаетъ на умъ вопросъ: что жъ еще онъ сдѣлалъ бы? какія поэтическія тайны унесъ онъ съ собой въ могилу? кто разгадаетъ ихъ?... Лукъ богатыря лежитъ на землѣ, но уже нѣтъ другой руки, которая натянула бы его тетиву и пустила подъ небеса пернатую стрѣлу... И этотъ гений, эта великая духовная сила привязана къ скудному орга-

низму личности человѣка: не стало человѣка—и нѣтъ уже въ мірѣ его силы...

Скоро выйдетъ въ свѣтъ четвертая часть стихотвореній Лермонтова. Это будетъ новая книга, хотя она уже и прочтена публикой еще до выхода своего. Въ ней собрано все, что было напечатано въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго и нынѣшняго годовъ,—такъ что почитатели таланта Лермонтова (а ихъ много на Руси) будутъ имѣть все, до послѣдней строки, что было имъ написано и теперь открыто. Нельзя надѣяться, чтобы еще что-нибудь нашлось—развѣ какіе-нибудь незначительные опыты ранней эпохи его поэтической дѣятельности. Напечатанное въ этой книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» стихотвореніе «Пророкъ» принадлежитъ къ лучшимъ созданіямъ Лермонтова и есть послѣднее (по времени) его произведеніе. Какая глубина мысли, какая страшная энергія выраженія! Такихъ стиховъ долго не дожидаться Россіи!...

Третье изданіе «Героя нашего времени» въ типографическомъ отношеніи прекрасно. Во всякомъ другомъ отношеніи мы не будемъ хвалить этой книжки: похвалы для нея такъ же бесполезны, какъ безопасна брань. Никто и ничто не помѣшаетъ ея ходу и расходу—пока не разойдется она до послѣдняго экземпляра: тогда она выйдетъ четвертымъ изданіемъ, и такъ будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока русскіе будутъ говорить русскимъ языкомъ.

Амарантосъ, или розы возрожденной Эллады. *Произведенія народной поэзіи минтійскихъ эллиновъ, собранныя, переведенныя и изданныя съ подлинникомъ, предисловіемъ, филологическими замѣчаніями и историческими Гевртемъ Эвламтіосомъ. Удостоено Демидовской преміи. Спб. 1843.*

Во время владычества французскаго псевдо-классицизма народная поэзія была во всеобщемъ пренебреженіи и даже презрѣніи. Этому были и дѣльныя, и недѣльныя причины. Съ одной стороны, псевдо-классики имѣли право отвергать, какъ пошлость, простодушныя произведенія народной музыки, думая, что только просвѣщеніе и образованіе могутъ быть источникомъ истиннаго искусства; съ другой стороны, они жестоко ошибались, забывая, что всякій возрастъ имѣетъ свою поэзію, и что у народа, какъ и у частнаго лица, есть свое время младенчества, юности и возмужалости; сверхъ того они не знали, что въ дѣтскомъ лепетѣ народной поэзіи хранится таинство народнаго духа, народной жизни и ограждается первобытная народная фizioномія. Псевдо-романтизмъ, возникшій въ началѣ XIX вѣка, убилъ французскій псевдо-классицизмъ. Тогда всѣ европейскія литературы, по закону діалектическаго развитія мысли, перешли въ противоположную крайность: народныя пѣсни и сказки сдѣлались предметомъ безусловнаго уваженія и начали возбуждать неосновательный восторгъ. Нѣмецкой и англійской литературами въ особен-

ности овладѣла эта манія. Бюргеръ долго пользовался славой великаго поэта за нелѣпую балладу свою «Леопору», написанную въ духѣ самыхъ грубыхъ и дикихъ предразсудковъ невѣжественнаго простонародья. Эта баллада было переведена на нѣскѣ языки. Жуковский сперва переделалъ ее на русскій ладъ, подъ именемъ «Людмилы», потомъ перевелъ ее. Подражаній этой балладѣ нѣсть чиста на русскомъ языкѣ. Въ то же время, всѣ бросились собирать свои народныя пѣсни и переводить чужія. Все это было очень полезно во многихъ отношеніяхъ; но тѣмъ не менѣе крайность была смѣшна. Слава Богу, теперь это народное обфиснованіе уже прошло: теперь имъ одержимы только люди недалекіе, которымъ суждено вѣчно повторять чужіе зады и не замѣчать смѣны стараго новымъ. Никто не думаетъ теперь отвергать относительнаго достоинства народной поэзіи, но никто уже, кромѣ людей запоздалыхъ, не думаетъ и придавать ей важности, которой она не имѣетъ. Всякій знаетъ теперь, что въ ней есть своя жизнь, свое одушевленіе, естественное, наивное и простодушное; но что все этимъ и оканчивается, ибо она бѣдна мыслью, бѣдна содержаніемъ и художественностью. Главное же—всякая народная поэзія хороша у себя дома, а въ чужой землѣ теряетъ болѣшую половину своего поэтическаго аромата и даже своего здраваго смысла. Исключеніе остается только за одной народной поэзіей въ мірѣ—поэзіей древне греческой, которая, будучи народной, есть въ то же время и художественная; будучи греческой, она въ то же время и общечеловѣческая, всемірно-историческая, мировая.

Поэтому, Георгій Евламтіосъ совѣтъ не оказавъ такой великой услуги русской литературѣ, какую думалъ онъ оказать ей переводомъ какихъ-нибудь двадцати девяти народныхъ пѣсней новыхъ грековъ. Пѣсни эти хороши въ Греціи и для грековъ—въ томъ мы не сомнѣваемся; но на русскомъ языкѣ онѣ не то, чтобы не хороши, а какъ-то не читаются. Это вѣроятно потому, что у насъ, русскихъ, есть свои народныя пѣсни, которыя намъ, русскимъ, болѣе или менѣе нравятся, но которыя на ново-эллинискомъ языкѣ вѣроятно не понравились бы ни грекамъ, ни тѣмъ изъ русскихъ, которые знаютъ ново-греческій языкъ...

Тысяча и одна ночь, арабскія сказки. *Толмъ XI, XII, XIII, XIV и XV. Спб. 1843.*

Какъ счастливы народы съ бритыми головами! они не только слушаютъ арабскія сказки, но еще и вѣрятъ всѣмъ чудесамъ, о которыхъ въ нихъ разсказывается, такъ добродушно и несомнѣнно, какъ мы не вѣримъ самымъ достовѣрнымъ статистическимъ таблицамъ о благосостояніи разныхъ земель и государствъ. Волшебники, волшебницы, крылатые кони, чудесныя красавицы со звѣздами во лбу, злые и добрые кадин, мудрые визири,—всему этому мусульмане вѣрятъ такъ же, безъ всякаго сомнѣнія, какъ и неимѣющему мило-

сердію и правосудію великаго халифа Гарунъ-аль-Рашида, который дѣйствительно былъ очень челоуѣколюбивъ и милостивъ, и только въ порывахъ внезапнаго гнѣва рубилъ голову и правому, и виноватому, всегда впрочемъ раскаяваясь въ этомъ, когда проходилъ гнѣвъ его. На Востокъ это уже—*pes plus ultra* гуманности... Увы! мы, западные жители, отверженные гяуры, въ наказаніе за наше невѣріе въ Несомнѣнную Книгу и творца ея Мухаммеда (да не уменьшится никогда тѣнь его!),—мы лишены счастья вѣрить возможности чего бы то ни было, о чемъ повѣствуется въ арабскихъ сказкахъ, и оттого не можемъ наслаждаться ими вполне. А между тѣмъ, для каждаго изъ насъ было время, когда мы съ жадностью читали рассказы Шехеразады и не меньше старыхъ мусульманъ вѣрили дѣйствительности этого небывалаго міра. Какъ не вспомнить этого золотого времени и вмѣстѣ съ нимъ этихъ стиховъ старика Дмитріева, которые въ то время восхищали насъ не меньше прозы Шехеразады:

Утѣшно вспоминать подъ старость дѣтски лѣты,
Забавы, рѣзвости, различные предметы,
Которые тогда увеселяли насъ!
Я часто и въ гостяхъ хозяевъ забываю;
Сию, повѣсь носъ; нѣтъ ни ушей, ни глазъ;
Всѣ думаютъ, что я вжился на Парнасъ,—
А я... превращаюсь вамъ игрушкою играю,

Которая была

Мнѣ въ дѣтствѣ такъ мила;
Изъ въ память призову, какою мнѣ отрадой
Бывалъ тотъ день, когда урокъ мой окончалъ,
Набѣгая въ садъ, уставши отъ забавъ
И бросаюсь на постель, займусь *Шехеразодою!*
Какъ сказки я любилъ!
Читая ихъ... прощай, учитель,
Сибирскъ и Волга! все забылъ!
Уже я всей вселенны зритель,
И вижу тамъ и самъ и карловъ, и духовъ,
И визирей рогатыхъ,
И рыбокъ золотыхъ, и лошадей крылатыхъ,
И въ видѣ кадіевъ волковъ...
Но сколько нужно словъ,
Чтобъ все пересчитать, друзья мои любезны!

Вѣроятно мусульмане оттого такъ и довольны арабскими сказками и такъ вѣрятъ имъ, что они—дѣти, хотя уже и старыя. Но и мы, не будучи дѣтьми, можемъ, ради воспоминанія нашего дѣтства, перелистовать Шехеразату, особенно въ то время, когда не дѣлаетъ ничего скучно, а дѣлать что-нибудь, требующее присутствія мыслительной способности, кажется труднымъ. Въ такомъ расположеніи духа, арабскія сказки—истинное сокровище, тѣмъ болѣе, что ихъ можно бросить безъ сожалѣнія тотчасъ, какъ скоро надѣждатъ онѣ, и можно опять приняться за нихъ хоть черезъ годъ и начать читать съ той страницы, которая прежде всего откроется.

Объ историческомъ значеніи русской народной поэзіи. *Николая Костомарова. Писано для получения степени магистра историческимъ наукъ. Харьковъ. 1844.*

Въ наше время если сочинитель не хочетъ или не умѣетъ говорить о чемъ-нибудь дѣльномъ, русская народная поэзія всегда представитъ ему прекрасное средство выпутаться изъ бѣды. Что можно было сказать объ этомъ предметѣ, уже было сказано. Но Костомарова это не остановило, и онъ издалъ о народной русской поэзіи цѣлую книгу словъ, изъ которыхъ трудно было бы выжать какое-нибудь содержаніе. Это собственно фразы не о русской, а о малороссійской народной поэзіи; о русской тутъ упоминается мимоходомъ. Въ рассказѣ о подвигахъ Анкудина Анкудиновича Костомаровъ нашель—что бы вы думали?—романтизмъ!!... На 200 страницъ сочинитель по-ученому классифицируетъ русскую удалъ... Изъ потока словъ, разлитого на 214 страницахъ, сочинитель силится доказать только три тезиса:

I. Народная поэзія особенно важна для историка, потому что въ ней виденъ взглядъ народа на свою жизнь. (Какая новость!)

II. Жизнь народа, рассматриваемаго въ его произведеніяхъ, можетъ быть раздѣлена на духовную, историческую и общественную (*sic!*...).

III. Народъ русскій раздѣляется на двѣ коренныя отрасли: южноруссовъ, или малоруссовъ, и сѣверноруссовъ, или великоруссовъ; а потому подъ именемъ русской народной поэзіи должно разумѣть чисто народныя произведенія, какъ малорусскія, такъ и великорусскія.

Положимъ, что все это и правда; но стоило хлопотать изъ такихъ бѣдныхъ истинъ, которыя, къ довершенію бѣды, еще и не совсѣмъ истинны?

Гамлетъ. *Трагедія В. Шекспира, переводъ А. Кронеберга. Харьковъ. 1844.*

Что современная русская литература находится въ состояніи заустѣнія,—въ томъ теперь согласны почти всѣ литературныя партіи, во всемъ другомъ несогласны между собою. Естественно, каждая изъ нихъ силится объяснить причину такого страннаго явленія. Эти объясненія часто бываютъ восхительны своей наивностью, и если смотрѣть на дѣло со стороны, то можно забавляться имъ, какъ игрой въ жмурки: изъяснитель съ завязанными глазами и распростертыми впередъ руками бѣгаетъ взадъ и впередъ, бросается изъ стороны въ сторону, ловя ускользающія отъ него искомыя причины, а зрители хохочутъ... Смѣшно и забавно! Одни говорятъ, что литература потому въ упадкѣ, что нѣтъ книжной торговли; но имъ сейчасъ возражаютъ, что книжной торговли потому нѣтъ, что литература въ упадкѣ, ибо весьма естественно, что торговля не можетъ существовать, когда ей нечего продавать. Слѣдовательно въ этомъ объясненіи остается несомнѣннымъ только фактъ, что литература въ упадкѣ, а причины этого факта все-таки нѣтъ. На бѣду объяснителей этого

рода сама дѣйствительность взялась рѣшить вопросы: книгопродавцы явились, — даже, по которымъ, воздвиглись новые дѣатели, оживители литературы, съ самоотверженіемъ рѣшившіеся вновь издавать старый хламъ ея; другіе книгопродавцы покупаютъ рукописи, платятъ авторамъ посильную плату, издають книги, — а литература попрежнему мертва, и книжная торговля въ застоѣ. Въ этомъ принуждены были сознаться сами объяснители. Другіе говорятъ: литература оттого въ упадкѣ, что наши писатели лѣнивы, мало пишутъ, ничего не дѣлають, и т. п. Но факты доказываютъ, что теперь литераторы пишутъ по крайней мѣрѣ не меньше, если еще не больше того, какъ писывали они въ старину и во всѣ хваленныя времена русской литературы. Сколько является «драматическихъ представлений»; новыя водевилы нѣтъ счета; повѣстей не оберешься; иллюстрированныхъ исторій, оригинальныхъ и переводныхъ, вдоволь; правоописательныхъ и юмористическихъ книжекъ и тетрадокъ съ картинками просто некуда дѣвать. Нѣтъ, все не то! Третьи и говорятъ: неуваженіе къ талантамъ — вотъ причина упадка литературы! Прекрасно! но гдѣ же это неуваженіе, если все, что является въ литературѣ отличнаго или порядочнаго, жадно читается публикой въ журналахъ, скоро раскупается въ отдѣльныхъ книгахъ? «Мертвыя Души», напечатанныя въ числѣ трехъ тысячъ экземпляровъ, давно уже распроданы до послѣдняго экземпляра; «Сочиненія Николая Гоголя» въ четырехъ частяхъ почти совсѣмъ разошлись въ какой-нибудь годъ времени, не смотря на то, что изъ нихъ около трехъ частей составлено изъ старыхъ, давно уже извѣстныхъ публикѣ статей; сочиненія Лермонтова то и дѣло издаются; повѣсти графа Соллогуба, давно прочитанныя въ періодическихъ изданіяхъ, хорошо распродавались и хорошо распродаются, изданныя отдѣльно. А между тѣмъ эти три писателя, особенно два первые, подвергались, подвергаются и вѣроятно еще долго будутъ подвергаться «неуваженію» со стороны разныхъ аристарховъ. Въ цѣлой книгѣ нельзя пересказать всѣхъ брамей, которыя напечатаны на сочиненія Гоголя; о Лермонтовѣ теперь пишутъ, что такъ какъ онъ уже умеръ и отъ него никакихъ барышей ожидать нельзя, то уже смѣшно его хвалить, а надо его бранить, и на первый случай замѣтить напри- мѣръ, что въ его «Героѣ нашего времени» нѣтъ знанія жизни, свѣта, людей, человѣческаго сердца, и что всего этого слѣдуетъ искать въ «Дѣвахъ чудныхъ» и разныхъ «драматическихъ представленіяхъ». Правда, «неуваженіе» вредитъ многимъ талантамъ; но если оно, даже доведенное до ожесточенія, не могло повредить нѣкоторымъ, явный знакъ, что дѣло ни въ «уваженіи», ни въ «неуваженіи», а въ достоинствѣ сочиненій, въ силѣ таланта, который самъ собою заставляетъ уважать себя. Нѣкоторые сочинители для лучшаго хода своихъ сочиненій издають журналы и газеты, въ

которыя ихъ сочиненія весьма «уважаются», но — уву! — все это теперь уже нисколько не помогаетъ горю. — Наконецъ намъ недавно случилось читать гдѣ-то мнѣніе, что русская литература упала не отъ чего другого, какъ отъ журнальной полемики!... Это мнѣніе не ново: оно повторялось очень часто въ доброе старое время и брошено за негодностью. Кому-то вздумалось возобновить его. Очевидно, что возобновитель сродни падшимъ отъ полемики сочинителямъ: иначе онъ такъ горячо не нападалъ бы на эту ниную причину посполитаго рушенія русской литературы. А прескверное мнѣніе! Ради самой вредности его, нельзя пропустить его безъ вниманія.

Полемика составляетъ душу иностранныхъ литературъ: въ сравненіи съ нашею, иностранная полемика — то же, что океанъ въ сравненіи съ ручейкомъ. Отчего же иностранныя литературы не погибли отъ полемики? Возобновитель курьезнаго мнѣнія говоритъ между прочимъ, что журналы брани лишили русскую литературу всякаго довѣрія у публики, которая, будто-бы, повѣрила всѣмъ воюющимъ сторонамъ въ томъ, что онѣ говорятъ одна другой, и — перестала читать русскіе журналы, изъ которыхъ одиѣ «Отечественныя Записки» имѣютъ болѣе трехъ тысячъ подписчиковъ? — неужели иностранцы? А вѣдь что было писано противъ «Отечественныхъ Записокъ», какъ бранили ихъ разные журналы и разные сочинители?... Кто раскупилъ «Мертвыя Души», наповалъ разруганныя половиной нашихъ журналовъ, какъ произведеніе пошлое и бездарное?... Да и когда полемика была тише, если не въ настоящее время? Глазамъ не вѣришь, читая брани, которыя нѣкогда печатались на Пушкина, а между тѣмъ Пушкина всѣ читали!... Нѣтъ, скорѣе одной изъ причинъ запустѣнія русской литературы можно почесть то, что у насъ еще и теперь не стыдятся показываться въ печати мнѣнія, подобныя тому, что какая-нибудь литература можетъ пасть отъ полемики...

Много есть разныхъ причинъ упадка нашей литературы въ настоящее время. Въ первой книгѣ «Отечественныхъ Записокъ» 1844 года мы, въ отдѣлѣ Критики, изложили нѣкоторые изъ этихъ причинъ. Главнѣйшія изъ нихъ, — во-первыхъ, преждевременная смерть Пушкина и Лермонтова. Первый сдѣлалъ очень много, но еще больше обѣщалъ сдѣлать, судя по его посмертнымъ сочиненіямъ. Второй только что началъ было обнаруживать всю огромность своего таланта. Гоголь рѣдко является въ печати. Нѣсколько талантовъ, болѣе или менѣе яркихъ, не могутъ сдѣлать незамѣтныхъ недостатковъ въ людяхъ гениальныхъ, а гениальныхъ людей не могутъ создать ни «уваженіе», ни процвѣтаніе книжной торговли: ихъ творить природа. Во-вторыхъ, теперь русская литература вышла на такую дорогу и приняла такое направленіе, что многие люди, недавно считавшіеся великими талантами, невольно обратились въ людей съ посредственными дарованіями; многое изъ того, что прежде восхищало публику, теперь на-

водить на нее зѣвоту, а нѣкоторые *ci-devant* любители публики, воспользовавшіеся подѣ шумѣ ея неопытностью, теперь тщетно напоминаютъ ей о себѣ разными новыми трудами своими и восторженными «уваженіями» этихъ трудовъ: въ первый публика видѣть старая погудка на новый ладъ, во вторыхъ—ужь слишкомъ неловкую и грубую продѣлку...

Между причинами упадка современной литературы есть и такія, которыя такъ очевидны и понятны, что нечего распространяться о нихъ; кто же не въ состояніи самъ проникнуть въ нихъ, тому толковать—все равно, что съ глухимъ говорить шопотомъ. Но одна, также изъ главныхъ причинъ состоитъ сколько въ неарѣлости нашей литературы, столько и въ разнохарактерности читателей, составляющихъ нашу публику. Мы достигли уже до того, что у насъ не можетъ не имѣть хода романъ, повѣсть, комедія, означенные печатью истиннаго и самобытнаго таланта, особенно, если содержаніе романа, повѣсти или комедіи касается нашей русской дѣйствительности. Но только этимъ и ограничивается нашъ успѣхъ. Онъ великъ—это правда; но одного еще мало. Искусство въ общемъ значеніи этого слова еще далеко не вошло въ потребность нашей публики; дѣльные сочиненія даже по части исторіи—науки, которая въ Европѣ преобладаетъ надъ всѣми другими, дѣльные сочиненія теоретическія не составляютъ еще потребности публики... Но обратимся собственно къ искусству. У насъ повидимому любятъ Шекспира. Нѣкоторыя драмы его имѣли огромный успѣхъ на сценѣ, а потому расходились счастливо и книгами. Но въ этомъ-то успѣхѣ и видна вся дѣтскость эстетическаго образованія нашей публики. Больше всѣхъ другихъ драмъ Шекспира имѣлъ успѣхъ на сценѣ «Гамлетъ», поставленный на театрѣ, и напечатанный въ 1837 году Полевымъ. До этого времени о существованіи «Гамлета» большинство нашей публики какъ будто и не подозрѣвало. А между тѣмъ еще въ 1828 году былъ изданъ русскій переводъ этой драмы Вронченко—необыкновенно даровитымъ переводчикомъ. Въ переводѣ «Гамлета» Вронченко конечно есть свои недостатки, потому что совершеннаго ничего не бываетъ въ дѣлахъ человеческихъ, и совершенные переводы гораздо менѣе возможны, чѣмъ совершенныя оригинальныя произведенія; но въ то же время переводъ «Гамлета» Вронченко отличается достоинствами великими: въ немъ вѣетъ духъ Шекспира и передается вѣрно глубокій смыслъ созданія, а не буква. И что же?—самыя достоинства перевода Вронченко были причиной малаго успѣха «Гамлета» на рускомъ языкѣ! Такое колоссальное созданіе, переданное вѣрно, были явно не подѣ-силу нашей публикѣ, воспитанной на трагедіяхъ Озерова и едва возвысившейся до «Разбойниковъ» Шиллера. Полевой передѣлалъ «Гамлета». Онъ сократилъ его, выкинулъ многія существеннѣйшія мѣста, искажилъ характеры, и изъ драмы Шекспира сдѣлалъ рѣшительную мелодраму,

какъ Дюси сдѣлалъ изъ нея классическую трагедію. Но все это сдѣлано Полевымъ безъ всякихъ особенныхъ соображеній, единственно потому, что онъ понялъ Шекспира, какъ понимаютъ его на примѣръ Дюма и другіе поборники подновленнаго романтизма, именно—какъ романтическую мелодраму. И это было причиной немнѣйнаго успѣха «Гамлета» на сценѣ и въ печати: «Гамлетъ» былъ сведенъ съ Шекспировскаго пьедестала и придвинутъ, такъ сказать, къ близорукому понятію толпы; вмѣсто огромнаго монумента, ей показали фарфоровую статузтку—и она пришла въ восторгъ. Такъ же точно держится на сценѣ чей-то пренелюхой переводъ «Лира», именно потому, что въ немъ оставлены только эффектные мѣста, а все величественное теченіе внутренней драмы, основанной на глубокой идѣ и борьбѣ характеровъ, раздроблено на мелкіе, врозь текущіе, несвязанные между собой ручейки. Послѣ «Гамлета» Полевого Вронченко издалъ свой переводъ «Макбета», который имѣлъ еще менѣе успѣха, чѣмъ «Гамлетъ»: суровое величіе и строгая простота этого творенія, переданныя переводчикомъ со всей добросовѣстностью, безъ всякаго угодничества вкусу большинства, безъ всякихъ вышюченныхъ прикрасть, были сочтены толпой за шероховатость и прозаичность перевода. И теперь перевести вновь «Гамлета» или «Макбета» — значить только втунить потерять время: всякій скажетъ вамъ, что онъ уже читалъ ту и другую драму. Черта замѣчательная! Она показываетъ, что всѣ гоняются за сюжетомъ драмы, не заботясь о художественномъ его развитіи. Въ Англіи цѣлая толпа комментаторовъ трудилась надъ объясненіемъ cadaго сколько-нибудь неяснаго выраженія или слова въ Шекспирѣ,—и эти комментаторы всѣми читались и приобрѣли извѣстность. Во Франціи и особенно въ Германіи сдѣлано по нѣскольку переводовъ всѣхъ сочиненій Шекспира,—и новый переводъ тамъ не убивалъ стараго, но всѣ они читались для сравненія, чтобъ лучше изучить Шекспира. У насъ этого не можетъ быть, ибо у насъ только немногіе избранные возвысились до созерцанія искусства какъ творчества, до чувства формы; толпа ищетъ въ литературномъ произведеніи только сюжета. Узнавъ сюжетъ, она думаетъ, что уже знаетъ сочиненіе, и потому новый переводъ уже разъ переведеннаго сочиненія ей кажется совершенно излишнимъ. Послѣ этого трудитесь, переводите, оживляйте литературу своей дѣятельностью!...

Вотъ почему мы невольно пожалѣли о трудѣ Кроненберга. Переводъ его положительно хорошъ и какъ бы дополняетъ собою переводъ Вронченко, показывая «Гамлета» въ новыхъ отбѣнкахъ; но кто оцѣнитъ этотъ трудъ, кто будетъ за него благодаренъ, кто захочетъ узнать его?... Дай Богъ, чтобъ слова наши не сбылись на дѣлѣ: мы первые охотно сознаемся въ ошибкѣ; но... Кроненбергъ владѣетъ богатыми средствами для того, чтобъ съ успѣхомъ переводить Шекспира; онъ отъ отца сво-

ого наследовалъ любовь къ этому поэту, изучалъ его подъ руководствомъ отца своего, посвятившаго изученію Шекспира всю жизнь свою и написавшаго о немъ нѣсколько сочиненій европейскаго достоинства; онъ прекрасно знаетъ англійскій языкъ (зная притомъ отлично языки нѣмецкій и французскій) и хорошо владѣетъ русскимъ стихомъ. При такихъ средствахъ, будь у насъ потребность узнать Шекспира какъ великаго поэта, а не какъ романтическаго мелодраматиста, сценическаго эффектера, — Кронебергъ можетъ быть обогащалъ бы русскую литературу замѣчательно хорошими переводами всего Шекспира, и притомъ мы имѣли бы можетъ быть Шекспира въ переводѣ Вронченко, Росковшенко, и вѣроятно нашлись бы и другіе дѣятели. Но до такихъ серьезныхъ потребностей не доросла еще наша публика, а потому и для литературы нашей еще не настало время такихъ важныхъ трудовъ.

Огрызокъ изъ переведеннаго Кронебергомъ «Гамлета» былъ напечатанъ въ одномъ альманахѣ и былъ разбраненъ въ одной газетѣ; цѣлый переводъ еще больше будетъ разбраненъ. Но такое «неуваженіе» ничего не значить: причина его заключается, во-первыхъ, въ томъ, что въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду» 1839 г. была напечатана статья покойнаго профессора И. Э. Кронеберга, и въ этой статьѣ разбранъ не совсѣмъ «уважительно» переводъ «Гамлета» Полевого; во-вторыхъ, въ «Литературной Газетѣ» 1840 года была напечатана статья А. И. Кронеберга (переводчика «Гамлета» и «Двѣнадцатой ночи» Шекспира) — «Гамлетъ», исправленный Полевымъ». Послѣ этихъ «уважительныхъ» причинъ не всѣ критики на новый переводъ «Гамлета» должны казаться «уважительными». Для людей, которые въ литературу видятъ не забаву въ свободное время, а занятіе дѣльное, «Гамлетъ», въ переводѣ Кронеберга, долженъ быть замѣчательнымъ литературнымъ произведеніемъ. Жаль, что только отъ такихъ, слишкомъ немногочисленныхъ судей переводчикъ долженъ ожидать награды за свой безкорыстный, добросовѣстный и прекрасно выполненный трудъ!

Парижскія тайны. Романъ Эжена Сю.
Перевелъ В. Строевъ. Спб. 1844. Два тома, восемь частей.

Въ отдѣлѣ Критики мы отдали подробный отчетъ о «Парижскихъ Тайнахъ». Наше мнѣніе объ этомъ романѣ должно возбудить противъ насъ неудовольствіе многочисленныхъ почитателей и обожателей этого квази-гениальнаго созданія. На насъ будутъ нападать и прямо и косвенно, и бранью и намеками. Въ добрый часъ! Мы почитаемъ свое мнѣніе о «Парижскихъ Тайнахъ» безусловно справедливымъ; иначе не высказали бы мы его такъ рѣшительно и рѣзко. До неудовольствій разныхъ господъ сочинителей намъ нѣтъ дѣла; кто добро-

вольно принялъ на себя обязанность говорить правду, тотъ долженъ уметь презирать толки и жужжаніе мелкихъ самолюбій, дурного вкуса, ограниченныхъ понятій. Но гдѣ опроверженіе подобныхъ толковъ и жужжаній можетъ вести къ выясненію истины, тамъ можно нагнуть до нихъ и сказать слова два касательно полемическихъ войнъ за рѣзко высказанное мнѣніе о пошлости какого-либо пошлаго произведенія, нигищаго въ толпѣ своихъ восторженныхъ поклонниковъ. Между безчисленнымъ множествомъ ограниченныхъ людей, загромождающихъ собою Всій міръ, есть особенно несносный разрядъ: это люди, которые если удастся разъ въ жизни запастись какими-нибудь чувствованіемъ или какой-нибудь мыслишкой, то они всякое чувствованіе, всякую мыслишку въ другомъ считаютъ за личное оскорбленіе своей особы, лишь только чувствованіе или мыслишка другого не похожи на ихъ собственные и противорѣчатъ имъ. Но ничто не можетъ въ такой степени оскорбить ихъ мелкое самолюбіе и раздражить задорную энергію ихъ глѣва, какъ чувство или мысль порядочнаго человека. Видя, что это чувство или эта мысль тяжестью своего содержанія уничтожаетъ и дѣластъ смѣшными ихъ чувствованія и мыслишки, и сознавая свою слабость защищать послѣднія противъ первыхъ, они прибѣгаютъ къ извѣстной тактикѣ безсилія — начинаютъ вопить о безнравственности, грѣхѣ и соблазнѣ... Многие изъ такихъ господъ добродушно преклонились уже передъ несслыханнымъ величіемъ «Парижскихъ Тайнъ» и, не будучи въ силахъ вообразить что-либо выше этого пресловутаго творенія (какъ мышь въ баснѣ Крылова не въ силахъ была вообразить звѣря сильнѣе кошки), во всеуслышаніе объявили Эжена Сю гениемъ, а его сказку — безсмертнымъ твореніемъ, не упустивъ при этой вѣрной okazji разругать «Мертвыя Души» Гоголя, которыхъ любая страница, на удачу развернутая, убьетъ тысячи такихъ бѣдныхъ и жалкихъ произведеній, какъ «Парижскія Тайны». Посудите сами: какой несслыханной дерзостью долженъ показаться имъ нашъ откровенный отзывъ о ихъ «безсмертномъ» твореніи!... Они такъ обрадовались, что нашъ наконецъ произведеніе, котораго огромность нодсилу ихъ чувствованій и мыслишекъ — и вдругъ имъ доказываютъ, что они могутъ и даже должны вѣрить въ своемъ поддѣльѣ, что «сильнѣе кошки звѣря нѣтъ», но что напрасно пугаютъ они этимъ звѣркомъ цѣлый свѣтъ... Посмотрите, что достанется намъ! А вотъ и фактическое подтвержденіе основательности и справедливости нашихъ предчувствій. Въ «Современникѣ» явудся года полтора романъ шведской писательницы Фредерики Бремеръ «Семейство»; въ концѣ прошедшаго года онъ вышелъ отдѣльной книгой. Мы высказали о немъ свое мнѣніе откровенно и прямо, какъ всегда имѣемъ привычку говорить. И что же? Нѣкто Гротъ, котораго воззрѣнія на жизнь нашли себѣ подтвер-

ждение въ романѣ Бремеръ, и который поэтому увидѣлъ въ немъ для себя нѣчто вродѣ Корана, «несомнѣнной книги» мусульманъ, вдругъ грянулъ многоглаголивой, широковыщательной и презадорливой противъ насъ филиппикой. По особеннымъ причинамъ, не любя полемическихъ битвъ съ разными русскими и иностранными господами-сочинителями, мы охотно пропустили бы безъ вниманія статью, нестоющую вниманія, еслибы ея нападки не касались предметовъ, до которыхъ образованному литератору нельзя касаться. Последнее обстоятельство невольно заставляетъ насъ сказать нѣсколько словъ о статьѣ Грота для отстраненія несправедливо устремленныхъ на насъ обвиненій; да притомъ оно и встаетъ пришлось.

Апелляционная статья Грота напечатана въ 3-й книжкѣ «Москвитинина». Доселѣ Гротъ упражнялся преимущественно въ наполненіи пріятельскаго журнала довольно жиденькими и пустенькими статейками о финляндскихъ нравахъ и литературѣ; нельзя не пожалѣть, что онъ хотя на минуту могъ оторваться отъ такихъ невинныхъ и усладительныхъ занятій, чтобъ необдуманно и опрометчиво броситься въ омутъ полемики самой мутной и тинистой. Вотъ въ чемъ дѣло. Мы сказали, что для молодыхъ людей и особенно для молодыхъ дѣвушекъ очень вредно чтеніе романовъ въ духѣ Августа Лафонтена и Фредерика Бремеръ, потому что такіе романы нечувствительно приучаютъ смотрѣть превратно на жизнь. Эти романы располагаютъ ихъ къ восторженности, которая совсѣмъ не годится въ прозаической дѣйствительности, ожидающей ихъ въ жизни; приучаютъ ихъ видѣть жизнь въ розовомъ свѣтѣ, дѣлаютъ ихъ неспособными переносить ея часто черный и всегда сѣренкій цвѣтъ. Дѣвушекъ у насъ всегда назначаютъ для болѣе или менѣе выгодной партіи, а онѣ мечтаютъ о блаженствѣ любви, чистой и безкорыстной. Чувствительные романы поддерживаютъ и раздражаютъ опасную мечтательность. Отсюда выходитъ несчастье цѣлой жизни многихъ мечтательницъ. Вотъ что мы говорили, — а Гроту заблагоразсудилось обвинять насъ въ нападкахъ на бракъ, которыхъ у насъ и въ головѣ не было. Мы не менѣе всякаго Грота убѣждены въ важности брака, какъ религіознаго и гражданскаго установленія; но хотимъ видѣть бракъ, какъ онъ часто бываетъ въ суровой дѣйствительности, а не въ розовыхъ и дѣтскихъ мечтахъ экзальтированныхъ юныхъ головокъ. По нашему мнѣнію, браки бываютъ трехъ родовъ: браки по принужденію — самый гнусный родъ браковъ; браки по юношеской страсти — самый опасный родъ браковъ, потому что изъ ста тысячъ наконецъ удастся только одинъ счастливый; и браки по разсудку, гдѣ при разсчетахъ не исключается и склонность въ извѣстной степени, — это самый благонадежный родъ браковъ. Гротъ, пожалуй, скажетъ, что именно этотъ-то родъ брака и прославляетъ г-жа Бремеръ. Въ томъ то и дѣло, что нѣтъ!

Въ бракѣ, о которомъ мы говоримъ, нѣтъ ничего обаятельнаго для юныхъ мечтателей и мечтательницъ. Представьте его имъ въ романѣ, какъ онъ есть, они не станутъ торопиться жениться и выходить замужъ. Всѣ признаютъ необходимость брака, но это никому не мѣшаетъ сознаваться, что брачное состояніе — дѣло довольно трудное въ дѣйствительности, хотя и обольстительное въ романахъ извѣстнаго рода. Особенно возмутили Грота наши слова, что «теперь жениться по склонности и для счастья считается совсѣмъ не въ тонѣ, и всѣ рѣшительно женятся для денегъ и связей». Что жъ? развѣ это не несомнѣнная истина? При слухѣ о новомъ бракѣ всѣ спрашиваютъ, сколько приданаго, приобретаются ли связи, но никто не спрашиваетъ, любятъ ли брачащіеся другъ друга. И женихъ говоритъ громко: беру столько-то, или у моей невѣсты такая-то родня, а о любви умалчиваетъ; невѣста тоже говоритъ: у моего жениха столько-то, или у него такая-то связь, партія приличная и выгодная. Неужели все это неизвѣстно Гроту? Гдѣ же онъ живетъ, въ какой Аркадіи, въ какой Утопіи? Но Гротъ до того простираетъ милую наивность своихъ аркадскихъ убѣждений, что людей, которые женятся не для страсти и счастья (этой невидимки на землѣ), а для выгодной партіи, называетъ людьми безнравственными, впускающими презрѣніе и жалость. Вотъ это и несправедливо, и невѣжливо. Ибо такихъ людей многое множество; и притомъ между ними много людей честныхъ, благородныхъ и понимающихъ нравственность не хуже Грота.

Нѣтъ, г. Гротъ, воля ваша, а вы слишкомъ уже много берете на себя, называя негодными всѣхъ, кто женится не по страсти, а по разсчету и склонности. Мы сами убѣждены, что негодны тоть, кто по разсчету насильно женится на дѣвушкѣ, зная ея отвращеніе къ его особѣ, и еще болѣе, зная ея склонность къ другому; но гдѣ нѣтъ насилія, а есть разсчетъ — тамъ несправедливо видѣть развратъ. Согласны, что въ такомъ разсчетливомъ бракѣ можетъ быть много пошлаго, грубаго и даже низкаго; но не согласны, чтобъ въ немъ уже непременно не могло быть благороднаго, честнаго и нравственнаго, и чтобъ люди, которые женятся по разсудку, а не по страсти, непременно не могли быть хорошими мужьями и отцами. Вотъ что бы слѣдовало развивать въ романахъ, а не рисовать притворныя и пошленькія картинки идиллическихъ радостей и мелочныхъ огорченій (разрѣшающихся потомъ опять въ радости) филистерской жизни. Не худо бы также предувѣдомить юныя души съ розовыми мечтами счастья о томъ, какъ иногда черезъ необдуманные браки размножаются въ обществѣ нищія, какъ иногда мужъ тиранитъ свою жену и держитъ дѣтей въ рабскомъ трепетѣ, убивающемъ въ нихъ всѣ благородныя чувства въ самомъ ихъ зародышѣ... Вотъ такіе «семейные» романы были-бы въ духѣ нашего времени и способствовали бы къ тому, чтобъ браки, какъ

они есть,—сдѣлались браками, какъ они должны быть. А то, что въ своихъ водяныхъ и приторныхъ картинкахъ рассказываетъ Фредерика Бремеръ,—то давно уже истощено филистерской кистью Августа Лафонтена блаженной памяти. Но Гротъ съ чего-то вообразилъ, что пошленные романы Бремеръ—совсѣмъ не апокрифическія писанія, и что смѣть не преклоняться передъ ихъ авторитетомъ—значить отрицать бракъ, какъ религіозное (вишь куда метнулъ!) и гражданское установленіе, значить «отвергать законы, совѣсть, вѣру!...»

Гротъ обвиняетъ насъ въ согласіи съ одной изъ героинь романа Бремеръ—Сарою. Да, это правда, мы бы вполне симпатизировали съ этимъ лицомъ, еслибы авторъ изобразилъ въ немъ идеалъ личности, сознающей свое человѣческое достоинство,—а не какую то сумасшедшую, которая мечется изъ одной крайности въ другую, чтобы подтвердить ложную мысль, что только женщина, умѣющая дѣлать картофельные соусы, можетъ быть счастлива. Несправедливо также находить Гротъ противорѣчіе въ нашихъ словахъ, что мы смѣемся надъ старыми дѣвами и этимъ, будто-бы, уничтожаемъ наши, напрасно введенные на насъ Гротомъ, нападки на бракъ, какъ на установленіе. По нашему мнѣнію, старая дѣва—существо жалкое и смѣшное, не какъ незамужняя женщина, но какъ не-женщина, т. е. какъ существо, не выполнившее своего назначенія, слѣдовательно напрасно родившееся на свѣтъ. Это une existence manquée, un être avorté. Сдѣлаемъ еще замѣчаніе на одно замѣчаніе Грота. Онъ обвиняетъ насъ въ безразличности на томъ основаніи, что мы не благоговѣемъ передъ микроскопическимъ талантомъ Бремеръ, и что онъ не понималъ нашихъ словъ... Вотъ какимъ образомъ противоположили мы семейственную Германію нашего времени общественному древнему міру: «Въ первой жизни душно опредѣляется для людей съ ихъ младенчества, семейный эгоизмъ полагается въ основу воспитанія; во второмъ человѣкъ родился для общества, воспитывался обществомъ, и потому дѣлался человекомъ, а не филистеромъ». Гротъ изволилъ такъ же благонамѣренно, какъ и литературно, утверждать, что этими словами мы христіанскій міръ поставили ниже языческаго!.. Но съ котораго времени Германія стала представительницей христіанства?—ужь не съ тѣхъ ли временъ, когда нѣмцы позволили себѣ иному вѣрить, а иному не вѣрить (слѣдовательно то и другое произвольно) и тѣмъ равно вооружили противъ себя и вполне вѣрующіхъ, и вполне невѣрующіхъ?..

Но оставимъ всѣ эти придирки и обратимся къ «Парижскимъ Тайнамъ», чтобы заранѣе отвѣтить на подобнаго же рода привязки. А вѣдь случай самый удобный! Романъ Эжена Сю имѣетъ цѣль нравственную,—въ этомъ мы сами соглашаемся, а между тѣмъ романъ называется плохимъ. Что мудренаго, если за это насъ обвинять Богъ знаетъ

въ чемъ!.. Несмотря на все это, мы повторяемъ, что хорошая цѣль—сама по себѣ, а плохое выполненіе—само по себѣ, и что не слѣдуетъ ложью доказывать истину. А развѣ не ложь—такія лица, какъ напримѣръ Родольфъ и Пѣвунья, не говоря о многихъ другихъ? Они невозможны въ дѣйствительности, стало-быть, они—вздоръ, а вздоръ не годится трактовать о дѣлѣ.

МОЛОДИКЪ, на 1844 годъ, украинскій литературный сборникъ, издаваемый Н. Бекетомъ. Спб. 1844.

Назадъ тому около четырнадцати лѣтъ русская литература была по преимуществу альманахной. Маленькія, тощенькія книжечки въ 16-ю долю листа ежегодно появлялись чуть не десятками; въ нихъ помѣщались большей частью отрывки изъ романовъ и повѣстей въ прозѣ, драмъ и комедій въ прозѣ и въ стихахъ, но больше всего отрывки изъ поэмъ въ стихахъ, мелкія лирическія стихотворенія, преимущественно элегій. Молодая публика, которая теперь сдѣлалась уже солидной, возмужалой публикой, тѣмъ съ большимъ жаромъ принимала эти книжки, что и сама участвовала въ ихъ составленіи. Одни изъ альманаховъ были аристократами, какъ напримѣръ: «Сѣверные Цвѣты», «Альбомъ Сѣверныхъ Музъ», «Денница»; другіе—мѣщанами, какъ напримѣръ: «Невскій Альманахъ», «Уранія», «Радуга», «Сѣверная Лира», «Альціона», «Царское Село» и проч.; третьи—простыми, черными народомъ, какъ, напримѣръ: «Зицерла», «Цефей», «Вукетъ», «Комета» и т. п. Альманаховъ послѣдняго разряда не перечесть—такъ много ихъ. Аристократическіе альманахи украшались стихами Пушкина, Жуковского и щеголяли стихами Баратынскаго, Языкова, Дельвига, Козлова, Подолінскаго, Туманскаго, Ознобишина, Ѳ. Глинки, Хомякова и другихъ модныхъ тогда поэтовъ. Эти альманахи издавались или извѣстными литераторами, или людьми, имѣвшими большія и прочныя литературныя связи,—и потому всѣ знаменитости охотно снабжали ихъ своими произведеніями; сочиненія же посредственныя или плохія попадали туда для балласта. Альманахи-мѣщане преимущественно наполнялись издѣліями сочинителей средней руки, и только для обезпеченія успѣха щеголяли нѣсколькими пьесками, вымоленными у Пушкина и другихъ знаменитостей, которыхъ бросали въ нихъ что-нибудь залежавшееся въ ихъ портфеляхъ, что-нибудь такое, чего бы они даже и совсѣмъ не желали видѣть въ печати. Альманахи-мужики наполнялись страшной сочинителей пятнадцатаго класса, горемыкъ, которые за удовольствіе видѣть себя въ печати готовы были платить деньги. Вотъ почему нѣкоторые писатели издавали свои собственныя сочиненія въ видѣ альманаховъ.

Но мода на альманахи, свирѣпствовавшая больше десяти лѣтъ, вдругъ прошла. Это во всѣхъ отношеніяхъ отрадное событіе произошло отъ возвышенія цѣнности прозы на счетъ цѣнности

стиховъ. Стихи перестали забавлять погребушкой приемъ и наборомъ модныхъ словъ; отъ нихъ потребовалось оригинальности и мысли (стало-быть, не одного уже смысла, который они, т. е. стихи, часто считали совершенно лишнимъ для себя украшеніемъ); смѣтивъ эту бѣду, стихи стали являться въ меньшемъ количествѣ. По мѣрѣ того, какъ стихи падали въ цѣнѣ, проза цѣвилась все дороже и дороже. Отрывковъ уже не читали, а требовали полнаго романа, оконченной повѣсти, — и эти романы и повѣсти сдѣлались скоро главной опорой журналовъ. Вслѣдствіе этого за статьи стали платить деньгами, и авторы оставили ариадскую привычку своими трудами кормить другихъ: они сами захотѣли находить посильное обезпеченіе въ своей литературной дѣятельности. Альманахамъ тутъ стало нечего дѣлать! Бывало, имъ нужны были деньги только на напечатаніе выпрошенныхъ и вымоленныхъ отрывковъ и разныхъ мелочей, которые легко укладывались въ крошечной книжкѣ, не требовавшей большихъ расходовъ на изданіе; а тутъ потребовалось вдругъ платить деньги за статьи значительнаго объема и потомъ издавать уже не миниатюрныя книжечки, а порядочныя книжки. И такъ, перевелись альманахи, а съ ними и альманачники. А что это было за курьезный народъ — эти альманачники! Мы удивляемся, какъ никому не придетъ на мысль — написать типъ альманачника добраго стараго времени (къ чести нашего образованія, это время уже старое)! Альманачникъ, это — родной братъ литературщику, — тоже очень типическому лицу. Альманачникъ, это — человѣкъ, у котораго не хватаетъ способности произвести самому что-нибудь порядочное, который если и пытался писать, то всегда неудачно, и неудача однакожъ не отбила у него охоты, во что бы ни стало, приобрести извѣстность въ литературномъ мѣрѣ. Что-жъ ему остается дѣлать? собирать чужіе труды и на сборникѣ ставить свое имя. Средство легкое и пріятное! Дѣла никакого, труда нисколько, а имя въ печати, къ нему приглядываются, привыкаютъ, и смотришь — нашъ собиратель уже лицо извѣстное... Впрочемъ должно сказать, что альманачникъ бывалъ не безъ страсти къ литературѣ, только эта страсть въ немъ была всегда горемычная и жалкая. Онъ толковалъ горячо о томъ, кто выше — Пушкинъ или Жуковский, бранилъ классицизмъ, восхищался романтизмомъ, не имѣя ни малѣйшаго понятія ни о томъ, ни о другомъ, суевѣрно благоговѣлъ передъ вдохновеніемъ поэта, считая его за какое-то волшебное опьянѣніе, которое дѣлаетъ человѣка безъ ума — умнымъ, безъ науки — знающимъ, безъ труда — не отстающимъ отъ вѣка. Альманачникъ поклонялся множеству маленькихъ авторитетиковъ, дивившихся своимъ муравейники, и съ негодованіемъ говорилъ о холодномъ и гибельномъ скептицизмѣ журналовъ, непризнавшихъ таланта и заслуги въ разной литературной тлѣ, которой дивился онъ, добрый альманачникъ, — самъ такая же жалкая тля, какъ и предметы его удивленія, въ свою очередь, добро-

душно дарившіе и его, альманачника, своимъ удивленіемъ.

Но увы! — теперь альманачникъ — такой же мизеръ, какъ и альманахи добраго стараго времени! Смирдинъ издалъ альманахъ «Новоселье», въ которомъ было очень мало стиховъ (и то большей частью хорошихъ) и очень много прозы (тоже большей частью хорошей); самый форматъ «Новоселья» (въ 8-ю д. л.) показалъ, что время прежнихъ альманаховъ миновало навсегда. Да и кто изъ прежнихъ альманачниковъ могъ имѣть средства издать что-нибудь вроде «Новоселья»? Съ 1837-го года началъ выходить альманахъ «Утренняя Заря». Это опять было нѣчто совершенно непохожее на прежніе альманахи; въ ней съ типографской роскошью изданія составитель соединилъ прекрасныя гравюры и занимательность статей. Для того и другого онъ имѣлъ средства; связи съ художниками и всѣми извѣстѣйшими литераторами дѣлали для него возможнымъ предпріятіе не для всѣхъ возможное; да притомъ онъ не щадилъ и издержекъ. Но и «Утренняя Заря» наконецъ прекратилась... Вдругъ, съ нѣкотораго времени началъ появляться въ Петербургѣ украинскій альманахъ Бецкаго. Цѣль его прекрасная; въ исполненіи вадно, что издатель дѣлалъ съ своей стороны все, что только было въ его возможности, но альманахъ не имѣлъ успѣха; — явный знакъ, что царство альманаховъ кончилось навсегда, и что если они могутъ существовать, то уже не на прежнихъ основаніяхъ добровольной вкладчины, но на основаніи журнальномъ, т. е. на платѣ за статьи... Дѣло извѣстное: если авторъ даетъ свою статью даромъ, значить, она никуда не годится. Скажутъ: это торгашество! гдѣ жъ любовь къ литературѣ? Гдѣ бы она ни была, но только конечно она не въ карманѣ тѣхъ, которые корыстно пользуются для себя чужимъ безкорыстнымъ трудомъ... Но, скажутъ: если книга издается съ доброй, безкорыстной цѣлью, почему же не пожертвовать статьей? Прекрасно. Вы — бѣдный человѣкъ и между прочимъ существуете и литературой (потому что одной литературой у насъ трудно существовать); у васъ есть наприимѣръ повѣсть, за которую журналистъ даетъ вамъ 500 рублей; если при всей своей бѣдности вы считаете себя въ состояніи жертвовать на доброе дѣло 500-ми рублями — честь вамъ; но не осуждайте же строго и тѣхъ, у кого нѣтъ столько великодушія и любви къ добру, чтобы, ради ихъ, питаться и одѣваться воздухомъ... Но любовь къ литературѣ, чистое стремленіе къ славы? — А развѣ надежда на обезпеченіе себя литературными трудами производить охлажденіе къ литературѣ, и развѣ слава хорошаго произведенія умалится отъ того, что авторъ получалъ за него приличный гонораріумъ?..

Все сказанное нами нисколько не относится къ альманаху Бецкаго. Мы имѣли въ виду защитить литераторовъ, нехотящихъ даромъ давать хорошихъ статей, противъ несправедливыхъ упрековъ въ корыстолюбіи и торгашествѣ...

Антологія изъ Жанъ-Поля Рихтера. Спб. 1844.

Переводчикъ думалъ оказать великую услугу русской публикѣ изданіемъ этой книжки. По его собственнымъ словамъ, она «должна возбудить у насъ желаніе изучить подробнѣе безсмертнаго гения Германіи (т. е. Жанъ-Поля Рихтера!!...), философа, натуралиста и живописца нравовъ», и «утолить въ читателяхъ, прельщенныхъ французскими романами, возбужденную ими жажду въ новомъ, чистомъ, живомъ источникѣ». Стало-быть, цѣль двояко полезная! Русской публикѣ послѣ этого ничего не остается, какъ низко присѣсть передъ любезнымъ и обязательнымъ г. Б., переводчикомъ и издателемъ «Антологіи изъ Жанъ-Поля Рихтера»...

Г. Б. питаетъ къ Жанъ-Полю Рихтеру любовь, доходящую до страсти, до энтузіазма,—любовь, тѣмъ болѣе благородную, что она совершенно одинока, ибо ея никто не раздѣляетъ съ нимъ. Нельзя не согласиться, что въ такой любви есть что-то умиленное, возбуждающее въ другихъ если не симпатію, то состраданіе. Такъ какъ Жанъ-Поль владѣетъ болѣе сердцемъ, чѣмъ умомъ г.-на Б., и какъ г. Б. болѣе «обожаешь», чѣмъ постигаетъ Жанъ-Поля,—то совершенно понятно, почему г. Б. видитъ въ Жанъ-Полѣ «безсмертнаго гения, великаго писателя», родного брата Гёте и Шиллеру. Энтузіазмъ всегда неумѣренъ и опрометчивъ,—оттого онъ всегда и расходится съ истиной. Жанъ-Поль въ свое время былъ явленіемъ дѣйствительно замѣчательнымъ и не безъ основанія пользовался титуломъ знаменитаго писателя; но великимъ писателемъ, безсмертнымъ гениемъ онъ никогда не былъ, и съ Гёте и Шиллеромъ, особенно съ первымъ, никогда и ни въ какомъ родствѣ не состоялъ. Поэтому намъ особенно неумѣстнымъ кажется примѣненіе къ Жанъ-Полю стиховъ Баратынскаго къ Гёте, которые г. Б. взялъ эпиграфомъ къ «Антологіи»:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,
Ручья разумѣлъ лепетанье,
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,
И чувствовалъ травъ прозябанье;
Была ему звѣздная книга ясна,
И съ нимъ говорила морская волна.

Мы далеки отъ того, чтобъ унижать достоинство Жанъ-Поля, но тѣмъ не менѣе не затруднимся сказать, что эти стихи къ нему вовсе нейдутъ. Наполеоновскіе генералы были всѣ люди съ замѣчательными военными дарованіями и доселѣ пользуются большою извѣстностью; однако ни объ одномъ изъ нихъ нельзя говорить и писать того, что можно говорить и писать о Наполеонѣ. Много на свѣтѣ есть высокихъ горъ, но это не мѣшаетъ имъ быть ниже каждой горы, которая въ сосѣдствѣ Монблана или Эльбруса считается очень незначительной горой. Есть большая разница между замѣчательнымъ и даже знаменитымъ человекомъ и между великимъ человекомъ. Для Наполеоновскихъ генераловъ большая честь за-

нимать мѣсто на барельефахъ пьедестала его колоссальной статуи или своими миниатюрными изображеніями составлять рамку для его большого портрета: въ такомъ точно отношеніи находится Жанъ-Поль къ Гёте или Шиллеру. Противъ этой истины, утвержденной національнымъ сознаніемъ цѣлой Германіи и всего просвѣщеннаго міра, устоятъ ничей личный энтузіазмъ.

Жанъ-Поль навсегда утвердиль за собою почетное мѣсто въ нѣмецкой литературѣ. Онъ имѣлъ сильное вліяніе на современную ему Германію, которая уже такъ мало походитъ на современную намъ Германію. Хотя отъ смерти Жанъ-Поля едва-ли прошло двадцать лѣтъ, однако въ это время въ умственной жизни германцевъ произошло много великихъ переворотовъ, возникло много новыхъ вопросовъ, и вообще направленіе Германіи и ея симпатіи значительно измѣнились. Несмотря на то, Жанъ-Поль всегда будетъ находить себѣ въ Германіи обширный кругъ читателей, и Германія всегда съ любовью будетъ вспоминать о немъ, какъ вспоминаетъ возмужалый человѣкъ о добромъ и умномъ учителѣ юности, или о книгѣ, которая уже не удовлетворитъ его вкуса и требованій, но которая въ его юношескія лѣта была столько-же полезной для него, сколько и любимой имъ книгой. Но изъ всего этого еще не слѣдуетъ, что Жанъ-Поль былъ великимъ писателемъ, гениемъ. Онъ обладалъ замѣчательно-сильнымъ талантомъ, принявшимъ впрочемъ до дикости странное направленіе и уродливо развившимся. Этому конечно много способствовалъ аскетическій духъ нѣмецкой націи, узость и тѣснота ея общественной жизни, которыя способствуютъ сильному внутреннему развитію отдѣльных лицъ, но задушаютъ всякое социальное, богатое широкими симпатіями развитіе людей, рожденных для общества. Такія геніальныя личности, какъ Гёте и Шиллеръ, собственной силой могли вырваться изъ этой душевной сферы и, не переставая быть національными писателями, возвыситься въ то же время до всемірно-историческаго значенія. Но такіе впрочемъ яркіе и сильные, таланты, какъ Гофманъ и Рихтеръ, не могли не поддаться губительному вліянію дурныхъ сторонъ общественности, которою они окружены были, какъ воздухомъ. По таланту Гофманъ вообще выше и замѣчательнѣе Рихтера. Юморъ Гофмана гораздо жизненнѣе, существеннѣе и жгучѣ юмора Жанъ-Поля,—и нѣмецкіе гофраты, филистеры и педанты должны чувствовать до костей свою силу юморическаго Гофманова бича. Какой мастерской кистью изобразилъ Гофманъ почтеннаго князя Иринеуса, его комическій дворъ и его микроскопическое государство! Какой глубиной дышитъ его превосходная повѣсть «Мейстеръ Іогаинъ Вахтъ»! Сколько прекрасныхъ и новыхъ мыслей о глубочайшихъ тайнахъ искусства высказалъ въ самой поэтической формѣ этотъ человѣкъ, одаренный такой богато-артистической натурой! И все это не погнѣшало ему вѣдать въ самый нелѣпый и чудовищный фан-

тазмъ, въ которомъ, какъ многоцѣнная жемчужина въ тинѣ, потонулъ его блестящій и могучій талантъ! Что же загнало его въ туманную область фантазерства, въ это царство саламандръ, духовъ, карликовъ и чудищъ, если не смрадная атмосфера гофратства, филистерства, педантизма, словомъ, — скука и пошлость общественной жизни, въ которой онъ задыхался и изъ которой готовъ былъ бѣжать хоть въ домъ сумасшедшихъ?.. Жанъ-Поль былъ совсѣмъ другой натуры. Преобладающей стороной всего его существа было чувство, болѣе пламенное и задухновенное, тѣмъ сильное и крѣпкое, болѣе расплывающееся, тѣмъ сосредоточенное и подчиненное разуму, болѣе гуманное, тѣмъ многостороннее. Говорятъ, что Жанъ-Поль не могъ не заплакать отъ умиленія, видя человѣка съ лицомъ, сияющимъ отъ довольства и счастья. Духъ его былъ по преимуществу внутренний и созерцательный. Поэтому его высочайшимъ идеаломъ человѣка была красота внутреннего развитія личности, безъ всякаго отношенія къ обществу, — и пафосъ всего его существованія составляла не разумная дѣятельность, силившаяся вносить въ дѣйствительность свои собственные идеалы, но природа, луна, солнце, весна, роса, ручьи, облака, цвѣты, ночь, звѣздное небо. Полная елейной, нѣсколько сентиментальной и расплывающейся любви, натура Жанъ-Поля была ясна, спокойна и кротка. Онъ былъ однимъ изъ тѣхъ характеровъ, которые всегда дѣлаются средоточіемъ избраннаго дружескаго кружка и обнаруживаютъ на него часто одностороннее, но всегда прекрасное и благодѣтельное вліяніе. Изъ всѣхъ душевныхъ способностей въ Жанъ-Полѣ особенно сильна была фантазія, такъ что она преобладала у него надъ самымъ разумомъ, которому не совсѣмъ недоступно было царство идей. Для такого человѣка все равно, гдѣ бы ни жить, и онъ можетъ быть доволенъ всякимъ обществомъ, лишь бы оно не мѣшало ему жить внутри самого себя; а такъ какъ нѣмецкое общество (особенно въ то время) всего менѣе способно вызывать человѣка изъ внутреннего міра души его и всего способнѣе, такъ сказать, вгонять его туда, — то аскетическій, въ дико-странныхъ формахъ выразившійся духъ сочиненій Жанъ-Поля становится совершенно понятенъ. Жанъ-Поль не зналъ, подобно Гофману, ни отчаянія, ни негодованія, ни жгучихъ страстей, и потому ему не трудно было всегда держаться на какихъ-то недостижимыхъ созерцательныхъ высотахъ, неопирающихся ни на какое дѣйствительное основаніе, и писать языкомъ по большей части эпически-спокойнымъ, тяжело-возвышеннымъ, нерѣдко натянутымъ и всегда туманнымъ. Онъ былъ романтикъ въ душѣ, и если спускался на минуту съ своихъ заоблачныхъ высотъ, озаренныхъ холодныхъ свѣтомъ ночной луны, то не иначе, какъ для того, чтобы подивиться, какъ люди могутъ не быть романтиками, и тогда-то разыгрывался его добродушный юморъ, который никого не кусалъ и не сердилъ, какъ юморъ Гофмана. Геронъ его романовъ или, лучше сказать, его

выспреннихъ фантазій, — все люди восторженные, которые живутъ въ однихъ высокихъ, поэтическихъ мгновеніяхъ жизни, никогда не зѣваютъ и всегда импровизируютъ, вмѣсто того чтобы говорить. Надо отдать имъ полную справедливость — они люди прекрасные, но только съ ними скука смертельная. Такъ напримѣръ, въ одномъ своемъ сочиненіи Жанъ-Поль представляетъ поэта Фирмиана, имѣвшаго несчастье жениться на Линеттѣ, самой прозаической и ограниченной женщинѣ, которая ничего въ мірѣ не видитъ выше и важнѣе кухни. И дѣйствительно, вы видите, что Фирмианъ — человѣкъ возвышенный и восторженный, а Линетта — не болѣе, какъ хорошая кухарка; но въ то же время вы чувствуете, что вамъ легче было бы провести всю жизнь вашу съ Линеттой, женившись на ней, тѣмъ одну недѣлю прожить съ Фирмианомъ въ одной комнатѣ и слушать его восторженные монологи къ лунѣ и солнцу, къ жизни и смерти, къ небу и аду.

Г. В. очень хорошо сдѣлалъ, помѣстивъ въ своей книгѣ статью умнаго французскаго литератора Филарета Шаль «Очеркъ литературнаго характера Жанъ-Поля». Только онъ не понялъ, что этотъ «очеркъ» служить самымъ сильнымъ опроверженіемъ его собственнаго мнѣнія о великости Жанъ-Поля, какъ писателя. Какъ ловкій французъ, Филаретъ Шаль не выговариваетъ ясно своей мысли, но, посредствомъ тонкой, легкой ироніи, граціозно разлитой въ его статьѣ, предоставляет угадать свою мысль самому читателю... Филаретъ Шаль называетъ Жанъ-Поля «писателемъ столь необязательнымъ, столь мало-читаемымъ, гениемъ совершенно германскимъ, покрытымъ для другихъ націй тройнымъ покрываломъ, единственнымъ оригинальнымъ писателемъ, столь оригинальнымъ, что онъ не нашелъ себѣ ни подражателя въ своемъ отечествѣ, ни переводчика у другихъ народовъ». Все это сильно противорѣчитъ мнѣнію о великости и гениальности Жанъ-Поля. Одно изъ первыхъ и непреложныхъ условій, составляющихъ великаго писателя, гения, есть простота, опредѣленность, ясность и общедоступность изложенія и слога, какъ свидѣтельство ясности и опредѣленности его идей. Обыкновенные писатели потому пишутъ ясно и общепонятно, что ихъ идеи обыкновенны и ничтожны; великіе писатели пишутъ ясно и опредѣленно потому, что вполне владѣютъ своими идеями, и если ихъ сочиненія недоступны массамъ, — это не по мудрости изложенія, а по высотѣ идей. Великіе писатели даже въ стихахъ умѣютъ соединить красоту поэтическаго изложенія съ простотой почти прозаической. Тѣмъ общѣе, слѣдовательно огромнѣе содержаніе твореній великаго писателя, тѣмъ доступнѣе они для всѣхъ націй, тѣмъ болѣе они суть достояніе не одного какого-нибудь народа, но цѣлаго человечества. Какъ ни вытягивайте подъ эту мѣру добраго Жанъ-Поля, онъ скорѣе перервется пополамъ, тѣмъ подойдетъ подъ нее. Особенно не допустить его, даже и на ципочкахъ, если хотите, на какихъ угодно длинныхъ ходуляхъ,

дотянуться до нея эта справедливая характеристика Филарета Шала:

«Если разсматривать Жанъ-Поля въ отношеніи къ искусству и къ исполненію, онъ стоитъ ниже Сервантеса. Въ его произведеніяхъ обозначается недостатокъ цѣлаго, связи и плавности. Чтеніе ихъ оставляетъ впечатлѣнія неясныя и противоположныя. Изъ этого хаоса мыслей и чувствъ, какъ съ раскаленнаго жѣлаза, брызжутъ тысячи искръ пламенныхъ, высокихъ, комическихкихъ: но это хаосъ. Одинъ стиль этихъ дивныхъ созданій есть уже феноменъ: дѣйственная дуброва, вѣтви которой, переплетенныя между собой, образуютъ непроницаемую ограду, представляють вамъ неодолимыя препятствія. Языкъ, метафоры, правописаніе, все облекается у Жанъ-Поля въ праздничную одежду.»

Между тѣмъ нѣтъ никакого сомнѣнія, что Жанъ-Поль—писатель, заслуживающій всякаго вниманія, и что изъ 60-ти томовъ его сочиненій можно выдать томовъ шесть болѣе или менѣе интересныхъ вещей, имѣющихъ рѣдко безотносительное, но чаще всего относительно достоинство. Желая говорить съ доказательствомъ, мы должны прибѣгнуть къ выпискамъ. Вотъ нѣсколько мыслей о назначеніи и судьбѣ женщины въ нашемъ обществѣ:

«Я думалъ въ то время о той брачной лотерей, въ которой молодыя дѣвушки выбираютъ себѣ супруга-властиителя на той порѣ жизни, когда сердце ихъ согрѣто чувствомъ, но разумъ не просвѣтленъ. Въ ихъ душѣ пустота, и среди этой пустоты горитъ пламя, какъ горѣтъ пламень на жертвенникѣ въ храмѣ Весты, безъ образа божества. Идолъ подавалъ знакъ, чтобы подошли къ жертвеннику, и жертвоприношеніе совершалось.— Я думалъ, что она подвергнется обыкновенной участи своихъ подружъ, что и она увянетъ, какъ цвѣтокъ, сорванный и измятый грубой людской рукой. Какъ быстро пробѣгутъ эти прекрасные дни кратковременной весны женской жизни! Не походила ли она, какъ почти всѣ невѣсты, на тѣхъ младенцевъ, что Гарофало любилъ помѣщать въ своихъ картинахъ: они тихо почиваютъ, надъ ихъ головками ангелъ держитъ терновый вѣнецъ. Терновый вѣнецъ есть бракъ: лишь только они просыпаются, ангелъ роняетъ вѣнецъ, и уязвленное чело покрывается кровью. Всѣ эти мысли меня занимали, но не отъ нихъ навернулись у меня слезы на глаза. Всякій разъ, какъ я устремлялъ взоры на это блѣдное и розовое лицо, столь граціозное, привѣтливое, доброе, я внутренно покусался воскликнуть: О, не будь такъ весела, несчастная жертва! это нѣжное сердце, хранимое тобой въ груди, жаждетъ чистыхъ и тихихъ наслажденій; ты сама того не знаешь... огонь грубой страсти испепеляетъ его; но граціозныя, безцвѣтныя свидѣнія, рождающіяся на домашней подушкѣ, не могутъ осчастливить этой милой головки.»

«Ты не предугадывашь, юная дѣва-невѣста, что этотъ цвѣтокъ твоей благоухающей молодости превратится въ грубый источникъ, въ которомъ человекъ будетъ утолять свою жажду. Онъ скоро не будетъ требовать отъ тебя ни чувствительной души, ни добраго и свѣтлаго ума; онъ въ тебѣ будетъ цѣнить одну лишь работу рукъ, цоть лица и быстроту твоихъ шаговъ, и если ты, въ душевномъ расслабленіи, будешь хранить долгое молчаніе и оставишь его въ покоѣ, онъ благословитъ свою судьбу. Этотъ сводъ безгранич-

ный и вѣчный, этотъ ковчегъ эмпиры, вселенная вселенная—не привлекутъ твоихъ взоровъ и превратится для тебя въ бѣдное жилище, въ убѣжище для хозяйства: ты будешь замѣчать въ немъ одні веревки, дрова, куски ветчины, прядильные станки и изрѣдка, въ лучшіе дни, вышиты въ твоей приемной. Ты будешь смотрѣть на солнце, какъ на огромный шаръ, висящій надъ твоей головой, чтобы согрѣвать, подобно печкѣ, вселенную; на мѣсяцъ, какъ на одинъ изъ тѣхъ кристаллическихъ шаровъ, что ночью употребляютъ башмачники для освѣщенія своей мастерской. Гордый Рейнъ не удивитъ тебя своимъ величіемъ: ты будешь цѣнить его лишь въ мелкихъ мѣстахъ, гдѣ безопасно можно полоскать бѣлье. Боже мой! Рейнъ, превращенный въ теплую котелью! Да и самъ океанъ будетъ представляться тебѣ водою, наполненною селѣдѣй. Изъ безчисленнаго множества цѣмечныхъ книгъ ты выберешь себѣ одну: календарь на текущій годъ; и, благодаря положенію, занимаемому тобой въ дѣйствицѣ живущихъ, едва ли найдешь въ газетахъ что-либо для тебя занимательнаго, развѣ только извѣстія о приѣхавшихъ иностранцахъ съ паспортами въ рукахъ и остановившихся въ сосѣдней гостиницѣ. Того требуетъ положеніе женщины въ свѣтѣ, какъ говорятъ философы, *въ космогоническомъ пеклѣ.*

«Ты рождалась для большого счастья: но какъ тебѣ достигнуть счастья? Твой бѣдный супругъ не въ состояніи даровать тебѣ лучшей участи, и общество не позволило бы ему иначе обращаться съ тобой! Смерть внезапно навѣститъ тебя, когда года доведутъ до равнодушія твое чувствительное сердце; добрыя сѣмена, зароненныя въ нѣмъ заботливой природой, еще не созрѣютъ, и ты уже переселишься въ то блаженное небо, куда зоветъ тебя другое, улыбающееся будущее.»

«Вы улываетесь моей печали? Да не то же ли совершается каждую недѣлю передъ моими глазами, съ душами, лишь только онѣ выберутъ земной обителью женское тѣло?»

—
«Мать бѣднаго сердца, которое ты хочешь осчастливить несчастіемъ, соединяя его на вѣки съ другимъ сердцемъ, имъ нелюбимымъ, выслушай меня! Положимъ, что дочь твоя не погнѣетъ подъ тяжестью жалкой участи, тобой ей предназначенной; но не превратила ли ты для нея роскошное сновидѣніе жизни въ безплодный сонъ, не похитила ли ты у нея счастливыя острова любви, всѣ цвѣты, ихъ украшающіе, очаровательные дни, въ нихъ проведенные, и чувство, всегда полное восторга, съ которымъ мы еще разъ возвращаемся къ нимъ, когда покрытые цвѣтами холмы удаляются на дальній горизонтъ? Если твое материнское сердце вкусило радости, не лишай ихъ своей дочери; а если другіе были такъ жестоки, что похитили ихъ у тебя, вѣдомыя долги мучонія, тобой претерпѣнныя, и не передавай этого печальнаго наслѣдія!

«Положимъ даже, что твоя дочь осчастливить похитителя ея души, представь же себѣ—чѣмъ она была бы для предмета, любимаго ея сердцемъ, и скажи—не достойна ли она лучшей участи, чѣмъ увеселять придверника навсегда закрывшейся за ней темницы? Но рѣдко такъ счастливо сбывается.—Ты соберешь богатую жатву страданій и отаготишь душу двойнымъ преступленіемъ, съ одной стороны нѣмое отчаяніе твоей дочери, съ другой равнодушіе къ ней мужа, который поздно почувствуетъ къ ней отвращеніе или ненависть. Ты помрачишь ея молодость, ту эпоху ея жизни, когда каждое твореніе нуждается первыхъ лучей солнца. О, лучше вѣчными облакомъ печали ить другіе однообразные періоды жизни, такъ походящіе другъ на друга; не допу-

екай идти холодному дождю на ея зарѣ, пускай солнце войдетъ тихо и радостно на безоблачномъ небѣ, да не блѣднѣютъ его лучи до полудня; не покрывай мракомъ это единственное утро жизни, никогда невозвратимое, развѣ утраченное и ничѣмъ не замѣняемое!

«Но если ты отдаешь на жертву своимъ честолюбивымъ намѣреніямъ, своему деспотизму не только радости, самыя сладкія чувства, счастливый бракъ, улыбающіяся надежды и цѣлыя поколѣнія, но и самое существованіе той, которую принуждаешь отдать руку задушевному другу, — кто можетъ оправдать тебя въ твоихъ собственныхъ глазахъ или высушить твои слезы, если твоя дочь, по своей добродѣтели, повинуется, молчитъ и умираетъ, подобно монахамъ-трапистамъ, не осмѣливающимся нарушить обѣты молчанія, даже тогда, когда ихъ монастырь дѣлается жертвой неистоваго пламени; если дочь твоя, какъ плодъ, котораго одна сторона пользуется лучами солнца, а другая въ тѣни, краснѣетъ снаружи, между тѣмъ какъ сохнетъ внутри и не достигаетъ зрѣлости; — если дочь твоя, говорю я, открываетъ тебѣ свое растерзанное сердце и являетъ въ веснѣ жизни блѣдность и скорбь могильную, — если тебѣ невозможно ее утѣшить, потому что совѣсть не падаетъ тебя отъ имени дѣтоубійцы, — наконецъ если твоя жертва, изнуренная, лежитъ здѣсь предъ тобой и безъ чувствъ рыдаетъ, — если это существо, лишившись силъ въ столь трудной и ранней борьбѣ, съ прощеніемъ на устахъ и укоризной въ растерзанныхъ и мутныхъ взорахъ, съ судорожнымъ трепетомъ падаетъ въ бездонное море смерти... и ты стоишь на берегу и видишь ее поглощенной еще въ свѣжемъ цвѣтѣ молодости: — о, виновная мать! Кто тебя утѣшитъ на краю этой бездны, куда ты насильно влекла ее! Если ты еще сберегла свое сердце — отчаянье убьетъ его, какъ оно убило сердце твоей дочери... Если же ты виновна, я зову тебя — иди, присутствуй при этой жестокой смерти, смерти каждой минуты; я спрашиваю тебя: твое дитя должно ли такъ погибнуть?»

«Какая бѣдная душа не произнесла хоть однажды тиетныя молитвы любви и, разслабленная ледянымъ ядомъ, не могла поднять отяжелѣвшаго языка! Продолжай любить, пламенная душа! Подобная весеннимъ цвѣтамъ, ночнымъ бабочкамъ, нѣжная и легкая любовь наконецъ проникаетъ сквозь оцѣпененную морозомъ душу, и сердце, жаждущее другого сердца, наконецъ его найдетъ.»

Все это обнаруживаетъ въ Жанъ-Полѣ душу любящую, чистую, добродѣтельную; все это согрѣто у него убѣжденіемъ и чувствомъ, все такъ хорошо, мило, трогательно, а главное — все это такъ истинно. О томъ же именно говорить и Жоржъ Зандъ. Но что такое передъ ея страстными, огненными страницами эти добросердечныя изліянія достолюбезнаго Жанъ-Поля? — милый лепетъ умнаго и добраго ребенка въ сравненіи съ громовой рѣчью возмужалаго чловѣка, исполненнаго глубокаго сознанія и могучаго негодованія! Жалкое положеніе женщины въ обществѣ возбуждаетъ живое состраданіе Жанъ-Поля — онъ оплакиваетъ его, но не перестаетъ на него смотрѣть, какъ на неизбѣжное и неизмѣняемое; Жоржъ Зандъ, напротивъ, видитъ въ немъ слѣдствіе историческаго развитія, которое уже совершило свой циклъ. Въ глазахъ Жанъ-Поля мать, торгующая счастьемъ цѣлой жизни своей дочери, есть явленіе какъ бы случайное, нарушающее собой гар-

монію общественной нравственности, — и онъ хлопотетъ силой кроткаго, теплаго убѣжденія исправить такую «дражайшую родительницу», если бы такая нашлась гдѣ-нибудь, не подозревая въ своемъ простодушіи, что на такихъ матерей не дѣйствуютъ краснорѣчивыя строки. Въ то же время онъ видитъ въ поступкѣ такой матери только злоупотребленіе права, а самое право признаетъ неотъемлемымъ, — и если бы бѣдная дочь, принесенная матерью въ жертву своей корысти, прибѣгла къ Жанъ-Полу съ жалобой растерзаннаго сердца и глубоко оскорбленнаго и поруганнаго своего человѣческаго достоинства, — добродушный Жанъ-Поль со всей филистерской елейностью любящаго сердца утѣшилъ бы ее краснорѣчивыми совѣтами — терпѣливо покориться ея участи, къ радости погубившихъ ее изверговъ спекулянтовъ. Онъ сказалъ бы ей: «О, дѣва! (Жанъ-Поль любилъ это смѣшное слово) ты носишь терновый вѣнецъ на окровавленной главѣ; зато вѣчныя розы цвѣтутъ въ груди твоей». Не знаемъ, могло ли бы дѣву сдѣлать счастливымъ подобное утѣшеніе; но знаетъ, что отъ такихъ утѣшеній общественныя раны никогда не излѣчатся, и что чловѣкъ, выговаривающій такія утѣшенія высокимъ до напыщенности слогомъ, какъ великія истины, толчетъ воду въ ступѣ, ибо позволяетъ всему оставаться такъ, какъ оно есть. Сколько людей, и какъ уже давно, доказали вѣрно и несомнѣнно, что взаимная любовь между людьми есть лучшая гарантія ихъ общей безопасности и благосостоянія; но люди тѣмъ не менѣе не хотятъ согласиться на такую любовь! Я очень радъ, если вслѣдствіе любви меня никто не ограбитъ и не убьетъ на большой дорогѣ, но при отсутствіи строгаго полицейскаго надзора я никакъ не положусь на любовь моихъ ближнихъ... Конечно естественная любовь матери къ дочери — хорошая порука въ томъ, что мать не выдастъ своей дочери насильно за какого-нибудь негодяя (ибо всякій мужчина, способный насильно жениться, есть негодяй); но все-таки мое сердце меньше обливается кровью при мысли о насильственныхъ бракахъ, когда возможность ихъ уничтожена строгостью ясно и положительно высказанныхъ законовъ...

«Дитя должно быть для васъ священнѣе настоящаго, которое состоитъ изъ вещей и людей образовавшихся. Выкиньте въ великое значеніе дѣтскаго возраста! Воспитывая дитя, вы трудитесь для будущаго, заготовляете ему богатую жатву; не бросайте же на браду всмил пороку, который взорветъ мину: не посяйте на ней зерно хлѣбное, которое принесетъ плодъ и насытитъ душу. Дайте этому маленькому ангелу, готовому утратить свой земной рай и собирающемуся въ путь далекій, невѣстный, — крѣпкую броню противъ судьбы, талисманъ, который защищалъ бы его въ странѣ опасностей; даруйте ему небо и полярную звѣзду, которая руководила бы его въ продолженіе всей жизни и освѣтила бы передъ нимъ мрачныя страны, которыя ему поведѣе суждено посѣтить. Освѣтите прежде всего его сердце лучомъ нравственнаго чувства: то будетъ заря прекрасной души. Внутренній чловѣкъ, подобно негру, родился блѣлымъ; жизнь — вотъ что очер-

нать его. Въ старости величайшіе примѣры нравственной силы проходить мимо насъ, не сворачивая болѣе нашей жизни съ ея пути, подобно кометѣ, летящей мимо земли; — въ первой же порѣ дѣтства, напротивъ, первый порывъ любви, внешней или внутренней, первыя несправедливости набрасываютъ долгую тѣнь или яркій свѣтъ на необозримое поле слѣдующихъ возрастовъ.

«Почему вы знаете, что младенецъ, рвущій цѣпты подлѣ васъ, не устремится нѣкогда со своей Корсики, какъ богъ войны, въ матежащую часть свѣта, чтобы играть бурами, срывать, очищать или сѣять? Неужели для васъ ничего не значило бы, воспитавши его, сдѣлаться его Фенелономъ, его Корнеліей и его Дюбуа? И если вы не могли ни сокрушить, ни поправить полета его генія (чѣмъ глубже море, тѣмъ круче его берега), вы бы могли въ самомъ важномъ десятилѣтій жизни, на этомъ первомъ порогѣ, чрезъ который проходить всѣ чувства, посѣщающія человѣческое сердце, сковать возникающую силу льва и опутать его вѣжливѣйшими привычками прекраснаго сердца и всѣми узлами любви.»

Все это прекрасно, но всего этого мало. Что дѣтей должно воспитывать хорошо, — объ этомъ многіе говорили и писали; и потому вопросъ давно уже не въ томъ, должно ли воспитывать дѣтей, а въ томъ, какъ должно воспитывать и въ чемъ должно состоять основное начало истиннаго воспитания. У Жанъ-Поля на всѣ болѣзни одно лѣкарство и для всѣхъ цѣлей одно средство — любовь. Но вѣдь и господа Простакова любила же своего Митрофанушку, и Брутъ любилъ своихъ сыновей: любовь одна, а ея характеръ и проявленіе совершенно различны. Что же дало ей это различіе? — то, что въ первой есть только смыслъ, но нѣтъ никакой мысли, а во второй, кромѣ смысла, есть еще и мысль. Чтобы развить любовь въ молодомъ сердцѣ, надо заставить его полюбить что-нибудь, — и это «что-нибудь» должно быть истинной, мыслью. Молодыхъ людей и дома, и въ школахъ учить любить правду, ненавидѣть ложь, а когда они вступятъ въ жизнь, ихъ гонять за правду, и ихъ правдивость называютъ гордостью, самонадѣянностью, буйствомъ и «вольнодумствомъ» — любимое слово филистеровъ и гофратовъ... И такъ, вопросъ въ томъ: должно ли дѣтей воспитывать такъ, чтобы они могли уживаться съ обществомъ, или должно желать, чтобы общество сдѣлалось способнымъ уживаться съ людьми благовоспитанными. Этотъ вопросъ важнѣе вопроса о всевозможныхъ родахъ любви.

«Любишь ли ты меня? воскликнула молодой человекъ въ минуту чистѣйшаго восторга любви, въ то мгновеніе, когда души встрѣчаются и отдаются другъ другу. — Молодая дѣвушка взглянула на него и молчала.

— О, если ты меня любишь, продолжалъ онъ: — заговорилъ!

Но она взглянула на него, не будучи въ состояніи говорить.

— Да, я былъ слишкомъ счастливъ, я надѣялся, что ты меня любишь; все теперь исчезло — надежда и блаженство!

— Возлюбленный, неужели я тебя не люблю! и она повторила вопросъ.

— О, зачѣмъ такъ поздно произнесла ты эти небесные звуки!

— Я была слишкомъ счастлива, я не могла говорить; только тогда возвращенъ мнѣ былъ даръ слова, когда ты передалъ мнѣ свою скорбь...»

Немножко дѣтски, немножко сантиментально, а хорошо! Мы по собственному опыту знаемъ, какъ сильно и какъ освѣжительно дѣйствуютъ на юныя души подобныя романтическія мысли, изложенныя такимъ эпически-торжественнымъ языкомъ, съ отѣнкомъ мистицизма. Но у Жанъ-Поля есть вещи гораздо лучшія и высшія. Такова наприимѣръ его пьеса «Уничтоженіе» («Die Vernichtung»), въ которой высокая мысль облечена въ образы часто странные и дикіе, но тѣмъ не менѣе грандіозные, изложеніе нѣсколько натянуто, но тѣмъ не менѣе исполнено блеска могучей фантазіи. «Сонъ несчастнаго подъ Новый Годъ», которымъ оканчивается «Антологія», принадлежитъ къ числу особенно полезныхъ для юношества пьесъ, потому что ея дидактизмъ не чуждъ нѣкотораго поэтическаго колорита. Среди мыслей изысканныхъ, среди сравненій натянутыхъ, остротъ и каламбуровъ, отличающихся истинно нѣмецкой легкостью и ловкостью, у Жанъ-Поля встрѣчаются мысли глубокія, сравненія вѣрные и оригинальныя, остроты иѣткія. — Вотъ нѣсколько образчиковъ.

«Умереть за истину — не значитъ умереть за отечество, но за весь міръ. Истина, подобно Венерѣ Медичейской, перейдетъ къ потомству въ тридцати разныхъ отливкахъ; но потомство ихъ соберетъ, и изъ этихъ дребезговъ воздвигнется богиня. Твой храмъ, вѣчная истина, теперь инополовину сокрытъ подъ землею, воздвигнется при раскапываніи могилъ твоихъ мучениковъ и возвысится надъ землею; каждая его бронзовая половина будетъ попарать любимую могилу.

«Мысль о смерти должна для насъ быть средствомъ сдѣлаться лучшими, но не конечной цѣлью; если прахъ могильный упадетъ въ наше сердце, какъ земля въ чашечку цвѣтка, онъ его уничтожаетъ вмѣсто того, чтобы оплодотворить.

«Когда человѣкъ въ присутствіи моря или горъ, пирамидъ или развалинъ, когда несчастіе встаетъ передъ нимъ, готовое его поразить — кого призываетъ онъ? дружбу. Когда потоки гармоніи прельщаютъ его слухъ, когда тонный свѣтъ луны играетъ на листьяхъ деревьевъ, когда весна воскрешаетъ природу — кого онъ призываетъ? любовь. И тотъ, кто никогда не искалъ ни той, ни другой, въ тысячу разъ бѣднѣе того, кто ихъ обихъ утратилъ.

«Знаменитые писатели не болѣе одарены творческими способностями, чѣмъ другіе люди; они одарены только большою смѣлостью; они, не скупясь, выворачиваютъ свою душу и показываютъ себя такими, какими они есть, твердо опираясь на свою знаменитость, между тѣмъ какъ другіе краснѣютъ, скрываются и ослабляютъ главныя черты своего характера въ своихъ произведеніяхъ.

«Старые эмигранты походятъ на часы съ репетиціей, оставшіяся нѣсколько лѣтъ беззаветными. Когда подавши пружинку, изъ всѣхъ часовъ для нихъ звонятъ и повторяютъ тотъ часъ, на которомъ остановились.»

Вообще изъ сочиненій Жанъ-Поля можно было бы выбрать для перевода на русскій языкъ не одну весьма полезную книжку. Но, должно сказать правду, переводчикъ и издатель «Антологіи» не обнаружилъ особенной разборчивости и

вкуса въ выборѣ отрывковъ изъ Жанъ-Поля: большая половина его «Антологіи» наполнена рѣшительнымъ пустословіемъ,—вещами, какихъ у Жанъ-Поля цѣлыя томы и какія могли бы спокойно оставаться въ нѣмецкомъ подлинникѣ, безъ всякаго ущерба для русской публики, даже съ большою для нея пользою, потому что чѣмъ менѣе печатнаго вздора, тѣмъ больше публика въ выигрышѣ. Вѣроятно переводчикъ въ этомъ случаѣ разсчитывалъ на имя безсмертнаго генія Жанъ-Поля Рихтера, думая, что подъ сѣнью этого великаго имени и потерянная мишура сойдетъ съ рукъ за чистое золото. Это большая ошибка съ его стороны. Въ наше время имена ровно ничего не значатъ, и еслибы у Шекспира, Байрона, Гёте, Шиллера нашлось что-нибудь ничтожное и вздорное, его назвали бы тотчасъ настоящимъ его именемъ. Въ самомъ дѣлѣ, «Фаустъ» Гёте — великое произведение, но «Стелла», «Братъ и Сестра» и еще многое кое-что изъ сочиненій Гёте же—превадорныя вещи. Впрочемъ и не съ такимъ неискуснымъ выборомъ Жанъ-Поль не вытѣснилъ бы французскихъ романовъ. Не только лучшіе, но и сколько-нибудь порядочные романы и повѣсти французскіе всегда будутъ читаться больше сочиненій Жанъ-Поля, ибо они дѣлѣе ихъ, будучи исполнены интересомъ настоящаго, которое одно важно для живыхъ людей, потому что оно есть послѣдній результатъ всего прошедшаго и непосредственная причина будущаго.

Г. Б. обѣщаетъ продолжать изданіе «Антологіи». Доброе дѣло; желаемъ ему полнаго успѣха, для обезпеченія котораго нужно только побольше строгой разборчивости. Какъ бы то ни было, но «Антологія изъ Жанъ-Поля Рихтера», въ беллетристическомъ бюджетѣ нашей литературы за нынѣшній мѣсяцъ, есть единственная замѣчательная книга, о которой можно было сказать что-нибудь.

Старинная сказка объ Иванушкѣ-дурачкѣ, рассказанная московскимъ купчихой Николаемъ Полевымъ. Лѣта 1844. Въ друкарнѣ Матвея Оленина, въ городѣ Петербургѣ. Цѣна 30 коп. сер., продается всѣмъ, и на Апраксимоу Дворѣ.

Судя по нѣкоторымъ явленіямъ современной русской литературы, можно подумать, что мы, русскіе, близки къ реформѣ, которая должна снова совершенно переменить насъ въ нашихъ обычаяхъ и вкусахъ, и которая должна состоять въ томъ, что мы снова замѣнимъ воду квасомъ, шампанское—пѣнникомъ, портеръ—брагой, сюртуки и фраки—зипунами, сапоги—лаптями, романы Вальтеръ-Скотта—сказками о Ерусланѣ Лазаревичѣ и Бовѣ Королевичѣ, образованную литературу—произведениями блаженной памяти лубочныхъ сукцальскихъ типографій... словомъ,—совершенный разрывъ съ лукавымъ Западомъ и коренное обращеніе къ серьезной народности!.. Въ самомъ дѣлѣ, изъ чего же хлопотуть и въ стихахъ, и въ прозѣ «Маякъ»

и «Москвитянинъ»,—Касторъ и Поллукъ на горизонтѣ нашей журналистики? О чемъ и для чего писать Загоскинъ? Давно-ли мы читали повѣсть «Градскі(о)й Глава», гдѣ такъ неопровержимо доказано вліяніе александрійской рубахи съ косымъ воротникомъ на добродѣтель и стремленіе къ разнымъ гражданскимъ подвигамъ? Давно-ли самородный московскій поэтъ, Милькѣевъ, воспѣлъ сивуху, какъ чистѣйшій источникъ всего великаго? Когда, въ дѣтствѣ, засыпали мы подъ рассказы нашихъ нянекъ о Ерусланѣ Лазаревичѣ, Бовѣ Королевичѣ, Жарѣ-Птицѣ, Иванушкѣ-дурачкѣ,—думали-ли мы, что эти рассказы нѣкогда будутъ пересказываться съ картинками Тинна?... Но не бойтесь, не пугайтесь: реформы все-таки не будетъ. На литературу нашу не всегда можно смотрѣть какъ на зеркало нашей жизни. Этому много причинъ, и одна изъ нихъ та, что литература наша часто любитъ существовать заднимъ числомъ и, отъ нечего дѣлать, повторять собственные свои зады. Теперь она именно этимъ занимается. Чтобы идти впередъ, ей нужны таланты свѣжіе и сильныя; но таланты у насъ какъ-то недолговѣчны; а нѣтъ знамени—нѣтъ и солдатъ. Вотъ почему молодежь наша или ничего не дѣлаетъ, или дѣйствуетъ въ разсыпную, набѣгами, отрывочно и лѣнливо. Можетъ-быть она чувствуетъ, что теперь не ея время. Зато старые таланты и quasi-таланты и молодые не-таланты какъ-будто сгѣснать взапуски другъ передъ другомъ, перебивая старья погудки на новый ладъ: видно почували, что на ихъ улицѣ праздникъ.

Въ двадцатыхъ годахъ текущаго столѣтія въ русской литературѣ совершилась реакція духа подражательности литературѣ XVIII вѣка. Эта реакція явилась подъ именемъ «романтизма». Прежде всего она предъявила свои требованія на народность въ литературѣ. Реакція эта была необходима и полезна; но когда сдѣлала она свое дѣло, люди съ дарованіемъ, воспользовавшись ея плодами, отступились отъ нея и пошли своей дорогой, не заботясь болѣе ни о классицизмѣ, ни о романтизмѣ. Но не такъ думали люди, которые ратовали за ту или другую сторону: они вообразили, что если міръ существуетъ, такъ это не для чего другого, какъ только для того, чтобы романтизмъ побѣдилъ классицизмъ. Вызванные быть глашатаями умственного движенія впередъ, они шагъ времени приняли за вѣчность, движеніе минуты сочли за конечное достиженіе цѣли, послѣ котораго ничего не остается дѣлать, какъ повторять одно и то-же,—а въ этомъ-то и упрекали они людей, которыхъ суждено было имъ сѣнить собою. Удивительно-ли послѣ этого, что они на людей, которые опередили ихъ, смотрять съ такой-же враждой, какъ на нихъ самихъ смотрѣли опереженные ими люди? Удивительно-ли, что они осыпаютъ опередившихъ ихъ людей той-же самой бранью (самоучками, недоучками, верхоглядями и т. п.), которой осыпали ихъ опереженные ими люди? Удивительно-ли, что во всемъ, что бы ни написали они теперь, видны все тѣ же воззрѣнія, тѣ же фразы, которыя въ

свое время были и новы, и истинны, и смѣлы, и даже глубокомысленны, а теперь кажутся просто избитыми общими мѣстами, истасканной рухлядью, безсильнымъ орудіемъ немощной посредственности, апатической отсталости, жалкой бездарности? Было время, когда языкъ литературный былъ скованъ условными приличіями, чуждался всякаго простого и выразительнаго слова, всякаго живописнаго и энергическаго выраженія народной рѣчи; когда наивной народной поэзіи всѣ чуждались, какъ грубаго мужицества. Романтическая реакція освободила насъ отъ этой узкости литературныхъ воззрѣній; благодаря ей, однообразная искусственность языка и изобрѣтенія поэтическаго уступила мѣсто естественности, простотѣ и разнообразію; міръ творчества расширился, и человѣкъ безъ всякихъ отношеній къ его званію получилъ въ немъ право гражданства. Всѣ согласились въ томъ, что въ народной рѣчи есть своя свѣжесть, энергія, живописность, а въ народныхъ пѣсняхъ и даже сказкахъ—своя жизнь и поэзія, и что не только не должно ихъ презирать, но и еще и должно ихъ собирать, какъ живые факты исторіи языка, характера народа. Но вмѣстѣ съ этимъ теперь никто уже не будетъ преувеличивать дѣла, а въ народной поэзіи видѣть что-нибудь больше, кромѣ младенческаго лепета народа, имѣющаго свою относительную важность, свое относительное достоинство. Но отсталые поборники блаженной памяти такъ называвшагося романтизма упорно остаются при своемъ. Они, такъ сказать, застряли въ поднятыхъ ими вопросахъ и, не совладѣвъ съ ними, съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе вязнутъ въ нихъ, какъ мухи, попавшіяся въ медъ. Для нихъ «Не бѣлы снѣжки» едва ли не важнѣе любого лирическаго произведенія Пушкина, а сказка о Емелѣ дурачкѣ едва ли не важнѣе «Каменнаго Гостя» Пушкина...

Но крайней мѣрѣ мы ничѣмъ инымъ не можемъ объяснить себѣ появленія въ свѣтъ «Иванушки-Дурачка» въ красивомъ изданіи, съ картинками Тимма. Было время, когда Николай Полевой очень основательно возставалъ противъ русскихъ сказокъ, которыя Пушкинъ передѣлывалъ по своему въ прекрасныхъ стихахъ. Н. Полевой говорилъ тогда, что эти сказки хороши только въ томъ видѣ, какъ создала ихъ фантазія народа; но что передѣлывать ихъ или поддѣлываться подъ ихъ тонъ никакимъ образомъ не слѣдуетъ. И Полевой былъ совершенно правъ, хотя говорилъ и противъ Пушкина; а вотъ теперь онъ самъ «разсказываетъ народныя сказки» довольно плохой прозою, въ которой народность прикрашена литературшествомъ и которыя къ своимъ простодушнымъ оригиналамъ относятся, какъ деревенскій мужичокъ—къ городскому мѣщанину... Пушкинъ дѣлалъ то же, да не такъ: онъ перекладывалъ ихъ въ свои дивные стихи и, какъ истинно національный и притомъ великій поэтъ, часто придавалъ имъ поэзію, которой онѣ вообще довольно бѣдны; а Н. Полевой лишаетъ ихъ своими передѣлками

и послѣднихъ блескоу поэзіи. Но мало ли что говорилъ истиннаго Н. Полевой прежде, и что, вопреки себѣ, дѣлаетъ онъ теперь неистиннаго?... Вспомните его прежнія статьи противъ князя Шаховскаго и его теперешнія «драматическія представленія»; вспомните его прежнія умныя и благородныя нападки противъ кваснаго и кулачнаго патріотизма, и сравните съ ними нѣкоторыя изъ теперешнихъ его пьесъ; вспомните, что писалъ онъ нѣкогда о невозможности дѣлать изъ повѣстей драмы, — и вспомните его драму «Смерть или Честь»...

Стихотворенія М. Лермонтова. Часть IV. Спб. 1844.

Говорятъ: время поэзіи прошло, и стиховъ уже никто не хочетъ читать. Не подумайте, чтобъ это говорилось гдѣ-нибудь далеко за моремъ; нѣтъ, тамъ люди давно уже на столько поумнѣли, что не говорятъ подобныхъ пустяковъ. И не мудрено: тамъ люди давно живутъ, и потому уже успѣли выжить нѣсколько истинъ, о которыхъ у нихъ никто не споритъ, въ которыхъ всѣ единодушно согласились. У насъ не такъ; у насъ еще не для всѣхъ доказанная истина, что дважды-два — четыре: многіе думаютъ, что дважды-два такъ же легко могутъ производить пять и восемь, какъ и четыре. Вотъ отчего у насъ еще спорятъ о томъ, что наряднѣе и величественнѣе—русскіе пудовые сапоги, убитые со стороны подошвы полусотней остроголовыхъ гвоздей и смазываемые саломъ и дегтемъ, или легкіе нѣмецкіе выворотные сапоги, которые лакируются ваксой; спорятъ о томъ, что лучше: въ нѣмецкомъ ли костюмѣ наслаждаться преимуществами, присущими человѣческой натурѣ, или въ шапкѣ муромкѣ стоять ниже человѣчества, во имя любви къ обычаямъ старообрядчества. Мы думаемъ, что у насъ скоро возникнетъ споръ о томъ, кого должны мы разумѣть подъ нашими праотцами—москвитовъ ли XVII-го вѣка, славянъ ли IX-го вѣка, или скиновъ и сарматовъ, кочевавшихъ по сю сторону Азовскаго и Чернаго морей еще въ то время, когда Мильтиадъ поразилъ ихъ родственниковъ, персовъ, при Марафонѣ,—когда на олимпійскихъ играхъ Иродотъ читалъ свою исторію, а юноша Фукидидъ плакалъ, внимая ему,—когда на тѣхъ же олимпійскихъ играхъ Пиндаръ пѣлъ свои восторженные оды,—когда Эсхилъ, Софокль и Эврипидъ зрѣлищемъ своихъ трагедій ослѣпляли азіянцевъ дѣлаться съ богами блаженствомъ олимпійской жизни,—когда Фидій создавалъ статуи Зевса и Паллады,—когда Сократъ проповѣдывалъ свое ученіе народу, Демосенъ гремѣлъ своими рѣчами, а Платонъ въ академіи полагалъ начало ученію чистаго идеализма... Чѣмъ дальше въ лѣтъ, тѣмъ больше дровъ, по русской пословицѣ: отыскивая родоначальниковъ скиновъ и сарматовъ, а потомъ родоначальниковъ ихъ родоначальниковъ, мы непременно дойдемъ до Адама и, какъ истинные археологи, рѣшимъ, что намъ

надо ходить въ костюмѣ Адама, чтобъ ни въ чемъ не отставать отъ своихъ предковъ. Вѣдь надобно же и намъ когда-нибудь быть послѣдовательными и перестать противорѣчить самимъ себѣ!..

Въ ожиданіи этого вожделѣннаго и, кажется, еще весьма неблизкаго времени обратимся къ вопросу о поэзіи. У насъ есть журналъ, который издается какъ-будто для доказательства, что стихи пишутся дѣтьми для забавы дѣтей же,—и чтобъ быть вѣрнымъ самому себѣ, этотъ журналъ потчуетъ своихъ читателей дѣйствительно дѣтскими стихами. У насъ есть другой журналъ, который, въ противоположность первому, такъ высоко уважаетъ поэзію, что видитъ ее во всякихъ заостренныхъ ризахъ, разбѣренныхъ строчкахъ, и, чтобъ тоже не противорѣчить самому себѣ, помѣщаетъ стихи, уже отзываются старческой дряхлостью, и стихи даровитыхъ, но юныхъ поэтовъ—весьма юныхъ, если судить по тревожности чувства, неопредѣленности идей, по неумѣнью соглашать слова со смысломъ и другимъ признакамъ, которыми отличаются эти плоды счастливаго досуга, не связаннаго условіями логики и здраваго смысла. Вотъ двѣ крайнія стороны вопроса о томъ,—вздоръ или важное дѣло поэзія? Мы думаемъ, что обѣ эти крайности равно чужды истинѣ и притомъ недалеко разбѣжались другъ съ другомъ, потому что обѣ выходятъ изъ одного источника—отсутствія того органа, которымъ понимается поэзія. Мы, русскіе, очень богаты стихами и не совсѣмъ бѣдны поэзіей. По крайней мѣрѣ въ томъ и другомъ отношеніи мы бы должны были дойти до той разборчивости, которая любитъ одно чистое золото и уже не увлекается блестящей мишурой. И мы уже почти дошли до этого. Говоримъ почти, потому что дошли пока еще безсознательно. Публика не перестала читать стихи, но уже рѣдко перечитываетъ ихъ. Это не значитъ, чтобъ стихи надоели ей; это значитъ, что она хочетъ только хорошихъ стиховъ. А стихи теперь уже не могутъ считаться хорошими только по отношенію къ формѣ, мимо ихъ содержанія. Изъ уваженія къ заслугамъ поэта, публика, пожалуй, прочтетъ его стихи, хотя бы въ нихъ и не нашла ничего, кромѣ старыхъ, давно уже знакомыхъ ей мотивовъ и азіатскихъ сказокъ, перешедшихъ черезъ нѣмецкія руки; но перечитывать ихъ она едва-ли будетъ. Изъ новыхъ талантовъ она обратитъ свое вниманіе развѣ только на что-нибудь слишкомъ самобытное и оригинальное. Потому теперь сдѣлалось очень труднымъ выйти въ таланты: мало таланта формы, мало даже фантазіи—нуженъ умъ, источникъ идей, нужна богатая натура, сильная личность, которая, опираясь на самую себя, могла бы властительно приковать къ себѣ взоры всѣхъ. Вотъ что нужно теперь, чтобъ имѣть право называться поэтомъ. Послѣ Пушкина такимъ поэтомъ явился Лермонтовъ. Онъ, какъ извѣстно, умеръ рано и потому успѣлъ написать слишкомъ немного. Онъ дѣйствовалъ на литературномъ поприщѣ не болѣе какихъ-нибудь четырехъ лѣтъ, а между тѣмъ въ это ко-

роткое время успѣлъ обратить на свой талантъ удивленные взоры цѣлой Россіи; на него тотчасъ же стали смотрѣть, какъ на великаго поэта... И такой успѣхъ получить послѣ Пушкина!.. Согласитесь, что все это отношѣ не доказываетъ, чтобъ время поэзіи прошло, и чтобъ стихи писались только для забавы пустыхъ людей. Посредственность въ поэзіи не долговѣчна; но истинная поэзія вѣчна, вкусъ къ ней никогда не пройдетъ.

Передъ нами книга, которую могутъ считать за что кому угодно—одна за книгу, другіе—за маленькую тетрадку. Тѣ, которымъ дорога память гениальнаго поэта, которые интересуются каждымъ стихомъ, вышедшимъ изъ-подъ пера его и замѣчательнымъ для нихъ, если не въ эстетическомъ, то въ психологическомъ отношеніи,—тѣ, говоримъ, совершенно вправѣ считать ее за книгу. Но тѣ, которые любятъ въ поэзіи одно совершенное, безъ отношенія личности поэта, въ правѣ считать ее за маленькую тетрадку. Однакожъ эта маленькая тетрадка драгоцѣннѣе многихъ толстыхъ книгъ; въ ней они найдутъ пьесы: «Сонъ», «Тамара», «Утѣсь», «Выхожу одинъ я на дорогу», «Морская Царевна», «Изъ подъ таинственной холодной полумаски», «Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой», «Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю», «Не плачь, не плачь, мое дитя», «Пророкъ», «Свиданіе»,—одиннадцать пьесъ, всѣ высокаго, хотя и не равнаго достоинства, потому что «Тамара», «Выхожу одинъ я на дорогу» и «Пророкъ», даже и между сочиненіями Лермонтова, принадлежать къ блестящимъ исключеніямъ... Что касается до остальныхъ десяти пьесъ (изъ нихъ одна—цѣлая поэма), которыхъ мы не поименовываемъ, большая часть ихъ ознаменована то проблесками таланта Лермонтова, то отпечаткомъ его личности, и въ этомъ отношеніи всѣ онѣ чрезвычайнаго любопытны. Одинъ журналъ жестоко нападалъ на «Отечественныя Записки» за помѣщеніе будто-бы Лермонтовскаго хлама, дѣлаемаго будто-бы изъ корыстныхъ разсчетовъ, и кончилъ эти нападки тѣмъ, что самъ, для показанія своихъ безкорыстныхъ разсчетовъ, въ одно прекрасное утро явился вдругъ съ семью стихотвореніями Лермонтова, которыя, за исключеніемъ послѣдняго, всѣ довольно слабы и изъ которыхъ два («Весна» и «Я не люблю тебя») гораздо прежде были напечатаны въ «Отечественныхъ Запискахъ». Послѣднее было напечатано еще въ первомъ изданіи стихотвореній Лермонтова, 1840 г., и въ первой части второго изданія, 1842 года, но передѣланное и въ лучшемъ видѣ; тамъ оно начинается стихомъ: «Разстались мы, но твой портретъ...».

Всѣ сочиненія Лермонтова сдѣлались теперь навсегда собственностью ихъ издателя, вслѣдствіе права, приобретеннаго имъ отъ наслѣдниковъ покойнаго поэта. Это обстоятельство насъ очень радуешь, ибо ручается, что изданія сочиненій Лермонтова будутъ продолжаться непрерывно по мѣрѣ требованій со стороны публики, которымъ тоже нельзя ожидать перерыва. Равнымъ образомъ это

обстоятельство ручается сколько за то, что сочинения Лермонтова всегда будут издаваться под хорошою редакціей и изящно въ типографскомъ отношеніи, столько и за то, что многочисленные почитатели таланта Лермонтова могутъ надѣяться увидѣть полное собраніе его сочиненій, изданное по другому плану. Что касается собственно до насъ, то, не принимая на себя права совѣтовать, мы изъявляемъ здѣсь желаніе поскорѣе увидѣть сочинения Лермонтова сжато изданными въ двухъ книгахъ, изъ которыхъ одна заключала бы въ себѣ «Героя Нашего Времени», а другая—стихотворенія, расположенныя въ такомъ порядкѣ, чтобъ лучшія пьесы помѣщены были одна за другой по времени ихъ появленія; за ними слѣдовали-бы отрывки изъ «Демона», «Бояринъ Орша», «Хаджи Абрекъ», «Маскарадъ», «Уѣздная Казначейша», «Измаилъ Вей», а наконецъ уже всѣ мелкіе пьесы низшаго достоинства.

Говорятъ, что въ рукахъ одного извѣстнаго русскаго литератора находится еще нѣсколько нигдѣ доселѣ ненапечатанныхъ пьесъ Лермонтова. Имя этого литератора вполне можетъ служить ручательствомъ въ подлинности этихъ пьесъ. Кто не пожелаетъ поскорѣе увидѣть ихъ въ печати, особенно въ новомъ и, слѣдовательно, болѣе полномъ изданіи сочиненій Лермонтова?...

**Стихотворенія В. Жуковскаго. Томъ
десятый. Спб. 1844.**

Литература наша всячески бѣдна. У насъ мало гениальныхъ писателей,—да и тѣ писали и пишутъ очень мало, по крайней мѣрѣ гораздо меньше, нежели сколько можно и должно ожидать отъ ихъ средствъ; у насъ мало талантовъ,—да и тѣ писали и пишутъ еще меньше писателей перваго разряда. Самый дѣятельный и плодотворный изъ русскихъ писателей, безъ сомнѣнія—Пушкинъ. Дѣйствительно, онъ написалъ чрезвычайно много въ сравненіи съ каждымъ изъ его литературныхъ собратьевъ; но тѣмъ не менѣе нельзя бояться утонуть въ этой безднѣ; отъ ея глубины даже и голова не закружится: количество сочиненій Пушкина безконечно уступаетъ ихъ достоинству. И причину этому не одна только преждевременная смерть великаго поэта: онъ могъ бы написать вчетверо больше того, сколько написалъ въ продолженіе своей литературной дѣятельности. Это частью происходило и оттого, что онъ долго не хотѣлъ вполне отдаться своему призванію—хотѣлъ казаться больше волонтеромъ литературы, нежели писателемъ и по призванію и ex-officio вмѣстѣ. Только незадолго передъ своей кончиной началъ онъ видѣть въ своемъ призваніи дѣлъ и опредѣленіе своей жизни, началъ трудиться какъ человекъ, обрекшій себя постоянному труду литературному, смотрѣть на себя, какъ на писателя по преимуществу. Это было необходимымъ результатомъ полного развитія и полной зрѣлости его таланта. Можно сказать утвердительно,

не въ видѣ предположенія, что еслибъ Пушкинъ прожилъ еще десять лѣтъ,—онъ написалъ-бы вдвое больше, нежели сколько написано имъ съ 1818 до 1836 года, слѣдовательно, почти въ двадцать лѣтъ,—и тѣмъ чувствительнѣе должна быть для насъ его безвременная утрата! Повидимому, какъ много произвела бездарность Сумарокова и Хераскова, а между тѣмъ это—оптический обманъ, происходящій отъ неуклюжаго и разгонистаго изданія ихъ издѣлій. Еслибъ четыре тома сочиненій Державина издать въ одной книгѣ большого формата, сжатою печатью, въ два столбца, какъ издаются французскіе писатели, то вышла бы книжечка, по своей тонинѣ чудовищно несообразная съ ея форматомъ. Фонвизинъ написалъ едва-ли меньше Державина, а между тѣмъ изданныя книгопродавцемъ Салаевымъ четыре части сочиненій Фонвизина (1830 г.) вошли потомъ въ одну престранно тощую книжку большого формата, компактнаго изданія въ двѣ колонны, книгопродавца И. Глазунова (1838 г.).

Но мы почти не имѣемъ возможности пользоваться и тѣмъ, что произвела необширная дѣятельность нашихъ немногихъ писателей: всѣ они издавались и издаются у насъ такимъ образомъ, что ихъ сочиненій нельзя имѣть тѣмъ именно людямъ, которые и читаютъ книги и покупаютъ. Люди, которые были-бы въ состояніи приобрѣтать не только книги, но и цѣлыя библіотеки,—эти-то люди у насъ всего менѣе и всего рѣже покупаютъ книги, особенно русскія. Наша книжная торговля держится читателями или не весьма богатыми, или просто бѣдными. Поэтому охотники почитать и купить книгу у насъ рѣдко дозволяютъ себѣ это удовольствіе. И какъ же иначе? У насъ книга дороже золота. Вообразите себѣ, напримѣръ, учителя словесности, которому, по его профессіи, нельзя не имѣть собранія всѣхъ замѣчательнѣйшихъ писателей русскихъ, кромѣ теоретическихъ сочиненій по части преподаваемаго имъ предмета; представьте себѣ журналиста, рецензента, критика, которому необходимо имѣть не только замѣчательнѣйшихъ, но и всѣхъ сколько-нибудь извѣстныхъ писателей, не исключая изъ ихъ числа ни Третьяковского, ни Сумарокова,—необходимо имѣть ихъ для справокъ, указаній, ссылокъ, выписокъ; представьте себѣ, наконецъ, простого любителя русской литературы, который занимается ею съ толкомъ и во всякомъ даже устарѣвшемъ, но въ свое время имѣвшемъ вѣсъ, авторѣ видѣть болѣе или менѣе любопытную лѣтопись вкусовъ, понятій, нравовъ, языка, литературы прошедшаго времени:—сколько имъ надобно употребить денегъ на приобрѣтеніе всѣхъ этихъ книгъ! Собранію сочиненій Сумарокова, въ десяти частяхъ, въ каталогѣ Смирдина, цѣна выставлена—сто рублей ассигнациями!... Собраніе сочиненій Ломоносова, по этому каталогу, стоить шестьдесятъ рублей!... Собраніе сочиненій Хераскова, въ двѣнадцати частяхъ, стоить, по этому каталогу, восемьдесятъ рублей! Сочиненія Кантемира и Третьяковского никогда не были изданы вполне, и чтобъ собрать всѣ сочи-

ненія Тредьяковскаго, какъ вы думаете, сколько, по каталогу Смирдина, должно употребить на это денегъ?—Триста тридцать восемь рублей ассигн.!... И всѣхъ этихъ писателей трудно достать по случаю, а если и удастся, то они обойдутся не слишкомъ дешевле цѣны, выставленной въ каталогѣ Смирдина. Необходимость искать и собирать нѣсколько книгъ, чтобъ имѣть полное собраніе сочиненій одного автора, тоже стоитъ потери денегъ. Купивъ собраніе стихотвореній Капниста, надо еще купить его знаменитую въ свое время комедію «Ябеда». Фонвизинъ перевелъ прозой поэму Витобѣ «Юсифъ», басни Гольберга, «Жизнь Снега, царя египетскаго», «Сидней и Силли, или Благодареніе и Благодарность», «Любовь Хариты и Полидора», «Слово похвальное Марку Аврелію» Томаса, «Торгующее Дворянство, противоположное дворянству военному»,—и всего этого, равно какъ и «Слово на выздоровленіе Великаго Князя Павла Петровича», и стихотвореній: «Сидней» и «Матюшка Разнощикъ»,— всего этого тѣсно стали бы вы искать въ «Полномъ собраніи сочиненій Д. И. Фонвизина» (1838). Положимъ, вамъ впродолженіе многихъ лѣтъ, съ потерей значительныхъ (сравнительно съ товаромъ) денегъ, удалось все это собрать: сколько нужно мѣста для помѣщенія всѣхъ этихъ книгъ, разноформатныхъ, разношерстныхъ, старинныхъ, безвкусно, неопытно изданныхъ, разгонисто напечатанныхъ! И все это изъ удовольствія или необходимости заглянуть въ иную изъ этихъ книгъ одинъ разъ въ три года! А новыя-то писатели, напримѣръ Пушкинъ? Полное собраніе его сочиненій, не всѣхъ собранныхъ и дурно изданныхъ какъ въ отношеніи къ редакціи, такъ и въ отношеніи типографскою (особенно первые восемь томовъ), стоитъ шестьдесятъ рублей!... Шестьдесятъ рублей полное собраніе не вполне собранныхъ сочиненій писателя, уже семь лѣтъ умершаго, — сочиненій, изъ которыхъ многія еще при жизни автора были по нѣскольку разъ изданы! Шестьдесятъ рублей—одиннадцать неуклюжихъ томовъ!... Когда авторъ самъ издаетъ свое сочиненіе, онъ воленъ назначить ему цѣну по своей прихоти, и вообще большіе проценты за новостъ сочиненія—самое законное пріобрѣтеніе. Но когда творенія автора извѣстны всѣмъ читающимъ людямъ цѣлаго народа, когда каждое изъ нихъ издавалось по нѣскольку разъ и когда наконецъ уже нѣтъ болѣе самого автора, — его сочиненія должны быть издаваемы вполне, для всѣхъ, слѣдовательно дешевле. Восемь главъ «Онѣгина» сперва стоили сорокъ рублей; потомъ, изданный отдѣльно и вполне, «Онѣгинъ» продавался по десяти рублей, а наконецъ — по пяти; теперь не худо было бы, еслибъ хорошенькое изданіе этой поэмы можно было имѣть за 50 или 40 к. серебромъ. Посмотрите, какъ за-границей издаютъ классические писатели. Огромный томъ превосходнаго компактнаго изданія въ двѣ колонны стоитъ не дороже десяти рублей. Превосходнѣйшее изданіе всего Байрона въ Лондонѣ стоитъ

восемь рублей. Къ полному собранію сочиненій извѣстнаго писателя тамъ прилагается его біографія, писанная извѣстнымъ литераторомъ; примѣчанія и комментаріи почитаются тоже необходимостью подобныхъ книгъ. Въ изданіи полныхъ сочиненій Байрона, о которомъ мы сейчасъ говорили, вошли не только даже слабыя и неудачныя произведенія этого поэта, каковы — «Часы Праздности», не только его письма, но и всѣ критики и антикритики, написанныя при его жизни по поводу каждаго изъ его произведеній. Скажутъ: сочиненія Байрона — теперь въ Англіи общее достояніе, и издателю не нужно платить денегъ за право ихъ изданія, тогда какъ произведенія большей части лучшихъ нашихъ писателей составляютъ собственность или самихъ ихъ, или ихъ наслѣдниковъ, и потому еще не можетъ быть хорошихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ дешевыхъ изданій сочиненій напримѣръ Карамзина и Пушкина. — Это правда; но, во-первыхъ, почему не желать хотя дорогихъ, зато хорошихъ и полныхъ изданій Карамзина и Пушкина? А во вторыхъ, почему до сихъ поръ еще нѣтъ компактнаго изданія сочиненій Державина, которое, будучи полно, снабжено хорошимъ портретомъ, хорошо написанной біографіей этого поэта и необходимыми примѣчаніями въ поясненіе текста его твореній, стоило бы не дороже полутора рубля серебромъ? Вѣдь уже слишкомъ три года, какъ сочиненія Державина сдѣлались общимъ достояніемъ! Почему нѣтъ такого же изданія сочиненій Ломоносова, отъ смерти котораго протекло уже 79 лѣтъ? Мы даже думаемъ, почему бы не быть компактнымъ изданіемъ всѣхъ русскихъ писателей, которые хотя только въ свое время пользовались большою извѣстностью, а теперь забыты, каковы: Кантемиръ, Тредьяковскій, Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Вобровъ? Французъ въ этомъ отношеніи могли бы служить намъ образцомъ, подражаніе которому не было бы ни смѣшно, ни бесполезно. Вѣдь они издаютъ же напримѣръ Деліля? И хорошо дѣлаютъ: кто ничего не видитъ для себя въ Делілѣ, тотъ пусть и не читаетъ его; но зачѣмъ же лишать удовольствія читать его тѣхъ, которые могутъ находить удовольствіе, читая его? И мы не безъ основанія думаемъ, что въ Россіи теперь еще не мало почтенныхъ пожилыхъ людей, которые Сумарокова, Хераскова и Петрова считаютъ великими писателями, гораздо выше Пушкина, и которые обрадовались бы возможности пріобрѣсти за дешевую цѣну вполне, опрятно, хорошо изданныя вновь сочиненія этихъ корифеевъ добраго стараго времени. Сверхъ того подобныя изданія были бы нелишними въ бібліотекахъ казенныхъ учебныхъ заведеній, были бы необходимы для всѣхъ занимающихся русской литературой по страсти или ex-officio. Можно имѣть современныя понятія объ эстетическомъ достоинствѣ сочиненій Сумарокова, Хераскова и Петрова, но нельзя лишать ихъ всякаго значенія. Правда, со стороны содержанія скоро выдохлись и сочиненія писателей повыше

этихъ трехъ, и потому весьма естественно скорое охлажденіе къ нимъ вслѣдъ за ними же вышедшихъ поколѣній, которыя не чувствовали слишкомъ ощутительной связи интереса между ихъ сочиненіями и своими собственными потребностями, и которыя имѣли всѣ причины болѣе смотрѣть впередъ, нежели оглядываться назадъ. Но, съ другой стороны, нельзя не согласиться, что и сочиненія такихъ писателей, какъ Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Княжнинъ, не лишены своего интереса: они—болѣе или менѣе живая лѣтопись вкусовъ, понятій, нравовъ, литературы и языка прошедшаго времени. Въ отношеніи къ языку даже Тредьяковскій не лишень для насъ интереса. Сверхъ того всякій успѣхъ основывается на какомъ-нибудь правѣ и всегда болѣе или менѣе заслуженъ. Въ царствованіе Екатерины были довольно плодотворные писатели и кромѣ тѣхъ, которыхъ мы сейчасъ назвали, однако они не пользовались почти никакой извѣстностью, тогда какъ современники Сумарокова называли его побѣдителемъ Лафонтена, Расина, Вольтера; Петровъ ставился почти наравнѣ съ Державинимъ, а о Херасковѣ вотъ что написалъ человѣкъ уже другого поколѣнія, товарищъ и сподвижникъ Карамзина—Дмитріевъ:

Пускай отъ зависти сердца возмоль ноютъ:
Хераскову они вреда не нанесутъ;
Владиміръ, Іоаннъ плетомъ его покроютъ
И въ храмъ бессмертія проведутъ.

Какъ бы то ни было, но людямъ, которые пользовались единодушнымъ, хотя и преувеличеннымъ, уваженіемъ своихъ современниковъ, потомство не можетъ, безъ несправедливости, отказать если не въ уваженіи, то во вниманіи,—и если въ школахъ считаютъ нужнымъ и полезнымъ преподавать между прочимъ и исторію русской литературы, то, знакомя учениковъ съ именами писателей, не худо было бы знакомить и съ ихъ сочиненіями,—хотя бы для того только, чтобъ они имѣли какую-нибудь возможность понять, за что учитель хвалитъ или не хвалитъ этихъ писателей. А это рѣшительно невозможно безъ изданій, о которыхъ мы разговаривали. Компактныя изданія въ большую восьмушку, въ два столбца—превосходное изобрѣтеніе: оно даетъ возможность дѣлать дешевыми дорогія книги. Если тотъ или другой авторъ написалъ довольно для наполненія такой большой книги,—пусть онъ будетъ изданъ отдѣльно. Писавшихъ мало можно соединять по нѣскольку въ одной книгѣ, съ общимъ заглавнымъ листомъ, гдѣ бы выставлены были ихъ имена подъ общей нумераціей. Такимъ образомъ въ одну книгу можно было бы соединить сочиненія Поповскаго, Дашковой, Баркова, Эмина, Кострова, Майкова, Аблесимова, Плавильщикова, Богдановича, Хемницера, Нелединскаго-Мелецкаго, Боброва, Долгорукова, Подшивалова, Муравьева (М. Н.) и другихъ. Другая книга соединила бы писателей другого поколѣнія—Макарова, Буринскаго, Мартынова, Капниста, Дмитіева, Озерова,

Восойкова, Панина, Сумарокова (Панкратія), В. Пушкина, Милонова, Крюковского, Измайлова (А.), Ильина, Иванова и другихъ. Такъ какъ мы пишемъ здѣсь не планъ такого изданія, а только предлагаемъ мысль о возможности и пользѣ его, то и не отвѣчаемъ за точность и опредѣленность раздѣленія книгъ по писателямъ, сочиненія которыхъ должны туда войти. Мы не считаемъ излишнимъ и изданіе Шишкова, сочиненія котораго интересны по ихъ полемическому характеру и еще какъ живой фактъ для сужденія о реформѣ, произведенной Карамзинимъ въ русскомъ языкѣ и русской литературѣ. Весьма было бы полезно компактное изданіе (въ двухъ или—уже много—трехъ книгахъ) «Дѣяній Петра Великаго» Голицева, потому что новое изданіе ихъ неполно (въ чемъ издатель нисколько не виноватъ) и дорого (потому что оно не компактное), а старое изданіе и уродливо, и рѣдко. Мы думаемъ еще, что труды такихъ людей, какъ Теофанъ Прокоповичъ, Конисскій, Бецкій, Рычковъ, Румовскій (переводчикъ Тацита, котораго новаго перевода намъ, кажется, не дожидаться), Лепехинъ, Миллеръ, Озерецковскій, Головинъ и другіе, очень бы стоили новаго изданія,—особенно при теперешней бѣдности русской литературы. Все это интересно, и всего этого нельзя достать.

Читатели не удивятся, что на эти мысли навелъ насъ девятый томъ «Стихотвореній В. Жуковского», если мы скажемъ, что первыхъ восьми томовъ сочиненій этого поэта теперь почти нѣтъ въ лавкахъ, и что теперь ихъ нельзя приобрести дешевле сорока пяти рублей... Кто не желалъ бы имѣть у себя собранія сочиненій Жуковского? скажемъ болѣе: кто изъ образованныхъ людей не обязанъ знать ихъ?—И между тѣмъ всѣмъ, многіе ли въ состояніи приобрести ихъ? Мы въ этомъ никого не винимъ, ни на кого за это не жалуемся: мы только показываемъ неопровержимое существованіе факта, что сочиненія Жуковского немногіе могутъ имѣть, и что занятіе русской литературой для людей небогатыхъ крайне разорительно. Въ этомъ мы видимъ одну изъ причинъ холодности русской публики къ русской литературѣ и жалкаго состоянія книжной русской торговли. Иному нужно имѣть сочиненія Жуковского; приходитъ онъ въ русскую книжную лавку. Что стоитъ?—Сорокъ пять рублей. Дорого! и купилъ бы, да не на что! Тотъ же читатель заходитъ мимоходомъ во французскую книжную лавку; видитъ между прочимъ парижское компактное изданіе — «Oeuvres complètes de Sterne.—Oeuvres choisies de Goldsmith. Nouvelle édition, ornée de huit vignettes, revue et augmentée de notices biographiques et littéraires par Walter Scott, traduites par M. Francisque Michel». Развертываетъ—изданіе красиво, изящно; виньетками названы—прекрасный гравированный портретъ Стерна и семь прекрасныхъ гравированныхъ картинокъ. Что стоитъ? Десять рублей. Еслибъ и не нужно было этой кни-

ги,—нельзя не соблазниться, не купить, хотя бы подь опасеніемъ быть обвиненнымъ въ пристрастіи къ лукавому Западу и въ равнодушіи къ російской словесности...

Сочиненій Жуковского было нѣсколько изданій; но изъ нихъ полное только одно, въ которомъ впрочемъ нѣтъ его переводовъ прозой («Переводы въ прозѣ В. Жуковского». Пять частей. Москва. 1816—1817 года). Первые пять томовъ были изданы въ Петербургѣ въ 1835 году, подь титуломъ «Стихотворенія В. Жуковского»; седьмой томъ изданъ тоже въ 1835 году и подь титуломъ «Сочиненія В. Жуковского»; шестой томъ «Стихотвореній» въ 1836, а восьмой (тоже «Стихотвореній») — въ 1837; теперь вышелъ девятый томъ. Онъ заключаетъ въ себѣ уже извѣстныя публикѣ новыя стихотворенія знаменитаго поэта: «Наль и Дамаянти», индійская повѣсть, съ нѣмецкаго; «Камоенсъ», драматическій отрывокъ, подражаніе Гальму; «Сельское Кладбище», Греева элегія, новый переводъ; «Бородинская Годовщина»; «Молитвой нашей Богъ смягчился»; «Цвѣтъ Завѣта». Если этотъ томъ объемлетъ собою и всю дѣятельность поэта отъ 1838 до 1844 года, то нельзя сказать, чтобъ онъ теперь меньше писалъ, нежели прежде, потому что эти всѣ девять томовъ (за исключеніемъ переводовъ въ прозѣ) написаны имъ въ продолженіе сорока лѣтъ. Самый избытокъ достоинства въ сочиненіяхъ Жуковского еще болѣе заставляетъ сожалѣть объ умѣренности въ ихъ количествѣ. Публикѣ извѣстно наше мнѣніе о значеніи этого поэта въ русской литературѣ. Оно велико: Жуковскому принадлежатъ честь введенія романтизма въ русскую поэзію. Романтикъ по натурѣ, Жуковский и до сихъ поръ остался романтикомъ по преимуществу. Отсюда великія достоинства и нѣкоторые недостатки его поэзіи. Какъ бы чувствуя самъ, что уже прошло время для романтической поэзіи, Жуковский, обремененный заслуженными лаврами, является теперь на поэтическое поприще болѣе, какъ ветеранъ поэзіи, нежели какъ воинъ, состоящій въ дѣйствительной службѣ. Его теперь особенно занимаетъ не сущность содержанія, а простота формы въ изящныхъ произведеніяхъ,—и надобно сказать, что въ этой простотѣ съ нимъ было бы трудно состязаться какому угодно поэту. При этой простотѣ, которой единственный недостатокъ состоитъ въ томъ, что она нѣсколько искусственна (потому что и самая простота можетъ быть искусственна, если за нею будете усильно стремиться)—при этой простотѣ стихъ Жуковского такъ легокъ, прозраченъ, тепелъ, прекрасенъ, что, благодаря ему, вы можете прочесть отъ начала до конца «Наль и Дамаянти» — индійскую поэму съ нѣмецко-романтическимъ колоритомъ — къ совершенному вашему удивленію, несмотря на то, что привыкли требовать отъ поэзіи пищи не одному вашему чувству или одной фантазіи, но и уму. Прочтите отрывокъ изъ довольно посредственной драмы Гальма «Ка-

моенсъ», и вы опять удивитесь стиху Жуковского и поймете, что поэтъ, владѣющій такимъ стихомъ, можетъ быть не слишкомъ строгимъ въ выборѣ пьесъ для переводовъ. Говорятъ, Жуковский переводитъ теперь «Одиссею» съ подлинника: утѣшительная новость! При удивительномъ искусствѣ Жуковского переводить, его переводъ «Одиссеи» можетъ быть образцовымъ, если только поэтъ будетъ смотрѣть на подлинникъ этой поэмы прямо по-гречески, а не сквозъ призму нѣмецкаго романтизма.

Изданіе девятаго тома «Стихотвореній В. Жуковского» прекрасно во всѣхъ отношеніяхъ. Жаль только, что при оглавленіи не выставлено страницъ; это облегчало бы приисканіе пьесы, которая нужна; но это вѣроятно вина редактора, а не издателя.

На сонѣ грядущій. *Отрывки изъ ежедневной жизни. Томъ I. Сочиненіе графа В. А. Соллогуба. Спб. 1844.*

Издѣдка явится въ толстомъ журналѣ хорошая оригинальная повѣсть, хорошее стихотвореніе; потому авторъ издастъ отдѣльной книгой свои повѣсти или свои стихотворенія, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ помѣщавшіяся въ журналахъ; дажѣ — новыя изданія этихъ повѣстей и стихотвореній или новыя изданія прежнихъ писателей: вотъ въ чемъ заключается движеніе изящной русской литературы нашего времени. За исключеніемъ этого, все мертво и пусто, даже посредственность и бездарность, столь дѣятельныя прежде, теперь дѣйствуютъ лѣнливо и робко. Впрочемъ въ этомъ есть своя хорошая сторона: лучше немного истинно хорошаго, нежели много посредственнаго и дурного. Мы не разъ уже говорили, что бѣдность современной русской литературы гораздо значительнѣе и плодотворнѣе, нежели прежнее ея богатство, потому что причина этой бѣдности между прочимъ заключается и въ томъ, что публика сдѣлалась взыскательнѣе и разборчивѣе, а для авторства сдѣлался необходимымъ талантъ. Таланты же не сѣются, а сами рождаются. Прежде быть талантомъ ничего не стоило, и новостъ принималась за одно съ достоинствомъ. Дѣйствительно, новаго тогда было очень много сравнительно съ нашимъ временемъ; но цѣнность этого «новаго», которое теперь такъ устарѣло, уже опредѣляется совсѣмъ по другимъ основаніямъ. «Сѣверные Цвѣты» считались въ свое время лучшимъ русскимъ альманахомъ; появленіе этой крохотной книжки въ продолженіе семи лѣтъ было годовымъ праздникомъ въ литературѣ, къ которому всѣ приготавлились заранѣе журнальными и словесными толками. И что же было въ этомъ альманахѣ? Въ отдѣлѣ прозы совершенное ничтожество — статьи Ореста Сомова, аллегоріи Ѳ. Глинки и тому подобныя невинныя литературныя опыты; а сколько балласта въ отдѣлѣ стиховъ! Хорошаго только и

было, что стихотворенія Пушкина, Жуковского, да нѣсколько стихотвореній Баратынскаго; почти все остальное дышало такой посредственностью, такимъ ничтожествомъ, что не можешь довольно удивиться безтребовательности тогдашней публики. А между тѣмъ сколько было и другихъ альманаховъ, которые пользовались тогда значительнымъ успѣхомъ и которые были еще хуже «Сѣверныхъ Цвѣтовъ»! Какого шума надѣлали своимъ появленіемъ повѣсти Марлинскаго, которыя теперь навѣваютъ зѣвоту даже на бывшихъ поклонниковъ этого фосфорическаго краснослова! И въ то же время со вниманіемъ читали отрывки изъ историческаго романа Б. Ф(Ѳ)едорова—«Андрей Курбскій», и заранѣе видѣли въ его сочинителѣ русскаго Вальтера-Скотта. И въ то же время были въ восторгѣ отъ «Гайдамаковъ» Порфирія Байскаго, изрѣдка потчивавшаго публику гомеопатическими отрывками изъ этого романа, которому не суждено было выйти изъ отрывочнаго существованія. И въ то же время читали и «Ягуна Скупалова», и «Удивительнаго Человѣка», и «Записки Москвича», говорили и спорили о нихъ. И въ то же время авторъ «Монастырки» снискалъ себѣ безсмертную славу. Повѣсти Погодина и Полевого имѣли своихъ жаркихъ поклонниковъ, особенно повѣсти послѣдняго. Первые отличались народностью: отъ нихъ такъ и несло кислой капустой; языкъ ихъ прямо, цѣлкомъ перенесенъ былъ на бумагу съ базара; вторыя—электрической смѣсью самодѣльной идеальности и вышнихъ взглядовъ съ нѣмецкой сентиментальностью по манеру Клаурена. Гдѣ все это, и что теперь во всемъ этомъ? Альманахи перевелись изъ моды, потому что слава видѣть себя въ печати потеряла цѣну даже и въ глазахъ мальчиковъ, а хорошія статьи перестали давать gratis. Повѣсти, о которыхъ мы говорили, какъ чахоточныя дѣти всѣ перемерли прежде отцовъ своихъ. Повѣсти Гоголя измѣнили вкусъ публики, дали новое направленіе литературѣ и погубили во цвѣтѣ лѣтъ много повѣстей и романовъ старой школы. Писать стало мудрено, успѣхъ сдѣлался труденъ. Прегніе повѣствователи и рассказчики потеряли кредитъ, исключая тѣхъ, которые догадались своротить съ старой тропы на новую дорогу. Насталъ чередъ новому поколѣнію.

Намъ скажутъ: много ли гениевъ и талантовъ явилось изъ новаго поколѣнія? много ли великихъ твореній произвело оно, и не та же ли участь, не то же ли забвеніе ожидаетъ и его столь хвалимыя и такъ читаемыя теперь произведенія? Мы можемъ отвѣчать на этотъ вопросъ со всей искренностью и безъ всякаго самолюбиваго обольщенія. Гениевъ изъ новаго поколѣнія не явилось ни одного, за исключеніемъ автора «Героя Нашего Времени»; талантовъ явилось тоже немного, да и написано ими тоже не слишкомъ много. Долго ли они будутъ читаться — не знаемъ; но что ихъ повѣсти прожить гораздо дольше повѣстей, о которыхъ мы говорили, это для насъ ясно. И вотъ почему: куда оставляя въ сторонѣ вопросъ о талантѣ,

есть огромная разница между направленіемъ, манерой, духомъ и содержаніемъ повѣстей старой и новой школы. Эту разницу можно опредѣлить въ немногихъ словахъ: прегнія повѣсти изображали міръ, существовавшій только въ фантазіи ихъ авторовъ, тогда какъ повѣсти нашего времени изображаютъ дѣйствительную жизнь. Литература, въ которой нельзя видѣть вѣрнаго зеркала общества, не стоитъ вниманія людей мыслящихъ и можетъ служить только невинной забавой людямъ недалекимъ. Чтобы фактически показать существенную разницу между повѣстями старой и новой школы, укажемъ на нѣкоторые изъ новыхъ произведеній въ этомъ родѣ. Скажите: какая изъ прегнихъ повѣстей можетъ быть перечитана послѣ напригѣръ «Колбасниковъ и Бородачей», повѣсти Луганскаго,—писателя не изъ новаго поколѣнія, но даровитаго и, къ счастью, оставившаго свое прегнее ложное направленіе для новаго и лучшаго? Была ли прежде хоть одна повѣсть, которая заслуживала бы какого-нибудь вниманія послѣ «Послѣдняго Визита», повѣсти псевдонима Нестроева? Скажемъ болѣе: въ какой изъ прегнихъ повѣстей найдется столько поразительно вѣрныхъ дѣйствительности чертъ, столько дѣльных сторонъ, какъ въ «Чайковскомъ», повѣсти Гребенки?.. Повѣсти Палаева, столь жадно читаемыя теперешней публикой, не отличаются ни разнообразіемъ, ни особеннымъ присутствіемъ въ нихъ чисто-поэтическаго, чисто-творческаго элемента,—и между тѣмъ какой аркадіей кажутся передъ ними прегнія повѣсти, какое на ихъ сторонѣ преимущество передъ прегними повѣстями во взглядѣ на вещи, въ дѣльности направленія, въ мѣткой наблюдательности!

Графъ Соллогубъ занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ между писателями повѣстей новой школы. Это талантъ рѣшительный и опредѣленный, талантъ сильный и блестящій. Поэтическое одушевленіе и теплота чувства соединяются въ немъ съ умомъ наблюдательнымъ и вѣрнымъ тактомъ дѣйствительности. Какъ всѣ истинные таланты, онъ не гонимъ за необыкновенными идеалами и умѣетъ находить матеріалы для поэтическихъ созданій въ той прозаической сущности, которая у всѣхъ передъ глазами, но въ которой только немногіе провидятъ и жизнь, и поэзію. Въ основѣ почти каждой его повѣсти лежитъ мысль, которая одна даетъ полноту и цѣлость сюжету. Поэтому очень трудно пересказывать содержаніе повѣстей графа Соллогуба: въ нихъ важны не завязка съ развязкой, не внѣшнее событіе, а то внутреннее созерцаніе, котораго сюжетъ служитъ только выраженіемъ и которое постигается и оцѣнивается только созерцаніемъ же. Поэтому художественное достоинство повѣстей графа Соллогуба преимущественно заключается въ подробностяхъ и колоритѣ. По нашему мнѣнію, нѣтъ поэзіи и творчества, нѣтъ мысли въ той повѣсти, которую вы знаете, если вамъ рассказали ея сюжетъ. Поэтическая повѣсть не пересказываема: ее надо читать, чтобы узнать ея содержаніе.

Повѣсти графа Соллогуба такъ извѣстны нашей публикѣ, что нѣтъ никакой нужды слишкомъ распространяться о каждой изъ нихъ въ особенности. Графъ Соллогубъ началъ писать съ 1837 года. Первые его опыты: «Три Жениха», «Два Студента» и «Сережа» — не болѣе, какъ довольно удачные опыты. «Исторія двухъ Калошъ» была первой повѣстью графа Соллогуба, обратившей на его талантъ общее вниманіе. «Вольшой Свѣтъ» упрочилъ это вниманіе за авторомъ «Исторіи двухъ Калошъ». Поименованныя нами повѣсти составляютъ содержаніе перваго тома «На Сонѣ Грядущій». Всякій истинный талантъ развивается и идетъ впередъ: поэтому очень естественно, что второй томъ этой книги далеко превосходитъ первый въ достоинствѣ. Въ краткомъ, но исполненномъ ума и скромнаго сознанія, предисловіи даровитый авторъ говоритъ, что и порадованъ, и опечаленъ постояннымъ требованіемъ публики на его книгу: порадованъ, какъ доказательствомъ, что у насъ читаютъ хотятъ; опечаленъ, какъ доказательствомъ, что у насъ нечего читать. Говоря, что его первые повѣсти не стоили чести втораго изданія, онъ признается, что думалъ ихъ переправить; «но (продолжаетъ онъ) переправить писанное за десять лѣтъ — такъ же легко, какъ сдѣлаться десятию годами моложе. И такъ, эти повѣсти остаются какъ были, со всѣми прежними своими недостатками, со всѣми прегрѣшеніями неопытности, но подъ защитой теплыхъ чувствъ молодости, которыя, къ сожалѣнію, утрачиваются по мѣрѣ того, какъ настоящая оцѣнка искусства и жизни яснѣе опредѣляется въ умѣ». Не совсѣмъ соглашаясь съ авторомъ въ его строгое судъ надъ своими первыми произведеніями, мы очень рады, что онъ не рѣшилъ ихъ переправлять. Всякое поэтическое произведеніе тѣсно, родственно, кровно связано съ породившей его минутой: прошла минута — и переправлять значить портить. Желаемъ скорѣе дождаться втораго изданія втораго тома и выхода третьяго. Увѣрены, что третій будетъ еще лучше; но въ то же время увѣрены, что и первый сохранять свою цѣну. Публика бываетъ судьей ошибочнымъ только на первое время появленія новыхъ сочиненій; послѣ первой минуты она рѣдко ошибается. Второе изданіе перваго тома сочиненій графа Соллогуба можно принимать за третье, потому что въ немъ публика уже въ третій разъ читаетъ одни и тѣ же произведенія: въ первый разъ она прочла ихъ въ журналахъ. Значитъ, на сочиненія графа Соллогуба она смотритъ не какъ на пріятныя новости, но какъ на произведенія капитальныя, какъ на необходимую принадлежность хорошей библіотеки. Не имѣя причины раздѣлять строгости, очень понятной въ истинномъ талантѣ, мы смѣло можемъ увѣрить автора, что публика потребовала новаго изданія первыхъ его опытовъ не оттого, что ей нечего читать.

Правила высшаго краснорѣчія. Сочиненіе Михаила Сперанскаго. Спб. 1844.

О подражаніи Христу, четыре книги *Фомы Кемпійскаго*, переведенныя съ латинскаго языка графомъ М. М. Сперанскимъ. Изданіе четвертое, Спб. 1845.

Первое изъ этихъ произведеній особенно замѣчательно по имени ихъ автора, столь славному въ исторіи русской администраціи и русскаго законодательства. «Правила высшаго краснорѣчія» важны еще и какъ доказательство, что сильный умъ сохраняетъ свою самостоятельность, даже и слѣдуя по избитой дорогѣ, и умѣетъ сказать что нибудь дѣльное даже и о предметѣ, всѣми ложно понимаемомъ въ его время. Книга графа Сперанскаго любопытна еще и какъ живой историческій памятникъ литературныхъ понятій и русскаго языка въ эпоху 1792 года. Это во многихъ отношеніяхъ историческое сочиненіе составлено изъ лекцій, которыя Сперанскій читалъ въ Санктпетербургской Духовной Академіи тотчасъ послѣ того, какъ самъ кончилъ въ ней курсъ наукъ. Тогда ему былъ 21 годъ отъ рожденія, и вѣроятно еще онъ не предвидѣлъ другого, болѣе блестящаго и важнаго поприща, на которое готовила его судьба.

Что касается до книги Фомы Кемпійскаго, — нечего распространяться въ похвалахъ ей: за нее говорятъ почти четыреста лѣтъ огромнаго и повсемѣстнаго успѣха. На русскомъ языкѣ ея было восемь переводовъ: (1647, 1681, 1764, 1780, 1784, 1799, 1816 годовъ); переводъ графа Сперанскаго былъ девятымъ и въ первый разъ былъ изданъ въ 1819 году. Слогъ перевода большей частью сообразенъ съ духомъ оригинала, но уже слишкомъ отзывается славянщиной; впрочемъ назадь тому двадцать пять лѣтъ никому бы и не пришло въ голову переводить иначе подобную книгу.

Импровизаторъ, или молодость и мечты итальянскаго поэта. Романъ Андерсена. Переводъ со шведскаго. Спб. 1844

Герой этого романа — презабавное лицо: восторженный итальянецъ, піэтистъ, поэтъ, любить женщинъ и страхъ какъ боится, чтобъ которая-нибудь не соблазнила его; человѣкъ со слабымъ характеромъ, чувствуетъ позоръ вельможескаго покровительства, страдаетъ отъ него — и не имѣетъ силы освободиться изъ-подъ обязательнаго ярма. Съ нимъ что ни шагъ, то приключеніе. Онъ влюбляется въ трехъ женщинъ, но съ одной расходится по недоразумѣнію; другая любитъ его братски; на третьей онъ наконецъ женится, несмотря на свою боязнь, что Мадонна накажетъ его за избраніе свѣтской жизни. Между многочисленными его приключеніями много по-истинѣ чудесныхъ, естественность которыхъ вполнѣ объясняется какъ-то натянуто. Вообще этотъ романъ не лишенъ занимательности, хотя мѣстами и очень ску-

чень, сколько по характеру героя, довольно жалкому, столько и по утомительному однообразію своего содержанія вообще. Самая интересная сторона его — итальянская природа и итальянскіе нравы, очерченные не безъ таланта и не безъ увлекательности. Но какъ блѣдны и слабы эти очерки въ сравненіи съ мастерскими картинками Италіи, дышащими глубокой мыслью и могучей жизнью въ романахъ Жоржъ Занда! При воспоминаніи о «Послѣдней Альдиини», «Домашнемъ Секретарѣ», «Маттеа», «Метелли», «Ускѣбѣ» и «Консулѣ», становится какъ-то жалко бѣднаго Андерсена... Впрочемъ, здѣсь всякое сравненіе возможно только по отношенію къ странѣ, которую онъ избралъ сценой своего романа. Невѣроятно, чтобъ Андерсенъ могъ быть представителемъ поэтическаго генія своего отечества, и чтобъ въ Даніи, имѣющей Эленшлегера, не было поэтовъ гораздо выше его. Можеть-быть даже и этотъ романъ—далеко не лучшее произведеніе Андерсена. Во всякомъ случаѣ, этотъ невинный романъ можеть съ удовольствіемъ и пользой читаться молодыми дѣвушками и мальчиками въ свободное отъ классныхъ занятій время. Переводъ «Импровизатора» очень хорошъ.

Исторія Наполеона. Соч. Николая Полевого. Томъ первый. Спб. 1844.

При каждомъ новомъ произведеніи Н. Полевого изумляешься неисощимой и разнообразной его дѣятельности. Чего не писалъ онъ! Лишь только зашевелится въ русской литературѣ что-нибудь похожее на новое направленіе или просто на новый вкусъ, новую моду, — онъ тутъ какъ тутъ, и всегда впереди тѣхъ, которые своимъ успѣхомъ прежде его открыли новое средство угождать прихоти публики. Но ему ни-почемъ обгонять русскихъ писателей и состязаться съ ними о пальмѣ первенства: онъ уже соперничествуе съ литературными славами Европы. Еще не успѣлъ Тьеръ напечатать свою «Исторію Наполеона», какъ Полевой уже выдалъ первый томъ своей «Исторіи Наполеона». Вотъ какъ мы состязуемся съ Европой! Изъ подъ пера Полевого, какъ видно по театральнымъ афишамъ, вышли почти въ одно и то же время драма «Павелъ и Виргинія» и — «Исторія Наполеона»! Впрочемъ что-жъ! Пусть читаютъ добрые люди «Исторію Наполеона», сочиненную Полевымъ, если не могутъ читать «Исторію Наполеона», сочиненную Тьеромъ. Конечно это далеко не одно и то же, но и «что-нибудь» лучше, нежели «ничего». При огромномъ изобиліи матеріаловъ на всѣхъ европейскихъ языкахъ, трудно было бы литератору, набившему руку въ многописаніи, не составить чего-нибудь вродѣ исторіи Наполеона, сколько-нибудь сносной. Жаль только, что Полевой иногда странно ошибается въ фактахъ, особенно во «Введеніи»; такъ наприм., онъ называетъ другомъ якобинцевъ закатаго врага ихъ, жирондиста Дюмуре. Другой недостатокъ «Исто-

ріи Наполеона» Полевого заключается въ общемъ недостатокѣ всѣхъ его сочиненій—въ языкѣ, который очень трудно читать.

Руководство къ познанію теоретической матеріальной философіи. Сочиненіе Александра Петровича Татаринова. Спб. 1844.

Германія — отечество философій новаго міра. Когда говорятъ о философій, то всегда разумѣютъ германскую, потому что никакой другой философій человечество не имѣетъ. Во всѣхъ другихъ странахъ философія есть попытка частнаго лица разрѣшить извѣстные вопросы о бытіи; въ Германіи философія—наука, исторически развивающаяся; ея обрабатываніе постепенно передается отъ поколѣнія къ поколѣнію. Кантъ первый положилъ прочныя начала новѣйшей философій и далъ ей наукообразную форму. Фихте своимъ ученіемъ выразилъ второй моментъ развитія философій: дѣйствуя независимо отъ Канта и даже ставъ въ полемическое къ нему отношеніе, онъ тѣмъ не менѣе былъ только продолжателемъ начатаго Кантомъ дѣла. Шеллингъ и Гегель—представители дальнѣйшаго движенія философій. Теперь гегелизмъ распался на три стороны — правую, которая остановилась на послѣднемъ словѣ гегелизма и далѣе не идетъ; лѣвую, которая отложила отъ Гегеля и свой прогрессъ полагаетъ въ живомъ примиреніи философій съ жизнью, теоріи съ практикой; и центральную, составляющую нѣчто среднее между мертвой стоячестью правой и стремительнымъ движеніемъ лѣвой стороны. Если мы сказали, что лѣвая сторона гегелизма отложила отъ своего учителя, это не значитъ, чтобъ она отвергла его великія заслуги въ сферѣ философій и признала его ученіе пустымъ и бесплоднымъ явленіемъ. Нѣтъ, это значитъ только, что она хочетъ идти далѣе и, при всемъ ея уваженіи къ великому философу, авторитетъ духа человѣческаго ставить выше духа авторитета Гегеля. Такъ отложился отъ Канта Фихте; такъ духомъ ученія своего объявилъ себя противъ Канта и Фихте Шеллингъ; такъ ученикъ Шеллинга, Гегель, отложился отъ Шеллинга; но ни одинъ изъ нихъ не думалъ отрицать заслуги своего предшественника, и каждый изъ нихъ считалъ себя обязаннымъ своимъ успѣхомъ трудамъ предшественника. Такой ходъ германской философій дѣлаетъ невозможными произвольныя проявленія личныхъ философствованій. Чтобъ дѣйствовать на поприщѣ философій, въ Германіи мало того, чтобъ объявить печатно: «я такъ думаю», но должно посвятить цѣлые годы тяжелаго труда дѣльному и основательному изученію всего, что сдѣлано по части философій, — должно быть современнымъ.

Съ этой точки зрѣнія нѣтъ ничего забавнѣе русской философій и русскихъ книгъ по части философій. О философій, какъ наукѣ, у насъ никто не заботится; но всѣ наши философы думаютъ.

что для того, чтобъ сдѣлаться философомъ, стоитъ только захотѣть этого. Учиться философіи они не считаютъ нужнымъ; имъ легче объявить, что всѣ нѣмецкіе философы врутъ, нежели прочесть хотя одного изъ нихъ. Наши философы не понимаютъ, что у насъ для философіи нѣтъ еще ни почвы, ни потребности. Нашему философу вдругъ, ни съ того, ни съ сего, придетъ охота пофилософствовать, и такъ какъ съ болтовни пошлѣнъ не берутъ, то вслѣдствіе этого неожиданнаго припадка философствования явится небольшая книжка, въ которой все сказано, все объяснено, все рѣшено, кромѣ одного только—зачѣмъ и для кого написанъ этотъ вздоръ...

Едва ли не смѣлѣе всѣхъ другихъ нашихъ философовъ Татариновъ: на сорока страничкахъ, разговисто и безобразно напечатанныхъ, онъ излагаетъ какую-то небывалую до него «теоретическую-практическую» философію и начисто рѣшаетъ, что такое истина, благо и красота: истина у него есть истина, благо—благо, а красота—красота. Коротко и ясно! Изъ философовъ, бывшихъ до него, онъ знаетъ что то только о Локкѣ, Лейбницѣ и Кантѣ, а о дальнѣйшемъ ходѣ философіи рѣшительно никакихъ свѣдѣній не имѣетъ. Для чего и для кого написана эта тетрадка (книгой и даже книжкой ее нельзя назвать)? Для тѣхъ, кто имѣетъ хоть какое-нибудь понятіе о философіи, тетрадка Татаринова будетъ только забавна; а тѣ, которые о философіи не имѣютъ никакого понятія, ровно ничего не поймутъ въ ней, въ этой тетрадкѣ.

Общая риторика. *Н. Кошанскаго. Изданіе девятое. Спб. 1844.*

Наука—великое дѣло. Въ этомъ согласны всѣ—отъ мудреца до безграмотнаго простолюдина. Ученые свѣтъ, неученые тьма, говорятъ наши русскіе мужички. Въ наше время эта истина становится аксіомой. Но и враги ученія и наукъ еще не перевелись, и—что всего хуже, они не всегда неправы въ своихъ нападкахъ на ученость и ученыхъ. Мы говоримъ не о тѣхъ противникахъ просвѣщенія, которые только во мракѣ невѣжества и дикости нравовъ видятъ неспорченность мысли и чистоту нравственности: нѣтъ, объ этихъ изувѣрахъ обскурантизма, объ этихъ чадахъ тьмы, объ этихъ фанатикахъ и лицемерахъ ложно понимаемаго добронравія не стоитъ труда и говорить. Но нельзя не обратить вниманія на тѣхъ противниковъ просвѣщенія, которые вооружаются не столько противъ науки, сколько противъ ученыхъ, которые, основываясь на простомъ здоровомъ смыслѣ и на простомъ практическомъ чувствѣ, не теоріей, а указаніемъ на знакомыхъ имъ ученыхъ, доказываютъ то пустоту и бесполезность, то даже вредъ ученія. Объяснимъ это примѣромъ. Положимъ, NN—человѣкъ неучившійся, но умный отъ природы, образовавшійся опытомъ жизни и нечуждый

нѣкоторой начитанности, повинувшійся духу времени, взявъ для своего сына учителя словесности. И вотъ, учитель аккуратно является давать юношѣ уроки, проходить съ нимъ грамматику, риторику, поэзію, логику. Конченъ курсъ словесности; всѣ довольны: сынъ—что узналъ столько мудреныхъ и полезныхъ наукъ; отецъ—что выполнилъ свой долгъ; учитель—что образовалъ новаго словесника. Но вдругъ декорация перебѣняется. Отецъ опредѣляетъ своего сына на службу и хочетъ, чтобъ тотъ служилъ подъ его руководствомъ. Для практики онъ даетъ ему составлять выписки изъ дѣлъ, задаетъ ему писать разныя бумаги официального содержанія,—и что же? Онъ съ удивленіемъ видитъ, что во всѣхъ юридическихъ опытахъ его сына бездна краснорѣчія, тропъ и фигуръ не обрешешь, а дѣла нѣтъ и признаковъ; слогу отличный, по истинѣ высокій, а что-нибудь понять въ немъ нѣтъ никакой возможности. Въ другое время онъ просилъ сына написать письмо о томъ-то и тому-то: та же исторія! Періоды круглые, съ пониженіями и повышеніями; послѣ предложенія, начинающагося съ «хотя», всегда слѣдуетъ предложеніе, начинающееся съ «однако», слово «кто» всегда соответствуетъ слову «тотъ», и т. д.; но письмо тяжело, неприлично, неуклюже, какъ семинаристъ въ обществѣ. «Что же это значитъ?» думаетъ отецъ. «Сынъ мой не глупъ, способности у него есть, въ обществѣ онъ держитъ себя прилично и говоритъ, какъ принято, а на письмѣ фразеръ, педантъ, надутый враль, тяжелый болтунъ. Учился онъ по хорошей книгѣ, по «Риторикѣ» Кошанскаго, которая вездѣ принята за лучшее руководство и напечатана девятымъ изданіемъ; учитель—человѣкъ извѣстный, учить во всѣхъ домахъ и меньше десяти рублей за урокъ не беретъ: все это такъ,—но чему же выучился мой сынъ?» Далѣе, отецъ замѣчаетъ, что его сынъ прошелъ полный курсъ словесности, слѣдовательно, выучившись и поэзіи, узнавъ и исторію русской словесности, свысока разсуждаетъ иногда о величіи генія Державина, вскользь упоминаетъ и о Пушкинѣ, а между тѣмъ читаетъ только новыя романы и водевили, совершенно не интересуясь ничѣмъ инымъ. Зная названіе всѣхъ наиболѣе извѣстныхъ сочиненій на отечественномъ языкѣ, онъ только изъ нѣкоторыхъ читалъ отрывки, а большей части совсѣмъ не читалъ. И вотъ, дѣлать нечего, отецъ спорить съ сыномъ, кое-какъ переламываетъ его, пріучаетъ хорошо писать и дѣловыя бумаги, и письма. Сынъ сталъ хоть куда! Но тогда отецъ съ удивленіемъ замѣчаетъ, что сынъ его исправился, благодаря тому, что совершенно забылъ, какъ вздоръ, все, чему училъ его учитель словесности. Какое же отецъ долженъ вывести мнѣніе изъ всего этого?—Разумѣется,—такое, что науки и ученье—вредный вздоръ. И онъ правъ, тысячу разъ правъ! за него фактъ и можетъ-быть тысячи фактовъ. Какое ему дѣло разсуждать, что за наука—риторика, можетъ ли и должна ли она преподаваться, и такъ ли ее преподають? Онъ

знаетъ, что риторикѣ учать во всѣхъ училищахъ, что безъ риторики никого не признаютъ ученымъ; знаетъ, что его сынъ учился по риторикѣ, изданной девятымъ изданіемъ, вездѣ принятой за руководство, и въ то же время онъ знаетъ, что риторика—сущій вздоръ, не только бесполезный, но и страшно вредный.

Много можно привести такихъ примѣровъ, доказывающихъ, что отъ ученія люди часто ничего не выигрываютъ, а много проигрываютъ: выигрываютъ—тяжелость, сухость, педантизмъ, претензіи, а проигрываютъ здравый смыслъ, живость ума, инстинктъ истины, тактъ дѣйствительности. «Метафизикъ» Хемницера дѣйствительно—безсмертная вещь: говоря объ ученіи и ученыхъ, часто по-неволѣ вспомнишь о ней...

Но наука и ученіе тутъ ни въ чемъ не виноваты, потому что надо строго отличать науку и ученіе отъ состоянія, въ которомъ наука и ея преподаваніе находятся въ извѣстное время и въ извѣстномъ обществѣ. Конечно людямъ практическимъ, которые привыкли обо всемъ судить на основаніи здраваго смысла и опыта, которые цѣнятъ вещи по ихъ результатамъ, видятъ ихъ, какъ онѣ суть, а не такъ, какъ-бы должны были быть,—такимъ людямъ мало дѣла до необходимости отдѣлять злоупотребленіе науки отъ самой науки,—и они совершенно правы съ своей точки зрѣнія. И потому мы хотимъ поговорить здѣсь о риторикѣ не для того, чтобъ убѣдить практическихъ людей въ высокомъ достоинствѣ риторики вообще и «Риторики» Кошанскаго въ частности, а для того, чтобъ практическіе люди не презирали всякой науки и всякаго знанія потому только, что риторика—вздорная наука и вредное знаніе.

Злоупотребленіе многихъ вещей происходитъ большей частью оттого, что люди смѣшиваютъ между собой самыя различныя вещи. Такъ напримѣръ, чаще всего смѣшиваются у насъ понятія: наука и искусство. Самое слово «наука» у насъ неѣрно выражаетъ заключенное въ немъ понятіе. Простой народъ нашъ правильнѣе употребляетъ это слово, говоря о мальчикѣ, отдающемъ учиться сапожному ремеслу: «онъ отданъ въ науку». То, что называется *scientia*, *science*, *Wissenschaft*, у насъ должно бы называться не наукой, а знаніемъ. Наука ничему не учитъ, ничему не выучиваетъ, она даетъ знаніе законовъ, по которымъ существуетъ все существующее; она многообразіе однородныхъ предметовъ приводитъ въ идеальное единство. Искусство имѣетъ болѣе практическое значеніе: оно больше способность, талантъ, умѣніе что-либо дѣлать, нежели знаніе чего-либо. Искусства бываютъ двухъ родовъ: творческія и техническія. Дѣятельная, производительная способность первыхъ бываетъ въ людяхъ, какъ даръ природы; ученіе и трудъ развиваютъ этотъ даръ, но самаго дара не даютъ тѣмъ, кому не дано его природой. Технические искусства даются людямъ наукой въ томъ смыслѣ, какъ понимаетъ это слово простой народъ,—въ смыслѣ практическаго ученія, изуче-

нія, навыка. И въ творческихъ искусствахъ есть своя техническая сторона, доступная и бездарнымъ людямъ: можно выучиться писать легкіе и гладкіе стихи, разбирать ноты и лучше или хуже разыгрывать ихъ, срисовывать копіи съ оригиналовъ и т. п., но поэтому, музыкантомъ, живописцемъ нельзя сдѣлаться ученіемъ и рутинной. Все, что существуетъ, существуетъ на основаніи неизмѣнныхъ и разумныхъ законовъ, и потому подлежитъ вѣдѣнію науки (знаніе); слѣдовательно, и искусство подлежитъ вѣдѣнію науки, но не иначе, какъ только предметъ знанія, а совсѣмъ не какъ предметъ обученія, т. е. мастерство, которому можно выучиться посредствомъ науки. Искусствамъ учатся—это правда особенно такимъ, въ которыхъ техническая сторона преимущественно важна и трудна; но здѣсь ученіе особеннаго рода—ученіе практическое, а не теоретическое, ученіе не по книгѣ, а по наглядному указанію мастера. Таковы и всѣ техническія искусства, всѣ ремесла. Напишите самое ясное, самое толковитое руководство къ искусству шить сапоги,—самый понятливый и способный человекъ въ пятьдесятъ, во сто лѣтъ не выучится по вашей книгѣ шить такъ хорошо, какъ бы выучился онъ въ нѣсколько мѣсяцевъ у хорошаго мастера, при посредствѣ его наглядныхъ указаній и своего упражненія и навыка. Въ такомъ точно отношеніи находится наука къ искусству. Иной эстетикъ-критикъ судить лучше художника о произведеніи самого этого художника, но самъ не въ состояніи ничего создать. Въ сферѣ искусства ученый знаетъ, художникъ умѣетъ.

Но не всѣ, къ несчастью, понимаютъ это и теперь; еще меньше всѣ понимали это прежде. Вотъ откуда явилась риторика, какъ наука краснорѣчія,—наука, которая брала на выучку кого угодно сдѣлать великимъ ораторомъ; вотъ откуда явилась пѣнтика, какъ наука дѣлать поэтами даже людей, которые способны только мостить мостовую.

Риторика получила свое начало у древнихъ. Соціализмъ и республиканская форма правленія древнихъ обществъ сдѣлали краснорѣчіе самымъ важнымъ и необходимымъ искусствомъ, ибо оно отворяло двери къ власти и начальствованію. Удивительно-ли, что всѣ и каждый хотѣли быть ораторами, хотѣли имѣть вліяніе на толпу посредствомъ искусства красноречія? поэтому изучали рѣчи великихъ ораторовъ, анализировали ихъ и дошли до открытія троповъ и фигуръ, до источниковъ изобрѣтенія; стали искать общихъ законовъ въ частныхъ случаяхъ. Ораторъ сильно всколебалъ толпу могучимъ чувствомъ, выраженнымъ въ фигурѣ вопрошенія,—и вотъ могучее чувство отбросили въ сторону, а фигуру вопрошенія приняли къ свѣдѣнію: эффектная-де фигура, и на ней какъ можно чаще надобно выѣзжать—всегда вывезетъ. Это напоминаетъ басню о глупомъ мужикѣ или глупой обезьянѣ, которая, увидѣвъ, что ученый, принимаясь за чтеніе, всегда надѣвалъ на носъ очки, тоже достала себѣ очки и книгу, хотѣла читать, и съ досады, что ей не читается, разбила очки. Но

люди иногда бывают глупее обезьян. Изъ наблюдений и анализа надъ рѣчами великихъ ораторовъ они составили сборъ какихъ-то произвольныхъ правилъ и назвали этотъ сборъ риторикой. Явились риторы, которые къ ораторамъ относились, какъ діалектики и софисты относились къ философамъ, и начали обучать людей искусству краснорѣчія, завелись школы, но изъ нихъ выходили все-таки не ораторы, а риторы. Какая разница между ораторомъ и риторомъ? Такая-же, какая между философомъ и софистомъ, между присяжнымъ (juror) и адвокатомъ: философъ въ діалектикѣ видитъ средство дойти до знания истины,—софистъ въ діалектикѣ видитъ средство остаться побѣдителемъ въ спорѣ; для философа истина—цѣль, діалектика—средство; для софиста и истина, и ложь—средство, діалектика—цѣль; присяжный видитъ свою цѣль въ оправданіи невиннаго, въ осужденіи виновнаго; адвокатъ видитъ свою цѣль въ оправданіи своего кліента, правъ-ли онъ, или виновать—все равно. Ораторъ убѣждаетъ толпу въ мысли, великость которой измѣряется его одушевленіемъ, его страстью, его пафосомъ, и слѣдовательно жаромъ, блескомъ, силой, красотой его слова; риторъ нѣтъ нужды до мысли, въ которой онъ хочетъ убѣдить толпу: риторъ—человѣкъ маленький, и мысль его можетъ быть подленькой, даже у него можетъ не быть вовсе никакой мысли, а только гаденъкая цѣль,—и лишь бы ея удалось ему достигнуть, а до прочаго ему нѣтъ дѣла. И тамъ, гдѣ ораторъ беретъ вдохновеніемъ, бурей страстей, громомъ и молніей слова, тамъ риторъ хочетъ взять тропами и фигурами, общими мѣстами, выточенными фразами, округленными періодами. Но въ древности риторика еще имѣла какой-нибудь смыслъ. Когда въ какой-нибудь республикѣ переводились на время великіе люди, тогда народомъ управляли крикуны и краснорѣчцы, т. е. риторы. А много-ли людей, которые для такой цѣли не стали-бы учиться риторикѣ?—Но скажите, Бога ради, затѣмъ нужна риторика въ новомъ мірѣ? Затѣмъ она даже въ Англіи и во Франціи? Въдѣ Питтъ и Фоксъ были не только ораторы, но и государственные люди? Въдѣ въ наше время, когда вся общественная машина такъ многосложна, такъ искусственна, даже и великій по таланту ораторъ недалеко уйдетъ, если въ то же время онъ не будетъ государственнымъ человѣкомъ? И какими образомъ риторика сдѣлаетъ кого-нибудь краснорѣчивымъ въ Англіи и во Франціи, и кто изъ англійскихъ и французскихъ парламентскихъ ораторовъ образовался по риторикѣ? Развѣ риторика даетъ кому-нибудь смѣлость говорить передъ многочисленнымъ собраніемъ? Развѣ она даетъ присутствіе духа, способность не теряться при возраженіяхъ, умѣнье отразить возраженіе, снова обратиться къ прерванной нити рѣчи, находчивость, талантъ всемогущаго слова «кстати». Приведемъ извѣстный примеръ изъ древняго міра. Демосеенъ говорилъ о сѣвѣренныя афиняне толковали между сѣвѣренныя востяхъ дня; раздраженный ораторъ

имъ рассказывать пустую побасенку,—и афиняне слушаютъ его внимательно. «Боги!—воскликнулъ великій ораторъ:—достойнѣ вашего покровительства народъ, который не хочетъ слушать, когда ему говорятъ объ опасности, угрожающей его отечеству, и внимательно слушаетъ глупую сказку!» Разумѣется, эта неожиданная выходка устыдила и образумила народъ. Скажите: какая риторика научитъ такой находчивости? Въдѣ подобная находчивость—вдохновеніе! Вздумаи кто-нибудь повторить эту выходку—толпа расхохочетъ ся, потому что толпа не любитъ людей, которые велики или находчивы заднимъ числомъ. Какая риторика дастъ человѣку бурный огонь одушевленія, страсть, пафосъ? Намъ возражать: конечно, не дастъ, но разовьетъ счастливые дары природы. Неправда! ихъ можетъ развить практика, трибуна, а не риторика. Геній полководца нуждается въ хорошихъ книгахъ о военномъ искусствѣ, но развивается онъ на поляхъ брани. И чѣмъ бы могла риторика развить геній оратора: неужели тропами, метафорами и фигурами? Но чтѣ такое тропы, метафоры и фигуры, если выраженіе страсти—не произведеніе вдохновенія? Истинный ораторъ употребляетъ тропы и фигуры, не думая о нихъ. То энергическое выраженіе, которымъ онъ всколыхнулъ толпу, иногда срывается съ его устъ нечаянно, и онъ самъ не предвидѣлъ, не находилъ его въ своей головѣ, будучи отдѣленъ отъ него только двумя словами предшествовавшей фразы. Ученикамъ задаютъ писать тропы и фигуры: не значить ли это задавать имъ работу—быть вдохновенными, страстными? Это напоминаетъ соловья въ когтахъ у кошки, которая заставляетъ его пѣть. Да, чего не бываетъ на бѣломъ свѣтѣ! Въ старину въ семинаріяхъ, въ классѣ поэзіи, задавали ученикамъ описывать въ стихахъ разные назидательные предметы.

И такъ, какую же пользу можетъ приносить риторика? Не только риторика,—даже теорія краснорѣчія (какъ науки краснорѣчія) не можетъ быть. Краснорѣчіе есть искусство,—не цѣлое и полное, какъ поэзія: въ краснорѣчьи есть цѣль, всегда практическая, всегда опредѣляемая временемъ и обстоятельствами. Поэзія входитъ въ краснорѣчіе какъ элементъ, является въ немъ не цѣлью, а средствомъ. Часто самая увлекательная, самая патетическая мѣста ораторской рѣчи вдругъ смѣняются статистическими цифрами, сухими разсужденіями, потому что толпа убѣждается не одной красотой живой наустной рѣчи, но вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣломъ, и фактами. Одинъ ораторъ могущественно властвуетъ надъ толпой силой своего бурнаго вдохновенія; другой—вкрадчивой граціей изложенія; третій—преимущественно ироніей, насмѣшкой, остроуміемъ; четвертый—последовательностью и ясностью изложенія, и т. д. Каждый изъ нихъ говорить, соображаясь съ предметомъ своей ч., съ характеромъ слушающей его толпы, съ интересами настоящей минуты. Еслибъ Де-звдѣ вдругъ воскресъ теперь и заговорилъ въ

англійской нижней палатѣ самымъ чистымъ англійскимъ языкомъ,—англійскіе джентльмены и Джонъ Буль ошибали бы его; а наши современные ораторы плохо были бы приняты въ древней Греціи и Римѣ. Мало того: французскій ораторъ въ Англіи, а англійскій во Франціи не имѣли бы успѣха, хотя бы они, каждый въ своемъ отечествѣ, привыкли владычествовать надъ толпой силой своего слова. И потому, если вы хотите людямъ, которые не готовятся быть ораторами, дать понятіе о томъ, что такое краснорѣчіе, а людямъ, которые хотятъ быть ораторами, дать средство къ изученію краснорѣчія,—то не пишите риторики, а переберите рѣчи извѣстныхъ ораторовъ всѣхъ народовъ и всѣхъ вѣковъ, снабдите ихъ подробной біографіей каждаго оратора, необходимыми историческими примѣчаніями,—и вы окажете этой книгой великую услугу и ораторамъ, и не-ораторамъ.

Но зачѣмъ риторика у насъ въ Россіи?—Зачѣмъ, чтобъ учить дѣтей сочинять?... Многіе смѣются надъ опредѣленіемъ грамматики, что она учить «правильно говорить и писать». Опредѣленіе очень умное и очень вѣрное! Всеобщая грамматика есть философія языка, философія чело-вѣческаго слова: она раскрываетъ систему общихъ законовъ чело-вѣческой рѣчи, равно свойственныхъ каждому языку. Частная грамматика учить не чему иному, какъ правильно говорить и писать на томъ или другомъ языкѣ: она учить не ошибаться въ согласованіи словъ, въ этимологическихъ и синтаксическихъ формахъ. Но грамматика не учить хорошо говорить, потому что говорить правильно и говорить хорошо—совсѣмъ не одно и то же. Случается даже такъ, что говорить и писать слишкомъ правильно значить говорить и писать дурно. Иной семинаристъ говорить и писать какъ олицетворенная грамматика,—его нельзя ни слушать, ни читать: а иной простолюдинъ говорить неправильно, ошибается и въ склоненіяхъ, и въ спряженіяхъ, а его заслушаешься. Изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ грамматикѣ не должно было учиться, и чтобъ грамматика была вздорная наука: совсѣмъ напротивъ! Неправильная рѣчь одареннаго способностью хорошо говорить простолюдина была бы еще лучше, еслибъ онъ зналъ грамматику. Дѣло въ томъ только, чтобъ грамматика знала свои границы и слушалась языка, котораго правила объясняетъ: тогда она научитъ правильно и писать, и читать; но все-таки только правильно, не больше: учить же говорить и писать хорошо—совсѣмъ не ея дѣло. Сколько мы догадываемся, на это претендуетъ риторика. Нелѣпость, сущая нелѣпость! Кто готовится въ государственные ораторы,—тотъ пусть изучаетъ рѣчи государственныхъ ораторовъ, слушаетъ ихъ, какъ можно чаще бываетъ въ обществѣ государственныхъ людей; кто готовится въ адвокаты, тотъ пусть не выходитъ изъ судебныхъ мѣстъ, пусть ищетъ общества адвокатовъ; но еще лучше, если тотъ и другой какъ можно

чаще сами будутъ пробовать свои силы на избранномъ поприщѣ; кто хочетъ блистать своимъ разговоромъ въ свѣтскомъ обществѣ, тотъ пусть живетъ въ свѣтѣ; кто хочетъ посвятить себя литературѣ, тотъ пусть изучаетъ писателей своего отечества и слѣдитъ за современнымъ движеніемъ литературы. Но и тотъ, и другой, и третій, и четвертый больше всего пусть опасаются риторики! Скажутъ: въ искусствѣ говорить, особенно въ искусствѣ писать есть своя техническая сторона, изученіе которой очень важно. Согласны; но эта сторона нисколько не подлежитъ вѣдѣнію риторики. Ее можно назвать стилистикой, и она должна составить собой дополнительную, окончательную часть грамматики, высшій синтаксисъ, то, что въ старинныхъ латинскихъ грамматикахъ называлось: *syntaxis ornata* и *syntaxis figurata*. Этотъ высшій синтаксисъ долженъ заключать въ себѣ главы: 1) о предложеніяхъ и періодахъ, 2) о тропахъ, и 3) объ общихъ качествахъ слога—чистотѣ, ясности, опредѣленности, простотѣ и проч. въ отношеніи къ выраженію. Въ главѣ о предложеніяхъ и періодахъ должны быть объяснены общія, на логическомъ строеніи мысли основанныя формы рѣчи; въ періодѣ должно показать силлогизмъ; надобно обратить особенное вниманіе на то, чтобъ отдѣлить вышнюю форму отъ внутренней и научить по возможности избѣгать школьной формы выраженія. Такъ напримѣръ, всякій школьникъ, особенно учившійся по «Риторикѣ» Кошанскаго, необходимой принадлежностью условнаго періода почитаетъ союзы: если, то; надо внушить ему, что условность можетъ заключаться въ періодѣ и безъ если и то, напримѣръ: «скажешь правду, потеряешь дружбу», и что эта послѣдняя форма проще, легче и лучше первой. Въ главѣ о тропахъ не должно гоняться за пошлыми примѣрами или искать ихъ непремѣнно въ сочиненіяхъ извѣстныхъ писателей, но брать ихъ преимущественно въ обыкновенномъ, разговорномъ языкѣ, въ пословицахъ и поговоркахъ. Надо показать ученику, что тропы породили необходимость образнаго выраженія, и что тропы лучше всего объясняютъ и оправдываютъ философское положеніе: «ничего не можетъ быть въ умѣ, чего не было въ чувствѣ». Лучшіе примѣры троповъ должны быть въ такомъ родѣ: «острый умъ, тупая память, слѣды преступления, нѣтъ кусокъ хлѣба», и т. п. Что касается до фигуръ, которыя, какъ извѣстно, раздѣляются риториками на «фигуры словъ» и «фигуры мыслей»,—то о нихъ лучше всего совсѣмъ не упоминать. Кто исчислитъ всѣ обороты, всѣ формы одушевленной рѣчи? Развѣ риторы исчисляли всѣ фигуры? Нѣтъ, ученіе о фигурахъ ведетъ только къ фразистости. Всѣ правила о фигурахъ совершенно произвольны, потому что выведены изъ частныхъ случаевъ. Что касается до главы «о слогахъ вообще»,—она должна состоять изъ опытныхъ наблюденій, изъ общихъ замѣчаній и отнюдь не должна претендовать на науко-образное изложеніе.

Чтобы приучить ученика владеть фразой и не затрудняться въ выраженіи мысли,—всегда менѣе нужна теорія и всего болѣе практика. Упражняйте его въ переложеніи стиховъ на прозу, а главное—въ переводахъ съ иностранныхъ языковъ. Это истинная и единственная школа стилистики. Борьба между духомъ двухъ различныхъ языковъ, сравненіе средствъ того и другого для выраженія одной и той же мысли, всегдашнее усиліе найти на своемъ языкѣ фразу, вполне соответствующую фразѣ иностраннаго языка: это всего лучше развиваетъ перо ученика и кромѣ того всего лучше заставитъ его вникнуть въ духъ родного языка. Но эти такъ называемые источники изобрѣтенія, эти тропики, эти общія мѣста (*lieux communs*), которыми риторика гордится какъ своимъ истиннымъ и главнымъ содержаниемъ,—все это рѣшительно пустяки, и пустяки вредные, губительные. Мальчику задають сочиненіе на какую-нибудь описательную, а чаще всего отвлеченную тему: велать ему или описать весну, зиму, восходъ солнца, или доказать, что лѣность есть мать пороковъ, что пороки всегда наказываются, а добродѣтель всегда торжествуетъ. Боже великій, какое варварство! Мальчикъ сочиняетъ! Мальчикъ — сочинитель! Да знаете ли вы, господа ритори, что мальчикъ, который сочиняетъ, почти то же, что мальчикъ, который курить, вполочится за женщинами, пьетъ водку?... Во всѣхъ этихъ четырехъ случаяхъ равно губительно упреждается природа искусственнымъ развитіемъ, и мальчикъ играетъ роль взрослого человѣка. Гдѣ ему разсуждать о природѣ, когда вся прелесть, все блаженство его возраста въ томъ и состоитъ, что онъ любитъ природу, не зная какъ и за что? А вы заставляете его находить причины его любви къ природѣ и анализировать это чувство. Мальчикъ любить своихъ товарищей, съ нѣкоторыми изъ нихъ дружитъ—почему?—по простой симпатіи, которая влечетъ человѣка къ человѣку, соединяетъ возрастъ съ возрастомъ,—а вы заставляете его насильно увѣряться, что это происходитъ въ немъ то отъ того, то отъ другого, то отъ нужды въ помощи ближняго, то отъ пользы общаго труда! Что изъ этого выходитъ?—мальчикъ былъ добрый шалуни, который любилъ своихъ товарищей просто за то, что ему съ ними было весело,—этотъ мальчикъ, искусившійся въ риторикѣ, начинаетъ раздѣлять свое чувство на простое знакомство, на пріязнь и дружбу; дружбы у него является нѣсколько родовъ, и онъ уже по рецептамъ начинаетъ направлять свое расположеніе къ ближнимъ, и его чувство дѣлается искусственно, ложно. Изъ живого, здороваго полнотой чувства ребенка дѣлается рефлектеръ, резонеръ, умникъ, и тѣмъ лучше онъ говоритъ о чувствахъ, тѣмъ бѣднѣе онъ чувствами,—тѣмъ умнѣе онъ на словахъ, тѣмъ пустѣе онъ внутренно. Отъ дружбы недалеко любовь,—и вотъ прежде, тѣмъ пробудилась въ немъ неопредѣленная потребность этого чувства, онъ уже знаетъ любовь въ теоріи, гово-

рить объ измѣнѣ, ревности и кровавомъ мщеніи. Онъ влюбляется не по невольному влеченію, а по выбору, по рефлексіи, и описываетъ, анализируетъ свое чувство или въ письмѣ къ другу, или въ своемъ дневникѣ, или въ стихонкахъ, которые онъ давно уже кропаетъ. Результатъ всего этого тотъ, что въ мальчикѣ не остается ничего истиннаго, что онъ весь ложенъ, что непосредственное чувство у него замѣнено прихотью мысли. Прежде, нежели почувствуетъ онъ что-нибудь, онъ называетъ это, опредѣлитъ. Онъ не живетъ, а разсуждаетъ. И вотъ онъ уже не мальчишка, ему уже двадцать лѣтъ, — и въ этотъ-то счастливый возрастъ полноты жизни онъ—старикъ: на все смотреть съ презрѣніемъ, съ ироніей; онъ все испытать, все узнать: для него нѣтъ счастья — осталось одно разочарованіе, одніе погибшія надежды, его настоящее скучно, будущее мрачно. Вотъ оно—нравственное растлѣніе, вотъ оно—развращеніе души и сердца! Конечно много причинъ такому явленію, и смѣшно было бы всю вину ввалить на риторику; но ясно и неопровержимо, что риторика—одна изъ главныхъ причинъ такого грустнаго явленія. Мальчику задають тему: «пороки наказываются, добродѣтель торжествуетъ». Сочиненіе, въ формѣ хриіи или разсужденія, должно быть представлено чрезъ три дня, а иногда и завтра. Что можетъ знать мальчикъ о порокахъ или добродѣтеляхъ? для него это—отвлеченныя и неопредѣленныя понятія; въ его умѣ нѣтъ никакого представленія о порокахъ и добродѣтеляхъ: что же напишетъ онъ о нихъ? не безпокойтесь—риторика выучитъ его: она дастъ ему волшебные вопросы: кто, что, гдѣ, когда, какъ, почему и т. п., — вопросы, на которые ему слѣдуетъ только отвѣчать, чтобы по всѣмъ правиламъ науки молотъ вздоръ о томъ, чего онъ не знаетъ. Риторика научитъ его брать доводы и доказательства отъ причины, отъ противнаго, отъ подобія, отъ примѣра, отъ свидѣтельства, а потомъ вывести заключеніе. Удивительная школа фразѣрства! Ясно, что «риторика есть наука красно писать обо всемъ, чего не знаешь, чего не чувствуешь, чего не понимаешь». Удивительная наука! занку она дѣлаетъ красноречивъ, дурака—мыслителемъ, нѣмого—ораторомъ. И потому, когда прочтутъ драму, въ которой оболгано сердце человѣческое, говорятъ: риторика! Когда прочтутъ романъ, въ которомъ оболгана изображаемая въ немъ дѣйствительность, говорятъ: риторика! Когда прочтутъ пустозвонное стихотвореніе безъ чувства и мысли, говорятъ: риторика! Когда услышать взяточника, разсуждающаго о благонамѣренности, лицемѣра, разсуждающаго о развращеніи нравовъ, говорятъ: риторика! Словомъ, все ложное, пошлое, всякую форму безъ содержанія, все это называютъ риторикой! Учтите же, милые дѣти, риторикѣ: хорошая наука!

Всякая наука должна имѣть определенное, только ей одной принадлежащее содержаніе, она не должна соединять въ себѣ нѣсколькихъ наукъ вдругъ. Такъ какъ наука есть органическое по-

строение идеальной сущности предмета, составляющего ее содержание,—то в ней все должно выходить и развиваться из одной мысли, а эта мысль должна быть вполне схвачена ее определением. Кошанский даже не позаботился определить, что такое риторика и какое ее содержание. Онъ начинается съ того, что ничто столько не отличается человека от прочих животных, какъ «сила ума» и «даръ слова». До сихъ поръ мы думали, что человека отличаетъ отъ животныхъ разумъ, а не сила ума. По определению Кошанскаго выходитъ, что и у животныхъ есть умъ, только не столь сильный, какъ у человека. Сила ума, по мнѣнію Кошанскаго, открывается въ понятіяхъ, сужденіяхъ и умозаключеніяхъ, составляющихъ предметъ логики. Даръ слова заключается въ прекраснѣйшей способности выражать чувствованія и мысли, что составляетъ предметъ словесности; а словесность заключается въ себѣ грамматику, риторику и поэзію (поэзія—наука!) и граничитъ съ эстетикой. Потомъ грамматика занимается у Кошанскаго словами; риторика—преимущественно мыслями (которыми недавно занималась у него логика); поэзія—чувствованіями (стало-быть, въ поэзіи нѣтъ мыслей!); въ эстетикѣ хранятся (словно въ архивѣ) мечтательныя начала не только словесныхъ наукъ (грамматики, риторики и поэзіи?), но и всѣхъ искусствъ изящныхъ...

Скучно говорить о такихъ странностяхъ... виноваты—о такой риторикѣ, т. е. о такомъ наборѣ словъ, лишенныхъ всякаго содержанія, всякаго значенія, всякаго смысла. «Риторика» Кошанскаго, какъ и всѣ риторики, говоритъ и о родахъ прозаическихъ сочиненій, учитъ: какъ писать исторію, какъ писать ученые трактаты, какъ описывать то или другое, какъ писать письма... Что за нелѣпость! Да развѣ всему этому выучиваются? Это все равно, что учить (по книгѣ), какъ вести себя на похоронахъ и какъ держать себя на свадьбѣ, какъ обращаться на балу, и какъ разговаривать на званомъ обѣдѣ. Дайте молодому человеку прочесть нѣсколько хорошихъ историческихъ сочиненій, познакомьте съ хорошими авторами, между сочиненіями которыхъ есть и описанія, и разсужденія, и письма, и разговоры,—и онъ сейчасъ пойметъ, какъ что пишется. Но вы непремѣнно хотите искажать естественное развитіе, хотите знакомить умъ дѣтей съ предметами, которые не поражали ихъ чувства,—и удивляетесь, что изъ вашихъ учениковъ выходятъ автоматы, которые отлично хорошо знаютъ, какъ что пишется, а сами не умѣютъ ничего написать и не въ состояніи понять и оцѣнить написаннаго другими. Кошанскій, по обычаю всѣхъ риториковъ, отъ Василія Кирилловича Тредьяковскаго, профессора элюквенціи, до риториковъ нашего времени, раздѣляетъ слогъ на высокій, средній и низкій и обстоятельно объясняетъ, какія сочиненія какими слогомъ пишутся. Кошанскій забылъ глубокомысленное выраженіе Бюффона: «въ слогѣ

—весь человекъ», забывъ, что, кромѣ небывалыхъ высокаго, средняго и низкаго слоговъ, есть еще неисчислимое множество дѣйствительно существующихъ слоговъ; есть слогъ Ломоносова, есть слогъ Державина, слогъ Фонвизина, Карамзина, Жуковскаго, Ватюшкова, Пушкина, Грибоедова, и проч. Онъ забылъ, что слоговъ не три, а столько, сколько было и есть на свѣтѣ даровитыхъ писателей.

И потомъ, что за пустая манера раздѣлять сочиненія на роды по внѣшней формѣ и определять, какому роду сочиненія какой приличенъ слогъ? Вы были свидѣтелемъ наводненія, разрушившаго городъ: въ вашей волѣ описать его въ формѣ письма или въ формѣ простого разсказа. Слогъ вашего описанія будетъ зависѣть отъ характера впечатлѣнія, которое произвело на васъ это событіе. Какъ можно сказать, какими слогомъ должно вамъ написать письмо къ вашему брату о смерти вашего отца. Въ наставленіи о писаніи разсужденій Кошанскій ввелъ логику: жаль, что не включилъ онъ въ свою риторику ни географіи, ни минералогіи!.. Что за нелѣпости пишутся подъ именемъ «риторики»!

Всякая риторика есть наука вздорная, пустая, вредная, педантская, остатокъ варварскихъ схоластическихъ временъ; всѣ риторики, сколько мы ни знаемъ ихъ на русскомъ языкѣ, нелѣпы и пошлы; но риторика Кошанскаго перещеголяла ихъ всѣхъ. И эта книга выходитъ уже девятымъ изданіемъ! Сколько же невиннаго народа губила она собой!

Разговоръ. Стихотвореніе. Изъ Тургенева. (Т. Л.) Спб. 1845 г.

Имя Тургенева, автора «Параши», еще ново въ нашей литературѣ; однакожъ уже замѣчено не только избранными цѣнителями искусства, но и публикой. Только истинный, неподдѣльный талантъ могъ быть причиной такого быстрого и прочнаго успѣха. И дѣйствительно, Тургеневъ—поэтъ въ истинномъ и современномъ значеніи этого слова. Его муза не общается намъ новой эпохи поэтической дѣятельности, новой, великой школы искусства;

Но пораженъ бываетъ мелькомъ свѣтъ
Ея лица необщимъ выраженіемъ.

Произведенія Тургенева рѣзко отдѣляются отъ произведеній другихъ русскихъ поэтовъ въ настоящее время. Крѣпкій, энергическій и простой стихъ, выработанный въ школѣ Лермонтова, и въ то же время стихъ роскошный и поэтический, составляетъ не единственное достоинство произведеній Тургенева: въ нихъ всегда есть мысль, означенная печатью дѣйствительности и современности и, какъ мысль даровитой природы, всегда оригинальная. Поэтому отъ Тургенева многого можно ожидать въ будущемъ. Повторяемъ: это не изъ тѣхъ самообытныхъ и гениальныхъ талантовъ, которые, подобно Пушкину и Лермонтову, дѣлаются власти-

талант думъ своего времени и даютъ эпохѣ новое направление; но въ его талантѣ есть свой элементъ, своя часть той самобытности, оригинальности, которая, завися отъ натуры, выводитъ талантъ изъ рода обыкновенныхъ, и благодаря которой онъ будетъ имѣть свое вліяніе на современную ему литературу. Русская поэзія уже до того выработалась и развилась, что теперь почти невозможно приобрести на этомъ поприщѣ извѣстность, не имѣя болѣе или менѣе самостоятельнаго таланта, — и въ то же время почти невозможно истинному таланту не сдѣлаться извѣстнымъ въ самое короткое время. Вотъ почему «Параша», — это произведение, запечатлѣнное всей свѣжестью, всей яркостью и страстностью и вмѣстѣ съ тѣмъ всей неопредѣленностью перваго опыта, — обратила на себя общее вниманіе тотчасъ по своему появленіи и удостоилась не только похвалы однихъ, но и брани другихъ журналовъ, — брани, въ которой высказалась, подъ плоскими и неудачными остротами, худо скрытая досада... Теперь передъ нами вторая поэма Тургенева. Сравнивая «Разговоръ» съ «Парашей», нельзя не видѣть, что въ первомъ поэтъ сдѣлалъ большой шагъ впередъ. Въ «Парашѣ» мысль похожа болѣе на намекъ, нежели на мысль, потому что поэтъ не могъ вполне совладѣть съ нею; въ «Разговорѣ» основная мысль съ вышуклой и яркой опредѣленностью представляется уму читателя. И между тѣмъ эта мысль не высказана никакой сентенціей: она вся въ изложеніи содержанія, вся въ звучномъ, крѣпкомъ, сжатомъ и поэтическомъ стихѣ. Содержаніе поэмы просто до того, что рецензенту нечего и пересказывать. Это — разговоръ между старымъ отшельникомъ, который и на краю могилы все еще живетъ воспоминаніемъ о своей прошлой жизни, такъ полно, такъ могущественно прожитой, — и молодымъ человекомъ, который вездѣ и во всемъ ищетъ жизни и нигдѣ, ни въ чемъ не находитъ ея, отравляемый, мучимый какимъ-то неопредѣленнымъ чувствомъ внутренней пустоты, тайнаго недовольства собой и жизнью.

Пусть читатели сами прослѣдятъ, въ цѣлой поэмѣ, ея основную мысль: мы не считаемъ себя вправе отнимать у нихъ этого удовольствія выписками. Скажемъ только, что всякій, кто живетъ и слѣдовательно чувствуетъ себя постигаемымъ болѣзнию нашего вѣка — апатіей чувства и воли, при пожирающей дѣятельности мысли, — всякій съ глубокимъ вниманіемъ прочтетъ прекрасный поэтический «Разговоръ» Тургенева и, прочтя его, глубоко, глубоко задумается...

Леди Анна (,) или Сирота. *Дитская поэмка. Съ англійскаго. Съ картинками, рисованн. Р. Жуковскимъ. Спб. 1845.*

Чтеніе для дѣтей перваго возраста. *Сочиненіе Александры Ишиковой. Спб. 1845.*

«О дѣти! дѣти! какъ опасны ваши лѣта!» Вы такъ слабы физически, такъ слабы нравственно!

Сколько у васъ враговъ явныхъ, и тайныхъ! Вамъ угрожаютъ прорѣзывающіеся у васъ зубы, оспа, корь, scarlatina, крупъ: это ваши враги явные. А сколько у васъ такихъ враговъ, которые отъ искренняго сердца считаютъ себя вашими друзьями: дражайшіе родители, милыя тетеньки, нѣжныя бабушки, кормилицы, нянюшки, учителя, учебныя книги и наконецъ эти маленькія книжки съ картинками, которыя издаются для васъ подъ общими названіемъ «дѣтскихъ» книгъ. Охъ, эти нѣ дѣтскія книги! Если у меня будутъ дѣти, и я сдѣлаюсь «дражайшимъ родителемъ», не буду совсѣмъ учить моихъ дѣтей грамотѣ, для того, чтобы избавить ихъ отъ грамматики и риторики Греча, отъ риторики Кошанскаго, логики Рождественскаго, курса словесности Пласкина и потомъ разныхъ «дѣтскихъ» книгъ съ картинками и безъ оныхъ. Пуще всего сохрани Богъ моихъ дѣтей отъ дѣтскихъ романовъ вродѣ «Семейства» Фредерики Бремеръ и дѣтскихъ повѣстей, драмъ и былей вродѣ тѣхъ, которыя у насъ безпрестанно издаются. Чему научать всѣ эти книжки моихъ дѣтей? Любить добродѣтель? Сохрани Боже! Съ этой любовью мои дѣти непремѣнно будутъ нищими... Любить правду? Еще хуже! Нѣтъ, благосклонный читатель! Вы можете воспитывать своихъ дѣтей, какъ вамъ угодно, учить ихъ, какимъ угодно наукамъ, добродѣтелямъ и правдамъ; а я — я буду учить ихъ прежде всего заслуживать себѣ хорошую репутацію и умѣть быть со всѣми въ ладу; только-что они изъ колыбели, я уже буду ихъ посылать къ родственникамъ (которые побогаче и съ вѣсомъ) съ поздравленіемъ въ новый годъ, во всѣ праздники, въ именины, въ день рожденія и т. д. Хотя у меня еще и нѣтъ дѣтей, но я человѣкъ предусмотрительный: я уже купилъ книжку Бурнашева: «Новыя дѣтскія поздравленія, въ стихахъ, съ праздниками. Подарокъ дѣтямъ къ наступающему новому 1839 году на дни рожденія, именинъ, Рождества Христова, Новый годъ и Свѣтлое Воскресенье». Превосходная книжка! Драгоценная книжка! Хотя мои дѣти и не будутъ ее читать (такъ какъ я рѣшился не учить ихъ грамотѣ), но я самъ выучу ее наизусть, а они выучатъ ее наизусть съ моихъ словъ. Равнымъ образомъ я купилъ новое изданіе «Учебной Книги Русской Словесности» Греча и выписалъ изъ нея глубокомысленныя, практической мудростью запечатлѣнныя правила, какъ должно писать письма къ высшимъ себя, равнымъ и низшимъ, и какъ должно подъ ними подписываться. Больше никакихъ книгъ не узнаютъ мои дѣти! Книжки, особенно дѣтскія, увѣрили бы ихъ, что добродѣтель — главное дѣло въ жизни, что больше всего надо любить правду, что добродѣтель всегда награждается, а пороки всегда наказываются, и каково было бы моимъ дѣтямъ, когда бы они, вышедъ изъ моего дома на дорогу жизни, вдругъ увидѣли бы, что въ свѣтѣ все дѣлается рѣшительно наоборотъ тому, какъ рассказываютъ дѣтскія книжки?... Нѣтъ! что ихъ обманывать заранѣе? Зачѣмъ учить тому, чему имъ послѣ надо бу-

детей разучиваться? Я буду учить их—но не наукамъ, не правиламъ нравственности: человекъ добросовѣстный, не лицемеръ, не лжецъ, я буду учить ихъ играть въ преферансъ и не менѣе важному искусству нравиться людямъ. Я заранѣе убью въ нихъ самую самобытность; добродѣтели ихъ съ раннихъ лѣтъ будутъ: скромность, аккуратность, бережливость, учтивость, ласковость, веселый видъ, даже когда ихъ быють и унижаютъ... Да, не узнавая они никогда, что такое «дѣтскія книги», никогда не прочтутъ они «Леди Анны»... Бѣдная леди Анна! Сколько она вытерпѣла: ее ругали, били, морили голодомъ, холодомъ за то, что она была кротка, послушна, терпѣлива, прилежна, за то, что она не хотѣла обворовывать своихъ благодѣтелей: все точь въ точь, какъ это бываетъ въ жизни! Но она осталась тверда къ добродѣтели, но она нашла своего отца, сдѣлалась богата, знатна, счастлива: точь въ точь, какъ бываетъ это... въ дѣтскихъ книгахъ... А что за прелесть—«Чтеніе для дѣтей перваго возраста» Ишимовой! Какія правила, какая чистѣйшая нравственность, сколько наставленій, и какими разительными примѣрами, взятыми изъ міра... дѣтскихъ книгъ, поддержано все это!... «Леди Анна» — романъ, не лишенный занимательности, безъ сентенцій; книжка Ишимовой, напротивъ, вся наполнена сентенціями; и дѣти могутъ легко набраться изъ нея мудрости на всю свою жизнь, хотя бъ итъ суждены были Маеусанловы лѣта. «Леди Анна» переведена порядочно, издана недурно; книжка Ишимовой написана хорошиимъ русскимъ языкомъ и издана даже очень хорошо.

Прокопій Ляпуновъ, или междуцарствіе въ Россіи, продолженіе «Князя Скопина Шуйскаго». Сочиненіе того же автора. Спб. 1845. Четыре части.

Почти десять лѣтъ прошло съ того времени, какъ появился въ свѣтъ романъ «Князь Скопинъ Шуйскій», до настоящей минуты, когда появляется продолженіе этого романа: «Прокопій Ляпуновъ, или Междуцарствіе въ Россіи». Десять лѣтъ—много времени, особенно для русской литературы,—это почти цѣлый вѣкъ для нея! Въ самомъ дѣлѣ, какой огромный шагъ впередъ сдѣлала наша литература! Какъ измѣнился вкусъ нашей публики въ продолженіе этихъ десяти лѣтъ. Кинемъ бѣглый взглядъ на тогдашнее состояніе русской литературы. Въ 1830 году явился «Юрій Милославскій»; въ 1831—«Рославлевъ», Загоскина; въ этомъ же году выходятъ двѣ первыя части «Новика», въ 1832—третья, въ 1833—четвертая; въ 1835 году—«Ледяной Домъ», Лажечникова. Въ эти же пять лѣтъ выходятъ романы: «Поездка въ Германію», Греча, «Киргизъ-Кайсакъ», Ушакова, «Дочь Куица Жолобова», quasi-Куперовскій сибирскій романъ Калашникова, «Клятва при Гробѣ Господнемъ», Полевого, «Семейство Холмскихъ», «Монастырка», Погорѣльскаго; Вельтманъ открываетъ «Кошечей

Безсмертныиъ» длинный рядъ своихъ археологически-фантастически-аллегорически-поэтическихъ романовъ; является «Аббадонна» Полевого; выходитъ вторая часть «Дворянскихъ выборовъ» и «Шельменко, волостной писарь», «Были и Небылицы», казака Луганскаго; въ то же время выпускается полное изданіе повѣстей Марлинскаго; Погодинъ перестаетъ писать повѣсти и издаетъ выѣстъ всѣ написанныя прежде; Полевой пишетъ «Живописца», «Блаженство Безумія», «Эмиу». Нѣкоторыя изъ этихъ произведеній были очень замѣчательны для своего времени, и даже въ слабѣйшихъ изъ нихъ, не исключая ни приторно-сентиментальнаго и скучно-резонернаго «Семейства Холмскихъ», ни ложно-идеальныхъ повѣстей Полевого, есть свои хорошія стороны. Вообще вся эта романическая литература носить на себѣ отпечатокъ переходности и нерѣшимости; въ ней виденъ порывъ къ чему-то лучшему противъ прежняго, къ чему-то положительному, но только одинъ порывъ, безъ достиженія. Изъ этого не исключаются и «Повѣсти Бѣлкина», Пушкина, изданныя въ это же время. Въ то же время среди всѣхъ этихъ, болѣе или менѣе однородныхъ, явленій возникла совершенно новая романическая литература, которая не имѣла ничего общаго съ первой и въ послѣдствіи окончательно убила ее, давъ всей русской литературѣ совершенно новое направленіе. Въ 1831 году вышла первая, а въ 1832 году вторая часть «Вечеровъ на Хуторѣ близъ Диканьки»; въ 1835 году напечатаны «Арабески» и «Миргородъ», а въ 1836—«Ревизоръ». Нѣтъ нужды распространяться о томъ, какое огромное вліяніе имѣли эти произведенія Гоголя на русскую литературу: только дѣйствительно слѣпые или притворяющіеся слѣпыми могутъ не видѣть и не признавать этого вліянія, вслѣдствіе котораго всѣ молодые писатели пошли по пути, указанному Гоголемъ, стараясь изображать дѣйствительное, а не въ воображеніи существующее общество; изъ прежнихъ писателей тѣ, которые перемѣнили свое прежнее направленіе, подчиняясь новому, данному Гоголемъ; а тѣ, которые не были въ состояніи этого сдѣлать, или перестали вовсе писать, или продолжали писать безъ всякаго успѣха. Это совершилось въ послѣднія десять лѣтъ. Гоголь не издавалъ ничего послѣ «Ревизора» 1842 года, а дѣло шло своимъ чередомъ, и время лучше всѣхъ критиковъ рѣшило вопросъ. «Мертвыя Души», заслонившія собою все написанное до нихъ даже самимъ Гоголемъ, окончательно рѣшили литературный вопросъ нашей эпохи, упрочивъ торжество новой школы.

«Скопинъ Шуйскій» Шишкиной явился въ 1835 г., когда старая романическая школа уже совершила свой кругъ, а новая, еще не бывъ признанной, уже оказывала сильное вліяніе. Романъ Шишкиной былъ не безъ достоинствъ, особенно для того времени; но онъ далеко не могъ спорить въ достоинствѣ съ романами, которые породили его. Проходитъ десять лѣтъ, все измѣняется въ литературѣ, какъ мы уже сказали объ этомъ; жур-

нальные корифеи начала тридцатых годовъ, «Телеграфъ» и «Телескопъ»,—теперь уже не болѣе, какъ отдаленное воспоминаніе, «дѣла давно минувшихъ дней»; даже «Библиотека для Чтенія», сѣтившая ихъ, уже дождала до глубокой старости; «Отечественныя Записки», долго колебавшіяся въ своемъ направленіи, наконецъ вполне овладѣли имъ, возмужали и укрѣпились; обо многомъ въ это десятилѣтіе было переговорено, переспорено, и во многомъ даже согласились,—словомъ, все измѣнилось; но новый романъ Шишкиной, «Прокопій Ляпуновъ», вышелъ вѣрнымъ 1835 году, такъ что, читая его, не вѣришь 1845 году, выставленному на его заглавіи. Теперь этотъ романъ принадлежитъ къ числу тѣхъ произведеній, которыя не производятъ особеннаго впечатлѣнія, слегка похваляются, слегка почитываются и скоро забываются. Между тѣмъ онъ не безъ достоинствъ: написанъ правильнымъ и чистымъ языкомъ; разсказъ мѣстами хорошъ; историческая сторона его показываетъ основательное изученіе исторіи,—но нѣтъ творчески очерченныхъ характеровъ, нѣтъ поэтически вѣрнаго проникновенія въ духъ и значеніе исторической эпохи, нѣтъ эстетической жизни. Во многомъ замѣтенъ взглядъ слишкомъ далекій: такъ напримѣръ, въ предисловіи сочинительница, въ доказательство, что нельзя вѣрять безкорыстію Ляпунова, приводитъ, что онъ былъ дурнымъ мужемъ и не всегда трезво велъ себя,—какъ-будто нельзя быть въ одно и то же время и дурнымъ мужемъ, и ревностнымъ патриотомъ? Безъ всякаго сомнѣнія, быть дурнымъ мужемъ—не достоинство, а порокъ; но неужели патриотъ непременно долженъ быть ангеломъ и имѣть всѣ добродѣтели? Если можно быть превосходнѣйшимъ мужемъ и отцомъ и въ то же время вовсе не быть патриотомъ: почему же нельзя быть дурнымъ мужемъ и патриотомъ? Конечно, гораздо лучше быть и хорошимъ мужемъ, и патриотомъ вмѣстѣ, но люди—прежде всего люди, что бы ни говорили на этотъ счетъ дамы... Что же касается до нетрезвости, этотъ порокъ въ тотъ вѣкъ не въ одной Россіи, но и во всей Европѣ считался добродѣлью мужчины: тогда пили не по нѣмѣшнему и хвалились пьянствомъ, какъ храбростью. Лучшей оцѣнкой новаго романа Шишкиной могутъ служить ея собственныя слова въ предисловіи:

«Сама нерѣдко удивляюсь, какъ рѣшилась я писать историческіе романы. Много требовалось на это трудовъ и терпѣнія, много было мнѣ заботъ и препятствій. Но высокая цѣль оживотворила меня. Я считала святымъ вдохновеніемъ, призваніемъ Божиимъ, желаніе пробудить въ благородныхъ сердцахъ любовь къ родному, часто заглушаемому иностранными наставниками и не совсемъ справедливой, но великолѣпной картиной не-русскаго образованія. Исторіи должно учиться. Она полезна, необходима. Всѣ это знаютъ и никто объ этомъ не споритъ. Но и пріятное развлеченіе часто необходимо для ума и сердца. Исторію не всѣ читаютъ, не всѣ могутъ понимать и цѣнить важность прошествій государственныхъ, но, читая «Ивангозъ», «Юрія Милославскаго» и имъ подобные историческіе рома-

ны, ведемъ пріятно, мысленно переносимъ въ отдаленные вѣка, какъ будто лично бесѣдовать съ людьми знаменитыми, среди семействъ ихъ, въ ихъ домашнемъ быту.»

Видите-ли: романы пишутся для пріятнаго развлеченія ума и сердца? «Юрій Милославскій», безъ дальнихъ околичностей, поставленъ рядкомъ съ «Ивангозомъ»?... Этимъ все сказано... Какъ дѣйствительно пріятное развлеченіе для ума и сердца... «Прокопій Ляпуновъ» и теперь конечно найдетъ себѣ читателей и даже почитателей,—чего отъ всей души желаемъ мы ему, какъ роману, написанному съ цѣлью, безъ всякаго сомнѣнія, благонамѣренной и похвальной.

Сочиненія Константина Масальскаго. *Смб. Пять частей. 1843, 1844, 1845.*

Давно извѣстная истина: «ничего не ново подлуну»—ничѣмъ не подтверждается, какъ страстью стариковъ хвалить все старое и бранить все новое и страстью молодыхъ восхищаться всѣмъ новымъ и смѣяться надъ всѣмъ старымъ. Эта страсть современна міру и человѣчеству; она всегда была и всегда будетъ, потому что она въ натурѣ человѣка, потому что она естественна, какъ—наклонность больныхъ и несчастныхъ все видѣть въ мрачномъ свѣтѣ и наклонность здоровыхъ и счастливыхъ все видѣть въ радужномъ свѣтѣ. Старость стѣбитъ болѣзнь и несчастья такъ же, какъ молодость стѣбитъ здоровья и счастья; по крайней мѣрѣ по большей части, и только за рѣдкими исключеніями, старость и несчастье, молодость и счастье—синонимы. Каждый человѣкъ—больше или меньше эгоистъ по своей натурѣ: обо всемъ, что до него не касается, онъ судитъ по отношенію къ самому себѣ. Здоровый, онъ, видя больныхъ, какъ-будто удивляется, что можно быть больнымъ; счастливый, онъ какъ-будто думаетъ, что всѣ должны быть счастливы; больной, онъ оскорбляется видомъ здоровья; несчастный, онъ готовъ видѣть насмѣшку надъ собой во всемъ, что дышитъ счастьемъ... Молодость есть лучшее время жизни каждаго человѣка такъ же, какъ старость худшее,—это аксіома. Ни обольщенія сухого и мелкаго честолюбія, ни приманки блестящихъ почестей, ни богатство, ни роскошь въ старости—ничто не замѣнитъ мечтаній, надеждъ, упоеній и даже горестей страстной, живой, увлекающейся, гордой собой, сильной и отважной юности! Удивительно ли, что все хорошее старики относятъ къ своему времени? Эгоисты поневолѣ, они думаютъ, что для всѣхъ должно казаться прекраснымъ только то, что было дѣйствительно прекрасно для нихъ, что всѣхъ должно тѣшить и обманывать только то, что тѣшило и обманывало ихъ,—какъ-будто бы міръ ими начался, ими и долженъ кончиться,—какъ будто бы молодые поколѣнія обязаны жить ихъ жизнью, видѣть ихъ глазами, понимать ихъ умомъ, и этимъ самымъ сознаться, что напрасно природа дала

ить глаза и умъ, и напрасно призваны они къ жизни! Когда же старцы замѣчаютъ наконецъ, что у молодыхъ поколѣній есть свои глаза и свой умъ, свои радости и свои горести, свои понятія и свои убѣжденія, которыя не совсѣмъ похожи, а иногда и вовсе не похожи, на радости и горести, на понятія и убѣжденія ихъ, старцевъ,—тогда они видятъ въ людяхъ молодого поколѣнія апостатовъ, еретиковъ, чуть-чуть не бунтовщиковъ. И тогда-то градомъ сыплются на молодыхъ поколѣнія упреки въ безнравственности, въ вольнодумствѣ, въ самонадѣянности; клюка старческой морали грозитъ ослушникамъ, безпрестанно выпадая изъ слабыхъ рукъ; нерѣдко льются изъ дрожащихъ устъ старческія поученія, прерываемыя кашлемъ и... смѣхомъ новыхъ поколѣній... Съ своей стороны, новыя поколѣнія бываютъ подвержены своей слабости—видѣтъ все прекрасное, умное, достойное удивленія только въ новомъ и современномъ, ожидать чудесъ только отъ будущаго, а на старое и прошедшее смотрѣтъ съ равнодушіемъ и даже съ насмѣшкой. Но, видно, обѣ эти крайности равно неизбежны; однакожъ нельзя не согласиться, что гораздо больше справедливости на сторонѣ молодыхъ поколѣній даже и тогда, когда они явно несправедливы,—потому самъ духъ жизни, ведущій человѣчество, всегда на сторонѣ новаго противъ стараго; потому что безъ этого исключительнаго односторонняго стремленія всегда къ новому, всегда къ будущему не было бы никакого движенія, никакого хода впередъ, не было бы прогресса, исторіи, жизни, и человѣчество привратилось бы въ огромное стадо дикихъ животныхъ. Для того и не вѣчетъ человѣкъ, для того и долженъ онъ старѣть, дряхлѣть и умирать, для того и смѣняется одно поколѣніе другимъ,—словомъ, люди умираютъ для того, чтобъ жило человѣчество. Смерть есть великое орудіе, великая опора жизни... У новыхъ поколѣній бываютъ вожди, которые ведутъ ихъ по пути развитія; но самодѣятельная сила развитія до того присуща самой натурѣ человѣка, что развитіе обществъ совершается даже и тогда, когда не является новыхъ вождей. Это дѣлается очень просто: Богъ знаетъ какъ и почему, но только у новаго поколѣнія являются новые вкусы, наклонности, понятія, какихъ не было у стараго, хотя это старое поколѣніе, воспитывавъ новое, больше всего старалось сдѣлать его похожимъ на себя, какъ двѣ капли воды... Этотъ родъ прогресса самый прочный и несокрушимый и неодолимый: противъ него нѣтъ никакихъ мѣръ; въ отношеніи къ старымъ поколѣніямъ онъ—врагъ тѣмъ болѣе страшный, что невидимъ, на него нельзя указать, его нельзя разить; онъ не лицо, не образъ: онъ—духъ, въ воздухѣ, въ водѣ, въ пищѣ; ему равно служить и тѣ, которые любятъ его, и тѣ, которые ненавидятъ; для него все средство къ успѣху,—даже моды на платья, на мебель... потому что у китайцевъ не существуетъ даже модъ; но зато у китайцевъ нѣтъ молодыхъ

поколѣній: каждый человѣкъ дѣлается тамъ старикомъ, лишь только успѣетъ родиться...

Самолюбіе играетъ большую (и чуть ли даже не главную) роль въ нерасположеніи стариковъ ко всему новому. Видя, что все на свѣтѣ идетъ и дѣлается не такъ, какъ бы имъ хотѣлось, не такъ, какъ все шло и дѣлалось въ ихъ время, старики обижаются и говорятъ юношамъ: «что же мы глупѣе васъ, а вы умнѣе насъ? Развѣ мы затѣмъ прожили вѣкъ свой, набирались уму-разуму, богатѣли мудрой опытностью, чтобъ на старости лѣтъ неопытные мальчишки задумали учить насъ?» Люди молодого поколѣнія должны были бы отвѣчать на это старикамъ: «каждый изъ насъ, отдѣльно взятый, можетъ быть менѣе опытенъ и мудръ, нежели каждый изъ васъ отдѣльно взятый; но наше молодое поколѣніе и опытнѣе, и мудрѣе вашего, потому что оно старше вашего, и къ вашей опытности приложили свою собственную». Но, къ сожалѣнію, молодые люди такъ же имѣютъ свои молодые слабости и недостатки, какъ старые люди имѣютъ свои старые слабости и недостатки, и почти каждый юноша готовъ смотрѣтъ на старика, какъ на ребенка, а на себя, какъ на вѣрслага человѣка, не понимая, что вся его заслуга и все преимущество передъ старикомъ состоитъ только въ томъ, что онъ позже его родился, и что это вѣдь совсѣмъ не заслуга... И такъ, было бы несправедливо утверждать, что старики всегда неправы въ отношеніи къ молодымъ, а молодые всегда правы въ отношеніи къ старикамъ. Но борьба между ними не прекращается ни на минуту, и одно время рѣшаетъ безъ лицепріятія, кто правъ, кто виноватъ, хотя немногіе доживаютъ до рѣшенія своей тяжбы, и старики по большей части умираютъ съ убѣжденіемъ, что они правы, что ихъ тяжба выиграна, и что горе новому поколѣнію, которое пошло своей новой дорожкой... Какъ бы то ни было, только самолюбіе играетъ чуть ли не главную роль въ этой вѣчной распрѣ. Это особенно замѣтно въ умственныхъ сферахъ, въ которыхъ борьба сильнѣе и живѣе, какъ напр. въ сферѣ литературной. Здѣсь самолюбіе дѣйствуетъ тѣмъ сильнѣе, что вопросъ идетъ не объ одной физической старости, не объ одной физической смерти, но о старости и смерти нравственной, смерти за-живо. Въ лѣта молодости, способности человѣка дѣятельны и живы, душа его воспріимчива для впечатлѣній; въ лѣта возмужалости—впечатлѣнія молодости дѣлаются, такъ сказать, нравственнымъ капиталомъ человѣка, процентами съ котораго онъ живетъ и въ старости. Большею частью люди совершенно опредѣляются въ тридцать лѣтъ и считаютъ за истинное и прекрасное только то, что успѣли признать они истиннымъ и прекраснымъ до тридцатилѣтняго возраста ихъ жизни, подъ вліяніемъ своихъ первыхъ впечатлѣній, и не признаютъ никакой истины, которая явится, когда они перейдутъ за роковую черту своихъ тридцати лѣтъ. Такъ на Руси и теперь еще есть люди, которые безъ

уна отъ стиховъ Державина и которые косо смотрять на стихи Жуковского, видя въ Жуковскомъ новаго писателя, хотя этотъ новый писатель пишетъ уже болѣе сорока лѣтъ. Какая причина этому? Очень простая: они прочли и выучили наизусть стихи Державина въ то время, когда ихъ способность восприимчивости была въ полной своей силѣ; когда же явился Жуковский, ихъ душа уже закрылась для впечатлѣній: они уже не могли принять откровенной новой поэзіи всей полнотой своего существа. Идея и форма Державинской поэзіи до того овладѣли ихъ умомъ, что для нихъ поэзіей казалось только то, что походило на стихи Державина. Но какъ произведенія Жуковского нисколько не походили на оды Державина, то они и не могли признать въ Жуковскомъ поэта. Такимъ образомъ имъ невозможно было безъ досады видѣть, что другіе восхищаются Жуковскимъ, и на всѣхъ этихъ другихъ они стали смотрѣть, какъ на людей съ дурнымъ вкусомъ, какъ на людей заблуждающихся, потому что самолюбіе человѣческое всегда готово оправдать себя насчетъ другихъ и собственную свою ограниченность растолковать себѣ, какъ чужую ошибку, чужое заблужденіе. Вѣдь въ самомъ дѣлѣ, тяжело же сознаться, что мы отстаемъ, что наше время прошло; и вѣдь не переучиваться же стать въ почтенныя лѣта... Кто не помнитъ, какой шумъ, какіе споры, какую борьбу возбуждало появленіе Пушкина! Старцы (и старые, и молодые) съ такимъ ожесточеніемъ оспаривали поэтическое достоинство первыхъ произведеній Пушкина, какъ будто-бы дѣло шло о ихъ жизни и смерти. И дѣйствительно, дѣло шло ни больше, ни меньше, какъ о ихъ жизни и смерти—только нравственной, а не физической. Такихъ старичковъ теперь осталось мало, да и тѣ приумолкли, а нѣкоторые даже, притерѣвшись и привыкнувъ къ славѣ Пушкина, нѣ слово повѣрили ея дѣйствительности. Но вотъ примѣръ свѣжѣе: кому не извѣстно, съ какимъ ожесточеніемъ встрѣтили старцы талантъ Гоголя? И до сихъ поръ еще бранятъ они его, даже подражая ему, чтобъ добиться какова-нибудь успѣха, —и бранятъ его даже въ тѣхъ самыхъ своихъ наданіяхъ, въ которыхъ такъ безуспѣшно подражаютъ ему... И это ожесточеніе противъ—можно смѣло сказать—геніальнаго писателя очень понятно. Всѣ люди самолюбивы, но особенно люди, которые хотятъ казаться талантливыми тамъ, гдѣ имъ всего болѣе отказано въ талантѣ, и преимущественно люди съ мелкими способностями и дарованіями, которые когда-то воспользовались мгновеннымъ успѣхомъ. Переживъ свои сочиненія, нѣкогда имѣвшія какой-нибудь успѣхъ, видя, что ихъ новыя попытки возбуждаютъ только смѣхъ, и отчаянія, что они не могутъ поддѣлаться подъ писателя, увлекшаго за собой всю литературу, всю публику, въ досадѣ, что они не могутъ даже понять ни смысла, ни достоинства его сочиненій, эти горе-богатыри по-неволѣ раздражаются противъ него и вступаютъ съ его славой въ неравную

для нихъ борьбу. Они со слезами на глазахъ и съ бранью на устахъ кланутся публикѣ, что это писатель безъ таланта, безъ вкуса, что онъ не знаетъ грамматики, тогда какъ они сами—первые грамотѣи; что онъ рисуетъ одну грязь, тогда какъ они изображаютъ одну добродѣтель и благонамѣренность, которыми преисполнены ихъ сердца. Но публика ихъ не слушаетъ, сочиненій ихъ не читаетъ, а преслѣдуемый ими авторъ какъ будто и не подозреваетъ ихъ существованія, идя своей дорогой и не замѣчая ихъ воплей. Что имъ дѣлать?—Не знаемъ, право, что они теперь дѣлаютъ или что будутъ дѣлать; но вотъ уже давно, какъ слышимъ жалобы на то, что современные писатели, и преимущественно Гоголь, и современные журналы, преимущественно толстые, искажаютъ и губятъ русскій языкъ, и что остается только средство спасти его отъ гибели—начать подражать Карамзину, строго держась его слога и орфографіи... Съ особеннымъ жаромъ приглашаются къ этому молодые и подающіе надежды писатели. Нужно ли говорить, что приглашающіе давно уже не принадлежатъ къ числу молодыхъ, и еще менѣе къ числу писателей, подающихъ надежды?.. И это пишется и печатается въ наше время!.. Подражать Карамзину въ слоги, держаться его орфографіи! Ужъ не лучше ли обратиться къ Ломоносову и его избрать образцомъ!.. Что Карамзинъ справедливо названъ преобразователемъ русскаго языка, русскаго прозы, что онъ оказалъ русской литературѣ такого рода услуги, которыми никогда не забываются, —все это аксіомы. Но въ то же время нѣтъ никакого сомнѣнія, что достоинство его сочиненій теперь имѣетъ чисто историческое значеніе, тогда какъ въ свое время оно имѣло значеніе не только литературное, но и художественное. Теперь «Вѣдную Лизу» и «Мару Посадницу» можно читать не для эстетическаго наслажденія, а какъ историческій памятникъ литературы чуждой намъ эпохи; теперь на нихъ смотрятъ съ тѣмъ же чувствомъ, какъ смотрятъ на портреты дѣдушекъ и бабушекъ, наслаждаясь добродушнымъ выраженіемъ ихъ лицъ и оригинальностью ихъ стариннаго костюма. Пусть укажутъ намъ старцы хоть на одну статью Карамзина, которая могла бы теперь возбуждать другой интересъ. Какъ же, спрашиваемъ мы, подражать произведеніямъ, которыя были условно хороши только для того времени, когда были писаны? Карамзинъ преобразовалъ русскую прозу, и въ этомъ его великая заслуга, его великое право на признательность потомства; но сущность и заслуга его преобразованія состояли совсѣмъ не въ томъ, что онъ далъ вѣчные образцы прозы, а въ томъ, что онъ далъ возможность явившимся послѣ него писателямъ опередить его на этомъ пути, имъ же открытомъ. До Карамзина русская проза не переставала скрипеть тяжелыми Ломоносовскими періодами; Карамзинъ вывелъ ее изъ этого заколдованнаго круга на большую дорогу, и она пошла, ужъ больше не нуждаясь въ его исключительномъ руководствѣ. Отъ латинско-нѣмецкой

конструкціи, столь несвойственной русскому языку, онъ обратилъ ее къ французской конструкціи, болѣе ему свойственной, и чрезъ это далъ средства русскому языку, бывшему обезьяной то латинско-славяно-нѣмецкаго, то французскаго, сдѣлаться со временемъ совершенно русскимъ языкомъ. Но языкъ самого Карамзина далеко не-русскій: онъ правиленъ, какъ всеобщая грамматика безъ исключеній и особенностей, лишень руссизмовъ или этихъ чисто-русскихъ оборотовъ, которые одни даютъ выраженіе и опредѣленность, и силу, и живописность. Русскій языкъ Карамзина относится къ настоящему русскому языку, какъ латинскій языкъ, на которомъ писали ученые среднихъ вѣковъ,—къ латинскому языку, на которомъ писали Цицеронъ, Саллюстій, Гораций и Тацитъ; узнавъ въ совершенствѣ первый, можно совсѣмъ не знать второго; легко понимая первый, можно совсѣмъ не понимать второго. Языкъ мелкихъ сочиненій Карамзина, говорятъ, гораздо ниже языка, которымъ писана «Исторія Государства Россійскаго», и который, будто бы, есть вѣчный образецъ русскаго языка, русскаго слога. Это едва ли справедливо. Если что особенно хорошо въ «Исторіи» Карамзина, это—изложеніе событій, умѣнье разсказывать. Но слогъ этой «Исторіи» какой-то академическій, искусственный, лишенный естественности, тщательно округленный, отдѣланный, ритмическій, пѣвучій, съ прилагательными послѣ существительныхъ. Карамзинъ употребляетъ часто слова лѣтонисей, старается проникнуть своей слогу ихъ духомъ, но остается при одномъ усилии. Нѣтъ спора, что всякій, кто хочетъ быть писателемъ, долженъ читать старыхъ авторовъ для изученія отечественнаго языка; но утверждать, что онъ долженъ подражать кому-нибудь изъ писателей, особенно старыхъ,—это верхъ нелѣпости. Мы не разъ имѣли случай изъяснять удивленіе, какииъ образомъ поэты нашего времени могли бы подражать Карамзину, который вовсе не былъ поэтомъ, хотя и писалъ стихи, и сочинялъ повѣсти? И какое изъ его произведеній могли бы они взять себѣ за образецъ—«Бѣдную Лизу» или «Маріу Посадницу»?.. Хорошіе образцы для нашего времени—нечего сказать! Въ такомъ случаѣ, почему же не начать подражать «Россіадѣ»? Интересно знать, какую бы поэму написалъ Лермонтовъ, еслибы взялъ себѣ за образецъ «Россіаду», какой бы романъ написалъ онъ, еслибы взялъ себѣ за образецъ «Кама и Гармонію»?... Давайте же подражать старымъ писателямъ; давайте жить заднимъ умомъ, давайте ходить раковой манерой,—далеко уйдемъ!... Подражать! Да развѣ можно и должно кому-нибудь подражать? Развѣ подражаніе произвело хоть одного порядочнаго писателя? Развѣ оно подкрѣпило чей-нибудь талантъ! Развѣ, напротивъ, оно не портило, не ослабляло и дѣйствительно сильныхъ талантовъ? Развѣ это не аксіома въ наше время? Развѣ вопросъ о подражателности не рѣшенъ давнымъ давно? Развѣ совѣтовать подражать не значитъ—подвергаться тому,

что по-французски называется *ridicule*, и для выраженія чего нѣтъ равносильнаго русскаго слова?... Подражать—значитъ жить чужими умомъ, чужими мыслями, чужими талантомъ. Имѣть нужду въ подражаніи значитъ—не имѣть нисколько таланта, при сильной охотѣ марать бумагу... Но зачѣмъ же наши старцы такъ настоятельно совѣтуютъ подражать?—Затѣмъ, чтобъ никто не писалъ такъ, какъ пишетъ Гоголь... А! это другое дѣло!

Вотъ такъ, напримѣръ, хвалить они сочиненія Масальскаго: «Регентство Вирона», «Осада Углича», «Русскій Икаръ», «Донъ-Кихотъ XIX вѣка», «Стрѣльцы», «Черный Ящикъ», «Граница 1616 г.», «Ворождобіе», «Терни казакъ, атаманъ будешь» (повѣсть въ стихахъ), нѣсколько мелкихъ статей въ прозѣ и нѣсколько десятковъ стихотвореній, заключающихся въ этихъ пяти томахъ, написаны чистымъ, правильнымъ языкомъ, виѣщаютъ въ себѣ умъ, чувство и познаніе исторіи, и представляютъ вѣрные очерки эпохъ и характеровъ. У К. П. Масальскаго нѣтъ такихъ остроумныхъ сочиненій, какъ напримѣръ «сапоги въ смятку и т. п.». И мы не можемъ не похвалить Масальскаго за то, что онъ не употребляетъ нѣкоторыхъ выраженій, употребляемыхъ Гоголемъ,—такъ же точно, какъ не можемъ не похвалить подражателей Корнеля и Расина за то, что они въ своихъ трагедіяхъ не выводили, подобно Шекспиру, ни публичныхъ женщинъ, ни пьяныхъ мужиковъ, ни развратниковъ дурного тона вроде Фальстафа: на что могъ ослѣпляться великій Шекспиръ, за то не слѣдовало братья мелкими подражателямъ Корнеля и Расина, потому что у нихъ непремѣнно вышло бы пошло, отвратительно и бессмысленно то, что у Шекспира живописно, поучительно и исполнено глубокаго смысла! Но, по мнѣнію нашихъ критическихъ *patres conscripti*, Масальскій потому не употребляетъ выраженій, употребляемыхъ Гоголемъ, что «онъ (Масальскій) въ языкѣ придерживается грамматики Греча, а въ изыщномъ вкусѣ не отступаетъ отъ образцовъ, представленныхъ намъ Карамзинымъ, Жуковскимъ, Пушкинымъ, Батюшковымъ». Но τίτνητο сталъ бы кто-нибудь искать въ сочиненіяхъ Масальскаго чего-нибудь, кромѣ твердаго знанія грамматики Греча! Сочиненія Карамзина были хороши, даже превосходны для своего времени: сочиненія Масальскаго не были не только превосходны, но просто сносны даже для того времени, въ которое началъ писать Карамзинъ, потому что въ сочиненіяхъ Карамзина есть талантъ, отражается оригинальная и самобытная личность, чего нѣтъ и слѣдовъ въ сочиненіяхъ Масальскаго. Жуковский... но скажите, ради здраваго смысла, можетъ ли существовать какое-нибудь отношеніе между стихами переводчика «Іоанны д'Аркъ» Шиллера и «Шильонскаго Узника» Байрона и между—хоть воть этими виршами Масальскаго?

Оселя широкой нивой
Въ раздумьи важно бредъ,
И вдругъ свирѣль подъ нивой
По случаю напелъ.

Любуясь находкой,
Онъ сталъ ее лгзть,
И на нее всей глоткой
По случаю дышать.
Оселъ не понимаетъ,
Что переливъ, что трель;
Лгзть дышитъ, и играетъ
По случаю свирѣль.
Какъ на осла, бываетъ
На всякаго смѣшно,
Кто сдуру поступаетъ
По случаю смѣшно.

Послѣ этого мы можемъ себя уволить отъ всякихъ параллелей между Масальскимъ и Ватюшковымъ, и особенно Пушкинымъ. Можетъ-быть Масальскій и подражалъ имъ; но тѣмъ не менѣе все ихъ осталось при нихъ, а въ сочиненіяхъ Масальскаго ничего не осталось. Что-жъ толку подражать? Кому нечего сказать своего, тому всего лучше молчать. Кто захочетъ послушать Пушкина, тотъ обратится къ нему, а не къ его подражателямъ. Какъ бы ни малъ былъ чей-нибудь талантъ, но онъ стбитъ вниманія, если не подражаетъ, а говоритъ свое. И вотъ почему могло имѣть большой успѣхъ такое произведеніе, какъ напримѣръ «Юрій Милославскій». Въ немъ есть оригинальность; оно имѣло подражателей, но само никому не подражало. Впослѣдствіи авторъ этого романа, Загоскинъ, сталъ подражать своему первому произведенію, — что же вышло? всѣ послѣдующіе романы Загоскина оказались ниже посредственности и не имѣли успѣха. Вотъ каково подражать кому-нибудь, даже самому себѣ, и чему-нибудь, даже собственному своему сочиненію... Масальскій подражалъ не Карамзину, не Ватюшкову, не Жуковскому, не Пушкину, а нѣкоторымъ изъ русскихъ романистовъ, явившихся въ тридцатыхъ годахъ настоящаго столѣтія; но они ничего не дали его подражательнымъ сочиненіямъ — даже способности быть забавно неудачными, и потому эти сочиненія скучно и усыпительно неудачны. Сочинитель беретъ изобразить то эпоху Петра Великаго, то регентство Вирона, то наше время, хочетъ быть высокимъ, патетическимъ, юмористическимъ, забавнымъ, хочетъ трогать и смѣшить, — и только усыпляетъ...

Скажутъ: это ли разборъ писателя, написавшаго пять томовъ? Наговорить о старыхъ и молодыхъ поколѣніяхъ, о Карамзинѣ, о Гоголѣ — развѣ это значить критиковать сочиненія, заглавіе которыхъ выставлено въ началѣ статьи? Отвѣчаемъ на это: русская литература и русская публика уже выросли и возмужали на столько, чтобъ рецензентъ нашего времени могъ уволить себя и своихъ читателей отъ серьезныхъ доказательствъ, что скучная книга скучна, а бездарность бездарна. Лучше по поводу подобныхъ сочиненій поговорить о чемъ-нибудь такомъ, о чемъ стбитъ говорить. Удивительно-ли, что въ наше время, о чемъ бы ни сталъ писать рецензентъ, непременно начнетъ бранить или хвалить «Мертвыя Души»? Есть произведенія, которыя наполняютъ шумомъ своего появленія цѣлую эпоху, оставляя послѣ себя глубокий и долгій слѣдъ... И есть произведенія, о которыхъ нечего

сказать, даже и тогда, какъ заговорить о нихъ, — которыхъ нельзя ни бранить, ни хвалить...

Миръ вамъ, бѣдныя дѣти безпокойной охоты къ сочинительству, почивайте спокойно!...

Метеоръ, на 1845 годъ. Спб.

Наша стихотворная поэзія по справедливости можетъ гордиться созданіями истинно изящными, именами истинно гениальными; нельзя сказать, чтобъ она бѣдна была и талантами. Она совершила циклъ полный и законченный, — такъ что теперь уже нѣтъ возможности доставать славу невинными стишками, какъ бы они хороши ни были. Таланта для этого мало: нужна гениальность, а если и талантъ, то соединенный съ большимъ умомъ, съ сильной натурой. Быть поэтомъ теперь значить — мыслить поэтическими образами, а не лепетать по-птичьи мелодическими звуками. Чтобъ быть поэтомъ, нужно не мелочное желаніе выказаться, не грезы праздношатающейся фантазіи, не выписныя чувства, не нарядная печаль: нужно могучее сочувствіе съ вопросами современной дѣйствительности. Поэзія, которой корни находятся въ прихотяхъ, скорбяхъ или радостяхъ самолюбивой личности, носящейся, какъ курица съ яйцомъ, съ своими прекрасными чувствами, до которыхъ никому нѣтъ дѣла, — такая поэзія, вѣсто вниманія, заслуживаетъ презрѣнія. Всякая поэзія, которой корни не въ современной дѣйствительности, всякая поэзія, которая не бросаетъ свѣта на дѣйствительность, объясняя ее, — есть дѣло отъ бездѣлья, невинное, но пустое препровожденіе времени, игра въ куклы и бирюльки, занятіе пустыхъ людей... Давно уже утвердилось мнѣніе и существуетъ до сихъ поръ, что поэтъ — пустой человекъ, неспособный ни къ какому дѣлу. Это мнѣніе варварски ложно, когда оно прилагается къ поэтамъ или гениальнымъ, или проявившимъ въ своихъ твореніяхъ положительный, никакому сомнѣнію неподлежащій талантъ, — талантъ, запечатлѣнный оригинальностью идеи, самобытностью формы. Пусть такой поэтъ и дѣйствительно не способенъ ни къ какому другому дѣлу: онъ имѣетъ на это полное право, потому что способенъ къ своему дѣлу, для котораго гедятся не всѣ, но одинъ изъ ста тысячъ, если не изъ милліона людей. Это мнѣніе страшно истинно, когда оно прилагается къ тѣмъ поэтамъ, у которыхъ сочиненія, какъ говорится, только что недурны, и которые, ставъ выше бездарности, все-таки не дошли до таланта. Такіе поэты — самые жалкіе люди въ мірѣ, и конечно всякій водовозъ, всякій дворникъ, на лѣстницѣ общественной іерархіи, есть почтенное существо въ сравненіи съ этими пискливыми и крикливыми воробьями царства поэзіи, потому что водовозъ и дворникъ полезны и необходимы для общества. Совершенно бездарный поэтъ лучше маленькихъ талантиковъ: на него по крайней мѣрѣ можно смотрѣть какъ на больного или по-

мѣшанного, и онъ рѣдко заносится и зазнается, не багуемый мелочными успѣхами. Но маленькіе талантики — несносные люди, раздражительные, мелочные, самолюбивые, заносчивые. Они не знаютъ, какъ и оцѣнить себя; ихъ чувствованія, ихъ фантазіи, ихъ мыслишки кажутся имъ великими открытіями. Они и не догадываются, что все это у нихъ краденое, т. е. вычитанное или, какъ превосходно выразилъ это Лермонтовъ, «плѣнной мысли раздраженіе». Они увѣрены, что только одни они и чувствуютъ, и мыслятъ, и страдаютъ, — и потому нещадно бранятъ толпу, которая предпочитаетъ свои домашнія заботы и личныя выгоды ихъ хорошенькимъ стишкамъ. Къ дѣлу они не способны ни къ какому, потому что самолюбивы, надуты, тщеславны, все, кромѣ стишковъ, считаютъ ниже себя, не хотятъ ничему учиться, ни на что посмотреть со вниманіемъ. Они — извольте видѣть — гении, толпа должна видѣть ореолъ надъ ихъ головами, а на челѣ звѣзду безсмертія. Такихъ поэтовъ надо преслѣдовать критикѣ неумолимо и строго; они вредны вообще бездарныхъ, которые не стоятъ никакого вниманія; они подаютъ дурной примѣръ молодежи: соблазняя мальчиковъ дешево покупаемой славой, они отвлекаютъ ихъ отъ ученія и отъ дѣла.

И на что намъ они, эти пріятные поэты, эти маленькіе талантики? Чтѣ въ нихъ? Было время, и они были полезны и нужны! Но теперь, когда Пушкинъ и Лермонтовъ показали намъ образцы высокой поэзіи; когда менѣе сильные таланты разработали ея поле, подали примѣры всѣхъ формъ, даже всѣхъ уклоненій и странностей поэзіи, — теперь, что дѣлать маленькимъ талантамъ? Вадумаетъ ли талантикъ писать басни, — кто же его станетъ читать послѣ Крылова, и въ состояніи ли онъ быть для своего времени тѣмъ, чѣмъ для своего были Хемницеръ и Дмитріевъ? Вадумаетъ ли онъ на примѣръ попробовать свои силы въ классическо-французской трагедіи, — ему непременно нужно для своего времени стать хоть тѣмъ, чѣмъ для своего былъ Озеровъ. Рѣшиться на борьбу съ Батюшковымъ еще менѣе возможно для него. Пуститься развѣ въ романтизмъ? — но тогда надо крѣпко помнить, что вѣдь у насъ есть Жуковский. Стало-быть, нѣтъ надежды и на возобновленіе старинны. Возможность комедій въ стихахъ убита Грибоедовымъ. Пѣть буйныя плотскія потѣхи? — но это уже сдѣлалъ Языковъ. Пуститься въ дикую оригинальность — мѣшаетъ Бенедиктовъ. И такъ, ни стараго возобновить, ни новаго изобрести: что же дѣлать?.. Всего лучше ничего не дѣлать.

Но мы заговорили и забыли о «Метеорѣ»; возвратимся къ нему. Онъ украшенъ стихами графини Растопчиной, Майкова, Бенедиктова, Мейснера, Познанскаго, Шевцова, Степанова, Якубовича, Филимонова, Дурова, Протопопова, Пальма, Вернега, Доводчикова, Огородникова, Григорьева, Гребенки, Гербаловскаго, Соколовскаго.... Сколько именъ! Мы теперь столько же богаты поэтами,

сколько бѣдны поэзіей. Особенно яркаго, рѣзко выдающагося изъ нуды уровня обыкновенности въ «Метеорѣ» нѣтъ ничего...

Типы современныхъ нравовъ, представленныя въ иллюстрированныхъ поэтикахъ и разсказахъ, издаваемыхъ подъ редакціей Николая Крылова. Спб. 1845.

Эта книжка, красиво изданная съ хорошенькими политипажжами, состоитъ изъ одного разсказа: «Третій Калачъ, сданы изъ провинціальной жизни». Въ этомъ разсказѣ есть довольно забавныя черты и можетъ-быть много правды; но въ немъ вовсе нѣтъ типовъ: отъ этого очень скучно читать его. Многіе думаютъ, что писать въ юмористическомъ родѣ ничего не значитъ; такъ-де вотъ возьми и списывай съ природы. Конечно выйдетъ хорошо, если кто умѣетъ хорошо списывать съ природы; и это тоже талантъ своего рода, хотя и талантъ низшій. Ужъ кто лучше дагерротипа списываетъ? — а между-тѣмъ, какъ далеко ниже сколько нибудь порядочнаго живописца самый лучший дагерротипъ! И потому, повторимъ: хорошо, если кто умѣетъ быть хорошимъ дагерротипомъ въ литературѣ, но несравненно лучше и почетнѣе быть въ литературѣ живописцемъ. Міръ пошлой повседнежности, міръ прозы жизни для своего воспроизведенія такъ же требуетъ вдохновенія, творчества, таланта и гения, какъ и міръ великихъ характеровъ, дѣяній и страстей. И потому фламандская школа живописи стоитъ всякой другой. Но зато, когда у писателя нѣтъ способности быть даже дагерротипомъ, — простое списываніе съ природы бываетъ у него очень отвратительно: въ высокомъ и патетическомъ оно переходитъ у него въ сентиментальность и надутость; въ комическомъ и юмористическомъ — въ пошлость и тривіальность, — и въ обоихъ случаяхъ равно никогда не имѣетъ никакого сходства съ изображаемой природой. Къ такому роду рабскихъ снимковъ съ натуры принадлежитъ «Третій Калачъ»: въ немъ можетъ быть узнать себя пять или шесть человѣкъ во всей Россіи, но больше никто не узнаетъ, и эта книжка можетъ возбудить интересъ только въ томъ мѣстѣ, гдѣ живутъ оригиналы ея, потому что въ ней нѣтъ ничего общаго, типическаго, хотя она и претендуетъ на типы...

Краткая исторія крестовыхъ походовъ. Переводъ съ нѣмецкаго. Спб. 1845.

Нѣмецкій подлинникъ этой «исторіи» принадлежитъ къ собранію исторій разныхъ государствъ, извѣстному подъ именемъ «Всеобщей Исторической Карманной Библіотеки». «Краткая Исторія Крестовыхъ Походовъ» переведена была лѣтъ за восемь передъ этимъ; но какъ ея переводчикъ узналъ, что Погодинъ издаетъ въ Москвѣ переводъ всего этого сборника подъ именемъ «Всеобщей Исторической Библіотеки», — то и оставилъ намѣреніе печатать трудъ свой. Погодинъ издалъ исторію Неаполя, Пруссіи,

Швеция, да на томъ и остановился. Видя, что предпріятію Погодина не суждено дойти до вождѣннаго конца, переводчикъ «Краткой Исторіи Крестовыхъ Походовъ» наконецъ рѣшился издать въ свѣтъ свой переводъ. Нельзя не согласиться, что этимъ оказалъ онъ большую услугу русской литературѣ. «Исторія Крестовыхъ Походовъ» Мишю, весьма плохо переведенная на русскій языкъ, очень обширна, и поэтому именно не уничтожаетъ потребности въ болѣе краткомъ сочиненіи о томъ же предметѣ. Сверхъ того переводчикъ не просто переводилъ, но частью и перефразировалъ. «Такъ какъ (говоритъ онъ въ предисловіи) въ разработкѣ исторіи крестовыхъ походовъ въ новѣйшее время, особенно на нѣмецкомъ языкѣ, изслѣдованія значительно подвинулись впередъ, то переводчикъ почелъ себя вправѣ и даже обязаннымъ воспользоваться нѣкоторыми изъ этихъ поясненій, и принялъ ихъ въ текстъ». Такимъ образомъ изъ его перевода вышла книга едва-ли не лучше подлинника, книга умная, проникнутая мыслью, запечатлѣнная единствомъ воззрѣнія. Излагая событія этого великаго, огромнаго, дикаго, фантастическаго и сумасброднаго событія, воплотившаго въ себѣ достояніе варварства среднихъ вѣковъ, — переводчикъ смотритъ на него глазами современной науки, глазами чистаго разума, не увлекаясь никакими предубѣжденіями, ни фантастическими, ни рациональными. Выказывая въ истинномъ свѣтѣ немногія личности, исполненныя набожности и доблести, немногіе поступки, нечуждые человѣчности, — онъ въ то же время яркими красками изображаетъ невѣжество, своекорыстіе, развратъ, невѣріе, смѣшанное съ дикимъ фанатизмомъ, звѣрство, жестокость и кровожадность рыцарей гроба Господня, равно какъ и не скрываетъ превосходства мусульманъ надъ христіанами въ чувствѣ нравственности и гуманности. Вообще главную причину этого событія видитъ онъ преимущественно въ хитрой и своекорыстной политикѣ папъ, для которыхъ крестовые походы явились прекраснымъ средствомъ отдѣлаться отъ многихъ государей, опасныхъ имъ самовластію, и слѣдовательно средствомъ къ увеличенію вліянія, силы и преобладанія престола папъ надъ властями свѣтскими. Но что всего лучше, переводчикъ «Исторіи Крестовыхъ Походовъ» видитъ въ этомъ невѣжественномъ событіи великій шагъ впередъ со стороны человѣчества на пути къ эмансипаціи отъ невѣжества; видитъ въ немъ причину паденія папскаго авторитета, слѣдовательно видитъ прогрессъ. Вспомнимъ, что крестовые походы кончились въ концѣ XIII столѣтія, а въ концѣ XIV явился Виллефортъ, въ началѣ XV — Іоаннъ Гусъ, а въ послѣдней половинѣ того же XV столѣтія родился Лютеръ, выступившій на свое великое дѣло въ началѣ XVI вѣка (1517)...

Жаль только, что такая прекрасная книга, какъ «Краткая Исторія Крестовыхъ Походовъ», мѣстами переведена не совсѣмъ изясно, и въ ней попадаются такіе фразы и слова, которыя иной, по-

жалуй, сочтетъ за умышленное искаженіе русскаго языка. Во Франціи самая пошлая книжонка пишется правильно; а мы неужели еще не выучились внимательно издавать дѣльныя книги?..

Карманный словарь иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ составъ русскаго языка, издаваемый Н. Кириловымъ. Спб. 1845 г. Выпускъ первый.

Въ русскій языкъ по необходимости вошло множество иностранныхъ словъ, потому что въ русскую жизнь вошло множество иностранныхъ понятій и идей. Подобное явленіе не ново. Хотя изъ новѣйшихъ европейскихъ языковъ нѣмецкій — языкъ коренной и самостоятельный, однако въ него проникло множество греческихъ, латинскихъ, французскихъ и итальянскихъ словъ. Изобрѣтать свои термины для выраженія чужихъ понятій очень трудно, и вообще этотъ трудъ рѣдко удается. Поэтому съ новыми понятіями, которое одинъ беретъ у другого, онъ беретъ самое слово, выражающее это понятіе. Въ этомъ дѣйствиіи видна справедливость: какъ бы въ награду за понятіе, рожденное народомъ, переходитъ къ другимъ народамъ и слово, выражающее это понятіе. Въ этомъ отношеніи всѣ образованные народы — должники и вассалы древнихъ грековъ и римлянъ, и противъ нравственной зависимости этого рода, столь законной и справедливой, могутъ вооружаться только умы слабые и мелкіе, увлекаемые ложнымъ патриотизмомъ. Что за дѣло, какое и чье слово, лишь бы оно вѣрно передавало заключенное въ немъ понятіе! Изъ двухъ сходныхъ словъ, иностраннаго и роднаго, лучшее есть то, которое вѣрнѣе выражаетъ понятіе. Языки голландскій и англійскій всегда были, есть и будутъ богатѣйшими для выраженія понятій, относящихся къ мореплаванію и флоту вообще; такъ же, какъ итальянскій — для терминовъ по части искусства, въ особенности музыки и живописи; французскій — какъ языкъ общества; нѣмецкій — какъ языкъ ученый и въ особенности философскій. Всѣ народы мѣняются словами и занимаютъ ихъ другъ у друга. Въ Западной Европѣ, по ея географическому положенію, нѣтъ предмета, который далъ бы понятіе о степи, слѣдовательно нѣтъ и слова «степь», и оттого во французскій языкъ вошло русское слово *stépp*. Хорошо, когда иностранное понятіе само собой переводится русскимъ словомъ, и это слово, такъ сказать, само собой принимается: тогда нелѣпо было бы вводить иностранное слово. Но создатель и властелинъ языка — народъ, общество: что принято ими, то безусловно хорошо; грамотѣи должны безусловно покоряться ихъ рѣшенію; общество не приметъ напримѣръ «побудки», вмѣсто инстинкта, и «сверкальцевъ», вмѣсто алмазовъ и брильянтовъ. Что такое алмазъ или брильянтъ, — это знаетъ всякій стекольщикъ, почти всякій мужикъ; но что такое «сверкальцы», — этого не знаетъ ни одинъ русскій человѣкъ...

Нѣтъ ничего смѣшнѣе и нелѣпѣе книжныхъ словъ, столь любимыхъ педантами. Пуристы боятся ненужнаго наводненія иностранныхъ словъ: опасеніе больше чѣмъ неосновательное! Ненужное слово никогда не удержится въ языкѣ, сколько ни старайтесь ввести его въ употребленіе. Книжники старой до-Петровской Россіи употребляли слово *аеръ*; но оно и осталось въ книгахъ, потому что въ устахъ народа русское слово *воздухъ* было ничѣмъ не хуже какого-нибудь *аера*. Галломаны писывали: *воздухъ «ондируется»*, «*имажинация*», и эти нелѣпости не удержались. Стражъ чистоты языка—не академія, не грамматика, не грамотѣи, а духъ народа...

Такъ какъ, по новости русскаго образованія, новый русскій языкъ еще не установился и вѣроятно долго не установится, то естественно, что въ него вдругъ вторглось множество иностранныхъ словъ. Это обстоятельство дѣлало необходимымъ словарь такихъ словъ. Наконецъ такой словарь является. Мы тѣмъ болѣе рады ему, что онъ составленъ умно, съ знаніемъ дѣла, словомъ, столько удовлетворителенъ, сколько отъ перваго опыта и ожидать нельзя. Есть конечно недостатки, такъ напримѣръ неполнота: нѣтъ словъ: грамматика, граммата,—но, несмотря на то, этотъ словарь, какъ первый опытъ, все-таки превосходенъ. Когда онъ выйдетъ вполнѣ, мы еще скажемъ о немъ нѣсколько словъ; а пока советуемъ запасаться имъ всѣмъ и каждому.

Стихотворенія Эдуарда Губера. Смб. 1845.

Чтѣ нужно человѣку для того, чтобъ писать—стихи?—Чувство, мысли, образованность, вдохновеніе, и т. д. Вотъ чтѣ отвѣтять вамъ всѣ на подобный вопросъ. По нашему мнѣнію, всего нужнѣе—поэтическое призваніе, художническій талантъ. Это главное; все другое идетъ своимъ чередомъ уже за нимъ. Правда, на одномъ талантѣ въ наше время не далеко уйдешь; но дѣло въ томъ, что безъ таланта нельзя и двинуться, нельзя сдѣлать и шагу, и безъ него ровно ни къ чему не служатъ поэту ни наука, ни образованность, ни симпатія съ живыми интересами современной дѣйствительности, ни страстная натура, ни сильный характеръ; безъ таланта все это—потерянный капиталъ. Но въ чемъ же состоитъ талантъ? Въ непосредственной способности поэтически воспринимать чувствомъ впечатлѣнія дѣйствительности и воспроизводить ихъ дѣятельностью фантазіи въ поэтическихъ образахъ. Замѣтите: непосредственной, т. е. такой способности, которую размышленіе и мысль вообще можетъ развивать и усиливать (а иногда заглушать и ослаблять), но которую даетъ природа, а не размышленіе, не мысль. И такъ, эта способность есть счастливый даръ природы, составляетъ свойство, качество личности, но не заслугу съ ея стороны, такъ же, какъ красота

не составляетъ заслуги женщины. Чувство есть одинъ изъ главнѣйшихъ дѣятелей поэтической натуры; безъ чувства нѣтъ ни поэта, ни поэзіи; но тѣмъ не менѣе можно имѣть чувство, даже писать недурные стихи, наскавозъ проникнутые чувствомъ—и нисколько не быть поэтомъ. Вы знаете романъ Мерзлякова—«Вализарій», начинающійся стихомъ:

Малютка, племънося, проситъ:

Вы знаете пѣсню Мерзлякова: «Среди долины ровныя»? Развѣ въ нихъ нѣтъ чувства. Напротивъ, очень много; а между тѣмъ обѣ эти пѣсмы, особенно послѣдняя, теперь больше смѣшны, нежели трогательны. То же самое можно сказать почти обо всѣхъ произведеніяхъ нашихъ старинныхъ поэтовъ, особенно Карамзинской эпохи. Вспомните или перечтите пѣсмы: «Выйду я на рѣченьку»; «Ранса»; «Пой во мракѣ тихой рощи»; «Кто могъ любить такъ страстно»; «Мы желали—и свершилось»; «Доволенъ я судьбою»; «Вѣютъ осенніе вѣтры»; «Видѣлъ славный я дворецъ»; «О любезный, о мой милый»; «Безъ друга и безъ милой»; «Куда мнѣ, сердце страстно»; «Чтѣ съ тобою, ангелъ, стало»; «Стонетъ сизый голубочекъ»; «Ахъ, когда бъ я прежде знала», и проч. Всѣ онѣ въ свое время считались образцовыми произведеніями поэзіи, восхваляли цѣлую эпоху; ихъ читали, пѣли, покупали книгами, списывали въ тетради; всѣ онѣ написаны людьми съ душой и сердцемъ и проникнуты чувствомъ,—а между тѣмъ забыты теперь и смѣшать насъ, какъ парики и фижмы. Чтѣ случилось ихъ?—То, что для поэзіи мало одного чувства, а нуженъ прежде всего талантъ. Стало-бытъ, у авторовъ этихъ пѣсней не было таланта?—Напротивъ, былъ талантъ, и еще замѣчательный, но талантъ чисто беллетристическій и почти вовсе не поэтический. Выразить хорошими, по своему времени, стихами какое-нибудь ощущеніе или чувство—еще не значить быть поэтомъ. Державинъ составляетъ исключеніе изъ нашихъ старинныхъ поэтовъ. Многія его пѣсмы страшно сухи и скучны, потому что въ нихъ, кромѣ риторики, нѣтъ ничего, и потому теперь нѣтъ никакой возможности читать ихъ; но у него же есть много пѣсней, которыя теперь устарѣли по языку, мѣстами не чужды риторикѣ, словомъ, заключаютъ въ себѣ большіе недостатки; но эти пѣсмы и теперь нисколько не смѣшны, потому что сквозъ ихъ старинную форму, сквозъ ихъ недостатки проблескиваютъ, какъ яркая молнія среди мрачной ночи, красоты гениальныя. У Державина есть пѣсмы, которыя мѣстами и теперь можно читать съ живѣйшимъ восторгомъ, съ истиннымъ наслажденіемъ, и есть другія, которыя и въ цѣломъ прекрасны. Чтѣ же дало Державину такое огромное преимущество передъ всѣми поэтами его времени и даже явившимися послѣ него, когда уже языкъ русскій сдѣлалъ большой шагъ впередъ?—Непосредственный талантъ творчества. Поэзія Державина испол-

нена проблемскость художественности, и если художественный элемент не мог освободить его от риторики и сдѣлать его поэтомъ вполне, — причина этого не недостатокъ, не слабость таланта, а время, въ которое Державинъ жилъ и которое не допустило развиться въ полнотѣ его громадному, великому таланту. Художественный элементъ, проглянувъ въ поэзіи Державина, надолго скрылся вовсе изъ русской поэзіи. Карамзинъ, Нелединскій-Мелецкій и особенно Дмитріевъ и Озеровъ много сдѣлали, чтобъ приготовить и уладить дорогу для торжественной колесницы поэзіи; но поэтами они не были, — они были только даровитыми и блестящими беллетристами въ области поэзіи. Явился Жуковский — и оплодотворилъ почву русской поэзіи сѣменами романтизма. Но тутъ заслуга состояла больше въ расширеніи круга содержания для русской поэзіи, доселѣ страдавшей скудностью содержанія и по-неволѣ прибѣгавшей къ риторикѣ, нежели въ созданіи образцовъ художественности. Впрочемъ и съ этой стороны въ лицѣ Жуковского русская поэзія сдѣлала значительный шагъ впередъ. Его стихъ, своей отдѣлкой, далеко оставилъ за собою стихъ Державина, Дмитріева, Озерова и сверхъ того отличался оригинальностью, силой, упругостью. Собственные свои произведенія, особенно патриотическія (и преимущественно «Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ»), принадлежатъ больше къ области краснорѣчія, нежели къ области поэзіи, и поэтому представляютъ собою ложные образцы поэзіи, которые никакимъ образомъ не могутъ быть даже и сравниваемы съ лучшими пьесами Державина, хотя и далеко превосходятъ послѣднія со стороны языка и вообще технической отдѣлки. Художественные переводы Жуковского (особенно изъ Шиллера, каковы: «Орлеанская Дѣва», «Торжество Побѣдителей», «Жалобы Переры» и многіе другіе) относятся къ Пушкинской эпохѣ русской поэзіи. Почти въ то время какъ Жуковский началъ вносить романтику въ содержаніе русской поэзіи, — Батюшковъ началъ возводить ее до художественности въ формѣ. Талантъ Батюшкова гораздо меньше таланта Державина, но, мимо всякихъ сравненій, это былъ замѣчательно сильный талантъ. Благодаря услугамъ, оказаннымъ языку и стиху русскому Карамзиннымъ, Дмитріевымъ, Озеровымъ и собственной наклонности въ классической поэзіи древняго міра, Батюшковъ въ художественности формъ ушелъ несоразмѣрно дальше Державина. Можно сказать, что художественный элементъ впервые выглянулъ въ поэзіи Державина, а въ поэзіи Батюшкова онъ уже силится взять перевѣсъ надъ беллетристкой и риторикой. Но до полной художественности Батюшкову не дано было дойти: это было дѣло гения, а не таланта, хотя бы и большого. Явился Пушкинъ — и русская поэзія перестала быть стремленіемъ къ поэзіи, какъ у Державина; перестала быть беллетристкой, какъ у Карамзина, Дмитріева, Озерова; перестала быть исключительной поэзіей одного только рода, какъ у Крылова; перестала быть одностороннимъ роман-

тическимъ стремленіемъ къ неопредѣленному и туманному, какъ у Жуковского; перестала быть стремленіемъ къ художественности, какъ у Батюшкова; но явилась истинной, художественной, творческою поэзіей.

Вотъ этотъ-то элементъ, который такъ усиленно стремился развиваться въ русской поэзіи и который въ поэзіи Пушкина сдѣлался самостоятельнымъ и, подобно свѣту, проникающему кристаллъ, проникъ въ другіе элементы его поэзіи, — этотъ-то элементъ и есть произведеніе непосредственной способности поэтически воспринимать впечатлѣнія дѣйствительности и воспроизводить ихъ, дѣятельностью фантазіи, въ поэтическихъ образахъ, — способности, которая составляетъ творческій талантъ. Этотъ талантъ проявляется и въ концепціи дѣлаго созданія, и въ идеяхъ, и въ чувствахъ, и въ стихѣ, которые прежде всего должны быть поэтическими. Поэзія и стихотворство — двѣ вещи совершенно различныя, потому что въ стихѣ бываютъ достоинства внѣшнія и внутреннія: можно поддѣлаться подъ стихъ Пушкина, но легче создать собственный стихъ, не уступающій его стиху, нежели усвоить его стихъ, потому что сила, энергія, упругость, гибкость, прелесть, грація, полнота, звучность, гармонія, живописность и пластичность его стиха происходятъ не отъ внѣшней его отдѣлки, а отъ внутренней его жизненности, которую вдохнула въ него творческая власть и сила поэта.

Вотъ мысли, на которыя невольно навело насъ чтеніе стихотвореній Губера. Въ этихъ стихотвореніяхъ мы увидѣли хорошо обработанный стихъ, много чувства, еще больше неподдѣльной грусти и меланхоліи, умъ и образованность; но, признаемся, очень мало замѣтили поэтического таланта, чтобъ не сказать, — совсѣмъ не замѣтили его. Вездѣ сердце, которое чувствуетъ, вездѣ умъ, который не столько мыслитъ, сколько рефлектируетъ, т. е. разсуждаетъ о собственныхъ чувствахъ и собственныхъ мысляхъ, — и нигдѣ фантазіи, которая творитъ! Субъективности, какъ выраженія сильной личности, которая на все кладетъ свой отпечатокъ и все перерабатываетъ своей самостоятельностью, нѣтъ и слѣдовъ и признаковъ въ стихотвореніяхъ Губера; а между тѣмъ сколько найдется критиковъ, которые назовутъ его субъективнымъ поэтомъ, не понимая значенія этого эпитета! И немудрено: Губеръ воспѣваетъ больше свои собственные страданія, свои ощущенія, свои чувства, свою судьбу, словомъ, — самого себя. Но это совсѣмъ не субъективность, хотя въ то же время совсѣмъ и не объективность: это скорѣе опозитизированный эгоизмъ. «Могила Матери», «На Кладбищѣ», «Три Сновидѣнія», «Стремленіе», «Путь Жизни», «Три Клада», «Первое признаніе», «Печаль Вдохновенія», «Друзья», «Моя Гробница», «Перекупъ», «Душѣ», «Ревность», «Молитва», «Благовѣстъ», «Одиночество», «Мертвая Красавица», «Жалоба», «Въ минуты скорбныя и гнѣва, и волненій», «На покой», «Могила», «Безсонница», «Когда въ годину испытанія», «Пѣсня», «Разсчитать», «Князю

Д. П. Салтыкову», «На чужой могилѣ», «Проклятіе», «Странникъ»: вотъ 29 стихотвореній (изъ числа 50-ти, составляющихъ всю книжку), въ которыхъ авторъ говорить о самомъ себѣ. Да какой же поэтъ больше всего не говоритъ о самомъ себѣ? Вѣдь поэтъ потому и поэтъ, что онъ всю дѣйствительность проводить чрезъ свое Я, чтобъ она прошла изъ него какъ очищенное золото изъ горнила?—Такъ; но на это нужно имѣть право. А не то толпа какъ разъ скажетъ поэту: «Вы несчастны?—а намъ какое дѣло? Мы тоже несчастны». Въ самомъ дѣлѣ, что вы, поэтъ, скажете о себѣ столь интереснаго, чтобъ васъ могли съ участіемъ выслушать вотъ эти люди, которые сидятъ вмѣстѣ съ вами въ этой комнатѣ, и каждый изъ нихъ занятъ своимъ разговоромъ, своимъ интересомъ? Вотъ этотъ изъ нихъ тоже рыдалъ надъ могилой матери; этотъ оплакалъ кончину любимой женщины, составлявшей счастье его жизни; этотъ глупо влюблялся, нелѣпо тратилъ силы души; этотъ страдалъ по непреклонной красавицѣ, хотѣлъ застрѣлиться, а кончилъ женитьбой по расчету и охладѣлъ къ женщинамъ и къ любви; этотъ обманулся въ своихъ идеалахъ, а этотъ въ расчетахъ своего самолюбия, и всѣ они, каждый по своему, озлоблены противъ жизни, людей и самихъ себя...

Что вы скажете имъ о себѣ такого, за что бы признали они васъ выше самихъ себя? Нѣтъ, они скажутъ вамъ:

Какое дѣло намъ, страдалъ ты или нѣтъ!

А не то, отвѣтять вамъ вашими же стихами:

Какое дѣло намъ до суетныхъ желаній
Любви восторженной твоей,
Или до жалкихъ ранъ, до мелочныхъ страданій
Твоихъ бессмысленныхъ страстей?

Да прогнѣвать они больному поколѣнью
Глаголы гнѣва и стыда;
Да соберутъ они бездѣйствіемъ и лѣнью
Изнеможенныхъ стада!
Въ минуту тяжкую, въ минуту близкой брани
Мы ждемъ воззванія къ мечу;
Но вы—тщедушные пѣвцы своихъ страданій,
Вы дѣти, вамъ не по плечу!
Что общаго у насъ? Намъ ваши пѣсни чужды,
Намъ ваши жалобы смѣшны,
Вы плачете шутя, а намъ другія нужды,
Другія слезы намъ даны.

Мы не хотимъ ни слезъ, ни вздоховъ вопію-
Долой, пустыне воркуны! [шикъ,
Вы не нарушайте святой судьбы градоуныхъ
Глубоко-полной тишины.

Это будетъ жестоко съ ихъ стороны; но не забудьте, что, подобно вамъ, они—люди озлобленные и о кладбищѣ и смерти думаютъ чаще, нежели о счастьи, любви и другихъ обманахъ сердца и фантазіи...

Поэтъ тогда только имѣетъ право говорить толпѣ о себѣ, когда его звуки покоряютъ ее невѣдомой силой, знакомятъ ее съ иными страданіями, съ инымъ блаженствомъ, нежели какое знала она, и даже ея собственное, знакомое ей страданіе и

блаженство передаютъ ей въ новомъ, облагороженномъ и очищенномъ видѣ. Но для этого надо стоять цѣлой головой выше этой толпы, чтобъ она видѣла васъ не наравнѣ съ собою... Таковы бываютъ истинно субъективные поэты... Опозитивированный эгоизмъ, вѣчно рокошійся въ пустотѣ своего скучнаго существованія и выносящій оттуда одни стоны, хотя бы и искренніе, теперь никому не новость и всѣмъ кажется пошлымъ.

Для повѣрки нашего сужденія о поэзіи Губера прочтите хоть пьесы: «Печаль Вдохновенія», «Разсчесть» и «Проклятіе»—не одна-ли и та же это пѣсня? А одно и то же, воля ваша, наскучается... Въ нихъ есть и хорошій стихъ (который впрочемъ такъ обыкновененъ въ наше время), есть и чувство, если хотите, даже много чувства, и мы вѣрнимъ искренности поэта, вѣрнимъ его страданію; но гдѣ же поэзія? гдѣ же фантазія? гдѣ созданіе ея образы?

Объективные пьесы Губера всего лучше подтверждаютъ справедливость нашего сужденія. Вотъ одна изъ нихъ.

В о л г а.

Какъ младенецъ боязлива,
Одинока и дика,
То тиха, то говорлива,
Просыпается рѣка.
Оглянулась и выходитъ,—
Даль чужая передъ ней;
Буря рѣки съ ней заводитъ,
Вѣтеръ пѣсни шепчетъ ей.
Вотъ она волной стыдливой,
Чуть колыха въ первый разъ,
Какъ ребенокъ боязливый
Выступаетъ на показъ.
Вотъ пошла и зашумѣла—
Ей попытка удалась,
Вотъ волнами закипѣла
И потокомъ разлилась.
Необъятная, какъ море
Широка и глубока,
Разгулялась на просторъ,
Наша царская рѣка.
Передъ ней края чужбины—
Но она не замѣнитъ;
Никогда чужой долины
Свѣжій токъ не напоитъ.
За предѣлы родной державы
Наша Волга не пойдетъ;
Святиня полей русской славы
Чуждыхъ странъ не обойметъ.

Видите-ли, какъ скоро попробовалъ поэтъ выйти изъ самого себя и посмотреть на міръ и на жизнь,—въ его стихахъ не стало чувства, а явились одніе фразы, да и тѣ довольно бѣдныя значеніемъ. Въ самомъ дѣлѣ, неужели это мысль, а не фраза, что Волга течетъ тамъ, гдѣ она течетъ, а не тамъ, гдѣ она не течетъ?...

У Губера нѣсколько пьесъ посвящены поэту, т. е. характеристикѣ поэта. Онъ смотритъ на него, правда, какъ на человѣка очень хорошаго и почтеннаго, но только поэта мы въ немъ все-таки не видимъ. Намъ кажется, что значеніе поэта не довольно вѣрно, ясно и отчетливо понято Губеромъ...

Нѣтъ, въ наше время трудно быть поэтомъ,—такъ же трудно, какъ легко писать стихи!...

Стихотворения Петра Штавера. Смб. 1845.

Петръ Штаверъ—извините нашу нескромность—долженъ быть молодой, даже очень молодой человекъ—можетъ-быть не старше пятнадцати лѣтъ... Въ этомъ увѣрили мы чрезъ впечатлѣніе, которое произвело на насъ чтеніе его стихотвореній. Намъ даже очень хочется, чтобъ автору было никакъ не больше пятнадцати лѣтъ, потому что въ такомъ случаѣ мы нѣбли-бы удовольствіе признать въ его стихотвореніяхъ нѣчто вродѣ таланта, чувства, и если не мысли, то стремленіе къ мысли,—а это не шуточное дѣло! Но что-жъ тутъ до лѣтъ, какая нужда въ метрикахъ автора, когда его стихотворенія сами за себя говорятъ?... Метрика иногда много значить не въ однихъ вопросахъ о званіи и наслѣдствѣ, но и въ вопросахъ искусства и науки. Если двадцатилѣтній малый, наметавшійся въ лавкѣ, ловко и скоро сводить счеты, складывается и вычитаетъ, множить и дѣлить, принимаетъ и сдаетъ,—тутъ нѣтъ ничего удивительнаго, нѣтъ рѣчи ни о гениі, ни о талантѣ: тутъ только способность, развитая навыкомъ и рутинной. Но когда семилѣтній ребенокъ, который имѣетъ полное право не знать счета дальше десяти, но который, несмотря на то, по пальцамъ и простымъ соображеніемъ умѣетъ расчесть сумму наприм. во сто рублей серебромъ, складывая, вычитая, множа и дѣля, тогда, если вы и не увидите въ немъ гения математики, то все-таки подивитесь въ немъ необыкновенной природной способности. Выйдетъ-ли со временемъ изъ этого мальчика замѣчательный математикъ, или ничего изъ него не выйдетъ,—это другой вопросъ. Фактъ доказанный, что иногда изъ дѣтей, ничего необщующихъ, выходятъ гениальные люди, а изъ гениальныхъ дѣтей—дюжинные люди; но мы не будемъ распространяться объ этомъ, чтобъ не уклониться отъ главнаго предмета нашей рѣчи. Извѣстно, что, имѣя болѣе или менѣе вѣрный слухъ, черезъ ученіе и упражненіе, можно сдѣлаться не только способнымъ музыкантомъ, но даже и сочинять кой-какія фантазійки: обыкновенно до этого доходятъ уже въ лѣта возмужалости, при охотѣ къ музыкѣ, при знакомствѣ со множествомъ музыкальных произведеній. Но это еще не значитъ быть ни музыкантомъ-артистомъ, ни композиторомъ-художникомъ. Когда же семилѣтнее или еще болѣе малолѣтнее дитя обнаруживаетъ способность запомнить и вѣрно пропѣть всякую музыкальную пѣсню, какую удастся ему услышать, въ этомъ дитяти конечно еще нельзя навѣрное увидѣть будущаго Моцарта или будущаго Листа, но по крайней мѣрѣ на его счетъ простительно ошибиться въ такихъ неумѣренныхъ надеждахъ. То же можно сказать о значеніи метрики въ отношеніи къ поэзіи. Умѣнье писать стихи — конечно еще не талантъ, но все же способность; этой способностью владѣетъ многое-множество дѣтей, и она-то заставляетъ многихъ изъ нихъ видѣть въ себѣ талантъ поэтический. И вотъ, когда такой, владѣющій способностью стихотворства, человекъ поначи-

тается разныхъ поэтовъ, пообразуется, понаучится, то въ извѣстныхъ лѣта ему ничего не стоитъ перекладывать въ гладкіе и звучные стихи чужія чувства, чужія мысли, да еще такъ ловко, что ни самъ онъ, ни другіе не подозрѣваютъ въ немъ вороны въ павлиньихъ перьяхъ. Въ наше время чувство и мысли — нипочемъ. Не говоря уже о другихъ поэтахъ, довольно имѣть Пушкина и Лермонтова, чтобъ владѣть неисчерпаемымъ источникомъ вдохновенія. Возьмите любой стихъ изъ того или другого — и вотъ важъ тема, на которую потянутся у васъ нескончаемыя варіаціи... Но варіировать такимъ образомъ на чужія чувства и мысли можетъ только человекъ возмужалый, развившійся; безбородый же юноша, тѣмъ болѣе отрокъ, никогда не сдумаетъ, не фальшивя, пѣть съ чужого голоса. Его стихъ будетъ неуклюжъ, а заимствованныя чувства и мысли онъ непременно исказитъ, изуродуетъ. И потому, если въ стихахъ слишкомъ молодого человека замѣтно что-то вродѣ оригинальности, чувства и мысли,—явный знакъ, что у него есть талантъ. Даже его неумѣнье сладить съ непокорнымъ языкомъ, съ упрямымъ стихомъ—не только не портитъ дѣла, но еще придаетъ ему ту прелесть, которой такъ исполненъ несвязный лепетъ младенца.

Намъ показалось (и мы были бы рады, еслибъ послѣдствія доказали, что мы не ошиблись въ этомъ случаѣ), намъ показалось, что стихотворения Штавера носятъ на себѣ всѣ признаки ранней молодости, при условіи которой въ нихъ нельзя не признать дарованія. Не беремся опредѣлять степень этого дарованія, ни предсказывать границы его развитія, потому что неопредѣленность составляетъ главный характеръ слишкомъ юныхъ дарованій. Они могутъ развиваться — и могутъ исчезнуть, не давъ цвѣта. Въ нихъ не должно видѣть что-то непрѣменно великое въ будущемъ. Стихотворения Пушкина-ребенка были довольно плохи, и по нимъ трудно было бы въ то время признать въ немъ будущаго великаго поэта. И такъ, говоря о стихотвореніяхъ Штавера, ограничимся настоящимъ, не забывая въ будущее; будемъ говорить о томъ, что есть, не говоря о томъ, что можетъ быть и можетъ не быть.

Всѣ стихотворения Штавера довольно слабы, и еслибъ мы не предполагали ихъ автора очень молодымъ, не стоило бы труда и говорить о нихъ. Но что въ опытахъ возмужалаго человека поражаетъ слабостью таланта или просто посредственностью, которая хуже бездарности,—то самое въ опытахъ слишкомъ молодого человека можетъ быть признакомъ таланта неподдѣльнаго, но еще неовладѣвшаго собственной силой. Намъ кажется, что нельзя не видѣть этого напримѣръ вотъ хоть въ пѣсѣ — «На Кладбищѣ». Въ этомъ стихотвореніи есть что-то похожее на поэтическое чувство, даже на поэтическую мысль; стихъ не чуждъ жизни, хотя и бѣденъ изяществомъ и точностью выраженія. И отъ всего этого вѣетъ чѣмъ-то милостивымъ! Даже стихи:

Такъ ее не отгоняетъ
Мертвецовъ безстрастныхъ леда.—

даже эти стихи, возбуждая въ читателѣ улыбку, не уничтожаютъ въ немъ благосклонной готовности одобрить пьесу. Но самымъ характеристическимъ стихотвореніемъ въ книжкѣ Штавера надо признать «Желаніе».

Я не хочу, чтобъ всѣ меня любили,
Я не хочу вездѣ встрѣчать друзей,
Хочу, чтобы враги меня извили
Безсильной злобою своей!
Пусть встаютъ! Я каждый шагъ побѣдный
Готовъ своею кровію залить!
Пусть упаду намученный и блѣдный,
Но только прежде побѣдить!
Пусть за моей побѣдной колесницей
Всегда слѣдитъ толпа враговъ моихъ:
Я понесусь подъ небо вольной птицей,—
И хоръ завистниковъ затихъ!
Но не для славы жажду я борьбы,
А потому, что для моей души
Потребны страсти, бури и волненія,
Чтобы не замереть въ тиши.
Въ горнилахъ сталь сильнѣе закалилась,
Въ страданіяхъ—грудь всю силу обрѣтеть;
Вода чиста, доколъ она струится,
Въ покоѣ—тиной заростетъ.
Крѣпнись, душа! Познай свое значеніе,
Познай себя, познай свою всю мочь,
И ты поймешь, какъ сладостно мученье,
Когда есть сила превозмочь!
И скажешь ты: «за тѣмъ даны страданія,
Чтобъ согрѣвать остывшія сердца,
И назначеніе жизни не мечтанье,
А дѣятельность мудреца.
Мечта,—ты скажешь,—дѣтская забава,
Занятіе мужа истиннаго—трудъ!
Не за мечты дается въ мірѣ слава,
Ее страданіями берутъ!»

Будь это стихотвореніе написано взрослымъ человѣкомъ,—оно было бы плоховъ эстетическомъ отношеніи, особенно въ отношеніи къ стиху, и было бы довольно пошлымъ фразерствомъ, исполненнымъ претензій и жалкаго самолюбія въ нравственномъ отношеніи. Но какъ стихотвореніе существа, еще колеблющагося на переходѣ отъ отрочества къ юности, — оно очень замѣчательно. Въ стихѣ, которымъ оно написано, необработаннымъ, невыдержаннымъ, есть сила и размахъ; въ чувствѣ, которымъ оно согрѣто, есть жизнь и жаръ; въ мысли, которой оно проникнуто, есть достоинство и благородство, именно потому, что это—дѣтская мысль.

Вотъ что сказали бы мы Штаверу, еслибы онъ захотѣлъ насъ послушать:

Жаль, любезный поэтъ, что вы поторопились издать въ свѣтъ книжку первыхъ своихъ опытовъ, безъ которой публика легко бы могла обойтись, и не подождали болѣе зрѣлыхъ своихъ произведеній, которыя для всѣхъ были бы интереснѣе. Но дѣло сдѣлано, и да проститъ васъ за него Богъ! Но впередъ не торопитесь ни писать, ни печатать, особенно—печататься. Если у васъ есть талантъ, и призваніе ваше велико въ будущемъ — успѣете написать и напечататься; если же это окажется не болѣе какъ «кипѣніемъ крови и из-

быткомъ силъ»,—ваша преждевременная книжка будетъ вамъ досадна, какъ грѣхъ юности, какъ ошибка самолюбія. Но намъ пріятнѣе думать, что у васъ есть сѣмя таланта, которое со временемъ можетъ вырасти и развиться. Приготовьте себя къ этому, и не погубите сѣмени. Въ наше время поэтъ, какъ поэтъ, не можетъ обѣщать себѣ великаго успѣха, потому что наше время отъ каждаго — слѣдовательно и отъ поэта—требуетъ, чтобъ онъ прежде всего и больше всего былъ человѣкомъ. Не заботьтесь же о себѣ, какъ о поэтѣ, и воспитывайте въ себѣ человѣка. Не говорите, что вы не хотите, чтобы васъ всѣ любили, что вы не хотите вездѣ встрѣчать друзей, и жаждете имѣть враговъ: это чувство дружное и парадное, которое извиняется только его юностью. Не покупайте любви людей измѣной истинѣ, уклончивостью и низостью; но и не позволяйте себѣ не дорожить ею или презирать ее: любовь ближнихъ, законно и разумно приобрѣтенная,—благо, которое выше всѣхъ благъ. Вѣрьте, что люди совсѣмъ не такъ хороши, и совсѣмъ не такъ дурны, какъ дѣлаетъ ихъ фантазія поэтовъ, которые то любятъ въ нихъ восхващать собственную свою особу, то позволяютъ себѣ вымечать на нихъ свои недостатки или раны своего самолюбія, клеймя ихъ презрѣніемъ. Вообще люди по своей натурѣ болѣе хороши, нежели дурны, и не натура, а воспитаніе, нужда, ложная общественная жизнь дѣлаютъ ихъ дурными. Почти во всякомъ изъ нихъ, даже въ самомъ дурномъ, есть своя прекрасная, человѣческая сторона, только трудно подсмотрѣть и открыть ее. Последнее составляетъ благороднѣйшую миссію поэта: ему принадлежитъ по праву оправданіе благородной человѣческой природы, такъ же какъ ему же принадлежитъ по праву преслѣдованіе ложныхъ и не разумныхъ основъ общественности, искажающей человѣка, дѣлающей его иногда звѣремъ, а чаще всего безчувственнымъ и безсильнымъ животнымъ. Люди—братья другъ другу, хотя неразумность ихъ отношеній и дѣлаетъ ихъ естественными врагами. Благородно, велико и свято призваніе поэта, который хочетъ быть провозвѣстникомъ братства людей! Имѣть враговъ... источникъ этого желанія заключается въ эгоизмѣ и самолюбивой увѣренности быть лучше и выше всѣхъ людей: чувство жалкое и ничтожное, которое никогда не породитъ высокихъ поэтическихъ созданій! Побѣдить врага пріятно: объ этомъ ни слова, — однакожъ врага, котораго мы не вызвали, а который самъ назвался на вражду; но еще пріятнѣе сдѣлать себѣ врага другомъ: это лучшая изъ побѣдъ! Человѣкъ имѣетъ право ненавидѣть въ другомъ ложь и порокъ, но человѣкъ не имѣетъ права ненавидѣть человѣка, подъ опасеніемъ ужаснѣйшаго изъ наказаній — перестать быть человѣкомъ. Имѣть враговъ своей мысли, своему убѣжденію и бороться съ ними до послѣднихъ силъ—въ этомъ есть свое величіе, своя прекрасная сторона; но ничего нѣтъ хуже, какъ имѣть личныхъ враговъ: этого

никто не пожелает себя, и высочайшее несчастье для человека—носить в сердце своем личную вражду к человеку: это болезнь, мания, почти сумасшествие, от которого надо лечиться. Вадить на победной колеснице конечно приятно, но только тогда, когда вистят с вами торжествует правое дело; иначе вы—Марий или Сулла, которые купались в крови бесчисленных врагов... Что ж тут хорошего? Но вы, любезный поэт, говорите в свое оправдание:

Но не для славы жажду я боренья,
А потому, что для моей души
Потребны страсти, бури и волненья,
Чтобы не замереть в тиши.

Вь горнилах сталь сильнѣе закалится,
Вь страданьях—грудь всю силу обрѣтетъ;
Вода чиста, доколь она струится,
Вь покоѣ—тиной зарастетъ!

Прекрасно! но что бы вы сказали о человеке, который для того, чтобы его члены и мускулы не ослабли в бездействии и неподвижности, пошел бы по улице, да и ну колотить встречного и поперечного? Не правда ли, это смешно?... Нет, любезный поэт, не заботьтесь о врагах и страданиях; напротив, употребляйте все силы избивать их, потому что враги и страдания явятся сами—их никто не избивал. Обратите прежде всего внимание на самого себя и постарайтесь познакомиться, сблизиться и разумно подружиться с самим собой, чтобы со временем не найти в себе собственного своего врага,—а это самый опасный, самый жестокий из врагов! Не льстите себе и будьте с собой строги, чтобы найти в себе друга разумного и честного, а не предателя коварного. Тогда одержите вы самую великую и блестящую победу над злейшим из врагов своих: это победа! Она будет стоить много труда и большой борьбы, которая не даст вам «замереть в тиши»... Но это еще не все, чтобы спастись от душевного застоя, от нравственной апатии: передь вами жизнь и мир—полюбите их и наслаждайтесь ими! Для этого также нужны труд и борьба. Жизнь, природа, человек, человечество, наука, искусство—какое обширное, великое, безконечное поприще для борьбы благородной, для упражнения юных и свежих сил! Затишье говорить:

Пусть за моей победной колесницей
Всегда слѣдитъ толпа враговъ моихъ.
Я повесусь подъ небо вольной птицей,—
И хоръ завистниковъ затихъ...?

Вь небѣ, т. е. вь верхнихъ слояхъ атмосферы, пусто и холодно, и человеку хорошо только сь людьми—«вь тѣснотѣ люди живутъ»... Только гордость, основанная на самолюбии и эгоизмѣ—одинъ изъ самыхъ губительныхъ пороковъ,—только гордость гонитъ человека изъ общества ближнихъ его и стремится его на пустую и холодную высоту, откуда онъ находитъ жалкое наслаждение видѣть подъ собой «хоръ завистниковъ». Сказать: я имѣю завистниковъ—не значить ли это: какой

замѣчательный человекъ! Обрадоваться числу своихъ завистниковъ—не значить ли это обнаруживать то мелкое и пошлое чувство, которое свойственно только маленькимъ великимъ людям—этимъ карикатурамъ на великихъ людей? Нетъ, истинно хорошему, дѣльному человеку горько имѣть завистниковъ, для него это—несчастье. Онъ хочетъ имѣть таланты и достоинства, хочетъ много знать, много смѣть и много мочь, но не для потѣхи своего самолюбия, не для жалкаго удовольствия приобрести враговъ и завистниковъ, а для разумнаго и законнаго наслаждения жизнью, потому что чѣмъ болѣе онъ имѣетъ, знаетъ, смѣетъ и можетъ,—тѣмъ болѣе онъ живетъ. Его никогда не порадуешь, но всегда огорчитъ ничтожество окружающихъ его людей,—и для него было бы величайшимъ блаженствомъ дать имъ еще больше, нежели сколько онъ самъ имѣетъ, поднять ихъ еще выше самого себя. Благородная душа, исполненная великодушныхъ стремлений, не терпитъ вокругъ себя ни рабовъ, ни угодниковъ, ни хвалителей, ни льстецовъ; ей тѣсно и душно среди этихъ искаженныхъ существъ, и она можетъ дышать свободно только среди братьевъ, связанныхъ сь ней узами симпатіи ко всему разумному и человеческому. Для нея жизнь—богатая и роскошная трапеза, которую она хотѣла бы раздѣлить со всеми, чтобы тѣмъ болѣе самой наслаждаться ею... Да, любезный поэт, учитесь не увлекаться однимъ огромнымъ—оно часто только чудовищно, а не велико; учитесь не увлекаться однимъ поражающимъ, эффектнымъ, блестящимъ, яркимъ. Все истинное и великое—просто и скромно; оно цѣломудренно стыдится своего достоинства, какъ красота цѣломудренно стыдится красоты своей и оттого дѣлается еще прекраснѣе. Истину, благо и красоту надо любить для нихъ самихъ, а не для насъ самихъ,—какъ внутренно-драгоценное само по себе, а не какъ пышный нарядъ, возбуждающій къ тому, кто щеголяетъ вь немъ, удивленіе и зависть толпы. Человекъ сильный, могущественный, огромный—еще не всегда вь то же время и великій человекъ. Нетъ спора, что, какъ воитель, Наполеонъ не имѣетъ себѣ соперниковъ вь исторіи человечества; но вь глазахъ истинно-мудрыхъ простой, скромный, неблестящій Вашингтонъ вь тысячу разъ болѣе всѣхъ возможныхъ Наполеоновъ имѣетъ право на имя великаго человека. Только невѣжественная толпа, тупая чернь и жалкое суетное преклоняютъ колѣни и обожествляютъ гнетущую ее наглую силу, отражающуюся на безсовѣстности, обманѣ, вѣроломствѣ и злодѣйствѣ... Покажите дикарю фольгу и золото: онъ бросится на фольгу, потому что она ярко блеститъ; покажите невѣждѣ бѣлый мраморъ Аполлона Бельведерскаго и раскрашенную восковую куку: онъ удивится кукулѣ и не обратитъ вниманія на Аполлона. Увы! сколько такихъ дикарей и невѣждъ между такъ называемыми умными, учеными, образованными и талантливыми людьми! Бойтесь, любезный поэтъ, попасть вь число этихъ людей,—

и чтобъ избѣжать такого несчастья, отвращайтесь всего эффектнаго, натянутого, ложнаго, призрочнаго! Будьте просты и скромны, радость предпочитайте горю, веселіе—грусти, наслажденіе—страданію. Снесите все горькое мужественно и благородно, когда горе посѣтитъ васъ, но не желайте, не ищите горя, подобно этимъ романтическимъ совамъ, которыя боятся унизить свое достоинство глубокимъ и высшимъ чатуръ, переставъ хоть на минуту морщиться и хныкать и предавшись веселому влеченію минуты. Смотрите на жизнь, какъ на наслажденіе, и умѣйте наслаждаться ею разумно: тогда увидите вы, какъ прекрасна она, какъ много въ ней счастья и упоенія, и какъ жалки слѣпые романтическіе клеветники жизни, которые все смотрятъ куда-то туда, сами не зная куда... И пусть руководятъ вами на пути жизни любовь, которая все прощаетъ, все очищаетъ, все облагораживаетъ и освѣщаетъ,—и смѣлый свободный разумъ, который не боится мукъ сомнѣнія и, многомъ рискуя, много завоевываетъ для счастья... Тогда вы увидите, что можно хорошо прожить и безъ враговъ, и безъ завистниковъ, и что безъ борьбы съ ними вамъ будетъ тѣмъ наполнить свою жизнь, не дать очерствѣть чувству, погаснуть уму... Тогда, если вы будете поэтомъ, пѣсни ваши будутъ не только прекрасны, но и живительны, плодородны; а если и не будете поэтомъ—что жъ! вы будете человѣкомъ, а это, право, стоитъ всякаго поэта...

Физиологія Петербурга, составленная изъ трудовъ русскихъ литераторовъ, подъ редакціей Н. Некрасова. (Съ политипажамъ.) Часть II. Спб. 1845.

Лѣто—всегда глухая пора въ русской литературѣ. Тутъ обыкновенно даже и журналы какъ будто устаютъ, истощаются, дѣлаются вялыми, даже томятъ, за исключеніемъ развѣ «Отечественныхъ Записокъ», на здоровую толстоту которыхъ не дѣйствуютъ и лѣтніе жары. Но оригинальныхъ русскихъ повѣстей уже не ищите въ эту пору ни въ одномъ журналѣ. Если найдется хоть одна какая-нибудь плохонькая, то и ея журналисты запаса еще съ зимы. Наши романисты и нувеллисты вообще не заслуживаютъ ни малѣйшаго упрека въ излишней дѣятельности или многописаніи. Мало пишутъ они зимой и осенью, почти не пишутъ и весной, какова бы ни была весна въ Петербургѣ, хотя бы хуже самой дурной осени; но лѣтомъ—пусть оно будетъ хуже самой дурной зимы, они ни за что въ свѣтѣ не стануть писать. Да и когда?—Они на дачѣ, они наслаждаются прелестіями петербургскаго лѣта, гуляютъ по лужамъ, въ которыхъ отражается небо, тоже похожее на лужу, или съ горы играютъ въ преферансъ. Сверхъ того русскій человѣкъ, какъ извѣстно, тяжелъ на подъемъ. Для того, чтобъ приняться за работу, ему нужно гораздо больше времени, нежели кончить ее. Русскому литератору никогда не понять досужести

французскихъ писателей, которые успѣваютъ быть на балахъ, на гуляньяхъ, въ театрахъ, въ застѣваніяхъ ученыхъ обществъ, присутствовать въ застѣваніяхъ палаты депутатовъ и при этомъ иногда управлять министерствомъ,—и въ то же время издавать многотомныя исторіи. Французскій литераторъ ѣдетъ на лѣто изъ Парижа въ деревню отдохнуть, полѣниться, повеселиться; а въ Парижъ изъ деревни привозитъ съ собой нѣсколько рукописей, изданіе которыхъ, по объему, иногда можетъ сравниться съ полнымъ собраніемъ сочиненій самаго дѣятельнѣйшаго русскаго литератора. Какъ они это дѣлаютъ,—русскій человѣкъ,—я этого рѣшительно не понимаю, и никогда не пойму. Говорятъ, будто бы это происходитъ оттого, что трудъ и занятіе составляютъ для европейца такое же необходимое условіе жизни, какъ воздухъ,—нѣтъ, больше, чѣмъ воздухъ,—какъ и лѣнь и бездѣйствіе для русскаго человѣка. Говорятъ, будто бы для европейца и самый отдыхъ есть только нѣсколько ослабленная дѣятельность, потому что для него быть вовсе безъ занятія, безъ дѣла, безъ труда значитъ—не жить, будто бы ужъ онъ такъ привыченъ съ малолѣтства... Не знаетъ, правда ли это. Должно быть, неправда! Славны бубны за горами: не такъ ли, читатель? Какъ русскій человѣкъ, вы, вѣрно, махнете рукой, повторивъ эту чудесную поговорку, благодаря которой вамъ можно ничего не дѣлать, живя на бѣломъ свѣтѣ? Благодѣтельная поговорка! вѣчная память тому, кто изобрѣлъ ее: съ нею жизнь такъ проста, ни къ чему не обязываетъ—ни къ труду, ни къ самосовершенствованію...

Но нынѣшній годъ, какъ нарочно, Петербургъ посѣтило такое лѣто, о какомъ онъ и мечтать не смѣлъ, помня, что на святой недѣлѣ, которая была во второй половинѣ апрѣля, онъ ѣздилъ на саяхъ... Сухое и теплое, почти жаркое лѣто, каково нынѣшнее, должно бы быть порою совершенной засухи для литературной дѣятельности. Кого теперь засадишь за дѣло? И чѣмъ бы можно было засадить?—развѣ голодомъ! Пора теперь глухая: у книгопродавцевъ, какъ говорятъ они, лѣтомъ ни копейки, потому что русская публика лѣтомъ книгъ не покупаетъ, да и въ городѣ никого теперь не найдешь—все и всѣ на дачахъ. Только журналисты и журнальные сотрудники и теперь, хоть и стонутъ, а работаютъ; для нихъ нѣтъ каникулъ, какъ для полицейскихъ и извозчиковъ нѣтъ праздниковъ. Поэтому въ нынѣшнее лѣто нечего бы и ожидать появленія чего-нибудь похожего на сносную книгу. Но вышло иначе: весной появились—«Тарантасъ», «Вчера и Сегодня» и первая часть «Физиологіи Петербурга», въ іюнѣ, среди лѣта, началось изданіе романовъ Вальтеръ-Скотта «Квентиномъ Дорвардомъ», а теперь вышла вторая часть «Физиологіи Петербурга». Но все это совсѣмъ не весеннія и не лѣтнія произведенія, а запоздалыя зимнія. Извѣстное дѣло: на Руси все дѣлается безъ торопливости и съ проволочкой. Объ иной тяжбѣ каждый день говорятъ: завтра

рѣшится, а глядишь, это «завтра» тянется лѣтъ пятьдесятъ, иногда и больше. Такъ точно обинной книгѣ полгода твердить: на-дняхъ выйдетъ; самъ издатель крѣпко убѣжденъ въ этомъ, а между тѣмъ книга, обѣщанная въ январѣ, глядишь, появится въ июлѣ, и притомъ не всегда того же года. Какъ и отчего это дѣлается—Богъ знаетъ!.. Да то ли еще дѣлывалось у насъ! Бывало, журналистъ объявляетъ къ новому году подписку на свой журналъ, съ обѣщаніемъ «въ скорѣйшемъ времени» додать пять книжекъ за предпрошлый и семь книжекъ за прошлый годъ—для чего, говорить онъ,—приняты имъ самыя дѣятельныя мѣры; а глядишь: въ февральской книжкѣ напримѣръ 1844 года являются моды и политическія извѣстія за июль 1842 года... Теперь въ журналистикѣ снова воскресаютъ милые, пасторальные и наивные обычаи старины. Недавно одинъ плохой журналъ, издававшійся года три и только въ концѣ третьяго года догадавшійся о себѣ, что онъ нигде не годится,—принялъ благое намѣреніе исправиться на 1845 годъ, т. е. сдѣлать умнымъ, дѣльнымъ и интереснымъ. Пышная программа съ обѣщаніемъ коренной реформы вышла въ свѣтъ за тѣмъ, чтобы журналъ могъ въ четвертый разъ поймать въ силки «почтеннѣйшую» публику. И въ самомъ дѣлѣ, первая три книжки были и пограмотнѣе и, будто, подѣльнѣе, но съ четвертой дѣло пошло прежнимъ порядкомъ, а реформы нѣтъ и слѣдовъ, такъ же какъ и слѣдовъ таланта или смысла... Пятая же книжка отличалась одной изъ тѣхъ старыхъ новостей, къ которымъ впрочемъ этотъ журналъ прежде не прибѣгалъ; но, видно, ему пришлось плохо, потому что «почтеннѣйшая»-то не допустила въ четвертый разъ поймать себя, вполне удовлетворившись тремя первыми разами; на пятой книжкѣ выставлены числа V и VI, въ знакъ того, что эту книжку, которая, несмотря на чудовищную толстоту бумаги, вышла какъ-то тоньше первыхъ четырехъ, должно считать за двѣ книжки... Обертка извѣщаетъ, что такимъ-же точно образомъ выйдетъ и шестая книжка, которую подписчики этого журнала (подѣломъ имъ, пусть не подписываются впередъ на плохіе журналы!), волей или неволей, а должны принять за седьмую и восьмую... Все это дѣлается для того, чтобы не отстать отъ времени, которое, какъ извѣстно, имѣетъ преглушую привычку идти себѣ, не дожидаясь остальныхъ книжекъ плохихъ журналовъ... По истинѣ, легкій, дешевый и выгодный способъ не только не отставать отъ времени, но и опережать его!...

И такъ, вторая часть «Физиологіи Петербурга» должна одна составить собой всю собственно русскую лѣтнюю литературу нынѣшняго года... нѣтъ, — чуть было не забыли!—нынѣшнее лѣто необыкновенно богато книгами беллетристическаго содержания: недавно вышелъ третій томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ». Книга, какъ сами можете видѣть изъ ея названія, столько же важная, сколько и толстая: изъ трудовъ цѣлой сотни литераторовъ, хотя бы и русскихъ, можно выбрать много хорошаго, много

такого, что можетъ эту книгу сдѣлать представительницей русской литературы. И такъ, еще разъ, да здравствуетъ лѣто 1845 года! Сухое, теплое, бездождливое, оно оставило насъ вовсе безъ грибовъ, но зато надѣлило книгами. О «Ста Русскихъ Литераторовъ» мы говорили, займемся же второй частью «Физиологіи Петербурга».

Мысль этой книги прекрасна. Это иллюстрированный альманахъ или сборникъ статей, относящихся только до Петербурга. Статьи должны быть не столько описательныя, сколько живописныя, нѣчто вродѣ повѣстей и очерковъ, а иногда взглядовъ, изложенныхъ въ формѣ журнальной статьи, мѣстами серьезныхъ, но всегда отбѣенныхъ легкимъ юморомъ. Цѣль этихъ статей—познакомить съ Петербургомъ читателей провинціальныхъ и можетъ быть еще болѣе читателей петербургскихъ. Какъ достигнута цѣль?—На этотъ вопросъ трудно было бы отвѣчать утвердительно. Не должно забывать, что «Физиологія Петербурга»—первый опытъ въ этомъ родѣ, явившійся въ такое время русской литературы, которое никакъ нельзя назвать богатымъ. Несмотря на то, можно сказать утвердительно, что это едва ли не лучший изъ всѣхъ альманаховъ, которые когда-либо издавались,—потому едва ли не лучший, что, во-первыхъ, въ немъ есть статьи прекрасныя и нѣтъ статей плохихъ, а во-вторыхъ, всѣ статьи, изъ которыхъ онъ состоитъ, образуютъ собой нѣчто цѣлое, несмотря на то, что онѣ писаны разными лицами. Первая часть «Физиологіи Петербурга» имѣла большой успѣхъ. И неудивительно: статьи «Дворникъ» и «Петербургскіе углы» могли бы украсить собою всякое изданіе; статья «Петербургскіе Шарманщики» не испортила бы никакого изданія; что касается до статьи «Петербургъ и Москва», ее прочли всѣ, многіе оцѣнили выше, нежели чего она стоить въ самомъ дѣлѣ, а многіе не хотѣли замѣтить въ ней того хорошаго, что въ ней есть дѣйствительно, хотя и видѣли его,—это, по нашему мнѣнію, успѣхъ. Замѣчательнѣе всего отзывы журналовъ о «Физиологіи Петербурга». Одна газета выписала изъ статьи «Петербургъ и Москва» пять строкъ, заключающихъ въ себѣ мысль одного великаго нѣмецкаго философа, назвала эту мысль вздорной и нелѣпой, а вмѣстѣ съ ней и всю статью. Такимъ же точно образомъ выписала она нѣсколько строкъ изъ «Петербургскихъ Угловъ», и коротко, безъ изложенія содержанія статьи, безъ доказательствъ объявила, что статья плоха, исполнена сальностей, грязи и дурного тона. «Дворникъ»—этотъ превосходный физиологически-юмористическій очеркъ, оскорбилъ въ газетѣ аристократическое чувство и заставилъ ее подивиться, что есть писатели, которые не гнушаются писать о дворникахъ! Но никакой истинный аристократъ не презираетъ въ искусствѣ и литературѣ изображенія людей низшихъ сословій и вообще такъ называемой низкой природы,—чему доказательствомъ картинныя галереи вельможъ, наполненныя между прочимъ и картинами фламандской школы. Ужъ нечего и говорить о томъ, что люди низшихъ сословій прежде всего—люди же, а не животныя, наши братья по

природѣ и о Христѣ,—и презрѣніе къ нимъ, особенно изъясляемое печатно, очень неумѣстно. Хорошо также отзывъ одного журнала о первой части «Физиологіи Петербурга». Хотѣлось ему обнаружить къ ней равнодушное презрѣніе, да не удалось выдержать притворнаго тона: изъ каждаго слова такъ и видно, что *bon homme* сердится. Хотѣлось ему также и сострить: а *la baronne* Брамбеусъ, да вмѣсто остроты у него вышло какъ-то ложное обвиненіе въ преступленіи: натура-то сказала! Въ предисловіи къ первой части «Физиологіи Петербурга» между прочимъ сказано, что у насъ въ литературѣ болѣе хорошихъ произведеній, ознаменованныхъ печатью художественности, нежели хорошихъ беллетристическихъ произведеній,—болѣе гениальныхъ талантовъ (какъ впрочемъ ни мало ихъ), нежели обыкновенныхъ талантовъ, которыхъ дѣятельность удовлетворяла бы насущнымъ потребностямъ читающей публики. Журналъ, о которомъ мы говоримъ, выдумалъ, будто-бы въ предисловіи сказано, что у насъ все таланты, а нѣтъ посредственности, и что «Физиологія Петербурга» рѣшилась сдѣлаться сборникомъ посредственныхъ статей. Изъ этого видно, что бѣдный журналъ нездоровъ и страдаетъ разстройствомъ печени. И немудрено: его давно ужъ не читаютъ и, чтобъ привлечь къ себѣ подписчиковъ, онъ рѣшился изъ одной своей книжки дѣлать иногда двѣ книжки, выставляя на оберткѣ по двѣ цифры. Слогъ остроумной статьи о «Физиологіи Петербурга» напоминаетъ своей несвязанностью, сухостью и безталанностью статью того же журнала о поэмѣ Гургенева—«Разговоръ», гдѣ это прекрасное произведеніе напоявалъ разругано за то, что оно написано не въ славянофильскомъ духѣ,—а слогъ статьи о «Разговорѣ» напоминаетъ собою слогъ брошюры о «Мертвыхъ Душахъ», которая года три назадъ насмѣшила весь читающій міръ нелѣпостью мыслей и бездарностью изложенія. Разумѣется, за подобныя статьи издатель «Физиологіи Петербурга» остается только благодарить и газету, и журналъ, потому что, прочитавъ такую статью, опытный читатель сейчасъ пойметъ, въ чемъ дѣло, и захочетъ прочесть книгу, о которой намѣреваются писать ладнокровно, а пишутъ съ сердцемъ, и скажетъ: «*Tu te fâches, Jupiter, donc tu as tort*».

Вторая часть «Физиологіи Петербурга» содержитъ въ себѣ статью: «Александрійскій театръ», «Чиновникъ», «Омнибусъ», «Петербургская Литература», «Лоттерейный Балъ», «Петербургскій Фельетонистъ». Самая лучшая изъ нихъ—«Чиновникъ»; самая слабая—«Петербургская Литература». Последняя могла бы незамѣтно пройти въ журналъ, даже нѣтъ въ немъ какое-нибудь значеніе; но въ книгѣ она какъ-то неумѣстна. «Чиновникъ»—пѣса въ стихахъ, Некрасова, есть одно изъ тѣхъ въ высшей степени удачныхъ произведеній, въ которыхъ мысль, поражающая своей вѣрностью и дѣлностью, является въ совершенно соответствующей ей формѣ, такъ что никакой, самый предпримчивый критикъ не зачтется за одну черту, которую могъ бы онъ похвалить. Пѣса эта написана въ юмористическомъ

духѣ и вѣрно воспроизводитъ одно изъ самыхъ типическихъ лицъ Петербурга—чиновника:

Какъ человекъ разумной середины,
Онъ многого въ сей жизни не желалъ;
Передъ обѣдомъ пилъ настойку изъ рабины
И чихиремъ обѣдъ свой запивалъ.
У Кинчерфа заказывалъ одежду
И съ давнихъ поръ (простительная страсть!)
Питалъ въ душѣ далекую надежду
Въ коллежские ассессоры попасть,—
За тѣмъ, что былъ онъ крови не боярской
И не хотѣлъ, чтобъ въ жизни кто-нибудь
Дѣтей его породой семинарской
Осмѣлился надменно попрекнуть.

Сиротъ и вдовъ онъ не былъ благодѣтель,
Но нищимъ иногда давалъ гроши,
И называлъ святою добродѣтель
Первѣйшимъ украшеніемъ души.
Объ ней твердилъ въ семействѣ безпрерывно,
Но не во всемъ ей слѣдовалъ подчасъ,
И извинялъ грѣшки свои наввно
Женой, дѣтьми, какъ многіе изъ насъ.
По службѣ велъ дѣла свои примѣрно
И не бывалъ за взятки подъ судомъ,
Но (на жену, какъ водится) въ Галерной
Купилъ давно пяти-этажный домъ.
И радовалъ родительскую душу
Сей прочный домъ—спокойствія залогъ.
И на Оому, Ванюшу и Фоклушу
Безъ сладкихъ словъ онъ помотрѣть не могъ...

Въ недѣлю разъ, преситившись игрой,
Въ театрѣ Александрійскій ради скуки
Являлся нашъ поттенившій герой.
Удвоенной цѣной на бенефисы
Отечественный гений поощралъ,
Но званіе актера и актрисы
Постыднымъ по преданію считалъ.
Любилъ пальбу, кровавые сюжеты,
Гдѣ при концѣ карается порокъ...
И, слушая скоромно кушеты,
Толкалъ жену тихонько подъ бочокъ.
Любилъ щепнуть въ антрактѣ толстой дамѣ
(Всему научить хитрый Петербургъ),
Что страсти и движенія нужны въ драмѣ
И что Шекспиръ—великій драматургъ,—
Но, впрочемъ, не былъ твердо въ томъ увѣренъ
И черезъ часъ другое подтверждалъ.
По службѣ былъ всегда благонамѣренъ,
Онъ прочее другимъ предоставлялъ.
За то, когда являлся сатира,
Гдѣ авторъ—тунеядецъ и нахалъ—
Честь общества и украшеніе міра
Чиновниковъ за взятки порицалъ,—
Смѣялся онъ, не жалѣя груди,
Дивился, какъ допущена въ печать
И какъ благонамѣренные люди
Не совѣстятся видѣть и читать.
Съ досады пилъ (сильна была досада!)
Въ удвоенномъ количествѣ чихирь
И говорилъ, что авторъ въ надо
За дерзости подобныя—въ Сибирь!...

Выписывая эти мѣста, мы выбирали не то, что лучше, а то, что короче, слѣдовательно читатели исполнѣ могутъ судить по этимъ выпискамъ о цѣлой пьесѣ. Найдутся люди, которые, пожалуй, скажутъ: «что за предметъ! и какъ можно восхитаться пьесой, которая изображаетъ такой предметъ!». Такихъ людей мы отсылаемъ къ сочиненіямъ Марлинскаго, которые изображаютъ все предметы высокіе и колоссальные. Что же касается до насъ, мы цѣнимъ литературныя произведенія преж-

де всего по ихъ выполнению, а потомъ уже по ихъ содержанию, предмету и цѣли. Последнее необходимо имѣть въ виду особенно при сравненіи двухъ одинаково хорошо выполненныхъ произведеній, чтобъ опредѣлить ихъ относительную другъ къ другу цѣнность. Поэтому для насъ одна изъ лучшихъ басенъ Крылова лучше всѣхъ трагедій Озерова, хотя и трагедіи эти имѣютъ свое достоинство; но лучшую изъ басенъ Крылова нельзя, по важности, равнять напримѣръ съ «Онѣгинымъ» Пушкина: тутъ огромная, неизмѣримая разница въ достоинствѣ «Онѣгина» предъ басней,—и эта разница заключается въ содержаніи, въ предметѣ, а не формѣ или, лучше сказать, выполненіи. Такъ какъ мы не имѣемъ въ виду сравнивать «Чинчикова» Некрасова ни съ какими извѣстными произведеніями, то и скажемъ просто, что эта пьеса—одно изъ лучшихъ произведеній русской литературы 1845 года.—Изъ прозаическихъ статей лучшая во второй части «Физиологіи Петербурга»—статья Панаева: «Петербургскій Фельетонистъ». Она уже была напечатана въ «Отечественныхъ Запискахъ»; но здѣсь перепечатана, нѣсколько переправленная и пополненная,—отъ чего она много выиграла въ достоинствѣ. Она очень идетъ къ «Физиологіи Петербурга», потому что вѣрно изображаетъ одно изъ самыхъ характеристическихъ петербургскихъ явленій. Есть у Панаева еще статья «Тля», напечатанная въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1843 года, которая такъ и просится въ «Физиологію Петербурга»,—и еслибъ къ ней можно было сдѣлать картинки получше, то она произвела бы сильный эффектъ, хотя и была бы уже не новымъ произведеніемъ.—«Лоттерейный Балъ» Григоровича—статья не безъ занимательности, но, кажется, слабѣе его же «Шарманчиковъ», помещенныхъ въ первой части «Физиологіи». Она слишкомъ сбивается на дагерротипъ и отзывается его сухостью.—«Омнибусъ» Кульчицкаго (Говорилина)—статья совершенно дагерротипическая, вѣрный списокъ съ случая, не лишенный занимательности. Ее упрекаютъ многіе за сальность въ изображеніи безпрестанно рыгающаго купца-бороды. По нашему мнѣнію, писатель, изображающій дѣйствительность, только въ двухъ случаяхъ можетъ впадать въ сальность и грязность: или когда онъ самъ тѣмъ болѣе восхищается своими картинками, тѣмъ грязнѣе онѣ,—по своей личной любви ко всему грязному, или когда онъ впадаетъ въ противоположную крайность, и черезчуръ рѣзкимъ изображеніемъ грязи, несмѣреннымъ художественностью выраженія, старается выразить свое отвращеніе отъ грязи. Последнее нерѣдко бываетъ съ людьми, которыхъ чувства и образованность выше таланта. Можетъ-быть въ этомъ отношеніи Кульчицкій немножко и погрѣшилъ противъ вкуса въ «Омнибусѣ»; но все-таки его купецъ-борода и его герой очень похожи на дѣйствительныхъ людей этого разряда,—и потому «Омнибусъ» для насъ все-таки много лучше множества произведеній съ изображеніями великихъ и колос-

сальныхъ предметовъ, а купецъ-борода и герой въ тысячу разъ интереснѣе Гремныхъ, Звонскихъ, Лидиныхъ, Зоричей и тому подобныхъ такъ называемыхъ «идеальныхъ» созданій.—Въ статьѣ «Александрійскій театръ» собрано все, что уже было говорено и сказано новаго объ этомъ театрѣ,—такъ что теперь едва ли уже можно сказать о немъ что нибудь, чего уже не было бы сказано. Особенно любопытно въ этой статьѣ сравненіе петербургскаго русскаго театра съ московскимъ въ отношеніи къ ихъ артистамъ.

Въ заключеніе скажемъ, что такая книга, какъ «Физиологія Петербурга», была бы замѣчательнымъ явленіемъ и не будучи первымъ опытомъ,—была бы хороша и для зимняго, не только для лѣтняго чтенія.

Грамматическія разысканія. В. А. Васильева. 1) *О буквѣ ѣ.* 2) *Объ образованіи именъ уменьшительныхъ рода мужскаго и женскаго. Опб. 1845.*

Появленіе книжки Васильева очень порадовало насъ. Въ самомъ дѣлѣ, давно бы уже пора приняты намъ за разработываніе русской грамматики.—А то—вѣдь стыдно сказать!—грамматика полагается у насъ въ основаніе ученію общественному и частному,—а между тѣмъ у насъ нѣтъ рѣшительно ни одной удовлетворительной грамматики! И какъ же бы могла она явиться у насъ, когда теорія языка русскаго почти не начата, и для грамматики, какъ систематическаго свода законовъ языка, не приготовлено никакихъ данныхъ? Оттого, если сличить двѣ русскія грамматики разныхъ составителей, напримѣръ грамматику Греча съ грамматикой Востокова,—подумаешь, что каждый изъ нихъ разсуждаетъ объ особенномъ языкѣ, или что онѣ отдѣлены одна отъ другой большимъ промежуткомъ времени. Каждый пишущій въ Россіи руководствуется своей собственной грамматикой; нововведеніямъ, этимологическимъ, синтаксическимъ и орфографическимъ, нѣтъ числа и мѣры: всякій молодецъ на свой образецъ! И между тѣмъ, несмотря на волю нѣкоторыхъ старыхъ писакъ противъ этой грамматической анархіи, въ которой они видятъ злоупотребленіе и чуть не разбой,—при настоящемъ положеніи русскаго языка эта грамматическая анархія неизбежна и необходима—даже полезна и благотворна... Русскій языкъ еще не установился,—и дай Богъ, чтобъ онъ еще какъ можно долѣе не установился, потому что чѣмъ долѣе будетъ онъ устанавливаться, тѣмъ лучше и богаче установится онъ. Есть люди, которые вѣрятъ, или только дѣлаютъ видъ, что вѣрятъ, будто Карамзиннымъ русскій языкъ совершенно утвердился и дальше идти не можетъ: много благодарны за этотъ языкъ-скоропѣлку, которому только безъ году недѣля, а онъ ужъ и состарѣлся! Какъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ моментовъ развитія русскаго языка, мы принимаемъ Карамзинскій языкъ съ любовью, уваженіемъ, благодарностью и даже, если хотите съ удивленіемъ; но намъ и да-

ромъ не нужно Карамзинскаго языка, если въ немъ должно видѣть совершенно установившійся языкъ русскій... Мы думаемъ, что если Крыловъ и обязанъ Карамзину чистотой своего языка, то все же языкъ Крылова во сто разъ выше языка Карамзина, по той простой причинѣ, что языкъ Крылова до насъ plus ultra языкъ русскій, тогда какъ языкъ Карамзина только въ «Исторіи Государства Россійскаго» обнаружилъ стремленіе быть языкомъ русскимъ, а до тѣхъ поръ обнаруживалъ стремленіе только не быть славяно-латинско-нѣмецкимъ, или Ломоносовскимъ языкомъ (что и было со стороны Карамзина великой заслугой). Но сфера языка Крылова сама по себѣ довольно ограничена, и потому не въ ней русскій языкъ могъ достичь своего установленія, и не на баснѣ остановиться. Ему надо было идти, и онъ пошелъ впередъ, содѣйствіемъ Жуковского, Ватюшкова, Гнѣдича, самого Карамзина, который въ своей «Исторіи Государства Россійскаго» говорилъ совсѣмъ другой манерой, нежели прежде,—правда, манерой еще болѣе искусственной, но зато и болѣе полезной для успѣха русскаго языка. Явился Пушкинъ—и русскій языкъ обрѣлъ новую силу, прелесть, гибкость, богатство, а главное—сталъ развязанъ, естественъ, сталъ вполнѣ русскимъ языкомъ. Поэтому, слушая людей, которые наивно утверждаютъ, что Карамзинъ кончилъ, такъ сказать, воспитаніе русскаго языка, и совсѣмъ умалчиваютъ о Пушкинѣ, какъ будто бы, въ дѣлѣ языка, онъ не заслуживаетъ и упоминованія,—невольно вспоминаешь стихъ Крылова, обратившійся въ пословицу:

Слова-то я и не замѣтилъ!

Теперь посмотрите: Ломоносовъ устанавливаетъ славяно-латинско-нѣмецкую форму русскаго языка, всѣмъ принятую безусловно; но въ писателяхъ Екатерининскаго вѣка уже виденъ въ ходѣ языка значительный успѣхъ: Державина и Фонвизина, по отношенію къ языку, уже никакъ нельзя сравнивать съ Ломоносовымъ. Карамзинъ, такъ сказать, убиваетъ на-смерть языкъ Ломоносова, съ одной стороны представивъ образцы новой прозы, а съ другой вмѣстѣ съ Дмитріевымъ—представивъ образцы стиха, далеко въ отношеніи къ языку (а не поэзіи) опередившаго стихъ Державина. Мало этого: лишь только проза его сдѣлалась образцовой и начала развиваться далѣе содѣйствіемъ Жуковского, какъ онъ самъ отрекается отъ нея и въ своей «Исторіи» силится создать совсѣмъ другого рода прозу. О Крыловѣ мы говорили. Стихъ Жуковского и Ватюшкова неизмѣримо далеко оставляетъ за собой стихъ Дмитріева и Карамзина; Гнѣдичъ создаетъ русскій гекзаметръ и дѣлаетъ русскій языкъ способнымъ для воспроизведенія изящной древней рѣчи эллинской. Кажется, много сдѣлано? Трудно повѣрить, чтобъ можно было идти дальше? И что же?—Пушкинъ является полнымъ реформаторомъ языка, увлекаетъ за собой Крылова,—писателя, опередившаго его цѣлой четвертью вѣка, увлекаетъ Жуковского. Вмѣстѣ съ Пушкинымъ яв-

ляется Грибоѣдовъ и создаетъ языкъ русской стихотворной комедіи, какъ Крыловъ создалъ языкъ русской басни. Самъ Пушкинъ не стоялъ на одномъ мѣстѣ: съ «Полтавы», вышедшей въ 1829 году, началась для его поэтической дѣятельности новая эпоха въ отношеніи и къ творчеству, и къ языку. Прозой онъ писалъ до того времени мало, но и въ его прозаическихъ отрывкахъ (особенно въ «Арапѣ Петра Великаго») видно уже начало совершенно новой русской прозы. И все это сдѣлалось въ какія-нибудь девяносто лѣтъ, считая отъ первой оды Ломоносова—«На взятіе Хотина», написанной правильнымъ тоническимъ разиѣромъ, навсегда утвердившимся въ русской поэзіи (1739), до «Полтавы» Пушкина (1829)!... Какая же могла тутъ явиться грамматика? Вѣдь грамматика есть абстракція языка, существующаго въ созданіяхъ литературы, а литература измѣнялась съ каждымъ годомъ? При такихъ условіяхъ какую ни напишите грамматику,—она успеетъ отстать отъ языка литературы, пока вы будете печатать ее.

Но почему же, спросятъ васъ, мы говоримъ все о языкѣ литературы, а не о языкѣ народа? По самой простой причинѣ: масса народа отстала отъ образованнаго общества, и языкъ ея сдѣлался для общества слишкомъ бѣднымъ, неудовлетворительнымъ: вѣдь не у всякаго же достанетъ духа объясняться маленько-мужицкимъ слогомъ. Языкъ же общества безпрестанно измѣнялся вмѣстѣ съ литературой.

Однакожь и Пушкинымъ не кончилось развитіе русскаго языка, который и теперь еще далеко отъ того, чтобъ установиться. Особенно бѣденъ доселѣ разговорный, общественный русскій языкъ. Для поэзіи, преимущественно высокой, еще нашими писателями до Пушкина (преимущественно Державинымъ, Жуковскимъ и Ватюшковымъ) сдѣлано было много, а Пушкинымъ довершено нѣтъ дѣла. И немудрено: русскій языкъ необыкновенно богатъ для выраженія явленій природы и, по своему близкому родству съ древне-церковнымъ славянскимъ языкомъ, причастенъ генію древнихъ классическихъ языковъ, способенъ къ передачѣ произведеній древне-греческой и латинской поэзіи. Въ самомъ дѣлѣ, какое богатство для изображенія явленій естественной дѣятельности заключается только въ глаголахъ русскихъ, имѣющихъ виды! «Плавать, плыть, приплывать, приплыть, заплывать, отплывать, заплыть, переплыть, уплыть, наплыть, наплывъ, наплыть, подплыть, подплывъ, поплывать, поплыть, расплаваться, расплыться, наплаваться, заплаваться»: это все одинъ глаголъ для выраженія двадцати оттѣнковъ одного и того же дѣйствія!

Степь раздольная
Далеко вокругъ,
Широко лежитъ,
Ковылемъ травой
Разстланаеся!
Ахъ, ты степь моя,
Степь привольная,
Широко ты, степь,

*Пораскинулась,
Къ Морю Черному
Понадвинулась!*

На какомъ другомъ языкѣ передали бы вы поэтическую прелесть этихъ выраженій покойнаго Кольцова о степи: «разстиается, пораскинулась, понадвинулась»?...

Да, благодаря уже самому свойству русскаго языка, поэзія природы, поэзія чувствъ и мыслей, не ознаменованныхъ ни печатью абстракціи, ни печатью общественности, навсегда установилась у насъ Пушкинымъ, и языкъ для нея вполне выработался,—такъ что дальнѣйшій прогрессъ для языка будетъ уже не столько со стороны формы, сколько со стороны содержанія. Но такой прогрессъ возможенъ не только для юнаго русскаго языка, еще далеко не во всѣхъ отношеніяхъ вышедшаго изъ пеленъ, но и для вполне развившагося слишкомъ два вѣка назадъ французскаго языка. Каждый вновь появляющійся великій писатель открываетъ въ своемъ родномъ языкѣ новыя средства выраженія новой сферы созерцанія. Такъ напримѣръ, въ грамматическомъ отношеніи нѣтъ почти никакой разницы между языкомъ Руссо и Жоржъ Занда; но зато какая разница между тѣмъ и другимъ языкомъ въ отношеніи къ ихъ содержанію! Въ этомъ отношеніи, благодаря Лермонтову, русскій языкъ далеко подвинулся впередъ послѣ Пушкина, и такимъ образомъ онъ не перестанетъ подвигаться впередъ до тѣхъ поръ, пока не перестанутъ на Руси являться великіе писатели.

Но зато, какъ еще бѣденъ русскій языкъ для выраженія предметовъ науки, общественности,—словомъ, всего отвлеченнаго, всего цивилизованнаго, глубоко и тонко развитого, даже ежедневныхъ житейскихъ отношеній! И причина этой бѣдности заключается, къ несчастью, не въ томъ только, что русскій языкъ молодъ, неразвѣтъ, необработанъ, но еще и въ историческомъ развитіи русскаго народа. Какъ богаты передъ нимъ въ этомъ отношеніи языки народовъ Западной Европы!—А почему?—Потому, что они образовались большей частью изъ обломковъ латинскаго, черезъ который приняли въ себя не малое число даже греческихъ словъ. Исключеніе остается за нѣмецкимъ языкомъ, какъ самостоятельнымъ; а попробуйте исключить и изъ него всѣ взятыя нѣмцами латинскія и греческія слова,—и вы увидите, какъ страшно обѣднѣетъ онъ. Вмѣстѣ съ словами искаженнаго латинскаго языка тевтонскіе варвары взяли отъ римлянъ и тѣ понятія, тѣ идеи, которыя могла породить и развить только гуманическая классическая древность, и которыя не могли бы инымъ путемъ достаться варварамъ. Отъ этого напримѣръ французскій языкъ такъ богатъ словами, которыя заключаютъ въ себѣ философскій смыслъ, и которыя, несмотря на то, употребляются въ самомъ простомъ житейскомъ разговорѣ: «Субъектъ, объектъ, индивидуумъ, индивидуальный, абсолютный, субстанція, субстанціональный, конкретный, универсальный, абстрактный, категорія, рационализмъ, рациональ-

ный, обскурантизмъ, индифферентизмъ, специальный, специализмъ, коллизія»; всѣ эти слова считаются у насъ книжными, смѣшными и дикими и навлекаютъ на себя глумленіе невѣждъ, если употребляются и не въ разговорѣ, а въ разсужденіяхъ объ умственныхъ предметахъ. Оно отчасти и понятно: ихъ не было въ русскомъ языкѣ, потому что въ русской цивилизаціи до Петра-Великаго не было выражаемыхъ ими понятій; а во французскомъ языкѣ они существуютъ какъ весьма обыкновенныя слова: *l'objet, le sujet, l'individu, individuel, l'individualité, absolut, la substance, substantiel, concret, universel, l'universalité, abstrait, la catégorie, le rationalisme, rationel, l'obscurantisme, l'indifférentisme, le spécialisme, la collision*... Такихъ словъ мы не перечли здѣсь и сотой доли. Всѣ такія слова мы, поневолѣ, должны брать цѣликомъ у иностранцевъ; многія изъ нихъ совершенно обрусѣли, и мы такъ привыкли къ нимъ, что какъ будто и не считаемъ ихъ за чужія: «коммерція, монополія, манифестъ, декларация, прокламація, инстинктъ, фабрика, мануфактура, брильянтъ, поэзія, проза, музыка, гармонія, мелодія, администрація, губернія, мастеръ, мастерство, маляръ, кучеръ, солдатъ, офицеръ, и пр., и пр., и пр. Такихъ словъ мы не исчислили здѣсь и тысячной доли. Многія изъ иностранныхъ словъ удачно переведены на русскій языкъ и получили въ немъ право гражданства: «правительство, промышленность, предметъ, личность (не оскорбленіе, *apersonnalité*), дѣйствительность, любезность, воспроизведеніе (*reproduction*), вліяніе, отношеніе, заключеніе (*conclusion*), изложеніе (*exposition*)», и пр. Нечего уже говорить, что чрезъ столкновеніе русскаго ума съ доселѣ чуждыми ему идеями русскій языкъ сталъ богаче словами, которыя умножились этимологическимъ производствомъ для выраженія отгѣнковъ уже существовавшихъ понятій. Такимъ образомъ произошло неисчислимое множество словъ вродѣ слѣдующихъ: «враждебность, количественность, творчество, знаменитость (въ смыслѣ славнаго тѣмъ-нибудь человѣка, *célébrité*), множественность, письменность, сладостный, принадлежность, влюбчивость, грамотность» и т. п. Но, несмотря на то, во французскомъ языкѣ остается множество словъ, въ значеніи которыхъ мы не можемъ не нуждаться, но которыхъ въ то же время не можемъ перевести (потому что у насъ нѣтъ соответствующихъ имъ словъ), ни взять цѣликомъ (потому что они какъ-то не вошли сами въ нашъ языкъ). Впрочемъ нѣкоторыя изъ нихъ мы, поневолѣ, мѣшаемъ въ свой русскій разговоръ, къ величайшему неудовольствію пуристовъ, которыхъ ограниченность не видитъ въ нихъ нужды; таковы: «*compromettre, solidarité, alternative, charité, exagérer, se prononcer, prétendre, conception, garantir, garantie, exploiter, initier, initiation, initiative, varier, remonter, prépondérance, chance, camaraderie, association, attribut, étaler, détailler, assortir, revanche* и пр. (компромети-

ровать, эксажиривать, прононсироваться, претендовать, концепция, гарантировать, эксплуатировать, варьировать, ремонтировать, препондерансь, шансь, ассоциация, атрибуть, эталпировать, детальировать, сортировать, реваншь). Нечего говорить о богатствѣ французской фразеологии, о гибкости французскаго языка, способнаго на выраженіе всевозможныхъ тонкостей и оттѣнковъ мыслей. Выписанныя нами выше слова важны еще и по опредѣленности, съ какою выражаютъ они заключенное въ нихъ понятіе: поэтому многія изъ нихъ можно-бы перевести, да только переводъ будетъ неточенъ—то же, да не то. Такъ напримѣръ, «*charité*» можно перевести словомъ «милосердіе», а будетъ не то, схвачено понятіе, но потеряны нѣкоторые оттѣнки его; *étaler*—выставлять, раскладывать на показъ—опять близко, но не то, «*revanche*—возмездіе»: похоже, а не совсѣмъ! Вотъ почему французскій языкъ не у однихъ у насъ въ такомъ употребленіи. Можно быть въ немъ не слишкомъ сильнымъ—и, несмотря на то, подлинникъ хорошаго французскаго сочиненія понимать лучше, нежели превосходный переводъ его по русски. Писать по-русски письма—просто мученіе: фраза выходитъ тяжела, пахнетъ грамматикой и семинаріей, обороты неуклюжи. Пишете, мараете—и кончите тѣмъ, что сразу напишете по-французски—и выйдетъ хорошо. Говорить по-русски, не виѣшивая фразъ и словъ французскихъ, очень трудно. Наши литераторы и такъ называемые патріоты упрекали и теперь упрекаютъ высшее общество въ равнодушія и даже презрѣнія къ русскому языку и русской литературѣ, въ пристрастія и даже страсти къ французскому языку и французской литературѣ: обвиненіе несправедливое и въ высшей степени мѣщанское! Наше высшее общество, вдругъ столкнувшись, такъ сказать, съ Европой, увидѣло, что для его новыхъ потребностей, идей и общественныхъ отношеній русскій языкъ бѣденъ и недостаточенъ, хотя для своего общества (до временъ Петра-Великаго) онъ, какъ и естественно, былъ не только удовлетворителенъ, но еще и очень богатъ. Русскому обществу по-русски читать было нечего; однакожъ то немногое, что было, оно читало: при Екатеринѣ Великой оно читало Державина и Богдановича, смогрѣло въ театрѣ трагедіи Сумарокова и комедіи Фонвизина; при Александрѣ I-мъ оно не по однимъ слухамъ знало о Карамзинѣ, Дмитріевѣ, Озеровѣ, Крыловѣ, Жуковскомъ и Ватюшковѣ. Но это вѣдь еще не была литература, способная занять и наполнить досуги образованнаго общества: годовой бюджетъ произведеній всѣхъ этихъ писателей едва могъ доставить на недѣлю чтенія. Явился Пушкинъ—высшее общество прочло его. Въ наше время оно не только прочло Гоголя и Лермонтова, но перелистываетъ иногда и не столь крупныхъ писателей, заглядываетъ даже въ журналы. Въ чемъ же упрекаютъ его?—Развѣ въ томъ, что оно не проглаживаетъ всего, что производитъ досужество російскихъ сочинителей?—Ну, за это надо извинить высшее общество: оно немножко деликатно

и боится индигестіи... Но оно не говоритъ по-русски?—Правда; и это оттого, что, какъ сказалъ Пушкинъ,

Доселѣ гордый нашъ языкъ
Къ почтовой прозѣ не привыкъ,—

и оттого, что онъ еще менѣе привыкъ къ разговору: мѣстоименія его такія длинныя, напримѣръ, который, безъ котораго между тѣмъ нельзя составить фразы; а его причастія, и дѣйствительныя, и страдательныя, такъ долговазы, главное же—такъ отзываются «высокимъ слогомъ»; его фраза такъ пахнетъ книгой.

Для устраненія всѣхъ этихъ препятствій еще очень мало сдѣлано и высшимъ обществомъ, и литературой; но «мало» не значитъ еще «ничего». Немного сдѣлано, но уже дѣлается: съ одной стороны, высшее общество, все больше и больше читая по-русски, естественно, больше и говоритъ по-русски; а когда русская литература будетъ ежегодно производить хорошаго и интереснаго столько же, сколько ежегодно производитъ французская литература или хоть около того,—тогда наше высшее общество будетъ и читать, и говорить по-русски, безъ сомнѣнія, больше, чѣмъ по-французски. А то вѣдь, согласитесь сами,—двѣ или три, много-много пять порядочныхъ повѣстей въ годъ, романъ въ иной годъ, да десятокъ журналовъ, которые больше чѣмъ наполовину наполняются переводами и изъ которыхъ развѣ только два удобны для чтенія,—согласитесь, что такая литература, если только она и въ самомъ дѣлѣ—литература, немного времени возьметъ у самаго жаднаго до чтенія, но хотя немного разборчиваго читателя? Съ другой стороны, русская литература теперь на доброй дорогѣ для того, чтобъ выработать изъ языка книги языкъ общества и жизни. Она давно уже стремится къ этому,—съ тѣхъ поръ, какъ заговорили о важности такъ называемой легкой поэзіи и легкой литературы. Перебирая нашихъ дѣятелей въ этомъ отношеніи, пропустимъ Сумарокова, Богдановича, даже Хемницера, и начнемъ съ Фонвизина, потомъ упомянемъ Крылова и Дмитріева (басни и сказки, въ особенности «Модная Жена»); отъ нихъ перейдемъ къ безсмертному созданію Грибоедова «Горе отъ Ума», къ «Евгенію Онѣгину» и «Графу Нулину» Пушкина, причѣмъ упомянемъ о прозаическихъ опытахъ Пушкина (преимущественно объ «Арапѣ Петра Великаго»). Съ Гоголя начинается новый періодъ русской литературы, которая, въ лицѣ этого гениальнаго писателя, обратилась преимущественно къ изображенію русскаго общества. Пуристы, грамматобѣды и корректоры нападаютъ на языкъ Гоголя, и—если хотите—не совсѣмъ безосновательно: его языкъ точно неправиленъ, нерѣдко грѣшитъ противъ грамматики и отличается длинными періодами, которые изобилуютъ вставочными предложеніями; но со всѣмъ тѣмъ онъ такъ живописенъ, такъ ярокъ и рельефенъ, такъ опредѣлителенъ и точенъ, что его недостатки, о

которых мы сказали выше, скорѣе составляютъ его прелесть, нежели пороки, какъ иногда нѣкоторые неправдыности чертъ или веснушки составляютъ прелесть прекраснаго женскаго лица. Возьмите самый неуклюжій періодъ Гоголя: его легко поправить, и это сдѣлать всякій грамотѣй десятаго разряда; но покуситься на это значило бы испортить періодъ, лишить его оригинальности и жизни. Гоголь далъ направленіе прозаической литературѣ нашего времени, какъ Лермонтовъ далъ направленіе всей стихотворной литературѣ послѣдняго времени. И направленіе, данное Гоголемъ, особенно плодотворно для литературы и для языка, которые по этому учатся и научатся хорошо говорить о простыхъ вещахъ, и уже не поучать, какъ прежде, торжественно и важно публику, а бесѣдовать съ ней. Съ другой стороны, еще съ появленія «Московского Журнала» и «Вѣстника Европы» Карамзина наша журнальная литература оказала стремленіе объясняться съ публикой не параднымъ языкомъ книги, а живымъ языкомъ общества. Но Карамзинъ недолго дѣйствовалъ на журнальномъ поприщѣ, — и потому только съ появленія «Московского Телеграфа» начинается періодъ настоящей журнальной дѣятельности, полезной и для общества, и для языка. И нельзя сказать, чтобы въ этомъ отношеніи журналистика наша не сдѣлала съ тѣхъ поръ значительныхъ успѣховъ.

Но какъ бы ни былъ языкъ неразвѣтъ и необработанъ, — онъ все же вѣдъ имѣть свой геній, свой духъ, свои законы и свои, только ему свойственные, характеръ и фizioномію: изслѣдовать, опредѣлить, — словомъ, привести ихъ въ ясное сознаніе есть дѣло грамматики. Взглянемъ же на то, что сдѣлала у насъ для языка грамматика. Сначала, подобно русской поэзии и русской литературѣ вообще, русская грамматика нисколько не была русской, но представляла какой-то странный сколокъ съ латинской, французской и нѣмецкой грамматики. Наши грамматисты отъ Мелетія Смотрицкаго до Ломоносова и бывшей Академіи Россійской, составляя русскую грамматику, какъ будто ничего другого не дѣлали, какъ только переводили латинскую, — и потому они въ русскихъ глаголахъ, кромѣ трехъ временъ — настоящаго, прошедшаго и будущаго, дѣйствительно существующихъ, нашли еще «неопредѣленное прошедшее (преходящее), совершенно - прошедшее, давно - прошедшее, неопредѣленно - будущее, совершенно - будущее и другія, при каждомъ глаголѣ открыли по-нѣсколько неокончательныхъ наклоненій. Также неудовлетворительна была грамматика, изданная Россійской Академіей. Впрочемъ за это облатывеніе русской грамматики не должно строго судить нашихъ старинныхъ грамматистовъ: вся ихъ вина состояла въ томъ, что они начали съ начала, по естественному ходу человѣческаго ума. Вслѣдствіе реформы Петра Великаго у насъ все русское неважно должно было облыностраниваться. Наконецъ, знаменитый лингвистъ, нѣмецъ Фатеръ, пер-

вый проникнувъ въ особенныя свойства русскихъ глаголовъ, положилъ твердое основаніе русской грамматикѣ, по крайней мѣрѣ сдѣлалъ ее возможной. Онъ доказалъ, что совершающееся въ глаголахъ другихъ языковъ посредствомъ множества временъ у насъ дѣлается черезъ виды, что каждый русскій глаголъ имѣетъ нѣсколько видовъ, что каждый видъ имѣетъ только одно неокончательное наклоненіе, и что глаголы неопредѣленнаго и многократнаго видовъ имѣютъ три времени — настоящее, прошедшее и будущее, а глаголы совершеннаго (или опредѣленнаго) и многократнаго видовъ имѣютъ только два времени — прошедшее и будущее (послѣднее спрягается совершенно такъ, какъ настоящее время глаголовъ неопредѣленнаго и многократнаго видовъ). Объ этомъ самомъ писалъ покойный профессоръ Болдыревъ, котораго обвиняли въ томъ, что онъ присвоилъ себѣ мысли Фатера. Справедливо ли это, мы рѣшить не можемъ; а лучше скажемъ, что профессоръ Болдыревъ написалъ еще прекрасное разсужденіе «о степеняхъ сравненія русскихъ прилагательныхъ», въ которомъ доказалъ, что степень, которую принимали за превосходную и которая оканчивается на *айшій* и *нйшій*, есть, напротивъ, сравнительная степень полной формы прилагательныхъ, тогда какъ степень, которая одна считалась сравнительной и которая оканчивается на *те*, *нй* и *е*, есть только сравнительная усѣченной формы прилагательныхъ. Потому мы помнимъ еще небольшую, но дѣльную статью профессора И. И. Давыдова «О порядкѣ словъ». Имя Востокова по справедливости должно быть упоминаемо съ почетомъ, какъ автора лучшей доселѣ русской грамматики. Но все это — не корень, не начало. Прежде составленія грамматики необходимо аналитическое изслѣдованіе русскаго языка, глубокое проникновеніе въ анатомію, въ фizioлогію, въ тайну организма языка. Надо начать съ звука, съ буквы. Это и сдѣлалъ знаменитый филологъ нашъ Г. П. Павскій, который одинъ стѣбитъ цѣлой академіи. Его «Филологическими Наблюденіями надъ составомъ русскаго языка» положено прочное основаніе филологическому изученію русскаго языка, показанъ истинный методъ для этого изученія. Это превосходное сочиненіе еще не кончено; но мы знаемъ изъ вѣрнаго источника, что послѣдняя, шестая, часть его приводится къ окончанію авторомъ и вмѣстѣ съ четвертой и пятой не замедлитъ поступить въ печать. Первые три части этого творенія уже всѣ распроданы и выйдутъ вторымъ изданіемъ, когда окончатся печатаніемъ три послѣднія части. Это успѣхъ, успѣхъ блестящій и славный тѣмъ болѣе, что у насъ нѣтъ еще публики для ученыхъ сочиненій, и что журналы не оцѣнили великій трудъ Павскаго, какъ слѣдуетъ, — а не оцѣнили потому, что для него, какъ сочиненія совершенно самобытнаго и оригинальнаго, которое первое полагаетъ основаніе русской филологіи, не нашлось цѣнителей, достаточно сильныхъ для подобной оцѣнки. Но при-

деть время, когда сочиненіе Павскаго сдѣлается классической и настольной книгой для всякаго ученаго, который посвятитъ себя изученію русскаго языка. Ужъ и теперь плоха и ничтожна была бы самая хорошая грамматика, которой авторъ, при ея составленіи, много и крѣпко не посовѣтовался бы съ «Филологическими Наблюденіями надъ составомъ русскаго языка».

«Грамматическія Разысканія» Васильева явились вслѣдствіе книги Павскаго и написаны по указанному ему методу и въ ея духѣ. Не сомнѣваемся, что найдутся остряки, забавники и потѣшники: они будутъ смѣяться надъ ничтожностью и мелочностью предмета, о которомъ такъ серьезно хлопочетъ книжка Васильева. Пусть глумятся на здоровье себѣ и на потѣху своимъ читателямъ! Положимъ, что книжка Васильева порождена даже педантизмомъ; но развѣ не такому педантизму обязаны французы удивительной разработкой своего языка? Чтѣ бы ни говорили, но грамматика именно учить не чему другому, какъ правильному употребленію языка, т. е. правильно говорить, читать и писать на томъ или другомъ языкѣ. Ея предметъ и цѣль—правильность, и ни до чего остального ей нѣтъ дѣла. Съ педантической кропотливостью задумывается она надъ тѣмъ, какъ правильно произносить, склонять, спрягать, согласовать, писать, словомъ, употреблять то или другое слово,—я все это иногда для того, чтобъ, добившись цѣли своихъ изысканій, сказать: «такъ должно бы по правилу употребить это слово, но такъ употребляется оно въ живомъ языкѣ общества!» Можно знать хорошо грамматику, говорить и писать правильно, и въ то же самое время можно говорить и особенно писать дурно: это правда; но также можно хорошо говорить и писать и въ то же самое время не знать языка. А между тѣмъ теоретическое знаніе языка важно и полезно, даже необходимо, и безъ приложенія. Грамматика есть логика, философія языка, и кто знаетъ грамматику своего языка, для того по крайней мѣрѣ возможно знаніе всеобщей грамматики—этой прикладной философіи слова человѣческаго. Сверхъ того, люди, которые только по инстинкту хорошо говорятъ или пишутъ на своемъ языкѣ, по необходимости часто ошибаются противъ духа языка, въ ущербъ своему успѣху на поприщѣ изустной или письменной изящной рѣчи. И нѣтъ никакого сомнѣнія, что когда къ инстинктивной способности хорошо говорить или писать присоединяется теоретическое знаніе языка,—сила способности удваивается, утраивается. Грамматика не даетъ таланта, но даетъ таланту большую силу; а грамматику только тотъ знаетъ, кто знаетъ, какъ слѣдовало по правилу сказать или написать то или другое слово, ту или другую фразу, которымъ живая власть употребленія (*usus-typicus*) дала неправильную форму. Сидѣльцы овощныхъ лавокъ и кушарки говорить и пишутъ, руководствуясь только употребленіемъ, а отнюдь не грамматикой; но потому-то иногда смѣшно слышать ихъ говорящими

и всегда такъ трудно понимать написанное ими...

Грамматика не даетъ правилъ языку, но извлекаетъ правила изъ языка. Общее незнаніе этихъ правилъ, т. е. незнаніе грамматики, вредитъ языку народа, дѣлая его неопредѣленнымъ и подчиняя его произволу личностей: тутъ всякій молодецъ говорить и писать на свой образецъ. Въ формахъ языка должно быть единство. А этого единства можно достигнуть только строгимъ изслѣдованіемъ, какъ правильно должно говорить или писать то или другое. Это исканіе правильности должно быть доведено до педантизма—для успѣха самого языка. Пусть будутъ тутъ злоупотребленія: они отвергнутся обществомъ, и живое слово не покорится имъ; но зато все истинное и полезное, но несвязывающее языка мелочными и ненужными правилами будетъ принято всѣми. Посмотрите на русскую орфографію, чтѣ это такое! Въ этомъ отношеніи русскій языкъ представляетъ собой странное исключеніе изъ общаго правила: у насъ столько же орфографій, сколько книгъ, сколько журналовъ, сколько литераторовъ,—и потому нѣтъ никакой орфографіи. Неужели это хорошо? А между тѣмъ, за это никакъ нельзя никого винить: виноватаго нѣтъ! И такъ, вмѣсто того чтобъ пѣть іереміады противъ нововводителей,—не лучше ли было бы приняты за разработку орфографіи, за изслѣдованіе—какой орфографіи должно держаться, сообразно съ духомъ языка и его правилами. Объ этомъ стоитъ разсуждать и спорить. Пусть въ этихъ разсужденіяхъ и спорахъ наговорено будетъ много страннаго и нелѣпаго, лишь бы только результатомъ всего этого было, рано или поздно, удовлетворительное рѣшеніе вопроса. Но видно, обвинять и бранить другихъ гораздо легче, нежели доказать, почему они ошибаются, и какъ имъ надо писать, чтобъ писать правильно...

Вотъ почему мы очень рады появленію брошюры Васильева. Можетъ-быть ея начинается безконечный рядъ филологико-грамматическихъ брошюръ, разсужденій, полемическихъ статей и статей, которыми должна разработаться наша грамматика и придти въ единство наша орфографія. Брошюра Васильева раздѣляется на двѣ части. Въ первой онъ пытается рѣшить, правы ли тѣ, которые, вмѣсто почетный, счетъ, въ четь, черный, пишутъ: почетный, счотъ, въ чомъ, чорный,—и правы ли тѣ, которые нападаютъ на нихъ, какъ это дѣлаетъ фельетонистъ «Сѣверной Пчелы». Васильевъ не согласенъ ни съ той, ни съ другой стороной. Онъ говоритъ, что наши грамматисты, Востоковъ и Гречъ, ошибаются, утверждая, будто бы буква ѣ не можетъ слѣдовать за зубными буквами *жс*, *ч*, *ш*, *щ*, или по крайней мѣрѣ произносится послѣ нихъ не какъ ѣ, но какъ *о*; но что если внимательно прислушаться къ произношенію словъ: *счесть* и *счотъ*, *щетка* и *щотка*, *желтый* и *желтый*, то нельзя не увѣриться, что слова эти, при звукахъ ѣ и *о*, совсѣмъ не одинаково произносятся, и что слѣдовательно

должно писать въ этихъ словахъ не *о*, а *е*. Съ другой стороны, онъ не согласенъ съ доводами фельетониста «Сѣверной Пчелы», который въ употребленіи буквы *о* въ помннутыхъ словахъ видитъ нарушеніе искони соблюдавшагося правила. Васильевъ справедливо замѣчаетъ, что искони писали: *оскверненіи*, *отшедшій*, *продающіи*, *идущіи*, *россійсти*, *распемши*, *демми*; и что «Библиотека для Чтенія» слѣдуетъ коренной, древней, хотя и неправильной привычкѣ русскаго народа, утвержденной вѣками, употребляя дательный падежъ вѣсто родительнаго, между тѣмъ какъ фельетонистъ «Сѣверной Пчелы» нападаетъ же за это на «Библиотеку для Чтенія».

Спорныя буквы *е* и *о* суть бѣглыя, т. е. такія, которыя то исчезаютъ, то опять появляются въ словѣ, какъ напримѣръ: *ледъ*, *лѣда*, *орелъ*, *орла*, *близкій*, *близокъ*. Павскій говоритъ, что когда надъ этими буквами должно стоять удареніе, то ихъ должно употреблять по правиламъ сочетаемости буквъ, т. е. *о* ставить послѣ согласныхъ тупыхъ, а *е*—послѣ согласныхъ острыхъ. Васильевъ, напротивъ, утверждаетъ, что бѣглая гласная, находясь между двумя согласными и имѣя на себѣ удареніе, должна угодать обѣимъ, — такъ что если послѣднія въ словѣ требуютъ предъ собой *е*, а предыдущія *о*, — то такъ какъ обѣихъ поставить нельзя, должно поставить среднюю между *о* и *е*, то-есть *ѣ*. Основываясь на этомъ правилѣ, Васильевъ положительно утверждаетъ, что слова: *дружекъ*, *лужекъ*, *мужичекъ*, *копачекъ*, *кружекъ*, и т. д. должно писать черезъ *е*, а не черезъ *о*.

Прекрасно! Но что же дѣлать съ выговоромъ-то и употребленіемъ? Что ни говорите, а далеко не во всѣхъ словахъ звукъ *ѣ* отличается въ произношеніи отъ *о*. Въ словѣ *желтый* не слышно никакого *ѣ*, а слышно одно чистое *о*; то же должно сказать о словѣ *хорошо*, которое, какъ усвоеніе слова хорошее, должно бы и писаться: *хореше*, а произноситься *хорошѣ*; но—вопреки правилу, по прихоти употребленія, ни то, ни другое невозможно,—поэтому оно и пишется, и говорится *хорошо*, а не *хорешѣ*. Мы согласны, что въ словахъ: *щетка*, *счетъ*, въ чемъ, *черный*, *щеголь* слышится звукъ болѣе похожій на *ѣ*, нежели на *о*, и что слѣдовательно нелѣпо для слуха и безобразно для глазъ писать *щотка*, *счотъ*, въ чемъ, *чорный*, *щолокъ*, *щоголь*. Но также точно, сколько ни прислушивайтесь къ словамъ: *слицо*, *крыльцо*, *яйцо*, *кольцо*, *словоцъ*, *желтый*, *шорокъ*, *шопоть*, *кружокъ*, *лужокъ*, *отцомъ*—а, воля ваша, звука *ѣ* въ нихъ вы не услышите; если же и услышите, то вамъ трудно будетъ выговаривать эти слова, и этотъ звукъ оскорбитъ вашъ слухъ, — слѣдственно нелѣпо для слуха и безобразно для глазъ писать: *лице*, *крыльце*, *яйце*, *кольце*, *желтый*, *шепоть*, *кружекъ*, *лужекъ*, *отцемъ*. Въ первомъ случаѣ буква *о*, какъ говорится, деретъ глаза; во второмъ то же дѣйствіе производитъ буква *е*. Согласны: правило Васильева вѣрно, да та бѣда, что употребленіе попорти-

ло его дѣлать, такъ что теперь, избѣгая педантизма, который иногда бываетъ хуже невѣжества, необходимо уступить деспотической волѣ употребленія, и изъ одного стараго правила сдѣлать два, т. е. помириться на серединѣ: съ буквами *ш* и *ч* писать *е*, а съ буквами *ж* и *щ* писать *о*. Возьмите слово: *плече*, — и произнесите въ концѣ острое *ѣ*: вы выговорите его такъ, какъ оно въ самомъ дѣлѣ выговаривается, слѣдовательно нѣтъ никакой нужды нарушать общаго правила и писать *о* (плечо); но въ словѣ *лицо*, какъ ни старайтесь выговаривать *ѣ*, не выговорите, а если выговорите, вамъ самимъ будетъ смѣшно своего усилія, равно какъ и звукъ, который вымучите вы изъ своихъ губъ. Остановимся на серединѣ, избѣгая равно и педантизма, и произвольности: обѣ крайности равно нехороши. Что жъ дѣлать, если духъ новаго русскаго языка часто бываетъ въ противорѣчій съ духомъ стараго русскаго языка, и если всѣ акустическія и орфографическія преданія разорваны такъ, что иногда и слѣдовъ нельзя отыскать? Тутъ остается только покориться необходимости.

Мы не обратили бы особеннаго вниманія на брошюрку Васильева, еслибъ въ ней было сказано только то, въ чемъ мы съ ней не согласились. Нѣтъ, въ ней, кромѣ этого, много дѣльнаго и интереснаго, какъ напримѣръ критика мнѣній разныхъ грамматистовъ и изслѣдованіе, въ какихъ случаяхъ буква *е* выговаривается какъ *ѣ*. Последнее изслѣдованіе стоило автору большихъ трудовъ: чтобы повѣрить справедливость своихъ выводовъ, онъ долженъ былъ перечестъ весь лексиконъ русскій. Хлопотливо и тяжело, — а нельзя иначе при подобныхъ изслѣдованіяхъ, если не хотите нагромоздить кучу произвольныхъ правилъ, которыхъ языкъ и не думалъ признавать. Васильевъ приводитъ въ своей брошюрѣ разительный примѣръ подобной произвольности, происшедшей отъ легкости въ работѣ. Гречъ говоритъ: «Если надъ буквой *е* находится удареніе и гласная (также полугласная), то она произносится какъ *йо* (т. е. какъ *я*): напримѣръ: *елка*, твердо, дерну, *белый*, *медъ*. То же бываетъ, когда *е* находится въ концѣ слова: *житье*, *сине*, *мое*» («Практ. Русская Грамматика», 1834 г., стр. 416). Васильевъ приводитъ множество словъ въ опроверженіе этого правила: *верба*, *векша*, *жертва*, *трапеза*, *горе*, *ложе*, *море*, *поле*, и проч. Но изложеніе правилъ, открытыхъ (числомъ 12) Васильевымъ объ употребленіи буквы *ѣ*, было бы излишне въ нашей статьѣ. Наше дѣло указать хорошее, а кто хочетъ увидѣть его самъ, можетъ обратиться къ самой брошюркѣ.

Очень интересно и второе разысканіе: «Объ образованіи именъ уменьшительныхъ рода мужскаго и женскаго», — интересно, какъ по разбору мнѣній Греча и Востокова объ этомъ предметѣ, такъ и по выводамъ самого автора. Вообще брошюрка Васильева такого рода, что ни одинъ будущій составитель грамматики не обойдется безъ

того, чтобъ, при трудѣ своемъ, не принять ея къ свѣдѣнію, а иногда даже и не посовѣтоваться съ ней.

Слова на оберткѣ брошюры: «первый выпускъ» обѣщаютъ намъ продолженіе трудовъ Васильева по части разрабатыванія русской грамматики: очень рады!

Стихотворенія Александра Струговщикова, заимствованныя изъ Гёте, Шиллера. Книжка первая. Спб. 1845.

Струговщиковъ давно уже снискалъ себѣ въ нашей литературѣ лестную извѣстность замѣчательнымъ талантомъ, съ какимъ передаетъ онъ на русскій языкъ сочиненія Гёте. О его счастливыхъ переводахъ говорили, спорили и писали; словомъ, Струговщиковъ въ короткое время сдѣлалъ себѣ имя этими трудами. Въ самомъ дѣлѣ, нисколько не увлекаясь пристрастіемъ, можно сказать, что нѣкоторыя пьесы Гёте усвоены русской литературѣ Струговщичовымъ; «Римскія Элегіи», «Пѣснь Маргариты», «Молитва Маргариты», «Пѣснь Клары», «Фантазія Клары» и въ особенности исполненное произведеніе гения Гёте—«Прометей», всѣ эти пьесы воспроизведены переводчикомъ по-русски съ блестящимъ успѣхомъ, который могъ внушить всѣмъ смѣлую надежду, что можетъ быть нѣкогда лучшія произведенія Гёте, а можетъ быть и весь Гёте явятся въ достойномъ ихъ русскомъ переводѣ. Особенную честь таланту Струговщикова дѣлаетъ его переводъ «Прометея»: одного такого перевода достаточно, чтобъ переводчикъ сдѣлалъ себѣ имя въ литературѣ. Таково было почти общее мнѣніе о переводныхъ трудахъ Струговщикова и о прекрасныхъ надеждахъ для русской литературы, которыя они подавали въ будущемъ. Но стали замѣчать, что Струговщиковъ не всегда переводитъ, иногда и передѣлываетъ. Даже самъ Струговщиковъ не старался скрывать этого; напротивъ, онъ гдѣ-то печатно сказалъ, что, по его мнѣнію, переводить иностраннаго писателя значитъ заставлять его творить такъ, какъ онъ самъ бы выразился, еслибъ писалъ по-русски. Подобное мнѣніе очень справедливо, если оно касается только языка; но во всѣхъ другихъ отношеніяхъ оно болѣе нежели несправедливо. Кто угадаетъ, какъ бы сталъ писать Гёте по-русски? Для этого самому угадывающему надобно быть Гёте. Кто имѣетъ право модифицировать, измѣнять, укоротить, распространить мысль гения, передѣлать его созданіе?—развѣ только такой же гений. Какая цѣль перевода?—дать возможно близкое понятіе объ иностранномъ произведеніи такъ, какъ оно есть. Въ такомъ случаѣ, если вы своими придѣлками и передѣлками сдѣлали его даже и лучше, нежели какъ оно написано авторомъ,—переводъ невѣренъ, слѣдовательно нехорошъ. Но это случается только съ слабыми произведеніями; хорошаго же произведенія великаго поэта нельзя сдѣлать въ переводѣ лучшимъ противъ подлинника: поправки и пере-

дѣлки только портать его. Въ переводѣ изъ Гёте мы хотимъ видѣть Гёте, а не его переводчика; еслибъ самъ Пушкинъ взялся переводить Гёте, мы и отъ него потребовали бы, чтобъ онъ показалъ намъ Гёте, а не себя. Говорятъ: переводчикъ въ прозѣ—рабъ, переводчикъ въ стихахъ—соперникъ. Последнее справедливо только въ половину: соперникъ по языку, слогу и стиху, словомъ—по выраженію, но не по мысли, не по содержанію. Тутъ онъ рабъ. Талантъ переводчика есть талантъ формы, разумеется, при способности вникать въ духъ чужихъ произведеній и чувствовать ихъ красоты. Это человѣкъ, который мастеръ рассказывать, по который въ то же время лишенъ дара изобрѣтенія и вѣчно ищетъ сюжетовъ.

Какъ бы то ни было, если Струговщиковъ и оставилъ свое убѣжденіе касательно переводовъ, то не для того, чтобъ воротиться назадъ, а для того, чтобъ пойти дальше. Это показываетъ вышедшая теперь книжка его стихотвореній. На первомъ заглавномъ листѣ сказано просто: «Стихотворенія Струговщикова»; на второмъ заглавномъ листѣ: «Стихотворенія Александра Струговщикова, заимствованныя изъ Гёте и Шиллера!» Но въ предисловіи еще яснѣе высказалась душевная мысль автора: «Стараясь,—говоритъ онъ,—оставаться вѣрнымъ подлиннику въ поэзіи повѣствовательной и драматической, не допускающей произвола и исключающей, такъ сказать, въ переводчикѣ всякое творчество; я не могъ и не хотѣлъ покоряться тому же условію, когда вступилъ въ очаровательную область лиризма. Убѣжденіе, что для произведеній лирической поэзіи переводовъ не существуетъ, примирало меня съ чувствомъ ответственности передъ лицомъ гениевъ, избранныхъ мною въ руководители. Здѣсь, забывая и отбрасывая иногда подробности, я былъ напутствуемъ одними главнѣйшими впечатлѣніями подлинника: такъ иногда воспоминанія дѣйствуютъ на душу сильнѣе самыхъ явленій»... Это откровенное объясненіе со стороны автора избавляетъ насъ отъ труда объяснить идею его произведеній.

Это—поэтическія варіаціи, разыгрываемыя на темы, взятыхъ изъ Гёте и Шиллера. Такой способъ творчества имѣетъ свою выгодную сторону: питаюсь чужимъ вдохновеніемъ, заимствователь въ то же время обнаруживаетъ и свое собственное вдохновеніе, и самъ является какъ-будто творцомъ. Но этотъ способъ творчества имѣетъ также и свою невыгодную сторону, которая хорошаго заимствователя ставитъ ниже хорошаго переводчика: послѣдній, какъ не имѣющій претензій на творчество, выказываетъ самостоятельную способность формы, обогащающую родную литературу сокровищами иностранныхъ; тогда какъ талантъ перваго есть не болѣе, какъ «плѣнной мысли раздраженіе»,—не говоря уже о томъ, что заимствователь обязанъ выдержать соперничество съ великими поэтами. Но Струговщиковъ, кажется, думаетъ объ этомъ иначе, какъ это можно заключить по двустатию «Переводчику-поэту».

Ежели твой переводъ перестать переводомъ
казаться,
Ставь свое имя въ чолѣ, самъ за себя отвѣчай.

Конечно всякій воленъ и правъ въ выборѣ своей дороги, потому именно, что не воленъ въ немъ. Струговщикова тоже правъ въ своемъ стремленіи такъ же, какъ были бы неправы всѣ тѣ, которые не захотѣли бы признать законности этого стремленія. Теперь посмотримъ, какъ осуществляет Струговщикова свою теорію.

Признаемся откровенно, муза Струговщикова не совсѣмъ удовлетворяетъ насъ съ этой стороны. Вновь перечли мы съ новымъ наслажденіемъ его переводы изъ Гёте; но переводы и заимствованія изъ Шиллера показались намъ не совсѣмъ удачны, отчасти по выполнению, отчасти по выбору. Такъ напримѣръ, пьесы: «Поэзія жизни», «Три Слова», «Женщину чтите», «Величіе Вселенной», «Надежда», «Колумбъ», «Олимпийскіе Гости», «Къ Радости», «Три заблужденія», «Иліада», «Раздѣлъ», «Сбиралися тучи», выбраны удачно, но въ ихъ исполненіи мы не узнаемъ Шиллера; въ нихъ мало художественности, и мысль высказывается съ какой-то прозаической наготой. Нѣкоторые измѣнены противъ оригинала очень неудачно, особенно «Величіе Вселенной». Шиллеръ говоритъ въ этомъ стихотвореніи не о величинѣ, а о великости, безконечности вселенной, die Grösse der Welt; что же до выполненія, то представляемъ самимъ читателямъ быть судьями въ этомъ дѣлѣ, и для того просимъ ихъ сравнить переводъ Струговщикова съ переводомъ Шевырева.

Но пьесы Шиллера: «Крестоносцы», «Пегасъ» (впрочемъ прекрасно переведенный), «Панорама Свѣта», «Фортуна и Мудрость», до такой степени не въ духѣ нашего времени, что нельзя похвалить ихъ выборъ. Особенно же удивилъ насъ выборъ такихъ пьесъ изъ Гёте, каковы: «Водвореніе правъ» и «Пляска мертвецовъ», особенно послѣдняя. Кому ее читать?—развѣ старой нянѣ дѣтямъ, для того чтобъ запугать ихъ фантазію чудовищными образами, порожденными невѣжествомъ? Взрослымъ сгѣшны эти пустяки, въ какіе бы стихи ни были облечены они...

Къ чему также переведена изъ Уланда баллада—«Слуга-Убійца»? Она уже была переведена Жуковскимъ въ то еще время, когда поэтическія бредни среднихъ вѣковъ были въ ходу, и переведена была превосходно. Сравнимъ первыя двустихія обонхъ переводовъ,—Жуковского:

Извѣной слуга паладина убилъ:
Убійцѣ заводитъ санъ рыцаря былъ.

Струговщикова:

Завидитъ слуга господина,
Слугою убить паладанъ.

Пьеса эта всѣмъ извѣстна по превосходному переводу Жуковского, и потому не выписываемъ ее всю. Слуга убилъ рыцаря, надѣлъ на себя его доспѣхи и, перебѣгая рѣку, утонулъ отъ тяжести панциря. Какая мораль этой пьесы?—Та, что слабосильный слуга, убивъ рыцаря, не долженъ на-

дѣвать на себя его панциря, изъ опасенія утонуть. И стѣло такую нелѣпину переводить дважды!...

Изъ антологическихъ пьесъ Струговщикова многія прелестны и по мысли, и по выполнению; но есть между ними и такія, которыя какъ-то странно видѣть въ печатной книгѣ: напримѣръ:

Совершенствоваіе.

Какъ достигать совершенства? Этому учить растенья:

Волей стремишься къ тому, тѣмъ мимо воли оно.

Это что-то темновато! Не знаемъ, что хорошаго въ двустихіяхъ: «Тайна», «Гекзаметръ и Пентаметръ», «Претензія»...

Странное впечатлѣніе производитъ на читателя манера Струговщикова обращаться съ старыми стихотвореніями, какъ будто съ написанными сегодня. Онъ переводитъ пьесу Шиллера и пишетъ на нее отвѣтъ. Вотъ переводъ его «Антикова въ Парижѣ» и отвѣтъ на эту пьесу:

Антики въ Парижѣ.

Что искусство создавало
Въ вѣкъ Эллады золотой,
Забиралъ онъ, грабитель,
Святотатственной рукой;
Вѣковыми образцами
Наполняетъ свой музей—
И боговъ Олимпа
Кажетъ какъ трофей.
Но они съ своихъ подножій
На паркетъ не сойдутъ
И въ сердца безсмертной жизни
Прометея не вдохнутъ:
Тотъ лишь бога понимаетъ,
Въ комъ огонь его горитъ—
Музы и Харити
Вандалу—гранитъ.

Отвѣтъ.

Въ вѣкъ судьбою обреченный
Въ жатву будущимъ вѣкамъ,
Шлетъ она, предтечей міра,
Измученнымъ племенамъ
Сына съ волей необятной,
Съ всеобъемлющимъ умомъ—
Неисповѣдимымъ
Онъ идетъ путемъ.
Онъ сооружаетъ съ царствомъ
Благо Франціи своей,
И грома полсѣта ставитъ
Грани деспоту морей—
И грабитель исчезаетъ
Передъ геніемъ, какъ тѣнь
Мимолетной тучи
Въ лучезарный день.

Не говоря уже о томъ, что неумѣстно и странно отвѣчать на вопросъ по истеченіи почти полувѣка,—отвѣтъ Струговщикова совсѣмъ не приходится на вопросъ. Шиллеръ этой пьесой не столько мѣтилъ въ грабителя, сколько во французскій народъ, который онъ хотѣлъ огласить варваромъ, скиномъ въ дѣлѣ искусства. До нѣкоторой степени Шиллеръ былъ правъ: Франція при Наполеонѣ до того была исполнена грубо-солдатскаго духа, что чувство изящнаго должно было въ ней до времени притаяться и какъ бы исчезнуть вмѣстѣ съ литературой и всѣми науками, развивающими въ человѣкѣ мыслительность; такъ нужно было само-

властію цивилизованнаго Атиллы XIX вѣка. Явно, что стихотвореніе Шиллера внушено минутой, обстоятельствами, по прекращеніи которыхъ оно потеряло все свое значеніе. Струговщиковъ въ отвѣтъ на него написалъ въ защищеніе цѣлой націи отъ несправедливаго навѣта одного человѣка апологію Наполеона, которая такъ же хорошо можетъ идти и къ Тамерлану, какъ и къ Наполеону. Къ чему все это?

Страннымъ еще показалось намъ, почему изъ своего превосходнаго перевода Гётева «Прометея» Струговщиковъ помѣстилъ въ «Стихотвореніяхъ» тотъ небольшой отрывокъ, не имѣющій никакого интереса, а не всю пьесу.

Въ заключеніе скажемъ, что книжка стихотвореній Струговщикова во всякомъ случаѣ приятное явленіе въ нашей литературѣ. Правда, въ ней нѣтъ этого жгучаго, охватывающаго интереса, потому что нѣтъ ничего современнаго, жизненнаго, но все исключительно посвящено искусству. Это что-то вродѣ академической антологіи, рядъ блестящихъ и прекрасныхъ замѣтокъ объ искусствѣ; это не поэзія жизни, но поэзія кабинета. Въ этомъ ея главный недостатокъ, но въ этомъ же и ея главное достоинство.

Книга издана прекрасно.

Сочиненія Державина. Біографія писана Н. А. Полевымъ. Изданіе Д. П. Штуккина. Спб. 1845.

Самое поразительное изъ отрицательныхъ достоинствъ этого изданія составляетъ приложенная къ нему статья Полевого: «Державинъ и его творенія». Это уже тысяча первый неудачный опытъ стараго журналиста, когда-то имѣвшаго въ русской литературѣ сильный голосъ и считавшагося отличнѣйшимъ критикомъ, удержатъ за собой право этого голоса и поддержать въ настоящее время идеи и взгляды, хронологически устарѣвшіе цѣлыми пятнадцатью годами, а исторически—цѣлымъ полулѣтомъ. Но хуже всего въ этой статьѣ то, что ея авторъ позволилъ себѣ забыть важность предмета, о которомъ безъ оглядки принялся судить и вкривъ, и вкосъ, и въ свои отсталыя сужденія о Державинѣ вѣшалъ мелкую журнальную полемику, вслѣдствіе досадъ и огорченій, испытанныхъ имъ отъ успѣховъ нашего времени и отъ уроковъ, полученныхъ имъ отъ людей новаго поколѣнія. Извѣстное дѣло, что вѣстѣ съ Булгариннымъ и нѣкоторыми другими старыми литераторами Полевой видитъ въ Гоголѣ не больше, какъ безграмотнаго писаку, а въ его «Ревизорѣ»—грубый фарсъ. Положимъ такъ: всякій понимаетъ вещи, какъ можетъ и какъ умѣетъ. Почему же и Полевою не понимать Гоголя по своему? Это вѣдь старая исторія: Карамзина молодое поколѣніе встрѣтило восторгомъ, а старое—бранью; Пушкина молодое поколѣніе встрѣтило чуть не идолопоклонствомъ, а старое—ожесточенной враждой.

Почему же и Гоголю не раздѣлить участи такихъ людей, какъ Карамзинъ и Пушкинъ?—это доказываетъ только его великость, какъ поэта. И почему же Полевою не смотрѣть на Гоголя по-старчески?—это доказываетъ только его отсталость отъ вѣка и близорукость, какъ критика. Но вотъ что худо: зачѣмъ имѣшать Гоголя въ біографію Державина? зачѣмъ, восхваляя Державина, бранить Гоголя?.. Это значить не кстати вмѣшивать свою личность туда, гдѣ о ней не можетъ быть рѣчи,—досаду и раздраженіе, мелочныя и ничтожныя, прицѣплять къ великому имени... Это ли уваженіе и благоговѣніе къ имени Державина, которыми Полевой вмѣняетъ себѣ въ такую заслугу?.. Вотъ что между прочимъ говоритъ онъ на VI-й страницѣ своей злополучной статьи: «Веревкинъ (директоръ Казанской гимназіи, въ которой воспитывался Державинъ) учредилъ даже театръ, но и самъ онъ былъ драматическій писатель, и составлялъ хотѣлъ своимъ Такъ и Должно не менѣе Филатокъ и Ревизоровъ нынѣшнихъ»... Какъ! «Ревизоръ» наравнѣ съ «Филатками»? Но съ чѣмъ же послѣ этого можно сравнить «Парашу Сибирячку», «Елену Глинскую» «Черезполосныя Владѣнія», «Федосью Сидоровну» и другія изящныя произведенія, которыми досужество Полевого обогатило сцену Александринскаго театра?.. Если «Ревизоръ» — «Филатка», то что же онѣ, эти пьесы, эти побочныя дѣти искусства, которыхъ народила досужая фантазія Полевого?..

Но не однимъ этимъ достается Гоголю: увидимъ нѣчто получше; увидимъ, что не одному Гоголю достается. Уже тысячу-тысячу разъ повторилъ Полевой, что «Пушкинъ смѣнилъ поэзію на прозу и увлекся ничтожною свѣтской жизнью»: это же повторено и въ біографіи Державина. Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ Пушкинъ увлекся ничтожною свѣтской жизнью, а не увлекся великой жѣщанской жизнью? Но на Пушкина Полевой не до конца разгнѣвался: онъ говоритъ, что послѣ Державина у насъ былъ одинъ истинный поэтъ — Пушкинъ. Полноте!.. Но эти слова явно порождены скромностію автора статьи: иначе онъ нашелъ бы на Руси и третьяго «истиннаго» поэта: напримѣръ хоть знаменитаго автора «Клятвы при гробѣ Господнемъ», «Аббадонны», «Живописца», «Влаженства Безумія», «Параши Сибирячки», «Федосьи Сидоровны» и другихъ воистину поэтическихъ созданій...

Статья Полевого раздѣляется на двѣ части: въ одной—собственно біографія Державина, въ другой—сужденіе о Державинѣ. За исключеніемъ пятеи, о которыхъ мы говорили и которыми когда-гдѣ позначена біографія Державина,—она такъ себѣ, а за неимѣніемъ лучшей, годится. Вѣдь всякій пишетъ какъ можетъ и какъ умѣетъ; должно быть снисходительнымъ. Но вторая, критическая, часть статьи возбуждаетъ только состраданіе и жалость. Тутъ видно не одно отсутствіе определенной, ясной, хотя бы и ложной мысли: тутъ видно желаніе и въ то же время безсиліе оста-

новиться на какой-нибудь мысли. И усиліе пере- кричать всёхъ, и уступочки, и храброванье, и смиренномудрая боязнь, и брань на противниковъ, и искаженіе ихъ мнѣній, и самодовольство, и много словъ, и мало дѣла, и въ заключеніе— ровно ничего... Наговоривъ много и не сказавъ ничего, авторъ, собравшись съ силами и сдѣлавъ *tour de force* отчаянной храбрости, въ такихъ выраженіяхъ пускается на брань и полемику:

«Къ сожалѣнію, *многіе* критики наши, не понимая Державина, говорятъ иначе (т. е. не такъ, какъ говорить Полевой—именно, къ сожалѣнію!). Какъ безусловно хвалили его въ старину, какъ по ложной мѣрѣ классицизма размѣривали прежде его творенія, такъ нынѣ, когда обязанностью критика многіе считаютъ непремѣнное *осужденіе*, когда каждый предметъ, подвергнутый критическому возвращенію, многіе почитаютъ чѣмъ-то вроде обвиненнаго, призваннаго къ допросу передъ прокурора журнальнаго, и великая тѣнь Державина призывается къ пигмейскому суду и осуждается по статьямъ мирмидонскаго журнальнаго уложенія. Примѣры не далеко. Не упоминая именъ, вспомнимъ о критикѣ, который послѣ долгаго мудрованія осудилъ Державина за недостатокъ *художественности*, стоя на колѣняхъ передъ *жалкими* произведеніями новѣйшихъ *романтиковъ* (?) и съ восторгомъ разсматривая *воиную грязь* какого-нибудь *малограмотнаго романиста*. Такія сужденія не стоили бы другого отвѣта, кромѣ улыбки сожалѣнія, ибо время и безъ насъ смыла ихъ, какъ грязныя пятна, съ истинно великаго, но намъ жалъ, если подобныя близорукія осужденія увлекаютъ юное поколѣніе.»

Читая эти строки, невольно думаешь, что читаешь выходки старыхъ поборниковъ такъ называвшагося въ старину «классицизма» противъ Полевого, когда онъ ратовалъ за такъ называвшійся въ тѣ блаженные времена «романтизмъ». Тотъ же слогъ, тотъ же языкъ, та же манера, тѣ же уловки и та же враждебность противъ всего новаго, противъ всякаго движенія впередъ, противъ всякаго успѣха! Напрасно же Полевой въ то время отнималъ у своихъ антагонистовъ всякое дарованіе, всякую заслугу: вѣдь вотъ пригодился же они, пришлось же и ему теперь играть ихъ роль, которая тогда ему казалась такой жалкой! Но разберемъ сказанное Полевымъ.

Напрасно избѣгаетъ онъ упоминать имена, особенно тамъ, гдѣ они сами собой выставляются и бросаются въ глаза каждому, кто не слѣпъ. Мы скажемъ, о какомъ критикѣ-пигмее вспоминаетъ нашъ критикъ-колоссъ, критикъ-великанъ; скажемъ, передъ какими жалкими произведеніями и какихъ новѣйшихъ романтиковъ заставляетъ критикъ-исполнѣ становиться на колѣни критика-пигмея; скажемъ наконецъ, какую грязь и какого малограмотнаго романиста критикъ-гигантъ заставляетъ съ восторгомъ разсматривать критика-пигмея. Разгадать все это очень нетрудно. Во второй книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» 1843 года былъ напечатанъ критическій разборъ сочиненій Державина, по случаю изданнаго Глазуновымъ собранія твореній этого поэта. Въ означенной статьѣ авторъ или, если угодно, критикъ-

пигмей, равно удаляясь отъ дѣтскаго, безотчетно восторженнаго удивленія къ Державину и отъ ложной гордости успѣхами современности,—гордости, которая мѣшаетъ отдавать должную справедливость заслугамъ прошедшаго,—попытался взглянуть на сочиненія Державина и съ эстетической, и съ исторической точки зрѣнія. Результатомъ его изслѣдованій было то, что со стороны естественнаго, непосредственнаго таланта Державинъ—гораздо болѣе, нежели необыкновенный талантъ, что въ сочиненіяхъ его брызжутъ искры геніальности; но что эпоха, въ которую онъ жилъ, не могла воспитать такого таланта, ни дать богатаго содержанія для его творческой дѣятельности, и потому сочиненія Державина, удивляя насъ страшной силой естественнаго таланта, мгновенными вспышками и проблесками геніальности, въ то же время бѣдны внутреннимъ содержаніемъ, часто до совершенной пустоты, мотивы ихъ вертятся на вишностяхъ и отзываются газетными реляціями; и что наконецъ почти ни одна пьеса Державина не выдержана въ цѣломъ, не чужда риторикѣ, и всё онъ бѣденъ художественностью. Все это въ статьѣ было развито, на все приведены были доказательства, скрѣпленные выписками стиховъ Державина. Статья была замѣчена публикой (которая давно уже привыкла только въ «Отечественныхъ Запискахъ» замѣчать критическія статьи, вѣроятно по особенной любви ея къ критикамъ-пигмеямъ и по совершенному равнодушію къ критикамъ-исполнѣ) и произвела большое волненіе въ литературномъ мірѣ, неумолкающее и теперь. Это естественно: успѣхи пигмеевъ особенно должны раздражать гигантовъ, на которыхъ никто не обращаетъ вниманія... Такъ вотъ о какомъ критикѣ-пигмее вспоминаетъ Полевой, этотъ критикъ-атлетъ! Въ «Отечественныхъ Запискахъ» со вниманіемъ и любовью слѣдятся всѣ современные дарованія; но особенное ихъ вниманіе всегда было обращено на два великія явленія нашей эпохи—Лермонтова и Гоголя; знайте же, что передъ жалкими произведеніями этихъ-то двухъ современныхъ романтиковъ Полевой становить на колѣни критика-пигмея. Что же касается «до воинчей грязи какого-нибудь малограмотнаго романиста», знайте, что дѣло идетъ о «Мертвыхъ Душахъ» Гоголя... Еслибъ Полевой замѣтилъ намъ, что мы гадаваемъ невѣрно,—мы готовы представить ему печатныя доказательства вѣрности нашихъ отгадокъ—именно множество точно такихъ же фразъ самого Полевого насчетъ Лермонтова, Гоголя вообще и его «Мертвыхъ Душъ» въ особенности,—фразъ, взятыхъ изъ «Русскаго Вѣстника» и другихъ журналовъ, мирно скончавшихся... Не считаемъ за нужное разувѣрять Полевого въ его истиннѣ достойномъ сожалѣніи мнѣніи о Лермонтовѣ и Гоголѣ: это былъ бы трудъ лишній; Полевого не переувѣришь—ему уже поздно переучиваться; притомъ къ безсильной отсталости надо имѣть снисхожденіе... Но пусть же его мнѣніе и говорить само за себя и за него: въ этомъ мнѣніи наше оправданіе и его обвиненіе.

Однако въ чемъ же, скажите, вина критика-пиг-

мея? гдѣ съ его стороны грязное пятно на русскую литературу? Неужели въ недостаткѣ художественности, который онъ находитъ въ сочиненіяхъ Державина? Вамъ это кажется несправедливымъ: докажите, и тогда уже бранитесь, если вы не можете не браниться... Странно! тѣмъ болѣе странно, что самъ Полевой, съ голоса критика-пигмея, находитъ уже въ Державинѣ и недостатки, которыхъ прежде не находилъ, какъ-то: преобладаніе внѣшности, исключительное увлеченіе тѣми интересами и мнѣніями своего времени, которые теперь уже мертвы для насъ, и пр. Конечно эти у критика-пигмея занятые мысли высказаны Полевымъ такъ робко и нерѣшительно и смѣшаны съ собственными его фразами и возгласами такъ неумѣстно, что ихъ и не замѣтишь съ перваго взгляда; но все же Полевому слѣдовало бы быть нѣсколько попризнательнѣе къ критику-пигмею. Полевой уже въ другой разъ судить и ридить о Державинѣ, но въ этой послѣдней статьѣ уже меньше риторики и пустыхъ фразъ, вродѣ: «потомокъ Багрима, въ его поэзіи разсыплются брилліанты, яхонты, сапфиры, рубины, топазы, бирюза» и т. п. И за это слѣдовало бы поблагодарить критика-пигмея, вмѣсто того чтобъ ругать его ни за что, ни про что...

Полевой говоритъ, что двѣнадцать лѣтъ назадъ онъ безпристрастно опредѣлилъ значеніе Державина въ русской литературѣ и «нигдѣ наслажденіе видѣть, что съ выводами его согласилось общее мнѣніе, по крайней мѣрѣ большинство мнѣній, —нигдѣ счастье слышать свое мнѣніе повтореннымъ другими, писавшими послѣ того о Державинѣ», и поэтому не изъ ничтожнаго тщеславія осмѣливается считать свое мнѣніе не вовсе ошибочнымъ, и что наконецъ двѣнадцать лѣтъ размышленія и опыта жизни не измѣнили основной его мысли о Державинѣ.

Удивительное постоянство — надо согласиться! Однакожь его нельзя назвать безпримѣрнымъ: Мерзляковъ (умершій въ 1830 году) тоже въ двѣнадцать (даже больше) лѣтъ не измѣнилъ своего мнѣнія, что Ломоносовъ выше Пушкина; Каченовскій оставался вѣренъ этому мнѣнію лѣтъ двадцать слишкомъ. И эти люди имѣли еще то преимущество передъ Полевымъ, что знали, въ чемъ состоятъ ихъ мнѣнія... Въ статьѣ Полевого о Державинѣ, написанной имъ двѣнадцать лѣтъ назадъ, кромѣ «потомка Багрима, щедрой рукой разсыпавшаго въ своей поэзіи разныя ювелирскія издѣлія», и тому подобныхъ фразъ, доказывавшихъ безотчетный восторгъ, —ничего другого не было. Но съ нею, говорятъ онъ, согласилось общее мнѣніе, по крайней мѣрѣ большинство мнѣній: правда ли это? Вѣдь когда-то Полевой сказалъ же, что «онъ знаетъ Русь и Русь знаетъ его»; а вѣдь оказалось же, что это знакомство было только шапочное, — плачевное обстоятельство, вслѣдствіе котораго «Исторія Русскаго Народа» не могла достигнуть вожделѣннаго конца и остановилась на серединѣ. Но положимъ, что многіе и согласились съ статьей Полевого, такъ какъ другой тогда не было: но

вѣдь это было двѣнадцать лѣтъ назадъ; много воды утекло, многое измѣнилось въ двѣнадцать лѣтъ; публика стала не та и не тѣ стали ея требованія. «Телеграфъ» давно уже забытъ: его помнятъ только тѣ, которымъ нужно заглядывать для справокъ даже въ «Вѣстникъ Европы»... Но видно, самолюбіе писателей похоже на самолюбіе коке-токъ: ни тѣ, ни другія никогда не признаются въ старости... Мнѣніи Полевого о Державинѣ никто не повторялъ, потому что послѣ того никто не писалъ о Державинѣ: этотъ фактъ изобрѣтенъ авторскимъ самолюбіемъ.

Но довольно; вспомнимъ русскую пословицу о лежащемъ, и оставимъ Полевого въ покоѣ, чтобъ сказать нѣсколько словъ о предметѣ гораздо поважнѣе — о самомъ Державинѣ.

Державинъ — истинно великій поэтъ, но въ возможности, а не въ дѣйствительности. Природа создала его гениемъ, но эпоха, въ которую онъ жилъ, обрѣзала ему крылья: видимъ могучій взмахъ, видимъ смѣлые и быстрые порывы въ небо; но ровнаго и спокойнаго паренія не видимъ: взлетитъ — и опустится, упадетъ — и опять ринется вверхъ... Если ужъ пошло на сравненія, Державинъ — могучій дубъ, котораго вершина должна бы уйти далеко въ небо, а широкія вѣтви покрыты густой тѣнью необъятное пространство, но который никогда не могъ развиваться до размѣровъ и до могучей красоты, назначенной ему природой, потому что корни его встрѣтили каменистую почву, которая не дала имъ ни углубиться, ни найти для себя достаточнаго питанія. Какъ! — скажутъ — блестящее царствованіе Екатерины II было безплодной почвой для поэзіи?... Отвѣчаемъ: царствованіе Екатерины II потому и было велико и плодотворно для русской земли, что оно первое приготовило почву для всѣхъ благоуханныхъ и роскошныхъ цвѣтовъ гражданственности и общечеловѣчности, слѣдовательно и поэзіи; поэзія и не замедлила явиться въ благословенное царствованіе Александра I, на закатѣ котораго она развернулась, въ лицѣ Пушкина, пышнымъ цвѣтомъ. Все на свѣтѣ начинается не съ середины и не съ конца, а съ начала: истина простая, но въ приложеніи немногими понимаемая. Посредствомъ извѣстнаго химическаго раствора до невѣроятной степени можно ускорить выходъ изъ земли и развитіе нѣкоторыхъ растений; но для гражданственности, общечеловѣчности и поэзіи нѣтъ такого химическаго раствора. Екатерина II именно тѣмъ и много сдѣлала для внутренней жизни Россіи, что многое начала, не торопясь видѣть результаты своихъ начинаній. Она могла способствовать началу, возникновенію русской литературы, но русской литературы создать не могла, хотя русская литература и обязана своимъ быстрымъ развитіемъ тѣмъ попеченіямъ, которыя великая монархиня прилагала о ея возникновеніи. Литература и поэзія — растения, которыя требуютъ, чтобъ для нихъ была приготовлена почва, потомъ положены въ нее зерна, и тогда они сперва всходятъ стебелькомъ, потомъ опушаются

листомъ, потомъ долго расцвѣтъ прежде, нежели дадутъ цвѣтъ и плодъ. Тутъ скачковъ не можетъ быть.

И вотъ этотъ-то законъ постепенности и послѣдовательности въ развитіи осудилъ Державина не достигнуть полнаго обладанія огромными силами, данными ему природой. Въ его время не было и не могло быть истиннаго понятія о поэзіи уже потому только, что не было въ обществѣ потребности къ поэзіи. О ней тогда знали только чрезъ Ломоносова, и то потому, что она обратила на него вниманіе и милости монаршіи и изъ низкаго званія довела его до большихъ чиновъ. Еслибъ въ то время за стихи не давали чиновъ, о стихахъ никто и знать не хотѣлъ бы... Сами поэты того времени понимали поэзію, какъ восхваленіе, въ смыслѣ восхваленія сильныхъ земли, и поэзія была риторикой. Такъ понималъ ее и Державинъ, съ чувствомъ смиренія удивлявшійся паренію Ломоносова, Хераскова и даже Петрова. Чтò дало Державину извѣстность и славу въ тогдашней Россіи: его талантъ, его гений, его творенія? — Нисколько! На него обратила вниманіе Императрица, которую «Фелица» его восхитила до слезъ; онъ получилъ отъ Фелицы драгоцѣнную табакерку съ червонцами; онъ, бѣдный, ничтожный дворянинъ и чиновникъ, вскорѣ послѣ того былъ представленъ Императрицѣ, которая, проходя мимо него, остановилась, пристально на него посмотрѣла и молча дала ему поцѣловать свою руку. Этого было достаточно, чтобъ все и всѣ признали стихи Державина за гениальнѣйшее произведеніе, каковы бы эти стихи ни были... Какая же поэзія могла быть въ такомъ обществѣ и на чтò ему была поэзія? О Державинѣ заговорилъ дворъ, и гулъ этого говора болѣе или менѣе отозвался глухо тамъ и сямъ въ среднемъ дворянствѣ и ученомъ классѣ. Достоинство стиховъ Державина измѣрили важностью данныхъ ему наградъ, гений мѣрили чиномъ... Но развѣ, скажутъ намъ, это Державину могло мѣшать быть гениемъ и писать гениальные стихи: вѣдь его поэтомъ сдѣлала природа, а не общество? — Такъ; но въ томъ-то и худо, что только природа участвовала въ его художественномъ образованіи, а тогдашнее общество только убивало въ немъ талантъ и мѣшало ему развиваться. Поэтъ столько же зависитъ отъ общества, сколько и отъ природы: и какъ одно общество безъ природы, такъ и природа безъ общества не могутъ создать полнаго поэта. Державинъ служить самымъ блестящимъ и самымъ разительнымъ доказательствомъ этой истины. Полевой какъ-будто ставитъ Державину въ вину, что въ немъ всю его жизнь чиновникъ боролся съ поэтомъ, и что онъ, во чтò бы ни стало, хотѣлъ быть дѣловымъ человѣкомъ и бросалъ поэзію для приказныхъ бумагъ. Мы, напротивъ, нисколько не винимъ въ этомъ Державина, потому что онъ не могъ иначе чувствовать, мыслить и дѣйствовать, и ему дѣлаетъ великую честь то, что въ немъ наконецъ поэтъ побѣдилъ чиновника, хотя и поздно. Еще и теперь, въ наше время, когда

правительство давно уже затрудняется не наборомъ чиновниковъ, а ихъ излишествомъ, когда на каждое самое ничтожное мѣсто является по сту кандидатовъ и искателей, и когда деньги снѣло уже соперничаютъ съ чиномъ, — и теперь, говоримъ мы, кто не служить, не имѣетъ чина, на того всѣ смотрятъ съ такимъ удивленіемъ и такимъ любопытствомъ, какъ стали бы смотрѣть на человѣка, который лѣтомъ, въ жары, ходитъ въ медвѣжьей шубѣ, а зимой — босикомъ, въ одной рубашкѣ... Вотъ какіе глубокіе корни пустила бюрократія въ русскую жизнь, вотъ какъ хорошо принялась на русской почвѣ германская табель о рангахъ!.. Чтò же въ этомъ отношеніи должно было быть во времена Державина? Тогда никакой гений, какъ бы онъ ни былъ огроменъ, не могъ видѣть къ себѣ ни малѣйшаго уваженія до тѣхъ поръ, пока не видѣлъ себя въ чинѣ по крайней мѣрѣ статскаго совѣтника... И это очень просто, очень естественно. Развѣ Байронъ, этотъ либеральный поэтъ, не гордился своимъ аристократическимъ происхожденіемъ болѣе, нежели своимъ поэтическимъ гениемъ? А почему? — потому что онъ былъ англичанинъ. Какъ же было Державину не увлечься общей заразой чиновничества? Человѣку невозможно жить безъ людей, а подъ какимъ званіемъ вошелъ бы въ ихъ кругъ Державинъ — неужели подъ званіемъ поэта? Но тогда такого званія не было, а если и было, то чѣмъ-то похожимъ на званіе шута или скомороха. Званіе чиновника тогда не только было, но и входило въ почетъ: и вотъ, чтобъ войти къ людямъ и выйти въ люди, Державинъ захотѣлъ быть чиновникомъ. Не самъ ли біографъ Державина говорить: «Дивились, что дѣла поручаются пиятѣ, стихоплету или, какъ они себя великолѣпно называютъ, — говорятъ Кургановъ въ своемъ Письмовникѣ: — стихотворцу, и чины и деньги даютъ — за стихи». Чѣмъ же званіе шута или скомороха было тогда выше званія поэта?..

Этотъ духъ чиновничества, насквозь проникавшій тогдашнее общество, наложилъ свою печать и на поэзію Державина. Это поэзія хвалебная, воспѣвательная, преисполненная богами и полубогами, которые теперь всѣ сдѣлались простыми людьми, а нѣкоторые и вовсе забыты. Это поэзія, исполненная аффектаціи, искренняя въ отношеніи къ самому поэту, но лицемерная въ отношеніи къ эпохѣ, — этой эпохѣ меценатовъ, милостивцевъ, поклонниковъ и прихлебателей. Это поэзія риторическая, крикливая до хрипоты и надрыва груди, поэзія, разсуждавшая въ стихахъ и располагавшая торжественныя оды по правиламъ схоластической диссертациі. Пусть критики-исполнимы нашего времени говорятъ, что при извѣстии о взятіи Измаила Державинъ грянулъ одой: мы, критики-пигмеи, только съ трудомъ можемъ дочитывать до конца эту длинную «похвальную рѣчь въ стихахъ», гдѣ, въ видѣ риторики, фосфорическимъ блескомъ вспыхиваютъ мѣстами искры поэзіи. Пусть люди, привыкшіе по преданію видѣть въ одѣ

«Богъ» какое-то колоссальное произведение, величают Державина пѣвцомъ Бога; но мы въ этой одѣ видимъ много внѣшняго блеска, хорошіе по своему времени стихи, больше же всего холодной декламации. Пѣвецъ «Водопада» — другое дѣло! Тутъ Державинъ великъ. Многіе не знаютъ, какъ и восхвалять Державина за «Оду на возвращеніе графа Зубова изъ Персіи», а между тѣмъ что въ ней?—сперва резонерство въ холодныхъ стихахъ, потомъ не совсѣмъ вѣрныя и живыя (даже поэтически) картины Кавказа. Что такое напримѣръ эти стихи:

Ты видѣлъ, какъ въ степи средѣ зною
Огромныхъ змѣй стога кипѣть,
Какъ блещутъ пестрой чешуею
И льютъ, шипя, другъ съ друга лѣтъ.

Въ тѣ времена поэту не было никакого дѣла до дѣйствительности; онъ опирался только на свою фантазію. Что ему за дѣло, что Кавказъ—не Индія, и въ немъ нѣтъ огромныхъ змѣй, что змѣи нигдѣ не кипѣтъ стогами, что въ стога складывается только сѣно, и что змѣи никогда не забавляются переливаніемъ яда другъ въ друга? Но возьмемъ пьесу «Русскія Дѣвushки». Не будемъ ея выписывать—она и такъ слишкомъ всѣмъ извѣстна, потому что написана прекрасными стихами. Если вы видѣли въ деревняхъ «россійскихъ дѣвushекъ», то знаете, какъ граціозно онѣ пляшутъ, и знаете, что онѣ пляшутъ не въ башмачкахъ, а въ котахъ, а иногда и въ лаптяхъ, въ сарафанахъ, которые вовсе не граціозно перерѣзываютъ поперекъ имъ грудь, съ головами, ушачеными коровьимъ масломъ, съ красными и заскорузлыми руками, незнакомыми съ мыломъ; знаете, какъ богаты онѣ «златыми лентами» и «драгами жемчугами»; знаете, что такое «россійскій» пастушокъ и его свирѣль: сравните же то, что вы знаете, съ тѣмъ, что описалъ Державинъ, и въ восторгѣ воскликните вмѣстѣ съ нимъ къ Анакреону:

Долъ бы видѣлъ дѣвъ сихъ красныхъ,
Ты бъ гречанокъ позавылъ,
И на крыльяхъ сладострастныхъ
Твой зрѣть прикованъ былъ.

Несчастный Анакреонтъ, счастливый Державинъ!...

И однакожъ Державинъ въ свое время все-таки былъ великій поэтъ: чѣмъ бы онъ былъ, еслибъ явился въ наше время? Время много значить, но при талантѣ природномъ. Тредьяковскій и въ наше время былъ бы плохимъ поэтомъ. Державинъ кропаетъ плохіе стихи, смиренно удивляется недостижимому генію Ломоносова и Хераскова,—и вдругъ рѣшается проложить себѣ особый путь, и пишетъ «Фелицу»,—произведение до того самобытное и оригинальное, исполненное ума и поэтической граціи, что эстетика сбились съ толку, не зная, къ какому роду сочиненій отнести его. Для «Фелицы» Державину не было образцовъ ни въ русской и ни въ какой другой литературѣ. Какъ бы онъ много выигралъ, еслибъ никогда не сходилъ съ «своего особаго пути»! Но на одной струнѣ не много наиграешь, а другихъ

не было. Да и не такое тогда было время, чтобъ поэтъ могъ всегда идти своей дорогой, не забѣгая на чужія: Державинъ, этотъ колоссъ не только въ сравненіи съ какимъ-нибудь Херасковымъ, но и съ самимъ Ломоносовымъ, никогда не переставалъ смотрѣть на нихъ, какъ на высшіе образцы.

И удивительно ли это, если Дмитріевъ, поэтъ уже другого, несравненно болѣе образованнаго поколѣнія, сказалъ о Херасковѣ:

Пушай отъ зависти сердца въ зонлахъ ноютъ:
Хераскову они вреда не нанесутъ;
Владиміръ, Іоаннъ шитою его покроятъ
И въ храмъ безсмертья приведутъ.

Все это доказываетъ только, что поэзія не является вдругъ готовой: поэзіи нужно время для развитія. Державинъ былъ только первымъ ея проблескомъ и провозвѣстникомъ на Руси. Дѣлаемое Полевымъ раздѣленіе поэтовъ на истинныхъ и ложныхъ совершенно произвольно. Ложный поэтъ такое же ложное выраженіе, какъ и холодный огонь, сухая вода. Одинъ поэтъ можетъ быть выше, другой ниже, и такъ до безконечности; но какъ бы ни малъ былъ поэтъ, онъ уже не ложный поэтъ, если только онъ поэтъ. И потому мы никакъ не можемъ согласиться съ Полевымъ, чтобъ на Руси было два поэта—Державинъ и Пушкинъ. Мы считаемъ поэтами (само собой разумѣется, истинными) не только Крылова, Жуковского и Батюшкова, но Хемницера, Фонвизина, Карамзина, Дмитріева, Озерова, и думаемъ, что русская поэзія послѣ Державина должна была пройти чрезъ всѣхъ нихъ, чтобъ дойти до полного своего развитія въ Пушкинѣ. По нашему, Державинъ это — Пушкинъ, не перешедшій черезъ рядъ поименованныхъ нами поэтовъ и черезъ поколѣнія, которыхъ они были выразителями; Пушкинъ—это Державинъ, перешедшій черезъ нихъ. Разумѣется, этого сравненія, сдѣланнаго для поясненія нашей мысли, нельзя принимать буквально, уже и потому, что Пушкинъ и въ отношеніи къ естественному таланту былъ выше, глубже и многостороннѣе Державина: его талантъ обнималъ и лирику, и эпопею, и драму, и во всѣхъ странахъ міра былъ у себя дома. Вспомните «Галуба», «Каменнаго Гостя», «Египетскія Ночи», «Мѣднаго Всадника», «Русалку», «Сцену изъ Фауста», «Моцарта и Сальери», «Пиръ во время чумы», опыты восточной поэзіи, антологическія стихотворенія,—какое разнообразіе!..

Если у Державина нѣтъ ни одной пьесы, которая была бы художественна, т. е. вполне выдержана, т. е. во время и на мѣстѣ заключена, окончательно отдѣлана, чужда прозаическихъ выраженій, прозаическихъ стиховъ, охлаждающихъ чувство читателя, чужда риторики, неточныхъ словъ и фразъ, всего лишняго; если у него такъ много пьесъ на половину хорошихъ, на половину плохихъ и еще болѣе совершенно плохихъ,—въ этомъ, повторяемъ, виновать не онъ, а его время; это происходило не отъ слабаго таланта, а отъ времени. На долю Державина выпало неудобство быть начинающимъ и явиться въ

неблагоприятное для поэзии время: вотъ причина всѣхъ недостатковъ его поэзии, тогда какъ всѣ ея красоты принадлежать одному ему и составляютъ его неотъемлемую заслугу.

Но какъ бы то ни было, теперь его уже не читаютъ; теперь его поэзія болѣе предметъ изученія, нежели наслажденія. И въ этомъ отношеніи онъ исполнѣ поэтъ классическій: немного есть писателей (и не у однихъ насъ), изученіе которыхъ можетъ быть такъ поучительно для юности. Таково свойство гения: его недостатки такъ же поучительны, какъ и достоинства. Только для изученія Державина одна эстетическая точка воззрѣнія нигде не годится; его должно изучать и съ эстетической, и съ исторической точки зрѣнія.

Теперь спрашиваемъ всѣхъ благомыслящихъ людей: что въ нашемъ сужденіи о Державинѣ, еслибъ даже оно было и совершенно ошибочно и ложно, что въ немъ оскорбительнаго для памяти Державина и для чести русской литературы, какъ угодно находить его нашему критику, Полевому?..

Сельское Чтеніе, книжка третья, составленная княземъ В. Ѳ. Одоевскимъ и А. П. Заблужимъ. Спб. 1845.

«Сельское Чтеніе» составляетъ собою эпоху въ исторіи едва начинающагося у насъ образованія низшихъ классовъ. Правда, книжка эта уже не первая попытка заохотить простой народъ къ чтенію; но это первая удачная попытка въ этомъ родѣ. Можно указать еще на «Письмовникъ Курганова», разошедшійся по Россіи въ числѣ можетъ быть тоже не одного десятка тысячъ экземпляровъ; но то была книга не для низшихъ собственно классовъ, а для всего полуграмотнаго міра, заключавшаго въ себѣ и дворянъ, и чиновниковъ, и купцовъ, и мѣщанъ, но не крестьянъ. Успѣхъ «Письмовника» былъ основанъ не на цѣли и удачномъ ея достиженіи, а на необразованности тогдашняго читающаго люда. Онъ не былъ приуроченъ къ понятіямъ или потребностямъ какого-нибудь класса общества, но былъ изданъ, какъ книга веселая, съ разсказами и анекдотами, — и полезная, съ чѣмъ-то вродѣ энциклопедическаго изложенія нѣкоторыхъ знаній; онъ былъ больше вульгаренъ, нежели народенъ, и потому успѣлъ необычайно и принесть много пользы.

«Сельское Чтеніе», несмотря на его огромный успѣхъ, основанный на достоинствѣ содержанія и изложенія, — и теперь отнюдь не исключаетъ потребности новаго «письмовника», составленнаго сообразно съ успѣхами нашего времени; но этотъ новый «письмовникъ» уже не долженъ быть ни столь специальнымъ, какъ «Сельское Чтеніе», ни столь универсальнымъ, какъ Кургановскій письменникъ; подобно послѣднему, онъ долженъ быть изданъ для малообразованныхъ, полуграмотныхъ, но въ будущемъ образованіи которыхъ не предполагается никакихъ опредѣленныхъ границъ. Здѣсь разумѣются люди, которымъ нужна не столь ученость, сколько образованность, и кото-

рые, по неизмѣнному средству, не иначе могутъ образоваться, какъ черезъ собственные усилія, посредствомъ чтенія. И цѣль такого новаго письменника должна состоять не въ томъ, чтобы образовывать этихъ людей, но въ томъ, чтобы помочь имъ образоваться, направивъ ихъ вкусъ въ чтеніи, оторвать ихъ отъ «Вруслана Лазаревича» и романовъ Орлова, познакомивъ ихъ съ произведеніями литературы, на первый случай по содержанію доступными уму неразвитому, но въ то же время отличающимся высокимъ литературнымъ достоинствомъ. Это долженъ быть огромный альманахъ, раздѣленный на двѣ части: энциклопедію наукъ, искусствъ, ремеселъ, открытій и т. д., и на беллетристику — повѣсти, сказки, разсказы, стихотворенія, анекдоты и т. п. Все это не должно быть ни слишкомъ высоко, ни слишкомъ низко: тутъ не должны быть сочиненія вродѣ «Фауста», «Манфреда», «Моцарта и Сальери», «Пыгантъ» и т. п.; но почему бы не войти туда напримѣръ «Полтавѣ» и «Русалкѣ» Пушкина? Энциклопедія должна быть изложена языкомъ самымъ простымъ и яснымъ, но столько же не простонароднымъ, сколько и не книжнымъ. Если къ этому будутъ призваны на помощь политипажи, — это могущественное средство для распространенія популярнаго образованія: какая бы это вышла книга для чтенія купцовъ, мѣщанъ и даже людей, принадлежащихъ къ нѣскольکو высшему противъ нихъ классу, но не болѣе ихъ образованныхъ.

«Сельское Чтеніе» — изданіе чисто специальное, и въ этомъ его великое достоинство. Оно назначено для крестьянъ-асилѣдѣльцевъ и приурочено къ ихъ быту и потребностямъ. Были и прежде «Сельскаго Чтенія» опыты для такого рода изданій; люди, бравшіеся за нихъ, не имѣли никакого понятія о низшихъ классахъ, и потому опыты ихъ не имѣли никакого успѣха. Нѣкоторые, взманиваемые успѣхомъ «Сельскаго Чтенія», начали издавать книжки въ этомъ родѣ, думая, что вѣдь барину легко учить мужика; но вышло иначе: спекуляція осталась спекуляціей, и печатный вздоръ пошелъ на растопку печей. Колоссальный успѣхъ «Сельскаго Чтенія» основанъ былъ на глубокомъ знаніи быта, потребностей и самой натуры русскаго крестьянина, и на талантѣ, съ каковымъ умѣли издатели воспользоваться этимъ знаніемъ. Поэтому въ два года разошлось до тридцати тысячъ двухъ первыхъ книжекъ «Сельскаго Чтенія». Подобный успѣхъ имѣетъ великое значеніе, свидѣтельствуя, что издатели «Сельскаго Чтенія» умѣли угадать, что нужно для чтенія простому народу, а во всякомъ важномъ дѣлѣ, для котораго не было прежде образца, въ томъ-то и состоитъ все дѣло, чтобы угадать...

О первыхъ двухъ книжкахъ мы говорили въ свое время; теперь поговоримъ о третьей. Какъ и въ первыхъ двухъ, въ ней статьи раздѣляются на два разряда: статьи (большей частью въ разсказахъ) нравственнаго содержанія, и статьи, до быта и хозяйства крестьянскаго касающіяся. Тѣ и другія равно необходимы, потому что нравственность тѣсно связана съ матеріальнымъ бытомъ, и успѣхъ одной невозмо-

жизнь без успѣха другого. Крестьянинъ, котораго жилище не лучше хлѣва, который раздѣляетъ его съ домашними животными, и который дурно одѣтъ, дурно ѣстъ,—такой крестьянинъ не можетъ быть нравственнымъ человѣкомъ; если онъ и не воръ, то лѣнтяй, и во всякомъ случаѣ существо оскотинившееся. Добродѣтель въ нищетѣ есть явленіе исключительное, достояніе тѣхъ сильныхъ организацій, тѣхъ энергическихъ характеровъ, которые такъ же рѣдки, какъ и гении. Добродѣтель гораздо хуже уживается съ нищетой, чѣмъ съ чрезвычайнымъ богатствомъ, хотя она и рѣдка въ богатствѣ. Съ другой стороны, если крестьянинъ живетъ чисто и въ довольствѣ, будучи безнравственнымъ человѣкомъ,—его благосостояніе выгодно только для него самого, но не для общества,—не говоря уже о томъ, что оно не всегда прочно. Изъ этого двоякаго рода статей въ «Сельскомъ Читеніи» самъ собою, по законамъ необходимости, выходитъ третій рядъ статей, которыя способствуютъ развитію интеллектуальности и знакомятъ крестьянина съ понятіями и фактами, доселѣ вовсе ему недоступными. Чтобы научить его обращаться съ хлѣбомъ и травой, необходимо познакомить его съ свойствами растительнаго царства вообще,—слѣдовательно, нѣкоторымъ образомъ ввести его въ созерцаніе природы, въ міръ естествознанія. Такова статья Заблочнокаго въ третьей книжкѣ «Сельскаго Читенія»—«О томъ, что такое растеніе, какъ оно живетъ и чѣмъ оно питается». Жалѣемъ, что не можемъ познакомиться съ нею нашими читателями: безъ выписокъ этого сдѣлать нельзя, а вырывать ее клочками,—только портить: ее надо читать всю. Это образецъ яснаго изложенія, вполне доступнаго для крестьянина, понятій не совсѣмъ общихъ и не такъ-то простыхъ! Такова же статья князя Одоевскаго: «Что такое выставка сельскихъ произведеній, на что она, и какая отъ нея польза, и что было на прошедшей выставкѣ»,—это лучшія статьи въ третьей книжкѣ «Сельскаго Читенія». Послѣ нихъ замѣчательны статьи: «Разсказъ дяди Иринея о томъ, что вокругъ человѣка и о человѣкѣ», князя Одоевскаго; «О томъ, какъ съ домашней скотиной надобно обращаться», Заблочнокаго, и «Записки для памяти», князя Одоевскаго.

Изъ нравственныхъ разсказовъ особенно замѣчательны два: «Какъ дядя Иринея разсказывалъ о томъ, что такое чистота и къ чему она пригодна», князя Одоевскаго, и «Нечистая Сила», графа Соллогуба. Первая особенно важна тѣмъ, что она имѣетъ цѣлью искорененіе гибельнаго и наиболѣе свойственнаго русскому простонародью порока—неопрятности. Впрочемъ опрятность и у городскихъ нашихъ жителей не можетъ считаться особенной добродѣтелью. Ваня и чистая рубаха въ субботу—у нашего простонародья больше какой-то обрядъ, какой-то мистическій долгъ, какъ омовеніе у мусульманъ, нежели требованіе опрятности и чистоплотности, не говоря уже о томъ, что пережѣна бѣлья одинъ разъ въ недѣлю—плохая опрятность. И потому въ такой книгѣ, какъ «Сельское Читеніе», особенно надо дорожить ста-

тьями, когда, будучи хорошо написаны, онѣ имѣютъ предметомъ искорененіе не общихъ, всѣмъ людямъ равно свойственныхъ недостатковъ, а пороковъ, составляющихъ какъ-бы исключительную бо-лѣзнь класса, для котораго издается «Сельское Читеніе». Такие пороки суть: пьянство, неопрятность, лѣнь, непредусмотрительность и авось, которое простой народъ иронически называетъ авоськой. «Нечистая Сила»—мастерской разсказъ графа Соллогуба, удачно воспользовавшагося извѣстнымъ анекдотомъ, чтобы сдѣлать изъ него столько же занимательную, сколько и поучительную для простыхъ умовъ повѣсть.

Послѣ нихъ можно указать на разсказы: «Отчего крестьянинъ Демьянъ себѣ ноги ознобилъ и навѣкъ калѣкой пошелъ», князя Одоевскаго; «Плохо тому, кто не умѣетъ жить въ своемъ дому», Заблочнокаго, и юмористическій, въ народномъ духѣ разсказанный анекдотъ «Ось и Чека», Дая.

Но, признаемся, мы не желали бы больше встрѣчать въ «Сельскомъ Читеніи» такихъ статей, какъ «Кто такой Давидъ Ивановичъ, и за что люди его почитаютъ» и «Что легко наживается, то еще легче проживается». Въ первой описанъ какой-то герой добродѣтели безъ образа и лица, безъ всякихъ признаковъ характера; и не мудрено: онъ описанъ, а не представленъ; за него говорить самъ авторъ, а самъ онъ ничего не говоритъ. Такии мертвыми идеями никого не убѣдишь ни въ чемъ: имъ никто не повѣритъ. Въ другой псѣй представленъ бѣдный перевозчикъ, который, неожиданно получивъ отъ дальняго родственника, купца, огромное наслѣдство, и не умѣя управляться ни съ торговыми дѣлами, ни съ деньгами, все спустилъ въ короткое время и опять сталъ голъ, какъ соколъ. Какая мораль этого разсказа? неужели та, что отъ наслѣдства надобно отказываться? Ну, а еслибъ кто написалъ повѣсть, что одинъ бѣднякъ, получивъ большое наслѣдство, съумѣлъ имъ распорядиться и къ своей, и къ чужой пользѣ, и издатели «Сельскаго Читенія» помѣстили бы этотъ разсказъ рядомъ съ псѣй «Что легко наживается, то еще легче проживается»; чему бы тогда долженъ былъ вѣрить грамотный крестьянинъ?.. Судя по заглавію разсказа, мы думали, что дѣло идетъ о приобрѣтеніи черезъ воровство, грабежъ или разбой: тогда бы—другое дѣло! Но положимъ, что авторъ и тутъ правъ: все-таки трудно повѣрить, чтобы его разсказъ убѣдилъ кого-нибудь отказаться отъ законнаго наслѣдства...

Многіе возстаютъ противъ «Сельскаго Читенія» за простонародность его языка, «маленько-мужицкого», утверждая, что къ такому языку въ книгѣ простой народъ недоверчивъ, поддаваясь охотнѣе обаянію книжнаго языка. Признаемся откровенно, мы не считаемъ такого мнѣнія ложнымъ, и готовы были бы рѣшительно обвинить «Сельское Читеніе» въ простонародности языка, какъ въ недостатокѣ, еслибъ въ тридцати тысячахъ экземпляровъ этой книжки, разошедшихся въ два года, не видѣли факта, слишкомъ оправдывающаго издателей въ

ихъ манеръ говорить печатно съ простолюдинами. Стало-быть, это еще вопросъ, который можетъ быть рѣшенъ только фактически; надо издать для народа книжку, написанную городскимъ, образованнымъ языкомъ: если она будетъ имѣть такой же успѣхъ, какъ и «Сельское Чтеніе», вопросъ будетъ рѣшенъ не въ пользу издателей послѣдняго; а до тѣхъ поръ... подождемъ. Одно, что мы можемъ не похвалить въ «Сельскомъ Чтеніи»,—это употребленіе презрительно-уменьшительныхъ собственныхъ именъ: «Ванюха, Ванька, Сенька, Васька, Машка», и т. п. «Сельское Чтеніе» должно способствовать истребленію, а не поддержанію отвратительнаго обычая называть себя не христіанскими именами, а кличками, унижающими человѣческое достоинство...

Впередѣ времени много, и при знаніи дѣла и талантъ издателей «Сельскаго Чтенія» недостатки этого изданія конечно скоро исчезнутъ, а достоинства еще болѣе возвысятся. Много уже сдѣлано этими тремя книжками, и ихъ содержаніе нельзя будетъ исполнѣ исчерпать и тридцатью; а сколько еще сторонъ нетронутыхъ, наприимѣръ отношенія, въ которыхъ женскій полъ находится въ простомъ быту къ мужскому, и наоборотъ! Русскій человѣкъ вообще не умѣетъ уважать женщину, а у крестьянъ женщина—раба, скотъ, нѣчто вродѣ домашняго животнаго. Зато посмотрите въ деревняхъ на мужиковъ: сколько между ними красивыхъ лицъ, а женщины, за весьма рѣдкими исключеніями,—воплощенное безобразіе, и въ тридцать лѣтъ уже старухи. И не диво: выполняя всѣ тяжелыя мужскія работы, онѣ еще несутъ тягости беременности и родовъ... Вообще семейный бытъ долженъ быть однимъ изъ главнѣйшихъ предметовъ «Сельскаго Чтенія». Какъ можно больше статей объ обращеніи съ дѣтьми, о необходимости часто мыть ихъ, беречь отъ грязи, отъ простуды, объ уходѣ за больными! Сколько умираетъ дѣтей оттого, что за ними дурно смотрятъ во время оспы, кори. Топится печка—въ изобѣ сверху дымятъ, внизу холоду, дверь отворена: какъ тутъ уцѣлѣтъ и взрослому больному, и родильницѣ, которая сверхъ того вчера родила, а сегодня таскаетъ дрова и воду!..

Столѣтіе Россіи съ 1745 до 1845 г., или историческая картина достопамятныхъ событий въ Россіи за сто лѣтъ. Сентября 5-го 1845, въ день столѣтняго юбилея, совершившагося со дня рожденія князя Голицына-Кутузова-Смоленскаго. Сочиненіе Николая Полевого. Часть 1-я. 1845.

Во всякой литературѣ должно отличать двѣ стороны—ученую и художественную, и беллетристическую. Къ первой принадлежатъ произведенія глубокой эрудиціи, строгаго искусства, въ обоихъ случаяхъ—плоды труда обдуманнаго, зрѣлаго. Ни ученый, ни художникъ ничего не производятъ безъ призванія, безъ любви, безъ страсти, ничего не производятъ по случаю, кстати (à propos), на-

заказъ, къ сроку. И потому оба они творятъ не для минуты, не для мгновеннаго удовольствія толпы, и если не каждому изъ нихъ суждено творить для вѣковъ, то каждый изъ нихъ, трудясь, думаетъ не о настоящемъ только времени, но и о будущемъ, желая успѣха при жизни, желаетъ, чтобы и послѣ смерти трудъ его не терялъ своего интереса. Но ученые и художники, особенно великіе—аристократы человѣчества: они трудятся не для всѣхъ, а только для избранныхъ. Это особенно относится къ обществу, въ которомъ просвѣщеніе и образованіе не равно разлиты по всѣмъ его классамъ, но однимъ доступны болѣе, другимъ меньше, а третьимъ и вовсе недоступны. Однакожъ благотворенія литературы—этого могущественнаго средства къ образованію массъ—должны простираются на всѣхъ. Не всякій можетъ и долженъ быть ученымъ, но всякій долженъ имѣть общія познанія; не всякому доступно высокое искусство, но для всякаго должно существовать наслажденіе прекраснымъ. Для этого наука и искусство должны быть сведены съ ихъ высокаго, недоступнаго для толпы пьедестала, и черезъ это приближены къ понятію массъ. Эта въ одно и то же время и малая, и великая роль принадлежитъ беллетристическимъ. И наука, и искусство имѣютъ свою беллетристику и своихъ беллетристовъ. Что такое беллетристъ? Слово «беллетристъ» происходитъ отъ belles-lettres, т. е. изящная словесность; слѣдовательно, въ первоначальномъ своемъ значеніи слово «беллетристъ» есть то же, что литераторъ, занимающійся изящной словесностью,—то же, что стихотворецъ, нувеллистъ, романистъ. Но какъ въ послѣднее время изящество изложенія сдѣлалось необходимымъ условіемъ даже сочиненій, не принадлежащихъ къ области искусства, а потребность въ образованіи для массъ сдѣлала популярное изложеніе необходимымъ условіемъ науки, то вслѣдствіе этого литература приняла новый характеръ: съ одной стороны она перестала быть исключительнымъ достояніемъ немногихъ избранныхъ, а съ другой, угождая вкусу и потребностямъ всѣхъ и каждого,—она перешла, такъ сказать, въ руки дѣятелей болѣе скоро и много, нежели прочно пишущихъ, болѣе многочисленныхъ, нежели замѣчательныхъ по силѣ таланта: эти-то люди и должны называться беллетристами. Беллетристъ относится къ ученому и художнику, какъ переводчикъ къ автору, котораго онъ переводитъ: владея своимъ собственнымъ талантомъ, онъ все-таки живетъ чужимъ умомъ, чужимъ гениемъ. Наука и искусство никогда не бываютъ ремесломъ; беллетристика тоже не ремесло—она выше ремесла, но ниже искусства: она середина между ними. Беллетристика къ поэзіи относится какъ диллетантизмъ къ художественной дѣятельности; къ наукѣ—какъ образованіе къ просвѣщенію. Чтобы быть беллетристомъ, надо имѣть призваніе, страсть, талантъ, особенно талантъ, но не геній. Можно сказать, что всякій поэтъ, всякій ученый, у котораго есть талантъ, но нѣтъ генія,—беллетристъ. Поэтому главное, существенное раз-

личіе между произведеніями ученаго и художника и между произведеніями беллетриста состоитъ въ томъ, что первые пишутъ для вѣковъ, а послѣдній—для минуты. Есть ученые сочиненія, давно потерявшія цѣну, вслѣдствіе дальнѣйшаго развитія и большихъ успѣховъ науки; но, переставъ быть авторитетомъ, они все-таки не забыты, не потеряны изъ вида, но гордо и непоколебимо стоятъ, какъ вѣхи, указывающія путь, по которому шла наука, разстоянія, которыхъ она достигла. Не существующіе для толпы и диллетантовъ, эти старыя труды гениевъ науки всегда живы для новыхъ ученыхъ, знающихъ исторію своей науки. Что касается до произведеній искусства, ихъ достоинство утверждается только временемъ, и, подобно вину, они отъ него приобрѣтаютъ свой букетъ. Для произведеній же беллетристики время есть безпощадный Сатурнъ, пожирающій чадъ своихъ: время производитъ ихъ тысячами,—время и пожираетъ ихъ тысячами. Беллетристъ торопится рвать лавры, пока они растутъ для него; ему нужно угождать вниманіе публики, и онъ изумляетъ ее своей дѣятельностью, какъ бы зная, что забывъ его на минуту, она совсѣмъ его забудетъ. Беллетристъ пишетъ легко и скоро; онъ на все способенъ, талантъ его гибокъ; его дѣятельность можно подстрекать и, такъ сказать, покупать. Ему можетъ сказать и журналистъ, и книгопродавецъ: «напишите мнѣ то или это, въ такомъ-то родѣ, въ такомъ-то объемѣ и къ такому-то времени», и онъ возьмется и напишетъ. Извѣстно, что «Вѣчный Жидъ» написанъ Эженомъ Сю по заказу журнала «Constitutionnel», и Тьеръ, мнѣніи котораго этотъ журналъ есть органъ, сказалъ Эжену Сю, какіе вопросы должно поднять въ этомъ романѣ—напасть на іезуитовъ, напомнить о поэзіи Наполеоновскаго солдата и т. д.: вотъ беллетристъ! Жоржъ Зандъ тоже печатаетъ свои романы въ фельетонахъ журналовъ и беретъ за нихъ деньги; но пишетъ не по заказу, и не торгуется за романъ, который еще не написанъ или только пишется: вотъ художникъ! «Вѣчный Жидъ» надѣлалъ шума въ тысячу разъ больше, нежели напримѣръ «Теверино»; «Вѣчный Жидъ» правился толпѣ,—«Теверино» восхищаетъ немногихъ; но зато первый уже умеръ въ самой Франціи, едва успѣвъ дойти до конца, а торжество второго еще впереди, и все больше и больше...

Однакожъ было бы великимъ педантизмомъ смотрѣть на беллетристику и беллетристовъ съ презрѣніемъ: они необходимы и совершаютъ великое дѣло. Безъ нихъ умственныя наслажденія и—результаты этихъ наслажденій—развитіе ума, образованіе сердца не существовали бы для огромнаго числа людей, которые, по своей натурѣ или по недостатку воспитанія, не могли бы черпать изъ истиннаго источника искусства. Есть люди, для которыхъ «Вѣчный Жидъ»—колоссальное твореніе, идеалъ романа и которыхъ эстетическія требованія никогда не пойдутъ дальше этой сказки: пусть же они читаютъ ее, вѣдь и имъ надобно же что-нибудь читать! Есть другіе: они начнутъ «Вѣч-

нымъ Жидомъ», а кончатъ «Теверино», отъ котораго уже никогда не воротятся ни къ какому «Вѣчному Жиду», за что все-таки спасибо «Вѣчному» же «Жиду»...

Беллетристика сама по себѣ не можетъ составить богатства литературы; но, при сильномъ развитіи науки и искусства въ народѣ, она дѣлаетъ литературу богатой и блестящей. Доказательствомъ тому служитъ французская литература, переводы съ которой наводняютъ всѣ другія европейскія литературы.

Вотъ почему одинъ изъ недостатковъ, одинъ изъ очевидныхъ признаковъ бѣдности русской литературы состоитъ въ томъ, что у насъ почти нѣтъ беллетристики и больше гениевъ, нежели талантовъ (что бы ни говорили и какъ бы ни издѣвались надъ этой мыслью невѣжды, умѣющіе придираться только къ словамъ, но не понимающіе мыслей). Чтобы убѣдиться въ этомъ, отбѣить только взглянуть на исторію русской литературы. Почти до времени Екатерины Ломоносовъ одинъ составлялъ всю русскую литературу. Потомъ явились Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Державинъ, Богдановичъ, Фонвизинъ,—и всѣ равно слыли за великихъ писателей, за гениевъ,—а между тѣмъ въ ихъ время нельзя насчитать и десятка второстепенныхъ писателей, которые пользовались бы тогда какой-нибудь извѣстностью. Въ Карамзинскую эпоху явились уже и беллетристы, но въ маломъ числѣ и мало писавшіе; за Пушкинымъ ихъ вышло уже и довольно; но это были беллетристы по таланту а не по дѣятельности, и почти всѣ они писали такъ мало, что ихъ можно было счесть скорѣе за литературныхъ нѣбздниковъ, нежели за дѣятельныхъ и плодovitыхъ беллетристовъ. Изъ нихъ должно исключить двухъ: это—Полевого и Кукольника. Вотъ беллетристы въ истинномъ значеніи слова! Кукольникъ пишетъ по крайней мѣрѣ за десятирѣхъ самыхъ дѣятельныхъ русскихъ литераторовъ, вмѣстѣ взятыхъ; Полевой—по крайней мѣрѣ за сто... Такъ какъ предметъ этой статьи—Полевой, то и будемъ говорить только о немъ. Многіе дивятся, когда успѣваетъ онъ писать книгу за книгой, статью за статьей, романъ за романомъ, повѣсть за повѣстью, драму за драмой: удивленіе не совсѣмъ основательно! Оно больше пло-бы къ Пушкину (еслибъ Пушкинъ такъ много писалъ), нежели къ Полевому. Полевой—беллетристъ: этихъ все сказано, въ этомъ разгадка загадки. У него есть подъ рукою классическіе писатели, біографическіе, историческіе и энциклопедическіе словари: матеріалъ готовый, источники неисчерпаемые,—а онъ вѣдь не создаетъ: онъ только пересказываетъ сказанное, передѣлываетъ сдѣланное, но пересказываетъ и передѣлываетъ такъ, какъ нужно для пользы и удовольствія той многочисленной братіи, чающей движенія воды, которая стоитъ въ преддверіи храма грамотности, еще не готовая войти въ самый храмъ. И эта дѣятельность, столь пестрая, если не многосторонняя, столь безпокойная, если не энергическая и не могущественная, столь

шумливая, если не громкая, столь плодущая, если не плодородная,—эта дѣятельность есть даръ природы, призваніе, страсть, а не труженничество, не торгашество, какъ у нѣкоторыхъ писакъ, которые готовы перебить у другого всякое предпріятіе и вопіють о своихъ заслугахъ, своей благонамѣренности и безкорыстїи при всякомъ чужомъ успѣхѣ, отнимающемъ у нихъ сонъ и аппетитъ... И такъ, несмотря на наше рѣшительное несогласіе со взглядами Полевого, высшими и низшими, на всѣ предметы, подлежащіе вѣдомству литературы, несмотря на его вылазки противъ нашихъ мнѣній, мы все-таки скажемъ, что желаемъ русской литературѣ побольше такихъ беллетристовъ, какъ Полевой; но вмѣстѣ съ тѣмъ желаемъ, чтобъ, для ея чести и пользы, они чаще смѣнялись новыми, и тѣмъ избавляли-бы русскую литературу отъ устарѣлыхъ мнѣній, отсталыхъ понятій и безсильныхъ, возбуждающихъ болѣзненное состраданіе попытокъ играть важную роль въ чуждомъ имъ мірѣ новыхъ поколѣній...

Новая книга Полевого—«Столѣтіе Россіи» есть чисто беллетристическое произведеніе. Оно написано случайно и на случай, какъ признается самъ авторъ. Въ одинъ прекрасный день—нѣтъ, въ одинъ прекрасный вечеръ... но пусть самъ Полевой разскажетъ вамъ это событіе:

Сѣверная русская столица, освѣщенная свѣтомъ *«вечернюю лѣтнюю ночь»*, когда задумчиво остановился я передъ названіемъ великаго *«воздначальника»*, архистратига *«дванадесяти года»*, князя Михаила Кутузова-Смоленскаго, и въ душѣ моей мелькнула мысль: *сто лѣтъ!* «Сто лѣтъ», думалъ я, смотря на извѣстіе русскаго воеводы: «сто лѣтъ совершилось съ того года, когда родился ты, мужъ великій! Сто лѣтъ, въ которыя совершилъ ты свои подвиги (?), и уже тридцать два года, какъ почилъ ты среди потухшихъ громовъ!»

Правду говорятъ иные, что поэзія—врагъ логики: по словамъ Полевого—«сто лѣтъ, въ которыя совершилъ ты свои подвиги»—можно подумать, что Кутузовъ началъ свои подвиги съ перваго же дня своего рожденія, т. е. съ 5-го сентября 1745 года... Но это сказано такъ—для красоты слога... Далѣе, тѣмъ же слогомъ описывается, какъ Полевой стоялъ на колѣняхъ подлѣ могилы великаго полководца и, облокотясь на ея рѣшетку, плакалъ, думалъ и мечталъ...

Теперь посмотрите, что такое беллетристъ. У ученаго подобная книга была бы плодомъ долговременнаго замысла, труда строгаго, дѣльнаго, серьезнаго, обдуманнаго. У Полевого это было дѣломъ минуты: лѣтомъ онъ гулялъ, а осенью вышла книга. Не поди онъ гулять—и не было бы книги. Послѣ этого удивляйтесь, что паденіе яблока съ дерева было причиной великой теории Ньютона о тяготѣніи земли!... Потомъ: кому бы пришло въ голову писать исторію Россіи по поводу столѣтія, совершившагося со дня рожденія Кутузова? Кутузовъ—спаситель Россіи, мужъ доблестный и великій,—это аксіома; но все-таки важны и велики его подвиги, а совсѣмъ не день его рожденія, который

никакъ не могъ быть эпохой въ исторіи Россіи. Но беллетристу нуженъ только поводъ, случай, придрка къ составленію книги. Полевой придрался—и довольно. Но ко дню рожденія Кутузова онъ придѣлалъ родъ введенія, въ которомъ кратко обозрѣлъ исторію Россіи отъ пришествія въ Русь норманновъ до царствованія императрицы Анны Іоанновны, которое у него уже не просто обозрѣно, а разсказано, и съ котораго до конца разсказъ становится все подробнѣе и подробнѣе.

Разбирать книгу Полевого нѣтъ надобности: это чисто беллетристическое произведеніе, что-то похожее на компиляцію кстати или по случаю. Ни въ фактахъ, ни въ воззрѣніяхъ нѣтъ ничего новаго, ничего такого, что-бы не было много разъ говорено Кайдановымъ и подобными ему беллетристами исторіи. Ученый (а не беллетристъ) не сталъ-бы писать такую книгу, если-бы видѣлъ, что онъ не умѣетъ или не можетъ сказать въ ней ничего новаго. Полевой не затруднился, а какъ будто-бы даже обрадовался такому обстоятельству. И хорошо сдѣлалъ! Отъ него, какъ отъ беллетриста, никто и не будетъ требовать ничего особеннаго, а между тѣмъ найдется много людей, которые въ его книгѣ повторятъ, для памяти, читанное ими въ другихъ книгахъ, а нѣкоторые черезъ нее и въ первый разъ узнаютъ то, чего прежде не знали... И такъ, для публики—новая книга, для журналовъ—новая пожина, для литературы—какъ-будто новое движеніе: чего-же болѣе? Да здравствуетъ беллетристика! А тамъ, глядишь, выйдетъ и вторая часть «Столѣтія Россіи». Что-же будетъ въ ней?—Мечты.—Какъ? что такое?—Мечты! По крайней мѣрѣ вотъ какъ выразился самъ авторъ: «Нѣсколько мыслей будущему,—мыслей, которыя могутъ назваться мечтами». Это вѣроятно, невольная дань прошедшему со стороны автора. Нѣкогда онъ издалъ свои повѣсти и разсказы подъ названіемъ «Мечты и Были»; это названіе (а особенно выраженная имъ мысль) такъ понравилось Полевому, что онъ рѣшился возобновить его,—и въ первой части «Столѣтія Россіи» предлагаетъ публикѣ Были, а во второй предлагаетъ ей то, что можно назвать Мечтами...

Исторія консульства и имперіи, соч. Тьера. Перевалъ съ франц. И. Д.—з. Части I, II и III. Спб. 1845.

Несмотря на огромный успѣхъ, который имѣлъ во всей Европѣ новый историческій трудъ Тьера—«Исторія Консульства и Имперіи», это сочиненіе не принадлежитъ къ разряду произведеній, запечатлѣнныхъ достоинствомъ науки. Это произведеніе чисто беллетристическое. Для Наполеона уже настаетъ потомство, и уже не далеко время, когда будетъ возможна его исторія; но пока она еще невозможна. Низвергнутый съ вершины могущества, Наполеонъ былъ черниль и унижаемъ даже тѣми, которые недавно еще были его униженнѣйшими

слугами. Партія бурбонистовъ имѣла причину и ненавѣсть, и бояться даже тѣни Наполеона, и бурбонистъ Шатобріанъ справедливо сказалъ, что стоить только на западномъ берегу Франціи воткнуть палку и надѣть на нее стѣрый шюртукъ съ трехъ-угольной шляпой Наполеона, чтобъ взволновать весь міръ. Поэтому партія бурбонистовъ во Франціи должна была вести ожесточенную борьбу не только съ либералами, наставившими на дѣйствительность конституціи, и республиканцами, еще не забывшими Конвента и Якобинскаго клуба, но и еще болѣе съ бонапартистами: человекъ, сидѣвшій въ плѣну на островѣ Св. Елены, до того былъ облилъ съ ногъ до головы лучами чудеснаго, что никто и не думалъ, чтобъ для него было что-нибудь невозможно... Но вотъ онъ умеръ; французское правительство отдохнуло: герцогъ рейхштадскій былъ для него опасностью уже въ десять разъ меньшей; а другихъ народовъ онъ нисколько не беспокоилъ. Тогда началась эпоха какого-то идолопоклонническаго восторга къ Наполеону. Когда же на французскомъ престолѣ явилась новая династія, почти всѣ партіи во Франціи единодушно сошлись въ обожаніи этого огромнаго имени. Франція забыла обѣдствія, которыми онъ терзалъ ее столько времени, забыла темные пути, по которымъ этотъ сынъ судьбы пробирался къ владычеству,—все забыла!.. Онъ сталъ героемъ, полубогомъ! Но теперь и круговоротъ идей мнится съ невѣроятной быстротой: забвеніе начало проходить, память начала возвращаться, и число обожателей и восторженныхъ поклонниковъ Наполеона со дня на день уменьшается, а безотчетныя фразы о его безупречномъ величій остались на долю только крикунамъ и фразѣрамъ. Это особенно произошло оттого, что стали иначе смотрѣть на «политику» и не хотѣть болѣе уважать въ ней вѣроломства, а хотѣть, чтобъ она соединялась съ нравственностью; успѣхъ и право вслѣдствіе этого сдѣлались для всѣхъ понятіями особенными, а не тождественными. Какъ возвысился Наполеонъ? Однимъ ли своимъ гениемъ? — Нисколько! При всемъ своемъ гении онъ не далеко бы ушелъ, еслибы не одаренъ былъ отъ природы весьма гибкой, уступчивой и стоворчивой совѣстью. Онъ подбивается въ мнѣлость къ гнусному, безчестному и развратному Баррасу, оказываетъ Конвенту важную услугу, при помощи якобинцевъ хитростью, интригами уничтожаетъ Совѣтъ Пятисотъ, разыгрываетъ роль жертвы, будто бы едва ускользнувшей отъ кинжаловъ республиканцевъ, дѣлается консуломъ и начинаетъ играть республиканскую комедію, замысливъ объ императорской коронѣ. Последняя интрига до того исполнена комизма, что самъ Тьеръ, запоздалый обожатель Наполеона, не могъ придать ей ни историческаго, ни героическаго величія: вспомните о неловкихъ продѣлкахъ жалкаго и ничтожнаго Камбасереса, бывшаго посредникомъ между Наполеономъ и сенатомъ!.. Наконецъ онъ—императоръ Франціи, протекторъ Германскаго-Союза, а его братья—короли большей части европейскихъ го-

сударствъ и въ то же время вассалы раздавателя скипетровъ. Сколько было въ душѣ и сердцѣ Наполеона уваженія къ правамъ человечества и законности,—это онъ вполне показалъ, разстрѣлявъ герцога энгійскаго и въ египетскомъ походѣ велѣвъ умертвить четыре тысячи турокъ, которыхъ по договору, имъ же утвержденному, онъ долженъ былъ выпустить изъ Яффы живыми и невредимыми. Самъ Тьеръ, отъявленный поклонникъ Наполеона, не могъ одобрить послѣдняго изъ этихъ поступковъ, хотя и старается уменьшить его вопиющую несправедливость. Онъ говоритъ, что, не имѣя средствъ отослать этихъ плѣнниковъ въ Египетъ подъ надежнымъ прикрытіемъ и не желая, чтобъ они увеличили собой непріятельскую армію,—*«Bonaparte se decida à une mesure terrible, et qui est le seul acte cruel de sa vie. Transporté dans un pays barbare il en avait involontairement adopté les mœurs: il fit passer au fil de l'épée les prisonniers qui lui restaient. L'armée consumma avec obéissance, mais avec une espèce d'effroi l'exécution qui lui était commandée»*. То есть «Бонапартъ рѣшился на ужасную мѣру, которая была его единственнымъ жестокимъ дѣйствіемъ во всю жизнь его» (а смерть герцога энгійскаго?). «Очувившись среди варварской страны, онъ противъ воли усвоилъ себѣ ея нравы: онъ приказалъ переколотъ плѣнниковъ. Армія исполнила приказаніе съ покорностью, но и съ отвращеніемъ». О нарушеніи же договора Тьеръ безпристрастно умалчиваетъ... Но нарушать святость договоровъ Наполеонъ считалъ дѣломъ высшей политики и высшей мудрости: не даромъ говорилъ онъ, что «эта старая Европа наскучила ему»... Всѣ его дѣйствія, и злыя, и добрыя, выходили изъ его личнаго эгоизма, и потому, можетъ быть, они были для него самого такъ бесплодны. Въ самомъ дѣлѣ, чего онъ хотѣлъ? Сдѣлать Францію могущественнѣйшей землей въ мірѣ, чтобъ, опираясь на ея поработеніи, самому деспотически владычествовать надъ всѣмъ міромъ, ругаясь надъ народнымъ правомъ, и упрочить это владычество за своей династіей. А чего достигъ онъ? — Разоренія, обезлюденія и позора Франціи, а себѣ — тюрьмы на бесплодной скалѣ Атлантическаго океана.

И однакожъ онъ нуженъ былъ міру — и міръ увидѣлъ и вострепеталъ его... Будучи врагомъ духа времени, грозя, новый Бріарей, задушить его въ своихъ сторукихъ объятіяхъ,—онъ, самъ того не зная, былъ только его послушнымъ орудіемъ... Духъ времени воспользовался имъ, сколько было ему надобно, и потомъ бросилъ его какъ уже ненужное орудіе, — и тѣсно тогда развертывать онъ всю силу своего гения, всю неистощимость своихъ титаническихъ силъ и средствъ—ничто не помогало, и онъ палъ...

Есть люди, которые, разъ остановившись на чемъ-нибудь, уже не двигаются впередъ, и въ другую эпоху, въ міръ новыхъ страстей и убѣжденій переносятъ съ собой свой запоздалый восторгъ къ

идеямъ стараго времени. Къ такимъ людямъ принадлежитъ Тьеръ. Считая себя великимъ политическимъ и государственнымъ человѣкомъ, Тьеръ считаетъ себя еще военнымъ гениемъ первой величины. Поэтому Наполеонъ—его идеалъ во всѣхъ отношеніяхъ. «Исторію Французской Революціи» Тьеръ написалъ въ духѣ оппозиціи правительству восстановленныхъ Вурбоновъ; «Исторію Консульства и Имперіи» составилъ онъ въ духѣ оппозиціи нынѣшнему французскому правительству, котораго впрочемъ онъ раздѣляетъ всѣ принципы, кромѣ одного — миролюбія, понимая, что на немъ-то оно больше всего и держится. Цѣль его книги была — напомнить французамъ бурное время ихъ «блистательнаго позора», какъ сказали нашъ Пушкинъ, ихъ побѣдъ и завоеваній. Тьеръ — великій воитель, истинный Наполеонъ въ карикатурѣ*), — и будь онъ опять министромъ, въ Европѣ запыхало бы пламя войны, при заревѣ котораго Тьеръ выгодно играть бы на биржѣ въ ажіотажъ; но потому то вѣроятно онъ теперь и не министр... И вотъ онъ пишетъ исторію Наполеона, чтобъ апофеоза гения войны доложить миролюбивые умы правителей Франціи. Но — странное дѣло! — у него изъ апофеоза Наполеона какъ-то выходитъ, совершенно противъ его воли и намѣренія, совсѣмъ другое, потому что, какъ ни силится онъ софизмами оправдать его дѣйствія, истина такъ и блещетъ сквозь эти софизмы. И не мудрено: во-первыхъ, прошло уже время для безотчетнаго восторга къ Наполеону, а во-вторыхъ, нѣтъ ничего опаснѣе для оправданія дурныхъ дѣлъ историческаго лица, какъ апологистъ, котораго нравственные убѣжденія составились и укрѣпились на биржѣ, въ министерскихъ и палатскихъ интригахъ. Такимъ образомъ самый злой, ожесточенный врагъ Наполеона не могъ бы оказать ему такой дурной услуги, порицая его, какую оказалъ ему Тьеръ, превознося, почти обожествляя его...

Многіе критики въ Европѣ уличали Тьера въ искаженіи слишкомъ извѣстныхъ фактовъ. Конечно это искаженіе неумышленное, происшедшее отъ поспѣшной работы, но все же оно не возвышаетъ цѣны его историческаго труда. Еще важнѣе искаженіе истинъ нравственности и справедливости, во имя оправданія человѣческой слабости.

Букеты (,) или Петербургское цвѣтобѣсіе. Шутка въ одномъ дѣйстви. Ооч. 1р. В. А. Соллогуба. Спб. 1845.

Драматическая русская литература представляетъ собой странное зрѣлище. У насъ есть комедіи

*) Намъ случалось видѣть преостроумную и презлую карикатуру Тьера; онъ изображенъ въ видѣ Наполеоновской статуи на вандомской колоннѣ, въ Наполеоновскомъ сюртукѣ, въ Наполеоновской треугольной шляпѣ, а снизу подписано: «Monsieur Tiers (Thier), ainsi appelé par ce qu'il ne fait pas la moitié d'un grand homme».

Фонвизина, «Горе отъ Ума» Грибоѣдова, «Ревизоръ», «Женитьба» и разныя драматическія сцены Гоголя—превосходныя творенія разныхъ эпохъ нашей литературы,—и, кромѣ нихъ, нѣтъ ничего, рѣшительно ничего хоть сколько-нибудь замѣчательнаго, даже сколько-нибудь сноснаго. Всѣ эти произведенія стоятъ какими-то особняками, на неприступной высотѣ, и все вокругъ нихъ пусто: ни одного счастливаго подражанія, ни одного удачнаго опыта въ ихъ родѣ. «Бригадиръ» и «Недоросль» породили много подражаній, но до того неудачныхъ, пошлыхъ и вздорныхъ, что о нихъ нельзя и помнить. Еще прежде Фонвизина нѣкто Аблесимовъ проговорился, обмолвился какъ-то прелестнымъ, по своему времени, народнымъ водевилемъ «Мельникъ» и, кромѣ этого водевиля, не написалъ ничего порядочнаго. Были ли подражанія «Мельнику», не знаетъ; но если и были, то навѣрное уродливыя и пошлыя, а потому и забытыя. Капнистъ написалъ «Ябеду»—комедію, замѣчательную болѣе по цѣли, нежели по исполненію. Отъ «Ябеды» должно перейти прямо къ «Горю отъ Ума», а отъ него—къ драматическимъ опытамъ Гоголя, потому что все написанное въ эти два промежутка времени рѣшительно не стѣбитъ упоминовенія.

То же самое можно сказать и о нашей трагедіи или патетической драмѣ. Еще изъ классическихъ трагедій, и оригинальныхъ, и переводныхъ, найдется нѣсколько такихъ, которыя заслуживали вниманіе и послѣ трагедій Озерова. Но когда классическая трагедія у насъ пала съ тѣмъ, чтобъ никогда уже не вставать,—мы до сихъ поръ имѣемъ только «Вориса Годунова» Пушкина, да его же драматическія сцены: «Ширъ во время Чумы», «Моцартъ и Сальери», «Скупой Рыцарь», «Русалка», «Каменный Гость». И, подобно комедіямъ Фонвизина, Грибоѣдова и Гоголя, эти произведенія Пушкина тоже стоятъ въ грустномъ одиночествѣ, сиротами, безъ предковъ и потомковъ. Но касательно трагедіи дѣло по крайней мѣрѣ понятное: наша дѣйствительность еще не довольно развилась, чтобъ поэты могли извлекать изъ нея матеріалы для патетической драмы. И потому это пока возможно болѣе или менѣе только привилегированнымъ гениямъ; для талантовъ же рѣшительно невозможно. Но вотъ вопросъ: почему и наша комедія сдѣлалась тоже какой-то привилегіей одного гения и не дается таланту? Развѣ есть въ мірѣ такое общество, которое не представляло бы, въ своихъ нравахъ, богатыхъ матеріаловъ для комедіи? Развѣ наши поэты и беллетристы не находятъ ихъ въ изобиліи и не пользуются ими болѣе или менѣе удачно, когда дѣло идетъ о повѣсти? Повѣсть хорошо принялась на почвѣ нашей литературы,—лучшее доказательство въ томъ, что повѣстью у насъ занимаются съ успѣхомъ и таланты, и даже полуталанты—не одни гения... А комедія?... Гдѣ она у насъ?—Нигдѣ!...

Узнавъ, что графъ Соллогубъ пишетъ что-то для театра, мы порадовались, что человѣкъ съ

умомъ, талантомъ и свѣтскимъ образованіемъ (которое въ дѣлѣ драматической литературы иногда можетъ быть своего рода талантомъ) рѣшился по-пробовать силы на поприщѣ, которымъ издавна завладѣли посредственность и бездарность. Но вотъ новое произведеніе графа Соллогуба дано и на театрѣ, куда съѣхалось для него почти все высшее общество; вотъ наконецъ вышла и книжка... и мы все-таки не знаемъ, что сказать о «Букетахъ»... Въ заглавіи «Букеты» названы шуткой: въ этомъ нѣтъ ничего дурного, и хорошая шутка, хорошій фарсъ въ тысячу разъ лучше плохой трагедіи или комедіи. Но для шутки тоже нуженъ драматическій талантъ, и въ ея основаніи должна лежать истина, хотя бы и преувеличенная для возбужденія смѣха. Мы не скажемъ, чтобы въ основаніи шутки графа Соллогуба вовсе не было истины, равно какъ и болѣе или менѣе дѣйствительно вѣрныхъ и смѣшныхъ чертъ; но все это у него испорчено преувеличеніемъ. Хуже всего то, что пьеса основана на избитыхъ пружинахъ такъ называемаго русскаго водевиля. Чинovníкъ, изъ угожденія своему начальнику, бросаетъ букетъ, но не той пѣвицѣ, партизаномъ которой считалъ себя его начальникъ; за это онъ лишается мѣста. Если это шутка, то нельзя не согласиться, что очень смѣлая. Но бѣдному Тряпкѣ мало было лишиться мѣста: авторъ лишилъ его еще и невѣсты, и все по поводу букетовъ. Надо было въ это вмѣшаться любви, и вотъ «влюбленный» перебивается у Тряпки его невѣсту, благодаря глупости ея матери, провинціальной барыни... Но на чемъ же вертятся всѣ наши водевили, какъ не на этой бѣдной интригѣ, съ вѣчнымъ пожилымъ женихомъ, надъ которымъ къ концу торжествуетъ юный, хотя и глупый любовникъ?... Странно, что графъ Соллогубъ, съ его умомъ и талантомъ, не придумалъ чего-нибудь болѣе оригинальнаго. Мы уже не говоримъ о томъ, что эта шутка есть шутка заднимъ числомъ: петербургское цвѣтобѣсіе происходило прошлой зимой, а шутка надъ нимъ явилась почти чрезъ годъ.

Не такъ понимаютъ и прогрозъ французъ: чтобы пошутить кстати на ихъ манеръ, графу Соллогубу слѣдовало бы написать свою шутку въ одинъ вечеръ, пріѣхавъ домой изъ итальянской оперы, а черезъ недѣлю вечеромъ этой шуткѣ должно бы смѣшнить цвѣтобѣсіемъ публику Александринскаго театра въ то самое время, какъ на Большомъ театрѣ цвѣтобѣсіе разыгрывалось бы на самомъ дѣлѣ. Тогда шутка была бы по крайней мѣрѣ кстати...

Впрочемъ все это такъ не важно, что не стоило бы и словъ, еслибъ тутъ не вѣшались два обстоятельства—имя автора «Букетовъ» и нѣкоторые фельетонные толки, порожденные «Букетами». Такъ напримѣръ, по поводу этого водевиля «Сѣверная Пчела» обвинила всю современную русскую литературу въ злостномъ стремленіи унижать полезный и почтенный классъ чиновниковъ и изображать ихъ не иначе, какъ людьми

безнравственными и глупыми. Первой причиной этого направленія современной русской литературы «Сѣверная Пчела» считаетъ Гоголя... Если эта газета позволяетъ себѣ взводить напраслину на современную литературу (изъ которой она себя не безъ основанія исключаетъ), то мы не менѣе ея считаемъ себя не въправѣ защитить современную литературу отъ такихъ несправедливыхъ навітовъ. Это даже нашъ долгъ.

Надобно сказать, что «Сѣверная Пчела», не имѣющая похвальной привычки держаться одного и того же мнѣнія объ одномъ и томъ же предметѣ, сперва расхвалила «Букеты» графа Соллогуба,—въ чемъ любопытные читатели могутъ удостовѣриться сами изъ фельетона 253 номера ея, вышедшаго 8 ноября; гроза надъ «Букетами» и надъ современной русской литературой разразилась въ 261 номерѣ, вышедшемъ 17 ноября,—ровно чрезъ десять дней... Этотъ обвинительный фельетонъ начинается такъ:

«Несомнѣнный признакъ образованности и общезнательности каждаго человѣка въ особенности и народа вообще—это умѣніе понимать шутку и отличать сатиру отъ пасквиля. Литература и общество, не терпящія шутокъ и легкой, умной насмѣшки (causticité), то же, что пища безъ соли, вино безъ букета, красавица безъ выраженія въ лицѣ и огня въ глазахъ. Нигдѣ болѣе не шутятъ и не колятъ, какъ въ Англіи и Франціи, и никто тамъ за это не гнѣвается. Холодные и чинные по наружности англичане обладаютъ неподражаемымъ качествомъ, юморомъ (humour), одушевляющимъ и ихъ рѣчи, и ихъ литературу. Французы умѣютъ во всемъ найти смѣшную сторону, даже въ дѣлахъ самыхъ серьезныхъ.»

Все это очень справедливо и не разъ говорилось въ «Отечественныхъ Запискахъ». Но фельетонистъ «Сѣверной Пчелы» повторилъ эти мысли, чтобы вывести изъ нихъ заключеніе діаметрально противоположное тому, какое изъ нихъ само собой естественно должно выходить. Опираясь на то, что шутка должна имѣть границы, онъ хочетъ совершенно уничтожить въ русской литературѣ шутку и юморъ и для этого силится возстановить противъ нихъ цѣлое сословіе. Во-первыхъ, какъ могутъ развиваться шутка и юморъ, когда имъ заранее предписываются границы? Англіійскій юморъ и французская шутливость потому и процвѣтаютъ, что не боятся переходить за границы. И это очень естественно: какъ можно заставить человѣка быть веселымъ, сказавъ ему заранее, что онъ будетъ тотчасъ оштрафованъ, какъ скоро хоть немного зайдетъ за черту позволенной веселости! Какъ объясните вы ему, гдѣ эта черта?... Уже хоть бы на англичанъ-то не ссылался фельетонистъ; еслибъ только сказать нашей чинной публикѣ, какъ позволяютъ себѣ англичане шутить, такъ она пришла бы въ ужасъ... И немудрено: англичане имѣютъ привычку, вошедшую въ ихъ нравы и обратившуюся въ обычай, печатать не только то, что они говорятъ, но и что они думаютъ,—и не объ однихъ теоретическихъ предметахъ, но и о лицахъ... Очевидно, что нашъ

фельетонистъ писать по наслышкѣ объ англійскомъ юморѣ. Советуемъ ему справиться напримѣръ хоть о томъ, какъ разыгрывался юморъ Байрона на счетъ Соути... Потомъ словоохотливый фельетонистъ увѣряетъ, будто-бы лучший и чистѣйшій образецъ шутокъ-юмора въ русской литературѣ должно видѣть въ «Иванѣ Выжигинѣ», и что этотъ романъ, написанный самимъ фельетонистомъ, который по этому поводу одинъ и превозноситъ его, лучше «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ» Гоголя!

«Въ сатирическихъ статьяхъ (говоритъ фельетонистъ) я никогда не имѣлъ передъ глазами какого-нибудь лица, но всегда *бралъ съ міра по ниткѣ*. Въ моемъ *Иванѣ Выжигинѣ*, выставляя пороки и злоупотребленія, я помѣщалъ ихъ всегда рядомъ съ добродѣтелью и честностью. Въ *Иванѣ Выжигинѣ* вы встрѣчаете хорошаго помѣщика рядомъ съ дурнымъ, честнаго чиновника—въ противоположность злоупотребителю, благороднаго судью—возлѣ взяточника.»

Затѣмъ фельетонистъ, скромно предоставляя публикѣ сказать, хорошо или дурно разрѣшилъ онъ эту задачу, присовокупляетъ, что правила его вѣрны, и что молодое поколѣніе писателей, отвергнувъ эти правила, дѣйствуетъ по-китайски, т. е. пишетъ безъ тѣней. Какъ на поразительный примѣръ этой китайской живописи въ литературѣ, указываетъ фельетонистъ на «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ», говоря, что всѣ дѣйствующія лица въ нихъ—хищные враны, идіоты, палцы, невозможные въ дѣйствительной жизни...

Но намъ что-то крѣпко сдается, что фельетонистъ хлопочетъ тутъ больше о себѣ, нежели о чиновникахъ. Это не трудно доказать. Онъ разсуждаетъ объ искусствѣ по-китайски, и тѣхъ, кто понимаетъ искусство по-человѣчески, называетъ китайцами. Онъ извлекаетъ эстетическія правила, которыя почитаетъ вѣрными и непогрѣшительными, изъ сочиненій, которыхъ мы нисколько не считаемъ образцовыми. Поэтому очень естественно, если онъ думаетъ, что романы и комедіи можно писать по рецепту, т. е. подлѣ взяточника поставьте безкорыстнаго судью, подлѣ лѣниваго хозяина—трудолюбиваго, подлѣ вора—честнаго человѣка, и т. д., и выйдетъ хорошо. Такъ писать легко! Но, къ сожалѣнію, такъ писать теперь уже невозможно, потому что такихъ «нравственноописательныхъ» романовъ публика уже не читаетъ и не покупаетъ. Вотъ это-то горестное обстоятельство и вооружаетъ устарѣлую посредственность и бездарность противъ молодого поколѣнія писателей. Имъ, т. е. посредственности и бездарности, хотѣлось бы не тѣмъ, такъ другимъ, не мытьемъ, такъ катаньемъ, воспрепятствовать молодому поколѣнію писать съ талантомъ; имъ хотѣлось бы заставить его писать, какъ писывали прежде, т. е. вмѣсто живыхъ лицъ выводить куклы съ ярлычками на лбу: вотъ это, молъ, безкорыстіе, это благонамѣренность, это взяточничество, и т. д. Такъ и былъ написанъ «Иванъ Выжигинъ», почему всѣ дѣйствующія лица его и носятъ характеристическія названія Благодѣловыхъ, Честоно-

выхъ, Вороватинныхъ, Ножовыхъ и т. д. И «Выжигинъ» имѣлъ успѣхъ, хотя и минутный, потому что въ то время, когда онъ явился, еще не совсѣмъ прошла мода на такую восковую и картонную литературу, еще не всѣ забыли романъ Измайлова, въ подражаніе которому былъ написанъ «Выжигинъ», и который назывался «Евгеній, или пагубныя слѣдствія дурнаго воспитанія и сообщества»: въ немъ дѣйствующія лица также носятъ характеристическія названія Негодяевыхъ, Развратинныхъ, Вѣтровыхъ и т. д. Но этотъ самый успѣхъ и погубилъ «Ивана Выжигина», потому что объ немъ всѣ заговорили и начали судить, и такимъ образомъ скоро дошли до лучшихъ воззрѣній на романъ, какъ произведеніе искусства. Всему свое время, и романъ Измайлова былъ хорошъ для своего времени. Мы не скажемъ, чтобъ и «Выжигинъ» воспользовался совершенно незаслуженнымъ успѣхомъ, равно какъ не скажемъ и того, чтобъ онъ незаслуженно пришелъ въ скорое и конечное забвеніе. Его заслуга именно въ томъ и состояла, что онъ спасъ нашу литературу отъ наводненія подобными романами, которые такъ легко писать, не имѣя таланта, не зная ни дѣйствительности, ни людей. Постъ «Выжигина» въ нашей литературѣ пошумѣлъ не одинъ романъ много получше «Выжигина»; но гдѣ они теперь всѣ?... А между тѣмъ всѣ они были необходимы и принесли большую пользу въ отношеніи къ нашей юной литературѣ; они были ея черновыми тетрадами, по которымъ она училась писать. Теперь она выучилась писать, и публика не хочетъ знать ея черновыхъ тетрадей, писанныхъ по линейкѣ. Теперь русскій романъ и русская повѣсть уже не выдумываютъ, не сочиняютъ, а высказываютъ факты дѣйствительности, которые, будучи возведены въ идеалъ, т. е. отрѣшены отъ всего случайнаго и частнаго, болѣе вѣрны дѣйствительности, нежели сколько дѣйствительность вѣрна самой себѣ. Теперь романъ и повѣсть изображаютъ не пороки и добродѣтели, а людей, какъ членовъ общества, и потому, изображая людей, изображаютъ общество. Вотъ почему теперь требуется, чтобъ каждое лицо въ романѣ, повѣсти, драмѣ говорило языкомъ своего сословія, и чтобъ его чувства, понятія, манеры, способъ дѣйствованія, словомъ,—все оправдывалось его воспитаніемъ и обстоятельствами его жизни. Фельетонистъ «Сѣверной Пчелы» довольно справедливо называетъ Гоголя основателемъ теперешней литературной школы; но совсѣмъ несправедливо упрекаетъ Гоголя въ томъ, будто бы онъ оскорбляетъ цѣлое сословіе, изображая нѣкоторыхъ его членовъ негодьями и глупцами. Что же касается до того, что всѣ его герои будто бы дураки,—это рѣшительная неправда. Въ «Ревизорѣ» глупы только Бобчинскій съ Добчинскимъ, да Хлестаковъ; простоватъ немногo наивный почтмейстеръ; остальные всѣ умны, а нѣкоторые изъ нихъ, какъ напримѣръ городничій, даже очень умны. О нихъ можно сказать, что они грубы, невѣжды и невѣжки, но никакъ

нельзя сказать, что они глупы. Въ «Мертвыхъ Душахъ» глупъ одинъ Маниловъ и простоваты предсѣдатель и почтмейстеръ, а всѣ остальные очень умны, положимъ, умны по своему, но все-же умны, а не глупы. Потому, еслибъ Гоголь и изображалъ только однихъ негодяевъ и глупцовъ, это бы отнюдь не значило, что онъ дурного мнѣнія о цѣломъ сословіи, но значило бы только, что онъ—мастеръ изображать однихъ негодяевъ и глупцовъ, которыхъ довольно во всякомъ сословіи. Кто можетъ сказать поэту, зачѣмъ онъ изображаетъ то, а не это? Кто можетъ сказать живописцу, зачѣмъ онъ пишетъ ландшафты, а не историческія картины, или зачѣмъ, пиша ландшафты, изображаетъ деревья кривыя и сухія, а не прямыя и пышно зеленѣющія?... Когда талантъ проявляетъ себя въ произведеніяхъ исключительно одного рода, называйте его, если хотите, одностороннимъ, но не дѣлайте изъ его односторонности уголовного преступленія...

Фельетонистъ «Сѣверной Пчелы» говоритъ:

«Смотри на выведенныхъ на сцену чиновниковъ въ новой пьесѣ: *Букеты, или Петербургское цѣлѣбное*, у насъ сердце обливалось кровью при мысли, что на представленіе этой пьесы явился весь большой свѣтъ (который—забыли мы отъ себя—не явился на представленіе «*Шкуны Ньюкарлса*»), и что многіе, особенно многіе изъ этого большого свѣта, не имѣя понятія о чиновникахъ, подумали, что это описано съ натуры! Нѣтъ, милостивыя государыни и милостивые государи, Mesdames et Messieurs, такихъ чиновниковъ, какихъ вы видите въ *Ревизорѣ*, въ *Цѣлѣбномъ* и т. п., нѣтъ, а между чиновниками могутъ быть и смѣшныя, и дурныя люди, какъ вездѣ. Съ людьми, называющими себя писателями новаго поколѣнія, а не намѣренныя ссориться; они должны быть превосходные писатели, потому что безпрестанно то сами себя, то другъ друга ужасно расхваливаютъ; скажу только: простите имъ, добрые люди, не вѣдаютъ бо, что творять!»

Не понимаемъ, какое отношеніе нашелъ фельетонистъ между «*Ревизоромъ*»,—превосходнѣйшимъ произведеніемъ гения, и «*Букетами*»,—шуткой таланта? Вотъ другое дѣло, еслибъ онъ поставилъ «*Букеты*» на одну доску съ «*Выжигинымъ*»: конечно всѣ отдали бы преимущество первымъ... А потому: съ чего вздумалъ фельетонистъ обвинять графа Солмогуба въ намѣреніи оскорблять чиновниковъ? Положимъ, онъ невѣрно изобразилъ ихъ; но эта вина таланта, а не человѣка. Вѣдь Булгаринъ еще хуже изобразилъ въ своемъ «*Выжигинѣ*» всѣ сословія въ Россіи,—такъ худо, что даже добродѣтельные лица его романа вышли необыкновенно безобразны; однакожъ всѣ критики и съ ними публика единодушно приписали этотъ недостатокъ рѣшительному отсутствію въ сочинителѣ поэтическаго таланта, а отнюдь не какимъ-нибудь особеннымъ намѣреніемъ... Далѣе: какіе писатели новаго поколѣнія хвалятъ безпрестанно то сами себя, то другъ друга? Помилюте! Это дѣлаютъ только нѣкоторые писатели равно и стараго, и новаго поколѣнія, потому что самохвалы есть вездѣ. Говорить о себѣ ежедневно: «я стою за правду,

я готовъ умереть за правду», или плохой и забытый романъ свой ставить выше гениальныхъ произведеній,—вотъ это значить безпрестанно хвалить себя,—и это не хорошо. Но еще хуже приписывать другимъ дурныя намѣренія,—единственно изъ зависти къ чужому успѣху и въ надеждѣ дать литературѣ насильственный поворотъ...

Петербургскія вершины, описанныя Я. Бутковымъ. Книга первая. Спб. 1845.

Справедливо говорить латинская пословица, что у книгъ есть своя судьба. «Петербургскія Вершины» Буткова—живое доказательство этой истины: о нихъ было писано и говорено еще прежде ихъ появленія; появленіе же встрѣчено разными толками. И между тѣмъ эти толки нисколько не относились къ книгѣ Буткова: говоря о ней, говорили о Гоголѣ, а не о Бутковѣ. Но это самое и послужило въ пользу книги: она сдѣлалась черезъ это болѣе замѣчательнымъ явленіемъ, нежели сколько замѣчательна она на самомъ дѣлѣ. Спорьте послѣ этого противъ важности нѣкоторыхъ литературныхъ именъ! Имя Гоголя такъ велико въ нашей литературѣ, что стоитъ только кого-нибудь, изъ шутки или изъ зависти къ Гоголю, поставить наравнѣ съ Гоголемъ или выше его,—и этотъ кто-нибудь—уже знаменитое лицо въ нашей литературѣ, по крайней мѣрѣ хоть на столько времени, пока шутка или сiletня не забудутся. Это напоминаетъ намъ всѣмъ извѣстную басню Крылова, въ которой паукъ, прицѣпившись къ хвосту орла, взлетѣлъ съ нимъ на вершины—не Петербурга, а Кавказа, и величался и хвастался на нихъ передъ орломъ—до перваго порыва вѣтра, который опять сбросилъ его въ низменную долину. Такъ можно и маленькимъ именамъ прицѣпляться къ именамъ великимъ и на мгновеніе подняться съ ними на всякія вершины. Но Бутковъ и не думалъ прицѣпляться къ имени Гоголя; по крайней мѣрѣ этого не замѣтно въ его книгѣ. Не самъ онъ прицѣплялся, а его прицѣпили нѣкоторые минныя его доброжелатели. Жаль, очень жаль, что Бутковъ, при первомъ появленіи на литературное поприще, сдѣлался невинной жертвой,—тѣмъ болѣе жаль, что онъ человѣкъ не безъ таланта, какъ это ясно видно изъ его книги...

Вотъ что было напечатано о книгѣ Буткова тотчасъ по ея выходѣ въ фельетонѣ № 42 «Сѣверной Пчелы»:

«Еслибъ судьба дала Буткову столько золота или даже столько искусства жить въ свѣтѣ, сколько дала ему ума, чистаго юмора и наблюдательности, то при выходѣ въ свѣтъ этого томъика поднался бы шумъ и крикъ (конечно!) и томъикъ расхватали бы въ одинъ день. Когда Гоголь назвалъ собраніе своихъ повѣстей *Вечерами* близъ Диканьки, онъ доказалъ, что климатъ Малороссіи, хотя не столь нѣжный, какъ климатъ Италіи, все же способствуетъ всѣмъ тонкостямъ (какимъ же это?...). Диканка, село вольмож, всѣмъ извѣстное, возбудило общее вниманіе и доставило по-

кровителство автору (чье?...). *Петербургскія Вершины*, при всемъ умѣ своемъ (!), не возвысятъ автора (жалко!), потому что у него взглядъ самостоятельный, юморъ неподдѣльный, и достоинство не въ грязныхъ картинахъ, а въ истинѣ. Гоголь смѣшиваетъ карикатурами и, сидя на высотѣ (?), пишетъ картины грязью; Бутковъ сидитъ внизу (?), но рисуетъ съ натуры и свѣтлыми красками. Мы не сравниваемъ (а что же вы дѣлаете?) двухъ писателей, но это одинъ родъ (именно!), съ той разницей, что языкъ Буткова чистъ и правиленъ и картины свѣтлы, и что онъ не рѣшится назвать своей повѣсти *поэмой*, и не найдетъ пріятеля (не знаешь, истиннаго или ложнаго, но уже нашего!), который бы звалъ его Гомеромъ. Рекомендуемъ книгу Буткова всѣмъ любителямъ забавнаго, остроумнаго чтенія. Бутковъ постигнулъ вполне (неужели?), чтъ такое юморъ, и, заставляя хохотать, заставляеть въ то же время и мыслить, и чувствовать. Прочтите (пожалуйста!) *Петербургскія Вершины*; второй книги Буткова мы уже не станемъ рекомендовать: вы и сами поторопитесь купить. Нѣкоторые журналы, разумеется, употребятъ все свое усиліе, чтобъ уничтожить Буткова за то, что «Сѣверная Пчела» его хвалитъ (а это ужасное преступленіе!), и за то, что при его имени вспомнили имя Гоголя, какъ творца натуры 15-го класса; но это и должно радовать Буткова. Это ему новый предметъ къ изученію, жалкій, но поучительный!»

Мы нисколько не удивляемся тому, что «Сѣверная Пчела» не можетъ ни о чемъ говорить, не вспоминая Гоголя. Это понятно: чтъ у кого болить, тотъ о томъ и говорить. По старому теперь писать нельзя...

Еще разъ повторяемъ: мы нисколько не удивляемся этой неумолимой враждѣ къ Гоголю; но вотъ чему мы удивляемся — безсилію вражды къ нему, крайней неловкости нападокъ на него. Кто же въ самомъ дѣлѣ повѣритъ «Сѣверной Пчелѣ», что она не признаетъ никакого таланта въ писателѣ, который имѣлъ такой огромный успѣхъ, который далъ новое направленіе русской литературѣ и которого она безпрестанно зафиляетъ? Чѣмъ виноватъ Гоголь, что одинъ изъ неловкихъ, восторженныхъ его почитателей (всѣ восторженные почитатели бывають неловки и смѣшны) провозгласилъ его Гомеромъ? Но Гоголь пишетъ свои картины грязью, говоритъ «Сѣверная Пчела»; еслибъ это было и такъ, чтъ-жъ тутъ худого, когда его картины, писанныя грязью, лучше картинъ, писанныхъ красками? Говорятъ, Микель-Анджело разъ начертилъ на стѣнѣ углемъ фигуру головы, — и этотъ очеркъ былъ недосагаемо выше миллионовъ картинъ, писанныхъ не углемъ на стѣнѣ, а дорогими красками на холстѣ... Дѣло не въ матеріалахъ, а въ творчествѣ, въ исполненіи. Какой-нибудь Держиморда изъ «Ревизора» конечно не герой, не Александръ Македонскій; но, какъ художественно очерченное лицо, онъ въ тысячу разъ выше Годунова, Димитрія Самозванца, Мазепы и другихъ карикатуръ, навалеванныхъ авторомъ «Выжигина» красками, а не углемъ, не мѣломъ, не грязью... Намъ даже жаль «Сѣверную Пчелу», что она такъ неловко ругаетъ противъ Гоголя. Посмотрите, какъ ловко напригѣтъ «Иллюстрація», по поводу все тѣхъ-же «Петербургскихъ Вершинъ», заступилась за Гоголя...

«Всѣ четвертые, пятые и шестые этажи столичнаго юрода С.-Петербурга попали подъ неумолимый ножъ Буткова. Онъ взялъ отрѣзавъ ихъ отъ низовъ, перенесъ домой, *разтѣзалъ по сусаламъ* (.) и выдалъ въ свѣтъ частичку своихъ анатомическихъ препаратовъ. Скользкій путь! Мы тяжело на сатиру (*правда*), которую едва ли жалуетъ наша публика (*не правда!*). Вотъ карикатуры, приспособленныя ко времени, наша страсть. Чтъ можетъ быть неправдоподобнѣе покойныхъ Выжигиныхъ, а Иванъ читался (*опять правда!*); Петръ Ивановичъ прошелъ даже не замѣченнымъ, а дальнѣйшія карикатуры того же автора (*сочинителя?*) не возбудили даже улыбки (*трижды правда!*). Конечно талантъ не старѣется; сочиненія Н. В. Гоголя также представляютъ не сатиру, а карикатуры современнаго міра (*неужели?—это новости!*). Того нѣтъ въ природѣ, чтъ онъ описываетъ (*полноте—чтѣ за шути!*). Типы его—созданія веселой фантазіи; но дѣло мастера боится. Карикатуры Гоголя читались съ удовольствіемъ, читаются и будутъ читаться». (Иллюстрація, № 31, стр. 490.)

Рѣшительно, Гоголь—это вся русская литература! Литературѣ-ли русской кто хочетъ заговорить,—непрѣмѣнно хотъ что-нибудь скажетъ о Гоголѣ; о самомъ-ли себѣ захочетъ иной поговорить,—опять говорить о Гоголѣ... Но одинъ говорить неловко, не умѣя скрыть, что, толкуя о Гоголѣ, хлопчеть о самомъ себѣ; другой дѣйствуетъ въ этомъ случаѣ ловче: онъ хвалитъ Гоголя... хотя и не больше, какъ даровитаго карикатуриста... Онъ говоритъ, что того нѣтъ въ природѣ, чтъ Гоголь описываетъ; но что все-таки у Гоголя есть талантъ, и его съ удовольствіемъ читали, читають и будутъ читать... Какимъ образомъ можно съ талантомъ описывать то, чего нѣтъ въ природѣ,—объ этомъ не спрашивайте; не говорите и о томъ, что сама карикатура есть только преувеличеніе истины въ смѣшномъ видѣ, что безъ сходства съ оригиналомъ она ничего не стоитъ, и что наконецъ только бездарные писакіи описываютъ то, чего нѣтъ въ дѣйствительности,—не говорите ничего этого: тутъ дѣло идетъ не объ истинѣ, а о чемъ-то другомъ...

Обратимся къ книжкѣ Буткова. Несмотря на всѣ ея недостатки, мы прочли съ удовольствіемъ—если не всю ее, то нѣкоторыя статьи въ ней. По всему видно, что Бутковъ только что выступаетъ на литературное поприще и еще не осмотрѣлся на немъ, не привыкъ къ нему. Но это недостатокъ неважный, отъ котораго скоро могутъ избавить его трудъ и дѣятельность. Большая часть недостатковъ его книги, самыхъ важныхъ, происходитъ отъ свойства его таланта. Это, во-первыхъ, талантъ болѣе описывающій, нежели изображающій предметы, талантъ чисто-сатирическій и нисколько не юмористическій. Въ немъ не достаеъ ни глубины, ни силы, ни творчества. Но тѣмъ не менѣе въ авторѣ видны умъ, наблюдательность и мѣстами остроуміе и много комизма. Онъ умѣетъ замѣтить смѣшную сторону предмета и схватить ее. Этого мало: у него не только виденъ умъ, но и сердце, умѣющее сострадать ближнему, кто-бы и каковъ-бы ни былъ этотъ ближній, лишь бы только былъ несчастенъ.

Гоголь имѣлъ сильное вліяніе на талант Буткова. Особенно часто образъ Акакія Акакіевича (изъ повѣсти «Шинель») отражается на герояхъ Буткова Чибукевичъ, герой первой повѣсти его, называющейся: «Порядочный Человѣкъ», сперва является очень близкимъ подобіемъ Акакія Акакіевича, но уже потомъ, какимъ-то чудомъ, извѣстнымъ только одному автору, дѣлается тонкимъ, смѣлымъ и наглымъ плутомъ. Герои повѣстей: «Ленточка» и «Сто Рублей» — опять сколки съ Акакія Акакіевича. Мы очень желали-бы, чтобъ эта подражательность поскорѣ замѣнилась въ Бутковѣ самостоятельностью. Самая худшая изъ всѣхъ статей, составляющихъ первую часть «Петербургскихъ Вершинъ», есть «Почтенный Человѣкъ»: это что-то до того блѣдное, вялое, растянутое, плоское и скучное, что трудно повѣрить, чтобъ оно могло быть написано человѣкомъ съ талантомъ. Самая лучшая статья — «Сто Рублей». Это не повѣсть, а очеркъ, рассказъ, что-то даже вродѣ анекдота; но тутъ много хорошаго. Особенно понравилось намъ явленіе безвакантнаго Авдѣя въ контору господъ Щетинина и компаніи и его пребываніе въ конторѣ. Тутъ много подмѣчено кое-чего рѣзко-характеристическаго. Но всего лучше въ этомъ рассказѣ фізіологически очерченъ характеръ Ерша.

И другіе рассказы не лишены достоинства. Жаль только, что они не равны, т. е. хороши мѣстами, но въ цѣломъ не выдержаны. И потому мы не скажемъ, чтобъ статьи: «Порядочный Человѣкъ», «Ленточка» и «Битка» были хороши, но скажемъ, что въ нихъ много хорошаго. Такъ напримѣръ, въ «Порядочномъ Человѣкѣ», кромѣ самого героя, который сначала является естественнымъ, а потомъ и интереснымъ, очень рѣзко, хотя мѣстами и грязновато, описанъ мотъ изъ купеческихъ сынковъ. Очень недуренъ и рассказъ полового въ гостинницѣ на Вознесенскомъ проспектѣ.

Вообще языкъ автора «Петербургскихъ Вершинъ» мѣстами бываетъ довольно мѣтокъ и цѣпокъ, и Бутковъ иногда умѣетъ говорить довольно оригинально о вещахъ самыхъ простыхъ. Но, повторимъ еще разъ, у Буткова во всемъ и вездѣ неровности. За выраженіемъ сильнымъ и характеристическимъ слѣдуютъ вялыя и безцвѣтныя; за яркой страницей — страницы блѣдныя. Правда, зато надо сказать, что и въ самомъ плохомъ рассказѣ — «Почтенный Человѣкъ» — кое-гдѣ блещутъ искорки ума и остроумія. Но какъ достоинства, такъ и недостатки сочиненій Буткова происходятъ прямо изъ сущности его таланта. Какъ талантъ чисто-сатирическій и описательный, а не юмористическій и творческій, онъ часто бываетъ колохъ, остроуменъ, но часто и гоняется за остроуміемъ. Такъ напримѣръ, въ книгѣ своей Бутковъ множество разъ, безъ всякой нужды и вовсе некстати, употребляетъ самость, вездѣ отмѣчая его курсивомъ, какъ бы думая, что это ужъ и Богъ знаетъ какъ зло и остроумно. Мѣстами въ языкѣ замѣтна и небрежность, и стремленіе къ неудачнымъ нововведеніямъ: такъ, на-

примѣръ, отъ слова каста онъ произвелъ невысказанный эпитетъ кастическій.

Во всякомъ случаѣ, мы душевно рады появленію новаго таланта. Разовьется-ли талантъ Буткова, или завянетъ самъ собою отъ слабости своего корня, выйдетъ-ли изъ него что-нибудь важное, или такъ что-нибудь, или ничего не выйдетъ, — объ этомъ мы погодимъ разсуждать. Пока скажемъ только, что у Буткова есть умъ и дарованіе, и пожелаемъ ему всевозможныхъ успѣховъ на поприщѣ нашей литературы, не только не богатой, но вовсе бѣдной беллетристическими талантами.

Изъ очень короткой рецензіи о романахъ А. Дюма.

Что бы ни говорили о насъ остроумные противники наши, но мы не перестанемъ повторять, что въ русской литературѣ больше геніевъ, нежели талантовъ, больше художниковъ, нежели беллетристовъ. Изъ этого впрочемъ еще не слѣдуетъ, чтобъ у насъ геніевъ и художниковъ было очень много, даже просто много; но они замѣтнѣе и долговѣчнѣе талантовъ, и потому ихъ имена у всѣхъ на языкѣ. А таланты беллетристическіе такъ же быстро исчезаютъ у насъ, какъ и рождаются. Притомъ же они такъ мало пишутъ! Пушкинъ, умершій еще въ порѣ силъ, одинъ написалъ больше, нежели всѣ его подражатели, вѣстѣ взятыя. Да и кто теперь читаетъ крохотныя книжечки сочиненій этихъ подражателей? Новые беллетристы, смѣнявшіе ихъ, тоже и мало пишутъ, и скоро выписываются. Отъ этого и читать нечего, ибо геніи не рождаются десятками.

Беллетристика есть мѣрка богатства всякой литературы. И ни одна литература въ мірѣ не можетъ равняться въ этомъ отношеніи съ французской. Искусство писать до того развилось во Франціи, что какъ-будто сдѣлалось второй природой французовъ. Оттого во Франціи есть что читать, да и вся Европа читаетъ французскихъ писателей, всѣ европейскія литературы живутъ переводами съ французскаго. Въ самомъ дѣлѣ, что такое всѣ эти романы — «Матильда», «Парижскія Тайны», «Вѣрный Жидъ», «Королева Марго», «Монте-Кристо», «Ночи на Кладбищѣ Отца Лашеза», если не блестящія произведенія беллетристики, наполненныя всевозможными натяжками, неестественностями, аффектами, и въ то же время мѣстами блистающія вдохновеніемъ, умомъ, мыслью, всегда живыя и занимательныя? Они недолговѣчны, потому что ихъ авторы — обыкновенно таланты, не геніи, и пишутъ не для потомства, не для вѣковъ, а только для того года, въ который пишутъ. Всѣ эти романы и повѣсти, пошумѣвъ на бѣломъ свѣтѣ, скоро забудутся, но смѣненные другими, — и такимъ образомъ публикѣ всегда есть что читать. Если вы не любите эфемерныхъ произведеній беллетристики, любя только художественныя созданія, — не читайте ихъ, но и не браните, не презирайте

беллетристики: она и безъ васъ найдетъ себѣ множество читателей и будетъ имъ полезна, благотворно дѣйствуя на ихъ образованіе и доставляя имъ умное и благородное развлеченіе. Пусть аристократы искусства читаютъ только своихъ привилегированныхъ авторовъ: масса публики тоже должна имѣть свою литературу. И если какая-нибудь литература удовлетворяетъ вдругъ тому и другому требованію,—тѣмъ больше ей чести и славы!...

Кочубей, генеральный судья. *Историческая поэма Николая Сементовскаго. Спб. 1845.*

Посредственность хуже бездарности. Бездарность по крайней мѣрѣ смѣшитъ читателя; посредственность наводитъ на него апатію. Это не сонъ, успокоивающій и осыжающій, а тяжелая дремота, родъ какого-то оцѣпененія, слишкомъ хорошо знакомаго людямъ, которые обязаны читать всякій печатный вздоръ. О, Кочубей! ты дважды страдалецъ: разъ погибъ ты отъ Мазепы, другой—отъ Сементовскаго... Но я-то, за что же я погибаю тутъ? Вѣдь я невиненъ въ гибели Самуйловича, я не дѣлалъ доноса на Мазепу, я вообще не люблю никакихъ доносовъ, даже литературныхъ, которые считаются самыми невинными, считаются даже особеннымъ родомъ литературы, долженствующимъ замѣнить собой вышедшую изъ употребленія дидактическую поэзію...

Переводъ сочиненій Гоголя на французскій языкъ.

Въ Петербургѣ полученъ французскій переводъ пяти повѣстей Гоголя, изданный въ Парижѣ въ нынѣшнемъ году Луи Виардо, подъ названіемъ: «Nicolas Gogol. Nouvelles russes, traduction française, publiée par Louis Viardot. Tarasce Boulba. Les Mémoires d'un Fou. La Calèche. Un Ménage d'autre fois. Le Roi des Gnomes». Переводъ удивительно близокъ и въ то же время свободенъ, легокъ, изященъ; колоритъ по возможности сохраненъ, и оригинальная манера Гоголя, столь знакомая всякому русскому, по крайней мѣрѣ не изглажена. Разумѣется, въ томъ и другомъ отношеніи сдѣлано было все, что можно было сдѣлать: всего же сдѣлать было невозможно... Но таково свойство оригинальнаго и самобытнаго творчества, ознаменованнаго печатью силы и глубокости: повѣсти Гоголя съ честью выдержали переводъ на языкъ народа, столь чуждаго нашимъ кореннымъ національнымъ обычаямъ и понятіямъ, и сохранили свой отпечатокъ таланта и оригинальности. Говорятъ, что этотъ переводъ, обративъ на себя большое вниманіе во Франціи, имѣлъ тамъ необыкновенный успѣхъ. И неудивительно: до сихъ поръ, сколько ни переводили на французскій языкъ русскихъ писателей, французы видѣли въ этихъ переводахъ не оригинальныя созданія чуждаго имъ народа, но блѣдныя подражанія ихъ же

писателямъ. Поэтому французы, а вмѣстѣ съ ними и вся Европа, никакъ не хотѣли вѣрить существованію русской литературы. Иначе и быть не могло. Что нашли бы иностранцы въ самыхъ лучшихъ переводахъ на ихъ языки—не говорю стихотвореній Ломоносова, но стихотвореній самого Державина? Одушевленіе, полетъ, даже сила выраженія—все это мало имѣетъ цѣны при отсутствіи содержанія, при недостаткѣ идей. Что бы могли иностранцы найти въ переводахъ на ихъ языки сочиненій Карамзина? Что для нихъ Озеровъ, когда у нихъ есть Корнель и Расинъ, и когда второстепенные ихъ трагики лучше Озерова? Жуковский, поэтъ столь важный для насъ, для нихъ не имѣетъ значенія: они въ подлинникахъ могутъ читать такъ гениально переданныя имъ на русскій языкъ творенія нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ. Басни Крылова — непередадимы, и чтобы иностранецъ могъ вполне оцѣнить талантъ нашего великаго баснописца, ему надо выучиться русскому языку и пожить въ Россіи, чтобы освоиться съ ея житейскимъ бытомъ. «Горе отъ Ума» Грибоедова могло бы быть переведено, безъ особенной утраты въ своемъ достоинствѣ; но гдѣ найти переводчика, которому былъ бы подъ силу такой трудъ? То же должно сказать о Пушкинѣ и Лермонтовѣ: переводить ихъ должно стихами, но какой же талантъ нужно имѣть переводчику! И притомъ все-таки эти поэты не могутъ имѣть для иностранцевъ полнаго интереса оригинальности, какъ поэты русскіе. Явись лучшія ихъ произведенія въ достойныхъ имъ переводахъ,—иностранцы не могли бы увидѣть въ нихъ подражателей своимъ поэтамъ, не могли бы не признать въ нихъ оригинальности и самобытности, но они увидѣли бы въ нихъ оригинальность и самобытность больше таланта, нежели національности. Возьмите любого европейскаго поэта, даже не первой величины,—вы сейчасъ увидите, какой націи онъ принадлежитъ. Поэтъ французскій, англійскій, нѣмецкій, итальянскій—каждый изъ нихъ такъ же рѣзко отличается отъ другого, какъ рѣзко отличается одна отъ другой ихъ родная земля. Вотъ этого-то рѣзкаго типа національности и не достало бы лучшимъ произведеніямъ Пушкина и Лермонтова, даже превосходно переведеннымъ на иностранные языки. Гоголь въ этомъ отношеніи составляетъ совершенное исключеніе изъ общаго правила. Какъ живописецъ преимущественно житейскаго быта, прозаической дѣйствительности, онъ не можетъ не имѣть для иностранцевъ полнаго интереса національной оригинальности уже по самому содержанию своихъ произведеній. Въ немъ все особенное, чисто русское; ни одной чертой не напомнитъ онъ иностранцу ни объ одномъ европейскомъ поэтѣ.

Въ свое время мы отдадимъ отчетъ читателямъ въ сужденіяхъ французскихъ журналовъ о повѣстяхъ Гоголя и можетъ быть еще поговоримъ вообще объ этомъ предметѣ.

Мельникъ („Le meunier d'Angibault“). Романъ Жоржъ Занда. Стб. 1845.

Съ одной стороны мы очень рады, что можем открыть нашу «Библиографическую Хронику» новаго года такимъ произведеніемъ, какъ «Мельникъ» Жоржъ Занда; съ другой стороны намъ это очень прискорбно. Дѣло въ томъ, что чѣмъ выше художественное произведение, тѣмъ непріятнѣ видѣть его или произвольно передѣланнымъ, или неудачно переведеннымъ, или то и другое вмѣстѣ. «Le Meunier d'Angibault» есть мастерская картина правого средней bourgeoisie современной Франціи. Въ этомъ романѣ есть лицо типическое, генерическое—лицо Бриколена, истиннаго представителя невѣжества, жадности къ деньгамъ, скупости, низости чувствъ, ограниченности ума, мелкости души того сословія во Франціи, которое утвердило свое гражданское и политическое владычество на золотомъ мѣшкѣ. Это лицо нарисовано по истинѣ гениальной кистью. Но оно еще не интересное лицо въ романѣ. Кромѣ героя романа—мельника, представителя живыхъ силъ и благородныхъ инстинктовъ простого народа во Франціи, тутъ попеременно поражаютъ читателя мастерски очерченные образы то нищаго Кадоша, то сумасшедшей дочери Бриколена, несчастной жертвы варварскаго разсчета «дражайшихъ» родителей,—матери мельника, отца и матери Бриколена, и другіе. Но есть и большой недостатокъ въ этомъ романѣ: въ немъ четыре героя—два мужескаго и два женскаго пола, и изъ нихъ первая пара совсѣмъ не соответствуетъ требованіямъ художественнаго романа: г-жа Блашамонъ и Анри Леморъ—мечтатели, переслащенные до приторности. Хотя искусство автора умѣло соблюсти единство дѣйствія, несмотря на двойственность интереса, тѣмъ не менѣе характеры этихъ двухъ лицъ были причиной не одной скучной страницы въ романѣ. Но это все не такой недостатокъ, который могъ бы помѣшать роману быть переведеннымъ по-русски. Дѣло въ томъ, что мечты влюбленной четы, рисуемой на первомъ планѣ, такого свойства, что не могутъ быть переданы русскимъ языкомъ; поэтому переводчикъ позволилъ себѣ кое-что передѣлать, пересочинить и переправить, отчего и вышло что-то довольно странное, и притомъ непріятно-странное.

По поводу дѣтскихъ книгъ.

Наконецъ литература наша начинаетъ обращать вниманіе на дѣтей и заботиться о доставленіи имъ читательской пищи, способной развивать ихъ умъ и сердце. Странно, что она хлопочетъ о дѣтяхъ одинъ только разъ въ году—отъ праздника Рождества до праздника Пасхи, какъ-будто въ убѣжденіи, что умъ и сердце дѣтей способны къ развитію именно только въ это время. Иной скептикъ, пожалуй, увидитъ тутъ чистую спекуляцію со стороны русской литературы или, лучше сказать, со стороны составителей, переводчиковъ и издателей

дѣтскихъ книгъ,—увидитъ ихъ нѣжную заботливость больше о своемъ собственномъ карманѣ, нежели о головахъ и сердцахъ дѣтей. Онъ скажетъ, пожалуй, что эти книги издаются передъ праздниками какъ игрушки, которые покупаются «дражайшими» родителями для подарковъ дѣтямъ... Но скептики—такой народъ, который не вѣритъ ничему высокому и прекрасному, никакому безкорыстію, особенно, если это безкорыстіе выгодно для кармана безкорыстныхъ людей. И потому не будемъ слушать злостныхъ навѣстовъ и внушеній, и воздадимъ должную дань хвалы безкорыстнымъ авторамъ, переводчикамъ и издателямъ тринадцати книжекъ.

Мнѣнія о полезности и необходимости дѣтскихъ книгъ теперь раздѣлились на двѣ противоположныя стороны. Одна утверждаетъ, что безъ этихъ книжекъ дѣтямъ нѣсть спасенія; другая говоритъ, что онѣ не только бесполезны, но и положительно вредны, и что если дѣтямъ должно читать что-нибудь кромѣ учебниковъ, такъ это книги, которые читаются и взрослыми, разумѣется, при условіи строгаго выбора. Мы сами много думали объ этомъ вопросѣ, и теперь рѣшительно объявляемъ себя на сторонѣ второго мнѣнія. До семи или около семи лѣтъ воспитаніе дитяти должно быть преимущественно физическое, но не въ духѣ почтенной старины, которая буквально держалась значенія слова «воспитывать» и закармливала дѣтей чуть не на смерть, такъ что матерія подавляла въ нихъ духъ, и они смотрѣли не дѣтьми, а хорошо откормленными телатами, барашками или поросятами. Хорошо воспитанный ребенокъ не долженъ быть ни животнымъ, ни человѣкомъ, а ребенкомъ: лицо его должно носить на себѣ отпечатокъ здоровья, веселости, живости, ясности, и на немъ должно отражаться не столько присутствіе ума, сколько отсутствіе тупости и глупости. Излишнее сильное и преждевременное нравственное развитіе въ дѣтяхъ такъ же вредно, какъ и развитіе тѣла въ ущербъ интеллектуальности: оно вредитъ правильному физическому развитію и слѣдовательно вредитъ здоровью—первѣйшему и драгоцѣннѣйшему изъ всѣхъ благъ и даровъ жизни. Говорятъ, что сильно, не по лѣтамъ развитыя дѣти бываютъ подвержены мозговымъ воспаленіямъ, именно по причинѣ этой развитости. Развивать дѣтей должна наука, ея постепенное, медленное, но тѣмъ болѣе вѣрное изученіе, а не книжки, писанныя для забавы и приучающія дѣтей къ поверхности, легкомыслію и мечтательности. И такъ, до семи лѣтъ пусть дитя ѣстъ, пьетъ, спитъ, играетъ и говоритъ, а съ семи пусть оно сверхъ всего этого еще и учится. Чѣмъ же наполнить время, остающееся ему отъ ученія?—Игрой, рѣзвостью, бѣганьемъ, гимнастическими забавами. Когда дитя подвинется къ своему двѣнадцатилѣтнему возрасту, и игры не будутъ уже вполне удовлетворять его, когда пробудится въ немъ потребность удовлетворять чѣмъ-нибудь и фантазію, и умъ,—тогда давайте ему романы Вальтеръ-Скотта и Купера; но

только и тут не давайте ему зачитываться. Почему бы например не дать ему в руки «Донъ Кихота», не искаженного, не передѣланного? Для дѣтей должны существовать не дѣтскія книги, но особенныя изданія книгъ, писанныхъ для взрослыхъ,—изданія, въ которыхъ должно быть исключено все такое, о чемъ имъ рано знать, все, что можетъ дать имъ фантазіи вредное для здоровья и нравственности направленье. Такимъ образомъ должно замѣнить ночную сцену въ «Донъ-Кихотѣ», гдѣ драка рыцаря печальнаго образа и его оруженосца съ погонщикомъ муловъ происходитъ отъ трактирной служанки, условившейся прійти къ погонщику на постель. Но оплошивать для дѣтей великія произведенія, приравливая ихъ къ дѣтскому возрасту, — ни на что не похоже: великія произведенія дѣлаются здорвыми сказками, и дѣтямъ отъ нихъ нѣтъ никакой пользы. Сказочки и повѣсти, которыми наитываютъ малолѣтнихъ дѣтей нарочно для нихъ составляемыя книжки, сильно возбуждаютъ въ нихъ самую опасную изъ душевныхъ способностей—фантазію, и дѣлаютъ изъ дѣтей мечтателей, книжниковъ, резонеровъ, записныхъ читальщиковъ. Воля ваша, а гораздо пріятнѣе видѣть ребенка весело, шумливо, но прилично рѣзвящимся, нежели сидящимъ не за учебной книгой. Можно давать дѣтямъ и книги для забавы, но преимущественно съ картинками, съ объяснительными текстомъ, лишеннымъ особенной занимательности. Въ такомъ случаѣ картинки непременно должны быть хороши, а текстъ писанъ правильнымъ хорошимъ языкомъ... Вообще этотъ предметъ обширный, о которомъ многое можно сказать, чего теперь не позволяетъ намъ ни мѣсто, ни время.

Юмористическіе рассказы нашего времени, издаваемые Абракадабромъ.
Книжка первая. Спб. 1846.

Пошло дѣло на юморъ! Юморъ теперь намъ ни почемъ, дешевле пареной рѣпы! Всякій весельчакъ дурного тона считаетъ себя теперь юмористомъ! Человѣкъ, котораго все остроуміе, вся ѣдкость состоитъ въ томъ, что онъ высовываетъ языкъ на все, чего даже не понимаетъ, смѣло выдаетъ себя за юмориста! Эти люди думаютъ, что юморъ очень обыкновенная вещь, и что ничего нѣтъ легче, какъ быть юмористомъ. Имъ не растолкуешь, что юморъ—талантъ, да еще какой! почти столько же рѣдкій, какъ гениальность... Ихъ не увѣришь, что на сто остряковъ, дѣйствительно остроумныхъ, едва ли можно найти одного юмориста, потому что даже остроуміе и комизмъ совсѣмъ не одно и то же, что юморъ.

Мирза Хаджи-Баба Исфогани. Сочиненіе Моріера. Волный переводъ барона Брамбеуса.
Изданіе второе. Спб. 1845.

«Мирза Хаджи-Баба Исфогани»—старый нашъ пріятель, съ которымъ мы познакомились дѣтъ двѣнадцать назадъ. Встрѣча съ хорошимъ знакомымъ

всегда пріятна, а «Мирза Хаджи-Баба»—книга умная и дѣльная, которую и въ другой, и въ третій разъ можно прочесть съ наслажденіемъ. Она переноситъ насъ на Востокъ, на настоящій Востокъ, въ среду, въ сердце Востока, чистаго, безпримѣснаго Востока, умѣяшаго вполне защититься отъ всякаго вліянія со стороны растлѣннаго, гніющаго Запада. Кто не читалъ романа Моріера, тотъ не можетъ имѣть настоящаго понятія о счастіи жить на Востокѣ и быть восточнымъ человѣкомъ. Что эта за полная наслажденія жизнь! Чего стоить одно блаженство—дѣлать кейфъ, т. е. курить кальянъ, поджавъ подъ себя ноги, и ни о чемъ, ровно ни о чемъ не думать! Вѣдь «думать»—тоже изобрѣтеніе лукаваго Запада, западня, которую ставить онъ на погибель восточныхъ душъ... Вѣсто траты времени на опасную привычку «думать», восточные очень остроумно придумали наполнять свое время благочестивыми восклицаніями: «бисмиллахъ, машаллахъ, иншаллахъ» (во имя Аллаха, буде угодно Аллаху, да будетъ воля Аллаха!). Безъ этихъ восклицаній набожный мусульманинъ ничего не дѣлаетъ, и потому въ каждомъ городѣ можно услышать отъ разносчиковъ такіе возгласы: «Огурцы! огурцы! во имя святѣйшаго Имама, огурцы; свѣжія яйца! о Магометъ, о Али! яйца, огурцы!» А неизрѣченное наслажденіе—пять разъ въ день творить намазъ! Когда тутъ скучать!.. Туловище, голова, руки, ноги, языкъ все занято ежеминутно, все, кромѣ мозга, ума... Даже дѣлая кейфъ, восточный человѣкъ ртомъ курить, а руками творить молитву... А наслажденія серала—страшно и подумать! По нашему варварскому западному образу мыслить, «сераль» есть понятіе не совсѣмъ нравственное; но восточный человѣкъ сумѣлъ и самую животность соединить съ чистѣйшей нравственностью: восточныя женщины не знаютъ грамоты, ругаются, царапаются, отравляютъ другъ друга ядомъ, но зато какъ онѣ стыдливы, цѣломудренны! Попробуй-ка мужчина заглянуть имъ въ лицо,—бѣда! онѣ васъ выругаютъ такъ, что отъ этой брани любой русскій извозчикъ содрогнется... Ни персіянинъ, ни турокъ не скажетъ вамъ: «моя жена», или: «здорова ли ваша супруга», но постарается смягчить эти выраженія, изыскавъ таинственно: «мой домъ», «каковъ вашъ домъ?» и такъ далѣе, потому что слово жена на Востокѣ считается неприличнымъ, неблагопріятнымъ словомъ, которое рождаетъ въ умѣ самыя «безнравственныя» понятія... Вотъ это—нравственность!

Конечно и на Востокѣ есть свои неудобства и непріятности, незнакомыя лукавому Западу, какъ-то: иногда отдуютъ по щекамъ туфлею или по пятамъ палкой, иногда выщиплютъ по волоску бороду, а то, пожалуй, обрѣжутъ носъ и уши, сдерутъ съ живого шкуру или живого посадятъ на колъ... Но, сами посудите, во-первыхъ, гдѣ же бываетъ безъ своихъ маленькихъ непріятностей, а во-вторыхъ, вѣдь—все «такдиръ»—судьба, предопредѣленіе: что жъ вы за собака, чтобъ идти

противъ того, что написано на доскахъ предопредѣленія? Но я и забылъ, что вы, мой читатель, развратясь влияніемъ лукаваго Запада, имѣете несчастіе не вѣрить предопредѣленію... А хорошее вѣрованіе! съ нимъ человѣкъ выправъ всю жизнь свою ничего не дѣлать, кромѣ какъ воровать, мошенничать, творить намазъ, да созерцать девятиности девять таинственныхъ совершенствъ Аллаха...

Главную же и высшую добродѣтель восточнаго человѣка составляетъ, безъ сомнѣнія, особенность его «патріотизма». Правда, на его языкѣ нѣтъ даже слова «отечество», которое, какъ и выражаемое имъ понятіе, заимствовано новѣйшими европейскими народами у древнихъ язычниковъ, грековъ и римлянъ. Для мусульманина отечество тамъ, гдѣ исламъ, и ему не грѣхъ рѣзать своихъ соотечественниковъ, лишь бы только онъ рѣзалъ ихъ съ «правовѣрными» же, а не съ проклятыми гурами... Мусульманинъ еще не доросъ до понятія о государствѣ, о гражданствѣ, о ихъ требованіяхъ и обязанностяхъ, и своей родиной онъ не жертвуетъ ни трубкой табаку; но зато онъ страстно приверженъ къ своему пепелищу, къ моиламъ своихъ отцовъ, вѣренъ обычаямъ старинныя родины—добродѣтели чисто восточныя! Презрѣніе и ненависть мусульманина къ проклятымъ гурамъ, кяфирамъ и въ особенности франкамъ, какъ представителей растлѣннаго, гниющаго Запада, не имѣетъ предѣловъ: это тоже чисто восточная добродѣтель! Восточные люди знаютъ свое достоинство.

Столѣтіе Россіи, съ 1745 до 1845,
или историческая картина достопамятн. событій въ Россіи за сто лѣтъ.
Сентября 5, 1845 г., въ день столѣтняго юбилея, совершившагося со дня рожд. кн. Голицына-Кутузова-Смоленскаго. Соч. Н. Полевою. Ч. 2-я. СПб. 1846.

Вотъ послѣднее произведеніе Николая Алексѣевича Полевого, вышедшее въ свѣтъ при его жизни!.. Въмѣсто рецензій, намъ приходится писать некрологъ... И такъ, и еще не стало одного изъ замѣчательнѣйшихъ дѣйствователей на поприщѣ русской литературы! Говоримъ: изъ «замѣчательнѣйшихъ», потому что наши съ нимъ несогласія во взглядѣ на многіе предметы нисколько не мѣшали намъ отдавать ему должную справедливость. Передъ гробомъ умершаго должны умолкнуть даже личные вражды; но никогда никакія личные отношенія не руководили насъ въ нашихъ отзывкахъ о литературныхъ трудахъ и мнѣніяхъ Полевого. Каковъ бы ни былъ характеръ его литературной дѣятельности за послѣднія десять лѣтъ, въ немъ многое объясняется стѣсненными обстоятельствами... Во всякомъ случаѣ, забывая о недавнемъ, мы тѣмъ живѣе воспоминаемъ о первомъ блестящемъ періодѣ литературной дѣятельности этого необыкновеннаго человѣка, который самъ себя создалъ свои средства, начавъ учиться въ тѣ лѣта, когда

другіе почти оканчиваютъ свое ученіе, который, опираясь на свою даровитую натуру и свойственную русскому человѣку смѣлливость, смысленность и смѣлость, можно сказать, создалъ журналъ въ Россіи... Этими онъ сдѣлалъ гораздо больше, нежели какъ теперь думаютъ,—и вообще Полевой еще ждетъ и можетъ быть не скоро дождется истинной оцѣнки; но онъ дождется ея, и имя его навсегда останется и въ исторіи русской литературы, и въ признательной памяти общества...

Полевой умеръ 22 февраля, въ одиннадцатъ часовъ вечера, на 49 году (онъ родился въ 1796-мъ году) отъ рожденія, послѣ трехнедѣльной мучительной болѣзни—нервной горячки, которой, по мнѣнію пользовавшихъ его докторовъ, онъ не могъ перенести, давно уже истощивъ физическія силы свои напряженной работой. Полевой оставилъ послѣ себя большое семейство, и, какъ онъ всегда помогалъ трудомъ и достоинствомъ своимъ всякому нуждавшемуся въ его помощи, то самъ могъ оставить дѣтямъ своимъ только честное, почтенное имя и благодарность соотечественниковъ къ его неоспоримымъ заслугамъ,—прекрасное наслѣдіе, которое не можетъ остаться безплоднымъ и для его семейства!

Стихотворенія Аполлона Григорьева. Сб. 1846.

Стихотворенія 1845 года, Я. П. Полонскаго. Одесса. 1846.

Было время, когда всѣ твердили о томъ, что поэту нужны только талантъ и вдохновеніе; что онъ ученъ безъ науки, всезнающъ безъ ученія; что онъ самъ себя судья и законъ; что его фантазія есть источникъ откровенія всѣхъ тайнъ бытія; что внутренній міръ его ощущеній и видѣній интереснѣе всѣхъ фактовъ дѣйствительности, и что поэтому онъ можетъ не знать, что дѣлается вокругъ него на бѣломъ свѣтѣ, и долженъ говорить намъ, толпѣ, только о самомъ себѣ; а мы, толпа, стоя на колѣняхъ, съ разинутыми ртами, должны внимать ему съ благоговѣніемъ, считая себя счастливыми, если ему вадумается ругнуть насъ хорошенько энергическимъ стишкомъ.

Такое воззрѣніе на поэта господствовало у насъ въ эпоху такъ называемаго романтизма блаженной памяти. И дѣйствительно, тогда геній могъ легко обходиться безъ всякихъ наукъ, кромѣ азбуки, а въ геніи попасть можно было всякому, у кого была способность точить гладкіе стишки и было довольно мелкаго самолюбія, чтобы вообразить себя выше «презрѣнной толпы», т. е. всѣхъ людей, которые дѣйствительно что-нибудь знаютъ, что-нибудь понимаютъ и въ особенности тѣмъ-нибудь занимаются, что-нибудь дѣлаютъ...

Теперь не то: всѣ кричатъ о необходимости знанія для поэта, объ идеяхъ, о направленіи, о сочувствіи современной дѣйствительности. Явилась другая крайность: люди безъ таланта поэзіи стали

дѣлаться поэтами, потому ли, что въ самомъ дѣлѣ что-нибудь узнали и поняли, или потому что захватили нѣсколько чужихъ ходячихъ мыслей и вообразили ихъ своими собственными. Между этими весьма смѣшными крайностями есть явленія, болѣе или менѣе заслуживающія вниманіе,—но опять-таки крайности. Одни изъ нихъ думаютъ умъ выдать за поэзію, другіе—обойтись безъ ума при помощи небольшого дарованія къ поэзіи... И это естественно, потому что въ обѣихъ изъ этихъ крайностей есть истина, хотя и нѣтъ ея ни въ одной отдѣльно взятой.

Безъ естественнаго, непосредственнаго таланта творчества невозможно быть поэтомъ. Тутъ не помогутъ ни знанія, ни ученость, ни умъ, ни характеръ, ни даже способность глубоко чувствовать и понимать изящное. Но и одного естественнаго таланта мало. Можно еще обойтись безъ науки какъ науки; но невозможно не стоять по образованію наравнѣ съ своими вѣкомъ, невозможно обойтись безъ живой, кровной симпатіи съ духомъ, направленіемъ, надеждами, радостями и болѣзнями,—словомъ, со всѣмъ добромъ и зломъ своей эпохи. Однакожъ и этимъ еще не все оканчивается. Эта симпатія не вычитывается изъ книгъ, не добывается въ аудиторияхъ, не почерпается изъ критики и библиографіи. Ученіе, мысль могутъ только развить и укрѣпить ее, но не могутъ дать ее тому, кто не родился съ нею. Въ поэтѣ все должно быть своего рода талантомъ (даромъ природы), все—даже направленіе.

Не всякому быть геніемъ; и талантъ имѣетъ право на общее вниманіе и, если хотите, удивленіе. Пусть онъ является не съ своей собственной мыслью, но съ мыслью генія, покорившаго его своему неотразимому вліянію; зато пусть онъ возьметъ эту мысль въ такой мѣрѣ, въ какой доступна она его силамъ, пусть помнитъ, что усиліе не есть сила, и потомъ пусть проведетъ эту мысль черезъ всю свою личность, а не только черезъ свою голову. Тогда онъ не только—талантъ, но еще и заслуживающій вниманія талантъ. Безъ этого же онъ—просто талантъ, явленіе для многихъ можетъ быть блестящее, но для всѣхъ бесплодное и пустое! Другими словами: талантъ поэта долженъ быть тѣсно связанъ съ его натурой, его личностью. Безъ этого онъ только способность подражанія—не больше. Чтѣ нужно, если поэтъ не переводитъ, не заимствуетъ, никому явно и съ намѣреніемъ не подражаетъ, даже никого не напоминаетъ? Пусть у него нѣтъ ничего чужого; зато у него ничего нѣтъ своего, а это значитъ 0=0... Жуковскій—не оригинальный поэтъ, а переводчикъ; но взгляните въ его переводы, и вы увидите, что такимъ переводчикомъ надо было родиться. Жуковскій переводилъ не все даже и изъ любимыхъ своихъ поэтовъ, но выбиралъ изъ нихъ только то, сочувствіе къ чему глубоко лежало въ его натурѣ, какъ ея свойство, ея особенность...

Талантъ, несвязанный съ натурой поэта, какъ

человѣка, какъ личности, есть талантъ внѣшній. Если въ немъ нѣтъ никакого сочувствія съ идеями и духомъ времени, онъ положительно пустъ и ничтоженъ; но еще жалче онъ, если задумаетъ почерпать это сочувствіе изъ книгъ...

Но такіа мысли невольно навели насъ двѣ небольшія книжки, заглавія которыхъ выставлены выше.

Давно уже вниманіе наше останавливалось на стихотвореніяхъ Григорьева, поощрившихся въ одномъ изъ петербургскихъ періодическихъ изданій. Мы всегда читали ихъ съ интересомъ, хотя ожиданіе наше чаще бывало обмануто, нежели удовлетворено. Несмотря на то, книжка стихотвореній Григорьева болѣе опечалила насъ, нежели порадовала. Мы прочли не больше, чѣмъ съ принужденіемъ—почти со скукой. Дѣло въ томъ, что изъ нея мы окончательно убѣдились, что онъ не поэтъ, вовсе не поэтъ. Въ его стихотвореніяхъ прорываются проблески поэзіи, но поэзіи ума, негодования. Видишь въ нихъ умъ и чувство, но не видишь фантазіи, творчества, даже стиха. Правда, мѣстами стихъ его бываетъ силенъ и прекрасенъ, но тогда только, когда онъ одушевленъ негодованіемъ, превращается въ битъ сатиры, касаясь нѣкоторыхъ явленій дѣйствительности (какъ напри- мѣръ, въ разсказѣ «Олимпій Радинъ», мимоходныя замѣтки о Москвѣ, о семейственности). Въ лиризмѣ же его стихъ прозаиченъ, негладокъ, нескладенъ, вялъ. Вездѣ одинъ разсужденія, нигдѣ образовъ, картинъ. Сверхъ того паеостъ лиризма Григорьева однообразенъ, не столько личенъ, сколько эгонистиченъ, не столько истиненъ, сколько заимствованъ. Григорьевъ—почти неизбѣнный герой своихъ стихотвореній. Онъ—пѣвецъ вѣчно одного и того же предмета—собственного своего страданія. Въ наше время страданія ни по чѣмъ,—мы всѣ страдаемъ наповалъ, особенно въ стихахъ. Вина этому Байронъ, который своимъ могущественнымъ вліяніемъ всѣ литературы Европы наладилъ на тонъ страданія. У насъ это начинало было выходить изъ моды; но примѣръ Лермонтова вновь вывелъ на свѣтъ нѣсколько страдальцевъ. Правду говорятъ, что подражатели доводятъ до крайности мысль своего образца, напоминая этимъ знаменитое изреченіе Наполеона: «*Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas*»... Героя Лермонтова—натуры субъективныя, которыя скорѣе готовы разрушить и себя, и міръ, нежели поддѣлываться подъ то, чтѣ отвергаетъ ихъ гордая и свободная мысль. Люди судьбы, они борются съ ней или гордо падаютъ подъ ея ударами, не говорятъ просто и не щеголяютъ страданіемъ. Григорьевъ силится сдѣлать изъ своей поэзіи апоэозу страданія; но читатель не сочувствуетъ его страданію, потому что не понимаетъ ни причины его, ни его характера,—и мысль поэта носится передъ нимъ въ какомъ-то туманѣ. Какое это страданіе, отчего оно—Богъ вѣсть! Есть ли это гордость ума, эгонизмъ могущественной натуры, сила отрицанія, при жадѣ истины?—Едва ли

знаешь это самъ поэтъ. Въ его гимнахъ есть признаки довольно дешеваго примиренія при помощи мистицизма, на манеръ Ө. Глинки; а въ его «разныхъ стихотвореніяхъ» проглядываетъ скептицизмъ, отзывающійся больше неуживчивостью безпокойнаго самолюбія, нежели тревогами безпокойнаго ума. Немного есть у Григорьева стихотвореній, въ которыхъ не говорилось бы о «гордости страданія», о «безумномъ счастьи страданія». Это значить—сдѣлать изъ страданія ремесло, что кажется намъ не совсѣмъ истиннымъ и не совсѣмъ естественнымъ. «Гордость страданіемъ»—сказано слишкомъ заносчиво; ее надо оправдать, разумѣется, стихами, но какими—вотъ вопросъ! «Безумное счастье страданія»—вещь возможная, но это не нормальное состояніе человѣка, романтическая искаженность чувства и смысла. Есть счастье отъ счастья, но счастье отъ страданія—воля ваша—отъ него надо лѣчиться классицизмомъ здраваго смысла, полезной дѣятельностью и безпритязательностью на превосходство надъ остальными слабыми смертными...

Можетъ-быть мы ошибаемся; но въ такомъ случаѣ мы ошибаемся искренно. Какими бы ни казались намъ стихотворенія Григорьева, мы все-таки видѣли въ нихъ не совсѣмъ обыкновенное явленіе, и они возбудили въ насъ живой интересъ къ личности ихъ автора, о которомъ мы знаемъ только по его стихотвореніямъ. Мы сказали выше, что онъ не поэтъ, и повторяемъ это теперь; но онъ глубоко чувствуетъ и многое глубоко понимаетъ; это иногда дѣлаетъ его поэтомъ. Для доказательства выпишемъ его прекрасное стихотвореніе «Гордость»:

Да, я люблю его, громадный, гордый градъ,
Но не за то, за что другіе;
Не зданія его, не пышный блескъ палатъ
И не граниты вѣковые
Я въ немъ люблю, о нѣтъ! Скорбашею душой
Я прозрѣваю въ немъ иное,—
Его страданіе подъ ледяной корою,
Его страданіе болѣющее.

Пусть почу шаткую онъ заковалъ въ гранитъ,
И защитилъ ее отъ моря,
И пусть сурово онъ въ самомъ себѣ таитъ
Волненіе радости и горя,
И пусть его рѣка въ стопахъ его несетъ
Ихъ, и ихъ, и ихъ, —
На нихъ отпечатлѣны тяжелый слѣдъ заботъ,
Людского пота и страданій.

И пусть горять свѣтло огни его палатъ,
Пусть слышимъ въ нихъ веселыя звуки—
Обманъ, одинъ обманъ! Они не заглушатъ
Безумно-страшныхъ стонущихъ мукъ!
Страданіе одно привыкъ я подмѣчать,
Въ окнѣ-ль съ богатою гардиной,
Иль въ темномъ уголку,—ведь его печать!
Страданье уровень единой!

И въ тѣ часы, когда на городъ гордый мой
Ложится ночь безъ тьмы и тѣни,
Когда прозрачно все, мелькаетъ предо мной
Рой отвратительныхъ видѣній...
Пусть ночь асна, какъ день, пусть тихо все во-
Пусть все прозрачно и спокойно, — [кругъ,
Въ покоѣ томъ вѣкахъ на время злѣй недугъ,
И то прозрачность явны гнойной.

Въ этомъ стихѣ есть сила, а въ цѣлой пьесѣ дышитъ своего рода поэтическое обаяніе; но всего болѣе поражаетъ васъ въ ней болѣзненно настроенный умъ. Выпишемъ еще пьесу:

Нѣтъ, не тебѣ идти со мной
Къ высокой цѣли бытія,
И не тебя душа моя
Звала подругой и сестрой.
Я не тебя въ тебѣ любилъ,
Но лучшей участи залогъ,
Но ту печать, которой Богъ
Твою природу заклеилъ.
И думалъ я, что ту печать
Ты сохранишь среди борьбы,
Что противъ свѣта и судьбы
Ты въ силахъ голову поднять.
Но дорогъ судъ тебѣ людской,
И мнѣне дорого работъ,
Не ненавидишь ты оковъ:
Мой путь иной, мой путь не твой.
Тебя молить я слишкомъ гордъ,—
Мы не равны ни адѣсь, ни тамъ,—
И въ хорѣ звѣздъ не слѣтся намъ
Въ созвучій родственныхъ аккордъ.
И пусть твой образъ роковой
Мнѣ никогда не позабыть...
Мнѣ стыдно женщиану любить,
И не назвать ее сестрой.

И опять-таки, несмотря на ощутительный недостатокъ поэтического выраженія, мы готовы были признать это стихотвореніе вполнѣ прекраснымъ, еслибъ его не испортила риторическая фраза:

И въ хорѣ звѣздъ не слѣтся намъ
Въ созвучій родственныхъ аккордъ.

Но что такое напримѣръ стихотвореніе «Героизмъ нашего времени»?

Нѣтъ, нѣтъ—нашъ путь иной... И дикъ и, стра-
шенъ вамъ,
Чернильныхъ жаркихъ битвъ копеечнымъ бой-
Поднятый факелъ Немезиды; [цать,
Вамъ нязость по душѣ, вамъ смѣхъ страшнѣе
зла,

Вы сердцемъ любите лишь лай нѣ-за угла,
Да бой пѣтушій за обиду!
И гдѣ же вамъ любить, и гдѣ же вамъ стра-
Страданіемъ любви Распятого за братій? [дать
И гдѣ же вамъ чело безтрепетно подыать
Подъ замахомъ топора общественныхъ понатій?
Нѣтъ, нѣтъ,—нашъ путь иной, и крестъ не
вамъ нести:

Тяжелъ, не по плечамъ, и вы на полпути
Сробѣете предъ общимъ крикомъ,
Зане на трапезѣ божественной любви
Вы не причастники, не ратоборцы вы
О благородномъ и великомъ.
И жребій жалкій вашъ, до пошлости смѣшной,
Пророки ваши вамъ воспѣли...
За сплетни праздники, за эгоизмъ болѣной,
Въ скотскомъ безстрастїи и съ гордостью нѣ-
Безъ сожалѣній и цѣли, [мой,
Безумно погибать, и завѣщать друзьямъ
Всю пустоту души и весь печальный хламъ
Пустыхъ и дѣтскихъ гревъ, да шаткое безвѣрье;
Иль цѣлымъ вѣкъ звонять досужимъ языкомъ
О чуждомъ вовсе вамъ великомъ и святомъ,
Съ богохуленьемъ лицемерья!...

Нѣтъ, нѣтъ—нашъ путь иной!—Вы не видали
Египта древняго живущихъ изваяній, [нѣтъ,
Съ очами тихими, недвижными и нѣмыми,
Съ челою, сіяющимъ отъ царственныхъ вѣн-
чаній.

Вы не видали ихъ,—въ недвижныхъ ихъ чер-
тахъ
Вы жизни страшныхъ тайнъ безстрашного со-
знанья

Съ надеждой не прочли: имъ книга упованья
По волѣ Вѣчнаго начертана въ звѣздахъ,
Но вы не вѣдали ихъ, не видѣли межъ нами
И тѣми сфинксами таинственную связь...
Иль есlibъ видѣли,—нечистыми руками
Съ подножій совлекли бѣ, чтобъ уронить ихъ
съ вами

Въ демагогическую грязь!

Мы не споримъ, что въ первой половинѣ этого стихотворенія между плохими стихами есть и удачные, и смыслъ виденъ; но что такое хотѣлъ сказать авторъ своими «египетскими изваяніями» — Богъ вѣсть!

Григорьевъ можетъ писать; но ему нужно сознать значеніе и характеръ своего таланта. По нашему мнѣнію, ключъ къ этому сознанию находится въ латинскомъ эпиграфѣ къ одной изъ неудачныхъ пьесъ его: «Fecit indignatio versum». Но онъ вовсе не лирический поэтъ, и дѣлая себя героемъ своихъ стихотвореній, онъ только путается въ неопредѣленныхъ и безвыходныхъ рефлексіяхъ и ощущеніяхъ. Пиша, онъ долженъ забыть о Лермонтовѣ, или счужить взять отъ него только свое, не касаясь чужого. Мы не отрицаемъ въ Григорьевѣ, какъ въ человѣкѣ, никакого нравственнаго превосходства, ни способности страдать; но желаемъ только, чтобъ онъ осторожнѣе и утѣреннѣе говорилъ въ своихъ стихахъ о томъ и другомъ, особенно о послѣднемъ.

Еще замѣчаніе: Григорьевъ любитъ употреблять слово зане, и это выходитъ у него крайне неловко. Это слово ввелъ Пушкинъ, но онъ употребилъ его только разъ въ «Борисѣ Годуновѣ», очень ловко, кстати и на мѣстѣ. Потомъ употребилъ его Баратынскій въ прекрасномъ стихотвореніи своемъ «На Смерть Гёте», гдѣ оно выпло тоже не совсѣмъ на мѣстѣ. Больше никто не употреблялъ этого слова. Оно хорошо для поэзіи, замѣняя книжное ибо и прозаическое потому что; но—*opus tyrannus*—старая истина! Чего не могъ ввести Пушкинъ, того не введетъ Григорьевъ...

Полонскій находится въ обратномъ отношеніи къ Григорьеву. У него больше самостоятельнаго элемента поэзіи, слѣдовательно больше таланта, но ни съ чѣмъ не связанный, чисто вѣншній талантъ этотъ можно рассмотреть и замѣтить только черезъ микроскопъ—такъ миниатюрень онъ... Заглавіе: «Стихотворенія 1845 года» обѣщаетъ намъ длинный рядъ небольшихъ книжекъ; обѣщаніе нисколько не утѣшительное! «Стихотворенія 1845 г.» ужъ хуже стихотвореній, изданныхъ въ 1844 году... Это плохой признакъ... Григорьеву есть о чемъ писать, но не достаетъ способности къ формѣ, — хотя и тутъ сила чувства и мысли иногда блистательно выручаетъ его; но Полонскому рѣшительно не о чемъ писать, т. е. нечего вкладывать въ свой гладкій, а иногда и дѣйствительно поэтический стихъ... Это заставляетъ его прибѣгать, за отсут-

ствиемъ мысли, къ умничанію и хитрымъ рефлексіямъ. Прочтите его «Факиръ и Ключъ»: что это такое? Сто пудовъ посредственныхъ стиховъ тому, кто разгадаетъ и расплететъ эту путаницу словъ и стиховъ!... Къ числу пьесъ, подобно «Факиру и Ключу», отличающихся понятностью, принадлежатъ также «Историку» и «Юноша и Вѣкъ». Вообще, въ этой книжкѣ стихотвореній Полонскаго попадаются удачные стихи, даже удачные куплеты и мѣста; но рѣшительно нѣтъ ни одного удачнаго стихотворенія.

Въ примѣръ лучшаго приводимъ: «Тѣни»:

По небу синему тучки плывутъ,
По дугу тѣни широко бѣгутъ;
Тѣни-ль толпой на меня налетать,
Дальнія горы подъ солнцемъ блестать;
Солнце-ль внезапно меня озаритъ,
Тѣнь по горамъ полосами бѣжитъ.
Такъ на душѣ челоуѣка порой
Думы, какъ тѣни, проходятъ толпой;
Такъ иногда вдругъ тепло и свѣтло
Ясная мысль озаряетъ чело.

А вотъ въ примѣръ пошлости содержанія и формы:

Вы, ленты измяты—
Секреты любви!
Вы письма заветныя—
Тираны мои!
Вы, пряди отрѣзанныхъ
На память волосъ—
Свидѣтели тайны
Растрченныхъ слезъ...
Печали свидѣтели!
Вы мнѣ, такъ и быть,
Признайтесь хоть на ухо,
Что весело жить...

Очень хорошо-съ?...

Вообще, прочитавъ книжку стихотвореній Григорьева, мы почему-то особенно припомнили эти стихи Лермонтова, которые и прежде приходили намъ часто на память, но никогда такъ кстати, какъ теперь:

Какъ язви боясь вдохновенья...
Оно—тяжелый бредъ души твоей больной,
Иль пьянкой мысли раздраженъ!
Въ немъ признака небесъ напрасно не ищи...
То кровь кипитъ, то силъ избытокъ...

Случится-ли тебѣ въ заветный, чудный мигъ
Открыть въ душѣ давно безмолвной
Еще невѣдомый и дѣвственный родникъ,
Простыхъ и сладкихъ звуковъ полный,—
Не вслушивайся въ нихъ, не предавайся имъ,
Набрось на нихъ покровъ забвенья:
Стихомъ размѣреннымъ и словомъ ледянымъ
Не передашь ты ихъ значенья.
Закрадется ль печаль въ тайникъ души твоей,
Зайдетъ ли страсть съ грозой и въюгой,—
Не выходи на шумный пиръ людей
Съ своею бѣшеной подругой;
Не унижай себя. Стыдися торговать
То гнѣвомъ, то тоской послушной,
И гной душевныхъ ранъ надменно выставить
На диво черни простодушной.
Какое дѣло намъ, и пр.

Читая стихотворения Полонскаго, мы почему-то невольно все твердили про себя эти два стиха сатирика доброго стараго времени, Кантемира:

Уме недозрѣлый, плодъ недолгой науки!
Покойся, но понуждай въ перу мои руки!

Похожденія Чичикова, или Мертвыя Души. Поэма Н. Гоголя. Изданіе 2-е. М. 1846.

Ни время, ни мѣсто не позволяютъ намъ войти въ подробныя объясненія о «Мертвыхъ Душахъ», тѣмъ болѣе, что это мы непремѣнно сдѣлаемъ, представивъ читателямъ «Современника», можетъ быть, не одну статью вообще о сочиненіяхъ Гоголя и о «Мертвыхъ Душахъ» въ особенности. Теперь же скажемъ коротко, что, по нашему крайнему разумію и искреннему, горячему убѣжденію, «Мертвыя Души» стоятъ весьма высоко въ русской литературѣ, ибо въ нихъ глубокость живой общественной идеи неразрывно сочеталась съ удивительной художественностью образовъ, и этотъ романъ, почему-то названный поэмой, представляетъ собою произведение, столько же національное, сколько и высоко-художественное. Въ немъ есть свои недостатки важные и неважные. Къ послѣднимъ относимъ мы неправильности въ языкѣ, который вообще составляетъ столько же слабую сторону таланта Гоголя, сколько его слогъ (стиль) составляетъ сильную сторону его таланта. Важные же недостатки романа «Мертвыя Души» находимъ мы почти вездѣ, гдѣ изъ поэта, изъ художника силится авторъ стать какимъ-то прорицателемъ и впадаетъ въ нѣсколько надутый и напыщенный лиризмъ. Къ счастью, число такихъ лирическихъ мѣстъ незначительно въ отношеніи къ объему всего романа, и ихъ можно пропускать при чтеніи, ничего не теряя отъ наслажденія, доставляемаго самимъ романомъ.

Но, къ несчастью, эти мистико-лирическія выходы въ «Мертвыхъ Душахъ» были не простыми случайными ошибками со стороны ихъ автора, но верномъ можетъ быть совершенной утраты его таланта для русской литературы... Все болѣе и болѣе забывая свое значеніе художника, принимаетъ онъ тонъ глашатая какихъ-то великихъ истинъ, которыя въ сущности отзываются ни чѣмъ инымъ, какъ парадоксами чловѣка, сбившагося съ своего настоящаго пути, ложными теоріями и системами, всегда гибельными для искусства и таланта. Такъ напримѣръ, въ прошломъ году появилась статья Гоголя о переводѣ «Одиссеи» Жуковскимъ, до того исполненная парадоксовъ, высказанныхъ съ превыспренними претензіями на пророческій тонъ, что одинъ бездарный писатель нашелъ себя въ состояніи написать по этому поводу статью, грубую и неприличную по тону, но справедливую и основательную въ опроверженіи парадоксовъ статьи Гоголя. Это опечалило всѣхъ друзей и почитателей таланта Гоголя и обрадовало

всѣхъ враговъ его. Но исторія не кончилась этимъ. Второе изданіе «Мертвыхъ Душъ» явилось съ предисловіемъ, которое... которое... испугало насъ еще больше знаменитой въ лѣтописяхъ русской литературы статьи объ «Одиссее». Это предисловіе внушаетъ живыя опасенія за авторскую славу въ будущемъ (въ прошедшемъ она непоколебимо прочна) творца «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ»; оно грозитъ русской литературѣ новой великой потерей прежде времени... Предисловіе это странно само по себѣ, но его тонъ... *C'est le ton qui fait la musique*, говорятъ французы... Въ этомъ тонѣ столько неуѣренного смиренія и самоотрицанія, что они невольно заставляютъ читателя предполагать тутъ чувства совершенно противоположныя...

«Кто бы ты ни былъ, мой читатель, на какомъ бы мѣстѣ ни стоялъ, въ какомъ бы званіи ни находился, *почтѣй* ли ты вышшимъ чиномъ (?) или чловѣкъ простого сословія, но если тебя вразумилъ Богъ грамотѣ и попалась уже тебѣ моя книга, я прошу тебя помочь мнѣ.»

Вы думаете, это начало предисловія къ «Путешествію Московскаго купца Трифона Коробейникова съ товарищами въ Іерусалимъ, Египетъ и Синайской горѣ, предпринятое въ 1583 году»?—Нѣтъ, ошибаетесь: это начало предисловія ко второму изданію поэмы «Мертвыя Души»... Но дайте—

«Въ книгѣ, которая передъ тобой, которую *спропяти* ты уже прочелъ¹⁾ въ ея первомъ изданіи, изображенъ чловѣкъ, взятый изъ нашего же государства. Бѣдѣтъ онъ по нашей Русской землѣ, встрѣчается съ людьми всякихъ сословій, отъ *благородныхъ* до *простыхъ*. Взять онъ больше за тѣмъ, чтобы показать недостатки и пороки русскаго чловѣка, а не его достоинства и добродѣтели, и всѣ люди, которые окружаютъ его, взяты также за тѣмъ, чтобы показать наши слабости и недостатки; *лучшіе люди и характеры будутъ въ другихъ частяхъ*. Въ книгѣ этой многое описано не вѣрно, не такъ, какъ есть и какъ дѣйствительно происходитъ въ Русской землѣ, потому что я не могъ узнать всего: мало жизни чловѣка на то, чтобы узнать одному и сотую часть того, что дѣлается въ нашей землѣ. При томъ, въ моей собственной оплошности, неграмотности и поспѣшности, произошло множество всякихъ ошибокъ и промаховъ, такъ что на каждой страницѣ есть что поправить: я прошу тебя, читатель, поправить меня. Не пренебреги такимъ дѣломъ. Какого бы ни былъ ты самъ высокаго образованія и жизни *высокой* (?), и какой бы ничтожной ни показалась въ глазахъ твоихъ моя книга, и какимъ бы ни показалось тебѣ мелкимъ дѣломъ ее исправлять и писать на нее замѣчанія,—я прошу тебя это сдѣлать. А ты, читатель не высокаго образованія и простаго званія, не считай себя такимъ неопытнымъ²⁾, чтобы ты не могъ меня чему-нибудь поучить,—и пр.

¹⁾ Авторъ не шутя думаетъ, что его книгу прочли даже люди простаго сословія... Ужъ не думаетъ ли онъ, что нарочно для нея выучились они грамотѣ и пустились въ литературу?...

²⁾ Вѣроятно авторъ хотѣлъ сказать—неопытно. Замѣчательно, какъ умѣетъ онъ ободрять простыхъ людей, чтобы они не пугались его величія...

Вслѣдствіе всего этого скромный авторъ нашъ просить всѣхъ и каждого «дѣлать свои замѣтки сплосъ на всю его книгу, не пропуская ни одного мѣста ея», и «читать ее не иначе, какъ взявши въ руки перо и положивши листъ почтовой бумаги», а потомъ пересылать къ нему свои замѣтки. Итакъ, мы не можемъ теперь вообразить себѣ всѣхъ русскихъ людей иначе, какъ сидящихъ передъ раскрытой книгой «Мертвыхъ Душъ» на колѣняхъ, съ перомъ въ рукѣ и листомъ почтовой бумаги на столѣ; чернильница предполагается сама собою... Особенно люди не высокаго образованія, «не высокой жизни» и простого сословія должны быть въ большихъ хлопотахъ: писать не умѣютъ, а надо... Не лучше ли имъ всѣмъ пуститься за-границу для личнаго свиданія съ авторомъ,—вѣдь на словахъ удобнѣе объясниться, чѣмъ на бумагѣ... Оно конечно, эта поѣздка обойдется имъ дороговато, зато какіе же результаты выйдутъ изъ этого!... Къ чему весь этотъ фарсъ? спросите вы, читатели. Отвѣчаемъ вамъ словами одного изъ героев комедіи Гоголя: «Поди ты, спроси иной разъ человѣка, изъ чего онъ что нибудь дѣлаетъ»...

Въ этомъ фантастическомъ предисловіи есть весьма утѣшительное извѣщеніе, что «воспослѣдуетъ изданіе новое (т. е. новое изданіе) этой книги, въ другомъ и лучшемъ видѣ». Боже мой, какъ вздорожаютъ тогда первыя два изданія! Вѣдь до этого, второго, «Мертвыя Души» продавались по десяти рублей серебромъ вмѣсто трехъ...

Сочиненія Озерова. Изданіе Александра Смирдина. Спб. 1846.

Сочиненія Фонвизина. Изданіе Александра Смирдина. Спб. 1846.

Почтенному нашему книгопродавцу, А. Ф. Смирдину, въ продолженіе его долговременной книгопродавческой дѣятельности приходило въ голову много хорошихъ мыслей къ пользѣ русской литературы. Но никогда еще не приходило ему мысли болѣе полезной, дѣльной и вмѣстѣ остроумной, какъ мысль изданія въ маленькомъ и красивомъ форматѣ, сжатой (компактной) печатью, полнаго собранія сочиненій русскихъ авторовъ. Не знаемъ, когда эта богатая мысль озарила впервые его книгопродавческую голову. Это рѣшительно блистательнѣйшая мысль, какая только попадала въ голову русскаго книгопродавца съ тѣхъ поръ, какъ существуютъ на Руси книгопродавцы!... Конечно этой мысли нельзя назвать вполне оригинальной: она внушена русской душѣ А. Ф. Смирдина лукавымъ Западомъ, именно—знаменитой бібліотекой Шарпантье; но вѣдь никому же другому изъ русскихъ книгопродавцевъ, а все ему же, все А. Ф. Смирдину, пришло желаніе подражать хорошему чужеземному примѣру... Честь и слава ему за это!...

Въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ въ небольшой, опрятно, даже красиво изданной книжкѣ всѣхъ сочиненій Озерова, всѣхъ сочиненій Фонвизина, — кому не при-

ятно это? А когда подумаешь, что эта книжка, напечатанная сжато, но довольно крупнымъ и весьма четкимъ шрифтомъ, стоитъ всего одинъ рубль серебромъ, то невольно спросишь: да кто же изъ грамотныхъ людей, занимающихся литературой хотя вскользь, между дѣломъ, для отдыха въ праздное время,—кто же изъ нихъ не купитъ ея? Конечно сочиненія Ломоносова будутъ состоять изъ трехъ томовъ и слѣдовательно стоить три рубля серебромъ; но вѣдь въ каждый изъ этихъ маленькихъ, уютныхъ томовъ войдетъ материалу на огромную книжашку обыкновенной печати, а старья, безобразныя изданія Ломоносова, къ тому же теперь и рѣдкія, стоятъ гораздо дороже. По крайней мѣрѣ два изъ нихъ, второе и третье, въ шести частяхъ, 1794 и 1803—1804 годовъ, въ каталогѣ Смирдина оцѣнены по шестидесяти рублей; а четвертое, въ 3-хъ частяхъ, 1808 года, явно не полное, въ 35 рублей ассигнациями!... Послѣ этого упрекайте русскихъ, что они не читаютъ своихъ старыхъ писателей, особенно, когда сообразите, что у насъ всего менѣе читаютъ богатые и всего болѣе читаютъ бѣдные люди! И потому заслуга А. Ф. Смирдина неоцѣнима! Намъ уже довелось слышать не отъ одного образованнаго человѣка, что, благодаря этому изданію, онъ познакомился съ Озеровымъ и Фонвизинимъ, и, стало-быть, познакомится со временемъ и со всей русской литературой.

Въ этомъ изданіи мы замѣтили только одинъ недостатокъ, котораго впрочемъ нельзя назвать неважнымъ. Старинные писатели должны издаться со всѣми приложеніями, способствующими къ ихъ изученію. Мы говоримъ не о портретахъ и факсимиле—что необходимо увеличило бы цѣну этихъ изданій и слѣдовательно лишило бы одного изъ главныхъ достоинствъ ихъ—дешевизны; но мы говоримъ о біографіи писателя, съ обзоромъ преимущественно историческимъ и хронологическимъ всей его литературной дѣятельности. Для этого вовсе не нужно было прилагать большихъ статей: было бы достаточно для одного двухъ, трехъ страницъ, для другого—полулиста печатнаго.

Въ небольшую, но уместную книжку сочиненій Озерова, изданную А. Ф. Смирдинимъ, вошло все, что находится въ большомъ изданіи 1818 года сочиненій этого писателя, кромѣ однакожь статьи князя Вяземскаго: «О жизни и сочиненіяхъ Озерова», которая какъ будто срослась съ сочиненіями Озерова, заключаая въ себѣ сужденіе о нихъ одного изъ замѣчательнѣйшихъ по уму и таланту современниковъ знаменитаго трагика. Но можетъ быть не отъ издателя зависѣло припечатаніе этой статьи къ изданнымъ имъ сочиненіямъ Озерова, въ такомъ случаѣ, хотя и жаль, а дѣлать нечего. Но еще болѣе жаль, уже въ другомъ смыслѣ, что, помѣстивши въ выноскахъ къ мелкимъ стихотвореніямъ Озерова объясняющіе ихъ отрывки изъ стихотвореній современныхъ Озерову поэтовъ, и въ особенности изъ Жуковскаго «Послания къ Вяземскому и Пушкину», подающаго поводъ ду-

мать, что Озеровъ преждевременно погибъ жертвой гнусной зависти, отравившей его дни,—издатель или тотъ литераторъ, которому поручилъ онъ редакцію изданій, не присовокушилъ къ этому слѣдующей, весьма любопытной и поучительной, потому что справедливой, выписки изъ второй части «Воспоминаній Фаддея Вулгарина»:

«Въ пребываніе свое въ Петербургъ Озеровъ былъ облаканъ Государемъ Императоромъ и всѣми членами Августѣйшаго Семейства, отлично принимаемъ во всѣхъ знатныхъ домахъ, а особенно у А. Л. Нарышкина и А. С. Строгонова. Знаменитый Державинъ ласкалъ его и обходился съ нимъ, какъ съ другомъ; и въ домѣ А. Н. Оленина онъ былъ какъ родной». «Знавшіе хорошо Озерова: знаменитый баснописецъ И. А. Крыловъ, Н. И. Гнѣдичъ и археологъ Ермолаевъ, сказывали мнѣ, что Озеровъ былъ добрый и благородный человѣкъ, но имѣлъ несчастный характеръ: былъ подозрителенъ, недовѣрчивъ, щекокливъ, раздражителенъ въ высшей степени, притомъ мнительнъ и самолюбивъ до послѣдней крайности. Онъ олицетворялъ собой извѣстный латинскій стихъ *«irritabile genus vatum»*. Съ такимъ характеромъ невозможно быть счастливымъ ни на какомъ поприщѣ, а на литературномъ этотъ характеръ сущее бѣдство. Ни въ комъ люди не ищутъ столько слабостей, какъ въ человѣкѣ, объявившемъ притязанія на славу, т. е. на умъ! Люди все простятъ, но превосходства ума—никогда!... «До какой степени былъ самолюбивъ Озеровъ! Однажды онъ жестоко заболѣлъ съ горя, что его не пригласили къ А. Л. Нарышкину, когда Августѣйшему Семейству угодно было посѣтить его дачу, хотя всѣмъ извѣстенъ этикетъ, что при подобныхъ случаяхъ приглашаются только люди по выбору высшихъ почитателей. Каждый разъ, когда въ какомъ знатномъ домѣ, гдѣ Озеровъ былъ облаканъ, было какое-нибудь собраніе, на которое его не пригласили, онъ почиталъ себя обиженнымъ. Кто, встрѣчаясь съ нимъ, не восхищался его сочиненіями и не осматривалъ его похвалами, тотъ былъ врагъ его, то есть того онъ почиталъ врагомъ. Это почти общая болѣзнь всѣхъ поэтовъ, болѣзнь воображенія, которая, какъ и каждый недугъ, отравляетъ жизнь и сводитъ въ могилу. Озеровъ въ высшей степени страдалъ этимъ недугомъ.—Разумѣется, тѣмъ блистательнѣй былъ успѣхъ трагедій Озерова, тѣмъ виднѣе были въ нихъ черныя пятна. Между стихами счастливыми и благозвучными есть стихи слабые, вялые, натянутые и даже смѣшные; между мыслями высокими, благородными есть мысли самыя обыкновенныя (*lieux communs*), доходящія даже до тривіальности, и между вѣчными, трогательными чувствами есть приторности или, какъ говорятъ французы: *marivaudage à l'eau de rose*. Все это въ свое время было замѣчено умной, острой, насмѣшливой молодежью, которая рада каждому случаю поохотать и позабавиться, и все это радовало тѣхъ, которые воображали, что торжество Озерова стѣсняетъ путь ихъ талантамъ, и тѣхъ, которымъ несносны были притязанія Озерова. Еслибъ онъ имѣлъ болѣе твердости и болѣе самостоятельности въ характерѣ, то не обращалъ бы вниманія на эти отдаленныя брызги, не могшія запятнать его славу, и, какъ умный человѣкъ, самъ долженъ бы признать великую истину, что человѣкъ не можетъ создать совершенства. А Озеровъ мучился! Въ свѣтѣ и въ литературѣ есть всегда услужливые пріатели, которые изъ усердія лавищаютъ васъ о всемъ непріятномъ для васъ, повторяютъ передъ вами, изъ дружбы, что говорено было дурного на вашъ

счетъ, доставляютъ вамъ писанья противъ васъ критики и эпиграммы! Это мухи и комары, которые мучатъ и терзаютъ васъ, потому что вы имъ нравитесь. Эти-то мухи и комары безпрестанно раздражали Озерова и доводили его до отчаянія. Онъ воображалъ, что онъ гонимъ, преслѣдуемъ завистью, а на дѣлѣ этого вовсе не было. Никто не гналъ и не преслѣдовалъ его. Всѣ люди, достойные уваженія, оказывали ему свое вниманіе и уваженіе, и если были насмѣшки, то въ отдаленіи, и онъ вовсе не вредилъ поэту... «Нѣтъ сомнѣнія, что у него были завистники, потому что это необходимыя спутники въ жизни истиннаго таланта; но еслибъ у Озерова не было клеветниковъ, то это означало бы, что поэмъ его не имѣли никакого достоинства и успѣха. Но вѣдь эти завистники всегда такъ ничтожны, такъ мелки, что человѣку съ умомъ и характеромъ не стоитъ даже обращать на нихъ вниманія! Ужели за нѣсколько эпиграммъ и пустихъ шутокъ не могла вознаградить Озерова любовь къ нему публики и уваженіе всѣхъ дорожившихъ народной славой? Самая заманчивая слава—это слава драматическаго писателя, и ян Расинъ, ии Кребильонъ, ии даже Шиллеръ и Гёте не наслаждались такимъ торжествомъ, какъ нашъ Озеровъ. Все это не могло однакожъ успокоить его и составить его счастья! Вездѣ ему видѣлись зависть и злоба! Нѣтъ никакого сомнѣнія, что это расположеніе зависѣло отъ состоянія его здоровья. Биографъ его и поэтъ, записавшіе исторію свое состраданіе объ участи поэта, погибшаго отъ *стрѣлы зависти*, были бы болѣе правы, еслибъ сказали, что онъ лишился жизни отъ болѣзни печени!»...

Смирдинское изданіе сочиненій Фонвизина теперь самое полное, потому что противу Салаевскаго изданія въ немъ помѣщена комедія «Коріонъ», найденная въ бумагахъ Озерова. Извѣстно, что одинъ журналистъ, не разсмотрѣвъ, что комедія эта съ концомъ, придрался къ ней конецъ собственной работы... Всѣ изданія Фонвизина, до 1830 года, не полны. Московскій книгопродавецъ Салаевъ купилъ у родственниковъ Фонвизина оригинальныя его рукописи, съ собственноручными его поправками и пополненіями, и издалъ ихъ подъ надзоромъ П. П. Бекетова, въ 1830 году, въ Москвѣ, въ четырехъ толстыхъ томахъ, въ большую восьмушку. Это было самое полное и самымъ добросовѣстнымъ образомъ редактированное изданіе. Въ 1838 году московскій книгопродавецъ Глазуновъ (Улитинъ) перепечаталъ четыре тома Салаевскаго изданія въ одну книгу, сжатой печатью, въ два столбца, въ четвертую долю листа. Изданіе это полно и исправно; но книга уродливо тонка въ отношеніи къ ея непомянутой длинѣ и ширинѣ. Все это, да съ прибалованіемъ трехъ-актной комедіи «Коріонъ» вошло въ небольшую, но уютную и плотную книжку Смирдинскаго изданія сочиненій Фонвизина. Изданіе Салаева стоило пятнадцать, а Глазунова—десять рублей ассигнаціями; изданіе А. Ф. стоитъ три рубля съ полтиной ассигнаціями.

Неизданными изъ литературныхъ трудовъ Фонвизина остаются теперь только переводъ стихами Вольтеровой «Альзиры», рукопись которой съ собственноручными поправками переводчика хра-

няется у А. Д. Черткова, да еще прозаическіе переводы:

1. Торгующее дворянство, противоположное дворянству военному, или два разсужденія о томъ, служить ли то къ благополучію государства, чтобы дворянство вступало въ купечество? съ прибавленіемъ особливаго о томъ же разсужденія Юсти. Спб. 1766.

2. Слово, говоренное по совершеніи Высочайшаго коронованія Императрицы Екатерины Вторыя въ публичномъ собраніи Императорскаго Московскаго университета, октября 3 дня 1762 года, профессоромъ Іоганомъ Готфридомъ Рейхелемъ, о томъ, что науки и искусства процвѣтають за щипщеніемъ и покровительствомъ владѣющихъ особъ и великихъ людей въ государствѣ. Переводъ съ нѣмецкаго. Москва. 1762.

3. Слово похвальное Марку Аврелію, сочиненіе Томаса, переводъ съ французскаго. Спб. 1777.

4. Іосифъ, въ десяти пѣсняхъ, соч. Витобе, перев. съ французскаго, двѣ части. Спб. 1790. Этой книги было шесть изданій.

5. Басни правоучительныя, съ изъясненіями барона Гольберга. Въ каталогѣ Смирдина означено только третье изданіе этой книги 1787 года.

6. Геройская добродѣтель, или жизнь Снеа, царя египетскаго, изъ таинственныхъ свидѣтельствъ древняго Египта взятая; сочиненіе аббата Террасона, переводъ съ французскаго. Четыре части. Москва. Первое изданіе въ 1762—1768, второе въ 1787—1788 годахъ.

7. Сидней и Силли, или благодареніе и благодарность, англійская повѣсть, сочиненіе Арнода, переводъ съ французскаго. Изданіе второе, въ Москвѣ, 1788 года.

Сверхъ того въ каталогѣ Смирдина поименовано слѣдующее оригинальное произведеніе Фонвизина, едва ли кому извѣстное изъ тѣхъ, кому не попадалась въ руки эта рѣдкая и курьезная книжка: «Жизнь нѣкотораго мужа, и переводъ куріозной души его чрезъ Стиксъ рѣку». Спб. 1791 г. Новое изданіе этого сочиненія, вышедшее въ 1802 году, называется такъ: «Жизнь нѣкоего аввакумскаго скитника, въ Брынскихъ лѣсахъ жительствовавшаго, и куріозный разговоръ души его при перевозѣ чрезъ рѣку Стиксъ». Любопытно было бы познакомиться съ этимъ оригинальнымъ произведеніемъ Фонвизина, и очень жаль, что его нѣтъ въ прекрасномъ Смирдинскомъ изданіи!

Что до его семи переводныхъ трудовъ, конечно они далеко не такъ интересны, какъ его оригинальныя произведенія, для большинства же публики они вовсе не интересны; но для людей, исторически изучающихъ русскій языкъ и литературу, они не лишены интереса, а для литераторовъ, бібліографовъ, критиковъ и журналистовъ могутъ быть необходимыми для справокъ. Право, не мѣшало бы ихъ издать хоть въ особой книгѣ для охотниковъ.

При Смирдинскомъ изданіи «Сочиненій Фонви-

зина» нѣтъ никакихъ примѣчаній, не говоря уже о біографіи автора. Жаль!

Полное собраніе сочиненій И. Крылова, съ біографіей его, писанной П. А. Плетневымъ. Три тома. Спб. 1847.—Жизнь и сочиненія Ивана Андреевича Крылова. Сочиненіе академика Михаила Лобанова. Спб. 1847.

Въ послѣднее время начали довольно часто появляться изданія сочиненій старыхъ нашихъ писателей. Это одно изъ самыхъ отрадныхъ явленій въ современной русской литературѣ, которое равно дѣлаетъ честь и литературѣ, и публикѣ. Въ то же время это фактъ, лучше всякихъ доказательствъ изобличающій крикуновъ и полуталантливыхъ рифмачей, которые утверждаютъ, будто теперь на Руси журналъ убилъ книгу, и книги уже не покупаются публикой... Намъ особенно радуется это обращеніе публики къ старымъ писателямъ. Сказать правду, о многихъ изъ нихъ знала она прежде только по наслышкѣ; исключеніе остается можетъ быть только за Крыловымъ. Теперь она хочетъ вновь познакомиться съ ними. Родилась потребность—явились и средства къ ея удовлетворенію, т. е. изданія сочиненій старыхъ писателей, почти всегда весьма дешевыя, и никогда очень дорогія, какъ прежде.

Изданія басенъ Крылова—давно уже не новость въ нашей литературѣ. Съ 1809 года по 1843 годъ ихъ издано было семьдесятъ семь тысячъ экземпляровъ! Но еще въ первый разъ является полное собраніе всѣхъ сочиненій Крылова: вотъ новость, и притомъ весьма приятная! Конечно его драматическіе опыты вообще слабы, а лирическія произведенія просто плохи, но вѣдь все же тѣ и другіе рѣзко характеризуютъ нравы людей и литературы своего времени, не говоря уже о томъ, что комедіи: «Модная Лавка» и «Урокъ Дочкамъ» и теперь еще многими считаются за отличныя произведенія русской драматургіи. Что же касается до его сатирическихъ статей въ прозѣ, наполнявшихъ нѣкогда издававшіеся имъ же журналы: «Почту Духовъ», «Зрителя», «Санктпетербургскій Меркурій»,—то въ нихъ много ума, соли, мѣстами даже жолчи, и вообще онѣ представляютъ собою гораздо больше интереса, нежели какъ можно ожидать этого. Берешь ихъ въ руки съ тѣмъ, чтобы перелистовать, а вышло этого со вниманіемъ прочтешь ихъ. Есть, правда, въ нихъ мѣста довольно скучныя, но они съ избыткомъ вознаграждаются характеристическими чертами нравовъ общества того времени. Есть и цѣлыя статьи, надъ чтеніемъ которыхъ не будетъ зѣваться.

Изданіе Крылова сдѣлано во всѣхъ отношеніяхъ прекрасно. Въ типографскомъ отношеніи нечего больше желать: не только чисто и опрятно, но красиво, даже изящно. Вышло обыкновеннаго, всѣмъ извѣстнаго портрета Крылова, представляющаго его уже старикомъ, издатели приложили превосходно сдѣланную литографію, представляющую

черты Крылова, когда ему было 43 года. Этот литографированный портрет снятъ съ живописнаго портрета, писаннаго профессоромъ академій художествъ Волковымъ въ 1812 г.

Одно только замѣтили бы мы противъ редакціонной части изданія: напрасно басни напечатаны во второмъ, а не въ первомъ томѣ, и еще болѣе напрасно предшествуютъ имъ оды и другіе лирическіе опыты, которые слѣдовало бы помѣстить за баснями, въ видѣ приложенія. Въдѣ басни все-таки главное между сочиненіями Крылова, и не будь басенъ, не было бы нужды издавать и всего остального. Впрочемъ не въ этомъ дѣло: Мы бы сдѣлали такъ, другіе сочли лучшимъ сдѣлать иначе, а сущность дѣла осталась та же. Но вотъ что насъ удивило: на заглавіи перваго тома выставлено слово: «проза», второго—«поэзія», а третьяго—«театръ». Противъ послѣдней классификаціи мы ни слова; но мы не понимаемъ, какъ можно прозѣ противопоставить поэзію, а не стихотворенія? Развѣ не бываетъ поэзіи въ сочиненіяхъ, писанныхъ прозой, и прозы въ сочиненіяхъ, писанныхъ стихами? Сплошь да рядомъ, особенно послѣднее. Послѣ этого и слово «театръ», выставленное на третьемъ томѣ, лишается всякой опредѣленности: такъ какъ въ немъ есть пьесы, и стихами, и прозой писанныя, то къ чему должны мы ихъ причислить?—Тѣ, которыя писаны стихами,—къ поэзіи, а тѣ, которыя писаны прозой,—къ прозѣ?.. Воля ваша, а для насъ подобная классификація отзывается старыми временами.

Однимъ изъ лучшихъ украшеній изданія сочиненій Крылова нельзя не признать приложенной къ нимъ статьи: «Жизнь и сочиненія Ивана Андреевича Крылова», мастерски написанной Плетневымъ. Это—критика-біографія, въ которой съ большимъ искусствомъ Крыловъ охарактеризованъ какъ баснописецъ и человѣкъ,—въ послѣднемъ отношеніи еще можетъ-быть лучше, нежели въ первомъ. Вгляды автора статьи на Крылова отличается оригинальностью и глубокомысліемъ, какъ эти видно сейчасъ же по одному уже вступленію:

«Въ лицѣ Ивана Андреевича Крылова мы видимъ въ полномъ смыслѣ русскаго человѣка, со всѣми хорошими качествами и со всѣми слабостями, исключительно намъ свойственными. Гений его, какъ баснописца, признанный не только въ Россіи, но и во всей Европѣ, не защитилъ его отъ обыкновенныхъ нашихъ неровностей въ жизни, посреди которыхъ русскіе иногда способны всѣхъ удивлять проникательностью и вѣрностью ума своего, а иногда предаются непростительному хладнокровію въ дѣлахъ своихъ. Судьба не благопріятствовала Крылову въ дѣтствѣ и лишила его тѣхъ пособій къ постепеннымъ успѣхамъ въ литературѣ и обществѣ, которыми другихъ надѣляютъ рожденіе, воспитаніе и образованіе. Но онъ, какъ бы наперекоръ счастью, впоследствии времени приобрѣлъ все, что необходимо писателю и гражданину. Онъ даже успѣлъ развить въ себѣ нѣсколько талантовъ, составляющихъ роскошь и для счастливо рожденнаго молодого человѣка. Побѣдивши первыя препятствія къ благополучію и удовольствіямъ жизни, онъ на время ослабилъ дѣятельность свою въ

расширеніи знаній и съ непонятнымъ равнодушіемъ провелъ нѣсколько лѣтъ почти безъ дѣла. Наконецъ снова и почти безсознательно принялся Крыловъ за тотъ родъ поэзіи, которому нинѣ обязаны безсмертіемъ своимъ. Удивительно всего, что ему суждено было начать славное свое поприще въ такіа лѣта, когда многіе перестаютъ писать сочиненія въ стихахъ, предпочитая имъ прозу. Между тѣмъ остался ли хоть легкій слѣдъ на этихъ трудахъ, что авторъ не во время приступилъ къ нимъ? Нѣтъ, разсматривая ихъ живость и красоты, получаешь убѣжденіе, что это тѣ неувыдающіе цвѣты поэзіи, которыми юность украшаетъ гения. И вотъ Крыловъ достигнулъ тогда истинной славы, всеобщаго уваженія, самой чистой къ нему привязанности тѣхъ, которые были къ нему близки и вполне оцѣнили даръ его. Счастье вознаградило его за всѣ лишенія молодости. Онъ былъ обезпеченъ на всю жизнь. Казалось, передъ любовательнымъ, тонкимъ и свѣжимъ умомъ его открылись всѣ пути къ безконечной дѣятельности литератора. Но онъ и своей поэзіей занимался только какъ забавой, которая скоро должна была наскучить ему. Безграничное искусство не влекло его къ себѣ. Дѣятельность современниковъ не возбуждала его участія. Онъ чувствовалъ выгоды и безопасность положенія своего и не оказывалъ ни одного покушенія расширить тѣсную раму своихъ умственныхъ трудовъ. Такъ одинъ успѣхъ и счастье усыпили въ немъ всѣ силы духа! Въ своемъ праздномъ благоразуміи, въ своей безжизненной мудрости онъ похоронилъ можетъ быть нѣсколько Крыловыхъ, для которыхъ въ Россіи много еще праздныхъ мѣстъ. Странное явленіе: съ одной стороны гений, по слѣдамъ котораго уже идти почти нигде, съ другой — недвижный умъ, шагу не переступающій за свой порогъ.»

Любопытное зрѣлище представляетъ собою Крыловъ, съ дѣтства мучимый бѣсомъ авторства и такъ долго ищущій настоящей дороги своему таланту! Что-то говорило ему, что у него есть талантъ, да только неизвѣстно, къ чему именно. И вотъ онъ пишетъ страшно плохія трагедіи, въ которыхъ является далеко ниже Сумарокова, пишетъ плохія оперы, плохія комедіи, изъ которыхъ однакомъ двѣ имѣли въ свое время огромный успѣхъ. Пишетъ онъ въ то же время сатирическія статьи, которыя уже ближе всего другого къ его таланту; но и въ нихъ онъ все еще не на своей настоящей дорогѣ, потому что свойственный ему родъ литературы только тотъ, въ которомъ онъ могъ быть первымъ; всякій же другой, въ которомъ онъ могъ играть только второстепенную или третью степенную роль, не могъ быть его родомъ. И только тридцати восьми лѣтъ отъ роду началъ писать Крыловъ басни, и тотчасъ же убѣдился, что это его настоящій родъ, и навсегда оставилъ свои попытки во всѣхъ другихъ родахъ.

Есть что-то общее въ этомъ упорномъ и безпокойномъ исканіи своего призванія между Крыловымъ и Беранже. Послѣдній очень рано понял, что его родъ — народная пѣсня; но сколько написалъ или намѣревался быть написанъ онъ поэмъ и драмъ прежде, нежели напалъ на свою настоящую дорогу! Но въ Беранже все это понятнѣе, чѣмъ въ Крыловѣ: Беранже—натура живая, страстная, подвижная; Крыловъ—натура тяжелая, сон-

ная, холодная, неповоротливая. И потому-то онъ какъ-будто для того только нашелъ и созналъ свое назначеніе, чтобы почти ничего не дѣлать для его выполненія. Впродолженіе тридцати лѣтъ написать онъ всего сто девяносто семь басенъ. Онъ писалъ ихъ какъ-будто нехотя, случайно; ему какъ-будто важнѣе было убѣдиться въ томъ, что онъ можетъ писать басни, нежели писать ихъ... Въ біографіи Крылова, писанной Плетневымъ, читатели найдутъ полную оцѣнку всѣхъ трудовъ Ивана Андреевича. Въ этомъ и состоитъ главное, существенное отличіе біографіи Крылова, писанной Плетневымъ, отъ біографіи Крылова, писанной Лобановымъ: послѣдняя интересна только тѣмъ, что въ ней есть нѣсколько анекдотовъ, нѣсколько чертъ жизни Крылова, которыхъ нѣтъ въ статьѣ Плетнева.

Говорить о басняхъ Крылова нѣтъ никакой нужды, потому что почти невозможно сказать о нихъ что-нибудь новое. Общее мнѣніе давно уже выговорилось о Крыловѣ, какъ баснописцѣ. Наши литераторы и критики, обыкновенно столь несогласные между собой въ сужденіяхъ о русскихъ писателяхъ, о Крыловѣ говорятъ всѣ одно и то же. Главная заслуга Крылова состоитъ конечно не въ правилахъ мудрости, будто-бы преподанныхъ имъ человечеству, а въ томъ, что въ этомъ бѣдномъ и фальшивомъ родѣ поэзіи, изобрѣтенномъ подъ именемъ басни въ XVII и XVIII столѣтіяхъ, онъ умѣлъ выказать все богатство яснаго, простого, положительнаго практическаго русскаго ума. Другими словами: высочайшее достоинство басенъ Крылова заключается въ томъ, что онѣ и по содержанию, и по изложенію, и по языку въ высшей степени русскія басни. Даже и въ переводахъ, и въ подражаніяхъ Крыловъ умѣлъ остаться русскимъ. Какъ истинно гениальный человѣкъ, онъ, подобно другимъ, не ограничился въ баснѣ басней, но придавъ ей жгучій характеръ сатиры и памфлета.

Слѣдующія слова біографа Крылова много говорятъ объ особенномъ свойствѣ его басенъ, и мы ими заключимъ нашу статью:

«Легкость, съ которой мы успокоиваемся на первой удачѣ, обнаруживаетъ въ насъ какое-то равнодушіе къ земнымъ благамъ, но вмѣстѣ и хладнокровіе къ общественнымъ интересамъ. Такъ какъ природа отличила Крылова самыми рѣзкими чертами національности, то и игра ихъ въ его образѣ поражаетъ насъ болѣе, нежели въ комъ-нибудь другомъ. Между тѣмъ, какъ писатель, онъ прямо русской своей природѣ былъ обязанъ тѣмъ превосходствомъ въ постиженіи духа нашей жизни и нашего языка, которое въ этомъ отношеніи поставило его у насъ на первомъ планѣ. Никого изъ нашихъ писателей нельзя поставить на одной съ нимъ линіи. Онъ придумывалъ рассказы столь естественные, столь простые и каждому понятные, столь несомнѣнные и очевидные, столь согласные съ нашей жизнью, обыкновеніями и привычками, что въ ихъ составѣ не оставалось и тѣни искусства, сочиненія или подготовленія. Видишь, чувствуешь, какъ дѣло начинается и происходитъ. На мысль не придетъ, что сочинитель повторяетъ старинную басню, известную уже всѣмъ народамъ, и прикрываетъ

ею общую истину. Рассказываемый имъ случай, повидимому только и могъ подобнымъ образомъ произойти у насъ. Онъ проникнуть духомъ нашей жизни и рѣчи.»

Повѣсти, сказки и рассказы казака Луганскаго. *Четыре части. Спб. 1846.*

Для литературныхъ успѣховъ, для пріобрѣтенія славы писателя въ наше время мало одного таланта; необходимо еще, чтобы талантъ отъ самой природы былъ означенъ печатью самостоятельности. Какъ нельзя править людьми, имѣя умъ, но не имѣя воли и характера, такъ нельзя быть настоящимъ писателемъ при помощи только безцвѣтнаго таланта. Оригинальность таланту сообщается угломъ зрѣнія, съ котораго представляется автору міръ, цвѣтомъ стеколъ, сквозь которыя отражаются въ глазахъ ума его всѣ предметы. Умъ одинъ у всѣхъ людей, и несмотря на то, русская пословица: «сколько головъ, столько умовъ», все-таки справедлива. Умъ — это духовное оружіе человѣка; оружіе это у всѣхъ людей одно, а каждый дѣйствуетъ имъ особенно, по своему. Мы исключаемъ отсюда людей, у которыхъ это оружіе или деревянное, или изъ дрянного желѣза: нѣтъ, сколько ни возьмете людей съ одинаково хорошимъ оружіемъ этого рода, вы увидите, что каждый изъ нихъ, не уступая остальнымъ въ искусствѣ дѣйствовать своимъ оружіемъ, все-таки дѣйствуетъ имъ болѣе или менѣе по своему. Писатель съ талантомъ, но безъ оригинальности, сочувствуетъ всему на свѣтѣ, ничему не сочувствуя въ особенности. Такой талантъ похожъ на человѣка, который говоритъ о себѣ, что онъ сгораетъ любовью къ человечеству, но что, несмотря на то, онъ никого въ жизнь не любилъ въ особенности, что никогда не было у него ни друга, ни пріятеля, ни брата, ни сестры, ни любовницы. Такой талантъ похожъ на великолѣпные ножи безъ сабли, на богатый сундукъ, въ которомъ ничего не положено. Онъ всегда готовъ писать о чемъ угодно и что хотите, но обыкновенно пишетъ всегда подъ чѣмъ-нибудь влияніемъ. И не мудрено: для кого всѣ предметы одинаково ясно видны, тотъ въ сущности не видитъ и не знаетъ ни одного. Безъ самобытности нельзя имѣть великаго таланта, а небольшой — въ такомъ случаѣ ничего не стоитъ.

Вглядываясь въ произведенія самобытнаго таланта, всегда находите въ нихъ признаки сильной наклонности, иногда даже страсти къ чему-нибудь одному, и по тому самому такой талантъ становится для васъ истолкователемъ овладѣвшаго имъ предмета. Онъ дѣлаетъ его для васъ доступнымъ и яснымъ, рождаетъ въ васъ къ нему симпатію и охоту знать его. Къ числу такихъ-то талантовъ принадлежитъ талантъ Даля, прославившагося въ нашей литературѣ подъ именемъ казака Луганскаго.

Въ чемъ же заключается особенность его та-

ланта? Объ этомъ мы пока не будемъ говорить, а скажемъ, въ чемъ заключается господствующая наклонность, симпатія, любовь, страсть его таланта. Заключается все это у него въ русскомъ человѣкѣ, русскомъ бытѣ, словомъ,—въ мѣрѣ русской жизни. Но что жъ тутъ оригинальнаго — скажутъ намъ,—мало ли людей, которые не меньше Дала и всякаго другого любятъ Русь и все русское... Отвѣчаемъ: очень можетъ быть; но мы говоримъ о Далѣ, какъ о человѣкѣ, который самымъ дѣломъ показалъ и доказалъ эту любовь, какъ писатель. Вѣдь легко писать возгласы, исполненные хвалы Россіи и ненависти ко всему не русскому; но это еще не значить любить Русь и все русское. Другой и дѣйствительно любить ихъ, да нѣтъ у него достаточно таланта, чтобы любовь его отразилась въ мертвой буквѣ и зажгла ее тепломъ и свѣтомъ жизни... Любовь Дала къ русскому человѣку—не чувство, не отвлеченная мысль: нѣтъ! это любовь дѣятельная, практическая. Не знаемъ, потому ли знаетъ онъ Русь, что любить ее, или потому любить ее, что знаетъ; но знаемъ, что онъ не только любить ее, но и знаетъ. Къ особенности его любви къ Руси принадлежитъ то, что онъ любить ее въ корню, въ самомъ стержнѣ, основаніи ея, ибо онъ любитъ простаго русскаго человѣка, на обиходномъ языкѣ нашемъ называемаго крестьяниномъ и мужикомъ. И—Боже мой!—какъ хорошо онъ знаетъ его натуру! онъ умѣетъ мыслить его головой, видѣть его глазами, говорить его языкомъ. Онъ знаетъ его добрыя и дурныя свойства, знаетъ горе и радость его жизни, знаетъ болѣзни и лѣкарства его быта...

И зато въ нашей литературѣ нашлось довольно критиковъ-аристократовъ, которыхъ оскорбила, зацѣпила за живое эта любовь Дала къ простонародью. Какъ-де, въ самомъ дѣлѣ, унижать литературу изображеніемъ грязи и вони простонародной жизни? Какъ выводить на сцену чернь, сволочь, мужиковъ-вахлаковъ, бабъ, дѣвокъ? Это аристократическое отвращеніе отъ грязной литературы деревень очень остроумно выразилъ одинъ каррикатуристъ-аристократъ, изобразивъ молодого автора одной прекрасной повѣсти изъ крестьянскаго быта роющимъ въ помойной ямѣ...

Положимъ, господа, этотъ мѣръ дѣйствительно не отличается особенной опрятностью, чуждъ всякой образованности и далеко отъ большого свѣта; но вѣдь вы же сердитесь, когда изображаютъ все васъ же, да васъ; вы же говорите, что чиновники да чиновники и монотонно, и пошло?... «Какъ, да развѣ мы чиновники?—Мы литераторы, мы артисты, мы распространяемъ въ публикѣ изящный вкусъ и благородный тонъ большого свѣта...» Будьте вы, господа, чѣмъ хотите, служите или не служите вовсе, но вы—чиновники, вы—люди одного изъ среднихъ слоевъ общества, вы отъ большого свѣта гораздо дальше, нежели эти мужики въ заскорузлыхъ кожаныхъ рукавицахъ, сермяжныхъ балахонахъ и въ смазанныхъ дегтемъ сапожникахъ, а всего чаще въ лаптяхъ... Истинный

аристократъ, настоящій свѣтскій человѣкъ никогда не станетъ брезгать мужикомъ, никогда не побоятся замараться грязью его жизни тѣмъ, что будетъ смотрѣть на нее или изучать ее... Эта боязнь свойственна только полубарамъ, полугосподамъ, выскочкамъ, которые еще не успѣли забыть, что такое грязь... Известное дѣло, что дворовый человѣкъ больше ломается надъ мужикомъ, нежели тотъ, кому принадлежатъ они оба. Въ чиновникахъ, мѣщанахъ, купцахъ больше спѣси, чиновничанія, церемонности, презрѣнія ко всему низшему, подобострастія ко всему высшему, нежели въ высшемъ и низшемъ слояхъ общества... Для многихъ ясно также, что въ необразованномъ мужикѣ иногда бываетъ больше врожденнаго достоинства, нежели въ образованныхъ людяхъ среднихъ сословій.

Но подобные люди не стоятъ опроверженій. Мужикъ—человѣкъ, и этого довольно, чтобы мы интересовались имъ такъ же, какъ и всякимъ баринкомъ. Мужикъ-нашъ братъ по Христу, и этого довольно, чтобы мы изучали его жизнь и его бытъ, имѣя въ виду ихъ улучшеніе. Если мужикъ не ученъ, не образованъ,—это не его вина... Ломоносовъ родился мужикомъ и могъ бы и умереть мужикомъ, но обстоятельства помогли ему показать міру, что иногда кроется въ глубинѣ мужицкой натуры, чѣмъ можетъ иногда быть мужикъ. Образованность—дѣло хорошее, что и говорить; но, Бога ради, не чваньтесь ею такъ передъ мужикомъ: почему знать, что при вашихъ внѣшнихъ средствахъ къ образованію онъ далеко бы оставилъ васъ за собой. Притомъ же дорога истинная образованность, а ваша, господа, заставляетъ умныхъ людей краснѣть за образованность и гнѣшаться ею...

Сочиненія Дала можно раздѣлить на три разряда: русскія народныя сказки, повѣсти и рассказы и физиологическіе очерки. Сказокъ у него особенно много. Мы, признаемся, не совсѣмъ понимаемъ этотъ родъ сочиненій. Другое дѣло—вѣрно записанныя подъ диктовку народа сказки: ихъ собирайте и печатайте, и за это вамъ спасибо. Но сочинять русскія народныя сказки или передѣлывать ихъ—зачѣмъ это, а главное—для кого?—Вѣдь простой народъ не прочтетъ, даже не увидитъ вашей книги, а для образованныхъ классовъ общества—что такое ваши сказки?... Съ такими мыслями взяли мы читать сказки Дала; но если, прочтя ихъ, мы не переѣнили такихъ мыслей, то значительно смягчили ихъ строгость, по крайней мѣрѣ въ отношеніи къ Далю. Онъ такъ глубоко проникъ въ складъ ума русскаго человѣка, до того овладѣлъ его языкомъ, что сказки его—настоящія русскія народныя сказки... Поэтому писать ихъ былъ для него великій соблазнъ, и какъ онъ много имъ и теперь нравятся, и мы не обойдемъ ихъ добрымъ словомъ, не попрекаемъ ихъ рожденіемъ, хотя и не пожелаемъ имъ дальнѣйшаго размноженія...

Въ повѣстяхъ и рассказахъ своихъ Дала яв-

ляется человеком бывалымъ. И въ самомъ дѣлѣ, гдѣ ни бывалъ онъ? Онъ участвовалъ въ польской кампаніи и въ хивинской экспедиціи, онъ былъ въ Молдавіи, въ Валахіи, въ Бессарабіи; Новороссія съ Крымомъ знакомы ему какъ нельзя больше, а Малороссія — словно родина его... Онъ знаетъ, чѣмъ промышляетъ мужикъ Владимірской, Ярославской, Тверской губерній, куда ходитъ онъ на промыселъ и сколько зарабатываетъ... Даль — это живая статистика живого русскаго народонаселенія... Между повѣстями его есть не совсѣмъ удачныя, каковы напр. «Савелій Грабъ», «Мичманъ Поцѣлуйевъ», «Вѣдовикъ»... Онъ скучны въ пѣломъ, но въ подробностяхъ встрѣчаются драгоценныя черты русскаго быта, русскихъ нравовъ. Многіе рассказы очень занимательны, легко читаются и незамѣтно обогащаютъ васъ такими знаніями, которыя, вѣдь этихъ рассказовъ, не всегда можно приобрести и побывавши тамъ, гдѣ бывалъ Даль. Такъ въ рассказахъ: «Майна», «Викей и Мауляна» знакомитъ онъ насъ съ нравами и бытомъ кайсаковъ; въ «Цыганкѣ» — съ молдавской цивилизаціей и положеніемъ цыганъ въ тамошнемъ краѣ; въ «Болгаркѣ» — съ патриархальными нравами патриархальнаго болгарскаго племени, мало уступающими въ дикости патриархальнымъ кайсацкимъ нравамъ. Вообще, гдѣ основа рассказа проще, малосложнѣе, менѣе запутана, тамъ и рассказъ выходитъ лучше. Къ лучшимъ рассказамъ принадлежатъ, по нашему мнѣнію, «Хиѣль» «Сонъ и Явь» и «Вакъ Сидоровъ Чайкинъ»...

Въ фیزیологическихъ очеркахъ своихъ Даль является уже не просто бывалымъ, умнымъ, наблюдательнымъ человекомъ и даровитымъ литераторомъ, но еще художникомъ... Въ самомъ дѣлѣ, для того, чтобы написать «Дворника», «Деньщика» и «Колбасники и Бородачи», мало наблюдательности и самаго строгаго изученія дѣйствительности: нуженъ еще элементъ творчества. Иначе изображенія дворника, деньщика и купцовъ съ купчихами и купеческими дочерьми не являлись бы въ статьяхъ Даля типами, не поражали бы своей живой, внутренней вѣрностью дѣйствительности, не врѣзывались бы навсегда и такъ глубоко въ памяти того, кто прочелъ ихъ разъ... Ихъ можно не только читать, но и перечитывать, и каждый разъ будутъ они казаться все лучше и лучше.

Намъ кажется, что Даль, пиша русскія сказки, повѣсти и рассказы, искалъ настоящей дороги для своего таланта, а написавши «Дворника», «Деньщика», «Колбасники и Бородачи», нашелъ ее... Это подтверждается отчасти повѣстью «Вѣдовикъ»: въ ней мы видимъ какъ бы въ зародышѣ то лицо, которое такъ полно и богато, такъ ясно и рѣзко обозначилось потомъ въ «Деньщикѣ». Какъ бы то ни было, но фیزیологическіе очерки Даля считаемъ мы перлами современной русской литературы, и желаемъ и надѣемся, что теперь Даль обратитъ свой богатый и сильный талантъ преимущественно на этотъ родъ сочиненій, не теряя болѣе времени на сказки, повѣсти и рассказы...

Тереза Дюнойе. Романъ *Евгенія Сю*. Переводъ В. М. Строева. Спб. 1847. Четыре части.

Матильда, записки молодой женщины. Сочиненія *Евгенія Сю*, автора *Парижскихъ Тайнъ и Вѣчнаго Жиды*. Переводъ съ французскаго, пересмотренный и исправленный В. Строевымъ. Спб. 1846—1847. Тринадцать частей.

Сынъ тайны (Le Fils du Diable). Романъ Поля Феваля. Спб. 1847. Два тома, восемь частей.

Иезуитъ. Характеристическая картина изъ (?) первой четверти восемнадцатаго столѣтія. Соч. К. Шпидлера. Переводъ къ немецкаго. Спб. 1847. Три части.

Романъ и повѣсть овладѣли въ наше время литературой, или вовсе вытѣснивъ, или оттѣснивъ на задній планъ всѣ другіе ея роды. Можно сказать безъ большаго преувеличенія, что подъ литературой въ наше время разумѣются романъ и повѣсть. Оставляя на время въ сторонѣ разницу между романомъ и повѣстью, будемъ то и другое разумѣть подъ однимъ первымъ именемъ, такъ какъ повѣсть есть не что иное, какъ видъ романа. Романъ выходитъ отдѣльно, — и если онъ хоть сколько-нибудь хорошъ или дуренъ въ любимомъ вкусѣ времени, — онъ будетъ имѣть успѣхъ, не залежится въ книжныхъ лавкахъ, а его авторъ и съ извѣстностью, и съ именемъ. Журналъ просто не можетъ существовать безъ романа. И добро бы еще журналъ въ нашемъ русскомъ смыслѣ, т. е. то, что въ Европѣ называется «обозрѣніемъ» (revue); итъ! настоящій журналъ, то, что у насъ называется газетой, уже не можетъ поддерживаться только одной политикой, которая всѣхъ такъ интересуеъ и волнуетъ, къ которой всѣ такъ ненасытно жадны. Въ фѣлетонахъ этихъ журналовъ печатаются длинные романы, и терпѣливые читатели впродолженіе года, а иногда и слишкомъ, довольствуются двумя или много тремя главами «интереснаго» романа въ недѣлю, и каждый изъ нихъ пуще всего боится умереть прежде, нежели успѣетъ прочесть его послѣднюю заключительную главу, для пущей важности обыкновенно называемую «эпизодомъ»... Но вотъ и эпизодъ прочтенъ — глядь, въ слѣдующемъ, а иногда и въ томъ же листкѣ начало новаго романа — и опять трепещетъ за свою жизнь бѣдный читатель впродолженіе года, вплоть до вожделѣннаго эпилога... Журналы набили страшныя цѣны на романы, и теперь иной бездарный писака, вроде Поля Феваля напимѣръ, получаетъ можетъ-быть тѣ же суммы, которыя назадъ тому лѣтъ тридцать казались баснословно-огромными, когда дѣло шло о романахъ отца и творца новѣйшаго романа, великаго и гениальнаго Вальтера-Скотта... Не только люди съ замѣчательнымъ дарованіемъ, какъ Эженъ Сю, или съ какимъ-нибудь дарованіемъ, какъ Александръ Дюма, даже люди вовсе безъ дарованія, какъ уже упомянутый нами Поль Феваль, продаютъ по контрактамъ свое вдохновеніе или свой задоръ, свой талантъ или свою бездарность, словомъ, свою дѣятельность на столько-то лѣтъ такому-то журналу. О деньгахъ тутъ спору нѣтъ:

онѣ считаются тутъ десятками тысячъ и восходятъ до сотенъ тысячъ—только пишете, пишете какъ можно больше, пишете день и ночь, пишете въ за двонхъ, за тронхъ, а не станеть васъ на это одного, найдите себѣ сотрудниковъ, устройте фабрику... Что деньги—деньги вздоръ, дѣло—романъ, за романъ мы не пожалѣемъ денегъ и будемъ подписываться на журналы, лишь бы въ ихъ фѣльетонахъ тянулись безконечные романы... Что же за чародѣй этотъ романъ? Въ чемъ заключается причина его владычества надъ грамотными массами? О чемъ онъ имъ говорить, чему ихъ учить, чѣмъ прельщать?

Романъ порожденъ рыцарскими временами, какъ и романсъ. Романское нарѣчіе, образовавшееся на югѣ Франціи, дало ему имя. Содержание его составляли рыцарскіе подвиги; тутъ, разумѣется, важную роль играли красавицы и волшебники. Между дѣйствительнымъ и мечтательнымъ міромъ не проводилось никакой черты, и чѣмъ нелѣпѣе былъ рассказъ, тѣмъ казался онъ вѣроятнѣе. Отъ такихъ-то романовъ пошѣлся благородный ламанчскій дворянинъ, обезсмертившій себя, благодаря несравненному гению Сервантеса, подъ именемъ донъ-Кихота. Потомъ наступилъ вѣкъ сантиментально-аллегорическихъ романовъ, изъ которыхъ особенно былъ знаменитъ «Романъ Розы». Впрочемъ полное торжество романа настало только въ XVIII вѣкѣ, не въ томъ смыслѣ, чтобы въ это время онъ получилъ опредѣленное и настоящее значеніе, а въ томъ, что онъ сдѣлался любимымъ родомъ словесности преимущественно передъ всѣми другими ея родами. Но еще гораздо прежде XVIII вѣка явилось нѣсколько замѣчательныхъ твореній въ этомъ родѣ. Геніальный Рабле,—этотъ Вольтеръ XVI вѣка, облекалъ сатиру въ форму чудовищно-безобразныхъ романовъ; и въ томъ же вѣкѣ великій Сервантесъ написалъ своего безсмертнаго «Донъ-Кихота», въ которомъ сатира явилась въ формѣ высоко-художественнаго романа. Въ XVII вѣкѣ Скарронъ попытался на изображеніе дѣйствительности, какъ понималъ ее веселый и циническій умъ его, въ своемъ «*Roman Comique*» *), который навсегда останется замѣчательнымъ произведеніемъ, какимъ по справедливости доселѣ считался.

Въ XVIII вѣкѣ романъ не получилъ никакого опредѣленнаго значенія. Каждый писатель понималъ его по своему. Ричардсонъ и Фильдингъ дѣлали изъ него картины частной семейной жизни, съ цѣлью установить для нея неизмѣняемыя моральныя правила, и потому онъ у нихъ былъ длиненъ, растянутъ, чопоренъ, поучителенъ и сухъ. Добрый нѣмецъ, Августъ Лафонтеиъ, плѣнялъ въ романѣ чувствительныя души приторно-сладенькими мѣщанскими картинами семейственнаго счастья въ нѣмецкомъ

вкусѣ. Французъ Дюкре-Дюмениль (*Ducray Du-menil* ¹⁾) рассказывалъ въ романѣ о дѣтяхъ, которыхъ рожденіе покрыто тайной, но которыхъ потомъ благополучно находятъ своихъ «дражайшихъ родителей», папенку и маменку, и дѣлаются богатыми и счастливыми. Англичанка Анна Радклиффъ, или Радклейфъ (*Radcliffe*), пугала въ романѣ воображеніе своихъ читателей явленіями мертвецовъ и призраковъ, которыхъ потомъ очень естественно объяснили тайными ходами и дѣрами въ замкахъ. Англичанинъ Левисъ (*Lewis*) угощалъ въ романѣ пылкое воображеніе своихъ читателей таинственными лицами, вроде выходцевъ съ того свѣта ²⁾. Нѣмецъ Шписъ сдѣлалъ изъ романа мистически-фантастически-аллегорическій рассказъ съ нравственной цѣлью. Многочисленное племя романовъ подъ фирмой: «автора Ринальдо-Ринальдини», досыта кормило публику удалыми и иногда великодушными разбойниками. Г-жи Жанлисъ (*Genlis*) и Коттеиъ (*Cottin*) прославились сантиментально-моральными романами, но у первой на главномъ планѣ была мораль и—ея неизбѣжная спутница—скука ³⁾. Не распространяясь ни объ авторѣ «Тайственной Урны», ни о романахъ Коцебу и не упоминая о прочихъ, менѣе важныхъ романистахъ и романахъ прошлаго вѣка,—скажемъ, что всѣ исчисленные нами романическія школы и издѣлія, несмотря на всѣ ихъ различія, совершенно сходны въ одномъ: всѣ они изображали дѣйствительность, жизнь и людей въ искаженномъ видѣ, такъ, чтобы начитавшійся ихъ и повѣрившій имъ молодой человѣкъ, вступая въ дѣйствительную жизнь, съ ужасомъ увидѣлъ наконецъ, что она діаметрально-противоположна тому понятію о ней, которое извлекъ онъ изъ своихъ любезныхъ романовъ. Это были сказки, тѣшившія воображеніе и фантазію и добросовѣстно обманывавшія юный и неопытный умъ. Однакожь были и пріятныя исключенія изъ общности этого явленія. Французъ Лесаажъ (*Lesage*), авторъ «Хромоногаго бѣса» и «Жиль-Блаза», именно тѣмъ и останется навсегда знаменитъ, что, при замѣчательномъ, хотя и не самобытномъ талантѣ (ибо большей частью заимствовалъ у испанцевъ), онъ изображалъ жизнь и людей такими, каковы они есть на самомъ дѣлѣ, а не такими, какими бы имъ слѣдовало (по личному мнѣнію автора) быть ⁴⁾. Къ одной категоріи принадлежать

¹⁾ Впрочемъ, Дюкре-Дюмениль принадлежитъ по времени и къ настоящему столѣтію: онъ родился въ 1761, а умеръ въ 1819 году.

²⁾ Левисъ родился въ 1773, а умеръ въ 1818, знаменитый романъ его «Монахъ» вышелъ въ 1796 г.

³⁾ *Stéphanie-Félicité Dugrest de St-Aubin, comtesse de Genlis* боролась въ своихъ романахъ съ энциклопедистами, называя себя *литераторомъ* (*homme de lettres*) и *чужеродомъ* (*gouverneur*) дѣтей герцога Орлеанскаго. Родилась въ 1746, умерла въ 1890 году. Это былъ замѣчательнѣйшій и забавнѣйшій *синій чулокъ* прошлаго вѣка. Она оставила болѣе *восемидесяти* сочиненій.

⁴⁾ Лесаажъ родился въ 1668, умеръ въ 1747 году. «Жиль-Блазъ» показанъ въ свѣтъ между 1715—1735 годами.

*) Знаменитый романъ Скаррона былъ переведенъ на русскій языкъ въ 1801 году, подъ негнѣнымъ заглавіемъ: «Смѣшныя повѣсти забавнаго Скаррона, съ описаніемъ его жизни и всѣхъ сочиненій»; въ 4-хъ частяхъ.

французъ Пиго-Лебрёнъ (Pigault Lebrun ¹⁾ и вѣмецъ Крамеръ (Gotlob Cramer): оба они съ манерой изображать дѣйствительность, отчасти цинической и преувеличенной въ наше время Поль-де-Кокомъ, соединяли иронию отрицанія, чего вовсе нѣтъ у послѣдняго. Гораздо замѣчательнѣе ихъ и со стороны таланта, и со стороны ироніи отрицанія два англичанина — Свифтъ (Swift), авторъ «Гулливерова Путешествія», и Стернъ (Sterne), авторъ «Тристрама Шанди» ²⁾. Нужно ли упоминать, что два вождя вѣка, Вольтеръ и Руссо, пользовались форкой романа: одной для выраженія своихъ идей отрицанія, другой для выраженія своихъ восторженныхъ идей о любви («Новая Элоиза») и о воспитаніи («Эмиль»? Но нельзя не упомянуть о романѣ, который написанъ обыкновеннымъ человѣкомъ, но которому, по его поэтической и психологической вѣрности, суждено безсмертіе: мы говоримъ объ «Histoire du chevalier Desgrieux et de Manon Lescaut» аббата Прево (Prevost d'Exiles ³⁾).

Во всѣхъ лучшихъ романахъ прежняго времени видно стремленіе быть картиной общества, представляя анализъ его основаній. Но это было только стремленіемъ; XIX-му вѣку, въ лицѣ Вальтеръ-Скотта, предоставлено было навсегда утвердить истинное значеніе романа. Въ эпоху величайшаго торжества своего великій шотландскій романистъ былъ, разумѣется, не понятъ. Всѣ думали, что вся тайна чрезвычайнаго ихъ успѣха заключается въ исторической вѣрности нравовъ и костюмовъ, — тогда какъ все дѣло заключалось прежде всего въ вѣрности дѣйствительности, въ живомъ и правдоподобномъ изображеніи лицъ, умѣніи все основать на игрѣ страстей, интересовъ и взаимныхъ отношеній характеровъ. Доказательствомъ справедливости нашего мнѣнія можетъ служить то, что наприхѣръ «Сенъ-Ронанскія воды» и «Ламмермурская Невѣста», не будучи нисколько историческими, тѣмъ не менѣе принадлежать къ лучшимъ романамъ Вальтеръ-Скотта. Не появивши этого, явилась толпа подражателей во всѣхъ европейскихъ литературахъ, и историческіе романы свирѣпымъ потокомъ низвергнулись на литературы всей Европы и затопили ихъ. Вальтеръ-Скоттовъ развелось вездѣ столько, что дѣвать было некуда. Но въ сущности не они, не эти Вальтеръ-Скотты, воспользовались новымъ широкимъ путемъ, проложеннымъ въ искусствѣ настоящимъ Вальтеръ-Скоттомъ. Только гений понимаетъ гения и пользуется правомъ преемственности отъ него продолженія великаго дѣла, потому что только гений умѣетъ отличить въ дѣлѣ идею отъ формы. Между романами Купера и Вальтеръ-Скотта столько же сходства, сколько между старой, исторической гражданственностью Англіи и юной, лишенной почвы пре-

даній, еще не установившейся цивилизаціей Сѣверо-Американскихъ штатовъ, сколько между бѣдной природой тѣснаго пространства, занимаемаго Великобританіей, и богатой природой неисходныхъ дѣвственныхъ пустынь Сѣверной Америки. А между тѣмъ нисколько не подражая Вальтеръ-Скотту, Куперъ больше и лучше его жалкихъ подражателей воспользовался открытой имъ новой великой дорогой въ искусствѣ. Въ исторіи искусства и литературы такъ же все преемственно, какъ и въ исторіи человѣчества, и никакъ нельзя сказать, чтобы Жоржъ Зандъ не былъ столько же обязанъ гению Вальтеръ-Скотта и Купера, сколько этотъ послѣдній первому, а между тѣмъ что же есть общаго между романами Жоржъ Занда и романами Вальтеръ-Скотта и Купера?...

Жоржъ Зандъ есть, безъ сомнѣнія, первый поэтъ и первый романистъ нашего времени. За его романами, не безъ основанія, утверждено названіе «соціальныхъ», какъ за романами Вальтеръ-Скотта было съ меньшимъ основаніемъ утверждено названіе «историческихъ». Не нужно особенно пристально вглядываться вообще въ романы нашего времени, сколько-нибудь запечатлѣнные истиннымъ художественнымъ достоинствомъ, чтобы увидѣть, что ихъ характеръ по преимуществу соціальный. Довольно указать на романы англичанина Диккенса, обладающаго талантомъ высшаго разряда; а у насъ, въ Россіи, — на произведенія автора «Мертвыхъ Душъ», даващаго живое общественное и глубоко-національное направленіе новой литературѣ своего отечества... Содержаніе романа — художественный анализъ современнаго общества, раскрытіе тѣхъ невидимыхъ основъ его, которыя отъ него же самого скрыты привычкой и безсознательностью. Задача современнаго романа — воспроизведеніе дѣйствительности во всей ея нагой истинѣ. И потому очень естественно, что романъ завладѣлъ, исключительно передъ всѣми другими родами литературы, всеобщимъ вниманіемъ: въ немъ общество видитъ свое зеркало и черезъ него знакомится съ самимъ собой, совершаетъ великій актъ самосознанія.

«Какъ! — скажутъ намъ можетъ-быть: — и эти рассказы о небывалыхъ и невозможныхъ князьяхъ Рудольфахъ, рыцарствующихъ въ кабакахъ и убѣжищахъ нищеты и воровства, о вѣчномъ жидѣ и дрожайшей половинѣ его Иродіанѣ, обнимающихся черезъ Беринговъ проливъ, о бѣдномъ морякѣ, который превращается какимъ-то чудомъ въ графа Монте-Кристо, обладающаго билліонами, всѣ эти «тайны» — лондонскія, берлинскія, брусельскія, всѣ эти дѣти тайны или чорта, — неужели все это не вздорныя сказки, а глубокий анализъ, вѣрная картина современнаго общества?»

Мы охотно признали бы справедливость подобнаго возраженія, еслибъ оно намъ было сдѣлано; скажемъ болѣе: этотъ-то вопросъ и составляетъ предметъ нашей статьи. Но прежде, нежели мы къ нему обратимся, намъ нужно воротиться немного назадъ.

¹⁾ Родился въ 1753, умеръ въ 1835 году.

²⁾ Свифтъ родился въ 1667, умеръ въ 1745 году; Стернъ родился въ 1713, умеръ въ 1768 году.

³⁾ Родился въ 1697, умеръ въ 1763 году. Знаменитый романъ его появился въ 1732 году.

Еще прежде нежели романы Вальтеръ-Скотта получили всеобщую известность и классическій авторитетъ, романъ въ XIX вѣкѣ началъ уже измѣняться въ духѣ и направленіи и стремиться къ болѣе серьезному значенію. Революція измѣнила нравы Европы, сентиментальность прошлаго вѣка стала становиться смѣшной, а легкая каламбурная иронія и насмѣшливость уступать мѣсто то сарказму и юмору, то необузданному довѣрію къ фантастическимъ идеямъ. Переходная эпоха, не понимая себя и не находя въ себѣ самой никакой прочной опоры, бросилась искать спасенія въ средних вѣкахъ. Чистаго, наивнаго вѣрованія, свойственнаго вѣкамъ младенческаго состоянія человечества, не было и не могло быть въ цивилизаціи, обладавшей знаніемъ и прошедшей черезъ радикальное отрицаніе XVIII столѣтія. Это отразилось и на романѣ. Онъ не хотѣлъ больше быть сказкой для забавы празднаго воображенія; напротивъ, обнаружилъ притязаніе на рѣшеніе высшихъ вопросовъ мистической стороны жизни. И вотъ въ то время, когда Дюкре-Дюмениль и г-жа Жанлис досказывали еще свои запоздалыя сказки, ирландецъ Матюрень ¹⁾ изумилъ всѣхъ въ своемъ «Мельмотѣ Скитальцѣ» необузданностью дикой фантазіи, которая при лучшемъ направленіи могла бы произвести что-нибудь, озаглавленное истиннымъ талантомъ. Въ Германіи гениальный безумецъ Гофманъ возвысилъ до поэзіи болѣзненное разстройство нервъ. Обладая удивительнымъ юморомъ, при огромномъ талантѣ изображать дѣйствительность во всей ея истинности и казнить ядовитымъ сарказмомъ филлистерство и гофратство своихъ соотечественниковъ, — онъ въ то же время, какъ истинный нѣмецъ, призракамъ своего разстроеннаго воображенія, которыхъ искренно пугался и боялся и надъ которыми тоже искренно смѣялся, и фантастическимъ нелѣпостямъ принесъ въ жертву и свой несравненный талантъ, и безсмертіе имени своего въ потомствѣ... Артнстъ по натурѣ, поэтъ, живописецъ и музыкантъ, одаренный въ высшей степени художественнымъ смысломъ, — какъ только познакомился онъ съ романами Вальтеръ-Скотта, тотчасъ понялъ и то, что это истинныя произведенія творчества, и то, что его собственные романы — незаконнорожденные дѣти искусства. Тогда написалъ онъ лучшую свою повѣсть, такъ громко свидѣтельствующую объ огромности его таланта — «Мастеръ Иоганесъ Вахтъ», въ которой уже не было ничего фантастическаго. Казалось, онъ рѣшился идти новой дорогой, но было уже поздно: вскорѣ послѣ того онъ умеръ, истощенный безпорядочнымъ образомъ жизни ²⁾. Жанъ-Поль Рихтеръ въ «Титанѣ» и «Леваніи» съ замѣчательнымъ талантомъ выражалъ свои раздуто-идеальныя, натянуто-превыспренныя идеи о значеніи человека и жизни его. Къ этой же категоріи должно отнести Тика, романтика по убѣжденію и довольно

посредственнаго писателя, который впрочемъ писалъ во всѣхъ родахъ. Его «Витторіа Аккарамбони» есть попытка написать романъ уже въ духѣ нашего времени.

Еще въ концѣ прошлаго вѣка (1774) Гёте издалъ своего «Вертера» ¹⁾, — этого родоначальника слабыхъ, болѣзненныхъ натуръ, которыми всегда такъ обильны переходныя эпохи. «Вильгельмъ Мейстеръ», по своему дидактическому характеру, принадлежитъ къ типу «Эмиля» Руссо; но въ «Вертерѣ» Гёте какъ будто опередилъ время и разгадалъ болѣзнь будущаго вѣка. Поэтому его романъ нигдѣ на нашъ вѣкъ огромное вліяніе, — и «Вертеръ» явился потомъ въ «Рене» Шатобриана, въ «Оберманѣ» Сенанкура и отразился въ безчисленномъ множествѣ другихъ, болѣе или менѣе замѣчательныхъ или незамѣчательныхъ произведеній. Шатобрианъ не довольствовался «Аталой» и «Рене»: онъ изъ «Мучениковъ» сдѣлалъ романъ, довольно надутый и риторическій; но онъ былъ въ духѣ реакціи прошлому вѣку, и потому привелъ въ восторгъ возвратившуюся во Францію эмиграцію, которая горькимъ опытомъ познала, что для нея выгоды мистическій піэтизмъ, нежели вольтеріанское кощунство, недавно столь любимое ею... Надутый Дарлинкуръ въ своихъ нелѣпыхъ романахъ довелъ до карикатуры это романтико-піэтическое направленіе.

По мѣрѣ ознакомленія Франція съ европейскими литературами, которыхъ она прежде съ гордымъ невѣжествомъ не хотѣла знать, ея собственная литература подверглась вліянію всѣхъ другихъ литературъ, преимущественно англійской и отчасти даже нѣмецкой. Въ романѣ особенно отразилось двойственное вліяніе Вальтеръ-Скотта и Байрона. Тогда-то возникла такъ называемая «нестовая школа», любившая изображать адъ душевныхъ и физическихъ страданій человека. Всѣ страсти, всѣ злодѣяства, варварства, пороки, пытки, муки — были пущены въ дѣло. Демоническія натуры à la Вугон дюжинами рисовались въ качествѣ героевъ новыхъ произведеній. Это было ложно и натянуто, потому-что эти страшные Байроны въ сущности были предобрые и даже веселые ребята; но все это было не безъ смысла, не безъ таланта, не безъ достоинства, хотя и временнаго только.

Французы всегда умѣютъ остаться французами, подъ чьими бы и подъ сколькими бы вліяніями ни находились они. И потому эти «разочарованные» романы никогда не брались ни за отвлеченныя, ни за фантастическія идеи, но всегда нигдѣ въ виду общество, и если съ одной стороны страшно лгали на него, то съ другой — иногда говорили правду, а главное — поднимали важные общественные вопросы, — больше всѣхъ вопросовъ о паупе-

¹⁾ Родился въ 1782, умеръ въ 1824 году.

²⁾ Гофманъ родился въ 1776, умеръ въ 1822 г.

¹⁾ Шиллеръ тоже написалъ романъ: *Духовидецъ*, въ которомъ всѣ чудеса производятся впрочемъ очень естественно, посредствомъ обмана, жертвой котораго дѣлается не читатель, а герой романа. Романъ этотъ не достоинъ имени своего автора.

ризмъ. Наконецъ явился Жоржъ Зандъ, — и романъ окончательно сдѣлался общественнымъ или социальнымъ.

Какое бы ни было направление французскихъ романистовъ—Бальзака, Гюго, Жанена, Сю, Дюма и пр., въ первую эпоху ихъ дѣятельности, — оно имѣло свои хорошія стороны, потому-что происходило отъ болѣе или менѣе искреннихъ личныхъ убѣждений и невольно выражало духъ времени. Всѣ эти романисты писали съ французской живостью и быстротой, но однакожъ не на заказъ. Въ ихъ сочиненіяхъ видно было уваженіе и къ литературѣ, и къ публикѣ, и къ самимъ себѣ, потому что видны были слѣды мысли, соображенія, литературной отдѣлки. И вдругъ все это измѣнилось: потянулись романы одинъ другого длиннѣе, безобразнѣе, нелѣпнѣе. Если въ прежнихъ романахъ частенько нарушалось правдоподобіе, это происходило отъ ложности убѣжденія, которое все-таки было искренно и наивно. Но теперь не то: теперь авторъ сознательно искажаетъ истину, лжетъ съ умысломъ, придумываетъ нелѣпости съ намѣреніемъ. Ему лишь бы эффектъ былъ, а каковъ этотъ эффектъ — не его дѣло; онъ обращается съ своими читателями, какъ съ школьниками, какъ Далай-Лама съ своими поклонниками, морочить ихъ, какъ фокусникъ, выдающій себя за колдуна передъ толпой деревенскихъ простаковъ. За примѣрами ходить на далеко; они у всѣхъ въ свѣжей памяти. Но прежде надобно условиться въ значеніи романа, какъ поэтического произведенія. Романъ, какъ всякое художественное произведеніе, есть воспроизведеніе явленій дѣйствительнаго міра во всей ихъ истинѣ. Истина такъ же есть предметъ и цѣль искусства, какъ и философіи; вся разница въ средствахъ и приѣмахъ. Иначе, чѣмъ бы искусство было выше игры въ карты? Нѣтъ, оно было бы ниже всякаго ремесла, потому что ремесло полезно. Но еслибы романъ былъ и просто только сказкой для развлеченія отъ скуки, и тогда люди съ умомъ вправѣ были бы требовать отъ него, чтобы онъ, и въ качествѣ сказки, удовлетворялъ ихъ какъ людей съ умомъ, а не какъ глупцовъ. А чтó же можетъ быть умнаго въ невозможномъ? А развѣ возможны эти богатства частныхъ людей, превосходящія годовой бюджетъ богатѣйшаго изъ европейскихъ государствъ? Но вотъ примѣръ самый свѣжій. Въ послѣднемъ и остановившемся, кажется, надолго, къ крайнему огорченію его читателей и почитателей, романѣ своемъ «Записки Врача», Александръ Дюма показалъ такой неслыханный опытъ безстыднаго неуваженія къ здравому смыслу публики, который долженъ привести въ отчаяніе всѣхъ другихъ сказочниковъ. Извѣстно, что въ XVIII вѣкѣ былъ шарлатанъ, который выдавалъ себя за графа де Сентъ-Жермена и умѣлъ втереться ко двору Людовика XV. Этотъ шарлатанъ, какъ догадываются, принадлежалъ къ шайкѣ герметистовъ (обладающихъ алхимической тайной дѣлать золото), которой главой былъ нѣвѣстный авантюристъ Каза-

нова; онъ разглашалъ о себѣ, что умѣетъ дѣлать золото и что онъ жилъ во всѣ вѣка и помнить, какъ своихъ современниковъ, Сократа, Платона, Александра Македонскаго, Юлія Цезаря, не говоря уже о замѣчательныхъ лицахъ отъ Карла Великаго до XVIII вѣка включительно. Есть преданіе, будто за веселымъ ужиномъ онъ предрекъ своимъ собесѣдникамъ ужасы революціи, и когда они показали недоувѣрчивость къ его пророчеству, онъ пригласилъ ихъ посмотрѣть другъ на друга, — и они съ ужасомъ увидѣли себя обезглавленными, кромѣ одного, который въ послѣдствіи дѣйствительно успѣлъ увернуться отъ гильотины. Разумѣется, это преданіе одного сорта съ преданіемъ о «Вѣчномъ Жидѣ» и сочинено заднимъ числомъ. Но Александру Дюма того и нужно. Онъ вспомнилъ вкратцѣ о другомъ знаменитомъ шарлатанѣ XVIII вѣка, фокусникѣ, интриганѣ, пройдохѣ и мошенникѣ Калліостро, — и изъ этихъ двухъ, совершенно различныхъ, лицъ сдѣлалъ одно, предоставивъ ему лестную честь играть роль героя своего новаго романа. Этотъ герой ѣдетъ въ Парижъ верхомъ на арабскомъ жеребцѣ, сопровождаая карету, которая похожа на домъ и состоитъ изъ двухъ отдѣленій: въ одномъ устроена химическая лабораторія, и въ ней столѣтній старикъ, что-то вроде индійца или тибетца, занимается дорогой отыскиваніемъ жизненнаго элексира, дающаго человѣку безсмертіе; другое отдѣленіе какъ во всѣхъ каретахъ — въ немъ сидитъ прекрасная дѣвушка. Когда герою Александра Дюма нужно узнать или будущее, или что-нибудь такое, чего за отдаленностью нѣсколькихъ десятковъ или сотенъ миль онъ не можетъ видѣть и знать, — тогда онъ однимъ взглядомъ и размыренными движеніями рукъ приводитъ въ сомнамбулизмъ первую попавшуюся ему молоденькую и хорошенькую дѣвушку и повелительно дѣлаетъ ей нужные ему вопросы, а она, трепеща и страдая тѣломъ и душой, покорно отвѣчаетъ ему... Такимъ образомъ, посредствомъ магнетическаго вліянія, онъ влюбилъ въ себя красавицу, обреченную монастырю и уже постриженную, и увелъ ее изъ монастыря сквозь стѣны, запертыя на замки ворота, мимо караульныхъ... Ему все возможно—на то онъ и герой... Въ это время ѣхала изъ Вѣны въ Парижъ австрійская эрцъ-герцогиня, Марія-Антуанетта, къ своему жениху, будущему королю Франціи, Людовику XVI. На дорогѣ вздумалось ей заѣхать къ одному разорившемуся маркизу (т. е. Александру Дюма вздумалось вложить ей это желаніе). Маркизъ ничего не предчувствуетъ, но герой романа, остановившійся на ночь въ его развалившемся замкѣ, рассказываетъ ему это. Прѣхала принцесса—принять ее негдѣ, угостить нечѣмъ. Но для нашего героя это не затрудненіе, а пустяки: махнулъ рукой—и на дворѣ, подъ липами, явилась великолѣпная палатка, а въ ней—великолѣпно сервированный столъ съ чуднымъ завтракомъ: бѣлье тоньше паутины, бѣлье снѣгу, золото, серебро, фарфоръ, хрусталь... Герой ловко набивается на честь быть

представленнымъ, въ качествѣ колдуна, принцессѣ. Чтобы убѣдиться въ его чародѣйствѣ, она требуетъ, чтобы онъ предсказалъ ей ея будущую участь. Поломавшись, онъ согласился; всѣ вышли изъ палатки, колдунъ сталъ смотрѣть въ графинъ съ какой-то жидкостью и показывать его принцессѣ: Александръ Дюма не открылъ своихъ читателямъ, что увидѣла тамъ принцесса, но когда, услышавъ крикъ ея, свита вбѣжала въ палатку, принцесса лежала на полу безъ чувствъ, а колдунъ и слѣдъ простылъ, словно сквозъ землю провалился... Понятно, что онъ предрекъ ей событія 93 года, столь плачевныя для королевской фамиліи. Извѣстно достоверно, что Маріи Антуанеттѣ никто подобнаго предсказанія не дѣлалъ; но если Александръ Дюма давно уже отрекся начисто отъ здраваго смысла, какъ унижительной для гения препоны, то что ему послѣ этого исторія—къ чорту ея!.. Приѣхавъ въ Парижъ, онъ посредствомъ магнетизирования своей красавицы (которая было улепетнула отъ него, но которую онъ опять съумѣлъ вырвать изъ монастыря, гдѣ настоятельница была дочь Людовика XV) узнаетъ все, что дѣлается въ Парижѣ, и словно кашу варить въ химической кастрюлѣ кусокъ золота для кардинала Рогана въ его присутствіи,—кусокъ, цѣною въ триста тысячъ франковъ... Дальнѣйшихъ фокусовъ-покусовъ интереснаго героя мы не знаемъ, затѣмъ, что романъ остановился, какъ по причинѣ путешествія автора въ Испанію, а оттуда, на казенномъ пароходѣ, въ Алжиръ, такъ и по причинѣ процесса, въ который вступался великій господинъ Александръ Дюма за одну изъ тѣхъ продѣлокъ на манеръ Калліостро, которыя отъ однихъ удостоиваются названія «геніальныхъ», а отъ другихъ... какъ бы это сказать повѣжливѣ?... ну, хоть—«безчестныхъ»... О, великій господинъ Александръ Дюма, о, достойный герой, о, любимое, балованное дитя нашего вѣка!—что-то еще наплетешь и напутаешь ты намъ въ своемъ романѣ, когда, вдохновленный штрафами, которые принужденъ будешь заплатить по приговору суда, или—чего вѣроятно съ тобою не будетъ—воспользовавшись уединеніемъ тюрьмы (которой бы ты, право, стоилъ!),—примешься ты вновь продолжать интересныя похождения своего интереснаго и достойнаго галерѣ героя?..

И вотъ такіе то романы теперь всѣми читаются съ жадностью, увеличиваютъ собою число подписчиковъ на политическіе журналы, доставляютъ своимъ производителямъ огромныя деньги; потомъ отпечатываются отдѣльно и по всей Европѣ расходятся въ немнѣшномъ числѣ экземпляровъ и наконецъ даютъ пищу и поддерживаютъ въ переводахъ даже нѣкоторые изъ нашихъ журналовъ, и, опять отдѣльно печатаемые, расходятся въ большомъ числѣ экземпляровъ!

Что это такое? Или снова насталъ вѣкъ Анни Радклиффъ и автора «Ринальдо Ринальдини» съ братіей? Или и въ самомъ дѣлѣ нашъ дряхлый вѣкъ впалъ въ умственное младенчество и не мо-

жетъ иначе вздремнуть послѣ сытнаго обѣда, какъ подъ однообразный лепетъ старой няни, рассказывающей ему разныя небывлицы?.. Или и въ самомъ дѣлѣ правъ негодующій поэтъ, который сказалъ, что

Насъ тѣшутъ блестящія и обманчивыя;
Какъ ветхая краса, нашъ ветхій міръ привыкъ
Морщины прятать подъ румяны...?

Не спѣшите обвинять нашъ вѣкъ—ему и такъ больно достается со всѣхъ сторонъ, и его только бранять, а никто не похвалить... А между тѣмъ, право, его есть за что и похвалить. Правда, онъ вовсе не рыцарь, не думаетъ нисколько ни о добродѣтели, ни о морали, ни о чести, и весь погруженъ въ приобрѣтеніе или, какъ у насъ ловко выражаются, въ благоприобрѣтеніе; правда, онъ—торгашъ, алтынникъ, спекулянтъ, разжившійся всѣми неправдами откупщикъ; но онъ очень уменъ и, что мнѣ больше всего нравится въ немъ, очень вѣренъ самому себѣ, логически послѣдователенъ... Онъ, видите ли, лучше своихъ предшественниковъ смекнулъ, на чемъ стоитъ и тѣмъ держится общество, и ухватился за принципъ собственности, впился въ него и душой, и тѣломъ, и развиваетъ его до послѣднихъ слѣдствій, каковы бы они ни были... Воля ваша, а тутъ нельзя не видѣть своего рода героизма логической послѣдовательности... И какъ ловко взялся онъ за это: изъ старой морали и изъ всего, чѣмъ думало держаться прежнее общество, онъ удержалъ только то, что пригодно ему, какъ полицейская мѣра, облегчающая средства къ «благоприобрѣтенію» и обезпечивающая спокойное обладаніе его сочными плодами... Чудный вѣкъ! нельзя довольно нахвалиться имъ! Его открытіе важнѣе открытія Америки и изобрѣтенія пороха и книгопечатанія, потому что открытая имъ великая тайна—теперь уже не тайна не для однихъ капиталистовъ, антрепренѣровъ и подрядчиковъ, словомъ, «приобрѣтателей», живущихъ чужими трудами,—но и для тѣхъ, которые для нихъ трудятся... И эти ужъ знаютъ, на чемъ міръ стоитъ, т. е. и они хотятъ читать романы...

И дѣйствительно, кто читаетъ эти романы? Въ старину чернь называлась у насъ «подлымъ народомъ»; благодаря образованности и просвѣщенію, это подлое названіе давно уже истребилось, а слово «чернь» удержалось. Но чернь есть вездѣ, во всѣхъ слояхъ общества; Пушкинъ указалъ намъ даже на свѣтскую чернь... Вездѣ есть эти ординарныя, дюжинныя натуры, которымъ физическая пища нужна самая деликатная, утонченная, а нравственная—самая грубая, безвкусныя издѣлія харчевенныхъ поваровъ вродѣ Александра Дюма съ братіей. Вы думаете, много читателей во Франціи у Жоржъ Занда? Вѣроятно гораздо меньше, нежели сколько ихъ есть у него въ сложности въ другихъ странахъ Европы и въ Америкѣ. И Жоржъ Занду журналисты платятъ большія деньги за печатаніе его романовъ въ фельетонѣ, но это больше для громкаго имени, и потому (мы знаемъ это

изъ достовѣрныхъ источниковъ) сильно пожимаются и наверстываютъ свою потерю продажей отдѣльно напечатаннаго того же романа. Вотъ другой примѣръ. Лучшій послѣ Жоржъ Занда романистъ во Франціи—Шарль Вернарь. Это чловѣкъ не гениальный, но съ замѣчательнымъ талантомъ, истинный поэтъ, а не эффектный сказочникъ. Легитимистъ по своимъ убѣжденіямъ, онъ этимъ иногда вредитъ себѣ, какъ поэту, но поэтической инстинктъ въ немъ такъ крѣпокъ, что отъ него часто достается своимъ и нерѣдко выставляеть онъ въ лучшемъ свѣтѣ чужихъ. Какъ всегда просто и естественны завязка, ходъ, развитіе и развязка его романовъ! Какъ хорошо выдержаны характеры, какъ вѣрно изображается современное французское общество! Вспомнимъ хоть послѣдній романъ его «Деревенскій дворянинъ»; въ немъ разсказаны происшествія двухъ или трехъ дней, до того простые, естественныя, обыкновенныя, что мудрено было бы пересказать ихъ на словахъ, а между тѣмъ, зачитавши этотъ романъ, нельзя отъ него оторваться, не кончивши его... Вотъ это талантъ! Но пользуется ли онъ хотя десятой долей извѣстности, какой пользуется напр. Александръ Дюма и подобные ему? Кто знаетъ его напримѣръ у насъ? А между тѣмъ всѣ его романы постоянно переводились въ «Отечественныхъ Запискахъ»,—журналѣ, который, какъ извѣстно, давно уже пользуется большимъ расходомъ.

Если грубыя и безвкусныя издѣлія вродѣ «Записокъ Врача» находятъ себѣ читателей, почитателей и восторженныхъ обожателей въ образованныхъ классахъ общества, сколько же должны находить они ихъ въ полуобразованныхъ и низшихъ классахъ? И дѣйствительно, романы Сю, Дюма, Сулье и т. п. съ жадностью читаются въ Парижѣ дворниками (portiers), преимущественно ихъ женами (portières), гризетками, лоретками и т. д., которые не читають романовъ Жоржъ Занда, находя ихъ не интересными и скучными.

У насъ многіе негодуютъ на то, что такими романами преимущественно наполняются наши журналы, видя въ этомъ какой-то вредъ и для нравовъ, и для литературы. Подобное мнѣніе намъ всегда казалоcь несправедливымъ. «Тысяча и одна ночь», или арабскія сказки, не болѣе вредны для нравовъ. А что касается до искаженія вкуса и упадка литературы — это еще болѣе напрасное опасеніе. Есть люди, которые уже родятся съ такимъ вкусомъ, который только такими романами и можетъ удовлетворяться: не будь ихъ, они ничего не читали бы. А читать хотъ и вздоръ, лишь бы безвредный, все же лучше, нежели играть въ карты или сплетничать. Что же касается до людей низшихъ классовъ общества, эти романы для нихъ—истинное благодѣяніе. Соотвѣтственно съ ихъ образованіемъ, эти романы для нихъ—художественныя произведенія, способныя развить и возвысить, а не исказить и огрубить ихъ понятія. Конечно у насъ не только дворники, но и швей-

ки еще не читають романовъ (образованіе послѣднихъ пока еще не хватаетъ дальше водевильныхъ куплетцовъ россійскаго издѣлія); но сколько же у насъ людей, которые по образованію — тѣ же швейки, а по положенію имѣють и время, и способности къ чтенію? Притомъ же, если чернь есть вездѣ, и въ высшихъ слояхъ общества, то и аристократія (природы) есть вездѣ, и въ низшихъ слояхъ общества. Иной переходитъ къ чтенію этихъ романовъ отъ «Вовы», «Еруслана» и «Георга Милорда Англичаго», а отъ этихъ романовъ—къ романамъ Вальтеръ-Скотта, Купера и ко всему, что иностранныя литературы и своя отечественная представляютъ лучшаго, и уже не возвращаются назадъ. А еслибъ и не такъ — что нужды, лишь бы читали!

Но если эти романы ни въ какомъ смыслѣ не могутъ быть вредны, напротивъ, во многихъ отношеніяхъ полезны, — изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобъ ихъ авторы заслуживали уваженіе или благодарность. Они тѣмъ не менѣе все-таки торгаши, фигляры, гаеры, потѣшающіе за деньги толпу, безъ всякаго уваженія къ самимъ себѣ. Они трудятся не для литературы, не для искусства, не для общества, а только для своихъ житейскихъ выгодъ. За что жъ ихъ уважать и благодарить? Волъ пасется на полѣ и, оставляя на немъ слѣды своего присутствія, способствуетъ его болѣшему плодородію на будущее лѣто, но кто за это поклонится ему?..

Грустнѣе всего, что къ этой шайкѣ сказочныхъ потѣшниковъ добровольно примкнулся писатель съ несомнѣннымъ и большимъ дарованіемъ. Мы говоримъ о знаменитомъ Эженѣ Сю. Въ его «Парижскихъ Тайнахъ» столько любви къ человѣчеству, благородныхъ инстинктовъ, столько страницъ, запечатлѣнныхъ признаками высокаго таланта! И между тѣмъ весь романъ основанъ на мелодрамѣ, столько неестественныхъ лицъ, особенно между отличающимися по части добродѣтели! Герой романа—лицо сказочное, невозможное, героиня—и приторна, и неестественна; поэтому эпилогъ, какъ неизбежное слѣдствіе ложной причины, бросается въ глаза своей пошлостью, приторной сантиментальностью, лицемерствомъ чувства, скукой, неестественностью, надутостью и фразѣрствомъ. Въ «Вѣчномъ Жидѣ» жѣстами поражаютъ читателя тѣ же яркія достоинства, какими блистають «Парижскія Тайны»; но недостатки уже во сто разъ поразительнѣе, нежели въ послѣднемъ романѣ. Важность іезуитовъ, сила ихъ вліянія мелодраматически преувеличена; это еще куда бы ни шло, по крайней мѣрѣ цѣль автора была хороша и похвальна; но къ чему припелъ онъ тутъ легенду о жидѣ и жидовкѣ? И что онъ ею сдѣлалъ?—насытивши всѣхъ, потому-что впалъ черезъ нее не только въ неестественность разсказа, но еще и въ риторическую надутость изложенія. А это чудовищно-огромное наслѣдство, въ 200 миллионѣвъ, охраняемое нѣсколькими поколѣніями одной и той же жидовской фамиліи? А приторныя близнецы-сестры,

Роза и Бланка, а страшный успѣхъ всѣхъ про-
дѣлокъ Родэна и мелодраматическая смерть всѣхъ
добродѣтельныхъ лицъ романа? Но всего и не
перечтешь! Затѣмъ же это «все» замѣшалось въ
произведение необыкновенно-даровитого писателя?
Затѣмъ, что нужно время и время для того,
чтобы писать хорошо и обходиться безъ нелѣпо-
стей, натяжекъ и эффектовъ, чтобы обдумывать
свое произведение прежде, нежели оно написано,
и потомъ обдѣлывать, исправлять, а мѣстами и
вовсе передѣлывать все написанное сгоряча, не-
ловкое, неровное, несообразное съ цѣлымъ. А
времени-то и нѣтъ у Сю: онъ контрактомъ обя-
зався поставять по цѣлому тому къ такому-то
сроку. Написавши главу перваго тома, онъ сей-
часъ же отсылаетъ ее въ типографію журнала, и
такимъ образомъ первая глава перваго тома должна
оставаться неизмѣняемой, хотя авторъ хорошенъко
не знаетъ, что онъ будетъ писать во второмъ
томѣ, а всѣхъ томовъ-то десять!... Итакъ, если
въ первой главѣ онъ допустилъ, можетъ-быть и
по необходимости, какую-нибудь нелѣпость,—онъ
уже на весь романъ связанъ этой нелѣпостью и
долженъ развивать ее во всѣхъ десяти томахъ,
какъ бы ни отвратительна казалась потому она
самому ему!... Всею алу корень—деньги. Эжену
Сю платятъ огромныя суммы, и естественно—за
это требуютъ, чтобы онъ работалъ за троихъ.
Сколько уже разъ останавливался онъ въ своихъ
работахъ, какъ останавливается водовозная ло-
шадь, не смотря на удары кнута, ибо чувствуетъ,
что ей надо остановиться и перевести духъ, или
сейчасъ же повалиться замертво... Итакъ, здо-
ровье, талантъ, литературная репутація,—все при-
несено въ жертву деньгамъ! Винить ли его за это?...
Не дай Богъ никому подражать ему, но я не чув-
ствую никакой охоты винить его, тѣмъ болѣе, что
и безъ меня за обвинителями дѣло не станетъ...
По моему, тутъ во всемъ виноваты fatum.

Что бы ни писалъ Эженъ Сю, всегда у него
есть что-то вродѣ мысли, какое-то стремленіе
рѣшить или по крайней мѣрѣ поставить на видъ
какой-нибудь нравственный социальный вопросъ.
Въ этомъ отношеніи онъ вѣренъ себѣ и въ двухъ
романахъ, которыхъ заглавіе выставлено въ на-
чалѣ нашей статьи. Героиня перваго романа, Те-
реза Дюнойе, страстно полюбила величайшаго не-
годяя, который, нисколько не любя ея, увѣрилъ
въ своей любви изъ разчета, потому что женитъ-
бой на ней думалъ поправить свои разстроенныя
обстоятельства. Чтобы вѣрнѣе достигъ цѣли, онъ
обманулъ ее, но когда увидѣлъ, что отецъ про-
гналъ Терезу и начисто отказался дать ей хоть
грошъ, онъ рѣшился изъ состраданія къ ней еще
нѣсколько времени обманывать ее. Она видитъ
все, страдаетъ, но вѣрять ему со всѣмъ упор-
ствомъ слѣпой страсти и сильнаго характера. Она
не перестала страстно любить его и тогда, какъ
вполнѣ убѣдилась въ его подлости. Ее любилъ
другой, спасъ съ ребенкомъ отъ голодной смерти,
перевезъ къ себѣ въ замокъ, противъ ея воли,

обезпечилъ участь ея ребенка, въ надеждѣ, что
она излѣчится наконецъ отъ своей несчастной
страсти къ негодяю и полюбитъ его; но онъ, не-
смотря на эту надежду, ничего отъ нея не требо-
валъ. Тереза видѣла его страданія, сознавала его
благородство и достоинство, была ему благодарна,
глубоко уважала его, такъ же, какъ ясно видѣла,
что первый предметъ ея уродливой любви—мерзавецъ,—и все-таки продолжала любить мерзавца... Мысль вѣрная, но не новая! Ее давно уже
прекрасно выразилъ аббатъ Прево въ превосходномъ романѣ своемъ «Манонъ Леско». Еще шире,
глубже и полнѣе развили эту мысль Жоржъ Зандъ
въ одномъ изъ лучшихъ романовъ своихъ «Леопольдъ
Леони». Тягаться Сю съ такими произведениями
конечно не подъ силу; но тѣмъ не менѣе романъ
его, не будучи художественнымъ созданіемъ, нѣтъ
бы свое значительное беллетристическое и лите-
ратурное достоинство, еслибъ въ него, какъ и во
всѣ романы Сю, не вмѣшалась мелодрама. Герой
романа, баронъ Эвентъ Кереллио, влюбился въ Те-
резу совершенно фантастически, заочно, т. е. онъ
влюбился въ портретъ какой-то женщины, по пре-
даніямъ надѣлавшей много ала его фамиліи, а по-
томъ влюбился въ Терезу, увидѣвъ, что она, какъ
портретъ—замѣтьте—былъ сожженъ въ каминѣ еще
въ дѣтствѣ Эвена, а явился вновь по волѣ рока.
Къ чему всѣ эти истертыя, пошлыя и тривиальныя
«роковыя» пружины, столь обольстительныя для
суетвѣрія старыхъ бабъ (а не женщинъ, потому-что
это не одно и то же) да для легковѣрія юныхъ
пансіонерокъ? Заключение романа—верхъ нелѣ-
пости и пошлости: помѣшанный рыбакъ, старый
суетвѣрный бретонецъ, Моръ-Надеръ, искренно
считающій себя колдуномъ и предсказателемъ,
давно уже предрекалъ Эвену, что онъ погибнетъ
въ волнахъ океана въ чорный для его фамиліи
мѣсяцъ (ноябрь),—и разъ во время прогулки въ
лодкѣ по морю едва съ умыслу не утопилъ Эвена
за то, что тотъ усомнился въ его дарѣ предсказа-
нія... И вотъ наши несчастныя жертвы любви,
послѣ смерти ребенка, рѣшаются въ чорный мѣ-
сяцъ оправдать предсказаніе Моръ-Надера—и по-
гибаютъ вмѣстѣ съ нимъ втроемъ... Удивительно
эффектно, но это-то и любить толпа, а деньги за
то и даются теперь, что любить толпа...

Почти на эту же тему написана и «Матильда».
Прежде всего это романъ длинный, длинный,
длинный, растянутый, монотонный и страшно скуч-
ный; потому что вообще прелюхой романъ, хотя
въ немъ и встрѣчаются изрѣдка довольно удачныя
страницы. «Матильда» предшествовала «Париж-
скимъ Тайнамъ» и имѣла, хотя и далеко не такую,
какъ эти послѣднія, но все же огромную успѣхъ.
Кромѣ отсутствія не только художественнаго, про-
сто литературнаго, беллетристическаго достоинства
въ изложеніи, въ романѣ этомъ авторъ обнару-
жилъ рѣдкое непониманіе того, что онъ дѣлалъ и
что бы ему должно было дѣлать, чтобы его про-
изведеніе не вовсе было чуждо правдоподобію

естественности. Изъ своей Матильды онъ сдѣлалъ какой-то идеалъ женщины, что-то вродѣ героини добродѣтели и страдальцу отъ злобы и развращенія свѣта; а на дѣлѣ выходитъ, что это женщина ограниченнаго ума, безъ характера, легковѣрная, скучная и несносная своей навязчивостью въ любви, своими пансионскими мечтами о счастьи вдвоемъ подъ соломенной кровлей,—и еще болѣе скучная и несносная своими вѣчными жалобами, слезами и хныканьемъ. Уже перегорѣвшая въ страстяхъ, испытанная горемъ жизни и тяжкими страданіями, она, видя, что молоденькая дѣвочка сдѣлалась больна на смерть отъ любви къ тому, котораго она, Матильда, безъ памяти любить и которымъ она горячо любима, рѣшается на самое нелѣпное по его безплодности и самое опасное по его слѣдствіямъ самоотверженіе. Она возвращается добровольно къ своему мужу, страшному негодяю и развратнику, и притворяется, что опять любить его, а между тѣмъ своего благороднаго и платоническаго обожателя наводитъ на мысль—жениться на дѣвочкѣ. Тотъ вдвойнѣ въ отчаяніи—и оттого, что мечты его на счастье рушились, и оттого, что любимая имъ женщина оказалась, по его мнѣнію, весьма основательному, пошлой женщиной, ибо могла сойтись вновь съ негодяемъ, давно заслужившимъ галеры: скажите, до женитьбы ли тутъ ему? И какъ въ этомъ положеніи навести его на подобную мысль. Но для Сю нѣтъ ничего невозможнаго; онъ храбръ—и не труситъ натяжекъ и неестественности. Какъ дуракъ, герой его женится на дѣвочкѣ и сталъ счастливымъ. Но общій ихъ всѣхъ врагъ тайно увѣдомилъ его жену, что она обязана своимъ замужествомъ самоотверженію Матильды,—и случилось то, что рано или поздно, такъ или иначе, а непременно должно было случиться, чѣмъ обыкновенно разрѣшаются подобныя самоотверженія: Эмма чахла, чахла да и умерла. Мы охотно соглашаемся, что безъ добраго и благороднаго сердца человѣкъ не можетъ быть способенъ на подобныя самоотверженія; но въ нихъ еще гораздо больше сердца участвуетъ экзальтированное воображеніе, глубоко скрытое самолюбіе, тайное желаніе рисоваться передъ другими и въ особенности передъ самимъ собою въ качествѣ героя добродѣтели. Такіе люди—враги своего и чужого счастья; даже и хорошія ихъ качества служатъ только ко вреду другихъ и ихъ самихъ больше всего. Вотъ какъ слѣдовало бы автору понять свою «Матильду»,—и на ея несчастной натурѣ, а не на злобѣ свѣта основать всѣ перенесенныя ею страданія. Тогда можетъ быть вышелъ бы болѣе или менѣе интересный романъ, а не скучная сказка.

Хуже всего даются Сю добродѣтельные лица. Почти всегда они у него и неестественны до смѣшного, и приторны до отвратительности. Къ числу такихъ лицъ принадлежитъ де Рошгюнь. Боже мой, что это за человѣкъ! Другъ бѣдныхъ и несчастныхъ, герой и левъ на войнѣ, мудрецъ даже въ салонѣ—и такъ говорить, словно по книгѣ чи-

таетъ, и никому не кажется смѣшнымъ! А еще больше портать романы Сю—преувеличеніе и театральные мелодраматическіе эффекты. Злодѣй его романа, Люгарто, еще довольно естествененъ самъ по себѣ, по его баснословное богатство, его всезнаніе чужихъ тайнъ и всемогущество въ преслѣдованіи многочисленныхъ жертвъ своихъ,—все это сильно отзывается арабскими сказками. Эффектовъ и *deux ex machina* въ «Матильдѣ»—бездна. Старуха Блондо, видя, что ея воспитанницу успѣли охладить къ ней, рѣшается умереть, выпрыгнувъ въ окно. Но это лицо необходимо автору въ дальнѣйшемъ развитіи романа: надо спасти его. Старуха начала прощаться съ своей восьмилѣтней питомицей, которая въ полночь спала крѣпкимъ дѣтскимъ сномъ. Старуха цѣлуетъ ребенка, плачетъ и громко говоритъ монологъ самой себѣ, потомъ бѣжитъ къ окну; но не бойтесь: дитя проснулось и удержало самоубійцу на краю пропасти... Какъ это трогательно!.. Уже замужнюю Матильду врагъ ея, Люгарто, хитростью увлекаетъ въ уединенный домъ, гдѣ всѣ слуги подкуплены и гдѣ ей за ужиномъ подаютъ вино, въ которое всыпанъ сильный усыпляющій порошокъ. Оставшись одна, она начинаетъ чувствовать дѣйствіе порошка; тутъ является къ ней ея палачъ и объявляетъ ей, что намѣренъ ее обезчестить... Но не бойтесь: вотъ вламываются ея защитники и мстители, и начинается мелодрама, достойная ярмарочныхъ балагановъ...

Одно лицо въ «Матильдѣ» очерчено съ талантомъ: это старая мать Семерена, дужа Урсулы; даже и эти два лица довольно хороши; но съ первымъ пріятно было бы встрѣтиться даже и не въ такомъ романѣ, какъ «Матильда».

«Сынъ Тайны»—замѣчательный романъ во многихъ отношеніяхъ. Когда модное платье франта красуется на его лакеѣ,—явный знакъ, что оно уже не модное, что мода смѣнилась. Когда бездарные писатели успѣваютъ въ какомъ нибудь модномъ родѣ литературы не хуже тѣхъ талантливыхъ писателей, которые ввели его въ моду,—явный знакъ, что этотъ родъ литературы или палъ, или близокъ къ паденію. «Сынъ Тайны» доказываетъ, что на модные романы уже сочинена риторика, и ихъ съ отличнымъ успѣхомъ можно писать по рецепту. У Поля Феваля нѣтъ ни ума, ни воображенія, ни страсти, ни этого мастерства увлекательно рассказывать даже вздоры, которымъ такъ владѣютъ французы и въ которомъ больше всего заключается тайна успѣха ихъ нелѣпныхъ романовъ. Въ романѣ Поля Феваля не встрѣтите ни одной изъ тѣхъ тонкихъ поражающихъ чертъ, ни одной изъ тѣхъ увлекательныхъ страницъ, которыя попадаютъ даже у Дюма въ самыхъ нелѣпныхъ его романахъ,—какъ напримѣръ сцены между Жильберомъ и Руссо въ «Запискахъ Врача». «Сынъ Тайны» это—нелѣпость на нелѣпости, вздоръ на вздорѣ. Все дѣло вертится на томъ, что три брата-младца уродились такъ похожими другъ на друга, что родная мать не отличила бы ихъ

одного отъ другого. Они посвятили всю жизнь свою на то, чтобъ отыскать законнаго наследника замка Блутгауптъ, сына ихъ дяди, похищеннаго въ дѣтствѣ врагами ихъ фамиліи, и отомстить этимъ врагамъ. И они во всемъ успѣваютъ: имъ покровительствуетъ сама судьба въ образѣ Поля Февала, какъ покровительствовала Телемаку богиня Паллада, въ образѣ Ментора. Поэтому для нихъ легко и возможно все, рѣшительно невозможное для другихъ смертныхъ. Ихъ безпрестанно сажаютъ въ тюрьмы, но выбраться изъ тюрьмы, когда пужно, — имъ ни почемъ. Когда въ замокъ Блутгауптъ собрались всѣ враги ихъ и завлекли туда свою жертву, братья немножко поопоздали явиться въ замокъ. Но ничего: они еще успѣютъ свое сдѣлать. На жертву направлена мортира — надо ее уничтожить, а высоко — не достанешь. Одинъ братъ влѣзъ на плечо другому, а рука все не достаетъ; нижній братъ началъ присѣдать подъ тяжестью верхняго — вотъ рухнула оба съ высокой стѣны въ бездну. Въ эту критическую минуту жестокой авторъ, по праву генія, которому законъ не писанъ, оставляетъ и братьевъ съ ихъ неразрушенной мортирой, и задыхающагося отъ ужаса читателя съ его нетерпѣніемъ, и начинаетъ новую главу, гдѣ переходитъ къ другимъ лицамъ своего интереснаго романа. Братья-удальцы уже работаютъ другое, а мортиру, какъ видно по ходу разсказа, они уничтожили — какъ? — это авторъ почелъ за нужное утаить отъ своихъ читателей, думая вѣроятно: много будете знать, скоро состарѣтесъ. Поль Феваль хорошо знаетъ натуру своихъ читателей — и зато онъ съ хлѣбцемъ... Въ наше время умный человекъ не умретъ съ голоду, если умѣетъ тѣшить или надувать тѣхъ, которые глупѣе его...

Авторъ «Иезуита», Шпиндлеръ, вѣкогда пользовался большою извѣстностью въ Германіи, какъ счастливый подражатель Вальтеръ-Скотта. Но теперь онъ пишеть въ модномъ родѣ. Куда бросились французскіе кони съ копытомъ, туда же поллелся и нашъ нѣмецъ съ клешней. Пока дѣйствіе его романа происходитъ въ Германіи — еще можно читать его; но какъ скоро перенесъ онъ его въ южную Америку — посыпались такіе мелодраматическіе эффекты, что мочи нѣтъ. Тутъ дикари дѣлаютъ нападеніе на селеніе обращенныхъ и мудро-управляемыхъ добродѣтельными священникомъ дикарей, кого перерѣзали, кого забрали въ плѣнъ, въ томъ числѣ и добродѣтельнаго пастора. Но онъ, поговоривъ съ ними съ часъ времени, убѣдилъ ихъ креститься и увелъ для поселенія на свое пенеліще. Тутъ кому не пропасть, всѣ находятся и другъ съ другомъ сходятся, хотя и необыкновеннымъ, но, по мнѣнію автора, возможнымъ образомъ. Къ концу романа герои соединяются законнымъ бракомъ и живутъ счастливо. Добродѣтель награждена, пороки наказаны, раскаяніе уважено. Только злодѣи-иезуиты урвались отъ заслуженной кары. Стало быть, все какъ слѣдуетъ.

Было время, когда переводъ всякаго иностраннаго романа на русскій языкъ составлялъ важную

новость въ литературѣ и давалъ пищу критикѣ и полемикѣ, а переводчику — всеобщую извѣстность. Время это давно прошло — и безвозвратно. Если бы кто-нибудь перевелъ теперь вполнѣ, съ подлинника, всего Вальтеръ-Скотта или всего Купера, — тотъ составилъ бы себѣ имя. Но перевести, даже порядочно, модный французскій романъ — теперь ничего не значить. На подобные подвиги никто не обратитъ вниманія, тѣмъ болѣе, что они относятся скорѣе къ промышленности, нежели къ литературѣ, — и если мы рѣшились говорить объ этихъ эфемерныхъ явленіяхъ книжной торговли, то потому только, что не о чемъ говорить, хотъ совсѣмъ выключай библиографію изъ журнала. Но старое обыкновеніе выставлять на переводныхъ романахъ имя переводчика опять входитъ и должно войти въ силу, потому что переводами большей частью занимаются люди, равно не знающіе ни того языка, съ котораго переводятъ, ни того, на который переводятъ, всего чаще послѣдній, слѣдовательно публикѣ нужно ручательство извѣстнаго имени; что переводъ удобенъ къ чтенію. Къ числу такихъ классическихъ именъ принадлежитъ имя Строева: оно безпрестанно выставляется на переведенныхъ съ французскаго романахъ то въ качествѣ переводчика, то въ качествѣ пересмотрщика чужого перевода, въ обоихъ случаяхъ какъ вѣрное ручательство за достоинство перевода. Для насъ вѣрность этого ручательства немного — какъ бы сказать — сомнительна...

Два Ивана, два Степаныча, два Котылькова. Романъ. Сочиненіе Н. Кукольника. Спб. 1846.

Кукольникъ принадлежитъ къ немногому числу нашихъ самыхъ неутомимыхъ, плодотворныхъ и разнообразныхъ беллетристовъ. Еслибы собрать въ одномъ изданіи все, что написалъ онъ, вышло бы немалое число довольно плотныхъ томовъ. Въ какихъ родахъ сочиненій ни испытывалъ себя Кукольникъ, чего ни писалъ онъ — драмы итальянскія, драмы турецкія, драмы русскія, драмы изъ жизни художниковъ, преимущественно итальянскихъ и отчасти нѣмецкихъ, драмы историческія, драмы въ стихахъ, драмы въ прозѣ, повѣсти и романы итальянскіе, нѣмецкіе, французскіе, русскіе, статьи юмористическія, статьи объ искусствѣ, живописи преимущественно, критики, рецензій, лирическія стихотворенія, отрывки изъ поэмъ, участвовалъ во множествѣ журналовъ и альманаховъ, самъ издалъ альманахъ «Новогодникъ», издавалъ «Художественную Газету», «Картины русской живописи», «Дагерротипъ», а теперь издаетъ русскую «Иллюстрацію», такъ плѣняющую публику изящными политипажными и остроумной и замысловатой перепиской. Какой широкій кругъ дѣятельности! Мы устали только отъ того, что бросали на него легкій, поверхностный взглядъ! Скажемъ къ этому, что если нѣкоторыя произведе-

денія Кукольника были приняты холодно и про-
шли незамѣченными (преимущественно его повѣ-
сти, въ которыхъ мѣстомъ дѣйствія избрана ни-
когда не виданная авторомъ Италия), зато большая
часть его произведеній имѣла большой, а нѣкото-
рыя изъ нихъ и чрезвычайный успѣхъ (особенно
русскія историческія драмы). Но тѣмъ не менѣе—
странное дѣло!—все идетъ впередъ, вкусъ и тре-
бованія публики видимо измѣняются съ каждымъ
днемъ, а полного собранія сочиненій Кукольника
все нѣтъ какъ нѣтъ, и—что всего удивительнѣе—
нельзя сказать, чтобы въ публикѣ замѣтно было
особенное нетерпѣніе видѣть его поскорѣе. На
свѣтѣ удивительнаго много, но удивительное не
есть сверхъестественное, стало быть, подлежитъ
объясненію, — что и даетъ намъ смѣлость попы-
таться на объясненіе этого факта, которое въ
свою очередь должно объяснить намъ значе-
ніе Кукольника, какъ писателя, и его мѣсто въ
русской литературѣ. По нашему мнѣнію, это все-
го лучше сдѣлать черезъ сравненіе, которое
не всегда доказываетъ, но часто объясняетъ
дѣло. Перебирая въ памяти нашей всѣхъ дѣятелей
русской литературы, мы находимъ, что ни съ кѣмъ
не имѣетъ Кукольникъ такъ много сходства, какъ
съ Сумароковымъ. — Кукольникъ рѣшительно Сума-
роковъ нашего времени. Знаемъ, что многіе въ
нашемъ благонамѣренномъ сравненіи увидятъ же-
ланіе унижить Кукольника, и потому спѣшимъ объ-
ясниться, чтобы отстранить отъ себя такое не-
справедливое обвиненіе. Сумароковъ былъ не
вѣтру превознесенъ своими современниками и не
вѣтру унижаемъ нашимъ временемъ. Мы находимъ,
что какъ ни сильно ошибались современники Су-
марокова въ его геніальности и несомнѣнности его
правъ на безсмертіе, но они были къ нему спра-
ведливѣе, нежели потомство. Сумароковъ имѣлъ у
своихъ современниковъ огромный успѣхъ, а безъ
дарованія, воля ваша, нельзя имѣть никакого успѣ-
ха ни въ какое время. Въ то время талантъ дѣ-
лалъ человѣка извѣстнымъ императрицѣ и вель
его къ чинамъ и орденамъ, и Сумароковъ, подобно
Ломоносову и впоследствии Державину, не за что
иное очутился дѣйствительнымъ статскимъ совѣт-
никомъ и кавалеромъ, какъ за свой талантъ. Въ
то время, какъ и въ наше, не мало бы нашлось
охотниковъ до чиновъ и почестей, которые не по-
жалѣли бы трудовъ, бумаги и чернилъ, чтобы воз-
выситься черезъ литературу. Однакожъ успѣли въ
этомъ немногіе, — именно тѣ только, за которыми
общее мнѣніе утвердило громкое имя генія или ве-
ликаго таланта. Сумароковъ больше другихъ былъ
любителемъ публики своего времени; поэтическія
произведенія Ломоносова больше уважали, а Су-
марокова — больше любили. Это понятно: онъ
больше Ломоносова былъ беллетристъ, его сочи-
ненія были легче, доступнѣе для понятія боль-
шинства, больше имѣли отношенія къ жизни. Онъ
писалъ не однѣ трагедіи, но и комедіи, плохія
конечно, но лучше которыхъ тогда не было. Въ
предисловіяхъ къ своимъ сочиненіямъ и отдѣль-

ныхъ журнальныхъ статьяхъ онъ писалъ о вра-
вахъ, о разныхъ близкихъ къ обществу вопросахъ,
распространялъ дѣльные и благородныя понятія о
томъ, что составляетъ истинное благородство че-
ловѣка, и какихъ людей должно почитать чернью
или, какъ тогда выражались, «подлымъ народомъ». Трагедіи его рѣшительно предпочитались траге-
діямъ Ломоносова и Хераскова. Онъ далъ пищу
рождавшемуся русскому театру и средство Вол-
кову, а потомъ Дмитревскому показать въ полномъ
блескѣ ихъ таланты. Его «Димитрій Самозванецъ»
давался на нашихъ губернскихъ театрахъ и при-
влекалъ въ нихъ многочисленную публику еще въ
двадцатыхъ годахъ настоящаго столѣтія. Это было
на нашей памяти. Сумароковъ имѣлъ огромное влія-
ніе на распространеніе на Руси любви къ чтенію,
къ театру, слѣдовательно образованности. Какъ
поэтъ, художникъ, онъ не имѣлъ ни искры та-
ланта, но какъ беллетристъ, онъ для своего вре-
мени имѣлъ довольно таланта. Восторгъ его совре-
менниковъ для насъ конечно не законъ, но фактъ,
живое свидѣтельство того, что онъ былъ имъ много
полезенъ. Когда наступила въ русской литературѣ
эпоха критики и повѣрки старыхъ авторитетовъ,
Сумарокова втоптали въ грязь, но несправедливо,
потому что руководствовались одной эстетической
точкой зрѣнія и вовсе упустили изъ виду истори-
ческую. Мы увѣрены, что не далеко то время,
когда презрѣніе къ имени Сумарокова будетъ снято.
Сумароковъ уронилъ себя въ потомствѣ больше
всего своимъ характеромъ, раздражительнымъ, ме-
лочно-самолюбивымъ, нагло-хвастливымъ. Но за-
чѣмъ смѣшивать лицо съ литераторомъ? Сочиненія
Сумарокова можно теперь читать только по осо-
бенной охотѣ къ историческому изученію русской
литературы; но тѣмъ не менѣе ихъ должно цѣнить,
если не по преувеличеннымъ похваламъ его совре-
менниковъ, то и не по мѣрѣ нашего времени.
Причина необыкновеннаго успѣха сочиненій Сума-
рокова и потомъ быстрого ихъ упадка заключается
именно въ ихъ беллетристическомъ значеніи. Они
были по плечу большинству, и потому нравились
ему. Пришло время—большинство публики явилось
совсѣмъ другое, а на сторонѣ Сумарокова остались
только люди того поколѣнія, которое еще не за-
было, какъ оно завивалось à la pigeon и пуд-
рилось.

Мы сдѣлали бы большую несправедливость,
еслибы стали утверждать, что по таланту Куколь-
никъ не выше Сумарокова. Нѣтъ, въ наше время
и для второстепеннаго успѣха нужно уже гораздо
больше таланта, нежели сколько нужно было Су-
марокову, чтобы попасть въ геніи первой вели-
чины. Кромѣ несомнѣннаго и блестящаго бел-
летристическаго таланта, у Кукольника есть и
поэтическое чувство, и даръ изобрѣтенія въ из-
вѣстной степени. Но, обозрѣвая мысленно судьбу
его произведеній, невольно воспоминаешь Сумаро-
кова. Послѣдній палъ вдругъ, долго спустя послѣ
своей смерти. По отсутствію критики, его сочине-
нія долго превозносились до небесъ съ голоса его

современниковъ; но, не смотря на то, время брало свое. Языкъ шелъ впередъ, развивался, совершенствовался; какъ драматургъ, какъ трагикъ и комикъ, Княжнинъ сталъ гораздо выше Сумарокова, какъ Озеровъ гораздо выше Княжнина; притчи Сумарокова были совершенно затѣнены баснями Хемницера и Дмитриева; объ одахъ его нечего было и говорить послѣ одъ Державина, а тамъ появились Карамзинъ, Жуковскій и Батюшковъ, исполнѣ овладѣвшіе вниманіемъ публики. Правда, не смотря на все это, никто не смѣлъ усомниться въ гениі Сумарокова, но это потому, что, по духу безпредѣльнаго уваженія къ авторитетамъ, ни у кого не хватало смѣлости собственное чувство, собственную мысль. Въ сущности же всѣ охладѣли къ Сумарокову, давно уже не читали его, а многіе и поняли его. Стало-быть, недоставало слова, а не дѣла. Пришло время—нашлись смѣльчаки — сказали, и огромный авторитетъ почти восьмидесяти лѣтъ рухнулъ въ короткое время. Теперь не то. Если читатель нашего времени черезъ годъ, черезъ два перечесть произведение, которое привело его въ восторгъ при своемъ появленіи, и увидить, что оно уже не производитъ на него прежняго впечатлѣнія, онъ знаетъ, что думать о немъ, и знаетъ, кого слѣдуетъ за это винить.

Первое произведение Кукольника, вдругъ доставившее ему огромную извѣстность, была драма въ стихахъ: «Торквато Тассо». Она отличалась всеми признаками молодого, неопытнаго таланта, была крайне бѣдна драматическимъ движеніемъ, но блистала нѣсколькими горячками, хотя и не всегда умѣстными, лирическими выходками. Она появилась въ 1833 году, кажется; стало-быть, около четырнадцати лѣтъ назадъ тому,—и между тѣмъ въ это время она постарѣла чуть ли не четырнадцатью десятками лѣтъ. Вторымъ произведеніемъ Кукольника была русская историческая драма: «Рука Всевышняго отечество спасла». Она обязана была своимъ успѣхомъ болѣе похвальному чувству любви къ родинѣ, нежели поэтическому выраженію этихъ чувствъ или драматическимъ своимъ достоинствамъ. Это тотъ же «Дмитрій Донской» Озерова, тотъ же «Пожарскій» Крюковского, только немножко оромантизированный, ошекспиренный. Итакъ, успѣхъ этой пьесы былъ чисто случайный (un succès de circonstance), и потому она теперь совершенно забыта. Затѣмъ Кукольникъ написалъ множество драмъ, преимущественно изъ жизни итальянскихъ художниковъ. Въ нихъ есть хорошіе стихи, болѣе или менѣе удачныя мѣста, но не въ драматическомъ, а въ лирическомъ родѣ: одна охота не сдѣлаетъ драматургомъ—для этого нуженъ талантъ. Кто прочелъ одну драму Кукольника, тотъ знаетъ всѣ его драмы: такъ одинаковы ихъ пружины и приемы. Поэтому трудно прочесть сряду двѣ драмы Кукольника, а прочтя, уже невозможно не переищать ихъ въ своей памяти, пока не забудешь вовсе, что обыкновенно дѣлается очень скоро.

Вторая русская драма Кукольника, «Скупой Шуйскій», имѣла огромный успѣхъ на сценѣ, благодаря ея обилію въ эффектахъ и сильной наклонности русской публики къ національности въ поэзіи и литературѣ. Сверхъ того эта драма породила со стороны другихъ литераторовъ много попытокъ въ ея родѣ, которыя были ни хуже, ни лучше ея. На сценѣ она и теперь еще можетъ производить свой эффектъ; но въ чтеніи такъ и бросаются въ глаза ложность ея національности и характеровъ, и бѣлые нитки, которыми сметано ея дѣйствіе.

Самыми неудачными попытками Кукольника были его повѣсти и рассказы, содержаніе которыхъ заимствовано изъ итальянской жизни. Странная претензія—описывать страну, которой авторъ никогда не видалъ! Конечно это же самое дѣлалъ наприимѣръ и Пушкинъ, но этотъ человѣкъ имѣлъ на то привилегію отъ природы. Бывшіе въ Испаніи говорятъ, что «Каменный Гость» Пушкина дышетъ колоритомъ этой страны, пропитанъ ея духомъ, и что «Ночной зефиръ» не отвязывался отъ нихъ памяти, когда они бродили вечерами по улицамъ Севильи. Не всѣмъ же быть Пушкинами. Въ своихъ «Египетскихъ ночахъ» онъ забрался во дворецъ Клеопатры—и былъ въ немъ какъ у себя дома, очеркнулъ передъ нами эту эпоху съ такой истиной, какъ будто самъ жилъ въ это время и все видѣлъ своими глазами. Потомъ Кукольникъ написалъ три большіе историческіе романа: «Эвелину де Вальероль», «Альфъ и Альдона» и «Дурочка Луиза». Въ первомъ изобразилъ старую Францію, во второмъ—древнюю Литву, въ третьемъ—старинную Пруссію. Первый романъ лучше остальныхъ двухъ, но въ немъ видно не свободное творчество, а только способность подражательности, и онъ сильно отывается тѣмъ, что называется *tour de force*. Объ остальныхъ двухъ романахъ не стоитъ и говорить. Все это теперь забыто и всего этого не разбудишь отъ вѣчнаго сна никакими новыми изданіями...

Какая этому причина? Очень простая. У Кукольника есть талантъ для поэтического выраженія мыслей, но нѣтъ творческой силы для созданія чего-нибудь цѣлаго, гдѣ всѣ части соразмѣрны и все подчинено общей идѣе. Нельзя также сказать, чтобъ онъ особенно былъ богатъ идеями. Талантъ его неполный, ему недостаетъ чего-то, недостаетъ «этого», какъ говорить одно лицо въ одной русской повѣсти. Попробуемъ объяснить это сравненіемъ. Положимъ, что для составленія полнаго таланта нужно 100 долей, а природа отпустила нѣ Кукольнику только 99³/₄; стало быть, недостаетъ пустикавъ, всего одной четверти, а все-же недостаетъ! Оттого въ его произведеніяхъ, даже не лишенныхъ частныхъ красотъ, всегда чувствуется какое то усиліе, которое въ этомъ случаѣ есть то же безсиліе, что-то утомляющее, скоро наводящее скуку; чувствуется, что авторъ почти вездѣ становится выше своихъ средствъ. Онъ—беллетристъ, и только, а ему хочется быть поэтомъ, творцомъ, и онъ всегда берется за произведенія, требующія

не такого таланта, и не рѣдко обнаруживаетъ въ нихъ притязанія на такого рода нововведенія и замашки, которыя свойственны только гению. И что жъ изъ-всего этого вышло? Вотъ наприимѣръ, сколько лѣтъ писалъ, обрабатывалъ, держалъ подъ спудомъ и лелѣялъ, какъ любимое дитя свое, Кукольникъ своего «Паткуля». Сколько лѣтъ носились слухи объ этомъ произведеніи, которое должно было обогатить собой русскую литературу? И вотъ «Паткуль» появился, сперва въ журналѣ, потомъ отдѣльной книгой—и ничего!...

Кукольникъ какъ будто самъ давно уже почувствовалъ, что по избранной имъ дорогѣ далеко не уйдешь, что надо поискать новой. Кажется, въ 1842 году вышла его повѣсть «Сержантъ Иванъ Ивановъ, или всѣ за одно», содержаніе которой взято было имъ изъ эпохи Петра Великаго. Повѣсть эта имѣла большою успѣхъ,—и за нею появилось много повѣстей Кукольника. Дѣйствительно, это лучшее изъ всего, что только когда-либо писалъ онъ. Но пора наконецъ сказать правду объ этихъ повѣстяхъ, уже не въ мѣру захваленныхъ и превознесенныхъ. Въ нихъ есть неотъемлемыя достоинства—противъ этого ни слова. Кукольникъ удачно схватилъ въ нихъ одну характеристическую черту той эпохи: это — противоположность старыхъ нравовъ съ непонимаемыми нововведеніями и наивность ихъ смѣшенія между собой. Кромѣ того Кукольникъ мастерски владѣетъ разговорнымъ языкомъ того времени,—языкомъ книжнымъ, вычурнымъ, испещреннымъ иностранными словами. Многія характеристическія черты эпохи подсмотрѣны и схвачены имъ съ поражающей вѣрностью, и вообще въ его очеркахъ того быта много комическаго, веселаго, смѣшнаго, милаго и выѣстъ съ тѣмъ умнаго. Но, во-первыхъ, это не повѣсти, а извѣстные анекдоты, передѣланные на рассказы. Въ нихъ всегда играетъ важную роль любовь, и они всегда благополучно разрѣшаются законнымъ бракосочетаніемъ любовниковъ — они же и герои рассказовъ. По нашему мнѣнію, это элементъ вовсе не русскій: любовь въ русскомъ быту никогда не играла первостепенной роли и особенно мало имѣла соотношенія съ бракомъ. Это и теперь почти такъ, а тогда было совершенно такъ. Вообще Кукольникъ довольно мелко плаваешь въ отношеніи къ духу и сущности того времени, и если онъ часто многое почерпаетъ съ самаго дна, то со дна прибрежнаго, мелкаго. Онъ понялъ болѣе одну комическую сторону избранной имъ эпохи, и смотритъ на нее и односторонне, и поверхностно. Въ его глазахъ побѣдитель безусловно правъ, а побѣжденные безусловно виноваты. Въ его повѣстяхъ реформы противятся одни злодѣи и негодяи. Это взглядъ и не философскій, и не историческій. Реформа Петра Великаго такъ исключительно огромна во всемірной исторіи, что не менѣе дѣлаетъ чести народу, который ее перенесъ, какъ и реформатору: а что было бы въ ней особенно великаго, еслибы ея противники были

только злодѣи и негодяи?.. Тогда это была бы только полицейская реформа—не больше. Не такъ поэтъ долженъ понимать такую великую и страшную эпоху въ жизни народа: онъ никого не долженъ ни оправдывать, ни защищать, ни обвинять — это не его дѣло; но онъ долженъ вѣрнымъ изображеніемъ всего такъ, какъ оно было, все сдѣлать понятнымъ, слѣдовательно все объяснить. Для этого онъ равно безпристрастно, не увлекаясь ни моральной точкой зрѣнія, ни привычными идеями своего времени, долженъ понять обѣ стороны, стать въ ихъ положеніе, войти, такъ-сказать, въ кожу каждого дѣйствующаго лица, и представить его самимъ собой. Тогда бы Кукольникъ понялъ, что въ числѣ противниковъ реформы были не одни злодѣи, изверги, негодяи и шуты, но и люди, достойные быть поборниками лучшаго дѣла, натуры сильныя и благородныя. Намъ нечего хлопотать оправдывать Петра: онъ оправданъ исторіей и въ нашей помощи не нуждается. Противники его реформы были осуждены и отвержены духомъ времени, гениемъ исторіи, и всѣ дѣйствія и усилія ихъ осуждены были на бесплодность; но тѣмъ не менѣе въ ихъ рядахъ не мало было людей, которыхъ прозорливость Петра умѣла цѣнить и на которыхъ онъ тѣмъ болѣе негодовалъ, чѣмъ болѣе желалъ ихъ видѣть въ своихъ рядахъ. Съ другой стороны успѣху реформы содѣйствовали не одни добродѣтельные и чистые, умные и жаждавшіе образованія люди. Такъ какъ въ историческомъ процессѣ великія причины мѣшаются съ малыми, и эгоизмъ, расчетъ и корысть помогаютъ добру не меньше самоотверженія и доблести, то и въ рядахъ поборниковъ реформы много было плутовъ, глупцовъ и негодяевъ. Извѣстно, какую важную роль при реформѣ нравовъ играютъ франты и вертопрахи: они очень помогли перевѣсу иностранной одежды надъ національной.

Какъ бы то ни было, но повѣсти и рассказы изъ эпохи Петра Великаго нѣсколько оживили угадавшій авторитетъ Кукольника, и теперь онъ, кажется, и самъ понимаетъ, что это послѣдняя опора и надежда его литературной извѣстности. Въ этихъ повѣстяхъ и рассказахъ онъ сдѣлалъ невольную уступку духу времени и одной стороной своего таланта прикинулся къ такъ называемой натуральной школѣ, потому что главное достоинство ихъ все-таки въ истинѣ и естественности, хотя и въ извѣстной только степени. И вотъ года два назадъ тому въ одномъ журналѣ появился большой романъ Кукольника: «Два Ивана, два Степаныча, два Костылькова», содержаніе котораго взято тоже изъ эпохи Петра Великаго, и который теперь вышелъ отдѣльной книгой. Завязка романа проста и естественна, совершенно въ нравахъ того времени. Недоросль изъ дворянъ, молодой и богатый Костыльковъ пьянствуетъ, развратничаетъ среди холоповъ въ своей деревнѣ и укрывается отъ службы, за что кормитъ и даритъ всѣхъ подъячихъ своей провинціи, самого воево-

ду, а воеводихѣ платить еще дороже—связью съ ней, хотя она ему и противна. Наконецъ укры- ваться больше нельзя. Но у него живетъ какой-то таинственный пришлецъ, тоже Иванъ Степанычъ, и почти однихъ лѣтъ съ нимъ. Этотъ вызывается идти на службу за Костылькова, подъ его име- немъ. Митрофанушка радъ и, несмотря на свою скупость, согласился на всѣ условія, довольно тя- желыя по тому времени. Настоящій Костыльковъ изображенъ не дурно и въ продолженіе всего рома- на вѣренъ себѣ. Но на его двойникѣ обнаружи- лась вся неспособность фантазій Кукольника замы- слить (концепировать) и выдержать характеръ, не- много поглубже и посложнѣе. Двойникъ Костыль- кова — человѣкъ съ большимъ характеромъ: онъ вертитъ по своему всѣмъ — и Костыльковымъ, и его дворней, и подьячими, и воеводой съ воевод- шей. Почему-то онъ загадочный другъ нерѣши- тельному и обжорливому фискалу провинціи, и это даетъ ему большой вѣсъ. Отецъ Костылькова былъ злодѣй; въ смутныя времена стрѣлечныхъ мятежей онъ оттягалъ имѣніе у всѣхъ своихъ, менѣе его богатыхъ, сосѣдей. Такимъ же образомъ разорилъ онъ и довелъ до могилы сосѣда — по- мѣщика Полозкова, владѣвшаго небольшою усадь- бой на берегу большой рѣки, и завладѣлъ ею и его добромъ; схватилъ двоихъ малолѣтнихъ дѣтей Полозкова, мальчика и дѣвочку, привезъ ихъ до- мой, и, по волѣ автора, никто изъ холопей не зналъ, чьи это дѣти, а знала это только добрая жена злодѣя. Мальчикъ былъ похищенъ вѣрнымъ слугою своего отца и увезенъ въ Москву, а дѣ- вочка выросла въ дѣвчичей Костылькова и на- сильно сдѣлалась его наложницей. Итакъ, двой- никъ Костылькова — Полозковъ. Онъ появился отомстить сыну врага за разореніе и смерть сво- его отца и за безестіе своей сестры. Еще пре- жде уговорилъ онъ Малашу бѣжать отъ тирана, и она уже была влюблена въ своего брата и думала, что онъ ее любитъ. Спрятавъ ее въ развалившій- ся домъ родной усадьбы, онъ открылъ ей тайну родства. Въ развалившемся домѣ есть что-то вро- дѣ трактира и постоялаго двора, а пристань рѣки служить мѣстомъ сходки разбойничьимъ шайкамъ. Попавшись въ трактиръ въ кругъ разбойниковъ, Степанычъ заставилъ ихъ разбѣжаться въ ужасѣ, сказавши, что онъ видѣлъ недалеко военную ко- манду: ему все удастся. Итакъ, съ одной стороны разбойники, съ другой — то обстоятельство, что нельзя же долго скрывать сестру отъ Костылькова въ какихъ-нибудь пяти верстахъ отъ его резиден- ціи и въ его же усадьбѣ. Что тутъ дѣлать? Но не безпокойтесь: Степанычу все удастся не хуже Ежели Дурачка, которому помогала шука. Видитъ онъ разъ — идетъ военная команда, а въ офицерѣ узнаетъ своего пріятеля. Онъ помогаетъ ему из- ловить 106 человѣкъ разбойниковъ (Степанычъ — собаку съѣлъ на эти вещи). Офицеръ видитъ Ма- лашу и тутъ же влюбляется въ нее; Степанычъ благородно открываетъ ему свое съ ней род- ство и ея позоръ и бѣдность. Офицеръ стоитъ

на своемъ и, по совѣту Степаныча, прыгнулъ Костылькова службой, заставляя его отпустить Малашу на волю и женится на ней. Дѣло сдѣ- лалось скоро, на военную ногу. Вотъ послѣ этихъ-то подвиговъ Степанычъ идетъ въ службу за Костылькова. Съ его деньгами и на его лоша- дяхъ пріѣзжаетъ онъ въ Москву и является къ Колычеву, который, равно какъ и оберъ-поли- ціймейстеръ, ужасно полюбилъ его. И было за чтѣ: молодецъ собой, въ службу царскую такъ и рвет- ся, говорить умно и бойко! На Спасскомъ мосту изболчилъ онъ передъ лицомъ оберъ-полицій- местера кликушу, смущавшую народъ суевѣріемъ, по наущенію поборниковъ старинны. Замѣтивъ при- іемъ дворянъ, что одинъ изъ нихъ выставилъ за себя нанятаго мошенника, ловко притворив- шагося сумасшедшимъ, онъ краснорѣчіемъ убѣдилъ его повиниться въ своемъ преступленіи и пойтъ въ службу. Третій подвигъ Степаныча еще чуде- ннѣе и рѣшительно лучше всѣхъ двѣнадцати под- виговъ Геракла. Степанычъ сказалъ оберъ-поли- ціймейстеру, что ему извѣстно мѣсто сборища фа- натиковъ, распускающихъ въ народѣ ложныя слухи и лубочныя пасквили ко вреду правительства, и что онъ изловить ихъ. Начальникъ полиціи пре- лагаетъ ему команду, Степанычъ отвѣчаетъ, что у него есть своя, и что онъ «по охотѣ на воровъ тѣмится». Проведенный тайкомъ хозяиномъ дома въ комнату, сосѣднюю той, гдѣ собралось скопи- ще, Степанычъ въ щель все видитъ и слышитъ. Въ презусѣ общества узнаетъ онъ Пахомыча, го- родского учителя его провинціи, пьяницу, обжору, развратника, шута, который безпрестанно бражни- чалъ у Костылькова, потѣшая его, и сильно доба- вался Малаши, котораго онъ, Степанычъ, заста- вилъ выучить себя грамотѣ въ одну недѣлю, кото- рый навелъ разбойниковъ на убійство Малаши и вмѣстѣ съ ними, скованный, отправленъ былъ въ городскую тюрьму. Это страшная натяжка: такой человѣкъ могъ дѣлать всѣ подобныя мерзости, но быть главой религиозныхъ и политическихъ фанати- ковъ никакъ не могъ по своему характеру. Сте- панычъ смѣло врывается въ скопище и начинаетъ усовѣщивать его краснорѣчивой рѣчью. Какая смѣшная мелодрама! Вспомнивъ свирѣпыя пытки и казни того времени, легко понять, что если въ подобномъ скопищѣ были глупцы, простаки и тру- сы, то предводители его были люди на все гото- вые, которымъ убить человѣка, чтѣ раздавить муху, особенно, если этотъ человѣкъ тащитъ ихъ въ застѣнокъ. И въ самомъ дѣлѣ, Степанычъ ви- дитъ, что одинъ изъ его невольныхъ слушателей наматываетъ на руку кистень; но быстрѣ молніи бросается на него нашъ герой, опрокидываетъ и велитъ взять, чтѣ и исполнено. Нѣкоторые въ стра- хѣ бѣгутъ — Степанычъ за ними съ краснорѣчіемъ, они возвращаются, — и всѣхъ ихъ ведетъ онъ въ Кремль и представляетъ оберъ-полиціймейстеру, го- воря ему: «вотъ моя команда». Какъ это эффектно! Но любопытные могутъ сами прочесть романъ Кукольника, чтѣ мы имъ даже и совѣтуемъ, по-

тому что онъ не безъ достоинствъ и не безъ внимательности, хотя и исполненъ натяжекъ, неестественности, эффектовъ и мелодрамы. Мы довольно говорили о содержаніи романа, чтобы имѣть право сказать, что герой его ни съ чѣмъ не сообразенъ. Ему все удается, онъ по страсти, по натурѣ дѣлается полицейскимъ сыщикомъ—и потому въ запрещенномъ игорномъ домѣ выигрываетъ болѣе 4000 рублей, — сумму огромную по тогдашнему времени, да еще какъ выигрываетъ!— не давши содержателямъ поживиться ни одной ставкой. Онъ любитъ подсматривать и подслушивать, узнаетъ такимъ образомъ важныя тайны всѣхъ и каждого и этимъ пользуется. Его не надуръ ни одинъ плутъ, ни одинъ мошенникъ, а онъ всѣхъ ихъ проведетъ. И въ то же время онъ влюбляется высокой платонической любовью къ неземной дѣвѣ! Онъ — пройдоха, пролазъ, удалецъ, плутъ и надувало, и онъ же—герой добродѣтели! Зато всѣ его благородныя чувства высказываются такъ книжно, пошло и приторно! Впрочемъ это общій недостатокъ всѣхъ добродѣтельныхъ лицъ въ сочиненіяхъ Кукольника: всѣ они говорятъ о добродѣтели, словно по книгѣ читаютъ, и слушать ихъ какъ-то совѣстно за нихъ. Особенно приторно проявляется у нихъ любовь къ Петру Великому: она у нихъ вся въ сентенціяхъ, какими наполняются нравственныя книжки для дѣтей...

Къ числу хорошо выдержанныхъ лицъ въ романѣ Кукольника принадлежатъ: подъячій Чевушкинъ, отчасти дочь его, Груня, Квинтиніанусъ, воевода и воеводиша провинціи, въ которой помѣстья Костылькова. Зато невыносимо приторенъ характеръ плаксиваго и великодушнаго дворянина Жатаго. Но еще хуже героиня романа, идеальная Оленька. Авторъ называетъ ее «поэтической дѣвочкой», но мы не замѣтили въ ней ничего поэтическаго и думаемъ, что къ ней лучше шли бы эпитеты «чачоточной» и «плаксивой». Авторъ, по особенному къ ней расположенію, снабдилъ ее столько же сильными характеромъ, сколько слабымъ тѣломъ. Но какъ-то изъ нея вышла неземная дѣва во вкусѣ романтиковъ нашего времени, совершенно чуждая нравовъ своего времени. Она уходитъ въ свою комнату, чтобы прочесть письмо своего любовника (а не жениха) и отвѣтить на него; старая тетка застаётъ ее въ этомъ занятіи и вырываетъ письмо. И что жъ? наша героиня даже и не сконфузилась отъ такой непредвидѣнной бѣды и на отрѣзъ объявила, что любить и будетъ переписываться. Да помилуйте, г. Кукольникъ! съ чѣмъ же это сообразно? Что за сказка такая, а вы еще говорите, что вашъ романъ—даже и не романъ, а правдивая исторія! Когда же исторія такъ неудачно лгала? Да если-бы за такое страшное, по понятіямъ того времени, преступленіе эту дѣвицу выставили на площади у позорнаго столба, или патріархальнымъ обычаемъ нещадно отодрали дона розгами,—то прежде всѣхъ и тверже всѣхъ была бы убѣждена она сама, что это подѣломъ ей, что она заслужила это, и никто бы не раз-

увѣрилъ ее въ этомъ. Такова сила вліянія времени на человѣка! А каково въ отношеніи къ правамъ было то время, Кукольникъ знаетъ это лучше многихъ, потому что особенно изучилъ его. Но одной этой несообразности было ему мало: онъ заблагоразсудилъ покончить свой романъ другой, еще большей. Когда Оленька узнала, прѣхавъ отъ вѣнца, что была выдана за человѣка, уважаемаго, но не любимаго ею, то вотъ какъ распорядилась она вечеромъ: подойдя къ двери брачной комнаты, куда слѣдовало за ней ея мужъ и провожала тетка съ другими родичами, она низко присѣла мужу, захлопнула дверь передъ его носомъ и заперлась, сказавъ, что и всегда такъ будетъ дѣлать... Мужъ и тетка, вмѣсто того чтобы велѣть выломать дверь и по тогдашнему распорядку съ непокорной и безстыдной нарушительницей божескихъ и человѣческихъ законовъ, почувствовали раскаяніе и стыдъ!...

Вотъ такъ-то всякое произведеніе Кукольника носить въ себѣ зародыши скорого разрушенія, какъ тѣ неудачно организованныя дѣти, которыхъ никакой присмотръ не спасаетъ отъ смерти... И теперь скажемъ, что въ романѣ Кукольника много хорошаго, и что конечно лучше читать его, нежели модные французскіе романы вродѣ графа «Монте-Кристо», «Записки Врача» и «Чортова Сына», и его конечно почитаютъ, да и... забудутъ...

Недостатокъ или недовѣсокъ въ талантѣ Кукольника особенно обнаруживается въ большихъ его произведеніяхъ; въ нихъ яснѣе видно, что чѣмъ болѣе онъ предпринимаетъ, тѣмъ менѣе выполняетъ...

Къ недостаткамъ исторіи о Костыльковыхъ принадлежитъ еще то, что авторъ часто впадаетъ въ манеру Поль-де-Кока. Оттого напр. рассказъ о Степанычѣ, въ которомъ чтеніе плохого перевода виргиліевой поэмы «*Argi Amandi*» разжигаетъ возжелѣніе, производитъ на читателя непріятное впечатлѣніе... Также на манеръ Поль-де-Кока превеличены въкоторыя комическія сцены и положенія. Къ такимъ относимъ мы картину черезчуръ толстаго камерира Кононыча, который, поѣхавъ въ таратайкѣ, высадилъ и дно, и сидѣнье, да въ этомъ положеніи и проторчалъ чуть ли не всю ночь... Таково же описаніе вѣзда воеводы въ провинцію. Воеводишу звали Маланьей Ивановной. Проѣзжая мимо лѣсу Костылькова, въ которомъ тотъ съ своей ватагой вызывалъ криками отставшую свою любовницу Маланью Ивановну, воеводиша вообразила, что это кричатъ лѣшіе, и перепугалась. Это черта забавная и въ духѣ времени, но авторъ, какъ говорится, пересолитъ, да же слишкомъ...

Въ заключеніе скажемъ, что романъ Кукольника и конченъ, и не конченъ, т. е. конченъ, да такъ, что авторъ можетъ писать и другой романъ съ тѣми же главными дѣйствующими лицами. Это тѣмъ вѣроятнѣе, что авторъ увѣряетъ, что исторія двухъ Ивановъ, двухъ Степанычей, двухъ Костыль-

ковъхъ совершенно кончилась, «въ чемъ, говорить онъ, и свидѣтельствую подписаніемъ руки моея». Почему же не продолжаться исторія Ивана Степановича Полозкова? Въ этомъ мы также не видимъ никакой причины, какъ и въ манерѣ писать моея, вѣсто моея, на манеръ Сумарокова, который вѣроятно для вѣдшей красоты слога писалъ скорѣе и быстрѣе, вѣсто скорѣе и быстрѣе...

Новая бібліотека для воспитанія,
издаваемая Петромъ Рѣдкимъ. Москва. 1847. Девятнадцать томовъ.

Сынъ рыбака, Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ. *Поэты для дѣтей. Сочиненіе П. Фурмана. Изданіе второе. Спб. 1847.*

Альманахъ для дѣтей, *составленный П. Фурманомъ. Спб. 1847.*

Что читать дѣтямъ? Нашимъ дѣтямъ вовсе нечего читать!—Вотъ вопросы и восклицанія, которые безпрестанно раздаются со всѣхъ сторонъ. А между тѣмъ сколько ежегодно издается у насъ книгъ и книжекъ для дѣтей, издавались и даже и теперь издается дѣтскій журналъ. Конечно наши дѣтскія книги большей частью очень плохи и принадлежать совсѣмъ не къ литературѣ, а къ промышленности, составляютъ часть товара, который долженъ наполнять лавки съ дѣтскими игрушками; но все же между нашими книгами и изданіями для дѣтей есть и порядочныя, по крайней мѣрѣ такія, которыя только со стороны языка и слога уступаютъ французскимъ сочиненіямъ этого рода, а по содержанію и направленію столько походятъ на нихъ, сколько слѣдуетъ переводамъ и передѣлкамъ походить на свои оригиналы... Но загляните въ эти лучшія книги,—и вы невольно скажете: «Вѣдныя дѣти, вамъ дѣйствительно нечего читать! И ужъ лучше вамъ вовсе ничего не читать, нежели читать эти вздоры и пошлости!...»

Скажемъ яснѣе нашу мысль: за исключеніями, слишкомъ же многими и рѣдкими, мы считаемъ вздорными и вредными не только наши русскія книги для дѣтей, но и ихъ иностранныя образцы, разгуливающіе по всему свѣту подъ эгидой громкихъ именъ ихъ знаменитыхъ авторовъ...

Еслибы это было не такъ, то откуда же возникъ бы вопросъ: нужны ли, полезны ли дѣтскія книги вообще? А этотъ вопросъ со дня на день повторяется чаще и рѣшается различно. Одни утверждаютъ, что для чтенія дѣтямъ необходимы книги, приноравливаемыя къ ихъ понятію; другіе доказываютъ, что дѣти должны читать тѣ же самыя книги, какія читаютъ и взрослые, только съ болѣе строгимъ выборомъ.

Не беремся рѣшить этотъ вопросъ; но попытаемся изложить наше о немъ мнѣніе.

Рѣшеніе подобныхъ вопросовъ и легко, и трудно. Всѣ дѣти имѣютъ общія родовыя ихъ возрасту свойства и качества, и потому ничего нѣтъ легче, какъ, составивши себѣ отвлеченное понятіе о дѣ-

тяхъ, рѣшить всѣ касающіеся до нихъ вопросы. Но вотъ въ чемъ трудность: у **каждаго** ребенка своя натура, свои интеллектуальныя средства, нравственныя склонности, характеръ; дѣти бываютъ различныхъ возрастовъ, потребности семилѣтняго дитяти уже не тѣ, что у ребенка трехлѣтняго, а потребности двѣнадцатилѣтняго дитяти далеко не тѣ, какія у семилѣтняго, и т. д. Притомъ, гдѣ границы дѣтскаго возраста? Неужели человѣкъ въ 14 лѣтъ—уже юноша? И время отъ 14 до 16 лѣтъ не составляетъ ли перехода отъ дѣтства къ юношеству? Кромѣ того не случается ли, что одинъ и въ 18 лѣтъ смотритъ ребенкомъ, а другой въ 14 обнаруживаетъ интеллектуальную зрѣлость юноши? При этомъ какую важную роль играетъ различіе половъ! Что идетъ мальчикамъ, то не годится дѣвочкамъ, и наоборотъ.

Съ какихъ лѣтъ должно начинать учить ребенка чтенію и письму?—Опять вопросъ относительный, котораго нельзя рѣшить для всѣхъ дѣтей, но который долженъ рѣшаться особо для **каждаго** ребенка. Обыкновенно общимъ **среднимъ** терминомъ для начала ученія полагаютъ семилѣтній возрастъ. Мы думаемъ, что и при самыхъ острѣхъ и рѣзко выказывающихся способностяхъ ребенка нѣтъ никакой нужды торопиться начинать ученіе раньше семи лѣтъ. До этого же возраста должно обращать все вниманіе преимущественно на физическое и нравственное воспитаніе. Первое должно быть положительнымъ и состоять въ развитіи здоровья, тѣлесной крѣпости, гибкости и ловкости. Это—дѣло гимнастики и правильнаго образа жизни. Пусть дѣти играютъ, шумятъ, рѣвятся, лишь бы во всемъ этомъ не было ничего грубаго, пошлаго, неприличнаго, и лишь бы они во-время и вѣтру ѣли, во-время ложились спать и вѣтру спали. Нравственное воспитаніе дѣтей даже и дальше семилѣтняго возраста должно быть отрицательное, т. е. состоять въ удаленіи отъ **нихъ** всякихъ дурныхъ примѣровъ и въ развитіи въ **нихъ** чувствъ любви, справедливости и человечности **не** правилами морали, а, такъ сказать, **вліяніемъ** привычекъ, такъ, чтобы они не знали, какія это чувства и какъ они въ **нихъ** развиваются. Все это зависитъ отъ людей, которыми окружены бываютъ дѣти ежедневно. Но моральныя правила, сентенціи, поученія способны только наводить на дѣтей скуку и возбуждать въ **нихъ** отвращеніе, или образовывать изъ **нихъ** педантовъ, резонѣровъ, лицемеровъ. Чѣмъ моложе ребенокъ, тѣмъ непосредственнѣе должно быть его нравственное воспитаніе, т. е. тѣмъ болѣе должно его не учить, а приучать къ хорошимъ чувствамъ, склонностямъ и манерамъ, основывая все преимущественно на привычкѣ, а не на преждевременномъ и, слѣдовательно, неестественномъ развитіи понятій. Приобрѣтенное дитятей такимъ непосредственнымъ образомъ, такъ сказать, привычкой, послужитъ самымъ прочнымъ основаніемъ для сознательнаго развитія всѣхъ человѣческихъ чувствъ, когда настанетъ время дѣятельности его ума и разсудка.

Что касается до учения, то дитя учится и до азбуки: дѣти любопытны и обо всемъ спрашиваютъ старшихъ: что это и что то. Должно отвѣчать имъ кротко, терпѣливо, серьезно, не шутя и не обманывая ихъ, объяснять имъ сообразно съ степенью пониманія, и искусно уклоняться отъ ихъ вопросовъ, когда они касаются такихъ предметовъ, о которыхъ имъ знать не слѣдуетъ, или такихъ, которые выше ихъ понятія. Кромѣ того въ этотъ возрастъ можно и должно тѣмъ, у кого есть средства, учить дѣтей живымъ иностраннымъ языкамъ, но только говорить, и собственно не учить, а приучать, опять основываясь только на силѣ привычки.

Но вотъ ребенку семь лѣтъ, вотъ онъ уже довольно бѣгло читаетъ. Что же читать ему? И заботливые родители ищутъ по книжнымъ лавкамъ приличной пищи для читательнаго голода ихъ дѣтей. Да помилуйте, мало ли у нихъ чтеній и безъ этихъ книгъ? Вѣдь азбука не конецъ, а только начало учения. Дитя, которое до семи лѣтъ успѣло выучиться лепетать на двухъ или трехъ иностранныхъ языкахъ, кромѣ русской азбуки, должно заниматься еще тремя азбуками. Кромѣ того за азбукой слѣдуютъ грамматика, ариметика, географія и т. д. Все это возьметъ много времени у ребенка и охладитъ его излишнее порываніе къ книгамъ, потому что охота попрыгать, пошумѣть, побѣгать, поиграть и даже пошалить у него не проходитъ даже и въ 15 лѣтъ. Но, скажутъ намъ, и за уроками, и за играми все-таки остается праздное время, особенно зимой, котораго нечѣмъ наполнить. Это можетъ быть. Но какія же давать тутъ дѣтямъ книги? Главный недостатокъ этихъ книгъ тотъ, что онѣ или выше, или ниже понятій дѣтей. Въ первомъ случаѣ онѣ дѣлаютъ изъ дѣтей скороспѣлыхъ умниковъ, педантовъ, резонеровъ; во второмъ—дѣлаютъ ихъ слабоумными, приучая къ неестественной ихъ возрасту наивности. Большая часть дѣтскихъ книгъ вмѣщаетъ въ себѣ вдругъ оба эти недостатка. Вотъ почему онѣ даже не бесполезны только, а положительно вредны. Въ этихъ рассказахъ для дѣтей все—ложь, фраза, риторика; жизнь отражается въ нихъ какъ предметы въ кривомъ да еще запачканномъ спереди и потертомъ сзади зеркалѣ. И потому лучшими книгами для чтенія дѣтей перваго возраста могли бы быть такіа книги, которыя бы весело знакомили ихъ съ землей, съ природой и отчасти съ исторіей. Книги эти непременно должны быть съ картинками, ибо «наглядность» должна быть основаніемъ дѣтскаго развитія. Еслибы нашлась книжка съ картинками, изображающими горы, моря, острова, полуострова, минералы, разныя чудеса физической природы, потомъ явленія растительнаго и наконецъ животнаго царства, и при этихъ картинкахъ былъ бы объяснительный текстъ, простой, толковый, безъ фразъ и восклицаній о томъ, какъ прекрасна природа и т. п.; еслибы всѣ эти предметы были изложены не только въ порядѣ, но и въ ученой системѣ, а въ текстѣ ни слова не упоминалось ни о какихъ системахъ,—

такую книжку всякій отецъ долженъ бы поспѣшить купить для своихъ дѣтей, въ полной увѣренности, что это безцѣнный, по своей полезности, гостинецъ для нихъ. Гдѣ кончается царство животныхъ, тамъ начинается царство человека. Для легкаго и пріятнаго знакомства дѣтей съ этимъ царствомъ очень полезны путешествія или просто описанія земель и народовъ всего земнаго шара. Картинки тутъ опять должны играть главную роль. Текстъ долженъ быть такой, какъ будто онъ писанъ для взрослыхъ людей, только изъ него должно быть исключено все, что выше понятія дѣтей, что не можетъ быть имъ интересно, чего не слѣдуетъ имъ знать. Что касается до исторіи, она должна состоять изъ біографій историческихъ лицъ, анекдотовъ изъ ихъ жизни, отдѣльных историческихъ событій, имѣющихъ нравственное значеніе. Нравственность тутъ должна быть главнымъ предметомъ, но о ней отнюдь не должно упоминать, отнюдь никакихъ наставленій и поученій: она должна быть не въ словахъ, а въ дѣлѣ, и переходить въ дѣтей не какъ понятіе, а какъ чувство. Разумѣется, такого рода книги должны быть приурочены къ дѣтскому возрасту. Дѣти очень любятъ біографіи полководцевъ, но для нихъ нѣтъ никакого интереса въ біографіяхъ ученыхъ, художниковъ, философовъ, администраторовъ, и т. п. Впрочемъ все зависитъ отъ намѣренія, цѣли и умѣнья автора книги. Біографія Платона во всякомъ случаѣ бесполезна и скучна для дѣтей, потому что отъ превысшренихъ идей этого конечно гениальнаго мыслителя, но вмѣстѣ съ тѣмъ и мечтателя и фантаста, и у взрослыхъ людей иногда умъ за разумъ заходитъ. Но біографія Сократа—другое дѣло. Это былъ не столько философъ, сколько мудрецъ; ученіе его было живое, практическое, удобоприложимое къ жизни; самая манера его спорить и доказывать можетъ быть и полезна, и интересна для дѣтей, если изложить ее ясно и искусно: въ ней такъ много драматическаго элемента. Но что за польза дѣтямъ знать біографію Гомера прежде, нежели прочтутъ они «Иліаду» и «Одиссею», и имъ что-нибудь понравится въ этихъ поэмахъ? Послѣ—другое дѣло.

Дѣти ужасно впечатлительны, такъ что отъ этой способности зависеть и ихъ спасеніе, и ихъ гибель. Человѣкъ всю жизнь помнить всякій вздоръ, который читалъ онъ въ дѣтствѣ и который тогда ему особенно нравился. Изъ этого видно, какое великое счастье для дѣтей, когда ихъ мягкій и впечатлительный, какъ воскъ, свѣжій, не засоренный пустяками и вздорами, не усталый, не истомленный мозгъ обогатится только полезными и дѣльными впечатлѣніями! Это должно быть одной изъ главныхъ заботъ воспитанія, чтобы и пріятное было полезно. Но несчастны тѣ дѣти, которыхъ юный мозгъ засорится сперва чтеніемъ дѣтскихъ книгъ и потомъ водевилями, вздорными романами и всякой подобной дрянью! Лучше бы имъ вовсе ничего не читать!

Изъ всего можно сдѣлать злоупотребленіе. Охота къ чтенію—хорошая наклонность въ дѣтяхъ, но и она можетъ сдѣлаться вредной, приучивъ ихъ къ мечтательности и похищая время у ихъ ученія. Пусть на чтеніе будетъ у нихъ свое время, и пусть чтеніе не отнимаетъ времени не только у ученія, но даже у игръ и рѣзвости. Всему должно быть свое время, и строгій порядокъ долженъ быть душой всего. Когда видишь умнаго и страстнаго къ чтенію ребенка или юношу, который лишенъ всѣхъ средствъ къ ученію и образованію, предоставленъ природѣ и самому себѣ, и съ жадностью читаетъ безъ разбора все, что ни попадется ему подъ руку, и хорошее, и дурное,—и жалѣешь о немъ, и радуешься за него. Все лучше и полезнѣе ему такъ читать, нежели пристраститься отъ лѣности и отъ нечего дѣлать къ картамъ, къ билліарду, къ вину и другимъ не изящнымъ «художествамъ». Но грустно видѣть ребенка или молодого человѣка, который, имѣя всѣ средства къ ученію, тратитъ большую часть своего времени на чтеніе литературныхъ произведеній, предается мечтательности и гонится за энциклопедическимъ всезнаніемъ, которое иногда хуже положительнаго невѣжества!

Отъ 7-ми до 14-ти лѣтъ много воды утекаетъ, и ребенокъ становится уже не ребенкомъ. Ученіе идетъ своимъ порядкомъ, и кромѣ пользы въ свою очередь можетъ доставить ему и удовольствіе чтенія. Это въ особенности переводы съ иностранныхъ языковъ. Корнелій Непотъ, Салюстій, Плутархъ: развѣ содержаніе ихъ сочиненій не такъ же интересно, какъ и содержаніе романа? По крайней мѣрѣ надо стараться, чтобы это было такъ. Всего лучше, если молодой человѣкъ прочтетъ на доступныхъ ему иностранныхъ языкахъ все, признанное классическимъ, дѣльнымъ, и пристрастится къ этому роду чтенія прежде, нежели познакомится съ романами и вообще съ легкой литературой.

Время для чтенія романовъ молодымъ людямъ есть время ихъ перехода отъ дѣтства къ юношеству, когда уже имъ можно читать многое, но еще не иначе, какъ съ выбора и разрѣшенія старшихъ. Первый романъ, который можно дать молодому человѣку лѣтъ двѣнадцати—«Юрій Милославскій» Загоскина. Затѣмъ понемногу можно давать романы Вальтеръ-Скотта и Купера. Тутъ все дѣло въ томъ, чтобы не дать въ руки молодого человѣка такой книги, которая можетъ прежде времени познакомить его съ такими чувствами, страстями и понятіями, которыя несвойственны его возрасту. Это истинная гибель и для здоровья, и для нравственности. Вотъ почему мы прямо и безъ оговорокъ указали на Вальтеръ-Скотта и Купера: въ ихъ романахъ изображена жизнь дѣйствительная, а не воображаемая; они изящны, художественны, а между тѣмъ въ нихъ нѣтъ ничего опаснаго даже для дѣтей. Мы очень уважаемъ Гофмана, и если видимъ въ немъ чудака и безумца, то все же гениальнаго, и однакожь считаемъ его для дѣтей столько же, или еще и болѣе вред-

нымъ, нежели Польше-Кока, хотя и вовсе другіе образцы. Для дѣтей страшно вредно все, что развиваетъ и возбуждаетъ фантазію на счетъ другихъ интеллектуальныхъ способностей; фантазія у дѣтей и безъ того самая дѣятельная способность и потому ее слѣдуетъ скорѣе сдерживать, нежели возбуждать, или, что всего губительнѣе, давать ей уродливое направленіе ко вреду дѣятельности и въ особенности разсудка и здраваго смысла.

«Новая Библіотека для Воспитанія», издаваемая Рѣдкинымъ, есть единственная книга, которую можно рекомендовать отцамъ семействъ изъ всѣхъ книгъ этого рода, появившихся въ послѣднее время. Не всѣ статьи, составляющія ее содержатъ одинаковаго достоинства; но между ними нѣтъ рѣшительно дурныхъ, и есть очень хорошія.

Мы не скажемъ, чтобы «Новая Библіотека для Воспитанія», издаваемая Рѣдкинымъ, вполне удовлетворяла всѣмъ требованіямъ и не могла бы быть лучше, даже гораздо лучше; но мы по совѣсти можемъ сказать, что и сама по себѣ это—дѣльная и полезная для дѣтей книга, которую смѣло можно рекомендовать отцамъ семействъ, и что она не идетъ ни въ какое сравненіе съ книгами этого рода, безпрестанно издающимися у насъ. Надѣемся и увѣрены, что ея издатель не будетъ жалѣть никакихъ трудовъ на постепенное улучшеніе такого полезнаго изданія.

«Сына Рыбака» мы выставили въ началѣ нашей статьи не потому, что это лучшая изъ дѣтскихъ книгъ, изданныхъ въ послѣднее время въ Петербургѣ, и не потому, что она достигла второго изданія; а потому, что она представляетъ собою богатый образецъ совершенной бесполезности большей части дѣтскихъ книгъ. Какой можетъ быть интересъ для дѣтей въ біографіи поэта и ученаго, когда еще они не имѣютъ ни малѣйшаго понятія ни о поэзіи, ни о наукѣ? Издавать для малолѣтнихъ дѣтей подобную книгу—не то ли это самое, что издавать для крестьянъ біографію Гегеля? Вотъ другое дѣло издать для дѣтей біографію Петра Великаго, Суворова, Кутузова: это имъ доступнѣе: они любятъ рассказы о сраженіяхъ, да и личность Петра Великаго, какъ государя и какъ человѣка, искусно очерченна, не могла бы ихъ не заинтересовать. Но что имъ въ Ломоносовѣ? А когда они подростутъ, то пусть прочтутъ романъ-біографію Ломоносова, прекрасно составленный К. Полевымъ, да висть съ тѣмъ примутся читать и самого Ломоносова.

И какъ бѣдно и жалко составлена книжка Фурмана! Первая половина ея—компиляція изъ прекрасной книги К. Полевого; а вторая—важный, мертвый наборъ словъ. И все это украшено восемью безобразнѣйшими литографіями. И такіе книги появляются вторымъ изданіемъ! Бѣдныя дѣти, лучше бы вамъ вовсе не знать грамоты!

«Дѣтскій Альманахъ для дѣтей», изданный Фурманомъ, избрали мы для рецензіи, какъ общій типъ почти всѣхъ дѣтскихъ книгъ! Этотъ альманахъ состоитъ изъ четырехъ драматическихъ пьесъ

въ прозѣ. Несмотря на русскія (весьма неудачно придуманныя) имена и фамилии, явно, что всѣ эти пьесы переведены съ французскаго: въ нихъ вовсе не наши нравы, и отъ этого нелѣпость ихъ дѣлается еще вопіющею. Въ нихъ добродѣтельные говорятъ словно по книгѣ, порочные къ концу пьесы непремѣнно раскаяваются и дѣлаются добродѣтельными. Нигдѣ не замѣтно причинъ ни порока, ни раскаянія. Стало-быть, все вздоръ и ложь. Но для многихъ людей развивать въ дѣтяхъ нравственныя чувства можно только обманывая ихъ: достойная проклятій мысль! Сатана—отецъ гнусной лжи—породилъ ее, а лживые или ограниченные люди увѣровали въ нее и чаютъ отъ нея спасенія дѣтей своихъ! Все въ этихъ пьесахъ неестественно, сантиментально, пошло, надуту—и чувства, и выраженіе! А языкъ—это верхъ неестественности: ни одной простой фразы, все по книжному.

Обращаясь къ общей идеѣ полезности и безпольности дѣтскихъ книгъ, вотъ что скажемъ мы, какъ результатъ нашего мнѣнія объ этомъ предметѣ:

Мнѣніе, что дѣти должны читать только то, что читаютъ и взрослые, не лишено основанія и справедливости, но требуетъ большихъ исключеній и ограниченій. Но намъ кажется, что можно дать на этотъ предметъ правило, не допускающее почти никакихъ исключеній и ограниченій: книги для дѣтей можно и должно писать, но хорошо и полезно только то сочиненіе для дѣтей, которое можетъ занимать взрослыхъ людей и нравиться имъ, не какъ дѣтское сочиненіе, а какъ литературное произведеніе, писанное для всѣхъ. И къ повѣстямъ, рассказамъ и драматическимъ пьесамъ это относится едва ли еще не болѣе, чѣмъ къ статьямъ другого рода.

Да гдѣ же взять такихъ книгъ?—Это ужъ не наше дѣло. Мы сочтемъ себя очень счастливыми, если изложеніемъ нашего мнѣнія объ этомъ предметѣ наведемъ иного талантливаго человѣка на настоящій путь въ отношеніи къ сочиненію книгъ для дѣтей.

Картина земли для наглядности при преподаваніи физической географіи, составленная А. Ф. Постельсомъ. Съ литографированнымъ большимъ рисункомъ. Спб. 1846.

Наглядность признана теперь всѣми единодушно самымъ необходимымъ и могущественнымъ помощникомъ при ученіи. Она состоитъ въ томъ, чтобы помогать памяти и уму ребенка представленіемъ вида и образа предметовъ, которые онъ изучаетъ. Это матеріальное и чувственное вспомогательное средство для спасенія бѣдныхъ дѣтей отъ убійственнаго, подавляющаго способности, сухого и мертваго отвлеченія, столь любимаго идеалистами. Великая важность наглядности основана на самой природѣ человѣка, у котораго самыя отвлеченныя умственныя представленія все-таки суть

не иное что, какъ результатъ дѣятельности мозговыхъ органовъ, которымъ присущи извѣстныя способности и качества. Давно уже сами философы согласились, что «ничего не можетъ быть въ умѣ, что прежде не было въ чувствахъ». Гегель, признавая справедливость этого положенія, прибавилъ: «кромѣ самаго ума». Но эта прибавка едва ли не подозрительна, какъ порожденіе трансцендентальнаго идеализма. Человѣкъ не прямо же, не чистымъ мышленіемъ дошелъ до сознанія, что у него есть умъ, а замѣтилъ это прежде всего изъ собственныхъ дѣйствій, въ которыхъ отразился его умъ, но который онъ опять-таки только черезъ чувства созналъ своимъ умомъ. Всякій, даже простой человѣкъ знаетъ, что у него умъ въ головѣ, — знаетъ это по причинѣ, можетъ-быть болѣе простой и естественной, нежели какъ обыкновенно думаютъ. Человѣкъ въ порывѣ горячихъ, страстныхъ чувствъ невольно прижимаетъ руку къ груди и сердцу, куда сильнѣе приливаетъ кровь при движеніяхъ чувствъ. Когда же человѣкъ о чемъ-нибудь размышляетъ, сильно занятъ какимъ-нибудь соображеніемъ, особенно разсчисленіемъ,—палецъ его какъ-будто невольно то и дѣло прилагается ко лбу, а рука невольно отъ времени до времени потираетъ лобъ. Явленіе простое, но многозначительное! Во время процесса мысли человѣкъ какъ-будто чувствуетъ, что тутъ гнѣздо его мыслительной дѣятельности, что тамъ тоже происходитъ какое-то безпокойство, которое обнаруживается и въ его озабоченныхъ движеніяхъ, что тамъ какъ-будто что-то шевелится.

Посмотрите, какъ жадны дѣти къ картинкамъ! Они готовы прочесть самый сухой и скучный текстъ, лишь бы только онъ объяснилъ имъ содержаніе картинки. И потому картинки все болѣе и болѣе дѣлаются пособіемъ при воспитаніи и ученіи.

Музей современной иностранной литературы. Выпускъ 1-ый и 2-ой. Спб. 1847.

Слова нѣтъ! Настоящее положеніе русской литературы совсѣмъ не такъ печально, какъ многіе думаютъ. Умные люди утверждаютъ, что оно даже очень хорошо. Русская литература поумнѣла и быстро вступаетъ въ періодъ зрѣлости,—такъ говорятъ умные люди и доказательства приводятъ основательныя: она не производитъ стихотвореній, она отказалась отъ изображенія сильныхъ, могучихъ и клочущихъ страстей, громаднхъ личностей; Звонскіе, Лирскіе, Гремины—совсѣмъ вывелись въ ней; мѣсто ихъ заняли Петровы, Ивановы, Сидоровы; мѣщанская слабость изображать большой свѣтъ съ графами и графинями, мебелью отъ Гамбса и Тура, духами отъ Марса и мороженымъ отъ Резанова также проходитъ въ ней. Она даже шагнула дальше, съ нѣкотораго времени начала обнаруживать храбрость неслыханную... Живымъ ключомъ забилъ въ ней новый родникъ, изъ котораго она прежде глумилась черпать; цѣль ея

стала благороднѣе и дѣльнѣе, чѣмъ когда-либо... Отказавшись отъ изображенія бурь и волненій, безъ сомнѣнія возвышенныхъ и глубокихъ, вознижающихъ въ благоговонной атмосферѣ аристократическихъ залъ, при громѣ бальной музыки и ослѣпительномъ освѣщеніи, она не гнушается темныхъ дѣлъ, страстей и страданій низменнаго и бѣднаго міра, освѣщеннаго лучиною. Теперь въ ней уже не рѣдкость произведеніе, въ которомъ не встрѣтите не только князей, графовъ и генераловъ, но даже лицъ, нѣбующихъ оберъ-офицерскій чинъ,—и она умѣетъ такими произведеніями не отталкивать, но привлекать къ себѣ публику... Міръ старухъ, жолтыхъ и страшныхъ, посвятившихъ себя гнилому тряпью, въ котораго нѣтъ для нихъ интересовъ, ни радостей, ни самой жизни; стариковъ сердитыхъ и мрачныхъ; женщинъ жалкихъ и возмущающихъ, которыя протягиваютъ руку украдкой и красѣютъ или дѣлаются жертвой позора и нищеты; дѣтей блѣдныхъ и болѣзненныхъ, которыя дрожатъ и скачутъ отъ холода, выгнанныя на свѣтъ божій нуждой изъ сырого подвала,—темень и страшень такой міръ, и много надобно было нашей литературѣ, недавно еще щепетильной и чопорной, передумать и пережить, чтобы рѣшиться низойти до него, — приподнять хоть немного завѣсу, скрывающую его мрачныя тайны,—и она приподняла ее... Сдѣлавъ великій шагъ твердо и сознательно, она не смущается позорными упреками, которые, къ стыду нашего времени, сыплются еще на нее изъ разныхъ угловъ зато, что занимается она предметами «ничтожными» и «унизительными для нея, роется въ грязи»... Она сама знаетъ, что ея теперешніе герои—нерѣдко люди, которыхъ привычки грубы, страданія обыкновенны до пошлости, страсти неблаговоспитанны, въ которыхъ нѣтъ ничего романтическаго и привлекательнаго, скорѣй много отталкивающаго, но она знаетъ также, что они—люди... Деликатныхъ и благовоспитанныхъ порицателей, которые торжественно объявляютъ такихъ людей недостойными вниманія, а картины ихъ быта невозбуждающими ничего, кромѣ отвращенія,—она и слушать не хочетъ! Она знаетъ ихъ вкусъ; забвенія подавляющей дѣйствительности, обмана хотѣть они, но его-то и не даетъ она имъ; напротивъ, она, какъ нарочно, взялась возмущать ихъ спокойствіе, портить нищевареніе...

Слова нѣтъ—литература поумнѣла, но... интересныхъ книгъ выходитъ все-таки мало, и тѣ, которые кричатъ: «читать нечего», почти правы... Публика не то, чтобъ вовсе равнодушна къ русской литературѣ, но и не слишкомъ-то занимается ею — и винить публику было бы грѣшно. Рѣдко является произведеніе, которое самими дѣломъ напомнило бы публикѣ о существованіи русской литературы, ея процвѣтаніи, возмужалости и другихъ похвальныхъ качествахъ, охотно за ней теперь признаваемыхъ. «Современникъ» радуется, что ему въ настоящее время посчастливилось представить на страницахъ своихъ два такіа произведенія: мы

говоримъ о романѣ Искандера «Кто виноватъ» и о романѣ Гончарова «Обыкновенная Исторія», о которыхъ говоритъ теперь весь Петербургъ. Но много-ли въ годъ является такихъ произведений? Даже каждый-ли годъ является по одному такому произведенію?.. А между тѣмъ потребность къ чтенію усиливается. Люди смѣтливые пользуются такой потребностью и недостаткомъ собственно русскихъ книгъ, способныхъ удовлетворить ей,—и издають переводы. Переводные романы расходятся — и смѣтливые люди не въ накладе... И что-жъ тутъ дурного? Публикѣ нравится читать переводы, смѣтливымъ людямъ нравится издавать ихъ; все, кажется, въ порядкѣ вещей... дѣло простое и законное... Не странно ли послѣ того читать при объявленіи объ иномъ изданіи переводовъ разсужденіе объ испорченности и развращеніи вкуса публики, дурномъ направленіи литературы, и увѣреніе... въ чемъ бы вы думали?... что новое изданіе поставило себѣ цѣлью исправить вкусъ, изгнать дурное направленіе, однимъ словомъ,—спасти литературу и публику отъ конечной гибели?... Да позно, такую ли цѣль поставило себѣ новое изданіе?... Нѣтъ, между прочимъ и потому, что еслибъ и дѣйствительно погибалъ вкусъ, то исправленіе его зависить не отъ такихъ мѣръ... Ничего нѣтъ дурного, трудясь хоть бы и надъ переводомъ романовъ, желать себѣ вознагражденія за трудъ отъ тѣхъ, кто нуждается въ переводахъ,—поэтому мы прямо скажемъ, что цѣль всѣхъ подобныхъ изданій—надежда на хорошій сбытъ, доставляющій вещественную прибыль... Къ чему же превыспренняя разглагольствія, столь неумѣстныя? Зачѣмъ добровольно дѣлать себя смѣшнымъ? къ чему набрасывать тѣнь чего-то дурного на дѣло, конечно довольно ничтожное, но совершенно невинное, усилимъ представить его въ другомъ видѣ?

«Музей современной иностранной литературы» говоритъ, что онъ, недовольный романами, «представляемыми на ежедневное потребленіе въ фельетоны», предположилъ себѣ цѣлью «доставлять любителямъ чтеніе постоянное, избранное, разнообразное, приятное и, въ кажущейся легкости своей, не портящее вкуса, не совращающее понятій»... Что же переводить и печатаетъ «Музей»? Да то же, что печатають наши журналы, поддерживающіеся переводами, съ той только разницей, что, не имѣя возможности поспѣвать за журналами, «Музей» печатаетъ, такъ сказать, «остатки иностранныхъ литературъ», то-есть то, что забрановано журналистами (такъ напримѣръ, въ первомъ своемъ выпускѣ «Музей» напечаталъ между прочимъ романъ «Домашній Сверчокъ»—худшій изъ четырехъ святочныхъ романовъ Диккенса), а иногда и то же, что печатается въ журналахъ. Иначе и быть не можетъ въ изданіи, печатающемъ произведенія иностранныхъ «современныхъ» литературъ, снабжающихъ матеріаломъ большую часть нашихъ журналовъ. Въ чемъ же привилегія «Музея» на исправленіе вкуса передъ журналами и гдѣ возможность въ такой реформѣ?...

«Музей» любить обѣщать, и, завѣривъ публику въ великости своей цѣли, онъ не оставляетъ ее въ неизвѣстности и на счетъ способствъ, какими предположили себѣ достигать ее.

«Пригласивъ къ постоянному соучаствію сотрудниковъ *дѣятельныхъ, опытныхъ, владѣющихъ и отечественными, и иностранными языками, и съ самой выгодной стороны знакомыхъ нашей читающей публикѣ,—зачуявъ значительный капиталъ на это изданіе,—не прибѣгая къ пособию подписки, преждевременно собирающей на подобныя предпріятія деньги,—желая доставить чтеніе не только пріятное, но въ весьма многихъ отношеніяхъ (при настоящемъ направленіи *нѣкоторыхъ произведеній литературы*) полезное,—принявъ намѣреніе вмѣстѣ съ сотрудниками нашими исполнять наше дѣло со всевозможно-строгимъ раченіемъ,—мы будемъ молчаливо и скромно идти своей дорогой, ожидая, чтобы не чей-либо одиночный, можетъ быть и пристрастный, или не избранный въ судьи мнѣніемъ общественнымъ голосъ,—но чтобы самое мнѣніе это и опытъ дѣла, котораго результаты не могутъ быть съ нимъ въ разнорѣчіи, проанесли свой приговоръ и доказали бы: поняли-ли нами потребности и достигнуто-ли предположенная цѣль.»*

Какъ громко, величаво, торжественно! А для чего?... Если вы точно пригласили сотрудниковъ дѣятельныхъ и пр., и пр., то отчего жъ вы скрыли ихъ имена отъ публики, которой, по вашимъ словамъ, они извѣстны съ «самой выгодной стороны»? А если вы считали нужнымъ соблюсти въ этомъ отношеніи скромность, то для чего жъ не соблюли ее и въ томъ отношеніи? Вѣдь объявить, что имѣть отличныхъ, даже гениальныхъ сотрудниковъ всякій можетъ, да что жъ изъ того? Нужны или имена, чтобы публика могла повѣрить ваши слова, или—еще лучше—самое дѣло, которое во всякомъ случаѣ лучше словъ... Объявить, что «зачуявъ значительный капиталъ на изданіе» тоже можетъ всякій, имѣющій капиталъ и не имѣющій его... Вы поставяете на видъ публикѣ, что «не прибѣгаете къ пособию подписки, преждевременно собирающей на подобныя предпріятія деньги». Это опять напрасно. Всѣмъ, и вамъ въ особенности, извѣстно, что «съ нѣкотораго времени» объявлять преждевременной подписки ни на какія изданія, кромѣ періодическихъ, нельзя. Наконецъ вы говорите, что будете идти своей дорогой «молчаливо и скромно»,—и отъ такого увѣренія право лучше бы воздержаться, особенно послѣ такого предисловія... Во всякомъ случаѣ, молчаливость и скромность вашу никто не мѣшалъ вамъ показать на дѣлѣ, и публика вѣрно наградила бы васъ за такіа прекрасныя качества, замѣтивъ ихъ въ васъ сама... А теперь, когда вы уже сами себя наградили торжественнымъ признаніемъ въ себѣ такихъ качествъ, ей тутъ дѣлать нечего...

Однако жъ дѣло еще не совсѣмъ испорчено: публика будетъ васъ читать, если только вы будете продолжать свое дѣло, какъ начали, потому что «Музей современной иностранной литературы»—изданіе отнюдь не лишнее... При всей массивности своей, журналы наши не могутъ вмѣстить въ себѣ всего, что является болѣе или менѣе ин-

тереснаго въ иностранныхъ литературахъ; иногда остаются непереведенными повѣсти и романы даже замѣчательно хорошіе. Вотъ съ ними-то знакомить публику настоящее дѣло «Музея», который очень умно предположилъ себѣ не ограничиваться текущими произведеніями иностранныхъ литературъ, но переводить и явившіяся уже нѣсколько лѣтъ назадъ. Переводы въ «Музей» если не всѣ равно хороши, то и не всѣ плохи. Изданіе опрятно и дешево....

Словомъ, «Музей» хоть куда, и можетъ удовлетворять современной страсти къ чтенію романовъ не хуже никакого другого подобнаго изданія, — и вотъ его настоящая цѣль. Но если смотрѣть на него съ точки зрѣнія той великой цѣли, которую переводчики, по увѣренію ихъ самихъ, предположили себѣ,—то его слѣдовало бы назвать совершенно ничтожнымъ. Вотъ къ какимъ послѣдствіямъ приводитъ иногда преувѣличенный взглядъ на собственную работу, добродушно высказанный во всеуслышаніе!

Векфильдскій священникъ. Романъ, сочиненный *Оливеромъ Голдсмитомъ*. Перевелъ съ англійскаго *Алексій Огинскій*, съ присовокупленіемъ *стодвѣти о жизни и твореніяхъ автора, замѣствованныхъ Валтеромъ-Скоттомъ изъ сочиненій Приора*. Спб. 1847.

Я ужъ давно не вѣрю въ раздѣленіе поэтическихъ произведеній на субъективныя и объективныя; а прочитавъ новый переводъ «Векфильдскаго» или, какъ называли его прежде, «Вакефильдскаго священника», убѣдился совершенно въ основательности моего невѣрія. Всѣ произведенія поэтовъ, больше или меньше, субъективны, т. е. всѣ они высказываютъ внутренний міръ автора, который напрасно бы старался утаить свои задушевные мысли и чувства. Чисто объективнаго поэтическаго представленія жизни,—такого, гдѣ бы поэтъ не подавалъ собственного голоса въ дѣлахъ людей, гдѣ бы умиралъ его мнѣніе, гдѣ бы уничтожались его ощущенія—не было, нѣтъ и не будетъ. Внимательный читатель узнаетъ творца при всей видимой его скрытности, кажущемся притворствѣ; онъ можетъ не только отгадать нѣкоторыя черты характера поэта по нѣкоторымъ мѣстамъ сочиненія, но и создать по этимъ чертамъ ясное, цѣльное представленіе всего характера. Такъ Гервинусъ, анализируя творенія Шекспира, выводитъ изъ анализа очень любопытныя замѣтки о событіяхъ въ его жизни, которую мы такъ мало знаемъ: глубокомысленный критикъ становится въ то же время и вѣрнымъ біографомъ. Поэты, повидимому безстрастные въ изображеніи страстей или, что одно и то же, не увлекаемые ни одной исключительной страстью, принадлежали, какъ теперь извѣстно и какъ можно видѣть изъ ихъ поэтическихъ произведеній, къ людямъ исключительнаго направленія, къ поборникамъ извѣстной партіи. Политическія мнѣнія Шекспира, творца по пре-

имуществу, высказываются въ «Коріоланѣ»; романы Вальтеръ-Скотта облачаютъ аристократа, тори; романы Купера — американца, но американца-консерватора. И потому названія объективный и субъективный поэтъ, какъ раздѣляющія одно и то же творчество на двѣ рѣзкія, не существующія половины, должны быть изгнаны изъ теоріи. Если жъ и позволится сохранить ихъ, то единственно для означенія различныхъ степеней поэтического представленія, изъ которыхъ на одной мы легко знакомимся съ личностью автора, а на другой это знакомство пріобрѣтается долговременнымъ вниманіемъ, но отнюдь не для показанія различной, даже противоположной сущности какихъ-то двухъ родовъ поэзіи. Вѣдь и въ жизненномъ знакомствѣ то же самое, что въ знакомствѣ книжномъ: одного ближняго узнаешь, какъ только онъ раскрылъ ротъ; съ другимъ надобно съѣсть три пуда соли. Изъ этого не слѣдуетъ однакожъ, чтобы послѣдній не выразилъ себя такъ или иначе, рано или поздно, дѣломъ или словомъ.

Вслѣдствіе этого біографія автора становится особенно важной: ибо созданіе поэтического вымысла отражаетъ въ себѣ и поэта, ибо существуетъ тѣсная, необходимая связь между тѣмъ, что произвелъ онъ въ минуты вдохновенія, и тѣмъ, что онъ былъ самъ, всегда и вездѣ. Личность творца или его постоянныя свойства и временное расположение души его легли неизбежно не только въ основѣ пѣлаго, но и въ каждомъ дѣйствующемъ лицѣ, въ каждой части дѣйствія. Свѣдѣнія о жизни Гольдсмита, заимствованныя Вальтеръ-Скоттомъ изъ сочиненій Пріора и приложенныя къ русскому и французскому переводамъ «Векфильдскаго священника», даютъ намъ возможность опредѣлить характеръ автора.

Отецъ Гольдсмита, въ числѣ многихъ даровъ природы, получилъ странную, баснословную нынѣ способность — презирать вполне земныя блага. Изучивъ многие предметы, преимущественно фантастическіе, онъ не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о предметахъ дѣйствительныхъ, о дѣлахъ сего, т. е. грѣшнаго міра. Смотри все вверхъ, онъ никогда не смотрѣлъ себѣ подъ ноги; удивительная безпечность, крайняя непредусмотрительность равнялись простотѣ его нравовъ. Можно было извинить первыя по той же самой причинѣ, по которой можно было не уважать послѣднюю, именно по тому, что его достоинства и недостатки были врожденные: разумъ и воля умывали здѣсь свои руки. Онъ не пріобрѣталъ однихъ и не старался уничтожить другіе, какъ честный вои́нъ. Онъ шелъ руководимый слѣпымъ инстинктомъ, безъ труда и слѣдовательно безъ заслуги. Герой пассивной добродѣтели, если только могутъ быть пассивные герои, онъ всю жизнь сохранялъ вѣру въ добро, переходящую въ суетвѣріе. Безсознательный оптимизмъ управлялъ его чувствами и мыслями; но этотъ оптимизмъ не выросъ на почвѣ мышленія, а дался ему отъ природы, не стоилъ ему ни гроша. Я знаю, какъ бы назвали теперь подобнаго фило-

софа, презирающаго земныя блага; но не знаю навѣрное, какъ называли его люди тогдашняго вѣка. Впрочемъ современники Гольдсмита отца отзывались о немъ очень положительно: «Гольдсмиты — странные люди. У нихъ все по своему: они глотаютъ первый кусокъ, никогда не заботясь о слѣдующемъ». Причинна такой беззаботности объяснена также благоразумно. «Это происходитъ оттого, говорили, что сердце у нихъ устроено хорошо, но голова не на своемъ мѣстѣ». А вотъ любопытный отзывъ о немъ самого сына, автора «Векфильдскаго священника»: «Отецъ мой считалъ деньги презрѣннымъ прахомъ. Онъ пріучилъ насъ сочувствовать бѣдствіямъ ближнихъ, какъ истиннымъ, такъ и ложнымъ, но не далъ средствъ сопротивляться бѣдствію. Мы были чрезвычайно искусны въ искреннемъ желаніи давать другимъ милліоны и не имѣли способности зарабатывать копѣйку».

Такое воспитаніе, отрывая человека отъ дѣйствительныхъ интересовъ жизни, уносить его въ холодную даль фантастическаго міросозерцанія. Оно убиваетъ энергію дѣйствія, чтобы дать раздолье теплымъ ощущеніямъ, которыми ничего не сдѣлаешь для пользы общества, а развѣ только будешь забавляться ими для собственной пріятности и развлечения. Оно наконецъ не спасаетъ и самого воспитанника при встрѣчѣ его съ дѣйствительной жизнью, когда нужна борьба съ врагомъ, а не спокойное созерцаніе враждебныхъ предметовъ, когда необходима сила, а не умилятельные чувства. Гольдсмита испытывалъ всю жизнь неловкое положеніе отъ батюшкина оптимизма: непредусмотрительность и слѣпое довѣріе къ той истинѣ, что все идетъ къ лучшему, давали ему порядочные щелчки. Но такъ какъ онъ отъ той же предусмотрительной природы, въ рукахъ которой ядъ и противоядіе, получалъ огромную долю терпѣнія, этой знаменитой добродѣтели ослось, и равнодушія, этого стоическаго достоинства хладнокровныхъ животныхъ, то удары судьбы отражались отъ его души подобно тому, какъ стрѣлы отражаются отъ толстой шкуры бегемота. Несмотря на уроки дѣйствительныхъ непріятностей, Гольдсмита стремился больше къ мечтамъ, нежели къ существенности. Онъ кормилъ себя баснями и думалъ, что тотъ же кормъ пригоденъ всѣмъ птицамъ безъ разбора. Онъ не жаловался на удары судьбы или общества и вообразилъ, что лучшее, единственное средство быть счастливымъ — не жаловаться на несчастіе. Умирая, отецъ оставилъ ему, вмѣсто всякаго движимаго и недвижимаго имущества, свое родительское благословеніе, — наслѣдство прекрасное, единственно нужное тѣмъ, кто презираетъ земныя блага. Но не хорошо здѣсь лишь то обстоятельство, что наслѣдникъ, какъ бы ни думалъ онъ о счастіи, впадаетъ непременно въ противорѣчіе между своими понятіями, которыми можно оставить, и естественными побужденіями, отъ которыхъ невозможно отвязаться. Гольдсмита высоко уважалъ благословеніе, однакожъ чувство-

валъ, что на него не покупаются дрянныя блага земли, необходимыя живущему. Притомъ же природа не дала ему «дурной способности» (его собственное выраженіе) заботиться о себѣ самомъ, находить покровительство въ своихъ силахъ, устраивать твердымъ трудомъ свою жизнь. Беззаботный, не привыкшій къ порядку, даже находящій удовольствіе въ беспорядкѣ, онъ долгое время велъ скитальческую жизнь, пробовалъ счастья въ карточной игрѣ, вѣроятно съ цѣлью выиграть, но случилось такъ, что онъ проигралъ и послѣднее. И между тѣмъ тотъ же самый человѣкъ писалъ къ своему другу слѣдующее: «Я не завидую тебѣ въ твоихъ благахъ. Спокойный въ уголку моемъ, смѣюсь надъ свѣтомъ и надъ собою, самымъ смѣшнымъ предметомъ въ свѣтѣ». Не знаю, какого качества эта врожденная доброта, при которой добрякъ не отказывается обигрывать ближнихъ, и не понимая, въ чемъ достоинство такъ-называемого спокойствія, которое не видитъ безпокойствія другихъ, а само есть подарокъ вялой природы, инстинктуальная способность неподвижныхъ натуръ. Странствовать по свѣту съ одной сорочкой на тѣлѣ и съ неограниченнымъ довѣріемъ къ судьбѣ, когда все оканчивается лишь этимъ довѣріемъ и когда нѣтъ другихъ побужденій къ странствію, кромѣ желанія ходить или нежеланія заниматься дѣломъ—неужели значить жить? Гольдсмитъ принадлежалъ именно къ подобнымъ людямъ. Вальтеръ-Скоттъ справедливо называетъ его «цивилизованнымъ цыганомъ». Въ составленіи книгъ, какъ и въ практикѣ жизни, онъ увлекался своей безпечностью, не давалъ себѣ труда проводить по сочиненію одну опредѣленную мысль. Виги упрекали его за исторію Англіи, въ которой онъ служилъ не пользамъ народа. «У меня вовсе не было этого въ виду, отвѣчалъ онъ; единственная цѣль моя состояла въ томъ, чтобы написать книгу извѣстнаго объема, которая не сдѣлала бы никому зла, если не могла сдѣлать никакой пользы». Необходимость доставать хлѣбъ управляла перомъ его, замѣняя ему авторское честолюбіе. Сверхъ того онъ былъ неразборчивъ въ выборѣ предметовъ и писать часто не извѣшивая своихъ силъ и не имѣя достаточныхъ свѣдѣній. Отъ исторіи греческой переходилъ онъ съ равной легкостью къ исторіи натуральной. «Изучалъ ли ты птицъ?» спросили его друзья, когда онъ принялся за изложеніе орнитологіи. «Нисколько, отвѣчалъ онъ пренаивно: я съ трудомъ различаю гуся отъ лебедя». Джонсонъ отнесся такъ о предпринятомъ сочиненіи: «Натуральная исторія Гольдсмита будетъ такъ же истинна и такъ же занимательна, какъ арабская сказка». Сколько здѣсь врожденной доброты и душевнаго спокойствія, предоставляемъ рѣшить людямъ отъ природы добрымъ и спокойнымъ; но что это безчестно—видитъ каждый изъ насъ.

По такимъ даннымъ характера не трудно составить понятіе о значеніи и тонѣ «Векфильдскаго Священника», — сочиненія, написаннаго съ натуры,

котораго каждая подробность, съ любовью изображенная, напоминала автору радости его дѣтства, событія у домашняго очага. Примрозъ, векфильдскій священникъ, есть портретъ Гольдсмита отца: та же врожденная довѣрчивость къ судьбѣ, позволяющая дѣлать все, что угодно, и принимающая флегматическое состояніе духа за спокойствіе чистой совѣсти, за подвигъ добродѣтели; то же презрѣніе къ прямымъ обязанностямъ человѣка и занятіе фантастическими сюжетами. Джоржъ, старшій сынъ священника, очень плохъ, какъ герой романа; но иначе и быть не могло, потому что онъ — вѣрная копія самого Гольдсмита, плохого героя жизни. Авторъ былъ воленъ въ выборѣ сюжета и дѣйствующихъ лицъ, и еслибъ онъ ограничился только воспроизведеніемъ своего семейнаго быта, картинами случаевъ, совершившихся въ кругу родномъ, какъ въ любовномъ намъ муравейникѣ, портретами лицъ знакомыхъ, друзей или связанныхъ съ нимъ узами крови, то конечно никто бы не имѣлъ права осудить его ни за тѣсную рамку созданія, ни за любовь, съ которой онъ надъ нимъ трудился. Но, къ сожалѣнію, Гольдсмитъ не ограничился этимъ. Онъ простеръ дальше свои виды — и впалъ въ большія ошибки. Онъ захотѣлъ въ своей жизни видѣть законы жизни для всѣхъ; онъ чувства или, вѣрнѣе, малочувствіе хладнокровнаго сердца принялъ за нормальное состояніе каждаго сердца; онъ свое слѣпое довѣріе къ судьбѣ вѣнчилъ въ неизмѣнную обязанность каждому страдальцу, который не слѣгъ и не суетвѣренъ. Дѣло въ томъ, что Гольдсмитъ никогда не былъ вполне несчастливъ: въ этомъ случаѣ легко проповѣдывать покорность несчастью. Во-вторыхъ, дѣло въ томъ, что не всякаго природа построила одинаковымъ образомъ: если одному, наряду съ врожденной безпечностью, дала она врожденную же способность переносить безъ ропота плоды собственныхъ промаховъ, то другого наградила она мудрой заботливостью и вѣстѣ тонкой чувствительностью. Видѣть естественное въ своемъ только — значить не допускать разнообразія природы и обнаруживать явную тупость воззрѣній. Хорошо еще, когда бы нравственныя предписанія романа вытекали изъ устъ человѣка мужественнаго, занятаго дѣйствительнымъ счастьемъ и дѣйствительными бѣдствіями міра; но въ «Векфильдскомъ священникѣ» говоритъ ихъ человѣкъ безпечный, тугой на подъемъ мысли и еще болѣе тугой на движеніе воли, равно способный къ добру и злу, скиталецъ по инстинкту и выбору. Какія истины откроетъ намъ подобный ораторъ? Нѣтъ, онъ скроетъ отъ насъ истину, потому что самъ ищетъ ее Богъ знаетъ гдѣ, и будетъ возглашать ложь, вполне убѣжденный въ справедливости своихъ мнѣній, ибо, повторимъ, у него сердце можетъ быть и доброе, но голова не на своемъ мѣстѣ. Люди, воспитанные въ школѣ векфильдскаго священника, принадлежатъ или къ ничтожнымъ существамъ, или къ существамъ вреднымъ своимъ ученіемъ, отчужденнымъ отъ всего здороваго и дѣйствительнаго.

Исчисли́мъ главнѣйшія изъ свойства: лѣнность и безпечность при всякомъ дѣйствительномъ трудѣ; погруженіе мысли въ фантастическія занятія, крайне благопріятныя лѣнливой натурѣ; удивительное равнодушіе ко всякому порядку общественному — благому и тягостному; довольство собственной особой, вложенное отъ природы, а не купленное заслугами, не вытекающее изъ благороднаго сознанія достоинствъ; оптимистическое воззрѣніе на міръ, которое крайне покровительствуетъ апатіи, производитъ застой и противодѣйствуетъ каждому успѣху; пассивная жизнь или прозябаніе, довѣренность къ слѣпой судьбѣ и недоувѣренность къ разумному движенію человѣчества, неумѣнье смотрѣть на предметы прямо, выводить изъ нихъ необходимые слѣдствія, анализировать ихъ истинныя основанія, и проч., и проч., и проч. Многія изъ этихъ свойствъ обнаруживаются почти въ каждой главѣ Гольдсмитова творенія. Возьмемъ хоть главу XIV. Сынъ векфильдскаго священника невыгодно продалъ лошадь. Отецъ его, увѣренный въ своей практической мудрости, какъ и всѣ люди, которые никогда не ишли прямыхъ сношеній съ жизнью, рѣшился продать другую лошадь самъ. На торгу оказалось, что конь ученаго священника былъ слѣпой, хромой, съ одышкой. Этихъ трехъ капитальныхъ недостатковъ единственной своей животины владѣлецъ не замѣтилъ дома и разглядѣлъ ихъ только тогда, когда наткнулся на то добрые люди. Покупщикъ обманулъ его — и какое-жъ нравственное слѣдствіе вывелъ изъ обмана почтенный священникъ? Что надобно вникать въ дѣла, знакомиться съ окружающими насъ предметами, смотрѣть на вещи прямо? Нѣтъ, совсѣмъ другое: что человѣкъ не долженъ гордиться, и что главная его добродѣтель — смиреніе. Выводъ оригинальный оттого, что герой не занимался жизнью. Чѣмъ же онъ занимался? Догматическими спорами или, какъ преоригинально выражается новый переводъ, «словопреніями» о различныхъ предметахъ, преимущественно о томъ, что неприлично людямъ извѣстнаго сословія вступать во второй бракъ. Векфильдскій священникъ, какъ видно отсюда, былъ строгій защитникъ моногаміи. Отсюда же видно, что фантастическое, отвлеченное, выдуманное заслоняетъ у этихъ людей все дѣйствительное, истинное, естественное и здоровое.

Вотъ въ чемъ, по нашему мнѣнію, капитальный недостатокъ, главнѣйшая ошибка знаменитаго творенія: оно не просто поэтическое произведеніе, но произведеніе съ дидактическимъ направленіемъ, съ моральными стремленіями; въ немъ общее построено на индивидуальномъ и, вдобавокъ, ложномъ воззрѣніи; герой его, при всемъ видимомъ смиреніи, должно быть, отличался особеннымъ, неизмѣримымъ самолюбіемъ, когда себя, отрѣшенную отъ дѣйствительнаго міра единицу, хотѣлъ навязать въ наставники всему человѣчеству, желающему блаженствовать на самомъ дѣлѣ, а не въ теоріи оптимизма, желающему не страдать также на самомъ дѣлѣ, а не въ системѣ

слѣпонаго довѣрія. Поэтому нельзя не улыбнуться, читая предувѣдомленіе сочинителя: «Герой романа представленъ готовымъ повиноваться и поучать простыми въ изобиліи, достойнымъ въ бѣдствіи». Но эта простота, это достоинство, какъ мы видѣли, проистекаютъ не изъ сознанія заслугъ и не приносятъ человѣку ничего, существенно ему нужнаго. «Въ настоящемъ вѣкѣ богатства и роскоши кому будетъ нравиться человѣкъ съ такими свойствами? Любящіе жить въ большомъ свѣтѣ съ негодованіемъ стануть отвращаться отъ его скромнаго деревенскаго камина; почитающіе непристойныя рѣчи остроуміемъ не найдутъ въ невинной его бесѣдѣ ничего замысловатаго, а презирающіе религію будутъ смѣяться надъ тѣмъ, кто утѣшенія въ сей жизни всего болѣе почерпалъ изъ науки о жизни будущей». Мы ничего не скажемъ о третьемъ пунктѣ, но замѣтимъ относительно двухъ первыхъ, что крайности сходятся: есть простота равнозначительная пустотѣ, и слѣдовательно еще худшая безумной роскоши, которая тоже пуста; скромный каминъ, который выѣдаетъ глаза дымомъ, не доставляя пріятной теплоты, такъ же дурень, какъ и каминъ нескромный, обладающій всѣмъ излишнимъ жаромъ; а догматическія словопренія, имѣющія дѣло съ чуждыми для человѣка интересами, съ фантастическими предметами, нисколько не лучше непристойныхъ рѣчей, ибо и то, и другое равно непристойно.

Для чего новый переводъ Гольдсмитова романа нуженъ людямъ нашего времени, — это, безъ сомнѣнія, знаетъ только переводчикъ. Онъ (то есть романъ, а не переводчикъ) вовсе не къ лицу современнымъ стремленіямъ, положительному направленію вѣка, дѣйствительнымъ его занятіямъ дѣйствительностью. Теперь предстоитъ надобность въ человѣкѣ трезвомъ, бодромъ, дѣятельномъ, который бы смотрѣлъ на вещи прямо и любилъ бы землю, жилище наше и нашихъ потомковъ на долгое время. Теперь мы убѣдились, что лицефривить и неліцефривно любить ложь равно вредно, что умышленно противоборствовать истинѣ и неумышленно преслѣдовать ее есть одинаковое зло. Трудно даже рѣшить, отчего больше проигрываетъ общество: отъ злобы ли злыхъ людей, или отъ равнодушія, тупости, неповоротливости, односторонности, кривосмотрѣнія людей, по природѣ добрыхъ, которые ни рыба, ни мясо. Для чего же, повторяемъ, нуженъ былъ новый переводъ творенія, явившагося въ XVIII вѣкѣ? Ужели переводчикъ хотѣлъ поставить идеаль Гольдсмитова человѣка въ образецъ нашему человѣчеству? Да сохранить его Богъ отъ такого идеала, а если онъ уже выбралъ его правиломъ своей жизни, то да проститъ ему Богъ его прегрѣшеніе: не вѣдаетъ бо чтó творить.

Или быть можетъ, не думая нисколько о приложеніи прошедшаго къ современному, переводчикъ имѣлъ въ виду только показать, какъ мыслили и дѣйствовали нѣкоторые люди XVIII вѣка, какъ, пожалуй, мыслятъ и дѣйствуютъ многіе сю-

жеты XIX столѣтія, какъ мыслить и дѣйствовать всю жизнь векфильдскій священникъ съ чадами и домочадцами. Въ такомъ случаѣ можно еще оправдать появленіе новаго перевода: это будетъ поэтической картиной прошедшаго времени, воспроизведеніемъ отжившихъ идеаловъ блаженства.

Читатель полюбуется имъ, какъ художникъ, который смотритъ съ удовольствіемъ на все сотворенное, умѣя находить въ каждой твари свою долю прекраснаго, или какъ философъ, который понимаетъ значеніе всего бывшаго и указываетъ ему свое историческое мѣсто, какъ натуралистъ указываетъ мѣсто даже допотопнымъ животнымъ. Но въ такомъ случаѣ—извините—мы уже потребуемъ отъ васъ больше, нежели при какой-нибудь другой дѣли, перевода вѣрнаго, изящнаго. А вашъ переводъ—мы не знаемъ, какъ вѣжливѣе о немъ отозваться,—обнаруживаетъ явное невѣдѣніе ни того языка, съ котораго вы переводили, ни того, на который переводили: онъ просто—безграмотенъ. Всего забавнѣе, что переводчикъ напечаталъ отъ себя предисловіе, въ которомъ преваяно разсуждаетъ о важности переводовъ, утверждая, что «переводы знаменитыхъ твореній, въ извѣстныя чась обновляясь, какъ бы возникаютъ изъ пещла, подобно баснословному фениксу», и что «это возникновеніе или возрожденіе производятъ критика, это чистилище разнообразныхъ переводовъ, этотъ строгій, хотя не всегда вѣрный блюститель вкуса и чистоты, этотъ огонь, пожирающій злое и лукавое». «Надежить притою думать (замѣчаетъ наивно переводчикъ), что занимающійся переводомъ, сверхъ критики, долженъ слѣдовать извѣстнымъ правиламъ; они бывають общія и частныя, они многочисленны»... Да, не мѣшаетъ объ этомъ думать! И всѣ эти высокопарныя разсужденія, всѣ эти тропы и фигуры явились или возродились по случаю новаго перевода «Векфильдскаго священника»,—перевода крайне плохого, ужаснаго своей безграмотностью! Вотъ, что говорится, много шуму изъ пустяковъ!

Огинскій покушается (хотя довольно скромно) противопоставить свой трудъ старому переводу Страхова. Но какое жъ тутъ можетъ быть сравненіе? Переводъ Страхова для своего времени былъ очень хорошъ, а вашъ переводъ для своего времени чрезвычайно не хорошъ.

Сверхъ того, несмотря на заглавіе книги, утверждающее, что переводъ сдѣланъ съ англійскаго, мы имѣемъ много основательныхъ причинъ думать, что онъ «возрожденъ» съ французскаго. Во-первыхъ, примѣчанія, помѣщенные Огинскимъ внизу страницъ, тѣ же самыя, что находятся во французскомъ переводѣ «Векфильдскаго священника»; только переводчица Луиза Беллокъ (Belloc) отнесла ихъ на конецъ книги. Во-вторыхъ, самъ Огинскій говоритъ о переводчикахъ французскихъ, Нодье и г-жѣ Беллокъ. Въ-третьихъ (и это самое важное), постройка русскихъ фразъ такъ и указываетъ на грубые галлицизмы. Впрочемъ основательныя подозрѣнія наши нисколько не измѣ-

няютъ сущности дѣла, и переводчику обижаться ими нечего. Вѣдь это только значить, что Огинскій знаетъ французскій языкъ такъ же плохо, какъ англійскій и русскій. Другого заключенія здѣсь невозможно вывести.

Представимъ нѣсколько выписокъ, довольно любопытныхъ, изъ удивительнаго, въ 1847 году, перевода. Каждая страница «возродить» передъ нами неистощимый матеріалъ удивленія:

«Никогда я не оспаривалъ твоего искусства въ приготовленіи пирога съ *тусапиной*, и (а) мнѣ предоставь, прошу тебя, доводы *въ словопреніи*»—

Надобно замѣтить, Огинскій слово «*controverse*» переводить «словопреніемъ», а французскій союзъ *et* непременно союзомъ *и*.

«Я такъ убѣжденъ былъ въ ея честолобіи, что вовсе не беспокоилъ меня человекъ, *пришедшій въ разореніе по имѣнію (и) хотте тинѣе*»).

«Какое словопреніе читала дочь наша?»—«Я теперь читаю разсужденіе о *любвотной религии*» (т. е. *sur la religion de l'amour*).

«Англійская поэзія теперь не что иное, какъ наборъ *роскошныхъ видовъ*, не имѣющихъ между собой никакой связи—скопленіе прилагательныхъ, которыя, возвышая звуки, не утверждаютъ смысла.»

«У насъ есть двѣ лошади для плуга, *жеребенокъ, который служитъ намъ десятый годъ*» (т. е. *la jument*).

«На этотъ разъ мы *преклонились* быть счастливыми.»

«Дамы поддерживали между собой разговоръ *одна другой*».

«Зловредная мысль была очевидна, и мы далѣе не *простирались*» (т. е. не распространялись объ этомъ).

Довольно, даже слишкомъ. Не пускаясь «въ словопренія», смирися и утѣшися, по методу векфильдскаго священника и каплана. Во-первыхъ, смирися: ибо если *ergate humanum est*, то и ошибаться безчеловѣчно тоже въ природѣ людей вообще и переводчиковъ въ особенности. Во-вторыхъ, утѣшися: ибо, не найдя въ предметъ того, чего искать въ немъ должно, мы нашли въ немъ другое—предметъ для забавы и удивленія.

Главные черты древней финской эпопеи «Калевалы» Морица Эмана. Гельсингфорсъ. 1847.

Это не сама поэма, а только изложеніе ея содержания. Изъ этого должно заключить, что «Калевала» есть твореніе великое, потому что въ противномъ случаѣ для чего бы ее было даже и переводить на русскій языкъ, не только издавать одно изложеніе ея содержанія, съ присовокупленіемъ ученыхъ и всякихъ другихъ примѣчаній? Такъ обходятся только съ монументальными произведеніями человѣческаго ума. Дѣйствительно, почитатели «Калевалы» сравниваютъ ее съ вѣковыми, полными всемірнаго значенія поэмами Гомера. Вотъ какъ отзывался о переводѣ изъ нея

отрывка на шведскій языкъ профессоръ-поэтъ Рунебергъ, издававшій въ Гельсингфорсѣ «Утреннюю Газету».

«Редакція должна сказать, что, по ея мнѣнію, ни одному переводу образцовъ древности, «Иліады» и «Одиссеи», не удалось сохранить столько красоты подлинника, чтобы его можно было сравнить съ переводомъ этой финской руны. Редакція не имѣла случая познакомиться съ остальными рунами «Калевалы», но, судя по этой рунѣ, она полагаетъ, что финская литература въ «Калевалѣ» получила сокровище, которое и въ объемъ, и содержаніи можно сравнить съ прекраснѣйшими греческими образами и даже превосходить ихъ, можетъ быть, своимъ высокимъ естествоискусствомъ и безыскусственнымъ блескомъ, если только можно превзойти то, что совершенно.»

Въ концѣ книжки приложено довольно длинное сужденіе о «Калевалѣ» другого шведскаго или финскаго (не знаемъ право) литератора, Тенгстрема, — сужденіе, изъ котораго мы, по его длиннотѣ, сдѣлаемъ только извлеченіе.

«Слаба и блѣдна сага о греческомъ Орфѣѣ въ сравненіи съ этимъ пышнымъ растеніемъ поэтической естество-описанія (?), въ объемъ котораго входитъ весь міръ съ своей (не его ли?) жизнью и со всѣмъ своимъ (его) блескомъ. Особенно величественна самая картина очаровательной силы звуковъ кантели и описаніе природы. Оно здѣсь достигло той ступени жизни и дѣйствительности, какое (не какую ли?) только истинная поэзія въ силахъ произвести и которое (не которая ли?) должно (должна?) поразить всякаго созерцателя». «Такимъ образомъ народъ съ чрезвычайной силой представлялъ національный свой духъ и главныя черты жизни какъ въ теоретическомъ, такъ и въ практическомъ отношеніяхъ. Что касается до представленія этихъ образцовъ, какъ они являются въ поэзіи, то отнюдь они не пустыя, аллегорическія фигуры, но, напротивъ, они облечены въ свои собственные формы, полны жизнью (?) и дѣйствительностью. Они такъ же совершенны, какъ герои Гомера, но совершенство ихъ только другую характера. Если мы въ краткихъ словахъ изложимъ содержаніе финской эпопеи, со всѣми ея недостатками, то найдемъ, что она имѣетъ столько красоты, что можетъ занять одно изъ первыхъ мѣстъ въ ряду эпическихъ твореній прочихъ народовъ». Если опять будемъ сравнивать ее съ «Иліадою» и «Одиссеей», то найдемъ, что она не можетъ съ нами сравняться относительно полноты образовъ, избытка мѣстоположенія (?), прекраснаго равенства между природой и духомъ, исторической ясности въ разнѣжѣ происшествій и ровнаго эпическаго шага (хода?); но зато она представляетъ такія явленія внутренней душевной красоты, какихъ мы не найдемъ въ Гомерѣ. (Вотъ какъ!...) Также «Калевала» въ общенсторическомъ отношеніи не можетъ быть соперницей съ твореніями Гомера (а!...), но если ясно и подробно показать національный духъ того и другаго народа (т. е. древнихъ грековъ и финновъ!...), то трудно рѣшить, на какой сторонѣ преимущество (вотъ оно куда пошло...). Финской эпопеей должно отдать преимущество въ томъ, что она въ одно описаніе стѣснила (?) весь національный духъ, который Гомеръ представилъ въ двухъ картинахъ.»

Случилось такъ, что, прочитавши предисловіе, мы прочли примѣчанія къ поэмѣ прежде поэмы. Это обстоятельство естественно возбудило въ

насъ сильное любопытство на счетъ самой поэмы. Правда, преувеличенность этихъ отзывовъ не ускользнула отъ насъ и показалась намъ довольно подозрительной. Особенно возбуждалъ въ насъ сомнѣніе послѣдній доводъ въ пользу превосходства финской поэмы надъ поэмами Гомера, состоящій въ томъ, что финская эпопея въ одно описаніе стѣснила весь національный духъ, тогда какъ Гомеру нужно было создать для этого двѣ большія поэмы. Что жъ тутъ мудренаго? — думали мы. Иной національный духъ такъ малъ, что уложится въ орѣховой скорлупѣ, а иной такъ глубокъ и лирикокъ, что ему мало всей земли. Таковъ былъ національный духъ древнихъ грековъ. Гомеръ далеко не исчерпалъ его весь въ своихъ двухъ поэмахъ. И кто захочетъ ознакомиться и освоиться съ національнымъ духомъ древней Эллады, тому мало одного Гомера, но будутъ для этого необходимы и Гезіодъ, и трагики, и Пиндаръ, и комикъ Аристофанъ, и философы, и историки, и ученые, а тамъ еще остается архитектура и скульптура, и наконецъ изученіе всей внутренней, домашней и политической жизни. Съ XVI вѣка изучаетъ Европа древнюю Грецію — и все еще конца не видно этому изученію. Гдѣ только не открываютъ слѣды какихъ-нибудь колоній греческихъ, какъ напр. въ Крыму, — какъ тотчасъ же возникаетъ цѣлая эрудиція по поводу бѣдныхъ остатковъ развалинъ, фресокъ и надписей, вырванныхъ изъ могилъ, — и множество ученыхъ составляетъ себѣ имя этими изысканіями. Такъ глубоки и многозначительны даже слабыя слѣды жизни этого удивительнаго племени...

И однакожь, не смотря на то, мы думали, что самая преувеличенность восторженныхъ похвалъ финской поэмѣ, со стороны ея поклонниковъ, можетъ до нѣкоторой степени свидѣтельствовать о ея значительномъ достоинствѣ, помимо всякихъ неумѣстныхъ сравненій ея съ поэмами Гомера. И вотъ мы начинаемъ читать изложеніе содержанія знаменитой поэмы и не вѣримъ глазамъ нашимъ! Въмѣсто ожидаемаго удовольствія, нами овладѣло чувство досады — слѣдствіе жестоко обманутаго ожиданія! Не нравятся намъ можетъ многое, не возбуждая досады; но когда неумѣренныя похвалы приготовить къ ожиданію чего-то необыкновеннаго, тогда разочарованіе естественно возбуждаетъ досаду и на восторженныхъ хвалителей, и на превознесенное произведеніе. Что же мы нашли въ «финской эпопее»? Вотъ вопросъ, который ставить насъ въ затруднительное положеніе передъ читателями! Переписать здѣсь всю книжку Эмана — значило бы поступить противъ правъ литературной собственности. Пересказать развѣ ея содержаніе вкратцѣ? — Но мы, во-первыхъ, ничего не поняли въ ея содержаніи, а во вторыхъ, какъ пересказывать то, что и въ чтеніи показалось такъ скучнымъ и не интереснымъ? Нельзя сказать, чтобы въ этой поэмѣ не проблескивали искорки поэзіи; но онѣ проблескиваютъ изрѣдка и слабо сквозь мракъ призраковъ, порожденныхъ

дикой и невѣжественной фантазіей. Вотъ отрывокъ для образца финской фантазіи:

«Напоследокъ Вайнямейненъ, вспомнивъ, что давно похороненный богатырь Випуненъ былъ чрезвычайно смѣшленъ въ колдовствѣ и свѣдущъ въ первоначальныхъ словахъ, задумалъ отправиться на его могилу въ надеждѣ найти нужныя слова. Но какъ дорога туда шла по женскимъ ногамъ, чрезъ острые мечи мужчинъ и чрезъ сѣкеры витязей, то онъ просилъ Пльмаринна выковать ему желѣзные перчатки, сапоги, рубашку и длинный шестъ. Такъ вооруженный, достигъ онъ на третій день до могилы богатыря. Густой лѣсъ уже шумѣлъ надъ могилой. Вайнямейненъ вырубилъ лѣсъ и вколотилъ шестъ въ ротъ Випунена. Тотъ проснулся отъ мертваго сна и, напрасно стараясь откусить шестъ, проглотилъ самого Вайнямейнена. Для препровождения времени, Вайнямейненъ изъ желѣзной своей рубашки и прочихъ вещей устроилъ себѣ кузницу въ животѣ богатыря и началъ ковать настоящимъ образомъ. Эта выдумка сильно мучила Випунена. Уголья и огарки жгли ему горло. Онъ въ нуждѣ своей между прочимъ говоритъ: «Кто ты такой, кого я теперь проглотилъ? Съ сотней витязей я то же сдѣлалъ, но никто меня такъ не мучилъ. Если ты сотворенъ создателемъ, то я твердо уповаю на него, что онъ не покинетъ меня, доброго; но если ли ты наемникъ злого духа, то ты, мерзкій, убивайся! Ты подишь ли изъ глубокихъ водъ, или приплывъ изъ волнъ шумящаго моря, или изъ дальнихъ болотъ колдуновъ, или изъ страшныхъ странъ медвѣдей? Отецъ мой вѣдь прежде могъ прогнать все зло. Неужели я не подобенъ отцу? Неужели я не похожъ на брата моего, который управлялъ небесными тучами. Я могу просить помощи у небесъ и у преисподней земли. Громко закричу въ моей нуждѣ, такъ что крикъ отзовется въ глубинѣ земли и чрезъ девять небесъ. Ужко близкій сосѣдь громовыхъ тучъ! дай мнѣ огненный мечъ, чтобы я могъ наказать больно этого подлеца. Поднимайся изъ волнъ ты, богиня морей! Приди для моего спасенія. Приди, о лѣсъ! съ твоими тысячами вооруженныхъ витязей. Приди ты, пустыня, съ своими толпами, и вы, озера! Возстанъ изъ земли, житья земного шара, и поднимитесь всѣ вы, въ гробахъ почивающіе ратники, на истребленіе этого зла. Казно! ты, дочь природы, пышная, прекрасная, укроти страшныя мои мученія! Собирайтесь, тысячи чертей, чтобы изгнать меня отъ этого злого духа! Убивайся, негодяй, изъ меня; мѣста во мнѣ нѣтъ для тебя; ищи себѣ другого жилища. Перебѣтись, куда тебѣ угодно, но только далѣе отъ меня. Куда мнѣ заговорить тебя, куда сослать тебя? Спѣши скорѣе къ тому, кто тебя прислалъ сюда; спѣши домой съ быстротой огненной искры; достань себѣ дыжи или коня у Гиси и уѣзжай. Если ты Калма, возставшій изъ гроба, то отправляйся опять туда. Если ты приплывъ изъ водъ, то я сошлю тебя на край сѣвера, чтобы волны тамъ тебя успокоили. Если ты приплывъ съ вѣтромъ, то воротись назадъ по пути весеннихъ вѣтровъ. Если ты изъ болотъ, то заклиная тебя отправиться въ нетающія болота, откуда ты никогда не выйдешь, или ступай въ обиталище мертвыхъ, или въ кипящую, пламенную рѣку Рутью. Если ты теперь не послушаешься, то возьму на прокатъ ногти у орла и пугну тебя. Пора тебѣ убираться. Удались до разсвѣта, прежде чѣмъ выйдетъ небесная утренняя заря.»

Напрасно однакожъ Випуненъ старался колдовскими пѣснями и заклинаніями избавиться отъ неприятнаго гостя. Вайнямейненъ все-таки не удался и грозилъ остаться навсегда, ежели

Випуненъ не выучитъ его необходимымъ словамъ. И такъ Випуненъ принужденъ былъ отпереть кладовую своихъ словъ: онъ начинаетъ пѣть. Пѣсенъ ему не достаетъ, какъ скаламъ не достаетъ камней или рѣкамъ воды. Пѣніе его продолжается безконечныя дни и ночи. Солнце остановилось слушать, мѣсяцъ также прислушивается, и Большая Медвѣдица поучается.»

Скажите, похожи ли сколько-нибудь эти дикіе, грубые, лишенные смысла образы на греческіе мифы, столь полные глубокаго значенія, столь изящныя по своимъ формамъ? какое можетъ быть сравненіе между эстетически-прекрасными богами древней Греціи, ея человѣчески интересными для насъ героями—и этими уродливыми, чудовищными образами боговъ и богатырей-колдуновъ финскихъ, съ ихъ «первоначальными словами»? Кажется, объ этомъ и рѣчи не можетъ быть. Тенгстремъ, въ своихъ натянутыхъ сравненіяхъ «Калевалы» съ поэмами Гомера, чуть было не попалъ на истину, коснувшись разницы ихъ во всемірно-историческомъ значеніи; но поспѣшилъ обойти этотъ главный и существенный вопросъ, угрожавшій рѣшительнымъ опроверженіемъ всѣхъ его преувеличенныхъ похвалъ финской поэзіи. Нѣтъ, не съ «Иліадою» и «Одиссеей» сравнивать ее, а развѣ съ поэмами вроде «Слово о полку Игоревомъ», да и тутъ еще не рѣшенный вопросъ, на чьей сторонѣ окажется преимущество... Проблески поэзіи—повторяемъ—въ «Калевалѣ» есть, но въ какомъ же народномъ произведеніи нѣтъ ихъ? Поэзія—общее достояніе человѣчества на всѣхъ ступеняхъ его, во всѣхъ его положеніяхъ, отъ самаго дикаго до самаго образованнаго. Но народная, естественная или непосредственная поэзія только у себя дома оказываетъ, особенно сильное вліяніе на души людей; это туземное растеніе, которое вынестъ на чуждой ему почвѣ. Даже и у себя дома много терять она своей силы надъ людьми, какъ скоро у народа возникаетъ художественная поэзія. Во всякомъ случаѣ, интересъ народной поэзіи—интересъ мѣстный, домашній. Каждому дорого свое, родное. Общій интересъ народныя произведенія могутъ приобретать только тогда, когда наука замѣтитъ въ нихъ указанія и факты для объясненія до-историческихъ временъ жизни народа. А особенно за поэзіей тутъ слишкомъ гоняться нечего: ея такъ много, что дѣвать некуда! Народная поэзія—только для охотниковъ. Охота пуще неволи, говоритъ русская пословица. Охотникъ правъ въ своей страсти, особенно если не воображаетъ всѣхъ подобными себѣ охотниками и не навязываетъ ихъ удивленію предмета своей страсти...

Но чѣмъ тѣснѣе, исключительнѣе кругъ занятій человѣка, тѣмъ больше важности придаетъ ему человѣкъ. За отсутствіемъ другихъ сильныхъ національных интересовъ, финны съ особенной страстью обратились къ собиранію и изученію памятниковъ ихъ народной поэзіи. Въ этомъ отношеніи у нихъ много общаго съ тѣми славянскими племенами, которыхъ вся жизнь въ воспоминаніи, въ прошествіи, а не въ настоящемъ и будущемъ.

Тѣ и другіе какъ будто открыли содержаніе и цѣль жизни своей въ отыскиваніи словесныхъ и другихъ памятниковъ своего прошедшаго. Поэма, пѣсня, пословица, стихъ, полстиха, надпись на камнѣ,—все для нихъ равно важно, велико. И оно понятно: юноша не дорожитъ своимъ настоящимъ, о прошедшемъ также не думаетъ; вся жизнь, всѣ надежды и мечты его въ будущемъ, и онъ мыслю опережаетъ время, воображаетъ себя старше, нежели онъ есть, готовъ прибавлять себѣ года, какъ устарѣлая кокетка убавляетъ ихъ у себя. Человѣкъ взрослый, совершеннолѣтній, уже любитъ свое прошедшее, каково бы оно ни было, но онъ уже не рвется въ будущее, не вѣрить его обольстительнымъ обещаніямъ; онъ уже научился цѣнить настоящее, дорожить имъ, и вся жизнь, вся дѣятельность его въ настоящемъ. Для старика настоящее уныло и безотраднѣе, а въ будущемъ онъ видитъ только могилу, и потому бранить настоящее и не любитъ думать, не только говорить о будущемъ: онъ весь въ прошедшемъ, весь въ своихъ воспоминаніяхъ, онъ молодѣетъ, говоря о нихъ, дѣлается счастливъ и гордъ, хвалитъ доброе старое время. Это жизнь въ воспоминаніи, жизнь заднимъ числомъ! Ее знаютъ и народы. Тогда они дѣлаются археологами исключительно и думаютъ, что важное и дорогое для нихъ такъ же важно и дорого и для другихъ. Осмѣйтесь усомниться въ цѣнности ихъ сокровищъ или посмотрѣть на нихъ равнодушно,—вы совершите въ ихъ глазахъ преступленіе, которому нѣтъ равнаго... Улыбнитесь насмѣшливо или только недовѣрчиво, когда они указываютъ вамъ на своихъ Гомеровъ, на свои «Иліады» и «Одиссеи»;—они взглянуть на небо, не гремѣть ли уже громъ, долженствующій поразить васъ за ужасное нечестіе вашего скептицизма... Какъ во всѣхъ иллюзіяхъ старости, тутъ все дышетъ преувеличеніемъ и фанатизмомъ. Но если такимъ археологамъ-патріотамъ часто случается встрѣчать холодность и равнодушіе, а иногда и насмѣшку со стороны людей, которымъ чужды ихъ обольщенія,—зато иногда они встрѣчаютъ не только сочувствіе, но и готовность на тѣ же преувеличенія тамъ, гдѣ бы, кажется, всего менѣе могли они ожидать найти ихъ. Это самое нашла финская литература въ извѣстномъ русскомъ литературѣ, графѣ Соллогубѣ. Заглавіе книжки Эмана украшено эпиграфомъ, заимствованнымъ изъ статьи графа Соллогуба, а эпиграфъ этотъ гласитъ: «Вы едва ли поймете, какъ утѣшительно теперь, когда изъ литературы сдѣлался какой-то безобразный рынокъ, найти въ уголкѣ Европы столь неожиданное явленіе». Это сказано по поводу финскаго литератора Ленрота, который нѣсколько лѣтъ, терпя нужду и холодъ, ходитъ пѣшкомъ по Финляндіи, отыскивая въ хижинахъ ея поселянъ народныхъ пѣсни. Мы первые готовы отдать справедливость прекрасному и благородному подвигу Ленрота; но не считаемъ нужнымъ впадать для этого въ преувеличеніе. Какъ! всѣ литературы Европы, кромѣ финской, превратились въ какой-то безобразный

рынокъ?... Какъ! безкорыстное служеніе наукѣ или литературѣ существуетъ теперь только въ Финляндіи?... Помилуйте, господа энтузіасты! прочтите жизнь такихъ людей, какъ Гумбольдтъ или Араго,—и посмотрите, такіа ли еще жертвы принесли они наукѣ! Вспомните, что до сихъ поръ не прерывается въ Европѣ рядъ этихъ смѣлыхъ мучениковъ науки, которые отваживаются на путешествія въ страны отдаленныя и опасныя, напр. въ глубину Африки, гдѣ большей частью погибаютъ они отъ воспалительныхъ и заразительныхъ болѣзней или отъ ножа дикарей. Корысть, расчетъ и торговля дѣйствительно проникли теперь во всѣ литературы; но вы близоруки, если за ними не разсмотрѣли тѣхъ благородныхъ и прекрасныхъ явленій, которыя хотя и въ меньшинствѣ, но есть и всегда будутъ вездѣ, къ чести человѣческой натуры. Что въ финской литературѣ нѣтъ торгашества, это очень естественно; занятіе финской литературой не представляетъ никакихъ матеріальныхъ выгодъ, а потому за него и берутся не спекулянты, а только люди, дѣйствительно любящіе литературу.

Современныя замѣтки.

Въ обзорѣ русской литературы за прошлый 1846 годъ, помѣщенномъ въ первой книжкѣ «Современника», мы указали только на нѣкоторыя статьи, помѣщенныя въ журналахъ, но о самыхъ журналахъ не сказали ни слова. О старыхъ новаго сказать было нечего, а повторять старое было бы и скучно, и бесполезно. Ихъ характеръ, направленіе, духъ—давно всѣмъ извѣстны. Еслибы который-нибудь изъ нихъ, противъ воли, потерпѣлъ какое-нибудь существенное измѣненіе въ своемъ внутреннемъ значеніи, всѣми мѣрами усиливаясь въ то же время сохранить, хотя внѣшнимъ образомъ, свой прежній характеръ,—вѣроятно это было бы и безъ нашихъ указаній тотчасъ всѣмъ замѣчено, и намъ больше, нежели кому-нибудь другому, было бы неумѣстно вѣшиваться въ какія бы то ни было разбирательства по этому предмету. О новыхъ или преобразованныхъ журналахъ, долженствовавшихъ появиться въ новомъ 1847 году, мы естественно не могли говорить потому, что еще не видали ихъ. Правда, о нѣкоторыхъ или по крайней мѣрѣ о нѣкоторомъ можно было и заранѣе сказать безошибочно, что изъ него выйдетъ, не прибѣгая къ духу прорицанія, а только припомнивъ его неоднократныя метаморфозы; но вѣдь это же самое могъ бы сказать о немъ и всякій, стало-быть, нечего было и говорить....

Тѣмъ пріятнѣе для насъ, что много хорошаго можете мы сказать о преобразованныхъ «Санкт-петербургскихъ Вѣдомостяхъ»... Мы многого ожидали отъ этой газеты по ея новой программѣ, въ которой были показаны и новыя матеріальныя

средства редакціи и поименовано много новых сотрудников: но «Санктпетербургскія Вѣдомости» съ первых же номеров своих за нынѣшній годъ превзошли всѣ ожиданія наши. Прежній редакторъ ихъ, Очкинъ, воспользовался какъ слѣдуетъ новымъ своимъ положеніемъ редактора къ прежнему своему изданію, расширившимъ предѣлы его дѣятельности и давшимъ ему возможность обнаружить въ истинномъ свѣтѣ свои способности для редактированія большой политической и литературной газеты. Хотя въ ея заглавіи и стоятъ только два эпитета: политическая и литературная, и не стоитъ, какъ въ другихъ газетахъ, ученая; но это недостатокъ только заглавія газеты, а не самой газеты, потому что въ ней публика прочла уже не одну замѣчательную ученую статью. Мы далеки отъ того, чтобы видѣть въ преобразованныхъ «Санктпетербургскихъ Вѣдомостяхъ» какое-то чудо совершенства. При сужденіи о какой бы то ни было русской газетѣ, всегда должно брать въ соображеніе, до какой степени простирается у насъ вообще возможность хорошаго изданія въ этомъ родѣ, и до какой степени зависитъ отъ редактора его совершенство. Съ этой точки зрѣнія, немногаго остается желать для улучшенія «Санктпетербургскихъ Вѣдомостей»,—и, судя по ихъ дебюту, мы убѣждены, что съ этой стороны въ скоромъ времени онѣ не оставятъ ничего больше желать своимъ читателямъ, потому что уже и теперь «Санктпетербургскія Вѣдомости» такъ далеко оставили за собой всѣ другія изданія одного съ ними рода, что сдѣлали невозможнымъ всякое сравненіе между собой и ими. Нельзя надивиться довольно богатству и полнотѣ внутреннихъ извѣстій въ каждомъ номерѣ «Санктпетербургскихъ Вѣдомостей». Заграничныя извѣстія, какъ политическія, такъ и частныя, въ нихъ тоже гораздо полнѣе и разнообразнѣе, нежели въ другихъ русскихъ газетахъ, исключая «Московскихъ Вѣдомостей». Но помѣщеніе такихъ статей, какъ «Штейнъ и Поццоди-Борго» и «Уголовное судопроизводство во Франціи и Англіи», уже совершенно выводитъ «Санктпетербургскія Вѣдомости» изъ подъ общаго уровня доселѣ бывшихъ и сущихъ газетъ російскихъ. «Взятіе Азова», любопытная статья Устрялова, вѣроятно не останется единственной ученой статьёй въ годовомъ изданіи газеты.

Фельетонъ составляетъ существенную принадлежность всякой газеты. Къ сожалѣнію, фельетонъ у насъ пока еще невозможенъ. Что такое фельетонъ? Это болтунъ, повидимому добродушный и искренній, но въ самомъ дѣлѣ часто злой и злорѣчивый, который все знаетъ, все видитъ, обо многомъ не говоритъ, но высказываетъ рѣшительно все, колетъ эпиграммой и намекомъ, увлекаетъ и живыми словомъ ума, и погребушкой шутокъ.... Гдѣ жъ ужиться съ фельетономъ русской публикѣ, которая такъ церемонно, серьезна, чопорна, съ такимъ избыткомъ одарена великодушной готовностью благоприлично скучать, такъ уважаетъ, даже втужѣ, благонамѣренную наружность?

Оттого нашъ русскій фельетонъ, какъ и нашъ русскій водевиль, такъ приторенъ въ своихъ любезностяхъ, такъ скученъ и вялъ въ своемъ остроуміи, а главное—такъ мало изобрѣтателенъ на предметы разговора! Бѣдняжка вѣчно начинается или съ того, что въ Петербургѣ всегда дурная погода, или съ того, какъ трудно ему, фельетонисту, писать по заказу, когда вовсе не о чемъ писать, а въ головѣ пусто... Вотъ тутъ-то, въ припадкѣ фельетоннаго отчаянія, желая быть остроумнымъ, во что бы ни стало, восклицаетъ онъ иногда: «Зачѣмъ у насъ такъ много полу-плохихъ журналовъ, а не одинъ хорошій журналъ?». На что зѣвающій читатель можетъ отвѣтить ему: «Скажите-ка лучше, зачѣмъ всѣ ваши фельетоны такъ положительно плохи; что бы вамъ написать хоть одинъ порядочный»...

Но «Санктпетербургскія Вѣдомости» умѣли перещеголять другія русскія газеты даже и со стороны фельетона. Если фельетонныя статьи въ нихъ и неодинаковаго достоинства, зато между ними нѣтъ такихъ, которыя могли бы компрометтировать газету, а съ ней и всю русскую литературу. Очень выгодно для «Санктпетербургскихъ Вѣдомостей» то обстоятельство, что у нихъ, по множеству сотрудниковъ, и фельетоны пишутся разными лицами, которыя говорятъ въ нихъ о русской литературѣ, о русскомъ и французскомъ театрѣ, объ итальянской оперѣ въ Петербургѣ и тому подобныхъ немногихъ предметахъ русскаго и петербургскаго міра; но никогда не говорятъ о себѣ, о своей любви къ правдѣ, и что всѣ ихъ за нее гонять, о гибели чистоты русскаго языка литераторами чужого прихода, и тому подобныхъ пошлостяхъ, которыя уже давно вышли изъ вѣры, давно всѣмъ наскучили и опротивѣли... Нѣкоторые фельетоны «Санктпетербургскихъ Вѣдомостей» даже очень интересны, особенно подписанные именемъ Губера и буквами: «Э. И.» Въ нихъ высказывается много дѣльнаго и притомъ такъ умно, ловко, живо. Правда, между всѣмъ этимъ попадаются мнѣнія, съ которыми вы можете-быть никакъ не согласитесь, но которыхъ тѣмъ не менѣе вы не можете не уважать, которыя—что всего важнѣе—вы можете оспаривать, не боясь вдаться въ такъ-называемую полемику... Такимъ образомъ фельетонъ Губера: «Русская литература въ 1846 году», помѣщенный въ № 4 «Санктпетербургскихъ Вѣдомостей», возбуждалъ въ насъ желаніе сдѣлать на него нѣсколько замѣтокъ.

Говорить о современной русской литературѣ—значитъ говорить о такъ называемой натуральной школѣ и о такъ называемыхъ славянофилахъ, ибо это самыя характеристическія явленія современной русской литературы, въ которыхъ нѣтъ на Руси никакой литературы. Губеръ о нихъ и говоритъ. Приговоръ его славянофиламъ нѣсколько строгъ и одностороненъ. Съ одной стороны, онъ очень справедливо сравниваетъ славянофильскую партію въ Россіи съ романтической партіей въ Германіи, стоявшей за средніе вѣка и те-

тонизмъ и ненавидѣвшей Францію и все французское; кромѣ ратованія за мертвое начало между обѣими партіями, русской и нѣмецкой, есть еще то общее, что онѣ не имѣютъ важнаго значенія въ литературнаго, книжнаго міра. Но съ другой стороны Губеръ не совсѣмъ правъ, видя въ нашихъ славянофилахъ не больше, какъ «защитниковъ бороды и кафтана». Правда, между славянофилами есть и такіе; но въ какой же партіи нѣтъ людей, которые своей ограниченностью дѣлаютъ сужѣнной свою партію. Однакожь по нѣкоторымъ не слѣдуетъ заключать обо всѣхъ. Еще менѣе правъ Губеръ, говоря, что «эта славянская партія составляетъ неотъемлемое достояніе Москвы» и что «въ Петербургѣ совсѣмъ другое дѣло», что-де «тутъ молодое поколѣніе силится опрокинуть старый порядокъ русской литературы» и пр. Нѣтъ, это не такъ. Правда, въ Москвѣ много славянофиловъ, но меньше-ли ихъ и въ Петербургѣ? Этотъ вопросъ неизбежно влечетъ за собой другой: покойный «Маякъ» менѣе-ли «Москвитянина» быть выразителемъ ультра-славянофильскихъ понятій, или болѣе? А въ «Маякѣ» издавался не въ Москвѣ, а въ Петербургѣ, и наполнялся преимущественно трудами живущихъ въ Петербургѣ литераторовъ. Съ другой стороны, въ Москвѣ не мало живетъ ученыхъ и литераторовъ, нисколько не принадлежащихъ къ славянофильской партіи. Укажемъ для примѣра на Искандера, Грановскаго, Кавелина, Соловьева, Рѣдкина, Корша, Рулье... (скажемъ болѣе: молодое поколѣніе, на которое такъ горько жалуется Губеръ за то, что «оно силится опрокинуть старый порядокъ русской литературы», это молодое поколѣніе совсѣмъ не туземное въ отношеніи къ Петербургу: оно перѣхало въ Петербургъ изъ Москвы...

Но главный предметъ статьи Губера составляетъ такъ-называемая натуральная школа русской литературы и критики, которую онъ однакоже называетъ литературой и критикой молодого поколѣнія—что не совсѣмъ вѣрно, ибо если молодая поколѣнія всѣ на сторонѣ этой школы, то въ числѣ дѣятелей этой школы есть люди, изъ которыхъ одни поднимаются уже къ своимъ сороковымъ годамъ, а другіе уже и перешли за нихъ. Вообще, наши литераторы какъ-то долго считаются молодыми людьми, а потомъ какъ-то вдругъ повертываются въ разрядъ старыхъ... Говоря о натуральной школѣ, Губеръ ясно показывается, что самъ онъ, по своимъ убѣжденіямъ, не принадлежитъ ни къ ней, ни къ противоположной ей, и ни къ какой другой литературной котерин, и что слѣдовательно онъ—человѣкъ безъ предубѣжденій и предрассудковъ, человѣкъ безпристрастный. Цѣлѣвительно, мало сочувствуя натуральной школѣ, онъ тѣмъ не менѣе смотритъ на нее безъ всякой враждебности, обвиняя ее за ея недостатки, отдаетъ полную справедливость ея заслугамъ, а—главное—весьма благородно защищаетъ ее отъ несправедливыхъ нареканій и навѣговъ ожесточенныхъ враговъ ея. Все это хорошо,

но со всѣмъ этимъ Губеръ не рѣшилъ вопроса, и же не подвинулъ его впередъ и нисколько не наполнилъ своей роли посредника и примирителя. Есть два способа оставаться безпристрастнымъ среди тревожныхъ волненій партій. Первый состоитъ въ томъ, чтобы безпристрастно видѣть всѣ стороны, дурныя и хорошія, чуждыхъ партій, а самому все-таки оставаться вѣрнымъ своему убѣжденію и слѣдовательно оставаться вѣрнымъ своей партіи, если это убѣжденіе раздѣляется другимъ (а что же въ немъ дѣльнаго, если оно никакъ не раздѣляется?). Второй (и самый надежный, самый вѣрный, самый легкій) способъ быть безпристрастнымъ состоитъ въ томъ, чтобы, кое въ чемъ соглашаясь и кое въ чемъ не соглашаясь съ тѣмъ и другимъ, самому не имѣть никакого опредѣленнаго мнѣнія, никакого постояннаго убѣжденія. Такого рода «безпристрастные» люди, неспособные принадлежать ни къ какой партіи, иначе называются равнодушными или индифферентами. Не принадлежать къ партіи можетъ только гений, и то потому, что онъ самъ—знамя, подъ сѣнь котораго не замедлитъ стать огромная партія. Претензіи не принадлежать къ партіи всегда совпадаетъ съ претензіей одному видѣть ясно безусловную истину, на которую всѣ другіе смотрятъ сквозь тусклые очки парціальныхъ пристрастій; но чистая, безусловная истина есть только логическій абстрактъ: всякая живая истина всегда носитъ на себѣ отпечатокъ временнаго, условнаго.

Мы слишкомъ далеки отъ того, чтобы видѣть въ Губерѣ безпристрастнаго зрителя борьбы, который тѣмъ больше видитъ, тѣмъ меньше принимаетъ участія въ борьбѣ; но въ то же время мы должны сказать, что тщетно отыскивали въ его статьяхъ того, что называется началомъ, принципомъ, взглядомъ, образомъ мыслей, наконецъ убѣжденіемъ. У него есть мнѣнія, но до того личныя, что они больше на своемъ мѣстѣ въ частномъ разговорѣ, нежели въ печати. Никакъ нельзя понять, чего онъ держится. Только что заговорить онъ о чемъ-нибудь положительно, и обрадованный читатель думаетъ добратся до какого-нибудь вывода, какъ авторъ тотчасъ же отступаетъ отъ своего мнѣнія и идетъ дальше, а потому нѣтъ ничего удивительнаго, что хотя шелъ онъ не мало и не близко, а не дошелъ ни до чего... Начнемъ съ начала.

«Прежде поэзія космополитомъ обходила города и села, распѣвая сладкія пѣсни и чуждаясь соприкосновенія съ ежедневной жизнью; она расхаживала, непричастная тому, что творилось кругомъ, строгая муза, неприступная жрица, съ важнымъ правдивымъ лицомъ; она облачалась въ воскресныя (?) одежды и служила чистой, неподкупною службой своей единственной богинѣ—красотѣ.»

Несмотря на то, что эти строки прочли мы 4 января 1847 г. въ первый разъ въ нашей жизни, намъ показалось, что мы давно знаемъ ихъ наизусть: таково впрочемъ свойство всѣхъ общихъ риторическихъ мѣстъ... Право, пора бы

перестать вспоминать о какомъ-то чистомъ и абстрактномъ искусствѣ, котораго никогда и нигдѣ не бывало. Пора перестать думать, что можно возвысить искусство, представляя его то какимъ-то бродягой, безъ дома и отечества, то цыганкой, то прелестницей не изъ денегъ, а по страсти къ ремеслу. Да гдѣ и когда было такое искусство? Искусство древнихъ грековъ ближе всякаго искусства въ мірѣ подходитъ къ идеалу чистаго, независимаго отъ дѣйствительной жизни искусства; но при всемъ этомъ укажите мнѣ на какое-нибудь другое искусство, которое бы съ такой полнотой, глубиностью и многосторонностью выразило въ себѣ всѣ элементы религіозной, политической, государственной, гражданской и частной жизни эллиновъ... Поэтому-то, не имѣя понятія объ исторической и внутренней жизни этого народа, нельзя понимать и его поэзіи. Уже нечего и говорить о какомъ-нибудь Аристофанѣ, на каждый стихъ котораго необходимо по сотнѣ комментариевъ, чтобы понимать его; не далеко уйдете вы и въ пониманіи другихъ поэтовъ Греціи, если ученымъ образомъ не ознакомитесь съ ихъ жизнью, которая была источникомъ ихъ поэзіи. А этого бы совсѣмъ не нужно въ отношеніи къ чистой, безусловной поэзіи, которая парить горѣ, считая для себя за униженіе знать, чтó дѣлается долу... Изъ писателей новаго міра рыцари небывалаго чистаго искусства обыкновенно съ торжествомъ указываютъ на Гёте; но тутъ-то они, сверхъ всякаго съ ихъ стороны чаянія, находятъ орудіе противъ себя, а не за себя... Правда, Гёте, по особенному свойству, возможному и понятному только въ нѣмецкой натурѣ, оставался равнодушнымъ къ политическимъ вопросамъ въ самое обильное великими политическими событіями время; согласны съ Губеромъ, что, «какъ человѣкъ и какъ нѣмецъ, Гёте былъ не правъ»; но не можемъ согласиться, чтобы, какъ поэтъ, какъ художникъ, Гёте въ этомъ случаѣ хоть сколько-нибудь подходилъ подъ идеалъ безукорызнаго жреца абстрактнаго искусства. Въ Гёте должно отличать человѣка отъ художника: Гёте былъ великій художникъ, но человѣкъ онъ былъ самый обыкновенный... Не искусство, а его личный характеръ заставляли его вѣчно тереться между сильными земли, жить и дышать милостыней ихъ улыбокъ, равно какъ и оказывать самое холодное невниманіе ко всему, чтó не касалось до него лично, чтó могло возмутить его юпитеровское, говоря поэтически, и эгонистическое, говоря прозаически, спокойствіе. И потому равнодушіе Гёте къ живымъ вопросамъ современной ему исторіи не имѣетъ ничего общаго съ искусствомъ: искусство и не думало обязывать его въ свою пользу безнравственнымъ равнодушіемъ такого рода. Но тѣмъ не менѣе Гёте, какъ художникъ, какъ поэтъ, былъ вполне сыномъ своей страны, своего вѣка, вполне выразилъ собою если не всѣ, то многія изъ существеннѣйшихъ сторонъ современной ему дѣйствительности. Это доказывается его отвращеніемъ ко всему отвлеченному, туманному, мистическому, ко

всякой, какъ называють ее Губеръ, «нездѣшной» поэзіи. Это же доказывается его стремленіемъ ко всему простому, ясному, опредѣленному, здѣшнему, земному, дѣйствительному, реальному, положительному; его страстнымъ сочувствіемъ природѣ, которое не только отразилось пантеистическимъ міросозерцаніемъ въ его поэзіи, но еще и выразилось съ его стороны великими услугами въ области естествознанія, какъ науки. Какъ при этомъ не вспомнить о его живой симпатіи къ древнему міру, среди всеобщаго стремленія къ варварскимъ среднимъ вѣкамъ, откуда поэзія выносила только невѣжественныя идеи да уродливыя образы? И вотъ причина, почему теперь, въ наше время, скептической, холодной Гёте въ самой Германіи въ такомъ же содержаніи пріобрѣтають себѣ новыхъ читателей и почитателей, въ какомъ пламенный и рыцарственно благородный Шиллеръ теряетъ ихъ со дня на день. Да, въ лицѣ Гёте искусство служило жизни или, лучше сказать, выражало жизнь; онъ не могъ бы сдѣлать его вспомогательнымъ орудіемъ для какой-нибудь эфемерной партіи, но весь гевій свой отдалъ онъ на помощь великой партіи великаго вѣка...

Объяснивши по своему, что съ Гёте должно было кончиться такъ-называемое космополитическое искусство (котораго нигдѣ и никогда не существовало), Губеръ показываетъ необходимость послѣдовавшаго затѣмъ переворота во всѣхъ европейскихъ литературахъ, а вслѣдъ за ними и русской. Тутъ мимоходомъ у него сказано много очень хорошаго о гармоніи, тишинѣ и примиреніи, какъ условіяхъ процвѣтанія искусства. Губеръ смотритъ на этотъ предметъ глазами отживающихъ теперь свой вѣкъ нѣмецкихъ эстетикъ. Для него жизнь есть покой и сонъ, а не движеніе, не борьба; онъ не догадывается, что примиреніе въ искусствѣ совершается черезъ обобщеніе явленія, черезъ возведеніе его въ идею, но что въ дѣйствительности примиреніе царствуетъ только въ сонныхъ городахъ бюргерской Германіи!..

Но вотъ мы наконецъ у главнаго пункта нашего возраженія. Сближеніе русской литературы съ дѣйствительностью выразилось, по словамъ Губера, въ появленіи «литературы чиновниковъ». Послушаемъ самого Губера:

«Всѣ эти новыя произведенія, сближающія литературу съ дѣйствительной жизнью и прославляемыя критикой, ограничиваются до сихъ поръ изображеніемъ мелкихъ чиновниковъ; отъ этого происходитъ утомительное однообразіе въ содержаніи нашихъ повѣстей и романовъ. *Нитъ сомнѣнія, что чиновникъ во всѣхъ его видоизмѣненіяхъ составляетъ любительное явленіе въ нашей дѣйствительной жизни; правда, что многія другія стороны ея не подлежатъ анализу литератора; но повторять одно и то же, находить въ этомъ однообразномъ содержаніи единственное спасеніе литературы, осудить ее на такое скудное направленіе—значитъ не понимать современныхъ требованій искусства. Истинный художникъ, поэтъ или прозаикъ, призванный временемъ и дарованіемъ на великую службу мысли, не покоритъ своихъ убѣжденных, своего вдохновенія такому тѣсному*

условію. Онъ останется върнъ характеру и направленію времени, онъ будетъ сочувствовать всѣмъ его движеніямъ и нуждамъ; на немъ отразится его борьба, его надежды, явы и страданія; но вдохновеніе его не станетъ боязливо искать условнаго содержанія; сегодня оно выражается въ явленіи дѣйствительнаго міра, а завтра—въ старинномъ преданіи; сегодня герой его называется Кузьмой или Прохоромъ, а завтра—Нерономъ или Каллигулой; сегодня онъ является чиновникомъ четырнадцатаго класса, а завтра—Титаномъ греческой мифологіи. Въ мысли художника отразится его сочувствіе къ современному направленію, а не въ обоченіи этой мысли...

«Недостатокъ этой молодой литературы состоитъ не въ томъ, что она пишетъ о чиновникахъ, а въ томъ, что она ничего другого не пишетъ; не въ томъ, что она выставляетъ грязныя стороны жизни, а въ томъ, что она еще не высилась ни до единой изъ чистыхъ ея сторонъ. Въ доказательство же, что и то, и другое возможно, стоитъ только указать на произведенія Лермонтова или графа Соллогуба.»

Не понимаемъ, какъ подобныя строки могли выйти изъ пера человѣка съ такимъ умомъ и образованіемъ, какъ Губеръ! Парадоксъ на парадоксъ, и каждый опровергнуть самимъ же авторомъ! Сказать, что «многія другія стороны нашей дѣйствительности не подлежатъ анализу литератора»—и въ то же время превратно, т. е. насколько не шутя, обвинять литературу, какъ въ важномъ преступленіи, въ томъ, что она, кромѣ чиновниковъ, ничѣмъ не занимается: не значить ли это шутить надъ здравымъ смысломъ читателей?... И притомъ не совсѣмъ правда, будто новая литература занимается только чиновникомъ: хоть и рѣже, но иногда касается она и помѣщика, и купца, и мѣщанина, и крестьянина.

А вотъ теперь министерство государственныхъ имуществъ объявило конкурсъ на сочиненіе книгъ, какъ касающихся до быта простого народа, такъ и для чтенія этому простому народу. По этому поводу намъ пришла въ голову слѣдующая мысль: еслибы наша литература до сихъ поръ возилась все съ Неронами, Каллигулами да Титанами, а не съ Кузьмами и Прохорами четырнадцатаго класса,—можно ли было бы призвать ее на такое великое дѣло, какъ сочиненіе книгъ для народа?...

Но Губеръ не имѣетъ ничего общаго съ людьми, которые начисто запрещаютъ литературу заниматься чиновниками; онъ только обвиняетъ ее за то, что она ими занимается одними, тогда какъ можно бы ей было позаниматься и другимъ чѣмъ-нибудь, какъ это доказываютъ сочиненія Лермонтова и графа Соллогуба... Какъ Губеръ, такъ новая литература, въ лицѣ Лермонтова и графа Соллогуба, умѣла же находить предметы для своихъ занятій и въ чиновническомъ міра!... Такъ за что же вы обвиняете ее, обдную «новую литературу»?.. Но зачѣмъ и теперь всѣ не слѣдуютъ примѣру Лермонтова и графа Соллогуба?—Не мудрено отвѣчать на подобный вопросъ, если только вы намѣрены были сдѣлать его. Слѣдовать за Лермонтовымъ никому не слѣдуетъ. Что же касается до графа Соллогуба, то ему вѣроятно по-

тому никто не слѣдуетъ, почему онъ никому не слѣдуетъ, кромѣ того однакожъ, кто создалъ эту новую литературу, и кому всѣ болѣе или менѣе слѣдуютъ... Что же до Нероновъ, Каллигулъ и Титановъ—кто же мѣшаетъ кому изображать ихъ въ стихахъ и въ прозѣ? И развѣ не дѣлали этого—Марлинскій въ повѣстяхъ, Тимофеевъ—въ истеріяхъ? Развѣ Бернетъ не написалъ «Графа Меца»? А сколько прошло передъ глазами нашими и скрылось навсегда романовъ вродѣ «Прizrака», «Непостижимой» и т. п.? Сколько Кукольниковъ написали съ одной стороны итальянскихъ повѣстей и драмъ, а съ другой—русскихъ повѣстей и драмъ? А драмы Полевого и Оболенскаго? Куда все это скрылось? Изъ всего этого еще только русскія повѣсти Кукольника менѣе пострадали отъ забвенія, и то по причинѣ болѣе юмористическаго, нежели трагическаго ихъ характера. Какое слѣдствіе можно вывести изъ всего этого? А вотъ какое: хороши Нероны, Каллигулы и Титаны Байрона, Гёте, даже Пушкина и Лермонтова; но куда плохи и невыносимы эти образы у талантовъ третьяго разряда, дарованій средней руки. Послѣдніе очень умно дѣлаютъ, что кромѣ чиновниковъ ни о чемъ писать не хотятъ. Даже посредственная повѣсть съ чиновниками можетъ имѣть свою цѣну, хотя на время, но посредственная поэма съ Нерономъ, Каллигулой или Титаномъ—вещь нестерпимо скучная и пошлая. Изъ этого однакожъ не слѣдуетъ, чтобы для изображенія дѣйствительной жизни со всѣми даже пошлыми и грязными сторонами ея требовалось меньше таланта или генія, нежели на изображеніе какихъ-нибудь идеальныхъ міровъ: изъ этого слѣдуетъ только, что маленькимъ талантамъ лучше держаться того, что у нихъ передъ глазами и что имъ по плечу, нежели того, что такъ далеко отъ нихъ и такъ выше ихъ силъ. Такъ вотъ отчего, къ общей радости, писатели наши оставили въ покоѣ Нероновъ, Каллигулъ и Титановъ, предпочли имъ Кузьму да Прохора... Это означаетъ совершеннѣйшее: только ребенокъ хватается за труды не по силамъ...

Положимъ, что современная русская литература идетъ не большою столбовою дорогою, а проселочной: но если это единственная дорога, существующая для нея, неужели же вы обвините ее, что она предпочла лучше идти проселочнымъ путемъ, нежели вовсе не идти ни по какой дорогѣ,—вы, которые такъ хорошо знаете, что подлежатъ и что не подлежатъ анализу литератора? Мы даже думаемъ, что литература наша дѣлаетъ больше, нежели сколько можно отъ нея требовать. Теперешній путь ея не блестящъ, но проченъ и полезенъ. Знакома общество съ самимъ собой, т. е. развивая въ немъ самосознаніе, она удовлетворяетъ его главнѣйшей и важнѣйшей въ настоящую минуту потребности. Этого она не могла бы достигать съ Нерономъ, Каллигулами и Титанами, которыхъ наше общество рѣшительно не хочетъ знать. Никто не станетъ спорить противъ того,

что «Египетскія ночи», «Галубъ», «Каменный Гость» — великія художественныя созданія. Но потому-то и существуют они у насъ только для слишкомъ немногочисленныхъ истинныхъ знатоковъ искусства; большинство же рѣшительно предпочитаетъ имъ произведенія, равныя имъ по художественному достоинству, но изображающія нашу действительность, какъ она есть, какъ напр. «Мертвыя Души».

Новая критика съ гордостью можетъ сказать, что и она способствовала этому направленію новой литературы; но чтобы она произвела, или — что еще преувеличеніе — чтобы она одна произвела его, думать такъ — значило бы возвышать ее не по заслугамъ. А между тѣмъ ея противники (обыкновенно писатели, не имѣвшіе особеннаго успѣха) въ этомъ и упрекаютъ ее. Настоящее время особенно неблагоприятно исключительному владѣтельству какой-нибудь литературной партіи, потому-что публика наша уже совсѣмъ не та, какой была она лѣтъ пятнадцать назадъ; она соглашается съ тѣмъ, что находить справедливымъ, но на слово не вѣритъ никому. Отъ этого теперь ни одинъ журналъ не можетъ пристрастными нападками повредить успѣху никакого дарованія, никакой книгѣ, равно какъ и доставить успѣхъ посредственности или бездарности. Говорятъ, будто журналы убили теперь книгу, такъ что «отдѣльныя книги гостятъ въ магазинахъ или нищенствуютъ въ библіотекахъ для чтенія; литераторъ, который рѣшается на особенное изданіе своего произведенія, не любитъ говорить о томъ, сколько экземпляровъ онъ напечаталъ и сколько ихъ разошлось». Это рѣшительная неправда, которую ничего нѣтъ легче, какъ доказать фактами. Найдутъ теперь только стихотворенія, и то потому, что публика не хочетъ знать стихотвореній, которыя не то, чтобы хороши, не то, чтобы плохи, а такъ себѣ — не дурны... Теперь у насъ довольно стихотворцевъ не безъ таланта, да та бѣда, что трудно отличать стихотворенія одного отъ стихотвореній другого, — такъ похожи они другъ на друга...

Но критика, говоритъ Губеръ, виновата тѣмъ, что, усиливаясь облизать литературу съ жизнью, выражается сама дикимъ, непонятнымъ языкомъ. Это старая нападка на употребленіе извѣстныхъ терминовъ и словъ. Но что жъ дѣлать, если со временъ Петра Великаго языкъ нашъ пестрѣетъ иностранными словами? Видно, это нужно! Вѣдь критика — не фельетонъ, и ей приходится часто говорить объ идеяхъ, для выраженія которыхъ у насъ нѣтъ словъ въ обыкновенномъ разговорномъ языкѣ. Но теперь подобный упрекъ критикѣ едва ли не анахронизмъ, и едва ли въ этомъ отношеніи можно безъ несправедливости упрекнуть ее въ томъ, въ чемъ справедливо упрекали ее лѣтъ восемь назадъ тому. Зато, если вѣрить врагамъ критики, она часто убиваетъ таланты то неумѣренной бранью, то неумѣренными похвалами. Но прежде всего, господа, съ умысла или безъ умысла дѣлаетъ она это? Если съ умысла, нельзя не

пожалѣть, что такая низкая и презрѣнная критика пользуется такой силой и такимъ вліяніемъ. Но это къ счастью невозможно: такая критика всегда безсильна и никого убивать не въ состояніи. Если же она дѣлаетъ это безъ умысла: за что же хотите вы лишить ее права ошибаться? Право, вы ужъ чересчуръ уважаете ее и хотите въ ней видѣть что-то непогрѣшительное, что-то такое, что выше человѣческой природы. Какъ на самую умилительную и самую недавнюю жертву критики, Губеръ указываетъ на автора «Вѣднхъ Людей».

«Новая критика (говоритъ онъ) жадно ухватилась за эту книгу, разсыпалась въ восторженныхъ похвалахъ, пожаловала молодого литератора въ геніи первой степени и вознесла его на такую высоту, на которой поневолѣ голова закружится, что и случилось на самомъ дѣлѣ: промахи, простительныя въ первомъ произведеніи, сдѣлались грубыми ошибками во второмъ; недостатки выросли; что было сперва однообразно, потомъ сдѣлалось скучно до утомленія, и только немногіе прилежные читатели, да и тѣ по обязанности, прочитали до конца *господина Голядкина* и *Прохарчина*. Эта горькая, но чистая правда, которая должна была опечалить человѣка съ такимъ рѣшительнымъ дарованіемъ, какъ Достоевскій. И кто знаетъ, на сколько виновата въ этихъ неудачахъ неосторожная критика юнаго поновля? Кто знаетъ, какое вліяніе имѣла она на развитіе молодого, сильнаго, но еще шатающаго, незрѣлаго дарованія?»

Вотъ ужъ подлинно съ больной-то головы да на здоровую! Вѣроятно фельетонисту не совсѣмъ пріятно будетъ узнать, что самые факты обращаютъ его грозное обвиненіе ни во что: юная критика, на которую онъ мѣтитъ и которая, по его словамъ, превознесла автора «Вѣднхъ Людей» на головокружительную высоту, явилась въ печати ровно черезъ мѣсяцъ послѣ того, какъ «Двойникъ» (Приключенія господина Голядкина) былъ уже напечатанъ. Слѣдовательно, автору «Вѣднхъ Людей» не было никакой возможности испортить своей второй повѣсти вслѣдствіе головокруженія отъ похвалъ первой... Мы и теперь считаемъ Достоевскаго человѣкомъ съ рѣшительнымъ талантомъ, и на основаніи этого-то мнѣнія и думаемъ, что ни похвала, ни брань не могутъ имѣть на него никакого вліянія; въ противномъ же случаѣ мы считали бы этотъ талантъ и нерѣшительнымъ, и ничтожнымъ... И стоитъ ли, въ самомъ дѣлѣ, обращать какое-нибудь вниманіе на талантъ, который можетъ быть убитъ похвалой или порицаніемъ критики? Когда появился Пушкинъ, его неумѣренно захваливали и неумѣренно забранивали; а онъ все-таки шелъ своей дорогой и всегда оставался вѣренъ своему поэтическому инстинкту, даже иногда вопреки убѣжденіямъ своего собственнаго ума. Безъ этого инстинкта нѣтъ художника, и лишенный его талантъ такъ ничтоженъ, что тѣмъ скорѣе изъ него ничего не выйдетъ, тѣмъ лучше для литературы и публики. Дѣтски-неосновательное мнѣніе, будто критика можетъ убивать таланты, захваливая или забанивая

нихъ, сохранилось у насъ до сихъ поръ отъ той аркадской эпохи нашей литературы, когда она тонула вся въ слезахъ и вздохахъ чувствительныхъ писателей... Теперь подобное мнѣніе смѣшно и дико...

Въ прошломъ 1846 году изъ адресъ-календаря русской литературы вышло нѣсколько почетныхъ именъ. Февраля 22-го умеръ въ Москвѣ известный драматическій писатель князь Александръ Александровичъ Шаховской, на 73 году отъ рожденія. Марта 22-го умеръ въ Петербургѣ Николай Алексѣевичъ Полевой, на 50 году отъ рожденія. Декабря 26-го скончался въ Москвѣ известный на Руси поэтъ Николай Михайловичъ Языковъ, на 40 году отъ рожденія. Хотя всѣ эти писатели умерли въ такое время или въ такихъ обстоятельствахъ своей жизни, что литературѣ отъ нихъ уже нечего было болѣе ожидать, но все-таки это скорбныя утраты для общества. Полевой умеръ, едва доживши до старости, а Языковъ—едва переживши пору молодости. Неожиданное извѣстіе о смерти замѣчательнаго человѣка какъ-то особенно тяжело ложится на душу... И не мудрено: кромѣ сочувствія и уваженія, какими подобные люди всегда пользуются въ обществѣ, ихъ возрастомъ измѣряются возрасты цѣлыхъ поколѣній...

Языковъ пользовался на Руси извѣстностью и даже славой, какія даются слишкомъ немногимъ талантамъ. Чтобы понять это явленіе, надобно было бы представить живую картину той эпохи русской литературы, на смѣну которой явился Пушкинъ съ своими сподвижниками. Но какъ ни мѣсто, ни время не позволяютъ намъ вдаваться въ такія подробности, то мы скажемъ коротко, что то была эпоха рабскаго подражанія немногимъ признаннымъ образцамъ. Никто не смѣлъ быть оригинальнымъ; каждый имѣлъ право насиловать языкъ въ грамматическомъ отношеніи, дѣлать, подъ видомъ «пѣтическихъ вольностей», самыя чудовищныя усѣченія, писать самыя дубовыя стицидами; но никто не смѣлъ употребить выраженія или слова, не употребленнаго уже однимъ изъ признанныхъ образцовъ. Поэзія тогда поучала, а если позволяла себѣ иногда воспѣвать что-нибудь живое, то не иначе, какъ шуточнымъ тономъ. Пушкинъ своимъ появленіемъ нарушилъ этотъ глубокий сонъ нашей литературы, и литературные старовѣры встрѣтили его, какъ еретика и раскольника въ искусствѣ. Естественно, что въ томъ, что называлось тогда литературной дерзостью, послѣдователи Пушкина пошли дальше своего учителя. Изъ нихъ всѣхъ замѣтнѣе былъ Языковъ какъ своимъ бойкимъ, искристымъ, звонкимъ и блестящимъ стихомъ, такъ и направлениемъ своей поэзіи, которая въ сущности была не чѣмъ инымъ, какъ поэзіей нѣмецкаго буршества. Она воспѣвала и высокій трудъ науки, и будущее гражданское призваніе студента, и преданія отечественной старины, и дѣву-вдохновительницу свѣтлыхъ мыслей, и дѣву-соблазнительницу, и шипучее искрометное вино, и молодыхъ, безумныя

оргіи сладострастія и пьянства. Все это было тогда такъ ново и такъ неотразимо-увлекательно для молодежи, и она была безъ ума отъ удачныхъ стиховъ Языкова... Многие изъ людей того мѣста ставили его наравнѣ съ Пушкинымъ, другіе даже выше его... Никому въ голову не входило, что, при неотъемлемыхъ достоинствахъ поэмы Языкова, въ ней былъ и весьма важный недостатокъ—отсутствіе искренности, другими словами она не была тѣмъ, чѣмъ сама себя искренно считала... Изъ буршества ничего не можетъ выйти кромѣ филистерства, потому именно, что разгулъ нѣмецкаго бурша есть не выраженіе бьющей черезъ край волнующейся жизни, а слѣдствіе принципа. Нѣмецъ говорить себѣ: въ молодости надобно быть молодымъ, т. е. учиться, пить и драться, — и онъ рѣшается быть молодымъ до тридцати лѣтъ, провожая послѣдній день своего 30 года, онъ послѣдній разъ напивается мертвецки и поутру встаетъ уже степеннымъ филистеромъ. Вотъ отчетъ нѣмецъ не успѣваетъ быть ни человекомъ, ни гражданиномъ: вся жизнь его правильно раздѣлена на буршество и филистерство.

Поэзія Языкова не была выраженіемъ его жизни. Оттого вино только шипитъ и пѣнится въ его стихахъ, но не охмѣляетъ, а дѣва-соблазнительница—

То играло сновидѣнье,
Безгдѣсная мечта!

Поэзія Языкова всегда жила принципомъ, всегда ладила съ головой, а на сердце только ссылалась. Чувствуя однообразіе мотивовъ своего вдохновенія, Языковъ началъ общаѣе бросать «праздныя забавы», перестать бражничать и принялся за важныя дѣла. Но это общаніе скоро обратилось въ общее мѣсто его поэзіи. Между тѣмъ Пушкина не стало, страсть къ стихамъ начала въ публикѣ смѣняться страстью къ прозѣ, во всемъ чувствовался рѣзкій переломъ, литература явно брала новое направленіе. Стихи Языкова являлись все рѣже и рѣже. Наконецъ, съ 1841 года въ Москвѣ начался издаваться журналъ «Москвитянинъ», въ которомъ Языковъ вновь началъ являться съ своими стихотвореніями. Въ нихъ уже не было прежняго стиха, но еще были прежнія замашки. Къ этому присоединилось славянофильское направленіе, котораго Языковъ захотѣлъ быть поэтическимъ органомъ. Такъ всегда поэзія этого человѣка была выраженіемъ избраннаго сознательно принципа. Но ничего нѣтъ хуже, когда поэтъ дѣлается отголоскомъ какой-нибудь партіи: его удѣлъ доводить до смѣшнаго ученіе, которое ему навязано. Такъ и было съ Языковымъ. Послѣднее время его поэтической дѣятельности было грустной эпохой совершеннаго паденія его таланта. Но въ началѣ своего поэтического поприща Языковъ оказалъ большія услуги русскому языку, русскому стиху и отчасти русской поэзіи. Имя его конечно переживетъ его труды и займетъ почетное мѣсто въ исторіи русской литературы. Таково наше мнѣніе о Языковѣ.

Второе полное собрание сочинений Марлинскаго. *Издание четвертое. Четыре тома. Спб. 1847.*

Марлинскій во многихъ отношеніяхъ лицо замѣчательное въ нашей литературѣ. Немногіе писатели имѣли такой обширный кругъ читателей, пользовались такой повсемѣстной, громкой извѣстностью, какъ Марлинскій. Появленіе новой повѣсти, статьи его въ журналѣ было всегда важнымъ литературнымъ событіемъ, приводило въ движеніе всѣхъ охотниковъ до чтенія. Марлинскій обратилъ на себя общее вниманіе съ перваго своего появленія на литературное поприще. Съ тѣхъ поръ литературная извѣстность росла съ чудовищной быстротой. Наконецъ гениальность его была признана всѣми единодушно и безусловно. Могли сомнѣваться въ Пушкинѣ, находить въ немъ недостатки, даже оспаривать его самостоятельность и великое значеніе для русской литературы; насчетъ Марлинскаго такой скептицизмъ казался невозможнымъ. Онъ имѣлъ большое влияніе на литературу, породилъ цѣлую школу, которая еще больше возвышала его достоинство, потому-что перенала и довела до крайности одни его недостатки. И вдругъ эта огромная слава пала въ короткое время, во всемъ своемъ блескѣ, во всей своей силѣ... Такъ иногда умираетъ внезапно человѣкъ крѣпкій, цвѣтущій здоровьемъ и силою... Мнѣніе публики вдругъ раздѣлилось на двѣ крайнія стороны; одни никакъ не могли разстаться съ прежнимъ понятіемъ о Марлинскомъ, другіе уже видѣли въ немъ только блестящаго фразѣра, бездарность, ловко поддѣлавшуюся подъ талантъ. Теперь уже и не спорятъ о Марлинскомъ, никто на него не нападаетъ, никто его не защищаетъ; въ спорахъ за новую литературу поборники стараго не ссылаются на Марлинскаго, не хвалятъ его; онъ какъ-будто вовсе забытъ. Онъ пролетѣлъ въ литературѣ яркимъ метеоромъ, который на минуту ослѣпилъ всѣмъ глаза и—исчезъ безъ слѣда...

И однакожъ Марлинскій былъ писатель не только съ талантомъ, но и съ замѣчательнымъ талантомъ, не чуждымъ даже оригинальности и силы. Блестящій умъ, многосторонняя образованность, знакомство съ наукой еще болѣе возвышали этотъ талантъ. Но человѣкъ—машина многосложная, въ которой каждая сторона имѣетъ влияніе на другую, усиливая или ослабляя ее. Страсть къ блеску, къ эффекту была ахиллесовой пяткой натуры Марлинскаго, лишила его талантъ развитія, способности идти впередъ и наложила на него характеръ легкости и хрупкости. Это былъ одинъ изъ тѣхъ людей, которые не бросаются въ опасность, но обходятъ ее, если можно рисковать погибнуть не на глазахъ удивляющейся толпы, и, напротивъ, готовы искать опасности, создать ее себѣ, смѣло броситься впереди всѣхъ на явную и неизбежную гибель, когда они знаютъ, что на нихъ смотреть, что будетъ кому удивляться имъ, рассказывать о нихъ подвиговъ... Это отражается въ каждой строкѣ, написанной Марлинскимъ. Сущность предмета, его

глубина, его истина никогда не занимаютъ его; онъ весь во внѣшней его сторонѣ, которая бросается въ глаза. Трескъ и блескъ—это были его вдохновители, и онъ былъ ихъ искреннимъ пѣвцомъ. Поразить съ яркостью молніи, увлечь съ быстротой потока, не дать читателю опомниться, вдуматься: вотъ его любимая манера. Онъ дѣйствуетъ на читателя, какъ черкесскій наѣздникъ, настигаетъ и схватываетъ его прежде, чѣмъ тотъ пойметъ, въ чемъ дѣло и что съ нимъ случилось. Марлинскій любилъ рисовать преимущественно ту сторону страстей и чувствъ человѣческихъ, которая знакома большинству, которая всѣмъ равно бросается въ глаза.

Литературное свое поприще онъ началъ прекрасно. Его обзоры русской словесности отличались умомъ, новостью взгляда, блестяли яркими сравненіями, увлекали живымъ, краснорѣчивымъ изложеніемъ. Въ нихъ виденъ былъ даровитый литераторъ, человѣкъ съ познаніями, со вкусомъ и образованіемъ, и кромѣ того свѣтскій человѣкъ, чуждый школярности и педантизма, чопорности и щепетильности. Первые его повѣсти и рассказы были необыкновеннымъ явленіемъ въ русской литературѣ того времени. Они такъ не походили на прежніе опыты въ этомъ родѣ, такъ были новы, свѣжи, ярки, оригинальны и отличались такой, въ сравненіи съ ними, естественностью и натуральностью, что въ то время никто не могъ замѣтить фразистости ихъ выраженія, мелодраматизма ихъ содержанія, преобладанія внѣшняго и блестящаго надъ внутреннимъ и спокойно прекраснымъ. Такой успѣхъ могъ ослѣпить всякаго. Въ Марлинскомъ мало было глубокости, но много было огня. Природа не дала ему генія, а онъ хотѣлъ дѣйствовать какъ гениальный человѣкъ. Такая роль всегда сбиваетъ человѣка съ толку и не даетъ ему ни возвыситься до своихъ настоящихъ средствъ, ни идти по своей настоящей дорогѣ. Съ прекраснымъ талантомъ, которымъ такъ нескучно одарила его природа, онъ могъ бы идти впередъ, постепенно отдѣлываться отъ ложной и переходить къ истинной манерѣ. Правда, тогда некому было увлечь его собственнымъ примѣромъ. Пушкинъ писалъ стихами, и повѣстей въ прозѣ лучше Марлинскаго не было въ нашей литературѣ. Но онъ могъ бы постепенно измѣняться къ лучшему въ своей собственной дорогѣ, постепенно совершенствоваться въ своей собственной колѣѣ. Но этому рѣшительно препятствовала его страсть къ эффекту. Онъ вѣчно вертѣлся около однихъ и тѣхъ же характеровъ, однихъ и тѣхъ же мотивовъ. Оттого всѣ герои его повѣстей, какъ двѣ капли воды, похожи другъ на друга и разнятся только именами. Однообразіе его повѣстей невыносимо скучно. Желаніе блеснуть заставляло его усиливать и природное свое остроуміе, становить на дыбы страсть и чувство, дѣлать вычурнымъ и натянутымъ и безъ того ярко пестрый слогъ,—словомъ, вдаться во всѣ крайности фразерства. Но Марлинскій никогда не былъ холоднымъ и сухимъ

фразёромъ, исключая развѣ немногихъ слабыхъ и неудачныхъ его произведеній. Напротивъ, вездѣ виденъ въ немъ фразёръ живой, страстный, пламенный, искренный, который писалъ не потѣя, не ходилъ въ карманъ за словомъ, не ломалъ головы надъ фразой, но едва успѣвалъ ихъ класть на бумагу, по которой перо его скользило съ быстротой паровоза. Только въ его увлеченіи, въ его страстности, въ его блестящихъ, эффектныхъ картинахъ видно больше какого-то опьяненія, какъ будто бы отъ приема опиума, нежели истиннаго вдохновенія. Отсюда происходить внутренняя напряженность, натянутость его слога, несмотря на видимую его текучесть и легкость.

1831, 1832 и 1833 годы были апогеемъ литературной славы Марлинскаго. Въ это время были напечатаны въ «Московскомъ Телеграфѣ» его лучшія повѣсти: «Страшное Гаданье» и «Амалать-Векъ», и его знаменитый разборъ романа Полевого: «Клятва при Гробѣ Господнемъ». Но въ это-то время онъ былъ и накачунъ своего паденія. Еще года два, три рисовался онъ лихихъ наѣздникомъ на пространномъ полѣ нашей литературы, не подозревая, что его поприще уже кончено, такъ же какъ этого не подозревала и публика. Явленіе Гоголя нанесло страшный ударъ всему риторическому, блестящему снаружи, эффектному,—риторическое и многое, что до того времени казалось верхомъ натуральности, вдругъ сдѣлалось ненатуральнымъ. Литература и вкусъ публики приняли новое направленіе. Все это оказалось вдругъ, неожиданно. Марлинскій, доселѣ шедшій повидимому впередъ всѣхъ, вдругъ очутился назадъ. Его знаменитая статья о «Клятвѣ», блестящая остроуміемъ и живымъ изложеніемъ, уже показывала въ немъ отсталого представителя умершаго романтизма, казалась шумливой битвой съ мельницами. Начали являться выходы противъ фразистости и неестественности его повѣстей. Но большннство читателей все еще было на сторонѣ Марлинскаго. Но въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго десятилѣтія новая критика сдѣлала Марлинскому рѣшительный вызовъ; бой былъ непродолжителенъ: колоссальная слава, уже подрытая въ основаніи временемъ, разлетѣлась въ минуту...

Однакожъ Марлинскій навсегда останется замѣчательнымъ лицомъ въ исторіи русской литературы. Его слава и паденіе — примѣръ рѣзкій и поучительный, показывающій, какъ непрочны бываютъ иногда самые блестящіе успѣхи въ переходныя эпохи литературъ, какъ легко блестящему таланту разыгрывать въ нихъ роль генія, вожатаго вѣка... Такіе примѣры случаются и въ литературахъ и старыхъ, и богатыхъ: вспомните Виктора Гюго... Читая теперь повѣсти Марлинскаго трудно, потому-что скучно, но талантъ, и притомъ замѣчательный, виденъ въ нихъ и теперь. Его сочиненія останутся навсегда любопытнымъ памятникомъ той литературной эпохи, которая такъ рѣзко отразилась въ нихъ.

Новое полное собраніе сочиненій Марлинскаго едва ли не полнѣе всѣхъ другихъ, но все-таки не совсѣмъ полно: въ немъ нѣтъ его полемическихъ статей, печатавшихся до 1823 года въ «Сынѣ Отечества». Изданіе опрятно и даже красиво, но безтолково по раздѣленію каждаго тома на части, съ особой нумераціей. Къ чему это? Двѣнадцать частей или четыре части—не все ли это равно? А между тѣмъ это ненужное раздѣленіе затрудняетъ читателя въ присваніи статей. Досадно и грустно думать, что у насъ ни одинъ писатель не изданъ, какъ слѣдуетъ.

Бѣдные Люди. Романъ Федора Достоевскаго. Спб. 1847.

«Бѣдные Люди» были первымъ и, въ сожалѣнію, доселѣ остаются лучшимъ произведеніемъ Достоевскаго. Появленіе этого романа было шумнымъ событіемъ въ нашей литературѣ. Раздались громкія похвалы и громкія порицанія, начался споръ. Впродолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ имя Достоевскаго одно занимало наши журналы. Это движеніе доказывало, что дѣло идетъ о произведеніи и талантѣ, выходящихъ изъ ряду обыкновенныхъ явленій. Достоевскій недавно напечаталъ свой новый романъ «Хозяйка», который не возбудилъ никакого шума и прошелъ въ страшной тишинѣ. Шумъ конечно не всегда одно и то же съ славой, но безъ шума нѣтъ славы. «Бѣдные люди» доставили своему автору громкую извѣстность, подали высокое понятіе о его талантѣ и возбудили большія надежды—увы!—до сихъ поръ не сбывающіяся. Это однакожъ не мѣшаетъ «Бѣднымъ Людямъ» быть однимъ изъ замѣчательныхъ произведеній русской литературы. Романъ этотъ носитъ на себѣ всѣ признаки перваго живого, задушевнаго, страстнаго произведенія. Отсюда его многословность и растянность, иногда утомляющія читателя, нѣкоторое однообразіе въ способѣ выражаться, частыя повторенія фразъ въ любимыхъ авторомъ оборотахъ, мѣстами недостатокъ въ обработкѣ, мѣстами излишество въ отдѣлкѣ, несоразмѣрность въ частяхъ. Но все это выкупается поразительной истиной въ изображеніи дѣйствительности, мастерской обрисовкой характеровъ и положеній дѣйствующихъ лицъ и—что, по нашему мнѣнію, составляетъ главную силу таланта Достоевскаго, его оригинальность,—глубокимъ пониманіемъ и художественнымъ, въ полномъ смыслѣ слова, воспроизведеніемъ трагической стороны жизни. Въ «Бѣдныхъ Людяхъ» много картинъ, глубоко потрясающихъ душу. Правда, авторъ подготавливаетъ своего читателя къ этимъ картинамъ немножко тяжеловато. Вообще легкость и текучесть изложенія не въ его талантѣ, что много вредитъ ему. Но зато самыя эти картины, когда дойдешь до нихъ,—мастерскія, художественныя произведенія, запечатлѣнные глубиной взгляда и силой выполненія. Ихъ впечатлѣніе рѣшительно и мощно, ихъ никогда не забудешь...

«Бѣдные Люди» вышли теперь отдѣльнымъ изданіемъ, въ небольшой красивой книжкѣ. На оберткѣ сказано: «изданіе исправленное». Мы не имѣли времени слѣдить новаго изданія съ старымъ и узнать, въ чемъ состоятъ «исправленія», но, сколько можно догадываться по сравненію объема обоихъ изданій, должно думать, что во второмъ сдѣланы авторомъ сокращенія. Это хорошо, и романъ долженъ отъ этого много выиграть.

Китай въ гражданскомъ и нравственномъ отношеніи. *Сочиненіе монаха Іакинва. Въ четырехъ частяхъ. Съ рисунками. Спб. 1848.*

Странное дѣло! Кажется, весь земной шаръ, или всѣ его обитаемыя людьми части равно бы должны были представлять собою зрѣлище развитія человѣчества; а между тѣмъ эта честь предоставлена только самой малѣйшей изъ пяти частей свѣта—Европѣ. Въ недавнее время и почва Сѣверной Америки сдѣлалась театромъ историческаго развитія, но его корень опять-таки въ Европѣ. Можетъ быть, что со временемъ и всѣ части свѣта примкнутъ къ общему развитію человѣчества, войдутъ въ его исторію, но опять-таки не иначе, какъ черезъ Европу. До сихъ же поръ, съ незапамятныхъ временъ, онѣ коснѣютъ въ нравственной неподвижности, непробуднымъ сномъ спятъ на лонѣ матери-природы. Въ этомъ отношеніи удивительнѣй всѣхъ другихъ странъ Азія. Ее считаютъ колыбелью человѣческаго рода, въ ней прежде другихъ странъ явились начатки общности, въ ней сдѣланы первыя открытія въ ремеслахъ, искусствахъ, наукѣ, въ ней родились религіи, теперь господствующія въ мірѣ, изъ нея вышли всѣ племена, заселившія Европу. И во всемъ Азія остановилась на однихъ начаткахъ, ничего не развила, не усовершенствовала, не довела до конца. Греція сложилась изъ элементовъ, выработанныхъ Азіей и Египтомъ, но она переработала всѣ эти заимствованные элементы, наложила на нихъ печать своего національнаго духа и прибавила къ этому элементу, ей собственно принадлежащій. Этотъ элементъ былъ началомъ европеизма. У грековъ у первыхъ явились понятія объ отечествѣ, государствѣ, гражданѣ, гражданскомъ достоинствѣ, столь чуждыя для Востока. Римляне по своему развили европейское начало, перешедшее къ нимъ изъ Греціи въ историческія времена, и передали его новой Европѣ. Во всѣхъ столкновеніяхъ съ Азіей Европа всегда много выигрывала въ цивилизаціи, образованіи, въ наукахъ, въ искусствахъ, ремеслахъ; Азія ничего не выигрывала отъ столкновений съ Европой. Александръ Македонскій хотѣлъ путемъ завоеванія сблизить обѣ части свѣта въ образованіи и нравахъ. Но что же вышло? Персы не сдѣлались греками, а македоняне развратились на персидскій манеръ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ Александръ присылалъ изъ Азіи Аристотелю экзем-

пляры рѣдкихъ животныхъ и вывезъ изъ Индіи астрономическія таблицы. Въ эпоху крестовыхъ походовъ вся Европа ринулась на Азію бурнымъ потокомъ. Это событіе имѣло самое сильное и благотворительное вліяніе на Европу и—никакого на Азію! Неподвижность—натура азіатца. Если Азіи суждено въ будущемъ цивилизоваться, то вѣроятно не иначе, какъ путемъ завоеванія; надобно, чтобы европейское войско, завоевавшее азиатскую страну, смѣшалось съ туземцами, и отъ этого смѣшенія произошло бы новое поколѣніе своего рода креоловъ. Въ наше время самое странное и удивительное явленіе въ Азіи есть безъ всякаго сомнѣнія Китай. Вотъ что говорить объ этомъ предметѣ почтенный отецъ Іакинвъ въ предисловіи къ своей книгѣ:

«Въ наше время—безпрерывныхъ нововведеній въ жизни народовъ, какъ въ Европѣ, такъ и на западѣ Азіи, существуетъ государство, которое, по своей противоположности во всемъ съ прочими государствами, составляетъ рѣдкое, загадочное явленіе въ политическомъ мірѣ. Это—Китайъ, въ которомъ видимъ все то же, что есть у насъ, и въ то же время видимъ, что все это не такъ, какъ у насъ. Тамъ люди такъ же говорятъ, но только не словами, а звуками, которые сами по себѣ, порознь взятые, не имѣютъ опредѣленнаго смысла. Тамъ имѣютъ и письмо, но пишутъ не буквами слогаемыми, а условными знаками, изъ которыхъ каждый представляетъ въ себѣ не выговоръ слова, а понятіе о вещи; въ письмѣ порядкомъ строки ведутъ отъ правой руки къ лѣвой, но пишутъ не поперекъ, а сверху внизъ, и книгу начинаютъ на той страницѣ, на которой у насъ оканчиваютъ ее. Однимъ словомъ, тамъ много находится вещей, которыя и мы имѣемъ, но тамъ все въ другомъ видѣ.

Китайъ еще непонятнѣе для насъ въ другихъ противоположностяхъ. Коснемся ли его просвѣщенія—китайцы имѣютъ свою словесность и науки и думаютъ, что они просвѣщеннѣе всѣхъ народовъ въ свѣтѣ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ можно было бы согласиться съ ними, потому что въ Китайѣ каждый ученый, сверхъ основательности въ сужденіи о вещахъ, основательно знаетъ все, что ему нужно на поприщѣ государственной службы. Но, съ другой стороны, китаецъ, по странному народному самолюбію, ничего не хочетъ знать, да и не знаетъ ничего, что находится и что происходитъ за предѣлами его отечества. Видя на канифасѣ ярославскій гербъ съ медвѣдемъ, стоящимъ на заднихъ ногахъ съ алебардой на плечѣ, онъ отъ всего сердца вѣрить, что эта тѣнь выходитъ изъ государства, жители коего имѣютъ собачьи головы. Обратимъ ли вниманіе на законы Китая—они сорокъ вѣковъ проходили сквозь горнило опытовъ и выжили столь близки къ истиннымъ началамъ народоуправленія, что даже образованнѣйшія государства могли бы кое-что заимствовать изъ нихъ. Со всѣмъ тѣмъ нѣкоторые злоупотребленія столь сильно укоренились, что правительство, вмѣсто истребленія оныхъ, только старается разными мѣрами облегчить зло,—неотвратимое послѣдствіе тѣхъ злоупотребленій.»

Вглядитесь въ устройство этого страннаго государства,—и вамъ съ перваго взгляда можетъ показаться, что это какое-то исключеніе изъ общаго порядка азиатской жизни, что у него нѣтъ ничего общаго съ другими азиатскими государ-

ствами (за исключеніемъ Японіи), что наконецъ это чисто европейское государство. Въ немъ ничего нѣтъ оставленнаго на произволъ судьбы и людей, всѣ отношенія опредѣлены, всѣ юридическія случайности предупреждены и обсуждены, на все существуютъ положительные законы; машина администраціи самая многосложная и вмѣстѣ съ тѣмъ правильная, строго систематическая; законы нерѣдко отзываются человѣколюбіемъ и повидимому представляютъ вѣрныя гарантіи жизни, чести и благосостоянію частныхъ людей всѣхъ званій, отъ высшихъ до низшихъ. Для этого есть высшія инстанціи и право апелляціи; за ходомъ правосудія въ провинціяхъ наблюдаютъ прокуроры, а въ столицѣ—прокурорская палата и самъ императоръ. Какъ въ государствахъ европейскихъ, въ Китаѣ существуютъ министерства, на коллегіальномъ положеніи: предсѣдатель палаты каждой отдѣльной вѣтви администраціи есть министр. Взгляните теперь на Китай въ другомъ отношеніи. Право на гражданскія должности даетъ тамъ не рожденіе, не привилегія, а наука и образованіе. Каждый, занимающій сколько-нибудь значительную должность, есть непременно ученый; ничему не учившійся не можетъ занимать никакой должности. Экзамены студентовъ есть дѣло государственное. Съ какой стороны ни взгляните на это дивное государство—ничего азіатскаго, Европа, да и только!

Но, увы, это только миражъ, разлетающійся прежде, чѣмъ взглядишься въ него! Это такой же призракъ, какъ и политическое могущество Китая, который съ 400.000,000 жителей ничего не могъ сдѣлать противъ 3,000 англійскаго войска. Всѣ эти законы и гарантіи хороши только на бумагѣ, а на дѣлѣ служатъ только къ обогащенію берущихъ взятки и утѣсненію дающихъ взятки. Китай безъ всякаго сомнѣнія образованнѣйшее азіатское государство, но азіатское въ полномъ смыслѣ этого слова... Государственные чины, совѣты,—все это пустая формальность; тутъ главное—церемоніи. Самая вѣрная гарантія при судопроизводствѣ—взятки. Этого не могъ скрыть даже почтенный отецъ Іакинѣвъ, вообще какъ нельзя нѣжнѣе расположенный въ пользу поднебеснаго государства. Напримѣръ, говоря о пыткахъ (варварскихъ и утонченно жестокихъ), онъ прибавляетъ для смягченія эффекта: «Но сія пытки употребляются въ такомъ только случаѣ, когда въ важномъ какомъ-либо дѣлѣ всѣ улики говорятъ противъ преступника или преступницы, а они упорствуютъ въ признаніи». Хорошо оправданіе! Нѣтъ, ужъ, по нашему мнѣнію, гораздо лучше пытка безъ изытій; по крайней мѣрѣ дѣло наголо, искренно,—знаешь, чего держаться! Чиновники отъ 1-го до 6-го класса подвергаются пыткамъ только съ разрѣшенія государя. «Иногда—добродушно замѣчаетъ почтенный отецъ Іакинѣвъ—судьи, по своему произволу, употребляютъ разныя маловажныя пытки». Это «иногда»—слово небольшое, а много значить: именно яи боль-

ше, ни меньше, какъ то, что подсудимый есть безотвѣтная и беззащитная жертва судьи, и если имѣетъ средства, не пожалѣетъ никакой «взятки», чтобы иногда избавить себя отъ пытки, мало важной совсѣмъ не для того, кто ей подвергается... Легко сказать: «маловажная пытка!», когда пытаются ею не насъ... Нѣтъ, не легко, или если легко, то не для всякаго сказать такое ужасное слово!.. Судьи за неправосудіе подвергаются суду, ихъ не дерутъ планкой (чудесный инструментъ, обстоятельно описанный почтеннымъ отцомъ Іакинѣвымъ), а наказываютъ пониженіемъ чина, вычетомъ изъ жалованья, отставкой, ссылкой, смертной казнью, а по спинѣ лупятъ только въ экстренныхъ случаяхъ. На что это за гарантія? Низшихъ чиновниковъ судятъ высшіе—рука руку моетъ, обѣ чисты бывають, а не то—исправленіе, но не за вину, а за непредставленіе достаточныхъ доказательствъ невинности золотыми и серебряными слитками. Взяточничество—основа китайскаго судопроизводства. Тамъ это уже не злоупотребленіе, не порокъ, не язва общественнаго тѣла (язва можетъ быть только на здоровомъ тѣлѣ, а не на такомъ, которое все—язва). Свѣдѣній по этой части рекомендуемъ искать не въ книгахъ почтеннаго отца Іакинѣва (онъ только вскользь и въ общихъ выраженіяхъ говорить объ этой части), а въ небольшихъ статьяхъ, печатавшихся въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1841—1843 годовъ, подъ заглавіемъ «Поѣздка въ Китай» псевдонима Дэ-мина. Это человѣкъ, прожившій въ Китаѣ шесть лѣтъ и знающій китайскій языкъ и китайскую грамоту, но съ понятіями и взглядами вовсе не китайскими. Почтенный отецъ Іакинѣвъ показываетъ намъ болѣе Китай официальный, въ мундирѣ и съ церемоніями; Дэ-минъ показываетъ намъ болѣе Китай въ его частной жизни, Китай у себя дома, въ халатѣ на распашку. Дэ-минъ ничего не скрываетъ; человѣкъ болтливый и откровенный, онъ не держался русской пословицы—«изъ избы сору не выносить» и рассказалъ намъ, что всѣ важныя мѣста въ Китаѣ на откупъ, т. е. даются «за взятки». Вотъ его собственные слова: «можетъ-быть вы спросите, гдѣ взять бѣдному задолжавшему чиновнику такую значительную сумму на полученіе мѣста и — что еще важнѣе — на уплату всѣхъ долговъ передъ выѣздомъ изъ столицы, равно и на то, чтобы пріѣхать къ мѣсту новаго служенія съ должной важностью. Но вы не знаете Китая, великаго Китая. съ его 400.000,000 населенія, если думаете, что въ 4000 лѣтъ его существованія такая важная отрасль государственнаго управленія, какъ взяточничество, не приведена тамъ въ надлежащую систему». Затѣмъ онъ рассказываетъ, что въ Пекинѣ есть ростовщики, которые заплатаютъ и долги чиновника, и цѣну мѣста, и дадутъ денегъ на дорогу, разумеется, за страшные проценты; а ростовщикамъ выплачивають подчиненные новаго «правосуднаго» чиновника, т. е. иногда цѣлыя провинціи.

Исчисленіе родовъ китайскихъ преступленій даже у почтеннаго отца Іакинѣа хотъ кого привести въ ужасъ: о безчеловѣчїи казней нечего и говорить. Все это свидѣтельствуеетъ о нравственности народа. Лицемеріе, лукавство, ложь, притворство, униженіе—натура китайца. И какъ бытъ иначе тамъ, гдѣ церемонїа поглощаетъ всю духовную жизнь народа, гдѣ младшїй непремѣнно долженъ удивляться уму и добродѣтели старшаго, хотъ бы тотъ былъ глупѣе осла и грѣшнѣе козла? Вся жизнь китайца, словно пеленками, связана церемонїями. Становится на колѣни и бить поклоны — это его священная обязанность. Что за гибкіе должны быть хребты у этого народа! Храбрость китайца извѣстна всему міру: это урожденный трусъ. Китайское войско можетъ съ успѣхомъ воевать только развѣ съ китайскимъ же войскомъ. Слабость правительства простирается до того, что оно трепещетъ морскихъ разбойниковъ изъ собственныхъ подданныхъ и, чтобы предохранить себя отъ нихъ, стѣсняетъ морскую торговлю и частное мореходство. О китайской учености нечего и говорить: даже самъ почтенный отецъ Іакинѣа о ней очень невысокаго мнѣнія. Куда ни обернись, всюду миражи и призраки. Китай силенъ, но держится пока—съ сѣвера миролюбіемъ Россїи, а съ юга — боязнью Англіи обременять себя дальнѣйшими завоеванїями...

Откуда эти противорѣчїя, гдѣ ихъ источникъ? Китай — страна неподвижности; вотъ ключъ къ разгадкѣ всего, чтѣ въ немъ есть загадочнаго, страннаго. Тутъ ничего нѣтъ, проникнутаго идеей государственнаго и народнаго развитїя; все держится на законѣломъ обычаѣ

Книга почтеннаго отца Іакинѣа—истинное сокровище для ученыхъ, по богатству важныхъ фактовъ. Она можетъ до извѣстной степени годиться и для публики, несмотря на ея слогъ и изложенїе, несмотря на то, что первая часть, въ память пресловутаго на Руси мужа Михайлы Меморскаго, написана въ формѣ вопросовъ и отвѣтовъ. Но главный ея недостатокъ — замашки автора дѣлать параллели между Европой и Китаемъ, наивныя до смѣшнаго! Напримѣръ онъ сравниваетъ государственныя чины въ Китаѣ съ англійскими лордами и французскими парами. Смѣемъ увѣрить почтеннаго отца Іакинѣа, что тутъ нѣтъ никакого сходства, а есть только безконечная разница. По всему видно, что почтенный отецъ Іакинѣа знаетъ Китай гораздо лучше Европы. Чтѣ же касается до его умолчаній и смягченій въ пользу нѣжно любимыхъ имъ китайцевъ, — мы не считаемъ ихъ важнымъ недостаткомъ въ его книгѣ: факты говорятъ сами за себя, и истина сама такъ и бросается въ глаза. Прочтя книгу почтеннаго отца Іакинѣа, никто не сдѣлался хинофиломъ... напротивъ!

Сельское Чтеніе, издаваемое княземъ В. Ө. Одоевскимъ и А. П. Заблоцкимъ. Книжка четвертая. Спб. 1848.

Въ послѣднее время положеніе народа всюду стало возбуждать особенное вниманіе правительствъ, обществъ, науки и литературы. Торжество божественнаго ученїа Евангелїа и успѣхи образованности должны были наконецъ довести до этого Европу, не смотря на царствовавшїе въ ней феодальныя предрасудки и учрежденїа, долго разединявшїе государственныя сословія.

Въ Европѣ и у насъ это тотъ же вопросъ, но не тотъ его характеръ. У насъ не было завоеванїя и—результата его—феодализма, стало быть, въ нашей исторїи не было борьбы двухъ враждебныхъ элементовъ, изъ которыхъ одинъ представлялся бы племенемъ завоевавшимъ, другой—покореннымъ. Отсюда напримѣръ система поземельной собственности у насъ совсѣмъ другая. При дворянствѣ, владѣющемъ своей землей, у насъ существуетъ многочисленный классъ свободныхъ земледѣльцевъ, владѣющихъ своей землей на коммунальномъ началѣ. Это обстоятельство, вмѣстѣ съ слабымъ развитїемъ мануфактурной промышленности, причиною того, что у насъ нѣтъ пролетарїата въ томъ видѣ, какъ онъ существуетъ въ Европѣ. Отсюда явленїе нищеты у насъ имѣетъ другой характеръ и другія причины. Оно дѣлается очевиднымъ, бросается въ глаза только при неурожаяхъ. Стало быть, это зло временное и мѣстное, которое, по обширности Россїи, никогда не можетъ быть для нея общимъ. Но тѣмъ не менѣе это зло трудно предупреждать и также трудно облегчать. И вотъ тутъ-то, стало быть, настоящее наше зло. А какія его причины? — невѣжество, старые закоренѣлыя привычки и предрасудки, ложныя начала, на которыхъ опирается наше земледѣліе, неразвитость или, лучше сказать, почти несуществованїе той промышленности, которой потребителемъ должна-бы быть масса народа, затруднительность сообщенїй. Очевидно, что самое вѣрное лекарство противъ такого зла должно состоять въ успѣхахъ цивилизаціи и просвѣщенїа. Путь мирный и спокойный, ручающїйся за достиженїе великой цѣли общаго благосостоянїа! Петръ Великій направилъ Россїю на этотъ путь и указалъ ей ея цѣль; и съ тѣхъ поръ до настоящей минуты она была вѣрна указаннымъ ей ея Моисеемъ пути и цѣли, ведома достойными потомками великаго предка, преемниками его власти и духа... Въ отношенїи къ внутреннему развитїю Россїи настоящее царствованїе безъ всякаго сомнѣнїа есть самое замѣчательное послѣ царствованїа Петра Великаго. Только въ наше время правительство проникло во всѣ стороны многосложной машины своего огромнаго государства, во всѣ убожища и изгибы ея, прежде ускользавшіе отъ его вниманїа, и сдѣлало ощутительнымъ благотворное вліяніе свое во всѣхъ стихїяхъ народной жизни. Общественное благоустройство, не въ одномъ административномъ, но и въ нравственномъ смыслѣ этого

слова, составляет предмет его особенных пожеланий. Старые основы общественной жизни, которые уже заржавели от времени и могли бы только затормозить колеса великой государственной машины и остановить ее движения вперед, мудро отстраняются мало-по-малу, без всякаго сотрясения въ общественномъ организмѣ. Обращено особое вниманіе на положеніе и бытъ народа и сдѣланы попытки, обѣщающія прекрасные результаты, на его, такъ сказать, воспитаніе. Вотъ истинное продолженіе великаго дѣла Петра! Это именно то самое, за чтѣ бы теперь взялся самъ великій преобразователь Россіи, еслибъ онъ могъ возстать изъ гроба, и о чемъ не только въ его время, но и долго послѣ него нельзя было и думать! Не говоря о многомъ другомъ, мы, въ доказательство сказаннаго нами, укажемъ только на учрежденіе министерства государственныхъ имуществъ.

Это просвѣщенное, вполне соответствующее духу вѣка стремленіе правительства имѣло сильное вліяніе на направленіе общественнаго мнѣнія. Обнародованныя правительствомъ статистическія свѣдѣнія, заключающія въ себѣ драгоцѣнные факты для изученія даже нравственнаго состоянія, быта и характера народа, не могли не оказать благотвѣтельнаго вліянія на самую науку и не обратить ее на вопросы, представляемые русской жизнью. Отсюда рѣзкая разниа между старыми и молодыми поколѣніями: первыя толкуютъ все о политикѣ, администраціи, смотрятъ на вопросы сверху внизъ, говорятъ о развитіи промышленности, городовъ—и далѣе не идутъ; вторыя понимаютъ вопросъ наоборотъ, снизу вверхъ, и скромно ограничиваются на первый случай почвой, думая, что, прежде всего не обработавши, не сдѣлавши ее способной давать плодъ, нечего заботиться о плодахъ, а эта почва для нихъ—народъ. Другими словами, послѣднія думаютъ только о тѣхъ плодахъ, которые родятся подъ открытымъ небомъ, и мало толку видятъ въ произведеніяхъ оранжерей и теплицъ...

Но теперь явилась у насъ особая порода мистическихъ философовъ, основывающихъ свое ученіе на идеѣ народности и народа. Что многочислѣннѣйшій и низшій классъ въ государствѣ, обыкновенно называемый народомъ, въ противоположность обществу, подъ которымъ разумѣются среднее и высшее сословія, есть хранитель сущности духа народной жизни,—это истина несомнѣнная. Народъ—сила охранительная, консервативная; и потому во всякой коренной реформѣ, касающейся всего государства, только то дѣйствительно, что проникнетъ и въ народъ. Своей инстинктивной преданностью преданію, обычаю, привычкѣ онъ противится всякому движенію впередъ, всякому успѣху и медленно, съ упорствомъ поддается натиску врывающихся къ нему сверху нововведеній. Этими онъ съ одной стороны предохраняетъ само общество отъ произвольныхъ отклоненій отъ нормы народной жизни, ибо никогда не приметъ ничего чуждого естественнаго и, стало быть, вреднаго ей; съ

другой—дѣлаетъ прочными всѣ результаты историческаго развитія, которыхъ не можетъ не принять. Непосредственное начало есть условіе всего живого, и все сознательное и искусственное, чтобъ быть дѣйствительнымъ, а не призрачнымъ, должно имѣть свои корни въ непосредственномъ. Но все непосредственное трудно для опредѣленія и яснѣе понимается чувствомъ, какинъ-то инстинктомъ, нежели умомъ. Оттого ребенокъ всегда больше загадка, нежели взрослый человѣкъ. Оттого стихія народной жизни, то, что называется народностью, національностью, никогда не можетъ быть выговорена нѣсколькими словами. Но наши мистическіе философы, о которыхъ мы заговорили, думаютъ, что они вполне разгадали и постигли тайну русской народности, на долю которой, по ихъ мнѣнію, достались любовь и синтезисъ въ пониманіи и образѣ жизни, такъ же, какъ на долю Запада, въ отличіе отъ насъ, достались вражда, анализъ и отрицаніе. Хотя нѣкоторые изъ нихъ и принимаютъ реформу Петра за необходимую, но это только увеличиваетъ путаницу и противорѣчія ихъ мистической теоріи, потому-что норма нашей жизни, по ихъ убѣжденію, только въ народѣ, и притомъ преимущественно въ народѣ до эпохи монгольскаго ига. Народъ для нихъ, стало быть, высшее откровеніе всякой истины, касающейся до сущности и формы нашей государственной жизни. Стоитъ только дѣлать всѣмъ то, что дѣлаетъ народъ, не отставать отъ него ни въ чемъ—и все пойдетъ хорошо, больше не о чемъ будетъ и заботиться. Само собою разумѣется, что всякая попытка на распространеніе просвѣщенія и образованія въ народѣ въ ихъ глазахъ есть ни больше, ни меньше, какъ святотатственное посягательство на здоровье и честь народной жизни. Вотъ до какой нелѣпости можетъ довести людей самая истина, если она понята ими односторонне. Источникъ этого заблужденія заключается именно въ томъ пониманіи народа, которое мы сами сейчасъ высказали, и на которое эти господа съ торжествомъ могли бы указать, какъ на свое оправданіе. Но это только одна сторона предмета. Мы не знаемъ доселѣ ни одного народа, котораго развитіе и ходъ впередъ не были бы основаны на раздѣленіи народной жизни на народъ и общество. Этого раздѣленія нѣтъ у азіатскихъ кочующихъ народовъ, ибо у нихъ раздѣляютъ народъ касты, привилегіи, но не просвѣщеніе и образованіе. Начиная съ грековъ, родоначальниковъ европейской цивилизаціи, у всѣхъ европейскихъ народовъ высшія сословія были представителями образованія и просвѣщенія, по крайней мѣрѣ вездѣ то и другое начиналось съ нихъ и отъ нихъ шло къ народу. Безъ этихъ высшихъ сословій, которымъ обезпеченное положеніе и присвоенныя права давали возможность обратить свою дѣятельность на предметы умственные, народы навсегда остались бы на первобытной степени ихъ патріархальнаго быта. Ученые и художники большей частью вездѣ выходили изъ народа, но не къ народу обращались они. Правда, во времена все-

общаго невѣжества, напримѣръ въ мрачной ночи среднихъ вѣковъ, ученые въ особенности составляли особую касту, равно чуждую и народу, и обществу, и съ той и съ другой стороны могли ожидать для себя только обвиненія въ чернокнижничествѣ и костра. Но когда мракъ невѣжества началъ разсѣваться, къ кому обратились служители науки? кто принялъ въ нихъ участіе?—Среднія и высшія сословія, а не народъ. Чтѣ касается до искусствъ, они всегда существовали и поддерживались высшими сословіями. Стало-быть, это раздѣленіе народа на классы было необходимо для развитія человѣчества. Личность вѣтъ народа есть призракъ, но и народъ вѣтъ личности есть тоже призракъ. Одно условливается другимъ. Народъ—почва, хранящая жизненные соки всякаго развитія; личность—цвѣтъ и плодъ этой жизни. Развитіе всегда и вездѣ совершалось черезъ личности, и потому-то исторія всякаго народа такъ похожа на рядъ біографій нѣсколькихъ лицъ. Исторія показываетъ, какъ часто случалось, что одинъ человѣкъ видѣлъ дальше и понималъ лучше всего народа то, что нужно было народу; одинъ боролся съ нимъ и побуждалъ его сопротивленію, и самимъ народомъ причислялся потомъ за это къ числу его героевъ. Бывали и такіе народы, которые не стоили одного человѣка; по крайней мѣрѣ для насъ вымышленный или истинный Анахарсисъ гораздо лучше всѣхъ скифовъ, его недостойныхъ соотечественниковъ.

И такъ, очевидно, что раздѣленіе на классы было необходимо и благотѣльно для развитія всего человѣчества, и что выйти изъ привычекъ и обычаевъ простаго народа совсѣмъ не значитъ выйти изъ стихій народной жизни въ какую-то пустоту и отвлеченность и сдѣлаться призракомъ. Одинъ народъ, разумѣя подъ этимъ словомъ только людей низшихъ сословій, не есть еще нація: нація составляютъ всѣ сословія. Люди, которые презираютъ народъ, видя въ немъ только невѣжественную и грубую толпу, которую надо держать постоянно въ работѣ и голодѣ, такіе люди теперь не стоятъ возраженій: это или глупцы, или негодяи, или то и другое вмѣстѣ. Люди, которые смотрятъ на народъ человѣчнѣе, но думаютъ, что, по причинѣ его невѣжества и необразованности, онъ не заслуживаетъ изученія, и что вовсе нечему учиться у него, такіе люди конечно ошибаются, и съ ними мы готовы всегда спорить. Но еще больше ихъ ошибаются тѣ, которые думаютъ, что народъ нисколько не нуждается въ урокахъ образованныхъ классовъ, и что онъ можетъ отъ нихъ только портиться нравственно. Нѣтъ, господа мистическіе философы, нуждается, да еще какъ! Народъ—вѣчно ребенокъ, всегда несовершеннѣе. Бываютъ у него минуты великой силы и великой мудрости въ дѣйствіи, но это минуты увлеченія, энтузіазма. Но и въ эти рѣдкія минуты онъ добръ и жестокъ, великодушенъ и мстительен, человѣкъ и звѣрь. Никакая личность не сравнится съ нимъ въ эти минуты ни въ способности ясно видѣть истину, ни

въ способности грубо заблуждаться, ни въ добротѣ, ни въ злѣ, ни въ гениальности, ни въ ограниченности. Это сила природная, естественная, непосредственная, великая и ничтожная, благородная и низкая, мудрая и слѣпая въ ея торжественныхъ проявленіяхъ. Это—море, величественное и въ тишинѣ, и въ бурѣ, но никогда не зависящее отъ самого себя, никогда не управляющее само собою: вѣтеръ его повелитель...

Просвѣщеніе и образованіе никогда не могутъ лишить народъ его силы и очень могутъ исправить или по крайней мѣрѣ смягчить его недостатки. Звѣрь рождается почти готовымъ; какъ скоро молоко матери поставило его на ноги, — онъ совсѣмъ готовъ, его воспитаніе кончено. Въ устройствѣ своего тѣла и въ своемъ инстинктѣ онъ имѣетъ все, что нужно для поддержанія и охраненія его существованія. Чѣмъ больше похожъ онъ на звѣря своей породы, тѣмъ онъ лучше, совершеннѣе. Человѣкъ рождается въ болѣе жалкомъ и слабѣе состояніи, нежели звѣрь. Искусство обрѣтъ руку съ природой встрѣчаетъ его у порога жизни и провожаетъ за порогъ жизни. Необходимость въ пеленкѣ, въ колыбели уже показываетъ его зависимость отъ искусственнаго, противоположнаго природѣ. Онъ все долженъ перенять отъ взрослыхъ — и языкъ, и понятія, и формы жизни. Предоставленный одной природѣ, отдаленный отъ всякой искусственности, онъ вырастетъ звѣремъ; дурно воспитанный, онъ будетъ животнымъ, только не дикимъ, а домашнимъ; но если звѣрь долженъ походить на звѣря, то человѣкъ тѣмъ болѣе долженъ быть человекомъ. Не потому ли обезьяны такъ и отвратительны, не въ примѣръ прочимъ животнымъ, что, будучи звѣрями, похожи на людей. Чтѣ же можетъ быть отвратительнѣе человѣка, похожаго на звѣря? Конечно все это нисколько не можетъ относиться ни къ какому народу, потому что всякій народъ живетъ общественной жизнью, всегда искусственной въ самой ея естественности, стало быть, никогда звѣриной. Но зато посмотрите на вѣчно младенчествующія племена: много ли въ нихъ человѣческаго, кромѣ всегда присущей человѣческой натурѣ возможности очеловѣчиться? И сколько у иного народа бываетъ племенныхъ дикихъ чертъ, какъ дружно уживается въ немъ человѣческое и прекрасное рядомъ съ звѣринимъ и безобразнымъ! Ему ли не нужно воспитаніе? его ли не надо учить, просвѣщать, образовывать? Подобнымъ мыслямъ слѣдовало бы родиться только въ лѣсахъ, выходить изъ крѣпко-лобыхъ головъ звѣриныхъ. Человѣкъ, отдѣлившійся отъ народа образованіемъ, наблюдая и изучая народный бытъ, можетъ научиться простаго человѣка лучше пользоваться тѣмъ, съ чѣмъ тотъ обращался всю жизнь свою. Онъ можетъ научить его не только употребленію барометра, въ которомъ тотъ не нуждается хотъ потому, что ему не на чтѣ купить такой дорогой вещи, но уходу за скотомъ, въ которомъ тотъ очень нуждается. Мало того: узнавши что-нибудь полезное отъ народа, образованный человѣкъ можетъ воз-

вратить народу это же самое, у него взятое приобращение въ улучшенномъ видѣ.

Но самъ народъ — лучший рѣшитель этого вопроса. Бываетъ въ его жизни періодъ, иногда очень длинный, когда онъ дѣйствительно отъ всякаго нововведенія, не сообразнаго съ его привычками, отстаетъ себя словно отъ смерти. Но если ему суждено жить, а не прозябать растительно, другими словами: если ему суждено историческое существованіе, а не фактическое только, этотъ періодъ рано или поздно долженъ кончиться. Такъ было съ русскимъ народомъ. Назадъ тому лѣтъ пятьдесятъ матери были какъ по мертвымъ, провожая сыновей своихъ въ школы, — и это матери не крестьянки, а разныхъ городскихъ сословій; а теперь всякій крестьянинъ радеваетъ возможности выучить своего сына грамотѣ. Ученые свѣтъ, неученье тьма, говорить онъ, и въ его глазахъ грамотный человѣкъ — существо высшаго разряда. Сдѣлай грамотный передъ безграмотнымъ подлость, — послѣдній, упрекая его, всегда скажетъ: «а еще грамотный!». Только люди, дѣтски вѣрующіе въ непреложность апріорныхъ теорій и не признающіе доказательной силы фактовъ, могутъ думать, что реформа Петра не коснулась народа, и если зацѣпила его, то чисто внѣшнимъ образомъ. Это очевидная нелѣпость. Что русскій народъ — одинъ изъ способнѣйшихъ и даровитѣйшихъ народовъ въ мірѣ, — это онъ самъ доказалъ такъ хорошо, что въ этомъ не сомнѣваются въ Европѣ даже тѣ, которые во всемъ остальномъ не хотятъ въ немъ видѣть что-нибудь другое, кромѣ дикаго татарина. Способность переимчивости у русскаго народа равняется только его страсти къ переимчивости. Это его натура. Трудно было ему сдвинуться съ своей стоячести въ первый разъ, но сдвинувшись, онъ уже не можетъ не идти. Предразсудки, преданія гораздо меньше препятствуютъ успѣхамъ его въ образованіи, нежели какъ обыкновенно думаютъ объ этомъ. Правда, русскій человѣкъ ужъ такъ созданъ, что не можетъ не покоситься ни на какую новинку. Это относится не къ однимъ крестьянамъ, но и къ господамъ. Явится франтъ въ шляпѣ новаго фасона, — и насмѣшливымъ улыбкамъ нѣтъ конца; а черезъ недѣлю сами насмѣшники, глядишь, разгуливаютъ въ тѣхъ же шляпахъ. Что ни увидитъ русскій человѣкъ новаго у сосѣда, — рѣдко удержится похаить, а перенять никогда не удержится.

Чрезвычайный успѣхъ «Сельскаго Чтенія» можетъ между прочимъ служить не послѣднимъ доказательствомъ сильной охоты нашего простого народа, говоря его собственнымъ выраженіемъ, набираться изъ книгъ уму-разуму. Первая книжка «Сельскаго Чтенія» вышла въ 1843 году, и въ томъ же году появилась вторымъ изданіемъ; оба изданія состояли изъ 9000 экземпляровъ. Въ 1844 году вышла вторая, въ 1845 — третья книжка «Сельскаго Чтенія»; въ 1846 году вышло пятое изданіе первой и второе изданіе второй книжки. Всѣхъ экземпляровъ этого прекраснаго

изданія разошлось нѣсколько десятковъ тысячъ. Оно, разумѣется, породило подражанія; но они не имѣли никакого успѣха. Не считаемъ нужнымъ болѣе распространяться объ этомъ фактѣ: о немъ много было говорено, но самъ онъ лучше всего говоритъ за себя. Скажемъ только, что безсильная злоба, безсильно выражавшаяся (вѣроятно оттого, что духъ захватило) намеками и непрямой бранью мистическихъ почитателей народа, была тоже блестящимъ доказательствомъ, что это прекрасное изданіе вполне достигло своей цѣли.

И однакожъ мы не скажемъ, чтобы въ «Сельскомъ Чтеніи» все было прекрасно, и чтобы лучше его ужъ и не могло быть изданія въ этомъ родѣ. Мы предоставляемъ эту манеру хваленія извѣстнымъ «правдолюбамъ» и безпристрастнымъ противникамъ всего западнаго. Въ «Сельскомъ Чтеніи» были статьи превосходныя (особенно изъ тѣхъ, которыя написаны Заблонинымъ), но были и слабыя; изданіе его имѣло свои недостатки, но все-таки было прекраснымъ изданіемъ, и доселѣ нѣтъ ничего лучшаго, но и сколько-нибудь сноснаго въ этомъ родѣ еще не являлось.

Нѣсколько словъ о чтеніи романовъ. Спб. 1847.

Книжечка эта издана для того, чтобы показать заботливымъ отцамъ и матерямъ, какіе романы могутъ читать дѣвѣцы тѣхъ лѣтъ, когда ихъ «Звѣздочка» называетъ уже «дѣтми старшаго возраста». Книжечка, какъ видите, по цѣли своей очень полезная, потому-что въ нашемъ обществѣ такіе вопросы рождаются часто. Но кто скажетъ, какіе именно мы должны читать романы? Одинъ и тѣ же ли романы долженъ читать человѣкъ взрослый и юноша, однимъ и тѣмъ же ли должна интересоваться женщина, пока еще она не приняла на себя всѣхъ супружескихъ обязанностей и въ то время, когда она дѣлается матерью и съ этимъ вѣстѣмъ занимаетъ новое мѣсто въ общественныхъ отношеніяхъ. У насъ по крайней мѣрѣ до настоящаго времени говорятъ, что дѣвѣца не должна того читать, что можетъ читать женщина, — что молодой человѣкъ, пока онъ учится и находится въ заведеніи, можетъ вытверживать только въѣзовымъ приговоромъ утвержденные отрывки изъ Корнеля, Расина, Бернардена де-Сенъ-Пьера, прозу Карамзина, стихи Ломоносова, Державина и (съ недавняго времени) нѣсколько стиховъ Пушкина. Это же почти выучиваютъ и дѣвѣцы. Но мы сдѣлаемъ здѣсь одинъ вопросъ: чтó читаютъ дѣвѣцы, когда онѣ бракомъ освобождаются отъ надзора родительскаго, и молодые люди, когда они сходятъ съ ученическихъ скамеекъ и занимаютъ мѣста въ обществѣ? — Отъ нихъ скрывали или по крайней мѣрѣ имъ мало говорили о томъ, чтó дѣлается въ литературѣ въ настоящее время, они жили посреди писателей XVII и XVIII вѣковъ, посреди той жизни, которая была до-

ступна этимъ писателямъ, и вдругъ послѣ того вступаютъ въ жизнь настоящаго времени и въ литературу этой же эпохи. Имъ говорили, что новѣйшіе романы пишутъ зловредно, обольстительно, пагубно для нравственности; хорошо, они были съ этимъ согласны, пока имъ не мадобли старинные писатели и пока они сами не вступили въ жизнь. Но какъ они только восходятъ на это новое поприще, ихъ, непрigотовленныхъ, совершенно обхватываетъ и общество съ своими свѣтскими требованіями, и литература съ своими новыми интересами, о которыхъ они мало слышали. Умъ ихъ еще свѣжъ и гибокъ, убѣжденія измѣнчивы, и новые писатели, какъ ихъ ни брани, имѣютъ въ себѣ много блестящихъ сторонъ, которыми трудно не увлечься. Чтѣ имъ дѣлать? какъ отличить истину отъ лжи, софизмъ отъ прямого доказательства? Справиться съ тѣми писателями, которыхъ они учили въ школѣ, съ тѣми наставленіями, которыя имъ дѣлалъ учитель? Но писатели эти говорятъ совсѣмъ о другихъ предметахъ, герои Корнея и Расина, правда, чувствовали благородно, но были совсѣмъ въ другихъ положеніяхъ, чѣмъ герои нашего міра; это все были величественныя фигуры древняго Рима и Греціи, а не нашей прозаической эпохи. Какъ же быть: оправдывать и соглашаться съ романами, или отвергать и не соглашаться съ ними? Идеальные герои Бернардена де-Сенъ-Пьера такъ далеко жили отъ земли, что ихъ не могли даже смущать интересы земные. Стихи Ломоносова и Державина до того возвышенны и торжественны, что могутъ относиться только къ событіямъ государственнымъ, а не къ бѣднымъ приключеніямъ частнаго лица. Чтѣ же дѣлать молодому человѣку или женщинѣ, вступившей въ свѣтъ? Въ немъ безпрестанно говорятъ о новостяхъ въ литературномъ мірѣ, о вновь вышедшихъ романахъ; о нихъ спросить даже мнѣнія, слѣдовательно ихъ нужно непременно прочесть. Къ этому же влечетъ молодыхъ людей и та жажда ко всему, чтѣ запрещается въ школѣ или по крайней мѣрѣ дозволяется съ большими оговорками. Интересъ и важность романа преувеличиваются воображеніемъ, и когда наконецъ доступъ къ нимъ сдѣлается легокъ, тогда-то молодые люди предаются имъ со всей необузданностью, со всей довѣренностью молодости и неопытности; и гдѣ же тѣ плоды, которые старались собрать родители и воспитатели отъ исключительнаго воспитанія одними старинными писателями! Вліяніе романовъ всегда было чрезвычайно велико и часто вредно отъ этихъ причинъ. Посмотрите на молодыхъ людей, получившихъ такое воспитаніе во время оно, когда писала Радклиффъ. Они бросались на чтеніе этихъ страшныхъ романовъ съ какой-то яростью и по прочтеніи видѣли міръ не такимъ, какъ онъ существуетъ въ самомъ дѣлѣ, а міръ, наполненный страшными привидѣніями, разбойниками; имъ страшно было ходить вечеромъ, не только ночью, страшно было сидѣть однимъ въ комнатѣ,

страшно было переѣхать изъ города въ городъ. Посмотрите потомъ на другихъ молодыхъ людей, которые выступили въ свѣтъ, когда мадамъ Жанлисъ и Ричардсонъ начали накидывать на міръ сентиментальную съть поддѣльныхъ чувствъ и нѣжностей: они, молодые люди, были нѣжны, чрезвычайно нѣжны... но послѣ нѣсколькихъ лѣтъ, вступивъ въ зрѣлый возрастъ, дѣлались жестоки и суровы, дрались и ругались, какъ будто для нихъ не существовало нѣжныхъ романовъ... Тогда они ихъ называли уже глупостью. Та же исторія съ Байрономъ, худо понятымъ и вкривъ перетолкованнымъ такими молодыми людьми, которые выходили изъ школъ прямо разочарованными... Всѣ эти писатели были вредны, потому-что ихъ толковали по своему молодые люди, которые до того времени не слыхивали о ихъ существованіи, а потомъ на-слово начинали имъ вѣрить и подражать въ жизни тому, чтѣ вычитывали въ романахъ, поэмахъ и драмахъ. Вѣдь правда же, что послѣ перваго представленія «Разбойниковъ» нѣсколько молодыхъ людей пошли въ лѣса промышлять по образцу героевъ Шиллера. Вѣдь теперь этого, слава Богу, нѣтъ; а отчего? Оттого, что мы рано узнаемъ эту трагедію, чтѣ намъ ее объясняютъ наставники и показываютъ, чтѣ въ ней истинно и что поддѣльно.

Какіе же романы можно и должно читать начинающимъ? Если вы хотите знать жизнь,—а романъ есть самая свободная форма, въ которой она выражается,—то читайте романы, въ которыхъ эта жизнь выражается прямо, безъ прикрасть, безъ натяжекъ сентиментальности, безъ утопій разстроенаго воображенія. Молодымъ людямъ, начинавшимъ чтеніе, всегда совѣтывали читать Вальтеръ-Скотта, на какомъ же это основаніи, какъ не на томъ, что въ нихъ, какъ въ зеркалѣ, вы видите прошедшій бытъ народа. Если спросите, кого изъ нашихъ романистовъ можно дать въ руки молодому человѣку, не опасаясь всѣхъ вредныхъ послѣдствій односторонности и поддѣльности, вамъ укажутъ на Лажечникова, опять по той же самой причинѣ. Поэтому многіе говорятъ, что молодымъ людямъ можно читать только одни романы историческіе. Совершенно не справедливо; отчего же они не могутъ читать романа, въ которомъ отразилась настоящая жизнь со всѣхъ сторонъ: отчего напримѣръ разные сочиненія Гоголя, Пушкина и Лермонтова не могутъ читать и выучивать всѣ и каждый наизусть? Если можно читать романы, въ которыхъ отразилась прошедшая жизнь, то также можно читать романы, въ которыхъ вы видите настоящую жизнь. Далѣе, по нашему мнѣнію, гораздо лучше позволять читать романы, въ которыхъ видна односторонность писателя,—но съ тѣмъ, чтобы при этомъ наставникъ пояснялъ, чтѣ ложно и не согласно съ дѣйствительностью,—нежели совсѣмъ не позволять ихъ читать, потому-что вполнѣ, когда молодой человѣкъ, избавившись отъ учительской ферулы, добудетъ такой романъ, а

онъ непремѣнно его добудетъ, онъ прочтетъ его и на слово увѣруетъ въ справедливость разсказа, въ непогрѣшимость дѣйствующихъ лицъ и даже постарается подражать одному изъ героевъ, который ему преимущественно понравится. На это скажутъ, что романъ, въ которомъ отразилась дѣйствительная жизнь во всей ея наготѣ, съ ея радостями и бѣдствіями, богатствомъ и нищетой, успѣхами и страданіями, что такая жизнь можетъ очерствить сердце молодого человѣка, и очерствить преждевременно. Не знаемъ, правда ли это, но мы позволимъ себѣ сдѣлать вопросъ: что же лучше,—узнать жизнь скорѣе и прямѣйшимъ путемъ, или прежде выучиться заблужденіямъ, а потомъ въ нихъ разувѣряться съ каждымъ днемъ, съ опытностью, до того же времени прожить подъ вліяніемъ фальшивыхъ убѣжденій, сантиментальности, фантастическихъ бредней, быть смѣшнымъ нѣкоторое время въ обществѣ, фантазировать и мечтать какъ герои Жанлисъ, Ричардсона, какъ «Бѣдная Лиза» Карамзина? Всѣ романы въ этомъ родѣ нужно позволять читать, но при этомъ объяснить, какъ много въ нихъ фальшиваго и какъ мало правды.

Вечеръ въ пансіонѣ. *Поэма для дѣтей.* Спб. 1848.

Скажите, отчего въ нашихъ юношахъ такъ мало юношескаго, въ нашихъ дѣтяхъ такъ мало простодушно-дѣтскаго? Нигдѣ не встрѣтите вы такихъ смиренныхъ, угрюмыхъ дѣтей, какъ у насъ; нигдѣ нѣтъ такой необычайной претензіи казаться людьми дѣловыми, серьезными, важными, какъ у насъ; а между тѣмъ, несмотря на эту всѣми объявляемую претензію, литература наша да и прочія сферы дѣятельности печально свидѣтельствуютъ о томъ, что наши дѣловыя, серьезные и «внушающія» фізіономіи скрываютъ одну только надутую пустоту. Мы словно боимся потерять какое-то достоинство, называемъ мальчишествомъ все простодушно-веселое и старѣмся, никогда не бывши молодыми. Наши «мудрецы» считаютъ людьми пустыми и ничтожными всѣхъ тѣхъ, которые откровенно признаются, что очень любить театръ, балъ, маскарадъ, общество. Юный народъ на поприщѣ цивилизаціи, мы предстоимъ передъ Европой какими-то юношами со старческими фізіономіями: съ самаго нѣжнаго возраста насъ начинаютъ обращать въ взрослыхъ людей; наши дѣтскія игры считаются шалостями, наши дѣтскія печаль и слезы—ревньемъ и хныканьемъ, наши дѣтскія радости, наслажденія... многіе ли помнятъ ихъ въ своемъ дѣтствѣ? Изъ этихъ робкихъ, запуганныхъ дѣтей вырастаютъ робкіе, запуганные юноши и, возмужавъ, женясь, становятся въ свою очередь притѣснителями своихъ дѣтей, потому-что ничто такъ не огрубляетъ сердце, какъ грубое обращеніе въ дѣтствѣ.

Наша «дѣтская литература» вовсе не имѣетъ въ виду удовольствія и забавы дѣтей; нѣтъ, она

изъ всѣхъ силъ старается съ самаго нѣжнаго ихъ возраста испортить всѣ ихъ простодушныя побужденія разсчетливыми разсказами, какъ Леночка, кладя въ дѣтствѣ деньги, даваемые ей на лакомства, въ кружку для бѣдныхъ, вполнѣдствіи вынута замужъ за князя, отецъ котораго сдѣлать предложеніе матери Леночки, начавъ такъ: «мой сынъ богатъ, а ваша дочь добродѣтельна» («Вечеръ въ пансіонѣ», стр. 20). О радостяхъ дѣтей, о ихъ печаляхъ, о кроткомъ обращеніи родителей и наставниковъ—«дѣтская литература» не хочетъ знать. Она заботится о приведеніи ихъ въ какой-то внѣшній порядокъ добродѣтели, а не о томъ, чтобы пробудить въ нихъ разумное убѣжденіе въ ея достоинствахъ, дать имъ почувствовать, что добродѣтель слѣдуетъ любить просто, какъ любятъ все прекрасное и истинное, а не для доказательства, что вотъ же, дескать, я перещеголяю васъ добродѣтелью, какъ вы хотите перещеголять меня богатствомъ и проч.

Прини. *Трагедія въ 5-ти дѣйствіяхъ, сочиненіе Кёрнера. Переведена В. Мордвиновымъ. Спб. 1847.*

Изъ всѣхъ родовъ поэзіи нѣмцамъ преимущественно дался лиризмъ. У нихъ есть великіе лирическіе поэты и великія лирическія произведенія, но нѣтъ ни романа, ни драмы, ни комедіи. Нѣсколько замѣчательныхъ произведеній въ послѣднихъ родахъ (только не въ комическомъ) представляются болѣе или менѣе прекрасными исключеніями изъ общаго характера нѣмецкой поэзіи. Въ нѣмецкой драмѣ люди не дѣйствуютъ, а только говорятъ, высказывая или свои мысли и воззрѣнія, или свои чувства, по поводу того, о чемъ идетъ дѣло въ драмѣ. Таковы трагедіи самого Шиллера: лучшая сторона ихъ—лирическій пафосъ, обильными волнами льющійся въ стихахъ, какіе умѣютъ писать только великіе поэты. Если допустить существованіе лирическихъ драмъ, какъ особаго вида поэзіи, по формѣ относящагося къ драматургіи, а по сущности къ лирикѣ, то конечно драмы Шиллера—великія созданія. Самыя страстныя и потому наиболѣе лирическія изъ его драмъ—«Іоанна д'Аркъ» и «Мессинская невѣста». Первоклассное произведеніе нѣмецкой поэзіи—«Фаустъ»,—есть по преимуществу лирическое произведеніе. Вообще нѣмецкая драма похожа на оперу: въ ней завязка, развязка,—словомъ, драматическое дѣйствіе есть то же, что либретто въ оперѣ: предлогъ или средство высказывать внутренній міръ ощущеній, чувствъ и мыслей.

Но этотъ родъ лирической драмы требуетъ талантовъ великихъ и очень опасенъ для талантовъ обыкновенныхъ. Оно и понятно: нельзя очень долго читать мелкія лирическія пьесы, потому что лирическая восторженность утомляетъ человѣка скорѣе всякой другой. Давно рѣшено, что черезчуръ длинное лирическое стихотвореніе можетъ быть хорошо лишь мѣстами, а не въ цѣломъ.

Теперь, какой же надо иметь поэту талант, чтобы держать читателя постоянно въ лирическомъ энтузiazмѣ въ продолженіе можетъ-быть двухъ, трехъ часовъ сряду? Поэту самую лучшую лирическую драму едва ли кто рѣшится прочесть вдругъ безъ отдыха и пережеекъ. Послѣ этого нечего говорить о лирическихъ драмахъ обыкновенныхъ, даже замѣчательныхъ, но не великихъ талантовъ. Лучшее доказательство этому «Прини» Кёрнера. Конечно Кёрнеръ и не думалъ писать лирическую драму, принимаясь за «Прини». Но вѣдь и самъ Шиллеръ вовсе не думалъ быть лирическимъ драматургомъ; напротивъ, онъ, всѣми силами своей воли, стремился сдѣлаться для Германіи тѣмъ же, чѣмъ Шекспиръ былъ для Англіи; однакожь, вопреки всѣмъ его усиліямъ, невольно покоряясь своей нѣмецкой натурѣ, онъ и въ своихъ драмахъ остался великимъ лирикомъ. Второстепенные же нѣмецкіе таланты всегда остаются въ своихъ драмахъ лириками, только никогда великими, мѣстами замѣчательными, но въ цѣломъ большей частью скучными. Чтѣ касается до «Прини», эта драма, отъ первой страницы до послѣдней, показалась намъ очень скучной. Дѣйствія въ ней нѣтъ никакого...

Разсказы дѣтямъ изъ древняго міра (,) Карла Ф. Беккера. Три части. Переводъ съ нѣмецкаго седьмого изданія. Спб. 1848.

Судя по слухамъ, предшествовавшимъ появленію этой книги, равно какъ и по седьмому изданію ея подлинника, а еще болѣе по предисловію переводчика, Экерта, мы ожидали найти въ этой книгѣ гораздо болѣе, нежели сколько нашли въ ней. Первая часть заключаетъ въ себѣ «Одиссею», вторая — «Иліаду», третья — небольшіе разсказы о подвигахъ Язона, Тезея, Алкида, о судьбѣ Эдипа и гибели его рода и т. п. Конечно хорошо и полезно знакомить дѣтей съ античной жизнью древнихъ; но вопросъ въ томъ, какъ это должно дѣлать. Мы уже высказали на этотъ счетъ мнѣніе, по поводу «Библиотеки для Воспитанія», издаваемой Рѣдкинымъ, въ которой тоже были помѣщены «Одиссея» и «Иліада» въ сокращенномъ прозаическомъ разказѣ. Но предметъ этотъ кажется намъ столь важнымъ, что мы не боимся повторить уже сказанное. Поэмы Гомера можно, даже должно передавать дѣтямъ съ выпускомъ, мѣстами даже съ передѣлками для связи, потому-что иначе они узнаютъ изъ нихъ такія вещи, знакомство съ которыми для дѣтей вредно въ нравственномъ отношеніи. Но этимъ должны ограничиться всѣ измѣненія. Передаватель поэмы Гомера прежде всего долженъ стараться о томъ, чтобы сохранить поэтический колоритъ подлинника, потому-что этотъ колоритъ составляетъ смыслъ и душу, такъ сказать, твореній вѣчнаго старца. Для этого онъ долженъ передавать ихъ особымъ языкомъ, чѣмъ-нибудь вродѣ мѣрной прозы. Тогда сколько прекрасныхъ поэтическихъ впечатлѣній для дѣтей, какая под-

готовка къ классическому ученію! «Иліада» и «Одиссея» сложены во времена варварства эллинскаго племени и безпрестанно отзываются варварствомъ; но это было варварство лучшаго племени въ древнѣйшій міръ, — племени, которому суждена была такая великая роль въ историческихъ судьбахъ человечества. И потому въ этихъ, такъ часто отзывающихся варварствомъ, поэмахъ такъ много героическаго, возвышающаго душу, человеческого! Никакая литература не представитъ ничего лучшаго, какъ напримѣръ то мѣсто въ «Иліадѣ», гдѣ старецъ Пріамъ цѣлуетъ руки убійцы своего сына, моля его о выдачѣ тѣла Гектора, и гдѣ ненасытимый во гнѣвѣ и мщеніи смягчается, при воспоминаніи о своемъ старцѣ-отцѣ, и соединяетъ свои вопли, стenanія и слезы съ рыданіями бѣднаго царя Трои. Но человѣческое является проблесками во всѣхъ поэтическихъ проблескахъ всѣхъ народовъ въ мірѣ; оно есть и въ индійскихъ поэмахъ и драмахъ; но тамъ оно является въ безобразныхъ, чудовищныхъ, отталкивающихъ формахъ; какъ человеческое (т. е. общее всѣмъ людямъ, безъ различія національностей и времени), такъ и поэзія сверкаетъ въ нихъ рѣдкими искрами; это, положимъ, жемчужины, но которыя надо отыскивать въ кучѣ мусору. Не таковы созданія древней Греціи! Въ нихъ все красота, изящество, художественность! Вотъ это-то и заставляетъ забывать о томъ, что быть, изображенный въ поэмахъ Гомера, отзывается варварствомъ и дикостью нравовъ. На дѣтей эта сторона не можетъ дѣйствовать вредно; напротивъ, они непосредственно привыкнутъ переноситься въ нравы чуждыхъ народовъ и судить о нихъ не съ точки зрѣнія своего быта, общества и времени. Нечего также бояться, что дѣти примутъ эти сказки за истину. Пусть примутъ; въ свое время, когда перестанутъ быть дѣтьми, они поймутъ, что это поэтическія, а не историческія сказанія. Лучше же имъ принять за истину «Иліаду» и «Одиссею», нежели «Бову Королевича», «Вруслана Лазаревича» и «Георга Милорда Англійскаго». Вѣдь мы, взрослые, читаемъ хорошій романъ не какъ вымыселъ, а какъ былъ, хотя и знаемъ, что это вымыселъ. Мы восхищаемся, принимаемъ участіе въ томъ или другомъ лицѣ, боимся за него, иногда скорбимъ и плачемъ о его гибели, и все-таки не думаемъ утѣшать себя, что это выдумка. Зачѣмъ же отнимать у дѣтей это очарованіе, безъ котораго у нихъ не можетъ быть никакого удовольствія въ чтеніи этихъ поэмъ?

Но ученый Беккеръ думалъ объ этомъ совсѣмъ иначе. У него «Иліаду» и «Одиссею» разказываетъ «милой» учитель «милымъ» дѣтямъ. А разказываетъ онъ не только безъ всякаго участія и теплоты, но съ явной холодностью, не только безъ уваженія, но съ худо скрываемымъ презрѣніемъ къ предмету своего разказа. Онъ безпрестанно прерываетъ себя, чтобы толковать «милымъ» дѣтямъ, что вѣдь это все сказки, вздоръ; «милыя» дѣти тоже безпрестанно прерываютъ его, чтобы объяснить все чудесное естественнымъ обра-

зоумъ. Какіе «милые» маленькіе критики-философы! Вѣрно изъ нихъ выйдутъ со временемъ Лессинги! Увы, нѣтъ! Изъ нихъ ничего не выйдетъ, крохѣ болтуновъ и резонеровъ. Чтобы сдѣлаться знаткомъ въ поэзіи, а тѣмъ болѣе критикомъ, надо сперва запастись поэтическими впечатлѣніями, прожить цѣлый періодъ не совсѣмъ отчетливаго и разборчиваго восторга. Духъ критики прайдетъ самъ со временемъ, мало-по-малу овладѣетъ человѣкомъ и научитъ его отличать посредственное отъ хорошаго, хорошее отъ лучшаго. Не только ребенокъ, молодой человѣкъ, приступающій къ знакомству съ поэзіей прямо черезъ критику, съ готовыми своими или чужими мнѣніями, никогда не будетъ знать поэзіи, и если у него отъ природы эстетическое чувство, не разовьется его, а заглушить.

Въ рассказѣ «милаго» учителя «Иліады» и «Одиссея» являются сказками, до того нелѣпыми по содержанію, грубыми и безобразными по изложенію, что мы, право, не знаемъ, почему дѣтямъ лучше читать ихъ, нежели «Бову» или «Еруслана». Мы даже увѣрены, что дѣти съ большимъ удовольствіемъ станутъ читать послѣднихъ, потому что въ нихъ рассказъ не прерывается толками, что это-де вздоръ и чепуха. Особенно уродлива вышла несчастная «Одиссея». О пользѣ такого чтенія для дѣтей нечего и говорить: тутъ если не вредъ, то совершенная бесполезность. Дѣти будутъ видѣть безпрестанную и безчеловѣчную рѣзню, кровавыя жертвоприношенія, иногда даже людьми, обжорство, несправедливости, преступленія, пороки, и уже ничего болѣе не увидятъ изъ всего этого. Особенно собьютъ ихъ съ толку боги. Грекъ, создавши своихъ боговъ, перенесъ на нихъ свои дурныя и хорошія стороны, свои чувства, страсти и понятія. Эти боги были идеализированные греки, только въ преувеличенныхъ размѣрахъ красоты, тѣлесной и нравственной силы. Эта поэтическая апофеоза человѣка довела грека до самыхъ наивныхъ противорѣчій. Приписавши имъ безсмертіе, онъ поставилъ надъ ними какую то судьбу, подчинилъ ихъ ей, заставилъ ихъ бояться ея, какъ боялся ея самъ, впрочемъ рѣшительно не зная, что она такое. Приписавши имъ блаженную жизнь на высокомъ Олимпѣ, грекъ усылъ ихъ жизнь всѣми огорченіями и непріятностями, какія испытывалъ самъ. Зевесъ—отецъ и глава боговъ; ему ли, кажется, не блаженствовать! Но у него жена—Гера—богиня земли и раздора. Она поперечитъ ему на каждомъ шагу, преслѣдуя его дѣтей, не съ нею прижитыхъ; онъ безпрестанно съ ней

ссорится, грозитъ ей карою, и разъ на желѣзныхъ цѣпяхъ повѣсилъ ее между небомъ и землею, а на ноги повѣсилъ тяжелыя наковальни и бичевалъ ее молніями. Но эта исправительная супружеская мѣра ни къ чему не послужила. Всѣ другіе боги боятся его, а между тѣмъ безпрестанно поступаютъ противъ его воли, а ужъ другъ другу то и дѣло наносятъ обиды. Особенно придастъ странный сказочный характеръ поэмамъ Гомера внимательство боговъ въ дѣла людей. Всѣ герои сильны не своей силой, а силой стоящихъ за нихъ поборающихъ ихъ боговъ, которые собственнымъ оружіемъ то отводятъ отъ своихъ любимцевъ удары враговъ, то сами наносятъ врагамъ удары. Герой «Иліады»—Ахиллъ; онъ долженъ быть всѣхъ храбрѣе, доблестнѣе, сильнѣе и искуснѣе въ бояхъ. Соперникъ его—Гекторъ. Положимъ, Ахиллъ долженъ былъ одолѣть Гектора; но все же побѣда должна бы была ему чего нибудь стоить, а между тѣмъ онъ убилъ его, какъ ягненка. Копье Гектора отскакиваетъ отъ щита Ахилла не потому, чтобы брошено было не довольно мощной рукой, а потому, что щитъ выкованъ рукой бога Гефеста. Мало того, по волѣ Судьбы, Зевесъ отступаетъ отъ Гектора, и самъ себя, не оставлявшій его въ бояхъ, отходитъ отъ него; а между тѣмъ Паллада помогаетъ Ахиллу. Принявши образъ Гекторова брата Деиооба, она принимаетъ у Гектора копье; но когда тому оно опять понадобилось, онъ уже никого не увидѣлъ за собой и понялъ, что это было дѣло враждебной ему Аѣины. Мудрено ли послѣ этого было Ахиллу одолѣть Гектора! Гдѣ жъ тутъ герой, необыкновенный силачъ и храбрецъ? Но въ поэтическомъ изложеніи все это такъ полно жизни своего особеннаго рода, поэтическаго смысла, такъ понятно это смѣшанное участіе боговъ и людей въ однихъ и тѣхъ же дѣйствіяхъ! Эти боги такъ похожи на людей, а люди на боговъ!

Станнымъ намъ кажется порядокъ рассказовъ Беккера. «Одиссея» служитъ естественнымъ продолженіемъ «Иліады», а между тѣмъ у него «Одиссея» рассказана въ первой части, а «Иліада»—во второй; третья часть содержитъ въ себѣ описаніе подвиговъ героевъ, жившихъ, по преданію, до Троянской войны. Только краткое изложеніе «Энеиды» у мѣста—въ третьей части. Да и вообще «Энеида» рассказана такъ, какъ слѣдуетъ рассказывать такіа поэмы, и взглядъ Беккера на произведенія Виргилія самый вѣрный, умный и современный.

III. ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.

Литературный заяцъ.

Можно бы написать большую книгу объ авторскомъ самолюбіи вообще и о сочинительскомъ самолюбіи въ особенности. Первому бываютъ подвержены люди съ талантомъ; второму — посредственность и бездарность. Въ обоихъ случаяхъ это страсть — источникъ величайшихъ страданій для одержимыхъ ею. Впрочемъ талантъ, какъ бы ни былъ болѣзненно раздражителенъ, всегда имѣетъ свои минуты торжества, которыя по возможности ослабляютъ ѣдкую силу страданія отъ неудачъ или отъ несправедливыхъ приговоровъ, внушаемыхъ пристрастіемъ и невѣжествомъ. Но когда бездарный человѣкъ, одержимый бѣсомъ сочинительства, въ то же время исполненъ раздражительнаго самолюбія, которое, будучи въ заговорѣ съ его безвкусіемъ и невѣжествомъ, убѣждаетъ его въ томъ, что его произведенія превосходятъ и единодушно порицаются всѣми только по недоброжелательству, зависти и ослѣпленію: тогда взору наблюдателя представляется явленіе, столько же жалкое и страшное внутри, сколько смѣшное и комическое снаружи. Подобныя явленія подлежатъ изслѣдованію и психолога, и врача. Задорный писака — истинный мученикъ; онъ не знаетъ покоя ни днемъ, ни ночью, и вездѣ, во всемъ видитъ злыя противъ него намѣренія. Вы сказали при немъ, что не любите читать, — онъ обидѣлся; другой сказалъ при немъ, что не хотѣлъ бы быть литераторомъ, — онъ обидѣлся; третій сказалъ при немъ, что не любитъ романовъ и повѣстей, — онъ обидѣлся; четвертый похвалилъ при немъ какое-нибудь новое произведеніе (не его, разумеется), — онъ обидѣлся... Несчастный, его мучитъ всякій чужой успѣхъ, его терзаетъ появленіе всякаго замѣчательнаго таланта; онъ ревнуетъ даже славѣ первоклассныхъ европейскихъ поэтовъ!.. А въ «своей литературѣ» онъ играетъ роль зайца, котораго всѣ травятъ изъ одного удовольствія травить. Выйдетъ плохое сочиненіе, совсѣмъ не имъ написанное: его сравниваютъ съ тѣмъ или съ другимъ изъ его сочиненій. Имя его вѣчно, кстати и некстати, подъ перомъ рецензентовъ. То онъ издаетъ сочиненіе за сочиненіемъ, то на время примолкаетъ, выжидаетъ — и вдругъ, думая, что всѣ забыли его старые грѣхи, смѣшитъ журналы и публику изданіемъ новаго жалкаго дѣ-

тища своей бѣдненькой фантазіи. Видя, что всѣхъ не задобришь, онъ выбираетъ одинъ изъ наиболѣе насмѣхавшихся надъ нимъ журналовъ — и начинаетъ лстить ему некстати въ своихъ сочиненіяхъ; но неумолимый журналъ тѣмъ больше издѣвается надъ нимъ... Что дѣлать? Бѣднякъ рѣшается самъ сдѣлаться критиканомъ и рецензентомъ. «Меня бранили, — говоритъ онъ: — буду же и я бранить другихъ». Но ему въ то же время хочется казаться безпристрастнымъ, и онъ считаетъ долгомъ своимъ хоть что-нибудь похвалить во всякой вздорной книжонкѣ. Впрочемъ, по чувству бездарности, онъ хвалитъ только одно посредственное, ничтожное, и охуждаетъ только гениальное и талантливое, да ужъ развѣ что-нибудь очень бессмысленное и безграмотное. Но онъ охуждаетъ съ «легкой ироніей», а въ самомъ дѣлѣ сонно, вяло, плоско, съ беззубыми остротами и пошлыми шуточками. Однакожъ и это ему не удается. Рецензій его не принимаетъ ни одинъ журналъ; онъ издаетъ ихъ отдѣльными тетрадками, которыя доставляютъ обильную пищу насмѣшливости журналовъ, а сами не идутъ, не раскупаются... Чужакомъ овладѣваетъ отчаяніе: изъ полемическаго рыцаря печальнаго образа онъ становится полемическимъ Orlando Furioso. Ему остается одно: найти пріютъ въ какомъ-нибудь изданіи. Наконецъ — о радость! издатель какого-нибудь литературнаго сора, видя въ нашемъ зайцѣ большой полемическій задоръ, предлагаетъ ему безвозмездно трудиться въ своемъ изданіи. Несчастный заяцъ радъ и самъ платитъ послѣднія деньжонки, чтобъ только печатали его статейки, даромъ же онъ готовъ работать съ плеча день и ночь. Издатель тоже радъ ему: онъ употребляетъ его даромъ и только поправляетъ его статьи; самолюбивый заяцъ блѣднѣетъ и дрожитъ за всякое вычеркнутое или поправленное слово; но прошлыя неудачи дѣлаютъ его поневолѣ уступчивымъ: лишь бы не отняли у него возможность бранить тѣхъ, которые такъ долго смѣялись надъ нимъ, — онъ готовъ переносить отъ своего хозяина все... Но зато трепещите вы, враги его! Онъ ужъ больше не говоритъ о безпристрастіи, о справедливости... Но, увы! враги его, которыхъ онъ думалъ видѣть подъ своими ногами, уничтоженныхъ, умирающихъ, — его враги опять весело смѣются, потому что ничего нѣтъ смѣшнѣе и пріятнѣе, какъ

бесильная злоба, какъ пухлое изверженіе надувшейся бездарности...

Что же будетъ дѣлать заяцъ, когда убѣдится въ своемъ безсиліи? что ожидаетъ его, несчастнаго?.. Да, это любопытный типъ, драгоценный предметъ для литературно-физиологическаго очерка съ картинками, подъ названіемъ: «Литературный Заяцъ»...

Булгаринъ.

Чего, подумаешь, не писалъ Булгаринъ въ подрывъ кредита у публики «Отечественныхъ Записокъ»?... То увѣрялъ, что онѣ скоро прекратятся, за немѣнѣмъ подписчиковъ, то говорилъ, что ихъ друзья съ умыслу распускаютъ слухи, будто онѣ издаются въ пользу какого-то бѣднаго семейства... Но вотъ самые свѣжіе прихвѣты: въ 55 номерѣ «Сѣверной Пчелы» нынѣшняго года Булгаринъ утверждаетъ, будто «Отечественныя Записки» основаны были съ цѣлью уронить (!) «Библіотеку для Чтенія»; будто какая-то компанія, составившаяся для изданія «Отечественныхъ Записокъ», рѣшительно объявила извѣстное правило: «кто не съ нами, тотъ противъ насъ». Во-первыхъ, нигдѣ не было объявлено, чтобъ «Отечественныя Записки» издавались компаніей, и на заглавномъ листкѣ ихъ всегда стояло только имя издателя и редактора этого журнала: откуда же и чего ради сочинилъ Булгаринъ компанію?... Дайте:

«Вызвали изъ Москвы критика, который своими парадоксами, печатаемыми въ *Молотъ*, заставилъ добрыхъ людей взглянуть на себя съ улыбкой удивленія (т. е. *добрые люди посмотрели тогда на себя съ удивленіемъ!*...) и поручили ему писать разборы книгъ, т. е. уничтожить все прошлое (не пошлое ли?) и рубить все; что не съ нами, то противъ насъ. Вотъ и пошла потѣха.»

Спросимъ Булгарина: все это литературныя подробности? А что, если къ этому мы скажемъ, что все это сочинено имъ самимъ и ничего этого не бывало?... Но ему до правды нужды нѣтъ. Такой ужъ онъ правдолюбъ!... Однакожъ входитъ въ частныя дѣла своихъ противниковъ, сочинять о нихъ цѣлыя исторіи—это называется личностями... Объ этомъ, кстати, мы должны рассказать цѣлую исторію. Въ 57 номерѣ «Сѣверной Пчелы» Гречъ пишетъ изъ Парижа слѣдующее о переводѣ повѣстей Гоголя на французскій языкъ.

«Віардо изданіемъ перевода сочиненій Н. В. Гоголя принесъ намъ и нашей литературной репутаціи услугу очень сомнительную, похожую на ту, которую, въ баснѣ Крылова, медвѣдь угодилъ спящему другу. Нельзя вообразить себѣ ничего карикатурнѣе и смѣшнѣе этого перевода. Наблюдательность автора, его искусство схватывать едва уловимыя черты малороссійскаго быта, его мнимое простодушіе, его наивная замысловатость—все это исчезло подъ губительнымъ перомъ варвара-переводчика: остались только вымыслы, уродливыя сцены, отвратительныя подробности, безвкусіе и отсутствіе всякаго

благородства и изящества литературнаго; вмѣстѣ живого тѣла, видимъ безобразный скелетъ. Впрочемъ всякъ воленъ переводить, что и какъ ему угодно, а вотъ что непростительно, и противъ чего мы возражаемъ всѣми силами. Віардо, печатавъ юродивую повѣсть «Вій» въ «*Journal de Debats*», снабдилъ ее предисловіемъ, въ которомъ говоритъ, что Гоголь продолжаетъ въ отечествѣ своею созданіе литературы оригинальной, обогащенной трудами двухъ умершихъ писателей оя, Пушкина и Лермонтова. Мы охотно отдаемъ справедливость уму и таланту Гоголя, и ставимъ его произведенія на почетное мѣсто среди твореній нынѣшняго времени, признаемъ въ его *Тарасѣ Бульбѣ* большія достоинства и красоты, всегда съ новымъ наслажденіемъ перечитываемъ *Старостыцкія Помѣщики*, и не можемъ натѣшиться забавнымъ *Ревизоромъ*, но не дерзали ставить его не только наравнѣ съ Пушкинымъ и Лермонтовымъ, да и непосредственно послѣ нихъ. У него нѣтъ главнаго, *нѣтъ языка*; онъ позаимствуетъ, позабавитъ публику своимъ рассказомъ, но не подвинетъ ея впередъ на пути литературнаго образованія, какъ Ломоносовъ, Карамзинъ, Жуковскій, Пушкинъ, Лермонтовъ.—*Журналы админы* (?) *считаются* надъ твореніями Гоголя въ переводѣ и ставятъ ихъ гораздо ниже дѣйствительнаго ихъ достоинства. Ихъ винить нельзя. Прочитайте переводъ повѣсти «Вій», и скажите, можетъ ли быть что-либо уродливѣе и нелѣпѣе.»

Что сказать на это? «Сѣверная Пчела» вольна находить переводъ Віардо варварскимъ, какъ мы вольны находить его превосходнымъ: на вкусъ товарища нѣтъ. Но чтобъ французскіе журналы смѣялись надъ твореніями Гоголя въ переводѣ и ставили ихъ гораздо ниже дѣйствительнаго ихъ достоинства,—это, просимъ не прогнѣваться,—чистая выдумка, остроумное сочиненіе «Сѣверной Пчелы»... Въ французскіе журналы, говорившіе о Гоголѣ, говорили о немъ съ величайшими похвалами. Но что вся эта выдумка «Сѣверной Пчелы» въ сравненіи съ слѣдующею выходкою Булгарина:

«Я совершенно согласенъ со всѣмъ, что Н. И. Гречъ говоритъ о сочиненіяхъ Гоголя и переводѣ ихъ на французскій языкъ; но, бывъ въ пріятныхъ отношеніяхъ къ Віардо, я обязанъ, зная дѣло, представить, при обвиненіи его, облегчительныя обстоятельства (*circonstances atténuantes*). Недавно еще, въ текущемъ году, говорилъ я въ «Сѣверной Пчелѣ, что у насъ есть люди, которые доводятъ cadaго заѣзжаго чужеземнаго литератора, чтобъ внушить ему свои понятія о русской литературѣ и русскихъ литераторахъ, т. е. похвальное мнѣніе о своихъ собственныхъ и пріятелей своихъ сочиненіяхъ, и дурное о своихъ противникахъ и критикахъ¹⁾. Такимъ образомъ *уломали* Маршье и другихъ; точно такъ-же поймали и Віардо, увѣрили его, что первый писатель въ Россіи, изъ всѣхъ бывшихъ и будущихъ, есть Гоголь, и пригласили перевести его сочиненія. Но какъ же переводить, когда Віардо, какъ мнѣ весьма хорошо извѣстно, не знаетъ трехъ словъ по-русски? Къ нему отрядили одного изъ членовъ по-

¹⁾ О существованіи этихъ людей рекомендуемъ Булгарину справиться въ статьѣ Пушкина, называвшагося *Феофилактомъ Косичкинымъ*: «Торжество Дружбы, или оправданій Александрѣ Аноимовичъ Орловъ.»

вой натуральной школы, знающая французскій языкъ (т. е. французскія слова), и онъ сталъ надстрочно переводить для Вярдо сочиненія Гоголя, а Вярдо долженствовалъ сообщить этому переводу слогъ и свойство французскаго языка, какъ говорится, *обфранцузить* чужеземное слово. Встрѣчая часто у Вярдо этого гения новой натуральной школы за бумагами, я однажды не могъ вытерпѣть, чтобы не изложить моего удивленія, и тогда Вярдо сознался мнѣ, что этотъ гений переводить для него сочиненія Гоголя, съ которыми онъ намеренъ познакомиться *Европу*.

Затѣмъ Булгаринъ увѣряетъ, что «не выносить сору изъ избы»—его неизмѣнное правило!... А наконецъ изъясняетъ сожалѣніе, что «Вярдо самъ подвергнулся и подвергнулъ русскую литературу упрекамъ и порицаніямъ французскихъ литераторовъ!»... Впрочемъ это сожалѣніе понятно: Булгаринъ не можетъ забыть, какъ незамѣтно и тихо скончались за-границей переводы его сочиненій, и до того не вѣрить возможности успѣха русскаго писателя за-границей, что и похвалы (да еще какія!) французскихъ критиковъ и журналистовъ Гоголя отвергаетъ... Но, спрашиваемъ, кста-ти ли сочинять небывалыя исторіи о гениѣ, отправленномъ какой-то школой къ Вярдо, о томъ, что этотъ гений знаетъ только французскія слова, а не французскій языкъ, что Булгаринъ выдалъ его у Вярдо за бумагами и т. п.?... Впрочемъ пишутъ же сказки о встрѣчѣ съ сотрудникомъ «Отечественныхъ Записокъ», будто бы помѣшавшемся на идѣе фике, и печатно называютъ своихъ противниковъ сумасшедшими!... Помнится также, что кто-то, изъ ничего, изъ капустныхъ кочерыжекъ, говоря о Полевомъ, недавно еще имъ превозносимомъ, позволилъ себѣ фразу о «писателѣ съ огороднымъ прозваніемъ» и о «какомъ то квасникѣ, выучившемся грамотѣ самоучкой»?...

Этого мало. Сколько уже разъ было замѣчаемо Булгарину, что онъ всегда дружитъ съ мертвыми и становится пріятелемъ отсутствующихъ. Умеръ Карамзинъ — Булгаринъ пишетъ статью: «Мое знакомство съ Карамзинымъ», въ которой доказываетъ, что авторъ «Исторіи Россійскаго Государства» находился съ нимъ въ самыхъ короткихъ сношеніяхъ, когда еще не умиралъ. Умеръ Грибоѣдовъ — Булгаринъ за перо, и пишетъ біографію умершаго, бывшаго съ нимъ въ самыхъ короткихъ сношеніяхъ. Такъ же хотѣлъ онъ поступить съ Пушкинымъ, но тутъ что-то помѣшало... Умеръ Крыловъ — Булгаринъ пишетъ статью о своей съ нимъ пріязни... Слышно, что многіе, дорожа дружбой и пріязнью Булгарина, признаются откровенно, что имъ мѣшаетъ подружиться съ почтеннымъ авторомъ «Воспоминаній» только жизнь ихъ... А какъ только они отыдутъ къ праотцамъ, то онъ непременно вспомнить, что былъ имъ другъ и пріятель. Булгаринъ принялъ за правило «не выносить сора изъ избы», затѣмъ же нарушено это правило по отъѣздѣ Вярдо изъ Петербурга? Мы, хотя и не иностранцы, никакъ не можемъ повѣрить ни выдумки, ни правды, не выслушавъ Вярдо, который, какъ оказалось

послѣ его отъѣзда, находился съ Булгаринимъ въ пріятельскихъ сношеніяхъ. Мы даже не повѣримъ ссылкѣ на Вярдо въ справедливости словъ Булгарина, пока не подтвердитъ ихъ самъ г. Вярдо: мы видѣли недавно, тѣмъ кончилась ссылка Булгарина на его высокопревосходительство, адмирала П. И. Рикорда, въ спорѣ за «Воспоминанія»... Странно, что Булгаринъ молчалъ до тѣхъ поръ, пока Вярдо былъ на лицѣ...

Впрочемъ во всемъ этомъ есть, какъ говоритъ Булгаринъ, облегчительныя обстоятельства (circonstances atténuantes). Ничего нѣтъ таже, какъ быть калифомъ на часъ, даже и въ литературѣ. Было время, Булгаринъ чуть было не попалъ въ русскіе Вальтеръ-Скотты; но это время давно прошло, и хотя сотрудники «Сѣверной Пчелы», во время отсутствія Булгарина изъ Петербурга, и провозглашаютъ его время отъ времени русскимъ Вальтеромъ Скоттомъ («Сѣверная Пчела» 1843 г., номеръ 86) и даже самъ онъ, не отвергая подносимаго ему сотрудниками титула, иногда величаетъ себя, для разнообразія, Сократомъ («Сѣверная Пчела» 1843 г., номеръ 57) —однакожъ публика видитъ теперь въ немъ только говорливаго фельетониста «Сѣверной Пчелы», ни больше, ни меньше, совершенно забывъ о его прежнихъ твореніяхъ. А кто виною этому?—Гоголь, который успѣлъ своими сочиненіями изгладить изъ памяти публики даже сочиненія тѣхъ романистовъ, которые дѣйствительно не лишены даровитости и которые своими романами успѣли изгладить изъ памяти публики романы Булгарина!.. Есть отчего сдѣлать изъ Гоголя идѣе фике, говоря словами Булгарина! Сначала Гоголь въ глазахъ Булгарина не имѣлъ ни искры таланта, но теперь, когда, по увѣренію его же, Булгарина, Гоголь навлекъ на себя насмѣшки французскихъ литераторовъ, онъ уже много хорошаго признаетъ въ сочиненіяхъ Гоголя. Не все-таки не можетъ простить ему основанія литературной школы, которая всѣхъ старыхъ писателей лишила всякой возможности съ успѣхомъ писать романы, повѣсти и комедіи изъ русской жизни, и которую за это Булгаринъ очень основательно прозвалъ «новой натуральной школой», въ отличіе отъ старой риторической или не натуральной, т. е. искусственной, другими словами,—ложной школы. Этимъ онъ прекрасно оцѣнилъ новую школу и въ то же время отдалъ справедливость старой;—новой школы ничего не остается, какъ благодарить его за удачно приданный ей эпитетъ... Но за что же онъ безпрестанно такъ нападаетъ на новую школу? Виновата ли она, что онъ, по собственному признанію, и доселѣ есть «ученикъ Карамзина и Дмитріева»?.. Естественно, что значеніе и учителей стало теперь не то, что было назадъ тому лѣтъ тридцать, ибо послѣ нихъ были другіе учителя—Жуковский, Батюшковъ, Пушкинъ, Грибоѣдовъ, не говоря уже о явившихся послѣ нихъ—Гоголь и Лермонтовъ. А объ ученикахъ нечего и говорить; волей или неволей, а пришлось имъ

пережить свою минутную извѣстность. Какъ ни порочьте новую школу, а она уже не станетъ идти раковой походкой и писать по вашему. Да притомъ, браня ее, вы ее прославляете. Всѣ видятъ, что вы ополчаетесь на нее за ея успѣхи. Иначе вы не стали бы безпрестанно твердить о ней. Явится новое произведеніе, скажите о немъ ваше мнѣніе, и не сердитесь, когда другіе не согласны съ вами. Но вы на чужое мнѣніе, не согласное съ вашимъ, смотрите какъ на ересь. На что это похоже! теперь цѣлые фельетоны «Сѣверной Пчелы» наполняются совсѣмъ не хладнокровными доказательствами, что у Достоевскаго нѣтъ ни искорки таланта. Ну, нѣтъ, такъ и нѣтъ—тѣмъ лучше для васъ. Скажите это—и успокойтесь; а то полагаютъ, что вы не искренни и съ особымъ намѣреніемъ хотите всѣхъ увѣрить, что онъ—не талантъ. Дѣйствуя такъ, вы только вредите себѣ...

IV. ТЕАТРЪ.

Предокъ и потомки.

Трилогия въ стихахъ и прозѣ.

Эта пьеса по-французски называется «Les Burg-graves» и по-русски ее слѣдовало бы назвать «Крикуны, или много шума изъ пустяковъ». Геній Виктора Гюго, столько шумѣвшаго въ европейско-литературномъ мірѣ назадъ тому лѣтъ десять съ небольшимъ, теперь такъ низко упалъ, что даже наши доморощенные «драматическіе предстатели» — еслибъ у нихъ было хоть крошечку побольше ума, вкуса и образованія — могли бы писать драмы не только не хуже, даже лучше «Бургграфовъ». Имя Гюго возбуждаетъ теперь во Франціи общій смѣхъ, а каждое новое его произведеніе встрѣчается и провожается тамъ хохотомъ. Въ самомъ дѣлѣ, этотъ псевдоромантикъ смѣшонъ до крайности. Онъ вышелъ на литературное поприще съ девизомъ: «le laid c'est le beau», и цѣлый рядъ чудовищныхъ романовъ и драмъ потянулся для оправданія чудовищной идеи. Обладая довольно замѣчательнымъ лирическимъ дарованіемъ, Гюго захотѣлъ, во что бы ни стало, сдѣлаться романистомъ и въ особенности драматикомъ. И это ему удалось исполнѣ, но дорогой цѣной — потерей здраваго смысла. Его пресловутый романъ «Notre Dame de Paris», этотъ цѣлый океанъ дикихъ, изысканныхъ фразъ и въ выраженіи, и въ изобрѣтеніи, на первыхъ порахъ показался гениальнымъ произведеніемъ и высоко поднялъ своего автора, съ его «высокими черепомъ» и «изранными боками». Но то былъ не гранитный пьедесталъ, а деревянные ходули, которые скоро подгнили, и мнимый великанъ превратился въ смѣшного карлика съ огромнымъ лбомъ, съ крошечнымъ лицомъ и туловищемъ. Всѣ скоро поняли, что смѣлость и дерзость страннаго, безобразнаго и чудовищнаго — означаютъ не геній, а раздутый талантъ, и что изящное просто, благородно и не натянуто. Гюго писалъ драму за драмой, и послѣдняя всегда выходила у него хуже предыдущей. Наконецъ «Бургграфы» превзошли въ ничтожности и пошлости все написанное доселѣ ихъ авторомъ. Это сцѣпленіе самыхъ избитыхъ эффектовъ, повтореніе самыхъ истертыхъ общихъ мѣстъ. Тутъ есть корсиканка, которая сорокъ лѣтъ дышетъ мщеніемъ за убій-

ство ея возлюбленнаго. Она шлялась по всему свѣту, была въ Индіи, и тамъ научилась небывалому искусству по волѣ своей и умерщвлять, и воскрешать людей. Посредствомъ какой-то таинственной жидкости она заставляетъ чахнуть отъ изнурительной болѣзни племянницу Іова, бургграфа Эппенгенскаго, графиню Регину, и обѣщаетъ влюбленному въ нее стрѣлку Отберту излѣчить ее въ одну минуту, если тотъ поклянется помочь ей въ мщеніи и убить того, кого она ему укажетъ. Отбертъ этотъ былъ сынъ Іова Проклятаго (въ афишкѣ названнаго, вѣроятно ради смѣха, океаннымъ), пропавшій въ дѣтствѣ. Регина выздоровѣла отъ чудотворныхъ капель, и Отбертъ, въ темномъ подземельѣ, идетъ убить своего отца. Но не бойтесь — это только шутка, пустяки, вздоръ — нѣчто вродѣ пошлаго театральнаго эффекта; не бойтесь этого картоннаго кинжала, какъ ни размахивается онъ надъ грудью столѣтняго старика: сейчасъ явится избавитель и въ самую пору остановить руку невольнаго убійцы. И избавитель явился очень кстати — въ ту самую минуту, когда палачъ и жертва уже надорвались отъ усталости, изливаясь въ патетическихъ монологахъ. Этотъ избавитель — Фридрихъ Варбарусса, императоръ священной Римской имперіи, явившійся въ замкѣ Іова Проклятаго въ видѣ нищаго. Онъ — изволите видѣть — братъ Іова, бывшій возлюбленный мстительной корсиканки. Когда Проклятый бросилъ его, изреченнаго, изъ этого самаго подземелья за рѣшетку окна, онъ какъ-то зацѣпился за рѣшетку и спасся, чтобъ доставить Гюго нѣсколько дрянныхъ сценическихъ эффектовъ. Когда братья расчувствовались, корсиканка, видя, что уже мстить не за что, скорострительно лишаетъ себя живота: она поклялась, что въ гробѣ (который былъ принесенъ въ пещеру съ лежавшей въ немъ Региной) долженъ кто-нибудь быть вынесенъ изъ подземелья. Вотъ что называется — сдержатъ клятву! Когда старая колдунья умерла, Регина воскресла — трогательная сцена! Всѣ оветки на лицо, а волкъ умеръ! Отбертъ, еще прежде обиженный Гатто, маркизомъ Веронскимъ, вызываетъ его на поединокъ; но маркизъ (пьяница, шутъ и разбойникъ) съ презрѣніемъ отвѣчаетъ ему, что не можетъ драться съ сыномъ цыганки (корсиканки тоже). Тогда старичокъ-

ниціи, бросая свой посохъ и выхватывая мечъ, вызывается драться съ Гатто. «Но ты кто?» говорить Гатто. — «Я императоръ Фридрихъ Барбарусса!» — Эффектная сцена?... Затѣмъ онъ заковалъ въ цѣпи цѣлыя три поколѣнія бургграфовъ — Юва, столѣтняго старца, Магнуса, сына Юва, восьмидесятилѣтняго старика, и Гатто, сына Магнусова, молодого человѣка. Въ лицѣ этихъ трехъ бургграфовъ Гюго хотѣлъ представить три поколѣнія рыцарей, одно другого хуже: Ювъ, несмотря на грѣхи своей юности, рыцарь хоть куда; Магнусъ — ни рыба, ни мясо, а такъ себѣ; Гатто — пьяница, шутъ и разбойникъ.

На сценѣ Александринскаго театра «Бургграфы» очень эффектная, а потому и отличная драма...

Павелъ Степановичъ Мочаловъ.

16-го числа прошлаго мѣсяца (марта 1848 г.) скончался въ Москвѣ знаменитый русскій трагическій актеръ, Павелъ Степановичъ Мочаловъ. Сценическое искусство понесло въ немъ горькую утрату. Это былъ человѣкъ съ необыкновеннымъ, огромнымъ талантомъ, какіе являются рѣдко. Самая противорѣчивость и преувеличенность сужденій о талантѣ Мочалова доказываютъ, что онъ дѣйствительно стоялъ далеко за чертой обыкновеннаго. Одни видѣли въ немъ высшую степень совершенства, до какого только можетъ доходить трагическій талантъ; другіе видѣли въ немъ совершенно бездарнаго актера. Какъ ни преувеличенно первое мнѣніе, однако въ немъ въ тысячу разъ больше истины, нежели въ послѣднемъ, но и послѣднее существуетъ не безъ основанія; самъ Мочаловъ вызвалъ его; дѣло въ томъ, что, получивши отъ природы огромный талантъ и богатые средства для представленія трагическихъ ролей, Мочаловъ съ молодыхъ лѣтъ имѣлъ несчастье пренебречь развитіемъ своего таланта и обработкой своихъ средствъ, ничего не сдѣлалъ во время, чтобъ овладѣть ими. Одаренный въ высшей степени страстной натурой, онъ владѣлъ при этомъ голосомъ, который способенъ былъ выражать всѣ оттѣнки страстей и чувствъ: въ немъ слышны были и громовый рокотъ отчаянія, и порывистые крики бѣшенства и мщенія, и тихій шопотъ сосредоточившагося въ себѣ негодованія, — шопотъ, который раздавался, бывало, по всему театру, и каждое слово доходило до слуха и сердца зрителя; и мелодическій лепетъ любви, и язвительность ироніи, и спокойно-высокое слово. Голосъ для актера великое дѣло. Конечно актеру нуженъ не такой голосъ, какъ пѣвцу, но все же нуженъ необыкновенно гармоническій, звучный и глубокий голосъ; иначе онъ никогда не выкажетъ во всей полнотѣ своего таланта, какъ бы великъ онъ ни былъ. Голосъ Мочалова былъ дивнымъ инструментомъ, въ которомъ заключались всѣ

звуки страстей и чувствъ. Лицо его также было создано для сцены. Красивое и пріятное въ спокойномъ состояніи духа, оно было измѣнчиво, подвижно — настоящее зеркало всевозможныхъ оттѣнковъ ощущеній, чувствъ и страстей. При этомъ онъ былъ крѣпкаго здоровья, — обстоятельство очень важное для трагическаго актера. Ростомъ онъ былъ не высокъ, но совсѣмъ не такъ, чтобъ это могло казаться въ немъ недостаткомъ на сценѣ. Сложень былъ хорошо.

И невозможно себѣ представить, до какой степени мало воспользовался Мочаловъ богатыми средствами, которыми надѣлила его природа! Съ дня вступленія на сцену, привыкнувъ надѣяться на вдохновеніе, всего ожидать отъ внезапныхъ и волланическихъ всплесковъ своего чувства, онъ всегда находился въ зависимости отъ расположенія своего духа: найдешь на него одушевленіе — и онъ удивителенъ, неподобенъ; нѣтъ одушевленія — и онъ выпадаетъ, не то, чтобъ въ посредственность — это бы еще куда ни шло — нѣтъ, въ пошлость и тривіальность. Тогда невысокій ростъ его дѣлался на сценѣ большимъ недостаткомъ, вся фигура его становилась непріятной, манеры — безобразными. Чувствуя внутреннюю скуку и апатію, понимая, что онъ играетъ дурно, Мочаловъ выходилъ изъ себя, и, желая насильно возбудить въ себѣ вдохновеніе, онъ кричалъ, кривлялся, ломался, хлопалъ себя руками по бедрамъ, и оттого становился еще нестерпимѣе. Вотъ въ такіе-то неудачные для него спектакли и видѣли его люди, имѣющіе о немъ понятіе какъ о дурномъ актерѣ. Это особенно пріѣзжіе въ Москву, и особенно петербургскіе жители. Они конечно правы въ отношеніи къ самимъ себѣ, тѣмъ болѣе, что по слухамъ ожидали увидѣть чудо таланта. Правда, едва ли когда нибудь Мочаловъ цѣлую большую роль игралъ дурно отъ начала до конца; напротивъ, воспроизведеніе большой пьесы у него не разъ вспыхивало вдохновеніе, и онъ хоть въ нѣсколькихъ только сценахъ, но все-таки бывалъ удивителенъ; но не у всякаго станеть терпѣнія высидѣть длинную трагедію, дурно разыгрываемую даже главнымъ лицомъ, въ надеждѣ вознаградить себя нѣсколькими минутами удовольствія. Москвичи любили его, многое извиняли ему и терпѣливо дожидались его «превращеній» на сценѣ, — и какъ хорошъ онъ былъ въ этихъ «превращеніяхъ»; онъ словно выросталъ въ глазахъ зрителя, манеры его мгновенно облагораживались, лицо и голосъ измѣнялись — точно совсѣмъ другой человѣкъ на сценѣ, въ глазахъ зрителей! Ему никогда не удавалось выполнить ровно свою роль отъ начала до конца, т. е. выполнить ее художнически, артистически, но ему нерѣдко удавалось продолженіе цѣлой роли постоянно держать зрителей подъ неотразимымъ обаяніемъ тѣхъ могущественныхъ и мучительно-сладкихъ впечатлѣній, которыя производила на нихъ его страстная, простая и въ высшей степени натуральная игра. И въ этой игрѣ бывали неровности и небольшіе про-

махи; но зритель подъ бременемъ волновавшихъ его ощущеній не успѣвалъ приходить въ себя, чтобъ ясно видѣть отбѣнки игры. Иногда Мочаловъ бывалъ превосходенъ только въ нѣсколькихъ актахъ трагедіи, иногда въ одномъ, иногда цѣлая роль его была безпрестанной сѣной паденія возстаніемъ и возстанія паденіемъ; невозможно исчислить всѣхъ этихъ комбинацій удачъ съ неудачами.

Торжествомъ его таланта былъ «Гамлетъ»; бывалъ онъ превосходенъ и въ «Отелло», но большей частью только въ трехъ послѣднихъ актахъ, когда выходилъ на сцену ревность. Прежде онъ блисталъ въ роляхъ Карла Мора и Фердинанда. Сослуживцы его увѣряютъ, что онъ былъ удивителенъ въ роляхъ Мейнау, въ пьесѣ Коцебу: «Ненависть къ людямъ и раскаяніе»; онъ особенно любилъ эту роль, охотно и часто игралъ ее, и всегда, не въ примѣръ прочимъ ролямъ, выполнялъ ее съ удивительнымъ совершенствомъ съ начала до конца, какъ, истинный художникъ, и немногіе могли смотрѣть безъ слезъ на его игру въ этой роли.

Чтобы вѣрно оцѣнить такой талантъ, какъ Мочалова, надо было часто видѣть его на сценѣ, освоиться съ его игрой, изучить ее. По огромности таланта, Мочаловъ былъ необыкновеннымъ феноменомъ; но этотъ талантъ былъ чисто природный, нисколько не развитый ни наукой, ни искусствомъ, всегда зависѣвшій отъ вдохновенія. Конечно безъ вдохновенія нельзя сыграть какъ слѣдуетъ никакой роли, тѣмъ болѣе трагической, но и безъ вдохновенія можно играть прилично, умно, отчетливо. Почти всякая роль начинается довольно холодно и разогрѣвается по мѣрѣ хода драмы. Вотъ тутъ-то особенно важно для актера не потеряться, испугавшись своего внутрен-

няго нерасположенія къ игрѣ, но играть съ полнымъ присутствіемъ духа; вдохновение мало-помалу придетъ само собой, его вызовутъ рукоплесканія публики; притомъ же, играя отчетливо, актеръ невольно входитъ въ свою роль и самъ себя разогрѣваетъ ею. Но этого самообладанія своими средствами актеръ можетъ достичь только усиленнымъ и долговременнымъ изученіемъ своего искусства. Этому-то изученію и недоставало Мочалову, чтобъ быть истиннымъ чудомъ сценическаго искусства. И потому онъ давно уже шелъ назадъ, вмѣсто того чтобъ идти впередъ. Въ 1846 году Мочалова едва узнавали на сценѣ невидавшіе его лѣтъ шесть. Были и тутъ вспышки, но уже не прежняго Мочалова; голосъ хриплый; страсть еще есть, но ужъ средства для выраженія ея ослабли...

Въ мірѣ искусства Мочаловъ — примѣръ поучительный и грустный. Онъ доказалъ собою, что одни природныя средства, какъ бы они ни были огромны, но безъ искусства и науки, доставляютъ торжества только временныя, и часто человѣкъ ихъ лишается въ ту эпоху своей жизни, когда бы имъ слѣдовало быть въ полномъ ихъ развитіи. Мочаловъ, какъ мы уже сказали, еще довольно долго до своей смерти началъ ослабѣвать въ талантѣ, и умеръ онъ всего на сорокъ восьмой году отъ роду. Біографическія подробности о жизни Мочалова читатели найдутъ въ брошюрѣ подъ названіемъ: «Воспоминанія о П. С. Мочаловѣ», которую въ скоромъ времени намѣренъ издать Межевичъ. Межевичъ коротко зналъ Мочалова, онъ имѣетъ его письма, рукописныя стихотворенія и даже краткую автобіографію, врученную ему Мочаловымъ въ 1846 году, — стало быть, можно съ достовѣрностью предполагать, что брошюра Межевича будетъ интересна.

Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ продаются новыя изданія Ф. ПАВЛЕНКОВА:

ПРИ СВѢТѢ ЗВѢЗДЪ.

К. Фламмаріона.

Переводъ съ французскаго Е. А. Предтеченскаго. 368 стр. Цѣна 1 рубль.

СОДЕРЖАНІЕ: I. Въ безпредѣльномъ пространствѣ. — II. Зачѣмъ? — III. Препятія вселенной. — IV. Звѣзды и атомы. — V. Всемирная молитва. — VI. Земля въ свои первые дни. — VII. Падучія звѣзды. — VIII. Общеніе между мірами. — IX. Среди небесъ. — X. Тайна міроздація. — XI. Жизнь въ иныхъ мірахъ. — XII. Свѣточи вселенной. — XIII. Сиріусъ и его исторія. — XIV. Древніе парижане. — XV. Вечерняя звѣзда. — XVI. Вѣсти изъ иныхъ міровъ. — XVII. Дѣтственный лѣсъ среди Парижа. — XVIII. Голосъ природы. — XIX. Сквозь даль вѣковъ. — XX. Какъ наступитъ ковецъ міру.

ПСИХОЛОГІЯ ВЕЛИКИХЪ ЛЮДЕЙ.

Профессора Г. ЖОЛИ. Переводъ съ французскаго. 3-е изданіе. Цѣна 60 коп.

СОДЕРЖАНІЕ: I. Подготовка гения культурнымъ ростомъ народа. Явленіе гениальности труднѣе поддается изученію, чѣмъ помѣшательство. Три главные отдѣла нашего предмета: великій человѣкъ, гений, вдохновеніе. Мнѣніе Гете о послѣдствіяхъ долговѣчности отдѣльных семей и цѣлыхъ народовъ. Всякій ли народъ способенъ народить великаго человѣка? Наиболѣе благоприятныя времена для появленія великихъ людей.

II. Вліяніе семейной наслѣдственности. Существуетъ ли наслѣдственная подготовка, ускоряющая появленіе гения? Братья, сестры и матери великихъ людей. Наслѣдственность вкусовъ, причудъ и выдающихся способностей. Гений и успѣхъ. Различіе между естественной и юридической семьей, между кровью и именемъ, между святымъ и великимъ человѣкомъ. Законныя обобщенія. Теорія чередованія. Если гений не есть неврозъ, то не чередуется ли онъ съ неврозомъ? Страсти и великіе замыслы.

III. Великій человѣкъ и современная ему среда. Великій человѣкъ не разрушаетъ ничего кромѣ того, что является помѣхою жизни: онъ не вноситъ въ человѣчество усилій, клонящихся къ раздѣленію людей, но только усилія, направленные къ временному соглашенію, къ союзу и единству. Какимъ образомъ среда требуетъ своего великаго человѣка. Какъ относится великій человѣкъ къ своимъ предшественникамъ, къ своимъ современникамъ, къ своимъ учителямъ и къ своимъ предтечамъ. Примеры. Въ чемъ состоитъ оригинальность великаго человѣка. Его вліяніе на людей, которыми онъ пользуется для своихъ цѣлей, и на идеи, которыми онъ овладѣваетъ. Не гений получаетъ жизнь отъ тѣхъ элементовъ, которые онъ организуетъ, а наоборотъ—онъ самъ даетъ имъ новую жизнь.

IV. Гений и вдохновеніе. Уничтожаетъ ли гений роль случая? Приостанавливаетъ ли онъ законы необходимости? Случай не дѣлаетъ даже открытій.—Примеры. Колумбъ и открытіе Америки. Ньютонъ и открытіе мірового тяготѣнія. Лейбницъ и его ученіе объ активной субстанціи. Леонардо да Винчи и Тайная Вечера. Бетховенъ и нѣкоторыя изъ его симфоній. Является ли великое дѣло при своемъ возникновеніи въ формѣ цѣльнаго замысла? Фенелонъ и Ж. Ж. Руссо. Моцартъ и Бетховенъ. Лихорадочное возбужденіе ума. Истинныя условія вдохновенія. Анализъ элементовъ гения. Проверка этого анализа. Личности, которымъ не доставало то одного, то другого изъ условій гениальности и величія. Заключительные выводы.

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ И. Н. ПОТАПЕНКО.

1-й томъ. Святое искусство. — Потѣшная исторія. — Здравныя понятія. — Никогда. 2-й томъ. На дѣйствительной службѣ. — Секретарь его превосходительства. — Рѣдкій праздникъ. — Проклятая слава. 3-й томъ. Генеральская дочь. — Крылатое слово. — Отечество въ опасности. — Общій взглядъ. — Ахметка саратовскій. — Ицекъ Шмуль бриллианщикъ. 4-й томъ. Шестеро. — Деревенскій романъ. — Семейка. — Домашній судъ. — Ради хозяйства. — Иллюзія и правда. 5-й томъ. Самородокъ. — Тоже жизнь. — Письмо. — Задача. — Женя. — Тайна. — Смыслъ жизни. — Кусокъ хлѣба. — Отступленіе. — На вдовѣцѣ. — Грѣхъ дѣда Мартына. 6-й томъ. До и послѣ. — Остроумно. — Жестокое счастье. — Враги. — Незамѣнная утрата. 7-й томъ. На пенсію. — Небывалое дѣло. — Поездъ. — Прямой расчетъ. — Стыдно. — Право на счастье. 8-й томъ. Исполнительный органъ. — Земля. — Семейная исторія. — Амперъ. — Находка. — Третья. 9-й томъ. Рѣчные люди. — Простая случайность. — Клавдія Михайловна. — Горячая статья. — Счастливый. — Развизанный узелъ. — Бѣглый. 10-й томъ. Грѣхъ. — Горь-дѣвица. — Петербургская исторія. — Баба замѣшалась. — Азорка.

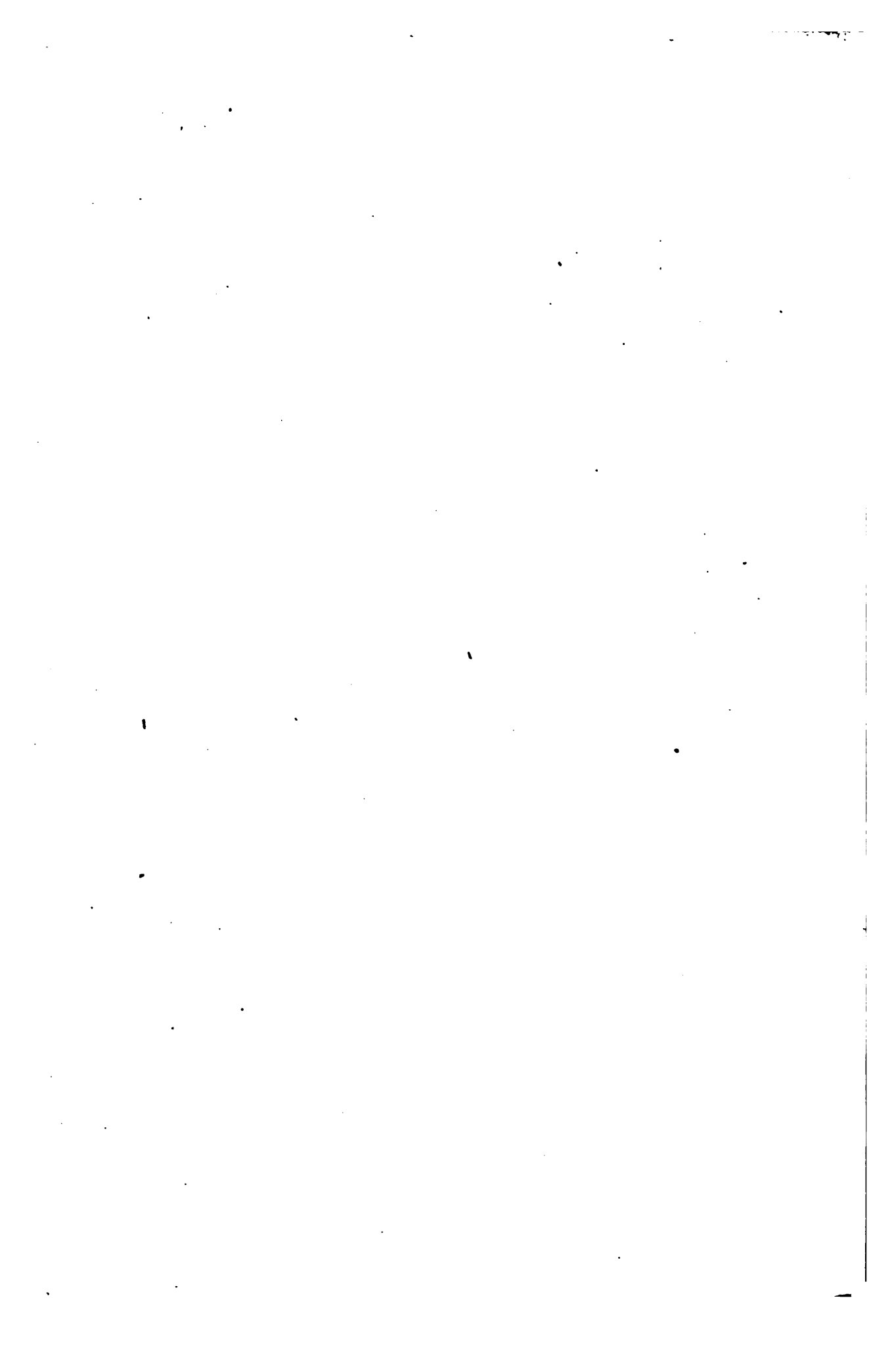
Цѣна cadaго тома 1 рубль.

СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА.

ЕЯ ПОЛОЖЕНІЕ ВЪ ЕВРОПѢ И АМЕРИКѢ. Б. БРАНДТА.

Цѣна 60 коп.

СОДЕРЖАНІЕ: Вступленіе. — Глава I. Положеніе женщины въ современной Европѣ. 1) Бракъ. 2) Женскій трудъ. 3) Вознагражденіе женскаго труда. 4) Причины низкаго вознагражденія женскаго труда. 5) Моральное положеніе женщины. — Глава II. Попытки къ улучшенію положенія женщинъ въ разныхъ странахъ Европы. 1) Задачи организаціи женскаго труда. 2) Женское движеніе во Франціи. 3) Женское движеніе въ Англіи. 4) Женское движеніе въ Германіи. 5) Итоги. — Глава III. Положеніе женщины въ Америкѣ. 1) Историческое развитіе американской женщины и ея современная характеристика. 2) Бракъ въ Америкѣ. 3) Промышленный трудъ американскихъ женщинъ. 4) Успѣхъ американскихъ женщинъ въ области высшаго образованія. 5) Американскія женщины въ либеральныхъ профессіяхъ. Заключеніе.



~~DUE JUN 24 31~~

~~DUE DEC 24 31~~

~~DUE AT 12 30 40~~

~~DUE OCT 29 47~~ ^{NS}
K